

Александр Дюма

Виконт де Бражелон или десять лет спустя

Оглавление

ТОМ I

 ЧАСТЬ I

 ЧАСТЬ II

ТОМ II

 ЧАСТЬ III

 ЧАСТЬ IV

ТОМ III

 ЧАСТЬ V

 ЧАСТЬ VI

ЭПИЛОГ

СМЕРТЬ Д'АРТАНЬЯНА

ТОМ I

ЧАСТЬ I

Глава 1. ПИСЬМО

В середине мая 1660 года, в девять часов утра, когда солнце, начавшее уже припекать, высушило росу на левкоях Блуаского замка, небольшая кавалькада, состоявшая из трех дворян и двух пажей, проехала по городскому мосту, не произведя большого впечатления на гуляющих по набережной. Они лишь прикоснулись к шляпам со следующими словами:

– Его высочество возвращается с охоты.

И только.

Пока лошади брали крутой подъем от реки к замку, несколько сидельцев подошли к последней лошади, к седлу которой были привешены за клюв разные птицы.

С истинно деревенской откровенностью любопытные выразили пренебрежение к такой скудной добыче и, потолковав между собою о невыгодах охоты влет, вернулись к своим делам.

Только один из любопытных – рослый, краснощекий веселый малый – спросил, почему его высочество, имея Возможность хорошо проводить время благодаря своим огромным доходам, довольствуется столь жалким развлечением.

Ему отвечали:

– Разве ты не знаешь, «что для его высочества главное развлечение скука?»

Весельчак пожал плечами с жестом, который ясно говорил: «В таком случае я предпочитаю быть лавочником, а не принцем».

И каждый вернулся к своей работе.

Между тем его высочество продолжал свой путь с таким задумчивым и в то же время величественным видом, что, верно, ему изумились бы зрители, если бы таковые были; но жители Блуа не могли простить герцогу того, что он выбрал их веселый город, чтобы скучать там без помехи. Завидев скучающего принца, они обыкновенно отворачивались, зевая, или отходили от окон в глубину комнат, точно избегая усыпительного влияния этого вытянутого, бледного лица, сонных глаз и вялой походки. Таким образом, достойный принц мог быть почти уверен, что никого не увидит на улицах, если вздумает прогуляться.

Конечно, со стороны жителей Блуа это являлось преступной непочтительностью: его высочество был первым вельможей Франции после короля, а может быть и включая короля. Действительно, если Людовик XIV, тогда царствовавший, имел счастье родиться сыном Людовика XIII, то его высочество имел честь родиться сыном Генриха IV. Следовательно, жители Блуа должны были гордиться предпочтением, которое герцог Гастон Орлеанский оказал их городу, поселившись со своим двором в старинном Блуаском замке.

Но такова была судьба этого высокородного принца: он никогда не возбуждал внимания и удивления толпы. С течением времени он привык к этому.

Может быть, именно этим объясняется его равнодушный и скучающий вид.

Прежде он был очень занят. Казнь доброй дюжины его лучших друзей причинила ему немало хлопот. Но со времени прихода к власти кардинала Мазарини казни прекратились, его высочество остался без всякого занятия, и это отражалось на его настроении.

Жизнь бедного принца протекала очень скучно. По утрам он охотился на берегах Беврона или в роще Шеверни, потом переправлялся через Луару и завтракал в Шамборе, с аппетитом или без аппетита; и до следующей охоты жители Блуа ничего не слышали о своем владыке и господине.

Вот как принц скучал *extra muros*¹; что же касается его скуки в стенах города, то мы

дадим о ней понятие читателю, если он потрудится последовать вместе с нами за кавалькадой к величественному входу в Блуаский замок.

Его высочество ехал верхом на маленькой рыжей лошади, в большом седле красного фландрского бархата со стремянами в форме испанского сапога.

Пунцовый бархатный камзол принца, под плащом такого же цвета, сличался с седлом, и благодаря этому красному цвету принц выделялся среди своих спутников, из которых один был в лиловом, другой в зеленом платье. Человек в лиловом, шталмейстер, ехал по левую руку, обер-егермейстер в зеленом – по правую.

Один из пажей держал на шесте с перекладиной двух соколов. У другого в руке был охотничий рог; шагах в двадцати от замка он лениво затрубил.

Все окружающие ленивого принца делали свое дело тоже лениво. Послышав сигнал, восемь часовых, гулявших на солнце в квадратном дворе, схватили алебарды, и его высочество торжественно вступил в замок.

– Когда герцог въехал во двор, мальчишки, которые мчались за кавалькадой, указывая друг другу на убитых птиц, разбежались, отпуская замечания по поводу виденного. Улица, площадь и двор опустели.

Его высочество молча сошел с лошади, проследовал в свои покои, где слуга подал ему переодеться, и так как его высочество еще не прислала известить о завтраке, то его высочество опустил в кресло и заснул так крепко, как будто было одиннадцать часов вечера.

Часовые, зная, что им нечего делать до самой ночи, растянулись на солнце на каменных скамьях; конюха с лошадьми скрылись в конюшнях; казалось, все заснуло в замке, подобно его высочеству, только несколько птицы весело щебетали в кустах.

Вдруг среди этой сладостной Тишины раздался взрыв звонкого смеха, заставивший нескольких солдат, погруженных в сон, открыть глаза.

Смех несся из одного окна замка, в которое в этот момент заглядывало солнце, заключая его в огромный светлый угол, какие чертят, около полудня, на стенах профили крыш.

Узорчатый железный балкончик перед этим окном украшали горшки с красными левкоями, примулами и ранними розами, чья зелень, густая и сочная, пестрела множеством маленьких красных блестящих точек, обещающих превратиться в цветы.

В комнате, которой принадлежало это окно, виднелся четырехугольный стол, покрытый старой гарлемской скатертью с крупным цветочным узором.

Посреди стола стоял глиняный кувшин с длинным горлышком; в нем были ирисы и ландыши. По обе стороны стола сидели две девушки.

Держали они себя довольно странно: их можно было принять за пансионеров, бежавших из монастыря. Одна, положив локти на стол, старательно выводила буквы на роскошной голландской бумаге; другая, стоя на коленях на стуле, нагнулась над столом и смотрела, как пишет ее подруга. Они смеялись, шутили и, наконец, захохотали так громко, что вспугнули птичек, игравших в кустах, и прервали сон гвардии его высочества.

Раз уж мы занялись портретами, то да будет нам позволено написать еще два – последние в этой главе.

Стоявшая на коленях на стуле шумливая хохотунья, красавица лет девятнадцати – двадцати, смуглая, черноволосая, сверкала глазами, которые вспыхивали из-под резко очерченных бровей; ее зубы блестели, как жемчуг, меж коралловых губ. Каждое ее движение казалось вспышкой молнии; она не просто жила в это мгновение, она вся кипела и пылала.

Та, которая писала, глядела на свою неугомонную подругу голубыми глазами, светлыми и чистыми, как небо в тот день. Ее белокурые пепельные волосы, изящно причесанные, обрамляли мягкими кудрями перламутровые щеки; ее тонкая рука, лежавшая на бумаге, говорила о крайней молодости.

При каждом взрыве смеха приятельницы она с досадой пожимала нежными белыми плечами, которым, так же как рукам, недоставало еще округлости и пышности.

– Монтале! Монтале! – сказала она наконец приятным и ласковым голосом. – Вы смеетесь слишком громко, точно мужчина; на вас не только обратят внимание господ

караульные, но вы, пожалуй, не услышите звонка ее высочества.

Девушка, которую звали Монтале, не перестала смеяться и шуметь после этого выговора. Она лишь ответила:

– Луиза, дорогая, вы говорите не то, что думаете. Вы знаете, что господа караульные, как вы их называете, теперь заснули и что их не разбудишь даже пушкой; колокол ее высочества слышен даже на Блуаском мосту, и, стало быть, я услышу, когда мне нужно будет идти к ее высочеству. Вам просто мешает, что я смеюсь, когда вы пишете: вы боитесь, как бы госпожа де Сен-Реми, ваша матушка, не пришла к нам, – что она иногда делает, когда мы смеемся слишком громко, – не застала вас врасплох и не увидела этого огромного листа бумаги, на котором за четверть часа написано только «Господин Рауль». И вы совершенно правы, милая Луиза: после этих двух слов можно написать много других, таких значительных и пламенных, что ваша добрая матушка получит полное право метать громы и молнии. Не так ли? Отвечайте.

И тут Монтале расхохоталась еще громче.

Блондинка обиделась не на шутку. Она разорвала лист, на котором красивым почерком действительно было написано «Господин Рауль», и, смяв бумагу дрожащими вальцами, бросила ее за окно.

– Вот как! – сказала Монтале. – Наша овечка, наша голубка рассердилась!.. Не бойтесь, Луиза: госпожа де Сен-Реми не придет, а если б и вздумала прийти, так вы знаете – у меня тонкий слух. Притом же вполне позволительно писать старому другу, которого знаешь двенадцать лет, особенно когда письмо начинается словами: «Господин Рауль!»

– Хорошо, я не буду писать ему, – проговорила Луиза.

– Ах, как я наказана! – воскликнула с хохотом черноглазая насмешница.

– Ну, берите скорей другой лист бумаги, и сейчас допишем письмо... Ах!

Вот и колокол гудит!.. Ну, да мне все равно! Герцогиня подождет или обойдется сегодня без своей фрейлины!

В самом деле, колокол звонил. Это значило, что герцогиня кончила свой туалет и ждет его высочество, который обыкновенно вел ее под руку из гостиной в столовую.

После этой церемонии супруги завтракали и опять расставались до обеда, подававшегося обычно ровно в два часа.

При звуке колокола в кухне, на левой стороне двора, отворилась дверь, и в ней показались двое дворецких и восемь поварят. Они несли подносы с кушаньями на блюдах, покрытых серебряными крышками.

Один из дворецких, видимо старший по чину, молча коснулся жезлом караульного, – громко храпевшего на скамейке. Он даже был так добр, что подал ему алебарду, стоявшую у стены. Солдат, ошавевший от сна, не спрашивая объяснений, проводил до столовой слуг, несших яства, предназначенные для их высочеств; впереди шли паж и двое дворецких.

Когда блюда проносили мимо часовых, они отдали честь.

Монтале и ее подруга смотрели из окна на подробности этого церемониала, хотя давно уже привыкли к нему. Впрочем, их любопытство вызывалось только желанием убедиться в том, что их оставили в покое. Когда поварята, солдаты, пажи и дворецкие прошли, они опять сели к столу, и солнце, на мгновение осветившее эти два прелестных личика, теперь опять озаряло только левкой, примулы и розы.

– Ну, – сказала Монтале, устраиваясь по-прежнему, – ее высочество позавтракает и без меня.

– Ах, Монтале, ведь вас накажут! – отвечала блондинка, усаживаясь на свое место.

– Накажут? Это значит, что меня не повезут на прогулку. Да я только этого и хочу! Ехать в огромной колыхаге, держась за дверцу, поворачивать то направо, то налево по скверной дороге, по которой едва можно проехать милою в два часа; потом возвращаться к тому флигелю, где окно Марии Медичи, причем герцогиня непременно скажет: «Кто поверит, что через это окно бежала королева Мария! Сорок восемь футов высоты! А она была матерью двух принцев и трех принцесс», – какое развлечение! Нет, Луиза, пусть меня наказывают

каждый день, особенно когда наказание доставляет мне возможность побыть с вами и писать такие занимательные письма.

– Монтале! Монтале! Надо исполнять свои обязанности.

– Хорошо вам, друг мой, говорить об обязанностях, когда вы пользуетесь полной свободой при дворе. Только вы одна получаете все выгоды и не несете никаких тягот: вы больше, чем я, фрейлина герцогини, потому что она переносит на вас свое расположение к вашему отчиму. Вы клюете зернышки в этом печальном доме, точно птички на нашем дворе, вдыхаете воздух, наслаждаетесь цветами и ничего не делаете. И вы же говорите мне, что надо исполнять свои обязанности! Скажите, моя прелестная ленивица, какие у вас обязанности? Писать красавцу Раулю? Но вы и ему не пишете, значит, вы тоже немножко пренебрегаете своими обязанностями...

Луиза приняла серьезный вид, оперлась подбородком на ладонь и сказала:

– Упрекать меня за счастливую жизнь! И у вас хватает духа... У вас есть будущность: вы служите при дворе. Когда король женится, он призовет к себе его высочество: вы увидите великолепные празднества, увидите короля... Говорят, он так хорош, так мил...

– А кроме того, я увижу Рауля, который служит у принца, – лукаво прибавила Монтале.

– Бедный Рауль! – вздохнула Луиза.

– Пора писать ему, душенька! Ну, начинайте опять слов «Господин Рауль», так красиво выведенных на листке, который вы разорвали.

Она подала подруге перо, улыбкой стараясь ее приободрить.

Та написала знакомые нам слова.

– А теперь что? – спросила блондинка.

– Теперь пишите то, что думаете, Луиза, – отвечала Монтале.

– Уверены ли вы, что я думаю о чем-то?

– Вы думаете о ком-то, а это одно и то же, и даже хуже.

– Вы уверены в этом, Монтале?

– Луиза, Луиза, ваши голубые глаза глубоки, как море, которое я видела в Булони в прошлом году. Нет, я ошибаюсь, море коварно, а ваши глаза чисты, как лазурь вон там, над нашими головами.

– Если вы так хорошо читаете в моих глазах, то скажите, что я думаю.

– Во-первых, вы не думаете «Господин Рауль», вы думаете «Мой милый Рауль».

– О!

– Не краснейте из-за пустяков. Вы думаете: «Мой милый Рауль, вы умоляете меня писать вам в Париж, где вас удерживает служба у принца. Должно быть, вам очень скучно, если вы ищете развлечения в воспоминании о провинциалке...»

Луиза вдруг встала.

– Нет, Монтале, – сказала она с улыбкой, – нет, я думаю совсем другое. Смотрите, вот что я думаю...

Она храбро взяла перо и твердой рукой написала следующие строки:

«Я была бы очень несчастлива, если бы вы не так горячо просили меня вспоминать о вас. Здесь все говорит мне о первых годах нашей дружбы, так быстро промелькнувших, так незаметно улетевших, и никогда ничто не истребит их очарования в моем сердце».

Монтале, следившая за быстрым полетом пера и читавшая по мере того, как ее подруга писала, захлопала в ладоши.

– Давно бы так! – воскликнула она. – Вот искренность, вот чувство, вот слог! Покажите, милая, этим парижанам, что Блуа – родина хорошего стиля.

– Он знает, что для меня Блуа – земной рай, – ответила блондинка.

– Вот я и говорю. Ангел не мог бы выразиться более возвышенно.

– Я кончаю, Монтале.

И она продолжала писать:

«Вы говорите, Рауль, что думаете обо мне. Благодарю вас, но это не может удивить меня: ведь я знаю, сколько раз наши сердца бились одно возле другого».

– О, – сказала Монтале, – овечка моя, берегитесь волков!

Луиза хотела ответить, как вдруг у ворот замка раздался конский топот.

– Что такое? – удивилась Монтале, подходя к окну. – Право, красивый всадник.

– Ах, Рауль! – воскликнула Луиза, тоже приблизившись к окну.

Она побледнела и в сильном волнении опустилась на стул подле недописанного письма.

– Вот молодец! – засмеялась Монтале. – Он явился очень кстати.

– Отойдите от окна... Отойдите, умоляю вас! – прошептала Луиза.

– Ну вот! Он не знает меня, дайте же мне посмотреть, зачем он сюда приехал.

Глава 2.

КУРЬЕР

Монтале сказала правду: приятно было взглянуть на молодого всадника.

На вид ему было лет двадцать пять. Высокий, стройный, он ловко носил тогдашнюю красивую военную форму. Высокие ботфорты с раструбами облегали ногу; от такой ноги не отказалась бы сама Монтале, если бы вздумала нарядиться в мужской костюм. Тонкой, но сильной рукой он остановил лошадь посреди двора; потом приподнял шляпу с перьями, бросившую тень на его серьезное и вместе с тем простодушное лицо.

Солдаты проснулись от конского топота и вскочили со скамеек.

Один из них подошел к молодому всаднику, который наклонился к нему и сказал голосом таким чистым и звонким, что его услышали даже девушки у своего окна:

– Курьер к его королевскому высочеству!..

– Господин офицер! – закричал часовой. – Курьер приехал!

Но солдат знал, что никто не придет. Единственный офицер жил в глубине замка, в квартире, выходившей в сад.

Поэтому солдат прибавил:

– Господин шевадье, офицер проверяет посты, я доложу о вас господину де Сен-Реми, дворецкому.

– Де Сен-Реми! – повторил всадник, краснея.

– Вы его знаете?

– Знаю... Сообщите ему поскорее, чтобы обо мне тотчас доложили его высочеству.

– Значит, дело, должно быть, спешное, – сказал солдат как бы про себя, но надеясь на ответ.

Всадник кивнул головой.

– В таком случае, – продолжал часовой, – я сам пойду к дворецкому.

Тем временем молодой человек спрыгнул на землю, и, покуда другие солдаты с любопытством следили за каждым движением статной лошади, принадлежащей новоприбывшему, часовой, отошедший было на несколько шагов, вновь вернулся, чтобы промолвить:

– Позвольте узнать ваше имя.

– Виконт де Бражелон, от его высочества принца Конде.

Солдат низко поклонился и, как будто имя победителя при Рокруа окрылило его, взбежал по ступеням лестницы в переднюю.

Не успел виконт де Бражелон привязать лошадь к железным перилам крыльца, как к нему выбежал запыхавшийся Сен-Реми, придерживая одной рукой толстый живот, а другой рассекая воздух, как гребец рассекает воду веслом.

– Виконт! Вы здесь, в Блуа? – воскликнул он. – Какое чудо!

Здравствуйте, господин Рауль, здравствуйте!

– Мое почтение, господин де Сен-Реми.

– Как госпожа де Лаваль... я хочу сказать, как госпожа де Сен-Реми будет счастлива, когда увидит вас! Но пойдете! Его высочество завтракает. Надо ли тревожить его? Дело у вас важное?

– Да как сказать... Возможно, что минута промедления не понравится его высочеству.

– Если так, нарушим правила. Пойдете, виконт! Впрочем, его высочество сегодня в духе... И притом вы привезли нам новости?

– Очень важные.

– И, вероятно, хорошие?

– Самые приятные.

– Так идите скорей! Как можно скорей! – вскричал добряк, поправляя на ходу свой костюм.

Рауль шел за ним с шляпой в руке, немного смущенный торжественным звоном шпор по паркету огромных зал.

Как только он вошел во дворец, в знакомом нам окне опять показались головки, и оживленный шепот выдал волнение девушек. Видимо, они приняли какое-то решение, потому что черноволосая головка исчезла, а белокурая осталась в окне, прячась за цветами и внимательно глядя сквозь листья на крыльцо, по которому виконт вошел во дворец.

Между тем виконт, явившийся причиной всех этих волнений, шел следом за дворецким. По донесшемуся к нему шуму торопливых шагов, аромату вин и кушаний, звону бокалов и посуды он понял, что приближается к цели. Пажи, служители и лакеи, находившиеся в комнате перед столовой, встретили гостя с учтивостью этого края, вошедшей в пословицу. Некоторые были знакомы с Раулем, и почти все знали, что он приехал из Парижа.

Можно сказать, что его появление нарушило на минуту перемену блюд.

Паж, наливавший вино его высочеству, услышав звон шпор в соседней комнате, обернулся с детским любопытством и не заметил, что льет вино уже не в стакан герцога, а на скатерть.

Герцогиня, не столь поглощенная своими мыслями, ее достославный супруг, заметила рассеянность пажа.

– Что такое? – спросила она.

– Что такое? – повторил герцог. – Что там случилось?

Сен-Реми воспользовался удобной минутой и просунул голову в дверь.

– Зачем меня беспокоят? – спросил герцог, кладя на тарелку солидный кусок одного из самых огромных лососей, которые когда-либо поднимались вверх по Луаре, чтобы попасться на удочку где-то между Пенбефом и Сентазер.

– Приехал курьер из Парижа. Но он может подождать, пока завтрак...

– Из Парижа! – удивился герцог, роняя вилку. – Курьер из Парижа, говорите вы? А от кого?

– От принца, – поспешил сообщить дворецкий.

Принцем называли в те времена принца Конде.

– Курьер от принца? – сказал герцог с беспокойством, замеченным всеми присутствующими и удвоившим общее любопытство.

У герцога мелькнула, быть может, мысль, что вернулись те блаженные времена заговоров, когда каждый стук двери приводил его в волнение, каждое письмо заключало в себе государственную тайну, каждый курьер был орудием опасной и запутанной интриги. Может быть, самое имя великого принца встало под сводами Блуаского замка, точно привидение.

Герцог отодвинул тарелку.

– Прикажете курьеру подождать? – спросил де Сен-Реми...

Взгляд герцогини придавал герцогу энергии, и он ответил:

– Нет, нет! Наоборот, позовите его сейчас же! Кстати, а кто он?

– Здешний дворянин, виконт де Бражелон.

– А, очень хорошо... Введите его, Сен-Реми, введите!

Произнеся эти слова с обычной важностью, герцог бросил взгляд на всех находившихся в столовой, и все они – пажи, служители и берейторы, – побросав салфетки, ножи и стаканы, беспорядочной толпой быстро скрылись в соседней комнате.

Столовая была пуста, когда Рауль де Бражелон вслед за Сен-Реми вошел туда.

Оставшись один, герцог успел придать своему лицу подобающее выражение. Он не повернулся, ожидая, пока дворецкий подведет к нему курьера.

Рауль остановился у конца стола, между герцогом и его супругой. Затем он низко поклонился его высочеству, почтительно ее высочеству, выпрямился и стал ждать, когда герцог заговорит. Герцог, со своей стороны, ждал, пока запрут двери. Он не хотел оборачиваться, чтобы убедиться, закрыты ли они. Такое движение было бы недостойно его; но он напряженно прислушивался, щелкнул ли замок, что сулило ему хоть видимость тайны.

Когда заперли дверь, герцог поднял глаза на виконта и спросил:

– Вы, кажется, из Парижа?

– Только что, ваше высочество.

– Здоров ли король?

– Вполне.

– А королева?

– Ее величество все еще страдает грудью. Но теперь уже с месяц как ей несколько лучше.

– Мне доложили, что вы приехали ко мне от принца. Это, верно, ошибка!

– Нет, ваше высочество! Принц поручил мне доставить вам это письмо и ждать ответа.

Рауль был несколько смущен столь холодным и церемонным приемом: голос его незаметно понизился, и кончил он почти шепотом. Герцог забыл, что сам был причиной этой таинственности, и им снова овладел страх.

С угрюмым видом принял он письмо принца Конде, распечатал его, точно какой-нибудь подозрительный пакет, и, отвернувшись, чтобы никто не мог заметить выражения его лица, прочел письмо.

Герцогиня следила за всеми движениями своего августейшего супруга с такой же тревогой, какую испытывал он сам.

Рауль бесстрастно, не двигаясь с места, смотрел в открытое окно на сад и на статуи в нем.

– Ах, – вскричал вдруг герцог с сияющей улыбкой. – Вот приятный сюрприз! Премилое письмо от принца! Прочтите сами!

Стол был так широк, что герцог не мог дотянуться до руки герцогини;

Рауль поспешил передать письмо и сделал это так ловко, что герцогиня ласково поблагодарила его.

– Вы, верно, знаете содержание письма? – спросил герцог у виконта.

– Знаю, ваше высочество. Сначала принц дал мне поручение на словах; потом передумал и написал письмо.

– Прекрасный почерк, – сказала герцогиня, – но я никак не могу разобрать...

– Прочтите, виконт, – попросил герцог, и Рауль начал читать.

Герцог слушал его очень внимательно.

Вот содержание письма:

«Ваша светлость.

Король едет за границу; вам уже известно, что скоро совершится бракосочетание его величества. Король соизволил назначить меня своим квартирмейстером на время этого путешествия. Зная, как было бы приятно его величеству провести день в Блуа, осмеливаюсь просить вас дозволить мне отметить на моем маршруте ваш замок. Однако если неожиданность такой просьбы может причинить вашему королевскому высочеству затруднение, то умоляю вас уведомить меня через посланного мною курьера, одного из моих офицеров, виконта де Бражелона. Мой маршрут будет зависеть от решения вашего королевского высочества: если нельзя ехать на Блуа, я укажу путь через Вандом или

Роморантен. Смею надеяться, что ваше высочество примете просьбу мою благосклонно, как знак преданности и желания быть вам приятным».

– Ничего не может быть приятнее, – заметила герцогиня, которая во время чтения несколько раз ловила взгляд мужа. – Король будет здесь! прибавила она громче, чем следует, когда хотят сохранить тайну.

– Господин де Бражелон, – сказал герцог, в свою очередь, – поблагодарите принца Конде и выразите ему мою признательность за удовольствие, которое он мне доставил.

Рауль поклонился.

– Когда приедет его величество?

– Вероятно, сегодня вечером.

– Как же узнали бы мой ответ, если бы он оказался отрицательным?

– Мне было приказано в этом случае возможно скорее вернуться в Божанси и передать ваш ответ курьеру, который тотчас вручил бы его принцу.

– Значит, король в Орлеане?

– Нет, гораздо ближе; теперь его величество должен быть в Менге.

– Его сопровождает двор?

– Да, ваше высочество.

– Ах! Я и забыл спросить вас о кардинале!

– Его преосвященство, кажется, здоров.

– Его племянницы едут с ним?

– Нет, ваше высочество; его преосвященство приказал господам Манчини отправиться в Бруаж; они поедут по левому берегу Луары, тогда как двор проследует по правому.

– Как! Мария Манчини тоже покидает двор? – спросил герцог, осторожность которого несколько уменьшилась.

– Мария Манчини в первую очередь, – скромно ответил Рауль.

Беглая улыбка, едва заметный след прежней привычки к запутанным интригам, осветила бледное лицо герцога.

– Благодарю вас, господин де Бражелон, – сказал он. – Вы, может быть, не захотите передать принцу другого моего поручения – сообщить, что его посланный очень мне понравился: но я сам скажу ему об этом.

Рауль поклонился в знак благодарности за лестный отзыв.

Герцог подал знак герцогине, и она позвонила. Тотчас вошел «Сен-Реми, и комната наполнилась людьми.

– Господа, – объявил герцог, – его величество сделал мне честь, пожелав провести день в Блуа; надеюсь, что король, мой племянник, не будет раскаиваться в милости, которую он оказывает моему дому.

– Да здравствует король! – вскричали с неудержимым восторгом все присутствующие и прежде всех сам Сен-Реми.

Герцог в мрачном унынии склонил голову. Всю жизнь должен он был слушать, вернее – терпеть, эти крики.

Давно уже не слышав их, он успокоился; и вот молодой король, более живой и блестящий, чем прежний, вставал перед ним, как новая горькая насмешка.

Герцогиня поняла страдания этого боязливого и подозрительного человека. Она поднялась из-за стола.

Герцог бессознательно последовал ее примеру. Служители, жужжа, как пчелы, окружили Рауля и начали его расспрашивать.

Герцогиня, заметив это, подозвала Сен-Реми.

– Теперь не время болтать, надо приниматься за дело! – сказала она голосом недовольной хозяйки. Сен-Реми поспешил рассеять кружок, собравшийся около Рауля, и виконт вышел в переднюю.

– Надеюсь, об этом дворянине позаботятся? – прибавила герцогиня, обращаясь к

Сен-Реми.

Толстяк побежал за Раулем.

– Герцогиня приказала предложить вам закусить и отдохнуть, – сообщил он, – для вас готова квартира замке.

– Благодарю вас, господин де Сен-Реми, – отвечал виконт. – Вы знаете, как мне хочется скорее увидеть отца.

– Знаю, знаю, виконт. Прошу вас передать ему мой почтительный поклон!

Рауль распрощался со старым дворянином и пошел своей дорогой.

Когда он проходил под воротами, ведя лошадь под уздцы, тонкий голосок окликнул его из глубины тенистой аллеи:

– Господин Рауль!

Виконт в изумлении обернулся и увидел черноволосую девушку. Она приложила палец к губам и протянула ему руку.

Этой девушки он не знал.

Глава 3. СВИДАНИЕ

Рауль подошел к девушке, позвавшей его.

– А как мне быть с лошадью? – спросил он.

– Вот так затруднение!.. В переднем дворе есть конюшня; поставьте туда лошадь и возвращайтесь скорей.

– Повинуюсь!

Рауль сделал все, как было сказано, и вернулся к маленькой двери; тут, в полумраке, он увидел свою таинственную провожатую. Она ждала на первых ступеньках винтовой лестницы.

– Вы не побойтесь пойти за мной, странствующий рыцарь? – рассмеялась девушка, видевшая минутное колебание Рауля.

Вместо ответа он устремился за ней по темной лестнице.

Так прошли они три этажа; каждый раз, ища перил, он касался шелкового платья, которое шелестело впереди по лестнице. Когда Рауль спотыкался, спутница строго произносила «шш» и протягивала ему маленькую нежную ручку.

– Так можно подняться на самый верх башни, не чувствуя усталости, сказал Рауль.

– Другими словами, вы очень заинтересованы, очень устали и очень взволнованы!.. Успокойтесь, мы пришли!

Девушка отворила дверь, и на площадку лестницы, за перила которой держался Рауль, хлынул поток света.

Брюнетка двинулась вперед; он не отставал. Она вошла в комнату, Рауль вслед за ней.

Очутившись в западне, он услышал чей-то возглас, обернулся и в двух шагах от себя увидел белокурую голубоглазую красавицу с белоснежными плечами, которая стояла, сложив руки и закрыв глаза.

Во всем ее облике он почувствовал – столько любви, столько счастья, что пал перед нею на колени и прошептал ее имя:

– Луиза...

– Ах, Монтале, Монтале! – упрекнула Луиза. – Грех так обманывать людей!

– Я вас обманула?!

– Да. Вы сказали, что пойдете узнать, что там делается, а вместо того привели его сюда!

– Как же иначе? Каким бы образом он получил письмо, которое вы писали?

И Монтале указала на письмо, лежавшее на столе. Рауль бросился к нему, но Луиза, хотя все еще смущенная, быстро протянула руку, желая его остановить. Рауль встретил теплую дрожащую ручку, взял ее и так почтительно поднес к губам, что, казалось, это был не поцелуй, а вздох.

Между тем Монтале взяла письмо, тщательно сложила его втрое, как обыкновенно делают женщины, и спрятала за корсаж.

– Не бойтесь, Луиза, – успокоила ее Монтале, – виконт не возьмет письма, как покойный король Людовик Тринадцатый не брал записок, спрятанных на груди мадемуазель де Отфор.

Рауль покраснел, увидев, что обе девушки смеются, и не заметил, что ручка Луизы осталась в его руках.

– Что же, – спросила Монтале, – вы простили мне, Луиза, что я привела к вам виконта? А вы, сударь, не сердитесь, что пошли за мной и увидели Луизу? Теперь, когда мир заключен, поговорим как старые друзья. Луиза, познакомьте меня с виконтом!

– Виконт, – сказала Луиза со своей серьезной грацией и невинною улыбкою, – имею честь представить вам Ору де Монтале, приближенную ее королевского высочества и мою подругу, мою милую подругу.

Рауль церемонно поклонился.

– А меня, Луиза, вы не представите вашей приятельнице? – спросил он.

– О, она вас знает! Она знает все!

Эти наивные слова заставили Монтале рассмеяться, а Рауля вздохнуть от радости. Он понял их так: поскольку она мой друг, то знает все о нашей любви.

– Теперь церемонии кончены, виконт, – сказала Монтале. – Вот кресло; садитесь и сообщите нам скорее, какое известие привезли вы так поспешно?

– Теперь оно уже не тайна, сударыня. Король по дороге в Пуатье остановится в Блуа, чтобы навестить его королевское высочество.

– Король будет здесь! – воскликнула Монтале, хлопая в ладоши. – Мы увидим двор! Понимаете вы, Луиза? Настоящий парижский двор! Боже мой! Но когда же?

– Может быть, сегодня вечером, сударыня, а завтра наверное.

Монтале с досадой махнула рукою.

– Нет времени одеться! Некогда приготовить платья! Мы здесь отстали от мод, как польки. Мы будем похожи на портреты времен Генриха Четвертого... Ах, виконт, вы привезли плохую новость!..

– Вы будете хороши во всяком наряде.

– Какой избитый комплимент!.. Мы будем хороши, потому что природа создала нас достаточно привлекательными; но мы будем смешны, потому что мода забыла нас... Смешны!.. Я покажусь смешною!..

– Кому? – удавилась Луиза.

– Кому? Какая вы странная, милая моя! Можно ли задавать такой вопрос!.. Кому... Всем... Придворным кавалерам, вельможам, королю.

– Простите меня, Монтале, но если здесь все привыкли видеть нас такими...

– Правда, но теперь все это переменится, и мы будем смешными даже в Блуа; ведь все увидят парижский моды и поймут, что мы одеты как провинциалки! Это приводит меня в отчаяние!

– Утешьтесь, сударыня!

– А впрочем, тем хуже для тех, кому я не понравлюсь! – философски заявила Монтале.

– Ну, таких будет трудно найти! – возразил Рауль, верный своей неизменной любезности.

– Благодарю, виконт! Так вы говорите, что король приедет в Блуа?

– Со всем двором.

– И с Манчини?

– Нет, без них.

– Но, говорят, король не может расстаться с Марией Манчини?

– Однако ему придется обойтись без нее. Так угодное кардиналу. Он послал своих племянниц в Бруаж!

– О, лицемер!

– Тише! – сказала Луиза, прикладывая палец к розовым губам.

– Здесь меня никто не слышит! Я говорю, что старый Мазарини-лицемер: он спит и видит, как бы сделать племянницу французской королевой.

– О нет, сударыня. Напротив, кардинал хочет, чтобы король женился на инфанте Марии-Терезии.

Монтале посмотрела Раулю прямо в глаза.

– Неужели вы, парижане, верите таким басням? – спросила она. – Мы здесь, в Блуа, не так легковжны.

– Но подумайте: раз король едет через Пуатье в Испанию, раз статьи свадебного контракта утверждены доном Луисом де Харо и кардиналом, вы понимаете, сударыня, это уже не шутки.

– Однако, я думаю, король все-таки король?

– Разумеется, но и кардинал все-таки кардинал...

– Значит, король не человек? Или он не любит Марию Манчини?

– Обожают!

– Ну, так он женится на ней. Начнется война с Испанией. Кардинал Мазарини истратит несколько миллионов из тех, что у него припрятаны. Наши дворяне совершат чудеса храбрости в сражениях против гордых кастильцев.

Многие возвратятся с лавровыми венками, а мы увенчаем их миртом. Вот как я понимаю политику!

– Монтале, вы безумная! – сказала Луиза. – Всякая крайность привлекает вас, как огонь бабочку!

– А вы, Луиза, слишком рассудительны, чтобы по-настоящему любить.

– О, – прошептала Луиза с нежным упреком, – поймите же, Монтале!..

Вдовствующая королева хочет женить сына на инфанте. Неужели король решится послушаться матери? Неужели такой король, как он, захочет подать дурной пример? Когда родители запрещают любить, надо прогнать любовь!

И Луиза вздохнула. Рауль в замешательстве опустил глаза. Монтале расхохоталась.

– У меня нет родителей, – промолвила она.

– Вы, должно быть, осведомлены о здоровье графа де Ла Фер? – спросила Луиза после вздоха, обнаружившего всю ее печаль.

– Нет, – отвечал Рауль, – я еще не был у батюшки; я хотел ехать к нему, когда меня остановила ваша подруга. Надеюсь, что граф здоров... Вы не слыхали о нем ничего дурного?

– Ничего, Рауль, слава богу!

Воцарилось молчание. Пока оно длилось, оба, поглощенные одной мыслью, без единого взгляда превосходно понимали друг друга.

– Боже мой! – вдруг вскричала Монтале. – Сюда идут!

– Кто это может быть? – спросила Луиза с беспокойством.

– Ах, я подвергаю вас опасности! Как я был неблагоприятен! – прошептал Рауль в сильном замешательстве.

– Шаги тяжелые! – сказала Луиза.

– Если это Маликорн, то нам нечего беспокоиться, – заметила Монтале.

Луиза и Рауль переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Кто это Маликорн?»

– Не волнуйтесь, – продолжала Монтале, – он не ревнив.

– Но... – начал Рауль.

– Понимаю: он не болтлив, как и я.

– Ах! – испугалась Луиза, прислушиваясь у полуоткрытой двери. – Я узнаю шаги моей матери.

– Госпожа де Сен-Реми! Куда мне спрятаться? – спросил Рауль слегка смутившуюся Монтале.

– Да, – сказала она, – и я узнаю стук ее башмаков!..

Это ваша добрая матушка! Ах, как жаль, виконт, что окно выходит на мостовую и до земли футов пятьдесят.

Рауль растерянно посмотрел на балкон. Луиза схватила его за руку и удержала.

– О, я совсем с ума сошла! – вскричала Монтале. – А мой шкаф с парадными платьями! Он словно для этого именно и предназначен!

Пора было прятаться. Г-жа де Сен-Реми поднималась быстрее обыкновенного. Она появилась на площадке в то время, когда Монтале затворила шкаф и прислонилась к дверце.

– А! – грозно промолвила г-жа де Сен-Реми. – Вы здесь, Луиза?

– Да, здесь, – отвечала Луиза, побледнев, словно ее уличили в ужасном преступлении.

– Так, так!

– Присядьте, сударыня, – сказала Монтале, придвигая кресло г-же де Сен-Реми и ставя его так, чтобы она села спиной к шкафу.

– Благодарю, Ора. Идем, дочь моя, пойдем скорее!

– Куда? Зачем?

– Домой. Надо же приготовить наряды!

– Что случилось? Что за спешка? – спросила Монтале, притворяясь удивленной.

Она боялась, как бы Луиза не проговорила.

– Разве вы не знаете новости? – недоверчиво посмотрела на нее г-жа де Сен-Реми.

– Что можем мы знать, сидя в этой голубятне, сударыня?

– Как!.. Вы никого не видели?

– Вы говорите загадками, мы сгораем от нетерпения! – перебила ее Монтале, которая не знала, что делать, видя, что Луиза все бледнеет.

Наконец она поймала красноречивый взгляд подруги, один из тех взглядов, которые способны растрогать даже стены. Луиза указывала на шляпу, на злополучную шляпу Рауля, красовавшуюся на столе.

Монтале шагнула вперед и, схватив шляпу левой рукой, перебросила за спиной в правую и, наконец, спрятала, не переставая говорить.

– Ну так вот, – продолжала г-жа де Сен-Реми, – приехал курьер и привез известие о скором прибытии сюда его величества! Надо принарядиться!

– Скорее, – сказала Монтале, – скорей, Луиза! Ступайте за вашей матушкой, а я пока примерю парадное платье.

Луиза встала. Г-жа де Сен-Реми взяла ее за руку и вывела на лестницу.

– Идем! – скомандовала она.

И прибавила потихоньку:

– Я запретила вам заходить к Монтале! Почему же вы бываете у нее?

– Она моя подруга. Притом я только что вошла.

– И при вас никого не прятали?

– Что вы?

– Я видела мужскую шляпу... Это, верно, шляпа бездельника Маликорна... Приближенная – и принимает у себя такого человека!.. Фи!..

Голоса замерли на лестнице. Монтале все слышала, потому что эхо передавало ей слова.

Она пожала плечами, увидев Рауля, который выбрался из шкафа и тоже все слышал, и произнесла:

– Бедная Монтале! Жертва дружбы!.. Бедный Маликорн! Жертва любви!

Она остановила свой взор на трагикомическом лице Рауля, смущенного тем, что он в один день узнал столько тайн.

– Ах, сударыня, – начал он, – как мне благодарить вас за вашу любезность!

– Когда-нибудь сочтемся, – ответила она, – а теперь уходите поскорее, виконт! Госпожа де Сен-Реми очень строга и может произвести здесь обыск, который будет неприятен нам всем! Прощайте!

– Но Луиза... как узнать...

– Ступайте! Ступайте! Король Людовик Одиннадцатый недаром изобрел почту!

– Увы! – проговорил Рауль.

– А я разве не помогу вам? Я стою больше всех королевских почт! Скорей на коня! Если

госпожа де Сен-Реми придет читать мое нравоучение, надо, чтобы она не застала вас здесь.

– Она, пожалуй, скажет моему отцу!, – прошептал Рауль.

– И вас станут бранить!.. Ах, виконт, видно, что состоите при дворе: вы боязливы, как король. Но мы обходимся нередко без согласия папенок!

Спроси Маликорна.

С этими словами шалунья взяла Рауля за плечи выставила его за дверь.

Он осторожно спустился по лестнице, отыскал свою лошадь, вскочил на нее и поскакал так, словно его преследовали восемь солдат герцога Орлеанского.

Глава 4. ОТЕЦ И СЫН

Рауль ехал по хорошо ему известной, милой по воспоминаниям дороге, которая вела из Блуа к дому графа де Ла Фер.

Читатель уволит нас от описания этого дома. Он уже бывал там вместе с нами в прежние времена. Только со времени последнего нашего путешествия туда стены посерели, кирпичи приобрели зеленоватый оттенок старой меди, а деревья разрослись. Те, что некогда протягивали свои тоненькие руки над веткой изгородью, ныне стояли крепкие, густые, пышные, далеко бросая темную тень от своих налитых соками ветвей, одаривая путника цветами и плодами своими.

Рауль издали увидел остроконечную крышу, две маленькие башенки, голубятню между вязами и голубей, непрерывно летавших вокруг кирпичного конуса. Никогда его не покидая, как не покидают приятные воспоминания безмятежную душу.

Когда он приблизился, то услышал скрип колодезного вала под тяжестью массивных ведер; ему показалось также, что он слышит меланхолический шум воды, со стоном падающей назад в колодец; шум печальный, похоронный, торжественный, ударяющий в ухо ребенка и мечтателя, затем чтобы никогда уже не забыться ни тем, ни другим; шум, который поэты-англичане окрестили словом «splash» и который мы, французы, что так стараемся быть поэтами, умеем передавать лишь перифразой: шум воды, падающей в воду...

Уже больше года Рауль не видел отца; все это время он находился у принца Конде.

Действительно, после волнений Фронды, первый период которых мы постарались изобразить в предыдущей части этой трилогии, Луи де Конде примирился с двором искренне, публично и торжественно. За все время распри между принцем Конде и королем принц, полюбивший виконта, тщетно делал ему предложения, соблазнительные для молодого человека. Граф де Ла Фер, верный принципам чести и преданности королю, когда-то преподавшим им сыну в усыпальнице Сен-Дени, постоянно отказывал принцу от имени сына. Более того, не присоединившись к принцу Конде во время мятежа, виконт примкнул к Тюренну, который сражался на стороне короля. Затем, когда Тюренн, в свою очередь, охладил к королю, виконт расстался и с Тюренном, как прежде с принцем. Благодаря такой неизменной линии поведения и тому, что Конде и Тюренн одерживали победы, только сражаясь под знаменами короля, в послужном списке Рауля, при всей его молодости, значилось десять побед и ни одного поражения, задевающего его честь и совесть.

Рауль, по желанию отца, стойко и покорно служил Людовику XIV, несмотря на почти неизбежные в то время колебания и переходы из одного лагеря в другой.

Принц Конде, попав в милость, воспользовался дарованной ему амнистией, чтобы возвратить себе многое, и в том числе Рауля. Граф де Ла Фер, следуя, как всегда, велению здравого смысла, тотчас же отправил Рауля к принцу.

Прошел год со времени последнего свидания сына с отцом; письма смягчали, но не излечивали его грусти. Мы видели, что Рауль оставил в Блуа и другую любовь, кроме сыновней.

Но отдадим ему справедливость: если б не случай и не Ора Монтале, эти два демона-соблазнитель, Рауль, исполнив поручение, поскакал бы прямо к отцу; он, наверное,

оглядывался бы, но не остановился, если бы даже сама Луиза простирала к нему руки.

В первую половину пути Рауль предавался сожалениям о прошлом, с которым пришлось так быстро расстаться, проще говоря, о своей возлюбленной; во время второй половины пути он думал о друге, к которому нетерпеливо стремился.

Рауль увидел, что ворота в сад открыты, и пустил лошадь по аллее, не обращая внимания на угрожающие жесты старика в лиловой вязаной куртке и в большой шапке из вытертого бархата.

Старик, полувшийся грядку карликовых роз и маргариток, пришел в негодование, видя, что лошадь скачет по расчищенным и посыпанным песком аллеям.

Он решился даже произнести громкое «эй», заставившее виконта обернуться. Тогда картина переменилась. Узнав Рауля, старик вскочил и побежал к дому с ворчанием, которое служило у него выражением крайнего восторга.

Рауль доехал до конюшни, отдал лошадь мальчику и взбежал по лестнице с быстротой, которая порадовала бы его отца.

Он прошел переднюю, столовую и гостиную, никого не встретив; наконец, дойдя до кабинета графа де Ла Фер, он нетерпеливо постучал в дверь и вошел, не дождавшись даже ответа: «Войдите!», произнесенного строгим, но приятным голосом.

Граф сидел за столом, заваленным книгами и бумагами. Он был все тем же благородным и красивым вельможей, как и прежде; но время придало его благородству и красоте характер величавой значительности. Чистый гладкий лоб, обрамленный длинными, почти седыми кудрями; глаза пронзительные и ласковые, под юношескими ресницами; усы тонкие, с проседью, над губами чистого, красивого рисунка, точно никогда не искажавшимися гибельными страстями; стан прямой и гибкий, безукоризненной формы, но худые руки.

Таков был знаменитый вельможа, которого многие современники превозносили под именем Атоса. Он перечитывал какую-то тетрадь, внося в нее поправки.

Рауль обнял отца за шею, за плечи, как пришлось, и поцеловал его так нежно, так быстро, что граф не успел ни уклониться, ни совладать с охватившим его волнением.

— Ты здесь, Рауль? — вскричал он. — Ты здесь? Возможно ли?

— О! Как я рад видеть вас!

— Ты не отвечаешь мне, виконт! Получил ли ты отпуск в Блуа? Или в Париже случилось какое-нибудь несчастье?

— Слава богу, — отвечал Рауль, мало-помалу успокаиваясь, — никакого несчастья; напротив, все прекрасно. Король женится, как я имел честь известить вас в последнем письме, и отправляется в Испанию. Он проедет через Блуа.

— И посетит его высочество?

— Именно. Боясь заставить его врасплох или желая сделать ему удовольствие, принц послал меня приготовить квартиры.

— Ты видел его высочество? — быстро спросил граф.

— Видел.

— В замке?

— Да, в замке, — отвечал Рауль, опуская глаза, потому что почувствовал в вопросе графа не одно только любопытство.

— Ах, вот как! Поздравляю...

Рауль поклонился.

— Видел ты еще кого-нибудь в Блуа?

— Видел ее высочество.

— Так. Но я говорю не о герцогине.

Рауль сильно покраснел и промолчал.

— Ты, верно, не понимаешь меня, виконт? — продолжал граф де Ла Фер, не повышая голоса, но с некоторой строгостью во взгляде.

— Я понял, отец, — отвечал Рауль. — И если я не сразу ответил, то не потому, что собирался солгать... Вы сами это знаете, отец...

– Знаю, что ты никогда не лжешь, потому-то я и удивляюсь, что тебе надо так много времени, чтобы сказать мне да или нет.

– Я могу ответить вам, только если правильно понял ваш вопрос; а если я вас понял, то вы дурно примете мои первые слова. Вам, верно, не понравится, отец, что я видел...

– Луизу де Лавальер.

– Отец, входя в замок, я вовсе не знал, что Луиза де Лавальер живет там; когда я возвращался из замка, исполнив поручение, случай столкнул меня с нею. Я имел честь засвидетельствовать ей свое почтение.

– А как зовут случай, который свел тебя с Луизой де Лавальер?

– Ора де Монтале.

– Что это за Ора де Монтале.

– Девушка, которой я прежде никогда не видал. Приближенная герцогини Орлеанской.

– Не стану более тебя расспрашивать, виконт; даже раскаиваюсь, что говорил об этом слишком долго. Я просил тебя избегать встреч с Луизой де Лавальер и видеться с нею только с моего позволения! О! Я знаю, ты сказал мне правду, что не искал случая встретиться с нею. Случай был против меня: я не могу обвинять тебя. Довольно того, что я уже говорил тебе несколько раз об этой девушке. Я ни в чем не упрекаю ее. Бог мне свидетель. Только в мои намерения не входит, чтобы ты бывал в ее доме. Еще раз прошу тебя, милый Рауль, хорошенько это запомнить.

Ясные и чистые глаза Рауля потемнели, когда он услышал эти слова.

– Теперь, друг мой, – продолжал граф с ласковой улыбкой, обычным своим голосом, – поговорим о другом. Ты сейчас возвращаешься на службу?

– Нет, я могу пробыть целый день у вас. К счастью, принц дал мне только одно поручение, вполне отвечающее моим желаниям.

– Король здоров?

– Да.

– А принц?

– Как всегда.

Граф, по старой привычке, забыл о Мазарини.

– Хорошо, Рауль. Так как ты сегодня принадлежишь мне, то и я посвящу тебе весь день. Обними меня, еще... еще! Ты у себя дома, виконт... А! Вот и наш старый Гримо!.. Гримо, поди сюда! Виконт хочет обнять тебя.

Старик не заставил себя просить и подбежал к юноше с распростертыми объятиями. Рауль бросился к нему навстречу.

– Не хочешь ли пройтись по саду, Рауль? Я покажу тебе новое помещение, которое я велел приготовить для тебя на время отпуска. Пока мы будем смотреть зимние посадки и новых верховых лошадей, ты расскажешь мне о наших парижских друзьях.

Граф сложил рукопись, взял сына под руку и прошел с ним в сад.

Гримо задумчиво посмотрел вслед Раулю, почти коснувшемуся притоки, и, поглаживая седую голову, задумчиво прошептал:

– Вырос!

Глава 5.

ГДЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О КРОПОЛИ, О КРОПОЛЕ И О ВЕЛИКОМ НЕПРИЗНАННОМ ЖИВОПИСЦЕ

Пока граф де Ла Фер будет осматривать с Раулем новые постройки и недавно купленных лошадей, попросим читателя вернуться с нами в Блуа, чтобы присутствовать при необыкновенном волнении, охватившем город.

Первыми жертвами новости, привезенной Раулем, стали гостиницы.

В самом деле, король и двор приедут в Блуа; это значит – сто всадников, десять карет, двести лошадей и столько же слуг, сколько господ. Где поместятся все эти люди? Где

расположатся соседние дворяне, которые, может быть, приедут через два-три часа, как только до них дойдут вести, расходящиеся, как круги от камня, брошенного в спокойную воду?

Еще утром Блуа был спокоен, как самое тихое озеро; но при известии о прибытии короля город вдруг наполнился шумом и суетой.

Повара под надзором дворецких отправились из замка в город покупать провизию. Десять курьеров поскакали в шамборские лавки за дичью, на бевронские тони за рыбой, в шевернийские оранжереи за цветами и фруктами.

Из кладовых вытаскивали ценные ковры и люстры на золоченых цепях, целая армия слуг мела дворы и мыла каменную облицовку замка, в то время как их жены собирали полевые цветы за рекой. Чтобы не отстать от замковой челяди, весь город принялся приводить себя в порядок с помощью щеток, метелок и воды.

Канавки верхнего города, беспрерывно наполнявшиеся водой, в нижнем городе превращались в потоки, а мостовая, часто весьма грязная, теперь была вычищена и блестела под лучами солнца.

Музыканты тоже готовились к встрече; все запасались у купцов лентами и бантами для шпаг, хозяйки закупали хлеб, мясо и пряности. Многие жители, дома которых были снабжены всем, точно в ожидании осады, и которым нечего было больше делать, уже надевали праздничные платья и направлялись к городским воротам, чтобы раньше всех увидеть въезд свиты. Они знали, что король прибудет не ранее ночи или даже, может быть, утром. Но ведь ожидание – это своего рода безумие. А что такое безумие, если не избыток надежды?

В нижнем городе, шагах в ста от замка, на красивой улице, которая называлась тогда Старою и действительно была очень старой, возвышалось солидное здание с остроконечной кровлей, массивное и широкое, с тремя окнами в первом этаже, двумя во втором и маленьким окном в третьем.

Со стороны этого треугольника недавно построили довольно обширных размеров параллелограмм, который бесцеремонно занял большую часть улицы, согласно вольному стилю застройки, допускаемому тогдашними городскими властями. Улица оказывалась раза в четыре уже, но зато дом – в два раза шире; не правда ли, игра стоила свеч?

Предание гласило, что в этом доме с остроконечной крышей во времена Генриха III жил сановник, к которому однажды приехала королева Екатерина Медичи, по словам одних – просто чтобы навестить его, по словам других чтобы задушить. Как бы то ни было, королеве пришлось с опаской переступить порог этого дома.

После смерти сановника, последовавшей от удушения или от естественных причин, – не все ли равно, – дом продали, потом забросили и, наконец, отделили от остальных домов этой улицы. Только во второй половине царствования Людовика XIII итальянец Крополи, бежавший от службы на кухнях маршала д'Анкара, занял этот дом. Он открыл тут гостиницу, где готовились такие вкусные макароны, что их приходили поесть и за ними посылали люди, жившие за несколько лье от Старой улицы.

Слава гостиницы возросла, когда королева Мария Медичи, заточенная, как известно, в Блуаском замке, однажды прислала сюда за макаронами. Это произошло именно в тот день, когда она бежала из замка через знаменитое окно. Блюдо с макаронами осталось на столе: королева едва прикоснулась к лакомому кушанью.

В ознаменование двойной милости, оказанной треугольному дому благодаря удушению и макаронам, бедный Крополи вздумал дать своей гостинице пышное название. Но его итальянская фамилия не могла служить в ту пору рекомендацией, а маленькое, тщательно скрываемое состояние не позволяло ему слишком выставлять себя напоказ.

Чувствуя приближение смерти, что происходило в 1643 году, после смерти Людовика XIII, он позвал сына, юного поваренка, подававшего блистательные надежды, и со слезами на глазах завещал ему сохранить секрет приготовления макарон, офранцузить свое имя, жениться на француженке и, наконец, когда политический горизонт очистится от туч, приказать соседнему кузнецу сделать большую вывеску, на которой знаменитый живописец напишет портреты двух королей с надписью: «Гостиница Медичи».

Добряку Крополи, после всех этих заветов, едва хватило сил указать своему юному наследнику на камин, под плиту которого он засунул когда-то тысячу луидоров, – и испустить дух.

Крополи-сын начал с того, что приучил публику произносить конечное «и» своей фамилии так слабо, что вскоре, при общем снисхождении, его фамилия стала звучать просто Крополь – имя чисто французское.

Потом – он женился; у него как раз была на примете француженка, в которую он был влюблен, и он сумел получить за ней порядочное приданое, показав предварительно тайник в камине.

Выполнив первые два пункта отцовского завещания, он принялся искать живописца для вывески.

Скоро отыскался и живописец.

То был старый итальянец, последователь Рафаэля и Каррачи, но последователь неудачливый. Он причислял себя к венецианской школе, вероятно, потому, что очень любил яркие тона. Работы его, из которых он за всю свою жизнь не продал ни одной, так не нравились горожанам, что он наконец перестал писать.

Он всегда хвалился, что расписал банную комнату для супруги маршала д'Анкара, и сожалел, что сия комната сгорела во время беспорядков, связанных с именем маршала.

Крополи проявлял снисходительность к своему соотечественнику Питрино, – так звали художника. Быть может, он видел знаменитую роспись банной комнаты, – во всяком случае, он относился к этому Питрино с таким уважением и обращался с ним так дружески, что даже поселил его в своем доме.

Благодарный Питрино, питаясь макаронами, прославил национальное кушанье и оказал своим неутомимым языком большие услуги дому Крополи.

В старости он привязался к сыну, как некогда к отцу, и мало-помалу сделался чем-то вроде смотрителя при доме, где его неподкупная честность, признанная всеми скромность, невиданная душевная чистота и тысячи других добродетелей, перечислять которые здесь мы почитаем излишним, даровали ему постоянное место у семейного очага, с правом распоряжаться всею прислугой. Сверх того, это именно он пробовал макароны, дабы поддержать чистоту вкуса старинной традиции, и надо заметить, что он не прощал ни лишнего зернышка перца, ни недостающего атома пармезана.

Он чрезвычайно обрадовался, когда Крополи-сын доверил ему тайну и поручил написать знаменитую вывеску.

Надо было видеть, как страстно рылся он в своем старом ящичке в поисках кистей, слегка обьединенных крысами, но еще вполне годных, пузырьков с полусохшими красками, льняного масла в бутылки и старой палитры, принадлежавшей еще Бронзино, этому «богу живописи», как утверждал на своем ломаном итало-французском языке артист из-за гор.

Питрино буквально вырос от радости, чувствуя, что восстановит свою былую славу.

Он сделал то же, что сделал Рафаэль: переменял манеру и написал, подражая Альбано, не двух королей, а двух богинь. Августейшие дамы поражали такой грацией, представляли удивленным взорам такое соединение роз и лилий – очаровательное следствие перемены манеры Питрино, – возлежали в таких соблазнительных позах сирен, что начальник полиции, когда ему дали взглянуть на это монументальное украшение дома Крополя, тотчас объявил, что эти дамы слишком хороши и что их прелести действуют слишком сильно, чтобы их можно было оставить на вывеске на виду у всех прохожих.

– Его высочество герцог Орлеанский, – сказал он Питрино, – часто посещает наш город, и ему, наверное, не понравится, что его знаменитая матушка так мало прикрыта. Он способен засадить вас в подземную темницу, потому что у прославленного принца сердце далеко не всегда мягкое. Извольте замазать либо обеих сирен, либо надпись, – иначе я не позволю вам выставить эту вывеску напоказ. Я забочусь о вашей пользе, Крополь, и о вашей тоже, синьор Питрино.

Что тут скажешь? Пришлось поблагодарить начальника полиции за его заботливость,

что и сделал Крополь.

Но разочарованный Питрино упал духом. Он чувствовал, чем все это кончится.

Едва ушел начальник полиции, как Крополь спросил, скрестив руки:

– Что же нам делать?

– Мы сотрем надпись, – печально отвечал Питрино. – Мы можем сделать это в одно мгновение и заменить наших «Медичи» «Нимфами» или «Сиренами», как вам будет угодно.

– Нет, нет, – сказал Крополь, – тогда воля моего отца не будет выполнена. Мой отец очень хотел...

– Чтобы были фигуры, – продолжил Питрино.

– Надписи, – поправил его Крополь.

– Он завещал, чтобы они были похожи, и они похожи. Значит, он желал фигур, – возразил Питрино.

– Да, но если бы сходства не было, кто узнал бы их без надписи? Теперь, когда в памяти жителей Блуа образы этих прославленных дам уже немного стерлись, кто узнает Екатерину и Марию без надписи «Медичи»?

– Что же будет с моими фигурами?.. – в отчаянии вымолвил Питрино, чувствовавший правоту слов Крополя. – Я не хочу уничтожить плоды моих трудов.

– А я не хочу, чтобы вас посадили в тюрьму, а меня в подземелье.

– Сотрем слово «Медичи», – умолял Питрино.

– Нет, – твердо отвечал Крополь. – Мне пришла в голову мысль... прекрасная мысль... Останутся и ваши фигуры, и моя надпись... Medici по-итальянски, кажется, значит доктор?

– Да, во множественном числе.

– Так закажите другую вывеску у кузнеца. На ней вы нарисуете мне шесть врачей и сделаете надпись: «Медичи»... это будет очень милая игра слов!

– Шесть врачей! Невозможно! А композиция?.. – вскричал Питрино.

– Это уже ваше дело. Но будет так, как я хочу... Так надо... Мне некогда: макароны пригорят.

Против таких доводов возражать не приходилось. Питрино повиновался.

Он состряпал вывеску с врачами и с надписью. Начальник полиции похвалил ее и дозволил.

Вывеска чрезвычайно понравилась в городе: это лишний раз доказало, что поэзия, как говорил Питрино, недоступна мещанам.

Чтобы вознаградить живописца, Крополь повесил нимф первой вывески в своей спальне, и госпожа Крополь краснела каждый раз, как взглядывала на них, раздеваясь на ночь.

Так дом с вышкой получил вывеску, и, таким образом, достигнув процветания, гостиница «Медичи» вынуждена была расширить свое пространство за счет четырехугольного здания, которое мы описали. И так появилась в Блуа вышеназванная гостиница, хозяином коей был Крополь, а вывеска принадлежала кисти безвестного художника Питрино.

Глава 6. НЕЗНАКОМЕЦ

Основанная таким образом и прославленная своею вывеской, гостиница Крополя быстро преуспевала.

Крополь не надеялся сильно разбогатеть: ему довольно было удвоить сумму в тысячу луидоров, оставленную ему отцом, затем продать дом со всеми запасами и счастливо зажить на свободе в качестве гражданина города Блуа.

Крополь был падок на барыши и пришел в полный восторг, узнав о приезде короля Людовика XIV.

Он, жена его, Питрино и два поваренка тотчас принялись бить голубей, домашнюю птицу и кроликов; в минуту двор гостиницы огласился пронзительными криками и

жалобными стонами.

В это время у Крополя жил только один постоялец.

Это был человек лет тридцати, красивый, высокий, мрачный или, вернее сказать, задумчивый.

Он был одет в черное бархатное платье, расшитое бисером. Простой белый воротник, как у самых строгих пуритан, открывал красивую нежную шею.

Небольшие светлые усы обрамляли презрительно сжатые губы.

Говоря с людьми, он смотрел им прямо в лицо, не вызывая, но твердо, холодные голубые глаза его так блестели, что многие взоры опускались перед ним, как более слабая шпага во время поединка.

В те времена, когда люди, созданные богом равными, так же резко разделялись благодаря предрассудкам на две касты – дворян и простолюдинов, как они разделяются на белую и черную расу, в те времена, говорим мы, этого незнакомца непременно приняли бы за дворянина, и притом за дворянина самой лучшей породы. Для этого достаточно было взглянуть на его руки с длинными тонкими пальцами; жилки виднелись под кожей при малейшем движении.

Незнакомец приехал к Крополю один. Не колеблясь, не задумавшись ни на минуту, он занял лучшие комнаты, предложенные ему хозяином гостиницы, указавшим их ему в низких целях – сорвать лишний куш, как сказали бы одни, или с самыми похвальными намерениями, как сказали бы другие, если принять во внимание, что Крополь был физиономистом и оценивал людей с первого взгляда.

Комнаты эти занимали всю лицевую сторону старого треугольного дома: в первом этаже находилась гостиная с двумя окнами, возле нее вторая комната, а наверху спальня.

С самого приезда дворянин едва прикасался к кушаньям, которые ему подавали в его комнату. Он сказал только два слова хозяину, приказав впустить к себе некоего Парри, который должен был скоро приехать.

Затем он погрузился в такое упорное молчание, что Крополь, любивший хорошее общество, почти оскорбился.

В то утро, с которого началась наша повесть, этот дворянин встал очень рано, сел к окну в гостиной и стал с печалью пристально глядеть в конец улицы, вероятно, поджидая путешественника, о котором он предупредил хозяина гостиницы.

Так увидел он кортеж правителя, возвращавшегося с охоты, а потом мог снова насладиться тишиной города, погруженного в ожидание.

И вдруг – общая суматоха: слуги, бросившиеся в поля за цветами, скачущие курьеры, метельщики улиц, поставщики герцога, встревоженные и болтливые лавочники, стук экипажей, мелькание парикмахеров и пажей, весь этот шум и суeta поразили его, не нарушив, однако, его бесстрастного величия, которое придает взгляду льва или орла такое высокомерное спокойствие посреди криков «ура!», топота охотников и зевак.

Однако крики жертв, умерщвляемых на птичьем дворе, беготня госпожи Крополь по узкой и скрипучей деревянной лестнице и метания Питрино, который еще утром курил у ворот хладнокровно, как голландец, – несколько удивили и встревожили путешественника.

Он уже встал, чтобы навести справки, когда дверь отворилась. Незнакомец подумал, что к нему вводят нетерпеливо поджидаемого путешественника.

Поэтому он быстро сделал несколько шагов по направлению к двери.

Но вместо человека, которого он ожидал, появился Крополь. Позади трактирщика, на лестнице, мелькнуло хорошенькое личико г-жи Крополь. Она бросила украдкой взгляд на молодого человека и тотчас исчезла.

Крополь вошел, улыбаясь, с колпаком в руках, скорее сгибаясь, чем кланяясь.

Незнакомец, не говоря ни слова, вопросительно взглянул на него.

– Сударь, я пришел спросить вас, – сказал Крополь. – Но как прикажете вас называть: вашим сиятельством, маркизом или...

– Называйте меня просто сударь и говорите скорее, – отвечал незнакомец надменным

тоном, не допускающим ни споров, ни возражений.

– Я пришел спросить вас, сударь, как вы провели ночь и угодно ли вам оставить за собою квартиру?

– Да.

– Но, сударь, явилось новое обстоятельство, которого мы не предвидели.

– Какое?

– Его величество Людовик Четырнадцатый приедет сегодня в наш город и пробудет здесь целый день, а может быть и два.

Лицо незнакомца выразило крайнее изумление.

– Французский король приедет в Блуа?

– Он уже в дороге.

– Тем более мне нужно остаться здесь, – сказал незнакомец.

– Как вам угодно. Но желаете ли вы, сударь, оставить за собою всю квартиру?

– Я вас не понимаю. Почему сегодня я должен занимать меньшее помещение, чем вчера?

– А вот почему, сударь. Вчера, когда ваша светлость изволили выбирать помещение, я назначил цену, не думая о ваших средствах... Но теперь...

Незнакомец покраснел. Он подумал, что его считают бедняком и оскорбляют.

– А сегодня вы задумались о моих средствах? – спросил он хладнокровно.

– Сударь, я, благодаренье богу, человек честный. Хотя я и трактирщик, во мне течет дворянская кровь. Мой отец служил в войсках маршала д'Анкра. Упокой, господь, его душу!

– Об этом я не собираюсь с вами спорить; я только хочу узнать, и поскорее, к чему клонятся ваши вопросы.

– Сударь, вы, как человек разумный, поймете, что город наш очень мал, двор наводнит его, все дома будут забиты приезжими, и поэтому квартиры крайне вздорожают.

Незнакомец покраснел еще сильнее.

– Так скажите ваши условия, – проговорил он.

– Мои условия скромные, сударь, потому что я ищу честных барышей и хочу уладить дело, не проявляя неделикатности и грубости... Помещение, которое вы изволите занимать, очень просторно, а вы совершенно один...

– Это мое дело.

– О, разумеется! Ведь я не выгоняю вас!

Кровь бросилась в лицо незнакомцу.

Он пронзил бедного Крополя таким взглядом, что тот охотно забился бы под знаменитый камин, если бы его не удерживал на месте собственный интерес.

– Вы хотите, чтобы я выехал? Так говорите прямо, но поскорее...

– Сударь... сударь... Вы не изволили понять меня. Я поступаю деликатно, но я неудачно выразился; или, быть может, вы, будучи иностранцем, как я вижу по вашему выговору...

Действительно, в незнакомце нетрудно было узнать англичанина по легкой картавости, заметной даже у тех англичан, которые наиболее чисто говорят по-французски.

– Вы иностранец, сударь, и, может быть, не улавливаете оттенков моей речи. Я хочу сказать, что вы могли бы расстаться с одной или двумя комнатами; тогда плата за квартиру значительно уменьшится, и совесть моя успокоится. В самом деле, тяжело чрезмерно набавлять цену на квартиру, когда уже получаешь за нее порядочную плату.

– Что стоило помещение вчера?

– Луидор, сударь, со столом и кормом вашей лошади.

– Хорошо, а сколько сегодня?

– А вот тут-то и затруднение! Сегодня приедет король; если двор будет ночевать здесь, так придется засчитать и сегодняшний день. Выйдет, что за три комнаты, по два луидора за каждую, надобно шесть луидоров. Два луидора, сударь, это пустяки, но шесть луидоров – это уже много.

Незнакомец, только что весь красный, побледнел как смерть. С героической бравадой он выхватил из кармана кошелек с вышитым гербом. Кошелек был так тощ, так сплюснен, что

Крополь не мог не заметить этого.

Незнакомец высыпал из кошелька деньги на ладонь. Там оказалось три двойных луидора, что составляло шесть простых.

Крополь между тем требовал семь. Он взглянул на незнакомца, словно говоря: «Ну что же ты?»

– Мы договорились на луидоре, не так ли, трактирщик?

– Да, сударь, но...

Незнакомец пошарил в кармане штанов и вынул маленький бумажник, золотой ключик и немного серебряных денег. Их набралось на луидор.

– Покорно благодарю, сударь, – сказал Крополь. – Мне остается узнать, угодно ли вам удержать комнаты и на завтрашний день. В таком случае я оставлю их за вами. Если же вам не угодно, то я обещаю помещение чинам свиты его величества, которые должны скоро приехать.

– Хорошо, – отвечал незнакомец после довольно продолжительного молчания. – У меня нет больше денег, как вы видели сами: однако я оставлю за собой комнаты. Вам придется продать кому-нибудь в городе этот брильянт или взять его себе в обеспечение...

Крополь так долго рассматривал брильянт, что незнакомец поспешил добавить:

– Мне было бы приятнее, если бы вы продали его, потому что он стоит триста пистолей. Еврей – есть же какой-нибудь еврей в Блуа – даст вам двести или по меньшей мере полтораста. Возьмите, сколько бы вам ни дали, если бы даже пришлось получить только то, что приходится с меня за квартиру. Ступайте!

– Ах, сударь, – сказал Крополь, смущенный благородством, бескорыстием незнакомца и его несокрушимым терпением при виде такой недоверчивости. В Блуа совсем не так грабят, как вы изволите думать, и если брильянт стоит, как вы говорите...

Незнакомец опять взглянул на Крополя и поразил его, как молнией, взглядом своих голубых глаз.

– Я не знаток в брильянтах! – вскричал Крополь. – Поверьте, сударь!

– Но ювелиры понимают толк в драгоценных камнях. Спросите их, – посоветовал незнакомец. – Теперь, кажется, наши счета покончены, не так ли?

– Да, сударь, и, к большому моему сожалению, я опасаюсь, что оскорбил вас...

– Нисколько, – возразил незнакомец с величественным жестом.

– Или, может быть, вам показалось, что с благородных путешественников дерут втридорога... Поверьте, сударь, что только необходимость...

– Ну хватит об этом, говорю вам... Оставьте меня одного!

Крополь низко поклонился и вышел с растерянным видом, который говорил о его добром сердце и явных угрызениях совести.

Незнакомец сам затворил дверь и, оставшись один, посмотрел в пустой кошелек, из которого он вынул шелковый мешочек, где лежал брильянт, последнее его достояние.

Он снова порылся в карманах, заглянул в бумажник и убедился, что больше у него ничего нет. Тогда он поднял глаза к небу с высшим спокойствием отчаяния, вытер дрожащей рукой капельки пота, блестевшие в морщинах его благородного лба, и снова обратил долу взор свой, некогда полный непревзойденного величия. Гроза прошла вдали от него, быть может, в глубине души своей он свершил молитву.

Потом он подошел «к окну, сел на прежнее место и просидел неподвижно, как мертвый, до той минуты, когда небо потемнело и на улице показались первые факелы, давая сигнал, что пора начинать иллюминацию и зажигать огни во всех окнах.

Глава 7. ПАРРИ

Пока незнакомец с любопытством смотрел на огоньки и прислушивался к уличному шуму, в комнату вошел трактирщик Крополь с двумя лакеями, которые начале накрывать на

стол.

Незнакомец не обратил на них никакого внимания.

Крополь подошел к нему и с глубочайшим почтением шепнул ему на ухо:

– Сударь, брильянт оценили.

– И что же?

– Ювелир его королевского высочества дает двести восемьдесят пистолей.

– Вы получили деньги?

– Я полагал, что должен это сделать, сударь. Впрочем, я взял их с условием: вы можете вернуть деньги я получите брильянт обратно.

– Это лишнее. Я поручил вам продать его.

– В таком случае я исполнил или почти исполнил вашу волю, и хотя не продал брильянта окончательно, однако же получил деньги.

– Так возьмите из них сколько следует, – распорядился незнакомец.

– Господин, я сделаю это, раз вы так решительно требуете.

Грустная улыбка тронула губы незнакомца.

– Остальное положите сюда.

Он указал на сундук и отвернулся. Крополь открыл довольно тяжелый мешок и взял из него плату за номер.

– Надеюсь, сударь, – сказал он, – вы не огорчите меня, отказавшись поужинать. Вы изволили отослать обед: это очень обидно для «Гостиницы Медичи». Извольте взглянуть, сударь, ужин подан, и, осмелюсь прибавить, он недурен.

Незнакомец спросил рюмку вина, отломил кусочек хлеба и остался у окна.

Скоро раздались громкие звуки труб и фанфар. Вдали слышались крики.

Неясный шум наполнил нижнюю часть города. Прежде всего незнакомец различил топот приближавшихся коней.

– Король! Король! – кричала шумная толпа.

– Король! – повторил Крополь, бросив своего постояльца и все попытки деликатного обхождения ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство.

На лестнице с Крополем встретились и окружили его г-жа Крополь, Питрино, лакеи и повара.

Кортеж подвигался медленно; его освещали тысячи факелов на улице и из окон.

За ротой мушкетеров и отрядом дворян следовал портшез кардинала Мазарини, который, точно карету, везли четыре вороных лошади.

Дальше шли пажи и слуги кардинала.

За ними ехала карета королевы-матери; фрейлины сидели у дверец, а приближенные ехали верхом по обеим сторонам кареты.

За королевой показался король на превосходной саксонской лошади с длинной гривой. Кланяясь, юный государь обращал свое красивое лицо, освещенное факелами, которые несли его пажи, к окнам, откуда кричали особенно громко.

Возле короля, отступив шага на два, ехали принц Конде, Данжо и еще человек двадцать придворных; их слуги и багаж замыкали торжественную процессию.

Во всем этом великолепии было что-то воинственное.

Только некоторые придворные постарше были в дорожных костюмах; все остальные были в военных мундирах. На многих – кирасы и перевязи, как во времена Генриха IV и Людовика XIII.

Когда король проезжал мимо, незнакомец высунулся в окно, чтобы лучше видеть, потом закрыл лицо руками. Сердце его переполнилось горькой завистью. Его опьяняли звуки труб, оглушали восторженные крики народа; он на мгновение словно потерял рассудок среди этого шума, блеска и роскоши.

– Да, он – король! Король! – прошептал незнакомец с тоскливым отчаянием.

Прежде чем он вышел из мрачной задумчивости, весь этот шум и все великолепие исчезли. На перекрестке внизу под окнами незнакомца раздавались только нестройные

хриплые голоса, время от времени кричавшие:

– Да здравствует король!

Осталось также всего шесть факелов в руках обитателей «Гостиницы Медичи»: два в руках Крополя, один у Питрино и по одному у каждого поваренка.

Крополь беспрестанно повторял:

– Как хорош король! Как он похож на своего славного родителя.

– Гораздо лучше, – твердил Питрино.

– И какая гордость в лице! – говорила г-жа Крополь, вступившая уже в пересуды с соседями и соседками.

Крополь выражал свои впечатления, не замечая старика с ирландской лошастью на поводу, старавшегося пробраться сквозь толпу женщин и мужчин, стоявшую перед «Гостиницей Медичи».

В эту минуту из окна раздался голос незнакомца:

– Хозяин, дайте возможность войти в вашу гостиницу.

Крополь повернулся и, увидев старика, дал ему дорогу. Окно закрылось.

Старик молча вошел.

Незнакомец встретил старика на лестнице, заключил его в свои объятия и провел в комнату прямо к креслу.

Тот не захотел сесть.

– Нет, нет, милорд, – сказал он. – Мне сидеть в вашем присутствии? Ни за что! Ни за что!

– Парри! – воскликнул незнакомец. – Прошу тебя, сядь! Ты приехал из Англии... из такой дали... Ах! Не в твои лета переносить такие невзгоды, какие тебе приходится терпеть на службе у меня!.. Отдохни!..

– Прежде всего я должен дать вам отчет, милорд...

– Парри... умоляю тебя... не говори мне ничего... Если бы ты привез хорошее известие, ты заговорил бы иначе. Значит, вести твои печальные.

– Милорд, – остановил его старик, – не торопитесь огорчаться. Не все еще потеряно. Надо запастись волей, терпением, а главное – покорностью судьбе.

– Парри, – отвечал незнакомец, – я пробрался сюда один, сквозь тысячу засад и опасностей. Веришь ли ты, что у меня есть воля? Я думал об этом путешествии десять лет, невзирая на предостережения и препятствия: веришь ли ты в мое терпение? Сегодня вечером я продал последний брильянт моего отца, потому что мне нечем было заплатить за квартиру и трактирщик выгнал бы меня.

Парри вздрогнул от негодования. Молодой человек ответил ему пожатием руки и улыбкой.

– У меня остается еще двести семьдесят четыре пистоля, и мне кажется, что я богат; я не отчаиваюсь, Парри. Веришь ли ты, что я покорен судьбе?

Старик поднял дрожащие руки к небу.

– Говори, – попросил незнакомец, – не скрывай от меня ничего. Что случилось?

– Рассказ мой будет очень краток, милорд. Но, ради бога, не дрожите так!

– Я дрожу от нетерпения, Парри. Говори же скорее: что сказал тебе генерал?

– Сначала он не хотел меня принимать.

– Он подумал, что ты шпион?

– Да, милорд. Но я написал ему письмо.

– Ты обстоятельно изложил в нем мое положение и мои желания?

– О да! – отвечал Парри с печальной улыбкой. – Я описал все и точно изложил вашу мысль...

– И что же, Парри?

– Генерал вернул мне письмо через своего адъютанта и передал мне, что велит арестовать меня, если я еще хоть день пробуду в тех местах, где он командует.

– Арестовать! – прошептал молодой человек. – Арестовать!.. Тебя... самого верного из моих слуг!

– Да, милорд!
– И ты подписал письмо своим именем, Парри?
– Полностью, милорд. Адъютант знал меня в Сент-Джемсе и, – прибавил старик с глубоким вздохом, – в Уайт-Холле!

Молодой человек опустил голову и печально задумался.

– Да, так поступил Монк при посторонних, – сказал он, пытаясь обмануть самого себя. – Но наедине... что он сделал? Говори.

– Увы, милорд, – отвечал Парри, – он прислал четырех всадников, и они дали мне лошадь, на которой я приехал сюда, как вы изволили видеть.

Всадники доставили меня галопом до небольшой пристани Тенби, там скорее бросили, чем посадили, в рыбацью лодку, которая отправлялась во Францию, в Бретань, и вот – я здесь!

– О! – прошептал молодой человек, конвульсивно прижимая руку к груди, чтобы из нее не вырвался стон. – И больше ничего, Парри?

– Ничего, милорд.

После этого немногословного ответа Парри наступило продолжительное молчание. Слышен был только стук каблуков незнакомца, в бешенстве шагавшего по паркету.

Старик хотел переменить разговор, пробуждавший слишком мрачные мысли.

– Милорд, – спросил он, – что это за шум в городе? Что это за люди кричат: «Да здравствует король!»? О каком короле идет речь? И почему такая иллюминация?

– Ах, Парри, ты не знаешь, – иронически ответил молодой человек. Французский король посетил сей добрый город Блуа; все эти золоченые седла, все трубные звуки в его честь; шпаги всех этих дворян принадлежат ему. Его мать едет перед ним в карете, роскошно украшенной золотом и серебром. Счастливая мать! Министр собирает для него миллионы и везет его к богатой невесте. Вот отчего радуется весь этот народ, любит своего короля, встречает его восторженными гласами, кричит: «Да здравствует король! Да здравствует король!»

– Хорошо, хорошо, милорд, – сказал Парри, еще лее смущенный такими словами.

– Ты знаешь, – продолжал незнакомец, – что время этого праздника в честь короля Людовика четырнадцатого моя мать и моя сестра сидят без денег, хлеба. Ты знаешь, что через две недели, когда всей Европе станет известно то, что ты рассказал мне сейчас, я буду обещен и осмеян...

Парри!.. Бывали ли примеры, чтобы человек моего звания был принужден...

– Милорд, умоляю вас...

– Ты прав, Парри, я жалкий трус, и если я сам ничего не делаю для себя, то кто поможет мне? Нет, нет, Парри, у меня есть руки... есть шпага...

И, с силой ударив себя по руке, он снял со стены шпагу.

– Что вы хотите сделать, милорд?

– Что я хочу сделать, Парри? То, что все делают в моем семействе. Моя мать живет общественным подаянием; сестра моя собирает милостыню для матери; где-то у меня есть еще братья, которые тоже питаются милостыней. И я, старший в роде, тоже примусь, подражая им, собирать подаяние.

С этими словами, перешедшими в жуткий нервный смех, молодой человек пристегнул шпагу, взял шляпу с сундука, набросил на плечи черный плащ, который он носил в пути, и, пожав обе руки старику, смотревшему на него с тревогой, попросил:

– Добрый мой Парри, прикажи затопить камин, ешь, пей, спи, будь счастлив. Будем счастливы, мой верный, мой единственный друг! Мы богаты, как короли.

Он ударил рукой по мешку с деньгами, тяжело упавшему на пол, и разразился зловещим хохотом, испугавшим несчастного Парри.

Пока все в доме кричали, пели и готовились принимать путешественников и их лакеев, незнакомец потихоньку вышел через залу и на улицу и исчез из глаз старика, смотревшего в окно.

Глава 8.

КАКИМ БЫЛ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЛЮДОВИК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ В ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА

Въезд Людовика XIV в Блуа, как видно из нашего рассказа, был очень шумен и блестящ, и молодой король остался им вполне доволен.

Доехав до ворот замка, король увидел герцога Гастона Орлеанского, окруженного своими телохранителями и дворянами. Лицо его высочества, величественное от природы, выражало при этих торжественных обстоятельствах еще больше величия и достоинства.

Герцогиня Орлеанская в парадном туалете ждала на балконе приезда своего племянника. Во всех окнах старого замка, в обыкновенные дни пустынного и печального, видны были дамы и факелы.

Под звуки барабанов, труб и радостные клики вступил молодой король в тот замок, где Генрих III семьдесят два года тому назад призвал себе на помощь убийство и измену, чтобы удержать корону, которая уже падала с его головы и переходила в другой род.

Все, налюбовавшись молодым королем, таким красивым, привлекательным и благородным, искали другого короля Франции – короля совсем в ином роде, – старого, бледного, согбенного, имя которого было: кардинал Мазарини.

Людовик в эти годы был одарен всеми качествами образцового дворянина.

Светло-голубые глаза его приветливо блестели; но самые опытные физиономисты, исследователи душ, погрузив в них взгляд, если бы подданным было дано выдерживать взгляд короля, не могли решить, что таится за этой приветливостью. В глазах короля было столько же глубины, сколько в небесной лазури или в том гигантском зеркале, которое Средиземное море подставляет кораблям и в котором небо любит отражать то бури, то звезды.

Король был невысокого роста, едва ли пяти футов и двух дюймов; но его молодость смягчала этот недостаток, к тому же возмещавшийся благородством и замечательной ловкостью движений.

Впрочем, Людовик был король, а быть королем в эту эпоху традиционного почтения и преданности значило много. Но до той минуты его довольно редко и скупно показывали народу. Его видели всегда рядом с матерью, женщиной высокого роста, и кардиналом, человеком тоже очень представительным.

И потому многие говорили:

– Король ниже кардинала!

Несмотря на такие замечания, раздававшиеся главным образом в столице, жители Блуа встретили молодого монарха как полубога; а герцог и герцогиня Орлеанские, его дядя и тетка, приняли его почти как короля.

Надо, однако, сказать, что, когда король Людовик XIV увидел в приемной зале одинаковые кресла для себя, для матери, для кардинала, для тетки и дяди, он покраснел от гнева и окинул взглядом присутствующих, желая узнать по их лицам, не с умыслом ли нанесено ему такое оскорбление. Но, не заметив ничего на бесстрастном лице кардинала, на лице матери и на лицах остальных, он покорился необходимости и сел, поспешив занять место прежде других.

Дворяне и дамы были представлены их величествам и кардиналу.

Король обратил внимание, что ни мать его, ни он сам не слышали ранее почти ни одного имени из тех, что им сейчас называли, в то время как кардинал, напротив, пользуясь своей необычайной памятью и всегдашней находчивостью, заводил с каждым разговор о его землях, о его предках и детях, припоминая даже имена некоторых из них, что приводило в полное восхищение сих, полных собственного достоинства, уездных дворян и утверждало их во мнении, что именно кардинал является истинным и единственным владыкой, знающим своих подданных, по той Самой причине, что ведь у солнца нет же соперника, ибо оно одно согревает и освещает.

Молодой король, давно уже направив свое вдумчивое внимание на присутствующих, продолжал, таким образом, незаметно изучать их и рассматривал, стараясь разгадать их

скрытое выражение, все эти лица, показавшиеся ему сначала самыми что ни на есть ничтожными и банальными.

Пригласили к столу. Король, не решавшийся заявить о своем голоде, ждал ужина с нетерпением. На этот раз ему были оказаны все почести, если не его званию, то, по крайней мере, его желудку.

Кардинал едва прикоснулся бледными губами к бульону, поданному в золотой чашке. Всемогуший министр, отнявший у вдовствующей королевы ее регентство и у короля – его королевскую власть, не мог добыть у природы здорового желудка.

Анна Австрийская, в то время уже больная раком, который позже, лет через восемь, свел ее в могилу, ела не лучше Мазарини.

Герцог Орлеанский, ошеломленный важным событием, совершившимся в его провинциальной жизни, совсем не мог есть.

Только одна герцогиня Орлеанская, как истая уроженка Лотарингии, не отставала от короля.

Людовик XIV без ее участия должен был бы есть совершенно один; поэтому он был очень благодарен и тетке своей, и ее дворецкому господину де Сен-Реми, который действительно на этот раз отличился.

По окончании ужина по знаку кардинала Мазарини король встал. Тетка пригласила его пройти вдоль рядов собравшихся гостей.

Дамы заметили, – есть вещи, так же хорошо замечаемые дамами как Блуа, так и Парижа, – что у Людовика XIV взгляд быстрый и смелый, обещавший красавицам отличного ценителя. Мужчины, со своей стороны, отметили, что юный король горд и надменен и любит заставлять опускать глаза тех, кто смотрит на него слишком долго или пристально, а это предвещало будущего владыку.

Людовик XIV обошел уже треть гостей, как вдруг слух его поразило имя, которое произнес кардинал, разговаривавший с герцогом.

Это было женское имя.

Едва прозвучало это имя, как Людовик XIV уже ничего не стал слушать и, пренебрегши людьми, которые ждали его взгляда, поспешил окончить обход собрания и дойти до конца залы.

Герцог, как ловкий царедворец, справился у кардинала о здоровье его племянниц. Лет шесть тому назад к кардиналу приехали из Италии три племянницы: Гортензия, Олимпия и Мария Манчини.

Герцог выражал сожаление, что не имеет счастья принять их вместе с дядюшкой. Они, вероятно, выросли, похорошели, стали еще грациознее с тех пор, как герцог их видел в последний раз.

Короля сразу поразила разница в голосах обоих его собеседников. Герцог говорил спокойным, естественным голосом; кардинал, напротив, отвечал ему, против обыкновения, громко, сильно возвысив голос.

Казалось, он хотел, чтобы его голос долетел до человека, находящегося на большом расстоянии.

– Ваше высочество, – сказал он, – племянницы еще должны закончить образование. У них есть свои обязанности. Они должны привыкнуть к своему положению. Жизнь при блестящем и молодом дворе отвлекала бы их.

Людовик, услышав отзыв о своем дворе, печально улыбнулся. Двор был молод, это правда, но скупость кардинала мешала ему быть блестящим.

– Однако, – возразил герцог, – не намерены же вы отдать их в монастырь или сделать из них простых горожанок?

– Совсем нет, – отвечал кардинал, стараясь придать своему сладкому, бархатному итальянскому произношению больше остроты и звучности. – Совсем нет! Я непременно хочу выдать их замуж, и как можно лучше.

– В женихах не будет недостатка, – сказал герцог простодушно, как купец,

поздравляющий своего собрата.

– Надеюсь, ваше высочество, потому что бог наделил невест грацией, умом и красотой.

Во время этого разговора король Людовик XIV, в сопровождении герцогини Орлеанской, продолжал обходить собравшихся.

– Вот мадемуазель Арну, – говорила герцогиня, представляя его – величеству толстую блондинку двадцати двух лет, которую на сельском празднике можно было бы принять за разряженную крестьянку. – Мадемуазель Арну дочь моей учительницы музыки.

Король улыбнулся: герцогиня никогда не могла сыграть и четырех нот, не сфальшивив.

– Вот Ора де Монтале, – продолжала герцогиня, – благонравная и исполнительная фрейлина.

На этот раз засмеялся не король, а представляемая девушка; в первый раз услышала она такой отзыв из уст герцогини, не любившей ее баловать.

Поэтому Монтале, наша старинная знакомая, поклонилась его величеству чрезвычайно низко не только из уважения, но и по необходимости – чтобы скрыть улыбку, которую король мог неправильно истолковать.

В эту самую минуту король и услышал разговор, заставивший его вздрогнуть.

– Как зовут третью? – спрашивал герцог Орлеанский у кардинала.

– Марией, ваше высочество, – отвечал Мазарини.

В этом слове, должно быть, заключалась какая-то магическая сила, потому что, услышав его, король вздрогнул и отвел герцогиню на середину залы, точно желая сказать ей несколько слов по секрету; в действительности, он только хотел подойти поближе к Мазарини.

– Ваше высочество, – вполголоса молвил он, улыбаясь, – мой учитель географии не говорил мне, что между Блуа и Парижем такое огромное расстояние.

– Как так?

– Кажется, моды доходят сюда только через несколько лет. Взгляните на этих девиц. Некоторые, право, недурны.

– Не говорите слишком громко, дорогой племянник: они могут сойти с ума от радости.

– Позвольте, позвольте, милая тетушка, – продолжал король с улыбкой.

– Вторая часть моей фразы исправит первую. Одни кажутся старыми, а другие некрасивыми, потому что они одеты, как одевались десять лет назад.

– Но, ваше величество, от Блуа до Парижа всего пять дней езды.

– Значит, каждый день вы опаздываете на два года.

– В самом деле, вам так кажется? Странно, я этого совсем не замечала.

– Взгляните, милая тетушка, – сказал король, все более приближаясь к Мазарини под тем предлогом, что так ему удобнее смотреть, – взгляните на это простое белое платье рядом с устаревшими нарядами и громоздкими прическами. Это, вероятно, одна из приближенных матушки, хотя я ее и не знаю. Посмотрите, какая простота в обращении, какая грация в движениях!

Вот это женщина, а все остальные просто манекены.

– Милый племянник, – отвечала герцогиня с улыбкой, – позвольте сказать вам, что на этот раз вы не угадали. Та, которую вы так расхваливаете, не парижанка, а здешняя...

– Неужели? – спросил король с недоверием.

– Подойдите, Луиза, – позвала герцогиня.

Девушка, которую мы знаем уже под этим именем, подошла робко, покраснев, не поднимая головы, чувствуя, что на нее смотрит король.

– Луиза-Франсуаза де Ла Бом Леблан, дочь маркиза де Лавальер, – церемонно сказала королю герцогиня.

Девушка, несмотря на всю свою робость, поклонилась так грациозно, что, глядя на нее, король пропустил несколько слов из разговора герцога с кардиналом.

– Это падчерица, – продолжала герцогиня, – господина де Сен-Реми, моего дворецкого, того самого, который руководил приготовлением жаркого с трюфелями, заслужившего одобрение вашего величества.

Никакая грация, никакая красота и молодость не устояли бы при такой аттестации. Король улыбнулся. Были ли слова герцогини шуткой или наивностью, во всяком случае, они безжалостно убили все, что король Людовик находил прекрасным и поэтичным в скромной девушке.

Маркиза де Лавальер тотчас же превратилась для короля в падчерицу человека, который умел превосходно готовить индеек с трюфелями.

Но принцы уж так устроены, такими же были и олимпийские боги. Диана и Венера, наверное, очень смеялись над красивой Алкменой и бедной Ио, когда за столом Юпитера между нектаром и амброзией начинали для развлечения говорить о смертных красавицах.

По счастью, Луиза поклонилась так низко, что не расслышала слов герцогини и не видела улыбки короля. В самом деле, если бы эта девушка, имевшая столько вкуса, чтобы одеться в белое, услышала жестокие слова герцогини и увидела в ту минуту холодную усмешку короля, она умерла бы на месте.

И сама остроумная Монтале не пыталась бы вернуть ее к жизни, потому что насмешка убивает все, даже красоту.

Но, к счастью, как мы уже сказали, Луиза, у которой шумело в ушах и было темно в глазах, ничего не видела и не слышала. Король, внимательно следивший за разговором герцога с кардиналом, поспешил к ним.

Он подошел, как раз когда кардинал Мазарини говорил:

– Мария вместе с сестрами направляется теперь в Бруаж. Я велел им ехать по той стороне Луары, а не по этой, где ехали мы. По моим расчетам, завтра они будут как раз против Блуа.

Слова эти были произнесены с тем обычным тактом, с той уверенностью, с тем чувством меры, благодаря которым синьор Джулио Мазарини считался первым актером в мире.

Они поразили Людовика XIV прямо в сердце. Кардинал обернулся, услышав шаги, и мог убедиться в их действии на своего воспитанника по легкой краске, выступившей на его лице. Могла ли такая тайна укрыться от человека, смеявшегося в продолжение двадцати лет над всеми уловками европейских дипломатов?

Слова кардинала поразили молодого короля, как отравленная стрела. Он не мог стоять на месте и окидывал собравшихся мутным, равнодушным взглядом. Раз двадцать бросал он вопросительные взоры на вдовствующую королеву, увлекшуюся разговором с герцогиней, но она, повинувшись взгляду Мазарини, не хотела понять мольбы сына.

С этой минуты музыка, цветы, огни, красавицы – все сделалось для короля несносным и нелепым. Он сто раз закусывал губы и потягивался, как благовоспитанный ребенок, который, не смея зевать, старается показать, что ему скучно; наконец, после напрасных взглядов на мать и министра, он с отчаянием обратил глаза на двери, где его ждала свобода.

У дверей он заметил высокого стройного человека с орлиным носом, с твердым, сверкающим взглядом, с длинными седеющими волосами и черными усами; это был настоящий тип воинственной красоты. В блестящей, как зеркало, кирасе офицера отражались все огни. На голове у него была серая шляпа с красным пером – доказательство, что он находился тут по службе, а не ради удовольствия. Если б он явился ради удовольствия, как придворный, а не как солдат, то держал бы шляпу в руках: ведь за всякое удовольствие надо как-нибудь расплачиваться.

Офицер был дежурным и исполнял привычные обязанности; доказательством служило и то, что он, скрестив руки, с полнейшим равнодушием смотрел на веселье и на скуку этого праздника. Он, как философ, – а все старые солдаты философы, – казалось, больше ощущал скуку, чем веселье праздника; но он примирялся с первою и легко обходился без второго.

Он стоял, прислонясь к резной двери, когда печальный и утомленный взгляд короля встретился с его взглядом.

Вероятно, не в первый раз глаза офицера встречались с глазами короля.

Офицер знал их выражение и читал затаенную в них мысль; едва взглянув на Людовика XIV, он прочел на лице его все, что происходило в его душе, понял томившую его скуку, его

робкое желание уйти в почувствовал, что надо оказать королю услугу, хотя од и не просит ее, даже против его воли.

Смело, как будто командуя отрядом кавалерии во время сражения, офицер громко приказал:

– Конвой его величества!

Слова его произвели действие громового удара и заглушили оркестр, хор, разговоры и шум шагов; кардинал и королева удивленно взглянули на короля.

Людовик XIV побледнел, но, увидев, что офицер мушкетеров угадал его мысль и выразил ее в отданном приказе, решительно встал и направился к двери.

– Вы уходите, сын мой? – спросила королева, в то время как Мазарини спрашивал короля только взглядом, который мог бы показаться ласковым, если бы не был так проницателен.

– Да, ваше величество, – отвечал Людовик XIV, – я чувствую усталость и, кроме того, собираюсь сегодня вечером писать.

Улыбка промелькнула на губах министра; он отпустил короля, кивнув головой.

Герцог и герцогиня поспешили отдать приказания служителям, которые тотчас явились.

Король поклонился и прошел через залу к дверям.

У дверей двадцать мушкетеров, построенные в две шеренги, ожидали его величество. В конце шеренги стоял офицер, бесстрастный, с обнаженной шпагой.

Король прошел, и толпа поднялась на цыпочки, чтобы еще раз увидеть его.

Первые десять мушкетеров, отстраняя толпу в передней и на ступеньках лестницы, расчищали путь королю. Другой десяток окружил его величество и герцога, который пожелал проводить короля. Сзади шли слуги. Этот небольшой кортеж следовал с королем до отведенных ему покоев.

Эти самые покои занимал король Генрих III, когда жил в Блуаском замке.

Герцог отдал приказание. Мушкетеры, под предводительством офицера, вошли в узкий коридор, который вел из одного флигеля замка в другой.

Вход в коридор был из маленькой квадратной передней, темной даже в самые солнечные дни.

Герцог остановил Людовика XIV.

– Вы проходите, государь, – сказал он, – по тому самому месту, где герцог Гиз получил первый удар кинжалом.

Король, мало знакомый с историей, слышал об этом событии, но не знал никаких подробностей.

– А! – прошептал он, вздрогнув, и остановился. Шедшие впереди и позади него тоже остановились.

– Герцог Гиз, – продолжал Гастон Орлеанский, – стоял почти на том месте, где сейчас стою я; он шел в том же направлении, как вы; господин де Луань стоял там, где стоит лейтенант ваших мушкетеров. Господин де Сен-Малин и свита его величества были позади и вокруг него. Тут-то и поразили его.

Король повернулся к своему офицеру и увидел тень, скользнувшую по его мужественному и смелому лицу.

– Да, в спину, – проговорил лейтенант с жестом величайшего презрения.

И он хотел двинуться дальше, как будто ему было неприятно находиться среди этих стен, куда в прежнее время прокралась измена.

Но король, видимо, желавший узнать все, хотел еще раз осмотреть это мрачное место.

Герцог понял племянника.

– Посмотрите, ваше величество, – взял он факел из рук Сен-Реми, – вот место, где Гиз упал. Тут стояла кровать. Он оборвал занавески, схватившись за них при падении.

– Почему паркет в этом месте неровный? – спросил Людовик XIV.

– Потому, что здесь текла его кровь, – отвечал герцог. – Она впиталась в дуб, и, только соскоблив паркет, удалось ее отчистить, – прибавил герцог, поднося факел к паркету, – но,

несмотря на все усилия, осталось темное пятно.

Людовик XIV поднял голову. Быть может, он вспомнил о тех кровавых следах, на которые ему когда-то указывали в Лувре: это были следы крови Кончини, пролитой его отцом при подобных же обстоятельствах.

– Пойдемте, – попросил он.

Кортеж тотчас же двинулся вперед: волнение придало голосу юного монарха непривычную властность.

Когда дошли до назначенных королю покоев, к которым можно было пройти и по узкому коридору, и по парадной лестнице со двора, герцог Орлеанский сказал:

– Располагайтесь в этих комнатах, ваше величество, хотя они и недостойны вас.

– Дядюшка, – отвечал король, – благодарю вас за ваше сердечное гостеприимство.

Уходя, герцог поклонился племяннику. Король обнял его.

Из двадцати мушкетеров, сопровождавших короля, десять довели герцога до парадных зал, которые все еще были полны народа, несмотря на уход Людовика.

Остальные десять мушкетеров были расставлены офицером на разных постах. Офицер самолично в пять минут осмотрел все окружающее холодным и твердым взглядом, далеко не всегда вырабатываемым привычкой: твердость взгляда – признак таланта.

Проверив посты, он устроился в передней, где нашел огромное кресло, лампу, вино, воду и ломоть черствого хлеба.

Он прибавил света, выпил полстакана вина, усмехнулся, выразительно скривив губы, сел в кресло и приготовился заснуть.

Глава 9.

ГДЕ НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ «ГОСТИНИЦЫ МЕДИЧИ» ОТКРЫВАЕТ СВОЕ ИНКОГНИТО

Офицер, как будто собиравшийся спать, несмотря на наружную беспечность, чувствовал на себе тяжелую ответственность.

Как лейтенант королевских мушкетеров, он командовал всей ротой, прибывшей из Парижа, а она состояла из ста двадцати человек; за вычетом двадцати, о которых мы упомянули, остальные сто охраняли королеву и особенно кардинала.

Джулио Мазарини скупился на оплату издержек своих телохранителей; поэтому он пользовался королевскими, и пользовался очень широко, беря на свою долю пятьдесят человек; это обстоятельство показалось бы очень неприличным всякому, кто не был знаком с обычаями тогдашнего двора.

Не менее неприличным и даже странным показалось бы и то, что комнаты, предназначенные для Мазарини, были ярко освещены и полны движения. Мушкетеры стояли на часах у каждой двери, никого не пропуская, кроме курьеров, которые следовали за кардиналом для его переписки даже во время путешествия.

Двадцать мушкетеров охраняли вдовствующую королеву; остальные тридцать отдыхали, чтобы сменить дежурных на следующее утро.

В той половине, которая была отведена королю, напротив, царили мрак, молчание, пустота. Когда закрыли двери, ничто более не напоминало о пребывании короля. Все слуги мало-помалу разошлись. Герцог прислал спросить, не нужно ли чего-нибудь его величеству; и после краткого «нет», сказанного лейтенантом, который привык к такому вопросу и ответу, все погрузилось в сон на королевской половине, как в доме обыкновенного горожанина.

Однако из королевских окон легко можно было слышать праздничную музыку и видеть ярко освещенные окна залы.

Пробыв минут десять в своей комнате, Людовик XIV заметил по более усиленному, чем при его уходе, движению, что кардинал тоже удаляется на покой; его провожала большая толпа кавалеров и дам.

Кардинал прошел по двору в сопровождении герцога который сам светил ему. Потом

прошла королева; ее вела под руку герцогиня, и обе разговаривали вполголоса, как старинные приятельницы.

За ними парами шли придворные дамы, пажи, слуги весь двор осветился, как при пожаре, мерцающими блесками. Потом шум шагов и голосов замер в верхний этажах замка.

Никто не думал о короле, который облокотился у окна и печально слушал, как утихал весь этот шум: никто, кроме незнакомца из «Гостиницы Медичи», который вышел на улицу, завернувшись в свой черный плащ.

Он направился прямо к замку и с задумчивым видом стал прохаживаться около дворца, смешавшись с любопытными; видя, что никто не стережет главных ворот, потому что солдаты герцога братались с королевскими и вместе пили до усталости, или, лучше сказать, без усталости, незнакомец пробрался сквозь толпу, пересек двор и ступил на лестницу, которая вела к кардиналу.

Вероятно, он пошел в эту сторону потому, что видел блеск огней и суетню пажей и слуг. Но его тотчас остановили щелканье мушкета и крик часового.

– Куда идете, приятель? – спросил часовой.

– К королю, – отвечал незнакомец спокойно и с достоинством.

Солдат позвал одного из приближенных кардинала, который сказал топом канцелярского чиновника, направляющего просителя:

– Ступайте по той лестнице.

И, не заботясь больше о незнакомце, офицер возобновил прерванный разговор.

Незнакомец, не ответив ни слова, направился к указанной лестнице.

В этой стороне – ни шума, ни света. Темнота, в которой мелькала лишь тень часового. Тишина, позволявшая незнакомцу слышать шум своих шагов и звон шпор на каменных плитах.

Часовой принадлежал к числу двадцати мушкетеров, назначенных для охраны короля; он стоял на часах добросовестно, с непреклонным видом.

– Кто идет? – крикнул часовой.

– Друг! – отвечал незнакомец.

– Что вам надо?

– Говорить с королем.

– Ого! Это невозможно!

– Почему?

– Его величество лег почивать.

– Все равно мне надо переговорить с ним.

– А я говорю вам, что это невозможно.

И часовой сделал угрожающее движение; но незнакомец не двинулся с места, как будто ноги его приросли к полу.

– Господин мушкетер, – сказал он, – позвольте узнать: вы дворянин?

– Да.

– Хорошо. Я тоже дворянин, а дворяне должны оказывать услуги друг другу.

Часовой опустил ружье; его убедило достоинство, с которым были произнесены эти слова.

– Говорите, сударь, – отвечал он, – и если вы потребуете того, что зависит от меня...

– Благодарю. При вас есть офицер?

– Есть, наш лейтенант.

– Хорошо. Я хочу поговорить с вашим лейтенантом. Где он?

– А! Это другое дело! Входите.

Незнакомец величественно кивнул часовому и пошел вверх по лестнице.

Крики: «Посетитель к лейтенанту», перелетая от одного часового к другому, прервали первый сон офицера.

Натянув сапоги, протирая глаза и застегивая плащ, лейтенант пошел навстречу незнакомцу.

- Что вам угодно, сударь? – спросил он.
- Вы дежурный офицер, лейтенант мушкетеров?
- Да, я.
- Сударь, мне необходимо переговорить с королем.

Лейтенант пристально посмотрел на незнакомца и одним быстрым взглядом увидел все, что ему было нужно, то есть высокое достоинство под простой одеждой.

– Я не думаю, чтобы вы сошли с ума, – начал офицер. – Однако должны же вы знать, что нельзя входить к королю без его разрешения.

- Он разрешит.
- Позвольте мне, сударь, усомниться в этом. Король четверть часа назад вошел в свою спальню, и теперь он, должно быть, раздевается. Притом не ведено пускать никого.
- Когда он узнает, кто я, – возразил незнакомец, гордо поднимая голову, – он отменит запрет.

Офицер еще более удивился и поколебался:

- Если я соглашусь доложить о вас, назовете ли вы, по крайней мере, свое имя?
- Доложите, что с ним желает говорить Карл Второй, король Англии, Шотландии и Ирландии.

Офицер вскрикнул от удивления и отступил на шаг, на его бледном лице выразилось чрезвычайное волнение, которое неустрашимый воин тщетно старался скрыть.

- О ваше величество, – сказал он, – я должен был бы тотчас узнать вас.
- Вы видели мой портрет?
- Нет, ваше величество.
- Или вы видели меня прежде при дворе, до моего изгнания из Франции?
- Нет.
- Как же могли вы узнать меня, если никогда не видели ни меня, ни моего портрета?
- Ваше величество, я видел короля, вашего родителя, в страшную минуту...
- В тот день, когда...
- Да.

Облачко грусти пробежало по лицу короля; движением руки он как бы смахнул его и повторил:

- Можете ли вы доложить обо мне?
- Простите, ваше величество, – отвечал офицер, – но по вашему костюму я никак не мог узнать короля. Однако, как я уже сказал вам, я имел честь видеть короля Карла Первого... Но простите... я спешу доложить о вас.

Он сделал было несколько шагов, но тотчас вернулся обратно.

– Вашему величеству, – спросил он, – вероятно, угодно, чтобы это свидание осталось в тайне?

- Я этого не требую, но если возможно сохранить тайну...
- Это возможно, ваше величество. Я могу ничего не говорить дежурному при короле. Но для этого вы должны отдать мне шпагу.

- Правда... Я совсем забыл, что к королю Франции никто не входит с оружием.
- Ваше величество можете составить исключение; но в таком случае я должен предупредить дежурных, чтобы сложить с себя ответственность.

- Вот моя шпага, сударь. Доложите обо мне королю.
- Сейчас, ваше величество.

Офицер пошел и постучал в дверь, которую тотчас открыли.

- Его величество король Англии! – доложил офицер.
- Его величество король Англии! – повторил слуга.

При этих словах приближенный распахнул обе половинки двери, и стоявшие снаружи увидели, как Людовик XIV, без шляпы и шпаги, в расстегнутом камзоле, чрезвычайно удивленный, направился к дверям.

– Вы, брат мой, вы здесь в Блуа! – воскликнул Людовик XIV, делая рукой знак

приближенному и слуге, чтобы они вышли в другую комнату.

– Ваше величество, – отвечал Карл II, – я ехал в Париж в надежде увидеть вас там. Молва известила меня, что вы скоро приедете сюда. Поэтому я остался здесь: мне нужно сообщить вам очень важную вещь.

– Хотите говорить здесь?

– Кажется, в этом кабинете никто не услышит нашего разговора?

– Я отпустил приближенного и дежурного слугу; они в соседней комнате.

За этой перегородкой пустая комната, выходящая в переднюю, где сидит только офицер, которого вы видели, не так ли?

– Да.

– Говорите же, брат мой, я слушаю вас.

– Ваше величество, я начинаю, надеясь встретить в вас сочувствие к бедствиям нашего дома.

Людовик покраснел и придвинул свое кресло к креслу английского короля.

– Ваше величество, – продолжал Карл, – мне не нужно спрашивать, знаете ли вы подробности моих злоключений.

Людовик покраснел еще более и, взяв руку английского короля, отвечал:

– Брат мой, стыдно сознаться, но кардинал редко говорит при мне о политике. Этого мало: прежде мой слуга Ла Порт читал мне исторические сочинения, но кардинал запретил эти чтения и уволил Ла Порта. Я должен просить вас рассказать мне о своих несчастьях, как человеку, который ничего о них не знает.

– О, ваше величество, если я расскажу все, с самого начала, то тем более пробужу в вас сострадание.

– Говорите, говорите!

– Вы знаете, государь, что меня призвали в Эдинбург в тысяча шестьсот пятидесятом году, во время экспедиции Кромвеля в Ирландию, и короновали в Стоне. Через год Кромвель, раненный в одной из захваченных им провинций, вновь напал на нас. Встретиться с ним было моей целью, уйти из Шотландии – моим желанием.

– Однако, – возразил молодой король, – Шотландия почти ваша родина.

– Да. Но Шотландцы были для меня жестокими соотечественниками! Они принудили меня отказаться от веры моих отцов. Они повесили лорда Монтроза, предали первейшего из моих приверженцев, потому что он не участвовал в союзе. Ему предложили высказать предсмертное желание. Он попросил, чтобы его разрубили на столько частей, сколько в Шотландии городов, чтобы в каждом из них были свидетели его верности. Переезжая и в города в город, я всюду находил останки этого благородного человека, который действовал, сражался, дышал для меня...

Смелым маневром я обошел армию Кромвеля и вступил в Англию. Протектор гнался за мной. Это было странное бегство, имевшее целью добиться короны. Если бы я достиг Лондона прежде Кромвеля, то награда за эту скачку досталась бы мне. Но он настиг меня у Уорчестера.

Гений Англии был уже не с нами, а с ним. Третьего сентября тысяча шестьсот пятьдесят первого года, в годовщину битвы при Дембаре, роковой для шотландцев, я был разбит.

Две тысячи человек пали вокруг меня, прежде чем я отступил на шаг.

Наконец все же пришлось бежать.

Тут история моя становится романом. Я остриг волосы и переоделся дровосеком. Целый день провел на ветвях дуба, прозванного за это королевским: так зовется он теперь. Мои приключения в Стаффордском графстве, откуда я выехал, увозя на своем коне дочь моего хозяина, до сих пор служат предметом рассказов, из них сложится баллада. Когда-нибудь, ваше величество, я запишу все это в поучение королям, моим братьям.

Я опишу, как, прибыв к Нортону, я встретил придворного капеллана, смотревшего на игру в кегли, и моего старого слугу, который залился слезами, узнав меня. Второй так же мог погубить меня своей верностью, как первый – своим предательством... Я расскажу о страшных минутах... да, ваше величество, страшных минутах, которые я пережил...

например, когда кузнец полковника Уиндгема, осматривавший наших лошадей, объявил, что они подкованы в северных провинциях...

– Как удивительно, – прошептал Людовик XIV, – что я ничего этого не знал... Я знал только, что вы сели на корабль в Брайгельмстеде и высадились в Нормандии.

– О, – прошептал Карл, – если короли ничего не знают один о другом, то как могут они помогать друг Другу!

– Но скажите мне, брат мой, – спросил Людовик, – раз вас так дурно приняли в Англии, то как же вы еще надеетесь на эту несчастную страну, на этот мятежный народ?

– О, ваше величество! Со времени Уорчестерской битвы в Англии все переменялось. Кромвель умер, подписав с Францией соглашение, в котором имя его стояло выше вашего. Он умер третьего сентября тысяча шестьсот пятьдесят восьмого года, в годовщину битвы при Уорчестере и Дембаре.

– Его сын наследовал ему.

– Некоторые люди, ваше величество, имеют детей, но не имеют преемников. Наследство Оливера Кромвеля слишком тяжело для его сына Ричарда.

Ричард не был ни республиканцем, ни роялистом. Ричард позволял своим телохранителям съедать свой обед, а своим генералам – управлять республикой. Ричард отрекся от власти двадцать второго апреля тысяча шестьсот пятьдесят девятого года; с тех пор прошло уже больше года, ваше величество.

С этого дня Англия стала игорным домом, где разыгрывается корона моего отца. Самые отчаянные игроки – Ламберт и Монк. Я хочу вмешаться в эту игру, где ставка брошена на мою королевскую мантию. Ваше величество... нужен миллион, чтобы подкупить одного из этих игроков, превратить его в моего союзника, – или двести ваших дворян, чтобы выгнать их из моего Уайтхоллского дворца, как Христос выгнал из храма торговцев.

– А! – сказал король Людовик XIV. – Вы просите у меня...

– Помощи, то есть того, чем не только короли, но даже просто христиане обязаны друг другу, – вашей помощи, государь, деньгами или людьми. С вашей помощью через месяц я восстановлю Ламберта против Монка или Монка против Ламберта и отвоюю отцовское наследство так, что это не будет стоить ни одной гинеи моей родине, ни одной капли крови моим подданным. Они уже пьяны от революции, протектората и республики и теперь хотят одного умиротвориться под королевской властью. Окажите мне помощь, и я буду обязан вашему величеству более, чем отцу. Бедный отец! Дорого он заплатил за разорение нашего дома! Видите, государь, как я несчастлив, в каком я отчаянии, – я даже обвиняю своего отца!

Краска залила бледное лицо Карла II. Он опустил голову на руки, точно его ослепила кровь, взбунтовавшаяся против осуждения отца сыном.

Юный король казался не менее несчастным, чип Карл. Он беспокойно двигался в кресле, не зная, что ответить.

Наконец Карл II, который был десятью годами старше и лучше умел владеть собою, снова заговорил.

– Ваше величество, – сказал он, – дайте мне ответ. Я жду его, как обвиняемый ждет приговора. Буду жить? Или я должен умереть?

– Брат мой! – отвечал Людовик. – Вы просите меня миллион, – у меня!

Но у меня никогда не было и четверти такой суммы. У меня нет ровно ничего... Я такой же король Франции, как вы король Англии. Я только имя, символ, одетый в бархат с лилиями, не больше! Я сижу на осязаемом троне; вот мое единственное и преимущество перед вами, у меня ничего нет, я ничего не могу сделать.

– Неужели! – вскричал Карл II.

– Брат мой, – продолжал Людовик, понижая голос, – я переносил такие лишения, которым не подвергались самые бедные из моих дворян. Если бы мой бедный Ла Порт еще служил при мне, он мог бы рассказать вам, как я спал на простынях с дырами, в которые пролезали мои ноги; он мог бы рассказать, что когда я спрашивал экипаж, то мне подавали карету, изъеденную в сарае крысами; он мог бы рассказать, что когда я просил обедать, то шли

на кухню к кардиналу и узнавали, найдется ли что-нибудь поесть королю. Даже теперь, подумайте, теперь, когда мне двадцать два года, когда я достиг совершеннолетия, когда я должен бы иметь ключи от государственной казны, руководить политикой, объявлять войну и заключать мир, посмотрите вокруг, и вы увидите, что предоставлено мне!.. Как я заброшен! В каком я пренебрежении! Как пусто около меня!.. А там... посмотрите, какой там блеск! Сколько людей!.. Там, там, поверьте мне, там настоящий король Франции!

– У кардинала?

– Да, у кардинала.

– Тогда я погиб!

Людовик не отвечал.

– Да, погиб, потому что я не стану просить того, кто оставил бы умирать от голода и холода мою мать и сестру, – дочь и внучку Генриха Четвертого, – если бы де Рец и парламент не прислали им дров и хлеба.

– Умирать! – прошептал Людовик XIV.

– Ну что ж! Король Англии, несчастный Карл Второй, такой же внук Генриха Четвертого, как и ваше величество, умрет от голода, как едва не умерли сестра и мать его.

Людовик, нахмутив брови, молча теребил кружева своих манжет.

Эти безучастность и апатичность, скрывавшие явное волнение, поразили Карла II. Он взял молодого короля за руку.

– Благодарю вас, брат мой, – сказал он, – вы пожалели меня, а в теперешнем вашем положении я не могу требовать от вас большего.

– Ваше величество, – спросил вдруг Людовик XIV, подняв голову, – вы говорили, что вам нужен миллион или двести дворян, не так ли?

– Миллиона будет довольно.

– Это так мало.

– Это много, если предложить его одному человеку. Убеждения людей часто покупали гораздо дешевле; а мне придется иметь дело с продажными душами.

– Двести дворян, только! Подумайте! Ведь это немногим больше роты?

– Ваше величество, в нашем семействе сохранилось одно предание: четверо преданных французских дворян едва не спасли моего отца, которого судил парламент, стерегла целая армия, окружал весь народ.

– Значит, если я доставлю вам миллион или двести дворян, вы будете довольны и назовете меня добрым братом?

– Я сочту вас своим спасителем. Если я взойду на трон моего отца, Англия на все время моего царствования останется доброй сестрой Франции, как вы будете мне добрым братом.

– Хорошо! – сказал Людовик, вставая. – То, чего вы, брат мой, не решаетесь просить, попрошу я, я сам! Я никогда ничего не просил для себя, но теперь сделаю это для вас! Пойду к королю Франции – к тому, богатому, всемогущему – и попрошу у него миллион или двести дворян... А там увидим!

– О! – вскричал Карл. – Вы благородный друг, высокая душа. Вы спасаете меня, брат мой. Если вам понадобится жизнь, которую вы теперь возвращаете мне, можете взять ее!

– Тише, брат мой, тише! – произнес Людовик вполголоса. – Берегитесь, чтобы нас не услышали. Мы ездим не достигли цели. Просить денег у Мазарини! Это труднее, чем пройти по заколдованному лесу, где на каждом дереве притаился демон; это гораздо больше, чем завоевать целый свет...

– Однако когда просить будете вы.

– Я уже сказал вам, что никогда не просил, – ответил Людовик с гордостью, которая заставила английского короля побледнеть.

Заметив, что Карл почувствовал себя оскорбленным, Людовик продолжал:

– Простите меня, брат мой; у меня нет матери, ни сестры, которые страдают. Трон мой жесток и гол, но твердо сижу на нем. Простите меня, брат мой, не упрекайте меня за эти слова: они были продиктованы эгоизмом. Но я искуплю их жертвой. Я иду к кардиналу. Подождите

меня, прошу вас. Я сейчас вернусь.

Глава 10. АРИФМЕТИКА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ

Когда король поспешно направился в то крыло дворца, где помещался кардинал Мазарини, взяв с собой только своего слугу, офицер мушкетеров вышел из маленькой комнаты, которую король считал пустой. Офицер вздохнул, как человек, долго сдерживавший дыхание. Маленькая комната отделялась от спальни, часть которой она раньше составляла, лишь тонкой перегородкой. Выходило, что эта преграда существовала лишь для глаз и позволяла хоть сколько-нибудь нескромному уху слышать все, что происходило в соседней комнате. Не оставалось, таким образом, сомнения, что дежурный офицер слышал все, что произошло только что у его величества.

Предупрежденный последними словами молодого короля, он вышел как раз вовремя, чтобы успеть склониться перед ним в поклоне и проводить его взглядом, пока тот не исчез в конце коридора. Лейтенант покачал головою характерным для него движением и произнес с гасконским акцентом, не утраченным им за сорок лет, прожитых вне родины:

– Жалкая служба! Жалкий повелитель!

Затем, сев на прежнее место в кресло, он протянул ноги и закрыл глаза, как человек, который спит или размышляет.

Во время этого короткого монолога, пока король шел по коридорам старого замка к кардиналу, у Мазарини происходила сцена совсем в другом роде.

Мазарини лег в постель, потому что его начинала мучить подагра. Человек деловой, он извлекал пользу даже из болезни, работая в часы бессонницы. Он велел своему слуге Бернуину принести дорожный пюпитр, чтобы можно было писать в постели.

Но подагра такой враг, которого не легко победить. При каждом движении кардинала боль усиливалась и, наконец, он спросил Бернуина:

– Здесь Бриенн?

– Нет, ушел, – ответил слуга. – Вы изволили отпустить его, и он отправился спать. Если вам угодно, можно разбудить его.

– Нет, не нужно. Однако надо работать! Проклятью цифры!

И кардинал задумался, считая по пальцам.

– О, эти цифры! – воскликнул Бернуин. – Если вы изволили заняться подсчетами, то завтра у вас, конечно, будет головная боль... Вдобавок еще здесь нет господина Гено!

– Ты прав, Бернуин! Но ты заменишь мне Бриенна. Действительно, я должен был бы взять с собою Кольбера. Он хорошо работает, Бернуин, очень хорошо. Он человек деловой!

– Не знаю, – отвечал слуга, – только мне не нравится лицо этого делового человека.

– Ладно, ладно, Бернуин! Я не спрашиваю вашего мнения. Садись сюда, бери перо и пиши.

– Я готов. Что прикажете писать?

– Пиши: семьсот шестьдесят тысяч ливров.

– Написано.

– На Лион... – Кардинал остановился в раздумье.

– На Лион, – повторил Бернуин.

– Три миллиона девятьсот тысяч.

– Написано.

– На Бордо семь миллионов.

– Семь, – повторил Бернуин.

– Да, семь, – с досадой сказал кардинал. – Ты понимаешь, Бернуин? Все эти суммы пишутся в расход...

– В расход или в приход, не все ли мне равно? Ведь эти миллионы не мои.

– Миллионы эти принадлежат королю; я считаю королевские деньги...

Итак, на чем мы остановились?... Ты все время прерываешь меня!

– Семь миллионов на Бордо.

– Да, так. На Мадрид четыре миллиона. Я говорю тебе, Бернуин, кому принадлежат эти деньги, так как весь свет имеет глупость считать меня миллионером. Я стараюсь опровергнуть этот вздор. У министра не может быть ничего своего... Теперь продолжай. Подати – семь миллионов. Земли девять миллионов. Написал?

– Написал.

– Наличных денег – шестьсот тысяч ливров; разных ценностей – два миллиона... Ах, еще забыл, – движимость в разных замках...

– Не прибавить ли в разных королевских замках? – спросил Бернуин.

– Нет, нет, не надо, – это подразумевается. Ну, что, Бернуин, написал?

– Написано.

– Теперь подведи итог.

– Тридцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч ливров.

– Ах, – сказал кардинал с выражением досады, – нет полных сорока миллионов!

Бернуин опять пересчитал.

– Да, недостает семисот сорока тысяч.

Мазарини взял счет в руки и внимательно просмотрел его.

– Однако же, – заметил Бернуин, – тридцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч ливров – порядочные деньги.

– Ах, Бернуин, я хотел бы видеть эту сумму в казне короля!

– Вы изволили сказать, что все эти деньги принадлежат его величеству.

– Разумеется, но только на одно мгновение. Эти тридцать девять миллионов уже заранее распределены, пожалуй, их еще не хватит.

Бернуин улыбнулся про себя, как человек, который верит только тому, чему хочет верить. Он приготовил на ночь питье кардиналу и поправил подушки.

– Да, – задумчиво протянул Мазарини, когда слуга вышел, – все еще нет сорока миллионов... Однако мне надо достичь намеченной мною цифры – сорока миллионов... Кто знает, быть может, я не доживу, не успею... Я старею, слабею. Может быть, я найду два-три миллиона в карманах наших добрых друзей, испанцев? Ведь недаром же они открыли Перу; у них, наверное, что-нибудь осталось от этого открытия!

Поглощенный расчетами, он позабыл о подагре: страсть кардинала к деньгам была сильнее болезни. Вдруг Бернуин, запыхавшись, вбежал в комнату.

– Что случилось? – спросил кардинал.

– Король! Король!

– Как! Король идет сюда? – вскричал Мазарини, поспешно пряча листок.

– Король здесь в такой поздний час? Я думал, что он уже давно лег. Что произошло?

Людовик XIV слышал последние слова и увидел испуганное лицо кардинала, приподнявшегося на постели при его появлении.

– Ничего особенного, господин кардинал, – сказал он, – пли, по крайней мере, ничего такого, что могло бы встревожить вас. Мне только необходимо сегодня же переговорить с вами об одном весьма важном деле.

Мазарини тотчас вспомнил, с каким вниманием король слушал его слова о Марии Манчини, и вообразил, что важное дело касается его племянницы. Поэтому лицо его немедленно прояснилось и приняло выражение крайней любезности. Эта перемена весьма обрадовала короля.

Он сел.

– Ваше величество, – обратился к нему Мазарини, – я должен был бы слушать вас стоя, но мучительная подагра...

– Что за церемонии между нами, любезный господин кардинал, – отвечал Людовик XIV ласково, – я ваш ученик, а не король, вы это хорошо знаете, – особенно сегодня вечером, потому что я пришел к вам как проситель, и даже как проситель самый покорный, желающий

быть принятым благосклонно.

Мазарини, заметив, что король покраснел, укрепился в своем предположении, что за этими ласковыми словами кроются любовные помыслы. На этот раз при всей своей догадливости хитрый политик ошибся: король покраснел не от порыва юношеской страсти, а от чувства унижения своей королевской гордости.

Как добрый дядюшка, Мазарини решился облегчить королю признание.

– Говорите, пожалуйста, и если вашему величеству угодно на минуту забыть, что я ваш подданный, если вам угодно назвать меня своим наставником и учителем, то позвольте и мне высказать всю мою преданную и нежную любовь к вам.

– Благодарю вас, господин кардинал, – продолжая король. – Впрочем, то о чем я намерен просить вас, сущая безделица.

– Тем хуже, – возразил кардинал, – тем хуже, ваше величество. Я желал бы, чтобы вы попросили у меня чего-нибудь значительного, какой-нибудь жертвы... Но, впрочем, чего бы вы ни попросили у меня, я готов на все согласиться, чтобы угодить вам.

– Если так, вот в чем дело, – сказал король, сердце которого билось так же сильно, как сердце кардинала, – ко мне приехал брат мой, король Англии...

Мазарини привскочил на кровати, словно он прикоснулся к лейденской банке или вольтовой дуге. От изумления или, скорее, от разочарования лицо кардинала покрылось такой краской гнева, что Людовик при всей своей неопытности в дипломатии тотчас увидел, что министр надеялся услышать что-то совсем другое.

– Карл Второй! – вскричал Мазарини пронзительным голосом, с презрительной улыбкою. – Как! У вас в гостях Карл Второй!

– Да, король Карл Второй, – отвечал Людовик, подчеркивая принадлежавший внуку Генриха IV титул короля, который Мазарини пропустил. – Да, господин кардинал, этот несчастный король тронул мое сердце, рассказав мне о своих злоключениях. Он переживает страшные бедствия, господин кардинал. У меня тоже оспаривали престол, я тоже в дни волнений принужден был бежать из столицы, я познал несчастье, и мне трудно оставить без помощи брата, лишившегося всего и скрывающегося.

– Ах, – перебил кардинал с досадою, – отчего при нем нет какого-нибудь Мазарини, как при вас? Его корона была бы сохранена в неприкосновенности.

– Я знаю все, чем наш дом обязан вам, господин кардинал, – ответил молодой король гордо, – и верьте, я, со своей стороны, этого никогда не забуду. Именно потому, что мой брат, король английский, не имеет при своей особе такого могущественного гения, как тот, который спас меня, именно потому и хочу я доставить ему помощь этого гения, уверенный, что если ваша рука коснется его, она возвратит ему корону, которую он потерял в тот день, когда она упала к подножию эшафота его отца.

– Благодарю вас, ваше величество, за доброе мнение обо мне, – отвечал Мазарини, – но нам нечего делать там, где люди беснуются, отрицают бога и рубят головы своим королям. Они опасны, видите ли, очень опасны, и к ним противно прикоснуться с той минуты, как они забрызгали себя королевской кровью и грязью раздоров. Такой политики я никогда не любил и отстраняюсь от нее.

– Но вы можете помочь нам, создав ему иную.

– Какую?

– Например, восстановив Карла Второго.

– Боже мой! – воскликнул Мазарини. – Неужели несчастный король еще увлекается этой химерой?

– Разумеется, – возразил Людовик, испугавшись препятствий, которые верный глаз его министра видел в этом предприятии. – Он просит для этого... не более... как миллион.

– Только-то! Один миллион, не больше! – насмешливо повторил Мазарини с итальянским акцентом. – Братец, всего-навсего миллиончик, братец! Какое-то семейство нищих!

– Монсеньер, – сказал Людовик XIV, подняв голову, – это семейство нищих – ветвь

нашего дома.

– А ваше величество так богаты, что можете раздавать миллионы? У вас есть миллионы?

– Да, – отвечал юный король с величественной скорбью, которую он сумел, однако, скрыть, – да, господин кардинал, я знаю, что я беден, но французская корона стоит все же миллиона; а для доброго дела я, пожалуй, готов заложить свою корону. Я найду еврея, которые охотно дадут мне за нее миллион.

– Итак, вы говорите, ваше величество, что вам нужен миллион? – спросил Мазарини.

– Да, миллион.

– Ваше величество сильно ошибаетесь. Вам нужно гораздо больше. Бернуин!.. Вы сейчас узнаете, сколько вам нужно на самом деле... Бернуин!

– Как, господин кардинал? Вы собираетесь спрашивать лакея о моих делах?

– Бернуин! – повторил кардинал, притворяясь, что не замечает возмущения короля. – Пойди сюда и скажи, какую сумму я хотел иметь сейчас?

– Монсеньер! Монсеньер! – повысил голос Людовик, побледнев от негодования. – Разве вы не слышали моих слов?

– Не гневайтесь, ваше величество: я открыто веду ваши дела. Во Франции все это знают: книги мои не под замками. Бернуин, что ты сейчас здесь делал?

– Складывал цифры.

– И сложил?

– Точно так.

– И все для того, чтобы узнать, сколько нужно его величеству в настоящую минуту? Не так ли я сказал тебе? Говори откровенно, друг мой.

– Да, так вы изволили сказать.

– Хорошо. А сколько было нужно?

– Сорок пять миллионов, кажется.

– А какую сумму насчитали мы, соединив все паши средства, ничего не пропустив?

– Тридцать девять миллионов двести шестьдесят тысяч франков.

– Хорошо, Бернуин, больше мне ничего от тебя не нужно. Теперь оставь нас, – прибавил кардинал, устремив пронизательный взгляд на молодого короля, который не мог вымолвить ни слова от изумления и едва прошептал:

– Но... однако же...

– А, вы еще сомневаетесь? – спросил кардинал. – Так вот доказательство того, что я вам сказал.

И он вынул из-под подушки листок, исписанный цифрами, и подал его королю, который отвернулся, до такой степени он был огорчен.

– Вы желаете получить миллион, а так как он в этот счет не внесен, значит, вам нужно сорок шесть миллионов. Поверьте, в мире нет еврея, который решился бы дать взаймы такую сумму, даже под залог французской короны.

Король, сжав кулаки под пышными манжетами, отодвинул свое кресло.

– Тогда, – сказал он, – брат мой, король английский, умрет с голоду.

– Ваше величество, – отвечал Мазарини тем же тоном, – не забывайте пословицы, которая выражает самую здравую политику: «Будь доволен, что ты беден, когда твой сосед беден тоже».

Людовик подумал несколько минут, с любопытством поглядывая на бумагу, краешек которой высывался из-под подушки.

– Итак, – повторил он, – исполнить моей просьбы о деньгах никоим образом нельзя?

– Невозможно.

– Подумайте: он будет моим врагом, если вступит на престол без моей помощи.

– Если ваше величество боитесь только этого, то можете быть спокойны!

– с живостью заверил его кардинал.

– Хорошо, я больше не настаиваю.

– По крайней мере, убедил ли я ваше величество? – спросил Мазарини, беря руку короля.

– Вполне.
– Просите о чем угодно другом, и я почту за счастье исполнить ваше желание.
– Любую мою просьбу?
– Все, все! Разве я не предан душой и телом вашему величеству? Эй, Бернуин! Факелов и провожатых его величеству! Его величество возвращается в свои покои.
– Нет еще, кардинал! Раз вы готовы исполнить любую, другую мою просьбу, то я воспользуюсь случаем...
– Для вашего величества? – протянул кардинал, надеясь, что король заговорит наконец о его племяннице.
– Нет, не для меня, а опять для брата моего Карла.
Лицо Мазарини снова омрачилось, он пробормотал несколько слов, но король их не расслышал.

Глава 11. ПОЛИТИКА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ

Вместо нерешительности, с какой четверть часа назад юный король обращался к кардиналу, теперь в его глазах блистала воля. С ней можно было бороться, может быть, даже победить ее, но воспоминание о поражении, точно рана, жгло бы сердце короля.

– Господин кардинал, – сказал Людовик, – на этот раз моя просьба не затруднит вас. Исполнить ее легче, чем найти миллион.

– Ваше величество так полагаете? – спросил кардинал, посматривая на молодого короля хитрым взглядом, умевшим читать затаенные мысли.

– Да, я так думаю, и когда вы узнаете, о чем я намерен просить...

– А вы думаете, я этого не знаю?

– Как? Вы знаете, о чем я хочу просить?

– Выслушайте меня, ваше величество... Вот вам собственные слова короля Карла...

– Посмотрим!

– Слушайте: «Если этот скряга, этот мерзкий итальянец...»

– Господин кардинал!

– Если это не слова его, то, наверное, их смысл. Поверьте, я вовсе не сержусь на него. Каждый из нас смотрит на других через призму своих страстей. Король Карл сказал вам: «Если этот мерзкий итальянец откажет нам в миллионе, который мы у него просим; если мы будем принуждены, за неимением денег, отказаться от дипломатии, то, по крайней мере, выпросим у него пятьсот дворян».

Король вздрогнул, потому что кардинал ошибся только в цифре.

– Не так ли, ваше величество, не этого ли просил он? – воскликнул кардинал с торжествующим видом. – Потом Карл Второй прибавил еще: «У меня есть друзья по ту сторону пролива; этим друзьям недостает только начальника и знамени. Когда они увидят меня, когда увидят французское знамя, то непременно пойдут за мной: они поймут, что я пользуюсь вашей помощью. Французский мундир в моем войске заменит тот миллион, в котором кардинал мне откажет (он очень хорошо знал, что я не дам ему миллиона).

Я одержу победу при помощи этих пятисот дворян, и вся честь победы будет принадлежать вашему величеству». Вот что сказал он вам или почти то же, – не так ли? И, верно, разукрасил речь свою блестящими метафорами, увлекательными картинами; ведь в этом семействе все любят ораторствовать.

Его отец говорил даже на эшафоте.

От стыда на лице Людовика XIV выступил пот. Он чувствовал, что не может позволить, чтобы при нем оскорбляли его брата; но он не знал еще, как проявить свою волю, особенно в присутствии человека, которому все повиновались, даже вдовствующая королева.

Наконец он превозмог себя.

– Но, господин кардинал, нам нужно не пятьсот человек, а только двести.

– Вы видите, ваше величество, я угадал, о чем он просит.

– Я никогда не сомневался в вашей проницательности и потому думаю, что вы не откажете моему брату Карлу в просьбе, такой простой и легко исполнимой, в просьбе, которую я приношу вам от его имени или, лучше сказать, от своего имени.

– Ваше величество, – отвечал Мазарини, – вот уже тридцать лет, как я управляю политическими делами. Сначала я управлял вместе с кардиналом Ришелье, потом один. Политика эта была не всегда честной, надо признаться; но она никогда не была неразумной. Та политика, которую предлагают вашему величеству, и бесчестна и неразумна.

– Бесчестна!

– Вы подписали трактат с Кромвелем?

– Да, и в этом трактате Кромвель даже подписался выше меня.

– А зачем вы подписались так низко? Кромвель нашел хорошее место и занял его; таков уж его обычай. Но вернемся к делу. Вы заключили договор с Кромвелем, то есть с Англией, потому что в то время, когда вы подписали трактат, вся Англия заключалась в Кромвеле.

– Но Кромвель умер.

– Вы так полагаете?

– Разумеется. Ему наследовал сын Ричард, который уже успел отказаться от власти.

– В том-то и дело. Ричард наследовал после смерти Кромвеля, а Англия – после отречения Ричарда. Трактат составляет часть наследства, где бы оно ни находилось: в руках Ричарда или в руках Англии. Стало быть, трактат все еще имеет полную силу, полное действие. Почему же вы хотите нарушить его? Разве что-нибудь изменилось? Карл Второй хочет теперь того, чего мы не хотели десять лет назад; но случай этот был предусмотрен. Вы союзник Англии, ваше величество, а не Карла Второго. Разумеется, если смотреть с семейной точки зрения, бесчестно заключать трактат с человеком, который обезглавил вашего родственника, и вступать в переговоры о союзе с парламентом, который получил прозвание охвостья; согласен, это бесчестно, но в политическом смысле разумно: с помощью этого трактата я избавил ваше величество, когда вы были еще несовершеннолетним, от тягот внешней войны, из которой Фронда... вы помните Фронду, ваше величество?... (Король опустил голову.) Из которой Фронда не преминула бы извлечь для себя пользу. Вот почему я доказываю вашему величеству, что изменить сейчас политику, не предупредив наших союзников, значило бы поступить и бесчестно и неразумно. Нам придется вести войну, повод к которой подали мы сами, и, вызвав ее сами, мы будем иметь такой вид, словно боимся ее: все равно, разрешим ли мы послать туда пятьсот человек, двести, пятьдесят или только десять, разрешение остается разрешением. Один француз уже нация; один мундир – войско. Представьте, например, что вашему величеству придется начать войну с Голландией, что, должно быть, и случится рано или поздно, или с Испанией, что, может быть, случится, если свадьба ваша расстроится (тут Мазарини пристально взглянул на короля): ведь тысячи причин могут помешать вашей свадьбе. Что скажете вы тогда, если Англия пошлет на помощь Голландии или инфанте полк, роту или хотя бы взвод английских дворян? Неужели вы сочтете, что она правильно выполняет условия союзного договора?

Людовик слушал. Ему казалось странным, что Мазарини ссылается на честность, – Мазарини, известный политическими обманами, которые даже называли мазаринадами.

– Но, – возразил король, – я не дам открытого позволения. Я не могу запретить своим подданным ездить в Англию, если они того хотят.

– Вы должны заставить их вернуться или, по крайней мере, протестовать против того, что они ведут себя как враги в союзном нам государстве.

– Господин кардинал, у вас такой проницательный ум; поищите средства помочь несчастному королю так, чтобы и нам не было вреда.

– Вот этого-то я и не хочу, – ответил Мазарини. – Если б Англия следовала моим указаниям, она не могла бы действовать выгоднее для нас; если б я направлял отсюда политику Англии, я не повел бы ее по другой дороге. При таком управлении, как теперь, Англия для Европы – вечное гнездо раздоров. Голландия покровительствует Карлу Второму;

пусть покровительствует. Они перессорятся, подерутся. Это единственные морские державы. Пусть истребляют флот одна у другой. Мы построим свой флот из остатков их кораблей, когда у нас будут деньги на гвозди.

– Ах, как мелки все ваши расчеты, как он и ничтожны! – вскричал король.

– Но они верны, сознайтесь сами! Послушайте дальше. Допустим, что можно изменить данному слову и обойти трактат: ведь мы часто видели, как изменяют слову и обходят трактаты. Но это делается в тех случаях, когда можно приобрести значительную выгоду или когда трактат чересчур стеснителен. Предположим, что вы позволите своим дворянам ехать в Англию;

Франция, или ее знамя, что одно и то же, пересечет пролив, завяжет сражение... и будет разбита...

– Почему же?

– Какой же полководец король Карл Второй? Разве вы забыли битву при Уорчестере?

– Но ему придется сражаться уже не с Кромвелем!

– Верно, но придется иметь дело с Монком, который гораздо опаснее.

Добрый торговец пивом был фанатиком; на него находили минуты восторженности, исступления. В такие минуты он лопался, как переполненная бочка; через щели всегда просачивалось несколько капель его мысли, а по образчику можно было узнать всю мысль. Таким-то путем Кромвель раз десять позволил нам заглянуть в свою душу, когда все думали, что она покрыта тройным покровом, как говорит Гораций. Но Монк... Ах, ваше величество, избави вас боже вести политические дела с Монком! От него-то в один год поседели мои волосы! Монк, к несчастью, не фанатик, а политик; он не лопнет, а сожмется. Вот уж десять лет, как взоры его устремлены к одной цели, и до сих пор никто не знает, чего он хочет. Каждое утро, следуя совету короля Людовика Одиннадцатого, он сжигает свой ночной колпак. Зато в тот день, когда его план, медленно и в одиночестве продуманный, созреет, он будет иметь все шансы на успех, как всегда бывает в непредвиденных случаях. Таков Монк, ваше величество, таков этот человек, имени которого вы не знали до той минуты, как его назвал при вас ваш брат Карл Второй. Брат ваш знает, что это за воля, что это за чудо глубокомыслия и упорства, двух качеств, перед которыми ничтожны ум и отвага. Ваше величество, я был отважен в молодости, но умным я был всегда. Могу этим похвастать, потому что меня упрекают за это. С этими двумя качествами я сделал неплохую карьеру: сын простого итальянского рыбака, я стал первым министром короля Франции, и в этом звании, как сами вы изволите признавать, оказал кое-какие услуги престолу вашего величества. И что же? Если б я на своей дороге встретил Монка, а не Бофора, Реца или принца Конда, мы, вероятно, погибли бы. При малейшей неосторожности, государь, вы попадаете в когти этого политика и солдата. Шлем Монка – железный сундук, в который он запирает свои мысли, и ни у кого нет ключа от этого сундука. При нем или, лучше сказать, перед ним я склоняюсь, потому что у меня просто бархатный берет.

– Так чего же хочет Монк, как вы думаете?

– Ах, если б я знал, чего он хочет! Тогда бы я не просил вас остерегаться, потому что был бы сильнее его; но с ним я боюсь гадать... Гадать! Понимаете ли вы смысл этого слова? Если я решу, что разгадал его, то остановлюсь на одной мысли и невольно стану следовать только ей. С тех пор как этот человек правит Англией, я стал похож на грешников Данте, которым сатана свернул шею: они идут вперед, а смотрят назад. Я иду к Мадриду и не теряю из вида Лондона. С этим проклятым человеком гадать – значит ошибаться, а ошибаться – значит проигрывать игру. Боже меня упаси стараться угадать, чего он хочет; я довольствуюсь – и это уже очень много – тем, что слежу за его действиями. И думаю, – вы понимаете смысл этого глагола? – что Монк просто хочет наследовать Кромвелю. Ваш Карл Второй посылал к нему уже человек десять с разными предложениями.

Монк ограничивался тем, что прогонял этих услужливых людей и говорил им вместо ответа: «Ступайте вон, или я прикажу вас повесить». Человек этот – могила. В настоящую минуту Монк – верный слуга парламентского охвостья; но он не обманет меня своей

преданностью. Монк не хочет, чтобы его убили. Если его убьют, дело его останется незавершенным, а он должен довести свое дело до конца. Я думаю, – но не верьте тому, что я думаю: я употребил слово «думаю» так, по привычке, – я думаю, что Монк щадит парламент до той поры, пока не разобьет его. У вас просят солдат, но зачем?

Чтобы сражаться с Монком. Но избави нас боже драться с Монком, потому что Монк разобьет нас, а если он разобьет нас, тогда я не утешусь всю жизнь! Я буду убежден, что Монк предвидел эту победу за десять лет. Умоляю, ваше величество... из дружбы к вам или из уважения к самому себе, пусть Карл Второй оставит нас в покое. Ваше величество можете назначить ему небольшую пенсию, можете предоставить ему один из своих замков...

Ах, позвольте, позвольте! Я вспомнил трактат – этот знаменитый трактат, о котором мы сейчас говорили: ваше величество не имеет права предоставить Карлу Второму один из своих замков.

– Как так?

– Да, да, ваше величество обязались не оказывать гостеприимства Карлу Второму, даже изгнать его из Франции. Потому-то мы и выслали его, а он опять сюда явился! Надеюсь, ваше величество, вы объясните своему брату, что он не может оставаться у нас, что это невозможно, что он нас компрометирует. Или же я сам...

– Довольно, монсеньер! – остановил его Людовик XIV, вставая. – Вы отказали мне в миллионе, вы имели право на это: ваши миллионы принадлежат» вам. Вы отказали мне в отряде дворян, и на это вы имели полное право: вы первый министр и отвечаете перед Францией за мир и войну. Но вы хотите помешать мне дать приют внуку Генриха Четвертого, моему двоюродному брату, товарищу моего детства... Тут прекращается ваша власть – и начинается моя воля.

– Ваше величество, – отвечал Мазарини, радуясь, что отделался так дешево (ибо, в сущности, он боролся так смело только для того, чтобы достигнуть этой цели), – ваше величество, я всегда склоняюсь перед волей моего короля. Ваше величество можете приютить английского короля у себя или в одном из ваших замков. Пусть об этом знает Мазарини, но не знает первый министр.

– Доброй ночи, монсеньер, – сказал король. – Я ухожу в отчаянии.

– Но разубежденный, а больше мне ничего и не требовалось от вашего величества, – улыбнулся Мазарини.

Король, не ответив, вышел в раздумье. Он убедился не в том, что объяснял ему Мазарини, а совсем в другом, о чем кардинал не сказал ни слова, – он убедился в необходимости самому серьезно изучать свои дела и дела Европы, казавшиеся ему такими трудными и запутанными.

Людовик нашел английского короля на том самом месте, где оставил его.

Увидев его, Карл встал; он тотчас же заметил печаль, темными знаками начертанную на челе кузена.

Чтобы избавить Людовика от тяжелого признания, Карл заговорил первый.

– Что бы ни случилось, – заверил он, – я никогда не забуду, как вы были добры со мной, как дружно меня приняли!

– Ах, – отвечал Людовик с грустью. – Моя добрая воля бессильна, брат мой.

Карл II страшно побледнел, провел рукой по лбу в несколько минут не мог овладеть собой после этого последнего удара.

– Понимаю, – произнес он наконец. – Никакой надежды!

Людовик схватил Карла за руку.

– Подождите, брат мой, – попросил Людовик, – подождите, обстоятельства могут перемениться. Отчаянные решения всегда губят дело. Умоляю вас, прибавьте еще один год испытания ко многим годам, которые вы вынесли. Нет таких особых обстоятельств, какие побудили бы вас начать действовать немедленно. Оставайтесь со мною, брат мой: я предоставлю вам один из своих замков, какой вы сами выберете. Мы вместе станем наблюдать за событиями, вместе будем готовить их. Послушайте меня, брат мой, мужайтесь!

Карл II высвободил свою руку из рук короля, отступил и учтиво поклонился.

– От всей души благодарю ваше величество, – сказал он. – Я безуспешно просил помощи у величайшего из королей земных: теперь буду просить чуда у бога.

И он вышел, не желая продолжать разговор, с высоко поднятой головой, но с дрожащими руками, с искаженным от горя лицом и мрачным взглядом, как человек, которому нечего надеяться на людей и который хочет искать помощи в неведомых мирах.

Офицер мушкетеров, увидев его мертвенную бледность, поклонился ему почти до земли.

Потом он взял факел, позвал двух мушкетеров и повел несчастного короля по пустой лестнице, держа в левой руке шляпу, перо которой касалось ступеней.

Дойдя до дверей, офицер спросил короля, куда ему угодно идти, чтобы послать с ним мушкетеров.

– Господин офицер, – отвечал Карл II вполголоса, – вы говорили, что знали отца моего; может быть, вы даже молились за него? Если так, то не забудьте и меня в своих молитвах. А теперь я пойду один. Прошу вас не провожать меня и не посылать конвоя.

Офицер поклонился и отослал мушкетеров во внутренние покои.

Но сам остался еще несколько минут под воротами. Он хотел видеть, как удалился и исчез Карл II во мраке извилистой улицы.

– Ах, – прошептал он, – если б Атос был здесь, то мог бы сказать и ему, как некогда сказал отцу его: «Приветствую павшее величество!»

Потом он пошел по лестнице, приговаривая на каждом шагу:

– О, что за скверная служба!.. Что за жалкий властелин!.. Такая жизнь невыносима! Пора мне решиться на что-нибудь!.. Ни великодушия, ни энергии! Да, учитель достиг цели, ученик убит навсегда! Черт возьми! Я этого не перенесу... Ну, что вы? – спросил он мушкетеров, войдя в переднюю. Чего вы смотрите на меня? Погасите факелы и ступайте на свои места! А, вы ждали меня?.. Да, вы охраняли меня, добрые товарищи!.. Но я не герцог Гиз, и будьте уверены, меня не убьют в узком (коридоре, – прибавил офицер сквозь зубы, – такой поступок показал бы решимость, а у нас нет решимости с тех пор, как умер кардинал Ришелье. Ах, вот был человек!.. Решено, завтра же сбрасываю с плеч этот мундир!

Потом, спохватившись, добавил:

– Нет, еще рано! Остается еще одна – последняя попытка! Решусь на нее; но она, клянусь честью, будет действительно последней, черт возьми!

Он успел он договорить этой фразы, как из комнаты короля раздалось:

– Господин лейтенант! Король желает говорить с вами.

– Хорошо, – сказал лейтенант вполголоса, – может быть, как раз о том, о чем я думаю.

И он вошел к королю.

Глава 12. КОРОЛЬ И ЛЕЙТЕНАНТ

Увидев офицера, король отпустил слугу и приближенного.

– Кто завтра дежурит? – поинтересовался он.

Лейтенант склонил голову с вежливостью исправного солдата и отвечал:

– Я, ваше величество.

– Как! Опять вы!

– Опять я.

– Почему так?

– Во время путешествия вашего величества мушкетеры занимают все посты в доме вашего величества, они есть в ваших покоях, в комнатах вдовствующей королевы и в помещении кардинала, который берет у короля лучшую или, правильнее сказать, большую часть королевских телохранителей.

– А те, которые не заняты?

– Незанятых всего человек двадцать или тридцать из ста двадцати. Когда мы в Лувре,

дело другое; в Лувре я мог бы отдохнуть, полагаясь на сержанта, но в дороге, ваше величество, неизвестно, что может случиться, и я предпочитаю принять всю заботу на себя.

– Так вы каждый день в карауле?

– Да, ваше величество, и каждую ночь.

– Я не могу этого допустить: я хочу, чтобы вы отдохнули.

– Прекрасно, ваше величество, но я этого не хочу.

– Что такое? – спросил король, который в первую минуту не понял смысла его ответа.

– Я говорю, государь, что не желаю быть неисправным солдатом. Если б черт захотел подшутить надо мной, то, наверное, выбрал бы ту минуту, когда меня здесь не будет. А мне всего важнее служба и спокойствие совести.

– Но вы убьете себя службой.

– Ах, ваше величество! Я уже тридцать пять лет на этой службе, и все-таки нет человека во всей Франции и Наварре здоровее меня. Впрочем, прошу ваше величество не беспокоиться обо мне. Это было бы слишком необычным: я не привык к этому.

Король прервал его новым вопросом:

– Так вы будете здесь завтра утром?

– Да, ваше величество, как и сегодня.

Король несколько раз прошелся по комнате; видно было, что ему очень хотелось заговорить, но его что-то удерживало.

Лейтенант стоял неподвижно со шляпой в руках и смотрел, как король ходит взад и вперед. Кусая с досады усы, он думал:

«Черт возьми! В нем нет ни капли решимости... клянусь честью, он не заговорит!»

Король продолжал расхаживать, искоса поглядывая на лейтенанта.

«Он весь в отца, – говорил себе офицер, продолжая свой мысленный монолог, – горд, скуп и нерешителен, все вместе. Хорош король, нечего сказать!»

Вдруг Людовик остановился.

– Лейтенант! – начал он.

– Здесь, ваше величество.

– Зачем сегодня вечером, там, в зале, вы крикнули: «Конвой его величества!»

– Вы сами так приказали, ваше величество.

– Что вы! Я не произнес ни слова.

– Ваше величество, приказания даются знаком, жестом, взглядом так же ясно, так же внятно, как и словом. Слуга, у которого есть только уши, не слуга, а только половина хорошего слуги.

– Ваши глаза чересчур остры.

– Почему, государь?

– Они видят то, чего нет.

– Мои глаза и вправду хороши, хотя давно и много служат своему господину; когда они могут заметить что-нибудь, они никогда не упускают случая. Сегодня же вечером они заметили, что ваше величество даже покраснели от усилия сдержать зевоту; что ваше величество с мольбой посмотрели сперва на кардинала, потом на королевую-мать и, наконец, на дверь, в которую можно было выйти. Мои глаза хорошо все это заметили, как и то, что губы вашего величества шептали: «Кто поможет мне выйти отсюда?»

– Сударь!

– Или, по крайней мере: «Ко мне, мои мушкетеры!» Я не колебался более. Этот взгляд и слова были для меня приказанием, и я сейчас же крикнул: «Конвой его величества!» И я не ошибся: доказательством служит то, что ваше величество не выбрали меня, а вышли из зала, оправдав мои слова.

Король отвернулся с улыбкой. Через минуту он опять взглянул на умное, отважное и решительное лицо офицера, который стоял твердо и смело, как орел перед лицом солнца.

– Хорошо, – сказал король после непродолжительного молчания, во время которого он тщетно старался заставить офицера опустить глаза.

Видя, что король замолчал, лейтенант повернулся на каблуках и сделал несколько шагов к двери, пробормотав:

– Он ничего не скажет, черт возьми!.. Ничего не скажет!

– Благодарю вас, – отпустил его король.

«Недоставало только, – подумал офицер, – чтобы меня выругали за то, что я не так глуп, как другие».

И он направился к двери, энергично звеня шпорами.

Но, дойдя до порога, он почувствовал взгляд короля и обернулся.

– Ваше величество ничего больше не желаете мне сказать? – спросил он трудно передаваемым тоном: в нем не было навязчивости, но в нем звучала такая убедительная откровенность, что король тотчас ответил ему:

– Пойдите...

– Ну! Наконец-то! – прошептал офицер.

– Слушайте. Завтра к четырем часам утра будьте готовы к выезду верхом, а также приготовьте лошадь для меня.

– Из конюшни вашего величества?

– Нет, из мушкетерской.

– Будет исполнено.

– Вы поедете со мною.

– Один?

– Да, один.

– Прикажете прийти за вами или ждать вас?

– Ждите меня у калитки парка.

Лейтенант поклонился, поняв, что король сказал ему все, что хотел.

Действительно, Людовик отпустил его, ласково махнув рукой.

Офицер вышел из королевской спальни и по-прежнему спокойно уселся в свое кресло. Но он не заснул, как следовало бы в такой поздний час, а задумался так крепко, как еще никогда в жизни.

Результат этих размышлений, казалось, был не столь печален, как результат прежнего раздумья.

«Хорошо, он уже начал, – думал офицер, – любовь подталкивает его, и он идет! Король никуда не годится, но, может статься, человек окажется лучше... Впрочем, завтра утром увидим...»

– Ого! – вдруг вскричал он, выпрямившись. – Вот грандиозная мысль, черт возьми! Может быть, наконец, все мое счастье в этой идее!

После этого восклицания офицер встал, и, засунув руки в карманы камзола, принялся быстрыми шагами мерить огромную переднюю, служившую ему штаб-квартирой.

Свеча дрожала от свежего ветерка, который, пробираясь сквозь щели в дверях и в окнах, проникал в комнату. Свет казался красноватым, неровным: он то ярко блистал, то меркнул, и по стене ходила тень офицера, изображавшая его, как на гравюрах Калло, в профиль, со шпагой и в шляпе с пером.

– Черт возьми! – шептал он. – Или я ничего не понимаю, или Мазарини ставит ловушку влюбленному королю. Мазарини сегодня вечером назначил свидание и дал адрес так охотно, как мог сделать только Данжо. Я отлично слышал и понял все. «Завтра утром, – сказал кардинал, – они будут против Блуаского моста». Черт возьми! Это ясно, особенно для любовника! Вот откуда нерешительность и смущение короля, вот откуда приказ: «Господин лейтенант мушкетеров, завтра в четыре часа утра садитесь на лошадь». Это так же точно, как если бы он мне сказал: «Господин лейтенант мушкетеров, завтра будьте у Блуаского моста, слышите?» Значит, здесь кроется государственная тайна, которой обладаю я, человек ничтожный. А почему овладел я этой тайной? Потому, что у меня хорошие глаза, как я сейчас сказал королю. Говорят, он до безумия влюблен в эту итальянскую куклу! Говорят, он на коленях просил у матери позволения жениться на этой девчонке! Говорят даже, что

вдовствующая королева справлялась в Риме, будет ли такой брак без ее дозволения считаться действительным. О, если б мне было двадцать пять лет! Если б рядом со мной были те, кого уже нет здесь! Если б я не так глубоко презирал весь свет, я поссорил бы кардинала Мазарини с вдовствующей королевой, Францию с Испанией и сам выбрал бы королеву... Но, черт возьми!..

Офицер шелкнул пальцами в знак презрения.

– Этот дрянной итальянишка, этот скупец, гнусный скряга, который сейчас отказал в миллионе английскому королю, не даст мне, пожалуй, и тысячи пистолей, если я принесу ему эту новость. Черт возьми!.. Я становлюсь ребенком, глупею... Может ли Мазарини дать что-нибудь кому-нибудь!

И лейтенант громко расхохотался.

– Лягу сейчас, – решил он, – и засну. Мой ум устал от впечатлений сегодняшнего вечера. Завтра он будет яснее.

Дав самому себе такой совет, он завернулся в плащ.

Минут через пять он уже крепко спал, стиснув кулаки, раскрыв рот, из которого вырывались не тайны, а звучный храп, свободно разносившийся под величественными сводами огромной передней.

Глава 13. МАРИЯ МАНЧИНИ

Едва солнце первыми лучами осветило верхушки деревьев в парке и крыши замка, как юный король, страдавший бессонницей от любви и проснувшийся уже два часа назад, сам отворил ставни и бросил пристальный взгляд во двор безмолвного замка.

Он увидел, что настало условленное время: на больших башенных часах стрелка показывала уже четверть пятого.

Не будя камердинера, спавшего глубоким сном в нескольких шагах от пего, он оделся сам. Камердинер в испуге прибежал помогать ему, думая, что оказался неисправным по службе, но Людовик отпустил его, приказав не говорить никому ни слова.

Потом он спустился по маленькой лестнице, вышел через боковую дверь и увидел у стены парка всадника, Державшего под уздцы лошадь.

Всадника этого под широким плащом и надвинутой шляпой нельзя было узнать.

Лошадь была оседлана очень просто, и самый опытный глаз не нашел бы в ней ничего необыкновенного.

Людовик взял в руку повод; офицер держал ему стремя, не сходя с седла, и тихим голосом спросил приказаний его величества.

– Поезжайте за мной!

Офицер пустил свою лошадь рысью за Людовиком XIV. Так они добрались до моста.

Когда они переехали через Луару, король повернулся к своему спутнику:

– Поезжайте вперед, все прямо, пока не заметите кареты. Увидев ее, возвращайтесь известить меня. Я буду ждать вас здесь.

– Не соблаговолит ли ваше величество сообщить мне приметы этого экипажа?

– В нем приедут две дамы. Возможно, что с ними будут горничные.

– Ваше величество, я не хотел бы ошибиться. Нет ли еще каких-нибудь особенностей?

– На карете, вероятно, будет герб кардинала.

– Этого мне достаточно, – сказал офицер, знавший теперь точно, кого он должен искать.

Он поскакал в указанную сторону. Не проехал он и пятисот шагов, как увидел за пригорком четырех, мулов и карету.

За первой каретой следовала другая.

Достаточно было офицеру взглянуть на них, чтобы убедиться, что это те самые экипажи, которые ему поручено было отыскать.

Он тотчас повернул назад и, подъехав к королю, доложил:

– Ваше величество, экипажи близко. В одном две дамы со своими служанками, а в другом лакеи, провизия и поклажа.

– Хорошо, хорошо, – взволнованно отвечал король. – Поезжайте, прошу вас, и скажите этим дамам, что придворный кавалер желает засвидетельствовать им свое почтение.

Офицер поскакал галопом.

– Черт возьми! – ворчал он, погоняя лошадь. – Вот новая должность, и, надеюсь, почетная! Я жаловался на свое ничтожество – и вдруг стал наперсником короля. Я – мушкетер! Можно лопнуть от гордости.

Он подъехал к карете и выполнил поручение, как учтивый и искусный посредник.

Действительно, в карете сидели две дамы: одна – замечательная красавица, хотя и несколько худощавая; другая – менее красивая, но чрезвычайно живая и грациозная. Легкие морщинки на лбу указывали на ее сильную волю. Проницательный взгляд ее живых глаз был красноречивее всех любезных слов, общепринятых в те времена.

Д'Артаньян обратился ко второй, и не ошибся, хотя первая, как мы сказали, была гораздо красивее.

– Сударыня, – поклонился он, – я лейтенант королевских мушкетеров.

Здесь, на дороге, вас ждет один кавалер, желающий засвидетельствовать вам свое почтение.

При этих словах черноглазая дама вскрикнула от радости, выглянула в дверцу кареты и, видя, что король скачет к ним навстречу, протянула к нему руки с возгласом:

– Ах, дорогой государь!

Слезы брызнули из ее глаз.

Кучер остановил лошадей, горничные в смущении встали, а другая дама слегка поклонилась и улыбнулась той насмешливой улыбкой, какую вызывает ревность на уста женщины.

– Мария, милая Мария! – вскричал король, схватив руки дамы с черными глазами.

Он сам отворил тяжелую дверцу кареты и с таким пылом помог даме выйти, что она очутилась в его объятиях, прежде чем ступила на землю.

Лейтенант, стоявший по другую сторону кареты, все видел и слышал, не будучи, однако, никем замечен.

Король взял Марию Манчини под руку и подал кучерам и лакеям знак, чтобы они ехали дальше.

Было около шести часов утра. Дорога была очаровательна. На деревьях со свежее, едва распускавшеюся зеленью, точно алмазные капли, блестела утренняя роса. Ласточки, недавно вернувшиеся с юга, грациозно кружились над водой; ароматный ветерок пролетал по дороге и рябил гладкую поверхность реки. Вся эта красота, благоухание цветов, вздохи земли опьяняли влюбленных. Они шли рядом, тесно прижавшись друг к другу, глядя друг другу в глаза, держась за руки; они двигались медленно, не начиная разговора: слишком много хотелось им сказать.

Офицер заметил, что брошенная королем лошадь не стоит на месте и беспокоит Марию Манчини. Он воспользовался этим предлогом, подошел ближе к влюбленным и взял лошадь под уздцы; став между обеими лошадьми и удерживая их за поводья, он не упустил ни одного слова, ни одного движения влюбленных.

Первой заговорила Мария.

– Ах, ваше величество, – сказала она, – вы не покидаете меня!

– О нет... – отвечал король. – Вы видите, Мария!

– А мне часто говорили, что, если нас разлучат, вы тотчас забудете меня.

– Милая Мария, неужели вы только сегодня заметили, что мы окружены людьми, которым выгодно нас обманывать?

– Но, однако... ваше величество... Это путешествие, этот союз с Испанией!.. Вас женят! Людовик опустил голову.

Офицер увидел, как, словно кинжал, выхваченный из ножен, сверкнули глаза Марии

Манчини.

– И вы ничего не сделали для нашей любви? – спросила она, помолчав минуту.

– Ах, Мария! Как можете вы думать это! Я на коленях молил свою мать.

Я сказал ей, что все мое счастье в вас! Я даже грозил...

– И что же? – живо спросила она.

– Королева написала в Рим, и ей ответили, что брак между нами не будет считаться действительным и папа расторгнет его. Увидев наконец, что нет никакой надежды, я просил, по крайней мере, отсрочить мою свадьбу с инфантой.

– Однако вы уже в дороге и спешите навстречу невесте.

– Что ж делать? На мои просьбы, мольбы, слезы мне отвечали государственными соображениями.

– И что же?

– Что же?... Что делать, когда столько людей соединилось против меня!

Мария, в свою очередь, опустила голову.

– Значит, я должна навсегда проститься с вами! – промолвила она. – Вы знаете, что меня удаляют... отправляют в ссылку. Мало этого, вы знаете, меня хотя! выдать замуж!

Людовик побледнел и приложил руку к сердцу.

– Если бы дело шло только о моей жизни – меня так измучили, что я, вероятно, покорилась бы; но я думала, что дело идет о вашей жизни, и потому сопротивлялась, надеясь сохранить вам себя, ваше достояние...

– Да, мое достояние, мое сокровище! – прошептал король, пожалуй, скорее любезно, чем страстно.

– Кардинал уступил бы, – сказала Мария, – если бы вы обратились к нему и настоятельно потребовали его согласия. Кардинал назвал бы короля своим племянником, понимаете вы? Ради этого он решился бы на все, даже на войну! Уверенный, что он один будет править, воспитав короля и дав ему в жены свою племянницу, кардинал поборол бы всех противников, опрокинул бы все препятствия. Ах, ваше величество, я отвечаю вам за это!

Ведь я женщина и очень проницательна во всем, что касается любви.

Ее слова производили на короля странное воздействие. Они не возбуждали его страсть, а охлаждали ее. Он замедлил шаги и проговорил поспешно:

– Что ж делать? Все против нас!

– Кроме вашей воли, не так ли, ваше величество?

– Ах, боже мой! – вздохнул король, покраснев. – Разве у меня есть воля?

– О! – с горечью прошептала Мария Манчини, оскорбленная его ответом.

– У короля одна воля: та, которую ему диктует политика, та, которую предписывает ему польза государства.

– О, так вы не любите! – вскричала Мария Манчини. – Если бы вы любили меня, у вас была бы воля.

При этих словах Мария подняла глаза на своего возлюбленного и увидела, что он бледен и расстроен, как изгнанник, навсегда расстающийся с родиной.

– Обвиняйте меня, – воскликнул король, – только не говорите, что я не люблю вас.

Они долго молчали после этих слов, которые молодой король произнес с глубоким и искренним чувством.

– Я не могу себе представить, – заговорила Мария, делая последнюю попытку, – что завтра и послезавтра я не увижу вашего величества. Не могу представить, что мне придется вести печальную жизнь вдали от Парижа, что губы старика, чуждого мне, будут прикасаться к той руке, которую теперь держите вы. Нет, нет, не могу думать об этом; сердце мое разрывается от отчаяния...

И действительно, Мария зарыдала.

Растроганный король поднес платок к губам и подавил глухой стон.

– Смотрите, – продолжала она, – кареты остановились, сестра ждет меня. Настала решительная минута. То, что вы скажете теперь, определит всю нашу жизнь... Ах, ваше

величество! Вы хотите, чтобы я потеряла вас! Вы хотите, Луи, чтобы та, которой вы сказали: «Я люблю тебя», принадлежала другому, а не своему королю, не своему владыке, не своему любимому? Ах, Луи, будьте мужественны, одно слово, только одно... Произнесите: «Я хочу!» – и жизнь моя сольется с вашей, сердце мое будет вашим...

Король не отвечал.

Мария взглянула на него, как Дидона на Энея в полях Элизиума, с гневом и презрением.

– Прощайте же, – сказала она. – Прощай, жизнь, прощай, любовь, прощай, небо!

И она сделала шаг в сторону. Король остановил ее, схватил ее руку и прижал к губам. Отчаяние взяло верх над его решимостью: он уронил горячую слезу на прелестную ручку. Мария вздрогнула, как будто эта слеза действительно ее обожгла.

Она увидела влажные глаза короля, его бледное лицо, его сжатые губы и воскликнула с непередаваемым выражением:

– Ах, ваше величество, вы король, вы плачете, а я уезжаю!

Вместо ответа король закрыл лицо платком.

У офицера вырвался такой громкий вздох, что обе лошади испугались.

Разгневанная Мария Манчини отвернулась от короля, бросилась в карету и крикнула кучеру:

– Поезжай! Скорей! Скорей!

Кучер повиновался, ударил по лошадям, и тяжелая карета покачнулась на скрипучих осях. Король Франции остался один, в раздумье, в отчаянии, не смея взглянуть ни вперед, ни назад.

Глава 14.

КОРОЛЬ И ЛЕЙТЕНАНТ ОБНАРУЖИВАЮТ ХОРОШУЮ ПАМЯТЬ

Король, как все влюбленные в мире, долго и пристально смотрел в ту сторону, где исчезла карета, уносившая его возлюбленную; сто раз он оборачивался и наконец, успокоив немного волнение сердца и мыслей, вспомнил, что он не один.

Офицер все еще держал лошадей под уздцы, все еще надеялся, что король изменит свое решение.

«Есть еще возможность, – думал он, – остановить карету: стоит только сесть на коня и догнать ее».

Но лейтенант мушкетеров обладал слишком смелой и богатой фантазией; она далеко оставляла за собою воображение короля, которое никак не могло возвыситься до такого полета.

Он просто подошел к офицеру и печальным голосом произнес:

– Все кончено... Едем!

Офицер, подражая его движениям, его медлительности и грусти, медленно и печально сел на лошадь.

Король поскакал. Офицер последовал за ним.

На мосту Людовик обернулся в последний раз. Офицер, терпеливый, как бог, у которого позади и впереди вечность, все еще надеялся, что к королю вернется энергия. Но тщетно. Людовик выехал на улицу, ведущую к замку, и к семи часам вернулся во дворец.

Когда король вошел в свои комнаты и офицер заметил (он все замечал!), что в окне кардинала приподнялась штора, он глубоко вздохнул, как человек, с которого снимают тяжкие оковы, и сказал вполголоса:

– Ну, брат, теперь уж кончено!

Король позвал приближенного.

– Я никого не принимаю до двух часов, вы слышите?

– Ваше величество, – ответил приближенный, – вас хотел видеть...

– Кто?

– Лейтенант ваших мушкетеров.

– Хорошо! Впустите его!

Офицер вошел.

По знаку, данному королем, приближенный и слуга удалились из комнаты.

Людовик проводил их взглядом: когда они затворили за собою дверь и портьера опустилась за ними, он сказал:

– Вы своим появлением напоминаете мне, что я забыл предписать вам молчание.

– Ах, ваше величество, вы напрасно утруждаете себя таким приказанием.

Видно, что вы не знаете меня!

– Да, господин лейтенант, вы правы. Я знаю, что вы умеете молчать; но я ведь не предупреждал вас.

Офицер поклонился.

– Не будет ли еще каких-нибудь приказаний, ваше величество? – спросил он.

– Нет, можете идти.

– Не разрешите ли мне остаться и сказать несколько слов вашему величеству?

– Что вы желаете сказать? Говорите!

– Я хочу поговорить о деле, весьма ничтожном для вашего величества, но чрезвычайно важном для меня. Простите, что я осмеливаюсь беспокоить вас. Если бы не крайняя необходимость, я никогда не сделал бы этого; я исчез бы, как человек безгласный и маленький, каким был всегда.

– Вы бы исчезли! Что это значит? Я вас не понимаю.

– Словом, – продолжал офицер, – я пришел просить ваше величество уволить меня со службы.

Король взглянул на него с удивлением, но офицер стоял неподвижно, как статуя.

– Уволить вас, господин лейтенант? А позвольте узнать, на сколько времени?

– Навсегда, ваше величество.

– Как! Вы хотите оставить службу? – спросил Людовик голосом, выражавшим не только удивление.

– Да, ваше величество, к величайшему моему сожалению.

– Не может быть!

– Ваше величество, я становлюсь стар. Вот уже почти тридцать пять лет, как я ношу боевые доспехи. Мои бедные плечи устали. Я чувствую, что нужно уступить место молодым. Я не принадлежу к новому поколению. Я стою одной ногой в прошлой эпохе. Поэтому все мне кажется странным, все удивляет, ошеломляет меня. Словом, я прошу у вашего величества отставки.

– Господин лейтенант, – сказал король, взглянув на офицера, который носил мундир с ловкостью юноши, – вы здоровее и крепче меня.

– О, – отвечал офицер, улыбаясь с притворной скромностью. – Ваше величество говорите мне это потому, что глаз у меня верен и я твердо стою на ногах; потому, что я недурно сижу на лошади и усы у меня черные. Но, ваше величество, все это – суeta суeta; все это – мечта, видимость, дым!

Я кажусь еще молодым, но в сущности я стар и через полгода, уверен, буду разбит подагрой, болен... Поэтому, ваше величество, позвольте...

– Господин лейтенант, – перебил его король, – вспомните, что вы говорили вчера. На этом самом месте вы уверяли меня, что вы самый здоровый человек во всей Франции, что вы не знаете усталости, что вам ничего не стоит проводить на своем посту дни и ночи. Говорили вы мне все это? Да или нет? Вспомните хорошенько.

Офицер вздохнул.

– Ваше величество, – сказал он, – старость любит хвастать. Надо прощать старикам, когда они сами себя хвалят, потому что никто другой не похвалит их. Быть может, я и говорил все это вчера; но дело в том, ваше величество, что я чрезвычайно утомлен и прошу отставки.

– Господин лейтенант, – произнес король с жестом, полным величавого благородства, – вы не говорите мне настоящей причины. Вы не хотите больше служить мне, но вы скрываете

свои побуждения.

– Верьте мне, государь...

– Я верю тому, что вижу. Вижу человека энергичного, крепкого, чрезвычайно находчивого, лучшего солдата Франции; все это никак не может убедить меня, что вы нуждаетесь в отдыхе.

– Ах, ваше величество, сколько похвал! – возразил лейтенант с горечью. – Ваше величество, вы смущаете меня! Человек энергичный, крепкий, умный, храбрый, лучший солдат французской армии! Вы до такой степени преувеличиваете, что я, как бы себя ни ценил, не узнаю самого себя. Если бы я был настолько тщеславен, что поверил бы только половине ваших слов, то счел бы себя человеком драгоценным, необходимым; я сказал бы, что слуга, соединяющий столько блестящих качеств, неоценимое сокровище. Должен признаться вашему величеству, что меня всю жизнь, за исключением нынешнего дня, ценили гораздо ниже того, чего я, по моему мнению, стою.

Повторяю, вы преувеличиваете мои заслуги.

Король нахмурил брови, потому что почувствовал в словах офицера горькую насмешку.

– Господин лейтенант, – начал он, – будем говорить откровенно. Вам не нравится служить мне? Говорите! Отвечайте без околичностей, смело, прямо... Я так хочу.

При этих словах офицер, давно уже в смущении вертевший шляпу в руках, поднял голову.

– О, теперь, ваше величество, я могу говорить свободнее, – сказал он.

– На такой откровенный вопрос я отвечу столь же откровенно. Говорить правду – дело хорошее: правда облегчает душу, и, кроме того, она вещь чрезвычайно редкая. Поэтому я скажу правду королю, прося его извинить чистосердечие старого солдата.

Людювик взглянул на офицера с беспокойством, проявившимся в его тревожном жесте.

– Так говорите же, – приказал он, – я нетерпеливо жду вашей правды.

Офицер бросил шляпу на стол, и лицо его, всегда умное и мужественное, приняло вдруг выражение достоинства и торжественности.

– Ваше величество, я ухожу с королевской службы потому, что недоволен. В наше время слуга может почтительно подойти к своему господину, как я теперь делаю, рассказать ему, как работал, возратить ему орудия ремесла, отдать отчет во вверенных ему деньгах и сказать: «Сударь, рабочий день кончен, прошу вас уплатить мне, и мы расстанемся».

– Что это значит, сударь? – вскричал король, покраснев от гнева.

– Ах, ваше величество, – молвил офицер, преклоняя колено, – никогда слуга не уважал своего господина так, как я вас, но вы хотели, чтобы я говорил правду, и теперь, когда я начал, я выскажу ее, даже если бы вы приказывали мне замолчать.

Лицо офицера выражало такую решимость, что Людовику XIV не нужно было приказывать ему продолжать. Офицер говорил, а король смотрел на него с любопытством, смешанным с восхищением.

– Ваше величество, скоро будет тридцать пять лет, как я служу французскому королевскому дому; нет человека, который бы износил на этой службе столько шпаг, сколько я, а шпаги, о которых я говорю, были крепкие. Я был еще юношей, не имевшим ничего, кроме храбрости, когда покойный король, отец ваш, угадал во мне человека. Я был уже взрослым, когда кардинал Ришелье, знаток людей, угадал во мне врага. Ваше величество, историю этой борьбы муравья со львом вы можете прочесть от первой до последней строки в секретном архиве вашего семейства. Если вашему величеству придет охота, прочтите ее; уверяю вас, она стоит внимания. Там вы узнаете, что наконец лев, истомленный, усталый, затравленный, попросил пощады и, надо отдать ему справедливость, сам пощадил противника. Ах, ваше величество! То была великая эпоха, исполненная битв, точно эпопеи Тасса или Ариоста! Чудеса того времени, которым отказывается верить наш век, казались нам делами самыми обыкновенными. В продолжение пяти лет я каждый день был героем, если верить словам некоторых достойных людей, а поверьте мне, ваше величество, быть героем в продолжение пяти лет – это очень много! Однако я верю словам этих людей, потому что они были

превосходными ценителями. Их имена: Ришелье, Бекингэм, Бофор, Рец – этот великий гений уличной войны! То же говорил мне король Людовик Тринадцатый, и даже королева, ваша августейшая мать, удостоила меня однажды словом: благодарю. Не помню уже, какую услугу я имел счастье оказать ей.

Простите, государь, что я говорю так смело, но все, что я рассказываю, принадлежит истории, как я уже имел честь вам доложить.

Король, кусая губы, бросился в кресло.

– Я надоедаю вашему величеству, – сказал лейтенант. – Ах, вот что значит правда! Она жестокая подруга – вся в железных остриях, ранит того, кого коснется, а иногда и того, кто говорит ее.

– Нет, – отвечал король. – Я сам позволил вам говорить. Продолжайте!

– После службы королю и кардиналу настала пора служить регентству. Во время Фронды я дрался тоже хорошо, однако похуже прежнего. Люди начали мельчать. Но и тут я возглавлял ваших королевских мушкетеров в опасных стычках, которые отмечены в приказах по роте. Тогда участь моя была завидною! Я считался фаворитом кардинала Мазарини: «Лейтенант, сюда! Лейтенант, туда! Лейтенант, направо! Лейтенант, налево!» Во всей Франции не наносилось удара, в котором ваш покорный слуга не принял участия. Но скоро кардиналу стало мало одной Франции: он послал меня в Англию, для пользы господина Кромвеля. Это тоже был человек далеко не нежный, смею уверить ваше величество! Я имел честь знать его и мог оценить его по достоинству. Мне посулили золотые горы за исполнение поручения. За то, что я выполнил в Англии совсем противоположное тому, ради чего меня послали, меня щедро наградили, сделали капитаном мушкетеров, то есть дали звание, которому все при дворе завидуют, которое дает право идти впереди маршалов Франции!.. И это справедливо, потому что капитан мушкетеров цвет воинов, король всех храбрецов!

– Вас сделали капитаном? – переспросил король. – Вы, верно, ошиблись?

Вы хотите сказать – лейтенантом?

– Нет, ваше величество, я никогда не ошибаюсь.

Ваше величество может поверить: кардинал Мазарини дал мне патент.

– И что же?

– Но Мазарини – ваше величество знает это гораздо лучше всякого другого – дает не часто, а иногда отнимает то, что уже дал. Он отнял у меня патент после заключения мира, когда я стал ему не нужен. Разумеется, я не считал себя достойным преемником знаменитого господина де Тревиля, однако мне обещали это место, дали патент, и этим должно было все закончиться.

– А, вот вы чем недовольны, господин лейтенант!

Хорошо, я наведу справки. Я люблю справедливость, и ваше требование мне нравится, хотя вы предъявили его несколько бесцеремонно.

– Ах, – отвечал офицер, – ваше величество, вы меня неверно поняли.

Теперь я уже ничего не требую.

– Вы слишком деликатны, господин лейтенант. Но я займусь вашими делами попозже...

– Вот оно, это слово, ваше величество! Попозже!

Тридцать лет живу я этим словом, полным обещаний.

Мне говорили его самые великие люди. Теперь и ваше величество произносит его. Попозже! Благодаря ему я получил двадцать ран и дожил до пятидесяти четырех лет, не имея луидора в кармане и не встретив на жизненном пути ни одного покровителя, хотя сам покровительствовал очень многим! Но я меняю формулу, и когда мне говорят: «Попозже!», я отвечаю:

«Теперь же!» Я прошу сейчас только отдыха, ваше величество. Мне можно дать его, потому что это никому ничего не будет стоить.

– Я не ожидал таких речей, господин лейтенант, особенно от человека, который всегда жил подле высоких особ. Вы забываете, что говорите с королем, с дворянином, дворянство которого не хуже вашего, полагаю я. Когда я говорю «Попозже!», то можно поверить моему

слову.

– Я в этом не сомневаюсь, ваше величество. Но извольте выслушать конец страшной правды, которую я должен высказать вам. Если бы я видел здесь на столе маршальский жезл, шпагу коннетабля, даже польскую корону, то, клянусь вам, я сказал бы то же: не впоследствии, а теперь же. Простите меня, ваше величество, я из той самой провинции, где родился ваш предок Генрих Четвертый: я говорю не часто, но если уж начал, так говорю до конца.

– Мое царствование, кажется, не соблазняет вас? – сказал Людовик высокомерно.

– Забвение везде забвение! – воскликнул офицер с достоинством. – Господин забыл слугу, и слуга Принужден забыть своего господина. Я живу в несчастное время, ваше величество! Я вижу, что юноши полны уныния и боязни; они робки и обобранны, когда им следовало бы быть богатыми и могущественными. Например, вчера я отворил дверь короля Франции английскому королю. Я, ничтожный, спас бы его отца, если б сам бог не восстал против меня, бог, покровительствовавший Кромвелю! Отворяю эту дверь, то есть дворец одного брата, другому брату, и что я вижу, ваше величество?.. Ах!

Это разорвало мое сердце!.. Вижу: королевский министр прогоняет изгнанника и унижает своего короля, осуждая на нищету такого же короля. Вижу, что мой государь, молодой, прекрасный, храбрый, у которого в сердце кипит отвага, а в глазах блестят молнии, вижу, что государь дрожит перед попом, смеющимся над ним за занавесками своей кровати, сидя в которой он пересчитывает все французское золото и прячет его в потайные сундуки. О, я понимаю взгляд вашего величества. Я сейчас дерзок до безумия, но что прикажете делать? Я старик и говорю вам, моему королю, такие вещи, за которые я отрезал бы язык любому другому, кто осмелился бы сказать их.

Наконец, ваше величество сами приказали мне высказать все, что у меня на душе, и вот я изливаю желчь, накопившуюся во мне за тридцать лет; точно так же пролил бы я всю кровь свою, если бы мне было это приказано.

Король, не говоря ни слова, отирал крупные капли пота, струившиеся по его лицу.

Минута молчания, последовавшая за этой дерзновенной выходкой, заключала в себе целый век мучений и для того, кто говорил, и для того, кто слушал.

– Сударь, – сказал наконец король, – вы произнесли слово «забвение», и я ничего не слышал, кроме этого слова. На это слово я вам и отвечу.

Иные, быть может, очень забывчивы; но я – другое дело, я ничего не забываю... И вот вам доказательство: в один ужасный день, когда кипело возмущение и парижский народ, грозный и бушующий, как море, бросился в Пале-Рояль; в тот день, когда я притворился спящим в постели, – один человек с обнаженной шпагой, спрятавшись за моей кроватью, охранял мою жизнь, готовый отдать за меня собственную жизнь. Он рисковал ею уже раз двадцать для других членов моего семейства. Этого дворянина, у которого я тогда спросил его имя, звали д'Артаньяном. Не так ли, господин лейтенант?

– У вашего величества прекрасная память, – холодно отвечал офицер.

– Видите, господин лейтенант, – сказал король, – если я храню такие воспоминания с детства, то, верно, ничего не забуду в зрелые лета.

– Ваше величество щедро одарены природой, – отвечал офицер тем же тоном.

– Послушайте, господин д'Артаньян, – продолжал Людовик с лихорадочным волнением, – неужели вы не можете потерпеть, как я терплю? Разве вы не можете делать то, что я делаю?

– А что вы делаете, государь?

– Жду.

– Ваше величество, вы можете ждать, потому что вы молоды; но у меня, ваше величество, нет времени ждать! Старость стучится ко мне в дверь, а за нею – смерть, она уже заглядывает в мой дом. Ваше величество, вы только начинаете жить. Вы полны надежд, вы можете довольствоваться будущими благами, но я, ваше величество, я на другом конце горизонта, и мы так далеки один от другого, что я никак не успею дожидаться, пока ваше

величество подойдет ко мне.

Людовик прошелся по комнате, отирая холодный пот, который очень напугал бы докторов, если бы они увидели короля в таком состоянии.

– Хорошо, господин лейтенант, – сказал Людовик XIV отрывисто. – Вы хотите выйти в отставку? Вы будете уволены. Вы подаете мне прошение об увольнении вас от звания лейтенанта королевских мушкетеров?

– Почтительно повергаю его к стопам вашего величества!

– Довольно. Я прикажу назначить вам пенсию.

– Я буду вам очень обязан, ваше величество.

– Господин лейтенант, – начал опять король с заметным усилием, – мне кажется, что вы лишаетесь хорошего хозяина.

– Я в этом совершенно уверен.

– Найдете ли вы когда-нибудь такого же?

– О! Я знаю, государь, что вы единственный в мире. С этой минуты я уж не поступлю на службу ни к кому из королей земных и буду сам себе господином.

– Это правда?

– Клянусь вашему величеству.

– Я не забуду вашей клятвы.

Д'Артаньян поклонился.

– Вы знаете, господин лейтенант, что у меня хорошая память, – прибавил король.

– Знаю, ваше величество, но я желал бы, чтобы память изменила вам и вы забыли бы обиды, о которых я вынужден был рассказать вам. Ваше величество, вы стоите так высоко над нами, жалкими и ничтожными, что, надеюсь, забудете...

– Я буду подобен солнцу, господин лейтенант, которое видит всех – великих и малых, богатых и бедных, дает одним блеск, другим теплоту, а всем – жизнь. Прощайте, господин Д'Артаньян... Прощайте, вы свободны!

И король, едва сдерживая рыдания, поспешно удалился в соседнюю комнату.

Д'Артаньян взял со стола шляпу и вышел.

Глава 15. ИЗГНАННИК

Не успел Д'Артаньян сойти с лестницы, как король позвал своего приближенного.

– Я дам вам поручение, – сказал король.

– Я к услугам вашего величества.

– Тогда подождите.

Молодой король сел писать письмо. Из груди его вырвалось несколько вздохов, но в глазах сверкало торжество.

«Господин кардинал!

Следуя вашим добрым советам и особенно покоряясь вашей твердости, я победил и одолел слабость, недостойную короля. Вы так хорошо устроили мою будущность, что благодарность остановила меня в ту минуту, когда я хотел разрушить ваш труд. Я понял, что был неправ, пожелав идти не тем путем, который вы указали мне. Какое несчастье было бы для всей Франции и для моего семейства, если бы раздор вспыхнул между мной и моим министром.

Однако это, конечно, случилось бы, если бы я взял в жены вашу племянницу. Я прекрасно это понял и с настоящей минуты не буду противиться своему жребию. Я готов вступить в брак с инфантой Марией-Терезией. Вы можете немедленно начать переговоры.

Любящий вас

Людовик».

Король прочитал письмо, потом собственноручно запечатал его.

– Отдайте это письмо кардиналу, – приказал он.

Приближенный вышел.

У дверей Мазарини он встретил Бернуина, который ждал его с волнением.

– Что? – спросил он.

– Письмо от короля к господину кардиналу, – отвечал приближенный.

– Письмо! Мы ждали его после сегодняшней утренней прогулки его величества.

– А, вы знаете, что король...

– В качестве первого министра мы обязаны все знать. В этом письме его величество, вероятно, просит, умоляет?

– Не знаю, но король не раз вздохнул в то время, как писал.

– Да, да, мы знаем, что это значит. Вздыхать можно от счастья так же, как от горя.

– Однако король по возвращении не был похож на счастливого человека.

– Вы, верно, не рассмотрели? И вы видели его величество, только когда он возвратился: во время прогулки с ним находился только лейтенант мушкетеров. Но я смотрел в зрительную трубу кардинала, когда глаза его преосвященства уставали. Уверяю вас, оба плакали: и король и дама.

– И что же, плакали они тоже от счастья?

– Нет, от любви: они давали друг другу клятвы самой нежной любви, которые король готов сдерживать очень охотно. И это письмо – начало исполнения клятв.

– А что думает господин кардинал об этой страсти, которая, впрочем, ни для кого не тайна?

Бернуин взял под руку королевского посланца и, подымаясь с ним по лестнице, сказал вполголоса:

– Если говорить откровенно, кардинал надеется на полный успех этого дела. Знаю, что нам придется воевать с Испанией, но что за беда? Война отвечает желаниям дворянства. Кардинал даст своей племяннице королевское приданое, быть может, даже лучше королевского. Будут деньги, празднества и битвы. Все будут довольны.

– А мне кажется, – возразил приближенный, покачивая головою, – что такое маленькое письмецо не может заключать в себе столько важных вещей.

– Друг мой, – ответил Бернуин, – я уверен в том, что говорю. Господин д'Артаньян рассказал мне все.

– Что же именно?

– Я обратился к нему от имени кардинала и спросил, что там произошло.

Разумеется, я не открыл ему наших тайных замыслов, он ведь ловкий пройдоха. «Любезный господин Бернуин, – отвечал он мне, – король до безумия влюблен в Марию Манчини. Вот все, что я могу вам сказать». – О, неужели вы думаете, – сказал я, – что ради этой любви он способен нарушить волю кардинала?» – «Ах, не спрашивайте меня! Я думаю, что король готов на все! Он чрезвычайно упрям, и когда чего-нибудь хочет, так непременно настаивает на своем. Если он задумал жениться на Марии Манчини, так непременно женится». С этими словами лейтенант простился со мной и пошел к конюшне; там он оседлал лошадь, вскочил на нее и пустился как стрела, словно за ним гнался сам дьявол.

– Значит, вы думаете...

– Что лейтенант знает гораздо больше того, что сказал мне...

– И, по-вашему мнению, господин д'Артаньян...

– Вероятно, скачет теперь за изгнанными красавицами и подготавливает все необходимое для успеха королевской любви.

Беседуя таким образом, оба наперсника подошли к кабинету кардинала.

Мазарини уже не мучила подагра; он в волнении ходил по комнате, прислушиваясь у дверей и заглядывая в окна.

Бернуин ввел к нему посланного, которому приказано было вручить письмо лично кардиналу. Мазарини взял письмо, но, прежде чем распечатать его, изобразил на своем лице

ничего не выражающую улыбку, за которой так удобно скрывать любые переживания. Поэтому на его лице никак не отразились те чувства, которые возбудило в нем письмо.

– Хорошо! – произнес он, перечитав письмо два раза... – Превосходно!

Скажите его величеству, что я благодарю его за послушание королеве-матери и исполню его волю.

Посланный вышел.

Едва дверь закрылась, как кардинал, не имевший нужды притворяться при Бернуине, сбросил маску и мрачно крикнул:

– Позвать Бриенна!

Секретарь тотчас явился.

– Я оказал сейчас, – сообщил ему Мазарини, – такую важную услугу государству, какой никогда еще не оказывал. Вот письмо, свидетельствующее о ней; вы отнесете его королеве и, когда она прочтет, положите его в папку под литерою Б, где лежат документы и бумаги, касающиеся моей службы Франции.

Бриенн вышел. Он не мог удержаться, чтобы не прочитать по дороге это интересное письмо, так как оно не было запечатано. Разумеется, и Бернуин, живший в ладу со всеми, подошел к секретарю поближе, так что мог через его плечо прочесть письмо. Новость быстро разнеслась по дворцу, и Мазарини даже боялся, что она дойдет до королевы прежде, чем Бриенн успеет показать ей письмо сына.

Вскоре был отдан приказ об отъезде, и принц Конде, явившись к моменту пробуждения короля, пометил в своей записной книжке Пуатье как следующий пункт, где их величества решили остановиться и отдохнуть.

Так в несколько минут закончилась интрига, сильно занимавшая всех дипломатов Европы. Самый очевидный ее результат состоял в том, что лейтенант мушкетеров лишился места и жалованья. Правда, взамен того и другого он получил независимость.

Скоро мы узнаем, как д'Артаньян воспользовался ею. Теперь же, с позволения читателя, вернемся в «Гостиницу Медичи», где открылось окно как раз в ту же минуту, когда во дворце отдавали приказание об отъезде короля.

Окно отворилось в комнате Карла II. Несчастный король провел всю ночь в раздумье. Он сидел, опустив голову на руки и облокотившись на стол.

Больной и дряхлый Парри заснул в углу комнаты, утомленный духом и телом.

Странной была участь этого верного слуги: он видел, что и для второго поколения его королев начинается ряд страшных бедствий, терзавших первое. Когда король поразмыслил над своей неудачей, когда понял, в каком ужасном одиночестве он очутился, простившись с последней надеждой, у него закружилась голова, и он откинулся на спинку кресла, в котором сидел.

Тут судьба сжалилась над несчастным и послала ему сон. Он проснулся только в половине седьмого, когда солнце уже осветило комнату. Парри, не двигавшийся с места, чтобы не разбудить короля, с невыразимой грустью смотрел на глаза молодого монарха, покрасневшие от бессонницы, на его щеки, побледневшие от страданий и лишений.

Стук тяжелых телег, спускавшихся к Луаре, разбудил Карла. Он встал, осмотрелся, как человек, который все забыл, увидел Парри, пожал ему руку и приказал рассчитаться с Крополем.

Крополь, взявши с Парри по счетам, поступил вполне честно, повторив только свое замечание, что оба путешественника ничего не ели, в чем он видел двойное неудобство: обиду для своей кухни и необходимость брать за обеды, которые не были съедены, но все же были приготовлены.

Парри заплатил, не возражая.

– Надеюсь, – сказал король, – что лошади наши питались не так, как мы. По вашему счету я не вижу, чтобы они кормились, а нам, путешественникам, отправляющимся очень далеко, плохо иметь голодных лошадей.

При подобном подозрении Крополь принял величественный вид и ответил, что

«Гостиница Медичи» оказывает одинаковое гостеприимство людям и лошадям.

Король и старый слуга сели на коней и, выехали на Парижскую дорогу, не встретив на пути ни одного человека ни на улицах, ни в предместьях города.

Для Карла II последний удар был тем сильнее, что он означал новое изгнание.

Несчастные хватаются за малейшую надежду, как счастливые – за величайшее благополучие, и если приходится покинуть место, где эта надежда ласкала их сердце, они испытывают ту смертельную тоску, какую чувствует изгнанник, едва лишь вступит на корабль, что должен увезти его в изгнание. Вероятно, сердце, раненное уже множество раз, сильнее ощущает малейший укол, ибо оно считает благом хоть минутное отсутствие зла, которое есть всего лишь отсутствие страдания. Ибо в конечном счете посреди самых ужасных невзгод бог бросил нам надежду, как ту каплю воды, что бессердечный богач в аду просил у Лазаря.

На мгновение надежда блеснула перед Карлом, когда Людовик ласково принял его. Она как будто начала осуществляться, как вдруг отказ Мазарини превратил этот мираж в несбыточную мечту. Обещание Людовика XIV, тотчас же взятое назад, показалось Карлу II насмешкой, так же как его корона, скипетр, друзья, как все, что окружало его в детстве и покинуло в изгнании. Все показалось Карлу II насмешкой, все, кроме холодного и мрачного покоя, который сулила ему смерть.

Вот о чем думал несчастный король, когда, опустив голову и бросив поводья, он ехал под теплыми и ласковыми лучами майского солнца

Глава 16. REMEMBER!

Всадник, спешивший по дороге в Блуа, встретился с двумя путешественниками и, – как он ни торопился, – минуя их, приподнял шляпу. Король едва заметил этого молодого человека, на вид лет двадцати пяти, поминутно оглядывавшегося и ласково кивавшего головой старику, который стоял у решетки перед красивым домом с аспидвой крышей, сложенным из белых камней и красных кирпичей.

Этот седой старик, худой и высокий, отвечал молодому человеку с отеческой нежностью. Всадник исчез за первым поворотом дороги, обсаженной красивыми деревьями, и старик собирался уже войти в дом, когда ваши путешественники, подъехав к решетке, привлекла его внимание.

Король, как мы уже сказали, ехал опустив поводья и отдавшись воле своего коня. Парри следовал за ним. Желая насладиться теплыми лучами солнца, он снял шляпу и стал смотреть по сторонам дороги. Взгляд его встретился со взглядом старика, прислонившегося к решетке; тот вдруг вскрикнул, точно пораженный чем-то, и шагнул навстречу путешественникам.

Посмотрев на Парри, он тотчас перевел взгляд на короля и несколько секунд не сводил с него глаз. В ту же минуту лицо старика изменилось.

Едва он узнал Карла II (мы говорим – узнал, потому что только полная уверенность могла произвести такое впечатление), как с благоговейным изумлением всплеснул руками, снял шляпу и поклонился так низко, точно хотел стать на колени.

Как ни был король рассеян, или, вернее, поглощен своими мыслями, он все же заметил это движение старика. Остановив лошадь, он повернулся к Парри и сказал:

– Боже мой, Парри! Что это за человек, который кланяется мне так низко? Неужели он знает меня?

Парри побледнел и в сильном волнении повернул свою лошадь к решетке.

– Ах, ваше величество, – сказал он, останавливаясь шагах в пяти от старика, все еще стоявшего преклонив колени. – Я сам крайне поражен. Мне кажется, я узнал его. Да, конечно, это он! Позвольте мне поговорить с ним.

– Пожалуйста.

– Как! Это вы, господин Гримо? – молвил Парри.

– Да, я, – отвечал высокий старик, выпрямившись, но сохраняя прежнюю почтительную позу.

– Ваше величество, – сказал Парри королю, – я не ошибся: это слуга графа де Ла Фер, а граф де Ла Фер – тот достойный вельможа, о котором я говорил вашему величеству так часто, что воспоминание о нем должно было остаться не только в вашей памяти, но и в вашем сердце.

– Он присутствовал при последних минутах моего отца? – спросил Карл, вздрогнув при этом воспоминании.

– Именно так, ваше величество.

– Ах! – прошептал Карл.

Потом он обратился к Гримо, который следил за ним живыми и умными глазами, стараясь угадать его мысли, и спросил:

– Друг мой, ваш господин, граф де Ла Фер, живет здесь?

– Да, – ответил Гримо, указывая рукой на здание.

– И он сейчас дома?

– Там, под каштанами.

– Парри, – сказал король, – я не хочу упустить такой драгоценной возможности отблагодарить вельможу, которому наше семейство обязано столь великолепным доказательством преданности и великодушия. Подержите мою лошадь, друг мой.

И, бросив поводья Гримо, король один направился к Атосу, как к равному. Карл запомнил лаконическое объяснение Гримо: «Там, под каштанами».

Поэтому он прошел мимо дома и направился прямо к указанной аллее. Ее не трудно было найти: верхушки каштанов, уже покрытых листьями и цветами, возвышались над всеми остальными деревьями.

Войдя под своды аллеи, освещенной полосами света там, где солнце пробивалось сквозь густую листву каштанов, король увидел Атоса. Тот прогуливался, заложив руки за спину, в спокойной задумчивости. Карлу, вероятно, часто описывали внешность Атоса, поэтому он тотчас узнал его и пошел прямо к нему.

Услышав шум шагов, граф де Ла Фер поднял голову и, видя, что к нему подходит человек изящной и благородной наружности, снял шляпу. В нескольких шагах от него Карл тоже снял шляпу, потом, как бы отвечая на немой вопрос графа, сказал:

– Граф, я явился исполнить свой долг. Уже давно я хотел высказать вам свою глубокую благодарность. Я – Карл Второй, сын того Карла Стюарта, который правил Англией и погиб на эшафоте.

При этом имени Атос содрогнулся; он взглянул на молодого короля, стоявшего перед ним с непокрытой головой, и в его чистых голубых глазах заблестели слезы.

Он почтительно поклонился, но король взял его за руку.

– Понимаете ли вы, граф, как я несчастлив! Нужно было, чтобы случай привел меня к вам. Ах! Почему нет при мне людей, которых я люблю и уважаю? Почему принужден я только хранить их имена в памяти, а заслуги в сердце? Если б ваш слуга не узнал моего, я проехал бы мимо ваших ворот.

– Правда, – сказал Атос, отвечая словами на первую фразу короля и поклоном на вторую, – правда, ваше величество видали дурные дни.

– А самые дурные, может быть, еще впереди!

– Не теряйте надежды, ваше величество!

– Граф, граф! – отвечал Карл, покачав головою. – Я надеялся до вчерашнего вечера, как добрый христианин, клянусь вам.

Атос вопросительно посмотрел на короля.

– О, это легко рассказать, – продолжал Карл II. – В изгнании, ограбленный, брошенный, я решился на последнюю попытку. Кажется, в Книге судеб написано, что вечным источником всякого горя и всякой радости для нашего семейства будет Франция! Вы сами это знаете, граф, ведь вы были одним из тех французов, которых мой несчастный отец в сражениях видел по правую руку от себя, а в день смерти – у эшафота.

– Ваше величество, – скромно ответил Атос, – я был не один; товарищи мои и я в этом случае поступили как дворяне, не более. Но ваше величество оказали мне честь, начав свой рассказ.

– Да, правда. Мне покровительствует... – вы понимаете, граф, как тяжело Стюарту выговорить это слово, – мне покровительствует двоюродный брат мой, штатгальтер Голландии, но без участия или, по крайней мере, без согласия Франции он ничего не хочет предпринять. Я приехал просить этого согласия у короля Франции; он отказал мне...

– Король отказал вашему величеству?

– Нет, надо отдать ему справедливость, это сделал не он, а Мазарини.

Атос закусил губу.

– Вы полагаете, что я должен был ожидать отказа? – спросил король, заметив движение Атоса.

– Именно так я и думал, ваше величество, – отвечал Атос почтительно.

– Я давно знаю этого пронырливого итальянца.

– Я хотел довести дело до конца и немедленно узнать, как решится моя участь. Я сказал, брату моему Людовику, что я не хочу причинять Франции и Голландии затруднений и попытаю счастья, как уже делал прежде, с двумя сотнями дворян, если он захочет дать их мне, или с миллионом, если ему угодно будет одолжить мне его.

– И что же?

– Что?.. Я испытываю сейчас странное чувство: я упиваюсь отчаянием.

Некоторые души – моя, по-видимому, принадлежит к их числу – находят наслаждение в уверенности, что все потеряно и наконец настал час, когда надо погибнуть.

– О, надеюсь, ваше величество, – сказал Атос, – что вы еще не дошли до такой крайности!

– Если вы говорите мне это, граф, если вы стараетесь оживить надежду в моем сердце, значит, вы неправильно поняли меня. Я приезжал в Блуа, граф, просить как милостыню миллион у Людовика, надеясь при его помощи поправить свои дела. Но брат мой Людовик отказал мне... Вы видите, что все погибло.

– Позвольте, ваше величество, не согласиться с вами.

– Как, граф, вы не предполагаете во мне достаточно мужества, чтобы оценить свое положение?

– Ваше величество, я всегда замечал, что резкие повороты судьбы случаются именно в отчаянных положениях.

– Благодарю вас, граф. Отрадно встретить человека с таким сердцем, как ваше, человека, чья вера в бога и монархию никогда не позволит ему разувериться в судьбе короля, каким бы испытаниям она его не подвергала.

К несчастью, ваши слова, граф, похожи на лекарства, которые излечивают раны, но бессильны против смерти. Благодарю вас, граф, за желание утешить меня; благодарю за вашу добрую память, но я знаю, что мне нужно делать... Теперь меня ничто не спасет. И я так уверен в этом, что еду в изгнание с моим старым Парри; еду упиваться своими бедствиями в пустынном убежище, которое предлагает мне Голландия. Там, поверьте мне, граф, скоро все кончится. Смерть не замедлит явиться. Ее так часто призывало это тело, терзаемое душевными муками, и эта душа, взывающая к небесам.

– У вашего величества есть мать, сестра, братья, вы глава семейства, вы должны просить у бога долгих лет жизни, а не скорой смерти. Вы в изгнании, в несчастье, но за вами ваше право. Вы должны искать битв, опасностей, подвигов, а не покоя смерти.

– Граф, – ответил Карл, улыбаясь с невыразимой грустью, – слышали ли вы когда-нибудь, чтобы король завоевал государство с одним слугою, таким старым, как Парри, и с тремясками эку, которые везет этот слуга в своем кошельке?

– Нет, этого я не слышал, но я знаю, что не один развенчанный король вступал на престол с помощью твердой воли, постоянства друзей и миллиона франков, умело израсходованного.

– Вы, очевидно, не поняли меня? Этот миллион я просил у брата моего Людовика... и

мне было отказано.

– Ваше величество, – произнес Атос, – не угодно ли вам уделить мне несколько минут и внимательно выслушать то, что мне остается сказать вам?

Карл пристально посмотрел на Атоса.

– Извольте, говорите.

– Соболаговолите пройти ко мне, ваше величество, – сказал граф, направляясь к дому.

Он привел короля в свой кабинет и предложил ему сесть.

– Ваше величество, – начал он, – говорили мне, что при нынешнем положении вещей в Англии с помощью миллиона франков вы сможете возратить себе престол?

– Могу, по крайней мере, решиться на попытку и, если она не удастся, умереть как подобает королю.

– Так исполните ваше обещание и выслушайте меня терпеливо.

Карл кивнул в знак согласия. Атос подошел к двери, посмотрел, не подслушивает ли кто-нибудь, запер задвижку и сел на прежнее место.

– Ваше величество, – сказал он, – изволили вспомнить, что я находился при благородном и несчастном короле Карле Первом, когда палачи перевезли его из Сент-Джемса в Уайт-Холл.

– Да, помню и вечно буду помнить.

– Сыну трудно слушать такую мрачную повесть, которую он, вероятно, не раз уже выслушивал. Однако я должен повторить ее вам со всеми подробностями.

– Говорите.

– Когда король, отец ваш, готовился взойти на эшафот, поставленный у самого окна его комнаты, все было подготовлено к побегу. Палача удалили.

Устроили ход под полом помещения, в котором находился король. Я сам стоял под роковым помостом, как вдруг услышал на нем шаги вашего отца.

– Парри рассказывал мне все эти страшные подробности, граф.

Атос поклонился и продолжал:

– Но вот чего он не мог рассказать вам, потому что это происходило только между вашим отцом, богом и мною и я никогда не говорил об этом даже самым близким из моих друзей. «Отойди, – сказал ваш отец палачу в маске, – отойди на минуту. Я знаю, что принадлежу тебе, но помни, что ты должен поразить меня, только когда я дам знак. Я хочу спокойно помолиться».

– Извините, если я перебую вас, – молвил Карл II, побледнев, – но вы, граф, знаете все подробности этого страшного события, никому другому не известные. Не помните ли вы имени этого проклятого палача, этого труса, который закрыл свое лицо, чтобы безнаказанно лишить жизни короля?

Атос слегка побледнел.

– Его имя? – повторил он. – Помню, но не могу сказать.

– А что с ним стало?.. В Англии никто ничего о нем не знает. Где он теперь?

– Он умер.

– Он умер, но как? Неужели в своей постели, спокойной и тихой смертью честных людей?

– Он умер насильственной смертью, в страшную ночь, пораженный гневом людским и громом небесным. Тело его, пронзенное кинжалом, низверглось в бездну океана. Бог да простит его убийцу.

– Продолжайте, – попросил Карл II, заметив, что Атос не хочет больше говорить об этом.

– Сказав это палачу, король прибавил: «Ты поразишь меня, когда я подниму руку и скажу: Remember!»

– В самом деле, – прошептал Карл II, – я знаю, что это было последнее слово моего несчастного отца. Но с какой целью сказал он его? Кому?

– Французскому дворянину, стоявшему под эшафотом.

– Стало быть, вам, граф?

– Да, ваше величество, и каждое слово короля, проникшее через покрытые черным

сукном доски эшафота, и теперь еще звучит в моих ушах. Король стал на колени. «Граф де Ла Фер, здесь ли вы?» – спросил он. «Здесь, ваше величество», – отвечал я. Тогда король наклонился ниже.

Карл II в сильном волнении тоже наклонился к Атосу, ловя каждое его слово. Голова его почти касалась головы Атоса.

Граф продолжал:

– «Граф де Ла Фер, – сказал он, – ты не мог спасти меня. Меня нельзя было спасти. Пусть я совершу святотатство, но последние слова будут обращены к тебе. Ради поддержки дела, которое я считал правым, я потерял престол своих предков и погубил наследие своих детей».

Карл II закрыл лицо руками, и слеза скатилась между его бледными худыми пальцами.

– «У меня остался миллион золотом, – рассказывал король. – Я зарыл его в подземелье Ньюкаслского замка, когда покидал этот город».

Карл поднял голову с такой скорбной радостью, которая могла бы вызвать слезы у всех, кто знал о его неисчислимых бедствиях.

– Миллион! – прошептал он.

– «Ты один знаешь об этих деньгах. Используй их, когда будет нужно, для блага моего старшего сына. А теперь, граф де Ла Фер, простись со мной!» – «Прощайте! Прощайте!» – вскричал я.

Карл II встал и подошел к окну охладить пылавшую голову.

Атос продолжал:

– Тогда король сказал: «Remember!» Это слово было обращено ко мне. Вы видите, ваше величество, я не забыл.

Король не мог сдержать волнения. Атос видел судорожное движение его плеч, слезы на его глазах и сам замолчал, подавленный воспоминаниями, которые пробудил в молодом короле.

Карл II величайшим усилием поборол рыдания, отошел от окна и сел возле Атоса.

– Ваше величество, – сказал Атос, – до сих пор я думал, что еще не настал час использовать эти деньги. Но, присматриваясь к событиям в Англии, я почувствовал, что час этот приближается. Завтра я собирался узнать, где вы скрываетесь, и ехать к вашему величеству. Вы сами явились ко мне. Это знак того, что с нами бог.

– Граф, – отвечал Карл голосом, дрожащим от сильного волнения, – вы мой ангел-хранитель, посланный богом. Вы – мой избавитель, присланный мне отцом из его могилы. Но уже десять лет междоусобная война разоряет мою родину. Она уничтожила многих людей, истерзала землю. Вероятно, в Англии уже нет этого золота, как в сердцах моих подданных – любви.

– Ваше величество, место, где король зарыл деньги, мне хорошо известно. И никто, я уверен, не мог найти их. Притом разве Ньюкаслский замок совершенно разрушен? Разве его разобрали по камням до – самого основания?

– Нет, он еще цел, но сейчас генерал Монк занял его и стоит в нем лагерем. Единственное место, где меня ждет помощь, где у меня есть средства, занято, как вы видите, моими врагами.

– Генерал Монк не мог найти сокровище, о котором я говорю вашему величеству.

– Допустим, что так. Но неужели я должен отдаться в руки Монка, чтобы воспользоваться сокровищем? Ах, вы видите, граф, надо отказаться от борьбы с судьбой. Она обрушивается на меня всякий раз, как я поднимаюсь.

Что я смогу сделать вдвоем с Парри, которого Монк уже один раз прогнал?

Нет, граф, нет, покоримся этому последнему удару!

– А я, не могу ли я сделать попытку там, где вы и Парри бессильны?

– Вы, граф, вы?!

– Я поеду с вами, – отвечал Атос, кланяясь, – если это угодно вашему величеству.

– Ведь вы так счастливы здесь!

– Я не могу быть счастлив, пока на мне лежит неисполненный долг, а король, ваш отец,

возложил на меня заботу о вашей судьбе и распоряжение его деньгами согласно его воле По первому знаку вашего величества я готов двинуться в путь.

– Ах, граф! – вскричал король, забывая этикет и бросаясь на шею к Атосу. – Вы живое доказательство, что есть на небесах бог, который посылает еще своих вестников несчастным, страждущим на земле.

Атос, взволнованный этим порывом молодого короля, почтительно поблагодарил его и, подойдя к окну, крикнул:

– Гримо, лошадей!

– Как! Вы хотите ехать сейчас же? – спросил король. – Ах, граф, вы удивительный человек!

– Ваше величество, – отвечал Атос, – для меня всего важнее служить вам. Притом же, – прибавил он с улыбкой, – эту привычку я приобрел давно, на службе у королевы, вашей тетки, и у короля, вашего отца. Как я могу отступить от нее в ту минуту, когда надо послужить вашему величеству?

– Что за человек! – прошептал король.

Потом, подумав, прибавил:

– Но, граф, я не могу подвергать вас таким тяжким лишениям, не имея никаких средств вознаградить вас за услуги.

– О, – сказал Атос с улыбкой, – ваше величество смеется надо мной. У вас целый миллион. Ах, если б у меня была половина этих денег, я давно бы уже завербовал целый полк. Но, к счастью, у меня есть еще немного золота и горстка фамильных брильянтов. Надеюсь, вашему величеству угодно будет разделить их с преданным слугой?

– Не со слугой, а с другом Согласен, граф, но с условием, что потом мои друг разделит со мной мое состояние.

– Ваше величество, – сказал Атос, отворяя ларец и вынимая из него деньги и драгоценности, – теперь мы богаты. По счастью, нас будет четверо против грабителей.

Радость окрасила румянцем бледные щеки Карла II. Он увидел, как Гримо, уже одетый по-дорожному, подвел двух лошадей к крыльцу дома.

– Блезуа, отдай это письмо виконту де Бражелону. Отвечай всем, что я уехал в Париж. Надзор за домом поручаю тебе.

Блезуа поклонился, простился с Гримо и отпер путешественниками ворота.

Глава 17. ИЩУТ АРАМИСА, А НАХОДЯТ ТОЛЬКО БАЗЕНА

Не прошло и двух часов с момента отъезда Атоса, направившегося на виду у Блезуа по дороге в Париж, как всадник на прекрасной пегой лошади остановился у ворот дома и звонким «Эй!» окликнул конюхов, толпившихся вместе с садовником около Блезуа, обычного поставщика всяких новостей.

Услышав хорошо знакомый голос, Блезуа повернул голову и воскликнул:

– Господин д'Артаньян!.. Скорей бегите, отоприте ему ворота!

Человек восемь бросились к решетке и быстро, словно она была легкой, как перышко, отворили ее. Все низко поклонились д'Артаньяну, зная, что граф особенно ласково принимает этого друга, а такие вещи слуги всегда замечают.

– Ну, – начал д'Артаньян с любезной улыбкой, став на стремя, чтобы спрыгнуть с лошади, – где мой дорогой граф?

– Ах, сударь, какая неудача, – отвечал Блезуа, – и как будет досадно графу, когда он узнает, что вы приезжали! Граф, волею случая, уехал часа два тому назад.

Д'Артаньяна не смутило это известие.

– Хорошо, – сказал он, – я вижу, что ты все еще говоришь на самом чистом французском языке; ты дашь мне урок грамматики и красноречия, пока я буду ждать возвращения твоего господина.

– Это никак не выйдет, сударь, – возразил Блезуа. – Вам придется ждать слишком долго.
– Он не воротится сегодня?
– Ни завтра, ни послезавтра: граф отправился в далекое путешествие.
– Путешествие! – повторил д'Артаньян с удивлением. – Что за вздор ты мелешь?
– Это, сударь, сущая правда Граф поручил мне надзор за домом и прибавил: «Отвечай всем, что я поохал в Париж».

– А, он поехал в Париж! – воскликнул д'Артаньян. – Больше мне ничего не надо... С этого следовало начать, болтун!.. Он уехал часа два назад?..

– Так точно.

– Я быстро догоню его. Он один?

– Нет, сударь.

– Кто же с ним?

– Какой-то вельможа, которого я не знаю, да еще старик и наш Гримо.

– Они не могут мчаться так, как я... Прощай, я спешу.

– Не угодно ли вам, сударь, выслушать меня? – сказал Блезуа, удерживая лошадь за повод.

– Пожалуй, если ты бросишь свое краснбайство и будешь говорить побыстрее.

– Извольте, сударь. Мне кажется, что граф произнес слово Париж так, нарочно...

– Ого, – протянул д'Артаньян задумчиво.

– Да, сударь. Я уверен, что граф поехал не в Париж. Я готов в этом поклясться.

– Что заставляет тебя так думать?

– А вот что: господин Гримо всегда знает, куда направляется наш господин, и он обещал мне, в первый же раз, как они поедут в Париж, взять у меня немного денег, чтобы передать моей жене.

– Ах, вот что! У тебя есть жена?

– Со мною была жена, она местная, но господин нашел, что она слишком много болтает, и я отослал ее в Париж; иногда это стеснительно, но порою бывает даже приятно.

– Я понимаю, но договаривай, однако: значит, ты не думаешь, что граф уехал в Париж?

– Нет, сударь, ибо это означало бы, что Гримо не сдержал своего слова, нарушил клятву, а это невозможно.

– Это невозможно, – повторил д'Артаньян мечтательно, но с твердой уверенностью. – Хорошо, мой добрый Блезуа, благодарю тебя.

Блезуа поклонился.

– Слушай, Блезуа, ты знаешь, что я нелюбопытен...

Мне непременно нужно увидаться с твоим господином, не можешь ли ты... хотя бы (ты говоришь так хорошо), намекнуть. Скажи одно слово... Остальное я пойму, – Честью клянусь, сударь, не могу... Я решительно не знаю, куда поехал граф. Подслушивать у дверей я не привык, это у нас строго запрещено.

– Ах, мой друг, – отвечал д'Артаньян, – какое плохое начало для меня!

Знаешь ли ты, по крайней мере, когда граф воротится?

– Тоже не знаю.

– Вспомни, Блезуа, сделай усилие!

– Вы не верите моей искренности?.. Вы меня чувствительно обижаете!

– Черт бы побрал его позлащенный язык! – проворчал д'Артаньян. – Лучше бы встретить простого мужика, он сказал бы мне все, что нужно... Прощай!

– Имею честь, сударь, всенижайше вам кланяться.

«А, чтоб тебя! – подумал д'Артаньян. – Какой несносный болтун!»

Он в последний раз взглянул на красный дом, повернул лошадь и поехал с видом беззаботного человека.

Доехав до конца стены, скрытый от всех посторонних взоров, он тяжело вздохнул и сказал:

– Обсудим положение. Неужели Атос был дома? Кет. Все эти лентяи, стоявшие сложа

руки посреди двора, бегали бы как сумасшедшие, если б хозяин мог видеть их. Атос путешествует?.. Это непостижимо. Он ужасно любит таинственность. Вообще не такой человек нужен мне. Мне нужен ум хитрый, терпеливый. Мой герой живет в Мелюне, в знакомом церковном доме. Сорок пять лье! Четыре с половиной дня! Ну что ж, погода прекрасная, и я свободен. Проглотим это пространство.

Он пустил лошадь рысью по дороге в Париж. Через четыре дня он приехал в Мелюн, как и задумал.

Д'Артаньян имел обыкновение ни у кого не спрашивать дороги. Он всегда полагался на свою проницательность, которая никогда его не обманывала, на свой тридцатилетний опыт и старую привычку читать по внешнему виду зданий и лицам людей.

В Мелюне д'Артаньян сразу разыскал церковный дом, красивое оштукатуренное здание из кирпича. Виноградные лозы вились вдоль труб, а на крыше виднелся высеченный из камня крест. Из залы, расположенной в нижнем этаже дома, доносился говор или, лучше сказать, гул голосов, похожий на писк птенцов, сидящих б гнезде под крылом матери. Один голос громко называл буквы азбуки. Другой, густой и певучий, бранил шалунов и поправлял ошибки учеников.

Д'Артаньян узнал этот голос. И так как окно было открыто, то он наклонился с лошади, раздвинул листья винограда и крикнул:

– Базен! Милый Базен, здравствуй!

Низенький толстяк, с плоским лицом, с коротко стриженными, – чтобы походить на тонзуру, – седыми волосами и в черной бархатной ермолке на голове, встал, услышав голос д'Артаньяна, впрочем, даже не встал, а, скорее, подпрыгнул, уронив табуретку. Ученики бросились поднимать ее, и между ними завязалась битва не хуже той, какую затеяли греки, чтобы отнять у троянцев тело Патрокла. Букварь и линейка тоже выпали из рук Базена.

– Вы здесь! – вскричал он. – Вы, господин д'Артаньян?!

– Да, это я. Где Арамис... то бишь шевалье д'Эрбле?.. Ах, опять ошибся! Где господин главный викарий?

– Сударь, – отвечал Базен с достоинством, – его преосвященство в своей епархии.

– Что такое? – сказал д'Артаньян. – Так он епископ?

– Откуда вы явились, что не знаете этого? – перебил Базен довольно непочтительно.

– Любезный Базен, мы, язычники, люди военные, знаем только, когда кого-нибудь производят в полковники, генералы или фельдмаршалы; но о епископах и папе, черт меня побери, вести до нас доходят только тогда, когда три четверти мира знает об этом!

– Шш! Шш! – сказал Базен, вытаращив глаза. – Не портите мне детей, которым я стараюсь внушить добрые нравы.

Дети действительно оглядывали д'Артаньяна и любовались его лошадью, длинной шпагой, шпорами и воинственным видом. Они особенно удивлялись его громкому голосу, и когда он произнес свое любимое словцо, вся школа закричала: «Черт побери! – со страшным хохотом, визгом и топаньем. Мушкетер усмехнулся, а старый учитель совсем потерял голову.

– Да замолчите ли вы, шалуны! – закричал он. – Ах, господин Д'Артаньян, вот вы приехали, и прощай мои добрые нравы!.. Как всегда, вместе с вами приходит беспорядок!.. Просто столпотворение вавилонское!.. Ах, такие несносные мальчишки!

Достопочтенный Базен стал раздавать направо и налево затрешины, от которых ученики его принялись кривить еще громче, только другими голосами.

– А где епархия Арамиса? – спросил д'Артаньян.

– Его преосвященство Рене состоит епископом в Ванне.

– Кто выхлопотал ему это место?

– Наш сосед, господин суперинтендант финансов.

– Кто? Господин Фуке?

– Конечно, он.

– Так Арамис с ним в дружбе?

– Господин епископ каждое воскресенье говорил проповедь в капелле господина

суперинтенданта в Во; и потом они вместе ходили на охоту.

– Вот как!

– И господин епископ часто работал над своими нотациями... то есть я хотел сказать – над своими проповедями, вместе с суперинтендантом.

– Так он стихами, что ли, проповедует, сей достойный епископ?

– Сударь, не шутите над религией, ради бога!

– Ладно, Базен, ладно. Так что Арамис в Ванне?

– В Ванне, в Бретани.

– Ты скрытен, Базен, это неправда.

– Но, сударь, ведь священнический дом пустует.

– Он прав, – промолвил Д'Артаньян, глядя на дом, вид которого говорил об отсутствии хозяина.

– Но монсеньер должен был написать вам о своем посвящении.

– А давно он посвящен?

– Уже месяц.

– Ну, так времени прошло немного. Я не мог еще понадобиться Арамису.

А почему ты не поехал с ним, Базен?

– Нельзя, сударь, у меня здесь дело.

– Азбука?

– И мои прихожане.

– Как! Ты исповедуешь, ты аббат?

– Почти. Таково мое призвание.

– А ты прошел предварительные ступени?

– О, – сказал Базен с апломбом, – теперь, когда мой господин назначен епископом, мне в этом нет надобности.

И он самодовольно потер руки.

«Решительно, – подумал д'Артаньян, – с этим человеком ничего не поделаешь».

– Вели дать мне поесть, Базен.

– С удовольствием, сударь.

– Цыпленка, бульон и бутылку вина.

– Сегодня суббота, день постный, – замел ил Базен.

– Мне разрешено, – возразил д'Артаньян.

Базен посмотрел на него с сомнением.

– Ах ты, лицемер! – закричал д'Артаньян. – Так ты, слуга Арамиса, надеешься получить позволение совершать злодеяния, не пройдя предварительных ступеней, а мне, его другу, не разрешено даже поесть скоромного в субботу? Базен, будь со мною любезен, или, клянусь богом, я пожалуюсь королю, и ты навсегда лишишься права исповедовать. Ты знаешь, что король утверждает епископов? Король на моей стороне; значит, я сильнее вас.

Базен двусмысленно улыбнулся.

– О, на нашей стороне господин суперинтендант!

– Так ты издеваешься над королем?

Базен ничего не ответил, но улыбка его была довольно красноречива.

– Давай ужинать! – попросил д'Артаньян. – Скоро семь часов.

Базен обернулся и приказал старшему ученику пойти к кухарке. Тем временем д'Артаньян занялся осмотром дома.

– Ну, – сказал он пренебрежительно, – господин епископ живет неважно.

– У него есть замок в Во, – молвил Базен.

– Который, может быть, стоит Лувра? – спросил мушкетер с насмешкой.

– Он гораздо лучше, – ответил Базен хладнокровно.

– Вот как? – ответил д'Артаньян.

Может быть, он стал бы спорить и отстаивать превосходство Лувра. Но тут он заметил, что лошадь его все еще стоит на привязи у ворот.

– Черт возьми! – сказал он. – Вели-ка позаботиться о моей лошади. У твоего господина, верно, нет такого коня.

Базен искоса взглянул на лошадь и произнес:

– Господин суперинтендант пожаловал нам четырех лошадей из своей конюшни, и каждая из них стоит четырех таких, как ваша.

Кровь бросилась в лицо д'Артаньяну. У него зачесались руки. Он посмотрел на голову Базена, обдумывая, куда хватить кулаком. Но вспышка эта тотчас же прошла, д'Артаньян успокоился и усмехнулся:

– Черт возьми! Я хорошо сделал, что оставил королевскую службу. А скажи-ка мне, любезный Базен, сколько мушкетеров у господина суперинтенданта?

– На свои деньги он купит всех, сколько их есть во Франции, – отвечал Базен, закрывая книгу и выпроваживая учеников из залы ударами линейки.

– Черт возьми! – сказал д'Артаньян в последний раз.

Тут ему доложили, что ужин готов. Он пошел за кухаркой, которая провела его в столовую, где ожидал накрытый стол.

Д'Артаньян сел за стол и решительно атаковал жаркое. «Мне кажется, думал он, запуская зубы в цыпленка, которого, видимо, забыли откормить, – что я напрасно не поступил в свое время на службу к этому господину.

Суперинтендант, должно быть, могущественный вельможа. Право же, живя при дворе, мы ровно ничего не знаем. Лучи солнца мешают нам видеть крупные звезды; а они такие же солнца, только немного подальше от земли, вот и вся разница».

Д'Артаньян любил, для своего удовольствия и пользы, заставлять людей говорить о предметах, занимавших его. Поэтому он всячески стал тормозить Базена, но тщетно: от державшегося настороженно Базена ничего не удалось добиться, кроме однообразных и преувеличенных похвал суперинтенданту финансов. С досады д'Артаньян тотчас по окончании ужина попросил, чтобы ему указали место для ночлега.

Базен ввел д'Артаньяна в неудобную комнату, где он увидел скверную постель. Но мушкетер был нетребователен. Базен заявил ему, что Арамис взял с собою ключи от остальных комнат. Это несколько не удивило д'Артаньяна, так как он знал, что Арамис часто прячет у себя вещи, которые никто не должен видеть. Поэтому д'Артаньян так же решительно атаковал жесткую постель, как раньше жесткого цыпленка. Ему не меньше хотелось спать, чем прежде есть, и потому он заснул так же быстро, как обглодал цыплячьи косточки.

Выйдя в отставку, д'Артаньян дал себе слово, что будет теперь спать так же крепко, как прежде чутко; хотя он дал себе это обещание от души и с твердым намерением неукоснительно исполнить его, однако же вскоре после полуночи его разбудил стук экипажей и топот коней... Внезапно свет проник в его комнату. В одной рубашке он соскочил с постели и подбежал к окну.

«Неужели король решил вернуться? – подумал он, протирая глаза. – Такая свита может сопровождать только короля...»

– Да здравствует господин суперинтендант! – кричал или, лучше сказать, вопил кто-то в окне нижнего этажа.

Д'Артаньян узнал голос Базена. Базен орал изо всех сил, одной рукой размахивая платком, в другой держа свечу.

Перед глазами д'Артаньяна в окне первой кареты промелькнуло лицо блестящего вельможи. В то же время в карете раздался громкий хохот, вероятно, относившийся к странной фигуре Базена. Свита тоже хохотала.

– Я должен был догадаться, что это не король, – сказал д'Артаньян. Никто так от души не смеется, когда проезжает его величество.

– Эй, Базен! – закричал он своему соседу, который высунулся из окна, чтобы подольше видеть карету. – Кто это такой?

– Господин Фуке, – отвечал Базен важно.

– А все эти люди?

– Двор господина Фуке.

– Ого! – пробормотал д'Артаньян. – Что сказал бы Мазарини, если б слышал это?

И он снова лег в раздумье, спрашивая себя, каким образом случается, что Арамису всегда покровительствует самый могущественный в королевстве вельможа.

«Неужели он счастливее меня? Или я глупее его?.. Эх!..»

Словом «эх» д'Артаньян, научившись мудрости, оканчивал теперь каждую свою мысль и фразу. Прежде он говаривал: «черт возьми!», похожее на удар шпор. Теперь он состарился и шептал только философское «эх», служившее уздой для всех страстей.

Глава 18.

Д'АРТАНЬЯН ИЩЕТ ПОРТОСА, А НАХОДИТ ТОЛЬКО МУШКЕТОНА

Когда д'Артаньян убедился, что господина главного викария д'Эрбле нет дома и что его нельзя найти ни в Мелюне, ни в окрестностях, он расстался с Базеном без особого сожаления и лишь искоса взглянул на великолепный замок Во, начинавший уже гордиться тем величием, которое впоследствии послужило причиной его падения.

Кусая губы, как человек, полный подозрений и недоверия, он сказал, прищипорив свою пегую лошадь:

– Ну, верно, в Пьерфоне я найду человека получше и сундук поплнее. А мне только этого и надо, потому что у меня возникла одна идея.

Не станем передавать читателю прозаических подробностей путешествия д'Артаньяна, прибывшего в Пьерфон лишь на третий день. Д'Артаньян ехал через Нантейль-ле-Одуан и Крепи. Еще издалека он увидел замок Людовика Орлеанского, который, став достоянием короны, охранялся старым привратником. Это был один из тех волшебных средневековых замков, обнесенных стеною толщиной в двадцать футов, с башнями высотой в сто.

Д'Артаньян проехал вдоль стен замка, взглядом измерил его башни и спустился в долину. Вдалеке возвышался замок Портоса, расположенный над большим прудом и прилегавший к великолепному лесу. Это был тот же замок, который мы уже имели удовольствие описать нашим читателям; так что сейчас мы ограничимся тем, что лишь укажем на него.

Первое, что заметил д'Артаньян после того, как взглянул на прекрасные деревья, на майское солнце, золотившее зеленые холмы, на тенистые леса, тянувшиеся к Компьену, был огромный ящик на колесах; два лакея подталкивали его сзади, а другие два тащили спереди. В ящике помещалось нечто странное, зеленого и золотого цвета. Издалека оно представлялось какой-то бесформенной массой. Когда ящик немного приблизился, содержимое его стало походить на огромную бочку, обтянутую зеленым сукном с галунами; еще ближе оно оказалось человеком, неуклюжим толстяком, нижняя часть туловища которого расплзлась внутри ящика, заполнив все его пространство; наконец, подъехав, этот толстяк обернулся Мушкетон. Да, это был Мушкетон, разжиревший и состарившийся, с седыми волосами и красным, как у паяца, лицом.

– Клянусь богом, – воскликнул д'Артаньян, – это наш добрый, милый Мушкетон!

– А! – вскричал толстяк. – Какая радость! Какое счастье! Господин д'Артаньян!.. Стойте, дураки!

Последние слова относились к лакеям, которые везли его. Ящик остановился, и все четыре лакея с военной четкостью разом сняли шляпы, украшенные галуном, и стали в ряд за ящиком.

– Ах, господин д'Артаньян! – сказал Мушкетон. – Как бы я желал обнять ваши колени! Но я не могу двигаться, как вы изволите видеть.

– Что же это, от старости?

– О нет, сударь, не от старости, а от болезней, от горестей!

– От горестей? – повторил д'Артаньян, подходя к ящику. – Что, ты с ума сошел, добрый друг? Слава богу, ты здоров, как трехсотлетний дуб.

– Ах, а ноги-то, господин д'Артаньян, а ноги-то? – простонал верный слуга.

– Что же?

– Ноги не хотят меня носить.

– Неблагодарные! А ведь ты, верно, очень хорошо кормишь их, Мушкетон?

– Увы, сударь, да! Они не могут пожаловаться на меня в этом отношении, – вздохнул Мушкетон. – Я всегда делал все, что мог, для своего тела; ведь я не эгоист. – И Мушкетон опять вздохнул.

«С чего это он так? Может быть, тоже хочет стать бароном», – подумал д'Артаньян.

– Боже мой! – продолжал Мушкетон, выходя из задумчивости. – Как монсеньер будет рад, узнав, что вы вспомнили о нем.

– Добрый Портос! – вскричал д'Артаньян. – Я горю желанием обнять его!

– О, – сказал Мушкетон с чувством. – Я, разумеется, не премину написать ему. Сегодня же и немедля.

– Так он в отсуствии?

– Да нет же, господин.

– Так где же он, близко или далеко?

– О, если б я знал, господин...

– Черт возьми! – вскричал мушкетер, топнув ногой. – Ужасно мне не везет! Ведь Портос всегда сидел дома.

– Ваша правда, сударь. Нет человека, который был бы так привязан к дому, как монсеньер. Но, однако... по просьбе друга, достопочтенного господина д'Эрбле...

– Так Портоса увез Арамис?

– Вот как все это случилось. Господин д'Эрбле написал монсеньеру письмо, да такое, что здесь все перевернулось вверх дном...

– Расскажи мне все, любезный друг. Но прежде отошли лакеев.

Мушкетон закричал: «Прочь, болваны!» – таким могучим голосом, что мог одним дыханием, без слов, свалить с ног всех четырех слуг. Д'Артаньян присел на край ящика и приготовился слушать.

Мушкетон начал:

– Как я уже докладывал вам, монсеньер получил письмо от господина главного викария д'Эрбле дней восемь или девять тому назад, когда у нас был день сельских наслаждений, то есть среда.

– Что это значит, – спросил д'Артаньян, – «день сельских наслаждений»?

– Извольте видеть, у нас столько наслаждений в этой прекрасной стране, что они нас обременяют. Наконец мы были вынуждены распределить их по дням недели.

– Как узнаю я в этом руку Портоса! Мне бы такая мысль не пришла в голову. Правда, я-то не обременен различными удовольствиями.

– Зато мы были обременены, – заметил Мушкетон.

– Ну как же вы распределили их? Говори! – сказал д'Артаньян.

– Да длинно рассказывать, сударь.

– Все равно говори, у нас есть время; и к тому же ты говоришь так красиво, любезный Мушкетон, что слушать тебя – просто наслаждение.

– Это верно, – отозвался Мушкетон с выражением удовлетворения на лице, происходящим, вероятно, оттого, что его оценили по справедливости. Это верно, что я добился больших успехов в обществе монсеньера.

– Я жду распределения удовольствий, Мушкетон, и жду его с нетерпением. Я хочу убедиться, что приехал в удачный день.

– Ах, господин д'Артаньян, – отвечал Мушкетон печально. – С тех пор как уехал монсеньер, улетели все наслаждения!

– Ну так призовите к себе ваши воспоминания, милый мой Мушкетон.

– Каким днем угодно вам начать?

– Разумеется, с воскресенья. Это – божий день.

– С воскресенья, господин?

– Да.

– В воскресенье у нас наслаждения благочестивые: монсеньер идет в капеллу, раздает освященный хлеб, слушает проповедь и наставления своего аббата. Это не слишком весело, но мы ждем монаха из Парижа: уверяют, что он говорит удивительно хорошо, это развлечет нас, потому что наш аббат всегда нагоняет на нас сон, – так что по воскресеньям – религиозные наслаждения, а по понедельникам – мирские.

– Ах, так! – сказал д'Артаньян. – А как ты сам это понимаешь, Мушкетон? Давай рассмотрим сначала мирские наслаждения, ладно?

– По понедельникам мы выезжаем в свет, принимаем гостей и отдаем визиты; играем на лютне, танцуем, пишем стихи на заданные рифмы, – словом, курум фимиам в честь наших дам.

– Черт возьми! Это предел галантности! – вскричал мушкетер, едва удерживаясь от непреодолимого желания расхохотаться.

– Во вторник наслаждения ученые.

– Bravo! – одобрил д'Артаньян. – Перечисли-ка мне их подробнее, любезный Мушкетон.

– Монсеньер изволил купить большой шар, который я покажу вам; он занимает весь верх большой башни, кроме галереи, которая выстроена по приказанию монсеньера над шаром. Солнце и луна висят на ниточках и на проволоке. Все это вертится; бесподобное зрелище! Монсеньер показывает мне далекие земли и моря; мы обещаемся никогда не ездить туда. Это чрезвычайно занимательно!

– В самом деле, очень занимательно, – отвечал д'Артаньян – А в среду?

– В среду наслаждения сельские, как я уже имел честь вам докладывать.

Мы осматриваем овец и коз монсеньера; заставляем пастушек плясать под звуки свирели, как описано в одной книжке, которая есть в библиотеке у монсеньера. Но это еще ее все. Мы удим «рыбу в маленьком канале и потом обедаем с венками из цветов на головах. Вот наши наслаждения в среду.

– Да, среду вы не обижаете. Но что же осталось на долю бедного четверга?

– И он не обойден, сударь, – отвечал Мушкетон с улыбкой. – В четверг наслаждения олимпийские. Ах, сударь, как они великолепны! Мы собираем всех молодых вассалов монсеньера и заставляем их бегать, бороться, метать диски. Монсеньер сам уже не бежит, да и я тоже. Но диск монсеньер мечет лучше всех. А если ударит кулаком, так беда!

– Беда? Почему?

– Да, монсеньеру пришлось отказаться от борьбы. Он прошибал головы, разбивал челюсти, проламывал груди. Веселая игра, но никто не хочет больше играть с ним.

– Так его кулак...

– Стал еще крепче прежнего. У монсеньера несколько ослабели ноги, как он сам сознается; зато вся сила перешла в руки, и он...

– Убивает быка по-прежнему?

– Нет, сударь, лучше того: пробивает стены. Недавно, поужинав у одного из своих фермеров, – вы знаете, какой он пользуется любовью народа, монсеньер вздумал пошутить и ударил кулаком в стену. Стена упала, кровля тоже; убило трех крестьян и одну старуху.

– Боже мой! А сам он остался цел?

– Ему слегка поцарапало голову! Мы промыли ранку водой, которую присылают нам монахини... Но кулаку ничего не сделалось.

– К черту олимпийские наслаждения. Они обходятся слишком дорого, раз потом остаются вдовы и сироты...

– Ничего, сударь, мы им назначаем пенсии: на это определена десятая доля доходов монсеньера.

– Перейдем к пятнице!

– В пятницу наслаждения благородные и воинские.

Мы охотимся, фехтуем, учим соколов, объезжаем лошадей. Наконец, суббота

посвящается умственным наслаждениям: мы обогащаем свой ум познаниями, смотрим картины и статуи монсеньера, иногда даже пишем и чертим планы, а иногда палим из пушек монсеньера.

– Чертите планы! Палите из пушек!

– Да, сударь.

– Друг мой, – сказал д'Артаньян, – барон дю Валлон обладает самым тонким и благородным умом; но есть род наслаждений, который вы забыли, мне кажется...

– Какие, сударь? – спросил Мушкетон с тревогой.

– Материальные.

Мушкетон покраснел.

– Что вы под этим подразумеваете? – спросил он, опуская глаза в землю.

– Стол, вино, веселую беседу за бутылкой.

– Ах, сударь, эти вещи не идут в счет: ими мы наслаждаемся ежедневно.

– Любезный Мушкетон, – продолжал д'Артаньян, – извини меня, но я так увлекся твоим очаровательным рассказом, что забыл о самом главном, о том, что господин д'Эрбле написал барону.

– Правда, сударь, наслаждения отвлекли нас от главного предмета разговора. Извольте выслушать. В среду пришло письмо; я узнал почерк и сразу подал письмо господину барону.

– И что же?

– Монсеньер прочел и закричал: «Лошадей! Оружие! Скорей!»

– Ах, боже мой! – воскликнул д'Артаньян. – Наверное, опять дуэль!

– Нет, сударь, в письме было только сказано: «Любезный Портос, сейчас же в дорогу, если хотите приехать раньше экинокса. Жду вас».

– Черт возьми, – прошептал д'Артаньян в раздумье. – Должно быть, дело очень спешное!

– Да, должно быть. Монсеньер, – продолжал Мушкетон, – уехал со своим секретарем в тот же день, чтобы поспеть вовремя.

– И поспел?

– Надеюсь. Монсеньер вовсе не трус, как вы сами изволите знать, а меж тем он беспрестанно повторял: «Черт возьми, кто такой этот экинокс?»² Все равно, будет чудо, если этот молодчик поспеет раньше меня».

– И ты думаешь, что Портос приехал раньше? – спросил д'Артаньян.

– Я в этом уверен. У этого экинокса, как бы он ни был богат, верно, нет таких лошадей, как у монсеньера.

Д'Артаньян сдержал желание расхохотаться только Потому, что краткость письма Арамиса заставила его призадуматься. Он прошел за Мушкетонем или, лучше сказать, за ящиком Мушкетона до самого замка; затем сел за стол, за которым его угощали по-королевски. Но он ничего больше не мог узнать от Мушкетона: верный слуга только рыдал – и все.

Проведя ночь в мягкой постели, д'Артаньян начал размышлять над смыслом письма Арамиса. Какое отношение могло иметь равнодушие к делам Портоса? Ничего не понимая, он решил, что тут, вероятно, дело идет о какой-нибудь новой любовной интрижке епископа, для которой нужно, чтобы дни были равны ночам.

Д'Артаньян выехал из замка Пьерфон так же, как выехал из Мелюна и из замка графа де Ла Фер. Он казался несколько задумчивым, а это означало, что он в очень дурном расположении духа. Опустив голову, с неподвижным взглядом, в том неопределенном раздумье, из которого иной раз рождается высокое красноречие, он говорил себе:

– Ни друзей, ни будущности, ничего!.. Силы мои иссякли, как и связи прежней дружбы!.. Приближается старость, холодная, неумолимая. Черным крепом обволакивает она все, чем сверкала и благоухала моя юность; взваливает эту сладостную ношу себе на плечи и уносит в бездонную пропасть смерти...

Сердце гасконца дрогнуло, как тверд и мужествен он ни был в борьбе с житейскими невзгодами; в продолжение нескольких минут облака казались ему черными, а земля липкой и скользкой, как на кладбище.

– Куда я еду?.. – спрашивал он сам себя. – Что буду делать? Один... совсем один... без семьи... без друзей... Эх! – вскричал он вдруг и прищипорил свою лошадь, которая, не найдя ничего печального в крупном отборном овсе Пьерфонского замка, воспользовалась знаком всадника, чтобы выказать свою веселость, промчавшись галопом добрых две мили. – В Париж!

На другой день он был в Париже.

Все путешествие заняло у него десять дней.

Глава 19. **ЧТО Д'АРТАНЬЯН СОБИРАЛСЯ ДЕЛАТЬ В ПАРИЖЕ**

Лейтенант остановился на Ломбардской улице, перед лавкой под вывеской «Золотой пестик».

Человек добродушной наружности, в белом переднике, пухлою рукою гладивший свои седоватые усы, вскрикнул от радости при виде пегой лошади.

– Это вы, господин лейтенант, вы? – воскликнул он.

– Здравствуй, Планше, – отвечал д'Артаньян, нагибаясь, чтобы войти в лавку.

– Скорей, – вскричал Планше, – возьмите коня господина д'Артаньяна.

Приготовьте ему комнату и ужин!

– Благодарю тебя, Планше. Здравствуйте, друзья мои, – сказал д'Артаньян суетившимся приказчикам.

– Позвольте мне отправить кофе, патоку и изюм? – спросил Планше. Это заказ для кухни господина суперинтенданта.

– Отправляй, отправляй!

– В одну минуту все будет кончено, а там – ужинать.

– Устрой-ка, чтоб мы ужинали одни, – попросил д'Артаньян. – Мне надо поговорить с тобою.

Планше многозначительно поглядел на своего прежнего господина.

– О, не бойся, – прибавил мушкетер. – Никаких неприятностей.

– Тем лучше! Тем лучше!

И Планше вздохнул свободнее, а д'Артаньян без церемоний сел в лавке на мешок с пробками и стал рассматривать все вокруг.

Лавка была богатая; в ней стоял запах имбиря, корицы и толченого перца, заставивший д'Артаньяна расчихаться.

Приказчики, обрадованные обществом такого знаменитого вояки, мушкетера и приближенного самого короля, принялись за работу с лихорадочным воодушевлением и обращались с покупателями с презрительной поспешностью, которая кое-кем была даже замечена.

Планше принимал деньги, подводил счета и в то же время осыпал любезностями своего бывшего господина.

С покупателями Планше обращался несколько фамильярно, говорил отрывисто, как богатый купец, который всем продает, но никого не зазывает.

Д'Артаньян отметил это с удовольствием, которое мы объясним потом подробнее. Мало-помалу наступила ночь. Наконец Планше ввел его в комнату в нижнем этаже, где посреди тюков и ящиков стоял накрытый стол, ждавший двух Собеседников.

Д'Артаньян воспользовался минутою покоя, чтобы рассмотреть Планше, которого он не видал больше года. Умница Планше отрастил небольшое брюшко, но лицо у него пока не расплылось. Его быстрые, глубоко сидящие глаза блестели по-прежнему, и жирок, который уравнивает характерные выпуклости лица, еще не коснулся ни его выдающихся скул,

выражавших хитрость и корыстолюбие, ни острого подбородка, говорившего о лукавстве и терпении. Планше сидел в столовой так же величественно, как в лавке; он предложил своему господину ужин не роскошный, но чисто парижский: жаркое, приготовленное в печке у соседнего булочника, с овощами и салатом, и десерт, заимствованный из собственной лавки. Д'Артаньяну очень понравилось, что лавочник достал из-за дров бутылку анжуйского, которое д'Артаньян предпочитал всем другим винам.

— Прежде, — сказал Планше с добродушной улыбкою, — я пил ваше вино; теперь я счастлив, что вы пьете мое.

— С божьей помощью, друг Планше, я буду пить его долго, потому что теперь я совершенно свободен.

— Получили отпуск?

— Бессрочный!

— Как! Вышли в отставку? — спросил Планше с изумлением.

— Да, ушел на отдых.

— А король? — вскричал Планше, воображавший, что король не может обойтись без такого человека, как Д'Артаньян.

— Король поищет другого... Но мы хорошо поужинали, ты в ударе и побуждаешь меня довериться тебе...» Ну, раскрой уши!

— Раскрыл.

Планше рассмеялся скорее добродушно, чем лукаво, и откупорил бутылку белого вина.

— Пощади мою голову.

— О, когда вы, сударь, потеряете голову...

— Теперь она у меня ясная, и я намерен беречь ее более чем когда-либо. Сначала поговорим о финансах... Как поживают наши деньги?

— Великолепно. Двадцать тысяч ливров, которые я получил от вас, у меня в обороте; они приносят мне девять процентов. Я вам отдаю семь процентов, стало быть, еще зарабатываю на них.

— И ты доволен?

— Вполне. Вы привезли еще денег?

— Нет, но кое-что получше... А разве тебе нужны еще деньги?

— О нет! Теперь всякий готов мне ссудить, я умею вести дела.

— Ты когда-то мечтал об этом.

— Я подкапливаю немного... Покупаю товары у моих нуждающихся собратьев, ссужаю деньгами тех, кто стеснен в средствах и не может расплатиться.

— Неужели без лихвы?

— О, господин! На прошлой неделе у меня было целых два свидания на бульваре из-за слова, которое вы только что произнесли.

— Черт подери! Неплохо! — промолвил д'Артаньян.

— Меньше тринадцати процентов не соглашаюсь, — отозвался Планше, таков мой обычай.

— Бери двенадцать, — возразил д'Артаньян, — а остальные называй премией и комиссионными.

— Вы правы, господин. А какое же у вас дело?

— Ах, Планше, рассказывать о нем долго и трудно.

— Все-таки расскажите.

Д'Артаньян подергал ус, как человек, не решающийся довериться собеседнику.

— Что такое? Торговое предприятие? — спросил Планше.

— Да.

— Выгодное?

— Да, четыреста процентов.

Планше так ударил кулаком по столу, что бутылки задрожали, точно от испуга.

— Неужели?

– Думаю, что можно получить и больше, – хладнокровно молвил д'Артаньян. – Но лучше обещать меньше...

– Черт возьми! – сказал Планше, придвигая стул. – Но ведь это бесподобное дело!.. А много в него можно вложить денег?

– Каждый даст по двадцати тысяч ливров.

– Это весь ваш капитал. А на сколько времени?

– На один месяц.

– И мы получим...

– По пятидесяти тысяч наличными каждый.

– Это изумительно!.. И много придется сражаться за такие проценты?

– Да, конечно, придется немного подраться, – продолжал д'Артаньян с прежним спокойствием. – Но на этот раз, Планше, нас двое, и я беру все удары на себя.

– Нет, я не могу согласиться...

– Тебе, Планше, нельзя участвовать в этом деле.

Тебе пришлось бы бросить лавку...

– Так дело, значит, не в Париже?

– Нет, в Англии.

– В стране спекуляций? – сказал Планше. – Я ее знаю очень хорошо...

Но позвольте полюбопытствовать: какого рода дело, сударь?

– Реставрация...

– Памятников?

– Да, мы реставрируем Уайт-Холл.

– Ого!.. И за месяц, вы надеетесь?

– Беру все на себя.

– Ну, если вы, сударь, все берете на себя, так уж конечно...

– Ты прав... мне это дело знакомо... Однако я всегда не прочь посоветоваться с тобою...

– Слишком много чести... К тому же я ровно ничего не смыслю в архитектуре.

– О, ты ошибаешься, Планше: ты превосходный архитектор, не хуже меня, для постройки такого рода.

– Благодарю вас...

– Признаться, я попытался предложить это дело своим друзьям, но их не оказалось дома. Досадно, что нет больше смелых и ловких людей.

– Ах, вот как! Значит, будет конкуренция, предприятие придется отстаивать?

– Да...

– Но мне не терпится узнать подробности.

– Изволь. Только запри двери и садись поближе.

Планше трижды повернул ключ в замке.

– И открой окно. Шум шагов и стук повозок помечают подслушивать тем, кто может услышать нас.

Планше распахнул окно, и волна уличного гама ворвалась в комнату.

Стук колес, крики, звук шагов, собачий лай оглушили даже самого д'Артаньяна. Он выпил стакан белого вина и начал:

– Планше, у меня есть одна мысль.

– Ах, сударь, теперь я вас узнаю, – отвечал лавочник, дрожа от волнения.

Глава 20.

В ЛАВКЕ «ЗОЛОТОЙ ПЕСТИК» НА ЛОМБАРДСКОЙ УЛИЦЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИДЕИ Д'АРТАНЬЯНА

После минутного молчания, обдумав не одну мысль, а собрав все свои мысли, д'Артаньян спросил:

– Любезный Планше, ты, без сомнения, слыхал об английском короле Карле Первом?

– Разумеется, сударь. Ведь вы покидали Францию, чтобы оказать ему помощь. Однако он все же погиб, да и вас едва не погубил.

– Именно так. Я вижу, что память у тебя хорошая, любезный Планше.

– Такие вещи не забываются даже при плохой памяти. Мне рассказал господин Гримо, – а ведь он не из болтливых, – как скатилась голова Карла Первого, как вы провели почти целую ночь на корабле, начиненном порохом, и как всплыл труп милейшего господина Мордаунта с золоченым кинжалом в груди. Разве такое забудешь!

– Однако есть люди, которые все это забыли.

– Разве те, которые ничего не видали или не слышали рассказа Гримо.

– Тем лучше, если ты помнишь все это. Мне придется напомнить тебе только об одном: у короля Карла Первого остался сын.

– У него было, разрешите вам заметить, даже два сына, – возразил Планше. – Я видел меньшого, герцога Йоркского, в Париже, в тот день, когда он ехал в Пале-Рояль, и мне сказали, что он второй сын Карла Первого. Что касается старшего, то я имею честь знать его только по имени, но никогда в глаза его не видел.

– Вот о нем-то идет речь, Планше, об этом старшем сыне, который прежде назывался принцем Уэльским, а теперь называется королем английским, Карлом Вторым.

– Король без королевства, – нравоучительно заметил лавочник.

– Да, Планше, и можешь прибавить: несчастный принц, несчастнее, чем любой бедняк из самых нищих кварталов Парижа.

Планше безнадежно махнул рукой, как бы выражая привычное сострадание к иностранцам, с которыми не думаешь когда-либо соприкоснуться лично. К тому же в данной сентиментально-политической операции он не видел, как может развернуться коммерческий план д'Артаньяна, а именно этот план занимал его в первую очередь. Д'Артаньян понял Планше.

– Слушай же, – сказал Д'Артаньян. – Этот принц Уэльский, король без королевства, как ты верно выразился, заинтересовал меня. Я видел, как он просил помощи у Мазарини, этого скряги, и у Людовика Четырнадцатого, этого ребенка, и мне, человеку опытному в таких делах, показалось по умным глазам низложенного короля, по благородству, которое он сохранил, несмотря на все свои бедствия, что он человек смелый и способен быть королем.

Планше молча кивнул в знак согласия. Но все это еще не объясняло ему идеи д'Артаньяна.

Д'Артаньян продолжал:

– Так вот какой вывод сделал я из всего этого. Слушай хорошенько, Планше, потому что мы уже приближаемся к сути дела.

– Слушаю.

– Короли не так густо растут на земле, чтобы народы могли бы найти их всюду, где они понадобятся. Этот король без королевства, на мой взгляд, – хорошо сохранившееся зерно, которое даст недурные всходы, если его вовремя посадит в землю осторожная и сильная рука.

Планше по-прежнему кивал головою, по-прежнему не понимая, в чем дело.

– Бедное зернышко короля, подумал я и окончательно растрогался, но именно поэтому мне пришло в голову, не глупость ли я затеваю; вот я и решил посоветоваться с тобой, друг мой.

Планше покраснел от радости и гордости.

– Бедное зернышко короля! – повторил Д'Артаньян. – Не взять ли тебя да не перенести ли в добрую почву?

– Боже мой! – проговорил Планше и пристально взглянул на своего бывшего господина, как бы сомневаясь, в здравом ли он уме.

– Что с тобой?

– Ничего, сударь.

– Начинаешь ты понимать?

– Боюсь, что начинаю.

– А! Ты понимаешь, что я хочу вернуть престол Карлу Второму?
Планше привскочил на стуле.

– Ах, – сказал он с испугом, – так вот что называете вы реставрацией!

– А разве это не так называется?

– Правда, правда! Но подумали ли вы хорошенько?

– О чем?

– О том, что там делается.

– Где?

– В Англии.

– А что? Расскажи, Планше!

– Извините, сударь, – что я пускаюсь в рассуждения, вовсе не касающиеся моей торговли. Но так как вы предлагаете мне торговое предприятие...

Ведь вы мне предлагаете торговое предприятие, не так ли?

– Богатейшее!

– Ну, раз вы предлагаете мне торговое предприятие, то я могу обсуждать его.

– Обсуждай, Планше; это поможет выяснить истину.

– С вашего позволения, сударь, я скажу, что, во-первых, там есть парламент.

– А потом?

– Армия.

– Хорошо. Нет ли еще чего?

– Народ.

– Все ли?

– Народ сверг и казнил короля, отца теперешнего. Так уж, наверное, он и этого не примет.

– Планше, друг мой, – отвечал д'Артаньян, – ты рассуждаешь так, словно у тебя на плечах головка сыра... Народу уже надоели эти господа, которые называются какими-то варварскими именами и поют псалмы. Я заметил, любезный Планше, что народ предпочитает шутки церковному пению. Вспомни Фронду: как пели в то время! Славное было времечко!

– Ну, не очень-то! Меня чуть было не повесили!

– Да» но все-таки не повесили! И наживаться ты начал под эти песни.

– Ваша правда, но вернемся к армии и парламенту.

– Я сказал, что беру двадцать тысяч ливров господина Планше и сам вношу такую же сумму; на эти сорок тысяч я наберу войско.

Планше всплеснул руками. Видя, что д'Артаньян говорит серьезно, он подумал, что лейтенант положительно сошел с ума.

– Войско?.. Ах, сударь! – произнес он с ласковой улыбкой, опасаясь разъярить этого сумасшедшего и довести его до припадка бешенства. Войско! А какое?

– В сорок человек.

– Сорок человек против сорока тысяч? Маловато! Вы один стоите тысячи человек, в этом я совершенно уверен; но где найдете вы еще тридцать девять человек, которые могли бы сравниться с вами? А если и найдете, кто даст вам денег заплатить им?

– Недурно сказано, Планше!.. Черт возьми, ты становишься льстецом!

– Нет, сударь, я говорю то, что думаю; как только вы с вашими сорока людьми начнете первое настоящее сражение, я очень боюсь...

– Так я не буду начинать настоящего сражения, любезный Планше, – отвечал гасконец с улыбкою. – Еще в древности были превосходные примеры искусных маневров, состоящих в том, чтобы избегать противника, а не нападать на него. Ты должен знать это, Планше; ведь ты командовал парижанами в тот день, когда они должны были драться с мушкетерами. Тогда ты так хорошо рассчитал маневры, что не двинулся с Королевской площади.

Планше засмеялся.

– Правда, – согласился он, – если ваши сорок человек будут всегда прятаться и действовать хитро, так можно надеяться, что никто их не разобьет. Но ведь вы хотите достичь

какой-нибудь цели!

– Разумеется. Вот какой я придумал способ быстро восстановить короля Карла Второго на престоле.

– Какой? – вскричал Планше с удвоенным вниманием. – Расскажите ваш план. Но мне кажется, мы кое-что забыли.

– Что?

– Не стоит говорить о народе, который предпочитает веселые песни псалмам, и об армии, с которой мы не будем сражаться, но остается парламент, он-то ведь не поет.

– Но и не дерется. Как тебя, Планше, человека умного, может тревожить эта кучка крикунов, которую называют охвостьем и скелетом без мяса! Парламент меня не беспокоит.

– Ну, если так, не будем о нем говорить.

– Хорошо. Перейдем к самому главному. Помнишь ты Кромвеля, Планше?

– Много слышал про него.

– Он был славный воин!

– И страшный обжора.

– Как так?

– Он разом проглотил всю Англию.

– Хорошо, Планше; а если б накануне того дня, как он проглотил Англию, кто-нибудь проглотил его самого?

– Ах, сударь, то он был бы больше его самого. Так говорит математика.

– Хорошо. Вот мы и пришли к нашему делу.

– Но Кромвель умер. Его поглотила могила.

– Любезный Планше, я с радостью вижу, что ты стал не только математиком, но и философом.

– Я употребляю в лавке много печатной бумаги; это просвещает меня.

– Bravo! Стало быть, ты знаешь, – ты не мог научиться математике и философии, не научившись хоть немного истории, – что после великого Кромвеля явился другой, маленький?

– Да, его звали Ричардом, и он сделал то же, что и вы, господин д'Артаньян: подал в отставку.

– Хорошо! Очень хорошо! После великого, который умер, после маленького, который вышел в отставку, явился третий. Его зовут Монком. Он генерал очень искусный, потому что никогда не вступает в сражение; он отличнейший дипломат, потому что никогда не говорит ни слова, а желая сказать человеку: «Здравствуй», размышляет об этом двенадцать часов и наконец говорит: «Прощай». И все ахают, потому что слова его оказываются кстати.

– В самом деле, это не худо, – сказал Планше. – Но я знаю другого политика, очень похожего на него.

– Не Мазарини ли?

– Он самый.

– Ты прав, Планше. Только Мазарини не имеет видов на французский престол; а это, видишь ли, меняет все дело. Так вот, Монк, у которого на тарелке лежит, точно жаркое, вся Англия, который готовится проглотить ее, этот Монк, заявляющий приверженцам Карла Второго и самому Карлу Второму: «Nescio vos»...³ – Я не понимаю по-английски, – сказал Планше.

– Да, но я понимаю, – отвечал д'Артаньян. – Nescio vos значит: не знаю вас... Вот этого-то Монка, самого важного человека в Англии, после того как он проглотил ее...

– Что же?

– Друг мой, я еду в Англию и с моими сорока спутниками похищаю его, связываю и привожу во Францию, где перед моим восхищенным взором открываются два выхода.

– И перед моим! – вскричал Планше в восторге. – Мы посадим его в клетку и будем показывать за деньги!

– Об этой третьей возможности я и не подумал. Ты нашел ее, Планше!

– А хорошо придумано?

– Прекрасно. Но мое изобретение еще лучше.

– Посмотрим, говорите.

– Во-первых, я возьму с него выкуп.

– Сколько?

– Да такой молодец стоит сто тысяч экю.

– О, разумеется!

– Или, что еще лучше, отдам его королю Карлу Второму. Когда королю не придется бояться ни славного генерала, ни знаменитого дипломата, он сам найдет средство вступить на престол, а потом отсчитать мне эти сто тысяч экю. Вот какая у меня идея! Что ты скажешь о ней, Планше?

– Идея бесценная, сударь! – вскричал Планше, трепеща от восторга. Но как пришла она вам в голову?

– Она пришла мне в голову как-то раз утром, на берегу Луары, когда наш добрый король Людовик Четырнадцатый вздыхал, ведя под руку Марию Манчини.

– Ах, сударь, смею уверить вас, что идея бесподобна, но...

– А, ты говоришь «но»?

– Позвольте... Ее можно сравнить со шкурой того огромного медведя, которую, помните, надо было продать, но раньше содрать с еще живого медведя. А ведь взять Монка – это не шутка.

– Разумеется, но я наберу войско.

– Да, да, понимаю, вы захватите его врасплох. О, в таком случае успех обеспечен, потому что в таких подвигах никто с вами не сравнится.

– Мне везло в них, правда, – отвечал д'Артаньян с гордой простотой. Ты понимаешь, что если бы в этом деле со мной были мой милый Атос, бесстрашный Портос и хитрый Арамис, то мы бы быстро закончили его. Но они куда-то исчезли, и никто не знает, где их найти. Поэтому я возьмусь за дело один. Скажи мне только: выгодно ли оно? Можно ли рискнуть капиталом?

– Слишком выгодно.

– Как так?

– Блестящие дела редко удаются.

– Но это удастся наверное, и вот доказательство: я за него берусь. Ты извлечешь немалую выгоду, да и я тоже. Скажут: «Вот что совершил господин д'Артаньян в старости». Обо мне будут рассказывать легенды. Я попаду в историю, Планше. Я жажду славы!

– Ах, сударь! – вскричал Планше. – Как подумаю, что здесь, среди моей патоки, чернослива и корицы обсуждается такой великий проект, лавка моя кажется мне дворцом!

– Но берегись, Планше, берегись! Если узнают хоть что-нибудь, то Бастилия ждет нас обоих. Берегись, друг мой, ведь мы составляем заговор против министров: Монк – союзник Мазарини. Берегись!

– Когда имеешь честь служить вам, так ничего не боишься; а когда имеешь удовольствие вести с вами денежные дела, так умеешь молчать.

– Хорошо. Это касается тебя больше, чем меня: я через неделю буду уже в Англии.

– Поезжайте, сударь, и чем скорее, тем лучше.

– Так деньги готовы?

– Завтра будут готовы: вы их получите из моих рук. Желаете получить золотом или серебром?

– Золотом удобнее. Но как мы оформим все это? Подумай-ка!

– Очень просто: вы дадите мне расписку, вот и все.

– Нет, нет, – живо сказал д'Артаньян. – Я во всем люблю порядок.

– И я тоже; но с вами...

– А если я там умру, если меня убьет мушкетная Пуля, если я обопьюсь пивом?

– Ах! Поверьте, в этом случае я буду так огорчен вашей смертью, что забуду о деньгах.

– Благодарю, Планше, но порядок прежде всего. Мы сейчас напишем условие, которое можно назвать актом нашей компании.

Планше принес бумагу, перо и чернила.

Д'Артаньян взял перо, обмакнул его и написал:

«Отставной лейтенант королевских мушкетеров, г-н Д'Артаньян, ныне живущий на Тиктонской улице в гостинице „Козочка“, и торговец г-н Планше, живущий на Ломбардской улице, при лавке под вывескою „Золотой пестик“, условились о нижеследующем.

Составляется компания с капиталом в сорок тысяч ливров для эксплуатации идеи г-на д'Артаньяна. Г-н Планше, познакомившись с этой идеей и вполне ее одобряя, вручает г-ну д'Артаньяну двадцать тысяч ливров. Он не должен требовать ни возвращения капитала, ни уплаты процентов до тех пор, пока г-н д'Артаньян не вернется из Англии, куда теперь едет.

Господин д'Артаньян, со своей стороны, обязуется приложить свои двадцать тысяч ливров к деньгам, полученным от г-на Планше. Г-н д'Артаньян употребит эту сумму в сорок тысяч ливров по своему благоусмотрению, обязуясь, однако, выполнить нижеизложенное условие.

Когда г-н д'Артаньян каким бы то ни было способом возвратит его величеству королю Карлу II английский трон, он должен выплатить г-ну Планше всего...»

– Всего полтораста тысяч ливров, – наивно произнес Планше, видя, что д'Артаньян остановился.

– Нет, черт возьми! – сказал д'Артаньян. – Прибыль нельзя делить пополам, это было бы несправедливо.

– Однако, сударь, мы участвуем в деле поровну, – робко заметил Планше.

– Правда, но выслушай следующий пункт, любезный Планше; если он покажется тебе не совсем справедливым, мы вычеркнем его.

И д'Артаньян написал:

«Поскольку г-н д'Артаньян жертвует компании, кроме, капитала в двадцать тысяч ливров, свое время, умение и свою шкуру, а все эти предметы для него весьма ценны, особенно последняя, то г-н д'Артаньян из трехсот тысяч ливров оставит себе двести тысяч, то есть на его долю придется две трети всей суммы».

– Очень хорошо, – сказал Планше.

– Справедливо?

– Вполне справедливо.

– И ты удовлетворишься сотней тысяч?

– Еще бы! Помилуйте! Получить сто тысяч ливров за двадцать тысяч!

– В один месяц, понимаешь ли?

– Как! В месяц?

– Да, я прошу у тебя только месяц срока.

– Сударь, – великодушно сказал Планше, – я даю вам шесть недель.

– Благодарю, – любезно ответил мушкетер.

Компаньоны еще раз перечли акт.

– Превосходно, сударь, – одобрил Планше. – Покойный Кокнар, первый муж баронессы дю Валлон, не мог бы лучше составить эту бумагу.

– Если так, подпишемся.

Оба подписали акт.

– Таким образом, – заключил д'Артаньян, – я никому ничем не буду обязан.

– Но я буду обязан вам, – сказал Планше.

– Как знать! Как я ни забочусь о своей шкуре, Планше, однако я все же могу оставить ее в Англии, и ты все потеряешь. Кстати, я вспомнил о самом нужном, самом важном пункте.

Давай-ка я припишу его:

«Если г-н д'Артаньян погибнет во время предприятия, то компания ликвидируется, и г-н Планше заранее прощает тени г-на д'Артаньяна двадцать тысяч ливров, которые он, Планше, внес в кассу поименованной компании».

Последний пункт заставил Планше нахмуриться, но, взглянув на блестящие глаза своего компаньона, на его мускулистую руку, на его крепкое тело, он приободрился и без сожаления, уверенно подписал последний пункт.

Д'Артаньян сделал то же самое. Так был составлен и первый известный в истории общественный договор. Быть может, впоследствии несколько исказили его форму и содержание.

— А теперь, — сказал Планше, наливая д'Артаньяну последний стакан анжуйского вина, — извольте ложиться спать.

— Да нет же, — ответил д'Артаньян, — ибо теперь остается самое трудное, и я хочу обдумать это самое трудное.

— Ну вот! — заметил Планше. — Я так вам верю, господин д'Артаньян, что не отдал бы моих ста тысяч фунтов за девяносто.

— Черт меня побери! — воскликнул д'Артаньян. — Я считаю, что ты прав.

Д'Артаньян взял свечу, прошел в свою комнату и лег в постель.

Глава 21.

Д'АРТАНЬЯН ГОТОВИТСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ДЕЛАМ ТОРГОВОГО ДОМА «ПЛАНШЕ И К^о»

Д'Артаньян так много думал всю ночь, что к утру план был у него готов.

— Вот, — начал он, сев в постели, облокотившись на колено и подперев подбородок рукою, — вот что я сделаю! Я подыщу сорок человек, верных и стойких; найду их между людьми, пусть замешанными в сомнительные делишки, но приученными к дисциплине. Я обещаю им по пятьсот ливров, если они вернутся живыми во Францию; а если не вернутся, то ничего... или половину обещанной суммы их наследникам. Что касается пищи и жилья, то это дело англичан, у которых есть скот на пастбищах, сало в солильных кадках, куры в курятниках и зерно в амбарах. С этим отрядом я явлюсь к генералу Монку. Он примет меня; я приобрету его доверие и злоупотреблю им как можно скорее.

Но сейчас же д'Артаньян остановился и покачал головой.

— Нет, — произнес он, — и не решился бы сказать об этом Атосу; стало быть, это средство не совсем хорошее. Надо действовать силой, — прибавил он, — да, конечно, надо действовать силой, не роняя своей чести. С этими сорока солдатами я примусь вести войну, как партизан... Так, но если я встречу даже не сорок тысяч англичан, как говорил Планше, а только четыреста, то наверняка буду разбит, потому что между моими воинами будет, по крайней мере, десять трусов и десять таких дураков, которые позволят по глупости убить себя. Да, в самой деле, нельзя набрать сорок человек вполне верных... столько и на свете нет. Надо удовольствоваться тридцатью... Когда у меня будет только тридцать, я буду вправе избегать встречи с врагом, ссылаясь на малочисленность отряда; а если уж придется драться, то можно в тридцати людях быть более уверенным, чем в сорока.

Кроме того, я таким образом сберегу пять тысяч франков, то есть восьмую долю моего капитала... а это не шутка! Решено, возьму только тридцать человек! Разделю их на три отряда, и мы рассеемся по Англии с приказанием соединиться в известную минуту; таким образом, разъезжая группами по десяти человек, мы нигде не возбудим подозрений, везде проберемся незамеченными. Да, да, тридцать — чудесное число!.. Ах я, несчастный! вскричал вдруг д'Артаньян. — Ведь надо и тридцать лошадей! Это разорительно! Черт знает, где была у меня голова! Однако нельзя же без лошадей отважиться на такой подвиг! Хорошо, надо так надо; но лошадей мы добудем в Англии; кстати, они там недурны... Черт возьми! Еще забыл одну вещь: для трех отрядов нужны три начальника. Из трех начальников у меня есть один,

это я сам; но остальные двое будут стоять почти столько же, сколько весь отряд. Нет, решительно, нужен только один лейтенант. В таком случае я ограничу отряд двадцатью людьми. Конечно, двадцати человек мало; но если я с тридцатью решил не искать встречи с неприятелем, то с отрядом в двадцать человек буду искать ее еще менее. Двадцать – круглое число; притом и число лошадей уменьшится на десять, чего не должно упускать из виду; и тогда, с хорошим лейтенантом... Черт возьми! Что значит, однако, терпение и расчет! Я хотел отправиться в Англию с сорока человеками, а теперь ограничился двадцатью, между тем успех будет тот же. Десять тысяч экономии и в сто раз больше спокойствия, вот штука! Ну, теперь остается только отыскать лейтенанта! Это не легко: необходимо, чтобы он был храбр и честен, словом, похож на меня. Да, но лейтенант должен знать мою тайну, а так как тайна моя стоит миллион, а я заплачу моему лейтенанту только тысячу ливров или, самое большее, полторы тысячи, то он продаст мой секрет генералу Монку. Долой лейтенанта, черт побери! Даже если бы он был нем, как ученик Пифагора, у него найдется в отряде любимец, который сделается сержантом и проникнет в тайну своего лейтенанта, если тот окажется честен и не захочет ее продать. Тогда сержант, не такой честный и менее честолюбивый, продаст тайну за каких-нибудь пятьдесят тысяч ливров.

Нет, это не годится. Решено, лейтенанта не нужно! Но в таком случае нельзя делить войско на два отряда и действовать одновременно в двух пунктах, если во втором пункте у меня не будет командира... Но зачем действовать в двух пунктах, когда надо захватить одного человека? Зачем ослаблять отряд, разделяя его на две части: тут правая, там левая?

Устрою один отряд под начальством самого д'Артаньяна, и баста! Но если двинутся в поход все двадцать человек, они всюду возбудят подозрение: да, двадцать всадников не должны ехать толпой. Не то навстречу вышлют роту, которая спросит пароль и, увидев, что с отзывом не торопятся, перестреляет господина д'Артаньяна и его сподвижников, как кроликов.

Поэтому хватит с меня десяти человек; так будет гораздо проще. Ведь я должен действовать осторожно: осторожность в таком деле половина успеха; большой отряд увлек бы меня, может быть, на какую-нибудь глупость. Десять лошадей легко купить или достать. Ах, какая счастливая мысль! И как она меня сразу успокоила! Никаких подозрений, паролей, опасностей... Десять человек могут сойти за лакеев или приказчиков. Десять человек могут иметь десять лошадей с товаром, и их везде примут хорошо...

Итак, десять человек путешествуют за счет дома Планше и французской Компании: здесь ничего не возразишь. Эти десять человек, одетые как на маневрах, имеют при себе добрый охотничий нож, мушкет на луке седла, хороший пистолет в седельной кобуре. Они ни в ком не вызывают тревоги, ибо у них нет никаких дурных намерений.

Может быть, они смахивают на контрабандистов, эка важность! Контрабанда не многоженство, за нее не повесят. Может быть, конфискуют наши товары: хуже ничего не случится. Пускай себе конфискуют товары, не беда!

Чудесно, удивительный план. Беру десять человек; они будут стоять сорока по своей решимости и четырех по издержкам. Для большей верности не скажу им ни слова о моем намерении. Скажу только: «Друзья мои, есть выгодное дельце!» Дьявол будет очень хитер, если при этих условиях сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку. Пятнадцать тысяч экономии из двадцати.

Бесподобно!

Ободренный своим искусным расчетом, д'Артаньян остановился на этом плане и решил больше ничего не изменять в нем. Он уже вписал в листок своей богатой памяти десять имен славных искателей приключений, десять имен людей, к которым судьба или правосудие не были благосклонны.

Покончив с этим, д'Артаньян встал и тотчас отправился искать их, сказав, чтобы Планше не ждал его ни к завтраку, ни к обеду. Полтора дня он бегал по разным закоулкам Парижа и, переговорив с каждым из искателей приключений в отдельности, успел собрать превосходную коллекцию страшных рож, которые говорили по-французски немного лучше,

чем на английском языке, на котором им предстояло изъясняться.

Большее частью это были солдаты, достоинства которых д'Артаньян имел возможность оценить во многих случаях. Пьянство, злополучный удар сабли, нечаянный карточный выигрыш или экономические реформы Мазарини принудили их искать уединения и мрака – этих двух великих утешителей непонятых и оскорбленных душ.

На их лицах и одежде видны были следы горестей, ими перенесенных. У некоторых физиономии были в шрамах; у всех без исключения платье было в лохмотьях. Д'Артаньян заткнул наиболее зияющие дыры из средств, принадлежавших компании. Распределив по справедливости небольшую сумму, чтобы придать отряду приличный вид, д'Артаньян назначил своим рекрутам сборный пункт на севере Франции, между Бергом и Сент-Омером. Срок был шесть дней; д'Артаньян, хорошо зная добрую волю, веселый нрав и относительную честность этих блистательных героев, был уверен, что все они не преминут явиться.

Отдав нужные приказания, он поехал проститься с Планше, который спросил у него, что делает их войско.

Д'Артаньян не счел нужным сообщить ему о переменах в численности армии из боязни, что компаньон потеряет ему доверие.

Планше весьма обрадовался, узнав, что армия уже набрана, а сам он что-то вроде короля на паях и, идя на своем троне за конторкой, – участвует в содержании воинской части, сформированной против коварного Альбиона, исконного врага всех истинных французов.

Планше отсчитал д'Артаньяну новенькими двойными луидорами свою долю в двадцать тысяч ливров и затем, такими же новенькими двойными луидорами, вручил ему его собственные деньги. Д'Артаньян положил деньги в два мешка и, взвесив их в руках, сказал:

– Знаешь, Планше, эти деньги вещь довольно обременительная. Тут, верно, больше тридцати фунтов.

– Ну, ваша лошадь сvezет это, как перышко.

Д'Артаньян покачал головою.

– Не говори так, Планше. Лошадь, везущая, кроме всадника и багажа, еще тридцать фунтов, не может легко переплыть реку, перепрыгнуть через стену или через ров, а если нет лошади, так нет и всадника. Правда, ты этого не знаешь, Планше: ведь ты всю жизнь служил в пехоте.

– Так как же быть? – спросил Планше в сильном смущении.

– Знаешь что, – отвечал д'Артаньян, – я заплачу жалованье нашей армии по возвращении во Францию. Я оставлю у тебя мои двадцать тысяч ливров, и ты употреби их пока в дело.

– А моя доля?.. – начал было Планше.

– Ее я беру с собой.

– Горжусь вашим доверием, – сказал Планше. – А что, если вы не вернетесь?

– Может быть, и не вернусь, хотя не думаю этого.

А на случай моей гибели... «Дай-ка мне перо, я напишу завещание.

Д'Артаньян взял перо, бумагу и написал:

«Я, нижеподписавшийся, в продолжение трехлетней службы его величеству королю сберег двадцать тысяч ливров. Оставляю из них тридцати пять Франции, пять тысяч Атосу, пять тысяч Портосу, пять тысяч Арамису, чтобы они отдали их от моего и своего имени моему маленькому другу Раулю, виконту де Бражелону. Последние же пять тысяч оставляю г-ну Планше, чтобы он с меньшим сожалением передал прочие пятнадцать тысяч друзьям моим, В чем подписуюсь

д'Артаньян».

Планше, видимо, очень хотелось прочесть то, что написал д'Артаньян.

– На, прочти, – сказал мушкетер.

Читая последние строки, Планше расчувствовался и чуть не заплакал.

– Вы думаете, что без подарка я не отдал бы денег?

Я не возьму ваших пяти тысяч ливров!

Д'Артаньян улыбнулся:

– Бери, Планше, бери; таким образом, ты потеряешь только пятнадцать тысяч и не станешь искать способов ничего не потерять, не исполнив воли бывшего твоего господина и друга.

Как хорошо знал наш славный д'Артаньян сердце человеческое, в особенности сердце лавочника!

Те, кто называл сумасшедшим Дон Кихота, потому что он отправился завоевывать государство с одним оруженосцем Санчо; те, кто называл сумасшедшим Санчо за то, что он пустился за своим господином в этот поход, несомненно, были бы такого же мнения о д'Артаньяне и Планше.

Но д'Артаньян прослыл человеком тонкого ума при блестящем французском дворе. Планше по справедливости приобрел репутацию самой дельной головы между лавочниками Ломбардской улицы – главной торговой улицы Парижа, а следовательно, и Франции. Если взглянуть с обычной точки зрения на этих двух человек и на средства, которыми они хотели вернуть трон изгнанному королю, то, разумеется, даже самых недалёковидных людей возмутили бы самонадеянность лейтенанта и глупость его компаньона.

По счастью, д'Артаньян вовсе не обращал внимания на болтовню. Его девиз был: поступай хорошо, и пусть говорят, что хотят. Планше избрал девизом: пусть делают, что хотят, будем молчать. И оба, по обыкновению всех великих умов, *intra pectus*⁴ были убеждены, что правы они, а не те, кто их бранит.

Для начала д'Артаньян пустился в путь в прекраснейшую погоду, при безоблачном небе и безоблачных мыслях, веселый, бодрый, спокойный и полный решимости и потому неся в себе двойную дозу тех мощных флюидов, какие потрясения души исторгают из наших нервов и какие придают человеческому механизму силу и влияние, в которых грядущие века отдадут себе, со всей очевидностью, более точный отчет, чем мы можем сделать это сегодня. Как в давно прошедшие времена, он снова ехал по богатой приключениями дороге в Булонь. Этот путь он совершал в четвертый раз и, казалось, мог найти прежние следы своих шагов на дороге и своих кулаков на дверях гостиниц.

В его памяти воскресла молодость, которую, несмотря на прошедшие с тех пор тридцать лет, он все еще сохранил в великодушии сердца и в стальной крепости кулаков.

Природа богато одарила этого человека. У него были все страсти, все недостатки, все слабости, ум, полный противоречий, превращавший все его несовершенства в высокие качества. Обладая беспокойным воображением, д'Артаньян мог испугаться тени, но, стыдясь своего испуга, он шел этой тени навстречу и совершал чудеса храбрости, если возникала действительная опасность. Он был весь во власти движений души, игры чувства. Д'Артаньян очень любил постороннее общество, но никогда не скучал в своем; не раз его можно было застать смеющимся в одиночестве над шутками, которыми он сам себя развлекал, или над смешными фантазиями, которые рисовало его воображение за пять минут до того, как должна была наступить скука.

Д'Артаньян был бы еще веселее, если бы в Кале его ждало несколько добрых товарищей вместо десяти отчаянных головорезов. Однако в задумчивость он погружался не больше раза в день; до приезда в Булонь, к морю, он только пять раз встречался с этою мрачною богинею, да и то посещения ее были очень непродолжительны. Как только д'Артаньян понял, что теперь время действовать, в нем тотчас же испарились все чувства, кроме веры в себя. Из Булони он проехал берегом до Кале.

В Кале был назначен сборный пункт. Всем своим наемникам д'Артаньян велел остановиться в дешевой гостинице «Великий монарх», где обыкновенно обедали матросы и где странствующие воины получали пристанище, стол и все радости жизни за тридцать су в день.

Д'Артаньян хотел незаметно понаблюдать за своими рекрутами и затем решить, по первому впечатлению, можно ли положиться на них как на добрых товарищей. Он приехал в Кале вечером, в половине пятого.

Глава 22.

Д'АРТАНЬЯН ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО ДЕЛАМ ТОРГОВОГО ДОМА «ПЛАНШЕ И К°»

Гостиница «Великий монарх» находилась на улице» параллельной порту; несколько переулков соединяли порт с этой улицей наподобие перекладин переносной лестницы. Д'Артаньян доехал до порта, повернул в один из переулков и очутился перед гостиницей «Великий монарх».

Момент был хорошо выбран; он напомнил д'Артаньяну его дебют в гостинице «Вольный мельник» в Менге. Матросы, игравшие в кости, поссорились и в бешенстве угрожали друг другу. Трактирщик, трактирщица и двое слуг с трепетом посматривали на группы сердитых игроков, среди которых, того и гляди, готова была начаться жестокая схватка с ножами и топорами.

Игра между тем продолжалась.

На каменной скамье сидели два человека и следили за теми, кто входил в дверь. Четыре стола, стоявшие в глубине общей залы, были заняты еще восемью людьми. Сидевшие на скамье и за столом не принимали участия ни в игре, ни в ссоре.

Д'Артаньян узнал своих воинов в этих десяти зрителях, холодных и равнодушных.

Ссора все разгоралась. Во всякой страсти, как в море, есть свои отливы и приливы. Один матрос вышел из себя и опрокинул стол с лежащими на нем деньгами. Тотчас присутствующие бросились за упавшими монетами, и пока матросы дрались между собой, несколько серебряных монет исчезло в карманах.

Только гости, сидевшие на скамье и за отдельными столами, по-видимому незнакомые друг с другом, казалось, дали себе клятву оставаться спокойными среди этого бешеного крика и звона денег. Двое из них только оттолкнули ногами дерущихся, которые подкатились под стол.

Двое других, не желая участвовать в этой свалке, вышли из залы, засунув руки в карманы; наконец, еще двое влезли на стол, словно люди, застигнутые приливом и боящиеся утонуть.

– Молодцы! – сказал себе д'Артаньян, заметив все подробности описанной сцены. – Коллекция моя хоть куда. Осторожны, спокойны, привычны к шуму и драке. Черт возьми! У меня счастливая рука!

Вдруг его внимание приковал один угол залы.

Матросы помирились и принялись ругать тех двух, которые оттолкнули ногами боровшихся.

Матрос, опьяневший от гнева и вдрызг пьяный от пива, с яростью спросил одного из них, по какому праву он толкнул ногою божье создание, которое все-таки не собака. Задавая вопрос, матрос для вящей убедительности поднес свой огромный кулак к носу незнакомца.

Рекрут д'Артаньяна побледнел, но нельзя было угадать от чего: от страха или от бешенства. Увидев это, матрос вообразил, что враг побледнел от страха, и взмахнул кулаком с очевидным намерением стукнуть им по голове незнакомца. Рекрут д'Артаньяна, почти не шевельнувшись, отпустил матросу такой удар в живот, что матрос покатился к дверям с неистовыми криками. В ту же минуту товарищи побежденного дружно бросились за победителя, чтоб расправиться с ним.

Победитель с прежним хладнокровием, благоразумно не прибегая к оружию, схватил пивную кружку с оловянной крышкой и треснул ею двух или трех врагов. Видя, что он один не устоит против такого множества нападающих, семеро молчаливых гостей, которые сидели до этого неподвижно, поняли, что им самим придется плохо, и бросились на выручку.

В это время двое, с безразличным видом сидевшие на скамье у двери, обернулись. Их нахмуренные брови показывали, что они решили атаковать неприятеля с тыла, если он не прекратит нападения.

Хозяин, слуги и два ночных сторожа, проходившие мимо, из любопытства подошли слишком близко к дерущимся и были вовлечены в свалку.

Парижане наносили удары, как циклопы, с удивительным единством и выдержкой; наконец, вынужденные уступить численности, они укрепились за большим столом. Четверо из них подняли доску стола, остальные два вооружились козлами, на которых он стоял, и разом, с помощью этого страшного орудия, сбили с ног восьмерых матросов.

На полу в пыли валялись раненые, и в зале раздавались крики, когда д'Артаньян, довольный испытанием, пробился с обнаженной шпагой в руках на середину залы и, поражая эфесом торчащие головы, испустил могучий крик: «Довольно!», от которого все смолкло. Все бросились врассыпную, и д'Артаньян остался один победителем.

– Что тут делается? – спросил он с таким же величественным видом, с каким Нептун произносил: «Quos ego!»⁵ При первых звуках этого голоса «(развивая метафору Вергилия) рекруты д'Артаньяна, узнав, каждый по отдельности, своего суверена и властителя, немедленно вложили в ножны свой гнев, перестали театрально размахивать шпагами и бить ногами в подмостки.

Матросы, оценив длинную обнаженную шпагу, воинственный вид и ловкую руку человека, пришедшего на помощь их врагам и привыкшего повелевать, начали подбирать раненых и разбитые кружки.

Парижане отерли пот с лица и подошли засвидетельствовать почтение своему начальнику. Хозяин «Великого монарха» осыпал д'Артаньяна поздравлениями. Тот принял их как должное и объявил, что до ужина пойдет прогуляться в порт.

Рекруты все до единого поняли приглашение, взяли шляпы, почистили свое платье и один за другим двинулись за д'Артаньяном.

Но д'Артаньян, прогуливаясь и посматривая, что делается вокруг, остерегался останавливаться на дороге. Он прошел на пустынный берег, и его десять рекрутов, встревоженные неожиданным присутствием товарищей справа, слева и сзади, следовали за ним, мрачно поглядывая один на другого.

Только в совсем пустынном месте на берегу д'Артаньян остановился, усмехнулся и приветливо подозвал их к себе.

– Ну, ну, приятели, – сказал он, – нечего смотреть друг на друга волками: вы созданы, чтобы жить вместе в мире и согласии, а не грызться между собой!

Недоверчивость сразу исчезла, воины вздохнули так, словно их только что вынули из гробов, они добродушно поглядели друг на друга и на своего начальника, опытного в обращении с такого рода людьми. После этого д'Артаньян, с чисто гасконской выразительностью, произнес следующую речь:

– Господа, вы все знаете, кто я. Я нанял вас, потому что знал вас как храбрецов и хотел доставить вам случай совершить славный поход. Можете считать, что, трудясь со мной, вы трудитесь для короля. Предупреждаю только, что если вы как-нибудь дадите это заметить, то я буду вынужден немедленно размозжить каждому из вас голову таким способом, который покажется мне наиболее удобным. Вы, вероятно, знаете, что государственные тайны подобны смертоносным ядам: пока яд в склянке и склянка закупорена, ни никому не вредит; а как только выйдет из склянки, он умерщвляет. Теперь подойдите ко мне, и вы узнаете столько, сколько я могу сказать вам.

Все столпились с любопытством.

– Еще ближе, – продолжал д'Артаньян, – чтобы нас не могли слышать ни птица, пролетая над нашими головами, ни кролик, играя в дюнах, ни рыба, выпрыгнув из воды. Надо выяснить и доложить господину суперинтенданту финансов, какой вред английская

контрабанда наносит французским купцам.

Я пройду везде и все осматриваю. Мы – бедные пикардийские рыбаки, выброшенные на берег бурей. Разумеется, мы станем продавать рыбу, как настоящие рыбаки. Но могут догадаться, кто мы; могут потревожить нас; стало быть, мы должны уметь – защищаться. Вот почему я выбрал вас, людей умных и храбрых. Мы будем жить весело, и нам не предстоит серьезной опасности, потому что у нас есть сильный покровитель, благодаря которому мы не встретим больших затруднений. Только одно досадно, но надеюсь, что вы поможете мне выйти из этого затруднения. Вот в чем дело: я должен взять с собою настоящих глупых рыбаков для гребли; такой экипаж будет нам мешать. Вот если бы кто-нибудь из вас бывал уже в море...

– О, трудность тут невелика! – сказал один из рекрутов. – Я прожил три года в плену у тунисских пиратов и знаю морские маневры, как адмирал.

– Скажите, – воскликнул Д'Артаньян, – какая удивительная вещь – случай!

Д'Артаньян произнес эти слова с выражением притворного простодушия.

Он хорошо знал, что эта бедная жертва морских разбойников была старым пиратом: потому-то он и завербовал его. Но Д'Артаньян никогда не говорил больше того, чем требовалось.

– А у меня, – сказал другой вояка, – есть дядюшка, надсмотрщик за работами в порту Ла-Рошель. Еще ребенком я игрывал на судах; поэтому я умею управлять веслом и парусом не хуже любого матроса.

Этот тоже не лгал: он шесть лет работал веслом на галерах его величества в Сьоте, на Средиземном море.

Двое других были откровеннее: они, не стыдясь, сознались, что служили на военном корабле, отбывая наказание. Таким образом, Д'Артаньян оказался начальником шести солдат и четырех матросов; у него было два отряда: сухопутный и морской. Планше очень бы возгордился, узнав об этом.

Д'Артаньян велел своим воинам готовиться к отбытию в Гаагу: одни проедут берегом в Брескенс, другие – по дороге на Антверпен.

Рассчитав время, нужное для переезда, назначили свидание на главной площади в Гааге ровно через две недели.

Д'Артаньян приказал своим людям ехать парами и выбрать себе спутника по вкусу. Сам он выбрал две наименее отвратительные рожи, двух солдат, которых он знал прежде и у которых было только два порока: пьянство и страсть к игре. Эти люди еще помнили прошлое, и под военным мундиром их сердца забились как встарь. Д'Артаньян, чтобы не возбудить зависти, отправил сначала всех других. Он оставил при себе двух своих любимцев, одел их из своего гардероба и двинулся с ними в путь.

Этим молодцам, пользовавшимся, как им казалось, его особым доверием, он сообщил важную тайну, чтобы обеспечить успех предприятия. Он признался им, что дело идет вовсе не о том, насколько английская контрабанда вредит французской торговле, а, напротив, о том, насколько французская контрабанда вредит английской торговле. Любимцы д'Артаньяна охотно ему поверили. Д'Артаньян был убежден, что при первом же кутеже, когда они мертвецки напьются, хоть один из них непременно расскажет важную тайну всей шайке. Игра казалась ему беспроницаемой.

Через две недели после свидания в Кале вся шайка собралась в Гааге.

Тут Д'Артаньян заметил, что все его люди успели весьма ловко перерядиться в матросов, более или менее пострадавших от бурь.

Д'Артаньян поместил их на ночь в отдаленном квартале города, а сам устроился в удобной комнате на большом канале.

Он узнал, что Карл II вернулся к своему союзнику, штатгальтеру Голландии Вильгельму II. Он узнал также, что отказ короля Людовика XIV несколько ослабил покровительство несчастному королю и что поэтому он удалился в маленький дом в деревне Шевенинген, расположенной среди дюн на берегу моря, недалеко от Гааги.

Там, по слухам, несчастный изгнанник утешался тем, что со свойственной всему его семейству печалью смотрел на беспредельное Северное море, отделявшее его от родной Англии, подобно тому как некогда оно отделяло Марию Стюарт от Франции.

Там, за редкими деревьями красивого шевенингенского леса, на мелком песке, где растут золотистые кустарники дюн, Карл II прозябал, как они, более несчастный, чем они, ибо обладал разумом, и душа его полнилась поочередно то надеждою, то отчаянием.

Д'Артаньян дошел раз до Шевенингена, чтобы убедиться, правду ли говорят о короле. Он видел, как задумчивый Карл II один вышел через калитку в рощу и стал прогуливаться по берегу при заходящем солнце. Никто, даже рыбаки, вытаскивавшие лодки на песок, не обращал на него внимания.

Д'Артаньян узнал короля. Он видел, как король устремил свой мрачный взор на бескрайнюю гладь вод и как на бледном лице его погасли красные лучи солнца, полукруг которого уже утонул под черной линией горизонта.

Затем Карл II медленно направился к своему пустынному жилищу, все столь же одинокий и все столь же печальный, прислушиваясь к скрипу зыбкого и рыхлого песка под своими ногами.

В тот вечер д'Артаньян нанял за тысячу ливров рыбацье судно, стоившее не менее четырех тысяч. Он отдал тысячу ливров наличными, а остальные три, тысячи в виде обеспечения вручил бургомистру. Потом, темной ночью, тайно посадил на него свой сухопутный отряд из шести человек, и под утро, в три часа, судно вышло в море, открыто маневрируя под управлением четырех матросов.

Д'Артаньян полагался на искусство галерника так, словно тот был первым лоцманом Гаагского порта.

Глава 23.

АВТОР ПРОТИВ ВОЛИ ПРИНУЖДЕН ЗАНЯТЬСЯ НЕМНОГО ИСТОРИЕЙ

Пока короли и все прочие занимались Англией, которая управлялась сама собою и которая, скажем к ее похвале, никогда не бывала управляема столь дурно, человек, на котором господь остановил свой взор и свой указующий перст, которому предстояло вписать имя крупными буквами в историю, продолжал на виду у всех свой таинственный и смелый подвиг. Он подвигался вперед, но никто не знал, куда он идет, хотя не только Англия, но и Франция и вся Европа видели, что он идет твердым шагом, гордо подняв голову. Сообщим здесь, что было известно об этом человеке.

Монк объявил, что будет защищать независимость усеченного парламента, или охвостья, как его тогда называли, – того самого парламента, который Ламберт, подражая Кромвелю, чьим сподвижником он был, подверг, стремясь навязать ему свою волю, столь суровой блокаде, что в это время ни один член парламента не мог выйти из здания.

Ламберт и Монк – все сказано этими именами. Первый был носителем деспотизма, а второй – республиканской идеи в ее чистом виде. Оба они были единственными политическими представителями революции, в которой король Карл I лишился сперва короны, а затем и головы.

Ламберт не скрывал своих целей: он хотел учредить чисто военное правительство и стать главою этого правительства.

Честный республиканец, по мнению некоторых, Монк хотел сохранить усеченный парламент – это явное, хотя и испорченное, детище республики.

Честолюбец, по уверению других, Монк хотел сделать себе из этого парламента, которому, казалось, он покровительствовал, прочную ступень к трону, еще не занятому после того, как Кромвель свергнул короля, но не осмелился сесть на этот трон сам.

Таким образом, Ламберт, который преследовал парламент, и Монк, который поддерживал его, стали врагами.

Прежде всего Монк и Ламберт решили каждый составить себе армию: Монк – в

Шотландии, где находились пресвитериане и роялисты, то есть недовольные; Ламберт – в Лондоне, где, как всегда, находилась самая сильная оппозиция.

Монк водворил спокойствие в Шотландии, создал там армию и устроил себе убежище, охранявшееся этой армией. Он знал, что не настал еще день, когда можно совершить переворот; поэтому шпага его, казалось, приросла к ножнам. Монк не боялся ничего в своей дикой, гористой Шотландии; генерал и властелин армии из одиннадцати тысяч старых солдат, которых он не раз водил к победе, он знал лондонские интриги гораздо лучше Ламберта, стоявшего с войском в Лондоне.

Таково было положение Монка, когда, находясь на расстоянии ста миль от Лондона, он объявил себя сторонником парламента.

Ламберт, как мы уже сказали, был в Лондоне. Там он сосредоточил все свои действия и объединил вокруг себя всех своих друзей и чернь, всегда склонную помогать врагам существующей власти.

В Лондоне Ламберт узнал, что Монк, находясь на границе Шотландии, помогает парламенту. Он понял, что нельзя терять времени и что Твид не так далек от Темзы, чтобы армия, особенно при хорошем командовании, не могла перешагнуть с одной реки на другую. Кроме того, он понимал, что армия Монка, проникая в сердце Англии, будет расти, как снежный ком.

Поэтому Ламберт собрал свое войско, грозное и по составу и по численности, и устремился навстречу Монку, который, подобно осторожному мореплавателю, пробирающемуся среди рифов, двигался медленно, держа нос по ветру, принохиваясь и прислушиваясь ко всему, что доносилось из Лондона.

Обе армии сошлись у Ньюкасла. Ламберт пришел первый и занял город.

Монк, всегда осмотрительный, расположился в Колдстриме, на Твиде.

Увидав Ламберта, армия Монка воодушевилась; напротив, увидав Монка, армия Ламберта пала духом. Казалось, неустрашимые воины Ламберта, так сильно шумевшие на улицах Лондона, двинулись в путь в надежде никого не встретить; теперь же, при виде армии, которая выступила против них не только в защиту своего знамени, но и за дело республики, эти герои словно начали размышлять над тем, что они не такие хорошие республиканцы, как солдаты Монка, которые поддерживали парламент, тогда как Ламберт ничего не защищал, даже парламент.

Что же касается самого Монка, то он, надо полагать, был погружен в самые печальные мысли: история рассказывает, – а известно, что эта почтенная дама никогда не лжет, – что в день прибытия его в Колдстрим по всему городу тщетно искали хоть одного барана.

Если бы Монк командовал английской армией, то она бы вся разбежалась.

Но шотландцы не похожи на англичан, которым непременно нужно мясо с кровью. Шотландцы – люди бедные и скромные – могут питаться ячменными лепешками, испеченными на раскаленном камне.

Получив свою порцию ячменя, шотландцы нисколько не беспокоились о том, есть ли говядина в Колдстриме.

Монк, не привыкший к ячменным лепешкам, хотел есть; штаб его, такой же голодный, как и он, с тревогой поглядывал по сторонам, стараясь узнать, что готовят к ужину.

Монк выслал вперед разведку. Его разведчики, прибыв в город, никого не встретили и нашли, что все лавки пусты; на мясников и на булочников нечего было надеяться. В Колдстриме не нашлось даже куска пшеничного хлеба для генеральского стола.

По мере того как рассказы следовали один за другим, в общем все малоутешительные, Монк, видя испуг и уныние на лицах окружающих, постарался уверить всех, что он не голоден; к тому же они смогут поесть завтра, ибо Ламберт, вероятно, собирается развязать бой и, следовательно, добыть провизию, если потерпит неудачу в Ньюкасле, или навсегда освободить солдат Монка от голода, если окажется победителем. Подобное утешение оказало свое воздействие лишь на небольшую кучку людей, но это обстоятельство не особенно тревожило Монка, ибо он обладал характером весьма решительным, хоть внешне и выглядел

человеком на редкость мягким.

Так что всем пришлось удовлетвориться его посулами или, по крайней мере, сделать вид, что они удовлетворены оными. Монк, столь же голодный, как и его люди, но выказывая самое великолепное безразличие к отсутствию вышеупомянутого барана, отрезал кусок табака в полпальца длиной и принялся жевать его, уверяя своих лейтенантов, что голод – одна выдумка, что нельзя быть голодным, когда есть что жевать.

Эта шутка утешила некоторых. Поставили караулы, разослали патрули, и генерал продолжал свой скудный ужин в открытой палатке.

Между его лагерем и неприятельским возвышалось старинное Ньюкаслское аббатство. Оно стояло на Обширном участке, обособленном как от долины, так и от реки: это было почти сплошное болото. Но между, лужами, покрытыми высокой травой, осокой и тростником, находились полосы твердой земли, превращенные в огород, в парк и в сад аббатства. Аббатство напоминало огромного паука, имевшего совершенно круглое туловище, от которого в разные стороны идут ноги неравной длины. Самую длинную ногу представлял огород, простиравшийся до самого лагеря Монка. К несчастью, было только начало июня, и в заброшенном огороде еще ничего не созрело.

Монк приказал стеречь это место, потому что оно было наиболее удобным для внезапного нападения. За аббатством виднелись огни неприятельского лагеря, а между лагерем и аббатством под сенью зеленых дубов вилась река Твид.

Монк превосходно изучил позицию Ньюкасла и его окрестности, не раз уже служившие ему главной квартирой. Он знал, что днем, может быть, неприятель предпримет рекогносцировку и около аббатства произойдет стычка, но ночью он не решится явиться сюда. Поэтому Монк чувствовал себя в безопасности.

Солдаты могли видеть, как он после ужина, то есть пожевав табак, заснул, сидя в кресле, подобно Наполеону под Аустерлицем, при свете ночника и луны, поднимавшейся на горизонте.

Было около половины десятого вечера.

Вдруг Монка вывела из дремоты, быть может притворной, толпа солдат, прибежавших с веселыми криками и топотом.

Генерал тотчас открыл глаза.

– Что случилось, дети мои? – спросил Монк.

– Генерал, добрая новость.

– А! Не прислал ли Ламберт сказать, что даст завтра сражение?

– Нет, но мы захватили рыбаков, которые везли рыбу в Ньюкаслский лагерь.

– Напрасно, друзья мои. Лондонские господа люди деликатные и любят поесть. Вы приведете их в дурное настроение, и они будут беспощадны к нам. Гораздо разумнее будет отослать к Ламберту рыбу и рыбаков, если только...

Генерал задумался.

– Скажите-ка мне, что это за рыбаки?

– Пикардийские моряки. Они ловили рыбу у французских и голландских берегов, их загнало сюда бурей...

– А Говорят они по-английски?

– Их старшина обратился к нам по-английски.

Генерал становился все более подозрительным.

– Хорошо, – продолжал он, – я хочу видеть этих людей. Приведите их ко мне.

Офицер отправился за рыбаками.

– Сколько их? – спросил Монк. – Какое у них судно?

– Их человек десять или двенадцать, генерал; они на голландском рыбацком судне, как нам показалось.

– И вы говорите, что они везли рыбу в лагерь Ламберта?

– Да, и у них, кажется, хороший улов.

– Посмотрим, посмотрим, – сказал Монк.

Офицер вернулся, ведя с собою старшину рыбаков человека лет пятидесяти или пятидесяти пяти, выглядевшего крепким молодцом. Он был среднего роста, в куртке из плотной шерстяной материи; шапка была надвинута на лоб. За поясом висел большой нож. Он шел обычной матросской поступью, слегка неуверенной на суше и такой крепкой, словно каждым шагом вбивал сваю.

Монк устремил на рыбака хитрый и проницательный взгляд и долго смотрел на него. Рыбак улыбался – той полухитрой, полуглупой улыбкой, которая свойственна французским крестьянам.

– Ты говоришь по-английски? – спросил Монк на очень чистом французском языке.

– Очень плохо, милорд, – отвечал рыбак.

Ответ был произнесен быстро и отрывисто, как говорят в провинциях за Луарой, а не медленно и протяжно, как в западных и северных провинциях Франции.

– Но все-таки говоришь? – спросил Монк еще раз, чтобы хорошенько прислушаться к выговору рыбака.

– Мы, моряки, говорим немножко на всех языках, – отвечал рыбак.

– Так ты рыбак?

– Сегодня рыбак, милорд, и неплохой рыбак! Я поймал морского окуня фунтов в тридцать и множество мелкой рыбы. Из этого можно приготовить недурной ужин.

– Ты, кажется, чаще удил в Гасконском заливе, чем в Ла-Маншском проливе? – сказал ему Монк с улыбкой.

– Это правда, я с юга Франции. Но разве это мешает быть хорошим рыбаком, милорд?

– О нет, и я покупаю у тебя весь улов. Говори откровенно: куда ты вез рыбу?

– Скажу правду, милорд: я направлялся в Ньюкасл. Моя барка шла вдоль берега, когда нас заметили ваши кавалеристы и, грозя мушкетами, приказали повернуть к вам в лагерь. Так как при мне не было оружия, – добавил рыбак с улыбкой, – пришлось подчиниться.

– А почему ты ехал к Ламберту, а не ко мне?

– Не стану скрывать, милорд, если позволите говорить откровенно.

– Позволяю – и даже приказываю.

– Я ехал к Ламберту, потому что лондонские господа едят хорошо и платят хорошо, а вы, шотландцы, просвитериане, пуритане, не знаю, как вас назвать, едите плохо и платите еще хуже.

Монк пожал плечами, с трудом скрывая улыбку.

– Но скажи мне, как ты, южанин, попал к нашим берегам?

– Я имел глупость жениться в Пикардии.

– Но Пикардия все же не Англия.

– Милорд! Человек спускает судно в море, а бог и ветер несут его, куда им угодно.

– Так ты направлялся не сюда?

– И не думал!

– А куда?

– Мы возвращались из Остенде, где уже начался лов макрели, как вдруг сильный южный ветер погнал нас от берега. С ветром не поспоришь; мы пошли, куда он понес нас. Чтобы рыба не пропала, надо было продать ее в ближайшем английском порту. Всего ближе был Ньюкасл. Случай-то вышел неплохой: ходили слухи, что и в лагере и в городе народу тьма и дворяне изголодались. Вот я и направился в Ньюкасл.

– А где твои товарищи?

– Они остались на судне; ведь они простые матросы, ничего не знают.

– А ты знаешь? – спросил Монк.

– О, я! – отвечал моряк с улыбкой. – Я много шатался по свету с покойным отцом и умею на всех европейских языках назвать экую, луидор и двойной луидор. Зато экипаж слушается меня, как оракула, в повинует, точно я адмирал.

– Так ты сам выбрал Ламберта, потому что он хорошо платит?

– Разумеется. И положи руку на сердце, милорд, признайтесь: разве я ошибся?

– Увидишь после.
– Во всяком случае, милорд, если я ошибся, так я и виноват, а товарищи мои ни при чем.
«Он очень неглуп», – подумал Монк. Помолчав несколько минут и продолжая разглядывать рыбака, он спросил:

– Ты прямо из Остенде?

– Прямехонько.

– Стало быть, ты знаешь, что происходит здесь у нас? Вероятно, во Франции и Голландии поговаривают о наших делах? Что делает человек, называющий себя королем АНГЛИИ?

– Ах, милорд, – вскричал рыбак с шумной и веселой откровенностью, вот удачный вопрос. Вы как раз попали на самого подходящего человека. Я вам все могу рассказать. Подумайте, милорд, когда я заходил в Остенде продавать наш улов, я сам видел бывшего короля: он разгуливал по берегу в ожидании лошадей, которые должны были везти его в Гаагу. Высокий такой, бледный, черноволосый, а лицо не очень-то доброе. Он, похоже, не совсем здоров; верно, голландский воздух ему не по нутру.

Монк внимательно слушал быстрый, цветистый рассказ рыбака на чужом языке; к счастью, как мы уже сказали, генерал хорошо знал по-французски.

Рыбак перемешивал всевозможные слова – французские и английские, а иногда вставлял и гасконское словечко. Впрочем, глаза его говорили за него так красноречиво, что если можно было не понять его слов, то никак нельзя было не понять выразительных взглядов.

Генерал, видимо, постепенно успокаивался.

– Ты, верно, слышал, зачем этот бывший король, как ты его называешь, отправляется в Гаагу?

– Само собой, слышал.

– Зачем же?

– Все затем же, – отвечал рыбак, – у него одна мысль: воротиться в Англию.

– Правда, – прошептал Монк, задумавшись.

– Притом, – прибавил рыбак, – штатгальтер – вы знаете его, милорд? Вильгельм Второй...

– Ну, что же?

– Помогает ему всеми силами.

– Ты слышал об этом?

– Нет, но я так думаю.

– Ты, мне кажется, силен в политике? – спросил Монк.

– Ах, милорд, мы, моряки, привыкли иметь дело с водой, и воздухом, с двумя самыми непостоянными вещами; стало быть, мы редко ошибаемся насчет остального.

– Послушай-ка, – сказал Монк, меняя разговор, – говорят, ты хорошо накормишь нас?

– Постараюсь, милорд.

– За сколько продашь свой улов?

– Я не так глуп, чтобы назначать цену.

– Почему?

– Моя рыба и так принадлежит вам.

– По какому праву?

– По праву сильного.

– Но я хочу заплатить тебе.

– Вы очень добры, милорд.

– И даже столько, сколько она стоит.

– Я не прошу столько.

– А сколько же?

– Прошу одного – позволения уйти.

– Куда? К генералу Ламберту?

– Нет! – воскликнул рыбак. – Зачем мне теперь идти в Ньюкасл, раз у меня нет рыбы?

– Во всяком случае, выслушай меня. Я дам тебе совет.

– Как! Милорд хочет заплатить мне и дать еще добрый совет? Какая милость!

Монк пристально взглянул на рыбака, который все еще внушал ему подозрения.

– Да, я хочу заплатить тебе и дать совет, потому что одно связано с другим. Слушай, если ты пойдешь к генералу Ламберту...

Рыбак пожал плечами, как будто хотел сказать: «Пожалуй, раз вы этого непременно желаете».

– Не проходи через болото, – продолжал Монк. – С тобой будут деньги, а я там поставил несколько шотландских отрядов. Шотландцы люди несговорчивые, плохо понимают язык, на котором ты говоришь, хоть он и составлен, как мне кажется, из трех наречий. Они могут отнять у тебя то, что я тебе дам. Вернувшись на родину, ты станешь рассказывать, что у генерала Монка две руки, одна шотландская, а другая английская, и что шотландской рукой он отнимает то, что щедро дает английской.

– Ах, генерал, я пойду той дорогой, какой вы прикажете, – сказал рыбак со страхом, слишком ясно выраженным, чтоб не быть преувеличенным. А охотнее всего я остался бы здесь, если бы вы мне позволили.

– Охотно верю, – отвечал Монк с едва заметною улыбкою. – Но я не могу оставить тебя здесь, в собственной палатке.

– Да я не смею и думать об этом, милорд, и прошу вас только сказать мне, где прикажете остановиться. Не извольте слишком беспокоиться: для моряков ночь проходит быстро.

– Так я прикажу отвести тебя к твоей барке.

– Как вам угодно, милорд. Если бы вы послали со мной плотника, то я был бы вам премного благодарен.

– Почему?

– Потому что ваши солдаты тянули мою барку вверх по реке на веревке и повредили ее о прибрежные утесы. Теперь в ней воды фута на два.

– Стало быть, ты должен позаботиться о своем судне?

– Так точно, милорд, – отвечал рыбак. – Я сейчас выгружу корзины с рыбой, куда вы прикажете; потом вы заплатите мне, если будет милость ваша, и отпустите меня, если вам заблагорассудится. Со мной легко сговориться.

– Хорошо, хорошо, ты славный малый, – сказал Монк, который при всей своей проницательности не мог найти ничего подозрительного в ясных глазах рыбака. – Эй, Дигби!

Вошел адъютант.

– Отведите этого человека и его товарищей в маленькие палатки, где помещаются маркитанты, у болота; там они будут близко к своей барке, и все же им не придется ночевать на воде... Что тебе надо, Спитхед?

Сержант Спитхед, который вошел в палатку генерала без вызова, ответил:

– Милорд, на аванпостах французский дворянин, он непременно хочет вас видеть.

Хотя оба говорили по-английски, рыбак тем не менее слегка вздрогнул; но Монк, занятый разговором с сержантом, этого не заметил.

– Что за дворянин? – спросил Монк.

– Милорд, – отвечал Спитхед, – он сказал мне свое имя, но эти проклятые французские имена так трудны для шотландской глотки, что я не мог запомнить. Караульные сказали мне, что это тот самый дворянин, который являлся вчера и которого вы не пожелали принять.

– Да, у меня был в это время военный совет.

– Что же прикажете теперь?

– Приведи его сюда.

– Надобно ли принять меры предосторожности?

– Какие?

– Завязать ему глаза, например?

– Зачем? Он увидит то, что я хочу, чтобы все видели, то есть что около меня одиннадцать тысяч храбрых воинов, которые горят нетерпением пролить кровь за парламент, Шотландию и

Англию.

– Ас ним что делать? – спросил Спитхед, указывая на рыбака, который во все время разговора стоял неподвижно, как человек все видящий, но ничего не понимающий.

– Да, правда, – согласился Монк.

Он обратился к рыбаку:

– До свидания, любезный друг; я нашел тебе помещение. Дигби, отведите его. Не беспокойся, тебе сейчас же уплатят деньги.

– Благодарив вас, милорд, – сказал рыбак.

Он поклонился и вышел вместе с Дигби.

Пройдя шагов сто, он увидел своих товарищей. Они оживленно перешептывались и, казалось, боялись; он подал им знак, который несколько успокоил их.

– Эй вы! – закричал он. – Ступайте-ка сюда! Генерал Монк так щедр, что платит нам за рыбу, и так добр, что обещает приют на ночь.

Рыбаки подошли к своему предводителю и в сопровождении Дигби двинулись к маркитантским палаткам, где им отвели квартиру.

Дорогою рыбаки в темноте встретили солдата, который вел французского дворянина к генералу.

Дворянин ехал верхом, закутавшись в широкий плащ; поэтому рыбак не мог рассмотреть его, хотя и очень старался. А дворянин, не зная, что едет мимо соотечественников, не обратил на них никакого внимания.

Адъютант поместил гостей в довольно опрятной палатке, из которой выгнали ирландскую маркитантку. Она пошла искать где-нибудь приюта со своими шестью детьми. Перед палаткой развели большой огонь; он бросал красноватый отблеск на заросшие травой болотные воды, которые покрывал рябью свежий ветерок.

Разместив моряков, адъютант простился с ними и, уходя, сказал, что из палатки видна мачта их барки, качавшейся на волнах реки; стало быть, она еще не потонула. Это, видимо, очень обрадовало предводителя рыбаков.

Глава 24. СОКРОВИЩЕ

Французский дворянин, о котором Спитхед докладывал Монку и который, с ног до головы закутанный в плащ, проехал пять минут назад мимо рыбака, выходящего из палатки генерала, миновал несколько караулов, даже не бросив на них взгляда, чтобы не показаться слишком любопытным. Согласно приказанию, его провели прямо в палатку генерала.

Там он ждал Монка, который явился, сначала собрав сведения о приезде от своих солдат и рассмотрев его лицо сквозь холщовую перегородку.

Должно быть, люди, сопровождавшие французского дворянина, рассказали генералу о его скромности. Поэтому прием, оказанный французам Монком, сразу показался незнакомцу лучшим, чем можно было ожидать в такое тревожное время со стороны столь недоверчивого человека, как Монк. Однако, очутившись лицом к лицу с незнакомцем, генерал, по своему обыкновению, устремил на него пристальный взгляд. Тот выдержал испытание без всякого смущения и страха.

Через несколько секунд генерал показал жестом, что ждет.

– Милорд, – сказал незнакомец на чистом английском языке, – я просил свидания с вами по чрезвычайно важному делу.

– Сударь, – ответил Монк по-французски, – вы француз, а между тем превосходно говорите на нашем языке. Прошу извинить меня, если предложу вам не совсем скромный вопрос: говорите ли вы так же чисто по-французски?

– Нет ничего удивительного, милорд, что я свободно говорю по-английски: в юности я долго жил в Англии, а потом еще два раза приезжал сюда.

Слова эти были сказаны на чистейшем французском языке, сразу выдававшем в

говорившем уроженца Турени.

– А в какой части Англии жила вы, милостивый государь?

– В молодости я жил в Лондоне, милорд. Потом, в тысяча шестьсот тридцать пятом году, я ездил для своего удовольствия в Шотландию. А в тысяча шестьсот сорок восьмом году я жил несколько времени в Ньюкасле, в монастыре, сады которого заняты теперь вашей армией.

– Прошу извинить меня, сударь, но эти вопросы с моей стороны понятны.

– Милорд, меня бы удивило, если бы они не были мне заданы.

– Теперь, сударь, скажите, чего вы хотите от меня?

– Сейчас, милорд. Но одни ли мы здесь?

– Совершенно одни – разумеется, кроме караульного.

С этими словами Монк приподнял полотнище палатки и показал гостю часового, который стоял в десяти шагах и по первому зову мог явиться на помощь.

– В таком случае, – сказал дворянин столь спокойно, как если бы он с давних пор был в дружеских отношениях с генералом, – ничто не мешает мне переговорить с вами, потому что я считаю вас порядочным человеком. Тайна, которую я сообщу, вам, покажет, какое глубокое уважение я чувствую к вам, милорд.

Монк, удивленный такой речью, которая как бы устанавливала равенство между ним и незнакомцем, поднял на собеседника пронизательный взгляд и произнес с иронией, заметной только по интонации его голоса, так как ни один мускул его лица не дрогнул:

– Благодарю вас, сударь. Но позвольте узнать, кто вы?

– Я уже назвал свое имя вашему сержанту, милорд.

– Извините его, он шотландец и с трудом запоминает имена.

– Меня зовут граф де Ла Фер, – ответил Атос с поклоном.

– Граф де Ла Фер! – повторил Монк, видимо, стараясь припомнить. – Извините, сударь, но, мне кажется, я в первый раз слышу это имя. Занимаете вы какую-нибудь должность при французском дворе?

– Нет. Я просто дворянин.

– И не имеете отличий?

– Король Карл Первый пожаловал меня в кавалеры ордена Подвязки. А королева Анна Австрийская наградила лентой ордена Святого Духа. Больше у меня нет ничего, милостивый государь.

– Орден Подвязки! Орден Святого Духа! Вы кавалер обоих этих орденов?

– Да.

– Но по какому случаю вы ими награждены?

– За услуги, оказанные их величествам.

Монк с удивлением посмотрел на человека, который казался ему одновременно простым и величественным. Потом, как бы отказавшись от попытки разгадать тайну этого величия и простоты, о которой умалчивал незнакомец, он продолжал:

– Так это вы приезжали вчера на аванпосты?

– Да, и меня не пропустили.

– Многие генералы никого не впускают в лагерь, особенно накануне возможного сражения. Но я поступаю иначе. Всякое предупреждение мне полезно. Любая опасность послана мне богом, и я взвешиваю ее, сравнивая с силою, дарованною мне им. Вчера вас не приняли только потому, что у меня был военный совет. Сегодня я свободен и готов вас выслушать.

– Очень хорошо, милорд, что вы меня приняли, тем более что дело мое не имеет никакого отношения ни к сражению, которое вы намерены дать генералу Ламберту, ни к вашему лагерю. В том порукой то, что я отвернулся, не желая видеть ваших солдат, и закрыл глаза, чтобы не иметь возможности сосчитать ваши палатки.

– Так говорите же, сударь.

– Я уже имел честь сказать вам, милорд, что я жил в Ньюкасле во времена Карла Первого, когда покойный король был предан в руки Кромвеля шотландцами.

– Знаю, – холодно произнес Монк.

– В то время я имел при себе значительную сумму, денег золотом и накануне сражения, предчувствуя то, что случилось на другой день, спрятал их в большом погребе Ньюкаслского монастыря, в башне, верхушку которой, освещенную луной, вы видите отсюда. Сокровище мое спрятано там, и я пришел просить, чтобы вы позволили мне взять его, прежде чем мина или что-нибудь другое разрушит здание и раскидает мое золото или обнаружит его и им завладеют солдаты.

Монк знал людей. По лицу графа он прочитал его энергию, ум и осторожность. Поэтому лишь благородной доверчивости мог он приписать поступок французского вельможи, и это глубоко тронуло его.

– Сударь, – сказал он, – вы в самом деле не ошиблись во мне. Но так ли велико ваше сокровище, чтобы подвергаться ради него опасности? Уверены ли вы, что оно еще на прежнем месте?

– Оно там, без сомнения.

– Хорошо, на один вопрос вы ответили. Теперь другой... Я спросил у вас: так ли велико сокровище, чтобы подвергаться опасности ради него?

– Да, очень велико, милорд; я спрятал на миллион золота в двух бочонках.

– Миллион! – вскричал Монк, с которого Атос не спускал долгого пристального взгляда.

К генералу вернулась вся его прежняя недоверчивость. «Этот человек хочет обмануть меня», – подумал он.

– Так вы хотите, – сказал он громко, – взять эти деньги?

– Если вы позволите, сегодня же вечером; и по соображениям, о которых я вам говорил.

– Но, сударь, – возразил Монк, – генерал Ламберт стоит не далее меня от аббатства, в котором хранятся ваши деньги. Почему же вы не обратились к нему?

– Потому, что в важных делах надо больше всего доверять своему инстинкту. Генерал Ламберт не внушает мне такого доверия, как вы.

– Хорошо. Я дам вам возможность отыскать деньги, если только они остались на прежнем месте; ведь, может быть, их там уже нет. С тысяча шестьсот сорок восьмого года прошло двенадцать лет, случилось немало событий.

Монк умышленно настаивал на этом, ему хотелось убедиться, не воспользуется ли французский дворянин предложением, чтобы отказаться от поисков. Но Атос и бровью не повел.

– Уверяю вас, милорд, – произнес он твердым голосом, – я вполне убежден, что оба бочонка стоят на прежнем месте и не переменили хозяина.

Этот ответ избавил Монка от одного подозрения, но внушил другое.

Француз, вероятно, подослан, чтобы соблазнить защитника парламента; бочонки с золотом – пустая выдумка; может быть, этой выдумкой хотели пробудить в генерале корыстолюбие. Золота, наверное, не было.

Монк хотел уличить французского дворянина во лжи и коварстве и извлечь пользу из ловушки, расставленной ему врагами. Обдумав все это, Монк сказал гостю:

– Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной ужин?

– Охотно, – отвечал Атос, кланяясь. – Вы делаете мне честь, которой я считаю себя достойным, потому что чувствую к вам особенное расположение.

– Прошу быть снисходительным: поваров у меня мало, да и те очень плохи, а мой провиантмейстер вернулся с пустыми руками. Если бы в лагерь случайно не забрел французский рыбак, генерал Монк лег бы сегодня спать без ужина. У меня есть рыба – свежая, если верить поставщику.

– Милорд, я хочу только иметь удовольствие провести с вами несколько лишних минут.

После обмена этими учтивостями, во время которых Монк не забывал об осторожности, подали ужин или то, что должно было заменить таковой. Монк пригласил графа де Ла Фер сесть за стол и занял место против него.

Блюдо с отварной рыбою, предложенное двум знаменитым собеседникам, способно было удовлетворить голодные желудки, но не взыскательный вкус.

Ужиная и запивая рыбу плохим элем, Монк выслушал рассказ о последних событиях Фронды, о примирении принца Конде с королем, о предстоящем браке Людовика с инфантой Марией-Терезией.

Но он не спросил, а Атос ни слова не сказал о политических интересах, которые в то время соединяли или, что будет точнее, разъединяли Англию, Францию и Голландию.

Глядя на Атоса и слушая его, Монк решил, что он не может быть ни убийцей, ни шпионом. Но вместе с тем в Атосе было столько тонкости ума и твердости, что Монк принял его за заговорщика.

Когда они встали из-за стола, Монк спросил:

– Так вы серьезно верите в ваше сокровище?

– Вполне серьезно.

– И думаете, что нашли бы место?

– Сразу же.

– Если так, я из любопытства готов пойти с вами. Да мне и необходимо проводить вас. Вам невозможно проехать через лагерь без меня или без одного из моих офицеров.

– Генерал, я не допустил бы, чтобы вы так себя утруждали, если бы не нуждался в вашем присутствии; признаюсь, оно не только лестно, но и необходимо для меня, и потому я принимаю ваше предложение.

– Нужно ли брать солдат? – спросил Монк.

– Я думаю, что это бесполезно, если вам они не нужны. Два человека и лошадь, вот и все, что понадобится для перевозки обоих бочонков на фелуку, которая Привезла меня сюда.

– Но придется копать землю, разбивать камни. Вы, вероятно, не захотите сами работать, не так ли?

– Не нужно ни рыть землю, ни разбивать камни. Сокровище спрятано в монастырском склепе. Под плитой с железным кольцом скрыта лесенка в четыре ступеньки; там и лежат оба бочонка рядом, залитые гипсом в виде гроба. А плиту можно узнать по надписи да ней. Раз все между нами основано на доверии, я не стану скрывать от вас и скажу вам самую надпись:

Hic jacet venerabilis Petrus Guillelmus Scott, Canon. Honorab. Conventus Novi Castellii. Obiit quarta et decima die. Feb. Ann. Dom. MCCVIII. Requiescat in pace.

6.

Монк слушал с напряженным вниманием. Он удивлялся не то изумительному лукавству этого человека и замечательному искусству, с каким он играл свою роль, не то прямодушию, с которым он излагал свою просьбу. Ведь дело шло о миллионе. Надо было взять этот миллион у солдат, которые могли счесть это воровством и, не задумываясь, покончили бы с похитителем ударом кинжала.

– Хорошо, – сказал он, – я пойду вместе с вами. Приключение кажется мне таким чудесным, что я хочу сам нести вам факел.

Он прицепил коротенькую шпагу и засунул за пояс пистолет; при этом движении он нарочно распахнул камзол и показал стальную кольчугу, которая защищала его от кинжалов наемных убийц. Потом он взял в левую руку шотландский дирк, повернулся к Атосу и спросил:

– Я готов, а вы?

Атос, в противоположность Монку, отвязал свой кинжал и положил на стол; расстегнул перевязь и положил шпагу возле кинжала; и, распахнув камзол, точно в поисках носового платка, показал под тонкой батистовой рубашкой голую грудь, ничем не защищенную.

«Вот удивительный человек! – подумал Монк. – У него нет оружия, но там, верно, есть засада».

– Генерал, – сказал Атос, словно угадав мысль Монка, – вы хотите, чтобы мы были одни? Но великий полководец никогда не должен неосторожно подвергать себя риску. Сейчас темно, переход через болото небезопасен, возьмите конвой.

– Вы правы, – согласился Монк.

И закричал:

– Дигби!

Вошел адъютант.

– Пятьдесят человек со шпагами и мушкетами! – И он взглянул на Атоса.

Тот ответил:

– Это слишком мало, если есть опасность, и слишком много, если ее нет.

– Ну, так я пойду один, – усмехнулся Монк. – Дигби, мне никого не нужно. Пойдемте, сударь.

Глава 25. БОЛОТО

Выйдя из лагеря по направлению к берегу реки, Атос и Монк пошли той дорогой, которой Дигби провел рыбаков от Твида до лагеря.

Вид этих мест, перемены, происшедшие здесь по воля людей, сильно подействовали на воображение впечатлительного Атоса. Все его внимание было приковано к этим пустынным местам. А все внимание Монка – к Атосу.

Атос шел, задумавшись и вздыхая, то поднимая глаза к небу, то устремляя их в землю.

Дигби, встревоженный последним приказанием генерала и особенно голосом, каким оно было отдано, прошел шагов двадцать за ночными пешеходами.

Но генерал обернулся, точно удивляясь, почему не исполняют его приказаний, и адъютант, поняв свою нескромность, вернулся в палатку.

Он решил, что генерал хочет тайно осмотреть лагерь, как обыкновенно делают все опытные полководцы перед решительным сражением.

Дигби старался объяснить себе присутствие Атоса, как обычно объясняют себе подчиненные таинственные поступки своих начальников. Он принимал Атоса за шпиона, доставившего генералу сведения.

Минут десять шли они между палатками и караулами, которых было очень много около штаб-квартиры. Потом Монк вышел на мощенную щебнем дорогу, которая разделялась на три ветви. Левая ветвь вела к реке, средняя – через болото к Ньюкаслскому аббатству, а правая тянулась вдоль передовых линий лагеря Монка, наиболее близких к армии Ламберта. За рекою находился передовой пост армии Монка, наблюдавший за передвижениями неприятеля; он состоял из ста пятидесяти шотландцев. Они пересекли Твид вплавь и в случае атаки должны были снова переплыть реку по сигналу тревоги; но так как в тех местах не было моста и поскольку солдаты Ламберта так же мало стремились бросаться в воду, как и солдаты Монка, последний не ждал особых осложнений с этой стороны.

На этом берегу реки, шагах в пятидесяти от старинного аббатства, рыбаки получили пристанище среди бесчисленного множества маленьких палаток, поставленных солдатами соседних кланов, которые привели с собою своих жен и детей.

Весь этот беспорядок при свете луны являл захватывающую картину; полумрак облагораживал каждую мелочь, и свет, этот льстец, что льнет лишь к гладкой стороне вещей, отыскивал на каждом заржавленном мушкете еще нетронутое местечко и на каждом лоскутке материи – самый белый и чистый кусочек.

По темному полю, освещенному двойным светом – серебристыми лучами луны и красноватыми отблесками потухающих костров, Монк вместе с Атосом подошел к перекрестку трех дорог. Тут он остановился и, обращаясь к своему спутнику, спросил:

– Сударь, узнаете вы дорогу?

– Если я не ошибаюсь, генерал, средняя дорога ведет прямо в аббатство.

– Именно так; но нам понадобится огонь, когда мы войдем в подземелье.

Монк обернулся.

– Кажется, Дигби шел за нами, – сказал он. – Тем лучше: он достанет нам огня.

– Да, генерал, какой-то человек, вон там, уже давно идет следом за нами.

– Дигби! – крикнул Монк. – Дигби! Подите-ка сюда.

Но тень, вместо того чтобы повиноваться, отскочила как будто с удивлением, нагнулась и исчезла слева, на дороге, которая вела к тому месту, где ночевали рыбаки.

– Очевидно, это не Дигби, – проговорил Монк.

Оба следили глазами за тенью, пока она не пропала. Но человек, бродящий в одиннадцать часов в лагере, где стоят десять тысяч солдат, – вещь не удивительная; Монк и Атос не придали этому значения.

– Однако нам непременно нужен огонь, факел или что-нибудь в этом роде; иначе мы не будем знать, куда идти. Поищем, – предложил Монк.

– Генерал, первый встречный солдат посветит нам.

– Нет, – сказал Монк, желая узнать, нет ли сговора у графа де Ла Фер с рыбаками. – Нет, проще взять одного из тех французских рыбаков, которые сегодня привезли мне рыбу. Они уезжают завтра, значит, лучше сохраняют тайну. Если в шотландской армии разнесется слух, что в Ньюкаслском аббатстве находят сокровища, то мои горцы вообразят, что под каждой плитой лежит по миллиону, и не оставят камня на камне.

– Как вам угодно, генерал, – отвечал Атос непринужденно. Видно было, что ему все равно, кто пойдет с ними: рыбак или солдат.

Монк подошел к дороге, на которой исчез тот, кого он принял за Дигби.

Тут он встретил патруль, обходивший палатки и направлявшейся к штабу.

Патруль остановил генерала и его спутника. Монк произнес пароль, и их пропустили. Один из спавших солдат, услышав шум шагов, проснулся.

– Спросите у него, где рыбаки, – обратился Монк к Атосу. – Если спрошу я, он узнает меня.

Атос подошел к солдату, который указал ему палатку. Монк и Атос пошли в ту сторону.

Генералу показалось, что, когда они подходили к палатке, промелькнула та самая тень, которую они уже видели. Но, войдя в палатку, ни убедился, что ошибся, потому что там все спали.

Атос, опасаясь, чтобы его не сочли сообщником французов, остался у входа в палатку.

– Эй! – крикнул Монк по-французски. – Вставайте!

Два или три человека приподнялись.

– Мне нужен человек, чтоб посветить нам, – продолжал Монк.

Все пришло в движение. Некоторые из рыбаков вскочили, другие заворочались.

Первым встал их предводитель.

– Можете положиться на нас, – произнес он голосом, от которого Атос вздрогнул. – Куда надо идти?

– Увидишь. Бери факел! Скорей!

– Сейчас, милорд. Угодно, я провожу вас?

– Ты или другой, все равно. Только бы кто-нибудь посветил мне.

«Странно, – подумал Атос. – Какой удивительный голос у этого рыбака».

– Эй, огня! – закричал рыбак. – Ну, живей!

Потом шепнул на ухо своему соседу:

– Ступай, Менвиль, возьми фонарь и будь готов ко всему.

Один из рыбаков высек огонь, зажег кусок трута, фонарь загорелся.

Тотчас вся палатка осветилась.

– Готовы ли вы, сударь? – спросил Монк у Атоса, который отвернулся, чтобы не выставлять на свет свое лицо.

– Готов, – отвечал он.

– А, это французский дворянин! – сказал предводитель рыбаков. – Хорошо, что я

передал поручение тебе, Менвиль. Он, может быть, узнал бы меня! Свети!

Они вели разговор в глубине палатки и так тихо, что Монк ничего не слышал: он беседовал с Атосом. Менвиль между тем готовился в путь – вернее, выслушивал приказания своего начальника.

– Скоро ты там? – спросил Монк.

– Я готов, – отвечал рыбак.

Монк, Атос и рыбак вышли из палатки.

«Этого не может быть! – подумал Атос. – Что за нелепая мысль взбрела мне в голову!»

– Ступай вперед, по средней дороге, да поскорее! – приказал Монк рыбаку.

Не прошли они и двадцати шагов, как из палатки опять скользнула тень и, скрываясь за столбами, вбитыми по сторонам дороги, с любопытством стала следить за генералом.

Все трое скрылись в ночном тумане. Они шли к Ньюкаслу, белые камни которого виднелись вдали, как надгробные памятники.

Постояв несколько секунд под воротами, они вошли во двор. Ворота были разрушены ударами топора. Тут в безопасности спал караул из четырех человек, – настолько сильна была уверенность, что с этой стороны не может быть нападения.

– Караульные не помешают нам? – спросил Монк у Атоса.

– Напротив, генерал, они помогут перекатить бочонки, если вы позволите.

– Вы правы.

Сонные солдаты сразу встрепенулись, услышав в траве и кустарнике, разросшемся у ворот, шаги неведомых посетителей. Монк сказал пароль и вошел в аббатство; впереди двигался моряк с фонарем. Монк держался сзади и наблюдал за малейшим движением Атоса; он прятал обнаженный дирк в рукаве и при первом подозрительном жесте француза мог заколоть его. Но Атос твердо и уверенно пересекал дворы и залы.

В здании не было ни дверей, ни окон. Кое-где подожженные двери обуглились внизу, но огонь погас, не будучи в силах охватить массивные дубовые створки, обитые железом. Все стекла в окнах были разбиты, и в зиявшие дыры вылетали ночные птицы, испуганные светом фонаря. Летучие мыши беззвучно чертили круги над прищельцами, фонарь отбрасывал их тени на высокие стены. Это зрелище могло успокоить человека, привыкшего рассуждать. Монк заключил, что в монастыре нет никого, потому что тут еще оставались дикие птицы, улетающие при приближении человека.

Пробравшись между обломками, Атос вступил в склеп, который находился под главной залой и соединялся с часовней. Там он остановился.

– Мы пришли, генерал, – сказал он.

– Так вот эта плита?

– Да.

– В самом деле, я узнаю кольцо... Но оно плотно прижато к плите.

– Нам нужен рычаг.

– Его нетрудно достать.

Осмотревшись кругом, Атос и Монк увидели небольшой ясень дюйма в три в диаметре; он вырос в углу, у стены, и, дотянувшись до окна, закрывал его своими ветвями.

– Есть у тебя нож? – спросил Монк у рыбака.

– Есть.

– Срежь это деревце.

Рыбак повиновался, хотя нож его пострадал от этой операции.

Из деревца сделали рычаг, затем все спустились в подземелье.

– Стань здесь, – сказал Монк рыбаку, указывая на угол склепа. – Мы хотим достать порох: твой факел нам опасен.

Рыбак со страхом отступил и не сдвинулся с указанного места. Монк и Атос зашли за колонну; луч месяца играл на плите, ради которой граф де Ла Фер совершил такое дальнее путешествие.

– Вот она, – проговорил Атос, указывая Монку на латинскую надпись.

– Да, вижу, – отвечал Монк.

Потом, желая дать французу последнюю возможность отказаться от поисков, прибавил:

– Замечаете ли вы, что в этом склепе уже побывали люди? Многие статуи разбиты.

– Вы, вероятно, знаете, милорд, что ваши шотландцы, из религиозного чувства, отдают под охрану надгробных статуй все драгоценности покойников. Поэтому солдаты могли подумать, что под пьедесталом этих статуй, украшающих многие могилы, хранятся сокровища. Вот почему они разрушили статуи и пьедесталы; но над гробницей смиренного каноника нет статуи.

Она совсем простая. Ее охраняет еще суеверный страх, который питают ваши пуритане к кощунству. Смотрите, она нигде не пострадала.

– Правда, – кивнул Монк.

Атос взялся за рычаг.

– Хотите, я помогу вам? – спросил Монк.

– Благодарю вас, милорд, я не хочу, чтобы вы приложили свою руку к делу, за которое вы, может быть, не приняли бы на себя ответственности, если бы знали его последствия.

Монк поднял голову.

– Что вы хотите сказать? – спросил он.

– Я хочу сказать... Но этот человек...

– Постойте, – сказал Монк. – Я понимаю, чего вы боитесь, и сейчас испытаю его.

Монк повернулся к рыбаку, который стоял боком и весь был освещен фонарем.

– Поди сюда, приятель, – произнес он по-английски повелительным тоном начальника.

Рыбак не сдвинулся с места.

– Хорошо, – продолжал Монк, – он не понимает по-английски. Говорите по-английски, сударь, если вам угодно.

– Милорд, – отвечал Атос, – мне часто случалось видеть людей, которые в известных случаях так владеют собой, что не отвечают на вопросы, предложенные им на знакомом им языке. Рыбак, может быть, гораздо умнее, чем мы думаем. Отошлите его, милорд, прошу вас.

Монк подумал: «Решительно, он хочет остаться со мною с глазу на глаз здесь, в склепе. Все равно, пойдем до конца. Один человек стоит другого, а нас только двое».

– Друг мой, – обратился Монк к рыбаку, – поднимись по лестнице, по которой мы спустились, и стереги, чтобы нам не помешали.

Рыбак хотел исполнить приказание.

– Оставь здесь фонарь, – сказал Монк. – Он может обнаружить твое присутствие и навлечь на тебя мушкетный выстрел.

Рыбак, видимо, оценил совет, поставил фонарь на землю и исчез под сводами лестницы. Монк взял фонарь и отнес его к колонне.

– Послушайте, – спросил он, – действительно ли в этой гробнице спрятаны деньги?

– Да, милорд, и через пять минут вы перестанете сомневаться.

С этими словами Атос с силой ударил по крышке гробницы; алебастр треснул, в нем показалось отверстие.

Атос вставил рычаг в трещину, и вскоре куски алебаstra начали отделяться один за другим.

– Милорд, – начал Атос, – я говорил вам...

– Да, но я еще не вижу бочонков, – отвечал Монк.

– Если б у меня был кинжал, – сказал Атос, оглядываясь по сторонам, вы бы скоро увидели их. К не – счастью, я оставил мой кинжал у вас в палатке.

– Я бы дал вам свой, – отвечал Монк, – но боюсь, что его лезвие слишком хрупко для такой работы.

Атос стал искать около себя какой-нибудь предмет, способный заменить нужное орудие. Монк следил за каждым движением его рук, за каждой переменной в выражении его глаз.

– Спросите нож у рыбака, – посоветовал Монк.

Атос подошел к лестнице.

– Друг мой, – попросил он у рыбака, – брось мне свой нож: он мне нужен.

Нож зазвенел на ступеньках.

– Возьмите его, – сказал Монк. – Мне кажется, это неплохой инструмент. Крепкая рука может мастерски воспользоваться им.

Атос, по-видимому, придал словам Монка самый простой и обычный смысл; он не заметил также, как Монк отступил, давая ему пройти, и положил левую руку на рукоятку пистолета, продолжая держать дирк в правой.

Атос принялся за работу, повернувшись спиной к Монку и вверив ему свою жизнь. В продолжение нескольких секунд он так ловко и метко ударял по крышке, что пробил ее насквозь. Монк увидел два бочонка, лежавшие рядом.

– Милорд, – усмехнулся Атос, – видите, предчувствие не обмануло меня.

– Да, и надеюсь, вы удовлетворены?

– Разумеется. Потеря этих денег была бы для меня чрезвычайно чувствительна; но я был уверен, что бог не позволит, чтобы погубило золото, которое должно помочь восторжествовать правому делу.

– Клянусь честью, вы столь же таинственны в речах, как и в делах, сказал Монк. – Я только что на вполне понял вас, когда вы заявили, что не хотите возлагать на меня ответственность за это дело.

– Я имел причины сказать вам так.

– А теперь вы говорите о каком-то правом деле. Что разумеете вы под этими словами? В настоящий момент мы защищаем в Англии пять или шесть дел: это не мешает каждому из нас думать, что его дело не только правое, но и самое благое. Какое дело защищаете вы? Говорите смело. Я хочу знать, согласны ли мы во мнениях об этом предмете, которому вы придаете такое значение.

Атос устремил на Монка пронизательный взгляд, казалось, читавший его мысли; потом он снял шляпу и заговорил торжественным голосом, в то время как Монк, слушая его, задумчиво смотрел в глубину темного подземелья, поглаживая подбородок и усы.

Глава 26. СЕРДЦЕ И УМ

– Милорд, – произнес граф де Ла Фер, – вы благородный англичанин, вы честный человек и говорите с благородным французом, тоже человеком честным. Я сказал вам неправду: золото, лежащее в этих двух бочонках, принадлежит не мне. Я первый раз в жизни солгал. Золото принадлежит королю Карлу Второму, изгнанному с родины и из своего дворца, лишенному одновременно и отца и престола; королю, которому отказано во всем, даже в печальном утешении, преклонив колени, поцеловать камень, на котором рукою убийц начертана простая надпись, вечно зовущая к мести: «Здесь погребен Карл Первый».

Монк слегка побледнел; едва заметная дрожь пробежала по его лицу и приподняла седые усы.

Атос продолжал:

– Я, граф де Ла Фер, единственный последний приверженец несчастного покинутого короля, обещал ему съездить к человеку, от которого зависит теперь судьба королевской власти в Англии. Вот я и приехал, предстал перед этим человеком, безоружный предался в его руки и говорю ему: «Милорд, здесь, в этом золоте, последняя надежда принца, который по воле божьей ваш господин и по рождению король; от вас одного зависит его жизнь и будущая судьба. Хотите употребить эти деньги на успокоение Англии после всех бедствий, причиненных анархией, иначе говоря, хотите помочь Карлу Второму или, по крайней мере, не мешать ему действовать? Вы здесь повелитель, неограниченный властелин. Мы здесь одни, милорд: если вы не хотите делиться успехом, если мое участие тяготит вас, – у вас есть оружие, милорд, и вот – готовая могила. Если, напротив, предпринятое вами дело увлекает вас, если вы являетесь именно тем, кем кажетесь, если в том, что вы делаете, ваша рука

повинуется вашему уму, а ум сердцу, вы имеете случай навсегда погубить дело врага вашего, Карла Стюарта: убейте человека, который стоит перед вами, потому что иначе он уедет с золотом, доверенным ему покойным королем Карлом Первым; убейте и возьмите золото, которое могло бы поддержать междоусобную войну. Увы, милорд, таково роковое предназначение этого злосчастливого принца. Он должен совращать или убивать, ибо все сопротивляется ему, все отвергает его, все враждебно ему, а между тем он отмечен божественною печатью, и должно, ежели не предается его происхождение, чтобы он взошел на трон или пал мертвым на священную землю своей родины.

Милорд, вы слышали меня. Если бы меня слушал менее благородный человек, я бы сказал ему: «Вы бедны, король предлагает вам этот миллион как задаток огромной сделки; возьмите его и служите Карлу Второму, как я служил Карлу Первому». Но генералу Монку, знаменитому человеку, все благородство которого я, кажется, постиг, я скажу только: «Милорд, вы займете в истории народов и королей блестящее место, покроете себя вечной бессмертной славой, если бескорыстно, единственно для блага родины и торжества справедливости, станете опорой вашего короля. Много было завоевателей и похитителей престолов. Вы, милорд, прославитесь добродетелью и бескорыстием, и я уверен, что бог, который нас слышит, который нас видит, который читает в сердце вашем то, что скрыто от взоров людских, я уверен, что бог дарует вам славу в жизни вечной после славной смерти. Вы держите корону в руках и, не возлагая на себя, отдадите ее тому, кому она принадлежит. О милорд! Сделайте это, и вы оставите потомству славное имя, которое оно будет хранить с гордостью».

Атос умолк.

Пока он говорил, Монк ни одним знаком не выразил ни одобрения, ни порицания. Во время этой пылкой речи даже взгляд его оставался безучастным. Граф де Ла Фер печально посмотрел на него; при виде этого неподвижного лица он почувствовал глубокое разочарование. Наконец Монк несколько оживился и произнес тихо и серьезно:

– Сударь, я отвечу вам, повторив ваши собственные слова. Всякому другому я ответил бы изгнанием, тюрьмой или еще худшим. Ведь вы соблазните меня, даже совершаете надо мною насилие. Но вы принадлежите к числу тех людей, которым нельзя не оказать внимания и уважения. Вы благородный человек, я это вижу, – а я знаю людей. Вы сейчас сказали, что получили от Карла Первого сокровище, которое он поручил вам передать своему сыну. Не из тех ли вы французов, которые, как мне говорили, хотели похитить короля из Уайт-Холла?

– Да, милорд, я стоял под эшафотом во время казни. Я не мог спасти Карла Первого, но, обрызганный кровью короля-мученика, я слышал его последнее слово. Это мне он сказал: «Помни!», намекая на сокровище, которое лежит теперь у ваших ног, милорд.

– Я много слышал о вас, сударь, – сказал Монк, – но я рад, что сейчас оценил вас по личному впечатлению, а не по чужим суждениям. Поэтому я скажу вам то, чего не говорил никому, и вы увидите, насколько я отличаю вас от всех тех, кого до сих пор ко мне присылали.

Атос поклонился и приготовился слушать, жадно вбирая слова Монка, слова скупые и драгоценные, как роса в пустыне.

Монк продолжал:

– Вы говорите о короле Карле Втором, но скажите мне, прошу вас, какое мне дело до этого мнимого короля? Я состарился в трудах военных и политических, а война и политика теперь переплетены так тесно, что каждый воин должен сражаться в сознании своего права или своих стремлений, будучи заинтересован лично, а не повинаясь слепо командиру, как в обыкновенных войнах. Я, может быть, ничего не хочу, но боюсь многого. С войной связана независимость Англии и каждого англичанина. Теперь положение мое независимо, а вы хотите, чтобы я сам дал надеть на себя оковы иностранцу. Ведь Карл Второй для меня не более как иностранец. Он дал здесь несколько сражений и проиграл их; стало быть, он плохой полководец. Ему не удалось переговоры; стало быть, он плохой дипломат. Он просил помощи у всех европейских дворов; стало быть, он человек малодушный и бесхарактерный. Мы еще не видели ничего благородного, ничего великого, ничего сильного от этого ума, который хочет

управлять величайшею в мире державою. Я знаю Карла только с самой дурной стороны, и вы хотите, чтобы я, человек разумный, добровольно стал рабом существа, которое гораздо ниже меня по военным знаниям, политическим способностям и даже по своему положению.

Нет, сударь, когда какой-нибудь великий и благородный подвиг заставит меня оценить Карла Стюарта, я, может быть, признаю его права на престол, с которого мы свергли его отца, потому что тот был лишен достоинств, отсутствующих пока и у сына. Но сейчас я признаю только свои права. Революция произвела меня в генералы, а моя шпага сделает меня протектором, если я захочу. Пусть Карл явится, вступит в открытую борьбу и особенно пусть не забывает, что он из той породы, с которой спросится больше, чем со всякой другой. Перестанем же говорить об этом, я не принимаю вашего предложения и не отказываюсь: я жду.

Атос понял, что Монк слишком хорошо осведомлен обо всем, что касается Карла II, и потому счел бесполезным продолжать свои настояния. И час и место мало подходили для этого.

– Милорд, – сказал он, – мне остается только выразить вам мою благодарность.

– За что, сударь? За то, что вы разгадали меня и что я поступил так, как вы надеялись? Право, это не стоит благодарности. Золото, которое вы отвезете Карлу, послужит ему испытанием. Увидим, что он из него сделает, и, может быть, я переменю о нем мнение.

– Однако ваша милость не боится скомпрометировать себя, выпуская из рук деньги, которые дадут вашему противнику средство действовать против вас?

– Моему противнику, говорите вы? Но у меня, сударь, нет противника. Я служу парламенту, который приказывает мне сражаться с генералом Ламбертом и королем Карлом! Они – враги парламента, а не мои, По его приказанию я сражаюсь с ними. Если бы парламент приказал мне украсить флагами Лондонский порт, выстроить солдат на берегу и встретить короля Карла Второго...

– То вы бы повиновались ему? – воскликнул Атос с радостью.

– Извините меня, – отвечал Монк с улыбкою, – где моя голова: я, седой старик, чуть не сказал ребяческой глупости.

– Так вы ослушались бы приказания парламента? – спросил Атос.

– Я не говорю и этого, сударь. Прежде всего спасение родины. Богу угодно было дать мне силу, которую я должен употребить на общее благо, и в то же время он дал мне способность рассуждения. Поэтому, если бы парламент отдал мне подобное приказание, то я бы еще подумал.

Атос опечалился.

– Вижу, – вздохнул он, – вижу, ваша милость, что вы решительно против короля Карла Второго.

– Вы все предлагали мне вопросы; позвольте и мне спросить вас, граф.

– Извольте, сударь, я отвечу вам так же откровенно, как вы мне.

– Когда вы доставите этот миллион вашему принцу, что посоветуете вы ему с ним сделать?

Атос устремил на Монка гордый – и решительный взгляд.

– Милорд, – сказал он, – другие употребили бы эти деньги на подкуп.

Но я посоветую королю наембовать два полка, явиться в Шотландию, которую вы усмирили, и дать народу вольности, обещанные ему революцией, но еще не обеспеченные. Я посоветую ему лично командовать этой небольшой армией, которая быстро будет расти, верьте мне, и искать смерти со знаменем в руках, не обнажая шпаги, с криком: «Англичане! От вашей руки погибнет третий король! Берегитесь! Есть высшее правосудие!»

Монк опустил голову и задумался.

– А если он добьется успеха, – спросил он, – что очень невероятно, однако и не невозможно, ибо нет ничего невозможного на этом свете, – в таком случае что посоветуете вы ему?

– Посоветую помнить, что судьба лишила его престола, а добрые люди помогли вернуть

его.

Монк насмешливо улыбнулся.

– К несчастью, – сказал он, – короли не всегда следуют хорошим советам.

– Ах, милорд, Карл Второй не король, – отвечал Атос, тоже улыбаясь, но с иным выражением.

– Граф, кончим переговоры... Вы сами того же хотите, не так ли?

Атос поклонился.

– Я прикажу отнести эти два бочонка куда вам угодно. Где вы живете?

– В предместье, около устья реки.

– О, я знаю его: все предместье состоит из пяти или шести домов.

– Совершенно верно. Я поселился в первом доме. Два рыбака живут со мной; они перевезли меня сюда на своей лодке.

– А где сейчас ваше судно?

– Стоит в море на якоре и ждет меня.

– Но вы поедете не тотчас?

– Милорд, я попытаюсь еще раз убедить вашу милость.

– Вам это не удастся, – сказал Монк. – Но вам надо выехать из Ньюкасла так, чтобы вы не оставили здесь никаких подозрений, которые могут повредить вам или мне. Офицеры мои думают, что Ламберт атакует меня завтра. Я же ручаюсь, что он не двинется с места. Ламберт предводительствует армией, неоднородною по своим принципам, а такая армия не может существовать. Я обучил моих солдат подчиняться мой авторитет высшему авторитету, так чтобы после меня, вокруг меня, надо мною они чувствовали еще что-то. У моих солдат есть цель. Если я умру, что очень возможно, армия моя не начнет сразу же разлагаться; если я отлучусь, а это иногда бывает, в лагере моем не будет и тени беспокойства или беспорядка. Я магнит, сила, естественно притягивающая всех англичан. Я притяну к себе все мечи, посланные против меня. Ламберт командует теперь восемнадцатью тысячами дезертиров. Но вы понимаете, я ни слова не сказал об этом моим офицерам. Очень полезно для армии чувствовать, что предстоит сражение: все осторожны, внимательны. Я говорю вам об этом, чтобы вы жили спокойно, поэтому не спешите на родину: через неделю случится что-нибудь новое – либо сражение, либо мир. Так как вы, считая меня порядочным человеком, доверили мне вашу тайну, то я должен отблагодарить вас за доверие. Я приду к вам или пришлю за вами. Не уезжайте же, не поговорив со мной, еще раз прошу вас об этом.

– Обещаю вам остаться! – вскричал Атос, и искра радости вспыхнула в его глазах.

Монк понял его радость и остановил ее немой улыбкой, – так он убивал надежду у тех, кто думал, что убедил его.

– А что же мне делать в течение этой недели?

– Если у нас будет сражение, не принимайте в нем участия, прошу вас.

Я знаю, французы любят развлечения подобного рода. В вас может попасть шальная пуля; наши шотландцы стреляют очень плохо, и я не хочу, чтобы такой достойный дворянин вернулся во Францию раненым. Наконец, я не хочу, чтобы мне пришлось самому отсылать вашему принцу миллион, который вы мне оставите; тогда скажут, и не без оснований, что я плачу претенденту на престол, чтобы он воевал с парламентом. Ступайте, сударь, и будем оба соблюдать наши условия.

– Ах, милорд, – сказал Атос, – в каком был бы я восторге, если бы первый проник в тайны благородного сердца, которое бьется в груди, прикрытой этим плащом.

– Так вы решительно думаете, что у меня есть тайны? – спросил Монк, не меняя слегка насмешливого выражения лица. – Какая тайна может скрываться в пустой голове простого солдата? Но уже поздно, фонарь гаснет; пора позвать нашего моряка. Эй, рыбак! – крикнул Монк по-французски, подходя к лестнице.

Рыбак, продрогший на холоде, откликнулся хриплым голосом:

– Что угодно?

– Дойди до караула, – сказал ему Монк, – и позови сюда сержанта от имени генерала

Монка.

Это было нетрудное поручение. Сержант, которого очень интересовало, зачем генерал явился в пустынное аббатство, подходил тем временем все ближе и находился уже в нескольких шагах от рыбака.

Услыхав приказание генерала, он тотчас подбежал к нему.

Монк приказал:

– Возьми лошадь и двух солдат.

– Лошадь и двух солдат, – повторил сержант.

– Да, а можешь ты достать вьючную лошадь с корзинами?

– Могу, в шотландском лагере. До него отсюда шагов сто.

– Сойди сюда.

Сержант спустился по ступенькам в подземелье к Монку.

– Взгляни туда, где стоит этот дворянин. Видишь два бочонка?

– Вижу.

– В одном из них порох, в Другом пули. Надо перевезти их в селенье, там, на берегу реки; я намерен занять его завтра отрядом в двести человек. Ты понимаешь, что это поручение – тайное; от него может зависеть наша победа. Привяжи оба бочонка к лошади и отведи ее под охраной двух солдат до дома этого дворянина, моего друга. Но смотри, чтоб никто ничего не знал.

– Я прошел бы по болотам, если бы хоть сколько-нибудь знал дорогу, заметил сержант.

– Я знаю одну тропу, – отозвался Атос, – она не очень длинна и притом надежна, ибо построена на сваях, так что, приняв необходимые предосторожности, мы доберемся по ней куда надо.

– Слушайся моего друга, – добавил Монк.

– Ото, какие тяжелые! – сказал сержант, силясь приподнять бочонок.

– В каждом четыреста фунтов, если они содержат то, что в них должно быть, не так ли, сударь? – спросил Монк.

– Да, почти, – отвечал Атос.

Сержант пошел за лошадью и солдатами.

– Оставляю вас с этими людьми, – сказал Монк, услышав топот копыт, и возвращаюсь в лагерь. Вы в безопасности.

– Так я увижу вас еще?

– Это решено; мне это доставит большое удовольствие.

Монк подал руку Атосу.

– О! Если бы вы захотели, – прошептал Атос...

– Тес! Ведь мы условились, что не будем говорить об этом, – остановил его Монк.

Поклонившись Атосу, он стал подниматься по лестнице и встретился с солдатами, которые спускались в подземелье. Не успел он пройти и двадцати шагов, как в отдалении раздался продолжительный свист.

Монк прислушался; затем, ничего не видя и не слыша, пошел опять вперед. Тут он вспомнил о рыбаке и стал искать его глазами, но рыбак уже исчез. Если бы Монк посмотрел внимательнее, то увидел бы, что этот человек, пригнувшись, полз, как змея, за камнями, скрываясь в тумане, стоявшем над болотом. Сквозь туман он увидел бы также мачту рыбацкой лодки, стоявшей уже в другом месте, у самого берега реки.

Но Монк ничего не видел и, думая, что бояться нечего, шел по пустынной дороге, которая тянулась к лагерю. Исчезновение рыбака показалось ему, однако, странным, и подозрения снова начали тревожить его. Он отпустил с Атосом солдат, которые могли проводить его, а до лагеря оставалась еще целая миля.

Спустился такой густой туман, что в десяти шагах нельзя было ничего различить.

Монку казалось, что он слышит глухие удары весел в болоте, с правой стороны.

– Кто идет? – крикнул он.

Ответа не было. Он взвел курок пистолета, обнажил шпагу и молча ускорил шаг. Он

считал недостойным звать на помощь, когда не было очевидной опасности,

Глава 27. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Было семь часов утра, солнечные лучи осветили пруды, когда Атос проснулся, раскрыл окно своей спальни и увидел шагах в пятнадцати сержанта и солдат, своих вчерашних проводников. Накануне они принесли бочонки в квартиру Атоса и возвратились в лагерь.

«Зачем эти люди опять пришли из лагеря?» – вот первый вопрос, который задал себе Атос.

Сержант, подняв голову, казалось, ждал появления незнакомца, чтобы обратиться к нему с вопросом. Атос не мог не высказать им своего недоумения.

– Тут нет ничего удивительного, – отвечал сержант. – Вчера генерал приказал мне охранять вас, и я исполняю его приказание.

– Генерал в лагере? – спросил Атос.

– Разумеется. Ведь вы вчера, прощаясь с ним, видели, что он пошел в лагерь.

– Прекрасно. Я сейчас схожу туда сказать, что вы точно исполнили его поручение, и возьму шпагу, которую я забыл на столе в палатке генерала.

– Отлично, – сказал сержант, – мы сами хотели просить вас об этом.

Атосу показалось, что добродушное выражение на лице сержанта несколько притворно, но приключение с подземельем могло вызвать любопытство этого человека, и тогда не следовало удивляться, что он не сумел до конца скрыть чувства, волновавшие его.

Атос тщательно запер двери и отдал ключи своему верному Гримо, поместившемуся в комнате под лестницей, которая вела в погреб, куда спрятали бочонки. Сержант сопровождал графа де Ла Фер до лагеря. Тут их ждал другой караул, который сменил четырех солдат, провожавших Атоса.

Новым караулом командовал адъютант Дигби. Во время перехода он так неприветливо смотрел на Атоса, что француз недоумевал: откуда сегодня такая строгость и недоверие, когда вчера ему предоставляли полную свободу.

Однако он шел к штабу, не задавая никаких вопросов. В палатке генерала он увидел трех офицеров. Это был лейтенант Монка и два полковника.

Атос узнал свою шпагу: она лежала на столе на том самом месте, где он вчера ее оставил.

Никто из этих офицеров не видел раньше Атоса, и, следовательно, никто не знал его в лицо. Лейтенант Монка спросил, тот ли это дворянин, с которым генерал вышел из палатки.

– Тот самый, – отвечал сержант.

– Кажется, я и не отрицаю этого, – сказал Атос высокомерно. – Но теперь, господа, я, в свою очередь, позволю себе спросить вас: что значат ваши вопросы и особенно тон, каким вы их мне предлагаете?

– Сударь, – отвечал лейтенант Монка, – мы задаем вам вопросы потому, что имеем на это право, а если предлагаем их таким тоном, то поверьте, что для этого тоже есть основания.

– Милостивые государи, – отвечал Атос, – вы не знаете меня, но я должен сказать вам, что признаю здесь равным себе только генерала Монка.

Где он? Проведите меня к нему. Если он хочет спросить меня о чем-нибудь, я отвечу ему и надеюсь, что удовлетворю его. Еще раз спрашиваю: где генерал?

– Черт возьми! Вы лучше нас знаете, где он! – вскричал лейтенант.

– Я?

– Конечно, вы.

– Я вас не понимаю, – возразил Атос.

– Сейчас поймете. Прошу вас только говорить тише.

Что сказал вам вчера генерал?

Атос презрительно улыбнулся.

– Улыбка не ответ! – вскричал один из полковников, вспыхнув. – Прошу вас отвечать.

- А я заявляю вам, что буду отвечать только при генерале.
- Но вы сами знаете, – сказал тот же полковник, – что требуете невозможного.
- Вот уже два раза вы отказываетесь исполнить мое желание. Разве генерала здесь нет?

Атос спросил таким естественным тоном и выразил такое удивление, что офицеры переглянулись. Тогда, как бы с молчаливого согласия двух остальных офицеров, заговорил лейтенант.

– Сударь, – начал он, – генерал расстался с вами вчера у аббатства?

– Да.

– Куда вы пошли?

– Не мне отвечать на это, а тем, кто провожал меня.

Спросите у своих солдат.

– Но если мы хотим узнать от вас?

– Повторяю, что я здесь никому не подчинен. Я знаю только генерала и буду отвечать ему одному.

– Но распоряжаемся здесь мы. Мы составим военный совет, и когда вы будете стоять перед судьями, вам придется им ответить.

Офицеры думали, что Атос испугался этой угрозы, но его лицо выразило только удивление и презрение.

– Англичане или шотландцы будут судить меня, подданного французского короля, находящегося под покровительством британской чести! Вы сошли с ума, господа! – произнес Атос, пожимая плечами.

Офицеры опять переглянулись.

– Так вы уверяете, – сказали они, – что не знаете, где находится сейчас генерал?

– Я уже ответил вам на этот вопрос.

– Но ваш ответ неправдоподобен.

– Однако это правда. Люди моего звания не имеют обыкновения лгать. Я уже сказал вам, что я дворянин, и когда при мне шпага, – которую я из деликатности оставил вчера здесь на столе, – никто не смеет говорить мне того, чего я не желаю слушать. Сейчас я без оружия. Вы уверяете, что вы мои судьи? Так судите меня. А если вы палачи, то убейте меня.

– Но позвольте... – начал более вежливым тоном лейтенант, которого поразили гордость и хладнокровие Атоса.

– Сударь, я явился с полным доверием к вашему генералу, чтобы переговорить с ним о чрезвычайно важных делах. Он принял меня, как принимают немногих; об этом вы можете спросить своих солдат. Если он принял меня таким образом, то, верно, знал мои права на уважение. Вы не думаете, надеюсь, что я открою свои и особенно его тайны?

– Что было в этих бочонках?

– Разве вы не спрашивали об этом солдат? Что ответили они вам?

– Что там порох и пули.

– Откуда солдаты знают это? Они, наверное, вам сказали?

– Они говорят, что узнали это от генерала; но мы не так легковжны.

– Берегитесь, вы подвергаете сомнению не мои слова, а слова вашего начальника.

Офицеры снова переглянулись.

Атос продолжал:

– В присутствии ваших солдат генерал просил меня подождать неделю: через неделю он даст мне» ответ, Разве я бежал? Нет, я жду.

– Он просил вас подождать неделю! – воскликнул лейтенант.

– Да, просил, и вот доказательство: в устье реки стоит на якоре мое судно; я мог сесть на него вчера и отплыть. Но я остался, чтобы исполнить желание генерала: он просил меня не уезжать, не повидавшись с ним, и назначил свидание через неделю. Повторяю вам, я жду.

Лейтенант повернулся к полковникам и заметил вполголоса:

– Если этот дворянин говорит правду, то надежда не потеряна. Генерал, вероятно, ведет какие-то столь тайные переговоры, что счел неосторожным сообщить о них даже нам. Тогда

возможно, что он вернется через неделю.

Потом, обращаясь к Атосу, сказал:

– Сударь, ваше показание чрезвычайно важно; можете вы повторить его под присягою?

– Сударь, – ответил Атос, – я всегда жил в кругу людей, где мое слово равнялось самой святой клятве.

– Но сейчас обстоятельства исключительные. Дело идет о спасении целой армии. Подумайте хорошенько: генерал исчез, и мы разыскиваем его. Добровольно ли он уехал? Или тут кроется преступление? Должны ли мы продолжать поиски? Или же нам следует терпеливо ждать? В эту минуту все зависит от одного вашего слова, сударь.

– Если вы таким образом будете спрашивать меня, я готов рассказать все, – отвечал Атос. – Я приехал переговорить секретно с генералом Монком о некоторых делах; генерал не мог дать мне ответа до сражения, которого здесь ждут; он просил меня пожить еще немного в том доме, где я поселился, и обещал увидеться со мною через неделю. Все сказанное мною правда, и я клянусь в этом богом, который может безраздельно распоряжаться и моей и вашей жизнью.

Атос произнес эти слова с таким величием, с такой торжественностью, что все три офицера почти поверили ему. Тем не менее один из полковников решился на последнюю попытку.

– Сударь, – сказал он, – хотя мы уверены в правдивости ваших слов, здесь все же таится какая-то непостижимая тайна. Генерал – человек слишком благоразумный и осторожный, чтобы бросить армию за день до сражения, не предупредив кого-нибудь из нас. Что касается меня, то, признаюсь, я считаю исчезновение генерала загадочным. Вчера приехали сюда рыбаки, иностранцы, продавать рыбу; их поместили на ночь в шотландский лагерь, то есть на той самой дороге, по которой генерал шел с вами в аббатство и возвращался обратно. Один из рыбаков с фонарем провожал генерала. А сегодня утром рыбаки исчезли вместе со своим судном.

– Мне кажется, – заметил лейтенант, – здесь нет ничего удивительного: рыбаки не были пленниками.

– Правда, но, повторяю, один из них освещал генералу подземелье, и Дигби уверял нас, что генерал относился к этим людям с подозрением. Кто поручится, что рыбаки не сообщники нашего гостя? Может быть, он, человек несомненно храбрый, остался здесь, чтобы успокоить нас своим присутствием и помешать нашим розыскам?

Эта речь произвела впечатление на двух остальных офицеров.

– Сударь, – сказал Атос, – позвольте возразить, что ваше мнение, очень серьезное на первый взгляд, неосновательно в отношении меня. Я остался здесь, говорите вы, чтобы отвести подозрения; напротив, я начинаю беспокоиться так же, как и вы, и говорю вам: «Не может быть, господа, чтобы генерал уехал накануне сражения, не сказав никому ни слова. Да, во всем этом есть что-то странное; не будьте беспечны, не ждите, проявите всю свою энергию, всю вашу проницательность. Я ваш пленник под честное слово или как вам угодно. Честь моя требует, чтобы вы узнали, что случилось с генералом». Если бы вы даже отпустили меня, я бы ответил: «Нет, я остаюсь». И если б вы спросили моего мнения, то я сказал бы вам: «Генерал оказался жертвою заговора, потому что если бы он уехал из лагеря, то, наверное, предупредил бы меня. Ищите, взройте землю, взбороздите море. Генерал не уехал или, если уехал, то не по своей воле».

Лейтенант сделал знак полковникам.

– Нет, сударь, нет, – сказал он, – теперь вы заходите слишком далеко.

Генерал никогда не подчиняется обстоятельствам; напротив, он сам управляет ими. Монк уже не раз делал то, что сделал сейчас. Стало быть, мы напрасно тревожимся; вероятно, он пробудет в отсутствии недолго. Не станем из малодушия, которое генерал вменит нам в преступление, разглашать об его отсутствии, так как это может смутить всю армию. Генерал дает нам величайшее доказательство своего доверия; выкажем себя достойными его.

Господа, это происшествие должно быть окружено величайшей тайной; мы будем

держат нашего гостя под арестом не потому, чтобы мы сомневались в его непричастности к преступлению, но для того, чтобы тайна исчезновения генерала осталась между нами. Впредь до нового распоряжения, сударь, вы останетесь в штаб-квартире.

– Вы забываете, – возразил Атос, – что вчера генерал доверил мне на хранение вещи, за которые Я отвечаю перед ним. Поставьте около меня какой вам угодно караул, прикуйте меня к стене, если хотите, но устройте мне тюрьму в доме, где я живу. Вернувшись, генерал упрекнет вас за то, что вы нарушили его приказания; клянусь вам в этом честью дворянина.

Офицеры посоветовались между собой, и лейтенант сказал:

– Хорошо, сударь, возвращайтесь домой.

Они послали с Атосом конвой из пятидесяти человек. Солдатам приказано было запереть его в доме и не выпускать из виду ни на секунду.

Тайны никто не узнал. Проходили часы, дни, а генерал все не возвращался; о нем не было никаких известий.

Глава 28. КОНТРАБАНДА

Через два дня после событий, о которых мы только что рассказали, в то время, как в лагере ждали генерала Монка, а он все не возвращался, небольшая голландская фелука с экипажем в десять человек бросила якорь у шевенингенского берега, на расстоянии пушечного выстрела от земли. Было за полночь, и царила тьма: удобный час для высадки пассажиров и выгрузки товаров. Шевенингенская бухта образует широкий полукруг; она не очень глубока и в особенности мало надежна, так что там можно увидеть у причала лишь большие фламандские дукаты или голландские рыбацьи лодки, вытащенные по песку на берег за трос, как поступали древние, если верить Вергилию. Во время прилива, когда высокие волны стремительно несутся к земле, неосторожно ставить корабль слишком близко к берегу, ибо, когда крепчает ветер, нос погружается в песок, а песок на этом берегу весьма рыхлый, он легко засасывает, но не легко отпускает. Очевидно, по этой причине шлюпка сразу же отделилась от корабля, как только тот бросил якорь. В шлюпке были восемь матросов и какой-то продолговатый предмет, большой ящик или тюк.

Берег был пустынен: прибрежные рыбаки уже легли спать. Единственный караульный на берегу (побережье это не охранялось, потому что большие корабли не могли здесь пристать) не мог в точности последовать примеру рыбаков; он спал сидя в своей будке так же крепко, как они у себя дома.

На берегу раздавался только свист ветра, колыхавшего прибрежный вереск.

Но люди в шлюпке были чрезвычайно осторожны: безмолвие и пустынность этого места не успокаивали их. Шлюпка, казавшаяся черной точкой в океане, скользила бесшумно; они почти не ударили веслами, чтобы не привлечь внимания, и подошли к берегу насколько могли ближе.

Из шлюпки выскочил человек и отдал какое-то приказание отрывистым голосом, показывавшим привычку повелевать. Несколько мушкетов блеснуло в слабом отсвете воды, и продолговатый тюк, надо думать – с контрабандой, был перенесен на землю с бесконечными предосторожностями. Человек, отдававший приказания, сейчас же побежал к Шевенингену, направляясь к ближайшей опушке леса. Он быстро разыскал дом, стоявший за деревьями и служивший временным скромным жилищем так называемого короля Карла Английского.

Тут, как и везде, все спали; только огромная собака из породы тех, на которых шевенингенские рыбаки возят в тележках рыбу в Гаагу, принялась громко лаять, как только под окнами раздались шаги. Но вместо того чтобы испугать незнакомца, такая бдительность обрадовала его. Его зова, может быть, оказалось бы недостаточно, чтобы разбудить обитателей дома, а теперь ему даже незачем было подавать голос. Незнакомец сначала ждал, что лай собаки разбудит кого-нибудь в доме, но потом крикнул сам. Услышав незнакомый голос, собака залилась еще громче, и наконец в доме кто-то стал успокаивать ее. Когда она

затихла, чей-то слабый, надтреснутый голос вежливо спросил:

– Что вам угодно?

– Мне надо видеть его величество короля Карла Второго, – отвечал незнакомец.

– Кто вы такой?

– Ах, черт возьми! Вы задаете мне слишком много вопросов. Я не люблю разговаривать через дверь.

– Скажите только свое имя.

– Я не очень люблю склонять и спрягать свое имя во всеуслышанье; к тому же, будьте покойны, я не съем вашу собаку, и я молю бога, чтобы она была столь же деликатна по отношению ко мне.

– Вы, верно, привезли какие-нибудь известия? – Опросил тот же старческий голос.

– Да, я привез известия, и еще какие! Каких вы не ожидаете! Отоприте же!

– Сударь, – продолжал старик, – прошу вас, скажите мне по совести: стоит ли будить короля ради ваших известий?

– Ради бога, отоприте поскорее; клянусь, вы не пожалеете. Я стою столько золота, сколько во мне весу, клянусь вам!

– Однако я никак не могу отпереть, пока вы мне не скажете ваше имя.

– Хорошо... Но предупреждаю вас, что мое имя вам ничего не объяснит.

Я – д'Артаньян.

– Ах, боже мой! – воскликнул старик за дверью. – Господин д'Артаньян!

Какое счастье! То-то мне показалось, что я слышу знакомый голос!

– Ого! – проговорил д'Артаньян. – Здесь знают мой голос! Это очень лестно!

– Да, да, знают, – отвечал старик, отпирая дверь. – Вот вам доказательство.

И он впустил д'Артаньяна.

Д'Артаньян при свете фонаря узнал своего упрямого собеседника.

– Парри! – вскричал он. – Я должен был догадаться сразу!

– Да, да, я Парри, господин д'Артаньян! Как я рад, что вижу вас!

– Да, на этот раз можете радоваться! – сказал д'Артаньян, пожимая руку старику. – Доложите обо мне королю.

– Но король почивает...

– Черт возьми! Разбудите его, и он не рассердится, будьте покойны.

– Вы не от графа?

– От какого графа?

– Де Ла Фер.

– От Атоса? О нет! Я сам от себя. Ну, Парри, скорее, мне нужен король.

Парри не спорил больше. Он знал, что на д'Артаньяна, хоть он и гасконец, всегда можно положиться. Он пересек двор и палисадник, успокоил собаку, которая всерьез собиралась попробовать на зуб мушкетера, и постучал в ставень комнаты, составлявшей нижний этаж маленького павильона.

И сразу же маленькая собачка, обитавшая в этой комнате, отозвалась на громкий лай большой собаки, обитавшей во дворе.

«Бедный король! – подумал д'Артаньян. – Вот какие у него телохранители, хотя, по правде говоря, они хранят его не хуже других!»

– Кто там? – спросил король из спальни.

– Господин д'Артаньян, он привез вам известия.

В комнате послышался шум; дверь отворилась, и поток яркого света хлынул в прихожую и в сад.

Король работал при свете лампы. Разбросанные бумаги лежали на столе; он писал письмо, и множество помарок говорило о том, что оно стоило ему больших усилий.

– Войдите, шевалье, – сказал он, обернувшись. Потом, увидев рыбака, прибавил:

– Что же ты говоришь, Парри? Где же шевалье д'Артаньян?

– Он перед вашим величеством, – отвечал д'Артаньян.

– В этом костюме?

– Всмотритесь в меня, государь. Вы видели меня в передней короля Людовика Четырнадцатого, в Блуа.

Неужели вы не узнаете?

– Узнаю и даже вспоминаю, что был вам очень обязан.

Д'Артаньян поклонился.

– Я поступил так, как должен был поступить, узнав, что это вы, ваше величество.

– Вы привезли мне известия?

– Да, государь.

– Вероятно, от французского короля?

– Нет, ваше величество. Вы могли заметить, что король Людовик занят только собой.

Карл поднял глаза к небу.

– Нет, ваше величество, нет, – продолжал д'Артаньян. – Я привез новости, касающиеся лично вас. Однако смею надеяться, что ваше величество выслушает их с некоторою благосклонностью.

– Говорите.

– Если не ошибаюсь, государь, вы много говорили в Блуа о плохом положении ваших дел в Англии.

Карл покраснел.

– Сударь, – прервал он, – я рассказывал об этом только французскому королю...

– О, ваше величество ошибается, – холодно сказал мушкетер, – я умею говорить с королями в несчастье.

Скажу более: короли говорят со мной только тогда, когда они в несчастье; но едва им улыбнется счастье, они обо мне забывают. Я питаю к вашему величеству не только истинное уважение, но и глубокую преданность, а для меня, поверьте, это означает немало. Слушая жалобы вашего величества на судьбу, я решил, что вы благородны, великодушны и с достоинством переносите свои несчастья.

– Признаться, – сказал удивленно Карл, – я сам не понимаю, что мне приятнее: ваша смелая откровенность или ваше уважение.

– Вы сейчас выберете, – отвечал д'Артаньян. – Вы жаловались двоюродному брату вашему Людовику Четырнадцатому, что без войска и без денег вам очень трудно вернуться в Англию и вступить на престол.

Карл сделал нетерпеливое движение.

– И что главное препятствие представляет, – продолжал д'Артаньян, некий генерал, командующий армией парламента, который разыгрывает там роль второго Кромвеля. Верно?

– Да, но повторяю вам, что все это я говорил одному королю.

– И вы увидите, государь, какое счастье, что ваши слова услышал лейтенант его мушкетеров. Человека, который является главным препятствием на вашем пути к успеху, зовут генерал Монк, не так ли?

– Да, сударь. Но к чему все эти вопросы?

– Знаю, знаю, ваше величество, что строгий этикет запрещает предлагать вопросы королям. Надеюсь, что ваше величество скоро простит мне мою неучтивость. Ваше величество сказали еще, что если бы вам удалось повидать Монка, встретиться с ним лицом к лицу, переговорить с ним, то вы непременно восторжествовали бы силою или убеждением над этим единственным серьезным противником.

– Все это правда. Моя участь, мое будущее, безвестность или слава зависят от этого человека. Но что же из этого?

– А вот что: если генерал Монк до такой степени мешает вам, то полезно было бы избавить вас от него или превратить его в союзника вашего величества.

– Король, у которого нет ни армии, ни денег (мне нечего скрывать, раз вы слышали мой разговор с Людовиком Четырнадцатым), не может ничего сделать с таким человеком, как Монк.

– Да, ваше величество, таково ваше мнение, я знаю. К счастью для вас, я придерживаюсь другого мнения.

– Что это значит?

– Вот что: без армии и без миллиона я совершил то, для чего вашему величеству нужны были армия и целый миллион.

– Что вы говорите?.. Что вы сделали?

– Что я сделал?.. Я поехал туда и захватил там человека, мешавшего вашему величеству.

– Вы захватили Монка в Англии?

– Разве я плохо сделал?

– Вы, верно, сошли с ума?

– Право же, нет.

– Вы взяли Монка?

– Да. В его лагере.

Король вздрогнул от нетерпения и пожал плечами.

– Я захватил Монка на дороге в Ньюкасл, – сказал д'Артаньян просто, и привез его к вашему величеству.

– Привезли ко мне! – вскричал король, разгневанный этим рассказом, который казался ему басней.

– Да, привез его к вам, – продолжал д'Артаньян тем же тоном. – Он лежит там, в большом ящике, но не задохнется, потому что в крышке просверлены дыры.

– Боже мой!..

– О, будьте покойны, за ним усердно ухаживают. Он доставлен сюда целым и невредимым. Угодно вашему величеству видеть его, переговорить с ним или прикажете бросить его в воду?

– Боже мой! Боже мой! – повторил Карл. – Правду ли вы говорите? Не оскорбляете ли меня недостойной шуткой? Действительно ли вы совершили этот смелый, неслыханный подвиг? Не может быть!

– Ваше величество, разрешите мне открыть окно? – спросил д'Артаньян, отворяя окно.

Не успел король ответить, как д'Артаньян в тишине ночи свистнул три раза громко и протяжно.

– Сейчас, – сказал он, – вашему величеству принесут его.

Глава 29.

Д'АРТАНЬЯН НАЧИНАЕТ БОЯТЬСЯ, ЧТО ДЕНЬГИ ЕГО И ПЛАНШЕ ПОГИБЛИ БЕЗ ВОЗВРАТА

Король не мог прийти в себя от изумления: он смотрел то на мушкетера, то в темное окно. Прежде чем он успел опомниться, восемь матросов д'Артаньяна (двое остались стеречь фелуку) внесли в дом продолговатый предмет, в котором в эту минуту заключалась судьба Англии. Парри открыл им дверь.

Перед отъездом из Кале д'Артаньян заказал там ящик вроде гроба, достаточно просторный, чтобы человек мог свободно поворачиваться в нем. Низ и бока, мягко обитые, служили удобной постелью, лежа на которой человек оставался бы невредимым при боковой качке. Маленькая решетка, о которой д'Артаньян говорил королю, походила на забрало шлема и была сделана на том месте, где находилось лицо пленника. Ее устроили так, что при малейшем крике можно было, надавив ее, заглушить крик и даже задушить кричащего.

Д'Артаньян очень хорошо знал и свой экипаж, я своего пленника – и во время дороги боялся только двух вещей: что генерал предпочтет смерть этому необычайному плену и заставит задушить себя, пытаясь говорить, или что сторожа соблазнится обещаниями пленника я посадят его, д'Артаньяна, в ящик вместо Монка.

Поэтому д'Артаньян просидел два дня и две ночи подле ящика, наедине с генералом, предлагая ему вино и пищу, от которых тот, однако, упорно отказывался, и стараясь успокоить

его и уверить, что с ним не случится ничего дурного от этого своеобразного плена. Два пистолета, лежавшие перед д'Артаньяном, и обнаженная шпага охраняли его от нескромности матросов.

Прибыв в Шевенинген, он перестал тревожиться. Его матросы очень боялись иметь дело с прибрежными жителями, Притом же он привлек на свою сторону Менвиля, ставшего его лейтенантом. Это был человек с незаурядным умом и более чистой совестью, чем остальные. Он надеялся, что служба у д'Артаньяна обеспечит его будущее, и потому скорее пошел бы на смерть, чем нарушил бы приказание начальника. Добравшись до берега, д'Артаньян поручил ящик и жизнь генерала ему. Ему же приказано было доставить ящик с помощью семи человек, как только он услышит троекратный свист. Мы видели, что лейтенант исполнил это приказание.

Когда ящик внесли в дом короля, д'Артаньян с приветливой улыбкой отпустил своих людей, сказав им».

– Господа, вы оказали важную услугу его величеству Карлу Второму, который через полтора месяца будет английским королем. Вы получите двойную плату. Ступайте и ждите меня у лодки.

Все тотчас разошлись в таком шумном восторге, что испугали даже собаку.

Д'Артаньян приказал внести ящик в переднюю короля, запер с величайшей тщательностью двери, открыл ящик и сказал генералу:

– Генерал, я должен тысячу раз извиниться перед вами, я обошелся с вами не так, как следовало бы с таким достойным человеком. Я это знаю; но мне надо было, чтобы вы приняли меня за простого рыбака. Притом же в Англии очень неудобно возить грузы. Надеюсь, что вы примете все это во внимание. Но здесь, генерал, – прибавил д'Артаньян, – вы можете встать и идти.

Он развязал руки генералу. Монк поднялся и сел с видом человека, ожидающего смерти. Д'Артаньян отворил дверь в кабинет Карла Второго и произнес:

– Ваше величество, здесь ваш враг, генерал Монк; я поклялся оказать вам эту услугу. Дело сделано, теперь извольте приказывать. Сударь, прибавил он, оборачиваясь к генералу, – вы перед его величеством, королем Карлом Вторым, монархом Великобритании.

Монк поднял на принца свой стоический, холодный взгляд и сказал:

– Я не знаю никакого английского короля. Здесь нет даже никого, кто был бы достоин носить имя благородного дворянина, потому что во имя Карла Второго посланец, которого я принял за честного человека, устроил мне позорную западню. Я попался в нее – тем хуже для меня. Теперь вы, подстрекатель (это относилось к королю), и вы, исполнитель (Монк обернулся к д'Артаньяну), не забудьте того, что я вам скажу. В вашей власти мое тело, вы можете убить меня; я даже советую вам это сделать, потому что вы никогда не завладеете ни моей душой, ни моей волей. А больше не ждите от меня ни слова, потому что с этой минуты я не раскрою рта, даже чтобы крикнуть. Вот и все.

Он произнес это с суровой и непреклонною решимостью закоренелого пуританина; д'Артаньян посмотрел на своего пленника, как человек, знающий цену каждому слову и определяющий ее по голосу, которым снова произносятся.

– В самом деле, – тихо сказал он королю, – генерал человек твердый.

Он не съел кусочка хлеба, не выпил капли вина в продолжение двух суток.

С этой минуты, ваше величество, извольте распоряжаться его участью; Я умываю руки, как сказал Пилат.

Бледный и покорный судьбе Монк стоял, скрестив руки, и ждал.

Д'Артаньян повернулся к нему.

– Вы очень хорошо понимаете, – сказал он генералу, – что ваше заявление, может быть, и превосходное, не удовлетворит никого, даже вас самих.

Его величество хотел переговорить с вами; вы отказывали ему в свидании.

Почему же теперь, когда вы встретились с королем лицом к лицу, когда к этому принудила вас сила, не зависящая от вас, почему вы толкаете нас на поступки, которые я

считаю бесполезными и нелепыми? Говорите, черт побери! Скажите хоть «нет»!

Монк, не произнеся ни слова, не взглянув на короля, задумчиво поглаживал усы с видом человека, понимающего, что дела обстоят плохо.

Между тем Карл II погрузился в глубокое раздумье. Впервые он встретился с Монком – своим главным противником, которого так хотел видеть, и теперь проницательным взором пытался измерить глубину его сердца.

Он убедился, что Монк решил скорее умереть, чем заговорить. В этом не было ничего необыкновенного со стороны такого замечательного человека, получившего столь тяжкое оскорбление. Карл II в ту же секунду принял одно из решений, которые ставят на карту для простых людей – жизнь, для генерала – удачу, для короля – его королевство.

– Сударь, – обратился он к Монку, – в некотором смысле вы совершенно правы. Не прошу вас отвечать мне, прошу только выслушать меня.

На минуту воцарилось молчание. Король смотрел на Монка, который оставался бесстрастным.

– Вы только что упрекнули меня, сударь, – заговорил опять король. Вы уверены, что я подослал к вам в Ньюкасл человека, который заманил вас в западню; этого (скажу мимоходом) вовсе не учел господин д'Артаньян, которому, впрочем, я обязан искренней благодарностью за его безмерную великодушную преданность.

Д'Артаньян почтительно поклонился. Монк не шевельнулся.

– Господин Д'Артаньян, – заметьте, господин Монк, что я вовсе не намерен извиняться перед вами, – господин Д'Артаньян отправился в Англию по собственному побуждению, без всякой корысти, без приказа, без надежды, как истинный дворянин, с целью оказать услугу несчастному королю и прибавить к множеству совершенных им великих деяний этот новый замечательный подвиг.

Д'Артаньян слегка покраснел и кашлянул, стараясь скрыть смущение.

Монк по-прежнему не шевелился.

– Вы не верите моим словам, господин Монк, – продолжал король. – Я понимаю ваше недоверие: подобные доказательства преданности так редки, что естественно не верить им.

– Генерал не прав, если не верит вашему величеству! – воскликнул Д'Артаньян. – Вы сказали правду, столь истинную правду, что, должно быть, я поступил неправильно, захватив генерала: это, кажется, некстати. Если это так, клянусь, я в отчаянии!

– Шевалье Д'Артаньян, – сказал король, беря за руку мушкетера. – Вы обязали меня более, чем если бы доставили мне победу: вы указали неизвестного мне друга, которому я вечно буду благодарен и которого вечно буду любить...

Король дружески пожал ему руку и, поклонившись Монку, добавил:

– И врага, которого отныне я буду ценить по заслугам.

В глазах пуританина сверкнула молния; но она тотчас же погасла, и к нему вновь вернулось прежнее мрачное бесстрашие.

– Вот каков был мой план, господин Д'Артаньян, – продолжал король. Граф де Ла Фер, которого вы, кажется, знаете, отправился в Ньюкасл...

– Атос! – воскликнул Д'Артаньян.

– Да, кажется, таково его боевое прозвище... Граф де Ла Фер отправился в Ньюкасл и, может быть, склонил бы генерала к переговорам со мной или с кем-нибудь из моих приверженцев. Но тут вы насильственно вмешались в это дело.

– Черт побери! – сказал Д'Артаньян. – Должно быть, это он входил в лагерь в тот самый вечер, когда я пробрался туда с рыбаками!

Едва заметное движение бровей Монка показало д'Артаньяну, что он не ошибся.

– Да, да, – продолжал он, – мне показалось, что это его фигура, его голос. Ах, какая досада! Ваше величество, простите меня, я думал, что делаю все к лучшему.

– Не случилось ничего плохого, – ответил король, – кроме того, что генерал обвиняет меня в предательстве, в чем я вовсе не повинен. Нет, генерал, не таким оружием хочу я сражаться с вами. Вы скоро это увидите.

А до тех пор верьте мне, я клянусь вам честью дворянина! Теперь, господин Д'Артаньян, позвольте сказать вам одно слово.

– Я слушаю, ваше величество.

– Вы преданы мне? Не так ли?

– Ваше величество видели, что безмерно предан.

– Хорошо. Довольно одного слова такого человека, как вы. Впрочем, за словом всегда следует дело. Генерал, прошу вас пройти за мною, И вы идите с нами, господин Д'Артаньян.

Д'Артаньян повиновался, слегка озадаченный. Карл II вышел, за ним Монк, за Монком Д'Артаньян. Карл направился по той самой дороге, по которой к нему приехал Д'Артаньян, и вскоре морской ветер повеял в лицо трем ночным путешественникам. Карл отпер калитку, и едва прошли они шагов пятьдесят, как увидели океан, который перестал бушевать и покоился у берега, как усталое чудовище.

Карл II шел в раздумье, опустил голову и поглаживая рукой подбородок.

Монк следовал за ним, беспокойно оглядываясь. Сзади шел д'Артаньян, положив руку на эфес шпаги.

– Где шлюпка, которая привезла вас сюда? – спросил Карл у мушкетера.

– Вон там; в ней ждут меня семь человек солдат и офицер.

– А, вижу! Шлюпка вытащена на берег. Но вы, верно, не на ней прибыли из Ньюкасла?

– О, нет! Я на свой счет нанял фелуку, которая бросила якорь на расстоянии пушечного выстрела от берега.

– Сударь, – сказал король Монку, – вы свободны.

При всей своей твердости Монк не мог не вскрикнуть. Король утвердительно кивнул головою и продолжал:

– Мы разбудим одного из здешних рыбаков. Он спустит судно этой же ночью и отвезет вас, куда вы ему прикажете. Господин д'Артаньян проводит вас. Я поручаю господина д'Артаньяна вашей чести, господин Монк.

Монк издал возглас удивления, а д'Артаньян глубоко вздохнул. Король, сделав вид, что ничего не замечает, постучал в дощатый забор, который окружал домик рыбака, жившего на берегу.

– Эй, Кейзер! – крикнул он. – Вставай!

– Кто там? – спросил рыбак.

– Я, король Карл.

– Ах, милорд! – вскричал Кейзер, вылезая совсем одетый из паруса, завернувшись в который он спал, как в колыбели. – Что вам угодно?

– Кейзер, – сказал король, – ты сейчас выйдешь в море. Вот этот путешественник нанимает твою барку; он тебе хорошо заплатит. Служи ему как следует.

И король отступил на несколько шагов, чтобы Монк мог свободно переговорить с рыбаком.

– Я хочу переправиться в Англию, – с трудом сказал Монк по-голландски.

– Что же, – отвечал рыбак, – я могу перевезти.

– Мы скоро можем отчалить?

– Через полчаса, милорд. Мой старший сын уже поднимает якорь; мы должны были выехать на ловлю в три часа утра.

– Ну как, сговорились? – спросил Карл, приблизившись.

– Обо всем, кроме платы, ваше величество, – ответил рыбак.

– Плату получишь от меня, – произнес король. – Это мой друг.

Услышав слова Карла, Монк вздрогнул и посмотрел на короля.

– Хорошо, милорд, – согласился Кейзер.

В эту минуту на берегу старший сын Кейзера затрубил в рожок.

– В путь, господа! – сказал король.

– Ваше величество, уделите мне еще несколько секунд, – отвечал д'Артаньян. – Я нанял людей. Так как я еду без них, я должен их предупредить.

– Свистните им, – улыбнулся Карл.
Д'Артаньян свистнул: тотчас явились четыре человека под предводительством Менвиля.
– Вот вам в счет платы, – начал д'Артаньян, отдавая им кошелек, в котором было две тысячи пятьсот ливров золотом. – Ступайте и ждите меня в Кале. Вы знаете где.
И д'Артаньян с глубоким вздохом опустил кошелек в руку Менвиля.
– Как! Вы расстаетесь с нами? – вскричали матросы.
– На самое короткое время, – а может быть, и надолго. Кто знает? Вы получили уже две тысячи пятьсот ливров. Сейчас я уплатил вам еще столько же. Значит, мы в расчете. Прощайте, дети мои!
Д'Артаньян вернулся к Монку и произнес:
– Жду ваших приказаний, потому что мы отправляемся вместе, если вам не тягостно мое общество.
– Нисколько, сударь, – отвечал Монк.
– Пора садиться! – крикнул сын Кейзера.
Карл с достоинством поклонился генералу и сказал ему:
– Вы, надеюсь, простите причиненную вам неприятность, когда убедитесь, что я в ней неповинен.
Монк, не отвечая, низко поклонился. Карл нарочно не сказал ни слова отдельно д'Артаньяну, но прибавил вслух:
– Благодарю еще раз, шевалье, благодарю вас за вашу службу. Господь воздаст вам за нее, а испытания и горести, надеюсь, оставит лишь на мою долю.
Монк направился к лодке. Д'Артаньян, идя за ним, пробормотал:
– Ах, мой бедный Планше! Мне кажется, что мы затеяли очень неудачную спекуляцию!

Глава 30.

АКЦИИ «ПЛАНШЕ И К°» ПОДНИМАЮТСЯ

Во время переезда Монк говорил с д'Артаньяном только в тех случаях, когда нельзя было этого избежать. Например, когда француз медлил приняться за скудный обед, состоявший из соленой рыбы, сухарей и джина, Монк звал его:

– К столу, сударь.
И больше ни слова. Д'Артаньян в трудных обстоятельствах обыкновенно говорил мало, поэтому и из молчаливости Монка он сделал неблагоприятный для себя вывод. Располагая досугом, он ломал себе голову, стараясь отгадать, каким образом Атос увиделся с Карлом II, как составили они план этой поездки, как, наконец, Атос пробрался в лагерь Монка? И бедный лейтенант мушкетеров вырывал из усов по волоску каждый раз, как задумывался над тем, что, вероятно, Атос и был тем самым человеком, который сопровождал Монка в знаменитую ночь его похищения.

Через двое суток Кейзер, исполнявший все приказания Монка, пристал к берегу в месте, указанном генералом. Это было устье речки, на берегу которой Атос занял дом.

Вечерело. Солнце, как раскаленный стальной щит, скрылось до половины за синей линией горизонта. Фелука подымалась по реке, вначале еще довольно широкой. Но нетерпеливый Монк приказал пристать, и Кейзер высадил его вместе с д'Артаньяном на илистый берег, заросший тростником.

Д'Артаньян, решивший повиноваться, следовал за Монком, как медведь, идущий на цепи за хозяином. Но это оскорбляло его гордость, и он ворчал про себя, что не стоит служить королям, что даже лучший из них никуда не годится.

Монк шел быстро. Казалось, он не мог еще поверить, что снова находится на английской земле. Но вдаль уже виднелись домики моряков и рыбаков, рассеянные на набережной жалкого порта.

Вдруг Д'Артаньян вскричал:
– Боже мой! Горит дом!

Монк поднял взгляд. Действительно, в одном из домов начинался пожар.

Горел сарай, стоявший возле дома, и пламя уже начало лизать крышу. Свежий вечерний ветерок помогал огню.

Оба путешественника, ускорив шаг, услышали страшный крик и, подойдя ближе, увидели солдат, которые размахивали оружием и грозили кулаками кому-то в горевшем доме. Увлеченные своим гневом, они не заменили фелуки.

Монк остановился и первый раз выразил свою мысль словами.

– Ах, – сказал он, – может быть, это уже не мои солдаты, а Ламберта.

В его словах прозвучали печаль, опасение, упрек, прекрасно понятые д'Артаньяном. В самом деле, во время отсутствия генерала Ламберт мог дать сражение, победить, рассеять приверженцев парламента и занять ту самую позицию, которую занимала армия Монка, лишенная своего предводителя. Из этой догадки, передавшейся от Монка к д'Артаньяну, мушкетер сделал такой вывод: «Случится одно из двух: либо Монк угадал, и тогда здесь никого нет, кроме ламбертистов, то есть его врагов, которые примут меня великолепно, будучи обязаны мне победою; либо нет никакой перемены, и Монк, обрадовавшись, что нашел лагерь на прежнем месте, не будет мстить мне слишком сурово».

Погруженные в размышления, наши путешественники шли вперед, пока не очутились среди группы моряков, которые уныло смотрели на горевший дом, не смея ничего сказать из страха перед солдатами. Монк спросил одного из моряков:

– Что здесь случилось?

– Сударь, – отвечал моряк, не узнав в Монке генерала, потому что тот завернулся в плащ, – в этом доме жил иностранец, и солдаты заподозрили его. Они захотели войти к нему под «предлогом того, что его надо отвести в лагерь; но он их не испугался и заявил, что убьет первого, кто попытается переступить порог его дома. Какой-то смельчак кинулся вперед, и француз уложил его на месте пистолетным выстрелом.

– А, это француз? – улыбнулся д'Артаньян, потирая руки. – Отлично!

– Почему отлично? – спросил моряк.

– Нет, нет, я ошибся, я не то хотел сказать. Продолжайте!

– Другие солдаты разъярились, как львы, дали выстрелов сто по этому дому, но француз был защищен стеной. Когда пробуют подойти к двери, стреляет его лакей, и очень метко! А когда подходят к окну, натыкаются на пистолет его господина. Смотрите, вон лежат уже семь человек убитых.

– А, храбрый мой соотечественник! – вскричал д'Артаньян. – Погоди, погоди! Я иду к тебе на помощь, мы вдвоем мы сладим с этой дрянью!

– Позвольте, сударь, – сказал Монк. – Погодите.

– А долго ли ждать?

– Дайте мне задать еще один вопрос.

Монк повернулся к моряку и с волнением, которое не мог скрыть, несмотря навею свою твердость, спросил:

– Друг мой, чьи это солдаты?

– Чьи? Разумеется, этого бешеного Монка.

– Так здесь не было сражения?

– К чему сражаться? Армия Ламберта тает, как снег в апреле. Все бегут к Монку, офицеры и солдаты. Через неделю у Ламберта не останется и пятидесяти человек.

Рассказ моряка был прерван новым залпом по горевшему дому. В ответ из дома раздался пистолетный выстрел, уложивший самого смелого из нападающих. Солдаты пришли в еще большую ярость.

Пламя поднималось все выше, и над домом вились клубы дыма и огня. Д'Артаньян не мог более удержаться.

– Черт возьми! – сказал он Монку, враждебно взглянув на него. – Вы генерал, а позволяете вашим солдатам жечь дома и убивать людей! Вы на все это смотрите спокойно, грея руки у огня. Черт возьми! Вы не человек!

– Потерпите! – молвил Монк с улыбкой.

– Терпеть! Терпеть до тех пор, пока совсем изжарят этого неведомого храбреца?

И Д'Артаньян бросился к дому.

– Стойте, – повелительно сказал Монк и сам направился туда же. В это время к дому подошел офицер и крикнул осажденному:

– Дом – горит. Через час ты превратишься в пепел. Время еще есть. Если ты скажешь нам все, что знаешь о генерале Монке, мы подарим тебе жизнь. Отвечай или, клянусь святым Патриком...

Осажденный не отвечал. Он, вероятно, заряжал свой пистолет.

– Скоро к нам придет подкрепление, – продолжал офицер, – через четверть часа около дома будет сто человек.

Француз спокойно произнес:

– Я буду отвечать, если все уйдут; я хочу свободно уйти отсюда и один пойти в лагерь. Иначе убейте меня здесь.

– Черт возьми, – воскликнул Д'Артаньян, – да ведь это голос Атоса!

Ах, каналы!

И шпага его сверкнула, выхваченная из ножен.

Монк остановил его, вышел вперед и сказал звучным голосом:

– Что здесь делается? Дигби, что это за пожар? Что за крики?

– Генерал! – вскричал Дигби, роняя шпагу.

– Генерал! – повторили солдаты.

– Что же тут удивительного? – спросил Монк спокойным, неторопливым тоном.

Потом, когда все смолкло, он продолжал:

– Кто поджег дом?

Солдаты опустили головы.

– Как! Я спрашиваю, и мне не отвечают! – возмутился Монк. – Я обвиняю, и никто не оправдывается! И еще не потушили пожара!

Солдаты тотчас бросились за ведрами, бочками.

Крючьями и принялись тушить огонь так же усердно, как прежде разжигали, но Д'Артаньян уже приставил Лестницу к стене дома и закричал:

– Атос! Это я, Д'Артаньян! Не стреляйте в меня, дорогой друг.

Через минуту он прижал графа к своей груди. Между тем Гримо с обычным хладнокровием разобрал укрепления в нижнем этаже и, открыв дверь, спокойно стал на пороге, скрестив руки. Но, услышав голос д'Артаньяна, он не мог удержаться от возгласа изумления.

Потушив пожар, смущенные солдаты подошли к генералу во главе с Дигби.

– Генерал, – сказал Дигби, – простите нас. Мы сделали все это из любви к вам, боясь, что вы исчезли.

– С ума вы сошли! Исчез! Разве такие люди, как я, исчезают? Разве я не могу отлучиться, не сказав никому о моих намерениях? Уж не считаете ли вы меня обыкновенным горожанином? Разве можно атаковать? осаждать дом и угрожать смертью дворянину, моему другу и гостю, только потому, что на него пало подозрение? Клянусь небом, я прикажу расстрелять всех, кого этот храбрый дворянин не отправил еще на тот свет!

– Генерал, – смиренно произнес Дигби, – нас было двадцать восемь человек. Восемь из них погибли!

– Я позволяю графу де Ла Фер присоединить к этим восьмерым двадцать остальных, – сказал Монк, подавая Атосу руку. – Идите все в лагерь. Дигби, вы просидите месяц под арестом.

– Генерал!..

– Это научит вас в другой раз действовать только по моим приказаниям.

– Мне приказал лейтенант...

– Лейтенанту не следовало давать вам таких приказаний. Он будет арестован вместо вас,

если действительно поручил вам сжечь этого дворянина.

– Это не совсем так, генерал: он приказал доставить его в лагерь, но граф не хотел идти.

– Я не хотел, чтобы ограбили мой дом, – произнес Атос, выразительно глядя на Монка.

– И хорошо сделали. В лагерь!

Солдаты ушли, опустив головы.

– Теперь, когда мы одни, – обратился Монк к Атосу, – скажите мне, граф, почему вы непременно хотели остаться здесь? Ваша фелука так близко...

– Я ждал вас, генерал. Не вы ли назначили мне свиданье через неделю?

Красноречивый взгляд д'Артаньяна показал Монку, что два друга, храбрые и честные, не сговаривались похитить его. Монк уже знал это.

– Сударь, – сказал Монк д'Артаньяну, – вы были совершенно правы. Позвольте мне сказать несколько слов графу де Ла Фер.

Д'Артаньян воспользовался свободной минутой, чтобы подойти к Гримо поздороваться.

Монк попросил у Атоса позволения войти в его комнату. Она была еще полна обломков и дыма. Более полусотни пуль влетели в окно и избороздили стены. В комнате стоял стол с чернильницей и принадлежностями для письма. Монк взял перо, написал одну строчку, подписал свое имя, сложил бумагу, запечатал перстнем и отдал послание Атосу.

– Граф, – сказал он, – будьте так добры отвезти это письмо королю Карлу Второму. Поезжайте тотчас же, если ничто не удерживает вас.

– А бочонки? – спросил Атос.

– Рыбаки, которые привезли меня сюда, перетащат их я вам на фелуку.

Постарайтесь уехать не позже, чем через час.

– Хорошо, генерал.

– Господин Д'Артаньян! – крикнул Монк в окно.

Д'Артаньян поднялся в комнату.

– Обнимите вашего друга и проститесь с ним. Он возвращается в Голландию.

– В Голландию! – вскричал Д'Артаньян. – А я?

– Вы свободны и можете тоже ехать, но я очень прошу вас остаться. Неужели вы откажете мне?

– О нет! Я к вашим услугам, генерал.

Д'Артаньян быстро простился с Атосом. Монк наблюдал за ними обоими.

Потом он сам проследил за приготовлениями к отъезду, за отправкой бочонков на фелуку и, когда она отплыла, взял смущенного и расстроенного д'Артаньяна под руку и повел его в Ньюкасл. Идя под руку с Монком, Д'Артаньян шептал про себя: «Ну-ну, кажется, акции „Планше и К^о“ поднимаются!»

Глава 31. ОБЛИК МОНКА ОБРИСОВЫВАЕТСЯ

Хотя Д'Артаньян теперь больше рассчитывал на успех, однако он не совсем понимал положение дел. Обильную пищу для размышлений давала ему поездка Атоса в Англию, союз короля с Атосом и странное сплетение его собственной жизни с жизнью графа де Ла Фер. Лучше всего, казалось ему, предоставить себя судьбе. Была допущена неосторожность: хотя д'Артаньяну вполне удалось желаемое, хорошего из этого ничего не вышло. Все погибло, значит, теперь уже нечего было терять.

Д'Артаньян прошел с Монком в лагерь. Возвращение генерала произвело впечатление чуда, так как все считали его погибшим. Но суровое лицо и ледяной вид Монка словно спрашивали у обрадованных офицеров и восхищенных солдат о причине такого ликования. Лейтенант встретил Манка и рассказал ему, какое беспокойство причинило всем его отсутствие.

– Но о чем же вы беспокоились? – спросил Монк. – Разве я обязан во всем давать вам отчет?

– Но, генерал, овцы без пастуха могут испугаться.

– Испугаться! – повторил Монк своим твердым и могучим голосом. – Вот так слово!.. Черт возьми! Если у моих овец нет зубов и когтей, так я не хочу быть их пастухом. Вы испугались!..

– За вас, генерал!

– Занимайтесь лучше своим делом. Если у меня нет такого ума, какой бог дал Оливеру Кромвеллю, то у меня есть свой ум, данный мне, и я им доволен, как бы мал он ни был.

Офицер не возражал, и все решили, что Монк совершил какой-нибудь важный подвиг или просто испытывал их. Очевидно, они мало знали своего осторожного и терпеливого генерала. Монк, если он был таким же искренним пуританином, как его союзники, должен был горячо благодарить своего святого за освобождение из ящика д'Артаньяна.

Пока все это происходило, наш мушкетер не переставал повторять про себя: «Дай бог, чтобы Монк был не так самолюбив, как я. Если бы кто-нибудь засадил меня в ящик, под решетку, и повез таким образом, как теленка, через море, я сохранил бы такое неприятное воспоминание о своем жалком положении в ящике, так сердился бы на того, кто запер меня туда, так опасался, чтобы он не смеялся над моим путешествием в ящике, что... Черт возьми! Я воткнул бы ему в горло кинжал в награду за его решетку и пригвоздил бы его к настоящему гробу в память о фальшивом, в котором я лежал два дня».

Д'Артаньян был искренен, говоря это; наш гасконец отличался большой чувствительностью. По счастью, Монк был поглощен другими мыслями. Он ни словом не обмолвился о минувшем своему смущенному победителю, напротив, оказывал ему полное доверие, водил с собой на рекогносцировки, чтобы добиться одобрения д'Артаньяна, которое ему, вероятно, очень хотелось получить. Д'Артаньян вел себя как искуснейший льстец: он восхищался тактикой Монка, порядком в его лагере и весело трунил над Ламбертом, который, говорил он, совершенно напрасно затруднял себя созданием лагеря на двадцать тысяч человек, тогда как ему хватило бы и десятины земли для капрала и пятидесяти гвардейцев, которые, возможно, останутся ему верны.

Тотчас по возвращении Монк согласился на свидание, О котором просил Ламберт накануне и на которое лейтенанты Монка ответили отказом под предлогом, что генерал болен. Это свидание не было ни продолжительным, ни интересным. Ламберт спросил об образе мыслей своего противника. Монк ответил, что согласен с мнением большинства. Ламберт спросил: не лучше ли кончить распрю союзом, чем сражением? Монк попросил неделю на размышление. Ламберт не посмел отказать ему в этой просьбе, хотя, отправляясь в поход, хвастался, что сразу уничтожит армию Монка.

Когда за этим свиданием, которого нетерпеливо ждали Приверженцы Ламберта, не последовало ни мира, ни сражения, мятежная армия Ламберта (как и предвидел д'Артаньян) предпочла парламент, хоть и «усеченный», пышным, но бесплодным замыслам своего генерала.

Вспоминались сытные лондонские обеды, эль и херес, которыми горожане потчевали солдат, своих друзей. Солдаты Ламберта с ужасом смотрели на черный походный хлеб, на мутную воду Твида, слишком соленую для питья, слишком пресную для пищи, и думали: «Не лучше ли вам будет на той стороне? Не для Монка ли жарится говядина в Лондоне?»

С тех пор только и говорили что о побегах из армии Ламберта. Солдаты давали увлечь себя силе тех начал, которые наравне с дисциплиной неизменно объединяют между собой членов любого отряда, сформированного с любой целью. «» Монк защищал парламент, Ламберт на него нападал. Желания поддерживать парламент у Монка было не более, чем у Ламберта, но он написал его на своих знаменах, и потому противной партии поневоле пришлось написать на своих лозунг восстания, резавший слух пуритан. Поэтому солдаты стекались от Ламберта к Монку, как грешники от Вельзевула к богу.

Монк подсчитал: если в день будет по тысяче дезертиров, то Ламберт продержится двадцать дней. Но при падении всякого тела скорость и сила тяжести всегда возрастают: в первый день было сто беглецов, во второй пятьсот, в третий тысяча. Монк думал уже, что

дошло до среднего числа; нос тысячи число беглецов перескочило на две, потом на четыре, и через неделю Ламберт, чувствуя, что не может уже принять боя, если ему предложат драться, благоразумно решил ночью снять лагерь, вернуться в Лондон, чтобы опередить Монка, составив себе там крепкую армию из остатков военной партии.

Но Монк, ничего не боясь, – победоносно двинулся прямо на Лондон, вбирая в свою армию всех тех, кто сам плохо знал, к какой партии он принадлежит. Монк стал лагерем в Барнете, в четырех милях от столицы. Парламент ликовал, воображая, что нашел в нем покровителя. Народ ждал, когда знаменитый полководец покажет себя, чтобы судить о нем. Даже д'Артаньян не мог разобраться в его тактике. Он наблюдал и восхищался. Монк не мог войти в Лондон с готовым решением, не вызвав там междоусобной войны. Он медлил.

Вдруг, вопреки ожиданию, Монк прогнал из Лондона военную партию и занял город именем парламента.

Потом, когда граждане исполнились возмущения против Монка, когда даже солдаты стали обвинять своего начальника, он, убедившись, что сила на его стороне, объявил «охвостью» парламента, что пора ему сложить с себя полномочия и уступить место настоящему, а не шутовскому правительству.

Монк объявил об этом, опираясь на пятьдесят тысяч шпаг, к которым в тот же вечер с бурным ликованием присоединилось пятьсот тысяч жителей славного города Лондона.

И вот в ту минуту, когда народ, после шумных празднеств и пирушек на улицах, задумался над тем, кому передать власть, вдруг узнали, что из Гааги отплыл корабль, на котором находится Карл II.

– Господа, – заявил Монк своим офицерам, – я отправляюсь навстречу законному королю. Кто любит меня, пусть следует за мной!

Слова его были встречены бурными возгласами.

Услышав их, д'Артаньян задрожал от радости.

– Черт возьми! – сказал он Монку. – Вот это смело!

– Вы поедете со мной?

– Непременно, генерал!.. Но скажите мне, прошу вас, что написали вы в письме, отправленном с Атосом, то есть с графом де Ла Фер?.. Помните... в день нашего приезда?

– От вас у меня нет тайн, – ответил Монк. – Я написал только: «Жду ваше величество через шесть недель в Дувре».

– Ну, тогда я не скажу, что это смело, а скажу, что это тонко разыграно.

– Вы в этих делах знаток, – отвечал Монк.

Это был единственный намек генерала на его путешествие в Голландию.

Глава 32.

АТОС И Д'АРТАНЬЯН ОПЯТЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ В ГОСТИНИЦЕ «ОЛЕНИЙ РОГ»

Английский король с величайшей пышностью въехал в Дувр, потом в Лондон. Он вызвал братьев, привез с собой сестру и мать. Англия так долго была предоставлена самой себе, то есть тирании, власти людей жалких и безрассудных, что возвращение Карла II, которого англичане, впрочем, знали только как сына человека, которому они отрубили голову, было праздником для всех трех королевств. Ликующие крики народа так поразили молодого короля, что он прошептал на ухо своему младшему брату, Джону Йоркскому:

– Право, мы, должно быть, сами виноваты, что долго не возвращались в страну, где нас так любят.

Короля окружала великолепная свита. Прекрасная погода благоприятствовала торжеству. Карл точно помолодел и был весел; он казался совершенно другим. Все ему улыбалось, даже солнце. Среди этой праздничной и шумной толпы придворных льстецов, по-видимому, забывших, что они сопровождали на эшафот отца нового короля, человек в костюме лейтенанта мушкетеров с улыбкой на тонких умных губах смотрел то на оравшую

толпу, то на Карла II: король притворялся растроганным и усердно кланялся дамам, бросавшим букеты под ноги его лошади.

– Неплохо быть королем! – сказал себе этот человек, поглощенный созерцанием окружающего, и, глубоко задумавшись, остановился на дороге, пропустив всю свиту. – Вот король, усыпанный золотом и брильянтами, как Соломон, пестреющий цветами, как, весенний луг: он пригоршнями будет черпать из сундуков, где его верноподданные, прежде поголовно изменявшие ему, накопили кучу золота. Теперь его забрасывают букетами так, что он может утонуть в них; а если б он явился сюда два месяца назад, на него посыпалось бы столько же пуль и ядер. Право же, неплохо быть королем!

Шествие двигалось вперед. Волна криков отхлынула вслед за королем по направлению к дворцу; однако мушкетера все еще сильно толкали.

– Черт возьми! – продолжал наш философ. – Все эти люди наступают мне на ноги и не ставят меня ни во что, потому что они англичане, а я француз. Если спросить у них: «Кто такой д'Артаньян?» – они ответят: «Не знаем!» Но если им сказать: «Вот король! Вот Монк!» – они сейчас же до полной хрипоты будут кричать во всю глотку: «Да здравствует король! Да здравствует Монк!» Однако, – продолжал он, лукаво и немного свысока поглядывая на спешащую толпу, – подумайте немножко, добрые люди, что совершил Карл Второй, что совершил Монк, и припомните кстати, что сделал незнакомец, именуемый д'Артаньяном. Правда, вы не знаете, что он сделал, вы не знаете его самого, что, может быть, мешает вам правильно судить.

Но... какая важность! Это не мешает Карлу Второму быть великим королем, хотя он провел двенадцать лет в изгнании, а Монку – великим полководцем, хотя он съездил в Голландию в ящике. Ну, если уж признано, что один великий король, а другой – великий полководец, то будем кричать: «Ура королю Карлу Второму! Ура генералу Монку!»

И его голос слился с тысячью голосов, на минуту заглушив все другие.

Чтобы подчеркнуть свою преданность, он снял шляпу и размахивал ею.

Кто-то схватил его за руку, как раз когда он с величайшим жаром проявлял свои верноподданные чувства.

– Атос! – воскликнул д'Артаньян. – Вы здесь!

Друзья обнялись.

– Вы здесь, – продолжал мушкетер, – и не в королевской свите, любезный граф? Как! Вы – герой праздника – не едете возле его величества, восстановленного короля, по левую сторону, как Монк по правую? Признаюсь, я не понимаю ни вас, ни короля, который вам стольким обязан.

– Вы всегда шутите, любезный д'Артаньян, – отвечал Атос. – Неужели вы никогда не бросите этой дурной привычки?

– Почему же вы не в свите?

– Я не в свите потому, что не хочу этого.

– А почему вы не хотите?

– Потому что я не курьер, не посланник, и не представитель короля французского, и мне не следует быть зовите иностранного короля.

– Черт возьми! Вы, однако, были при покойном короле, отце его...

– То было другое дело: он шел на смерть.

– Однако ваши услуги Карлу Второму...

– Я сделал только то, что должен был сделать. Вы знаете, я не люблю блеска. Пусть король Карл Второй оставит меня в покое и в тени, раз я ему не нужен; это то, чего я прошу.

Д'Артаньян вздохнул.

– Что с вами? – спросил Атос. – Можно подумать, что счастливое возвращение короля в Лондон огорчает вас, друг мой? А ведь вы сделали для его величества, по крайней мере, столько же, сколько и я.

– Не правда ли? – спросил д'Артаньян со своим смехом гасконца. – Не правда ли, и я много сделал для его величества, хотя этого и не подозревают?

– Да, да! – отвечал Атос. – И король знает это, поверьте мне, друг мой.
– Знает! – повторил мушкетер с – горечью. – Черт возьми, я в этом не сомневался, но сейчас постарался забыть!

– Но он не забудет, уверяю вас!

– Выговорите так только затем, чтобы утешить меня, Атос!

– В чем же?

– Черт возьми! А мои издержки? Я разорился, мой друг, совершенно разорился из-за восстановления этого принца, который сейчас проскакал на буланой лошадке.

– Король не знает, что вы разорились, друг мой, но он знает, что многим обязан вам.

– Что мне в этом, Атос, подумайте! Я вам отдаю попорченную справедливость: вы сделали все, что могли. Но ведь именно я привел к благополучному концу все ваши замыслы, хотя с первого взгляда кажется, что я мешал их успеху. Следите за ходом моих рассуждений: все ваши доводы и вся ваша кротость, наверное, не убедили бы генерала Монка; а я так жестоко обошелся с ним, что доставил вашему принцу случай щегольнуть благородством.

Только из-за моего счастливого промаха он смог проявить великодушие; а за великодушие Монк заплатил Карлу, возвратив ему трон.

– Все это, друг мой, сущая правда, – отвечал Атос.

– И что же? Хотя это сущая правда, однако, любезный друг, я ворочусь домой, облаканный Монком, который называет меня беспрестанно «любезным капитаном», хотя я ему вовсе не любезен и не капитан, любимый королем, который уже забыл мое имя; я человек, проклинаемый солдатами, которых я соблазнил обещаниями крупной награды, осуждаемый славным Планше, у которого я взял часть его состояния.

– Как так? При чем тут Планше?

– А вот при чем. Монк воображает, что он призвал этого разодетого, улыбающегося, обожаемого короля; вы воображаете, что поддержали его; я думаю, что доставил ему победу; народу кажется, что он отвоевал его; сам он воображает, что достиг цели переговорами. Все это неправда: Карл Второй, король Англии, Шотландии и Ирландии, восстановлен французским лавочником по имени Планше, живущим на Ломбардской улице. Вот что значит величие! Суета сует! – как говорит Писание.

Атос невольно улыбнулся.

– Любезный д'Артаньян, – сказал он, дружески пожимая руку мушкетера, – неужели вы перестали быть философом? Неужели вас не утешает мысль, что вы спасли мне жизнь, подоспев так счастливо с Монком, когда эти окаянные приверженцы парламента хотели сжечь меня живьем?

– Вы отчасти сами заслужили такое наказание, дорогой граф.

– За что? За спасение миллиона, принадлежавшего его величеству королю Карлу?

– Какого миллиона?

– Да, ведь вы ничего не знаете о нем, друг мой!

Но не сердитесь на меня; это была не моя тайна. Слово «Remember!», которое сказал Карл Первый на эшафоте...

– И которое значит помни!..

– Именно так. Слово это значило: «Помните, что в нью-каслских погребях спрятан миллион и что это золото принадлежит моему сыну».

– А, теперь понимаю!.. Понимаю также, – и это всего хуже, – что каждый раз, как Карл Второй вспоминает обо мне, он говорит самому себе:

«Этот человек чуть не заставил меня потерять корону. К счастью, я был великодушен, благороден, полон присутствия духа». Вот что думает обо мне и о короле молодой дворянин а черном поношенном платье, который в Блуаском замке оросил меня со шляпой в руке впустить его в кабинет короля французского.

– Д'Артаньян, д'Артаньян! – сказал Атос, кладя руку на плечо мушкетера. – Вы несправедливы.

– Я имею право на это.

– Нет, вы не знаете будущего.

Д'Артаньян пристально посмотрел на друга и расхохотался.

– Признаюсь, любезный Атос, – заметил он, – у вас попадаются великолепные выражения. Я слышал такие только от вас и от кардинала Мазарини.

Атос сделал протестующий жест.

– Извините, друг мой, если я оскорбил вас, – продолжал д'Артаньян с улыбкой. – Будущее! Как хороши снова, которые много обещают! Как приятно жевать их, когда нечего есть! Черт возьми! Я слышал пропасть многообещающих слов. Когда же я услышу хоть одно слово, которое исполняет обещание! Но оставим это, – молвил д'Артаньян. – Что вы делаете здесь, любезный Атос? Вы казначей короля?

– Как! Казначей? Почему?

– А как же? У короля есть миллион, стало быть, ему нужен казначей. У французского короля ровно ничего нет; однако у него есть суперинтендант финансов, господин Фуке. Впрочем, надо признать, что зато у господина Фуке есть несколько миллиончиков.

– О, наш миллион давно уже истрачен, – сказал Атос и рассмеялся, в свою очередь.

– Понимаю: он пошел на бархат, атлас, брильянты, на перья всяких сортов и цветов. Все это семейство очень нуждалось в портных и белошвейках.

Помните, Атос, сколько мы тратили на одежду во времена сражений под Ла-Рошелю, перед тем как вступить на конях в город, Две или три тысячи ливров. Но ведь на королевское платье нужно ткани больше, тут истратишь миллион... Скажите, по крайней мере, Атос, если вы и не казначей, то все-таки вы имеете вес при дворе?

– Клянусь честью, сам не знаю, – отвечал Атос просто.

– Неужели не знаете?

– Нет, я после Дувра не видал короля.

– А, он забыл и вас! Черт возьми! Недурно!

– У его величества столько дел!

– О! – вскричал д'Артаньян, со свойственной ему одному тонкой усмешкой, – Клянусь честью, я начинаю снова любить монсеньера Джулио Мазарини. Как! Король не видал вас, Атос?

– Нет.

– И вы не сердитесь?

– За что? Вы, кажется, думаете, любезный д'Артаньян, что я поступил таким образом ради короля? Да я совсем не знаю его. Я защищал отца, который олицетворял для меня священное начало, и я склонился в сторону сына опять-таки из приверженности тому же принципу. Я сделал все это ради его отца, который был достойный рыцарь, благороднейший человек, вы помните?

– Правда, человек прекрасный и добрый. Жил скверно, но умер хорошо.

– Так поймите же, любезный д'Артаньян, покойному королю я поклялся в последнюю минуту его жизни честно сохранить тайну о сокровище, которое я должен был передать его сыну, чтобы помочь ему в случае надобности. Молодой принц приехал ко мне. Он рассказал мне про свою бедность, видя во мне только живое воспоминание о своем отце. Я исполнил для Карла Второго только то, что обещал Карлу Первому, не больше. Стало быть, какое мне дело, благодарен он или нет! Не ему, а себе оказал я услугу, сняв с себя ответственность.

– Я всегда говорил, – произнес д'Артаньян со вздохом, – что бескорыстие – бесподобная вещь.

– Ну так что же, дорогой друг, – заметил Атос, – вы точно в таком же положении, как я. Если я правильно понял ваши слова, вас тронуло несчастье молодого принца. Вы поступили во много раз благороднее, чем я: вы ничем не были обязаны сыну погибшего короля, а я должен был исполнить свой долг. Вы-то не должны были платить ему цену той драгоценной капли крови, какую он уронил на мое чело с помоста своего эшафота. Вас побуждало только сердце, благородное доброе сердце, которое таится под вашим наружным скептицизмом, под вашими язвительными насмешками. Вы употребили на это деньги вашего преданного слуги,

может быть, ваши собственные, — я даже в этом уверен, — и в довершение всего ваши жертвы не признаются!

Что за беда? Вы хотите возвратить деньги Планше?.. Понимаю ваше желание, друг мой: неприлично дворянину, заняв деньги у своего подчиненного, не отдать ему капитала вместе с процентами. Знаете что, я продам замок Ла Фер или, ради этого много, какую-нибудь маленькую ферму. Вы расплатитесь с Планше, и, будьте уверены, в моих амбарах останется довольно хлеба для нас обоих и для Рауля. Таким образом, любезный друг, вы будете обязаны только самому себе, и — я знаю вас хорошо — вам очень приятно будет думать: «Я возвратил корону королю Англии». Не так ли, друг мой?

— Атос, Атос, — протянул д'Артаньян в раздумье, — я уже говорил вам, что, когда вы станете аббатом, я буду слушать ваши проповеди. Если вы скажете мне, что есть ад, черт возьми, я стану бояться огня и сковородки. Вы лучше меня, вернее сказать, вы лучший из людей. А за собой я признаю только одно достоинство: я не завистлив. Все остальные пороки найдутся во мне с избытком.

— А я не знаю никого, кто бы мог сравниться с д'Артаньяном, — возразил Атос. — Но мы незаметно пришли К дому, где я живу. Не хотите ли вы зайти ко мне, дорогой друг?

— О, да это, кажется, гостиница «Олений рог»! — вскричал д'Артаньян.

— Признаюсь, мой друг, я нарочно выбрал ее. Люблю старых знакомых; мне приятно сидеть на том самом месте, на которое я опустился, истомленный усталостью, убитый отчаянием, когда вы воротились вечером тридцать первого января.

— Открыв убежище замаскированного палача? Да, то был страшный день!

— Так войдем же, — предложил Атос.

Они вошли в зал, который прежде был общим. И в гостинице, и в этом общем зале произошли большие перемены. Прежний хозяин разбогател, закрыл гостиницу и превратил зал в бакалейный склад. Остальные комнаты он сдавал внаймы приезжим.

С невыразимым волнением д'Артаньян узнал всю мебель комнаты, расположенной в первом этаже; узнал обивку стен, занавески, даже географическую карту, которую Портос так любовно изучал на досуге.

— Прошло одиннадцать лет! — воскликнул д'Артаньян. — Черт возьми! А мне кажется, что целое столетие!

— А мне — один день, — сказал Атос. — Понимаете ли, друг мой, какую я испытываю радость при мысли, что вы здесь со мною, что я жму вату руку, что могу далеко отбросить шпагу и кинжал и без опасения приняться за эту бутылку хереса. Моя радость была бы еще полнее, если б наши два друга сидели с нами у стола, а Рауль, милый мой Рауль, стоял на пороге и смотрел на нас своими большими, блестящими, ласковыми глазами.

— Да, да, — сказал д'Артаньян с волнением, — это правда. Я вполне согласен с вами, особенно с вашей первой мыслью: приятно смеяться, сидя на том самом месте, где мы содрогались, ежеминутно ожидая, что Мордаунт появится в дверях.

В эту минуту дверь открылась, и д'Артаньян, как он ни был храбр, не мог не вздрогнуть. Атос понял его и улыбнулся:

— Это наш хозяин, он несет мне какое-то письмо.

— Да, милорд, — сказал трактирщик, — я действительно принес письмо вашей милости.

— Благодарю, — кивнул Атос и взял письмо, не взглянув на него. — Скажите, любезный хозяин: вы не узнаете моего гостя?

Старик поднял голову и внимательно посмотрел на д'Артаньяна.

— Нет, не узнаю.

— Он один из тех друзей, о которых я вам говорил; он останавливался здесь со мною одиннадцать лет назад.

— Здесь перебивало столько иностранцев! — вздохнул старик.

— Но мы были здесь тридцатого января тысяча шестьсот сорок девятого года, — прибавил Атос, думая этим указанием расшевелить ленивую память трактирщика.

— Может статься, — отвечал он, — но это было так давно!

Он поклонился и вышел.

– Благодарю! – сказал д'Артаньян. – Вот, совершай подвиги и перевороты, вырубай шпагою свое имя на камнях или на меди; если кое-что крепче, тверже и беспамятнее железа, меди и камня: это старый череп разбогатевшего трактирщика. Он не узнает меня! А я так узнал бы его...

Атос, улыбаясь, распечатал письмо.

– А! – обрадовался он. – Письмо от Парри.

– Ого! – проговорил д'Артаньян. – Читайте, друг мой, читайте! В нем, верно, есть свежие новости.

Атос покачал головой и прочел:

«Любезный граф, его величество король с величайшим сожалением заметил, что вы не находились при нем сегодня во время его торжественного въезда. Король приказал мне написать вам об этом и просить, чтобы вы вспомнили о нем. Его величество ждет вас сегодня вечером в Сент-Джемском дворце от девяти до одиннадцати часов.

С истинным почтением имею честь быть вашим покорнейшим слугою Парри».

– Видите, любезный д'Артаньян, не надо сомневаться в доброте королей.

– Не сомневайтесь, вы правы, – отвечал д'Артаньян.

– Ах, милый, дорогой друг, простите меня, – сказал Атос, от которого не ускользнул оттенок горечи в словах д'Артаньяна. – Неужели я невольно оскорбил своего лучшего товарища?

– Что вы, Атос! Я даже провожу вас до дворца, разумеется до ворот; кстати прогуляюсь.

– Вы войдете вместе со мною, друг мой. Я хочу сказать его величеству...

– Не надо! – вскричал д'Артаньян с непритворной гордостью. – Нехорошо просить милостыню; но нет хуже, чем просить ее через других. Пойдемте, друг мой, прогулка мне будет очень приятна; по дороге я покажу вам дом генерала Монка, который приютил меня. Славный домик! Знаете ли, выгоднее быть генералом в Англии, чем маршалом во Франции.

И он увел Атоса, огорченного притворной веселостью своего друга.

Весь город был в радостном возбуждении. Двое друзей каждое мгновение сталкивались с энтузиастами, которые расспрашивали их, намереваясь покричать: «Да здравствует добрый король Карл!» Д'Артаньян отвечал ворчанием, Атос улыбкой. Так дошли они до дома Монка, который, как мы уже говорили, надо было миновать, чтобы достичь Сен-Джемского дворца.

Дорогой Атос и д'Артаньян разговаривали мало, должно быть потому, что им надо было переговорить о слитком многом. Атос думал, что, если он заговорит, д'Артаньяну покажется, что слова его звучат радостью, которая оскорбит мушкетера, д'Артаньян, со своей стороны, молчал из опасения, что в словах его проявится горечь, которая смутит Атоса. Радость одного и обида другого словно соперничали в молчании. Наконец первым заговорил д'Артаньян, у которого слова всегда вертели на кончике языка.

– Помните ли, Атос, – произнес наконец он, – то место в записках д'Обинье, где этот преданный слуга – гасконец, как я, бедный, как я, – я чуть не сказал: храбрый, как я, – рассказывает про скупость Генриха Четвертого? Отец мой часто говорил мне, я хорошо помню, что господин д'Обинье лгун. Однако посмотрите, как вся нисходящая линия великого Генриха похожа на него в этом отношении.

– Помилуйте, д'Артаньян! Французские короли скупы? – воскликнул Атос.

– Вы сума сошли, друг мой!

– О, вы никогда не видите недостатков в других, потому что у вас самого их нет. Но Генрих Четвертый в самом деле был скуп. Людовик Тринадцатый, сын его, тоже был скуп; мы с вами знаем об этом кое-что, не так ли! У Гастона Орлеанского этот порок дошел до предела; за это его ненавидели все служившие у него. Бедная Генриетта была скупа поневоле. Она обедала не каждый день и топила у себя в комнатах не каждую зиму, и она подала пример

своему сыну, Карлу Второму, внуку великого Генриха Четвертого, который скуп вдвойне, и как мать и как дед. Что, хорошо я вывел родословную скупости?

– Д'Артаньян, друг мой, вы очень строги к Бурбонам.

– Ах, я забыл еще самого лучшего из них... другого внука беарнца, Людовика Четырнадцатого, моего бывшего повелителя. Этот тоже, я думаю, скуп: он не хотел дать миллиона своему брату Карлу! Ну-ну, вижу, что вы начинаете сердиться... Кстати, мы подошли к моему дому или, лучше сказать, к дому моего друга Монка.

– Дорогой д'Артаньян, я не сержусь, но вы меня огорчаете. В самом деле, всегда грустно, когда человек не занимает того положения, на какое имеет право по своим заслугам: ваше имя должно так же блистать, как имена самых знаменитых воинов и дипломатов. Разве Люини, Беллегарды и Бассомпьеры больше вас заслужили богатство и славу? О, вы правы, друг мой, тысячу раз правы!

Д'Артаньян вздохнул и ввел друга в дом генерала Монка.

– Позвольте, – сказал он, – я оставлю дома свой и кошелёк. Если в толпе хваленые лондонские жулики, славящиеся даже в Париже, обокрадут меня, отнимут последнее, то мне не на что будет вернуться во Францию...

С веселым сердцем выехал я из Франции и еще веселее возвращаюсь, потому что вся моя старая ненависть к Англии воскресла и еще усилилась.

Атос не отвечал.

– Так подождите, любезный друг, минутку, я пойду посмотрю. Знаю, что вы спешите получить награду, но поверьте, мне также не терпится разделить вашу радость... Хоть издали... Подождите меня.

Д'Артаньян почти уже прошел сени, когда полусонный, полулакей, исполнявший у Монка должность привратника и сторожа, остановил нашего мушкетера и произнес по-английски:

– Извините, милорд д'Артаньян.

– Это еще что такое? Уж не выгоняет ли меня и генерал? Только этого не доставало.

Эти слова, сказанные по-французски, нисколько не подействовали на того, к кому относились: привратник говорил только по-английски, с примесью самого грубого шотландского наречия. Но они больно кольнули Атоса, Потому что, казалось, Белова д'Артаньяна начинали оправдываться.

Англичанин протянул письмо д'Артаньяну со словами:

– От генерала.

– Отлично, так и есть, он выгоняет меня, – сказал гасконец. – Читать ли письмо, Атос?

– Вы, наверное, ошибаетесь, – отвечал Атос. – Или на свете нет честных людей, кроме вас и меня?

Д'Артаньян пожал плечами и распечатал письмо; между тем невозмутимый англичанин поднес фонарь, чтоб осветить нашему мушкетеру.

– Что с вами? – спросил Атос, видя, что д'Артаньян изменился в лице.

– Прочтите сами.

Атос взял бумагу и прочитал:

«Господин д'Артаньян, король очень сожалеет, что вы не провожали его в собор св. Павла. Его величество говорит, что ему очень не доставало вас, – так же как и мне, любезный капитан. Есть только одно средство исправить дело. Его величество ждет меня в девять часов в Сент-Джемском дворце. Не хотите ли быть там в одно время со мною? Король назначает этот час для вашей аудиенции».

Письмо было подписано Монком.

Глава 33. АУДИЕНЦИЯ

– Ну что? – воскликнул Атос с ласковым упреком, прочтя д'Артаньяну письмо Монка.
– Что? – повторил мушкетер, покраснев от радости и немного от стыда, так как слишком поторопился обвинить короля и Монка. – Простая вежливость, она ни к чему не обязывает, но, конечно, все-таки вежливость.

– Мне не верилось, что молодой король так неблагодарен, – сказал Атос.
– Надо признаться, у него еще не было времени забыть прошлое, – отвечал д'Артаньян. – Но до сих пор все оправдывало мое мнение.

– Согласен, дорогой друг, согласен. Вот вы опять развеселились. Вы не поверите, как я рад.

– Значит, – сказал д'Артаньян, – король принимает Монка в девять часов, а меня примет в десять. Это, наверное, большая аудиенция, из тех, которые мы называем в Лувре раздачей святой воды. Пойдемте, друг мой, авось и нам перепадет капелька.

Атос ничего не ответил, и оба направились к Сент-Джемскому дворцу, вокруг которого еще теснилась толпа, стремившаяся увидеть в окнах тени придворных и силуэт короля. Было восемь часов, когда два друга вошли в дворцовую галерею, битком набитую придворными и просителями. Все украдкой поглядывали на их простые костюмы иностранного покроя, на их благородные и выразительные лица. Атос и д'Артаньян, окинув взглядом толпу, продолжали свою беседу.

Вдруг в конце галереи послышался шум: вошел генерал Монк, а за ним человек двадцать офицеров, искавших его улыбки. Ведь еще вчера он был владыкой Англии; предполагали, что человека, восстановившего Стюартов, ожидает блистательное будущее.

– Господа, – сказал Монк, обернувшись, – прошу вас, не забудьте, что я теперь уже ничего не значу. Недавно я командовал главной армией республики; теперь эта армия принадлежит королю, я передал в его руки всю власть, которою пользовался вчера.

Глубочайшее изумление выразилось на всех лицах; кружок льстецов и просителей около Монка начал редеть и мало-помалу слился с толпою. Монк собирался ждать короля, так же как все другие. Д'Артаньян не мог не заметить этого графу де Ла Фер, хмутившему брови.

Вдруг дверь кабинета Карла II отворилась, и появился молодой король; перед ним шли двое придворных.

– Здравствуйте, господа, – начал он. – Здесь ли генерал Монк?

– Я здесь, ваше величество! – ответил старый солдат.

Карл поспешно подошел к нему и с искренним порывом сжал его руки.

– Генерал, – сказал король громко, – я сейчас подписал патент: вы герцог Олбермельский, и я хочу, чтобы по богатству и могуществу вы стояли выше всех в королевстве, где, за исключением благородного Монтроза, никто не сравнится с вами по верности, храбрости и таланту. Господа, герцог назначается главнокомандующим нашими сухопутными и морскими силами; поздравьте его с этим званием.

В то время как все столпились вокруг генерала, принимавшего поздравления со своим обычным бесстрастием, д'Артаньян шепнул Атосу:

– Когда подумаешь, что это герцогство, это командование сухопутными и морскими силами, словом, все это величие лежало в ящике длиной в шесть футов и шириною в три...

– Друг мой, – возразил Атос, – еще более крупные знаменитости помещаются в ящиках еще меньших, из которых уже нельзя выйти.

Вдруг Монк заметил обоих французов, стоявших в стороне в ожидании, когда толпа поредеет. Он тотчас подошел к ним и застал их в разгаре философских рассуждений.

– Вы говорили обо мне? – спросил он с улыбкою.

– Милорд, – ответил Атос, – мы говорили также о божестве.

Монк задумался, потом весело предложил:

– Поговорим немножко о короле, если позволите; ведь, кажется, вам назначена аудиенция?

– В девять часов, – сказал Атос.

– В десять часов, – продолжил д'Артаньян.

– Войдем скорее в этот кабинет, – отозвался Монк, делая знак двум своим товарищам, чтобы они прошли впереди него, на что ни один, ни другой не хотели согласиться.

Король во время этого истинно французского спора вышел на середину галереи.

– Ах, вот и мои французы! – воскликнул он с беспечной веселостью, уцелевшей, несмотря на все его бедствия. – Французы – мое утешение!

Атос и д'Артаньян поклонились.

– Герцог, проводите их в мой рабочий кабинет. Я сейчас приду, господа, – прибавил король по-французски.

И он поспешно отпустил весь двор, чтобы скорее вернуться к своим французам, как он их называл.

– Шевалье д'Артаньян, – сказал он, входя в кабинет, – я очень рад вас видеть.

– Государь, я в восторге оттого, что могу приветствовать ваше величество в Сент-Джемском дворце.

– Сударь, вы хотели оказать мне чрезвычайно важную услугу, и я обязан вам за нее благодарностью. Если б я не боялся захватить права нашего главнокомандующего, то предложил бы вам достойное вас звание при моей особе.

– Ваше величество, – возразил д'Артаньян, – я оставил службу короля французского и обещал ему, что не буду служить другому королю.

– Очень жаль, – сказал Карл. – Я желал бы сделать для вас как можно больше; вы нравитесь мне.

– Ваше величество...

– Посмотрим, – продолжал Карл с улыбкою, – не удастся ли мне заставить вас изменить слову. Герцог, помогите мне. Если б вам предложили, я хочу сказать, если б я предложил вам должность главного начальника своих мушкетеров?

Д'Артаньян поклонился еще ниже, чем первый раз.

– Я бы имел несчастье отказать вашему величеству, – сказал он. – У дворянина нет ничего, кроме честного слова, а мое слово, как я уже имел честь сообщить, дано французскому королю.

– Так не будем говорить об этом, – заметил король, поворачиваясь к Атосу.

Д'Артаньян вновь охватило горестное разочарование.

«Я предвидел это, – прошептал мушкетер. – Слова!

Слова! Святая вода! Король всегда умеет предложить вам именно то, чего вы заведомо не можете принять, и показаться великодушным, ничем не рискуя! Дурак, трижды дурак я, что надеялся!»

Между тем Карл взял Атоса за руку.

– Граф, – произнес он, – вы мне были вторым отцом? За услугу, которую вы мне оказали, ничем нельзя оплатить. Но мне все же хочется наградить вас. Отец мой пожаловал вас орденом Подвязки; орден этот имеют не все государи в Европе. Королева-регентша наградила вас орденом Святого Духа, и это не менее знаменитый орден. Я жалую вам знаки Золотого Руна, которые прислал мне французский король; он получил к своей свадьбе два патента на этот орден от испанского короля, своего тестя. Но за это я попрошу у вас услуги.

– Ваше величество, – заговорил Атос в смущении, – вы жалуете мне знаки Золотого Руна! Во Франции она есть только у короля.

– Я хочу, чтобы и у себя на родине, и всюду вы были равны всем знаменитейшим людям, которых отличают государи, – сказал Карл, снимая цепь с груди. – Я уверен, граф, что отец одобрил бы меня из могилы!

«Однако странно, – думал д'Артаньян в то время, когда друг его на коленях принимал знаменитый орден, – странно и удивительно, что дождь счастья всегда лил на всех окружающих, а на меня никогда не попадало ни капли. О, если б я был завистлив, клянусь честью, мне пришлось бы рвать на себе волосы».

Атос встал, Карл нежно обнял его.

– Генерал! – сказал король Монку.

Потом остановился, улыбнулся и продолжал:

– Извините, я хотел сказать: герцог... Я ошибаюсь только потому, что слово «герцог», по-моему, слишком коротко... Я все ищу титула подлиннее.

Я желаю, чтобы вы были как можно ближе к трону и чтобы я мог называть вас, как короля Людовика, братом! Нашел! Вы будете почти моим братом: я жалую вам звание вице-короля Ирландии и Шотландии, любезный герцог... Теперь уж я не ошибусь.

Герцог пожал руку короля, но по обыкновению без излишнего восторга.

Однако эта последняя милость тронула его сердце. Карл проявлял великодушие мудро, с тем чтобы дать герцогу время высказать какое-нибудь желание, но дарованные Монку милости превосходили все то, что он мог пожелать.

– Черт возьми! – пробормотал д'Артаньян про себя. – Дождь льет ливнем!

Можно сойти с ума!

Он казался таким жалким и грустным, что король не мог сдержать улыбки. Монк хотел проститься с Карлом II.

– Как, вы уже уходите, мой верный друг? – спросил король у герцога.

– Если ваше величество позволит... Я очень устал от впечатлений этого дня. Мне нужно отдохнуть.

– Но, – сказал король, – вы не уйдете без господина д'Артаньяна, надеюсь?

– Почему же? – спросил старый воин.

– Вы сами знаете почему.

Монк взглянул на короля с удивлением.

– Простите, ваше величество, – пробормотал он, – я никак не могу понять...

– Возможно. Но если вы забыли, так господин д'Артаньян помнит.

Лицо мушкетера выразило удивление.

– Позвольте спросить, герцог, – сказал король, – вы живете вместе с господином д'Артаньяном?

– Да, ваше величество: я имел честь предложить ему квартиру.

– Это и не могло быть иначе... Пленник всегда неразлучен с победителем.

Монк покраснел.

– Да, правда, – согласился он, – я действительно пленник господина д'Артаньяна.

– Разумеется, Монк, потому что вы еще не выкупили себя. Но не беспокойтесь: я вырвал вас из рук господина д'Артаньяна, я же заплачу и выкуп.

В глазах д'Артаньяна блеснула радость. Гасконец начал понимать.

Карл подошел к нему.

– Генерал не очень богат, – начал он, – и не может заплатить вам за себя столько, сколько он стоит. Я, разумеется, богаче. Но теперь, когда он герцог и почти король, возможно, что и я уже не в состоянии буду заплатить за него. Господин д'Артаньян, будьте снисходительны. Сколько я должен вам?

Д'Артаньян несказанно обрадовался такому обороту дела, но не выдал своего восторга.

– Ваше величество, вы напрасно беспокоитесь, – ответил он. – Когда я имел счастье захватить господина Монка, он был только генералом; стало быть, мне следует получить выкуп за генерала. Пусть генерал отдаст мне свою шпагу, и я буду считать, что мне уплатили сполна. Только шпага генерала стоит столько же, сколько он сам.

– Odds fish⁷, как говаривал отец мой! – воскликнул Карл II. – Вот благородная речь благородного человека, не правда ли, герцог?

– По чести так, ваше величество.

И он обнажил шпагу.

– Сударь, – сказал он д'Артаньяну, – вот шпага, которую вы просите. У многих клинки бывали получше; но мой никогда ни перед кем не склонялся, хотя он очень прост.

Д'Артаньян с гордостью взял шпагу, которая только что возвела короля на престол.

– Ого! – вскричал Карл II. – Как! Шпага, вернувшая мне трон, удалится из Англии? И не будет в числе наших государственных драгоценностей? Нет, клянусь душою, этого не случится! Капитан д'Артаньян, я даю двести тысяч ливров за эту шпагу: если мало, скажите...

– Да, ваше величество, этого мало, – ответил д'Артаньян с неподражаемой серьезностью. – Прежде всего, я не хотел бы продавать ее; но вы желаете, а желание вашего величества для меня закон. Я повинуюсь. Но из уважения к славному воину, который слышит меня, я должен оценить ее, по крайней мере, наполовину дороже. Я прошу триста тысяч за шпагу или готов даром отдать ее вашему величеству.

И, взяв шпагу за острие, он протянул ее королю.

Карл II громко рассмеялся.

– Вот благородный человек и веселый товарищ! Не так ли, герцог? Он нравится мне, и я люблю его. Вот, шевалье д'Артаньян, – прибавил он, возьмите это.

Он подошел к столу, взял перо и написал чек на триста тысяч ливров.

Д'Артаньян взял чек, с важностью повернулся к Монку и произнес:

– Я взял за шпагу слишком мало, я это знаю; но верьте мне, герцог, я скорее умру, чем прослышу стяжателем.

Король опять захохотал, как счастливейший человек во всем государстве.

– Вы еще повидаетесь со мною до отъезда, шевалье, – сказал он. – Мне нужно будет запастись веселостью, если мои французы уезжают.

– Ваше величество! Моя веселость не то, что шпага герцога. Я отдам ее даром, – отвечал д'Артаньян, вполне довольный.

– И вы, граф, – прибавил Карл, оборачиваясь к Атосу, – и вы тоже еще придете ко мне. Я должен дать вам важное поручение. Вашу руку, герцог.

Монк пожал руку королю.

– Прощайте, господа, – сказал Карл французам, подавая им руку, которую они поочередно поцеловали.

– Ну так что же? – спросил Атос, когда они вышли из дворца. – Теперь вы довольны?

– Тес... – отвечал д'Артаньян в радостном волнении. – Ведь я еще не вернулся от казначея... По дороге мне на голову еще может свалиться кирпич.

Глава 34. НЕУДОБСТВА БОГАТСТВА

Как только приличие позволило ему явиться за деньгами, д'Артаньян, не теряя времени, отправился к королевскому казначею.

Тут он имел удовольствие променять клочок бумаги, исписанный весьма плохим почерком, на огромное количество золотых, только что вычеканенных монет с изображением короля Карла II.

Д'Артаньян всегда умел владеть собою, но в этом случае он не мог скрыть радости, которую читатель поймет, если захочет быть снисходительным к человеку, отовсюду не выдавшему столько свертков золотых монет, которые лежали в порядке, поистине ласкающем глаз. Казначей положил все эти свертки в мешки и на каждый мешок наложил печать с английским гербом; такую милость казначеи оказывают не всякому. Потом он бесстрастно и с той учтивостью, какую он обязан был проявить к человеку, пользовавшемуся дружбой короля, сказал:

– Возьмите ваши деньги, сударь.

«Ваши деньги»! От этих слов в душе д'Артаньяна задрожали струнки, о существовании которых он раньше и не подозревал.

Он приказал положить мешки на тележку и вернулся домой в глубоком раздумье. Человек, у которого триста тысяч ливров, не может не морщить лба; на каждую сотню тысяч ливров по одной морщине – это еще ничего.

Д'Артаньян заперся в своей комнате, не обедал, никого не впускал к себе; зажег лампу, положил заряженный пистолет на стол и всю ночь напролет бодрствовал, обдумывая, как бы сделать, чтобы эти красивые золотые монеты, попавшие в его сундук из королевской казны, не перешли в карманы какого-нибудь ловкого вора.

Лучшим средством, какое пришло в голову гасконцу, было немедленно запереть свое сокровище замками, столь прочными, чтобы никакая рука не сломала их, чтобы никакой обычный ключ их не открыл. Д'Артаньян вспомнил, что англичане славятся мастерами в механике и в деде всяческой охраны; он решил завтра же пойти на поиски механика, который мог бы продать ему добротный сундук или несгораемый шкаф. Ему недолго пришлось искать. Некто Вилл Джобсон, обитающий на Пиккадилли, выслушал его распоряжения, понял его затруднения и обещал сделать ему надежный замок, который освободит его от всякого страха за будущее.

– Я дам вам, – сказал он, – совершенно новый механизм. При первой сколько-нибудь серьезной попытке открыть ваш замок незаметно приподнимается маленькая пластина, маленькая пушечка столь же незаметно выплюнет хорошенькое медное ядрышко весом в полфунта, которое свалит наземь неудачника, не без оглушительного грохота, разумеется. Что вы об этом думаете?

– Клянусь, это воистину здорово! – воскликнул д'Артаньян. – Маленькое медное ядрышко мне очень по душе. А каковы условия, господин механик?

– Пятнадцать дней на работу и пятнадцать тысяч ливров в уплату. С доставкой, – отвечал мастер.

Д'Артаньян нахмурился. Пятнадцать дней – это совершенно достаточная отсрочка для того, чтобы все жулики Лондона сделали ненужным приобретение каких бы то ни было замков. Что же касается пятнадцати тысяч ливров – это слишком высокая плата за то, что небольшая осторожность доставила бы ему бесплатно.

– Я подумаю, – сказал он, – спасибо.

И он почти бегом возвратился домой; никто еще не трогал его сокровище.

На следующий день Атос зашел проведать своего друга и нашел его таким встревоженным, что не мог скрыть своего удивления.

– Как, – сказал Атос, – вы богаты и не веселы! А вы так мечтали о богатстве...

– Друг мой, удовольствия, к которым мы не привыкли, беспокоят нас больше, чем привычные горести. Дайте мне совет, прошу вас. У вас ведь всегда есть деньги. Когда имеешь капитал, что надо с ним делать?

– Это зависит от владельца.

– Что вы делаете со своими деньгами, чтоб не превратиться ни в скупца, ни в мота? Ведь скупость сушит душу, а расточительность топит ее... не так ли?

– Фабриций не сказал бы умнее. Признаться, мои деньги никогда не были мне в тягость.

– Скажите же: вы отдаете их под проценты?

– Нет. Вы знаете, что у меня довольно приличный дом, и он составляет главную часть моего состояния.

– А доходы вы прячете?

– Нет.

– Что вы думаете о тайнике где-нибудь в стене?

– Я никогда не пользовался тайниками.

– Так у вас есть доверенный, которому вы отдаете свои капиталы, и он платит вам изрядные проценты?

– Нет.

– Так куда же идут доходы?

– Я трачу все, что получаю; излишков у меня нет, дорогой Д'Артаньян.

– А, вот что! Вы живете как вельможа, и пятнадцать – шестнадцать тысяч ливров в год проходят у вас сквозь пальцы? Притом на вас лежат разные обязанности: вы непременно должны принимать...

– Но, мне кажется, вы точно такой же вельможа, как я, мой друг, и ваших денег вам только-только хватит.

– Триста тысяч ливров!.. Тут две трети лишних!

– Извините, но мне показалось, будто вы говорили... мне послышалось... я вообразил, что у вас есть компаньон...

– Ах, черт возьми! Правда! – вскричал Д'Артаньян, покраснев. – У меня есть Планше! Клянусь честью, я забыл о Планше... Вот и отходит часть моих денег. Жаль, сумма была круглая, и цифра выглядела славно. Правда ваша, Атос, я вовсе не так уж богат. Какая у вас память!

– Да, порядочная, слава богу!

– Добрый Планше не прогадал, – пробормотал д'Артаньян. – Неплохое предприятие, черт возьми! Ну, давши слово – держись!

– Сколько придется на его долю?

– О, – сказал Д'Артаньян, – он славный малый, и я рассчитаюсь с ним на совесть; не забудьте, ведь я много хлопотал, много издержал, все это надо внести в счет.

– Друг мой, я не сомневаюсь в вас, – проговорил Атос спокойно, – и нисколько не боюсь за добряка Планше. Его деньги сохраннее в ваших руках, чем в его собственных. Но теперь, когда вам уже нечего здесь делать, уедем поскорее. Поблагодарите его величество – и в путь! Через неделю мы увидим башни собора Парижской богородицы.

– Да, мой друг, мне самому очень хочется уехать, и я сейчас же пойду проститься с королем.

– А я, – сказал Атос, – пойду повидаться со знакомыми, и потом я к вашим услугам.

– Одолжите мне вашего Гримо.

– Извольте!.. Зачем он вам?

– Он нужен мне для очень простого дела, которое не затруднит его: я попрошу его покараулить мои пистолеты, которые лежат на столе, вот здесь, возле этих сундуков.

– Хорошо, – отвечал Атос хладнокровно.

– И он никуда не уйдет?

– Он останется здесь с пистолетами.

– Тогда я пойду к королю. До свиданья!

Д'Артаньян явился в Сент-Джемский дворец, где Карл II, писавший в это время письма, заставил его ждать целый час.

Д'Артаньян прогуливался вдоль галереи от дверей до окон и обратно; вдруг в передней промелькнул плащ, очень похожий на плащ Атоса. Не успел Д'Артаньян посмотреть, кто там, как его позвали к королю.

Карл II, потирая руки, принял изъявления благодарности мушкетера.

– Шевалье, – сказал он, – вы напрасно так благодарите меня. Я не заплатил и четверти настоящей цены за историю с ящиком, в который вы запрятали нашего храброго генерала... я хочу сказать, нашего милого герцога Олбермея.

И король громко расхохотался.

Д'Артаньян не счел нужным прерывать его величество и скромно молчал.

– Кстати, – продолжал Карл, – действительно ли любезный Монк простил вам?

– Да, надеюсь...

– О, но шутка была жестокая... odds fish! Закупорить, как селедку в бочонок, первое лицо английского королевства! На вашем месте я не был бы так спокоен, шевалье.

– Но...

– Монк называет вас своим другом, я знаю... Но по глазам его видно, что память у него хорошая. И к тому же он очень горд, об этом говорят его высокие брови! Знаете, большая supercilium⁸.

«Обязательно выучу латынь», – подумал Д'Артаньян.

– Послушайте! – весело продолжал король. – Я должен устроить ваше примирение; я сумею взяться за дело так, что...

Д'Артаньян закусил ус.

– Разрешите сказать откровенно вашему величеству?

– Говорите, шевалье.

– Ваше величество очень пугает меня... Если вы пожелаете уладить это дело, то я человек погибший: герцог велит убить меня.

Король снова расхохотался: от его смеха страх д'Артаньяна перешел в ужас.

– Ваше величество, сделайте милость, обещайте, что позволите мне самому уладить это дело; и если я больше не нужен вам...

– Нет, шевалье. Вы хотите ехать? – спросил Карл с веселостью, вселявшей в мушкетера все большее и большее беспокойство.

– Если ваше величество ничего не хочет приказать мне...

Карл стал почти серьезен.

– У меня есть к вам просьба. Повидайтесь с моей сестрой Генриеттой.

Она знает вас?

– Нет, ваше величество. Но такой старый солдат, как я, – скучное зрелище для веселой и молодой принцессы.

– Я хочу, чтоб сестра моя знала вас, чтоб она в случае надобности могла положиться на вас.

– Все, что вам дорого, для меня священо.

– Хорошо!.. Парри! Добрый Парри!.. Войди сюда.

Боковая дверь отворилась, и вошел Парри. Увидев д'Артаньяна, он очень обрадовался.

– Что делает Рочестер? – спросил король.

– Он на канале с дамами, – отвечал Парри.

– А Бекингэм?

– Там же.

– Очень хорошо. Ты отведешь господина д'Артаньяна к Виллье, – так зовут герцога Бекингэма, шевалье, – и попросишь его представить господина д'Артаньяна леди Генриетте.

Парри поклонился королю и улыбнулся д'Артаньяну.

– Шевалье, – продолжал король, – это ваша прощальная аудиенция. Можете ехать, когда вам будет угодно.

– Благодарю, ваше величество.

– Но только помиритесь с Монком...

– Непременно!

– Вы знаете, что я предоставил корабль в ваше полное распоряжение?

– Ваше величество осыпаете меня милостями, но я не допущу, чтобы офицеры вашего величества беспокоились ради меня.

Король потрепал д'Артаньяна по плечу.

– Вы никому не причиняете хлопот, шевалье, я отправлю во Францию посла, которому, я думаю, вы охотно будете спутником, потому что коротко знакомы с ним.

Д'Артаньян взглянул на короля с изумлением.

– Посол мой – некий граф де Ла Фер... тот самый, которого вы называете Атосом, – прибавил король, оканчивая разговор, как и начал, взрывом веселого смеха. – Прощайте, шевалье, прощайте! Любите меня, как я вас люблю!

Спросив знаком у Парри, не ждет ли его кто-нибудь в соседнем кабинете, король прошел туда, оставив д'Артаньяна в величайшем изумлении от такой странной аудиенции.

Старик дружески взял его под руку и повел в сад.

Глава 35. НА КАНАЛЕ

Вдоль наполненного мутной зеленоватой водой канала с мраморными берегами, изъеденными временем и поросшими густой травой, величественно скользила длинная лодка под балдахином, украшенная флагами с английским гербом и устланная коврами, бахрома которых свисала до самой воды. Восемь гребцов, плавно налегая на весла, медленно подвигали ее вперед; она плыла так же грациозно, как лебеди, которые, заслышав шум, издали смотрели на это великолепие, невиданное в их старом приюте. В лодке сидели четыре музыканта игравших на лютне и на гитаре, два певца и несколько придворных в одеждах, расшитых золотом и драгоценными камнями. Придворные приятно улыбались, чтобы угодить прелестной леди Стюарт, внучке Генриха IV, дочери Карла I, сестре Карла II, которая сидела в этой лодке на почетном месте под балдахином.

Мы уже знаем юную принцессу: мы видели ее в Лувре с матерью, когда у них не было ни дров, ни хлеба, когда ее кормили коадьютор и парламент.

Она, так же как и братья, провела юность в лишениях; потом она внезапно очнулась от этого долгого страшного сна на ступенях трона среди придворных и льстецов.

Так же как и Мария Стюарт после выхода из тюрьмы, она наслаждалась жизнью, свободой, властью и богатством.

Генриетта, сформировавшись, стала замечательной красавицей. Красота ее расцвела еще пышнее, когда Стюарты опять вступили на престол.

Несчастье отняло у нее блеск гордости, но благоденствие вернуло его снова. Она вся сияла в своей радости и преуспевании, подобно тем оранжерейным цветам, что, случайно оставленные на одну ночь, первым осенним заморозкам, повесили головки, но назавтра, согретые воздухом, в котором родились, раскрываются с еще невиданной пышностью.

Лорд Виллье Бекингэм (сын того самого лорда Бекингэма, который играет столь значительную роль в первых частях нашего повествования), красивый молодой человек, томный с женщинами, веселый с мужчинами, и Вильмот Рочестер, весельчак и с мужчинами и с женщинами, стояли в лодке перед Генриеттой, наперерыв стараясь вызвать у нее улыбку.

Прелестная молодая принцесса, прислонясь к бархатной, вышитой золотом подушке и опустив руку в воду, лениво слушала музыкантов, не слыша их, и прислушивалась к болтовне обоих придворных, делая вид что вовсе не слушает их.

Леди Генриетта, соединившая в себе очарование французских и английских красавиц, никогда еще не любила и была очень жестока, когда принималась кокетничать. Улыбка – это наивное свидетельство благосклонности у девушек – не освещала ее лица, и когда она поднимала глаза, то смотрела так пристально на того или другого кавалера, что они, при всей своей дерзости и привычке угождать дамам, невольно смущались.

Между тем лодка все подвигалась вперед. Музыканты выбились из сил, да и придворные устали не меньше их. Прогулка казалась, вероятно, слишком однообразною принцессе, потому что она вдруг, нетерпеливо приподняв голову, произнесла:

– Ну довольно! Пора домой!

– Ах, – сказал Бекингэм, – как мы несчастны: нам не удалось развеселить ваше высочество.

– Матушка ждет меня, – отвечала Генриетта, – откровенно признаться, мне скучно.

Произнеся эти жестокие слова, принцесса попыталась успокоить взглядом обоих молодых людей, которые казались задетыми за живое подобной откровенностью. Взгляд ее произвел ожидаемое действие, и оба лица просветлели; но сразу же, видимо, решив, что сделала слишком много для простых смертных, царственная кокетка передернула плечиками и повернулась спиной к своим красноречивым собеседникам, словно бы погруженная в мысли и мечтания, в которых им, конечно же, не могло быть никакого места.

Бекингэм яростно закусил губу, потому что он в самом деле был влюблен в леди Генриетту и, как влюбленный, принимал всерьез каждое ее слово.

Рочестер тоже прикусил губу; но так как ум всегда господствовал у него над чувством, он сделал это только затем, чтобы удержаться от злобного смеха.

Принцесса смотрела на берег, на траву, на цветы, отвернувшись от придворных. Вдруг

она увидела издали д'Артаньяна и Парри.

– Кто там идет? – спросила она.

Оба кавалера повернулись с быстротой молнии.

– Это Парри, – отвечал Бекингэм, – всего только Парри.

– Извините, – возразил Рочестер, – но мне кажется, с ним кто-то еще.

– Да, это во-первых, – томно проговорила принцесса, – а во-вторых, что значат эти слова «всего только Парри», скажите, милорд?

– Они значат, – отвечал обиженный Бекингэм, – что верный Парри, блуждающий Парри, вечный Парри – не очень важная птица.

– Вы ошибаетесь, герцог. Парри, блуждающий Парри, как вы его назвали, вечно блуждал, служа нашему семейству, и мне всегда очень приятно видеть этого старика.

Леди Генриетта следовала привычке всех хорошеньких и кокетливых женщин: от капризов переходила к досаде. Влюбленный уже покорился ее капризу; теперь придворный должен был сносить ее досаду. Бекингэм поклонился и ничего не ответил.

– Правда, ваше высочество, – сказал Рочестер, тоже кланяясь, – правда, что Парри – образец верного слуги. Но он уже немолод, а мы смеемся, только когда видим веселых людей. Разве старик может быть веселым?

– Довольно, милорд, – сказала Генриетта сухо. – Этот разговор мне неприятен.

Потом, словно говоря сама с собой, прибавила:

– Странно и непонятно, до чего друзья моего брата мало уважают его слуг!

– Ах, ваше высочество, – вскричал Бекингэм, – вы пронзили мне сердце кинжалом, выкованным вашими руками.

– Что значит эта фраза, составленная по образцу французских мадригалов? Я не понимаю ее.

– Она значит, ваше высочество, что вы сами, вы, добрая, снисходительная, милостивая, вы иногда смеялись, – извините, я хотел сказать, улыбались, слушая несвязную болтовню доброго Парри, за которого теперь вступаетесь так горячо.

– О, милорд! Если я до такой степени забывалась, то вы напрасно напоминаете мне об этом, – отвечала леди Генриетта с досадой. – Добрый Парри, кажется, хочет говорить со мной. Рочестер, прошу вас, прикажите пристать к берегу.

Рочестер тотчас передал приказание принцессы; минуту спустя лодка остановилась.

– Сойдем на берег, – сказала Генриетта, ища руки Рочестера, хотя Бекингэм стоял ближе к ней и предлагал ей свою.

Рочестер, не скрывая своей гордости, которая поразила бедного Бекингэма прямо в сердце, провел принцессу по мостику, который гребцы перекинули с лодки на берег.

– Куда вы желаете идти, ваше высочество? – спросил Рочестер.

– Вы видите, милорд: к доброму Парри, который все блуждает, как говорил лорд Бекингэм. Он ищет меня глазами, ослабевшими от слез, пролитых над нашими несчастиями.

– Боже мой, – сказал Рочестер, – как ваше высочество печальны! Мы в самом деле кажемся вам смешными безумцами!

– Говорите за себя, милорд, – заметил Бекингэм с досадой. – Что касается меня, я до такой степени неприятен ее высочеству, что вовсе для нее не существую.

Ни Рочестер, ни принцесса не отвечали ему; Генриетта только ускорила шаги. Бекингэм остался позади и, воспользовавшись уединением, принялся грызть свой платок так беспощадно, что в три приема разорвал его в клочки.

– Парри, добрый Парри, – проговорила принцесса своим чарующим голосом, – поди сюда. Я вижу, что ты меня ищешь, я жду тебя.

– Ах, ваше высочество, – сказал Рочестер, – если Парри не видит вас, то человек, сопровождающий его, превосходный проводник для слепого. Посмотрите, какие у него огненные глаза: точно фонари маяка.

– Да, и они освещают прекрасное лицо воина, – отвечала принцесса, решившая противоречить каждому слову.

Рочестер поклонился.

– Это одна из тех мужественных физиономий, какие можно видеть только во Франции, – прибавила принцесса с настойчивостью женщины, уверенной в безнаказанности.

Рочестер и Бекингэм переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Что с ней случилось?»

– Герцог Бекингэм, – бросила Генриетта, – узнайте, зачем пришел Парри. Ступайте!

Молодой человек принял это приказание как милость, ободрился и побежал навстречу Парри, который вместе с д'Артаньяном не спеша двигался по направлению к принцессе. Парри шел медленно потому, что был стар. Д'Артаньян шел медленно и с достоинством, как должен был идти Д'Артаньян, владеющий третьей миллиона, – то есть без чванства, но и без застенчивости. Когда Бекингэм, спешивший исполнить приказание принцессы, которая, пройдя несколько шагов, села на мраморную скамью, подошел к Парри, тот узнал его и сказал:

– Не угодно ли вам, милорд, исполнить желание его величества короля?

– Какое, господин Парри? – нахмурился молодой вельможа, немного смягчая тон в угоду принцессе.

– Его величество поручает вам представить этого господина ее высочеству леди Генриетте.

– Кого же? Кто этот господин? – спросил Бекингэм высокомерно?

Д'Артаньян, как известно, легко было взбесить; тон герцога Бекингэма не понравился ему, он пристально взглянул на придворного, и две молнии сверкнули под его бровями. Однако он овладел собой и произнес спокойно:

– Я шевалье д'Артаньян, милорд.

– Извините, сударь, но я узнал только ваше имя, не более.

– Что это значит?

– Это значит, что я вас не знаю.

– Я счастливее вас, сударь, – сказал Д'Артаньян. – Я имел честь знать ваше семейство и особенно покойного герцога Бекингэма, вашего знаменитого отца.

– Моего отца!.. Да, я начинаю припоминать... Вас зовут шевалье Д'Артаньян?

Д'Артаньян поклонился.

– Может быть, вы один из тех французов, которые тайно сносились с моим отцом?

– Да, милорд, один из тех французов.

– Позвольте сказать вам, сударь: странно, что отец мой до самой смерти не слыхал больше о вас.

– Это правда, но он слышал обо мне в минуту смерти. Я передал ему через камердинера королевы Анны Австрийской предупреждение о грозившей ему опасности; к несчастью, предупреждение явилось слишком поздно.

– Все равно, – кивнул Бекингэм, – теперь я понимаю. Вы хотели оказать услугу отцу и потому ищете покровительства сына.

– Во-первых, милорд, я не ищу ничьего покровительства, – отвечал Д'Артаньян флегматично. – Его величество король Карл Второй, которому я имел счастье оказать некоторые услуги, – надо вам сказать, что услуги королям – главное занятие всей моей жизни, – король Карл Второй, которому угодно быть ко мне милостивым, пожелал, чтобы я представился сестре его, принцессе Генриетте, так как впоследствии я могу быть ей полезен.

Король знал, что вы теперь при ее высочестве, и послал меня к вам вместе с Парри. Вот и все. Я у вас ровно ничего не прошу, и если вам не угодно представить меня принцессе, то я, к моему прискорбию, обойдусь без вас и осмелюсь представиться сам.

– Надеюсь, – сказал Бекингэм, любивший, чтобы последнее слово оставалось за ним, – вы все же не откажетесь от объяснения, на которое вы сами вызвали меня?

– Я никогда не отказываюсь от объяснений, – отвечал Д'Артаньян.

– Если вы находились в тайных сношениях с отцом моим, то должны знать некоторые подробности.

– Много времени прошло с тех пор, как кончились эти отношения, и вас тогда еще на

свете не было. Не стоит тревожить старые воспоминания из-за нескольких несчастных бриллиантовых подвесок, которые я получил из его рук и привез во Францию.

– Ах, сударь, – обрадовался Бекингэм, протягивая д'Артаньяну руку, так это вы! Это вас так упорно искал отец мой! Вы многого могли ждать от нас!

– Ждать! Тут я мастер. Я всю жизнь свою ждал!

Между тем принцесса, которой наскучило дожидаться, пока незнакомец подойдет к ней, поднялась со скамьи и направилась к разговаривавшим.

– По крайней мере, – сказал Бекингэм д'Артаньяну, – вы недолго будете ждать услуги, которую требуете от меня.

Он повернулся и, поклонившись леди Генриетте, начал:

– Его величество король, брат ваш, желает, чтобы я представил вашему высочеству шевалье д'Артаньяна.

– Дабы вы имели, ваше высочество, в случае необходимости, твердую опору и верного друга, – прибавил Парри.

Д'Артаньян поклонился.

– Больше вам нечего сказать, Парри? – спросила принцесса старого слугу, улыбаясь д'Артаньяну.

– Король желает еще, чтобы вы, ваше высочество, свято сохранили в памяти имя и заслуги господина д'Артаньяна, которому его величество, как он сам изволит говорить, обязан своим возвращением в Англию.

Бекингэм, принцесса и Рочестер переглянулись с удивлением.

– Это тоже маленькая тайна, – сказал д'Артаньян, – и я, вероятно, не стану хвастать ею перед сыном короля Карла Второго, как я не хвастал, говоря с вами, герцог, бриллиантовыми подвесками.

– Ваше высочество, – заметил Бекингэм, – шевалье во второй раз напоминает мне о происшествии, которое столь меня интересует, что я попрошу у вас позволения похитить господина д'Артаньяна на минуту и переговорить с ним наедине.

– Извольте, милорд, – отвечала принцесса, – но, смотрите, не удерживайте его долго и возвратите мне поскорее друга, столь преданного моему брату.

Я она подала руку Рочестеру.

Бекингэм отошел с д'Артаньяном.

– Ах, шевалье, – начал герцог, – расскажите мне всю историю с бриллиантами; никто не знает ее в Англии, даже сын того, кто был ее героем.

– Милорд, один человек в мире имел право рассказать эту историю, как вы выражаетесь: то был ваш отец. Он счел нужным молчать; прошу позволения последовать его примеру.

И д'Артаньян поклонился с видом человека, на которого не действуют никакие убеждения.

– Если так, сударь, – сказал Бекингэм, – простите мою нескромность; и если я когда-нибудь поеду во Францию...

Он обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Принцессу; но она, казалось, вовсе не думала о нем, увлеченная разговором с Рочестером. Бекингэм вздохнул.

– Что же? – спросил д'Артаньян.

– Я говорил, что если я когда-нибудь поеду во Францию...

– Вы поедете туда, милорд, – сказал д'Артаньян с улыбкой, – я вам ручаюсь.

– А почему?

– О, я хороший пророк, и когда я предсказываю, редко ошибаюсь. Итак, если вы поедете во Францию...

– Осмелюсь ли я попросить у вас – чья драгоценная дружба возвращает троны королям, – осмелюсь ли я попросить у вас частицу того участия, какое вы оказывали моему отцу?

– Милорд, – отвечал д'Артаньян, – поверьте, я буду польщен, если вы пожелаете вспомнить, что вы виделись со мной здесь. А теперь разрешите...

И он повернулся к принцессе:

– Ваше высочество, вы – французская принцесса, и потому я надеюсь видеть вас в Париже. Счастливейшим днем моей жизни будет тот, когда вы пожелаете дать мне какое-нибудь приказание, доказав тем, что вы не забыли совета вашего августейшего брата.

И он поклонился принцессе, которая царственным движением подала ему руку для поцелуя.

– Ах, что надо сделать, чтобы заслужить у вашего высочества такую милость? – прошептал Бекингэм.

– Спросите у шевалье д'Артаньяна, – отвечала принцесса, – он скажет вам.

Глава 36.

КАКИМ ВОЛШЕБСТВОМ Д'АРТАНЬЯН ИЗВЛЕК ИЗ СОСНОВОГО ЯЩИКА КОТТЕДЖ

Слова короля о самолюбии Монка очень встревожили д'Артаньяна. Лейтенант всю жизнь умел выбирать врагов, и когда ими оказывались люди непреклонные и непобедимые, значит, он сам того хотел. Но взгляды сильно меняются с возрастом: каждый год приносит перемену в образе мыслей. Образ мыслей – это волшебный фонарь, в котором глаз человека каждый раз меняет оттенки. Так что с последнего дня какого-либо года, когда вы видели все белым, до первого дня следующего, когда все кажется вам черным, достаточно промежутка в одну ночь.

Когда д'Артаньян выехал из Кале со своими десятью головорезами, его так же мало страшила встреча с Голиафом, Навуходоносором или Олоферном, как стычка с рекрутами или спор с трактирной хозяйкой. Он походил на голодного ястреба, налетающего на барана. Голод ослепляет. Но когда д'Артаньян насытился, когда он разбогател, победил, совершил исключительно трудный подвиг, тогда он потерял охоту рисковать и стал учитывать все возможные неудачи.

Возвращаясь с аудиенции, он думал только об одном: как бы не задеть такого сильного человека, как Монк, человека, которого старался, не задевать сам Карл II, хотя он и был королем. Едва утвердившись на престоле, король еще нуждался в покровительстве и, конечно, рассуждал д'Артаньян, не откажет этому покровителю в удовольствии сослать д'Артаньяна, заточить его в Миддлсекскую башню или утопить во время переправы из Дувра в Булонь. Короли всегда с готовностью оказывают своим вице-королям услуги такого сорта.

Впрочем, если Монк вздумает мстить, он обойдется и без короля. Королю пришлось бы только простить ирландскому вице-королю его действия против д'Артаньяна. Сказанных со смехом слов: *te absolve*⁹ или сделанной каракулями пометки на пергаменте: «Король Карл» было бы совершенно достаточно, чтобы успокоить совесть герцога Олбермеля. Щедрая фантазия бедняги д'Артаньяна рисовала ему картину верной гибели, если слова эти будут произнесены или написаны.

Притом же наш предусмотрительный мушкетер чувствовал, что в этом случае он останется совсем одинок: дружба Атоса не поможет. Если бы дело шло об ударах шпагой, мушкетер мог положиться на своего товарища; но д'Артаньян слишком хорошо знал Атоса и был уверен, что при щекотливых отношениях с королем можно будет все свалить на несчастный случай, который позволит оправдать Монка или Карла II, причем Атос непременно станет защищать честность и благородство оставшихся в живых и только поплачет над могилою друга, сочинив великолепную эпитафию.

– Решительно, – заключил гасконец, обдумав все это, – необходимо попасть в милость к Монку и убедиться, что он равнодушен к случившемуся.

Если, боже упаси, он все еще сердится и не забыл обиду, то я отдам свои деньги Атосу и останусь в Англии, сколько будет нужно, чтобы хорошенько изучить генерала; а потом, – у

меня глаз острый и ноги проворные, – если я увижу малейший признак враждебности, я убегу и спрячусь у милорда Бекингэма, который кажется мне славным малым. В благодарность за гостеприимство я расскажу ему всю историю с брильянтами. Она может повредить только репутации старой королевы, ну, а она, выйдя замуж за подлого скрягу Мазарини, сможет сознаться, что в молодости любила красавца Бекингэма. Черт возьми! Монку не победить меня! Притом же у меня явилась новая мысль.

Известно, что д'Артаньян отнюдь не был беден идеями.

Во время своего монолога д'Артаньян внутренне весь собрался, словно застегнулся на все пуговицы, а ничто так не подстегивало его воображения, как эта готовность к бою, какому бы то ни было.

Весьма возбужденный, д'Артаньян вошел в дом герцога Олбермельского.

Его ввели к вице-королю с поспешностью, доказывавшей, что его считают своим человеком. Монк сидел в своем рабочем кабинете.

– Милорд, – сказал д'Артаньян с простодушным видом, который хитрый гасконец умел принимать в совершенстве, – я пришел просить у вас совета.

Монк, столь же собранный душевно, сколь его антагонист был собран мысленно, отвечал:

– Говорите, дорогой мой.

Лицо его казалось еще простодушнее лица д'Артаньяна.

– Милорд, прежде всего обещайте мне снисходительность и молчание.

– Обещаю все, что вам угодно. Но скажите же, в чем дело.

– Вот что, милорд: я не совсем доволен его величеством королем.

– В самом деле? Чем же именно вы недовольны, любезнейший лейтенант?

– Его величество иногда шутит очень нескромно над своими верными слугами, а шутка, милорд, такое оружие, которое больно ранит нашу братию военных.

Монк всеми силами старался не выдать своих мыслей; но д'Артаньян следил так внимательно, что заметил на его лице едва приметную краску.

– Но я, – отвечал Монк самым естественным тоном, – отнюдь не враг шуток, любезный господин д'Артаньян. Мои солдаты скажут вам, что в лагере я частенько не без удовольствия слушал сатирические песни, которые залетали из армии Ламберта в мою. Генералу построже они бы, наверное, резали слух.

– Ах, милорд, – сказал д'Артаньян, – я знаю, что вы совершенство.

Знаю, что вы выше всех человеческих слабостей. Но шутки шуткам рознь.

Есть такие, что прямо бесят меня.

– Нельзя ли узнать, какие именно, дорогой мой?

– Те, которые обращены против моих друзей или против людей, уважаемых мною.

Монк слегка вздрогнул, и д'Артаньян подметил его движение.

– Каким образом, – спросил Монк, – булава, царапающая другого, может колоть вам кожу? Ну-ка расскажите.

– Милорд, я все объясню вам одной фразой: дело шло о вас.

Монк подошел к д'Артаньяну.

– Обо мне?

– Да, и вот чего я не мог объяснить себе. Быть может, я плохо знаю характер короля. Как у короля достаёт духу смеяться над человеком, оказавшим ему такие услуги? Чего ради он хочет сравнить вас, льва, со мной, мухой?

– Но я совсем не вижу, чтобы он имел намерение сравнить нас, – ответил Монк.

– Да, да, он хочет! Король должен был дать мне награду и мог наградить меня как солдата, не сочиняя истории с выкупом, которая задевает вас.

– Да она вовсе не задевает меня, уверяю вас, – отвечал Монк с улыбкой.

– Вы не гневаетесь на меня, понимаю. Вы меня знаете, милорд, я умею хранить тайны так крепко, что скорей могила выдаст их, чем я. Но все-таки... Понимаете, милорд?

– Нет, – упрямо отвечал Монк.

– Если кто-нибудь другой узнает тайну...
– Какую тайну?
– Ах, милорд! Эту злополучную тайну про Ньюкасл.
– А! Про миллион графа де Ла Фер?
– Нет, милорд, нет! Покушение на вашу свободу.
– Оно было превосходно исполнено, и тут не о чем говорить. Вы воин храбрый и хитрый, вы соединяете качества Фабия и Ганнибала. Вы применили к делу ваши оба качества – Мужество и хитрость. Против этого тоже ничего не скажешь, я должен был позаботиться о своей защите.

– Я это знаю, милорд. Этого я и ждал от вашего беспристрастия, и если б ничего не было, кроме похищения, так черт возьми! Но обстоятельства этого похищения...

– Какие обстоятельства?

– Вы ведь знаете, милорд, что я имею в виду.

– Нет же, клянусь вам!

– Ах... Право, это трудно выговорить!

– Что ж такое?

– Этот проклятый ящик!

Монк заметно покраснел.

– О, я совсем забыл про него!

– Сосновый, – говорил д'Артаньян, – с отверстиями для носа и рта. По правде сказать, милорд, все остальное еще куда ни шло, но ящик!..

Ящик!.. Решительно, это скверная шутка!

Монк смутился. Д'Артаньян продолжал:

– Однако нет ничего удивительного, что я сделал это, я, солдат, искавший счастья. Легкомыслие моего поступка извиняется важностью предприятия, и, кроме того, я осторожен и умею молчать.

– Ах, – вздохнул Монк, – верьте, господин д'Артаньян, я хорошо вас знаю и ценю по заслугам.

Д'Артаньян не спускал глаз с Монка и видел, что происходило в душе генерала, пока он говорил.

– Но дело не во мне, – сказал мушкетер.

– Так в ком же? – спросил Монк, начинавший уже терять терпение.

– В короле, который не умеет молчать.

– А если он будет говорить, – так что за беда? – пробормотал Монк.

– Милорд, – сказал д'Артаньян, – умоляю вас, не притворяйтесь со мной. Ведь я говорю совершенно откровенно. Вы имеете право сердиться, как бы вы ни были снисходительны. Черт возьми! Человеку, столь важному, как вы, человеку, играющему скипетрами и коронами, как фокусник шарами, не следует попадать в ящик! Ведь вы не цветок, не окаменелость! Понимаете ли, от этого лопнут со смеху все ваши враги, а у вас их, должно быть, не перечесть, так как вы благородны, великодушны, честны. Половина рода человеческого расхохочется, когда представит себе вас в ящике. А ведь смеяться таким образом над вторым лицом в королевстве – совсем неприлично.

Монк совершенно растерялся при мысли, что его представят лежащим в ящике. Насмешка, как и предвидел д'Артаньян, подействовала на генерала так, как никогда не действовали ни опасности войны, ни жгучее честолюбие, ни страх смерти.

«Отлично, – подумал гасконец, – я спасен, потому что он испугался».

– О, – начал Монк, – что касается короля, то не бойтесь, любезный господин д'Артаньян. Король не станет шутить с Монком, клянусь вам!

Д'Артаньян заметил молнию, блеснувшую в его глазах и тотчас же исчезнувшую.

– Король добр и благороден, – продолжал Монк, – и не пожелает зла тому, кто сделал ему добро.

– Ну еще бы, разумеется! – воскликнул д'Артаньян. – Я совершенно согласен с вашим

мнением насчет сердца короля, но только не насчет его головы: он добр, но чересчур легкомыслен.

– Король не поступит легкомысленно с Монком, поверьте мне.

– Значит, вы спокойны, милорд?

– С этой стороны – совершенно.

– Но не с моей?

– Я уже, кажется, сказал вам, что полагаюсь на вашу честность и умение молчать.

– Тем лучше, но, однако, вспомните еще одно...

– Что же?

– Ведь я не один: у меня были товарищи, и еще какие!

– Да, я знаю их.

– К несчастью, и они вас знают.

– Так что же?

– А то, что они там, в Булони, ждут меня.

– И вы боитесь?

– Боюсь, что в мое отсутствие... Черт возьми! Если б я был с ними, так поручился бы за их молчание!

– Не правду ли я говорил вам, что опасность грозит не со стороны его величества, хоть он и любит шутить, а от ваших же товарищей, как вы сами признаете... Сносить насмешки короля – это еще возможно, но со стороны каких-то бездельников... Черт возьми!

– Да, понимаю, это невыносимо. Вот почему я вам и говорю: не думаете ли вы, что мне надо ехать во Францию как можно скорее?

– Если вы находите, что ваше присутствие...

– Остановит этих бездельников?... О, я в этом уверен.

– Но ваше присутствие не мешает слухам распространяться, если они уже пущены.

– О, тайна еще не разглашена, милорд, ручаюсь вам. Во всяком случае, верьте, я твердо решился...

– На что?

– Проломить голову первому, кто заикнется о ней, и первому, кто услышит ее. Потом я вернусь в Англию искать убежища у вас и, может быть, просить службы.

– Возвращайтесь!

– К несчастью, милорд, я здесь никого не знаю, кроме вас, и если я не найду вас или вы, в своем величии забудете меня...

– Послушайте, господин д'Артаньян, – отвечал Монк, – вы прелюбезный человек, чрезвычайно умный и храбрый. Вы достойны пользоваться всеми земными благами. Поезжайте со мной в Шотландию, и, клянусь вам, я так хорошо устрою вас в моем вице-королевстве, что все станут завидовать вам.

– Ах, милорд, сейчас это невозможно. Сейчас на мне лежит священная обязанность: я должен охранять вашу славу. Я должен помешать какому-нибудь глупому шутнику омрачить блеск вашего, имени перед современниками, даже, быть может, перед потомством!

– Перед потомством!

– А как же! Для потомства подробности этого происшествия должны остаться тайной. Представьте себе, что эта несчастная история с сосновым ящиком разойдется по свету, – что подумают? Подумают, что вы восстановили королевскую власть не из благородных побуждений, не по собственному движению сердца, а вследствие условия, заключенного между вами обоими в Шевенингене. Сколько бы я ни рассказывал, как было все на деле, мне не поверят: скажут, что и я урвал кусочек и уписываю его.

Монк нахмурил брови.

– Слава, почести, честность! – прошептал он. – Пустые звуки!

– Туман, – прибавил д'Артаньян, – туман, сквозь который никто ясно не может видеть.

– Если так, поезжайте во Францию, любезный друг, – сказал Монк. – Поезжайте, и чтобы вам было приятнее и удобнее вернуться в Англию, примите от меня на память подарок...

«Давно бы так!» – подумал д'Артаньян.

– На берегу Клайда, – продолжал Монк, – у меня есть домик под сенью деревьев; у нас это называется коттедж. При доме несколько сот арканов земли. Примите его от меня!

– Ах, милорд...

– Вы будете там как дома; это как раз такое убежище, о каком вы сейчас говорили.

– Как! Вы хотите обязать меня такою благодарностью! Но мне совестно!

– Нет, – сказал Монк с тонкой улыбкой, – не вы будете благодарны мне, а я вам.

Он пожал руку мушкетеру и прибавил:

– Я велю написать дарственную.

И вышел.

Д'Артаньян посмотрел ему вслед и задумался: он был тронут.

«Вот наконец, – подумал он, – честный человек. Только больно чувствовать, что он делает все это не из приязни ко мне, а из страха. О, я хочу, чтобы он полюбил меня!»

Потом, поразмыслив еще, он прошептал: «А впрочем, на что мне его любовь? Ведь он англичанин!»

И вышел, слегка утомленный этим поединком.

«Вот я и помещик, – подумал он. – Но, черт возьми, как разделить этот коттедж с Планше? Разве отдать ему землю, а себе взять дом, или пусть он возьмет дом, а я возьму... Черт возьми! Монк не позволит мне подарить лавочнику дом, в котором он жил! Он слишком горд! Впрочем, к чему говорить Планше об этом? Не деньгами компании приобрел я эту усадьбу, а своим умом: стало быть, она принадлежит мне одному».

И он пошел к графу де Ла Фер.

Глава 37.

КАК Д'АРТАНЬЯН УЛАДИЛ С ПАССИВОМ ОБЩЕСТВА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАВЕСТИ СВОЙ АКТИВ

«Решительно, – признался д'Артаньян самому себе, – я в ударе. Та звезда, что светит один раз в жизни каждого человека, что светила Иову и Иру, самому несчастному из иудеев и самому бедному из греков, наконец взошла и для меня. Но на этот раз я не буду безрассуден, воспользуюсь случаем, – пора взяться за ум».

В этот вечер он весело поужинал со своим другом Атосом, ни словом не обмолвившись о полученном подарке. Но во время ужина он не удержался, чтобы не расспросить друга о посевах, уборке хлеба, о сельском хозяйстве. Атос отвечал охотно, как всегда. Он уже подумал, что Д'Артаньян хочет стать помещиком, и не раз пожалел о прежнем живом нраве, об уморительных выходках своего старого приятеля. Д'Артаньян между тем на жире, застывшем в тарелке, чертил цифры и складывал какие-то весьма круглые суммы.

Вечером они получили приказ, или, лучше сказать, разрешение выехать.

В то время как графу подавали бумагу, другой посланец вручил д'Артаньяну кипу документов с множеством печатей, какими обыкновенно скрепляется земельная собственность в Англии. Атос заметил, что Д'Артаньян просматривает акты, утверждавшие передачу ему загородного домика генерала. Осторожный Монк или, как сказали бы другие, щедрый Монк превратил подарок в продажу и дал расписку, что получил за дом пятнадцать тысяч ливров.

Посланец уже ушел, а Д'Артаньян все еще читал.

Атос с улыбкой смотрел на него. Д'Артаньян, поймав его улыбку, спрятал бумаги в карман.

– Извините, – улынулся Атос.

– Ничего, ничего, любезный друг! – сказал лейтенант. – Я расскажу вам...

– Нет, не говорите ничего, прошу вас. Приказы – вещь священная; получивший их не должен говорить ни слова ни брагу, ни отцу. А я люблю вас более, чем брата, более всех на свете...

– За исключением Рауля?

– Я буду еще больше любить Рауля, когда характер его определится, когда он проявит себя... как вы, дорогой ДРУГ.

– Так вам, говорите, тоже дано приказание, и вы ничего не скажете мне о нем?

– Да, друг мой.

Гасконец вздохнул.

– Было время, – произнес он, – когда вы положили бы эту секретную бумагу на стол и сказали бы: «Д'Артаньян, прочтите эти каракули Портосу и Арамису».

– Правда... То было время молодости, доверчивости, благодатное время, когда нами повелевала кровь, кипевшая страстями!..

– Атос, сказать ли вам?

– Говорите, друг мой.

– Об этом упоительном времени, об этой благодатной поре, о кипевшей крови, обо всех этих прекрасных вещах я вовсе не жалею. Это то же самое, что школьные гиды... Я всюду встречал глупцов, которые расхваливали это время задач, розог, краях черствого хлеба... Странно, я никогда не любил этих вещей, и хоть я был очень деятелен, очень умерен (вы это знаете, Атос), очень прост в одежде, однако расшитый камзол Портоса нравился мне куда больше моего, поношенного, не защищавшего меня зимой от ветра, а летом от зноя. Знайте, друг мой, мне как-то не внушает доверия человек, предпочитающий плохое хорошему. А в прежнее время у меня все было плохое; каждый месяц на моем теле и на моем платье появлялось раной больше и оказывалось одним экю меньше в моем тощем кошельке. Из этого дрянного времени, полного треволнений, я не жалею ни о чем, ни о чем, кроме нашей дружбы... потому что у меня есть сердце, – и, как ни странно, это сердце не иссушил ветер нищеты, который врвался в дыры моего плаща или в рапы, нанесенные моему несчастному телу шпагами разных мастеров!..

– Не жалеете о нашей дружбе, – сказал Атос, – она умрет только вместе с нами. Дружба, собственно, составляется из воспоминаний и привычек; и если вы сейчас усомнились в моей дружбе к вам, потому что я не могу рассказать вам о поручении, с которым меня посылают во Францию...

– Я?.. Боже мой!.. Если бы вы знали, милый друг, как безразличны мне теперь все поручения в мире! – И он пощупал бумаги в своем объемистом кармане.

Атос встал из-за стола и позвал хозяина, намереваясь расплатиться.

– С тех пор как я дружу с вами, – сказал д'Артаньян, – я еще ни разу не расплачивался в трактирах. Портос платил часто, Арамис иногда, и почти всегда после десерта вынимали кошелек вы. Теперь я богат и хочу попробовать, приятно ли платить.

– Пожалуйста, – отвечал Атос, кладя кошелек и карман.

После этого друзья двинулись в порт, причем в пути д'Артаньян часто оглядывался на людей, несших дорогое его сердцу золото.

Ночь набросила темный покров на желтые воды Темзы; раздавался грохот бочек и блоков, предшествующий снятию с якоря, что столько раз заставлял биться сердца мушкетеров, когда опасность, таимая морем, была весомее грозной из всех опасностей, с какими им неминуемо предстояло встретиться. Они должны были плыть на большом корабле, ждавшем их в Гревсенде. Карл II, всегда очень предупредительный в мелочах, прислал яхту и двенадцать солдат шотландской гвардии, чтобы отдать почести послу, отправляемому во Францию.

В полночь яхта перевезла пассажиров на корабль, а в восемь часов утра корабль доставил посла и его друга в Булонь.

Пока граф де Ла Фер с Гримо хлопотали о лошадях, чтобы отправиться прямо в Париж, д'Артаньян поспешил в гостиницу, где, согласно приказанию, должны были ждать его воины. Когда д'Артаньян вошел, они завтракали устрицами и рыбой, запивая еду ароматической водкой. Все они были навеселе, но ни один еще не потерял головы.

Радостным «ура!» встретили они своего генерала.

– Вот и я, – приветствовал их д'Артаньян. – Кампания кончена. Я привез каждому обещанную награду.

Глаза у всех заблестели.

– Бьюсь об заклад, что у самого богатого из вас нет даже и ста ливров в кармане.

– Правда, – ответили все хором.

– Господа, – сказал д'Артаньян, – вот мой последний приказ. Торговый трактат заключен благодаря тому, что нам удалось захватить первейшего знатока финансового дела в Англии. Теперь я могу сказать вам, что мы должны были схватить казначея генерала Монка.

Слово «казначей» произвело некоторое впечатление на воинов д'Артаньяна. Он заметил, что только Менвиль не вполне верит ему.

– Этого казначея, – продолжал д'Артаньян, – я привез в нейтральную страну, Голландию. Там им был подписан трактат. Затем я сам отвез казначея обратно в Ньюкасл. Он остался вполне доволен: в сосновом ящике ему было спокойно, переносили его осторожно, и я выхлопотал у него для вас награду. Вот она.

Он бросил внушительного вида мешок на скатерть.

Все невольно протянули к нему руки.

– Постойте, друзья мои! – закричал д'Артаньян. – Если есть доходы, то есть и издержки!

– Ого! – пронесся гул голосов в зале.

– Мы оказались в положении, опасном для глупцов.

Скажу яснее: мы находимся между виселицей и Бастилией.

– Ого! – повторил хор.

– Это нетрудно понять. Следовало объяснить генералу Монку, каким образом исчез его казначей. Для этого я подождал благоприятной минуты-восстановления короля Карла Второго, с которым мы друзья...

Армия отвечала довольными взглядами на гордый взгляд д'Артаньяна.

– Когда король был восстановлен, я возвратил Монку его казначея, правда, немного поизмятого, но все же полого и невинного. Генерал Монк простил мне, да, он простил, но сказал следующие слова, которые я прошу вас зарубить себе на носу: «Сударь, шутка недурна, но я вообще не любитель шуток. Если когда-нибудь хоть слово вылетит (вы понимаете, господин Менвиль? – прибавил д'Артаньян), если когда-нибудь хоть слово вылетит из ваших уст или из уст ваших товарищей о том, что вы сделали, то у меня в Шотландии и в Ирландии есть семьсот сорок одна виселица: все они из дуба, окованы железом и еженедельно смазываются маслом. Я подарю каждому из вас по такой виселице, и заметьте хорошенько, господин д'Артаньян (заметьте то же и вы, любезный господин Менвиль), что у меня останется еще семьсот тридцать для моих мелких надобностей. Притом...»

– Ага! – сказала несколько голосов. – Это еще не все?

– Остается пустяк: «Господин д'Артаньян, я отправлю королю французскому указанный трактат и попрошу его посадить предварительно в Бастилию и потом переслать ко мне всех тех, кто принимал участие в этой экспедиции: король, конечно, исполнит мою просьбу».

Все вскрикнули от ужаса.

– Погодите! – продолжал д'Артаньян. – Почтенный генерал Монк забыл только одно: он не знает ваших имен, я один знаю их, а ведь я-то уж не выдам вас, вы понимаете! Зачем мне выдавать вас! И вы сами, наверное, не так глупы, чтобы доносить на себя. Не то король, чтобы нет тратиться на ваше содержание и прокорм, отошлет вас в Шотландию, где стоит семьсот сорок одна виселица. Вот и все, господа. Мне нечего прибавить к тому, что я имел честь сказать вам. Надеюсь, вы меня хорошо поняли? Не так ли, господин Менвиль?

– Вполне, – отвечал Менвиль.

– Теперь о деньгах, – сказал д'Артаньян. – Закройте дверь поплотнее.

Сказав это, он развязал мешок, и со стола на пол посыпалось множество блестящих золотых экю. Каждый сделал невольное движение, чтобы подобрать их.

– Тихо! – воскликнул д'Артаньян. – Пусть никто не нагибается. Я оделю вас справедливо.

И он действительно поступил так, дав каждому пятьдесят из этих блестящих экю, и получил столько же благословений, сколько роздал монет.

– Ах, – вздохнул он, – если бы вы могли остепениться, стать добрыми и честными гражданами...

– Трудно! – сказал один голос.

– А для чего это надо? – спросил другой.

– Для того, чтобы, снова отыскав вас, я мог при случае угостить новым подарком...

Он сделал знак Менвилю, который слушал все это с недоверчивым видом.

– Менвиль, пойдемте со мной. Прощайте, друзья мои; советую вам держать язык за зубами.

Менвиль вышел вслед за д'Артаньяном под звуки радостных восклицаний, смешанных со сладостным звоном золота в карманах.

– Менвиль, – сказал д'Артаньян, когда они оказались на улице, – вы не поверили мне, но, смотрите, не попадите впросак. Вы, кажется, не очень боитесь виселиц генерала Монка и даже Бастилии его величества короля Людовика Четырнадцатого. Но тогда бойтесь меня. Знайте, если у вас вырвется хоть одно слово, я зарежу вас, как цыпленка. Мне дано отпущение грехов папою.

– Уверяю вас, что я ровно ничего не знаю, любезный господин д'Артаньян, и вполне верю всему, что вы сказали нам.

– Теперь я вижу, что вы умный малый, – усмехнулся мушкетер. – Ведь я знаю вас уже двадцать пять лет. Вот вам еще пятьдесят золотых экю; вы видите, как я ценю вас. Получайте.

– Благодарю, – отвечал Менвиль.

– С этими деньгами вы действительно можете стать местным человеком, сказал д'Артаньян серьезно. – Стыдно вам: ваш ум и ваше имя, которое вы не смеете носить, покрыты ржавчиной дурной жизни. Станьте порядочным человеком, Менвиль, и вы проживете год на эти экю. Денег довольно: вдвое больше офицерского жалованья. Через год приходите повидаться со мною, и – черт возьми! – я сделаю из вас что-нибудь!

Менвиль, подобно своим товарищам, поклялся, что будет нем, как могила. Однако кто-нибудь из них все же рассказал, как было дело. Без сомнения, не те девять человек, которые боялись виселицы; да и не Менвиль; должно быть, и даже вернее всего, сам д'Артаньян; он, как гасконец, был несдержан на язык. Если не он, так кто же другой? Как объяснить, что мы знаем тайну соснового ящика с отверстиями, знаем ее так точно, что могли сообщить мельчайшие подробности? А подробности эти проливают совсем новый и неожиданный свет на главу английской истории, которую наши собратья историки до сих пор оставляли в тени.

Глава 38.

ИЗ КОЕЙ ЯВСТВУЕТ, ЧТО ФРАНЦУЗСКИЙ ЛАВОЧНИК УЖЕ УСПЕЛ ВОССТАНОВИТЬ СВОЮ ЧЕСТЬ В СЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ

Рассчитавшись с товарищами и преподав им свои советы, д'Артаньян думал только о том, как бы скорее добраться до Парижа. Атос тоже торопился домой, чтобы отдохнуть. Каким бы спокойным ни остался человек после всех перипетий дороги, любой путешественник рад увидеть в конце дня, даже если день был прекрасен, что приближается ночь, неся с собою немножко отдыха. Друзья ехали из Булони в Париж рядом, но, погруженные каждый в свои мысли, беседовали о таких незначительных предметах, что мы не считаем нужным рассказывать о них читателю. Размышляя каждый о своих делах и рисуя каждый по-своему картины будущего, они погоняли коней, стараясь таким способом уменьшить расстояние до Парижа.

Атос и д'Артаньян подъехали к парижской заставе вечером, на четвертый день после отъезда из Булони.

– Куда вы поедете, любезный друг? – спросил Атос. – Я направляюсь к себе домой.

– А я к своему компаньону Планше.
– Мы увидимся?
– Да, если вы будете в Париже: ведь я остаюсь здесь.
– Нет, повидавшись с Раулем, которого я жду у себя дома, я тотчас отправляюсь в замок Ла Фер.

– Ну, так прощайте, дорогой друг.
– Нет, скажем лучше: «до свидания». Почему бы не поселиться вам в Блуа, вместе со мной? Вы теперь свободны, богаты. Хотите, я куплю вам славное имение около Шеверни или Брасье? С одной стороны у вас будут чудесные леса, которые соединяются с Шамборскими, а с другой – изумительные болота. Вы любите охоту, и, кроме того, вы поэт, любезный друг.

Вы найдете там фазанов, дергачей и диких уток; я уж не говорю о закате солнца и о прогулках в лодке, которые пленили бы Немврода или самого Аполлона. До покупки имения вы проживете в замке Ла Фер, и мы будем гонять сорок в виноградниках, как делал некогда король Людовик Тринадцатый. Это – хорошее занятие для таких стариков, как мы.

Д'Артаньян взял Атоса за руки.

– Милый граф, – сказал он, – я не говорю вам ни да, ни нет. Позвольте мне остаться в Париже, пока я устрою свои дела и освоюсь с мыслью, одновременно гнетущей и восхищающей меня. Видите ли, я разбогател и, пока не привыкну к богатству, буду самым несносным существом: ведь я знаю себя. О, я еще не совсем поглупел и не хочу показаться дураком такому другу, как вы, Атос. Платье прекрасно, оно все раззолочено, но слишком ново и жмет под мышками.

Атос улыбнулся.

– Хорошо, – согласился он. – Но, кстати, по поводу этого платья, хотите я дам вам совет?

– Очень рад.

– Вы не рассердитесь?

– Помилуйте.

– Когда богатство приходит к человеку поздно и неожиданно, он должен, чтоб не испортиться, либо стать скупым, то есть тратить немного больше того, сколько тратил прежде, либо стать мотом, то есть наделать достаточно долгов, чтобы превратиться снова в бедняка.

– Ваши слова очень похожи на софизм, любезнейший философ.

– Не думаю. Хотите стать скупым?

– Нет, нет... Я уже был скуп, когда не был богат. Надо испробовать другое.

– Так сделайте мотом.

– И этого не хочу, черт возьми. Долги пугают меня. Кредиторы напоминают мне чертей, которые поджаривают несчастных грешников на сковородках, а так как терпенье не главная моя добродетель, то мне всегда хочется поколотить этих чертей.

– Вы самый умный из известных мне людей, и вам советы вовсе не нужны.

Глупы те, которые воображают, что могут вас научить чему-нибудь. Но мы, кажется, уже на улице Сент-Оноре?

– Да.

– Посмотрите, вон там, налево, в этом маленьком белом доме, моя квартира. Заметьте, в нем только два этажа. Первый занимаю я; второй снимает офицер, который по делам службы бывает в отсутствии месяцев восемь или девять в году. Таким образом, я здесь живу как бы в своем доме, с той разницей, что не трачусь на его содержание.

– Ах, как вы умеете устроиваться, Атос. Какая щедрость и какой порядок! Вот что хотел бы я в себе соединить. Но что поделаешь. Это дается от рождения, опыт здесь ни при чем.

– Лстец!.. Прощайте, милый друг, прощайте! Кстати, поклонитесь от меня почтеннейшему Планше. Он по-прежнему умен?

– И умен и честен. Прощайте, Атос!

Они расстались. Разговаривая, Д'Артаньян не спускал глаз с лошади, которая везла в корзинах, под сеном, мешки с золотом. На колокольне Сен-Мери пробило девять часов вечера;

служащие Планше запирали лавку.

Под навесом на углу Ломбардской улицы Д'Артаньян остановил проводника, который вел лошадь. Подозвав одного из служащих Планше, он приказал ему стеречь не только лошадей, но и проводника. Потом он вошел к Планше, который только что отужинал и с некоторым беспокойством поглядывал на календарь: он имел привычку по вечерам зачеркивать истекший день.

В ту минуту, как Планше, по обыкновению, со вздохом вычеркивал отлетевший день, на пороге показался Д'Артаньян, звеня шпорами.

– Боже мой! – вскричал Планше.

Почтенный лавочник не мог ничего больше выговорить при виде своего компаньона. Д'Артаньян стоял согнувшись, с унылым видом. Гасконец хотел подшутить над Планше.

«Господи боже мой! – подумал лавочник, взглянув на гостя. – Как он печален!»

Мушкетер сел.

– Любезный господин Д'Артаньян, – сказал Планше в страшном волнении.

– Вот и вы! Здоровы ли вы?

– Да, ничего себе, – отвечал Д'Артаньян со вздохом.

– Вы не ранены, надеюсь?

– Гм!

– Ах, я понимаю, – прошептал Планше, еще более встревоженный. – Экспедиция была тяжелая?

– Да.

Планше вздрогнул.

– Мне хочется пить, – жалобно вымолвил мушкетер, поднимая голову.

Планше бросился к шкафу и налил д'Артаньяну большой стакан вина. Д'Артаньян взглянул на бутылку и спросил:

– Что это за вино?

– Ваше любимое, сударь, – отвечал Планше, – доброе старое анжуйское вино, которое раз чуть не отправило нас на тот свет.

– Ах, – сказал Д'Артаньян с печальной улыбкой, – ах, добрый мой Планше! Придется ли мне еще когда-нибудь пить хорошее вино?

– Послушайте, – заговорил Планше, бледнея и с нечеловеческим усилием преодолевая дрожь, – послушайте, я был солдатом, значит, я храбр. Не мучьте меня, любезный господин Д'Артаньян: наши деньги погибли, не так ли?

Д'Артаньян помолчал несколько секунд, которые показались бедному Планше целым веком, хотя за это время он успел только повернуться на стуле.

– А если б и так, – сказал Д'Артаньян, медленно кивая головою, – то что сказал бы ты мне, друг мой?

Планше из бледного стал желтым. Казалось, он проглотил язык; шея у него налилась кровью, глаза покраснели.

– Двадцать тысяч ливров! – прошептал он. – Все-таки двадцать тысяч!

Д'Артаньян уронил голову, вытянул ноги, опустил руки: он походил на статую безнадежности. Планше испустил вздох из самой глубины души.

– Хорошо, – сказал он, – я все понимаю. Будем мужественны. Все кончено, не так ли? Слава богу, что вы спасли свою жизнь.

– Разумеется, жизнь кое-что значит, но все-таки я совсем разорен.

– Черт возьми, – вскричал Планше. – Если даже и разорены, то не надо отчаиваться. Вы вступите в товарищество со мною, мы станем торговать вместе и делить барыши, а когда не станет барышей, разделим миндаль, изюм и чернослив и съедим вместе последний кусочек голландского сыру.

Д'Артаньян не мог дольше скрывать правду.

– Черт возьми! – воскликнул он почти со слезами. – Ты молодчина, Планше! Но скажи, ты не притворялся? Ты не видел там, на улице, под навесом, лошадь с мешками?

– Какую лошадь? С какими мешками? – спросил Планше, сердце которого сжалось при мысли, что д'Артаньян сошел с ума.

– Черт возьми! С английскими мешками! – сказал д'Артаньян, сияя от восторга.

– Боже мой! – прошептал Планше, заметив радостный блеск в глазах своего товарища.

– Глупец! – вскричал д'Артаньян. – Ты думаешь, что я помешался. Черт возьми! Никогда еще голова моя не была такой ясной, никогда не было мне так весело. Пойдем за мешками, Планше, за мешками!

– За какими мешками?

д'Артаньян подвел Планше к окну.

– Видишь там, под навесом, лошадь с корзинами?

– Да.

– Видишь, твой приказчик разговаривает с проводником?

– Да, да.

– Хорошо. Если это твой приказчик, то ты знаешь, как его зовут. Позови его!

– Абдон! – закричал Планше в окно.

– Веди сюда лошадь, – подсказал д'Артаньян.

– Веди сюда лошадь! – крикнул Планше громовым голосом.

– Дай десять ливров проводнику, – распорядился д'Артаньян громким повелительным голосом, точно командуя во время сражения. – Двух приказчиков для первых двух мешков и двух для второй пары. Огня, черт возьми!

Живо!

Планше бросился вниз по ступенькам, как будто за ним гнался сам дьявол. Через минуту приказчики поднимались по лестнице, кряхтя под своей ношей. д'Артаньян отослал их спать, тщательно запер двери и сказал Планше, который, в свою очередь, начинал сходить с ума:

– Теперь примемся за дело.

Он разостлал на полу одеяло и высыпал на него содержимое первого мешка. Планше высыпал содержимое второго. Потом д'Артаньян вспорол ножом третий. Когда Планше услышал пленительный звон золота и серебра, увидел, что из мешка сыплются блестящие монеты, трепещущие, как рыбы, выброшенные из сети, когда почувствовал, что стоит по колено в золоте, голова у него закружилась, он пошатнулся, как человек, пораженный молнией, и тяжело упал на огромную кучу денег, которая со звоном рассыпалась.

Планше от радости лишился чувств. д'Артаньян плеснул ему в лицо белым вином. Лавочник тотчас пришел в себя.

– Боже мой! Боже мой! – твердил Планше, отирая усы и бороду.

В те времена, как и теперь, лавочники носили бравые усы и бороду, как ландскнехты; только купанье в деньгах, очень редкое в ту пору, совсем вывелось теперь.

– Черт возьми! – воскликнул д'Артаньян. – Тут сто тысяч ливров для вас, милый компаньон. Извольте получить свою долю, если угодно. А я возьму свое.

– Славная сумма!.. Чудесная сумма, господин д'Артаньян.

– Полчаса тому назад я жалел о доле, которую должен отдать тебе, сказал д'Артаньян, – но теперь не жалею. Ты славный человек, Планше. Ну, разочтемся как следует: говорят, денежка счет любит.

– Ах, расскажите мне сначала всю историю! – попросил Планше. – Она, должно быть, еще лучше денег.

– Да, – согласился д'Артаньян, поглаживая усы, – да, может быть. И если когда-нибудь историк попросит у меня сведений, то почерпнет из верного источника. Слушай, Планше, я все тебе расскажу.

– А я тем временем пересчитаю деньги. Извольте начинать, мой дорогой господин.

– Итак, – сказал д'Артаньян, переведя дух.

– Итак, – сказал Планше, захватив первую пригоршню золота.

Глава 39.

ИГРА МАЗАРИНИ

В тот самый вечер, когда наши друзья приехали в Париж, в одной из комнат Пале-Рояля, обтянутой темным бархатом и украшенной великолепными картинами в золоченых рамах, весь двор собрался перед постелью Мазарини, который пригласил короля и королеву на карточную игру.

В комнате стояли три стола, разделенные небольшими ширмами. За одним из столов сидели король и обе королевы. Король Людовик XIV занял место против своей молодой супруги и улыбался ей с выражением непритворного счастья. Анна Австрийская играла с кардиналом, и невестка помогала ей, когда не улыбалась мужу. Кардинал лежал в постели, похудевший, истомленный. За него играла графиня де Суасон, и он беспрестанно заглядывал ей в карты; глаза его выражали любопытство и жадность.

Мазарини приказал Бернуину нарумянить себя; но румянец, ярко выделяясь на щеках, еще более подчеркивал болезненную бледность остальной части лица и желтизну лоснившегося лба. Только глаза кардинала блестели, и на эти глаза больного человека король, королевы и придворные поглядывали с беспокойством.

В действительности же глаза синьора Мазарини были звездами, более или менее блестящими, по которым Франция XVII века читала свою судьбу каждый вечер и каждое утро.

Монсеньер не выигрывал и не проигрывал; он не был, следовательно, ни весел, ни грустен. Это был застой, в каком не захотела оставить его Анна Австрийская, полная сострадания к нему; но, чтобы привлечь внимание больного к какому-нибудь громкому делу, надо было выиграть или проиграть. Выиграть было опасно, потому что Мазарини сменил бы свое безразличие на уродливое лицемерие; проиграть было опасно, потому что пришлось бы плутовать, а принцесса, следя за игрою своей свекрови, наверняка пожаловалась бы на нее за доброе расположение к Мазарини.

Пользуясь затишьем, придворные болтали между собою. Мазарини, когда не был в дурном настроении, был добродушным человеком, и он, никому не мешавший никого оговаривать, поскольку люди платили, не был настолько тираном, чтобы запретить разговаривать, поскольку при этом тратили деньги.

Так что придворные болтали между собою.

За другим столом младший брат короля, Филипп, герцог Анжуйский, любовался в зеркальной крышке табакерки своим прекрасным лицом. Любимец его, шевалье де Лоррен, опершись о кресло герцога, слушал с тайной завистью графа де Гиша, другого любимца Филиппа. Граф высокопарным слогом повествовал о разных похождениях отважного короля Карла II. Точно волшебную сказку, он рассказывал историю его тайных скитаний по Шотландии и говорил об опасностях, окружавших короля, когда враги преследовали его по пятам: Карл проводил ночи в дуплах деревьев, а днем голодал и сражался.

Мало-помалу судьба несчастного короля так захватила внимание слушателей, что игра приостановилась даже за королевским столом, и молодой король, притворяясь рассеянным, задумчиво слушал эту одиссею, живо, во всех подробностях передаваемую графом де Гишем.

Графиня де Суасон прервала де Гиша.

– Признайтесь, граф, – улыбнулась она, – что вы немножко приукрашиваете ваш рассказ.

– Графиня, я, как попугай, передаю то, что сообщили мне англичане. К стыду своему должен признаться, что я точен, как копия.

– Карл Второй умер бы, если б перенес все это.

Людовик XIV поднял свою гордую голову.

– Графиня, – сказал он серьезным голосом, в котором сквозила еще юношеская застенчивость, – кардинал может подтвердить, что во время моего несовершеннолетия дела Франции шли очень плохо... И если б в то время я был бы постарше и мог взяться за оружие, мне часто приходилось бы воевать, чтобы добыть себе ужин.

– По счастью, – проговорил кардинал, первый раз нарушивший молчание, – вы

преувеличиваете, ваше величество, и ужин всегда был готов вовремя для вас и для ваших слуг.

Король покраснел.

– О, – некстати вскричал Филипп со своего места, продолжая глядеться в зеркало, – я помню, что раз в Мелюне ни для кого не было ужина; король скушал две трети куска хлеба, а мне отдал остатки.

Все гости, увидев, что Мазарини улыбнулся, засмеялись. Королям льстят так же напоминанием минувших бедствий, как и надеждою на будущее счастье.

– И все же французская корона всегда крепко держалась на головах королей, – поспешно прибавила Анна Австрийская, – а английская корона упала с головы Карла Первого. И когда возмущение угрожало французскому трону, когда он колебался, – иногда ведь бывает, что трон колеблется, так же как случаются землетрясения, – всякий раз славная победа возвращала нам спокойствие.

– С новыми лаврами для короны, – добавил Мазарини.

Граф де Гиш умолк. Король принял равнодушный вид, а Мазарини обменялся взглядом с королевой Анной Австрийской, как бы благодаря ее за помощь.

– Все равно, – сказал Филипп, приглаживая волосы, – мой кузен Карл не хорош лицом, но очень храбр и дрался, как немецкий рейтар. И если еще будет так же драться, то непременно выиграет сражение... как при Рокруа...

– Но у него нет войска, – заметил шевалье де Лоррен.

– Союзник его, король голландский, даст ему войско. О, я послал бы ему солдат, если бы был королем Франции.

Людвиг XIV вспыхнул. Мазарини притворился, что поглощен игрою.

– Теперь, – продолжал граф де Гиш, – судьба несчастного принца свершилась. Он погиб, если Монк обманул его. Тюрьма, может быть смерть, довершит его несчастья, начавшиеся с изгнания, битв и лишений.

Мазарини нахмурил брови.

– Правда ли, что его величество Карл Второй покинул Гаагу? – спросил Людовик XIV.

– Совершенная правда, ваше величество, – отвечал граф. – Отец мой получил письмо, в котором его уведомляют об этом отъезде со всеми подробностями. Известно даже, что король сошел на берег в Дувре. Рыбаки вилели, как он направился в порт. Но все дальнейшее – пока тайна.

– Как бы я хотел знать, что было дальше! – с жаром вскричал Филипп Анжуйский. – Вы, верно, знаете, братец?

Людвиг XIV опять покраснел – в третий раз в продолжение часа.

– Спросите у кардинала, – отвечал он таким голосом, что Мазарини, Анна Австрийская и все гости посмотрели на него.

– Это значит, сын мой, – сказала Филиппу с улыбкой Анна Австрийская, – что король не любит говорить о государственных делах вне совета.

Филипп покорно выслушал замечание и, улыбаясь, низко поклонился брату, потом матери.

Но Мазарини заметил, что в дальнем углу комнаты составляется группа и что герцог Анжуйский, граф де Гиш и шевалье де Лоррен, лишенные возможности рассуждать громко, могут потихоньку сказать больше, чем нужно. Он бросал на них недоверчивые и беспокойные взгляды, намекая Анне Австрийской, что надо прервать это тайное совещание, как вдруг Бернуин вошел в дверь, за кроватью кардинала, и шепнул ему на ухо:

– Посол от его величества английского короля.

Мазарини не мог скрыть своего удивления, которое тотчас же заметил король. Не желая быть нескромным и в то же время показаться лишним, Людовик XIV немедленно встал и, подойдя к кардиналу, простился с ним.

Гости поднялись; послышался шум отодвигаемых стульев и столов.

– Устройте так, чтобы все постепенно разошлись, – сказал Мазарини тихо Людовику XIV, – и соблаговолите остаться у меня еще несколько минут.

Я кончаю дело, о котором теперь же, сегодня вечером, желал бы переговорить с вашим величеством.

– И с королевами? – спросил Людовик.

– Да, и с герцогом, – отвечал кардинал.

С этими словами он приподнялся на своей постели, и полог, спустившись, закрыл ее. Кардинал, однако, не забыл о заговорщиках, которые стояли в углу комнаты.

– Граф де Гиш, – позвал он слабым голосом, в то время как за опущенным пологом Бернуин подавал ему халат.

– Я здесь, – отвечал граф, подходя.

– Сыграйте за меня, вы очень счастливы. Выиграйте мне побольше у этих господ.

– Извольте, монсеньер.

Молодой человек сел за столом, откуда король перешел к королевам и заговорил с ними.

Между графом и несколькими придворными завязалась крупная игра.

Филипп Анжуйский разговаривал о модах с шевалье де Лорреном, а за пологом кровати уже не было слышно шелеста шелковой одежды кардинала.

Мазарини вслед за Бернуином вышел в соседнюю комнату

Глава 40. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Перейдя в свой кабинет, кардинал увидел там графа де Ла Фер, который ждал его, внимательно рассматривая картину Рафаэля, висевшую над поставцом, украшенным серебром и золотом.

Кардинал вошел легко и бесшумно, как тень, и тотчас взглянул на графа, желая, как всегда, по выражению лица собеседника угадать характер разговора.

Но на этот раз он ошибся. Он ровно ничего не прочел на лице Атоса и не заметил даже того почтения, которое привык видеть всегда и у всех.

Атос был одет в черное платье, скромно вышитое серебром. Он носил знаки Подвязки, Золотого Руна и Святого Духа – трех высших орденов; соединенные вместе, они бывали только у королей или у артистов на сцене.

Мазарини долго, но безуспешно старался вспомнить, как зовут стоявшего перед ним человека.

– Мне доложили, – вымолвил он наконец, – что ко мне приехал посол из Англии.

Он сел, отпустив Бернуина и Бриенна, собиравшегося в качестве секретаря вести протокол.

– Действительно, господин кардинал, я прислан его величеством королем английским.

– Для англичанина вы говорите по-французски удивительно чисто, – приветливо сказал Мазарини, поглядывая на ордена и стараясь поймать взгляд посла.

– Я не англичанин, я француз, господин кардинал, – отвечал Атос.

– Вот как! Английский король избирает французам в посланники? Это хорошее предзнаменование... Ваше имя, сударь?

– Граф де Ла Фер, – отвечал Атос без того глубокого поклона, какого требовали и сан и гордость всемогущего министра.

Мазарини пожал плечами, как бы говоря: «Не знаю этого имени». Потом спросил:

– И вы приехали сказать мне?..

– Я приехал от его величества короля английского объявить королю французскому...

Мазарини нахмурил брови.

– Объявить королю французскому, – невозмутимо продолжал Атос, – о счастливом возвращении его величества короля Карла Второго на отцовский престол.

Эта деталь не ускользнула от хитрого кардинала. Мазарини слишком хорошо знал людей и увидел в холодной, почти высокомерной учтивости Атоса признак неприязни, редко встречающейся в атмосфере придворных теплиц.

– У вас, верно, есть верительные грамоты? – спросил Мазарини сухо и с досадой.

– Есть, монсеньер.

Слово «монсеньер» с трудом слетело с уст Атоса; казалось, оно жгло его губы.

– Покажите их.

Атос достал депешу из вышитой бархатной сумки, висевшей у него на груди под камзолом.

Мазарини протянул руку.

– Извините, господин кардинал, – сказал Атос. – Депеша адресована королю.

– Если вы француз, сударь, вы должны знать, что значит первый министр при французском дворе.

Атос отвечал:

– Да, были времена, когда я знал, что значит первые министры, но давно уже решил всегда обращаться прямо к королю.

– В таком случае, – бросил Мазарини, начинавший сердиться, – вы не увидите ни министра, ни короля.

И Мазарини встал. Атос положил депешу в сумку, сдержанно поклонился и направился к двери. Его хладнокровие взбесило Мазарини.

– Какие странные дипломатические приемы! – вскричал он. – Неужели еще не кончились те времена, когда господин Кромвель присылал к нам своих молодчиков вместо поверенных в делах? Вам недостает, сударь, только круглой шляпы и Библии за поясом.

– Сударь, – сухо возразил Атос, – мне никогда не случалось, подобно вам, вести переговоры с Кромвелем, я встречал его посланцев только со шпагой в руках. Поэтому я не знаю, как он сносился с первым министром.

Скажу только о его величестве Карле Втором; когда он пишет его величеству королю Людовику Четырнадцатому, то это не значит, что он пишет его преосвященству кардиналу Мазарини. В этом различии я вовсе не вижу никакого дипломатического приема.

– А! – воскликнул Мазарини, поднимая голову и ударяя себя рукой по лбу. – А! Вспомнил!

Атос с удивлением посмотрел на него.

– Да, да... – продолжал кардинал, рассматривая гостя. – Конечно... Я узнаю вас, сударь! Diavolo!¹⁰ Теперь я уже не удивляюсь!

– Разумеется, – отвечал с улыбкой Атос. – Это я удивляюсь, что вы, при своей превосходной памяти, до сих пор не узнали меня.

– Вы, по обыкновению, непокорны, строптивы... Как бишь вас зовут?

Позвольте... название какой-то реки... Потамос... Нет, острова... Наксос... Нет, – per Jove¹¹, – название горы... Атос! Да, именно так!

Очень рад, что вижу вас на этот раз не в Рюэйле, где вы с вашими проклятыми товарищами содрали с меня изрядный выкуп!.. Фронда!.. Все еще Фронда!.. Проклятая Фронда!.. Ну и закваска!.. Но скажите, почему ваша ненависть ко мне сохранилась дольше, чем моя к вам? Вам-то уж не на что пожаловаться: ведь вы не только вышли сухим из воды, но даже с лентой ордена Святого Духа на шее...

– Господин кардинал, – возразил Атос, – позвольте мне не входить в рассуждения о подобных вещах... Мне дано поручение. Угодно вам помочь мне исполнить его?

– Меня удивляет одно, – с насмешкой сказал Мазарини, радуясь, что все припомнил. – Как это вы, господин... Атос, вы, фрондер, приняли на себя поручение к Мазарини, как попросту называли меня прежде...

И Мазарини рассмеялся. Но кашель мешал ему, и хохот его скоро перешел в хрип.

– Я принял поручение к королю французскому, господин кардинал, – спокойно отвечал Атос (он считал, что все преимущества на его стороне, и был сдержан).

– Во всяком случае, господин фрондер, – сказал Мазарини весело, после короля дело, за которое вы взялись...

– Дело, которое мне поручили, господин кардинал.

Я не ищу дел.

– Допустим. Дело это, говорю я, все равно пройдет через мои руки...

Не будем терять дорогого времени... Скажите мне условия.

– Я имел честь сообщить вам, что мне неизвестно содержание письма, в котором изложена воля его величества короля Карла Второго.

– Право, вы меня смешите своим бесстрашием, господин Атос... Видно, что вы водились с тамошними пуританами... Я знаю вашу тайну лучше вас, и вы напрасно не оказываете уважения человеку дряхлому и больному, который много поработал в жизни и храбро сражался за свои идеи, так же как вы за ваши... Вы ничего не хотите сказать мне? Хорошо! Не хотите отдать мне письма? Бесподобно!.. Пойдемте в мою спальню: там вы увидите короля, и при короле я... Но еще одно слово: кто пожаловал вам знаки Золотого Руна? Помню, что вы кавалер ордена Подвязки, но о Золотом Руне я не знал...

– Недавно испанский король по случаю бракосочетания его величества Людовика Четырнадцатого прислал королю Карлу Второму патент на орден Золотого Руна. Карл Второй передал патент мне, вписав мое имя.

Мазарини поднялся и, опираясь на руку Бернуина, прошел в свою спальню как раз в ту минуту, когда там доложили о приезде принца.

Действительно, принц Конде, первый принц крови, победитель при Рокруа, Лане и Нордлингене, явился к монсеньеру Мазарини в сопровождении своих дворян. Он приветствовал короля, когда первый министр отодвинул полог своей кровати.

Атос увидел Рауля, пожимавшего руку графу де Гишу, и ответил улыбкой на почтительный поклон сына.

Он увидел также, как вспыхнуло от радости лицо кардинала, когда тот заметил на столе перед собой груды золота. Граф де Гиш выиграл эти деньги, играя за Мазарини по его просьбе.

Кардинал забыл посла, посольство и принца; он думал только о деньгах.

– Как! Это мой выигрыш? – вскричал он.

– Да, почти пятьдесят тысяч экю, – ответил граф де Гиш, вставая. Вернуть ли вам карты или угодно, чтобы я продолжал?

– Верните! Верните! Вы неосторожны. Пожалуй, еще проиграете весь мой выигрыш!

– Господин кардинал! – сказал принц Конде, кланяясь.

– Здравствуйте, ваше высочество, – отвечал министр небрежно. – Очень любезно, что приехали навестить больного друга.

– Друга! – пробормотал про себя граф де Ла Фер, который не поверил своим ушам, услышав такое определение. – Друзья?! Мазарини и Конде?!

Кардинал угадал мысли фрондера; он улыбнулся и прибавил, обращаясь к королю:

– Имею честь представить вашему величеству графа де Ла Фер, посла его величества короля английского... Государственное дело, господа! – прибавил он, обращаясь к гостям, которые по его знаку вышли все, с принцем Конде во главе.

Рауль, взглянув в последний раз на графа де Ла Фер, вышел вслед за принцем. Филипп Анжуйский и королева, казалось, совещались, остаться ли им.

– Тут дело семейное, – вдруг сказал Мазарини, останавливая их. – Граф де Ла Фер привез королю послание, в котором Карл Второй, восстановленный на престоле, предлагает сочетать браком брата короля с принцессой Генриеттой, внучкой Генриха Четвертого... Не угодно ли вам, граф, вручить письмо его величеству?

Атос стоял в изумлении. Каким образом министр мог знать содержание бумаги, с которой он ни на секунду не расставался?

Но, вполне владея собою, Атос подал депешу молодому королю, который, покраснев, взял ее. Торжественное молчание воцарилось в спальне кардинала. Оно нарушалось только тихим звоном золота, которое Мазарини желтой, сухой рукой укладывал в ларчик, пока

король читал письмо,

Глава 41. РАССКАЗ

Лукавый кардинал сообщил почти все, и послу ничего не оставалось прибавить. Однако весть о реставрации Карла II поразила короля. Он повернулся к графу, с которого не спускал глаз с самого его появления, и спросил:

– Не откажите, сударь, рассказать нам подробности о положении дел в Англии. Вы приехали прямо оттуда, вы француз, и ордена на вашей груди показывают, что вы человек знатный и заслуженный.

– Граф де Ла Фер – старинный слуга вашего величества, – сказал кардинал королеве-матери.

Анна Австрийская была забывчива, как королева, видевшая много бурь и много ясных дней. Она взглянула на Мазарини, кривая улыбка которого не предвещала ничего хорошего; потом перевела вопросительный взгляд на Атоса.

Кардинал продолжал:

– Граф был мушкетером во времена Тревиля и служил покойному королю...

Граф очень хорошо знает Англию, куда он ездил несколько раз в разное время... Вообще он замечательный человек...

В словах кардинала таился намек на воспоминания, которых Анна Австрийская так боялась. Англия напоминала ей о ее ненависти к Ришелье и любви к Бекингэму; мушкетер эпохи Тревиля вызвал в ее памяти былые победы, волновавшие ее сердце в молодости, и опасности, чуть не стоившие ей трона.

Слова эти произвели большое впечатление: члены королевской семьи замолкли, внимательно прислушиваясь. С различными чувствами думали они о тех таинственных временах; юноши уже не застали их, а старики считали их навсегда забытыми.

– Говорите, граф, – произнес наконец Людовик XIV, который раньше других преодолел смущение, подозрительность и воспоминания, всеми овладевшие.

– Да, говорите, – прибавил Мазарини, которому ядовитый выпад против Анны Австрийской возвратил бодрость и веселость.

– Ваше величество, – сказал граф, – судьба короля Карла Второго изменилась, словно чудом. Чего не могли сделать люди, то свершил бог.

Мазарини закашлялся и заворочался в своей постели.

– Король Карл Второй, – продолжал Атос, – выехал из Гааги не как изгнанник или завоеватель, а как настоящий король, который вернулся из дальнего путешествия, встреченный всеобщими благословениями.

– Это действительно чудо, – заметил Мазарини. – Если верить рассказам, Карл Второй, встреченный теперь благословениями, выехал из Англии под звуки выстрелов.

Король промолчал. Герцог Филипп, который был моложе и легкомысленнее короля, не мог не улыбнуться. Мазарини был доволен этой улыбкой, показывавшей, что его шутку оценили.

– В самом деле, это изумительно, – сказал король. – Но бог, когда он покровительствует королям, пользуется людьми для исполнения своих намерений. Кому же больше всего обязан Карл Второй возвращением престола?

– Но, – перебил кардинал, не считаясь с самолюбием короля, – неужели вы не знаете, что он обязан генералу Монку?

– Разумеется, знаю, – отвечал Людовик решительным голосом, – но я спрашиваю посла о причинах, побудивших генерала Монка изменить свое поведение.

– Ваше величество, вы коснулись самого существенного вопроса, – отвечал Атос. – Если б не чудо, о котором я имел честь доложить вам, Монк, вероятно, остался бы непобедимым врагом короля Карла Второго. Бог вложил странную, дерзкую и остроумнейшую мысль в

голову одного человека, а другую мысль, честную и смелую, – в голову другого. Соединившись, эти две мысли произвели такую перемену во взглядах генерала Монка, что из смертельного врага он стал другом низложенного короля.

– Вот именно это я и хотел знать, – сказал король. – Но кто же эти два человека?

– Два француза.

– О, я очень рад.

– А мысли? Меня больше интересуют мысли, чем люди, – прибавил Мазарини.

– Правда, – прошептал король.

– Вторая мысль, честная и смелая, по менее важная, заключалась в решении добыть миллион, спрятанный покойным королем Карлом Первым в Ньюкасле, и на это золото купить помощь Монка.

– Ого! – пробормотал Мазарини, пораженный словом «миллион». – Но ведь Ньюкасл был занят Монком?

– Именно так, господин кардинал, потому-то и я назвал эту идею смелой. Дело состояло вот в чем: надо было вступить в переговоры с Монком, а если он отвергнет предложения, которые будут ему сделаны, добыть для Карла Второго эту сумму, действуя на порядочность, а не на верноподданнические чувства генерала Монка... Так все и было, несмотря на некоторые препятствия; генерал оказался человеком честным и отдал золото.

– Мне кажется, – сказал король нерешительно и задумчиво, – что король Карл Второй ничего не знал об этом миллионе, когда был в Париже.

– А я думаю, – прибавил кардинал насмешливо, – что его величество король английский знал о существовании этих денег, но предпочитал иметь два миллиона вместо одного.

– Ваше величество, – отвечал Атос твердо, – король Карл Второй находился в такой крайней бедности во Франции, что не мог нанять почтовых лошадей; в таком отчаянии, что несколько раз помышлял о смерти. Он и не подозревал, что золото спрятано в Ньюкасле, и если б один дворянин, подданный вашего величества, хранил гель этой тайны, не рассказал ему о ней, Карл Второй жил бы до сих пор в самом жестоком забвении.

– Перейдем к мысли, странной, дерзкой и остроумной, – перебил Мазарини, предчувствуя поражение. – Что это за мысль?

– Вот она: генерал Монк был единственным препятствием к восстановлению Карла Второго на престоле, и один француз вздумал устранить это препятствие.

– Ого! Да этот француз – просто злодей, – сказал Мазарини, – и мысль не настолько хитра, чтобы помешать повесить или колесовать его на Гревской площади по приговору парламента.

– Вы ошибаетесь, монсеньер, – сухо заметил Атос. – Я не говорил, что этот француз намеревался убить генерала Монка, а только – что он хотел устранить его. Каждое слово во французском языке имеет определенное значение, и дворяне хорошо понимают его. Впрочем, была война, и того, кто служит королю против врагов его, судит не парламент, а бог. Французский дворянин задумал овладеть Монком и исполнил свое намерение.

Король оживился, слушая рассказ о таких подвигах. Юный брат короля ударил кулаком по столу, воскликнув:

– Вот молодец!

– И Монка похитили? – спросил король. – Но генерал находился в своем лагере...

– А француз был один.

– Удивительно! – воскликнул Филипп.

– Да, правда, удивительно! – повторил король.

– Ну! Два львенка спущены с цепи! – прошептал Мазарини. И прибавил вслух, не думая скрывать своей досады:

– Я не знал всех этих подробностей. Ручаетесь ли вы за их достоверность?

– Разумеется, ручаюсь, господин кардинал, потому что сам был очевидцем этих событий.

– Вы?

– Да, монсеньер.
Король невольно подошел к Атосу; герцог Филипп стал возле Атоса с другой стороны.
– Рассказывайте, граф, рассказывайте! – воскликнули оба в один голос.
– Ваше величество, француз похитил генерала Монка и привез к королю Карлу Второму в Голландию... Король освободил Монка, и генерал из чувства благодарности возвратил Карлу Второму престол, – за который столько храбрецов сражались без успеха.
Герцог Филипп в восторге захлопал в ладоши. Людовик XIV, более осторожный, спросил:
– И это все правда?
– Совершеннейшая, ваше величество.
– Один из моих дворян знал тайну о существовании миллиона и сохранил ее?
– Да.
– Кто он?
– Ваш покорный слуга, – просто ответил Атос.
Ропот восхищения был наградой Атосу. Даже сам Мазарини поднял руки к небу.
– Сударь, – сказал король, – я постараюсь найти средства вознаградить вас.
Атос вздрогнул.
– Не за честность: награда за честность оскорбила бы вас. Я должен наградить вас за участие в восстановлении на престоле брата моего Карла Второго.
– Разумеется, – подтвердил Мазарини.
– Успех этого дела радует все наше семейство! – прибавила Анна Австрийская.
– Позвольте, – сказал Людовик XIV. – Правда ли, что один человек пробрался к Монку в его лагерь и похитил его?
– У этого человека было десять помощников, но это были лишь жалкие наемники.
– И больше никого?
– Никого.
– Кто же он?
– Господин д'Артаньян, отставной лейтенант мушкетеров вашего величества.
Анна Австрийская покраснела. Мазарини пожелтел от стыда. Людовик XIV стал мрачен; пот выступил на его бледном лице.
– Что за люди! – прошептал он.
И он невольно бросил на кардинала взгляд, который испугал бы Мазарини, если б тот в это время не зарылся головой в подушку.
– Сударь! – воскликнул молодой герцог Анжуйский, кладя свою белую, женственную руку на плечо Атосу. – Скажите этому храбrecу, прошу вас, что брат короля французского будет пить за его здоровье завтра с сотней лучших французских дворян.
Сказав эти слова, юный герцог заметил, что в припадке восторга смял свою манжетку. Он с величайшим старанием расправил ее.
– Поговорим о деле, ваше величество, – вмешался Мазарини, который никогда не приходил в восторг и не носил манжет.
– Хорошо, – отвечал Людовик XIV. – Сообщите нам о цели вашего посольства, граф, – сказал он, обращаясь к Атосу.
Атос торжественно предложил руку леди Генриетты Стюарт молодому принцу у брату короля.
Совещание длилось час, после чего отворили дверь придворным. Они как ни в чем не бывало заняли прежние места, точно в этот вечер в их обычных занятиях не было никакого перерыва.
Атос оказался около Рауля. Отец и сын пожали друг другу руки.

Глава 42. МАЗАРИНИ СТАНОВИТСЯ МОТОМ

Пока Мазарини старался оправиться от охватившей его внезапно тревоги, Атос и Рауль успели обменяться несколькими словами в углу комнаты.

– Ты давно в Париже, Рауль? – спросил граф.

– С тех пор, как вернулся принц.

– Здесь я не могу говорить с тобой, за нами наблюдают. Но я сейчас еду домой и там жду тебя: приезжай, как только освободишься.

Рауль поклонился.

К ним подошел принц. У него был ясный и глубокий взгляд, как у благородных хищных птиц. Чертами лица он тоже напоминал птицу. Орлиный нос принца Конде был прямым продолжением его плоского лба; придворные насмешники, безжалостные даже к гению, уверяли, что у наследника знаменитого дома Конде не человеческий нос, а орлиный клюв.

Его пронизательный взгляд и повелительное выражение лица обыкновенно смущали тех, с кем он разговаривал, больше, чем величественная осанка или красота, если бы ими обладал победитель при Рокруа. Огонь так быстро вспыхивал в его выпуклых глазах, что всякое одушевление походило у него на гнев.

Все при дворе уважали принца; многие трепетали перед ним.

Людовик Конде подошел к Раулю и графу де Ла Фер с явным намерением заговорить с первым и получить поклон от второго.

Никто не умел кланяться с таким благородным изяществом, как граф де Ла Фер. В его поклоне не было и следа угодливости, обычной в поклонах придворных. Зная себе цену, Атос кланялся принцам, как равным, искупая неизъяснимой приветливостью независимость манер, оскорбительную для их гордости.

Принц хотел заговорить с Раулем. Атос опередил его.

– Если бы виконт де Бражелон, – сказал он, – не был покорнейшим слугою вашего высочества, я просил бы его представить меня вам...

– Я имею честь говорить с графом де Ла Фер? – спросил принц.

– С моим отцом, – прибавил Рауль, покраснев.

– Одним из честнейших людей Франции, – продолжал принц, – одним из первых дворян, нашего государства... Я так много слышал о вас хорошего, что часто желал видеть вас в числе своих друзей.

– Такую честь, – отвечал Атос, – может оправдать лишь мое уважение и преданность вашему высочеству.

– Виконт де Бражелон отличный офицер, – сказал принц. – Видно, что он прошел хорошую школу. Ах, граф, какие в ваше время у полководцев были солдаты!..

– Ваше высочество совершенно правы, – но теперь солдаты могут похвастаться полководцами.

Этот комплимент, не похожий на лесть, очень понравился человеку, которого вся Европа считала героем и который пресытился похвалами.

– Очень жаль, граф, что вы оставили службу, – произнес принц Конде. Скоро королю придется вести войну с Голландией или с Англией. Представится много случаев отличиться такому человеку, как вы, знающему Англию, как Францию.

– Могу сказать вашему высочеству, что я, кажется, не ошибся, оставив службу, – отвечал Атос с улыбкой. – Франция и Англия будут отныне жить в мире, как две сестры, если верить моему предчувствию.

– Вашему предчувствию?

– Да, прислушайтесь к тому, о чем говорят за столом кардинала.

В это время кардинал приподнялся на постели и подозвал знакомого брата короля.

– Ваше высочество, – сказал Мазарини, – прикажите взять это золото.

И он указал на огромную кучу тусклых и блестящих монет, которую выиграл граф де Гиш.

– Оно мое? – вскричал герцог Анжуйский.

– Здесь пятьдесят тысяч экю... Они ваши...

– Вы дарите их мне?

– Я играл для вашего высочества, – отвечал кардинал все более и более слабеющим голосом, как будто усилие, которое он сделал, чтобы подарить деньги, истощило все его силы, телесные и умственные.

– Боже мой! – прошептал Филипп вне себя от радости. – Какой счастливый день!

Он проворно сгреб деньги со стола и положил в кармины... Более трети кучки осталось еще на столе.

– Шевалье, – обратился Филипп к своему любимцу де Лоррену, – поди сюда.

Тот подошел.

– Возьми, – приказал герцог, указывая на оставшиеся деньги.

Эту необычную сцену все присутствующие приняли как трогательный семейный праздник. Кардинал вел себя как отец французских принцев: оба принца выросли под его крылом. Никто не считал щедрости первого министра гордостью или даже дерзостью, как нашли бы в наше время.

Придворные только завидовали... Король отвернулся.

– Никогда еще не было у меня таких денег, – весело сказал Филипп, проходя со своим любимцем к выходу, чтобы уехать. – Никогда! Какие они тяжелые, эти сто пятьдесят тысяч ливров!

– Но почему господин кардинал подарил вдруг герцогу столько денег? шепотом спросил принц Конде у графа де Ла Фер. – Верно, он очень болен?

– Да, ваше высочество, болен. У него, как вы могли заметить, скверный вид.

– Но ведь он умрет от этого! Сто пятьдесят тысяч ливров! Непостижимо!

Скажите, граф, почему он их подарил? Найдите причину.

– Прошу ваше высочество не спешить с выводами. Вот герцог Анжуйский идет к нам вместе с шевалье де Лорреном. Послушайте, о чем они говорят.

Шевалье говорил герцогу вполголоса:

– Неестественно, что кардинал подарил столько денег вашему высочеству... Осторожнее, ваше высочество, не растеряйте... Чего же хочет от вас кардинал?

– Слышите? – сказал Атос на ухо принцу. – Вот ответ на ваш вопрос.

– Скажите же, ваше высочество, – нетерпеливо спрашивал де Лоррен, стараясь угадать по тяжести денег, оттягивающих его карман, какая сумма досталась на его долю.

– Это свадебный подарок, любезный шевалье!

– Как?

– Да, я женюсь, – продолжал герцог Анжуйский, не замечая, что он в эту минуту проходил мимо принца и Атоса, которые низко поклонились ему.

Де Лоррен бросил на молодого герцога такой странный и полный ненависти взгляд, что граф де Ла Фер вздрогнул.

– Вы женитесь? Вы! – повторил де Лоррен. – Это невозможно! Неужели вы решитесь на такую глупость?

– Не я решаюсь на эту глупость, а меня принуждают к ней, – отвечал герцог Анжуйский. – Но пойдем скорей, повеселимся на эти деньги.

Провожаемый поклонами придворных, он вышел со своим приятелем, радостно улыбаясь.

– Так вот в чем секрет! – тихо сказал принц Атосу. – Он женится на сестре Карла Второго?

– По-видимому, да.

Принц Конде задумался на минуту, глаза его блеснули.

– Вот оно что, – медленно произнес он, словно разговаривая с самим собою, – значит, шпаги долго еще не будут выниматься из ножен!..

И он вздохнул.

Один Атос слышал этот вздох и угадал все, что он в себе таил: подавленные честолюбивые стремления, разрушенные мечты, обманутые надежды...

Принц вскоре стал прощаться. Король тоже собрался уходить. Атос сделал Раулю знак, подтверждавший его прежние приглашение.

Мало-помалу спальня опустела. Мазарини остался один, терзаемый своими страданиями, которых уже не скрывал.

– Бернуин! – произнес он слабым голосом.

– Что угодно, монсеньер?

– Позвать Гено!.. Поскорее!.. Мне кажется, я умираю, – сказал кардинал.

Испуганный Бернуин побежал в переднюю, отдал приказ, и верховой, поскакавший за доктором, обогнал карету короля Людовика XIV на улице Сент-Оноре.

Глава 43.

ГЕНО

Приказание кардинала было спешное, и Гено не заставил себя ждать.

Он нашел больного в постели, с посиневшим лицом, распухшими ногами, с судорогами в желудке. У кардинала был жестокий приступ подагры. Он мучился ужасно и проявлял нетерпение, как человек, не привыкший к страданиям. Увидев Гено, он воскликнул:

– Ну, теперь я спасен!

Гено был человек очень ученый и очень осторожный, который не нуждался в критике Буало, чтобы заслужить подобную репутацию. Когда он встречался с болезнью, закрадись она хоть в тело самого короля, он обращался с больным без всякой пощады. Он не сказал, таким образом, Мазарини, как ждал министр: «Врач пришел, прощай болезнь». Напротив, осмотрев больного с весьма мрачным видом, он воскликнул только:

– О!

– В чем дело, Гено? И что за лицо у вас?

– У меня такое лицо, какое должно быть, чтобы лечить ваш недуг. У вас очень серьезная болезнь, монсеньер.

– Подагра... О да, подагра.

– С осложнением, монсеньер.

Мазарини приподнялся на локте и спросил с беспокойством:

– Неужели я болен опаснее, чем думаю?

– Господин кардинал, – ответил Гено, садясь у постели, – вы много потрудились в своей жизни, вы много страдали.

– Но я еще, кажется, не стар. Подумайте, мне только пятьдесят два года.

– О господин кардинал, вам гораздо больше... Сколько лет продолжалась Фронда?

– Зачем вы спрашиваете об этом?

– Из медицинских соображений.

– Да почти десять лет.

– Хорошо. Считайте каждый год Фронды за три года... Выходит тридцать лет, значит, лишних двадцать. Двадцать и пятьдесят два – семьдесят два года. Стало быть, вам семьдесят два года, а это уже старость.

Говоря это, он щупал пульс больного. Пульс показался ему таким плохим, что он тотчас прибавил, несмотря на возражения Мазарини:

– Если считать каждый год Фронды за четыре года, то вам будет восемьдесят два.

Мазарини, побледнев, спросил еле слышным, голосом:

– Вы говорите серьезно?

– Да, к сожалению, – отвечал медик.

Кардинал дышал так тяжело, что даже неумолимый доктор сжалился бы над ним.

– Болезни бывают разные, – промолвил Мазарини. – С некоторыми можно справиться.

– Это правда, монсеньер. И по отношению к человеку такого ума и мужества, как ваше высокопреосвященство, не следует прибегать к уверткам.

– Не правда ли? – воскликнул Мазарини почти весело. – Ибо в конечном счете для чего

существует власть, сила воли? Для чего существует талант, ваш талант, Гено? И чему в конце концов служат наука и искусство, если больной, обладающий всем этим, не может избежать угрожающей ему опасности?

Гено пытался вставить слово, но Мазарини, не дав ему открыть рта, продолжал:

– Вспомните, что я самый послушный из ваших больных. Я слепо повинуюсь вам...

– Знаю, знаю, – кивнул Гено.

– Так я выздоровею?

– Господин кардинал, ни сила, ни воля, ни могущество, ни гений, ни наука не могут остановить болезни, которую бог насылает на свое создание. Когда болезнь неизлечима, она убивает, и тут ничего не поделаешь.

– Так моя болезнь... смертельна? – спросил Мазарини.

– Да, монсеньер.

Кардинал упал в изнеможении, как человек, раздавленный огромной тяжестью. Но у Мазарини была закаленная душа и мощный ум.

– Гено, – сказал он, приподнимаясь, – вы позволите мне проверить ваше решение? Я соберу учнейших врачей всей Европы и посоветуюсь с ними... Я хочу жить с помощью каких бы то ни было лекарств!

– Вы напрасно думаете, – отвечал Гено, – что я один решился бы произнести приговор такой драгоценной жизни, как ваша. Я опрашивал учнейших медиков Европы и Франции... двенадцать человек.

– И что же?

– Они считают, что болезнь ваша смертельна; в моем портфеле протокол консультации, подписанный ими. Если вам угодно прочесть эту бумагу, вы увидите, сколько неизлечимых болезней мы нашли у вас. Во-первых...

– Не нужно! Не нужно! – вскричал Мазарини, отталкивая бумагу. – Не нужно, Гено! Я сдаюсь!

И глубокая тишина, во время которой кардинал собирался с духом и силами, последовала за бурной взволнованностью предыдущей сцены.

– Есть еще кое-что, – промолвил Мазарини, – есть знахари, шарлатаны.

В моей стране те, от кого отказываются врачи, пробуют свой последний шанс у площадных лекарей, которые десять раз убьют, но сто раз спасут жизнь.

– Разве вы не заметили, ваше преосвященство, что я в течение последнего месяца сменил, по крайней мере, десяток лекарств?

– Да... И что же?

– А то, что я истратил пятьдесят тысяч ливров, чтобы купить у всех этих плутов их секреты. Список исчерпан, мои средства тоже. Вы не излечены, а без моего искусства вы были бы мертвы.

– Это конец, – промолвил тихо кардинал. – Это конец.

Он бросил мрачный взгляд на все свои богатства.

– Надо расстаться со всем этим! – прошептал он. – Я умираю, Гено? Я умер!

– О, нет еще! – вымолвил доктор.

Мазарини схватил его за руку.

– Когда же? – спросил он, глядя расширившимися глазами прямо в лицо невозмутимого медика.

– Таких вещей не говорят, монсеньер.

– Обыкновенным людям – нет. Но мне... Каждая минута моей жизни стоит сокровищ!.. Скажи мне, Гено!

– Нет, нет, монсеньер...

– Я так хочу, скажи! О, дай мне хоть месяц, и за каждый из этих тридцати дней я заплачу тебе по сто тысяч ливров!

– Бог дает вам дни, а не я, – отвечал Гено. – Бог даст вам не больше двух недель.

Кардинал тяжело вздохнул и упал на подушку прошептав:

– Спасибо, Гено, спасибо.

Затем, когда медик собрался уходить, он приподнялся и сказал, устремив на него пламенный взгляд:

– Никому ни слова! Ни слова!

– Я знаю эту тайну уже два месяца: вы видите, я умел хранить ее.

– Ступайте, Гено, я позабочусь о вас. Велите Бриенну прислать мне чиновника, которого зовут Кольбером. Ступайте.

Глава 44. КОЛЬБЕР

Кольбер был недалеко. Весь вечер он не выходил из соседнего коридора, разговаривая с Бернуином и Бриенном, и обсуждал с обычной ловкостью придворного человека все события и новости, вскипающие, как пузыри, на поверхности каждого события. Пора нарисовать в нескольких словах портрет одного из любопытнейших людей того времени, и нарисовать его с такой правдивостью, с какой могли сделать это живописцы той эпохи. Кольбер был человеком, на которого историк и моралист имеют равные права.

Кольбер был тринадцатью годами старше Людовика XIV, будущего своего владыки. Человек среднего роста, скорее худой, чем полный, с глубоко сидящими глазами, плоским лицом, черными жесткими и столь редкими волосами, что с молодости принужден был носить скуфейку. Взгляд у него был строгий, даже суровый. С подчиненными он был горд, перед вельможами держался с достоинством человека добродетельного. Всегда надменный, даже тогда, когда, будучи один, смотрел на себя в зеркало. Вот отличительные черты внешности Кольбера.

Что же до его ума, то все расхваливали его глубокое умение составлять счета и его искусство получать доходы там, где могли быть одни убытки.

Кольбер додумался до того, чтобы содержать гарнизоны в пограничных городах, не платя жалованья солдатам и предоставляя им существовать за счет контрибуции. Столь ценные качества подсказали Мазарини мысль после смерти своего управляющего Жубера назначить на его место Кольбера. Мало-помалу Кольбер выдвинулся при дворе, несмотря на свое незнатное происхождение: дед его был виноторговцем; отец тоже торговал, сначала вином, а потом сукном и шелковыми материями.

Кольбер, которого прочили в купцы, служил приказчиком у лионского торговца; потом он бросил лавку, уехал в Париж и поступил в контору господина Битерна, прокурора суда. Тут-то и научился он искусству составлять счета и еще более трудному искусству запутывать их. Твердость Кольбера принесла ему очень большую пользу.

В 1648 году двоюродный брат Кольбера, покровительствовавший ему, устроил его на службу к Мишелю Летелье, который был тогда министром.

Однажды министр послал Кольбера с поручением к Мазарини.

Кардинал в то время отличался цветущим здоровьем, в тяжелые годы Фронды еще не засчитывались ему втрое и вчетверо. Он жил в Седане, где его очень беспокоила одна придворная интрига, в которой Анна Австрийская готова была предать его.

Интригу эту затеял Летелье. Он получил письмо от Анны Австрийской, драгоценное для него и очень опасное для Мазарини. Но так как он всегда (и очень искусно) вел двойную игру, стараясь то мирить, то ссорить между собой всех своих противников, то и тут он решил показать письмо Анны Австрийской кардиналу, чтобы обеспечить себе его благодарность.

Послать письмо было легко; получить его обратно было гораздо труднее.

Летелье посмотрел кругом, заметил мрачного худого чиновника, который, нахмутив брови, писал бумаги, и решил, что он лучше всякого жандарма исполнит его поручение.

Кольбер поехал в Седан с приказанием показать кардиналу Мазарини письмо и привезти его назад к Летелье.

Он с особенным вниманием выслушал приказ, заставил повторить его два раза и задал

вопрос: что важнее – показать письмо или привезти его обратно?

Летелье отвечал:

– Важнее привезти письмо назад.

Кольбер отправился в путь, спешил, не щадя себя, и вручил Мазарини сначала письмо от Летелье, уведомлявшее кардинала о драгоценной посылке, а потом само письмо королевы.

Мазарини, читая письмо Анны Австрийской, густо покраснел, ласково улыбнулся Кольберу и отпустил его.

– А когда будет ответ? – почтительно спросил Кольбер.

– Завтра.

– Завтра утром?

– Да.

На другой день, с семи часов утра, Кольбер был уже на месте. Мазарини заставил его ждать до десяти. Кольбер, которому пришлось сидеть в передней, и не подумал обидеться. Когда настала его очередь, он вошел, Мазарини отдал ему запечатанный пакет, на ко – тором была надпись: «Господину Мишелю Летелье».

Кольбер посмотрел на конверт с особенным вниманием; кардинал ласково улыбнулся ему и подтолкнул его к двери.

– А письмо ее величества королевы-матери? – спросил Кольбер.

– Оно в пакете со всем прочим.

– Очень хорошо, – сказал Кольбер и, зажав шляпу между колен, начал распечатывать пакет.

Мазарини вскрикнул.

– Что это вы делаете? – спросил он грубо.

– Распечатываю конверт, монсеньер.

– Вы что, не верите мне, господин педант? Видана ли подобная дерзость?

– О монсеньер, не гневайтесь на меня! Могу ли я не верить вашему слову?

– Так что же?

– Я не верю исправности вашей канцелярии. Что такое письмо? Клочок бумаги! Разве нельзя забыть лоскуток бумаги? Ах! Взгляните сами, господин кардинал, я не ошибся!.. Ваши чиновники забыли этот клочок бумаги.

Письма королевы нет в пакете.

– Вы наглец и ничего не понимаете! – закричал Мазарини с гневом. Убирайтесь и ждите моих приказаний!

Сказав это с чисто итальянской живостью, он вырвал пакет из рук Кольбера и вернулся в свой кабинет.

Но гнев его не мог продолжаться вечно, и Мазарини одумался. Каждое утро, отворяя дверь своего кабинета, Мазарини видел лицо дежурившего у дверей Кольбера, который смиренно, но упорно просил у него письмо королевы-матери.

Мазарини не выдержал и наконец отдал письмо. Возвращая драгоценную бумагу, кардинал произнес строжайший выговор, в продолжение которого Кольбер только рассматривал, разглаживал, даже нюхал бумагу, буквы и подпись, как будто имел дело с отъявленным мошенником. Мазарини еще больше разбранил его, а бесстрашный Кольбер, убедившись, что письмо настоящее, ушел, не сказав ни слова, точно глухой.

За это он получил после смерти Жубера место управляющего делами кардинала: Мазарини, вместо того чтобы разгневаться, восхитился им и пожелал сам иметь такого верного слугу.

Кольбер сумел скоро заслужить милость Мазарини и стать для него необходимым. Чиновник знал все его счета, хотя кардинал никогда ни слова не говорил ему о них. Этот секрет очень крепко связывал их друг с другом; вот почему Мазарини, готовясь перейти в иной мир, хотел спросить его совета, как распорядиться имуществом, которое он оставлял на земле.

Расставшись с Гено, кардинал позвал Кольбера, предложил ему сесть и сказал:

– Потолкуем, господин Кольбер, и серьезно, потому что я болен и могу умереть.
 – Человек смертей, – произнес Кольбер.
 – Я всегда помнил об этом, господин Кольбер, и трудился, предвидя это... Вы знаете, я скопил кое-что...
 – Да, монсеньер.
 – Какой приблизительно сумме, по-вашему, равно мое состояние?
 – Сорок миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести ливров девять су и восемь денье, – ответил Кольбер.
 Кардинал испустил глубокий вздох, с изумлением взглянул на Кольбера, но позволил себе улыбнуться.
 – Это деньги явные, – сказал Кольбер в ответ на улыбку кардинала.
 Кардинал привскочил на постели.
 – Что это значит? – воскликнул он.
 – Я хочу сказать, что, кроме этих сорока миллионов пятисот шестидесяти тысяч ливров, у вас есть еще тринадцать миллионов, о которых никому не известно.
 – Уф! – пробормотал Мазарини. – Вот человек!
 В эту минуту голова Бернуина показалась в дверях.
 – Что случилось? – спросил Мазарини. – Почему мне мешают?
 – Ваш духовник пришел: его пригласили сегодня вечером, – отвечал камердинер. – Он сможет прийти еще раз не раньше, как послезавтра.
 Мазарини взглянул на Кольбера; тот взял шляпу и произнес:
 – Я приду позже, господин кардинал.
 Мазарини колебался.
 – Нет, нет, – сказал он, – вы мне так же необходимы, как и он. Притом ведь вы – мой второй духовник... и что я скажу одному, то может слышать другой. Оставайтесь!
 – А тайна исповеди? Ваш духовник может не согласиться.
 – Об этом не беспокойтесь, пройдите за кровать.
 – Я могу подождать в другой комнате.
 – Нет, нет, вам полезно будет слышать исповедь честного человека.
 Кольбер поклонился и прошел за кровать.
 – Привести духовника, – сказал Мазарини, опуская полог кровати.

Глава 45. ИСПОВЕДЬ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Монах вошел спокойно, не удивляясь шуму и движению во дворце, вызванным болезнью кардинала.
 – Пожалуйте, преподобный отец, – произнес Мазарини, бросив последний взгляд за полог кровати, – пожалуйста! Помогите мне, отец мой!
 – Это мой долг, – отвечал монах.
 – Сядьте поудобнее, я хочу принести вам полную исповедь: вы отпустите мне грехи, и я буду чувствовать себя спокойнее.
 – Вы не так больны, монсеньер, чтобы подробная исповедь была неотложна... И она крайне утомит вас. Будьте осторожны.
 – Вы думаете, это надолго, преподобный отец?
 – Как можно думать иначе, если прожита такая большая жизнь, ваше преосвященство.
 – О, это верно... Да, рассказ может быть долгим.
 – Милосердие божье велико, – прогнусавил театинец.
 – Ах, – сказал Мазарини, – боюсь, что я совершил много дел, за которые господь может покарать.
 – Так ли? – простодушно спросил монах, отстраняя от лампы свое тонкое лицо, заостренное, как у крота. – Все грешники таковы: сначала забывают, а потом вспоминают,

когда уже поздно.

– Грешники или рыбаки? ¹² – спросил Мазарини. – Не намекаете ли вы на мое происхождение? Ведь я – сын рыбака.

– Гм, – пробормотал монах.

– Это мой первый грех, преподобный отец. Я велел составить генеалогию, выводящую мой род от древних римских консулов: Генанпя Мацерины Первого, Мацерины Второго и Прокула Мацерины Третьего, о котором говорит хроника Гаоландера... От Мацерины до Мазарини так близко, что сходство имен соблазнительно. Уменьшительная форма имени Мацерин значит «худенький». А теперь, преподобный отец, слову Мазарини с полным основанием можно придать значение «худой» в увеличительной степени, худой, как Лазарь.

И он показал монаху свои руки и ноги, иссушенные лихорадкой.

– Что вы родились в семействе рыбаков, в этом еще нет ничего плохого... Ведь и святой Петр был рыбаком; если вы кардинал, то он глава церкви. Далее!

– Тем более что я пригрозил Бастилией одному авиньонскому аббату, Бонне, который хотел опубликовать генеалогию дома Мазарини, такую удивительную...

– Что ей никто бы не поверил?..

– О преподобный отец, если б причина была в этом, мой грех был бы очень тяжкий... грех гордыни...

– То был излишек ума, и за это никого нельзя упрекнуть. Далее!

– На чем мы остановились? Да, на гордыне... Я хочу все распределить по смертным грехам.

– Мне нравятся точные разделения.

– Очень рад. Надо вам сказать, что в тысяча шестьсот тридцатом году... увы, тридцать один год тому назад...

– Вам тогда было двадцать девять лет.

– Пылкий возраст. Я изображал из себя солдата и в Испании участвовал в перестрелках, чтобы показать, что езжу верхом не хуже любого офицера.

Правда, надо добавить, что благодаря мне между испанцами и французами был заключен мир. Этим немного искупается мой грех.

– Не вижу греха в желании показать, что мастерски едешь верхом. Это очень хорошо, и вы принесли честь монашескому званию. Как христианин – я хвалю, что вы остановили пролитие крови; как монах – горжусь мужеством, проявленным моим товарищем.

Мазарини скромно кивнул головою.

– Правда, – сказал он, – но последствия...

– Какие последствия?

– О, смертный грех гордыни всегда влечет за собою неисчислимые последствия... С той минуты, как я очутился между двух армий, понюхал порошу, проехал по фронту, я стал презирать генералов!

– А!

– Вот где зло!.. И с тех пор я не мог найти ни одного сносного.

– По правде сказать, у нас и не было замечательных полководцев, – заметил монах.

– О! – вскричал Мазарини. – У нас был принц Конде... Я долго мучил его!

– О нем нечего жалеть: у него достаточно славы и богатства.

– Хорошо, а Бофор, которого я заставил так сильно страдать в Венсенской башне?

– А! Но ведь он был мятежником, и безопасность государства требовала, чтобы вы принесли эту жертву... Далее!

– Кажется, я все сказал о гордыне. Есть другой грех, который я даже не смею назвать...

– Я дам ему название. Говорите!

– Вы, вероятно, слышали о моих близких отношениях с ее величеством королевой-матерью... Злые языки...

– Злые языки просто глупы... Для блага государства и ради молодого короля вы должны были жить в добром согласии с королевой... Далее, далее!

– Вы сняли с меня тяжелое бремя, уверяю вас, – сказал Мазарини.

– Все это сущая безделица... Переходите к серьезным вещам.

– Честолюбие, преподобный отец.

– Честолюбие – причина всех великих даяний, монсеньер.

– Я домогался тиары...

– Быть папой – значит быть первым из христиан. Почему не могли вы этого желать?

– Заявляли печатно, что для этой цели я даже продал Камбре испанцам.

– Вы, может быть, сами заказывали эти пасквили, чтобы проявить милосердие к авторам?

– В таком случае, преподобный отец, я дышу свободнее. Теперь остаются только мелкие грехи.

– Говорите.

– Страсть к игре в карты.

– Ну, она, конечно, носит несколько светский характер, но держать открытый дом обязывало вас звание.

– Я любил выигрывать...

– Кто же играет с намерением проиграть?

– Я иногда немного плутовал.

– Вы хотели обыграть партнера. Далее!

– Если так, преподобный отец, то у меня на совести уже не осталось ничего. Дайте же мне отпущение грехов, и душа моя, когда господь призовет ее, возлетит прямо на небо...

Монах сидел неподвижно.

– Чего вы ждете, преподобный отец? – спросил Мазарини.

– Конца вашей исповеди.

– Я кончил.

– О нет! Вы ошибаетесь.

– Право, не знаю!

– Припомните хорошенько!

– Я припомнил все, что мог.

– Тогда я помогу вашей памяти.

– Извольте.

Монах кашлянул несколько раз.

– Вы ничего не сказали ни о скупости, которая тоже смертный грех, ни об этих миллионах...

– О каких миллионах, преподобный отец?

– О тех, которыми вы обладаете, монсеньер.

– Преподобный отец, эти деньги мои. Зачем же говорить вам о них?

– Видите ли, наши мнения на этот счет расходятся. Вы думаете, что эти деньги принадлежат вам, а я полагаю, что они принадлежат отчасти и другим.

Мазарини поднес холодную руку ко лбу, с которого струился пот.

– Как так? – пробормотал он.

– А вот как. Вы нажили значительное состояние на службе королю?

– Значительное... гм!.. Но не чрезмерное...

– Все равно. Откуда получали вы доходы?

– От государства.

– Государство – это король.

– Что вы хотите этим сказать, преподобный отец? – спросил Мазарини с дрожью.

– Ваши аббатства дают вам не меньше миллиона в год. С кардинальским и министерским жалованьем вы получаете более двух миллионов ежегодно.

– О!

– За десять лет это составляет двадцать миллионов – двадцать миллионов, отданные в рост по пятидесяти процентов, приносят за десять лет еще двадцать миллионов.

– Для монаха вы прекрасно считаете.

– С тех пор, как в тысяча шестьсот сорок четвертом году вы изволили перевести наш орден в монастырь близ Сен-Жермен-де-Пре, я веду счета нашего братства.

– Да и мои тоже, как я замечаю.

– Надо знать понемногу обо всем, монсеньер.

– Так говорите же!

– Я полагаю, что с такою огромною ношей вам будет трудно войти в узкие ворота рая...

– Так я буду осужден?

– Да, если не возвратите денег.

Мазарини испустил жалобный вздох.

– Возвратить! Но кому?

– Хозяину этих денег, королю.

Вздохи Мазарини перешли в стоны.

– Дайте отпущение! – сказал он.

– Невозможно, монсеньер. Возвратите деньги!

– Но раз вы отпускаете мне все грехи, почему вы не хотите отпустить этого?

– Потому что, отпуская его, я сам совершу грех, которого король никогда мне не простит.

Монах встал с сокрушенным видом и вышел так же торжественно, как вошел.

– Боже мой! – простонал Мазарини. – Кольбер, подите сюда! Я очень болен, друг мой.

Глава 46. ДАРСТВЕННАЯ

Кольбер появился из-за занавесок.

– Вы слышали? – спросил Мазарини.

– Увы!

– Прав ли он? Разве все мои деньги – дурно приобретенная собственность?

– Монах – плохой судья в финансовых делах, монсеньер, – отвечал холодно Кольбер. – Однако невозможно, чтобы за вами, ваше преосвященство, с вашими идеями в области теологии, была какая-либо вина. Она всегда находится, когда умирают.

– Умереть – это и есть главная вина, Кольбер.

– Это верно, монсеньер. Так перед кем же вы все-таки виноваты, по мнению этого театинца?

– Перед королем.

Мазарини пожал плечами.

– Словно я не спас его государство и его финансы!

– Здесь нечего возразить, монсеньер.

– Не правда ли? Значит, я законно заработал награду, вопреки моему исповеднику?

– Вне всякого сомнения.

– И я могу сберечь для моей семьи, столь нуждающейся, немалую часть из всего, что я заработал?

– Я не вижу к этому никаких препятствий, монсеньер.

– Я был совершенно уверен, советуясь с вами, Кольбер, что услышу мудрое мнение, – радостно заметил Мазарини.

Кольбер с обычной строгостью поджал губы.

– Господин кардинал, – прервал Кольбер Мазарини, – надо хорошенько посмотреть, нет ли в словах монаха ловушки.

– Ловушки?.. Почему? Он честный человек.

– Он думал, ваше преосвященство, что вы умираете, раз послали за ним... Мне

показалось, он говорил вам: «Отделите данное вам королем от того, что вы сами взяли...» «Припомните хорошенько, не сказал ли он чего-нибудь подобного. Это похоже на монаха.

– Возможно.

– Если это так, то я думаю, монсеньер, что монах вынуждает вас...

– Возвратить все?.. Это невозможно!.. Вы говорите то же самое, что и мой духовник!

– Но если возвратить не все, а только долю его величества, это сопряжено с большой опасностью. Вы искусный политик и, верно, знаете, что теперь у короля в казне нет и полутораستا тысяч ливров наличных денег.

– Я не суперинтендант королевских финансов: у меня своя казна... Разумеется, я готов для блага короля... оставить ему сколько-нибудь... Но я не хочу обездолжить мое семейство. Это не мое дело, – сказал Мазарини с торжеством, – это дело суперинтенданта Фуке, все счета которого я дал вам проверить в течение последних месяцев.

Кольбер поджал губы при одном лишь упоминании имени Фуке.

– У его величества, – пробормотал он сквозь зубы, – есть лишь те деньги, которые копит Фуке; а ваши деньги, монсеньер, будут для него лекарством. Оставить часть – значит опозорить себя и оскорбить короля; это значит признать, что эта часть была приобретена незаконным путем.

– Господин Кольбер!..

– Я думал, что монсеньеру угодно выслушать мое мнение.

– Да, но вы не знаете всех подробностей.

– Я все знаю, господин кардинал. Вот уже десять лет, как я просматриваю все столбцы цифр, какие только пишутся во Франции; и если мне стоило большого труда вбить их себе в голову, зато они сидят там крепко, и я могу рассказать, сколько тратится денег от Шербура до Марселя, начиная с ведомства умеренного Летелье и кончая тайными расходами расточительного Фуке.

– Так вы хотите, чтобы я пересыпал все мои деньги в королевские сундуки! – насмешливо вскричал Мазарини, у которого подагра вырвала несколько тяжелых вздохов. – Король, конечно, не упрекнет меня, но он будет смеяться надо мною, растрачивая мои миллионы, и будет прав!

– Вы не поняли меня, монсеньер! У меня и в мыслях не было, чтобы король тратил ваши деньги.

– Но вы ясно дали это понять, советуя отдать ему мне мое имущество.

– Ах, монсеньер, – сказал Кольбер, – ваша болезнь так поглощает все ваши мысли, что вы совершенно забыли о характере его величества Людовика Четырнадцатого.

– Как так?

– Характером, если осмелюсь сказать правду, он очень похож на вас; основа его – гордость. Простите, монсеньер» высокомерие, хотел я сказать. У королей нет гордости – эта черта слишком свойственна роду человеческому.

– Вы правы.

– А если я прав, так вам, монсеньер, остается только отдать все деньги королю, притом сейчас же.

– Почему? – спросил Мазарини с величайшим любопытством.

– Потому, что король не примет всего.

– Не примет!.. Но у него нет денег, а честолюбие мучит его.

– Согласен...

– Он желает моей смерти.

– Монсеньер...

– Да, чтоб получить мое наследство, Кольбер. Да, он желает моей смерти ради наследства. А я еще стану помогать ему!

– Вот именно! Если дарственная будет написана в известной форме, он непременно откажется.

– Не может быть!

– Уверяю вас! Молодой человек, который еще ничего не совершил, который жаждет прославиться, и горит желанием управлять государством один, не примет ничего готового: он захочет создавать сам. Этот принц, монсеньер, не удовольствуется дворцом Пале-Рояль, который оставил ему в наследство Ришелье, ни дворцом Мазарини, который так великолепно построен по вашему велению, ни Лувром, где обитали его предки, ни Сен-Жерменским дворцом, где родился он сам. Все, что будет исходить не от него, он станет презирать, предсказываю вам это.

– Вы ручаетесь, что король, если я подарю ему мои сорок миллионов...

– Непременно откажется, если вы кое-что добавите при этом.

– Что же именно?

– Именно то, что монсеньер пожелает мне продиктовать.

– Но какая же мне от этого выгода?

– Огромная. Перестанут несправедливо обвинять вас в скупости, в которой авторы пасквилей упрекали знаменитейшего мужа нашего века.

– Ты прав, Кольбер. Пойди от моего имени к королю и отдай ему мое завещание.

– То есть дарственную?

– А если он примет?

– Тогда вашему семейству останется тринадцать миллионов – порядочная сумма.

– В таком случае ты либо предатель, либо глупец.

– Ни то, ни другое, монсеньер... Вы очень боитесь, мне кажется, что король примет деньги? Опасайтесь скорее, что он не возьмет их.

– Если он не примет, я отдам ему мои запасные тринадцать миллионов...

Да, отдам!.. Ох, боль опять начинается... Я сейчас потеряю сознание...

Ах, я очень болен, Кольбер... Знаешь ли, я очень близок к смерти.

Кольбер вздрогнул.

Кардинал действительно чувствовал себя очень плохо: пот тек с него ручьями на страдальческое ложе, и ужасающая бледность этого залитого влагой лица являла зрелище, какое самый очерствелый врач не мог бы видеть без сострадания. Кольбер был, безусловно, очень взволнован, ибо покинул комнату, призвав Бернуина к изголовью умирающего, и вышел в коридор.

Там, расхаживая взад и вперед с задумчивым выражением, придающим даже какое-то благородство его грубым чертам, опустив плечи, вытянув шею, с полуоткрытыми губами, с которых время от времени слетали бессвязные обрывки беспорядочных мыслей, он набирался смелости для шага, какой намерен был предпринять, тогда как в десяти шагах от него, отделенный одною лишь стеною, его господин задыхался в страшных муках, вырывавших у него жалобные крики, не думая более ни о сокровищах земли, ни о радостях рая, но лишь обо всех ужасах ада.

Пока Гено, призванный опять к кардиналу, старался помочь ему всевозможными средствами, Кольбер, сжимая обеими руками свою большую голову, обдумывал текст дарственной, которую надо было заставить кардинала подписать, как только страдания дадут ему хоть маленькую передышку. Казалось, стоны кардинала и посягательства смерти на этого представителя прошлого подстрекали ум молодого мыслителя.

Кольбер прошел к Мазарини, как только сознание вернулось к больному, и убедил его продиктовать следующую дарственную:

«Готовясь предстать перед владыкой небесным, прошу короля, земного моего властелина, принять от меня обратно богатства, которыми он в своей доброте наградил меня. Семейство мое будет счастливо, что они переходят в столь знаменитые руки. Опись моего имущества уже изготовленная, будет представлена его величеству по первому его требованию или при последнем вздохе преданнейшего его слуги

кардинала Мазарини»

Кардинал вздохнул и подписал, Кольбер запечатал пакет и отвез его в Лувр, где находился король.

Потом он вернулся домой, потирая руки, как работник, уверенный, что день не пропал даром.

Глава 47.

КАК АННА АВСТРИЙСКАЯ ДАЛА ЛЮДОВИКУ ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ОДИН СОВЕТ, А Г-Н ФУКЕ – СОВСЕМ ИНОЙ

Слухи о тяжелом состоянии кардинала распространились быстро и привлекли в Лувр столько же посетителей, сколько и известие о женитьбе брата короля, герцога Анжуйского, о которой уже было объявлено официально.

Едва успел Людовик XIV вернуться во дворец и обдумать все виденное и слышанное в этот вечер, как слуга доложил ему, что толпа придворных, которая утром присутствовала при его вставании, опять явилась к его отходу ко сну. Этот знак почтения придворные оказывали обычно кардиналу, мало заботясь о том, нравится ли это королю.

Но у министра, как мы уже сказали, был сейчас тяжелый приступ подагры, и раболепство придворных тотчас обратилось к трону.

Придворные куртизаны обладают великолепным инстинктом чутя все события заранее. Они владеют высшими познаниями: они дипломаты, чтобы находить грандиозные развязки запутанных обстоятельств; они полководцы, чтобы угадывать исход битв; они врачи, чтобы лечить болезни.

Людовик XIV, которому его мать преподала эту аксиому среди многих других, понял, что его преосвященство монсеньер кардинал Мазарини очень болен.

Анна Австрийская, проводив молодую королеву в ее покои и освободившись от тяжелой парадной прически, прошла в кабинет к сыну, где тот, в мрачном одиночестве, с растерзанным сердцем, переживал один из тех немых и ужасных приступов королевского гнева, которые, разражаясь, чреваты бурными последствиями, но у Людовика XIV, благодаря его удивительному самообладанию, они превращались в легкие грозы.

Смотрясь в зеркало, Людовик говорил себе:

– Король... Король только по названию, а не в действительности!..

Призрак, пустой призрак!.. Безжизненная статуя, которой кланяются одни льстецы! Когда же ты поднимешь свою бархатную руку и сожмешь шелковые пальцы? Когда ты раскроешь не для вздоха и не для улыбки свой рот, осужденный на бессмысленное молчание мраморных изваяний дворцовых галерей?

Он провел рукой по лбу; желая освежиться, подошел к окну и увидел нескольких всадников, разговаривавших между собою, и небольшую группу любопытных. Всадники составляли отряд ночной стражи, а для собравшейся кучки народа король – вечный предмет любопытства, вроде носорога, крокодила или змеи.

Король ударил себя по лбу и воскликнул:

– Король французский! Какой титул! Народ французский! Какая масса людей!.. И вот я возвращаюсь в Лувр, лошади мои еще не остыли, а в ком я возбудил любопытство? Двадцать человек смотрят на меня... Что я говорю, двадцать? Нет и двадцати человек, интересующихся французским королем.

Нет даже десяти солдат на страже моего дворца: солдаты, народ, стража все в Пале-Рояле. Почему я, король, не могу получить этого?

– Потому, что в Пале-Рояле сосредоточено все золото, то есть вся сила человека, желающего царствовать, – ответил голос из-за портьеры в дверях кабинета.

Людовик быстро повернулся, узнав голос Анны Австрийской. Он вздрогнул и подошел к матери.

– Надеюсь, ваше величество, – сказал он, – вы не обратили внимания на пустые слова, вызванные уединением и скукою.

– Я обратила внимание только на одно, сын мой: вы жаловались.

– Я? О нет! – сказал Людовик XIV. – Нет, уверяю вас, нет, вы ошиблись.

– А что же вы делали?

– Я вообразил, что стою перед учителем и сочиняю ответ на заданную тему.

– Сын мой, – сказала Анна Австрийская, покачав головой, – вы напрасно не верите моим словам. Придет день, и может быть скоро, когда вам необходимо будет вспомнить закон: «В золоте заключено все могущество, и только тот король, кто всемогущ».

– Однако, – продолжал король, – вашим намерением ведь не было порицать богачи! века?

– О нет, – живо отозвалась Анна Австрийская – Нет, сир. Те, кто богат в наш век, под вашим владычеством, богат потому, что вы сами этого хотели, и у меня нет к ним ни злобы, ни зависти; они наверняка достойно послужили вашему величеству, если ваше величество дозволили им вознаградить самих себя. Вот что хотела я выразить словами, за которые, мне сдается, вы упрекаете меня.

– Богу не угодно, мадам, чтобы я когда-либо в чем-нибудь упрекнул свою мать.

– Притом же, – продолжала Анна Австрийская, – земное богатство недолговечно. Существуют страдания, болезни, смерть, и никто, – прибавила она с болезненной улыбкой, словно имея в виду себя, – не уносит богатства и величия с собой в могилу. Поэтому молодые пожинают то, что посеяли для них старики.

Людовик внимательно слушал слова королевы, старавшейся его утешить.

– Ваше величество, – сказал он, пристально взглянув на мать, – мне кажется, вы хотите прибавить еще что-то.

– Нет, ничего, сын мой. Но вы, верно, заметили сегодня вечером, что господин кардинал серьезно болен?

Людовик взглянул на мать, ища признаков волнения в ее голосе, грусти на ее лице. Лицо Анны Австрийской казалось расстроенным, но скорее от личных причин; может быть, ее беспокоили собственные болезни.

– Да, – сказал король, – господин кардинал очень болен.

– Великую потерю понесет государство, если господь отзовет его высокопреосвященство. Не так ли, сын мой? – спросила Анна Австрийская.

– Да, конечно, ваше величество, государство понесет непоправимую утрату, – отвечал король, покраснев. – Но, кажется, болезнь господина кардинала неопасна, и он еще не стар.

Едва успел король договорить, как камердинер приподнял портьеру и появился на пороге с бумагой в руке, ожидая, чтобы король позвал его.

– Что такое? – спросил Людовик.

– Письмо от господина кардинала Мазарини.

– Дайте.

Он взял письмо и хотел его распечатать, как вдруг послышался сильный шум в галерее, в передних и во дворе.

– О! – проговорил Людовик, видимо разгадавший причину поднявшегося шума. – Я говорил, что во Франции один король! Я ошибся: во Франции их целых два!

В эту минуту дверь распахнулась, и суперинтендант финансов Фуке предстал перед Людовиком XIV. Это он был причиной суматохи в галерее, это его лакеи шумели в передних, это его лошади проскакали по двору. Его появление вызвало тот особый гул голосов, которому завидовал Людовик XIV.

– Это не король, – заметила Анна Австрийская сыну, – а всего лишь очень богатый человек.

Горечь, звучащая в словах королевы, выдавала ее ненависть. Но Людовик оставался совершенно хладнокровным. На лбу его не появилось ни малейшей морщинки.

Он приветливо кивнул головою Фуке, продолжая распечатывать письмо, поданное камердинером. Фуке заметил это движение и спокойно, с почтительной любезностью, подошел к Анне Австрийской, чтобы не помешать королю.

Людовик, однако, не начинал читать бумагу.

Он слушал, как Фуке говорил королеве комплименты, восторгаясь красотой ее рук. Лицо Анны Австрийской прояснилось; она почти улыбалась.

Фуке заметил, что король, забыв о письме, смотрит на него и слушает.

Он тотчас изменил позу и, продолжая разговор с королевой, повернулся лицом к королю.

– Вы знаете, господин Фуке, – сказал Людовик XIV, – что монсеньер очень плох?

– Знаю, ваше величество, – отвечал Фуке. – В самом деле, господин кардинал очень плох. Я был у себя в имении в Во, когда получил настолько тревожное известие, что тотчас все бросил.

– Вы выехали из Во сегодня вечером?

– Полтора часа тому назад, ваше величество, – отвечал Фуке, взглянув на свои часы, осыпанные брильянтами.

– Полтора часа! – повторил король, умевший лучше скрывать свой гнев, чем удивление.

– Понимаю, государь. Вы сомневаетесь в моих словах, ваше величество; но я приехал так скоро в Париж действительно чудом. Мне прислали из Англии три пары удивительных лошадей; я велел расставить их через каждые четыре лье и попробовал их сегодня вечером. Они пробежали расстояние от Во до Лувра в полтора часа; как видите, ваше величество, меня не обманули.

Королева улыбнулась с тайной завистью. Фуке постарался предупредить ее неудовольствие:

– Такие лошади, государыня, созданы не для подданных, а для королей, потому что короли ни в чем не должны уступать никому.

Король поднял голову.

– Однако же вы, как мне кажется, не король, господин Фуке, – сказала Анна Австрийская.

– Поэтому-то лошади только и ждут знака его величества, чтобы занять место в конюшнях Лувра. Если я попробовал их, то только из опасения поднести его величеству недостаточно ценную вещь.

Король густо покраснел.

– Вы знаете, господин Фуке, – заметила королева, – что при французском дворе нет обычая, чтобы подданные дарили что-нибудь королю.

Людовик посмотрел на нее.

– Я надеялся, – сказал Фуке взволнованно, – что моя преданность его величеству, мое постоянное усердие послужат противовесом требованиям этикета. Я, впрочем, предлагал не подарок, а дань почтения.

– Благодарю, господин Фуке, – любезно сказал король. – Благодарю за ваше намерение, я действительно люблю хороших лошадей, но я не богат; вы знаете это лучше всех, потому что заведуете моими финансами. Как бы я ни хотел, я не могу купить таких дорогих лошадей.

Фуке бросил надменный взгляд в сторону королевы-матери, которая, казалось, была в восторге от того ложного положения, в каком оказался министр, и отвечал:

– Роскошь – это добродетель королей, сир. Это роскошь делает их похожими на бога; это из-за роскоши они стоят выше прочих людей. Роскошью король вскармливает своих подданных и их честь. В нежном тепле роскоши королей рождается роскошь частных лиц, источник богатств для народа. Его величество, приняв в дар этих коней несравненной красоты, задевает самолюбие коневодов нашей страны – Лимузен, Периге, Нормандия: такое соревнование полезно для них... Но король молчит, и следовательно, я осужден.

Между тем Людовик XIV все еще вертел в руках письмо Мазарини, не глядя на него. Наконец его взгляд остановился на нем» и, прочитав первую строчку, король вскрикнул.

– Что с вами, сын мой? – спросила Анна Австрийская, подходя к королю.

– Письмо как будто от кардинала, – сказал король, продолжая читать. Да, действительно от кардинала!

– Что, ему хуже?

– Прочтите сами, – предложил король, передавая листок королеве.

Анна Австрийская, в свою очередь, прочла письмо. По мере того как она читала, в ее глазах загоралась радость, которую она тщетно старалась скрыть от взглядов Фуке.

– О! Да это дарственная! – воскликнула королева.

– Дарственная? – переспросил Фуке.

– Да, – отвечал король суперинтенданту финансов. – Господин кардинал, чувствуя приближение смерти, передает мне свое состояние.

– Сорок миллионов! – продолжала королева. – Ах, сын мой! Какой благородный поступок со стороны кардинала! Он пресекает все дурные слухи. Эти сорок миллионов, медленно собранные, вольются сразу в королевскую казну: вот верный подданный и истинный христианин.

Прочитав еще раз бумагу, королева возвратила ее Людовику, который вздрогнул, услышав названную королевой огромную сумму. Фуке, отступивший на несколько шагов, молчал.

Король посмотрел на него и подал ему письмо. Суперинтендант поклонился и сказал, едва взглянув на бумагу:

– Да, я вижу, это дарственная.

– Надо ответить, сын мой, – сказала Анна Австрийская, – ответить сейчас же.

– Как ответить, ваше величество?

– Поехать к кардиналу.

– Но ведь не прошло и часа, как я вернулся от его высокопреосвященства, – возразил король.

– Так напишите ему, сын мой.

– Написать! – с отвращением воскликнул король.

– Но, мне кажется, – продолжала Анна Австрийская, – человек, предлагающий такое сокровище, имеет право на немедленную благодарность.

Потом, повернувшись к Фуке, она спросила:

– Не так ли, господин Фуке?

– Подарок стоит того, государыня, – ответил Фуке со сдержанностью, не ускользнувшей от внимания короля.

– Так примите и поблагодарите, сын мой, – сказала королева настойчиво.

– А что думает господин Фуке?

– Вы хотите знать мое мнение, государь?

– Да.

– Поблагодарите, но не принимайте подарка, ваше величество, – проговорил Фуке.

– А почему? – спросила королева.

– Вы сами сказали, государыня: короли не могут или не должны принимать подарков от своих подданных.

Король молча выслушал эти противоречивые советы.

– Сударь, – возразила Анна Австрийская, – вы не только не должны отговаривать короля от принятия этих денег, но даже обязаны, по вашему званию, разъяснить его величеству, что эти сорок миллионов – для него богатство.

– Именно потому, что эти сорок миллионов – богатство, я должен сказать королю: «Ваше величество, если неприлично королю принять от подданного шестерку лошадей ценою в двадцать тысяч ливров, то еще неприличнее принять целое состояние от другого подданного, не всегда разборчивого по части средств, которыми это состояние создано».

– Вам не подобает, сударь, учить короля, – сказала Анна Австрийская.

– Доставьте ему сами сорок миллионов, которых вы хотите лишить его.

– Король получит их, когда пожелает, – произнес с поклоном суперинтендант финансов.

– Да, изнулив народ налогами, – ответила Анна Австрийская.

– А разве не из народа выжаты сорок миллионов, указанные в дарственной? Его величество хотел знать мое мнение, и я высказал его. Если король пожелает моего содействия,

я готов усердно служить ему.

– Примите, примите, сын мой, – опять повторила Анна Австрийская. – Вы выше толков и пересудов.

– Откажитесь, ваше величество, – сказал Фуке. – Пока король жив, у него одна преграда – совесть, один судья – его воля. Но после смерти его судит потомство, которое оправдывает или обвиняет его.

– Благодарю, ваше величество, – сказал Людовик, почтительно кланяясь королеве. – Благодарю, – прибавил он, прощаясь с Фуке.

– Вы примете? – спросила Анна Австрийская.

– Я подумаю, – ответил король, взглянув на Фуке.

Глава 48. АГОНИЯ

Отослав дарственную королю, кардинал приказал в тот же день перевезти себя в Венсен. Король и двор отправились за ним туда же. Последние лучи этого светила были еще так ярки, что побеждали блеск других огней. Болезнь усилилась, как и предсказывал Гено; кардинал боролся уже не с подагрой, а со смертью. Не менее смерти мучил его страх, что король примет предложенный ему подарок, хотя Кольбер продолжал утверждать, что король возвратит деньги.

Чем долее не возвращалась дарственная, тем чаще Мазарини думал, что ради сорока миллионов стоило кое-чем рискнуть, особенно такою сомнительною вещью, как душа. В качестве Кардинала и первого министра Мазарини был почти что атеистом и, уж во всяком случае, материалистом.

Он оглядывался на дверь при каждом скрипе, воображая, что к нему возвращается его несчастная дарственная; но, обманувшись в надежде, опять со вздохом откидывался на постели и чувствовал боль еще сильнее, после того как на минуту забывал о ней.

Анна Австрийская отправилась вслед за кардиналом; хотя сердце ее и очерствело к старости, она не могла отказать умирающему в изъявлении скорби – в качестве женщины, по словам одних, в качестве государыни, по словам других. Она заранее, если можно так выразиться, облекла в траур свое лицо, и весь двор подражал ей.

Людовик, не желая показывать, что происходило в его душе, совершенно не выходил из своей комнаты, где с ним сидела одна его кормилица. Чем более приближался час его независимости, тем более скромным и терпеливым он становился, тем более уходил в себя, как все сильные люди, имеющие определенную цель и собирающиеся с силами для решительной минуты.

Кардинал тайно соборовался. Верный своей привычке все скрывать, он боролся с очевидностью и, лежа в постели, принимал гостей, как будто у него было временное недомогание. Гено, с своей стороны, никому ничего не говорил; когда ему надоедали расспросы, он отвечал только:

– Кардинал еще не стар и полон сил. Но судьба неотвратима. Если суждено человеку умереть, то он непременно умрет.

Он ронял слова скупой и осторожно, и особенно тщательно взвешивали их два человека: король и кардинал.

Мазарини, несмотря на предсказания Гено, все еще хранил надежду, или, лучше сказать, так мастерски играл свою роль, что самые тонкие хитрецы, утверждая, что кардинала обманывают надежды, сами казались обманутыми кардиналом.

Людовик, не видевший кардинала уже два дня, неотступно думал о сорока миллионах, которые так терзали Мазарини. Он тоже не знал истинного состояния здоровья первого министра.

Сын Людовика XIII, следуя отцовским традициям, до сих пор был столь мало королем, что, страстно жаждая королевской власти, он жаждал ее с тем страхом, какой всегда

сопровождает неизвестность.

Приняв тайно от всех определенное решение, он попросил свидания у Мазарини. Анна Австрийская, не отходявшая от больного, первая услышала о желании короля и передала его встревожившемуся кардиналу.

С какой целью Людовик XIV просит у него свидания? Для того чтобы возратить деньги, как полагал Кольбер? Или чтобы поблагодарить за подарок и оставить их у себя, как думал сам Мазарини? Чувствуя, что неизвестность убьет его, умирающий не колебался ни минуты.

– Буду счастлив видеть его величество! – воскликнул он, делая знак Кольберу, который сидел у постели больного и сразу его понял. – Ваше величество, – продолжал Мазарини, обращаясь к королеве, – не откажите уверить короля в полной искренности моих слов.

Анна Австрийская встала. Ее тоже волновала судьба этих сорока миллионов, о которых все сейчас втайне думали.

Когда она вышла, Мазарини с трудом приподнялся и сказал секретарю:

– Ах, Кольбер, какие ужасные дни!.. Два убийственных дня! И ты видишь: бумага не возвращается.

– Терпение, – отвечал Кольбер.

– Ты с ума сошел! Говорить мне о терпении! О Кольбер, ты смеешься надо мною; я умираю, а ты советуешь мне ждать!

– Монсеньер, – сказал Кольбер с обычным хладнокровием, – не может быть, чтобы вышло не так, как я предсказывал. Король желает видеть вас; это значит, что он лично возвратит вам дарственную.

– Ты думаешь?... А я уверен, что он хочет поблагодарить меня.

В эту минуту вернулась Анна Австрийская: по дороге к сыну она встретила в передней нового лекаря, предлагавшего свои услуги для спасения кардинала. Анна Австрийская принесла один порошок на пробу.

Но Мазарини ждал не этого; он даже не взглянул на порошок.

– Ах, ваше величество, – сказал он, – не в лекарстве дело! Два дня тому назад я предложил королю небольшой подарок. До сих пор, вероятно из деликатности, его величество не хотел говорить о нем; но настала минута для объяснений, и я умоляю вас, государыня, сказать мне: решился ли король на что-нибудь в этом деле?

Королева хотела ответить. Мазарини остановил ее.

– Говорите правду! Ради всего святого-правду! Не льстите умирающему несбыточной надеждой!

В эту минуту он поймал взгляд Кольбера, говоривший, что он собирается сделать неверный шаг.

– Я знаю, – отвечала Анна Австрийская, взяв кардинала за руку, – вы великодушно предложили королю не небольшой подарок, как вы говорите из скромности, а огромную сумму. Знаю, как вам будет тяжело, если король...

Умирающий Мазарини слушал ее с большим вниманием, чем десять здоровых людей.

– Если король... – пробормотал он.

– Если король, – продолжала Анна Австрийская, – не примет дара, который вы ему предлагаете от души.

Мазарини откинулся на подушку с отчаянием человека, отказавшегося от всякой борьбы. У него хватило сил и присутствия духа бросить на Кольбера один из тех взглядов, которые стоят десяти длинных поэм.

– Не правда ли, – прибавила королева, – вы сочли бы отказ короля за оскорбление?

Мазарини метался в постели, не произнося ни слова. Королева не поняла или притворялась, что не понимает его.

– Поэтому, – сказала она, – я постаралась помочь королю добрым советом. Нашлись люди, завидующие той славе, какую покроет вас этот великодушный поступок. Они старались внушить королю, что ему не следует принимать вашего подарка; но я боролась за вас, и так удачно, что, кажется, вам не придется перенести горечи отказа.

– Ах, – прошептал Мазарини, обращая на нее мутный взгляд, – вот услуга! Я ни на минуту не забуду ее в те немногие часы, которые мне остается прожить!

– Надо признаться, что эта услуга стоила мне большого труда.

– Ах, проклятье! Я думаю!

– Что с вами?

– Горю! Горю!

– Вы очень мучаетесь?

– Как в аду!

Кольбер готов был провалиться сквозь землю.

– Вы думаете, – спросил Мазарини у королевы, – вы думаете, что его величество... – он остановился на секунду, – что его величество придет поблагодарить меня?

– Да, – ответила королева.

Мазарини пронзил Кольбера огненным взглядом.

В эту минуту доложили о появлении короля в передних, полных посетителей. Кольбер воспользовался суматохой и исчез в проходе за кроватью кардинала. Анна Австрийская стоя ждала сына. Людовик XIV, войдя в дверь, устремил глаза на умирающего. Кардинал не пожелал даже повернуться к королю, от которого он уже ничего не ожидал.

Камердинер придвинул кресло к кровати. Людовик XIV поклонился королеве, кардиналу и сел. Королева тоже села.

Король оглянулся. Камердинер понял его взгляд и подал знак придворным, которые тотчас удалились. В спальне воцарилась тишина. Молодой король, всегда робевший перед тем, кто был его учителем в юности, чувствовал еще больше почтения к нему в торжественную минуту смерти. Поэтому он не решался начать разговор сам, сознавая, что теперь каждое слово должно иметь особенное значение, не только для этого, но и для потустороннего мира.

Кардинала в это время мучила только одна мысль – о дарственной. Причиной его истерзанного вида и угрюмого взгляда были не страдания, а томительное ожидание: вот сейчас король поблагодарит его и убьет сразу всякую надежду на возвращение денег.

Мазарини первый нарушил молчание.

– Ваше величество тоже переехали в Венсен? – опросил он.

Король кивнул головой.

– Вы оказали лестную милость умирающему, – продолжал Мазарини, – я умру спокойнее.

– Надеюсь, – отвечал король, – что я пришел не к умирающему, а к больному, который может выздороветь.

Мазарини покачал головой.

– Последнее посещение, – сказал он, – да, последнее!

– Если бы это было так, – отвечал король, – я пришел бы в последний раз попросить совета у руководителя, которому я всем обязан.

Анна Австрийская была женщиной: она не могла сдержать слез. Людовик тоже казался растроганным, но более всех был взволнован Мазарини, хотя совсем по иной причине. Наступило молчание. Королева отерла слезы. Король успокоился.

Мазарини пожирал короля глазами, чувствуя, что наступает решительная минута.

– Я говорил, – продолжал король, – что многим обязан вашему преосвященству. Главная цель моего посещения, господин кардинал, – поблагодарить вас от души за последнее доказательство дружбы, которое я получил.

Щеки кардинала ввалились, рот раскрылся, и он едва сдержал такой тяжелый вздох, какого не издавал за всю жизнь.

– Ваше величество, – сказал он, – я всего лишь мое бедное семейство, разорю всех моих родственников. Это мне вменяют в вину, но зато никто не скажет, что я отказался пожертвовать всем ради моего короля.

Анна Австрийская опять заплакала.

– Любезный кардинал, – возразил король с такою серьезностью, какой, при его молодости, нельзя было от него ожидать. – Мне кажется, вы плохо поняли меня.

Мазарини приподнялся на локте.

– Никто не собирается разорять ваше семейство и обирать ваших родственников... Нет, этого никогда не будет!

«Король расчувствуется и станет щедрым, – подумала королева. – Мы не дадим ему отступить; подобный удачный случай никогда более не представится».

Мазарини подумал: «О, он, верно, возвратит мне какие-нибудь крохи из этих миллионов; постараемся вырвать у него кусок побольше».

– Ваше величество, – сказал он вслух, – семейство у меня большое, и племянницы мои подвергнутся лишениям, когда меня не будет на свете.

– О, не беспокойтесь, – поспешно возразила королева, – не беспокойтесь о своем семействе. Самыми драгоценными нашими друзьями будут ваши друзья. Племянницы ваши будут моими дочерьми, сестрами короля; он осыплет милостями всех тех, кого вы любите.

«Слова! – подумал Мазарини, знавший лучше всех, чего стоят обещания королей.

Людовик угадал мысль умирающего.

– Успокойтесь, любезный господин Мазарини, – сказал он с печальной и насмешливой улыбкою. – Лишившись вас, племянницы ваши потеряют свое главное сокровище, но они все же останутся богатейшими наследницами во Франции. Вы предложили мне их приданое...

У кардиналахватило дух.

– Но я возвращаю его им, – продолжал король, подавая умирающему дарственную, мысль о которой в продолжение двух дней терзала Мазарини.

– А! Что я вам говорил, господин кардинал? – прошептал за кроватью голос, легкий, как ветерок.

– Ваше величество возвращает мне дарственную! – вскричал Мазарини, пришедший от радости в такое волнение, что он даже забыл свою роль благодетеля.

– Ваше величество возвращает сорок миллионов! – воскликнула королева, до того пораженная, что забыла свою роль убитой горем женщины.

– Да, ваше величество, да, господин кардинал, – сказал король, разрывая бумагу, которую Мазарини все еще не решался взять. – Да, я уничтожаю акт, который разоряет целую семью. Состояние, нажитое кардиналом у меня на службе, принадлежит ему, а не мне.

– Но, ваше величество, подумали ли вы, – возразила Анна Австрийская, – что у вас в казне нет и десяти тысяч экю?

– Дорогая матушка, я совершил свой первый королевский поступок и надеюсь, что он послужит хорошим началом моего царствования.

– О, вы правы! – вскричал Мазарини. – Это поступок поистине величественный, поистине великодушный.

И он принялся тщательно разглядывать один за другим клочки бумаги, упавшие к нему на кровать, желая убедиться, что разорван действительно подлинник, а не копия. Наконец он нашел клочок со своей подписью и, узнав ее, от радости чуть не в обмороке откинулся на подушки.

Анна Австрийская, не в силах скрыть своего огорчения, подняла глаза и руки к небу.

– Ах, ваше величество! – повторял Мазарини. – Как вас будут благословлять, как вас будут любить в моем семействе. Perbacco¹³, если кто-нибудь из моих родственников подаст вам повод к неудовольствию, нахмурьте только брови – я тотчас встану из могилы.

Но эта выходка не произвела ожидаемого впечатления. Мысль Людовика обратилась на другие, более важные предметы. Анна Австрийская, чувствуя себя не в силах скрыть досаду по поводу великодушия сына и лицемерия кардинала, встала и вышла из комнаты, не заботясь о том, что выдает свои чувства.

Мазарини все понял и, боясь, как бы Людовик XIV не переменял своего решения, вдруг

разразился столами, чтобы отвлечь внимание в другую сторону. Так поступил позже Скапен в замечательной комедии Мольера, которую осмеливался порицать мрачный и ворчливый Буало.

Понемногу все же стоны стихли, а когда Анна Австрийская вышла, они совсем прекратились.

– Господин кардинал, не желаете ли вы подать мне какой-нибудь совет?

– спросил король.

– Ваше величество, – отвечал Мазарини, – вы уже сейчас воплощение мудрости и благоразумия, я не говорю о вашем великодушии: сегодняшний ваш поступок превосходит все, что совершили древние и современные великие люди.

Король холодно принял эти похвалы.

– Вы ограничиваетесь одной благодарностью, – сказал он. – Но неужели ваша опытность, которая гораздо более известна, чем моя мудрость, благоразумие и великодушие, не подсказывают вам дружеского совета, полезного мне в будущем?

Мазарини задумался на минуту.

– Ваше величество так много сделали для меня, вернее, для моего семейства.

– Не будем говорить об этом, – ответил король.

– И я хочу дать вам кое-что взамен сорока миллионов, от которых вы так великодушно, истинно по-королевски отказались.

Людвиг XIV показал жестом, что вся эта лесть тяготит его.

– Я хочу, – продолжал Мазарини, – дать вам один совет, да, совет, который драгоценнее сорока миллионов. Выслушайте его.

– Слушаю.

– Приблизьтесь, ваше величество, потому что я слабею. Ближе, ближе!

Король наклонился к больному.

– Ваше величество, – сказал Мазарини так тихо, что, казалось, лишь могильное дыхание долетало до напряженного слуха короля, – ваше величество, никогда не берите себе первого министра!

Людвиг выпрямился в изумлении. Совет походил на исповедь. Эта искренняя исповедь Мазарини действительно была драгоценнее всех сокровищ.

Наследство, завещанное кардиналом молодому королю, состояло только из шести слов, но эти шесть слов, как сказал Мазарини, стоили, по крайней мере, сорока миллионов. Людвиг на минуту смутился. А у Мазарини был такой вид, словно он сказал самую обыкновенную вещь.

– Кроме вашего семейства, вы никого мне не поручаете? – спросил король.

За пологом кровати послышался шорох.

Мазарини понял.

– Да, да, – сказал он, – я хочу рекомендовать вашему величеству одного человека, умного, честного, очень искусного...

– Как его зовут?

– Вы почти не знаете его имени. Это господин Кольбер, управляющий моими делами. Испытайте его, – убежденно продолжал Мазарини, – все его предсказания оправдываются. У него верный взгляд, он ни разу не ошибся ни в оценке событий, ни в людях, что еще более удивительно. Я многим обязан вашему величеству, но думаю, что отблагодарю вас, если оставлю вам господина Кольбера.

– Хорошо, – сказал Людвиг XIV рассеянно; он вовсе не знал имени Кольбера и принимал воодушевленные слова кардинала за бред умирающего.

Мазарини упал на подушки.

– А теперь прощайте, ваше величество... Прощайте! – прошептал Мазарини. – Я устал, я должен еще совершить трудный путь, прежде чем я предстану перед новым своим властелином. Прощайте, ваше величество.

Молодой король, чувствуя, что на глаза навертываются слезы, наклонился к кардиналу,

который уже казался трупом, а затем поспешно вышел.

ЧАСТЬ II

Глава 1. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ КОЛЬБЕРА

Ночь прошла в томлении для умирающего и для короля: умирающий ждал избавления, король – свободы.

Людовик не ложился. Через час после того, как король вышел из спальни кардинала, он узнал, что умирающий, почувствовав себя лучше, приказал себя одеть, нарумянить и причесать и пожелал принять послов. Подобно Августу, кардинал считал мир огромным театром и намеревался сыграть как следует последний акт своей комедии.

Анна Австрийская не появлялась больше у кардинала, ей нечего было делать у него. Предлогом ее отсутствия были соображения приличия. Впрочем, кардинал не осведомлялся о ней: он хорошо запомнил совет, данный королевой сыну.

Около полуночи, когда румяна еще не сошли со щек Мазарини, у него началась агония. Он снова перечитал завещание. Оно вполне выражало его желания. Боясь, чтобы чья-либо корыстная воля, пользуясь его слабостью, не заставила его что-нибудь изменить в завещании, он приказал Кольберу, который прохаживался по коридору перед спальней умирающего, как самый бдительный часовой, никого не впускать к нему.

Король, запершись у себя, каждый час посылал кормилицу в покои Мазарини с приказанием доставлять ему самые точные сведения о состоянии кардинала. Узнав, что Мазарини дозволил одеть, причесать и убрать себя, принял послов, Людовик понял, что для кардинала началась отходная молитва.

В час пополуночи Гено испробовал последнее средство, считавшееся сильнодействующим. В те времена воображали, что против смерти есть еще какие-то тайные снадобья.

Мазарини, приняв это средство, успокоился минут на десять. Он сейчас же распорядился пустить слух, что произошел счастливый перелом болезни.

Когда король узнал эту новость, холодный пот выступил у него на лбу. Он уже видел зарю свободы, рабство показалось ему теперь еще более невыносимым. Но следующее известие совершенно меняло картину: кардинал едва дышал и с трудом следил за молитвами, которые читал у его изголовья аббат из церкви св. Николая.

Король в сильном волнении начал ходить по комнате и на ходу просматривал бумаги, вынутые им из шкатулки, ключ от которой хранился только у него.

Кормилица вернулась в третий раз и сообщила, что Мазарини сказал каламбур и приказал покрыть лаком принадлежащую ему «Флору» Тициана.

Наконец, часа в два утра, король не мог преодолеть усталости: он не спал уже целые сутки. Сон, непобедимый в молодости, овладел им. Однако король не лег в постель: он заснул в кресле. Часа в четыре вошла кормилица и разбудила его.

– Ну? – спросил король.

– Ваше величество, – прошептала кормилица, соблезнующе сложив руки.

– Он умер!

Король быстро вскочил, словно его подбросила стальная пружина.

– Так ли это?

– Так.

– Кто сказал тебе?

– Господин Кольбер.

– А он знает это наверное?

- Он вышел из спальни и сказал, что сам прикладывал зеркало к губам кардинала.
- А, хорошо! – вырвалось у короля. – Но где же Кольбер?
- Он только что покинул спальню кардинала.
- И куда направился?
- Следом за мной.
- Так что он...

– Здесь, ваше величество, ожидает у ваших дверей, если вам угодно будет принять его. Людовик подбежал к двери, сам отворил ее и увидел в коридоре Кольбера, неподвижно стоявшего в ожидании. При виде этой статуи в черном король вздрогнул, затем сделал знак Кольберу следовать за ним.

– Что вы пришли сообщить мне, сударь? – спросил Людовик, смущенный тем, что догадались о его сокровенных мыслях, которые он не мог утаить.

- Господин кардинал скончался, ваше величество, и я принес вам его последнее прощание. Король задумался. Он внимательно смотрел на Кольбера, вспоминая слова кардинала.
- Вы были верным слугой его высокопреосвященства, о чем он сам мне говорил.
- Да, ваше величество.
- Вы посвящены в некоторые его тайны?
- Во все.

– Мне дороги друзья и слуги покойного кардинала, я позабочусь о том, чтобы вы были приняты ко мне на службу.

Кольбер наклонился.

– Вы, кажется, финансист?

– Да, ваше величество.

– Непосредственно моему дому вы, помнится, никогда не служили?

– Извините, ваше величество, я имел счастье подать господину кардиналу мысль об экономии, которая приносит казне вашего величества триста тысяч франков ежегодно.

– Какая же это экономия, сударь? – спросил Людовик XIV.

– Ваше величество изволите знать, что рота швейцарцев носит серебряное кружево на концах лент?

– Знаю.

– Я предложил пришивать к лентам кружево из фальшивого серебра; этого никто не может заметить, а на сто тысяч экю можно прокормить в течение шести месяцев полк и купить десять тысяч хороших мушкетов или построить корабль с десятью пушками.

– Правда, – заметил Людовик XIV, еще внимательнее всматриваясь в Кольбера. – По-моему, экономия очень уместная; смешно подумать, что солдаты носили такое же кружево, как вельможи.

– Я счастлив, что ваше величество одобрили мои действия, – ответил Кольбер.

– При кардинале вы вели только его дела? – спросил король.

– Его высокопреосвященство поручал мне еще проверять счета суперинтенданта финансов.

– А! – воскликнул Людовик XIV. Он собирался отпустить Кольбера, но последние слова заинтересовали его. – Покойный кардинал поручал вам контролировать счета господина Фуке? И каковы же результаты?

– Оказался дефицит, ваше величество. И если вы позволите...

– Говорите, господин Кольбер.

– Я должен дать вашему величеству некоторые объяснения.

– Нет, не надо. Вы же проверяли счета, скажите: каков итог?

– Это легко, ваше величество... Все пусто, денег нет.

– Будьте осторожны, сударь. Вы осуждаете управление господина Фуке, а он, по общему мнению, очень искусен в делах.

Кольбер покраснел, потом побледнел, чувствуя, что в эту минуту вступает в борьбу с человеком почти таким же могущественным, как умерший кардинал.

– Совершенно верно, ваше величество, он очень искусный человек, – отвечал Кольбер, низко кланяясь.

– Но если он искусный человек, а денег все-таки нет, то кто же виноват?

– Я никого не обвиняю, ваше величество, а только констатирую факты.

– Хорошо, составьте отчет и подайте его мне. Вы говорите, что есть дефицит? Но, может быть, это дефицит временный: кредит вернется, а с ним и деньги?

– Нет, ваше величество.

– Не в этом году, я понимаю, но, может быть, в будущем?

– Будущий год так же начисто съеден, как и текущий.

– Ну, еще через год.

– И он съеден.

– Что вы говорите, господин Кольбер?

– Я утверждаю, что истрачены доходы за четыре года вперед.

– Так придется сделать заем.

– Уже сделано три займа, ваше величество.

– Я создам новые должности и за них получу деньги.

– Невозможно, ваше величество: их создано слишком много. Откупщики приобрели их, но не исполняют своих обязанностей. К тому же господин суперинтендант получает с каждой из них треть, так что народ обирают, а ваше величество не извлекает из этого никакой пользы.

Король нетерпеливо двинулся с места.

– Объясните мне это, господин Кольбер.

– Ваше величество, выскажите яснее вашу мысль: каких объяснений вы желаете?

– Вы правы. Ясность прежде всего. Так вот. Если сегодня со смертью господина кардинала я стал королем и пожелаю получить деньги?

– Ваше величество их не получите.

– Странно! Как, мой суперинтендант не добудет мне денег?

Кольбер отрицательно покачал головой.

– Что же это значит? Неужели мы обременены такими долгами, что государственные доходы все равно что не существуют?

– Да, ваше величество.

Король нахмурил брови.

– Хорошо, – сказал он, – я соберу платежные обязательства и добьюсь от их держателей уменьшения налога и продажи по дешевым ценам.

– Невозможно, ваше величество: платежные обязательства превращены в векселя, которые для удобства и облегчения сделок разрезаны на столько частей, что теперь не узнать оригинала.

Людовик в сильном волнении ходил по комнате, все еще нахмутив брови.

Вдруг он остановился и спросил:

– Если все это правда, я разорен, еще не начав царствовать?

– Да, ваше величество, разорены, – отвечал бесстрастный счетовод.

– Однако ж деньги куда-нибудь делись?

– Разумеется, ваше величество, и для начала я принес записку о капиталах кардинала Мазарини, о которых он не хотел упомянуть ни в своем завещании, ни в других актах; он доверил их мне.

– Вам?

– Да, государь, и приказал передать их вашему величеству.

– Как! Кроме сорока миллионов, упомянутых в завещании, у господина Мазарини были еще деньги?

Кольбер поклонился.

– Какая бездонная пропасть этот человек! – прошептал король. – С одной стороны – Мазарини, с другой – Фуке; у них, может быть, более ста миллионов. Не удивительно, что у меня пусто в казне.

Кольбер ждал, не двигаясь с места.

– А сумма, которую вы должны передать мне, заслуживает внимания? спросил король.

– Да, ваше величество, кругленькая сумма.

– Она составляет?

– Тринадцать миллионов ливров, государь.

– Тринадцать миллионов! – воскликнул Людовик XIV с радостным трепетом. – Вы говорите – тринадцать миллионов, господин Кольбер?

– Да, тринадцать миллионов, ваше величество.

– И никто не знает о них?

– Никто.

– И они в ваших руках?

– Да, ваше величество.

– Когда я могу получить их?

– Через два часа.

– Где же они?

– В погребе дома, принадлежавшего господину кардиналу и доставшегося мне по его завещанию.

– Так вы знаете завещание кардинала?

– У меня есть копия, подписанная его рукой.

Кольбер вынул бумагу из кармана и показал королю. Король прочел статью о передаче дома.

– Но, – сказал он, – здесь говорится только о доме и ни слова о деньгах.

– О них говорит моя совесть.

– И Мазарини доверился вам?

– Почему же нет, ваше величество?

– Он... такой недоверчивый?

– Мне, ваше величество, он, как видите, доверял.

Людовик с удивлением взглянул на простое, но выразительное лицо Кольбера.

– Вы честный человек, господин Кольбер, – сказал он.

– Это не добродетель, а долг, – холодно ответил Кольбер.

– Но эти деньги, может быть, принадлежат его семейству?

– Если б они принадлежали его семейству, то вошли бы в завещание, как вошло туда все имущество кардинала. Если б эти деньги принадлежали его семейству, то я, писавший дарственную, прибавил бы их к тем сорока миллионам, которые господин кардинал предлагал вам.

– Как! Вы составляли дарственную?

– Я, ваше величество.

– И кардинал любил вас? – спросил наивно король.

– Я говорил его высокопреосвященству, что ваше величество не примете дара, – сказал Кольбер прежним спокойным тоном.

Людовик провел рукою по лбу.

– О, как я еще молод, чтобы управлять людьми, – прошептал он.

Кольбер ждал, пока король придет в себя.

– В котором часу прикажете доставить деньги, государь? – спросил Кольбер немного погодя.

– Сегодня, в одиннадцать часов вечера. Пусть никто не знает, что я получил их.

– Куда прикажете привезти их?

– В Лувр. Благодарю вас, господин Кольбер.

Кольбер поклонился и вышел.

– Тринадцать миллионов! – воскликнул король, оставшись один. – Невероятно!

Потом он опустил голову на руки и как будто задремал.

Но через минуту король поднял голову, встал и, распахнув окно, подставил горевшее

лицо свежему утреннему ветру, пропитанному благоуханием деревьев и цветов. Сияющая заря занималась на горизонте. Первые лучи солнца осветили молодого короля.

– Эта заря – заря моего царствования, – прошептал Людовик XIV. – Не предзнаменование ли посылает мне всевышний?..

Глава 2.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЦАРСТВОВАНИЯ ЛЮДОВИКА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Утром во дворце все узнали о смерти кардинала, затем новость распространилась по городу.

Министры – Фуке, Лион и Летелье – собрались в зале заседаний на совет. Король тотчас позвал их.

– Господа, – сказал он, – при жизни кардинала я позволял ему управлять моими делами; теперь я намереваюсь сам заниматься ими. Вы будете давать мне советы, когда я попрошу их у вас. Можете идти!

Министры переглянулись с изумлением, едва скрыв улыбку: они знали, что Людовик XIV, воспитанный в полном неведении, что такое управлять государством, из самолюбия берет на себя совершенно непосильное бремя.

Фуке простился с товарищами на лестнице и сказал им:

– Нам же лучше, господа, – меньше забот.

И он весело сел в карету.

Остальные, слегка обеспокоенные таким оборотом дела, вернулись в Париж.

В десять часов король прошел к матери и имел с нею тайное совещание; потом, пообедав, сел в закрытую карету и поехал прямо в Лувр. Тут он принял множество придворных и с удовольствием отметил общее смущение и любопытство.

Вечером он приказал запереть все входы в Лувр, кроме входа с набережной. Тут он поставил караул из двухсот швейцарцев, которые ни слова не знали по-французски; им приказано было пропустить только сундуки и никого не выпускать.

Ровно в одиннадцать под сводами послышался тяжелый стук повозки, потом – другой, наконец – третьей. Затем раздался гул захлопнувшейся решетки. Вскоре кто-то поцарапался в дверь королевского кабинета.

Король сам отпер дверь и увидел Кольбера, сказавшего только:

– Деньги в погребе вашего величества.

Людовик спустился в подземелье, ключ от которого еще утром передал Кольберу, и осмотрел бочонки с золотом и серебром, перенесенные туда людьми, преданными Кольберу. После этого Людовик вернулся в кабинет в сопровождении Кольбера. Последний был так же холоден, ни малейший проблеск удовлетворения не нарушал его невозмутимого равнодушия.

– Сударь, – сказал король, – какой награды желаете вы за такую преданность и честность?

– Никакой, ваше величество.

– Как, никакой? Вы не желаете даже получить должность?

– Если ваше величество и не дадите мне должности, я все равно буду служить вам. Я буду лучшим слугой короля.

– Вы будете интендантом финансов.

– Но ведь уже есть суперинтендант, и он самое могущественное лицо в королевстве.

– О, – воскликнул Людовик, покраснев, – вы так думаете?

– Он раздавит меня в одну неделю, государь. Ваше величество поручает мне контроль, для которого надо иметь силу; а что значит интендант рядом с суперинтендантом?

– Вы хотите иметь поддержку... Значит, вы не полагаетесь на меня?

– Я уже имел честь сказать вашему величеству, что при кардинале Мазарини господин Фуке был вторым лицом в королевстве; теперь Мазарини умер, и господин Фуке стал первым.

– Сударь, сегодня вы можете говорить мне все, что хотите; но не забывайте, что завтра я

этого уже не потерплю.

- Значит, я не буду нужен вашему величеству?
- Вы уже и теперь не нужны, потому что боитесь служить мне.
- Я боюсь только того, что мне помешают служить вам.
- Так чего же вы хотите?
- Прошу ваше величество назначить мне помощников по интендантству.
- Но тогда должность потеряет значение.
- Зато станет безопасной.
- Выбирайте.
- Я прошу Бретейля, Марена и Эрвара.
- Завтра они будут назначены.
- Благодарю вас, государь!
- И это все, о чем вы просите?
- Осмелюсь еще просить...
- Чего?
- Позвольте мне созвать судебную палату.
- Зачем?
- Для суда над чиновниками, которые за последние десять лет позволяли себе злоупотребления.

- Но... что же с ними сделают?
- Трех повесят; остальные во всем сознаются.
- Но я не могу начинать моего царствования с казней, господин Кольбер.
- Лучше начать, чем кончить казнями, ваше величество.

Король не ответил.

- Ваше величество согласны со мною? – спросил Кольбер.
- Я подумаю.
- Тогда будет уже поздно.
- Почему?
- Потому что, если эти люди будут предупреждены, они окажутся гораздо сильнее нас.
- Созовите судебную палату.
- Не замедлю.
- Теперь все?
- Нет, государь; еще одно важное обстоятельство...

Какие права присвоит ваше величество этому интендантству?

- Но... я не знаю... есть же обычные...
- Ваше величество, мне нужно иметь право читать переписку с Англией.
- Это невозможно. Английские депеши распечатываются в совете, так было и при кардинале.

- Мне казалось, ваше величество объявили сегодня утром, что совета больше не будет.
- Да, объявил.

– В таком случае пусть ваше величество читает лично письма, получаемые из Англии. Я убедительно прошу об этом.

- Хорошо, вы будете получать их и докладывать мне.
- Позвольте еще спросить ваше величество: что же делать мне по финансовой части?
- Все, чего не сделает господин Фуке.
- Это я и хотел знать. Благодарю, ваше величество, я ухожу успокоенный.

С этими словами он вышел, провожаемый взором Людовика.

Не успел Кольбер отойти и на сто шагов от Лувра, как прибыл курьер из Англии. Король поспешно распечатал пакет и увидел письмо от короля Карла II.

Вот что английский монарх писал своему царственному брату:

«Ваше величество, без сомнения, встревожены болезнью кардинала Мазарини; но самая

опасность ее может быть вам только полезна. Доктор осудил кардинала на смерть.

Благодарю ваше величество за благоприятный ответ на мое предложение о сестре моей, леди Генриетте Стюарт; через неделю принцесса выедет в Париж со своею свитою.

Меня трогает ваше родственное расположение, и я рад, что с еще большим правом могу теперь назвать вас братом. Особенно рад случаю доказать вашему величеству, насколько я внимателен ко всему, что представляет важность для вас. Вы тайно укрепляете Бель-Иль. Напрасно. Никогда между нами не будет войны. Меры, принимаемые вами, не беспокоят, а печалят меня... Вы тратите миллионы безо всякой пользы; скажите об этом своим министрам и поверьте, что моя полиция имеет самые точные сведения.

Оказывайте мне, брат мой, подобные же услуги, когда представится случай».

Король сердито позвонил, появился камердинер.

– Господин Кольбер сейчас вышел отсюда, верно, он еще недалеко. Позвать его!

Камердинер хотел исполнить приказание, но король остановил его.

«Нет, – сказал он себе, – не нужно... – я вижу все замыслы этого человека. Бель-Иль принадлежит господину Фуке; Бель-Иль укрепляется, значит, Фуке составил заговор... Раскрытие заговора влечет за собой гибель суперинтенданта; английские письма разоблачают заговорщиков; вот почему Кольбер непременно хотел иметь в своих руках переписку с Англией... Однако не могу же я опираться только на этого человека: он лишь голова, а мне нужна еще рука».

Вдруг Людовик радостно вскрикнул.

– У меня был лейтенант мушкетеров! – сказал он камердинеру.

– Да, ваше величество, господин д'Артаньян.

– Он вышел в отставку?

– Точно так, ваше величество.

– Непременно отыскать его, чтобы он явился ко мне завтра утром, когда я встану.

Камердинер поклонился и вышел.

– У меня в погребах тринадцать миллионов, – сказал Людовик. – Кольбер будет распоряжаться моей казной, д'Артаньян – моей шпагой. Я в самом деле король!

Глава 3. СТРАСТЬ

В день своего прибытия в Париж Атос, как мы уже видели, проехал из королевского дворца к себе домой, на улицу Сент-Оноре. Там ждал его виконт де Бражелон, беседуя с Гримо.

Разговаривать со старым слугою было делом нелегким; этим искусством обладали только два человека: Атос и д'Артаньян. Первому это удавалось потому, что Гримо старался заставить его говорить; д'Артаньян, напротив, умел заставить разговариваться старика Гримо.

Рауль пытался вытянуть из него рассказ о последней поездке Атоса в Англию; Гримо передал все подробности несколькими жестами и восемью словами, не более и не менее.

Прежде всего волнообразным движением руки он показал, что они пересекли море.

– Это был какой-нибудь поход? – спросил Рауль.

Гримо утвердительно кивнул головой.

– Граф подвергался опасностям? – спросил Рауль.

Гримо слегка пожал плечами, что должно было означать: «В достаточной мере».

– Но каким же именно? – спросил настойчиво виконт де Бражелон.

Гримо указал на шпагу, на огонь и на мушкет, висевший на стене.

– Так у графа был там враг? – вскричал Рауль.

– Монк.

Рауль продолжал:

– Странно! Граф все еще считает меня мальчиком и не хочет делить со мной чести и

опасностей таких походов.

Гримо улыбнулся.

В эту минуту приехал Атос.

Гримо, узнав шаги своего господина, побежал к нему навстречу, и разговор на этом прекратился.

Но Раулю хотелось получить ответ на свой вопрос. Взяв графа за обе руки, с горячей, но почтительной нежностью он спросил:

— Как могли вы отправиться в опасный путь, не простившись со мной, не призвав на помощь мою шпагу? Теперь, когда я вырос, я должен быть вашей опорой: ведь вы же воспитали меня как мужчину. Ах, граф, неужели вы хотели обречь меня на то, чтобы никогда больше не увидеть вас?

— А кто вам сказал, Рауль, что мое путешествие было опасным? — спросил граф, отдавая плащ и шляпу Гримо, который отстегивал ему шпагу.

— Я, — отвечал Гримо.

— А зачем? — строго спросил Атос.

Гримо смешался, но Рауль опередил его, ответив:

— Почему же добрый Гримо не мог сказать мне правду? Кому же любить вас и помогать вам, если не мне?..

Атос не отвечал. Он ласковым жестом отпустил Гримо, потом сел в кресло; Рауль стоял перед ним.

— Во всяком случае, — продолжал Рауль, — ваше путешествие было походом... И вам угрожали огонь и оружие...

— Не будем говорить об этом, — мягко сказал Атос. — Я, правда, уехал внезапно; но служба королю Карлу Второму заставила меня поспешить с отъездом. Меня очень трогает ваше беспокойство: я знаю, что могу положиться на вас. Во время моего отсутствия вы ни в чем не нуждались, виконт?

— Нет, граф.

— Я приказал Блезуа передать вам сто пистолей, как только вам понадобятся деньги.

— Я не видел Блезуа.

— Так вы обошлись без денег?

— У меня осталось тридцать пистолей после продажи лошадей, которых я захватил во время последнего похода, и месяца три назад, по милости принца Конде, я выиграл двести пистолей в карты.

— Вы играете... Мне это не нравится, Рауль.

— Нет, граф, я никогда не играю, но однажды вечером в Шантильи принц велел мне взять его карты, когда к нему прибыл курьер от короля. И потом приказал, чтобы я взял себе выигрыш.

— Это у принца в обычае? — спросил Атос, нахмутив брови.

— Да, граф, такую милость принц оказывает каждую неделю одному из своих дворян. У его высочества пятьдесят дворян; в тот раз была моя очередь.

— Хорошо? Так вы побывали в Испании?

— Да, я совершил прекрасное путешествие, повидал много интересного.

— Уже месяц, как вы вернулись?

— Да, граф.

— А что вы делали в течение этого месяца?

— Служил, граф.

— Не заезжали ко мне в Ла Фер?

Рауль покраснел. Атос посмотрел на него спокойно, но пристально.

— Напрасно вы не верите мне, — сказал Рауль. — Я покраснел невольно; вопрос, который вы только что задали, пробудил во мне множество воспоминаний, и они взволновали меня. Но я не солгал вам.

— Знаю, Рауль, вы никогда не лжете; но вы напрасно волнуетесь. Я хотел сказать вам

только...

– Я хорошо знаю, граф, вы хотели спросить меня: ездил ли я в Блуа?

– Да, Рауль?

– Я не ездил в Блуа и не видал той особы, на которую вы намекаете.

Голос Рауля дрожал. Атос, безошибочно подмечавший все оттенки чувства, тотчас прибавил:

– Рауль, вы отвечаете мне с тяжелым сердцем, вы страдаете...

– Да, очень, очень! Вы запретили мне ездить в Блуа и видеться с Луизой де Лавальер.

Молодой человек запнулся. Он с наслаждением произносил это очаровательное имя; оно ласкало уста, но сердце его разрывалось.

– И я хорошо сделал, Рауль, – поспешно сказал Атос. – Меня нельзя назвать чересчур строгим или несправедливым отцом; я уважаю истинную любовь, но я забочусь о вашем славном будущем... Занимается заря нового царствования; война влечет юного, исполненного рыцарского пыла короля.

Ему нужны люди молодые и свободные, которые бросались бы в битву с восторгом и, падая, кричали бы: «Да здравствует король! – а не стонали бы:

«Прощай, жена!.. «Вы понимаете, Рауль, какой бы дикой ни показалась моя мысль, я заклинаю вас верить мне и отвести свой взор от первых дней младости, когда вы научились любить, беззаботных дней, когда сердце смягчается и становится неспособным вместить горькое и терпкое вино, называемое славою и превратностью судьбы.

Да, Рауль, повторяю еще раз: верьте, что я желаю одного – быть вам полезным, мечтаю об одном – видеть вас счастливым, думая, что вы можете стать со временем человеком выдающимся. Оставайтесь одиноким, и вы достигнете большего и скорее придете к цели.

– Вы приказываете, граф, – отвечал Рауль. – Я повинуюсь.

– Приказываю! – вскричал Атос. – Вот как вы поняли меня! Я приказываю! О, вы придаете не тот смысл моим словам, вы совсем не понимаете моих намерений! Я не приказываю, а прошу.

– Нет, нет, граф, вы приказали, – сказал виконт с настойчивостью. Но если бы даже вы только просили, то ваши просьбы действуют на меня сильнее ваших приказаний. Я не видел Луизы де Лавальер.

– Но вы страдаете! Вы страдаете! – настаивал граф.

Рауль не отвечал.

– Я вижу вашу бледность: вижу, как вы печальны. Ваше чувство так сильно?

– Это страсть, – сказал Рауль.

– Нет... это привычка...

– Ах, граф, вы знаете, что я долго путешествовал, я два года прожил вдали от нее. Кажется, никакая привычка не устоит против двухлетней разлуки... И что же? Вернувшись назад, я любил ее – не скажу сильнее, потому что это невозможно, – но так же, как прежде. Луиза де Лавальер единственная моя подруга, но вы для меня бог на земле... Ради вас я готов пожертвовать всем.

– Напрасно, – возразил Атос. – У меня уже нет никаких прав на вас.

Возраст освободил вас, вы даже не нуждаетесь в моем согласии. Впрочем, я не могу не дать вам согласия после всего, что вы сейчас сказали. Женитесь на Луизе де Лавальер, если вы этого хотите.

Рауль вздрогнул и сейчас же ответил:

– Как вы добры, граф! Как благодарен я вам! Но я не принимаю вашего разрешения.

– Вы отказываетесь?

– В душе вы против этого брака: не вы избрали мне невесту.

– Это правда.

– Этого достаточно, чтобы я не упорствовал; я подожду.

– Будьте осторожны, Рауль! То, что вы говорите, очень серьезно.

– Знаю, я подожду.

- Чего? Моей смерти? – спросил Атос с огорчением.
- Ах, граф! – вскричал Рауль со слезами в голосе. – Можете ли вы огорчать меня так жестоко, меня, который никогда не подавал вам повода жаловаться!
- Милый сын, это совершенная правда, – отвечал Атос, напрасно стараясь скрыть свое волнение. – Нет, я вовсе не хочу огорчать вас; я только не понимаю, чего вы будете ждать... того времени, когда вы разлюбите меня?
- О нет, нет, граф!.. Я подожду, пока вы перемените мнение.
- Я хочу осуществить одно испытание, Рауль. Хочу посмотреть также, будет ли ждать Луиза де Лавальер.
- Надеюсь.
- Берегитесь же, Рауль. Что, если она не захочет ждать? Ах, вы еще так молоды, так доверчивы и благородны... Женщины непостоянны!
- Вы никогда не говорили мне ничего дурного про женщин; никогда не жаловались на них. Зачем же вы упрекаете их теперь из-за Луизы де Лавальер?
- Правда, – отвечал Атос, опуская глаза, – я никогда не говорил вам ничего дурного о женщинах; никогда не имел повода жаловаться на них, и никогда Луиза де Лавальер не давала мне предлога сомневаться в ней. Но когда думаешь о будущем, надо предвидеть даже редкие случаи, предполагать даже невероятное! Ну, а что, если Луиза де Лавальер не захочет вас ждать?
- Не понимаю...
- Если она обратит свой взор на другого?
- Если она полюбит другого, хотите вы сказать? – спросил Рауль с ужасом.
- Да.
- Что ж, граф! Я убью этого человека, – отвечал Рауль. – Убью всякого, кого выберет Луиза де Лавальер. Буду драться до тех пор, пока меня не убьют или Луиза опять не полюбит меня.
- Атос вздрогнул.
- Мне послышалось, – сказал он глухим голосом, – как будто вы только сейчас уверяли, что готовы пожертвовать для меня всем на свете.
- О! – вскричал Рауль с трепетом. – Неужели вы не позволите мне драться на дуэли?
- А если не позволю?
- Вы запретите мне надеяться, граф; но вы не запретите мне умереть.
- Атос посмотрел на Рауля.
- Рауль произнес эти слова глухо, с помрачневшим взглядом.
- Довольно, – проговорил Атос после продолжительного молчания. – Довольно на эту печальную тему. Мы оба преувеличиваем. Живите настоящим, Рауль; служите, любите Луизу де Лавальер, словом, действуйте, как следует действовать мужчине, вы ведь теперь взрослый человек. Только не забывайте, что я горячо люблю вас и что вы, по вашим словам, тоже любите меня.
- Ах, граф! – вскричал виконт, прижимая к сердцу руку Атоса.
- Хорошо, дитя мое... Оставьте меня, мне нужен отдых... Кстати, д'Артаньян вместе со мной вернулся из Англии; вы должны повидаться с ним.
- С величайшей радостью. Я так люблю господина д'Артаньяна!
- И прекрасно делаете: он честнейший человек и храбрейший воин.
- Который любит вас! – воскликнул Рауль.
- Я уверен в этом... Вы знаете его адрес?
- Но ведь это Лувр, Пале-Рояль, все места, где бывает король. Разве он не командует мушкетерами?
- В настоящее время нет. Д'Артаньян в отпуске; он отдыхает... Так что не ищите его на служебных постах. Вы можете получить сведения о нем от некоего Планше.
- Его прежнего слуги?
- Да, Рауль, до свиданья.

Глава 4. УРОК Д'АРТАНЬЯНА

На следующее утро Раулю не удалось разыскать д'Артаньяна. Он застал лишь одного Планше. Планше очень ему обрадовался и расточал похвалы военной выправке Рауля в выражениях, от которых ничуть не отдавало лавкой.

Но, возвращаясь на другой день из Венсена во главе пятидесяти драгун, которые были поручены ему принцем, Рауль увидел на площади Бодуайе человека, который, задрав голову, рассматривал дом, как рассматривают лошадь, собираясь ее купить. Человек этот, в сюртуке, застегнутом, как мундир, на все пуговицы, в маленькой шляпе, с длинной шпагой, обернулся сразу, как только услышал конский топот.

Это был д'Артаньян.

Заложив руки за спину, он начал рассматривать драгун и не пропустил ни одного солдата, ни одной перевязи, ни одного копыта. Рауль ехал сбоку отряда, д'Артаньян заметил его последним.

— Эге, черт возьми! — закричал он.

— Неужели я не ошибаюсь? — сказал Рауль, осаживая лошадь.

— Не ошибаешься! — отвечал отставной мушкетер. — Здравствуй!

Рауль с радостью пожал руку старому приятелю.

— Имей в виду, Рауль, — сказал д'Артаньян, — вторая лошадь в пятом ряду потеряет подкову прежде, чем вы доберетесь до моста Мари. В подкове на передней ноге осталось всего два гвоздя.

— Подождите меня, — сказал Рауль, — я пойду с вами.

— Ты бросишь отряд?

— Меня заменит корнет.

— Пойдем обедать?

— С удовольствием.

— Так слезай на землю или вели подать мне коня.

— Я предпочел бы пройтись.

Рауль тотчас договорился с корнетом, который занял его место, потом спешил, отдал поводья солдату и весело взял под руку д'Артаньяна, который смотрел на его действия с одобрением знатока.

— Ты прямо из Венсена? — спросил он.

— Да, сударь.

— А что кардинал?

— Очень плох, говорят даже, что умер.

Д'Артаньян пренебрежительно пожал плечами, желая показать, что смерть кардинала ничуть не огорчает его, и спросил:

— Ты хорош с Фуке?

— С Фуке? — повторил Рауль. — Я его не знаю.

— Тем хуже. Новый король всегда избирает новых любимцев.

— Но король милостив ко мне.

— Я говорю тебе не о короне, — возразил д'Артаньян, — а о короле...

Теперь, когда кардинал умер, королем стал Фуке. Надо быть в ладах с Фуке, если ты не хочешь прозябать всю жизнь, как я... Впрочем, у тебя есть и другие покровители, к величайшему твоему счастью.

— Во-первых, принц...

— Старо, старо, друг мой!

— Далее, граф де Ла Фер.

— Атос? Это другое дело... Если ты хочешь служить в Англии, то не найдешь лучшего покровителя. Скажу тебе без хвастовства, что я и сам имею некоторый вес при дворе Карла

Второго. Вот это король!

– Вот как! – сказал Рауль с простодушным любопытством.

– Да, настоящий король; он веселится, это правда, но, когда нужно, он умеет и сражаться, умеет и ценить людей. Атос хорош с Карлом Вторым. Поезжай-ка в Англию, брось этих взяточников, которые одинаково воруют и французскими руками, и итальянскими пальцами. Брось этого плаксу Людовика Четырнадцатого, который повторит царствование Франциска Второго. Знаешь ты историю, Рауль?

– Знаю, шевалье.

– Так ты знаешь, что у Франциска Второго всегда болели уши?

– Нет, я этого не знал.

– А у Карла Четвертого всегда болела голова?

– А!

– А у Генриха Третьего – живот?

Рауль рассмеялся.

– Ну, любезный друг мой, а у Людовика Четырнадцатого всегда болит сердце; жаль смотреть, как он вздыхает с утра до вечера и за целый день ни разу не скажет: «Черт возьми!» или чего-нибудь бодрящее в этом роде.

– И за этого вы и вышли в отставку, шевалье? – спросил Рауль.

– Да.

– И вы махнули на все рукой? Таким способом вы никогда не устроите своих дел.

– О, мои дела теперь в порядке, – сказал д'Артаньян беззаботно. – У меня есть наследственное имущество.

Рауль взглянул на него. Бедность д'Артаньяна вошла в поговорку. Но мушкетер был гасконцем и порой любил пустить пыль в глаза.

Д'Артаньян заметил удивление Рауля.

– Отец твой говорил тебе, что я ездил в Англию?

– Говорил.

– И что там у меня была счастливая встреча?

– Нет, этого я не знал.

– Да, один из лучших моих друзей, именитый вельможа, вице-король Шотландии и Ирландии, помог мне отыскать наследство.

– Наследство?

– Да, и довольно большое.

– Так вы разбогатели?

– Гм!

– Позвольте поздравить вас от всей души.

– Благодарю... вот мой дом.

– На Гревской площади?

– Да. Тебе не нравится место?

– Нет, нет, славный вид на реку... Прекрасный старинный дом.

– Это старый трактир «Нотр-Дам»; в два дня я его превратил в собственный дом.

– Но трактир все еще открыт?

– Да.

– А где же вы живете?

– У Планше.

– Вы же только что сказали: «Вот мой дом».

– Да, потому что дом действительно мой. Я купил его.

– А, – пробормотал Рауль.

– Десять процентов чистого дохода, любезный Рауль, прекрасная сделка!

Я купил дом за тридцать тысяч ливров; есть и сад, выходящий на улицу Мортельери. Трактир «Нотр-Дам» и второй этаж сданы за тысячу ливров? а за чердак, или третий этаж, я получаю пятьсот ливров.

– Пятьсот ливров за чердак? Но там нельзя жить!

– Да в нем никто и не живет. Но видишь в нем два окна, выходящие на площадь?

– Вижу.

– Когда казнят, колесуют, вешают, четвертуют или сжигают людей, окна отдаются внаймы за двадцать пистолей.

– О! – вскрикнул Рауль с отвращением.

– Что? Отвратительно? Не так ли? – спросил д'Артаньян. – Отвратительно, но таковы люди... парижские зеваки – точно людоеды. Не постигаю, как люди с совестью могут пускаться на такие спекуляции!

– Правда.

– Если бы я жил в этом доме, – продолжал д'Артаньян, – я затыкал бы даже замочные скважины во время казней; но я не живу в нем.

– И этот чердак вы сдаете за пятьсот ливров?

– Да, жестокому кабатчику, который отдает окна уже от себя... Итак, я насчитал уже полторы тысячи ливров.

– Только пять процентов! Не так много! – сказал Рауль.

– Правильно. Но остается еще задний флигель, магазины, квартиры и погреб, заполняемые каждую зиму; все это отдается за двести ливров. А сад, очень хороший, превосходно обработанный, очень укромный, там, у ограды церкви Сен-Жерве, приносит тысячу триста.

– Тысячу триста? Так много!

– Видишь ли, я подозреваю, что какой-нибудь из аббатов здешнего прихода (наши аббаты богаты, как Крезы) нанял мой сад ради своего удовольствия. Наниматель назвал себя Годаром... Когда я встретил тебя, мне пришла в голову мысль купить еще дом на площади Бодуайе. Он примыкает к моему саду. От этой мысли отвлекли меня твои драгуны. Послушай, пойдем-ка по улице Ванри: мы попадем прямо к Планше.

Д'Артаньян ускорил шаг и привел Рауля к Планше, в комнату, которую лавочник уступил своему господину. Планше отсутствовал, но обед был уже готов. Лавочник по-прежнему соблюдал воинскую аккуратность и точность.

Д'Артаньян опять заговорил о будущем Рауля.

– Отец твой строг к тебе? – спросил оп.

– Отец справедлив, сударь.

– О, я знаю, Атос справедлив, но строг. Ты не стесняйся, если тебе когда-нибудь понадобятся деньги: старый мушкетер к твоим услугам.

– Любезный господин д'Артаньян...

– Играешь ты в карты?

– Никогда.

– Так, верно, счастлив в любви?.. Ты покраснел! О, маленький Арамис!

Женщины обходятся гораздо дороже карт. Правда, когда проиграешь, можно драться, и это некоторое вознаграждение. Но, впрочем, нынешний плакса-король берет штрафы с людей, обнажающих шпагу. Какое царствование, бедный мой Рауль, какое царствование! Как вспомнишь, что в мое время мушкетеров осаждали в домах, как Гектора и Приама в Трое. Женщины плакали, сами стены смеялись, и пятьсот негодяев кричали: «Бей, бей!» И не могли справиться ни с одним мушкетером. Черт возьми! Ваш брат этого не увидит.

– Вы очень строги к королю, дорогой господин д'Артаньян. Ведь вы едва знаете его.

– Я едва знаю его!.. Выслушай, Рауль, и заметь хорошенько: я предскажу тебе все его поступки день за днем. Когда кардинал умрет, он станет плакать; это еще не так глупо, особенно если сам не будет верить своим слезам.

– Потом?

– Потом он потребует от господина Фуке денег и отправится в Фонтенбло сочинять стихи для какой-нибудь Манчини, у которой королева выпарапает глаза. Ведь королева – испанка, Рауль, и свекровь у нее Анна Австрийская. О, знаю я этих испанок из австрийского

дома!..

– А потом?

– Потом, сорвав со своих швейцарцев серебряные галуны, потому что серебро обходится дорого, он прикажет мушкетерам ходить пешком, потому что овес и сено для лошади стоят пять су в день.

– О, не говорите этого!

– Какое мне дело! Я уже не мушкетер! Пускай ездят верхом или ходят пешком, пусть носят вертел вместо шпаги – мне все равно!

– Дорогой д'Артаньян, умоляю вас, не говорите при мне так о короле...

Я ведь служу все равно что у него, и отец очень рассердится на меня, если узнает, что я слушал, даже от вас, оскорбительные для его величества речи.

– Твой отец! Он заступает за всех, даже когда не следует. Черт возьми, твой отец храбрый воин, настоящий Цезарь, но он плохо разбирается в людях.

– Однако, шевалье, – сказал Рауль, засмеявшись, – вы начинаете уже бранить и моего отца, того самого человека, которого вы называли великим Атосом! Сегодня вы в дурном настроении; богатство озлобило вас, как других озлобляет бедность.

– Ты прав, черт возьми! А я глуп и говорю вздор. Я несчастный старик, растрепанная веревка, пробитый панцирь, сапог без подошвы, шпора без звездочки... Но бросим это, порадуй меня, скажи лучше...

– Что именно?

– Скажи: «Мазарини был подлец!»

– Он, может быть, умер.

– Потому-то я и говорю: был; если бы я не надеялся, что он умер, то попросил бы тебя сказать: «Мазарини подлец». Сделай одолжение, скажи это из любви ко мне...

– Извольте!

– Так говори.

– Мазарини был подлец, – сказал Рауль с улыбкой мушкетеру, который пришел в восторг.

– Постой! – сказал он. – Ты произнес только начало, а вот и заключение. Повтори за мной, Рауль, повтори: «Но я пожалею о Мазарини».

– Шевалье!

– Ах, ты не хочешь повторить? Так я скажу за тебя: «Но я пожалею о Мазарини».

Они смеялись и болтали, когда вошел один из приказчиков и сказал д'Артаньяну:

– Вам письмо.

– Благодарю... Ого! – воскликнул мушкетер.

– Почерк графа, – заметил Рауль.

– Да, да...

Д'Артаньян распечатал письмо.

«Любезный друг, – писал Атос, – король поручает мне отыскать вас!»

– Меня! – вскричал д'Артаньян, роняя распечатанное письмо на стол.

Рауль взял письмо и прочел дальше:

«Поспешите... Его величеству очень нужно переговорить с вами... Король ждет вас в Лувре».

– Меня? – еще раз повторил мушкетер.

– Вас, именно вас, – ответил Рауль.

– Ого! Что бы это значило? – спросил д'Артаньян.

Глава 5. КОРОЛЬ

Когда первая минута удивления прошла, д'Артаньян перечел письмо еще раз.

– Странно, что король зовет меня к себе.

– Почему, – возразил Рауль, – не предположить, что король сожалеет о таком преданном человеке, как вы?

– Ого! Вот так штука, милый Рауль! – отвечал мушкетер, принужденно смеясь. – Если б король жалел обо мне, Так не отпустил бы меня в отставку! Нет, нет, тут кое-что получше или, пожалуй, похуже, если хочешь.

– Похуже? Что же такое?

– Ты молодой, доверчивый, милый... Как бы я хотел быть на твоём месте! Двадцать четыре года, ни одной морщины на лбу, а в голове – никаких забот, кроме, пожалуй, сердечных... Ах, Рауль, пока ещё тебе не улыбались короли и не веряли своим тайн королевы, покаты не похоронил двух кардиналов – тигра и лисицу, пока ты не испытал... Но к чему весь этот вздор?.. Нам надо расстаться, Рауль!

– Как вы опечалены!

– Да, дело-то не шуточное... Слушай, я хочу дать тебе серьёзное поручение.

– Я вас слушаю, любезный д'Артаньян.

– Предупреди отца о моем отъезде.

– Вы уезжаете?

– Скажи отцу, что я уехал в Англию и живу там в своей усадьбе.

– В Англию!.. А королевский приказ?

– Твоя наивность не знает предела. Ты воображаешь, что я пойду в Лувр и сам отдамся в лапы этого коронованного волчонка?

– Волчонка? Короля? Ах, шевалье, вы сходите с ума!

– Напротив, я никогда не был так умен, как сейчас. Значит, ты не знаешь, что хочет сделать со мной этот достойный сын Людовика Справедливого?.. Но, черт возьми, таковы уже правила политики!.. Он хочет упрятать меня в Бастилию...

– За что же? – вскричал Рауль, пораженный тем, что услышал.

– За что? А за то, что я высказал ему когда-то в Блуа... Я погорячился тогда, и он не забыл...

– Что же вы сказали ему?

– Что он скуп, глуп и труслив.

– Боже мой! Неужели такие слова могли вырваться у вас?

– Слова, может быть, были не те, но смысл именно такой.

– Но король мог арестовать вас тогда же!

– А кому бы он приказал? Ведь я командовал тогда мушкетерами; я должен был сам отвести себя в тюрьму. На это я никак бы не согласился и стал бы сопротивляться самому себе. А потом я уехал в Англию, и д'Артаньян как не бывало. Теперь кардинал умер или умирает. Узнали, что я здесь, в Париже, и вот меня хватают.

– Так кардинал был вашим покровителем?

– Кардинал знал меня. Кое-что ему было известно обо мне, а мне о нем... Мы ценили друг друга... Когда же он отдавал дьяволу душу, то, должно быть, посоветовал Анне Австрийской спрятать меня в надежное место. Иди скорее к отцу и расскажи ему обо всем. Прощай!

– Дорогой д'Артаньян, – сказал Рауль, печально посмотрев в окно. – Вы не можете даже бежать.

– Почему?

– Там внизу вас ожидает офицер из швейцарцев.

– Ну так что?

– Он арестует вас.

Д'Артаньян расхохотался.

– О, я знаю, вы будете сопротивляться, сразитесь с ним, одолеете его, но ведь это бунт, а вы офицер и должны соблюдать дисциплину.

– Какой ты ещё ребенок! Черт возьми! Сколько благородства и рассудительности! – воскликнул д'Артаньян.

– Вы согласны со мной?

– Да, но я не пойду на улицу, где стоит этот дуралей, а исчезну через заднюю калитку. У меня в конюшне лошадь, и притом хорошая. Я загоню ее мои средства позволяют мне это – и, меняя лошадей, доберусь до Булони за одиннадцать часов. Я знаю дорогу... Скажи только отцу, Рауль...

– Что?

– Передай ему... что то, о чем он знает, спрятано у Планше... все, кроме одной пятой...

– Но берегитесь, шевалье. Если вы убежите, то скажут... что вы трусили.

– Кто посмеет сказать это?

– Да хотя бы сам король.

– Что же? Он скажет правду... я действительно боюсь.

– И потом... что вы признали себя виновным...

– В чем?

– В преступлениях, в которых вас обвинят.

– Опять правда!.. Так ты советуешь мне просто отправиться в Бастилию?

– Граф де Ла Фер посоветовал бы то же самое.

– Черт возьми, я и сам это знаю, – сказал д'Артаньян в раздумье. – Ты прав, мне не следует бежать. Однако если меня засадят в Бастилию?..

– Мы освободим вас, – отвечал Рауль спокойно и твердо.

– Черт возьми! – вскричал д'Артаньян, беря Рауля за обе руки. – Ты отлично сказал, друг мой! Настоящий Атос! Хорошо, я иду! Не забудь моего последнего поручения!

– Кроме одной пятой, – повторил Рауль.

– Да, ты славный юноша. Прибавь еще, что если вы не освободите меня из Бастилии и я умру там... такие случаи бывали, а я буду скверным узником, хоть человек я и не плохой... то три пятых я оставляю тебе, а одну пятую твоему отцу.

– Шевалье!

– Черт возьми! От заупокойной я вас освобождаю.

Д'Артаньян снял со стены перевязь, прицепил шпагу, взял шляпу, к которой было приколото новое перо, и протянул руки Раулю. Тот бросился в его объятия.

Проходя по лавке, мушкетер взглянул на приказчиков, которые смотрели на эту сцену со смешанным чувством гордости и страха; затем, запустив руку в ящик с коринкою, он направился к офицеру, который с видом философа ждал у дверей лавки.

– Ба, знакомое лицо! Это вы, Фридрих? – весело вскричал мушкетер. Эге, мы начинаем арестовывать друзей!

– Арестовывать! – прошептали приказчики.

– Здравствуйте, господин д'Артаньян, – сказал швейцарец.

– Должен ли я вам отдать свою шпагу? Предупреждаю, что она длинная и тяжелая. Оставьте мне ее до Лувра: у меня глупый вид, когда я иду по улице без шпаги, а у вас будет еще глупее, если вы пойдете с двумя шпагами.

– Король ничего не говорил об этом, – ответил швейцарец. – Можете оставить шпагу при себе.

– Очень милостиво со стороны короля. Идем!..

Фридрих не любил разговаривать, а д'Артаньяну было не до разговоров.

От лавки Планше до Лувра было недалеко, и они в десять минут дошли до дворца.

Наступил вечер.

Швейцарец ввел д'Артаньяна в приемную перед кабинетом короля, затем раскланялся и вышел, не сказав ни слова.

Не успел еще д'Артаньян понять, почему у него не отобрали шпаги, как дверь кабинета растворилась, и камердинер позвал:

– Господин д'Артаньян!

Мушкетер приосанился и вошел в кабинет с самым беззаботным видом. Король сидел у стола и писал. Он не обернулся на шаги мушкетера, даже не поднял головы. Д'Артаньян дошел

до середины комнаты и, видя, что король не хочет замечать его, – а это не сулило ничего хорошего, – повернулся спиной к Людовику и принялся рассматривать фрески на стенах и трещины на потолке.

Этот маневр сопровождался безмолвным монологом: «А, ты хочешь унижить меня, ты, которого я знал малышом, которого я спас, как сына, которому служил, как богу, иначе говоря – совершенно бескорыстно! Погоди, погоди, ты увидишь, на что способен человек, который певал гугенотские песни при кардинале, при настоящем кардинале!»

В эту минуту Людовик XIV обернулся.

– Вы здесь, господин д'Артаньян? – спросил он.

– Здесь, ваше величество, – тотчас ответил д'Артаньян.

– Подождите, я сейчас кончу счет.

Д'Артаньян молча поклонился.

«Это довольно учтиво, – подумал он. – Против этого нечего возразить».

Людовик поставил свою подпись и с раздражением отбросил перо в сторону.

«Ладно, сердись побольше, – усмехнулся Д'Артаньян, – мне будет легче; когда мы разговаривали с тобой в Блуа, я выложил тебе далеко не все».

Людовик встал, провел рукою по лбу, потом остановился перед д'Артаньяном и посмотрел на него властно, но приветливо.

«Чего он хочет от меня? – недоумевал мушкетер. – Пусть бы говорил поскорее».

– Сударь, – сказал король, – вы, вероятно, знаете, что кардинал умер?

– Знаю, ваше величество.

– Следовательно, поняли, что теперь я управляю сам?

– Для этого не нужно было умирать кардиналу: король всегда может управлять, если хочет.

– Да, но помните, что вы говорили мне в Блуа?

«А, вот оно! – подумал Д'Артаньян. – Я не ошибся. Тем лучше. Значит, чутье мне еще не изменяет».

– Вы не отвечаете? – спросил король.

– Кажется, помню, ваше величество.

– Если вы забыли, то я все помню! Вот что говорили вы мне, слушайте внимательно.

– О, я слушаю с полным вниманием. Вероятно, этот рассказ будет не лишен интереса.

Людовик еще раз взглянул на мушкетера. Д'Артаньян погладил перо на шляпе, потом закрутил усы и стал ждать без всяких признаков страха.

Король продолжал:

– Выходя в отставку, вы высказали мне всю правду?

– Да, ваше величество.

– То есть сказали мне все, что считали правдой относительно моего образа мыслей и действий? Это уже большая заслуга. Сначала вы сказали, что служите моему семейству тридцать четыре года и что устали...

– Верно, ваше величество.

– А потом сознались, что усталость – это только предлог, а настоящая причина – недовольство.

– Действительно, я был недоволен, но нигде и никогда не проявлял этого. Если я, как честный человек, открыто признался в недовольстве вашему величеству, то даже не думал о нем в присутствии кого-нибудь постороннего.

– Не извиняйтесь, господин Д'Артаньян, и слушайте дальше. Упрекнув меня, вы получили в ответ обещание. Я сказал вам: «Подождите!.. «Не так ли?

– Да, это правда, как и то, что я имел честь ответить вашему величеству.

– Вы ответили мне: «Ждать! Нет, не могу. Исполните обещанное сейчас же!.. «Не извиняйтесь, повторяю вам... Все это было очень естественно, но вы не пожалели вашего короля, господин Д'Артаньян.

– Как мог простой солдат жалеть короля! Помилуйте, ваше величество!

– Вы очень хорошо понимаете меня. Вы отлично знаете, что тогда следовало щадить меня; что в то время не я был здесь властелином и все мои надежды были на будущее. Когда я говорил об этом будущем, вы отвечали мне: «Увольте меня в отставку... немедленно!»

Д'Артаньян прикусил усы.

– Правда, – прошептал он.

– Вы не льстили мне, когда я находился в бедственном положении, прибавил король.

– Но, – возразил Д'Артаньян, гордо подняв голову, – если я не льстил тогда вашему величеству, то и не изменял вам. Я даром проливал кровь свою, я стерег дверь, как собака, очень хорошо зная, что мне не бросят ни хлеба, ни кости. Я сам был очень беден, но никогда ничего не просил, кроме отставки, о которой ваше величество изволите говорить.

– Знаю, вы честный человек... но я был молод, и вы должны были пощадить меня... В чем могли вы упрекнуть короля?.. В том, что он не оказал помощи королю Карлу Второму... Скажем более: в том, что он не женился на Марии Манчини?

При этих словах король пристально посмотрел на мушкетера.

«Ага, – подумал Д'Артаньян. – Он не только все помнит, но даже угадывает».

Людовик продолжал:

– Осуждение ваше касалось и короля и человека...

Моя слабость... да, вы сочли это слабостью...

Д'Артаньян не отвечал.

– Вы упрекали меня и за мою слабость перед покойным кардиналом. Но разве не кардинал возвысил и поддержал меня?.. В то же время он возвышался сам и поддерживал самого себя, я это знаю; но, во всяком случае, услуги его не подлежат сомнению. Неужели вы бы больше любили меня, лучше служили мне, если бы я был неблагодарным эгоистом?

– Государь...

– Перестанем говорить об этом: вас это огорчает, а меня мучит.

Д'Артаньян не был уличен. Молодой король, заговорив с ним надменно, ничего не добился от него.

– Задумывались ли вы с тех пор? – заговорил снова Людовик.

– О чем, ваше величество? – вежливо спросил д'Артаньян.

– Обо всем, что я сказал вам.

– Да, ваше величестве...

– И вы только ждали случая вернуться к этому разговору?

– Ваше величество...

– Вы, кажется, колеблетесь...

– Ваше величество, я никак не могу понять, о чем вы изволите говорить.

Людовик нахмурился.

– Простите, государь, у меня очень неповоротливый ум... Я многого не могу понять, но уж если понял, то никогда не забуду.

– Да, память у вас хорошая.

– Почти такая же, как и у вашего величества.

– Решайтесь скорее. Мне время дорого. Что вы делаете с тех пор, как вышли в отставку?

– Ищу счастья, ваше величество.

– Жестокие слова, господин д'Артаньян.

– Ваше величество неверно поняли меня. Я питаю к королю величайшее почтение. Правда, я привык жить в лагерях и казармах и выражаюсь, может быть, недостаточно изысканно, но, ваше величество, вы стоите надо мною так высоко, что вас не может оскорбить слово, нечаянно вырвавшееся у солдата.

– В самом деле, я знаю, что вы совершили блестящий подвиг в Англии.

Жалею только, что вы не сдержали обещания.

– Я! – вскричал д'Артаньян.

– Разумеется... Вы дали мне честное слово, что, оставив мою службу, не будете служить никому... А ведь вы служили королю Карлу Второму, когда устроили чудесное похищение

генерала Монка...

– Извините, ваше величество, я служил самому себе.

– И успешно?

– С таким же успехом, с каким совершали свои подвиги полководцы пятнадцатого века.

– Что вы называете успехом?

– Сто тысяч экю, которые теперь принадлежат мне. В неделю я получил денег втрое больше, чем за пятьдесят лет.

– Сумма немалая... но вы будете стремиться увеличить ее?

– Я, государь? Вчетверо меньшее состояние показалось бы мне сокровищем. Клянусь вам, я и не помышляю об увеличении его.

– Так вы хотите жить в праздности и расстаться со шпагой?

– Я уже расстался с ней.

– Это невозможно, господин д'Артаньян! – сказал Людовик XIV решительно.

– Почему же?

– Потому, что я не хочу этого, – сказал молодой король так твердо и властно, что д'Артаньяном овладело удивление и даже беспокойство.

– Ваше величество, позвольте ли ответить вам? – спросил он.

– Говорите!

– Я принял это решение, когда был беден.

– Дальше!

– А теперь, когда я трудами своими нажил прочное состояние, вашему величеству угодно лишить меня независимости? Вам угодно осудить меня на меньшее, когда я приобрел большее?

– Кто позволил вам угадывать мои намерения и рассуждать о моих планах? – спросил Людовик гневно. – Кто сказал вам, что сделаю я и что придется делать вам?

– Ваше величество, – спокойно сказал мушкетер, – кажется, той откровенности, с какой мы объяснялись тогда в Блуа, теперь уже нет.

– Да, все изменилось.

– От души поздравляю ваше величество, но....

– Вы не верите этому?

– Я не государственный муж, но у меня тоже верный взгляд, и дело мне представляется не так, как вашему величеству. Царство Мазарини кончилось; начинается владычество финансовых тузов. У них в руках деньги. Ваше величество, вероятно, не часто видите их. Жить под властью этих прожорливых волков тяжело для человека, который надеялся на независимость.

В эту минуту кто-то поскребся у дверей; король горделиво поднял голову.

– Извините, господин д'Артаньян, – сказал король, – это господин Кольбер с докладом. Войдите, господин Кольбер.

Д'Артаньян отступил на несколько шагов. Кольбер явился с бумагами и подошел к королю.

Нечего и говорить, что гасконец не упустил удобного случая и устремил хитрый и пристальный взгляд на нового посетителя.

– Следствие кончено? – спросил король.

– Кончено, – отвечал Кольбер.

– Что говорят следователи?

– Что виновные заслуживают смертной казни с конфискацией имущества.

– Ага, – сказал король спокойно, искоса взглянув на д'Артаньяна. – А ваше мнение, господин Кольбер?

Кольбер, в свою очередь, посмотрел на д'Артаньяна. Этот незнакомец мешал ему говорить. Людовик XIV понял его.

– Не беспокойтесь, – сказал он, – это господин д'Артаньян. Неужели вы не узнали господина д'Артаньяна?

Тут Кольбер и д'Артаньян взглянули друг на друга. Д'Артаньян смотрел открыто, сверкающими глазами, Кольбер исподлобья и недоверчиво. Откровенное бесстрашие одного не понравилось другому; подозрительная осторожность финансиста не понравилась солдату.

– А! Вы изволили совершить славный подвиг в Англии, – сказал Кольбер и слегка поклонился.

– А! Вы изволили спороть серебряные галуны с мундиров швейцарцев, сказал гасконец. – Похвальная экономия! – и низко поклонился.

Интендант думал смутить мушкетера; но мушкетер прострелил его навывлет.

– Господин д'Артаньян, – сказал король, не заметивший всех этих оттенков, которые Мазарини тотчас бы уловил, – речь идет о людях, которые обокрали меня. Я велел арестовать их и теперь выношу им смертный приговор.

– О! – воскликнул д'Артаньян, вздрогнув.

– Вы хотите сказать...

– Нет, ваше величество, это меня не касается.

Король хотел уже подписать бумагу.

– Ваше величество, – начал Кольбер вполголоса, – предупреждаю, что если пример и надо показать, то исполнение приговора может натолкнуться на препятствия.

– Что такое?

– Не забывайте, – спокойно сказал Кольбер, – что тронуть этих людей значит тронуть суперинтендантство. Оба негодяя, оба преступника, о которых идет речь, – близкие друзья одного видного лица, и в день их казни, которую, впрочем, можно устроить в тюрьме, могут возникнуть беспорядки.

Людовик покраснел и повернулся к д'Артаньяну, который покусывал усы, презрительно улыбаясь.

Людовик XIV схватил перо и подписал обе бумаги, принесенные Кольбером, с такой поспешностью, что рука у него задрожала. Потом он пристально взглянул на Кольбера и сказал ему:

– Господин Кольбер, когда будете докладывать мне о делах, избегайте по возможности слова «препятствия». Что же касается слова «невозможно», не произносите его никогда.

Кольбер поклонился, досадуя, что получил такой урок при мушкетере. Он хотел уже выйти, но, желая загладить свою ошибку, прибавил:

– Я забыл доложить вашему величеству, что конфискованные суммы простираются до пяти миллионов ливров.

«Мило!» – подумал д'Артаньян.

– А сколько всего у меня в казне? – спросил король.

– Восемнадцать миллионов ливров, ваше величество – отвечал Кольбер с поклоном.

– Черт возьми! – прошептал д'Артаньян. – Бесподобно!

– Господин Кольбер, – сказал король, – пройдите по той галерее, где ждет господин Лион, скажите ему, чтоб он принес бумаги, которые он приготовил... по моему приказанию.

– Сейчас, государь. Я не нужен вашему величеству сегодня вечером?

– Нет, прощайте.

Кольбер вышел.

– Вернемся к нашему разговору, господин д'Артаньян, – сказал король, как будто ничего не случилось. – Вы видите, что в денежных делах произошла значительная перемена.

– Да, нуль превратился в восемнадцать, – весело отвечал мушкетер. Ах, вот что нужно было вашему величеству в то время, когда король Карл Второй приезжал в Блуа! Теперь не было бы ссоры между двумя государствами. А ссора эта – еще один камень преткновения для вашего величества.

– Вы несправедливы, – возразил король. – Если бы судьба позволила мне в то время дать миллион брату моему Карлу, то вы не вышли бы в отставку и, значит, не нажили бы себе состояния... как вы сами говорили. Но, кроме этого счастливого обстоятельства, есть еще и другое, после которого моя ссора с Великобританией не должна смущать вас.

Камердинер прервал речь короля, доложив о господине Лионе.

– Войдите, – пригласил король. – Вы аккуратны, это очень хорошо. Посмотрим, какое письмо написали вы брату моему Карлу Второму.

Д'Артаньян весь превратился в слух.

– Подождите еще минуту, – непринужденно сказал Людовик XIV гасконцу, – я должен послать в Лондон согласие на брак моего брата с сестрой английского короля, Генриеттой Стюарт.

«Он, кажется, разбил меня по всем пунктам, – прошептал Д'Артаньян, пока король подписывал письмо и отпускал Лиона. – Но признаюсь, чем основательней меня разобьют, тем больше удовольствия мне это доставит».

Король следил взглядом за Лионом, пока тот не запер за собой дверь; он даже сделал три шага за министром. Затем остановился и повернулся к мушкетеру:

– Теперь покончим с нашим делом. В Блуа вы говорили мне, что вы небогаты.

– Теперь я богат.

– Да, но это меня не касается. У вас свои деньги, а не мои; мне нужно другое.

– Я не совсем понимаю, ваше величество.

– Не скупитесь на слова, говорите прямо, от души. Довольно ли вам будет двадцать тысяч в год жалованья?

– Ваше величество... – пробормотал Д'Артаньян в изумлении.

– Довольно ли вам четырех лошадей на казенном содержании и добавочных сумм в зависимости от обстоятельств и надобности? Или вы предпочитаете получать круглым счетом, скажем, сорок тысяч ливров? Отвечайте.

– Государь, ваше величество!

– Вы, разумеется, удивлены, я этого ждал. Отвечайте, не то я буду думать, что вы потеряли способность быстро соображать, которую я так ценил в вас.

– Ваше величество, двадцать тысяч ливров в год, без сомнения, большие деньги, но...

– Никаких «но» да или нет? Достаточно двадцати тысяч?

– О, разумеется!

– Отлично. Гораздо удобнее оплачивать экстренные издержки. Переговорите о них с Кольбером. Теперь перейдем к главному.

– Но, ваше величество, я уже говорил вам...

– Что вы собираетесь отдохнуть? А я уже ответил вам, что не хочу этого. Кажется, я здесь повелитель.

– Да, ваше величество.

– Отлично. Было время, когда вы очень хотели стать капитаном мушкетеров?

– Действительно.

– Так вот патент, подписанный мною. Я кладу его сюда, в ящик. В тот день, когда вы вернетесь из экспедиции, в которую я намерен послать вас, вы сами возьмете патент из этого ящика.

Д'Артаньян все еще стоял в нерешимости, не подымая головы.

Король продолжал:

– Глядя на вас, можно подумать, будто вы забыли, что при дворе французского короля капитан мушкетеров стоит выше маршалов Франции?

– Знаю, ваше величество.

– Или что вы не верите моему слову.

– Нет! Нет!.. Не говорите так!

– Я хотел доказать вам, что вы, хороший слуга, бросили хорошего господина. Разве я не такой господин, какого вам надо?

– Начинаю думать, что такой, ваше величество.

– В таком случае вы тотчас вступите в должность, Ваши мушкетеры совсем распустились с тех пор, как вы уехали: слоняются по городу, заходят в кабаки, дерутся, несмотря на королевские указы. Вы должны подтянуть их, и как можно скорее.

– Слушаю, ваше величество.
– Вы всегда будете при мне.
– Хорошо.
– Вы отправитесь со мной в армию, и ваша палатка будет стоять рядом с моей.
– Если ваше величество возлагает на меня такую ответственность, то мне не надо двадцати тысяч жалованья, потому что я не заслужу их.
– Я хочу, чтобы у вас был открытый дом; чтобы вы могли приглашать приятелей к обеду; хочу, чтобы капитан мушкетеров был видным лицом.
– А я не люблю даровых денег, – живо возразил д'Артаньян, – я признаю деньги, добытые трудом! Ваше величество даете мне ремесло ленивца. За него возьмется всякий за четыре тысячи ливров.
Людовик XIV рассмеялся.
– Вы хитрый гасконец, господин д'Артаньян, – сказал король. – Вы из самой души вырываете у меня тайну.
– Ба! У вашего величества есть тайна?
– Да.
– А, в таком случае я принимаю двадцать тысяч ливров, потому что сохранию тайну, а в наше время молчание стоит дорого. Не угодно ли вашему величеству сказать, в чем дело?
– Вы немедленно же оденетесь по-походному, господин д'Артаньян, и сядете на коня.
– Сейчас?
– Ну, скажем, через два дня.
– Отлично, ваше величество. Ведь я должен устроить свои дела, особенно если придется драться.
– Может быть, и придется.
– Так будем драться. Ваша величество обращались к скупости, к честолюбию, к сердцу д'Артаньяна, но забыли об одном...
– О чем?
– Забыли о его тщеславии. Когда я буду кавалером королевских орденов?
– Это интересует вас?
– Да, ваше величество. Мой друг Атос весь в лентах: это задевает меня.
– Вы будете кавалером моих орденов через месяц. После того, как возьмете патент на звание капитана мушкетеров.
– А, – сказал мушкетер в раздумье, – после экспедиции? Куда же я еду?
– Вы знаете Бретань? Есть у вас там друзья?
– Нет.
– Тем лучше. Вы сведущи в фортификационном деле?
Д'Артаньян улыбнулся.
– Кое-что смыслю.
– Иными словами, можете вы отличить крепость от простого укрепления, какое дозволено строить владельцам замков, нашим вассалам?
– О, я могу отличить крепость от небольшого укрепления, как латы от хлебной корки. Достаточно ли этого?
– Достаточно. Вы поедете в Бретань один, даже без слуги.
– Смею спросить, почему?
– Потому, что вам самому не худо будет иной раз переодеться слугой из хорошего дома. Во Франции вас хорошо знают в лицо, господин д'Артаньян.
– А потом?
– Потом вы проедетесь по Бретани и осмотрите тамошние укрепления.
– Береговые?
– Также и островные.
– А!
– Вы начнете с Бель-Иля.

– Который принадлежит господину Фуке? – спросил д'Артаньян серьезным голосом, подняв на короля свои проницательные глаза.

– Да, кажется, Бель-Иль действительно принадлежит суперинтенданту Фуке.

– Так вашему величеству угодно знать, хорошо ли укреплен Бель-Иль?

– Да.

– И новые или старые там укрепления?

– Именно так.

– И достаточно ли у суперинтенданта вассалов, чтобы составить из них гарнизон?

– Именно этого я хочу от вас; вы попали в самую точку.

– А если Бель-Иль не укрепляют?

– Тогда вы проедете по Бретани, прислушаетесь и присмотритесь к тому, что там происходит.

Д'Артаньян закрутил усы.

– Я буду шпионом короля? – сказал он прямо.

– Нет, вы отправляетесь в разведку. Если б вы двигались во главе ваших мушкетеров со шпагой в руках, для обозрения местности и положения неприятеля...

При слове «неприятель» д'Артаньян едва заметно вздрогнул.

– Неужели в этом случае вы сочли бы себя шпионом?

– Нет, нет! – отвечал д'Артаньян задумчиво. – Совсем другое дело, когда отправляешься в рекогносцировку против неприятеля, тогда действуешь как воин. А если Бель-Иль укрепляют? – прибавил он.

– Вы снимете план укреплений.

– Меня впустят туда?

– Это меня не касается, это ваше дело. Разве я не сказал, что предоставлю суммы на экстренные расходы, если они вам понадобятся?

– Хорошо. А если укрепления не строятся?

– Вы вернетесь спокойно, не гоня лошадей.

– Я готов ехать.

– Завтра же ступайте к суперинтенданту за первой четвертью жалованья, назначенного вам. Вы знаете господина Фуке?

– Очень мало. Но, осмелюсь заметить вашему величеству, я и не тороплюсь познакомиться с ним поближе.

– Он откажется выдать вам деньги... я этого жду.

– А! И что же?

– Если он вам откажет, вы пойдете к Кольберу. Кстати, лошадь у вас хорошая?

– Превосходная.

– Сколько вы за нее заплатили?

– Сто пятьдесят пистолей.

– Я покупаю ее у вас. Вот вам чек на двести пистолей.

– Но, ваше величество, для путешествия мне нужна лошадь, а вы ее у меня отбираете.

– Нисколько. Напротив, я даю ее вам. Я уверен, что если лошадь будет принадлежать мне, а не вам, вы не станете ее щадить.

– Так это дело спешное?

– Очень.

– Зачем же откладывать отъезд на два дня?

– У меня есть целых две причины.

– Впрочем, за неделю лошадь нагонит два дня. Притом существует еще почта.

– Нет, почтовых лошадей не берите, господин д'Артаньян. И не забывайте, что вы у меня на службе.

– Я никогда не забывал этого, ваше величество. В котором часу прикажете мне выехать послезавтра?

– Где вы сейчас живете?

– Теперь я должен жить в Лувре.
– Я этого не хочу. Оставайтесь на прежней квартире; я буду платить за нее. Вы должны выехать ночью и так, чтобы вас никто не видел, а если увидят, то не должны знать, что вы служите мне. Не проговоритесь.
– Ваше предупреждение, государь, обижает меня.
– Я спрашивал, где вы живете, потому что не могу всегда посылать за вами к графу де Ла Фер.
– Я живу у купца Планше на Ломбардской улице.
– Выходите из дому как можно реже, показывайтесь как можно меньше и ждите моих приказаний.
– Однако мне придется пойти за деньгами.
– Правда. Но в интендантство ходит так много людей, что вы можете смешаться с толпой.
– У меня нет чеков, чтобы получить деньги, ваше величество.
– Вот они.
Король подписал бумагу. Д'Артаньян посмотрел, правильно ли она составлена.
– Прощайте, – сказал король. – Надеюсь, вы вполне поняли меня.
– Я понял, ваше величество, что вы посылаете меня в Бель-Иль узнать, как идут работы господина Фуке. Вот в все.
– Хорошо. А если вас схватят или убьют?
– О, это маловероятно.
– В первом случае вы ничего не скажете; во втором – при вас не найдут никаких бумаг.
Д'Артаньян пожал плечами. Откланиваясь королю, он думал: «Английский дождь продолжается! Подставим ладони!»

Глава 6. ПОМЕСТЬЕ Г-НА ФУКЕ

В то время как д'Артаньян, оглушенный всем, что произошло с ним, возвращался к Планше, в загородном доме суперинтенданта Фуке, в деревне Сен-Манде, происходила сцена, имевшая отношение к описанному нами разговору, хотя и носившая совсем иной характер.

Министр только что вернулся к себе домой в сопровождении главного секретаря, несшего за ним огромный портфель, набитый бумагами для просмотра и подписи.

«Было около пяти часов вечера, обед уже закончился, в доме шли приготовления к ужину на двадцать человек гостей.

Выйдя из экипажа, министр быстро вошел в дом, не останавливаясь прошел ряд комнат и уединился в своем кабинете, сказав, что будет работать.

Он приказал не беспокоить его ни по какому поводу, кроме королевского вызова. Тотчас же перед дверьми кабинета стали на часах два лакея. Фуке, нажав особый запор, выдвинул расписное панно, которое, закрыв дверь, не позволяло ни видеть, ни слышать того, что происходит в кабинете. Затем он направился прямо к столу, раскрыл портфель и принялся разбирать множество находившихся в нем бумаг.

Не прошло и десяти минут, как внимание министра было привлечено отрывистым стуком, повторившимся несколько раз. Фуке стал прислушиваться.

Стук продолжался. Фуке поднялся с жестом нетерпения и направился к зеркалу, из-за которого доносился стук. Оно было вделано в стену. Три других совершенно таких же зеркала были размещены симметрично. В тот момент, когда Фуке, прислушиваясь, подошел к зеркалу, стук возобновился.

Несомненно, это было условным сигналом.

– Гм! – пробормотал он с удивлением. – Кто бы это мог быть? Я никого не ожидаю сегодня.

И, несомненно, чтобы ответить на поданный сигнал, министр повернул три раза

золоченый штифт в раме.

Затем он вернулся на место со словами:

– Ничего, пусть подождут!

Погрузившись вновь в море бумаг, Фуке, казалось, не думал ни о чем другом, кроме своей работы. И в самом Деле, с невероятной быстротой и с поразительной проницательностью разбирал он самые пространные бумаги, самые запутанные документы, делая в них поправки и пометки; работа кипела у него в руках, словно трудились десять чиновников, а не один человек.

Однако время от времени Фуке поглядывал на стоявшие перед ним часы.

Когда Фуке отдавался работе, он мог сделать за час столько, сколько другой не успел бы за день. Обладая неистощимой энергией, он всегда был уверен, что, если никто не будет ему мешать, он добьется поставленной цели в назначенный срок.

В самый разгар его работы стук за зеркалом раздался вновь, но теперь он был гораздо торопливее и настойчивее.

– Очевидно, дама начинает терять терпение, – сказал Фуке. – Это, наверное, графиня... впрочем, она ведь уехала на три дня в Рамбулье. Может быть, президентша? О нет, президентша не ведет себя так решительно. Смирненно позвонив, она терпеливо ждет, пока заблагорассудят откликнуться.

Ясно, что мне не угадать, кто это, хоть я и знаю, кого не может быть. А так как это не маркиза, то провались все остальные!

Фуке продолжал трудиться, не обращая внимания на повторявшиеся удары.

Но минут через пятнадцать он, в свою очередь, начал терять терпение и, стремительно закончив работу, сунул охапку бумаг в портфель и быстро взглянул в зеркало. Стук тем временем продолжался без перерыва.

– Ого, – сказал он, – какая пылкость! Что там случилось? Посмотрим, что за фея ждет меня с таким нетерпением.

Он нажал пальцем кнопку, находившуюся рядом с штифтом. Зеркало тотчас повернулось на шарнирах, открыв в стенной обшивке довольно глубокую нишу, в которой министр скрылся. Там он опять нажал пружину и вышел в отворившуюся в стене дверь, которая сама захлопнулась за ним.

Затем он спустился по винтовой лестнице, имевшей десятка два ступеней, и очутился в обширном подземелье, выложенном плитами. Свет проникал туда через узкие окна. Пол был устлан ковром. Это подземелье тянулось под улицей, отделявшей дом Фуке от Венсенского парка.

В конце подземелья находилась вторая лестница. Поднявшись по ней, Фуке нажал пружину и очутился в такой же нише, какая была у него в кабинете; из нее он вошел в красиво обставленную комнату, где не было ни души.

Убедившись, что зеркало, служившее тайной дверью, закрылось плотно, он отпер дверь напротив тройным поворотом золоченого ключика и вошел в комнату, отделанную с необыкновенной роскошью. На диване сидела женщина поразительной красоты. Она бросилась навстречу Фуке.

– Ах, боже мой! – воскликнул Фуке, отступая на шаг от изумления. Маркиза де Бельер! Вы... вы здесь?

– Да... я, – прошептала маркиза.

– Маркиза, дорогая маркиза, – повторял Фуке, готовый упасть к ее ногам. – О боже! Но как вы попали сюда? А я-то заставил вас так долго ждать.

– Долго... очень долго.

– Я счастлив, что ожидание показалось вам долгим.

– О, оно показалось мне вечностью. Я звонила больше двадцати раз.

Разве вы не слышали?

– Нет, я слышал, но не мог прийти. Как смел я предположить, что это вы, после вашей суровости, после вашего отказа? Если бы я догадывался о счастье, которое меня ожидает,

поверьте, маркиза, я оставил бы все.

Маркиза обвела комнату взглядом.

– Мы здесь одни? – спросила она.

– О да, отвечаю вам за это.

– В самом деле, – грустно проговорила маркиза.

– Вы вздохнули, маркиза?

– Сколько тайн, сколько предосторожностей! – с легкой горечью сказала маркиза. – Как вы боитесь, чтобы никто не узнал о вашей любви.

– Неужели следует выставлять ее напоказ?

– О нет, вы слишком деликатны для этого, – произнесла маркиза с усмешкой.

– Не нужно упреков, маркиза, умоляю вас.

– Имею ли я право вас упрекать?

– К несчастью, нет. Но скажите мне, вы, которую я люблю уже целый год без надежды и без взаимности...

– Вы ошибаетесь, – перебила маркиза. – Без надежды – это правда, но не без взаимности.

– О, для меня любовь имеет только одно доказательство, и я все еще жду его.

– Я принесла его вам.

Фуке хотел ее обнять, но она уклонилась.

– Вы заблуждаетесь, сударь. Не требуйте от меня ничего, кроме преданности, которую я только и могу подарить вам.

– Ах, значит, вы не любите меня: преданность – это всего лишь добродетель, а любовь – это страсть.

– Выслушайте меня, сударь, умоляю вас. Вы должны понять, что лишь особо важная причина могла привести меня сюда.

– Что мне до причины, если вы здесь, если я могу говорить с вами, видеть вас.

– Да, вы правы: всего важнее, что я здесь, что никто не видел меня и я могу сказать вам...

Фуке опустился на колени.

– Говорите, маркиза, – сказал он, – говорите, я вас слушаю.

Маркиза посмотрела на Фуке, стоявшего перед нею на коленях, странным взглядом, полным нежности и грусти.

– О! – прошептала она наконец. – Как бы я хотела быть той, которая вправе видеть вас каждую минуту, говорить с вами каждое мгновение. Как бы я хотела быть той, которая заботится о вас, которой не приходится пользоваться разными секретными приспособлениями, чтобы вызвать, словно призрак, любимого человека, видаться с ним какой-нибудь час, а потом смотреть, как он исчезает во мраке тайны, которая кажется еще более загадочной тогда, когда он уходит, чем казалась при его появлении. О, какая это счастливая женщина!

– Неужели, маркиза, вы имеете в виду мою жену? – с улыбкой спросил Фуке.

– Разумеется, я говорю о ней.

– Не завидуйте ее участи, маркиза. Из всех женщин, с которыми я поддерживаю отношения, госпожа Фуке меньше всех видит меня, меньше всех говорит со мною и пользуется моим наименьшим доверием.

– По крайней мере, сударь, ей не приходится нажимать рукою раму зеркала, чтобы вызвать вас, как пришлось сделать мне; по крайней мере» вы не отвечаете ей таинственным, пугающим звуком колокольчика, пружина которого висит где-то в неведомом месте; по крайней мере, вы никогда не запрещали ей проникнуть в тайну этих встреч под страхом того, что ваша связь с нею навсегда прекратится, как вы поступаете с теми женщинами, которые приходили сюда до меня и будут приходить после!

– Ах, дорогая маркиза, как вы несправедливы и как вы не ведаете того, что творите, восставая против таинственности! Только храня тайну, можно любить безмятежно, только безмятежная любовь может дать счастье. Но вернемся к прежнему разговору о вашей преданности, в которой вы меня уверяли, или, скорее, обманывали меня, маркиза, позволяя

думать, что эта преданность есть любовь.

– Только что, – произнесла маркиза, проводя по глазам своей прекрасной рукой, – только что мои мысли были ясны и смелы, а теперь они спутались, меня охватил страх перед необходимостью сообщить вам дурную весть.

– Если эта дурная весть привела вас сюда, я рад ей. Впрочем, раз вы здесь и признаетесь, что не совсем равнодушны ко мне, не лучше ли отложить вашу весть и говорить только о вас?

– Нет, нет, напротив, вам надо узнать ее во что бы то ни стало. Вы должны потребовать, чтобы я вам сказала все тотчас же, а не дала отвлечь себя чувству. Фуке, друг мой, это новость огромной важности!

– Вы удивляете меня, маркиза, я готов сказать – пугаете. Вы так рассудительны, так выдержанны, так хорошо знаете свет, в котором мы живем.

Значит, это что-нибудь важное?

– Чрезвычайно важное! Слушайте...

– Скажите сначала: как вы сюда попали?

– Сейчас узнаете. Сначала более спешное дело.

– Говорите же, маркиза, прошу вас! Пощадите мое терпение.

– Знаете ли вы, что Кольбер назначен интендантом финансов?

– Что? Кольбер? Маленький Кольбер? Правая рука кардинала?

– Именно.

– Что же в этом ужасного, дорогая маркиза? Маленький Кольбер назначен интендантом финансов – это странно, я согласен, но вовсе не страшно.

– Неужели вы думаете, что король без всяких причин назначил на такую должность того, кого вы прозвали мелочным педантом?

– Прежде всего, верно ли еще, что король назначил его?

– Так говорят.

– Кто?

– Все.

– Все – это значит никто. Назовите мне кого-нибудь, кто знает из верного источника.

– Госпожа Ванель.

– Ах, вы и в самом деле начинаете меня пугать! – со смехом вскричал Фуке. – Она-то уж конечно знает из верного источника.

– Не говорите дурно о бедной Маргарите, господин Фуке: она все еще любит вас.

– В самом деле? Не верится. А я думал, что маленький Кольбер уже успел запятнать эту любовь чернильной кляксой или комком грязи.

– Фуке» Фуке, вот как вы относитесь к женщинам, которых бросили!

– Маркиза, неужели вы берете под свою защиту госпожу Ванель?

– Да, беру, потому что, повторяю, она все еще любит вас, и вот доказательство: она хочет вас спасти.

– При вашей помощи, маркиза; это ловкий ход с ее стороны. Никакой ангел не может быть мне более приятен и вернее вести меня к спасению. Но скажите, разве вы знаете Маргариту?

– Она моя монастырская подруга.

– И вы говорите, что это она сообщила вам о назначении Кольбера на должность интенданта?

– Да.

– Хорошо, пусть он будет интендантом. Но объясните мне одно, маркиза: каким образом Кольбер в качестве моего подчиненного может вредить или мешать мне?

– Вы упускаете из виду одно важное обстоятельство.

– Какое?

– То, что Кольбер вас ненавидит.

– Меня! – воскликнул Фуке. – О боже! Разве вы не знаете, что меня ненавидят все? Кольбер так же, как другие.

– Кольбер больше, чем другие.

– Больше, согласен.

– Он очень честолюбив.

– Кто же не честолюбив, маркиза?

– Да, но его честолюбие не имеет границ.

– Я знаю и это: он пожелал сделаться моим преемником у госпожи Ванель.

– И достиг этого. Берегитесь, чтобы он не добился своего и в другом.

– Вы хотите сказать, что он рассчитывает перебраться с места моего помощника на мое собственное?

– А разве у вас не возникло такое опасение?

– О нет. Заменить меня подле госпожи Ванель – это еще возможно, но подле короля – это дело совсем другое. Франция покупается не так легко, как жена какого-то чиновника.

– Все покупается: если не на золото, то путем интриг.

– Вы хорошо знаете, что это не так, маркиза, вы, которой я предлагал миллионы.

– Надо было, Фуке, вместо миллионов предложить мне истинную, безграничную любовь. Я бы согласилась. Как видите, так или иначе, все покупается.

– Значит, по-вашему, Кольбер собирается купить и мою должность? Успокойтесь, маркиза: пока еще он недостаточно богат для этого.

– А если он ее у вас украдет?

– Ах, это другое дело. Но, к несчастью для него, чтобы добраться до меня, он должен разрушить и снести мои передовые укрепления, а они у меня отличные, маркиза.

– Своими передовыми укреплениями вы, вероятно, называете ваших приверженцев и друзей?

– Конечно.

– К числу ваших приверженцев принадлежит и д'Эмери?

– Да.

– А Лиодо к числу друзей?

– Разумеется.

– А де Ванен?

– Ну, с ним могут делать что угодно, а тех двоих я не советовал бы трогать.

– Но если вы хотите, чтобы не трогали д'Эмери и Лиодо, то должны принять меры.

– Что же грозит им?

– Теперь вы согласны выслушать меня?

– Как всегда, маркиза.

– И не будете меня прерывать?

– Говорите.

– Слушайте! Сегодня утром Маргарита прислала за мной.

– Чего же она от вас хотела?

– «Я не могу повидаться лично с господином Фуке», – сказала она мне.

– Ба! Почему? Неужели она думает, что я стал бы ее упрекать? Бедная женщина, как она ошибается!

– «Повидайтесь с ним и скажите, чтобы он остерегался Кольбера».

– Как, она предостерегает меня против своего собственного любовника?

– Я повторяю, что она еще любит вас.

– Дальше, маркиза!

– Дальше Маргарита сказала: «Два часа тому назад Кольбер пришел сообщить мне, что он назначен интендантом».

– Я уже говорил вам, маркиза, что Кольбер будет тем более в моих руках.

– Да, но это еще не все. Маргарита, как вы знаете, дружит с госпожой д'Эмери и госпожой Лиодо.

– Да.

– Так вот: Кольбер расспрашивал ее об их состоянии и о том, насколько они вам

преданы.

– О, за них я ручаюсь. Чтобы лишить меня их преданности, их надо убить.

– Слушайте дальше. В то время, когда у госпожи Ванель был Кольбер, к ней кто-то пришел, и она вышла на несколько минут из комнаты. Оставшись один, Кольбер, который не любит сидеть без дела, тотчас принялся набрасывать карандашом заметки на листках бумаги, лежавших на столе.

– Они касались д'Эмери и Лиодо?

– Именно.

– Интересно было бы узнать, что в них заключалось.

– Я принесла их вам.

– Неужели госпожа Ванель взяла их у Кольбера, чтобы передать мне?

– Нет, но случайно, просто чудом, в ее руках очутилась копия с этих заметок.

– Как так?

– А вот послушайте. Я уже сказала вам, что Кольбер нашел бумагу на столе.

– Да.

– Карандаш, которым он писал, оказался очень твердым, так что все отпечаталось на следующем листе.

– Далее.

– Кольбер, взяв первый лист, не обратил внимания на второй. А между тем на нем можно было прочесть все, что было написано на первом. Госпожа Ванель прочла и послала за мной. Убедившись, что я ваш преданный друг, она отдала мне этот листок и открыла тайну вашего дома.

– Где же этот лист? – спросил Фуке, несколько встревоженный.

– Вот он, читайте, – сказала маркиза.

Фуке прочел:

«Имена откупщиков, которых должна приговорить судебная палата: д'Эмери, друг Ф., Лиодо, друг Ф., де Ванен, безразл...»

– Д'Эмери! Лиодо! – вскрикнул Фуке, перечитывая еще раз записку.

– ДРУЗЬЯ Ф., – указала пальцем маркиза.

– Но что значат слова: «которых должна приговорить судебная палата»?

– Кажется, это вполне ясно. Впрочем, вы еще не кончили, читайте дальше.

Фуке продолжал:

«...Двух первых присудить к смертной казни, третьего уволить вместе с д'Отмоном и с де Лаваллетом, конфисковав их имущество».

– Великий боже! – воскликнул Фуке. – Казнить Лиодо и д'Эмери! Но если даже судебная палата приговорит их к смерти, то король не утвердит приговора, а без его утверждения их не могут казнить.

– Но король сделал Кольбера интендантом.

– Ах, – воскликнул Фуке, словно увидев бездну, разверзшуюся у его ног. – Нет, это невозможно! Невозможно! А кто это навел карандашом по следам, оставленным Кольбером?

– Это сделала я, боясь, что следы сгладятся.

– О!.. Я узнаю все!

– Вы ничего не узнаете! Для этого вы слишком презираете своего врага.

– Простите меня, дорогая маркиза. Да, Кольбер – мой враг, согласен.

Да, Кольбер – опасный человек, признаюсь. Но у меня впереди еще много времени. А теперь вы здесь, вы доказали мне свою преданность, может быть даже любовь... Мы наконец одни...

– Я пришла сюда, чтобы спасти вас, а не для того, чтобы погубить себя, господин Фуке, –

сказала маркиза, вставая. – Итак, остерегайтесь!

– Право, маркиза, вы напрасно тревожитесь, и если ваша боязнь не предлог...

– Кольбер – человек с сильной волей! Остерегайтесь его...

– А я? – спросил Фуке, в свою очередь поднимаясь с места.

– Вы? Вы только благородный человек. Повторяю: остерегайтесь Кольбера!..

– И это все?

– Я сделала все, что могла, рискуя погубить свою репутацию. Прощайте.

– Не прощайте, а до свиданья!

– Быть может... – произнесла маркиза.

Протянув Фуке руку для поцелуя, она так решительно направилась к двери, что Фуке не посмел преградить ей дорогу.

С поникшей головой, с омраченным лицом отправился он в обратный путь по подземному ходу, соединявшему два дома.

Глава 7. АББАТ ФУКЕ

Быстро пройдя подземелье и нажав пружину возле зеркала, Фуке снова очутился в своем кабинете. Едва успел он войти, как услышал стук в дверь и знакомый голос, кричавший:

– Монсеньер, отойдите, пожалуйста!

Фуке быстрым движением скрыл следы своего волнения и отсутствия: разбросал по столу бумаги, взял в руку перо и, чтобы выиграть время, спросил через дверь:

– Кто там?

– Как! Монсеньер не узнает меня, – ответил голос.

«Как не узнать тебя, дружище?» – сказал Фуке про себя.

– Это вы, Гурвиль? – спросил он громко.

– Конечно, я, монсеньер.

Фуке поднялся и, в последний раз посмотрев на зеркало, отпер дверь и впустил Гурвиля.

– Ах, монсеньер, какая жестокость! – воскликнул он.

– Почему?

– Вот уже четверть часа, как я умоляю вас отпереть, а вы даже не отвечаете.

– Запомните раз навсегда: я не терплю, чтобы меня беспокоили во время работы. Хотя вы, Гурвиль, и составляете исключение, я все же хочу, чтобы для других мое запрещение оставалось в силе.

– В такую минуту, монсеньер, я готов разбить, снести, опрокинуть всякие запреты, все двери, замки и стены.

– Ого! Значит, случилось что-нибудь очень важное? – спросил Фуке.

– Очень.

– Что же произошло? – продолжал Фуке, слегка обеспокоенный волнением своего ближайшего сотрудника.

– Учреждена тайная судебная палата.

– Мне это известно. Но разве она уже собралась?

– Не только собралась, монсеньер, но уже успела вынести приговор...

– Приговор? – произнес министр, побледнев и с дрожью, которую он не мог скрыть. – Кому же?

– Вашим друзьям.

– Лиодо и д'Эмери?

– Да, монсеньер.

– К чему же они приговорены?

– К смертной казни.

– Не может быть! Нет, это невозможно!.. Вы ошибаетесь, Гурвиль.

– Вот копия приговора, который сегодня должен быть подписан королем.

Быть может, он уже подписал его.

Фуке схватил бумагу, быстро пробежал ее и возвратил Гурвилю со словами:

– Король не подпишет этого приговора.

– Монсеньер, Кольбер смелый советчик... Опасайтесь его.

– Опять Кольбер! – воскликнул Фуке. – Вот уж два-три дня я непрерывно слышу это имя! Слишком много чести для такого ничтожества. Пусть Кольбер появится, и я рассмотрю его; пусть он поднимет голову, и я раздавлю его; но согласитесь, что бороться можно только с таким противником, который хоть что-нибудь из себя представляет.

– Терпение, монсеньер, вы не знаете Кольбера... Постарайтесь его изучить. Это один из темных финансовых дельцов, подобных метеорам, которых никогда не видишь до их разрушительного вторжения. Появление их губительно.

– О, Гурвиль, это уж слишком, – возразил Фуке, улыбаясь. – Меня не так-то легко запугать, друг мой. Кольбер – метеор! Черт возьми! Мы еще посмотрим, что это за метеор... Давайте мне факты, а не слова. Что он сделал до сих пор?

– Он заказал парижскому палачу две виселицы, – сказал Гурвиль.

Фуке поднял голову, и в глазах его сверкнула молния.

– Вы уверены в том, что это правда? – вскричал он.

– Вот вам доказательство, монсеньер.

И Гурвиль протянул Фуке записку одного из секретарей городской ратуши, верного сторонника суперинтенданта.

– Да, действительно, – пробормотал Фуке, – воздвигается эшафот... Но король не подписал, Гурвиль, и не подпишет приговора!

– Это мы скоро узнаем, – заметил Гурвиль.

– Каким образом?

– Если приговор подписан королем, виселицы сегодня же вечером будут отправлены к городской ратуше, чтобы завтра утром можно было их поставить.

– Нет, нет! – снова воскликнул Фуке. – Все вы ошибаетесь и вводите меня в заблуждение. Не дальше как позавчера у меня был Лиодо, а три дня назад я получил от бедняги д'Эмери сиракузское вино.

– Это только доказывает, – возразил Гурвиль, – что судебная палата была собрана тайно, совещалась в отсутствие обвиняемых, и как только дело было закончено, их арестовали.

– Разве они арестованы? Но как, где, когда?

– Лиодо – вчера на рассвете, д'Эмери – позавчера вечером, когда он возвращался от своей любовницы; их исчезновение никого не встревожило, но внезапно Кольбер сорвал маску и приказал обнародовать это дело. О нем теперь кричат на всех улицах Парижа, и, по правде говоря, только вы, монсеньер, не знаете об этом событии.

Фуке с возрастающим волнением ходил взад и вперед по комнате.

– Что вы думаете предпринять, монсеньер? – спросил Гурвиль.

– Если бы все это было верно, я отправился бы к королю. Но прежде чем ехать в Лувр, я побываю в городской ратуше. Если приговор утвержден, тогда посмотрим. Едем же! Откройте дверь, Гурвиль.

– Осторожнее, – предупредил тот. – Там аббат Фуке.

– Ах, мой брат, – с горечью сказал Фуке. – Значит, он узнал какую-нибудь скверную новость и, по своему обыкновению, рад поднести ее мне! Да, черт возьми, если явился мой брат, то мои дела действительно плохи. Что ж вы не сказали мне раньше? Я бы скорее поверил всему.

– Монсеньер клеветает на господина аббата! – смеясь, произнес Гурвиль.

– Он пришел вовсе не с дурным намерением.

– Ах, Гурвиль, вы еще заступаетесь за этого безалаберного, бессердечного человека, за этого неисправимого мота?

– Не сердитесь, монсеньер.

– Что это сегодня с вами, Гурвиль? Вы защищаете даже аббата Фуке.

– Ах, монсеньер, во всем есть своя хорошая сторона.
– По-вашему, и у тех разбойников, которых аббат держит у себя и спаивает, есть свои хорошие стороны?

– Обстоятельства могут так сложиться, монсеньер, что вы рады будете иметь под рукой и этих разбойников.

– Значит, ты советуешь мне помириться с аббатом? – иронически спросил Фуке.

– Я вам советую не ссориться с сотней молодцов, которые, соединив свои шпаги, могут окружить стальным кольцом три тысячи человек.

Фуке бросил на собеседника быстрый взгляд.

– Вы правы, Гурвиль, – произнес он. – Впустите сюда аббата Фуке! крикнул он дежурившему у дверей лакею.

Через две минуты на пороге кабинета с глубоким поклоном показался аббат Фуке. Это был человек лет за сорок, полусвященник, полувоин, смесь отчаянного забияки и монаха. При нем не было шпаги, но заметно было, что он носит при себе пистолеты.

Фуке приветствовал его скорее как министр, чем как старший брат.

– Чем могу служить, господин аббат? – спросил он.

– Ого, каким тоном вы говорите, брат мой! – воскликнул аббат.

– Тоном занятого человека.

Аббат с ехидством взглянул на Гурвиля, с беспокойством на брата и произнес:

– Сегодня вечером я должен уплатить господину де Брежи триста пистолей... Карточный долг-долг чести.

– Дальше? – спросил Фуке, уверенный, что из-за таких пустяков аббат не стал бы его беспокоить.

– Тысячу пистолей мяснику, который не хочет больше отпускать в долг.

– Дальше?

– Тысячу двести портному, – продолжал аббат. – Этот болван не отдает мне одежды, заказанной для семерых моих слуг. Это компрометирует меня, и моя любовница грозит заменить меня откупщиком, что было бы унижительно для церкви.

– Что еще? – спросил Фуке.

– Вы заметили, брат мой, – сказал смиренно аббат, – что я ничего не прошу для себя лично.

– Это очень деликатно с вашей стороны, господин аббат, – улыбнулся Фуке. – Однако, как видите, я жду.

– Я и не стану ничего просить... о нет... но не потому, что я ни в чем не нуждаюсь. Уверю вас...

– Тысячу двести портному! – вздохнул министр, подумав с минуту. – На эту сумму можно сшить изрядное количество платья.

– Я содержу сто человек, – с гордостью произнес аббат, – а это, я думаю, чего-нибудь да стоит.

– Сто человек? – повторил Фуке. – Но разве вы Ришелье или Мазарини, чтобы иметь столько телохранителей? Зачем вам эти люди, скажите на милость?

– И вы еще спрашиваете? – удивился аббат Фуке. – Как вы можете спрашивать, для чего я содержу сто человек?

– Да, я хочу знать, на что вам нужны эти сто человек? Отвечайте!

– Неблагодарный! – воскликнул, все более горячась, аббат.

– Объяснитесь же наконец.

– Ах, господин министр, ведь лично мне нужен только один лакей, а если бы я был одинок, я обошелся бы и без него. Но вы, вы, у вас столько врагов, что мне и ста человек мало, чтобы защищать вас. Сто человек!..

Нужно бы десять тысяч! Я содержу их для того, чтобы в публичных местах и собраниях никто не смел возвысить против вас голоса. Без этого вы были бы засыпаны проклятиями, уничтожены злыми языками. Без этого вы не продержались бы и недели. Слышите, недели!

- О, я не знал, что вы такой горячий мой защитник, господин аббат.
- Вы сомневались в этом? – вскричал аббат. – Так слушайте же, что случилось. Не дальше как вчера на улице Юшет какой-то человек торговал цыпленка у мясника.
- Так. Чем же это может мне повредить, господин аббат?
- А вот чем. Цыпленок был тощий, и покупатель отказался дать за него восемнадцать су, говоря, что не желает платить такие деньги за одну кожу и кости, с которых Фуке снял весь жир.
- Дальше?
- Раздался смех, остроты по вашему адресу. Собралась толпа зевак. Зубоскал прибавил: «Дайте мне цыпленка, вскормленного Кольбером, и я с удовольствием заплачу, сколько вы ни спросите». Толпа стала рукоплескать. Словом, скандал! Вашему брату оставалось только закрыть лицо.
- И вы закрыли? – спросил Фуке, покраснев.
- Нет, до этого дело не дошло: в толпе оказался один из моих людей, некто Менвиль, новобранец, недавно приехавший из провинции, – я его очень ценю. Он пробрался сквозь толпу и вызвал оскорбителя на дуэль. Поединок состоялся тут же, перед лавкой мясника, в присутствии множества зрителей, которые обступили сражавшихся и глядели из окон.
- И чем же кончилось? – перебил Фуке.
- А тем, что мой Менвиль сразу проткнул противника шпагой, что произвело большое впечатление на зрителей. После этого он сказал мяснику:
- «Возьмите вот этого индюка, мой друг: он будет пожирнее вашего цыпленка». Вот на что я трачу свои доходы, господин министр: на поддержание фамильной чести, – с торжеством заключил аббат.
- Фуке склонил голову.
- Хорошо, – сказал Фуке. – Передайте Гурвилю ваш счет и оставайтесь у меня на вечер.
- На ужин?
- Да.
- Но ведь касса уже заперта?
- Гурвиль отопрет ее для вас. Ступайте, аббат, ступайте.
- Аббат поклонился.
- Так, значит, мы друзья? – спросил он.
- Друзья, друзья. Идемте, Гурвиль.
- Вы уходите? Значит, вы не будете ужинать дома?
- Не беспокойтесь. Я вернусь через час, – отвечал Фуке и прибавил тихо Гурвилю:
- Пусть заложат моих английских лошадей; я поеду в городскую ратушу.

Глава 8.

ВИНО ЛАФОНТЕНА

В Сен-Манде съезжались экипажи, привозившие гостей. В доме шли деятельные приготовления к ужину, в то время как сам министр мчался на своих быстроногих лошадях в Париж. К городской ратуше он подъехал со стороны набережной, чтобы миновать оживленные кварталы города. Было без четверти восемь, когда Фуке и сопровождавший его Гурвиль вышли из экипажа на углу улицы Лонг-Пон и пешком направились к Гревской площади.

Повернув на площадь, они заметили человека солидного вида, одетого в черное с лиловым, который садился в наемную карету, приказывая кучеру ехать в Венсен. Он держал большую корзинку с бутылками, только что купленными им в соседнем кабачке под вывеской «Нотр-Дам».

- Ба, да ведь это Ватель, мой дворецкий, – сказал Фуке. – Зачем он приезжал сюда?
- Наверное, за вином.
- Что такое? Покупать для меня вино в кабаках! Неужели у меня такой плохой погреб?

И он направился к дворецкому, который заботливо устанавливал в карете корзину с бутылками.

– Эй, Ватель! – крикнул он повелительным голосом.

– Будьте осторожны, монсеньер, вас узнают, – остановил его Гурвиль.

– Так что за беда! Ватель!

Человек, одетый в черное с лиловым, оглянулся. У него было добродушное, но маловыразительное лицо. Глаза его блестели, на губах блуждала улыбка.

– Ах, это вы, монсеньер! – воскликнул он.

– Да, я. Что вы здесь делаете, черт возьми? Что у вас тут? Вино? Ватель, вы покупаете вино в кабаке на Гревской площади?

– Но зачем вмешиваться в мои дела? – с полным спокойствием произнес Ватель, бросив недружелюбный взгляд на Гурвиля. – Разве мой погреб плохо содержится?

– Не сердитесь, Ватель, – сказал Фуке, – я полагал, что мой... ваш погреб настолько богат, что мы могли бы обойтись без кабака «Нотр-Дам».

– Да, сударь, – с легким презрением произнес дворецкий, – ваш погреб так хорош, что некоторые из гостей ничего не пьют на ваших обедах.

Фуке с изумлением взглянул сначала на Гурвиля, потом на Вателя.

– Что вы говорите, Ватель?

– Я говорю, что у вашего дворецкого нет вин на все вкусы и что господа Лафонтен, Пелисон, Конрар ничего не пьют у вас за столом: они не любят тонких вин. Что же тут поделаешь!

– И что же вы придумали?

– Я и покупаю их любимое вино Жуаньи, которое они каждую неделю распивают в этом кабаке. Вот почему я здесь.

Фуке, почти растроганный, не нашел что ответить. Вателю же хотелось сказать очень многое.

– Вы бы еще упрекнули меня, монсеньер, – продолжал он, все более горячась, – что я сам езжу на улицу Планш-Мибре за сидром, который пьет господин Лоре у вас за обедом.

– Лоре пьет у меня сидр? – со смехом воскликнул Фуке.

– Ну конечно, сударь. Оттого-то он и обедает у вас так охотно.

– Ватель, вы молодец! – воскликнул Фуке, пожимая руку своего дворецкого. – Очень благодарен вам: вы поняли, что для меня господа Лафонтен, Конрар и Лоре – те же герцоги, пэры и принцы. Вы образцовый слуга, Ватель, и я удваиваю вам жалованье.

Ватель с недовольным видом слегка пожал плечами и проворчал себе под нос:

– Получать благодарность за то, что исполняешь свои обязанности, оскорбительно.

– Он прав, – произнес Гурвиль, движением руки отвлекая внимание Фуке в другую сторону.

Он указывал ему на запряженную парой лошадей низкую повозку, на которой колыхались две обитые железом виселицы, положенные одна на другую и связанные цепями. На перекладине сидел стражник, с угрюмым видом он пропускал мимо ушей замечания толпы зевак, старавшихся разузнать, для кого предназначаются эти виселицы, и провожавших повозку до городской ратуши.

Фуке содрогнулся.

– Вы видите дело решено! – сказал Гурвиль.

– Да, но оно еще не окончено, – возразил Фуке.

– Ах, не обманывайте себя напрасной надеждой, монсеньер! Если уж сумели усыпить ваше внимание, то теперь дела не поправить.

– Но я-то еще не утвердил приговора.

– За вас утвердил де Лион.

– Так я отправлюсь прямо в Лувр.

– Нет, вы не поедете туда.

– И вы предлагаете мне такую низость! – вскричал Фуке. – Вы советуете мне бросить на

произвол судьбы друзей, сложить оружие, которое у меня в руках и которым я еще могу сражаться?

– Нет, монсеньер, я не говорил ничего подобного. Можете ли вы покинуть свой пост суперинтенданта в такой момент?

– Нет, не могу.

– Ну, а если вы явитесь к королю и он тотчас же сместит вас?

– Он может сделать это и заочно.

– Но тогда он сделает это не по вашей вине.

– Зато я окажусь негодяем. Я не хочу смерти моих друзей и не допущу этого!

– Разве для этого необходимо являться в Лувр? Имейте в виду, что, очутившись в Лувре, вы будете вынуждены либо открыто защищать ваших друзей, забыв о личных выгодах, либо безвозвратно отречься от них.

– Этого я никогда не сделаю!

– Простите... Но король поставит вас перед выбором, либо вы сами предложите королю выбирать.

– Это верно.

– Поэтому нужно избежать столкновения, монсеньер Вернемся лучше в Сен-Манде.

– Нет, Гурвиль, я не двинусь с этого места, где готовится преступление и где обнаружится мой позор. Повторяю, я не сделаю и шага, пока не найду средства одолеть своих врагов!

– Монсеньер, – возразил Гурвиль, – я пожалел бы вас, если бы не знал, что вы – один из самых сильных умов на свете. У вас полтора миллиона, вы занимаете королевское положение и в полтора раза богаче короля. Кольбер даже не сумел убедить короля принять дар Мазарини. Когда человек – первый богач в государстве и не боится тратить деньги, то немного он стоит, если не добьется того, чего хочет. Итак, повторяю: вернемся в Сен-Манде...

– Чтобы посоветоваться с Пелисоном?

– Нет, монсеньер, чтобы сосчитать ваши деньги!

– Хорошо! – вскричал Фуке с загоревшимся взором. – Едем!

Они сели в карету и пустились в обратный путь. В конце Сент-Антуанского предместья они обогнали экипаж, в котором Ватель вез домой свое вино Жуаньи.

Несшиеся во весь опор вороные кони министра испугали робкую лошадь дворецкого, который в страхе закричал, высунувшись из кареты:

– Осторожнее! Не разбейте моих бутылок!

Глава 9. ГАЛЕРЕЯ В СЕН-МАНДЕ

В загородном доме Фуке человек пятьдесят ждали министра. Не теряя времени на переодевание, Фуке прямо из передней прошел в первую гостиную, где собравшиеся гости болтали между собой в ожидании ужина. За отсутствием хозяина его роль исполнял аббат Фуке.

Появление суперинтенданта было встречено радостными возгласами: веселость, приветливость и щедрость Фуке привлекали к нему сердца всякого рода деловых людей, а также поэтов и художников. Лицо Фуке, по которому его приближенные читали все движения его души, чтобы знать, как вести себя, – лицо это, никогда не омрачавшееся мыслями о делах, было в этот вечер бледнее обычного, что не ускользнуло от взгляда многих его друзей.

Фуке занял за столом председательское место, оживляя ужин своим весельем. Лафонтену он рассказал об экспедиции Вателя за вином, Пелисону историю с тощим цыпленком и Менвилем, так что все сидевшие за столом могли его слышать. Его рассказы вызвали бурю смеха и шуток, которую движением руки остановил Пелисон, все время остававшийся озабоченным.

Аббат Фуке, не понимая, почему его брат затеял разговор об этом случае, с большим

вниманием прислушивался к его словам, тщетно стараясь найти разгадку по выражению лица Гурвиля или Фуке.

– Почему последнее время говорят о Кольбере? – заметил Пелисон.

– Это не удивительно, если правда, что король назначил его интендантом своих финансов, – возразил Фуке.

Едва он произнес эту фразу, как со всех сторон посыпались самые нелестные эпитеты по адресу Кольбера: «Скряга! Негодяй! Лицемер!»

Пелисон обменялся с Фуке многозначительным взглядом и сказал:

– Господа, мы отзываемся так дурно о человеке, которого совершенно не знаем. Это несправедливо и неблагоразумно; я уверен, что и министр того же мнения.

– Разумеется, – отвечал Фуке. – Оставим в стороне жирных цыплят Кольбера и займемся лучше фазанами и трюфелями, о которых предусмотрительно позаботился Ватель.

Эти слова разогнали темную тучу, нависшую было над обществом. Гурвиль так усердно воодушевлял поэтов вином Жуаньи, а аббат, сообразительный, как всякий человек, нуждающийся в чужих деньгах, так усердно развлекал финансистов и военных, что под шум болтовни и веселья рассеялись последние остатки тревоги.

После ужина Пелисон приблизился к Фуке:

– У вас какое-то горе, монсеньер?

– Да, и большое, – ответил министр. – Гурвиль вам расскажет.

– Нужно отправить всех лишних смотреть фейерверк, – сказал Пелисон Гурвилю. – Тогда и поговорим.

– Хорошо, – отвечал Гурвиль и шепнул несколько слов Вателю.

Последний тотчас увел в глубь сада дам, щеголей и праздных болтунов; немногие оставшиеся продолжали прогуливаться по галерее, освещенной тремя сотнями восковых свечей, на виду у любителей фейерверка, которые разбрелись по саду.

Гурвиль подошел к Фуке:

– Монсеньер, теперь мы все здесь. Считайте.

Министр обернулся и сосчитал: всех оказалось восемь человек.

Пелисон и Гурвиль прохаживались под руку с видом людей, болтающих о пустяках.

Лоре с двумя офицерами прогуливался тут же.

Аббат Фуке бродил один.

Министр ходил вместе со своим зятем де Шано и казался поглощенным тем, что ему говорил последний.

– Господа, – сказал он, – прошу вас не поворачивать головы и не показывать вида, что вы обращаете на меня внимание. Продолжайте ходить и слушайте. Мы одни.

Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только доносившимися издали возгласами веселых гостей, которые рассеялись по саду, чтобы лучше видеть фейерверк.

Странное зрелище представляли собой эти группы людей, как будто занятых беседой, а на самом деле жадно внимавших тому, кто, со своей стороны, делал вид, что разговаривает только со своим соседом.

– Господа, – начал Фуке, – вы, конечно, все заметили сегодня отсутствие двух наших друзей, неизменно бывающих здесь по средам... Аббат, не останавливайтесь, бога ради. Это совершенно лишнее: можно слушать и на ходу. Или лучше станьте у открытого окна; у вас острое зрение, и вы тотчас заметите всякого, кто направится сюда. Предупредите нас кашлем.

Аббат повиновался.

– Я не заметил, кто отсутствует, – молвил Пелисон, шедший в обратном направлении, спиной к Фуке.

– Я не вижу господина Лиодо, который выдает мне пенсию, – сказал Лоре.

– А я, – отозвался стоявший у окна аббат, – не вижу моего дорогого д'Эмери, который должен мне тысячу сто ливров за нашу последнюю игру.

– Лоре, – произнес Фуке, поникнув головой, – вы не будете больше получать пенсии от Лиодо, а вы, аббат, никогда не получите ваших тысячи ста ливров от д'Эмери. Оба они должны

скоро умереть.

– Умереть? – в один голос воскликнули присутствующие, забыв при этом страшном слове свои роли.

– Господа, успокойтесь, – сказал Фуке. – За нами могут наблюдать...

Да, они должны умереть.

– Умереть! – повторил Пелисон. – Ведь я видел их шесть дней назад: они были вполне здоровы, веселы, полны надежд... Боже мой, какая же это болезнь поразила их так внезапно?

– Это не болезнь, – отвечал Фуке.

– Значит, есть средство помочь, – возразил Лоре.

– Нет, помочь им нельзя: они накануне гибели.

– Но отчего же они умирают? – вскричал один из офицеров.

– Спросите об этом у тех, кто их убивает.

– Как! Их убивают? Кто же их убивает? – слышались испуганные голоса.

– Хуже того: их вешают, – произнес Фуке с таким унынием, что его голос прозвучал как похоронный звон в этой роскошной галерее, сверкавшей золотом, бархатом, прекрасными картинами и цветами.

Все невольно остановились. Аббат отошел от окна. Ракеты то и дело взлетали над вершинами деревьев. Громкие голоса, доносившиеся из сада, заставили министра подойти к окну; за его спиной столпились друзья, готовые исполнить малейшее его желание.

– Господа, – сказал он, – Кольбер велел арестовать, судить и предать смертной казни двух моих друзей. Что, по вашему мнению, следует мне предпринять?

– Черт возьми! – воскликнул аббат. – Надо распороть брюхо Кольберу.

– Монсеньер, – молвил Пелисон, – вам надо повидаться с его величеством.

– Но, дорогой Пелисон, король уже подписал смертный приговор.

– В таком случае нужно помешать приведению приговора в исполнение, решил граф де Шано.

– Это невозможно, – возразил Гурвиль. – Разве попробовать подкупить тюремщиков?

– Или начальника тюрьмы, – вставил Фуке.

– Можно сегодня же ночью устроить заключенным побег, – предложил еще кто-то.

– А кто из вас возьмется за это?

– Я, – сказал аббат. – Я отнесу деньги.

– Я, – сказал Пелисон. – Я берусь переговорить с начальником тюрьмы.

– Предложим ему пятьсот тысяч ливров, – сказал Фуке. – Этого достаточно. А если нужно, дадим и миллион.

– Миллион! – вскричал аббат. – Да я и с частью этой суммы куплю пол-Парижа!

– Это правильный путь, – одобрил Пелисон. – Подкупим начальника и освободим осужденных. Очутившись на свободе, они поднимут на ноги врагов Кольбера и докажут королю, что его юное правосудие небылочно, как и всякая крайность.

– Итак, Пелисон, отправляйтесь в Париж и привезите к нам осужденных, а завтра посмотрим, как действовать дальше. Гурвиль, вручите Пелисону пятьсот тысяч ливров.

– Смотрите, как бы вас не унесло ветром, – заметил аббат. – Ответственность огромна. Хотите, я помогу вам?

– Тише! – сказал Фуке. – Сюда идут. Ах, как великолепен фейерверк! воскликнул он в тот момент, когда над соседней рощей рассыпался целый дождь сверкающих звезд.

Пелисон и Гурвиль покинули галерею через заднюю дверь, между тем как Фуке вместе с остальными друзьями спустился в сад.

Глава 10. ЭПИКУРЕЙЦЫ

Фуке, казалось, сосредоточил все свое внимание на яркой иллюминации, на ласкающей музыке скрипок и гобоев, на ослепительном фейерверке, который, бросая в небо свои

изменчивые отблески, освещал за деревьями темный силуэт Венсенского замка. Он улыбался дамам и поэтам, и праздник не казался менее веселым, чем обыкновенно. Ватель, с ревнивым беспокойством следивший за выражением лица Фуке, видимо, остался вполне доволен вечером.

Когда фейерверк кончился, общество рассеялось по аллеям парка и мраморным галереям. Стихотворцы прогуливались под руку в рощах, некоторые разлеглись на земле, рискуя испортить свои бархатные костюмы и прически, к которым пристали сухие листья и стебли травы. Немногочисленные дамы слушали пение артистов и декламацию поэтов, большинство же внимало прекрасной прозе своих кавалеров, которые, не будучи артистами и поэтами, под влиянием молодости и уединения не уступали им в красноречии.

– Почему это наш хозяин не ходит в сад? – говорил Лафонтен. – Эпикур никогда не оставлял своих учеников, не то что наш повелитель.

– Напрасно вы считаете себя эпикурейцами, – сказал ему Конрар. – По правде сказать, здесь ничто не напоминает учения гаргетского философа.

– Ба! – отвечал Лафонтен. – Разве вам не известно, что Эпикур приобрел огромный сад, где спокойно жил со своими друзьями?

– Это так.

– А разве господин Фуке не приобрел этого большого сада в Сен-Манде и разве мы не проводим здесь спокойно время с ним и нашими друзьями?

– Все это верно, но, к сожалению, сада и друзей недостаточно для сходства с Эпикуром. Укажите мне, в чем сходство между воззрениями господина Фуке и учением Эпикура?

– Хотя бы в девизе: «Удовольствие дает счастье».

– Что же дальше?

– Никто из нас, я полагаю, не считает себя несчастным. По крайней мере, я не скажу этого о себе. Прекрасный вечер, вино Жуаньи, за которым посылали в мой любимый кабачок, ни одной глупости за длившийся целый час ужин, хотя на нем присутствовали десять миллионеров и двадцать поэтов...

– Здесь я прерву вас. Вы говорите о прекрасном ужине и вине Жуаньи, а я напому вам, что великий Эпикур со своими учениками питался хлебом, овощами и ключевой водой.

– Это не вполне установлено, – возразил Лафонтен. – Не смешиваете ли вы Эпикура с Пифагором, дорогой Конрар?

– Напому вам также, что древний философ вовсе не был в дружбе с богами и правителями.

– Что также сближает его с Фуке, – отозвался Лафонтен.

– Не делайте этого сравнения, – взволнованно произнес Конрар, – иначе вы подтвердите слухи, которые уже ходят о нем и сейчас.

– Какие слухи?

– Что мы плохие французы, равнодушные к королю и глухие к закону.

– О! – вскричал Лафонтен. – Если мы и плохие граждане, то не потому, что следуем принципам своего учителя! Вот один из излюбленных афоризмов Эпикура: «Желайте хороших правителей».

– Так что же?

– А что твердит нам постоянно Фуке? Когда же нами будут управлять как следует?» Говорит он это? Будьте же искренни, Конрар!

– Правда, говорит.

– Так это же учение Эпикура.

– Да, но это пахнет бунтом.

– Как! Желание, чтобы нами хорошо управляли, есть бунт?

– Несомненно, если правители плохи.

– Слушайте дальше. Эпикур говорил: «Повинуйтесь дурным правителям».

Теперь вернемся к Фуке, Не твердил ли он нам целыми днями, что за педант Мазарини, что за осел, что за пиявка! И что все же нужно повиноваться этому уроду! Ведь он говорил это,

Конрар?

– Да, могу подтвердить, что он говорил это, и даже слишком часто.

– Так же как Эпикур, мой друг, совсем как Эпикур; повторяю: мы – эпикурейцы, и это очень забавно...

Понемногу все гуляющие, привлеченные возгласами двух спорщиков, собрались вокруг беседки, в которой укрылись оба поэта. Их спор слушали со вниманием, и сам Фуке подавал пример корректности, хотя и сдерживал себя с трудом.

В конце концов он разразился громким хохотом, а вслед за ним и все окружающие.

В самый разгар общего веселья, в ту минуту, когда дамы наперебой упрекали обоих противников за то, что они не включили женщин в систему эпикурейского благополучия, в дальнем конце сада показался Гурвиль. Он направился прямо к Фуке, который, тотчас отделившись от общества, пошел к нему навстречу. Министр сохранил на лице беззаботную улыбку. Но, скрывшись от посторонних взоров, он сбросил маску.

– Ну что, где Пелисон? Что он сделал? – взволнованно спросил он.

– Пелисон вернулся из Парижа.

– Привез узников?

– Нет, ему не удалось даже повидать тюремного смотрителя.

– Как! Разве он не сказал, что послан мною?

– Сказал, но смотритель велел ему передать, что если он является от господина Фуке, то должен представить от него письмо.

– О, если дело только за письмом...

– Нет, – послышался голос Пелисона, вышедшего из-за кустов, – нет, монсеньер... Поезжайте туда сами и поговорите со смотрителем лично.

– Да, вы правы, я удалюсь под предлогом занятий.

Пелисон, не велите распрягать лошадей. Гурвиль, задержите гостей.

– Позвольте дать вам еще один совет, монсеньер, – сказал Гурвиль.

– Говорите.

– Повидайтесь со смотрителем только в самом крайнем случае: это смело, но неосторожно. Простите, господин Пелисон, если я высказываю мнение, противоположное вашему. Пошлите сначала кого-нибудь другого. Смотритель – человек любезный; но не вступайте с ним лично в переговоры.

– Я подумаю, – сказал Фуке. – Впрочем, у нас впереди еще целая ночь.

– О, не надейтесь слишком на время, монсеньер, – возразил Пелисон, оно летит с ужасающей быстротой. Никогда не пожалеешь, что явился слишком рано.

– Прощайте, Гурвиль, – сказал министр. – Поручаю вам своих гостей.

Пелисон, вы отправитесь со мною.

И они уехали.

Эпикурейцы не заметили исчезновения своего главы.

В саду всю ночь раздавалась музыка.

Глава 11. ОПОЗДАЛ НА ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА

Уезжая вторично в этот день из дому, Фуке чувствовал себя легче и спокойнее, чем можно было ожидать.

Он повернулся к Пелисону, который, забившись в угол кареты, обдумывал средства борьбы с Кольбером.

– Дорогой Пелисон, – сказал Фуке, – как жаль, что вы не женщина!

– Напротив, я считаю это большим счастьем, – возразил тот, – ведь я чрезвычайно безобразен.

– Пелисон! Пелисон! – сказал министр, смеясь. – Вы так часто говорите о своем безобразии, будто страдаете от него.

– И очень, монсеньер. Нет человека несчастнее меня. Я был красив, но оспа обезобразила мое лицо, я лишился верного средства очаровывать людей, а ведь я ваш главный доверенный и должен заботиться о вашей пользе; если б я был сейчас красивой женщиной, то оказал бы вам огромную услугу.

– Какую?

– Я отправился бы к коменданту тюрьмы, который слывет галантным кавалером и волокитой, постарался бы его очаровать и вернулся бы к вам с обоими узниками.

– Ах! – воскликнул Фуке, охваченный сладостным воспоминанием. – Я знаю одну женщину, которая могла бы сыграть именно такую роль перед зрителем тюремного замка!

– А я, монсеньер, знаю пятьдесят таких женщин, которые разгласят по всему свету о вашем великодушии и преданности друзьям; губя себя, они рано или поздно погубят и вас.

– Я говорю не об этих женщинах, Пелисон, я говорю о прекрасном, благородном существе, соединяющем чисто женский ум с храбростью и хладнокровием мужчины; я говорю о женщине такой прекрасной, что самые стены тюрьмы склонятся перед нею, и такой сдержанной, что никто не догадается, кем она послана.

– Настоящее сокровище, – сказал Пелисон. – Вы как нельзя более угодите коменданту тюрьмы. Может случиться, что ему отрубят голову, зато на его долю выпадет небывалое счастье.

– Ему не отрубят головы, – сказал Фуке, – я дам ему лошадей, чтобы он мог бежать, и пятьсот тысяч ливров, с которыми он сможет прилично жить в Англии. Притом от этой женщины, моего друга, он не получит ничего, кроме лошадей и денег. Едем к ней, Пелисон.

Министр протянул руку к шелковому шнуру, висевшему внутри кареты. Пелисон остановил его.

– Монсеньер, – сказал он, – вы потратите на розыски этой женщины столько же времени, сколько Колумб – на поиски Нового Света. А между тем в нашем распоряжении всего два часа. Если зритель ляжет спать, трудно будет проникнуть к нему без шума. А когда рассветет, нам уже ничего нельзя будет сделать. Идите, монсеньер, к нему сами и не ищите этой ночью ни ангела, ни женщины.

– Дорогой Пелисон, мы у ее дверей.

– У дверей ангела?

– Да.

– Но ведь это особняк госпожи де Бельер?

– Тише!

– О боже! – воскликнул Пелисон.

– Вы как будто имеете что-то против нее? – спросил Фуке.

– Увы, ровно ничего! Это-то и приводит меня в отчаяние... Ах, отчего я не могу наговорить о ней столько дурного, чтобы помешать вам войти в ее дом!

Фуке приказал кучеру остановить карету.

– Помешать? – повторил он. – Ничто в мире не может мне помешать пожелать доброго вечера госпоже дю Плесси-Бельер. И, может быть, нам еще понадобится ее помощь. Вы войдете со мною?

– Нет, монсеньер, я останусь здесь.

– Но я не хочу вас заставлять дожидаться меня, – возразил Фуке с присущей ему любезностью.

– Лишняя причина, чтобы я остался: зная, что я жду вас, вы скорее вернетесь... Но будьте осторожны: во дворе экипаж, – значит, у нее кто-то в гостях.

Фуке уже опустил ногу на подножку экипажа, когда Пелисон вдруг воскликнул:

– Умоляю вас, не ходите к этой даме, пока не побываете в тюрьме.

– Я только на пять минут, – отвечал Фуке, взбегая по ступенькам подъезда.

Пелисон, насупившись, забился в угол кареты.

Поднявшись по лестнице, Фуке приказал доложить о себе лакею; его имя вызвало почтительную суету, доказывавшую, что оно пользовалось почетом в доме маркизы.

– Ах, господин министр! – воскликнула, сильно побледнев, маркиза, выходя к нему. – Какая неожиданная честь!.. Осторожнее: у меня Маргарита Ванель, – шепнула она ему.

– Маркиза, – ответил смущенный Фуке, – я по делу... Всего два слова.

И он вошел в гостиную.

Сидевшая там госпожа Ванель поднялась с места.

На ее помертвевшем лице ясно читалась обуревавшая ее зависть. Напрасно Фуке обратился к ней с самым любезным приветствием; в ответ она только бросила убийственный взгляд на него и на маркизу, острый взгляд ревнивой женщины, как стилет пронзающий самую прочную броню. Она поклонилась своей приятельнице, еще ниже министру и удалилась, сославшись на необходимость побывать еще где-то в этот вечер; ни смущенная маркиза, ни охваченный беспокойством Фуке не успели удержать ее.

Оставшись с маркизой, Фуке молча опустился перед ней на колени.

– Я ждала вас, – с нежной улыбкой проговорила маркиза.

– Нет, – возразил Фуке, – если бы вы меня ждали, вы постарались бы удалить эту женщину.

– Она явилась всего четверть часа тому назад.

– Любите ли вы меня хоть немножко, маркиза?

– Не в этом теперь дело, господин Фуке. Нужно Думать об опасности, нависшей над вами. Что вы намерены предпринять?

– Я хочу вырвать сегодня моих друзей из тюрьмы.

– Каким образом?

– Подкупив коменданта тюрьмы.

– Он мой друг: не могу ли я помочь осужденным, не повредив вам?

– О маркиза, это была бы огромная услуга! Но как вы окажете ее, не скомпрометировав себя! Нет, я не допущу, чтобы моя жизнь, власть или свобода были куплены ценой хотя бы одной вашей слезы, хотя бы одного облачка на вашем лице.

– Монсеньер, не говорите таких слов, – они опьяняют меня. Я готова помочь вам, не думая о последствиях. Я действительно люблю вас, люблю, как нежный друг, и, как друг, признательна за вашу деликатность, но, увы... я никогда не буду вашей любовницей.

– Но почему, почему, маркиза? – воскликнул Фуке с отчаянием в голосе.

– Потому, что вы слишком любимы, – тихо сказала молодая женщина, – и слишком многими... потому, что блеск славы и богатства оскорбляет мой взор, а печаль и страдание привлекают его; потому, что, когда вы находились на вершине могущества, я отталкивала вас, и готова, как потерянная, броситься в ваши объятия, заметив грозящую вам беду... Теперь вы поняли меня, монсеньер... Будьте вновь счастливы, чтобы я могла остаться чистой сердцем и мыслью: ваше несчастье погубит меня.

– О маркиза! – произнес Фуке с волнением, какого еще никогда не испытывал. – Если бы я изведal до дна все человеческие горести и услышал из ваших уст то слово, в котором вы отказывали мне, слово люблю, – оно сделало бы меня самым великим, самым знаменитым, самым счастливым из людей!

Он еще стоял на коленях, осыпая поцелуями ее руки, когда в комнату стремительно вбежал Пелисон.

– Монсеньер, маркиза, – произнес он с беспокойством, – простите меня, ради бога. Но, монсеньер, вот уже полчаса, как вы здесь... О, не смотрите на меня оба так укоризненно... Сударыня, скажите, прошу вас, кто та дама, которая вышла отсюда после прихода монсеньера?

– Это госпожа Ванель, – сказал Фуке.

– Я так и знал! – вскричал Пелисон.

– А что случилось?

– Она села в экипаж совершенно бледная.

– Что нам до этого? – спросил Фуке.

– Да, но важно то, что она сказала кучеру.

– Боже мой! Что же? – вскричала маркиза.
– «К Кольберу», – ответил Пелисон хриплым голосом.
– Великий боже! Уезжайте, уезжайте, монсеньер, – воскликнула маркиза, толкая Фуке к двери, в то время как Пелисон тащил его за руку.

– Да что я, ребенок, что ли, которого пугают тенью? – протестовал министр.
– Нет, – отвечала маркиза, – вы исполин, которого ехидна хочет укунить в ногу.

Пелисон продолжал тащить Фуке к экипажу.

– В замок... во весь дух! – крикнул Пелисон кучеру.

Лошади понеслись с быстротою молнии, не встречая на своем пути никаких препятствий. Только под аркадами Сен-Жан у въезда на Гревскую площадь карете министра преградил дорогу конный отряд. Пробриться сквозь него не было никакой возможности. Пришлось переждать, пока проехали конные стражники вместе с конвоируемой ими тяжелой повозкой, направлявшейся к площади Бодуае.

Фуке и его спутник не обратили на отряд внимания.

Пять минут спустя они входили к смотрителю замка. Последний прохаживался взад и вперед по двору.

При имени Фуке, которое ему шепнул на ухо Пелисон, смотритель поспешно подошел к экипажу со шляпой в руке и с низким поклоном произнес:

– Какая честь для меня, монсеньер!

– Я должен просить вас об услуге, сударь, – сказал Фуке.

– Приказывайте, монсеньер.

– Эта услуга сопряжена с известным риском, зато она гарантирует вам навсегда мое расположение и покровительство.

– В чем она заключается, монсеньер?

– Вы должны проводить меня в камеры господ Лиодо и д'Эмери.

– Позволите ли вас спросить, монсеньер, зачем?

– Я объясню вам это в их присутствии, сударь, и предоставлю в ваше распоряжение все средства облегчить им бегство.

– Бегство! Но разве монсеньеру не известно...

– Что? Говорите!

– Что господ Лиодо и д'Эмери здесь нет.

– С каких пор? – вздрогнув, спросил Фуке.

– Уже четверть часа.

– Где же они?

– Сейчас они в башне Венсенского замка.

– Почему их перевезли отсюда?

– По приказу короля.

– Какое несчастье! – вскричал Фуке, хватаясь за голову.

Он не произнес более ни слова, вернулся в карету с отчаянием в душе и с помертвевшим взором.

– Наши друзья погибли, – сказал он Пелисону. – Кольбер отправил их в Венсенскую башню. Это их мы встретили под аркадами Сен-Жан.

Пелисон, словно пораженный громом, молчал: он знал, что упреком убил бы своего патрона.

– Куда прикажете ехать, монсеньер? – спросил лакей, открывая дверцы кареты.

– В мой городской дом. А вы, Пелисон, возвращайтесь в Сен-Манде и тотчас же привезите мне аббата Фуке. Вперед!

Глава 12.

ПЛАН СРАЖЕНИЯ

Было далеко за полночь, когда аббат Фуке явился к брату в сопровождении Гурвиля. Три

этих человека, встревоженные предстоявшими событиями, были похожи не на сильных мира сего, а скорее на трех заговорщиков, которых объединяла одна общая мысль о будущем преступлении. Фуке ходил по комнате взад и вперед, опустив взгляд и нервно потирая руки. Наконец, собравшись с духом, он произнес:

- Аббат, вы говорили мне сегодня о людях, которых содержите.
- Да.
- Скажите откровенно: что это за люди?
- Аббат колебался.
- Не бойтесь и говорите прямо. Я не расположен ни грозить вам, ни шутить.
- Вы желаете знать правду? Хорошо. Эти сто двадцать человек – мои друзья и участники моих развлечений. Они преданы мне, как воры виселице.
- И вы вполне можете положиться – на них?
- Во всем.
- Они вас не выдадут?
- На меня никогда не падет подозрение.
- Это люди решительные?
- Они сожгут Париж, если им обещать, что сами они останутся целы.
- Моя просьба, аббат, заключается в следующем, – сказал Фуке, отирая выступивший на лбу пот. – В известный момент все ваши люди должны напасть на тех, кого я укажу. Это возможно?
- Они не в первый раз пойдут на подобное дело.
- Но если этой шайке придется столкнуться с вооруженной силой?
- И к этому им не привыкать.
- В таком случае соберите их всех в полном составе.
- Хорошо. Где?
- На Венсенской дороге, завтра, к двум часам.
- Чтобы отбить д'Эмери и Лиодо? Значит, будет схватка?
- Да, и серьезная. Вы боитесь?
- Не за себя, а за вас.
- Будут ли знать ваши люди, на что они идут?
- Они слишком умны, чтобы не догадаться. Однако министр, восставший «против короля...» очень рискует.
- Что вам за дело до меня?... Впрочем, мое падение будет и вашим падением.
- Было бы благоразумней, сударь, ничего не предпринимать: пусть король получит это маленькое удовольствие.
- Знайте, аббат, что заточение Лиодо и д'Эмери в Венсенский замок предвещает гибель и мне, и всем моим близким. Повторяю: если я буду арестован, то и вас бросят в тюрьму, или же я буду в тюрьме, а вас изгонят из Франции.
- Я в вашем распоряжении, сударь. Приказывайте.
- Я уже сказал: я хочу, чтобы завтра были вырваны из лап моих врагов два финансиста, которых хотят привести в жертву, хотя есть столько преступников, остающихся безнаказанными. Можете ли вы это сделать?
- Могу.
- Изложите мне ваш план действий.
- Он очень прост. Обычно стража при осужденных на казнь состоит из двенадцати человек.
- Завтра их будет сто.
- Я учел это и допускаю даже, что их будет двести.
- Тогда вам мало ста двадцати человек.
- Простите, в стотысячной толпе зевак всегда найдется тысяча десять разбойников и головорезов, которым не хватает только подстрекателей.
- Что вы хотите этим сказать?

– А то, что завтра на Гревской площади, которую я избрал местом действия, найдется десять тысяч помощников моим ста двадцати молодцам.

Эти начнут дело, те dokonчат его.

– Хорошо, ну а что вы сделаете с узниками?

– Мы спрячем их в каком-нибудь доме на площади; страже придется осадить дом, чтобы отбить их... А вот еще лучше – некоторые дома имеют два выхода: один на площадь, другой – на одну из соседних улиц. Узники войдут в одну дверь, а выйдут в другую.

– Послушайте, – вдруг вскричал Фуке, – я придумал!.. Один из моих друзей, человек проверенный, дает мне иногда ключи от дома, который он снимает на улице Бодуайе. Обширный сад, примыкающий к этому дому, простирается до одного из домов на Гревской площади.

– Как раз то, что нам нужно, – сказал аббат. – А до какого дома?

– До довольно шумного кабачка под вывеской «Нотр-Дам».

– Я знаю его, – сказал аббат.

– Окна кабачка выходят на площадь, а задняя дверь во двор, где есть калитка в сад моего друга.

– Отлично!

– Вы войдете в кабачок вместе с узниками и будете защищать вход с площади, пока они не скроются через сад на улицу Бодуайе. Вы все поняли?

– Очень хорошо, монсеньер. Вы можете быть полководцем не хуже Конде.

– Сколько нужно денег, чтобы заплатить вашим бандитам и напоить их как следует?

– Ах, монсеньер, как вы выражаетесь! Хорошо, что они вас не слышат.

Между ними есть люди очень шепетильные.

– Я хочу сказать, что нужно довести их до такого состояния, когда море по колено. Ведь завтра я сражаюсь с королем, а когда я сражаюсь, то должен победить. Понимаете?

– Понимаю, монсеньер. Так дайте мне денег.

– Гурвиль, выдайте аббату сто тысяч ливров.

– Хорошо... значит, действовать, ничего не щадя?

– Ничего.

– В добрый час.

– Монсеньер, – возразил Гурвиль, – если об этом узнают, никому из нас не сносить головы.

– Ах, Гурвиль, как вам не стыдно! – вскричал Фуке, вспыхнув от гнева.

– Говорите о себе; что касается меня, то моя голова крепко сидит на плечах. Итак, решено, аббат?

– Решено, монсеньер.

– Завтра в два часа?

– Нет, лучше в двенадцать. Нужно исподволь подготовить наших сообщников.

– Вы правы, не жалеете вина в кабаке.

– Не стану жалеть ни вина, ни самого кабака! – со смехом отвечал аббат. – У меня есть отличный план; дайте мне привести его в исполнение, и вы увидите.

– А как же вы известите меня?

– Пришлю гонца; его лошадь будет стоять наготове в саду вашего друга.

Кстати, как имя вашего друга?

Фуке обменялся взглядом с Гурвилем. Тот сказал, чтобы выручить своего патрона:

– Этот дом очень легко узнать: кабачок спереди, единственный в квартале сад – сзади.

– Отлично, отлично. Я предупрежу своих солдат.

– Проводите его, Гурвиль, – сказал Фуке, – и выдайте ему деньги. Погодите минуту, аббат... Какой характер мы придадим этому похищению?

– Самый простой: бунт.

– По какому же поводу? Ведь парижская чернь всегда довольна королем, когда он вешает финансистов.

– Я все устрою, – сказал аббат. – У меня есть на этот счет одна мысль.
– Какая?
– Мои люди с криком: «Кольбер! Да здравствует Кольбер!» бросятся на узников, словно для того, чтобы разорвать их на части, считая виселицу слишком легкой казнью для них.
– В самом деле, какая удачная мысль! – сказал Гурвиль. – Что за воображение у вас, аббат!
– Я достойный член своего семейства, – с гордостью произнес аббат.
– Чудак! – проговорил Фуке. – План очень остроумен, – добавил он. Действуйте и постарайтесь не проливать крови!
Гурвиль и аббат уехали вместе, очень озабоченные, а министр откинулся на подушки. Мысль о зловещих событиях завтрашнего дня переплеталась у него с любовными грезами.

Глава 13. КАБАЧОК ПОД ВЫВЕСКОЙ «НОТР-ДАМ»

К двум часам следующего дня тысяч пятьдесят зрителей собралось на Гревской площади вокруг двух виселиц, воздвигнутых одна против другой между Гревским мостом и мостом Пельтье, у самых перил набережной.

С раннего утра все парижские глашатаи ходили по улицам, рынкам и предместьям города, возвещая громкими голосами о великом акте правосудия, совершаемом королем над двумя ворами и изменниками, обиравшими народ. И граждане, интересы которых так оберегались, покидали лавки, мастерские и другие заведения, чтобы засвидетельствовать Людовику XIV свою признательность, словно гости, которые боятся проявить невежливость по отношению к хозяину, не явившись на его приглашение.

Приговор гласил, что два откупщика, грабителя, расхитители королевских денег, обманщики и взяточники, будут казнены на Гревской площади и имена их будут прибиты к виселицам.

Любопытство парижан достигло высшей точки. Огромная толпа с лихорадочным нетерпением ожидала часа казни. Повсюду распространилась весть, что узники, переведенные из тюрьмы в Венсенский замок, будут привезены оттуда на Гревскую площадь.

В этот день д'Артаньян, получив последние указания от короля и простившись с друзьями, которых представлял на этот раз один Планше, начертал себе план действий, распределил время, как подобает человеку занятому и деловому, у которого каждая минута на счету.

«Отъезд назначен на рассвете, в три часа; значит, у меня остается пятнадцать часов. Вычтем отсюда шесть часов на сон; ну, час на еду семь; час на свиданье с Атосом – восемь; два часа про запас, – всего десять. Остается пять часов. Ну-с, теперь час на то, чтобы получить деньги, лучше сказать – отказ от Фуке; еще час – сходить за деньгами к Кольберу, вытерпеть его вопросы и ужимки; час на осмотр и приведение в порядок вооружения, одежды, на чистку сапог. Итак, у меня еще остается два часа. О, да я богат!..»

Рассуждая так с самим собой, д'Артаньян испытывал прилив странной юношеской радости, опьяняющее благоухание далеких счастливых дней молодости.

«В эти два часа, – соображал мушкетер, – я успею получить четверть годовой платы за помещение кабачка „Нотр-Дам“. Триста семьдесят пять ливров! Недурная сумма, черт возьми! Удивительно! Если бы бедняк, у которого в кармане всего один ливр, получил несколько медяков, то это было бы вполне справедливо, но на долю бедняка никогда не выпадает такое счастье. А богач, напротив, всегда получает доходы с капиталов, которых он не трогает... Вот ведь эти триста семьдесят пять ливров мне как будто с неба свалились.

Итак, я пойду в кабачок «Нотр-Дам». Хозяин, наверное, поднесет мне стакан доброго испанского вина... Но прежде всего порядок, господин д'Артаньян... Наше время распределяется таким образом: 1. Атос. 2. Кабачок «Нотр-Дам». 3. Фуке. 4. Кольбер. 5. Ужин. 6. Одежда, сапоги, лошадь, снаряжение. 7 и последнее. Сон».

Сообразно с этой программой д'Артаньян прежде всего отправился к графу де Ла Фер, которому рассказал кое-что из вчерашних происшествий. Атос немного беспокоился о причине вызова д'Артаньяна к королю, но с первых же слов своего друга понял, что тревожился напрасно. Понял и то, что Людовик дал д'Артаньяну какое-то важное секретное поручение, и не пробовал даже расспрашивать о нем своего друга. Он только просил его беречь себя и предложил сопровождать его, если это возможно.

– Но, милый друг, я никуда не уезжаю, – сказал д'Артаньян.

– Как не уезжаете? Ведь вы пришли проститься со мной.

– О, я отправляюсь только для совершения одной покупки, – старался вывернуться покрасневший д'Артаньян.

– А, это другое дело. Тогда, вместо того чтобы сказать: «Берегитесь, чтобы вас не убили», – я скажу: «Берегитесь, чтобы вас не надули».

Д'Артаньян понял, что зашел чересчур далеко в своей таинственности, и счел неудобным совершенно умолчать о том, куда он собрался ехать.

– Я думаю съездить в Ман, – сказал он. – Как вы находите этот край?

– Превосходным, мой друг, – отвечал граф, стараясь забыть, что Ман лежит в той же стороне, что и Турень, и поэтому через два дня д'Артаньян мог бы ехать с ним вместе.

– Я еду завтра на рассвете, – прибавил д'Артаньян. – Рауль, хочешь побыть пока со мной?

– Очень, господин д'Артаньян, – отвечал юноша, – если только я не нужен графу.

– Нет, Рауль. Мне сегодня предстоит аудиенция у брата короля.

– Итак, до свидания, дорогой друг, – сказал д'Артаньян, заключая Атоса в объятия.

Атос крепко обнял друга. Мушкетер, оценив его сдержанность, шепнул ему на ухо:

– Государственное дело!

Атос ответил на это лишь многозначительным пожатием руки.

И они расстались.

Взяв Рауля под руку, д'Артаньян направился вместе с ним по улице Сент-Оноре.

– Я поведу тебя к богу Плутосу, – сказал он дорогой молодому человеку. – Приготовься целый день видеть груды золота. Боже мой, как я изменился!

– Что это? Какое множество народа! – заметил Рауль.

– Скажите, сегодня не крестный ход? – спросил д'Артаньян у прохожего.

– Нет, сударь, казнь, – был ответ.

– Как казнь? – изумился мушкетер. – На Гревской площади?

– Да, сударь.

– Черт бы побрал дурака, дающего повесить себя в тот самый день, когда мне нужно получить деньги за наем моего дома! – вскричал д'Артаньян.

– Рауль, видел ли ты когда-нибудь, как вешают преступников?

– Нет, слава богу, еще никогда не приходилось.

– Сразу видна молодость... Эх, если бы ты постоял часовым в траншее, как, бывало, я, когда какой-нибудь шпион... Впрочем, я мелю вздор, извини, Рауль... Да, ты прав, жутко смотреть, как вешают. Скажите, пожалуйста, сударь: когда состоится казнь?

– Кажется, в три часа, сударь, – учтиво ответил прохожий, довольный случаем побеседовать с военными.

– А сейчас только половина второго. Если мы прибавим шаг, Рауль, я успею получить свои триста семьдесят пять ливров, и мы уйдем до прибытия осужденного.

– Осужденных, – поправил прохожий. – Их двое.

– Очень вам признателен, сударь, – сказал д'Артаньян с утонченной вежливостью, которую он приобрел с годами.

И, увлекая за собою Рауля, он поспешно направился к Гревской площади.

Д'Артаньян шел впереди и так ловко работал плечами, локтями и руками, что толпа невольно расступалась под его натиском. Там, где встречалось особенно сильное сопротивление, он пускал в ход рукоятку шпаги, пользуясь ею как рычагом, чтобы разделить

самые сплоченные группы. Но делал он это с такой непосредственностью, с такой обворожительной улыбкой, что у пострадавшего слова протеста замирали на устах.

Следуя за своим другом, Рауль старался щадить женщин, взоры которых привлекала его красота, и оказывал решительный отпор мужчинам, чувствовавшим силу его мускулов. Благодаря всему этому оба успешно продвигались вперед в густой толпе. Когда показались виселицы, Рауль с отвращением отвел глаза. Что касается д'Артаньяна, то он почти не заметил их, всецело поглощенный видом своего дома с резным коньком и окнами, полными любопытных.

Он увидел на площади и около домов много отставных мушкетеров, одних с женщинами, других с друзьями, ждавших начала церемонии.

У кабатчика, снимавшего помещение д'Артаньяна, не было отбоя от посетителей, не только заполнявших лавку и другие комнаты, но расположившихся даже во дворе. Трое прислуживавших сбились с ног, подавая всем.

Д'Артаньян, обратив внимание Рауля на такое стечение народа, заметил:

– Ну, теперь у плута не будет отговорок, чтобы не заплатить мне в срок. Посмотри-ка, Рауль, какая здесь компания. Черт возьми, да тут не найдешь себе места!

Д'Артаньяну удалось поймать хозяина за конец фартука.

– Ах, это вы, шевалье? – сказал одуревший от суеты кабатчик. – Ради бога, обождите минутку! Эта сотня сумасшедших готова перевернуть вверх дном мой погреб.

– Черт с ним, с вашим погребом, лишь бы был цел денежный сундук.

– О, не беспокойтесь, сударь, ваши тридцать семь с половиной пистолей отсчитаны и лежат наверху, в моей комнате; но там сидят тридцать молодчиков и приканчивают бочонок портвейна, который я недавно раскупорил для них. Прошу вас, обождите минутку!

– Ну, хорошо, хорошо...

– Я уйду отсюда, – шепнул Рауль Д'Артаньяну. – Это веселье отвратительно.

– Нет, сударь, – возразил Д'Артаньян сурово, – вы должны остаться.

Солдат должен приучать себя ко всяким зрелищам. Характер нужно закалять смолоду, и человек только тогда может быть добрым и великодушным, когда глаз его тверд, а сердце осталось мягким. К тому же, дружок, неужели ты способен оставить меня одного? Это было бы нехорошо... Постой, вон там во дворе есть дерево. Пойдем, сядем в тени. Там легче дышать, чем в этом чаду, насыщенном винными парами.

Расположившись на новом месте, Рауль и Д'Артаньян могли слышать нарастающий ропот толпы и наблюдать за посетителями кабачка, которые сидели за столами или ходили по комнатам.

Дерево, под которым уселся Д'Артаньян вместе с Раулем, совсем скрыло их своей густой листвой; это был развесистый каштан с ветвями, склонившимися почти до самой земли; под ним находился поломанный стол, за который не садился никто из посетителей. В ожидании своих тридцати семи с половиной пистолей Д'Артаньян от нечего делать занялся наблюдениями.

– Господин Д'Артаньян, – заметил Рауль, – вам надо поторопить хозяина. Сейчас привезут осужденных, и тогда начнется такая давка, что мы не сможем выбраться отсюда.

– Верно! – отвечал мушкетер. – Эй, кто-нибудь! Подите сюда!

Но сколько он ни кричал, никто не являлся. Он собирался уже отправиться на розыски хозяина, как вдруг калитка в стене расположенного позади сада отворилась, визжа на ржавых петлях, и во двор вошел щегольски одетый человек со шпагой. Не закрывая калитки, он направился к кабачку, бросив мимоходом на сидевших под деревом быстрый взгляд своих острых глаз.

– Вот как! Между домами есть сообщение, – сказал Д'Артаньян. – Вероятно, это какой-нибудь любопытный, пришедший посмотреть на казнь.

В эту минуту крики и шум в комнатах кабачка вдруг прекратились. Тишина в таких случаях поражает не меньше, чем удвоившийся шум. Д'Артаньяну захотелось узнать причину этого внезапного безмолвия.

Он заметил, что незнакомец в нарядной одежде, войдя в главную залу, обратился к присутствующим с речью; все слушали его с глубоким вниманием. Д'Артаньян мог бы разобрать и слова, если бы их не заглушал гомон уличной толпы. Впрочем, речь скоро закончилась, и все посетители стали небольшими группами покидать залу. Скоро в ней осталось всего шестеро, в их числе был человек со шпагой, который, отведя в сторону хозяина, видимо, старался занять его каким-то разговором, в то время как остальные разводили огонь в очаге, – непонятно для чего, при такой жаре.

– Странно, – сказал д'Артаньян Раулю. – Мне кажется, я знаю этих людей.

– Не находите ли вы, что пахнет дымом? – спросил Рауль.

– Нет, скорее тут пахнет заговором.

Не успел он договорить, как четверо из оставшихся в зале спустились во двор и стали на часах по сторонам калитки, бросая изредка на д'Артаньяна многозначительные взгляды.

– Черт возьми! Тут что-то не так, – шепнул он Раулю. – Тебе не интересно узнать, в чем дело?

– Не особенно, господин д'Артаньян.

– А меня, как старую кумушку, разбирает любопытство. Пройдем-ка наверх, оттуда видна вся площадь.

– Нет, господин д'Артаньян, я не в состоянии равнодушно смотреть на смерть этих несчастных.

– А я, по-твоему, дикарь, что ли? Мы вернемся сюда, когда придет время. Идем же!

Они вошли в дом и поместились у окна, которое все еще было незанятым, что показалось им не менее подозрительным, чем все прочее.

Двое оставшихся в комнате собутыльников, вместо того чтобы смотреть в окно, поддерживали огонь. Увидев д'Артаньяна и его спутника, они пробормотали:

– А, вот и подкрепление!

Д'Артаньян подтолкнул Рауля локтем.

– Да, братцы, подкрепление, – проговорил он. – Славный огонь развели вы тут. Что это вы собираетесь жарить?

Незнакомцы весело расхохотались и вместо ответа подбросили еще дров.

Д'Артаньян не спускал с них глаз.

– Вы, верно, посланы сказать нам, когда начинать? – спросил один из незнакомцев.

– Конечно, – отвечал д'Артаньян, надеясь выведать что-нибудь. – Для чего же я здесь, как не для этого?

– Ну, так становитесь у окна и следите.

Подавив улыбку, д'Артаньян сделал знак Раулю и с удобством расположился у окна.

Глава 14. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОЛЬБЕР!

Жуткое зрелище представляла собою Гревская площадь. Сплошное море голов, волнующихся, как колосья в поле. При каждом отдаленном шуме все эти головы приходили в движение, миллионы глаз сверкали: все сильнее бушевал этот живой океан, и волны его, точно волны прилива, бились о сплошную стену стрелков, окружавшую виселицы. Тогда рукоятки алебард опускались на головы и плечи подступавших смельчаков, и рядом с виселицей возникало свободное пространство, а задние ряды внезапным напором оттеснялись к самым перилам набережной Сены.

С высоты окна, из которого открывался вид на площадь, д'Артаньян с тайным удовольствием наблюдал, как находившиеся в толпе мушкетеры и гвардейцы успешно прокладывали себе дорогу, работая кулаками и рукоятками шпаг. Они образовали уже плотную группу человек в пятьдесят. Но не это привлекало внимание д'Артаньяна: вокруг виселиц и вдоль аркады Сен-Жан кипел настоящий живой водоворот. Среди тупых и равнодушных физиономий мелькали люди со смелыми, решительными лицами, которые

обменивались друг с другом какими-то таинственными знаками. В одной из наиболее оживленных групп д'Артаньян заметил незнакомца, пришедшего из соседнего сада и державшего речь в кабаке. Теперь он, по-видимому, собирал людей и отдавал им приказания.

– Так и есть, – воскликнул д'Артаньян, – я не ошибся! Я знаю этого человека: это – Менвиль. Что он тут делает, черт побери?

Глухой шум, усилившийся с каждым мгновением, отвлек его внимание в другую сторону. Шум этот был вызван появлением осужденных. На углу площади показался шедший впереди отряд стрелков. Гул и говор толпы превратился в оглушительный рев.

Видя, что Рауль побледнел, д'Артаньян ударил его по плечу.

Стоявшие у очага люди, услышав крики, обернулись и спросили, в чем дело.

– Ведут осужденных, – отвечал д'Артаньян.

– Отлично! – сказали оба и принялись еще усерднее разжигать огонь.

Д'Артаньян поглядывал на них с беспокойством. Ему было ясно, что эти люди, разводившие без всякой надобности такой сильный огонь, затеяли что-то недоброе.

Между тем осужденные уже появились на площади.

Перед ними шел палач, а по сторонам по пятидесяти стрелков. Оба были одеты во все черное, – оба бледные, но спокойные.

Д'Артаньян заметил, что они почти на каждом шагу приподнимались на носках и нетерпеливо смотрели через головы толпы.

– Гм! – произнес он. – Как они стремятся поскорее увидеть виселицу.

Рауль отступил назад, не будучи, однако, в состоянии совершенно покинуть окно. Ужасные зрелища также обладают притягательной силой.

– Смерть им! Смерть! – кричали пятьдесят тысяч глоток.

– Да, смерть им, смерть! – ревело несколько десятков особенно яростных голосов, точно отвечая толпе.

– Вздернуть их, вздернуть! Да здравствует король! – кричала толпа.

– Король? – пробормотал д'Артаньян. – Удивительно! Я полагал, что не король, а Кольбер приказал их повесить.

В эту минуту в толпе началась давка; шествие осужденных остановилось.

Люди со смелыми, решительными лицами, которых заметил д'Артаньян, так поспешно и энергично толкались, протискивались и напирали, что добрались почти до цепи стрелков. Процессия снова тронулась. Вдруг люди, приковавшие к себе внимание д'Артаньяна, с криком «Да здравствует Кольбер!» бросились на конвойных, которые тщетно старались от них отбиться. Позади надвигалась толпа.

Поднялся невообразимый шум и сумятица, слышались вопли ужаса, стук сабель, алебард и мушкетные выстрелы. Словом, наступил хаос, в котором д'Артаньян уже ничего не мог разобрать. Однако вскоре среди этого хаоса начало выясняться какое-то определенное намерение, чья-то воля.

Осужденные оказались вдруг вырванными из цепи конвоя; их потащили к кабачку под вывеской «Нотр-Дам». Увлекавшие их кричали: «Да здравствует Кольбер!» Толпа колебалась, не зная, чью сторону принять: стрелков или зачинщиков драки. Ее смущало то, что кричавшие: «Да здравствует Кольбер!»

– принялись также кричать: «Долой виселицы! В огонь их! В огонь! Сжечь живьем этих воров, сжечь кровопийц!»

Эти крики решили дело. Толпа собралась сюда смотреть на казнь, и вдруг у нее явилась возможность совершить казнь самой, а это большой соблазн! Поэтому в одну секунду вся толпа оказалась на стороне бунтарей и тоже стала вопить: «В огонь грабителей! Да здравствует Кольбер!»

– Черт возьми! – вскричал д'Артаньян. – Дело, кажется, принимает серьезный оборот!

Один из людей, стоявших у очага, подошел к окну с горящей головней.

– Жарко становится! Ну, сигнал дан! – сказал он, обернувшись к товарищу, и вдруг поднес головню к деревянной обшивке стены. Дом был старый и вспыхнул в одно мгновение.

Пламя с треском поднялось кверху.

К реву толпы присоединились крики поджигателей. Д'Артаньян, который ничего не заметил, потому что смотрел на площадь, почувствовал, что его душит дым и жжет пламя.

– Э, да вы устроили здесь пожар! – вскричал он, обернувшись. – С ума вы спятили, что ли, голубчики?

Оба незнакомца посмотрели на него с удивлением.

– Да ведь так было приказано, – сказали они.

– Приказано сжечь мой дом?! – загремел Д'Артаньян, вырывая из рук поджигателя головню.

Второй незнакомец поспешил было на помощь товарищу, но Рауль схватил его в охапку и выбросил в окно, в то время как Д'Артаньян спускал первого с лестницы. Рауль сорвал кусок загоревшейся обшивки и швырнул на пол.

Убедившись, что пожара нечего больше опасаться, Д'Артаньян снова подбежал к окну.

Сумятица на площади достигла предела. Вопли «В огонь!», «На костер!», «Да здравствует Кольбер!» – смешивались с криками «На виселицу!», «Да здравствует король!».

Толпа бунтов, освободившая осужденных, тащила их к кабаку. Менвиль во главе этой шайки кричал громче всех:

– В огонь! В огонь! Да здравствует Кольбер!

Д'Артаньян начал понимать, что осужденных хотят сжечь живьем, а его дом превратить в костер для этого.

– Стой! – крикнул он, став одной ногой на подоконник и обнажив шпагу.

– Менвиль, что вы тут делаете?

– Дорогу, господин Д'Артаньян! Дорогу! – крикнул тот в ответ.

– В огонь, в огонь воров! Да здравствует Кольбер! – продолжала реветь толпа.

Эти крики наконец вывели д'Артаньяна из себя.

– Черт возьми, что за гнусность! – воскликнул он. – Сжечь живьем людей, приговоренных лишь к повешению!

Перед дверьми толпа зевак, притиснутая к стене, загрозила путь Менвилю с его отрядом. Менвиль выбивался из сил.

– Дорогу, дорогу! – кричал он, угрожая пистолетом.

– Сжечь их! Сжечь! – ревела толпа. – В кабаке разведен костер. Сожжем воров вместе с кабаком!

Не оставалось больше сомнения: дом д'Артаньяна был избран для зверской расправы с осужденными.

Д'Артаньян припомнил старый боевой клич, всегда оказывавший свое действие, и крикнул громовым голосом, способным заглушить пушечную пальбу, рев моря – и вой бури:

– Ко мне, мушкетеры!

Ухватившись рукой за косяк, он прыгнул в самую середину толпы, которая в испуге шарахнулась от дома.

В один миг Рауль также очутился внизу. Оба обнажили шпаги. Мушкетеры, столпившиеся на площади, слышали призыв и, обернувшись, узнали д'Артаньяна.

– Наш капитан! Капитан! – закричали они в один голос.

Толпа расступилась под их дружным натиском, как расступаются волны перед кораблем. В этот момент Д'Артаньян и Менвиль очутились лицом к лицу.

– Дорогу, дорогу! – кричал Менвиль, видя, что до двери осталось каких-нибудь два шага.

– Стой! – отвечал Д'Артаньян.

– погоди же! – крикнул Менвиль, целясь в него в упор.

Но прежде чем грянул выстрел, Д'Артаньян шпагой толкнул руку Менвиля и затем проткнул ему бок.

– Говорил я, чтобы ты вел себя смирно, – заметил д'Артаньян Менвилю, свалившемуся к его ногам.

– Дорогу, дорогу! – продолжали кричать товарищи Менвиля, которые пришли было в

замешательство, но ободрились, увидев, что у них всего двое противников.

Однако эти двое оказались настоящими сторукими гигантами. Шпаги в их руках сверкали, точно огненный меч архангела: с каждым взмахом на землю падал человек.

– За короля! – кричал Д'Артаньян.

– За короля! – вторил ему Рауль.

Вскоре этот клич подхватили мушкетеры, присоединившиеся к Д'Артаньяну.

Между тем стрелки после временного замешательства пришли в себя и ударили по бунтовщикам с тыла, сбивая и опрокидывая все на пути.

Толпа, видя сверкающие сабли и льющуюся кровь, шарахнулась назад, увеличивая давку.

Послышались крики о пощаде, вопли отчаяния: то были последние возгласы побежденных. Осужденные снова попали в руки стрелков.

Д'Артаньян, приблизившись к ним и видя, что они бледны и полумертвы от ужаса, сказал:

– Успокойтесь, бедняги, вы не подвергнетесь ужасной казни, которой угрожают вам эти негодяи. Король присудил вас к повешению, и вы будете только повешены... Пусть их повесят.

В кабачке водворилась полная тишина. За отсутствием воды огонь был залит двумя бочками вина. Заговорщики убежали через сад. Стрелки потащили осужденных к виселице.

С этой минуты дело быстро пошло вперед. Палач спешил кончить с казнью и, не заботясь о соблюдении всех формальностей, в одну минуту вздернул на виселицу обоих несчастных.

Д'Артаньяна обступили со всех сторон, осыпая поздравлениями. Он отер пот со лба, кровь со шпаги и пожал плечами, глядя, как Менвиль корчится в судорогах.

Рауль отвел глаза от тяжелого зрелища, а Д'Артаньян, указав мушкетерам на виселицы с казненными, проговорил:

– Бедняги! Надеюсь, они умерли, благословляя меня, что я избавил их от костра.

Эти слова долетели до Менвиля в ту минуту, когда он сам выпускал последний вздох. Мрачная улыбка мелькнула на его губах; он хотел что-то сказать, но это усилие стоило ему жизни. Он скончался.

– О, как все это ужасно! – произнес Рауль. – Уйдемте отсюда, господин Д'Артаньян.

– Ты не ранен? – спросил его мушкетер.

– Нет, не беспокойтесь.

– Экий храбрец! У тебя голова отца, а руки Портоса. Эх, если бы Портос был здесь, ему было бы на что полюбоваться! Куда он мог запропасться, черт побери! – пробормотал Д'Артаньян.

– Пойдемте же, господин д'Артаньян, – настаивал Рауль.

– Одну минуту, мой друг. Я сейчас получу свои тридцать семь с половиной пистолей и затем буду к твоим услугам... Дом действительно доходный, – прибавил он, направляясь к кабаку, – но я предпочел бы иметь что-нибудь поспокойнее и в другой части города.

Глава 15.

О ТОМ, КАК БРИЛЬЯНТ Д'ЭМЕРИ ПОПАЛ В РУКИ Д'АРТАНЬЯНА

Пока на Гревской площади разыгрывалась вышеописанная кровавая сцена, несколько заговорщиков собрались у калитки, которая вела в соседний сад.

Вложив свои шпаги в ножны, они помогли одному из товарищей сесть на ожидавшую в саду лошадь, а потом, точно спугнутая стая птиц, разлетелись в разные стороны: кто перелез через забор, кто проскользнул в калитку.

Всадник вонзил шпоры в бока лошади с такой силой, что она чуть не перепрыгнула через стену; как молния, пронесся он через площадь Бодуайе, затем по улицам, опрокидывая и давя встречных. Через десять минут он очутился перед дверью главного казначейства, дыша так же

тяжело, как и его конь.

Услышав стук копыт по мостовой, аббат Фуке поспешил к окну и, высунувшись, крикнул всаднику, еще не успевшему соскочить с лошади:

– Ну что, Даникан?

– Все кончено, – отвечал тот.

– Они спасены?

– Нет, напротив, повешены.

– Повешены! – повторил аббат, побледнев.

Внезапно отворилась боковая дверь, и в комнату вошел министр Фуке с бледным, искаженным от горя и гнева лицом. Остановившись на пороге, он прислушивался к разговору, который велся через окно.

– Негодяи! – вскричал аббат. – Так-то вы дрались!

– Мы дрались, как львы.

– Вернее, как трусливые псы!

– Сударь...

– Сто хорошо вооруженных бойцов стоят десяти тысяч стрелков, захваченных врасплох. Где Менвиль, этот хвастунишка, уверявший, что он или победит, или умрет?

– Он сдержал слово, господин аббат: он мертв.

– Мертв? Кто его убил?

– Какой-то демон в образе человека, гигант, у которого словно десять огненных мечей в руках. В одну минуту он потушил огонь, усмирил бунт и вызвал из-под земли сотню мушкетеров.

Фуке поднял голову, на лбу у него выступил пот.

– О, Лиодо! О, д'Эмери! – прошептал он. – Они умерли, и я обесчещен!

Аббат обернулся и, увидев брата в таком подавленном состоянии, сказал ему:

– Полно, не следует так убиваться, сударь. Это судьба! Раз не получилось, как мы хотели, значит, бог...

– Молчите, аббат, молчите! – воскликнул Фуке. – Ваши утешения – богохульство... Прикажете лучше этому человеку войти и рассказать, как совершилось это ужасное дело.

– Но, брат мой...

– Повинуйтесь, сударь!

Аббат сделал Даникану знак, и через минуту на лестнице послышались его шаги.

В это время за спиной Фуке появился Гурвиль. Приложив палец к губам, он старался удержать министра от слишком бурного проявления отчаяния.

Фуке, раздавленный горем, старался сохранить спокойствие.

В комнату вошел Даникан.

– Докладывайте, – обратился к нему Гурвиль.

– Сударь, – начал гонец, – нам было дано приказание похитить осужденных и кричать при этом: «Да здравствует Кольбер!»

– Похитить, чтобы сжечь их живьем, не так ли, аббат? – прервал Гурвиль.

– Да, таков был приказ, данный Менвилю, который понимал, что он означает. Но Менвиль убит.

Это известие скорее успокоило, чем опечалило Гурвиля.

– Чтобы сжечь их живьем? – повторил гонец, как будто сомневаясь в возможности подобного приказания, хотя сам участвовал в его исполнении.

– Ну, конечно, чтобы сжечь живьем! – грубо оборвал его аббат.

– Так, так, сударь, – сказал тот, стараясь по выражению лиц своих собеседников разгадать, в каком духе вести рассказ.

– Ну, рассказывайте же, – повторил Гурвиль.

– Осужденных, – продолжал Даникан, – привели на Гревскую площадь; тут народ как с цепи сорвался и стал кричать, чтобы их сожгли живьем, а не повесили.

– Народ имел на то свои основания, – заметил аббат. – Продолжайте.

– Стрелков было оттеснили; в доме, который должен был служить костром для осужденных, вспыхнул пожар, но тут, откуда ни возмись, тот сумасшедший, тот дьявол, тот гигант, о котором я говорил, – он оказался хозяином этого самого дома, – с помощью еще какого-то молодого человека выбросил из окна поджигателей, кликнул из толпы мушкетеров, выпрыгнул сам из окна на площадь и принялся так работать шпагой, что стрелки взяли верх, Менвиль пал на месте, осужденных отбили и в три минуты казнили.

Несмотря на свое самообладание, Фуке не мог сдержать глухого стога.

– А как зовут хозяина этого дома? – спросил аббат.

– Не знаю, я его не видал; я все время оставался на страже в саду и знаю обо всем с чужих слов. Мне было приказано, как только все будет кончено, скакать к вам, чтобы рассказать, как было дело. И вот я здесь.

– Хорошо, больше нам ничего не нужно от вас, – сказал аббат, все более и более падавший духом при мысли, что он сейчас останется с глазу на глаз с братом.

– Вот вам двадцать пистолей, – сказал Гурвиль. – Ступайте и старайтесь впредь так же, как в этот раз, защищать подлинные интересы короля...

– Слушаю, сударь, – сказал гонец, кланяясь и пряча деньги в карманы.

Не успел он выйти из комнаты, как Фуке очутился между аббатом и Гурвилем.

Оба одновременно раскрыли рот, чтобы заговорить.

– Нет, не оправдывайтесь, – вскричал Фуке, – и не сваливайте вину на других! Если бы я был истинным другом д'Эмери и Лиодо, я никому не доверил бы заботы об их спасении. Виноват я один, и лишь я должен сносить все упреки и угрызения совести. Оставьте меня, аббат.

– Но, надеюсь, вы не помешаете мне разыскать негодяя, который, в угоду Кольберу, расстроил весь наш превосходно задуманный план? Благое дело – любить своих друзей, но не дурно, мне кажется, и преследовать врагов.

– Довольно, аббат, уйдите, прошу вас, и не являйтесь до новых приказаний. Я считаю, что мы должны вести себя крайне осторожно. У вас перед глазами ужасный пример. Господа, я запрещаю вам обоим всякие насилия.

– Никакие запрещения, – проворчал аббат, – не могут помешать мне отомстить врагу за оскорбление нашей фамильной чести.

– А я, – произнес Фуке тоном, не терпящим возражений, – при малейшем нарушении моей воли немедленно брошу вас в Бастилию. Примите это к сведению, аббат.

Аббат поклонился, покраснев.

Фуке сделал знак Гурвилю следовать за ним и направился к своему кабинету. Но в эту минуту, лакей громко доложил:

– Господин д'Артаньян.

– Это кто такой? – небрежно спросил министр у Гурвиля.

– Отставной лейтенант мушкетеров его величества, – тем же тоном ответил Гурвиль.

Не придав значения словам Гурвиля, Фуке двинулся дальше.

– Виноват, монсеньер, – сказал Гурвиль. – Я полагаю, что этот мушкетер, оставивший королевскую службу, пришел за получением пенсии.

– Черт с ним! – возразил министр. – Он явился совсем не вовремя.

– Позвольте, монсеньер, передать ему ваш отказ: я с ним знаком. Это такой человек, в лице которого нам при нынешних обстоятельствах лучше иметь не врага, а друга.

– Передавайте что хотите, – сказал Фуке.

– Передайте ему, – произнес аббат со злобой, присущей служителям церкви, – что денег нет, особенно для мушкетеров.

Но не успел он вымолвить эти слова, как полуоткрытая дверь распахнулась, и в комнату вошел д'Артаньян.

– О господин Фуке, я наперед знал, что для мушкетеров у вас нет денег. Я шел сюда с тем, чтобы получить не деньги, а отказ. Считаю, что уже получил его, благодарю и желаю вам всего доброго. Пойду теперь за деньгами к господину Кольберу.

И, довольно небрежно поклонившись, он вышел.

– Гурвиль, верните этого человека, – приказал Фуке.

Гурвиль догнал д'Артаньяна на лестнице. Услыхав за спиною шаги, д'Артаньян обернулся и узнал Гурвиля.

– Хороши порядки, сударь, у ваших господ финансистов, – сказал мушкетер. – Я прихожу к господину Фуке получить сумму, назначенную мне его величеством, а он встречает меня так, словно я нищий, явившийся просить милостыню, или жулик, готовый стянуть что-нибудь из серебра.

– Но вы, кажется, произнесли имя Кольбера, дорогой господин д'Артаньян? Вы сказали, что идете к нему?

– Да, я иду к нему, хотя бы для того, чтобы получить сведения о людях, которые поджигают чужие дома, крича: «Да здравствует Кольбер!»

Гурвиль насторожился.

– Ах, вы намекаете на то, что произошло на Гревской площади?

– Ну конечно.

– Но разве эти события как-нибудь коснулись вас?

– Кольбер превращает мой дом в костер, и это, по-вашему, не касается меня!

– Ваш дом... Ваш дом хотели сжечь?

– Ну да.

– Значит, это вы владелец кабачка под вывеской «Нотр-Дам»?

– Да, я стал им с неделю тому назад.

– Уж не вы ли тот отважный военный, который рассеял бунтовщиков, собиравшихся сжечь живьем осужденных?

– Поставьте себя на мое место, господин Гурвиль. Я – военный и в то же время домовладелец. Как военный, я должен содействовать исполнению приказа короля, как собственник – охранять свой дом от огня. Я и выполнил разом обе обязанности, отдав господ Лиодо и д'Эмери в руки стрелков.

– Так это вы выбросили кого-то из окна?

– Да, я, – скромно отвечал д'Артаньян.

– И убили Менвиля!

– Пришлось, к сожалению, – заявил мушкетер с поклоном, точно принимая поздравления.

– Словом, это вы были причиной того, что осужденные повешены?

– Да, вместо того чтобы быть заживо сожженными. И я горжусь этим, сударь. Я избавил этих несчастных от ужаснейших мучений. Понимаете ли, господин Гурвиль, их хотели сжечь заживо! Ведь это превосходит всякое воображение.

– Не стану вас больше задерживать, господин д'Артаньян, – сказал Гурвиль, желая избавить министра от встречи с человеком, нанесшим ему такой тяжелый удар.

– Нет, нет, – вмешался Фуке, стоявший все время за дверью и слышавший весь разговор. – Напротив, прошу вас войти, господин д'Артаньян.

– Простите, господин министр, – заговорил д'Артаньян, – но мне время дорого. Я должен еще побывать у господина Кольбера, чтобы переговорить с ним и получить следуемые мне деньги.

– Вы можете получить их здесь, сударь, – сказал Фуке.

Д'Артаньян с удивлением взглянул на министра.

– Вам дали здесь необдуманный ответ, я слышал его, – продолжал Фуке.

– А между тем человек ваших достоинств должен быть известен всем.

Д'Артаньян поклонился.

– У вас есть ордер? – спросил Фуке.

– Да, господин министр.

– Я сам выдам вам деньги. Пройдите со мною.

Сделав Гурвилю и аббату знак остаться в комнате, он увел д'Артаньяна в свой кабинет.

– Сколько вам следует получить, сударь? – спросил он.
– Что-то вроде пяти тысяч ливров, монсеньер.
– Это, вероятно, оставшееся за казною жалованье?
– Нет, это жалованье за четверть года вперед.
– Вы получаете за четверть года пять тысяч ливров? – спросил министр, внимательно всматриваясь в мушкетера. – Значит, король назначил вам двадцать тысяч ливров в год?

– Да, монсеньер, я получаю в год двадцать тысяч ливров. Вы находите, что это слишком много?

– Я? – с горькой улыбкой возразил Фуке. – Если б я умел распознавать людей, если б во мне было побольше осторожности и рассудительности вместо легкомыслия я ветрености, – словом, если бы я, подобно иным людям, умел устраивать свою жизнь, вы получали бы не двадцать, а сто тысяч ливров в год и служили бы не королю, а мне.

Д'Артаньян слегка покраснел. В похвалах, в самом тоне льстеца всегда заключается тонкий яд, действующий даже на самых сильных духом людей.

Министр выдвинул ящик стола, достал четыре свертка монет и положил их перед мушкетером.

Гасконец развернул один из них.

– Здесь золото, – сказал он.

– Да, оно меньше обременит вас, сударь.

– Но ведь в этих свертках двадцать тысяч ливров, монсеньер, а мне нужно только пять.

– Я хочу избавить вас от труда являться в главное казначейство четыре раза в год.

– Монсеньер, вы подавляете меня своей любезностью.

– Я только исполняю свой долг, шевалье. Надеюсь, вы не сохраните дурного чувства ко мне под влиянием необдуманных слов моего брата. Это человек с очень вспыльчивым, своенравным характером.

– Монсеньер, – возразил д'Артаньян, – поверьте, меня огорчают только ваши извинения.

– Так я не буду больше извиняться, попрошу вас только оказать мне любезность.

– Любезность? О, монсеньер!

Фуке снял с пальца брильянтовый перстень, стоимостью, по крайней мере, в тысячу пистолей.

– Сударь, – обратился он к д'Артаньяну, – этот брильянт был подарен мне другом детства, человеком, которому вы оказали огромную услугу.

Голос его заметно дрогнул.

– Услугу? – с удивлением произнес д'Артаньян. – Я оказал услугу одному из ваших друзей?

– Да, и вы не могли еще позабыть о ней, так как сделали это не далее как сегодня.

– Как же звали вашего друга?

– Д'Эмери.

– Но ведь это один из казненных!

– Да, одна из жертв... Итак, господин д'Артаньян, в память услуги, оказанной вами Д'Эмери, прошу принять от меня этот перстень. Сделайте это из чувства расположения ко мне.

– Но, монсеньер...

– Примите, примите его, прошу вас. Сегодня у меня день глубокой печали... Позже, быть может, вы все узнаете. Сегодня я потерял друга и стараюсь найти нового.

– Но, господин Фуке...

– Прощайте, господин д'Артаньян, или, лучше сказать, до свиданья! воскликнул Фуке, чувствуя, что его сердце разрывается от скорби.

С этими словами министр вышел из кабинета, оставив д'Артаньяна с двадцатью тысячами ливров и с перстнем в руке.

– Гм! – в мрачном раздумье произнес мушкетер. – Ничего не могу понять... Одно могу сказать: это благородный человек... Пойду-ка теперь к Кольберу... Может быть, он объяснит мне что-нибудь.

И он направился к выходу.

Глава 16.

КАКУЮ СУЩЕСТВЕННУЮ РАЗНИЦУ НАШЕЛ Д'АРТАНЬЯН МЕЖДУ МОНСЕНЬЕРОМ СУПЕРИНТЕНДАНТОМ И Г-НОМ ИНТЕНДАНТОМ

Кольбер жил на улице Нев-де-Пти-Шан, в доме, принадлежавшем Ботрю.

Крепкие ноги д'Артаньяна донесли его туда в какие-нибудь четверть часа.

Когда д'Артаньян пришел к новому фавориту, весь двор его дома был полон стрелков и полицейских, собравшихся, чтобы принести ему свои поздравления или извинения, смотря по тому, будет ли он их хвалить или бранить.

Льстивость у подобных людей – такой же инстинкт, как чутье у животных. Они отлично понимали, что доставят удовольствие Кольберу, рассказав, какую роль играло его имя в недавних уличных беспорядках.

Д'Артаньян попал как раз в тот момент, когда начальник конвоя докладывал Кольберу. Не замеченный последним, мушкетер стал позади стрелков, у самых дверей.

Несмотря на нежелание Кольбера, мрачно хмурившего свои густые брови, офицер отвел его в сторону, говоря:

– Если вы задумали, сударь, чтобы народ сам совершил суд над изменниками, вам следовало предупредить нас. При всем нашем стремлении угодить вам и не действовать наперекор вашим планам, мы должны были исполнить отданный приказ.

– Трижды дурак! – вскричал Кольбер в бешенстве, встряхивая своими густыми, как грива, черными волосами. – Что за вздор вы мелете! По-вашему, я хотел устроить бунт? Да вы пьяны или с ума сошли?

– Но, сударь, ведь они кричали: «Да здравствует Кольбер!» – возразил начальник конвоя в сильном смущении.

– Какая-нибудь горсточка бунтарей...

– Нет, сударь, вся площадь.

– Неужели народ в самом деле кричал: «Да здравствует Кольбер!»? спросил интендант, просветлев. – Уверены ли вы в том, что говорите?

– Крики были такие, что глухой услышал бы.

– И это действительно кричал народ, самый настоящий народ?

– Конечно, сударь, этот-то настоящий народ и поколотил нас.

– Очень хорошо, – произнес Кольбер, всецело занятый своими мыслями. Так вы полагаете, что сжечь осужденных было желанием народа?

– О да, конечно.

– Это дело другое... Вы дали хороший отпор?..

– Мы потеряли трех человек.

– Но, надеюсь, вы никого не убили?

– На месте осталось несколько убитых бунтарей, и между ними один человек не простой...

– Кто это?

– Некто Менвиль, за которым давно уже следила полиция.

– Менвиль! – вскричал Кольбер. – Не тот ли, что убил на улице Юшет человека, требовавшего жирного цыпленка?

– Он самый, сударь.

– И этот Менвиль тоже кричал: «Да здравствует Кольбер!»?

– Кричал, и даже громче всех, как бешеный.

Лицо Кольбера снова омрачилось и приняло озабоченное выражение; осветившее было его сияние горделивой радости сразу погасло.

– Так что же вы говорите, – разочарованно произнес он, – что почин в этом деле шел от народа? Менвиль был моим врагом; он отлично знал, что рано или поздно я непременно

повешу его. Он – один из наемников аббата Фуке... Все это было, несомненно, подстроено самим Фуке, ведь казненные – друзья его детства!

«Вот как! – подумал д'Артаньян. – Теперь мне все ясно. И все-таки Фуке, что бы о нем ни говорили, – благородный человек».

– Уверены ли вы, что Менвиль убит? – спросил Кольбер офицера.

Тут д'Артаньян решил, что ему пора вмешаться в разговор, и выступил вперед.

– Да, он убит, господин Кольбер, – сказал он.

– Ах, это вы, сударь? – произнес Кольбер.

– Он убит мной! – непринужденно ответил мушкетер. – Я полагал, что Менвиль ваш отъявленный враг.

– Не мой, а короля, – возразил Кольбер.

«Скотина! – подумал д'Артаньян. – Ты вздумал еще лицемерить со мной!»

– Я очень счастлив, что мог оказать королю такую услугу, – произнес он вслух. – Не возьметесь ли вы довести это до сведения его величества, господин интендант?

– Прошу вас, сударь, определить точнее: что за поручение вы мне даете и что именно должен я передать королю? – отвечал Кольбер язвительным тоном, в котором явственно прозвучала неприязнь.

– Я не даю вам никакого поручения, – возразил д'Артаньян со спокойствием, никогда не покидающим насмешников. – Я думал, что вас не затруднит доложить его величеству, что я, попав случайно на Гревскую площадь, расправился с Менвилем и водворил должный порядок.

Кольбер широко открыл глаза и вопросительно взглянул на начальника конвоя.

– Да, верно, – подтвердил тот. – Этот господин оказался нашим спасителем.

– Что же вы сразу не сказали, что пришли сюда сообщить об этом? сказал Кольбер мушкетеру с досадой. – Все объяснилось бы, и вам же было бы лучше.

– Вы ошибаетесь, господин интендант, я пришел сюда совсем не для этого.

– Однако вы совершили настоящий подвиг.

– О, – небрежно произнес мушкетер, – я привык к этому.

– Так чему же я обязан честью вашего посещения?

– Король приказал мне явиться к вам.

– А, значит, вы явились за деньгами? – сказал Кольбер сухо, увидев, что д'Артаньян достает из кармана какую-то бумагу.

– Совершенно верно, сударь.

– Потрудитесь подождать, пока начальник конвоя закончит свой доклад.

Д'Артаньян весьма дерзко повернулся на каблуках, отвесил Кольберу почти шутовской поклон и быстро направился к двери.

Такая решимость очень удивила Кольбера. Он привык, что военные, обычно крайне нуждавшиеся в деньгах, проявляли неистощимое терпенье, приходя к нему.

А что, если мушкетер вздумает отправиться к королю и пожалуется на плохой прием, оказанный ему казначеем, или расскажет о своих подвигах?

Об этом стоило поразмыслить. Во всяком случае, в данный момент не следовало раздражать д'Артаньяна отказом, безразлично, пришел ли он от имени короля или по собственному почину. Мушкетер оказал королю очень большую услугу, и так недавно, что ее не могли еще забыть.

Взвесив все это, Кольбер решил подавить свое высокомерие и вернуть д'Артаньяна.

– Как, вы уже покидаете меня, господин Д'Артаньян? – спросил он.

Д'Артаньян обернулся.

– А почему бы и нет? – спокойно проговорил он. – Ведь нам не о чем больше разговаривать.

– Но вы, вероятно, хотите получить деньги по ордеру?

– Я? Ничего подобного, уважаемый господин Кольбер.

– Ну так по чеку? Как вы на службе короля раздаете в нужных случаях удары шпаги, так и я немедленно плачу по предъявленному мне документу.

Прошу вас, предъявите его.

– Ни к чему, господин Кольбер, – отвечал Д'Артаньян, внутренне наслаждаясь явным замешательством интенданта, – мне уже уплачено.

– Уплачено? Но кем же?

– Суперинтендантом.

Кольбер побледнел.

– Объяснитесь точнее, – произнес он сдавленным голосом. – Зачем же вы показываете мне документ, по которому уже уплачено?

– Из чувства долга, дорогой господин Кольбер. Король приказал мне получить первую четверть жалованья, которое ему угодно было мне назначить.

– Получить от меня?

– Не совсем так. Его величество сказал: «Сходите к Фуке, и если у него не окажется денег, ступайте к Кольберу».

Лицо Кольбера на мгновение просветлело.

– Значит, у суперинтенданта оказались деньги?

– Да, наверно, у него нет недостатка в деньгах, если, вместо четверти годового оклада, то есть пяти тысяч ливров...

– Пять тысяч ливров? За четверть года? – воскликнул Кольбер, не менее Фуке изумленный значительностью суммы, назначенной за солдатскую службу.

– Но ведь это составляет двадцать тысяч в год.

– Совершенно верно, двадцать тысяч в год. Вы считаете не хуже покойною Пифагора, господин Кольбер.

– Могу от души вас поздравить с подобным окладом, – сказал Кольбер с ядовитой усмешкой. – Он в десять раз превышает жалованье интенданта.

– Однако король извинился, что предлагает мне слишком мало, и обещал увеличить мой оклад со временем, когда разбогатеет. Но мне пора, я очень спешу.

– Так... Против ожидания короля, суперинтендант выдал вам деньги?

– Да, а вы, тоже против ожидания короля, отказали мне.

– Я не отказывал вам, сударь, а просил только обождать немного. Итак, вы говорите, что господин Фуке уплатил вам ваши пять тысяч ливров.

– Да, так поступили бы вы... Но он сделал для меня нечто большее, дорогой господин Кольбер.

– Что же именно?

– Он любезно отсчитал мне полностью весь оклад, заявив, что для короля касса у него всегда полна.

– Весь оклад?... Следовательно, господин Фуке вместо пяти тысяч ливров выдал вам двадцать тысяч?

– Да, сударь.

– Но зачем же?

– Затем, чтобы избавить меня от трех лишних посещений главного казначейства. Как бы то ни было, а у меня в кармане двадцать тысяч ливров новенькими золотыми. Как вы видите, я не нуждаюсь в вас и явился сюда только для того, чтобы соблюсти формальности.

С этими словами д'Артаньян хлопнул себя по карману и, улыбнувшись и показав при этом тридцать два зуба, белизне которых мог бы позавидовать юноша. Эти зубы словно говорили: «Дайте нам на каждого по маленькому Кольберу, и мы живо съедим его».

Подчас змея так же смела, как и лев, ворона так же храбра, как орел, и вообще нет ни одного животного, даже из самых трусливых, которое не проявило бы мужества, когда дело коснется самозащиты. Поэтому и Кольбер не испугался тридцати двух зубов д'Артаньяна и, приняв суровый вид, сказал:

– Сударь, но суперинтендант не имел права делать того, что сделал.

– Почему? – спросил д'Артаньян.

– Потому что ваш ордер... Не потрудитесь ли вы показать мне ваш ордер?

– Охотно; вот он.

Кольбер схватил бумагу с поспешностью, возбудившею в мушкетере невольное беспокойство и сожаление о том, что он ее отдал.

– Вот видите, – продолжал Кольбер, – королевский приказ гласит: «По предъявлении сего уплатить господину д'Артаньяну сумму в пять тысяч ливров, составляющую, четверть назначенного ему мною годового оклада».

– Совершенно верно, приказ таков, – отвечал д'Артаньян с преувеличенным спокойствием.

– Значит, король считал нужным дать вам всего лишь пять тысяч ливров.

Почему же суперинтендант выдал вам больше?

– Вероятно, потому, что мог дать больше; ведь это никого не касается.

– Вполне естественно, что вы не сведущи в счетоводстве, – с сознанием собственного превосходства заметил Кольбер. – Скажите, пожалуйста, как бы вы поступили, если вам нужно было бы уплатить тысячу ливров?

– Мне никогда не приходилось платить тысячу ливров, – возразил д'Артаньян.

– Но ведь не станете же вы платить больше того, что должны! – раздраженно вскричал Кольбер.

– Во всем этом мне ясно одно: у вас одна манера рассчитываться, а у господина Фуке – другая, – заметил мушкетер.

– Моя манера единственно правильная.

– Я не отрицаю.

– А между тем вы получили то, что вам не причиталось.

Глаза д'Артаньяна сверкнули молнией.

– Вы хотите сказать: получил вперед то, что должен был получить потом? Если б я получил то, что мне не причиталось, я совершил бы кражу.

Кольбер ничего не ответил на этот щекотливый вопрос.

– Вы должны в кассу пятнадцать тысяч ливров, – сказал он в порыве служебного рвения.

– В таком случае окажите мне кредит, – с неуловимой иронией отвечал д'Артаньян.

– И не подумаю, сударь.

– Что такое? Вы намерены отобрать у меня эти три свертка золотых?

– Вы вернете их в мою кассу.

– Ну, нет! Не рассчитывайте на это, господин Кольбер.

– Но король нуждается в своих деньгах, сударь.

– А я, господин Кольбер, нуждаюсь в деньгах короля.

– Может быть, но вы вернете мне эту сумму.

– Ни за что на свете. Я слышал, что хороший кассир ничего не возвращает, но и не берет обратно.

– Посмотрим, сударь, что скажет король, когда я покажу ему этот ордер, который доказывает, что господин Фуке не только уплатил то, чего не следует, но и не удержал документа, по которому произвел уплату.

– А, теперь мне понятно, господин Кольбер, для чего вы отобрали у меня бумагу! – вскричал д'Артаньян.

В голосе его звучала угроза, но Кольбер не уловил ее.

– Вы поймете это лучше впоследствии, – сказал он, подняв руку, в которой был ордер.

– О, я и так прекрасно понимаю, что мне нечего дожидаться, господин Кольбер! – воскликнул д'Артаньян, быстро выхватив бумагу из руки Кольбера и спрятав ее в карман.

– Но это насилие, сударь! – крикнул Кольбер.

– Полно, стоит ли обращать внимание на выходку грубого солдата, проговорил д'Артаньян. – Счастливо оставаться, дорогой господин Кольбер.

И, рассмеявшись прямо в лицо будущему министру, он вышел из кабинета.

– Ну, теперь этот господин будет меня обожать, – сказал про себя мушкетер. – Жаль только, что я едва ли с ним когда-нибудь встречусь.

Глава 17. ФИЛОСОФИЯ СЕРДЦА И УМА

Человека, побывавшего в опасных передрягах, столкновение с Кольбером могло только позабавить.

Поэтому весь длинный путь от улицы Нев-де-Пти-Шан до Ломбардской улицы д'Артаньян внутренне посмеивался над интендантом. Он еще продолжал смеяться, когда на пороге лавки встретил улыбающегося Планше. Впрочем, последний почти всегда улыбался со времени возвращения своего патрона и получения английских гиней.

– Наконец-то вы пришли, мой дорогой господин, – сказал он при виде д'Артаньяна.

– Да, но ненадолго, дружище, – ответил мушкетер, – поужинаю, лягу соснуть часиков на пять, а на рассвете – на коня и марш в путь... А что, моей лошади дали полторы порции, как я велел?

– Ах, сударь, – сказал Планше, – вы отлично знаете, что ваша лошадь любимица всего дома; мои приказчики то и дело ее балуют и кормят сахаром, орехами и сухарями. А вы еще спрашиваете, получила ли она свою порцию овса. Спросите лучше, не лопнула ли она от обжорства.

– Ну, хорошо, хорошо, Планше. Поговорим обо мне.

Готов ли ужин?

– Готов. Горячее жаркое, раки, белое вино и свежие вишни.

– Славный ты малый, Планше! Давай поужинаем, а там – спать.

За ужином д'Артаньян заметил, что Планше усиленно трет себе лоб, точно набираясь решимости, чтобы высказать какую-то мысль, крепко засевшую в мозгу. Бросив ласковый взгляд на доброго товарища былых странствий, д'Артаньян чокнулся с ним и спросил:

– Друг Планше, ты что-то хочешь сказать мне и не решаешься? Выкладывай, в чем дело!

– Мне кажется, – отвечал Планше, – вы опять отправляетесь в какую-то экспедицию.

– Допустим.

– У вас опять какая-то новая идея?

– Возможно, мой друг.

– Придется опять рискнуть капиталом? Вкладываю пятьдесят тысяч ливров в ваше новое предприятие!

Сказав это, Планше радостно потер руки.

– Тут есть одна загвоздка, Планше, – возразил д'Артаньян.

– Какая же?

– А та, что замысел не мой и я не могу в него вложить ничего своего.

Эти слова исторгли из груди Планше глубокий вздох.

Отведав легкий наживы, Планше не захотел остановиться в своих желаниях, но при всей своей алчности он обладал добрым сердцем и искренне любил д'Артаньяна. Поэтому он не мог удержаться от бесконечных советов и напутствий. Ему очень хотелось овладеть хоть частицей тайны, окружавшей новое предприятие его бывшего господина. Но все пущенные им в ход уловки и хитрости не привели ни к чему: д'Артаньян оставался непроницаем.

Так прошел вечер. После ужина д'Артаньян занялся укладкой своих вещей, потом пошел в конюшню, потрепал до шее лошадь и осмотрел ее ноги и подковы; затем, пересчитав деньги, улегся в постель, задул лампу и через пять минут спал таким крепким сном, каким спят в двадцать лет, сном человека, не знающего ни забот, ни угрызений совести.

Наступило утро. С первыми лучами солнца д'Артаньян был уже на ногах.

Взяв под мышку свой дорожный мешок, он тихо спустился с лестницы под звуки громкого храпа, несшегося из всех углов дома. Оседлав лошадь и закрыв ворота конюшни и двери лавки, он рысцой пустился в далекий путь в Бретань.

Прежде всего он направился к дому Фуке и бросил в почтовый ящик у подъезда злополучный ордер, вырванный им накануне из цепких пальцев интенданта. В конверте,

адресованном на имя Фуке, никто не мог заподозрить этого ордера, даже проницательный Планше, Д'Артаньян вернул этот документ Фуке, не скомпрометировав себя и раз навсегда избавившись от всяких упреков.

Сделав это, он сказал самому себе:

«Ну, а теперь будем полной грудью вдыхать утренний воздух: он несет с собой здоровье и беззаботность, И постараемся быть похитрее в расчетах.

Пора выработать план кампании. Но прежде следует представить себе неприятельских полководцев, с которыми нам придется иметь дело.

Из них на первом месте стоит Фуке. Что же такое господин Фуке? Это красивый мужчина, которого очень любят женщины, прославляют все поэты, большой умница, которого ненавидят глупцы.

Я не женщина, не поэт и не глупец, поэтому не питаю ни любви, ни ненависти к суперинтенданту и, следовательно, нахожусь в таком же точно положении, в каком был маршал Тюренн перед битвой с испанцами. Он не питал к ним ненависти, однако же задал им славную трепку.

Теперь, чего хочет король? Это не мое дело. А чего хочет Кольбер? О, Кольбер хочет именно того, чего не хочет Фуке. Чего же хочет Фуке? Это очень важно знать. Он хочет того же, что и король».

Закончив этот монолог, д'Артаньян расхохотался и взмахнул хлыстом. Он был уже далеко от города и ехал по большой дороге, вспугивая сидевших на изгородях птиц и прислушиваясь к звону золота в своей кожаной сумке.

Надо признаться, что всякий раз, когда д'Артаньян попадал в подобную переделку, чувствительность не была его главным пороком.

– Гм, – произнес он, – кажется, эта экспедиция не из опасных, и мое путешествие можно будет сравнить с той пьесой, которую водил меня смотреть в Лондоне Монк; помнится, она называлась «Много шума из ничего».

Глава 18. ПУТЕШЕСТВИЕ

Быть может, в пятидесятый раз с начала нашего повествования д'Артаньян, этот человек с железным сердцем и стальными мускулами, покидал дом, друзей и все, что имел, и пускался искать счастья или смерти.

Смерть постоянно отступала перед ним, как бы страшась его, а счастье или, вернее, богатство всего лишь месяц тому назад заключило с ним прочный союз.

Хотя д'Артаньян не был великим философом, вроде Сократа или Эпикура, но он обладал большим умом, будучи умудрен немалым жизненным опытом.

В течение первых тридцати пяти лет своей жизни наш гасконец питал презрение к богатству и долго считал презрение к нему первым и главным пунктом кодекса храбрости. Храбр тот, у кого ничего нет. Ничего нет у того, кто презирает богатство. Следуя этому принципу, д'Артаньян, став богатым, должен был спросить себя, сохранил ли он храбрость.

Для всякого другого эпизод, разыгравшийся на Гревской площади, был, бы достаточным ответом. Большинство людей вполне бы им удовольствовалось; но д'Артаньян был достаточно мужествен, чтобы спросить себя чистосердечно, храбрый ли он человек. Сначала он было решил: «Кажется, я достаточно ловко и добросовестно поработал шпагой на Гревской площади, чтобы иметь право не сомневаться в своей храбрости».

Но тут же он возразил себе:

«Полно, капитан, это не ответ. Я был храбр потому, что хотели сжечь мой дом, и можно поставить тысячу против одного, что если бы бунтарям не пришла в голову эта злополучная мысль, их план удался бы. Во всяком случае, не я бы помешал его осуществлению.

Какие же опасности могут угрожать мне теперь?

В Бретани у меня нет дома, который можно было бы сжечь, нет и сокровищ, которые

можно было бы похитить.

Да, но у меня есть шкура. Драгоценная шкура д'Артаньяна, которая мне дороже всех домов и всех сокровищ на свете. Я ценю ее так потому, что она служит оболочкой для тела, скрывающего пылкое сердце, которое радостно бьется и, значит, довольно жизнью.

Да, мне хочется жить, и, по правде сказать, моя жизнь стала гораздо лучше, полнее с тех пор, как я разбогател. Кто говорил, что деньги портят жизнь? Ничего подобного, клянусь честью: мне кажется даже, что теперь я поглощаю вдвое больше воздуха и солнечного тепла, чем раньше.

Черт возьми! Что со мной случилось бы, если бы я удвоил свое состояние и если бы вместо этого хлыста в моей руке очутился маршальский жезл? Да, для меня, кажется, не хватило бы тогда всего воздуха и всего солнечного тепла!

А разве это так неосуществимо? Разве король не мог бы сделать меня герцогом и маршалом, как его отец, Людовик Тринадцатый, сделал герцогом и коннетаблем Альбера де Люиня? Разве я не так же храбр, да и притом еще гораздо умнее, чем этот дурак из Витри?

Ах, моим успехам помешает то, что я слишком умен.

Но, к счастью, если на свете есть справедливость, судьба должна меня еще вознаградить. Она у меня в долгу за все, что я сделал для Анны Австрийской, и обязана возместить мне все то, чего Анна Австрийская не сделала для меня.

Теперь я в ладах с королем – королем, который как будто хочет царствовать. Да утвердит его бог в этом счастливом намерении! Ведь если он станет царствовать, то будет нуждаться во мне, а если будет нуждаться, то поневоле сдержит свое обещание...

«А теперь займемся сердцем... Ах, несчастный, – прошептал д'Артаньян с горькой усмешкой. – Ты воображал, что не имеешь сердца? А оно есть, неудачный ты царедворец, да еще и очень непокорное!

Оно громко говорит в пользу Фуке. А между тем кто такой Фуке в сравнении с королем? Заговорщик, который даже не старается скрыть своих замыслов. И какое прекрасное оружие дал он мне против себя! Но его ум и любезность вложили это оружие в ножны. Вооруженный мятеж... Ведь Фуке устроил вооруженный мятеж... Король лишь смутно подозревает Фуке в глухом возмущении, но я-то знаю и могу доказать, что Фуке виновен в пролитии крови подданных короля.

Да, я знаю это и молчу. А глупое сердце требует еще чего-то в ответ на его любезность, в благодарность за выдачу авансом пятнадцати тысяч ливров, за подаренный перстень в тысячу пистолетов, за улыбку, в которой было столько же горечи, сколько благосклонности. И вот я спасаю ему жизнь...»

«Ну, теперь, я надеюсь, – продолжал рассуждать д'Артаньян, – мое глупое сердце может успокоиться и считать, что по квиталось с господином Фуке.

Отныне король – мое солнце, и, раз с господином Фуке сердце мое по квиталось, горе тому, кто осмелится заслонить это солнце... Итак, вперед, за его величество короля Людовика Четырнадцатого!»

Окончив размышления, д'Артаньян пустил вскачь лошадь, которая плелась шажком, пока он был погружен в свои думы.

Хотя Зефир был прекрасным конем, однако он все-таки не мог бежать без остановки. На другой день после отъезда из Парижа д'Артаньян оставил его в Шартре, у своего приятеля, содержателя гостиницы, и расстояние между Шартром и Шатобрианом проехал на почтовых лошадях.

Последний город был настолько отдален от берега, что никто не мог догадаться, едет д'Артаньян к морю или нет, и в то же время настолько отдален от Парижа, что никто не мог заподозрить в д'Артаньяне посланца его величества Людовика XIV.

В Шатобриане д'Артаньян отказался от услуг почты и купил себе лошадь, такую жалкую на вид, что сесть на нее всякий офицер счел бы для себя позором. За исключением масти, эта лошадь сильно напоминала д'Артаньяну того знаменитого оранжевого коня, с которым он, вернее, на котором он вступил в свет. Впрочем, на нее сел уже не д'Артаньян, а простой

горожанин в кафтане серо-стального цвета и коричневых штанах – нечто среднее между светским и духовным лицом; сходство с последним усиливала большая черная шляпа, надетая поверх потертой бархатной скуфейки. Д'Артаньян был без шпаги, только с толстой палкой на шнуре, висевшей на руке; под плащом, на всякий случай, он спрятал хороший кинжал длиной в десять дюймов.

Новая лошадь, купленная в Шатобриане, завершила перерождение. Д'Артаньян назвал ее Хорьком.

– Уж если я Зефира заменил Хорьком, – сказал себе д'Артаньян, – мне следует изменить и собственное имя. Из д'Артаньяна я стану просто Аньяном: это имя больше подходит к моему серому платью, круглой шляпе и потертой скуфейке.

Д'Артаньян пустился в путь на Хорьке, пробежавшем резвой иноходью добрых двенадцать лье в день благодаря своим сильным и тонким ногам, которые разглядел под густой шерстью опытный глаз д'Артаньяна.

Дорогой наш путник изучал холодный, неприветливый край, по которому он проезжал, придумывая благовидный предлог, чтобы попасть на Бель-Иль и осмотреть там все, не возбуждая подозрений.

По мере приближения к Бель-Илю д'Артаньян все более убеждался в трудности возложенного на него поручения.

В Бретани, в этом отдаленном старом герцогстве, которое в те времена не было – да и теперь еще не стало – французским, народ не знал французского короля; больше того – не хотел его знать. Из политики простые люди усвоили одно-единственное: прежних герцогов не стало, и вместо них неограниченно царили местные сеньоры. Над сеньорами – бог, которого никогда не забывали в Бретани. Из всех сеньоров, владельцев замков и колоколен, самым могущественным, богатым, а главное – популярным, был Фуке, владелец Бель-Иля.

Даже здесь, поблизости, таинственный остров был окружен легендами. Не каждый мог туда проникнуть. Остров, в шесть лье длиной и в шесть шириною, был ленным владением, долго внушавшим народу почтение, потому что он был связан с именем де Реца, которое наводило здесь страх.

Уединенное положение Бель-Иля на расстоянии шести лье от французского берега делало его совершенно независимым, подобно тем величественным кораблям, которые, пренебрегая гаванями, смело бросают якорь среди океана.

Д'Артаньян разузнал все это, ничем не выдавая своего удивления. Он узнал также, что самые точные сведения о Бель-Иле можно добыть в Рош-Бернаре, довольно крупном городе, расположенном в устье Вилены. Может быть, оттуда ему удастся пробраться в Бель-Иль, а не то он проедет через солончаки в Геранд или Круазик и подождет там удобного случая переправиться на Бель-Иль. После отъезда из Шатобриана Д'Артаньян убедился, что для Хорька не было ничего невозможного, когда им управлял Аньян.

Прибыв в Рош-Бернар, мушкетер остановился в гостинице, где спросил себе на ужин жареного чирка, бретонских лепешек и сидра, еще более бретонского, чем все остальное.

Глава 19.

Д'АРТАНЬЯН ЗНАКОМИТСЯ С ПОЭТОМ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛСЯ НАБОРЩИКОМ, ЧТОБЫ ПЕЧАТАТЬ СВОИ СТИХИ

Прежде чем сесть за стол, Д'Артаньян, по своему обыкновению, решил собрать кое-какие сведения. Но он хорошо знал аксиому любопытства: расспрашивая других, надо и самому подготовиться к вопросам с их стороны, а потому принялся подыскивать подходящего собеседника.

Во втором этаже гостиницы расположилось двое постояльцев, по-видимому, также дожидавшихся ужина.

Один из них путешествовал в сопровождении слуги и, вероятно, занимал значительное общественное положение. Д'Артаньян успел заметить стоявших в конюшне двух прекрасных,

сытых лошадей, на которых приехали путешественник и его слуга.

Другой маленький, тщедушный человек, в пыльном балахоне, поношенной одежде и в сапогах, потрепанных скорее от ходьбы, чем от верховой езды, приехал из Нанта на тележке, запряженной лошадью совершенно под стать Хорьку. В тележке лежало несколько больших тюков, завернутых в куски лияной материи.

– Вот подходящий для меня человек, – решил д'Артаньян. – Моего поля ягода. Почему бы господину Аньяну в его старом сером кафтане и потертой скуфейке не поужинать с господином в драных сапогах, путешествующим на старой лошади?

И д'Артаньян позвал хозяина гостиницы, приказал подать ему ужин в комнату постояльца со скромной внешностью, сам поднялся по деревянной лестнице и постучался в дверь его комнаты.

– Войдите, – пригласил незнакомец.

д'Артаньян вошел, сложив губы бантиком, с тарелкой под мышкой, держа в одной руке шляпу, в другой – свечу.

– Простите, сударь, – сказал он, – я путешествую, как и вы, и ни с кем не знаком в этой гостинице, а у меня скверная привычка скучать, когда приходится ужинать в одиночестве. Все, что я ем, кажется мне невкусным и не идет впрок. Я увидел вас, когда вы сошли вниз и приказывали, чтобы вам открыли устрицы. Вы мне очень понравились. Кроме того, я заметил, что у вас точно такая же лошадь, как у меня, и хозяин, вероятно поэтому, поставил их в конюшне рядом. Почему бы, сударь, раз лошади подружились, не соединиться и их владельцам? Вот я и пришел просить у вас разрешения поужинать вместе с вами. Зовут меня Аньян. Я – управляющий одного богатого вельможи, который желает приобрести солончаки в этой местности и послал меня посмотреть, не найдется ли здесь что-нибудь подходящее. Позвольте мне прибавить, сударь, что я был бы счастлив, если бы моя физиономия так же понравилась вам, как пришлась мне по сердцу ваша.

д'Артаньян, в сущности, видел незнакомца в первый раз, потому что не успел рассмотреть его внизу.

У него были блестящие черные глаза, желтоватая кожа и морщины на лбу; на вид ему было лет пятьдесят. В общем, черты его лица выражали добродушие, хотя во взгляде светилось лукавство.

«Этот человек, – подумал д'Артаньян, – должно быть, много работал головой; может быть, это ученый, потому что нижняя часть лица – рот, нос и подбородок – очень мало выразительна».

– Сударь, – отвечал тот, кого так тщательно изучал д'Артаньян, – вы оказываете мне большую честь. Не могу сказать, чтобы я когда-либо испытывал скуку; у меня есть общество, которое не дает мне скучать, – добавил он с улыбкой, – но тем не менее я очень рад видеть вас.

В то же время человек в поношенных сапогах бросил тревожный взгляд на стол, где устриц уже не было и лежал лишь кусок соленого сала.

– Сударь, – поспешил сказать д'Артаньян, – сейчас хозяин принесет сюда прекрасную дичь и замечательные лепешки.

Во взгляде незнакомца д'Артаньян прочел опасение, что к нему хочет присоединиться субъект, ищущий случая угоститься на чужой счет. д'Артаньян угадал правильно: при его последних словах лицо незнакомца сразу просветлело.

Действительно, через минуту хозяин принес названные блюда. Новые знакомые уселись за стол и по-братски разделили поданную пищу и оставшийся кусок соленого сала.

– А ведь хорошая вещь компания, не правда ли, сударь? – заметил д'Артаньян.

– Чем? – спросил с полным ртом незнакомец.

– Сейчас расскажу, – отвечал д'Артаньян.

Незнакомец приостановил работу своих челюстей, чтобы лучше слушать.

– Во-первых, – начал д'Артаньян, – вместо одной свечи, которая была у каждого из нас в отдельности, тут их две.

– Правда, – сказал незнакомец, изумленный правильностью этого замечания.

– Затем, вы, как я погляжу, отдаете предпочтение моим лепешкам, а я вашему салу.

– Тоже верно.

– Наконец, больше яркого света и пищи по вкусу я ценю удовольствие, получаемое в приятной беседе.

– Вы, я вижу, весельчак, – сказал незнакомец с улыбкой.

– Да, я человек веселый, как все люди с пустой головой. Вот вы другое дело: в ваших глазах светится гений.

– Ах, что вы, сударь...

– Позвольте предложить вам один вопрос.

– Какой?

– Вы ученый, не правда ли?

– Нет, но, пожалуй, вроде того... Я писатель.

– Ну, вот видите! – вскрикнул д'Артаньян, радостно хлопая в ладоши. Я не ошибся... Это чудесно.

– Почему же, сударь?

– Разве не счастье провести вечер в обществе писателя, и, может быть, знаменитого?

– Ну, положим, знаменитый – не совсем подходящее слово, – возразил незнакомец, покраснев.

– Скромн! О, как он скромн! – произнес в умилении д'Артаньян. Скажите же мне названия ваших произведений, если не хотите сказать ваше имя.

– Меня зовут Жюпене, сударь, – сказал незнакомец.

– Прекрасное имя, – похвалил д'Артаньян, – мне кажется, что я слышал его.

– Я пишу стихи, – произнес поэт.

– Значит, я читал их.

– Я написал трагедию.

– Значит, я ее видел.

Поэт опять покраснел.

– О нет, ведь мои стихи не были напечатаны.

– Так, значит, я помню ваше имя по трагедии.

– Вы также ошибаетесь, потому что актеры бургундского театра не захотели ее играть, – сказал поэт с гордой улыбкой, тайна которой известна только непризнанным талантам.

Д'Артаньян закусил губу.

– Итак, вы видите, сударь, – продолжал поэт, – что вы ошибаетесь на мой счет: вы не знаете меня и не могли ничего обо мне слышать.

– Вот что меня сбивает с толку: имя Жюпене звучит красиво и кажется мне достойным широкой известности, как имена Корнеля, Ротру или Гарнье.

Я все-таки надеюсь, сударь, что за десертом вы познакомите меня с вашей трагедией. Это будет для меня лучшее пирожное, черт возьми!.. Простите, сударь, у меня вырвалось бранное слово, которое часто повторяет мой господин. Иногда и я позволяю себе вставить это словцо, конечно, в его отсутствие. Правда, сударь, сидр этот очень плох? Вы согласны? И кувшин какой-то кривобокий, еле стоит на столе. Надо бы подложить под него что-нибудь.

– Погодите.

Поэт пошарил в кармане и достал продолговатый четырехугольный кусочек металла толщиной в строку, длиной дюйма в полтора. Но едва он вытащил его, как поспешил сунуть обратно, видимо, смущенный своей неосторожностью. Д'Артаньян заметил это: от него ничего не ускользало.

Он протянул руку к куску металла.

– Простите, вот интересная штука; можно посмотреть?

– Конечно, – ответил поэт, – но сколько вы ни будете рассматривать, вы все равно не поймете, для чего он предназначен, пока я не скажу.

Д'Артаньян заметил некоторое колебание в тоне поэта и поспешность, с какой он хотел спрятать обратно в карман кусок металла.

Он, по обыкновению, насторожился. Впрочем, несмотря на уверения Жюпене, он сразу же понял, что это такое.

– Вы догадываетесь, что это? – продолжал поэт.

– Нет, – ответил Д'Артаньян, – право, не знаю.

– Так знайте, сударь, – сказал Жюпене, – этот кусок металла – буква типографского шрифта.

– Да что вы!

– Прописная буква...

– Скажите пожалуйста, – вскричал Д'Артаньян, широко раскрыв глаза.

– Да, сударь, это Ж, начальная буква моего имени.

– Знаете, мне хочется сказать вам...

– Что?

– Нет, не стоит... Я хотел сказать глупость.

– Но почему же? – ответил Жюпене покровительственным тоном.

– Видите ли, я никак не могу понять, как из таких букв можно составить слово.

– Это вас интересует?

– Ужасно.

– Так вот, смотрите, сейчас я покажу вам эту штуку. Погодите минуту... Теперь смотрите внимательно. Д'Артаньян с величайшим вниманием наблюдал, как Жюпене вытащил из кармана семь-восемь литер, но несколько меньшего размера.

– Ого-го! – воскликнул Д'Артаньян.

– Что такое?

– Да у вас в кармане целая типография! Черт возьми! Это в самом деле любопытно.

– Не правда ли?

– Сколько узнаешь интересного, путешествуя!

– За ваше здоровье! – произнес обрадованный Жюпене.

– И за ваше здоровье, черт побери! Впрочем, этот отвратительный сидр недостойн человека, привыкшего утолять жажду из источника Иппокрены.

Ведь так, кажется, называете вы, поэты, источник вашего вдохновения?

– Да, сударь, наш источник называется именно так. Название это греческое и состоит из двух слов: первое *hippos*, что означает лошадь... и...

– Сударь, – перебил его Д'Артаньян, – я угощу вас напитком, название которого происходит от одного французского слова, что не делает его хуже... от слова виноград. От этого сидра меня тошнит. Позвольте-ка мне справиться у трактирщика, не найдется ли у него в погребе несколько хороших бутылок божансийского вина.

На зов д'Артаньяна тотчас же явился трактирщик.

– Сударь, – прервал собеседника поэт, – я боюсь, что у нас не будет времени распить вино, так как я должен воспользоваться приливом, чтобы сесть на барку.

– На какую барку? – спросил Д'Артаньян.

– На барку, отправляющуюся в Бель-Иль.

«В Бель-Иль, хорошо», – подумал мушкетер.

– О, вам нечего спешить, – заметил трактирщик, раскупоривая бутылку, – барка отходит только через час.

– Кто же предупредит меня? – спросил поэт.

– Ваш сосед по комнате, – ответил хозяин гостиницы.

– Но я почти не знаю его...

– Как только вы услышите, что он уходит, значит, и вам время ехать.

– Он тоже едет в Бель-Иль?

– Да.

– Этот господин со слугою, вероятно, какой-нибудь дворянин? – спросил Д'Артаньян.

– Право, не могу вам сказать.

– Неужели вы его не знаете?

– Знаю только, что он пьет то же вино, что и вы.
– Черт побери, вот какая честь для нас, – сказал д'Артаньян, наливая вино собеседнику, когда трактирщик ушел.

– Значит, вы никогда не видели, как печатают книги? – произнес поэт, возвращаясь к своей излюбленной теме.

– Никогда.

– Так вот: берутся буквы, составляющие слово...

И он с необыкновенной быстротой и ловкостью подобрал буквы.

– Хорошо, – кивнул д'Артаньян, – но как сделать, чтобы буквы держались вместе? – И он налил второй стакан вина своему собеседнику.

Жюпене усмехнулся с видом превосходства и вытащил из кармана металлическую линейку, на которой начал устанавливать буквы, придерживая их большим пальцем левой руки.

– А как называется эта железная штука? – спросил д'Артаньян. – Наверное, она имеет свое название?

– Она называется наборной линейкой, – сказал Жюпене, – с помощью ее составляются строки.

– Ну, вот и выходит по-моему: у вас в кармане целая печатня, – заключил д'Артаньян, смеясь таким простодушным смехом, что поэт окончательно попался на удочку.

– Нет, не совсем так, – ответил он, – но я ленюсь писать, и когда в голове у меня складывается рифмованная строчка, я сейчас же стараюсь набрать ее и отпечатать. Это избавляет меня от лишней работы.

«Черт побери! – подумал про себя д'Артаньян. – Это требует разъяснений».

Под каким-то благовидным предлогом он встал из-за стола и, сбежав с лестницы, быстро вошел в сарай, где стояла маленькая тележка Жюпене.

Острием своего кинжала он проколол материю одного из тюков и обнаружил, что он полон типографского шрифта, образцы которого поэт носил в кармане.

– Ага! – сказал д'Артаньян. – Хотя я еще не знаю, желает ли Фуке укрепить Бель-Иль материально, но духовное оружие он, во всяком случае, готовит.

И, довольный этим открытием, он снова вернулся к столу. Он узнал теперь все, что хотел, но все же просидел поэтом до тех пор, пока в соседней комнате не задвигаясь, собираясь в путь.

Поэт сейчас же поднялся. Он распорядился, чтобы запрягли его лошадь в тележку, которая ждала у дверей. Другой путешественник со своим слугою садились на лошадей во дворе.

Д'Артаньян проводил Жюпене до пристани. Тот погрузил на барку свою тележку с лошадью.

Второй путешественник и его слуга сделали то же со своими лошадьми.

Как ни старался д'Артаньян узнать имя неизвестного господина, это ему не удалось. Однако он постарался хорошо запомнить черты его лица.

Мушкетеру очень хотелось отправиться в Бель-Иль с обоими пассажирами, но опасение испортить дело победило любопытство и заставило его вернуться с берега в гостиницу. Вернувшись, он немедленно лег в постель, чтобы встать рано утром со свежей головой.

Глава 20.

Д'АРТАНЬЯН ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ СВЕДЕНИЯ

На следующий день с восходом солнца д'Артаньян собственноручно оседлал Хорька, угощавшегося всю ночь остатками овса двух своих соседей.

Мушкетер расспросил, о чем только мог, хозяина гостиницы, который показался ему хитрым, подозрительным и преданным душой и телом Фуке.

Чтобы не навлечь на себя подозрений, д'Артаньян повторил свою басню о покупке

солончаков.

Отправиться отсюда в Бель-Иль значило вызвать толки, которые неминуемо дошли бы до замка. К тому же, как ни странно, путешественник со слугою остался для д'Артаньяна загадкой, несмотря на все вопросы, обращенные к хозяину, по-видимому, хорошо знавшему своего постояльца.

Порасспросив о солончаках, мушкетер направился к болотистой местности, оставив берег справа и углубившись в обширную печальную равнину, представлявшую собой море грязи, на котором местами серебрились отложения соли. Хорек смело ступал своими мускулистыми ногами по узеньким тропинкам, проложенным в солончаках.

Д'Артаньян, доверившись лошади, стал рассматривать три остроконечных утеса, возвышавшиеся на горизонте, точно копы, среди голой равнины.

Местечки Пириак, Батп и Круазик, похожие друг на друга, привлекли к себе его внимание. Когда мушкетер оборачивался назад, чтобы лучше ориентироваться, он видел на горизонте тоже три колокольни: Геранда, Пулигена и Сен-Жоашена. Они походили на кегли, между которыми он со своим Хорьком изображал шар. С правой стороны от него был ближайший маленький порт Пириак.

В тот момент, когда Д'Артаньян въехал туда, пять огромных барж, груженных камнем, вышли из гавани. Д'Артаньяну показалось странным, что камень вывозят из местности, где его, по-видимому, совсем нет. Со свойственным Аньяну простодушием он попробовал узнать у местных жителей причину такой особенности.

Старый рыбак ответил Аньяну, что камень не из Пириака и, конечно, не из болот.

– Где же он добывается? – спросил мушкетер.

– Его, сударь, привозят из Нанта и из Пенбефа.

– А куда его везут?

– В Бель-Иль, сударь.

– Вот как! – воскликнул Д'Артаньян тем же тоном, каким он выразил свое удивление поэту, когда просил познакомить его с секретами типографского дела. – А разве там что-нибудь строится?

– Как же, сударь. Господин Фуке каждый год ремонтирует свой замок.

– Разве он такой старый?

– Да, порядком.

«Тогда нет ничего удивительного. Каждый владелец имеет право чинить свою собственность, – подумал д'Артаньян. – Этак и мне бы сказали, что я укрепляю свой дом на Гревской площади, тогда как я просто-напросто собираюсь отремонтировать его. Мне кажется, что король получает неправильные донесения, которые вводят его в заблуждение...»

– Но все-таки, – продолжал он уже вслух, ибо возложенное на него поручение заставляло его быть недоверчивым, – согласитесь, милый человек, что камень этот везут странным путем.

– Почему же? – спросил рыбак.

– Камень доставляют из Нанта или Пенбефа по Луаре?

– Да, по течению реки.

– Это действительно удобно, но почему же его доставляют не прямо из Сен-Назера в Бель-Иль?

– Э, наши баржи плохи и непригодны для моря.

– Не все ли равно?

– Простите, сударь, вы, видать, никогда не плавали до моря, – прибавил рыбак не без оттенка презрения в голосе.

– Объясните мне это, милейший. Мне кажется, что проплыть из Пенбефа в Пириак, чтобы потом отправиться из Пириака в Бель-Иль, – все равно что совершить переезд из Рош-Бернара в Нант, а потом пуститься из Нанта в Пириак.

– По воде путь короче, – возразил невозмутимый рыбак.

– Но ведь так получается крюк.

Рыбак отрицательно покачал головой.

– Вы забываете о течении, сударь.

– Согласен.

– И о ветре.

– А!

– Конечно. Течение Луары доносит суда почти до Круазика. Если им нужно чиниться или пополнить команду, они идут в Пириаке вдоль берега. Близ Пириака они встречают течение в другую сторону, которое несет их до острова Дюме.

– Хорошо.

– Оттуда течение Видены отбрасывает их к следующему острову – Гедику.

– Так.

– А от этого острова прямой путь на Бель-Иль. Море между островами как зеркало, по которому баржи плывут, словно утки по Луаре.

– А все-таки этот путь долг, – заметил упрямый Аньян.

– Да уж так приказал господин Фуке, – заключил рыбак, в знак почтения к этому имени приподнимая свою шерстяную шапку.

Быстрый и пронизательный, как стальное лезвие, взгляд мушкетера открыл в сердце старика только наивную доверчивость, а в его чертах выражение полного и спокойного удовлетворения. Он произнес «так приказал господин Фуке» таким тоном, каким говорят: «воля божья».

Д'Артаньян потрепал по шее своего коня, и тот, еще раз показав свой прекрасный характер, двинулся в путь, ступая по солончакам и втягивая ноздрями сухой ветер, пригибавший прибрежные травы и жалкий вереск.

К пяти часам мушкетер приехал в Круазик.

Если б Д'Артаньян был поэтом, он залюбовался бы громадными отмелями шириной в целое лье, которые во время прилива покрываются водой, а когда море отступает, тянутся серыми, унылыми полосами, усеянными водорослями, мертвыми травами и белыми редкими валунами, напоминающими кости на кладбище.

Но он – солдат, политик, честолобец – не находил утешенья даже в том, чтобы смотреть на небо и читать в нем надежду или предупреждение.

Для такого человека, как он, багровое небо означало только ветер и бурю. Белые легкие облака на синеве небосклона говорили всего лишь, что море будет спокойным. И Д'Артаньян решил:

«При первом же приливе я поплыву, хотя бы в ореховой скорлупе».

В Круазике, как и в Пириаке, мушкетер заметил на берегу громадные груды камней. Эти исполинские стены убывали с каждым приливом, так как камень увозили на остров Бель-Иль, что подтверждало подозрения, явившиеся у него в Пириаке.

Но что сооружал Фуке? Чинил ли он разрушенную стену? Возводил ли новые укрепления? Чтобы узнать это, надо было увидеть.

Д'Артаньян поставил Хорька в конюшню, поужинал, лег спать, а на следующий день, на рассвете, уже расхаживал по гавани, вернее, по гальке.

На отмели несколько рыбаков беседовали о сардинах и креветках.

Аньян подошел к ним с веселой, приветливой улыбкой.

– Будет сегодня ловля? – спросил он.

– Да, – ответил один из рыбаков, – мы ждем прилива.

– А где вы ловите рыбу, друзья?

– У берегов.

– А где ловится лучше?

– В разных местах, например, близ острова.

– Но до острова далеко.

– Не очень. Четыре лье.

– Четыре! Да это целое путешествие!

Рыбак расхохотался.

– Послушайте-ка, – наивно заметил Аньян, – ведь на расстоянии четырех лье уже не видно берега. Правда?

– Не всегда.

– Ну... словом, это далеко, даже слишком далеко, не то я попросил бы вас взять меня с собой и показать то, чего я никогда не видал.

– А что?

– Живую морскую рыбу.

– Вы из провинции? – спросил один рыбак.

– Да, из Парижа.

Бретонец пожал плечами и поинтересовался:

– А видели вы в Париже господина Фуке?

– Часто, – ответил Д'Артаньян.

– Часто? – повторили рыбаки и столпились около парижанина.

– Вы его знаете?

– Немножко. Он близкий друг моего господина.

– Ага! – протянули рыбаки.

– И еще, – прибавил Д'Артаньян, – я видел его замки в Сен-Манде, Во и его парижский дом.

– Хорош?

– Великолепен!

– Ну, не так хорош, как его замок в Бель-Иле, – заявил один рыбак.

– Ого! – воскликнул мушкетер и так презрительно расхохотался, что все присутствующие рассердились.

– Сразу видно, что вы не бывали на острове, – перебил самый любопытный из рыбаков. – Да знаете ли вы, что его усадьба занимает шесть лье и что там такие деревья, каких не увидишь и в Нанте!

– Деревья! В море-то? – воскликнул Д'Артаньян. – Желал бы я убедиться сам.

– Это нетрудно. Мы ловим рыбу у острова Гедика. Оттуда видны темные бель-ильские деревья и белый замок, который, как лезвие, врезается в море. Хотите посмотреть Бель-Иль?

– А это можно? – спросил Д'Артаньян.

– Все могут бывать там, – продолжал рыбак, – кто не желает зла Бель-Илю или его владельцу.

Легкая дрожь пробежала по телу мушкетера.

«Правда», – подумал он и произнес вслух:

– Если б я был уверен, что не буду страдать морской болезнью...

– В нем-то! – воскликнул рыбак, с гордостью указывая на свой красивый баркас с круглыми боками.

– Ну, уговорили, – сказал д'Артаньян. – Я отправлюсь посмотреть Бель-Иль, только вряд ли меня пустят.

– Нас же пускают.

– Вас? Почему?

– Потому что мы возим рыбу для экипажей каперов.

– Каперов?

– Ну да, господин Фуке построил два капера, чтобы преследовать не то голландцев, не то англичан, и мы продаем рыбу матросам этих маленьких судов.

«Ого! – подумал д'Артаньян. – Еще того лучше! Типография, бастионы, военные суда! Да, Фуке нешуточный противник, как я и полагал. Стоит потрудиться, чтобы поближе присмотреться к нему».

– Мы выйдем в половине шестого, – деловито прибавил рыбак.

– Я никуда от вас не уйду.

Действительно, когда подошло время, он увидел, как рыбаки подтащили свои баркасы к

воде. Начинаясь прилив. Аньян сел в баркас, представляясь испуганным и смеша ребяташек рыбаков, которые наблюдали за ним своими умными глазенками.

Мушкетер лег на сложенный вчетверо брезент, предоставив трудиться рыбакам, и баркас, распустив свой большой квадратный парус, через два часа уже был в открытом море.

Д'Артаньян принес рыбакам счастье: так они ему говорили. Ему до того понравилась ловля, что он сам взялся за дело, то есть за лесу, крича и чертыхаясь от радости (да так, что изумил бы самих своих мушкетеров), когда лесу дергала новая добыча, заставлявшая его напрягать мускулы и проявлять силу и ловкость.

Веселое занятие отвлекло мысли мушкетера от его дипломатического поручения. Он воевал с огромным морским угрем, держась одной рукой за борт, чтобы поймать раскрытую пасть своего противника, когда хозяин баркаса произнес:

– Осторожно, как бы нас не увидели с Бель-Иля.

Эти слова произвели на д'Артаньяна впечатление разорвавшейся бомбы.

Он бросил лесу и морского угря, которые исчезли в воде.

На расстоянии не более полулье д'Артаньян увидел синеватый силуэт скал Бель-Иля, а над ним белую линию величавого замка.

Дальше показались леса, зеленые пастбища, скот.

Солнце, поднявшееся до четверти неба, бросало золотые лучи на поверхность моря и окружало волшебный остров словно сверкающей пылью. Благодаря ослепительному свету все тени падали четко, прорезая темными полосами блестящий фон лугов и стен.

– Эге, – сказал д'Артаньян, поглядывая на темные скалы, – вот, кажется, укрепления, которые не нуждаются ни в каком инженерере. Где тут высадиться на эту землю? Сам бог сделал ее неприступной.

Рыбак переставил парус и повернул руль; баркас накренился, качнулся и устремился к маленькой круглой красивой гавани с новой зубчатой стеной.

– Это что, черт возьми? – спросил д'Артаньян.

– Локмария.

– А дальше?

– Это Бангос.

– А еще дальше?

– Соже... потом дворец.

– Боже ты мой! Целый мир! – заметил мушкетер. – А вот и солдаты.

– На острове тысяча семьсот человек, – с гордостью ответил рыбак. Знаете ли, что здешний гарнизон состоит, самое меньшее, из двадцати двух пехотных рот?

«Черт побери! – подумал д'Артаньян про себя. – Кажется, король был прав...»

И они пристали к берегу.

Глава 21.

ЧИТАТЕЛЬ, НЕСОМНЕННО, УДИВИТСЯ ТАК ЖЕ, КАК И Д'АРТАНЬЯН, ВСТРЕТИВ СТАРОГО ЗНАКОМОГО

Когда высаживаются хотя бы с самого маленького морского суденышка, всегда бывают некоторая суматоха и волнение, мешающие спокойно рассмотреть новое место. Качающийся трап, беготня матросов, прибой, крики и приветствия ожидающих на берегу – все это вызывает сложное чувство, приводящее в смущение.

Поэтому д'Артаньян, только постояв несколько минут на пристани, заметил в гавани и особенно в глубине острова множество рабочих.

Внизу д'Артаньян увидел пять барж, груженных камнем, которые отошли при нем из Пириака. Камень выгружали и переправляли на берег по цепочке двадцать пять – тридцать крестьян.

Крупные камни взваливали на тачки и перевозили туда же, куда и гальку, то есть к месту производства работ. Какие это были работы, д'Артаньян еще не мог разобрать.

Повсюду видна была такая же деятельность, какую заметил Телемак, высадившийся в Саленте.

Д'Артаньяну очень хотелось уйти подальше, но он боялся выдать свое любопытство и вызвать подозрение. Тем не менее, пока рыбаки торговались, продавая рыбу жителям городка, он отошел от них и, видя, что на него не обращают внимания, стал зорко осматривать все и всех.

Он тотчас же заметил многое, что не могло обмануть его солдатского взгляда. На двух концах порта сооружались две батареи, чтобы орудийный огонь скрещивался на оси водного бассейна, имевшего форму эллипса. Видимо, на этих выступах собирались установить береговые орудия, потому что д'Артаньян заметил, как строители заканчивали сооружение платформ в виде деревянных полукругов, на которых могут поворачиваться пушки на колесах для стрельбы во все стороны.

Рядом с каждой из этих батарей ставили корзины с землей для укрепления стен. Батареи имели амбразуры, и руководитель работ подзывал к себе то одних рабочих, которые связывали фашины, то других, вырезавших ромбы и прямоугольники из дерна для укрепления амбразур.

Судя по энергии, с какой велось строительство, можно было считать его почти законченным. Пушек еще не было, но дубовые основания для них были готовы; почва под ними была тщательно утрамбована, и, если на острове была артиллерия, меньше чем в два дня порт мог быть вооружен.

Когда д'Артаньян перевел взгляд с береговых батарей на укрепления самого города, он с изумлением убедился, что Бель-Иль защищен по новой системе, о которой при нем говорили графу де Ла Фер как о крупном и удачном новшестве, но применения которой на практике он еще видел.

Укрепления не возвышались над землей, как старинные валы, предназначенные для защиты города от штурма приставными лестницами, а, напротив, опускались на землю; вместо стен были рвы. Кроме того, рвы эти находились ниже уровня моря, и в случае нужды их легко было затопить с помощью подземных шлюзов.

Дощатый мост, перекинутый через ров для удобства людей, везущих тачки, соединял внутреннюю часть форта с наружной.

Д'Артаньян с наивным видом спросил, можно ли пройти по мосту, и в ответ услышал, что это никому не запрещено. Поэтому он перешел через ров и направился к группе землекопов. Ими командовал человек, которого д'Артаньян заметил еще раньше; он казался старшим инженером. На большом камне, служившем столом, лежал план, а в нескольких шагах трещала лебедка.

В первую очередь внимание д'Артаньяна привлек инженер. На нем был роскошный камзол, не соответствовавший обязанностям этого человека: инженеру скорее подвела бы одежда каменщика, чем костюм вельможи.

Это был очень высокий, широкоплечий человек в шляпе, разукрашенной перьями. Он делал величественные жесты и, казалось, — он стоял спиной, брал за леность своих подчиненных.

Д'Артаньян подошел ближе.

В это мгновение человек в шляпе с перьями перестал размахивать руками, уперся кулаками в колени и, согнувшись, стал наблюдать, как шестеро дюжих мужчин пытались поднять обтесанный камень на деревянный обрубок, чтобы потом подвести под глыбу веревку лебедки.

Задышавшись и обливаясь потом, строители изо всех сил старались приподнять камень на несколько дюймов над землей, в то время как седьмой готовился при первой же возможности сунуть под него толстый брус. Но камень дважды вырывался у них из рук раньше, чем им удавалось достаточно поднять его, и рабочим приходилось отскакивать назад, чтобы глыба не отдала им ног.

Человек в шляпе с перьями выпрямился и гневно спросил:

– Что это? Из соломы вы, что ли? Черт возьми!

Отойдите и посмотрите, как это делается.

«Гм, – подумал д'Артаньян, – не собирается ли он поднять эту глыбу?

Любопытно».

Землекопы отошли с понурым видом, покачивая головами; на месте остался только тот, кто держал деревянный брусок, – по-прежнему готовый исполнить свою обязанность.

Человек в шляпе с перьями подошел к камню, наклонился, просунул под него руки, напряг геркулесовы мышцы и ровным, медленным движением, напоминавшим ход машины, поднял глыбу на целый фут от земли. Рабочий воспользовался этим и подложил брус под камень.

– Вот! – сказал исполин, не бросив глыбу, а медленно опустив ее на подпорку.

– Ей-богу, – воскликнул д'Артаньян, – я знаю только одного человека, способного показывать такие фокусы.

– А? – спросил гигант и обернулся.

– Портос! – прошептал изумленный мушкетер. – Портос в Бель-Иле!

Со своей стороны человек в шляпе посмотрел на мнимого управляющего и узнал его, несмотря на непривычный костюм.

– Д'Артаньян! – вскричал, он краснея. – Тес! – прибавил он через мгновение.

– Тес! – отозвался мушкетер.

В самом деле, если д'Артаньян разоблачил Портоса, то и Портос тоже поймал д'Артаньяна. В первую минуту в каждом из них сильнее всего говорило желание сохранить свою тайну.

Тем не менее они обнялись.

Они хотели скрыть от присутствующих свои имена, а не свою дружбу.

Но после объятий оба задумались.

«Почему Портос в Бель-Иле ворокает камни?» – спросил себя д'Артаньян, но, конечно, спросил мысленно.

Портос, менее искушенный в дипломатии, подумал вслух:

– Зачем вы в Бель-Иле? Что вы тут делаете?

Нужно было ответить без колебаний.

Если бы д'Артаньян не нашелся сразу, он бы никогда не простил себе этого.

– Я здесь потому, что вы в Бель-Иле, друг мой.

– Ага, – ответил Портос, видимо, сбитый с толку этим доводом, стараясь уяснить себе его с помощью своей известной нам сообразительности.

– Конечно, – продолжал д'Артаньян, не желавший дать своему другу опомниться, – я сначала поехал к вам Пьерфон.

– И не застали меня там?

– Нет, но я видел Мустона.

– Но ведь не Мустон сказал вам, что я здесь?

– Почему бы ему было не сказать мне этого? Разве я не заслуживаю доверия Мустона?

– Он сам этого не знал.

– О, вот причина, по крайней мере, не оскорбительная для моего самолюбия.

– Но как же вы добрались до меня?

– Э, дорогой мой, такой важный барин, как вы, оставляет следы всюду, где побывает, и я не уважал бы себя, если бы не умел находить моих друзей.

Даже столь лстивое объяснение не вполне удовлетворило Портоса.

– Но я ехал переодетым – значит, я не мог оставлять следов, – сказал он.

– Как же вы переоделись?

– Я приехал под видом мельника.

– Разве такой вельможа, как вы, Портос, может усвоить манеры простых людей настолько, чтобы обмануть других?

– Но клянусь вам, мой друг, я так хорошо играл свою роль, что все обманывались.

– Однако все же не настолько хорошо, чтобы я не мог отыскать вас.
– Да. Но как же это случилось?
– Погодите, сейчас расскажу. Представьте себе, Мустон...
– Ах, уж этот Мустон! – проворчал Портос, сдвигая две триумфальные арки, служившие ему бровями.
– Да погодите же. Мустон не виноват, так как он сам не знал, где вы.
– Конечно. И потому-то мне так хочется скорее все понять.
– Как вы нетерпеливы, Портос!
– Ужасно, когда чего-нибудь не понимаю.
– Вы все поймете. Ведь Арамис писал вам в Пьерфон?
– Да.
– Он написал, чтобы вы приехали до равноденствия?
– Да.
– Ну вот, – заключил Д'Артаньян, надеясь, что Портос удовольствуется этим объяснением.

Исполин глубоко задумался.

– Да, да, – сказал он наконец, – понимаю. Арамис звал меня до равноденствия, и потому вы поняли, что он просит меня приехать к нему. Вы спросили, где Арамис? Вы рассуждали так: «Где Арамис, там и Портос». Вы узнали, что Арамис в Бретани, и решили: «Портос в Бретани».

– Вот именно. Право, Портос, вы прямо колдун. Как вы все это сразу угадали! Приехав в Рош-Бернар, я узнал о возведении замечательных укреплений на Бель-Иле. Это подстрекнуло мое любопытство. Я сел в рыбачью лодку, не подозревая, что вы в Бель-Иле. Приехав и увидев человека, поднявшего такой камень, которого не сдвинул бы и сам Аякс, я воскликнул:

«Только барон де Брасье в состоянии проделывать такие штуки». Вы услышали, повернулись, узнали меня, мы обнялись, и, ей-богу, если вы не против, давайте обнимемся еще раз.

– Вот как все просто объясняется, – произнес Портос.

И он обнял д'Артаньяна с таким горячим чувством, что в течение пяти минут мушкетер не мог вздохнуть.

– Да вы стали еще сильнее прежнего, – заметил д'Артаньян. – Хорошо еще, что только в руках!

Портос ответил приветливой улыбкой.

В течение пяти минут Д'Артаньян не мог перевести дыхание и за это время обдумывал нелегкую роль, которую ему придется играть. Надо было обо всем расспросить, самому ни на что не отвечая. Когда он окончательно отдышался, у него уже был выработан план кампании.

Глава 22. **В КОТОРОЙ СМУТНЫЕ ИДЕИ Д'АРТАНЬЯНА НАЧИНАЮТ ПОНЕМНОГУ** **ПРОЯСНЯТЬСЯ**

Д'Артаньян немедленно начал наступление:

– Теперь, когда я вам все объяснил, мой друг, или, вернее, когда вы все угадали, скажите мне, что вы тут делаете, в этой пыли и грязи?

Портос отер лоб, с гордостью огляделся по сторонам и сказал:

– Но мне кажется, вы видите, что я тут делаю.

– Конечно, конечно, вы поднимаете камни.

– О, только чтобы показать этим лентяям, что такое настоящий мужчина!

– с презрением сказал Портос. – Но вы понимаете...

– Да, ворочать камни не ваше дело, а между тем многие, для которых это занятие их настоящее ремесло, не могут поднять их. Вот что заставило меня спросить: «Что вы делаете здесь, барон?»

– Я изучаю топографию.

– Топографию?

– Да, но что вы сами делаете в платье горожанина?

Д'Артаньян понял, что он напрасно выказал свое удивление. Портос воспользовался этим, чтобы на вопрос ответить вопросом.

К счастью, Д'Артаньян был к нему готов.

– Но ведь вы знаете, что я действительно горожанин.

Это платье соответствует моему общественному положению.

– Полно, полно, вы мушкетер.

– Ошибаетесь, дорогой друг: я подал в отставку.

– Как? Вы покинули службу?

– Да.

– Вы покинули короля?

– Навсегда.

Портос воздел к небу руки с видом человека, узнавшего нечто неслыханное.

– Да что же заставило вас решиться на это?

– Я был недоволен королем. Мазарини давно был мне противен, как вы знаете. И я на все махнул рукой.

– Но ведь Мазарини умер.

– Знаю. Как раз перед его смертью я подал в отставку, и два месяца тому назад мою отставку приняли. Тогда-то, чувствуя себя вполне свободным, я отправился в Пьерфон, чтобы повидаться с моим милым Портосом. Я слышал, что вы хорошо распределили время всех дней недели, и хотел немного пожить так, как вы.

– Друг мой, вы знаете, мой дом открыт для вас не на две недели, а на год, на десять лет, навсегда.

– Благодарю вас, Портос.

– Ах! Не нужно ли вам денег? – спросил Портос, побрякивая полсотнею луидоров, лежавших у него в кармане.

– Нет, мне ничего не нужно; я поместил свои сбережения к Планше, и он выплачивает мне проценты.

– Ваши сбережения?

– Да; почему вы считаете, что у меня не может быть сбережений, как у всякого человека?

– Я? Напротив, я всегда предполагал... Вернее, Арамис всегда предполагал, что у вас есть сбережения. Видите ли, я не вмешиваюсь в эти дела, но думаю, что сбережения мушкетера едва ли очень значительны.

– Конечно, по сравнению с вами, Портос, миллионером, я не богат. Но судите сами: у меня было двадцать пять тысяч ливров.

– Недурно, – любезно ответил Портос.

– А затем, – продолжал мушкетер, – двадцать восьмого числа прошедшего месяца я прибавил к ним двести тысяч ливров.

Глаза Портоса округлились, красноречиво спрашивая мушкетера: «Да у кого же ты украл такую сумму, дорогой друг?»

– Двести тысяч ливров! – воскликнул он наконец.

– Да, таким образом, вместе с двадцатью пятью тысячами, которые у меня были, и с деньгами, которые сейчас при мне, у меня теперь в общем двести сорок пять тысяч ливров.

– Ну! Откуда же у вас это состояние?

– Погодите, я после расскажу всю эту историю. Но так как мне еще нужно сообщить вам многое, отложим мое повествование до поры до времени.

– Отлично, – согласился Портос. – Значит, вы богаты! Но что же рассказывать?

– Расскажите, как Арамиса назначили...

– Ваннским епископом?

– Да, да, именно, – сказал д'Артаньян. – Наш милый Арамис! Он делает карьеру!

– Да, да. Он и на этом не остановится.

– Как? Вы думаете, что он не удовольствуется лиловыми чулками, и ему захочется красной шапки?

– Тес! Она ему обещана.

– Королем?

– Человеком посильнее короля.

– Ах, Портос, друг мой, вы говорите просто невероятные вещи.

– Почему невероятные? Разве во Франции не бывало лиц, более могущественных, чем король?

– Да, конечно. Во времена Людовика Тринадцатого сильнее короля был герцог Ришелье. Во времена регентства – кардинал Мазарини, во времена Людовика Четырнадцатого – это господин...

– Ну?

– Господин Фуке?

– Верно! Как вы сразу догадались!

– Значит, Фуке обещал сделать Арамиса кардиналом?

Лицо Портоса стало сдержанным и строгим.

– Сохрани меня боже, друг мой, вмешиваться в чужие дела, а главное выдавать тайны, которые людям желательно сохранить. Когда вы увидите с Арамисом, он скажет вам, что найдет нужным доверить.

– Правда, Портос, вы хранилище тайн. Вернемся же к вам.

– Хорошо, – согласился Портос.

– Итак, вы мне сказали, что изучаете здесь топографию?

– Именно.

– Ого, друг мой, вы пойдете далеко!

– Почему?

– Да ведь эти укрепления великолепны!

– Вы находите?

– Конечно, Бель-Иль неприступен, если не вести правильную осаду.

– Я тоже так думаю, – сказал Портос, потирая руки.

– Кто же так укрепил остров?

Портос принял важный, самодовольный вид.

– А вы не догадываетесь?

– Нет, я могу только сказать, что это сделал человек, изучивший все системы и выбравший лучшую.

– Тес, – произнес Портос, – пощадите мою скромность, милый мой д'Артаньян.

– Как! – воскликнул мушкетер. – Так это вы... О!

– Смилуйтесь, мой друг!

– Это вы придумали, распланировали, соорудили все эти бастионы, редуты, куртины, полумесяцы, это вы подготавливаете этот крытый ход?

– Прошу вас!

– О Портос, вы достойны преклонения! Но вы всегда скрывали от нас свои таланты. Надеюсь, мой друг, вы все подробно покажете мне.

– Это очень просто. Вот мой план.

– Покажите.

Портос подвел д'Артаньяна к камню, служившему ему столом, на котором был развернут план. Внизу было написано ужасающим почерком Портоса, почерком, о котором мы уже имели случай упоминать:

«Вместо квадрата или прямоугольника, как это делалось до сих пор, придайте площади вид правильного шестиугольника. Этот многоугольник имеет то преимущество, что в нем больше углов, чем в четырехугольнике. Каждую сторону вашего шестиугольника (размер

которого вы определите на месте) разделите пополам. От средней точки вы проведете перпендикуляр к центру многоугольника; он будет равняться длине шестой части периметра.

От крайних точек каждой стороны многоугольника вы проведете две диагонали, которые пересекут перпендикуляр. Эти две прямые образуют линии обороны...»

– Ого! – заметил д'Артаньян, дочитав до этого места. – Да это целая система, Портос!

– Да, полная, – сказал тот. – Хотите читать дальше?

– Нет, я прочел достаточно. Но, дорогой Портос, раз именно вы руководите работами, то зачем вы письменно изложили свою систему?

– А смерть, дорогой друг?

– Как смерть?

– Ну да. Все мы смертны.

– Правда, – вздохнул д'Артаньян, – у вас на все найдется ответ.

И он положил план на камень.

Хотя д'Артаньян продержал его в руках очень недолго, тем не менее под крупным почерком Портоса он разглядел гораздо более мелкие буквы, напоминавшие ему почерк, который он в молодости видел в письмах к Мари Мишон; только над этими буквами так усердно поработала резинка, что для всякого человека, менее проницательного, нежели наш мушкетер, следы стертых строк были бы незаметны.

– Поздравляю, мой друг, поздравляю! – сказал д'Артаньян.

– А теперь, не правда ли, вы знаете все, что хотели знать? – важно произнес Портос.

– О да! Только, пожалуйста, дорогой друг, окажите мне последнюю любезность.

– Говорите, я здесь хозяин.

– Скажите, что это за господин прогуливается вон там, за линией солдат?

– Это господин Жетар.

– А кто такой господин Жетар, мой друг?

– Это наш домашний архитектор.

– Какого же дома?

– Дома господина Фуке.

– Ага! – воскликнул д'Артаньян. – Вы, значит, тоже службе у господина Фуке, Портос? – Я? Почему? – спросил топограф, краснея до кончиков ушей.

– Но, говоря об архитекторе Бель-Иля, вы сказали: наш домашний архитектор, словно речь шла о замке Пьерфон.

Портос закусил губу.

– Мой дорогой, – сказал он, – ведь Бель-Иль принадлежит господину Фуке, как Пьерфон мне. Вы были Пьерфоне?

– Я только что говорил вам, что побывал там месяца два тому назад.

– Не встречали ли вы там господина, который разгуливал с линейкой в руке?

– Нет. Но если он действительно расхаживал там, я мог бы его встретить.

– Ну, так это был господин Буленгрэн.

– А кто такой господин Буленгрэн?

– Если кто-нибудь встретит его, когда он идет с линейкой в руке, и спросит меня: «Кто такой господин Буленгрэн?», я отвечу: «Это наш домашний архитектор». Так вот, Жетар – такой же Буленгрэн для господина Фуке.

Но он не касается укреплений, вы понимаете. Решительно не имеет к ним ни малейшего отношения, крепостными работами руковожу я.

– Ах, Портос! – воскликнул д'Артаньян, опуская руку, как побежденный, отдающий свою шпагу. – Ах, мой дорогой, да вы не только великий топограф, но и первоклассный диалектик.

– Не правда ли? – ответил Портос. – Это было отличное рассуждение.

И он надулся, как морской угорь, который сегодня утром выскользнул из рук

д'Артаньяна.

– Ну, – продолжал мушкетер, – а другой господин, который ходит с Жетаром, тоже служит у Фуке?

– О, – презрительно ответил Портос, – это Жюпене или Жюпоне¹⁴, поэтишка.

– Я думал, что у господина Фуке достаточно поэтов в Париже: Скюдери, Лоре, Пелисон, Лафонтен. Сказать правду, Портос, этот поэт не делает вам чести.

– Эх, друг мой, нас спасает то, что он живет здесь не в качестве поэта.

– А в качестве кого?

– Наборщика. И вы сейчас кстати напомнили мне, что я должен сказать два слова этому грубияну.

– Говорите.

Портос знаком подозвал Жюпене, который, узнав д'Артаньяна, не хотел подходить. Это заставило Портоса повторить приглашение более энергично.

Жюпене приблизился.

– А! – заметил Портос. – Вы здесь со вчерашнего дня, а уже выкидываете свои штуки!

– Как так, господин барон? – дрожа, спросил Жюпене.

– Ваш станок скрипел всю ночь, мешая мне спать.

– Сударь... – робко возразил Жюпене.

– Вам еще ничего не поручали печатать: не следовало пускать станок.

Что вы печатали сегодня ночью?

– Маленькое стихотворение, сочиненное мною.

– Маленькое! Бросьте. Станок так скрипел, что его становилось жалко.

Чтобы это больше не повторялось! Слышите?

– Да, господин барон.

– Хорошо, на сей раз я вам прощаю. Идите.

Поэт ушел так же смиренно, как и явился на зов.

– Ну, теперь, когда мы задали головоломку этому чудаку, позавтракаем.

– Хорошо, – согласился мушкетер, – позавтракаем.

– Только, – прибавил Портос, – замечу вам, мой друг, что завтраку мы можем уделить всего два часа.

– Что делать! Постараемся хорошенько распорядиться этим временем. Но почему у вас только два часа?

– Потому что в час начинается прилив, а с приливом я отправляюсь в Ванн. Однако я завтра же вернусь, а потому останьтесь здесь, мой друг, и будьте как дома. У меня хороший повар, отличный погреб.

– Нет, – ответил д'Артаньян, – я придумал еще лучше... Вы отплываете в Ванн, чтобы повидать Арамиса?

– Да.

– Ну, так я, нарочно приехавший из Парижа, чтобы встретиться с Арамисом, поеду с вами.

– Прекрасная мысль!

– Мне следовало начать с того, чтобы повидать Арахиса, а потом вас.

Но человек предполагает, а бог располагает. Я начал с вас, а кончу Арамисом.

– Отлично.

– А долго ехать до Ванна?

– О, всего шесть часов: три часа морем отсюда до Сарзо и три часа по дороге от Сарзо до Ванна.

– Как удобно! И вы часто бываете в Ванне? Ведь до епископства так близко.

– Да, раз в неделю. Подождите, я захвачу с собою план.

Портос взял план, тщательно сложил его и спрятал в объемистый карман.

– Недурно, – прошептал про себя д'Артаньян. – Кажется, я теперь знаю, какой инженер в действительности укрепляет Бель-Иль.

Через два часа с приливом Портос и д'Артаньян отплыли в Сарзо.

Глава 23. **КРЕСТНЫЙ ХОД В ГОРОДЕ ВАННЕ**

Переправа от Бель-Иля к Сарзо заняла немного времени благодаря одному из тех быстроходных каперов, предназначенных для погони за неприятелем, о которых д'Артаньяну говорили рыбаки. Они стояли на рейде в Локмария, и один из них, с командой вчетверо меньшей, чем полный экипаж военного времени, поддерживал связь между Бель-Илем и материком.

Д'Артаньян еще раз успел убедиться, что Портос, отличный инженер и топограф, плохо посвящен в государственные тайны.

«Конечно, – подумал он, – в Ванне я за полчаса узнаю больше, чем Портос узнал в Бель-Иле за два месяца. Но чтобы узнать кое-что, надо, чтобы Портос не прибегнул к единственной военной хитрости, которую я оставил в его распоряжении. Надо помешать ему предупредить Арамиса о моем появлении».

Теперь все заботы мушкетера заключались в том, чтобы присматривать за Портосом.

Надо заметить, однако, что Портос совсем не заслуживал такого недоверия. Он и не помышлял о худом. Может быть, в первую минуту своего появления д'Артаньян и внушил ему некоторое подозрение; но почти тотчас же Д'Артаньян снова занял в его добром и мужественном сердце то место, которое он занимал в нем всегда, и ни малейшая тень не омрачала взгляда Портоса, когда он с нежностью устремлял глаза на своего друга.

Когда они высадились, Портос спросил, ждут ли его лошади; действительно, они ждали на перекрестке дороги, которая, огибая Сарзо, идет к Ванну.

Лошадей было две: одна для дю Баллона, другая для его конюшего.

С той поры как Мушкетон передвигался только в тележке, Портос завел себе конюшего.

Д'Артаньян ждал, что Портос предложит послать конюшего за лошадью, и собирался отказаться от этой любезности... Но ничего подобного не случилось. Портос просто приказал слуге сойти с седла и ждать его возвращения в Сарзо, а д'Артаньяну предложил сесть на лошадь конюшего.

Тот так и сделал.

– Ну, вы человек предусмотрительный, Портос, – сказал мушкетер своему другу, садясь на лошадь.

– Да, но это любезность Арамиса. Моих лошадей здесь нет, и Арамис предоставил в мое распоряжение свои конюшни.

– Черт возьми! Отличные лошади, хотя и епископские, – заметил Д'Артаньян. – Впрочем, ведь Арамис не обыкновенный епископ.

– Святой человек, – гнусаво произнес Портос, воздев глаза к небу.

– Значит, он сильно переменился, ведь мы знали его нечестивцем.

– На него снизошла благодать.

– Великолепно, – воскликнул Д'Артаньян. – Теперь мне еще больше хочется его видеть.

И он прищпорил лошадь, ускорив ее шаг.

– Ого, – сказал Портос, – если мы поедем так, то будем на месте через час, а не через два.

– А далеко это отсюда?

– Четыре с половиной лье.

– Значит, надо ехать быстро.

– Знаете, мой друг, – заметил немного погодя д'Артаньян, – ваша лошадь уже вспотела.

– Да, очень жарко. Видите, показался Ванн?

– Отлично вижу; кажется, очень красивый город.

– А вы никогда не бывали в нем?

– Никогда.

– И не знаете города?

– Нет.

– Так смотрите, – сказал Портос, привставая на стременах, что заставило его лошадь присесть на передние ноги. – Видите вон там залитый солнцем шпиль?

– Вижу.

– Это собор святого Петра. Теперь смотрите: видите в предместье второй крест?

– Вижу.

– Это Сен-Патерн, любимая приходская церковь Арамиса. По преданию, святой Патерн был первым, ваннским епископом. Правда, Арамис говорит другое. Но ведь он такой ученый, что, может быть, это только паро... пара...

– Парадокс? – подсказал Д'Артаньян.

– Вот именно. Благодарю. Язык плохо слушается меня. Очень жарко.

– Продолжайте, мой друг, – сказал Д'Артаньян, – продолжайте свои интересные объяснения. Что это за огромное белое здание, в котором много окон?

– А! Это коллегия иезуитов. Вы попали в самую точку. Видите рядом с коллегией большой дом с башенками прекрасного готического стиля, как говорит этот дурак Жетар? Там живет Арамис.

– Как? Не в епископстве?

– Нет, епископский дом – развалина. Кроме того, он стоит в городе, Арамису же больше нравится предместье. Оттого он больше и любит Сен-Патерн, что эта церковь в пригороде. К тому же в предместье есть фехтовальный зал, площадка для игры в мяч и доминиканский монастырь. Вот он, с колокольной до самого неба. Предместье точно отдаленный город: стены, башни, рвы; даже набережная доходит до него, и к ней пристают суда. Если бы наш капер не сидел на восемь футов в воде, мы бы подплыли, распустив паруса, к самым окнам Арамиса.

– Портос, друг мой, – воскликнул д'Артаньян, – вы сущий кладезь премудрости, источник глубоких и остроумных размышлений. Вы меня поражаете.

– Вот мы и приехали, – сказал Портос, с обычной скромностью меняя тему разговора.

«И кстати, – подумал д'Артаньян, – лошадь Арамиса тает на глазах, словно сделана из льда или снега».

Они въехали в предместье, но едва сделали шагов сто, как с изумлением увидели цветы и листья, покрывавшие улицу. На древних ваннских стенах висели старинные, редкие ковры. С железных балконов свешивались белые драпировки, усеянные букетами. На улицах не было ни души: чувствовалось, что все население собралось где-то в одном месте.

Внезапно, повернув за угол, д'Артаньян и Портос услышали пение. Разряженная по-праздничному толпа виднелась сквозь дым ладана, который синеватыми клубами поднимался к небу; целые тучи розовых лепестков взвивались до окон вторых этажей. Над потоком голов виднелись кресты и хоругви, под сенью которых шли молодые девушки в белых платьях и в венках из васильков.

По обеим сторонам улицы двигалась процессия, шли солдаты гарнизона с букетами в дулах ружей и на концах пик.

Это был крестный ход.

Пока д'Артаньян с Портосом, скрывая свое нетерпение, почтительно смотрели на процессию, к ним приблизился роскошный балдахин. Перед ним шло сто иезуитов и сто доминиканцев, а позади два архидиакона, казначей, исповедник и двенадцать каноников.

Под балдахином взору друзей представилось благородное бледное лицо, обрамленное черными с проседью волосами, с тонкими, строго сжатыми губами и узким, выдающимся вперед подбородком. Эта гордая голова была увенчана митрой, благодаря которой лицо епископа казалось не только величественным, но и аскетически сосредоточенным.

– Арамис! – невольно вскрикнул мушкетер при виде столь знакомого лица.

Прелат вздрогнул. Казалось, этот голос произвел на него такое же впечатление, как голос

Спасителя на воскрешаемого мертвеца. Он медленно поднял глаза и посмотрел туда, откуда раздалось восклицание.

Невдалеке от себя он сразу заметил Портоса и д'Артаньяна.

Благодаря остроте своего взгляда д'Артаньян в несколько секунд увидел очень и очень многое. Образ прелата навсегда запечатлелся в его памяти.

Больше всего д'Артаньяна поразило одно обстоятельство.

Узнав его, Арамис покраснел, потом мгновенно потупил мелькнувшее в его пламенных глазах властное выражение и почти неуловимую дружескую нежность. Было очевидно, что Арамис мысленно спросил себя: «Как это д'Артаньян очутился тут с Портосом и зачем он явился в Ванн?»

Арамис понял все происходившее в душе д'Артаньяна, видя, что тот не опустил перед ним своего взгляда. Он знал ум и проницательность своего друга и боялся, что удивление и краска, залившая его лицо, выдадут его секреты. Это был прежний Арамис, постоянно скрывавший какую-нибудь тайну.

Чтобы освободиться наконец от этого пытливого взгляда, Арамис, точно генерал, прекращающий огонь ненужной уже батареи, протянул свою красивую белую руку, украшенную аметистовым пастырским перстнем, рассек воздух знаменем креста и сразил своих друзей благословением.

Быть может, рассеянный мечтатель д'Артаньян, который был безбожником вопреки собственной воле, не склонился бы под этим святым благословением, если бы Портос не заметил его невнимания и не положил дружески руку на плечо своего товарища. Это ласковое прикосновение пригнуло мушкетера к земле.

Д'Артаньян пошатнулся: еще немного, и он упал бы ничком.

Тем временем Арамис проследовал дальше.

Едва д'Артаньян коснулся земли, как он, подобно Антею, пришел в себя и сердито повернулся к Портосу. Но в благих намерениях доброго Геркулеса нельзя было усомниться: им руководило только чувство религиозного приличия. И это подтвердили слова Портоса, всегда служившие ему не для того, чтобы скрыть мысль, а для того, чтобы ее дополнить.

– Как мило с его стороны, – сказал он, – что он особо благословил нас. Он положительно святой человек, и притом славный товарищ.

Менее убежденный, нежели Портос, в правильности такой оценки, д'Артаньян промолчал.

– Видите, дорогой друг, – продолжал Портос, – он нас заметил, и вместо того, чтобы двигаться обычным шагом как раньше, смотрите, как он торопится. Процессия идет вдвое быстрее. Наш милый Арамис хочет поскорее встретиться с нами, обнять нас.

– Правда, – громко ответил д'Артаньян.

Но про себя прибавил: «Все-таки эта лисица меня видела и теперь успеет приготовиться!»

Процессия удалилась, и путь был свободен. Портос и д'Артаньян направились прямо к епископскому дворцу, окруженному толпой, которая жаждала присутствовать при возвращении прелата.

Д'Артаньян заметил, что толпа эта состояла главным образом из горожан и военных. Он узнал в этом обычную ловкость своего друга.

В самом деле, Арамис не принадлежал к числу людей, ищущих бесполезной популярности. К чему была ему любовь ни на что не нужных приверженцев?

Женщины, дети, старики, эти обычные спутники пастырей, не составляли его свиты.

Десять минут спустя оба друга переступили порог епископского дворца.

Арамис вернулся точно триумфатор. Солдаты салютовали ему оружием как начальнику, горожане кланялись скорее как другу и покровителю, чем как главе церкви. В Арамисе было что-то напоминавшее римских сенаторов, в домах которых всегда толпились клиенты.

У самого подъезда он полминуты совещался с каким-то иезуитом, который, желая говорить с ним доверительно, сунул голову под балдахин. Наконец епископ вернулся к себе.

Медленно затворились за ним двери, и толпа рассеялась, но пение и молитвы еще звучали.

Был прекрасный день. К морскому воздуху примешивался аромат земли.

Город дышал счастьем, радостью, силой.

Д'Артаньян точно чувствовал присутствие незримой всемогущей руки, которая создавала эту силу, эту радость, это счастье, разливая всюду аромат.

– О! – мысленно сказал он себе. – Портос накопил жира, у Арамиса прибавилось величия.

Глава 24. ВЕЛИЧИЕ ВАННСКОГО ЕПИСКОПА

Портос и д'Артаньян вошли через особую дверь, известную только друзьям епископа.

Само собою разумеется, что проводником был Портос. Достойный барон везде чувствовал себя как дома, но в покоях его преосвященства епископа ваннского Портос, образцовый солдат, привыкший почитать то, что, казалось ему, стояло на нравственной высоте, и молчаливо преклонявшийся перед святостью Арамиса, вел себя сдержанно. Эту сдержанность д'Артаньян отметил в обращении Портоса со слугами и домочадцами Арамиса. Однако она не мешала Портосу задавать им вопросы, и друзья узнали, что епископ только что вернулся и сейчас появится в домашнем кругу, менее величественный, чем перед паствой.

Действительно, через четверть часа, в течение которых д'Артаньян и Портос смотрели друг на друга, открылась дверь залы, и появился епископ в домашнем облачении.

Арамис шел, высоко поднимая голову, как человек, привыкший повелевать; край его суконного фиолетового одеяния был приподнят. Рука упиралась в бедро. Он не сбрил своих тонких усов и остроконечной бородки, по моде эпохи Людовика XIII.

Когда он вошел, в комнате распространился тонкий аромат его духов, всегда одних и тех же у элегантных людей и женщин большого света, так что создается впечатление, что это благоухание свойственно им самим.

Однако в духах Арамиса чувствовалось еще что-то церковное, отдававшее ладаном; аромат этот не пьянил, он проникал в человека, не ласкал чувства, а вызывал почтение.

Войдя в комнату, Арамис, не останавливаясь ни на мгновение, не произнес ни слова – любые слова показались бы излишними в такую минуту, подошел к переодетому мушкетеру и сжал его в объятиях с такой нежностью, в которой самый подозрительный человек не обнаружил бы холодности или притворства.

Д'Артаньян также горячо обнял его.

Портос схватил нежную руку Арамиса своей громадной рукой, и д'Артаньян заметил, что Арамис протянул колоссу левую руку, как, должно быть, всегда делал. Портос, наверное, десятки раз причинял боль его пальцам, униженным перстнями.

Покончив с приветствиями, Арамис посмотрел прямо в лицо д'Артаньяну, предложил ему стул, а сам сел в тени, предоставив свету падать на лицо собеседника. Эта уловка, обычная для дипломатов и для женщин, весьма напоминала прикрытие, которых ищут противники на поединках.

Д'Артаньян понял намерение Арамиса, но не показал виду. Он знал, что попался, но именно поэтому чувствовал себя на пути к открытиям. Он был старым воякой и не боялся мнимого поражения, надеясь извлечь из него все выгоды.

Первым заговорил Арамис.

– Ах, дорогой друг, милый д'Артаньян! – сказал он. – Какой радостный случай!

– Этот случай, мой почтенный товарищ, я назвал бы дружбой, – ответил д'Артаньян. – Я вас отыскал, как всегда, когда мне хотелось предложить вам какое-нибудь предприятие или когда у меня было несколько свободных часов, которые я мог посвятить вам.

– А! – без всякого подъема произнес Арамис. – Вы искали меня?

– Ну да, дорогой Арамис, – вмешался Портос, – и вот доказательство: он нашел меня в Бель-Иле. Правда, любезно?

– А-а... – протянул Арамис, – в Бель-Иле...

«Ну вот, – подумал д'Артаньян, – мой простодушный Портос, сам того не подозревая, начал обстрел».

– В Бель-Иле? – спросил Арамис. – В этой дыре, в этой пустыне! Да, это действительно любезно.

– А я сообщил ему, что вы в Ванне, – все тем же тоном продолжал Портос.

Д'Артаньян улыбнулся тонкой, почти иронической улыбкой.

– Ну, нет, я и сам знал это, я только хотел посмотреть...

– Что?

– Жива ли еще наша прежняя дружба; забудутся ли при свидании наши сердца, огрубевшие от старости; вырвется ли еще из них радостный крик, которым приветствуют друзей.

– И что же? Вы должны быть довольны! – сказал Арамис.

– Так себе.

– Почему?

– Портос мне сказал: «тес!», а вы...

– Что я?

– А вы меня благословили.

– Что делать, мой друг, – с улыбкой проговорил Арамис. – Благословение – величайшая драгоценность бедного прелата.

– Полноте, друг мой!

– Уверю вас.

– А между тем в Париже говорят, что Ванн одно из лучших епископств Франции.

– А вы говорите о благах временных? – с рассеянным видом заметил Арамис.

– Понятно: ведь я ими дорожу.

– Тогда поговорим о них, – с улыбкой произнес Арамис.

– Вы признаете, что вы один из богатейших французских прелатов?

– Дорогой мой, раз вы заводите речь о деньгах, скажу вам, что Ванн приносит двадцать тысяч ливров ежегодного дохода, ни больше ни меньше. В этой епархии сто шестьдесят приходов.

– Недурно, – заключил д'Артаньян.

– Великолепно!.. – сказал Портос.

– Но, – продолжал мушкетер, не спуская глаз с Арамиса, – не навсегда же вы похоронили себя здесь?

– Простите, но я не признаю таких слов.

– Мне кажется, что, живя так далеко от Парижа, человек чувствует себя похороненным.

– Мой друг, я старею, – ответил Арамис. – Столичный шум и суета не годятся больше для меня. В пятьдесят семь лет ищешь покоя и размышлений.

Здесь я их нашел. Что может быть суровее и в то же время прекраснее этой страны? Здесь, дорогой д'Артаньян, я нашел противоположное всему тому, что когда-то любил. А в конце жизни необходимо жить не так, как жил в начале. Порой ко мне навеваются удовольствия прежних времен, не отвлекая, однако, меня от забот о спасении души. Я еще живу на земле, а между тем с каждым часом приближаюсь к небу.

– Какое красноречие, мудрость, скромность! Вы – образцовый прелат, Арамис, поздравляю.

– Но, – с улыбкой ответил Арамис, – ведь вы же не для того только навестили меня, чтобы осыпать комплиментами... Скажите: что привело вас сюда? Неужели я так счастлив, что могу оказать вам какую-нибудь услугу?

– По счастью, нет, дорогой друг, – сказал мушкетер. – Ведь я богат и свободен.

– Богаты?

– Да, конечно, не так, как вы или Портос. У меня около пятнадцати тысяч ливров ренты. Арамис недоверчиво посмотрел на него. Глядя на скромный костюм своего друга, он не

мог допустить мысли, что мушкетер разбогател.

Д'Артаньян понял, что пора объясниться, и рассказал о своих приключениях в Англии.

Он видел, как глаза прелата во время его повествования то и дело вспыхивали, а тонкие пальцы трепетали.

Портос же не Только восхищался д'Артаньяном, а просто преклонялся перед ним и был вне себя от восторга. Когда Д'Артаньян умолк, Арамис спросил:

– А что же дальше?

– Вы видите, – отвечал мушкетер, – в Англии у меня есть друзья и собственность, а во Франции – деньги. И я вам предлагаю все, что имею.

Вот зачем я приехал.

Несмотря на всю свою твердость, Д'Артаньян не вынес выражения глаз Арамиса и перевел взгляд на Портоса. Так отскакивает шпага, наткнувшись на непреодолимое препятствие, и ищет нового направления.

– Однако, – сказал епископ, – это довольно странный костюм для путешествия.

– Он ужасен, знаю, но мне не хотелось ехать под видом военного или важного вельможи. Разбогатев, я стал скупым.

– И вы отправились в Бель-Иль? – не дав д'Артаньяну опомниться, спросил Арамис.

– Да. Я знал, что застаю там Портоса и вас, – ответил мушкетер.

– Меня! – воскликнул Арамис. – Меня? Вот уже год, как я здесь и ни разу не переправился через пролив.

– О-о! – протянул Д'Артаньян. – Я не считал вас таким домоседом.

– Ах, дорогой друг, я уже совсем не тот. Мне трудно ездить верхом, и море меня утомляет. Я бедный, простой священник; я вечно страдаю, вечно жалуюсь; стремлюсь к строгой жизни, которая, как мне кажется, приличествует старости; я люблю беседовать со смертью. Я живу на одном месте, мой дорогой д'Артаньян, на одном месте.

– Тем лучше, мой друг, так как мы, вероятно, будем соседями.

– Да? – заметил Арамис не без удивления, которого он даже не старался скрыть. – Вы будете моим соседом?

– Ну да!

– Каким образом?

– Я хочу купить доходные солончаки между Пириаком и Круазином. Представьте себе, мой друг, добыча соли даст около двадцати процентов чистого барыша: никаких убытков, никаких лишних затрат. Океан – верный, аккуратный поставщик – через каждые шесть часов будет приносить вклад в мою кассу. Я первый парижанин, придумавший такое предприятие. Не надо только разглашать этого. Мы скоро будем соседями. Я получу полосу в три лье за тридцать тысяч ливров.

Арамис бросил взгляд на Портоса, точно спрашивая, правда ли все это, не кроется ли тут какая-нибудь ловушка, но вскоре, точно устыдясь желания прибегнуть к такому слабому помощнику, он собрал все силы для нового штурма или новой обороны.

– Мне говорили, что у вас были неприятности при дворе, но что вы вышли из них так, как выходили из всякого положения, мой милый Д'Артаньян, то есть с воинскими почестями.

– Я! – воскликнул мушкетер с громким смехом, который, однако, не мог замаскировать его смущения, так как слова Арамиса внушили ему мысль, что прелату известно его новое положение при короле. – Расскажите мне об этом, мой милый Арамис!

– Да, мне, бедному епископу, затерянному в глуши, рассказывали, что король сделал вас поверенным своей любви.

– К кому?

– К госпоже Манчини.

Д'Артаньян вздохнул свободно.

– Не отрицаю, – ответил он.

– Король, говорят, увлек вас на заре за Блуаский мост, чтобы побеседовать со своей красавицей.

– Совершенно верно, – согласился д'Артаньян. – А, вам это известно?
Ну, в таком случае вам также известно, что я в тот же день подал в отставку.
– Это правда?
– О, друг мой, вполне.
– И тогда вы поехали к графу де Ла Фер? Ко мне? К Портосу?
– Да.
– Чтобы просто навестить нас?
– Нет. Я не знал, что вы не свободны, и хотел увезти вас с собой в Англию.
– Да, понимаю, и тогда вы, изумительный человек, один выполнили то, что хотели предложить нам сделать вчетвером. Я подозревал, что вы играли некоторую роль в этой замечательной реставрации, узнав, что вас видели на приемах у короля Карла, который говорил с вами как друг, вернее, как человек, вам обязанный.
– Но как вы узнали все это? – спросил д'Артаньян, опасавшийся, что сведения Арамиса подробнее, чем ему бы этого хотелось.
– Дорогой друг, – сказал прелат, – моя дружба похожа на заботливость старого ночного сторожа, который сидит в башенке у нас на молу. Этот человек каждый вечер зажигает фонарь, чтобы светить судам, возвращающимся домой. Он скрыт в своей будочке, и рыбаки его не видят; но он внимательно следит за ними, ищет их, зовет, ведет в гавань. Я похож на этого сторожа. Время от времени до меня доходят вести, напоминая обо всем, что я любил. И я слежу за старыми друзьями в бурном жизненном море; я, бедный наблюдатель, которому господь дал будочку, провожаю их мысленным взором.
– А что я делал после Англии? – спросил д'Артаньян.
– Ах, это уже насилие над моим зрением. Я ничего не знаю: глаза мои ослабели. Я жалел, что вы не вспомнили обо мне. Я скорбел о том, что вы меня забыли. Я был неправ. Я снова вижу вас, и это для меня праздник, клянусь вам, – великий праздник! А как поживает Атос? – прибавил Арамис.
– Очень хорошо, благодарю.
– А наш юный питомец Рауль?
– Он, на мой взгляд, унаследовал ловкость своего отца, Атоса, и силу своего опекуна, Портоса.
– А как вы убедились в этом?
– Я в этом убедился как раз накануне отъезда. На Гревской площади готовилась казнь: поднялись волнения. Мы очутились среди мятежной толпы, и нам пришлось поработать шпагами. Он действовал отлично.
– Ого! А что же он сделал? – улыбнулся Портос.
– Прежде всего выбросил из окошка человека, точно это был комок ваты.
– Отлично! – похвалил Портос.
– Потом фехтовал, как мы в хорошие дни.
– А почему поднялось возмущение? – спросил Портос.
Д'Артаньян отметил, что Арамис при вопросе Портоса остался совершенно спокоен.
– Из-за двух откупщиков, – ответил он, глядя на Арамиса, – которых повесили по приказанию короля; это были два друга господина Фуке.
Только легкое движение бровей прелата показало, что он слышал слова мушкетера.
– О! – воскликнул Портос. – А как звали этих друзей господина Фуке?
– Д'Эмери и Лиодо, – ответил д'Артаньян.
– Вам знакомы эти имена, Арамис?
– Нет, – пренебрежительно проговорил прелат. – Кажется, это финансисты?
– Именно.
– Как, неужели господин Фуке позволил повесить своих друзей? – вознегодовал Портос.
– Почему бы и нет? – спросил Арамис.
– Но мне кажется...
– Если этих несчастных повесили, значит, король велел их казнить.

Господин Фуке может управлять финансами, но жизнь и смерть людей не в его власти.

– Все равно, – проворчал Портос, – на месте господина Фуке я бы...

Арамис понял, что Портос сейчас скажет опасную глупость, и прервал разговор, заметив:

– Ну, дорогой д'Артаньян, оставим посторонних. Давайте лучше поговорим о вас.

– Да обо мне вам известно все. Нет, поговорим лучше о вас, Арамис.

– Я уже сказал, мой друг, во мне не осталось Арамиса.

– И даже аббата д'Эрбле?

– Даже его. Перед вами человек, которого господь взял за руку и поднял до положения, превысившего его надежды.

– Бог? – переспросил д'Артаньян.

– Да.

– Гм! Странно. А мне говорили, будто это сделал господин Фуке.

– Кто это сказал? – спросил Арамис, который, несмотря на все свои усилия, не мог скрыть легкого румянца, выступившего на его щеках.

– Базен.

– Глупец!

– Что и говорить, до гения ему далеко. Но он мне сказал это, а я повторяю его слова.

– Я никогда и в глаза не видел господина Фуке, – промолвил Арамис со спокойным и чистым взглядом девушки, ни разу еще не солгавшей.

– Но – возразил д'Артаньян, – если бы вы видели и даже знали его, в этом нет никакой беды. Господин Фуке – славный человек!

– А!

– Великий политик!

Арамис сделал жест, выражавший полное равнодушие.

– Всемогущий министр!

– Я подчиняюсь только королю и папе, – заметил Арамис.

– Гм! – произнес д'Артаньян самым наивным тоном. – Я говорю так, потому что здесь все бредят Фуке. Равнина принадлежит Фуке; солончаки, которые я собираюсь купить, – собственность Фуке; остров, на котором Портос стал топографом, принадлежит Фуке; гарнизоны принадлежат Фуке, галеры – тоже... Итак, сознаюсь, что меня не удивило бы, если бы вы подчинились ему, вернее, отдали бы в его власть свою епархию. Господин Фуке не король, но он такой же могущественный властелин, как король.

– Слава богу, я никому не принадлежу, кроме себя, – ответил Арамис, который в течение этого разговора следил за каждым движением д'Артаньяна, за каждым взглядом Портоса.

Но Портос остался совершенно неподвижен, а д'Артаньян бесстрастен.

Искусный противник, он ловко отпарировал все удары, и ни один не попал в цель. Тем не менее оба приятеля устали от борьбы, и приглашение к ужину было для всех облегчением.

За столом направление разговора переменялось.

Кроме того, и Арамис и д'Артаньян поняли, что ни тому, ни другому не удастся узнать ничего нового.

Портос ничего не понял из всей этой дуэли. Он не проронил ни слова, потому что Арамис знаком приказал ему молчать. И ужин для него был только ужином. Но Портос вполне довольствовался этим.

Итак, ужин прошел чудесно.

Говорили о войне и о финансах, об искусстве и о любви. Арамиса поражало каждое замечание д'Артаньяна о политике.

Измученные взгляды Арамиса увеличивали недоверие мушкетера, а явное недоверие д'Артаньяна усиливало недоверие Арамиса.

Наконец д'Артаньян умышленно бросил имя Кольбера. Он приберег этот удар напоследок.

– Кто такой Кольбер? – поинтересовался епископ.

«Ну, это уж слишком! – проворчал себе под нос мушкетер. – Не будем же дремать, не будем!»

И он рассказал о Кольбере все подробности, какие Арамис мог пожелать узнать.

Ужин, вернее беседа Арамиса и д'Артаньяна, затянулся до часа ночи.

Ровно в десять Портос заснул на своем стуле, захрапев, как орган.

В полночь его разбудили, чтобы отправить в постель.

– Гм! – проворчал он. – Кажется, я задремал, а между тем все, что вы говорили, было очень интересно.

В час ночи Арамис проводил д'Артаньяна в приготовленную для него комнату, лучшую в епископском дворце.

В распоряжение мушкетера было предоставлено двое слуг.

– Завтра в восемь часов, – объявил епископ, прощаясь с д'Артаньяном, – если хотите, мы отправимся кататься верхом; конечно, и Портос поедет с нами.

– В восемь часов? Так поздно? – спросил д'Артаньян.

– Вы знаете, мне необходимо для сна семь часов – возразил Арамис.

– Правильно.

– Покойной ночи, милый друг, – и Арамис обнял мушкетера.

«Отлично! – мысленно усмехнулся д'Артаньян, когда дверь за Арамисом закрылась. – В пять часов я буду на ногах».

Приняв такое решение, он лег и заснул крепким сном.

Глава 25.

ПОРТОС НАЧИНАЕТ ЖАЛЕТЬ, ЧТО ПРИВЕЗ Д'АРТАНЬЯНА

Едва д'Артаньян потушил свечу, как Арамис, следивший сквозь занавеску за светом в комнате своего друга, на цыпочках прокрался к Портосу.

Исполин, улегшийся уже часа за полтора перед тем, раскинулся на перине. Он погрузился в то благодатное спокойствие первого сна, который у Портоса не могли нарушить ни колокольный звон, ни грохот пушек.

Дверь его комнаты тихо раскрылась под осторожной рукой Арамиса. Епископ подошел к спящему. Толстый ковер заглушал его шаги; впрочем, храп Портоса поглощал все остальные звуки. Арамис положил руку на плечо гиганта.

– Ну, милый Портос, – сказал он, – вставайте.

Голос Арамиса был нежен и ласков, но в нем звучал не совет, а приказание. Рука коснулась плеча легко, но она указывала на опасность.

Портос сквозь сон услышал эти слова и почувствовал прикосновение. Он вздрогнул.

– Кто тут? – загремел он.

– Тес, это я, – прошептал Арамис.

– Вы, милый друг? Но зачем вы меня будите?

– Чтобы сказать вам, что нужно ехать.

– Ехать? Куда?

– В Париж.

Портос подскочил и сел, устремив на Арамиса большие испуганные глаза.

– В Париж?

– Да.

– Ах ты боже мой! – вздохнул Портос и снова лег, точно ребенок, сопротивляющийся няньке, чтобы оттянуть для сна еще часок-другой.

– Тридцать часов верховой езды, – решительно прибавил Арамис. – Будут отличные сменные лошади.

Портос двинул ногой и застонал.

– Ну, ну, милый друг, вставайте, – повторял прелат с оттенком нетерпения.

Портос высунул из-под одеяла обе ноги.

– И мне необходимо ехать? – спросил он.

– Совершенно необходимо.

Портос встал с постели, и скоро пол и стены задрожали от его шагов, тяжелых, как шаги каменной статуи.

– Ради бога тише, милый Портос, – остановил его Арамис, – вы его разбудите!

– Ах, правда, – рявкнул Портос, – я и забыл. Но не беспокойтесь, я буду осторожен.

И, говоря это, он уронил пояс с пристегнутыми к нему шпагой, пистолетами и кошельком, из которого выпали со звоном рассыпавшиеся монеты. От этого шума кровь в Арамисе закипела, меж тем как Портос только громко расхохотался.

– Чудеса! – тем же тоном произнес он.

– Тише, Портос, тише!

– Правда...

И он действительно наполовину понизил голос.

– Я хотел сказать, – продолжал Портос, – что начинаешь копать именно тогда, когда нужно торопиться, и особенно шумишь, когда нужно двигаться беззвучно.

– Да, правда. Но давайте опровергнем это мнение, Портос. Будем торопиться и молчать.

– Вы видите, я стараюсь, – проворчал Портос, натягивая штаны.

– Очень хорошо.

– Значит, это срочно?

– Да, и очень серьезно.

– Ого!

– Д'Артаньян расспрашивал вас в Бель-Иле?

– Ничуть.

– Не может быть! Припомните.

– Он спросил меня, что я делаю; я ответил: «Занимаюсь топографией». Я хотел сказать другое слово, которое вы однажды произнесли, но я никак не мог его припомнить.

– Тем лучше. О чем еще он вас спрашивал?

– Спросил, кто такой Жетар.

– Еще?

– Кто такой Жюпене.

– Не видел ли он случайно плана наших укреплений?

– Видел.

– Ах, черт возьми!

– Но будьте спокойны: я резинкой стер ваш почерк. Невозможно заподозрить, что вы дали мне указания относительно этих работ.

– У нашего друга зоркий глаз.

– Чего вы боитесь?

– Боюсь, что все откроется, Портос. Нужно предупредить великое несчастье. Я приказал запереть все двери: д'Артаньяна не выпустят до рассвета. Лошадь оседлана; вы домчитесь до первой подставы и к пяти часам утра проедете пятнадцать лье. Идем.

Арамис одел Портоса с ловкостью, не уступавшей искусству самого опытного камердинера. Портос, смущенный и в то же время сбитый с толку, не останавливал его и только рассыпался в извинениях.

Наконец он был готов. Арамис взял его за руку и вывел, заставляя осторожно переступать со ступеньки на ступеньку, не позволяя задевать за дверные косяки, поворачивая его то в одну, то в другую сторону, точно он, Арамис, был гигантом, а Портос карликом. Дух управлял материей.

Оседланная лошадь действительно ожидала во дворе.

Портос уселся в седло. Арамис сам взял лошадь под уздцы и провел ее по двору, устланному соломой, чтобы заглушить стук копыт. В то же время епископ сдавливал ноздри коня, чтобы он не заржал.

У наружных ворот Арамис притянул к себе Портоса, который готовился скакать, не

спросив даже, зачем он едет.

– Теперь, друг Портос, – сказал ему на ухо епископ, – без отдыха до Парижа: ешьте, пейте, спите на лошади, не теряя ни минуты!

– Отлично. Ни разу не останавлиюсь.

– Передайте это письмо во что бы то ни стало в собственные руки Фуке.

Необходимо, чтобы он получил его завтра до полудня.

– Получит.

– И помните об одном, мой друг.

– О чем?

– Что вы едете за патентом на титул герцога и пэра.

– О! – произнес Портос с блестящими глазами. – В таком случае я доскачу в сутки.

– Постарайтесь.

– Ну, отпускайте коня... Вперед, Голиаф!

Арамис отпустил не повод, а ноздри животного. Портос пришпорил Голиафа, и конь, как бешеный, рванулся с места галопом.

Арамис следил за всадником, пока тот не скрылся в темноте; потеряв его из виду, он вернулся во двор.

В комнате мушкетера не было движения. Слуга, дежуривший у его дверей, не видел света и не слышал никакого шума. Арамис осторожно запер входную дверь, отпустил слугу и лег спать.

Д'Артаньян в самом деле ничего не подозревал. Поэтому, проснувшись в половине пятого, он вообразил, что одержал победу. Неодетый, он подбежал к окну, которое выходило во двор. Светало. Двор был пуст; даже куры еще не сошли с насестов. Не было видно никого из слуг. Все двери были заперты.

«Отлично, полная тишина, – подумал д'Артаньян. – Во всяком случае, я проснулся раньше всех в доме. Оденемся».

И д'Артаньян оделся.

Но на этот раз он не старался костюмом Аньяна придать себе вид горожанина или духовного лица, о котором так заботился прежде. Ему даже удалось, подтянув пояс, застегнувшись, надев набекрень фетровую шляпу, отчасти вернуть себе тот военный облик, отсутствие которого поразило Арамиса.

Покончив с одеванием, он с притворной бесцеремонностью без предупреждения вошел в комнату хозяина дома. Арамис спал или притворялся спящим.

Большая раскрытая книга лежала на его ночном пюпитре; свеча в серебряном подсвечнике еще горела. Это доказывало, как мирно провел ночь прелат, с какими добрыми намерениями готовился проснуться.

Мушкетер поступил с епископом совершенно так же, как епископ поступил с Портосом. Он коснулся его плеча. Ясно было, что Арамис притворялся, потому что он, всегда отличавшийся таким чутким сном, не пробудился сразу, а заставил д'Артаньяна повторить свое прикосновение.

– А, это вы? – сказал он, потягиваясь. – Какая приятная неожиданность! Подумайте, во сне я совсем забыл, что вы у меня. Который час?

– Не знаю, – смутился д'Артаньян. – Кажется, рано, но у меня осталась военная привычка просыпаться с рассветом.

– Разве вы хотите ехать сейчас же? – спросил Арамис. – Помните, мы сговорились выезжать в восемь часов. Давайте так и сделаем.

– Может быть; но мне так хотелось увидаться с вами, что я подумал: чем скорее, тем лучше.

– А мой семичасовой сон? – остановил Арамис. – Смотрите, я рассчитывал на него, и мне придется возместить упущенное.

– Но мне кажется, прежде вы так не любили поспать. У вас была кипучая кровь, вы никогда не валялись в постели.

– Именно поэтому теперь я люблю лежать.

– О, сознайтесь, вы назначили восемь часов не ради сна.

– Боюсь, что вы станете смеяться надо мной, если я скажу правду.

– Говорите.

– От шести до восьми я привык молиться.

– Я не думал, что епископы подчиняются такому строгому уставу.

– Епископ, дорогой друг, должен соблюдать внешние приличия больше, чем какой-нибудь церковный служка.

– Черт возьми! Вот слова, которые меня примиряют с вашим преподобием: внешние приличия! Это – слова мушкетера! Да здравствуют внешние приличия!

– Не хвалите меня за них, а лучше простите, д'Артаньян. У меня вырвались очень мирские, очень светские слова.

– Значит, я должен уйти?

– Мне необходимо сосредоточиться, дорогой друг.

– Хорошо, я ухожу. Но, пожалуйста, ради язычника по имени д'Артаньян сократите ваши размышления и молитвы. Я жажду поговорить с вами.

– Хорошо, мой друг, обещаю вам, что через полтора часа...

– Полтора часа молитв и размышлений! Дорогой мой! А нельзя ли сократить?

Арамис рассмеялся.

– Вы по-прежнему очаровательны, молоды, веселы! – улыбался он. – Вы приехали в мою епархию, чтобы поссорить меня с благодатью.

– Вот как!

– О, я никогда не мог противиться вашим чарам, д'Артаньян! Вы будете стоять мне спасения души.

Д'Артаньян закусил губу.

– Хорошо, – усмехнулся он, – беру грех на себя. Быстро перекрестясь, прочтите одно «Отче наш», и едем!

– Тес, – перебил его Арамис, – мы больше не одни. Я слышу, что сюда идут.

– Отошлите их.

– Нельзя. Вчера я назначил им прием. Это директор иезуитской коллегии и настоятель доминиканского монастыря.

– Ваш штаб? Отлично.

– А вы чем пока займетесь?

– Разбужу Портоса и в его обществе стану дожидаться конца ваших совещаний.

Арамис не шевельнулся, не двинул бровью. Ни одного слова, ни одного жеста.

– Идите, – сказал он.

Д'Артаньян повернулся к дверям.

– Кстати, вы знаете, где помещается Портос?

– Нет, но я спрошу.

– Идите по коридору и откройте вторую дверь налево.

– Благодарю. До свиданья.

И д'Артаньян ушел в направлении, указанном епископом.

Через десять минут он вернулся.

Арамис сидел между настоятелем-доминиканцем и главой иезуитской коллегии совершенно в таком же положении, в каком мушкетер застал его однажды в гостинице Кревкера.

Их присутствие не смутило мушкетера.

– В чем дело? – неторопливо спросил Арамис. – Вы, кажется, хотите что-то сообщить мне, дорогой друг?

– Дело в том, – ответил д'Артаньян, пристально глядя в лицо Арамису, – что Портоса нет в комнате.

– Где же он может быть?

– Я спрашиваю вас об этом.
– А вы не узнавали у слуг?
– Спрашивал.
– Что же вам ответили?
– Что Портос часто уходит из дому, не предупредив никого, и что, вероятно, он ушел или уехал.

– Что же вы сделали?
– Я побывал в конюшне, – спокойно произнес мушкетер.
– Зачем?
– Чтобы посмотреть, уехал ли Портос верхом.
– И что же? – спросил епископ.
– В стойле номер пять нет лошади по имени Голиаф.
Мушкетер сильно волновался, между тем как Арамис вел разговор самым любезным тоном.

– О, я понимаю, – улыбнулся Арамис, подумав с минуту. – Портос уехал, чтобы сделать нам сюрприз.

– Сюрприз?
– Да. Канал, идущий отсюда к морю, славится своими утками, чирками и бекасами; это любимая дичь Портоса. Он привезет нам на завтрак дюжину вкусных птиц.

– Вы думаете? – засомневался д'Артаньян.
– Вполне уверен. Куда бы мог он иначе уехать?
Я уверен, что он взял с собой ружье.
– Возможно, – проговорил д'Артаньян.
– Знаете что, дорогой друг? Садитесь на коня и догоните его.
– Хорошо, – сказал д'Артаньян. – Сейчас поеду.

Арамис позвонил и велел вошедшему лакею распорядиться, чтобы оседлали лошадь, которую выберет господин д'Артаньян.

Подле дверей лакей отошел в сторону, чтобы пропустить вперед мушкетера.
В это время глаза лакея встретились с глазами его господина. Легкое движение бровей показало умному соглядатаю, что ему надо делать.

Д'Артаньян вскочил в седло. Арамис услышал стук подков о камни.
Через мгновение слуга вернулся.
– Что? – спросил его епископ.
– Монсеньер, он едет вдоль канала к морю, – ответил слуга.
– Хорошо, – отпустил его Арамис.

Действительно, мушкетер, отбросив все подозрения, ехал к океану в надежде увидеть среди дюн или на отмели исполинскую фигуру Портоса.

Два часа д'Артаньян отыскивал Портоса; наконец он вернулся домой.
«Мы, верно, разминувшись, – думал он, – и сейчас оба мои товарища, должно быть, ждут моего возвращения».

Д'Артаньян ошибся. Он не нашел Портоса в епископском доме, так же как и на берегу канала.

На верху лестницы его ждал Арамис с опечаленным лицом.
– Вас не догнали, дорогой д'Артаньян? – еще издали крикнул он.
– Нет. А вы за мной посылали?
– Я в отчаянии, дорогой друг, в отчаянии, что заставил вас проехаться напрасно. В семь часов пришел священник из Сен-Патерна. На дороге он встретил дю Валлона, который, не желая никого будить, уехал тайком; ему же Портос поручил сказать, что он боится, как бы Жетар в его отсутствие не напортил чего-нибудь, а потому решил, воспользовавшись приливом, отправиться в Бель-Иль.

– Но ведь Голиаф не мог проскакать четыре лье по морю?
– Там добрые шесть, – поправил его Арамис.

– Тем более.

– Поэтому-то, милый друг, – с кроткой улыбкой заметил прелат, – Голиаф стоит в конюшне и, кажется, очень доволен, что на его спине нет Портоса.

Действительно, лошадь привели обратно с того места, где исполин сел на свежего коня. Таково было распоряжение прелата, от внимания которого не ускользала ни одна мелочь.

Мушкетер сделал вид, что вполне поверил этому объяснению.

Он начал притворяться под влиянием все более и более усиливавшихся в нем подозрений.

За завтраком он сидел между иезуитом и Арамисом и улыбался сидевшему напротив него доминиканцу, жирная физиономия которого была ему порядком противна.

Роскошный завтрак сильно затянулся. Великолепные испанские вина, прекрасные морбиганские устрицы, отборная рыба из устья Луары, исполинские пенбефские креветки, нежная полевая дичь украшали стол. Д'Артаньян много ел и мало пил, Арамис не пил совсем или, по крайней мере, пил только воду.

После завтрака Д'Артаньян сказал:

– Дайте мне ружье.

– Вы хотите пойти на охоту?

– Я думаю, что в ожидании Портоса мне лучше всего будет этим заняться.

– Возьмите любое со стены.

– Вы не отправитесь со мною?

– Ах, дорогой друг, очень бы хотел, но епископам охота запрещена.

– А! – ответил Д'Артаньян. – Я этого не знал.

– Кроме того, – добавил Арамис, – до двенадцати у меня дела.

– Значит, мне придется идти одному? – спросил Д'Артаньян.

– Да, к сожалению. Но, главное, возвращайтесь к обеду.

– Право, у вас кормят так хорошо, что я не могу не вернуться.

Д'Артаньян встал из-за стола, поклонился своим сотрапезникам, взял ружье, но вместо того, чтобы отправиться на охоту, быстро направился в маленький ваннский порт.

Он несколько раз оглядывался, желая узнать, идут ли за ним: никого и ничего не было видно.

За двадцать пять ливров он нанял маленький рыбацкий баркас и в половине двенадцатого отчалил, вполне уверенный, что его не выследили. И правда, за ним никто не ехал. Только иезуит, с утра стоявший на высокой колокольне своей церкви, не пропустил ни одного его шага, следя за ним в сильную подзорную трубу.

Без четверти двенадцать Арамис узнал, что лодка Д'Артаньяна направилась к Бель-Илю.

Лодка шла быстро; сильный северо-западный ветер нес ее к острову.

По мере того как Д'Артаньян приближался к цели, он все пристальнее вглядывался в берег. Он искал глазами в толпе или среди укреплений яркий костюм Портоса и его массивную фигуру.

Поиски Д'Артаньяна были напрасны: он высадился, никого не встретив, и первый же солдат, к которому он обратился, сказал ему, что господин барон еще не вернулся из Ванна.

Не теряя ни минуты, Д'Артаньян приказал рулевому держать курс на мыс Сарзо.

Несмотря на быстроту переправы, Д'Артаньяна мучили нетерпение и досада, о которых могла бы рассказать только палуба баркаса: он без устали ходил по ней взад и вперед в течение трех часов.

От набережной, к которой пристал его баркас, Д'Артаньян мигом добрался до епископского дворца.

Своим быстрым возвращением он думал смутить Арамиса. Ему хотелось упрекнуть Арамиса в лукавстве, сделав это сдержанно, но достаточно тонко, чтобы заставить Арамиса почувствовать все последствия такого поведения и вырвать у него хоть часть тайны. Он, наконец, надеялся словесной атакой, как штыковым ударом, разрушить таинственность, окружавшую Арамиса, и заставить его открыть свои карты.

Но в передней он встретил камердинера, который, глупо улыбаясь, преградил ему дорогу.

– К его преосвященству! – крикнул Д'Артаньян, стараясь рукою отстранить камердинера.

– К его преосвященству?

– Ну да, конечно. Разве ты не узнаешь меня, дурак?

– Конечно, вы шевалье Д'Артаньян. Но его преосвященства нет дома.

– Как? Его преосвященства нет дома? Где же он?

– Уехал.

– Куда?

– Не знаю, но, может быть, его преосвященство сообщает это вам в письме, которое он поручил мне отдать вашей милости.

И камердинер вынул из кармана письмо.

– Давай скорей, чучело! – вскричал Д'Артаньян, вырывая письмо из рук слуги. – Да, да, – прибавил он, пробежав глазами первые строки, – О, я понимаю!

И он прочитал вполголоса:

«Дорогой друг!

Крайне неотложное дело призывает меня в один из приходов моей епархии. Я надеялся повидаться с вами перед отъездом, но теперь потерял эту надежду, так как вы, вероятно, проведете в Бель-Иле два-три дня с нашим милым Портосом.

Развлекайтесь, но не старайтесь состязаться с ним за столом; я этого не посоветовал бы даже Атосу в самые лучшие его дни.

До свидания, дорогой друг! Поверьте, я глубоко сожалею, что не мог лучше и дольше воспользоваться вашим милым обществом».

– Черт возьми, – сказал д'Артаньян, – меня провели! Ах я дурак, болван, трижды идиот! Но посмотрим, чья возьмет в конце концов. О, меня обманули, как обезьяну, которой дают пустой орех!

И, отвесив пощечину улыбающемуся камердинеру, мушкетер выбежал из епископского дворца.

Как ни хорош был Хорек, для такой спешной поездки он не годился. Поэтому д'Артаньян выбрал на почтовом дворе лошадь, которая благодаря его шпорам и твердой руке доказала, что олени совсем не самые быстроногие создания в мире.

Глава 26.

Д'АРТАНЬЯН СПЕШИТ, ПОРТОС ХРАПИТ, А АРАМИС ДАЕТ СОВЕТ

Часов через тридцать – тридцать пять после описанных нами событий Фуке, по обыкновению приказав никого не принимать, сидел у себя в кабинете в знакомом уже нам доме в Сен-Манде и работал. Внезапно во двор влетела карета, запряженная четверкой взмыленных лошадей. Очевидно, ее ожидали, потому что четверо лакеев бросились к дверцам экипажа и открыли их.

Фуке поднялся из-за письменного стола и быстро подошел к окну, в то время как из кареты выходил прибывший гость, который с трудом сошел с подножки в три ступеньки, опираясь на плечи лакеев. Когда он назвал свое имя, один из слуг побежал к подъезду и исчез в передней. Слуга торопился сообщить о приезде гостя своему господину, но ему не пришлось стучаться в двери кабинета.

Фуке уже стоял на пороге. – Его преосвященство ваннский епископ, доложил лакей.

– Хорошо, – ответил Фуке.

Потом, наклонившись над перилами лестницы, по нижним ступеням которой уже поднимался Арамис, сказал:

– Вы, мой друг? Так рано?
– Да, я. Но истерзанный, разбитый, как видите.
– О, бедный друг! – посочувствовал Фуке, предлагая Арамису руку, на которую тот оперся.

Все слуги почтительно отступили.

– Ничего! – отозвался Арамис. – Все это не беда, раз я доехал. Это важнее всего.
– Говорите скорее, – сказал Фуке, запирая двери кабинета.
– Нас никто не подслушает?
– Будьте покойны.
– Дю Валлон приехал?
– Да.
– И вы получили мое письмо?
– Да. Дело, по-видимому, серьезно, раз оно потребовало вашего присутствия в Париже, в то время как вы так нужны в другом месте.

– Да, крайне серьезно.
– Благодарю, благодарю вас. В чем же дело? Но, ради бога, прежде всего отдохните, дорогой друг. Вы ужасно бледны.

– Мне действительно нехорошо. Но прошу вас, не обращайтесь на меня внимания. Дю Валлон ничего не сказал вам, отдавая письмо?

– Нет. Я услышал шум, подошел к окну и увидел нечто вроде мраморного всадника. Я вышел к нему; он мне протянул письмо, и его лошадь тотчас пала на месте.

– А он?

– Он тоже упал. Его подняли и отнесли в комнаты.

Прочтя письмо, я зашел к нему, чтобы расспросить о подробностях, но он так крепко спал, что не было возможности его разбудить. Мне стало его жаль; я приказал снять с барона сапоги и не тревожить его.

– Хорошо. Дело вот в чем. Вы видели в Париже д'Артаньяна?

– Конечно. Это человек умный и даже благородный, хотя по его милости погибли наши друзья Лиодо и д'Эмери.

– Увы, знаю. В Туре я встретил курьера, который вез мне письмо Гурвиля и депеши Пелисона. Вы думали об этом событии?

– Да.

– И вы поняли, что это было нападение на вас?

– Сознаюсь, у меня тоже явилась эта мрачная мысль.

– Не обманывайтесь... Умоляю вас, не обманывайтесь... выслушайте меня... Вернемся к д'Артаньяну. При каких обстоятельствах вы его видели?

– Он явился за деньгами с чеком короля.

– Личным?

– Подписанным его величеством.

– Видите! Так знайте, д'Артаньян побывал в Бель-Иле переодетый. Он выдавал себя за управляющего, которому его господин поручил купить участки для солеварен. А у д'Артаньяна один господин – король; значит, он был послан королем. Он видел Портоса.

– Кто такой Портос?

– Простите, я обмолвился. В Бель-Иле он встретил дю Валлона и теперь не хуже нас с вами знает, что Бель-Иль укреплен.

– И вы думаете, что его послал король? – в раздумье спросил Фуке.

– Не сомневаюсь.

– И в руках короля д'Артаньян – опасное оружие?

– Самое опасное из всех.

– Значит, я с первого взгляда правильно оценил его.

– Как?

– Я хотел расположить его к себе.

– Если вы нашли, что это самый храбрый, умный и ловкий человек во всей Франции, вы его оценили верно.

– Значит, во что бы то ни стало нужно привлечь его на нашу сторону.

– Кого? Д'Артаньяна?

– Разве вы не разделяете моего мнения?

– Разделяю, но вы не привлечете его к себе.

– Почему?

– Потому, что мы упустили удобный момент. Он был не в ладах со двором; следовало воспользоваться этим. Но потом он побывал в Англии, способствовал реставрации, приобрел состояние и, наконец, вернулся на службу к королю. Это значит, что ему хорошо платят за службу.

– Мы дадим ему больше, вот и все.

– О, сударь, простите. У д'Артаньяна только одно слово, и когда он его дал, то не берет назад.

– Какой же ваш вывод? – встревожено спросил Фуке.

– Я считаю, что надо отразить страшный удар.

– Как?

– Погодите... Д'Артаньян явится к королю с отчетом.

– Я полагаю, вы его намного опередили.

– Приблизительно часов на десять.

– Значит, спешить нечего.

Арамис покачал головой.

– Посмотрите на эти несущиеся по небу облака, на ласточек, рассекающих воздух. Д'Артаньян быстрее облака и птицы; д'Артаньян – это несущий их ветер. Это сверхчеловек. Он мой ровесник, и я знаю его тридцать пять лет.

– Так что же делать?

– Выслушайте мои расчеты, господин Фуке. Я послал к вам дю Валлона в два часа ночи; он уехал за восемь часов до меня. Когда он явился?

– Приблизительно часа четыре тому назад.

– Вот видите! Я приехал на четыре часа скорее, чем он. А между тем Портос отличный наездник; он загнал восемь лошадей: я видел их трупы. Я проехал на почтовых пятьдесят лье, но у меня подагра, камни в почках, словом, я умираю от усталости. Мне пришлось в Туре отдохнуть; оттуда я ехал в карете полуживой. Мой экипаж едва не опрокинулся; иногда я лежал на его сиденье, иногда на стенке, а четверка лошадей шла карьером. Наконец я здесь, совершив путь на четыре часа быстрее, чем Портос. Но д'Артаньян не весит трехсот фунтов, как Портос; у него нет подагры и камней в почках, как у меня; это не наездник, а кентавр. Видите ли, он уехал в Бель-Иль, когда я отправился в Париж, и несмотря на то, что я опередил его на десять часов, д'Артаньян приедет через два часа после меня.

– Но ему может помешать какая-нибудь случайность.

– Для него не существует случайностей.

– А если не хватит лошадей?

– Он побежит быстрее самой быстрой лошади.

– Что за человек!

– Да, этого человека я люблю и восхищаюсь им.

Я люблю его, потому что он добр, благороден, честен; восхищаюсь им, так как для меня он воплощение человеческого могущества. Но, любя его, преклоняясь перед ним, я его боюсь и остерегаюсь. Итак, сударь, вот какой вывод: через два часа д'Артаньян будет здесь. Опередите его, поезжайте в Лувр, повидайтесь с королем раньше, чем к нему явится д'Артаньян.

– Что сказать королю?

– Ничего. Подарите ему Бель-Иль.

– О, д'Эрбле, д'Эрбле! Сколько планов рушится! – воскликнул Фуке. – И так внезапно!

– После неудавшегося плана всегда можно задумать и выполнить другой.
Никогда не следует приходить в отчаяние. Поезжайте, поезжайте, сударь, скорее.
– А наш отборный гарнизон? Король тотчас же сменит его.
– Когда этот гарнизон вступил в Бель-Иль, он был предан королю; теперь он ваш. То же будет со всяким другим через две недели. Не упреждайте событий. Неужели вы предпочитаете удержать два-три полка вместо того, чтобы через год подчинить себе целую армию? Разве вы не понимаете, что ваш теперешний гарнизон создаст вам сторонников в Ла-Рошели, в Нанте, в Бордо, в Тулузе, всюду, куда его пошлют? Поезжайте к королю, господин Фуке, поезжайте. Время идет, и пока мы его теряем, д'Артаньян летит по дороге как стрела.
– Вы знаете, господин д'Эрбле, что каждое ваше слово – семя, которое в моем уме прорастает и приносит плоды. Я еду в Лувр.
– Помните, д'Артаньяну не нужно ехать через Сен-Манде. Он прямо отправится в Лувр; нужно вычесть этот час из того времени, которое есть у нас в запасе.
– Может быть, у д'Артаньяна есть все, но у него нет моих английских лошадей. Через двадцать пять минут я буду в Лувре.
И, не теряя ни секунды, Фуке приказал подать лошадей. Арамис успел сказать ему:
– Возвращайтесь так же быстро, как поедете туда; буду ждать вас с нетерпением.
Через пять минут министр летел к Парижу.
Между тем Арамис попросил указать ему комнату, где отдыхал Портос.
На кровати лежал Портос. Его лицо покраснело, лучше сказать – полиловело, глаза опухли, рот был открыт. От храпа, который вырывался из глубин его груди, дрожали оконные стекла. Глядя на вздувшиеся мышцы его лица, на спутанные и прилипшие ко лбу волосы, на сильное движение поднимавшегося подбородка и плеч, нельзя было не почувствовать своего рода восхищения: сила, доходящая до такой степени, почти божественна.
По приказанию Пелисона слуга разрезал сапоги Портоса, потому что просто снять их не было ни малейшей возможности. Четверо лакеев тщетно пробовали стянуть их. Им даже не удалось разбудить Портоса.
Сапоги сняли, разрезав их на ремешки, и ноги исполина упали на кровать. С него срезали все остальное платье; отнесли в ванну и целый час продержали в теплой воде; надели на него чистое белье; уложили в согретую грелкой постель. Все это стоило большого труда. Усилия слуг пробудили бы мертвого, но Портос даже не открыл глаз, ни на секунду не прервал своего могучего храпа.
Арамис, худошавый и нервный, собрав все свое мужество, хотел превозмочь усталость и поработать с Гурвилем и Пелисоном, но, внезапно лишившись чувств, повалился на стул и не смог подняться. Его отнесли в соседнюю комнату. Вскоре отдых в удобной кровати успокоил его возбужденный мозг.

Глава 27. ФУКЕ ДЕЙСТВУЕТ

Тем временем Фуке мчался к Лувру на своих английских лошадях.
Король работал с Кольбером.
Вдруг Людовик задумался. Два смертных приговора, которые он подписал, вступая на трон, время от времени вспоминались ему. Когда он сидел с открытыми глазами, они вставали перед ним, как два траурных пятна. Когда он опускал веки, ему представлялись два пятна крови.
– Господин Кольбер, – внезапно повернулся он к интенданту, – мне иногда кажется, что люди, которых я осудил по вашему совету, не были так уж виновны.
– Ваше величество, они были выбраны из стаи откупщиков, чтобы покарать их в пример другим.
– Кто выбрал их?
– Необходимость, государь, – холодно ответил Кольбер.

– Необходимость! Великое слово! – прошептал молодой король.

– Великая богиня, ваше величество.

– Не правда ли, это были преданные друзья суперинтенданта финансов?

– Да, ваше величество, это были его друзья, которые за него отдали бы жизнь.

– Они ее и отдали, – заметил король.

– Правда, но, к счастью, без всякой пользы, а это не входило в их намерения.

– Сколько денег присвоили эти люди?

– Около десяти миллионов, причем шесть были конфискованы у них.

– И эти деньги у меня в казне? – спросил король с чувством отвращения.

– Да, ваше величество; но эта конфискация, которая должна была бы разорить Фуке, не достигла своей цели.

– Какой из этого вывод, господин Кольбер?

– Я считаю, что, если Фуке поднял против вашего величества толпу мятежников для того, чтобы спасти от казни своих друзей, он поднимет целую армию, когда самому понадобится избежать кары.

– Удивляюсь, – сказал король, – что, думая так о Фуке, вы давно не дали мне совета.

– Какого совета, ваше величество?

– Сначала скажите мне ясно и определенно, что вы думаете о Фуке.

– Я думаю, государь, что Фуке не довольствуется тем, что приобретает деньги, как кардинал Мазарини, отнимая таким путем у вашего величества часть вашего могущества, но и привлекает к себе всех любителей веселой, роскошной жизни, поклонников того, что бездельники называют поэзией, а политики – испорченностью; что, поднимая против вас, государь, подданных вашего величества, он наносит ущерб королевским правам, и если так будет продолжаться, он сделает из вашего величества слабого и незначительного короля.

– А как называют такие замыслы, господин Кольбер?

– Государственным преступлением.

– И что делают с такими преступниками?

– Их арестовывают, судят и карают.

– А вы уверены, что Фуке задумал совершить то преступление, которое вы ему приписываете?

– Более того, государь. Он уже приступил к исполнению своего замысла. Есть очевидное, осязательное, вещественное доказательство его измены.

– Какое?

– Я узнал, что Фуке укрепляет Бель-Иль.

– С какой целью?

– С целью со временем защищаться от короля.

– Но если это верно, господин Кольбер, – Людовик, – необходимо немедленно же поступить как вы говорили: нужно арестовать Фуке!

– Невозможно!

– Я уже, кажется, говорил вам, что этого слова не должны произносить те, кто мне служит.

– Слуги вашего величества не могут помешать Фуке быть суперинтендантом.

– Так что же из того?

– Благодаря этой должности за него весь парламент, так же как и вся армия – благодаря его щедрости, все писатели – благодаря его любезности, все дворянство – благодаря его подаркам.

– Значит, другими словами, я бессилен против Фуке?

– Да, по крайней мере, в настоящую минуту, ваше величество.

– Вы плохой советчик, господин Кольбер.

– О нет, ваше величество, я не ограничиваюсь простым указанием на опасность.

– Полно. Как можно подкопаться под этого колосса?

И король с горечью засмеялся.

- Он поднялся благодаря деньгам, убейте его деньгами же, ваше величество.
- Лишить его должности?
- Это плохое средство.
- Укажите хорошее.
- Разорите его.
- Как?
- Воспользуйтесь любым удобным случаем.
- Каким?

– Вот, например, его королевское высочество будет венчаться. Свадьба должна быть великолепна. Это прекрасный повод потребовать у него миллион. Фуке, который охотно платит двадцать тысяч, когда он должен всего пять, конечно, без труда найдет миллион для вашего величества.

– Хорошо, – согласился Людовик XIV.

– Если вашему величеству угодно подписать ордер, я сам пошлю за деньгами.

И, подвинув королю бумагу, Кольбер подал ему перо.

В эту минуту дверь приоткрылась, и лакей доложил о приходе суперинтенданта финансов.

Людовик побледнел. Кольбер уронил перо и отошел от короля, которого он словно осенял черными крыльями, как злой ангел.

Фуке вошел и, как опытный царедворец, с первого же взгляда понял положение вещей. Положение было неутешительным для него, хотя он и признавал свою силу. Маленькие черные, глаза Кольбера, расширенные завистью, и светлый, горевший гневом взгляд Людовика XIV не предвещали ничего хорошего.

Молчание, встретившее Фуке, сразу предупредило его о грозившей ему опасности.

Король молчал, пока Фуке дошел до середины комнаты. Юношеская застенчивость Людовика заставляла его сдерживаться. Фуке воспользовался удобным случаем.

– Государь, – сказал он, – я с нетерпением ждал возможности увидеть ваше величество.

– Почему? – заговорил король.

– Потому что хотел сообщить вашему величеству хорошую новость.

Не обладая великодушием и благородством Фуке, Кольбер во многих отношениях походил на него, не уступая ему в проницательности и знании людей. Кроме того, у него была способность владеть собой, которая лицемерам время обдумать и подготовиться, чтобы сильнее нанести удар.

Он угадал, что Фуке идет навстречу удару, который хотел нанести он, Кольбер. Его глаза блеснули.

– Какую совесть? – спросил король.

Фуке положил на стол свиток бумаги.

– Прошу ваше величество соизволить взглянуть на эту работу, – произнес он.

Король медленно развернул свиток.

– Планы? – удивился он. – Чего?

– Новой крепости, государь.

– А, – сказал король, – значит, вы занимаетесь тактикой и стратегией, господин Фуке?

– Я занимаюсь всем, что может принести пользу правлению вашего величества, – ответил Фуке.

– Прекрасные чертежи, – кивнул ему король.

– Без сомнения, ваше величество разбирается в этом плане? – проговорил Фуке, наклоняясь над бумагой. – Вот – пояс стен; тут – форты, передовые укрепления.

– А что кругом?

– Море.

– Что же это за место?

– Бель-Иль, – негромко произнес Фуке.

Услыхав это название, Кольбер сделал такое заметное движение, что король оглянулся,

призывая его к сдержанности.

Суперинтенданта, видимо, нисколько не смутили на движение Кольбера, ни предупреждающий взгляд короля.

– Значит, господин Фуке, вы велели укрепить Бель-Иль?

– Да, государь, и я привез планы и счета вашему величеству, – ответил Фуке. – На это дело я истратил миллион шестьсот тысяч ливров.

– А для чего это? – холодно спросил Людовик, подстрекаемый полным ненависти взглядом Кольбера.

– Мою цель легко понять, – ответил Фуке. – У вашего величества были натянутые отношения с Великобританией.

– Да, но с момента реставрации короля Карла Второго я заключил с ней союз.

– Это случилось месяц тому назад, ваше величество. А укрепления Бель-Иля начаты шесть месяцев назад.

– Значит, они стали бесполезны.

– Крепость никогда не бывает бесполезна, ваше величество: я укреплял Бель-Иль против Монка, Ламберта и граждан Лондона, которые играли в солдатики. Теперь Бель-Иль будет крепостью против Голландии, с которой либо ваше величество, либо Англия неминуемо начнете войну.

Король опять взглянул на Кольбера.

– Кажется, Бель-Иль принадлежит вам, господин Фуке? – спросил Людовик.

– Нет, государь.

– Кому же?

– Вашему величеству.

Кольбер почувствовал такой ужас, точно под его ногами разверзлась бездна.

Людовик вздрогнул от восхищения гениальностью или преданностью Фуке.

– Объяснитесь, сударь, – попросил он.

– Дело очень просто, ваше величество. Бель-Иль мое имение, и я укрепил его на свои средства. Но так как никто в мире не может запретить смиренному подданному сделать скромный подарок своему королю, то я и подношу вашему величеству Бель-Иль. Всякая крепость должна принадлежать королю. Отныне ваше величество может держать там надежный гарнизон.

Кольбер чуть не покатился по скользкому паркету; чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться за колонку в резной обшивке стен.

– Вы проявили большие военные способности, господин Фуке, – заметил Людовик XIV.

– Ваше величество, первая мысль явилась не у меня; некоторые офицеры внушили мне ее. И самые планы начерчены одним из талантливейших наших инженеров.

– Его имя?

– Дю Баллон.

– Дю Баллон? Я его не знаю, – сказал Людовик и прибавил:

– Очень жаль, господин Кольбер, что мне неизвестен даровитый человек, делающий честь моему царствованию.

Говоря это, король повернулся к Кольберу.

Кольбер был раздавлен всем происшедшим. Пот струился по его лицу; он не мог вымолвить ни слова. Он переживал невыразимые муки.

– Запомните это имя! – бросил Людовик XIV.

Кольбер поклонился. Он был блее своих манжет из фламандского кружева.

Фуке продолжал:

– Каменная кладка сделана на римской мастике; архитекторы составили мне ее по описаниям древних.

– А пушки? – спросил Людовик.

– О, ваше величество, это уж ваша забота. Мне не подобает ставить пушки, пока ваше величество не объявите, что в Бель-Иле вы у себя дома.

Людовик колебался между ненавистью, которую ему внушал этот могущественный человек, и жалостью к другому, такому подавленному и казавшемуся неудачной подделкой первого.

Но сознание королевского долга пересилило в нем человеческие чувства.

Он указал пальцем на бумагу.

– Работы, вероятно, дорого обошлись вам? – посмотрел он в лицо Фуке.

– Мне кажется, я имел честь назвать вашему величеству сумму?

– Повторите, я забыл.

– Миллион шестьсот тысяч ливров.

– Миллион шестьсот тысяч? Вы чудовищно богаты, господин Фуке!

– Это вы, ваше величество, богаты, – ответил суперинтендант, – так как Бель-Иль принадлежит вам, государь.

– Да, благодарю; но как бы я ни был богат, господин Фуке... – начал король.

– Что такое, ваше величество? – спросил Фуке.

– Я предвижу момент, когда у меня неостанет денег.

– У вас, государь?

– Да, у меня.

– Когда же?

– Например – завтра.

– Может быть, ваше величество, вы окажете мне честь и объясните, в чем дело?

– Мой брат женится на английской принцессе.

– Так что же, ваше величество?

– И я должен принять молодую принцессу, как подобает встретить внуку Генриха Четвертого.

– Это вполне справедливо, ваше величество.

– Итак, мне понадобится много денег.

– Без сомнения.

– Завтра же мне нужно...

Людовик остановился. Он собирался спросить как раз ту сумму, в которой некогда должен был отказать Карлу II.

Король повернулся к Кольберу, чтобы тот нанес удар.

– Завтра же мне нужно... – повторил он, глядя на Кольбера.

– Миллион, – вдруг выкрикнул тот в восторге, что может отомстить.

Фуке стоял по-прежнему спиной к Кольберу, желая слушать только короля, и король повторил, вернее, прошептал:

– Миллион.

– О, государь! – пренебрежительно ответил Фуке. – Один миллион! Что ваше величество сделает на один миллион!

– Однако, мне кажется... – начал Людовик.

– Такая сумма тратится на свадьбах мелких немецких князей.

– Господин Фуке!

– Вашему величеству нужно, по крайней мере, два миллиона. Я буду иметь честь прислать сегодня вечером вашему величеству миллион шестьсот тысяч ливров.

– Как? – произнес король. – Миллион шестьсот тысяч ливров?

– Позвольте, государь, – ответил Фуке, даже не оборачиваясь к Кольберу, – я знаю: не хватает четырехсот тысяч ливров. Но вот у этого господина из управления финансами (и он через плечо указал большим пальцем на сильно побледневшего Кольбера) лежат в кассе девятьсот тысяч ливров, принадлежащих мне.

Король обернулся и посмотрел на Кольбера.

– Но... – заговорил было тот.

– Этот господин, – продолжал Фуке, не называя даже Кольбера по имени, – неделю тому назад получил миллион шестьсот тысяч ливров. Триста тысяч он заплатил страже, семьдесят

пять – отдал госпиталям, двадцать пять швейцарцам, двести – уплатил за съестные припасы, девяносто тысяч – за оружие, десять – на разные мелочи. Значит, я не ошибаюсь, считая, что там осталось девятьсот тысяч.

И, слегка повернувшись к Кольберу, как высокомерный начальник к подчиненному, он сказал:

– Позаботьтесь, сударь, чтобы сегодня вечером эти девятьсот тысяч были вручены золотом его величеству.

– Но, – заметил король, – ведь это составит два миллиона пятьсот тысяч ливров!

– Государь, лишние пятьсот тысяч послужат карманными деньгами его высочеству. Вы слышите, господин Кольбер? Сегодня же вечером, до восьми часов...

И, отвесив почтительный поклон королю, суперинтендант финансов попятился к двери, не удостоив взглядом завистника, которого он оставил в самом глупом положении.

В припадке злобы Кольбер разорвал свои фламандские кружева и до крови искусал губы.

Не успел еще Фуке дойти до двери, как слуга, проскользнув мимо него, возвестил:

– Курьер из Бретани к его величеству.

– Д'Эрбле был прав, – прошептал Фуке, вынув часы, – без пяти два.

Следовало торопиться.

Глава 28.

Д'АРТАНЬЯН ПОЛУЧАЕТ ПАТЕНТ НА ДОЛЖНОСТЬ КАПИТАНА

Читатель уже понял, о каком гонце из Бретани доложил лакей. Гонца легко было узнать.

Д'Артаньян, запыленный, с раскрасневшимся лицом, влажными от пота волосами и онемевшими от усталости ногами, с трудом поднимался по ступенькам, звеня окровавленными шпорами.

На пороге он столкнулся с Фуке. Министр поклонился и улыбнулся человеку, который, приехав на час раньше, мог оказаться причиной его разорения или смерти.

Д'Артаньян вспомнил о приветливом приеме, оказанном ему этим человеком, и тоже поклонился ему, но больше из расположения и сострадания, чем из уважения. У него на языке вертелось слово, которое столько раз повторяли герцогу де Гизу: «Бегите!» Однако, произнеся это слово, он изменил бы своему долгу; а сделав это у входа в кабинет короля, при лакее, он погубил бы себя, не успев спасти другого.

Итак, д'Артаньян лишь молча поклонился Фуке и прошел к королю.

В это мгновение Людовик колебался между изумлением, вызванным последними словами Фуке, и удовольствием при виде возвратившегося д'Артаньяна.

Не будучи придворным, д'Артаньян, однако, обладал наблюдательностью настоящего придворного. Войдя, он прочел на лице Кольбера, что его унизили и что ярость терзает его.

Он даже уловил слова короля, обращенные к интенданту:

– А, господин Кольбер, значит, у вас в управлении девятьсот тысяч ливров?

Кольбер только молча поклонился; он задыхался.

Вся эта сцена сразу запечатлелась в мозгу д'Артаньяна.

Точно желая подчеркнуть разницу в обращении, Людовик XIV ласково поздоровался с д'Артаньяном. Затем тотчас отпустил Кольбера.

Тот, весь бледный, пошатываясь, вышел из королевского кабинета.

Д'Артаньян закрутил усы.

– Мне приятно встретить одного из моих слуг в таком виде, – сказал король, любясь воинственной физиономией д'Артаньяна, его измятым запыленным платьем.

– Действительно, ваше величество, – поклонился мушкетер, – я считал мое присутствие в Лувре столь необходимым, что решился явиться в таком виде перед государем.

– Значит, вы привезли мне важные вести? – с улыбкой спросил король.

– Скажу все в двух словах. Бель-Иль укреплен превосходно. Двойные стены, цитадель,

два форта; в гавани три капера, береговые батареи ждут только пушек.

– Я все это знаю, – медленно проговорил король.

– Как, ваше величество уже знает?! – с изумлением произнес мушкетер.

– План этих укреплений у меня.

– У вашего величества план?

– Вот он.

– Да, ваше величество, именно этот план. Я видел на месте точно такой же.

Лицо д'Артаньяна омрачилось.

– Понимаю, ваше величество, вы не доверились мне одному и послали еще кого-то, – с упреком сказал он.

– Не все ли равно, как я узнал? – возразил король.

– Возможно, – ответил мушкетер, не пытаясь скрыть свое неудовольствие. – Но позволю себе сказать вашему величеству, что не стоило так торопить меня, заставляя двадцать раз рисковать своими костями, чтобы встретить по возвращении таким известием. Ваше величество, когда людям не доверяют или считают их неспособными, им не дают подобных поручений.

И д'Артаньян по-военному, звякнул шпорами, стряхивая на пол окровавленную пыль.

Король смотрел на него, втайне радуясь своей первой победе.

– Господин д'Артаньян, – добавил он через секунду, – я не только знаю, что делается в Бель-Иле, но могу сказать, что Бель-Иль теперь мой.

– Прекрасно, ваше величество, я ничего больше на спрашиваю, – ответил д'Артаньян. – Прошу отставки!

– Как отставки?

– Конечно! Я слишком горд, чтобы есть хлеб короля, не заслужив его или, вернее, заслужив плохо. Прошу, ваше величество, отставки.

– Ого!

– Прошу отставки, ваше величество, или я сам уйду!

– Вы сердитесь, сударь?

– Еще бы! Черт побери! Я тридцать два часа не схожу с седла, скачу день и ночь, совершаю чудеса быстроты: приезжаю, одеревенев как повешенный, и узнаю, что меня обогнали. Я глупец! Отставку, государь!

– Господин д'Артаньян, – остановил его Людовик XIV, кладя свою белую руку на плечо мушкетера, – то, что я вам сказал, ничуть не помешает мне исполнить данное обещание. Раз слово дано, оно должно быть сдержано.

Молодой король подошел к столу и, открыв ящик, вынул сложенную вчетверо бумагу.

– Вот ваш патент на должность капитана мушкетеров: вы его вполне заслужили, господин д'Артаньян.

Д'Артаньян поспешно развернул бумагу и два раза перечел ее. Он не верил своим глазам.

– И этот патент, – продолжал король, – дается вам не только за вашу поездку в Бель-Иль, но и за храброе вмешательство в дело на Гревской площади. Там вы поистине мужественно послужили мне.

– А, – произнес д'Артаньян, у которого при всем его самообладании краска проступила на щеках. – Вам и это известно, ваше величество?

– Да. И это.

– Ваше величество, я хотел сказать, что мне было бы гораздо приятнее получить звание капитана мушкетеров в награду за храбрую атаку во главе своей роты, за уничтожение неприятельской батареи или за взятие города, чем за содействие повешению двух несчастных.

– Вы говорите правду?

– Почему ваше величество подозревает меня во лжи?

– Потому что, насколько я вас знаю, вы не можете раскаиваться в том, что обнажили ради меня шпагу.

– Вот тут-то ваше величество ошибается, и очень сильно. Да, я раскаиваюсь, что

обнажил шпагу, раскаиваясь из-за тех последствий, к которым это привело. Бедные погибшие люди не были ни вашими врагами, ни моими. И они не защищались.

Король помолчал.

– А ваш товарищ тоже раскаивается?

– Мой товарищ?

– Да. Вы, кажется, были не один?

– Не один? Где?

– На Гревской площади.

– Нет, ваше величество, нет, – заторопился мушкетер, краснея при мысли, что король мог заподозрить, будто он, д'Артаньян, хотел присвоить славу, которая приходилась на долю Рауля. – Нет, черт побери, не один: как вы сказали, государь, у меня был товарищ, и очень хороший.

– Молодой человек?

– Да, ваше величество. Но поздравляю вас: относительно происходящего вне дворца ваше величество осведомлены так же хорошо, как и о внутренней жизни Пале-Рояля. Все эти точные известия доставляет вам господин Кольбер?

– Господин Кольбер всегда с похвалой говорил мне о вас, и плохо бы ему пришлось, если бы он стал говорить иначе.

– О, это прекрасно!

– Но он также хвалил этого молодого человека.

– И вполне справедливо, – сказал мушкетер.

– По-видимому, этот молодой человек храбрец, – прибавил Людовик XIV, желая обострить чувство досады, которое он подозревал у д'Артаньяна.

– Да, ваше величество, храбрец! – повторил мушкетер.

Он был в восторге, что может обратить внимание короля на Рауля.

– Вы с ним знакомы?

– Да, лет двадцать пять, ваше величество.

– Но ему едва исполнилось двадцать пять лет! – воскликнул король.

– Ваше величество, я его знаю со дня его рождения.

– Правда?

– Ваше величество, – смутился д'Артаньян, – вы спрашиваете меня с недоверием, в котором я вижу постороннее влияние. Господин Кольбер, сообщив вам такие подробные сведения, вероятно, забыл сказать, что этот молодой человек сын моего близкого друга.

– Виконт де Бражелон?

– Да, ваше величество. Отец виконта де Бражелона – граф де Ла Фер, который так удачно содействовал реставрации Карла Второго. О, Бражелон из рода храбрецов!

– Значит, он сын того вельможи, который приехал ко мне или, вернее, к Мазарини от имени короля Карла Второго с предложением заключить с ним союз?

– Совершенно верно.

– И этот граф де Ла Фер – храбрец?

– Государь, этот человек обнажал оружие за вашего отца большее количество раз, чем можно насчитать дней в жизни вашего величества.

Теперь Людовик XIV закусил губу.

– Хорошо, господин д'Артаньян, хорошо! И граф де Ла Фер ваш друг?

– Уже сорок лет, государь. Ваше величество видит, что все это началось не вчера.

– Вы хотели бы встретить этого молодого человека, господин д'Артаньян?

– Буду в восторге, ваше величество.

Король позвонил. Появился лакей.

– Позовите виконта де Бражелона, – приказал король.

– Как, он здесь? – спросил д'Артаньян.

– Он сегодня дежурит в Лувре с отрядом дворян принца Конде.

Едва успел король договорить, как вошел Рауль.

Увидев д'Артаньяна, он улыбнулся ему очаровательной улыбкой, свойственной только молодости.

– Ну, Рауль, – встретил его д'Артаньян, – король позволяет тебе поцеловать меня. Только раньше поблагодари его.

Рауль поклонился с такой грацией, что король, ценивший все чужие достоинства, если только они не затмевали его собственных, залюбовался красотой, статностью и скромностью Бражелона.

– Виконт, – обратился к нему Людовик, – я просил принца Конде уступить мне вас и получил его согласие. Итак, с сегодняшнего утра вы сострите при моем дворе. Принц Конде был добрым господином, но, я надеюсь, вы ничего не потеряете от перемены.

– Да, будь спокоен, Рауль: служить королю неплохо, – заметил д'Артаньян, который, поняв характер Людовика, ловко играл на его самолюбии, конечно, соблюдая меру и приличие; он умел льстить даже под видом насмешки.

– Ваше величество, – сказал Бражелон тихим мелодичным голосом, стой свободой и непринужденностью, которую он унаследовал от отца, – я не с сегодняшнего дня служу вашему величеству.

– О да! Вы хотите напомнить мне о происшествии на Гревской площади. В тот день вы действительно хорошо за меня постояли.

– Ваше величество, я говорю не об этом. Как я могу напоминать о столь ничтожной услуге в присутствии такого человека, как господин д'Артаньян!

Мне хотелось напомнить о случае, который был в моей жизни важным событием и побудил меня с шестнадцати лет посвятить свою жизнь службе вашему величеству.

– А что же это за случай? – спросил король. – Скажите.

– Когда я отправился в свой первый поход и должен был присоединиться к армии принца Конде, граф де Ла Фер провожал меня до Сен-Дени, где покоятся останки короля Людовика Тринадцатого, ожидая преемника, которого, надеюсь, бог не пошлет ему еще долгие годы. Тогда граф предложил мне поклясться прахом наших властителей в том, что я буду служить королевской власти, олицетворенной в вас, государь, буду ей верен и в мыслях, и в словах, и в действиях. Я поклялся, и клятву мою услышали бог и усопшие короли. За десять лет мне представилось гораздо меньше случаев, чем мне бы хотелось, сдержать свою клятву. Но я всегда был не более как солдат вашего величества и, переходя на службу к вам, меняю не господина, а только гарнизон.

Рауль умолк, поклонившись.

Он кончил, но Людовик XIV молчал, задумавшись.

– Клянусь богом, – вскричал д'Артаньян, – отлично сказано; не правда ли, ваше величество? Как хорошо, как благородно!

– Да, – прошептал растроганный король, сдерживая свое волнение, не имевшее другой причины, кроме общения с такой возвышенной, благородной натурой, как Рауль. – Да, вы говорите правду, всюду вы служите королю.

Но, переменяв гарнизон, вы получите повышение, которого вполне заслуживаете.

Рауль понял, что король ничего не хочет прибавить, и потому с присущим ему тактом поклонился и вышел.

– Вы собираетесь сообщить мне еще что-нибудь, сударь? – спросил король, оставшись опять наедине с д'Артаньяном.

– Да, ваше величество, это известие я отложил на конец, потому что оно печально и облечет в траур королевские дворы Европы.

– Что вы хотите сказать?

– Ваше величество, проезжая через Блуа, я услышал печальную весть.

– Право, вы меня пугаете, господин д'Артаньян.

– Мне ее сообщил доезжачий, у которого на рукаве был черный креп.

– Может быть, мой дядя Гастон Орлеанский...

– Ваше величество, он скончался.

– И никто меня не предупредил! – воскликнул король, оскорбленный тем, что ему не сообщили о смерти дяди.

– Не гневайтесь, ваше величество, – сказал д'Артаньян, – парижские курьеры, да и вообще никакие курьеры в мире не скажут так, как ваш покорный слуга. Посланец из Блуа будет здесь только через два часа, а он едет быстро, ручаюсь вам» я обогнал его уже за Орлеаном.

– Мой дядя Гастон, – прошептал Людовик, прижимая руку ко лбу и вкладывая в эти три слова самые противоречивые чувства, пробужденные воспоминаниями.

– Да, ваше величество, – философски заметил мушкетер, отвечая на мысль короля, – прошлое уходит.

– Правда, сударь, правда. Но у вас, слава богу, есть будущее, и мы постараемся, чтобы оно не было слишком мрачным.

– Полагаюсь в этом отношении на ваше величество – поклонился д'Артаньян. – А теперь...

– Да, правда. Я и забыл, что вы сделали сто десять лье. Идите, сударь, позаботьтесь о себе, ведь вы один из моих лучших солдат, а когда отдохнете, возвращайтесь ко мне.

– Ваше величество, и при вас и вдали от вас я всегда к вашим услугам.

Д'Артаньян снова поклонился и вышел. Потом, словно приехав всего-навсего из Фонтенбло, он пошел отыскивать в Лувре Бражелона.

Глава 29. ВЛЮБЛЕННЫЙ И ДАМА ЕГО СЕРДЦА

В Блуаском замке горели свечи у безжизненного тела Гастона Орлеанского, последнего представителя прошлого. Горожане слагали ему эпитафию далеко не хвалебного свойства; вдовствующая герцогиня, забыв, что в юности она так любила покойника, что бежала из отцовского дома, теперь, в двадцати шагах от траурной залы, углубилась в денежные расчеты. Вообще жизнь в замке текла своим чередом. Ни мрачный звон колокола, ни голоса певчих, ни пламя свечей, мерцавшее за оконными стеклами, ни подготовка к погребению не смущали парочку, которая сидела подле уже знакомого нам окна; оно выходило во внутренний двор из комнаты, принадлежавшей к так называемым малым апартаментам.

Веселый солнечный луч (ибо солнце, по-видимому, мало беспокоилось о потере, понесенной Францией) падал на двух собеседников.

Он был юноша лет двадцати пяти, маленький, смуглый, с хитрым живым лицом и огромными глазами, затененными длинными ресницами, его большой рот часто улыбался, показывая прекрасные зубы, а острый подбородок обладал редкой подвижностью. Вовремя разговора он нежно наклонялся к молодой девушке, которая, надо сказать, не отстранялась от него с той поспешностью, которой требовали строгие правила приличия.

Девушку мы знаем, так как уже видели ее однажды у этого самого окна под лучами такого же яркого солнца. Лукавство сочеталось в ней с рассудительностью. Она была очаровательна, когда смеялась, и красива, когда становилась серьезной. По правде говоря, она чаще бывала очаровательна, чем красива.

Собеседники были увлечены каким-то полушутливым, полусерьезным спором.

– Скажите, господин Маликорн, – спросила девушка, – угодно ли вам наконец поговорить разумно?

– А вы думаете, это легко, Ора? – возразил Маликорн. – Делать то, чего от тебя хотят, когда нельзя делать то, что можешь?

– Ну, вы, кажется, запутались в словах. Бросьте, мой дорогой, прокурорскую логику.

– Опять-таки немыслимо: ведь я чиновник. И вы меня упрекаете за то, что я стою ниже вас... Итак, я ничего вам не скажу.

– Полно, я и не думаю упрекать вас. Скажите, что вы собирались сказать. Говорите, я этого хочу.

– Хорошо, повинуюсь. Герцог умер.

– Ах, боже мой, вот новость! Откуда вы явились, чтобы сообщить это?

– Я приехал из Орлеана.

– И это ваша единственная новость?

– О нет... Я могу еще сообщить, что принцесса Генриетта Английская едет во Францию, чтобы выйти замуж за брата его величества.

– Вы положительно невыносимы, Маликорн, с вашими допотопными новостями. Если вы не бросите своей привычки вечно насмехаться, я вас прогоню.

– Ого!

– Право, вы выводите меня из терпения.

– Ну, ну, потерпите.

– Вы хотите набить себе цену? Я знаю, для чего.

– Скажите, я отвечу откровенно, если вы угадаете.

– Вы знаете, что мне хочется получить место фрейлины, о котором я имела глупость просить вас похлопотать, а вы скупитесь использовать свое влияние.

– Я? – Маликорн опустил глаза, сложил руки и принял лукавый вид. Какое же влияние может иметь бедный чиновник?

– У вашего отца недаром двадцать тысяч ливров годового дохода, господин Маликорн.

– Провинциальное состояние, сударыня.

– Ваш отец недаром посвящен в тайны принца Конде.

– Это преимущество ограничивается тем, что отец ссужает принца деньгами.

– Словом, вы недаром самый большой хитрец во всей провинции.

– Вы мне льстите.

– Чем?

– Я утверждаю, что у меня нет никакого влияния, а вы говорите обратное.

– Ну, так что же мое место, дадут мне его или нет?

– Дадут.

– Но когда?

– Когда вы пожелаете.

– Где же патент?

– У меня в кармане.

Маликорн улыбнулся и вынул из кармана бумагу.

Монтале схватила ее, точно добычу, и жадно пробежала глазами. Ее лицо постепенно прояснилось.

– Маликорн, – воскликнула она, кончив чтение, – право, вы добрый человек!

– Почему?

– Потому что вы могли заставить меня заплатить за место фрейлины – и не сделали этого.

Но Маликорн храбро выдержал ее нападение.

– Я вас не понимаю, – сказал он.

На этот раз смутилась Монтале.

– Я открыл вам свои чувства, – продолжал Маликорн. – Вы трижды сказали со смехом, что не любите меня; а один раз без смеха поцеловали меня.

Это все, что мне нужно.

– Все? – проговорила кокетка тоном оскорбленной гордости.

– Да, все, – ответил Маликорн.

– А!

В этом восклицании звучал гнев вместо благодарности, какой он мог ждать. Он спокойно покачал головой.

– Послушайте, Монтале, – начал молодой человек, не заботясь о том, понравится ли его даме такое фамильярное обращение, – не будем спорить на эту тему.

– Почему?

– Потому что за время нашего знакомства, которое длится уже год, вы уже двадцать раз выгнали бы меня, если бы я вам не нравился.

– Скажите пожалуйста! А по какому поводу я выгнала бы вас?

– Я бывал достаточно дерзок.

– Что правда, то правда!

– Не будем ссориться. Итак, раз вы меня не выгнали, то не без причины.

– Но не потому, что я вас люблю.

– Согласен. Скажу даже, что в данную минуту вы меня ненавидите.

– О, вы никогда не говорили большей правды!

– Хорошо. Я вас тоже.

– А, принимаю к сведению.

– Принимайте. Вы меня находите грубым и глупым. Я нахожу, что у вас резкий голос и лицо исказилось от гнева. Сейчас вы скорее выброситесь из окна, чем позволите мне поцеловать кончик вашего пальца. А я охотнее брошусь с колокольни, чем дотронусь до подола вашего платья. Но через пять минут вы меня будете любить, а я вас обожаю!

– Сомневаюсь!

– А я вам ручаюсь.

– Какая самоуверенность!

– А потом, это еще не главная причина. Я вам нужен, Ора, как и вы мне. Когда вам угодно быть веселой, я вас смешу; когда мне хочется быть влюбленным, я на вас смотрю. Я добыл вам место фрейлины, которого вы желали. Вы сделаете сейчас все, что я захочу.

– Я?

– Да, вы. Но в данную минуту, милая Ора, заявляю вам, я ничего не хочу; итак, будьте спокойны.

– Вы ужасный человек, Маликорн. Я так обрадовалась этому месту, а вы мне испортили все удовольствие.

– Ну, у вас еще есть время. Успеете порадоваться, когда я уйду.

– Так уходите...

– Хорошо, но раньше позвольте дать вам совет...

– Какой?

– Развеселитесь: когда вы дуетесь, то становитесь безобразной.

– Грубиян!

– Надо же говорить правду друг другу.

– Как вы злы, Маликорн!

– А вы неблагодарны, Монтале!

Маликорн облокотился на подоконник.

Монтале взяла книгу и раскрыла ее.

Маликорн встал, почистил рукавом шляпу и оправил черный плащ.

Притворяясь, что читает, Монтале тайком посматривала на него.

– Теперь он принимает почтительный вид! – с горячностью вскричала она. – Значит, будет дуться неделю.

– Две, – с поклоном заметил Маликорн.

Монтале замахнулась на него книгой.

– Чудовище! – сказала она. – Ах, почему я не мужчина?

– Что бы вы тогда сделали со мной?

– Я задушила бы тебя.

– Ага, отлично! – ответил Маликорн. – Мне кажется, я начинаю желать одной вещи.

– Чего, демон? Чтобы я задохнулась от злости?

– Маликорн почтительно вертел в руках шляпу. Вдруг он отбросил ее, схватил молодую, девушку за плечи, привлек к себе и приник к ее губам губами, слишком жаркими для человека, который старался казаться равнодушным.

Она хотела было закричать, но поцелуй заглушил ее восклицание. Раздраженная и

взволнованная, девушка оттолкнула Маликорна к стене.

– Ну, вот, – философски заметил Маликорн. – Теперь на шесть недель.

До свидания, сударыня, примите мой почтительный привет.

И он сделал несколько шагов к выходу.

– Нет, нет, вы не уйдете! – вскрикнула Монтале, топнув ногой. – Останьтесь, я приказываю.

– Вы приказываете?

– Разве я не ваша госпожа?

– Да, властительница моих чувств и моего ума.

– Значит, мое достояние – сухой ум и глупые чувства?

– Берегитесь, Монтале, – остановил ее Маликорн, – я вас знаю: вы можете влюбиться в вашего слугу!

– Ну да, да, – сказала она, кидаясь к нему на шею скорее с детской беспечностью, нежели со страстью. – Да, да, ведь я же должна поблагодарить вас!

– За что?

– За место фрейлины: в нем вся моя будущность.

– И моя также.

Монтале посмотрела на него.

– Как ужасно, – вздохнула она, – что никогда не угадаешь, говорите вы серьезно или шутите.

– Вполне серьезно. Я еду в Париж; вы едете туда же, мы едем в столицу.

– Значит, только ради этого вы помогли мне? Эгоист!

– Что делать, Ора, я не могу жить без вас.

– По правде сказать, я тоже не могу обойтись без вас. А все-таки надо сознаться, что вы злой человек.

– Ора, милая Ора, берегитесь, не принимайтесь опять за оскорбления; вы знаете, какое действие они производят на меня. Я буду вас обожать.

И, еще не кончив говорить, Маликорн снова привлек к себе девушку.

В это мгновение на лестнице послышались шаги.

Молодые люди стояли так близко друг к другу, что вошедший увидел бы их обнявшимися, если бы Монтале с силой не оттолкнула Маликорна, который ударился о дверь спиной в то самое мгновение, когда она открылась.

Послышался громкий возглас, сердитая воркотня.

Это оказалась г-жа де Сен-Реми. Злополучный Маликорн стукнул ее дверью, которую она открывала.

– Опять этот бездельник! – закричала старая дама. – Вечно он тут!

– Ах, извините, – почтительно ответил Маликорн, – вот уже целая долгая неделя, как меня здесь не было.

Глава 30.

НАКОНЕЦ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ГЕРОИНЯ ЭТОЙ ПОВЕСТИ

Следом за г-жой де Сен-Реми по лестнице шла Луиза де Лавальер. Она услышала взрыв материнского гнева и, поняв, что его вызвало, с трепетом вошла в комнату. Тут она увидела беднягу Маликорна. Даже самый хладнокровный зритель невольно рассмеялся бы или почувствовал бы сострадание при виде его безнадежной позы.

Он спрятался за большое кресло, чтобы избежать первого натиска г-жи де Сен-Реми; не надеясь смягчить ее речами, – она говорила громче его и без передышки, – он возлагал все надежды на выразительность своих жестов.

Почтенная дама ничего не слышала и не видела; она давно невзлюбила Маликорна. Однако ее гнев был так велик, что неминуемо должен был излиться и на сообщницу Маликорна. Очередь дошла до Монтале.

– А вы, сударыня, должно быть, надеетесь, что я не передам герцогине, что делается у одной из ее фрейлин!

– О матушка! – воскликнула Луиза. – Ради бога, пощадите!

– Молчите, сударыня, и не трудитесь напрасно заступаться за недостойных. Уж и того довольно, что вам, честной девушке, вечно приходится видеть такой пример. А вы еще заступаетесь! О, я не потерплю этого!

– Но, – возмутилась наконец Ора, – не понимаю, почему вы так говорите со мной? Кажется, я не делаю ничего дурного!

– А этот бездельник, сударыня? – продолжала г-жа де Сен-Реми, указывая на Маликорна. – Его-то что сюда привело? Доброе дело? А?

– Ни доброе, ни злое; он просто пришел повидаться со мной.

– Хорошо, хорошо, – пригрозила г-жа де Сен-Реми, – ее королевское высочество все узнает! Герцогиня сама рассудит...

– Во всяком случае, я не понимаю, почему господин Маликорн не может иметь на меня виды, раз у него честные намерения.

– Честные намерения? С таким-то лицом! – возмутилась г-жа де Сен-Реми.

– Благодарю вас, сударыня, от своего лица, – поклонился Маликорн.

– Пойдем, дитя мое, пойдем! – позвала дочь г-жа де Сен-Реми. – Мы предупредим герцогиню, скажем ей, что в ту самую минуту, когда она оплакивает своего супруга, а мы нашего господина, в старом замке Блуа, в этой обители скорби, находятся люди, которые забавляются и веселятся.

– О! – в один голос застонали обвиняемые.

– Фрейлина! И это фрейлина нашей герцогини! – возопила г-жа де Сен-Реми, воздевая руки к небу.

– В этом вы как раз и ошиблись, – сказала, потеряв терпение, Монтале, – я больше не фрейлина, по крайней мере, не фрейлина герцогини!

– Вы подаете в отставку, сударыня? Прекрасно! Я могу только порадоваться вашему решению и радуюсь!

– Я не подаю в отставку, я только перехожу на другое место.

– У мещан или у судебных чиновников? – презрительно спросила г-жа де Сен-Реми.

– Знайте, сударыня, что такая девушка, как я, не может служить мещанам или судебским чиновникам. Я перехожу от жалкого двора, где вы прозябаете, ко двору почти королевскому.

– Ах, к королевскому двору! – воскликнула г-жа де Сен-Реми, пытаясь рассмеяться. – Что вы на это скажете, дочь моя?

И она повернулась к Луизе, стараясь во что бы то ни стало увести ее от Монтале. Но Луиза, не разделяя желания г-жи де Сен-Реми, примирительно смотрела своими прекрасными ласковыми глазами то на мать, то на Ору.

– Я не сказала «к королевскому двору», – ответила Монтале, – потому что принцесса Генриетта Английская, которая будет супругой его высочества герцога Филиппа, не королева. Я сказала «к почти королевскому», и не ошиблась, потому что принцесса станет невесткой короля.

Если бы в крышу замка ударила молния, она бы менее ошеломила г-жу де Сен-Реми, чем последние слова Монтале.

– При чем тут ее высочество принцесса Генриетта? – пролепетала старая дама.

– Я хотела сообщить вам, что вступаю в число ее фрейлин, больше ничего.

– Ее фрейлин? – в один голос закричали г-жа де Сен-Реми и Луиза, первая с отчаянием, вторая с радостью.

– Да, мадам.

Госпожа де Сен-Реми опустила голову: удар был слишком силен.

Но она почти тотчас же выпрямилась, чтобы выпустить в противницу последний снаряд.

– О, – сказала она, – такие обещания дают нередко. Люди тешат себя безумными надеждами, но в последнее мгновение, когда приходит время исполнить обещание и

осуществить эти надежды, влияние, на которое рассчитывали, вдруг рассеивается как дым.

– Сударыня, влияние моего покровителя несомненно; его обещания равносильны выполнению.

– А не будет ли нескромностью спросить имя этого покровителя?

– О, ничуть! Мой покровитель – этот господин, – поклонилась Монтале, указывая на Маликорна, который в продолжение всей этой сцены сохранял самое невозмутимое хладнокровие и самую комическую важность.

– Господин Маликорн! – воскликнула г-жа де Сен-Реми, разражаясь хохотом. – Человек с таким могуществом, обещания которого равносильны выполнению, – это господин Маликорн?

Маликорн улыбнулся, а Монтале вместо ответа вынула из кармана патент на должность фрейлины и показала его г-же де Сен-Реми.

– Вот патент, – сказала она.

Свершилось! Бросив взгляд на чудесную бумагу, бедная женщина опустила руки, выражение безграничной зависти и отчаяния исказило ее лицо, и, чтобы не упасть в обморок, она опустилась на стул.

Монтале не злоупотребляла своим торжеством; она была не способна чрезмерно радоваться победе и унижать поверженного врага, особенно когда врагом этим была мать ее подруги.

Маликорн был менее великодушен. Он принял важную позу и развалился в кресле с таким непринужденным видом, за который два часа тому назад ему, наверное, пригрозили бы палкой.

– Фрейлина молодой принцессы! – повторила еще не совсем поверившая г-жа де Сен-Реми.

– Да, и только благодаря хлопотам господина Маликорна.

– Это невероятно. Правда, Луиза, это невероятно?

Но Луиза молчала, задумчивая, почти печальная.

Приложив руку к своему красивому лбу, она вздохнула.

– Однако, господин Маликорн, – вдруг спросила г-жа де Сен-Реми, – что вы сделали, чтобы добыть это место?

– Я попросил об этом одного из моих друзей.

– А, у вас есть при дворе друзья, которые могут давать вам такие доказательства своей дружбы?

– Гм! Как видите.

– А можно узнать их имена?

– Я не говорил, что у меня несколько друзей, сударыня. Я сказал «один из друзей».

– И его имя?

– Как вы торопитесь! Когда у человека есть такой могущественный друг, он не показывает его всем, опасаясь, как бы его не украли.

– Вы правы, господин Маликорн, скрывая имя своего покровителя: полагаю, вам было бы трудно назвать его.

– Если этого друга не существует, – заметила Монтале, – то, во всяком случае, существует патент, а это главное.

– Значит, – проговорила г-жа де Сен-Реми с улыбкой кошки, готовой выпустить когти, – когда я застала у вас господина Маликорна, он привез вам патент?

– Именно, вы угадали.

– Но тогда в этом нет ничего дурного.

– Я тоже так думаю.

– И я напрасно упрекала вас.

– Совершенно напрасно, но я так привыкла к вашим упрекам, что извиняю их.

– В таком случае, Луиза, нам остается только уйти.

Что же ты?

– Что вы сказали? – спросила, вздрогнув, Луиза де Лавальер.
– Я вижу, ты совсем не слушаешь меня, дитя мое!
– Нет, я задумалась.
– О чем?
– Об очень многом.
– Ты-то хоть не сердись на меня, Луиза? – спросила Монтале, сжимая руки подруги.
– За что же я могу на тебя сердиться, дорогая моя Ора? – ответила молодая девушка своим нежным, мелодичным голосом.
– Ну, если бы она и досадовала на вас, – заметила г-жа де Сен-Реми, бедняжка имела бы, пожалуй, на это право.
– За что же?
– Мне кажется, она из такой же хорошей семьи и такая же красивая, как вы.
– Матушка! – вскричала Луиза.
– В сто раз красивее меня, – да! Но из лучшей семьи – это, пожалуй, нет. Однако я не понимаю, почему из-за этого Луиза должна на меня сердиться.
– А вы думаете, ей весело похоронить себя в Блуа, когда вы будете блистать в Париже?
– Но, сударыня, ведь не я же мешаю Луизе отправиться в Париж. Напротив, я была бы счастлива, если бы она переселилась туда.
– Но мне кажется, что господин Маликорн, всемогущий при дворе...
– Ах, сударыня, – ответил Маликорн, – в этом мире каждый заботится о себе.
– Маликорн! – остановила его Монтале. И, наклонясь к молодому человеку, прибавила шепотом:
– Займите госпожу де Сен-Реми, спорьте или миритесь с ней, только займите. Мне нужно поговорить с Луизой.
И легкое пожатие руки наградило Маликорна за ожидаемое повиновение.
Маликорн нехотя подошел к г-же де Сен-Реми; между тем Ора обняла подругу и спросила:
– Что с тобой? Скажи, может быть, ты действительно меня разлюбишь за то, что я буду блистать при дворе, как говорит твоя мать?
– О нет, – едва сдерживала слезы Луиза, – напротив, я очень счастлива за тебя.
– Счастлива? А между тем ты, кажется, готова расплакаться?
– Разве плачут только от зависти?
– А, понимаю! Я еду в Париж, и это слово напоминает тебе об одном человеке!..
– Ора!
– Который когда-то жил в Блуа, а теперь живет в Париже.
– Не знаю, право, что со мной, – но я задыхаюсь.
– Так плачь, если не можешь улыбаться...
Луиза подняла свое кроткое личико, по которому катились крупные, блестящие, точно брильянты, слезы.
– Сознайся же, – настаивала Монтале.
– В чем?
– Скажи: почему ты плачешь? Без причины не плачут. Я твоя подруга и сделаю все, о чем ты попросишь. Поверь, Маликорн имеет больше влияния, чем думают! Скажи: ты хочешь попасть в Париж?
– Ах! – вздохнула Луиза.
– Ты хочешь в Париж?
– Остаться здесь, одной, в этом старом замке, когда я так привыкла слышать твое пение, пожимать твою руку, бегать с тобой по парку! О, как я буду скучать, как скоро я умру!
– Тебе хочется в Париж?
Луиза вздохнула.
– Ты не отвечаешь?
– Какого ты ждешь ответа?

– Да или нет; по-моему, ответить не трудно.

– Ах, ты очень счастлива, Монтале!

– Значит, ты хотела бы быть на моем месте?

Луиза молчала.

– Упрямица! – упрекнула ее Ора. – Ну, виданное ли дело иметь секреты от подруги? Сознайся, что ты умираешь от желания переехать в Париж, от желания увидеть Рауля.

– Я не могу сказать этого.

– Хорошо, Луиза. Ты видишь патент?

– Конечно, вижу.

– Ну, так я выхлопочу для тебя такой же.

– С чьей помощью?

– Маликорна.

– Ора, ты говоришь правду? Это возможно?

– Если Маликорн достал патент для меня, то нужно, чтобы он сделал то же и для тебя.

Услышав свое имя, Маликорн воспользовался этим предложением, чтобы закончить беседу с г-жой де Сен-Реми. Он обернулся.

– Что угодно?

– Подойдите, господин Маликорн, – с повелительным жестом проговорила Ора.

Маликорн повиновался.

– Такой же патент, – произнесла Монтале.

– Как?

– Еще точно такой же патент. Кажется, ясно? Мне он нужен!

– Ого! Нужен?

– Это невозможно, правда, господин Маликорн? – кротко спросила Луиза.

– Гм! Если это для вас...

– Для меня, да, господин Маликорн, для меня...

– И если мадемуазель Монтале тоже просит об этом...

– Не просит, а требует.

– Тогда придется повиноваться.

– И вы получите для нее назначение?

– Постараюсь.

– Без уклончивых ответов. Еще на этой неделе Луиза де Лавальер будет фрейлиной принцессы Генриетты.

– Как у вас все просто!

– На этой неделе, не то...

– Не то?

– Вы возьмете обратно мой патент, господин Маликорн. Я не расстанусь с подругой...

– Дорогая Монтале!

– Хорошо. Пусть ваш патент остается при вас. Мадемуазель де Лавальер будет фрейлиной.

– Правда?

– Да, да.

– Так я могу надеяться, что уеду в Париж?

– Можете быть уверены.

– О господин Маликорн, как я вам благодарна! – воскликнула Луиза, прыгая от радости.

– Притворщица! – сказала Монтале. – Уверяй меня теперь, что ты не влюблена в Рауля!

Луиза покраснела, как майская роза. Вместо ответа она подошла к матери и обняла ее.

– Господин Маликорн переодетый принц, – заметила старая дама, – у него неограниченная власть.

– Вы тоже хотите быть фрейлиной? – спросил Маликорн, обращаясь к г-же де Сен-Реми. – Пока я здесь, придется мне для всех добыть назначения.

С этими словами он вышел, оставив бедную г-жу де Сен-Реми в полном смятении, как

сказал бы Таллеман де Рео.

– Ну, – прошептал он, спускаясь с лестницы, – это будет стоить еще тысячу ливров. Что поделаешь! Мой друг Маникан ничего не устраивает даром!

Глава 31. **МАЛИКОРН И МАНИКАН**

Появление этих двух новых действующих лиц в нашей повести заслуживает некоторого внимания со стороны рассказчика и читателя.

Итак, мы сообщим кое-какие подробности о Маликорне и Маникане.

Маликорн, как известно, ездил в Орлеан за патентом для мадемуазель де Монтале, который произвел такое впечатление в Блуаском замке.

Дело в том, что в Орлеане в то время жил Маникан. Это был большой оригинал, человек очень умный, вечно нуждающийся в деньгах, хотя он и черпал вволю из кошелька графа де Гиша, одного из самых туго набитых кошельков в те времена. Надо сказать, что Маникан, сын бедного дворянина, вассала Граммонов, был давним товарищем графа де Гиша.

С детских лет из далеко не детского расчета он покрывал своим именем проказы графа де Гиша. Когда его знатный приятель, бывало, утащит плоды, предназначавшиеся – для супруги маршала, разобьет зеркало, что-нибудь порвет или сломает, – всякий раз Маникан брал на себя вину и подвергался наказанию, которое не было менее суровым оттого, что страдал невинный.

Такое самоотвержение ему оплачивалось. Вместо того чтобы одеваться скромно, сообразно средствам отца, он всегда блистал роскошными костюмами, точно молодой вельможа, имеющий пятьдесят тысяч ливров дохода в год.

Нельзя сказать, чтобы у него был подлый характер или мелочный ум; нет, он был философ, вернее, ему были свойственны равнодушие и склонность к мечтательности, убивавшие в нем всякое честолюбие. Единственное честолюбие заключалось в стремлении широко тратить деньги. В этом отношении наш добрый Маникан не знал никаких границ.

Регулярно – раза три-четыре в год – он опустошал кошелек графа де Гиша, а когда у того ничего не оставалось и он заявлял, что пройдет не менее двух недель, пока его карманы будут снова пополнены родительской щедростью, Маникан терял всякую энергию, ложился в постель, не вставал, не ел и продавал свои великолепные костюмы, говоря, что, раз он лежит, они ему не нужны.

За время этой умственной и физической расслабленности кошелек графа де Гиша вновь наполнялся, и часть его содержимого переходила в карманы Маникана, который покупал себе новое платье и начинал прежнюю жизнь.

Мания продавать свое совершенно новое платье за четверть цены сделала нашего героя лицом, известным в Орлеане, куда он почему-то приезжал на время покаяния. Провинциальные кутилы, щеголи, жившие на шестьсот ливров в год, делили между собой остатки его роскоши.

В числе любителей этих великолепных одежд был и наш друг Маликорн, сын городского старшины, у которого принц Конде, вечно нуждавшийся, как и всякий подлинный Конде, то и дело занимал деньги под большие проценты.

Маликорн пользовался отцовской кассой. Иными словами, в ту эпоху нестрогой морали молодой человек тоже давал деньги займы и составил себе из этого годовой доход в тысячу восемьсот ливров, помимо тех шестисот, которые ему доставляла щедрость отца. Таким образом, Маликорн был королем орлеанских щеголей: он мог тратить до двух тысяч четырехсот ливров в год.

Но в противоположность Маникану Маликорн был страшно честолюбив: из честолюбия он любил, из честолюбия швырял деньгами, из честолюбия готов был разориться.

Маликорн решил во что бы то ни стало возвыситься; ради этого он обзавелся возлюбленной и другом. Возлюбленная Маликорна, Монтале, не уступала его страсти; но она

была знатная девушка, и Маликорн довольствовался этим. Его друг был холоден к нему, но он был любимцем графа де Гиша, который был другом герцога Орлеанского, и Маликорн довольствовался этим.

Монтале стоила ему (ленты, перчатки, сласти) тысячу ливров в год. Маникан обходился ему в год от тысячи двухсот до полутора тысяч, которые он давал ему в долг без отдачи.

Итак, у Маликорна не оставалось ровно ничего. Впрочем, нет, мы забыли: у него была отцовская касса.

Молодой человек прибегнул к одному средству, которое хранил в глубочайшей тайне. Он позаимствовал из кассы старшины около пятнадцати тысяч ливров, дав себе клятву при первом же удобном случае покрыть дефицит.

Таким случаем должно было оказаться получение хорошего места при дворе герцога Орлеанского, когда к его свадьбе начнут набирать штат придворных.

И вот это время настало: начали набирать придворных.

Хорошее место при особе королевской крови, да еще полученное по рекомендации такого человека, как граф де Гиш, могло приносить, по крайней мере, двенадцать тысяч ливров в год, а благодаря привычке Маликорна увеличивать свои доходы двенадцать тысяч легко могли превратиться в двадцать.

Получив подобное место, Маликорн собирался жениться на Монтале: такая жена, благородного происхождения, да еще с приличным приданым, должна была помочь его возвышению. Но для того, чтобы у Монтале появилось хорошее приданое, нужно было, чтобы Ора, не имевшая большого наследственного состояния, хотя она и была единственной дочерью, тоже получила место у какой-нибудь знатной принцессы, столь же расточительной, сколь была скупа овдовевшая герцогиня.

Не желая, чтобы жена жила в одном месте, а муж в другом, ибо такое положение представляет большие неудобства, особенно при характерах, которыми обладали будущие супруги, Маликорн решил сосредоточить все в доме герцога Орлеанского, брата короля. Монтале будет фрейлиной принцессы;

Маликорн будет служить при герцоге.

Как мы видим, план был неплохо задуман и удачно выполнен.

Маликорн попросил Маникана добыть через графа де Гиша патент на звание фрейлины. Граф де Гиш обратился к герцогу, который, не колеблясь, подписал патент.

Дальнейшие планы Маликорна состояли в следующем: поместив ко двору принцессы Генриетты преданную жену, умную, молодую, красивую и ловкую, узнавать через нее все тайны принцессы, в то время как он сам и его друг Маникан завладеют секретами мужа. Таким путем он быстро достигнет блестящего положения.

Конечно, этот план наталкивался на множество затруднений, из которых главным была сама Монтале. Капризная, изменчивая, лукавая, взбалмошная, дерзкая, строгая, вооруженная острыми коготками, она иногда одним прикосновением своих белых пальчиков или дуновением смеющихся губ разрушала прекрасное здание, которое Маликорн терпеливо возводил в течение целого месяца.

Если бы не любовь, Маликорн был бы счастлив; но он невольно чувствовал эту любовь, хотя тщательно скрывал ее, убежденный, что при малейшей уступке своей непостоянной возлюбленной шалунья начнет его унижать и над ним смеяться.

Он оскорблял возлюбленную своим пренебрежением. Тогда она, желая его испытать, шла навстречу его страсти, он был полон желаний, но напускал на себя холодность, уверенный, что, если он откроет ей объятия, она убежит и посмеется над ним.

Со своей стороны, Монтале воображала, что не любит Маликорна, но на самом деле любила его. Маликорн так часто говорил ей о своем равнодушии, что время от времени она начинала верить этому, и тогда казалось, что она ненавидит молодого человека.

Больше всего Маликорн привлекал Ору де Монтале тем, что всегда был начинен самыми свежими придворными и городскими новостями; он всегда привозил с собой в Блуа новую моду, тайну, духи. Он побеждал ее тем, что никогда не просил о свидании, а, наоборот,

заставлял упрашивать себя, чтобы принять знаки благосклонности, которых он страстно желал.

Монтале тоже не скупилась на рассказы. От нее Маликорн знал все, что делалось в доме овдовевшей герцогини, и, в свою очередь, создавал из этих сведений такие сказки для Маникана, что, слушая их, можно было умереть со смеху. Маникан передавал их де Гишу, а тот герцогу Филиппу.

Вот в двух словах сеть мелких интересов и интриг, соединявшая Блуа с Орлеаном и Орлеан с Парижем; они должны были привести бедную Луизу де Лавальер в Париж, где ее появление вызвало такие крупные перемены; уходя из комнаты Оры под руку с матерью, она не подозревала, какая необычайная судьба ожидала ее.

Что касается старичка Маликорна – мы имеем в виду орлеанского старшину, – то он разбирался в настоящем не лучше, чем иные в будущем. Когда он ежедневно прогуливался после обеда от трех до пяти часов на площади св. Екатерины, в своем сером платье, сшитом по моде времен Людовика XIII, и в суконных туфлях с большими бантами, ему и в голову не приходило, что это он оплачивал все взрывы смеха, все тайные поцелуи, перешептывания, все эти ленты и сокровенные планы, цепь которых тянулась на сорок пять лье от Блуаского замка до Пале-Рояля.

Глава 32. **МАНИКАН И МАЛИКОРН**

Как мы уже сказали, Маликорн отправился к своему другу Маникану, временно удалившемуся от света в город Орлеан. Тот как раз собирался продать последний приличный костюм, который у него остался.

За две недели перед тем Маникан взял у графа де Гиша сто пистолей, совершенно необходимые ему, чтобы подготовиться к походу, то есть к путешествию в Гавр, навстречу принцессе. А три дня тому назад он выудил у Маликорна пятьдесят пистолей в виде вознаграждения за патент для Монтале.

Он истратил все эти деньги, и никаких поступлений больше не предвиделось. Ему оставалось только продать свой прекрасный, восхищавший весь двор костюм из сукна и атласа, вышитый золотом, с золотыми галунами. Но чтобы продать этот костюм, Маникану пришлось лечь в постель.

Вынужденный по меньшей мере целую неделю обходиться без танцев и игр, Маникан пребывал в унынии. Он ждал ростовщика, когда к нему вошел Маликорн.

У Маникана вырвался крик отчаяния.

– Как, – сказал он с непередаваемой тоской, – опять вы, милый друг?

– О, вы весьма любезны, – ответил Маликорн.

– Видите ли, я ждал денег, а вместо этого явились вы.

– А что, если я принес вам деньги?

– Тогда дело другое. Милости прошу, дорогой друг.

И он протянул руку, но не Маликорну, а за его кошелем.

Маликорн сделал вид, что не понял, и подал ему руку.

– А деньги? – спросил Маникан.

– Сначала, дорогой друг, заработайте их.

– А как?

– Нужно встать с постели и немедленно отправиться к графу де Гишу.

– Встать? – удивился Маникан, потягиваясь на кровати. – Ну нет!

– Значит, вы продали всю свою одежду?

– У меня остался один камзол, и даже самый нарядный, но я жду покупателя.

– А панталоны?

– Они перед вами на стуле.

– Ну раз у вас остались панталоны и камзол, надевайте их, велите седлать лошадь – ив

путь.

– И не подумаю.

– Почему?

– Но разве вы не знаете, что граф де Гиш в Этампе?

– Нет, я думал, что он в Париже; значит, вместо тридцати лье вам придется проехать всего четырнадцать.

– Вы неподражаемы! Если я проеду в этом платье четырнадцать лье, его уже нельзя будет потом надеть, и вместо того, чтобы продать костюм за тридцать пистолей, мне придется уступить его за пятнадцать.

– Уступайте за какую угодно цену, но мне нужен второй патент на должность фрейлины.

– Для кого? Или у Монтале есть двойник?

– Как вы коварны! Это вы проматываете два состояния: мое и графа де Гиша.

– Вернее, графа де Гиша и ваше.

– Это правда, по месту и почет; но вернемся к патенту.

– Друг мой, к принцессе назначат только двенадцать фрейлин. Я уже достал для вас то, что оспаривали около тысячи двухсот девиц, и для этого мне пришлось пустить в ход всю мою дипломатию...

– Знаю, вы действовали геройски, милый друг.

– Знаете, сколько было хлопот? – сказал Маникан.

– О, мне об этом незачем говорить! Когда я буду королем, обещаю вам...

– Что вы будете именовать Маликорном Первым?

– Нет, обещаю назначить вас суперинтендантом моих финансов, но сейчас не об этом идет речь.

– К сожалению.

– Мне нужно достать второе место фрейлины.

– Если бы вы, мой друг, обещали мне небеса, я не двинулся бы с места.

В кармане Маликорна зазвенели монеты.

– Здесь у меня двадцать пистолей, – заметил Маликорн.

– А что вы хотите с ними сделать?

– Ах, – ответил немного раздосадованный Маликорн, – может быть, я хочу их прибавить к тем пятистам, которые вы уже должны мне.

– Вы правы, – согласился Маникан и снова протянул руку, – если так, я могу их принять. Давайте!

– Погодите же. Протянуть руку – этого мало. Скажите: получу я от вас патент за двадцать пистолей?

– Конечно. Сегодня же.

– О, берегитесь, господин Маникан, вы берете на себя слишком много, я не прошу у вас такой жертвы. Тридцать лье в один день – это слишком: вы убьете себя.

– Для меня нет ничего невозможного, когда надо оказать дружескую услугу. Сколько лье до Этампа?

– Четырнадцать.

– Я предлагаю вам пари на двадцать пистолей.

– Какого рода?

– Вы говорите, что до Этампа четырнадцать лье, значит, туда и обратно двадцать восемь?

– Без сомнения.

– Положим четырнадцать часов на эти двадцать восемь лье, час на свидание с графом де Гишем и час на то, чтобы он написал принцу. Всего выходит шестнадцать часов.

– Вы считаете, как Кольбер.

– Сейчас полдень.

– Половина первого.

– Ого, у вас отличные часы.

– Так что вы хотели сказать? – поинтересовался Маликорн, пряча часы в карман.

– Да, правда. Я предлагаю вам пари на двадцать пистолей, что вы получите письмо графа де Гиша через восемь часов.

– У вас, должно быть, крылатый конь?

– Это мое дело. Хотите держать пари?

– Я получу письмо графа через восемь часов?

– Да.

– С его собственноручной подписью?

– Да.

– Хорошо, согласен, – решил Маликорн, заинтересованный тем, как этот любитель продавать костюмы выйдет из положения.

– Дайте мне бумагу, чернила и перо.

– Вот.

Маникан со вздохом поднялся и, опираясь на левую руку, старательно вывел:

«Квитанция на место фрейлины герцогини Орлеанской, которое граф де Гиш постарается устроить немедленно.

Де Маникан».

Окончив эту трудную работу, Маникан лег и вытянулся.

– Ну, – спросил Маликорн, – что все это значит?

– Да то, что, если вы торопитесь получить письмо де Гиша к принцу, я выиграл пари.

– Как?

– Мне кажется, это ясно: вы берете эту бумагу и едете вместо меня.

– Так.

– Вы пускаете лошадь карьером, и через шесть часов вы в Этампе. Через семь – получаете письмо графа, и я выигрываю пари, не вставая с постели, что удобно и мне и вам.

– Положительно, Маникан, вы великий человек.

– Я знаю.

– Итак, я еду в Этамп и передаю эту записку графу де Гишу?

– Он дает вам такую же к принцу, и вы отправляетесь с нею в Париж.

– Принц согласится?

– Немедленно.

– Значит, вы от графа де Гиша получаете все, что вам угодно, мой милый Маникан?

– Все, кроме денег.

– Гм, исключение неприятное! Что, если бы вместо денег вы попросили у него...

– Что же?

– Что, если бы один из ваших друзей попросил услуги?

– Я ему не оказал бы ее или, по крайней мере, спросил, какую услугу он окажет мне взамен.

– Отлично. Этот друг говорит с вами.

– Вы, Маликорн? Значит, вы очень богаты?

– У меня есть еще пятьдесят пистолей.

– Именно нужная мне сумма. Где эти деньги?

– Тут, – сказал Маликорн и хлопнул себя по карману.

– Тогда говорите, мой милый, что вам нужно.

Маликорн опять взял чернила, перо, бумагу и подал Маникану.

– Пишите, – попросил он.

– Диктуйте.

– «Квитанция на должность при дворе герцога Орлеанского...»

– О, – произнес Маникан, поднимая перо. – Должность при дворе герцога за пятьдесят пистолей?

– Вы ослышались, мой дорогой: я сказал – пятьсот...

– И эти пятьсот?..

– Вот они.

Маникан пожирал глазами стопку монет, но на этот раз Маликорн держал деньги далеко.

– Так что же вы скажете? Пятьсот пистолей!

– Я скажу, что это даром, – заметил Маникан и взялся за перо. – Скоро мое влияние кончится по вашей вине. Диктуйте.

Маликорн продолжал:

– «... которую мой друг граф де Гиш выхлопочет у герцога для моего друга Маликорна».

– Готово, – поднял на пего глаза Маникан.

– Простите, но вы забыли подписать свое имя.

– Да, правда! Давайте пятьсот пистолей.

– Вот двести пятьдесят.

– А остальные двести пятьдесят?

– Когда я получу место.

Маникан поморщился.

– В таком случае верните мне рекомендательное письмо.

– Зачем?

– Я хочу приписать одно слово: «спешное».

Маликорн отдал письмо. Маникан сделал приписку.

– Хорошо, – заметил Маликорн, взяв бумагу обратно.

Маникан стал пересчитывать золото.

– Тут не хватает двадцати пистолей, – сказал он.

– Как?

– Двадцати пистолей, которые я у вас выиграл.

– Когда?

– Когда я держал с вами пари, что через восемь часов вы получите письмо от графа де Гиша.

– Верно.

И Маликорн прибавил еще двадцать пистолей. Маникан собрал пригоршнями золото и дождем рассыпал его по постели.

– Вот второе место, – прошептал Маликорн, стараясь высушить чернила на листке. – С первого взгляда кажется, будто оно стоит мне дороже первого, по...

Он не договорил, взял перо и написал Монтале:

«Прошу вас передать вашей подруге, что она вскоре получит патент. Я еду за подписью. Я проеду восемьдесят шесть лье из любви к вам».

Потом с саркастической улыбкой закончил свои размышления: «С первого взгляда кажется, будто это место стоило мне дороже первого, но... выгода, я думаю, пропорциональна затратам. Мадемуазель де Лавальер принесет мне больше выгоды, чем Монтале, или... или я не Маликорн!»

– До свиданья, Маникан.

И он вышел.

Глава 33.

ДВОР ОСОБНЯКА ГРАММОНА

Приехав в Этамп, Маликорн узнал, что граф отбыл в Париж.

Маликорн отдохнул часа два, потом продолжал свой путь.

В Париж он приехал ночью и направился в маленькую гостиницу, где всегда останавливался, когда наезжал в столицу, а на следующий день в восемь часов явился в дом маршала Граммона. Маликорн приехал как раз вовремя, ибо застал графа за последними сборами. Де Гиш готовился проститься с принцем перед поездкой в Гавр, где цвет французской знати собирался встретить английскую принцессу.

Маликорн произнес имя Маникана, и его тотчас приняли.

Граф де Гиш был во дворе дома и осматривал экипажи, которые доезжачие и конюхи показывали ему.

– Маникан! – воскликнул он. – Пусть идет скорее, черт побери!

И он сделал несколько шагов навстречу гостю.

Маликорн проскользнул в полуоткрытые ворота и взглянул на де Гиша.

Граф удивился, увидев вместо своего друга незнакомое лицо.

– Простите, господин граф, – сказал Маликорн, – произошла ошибка: вам доложили о Маникане, а я только его посланный.

– А, – разочарованно протянул де Гиш. – Что же вы мне привезли?

– Письмо, господин граф.

Маликорн передал первую записку, внимательно наблюдая за выражением лица де Гиша.

Тот прочитал и рассмеялся.

– Опять, – удивился он, – опять фрейлина! Да этот чудак Маникан покровительствует всем фрейлинам Франции.

Маликорн поклонился.

– А почему он сам не приехал?

– Он лежит в постели.

– Значит, он без денег? – Де Гиш пожал плечами. – Да что же он делает со своими деньгами?

Маликорн сделал жест, говоривший, что об этом он знает не больше графа.

– Так, значит, он не будет в Гавре?

Новый жест Маликорна.

– Это невозможно. Там будут все.

– Надеюсь, господин граф, он не пропустит такого события.

– Ему следовало уже быть в Париже.

– Чтобы наверстать потерянное время, он может поехать прямым путем.

– А где он?

– В Орлеане.

– Мне кажется, – сказал де Гиш с поклоном, – вы человек со вкусом.

Маликорн был в платье Маникана. Он, в свою очередь, поклонился.

– Вы оказываете мне большую честь, сударь.

– С кем я имею удовольствие говорить?

– Моя фамилия Маликорн, сударь.

– Как вы находите, господин де Маликорн, эти пистолетные кобуры?

Маликорн был неглуп и тотчас понял положение: частица «де» перед именем равняла его с собеседником.

С видом знатока он посмотрел на кобуры и ответил без колебания:

– Тяжеловаты, граф.

– Видите, – обратился де Гиш к седельнику, – этот господин, человек со вкусом, находит их тяжелыми. Что я вам только что говорил?

Седельник начал оправдываться.

– А что вы скажете о той лошади? – спросил де Гиш. – Это тоже моя новая покупка.

– На вид безупречный конь, господин граф. Но чтобы высказать мнение, следует поездить на нем.

– Ну так садитесь, господин де Маликорн, и сделайте два-три круга.

Маликорн свободно собрал поводья от узды и мундштука, взялся левой рукой за гриву, поставил ногу в стремя, поднялся и сел в седло. Сперва он объехал вокруг двора шагом. Потом рысью. Третий раз пустил копя галопом. Наконец Маликорн остановился подле графа, прыгнул на землю и кинул поводья конюху.

– Что же? – спросил граф. – Что выскажете, господин де Маликорн?

– Граф, – отвечал Маликорн, – это лошадь меклебургской породы. Когда я смотрел,

хорошо ли пристегнут мундштук, я заметил, что ей седьмой год.

В этом возрасте лошадь следует готовить к войне. Легка в поводе. Говорят, что лошадь с плоской головой никогда не бывает тугоуздой. Холка низковата. Круп заставляет меня сомневаться в чистоте немецкой породы. В ней должна быть английская кровь. Бабки прямые, но на рыси она засекает ноги. Обратите внимание на ковку: при вольтах и перемене ног – мягка.

Вообще ею легко управлять.

– Хорошее суждение, господин де Маликорн, – заметил граф. – Вы знаток. – Потом, повернувшись к нему, добавил:

– У вас прекрасный костюм.

Вероятно, он сшит не в провинции? С таким вкусом не шьют где-нибудь в Туре или Орлеане.

– Нет, господин граф, это действительно парижский костюм.

– Да, я вижу. Но вернемся к делу. Итак, Маникан хочет назначения еще одной фрейлины?

– Вы прочли, что он вам пишет, господин граф.

– А первая кто?

Маликорн почувствовал, что краснеет.

– Очаровательная девушка, граф, – быстро ответил он. – Ора де Монтале.

– А! Вы ее знаете?

– Да, она моя невеста или почти...

– Тогда дело другого рода... Поздравляю, – усмехнулся де Гиш.

У него на языке вертелась шутка в стиле придворных, но слово «невеста» напомнило ему об уважении к женщинам.

– А для кого второй патент? – спросил де Гиш. – Не для невесты ли Маникана? В таком случае мне ее жаль, бедняжку. Плохой будет у нее муж.

– Нет, граф... Второй патент для мадемуазель де Л а Бом Леблан де Лавальер.

– Не знаю ее.

– Да, господин граф, ее мало знают в свете, – сказал Маликорн с улыбкой.

– Хорошо, я поговорю с принцем. Кстати, она дворянка?

– Да, из очень хорошего рода и фрейлина вдовствующей герцогини.

– Отлично. Не угодно ли проехать со мной к герцогу?

– Если вы мне окажете такую честь, охотно.

Сняв письмо Маникана, де Гиш сунул его в карман.

– Граф, – застенчиво сказал Маликорн, – мне кажется, вы прочли не все.

– Разве не все?

– Да, в конверте лежало два письма.

Граф снова открыл конверт.

– А, – протянул он, – верно.

И он развернул непрочитанную записку.

– Я так и думал! Еще просьба о месте при дворе герцога Орлеанского.

Ах, этот Маникан ненасытен! Злодей, он, должно быть, торгует должностями?

– Нет, господин граф, он хочет сделать подарок.

– Кому?

– Мне, граф.

– Почему вы мне не сказали этого сразу, господин де Мовезкорн?

– Маликорн.

– Простите, меня вечно путает латынь: ужасная привычка к этимологии.

И зачем, черт побери, заставляют дворян учиться латыни. Mala – mauvaise¹⁵ – дурная. Маликорн и Мовезкорн – выходит одно и то же. Вы извините меня, господин де Маликорн.

– Ваша доброта меня трогает, сударь, и в то же время дает повод сообщить об одном обстоятельстве.

– О каком же?

– Я не дворянин. У меня есть сердце, немного ума, но мое имя Маликорн, без частицы «де».

– О, – воскликнул де Гиш, глядя в лукавое лицо своего собеседника, вы, право, очень приятный человек. Ваше лицо мне нравится, господин Маликорн, и, вероятно, вы полны достоинств, раз этот эгоист Маникан полюбил вас. Скажите откровенно: вы не святой, спустившийся на землю?

– Почему?

– Черт побери! Потому что Маникан делает вам подарки. Вы ведь сказали, что он желает в виде дара доставить вам место при дворе принца?

– Извините, господин граф, если я получу место, то не Маникан достанет мне его, а вы.

– И потом, может быть, он не совсем даром согласился хлопотать за вас?

– Господин граф...

– Постойте, в Орлеане живет некий Маликорн, – ну да, конечно, который ссужает деньгами принца Конде.

– Насколько мне известно, это мой отец.

– Ага! У принца – отец, у ненасытного де Маникана – сын. Сударь, берегитесь, я его знаю: черт побери, он обглодает вас до костей.

– Только я даю займы без процентов, господин граф, – с улыбкой заметил Маликорн.

– Я же говорил, что вы святой или нечто в этом роде, господин Маликорн. Вы получите место, или я не де Гиш.

– О господин граф, как я вам благодарен! – в восторге воскликнул Маликорн.

– Едем к принцу, дорогой господин Маликорн, едем.

И де Гиш направился к выходу, знаком приглашая Маликорна следовать за ним.

У самых ворот с ними столкнулся молодой человек.

Это был дворянин лет двадцати пяти, бледный, с тонкими губами, блестящими глазами, с темными волосами и бровями.

– А, здравствуйте, – начал он, заставив де Гиша вернуться обратно во двор.

– Ах, это вы, де Вард! Вы в сапогах, при шпорах, с хлыстом в руках!

– Я в таком виде, какой подобает иметь человеку, уезжающему в Гавр.

Завтра Париж совсем опустеет.

Затем пришедший церемонно приветствовал Маликорна, которому нарядный костюм придавал вид вельможи.

– Господин Маликорн, – сказал своему другу де Гиш. Де Вард поклонился.

– Виконт де Вард, – сказал де Гиш Маликорну.

Маликорн, в свою очередь, поклонился.

– Сообщите нам, де Вард, – продолжал де Гиш, – вы ведь знаете такие вещи: какие должности еще свободны при дворе или, вернее сказать, в доме принца?

– В доме принца? – повторил де Вард, стараясь вспомнить. – Погодите, кажется, обер-шталмейстера.

– О, – воскликнул Маликорн, – не будем говорить о таких вещах; мое честолюбие не заходит так далеко.

Де Вард был гораздо подозрительнее и проницательнее де Гиша: он тотчас же разгадал Маликорна.

– Дело в том, – произнес он, окидывая его взглядом с ног до головы, что занимать место обер-шталмейстера может только герцог и пэр.

– Я прошу лишь очень скромной должности, – проговорил Маликорн. – Я человек маленький и не такого высокого мнения о себе.

– Господин Маликорн, – повернулся граф к де Варду – очаровательный человек; одна беда – он не дворянин. Но ведь, вы знаете, я не особенно ценю человека, когда он только

дворянин, и не больше.

– Верно, – согласился де Вард. – Но замечу вам, милый граф, что без титула нельзя надеяться поступить к герцогу.

– Правда, – вздохнул граф, – этикет весьма строг. Черт возьми, мы и не подумали об этом!

– Какое несчастье для меня, – слегка бледнея, заметил Маликорн.

– Надеюсь, горю можно помочь, – ответил де Гиш.

– Погодите, – воскликнул де Вард, – средство уже найдено! Вас сделают дворянином, дорогой господин Маликорн. Его святейшество кардинал Мазарини только и занимался этим с утра до вечера.

– Полно, полно, де Вард, – остановил друга граф, – бросьте неуместные шутки: мы не должны шутить на подобные темы. Правда, теперь можно купить патент на дворянство, но это несчастье, и мы, дворяне, не должны смеяться над этим даже в своем кругу.

– Ей богу, вы настоящий пуританин, как говорят англичане.

– Господин виконт де Бражелон, – доложил лакей, словно они находились не во дворе, а в гостиной.

– А, дорогой Рауль, иди скорей! Ты тоже в сапогах! При шпорах! Ты, значит, едешь?

Бражелон подошел к молодым людям и поздоровался с ними с той мягкой серьезностью, которая была его отличительной чертой. Его поклон главным образом относился к незнакомому ему де Варду, лицо которого приняло холодное выражение при виде Рауля.

– Друг мой, – сказал виконт де Гишу, – я явился за тобой; ведь мы едем в Гавр вместе!

– Тем лучше. Это будет великолепное путешествие!

Господин Маликорн, господин де Бражелон. Ах, де Вард, я тебя сейчас познакомлю.

Молодые люди обменялись сдержанными поклонами.

Казалось, эти два характера неминуемо должны были столкнуться. Де Вард был увертлив, хитер, скрытен. Рауль серьезен, прям, благороден.

– Примири нас с де Вардом, Рауль.

– О чем вы спорили?

– О дворянстве.

– Кто может быть лучшим судьей в этом вопросе, нежели один из Граммонов?

– Я прошу у тебя не комплиментов, а твоего мнения.

– Но мне нужно знать, в чем разногласие.

– Де Вард уверяет, будто титулами злоупотребляют; я же говорю, что человеку титул не нужен.

– И ты прав, – кивнул головой Рауль.

– А я, виконт, – упрямо возразил де Вард, – считаю, что я прав.

– А что вы говорили, сударь?

– Что во Франции делают все возможное, чтобы унижить дворян.

– Кто же это? – нахмурился Рауль.

– Сам король. Он окружает себя людьми, которые не в состоянии доказать, что их род насчитывает хотя бы четыре поколения благородных предков.

– Полно, – сказал де Гиш. – Не знаю, где ты это видел, де Вард.

– Могу привести пример.

И де Вард окинул Бражелона быстрым взглядом.

– Говори.

– Знаешь ли ты, кто назначен капитаном мушкетеров, кто получил должность, которая стоит выше пэрства, должность, которую можно считать выше звания маршала Франции?

Рауль начал краснеть: он видел, к чему клонилась речь де Варда.

– Нет, а кого назначили? – спросил де Гиш. – Во всяком случае, это назначение недавнее; еще неделю назад должность была свободна, и король отказал герцогу Орлеанскому, просившему ее для кого-то из своих.

– Ну, так да я, мой милый, король отказал герцогу, чтобы отдать эту должность

д'Артаньяну, младшему сыну гасконского дворянчика, человеку, который лет тридцать таскал свою шпагу по передним.

– Простите, сударь, если я вас прерву, – сказал Рауль, бросая строгий взгляд на де Варда, – но, право, мне кажется, вы не знаете человека, о котором говорите.

– Я не знаю д'Артаньяна? О боже мой! Да кто же его не знает?

– Все знающие его, сударь, – холодно и спокойно возразил Рауль, – говорят, что если он менее знатен, чем король (а это не его вина), то мужеством и честностью он стоит вровень со всеми королями мира. Вот мое мнение, сударь, а я, слава богу, с самого рождения знаю господина д'Артаньяна.

Де Вард, собиравшийся ответить, но де Гиш остановил его.

Глава 34. ПОРТРЕТ ПРИНЦЕССЫ

Спор готов был обостриться, и де Гиш понял это.

Действительно, в глазах Бражелона загорелась инстинктивная враждебность. Во взгляде де Варда сквозило намерение больно задеть Рауля.

– Господа, – сказал граф, – нам нужно расстаться. Я должен побывать у принца. Сговоримся, где встретиться. Де Вард отправится со мной в Лувр, а ты, Рауль, замени меня в доме. Ведь здесь без твоего совета ничего не делается. Брось последний взгляд на приготовления к отъезду.

Рауль не избегал, но и не искал сам случаев для столкновений и дуэлей; он кивнул головой в знак согласия и сел на скамейку на солнце.

– Если можно, – попросил де Гиш, – посиди здесь. Пусть тебе покажут двух лошадей, которых я только что приобрел. Я купил их только с тем условием, что ты одобришь мою покупку. Ах да, извини, я не успел узнать, как поживает граф де Ла Фер?

Произнося эти слова, де Гиш повернулся к де Варду, стараясь увидеть, какое впечатление произведет на него имя отца Рауля.

– Благодарю, – ответил Бражелон, – граф здоров.

Молния ненависти блеснула в глазах де Варда.

Де Гиш сделал вид, что не заметил этого мрачного блеска, подошел к Раулю и пожал ему руку:

– Так решено, Бражелон, ты встретишь нас во дворе Пале-Рояля?

Потом движением руки он пригласил с собой де Варда и сказал:

– Мы уходим. Прошу, господин Маликорн.

При этом имени Рауль вздрогнул.

Ему показалось, что он уже слышал его однажды, но он никак не мог вспомнить где. Пока он, задумавшись, слегка раздраженный разговором с де Вардом, старался воскресить в памяти, когда ему довелось слышать имя Маликорна, трое молодых людей направились к Пале-Роялю, где жил Филипп Орлеанский.

Маликорн понял, во-первых, что приятелям хотелось поговорить, во-вторых, что он не должен идти рядом с ними.

Он пошел сзади.

– Ну не безумие ли? – спросил де Гиш своего спутника, когда они отошли от дома Граммонов. – Вы нападаете на д'Артаньяна, и это при Рауле!

– Разве запрещено нападать на д'Артаньяна?

– Да разве вы не знаете, что д'Артаньян представляет собой четвертую часть того славного и грозного целого, которое называлось мушкетерами?

– Знаю, но не вижу, почему это может мешать мне ненавидеть д'Артаньяна.

– Что же он вам сделал?

– О, мне? Ничего.

– Так за что же вы его ненавидите?

– Спросите об этом у тени моего отца.

– Право, дорогой де Вард, вы меня удивляете.

Д'Артаньян не принадлежит к числу людей, которые, возбудив ненависть к себе, уклоняются от сведения счетов; ваш отец, как мне говорили, тоже не любил оставаться в долгу. А ведь не существует таких обид, которые не смывались бы кровью после честного, хорошего удара шпаги.

– Что делать, мой дорогой? Между моим отцом и д'Артаньяном существовала вражда. Мне, еще ребенку, отец говорил об этой ненависти и завещал ее мне вместе с остальным наследством.

– И эта ненависть относилась только к д'Артаньяну?

– О, Д'Артаньян слишком был связан со своими тремя друзьями; поэтому доля ненависти, конечно, приходится и на них.

Де Гиш, не спускавший глаз с де Варда, внутренне содрогнулся, увидев улыбку молодого человека. Что-то похожее на предчувствие проникло в его сознание, и он мысленно сказал себе, что прошло время открытых поединков между дворянами, но ненависть, гнездясь в глубине души и не выливаясь наружу, тем не менее остается ненавистью; словом, что после отцов, которые страстно ненавидели друг друга и сражались на шпагах, явились сыновья, тоже ненавидящие друг друга, но избравшие оружием интригу и предательство.

Не Рауля, конечно, подозревал в предательстве и интригах де Гиш: он содрогнулся от страха за Рауля. Эти тяжелые мысли омрачили лицо де Гиша, между тем как де Вард вполне овладел собой.

– Впрочем, – добавил он, – я ничего не имею лично против де Бражелона; я его совсем не знаю.

– Во всяком случае, де Вард, – заметил де Гиш довольно суровым тоном, – не забудьте одного: Рауль – мой лучший друг.

Де Вард поклонился.

Они вскоре очутились у Пале-Рояля, окруженного толпой любопытных.

Приближенные Филиппа Орлеанского дожидались его приказаний, чтобы сесть на коней и составить свиту послов, которым было поручено привезти в Париж принцессу.

Де Гиш оставил де Варда и Маликорна около большой лестницы и поднялся к принцу. Он пользовался такой же благосклонностью принца, как и шевалье де Лоррен, который терпеть не мог де Гиша, хоть и улыбался ему.

Молодой принц сидел перед зеркалом и румянил щеки. В углу кабинета на подушках разлегся шевалье де Лоррен; его длинные белокурые волосы только что завили, и теперь он играл своими локонами.

Принц обернулся на шум и увидел графа.

– А, это ты, Гиш, – сказал он, – пожалуйста, подойди к нам и скажи мне правду.

– Ваше высочество знает, что это мой недостаток.

– Представь себе, Гиш, противный Лоррен огорчает меня.

Де Лоррен пожал плечами.

– Чем именно? – спросил де Гиш. – Кажется, у шевалье нет такой привычки.

– Он уверяет, – продолжал принц, – что принцесса Генриетта как женщина лучше, чем я как мужчина.

– Берегитесь, ваше высочество, – сказал де Гиш, хмуря брови, – вы требовали от меня правды.

– Да, – ответил принц с дрожью в голосе.

– Итак, я вам скажу правду.

– Не торопись, Гиш, – вскрикнул принц, – успеешь! Посмотри на меня хорошенько и припомни ее; впрочем, вот ее портрет, возьми.

И он подал графу миниатюру тонкой работы.

Де Гиш взял портрет и долго смотрел на него.

– По чести, – произнес он, – очаровательное лицо!

– Да посмотри хорошенько на меня, смотри же! – воскликнул принц, стараясь привлечь к себе внимание графа, целиком поглощенного портретом.

– Изумительное, – прошептал де Гиш.

– Право, можно подумать, – продолжал принц, – что ты никогда не видел этой маленькой девочки.

– Я ее видел, ваше высочество, правда, лет пять тому назад; а между двенадцатилетним ребенком и семнадцатилетней девушкой – большая разница.

– Ну, говори же свое мнение.

– Я думаю, что портрет приукрашен, ваше высочество.

– О да, это верно, – с торжеством сказал принц. – Художник ей польстил. Но, предположив даже, что она такая, выскажи свое мнение.

– Ваше высочество очень счастливы, имея такую очаровательную невесту.

– Хорошо, это твое мнение о ней, а обо мне?

– Я считаю, ваше высочество, что для мужчины вы слишком красивы.

Шевалье де Лоррен расхохотался.

Принц понял иронию, которая заключалась в мнении де Гиша о нем, и нахмурил брови.

– Не очень-то любезные у меня друзья, – проворчал он.

Де Гиш в последний раз взглянул на портрет и неохотно вернул его принцу.

– Положительно, ваше высочество, я предпочту взглянуть десять раз на вас, чем еще раз на принцессу. Несомненно, де Лоррен усмотрел тайный смысл в словах графа, ускользнувший от принца, и потому заметил:

– Женитесь тогда!

Герцог Орлеанский продолжал накладывать румяна на лицо; покончив с этим, он опять посмотрел на портрет, полюбовался на себя в зеркало и улыбнулся.

Без сомнения, он остался доволен сравнением.

– С твоей стороны очень мило было прийти, – кивнул он де Гишу, – я боялся, что ты уедешь, даже не простившись со мной.

– Ваше высочество слишком хорошо знает меня, чтобы считать способным на подобную неучтивость.

– Ты, вероятно, хочешь попросить меня о чем-нибудь перед отъездом из Парижа?

– Да, ваше высочество, вы угадали, у меня действительно есть к вам просьба.

– Хорошо, говори.

Де Лоррен весь превратился в слух; ему казалось, что всякая милость, оказываемая другому, украдена у него.

Де Гиш колебался.

– Может быть, ты нуждаешься в деньгах? – спросил принц. – Это как нельзя более кстати, я сейчас очень богат. Суперинтендант финансов прислал мне пятьдесят тысяч пистолей.

– Благодарю, ваше высочество, речь идет не о деньгах.

– Чего же ты просишь? Говори.

– Назначения одной фрейлины.

– Ого, Гиш, каким ты становишься покровителем! – презрительно заметил принц. – Неужели ты только и будешь говорить мне о разных дурочках?

Де Лоррен улыбнулся: он знал, что принц не любил, когда покровительствовали женщинам.

– Ваше высочество, – сказал граф, – я не покровительствую особе, о которой говорю вам; за нее просит один из моих друзей.

– А, это дело другого рода. А как зовут особу, за которую просит твой друг?

– Мадемуазель де Ла Бом Леблан де Лавальер, фрейлина вдовствующей герцогини Орлеанской.

– Фи, хромая, – зевнул де Лоррен, полулежа на подушках.

– Хромая? – повторил принц. – И она постоянно будет перед глазами моей жены? Ну,

нет, это слишком опасное зрелище при беременности.

Шевалье де Лоррен расхохотался.

– Господин де Лоррен, – остановил его граф, – вы поступаете невеликодушно: я прошу, а вы мне вредите.

– Извините, граф, – сказал де Лоррен, встревоженный тоном, каким де Гиш произнес эти слова. – Я совсем не хотел этого, и, право, мне кажется, что я спутал эту девицу с другой особой.

– Без сомнения. Я уверяю вас, что вы ошиблись.

– Но скажи, для тебя это очень важно, Гиш? – поинтересовался принц.

– Очень, ваше высочество.

– Хорошо, решено. Но больше не проси ни за кого: все места заняты.

– Ах, – воскликнул де Лоррен, – уже полдень: этот час был назначен для отъезда.

– Вы прогоняете меня, сударь? – спросил де Гиш.

– О, вы меня обижаете, граф! – ответил де Лоррен.

– Ради бога, граф; прошу вас, шевалье, не ссорьтесь, – капризно попросил принц. – Разве вы не видите, что это огорчает меня?

– Нужна подпись, – напомнил де Гиш.

– Вынь из этого ящика патент и дай мне.

Одной рукой де Гиш подал принцу бумагу, а другой – перо, которое обмакнул в чернила. Принц поставил подпись.

– Бери, – сказал он, подавая графу бумагу, – но с условием: помирись с Лорреном.

– Охотно, – поклонился де Гиш.

И он протянул руку любимцу герцога с равнодушием, похожим на презрение.

– Идите, граф, – сказал де Лоррен, по-видимому, не заметив его пренебрежения, – уезжайте и привезите нам принцессу, которая должна не слишком отличаться от своего портрета.

– Да, уезжай и возвращайся скорее. Кстати, кого ты с собой берешь?

– Бражелона и Варда.

– Славных спутников, очень храбрых.

– Слишком храбрых, – заметил шевалье. – Постарайтесь привезти назад обоих, граф.

«Подлая душа, – подумал Гиш. – Он прежде всего и повсюду чувствует зло».

И, поклонившись принцу, он вышел.

Выйдя во двор, он помахал подписанным патентом.

Маликорн бросился к нему и, дрожа от радости, схватил бумагу. Но когда Маликорн прочел ее, де Гиш понял, что он ждет еще чего-то.

– Терпение, терпение, – засмеялся граф. – Дело в том, что там был де Лоррен, и я побоялся потерпеть неудачу, попросив слишком многого. Дождитесь моего возвращения. До свидания.

– До свидания, господин граф. Тысяча благодарностей, – сказал Маликорн.

– Пошлите ко мне Маникана. Да, правда ли, что де Лавальер хромает?

Когда он произносил эти слова, позади него остановилась лошадь.

Граф обернулся и увидел, как побледнел Бражелон, въехавший в это мгновение во двор. Бедный влюбленный слышал его слова. Но Маликорн не слышал; он отошел уже слишком далеко.

«Почему здесь говорят о Луизе? – спросил себя Рауль. – О, только бы этот улыбающийся де Вард не вздумал сказать что-нибудь о ней при мне».

– Скорее, господа, в путь! – крикнул де Гиш.

Принц, окончивший свой туалет, подошел к окну. Вся свита приветствовала его, и через десять минут знамена, шарфы и перья уже развевались в такт галопу лошадей.

Глава 35. В ГАВРЕ

Все эти придворные, блестящие, веселые, оживленные, приехали в Гавр через четыре дня после отъезда из Парижа. Было уже около пяти часов вечера; от принцессы не приходило пока никаких известий.

Начались поиски квартир; кое-где вспыхивали споры между господами и ссоры между лакеями. И вот в разгаре этой суматохи де Гишу показалось, что он видит Маникана. Действительно, Маникан приехал, но так как Маликорн завладел его лучшим костюмом, то он был лишь в фиолетовом вышитом серебром бархатном платье, которое он успел выкупить.

Посмотрев на печальное лицо Маникана, граф не мог удержаться от смеха.

– О мой бедный Маникан, – заметил он, – какой ты фиолетовый! Ты в трауре?

– Да, я ношу траур, – ответил тот.

– По ком или по чем?

– По моему исчезнувшему голубому с золотом камзолу. У меня остался только этот, да и то мне пришлось долго экономить, чтобы выкупить его.

– В самом деле?

– Право, тебя это не может удивить, ты ведь оставил меня без денег.

– Но ты приехал, это главное.

– Да, приехал, и по ужасным дорогам.

– Где ты поместился?

– Нигде!

Де Гиш рассмеялся.

– Ну так где поместишься?

– Там же, где ты.

– Я и сам не знаю.

– Значит, ты или принц не сняли заранее дома?

– Ни он, ни я об этом не подумали. Я полагаю, что Гавр велик и что в нем найдется конюшня на двенадцать лошадей и порядочный дом в приличном квартале...

– О, хороших домов здесь много, только не для нас.

– Как не для нас? Для кого же?

– Да для англичан! Все дома сняты герцогом Бекингэмом.

– Что? – спросил де Гиш, которого это имя заставило насторожиться.

– Да, мой дорогой, герцогом Бекингэмом. Его милость прислал заранее курьера, который здесь уже три дня и снял все хорошие помещения в городе.

– Но ведь не занимает же герцог всего Гавра, черт побери!

– Конечно, не занимает, потому что он еще не высадился, но когда высадится, займет.

– Хорошо! Человек, занявший целый дом, довольствуется им и не снимает второго.

– Да, но два человека?

– Ну, допустим – два дома... четыре, шесть, десять, если хочешь, но ведь в Гавре домов сто.

– В таком случае сняты все сто.

– Невозможно.

– Ах, упрямец, говорю я тебе, что Бекингэм снял все дома, окружающие здание, где должны остановиться вдовствующая королева Англии и принцесса, ее дочь.

– Ого, вот это интересно! – сказал де Бард, поглаживая шею своей лошади.

– Но это так.

– Вы уверены, господин де Маникан?

Задавая вопрос, де Вард искоса посмотрел на де Гиша, словно желая узнать, насколько можно доверять его другу.

Тем временем наступила ночь. Факелы, пажи, лакеи, конюхи, лошади и кареты наводнили порт и площадь. Факелы отражались в канале, который наполнялся водой прилива, а по другую сторону мола виднелись тысячи лиц любопытных матросов и горожан, старавшихся не упустить ни одной подробности зрелища.

– Но, – вскричал де Гиш, – почему герцог Бекингэм решил так заблаговременно нанять помещения?

– На это у него была причина, – ответил Маникан.

– Ты знаешь ее? Скажи!

– Наклонись.

– Что же? Этого нельзя сказать громко?

– Суди сам.

Де Гиш наклонился.

– Любовь, – прошептал Маникан.

– Я ничего больше не понимаю.

– Скажи лучше: «еще не понимаю».

– Объясни.

– Слушай же: говорят, что его высочество герцог Орлеанский будет самым несчастным из мужей.

– Как? Герцог Бекингэм?..

– Это имя приносит несчастье особам королевского дома Франции.

– Итак, герцог?..

– Уверяют, будто он до безумия влюблен в принцессу и не хочет никого подпускать к ней.

Де Гиш вспыхнул.

– Хорошо, хорошо, благодарю, – сжал он руку Маникана. Потом он выпрямился и добавил:

– Ради бога, Маникан, постарайся, чтобы это не дошло до ушей французов, в противном случае, Маникан, под солнцем нашей страны засверкают шпаги, которым не страшна английская сталь.

– Впрочем, – продолжал Маникан, – я не знаю, не выдумка ли эта любовь; может быть, все это басни.

– Нет, – сказал де Гит, стиснув зубы, – это, должно быть, правда.

– В конце концов какое дело тебе да и мне тоже, станет или нет принц тем, кем был покойный король? Герцог Бекингэм-отец – для королевы; герцог Бекингэм-сын – для молодой принцессы; для всех остальных – ничего.

– Маникан, Маникан!

– Черт возьми! Это или факт, или, по крайней мере, общее мнение.

– Замолчи, – остановил его граф.

– А почему нужно молчать? – возразил де Вард, – это очень почетно для французской нации. Вы не разделяете моего мнения, виконт?

– Какого? – грустно спросил Бражелон.

– Я спрашиваю, не почетно ли, что англичане оказывают честь красоте наших королей и принцесс?

– Простите, я не знаю, о чем идет речь, и прошу объяснить мне.

– Герцогу Бекингэму-отцу нужно было приехать в Париж, чтобы его величество король Людовик Тринадцатый заметил, что его жена одна из красивейших женщин французского двора. Теперь нужно, чтобы Бекингэм-сын, в свою очередь, подтвердил красоту принцессы французской крови своим преклонением перед ней. Отныне дипломом на красоту будет служить любовь, внушенная нашим заморским соседям.

– Извините, – ответил Бражелон, – я не люблю таких шуток. Мы, дворяне, – хранители чести наших королей и принцесс. Если мы будем смеяться над ними, что же останется делать лакеям?

– Ого, сударь, – возмутился де Вард, уши которого покраснели. – Как я должен понимать ваши слова?

– Понимайте как угодно, – холодно ответил де Бражелон.

– Рауль, Рауль, – пытался охладить его де Гиш.

– Господин де Вард! – воскликнул Маникан, видя, что тот направил свою лошадь в сторону Рауля.

– Господа, господа, – сказал де Гиш, – не подавайте дурного примера на улице. Де Вард, вы не правы.

– Не прав? В каком отношении?

– Не правы в том, что всегда и обо всем говорите дурно, – отрезал Рауль со своим неумолимым хладнокровием.

– Пощади, Рауль, – шепнул де Гиш.

– Не деритесь, пока не отдохнете; не то ваш поединок добром не кончится, – сказал Маникан.

– Вперед, вперед, господа, – вмешался де Гиш, – едемте.

И, оттеснив лошадей и пажей, он проложил себе путь в толпе, увлекая за собой всю французскую свиту.

Большие ворота какого-то двора были раскрыты... Де Гиш въехал туда;

Бражелон, де Вард, Маникан и четверо других дворян последовали за ним.

Там они устроили нечто вроде военного совета относительно мер, к которым надлежит прибегнуть, чтобы спасти достоинство посольства.

Бражелон высказался за то, что необходимо уважать право первенства.

Де Вард предложил захватить город силой, что Маникану показалось чересчур смелым. Он посоветовал прежде всего выпастись. По его мнению, это было самое благоразумное. К несчастью, для того чтобы последовать его совету, не хватало немногого: кроватей и крыши.

Де Гиш молча думал несколько минут, потом громко сказал:

– Кто меня любит, за мной!

– Свита тоже? – спросил паж, подошедший к группе.

– Все! – крикнул стремительный молодой человек. – Маникан, покажи нам дом, который должна занимать ее высочество принцесса.

Не понимая намерений графа, его друзья двинулись за ним в сопровождении веселой и шумной толпы народа.

Со стороны порта, налетая могучими порывами, дул ветер.

Глава 36. В МОРЕ

На следующий день погода была спокойнее, хотя все еще дул ветер.

Солнце поднялось в красном облаке, и его кровавые лучи заискрились на гребнях черных волн.

С караульных вышек вели непрерывное наблюдение.

К одиннадцати часам утра заметили судно, которое шло на всех парусах; два других виднелись в полумиле от него. Корабли летели, как стрелы, выпущенные могучим стрелком, но море так волновалось, что быстрота их движения не уменьшала качки, бросавшей суда то на правый, то на левый борт.

Вскоре форма кораблей и цвет выпелов показали, что это суда английского флота. Впереди шел корабль с адмиральским флагом; на нем ехала принцесса.

Немедленно распространилась весть о ее прибытии.

Вся французская знать устремила в порт, а народ высыпал на набережную и на мол.

Через два часа отставшие суда догнали адмиральский корабль, и все три, видимо, не решаясь войти в узкий вход гавани, бросили якорь между Гавром и мысом Гев.

Тотчас же адмиральский корабль салютовал двенадцатью пушечными выстрелами; форт Франциска I ответил тем же.

Немедленно сто шлюпок вышли в море; все они были разукрашены богатыми тканями и предназначались для того, чтобы доставить французских дворян на корабли, стоявшие на якоре.

Но стоило посмотреть, как качались эти шлюпки даже в бухте, — а за молом, точно горы, вздымались и с грохотом разбивались на отмелях волны, — чтобы всякому стало ясно, что ни одна из них не пройдет и четверти расстояния до кораблей. Однако, несмотря на ветер и бурю, лоцманская шлюпка собиралась выйти из порта, чтобы предоставить себя в распоряжение английского адмирала.

Де Гиш выбирал суденышко поустойчивее, на котором можно было бы добраться до английских кораблей, когда заметил лоцманскую шлюпку.

— Рауль, — спросил он, — не находишь ли ты, что разумным и сильным существам, вроде нас с тобой, стыдно отступать перед грубой силой ветра и волн?

— Я как раз думал об этом, — ответил Бражелон.

— Что же? Давай сядем в шлюпку и поплывем! Хочешь, де Вард?

— Берегитесь: вы утонете, — пригрозил им Маникан.

— И главное, попусту, — прибавил де Вард. — При таком ветре вы никогда не доберетесь до кораблей.

— Значит, ты отказываешься?

— О да. Я охотно рискну жизнью в борьбе с человеком, — заметил де Вард, искоса взглянув на Бражелона. — Но не имею ни малейшего желания сражаться ударами весел с потоками соленой воды.

— А я, — сказал Маникан, — если бы даже мне удалось добраться до английских судов, вовсе не желаю губить свой единственный чистый костюм.

Шлюпка окатит волной, а соленая вода оставляет пятна.

— Значит, ты тоже отказываешься? — вскричал де Гиш.

— Решительно, можешь быть уверен, и не раз, а дважды.

— Тогда я отправлюсь один.

— Нет, — перебил его Рауль, — я еду с тобой.

Рауль, хладнокровно взвесивший опасность, счел ее неминуемой; но ему хотелось сделать то, на что не решался де Вард.

Шлюпка уже отходила. Де Гиш крикнул лоцману:

— Эй, нам нужно два места!

И, завернув пять или шесть пистолей в бумагу, он бросил их с набережной в шлюпку.

— Видно, вы не боитесь соленой воды, молодые господа, — сказал лоцман.

— Мы ничего не боимся, — ответил де Гиш.

— Тогда пожалуйста.

Лоцман подвел шлюпку к берегу. Де Гиш и Рауль один за другим с одинаковой легкостью прыгнули в нее.

— Старайтесь, молодцы, — сказал де Гиш. — У меня в кошельке есть еще двадцать пистолей; если мы достигнем адмиральского корабля, они ваши.

Гребцы налегли на весла, и шлюпка полетела по волнам.

Всех заинтересовала эта опасная затея. Жители Гавра толпились на молу; все следили за шлюпкой. Утлое суденышко то на секунду повисало на пенистых гребнях, то, словно брошенное с высоты, ныряло в глубину ревущей бездны. Тем не менее после часовой борьбы оно подошло к адмиральскому судну, от которого уже отделились две шлюпки, вышедшие на помощь.

На шканцах адмиральского корабля под балдахином из бархата, отделанного горностаем, сидели вдовствующая королева и молодая принцесса; подле них стоял адмирал, граф Норфолк. Они с ужасом следили, как шлюпка то взлетала к небу, то проваливалась в пучину, а на темном фоне ее паруса выделялись фигуры французских дворян.

Матросы, стоявшие у борта и взобравшиеся на реи, восхищались храбростью двух смельчаков, ловкостью лоцмана и силой матросов. Торжествующее «ура» встретило де Гиша и де Бражелона, вступивших на корабль. Граф Норфолк, красивый молодой человек лет двадцати шести, пошел навстречу прибывшим.

Де Гиш и де Бражелон ловко поднялись по спущенному трапу и в сопровождении графа

Норфолка подошли поклониться высочайшим особам.

Уважение, а главное, какая-то безотчетная робость помешали графу де Гишу рассмотреть молодую принцессу. Она же, напротив, тотчас заметила его и спросила мать:

– Это не принц там, в лодке?

Королева Генриетта, зная принца лучше, чем ее дочь, улыбнулась ошибке, объясняемой самолюбием молодой девушки, и ответила:

– Нет, это только граф де Гиш, его любимец.

Принцессе пришлось скрыть невольную симпатию, вызванную смелостью графа.

Де Гиш наконец отважился взглянуть на принцессу, чтобы сравнить оригинал с портретом.

Когда он увидел бледное лицо принцессы, ее живые глаза, очаровательные каштановые волосы, трепетные губы, королевское движение руки, милостивое и приветливое, его охватило такое волнение, что он потерял бы равновесие, если бы Рауль не поддержал его. Изумленный взгляд друга и благосклонный жест королевы заставили де Гиша опомниться.

В немногих словах он объяснил, что его послал принц; потом поклонился адмиралу и знатым англичанам, окружавшим королеву и принцессу.

Вслед за де Гишем представили Рауля. Он был принят очень милостиво.

Все знали, какую роль играл граф де Ла Фер при реставрации Карла II; кроме того, именно граф вел переговоры относительно брака, возвращавшего во Францию внука Генриха IV.

Рауль превосходно говорил по-английски и служил своему другу переводчиком в его беседе с молодыми английскими вельможами, не знавшими французского языка.

Вскоре появился молодой человек изумительной красоты, в роскошном костюме и богатом вооружении. Он подошел к королеве и принцессе, которые беседовали с графом Норфолком, и сказал с плохо скрываемым нетерпением:

– Ваше величество и ваше высочество, пора сходить на берег.

В ответ на приглашение принцесса поднялась и уже хотела принять руку, которую ей поспешно подал молодой красавец, но адмирал выступил вперед.

– Простите, милорд Бекингэм, – заговорил он, – сейчас переправа невозможна для дам. Волнение слишком сильно; но к четырем часам ветер, вероятно, спадет. Поэтому мы высадимся только вечером.

– Позвольте, милорд, – сказал Бекингэм с раздражением, которого он даже не пытался скрыть. – Вы удерживаете дам, не имея на то права. Ее высочество, к счастью, принадлежит Франции, и, как видите, Франция устами своих послов требует ее к себе.

Он указал рукой на де Гиша и Рауля, в то же время кланяясь им.

– Я не думаю, – ответил адмирал, – чтобы эти господа желали подвергать опасности жизнь королевы и принцессы.

– Милорд, эти господа, идя против ветра, переправились на корабль.

Надо полагать, что опасность для королевы и принцессы будет не большей, если они поплывут по ветру.

– Эти господа очень храбры, – сказал адмирал. – Вы видели, что многие стояли на набережной, но не решились последовать за ними. Кроме того, они пустились в море, очень бурное даже для моряков, желая как можно скорее приветствовать ее высочество и ее августейшую мать. Я поставлю наших гостей в пример моему штабу, но принцесса и королева в этом не нуждаются.

Взглянув украдкой на графа де Гиша, принцесса заметила, как краска залила его щеки.

Бекингэм не уловил этого взгляда: он следил только за Норфолком. Герцог, очевидно, ревновал к адмиралу и горел желанием как можно скорее увезти принцессу с шаткой палубы корабля, где властелином был адмирал.

– Впрочем, – заметил Бекингэм, – я обращаюсь к мнению принцессы.

– А я, милорд, – ответил адмирал, – обращаюсь к своей совести и ответственности. Я обещал доставить принцессу во Францию целой и невредимой и сдержу свое обещание.

– Однако, сударь...

– Позвольте вам напомнить, милорд, что здесь распоряжаюсь я один.

– Отдаете ли вы себе отчет в своих словах, милорд? – высокомерно спросил Бекингэм.

– Вполне, и повторяю: я один командую здесь, герцог, и все повинуются мне – море, ветер, суда и люди.

Это были прекрасные слова, сказанные с достоинством. Рауль заметил, какое впечатление произвели они на Бекингэма. Герцог вздрогнул всем телом и оперся спиной на одну из колонок балдахина, чтобы не упасть, глаза его налились кровью, и рука легла на эфес шпаги.

– Герцог, – повернулась к нему королева, – позвольте заметить вам, что я вполне разделяю мнение графа Норфолка. Кроме того, не будь даже этого тумана, мы все же должны были бы уделить несколько часов человеку, который так благополучно и так заботливо доставил нас к берегам Франции, где ему придется расстаться с нами.

Вместо ответа Бекингэм вопросительно взглянул на принцессу.

Но принцесса, полускрытая бархатными, расшитыми золотом складками балдахина, не слушала этого спора. Она смотрела на графа де Гиша, который разговаривал с Раулем.

Это был новый удар для Бекингэма: ему показалось, что во взгляде принцессы Генриетты он прочитал более глубокое чувство, чем простое любопытство.

Он отошел, шатаясь, к главной мачте.

– У герцога Бекингэма ноги не моряка, – сказала по-французски вдовствующая королева. – Наверное, поэтому он так сильно желает ступить на твердую землю.

Молодой человек услышал ее слова, побледнел как смерть и ушел, опустив руки, сливая в одном вздохе давнишнюю любовь с новой ненавистью.

Между тем адмирал, не обращая больше внимания на недовольство герцога, провел королеву и принцессу в свою каюту на корме, где был подан роскошный обед, достойный присутствующих.

Адмирал сел справа от принцессы, посадив по левую руку от нее де Гиша. Это место занимал обычно Бекингэм.

Войдя в столовую, герцог испытал еще один удар. Согласно этикету, который он должен был уважать, как вторую королеву, его понизили и за столом.

Де Гиш, побледневший от счастья еще больше, чем его соперник от гнева, с трепетом опустился на стул подле принцессы, шуршание шелкового платья которой заставляло сердце графа биться от не изведенного еще доселе наслаждения.

После обеда Бекингэм быстро подошел к принцессе, чтобы предложить ей руку.

Теперь настала очередь де Гиша дать урок герцогу.

– Милорд, – сказал он, – будьте так добры, с этого мгновения не становитесь между ее высочеством принцессой и мной. Теперь ее высочество действительно принадлежит Франции, и если принцесса оказывает мне честь, подавая мне руку, она касается руки принца, брата короля.

С этими словами он предложил руку принцессе с таким явным смущением и в то же время с таким мужественным благородством, что среди англичан послышался шепот восхищения, а у Бекингэма вырвался тяжелый вздох.

Рауль любил: Рауль все понял. Он посмотрел на де Гиша глубоким взглядом, каким мать или друг предупреждают сына или друга об угрожающей ему опасности.

Наконец к двум часам из-за туч выглянуло солнце.

Ветер стих; море стало гладким, как зеркало; туман, обволакивавший землю, рассеялся. И тогда показались приветливые берега Франции, усыпанные тысячами белых домов, выделявшихся на зелени деревьев и синеве неба.

Глава 37. ПАЛАТКИ

Как мы уже видели, адмирал решил не обращать внимания на грозные взгляды и вспышки гнева Бекингэма. Со времени отплытия из Англии Норфолк успел понемногу привыкнуть к ним. Де Гиш еще не заметил враждебности, которая, казалось, зародилась у молодого лорда против него; однако инстинктивно он чувствовал некоторое нерасположение к фавориту Карла II.

Королева-мать, женщина опытная и хладнокровная, понимала положение вещей и готовилась в надлежащий момент разрубить запутавшийся узел. Этот момент наступил. Море и ветер стихли. Не прекратилась только буря в сердце Бекингэма. Герцог нетерпеливо твердил вполголоса молодой принцессе:

– Ради бога, принцесса, умоляю вас, спустимся на берег. Неужели вы не видите, что этот наглец, герцог Норфолк, убивает меня своими заботами о вас, своим обожанием?

Генриетта улыбнулась, не поворачивая головы, и с выражением нежного упрека и томной дерзости в голосе, придающим отказу оттенок расположения, кокетливо прошептала:

– Дорогой лорд, я вам повторяю, что вы безумны.

Мы уже сказали, что ни одна из этих подробностей не ускользнула от Рауля. Он слышал просьбу Бекингэма и слова принцессы; видел, как Бекингэм, получив такой ответ, отступил, вздохнул и провел рукой по лбу. Обладая способностью трезво судить, Рауль понял все и ужаснулся, оценив положение вещей и состояние умов.

Наконец адмирал велел спустить шлюпки, но умышленно не торопил людей.

Бекингэм встретил распоряжение адмирала таким взрывом радости, что посторонний наблюдатель счел бы герцога помешанным.

По распоряжению графа Норфолка большой, разукрашенный флагами баркас медленно спустили с адмиральского корабля; в нем могли поместиться двадцать гребцов и пятнадцать пассажиров. Бархатные ковры, подушки с гербами Англии, цветочные гирлянды составляли главное украшение этого поистине королевского судна.

Едва оно коснулось поверхности воды, едва гребцы подняли весла, точно взявшие на караул солдаты, в ожидании пока принцесса сойдет с корабля, как Бекингэм подбежал к трапу, надеясь занять место в том же катере. Но королева его остановила.

– Милорд, – сказала она, – моей дочери и мне не приличествует высаживаться на берег раньше, чем для нас будут приготовлены помещения. Итак, я вас прошу, герцог, отправиться первым в Гавр и позаботиться о том, чтобы все было готово к нашему прибытию.

Эта просьба была для герцога последним ударом, тем более ужасным, что он был неожиданным. Он покраснел, прошептал что-то, но ничего не смог ответить.

До сих пор в нем теплилась надежда, что ему удастся побыть около принцессы хоть во время переправы и насладиться до конца мгновениями, которые ему подарила судьба. Но приказание звучало строго.

Адмирал, слышавший распоряжение королевы, тотчас крикнул:

– Спустить маленькую шлюпку!

Команда была исполнена с быстротой, обычной на военных кораблях.

Опечаленный Бекингэм с отчаянием посмотрел на принцессу, бросил умоляющий взгляд на королеву и другой взгляд, полный гнева, на адмирала.

Принцесса сделала вид, что ничего не произошло. Королева отвернулась.

Адмирал улыбнулся.

Заметив это, Бекингэм, казалось, готов был броситься на Норфолка.

Королева-мать поднялась с места.

– Отправляйтесь, сударь, – приказала она.

Хватаясь за последнюю надежду, Бекингэм спросил, задыхаясь от прилива самых разнообразных чувств:

– А вы, господа де Гиш и де Бражелон, не отправитесь со мной?

Де Гиш поклонился.

– Я и виконт де Бражелон, – ответил он, – находимся в распоряжении королевы. Мы сделаем все, что нам прикажет ее величество.

И он посмотрел на принцессу. Она опустила глаза.

– Простите, герцог, – сказала королева, – но граф де Гиш представляет особу принца. Он должен принять нас от лица Франции, как вы, герцог, провожали нас от лица Англии. Следовательно, граф должен сопровождать нас. Кроме того, мы не можем не оказать ему этой небольшой милости и в награду за ту отвагу, которую он проявил, выехав нам навстречу в такую бурную погоду.

Бекингэм открыл рот, словно собираясь ответить. Однако он или не знал, что сказать, или не подыскал подходящих слов, но только ни один звук не слетел с его губ, и, повернувшись, точно в бреду, он прыгнул в шлюпку прямо с палубы корабля.

Гребцы едва успели подхватить его и удержать равновесие, ибо сильный толчок чуть не опрокинул лодку.

– Положительно, герцог сошел с ума, – громко заметил адмирал, обращаясь к Раулю.

– Я боюсь за него, – ответил Бражелон.

Высадившись на берег, Бекингэм впал в такое оцепенение, что если бы не встретил своего курьера, посланного им заранее в Гавр в качестве квартирьера, он не нашел бы дороги. Войдя в предназначенный для него дом, он заперся, как Ахилл в своей палатке.

Баркас королевы и молодой принцессы отошел от адмиральского судна почти в то самое мгновение, как герцог ступил на берег. За первым баркасом отплыл второй, со свитой, придворными и близкими друзьями.

Все обитатели Гавра, разместившись в рыбацких шаландах, плоскодонках или длинных нормандских лодках, двинулись навстречу королевскому баркасу.

Пушки фортов гремели. Английские корабли отвечали салютами. Огненные облака вылетали из зияющих жерл, превращались в мягкие клубы дыма, плыли над поверхностью моря и таяли в небесной лазури.

Принцесса спустилась на набережную. Веселая музыка встретила и сопровождала ее повсюду.

В то время как Генриетта ступала маленькими ножками по роскошным коврам и цветам, граф де Гиш и Рауль, выбравшись из толпы англичан, направились к зданию, предназначенному для будущей герцогини Орлеанской.

– Поспешим, – сказал Рауль де Гишу. – Судя по характеру Бекингэма, он устроит какой-нибудь подвох, когда увидит, к чему привело наше вчерашнее совещание.

– О, – ответил граф, – ведь мы оставили де Варда, это олицетворение твердости, и Маникана, воплощение кротости.

Тем не менее де Гиш заторопился, и через пять минут они уже были подле ратуши.

Прежде всего их поразила огромная толпа на площади.

– Ага, – заметил де Гиш, – по-видимому, наши помещения готовы.

Действительно, на площади перед ратушей возвышалось восемь чрезвычайно красивых палаток с развевающимися над ними флагами Франции и Англии.

Палатки окружили ратушу, точно разноцветный пояс. Десять пажей и двенадцать всадников легкой конницы, составлявшие свиту послов, охраняли палатки. Это было удивительное, сказочное зрелище.

Импровизированные жилища соорудили в течение ночи.

Убранные внутри и снаружи самыми роскошными тканями, какие только можно было достать в Гавре, палатки образовали кольцо вокруг ратуши, резиденции молодой принцессы. Между ними были протянуты шелковые канаты, охраняемые часовыми. Таким образом, план Бекингэма совершенно рушился, если он действительно хотел отрезать доступ к ратуше для всех, кроме себя и своих англичан.

Единственный проход, который вел к лестнице здания, не прегражденный шелковыми канатами, охранялся по бокам двумя одинаковыми палатками с флагами.

Эти две палатки предназначались для де Гиша и Рауля. Во время их отсутствия палатку де Гиша должен был занимать де Вард, а палатку Рауля Маникан.

Вокруг этих восьми шатров множество офицеров, дворян и пажей, блистая шелками и

золотом, жужжали, точно пчелы около улья. Все они были при шпагах и готовы были повиноваться знаку де Гиша или де Бражелона, возглавлявших посольство.

Еще с улицы, которая вела на площадь, де Гиш и. Рауль заметили щегольски одетого молодого дворянина, скакавшего к ратуше. Толпа любопытных расступалась перед ним. Увидя столь неожиданно появившиеся палатки, он вскрикнул от гнева и отчаяния. Это был Бекингэм, который уже оправился от уроков, полученных на корабле, надел ослепительный костюм и решил дожидаться принцессы и королевы подле ратуши.

Но около палаток герцогу преградили дорогу, и ему пришлось остановиться. Потеряв самообладание, Бекингэм поднял хлыст; два офицера схватили его за руки.

Де Варда не было на месте. Он находился в ратуше, где передавал какие-то приказания де Гиша.

При звуке голоса Бекингэма Маникан, лениво лежавший на подушках в одной из крайних палаток, поднялся со своим обычным беспечным видом и, слыша, что шум продолжается, выглянул из-за портьеры.

– Что такое? – спросил он кротко. – Кто это так шумит?

Случайно в ту минуту, когда он заговорил, воцарилась тишина, и, хотя Маникан произносил слова мягко и негромко, все услышали его вопрос.

Бекингэм обернулся и увидел эту высокую, худую фигуру и ленивое лицо.

Должно быть, наружность французского дворянина, одетого, как мы уже сказали, довольно скромно, не внушила герцогу большого уважения, потому что он презрительно бросил:

– Кто вы такой?

Маникан оперся на руку рослого солдата и ответил тем же спокойным тоном:

– А вы?

– Я герцог Бекингэм. Я снял все дома, окружающие ратушу, и раз я их снял, то они принадлежат мне. А я арендовал их для того, чтобы иметь свободный доступ к ратуше, и вы не имеете права преграждать мне путь.

– Но, сударь, кто же мешает вам? – поинтересовался Маникан.

– Ваши часовые.

– Потому что вы желаете проехать верхом, а приказано допускать только пешеходов.

– Никто не имеет права приказывать здесь, кроме меня, – сказал герцог.

– Почему, сударь? – мягко спросил Маникан. – Сделайте милость, объясните эту загадку.

– Я уже сказал вам: я снял все дома вокруг площади.

– Мы это знаем, потому-то нам осталась только самая площадь.

– Вы ошибаетесь: площадь тоже моя, как и дома.

– Извините, сударь, вы ошибаетесь; у нас говорят: мостовая короля; следовательно, площадь принадлежит королю, а так как мы посланники короля, площадь наша.

– Сударь, я уже спросил вас, кто вы такой, – повторил Бекингэм, раздраженный хладнокровием своего собеседника.

– Мое имя Маникан, – ответил молодой человек голосом нежным, как эолова арфа.

Герцог пожал плечами.

– Одним словом, – сказал он, – когда я нанимал дома, окружающие ратушу, площадь была свободна. Эти бараки портят вид: уберите их!

Глухой, угрожающий ропот пронесся в толпе слушателей.

В это мгновение явился де Гиш; он растолкал солдат, отделявших его от герцога, и в сопровождении Рауля подошел к Бекингэму, а в то же время с другой стороны к герцогу приблизился де Вард.

– Простите, милорд, – обратился граф к герцогу, – но если вы чем-нибудь недовольны, будьте любезны обращаться ко мне, так как именно я велел соорудить эти постройки.

– Кроме того, замечу вам, что слово «барак» звучит плохо, – любезным тоном прибавил Маникан.

– Итак, герцог, вы говорили?.. – продолжал де Гиш.

– Я говорил, граф, – отвечал Бекингэм голосом, в котором все еще звучал гнев, смягченный, однако, присутствием равного ему человека, – я говорил, что невозможно оставить здесь эти палатки.

– Невозможно? – спросил де Гиш. – А почему?

– Они мне мешают.

У де Гиша невольно вырвалось нетерпеливое восклицание, но холодный взгляд Рауля заставил его сдержаться.

– Они вас все-таки меньше стесняют, чем нас злоупотребление правом первенства, которое вы себе позволили.

– Злоупотребление?

– Конечно! Вы присылаете сюда человека, который от вашего имени снимает все дома в Гавре, нисколько не думая о французах, которые должны приехать навстречу принцессе. Это не по-братски, герцог, со стороны представителя дружественной нации.

– Территория принадлежит первому, занявшему ее, – перебил Бекингэм.

– Не во Франции, сударь.

– Почему не во Франции?

– Потому что Франция – страна вежливости.

– Что вы хотите этим сказать? – вскричал Бекингэм так запальчиво, что присутствующие отступили, ожидая немедленного поединка.

– Я хочу сказать, герцог, – ответил, побледнев, де Гиш, – что я велел выстроить эти помещения для себя и своих друзей, чтобы они служили приютом послам Франции, так как ваша взыскательность оставила нам одно это убежище во всем городе. Я хочу сказать, что я и мои друзья будем жить здесь, если только воля, более могущественная, а главное – более высокая, чем ваша, не отзовет нас отсюда.

– Я знаю силу, граф, которая окажется достаточно могущественной, положил Бекингэм руку на эфес своей шпаги.

В ту минуту, когда богиня раздора, воспламенив умы, уже хотела направить острие шпаг в грудь противников, Рауль тихонько коснулся рукой плеча Бекингэма.

– Одно слово, милорд, – попросил он.

– Мое право, прежде всего мое право! – пылко воскликнул молодой человек.

– Именно об этом я хочу иметь честь поговорить с вами, – сказал Рауль.

– Хорошо, только покороче, сударь.

– Я задам вам только один вопрос; вы видите, что лаконичнее быть нельзя.

– Говорите, я слушаю.

– Скажите: кто женится на внучке короля Генриха Четвертого – вы или герцог Филипп Орлеанский?

– Что такое? – спросил Бекингэм, отступая в смущении.

– Прошу вас, ответьте мне, – спокойно настаивал Рауль.

– Вы смеетесь надо мной, сударь? – рассердился Бекингэм.

– Это ответ, герцог, и его для меня достаточно. Итак, вы признаете, что не вы женитесь на английской принцессе.

– Но мне кажется, вы это хорошо знаете!

– Простите, но, судя по вашему поведению, это было неясно.

– Что вы хотите сказать, виконт?

– Ваша пылкость похожа на ревность, – понизил голос Рауль. – Знаете ли вы это, милорд? Но такая ревность совершенно неуместна со стороны всякого другого, кроме возлюбленного или мужа, а в особенности, как вы сами понимаете, когда речь идет о принцессе крови.

– Сударь, – вскричал Бекингэм, – вы оскорбляете принцессу Генриетту!

– Это вы оскорбляете ее, – холодно ответил де Бражелон. – Будьте осторожны! Недавно на адмиральском корабле вы рассердили королеву до крайности и вывели из терпения

адмирала. Я наблюдал за вами, милорд, и сперва счел вас безумным, но потом понял истинный характер вашего безумия.

– Сударь...

– Погодите, я прибавлю еще одно слово. Надеюсь, что, кроме меня, этого не понял ни один француз.

– А знаете ли вы, сударь, – сказал Бекингэм, дрожа от гнева и тревоги, – что ваши слова заслуживают наказания?

– Взвешивайте свои выражения, милорд, – высокомерно взглянул на него Рауль. – В моих жилах течет не такая кровь, чтобы меня можно было безнаказанно оскорблять. Вы же принадлежите к семейству, страсти которого внушают подозрения добрым французам. Итак, еще раз повторяю вам: будьте осторожны, милорд.

– В чем? Уж не угрожаете ли вы мне?

– Я сын графа де Ла Фер, господин Бекингэм, и никогда не угрожаю, потому что сразу наносу удар. Итак, вся моя угроза состоит в следующем...

Бекингэм сжал кулаки, но Рауль продолжал, как будто не замечая этого:

– При первом же неподобающем слове, которое вы себе позволите по адресу ее высочества... О, имейте терпение, господин Бекингэм: ведь я же проявил его.

– Вы?

– Конечно. Пока принцесса была на английской земле, я молчал, но теперь, когда она вступила на землю Франции, когда мы приняли ее от имени принца, при первом же оскорблении, которое вы в порыве вашей необычайной привязанности нанесете королевскому дому Франции, мне придется принять одну из двух мер: либо я при всех громко расскажу о вашем безумии, и вас с позором отошлют в Англию, либо, если это вам будет приятнее, я при всех всажу вам кинжал в грудь. И вторая мера мне кажется более подходящей: я думаю, что выберу именно ее.

Бекингэм стал бледнее кружев своего воротника.

– Виконт де Бражелон, – спросил он, – это речь дворянина?

– Да, герцог, только этот дворянин говорит с сумасшедшим. Излечитесь, милорд, и он будет говорить с вами иначе.

– О виконт де Бражелон, – прошептал герцог сдавленным голосом, поднося руку к горлу, – вы видите, я умираю.

– Если бы это случилось сейчас, герцог, – с неизменным хладнокровием заметил Рауль, – я поистине счел бы вашу смерть великим счастьем. Это событие предотвратило бы всякие дурные толки о вас и об августейших особах, которых так ужасно компрометирует ваша преданность.

– Да, вы правы, вы правы, – растерялся молодой англичанин. – Да, да, умереть... Лучше умереть, чем так страдать.

И он поднес руку к изящному кинжалу с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями.

Рауль отвел его руку.

– Берегитесь, герцог, – сказал он. – Если вы не убьете себя, ваш поступок будет смешон. Если убьете, вы забрызгаете кровью подвенечный наряд английской принцессы.

Бекингэм задыхался. Его губы дрожали, щеки пылали, глаза блуждали, точно в бреду.

Вдруг он проговорил:

– Виконт, я не встречал более благородного человека, чем вы. Вы достойный сын самого совершенного из дворян. Оставайтесь в ваших палатках!

И он бросился на шею Раулю.

Все присутствующие, видевшие злобу одного из собеседников и твердость другого, были изумлены таким исходом и принялись шумно аплодировать.

Раздались приветственные возгласы.

Де Гиш тоже обнял Бекингэма, правда, не очень охотно. Это послужило сигналом. Англичане и французы, до этой минуты смотревшие друг на друга с неприязнью, стали обниматься, как братья.

Тем временем показался кортеж принцессы. Если бы не Бражелон, королеву с дочерью встретили бы два войска, вступившие в бой, и цветы, забрызганные кровью. При виде развевающихся знамен все успокоились.

Глава 38. НОЧЬ

Согласие воцарилось среди палаток. Англичане и французы состязались в любезности по отношению к высоким путешественницам и в предупредительности друг к другу.

Принцессу встречали радостными кликами. Она явилась точно королева, окруженная всеобщим почтением, точно богиня, вызывавшая чувство благоговения у тех, кто ей поклоняется.

Королева-мать очень ласково приветствовала французов. Франция была ее родиной, и она была в Англии слишком несчастна, чтобы Англия могла заставить ее забыть о Франции. Она научила свою дочь любить страну, где обе они когда-то нашли приют и где теперь их ожидала блестящая будущность.

Когда церемония кончилась, зрители рассеялись и трубные звуки и шум толпы стали лишь доноситься издали, когда спустилась ночь, покрыв звездным пологом море, порт, город и окрестные поля, – де Гиш вернулся к себе в палатку. Он упал на табурет с выражением такой печали на лице, что Бражелон не сводил с него взгляда, пока не услышал его глубоких вздохов.

Тогда он подошел к нему. Граф сидел, откинувшись назад, прислонясь плечом к стене палатки и опустив голову на руки: его грудь вздымалась, плечи вздрагивали.

- Ты страдаешь, мой друг? – спросил Рауль.
- Жестоко.
- День был утомительным, правда, – продолжал молодой человек, глядя на де Гиша.
- Да, и сон меня освежит.
- Хочешь, чтобы я ушел?
- Нет, мне нужно поговорить с тобой.
- Но прежде я должен кое о чем спросить тебя, де Гиш.
- Пожалуйста.
- Будь, однако, откровенен.
- Как всегда.
- Ты знаешь, почему Бекингэм был в бешенстве?
- Подозреваю.
- Он любит принцессу, думаешь ты?
- По крайней мере, это можно предположить, глядя на него.
- И тем не менее это не так.
- О, на этот раз ты ошибаешься, Рауль. Я прочитал страдание в его глазах, в его жестах, во всем, что я видел, начиная с сегодняшнего утра.
- Ты поэт, мой дорогой, и видишь во всем поэзию.
- Главное, я вижу любовь.
- Там, где ее нет.
- Там, где она есть.
- Полно, де Гиш, ты ошибаешься.
- О нет, я совершенно уверен! – вскричал де Гиш.
- Скажи мне, граф, – спросил Рауль, пристально глядя на друга, – чем вызвана твоя исключительная проницательность?
- Я думаю, – не вполне уверенно произнес де Гиш, – самолюбием.
- Самолюбием? Так ли это, де Гиш?
- Что ты хочешь сказать?
- Я хочу сказать, мой друг, что обычно ты не так печален, как сегодня вечером.

– Виной тому усталость.
– Усталость?
– Да.
– Послушай, друг мой, мы вместе бывали в походах. По восемнадцать часов мы не слезали с коней; они падали от усталости и голода, мы только смеялись. Ты печален не от усталости, граф.
– Значит, от досады.
– От какой досады?
– Вызванной сегодняшним вечером.
– Безумием лорда Бекингэма?
– Конечно. Разве не обидно для нас, французов, представителей нашего короля, видеть, как англичанин ухаживает за нашей будущей герцогиней, второй дамой королевства?
– Ты прав, но мне кажется, что лорд Бекингэм не опасен.
– Да, но он несносен. Приехав сюда, он чуть было не нарушил наших отношений с англичанами. Без тебя, без твоей изумительной осторожности и твердости мы обнажили бы шпаги посреди города.
– Ты видел, он переменялся.
– Да, конечно, и это изумляет меня; что ты ему сказал? Ты говоришь, что страсть не уступает с такой легкостью; значит, он не влюблен в нее?
Де Гиш произнес эти слова с таким выражением, что Рауль поднял голову.
Благородное лицо молодого человека выражало нескрываемое неудовольствие.
– Повторяю тебе, граф, то, что я сказал ему. Слушай: «Герцог, вы смотрите с оскорбительным вожелением на сестру своего короля; она не ваша невеста и не может быть вашей возлюбленной. Вы оскорбляете нас, приехавших встретить молодую девушку, чтобы проводить ее к будущему супругу».
– Ты это сказал ему? – краснея, спросил де Гиш.
– В точно таких выражениях; я даже пошел дальше.
Де Гиш вздохнул.
– Я сказал ему: «Какими глазами посмотрите вы на нас, если заметите в нашей среде человека, достаточно безумного или достаточно несчастного, чтобы испытывать что-нибудь, кроме самого чистого уважения, к принцессе, будущей супруге нашего господина?..»
Эти слова так явно относились к де Гишу, что граф побледнел, задрожал и машинально протянул руку Раулю, закрыв другою глаза и лоб.
– «Но, – продолжал Рауль, не останавливаясь при виде этого движения друга, – слава богу, французы, которых называют легкомысленными, нескромными, беспечными, умеют слушаться голоса разума и нравственности в вопросах чести. И, – прибавил я, – знайте, герцог, мы, французские дворяне, служа своим королям, приносим в жертву не только жизнь и богатство, но и наши страсти. Когда же демон подсказывает нам дурную мысль, которая воспламеняет сердце, мы тушим это пламя, хотя бы залив его собственной кровью. Таким образом, мы сразу спасаем честь своей родины, своего повелителя и нашу собственную. Вот, милорд, как поступаем мы. Так должен поступать каждый мужественный человек». Вот, мой дорогой де Гиш, – продолжал Рауль, – что я сказал герцогу Бекингэму, и он признал справедливость моих слов.
Де Гиш, до сих пор слушавший Рауля склонив голову, выпрямился. Он схватил руку Рауля. Его щеки, прежде мертвенно-бледные, теперь пылали.
– Ты хорошо говорил, – сказал он сдавленным голосом. – Ты славный друг, Рауль; благодарю тебя. Но теперь, умоляю, оставь меня одного.
– Ты этого хочешь?
– Да, мне нужно отдохнуть. Сегодня многое взволновало мне ум и сердце. Когда мы увидимся завтра, я буду другим человеком.
– Хорошо, я ухожу, – простился Рауль.
Граф сделал шаг к своему другу и от души обнял его.

В этом объятии Рауль почувствовал трепет великой страсти, с которой боролся де Гиш. Скоро весь город заснул. В комнатах принцессы, выходивших окнами на площадь, виднелся слабый свет притушенной лампы. Этот бледный отблеск был живым образом тихого сна молодой девушки, жизнь которой наполовину замерла, когда девушка заснула.

Бражелон вышел из палатки медленным, размеренным шагом человека, который хочет видеть, но стремится остаться незамеченным. Скрытый плотным пологом шатра, он смотрел на лежавшую перед ним площадь; через мгновение он увидел, что полог палатки де Гиша затрепетал и слегка раздвинулся.

В полутьме вырисовался силуэт графа; глаза де Гиша были устремлены на слабо освещенную гостиную принцессы. Этот свет, мерцавший в окнах, казался графу звездой. Вся душа де Гиша отразилась в его глазах.

Рауль, скрытый темнотой, угадывал страстные помыслы де Гиша, связывавшие палатку молодого посла с балконом принцессы таинственными и волшебными нитями сердечного влечения; они были исполнены такой силы и напряжения, что, наверное, навевали любовные грезы на ароматное ложе принцессы.

Но не только де Гиш и Рауль не спали в эту ночь. В одном из домов на площади было раскрыто окно; в этом доме жил Бекингэм. На фоне света, лившегося из окна, резко выделялся силуэт герцога, который, опираясь на резной, украшенный бархатом оконный переплет, тоже посылал к балкону принцессы страстные желания и безумные фантазии своей любви.

Бражелон невольно улыбнулся.

«Бедное сердце, которое осаждают со всех сторон», – подумал он о принцессе.

Потом, с сочувствием вспомнив о герцоге Орлеанском, мысленно прибавил:

«И бедный муж: ему грозит большая опасность. Хорошо, что он высокородный принц и у него есть целая армия для охраны своего сокровища».

Бражелон некоторое время наблюдал за обоими воздыхателями, прислушиваясь к пронзительному храпу Маникана, звучащему так самоуверенно, точно у Маникана был голубой костюм вместо фиолетового. Потом он тоже улегся в постель, думая, что, может быть, две или три пары глаз, таких же пламенных, как глаза де Гиша и Бекингэма, подстерегали его собственное сокровище в Блуаском замке.

– При этом Монтале не очень надежный гарнизон, – прошептал он со вздохом.

Глава 39. ИЗ ГАВРА В ПАРИЖ

На следующий день состоялись празднества, устроенные с тем блеском и пышностью, которые могли обеспечить средства города и человеческая изобретательность.

Принцесса, простившись с английским флотом, в последний раз приветствовала родину, послав поклон родному флагу, и, окруженная блестящей свитой, села в карету.

Де Гиш надеялся, что Бекингэм вернется в Англию вместе с адмиралом, но герцогу удалось доказать королеве, что принцессе неприлично прибыть в Париж почти одинокой.

Когда было решено, что Бекингэм будет сопровождать принцессу, герцог окружил себя свитой из английских дворян и офицеров, так что к Парижу двинулась целая армия, разбрасывая золото и поражая своим блеском города и села, через которые она проезжала.

Стояла дивная погода. Франция была прекрасна, но особенно хороша казалась дорога, по которой двигался кортеж. Весна устилала путь молодых людей душистыми цветами и листьями. Нормандия с ее богатой растительностью, голубым небом, серебристыми реками представлялась раем новой сестре короля.

Путешествие превратилось в сплошной праздник. Де Гиш и Бекингэм забыли обо всем: де Гиш – стремясь отдалить от принцессы англичанина, Бекингэм – стараясь укрепить в сердце принцессы память о родине, с которой у него связывались воспоминания счастливых дней.

Но бедный герцог замечал, что в сердце принцессы все глубже проникала любовь к

Франции, а образ его дорогой Англии с каждым днем бледнел в ее душе. Он замечал, что все его заботы не вызвали никакой признательности, и он мог сколько угодно гарцевать на горячем йоркширском коне, не привлекая внимания принцессы, лишь изредка бросавшей на него рассеянный взгляд.

Тщетно, желая привлечь к себе ее взор, терявшийся вдали, щеголял он силой, ловкостью, резвостью своего коня. Тщетно, горяча скакуна, пускал он его карьером, рискуя разбиться о деревья или упасть в ров, а потом брал барьеры или мчался по склонам крутых холмов. Привлеченная шумом, принцесса на мгновение поворачивала к нему голову, но скоро с легкой улыбкой возвращалась к беседе со своими верными телохранителями – Раулем и де Гишем, которые спокойно ехали рядом с каретой.

Бекингэм испытывал жесточайшие муки ревности. Невыразимое, жгучее страдание проникло в его кровь, терзало его сердце. Чтобы доказать, как ясно он сознает свое безумие и как хочется ему искупить свое заблуждение скромностью, герцог укрощал коня, облитого потом и покрытого густыми хлопьями пены, заставлял его грызть удила, сдерживая его близ кареты в толпе придворных.

Иногда, в виде вознаграждения, он слышал одобрение принцессы, но и оно звучало почти как упрек.

– Отлично, герцог, – говорила она, – теперь вы благоразумны.

Иногда Рауль останавливал его:

– Вы погубите своего коня, герцог Бекингэм.

И Бекингэм терпеливо выслушивал замечания Бражелона, инстинктивно чувствуя, что Рауль умерял порывы де Гиша. Если бы не Рауль, какой-нибудь безумный поступок со стороны де Гиша или его, Бекингэма, довел бы дело до разрыва, до скандала, быть может до изгнания.

Со времени памятной беседы между молодыми людьми в Гавре, когда Рауль дал почувствовать герцогу всю неуместность проявлений его страсти, Бекингэм испытывал невольное влечение к Раулю.

Часто он вступал с ним в разговор и почти всегда заводил речь либо о графе де Ла Фер, либо о д'Артаньяне, их общем друге, которым герцог восхищался так же сильно, как Рауль.

Бражелон был особенно рад, когда разговор касался этой темы в присутствии де Варда. Последнего в течение всего путешествия раздражало превосходство Бражелона и его влияние на де Гиша. У де Варда был хитрый и пытливый взгляд, свойственный злым душам; он немедленно заметил печаль де Гиша и его любовь к принцессе.

Но вместо того чтобы относиться к этому чувству с такой же сдержанностью, какую проявлял Рауль, вместо того чтобы щадить, подобно Раулю, достоинство графа и соблюдать приличия, де Вард намеренно задевал чувствительную струну де Гиша, дразня его юношескую отвагу и гордость.

Однажды вечером, во время остановки в Манте, де Гиш и де Вард разговаривали, опершись на ограду, Рауль и Бекингэм тоже беседовали, прогуливаясь взад и вперед, а Маникан занимал принцессу и королеву, которые обращались с ним запросто благодаря гибкости его ума, добродушию и мягкости характера.

– Сознайся, – сказал де Вард графу, – что ты очень болен и твой наставник не может исцелить тебя.

– Я тебя не понимаю, – удивился граф.

– А понять не трудно: ты сохнешь от любви.

– Вздор, де Вард, вздор!

– Это было бы действительно вздором, если бы принцесса оставалась равнодушной к твоим мукам. Но она обращает на них такое внимание, что просто компрометирует себя. Я, право, боюсь, как бы по приезде в Париж твой наставник де Бражелон не выдал вас обоих.

– Де Вард! Де Вард! Опять нападки на Бражелона!

– Ну, полно, что за ребячество, – сказал вполголоса злой гений графа, – ты не хуже меня знаешь все, что я хочу сказать. Ты отлично видишь, что взгляд принцессы смягчается, когда

она говорит с тобой. По звуку ее голоса ты понимаешь, что ей нравится слушать тебя. Ты чувствуешь, что она внимает стихам, которые ты декламируешь ей, и ты не станешь отрицать, что она каждое утро рассказывает тебе, что плохо спала ночь.

– Правда, де Вард, правда. Но зачем ты мне все это говоришь?

И он тревожно повернулся в сторону принцессы, точно отвергая намеки де Варда и в то же время желая найти им подтверждение в ее глазах.

– Ага, – засмеялся де Вард, – посмотри: видишь, она тебя зовет? Иди, пользуйся случаем: наставника нет поблизости.

Де Гиш не мог выдержать. Непреодолимое чувство влекло его к принцессе.

Де Вард с улыбкой посмотрел ему вслед.

– Вы ошиблись, сударь, – произнес Рауль, перепрыгнув через ограду, на которую только что опирались два собеседника, – наставник здесь, и он слушает вас.

Услышав голос Рауля, который де Вард узнал раньше, чем обернулся, он наполовину обнажил шпагу.

– Вложите шпагу в ножны, – потребовал Рауль, – вы знаете, что во время нашего путешествия все попытки такого рода бесполезны. Вложите шпагу, но не давайте воли и языку. Зачем отравляете вы сердце человека, которого зовете другом? Меня вы хотите восстановить против честного человека, друга моего отца и моих близких. В сердце Гиша вы хотите вселить любовь к невесте вашего повелителя. Право, сударь, я счел бы вас изменником и подлецом, если бы по справедливости не находил вас безумным.

– Сударь, – вскричал выведенный из себя де Вард, – видно, назвав вас наставником, я не ошибся! Вы напоминаете иезуита с розгой, а не дворянина. Прошу вас, не говорите со мной таким тоном. Я ненавижу д'Артаньяна за то, что он совершил подлость по отношению к моему отцу.

– Вы лжете, сударь, – холодно сказал Рауль.

– О, – воскликнул де Вард, – вы обвиняете меня во лжи!

– Почему бы нет, если то, что вы говорите, – ложь?

– Вы обвиняете меня во лжи и не беретесь за шпагу?

– Сударь, я дал себе слово убить вас только тогда, когда вручу принцессу ее супругу.

– Убить меня? О, ваш пук розог не может убить, господин педант.

– Конечно, нет, – спокойно возразил Рауль, – но шпага д'Артаньяна убивает, а эта шпага в моих руках, и он сам научил меня владеть ею. И этой шпагой я отомщу за его имя, оскорбленное вами.

– Виконт, виконт, – воскликнул де Вард, – берегитесь! Если вы тотчас же не попросите извинения, все средства мести будут для меня хороши.

– Ого! – произнес Бекингэм, неожиданно появляясь на поле брани. – Вот угроза, которая наводит на мысль об убийстве и не особенно приличествует дворянину.

– Что вы говорите, герцог? – спросил де Вард, обернувшись.

– Я говорю, что ваши слова режут мой слух англичанина.

– Если так, герцог, – крикнул взбешенный де Вард, – тем лучше. По крайней мере, в вашем лице я встречу человека, который не ускользнет у меня между пальцев. Итак, примите мои слова как угодно.

– Я принимаю их как должно, – ответил Бекингэм свойственным ему высокомерным тоном, который придавал его словам вызывающий характер даже в обычной беседе. – Де Бражелон – мой друг; вы оскорбляете виконта, и вы дадите мне удовлетворение за это.

Де Вард взглянул на Бражелона, который, держась избранной им тактики, хранил спокойствие, даже услышав вызов герцога.

– Прежде всего, мои слова, надо полагать, вовсе не задевают господина де Бражелона. Ведь у виконта есть шпага, но он, видимо, не считает себя оскорбленным.

– Но вы кого-то оскорбляете?

– Конечно, д'Артаньяна, – продолжал де Вард, заметив, что это имя служило единственным средством возбудить гнев Рауля.

– Тогда, – заметил Бекингэм, – дело другого рода.
– Не правда ли – спросил де Вард. – Друзья д'Артаньяна должны его защищать.
– Я вполне разделяю ваше мнение, – ответил англичанин, к которому вернулось хладнокровие. – За Бражелона я не мог вступить, потому что он здесь; но раз дело касается господина д'Артаньяна...

– Вы уступаете, не правда ли? – произнес де Вард.
– Нет, напротив, я обнажаю шпагу, – сказал Бекингэм. – Может быть, господин д'Артаньян и обидел вашего отца, но моему он оказал или, во всяком случае, хотел оказать большую услугу.

Лицо де Варда выразило изумление.

– Д'Артаньян, – заявил Бекингэм, – самый храбрый и честный дворянин, какого я знаю, и так как я лично многим обязан ему, я с восторгом возьму на себя его неоплаченный долг ударом шпаги.

И Бекингэм ловким движением обнажил свою шпагу, поклонился Раулю и стал в позицию.

Де Вард сделал шаг вперед, чтобы скрестить клинки.

– Нет, нет, господа, – поторопился Рауль, выступая и разнимая противников. – Все это не стоит того, чтобы люди пытались заколоть друг друга почти на глазах принцессы. Господин де Вард злословит, даже не зная господина д'Артаньяна.

– Ого! – сказал де Вард, скрежеща зубами и опуская острие шпаги на носок своего сапога. – Вы говорите, что я не знаю д'Артаньяна?

– Да, да, вы его не знаете, – холодно настаивал Рауль. – Вам даже неизвестно, где он сейчас.

– Я? Не знаю, где он?

– Без сомнения, потому что вы стараетесь ссориться из-за него с другими, вместо того чтобы отыскать д'Артаньяна там, где он находится.

Де Вард побледнел.

– Так я вам скажу, где он, – продолжал Рауль, – господин д'Артаньян в Париже. Когда он дежурит, он находится в Лувре, а когда свободен, то у себя, на Ломбардской улице. Д'Артаньяна легко найти в одном из этих мест. У вас накопилось столько злобы против него, что вы будете недостойны имени порядочного человека, если не потребуете, от д'Артаньяна удовлетворения, которого, по-видимому, просите у всех, кроме него.

Де Вард отер пот, выступивший у него на лбу.

– Фи, господин де Вард, – презрительно усмехнулся Рауль, – не следует затевать ссоры на каждом шагу, когда издан указ, запрещающий дуэли. Король разгневется на нас за наше непослушание в такую минуту, и он будет прав.

– Отговорки, – прошептал де Вард, – уловки!

– Полно, – возразил Рауль. – Что за бредни, мой дорогой господин де Вард! Вы отлично знаете, что герцог Бекингэм человек храбрый, что он десяток раз обнажал свою шпагу и охотно будет драться в одиннадцатый. Он носит имя, налагающее известные обязательства. Что же касается меня, то вы хорошо понимаете, не правда ли, что я не боюсь вас. Я дрался под Сансом, в Блено, в Дюнах, впереди канониров, в ста шагах перед фронтом, тогда как вы, кстати сказать, были в ста шагах за ним. Правда, тогда сражалось слишком много народу, и ваша храбрость оказалась бы незамеченной; вот почему вы ее скрывали. Здесь же это будет зрелищем, скандалом.

Вам хочется заставить говорить о себе, все равно по какому поводу. Поэтому не рассчитывайте на меня, господин де Вард, в этом отношении: я не доставлю вам такого удовольствия.

– Вполне разумно, – сказал Бекингэм, вкладывая шпагу в ножны. – Простите, виконт де Бражелон, я невольно поддался первому порыву гнева.

Но взбешенный де Вард, высоко подняв свою шпагу, бросился на Рауля, который едва успел отпарировать Удар.

– Прошу вас, сударь, – спокойно заметил Бражелон, – будьте осторожнее. Вы чуть не выкололи мне глаз.

– Значит, вы не хотите драться? – вскричал де Вард.

– В настоящую минуту нет, но вот что я вам обещаю тотчас по приезде в Париж: я приведу вас к д'Артаньяну, и вы выскажете ему неудовольствие, которое имеете против него. Д'Артаньян попросит у короля позволения нанести вам удар шпагой. Король позволит, и, получив этот удар, мой дорогой господин де Вард, вы сумеете усвоить предписание Евангелия, которое велит нам забывать обиды.

– Ах! – воскликнул де Вард, вне себя от хладнокровия Рауля. – Видно, что вы, господин де Бражелон, незаконный сын.

Рауль стал блее воротника своей рубашки, и глаза его так сверкнули, что де Вард отступил.

Бекингэм, пораженный этим блеском, кинулся между двумя противниками, боясь, что они бросятся друг на друга.

Де Вард приберег это оскорбление напоследок; он теперь судорожно сжимал свою шпагу, ожидая нападения.

– Вы правы, господин де Вард, – сказал Рауль, делая над собой страшное усилие, – мне известно только имя моего отца, но я слишком хорошо знаю графа де Ла Фер, его возвышенный характер, его незапятнанную честь и не боюсь, что на моем рождении лежит пятно, как вы намекаете! Незнание имени моей матери для меня несчастье, но не позор. А вы поступаете некорректно и несправедливо, попрекая меня несчастьем. Все равно, слово сказано, и я считаю себя оскорбленным. Итак, решено: после дуэли с д'Артаньяном вы, если вам угодно, будете иметь дело со мной.

– Ого, – ответил де Вард с язвительной улыбкой, – я восхищаюсь вашей осторожностью, виконт. Сию минуту вы обещали мне удар шпаги д'Артаньяна, а после этого удара намерены обнажить свое оружие.

– Не беспокойтесь, – с гневом отвечал Рауль, – господин Д'Артаньян ловко владеет оружием, и я попрошу у него как милости, чтобы он сделал с вами то, что сделал с вашим отцом, то есть не убил вас, а предоставил мне это удовольствие, когда вы поправитесь. У вас злое сердце, господин де Вард, и, право, все меры предосторожности, принятые против вас, не излишни.

– Будьте спокойны, виконт, я сам приму меры предосторожности против вас, – ответил де Вард.

– Позвольте, – сказал Бекингэм, – истолковать ваши слова и дать совет де Бражелону. Виконт, носите кольчугу.

Де Вард сжал кулаки.

– А, понимаю, – пробормотал он, – вы хотите прежде принять эту предосторожность, а потом уже помериться со мною силами?

– Полно, господин де Вард, – ответил Рауль, – раз вы непременно этого хотите, покончим дело сейчас.

И, вынимая шпагу, он шагнул по направлению к де Варду.

– Что вы делаете? – спросил Бекингэм.

– Ничего, – успокоил его Рауль, – то не затянется.

Противники стали в позицию, и клинки скрестились.

Де Вард бросился на Рауля с такой стремительностью, что при нервом же схватке Бекингэм понял, что Рауль щадит своего противника.

Герцог, отступив, смотрел на поединок.

Рауль дрался так спокойно, точно в его руках была рапира, а не шпага.

Он высвободил свою шпагу, зацепившую шпагу противника у самой рукоятки, и, отступив на шаг, отпарировал три-четыре удара де Варда; потом, угрожая ему ударом ниже пояса, который де Вард отразил круговым движением, Рауль ударил по его шпаге, выбил ее из рук врага и отбросил на двадцать шагов за ограду.

Де Вард стоял безоружный, ошеломленный; Рауль вложил свою шпагу в ножны, схватил дрожащего от ярости противника за ворот и за пояс и перебросил его через изгородь.

– До встречи, до встречи, – пробормотал де Вард, поднимаясь на ноги и подбирая свою шпагу.

– Черт возьми, – произнес Рауль, – вот уже целый час, как я повторяю вам то же самое.

Потом, повернувшись к Бекингэму, попросил:

– Умоляю вас, герцог, ни слова об этом. Мне стыдно, что я дошел до такой крайности, во я не смог сдержать гнев. Прошу вас, извините меня и забудьте.

– Ах, дорогой виконт, – проговорил герцог, сжимая суровую, честную руку Рауля, – Позвольте мне, напротив, помнить и думать о вашей безопасности. Этот человек опасен, он убьет вас.

– Моя отец, – ответил Рауль, – жил под угрозой более страшного врага двадцать лет и уцелел. В моих жилах течет кровь, которой покровительствует судьба, герцог.

– У вашего отца были хорошие друзья, виконт.

– Да, – вздохнул Рауль, – такие друзья, каких теперь не найдется.

– Прошу вас, не говорите так, когда я предлагаю вам свою дружбу.

И Бекингэм раскрыл объятия Бражелону, который с удовольствием принял предложенный союз.

– В нашем роде, – прибавил Бекингэм, – умирают за тех, кого любят. Вы это знаете, виконт.

– Да, герцог, знаю, – ответил Рауль.

Глава 40. **ЧТО ДУМАЛ ШЕВАЛЬЕ ДЕ ЛОРРЕН О ПРИНЦЕССЕ**

Ничто больше не нарушало спокойствия в пути.

Под каким-то предлогом, не вызвавшим никаких толков, де Вард уехал вперед. Он увез с собой Маникана, ровный и мечтательный характер которого уравнивал его раздражительность.

Бэкингэм и Бражелон приняли де Гиша в свой дружеский союз; теперь они втроем неустанно восхваляли принцессу. Бражелон добился того, что этот квартет похвал теперь состоял из трио, а не из сольных выступлений, к которым прежде имело опасное пристрастие де Гиш и его соперник.

Такая гармония очень нравилась королеве-матери. Но она, быть может, приходилась менее по вкусу молодой принцессе, кокетливой как демон; не боясь за себя, она любила опасные движения. Принцесса обладала безрассудным и дерзким сердцем, ей нравилось скользить по краю опасности, ее влекло острое лезвие, словно она жаждала ран.

По пути в Париж принцессу провожало тысячи поклонников, за нею следовали с полдюжины безумцев и два совершенно сумасшедших. Только Рауль, видевший всю прелесть этой девушки, но хранивший в сердце другую любовь, рядом с которой не оставалось места для новой, вернулся в столицу холодный и настороженный.

Дорогой он иногда беседовал с королевой об упоительном очаровании, исходившем от принцессы, и королева-мать, которую многому научили перенесенные несчастья и пережитые разочарования, ответила ему:

– Генриетта стала бы знаменитой, даже если бы она родилась не в королевской семье, а в полной безвестности: она женщина с яркой фантазией, своенравным характером и твердой волей.

Де Вард и Маникан, двое разведчиков и курьеры, объявили о приближении принцессы.

В Нантере поезд принцессы был встречен блестящим эскортом из всадников и экипажей. Это принц, вместе с де Лорреном и другими своими любимцами, в сопровождении части королевской гвардий, выехал навстречу невесте.

В Сен-Жермене принцесса и королева перешли из дорожного экипажа, тяжеловатого и

довольно поистрепавшегося от путешествия, в изящную, роскошную карету, запряженную шестеркой лошадей в белой золоченой сбруе. В этом экипаже прекрасная молодая принцесса сидела, под балдахином из вышитого шелка, с каймой из перьев, словно на троне; на ее сияющее лицо падали розовые блики, нежно играя на ее матовой, как перламутр, коже.

Подъехав к экипажу, герцог Филипп был поражен красотой Генриетты и так явно выразил свое восхищение, что де Лоррен, стоявший среди других придворных, пожал плечами, а граф де Гиш и Бекингэм почувствовали сердечную боль.

После обмена любезностями и выполнения всех правил церемониала процессия медленно двинулась к Парижу.

Членов свиты наскоро представили принцу. На Бекингэма указали только в числе других знатных англичан.

Принц обратил на них мало внимания. Но, видя по дороге, что Бекингэм упорно держится подле дверцы кареты, он спросил у неразлучного с ним де Лоррена:

- Кто этот всадник?
- Вашему высочеству только что представили его, – ответил де Лоррен.
- Это герцог Бекингэм.
- Ах да, правда.
- Кавалер принцессы, – прибавил фаворит особенным тоном, каким только завистники умеют произносить самые простые фразы.
- Что такое? – спросил принц, не останавливая коня.
- Я сказал: кавалер.
- Разве у принцессы есть назначенный для ее сопровождения кавалер?
- Гм! Мне кажется, вы это так же хорошо видите, как и я; посмотрите только, как они мило и весело болтают вдвоем.
- Втроем.
- Как втроем?
- Конечно, ты же видишь, что де Гиш участвует в их беседе.
- Да, вижу... Конечно. Но что это доказывает? Только то, что у принцессы не один кавалер, а два.

– Ты все отравляешь, ехидна.

– Вовсе нет. Ах, ваше высочество, какой у вас строптивый характер!

Представители Франции приветствуют вашу будущую супругу, а вы недовольны.

Герцог Орлеанский боялся язвительных замечаний де Лоррена, когда насмешливость фаворита особенно разыгрывалась.

Он оборвал этот разговор.

– Принцесса недурна собой, – небрежно заметил он, точно речь шла о посторонней ему женщине.

- Да, – тем же тоном ответил де Лоррен.
- Ты произнес это «да» совсем как «нет». А я нахожу, что у нее очень красивые черные глаза.

- Маленькие.
- Верно, не особенно большие. У нее красивая фигура.
- Ну, фигура не блестящая, ваше высочество.
- Пожалуй. Зато у нее благородная осанка.
- Да, но слишком худое лицо.
- Кажется, восхитительные зубы.
- Их легко видеть. Слава богу, рот достаточно велик. Положительно, ваше высочество, я ошибался: вы красивее вашей жены.

- А как ты считаешь, я красивее этого Бекингэма?
- О да, и он это чувствует. Посмотрите, он старается с удвоенным жаром ухаживать за принцессой, чтобы вы не затмили его.

У принца вырвалось нетерпеливое движение; однако, увидев торжествующую улыбку на

губах де Лоррена, он сдержал лошадь и пустил ее шагом.

– Впрочем, – сказал он – что мне смотреть на кузину! Я же давно знаю ее. Ведь мы вместе воспитывались. Я достаточно видел ее ребенком в Лувре.

– Извините, ваше высочество, она весьма изменилась, – заметил де Лоррен. – В те времена, о которых вы говорите, она была не такой блестящей и, главное, далеко не такой гордой. Помните тот вечер, ваше высочество, когда король не пожелал танцевать с ней, найдя, что она некрасива и плохо одета?

Герцог Орлеанский нахмурил брови. Действительно, нелестно для него было жениться на принцессе, которою король пренебрегал в молодости.

Может быть, он ответил бы своему фавориту, по в это мгновение, оставив карету, к принцу подъехал де Гиш.

Он издали следил за принцем и де Лорреном и напрягал слух, стараясь уловить фразы, которыми они обменивались.

Из коварства или по неосторожности де Лоррен не считал нужным притворяться.

– Граф, – начал он, – у вас хороший вкус.

– Благодарю за комплимент, – ответил де Гиш. – Но чем я заслужил его?

– Гм! Спросите его высочество.

– Конечно, – подтвердил герцог Орлеанский, – Гиш отлично знает, каким совершенным кавалером я его считаю.

– Раз мы на этот счет согласны, граф, я продолжаю – сказал де Лоррен.

– Не правда ли, вы уже неделю находитесь подле принцессы?

– Пожалуй, – ответил де Гиш, невольно краснея.

– Так скажите же нам откровенно: как вы находите ее?

– Ее? – с изумлением спросил де Гиш.

– Да, ее внешность, ее ум?

Ошеломленный таким вопросом, де Гиш не сразу нашелся, что ответить.

– Ну, ну, де Гиш, – громко смеялся де Лоррен, – скажи, что ты думаешь, будь откровенен; его высочество приказывает.

– Да, да, приказываю, – сказал принц.

Де Гиш пробормотал несколько невнятных слов.

– Я знаю, что это щекотливый вопрос, – продолжал герцог Орлеанский. Но ведь мне можно говорить все. Как ты ее находишь?

Желая скрыть свои чувства, де Гиш прибегнул к единственному средству защиты, которое остается у человека, застигнутого врасплох; он солгал.

– Я не нахожу принцессу ни красавицей, ни уродом. Скорее она недурна собой.

– Боже мой, граф! – вскричал де Лоррен, – И это говорите вы, так восхищавшийся ее портретом?

Де Гиш покраснел до ушей. На счастье, его горячая лошадь бросилась в сторону, и это помогло ему скрыть выступившую краску.

– Портретом? – спросил он, возвращаясь на прежнее место. – Каким портретом?

Де Лоррен не сводил с него глаз.

– Да, портретом. Разве миниатюра не похожа?

– Не знаю. Я забыл портрет: он исчез у меня из памяти.

– А между тем он произвел на вас сильное впечатление, – заметил де Лоррен.

– Возможно.

– Но она, по крайней мере, умна? – пожал плечами герцог Орлеанский.

– По-видимому, да, ваше высочество.

– А Бекингэм? – спросил де Лоррен.

– Не знаю.

– Должно быть, умен, – сказал де Лоррен, – раз он смешит принцессу, и она, кажемся, с большим удовольствием разговаривает с ним. А неглупый и остроумной женщине неприятно находиться в обществе глупца.

– Значит, он умен, – наивно сказал де Гиш, к которому на помощь явился Рауль, уравнивая его с опасным собеседником.

Де Бражелон обратился к де Лоррену и таким образом заставил его переменить тему разговора.

Въезд был торжественный и блестящий. Король, желая оказать брату почет, велел устроить великолепную встречу. Принцесса и ее мать остановились в Лувре, в том самом Лувре, где во времена изгнания они так страдали от забвения, бедности и лишений.

Дворец был негостеприимен раньше к несчастной дочери Генриха IV, его голые стены, провалившиеся полы, покрытые паутиной потолки, огромные полуразрушенные каминные, эти холодные очаги, которые едва удавалось согреть на средства, из милости отпускаемые парламентом, – все теперь преобразилось. Великолепная обивка, пушистые ковры, блестящие плиты пола, картины в широких золотых рамах, повсюду канделябры, зеркала, роскошная мебель, телохранители с гордой осанкой и в шляпах с развевающимися перьями, огромная толпа слуг и придворных в передних и на лестницах – вот что встретило их теперь.

В огромных дворах, некогда печальных и немых, гарцевали всадники.

Из-под копыт их лошадей, ударявших о камень, сыпались тысячи искр. Молодые красивые дамы поджидали в каретах дитя той дочери Франции, которая в годы своего вдовства и изгнание порой не находила полена дров для очага, куска хлеба для стола и которую презирали даже дворцовые слуги.

Вдовствующая королева возвращалась в Лувр с болью в сердце, полная горьких воспоминаний, между тем как ее дочь, обладавшая более изменчивым и забывчивым характером, ехала туда радостная и торжествующая. Королева знала, что блестящая встреча относилась к счастливой матери короля, восстановленного на втором троне Европы, тогда как дурной прием был оказан ей, дочери Генриха IV, в наказание за то, что она была несчастна.

Проводив принцессу и королеву в их покои, где они пожелали немного отдохнуть, все вернулись к своим обычным занятиям.

Бражелон прежде всего отправился к отцу, но узнал, что Атос уехал в Блуа. Он хотел повидаться с д'Артаньяном. Но мушкетер, занятый набором новой королевской гвардии, был неуловим. Бражелон вернулся к де Гишу. Но у графа шли совещания с портными и с Маниканом, отнимавшие у него все время.

С герцогом Бекингэмом дело обстояло еще хуже.

Молодой англичанин покупал одну лошадь за другой, одни драгоценности за другими. Он завладел всеми парижскими вышивальщицами, ювелирами, портными. Между ним и де Гишем происходил поединок изящества, ради счастливого исхода которого герцог готов был истратить миллион, тогда как маршал Граммон выдал де Гишу только шестьдесят тысяч ливров.

Бекингэм, смеясь, тратил свой миллион. Де Гиш вздыхал и без советов де Варда рвал бы на себе волосы.

– Миллион! – каждый день повторял граф. – Я буду побежден. Почему маршал не хочет дать мне вперед мою долю наследства?

– Потому, что ты ее истратишь, – говорил ему Рауль.

– Не все ли ему равно? Раз мне суждено от этого умереть, я умру. Тогда мне уже ничего не будет нужно.

– Но зачем умирать? – спросил Рауль.

– Я не хочу, чтобы англичанин превзошел меня в изяществе.

– Дорогой граф, – сказал тогда Маникан, – изящество вещь не дорогая, а только трудно достижимая.

– Да, но все трудно достижимое стоит дорого, у меня же всего шестьдесят тысяч ливров.

– Право, – заметил де Вард, – какой ты странный! Трать столько же, сколько Бекингэм; тебе не хватает только девятисот сорока тысяч ливров.

– Но где же их достать?

– Делай долги.

– Они у меня уже есть.

– Тем более.

Этот совет оказал свое действие, и де Гиш пустился на сумасбродства, между тем как Бекингэм тратил лишь наличные.

Слухи о такой расточительности радовали всех парижских торговцев; и о домах Бекингэма и Граммона рассказывали всякие чудеса.

Тем временем принцесса отдыхала, а Бражелон писал письма де Лавальер.

Были отправлены уже четыре письма, но ни на одно он еще не получил ответа. В утро свадебной церемонии, которая должна была состояться в церкви Пале-Рояля, Рауль сидел, заканчивая свой туалет, когда его лакей доложил:

– Господин де Маликорн.

«Что нужно от меня этому Маликорну? – подумал Рауль.

– Пусть подождет, – сказал он.

– Господин де Маликорн приехал из Блуа, – прибавил лакей.

– А, пригласите его войти! – воскликнул Рауль.

Вошел сияющий, как звезда, Маликорн, с великолепной шпагой.

Он любезно поклонился виконту:

– Господин де Бражелон, я привез вам тысячу приветов от одной дамы.

Рауль покраснел.

– От дамы из Блуа? – спросил он.

– Да, виконт, от мадемуазель де Монтале.

– А, благодарю, господин Маликорн, теперь я вас узнал, – сказал Рауль. – Что же угодно мадемуазель де Монтале?

Маликорн вынул из кармана четыре письма и подал их Раулю.

– Мои письма! Возможно ли? – произнес Рауль, побледнев. – Мои письма, и нераспечатанные!

– Виконт, эти письма не застали в Блуа той особы, которой были адресованы. Вам их возвращают.

– Луиза де Лавальер уехала из Блуа? – вскричал Рауль.

– Да, неделю тому назад.

– Где же она сейчас?

– Вероятно, в Париже, сударь.

– Но как узнали, что эти письма от меня?

– Ора де Монтале узнала ваш почерк и вашу печать, – объяснил Маликорн.

Рауль смущенно улыбнулся.

– Со стороны мадемуазель де Монтале это очень любезно, – сказал он, она по-прежнему добра и очаровательна.

– Да, сударь.

– Жаль, что она не дала мне точных сведений о мадемуазель де Лавальер. Трудно ее отыскать в этом огромном Париже.

Маликорн вынул из кармана еще один конверт.

– Может быть – предположил он, – это письмо скажет вам то, что вы желаете узнать.

Рауль быстро сломал печать и увидел почерк Монтале. Вот что было написано на листке:

«Париж, Пале-Рояль. День брачного благословения».

– Что это значат? – спросил Рауль Маликорна. – Вы знаете?

– Да, виконт.

– Ради бога, объясните мне...

– Не могу, виконт. Ора де Монтале запретила мне говорить.

Рауль посмотрел на этого странного человека и ничего не сказал.

– По крайней мере, – попросил он, – хоть намекните: ждет меня радость или огорчение?

– Вы скоро узнаете.

– Вы строго храните тайны.

– Виконт, прошу вас о любезности.
– В обмен на ту, которой вы мне не оказываете?
– Вот именно.
– Говорите.
– Мне очень хочется видеть свадебную церемонию, а у меня нет входного билета, хотя я сделал все, чтобы его получить. Вы могли бы провести меня?
– Конечно.
– Пожалуйста, сделайте это, умоляю вас.
– Охотно, вы пройдете со мной.
– Виконт, я ваш покорный слуга.
– Но почему вы не обратились к своему другу Маникану?
– Сегодня утром, присутствуя при его туалете, я опрокинул баночку с лаком на его новый костюм, и он бросился на меня со шпагой так яростно, что я едва спасся. Вот почему я не стал просить у него билет. Он бы меня убил.
– Конечно, – сказал Рауль. – Я знаю, что Маникан способен убить человека, имевшего несчастье совершить подобное преступление; но я исправлю беду: сейчас застегну плащ и буду готов служить вам провожатым.

Глава 41. СЮРПРИЗ ОРЫ ДЕ МОНТАЛЕ

Принцесса венчалась в дворцовой церкви Пале-Рояля в присутствии немногих избранных придворных.

Однако, хотя приглашение в церковь почиталось за великую милость, Рауль, верный своему слову, провел с собой Маликорна, жаждавшего насладиться любопытным зрелищем.

Выполнив свое обещание, Рауль подошел к де Гишу, Великолепный костюм графа плохо гармонировал с его лицом, до такой степени искаженным печалью, что только герцог Бекингэм мог бы состязаться с ним в бледности и унынии.

– Будь осторожен, граф, – сказал Рауль, подойдя к другу и готовясь его поддержать, когда архиепископ благословлял молодых.

Действительно, принц Конде уже посматривал с удивлением на эти две статуи отчаяния, стоявшие по обеим сторонам алтаря.

Граф стал более внимательно следить за собою.

По окончании обряда король и королева перешли в большую залу, где им были представлены принцесса и ее свита.

Все заметили, что король, по-видимому восхищенный наружностью жены брата, осыпал ее самыми искренними приветствиями.

Все заметили, что Анна Австрийская долго и задумчиво смотрела на Бекингэма, потом наклонилась к г-же де Мотвиль и сказала ей:

– Не находите ли вы, что он очень похож на своего отца?

Все заметили наконец, что принц наблюдал за присутствующими и, казалось, был недоволен.

После приема высоких особ и послов герцог Орлеанский попросил у короля позволения представить ему и принцессе его новый штат.

– Не знаете ли вы, виконт, – шепотом спросил принц Конде, – со вкусом ли тот человек, который составлял штат герцога, и увидим ли мы приятные лица?

– Я совершенно не знаю этого, ваше высочество, – ответил Рауль.

– О, вы разыгрываете неведение.

– Почему, ваше высочество?

– Но ведь вы друг де Гиша, одного из любимцев принца?

– Совершенно верно, но меня это не интересовало. Я не расспрашивал де Гиша, а он сам ничего не говорил мне.

– А Маникан?

– Я видел Маникана в Гавре и по дороге, но я не спрашивал его, так же как и де Гиша. Кроме того, де Маникан лицо второстепенное и вряд ли знает что-нибудь о составе нового двора.

– Ах, мой милый виконт, откуда вы явились? – сказал Конде. – Ведь в таких случаях именно второстепенные лица играют главную роль, и вот доказательство: почти все делалось по советам Маникана де Гишу и де Гиша принцу.

– Я этого совсем не знал, – заверил Рауль. – Впервые слышу об этом от вашего высочества.

– Готов вам поверить, хотя это и может показаться неправдоподобным.

Впрочем, долго ждать нам не придется. Вот и «летучий отряд», как говорила милейшая королева Екатерина Медичи. Честное слово, прехорошенькие лица!

Действительно, целая толпа молодых девушек вошла в зал под предводительством г-жи де Навайль. К чести Маникана надо сказать, что если он играл ту роль, какую ему приписывал принц Конде, то он отлично справился со своей задачей. Картина могла очаровать ценителя всех типов красоты, каким был Конде. Впереди шла молодая белокурая девушка лет двадцати, с большими голубыми, ослепительно сверкавшими глазами.

– Мадемуазель де Тонне-Шарант, – сказала принцу Филиппу старуха де Навайль.

Герцог Орлеанский повторил герцогине с поклоном:

– Мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Эта премиленькая, – обратился Конде к Раулю. – Раз!

– В самом деле, – заметил Бражелон, – она красива, хотя у нее немного высокомерный вид.

– Ба! Знаем мы этот вид, виконт! Через три месяца она будет ручная.

Но посмотрите, еще одна красавица.

– О, – обрадовался Рауль, – эту красавицу я знаю!

– Мадемуазель Ора де Монтале, – сказала де Навайль.

Имя и фамилия были добросовестно повторены герцогом.

– Боже мой! – воскликнул Рауль, побледнев и устремив изумленный взгляд на входную дверь.

– Что такое? – спросил принц Конде. – Неужели Ора де Монтале заставила вас с таким чувством воскликнуть: «Боже мой!»?

– Нет, ваше высочество, нет, – ответил Рауль, весь дрожа.

– Если не Ора де Монтале, так, значит, та прелестная блондинка, которая идет за нею? Хорошенькие глазки, честное слово! Худошава немного, но очаровательна.

– Мадемуазель де Ла Бом Леблан де Лавальер, – сказала де Навайль.

При этом имени, которое проникло до самой глубины сердца Рауля, глаза его затуманились. Он ничего больше не видел и не слышал.

Конде, заметив, что Рауль не отвечает на его шутливые замечания, отошел от виконта, чтобы поближе рассмотреть молодых девушек, которых он отметил с первого взгляда.

– Луиза здесь, Луиза-фрейлина принцессы! – шептал Рауль.

И его глаза, которым он отказывался верить, переходили от Луизы к Монтале.

Ора уже отбросила напускную застенчивость, необходимую только в первую минуту представления и поклонов. Из своего уголка она довольно бесцеремонно разглядывала всех присутствующих и, отыскав Рауля, забавлялась глубоким изумлением, в которое повергло бедного влюбленного появление Луизы и ее подруги.

Рауль пытался уклониться от шаловливого, лукавого, насмешливого взгляда Монтале, мучившего его, и в то же время, ища объяснений, он постоянно ловил ее взор.

Между тем Луиза, вследствие ли природной застенчивости или по какой-нибудь другой, непонятной для Рауля причине, стояла опустив глаза: смущенная, ослепленная, прерывисто дыша, она старалась отступить как можно дальше, не обращая внимания на подталкивания Монтале.

Все это было для Рауля загадкой, и бедный виконт дал бы многое, чтобы отгадать ее. Но подле него не было никого, кто мог бы объяснить тайну.

Даже Маликорн, немного смущенный блестящим обществом и насмешливыми взглядами Монтале, описал круг и стал в нескольких шагах от принца Конде, позади группы фрейлин. Отсюда доносился до него голос Оры – планеты, которая притягивала его, как скромного спутника.

Когда Рауль пришел, в себя, ему показалось, что слева от него звучат знакомые голоса. Действительно, недалеко стояли де Вард, де Гиш и де Лоррен.

Впрочем, они говорили так тихо, что в большой зале еле слышался их шепот.

Уменьше говорить, не двигаясь с места» не шевелясь, не глядя на собеседника» составляло особое искусство, которым новички не сразу могли овладеть. Приходилось долго упражняться в таких беседах без взглядов, без движения головой, вроде разговора мраморных статуй.

Между тем во время приемов у короля и королев, когда их величества беседовали, а все, казалось, слушали их в благоговейном молчании, происходило много таких тихих разговоров, в которых далеко не преобладала лесть.

Рауль принадлежал к числу людей весьма опытных в этом искусстве, и часто но движению губ он угадывал смысл слов.

– Кто такая эта Монтале? – интересовался де Вард. – Кто такая Лавальер? Почему к нам явилась провинция?

– Монтале? – переспросил де Лоррен. – Я знаю ее. Это славная девушка, которая будет забавлять двор. Лавальер – очаровательная хромуша.

– Фи! – сказал де Вард.

– Не говорите «фи», де Вард; о хромых есть много латинских пословиц, очень остроумных и, главное, верных.

– Господа, господа, – остановил их де Гиш, с беспокойством поглядывая на Рауля, – пожалуйста, осторожнее.

Однако волнение графа, вероятно, не имело оснований. Рауль сохранял спокойный и равнодушный вид, хотя и слышал все до последнего слова. Казалось, он запоминал все вольности и дерзости этих двух зачинщиков ссоры, чтобы при случае отплатить им.

Де Вард, как будто угадав его мысль, продолжал:

– Кто возлюбленные этих девиц?

– Вы скрашиваете о Монтале? – осведомился де Лоррен.

– Да, сперва о ней.

– Вы, я, де Гиш, всякий, кто пожелает.

– А другой?

– Вы говорите о Лавальер?

– Да.

– Берегитесь, господа, – заметил де Гиш, чтобы помешать де Варду ответить, – принцесса слушает вас.

Рауль, засунув руку под камзол, рвал на своей груди кружева.

Однако именно злословие по адресу молодых девушек заставило его принять важное решение.

«Бедная Луиза, – подумал он, – она, конечно, приехала сюда с самыми чистыми намерениями и под почетным покровительством. Однако я должен узнать ее намерения и кто ей покровительствует».

И, подражая маневру Маликорна, он направился к группе фрейлин.

Вскоре прием окончился. Король, не сводивший восхищенного взгляда с принцессы, вышел из приемной залы с обеими королевами.

Де Лоррен пошел рядом с герцогом и по дороге влил ему в ухо несколько капель того яда, который собирал в течение часа, рассматривая новые лица и строя предположения об их сердечных переживаниях.

Уходя, король увлек за собой часть присутствующих. Однако те из придворных, которые

любили независимость или усиленно занимались ухаживанием, начали подходить к дамам.

Принц Конде сказал несколько любезностей де Тонне-Шарант. Бекингэм ухаживал за г-жой де Шале и г-жой де Лафайет, которых уже отличила принцесса; де Гиш, покинувший герцога Орлеанского, как только тот смог приблизиться один к герцогине, оживленно беседовал со своей сестрой, г-жой де Валантинуа, и с фрейлинами де Креки и де Шатильон.

Среди водоворота этих политических и любовных интриг Маликорн старался овладеть вниманием Монтале; но ей гораздо больше хотелось поговорить с Бражелоном, хотя бы для того, чтобы насладиться его вопросами и изумлением.

Рауль сразу направился к де Лавальер и почтительно поклонился ей.

Увидев Рауля, Луиза покраснела и что-то пролепетала. Ора поспешила к ней на помощь.

– Ну, вот и мы, виконт, – сказала Монтале.

– Я вижу, – с улыбкой ответил Рауль. – Об этом-то я и хотел поговорить с вами.

Тут к ним с любезной улыбкой подошел Маликорн.

– Удалитесь, господин Маликорн, – приказала Монтале. – Вы, право, очень нескромны.

Маликорн прикусил губу и, ни слова не говоря, отступил на два шага назад. Изменилась только его улыбка: из добродушной она стала насмешливой.

– Вы хотите получить объяснения, господин Рауль? – заговорила Монтале.

– Мое желание вполне понятно. Луиза де Лавальер – фрейлина принцессы?

– А почему бы ей не быть фрейлиной, как и мне? – спросила Монтале.

– Примите мои поздравления, – поклонился Рауль, чувствуя, что ему не хотят дать прямого ответа.

– Вы это говорите не слишком любезно, виконт.

– Да?

– Гм! Пусть судит Луиза.

– Может быть, господин де Бражелон считает, что это место слишком почетно для меня? – смущенно произнесла Луиза.

– О нет, дело совсем не в этом, – горячо возразил Рауль. – Вы отлично знаете, что я этого не думаю. Меня не удивило бы, если бы вы заняли трон королевы, не говоря уже о месте фрейлины. Меня удивляет только, что я узнал об этом лишь сегодня, случайно.

– Ах, правда, – со свойственным ей легкомыслием ответила Монтале. Ты ничего не понимаешь, да и не можешь понять. Виконт написал тебе четыре письма, но в это время в Блуа была только твоя мать. Я не хотела, чтобы эти письма попали в ее руки, и потому перехватила их и отослала виконту. Таким образом, он думал, что ты в Блуа, между тем как ты была в Париже, и не знал, что твое положение изменилось.

– Как! Ты не послала известия об этом господину Раулю, как я тебя просила? – воскликнула Луиза.

– Вот еще! Чтобы он напустил на себя суровость, начал проповедовать непререкаемые истины и испортил все, чего нам удалось добиться с таким трудом? Конечно, нет.

– Так я очень суров? – спросил Рауль.

– К тому же, – продолжала Монтале, – мне так хотелось, чтобы Луиза стала фрейлиной. Я уезжала в Париж. Вас не было. Луиза заливалась горячими слезами. Понимайте как хотите. Я испросила своего покровителя, того, кто достал мне патент, достать такой же для Луизы. Бумагу прислали. Луиза уехала, чтобы заказать себе платья. Я осталась, потому что мои были уже готовы. Я получила все ваши письма и переслала их вам, написав несколько слов, пообещав вам сюрприз. Вот вам и сюрприз, дорогой виконт.

Мне он кажется неплохим; большего не требуйте. Ну, господин Маликорн, пора оставить эту пару вдвоем: им нужно о многом поговорить. Дайте мне руку. Видите, какую я вам оказываю честь?

– Простите, мадемуазель Де Монтале, – сказал Рауль, останавливая шаловливую девушку и говоря с серьезностью, которая совершенно не гармонировала с тоном Монтале. – Простите, но не могу ли я узнать имя вашего покровителя? Потому что, если вам оказывают покровительство по каким-нибудь основаниям... – Рауль поклонился, – то я не вижу причины,

по которой такое покровительство оказывается и мадемуазель де Лавальер.

– Боже мой, – перебила его Луиза. – Дело очень просто, и я не знаю, почему я не могу вам сказать этого Сама... Мой покровитель господин Маликорн.

На мгновение Рауль остолбенел, спрашивая себя, не смеются ли над ним.

Потом обернулся, чтобы обратиться к Маликорну, но молодой человек был далеко: его уже увлекла Монтале.

Лавальер сделала шаг вслед за подругой, но Рауль с мягкой настойчивостью удержал ее.

– Умоляю вас, Луиза, – попросил он, – еще одно слово...

– Но, Рауль, – ответила она краснея, – все ушли... Начнут волноваться, нас будут искать.

– Не бойтесь, – улыбнулся молодой человек. – Мы с вами не такие важные лица, чтобы наше отсутствие было замечено.

– Но моя служба, Рауль?

– Успокойтесь, я знаю придворные обычаи – ваши дежурства начнутся с завтрашнего дня; значит, у вас есть несколько минут, я вы можете объяснить мне кое-что, о чем я хочу вас спросить.

– Как вы серьезны, Рауль! – с беспокойством сказала Луиза.

– Видите ли, обстоятельства тоже очень серьезны. Вы меня слушаете?

– Да, конечно. Только, сударь, повторяю, мы совсем одни.

– Вы правы, – согласился Рауль.

И, подав ей руку, он провел молодую девушку в галерею, помещавшуюся рядом с приемной залой и выходившую окнами на площадь. Все столпились у среднего окна с – наружным балконом, откуда можно было видеть во всех подробностях приготовления к отъезду.

Рауль открыл одно из боковых окон и остановился подле него с Лавальер.

– Луиза, – сказал он, – вы знаете, что я с детства любил вас как сестру и доверял вам все мои огорчения, все мои надежды...

– Да, – ответила она тихо. – Я знаю, Рауль.

– Со своей стороны, вы тоже относились ко мне дружески и доверяли мне. Почему же при этой встрече вы не смотрите на меня как на Друга? Почему вы мне больше не доверяете?

Лавальер ничего не ответила.

– Я думал, что вы меня любите, – продолжил Рауль, и голос его задрожал. – Я думал, что вы разделяете со мной мечты о счастье, которым мы предавались, гуляя вместе по аллеям Кур-Шеверни и под тополями дороги в Блуа. Вы не отвечаете, Луиза?

Он на мгновение замолк.

– Может быть, – спросил Рауль с дрожью в голосе, – вы меня больше не любите?

– Я этого не говорю, – тихо сказала Луиза.

– О, ответьте мне, прошу вас. Вы моя единственная надежда. Я полюбил вас, такую тихую и скромную. Не позволяйте ослепить себя, Луиза. Тетерь вы будете жить при дворе, где все чистое портится, все новое старится...

Луиза, будьте глухи, чтобы не слышать того, что говорится вокруг; закройте глаза, чтобы не видеть дурных примеров. Сомкните уста, чтобы не вдыхать растлевающего воздуха. Луиза, скажите мне без отговорок, могу ли я верить тому, что говорила Монтале? Луиза, скажите, правда ли, – вы приехали в Париж потому, что меня не было в Блуа?

Лавальер покраснела и закрыла лицо руками.

– Да? Это правда? – вскричал взволнованный Рауль. – Вы приехали из-за этого? О, я вас люблю так, как еще никого не любил. Благодарю вас, Луиза, за преданность; но мне необходимо принять меры, чтобы защитить вас от возможных оскорблений, предохранить от малейшего пятна. Луизу фрейлина при дворе молодой герцогини, при теперешних легкомысленных нравах и непостоянных увлечениях, подвергается унижительным ухаживаниям и ни у кого не находит защиты. Эта обстановка не для вас. Чтобы внушить к себе уважение, вам надо выйти замуж.

– Замуж?

– Да. Вот мое рука. Луиза, вложите в нее вашу.
– Боже мой! Но что скажет ваш отец?
– Мой отец предоставил мне свободу.
– Но все-таки...
– Я понимаю ваши сомнения, Луиза. Я посоветуюсь с отцом.
– О Рауль, подумайте, погодите...
– Ждать невозможно, а раздумывать, Луиза, раздумывать, когда дело касается вас, – это кощунство! Вашу руку, дорогая Луиза. Я располагаю собой, мой отец даст согласие, обещаю вам это. Вашу руку, не заставляйте меня страдать. Ответьте одно слово, единственное, или я подумаю, что после первого же шага во дворце вы совершенно изменились. Одно дуновение милости, одна улыбка королев, один взгляд короля...

Едва Рауль произнес последнее слово, Луиза смертельно побледнела.

Быть может, ее испугало волнение молодого человека?

Движением быстрым, как мысль, она вложила обе руки в руки Рауля и выбежала, не сказав больше ни слова, ни разу не оглянувшись. От прикосновения ее пальцев дрожь прошла по всему телу Рауля. Это движение он принял за торжественную клятву, которую любовь вырвала у девичьей застенчивости.

Глава 42. СОГЛАСИЕ АТОСА

Рауль вышел из Пале-Рояля с намерениями, исполнение которых не допускало никакого отлагательства.

Во дворе он сел на лошадь и выехал на дорогу в Блуа, между тем как во дворце, к большой радости придворных и к великому огорчению де Гиша и Бекингэма, заканчивалось торжество бракосочетания герцога Орлеанского и английской принцессы.

Рауль спешил. Через восемнадцать часов он был в Блуа. По дороге он придумывал самые убедительные доводы. Лихорадка тоже неопровержимый довод, а у Рауля была лихорадка.

Атос сидел в своем кабинете и писал мемуары, когда Гримо ввел к нему Рауля. С первого взгляда проницательный граф увидел в поведении сына что-то необычное.

– Должно быть, ты приехал по важному делу? – сказал он Раулю и, обняв его, знаком предложил сесть.

– Да, – ответил молодой человек, – и я умоляю выслушать меня с тем благосклонным вниманием, в котором вы мне никогда не отказывали.

– Говори, Рауль.

– Расскажу вам все прямо, без предисловий, недостойных такого человека, как вы. Луиза де Лавальер в Париже, она фрейлина принцессы. Я хорошо проверил свои чувства. Я люблю Луизу де Лавальер больше всего на свете и не хочу оставлять ее в таком месте, где ее репутация и добродетель могут подвергнуться опасности. Поэтому я хочу на ней жениться и приехал просить у вас согласия на этот брак.

Атос выслушал это признание молча, ничем не выдавая своей тревоги.

Рауль начал свою речь, стараясь казаться спокойным, а закончил с явным волнением.

Атос устремил на Бражелона глубокий взгляд, затуманенный грустью.

– Ты хорошо подумал? – спросил он.

– Да, сударь.

– Мне кажется, я уже высказал тебе свое мнение об этом союзе.

– Я помню, графу – тихо произнес Рауль. – Но вы говорили, что, если я буду настаивать...

– И ты настаиваешь?

Бражелон почти неслышно ответил:

– Да.

– Должно быть, – продолжал Атос, – твоя страсть очень сильна, если, несмотря на мое

нежелание, ты по-прежнему стремишься к этому браку.

Рауль провел по лбу дрожащей рукой, отирая выступившие капли пота.

Атос посмотрел на него, и в глубине его души зашевелилось сострадание. Он встал.

– Хорошо, – начал он, – мои личные чувства ничего не значат, когда дело касается твоего сердца. Ты нуждаешься во мне: я твой. Итак, ответь, чего ты хочешь от меня.

– О, вашей снисходительности, прежде всего вашей снисходительности! сказал Рауль, беря его за руки.

– Ты ошибаешься относительно моего чувства к тебе, Рауль: в моем сердце живет большее, нежели снисходительность, – заметил граф.

Рауль, как самый нежный влюбленный, поцеловал руку, которую он держал.

– Ну, – продолжал Атос, – скажи, Рауль, что нужно сделать? Я готов.

– О, ничего, граф, ничего, но было бы хорошо, если бы вы потрудились написать королю и попросить у его величества разрешения на мой брак с мадемуазель де Лавальер.

– Хорошо. Это правильная мысль, Рауль. Действительно, после меня, или, вернее, прежде меня, у тебя есть другой господин: этот господин король. Ты хочешь пройти через двойное испытание; это честно.

– О, граф!

– Я тотчас же исполню твою просьбу, Рауль.

Граф подошел к окну и позвал:

– Гримо!

Гримо выглянул из-за огромного куста жасмина, который он подрезал.

– Лошадей! – крикнул граф.

– Что значит это приказание, граф? – спросил Рауль.

– То, что часа через два мы едем.

– Куда?

– В Париж.

– В Париж! Вы едете в Париж?

– Разве король не в Париже?

– Конечно, в Париже.

– Так, значит, нам нужно ехать туда. Ты, кажется, потерял голову?

– Но, граф, – сказал Рауль, почти испуганный уступчивостью отца, – я не прошу вас так себя утруждать. Простое письмо...

– Рауль, ты ошибаешься, боясь затруднить меня. Простой дворянин, как я, не может писать королю: это неприлично. Я хочу и должен лично поговорить с его величеством. Я это сделаю. Мы поедем вместе, Рауль.

– О, как вы добры!

– А как, по-твоему, относится к тебе король?

– Превосходно.

– Из чего ты заключил это?

– Господин д'Артаньян представил ему меня после стычки на Гревской площади, где я имел счастье обнажить шпагу за его величество. У меня есть все основания думать, что король расположен ко мне.

– Тем лучше.

– Но умоляю вас, – продолжал Рауль, – не будьте со мной так серьезны, так сдержанны; не заставляйте меня сожалеть о том, что я поддался чувству, которое во мне сильнее всего.

– Ты второй раз говоришь об этом Рауль; это лишнее. Ты просил формального согласия; я его дал. Не будем больше возвращаться к этой теме.

Пойдем, я покажу тебе наши новые посадки, посмотрим одну грядку.

Рауль знал, что, когда граф выражал свою волю, возражения были неуместны. Опустив голову, он прошел за отцом в сад. Атос стал не спеша показывать ему новые прививки, молодые побеги, посадки деревьев. Это спокойствие приводило Рауля в уныние. Любовь, наполнявшая его сердце, казалась ему такой огромной, что могла бы охватить всю вселенную.

Почему же сердце Атоса оставалось закрытым для нее?

И вдруг, собравшись с духом, Бражелон воскликнул:

– Граф, не может быть, чтобы вы без всякой причины отталкивали Луизу де Лавальер, такую добрую, кроткую, такую чистую! Ваш глубокий ум должен был бы по достоинству оценить ее. Во имя неба, скажите, не существует ли между вами и ее семьей какой-нибудь тайной вражды, наследственной ненависти?

– Посмотри, Рауль, на эту чудесную грядку ландышей, – остановился Атос, – посмотри, как им полезна тень и влажность, в особенности тень листьев кленов, между зубцами которых истекает тепло, но не лучи солнца.

Рауль закусил губу; потом, чувствуя, что кровь приливает к вискам, сказал:

– Граф, умоляю вас, объяснитесь: не забывайте, что ваш сын – мужчина.

– Тогда, – сурово выпрямился Атос, – тогда докажи мне, что ты мужчина. Ты не доказал, что ты послушный сын. Я просил тебя дожидаться блестящего союза. Я нашел бы тебе жену из семьи, стоящей на самых высоких ступенях знатности и богатства. Я хотел, чтобы ты сиял двойным блеском, который придают слава и богатство. Ты из благородного рода!

– Граф, – вскричал Рауль, поддавшись первому порыву, – на днях мне бросили упрек, что я не знаю имени моей матери.

Атос побледнел, потом, сдвинув брови, вымолвил:

– Мне нужно знать, что вы ответили.

– О, простите, простите, – пробормотал молодой человек, утратив все свое возбуждение.

– Что вы ответили? – спросил Атос, топнув ногой.

– Граф, в руках у меня была шпага. Мой оскорбитель был тоже вооружен.

Я выбил на его рук шпагу и перебросил ее через ограду, а потом отправил и его самого вслед за ней.

– А почему вы не убили его?

– Король запретил дуэли, граф, а я в ту минуту был одним из посланцев его величества.

– Хорошо, – сказал Атос. – Но тем больше у меня причин говорить с королем.

– Чего вы будете у него просить, граф?

– Позволения обнажить шпагу против человека, нанесшего вам оскорбление.

– Если я поступил не так, как следовало, умоляю вас, граф, простите меня.

– Кто тебя упрекает?

– Но позволение, которое вы хотите просить у короля...

– Рауль, я прошу его величество поставить подпись на свадебном контракте.

– Граф...

– Но с одним условием...

– Разве вам нужны условия со мной? Прикажите, и я буду повиноваться.

– С тем условием, – продолжал Атос, – что ты мне назовешь человека, который говорил так о... твоей матери.

– Но, граф, зачем вам знать его имя? Меня оскорбили, и, когда его величество разрешит дуэли, мстить буду я.

– Его имя?

– Я не допущу, чтобы вы подвергались опасности.

– Ты принимаешь меня за дону Диего? Его имя?

– Вы этого требуете?

– Я хочу его знать.

– Виконт де Вард.

– А, – спокойно заключил Атос, – хорошо. Я его знаю. Но наши лошади готовы. Мы выедем не через два часа, а немедленно. На коня, на коня!

Глава 43.

ПРИНЦ РЕВНУЕТ К ГЕРЦОГУ БЕКИНГЭМУ

Пока граф де Ла Фер в сопровождении Рауля ехал в Париж, в Пале-Рояле разыгрались события, которые Мольер назвал бы сценой из настоящей комедии.

Прошло четыре дня после бракосочетания герцога Орлеанского. Герцог, торопливо позавтракав, отправился в свои покои, надув губы и нахмутив брови. Завтрак прошел невесело: герцогиня велела подать себе кушанья в комнаты. Его высочество сидел за столом в тесной компании друзей. Только де Лоррен и Маникан присутствовали на этой трапезе, которая продолжалась три четверти часа при полном молчании.

Маникан, менее близкий к его высочеству, чем де Лоррен, напрасно старался прочитать в глазах принца, что вызвало у него такое недовольство.

Де Лоррен, которому незачем было угадывать, потому что он все знал, ел с тем аппетитом, какой вызывали у него чужие неприятности: он наслаждался и досадой герцога, и смущением Маникана. Ему доставляло удовольствие, продолжая есть, удерживать за столом принца, сгоравшего от желания подняться с места.

Минутами принц раскаивался, что дал де Лоррену власть над собой, избавлявшую того от всяких стеснений этикета.

Время от времени принц возводил глаза к небу, потом посматривал на куски паштета, который усердно уничтожал де Лоррен. Наконец он не выдержал и, когда подали фрукты, сердито встал из-за стола, предоставив де Лоррену доканчивать завтрак в одиночестве.

Герцог не пошел, а побежал в переднюю и, застав там служителя, шепотом отдал ему какое-то приказание. Не желая возвращаться в столовую, он прошел через свои комнаты, надеясь застать королеву-мать в ее молельне, где она обычно находилась в это время. Было около десяти часов утра.

Когда принц вошел, Анна Австрийская писала.

Королева-мать очень любила младшего сына, красавца, с мягким характером.

Действительно, герцог Орлеанский был нежнее и, если можно так выразиться, женственнее короля. Он подкупал мать той чувствительностью, которая всегда привлекает женщин. Анна Австрийская, очень желавшая иметь дочь, находила в Филиппе внимание, нежность и ласковость двенадцатилетнего ребенка.

Бывая у матери, принц восхищался ее красивыми руками, давал советы относительно разных номад, рецептов духов, о которых она так заботилась, целовал ее пальцы и глаза с очаровательной ребячливостью, угощал ее сладостями, говорил о ее новых нарядах.

В старшем сыне Анна Австрийская любила короля, вернее – королевское достоинство: Людовик XIV воплощал для нее божественное право. С королем она была королевой-матерью, с Филиппом – просто матерью. И принц знал, что материнские объятия – самое приятное и надежное из всех убежищ мира.

Еще ребенком Филипп укрывался в этом убежище от ссор между ним и Людовиком. Часто после тумач, которыми он награждал его величество, или после утренних сражений в одних рубашках, в присутствии камердинера Ла Порта в роли судьи, или поединка, в котором король и его непокорный слуга пускали в ход кулаки и ногти, Филипп, победив, но сам страшась своей победы, обращался к матери за поддержкой или стремился получить у нее уверенность в прощении Людовика XIV, которое тот давал неохотно.

Благодаря такому мирному посредничеству Анне Австрийской удавалось смягчать разногласия сыновей, и она была посвящена во все их тайны.

Король, немного завидовавший исключительной нежности матери к брату, склонен был вследствие этого в большей степени подчиняться Анне Австрийской и больше заботиться о ней, чем можно было ожидать, судя по его характеру.

Такую же тактику Анна Австрийская применяла по отношению к молодой королеве. Анна почти неограниченно царила над королевской четой и уже принимала меры, чтобы так же царить в доме своего второго сына.

Сейчас, мы сказали, что королева писала, когда принц вошел в ее молельню. Филипп рассеянно поцеловал руки матери и сел раньше, чем она ему позволила.

Ввиду строгих правил этикета, установленного при дворе Анны Австрийской, такое

нарушение приличия служило признаком глубокого волнения, в особенности когда приличия нарушал Филипп, любивший выказывать мастера особенную почтительности.

– Что с вами, Филипп? – спросила Анна Австрийская, обращаясь к сыну.

– О, ваше величество, очень многое, – с печальным видом произнес принц.

– Однако из всего, что вас смущает, – продолжала Анна Австрийская, вероятно, есть что-нибудь, внушающее вам больше забот, чем все остальное?

– Да.

– Я вас слушаю.

Филипп открыл рот, чтобы высказать свои огорчения. Но вдруг остановился, и все, что переполняло его сердце, вылилось во вздохе.

– Ну, Филипп, больше твердости, – сказала королева – Когда жалуются на что-нибудь, это «что-нибудь» всегда оказывается человеком, который мешает, не так ли?

– Видите ли, ваше величество, вопрос, который я хочу затронуть, весьма щекотлив.

– Ах, боже мой.

– Конечно, потому что женщина.

– А, вы хотите говорить о принцессе? – спросила вдовствующая королева с чувством живого любопытства.

– О принцессе?

– Да, о вашей жене.

– А, конечно.

– Так что же? Если вы хотите говорить о принцессе, сын мой, не стесняйтесь, Я ваша мать, а принцесса для меня чужая. Однако, так как она моя невестка, знайте, что я выслушаю с участием, хотя бы только из-за вас, все, – что вы мне о ней скажете.

– Матушка, – колебался Филипп, – вы ничего не заметили?

– Не заметила, Филипп? Вы говорите так неопределенно... Что, собственно, могла я заметить?

– Правда, принцесса хороша собой?

– Да, конечно.

– Однако она не красавица?

– Нет, но с годами она может необычайно похорошеть. Вы же видели, как за несколько лет переменилось ее лицо. Она будет развиваться все больше и больше. Ведь ей всего шестнадцать лет. В пятнадцать лет я тоже была очень худа; но принцесса уже и сейчас красива.

– Следовательно, ее можно заметить?

– Конечно, даже на обыкновенную женщину обращают внимание, а тем более на принцессу.

– Хорошо ли она воспитана?

– Королева Генриетта, ее мать, – женщина довольно холодная, с некоторыми претензиями, но чувства у нее возвышенные. Образование молодой принцессы, может быть, немного пренебрегали, во, я думаю, ей внушили хорошие правила. По крайней мере, так мне казалось во время ее пребывания во Франции. С тех пор она побывала в Англии, и я не знаю, что там произошло.

– Что вы хотите сказать?

– О боже мой, я говорю, что некоторые слегка легкомысленные головы могут закружиться от счастья и богатства.

– Вот, ваше величество, вы сказали именно то, что я думал. Мне кажется, что принцесса немного легкомысленна.

– Не следует преувеличивать, Филипп. Она остроумна, и в ней есть известная доля кокетства, что очень естественно в молодой женщине. Но, сын мой, когда дело касается высокопоставленных особ, этот недостаток приносит пользу двору. Слепка кокетливая принцесса всегда окружена блестящим двором. Одна ее улыбка рождает роскошь, остроумие и даже мужество: дворяне лучше сражаются за принца, жена которого хороша собой.

– Покорно вас благодарю, – недовольным тоном ответил Филипп. – Право, матушка, вы рисуете мне тревожные картины.

– В каком отношении? – с притворной наивностью спросила королева.

– Вы хорошо знаете, – печально сказал Филипп, – вы отлично знаете, как мне не хотелось жениться.

– О, на этот раз вы меня пугаете! Значит, у вас есть серьезные основания быть недовольным принцессой?

– Серьезные – я этого не говорю.

– Тогда зачем же это мрачное лицо! Если вы покажетесь с таким лицом, берегитесь: вас примут за очень несчастного мужа.

– И в самом деле, – согласился Филипп, – я совсем не счастливый муж, и я хочу, чтобы это видели.

– Филипп, Филипп!

– Право, ваше величество, скажу вам откровенно: я не такой жизни ждал, какую мне устраивают.

– Объяснитесь.

– Моя жена никогда не бывает со мной. Она постоянно ускользает от меня. Утром – визиты, переписка, туалеты; вечером – балы, концерты.

– Филипп, вы ревнуете!

– Я? Упаси меня бог! Пусть другие играют глупую роль ревнивого мужа; но я раздосадован.

– Филипп, вы упрекаете свою жену за очень невинные вещи, и до тех пор, пока у вас не будет чего-нибудь более серьезного...

– Выслушайте меня! Женщина, хоть и не виновная, может внушать беспокойство мужу. Некоторые посещения, некоторые предпочтения способны довести бог знает до чего самого нервного мужа...

– Наконец-то! Посещения, предпочтения – прекрасно! Уже целый час мы говорим обиняками, – и только теперь вы заговорили по-настоящему.

– Ну да.

– Это серьезнее. Но разве принцесса виновата перед вами в подобных вещах?

– Вот именно.

– Как! На пятый день после свадьбы ваша жена предпочитает вам кого-то, посещает кого-то? Берегитесь, Филипп, вы преувеличиваете ее вину; кто ищет во что бы то ни стало доказательства, ничего не может доказать.

Испуганный серьезным тоном матери, принц хотел ответить, но смог только невнятно пробормотать несколько слов.

– Ну вот, вы отступаете? – сказала Анна Австрийская. – Тем лучше! Вы признаете ошибочность своих обвинений.

– Нет, нет, – вскричал Филипп, – я не отступаю, и я докажу свои слова. Я сказал «предпочтения», не так ли? Так слушайте...

Анна Австрийская приготовилась слушать с тем удовольствием кумушки, которое всегда испытывает даже самая лучшая женщина, даже лучшая мать, будь она самой королевой, когда ее посвящают в мелкие супружеские ссоры.

– Итак, – продолжал Филипп, – скажите мне одну вещь.

– Какую?

– Почему моя жена сохранила английских придворных? Скажите?

И Филипп скрестил руки, глядя на мать, в уверенности, что королева не найдет ответа на этот вопрос.

– Но, – ответила Анна Австрийская, – дело очень просто: потому, что англичане ее соотечественники; потому, что они истратили много денег на проводы ее во Францию; потому, что было бы невежливо и даже недипломатично внезапно отослать обратно представителей знатных семей, которые не побоялись никаких жертв, чтобы доказать свою

преданность.

– О, матушка! Нечего сказать, большая жертва приехать со своей дрянной родины в нашу прекрасную страну, где на одно экую можно купить больше вещей, чем там на четыре! Большая преданность проехать сто лье, провожая женщину, в которую влюблены!

– Влюблены? Филипп, подумайте, что вы говорите!

– Я знаю, что говорю!

– Но кто же влюблен в принцессу?

– Красавец герцог Бекингэм... Неужели вы и его собираетесь защищать?

Анна Австрийская покраснела и улыбнулась. Это имя воскресило в ней столько сладких и в то же время печальных воспоминаний.

– Герцог Бекингэм? – прошептала она.

– Да, один из салонных любимчиков, как говаривал мой дед, Генрих Четвертый.

– Бекингэмы преданны и отважны, – решительно сказала королева.

– Ну вот, теперь моя мать защищает друга сердца моей жены! – простонал изнеженный Филипп, в порыве отчаяния, потрясшем его до слез.

– Сын мой, сын мои, – прервала его Анна Австрийская – Это выражение недостойно вас. У вашей жены нет друга сердца, а если бы такой и явился, им не будет герцог Бекингэм. Мужчины из его рода, повторяю вам, честны и скромны; они свято чтут законы гостеприимства.

– Ах, матушка! – вскричал Филипп. – Бекингэм – англичанин, а разве англичане оберегают достояние французских принцев и королей?

Анна опять покраснела и отвернулась, словно для того, чтобы вынуть перо из чернильницы, на самом же деле желая скрыть от сына своей румянец.

– Право, Филипп, – поморщилась она, – вы употребляете выражения, которые смущают меня. Ваш гнев ослепляет вас, а меня путает. Ну подумайте, рассудите...

– Мне нечего рассуждать, матушка, я вижу.

– Что же вы видите?

– Я вижу, что герцог Бекингэм не отходит от моей жены. Он осмеливается подносить ей подарки, и она решается их принимать. Вчера она заговорила о фиалковом саше. Наши парфюмеры, – вы это знаете, матушка, так как сами безуспешно требовали от них сухих духов, наши французские парфюмеры не могли добиться этого аромата. А у герцога было с собой фиалковое саше. Значит, это он подарил моей жене саше.

– Сын мой, – сказала Анна Австрийская, – вы строите пирамиды на остриях иголок. Берегитесь. Что тут дурного, спрашиваю я вас, если человек даст своей соотечественнице рецепт новых духов? Ваши странные понятия, клянусь вам, вызывают во мне тяжелые воспоминания о вашем отце, который часто причинял мне страдания своей несправедливостью.

– Отец герцога Бекингэма, наверное, был сдержаннее и почтительнее сына, – усмехнулся Филипп, не замечая, что он грубо оскорбляет чувства матери.

Королева побледнела и прижала к груди судорожно сжатую руку. Но она быстро овладела собой и спросила:

– Одним словом, вы пришли сюда с каким-нибудь намерением?

– Конечно.

– Так говорите.

– Я пришел сюда, матушка, с намерением пожаловаться вам и предупредить вас, что я не потерплю такого поведения стороны герцога Бекингэма.

– Что же вы сделаете?

– Я пожалуюсь королю.

– Но что же вам может сказать король?

– Тогда, – продолжил принц, с выражением жестокой решимости, странно противоречившей обычной мягкости его лица, – тогда я сам приму меры.

– Что вы называете «принять меры»? – с испугом спросила Анна Австрийская.

– Я хочу, чтобы герцог оставил в покое мою жену. Я хочу, чтобы он уехал из Франции, и выскажу ему свою волю.

– Вы ничего не выскажете, Филипп, – сказала королева, – потому что, нарушив до такой степени законы гостеприимства, вы поступите дурно, и я попрошу короля отнестись к вам он всей строгостью.

– Вы грозите мне, матушка! – удивился Филипп. – Вы грозите, когда я жалуюсь!

– Нет, я не угрожаю вам, я просто хочу охладить вас. Я говорю вам, что, приняв против герцога Бекингэма или любого другого англичанина суровые меры, даже совершив простую невежливость, вы посеете между Францией и Англией весьма прискорбный раздор. Как! Принц, брат французского короля, не может скрыть обиды, даже если она обоснована, когда этого требует политическая необходимость!

– Но, государыня, – воскликнул Филипп, всплеснув руками, – будьте же не королевой, а матерью, ведь я говорю с вами как сын. Моя беседа с Бекингэмом займет всего лишь несколько минут.

– Я запрещаю вам заводить об этом речь с Бекингэмом, – ответила королева с прежней властью. – Это недостойно вас.

– Хорошо, я не выступлю открыто, но я объявлю свою волю принцессе.

– О, – вздохнула Анна Австрийская, охваченная грустными воспоминаниями, – не мучьте своей жены, мой сын. Никогда не говорите с ней слишком властным тоном. Победенная женщина не всегда бывает убеждена в своем поражении.

– Что же тогда делать?.. Я с кем-нибудь посоветуюсь.

– Да, с вашими лицемерными друзьями, с вашим де Лорреном или де Вардом?.. Предоставьте действовать мне, Филипп. Вы хотите, чтобы герцог Бекингэм уехал, не так ли?

– Как можно скорее, матушка.

– Тогда пришлите ко мне герцога, мой сын. Улыбайтесь ему, не показывайте виду ни жене, ни королю – никому. Спрашивайте совета только у меня. К сожалению, я знаю, чем становится семейная жизнь, когда ее смущают советчики.

– Хорошо, матушка.

– Вы будете довольны, Филипп. Отыщите герцога.

– О, это сделать нетрудно.

– Где же он, по вашему мнению?

– Конечно, у дверей принцессы в ожидании ее выхода. В этом нет сомнений.

– Хорошо, – спокойно произнесла Анна Австрийская. – Передайте, пожалуйста, герцогу, что я прошу его прийти ко мне.

Филипп поцеловал руку матери и отправился на поиски герцога Бекингэма.

Глава 44. FOR EVER!

Повинуясь приглашению королевы-матери, лорд Бекингэм явился к ней через полчаса после ухода герцога Орлеанского.

Когда лакей назвал его имя, королева, которая сидела, закрыв лицо руками, поднялась и ответила улыбкой на изящный и почтительный поклон герцога.

Анна Австрийская была еще хороша собой. Всем известно, что в эти уже немолодые годы ее роскошные пепельные волосы, прекрасные руки и губы вызывали всеобщее восхищение. Теперь, во власти воспоминаний о прошлом, воскресших в ее сердце, она была столь же прекрасна, как в дни молодости, когда ее дворец был открыт для отца этого самого Бекингэма, молодого, страстного и несчастного человека, который жил ею и умер с ее именем на устах.

Анна Австрийская остановила на Бекингэме ласковый взгляд, в котором можно было прочесть материнскую снисходительность и особенную нежность, похожую на кокетство возлюбленной.

– Ваше величество, – почтительно спросил Бекингэм, – желали говорить со мной?

– Да, герцог, – ответила по-английски королева. – Пожалуйста, сядьте.

Такая милость Анны Австрийской и ласкающий звук родного языка, которого герцог не слышал со времени своего приезда во Францию, глубоко тронули его. Он тотчас понял, что королева хотела о чем-то просить его.

Отдав в первые минуты дань невольному, непреодолимому волнению, королева весело улыбнулась.

– Как вы нашли Францию, герцог? – спросила она по-французски.

– Это прекрасная страна, ваше величество, – поклонился он.

– Вы бывали в ней раньше?

– Да, один раз, ваше величество.

– Но, конечно, как всякий добрый англичанин, вы предпочитаете Англию?

– Я больше люблю мою родину, чем родину французов, – ответил герцог.

– Однако если ваше величество спросит меня, где мне больше нравится жить, в Лондоне или Париже, я отвечу: в Париже.

Анна Австрийская отметила пылкость, с которой были произнесены эти слова.

– Мне говорили, милорд, что у вас есть прекрасные имения, роскошный старинный дворец?

– Да, дворец моего отца, – подтвердил Бекингэм, опуская глаза.

– Это не только богатство, но и дорогие воспоминания, – вздохнула королева, невольно обратившись мыслью к прошлому, с которым люди расстаются так неохотно.

– В самом деле, – согласился герцог грустно, под влиянием такого вступления. – Прошрое, как и будущее, будит мечты у людей, способных чувствовать.

– Правда, – тихо сказала королева. – Из этого следует, – прибавила она, – что вы, герцог, человек глубоко чувствующий... скоро уедете из Франции, вернетесь в свои владения, к своим реликвиям.

Бекингэм поднял голову.

– Я этого не думаю, ваше величество, – проговорил он.

– Как?

– Напротив, я собираюсь покинуть Англию и переселиться во Францию.

Теперь пришла очередь Анны Австрийской выразить изумление.

– Как? – сказала она. – Значит, вы в немилости у нового короля?

– Нет, ваше величество, король оказывает мне безграничную благосклонность.

– Значит, у вас есть какая-нибудь тайная причина, которая руководит вами?

– Нет, ваше величество, – с живостью ответил Бекингэм. – В моем решении нет ничего тайного. Мне нравится жизнь во Франции; мне нравится двор, где во всем чувствуется вкус и любезность; наконец, я люблю, ваше величество, искренний характер ваших наслаждений, не свойственный моей нации.

Анна Австрийская улыбнулась тонкой улыбкой.

– Искренние наслаждения! – воскликнула она. – Хорошо ли вы подумали, герцог, об этой искренности?

Бекингэм что-то пробормотал.

– Не может быть такого искреннего наслаждения, – продолжала королева, – которое могло бы воспрепятствовать человеку вашего положения...

– Ваше величество, – прервал ее герцог, – мне кажется, вы очень настаиваете на этом.

– Вы находите, герцог?

– Простите, ваше величество, но вы уже второй раз подчеркиваете привлекательность моей родной Англии, умаляя очарование Франции.

Анна Австрийская подошла к молодому человеку, и, положив свою руку на его плечо, вздрогнувшее от этого прикосновения, сказала:

– Поверьте, герцог, ничто не сравнится с жизнью на родине. Мне часто случалось вспоминать об Испании. Я прожила долгую жизнь, милорд, очень долгую для женщины, но,

сознаюсь, не проходило ни одного года без того, чтобы я не пожалела об Испании.

– Ни одного года, ваше величество? – холодно произнес молодой герцог.

– Ни одного года из тех лет, когда вы были королевой красоты, какую остались и сейчас.

– О, не надо лести, герцог, я могла бы быть вашей матерью.

Она вложила в эти слова такую нежность, которая проникла в сердце Бекингэма.

Да, – продолжила она, – я могла бы быть вашей матерью и потому даю вам добрый совет.

– Совет вернуться в Лондон? – вскричал он.

– Да, милорд.

Герцог испуганно сжал руки, что не могло не произвести впечатления на женщину, которую дорогие ей воспоминания расположили к чувствительности.

– Так надо, – прибавила королева.

– Как? – воскликнул он. – Мне серьезно говорят, что я должен уехать, что я должен отправиться в изгнание?..

– Вы сказали – отправиться в изгнание? Ах, герцог, можно подумать, что ваша родина Франция!

– Ваше величество, родина любящих – страна тех, кого они любят.

– Ни слова больше, милорд, – остановила его королева. – Вы забываете, с кем говорите! Бекингэм опустил на колени.

– Ваше величество, вы источник ума, доброты, милосердия. Вы первая не только в этом королевстве и не только по вашему положению, вы первая во всем свете благодаря вашим высоким достоинствам. Я ничего не говорил.

Разве я сказал что-нибудь, что заслуживало бы такого сурового ответа?

Разве я выдал себя?

– Вы себя выдали, – тихо сказала королева.

– Не может быть! Я ничего не знаю!

– Вы забыли, что говорили, вернее думали вслух, при женщине, и потом...

– И потом, – быстро перебил он ее, – никто не знает о том, в чем я невольно сознался.

– Напротив, знают все, герцог: вам свойственны и достоинства и недостатки молодости.

– Меня предали, на меня донесли!

– Кто?

– Те, кто уже в Гавре с адской проницательностью читал в моем сердце, как в раскрытой книге.

– Я не знаю, кого вы имеете в виду.

– Например, виконта де Бражелона.

– Я слышала это имя, но не знаю человека, который его носит. Нет, де Бражелон ничего не говорил.

– Кто же тогда? О, ваше величество, если бы кто-нибудь осмелился увидеть во мне то, чего я сам не хочу в себе видеть...

– Что сделали бы вы тогда, герцог?

– Существуют тайны, убивающие тех, кто их знает.

– Тот, кто проник в вашу тайну, безумец, еще не убит. Да вы и не убьете его. Он вооружен всеми правами. Это муж, это человек ревнивый, это второй дворянин Франции, это мой сын, Филипп Орлеанский.

Герцог побледнел.

– Как вы жестоки, ваше величество! – молвил он.

– Бекингэм, – печально проговорила Анна Австрийская, – вы извели все крайности и сражались с тенью, когда вам было так легко остаться в мире с самим собой.

– Если мы воюем, ваше величество, то умираем на поле сражения, – тихо сказал молодой человек, впадая в глубокое уныние.

Анна подошла к нему и взяла его за руку.

– Виллье, – заговорила она по-английски с жаром, против которого никто не мог бы

устоять, – о чем вы просите? Вы хотите, чтобы мать принесла вам в жертву сына, чтобы королева согласилась на бесчестие своего дома?

Дитя, не думайте больше об этом. Как! Чтобы избавить вас от слез, я должна совершить два преступления, Виллье? Вы говорили об умерших. Умершие, по крайней мере, были почтительны и покорны; они склонились перед приказанием удалиться в изгнание; они унесли с собой свое отчаяние как богатство, скрытое в сердце, потому что отчаяние было даром любимой женщины, и бежавшая от них смерть казалась им счастьем, милостью.

Бекингэм поднялся. Черты его лица исказились, он прижал руку к сердцу.

– Вы правы, ваше величество, – сказал он, – но те, о ком вы говорите, получили приказание из любимых уст. Их не прогнали, их просили уехать; над ними не смеялись.

– Нет, о них сохранили воспоминания, – с нежностью прошептала Анна Австрийская. – Но кто говорит вам, что вас изгоняют? Кто говорит, что о вашей преданности не будут помнить? Я действую не от лица кого-нибудь другого, Виллье, я говорю только от себя. Уезжайте, сделайте мне это одолжение, эту милость. Пусть и этим я буду обязана человеку, носящему имя Бекингэма.

– Значит, это нужно вам, ваше величество?

– Да, только мне.

– Значит, за моей спиной не останется никого, кто будет смеяться? Ни один принц не скажет: «Я так хотел»?

– Выслушайте меня, герцог.

Величественное лицо королевы-матери приняло торжественное выражение.

– Клянусь вам, что здесь приказываю только я.

Клянусь вам, что не только никто не будет смеяться, не станет похваляться, но что никто не изменит тому почтению, какого требует ваше высокое положение... Полагайтесь на меня, герцог, как и я полагаюсь на вас.

– Вы не дадите мне объяснений, ваше величество! Я уязвлен, я в отчаянии... Как бы ни было сладко и полно утешение, оно не покажется мне достаточным.

– ДРУГ мой, вы знали вашу мать? – спросила королева с ласковой улыбкой.

– О, очень мало, ваше величество. Но я помню, что эта благородная женщина покрывала меня поцелуями и слезами, когда я плакал.

– Виллье, – королева обняла рукой шею молодого человека, – я для вас мать, и, поверьте мне, никогда никто не заставит плакать моего сына.

– Благодарю вас, ваше величество, благодарю, – растроганный молодой человек задыхался от волнения. – Я вижу, что мое сердце доступно для чувства более нежного, более благородного, чем любовь.

Королева-мать посмотрела на него и пожала ему руку.

– Идите, – сказала она.

– Когда я должен уехать? Приказывайте.

– Не торопитесь слишком с отъездом, – продолжала королева. – Вы уедете, но сами выберете день отъезда... Итак, вместо того чтобы ехать сегодня, как вам, без сомнения, хотелось бы, или завтра, как этого ждали, уезжайте послезавтра вечером. Но сегодня же объявите о вашем решении.

– О моем решении... – повторил молодой человек.

– Да, герцог.

– И... я никогда не вернусь во Францию?

Анна Австрийская задумалась; она вся погрузилась в свои печальные размышления.

– Мне было бы приятно, – сказала королева, – чтобы вы вернулись в тот день, когда я усну вечным сном в Сен-Дени, подле короля, моего супруга.

– Который заставил вас так страдать! – воскликнул Бекингэм.

– Который был королем Франции, – возразила королева.

– Ваше величество, вы полны доброты, вы процветаете, вы живете в радости, вам еще предстоит много лет жизни.

– Что ж? В таком случае вы приедете очень не скоро, – произнесла Анна Австрийская, стараясь улыбнуться.

– Я не вернусь, – грустно молвил Бекингэм, – хотя я и молод.

– Сохрани вас бог...

– Ваше величество, смерть не считается с возрастом; она неумолима: молодые умирают, а старики живут.

– Герцог, оставьте мрачные мысли; я вас развеселю. Возвращайтесь через два года. По вашему очаровательному лицу я вижу, что мысли, которые наводят на вас сегодня такую тоску, рассеются меньше, чем через шесть месяцев. Они будут совсем мертвы и забыты через два года.

– Мне кажется, недавно вы вернее судили обо мне, ваше величество, возразил молодой человек, – говоря, что на нас, Бекингэмов, время не действует.

– Замолчите, замолчите, – сказала королева, целуя герцога в лоб с нежностью, которой не могла в себе подавить. – Уходите, не расстраивайте меня и не безумствуйте больше! Я королева, вы подданный короля Англии.

Король Карл ждет вас. Прощайте, Виллье, farewell¹⁶, Виллье!

– For ever! – ответил молодой человек.

И он быстро вышел, глотая слезы.

Анна приложила руку ко лбу и, взглянув в зеркало, прошептала:

– Что бы ни говорили, женщина всегда остается молодой; в каком-нибудь уголке сердца ей всегда двадцать лет.

Глава 45.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЛЮДОВИК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НАХОДИТ, «ЧТО ЛУИЗА ДЕ ЛАВАЛЬЕР НЕДОСТАТОЧНО БОГАТА И НЕДОСТАТОЧНО КРАСИВА ДЛЯ ТАКОГО ДВОРЯНИНА, КАК ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН

Рауль и граф де Ла Фер приехали в Париж вечером того дня, когда Бекингэм вел этот разговор с королевой-матерью. Граф тотчас по приезде попросил через Рауля аудиенции у короля.

Утром король вместе с принцессой и придворными дамами рассматривал лионские ткани, которые он подарил своей невестке. Потом был обед. Затем игра в карты. По своему обыкновению, король, встав в восемь часов из-за карточного стола, прошел к себе в кабинет, чтобы работать с Кольбером и Фуке.

Когда министры выходили от короля, Рауль был в передней, и король заметил его через полуоткрытую дверь.

– Чего вы хотите, де Бражелон? – спросил Людовик.

Молодой человек подошел.

– Государь, – ответил он, – я прошу аудиенции для графа де Ла Фер, который приехал из Блуа и очень желает говорить с вашим величеством.

– До игры и ужина у меня остается еще час, – сказал король. – Граф де Ла Фер здесь?

– Граф внизу ждет распоряжений вашего величества.

– Пусть поднимется.

Через пять минут Атос вошел к Людовику XIV. Король принял его с приветливой благосклонностью, какую он проявлял с необычным для его возраста тактом по отношению к людям, не ценящим обыкновенных милостей.

– Граф, – начал король, – позвольте мне надеяться, что вы пришли ко мне с какой-нибудь просьбой.

– Не скрою от вашего величества, – ответил граф, – я действительно являюсь просителем.

– Посмотрим, – весело улыбнулся король.

– Я прошу не о себе, ваше величество.

– Жаль. Во всяком случае, я сделаю для того, о ком вы просите, то, чего вы не позволяете мне сделать для вас.

– Вы утешаете меня, ваше величество... Я пришел говорить с королем о виконте де Бражелоне.

– Граф, это все равно что говорить о вас.

– Не совсем, ваше величество... Того, о чем я хочу просить для него, я не могу желать для себя. Виконт хочет жениться.

– Он еще молод, но все равно... Это человек, полный достоинств. Я найду ему жену.

– Он уже нашел себе невесту, ваше величество, и только просит вашего согласия.

– Ах, значит, нужно только подписать брачный контракт?

Атос поклонился.

– Он выбрал невесту богатую и занимающую такое положение, которое удовлетворяет вас?

Граф колебался с минуту.

– Невеста – фрейлина, – ответил он, – но она не богата.

– Эту беду можно поправить.

– Ваше величество преисполняет меня благодарностью. Однако позвольте мне сделать одно замечание.

– Пожалуйста, граф.

– Ваше величество, по-видимому, говорит о своем намерении дать этой девушке приданое?

– Да, конечно.

– И это было бы последствием моего приезда во дворец? Я был бы очень опечален этим, ваше величество.

– Пожалуйста, без лишней щепетильности, граф. Как фамилия невесты?

– Это, – холодно отвечал Атос, – фрейлина де Ла Бом Леблан де Лавальер.

– Ах, – сказал король, стараясь припомнить это имя, – помню: маркиз де Лавальер...

– Да, государь, это его дочь.

– Он умер?

– Да, ваше величество.

– И его вдова вышла замуж вторым браком за господина де Сен-Реми, управляющего дворцом вдовствующей герцогини?

– Ваше величество прекрасно осведомлены.

– Помню, помню... Затем молодая девушка поступила в число фрейлин молодой герцогини.

– Ваше величество лучше меня знает все.

Король подумал еще и, посмотрев украдкой на озабоченное лицо Атоса, спросил:

– Граф, мне кажется, она не очень хороша собой?

– Я не ценитель, – ответил Атос.

– Я ее видел: она не поразила меня красотой.

– У нее кроткий и скромный вид, но красоты мало, ваше величество.

– Все же прекрасные белокурые волосы...

– Кажется, да.

– Довольно выразительные голубые глаза...

– Совершенно верно.

– Итак, в смысле красоты ничего необыкновенного. Перейдем к денежной стороне дела.

– От пятнадцати до двадцати тысяч ливров приданого, самое большее, ваше величество, но влюбленные бескорыстны. Я сам придаю мало значения деньгам.

– Их избытку, хотите вы сказать; но необходимые средства – вещь важная. Без недвижимости женщина с пятнадцатью тысячами приданого не может оставаться при дворе.

Мы пополним недостаток, я хочу сделать это для Бражелона.

Атос поклонился. Король снова заметил его холодность.

– Теперь от состояния перейдем к происхождению, – продолжал Людовик XIV. – Она дочь маркиза де Лавальер, это хорошо, но у нас имеется милейший Сен-Реми, который немного ухудшает дело... Правда, он только отчим, но все же это портит впечатление. А вы, граф, как мне кажется, очень дорожите чистотой вашего рода.

– Государь, я дорожу только моей преданностью вашему величеству.

Король опять умолк.

– Знаете, граф, – сказал он, – с самого начала нашей беседы вы удивляете меня. Вы просите у меня согласия на брак и» должно быть, очень огорчены, что вынуждены обратиться с этой просьбой» О, несмотря на молодость, я редко ошибаюсь. Иногда на помощь моему разуму приходит дружба, а иногда – недоверие, которое удваивает проницательность. Повторяю, вы просите неохотно.

– Да, ваше величество, это правда.

– Тогда я вас не понимаю. Откажите.

– Нет, ваше величество. Я люблю Бражелона всеми силами души; он влюблен в де Лавальер и рисует себе в будущем райские кущи. Я не из тех, кто охотно разбивает иллюзии молодости. Этот брак мне не нравится, но я умоляю ваше величество как можно скорее на него согласиться и таким образом создать счастье Рауля.

– Скажите, граф, а она его любит?

– Если вашему величеству угодно, чтобы я сказал правду, я не верю в любовь Луизы де Лавальер. Она молода, еще ребенок; она опьянена. Радость видеть двор, честь служить при особе герцогини перевесят ту долю нежности, которая, быть может, живет в ее сердце. Значит, это будет супружество, какое ваше величество часто видит при дворе. Но Бражелон хочет на ней жениться; пусть так и будет.

– Но вы не похожи на податливых отцов, становящихся рабами своих детей, – заметил король.

– Ваше величество, я обладаю твердостью воли при столкновении со злыми людьми; у меня нет сил бороться с людьми благородного сердца. Рауль страдает, он опечален; его обычно живой ум отяжелел и омрачился. Я не могу лишать ваше величество тех услуг, которые он может оказать вам.

– Я вас понимаю граф, – промолвил король, – и, главное, понимаю ваше сердце.

– Тогда, – продолжил граф, – мне незачем говорить вашему величеству, почему я стремлюсь составить счастье этих детей, или, вернее, моего сына.

– Я тоже хочу счастья Бражелону.

– Итак, я жду, государь, вашей подписи. Рауль будет иметь честь явиться к вам, чтобы получить ваше согласие.

– Вы ошибаетесь, граф, – твердо ответил король. – Я только что сказал вам, что желаю счастья виконту, а потому сейчас не соглашаюсь на его брак.

– Но, ваше величество, – воскликнул Атос, – вы обещали...

– Не это, граф. Этого я вам не обещал, потому что это противоречит моим намерениям.

– Я понимаю всю благосклонность и великодушие намерений вашего величества относительно меня; но я решаюсь напомнить вам, что я принял на себя обязательство выступить послом.

– Посол часто просит, но не всегда получает просимое.

– Ах, ваше величество, какой удар для Бражелона!

– Я нанесу этот удар сам; я поговорю с виконтом.

– Любовь, ваше величество, неодолимая сила!

– Не беспокойтесь об этом. У меня есть виды на Бражелона. Я не говорю, что он не женится на мадемуазель де Лавальер. Мне только не хочется, чтобы он женился так рано. Я не желаю, чтобы он женился на ней прежде, чем она выдвинется, а он, со своей стороны, заслужит милости, какие я хочу ему оказать. Словом, граф, я хочу, чтобы они подождали.

– Ваше величество, еще раз...

– Граф, по вашим словам, вы пришли ко мне просить милости?

– Да, конечно.

– Хорошо, окажите же милость и мне: не будем больше говорить об этом.

Вероятно, в скором времени я начну войну, и мне понадобятся холостые дворяне. Я не решусь отправить под пули и ядра человека женатого, отца семейства. Я не решусь, даже ради Бражелона, дать без оснований приданое неизвестной мне девушке: это вызвало бы зависть моих дворян.

Атос молча поклонился.

– Это все, чего вы хотели от меня? – прибавил Людовик XIV.

– Все, ваше величество. Разрешите откланяться. Должен ли я предупредить Рауля?

– Избавьте себя от этой неприятности. Скажите виконту, что завтра утром я приму его и поговорю с ним, а сегодня вечером, граф, вы составите мне партию за карточным столом.

– Я одет по-дорожному, ваше величество.

Выйдя из кабинета, Атос увидел Бражелона, который ждал его.

– Ну что, граф? – спросил молодой человек.

– Рауль, король благосклонен к нам, – может быть, не в том смысле, в каком вы думаете, но он добр к нашему роду.

– Граф, у вас дурные вести! – вскрикнул молодой человек, бледнея.

– Завтра утром король объяснит вам, что это за дурные вести.

– Но, граф, король не подписал?

– Король хочет сам составить ваш контракт, Рауль, и очень обстоятельно, на что сейчас у него нет времени. Упрекайте лучше собственное нетерпение, чем добрую волю короля.

Рауль, зная откровенность графа и в то же время его находчивость, опечалился.

– Вы не идете со мной? – сказал Атос.

– Простите, граф, иду, – прошептал Бражелон.

И Рауль спустился с лестницы вслед за Атосом.

– О, раз я здесь, – вдруг заметил граф, – не могу ли я повидать д'Артаньяна?

– Угодно вам, Чтобы я вас проводил в его помещение? – спросил Бражелон.

– Да, конечно.

– Это по другой лестнице.

Они пошли в другую сторону. На площадке близ большой галереи Рауль увидел слугу в ливрее графа де Гиша; услышав голос Рауля, лакей подбежал к нему.

– В чем дело? – остановился Рауль.

– Записка, сударь. Граф узнал, что вы вернулись, и тотчас написал вам. Я целый час ищу вас.

– Вы позволите, граф? – спросил Рауль, подходя к Атосу и собираясь распечатать письмо.

– Читайте.

«Дорогой Рауль, – писал граф де Гиш, – мне необходимо немедленно поговорить с вами о важном деле. Я знаю, что вы вернулись; приходите скорей».

Едва он дочитал письмо, как лакей в ливрее Бекингэма вышел из галереи и, узнав Рауля, почтительно поспешил к нему.

– От герцога, – произнес он.

– О, – воскликнул Атос, – я вижу, Рауль, что ты поглощен делами, как полководец. Я пройду один к д'Артаньяну.

– Извините меня, пожалуйста, – сказал Рауль.

– Да, да, я тебя извиняю. До свиданья, Рауль. До завтрашнего дня я буду дома. Утром я, вероятно, уеду в Блуа, если не будет каких-нибудь приказаний.

– Завтра я приеду засвидетельствовать вам свое почтение.

Атос ушел. Рауль распечатал письмо Бекингэма.

«Господин де Бражелон, – писал герцог, – из французов, которых я видел, вы мне

нравиться больше всех. Обращаюсь к вашей дружбе. Я получил записку, написанную прекрасным французским языком. Я англичанин и боюсь, что недостаточно хорошо понимаю ее. Письмо подписано знатным именем. Вот все, что я знаю. Не будете ли вы так добры прийти ко мне? Я узнал, что вы вернулись из Блуа.

Преданный вам Виллье, герцог Бекингэм».

– Я иду к твоему господину, – сказал Рауль слуге де Гиша, отпуская его. – Через час я буду у господина Бекингэма, – прибавил он, делая рукой знак посланному герцога.

ТОМ II

ЧАСТЬ III

Глава 1. БЕСПОЛЕЗНЫЕ УСИЛИЯ

Отправившись к де Гишу, Рауль застал у него де Варда и Маникана. После истории с дуэлью де Вард делал вид, что незнаком с Раулем.

Де Гиш встал навстречу Раулю. Горячо пожимая руку друга, Рауль бросил беглый взгляд на его гостей, стараясь угадать, чем они озабочены.

Де Вард был холоден и непроницаем. Маникан как будто весь был погружен в созерцание убранства комнаты.

Де Гиш увел Рауля в соседний кабинет и усадил его.

– Ты выглядишь молодцом! – сказал он ему.

– Странно, – отвечал Рауль, – настроение у меня весьма неважное.

– Так же как и у меня, Рауль. Любовные дела не ладятся.

– Тем лучше, граф. Я был бы очень огорчен, если бы твои дела шли хорошо.

– Так не огорчайся. Я очень несчастлив и вдобавок вижу кругом одних счастливых.

– Но понимаю, – отвечал Рауль. – Пожалуйста, друг мой, объяснись.

– Сейчас поймешь. Я напрасно боролся со своим чувством; оно росло и постепенно захватывало меня целиком. Я вспомнил твои советы, призывал на помощь все свои силы; я хорошо понимал, на что я иду. Это гибель, я знаю. Но пусть! Я все-таки пойду вперед.

– Безумец! Ведь первый же шаг погубит тебя.

– Пусть будет что будет.

– Однако ты рассчитываешь на успех, ты думаешь, что принцесса полюбит тебя!

– Я не уверен, Рауль, но надеюсь, потому что без надежды жить невозможно.

– Но допустим, ты добьешься счастья, ведь тогда ты уж наверняка погибнешь.

– Умоляю тебя, Рауль, не спорь со мной, ты меня не переубедишь: я не хочу этого. Я так долго добивался, что уже не могу отступить, я так сильно страдал, что смерть показалась бы мне благодеянием. Я не только безумно влюблен, Рауль, меня терзает также неистовая ревность.

Рауль сжал кулаки; можно было подумать, что его охватил гнев.

– Ну, хорошо! – сказал он.

– Хорошо или плохо – мне все равно. Вот чего я хочу от тебя, моего друга, моего брата. Последние три дня принцесса в непрерывном опьянении от восторга. В первый день я не решался взглянуть на нее, – я ненавидел ее за то, что она не страдает, подобно мне. На другой день я не мог отвести от нее глаз, и она, я это заметил... она, Рауль, смотрела на меня если не с состраданием, то с некоторой благосклонностью. Но между нами встал третий; чья-то улыбка вызывает ее улыбку. Рядом с ее лошадью постоянно скачет лошадь другого, над ее ухом

постоянно звучит ласковый голос другого. Рауль, моя голова пылает все эти три дня, в моих жилах разливается огонь. Я должен прогнать эту тень, потушить эту улыбку, заглушить этот голос!

– Ты собираешься убить принца? – воскликнул Рауль.

– Нет, нет! К принцу я не ревную; я ревную не к мужу, а к любовнику.

– К любовнику?

– Да... А разве ты теперь ничего не замечаешь?

В дороге ты был более проницателен.

– Ты ревнуешь к герцогу Бекингэму?

– Я умираю от ревности!

– Опять?

– О, на этот раз дело легко уладить, я уже послал ему письмо.

– Так это ты ему писал?

– А ты почему знаешь?

– Он сам сообщил мне. Вот, смотри.

И Рауль протянул де Гишу письмо, полученное им почти в одно время с письмом друга. Де Гиш с жадностью прочитал его и заметил:

– Это письмо благородного и, главное, учтивого человека.

– Конечно, герцог – человек воспитанный. Надеюсь, твое письмо составлено в таких же выражениях.

– Я покажу тебе мое письмо, если ты пойдешь нему от моего имени.

– Но это почти невозможно.

– Почему?

– Герцог обращается ко мне за советами так же, как и ты.

– Да, но, надеюсь, ты мне отдашь предпочтение. Послушай, вот что я попрошу тебя сказать герцогу... Это нетрудно... В один из ближайших дней: сегодня, завтра, послезавтра, – словом, когда ему будет угодно, я желал бы встретиться с ним в Венсенском лесу.

– Герцог – иностранец. Да и особое его положение не позволяет ему принять вызов... Вспомни, что Венсенский лес расположен совсем недалеко от Бастилии.

– Последствия касаются только меня.

– Но повод к этой встрече... Какой я выставлю повод?

– Будь – спокоен, он тебя не спросит об атом... Я так же раздражаю герцога, как и он меня. Прошу тебя, пойди к герцогу; я готов упрашивать его принять мой вызов.

– Это лишнее... Герцог предупредил меня, что хочет поговорить со мной. Он на карточной игре у короля... Пойдем туда. Я вызову его в галерею. Ты же держись в стороне. Мне достаточно будет двух слов.

– Ну так идем!

По дороге Рауль, который один только знал тайны обеих сторон, обдумывал, как бы устроить их примирение.

Войдя в залитую светом галерею, где, точно – звезды на небесном своде, двигались Самые прославленные придворные красавицы, Рауль на мгновение забыл о до Гише и загляделся на Луизу. Находясь среди своих подруг, она, точно зачарованная голубка, не сводила глаз с блестящей группы, окружавшей короля.

В десяти шагах от принца герцог Бекингэм пленял французов и англичан своим величественным видом и роскошью наряда.

Кое-кто из старых придворных вспоминал его отца, но это воспоминание было не во вред сыну.

Бекингэм разговаривал с Фуке. Фуке рассказывал ему что-то о Бель-Иле.

– Сейчас я не могу подойти к нему, – заметил Рауль.

– Подожди удобного момента, но, пожалуйста, кончим сегодня. Я весь горю.

– Вот кто нам поможет, – сказал Рауль, завидев д'Артаньяна в новом блестящем мундире капитана мушкетеров.

И Рауль направился к д'Артаньяну.

– Вас искал граф де Ла Фер, шевалье, – сказал он.

– Я только что с ним говорил, – ответил д'Артаньян, рассеянно оглядываясь кругом.

Вдруг взор его стал напряженным, как у орла, заметившего добычу.

Рауль проследил за направлением его взгляда и увидел, что де Гиш кланяется д'Артаньяну. Но он не мог разобрать, на кого был обращен пытливый и надменный взгляд капитана.

– Шевалье, – сказал Рауль, – вы могли бы оказать мне большую услугу.

– Какую, милый виконт?

– Мне нужно сказать два слова герцогу Бекингэму, но он разговаривает с господином Фуке, и мне, конечно, невозможно вмешаться в их беседу.

– Вот как! С господином Фуке? Господин Фуке здесь? – спросил д'Артаньян.

– Разве вы не видите? Вон там.

– Так ты думаешь, что мне удобнее подойти к нему, чем тебе?

– Вы человек более значительный.

– Да, это правда. Я капитан мушкетеров. Этот чин я получил так недавно, что постоянно забываю о нем.

– Смотрите, он глядит на вас... если я не ошибаюсь.

– Нет, нет, не ошибаешься, именно мне он оказывает эту честь.

– Так теперь самая подходящая минута.

– Ты думаешь?

– Пожалуйста, пойдите.

– Иду.

Де Гиш не спускал глаз с Рауля; тот сделал ему знак, что дело улажено.

д'Артаньян направился прямо к группе, окружавшей герцога, и вежливо раскланялся с г-ном Фуке и остальными.

– Здравствуйте, господин д'Артаньян. Мы беседовали о Бель-Иле, – начал Фуке непринужденным тоном светского человека, которым многие не могут овладеть за всю жизнь.

– О Бель-Иле? Вот как! – удивился д'Артаньян. – Ведь он принадлежит вам, господин Фуке?

– Господин Фуке сейчас только сказал мне, что он подарил его королю, – заметил Бекингэм. – Очень рад вас видеть, господин д'Артаньян.

– А вы знаете Бель-Иль, шевалье? – спросил мушкетера Фуке.

– Я был там только раз, сударь, – любезно отвечал д'Артаньян.

– И долго там пробыли?

– Один день, монсеньер.

– Что же вы там видели?

– Все, что можно увидеть в течение одного дня.

– С вашими глазами, сударь, за день можно увидеть много.

В это время Рауль сделал знак Бекингэму.

– Господин суперинтендант, – сказал Бекингэм, – оставляю вам вместо себя капитана, который лучше меня разбирается в бастионах, эскаргах, контрэскаргах; меня зовет приятель.

И Бекингэм направился к Раулю, остановившись по дороге у стола, за которым играли принцесса, королева-мать, молодая королева и король.

– Смотри, Рауль, – подтолкнул друга де Гиш. – Вот он... поспеши.

Сказав комплимент принцессе, Бекингэм снова двинулся к Раулю. Рауль пошел к нему навстречу. Де Гиш остался на месте и внимательно наблюдал.

В тот момент, когда они должны были встретиться, к герцогу Бекингэму подошел принц. На его накрашенных губах играла очаровательная улыбка.

– Боже мой! – произнес он с дружеской любезностью – Что я слышал, милый герцог?

Бекингэм оглянулся; он не заметил, как подошел принц.

Герцог невольно вздрогнул. Легкая бледность покрыла его щеки.

– Что же вы услышали, ваше высочество? – спросил он. – Что так поразило вас?
– Даже привело в отчаяние, сударь! – отвечал принц – Это известие огорчит весь двор.
– Ваше высочество очень благосклонны ко мне, – поклонился Бекингэм. Я догадываюсь, что речь идет о моем отъезде.

– Именно.

– Увы, ваше высочество, я в Париже всего пять-шесть дней, и мой отъезд может огорчить только меня.

Де Гиш услышал эту фразу и, в свою очередь, вздрогнул.

– Его отъезд! – пробормотал он – Что он говорит?

Филипп продолжал прежним любезным тоном:

– Я вполне понимаю, что король Великобритании призывает вас, сударь; всем известно, что его величество Карл Второй не может обойтись без вас.

Но и мы не можем так легко расстаться с вами Примите же выражение моего искреннего сожаления.

– Ваше высочество, – сказал герцог, – поверьте мне, я покидаю французский двор.

– Потому, что такова воля короля, я понимаю. Но если вы думаете, что мое желание имеет какой-нибудь вес у короля, то я берусь упросить его величество Карла Второго оставить вас во Франции еще на некоторое время.

– Я крайне польщен, ваше высочество, – отвечал Бекингэм – Но я получил категорический приказ. Я не могу дольше оставаться во Франции, я и так уже просрочил время и рискую вызвать неудовольствие моего государя Только сегодня я вспомнил, что должен был уехать уже четыре дня назад.

– Вот как! – воскликнул принц.

– Да, – прибавил Бекингэм, возвышая голос настолько, чтобы его могли слышать принцесса и королевы. – Но я похож на того восточного человека, – который увидел чудесный сон и на несколько дней потерял рассудок, а в одно прекрасное утро проснулся здоровым, то есть в здравом рассудке.

Французский двор опьяняет, как этот сон, ваше высочество, но в конце концов нужно проснуться и уехать. Я не могу долее оставаться здесь, как вы любезно предлагаете мне, ваше высочество.

– Когда же вы едете? – заботливо спросил Филипп.

– Завтра, ваше высочество... Уже три дня мои экипажи готовы.

Принц склонил голову, точно желая сказать: «Что ж, если это дело решенное, герцог, говорить больше не о чем».

Бекингэм посмотрел на королев; Анна Австрийская взглядом одобрила его.

Бекингэм улыбнулся в ответ, скрывая улыбкой сердечное волнение.

Принц удалился.

Но в эту минуту с другой стороны залы к герцогу направился де Гиш.

Рауль испугался, что нетерпеливый юноша может сам сделать вызов, и бросился к нему навстречу.

– Нет, нет, Рауль, теперь тебе нечего беспокоиться, – сказал де Гиш, протягивая герцогу обе руки и увлекая его за колонну.

– О герцог, герцог! – воскликнул он. – Простите меня за мое письмо: я был сумасшедший. Отдайте мне его.

– Это правда, – отвечал молодой герцог с грустной улыбкой. – Вам не за что сердиться на меня... Ведь я покидаю ее и больше не увижу никогда.

Услышав эти по-дружески звучащие слова, Рауль понял, что его присутствие излишне, и отошел в сторону.

Он столкнулся с де Бардом, который говорил с шевалье де Лорреном об отъезде Бекингэма.

– Весьма своевременный отъезд, – заметил де Вард.

– Почему?

– Потому, что он предохраняет милого герцога от удара шпаги.

И они расхохотались.

Рауль с негодованием отвернулся, нахмутив брови и вспыхнув до корней волос.

Шевалье де Лоррен куда-то ушел, де Вард спокойно ждал.

– Милостивый государь, – обратился Рауль к де Варду, – вы все не можете отучиться от привычки оскорблять отсутствующих. Вчера вы задели господина д'Артаньяна, сегодня нападаете на герцога Бекингэма.

– Милостивый государь, – отвечал де Вард, – вы отлично знаете, что иногда я оскорбляю и присутствующих.

Де Вард почти касался плечом Рауля. Они обменивались ненавидящими взглядами.

Вдруг около них раздался изысканно вежливый голос:

– Мне послышалось, будто здесь называли мое имя?

Рауль и де Вард обернулись. Это был д'Артаньян; он с улыбкой положил руку на плечо де Варда. Рауль отступил, чтобы дать место мушкетеру. Де Вард задрожал всем телом, побледнел, но не сделал ни одного шага.

Д'Артаньян, продолжая улыбаться, стал рядом с де Вардом.

– Спасибо, милый Рауль, – сказал он. – Господин де Вард, я хотел бы поговорить с вами. Не уходите, Рауль; все могут слышать то, что я хочу сказать господину де Варду.

Улыбка исчезла с его лица, взгляд стал холодным и острым, как стальной клинок.

– Я к вашим услугам, сударь, – промолвил де Вард.

– Милостивый государь, – продолжал д'Артаньян, – я давно ищу возможности поговорить с вами, но это случилось только сегодня. Правда, место не особенно удобное. Но, может быть, вы сообразовите пройти ко мне? Это совсем близко.

– Слушаю, сударь, – сказал де Вард.

– Вы здесь один? – спросил д'Артаньян.

– Нет, со мной господа Маникан и де Гиш, двое моих друзей.

– Хорошо, – одобрил д'Артаньян. Но – двоих мало. Вы найдете еще кого-нибудь, не правда ли?

– Конечно, – сказал молодой человек, не понимая, чего хочет д'Артаньян. – Сколько вам угодно.

– Друзей?

– Да, сударь.

– Так запаситесь ими, пожалуйста. Подойдите и вы, Рауль. Приведите также господина де Гиша и герцога Бекингэма.

– Боже мой, сударь, сколько шуму, – отвечал де Вард, принужденно улыбаясь.

Капитан сделал знак, призывавший его к терпению, и направился в свою комнату, где сидел в ожидании граф де Ла Фер.

– Ну, что? – спросил он, заведя д'Артаньяна.

– Господин де Вард оказывает мне честь своим визитом в обществе нескольких своих и наших друзей.

Действительно, вслед за мушкетером показались де Вард и Маникан. За ними шли де Гиш и Бекингэм, удивленные, не понимая, чего от них хотят.

Последним вошел Рауль с несколькими придворными. Заметив графа, он встал подле него.

Д'Артаньян принял гостей как нельзя более любезно. Извинившись перед каждым за причиненное им беспокойство, он повернулся к де Варду, который, несмотря на все свое самообладание, не мог скрыть удивления, смешанного с тревогой.

– Милостивый государь, – начал д'Артаньян, – теперь, когда мы не в королевском дворце и можем говорить громко, не нарушая приличий, я сообщу вам, почему я взял на себя смелость пригласить вас и всех этих господ. Я узнал от графа де Ла Фер, моего друга, что вы распространяете обо мне оскорбительные слухи; мне сказали, что вы считаете меня своим смертельным врагом на том основании, что я будто бы был врагом вашего отца.

– Это правда, милостивый государь, я говорил это, – отвечал де Вард, и его бледность сменилась легким румянцем.

– Итак, вы обвиняете меня в преступлении или в низости? Прошу вас точнее формулировать ваше обвинение.

– При свидетелях, милостивый государь?

– Разумеется, при свидетелях; вы видите, что я нарочно выбрал их судьями в деле чести.

– Вы не цените моей деликатности, милостивый государь. Я обвинял вас, это правда, но подробности своего обвинения я держал в тайне. Я довольствовался тем, что выражал свою ненависть перед людьми, которые не могли не сообщить вам о ней. Вы не приняли в расчет моей сдержанности, хотя и были заинтересованы в моем молчании. Я не узнаю вашего обычного благоразумия, господин д'Артаньян.

Д'Артаньян стал кусать усы.

– Милостивый государь, – сказал ой, – я уже имел честь просить вас точнее формулировать обвинение, возводимое вами на меня.

– Вслух?

– Разумеется.

– Даже если речь идет о постыдном поступке?

– Непременно.

Свидетели этой сцены стали было тревожно переглядываться, но, видя, что Д'Артаньян не обнаруживает никакого волнения, успокоились.

Де Вард хранил молчание.

– Говорите, милостивый государь, – попросил мушкетер. – Вы видите, все ждут.

– Ну так слушайте. Мой отец любил одну женщину, одну благородную женщину, и эта женщина любила отца.

Д'Артаньян переглянулся с Атосом.

Де Вард продолжал:

– Господин Д'Артаньян перехватил письма, в которых назначалось свидание, и, переодевшись, явился вместо того, кого ожидали; затем он воспользовался темнотой...

– Это правда, – подтвердил Д'Артаньян.

В комнате пробежал легкий ропот.

– Да, я совершил этот дурной поступок. Вы должны были бы прибавить, милостивый государь, если уж вы так беспристрастны, что в то время, когда произошло это событие, мне не было еще двадцати одного года.

– Поступок тем не менее постыдный, – сказал де Вард. – Для совершеннолетнего дворянина такая неделикатность непростительна.

Снова раздался ропот, в котором теперь слышалось удивление и даже сомнение.

– Это была скверная выходка, – согласился д'Артаньян. – Не дожидаясь упреков господина де Варда, я сам горько упрекал себя за нее. С годами я стал рассудительнее и честнее, и я искупил свою вину долгими сожалениями. Обращаюсь к вашему суду, господа. Дело происходило в тысяча шестьсот двадцать шестом году, в такие времена, о которых вы, господа, знаете только по рассказам, – времена, когда любовь была неразборчива в средствах, а совесть не служила, как теперь, источником отрады и мук. Мы были молодыми солдатами, вечно в боях, вечно с обнаженными шпагами. Каждую минуту нам угрожала смерть; война делала нас грубыми, а кардинал заставлял торопиться. Словом, я раскаялся в своем поступке; больше того, я и до сих пор раскаиваюсь в нем, господин де Вард.

– Это понятно, сударь, такой поступок не мог не вызвать раскаяния.

Тем не менее вы погубили женщину. Та, о которой вы говорите, не вынесла стыда и обиды, бежала из Франции, и с тех пор никому не известно, что с ней случилось.

– Вы ошибаетесь, – мрачно усмехнулся граф де Ла Фер, протянув руку к де Варду, – ее видели, милостивый государь, и среди нас есть даже люди, которые узнают ее по моему описанию. Это была двадцатипятилетняя худенькая и бледная блондинка, которая была замужем в Англии.

– Замужем? – спросил де Вард.

– Разве вы не знали этого? Видите, мы лучше вас осведомлены, господин де Вард. Известно ли вам, что ее называли обыкновенно миледи, не прибавляя к этому титулу никакого имени?

– Да, сударь, я это знаю.

– Боже мой! – прошептал Бекингэм.

– Итак, эта женщина, родом из Англии, вернулась в Англию, после того как три раза устраивала заговоры против господина д'Артаньяна. По-вашему, она была права? Согласен, ведь господин д'Артаньян оскорбил ее. Но нехорошо то, что в Англии эта женщина соблазнила одного молодого человека, по имени Фелтон, находившегося на службе у лорда Винтера. Вы побледнели, милорд Бекингэм? Ваши глаза зажглись гневом и скорбью? В таком случае закончите эту повесть, милорд, и скажите господину де Варду, кто была эта женщина, вложившая нож в руку убийцы вашего отца.

Все вскрикнули. Герцог вытер платком лоб.

На некоторое время воцарилось глубокое молчание.

– Вы видите, господин де Вард, – сказал д'Артаньян, на которого рассказ этот произвел тем большее впечатление, что слова Атоса пробудили в нем живые воспоминания, – вы видите, не я был причиной гибели этой женщины, потому что душа ее давно уже погибла. Теперь, когда все разъяснено, мне остается, господин де Вард, смиренно попросить у вас прощения за этот постыдный поступок, как я, наверное, попросил бы его у вашего отца, если бы он был жив. Когда он вернулся во Францию после казни Карла Первого.

– Это слишком, господин д'Артаньян! – воскликнули присутствующие.

– Нет, господа, – сказал капитан. – Теперь, господин де Вард, надеюсь, между нами все кончено. И вам больше не придется распространять порочащие меня слухи. Наши счета сведены, не правда ли?

Де Вард поклонился, что-то пробормотав.

– Надеюсь также, – продолжал д'Артаньян, подходя к молодому человеку, – что впредь вы вообще откажетесь от своей дурной привычки злословить.

Ведь если вы настолько совестливы и щепетильны, что ставите в вину мне, старому солдату, спустя тридцать пять лет, глупую юношескую выходку, если, повторяю, вы выступаете таким рыцарем чести, то этим самым вы берете на себя обязательство никогда со своей стороны не совершать ничего противного совести и чести. Поэтому берегитесь, чтобы до моих ушей не дошла какая-нибудь история, в которой будет замешано ваше имя.

– Милостивый государь, – покраснел де Вард, – ваши угрозы излишни.

– Я еще не кончил, господин де Вард! – перебил его д'Артаньян. – Вам придется выслушать меня.

Кружок сомкнулся теснее.

– Вы только что говорили во всеуслышание о чести одной женщины и вашего отца. Это звучало очень хорошо. Приятно думать, что у наших детей есть та порядочность и деликатность, которой, видимо, недоставало нам.

Приятно, что молодой человек в том возрасте, когда обыкновенно стремятся похитить честь женщины, наоборот, уважает и защищает эту честь.

Де Вард сжал губы и стиснул кулаки. По-видимому, ему было непонятно, куда клонит д'Артаньян свою речь, начало которой не обещало ничего хорошего.

– Как же в таком случае вы могли позволить себе, – продолжал д'Артаньян, – сказать виконту де Бражелону, что он не знает своей матери?

Глаза Рауля сверкнули.

– Это мое личное дело, шевалье! – воскликнул он, выступая вперед.

Де Вард злобно усмехнулся.

д'Артаньян отстранил Рауля рукой.

– Не перебивайте меня, молодой человек! – продолжал он, не сводя с де Варда властного взгляда. – Я затронул здесь вопрос, который не разрешается шпагой. Мы обсуждаем его среди

людей чести, не раз обнажавших шпагу. Для этого я нарочно призвал их сюда. Эти господа знают, что тайна, из-за которой дерутся, перестает быть тайной. Итак, я повторяю свой вопрос господину де Варду: зачем вы оскорбили этого молодого человека, задев его отца и мать?

– Но мне кажется, – отвечал де Вард, – что мы вольны говорить все, что угодно, если можем подтвердить свои слова всеми средствами, находящимися в распоряжении порядочного человека.

– Какие же есть у порядочного человека средства подтвердить оскорбление?

– Шпага.

– Вы грешите не только против логики, но и против религии и чести. Вы рискуете жизнью нескольких людей, не считая вашей, которая, мне кажется, подвергается большой опасности. Чтобы быть последовательным, с вашими рыцарскими идеями, вы должны сейчас же извиниться перед господином де Бражелоном. Вы скажете ему, что легкомысленно его оклеветали, что благородство и чистота его происхождения сказываются во всех его поступках.

Вы сделаете это, господин де Вард, как сделал только что я, старый капитан, перед вами, молокососом.

– А если не сделаю? – спросил де Вард.

– Тогда случится...

– Случится то, чему вы думаете помешать, – улыбаясь, сказал де Вард. Ваша логика приведет прямо к поединку, запрещенному королем.

– Нет, милостивый государь, – спокойно остановил его капитан, – вы заблуждаетесь.

– Так что же случится?

– То, что я пойду к королю, который относится ко мне хорошо, – я имел счастье оказать ему некоторые услуги в те времена, когда вас еще не было на свете, и еще недавно, по моей просьбе, король прислал мне у подписанный, но незаполненный приказ на имя господина Безмо де Монлезена, коменданта Бастилии, – я скажу королю: «Государь, один человек низко оскорбил господина де Бражелона, задев честь его матери. Я написал имя этого человека на приказе, который ваше величество соизволили дать мне, и таким образом господин де Вард отсидит в Бастилии три года». – И д'Артаньян, вынув из кармана подписанный королем приказ, протянул его де Варду.

Видя, что молодой человек принимает его слова за шутку, он пожал плечами и спокойно направился к столу, где стояла чернильница с гигантским пером, которое устрасило бы даже Портоса.

Тогда де Вард понял, что это была не пустая угроза. В те времена Бастилия была пугалом для всех. Он сделал шаг по направлению к Раулю и еле слышно произнес:

– Сударь, я приношу вам извинения, продиктованные мне только что господином д'Артаньяном. Я вынужден это сделать.

– Погодите, погодите, господин де Вард, – перебил его мушкетер с самым невозмутимым спокойствием, ваши выражения неудачны. Я не говорил: «Я вынужден принести вам извинения». Я сказал: «Моя совесть побуждает меня принести вам извинения». Так будет лучше, поверьте, тем более что эта фраза будет точнее выражать ваши чувства.

– Я подписываюсь под ней, – сказал де Вард, – но, право, господа, согласитесь, что лучше подставить себя под удар шпаги, чем подвергаться подобной тирании.

– Нет, сударь, – заметил Бекингэм, – потому что удар шпаги не доказывает, правы вы или виноваты; он свидетельствует только о степени вашей ловкости.

– Милостивый государь! – воскликнул де Вард.

– Вы опять собираетесь сказать какую-нибудь гадость? – перебил его д'Артаньян. – Лучше помолчите!

– Все, сударь? – спросил де Вард.

– Все, – ответил д'Артаньян, – эти господа и я удовлетворены.

– Поверьте, сударь, – сказал де Вард, – что ваша попытка помирить нас очень неудачна.

– Почему?

– Потому что мы расстаемся с господином де Бражелоном еще большими врагами, чем были прежде.

– Относительно меня вы ошибаетесь, сударь, – возразил Рауль, – у меня не осталось ни малейшей злобы против вас.

Де Вард был совсем уничтожен. Он обвел комнату помутившимся взором.

Д'Артаньян любезно поклонился придворным, согласившимся присутствовать при объяснении, и все разошлись, пожав ему руку.

Никто даже не взглянул на де Варда.

– Неужели я не найду никого, на ком бы я мог выместить свою обиду? в бешенстве воскликнул молодой человек.

– Найдете, сударь, – шепнул ему на ухо голос, дышавший угрозой.

Де Вард оглянулся и заметил герцога Бекингэма, который, видимо, нарочно отстал от других.

– Вы, сударь? – вскричал де Вард.

– Да, я. Я не подданный французского короля и не остаюсь на французской территории, так как уезжаю в Англию. У меня накопилось довольно горечи и злобы, и я тоже не прочь, подобно вам, выместить их на ком-нибудь.

Принципы господина д'Артаньяна мне очень нравятся, но я не склонен применять их к вам. Я англичанин и предлагаю вам то самое, что вы безуспешно предлагали другим.

– Герцог!

– Итак, дорогой де Вард, если вас душит злоба, обратите ее на меня.

Через тридцать четыре часа я буду в Кале. Поедемте вместе, вдвоем дорога не будет казаться такой длинной. Мы обнажим шпаги на морском берегу, который заливают прилив. Каждый день шесть часов берег принадлежит Франции, а другие шесть – богу.

– Хорошо, – согласился де Вард, – я принимаю ваш вызов.

– Если вы меня убьете, – сказал герцог, – то вы, право, окажете мне, дорогой де Вард, большую услугу.

– Сделаю все, что в моих силах, чтобы доставить вам удовольствие, герцог, – ответил де Вард.

– Я ваш покорный слуга, господин де Вард. Завтра утром мой камердинер сообщит вам, в котором часу я уезжаю. Мы поедем вместе, как два приятеля. Я люблю быструю езду. Прощайте.

Бекингэм поклонился де Варду и вернулся к королю.

Де Вард в сильном раздражении вышел из дворца и направился прямо домой.

Глава 2. **БЕЗМО ДЕ МОНЛЕЗЕН**

Дав урок де Варду, Атос и д'Артаньян спустились во двор.

– Знаете, – сказал Атос д'Артаньяну. – Раулю все равно не избежать дуэли с де Бардом: де Вард храбр и зол.

– Я знаю эту семейку, – ответил д'Артаньян, – мне пришлось немало повозиться с папенькой. Ну, доложу я вам, задал мне этот папенька работы, хотя мускулы у меня в то время были здоровые и уверенности в себе хоть отбавляй. Право, стоило поглядеть, как я с ним расправился. Ах, мой друг, нынче уж никто не делает таких выпадов; у меня рука ни минуты не оставалась в покое.

Впрочем, вы видели меня, Атос, за работой. Шпага у меня была точно змея, извивалась во все стороны, чтобы ужалить побольнее. Ни один человек не мог бы устоять против такого натиска. А де Вард-отец долгойно помучил меня: помню, к концу схватки у меня сильно устала рука.

– Вот я и говорю вам, – продолжал Атос, – де Вард-сын непременно будет искать встречи с Раулем и добьется своего. Рауль уклоняться не станет.

– Не спорю, мой друг, но Рауль малый сметливый. Он сказал, что не сердится на де Варда: он выждет, когда де Вард его вызовет, тогда все преимущества будут на его стороне. Король не рассердится; к тому же мы найдем средство его успокоить. Но откуда у вас эти страхи? Ведь вы человек, которого не так легко встревожить.

– Да как же не волноваться! Рауль идет завтра к королю, который объявит ему свою волю по поводу его женитьбы. Рауль влюблен и будет в бешенстве, а если в этом состоянии он встретит де Варда, неминуемо произойдет взрыв.

– Мы этого не допустим, дорогой друг.

– Только не я, я хочу вернуться в Блуа. Все эти фальшивые придворные манеры, эти интриги мне противны. Я вышел уже из возраста, когда миришься с этой пошлостью. Словом, в Париже, когда вас нет со мной, мне скучно. А так как вы не можете быть со мной постоянно, то я и решил уехать.

– Как вы не правы, Атос! Не того требуют ваше происхождение и ваши дарования. Люди вашего закала не вправе зарывать в землю свой талант.

Взгляните на мою старую ла-рошельскую шпагу, на ее испанский клинок; она верой и правдой служила мне тридцать лет, пока не упала однажды на мраморные ступеньки Лувра и не сломалась. Мне сделали из нее охотничий нож, который послужит еще сто лет. С вашей честностью искренностью, мужеством, хладнокровием и образованием вы, Атос, самый подходящий советник и руководитель королей. Оставайтесь; господин Фуке не так долговечен, как мой испанский клинок.

– Нет, дорогой мой, – с улыбкой отвечал Атос, – мое честолюбие простирается гораздо дальше, дружище. Быть министром, быть рабом? Полно!

Разве я не выше всех этих министров? Помню, вы иногда называли меня великим Атосом. Если бы я был министром, бьюсь об заклад, вы этого не говорили бы. Нет, нет, я на это не пойду!

– В таком случае прекратим этот разговор.

И д'Артаньян крепко пожал руку Атосу.

– Не беспокойтесь. Рауль может обойтись и без вас, – я в Париже.

– Так я еду в Блуа. Сегодня вечером я с вами распрощаюсь, а завтра чуть свет уже буду скакать верхом.

– Как же вы пойдете один в гостиницу? Почему вы не взяли с собой Гримо?

– Гримо спит; он рано ложится. Мой старик быстро устает. Я берегу его.

– Я дам вам мушкетера, который будет освещать дорогу факелом. Эй, кто-нибудь, сюда! На его зов явился человек семь мушкетеров.

– Не найдется ли среди вас охотников проводить графа де Ла Фер?

– Я с удовольствием проводил бы, – отозвался кто-то, – если бы мне не нужно было переговорить с господином д'Артаньяном.

– Кто это? – спросил д'Артаньян, стараясь в темноте разглядеть говорившего.

– Я, любезнейший д'Артаньян.

– Господи, да это голос Безмо!

– Его самого, сударь.

– Что же вы делаете на дворе, дорогой Безмо?

– Ожидаю ваших распоряжений, любезнейший д'Артаньян.

– Ах, как это досадно, – вздохнул д'Артаньян. – Правда, а сообщил вам, что надо принять арестанта, но зачем же вы пришли сами?

– Мне нужно с вами переговорить.

– И вы не предупредили меня?

– Я ожидал, – робко протянул г-н Безмо.

– Так я пойду. До свиданья, д'Артаньян, – простился Атос со своим другом.

– Разрешите прежде познакомить вас с господином Безмо де Монлезеном, комендантом Бастилии.

Безмо поклонился. Атос ответил на поклон.

– Это Безмо, дорогой мой, тот самый королевский гвардеец, с которым, помните, мы кутили когда-то во времена кардинала.

– Как же, отлично помню, – сказал Атос, дружески прощаясь с ними.

– Граф де Ла Фер, по прозвищу Атос, – шепнул д'Артаньян на ухо Безмо.

– Да, да, обходительный человек, один из знаменитой четверки, – кивнул Безмо.

– Именно. Но в чем же дело, дорогой Безмо? Кстати, король оставил мысль об аресте.

– Тем хуже, – вздохнул Безмо.

– Как, тем хуже? – со смехом воскликнул д'Артаньян.

– Разумеется, – объяснил комендант Бастилии, – ведь заключенные – это мой доход.

– А ведь правда! Я не смотрел на вещи с этой точки зрения.

– Вот у вас, – продолжал Безмо, – завидное положение: вы капитан мушкетеров.

– Недурное. Но вам, право, нечего завидовать мне: вы комендант Бастилии – первой тюрьмы во Франции.

– Я это хорошо знаю, – печально промолвил Безмо.

– Каким, однако, унылым голосом вы это сказали. Давайте поменяемся местами. Хотите?

– Не огорчайте меня, господин д'Артаньян. Однако я желал бы поговорить с вами с глазу на глаз.

– Тогда возьмите меня под руку, и пройдемся: луна так славно светит, вы мне поведаете ваши печали в дубовой аллее. Пошли!

И д'Артаньян увлек приунывшего коменданта в глубину двора, заговорив с ним грубовато-ласковым тоном:

– Ну-ка, смелее выкладывайте, что вы собирались сообщить мне, Безмо!

– Это длинная история.

– Что же, вы предпочитаете хныкать? Но это будет еще дольше. Держу пари, что вы получаете тысяч пятьдесят ливров с ваших бастильских птичек.

– Вашими бы устами да мед пить, дорогой д'Артаньян.

– Удивляете вы меня, Безмо! Вы прикидываетесь бог знает каким сиротой, а дайте-ка я подведу вас к зеркалу! Посмотрите, какой вы цветущий, упитанный да круглый, точно сыр голландский. Ведь вам уже годочков шестьдесят, а не дашь и пятидесяти.

– Все это так...

– Черт побери! Я-то знаю, что это так же верно, как и ваши пятьдесят тысяч ливров дохода, – добавил д'Артаньян.

Низенький Безмо топнул ногой.

– Постойте, – вскричал д'Артаньян, – я вам сейчас докажу: в Бастилии, я полагаю, вы сыты, помещение казенное; вы получаете шесть тысяч ливров жалованья.

– Допустим.

– Да заключенных ежегодно человек пятьдесят, из которых каждый приносит вам по тысяче ливров.

– И с этим я не спору.

– Вот вам пятьдесят тысяч в год. Вы уже три года в должности, следовательно, у вас теперь полтора ста тысяч ливров.

– Вы упускаете из виду одну мелочь, дорогой д'Артаньян.

– Какую же?

– А ту, что вы получили свою должность, так сказать, из собственных рук короля.

– Ну да!

– А я получил свое место коменданта через господ Трамбле и Лувьера.

– Это верно. Трамбле не такой человек, чтобы предоставить вам место даром.

– Да и Лувьер тоже. В результате мне пришлось выдать семьдесят пять тысяч ливров Трамбле да столько же Лувьеру.

– Ах, черт побери, значит, сто пятьдесят тысяч ливров попали в их руки?

– Именно!

– А еще что.

– Пятнадцать тысяч экю, или пятьдесят тысяч пистолей, как вам будет угодно, платеж в три срока, – доходы за три года, как бы в доказательство моей признательности.

– Да это чудовищно!

– Еще не все.

– Что вы?

– Если я не выполню хоть одного из этих условий, эти господа тотчас же снова занимают должность. Сделка подписана королем.

– Невероятно!

– Представьте себе.

– Мне жаль вас, бедняга Безмо. Но в таком случае, друг мой, зачем господин Мазарини оказал вам такую разорительную милость? Было бы проще отказать.

– Да, конечно, но его упросил мой покровитель.

– Ваш покровитель? Кто же это такой?

– Как кто? Ваш приятель, господин д'Эрбле.

– Господин д'Эрбле? Арамис?

– Он самый – Арамис. Он был очень любезен со мной.

– Любезен! Заставив вас принять такие условия?

– Видите ли, я хотел бросить службу у кардинала. Господин д'Эрбле замолвил за меня словечко Лувьеру и Трамбле; они стали упираться, мне же очень улыбалось это место, так как я знаю, что оно может дать. И вот я чистосердечно поведал свое горе господину д'Эрбле; тот предложил поручиться за меня во всех этих платежах.

– Как, Арамис? Вы меня огорошили! Арамис поручился за вас?

– Да, он был чрезвычайно предупредителен. Он добился подписи; Трамбле и Лувьер ушли в отставку, – я обязался платить ежегодно по двадцати пяти тысяч ливров в пользу каждого из этих господ, и ежегодно в мае месяце господин д'Эрбле лично являлся в Бастилию и привозил мне по две тысячи пятьсот пистолей для вручения моим крокодилам.

– Следовательно, вы должны Арамису полтораста тысяч ливров?

– В том-то и горе, что должен только сто тысяч.

– Я что-то не совсем понимаю вас.

– Ну, как же! Он приезжал только два года – Но сегодня у нас тридцать первое мая, а его все нет; между тем завтра в двенадцать часов наступает последний срок платежа. Следовательно, если я завтра не уплачу этим господам, согласно условию, они могут потребовать обратно должность. Я буду разорен, и выйдет, что я проработал три года да еще дал им двести пятьдесят тысяч ливров даром, решительно ни за что, дорогой д'Артаньян.

– Любопытная штука, – пробормотал д'Артаньян.

– Теперь вы понимаете, почему я не весел?

– И очень даже.

– Вот я и явился к вам, господин д'Артаньян, потому что вы один можете вывести меня из затруднительного положения.

– Каким образом?

– Вы знакомы с аббатом д'Эрбле?

– Еще бы!

– И вы можете сообщить мне адрес его прихода, потому что я искал его в Нуази-ле-Сек, но его там нет.

– Разумеется! Он сейчас епископ ваннский.

– Ванн – это в Бретани?

– Да.

Коротышка Безмо стал рвать на себе волосы.

– Ну, тогда я погиб. Ванн! Ванн! – кричал Безмо.

– Ваше отчаяние удручает меня! Но послушайте, епископ не живет безвыездно в своей епархии; монсеньер д'Эрбле, может быть, и не так далеко отсюда, как вам кажется.

– Прошу вас, скажите мне его адрес.

– Я не знаю его, друг мой.

– Все кончено, я погиб! Пойду брошусь в ноги королю.

– Однако, Безмо, вы удивляете меня. Бастилия дает пятьдесят тысяч дохода; почему же вы не выжали из нее все, чтобы она давала сто тысяч?

– Я честный человек, дорогой господин д'Артаньян, и содержу своих заключенных, как царей.

– Ей-богу, мне вас жаль... Послушайте, Безмо, можно положиться на ваше слово?

– Что за вопрос, капитан?

– Так обещайте; что вы никому не заикнетесь о том, что я скажу вам сейчас.

– Никому, ни одной душе!

– Вы хотите во что бы то ни стало найти Арамиса?

– Во что бы то ни стало!

– Ну так ступайте к господину Фуке.

– Да, но при чем здесь господин Фуке?..

– Экий простофиля! Где находится Ванн?

– Черт возьми!..

– Ванн находится в бель-ильской епархии или же Бель-Иль в ваннской епархии. Бель-Иль принадлежит господину Фуке; он и устроил господина д'Эрбле в эту епархию.

– Вы открываете мне глаза, возвращаете меня к жизни.

– Тем лучше. Ступайте же прямо к господину Фуке и скажите, что вам нужно поговорить с господином д'Эрбле.

– Какая блестящая идея! – с восхищением воскликнул Безмо.

– Но помните, – сказал д'Артаньян, строго взглянув на него, – помните, что вы дали честное слово!

– Да, священное, – отвечал кругленький человек, собираясь бежать.

– Куда вы?

– К господину Фуке.

– Господин Фуке сейчас у короля. Вам придется отложить свое посещение до завтрашнего утра.

– Пойду; спасибо!

– Желаю вам удачи!

– Спасибо!

– Вот потешная история, – прошептал д'Артаньян, медленно поднимаясь по лестнице – Какая выгода Арамису делать такие одолжения Безмо? Гм!..

Рано или поздно мы это узнаем.

Глава 3. ИГРА У КОРОЛЯ

Д'Артаньян был прав. Фуке играл в карты у короля.

Казалось, что отъезд Бекингэма пролил бальзам на все сердца.

Сияющий принц рассыпался в любезностях перед матерью.

Граф де Гиш ни на минуту не отпускал от себя Бекингэма, расспрашивая его о предстоящем путешествии. Бекингэм был задумчив и приветлив, как человек, сделавший решительный шаг; слушая графа, он время от времени бросал на принцессу грустные и нежные взгляды.

Опьяненная успехом, принцесса делила свое внимание между королем, игравшим с нею, принцем, посмеивавшимся над ее крупными выигрышами, и де Гишем, не скрывавшим ребяческой радости.

Что касается Бекингэма, то он занимал ее очень мало; этот беглец, этот изгнанник уже превращался для нее в бледное воспоминание. Принцессе нравились улыбки, ухаживания,

вздохи Бекингэма, пока он был здесь; но ведь он уезжает: с глаз долой – из сердца вон!

Герцог не мог не заметить этой перемены; она очень больно задела его. Человек от природы деликатный, гордый и способный на глубокую привязанность, он проклинал тот день, когда его сердцем овладела эта страсть.

Холодное равнодушие принцессы действовало на Бекингэма. Презирать ее он еще не мог, но уже способен был смирить порывы своего сердца.

Принцесса догадывалась о настроении герцога и с удвоенной энергией старалась вознаградить себя за ускользавшего поклонника; она дала полную волю своему остроумию, решив во что бы то ни стало затмить всех, затмить самого короля.

И она добилась своего. И обе королевы, несмотря на их достоинство, и король, несмотря на всеобщее преклонение перед ним, были отодвинуты ею на второй план.

Чопорные и напыщенные королевы мало-помалу разговорились и даже стали смеяться. Королева-мать была ослеплена блеском, который вновь озарил королевский род благодаря уму внучки Генриха IV.

Людовик, завидовавший как юноша и как король всякому успеху, не мог, однако, остаться равнодушным к этому искрящемуся французскому остроумию, которое английский юмор делал еще более притягательным. Он, как ребенок, поддался очарованию блестящего каскада шуток.

Глаза принцессы лучились. С ее алых губ лилось веселье, как назидательные речи из уст старца Нестора.

В этот вечер Людовик XIV оценил в принцессе женщину. Бекингэм увидел в ней кокетку, достойную самого жестокого наказания. Де Гиш стал смотреть на нее как на божество. А придворные – как на восходящую звезду, свет которой должен был сделаться источником всяческих милостей.

Между тем несколько лет тому назад Людовик XIV в балете не соблаговолил даже подать руку этой дурнушке. Между тем еще недавно Бекингэм сгорал от страсти к этой кокетке. Между тем де Гиш смотрел на это божество как на женщину. Между тем придворные не смели даже украдкой похвалить эту звезду, боясь рассердить короля, которому она когда-то не понравилась.

Вот что происходило в тот достопамятный вечер на карточной игре у короля.

Молодая королева, хотя она была испанкой и племянницей Анны Австрийской, любила короля и не умела скрывать свое чувство.

Анна Австрийская, наблюдательная как женщина к властолюбивая как королева, тотчас же почувствовала, что принцесса входит в силу, которой не следует пренебрегать, и склонилась перед ней.

Это побудило молодую королеву встать и уйти из своей комнаты. Король не обратил внимания на ее уход, хотя королева сделала вид, что ей нездоровится.

Установленный Людовиком XIV этикет давал ему право не проявлять никакого волнения. Он предложил руку принцессе, даже не взглянув на брата, и проводил до ее покоев.

Было замечено, что на пороге ее комнаты его величество глубоко вздохнул.

Женщины, от внимания которых ничто не ускользает, – и первая Монтале, – не преминули шепнуть своим приятельницам:

– Король вздохнул.

– Принцесса вздохнула.

И это была правда.

Принцесса вздохнула беззвучно, но сопровождала свой вздох таким выразительным взглядом красивых черных глаз, что лицо короля покрылось весьма заметным румянцем.

Словом, Монтале допустила нескромность, и эта нескромность, должно быть, сильно подействовала на ее подругу, ибо мадемуазель де Лавальер сильно побледнела, когда король покраснел, и, вся дрожа, вошла в комнату принцессы, забыв даже принять от нее перчатки, как повелевал этикет.

Правда, эта провинциалка могла СОСЛАТЬСЯ в свое оправдание на замешательство,

овладевшее ею в присутствии короля. Действительно, закрывая дверь, она не могла отвести глаз от короля, который пятясь выходил от принцессы.

Король вернулся в зал, где шла игра; он хотел было завести беседу, но стало ясно, что мысли его путаются.

Несколько раз ошибся он в счете, что было на руку некоторым придворным, которые умели пользоваться этими ошибками еще со времен Мазарини.

Так Маникан, по свойственной ему рассеянности – да не подумает читатель о нем чего-нибудь дурного, – Маникан, честнейший в мире человек, как ни в чем не бывало подобрал упавшие на ковер двадцать, тысяч ливров, видимо, не принадлежавшие никому.

Так г-н де Вард, взволнованный только что происшедшими событиями, оставил свой выигрыш в шестьдесят луидоров герцогу Бекингэму, а тот, подобно своему отцу не любивший пачкать руки о деньги, в свою очередь, оставил их подсвечнику, точно подсвечник был живым существом.

Король немного овладел собой, только когда к нему подошел г-н Кольбер, все время искавший случая поговорить с ним, и в самых почтительных выражениях, разумеется, но с большой настойчивостью стал что-то нашептывать королю.

Людовик внимательно выслушал Кольбера и, оглядевшись кругом, спросил:

– Разве господин Фуке уже ушел?

– Нет, государь, я здесь, – откликнулся суперинтендант, занятый разговором с Бекингэмом.

Он тотчас же подошел к королю. Король тоже сделал несколько шагов ему навстречу и сказал с очаровательной небрежностью:

– Извините, господин суперинтендант, что я помешал вам, но я обычно зову вас, когда вы мне нужны.

– Я всегда к услугам короля, – отвечал Фуке.

– Мне главным образом нужны услуги вашей казны, – сказал король, нехотя улыбаясь.

– Моя казна тем более к услугам короля, – холодно проговорил Фуке.

– Дело в том, господин Фуке, что я хочу устроить праздник в Фонтенбло. Две недели ворота будут открыты. Мне нужно...

И он искоса взглянул на Кольбера.

Фуке спокойно ожидал конца фразы.

– Четыре миллиона, – проговорил король в ответ на злорадную улыбку Кольбера.

– Четыре миллиона? – повторил Фуке с низким поклоном.

Его ногти впились в грудь и сквозь рубашку оцарапали кожу до крови, но лицо ничем не выдавало внутреннего волнения.

– Да, сударь, – сказал король.

– К какому сроку, государь?

– Ну, когда сможете... Впрочем... нет... как можно скорее.

– Необходимо время...

– Время! – с торжеством воскликнул Кольбер.

– Время для того, чтобы сосчитать деньги, – продолжал суперинтендант, бросив на Кольбера презрительный взгляд. – В день можно успеть взвесить и пересчитать только один миллион, сударь.

– Значит, четыре дня, – заключил Кольбер.

– Ах, – перебил его Фуке, обращаясь к королю, – мои служащие делают чудеса, когда нужно угодить его величеству! Четыре миллиона будут готовы через три дня.

Настала очередь побледнеть Кольберу. Людовик с удивлением посмотрел на него.

А Фуке спокойно удалился, улыбаясь по дороге своим многочисленным друзьям, в глазах которых читал искреннее расположение, граничившее с состраданием. Но по улыбке нельзя было судить о настроении Фуке; на самом деле он был в полном отчаянии.

Несколько капелек крови запачкали его рубашку, но платье скрыло кровь, как улыбка – бешенство.

По тому, как Фуке садился в карету, слуги догадались, что господин их расстроен. Поэтому все его приказания исполнялись с такой точностью, как команды разгневанного капитана военного корабля во время бури.

Карета полетела стрелой. По дороге Фуке едва успел привести в порядок свои мысли. Он направился прямо к Арамису.

Арамис еще не ложился.

Что же касается Портоса, то он отлично поужинал жареной бараниной, двумя жареными фазанами и целой горой раков, потом, наподобие античного борца, велел он затереть ему тело душистыми маслами, распорядился завернуть себя в простыни и отнести на согретую постель.

Как мы уже сказали, Арамис еще не ложился. Надев удобный бархатный халат, он писал письмо за письмом своим быстрым убористым почерком, которым можно было уместить добрую четверть книги на одной странице.

Дверь быстро распахнулась, и вошел суперинтендант, бледный, взволнованный, озабоченный.

Арамис поднял голову.

– Добрый вечер, дорогой д'Эрбле! – сказал Фуке.

Наблюдательный взгляд Арамиса тотчас же заметил угнетенное настроение вошедшего.

– Хорошая игра была у короля? – спросил Арамис, чтобы завязать разговор.

Фуке сел и знаком приказал проводившему его лакею выйти из комнаты.

Когда лакей исчез, он отвечал:

– Прекрасная!

И Арамис, все время внимательно следивший за ним, увидел, как он нервно откинулся на спинку кресла.

– Проиграли, по обыкновению? – поинтересовался Арамис, не выпуская из руки пера.

– Даже сверх обыкновения, – отвечал Фуке.

– Но ведь вы всегда так спокойно относитесь к своим проигрышам.

– Иногда – да!

– Какой же вы плохой игрок!

– Игра игре рознь, господин д'Эрбле.

– Сколько же вы проиграли, монсеньер? – продолжал Арамис с некоторым беспокойством.

Фуке помолчал несколько секунд, чтобы вполне овладеть собой, и ответил без малейшего признака волнения в голосе:

– Сегодняшний вечер стоит мне четыре миллиона.

И он с горечью рассмеялся. Арамис, никак не ожидавший такой цифры, выронил перо из рук.

– Четыре миллиона! – проговорил он. – Вы проиграли четыре миллиона?

Возможно ли?

– Господин Кольбер держал мои карты, – произнес суперинтендант с тем же зловещим смехом.

– Ах, понимаю! Значит, новое требование денег?

– Да, мой друг.

– Королем?

– Его собственными устами. Невозможно убить человека с более очаровательной улыбкой.

– Черт возьми!

– Что вы об этом думаете?

– Я думаю, что вас хотят просто разорить; это ясно как день.

– Значит, вы остаетесь при прежнем убеждении?

– Да. Тут, впрочем, нет ничего удивительного, потому что мы и раньше предвидели это.

– Верно; но я никак не ожидал четырех миллионов.

– Действительно, сумма крупная, но все-таки четыре миллиона еще не смерть, особенно

для такого человека, как Фуке.

– Если бы вы знали состояние моей казны, дорогой д'Эрбле, вы не рассуждали бы так спокойно.

– И вы пообещали?

– Что же мне оставалось делать?

– Вы правы.

– В тот день, когда я откажу, Кольбер достанет эту сумму; где – не знаю; но он достанет, и тогда я погиб!

– Несомненно. А через сколько дней вы обещали эти четыре миллиона?

– Через три дня. Король очень торопил.

– Через три дня!

– Ах, друг мой, – продолжал Фуке, – подумать только – сейчас, когда я проезжал по улице, прохожие кричали: «Вот едет богач Фуке!» Право, дорогой мой, от этого можно потерять голову.

– Нет, монсеньер, не стоит, – флегматично проговорил Арамис, посыпая пескам только что написанную страницу.

– Тогда дайте мне лекарство, дайте мне лекарство от этой неизлечимой болезни.

– Единственное лекарство: заплатите.

– Но едва ли я могу собрать такую сумму. Придется выскрести все.

Сколько поглотил Бель-Иль! Сколько поглотили пенсии! Теперь деньги стали редкостью. Ну, положим, достанем на этот раз, а что дальше? Поверьте мне, на этом дело не остановится. Король, в котором пробудился вкус к золоту, подобен тигру, отведавшему мяса: оба ненасытны. В один прекрасный день мне все же придется сказать: «Это невозможно, государь». В тот день я погибну.

Арамис только слегка пожал плечами.

– Человек в вашем положении, монсеньер, только тогда погибает, когда сам захочет этого.

– Частное лицо, какое бы оно ни занимало положение, не может бороться с королем.

– Ба! Я в молодости боролся с самим кардиналом Ришелье, который был королем Франции, да еще кардиналом!

– Разве у меня есть армия, войско, сокровища?

У меня больше нет даже Бель-Иля.

– Нужда всему научит. Когда вам покажется, что все погибло, вдруг откроется что-нибудь неожиданное и спасет вас.

– Кто же откроет это неожиданное?

– Вы сами.

– Я? Нет, я не изобретателен.

– В таком случае я.

– Принимайтесь же за дело сию минуту.

– Времени еще довольно.

– Вы убиваете меня своей флегматичностью, д'Эрбле, – сказал суперинтендант, вытирая лоб платком.

– Разве вы забыли, что я говорил вам когда-то?

– Что же?

– Не беспокойтесь ни о чем, если у вас есть смелость. Есть она у вас?

– Думаю, что есть.

– Так не беспокойтесь.

– Значит, решено: в последнюю минуту вы явитесь мне на помощь, д'Эрбле?

– Я только расквітаюсь с вами за все, что вы сделали для меня, монсеньер.

– Поддерживать таких людей, как вы, господин д'Эрбле, обязанность финансиста.

– Если предупредительность – свойство финансиста, то милосердие добродетель духовного лица. Но на гот раз действуйте сами, монсеньер. Вы еще не дошли предела; когда

наступит крайность, мы посмотрим.

– Это произойдет очень скоро.

– Прекрасно. А в данную минуту позвольте мне сказать, что ваши денежные затруднения очень огорчают меня.

– Почему именно в данную минуту?

– Потому что я сам собирался попросить у вас денег.

– Для себя?

– Для себя, или для своих, или для наших.

– Какую сумму?

– Успокойтесь! Сумма довольно кругленькая, но не чудовищная.

– Назовите цифру!

– Пятьдесят тысяч ливров.

– Пустяки!

– Правда?

– Разумеется, пятьдесят тысяч ливров всегда найдутся. Ах, почему этот плут Кольбер не довольствуется такими суммами? Мне было бы гораздо легче. А когда вам нужны деньги?

– К завтрашнему утру. Ведь завтра первое июня.

– Так что же?

– Срок одного из наших поручительств.

– А разве у нас есть поручительства?

– Конечно. Завтра срок платежа последней трети.

– Какой трети?

– Полтора́ста тысяч ливров Безмо.

– Безмо? Кто это?

– Комендант Бастилии.

– Ах, правда; вы просите меня заплатить сто пятьдесят тысяч ливров за этого человека?

– Да.

– Но за что же?

– За его должность, которую он купил или, вернее, которую мы купили у Лувьера и Трамбле.

– Я очень смутно представляю себе это.

– Не удивительно, у вас столько дел. Однако я думаю, что важнее этого дела у вас нет.

– Так скажите же мне, для чего мы купили эту должность?

– Во-первых, чтобы помочь ему.

– А потом?

– Потом и себе самим.

– Как это себе самим? Вы смеетесь.

– Бывают времена, монсеньер, когда знакомство с комендантом Бастилии может считаться очень полезным.

– К счастью, я не понимаю ваших слов, д'Эрбле.

– Монсеньер, у нас есть свои поэты, свой инженер, свой архитектор, свои музыканты, свой типографщик, свои художники; нужно иметь и своего коменданта Бастилии.

– Вы думаете?

– Монсеньер, не будем строить иллюзий: мы ни за что ни про что можем попасть в Бастилию, дорогой фуке, – проговорил епископ, улыбаясь и показывая белые зубы, которые так пленили тридцать лет тому назад Мари Мишон.

– И вы думаете, что полтора́ста тысяч ливров не слишком дорогая цена за такое знакомство, д'Эрбле? Обыкновенно вы лучше помещаете свои капиталы.

– Придет день, когда вы поймете свою ошибку.

– Дорогой д'Эрбле, когда попадешь в Бастилию, тогда уже нечего надеяться на помощь старых друзей.

– Почему же, если расписки в порядке? А кроме того, поверьте мне, у этого добряка

Безмо сердце не такое, как у придворных. Я уверен, что он будет всегда благодарен мне за эти деньги, не говоря уже о том, что я храню все его расписки.

– Что за чертовщина! Какое-то ростовщичество под видом благотворительности!

– Монсеньер, не вмешивайтесь, пожалуйста, в эти дела; если тут и ростовщичество, то отвечаю за него один я; а польза от него нам обоим; вот и все.

– Какая-нибудь интрига, д'Эрбле?

– Может быть.

– И Безмо участвует в ней?

– Почему же ему не участвовать? Бывают участники и похуже. Итак, я могу рассчитывать получить завтра десять тысяч пистолей?

– Может быть, хотите сегодня вечером?

– Это было бы еще лучше, я хочу отправиться в дорогу пораньше. Бедняга Безмо не знает, где я, и, наверное, теперь как на раскаленных углях.

– Вы получите деньги через час. Ах, д'Эрбле, проценты на ваши полтораста тысяч франков никогда не окупят моих четырех миллионов! – проговорил Фуке, поднимаясь с кресла.

– Кто знает, монсеньер?

– Покойной ночи! Мне еще надо поговорить с моими служащими перед сном.

– Покойной ночи, монсеньер!

– Д'Эрбле, вы желаете мне невозможного.

– Значит, я получу пятьдесят тысяч ливров сегодня?

– Да.

– Тогда спите сном праведника! Доброй ночи, монсеньер!

Несмотря на уверенный тон, которым было произнесено это пожелание, Фуке вышел, качая головой и глубоко вздыхая.

Глава 4.

МЕЛКИЕ СЧЕТЫ Г-НА БЕЗМО ДЕ МОНЛЕЗЕНА

На колокольне церкви св. Павла пробило семь, когда Арамис, в костюме простого горожанина, с заткнутым за пояс охотничьим ножом, проехал верхом по улице Пти-Мюск и остановился у ворот Бастилии.

Двое караульных охраняли эти ворота.

Они беспрепятственно пропустили Арамиса, который, не слезая с лошади, въехал во двор и направился по узкому проходу к подъемному мосту, то есть к настоящему входу в тюрьму.

Подъемный мост был опущен, по бокам стояла стража. Часовой, охранявший мост снаружи, остановил Арамиса и довольно грубо спросил, зачем он явился.

Арамис с обычной вежливостью объяснил, что желал бы переговорить с г-ном Безмо де Монлезеном.

Первый караульный вызвал другого, стоявшего по ту сторону рва, в будке. Тот высунулся в окошечко и внимательно осмотрел вновь прибывшего.

Арамис повторил просьбу.

Тогда часовой подозвал младшего офицера, разгуливавшего по довольно просторному двору; офицер же, узнав, в чем дело, пошел доложить одному из помощников коменданта.

Выслушав просьбу Арамиса, помощник коменданта спросил его имя и предложил ему немного подождать.

– Я не могу вам назвать своего имени, сударь, – сказал Арамис, – скажу только, что мне необходимо сообщить господину коменданту чрезвычайно важное известие, и могу поручиться, что господин Безмо будет очень рад меня видеть. Скажу больше: если вы передадите ему, что я тот самый человек, которого он ожидает к первому июня, он сам выйдет ко мне.

Офицер не мог допустить, чтобы такое важное лицо, как комендант, стало беспокоиться ради какого-то горожанина, приехавшего верхом.

– Вот и прекрасно. Господин комендант собирается куда-то ехать: видите, во дворе стоит запряженная карета, следовательно, ему не придется нарочно выходить к вам, он вас увидит, когда будет проезжать мимо.

Арамис кивнул головой в знак согласия; он и сам не хотел выдавать себя за важное лицо. И он терпеливо стал дожидаться, опершись о луку седла.

Минут через десять карета коменданта остановилась у крыльца. В дверях показался комендант.

Хозяин крепости должен был подвергнуться тем же формальностям, что и посторонний: караульный подошел к карете, когда она подъехала к подъемному мосту, а комендант отворил дверцы, исполняя таким образом установленные им самим правила. Заглянув в карету, часовой мог удостовериться, что никто не покидает Бастилию тайком.

Карета покатила по подъемному мосту.

Но в ту минуту, когда отворяли решетку, офицер подошел к карете, остановившейся вторично, и сказал несколько слов коменданту. Комендант тотчас же выглянул из кареты и увидел сидевшего верхом Арамиса. Он радостно вскрикнул и вышел или, вернее, выскочил из экипажа, подбежал к Арамису, схватил его за руку и рассыпался перед ним в извинениях. Он был почти готов поцеловать у него руку.

– Сколько надо претерпеть, чтобы добраться до Бастилии, господин комендант! Наверное, тем, кого посылают насильно, попасть туда значительно проще.

– Простите, пожалуйста. Ах, монсеньер, как я рад, что вижу ваше преосвященство.

– Тес! Вы не думаете о том, что вы говорите. Могут вообразить бог знает что, если увидят епископа в таком обличье.

– Ах, простите, извините, я действительно не подумал!.. На конюшню лошадь этого господина! – крикнул Безмо.

– Не надо, не надо! – запротестовал Арамис.

– Почему не надо?

– Потому что в этой сумке пять тысяч пистолей.

Комендант так просиял, что если бы в эту минуту его увидели заключенные, они подумали бы, что к нему приехал принц крови.

– Да, да, вы правы. Лошадь к комендантскому дому! Угодно вам, дорогой д'Эрбле, сесть в карету и проехать ко мне?

– Сесть в карету, чтобы проехать через двор? Неужели вы считаете меня таким инвалидом, господин комендант? Нет, нет, пойдем пешком, непременно пешком.

Тогда Безмо предложил свою руку, но прелат отказался. Так дошли они до дома коменданта: Безмо – потирая руки и искоса поглядывая на лошадь, Арамис – созерцая голые черные стены.

Довольно обширный вестибюль и прямая лестница из белого камня вели в комнаты Безмо.

Хозяин миновал прихожую, столовую, где накрывали на стол, открыл потайную дверь и заперся со своим гостем в большом кабинете, окна которого выходили на дворы и конюшни.

Безмо усадил прелата с той подобострастной вежливостью, секрет которой знают только очень добрые или признательные люди. Кресло, подушку под ноги, столик на колесах – все это комендант приготовил сам. Но с особенной заботливостью, словно священнодействуя, Безмо положил на столик мешок с золотом, который один из его солдат внес в комнату с таким благоговением, как священник несет святые дары.

Солдат вышел. Безмо запер за ним дверь, задернул на окне занавеску и посмотрел Арамису в глаза, чтобы увидеть, не нуждается ли прелат еще в чем-нибудь.

– Итак, монсеньер, – сказал он, не садясь, – вы по-прежнему верны своему слову?

– В делах, дорогой Безмо, аккуратность не добродетель, а просто обязанность.

– Да, в делах, я понимаю; но разве у нас с вами дела? Вы просто оказываете мне услугу,

монсеньер.

– Полно, полно, дорогой Безмо! Признайтесь, что, несмотря на всю мою аккуратность, вы все-таки волновались.

– По поводу вашего здоровья, – пробормотал Безмо.

– Я хотел приехать еще вчера, но никак не мог, потому что очень устал, – улыбнулся Арамис.

Безмо подложил другую подушку за спину своего гостя.

– Зато сегодня я решил приехать к вам пораньше, – продолжал Арамис.

– Вы превосходный человек, монсеньер.

– Только я спешил, по-видимому, напрасно.

– Почему?

– Ведь вы собирались куда-то ехать?

Безмо покраснел.

– Действительно, – сказал он, – собирался.

– Значит, я вам помешал. Если бы я это знал, я бы ни за что не приехал, – продолжал Арамис, пронизывая взглядом бедного коменданта.

– Ах, ваше преосвященство, вы никогда не можете помешать мне!

– Признайтесь, вы собирались ехать, чтобы раздобыть где-нибудь денег.

– Нет, – пробормотал Безмо, – клянусь вам, я ехал...

– Господин комендант поедет к господину Фуке или нет? – раздался снизу чей-то голос.

Безмо как ужаленный бросился к окну.

– Нет, нет! – в отчаянии закричал он. – Какой дьявол говорит там о господине Фуке? Пьяны вы, что ли? Кто смеет беспокоить меня, когда я занят делом?

– Вы собирались к господину Фуке? – спросил Арадяис. – К аббату или к суперинтенданту?

Безмо страшно хотел солгать, однако не решился.

– К господину суперинтенданту, – проговорил он.

– Ну, значит, вам нужны были деньги, раз вы собирались ехать к тому лицу, которое дает их.

– Клянусь вам, что я бы никогда не решился попросить денег у господина Фуке. Я хотел только узнать у него наш адрес, вот и все.

– Мой адрес у господина Фуке? – вскричал Арамис, вытаращив глаза.

– Да как же! – заговорил Безмо, смущенный взглядом прелата. – Разумеется, у господина Фуке.

– Ничего в этом дурного нет, дорогой Безмо. Только понять не могу, почему вы хотели обратиться за моим адресом к господину Фуке?

– Чтобы написать вам.

– Это понятно, – с улыбкой кивнул Арамис, – но не спрашиваю, зачем вам понадобился мой адрес, спрашиваю, почему вы хотели обратиться за ним к господину Фуке?

– Ах, – отвечал Безмо, – потому что Бель-Иль принадлежит господину Фуке.

– Так что ж?

– Бель-Иль находится в ваннской епархии, а так как вы ваннский епископ...

– Дорогой Безмо, раз вам было известно, что я ваннский епископ, вам не нужно было узнавать мой адрес у господина Фуке.

– Может быть, монсеньер, – окончательно смешался Безмо, – я совершил какую-нибудь не деликатность? В таком случае прошу у вас извинения.

– Полно! Какую вы могли совершить не деликатность? – спокойно спросил Арамис.

С улыбкой глядя на коменданта, Арамис недоумевал, каким образом Безмо, не зная его адреса, знал, однако, что его епархия была в Ванне.

«Постараемся выяснить это», – сказал он себе.

Затем прибавил вслух:

– Слушайте, дорогой комендант, не свести ли нам наши маленькие счета?

– К вашим услугам, монсеньер. Но сначала скажите мне, ваше преосвященство...

– Что?

– Не окажете ли вы мне честь позавтракать у меня, по обыкновению?

– С удовольствием.

– Милости прошу!

Безмо трижды позвонил.

– Что это значит? – спросил Арамис.

– Это значит, что у меня завтракает гость и что нужно сделать приготовления.

– Пожалуйста, дорогой комендант, не хлопчите так для меня.

– Что вы! Я считаю своей обязанностью принять и угостить вас как можно лучше.

Никакой принц не сделал бы для меня того, что сделали вы.

– Полноте! Поговорим о чем-нибудь другом. Как идут ваши дела в Бастилии?

– Недурно!

– Значит, от заключенных есть доход?

– Неважный.

– Вот как!

– Кардинал Мазарини не отличался большой суровостью.

– Вы, значит, предпочли бы более подозрительное правительство, вроде нашего прежнего кардинала?

– Да. При Ришелье все шло прекрасно. Братец его высокопреосвященства нажил себе целое состояние.

– Поверьте, дорогой комендант, – сказал Арамис, придвигаясь к Безмо, – молодой король стоит старого кардинала. Если старости свойственны ненависть, осмотрительность, страх, то молодости присущи недоверчивость, гнев, страсти. Вы вносили в течение этих трех лет ваши доходы Лувьеру и Трамбле?

– Увы, да.

– Значит, у вас не оставалось никаких сбережений?

– Ах, ваше преосвященство! Уплачивая этим господам пятьдесят тысяч ливров, клянусь вам, я отдаю им весь свой заработок. Еще вчера вечером я говорил то же самое господину д'Артаньяну.

– Вот как! – воскликнул Арамис, глаза которого загорелись, но тотчас же потухли. – Так вы вчера виделись с д'Артаньяном? Ну, как же он поживает?

– Превосходно.

– И что вы ему говорили, господин Безмо?

– Я говорил ему, – продолжал комендант, не замечая своей оплошности, – что я слишком хорошо содержу своих заключенных.

– А сколько их у вас? – небрежно спросил Арамис.

– Шестьдесят.

– Ого, кругленькая цифра!

– Ах, монсеньер, бывало и по двести.

– Но все же и при шестидесяти жить можно не жалуясь.

– Разумеется, другому коменданту каждый арестант приносил бы по полтора пистолей.

– Полтора пистолей!

– А как же? Считайте: на принца крови мне отпускают пятьдесят ливров в день.

– Но как будто у вас здесь нет принцев крови? – сказал Арамис слегка дрогнувшим голосом.

– Слава богу, нет! Вернее, к несчастью, нет.

– Как к несчастью?

– Ну, конечно. Мои доходы возросли бы.

– Справедливо. Итак, на каждого принца крови пятьдесят ливров.

– Да. На маршала Франции тридцать шесть ливров.

– Но ведь в настоящее время у вас нет и маршалов?

– Увы, нет! Правда, на генерал-лейтенантов и бригадных генералов мне отпускается по двадцать четыре ливра, а их у меня два.

– Вот как!

– За ними идут советники парламента, на которых ассигнуется мне по пятнадцать ливров.

– А сколько их у вас?

– Четыре.

– Я и не знал, что на советников отпускается так много.

– Да. Но на рядовых судей, адвокатов и духовных лиц мне дают только по десять ливров.

– И их у вас семь человек? Прекрасно.

– Нет, скверно.

– Почему?

– Ведь все же это не простые люди. Чем они хуже советников парламента?

– Вы правы; я не вижу оснований оценивать их на пять ливров меньше.

– Понимаете ли, за хорошую рыбу мне приходится платить четыре или пять ливров, за хорошего цыпленка полтора ливра. Я, положим, развожу их у себя на птичьем дворе, но все-таки надо покупать корм, а вы не можете себе представить, какая здесь пропасть крыс.

– А почему бы вам не завести полдюжины кошек?

– Как же, станут кошки есть крыс! Я вынужден был отказаться от них.

Вот и посудите, как мой корм уничтожается крысами. Пришлось выписать из Англии терьеров, чтобы они душили крыс. Но у этих собак зверский аппетит: они едят, как арестант пятой категории, не считая того, что иногда душат кроликов и кур.

Нельзя было определить, слушал Арамис или нет: опущенные глаза свидетельствовали о его внимании, а нервные движения пальцев – о том, что он поглощен какой-то мыслью.

– Итак, – продолжал Безмо, – сносная птица обходится мне в полтора ливра, а хорошая рыба – в четыре или пять. В Бастилии еда полагается три раза в день; заключенным делать нечего, вот они и кушают; человек, на которого отпускается десять ливров, обходится мне «в семь с половиной ливров.

– А ведь только что вы сказали мне, что десятилировых вы кормите так же, как и пятнадцатилировых.

– Да.

– Значит, на последних вы зарабатываете семь с половиной ливров?

– Надо же изворачиваться! – буркнул Безмо, видя, что попался.

– Вы правы, дорогой комендант. Ведь у вас есть и такие арестанты, на которых отпускается меньше десяти ливров?

– Как же: горожане и стряпчие.

– Сколько же на них отпускается?

– По пяти ливров.

– А они тоже хорошо едят?

– Еще бы! Только, понятно, им не каждый день дают камбалу да пулярок или испанское вино, но три-то раза в неделю у них бывает хороший стол.

– Но ведь это филантропия, дорогой комендант. Вы разоритесь!

– Нет. Если пятнадцатилировый не доел своего цыпленка или десятилировый оставил что-нибудь, я посылаю эго пятилировым; для бедняг это целый пир. Что поделать! Надо быть сострадательным.

– А сколько приблизительно остается вам от пяти ливров?

– Тридцать су.

– Какой же вы честный человек, Безмо!

– Благодарю вас, ваше преосвященство. Мне кажется, что вы правы. Но знаете ли, о ком я больше всего пекусь?

– О ком?

- О мелких торговцах и писарях, на которых отпускается по три ливра. Им не часто случается видеть рейнских карпов или ла-маншских осетров.
- А разве от пятилировых не бывает остаточков?

– Ах, монсеньер, не думайте, что я такой скряга; эти мещане и писари не помнят себя от счастья, когда я даю им крылышко куропатки, козье филе или кусочек пирога с трюфелями, – словом, такие блюда, какие им и во сне не снились; они едят, пьют, кричат за десертом «да здравствует король!» и благословляют Бастилию; каждое воскресенье я их угощаю двумя бутылками шампанского, которое обходится мне по пяти су. О, эти бедняги превозносят меня и с большим сожалением выходят из тюрьмы. Знаете, что я подметил?

– Что?

– Я подметил... это мне очень на руку. Я подметил, что некоторые заключенные, по выходе на свободу, очень скоро снова попадают сюда. И все это из-за моей кухни. Ей-богу!

Арамис недоверчиво улыбнулся.

– Вы улыбаетесь?

– Да.

– Уверяю вас, что некоторые имена заносятся у нас в список три раза в течение двух лет.

– Хотел бы я взглянуть на этот список!

– Что ж, пожалуй! Хотя у нас запрещается показывать такие документы посторонним лицам.

– Еще бы!

– Но если вы, монсеньер, желаете увидеть собственными глазами...

– С большим удовольствием.

– Вот, извольте!

Безмо подошел к шкафу и вынул оттуда большую книгу.

Арамис ждал с горячим нетерпением.

Безмо вернулся, положил книгу на стол, полистал ее и остановился на букве М.

– Вот, взгляните: Мартинье, январь тысяча шестьсот пятьдесят девятого и июнь тысяча шестьсот шестидеятого. Мартинье, март тысяча шестьсот шестьдесят первого – памфлеты, мазаринады и т.д. Вы понимаете, что это только предлог. Кто за мазаринады попадает в Бастилию? Просто сам молодчик наклепал на себя, чтобы попасть сюда. А с какой целью? С целью лакомиться моей едой за три ливра.

– За три ливра! Несчастный!

– Да, ваше преосвященство; поэты тоже принадлежат к последнему разряду, им полагается тот же стол, что мещанам и писарям; но я уже говорил вам, что как раз о них я больше всего забочусь.

Тем временем Арамис как бы машинально перелистывал страницы, делая вид, что совсем не интересуется именами.

– В тысяча шестьсот шестьдесят первом году, как видите, записано восемьдесят имен, – сказал Безмо. – В тысяча шестьсот пятьдесят девятом году тоже восемьдесят.

– А, Сельдон! – проговорил Арамис. – Как будто знакомое имя. Вы не говорили мне об этом юноше?

– Говорил. Бедняга студент, который сочинил... Как называются два латинских стиха, которые рифмуют?

– Дистихом.

– Именно.

– Бедняга! За дистих!

– Как вы легко смотрите на это! А знаете ли вы, что он сочинил это двустишие на иезуитов?

– Все равно, наказание очень уж строгое.

– Не жалейте его. В прошлом году мне показалось, будто вы интересуетесь им.

– Да.

– А так как ваше внимание для меня важнее всего, монсеньер, то я тотчас же перевел его

на пятнадцать ливров.

– Значит, на такое содержание, как вот этого, – проговорил Арамис, продолжая перелистывать и остановившись на одном имени рядом с Мартинье.

– Именно на такое.

– Что он итальянец, этот Марчиали? – спросил Арамис, показывая пальцем на фамилию, привлекающую его внимание.

– Тсс! – прошептал Безмо.

– Почему такая таинственность? – понизил голос Арамис, невольно сжимая руку в кулак.

– Мне кажется, я вам уже говорил про этого Марчиали.

– Нет, я в первый раз слышу это имя.

– Очень может быть. Я говорил вам о нем, не называя имени.

– Что же, это старый греховодник? – попытался улыбнуться Арамис.

– Нет, напротив, он молод.

– Значит, он совершил большое преступление?

– Непростительное.

– Убил кого-нибудь?

– Что вы!

– Совершил поджог?

– Бог с вами!

– Оклеветал!

– Да нет же! Он...

И Безмо, приставив руки ко рту, прошептал:

– Он дерзает быть похожим на...

– Ах, помню, помню! – сказал Арамис. – Вы мне действительно говорили о нем в прошлом году; но его преступление показалось мне таким ничтожным.

– Ничтожным?

– Или, вернее, неумышленным...

– Ваше преосвященство, такое сходство никогда не бывает неумышленным.

– Ах, я и забыл! Но, дорогой хозяин, – сказал Арамис, закрывая книгу, – кажется, нас зовут.

Безмо взял книгу, быстро положил ее в шкаф, запер его и ключ спрятал в карман.

– Не угодно ли вам теперь позавтракать, монсеньер? – обратился он к Арамису. – Вы не ослышались, нас действительно зовут к завтраку.

– С большим удовольствием, дорогой комендант.

И они пошли в столовую.

Глава 5. ЗАВТРАК У Г-НА ДЕ БЕЗМО

Арамис всегда был очень воздержан в пище, но на этот раз он оказал честь великолепному завтраку Безмо; только вина он пил мало.

Безмо все время был очень оживлен и весел; пять тысяч пистолей, на которые он поглядывал время от времени, радовали его душу. Он умильно поглядывал также на Арамиса.

Епископ, развалившись в кресле, отхлебывал маленькими глоточками вино, смакуя его, как знаток.

– Какой вздор говорят о плохом довольствии в Бастилии, – сказал он, подмигивая. – Счастливы эти заключенные, если им ежедневно дается даже по полбутылки этого бургундского!

– Все пятна двадцатиливровые пьют его, – заметил Безмо. – Это старое, выдержанное вино.

– Значит, и бедняга Сельдон тоже пьет этот превосходный напиток?

– Ну нет!

– А мне послышалось, будто вы содержите его на пятнадцати ливрах.

– Его? Никогда! Человека, который сочиняет дистрикты... Как вы это назвали?

– Дистихи.

– На пятнадцати ливрах! Слишком жирно! Его сосед действительно на пятнадцати ливрах.

– Какой сосед?

– Да тот, из второй Бертодьеры.

– Дорогой комендант, простите меня, но ваш язык мне не вполне понятен.

– И правда, извините; из второй Бертодьеры – это значит, что арестант помещен во втором этаже бертодьерской башни.

– Следовательно, Бертодьерой называется одна из бастильских башен?

Да, я слышал, что здесь каждая башня имеет свое название. Где же эта башня?

– Вот поглядите сюда, – показал Безмо, подходя к окну. – Вон на том дворе, вторая налево.

– Вижу. Значит, в ней сидит заключенный, на которого отпускается по пятнадцати ливров?

– Да.

– А давно уже он сидит?

– Давненько. Лет семь или восемь.

– Неужели у вас нет точных сведений?

– Ведь он был посажен не при мне, дорогой господин д'Эрбле.

– А разве вам ничего не сказали Лувьер и Трамбле?

– Дорогой мой... Простите, ваше преосвященство...

– Ничего. Итак, вы говорите?..

– Говорю, что тайны Бастилии не передаются вместе с ключами комендатуры.

– Вот что! Так, значит, этот таинственный узник – государственный преступник?

– Нет, не думаю; просто его пребывание окружено тайной, как все здесь, в Бастилии.

– Допустим, – сказал Арамис. – Но почему же вы свободнее говорите о Сельдоне, чем о...

– Чем о второй Бертодьере?

– Да.

– Да потому, что, по-моему, преступление человека, сочинившего дистих, гораздо меньше, чем того, кто похож на...

– Да, да, я понимаю. Но как же тюремщики, ведь они разговаривают с заключенными?

– Разумеется.

– В таком случае арестанты, вероятно, говорят им, что они не виноваты.

– Да, они только об этом и твердят, вечно поют эту песенку.

– А не может ли сходство, о котором вы говорили, броситься в глаза вашим тюремщикам?

– Ах, дорогой господин д'Эрбле! Нужно быть придворным, как вы, чтобы заниматься такими мелочами.

– Вы тысячу раз правы, дорогой Безмо. Будьте добры, еще чуточку этого вина.

– Не чуточку, а целый стакан.

– Нет, нет! Вы остались мушкетером до кончиков пальцев. А я сделался епископом. Каплю для меня, стакан для вас.

– Ну, пусть будет по-вашему!

Арамис и комендант чокнулись.

– А кроме того, – добавил Арамис, подняв бокал и Прищуриваясь на вино, горящее рубином, – кроме того, случается и так, что там, где вы находите сходство, другой его совсем не замечает.

– Нет, этого не может быть. Всякий, кто видел того, на кого похож этот узник...

– А мне кажется, дорогой Безмо, что это просто игра вашего воображения.

– Да нет же! Даю вам слово.

– Послушайте, – возразил Арамис, – я встречал многих, чьи лица были похожи на того, о ком мы говорим, но никто не придавал этому значения.

– Да просто потому, что есть разные степени сходства; сходство моего узника поразительное, и если бы вы его увидели, вы бы вполне согласились со мной.

– Если бы я его увидел... – равнодушно протянул Арамис. – Но, по всей вероятности, я его никогда не увижу.

– Почему же?

– Потому что, если бы я ступил ногой в эти ужасные камеры, мне показалось бы, что я навеки буду там похоронен.

– О нет, помещение у нас совсем неплохое!

– Рассказывайте!

– Нет, нет, не говорите дурно о второй Бертодьере. Там отличная камера, прекрасно обставленная, с коврами!

– Что вы говорите!

– Да, да! Этому юноше повезло; ему отвели лучшее помещение в Бастилии. Редкое счастье.

– Полноте, полноте, – холодно прервал Арамис, – никогда я не поверю, что в Бастилии есть хорошие камеры. А что касается ковров, то они, наверное, существуют только в вашем воображении. Мне мерещатся там пауки, крысы, жабы...

– Жабы! Ну, в карцерах, я не отрицаю...

– Самая жалкая мебель и никаких ковров.

– А глазам своим вы поверите? – сказал Безмо все больше приходя в возбуждение.

– Нет, бога ради, не надо!

– Даже для того, чтобы убедиться в этом сходстве, которое вы отрицаете, как и ковры?

– Да это, должно быть, привидение, призрак, живой труп!

– Ничуть не бывало! Здоровенный малый.

– Печальный, угрюмый?

– Да нет же: весельчак.

– Не может быть!

– Пойдемте.

– Куда?

– Со мной.

– Зачем?

– Сделаем прогулку по Бастилии.

– Что?

– Вы все увидите, собственными глазами увидите.

– А правила?

– Это пустяки. Сегодня мой майор свободен, лейтенант обходит бастионы; мы здесь полные хозяева.

– Нет, нет, дорогой комендант! У меня мороз идет по коже при одной мысли о грохоте засовов, которые нам придется отодвигать.

– Полно!

– А вдруг вы забудете обо мне, и я останусь где-нибудь в третьей или четвертой Бертодьере... бррр!

– Вы шутите?

– Нет, говорю серьезно.

– Вы отказываетесь от совершенно исключительного случая. Знаете ли вы, чтобы добиться той милости, которую я предлагаю вам даром, некоторые принцы крови сулили мне до пятидесяти тысяч ливров?

– Неужели это так интересно?

– Запретный плод, ваше преосвященство! Запретный плод! Вы, как духовное лицо, должны хорошо знать это.

– Нет. Если меня кто интересует, то разве только бедный школьник, сочинивший дистих.

– Ладно! Посмотрим на него; он помещается рядом – в третьей Бертодьере.

– Почему вы говорите: рядом?

– Потому что, если бы я был любопытным, меня бы больше заинтересовала прекрасная камера с коврами и ее обитатель.

– Эка невидаль обстановка! Да и обитатель, вероятно, самая невзрачная личность!

– Пятнадцатиллировый, ваше преосвященство, пятнадцатиллировый! Такие персоны всегда интересны.

– Как раз об этом я и позабыл спросить вас. Почему этому человеку отпускается пятнадцать ливров, а бедняге Сельдону только три?

– Ах, эти различия тонкая вещь, сударь: тут король проявил доброту...

– Король?

– То есть кардинал, я ошибся. «Этот несчастный, – сказал Мазарини, обречен до смерти томиться в тюрьме».

– Почему?

– Потому что преступление его вечное, значит, и наказание должно быть вечное.

– Вечное?

– Конечно. Если только ему не посчастливится заболеть оспой, вы понимаете... Но и на это мало надежды. В Бастилии воздух здоровый.

– Вы удивительно находчивы, дорогой Безмо.

– Не правда ли?

– Иными словами, вы хотите сказать, что этот несчастный должен страдать здесь до конца жизни.

– Я не говорил страдать, монсеньер; пятнадцатиллировые не страдают.

– Ну, томиться в тюрьме.

– Конечно, такая уж его доля; но ему всячески стараются смягчить условия жизни. Притом, я думаю, и вы согласитесь со мной, этот молодец родился на свет вовсе не для того, чтобы так прекрасно кушать, как его кормят здесь. Да вот посмотрите: этот непечатый пирог и раки, до которых едва дотронулись, марнские раки, крупные, как лангусты! Все это отправится сейчас во вторую Бертодьеру с бутылкой бургундского, которое вам так нравится. Теперь вы не будете больше сомневаться, я надеюсь?

– Нет, дорогой Безмо, не буду. Но ведь все эти заботы относятся только к счастливым пятнадцатиллировым, а о бедняге Сельдоне вы совсем забыли.

– Извольте! В честь вашего посещения устроим и для него пир: он получит бисквит, варенье и эту бутылочку портвейна.

– Вы превосходный человек; я уже говорил вам это и снова повторяю, дорогой Безмо.

– Идемте, идемте, – заторопил комендант, у которого немного закружилась голова не то от выпитого вина, не то от похвал Арамиса.

– Помните, что я иду туда, только чтобы исполнить вашу просьбу, сказал прелат.

– О, вы меня будете благодарить за эту прогулку.

– Так пойдем.

– Подождите, я предупрежу.

Безмо дважды позвонил, вошел тюремщик.

– Я отправляюсь в башни, – сообщил Безмо – Не надо ни стражи, ни барабанов, словом, никакого шума.

– Если бы я не оставил здесь своего плаща, – промолвил Арамис в притворном страхе, – то мне, право, показалось бы, что я сам сажусь в тюрьму.

Тюремщик пошел вперед, комендант и Арамис за ним, рука об руку, несколько солдат, находящихся во дворе, вытянулись в струнку при виде коменданта.

Безмо провел гостя по небольшому плацу, оттуда они направились к подъемному мосту,

через который часовые беспрепятственно пропустили их, узнав начальство.

– Сударь, – громко спросил комендант Арамиса, чтобы каждое слово его было услышано караульными, – сударь, у вас хорошая память?

– Зачем вы меня спрашиваете об этом?

– Я имею в виду ваши планы и чертежи, так как даже архитекторам воспрещено входить в камеры с бумагой, пером или карандашом.

«Славно! – подумал Арамис – Я, кажется, попал в архитекторы. Пожалуй, это похоже на шутки д'Артаньяна, который видел меня в Бель-Иле инженером».

И он, напрягая голос, заявил:

– Будьте спокойны, господин комендант нам достаточно прикинуть на глаз, чтобы все запомнить.

Безмо даже бровью не повел, стража приняла Арамиса за архитектора.

– Начнем с Бертодьеры, – снова прокричал Безмо, чтобы его слышала вся тюрьма.

– Хорошо, – отвечал Арамис.

Потом Безмо обратился к зрителю.

– Воспользуйся случаем и снеси в номер второй отложенные мною лакомства.

– В третий номер, дорогой Безмо, в третий, вы все время ошибаетесь.

– Правда.

Они стали подниматься по лестнице.

На одном этом дворе было столько засовов, решеток и замков, что их хватило бы на весь город.

Арамис не был ни мечтателем, ни человеком чувствительным, правда, в молодости он писал стихи; но сердце у него было черствое, как у всякого пятидесятилетнего человека, который любил многих женщин или, вернее, был любимым многими женщинами.

Но когда он стал всходить по каменным ступенькам, истоптанным столькими несчастными, когда на него пахнуло сыростью этих мрачных сводов – сердце его, должно быть, смягчилось, потому что он опустил голову и с затуманившимися глазами молча пошел вслед за Безмо.

Арамис не был ни мечтателем, ни человеком чувствительным; правда, в молодости он писал стихи; но сердце у него было черствое, как у всякого пятидесятилетнего человека, который любил многих женщин или, вернее, был любимым многими женщинами.

Но когда он стал всходить по каменным ступенькам, истоптанным столькими несчастными, когда на него пахнуло сыростью этих мрачных сводов – сердце его, должно быть, смягчилось, потому что он опустил голову и с затуманившимися глазами молча пошел вслед за Безмо.

Глава 6. УЗНИК ВТОРОЙ БЕРТОДЬЕРЫ

Когда они поднялись во второй этаж, Арамис задыхался не то от усталости, не то от волнения.

Он прислонился к стене.

– Хотите, начнем отсюда? – спросил Безмо. – Так как мы собираемся в две камеры, то, мне кажется, все равно, поднимемся ли мы сначала в третий этаж и затем спустимся во второй или наоборот. Кроме того, в этой камере нужно сделать кое-какой ремонт, – торопливо прибавил он, чтобы стоявший неподалеку тюремщик мог разобрать его слова.

– Нет, нет, – запротестовал Арамис, – пойдем наверх, наверх, комендант! Там работа более неотложная.

И они стали подниматься выше.

– Попросите ключи у тюремщика, – шепнул своему спутнику Арамис.

– Сию минуту.

Безмо взял ключи и сам открыл дверь в третью камеру. Тюремщик вступил туда первым

и разложил на столе кушанья, которые добрый комендант называл лакомствами.

После этого он удалился.

Заключенный даже не пошевелился.

Тогда Безмо сам вошел в камеру, попросив Арамиса подождать у двери.

Прелат мог разглядеть молодого человека, скорее юношу, лет восемнадцати, который, увидев входившего коменданта, бросился ничком на кровать с воплями:

– Матушка, матушка!

В этих воплях слышалось такое безысходное горе, что Арамис невольно, вздрогнул.

– Дорогой гость, – обратился к заключенному Безмо, пытаясь улыбнуться, – вот вам десерт и развлечение; десерт для тела, развлечение для души. Вот этот господин успокоит вас.

– Ах, господин комендант! – воскликнул юноша. – Оставьте меня одного на целый год, кормите хлебом и водой, но скажите, что через год меня отсюда выпустят, скажите, что через год я снова увижусь с матушкой!

– Дружок мой, – сказал Безмо, – вы же сами говорили, что ваша матушка очень бедна, что живете вы плохо, а здесь смотрите, какие удобства!

– Да, она бедна, сударь; тем более нужно возвратить ей кормильца. Помещение у нас плохое? Ах, сударь, когда человек на свободе, ему всюду хорошо!

– И так как вы утверждаете, что, кроме этого несчастного дистиха...

– Я сочинил его без всякого злого умысла, клянусь вам; он мне пришел в голову, когда я читал Марциала. Ах, сударь, пусть накажут меня как угодно, пусть отсекут руку, которой я писал, я буду работать другой; только верните меня к матушке!

– Дитя мое, – продолжал Безмо, – вы знаете, что это от меня не зависит; я могу только увеличить ваш паек: дать стаканчик портвейну, сунуть пирожное.

– Боже мой, боже мой! – застонал юноша, падая на землю и катаясь по полу.

Арамис не мог больше выносить эту сцену и вышел в коридор.

– Несчастный! – прошептал он.

– Да, сударь, он очень несчастен, но во всем виноваты родители, сказал смотритель, стоявший около дверей камеры.

– Как так?

– Конечно... Зачем они заставили его учить латынь?.. Забивать голову науками вредно... Я едва умею читать и писать; и вот в тюрьму не попал, как видите.

Арамис окинул взглядом этого человека, который считал, что быть тюремщиком не значит быть в тюрьме.

Безмо тоже появился в коридоре, видя, что ни его утешения, ни вино не действуют. Он был расстроен.

– А дверь-то, дверь! – крикнул тюремщик, – вы забыли запереть дверь.

– И правда, – вздохнул Безмо. – Вот возьми ключи.

– Я похлопочу за этого ребенка, – проговорил Арамис.

– И если ваши хлопоты будут безуспешны, – сказал Безмо, – то просите, чтобы его, по крайней мере, перевели на десять ливров, мы оба от этого выгадаем.

– Если и другой заключенный также зовет матушку, я не буду заходить к нему и произведу измерения снаружи.

– Не бойтесь, господин архитектор, – успокоил тюремщик, – он у нас смирный, как ягненок, и все молчит.

– Ну пойдемте, – нехотя согласился Арамис.

– Ведь вы тюремный архитектор? – обратился к нему сторож.

– Да.

– Как же вы до сих пор не привыкли к таким сценам? Странно!

Арамис увидел, что во избежание подозрений ему нужно призвать на помощь все свое самообладание.

Безмо открыл камеру.

– Остайся здесь и подожди нас на лестнице, – приказал он тюремщику.

Тот повиновался.

Безмо прошел вперед и сам открыл вторую дверь.

В камере, освещенной лучами солнца, проникавшими через решетчатое окно, находился красивый юноша, небольшого роста, с короткими волосами и небритый; он сидел на табуретке, опершись локтем на кресло и прислонившись к нему. На кровати валялся его костюм из тонкого черного бархата; сам он был в прекрасной батистовой рубашке.

При звуке открываемой двери молодой человек небрежно повернул голову, но, узнав Безмо, встал и вежливо поклонился. Когда глаза его встретились с глазами Арамиса, стоявшего в тени, епископ побледнел и выронил шляпу, точно на него нашел столбняк.

У Безмо, привыкшего к своему жильцу, не дрогнул ни один мускул; он старательно, как усердный слуга, стал раскладывать на столе пирог и раков. Занятый этим, он не заметил волнения своего гостя.

Окончив сервировку, комендант обратился к молодому узнику со словами:

– Вы сегодня очень хорошо выглядите.

– Благодарю вас, сударь, – отвечал юноша.

Услышав этот голос, Арамис едва удержался на ногах. Все еще мертвенно бледный, он невольно сделал шаг вперед.

Это движение не ускользнуло от внимания Безмо, несмотря на все его хлопоты.

– Это архитектор, который пришел посмотреть, не дымит ли ваш камин, сообщил Безмо.

– Нет, он никогда не дымит, сударь.

– Вы говорили, господин архитектор, что нельзя быть счастливым в тюрьме, – сказал комендант, потирая руки, – однако перед вами заключенный, который счастлив. Надеюсь, вы ни на что не жалуетесь?

– Никогда.

– И вам не скучно? – спросил Арамис.

– Нет.

– Что я вам говорил? – шепнул Безмо.

– Да, невозможно не верить своим глазам. Вы разрешите задать ему несколько вопросов?

– Сколько угодно.

– Так будьте добры, спросите его, знает ли он, за что попал сюда.

– Господин архитектор спрашивает вас, – строго обратился к узнику Безмо, – знаете ли вы, почему вы попали в Бастилию?

– Нет, сударь, – спокойно отвечал молодой человек, – не знаю.

– Но ведь это невозможно! – воскликнул Арамис, охваченный волнением.

– Если бы вы не знали причины вашего ареста, вы были бы в бешенстве.

– Первое время так и было.

– Почему же вы перестали возмущаться?

– Я образумился.

– Странно, – проговорил Арамис.

– Не правда ли, удивительно? – спросил Безмо.

– Что же вас образумило? – поинтересовался Арамис. – Нельзя ли узнать?

– Я пришел к выводу, что раз за мной нет никакой вины, то бог не может наказывать меня.

– Но что же такое тюрьма, как не наказание?

– Я и сам не знаю, – отвечал молодой человек, – могу сказать только, что мое мнение теперь совсем другое, чем было семь лет тому назад.

– Слушая вас, сударь, и видя вашу покорность, можно подумать, что вы даже любите тюрьму.

– Я мирюсь с ней.

– В уверенности, что когда-нибудь станете свободны?

– У меня нет уверенности, сударь, одна только надежда; и, признаюсь, с каждым днем

эта надежда угасает.

– Почему же вам не выйти на волю? Ведь были же вы раньше свободны?
– Именно здравый смысл не позволяет мне ожидать освобождения; зачем было сажать меня, чтоб потом выпустить?

– А сколько вам лет?

– Не знаю.

– Как вас зовут?

– Я забыл имя, которое мне дали.

– Кто ваши родители?

– Я никогда не знал их.

– А те люди, которые воспитывали вас?

– Они не называли меня своим сыном.

– Любили вы кого-нибудь до своего заключения?

– Я любил свою кормилицу и цветы.

– Это все?

– Я любил еще своего лакея.

– Вам жаль этих людей?

– Я очень плакал, когда они умерли.

– Они умерли до вашего ареста или после?

– Они умерли накануне того дня, когда меня увезли.

– Оба одновременно?

– Да, одновременно.

– А как вас увезли?

– Какой-то человек приехал за мной, посадил в карету, запер дверцу на замок и привез сюда.

– А вы бы узнали этого человека?

– Он был в маске.

– Не правда ли, какая необычайная история? – шепотом сказал Безмо Арамису.

У Арамисахватило дух.

– Да, необычайная.

– Но удивительнее всего то, что он никогда не сообщал мне столько подробностей.

– Может быть, это оттого, что вы никогда не расспрашивали, – заметил Арамис.

– Возможно, – отвечал Безмо, – я не любопытен. Ну что же, как вы находите камеру: прекрасная, не правда ли?

– Великолепная.

– Ковер...

– Роскошный.

– Держу пари, что у него не было такого до заключения.

– Я тоже так думаю.

Тут Арамис снова обратился к молодому человеку:

– А не помните ли вы, посещал вас кто-нибудь из незнакомых?

– Как же! Три раза приезжала женщина под густой вуалью, которую она поднимала только тогда, когда нас запирали и мы оставались с ней наедине.

– Вы помните эту женщину?

– Помню.

– О чем же она говорила с вами?

Юноша грустно улыбнулся.

– Она спрашивала меня о том же, о чем спрашиваете и вы: хорошо ли мне, не скучно ли?

– А что она делала, приходя к вам и покидая вас?

– Обнимала меня, прижимала к сердцу, целовала.

– Вы помните ее?

– Прекрасно.

– Я хочу спросить вас, помните ли вы черты ее лица?

– Да.

– Значит, если бы случай снова свел вас с ней, вы бы узнали ее?

– О, конечно!

На лице Арамиса промелькнула довольная улыбка.

В эту минуту Безмо услышал шаги тюремщика, поднимавшегося по лестнице.

– Не пора ли нам уходить? – шепнул он Арамису.

Должно быть, Арамис узнал все, что ему хотелось знать.

– Как вам угодно, – сказал он.

Видя, что они собираются уходить, юноша вежливо поклонился. Безмо отвечал легким кивком, Арамис же, видимо, тронутый его несчастьем, низко поклонился заключенному.

Они вышли. Безмо запер двери.

– Ну как? – спросил Безмо на лестнице. – Что вы скажете обо всем этом?

– Я открыл тайну, дорогой комендант, – отвечал Арамис.

– Неужели? Что же это за тайна?

– В доме этого юноши было совершено убийство.

– Полноте!

– Да как же! Лакей и кормилица умерли в один и тот же день. Очевидно, яд.

– Ай-ай-ай!

– Что вы на это скажете?

– Что это похоже на правду... Неужели этот юноша убийца?

– Кто же говорит об этом? Как вы могли заподозрить несчастного ребенка в убийстве?

– Да, да, это нелепо.

– Преступление было совершено в доме, где он жил; этого довольно. Может быть, он видел преступников, и теперь опасаются, как бы он не выдал их.

– Черт возьми, если бы я знал, что это было так, я удвоил бы надзор за ним.

– Да у него, кажется, нет никакого желания бежать!

– О, вы не знаете, что за народ эти арестанты!

– У него есть книги?

– Ни одной; строжайше запрещено давать их ему.

– Строжайше?

– Запрещено самим Мазарини.

– Это запрещение у вас?

– Да, монсеньер. Хотите, я вам покажу его, когда мы вернемся домой?

– Очень хочу, я большой любитель автографов.

– За подлинность этого я ручаюсь; там только одна пометка.

– Пометка! Что же там зачеркнуто?

– Цифра.

– Цифра?

– Да. Сначала было написано: содержание в пятьдесят ливров.

– Значит, как принцам крови?

– Но вы понимаете, кардинал заметил свою ошибку: он зачеркнул ноль и прибавил единицу перед пятеркой. Кстати...

– Ну?

– Вы ничего мне не сказали о сходстве.

– Да по очень простой причине, дорогой Безмо: никакого сходства нет!

– Ну вот еще!

– А если и есть, то только в вашем воображении; если же оно существовало бы где-нибудь помимо него, то, мне кажется, вы хорошо бы сделали, никому не говоря о нем.

– Вы правы.

– Король Людовик Четырнадцатый, наверное, разгневался бы на вас, если бы вдруг узнал, что вы распространяете слух, будто какой-то его подданный имеет дерзость быть

похожим на него.

– Да, да, вы правы, – заторопился перепуганный Безмо, – но я говорил об этом только вам; а я всецело полагаюсь на вашу скромность, монсеньер.

– Будьте спокойны.

Разговаривая таким образом, они вернулись в квартиру Безмо; комендант вытащил из шкафа книгу, похожую на ту, что он уже показывал Арамису, но запертую на замок.

Ключ от этого замка Безмо всегда держал при себе на отдельном кольце.

Положив книгу на стол, он раскрыл ее на букве М и показал Арамису следующую запись в отделе примечаний:

«Не давать ни одной книги, белье самое тонкое, костюмы изящные; никаких прогулок, никаких смен тюремщиков, никаких сношений.

Разрешаются музыкальные инструменты, всевозможные удобства и комфорт; пятнадцать ливров на продовольствие. Г-н де Безмо может требовать больше, если пятнадцать ливров окажется недостаточно».

– И впрямь, – сказал Безмо, – нужно будет потребовать прибавки.

Арамис закрыл книгу.

– Да, – подтвердил он, – это написано рукой Мазарини; я узнаю его почерк. А теперь, дорогой комендант, – продолжал он, точно тема предшествующего разговора была исчерпана, – перейдем, если вам угодно, к нашим маленьким расчетам.

– Когда прикажете расплатиться с вами? Назначьте сами срок.

– Не нужно срока; напишите мне простую расписку в получении ста пятидесяти тысяч франков.

– С уплатой по предъявлении?

– Да. Но ведь вы понимаете, что я буду ждать до тех пор, пока вы сами не пожелаете заплатить мне.

– Я не беспокоюсь, – с улыбкой сказал Безмо, – но я уже выдал вам две расписки.

– Я сейчас разорву их.

И Арамис, показав коменданту расписки, действительно разорвал их.

Убежденный этим проявлением доверия, Безмо без колебаний подписал расписку на сто пятьдесят тысяч франков, которые он обязывался заплатить по первому требованию прелата.

Арамис, смотревший через плечо коменданта, пока тот писал, спрятал расписку в карман, не читая, чем окончательно успокоил Безмо.

– Теперь, – сказал Арамис, – вы не будете на меня сердиться, если я похищу у вас какого-нибудь заключенного?

– Каким образом?

– Выхлопотав для него помилование. Ведь я же сказал вам, что бедняга Сельдон очень интересуется меня.

– Ах, да!

– Что же вы на это скажете?

– Это ваше дело; поступайте как знаете. Я вижу, что у вас руки длинные.

– Прощайте, прощайте!

И Арамис уехал, напутствуемый добрыми пожеланиями коменданта,

Глава 7. ДВЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ

В то самое время, когда г-н Безмо показывал Арамису узников Бастилии, у дверей дома г-жи де Бельер остановилась карета, и из нее вышла молодая женщина, вся в шелках.

Когда о приезде г-жи Ванель доложили хозяйке дома, она была погружена в чтение какого-то письма, которое торопливо спрятала и побежала навстречу гостье.

Маргарита Ванель бросилась ее целовать, жала ей руки и не давала вымолвить ни слова.

– Дорогая моя, – говорила она, – ты меня совсем забыла! Совсем закружилась на придворных праздниках.

– Я даже и не была на свадебных увеселениях.

– Чем же ты так занята?

– Готовлюсь к отъезду в Бельер.

– Ты хочешь стать деревенской жительницей? Я люблю, когда у тебя являются такие порывы. Но ты бледна.

– Нет, я чувствую себя прекрасно.

– Тем лучше, а я было испугалась. Ты знаешь, что мне говорили?

– Мало ли что говорят!

– Я готова все рассказать тебе, да боюсь, что ты будешь сердиться.

– Вот уж никогда! Ведь ты сама восхищалась ровностью моего характера.

– Так вот, дорогая маркиза, говорят, что с некоторых пор ты стала гораздо меньше тосковать о бедном господине де Бельере!

– Это злые сплетни, Маргарита; я жалею и всегда буду жалеть мужа; но прошло уже два года, как он умер; а мне всего только двадцать восемь лет, и скорбь о покойнике не может наполнять все мои мысли. Ты первая не поверила бы такой скорби, Маргарита.

– Отчего же? У тебя такое нежное сердце! – ядовито возразила г-жа Ванель.

– Да ведь и у тебя тоже нежное сердце, а я, однако, не нахожу, чтобы сердечные печали совсем убили тебя.

В этих словах слышался явный намек на разрыв Маргариты с г-ном Фуке, а также довольно прозрачный упрек в легкомыслии.

Они окончательно вывели Маргариту из себя, и она вскричала:

– Ну, так я скажу! Говорят, что ты влюблена, Элиза.

При этом она не сводила глаз с г-жи де Бельер, которая невольно вспыхнула.

– Несчастные женщины: всякий старается оклеветать их, – заметила маркиза после минутного молчания.

– О! На тебя-то, Элиза, не клеветают.

– Как же не клеветают, если рассказывают, что я влюблена?

– Прежде всего, если это правда, то это не клевета, а только злословие, а затем, – ты не даешь мне кончить, – говорят, что ты, хотя и влюблена, но зубами и когтями защищаешь свою добродетель, говорят, что ты живешь за семью замками и к тебе труднее попасть, чем к Данае, хотя у нее была башня из бронзы.

– Ты очень остроумна, Маргарита, – проговорила, трепеща, г-жа де Бельер.

– Ах, ты всегда льстила мне, Элиза... Словом, ты слынешь непреклонной и недоступной. Видишь, на тебя несколько не клеветают... О чем же ты задумалась?

– Если говорят, что я влюблена, то, вероятно, называют чье-нибудь имя.

– Разумеется, называют.

– Меня удивило твое упоминание о Данае. Это имя невольно наводит на мысль о золотом дожде, не так ли?

– Ты хочешь напомнить про то, что Юпитер превратился ради Данаи в золотой дождь?

– Следовательно, мой возлюбленный... тот, кого ты мне приписываешь...

– Ах, извини, пожалуйста, я твой друг и не приписываю тебе никого.

– Допустим... Ну, тогда враги...

– Хорошо, я скажу тебе это имя. Только не пугайся, он человек очень влиятельный...

– Дальше.

И, словно приговоренная в ожидании казни, маркиза до боли сжала руки, так что ее холеные ногти вонзились в ладонь.

– Это очень богатый человек, – продолжала Маргарита, – может быть, самый богатый. Словом, его зовут...

Маркиза даже зажмурила глаза.

– Герцог Бекингэм, – проговорила наконец Маргарита с громким смехом.

Стрела попала в цель. Имя Бекингэма, сказанное вместо того имени, которое ожидала услышать маркиза, было для нее точно плохо наточенный топор, который не обезглавил де Шале и де Ту, когда они были возведены на эшафот, а только ранил им шею.

Однако она быстро оправилась.

– Ты, право, остроумная женщина; и ты мне доставила большое удовольствие. Твоя шутка прелестна... Я ни разу не видала господина Бекингэма.

– Ни разу? – спросила Маргарита, стараясь сохранить серьезность.

– Я никуда не выезжала с тех пор, как герцог живет в Париже.

– О, можно и не видаться друг с другом, а переписываться, – заметила на это г-жа Ванель, шаловливо протягивая ножку к клочку бумаги, валявшемуся на ковре.

Маркиза вздрогнула. Это был конверт того письма, которое она читала перед приездом подруги. На нем была печать с гербом суперинтенданта.

Госпожа де Бельер подвинулась на диване и незаметно закрыла конверт пышными складками своего широкого шелкового платья.

– Послушай, – заговорила она, – послушай, Маргарита, неужели ты приехала ко мне так рано только для того, чтобы рассказать мне все эти нелепости?

– Нет, прежде всего я приехала повидаться с тобою и напомнить тебе наши былые привычки, наши маленькие радости; помнишь, мы отправлялись на прогулку в Венсенский лес и там, в укромном месте, под дубом, вели разговоры про тех, кто нас любил и кого мы любили?

– Ты предлагаешь мне прогуляться?

– Меня ждет карета, и я свободна в продолжение трех часов.

– Я не одета, Маргарита... а если ты хочешь поболтать, то и без Венсенского леса мы найдем в моем саду и развесистое дерево, и густые заросли буков, и целый ковер маргариток и фиалок, аромат которых доносится сюда.

– Дорогая маркиза, мне досадно, что ты отказываешься от моего предложения... Мне так надо было излить перед тобой мою душу.

– Повторяю тебе, Маргарита, мое сердце одинаково принадлежит тебе и в этой комнате, и под липою моего сада, как и там – в лесу под дубом.

– Для меня это не одно и то же... Приближаясь к Венсенскому лесу, маркиза, я чувствую, что мои вздохи как будто слышнее там, куда они несутся эти последние дни.

При этих словах маркиза насторожилась.

– Тебя удивляет, не правда ли... что я все еще думаю о Сен-Манде?

– О Сен-Манде! – вырвалось у г-жи де Бельер.

И взгляды обеих женщин скрестились, подобно двум шпагам в начале дуэли.

– Ты, такая гордая?... – сказала с пренебрежительной улыбкой маркиза.

– Я... такая гордая!.. – ответила г-жа Ванель. – Такова моя натура...

Я не прощаю забвения, не переношу измены. Когда я бросаю, а он плачет, я могу полюбить опять; ну а когда меня бросают и смеются, я готова сойти с ума от любви.

Госпожа де Бельер невольно привстала на диване.

«Она ревнует!» – мелькнуло в голове Маргарты.

– Значит, – проговорила маркиза, – ты безумно любишь господина Бекингэма... то бишь... господина Фуке?

Маргарита болезненно ощутила удар, и вся кровь прилила ей к сердцу.

– И поэтому ты собиралась ехать в Венсен... даже в Сен-Манде!

– Я сама не знаю, куда я хотела ехать; я думала, что ты мне посоветуешь что-нибудь.

– Не могу; я ведь не умею прощать. Может быть, я не умею любить так глубоко, как ты. Но если мое сердце оскорблено, то уж навсегда.

– Да ведь господин Фуке твоих чувств не оскорблял, – с деланной наивностью заметила Маргарита Ванель.

– Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Господин Фуке не оскорблял моих

чувств; я не пользовалась его благосклонностью и не терпела от него обид, но ты имеешь повод жаловаться на него. Ты моя подруга, и я бы не советовала тебе поступать так, как ты собираешься.

– Что же ты вообразила?

– Те вздохи, о которых ты упоминала, говорят достаточно красноречиво.

– Ах, ты раздражаешь меня! – воскликнула вдруг молодая женщина, собравшись с силами, как борец, готовый нанести последний удар. – Ты думаешь только о моих страстях и слабостях, а о моих чистых и великодушных побуждениях ты забываешь. Если в настоящую минуту я и чувствую симпатию к господину Фуке и даже делаю шаг к сближению с ним, признаюсь откровенно, – то только потому, что его судьба глубоко волнует меня, и, на мой взгляд, он один из самых несчастных людей на свете.

– А! – проговорила маркиза, приложив руку к груди. – Разве случилось что-нибудь новое?

– Дорогая моя, новое прежде всего в том, что король перенес все свои милости с господина Фуке на господина Кольбера.

– Да, я слышала это.

– Это и понятно, когда обнаружилась история с Бель-Илем.

– А меня уверяли, что все это в конце концов послужило к чести господина Фуке.

Маргарита разразилась таким злобным смехом, что г-жа де Бельер с удовольствием вонзила бы ей кинжал в самое сердце.

– Дорогая моя, – продолжала Маргарита, – теперь дело идет уже не о чести господина Фуке, а о его спасении. Не пройдет и трех дней, как станет очевидным, что министр финансов окончательно разорен.

– О! – заметила маркиза, улыбаясь, в свою очередь. – Что-то уж очень скоро.

– Я сказала «три дня» потому, что люблю обольщать себя надеждами. Но вероятнее всего, что катастрофа разразится сегодня же.

– Почему?

– По самой простой причине: у господина Фуке нет больше денег.

– В финансовом мире, дорогая Маргарита, случается, что сегодня у человека нет ни гроша, а завтра он ворочает миллионами.

– Это могло случиться с господином Фуке в то время, когда у него было два богатых и ловких друга, которые а собирали для него деньги, выжимая их из всех сундуков; К но эти друзья умерли, и теперь ему неоткуда почерпнуть миллионы, которые просил у него вчера король.

– Миллионы? – с ужасом воскликнула маркиза.

– Четыре миллиона... четное число.

– Подлая женщина, – прошептала про себя г-жа де Бельер, измученная этой жестокой радостью, однако она собралась с духом и ответила:

– Я думаю, что у господина Фуке найдется четыре миллиона.

– Если у него есть четыре миллиона, которые король просит сегодня, может быть, у него не будет их через месяц, когда король попросит снова.

– Король опять будет просить у него денег?

– Разумеется; вот потому-то я и говорю, что разорение господина Фуке неминуемо. Из самолюбия он будет безотказно давать деньги, а когда их не хватит – ему крышка.

– Твоя правда, – сказала маркиза дрожащим голосом, – план рассчитан верно... А скажи, пожалуйста, господин Кольбер очень ненавидит господина Фуке?

– Мне кажется, что он недолюбливает его... Господин Кольбер теперь в большой силе; он выигрывает, если узнать его поближе, – у него гигантские замыслы, большая выдержка, осторожность; он далеко пойдет.

– Он будет министром финансов?

– Возможно... Так вот почему, дорогая моя маркиза, я так жалела этого бедного человека, который любил меня, даже обожал; вот почему, видя, какой он несчастный, я

прощала ему в душе его измену... в которой он раскаивается, судя по некоторым данным; вот почему я склонна была утешить его и дать ему добрый совет: он, наверно, понял бы мой поступок и был бы мне благодарен.

Маркиза, оглушенная, уничтоженная этим натиском, рассчитанным с меткостью хорошего артиллерийского огня, не знала, что отвечать, что думать.

– Так почему же, – проговорила она наконец, втайне надеясь, что Маргарита не станет добивать побежденного врага, – почему бы вам не поехать к господину Фуке?

– Положительно, маркиза, я начинаю серьезно думать об этом. Нет, пожалуй, неприлично самой делать первый шаг. Разумеется, господин Фуке любит меня, но он слишком горд. Не могу же я подвергать себя риску... Кроме того, я должна побережь и мужа. Ты ничего не говоришь... Ну, в таком случае я посоветуюсь с господином Кольбером.

И она с улыбкой встала, собираясь прощаться. Маркиза была не в силах подняться на ноги.

Маргарита сделала несколько шагов, наслаждаясь унижением и горем своей соперницы; потом она вдруг спросила:

– Ты не проводишь меня?

Маркиза пошла за ней, бледная, холодная, не обращая внимания на конверт, который она заботливо старалась прикрыть юбкой во время разговора.

Затем она открыла дверь в молельную и, даже не поворачивая головы в сторону Маргариты Ванель, ушла туда и заперла за собой дверь.

Как только маркиза исчезла, ее завистливая соперница бросилась, как пантера, на конверт и схватила его.

– У-у-у, лицемерка! – прошипела она, скрежеща зубами. – Конечно, она читала письмо от Фуке, когда я приехала!

И, в свою очередь, выбежала вон из комнаты.

А в это время маркиза, очутившись в безопасности за дверью, почувствовала, что силы окончательно изменяют ей; с минуту она стояла, побледнев и окаменев, как статуя; потом, подобно статуе, которую колеблет ураган, она покачнулась и упала без чувств на ковер.

Глава 8. **СЕРЕБРО Г-ЖИ ДЕ БЕЛЬЕР**

Удар был особенно тяжел из-за его неожиданности.

Прошло немало времени, пока маркиза оправилась; но придя в себя, она стала размышлять о назревающих событиях. Она перебирала в памяти все, что сообщила ей ее безжалостная подруга.

Вскоре природный ум этой энергичной женщины взял верх над чувством бесплодного сострадания.

Маркиза не принадлежала к тем женщинам, которые плачут и ахают над несчастьем вместо того, чтобы попытаться действовать. Стиснув виски похолодевшими пальцами, она просидела минут десять в раздумье; потом, подняв голову, твердой рукой позвонила.

Она приняла решение.

– Все ли готово к отъезду? – осведомилась она у вошедшей горничной.

– Да, сударыня, но мы думали, что вы уедете в Бельер не раньше, чем через три дня.

– Однако вы уложили драгоценности и серебро?

– Да, сударыня, но мы обыкновенно оставляем эти вещи в Париже; вы никогда не берете драгоценностей с собою в деревню.

– Маркиза помолчала, потом сказала спокойным тоном:

– Пошлите за моим ювелиром.

Горничная ушла исполнять приказание, а маркиза направилась к себе в кабинет и начала внимательно рассматривать свои драгоценности.

Никогда она не обращала столько внимания на свои богатства: она рассматривала эти

драгоценности, только Иногда выбирала их. А в эту минуту она любовалась величиною рубинов и чистой водой брильянтов; она приходила отчаяние от малейшего пятнышка или изъяна; золото казалось ей недостаточно тяжелым, а камни – мелкими.

Вошедший в комнату ювелир застал ее за этим занятием.

– Господин Фоше! Кажется, вы поставляли мне все драгоценности?

– Да, маркиза.

– Я не могу припомнить, сколько стоило это серебро.

– Сударыня, кувшины, кубки и блюда с футлярами.

– Да столовые приборы, мороженицы и тазы для варки варенья – все это обошлось вам в шестьдесят тысяч ливров.

– Господи, только и всего?

– Сударыня, в то время вы находили, что это очень дорого...

– Правда, правда. Я действительно припоминаю, что было дорого; ведь тут ценится работа, не так ли?

– Да, сударыня, и гравировка, и чеканка, и отливка.

– А какую часть стоимости вещи составляет работа?

– Третью часть, сударыня.

– У нас еще есть другое серебро, старинное, моего мужа.

– Ах, сударыня, там не такая тонкая работа. За него можно дать только тридцать тысяч ливров, стоимость самого металла.

– Всего девяносто, – прошептала маркиза. – Но господин Фоше, есть еще серебро моей матери; помните, целая гора? Я его держала только как воспоминание.

– Ах, сударыня, то серебро – целое состояние для людей менее обеспеченных, чем вы. В то время все вещи делались очень массивными, не то что теперь. Но такую посуду не принято подавать на стол: она слишком громоздка.

– Да это как раз то, что нужно! Сколько в ней весу?

– По крайней мере, тысяч на пятьдесят ливров. Я уже не говорю про огромные буфетные вазы: они одни стоят десять тысяч ливров пара.

– Сто пятьдесят! – воскликнула маркиза. – Вы уверены в цифрах, господин Фоше?

– Уверен, сударыня. Да ведь не трудно прикинуть на весах.

– Теперь перейдем к другим вещам, – продолжала г-жа де Бельер.

И она открыла ларчик с драгоценностями.

– Узнаю эти изумруды, – сказал ювелир, – я сам их оправлял; самые лучшие изумруды при дворе, то есть, виноват: самые лучшие принадлежат госпоже де Шатильон; они ей достались от Гизов; но ваши, сударыня, вторые.

– Сколько они стоят? И есть ли возможность продать их?

– Сударыня, ваши драгоценности купят с удовольствием: все знают, что у вас лучший подбор камней во всем Париже. Вы не из тех дам, которые меняют купленное; вы покупаете всегда самое лучшее и умеете это сохранить.

– Так сколько могут дать за эти изумруды?

– Сто тридцать тысяч ливров.

Маркиза занесла эту цифру в свою записную книжечку.

– А за это кольцо? – спросила она.

– Отличные рубины. Я и не знал, что они есть у вас.

– Оцените.

– Двести тысяч ливров. Один средний стоит сто тысяч.

– Да, да, я так и думала, – подхватила маркиза. – Теперь брильянты.

Ах, у меня масса брильянтов: кольца, цепочки, подвески, серьги, аграфы!

Оценивайте поскорее, господин Фоше.

Ювелир вооружился лупой, вынул весы, взвешивал, осматривал и тихонько считал про себя.

– Все эти камни могут дать госпоже маркизе сорок тысяч ливров ежегодного дохода.

– По-вашему, они стоят восемьсот тысяч ливров?..

– Около того.

– Я так и думала. Не считая оправы, разумеется?

– Да, сударыня. И если бы мне дали эти вещи купить или продать, то я удовольствовался бы за комиссию одним золотом, в которое оправлены эти камни, и заработал бы добрых двадцать пять тысяч ливров.

– Так не угодно ли вам взяться за продажу этих вещей с тем условием, что вы заплатите мне за все сейчас же наличными деньгами?

– Что вы, сударыня? – опешил ювелир. – Неужели вы собираетесь продать свои бриллианты?..

– Тише, господин Фоше, не беспокойтесь, пожалуйста; дайте мне только ответ. Вы человек честный, тридцать лет состоите поставщиком нашего дома, знали и моего отца, и мою мать, которые заказывали вещи еще у родителей ваших. Я говорю с вами как с другом: угодно ли вам Получить золотую оправу камней за то, что вы купите все у меня за наличный расчет?

– Восемьсот тысяч ливров! Да ведь это такая громадная сумма! Так трудно ее раздобыть!

– Я знаю.

– Посудите, сударыня, какие толки поднимутся в обществе, когда пойдет слух о продаже вами драгоценностей!

– Никто не узнает об этом... Вы изготовите мне такие точно вещи, только с фальшивыми камнями. Не возражайте: я так хочу. Продайте все по частям, продайте одни камни, без оправы.

– Одни камни легче продать... Принц ищет драгоценности для туалетов принцессы. Уже объявлен конкурс. Я легко могу продать принцу ваши камни на шестьсот тысяч ливров. Я уверен, что они окажутся лучше всех прочих.

– Когда вы можете это устроить?

– В три дня.

– Хорошо, а остальное вы продадите частным лицам.

– Сударыня, умоляю вас, подумайте хорошенько... Если вы будете спешить, вы потеряете сотню тысяч ливров.

– Я готова потерять хоть двести. Я хочу, чтобы все было оформлено сегодня же к вечеру. Так вы согласны?

– Согласен, маркиза... Не скрываю, что на этой сделке я заработаю пять тысяч пистолей.

– Тем лучше. А как вы заплатите мне?

– Золотом или бумагами Лионского банка, которые можно реализовать у господина Кольбера.

– С посудой выйдет миллион, – прошептала маркиза. – Господин Фоше, вы возьмете также золото и серебро. Скажете, что я желаю переплавить по моделям, которые мне больше нравятся.

– Слушаю, маркиза.

– Золото, которое будет мне причитаться за посуду, сложите в сундук и прикажите одному из ваших приказчиков ехать с этим сундуком, так, чтобы мои люди не видели его; пусть приказчик подождет меня в карете.

– В карете моей жены? – спросил ювелир.

– Если желаете, я могу ехать в ней.

– Хорошо, маркиза.

– Серебро свезите с помощью трех моих людей.

– Слушаю, сударыня.

Маркиза позвонила.

– Велите подать фургон господину Фоше.

Ювелир раскланялся и ушел; по дороге он говорил, что маркиза велела расплавить всю свою старинную посуду и сделать новую в более современном стиле.

Через три часа маркиза отправилась к г-ну Фоше и получила от него на восемьсот тысяч

ливров бумаг Лионского банка и двести пятьдесят тысяч ливров золотой монетою, сложенной в сундук, который приказчик с трудом донес до кареты.

Эта карета, или, вернее, дом на колесах, составляла предмет восхищения всего квартала; сверху донизу она была покрыта аллегорическими рисунками и облаками, усеянными золотыми и серебряными звездами. Знатная дама села в этот неуклюжий рыдван рядом с приказчиком, который забился в угол, боясь задеть платье маркизы.

И приказчик крикнул кучеру, очень гордому тем, что везет маркизу:

– В Сен-Манде!

Глава 9. ПРИДАНОЕ

Лошади г-на Фоше были могучие першероны, чьи ноги походили на тумбы.

Как и карета, они явились на свет еще в первой половине столетия. Естественно, что они не могли бежать так быстро, как английские лошади г-на Фуке, и им понадобилось два часа, чтобы одолеть расстояние до Сен-Манде.

Маркиза остановилась у двери, хорошо ей знакомой, хотя видела эту дверь всего только раз.

Она вынула из кармана ключ, вложила его в замок, толкнула дверь, которая беззвучно отворилась, и приказала приказчику поднять сундук на второй этаж. Но сундук оказался таким тяжелым, что приказчик был вынужден прибегнуть к помощи кучера.

Сундук поставили в маленькой комнатке, не то прихожей, не то будуаре, примыкавшей к той зале, где мы видели г-жа Фуке у ног маркизы.

Госпожа де Бельер дала кучеру луидор, одарила приказчика обворожительной улыбкой и отпустила обоих. Она сама заперла за ними дверь и осталась в комнатке одна.

Хотя слуг не было видно, но все было приготовлено для гостей. В камине горел огонь, в канделябры были вставлены свечи, на этажерке стояли закуски, вина и фрукты, на столах лежали книги, а в японских вазах красовались букеты живых цветов.

Точно волшебный дом.

Маркиза зажгла свечи в канделябрах, вдохнула аромат цветов, села и задумалась.

Она размышляла, как оставить г-ну Фуке эти деньги, чтобы он не мог догадаться, откуда они. Она схватилась за первое пришедшее ей в голову средство.

Можно просто позвонить, вызвать г-на Фуке и убежать; отдав ему миллион, она будет счастливее, чем если бы сама нашла миллион. Но ведь Фуке догадается и, пожалуй, откажется принять как дар то, что он, быть может, принял бы как заем, и, таким образом, вся ее затея пропадет даром.

Для полной удачи нужно было серьезно обдумать этот шаг, убедить суперинтенданта в безвыходности его положения, пустить в ход все красноречие дружбы, а если и этого окажется мало, пробудить в нем страсть, против которой никто не может устоять.

Суперинтендант был известен как человек очень щепетильный и гордый; он ни за что не допустил бы, чтобы женщина разорилась ради него. Нет, он стал бы всеми силами бороться, и только любимая женщина могла сломить его упорство.

Но любил ли он ее?

Способен ли этот легкомысленный и увлекающийся человек ограничиться одной женщиной, хотя бы эта женщина была ангелом?

– Вот это-то я и должна выяснить, – прошептала маркиза. – Кто знает, может быть, это сердце, которым я так жажду овладеть, окажется на поверку пошлым и низким... Полно, полно! – воскликнула она. – Довольно сомнений, довольно колебаний, пора перейти к испытанию! Пора!

Она взглянула на часы.

Теперь семь часов, он должен быть дома: это его рабочий час. Смелее!

И она с лихорадочным нетерпением подошла к зеркалу, улыбнулась себе, повернула

потайную пружину и нажала кнопку звонка. Потом, словно уже обессилев в борьбе, бросилась на колени перед огромным креслом и охватила руками голову.

Через десять минут раздался звук отворяющейся двери. Вошел Фуке. Он был бледен; тяжелые мысли омрачали его лицо.

Должно быть, он был сильно озабочен, что так медленно явился на этот призыв любви, он – человек, для которого наслаждение составляло все на свете.

После бессонной ночи и мучительных дум он как-то весь осунулся; свойственное ему обычно беззаботное выражение пропало, и вокруг глаз появились темные круги.

Но он был по-прежнему красив, по-прежнему осанка его дышала благородством, а печальная складка у рта, редко появлявшаяся у этого человека, придавала его лицу какой-то новый, молодивший его оттенок.

В черном костюме, с белыми кружевами на груди, суперинтендант остановился в задумчивости на пороге той комнаты, где он так часто находил желанное счастье.

Его мрачное спокойствие, его печальная улыбка произвели на г-жу де Бельер невыразимое впечатление.

Глаз женщины умеет всегда распознать в чертах любимого человека гордость или страдание; чтобы вознаградить женщин за их слабость, природа одарила их исключительной чуткостью. При первом взгляде на Фуке маркиза поняла, что он глубоко несчастлив.

Она угадала и то, что эту ночь он провел без сна, а день принес ему разочарования.

И тотчас же силы вернулись к ней, она почувствовала, что любит Фуке больше жизни.

Она встала и, подойдя к нему, сказала:

– Вы писали мне утром, что начинаете уже забывать меня и что я, не видясь с вами, конечно, перестала думать о вас. Я приехала сюда, сударь, чтобы опровергнуть подобные предположения, тем более что я вижу по вашим глазам...

– Что вы видите, маркиза? – спросил удивленный Фуке.

– Что вы никогда еще так сильно не любили меня, как в эту минуту; и вы также должны видеть по моему поступку, что я вас не забыла.

– Ах, маркиза, – ответил Фуке, и его благородное лицо мгновенно озарилось радостью, – вы – ангел, и мужчины не имеют права сомневаться в вас; им остается одно: преклониться пред вами и робко ожидать вашего благоволения.

– В таком случае это благоволение вам будет даровано.

Фуке хотел опуститься перед нею на колени.

– Нет, – остановила она его, – сядьте со мною рядом. Ах, вот сейчас у вас на уме нехорошая мысль!

– Почему вы так говорите, сударыня?

– Вас выдала ваша улыбка. Скажите, о чем вы задумались? Ну скажите же, будьте откровенны; между друзьями не должно быть никаких тайн!

– Ответьте и вы мне, к чему такая суровость в течение целых трех или четырех месяцев?

– Суровость?

– Разумеется. Разве вы не запретили мне посещать вас?

– Увы, мой друг, – заговорила г-жа де Бельер с глубоким вздохом, ваш приезд ко мне принес вам большое несчастье; за моим домом следят; те же самые глаза, которые видели вас тогда, могут увидеть вас опять. Словом, я нахожу, что безопаснее мне приезжать сюда, чем вам ко мне; вы и так несчастны, и я не хочу, чтобы из-за меня вы стали еще несчастнее.

Фуке вздрогнул.

Эти слова снова напомнили ему финансовые заботы, а он стал уже было погружаться в любовные грезы.

– Я несчастен? – проговорил он, силясь улыбнуться. – Право, маркиза, вы говорите таким печальным тоном, что, пожалуй, заставите меня самого поверить вашим словам. Неужели эти чудные глаза смотрят на меня только с жалостью? А мне так хотелось бы прочесть в них другое чувство.

– Не я печальна, а вы: взгляните на себя в зеркало.

– Я действительно немного бледен, маркиза, но это от усиленной работы; вчера король попросил у меня денег.

– Да, четыре миллиона, я знаю.

– Неужели вам это известно? – воскликнул пораженный Фуке. – Откуда вы это узнали? Ведь это было после того, как королевы удалились к себе, оставался только один человек, когда король...

– Видите, я знаю, этого довольно, не правда ли? Итак, продолжайте, друг мой: король попросил у вас...

– Так вы понимаете, маркиза, надо было добыть деньги, сосчитать их, разнести по книгам, для всего этого требуется время. С тех пор как умер Мазарини, финансовые дела несколько запутались и расстроились. Мои служащие завалены работой, вот почему я не спал эту ночь.

– Значит, у вас есть эта сумма? – спросила с беспокойством маркиза.

– Ну, маркиза, – весело отвечал Фуке, – хорош был бы министр финансов, у которого в кассе не нашлось бы жалких четырех миллионов!

– И уверена, что они у вас есть или будут.

– То есть как это будут?

– Он еще так недавно просил у вас два миллиона.

– Напротив, маркиза, мне кажется, с тех пор прошла целая вечность; но, пожалуйста, перестанем говорить о деньгах.

– Напротив, будем говорить именно о деньгах, друг мой.

– О!

– Послушайте, я для этого только и приехала сюда.

– Но что же вы хотите сказать по этому поводу? – спросил министр, и в глазах его блеснуло тревожное любопытство.

– Скажите, господин Фуке, министр финансов – лицо несменяемое?

– Вы удивляете меня, маркиза; вы говорите со мною, как вкладчица.

– По очень простой причине: я желаю поместить к вам капитал и, естественно, желаю знать, надежная ли у вас фирма.

– Право, маркиза, я не могу догадаться, к чему клонится ваш разговор.

– Я серьезно говорю вам, дорогой господин Фуке: у меня есть капитал, который стесняет меня. Мне надоело покупать земли, и я хотела бы попросить кого-нибудь из моих приятелей пустить этот капитал в оборот.

– Но я думаю, это не к спеху?

– Наоборот, даже очень к спеху.

– Хорошо. Мы потом поговорим об этом.

– Нет, не потом, так как я привезла деньги сюда.

И она указала на сундук; затем она открыла его, и глазам Фуке представились связки банковских билетов и куча золота.

Фуке поднялся со стула одновременно с г-жой де Бельер; на минуту он задумался, потом вдруг попятился назад, побледнел и упал в кресло, закрыв лицо руками.

– Ах, маркиза, маркиза!

– В чем дело?

– Какого вы мнения обо мне, если предлагаете мне подобные вещи?

– Но что же вы вообразили? Скажите.

– Эти деньги... ведь вы привезли, их для меня, вы привезли их потому, что слышали о моем затруднительном положении. Ах, не отпирайтесь! Я угадал. Разве я не знаю вашего сердца?

– Ну и прекрасно! Раз вы его знаете, вы видите, что я предлагаю вам его.

– Значит, я угадал! – воскликнул Фуке. – Право, сударыня, я никогда не давал вам повода так оскорблять меня.

– Оскорблять вас! – проговорила она, побледнев. – Вот странная щепетильность у

людей! Ведь вы говорили, что любите меня. И во имя этой любви просили, чтобы я поступилась своею честью, репутацией! А когда я предлагаю вам деньги, вы отказываетесь от них!

– Маркиза, маркиза, вам предоставлялась полная свобода оберегать то, что вы называете репутацией и честью. Предоставьте же и мне свободу защищать мое достоинство. Пусть я буду разорен, пусть я паду под тяжестью моих собственных ошибок, даже под тяжестью угрызений совести, но, заклинаю вас всем святым, не наносите мне этого последнего удара!

– Вы говорите безрассудно, господин Фуке, – сказала маркиза.

– Очень может быть, маркиза.

– И безжалостно.

Фуке схватился за грудь, словно силясь подавить внутреннее волнение.

– Осыпайте меня упреками, маркиза, – простонал он, – я не стану отвечать вам.

– Вы не хотите принять от меня доказательство дружеского расположения?

– Не хочу.

– Поглядите на меня, господин Фуке.

Глаза маркизы загорелись.

– Я предлагаю вам свою любовь.

– О, маркиза!.. – мог только выговорить Фуке.

– Слышите ли? Я люблю вас, люблю давно; у женщин, как и у мужчин, бывает ложный стыд, ложная щепетильность. Я давно люблю вас, но не хотела признаться в этом.

– Ах! – проговорил Фуке, всплеснув руками.

– И вот я вам признаюсь... Вы на коленях молили меня о любви, я отказывала вам; я была так же слепа, как вы в данную минуту. А теперь я сама предлагаю вам свою любовь.

– Да, любовь, но только одну любовь, все!

– И любовь, и самое себя, и жизнь мою! Все, все.

– Я не вынесу такого счастья!

– А вы будете тогда счастливы? Говорите, говорите... если я буду ваша, вся ваша?

– Это высшее блаженство!

– Так владейте же мною. Но если я ради вас поступаю предвзвешенно, то и вы обязаны поступиться своей щепетильностью ради меня.

– Маркиза, маркиза, не искушайте меня!

– Фуке, одно слово «нет» – и я сейчас же открываю эту дверь. – И она показала на дверь, выходящую на улицу. – И вы никогда больше меня не увидите. А если «да» – я пойду за вами всюду, с закрытыми глазами, одна, без защиты, без сожаления, без ропота. А это мое приданое!

– Это ваше разорение, – сказал Фуке, опрокидывая сундук так, что бумаги и золото высыпались на пол, – здесь миллионное состояние.

– Ровно миллион... Здесь, мои драгоценности, которые не понадобятся мне больше, если вы не любите меня; не понадобятся и в том случае, если вы меня любите так же сильно, как я вас люблю!

– О, это слишком большое счастье для меня! Слишком большое! – воскликнул Фуке. – Я уступаю, я сдаюсь, я побежден вашей любовью. Я принимаю приданое...

– А вот и сама невеста! – засмеялась маркиза, бросаясь в его объятия.

Глава 10. БОЖЬЯ ЗЕМЛЯ

А в это время Бекингэм и де Вард ехали вместе, как добрые приятели, по дороге, ведущей из Парижа в Кале.

Бекингэм так торопился, что отменил большую часть своих визитов.

Он сделал один общий визит принцу, принцессе, молодой королеве и вдовствующей королеве.

Герцог расцеловался с де Гишем и с Раулем; уверил первого в полном уважении к нему, а второго – в своей преданности и вечной дружбе, перед которой бессильно время и расстояние.

Фургоны с поклажею двинулись вперед; сам Бекингэм выехал вечером в карете в сопровождении всей своей свиты.

Де Барда обижало, что этот англичанин как будто тащит его на буксире, и он перебирал в своем изворотливом уме всевозможные средства избежать этих цепей, но не мог найти ни одного подходящего, и волей-неволей ему пришлось платить за свой скверный характер и злой язык.

В конце концов, взвесив все обстоятельства, де Вард уложил вещи в чемодан, нанял двух лошадей и в сопровождении только одного лакея отправился к той заставе, где должен был пересесть в карету Бекингэма.

Герцог принял своего противника как нельзя лучше. Он подвинулся, чтобы дать ему возможность усестся поудобнее, предложил ему конфет и прикрыл его колени собольим мехом. Потом они стали говорить о дворе, не упоминая о принцессе, о принце, не касаясь его семьи, о короле, умалчивая о его невестке, о королеве-матери, обходя ее невестку, об английском короле, избегая называть его сестру.

Вот почему это путешествие, сопровождавшееся продолжительными остановками, было очаровательно.

Бекингэм, настоящий француз по уму и образованию, был в восторге от такого интересного спутника.

Дорогою они то закусывали, то пробовали лошадей на прекрасных лугах, то охотились за зайцами, так как Бекингэм вез с собою борзых. Словом, время проходило незаметно.

Покидая Францию, Бекингэм тосковал больше всего о новой француженке, которую он привез в Париж; его мысли были полны воспоминаний, а следовательно, сожалений.

И когда он невольно погружался в задумчивость, де Вард умолкал и старался не мешать ему.

Такая чуткость, наверно, тронула бы Бекингэма и, быть может, изменила бы его отношение к де Варду, если бы тот не смотрел на него злыми глазами, с ехидной улыбкой.

Инстинктивная ненависть неистребима: ничто не может ее загасить; иногда слой пепла покрывает ее, но под ним она раскаляется еще сильнее.

Истощив весь запас дорожных развлечений, они доехали наконец до Кале.

Это было к концу шестого дня путешествия.

Еще накануне люди герцога уехали вперед, чтобы нанять лодку для переезда на маленькую яхту, которая лавировала в виду берега или останавливалась, – когда чувствовала, что ее белые крылышки утомились, – на расстоянии двух-трех пушечных выстрелов от берега.

По частям весь экипаж герцога был свезен на яхту, и Бекингэму доложили, что все готово и он может когда угодно переправиться сам, вместе с французским дворянином – своим спутником.

Никому и в голову не приходило, что французский дворянин не был приятелем герцога.

Бекингэм велел передать командиру яхты, чтобы он держал ее наготове; море было тихое, все предвещало великолепный закат, и герцог решил отплыть только в ночь, а вечером хотел прогуляться по песчаному берегу.

Он обратил внимание окружающих на прекрасное зрелище: небо на горизонте алело пурпуром, и пушистые облака вздымались амфитеатром от солнечного диска до зенита, точно горные хребты, нагроможденные друг на друга.

Теплый воздух, солоноватый запах моря, ласковое дуновение ветерка, а вдали – темные очертания яхты с переплетающимися, как кружево, снастями на фоне алевшего неба; там и сям на горизонте паруса, похожие на крылья чаек, реющих над морем, – этой картиною действительно можно было залюбоваться. Толпа зевак сопровождала лакеев в раззолоченных ливреях, принимая управляющего и секретаря за хозяина и его приятеля.

Что касается Бекингэма, просто одетого в серый атласный жилет и лиловый бархатный

камзол, в шляпе, надвинутой на глаза, без орденов и шитья, то ни его, ни де Варда, который был весь в черном, как стряпчий, не замечали вовсе.

Люди герцога получили приказание держать лодку наготове у мола, но не подъезжать к берегу раньше, чем их позовет герцог или его друг.

— Сохраняйте спокойствие, что бы вы ни увидели, — сказал герцог, намеренно подчеркнув последнюю фразу.

Пройдя несколько шагов по берегу, Бекингэм обратился к де Варду:

— Мне кажется, сударь, что нам пора... Начинается прилив; минут через десять вода так смочит песок, по которому мы ходим, что мы не будем чувствовать под ногами земли.

— Милорд, я к вашим услугам; но...

— Но мы находимся еще на земле короля; вы это хотели сказать?

— Разумеется.

— В таком случае пойдемте дальше. Видите клочок земли, окруженный со всех сторон водою; вода прибывает и скоро зальет островок. Этот островок, наверно, не принадлежит никому, кроме господа бога, потому что он не нанесен на карты. Видите вы его?

— Вижу, мы даже не сможем добраться до него сейчас, не промочив ноги.

— Нам будет очень удобно на этой маленькой сцене. Как вам кажется?

— Я буду чувствовать себя хорошо везде, где моя шпага будет иметь честь скреститься с вашей, милорд.

— Так идем туда! Я в отчаянии, что из-за меня вы промочите себе ноги, господин де Вард; но зато вы можете сказать королю: «Государь, я не дрался на земле вашего величества». Может быть, это слишком тонко, но такова уж ваша природа, господа французы! Не обижайтесь, это придает особенную прелесть вашему уму, прелесть, свойственную только вашей нации. Знаете ли, надо нам поспешить, господин де Вард, вода поднимается, и скоро наступит ночь.

— Я не прибавлял шагу, только чтобы не идти впереди вашей светлости.

Скажите, милорд, у вас еще не промокли ноги?

— Пока нет. Взгляните-ка в ту сторону: видите, мои люди смотрят на нас и боятся, как бы мы не утонули. Смотрите, как забавно танцует лодка на гребнях волн, но от этого зрелища у меня делается морская болезнь.

Разрешите мне повернуться к ним спиной.

— Заметьте, милорд, что тогда солнце будет вам бить прямо в глаза.

— Ну, вечером лучи его слабее, к тому же оно скоро зайдет; так что не беспокойтесь.

— Как вам угодно, милорд.

— Я понимаю, господин де Вард, я вам очень признателен. Желаете снять камзол? Будет удобнее.

— Согласен.

Бекингэм снял камзол и бросил его на песок. Де Вард последовал его примеру.

Очертания двух фигур, казавшихся с берега белыми призраками, ясно обрисовывались на фоне красно-фиолетовой мглы, спускавшейся с неба на землю.

— Честное слово, герцог, мы не можем теперь отступить! — сказал де Вард. — Чувствуете ли вы, как наши ноги вязнут в песке?

— Да, по самую щиколотку, — ответил Бекингэм.

— Я к вашим услугам, герцог.

Де Вард взял шпагу, герцог тоже.

— Господин де Вард, — заговорил тогда Бекингэм, — еще одно последнее слово... Я с вами дерусь потому, что вы мне не нравитесь, потому, что вы истерзали мне сердце насмешками над моею страстью, которую я действительно питаю в настоящую минуту, за которую готов отдать жизнь. Вы злой человек, господин де Вард, и я приложу все старания, чтобы убить вас, потому что, я чувствую, если вы не умрете сейчас от моей шпаги, то в будущем причините много зла моим друзьям. Вот что я хотел вам сказать, господин де Вард.

И Бекингэм поклонился.

– А я, милорд, со своей стороны отвечу вам так: до сих пор вы просто были мне не по душе, но теперь, когда вы разгадали меня, я вас ненавижу и сделаю все возможное, чтобы убить вас.

И де Вард поклонился Бекингэму.

В ту же минуту шпаги скрестились – в темноте сверкнули молнии. Оба противника искусно владели оружием; первые выпады оказались безрезультатными. А ночь быстро опускалась на землю; стало так темно, что приходилось нападать и парировать удары наугад.

Вдруг – де Вард почувствовал, что шпага его во что-то уперлась: он попал в плечо Бекингэма. Шпага герцога опустилась вместе с рукою.

– О! – застонал он.

– Я вас задел, не правда ли, милорд? – спросил де Вард, отступая шага на два назад.

– Да, сударь, но задели легко.

– Однако же вы опустили шпагу.

– Это невольно, от прикосновения холодной стали, но я уже оправился.

Начнем снова, если вам угодно, милостивый государь.

И, с отчаянною отвагою сделав выпад, он ранил маркиза в грудь.

– И я также задел вас, – сказал он.

– Нет, – ответил де Вард, не тронувшись с места.

– Простите; но я заметил, что у вас рубашка в крови... – проговорил Бекингэм.

– А! – воскликнул взбешенный де Вард – Так вот же вам!

И, напрягая все свои силы, он пронзил руку Бекингэма у локтя. Шпага прошла между двух костей. Бекингэм почувствовал, что у него отнялась правая рука; он протянул левую, перехватил шпагу, которая чуть не вывалилась из повисшей руки, и, прежде чем де Вард успел занять оборонительную позицию, пронзил ему грудь.

Де Вард зашатался, ноги у него подкосились, и, не успев вытащить шпагу, застрявшую в руке герцога, он свалился в красноватую от вечернего освещения воду, которая теперь окрасилась в настоящий красный цвет.

Де Вард был жив. Он сознавал приближение смертельной опасности: вода быстро поднималась. И герцог также видел эту опасность. Собравшись с силами, он с болезненным криком выдернул шпагу из руки; потом, обратившись к де Варду, спросил его:

– Вы живы, маркиз?

– Да, – отвечал де Вард едва слышным голосом; он захлебывался от крови, заливавшей ему горло, – но силы слабеют.

– Так как же быть? Вы можете идти?

И Бекингэм поставил его на одно колено.

– Все кончено, – простонал де Вард и снова упал. – Позовите своих людей, – попросил он, – иначе я утону.

– Эй, вы! – крикнул Бекингэм. – Лодку сюда! Живее, причаливайте!

Матросы тотчас же заработали веслами. Но вода прибывала быстрее, чем двигалась лодка.

Бекингэм увидел, что волна вот-вот накроет де Варда; тогда левой, здоровой рукой он подхватил противника снизу за талию и приподнял с земли. Волна окатила герцога до пояса, но он даже не покачнулся. Он пошел по направлению к берегу. Но едва он сделал шагов десять, как новая волна, выше и яростнее первой, обдала его грудь, сбила с ног и совсем захлестнула.

Потом, когда она сбежала, на песке остались герцог и потерявший сознание де Вард.

В ту же минуту четыре матроса, поняв опасность, бросились с лодки в море и в одну секунду очутились возле герцога. Они застыли от ужаса, когда увидели, что их господин обливается кровью.

Они хотели унести его.

– Нет, нет! – запротестовал герцог – Прежде снесите маркиза на берег!

– Смерть, смерть французу! – раздался глухой ропот англичан.

– Назад! – воскликнул герцог, с гордым жестом поднимаясь на ноги. Сейчас же исполняйте мой приказ. Немедленно доставьте господина де Варда на берег, или я вас всех перевешаю!

В это время подъехала лодка. Управляющий и секретарь выскочили из нее и подошли к маркизу. Он не подавал никаких признаков жизни.

– Поручаю вам этого человека, – сказал им герцог, – вы мне отвечаете за него головой. На берег! Перенесите господина де Варда на берег!

Маркиза бережно взяли на руки, перенесли и положили на сухой песок, куда не достигал морской прилив. Несколько любопытных да пять-шесть рыбаков собрались на берегу, привлеченные странным зрелищем: двое мужчин дрались по пояс в воде.

Англичане передали им раненого в ту минуту, когда он очнулся и открыл глаза. Секретарь герцога вынул из кармана туго набитый кошелек и передал самому почтенному на вид рыбаку.

– Вот вам от моего господина, герцога Бекингэма, – прибавил он, ухаживайте за маркизом де Вардом позаботливее.

И он вернулся в сопровождении своих людей к лодке, на которую с большим трудом перебрался Бекингэм, удостоверившись предварительно в том, что де Вард вне опасности. На де Варда накинули камзол герцога и понесли его на руках в город.

Глава 11. ТРОЙНАЯ ЛЮБОВЬ

После отъезда Бекингэма де Гиш вообразил, что мир безраздельно принадлежит ему.

У принца не осталось больше ни малейшего повода к ревности; кроме того, шевалье де Лоррен совершенно завладел им, и принц предоставил всем в доме полнейшую свободу.

Король, увлеченный принцессой, выдумывал все новые увеселения, чтобы сделать приятным ее пребывание в Париже, так что не проходило дня без какого-нибудь празднества в Пале-Рояле или приема у принца.

Король распорядился, чтобы в Фонтенбло были сделаны приготовления к переезду двора, и все старались попасть в число приглашенных. Принцесса была занята с утра до вечера. Ее язык и перо не останавливались ни на минуту. Разговоры ее с де Гишем становились все оживленнее, что часто бывает предвестием страсти.

Когда взор делается томным при обсуждении цвета материи, когда целый час проходит в толках о качестве или запахе какого-нибудь саше или цветка, то хотя слова таких разговоров могут слышать все, но вздохи и жесты видны не всем.

Наговорившись досыта с г-ном де Гишем, принцесса болтала с королем, который аккуратно каждый день посещал ее. Время проходило в играх, сочинении стихов; каждый выбирал какой-нибудь девиз, эмблему; эта весна была не только весной природы, она была юностью народа, возглавляемого Людовиком XIV.

Король соперничал со всеми в красоте, молодости и любезности. Он был влюблен во всех красивых женщин, даже в свою жену – королеву.

Но при всем своем могуществе он бывал очень робок на первых порах.

Эта робость удерживала его в границах обыкновенной вежливости, и ни одна женщина не могла похвастать, что он оказывал ей предпочтение перед другими. Можно было предсказать, что тот день, когда он заявит о своих чувствах, и станет зарею новой эры; но он молчал, и г-н де Гиш, пользуясь этим, оставался королем любовных интриг всего двора.

Мало-помалу он занял определенное место в доме принца, который любил его и старался как можно больше приблизить к себе. Замкнутый от природы, он до приезда принцессы слишком уединялся, а когда она приехала – почти не отходил от нее.

Все окружающие заметили это, а в особенности злой гений, шевалье де Лоррен, к которому принц был чрезвычайно привязан за его веселые, хоть и злые выходки и за умение выдумывать разнообразные развлечения.

Шевалье де Лоррен, видя, что де Гиш угрожает занять его место у принца, прибегнул к решительному средству. Он просто-напросто сбежал, оставив принца в крайнем недоумении.

В первый день принц почти не заметил его отсутствия, потому что де Гиш был рядом и те часы дня и ночи, когда он не разговаривал с принцессой, самоотверженно посвящал принцу.

Но на другой день принц, не находя никого под рукой, спросил, куда девался шевалье. Ему ответили, что об этом никому не известно.

Де Гиш, проведя все утро с принцессой за выбором шитья и бахромы, пришел утешать принца. Но после обеда надо было заняться оценкой тюльпанов и аметистов, и де Гиш снова ушел в кабинет принцессы.

Принц остался один; был час его туалета; он чувствовал себя самым несчастным человеком в мире и опять спросил, не знает ли кто-нибудь, где шевалье.

– Никто ничего о нем не знает, – был все тот же ответ.

Тогда принц, не зная, куда деваться от скуки, отправился, как был, в халате и папильотках, к жене. Там он нашел целое сборище молодежи, которая смеялась и перешептывалась по углам: тут группа женщин, обступивших мужчину, и едва сдерживаемый смех, а там – Маникан и Маликорн, осаждаемые Монтале, мадемуазель де Тонне-Шарант и другими хохотушками.

Поодаль от этих групп сидела принцесса; стоя перед ней на коленях, де Гиш держал на ладони рассыпанные жемчуга и драгоценные камни, которые она перебирала своими тонкими белыми пальчиками.

В другом углу устроился гитарист и наигрывал испанские сегидильи, от которых принцесса была без ума с тех пор, как молодая королева стала их петь – с каким-то особенно грустным оттенком; разница была только в том, что фразы, которые испанка произносила с дрожащими на ресницах слезами, англичанка напевала с улыбкою, позволявшей видеть ее перламутровые зубки.

Этот кабинет, битком набитый молодежью, представлял самое веселое зрелище.

При входе принц был поражен видом стольких людей, веселившихся без него. Его взяла такая зависть, что он невольно воскликнул, как ребенок:

– Что же это такое! Вы здесь забавляетесь, а я там скучаю один!

Все сразу притихли, как от удара грома смолкает чириканье птиц.

Де Гиш моментально вскочил на ноги. Маликорн спрятался за юбки Монтале. Маникан выпрямился и стал в церемонную позу. Гитарист сунул гитару под стол и прикрыл ее ковром.

Одна принцесса не тронулась с места и, улыбаясь, ответила супругу:

– Ведь вы занимаетесь туалетом в этот час.

– И вы нарочно его выбрали, чтоб веселиться, – проворчал принц.

Эта фраза послужила сигналом к общему бегству: женщины разлетелись, как стая спугнутых птиц; гитарист растаял как тень; Маликорн, не переставая прятаться за юбки Монтале, успел юркнуть за драпировку. Что касается Маникана, то он пришел на помощь де Гишу, который, разумеется, все время стоял около принцессы, и оба они храбро выдержали натиск. Граф был слишком счастлив, чтобы сердиться на принца; но принц был очень зол на свою супругу.

Ему нужен был повод к ссоре, и таким поводом ему послужило исчезновение этой толпы, веселившейся до его прихода и смущенной его появлением.

– Почему же все разбежались, как только я вошел? – обиженно и надменно проговорил он.

На это принцесса холодно ответила, что, когда является глава дома, домочадцы из почтения стараются держаться поодаль.

Говоря это, она состроила такую забавную мину, что де Гиш и Маникан не могли удержаться от смеха; принцесса захохотала следом за ними; общее веселье заразительно подействовало на самого принца, так что ему пришлось сесть; когда он смеялся, его фигура теряла свою важность и достоинство.

Перестав хохотать, он рассердился еще больше. Его злило, собственно, то, что он сам не мог сохранить серьезность.

Он смотрел злыми глазами на Маникана, не решаясь излить свой гнев на графа де Гиша.

По его знаку оба они вышли из комнаты. А принцесса, оставшись одна, стала грустно перебирать жемчуг, не смеялась больше и молчала.

– Как это мило, – надулся принц, – у вас меня встречают как чужого.

И он ушел в крайнем раздражении.

По дороге ему попалась Монтале, дежурившая в комнате, смежной с кабинетом принцессы.

– На вас приятно посмотреть, но только из-за двери.

Монтале сделала глубокий реверанс.

– Я не вполне понимаю, что ваше высочество изволите мне сказать.

– Я повторяю, мадемуазель, что когда вы хохочете все вместе в комнате у принцессы, то всякий посторонний, если он не остается за дверью, оказывается лишним.

– Разумеется, ваше высочество говорите это не о себе?

– Наоборот, мадемуазель, я говорю это и думаю именно о себе! Мне устроили не очень-то любезную встречу. Еще бы! Именно в то время, как у моей жены – то есть в моем доме – музицируют и веселятся, когда и мне, в свою очередь, хочется немножко развлечься, все убегают!.. Что же это значит? Вероятно, в мое отсутствие делается что-нибудь дурное...

– Но сегодня было все то же, что и вчера и раньше, – оправдывалась Монтале.

– Неужели! Значит, каждый день хохочут так, как сегодня!..

– Конечно, ваше высочество.

– И каждый день происходит то же самое?

– Все то же, ваше высочество.

– И каждый день такое же бренчанье?

– Ваше высочество, гитара была только сегодня; но когда ее не было, играли на скрипке и на флейте: женщинам скучно без музыки.

– Черт возьми! А мужчинам?

– Какие же мужчины, ваше высочество?

– Господин де Гиш, господин де Маникан и остальные.

– Да ведь они – приближенные вашего высочества.

– Да, да, ваша правда, мадемуазель.

И принц ушел на свою половину. Он задумчиво опустился в глубокое кресло, даже не взглянув в зеркало.

– И куда это пропал шевалье! – проговорил он.

Около кресла стоял лакей.

– Никто не знает, где он, ваше высочество.

– Опять этот ответ!.. Первого, кто скажет мне: «не знаю», я прогоню со службы.

При этих словах принца все разбежались совершенно так же, как исчезли при его появлении гости принцессы. Тогда принц пришел в неопишемую ярость. Он толкнул ногою шифоньерку, которая разлетелась на кусочки.

Потом он отправился на галерею и хладнокровно сбросил наземь эмалевую вазу, порфиновый кувшин и бронзовый канделябр. Поднялся страшный грохот.

Сбежались люди.

– Что угодно вашему высочеству? – решился робко спросить начальник стражи.

– Я занимаюсь музыкой, – отвечал принц, скрежеща зубами.

Начальник стражи дослал за придворным доктором. Но раньше доктора явился Маликорн и доложил принцу:

– Ваше высочество, шевалье де Лоррен следует за мною.

Принц взглянул на Маликорна и улыбнулся. И действительно, в комнату вошел шевалье.

Глава 12.

РЕВНОСТЬ Г-НА ДЕ ЛОРРЕНА

Герцог Орлеанский вскрикнул от удовольствия, увидев шевалье де Лоррена.

– Ах, как я рад! – сказал он. – Какими судьбами? Все говорили, что вы пропали.

– Да, ваше высочество.

– Что же это, каприз?

– Каприз? Смею ли я капризничать, находясь рядом с вашим высочеством?

Глубокое уважение...

– Ну хорошо, уважение мы отложим в сторону, ты каждый день доказываешь обратное. Я тебя прощаю. Почему ты исчез?

– Потому что я не был нужен вашему высочеству.

– Как так?

– Около вашего высочества столько людей более интересных, чем я. Я чувствовал, что не в силах тягаться с ними. И я удалился.

– Во всем этом нет ни капли здравого смысла. Что это за люди, с которыми ты не хотел тягаться? Гиш?

– Я никого не называю.

– Но ведь это же глупости! Чем тебе мешает Гиш?

– Я не говорю этого, ваше высочество. Не принуждайте меня. Вы знаете, что Гиш мой хороший друг.

– Тогда кто же?

Шевалье прекрасно знал, что любопытство усиливается, как жажда, когда у человека отнимают протянутый стакан.

– Нет, я хочу знать, почему ты пропал.

– Я заметил, что стесняю...

– Кого?

– Принцессу.

– Как так? – спросил удивленный герцог.

– Очень просто. Быть может, ее высочество испытывает что-то вроде ревности, видя расположение, какое вы изволите мне оказывать.

– Она дала тебе понять это?

– Ваше высочество, с некоторого времени принцесса не обращается ко мне ни с единым словом.

– С какого времени?

– С тех пор, как господин де Гиш нравится ей больше, чем я, и она стала его принимать во всякое время.

Герцог покраснел.

– Во всякое время... Что вы сказали, шевалье? – строго произнес он.

– Вот видите, ваше высочество, я уже навлек на себя ваше неудовольствие. Я так и знал.

– Дело не в неудовольствии, – вы употребляете странные выражения. В чем же принцесса выражает предпочтение Гишу перед вами?

– Я умолкаю, – ответил шевалье с церемонным поклоном.

– Напротив, я настаиваю на том, чтобы вы говорили. Если вы из-за этого удалились, значит, вы очень ревнивы?

– Кто любит, тот всегда ревнив, ваше высочество. Разве вы сами не изволите ревновать ее высочество? Разве ваше высочество не омрачились бы, если бы постоянно видели около принцессы кого-нибудь, к кому она выражает явное благоволение? А ведь дружба такое же чувство, как и любовь.

Ваше высочество иногда оказывали мне величайшую честь, называя меня своим другом.

– Да, да... Но вот опять двусмысленность. Знаете, шевалье, вы не мастер разговаривать.

– Какая двусмысленность, ваше высочество?

– Вы сказали: выражает явное благоволение... Что вы подразумеваете под

благоволением?

– Ровно ничего особенного, ваше высочество, – сказал кавалер самым благодушным тоном. – Ну, например, когда муж видит, что жена приглашает к себе какого-нибудь мужчину предпочтительно перед другими; когда этот мужчина всегда находится у ее изголовья или у дверцы ее кареты; когда нога этого мужчины вечно по соседству с платьем этой женщины; когда они оба то и дело оказываются рядом, хотя по ходу разговора этого совсем ненужно; когда букет женщины оказывается одинакового цвета с лентами мужчины; когда они вместе занимаются музыкой, садятся рядом за ужин; когда при появлении мужа разговор прерывается; когда человек, за неделю перед тем совершенно равнодушный к мужу, внезапно оказывается самым лучшим его другом... тогда...

– Тогда... Договаривай же!

– Тогда, ваше высочество, мне кажется, муж вправе ревновать. Но ведь эти мелочи не имеют никакого отношения к нашему разговору.

Принц, видимо, волновался и испытывал внутреннюю борьбу; наконец он произнес:

– Но вы все-таки не объяснили мне, почему вы сбежали. Вы сейчас мне заявили, что боялись стеснить, да еще прибавили, что заметили со стороны принцессы пристрастие к обществу де Гиша.

– Ваше высочество, этого я не говорил!

– Нет, сказали.

– Если сказал, то потому, что не видел тут ничего особенного.

– Однако что-то вы все-таки в этом видели?

– Ваше высочество, вы ставите меня в затруднительное положение.

– Нужды нет, продолжайте. Если ваши слова – правда, зачем вам смущаться?

– Сам я всегда говорю правду, ваше высочество, но я колеблюсь, когда приходится повторять то, что говорят другие.

– Повторять? Значит, что-то говорят?

– Признаюсь, это так.

– Кто же?

Шавинье изобразил негодование.

– Ваше высочество, – сказал он, – вы подвергаете меня настоящему допросу, обращаясь со мною, как с подсудимым... А между тем всякий достойный дворянин старается забыть слухи, которые долетают до его ушей. Ваше высочество требует, чтобы я превратил пустую болтовню в целое событие.

– Однако, – вскричал с досадою принц, – ведь вы же сбежали именно из-за этих слухов!

– Я должен сказать правду. Мне говорили, что господин де Гиш постоянно находится в обществе принцессы, вот и все; повторяю, самое невинное и совершенно позволительное развлечение. Не будьте несправедливы, ваше высочество, не впадайте в крайность, не преувеличивайте. Вас это не касается.

– Как! Меня не касаются слухи о постоянных посещениях моей жены Гишем?..

– Нет, ваше высочество, нет. И то, что я говорю вам, я сказал бы самому де Гишу – до такой степени считаю невинными его ухаживания за принцессой... я сказал бы это ей самой. Однако, вы понимаете, чего я боюсь?

Я боюсь прослыть ревнивцем по обязанности, в силу вашей благосклонности ко мне, в то время как я ревнивец из дружбы к вам. Я знаю вашу слабость, знаю, что, когда вы любите, вы знать ничего не хотите, кроме вашей любви. Вы любите принцессу, да и можно ли не любить ее? Посмотрите же, в каком безвыходном положении я очутился. Принцесса избрала среди ваших друзей самого красивого и привлекательного; она так сумела повлиять на вас в его пользу, что вы стали пренебрегать всеми другими. А ваше пренебрежение – смерть для меня; с меня довольно немилости ее высочества.

Вот поэтому-то, ваше высочество, я и решил уступить место фавориту, счастью которого я завидую, хотя питаю к нему прежнюю искреннюю дружбу и восхищение. Скажите, можно ли возразить против этого рассуждения? Разве мое поведение нельзя назвать поведением

доброго друга?

Принц взялся за голову и стал ерошить волосы. Молчание длилось довольно долго, так что шевалье мог оценить действие своих ораторских приемов. Наконец принц сказал:

– Ну, слушай, говори все, будь откровенен. Ты знаешь, я уже заметил кое-что в этом роде со стороны этого сумасброда Бекингэма.

– Ваше высочество, не обвиняйте принцессу, иначе я покину вас. Как!

Неужели вы ее подозреваете?

– Нет, нет, шевалье, я ни в чем не подозреваю мою жену. Но все-таки... я вижу... сопоставляю...

– Бекингэм был просто сумасшедший.

– Сумасшедший, на поведение которого ты мне открыл глаза.

– Нет, нет, – с живостью перебил шевалье, – не я открыл вам глаза, а де Гиш. Не надо смешивать.

И он разразился язвительным смехом, напоминавшим шипение змеи.

– Ну да, ты сказал только несколько слов. Гиш проявил больше рвения.

– Еще бы, я думаю! – продолжал шевалье тем же тоном. – Он отстаивал святость алтаря и домашнего очага.

– Что такое? – грозно произнес принц, возмущенный этой насмешкой.

– Конечно. Разве господину де Гишу не принадлежит первое место в вашей свите?

– Словом, – сказал, несколько успокоившись, принц, – эта страсть Бекингэма была замечена?

– Разумеется!

– Ну, хорошо! А страсть господина де Гиша тоже все видят?

– Ваше высочество, вы опять изволите ошибаться: никто не говорит о том, что господин де Гиш пылает страстью.

– Ну хорошо, хорошо!

– Вы видите сами, ваше высочество, что было бы во сто раз лучше оставить меня в моем уединении, чем раздувать нелепые подозрения, которые принцесса будет вправе считать преступными.

– Что же надо делать, по-твоему?

– Не надо обращать ни малейшего внимания на общество этих новых эпикурейцев, тогда все слухи постепенно затихнут.

– Посмотрим, посмотрим.

– О, времени у нас довольно, опасность не велика! Главное для меня не потерять вашей дружбы. Больше мне и думать не о чем.

Принц покачал головой, точно хотел сказать: тебе не о чем, а у меня забот по горло.

Подошел час обеда, и принц послал за принцессой. Ему принесли ответ, что ее высочество не выйдет к парадному столу, а будет обедать у себя.

– Это моя вина, – сказал принц. – Я проявил себя ревнивцем, и теперь на меня за это дуются.

– Пообедаем одни, – сказал шевалье со вздохом. – Жаль Гиша.

– О, Гиш не будет долго сердиться, он добрый!

– Ваше высочество, – вдруг заговорил шевалье, – мне пришла в голову хорошая мысль. Во время нашего разговора я, кажется, расстроил ваше высочество. Значит, я должен и уладить все... Я пойду отыщу графа и приведу его.

– Какая у тебя добрая душа, шевалье.

– Вы так сказали, будто это очень удивило вас.

– Черт побери! Как ты злопамятен!

– Может быть; по крайней мере, признайтесь, я умею заглаживать причиненное мной зло.

– Да, признаю.

– Ваше высочество, благоволите подождать меня несколько минут.

– Хорошо, ступай... Я пока примерю свои новые костюмы.

Шевалье ушел, созвал слуг и отдал им приказания. Они разошлись кто куда; остался один только камердинер.

– Поди, узнай сейчас же, – сказал он ему, – не у принцессы ли господин де Гиш. Можешь ты это сделать?

– Очень легко, ваша милость. Я спрошу у Маликорна, а он узнает от мадемуазель Монтале. Только не стоит спрашивать, вся прислуга господина де Гиша разошлась, а с нею вместе, наверное, ушел и он сам.

– Все-таки разузнай получше.

Не прошло и десяти минут, как камердинер вернулся. Он с таинственным видом вызвал своего господина на черную лестницу и провел в какую-то каморку с окном в сад.

– Что такое? В чем дело? – спросил шевалье. – Зачем такие предосторожности?

– Взгляните под тот каштан.

– Ну?... Ах, боже мой, это Маникан... Чего же он ждет?

– Сейчас увидите. Минуточку терпения... Теперь видите?

– Я вижу... одного, двух... четырех музыкантов с инструментами, а за ними самого де Гиша. Что он тут делает?

– Он ждет, чтобы открыли дверь на фрейлинскую лестницу. Тогда он поднимется к принцессе, и у нее за обедом будет новая музыка.

– А ведь это прекрасно, то, что ты говоришь.

– Вы так считаете, ваша милость?

– Тебе это сказал господин Маликорн?

– Он самый.

– Значит, он тебя любит?

– Он любит его высочество принца.

– Ради чего же?

– Он хочет поступить на службу к принцу.

– Черт возьми, придется взять его. Интересно, сколько же он дал тебе за это?

– Это секрет, но его можно продать, ваша милость.

– Я тебе плачу за него сто пистолей. Держи!

– Благодарю, ваша милость! Смотрите. Дверь отворяется, женщина впускает музыкантов...

– Это Монтале?

– Тише, сударь, не произносите громко этого имени. Назвать Монтале все равно что назвать Маликорна. Не поладили с одним, не поладите с другой.

– Хорошо. Я ничего не видел.

– А я ничего не получал, – сказал камердинер, пряча кошелек.

Удостоверившись, что де Гиш вошел к принцессе, шевалье вернулся к принцу, который успел великолепно нарядиться и весь сиял.

– Говорят, – вскричал шевалье, – что король избрал солнце своей эмблемой; по совести, ваше высочество, эта эмблема больше подходит вам.

– Ну что же Гиш? – спросил он.

– Не найден! Бежал, испарился. Ваша утренняя выходка напугала его.

Его нигде нет.

– Черт возьми, этот пустоголовый способен, пожалуй, взять лошадей да и укатить в свое поместье. Бедный малый! Ну да ничего, мы вызовем его обратно. Давай обедать.

– Погодите, ваше высочество, сегодня уж такой день, что мне приходят в голову разные счастливые мысли. И вот теперь у меня новая мысль.

– Какая?

– Ваше высочество, принцесса на вас сердиться, и она права. Вам надо чем-нибудь порадовать ее. Ступайте к ней обедать.

– О, ведь это могут принять за слабость!

– Какая же это слабость, это доброта! Принцесса томится, роняет слезы в тарелку. У нее красные глаза. А мужу не следует доводить до слез жену.

Идите же, ваше высочество, идите!

– Да ведь я велел подать обедать сюда.

– Полноте, полноте, ваше высочество! Мы тут умрем со скуки. У меня сердце не на месте, как вспомню, что принцесса там одна. Да и вам будет не по себе, хоть вы и напускаете на себя суровость. Возьмите и меня с собой; это будет прелестно. Ручаюсь, что мы повеселимся. Ведь вы провинилась сегодня утром.

– Шевалье, шевалье! Ты даешь мне дурной совет!

– Я даю вам хороший совет. Притом же вы сейчас неотразимы: вам так идет ваше лиловое платье с золотым шитьем. Ваша внешность поразит принцессу больше, чем ваш поступок. Вы очаруете принцессу. Решайтесь же, ваше высочество.

– Ты меня убедил, идем.

И принц направился с шевалье на половину принцессы. Шевалье успел шепнуть на ухо лакею:

– Поставь людей у запасного выхода! Чтобы никто не мог удрать! Живо!

И за спиной герцога он вошел в переднюю покоев принцессы.

Лакеи хотели было доложить об их прибытии, но шевалье, улыбаясь, сказал:

– Не докладывайте. Его высочество хочет сделать сюрприз.

Глава 13. **ПРИНЦ РЕВНУЕТ К ДЕ ГИШУ**

Принц шумно распахнул двери, как человек, входящий с самыми добрыми намерениями, не сомневающийся, что доставит удовольствие, или как ревнивец, рассчитывающий застать врасплох.

Принцесса, покоренная звуками музыки, бросила начатый обед и танцевала, забыв обо всем.

Ее кавалером был де Гиш. Он стоял на одном колене, подняв руки и полузакрыв глаза, как испанские танцоры, с горящим взглядом и ласкающими жестами. Принцесса порхала вокруг него, улыбающаяся, соблазнительная.

Монтале восхищалась. Лавальер, сидя в уголке, мечтательно смотрела на танцующих.

Невозможно описать, какое действие произвело на этих счастливых людей появление принца. И так же трудно описать, как подействовал на Филиппа вид этих счастливых людей.

Граф де Гиш не в силах был встать. Принцесса замерла, не dokonчив па, не способная вымолвить ни слова. А шевалье де Лоррен, прислонившись к косяку, спокойно улыбался, как человек, испытывающий самое простодушное восхищение.

Бледность принца, судорожные подергивания его рук и ног прежде всего поразили присутствующих. Звуки музыки сменились глубокой тишиной.

Воспользовавшись всеобщим молчанием, шевалье де Лоррен почтительно приветствовал принцессу и де Гиша, стараясь соединить их в этом приветствии как хозяев.

Принц, подойдя к ним, хрипло проговорил:

– Очень рад, очень рад. Я шел сюда, думая застать вас больною и грустною, а застал в разгаре удовольствий. Отрадно видеть. Кажется, мой дом самый веселый дом на свете.

Потом, повернувшись к де Гишу, он прибавил:

– Я не знал, что вы такой прекрасный танцор, граф.

Потом, снова обратившись к жене, продолжал:

– Будьте любезнее со мной. Когда у вас устраивается такое веселье, приглашайте и меня... А то я совсем заброшен.

Де Гиш успел вполне овладеть собою и с врожденной гордостью, которая так шла ему, произнес:

– Ваше высочество, вы хорошо знаете, что моя жизнь в вашем распоряжении. Когда

потребуется отдать ее, я готов. А сегодня нужно только танцевать под пенье скрипки, и я танцую.

– И вы правы, – холодно сказал принц. – А вы не замечаете, принцесса, что ваши дамы похищают у меня друзей. Ведь господин де Гиш не ваш друг, сударыня, а мой. Если вы хотите обедать без меня, у вас есть ваши дамы.

Зато, когда я обедаю один, при мне должны быть мои кавалеры; не обирайте меня совсем.

Принцесса почувствовала и упрек и урок. Она вся покраснела.

– Ваше высочество, – возразила она, – до приезда во Францию я не знала, что принцессы занимают там такое же положение, как женщины в Турции.

Я не знала, что здесь запрещено видеть мужчин. Но если такова ваша воля, я буду ей покоряться. Может быть, вы пожелаете загородить мои окна железными решетками, так, пожалуйста, не стесняйтесь.

Эта реплика, вызвавшая улыбку у Монтале и де Гиша, снова наполнила гневом сердце принца.

– Очень мило, – проговорил он, едва сдерживаясь. – Как почтительно со мной обращаются в моем собственном доме!

– Ваше высочество, ваше высочество, – шепнул шевалье на ухо принцу так, чтобы все видели, что он его успокаивает.

– Пойдем! – ответил ему принц, так резко повернувшись, что чуть не толкнул принцессу. Шевалье последовал за ним в его кабинет, где принц, бросившись на стул, дал полную волю своей ярости.

Шевалье поднял глаза к небу, сложил руки и не произносил ни слова.

– Твое мнение? – спросил принц.

– О, ваше высочество, положение очень серьезное.

– Это ужасно! Такая жизнь не может больше продолжаться.

– Что за несчастье, в самом деле! – воскликнул шевалье. – А мы-то надеялись, что после отъезда этого шального Бекингэма все будет спокойно.

– А стало еще хуже!

– Этого я не говорю, ваше высочество.

– Ты не говоришь, но я говорю. Бекингэм никогда не осмелился бы сделать и четверти того, что мы видели.

– Чего же именно?..

– Да как же! Спрятаться для того, чтобы танцевать, прикинуться больной, чтобы наедине пообедать с ним!

– Нет, нет, ваше высочество!

– Да, да! – восклицал принц, подзадоривая сам себя, как капризный ребенок. – Только я не намерен это терпеть.

– Ваше высочество, выйдет скандал...

– Э, черт возьми! Со мною не стесняются, а я должен стесняться? Подожди меня, шевалье, я сейчас.

Принц скрылся в соседней комнате и спросил у слуги, вернулась ли из капеллы королева-мать.

Анна Австрийская была счастлива. В ее семье царило согласие, народ был в восторге от молодою короля, государственные доходы увеличивались, внешний мир был обеспечен, – словом, все сулило ей спокойное будущее.

Иногда она упрекала себя при воспоминании о бедном юноше, которого она приняла, как мать, и прогнала, как мачеха.

Неожиданно к ней вошел герцог Орлеанский.

– Матушка, – вскричал он, закрывая за собой дверь, – так не может продолжаться!

Анна Австрийская Подняла на него свои прекрасные глаза и вздохнула.

– О чем вы говорите?

– О принцессе.
– Верно, этот сумасшедший Бекингэм прислал ей какое-нибудь прощальное письмо?
– Ах нет, матушка, дело вовсе не в Бекингэме. Принцесса уже нашла ему заместителя.
– Филипп, что вы говорите? Ваши слова крайне легкомысленны.
– Разве вы не заметили, что господин де Гиш то и дело бывает у нее, что он постоянно с ней?

Королева всплеснула руками и расхохоталась.
– Филипп, – сказала она, – вы положительно больны.
– От этого мне не легче, матушка, я очень страдаю.
– И вы требуете, чтобы вас лечили от болезни, которая существует только в вашем воображении? Вы желали бы, ревнивец, чтобы вас поддержали, одобрили ваше поведение, хотя ваша ревность не имеет никаких оснований.

– Ну вот, теперь вы начинаете говорить про этого то же самое, что говорили про того.
– Да ведь и вы, сын мой, – сухо проговорила королева, – ведете себя по отношению к этому совершенно так же, как и по отношению к тому.

Немного задетый, принц поклонился.
– Но если я вам приведу факты, вы поверите?
– Сын мой, во всем прочем, кроме ревности, я поверила бы вам без всякой ссылки на факты, но в отношении ревности я этого не обещаю.
– Значит, я понимаю ваши слова так, что ваше величество приказывает мне молчать и забыть обо всем.
– Никоим образом, вы мой сын, и мой материнский долг – быть к вам снисходительной.
– Ах, доведите до конца свою мысль: вы должны быть снисходительны ко мне как к безумцу.

– Не преувеличивайте, Филипп, и берегитесь представить свою жену как существо испорченное.

– Но факты!
– Я слушаю.
– Сегодня утром в десять часов у принцессы играла музыка.
– Невинная вещь.
– Господин де Гиш разговаривал с нею наедине...
Да, я и забыл вам сказать, что последнюю неделю он следует за нею, как тень.
– Друг мой, если бы они делали что-нибудь дурное, они бы прятались.
– Прекрасно! – вскричал герцог. – Я только и ждал, чтобы вы это сказали. Запомните же хорошенько. Сегодня утром, повторяю, я захватил их врасплох и совершенно ясно выразил им свое неудовольствие.

– И будьте уверены, что этого достаточно, а может быть, вы даже переусердствовали в своем неудовольствии. Эти молодые женщины обидчивы. Упрекнуть их в ошибке, которую они не совершали, иногда все равно, что сказать, что они могли бы ее сделать.

– Хорошо, хорошо, подождите. Запомните, что вы сказали, матушка: «сегодняшнего урока достаточно, и если бы они делали что-нибудь дурное, то прятались бы».

– Да, я это запомню.
– Ну так вот, раскаиваясь, что утром я погорячился, и воображая, что Гиш дуется и сидит у себя, я отправился к принцессе. Угадайте же, что я там застал? Снова музыку, танцы и де Гиша. Его там прятали.

Анна Австрийская нахмурила брови.

– Это нехорошо, – заметила она. – Что же сказала принцесса?

– Ничего.

– А Гиш?

– Тоже... Впрочем, нет... Он пробормотал какую-то дерзость...

– Какой же вы сделали вывод, Филипп?

– Что я одурачен, что Бекингэм был только ширмой, а настоящий герой Гиш.

Анна пожала плечами.

– А дальше?

– Я хочу удалить Гиша так же, как Бекингэма, и буду просить об этом короля, если только...

– Если только?

– Если только вы, матушка, сами не возьметесь за это, вы, такая умная и добрая.

– Нет, я не стану.

– Что вы говорите, матушка!

– Послушайте, Филипп, я не намерена каждый день говорить людям неприятности.

Молодежь меня слушается, по это влияние очень легко потерять...

А главное, ничто ведь не доказывает виновности Гиша.

– Он мне не нравится.

– А это уж ваше личное дело.

– Хорошо, коли так, я знаю, что мне делать! – пылко проговорил принц.

Анна посмотрела на него с беспокойством.

– Что же вы придумали? – спросила она.

– А вот что: как только он придет ко мне, я велю утопить его у себя в бассейне.

Произнеся эту свирепую угрозу, принц ожидал, что королева придет в ужас, но Анна осталась совершенно спокойной.

– Ну что же, утопите, – сказала она.

Филипп был слаб, как женщина; он стал жаловаться, что никто его не любит и даже родная мать перешла на сторону его врагов.

– Ваша мать просто смотрит дальше, чем вы, и перестала уговаривать вас, потому что вы ее не слушаете.

– Я пойду к королю! – закричал он.

– Я только что собиралась вам это предложить. Я сейчас жду его величество: он всегда посещает меня в это время. Расскажите все ему.

Она еще не договорила этих слов, как Филипп услышал шум открываемой в соседней комнате двери и быстрые шаги короля. Принц испугался и поспешно выбежал в боковую дверь, оставив королеву одну. Анна Австрийская расхохоталась и смеялась до прихода короля.

Как заботливый сын, Людовик зашел осведомиться о здоровье королевы матери. Кроме того, он хотел сообщить ей, что приготовления к отъезду в Фонтенбло закончены.

Услышав ее смех, он успокоился и сам засмеялся.

Анна Австрийская взяла его за руку и весело сказала:

– Знаете, я ужасно горжусь тем, что я испанка.

– Почему, ваше величество?

– Потому что испанки, во всяком случае, лучше англичанок.

– Не понимаю.

– Скажите, с тех пор как вы женились, вам приходилось когда-нибудь упрекать королеву?

– Ни разу.

– А ведь все-таки прошло уже некоторое время, как вы женаты. А ваш брат женат всего две недели...

– И что же?

– И уже второй раз жалуется на принцессу.

– Как, опять Бекингэм?

– Нет, теперь Гиш.

– Вот как! Значит, принцесса порядочная кокетка.

– Боюсь, что так.

– Бедный братец! – рассмеялся король.

– Я вижу, вы прощаете кокетство?

– Когда речь идет о принцессе, прощаю, ибо по сути своей принцесса не кокетлива.

– Может быть, но брат вашего величества из-за этого теряет голову.

– Чего же он хочет?

– Он собирается утопить Гиша.

– Какая жестокость!

– Не смейтесь, он в самом деле доведен до отчаяния. Придумайте какой-нибудь выход.

– Охотно сделаю все, что могу, чтоб спасти Гиша.

– Если бы брат слышал вас, он составил бы Против вас заговор, как ваш дядя против вашего отца.

– Нет, Филипп меня любит, и я его люблю. Мы с ним не станем ссориться. Но, однако же, как быть?

– Вы должны запретить принцессе кокетничать, а Гишу ухаживать.

– Только-то? Ну, мой брат составил себе чересчур высокое понятие о королевской власти... шутка сказать: исправить женщину! Мужчину – еще куда ни шло.

– Как же вы приметесь за дело?

– Гиш человек благоразумный, я сумею его убедить одним словом.

– А принцесса?

– Это будет потруднее. Тут одного слова мало. Придется сочинить для нее целую проповедь.

– И надо спешить.

– О, я обещаю приложить все старания. Да вот сегодня после обеда репетиция балета.

– И вы будете говорить проповедь, танцуя?

– Да, матушка.

– И обещаете обратить ее на путь истинный?

– Я искореню ересь либо убеждением, либо огнем.

– В добрый час! Только не впутывайте меня в это дело. Принцесса ни за что мне этого не простила бы. Я ведь свекровь, мне надо ладить с невесткой.

– Государыня, король возьмет все на себя. Знаете, я передумал. Не лучше ли пойти к принцессе и поговорить с ней?

– Это, пожалуй, слишком торжественно.

– Так что же? Для проповеди нужна торжественность, а то ведь скрипки могут заглушить добрую половину моих доводов. Кроме того, надо же помешать брату в его свирепых замыслах... Принцесса теперь у себя?

– Я думаю.

– Какие же главные пункты обвинения?

– Вот они, в двух словах: вечно музыка... постоянные посещения Гиша... подозрение в том, что от мужа прячутся...

– Доказательства?

– Никаких.

– Хорошо. Так я иду. – И король принялся рассматривать в зеркалах свой нарядный костюм и прекрасное лицо, ослепительное, словно алмазы на платье.

– Принц опять дуется и прячется? – спросил он.

– Да, огонь и вода не убегают друг от друга с такой стремительностью, как эти двое.

– Матушка, целую ваши ручки, самые красивые во всей Франции.

– Желаю успеха, государь... Будьте миротворцем.

– Я не прибегаю к услугам посла, – отвечал Людовик. – Значит, я буду иметь успех. Он со смехом ушел и всю дорогу поправлял то костюм, то парик.

Глава 14. ПОСРЕДНИК

Когда король появился у принцессы, все ощутили живейшее беспокойство.

Собиралась гроза, и шевалье де Лоррен, сновавший среди группы придворных, с оживлением и радостью замечал и оценивал все предвещавшие ее признаки. Как и предсказывала Анна Австрийская, участие короля придало событию торжественный характер.

В те времена, в 1662 году, размолвка между братом короля и его супругой и вмешательство короля в семейные дела брата были событием немаловажным. Не мудрено, что самые смелые люди, окружавшие графа де Гиша, с ужасом разбежались во все стороны. Да и сам граф, поддавшись общей панике, удалился к себе.

Как ни был король занят предстоящим делом, это не помешало ему окинуть взглядом знатока два ряда молодых хорошеньких придворных дам, выстроившихся в галереях и скромно опустивших перед ним глаза.

Все они краснели, чувствуя на себе королевский взгляд. Только одна фрейлина, с длинными шелковистыми волосами и нежной кожей, побледнела и пошатнулась, хотя подруга то и дело подталкивала ее локтем. Это была Лавальер, которую Монтале подбодрила таким способом, ибо она сама никогда не чувствовала недостатка в храбрости.

Король невольно оглянулся. Все головы, успевшие приподняться, снова опустились. Только белокурая головка осталась неподвижною: казалось, Лавальер истощила весь запас своих сил.

Войдя к принцессе, Людовик застал свою невестку полулежащей на подушках. Она встала и сделала реверанс, пробормотав несколько слов признательности за честь, которую ей оказали. Потом она снова уселась, но слабость и бессилие были явно притворными, поскольку очаровательный румянец играл на ее щеках, а глаза, слегка покрасневшие от нескольких недавно пролитых слезинок, только загорелись еще ярче.

Король сел и сейчас же благодаря своей наблюдательности заметил следы беспорядка в комнате и следы волнения на лице принцессы. Он принял веселый и непринужденный вид.

— Милая сестра, — начал он, — в котором часу вам угодно будет приступить сегодня к репетиции балета?

Принцесса медленно и томно покачала своей очаровательной головкой.

— Ах, государь, — сказала она, — будьте милостивы, извините меня на этот раз; я только что собиралась предупредить ваше величество, что сегодня я не в состоянии участвовать в репетиции.

— Как! — произнес король с некоторым изумлением. — Разве вам нездоровится, милая сестра?

— Да, государь.

— Так надо позвать врача.

— Нет, доктора бессильны против моей болезни.

— Вы меня пугаете.

— Государь, я хочу просить у вашего величества разрешения вернуться в Англию.

Король удивился еще больше.

— В Англию! Что вы говорите, сестра моя?!

— Я вынуждена сказать это, государь, — решительно проговорила внучка Генриха IV.

Ее прекрасные черные глаза засверкали.

— Мне очень прискорбно обращаться к вашему величеству с такой просьбой. Но я очень несчастна при дворе вашего величества. Я хочу вернуться к своим родным.

— Сестра! Сестра!

Король подошел к ней ближе.

— Выслушайте меня, государь, — продолжала молодая женщина, мало-помалу очаровывая собеседника своей красотой. — Я привыкла страдать. Еще в ранней молодости меня унижали, пренебрегали мною. О, не возражайте, государь! — сказала она с улыбкой.

Король покраснел.

— Итак, говорю я, я могла бы подумать, что бог произвел меня на свет для этого, меня, дочь могущественного короля; но, поскольку он лишил моего отца жизни, он мог точно так же лишить меня гордости. Я много страдала и причиняла большие страдания моей матери. Но я

дала клятву, что, если когда-нибудь достигну независимого положения, хотя бы положения простой труженицы, своими руками зарабатывающей хлеб, я не потерплю унижения. Это время настало. Я достигла того положения, какое мне принадлежит по праву рождения; я приблизилась к трону. Я думала, что, сочетаясь браком с французским принцем, я найду в нем родственника, друга, равного, но вижу, что нашла в нем только властелина. И это меня возмущает, государь. Моя мать ничего об этом не узнает. Вы же, кого я так почитаю и... так люблю...

Король затрепетал; ни один женский голос не волновал его так, как голос принцессы.

– Вы, государь, все знаете, раз вы пришли сюда, и, может быть, поймете меня. Если бы вы не пришли, я бы сама пошла к вам. Я хочу, чтобы мне позволили уехать. Надеюсь, – что вы настолько деликатны, что поймете меня и окажете мне покровительство.

– Сестра, сестра! – пробормотал король, смешавшись от этого стремительного натиска. – Подумали ли вы о всех последствиях затеянного вами шага?

– Государь, я ни о чем не думаю, я просто подчиняюсь чувству. На меня нападают, я инстинктивно защищаюсь.

– Но что вам сделали, скажите, пожалуйста?

Принцесса, как можно видеть, прибегла к обычному женскому приему: из обвиняемой она стала обвинительницей. Прием этот служит верным признаком вины, но женщины всегда умеют извлечь из него выгоду.

Король и не заметил, как, придя к ней с вопросом: «Что вы сделали моему брату?» – вместо того спросил: «Что вам сделали?»

– Что мне сделали? – переспросила принцесса. – О, государь, надо быть женщиной, чтобы понять это. Меня заставили лить слезы.

И своим тоненьким жемчужно-белым пальчиком она вытерла свои затуманенные глаза и снова принялась плакать.

– Сестра моя, успокойтесь, умоляю вас, – сказал король, подходя к ней и взяв ее влажную и трепещущую ручку.

– Государь, прежде всего меня лишили друга моего брата. Милорд Бекингэм был приятный и веселый гость, земляк, знавший все мои привычки, почти товарищ, с которым мы в кругу других наших друзей провели столько счастливых дней в моем чудном Сент-Джемском парке.

– Но ведь он был влюблен в вас, сестра!

– Пустой предлог! Какое имеет значение, – сказала она серьезным тоном, – был ли герцог Бекингэм влюблен в меня или нет? Разве мне опасен влюбленный?.. Ах, государь, далеко не достаточно, чтобы мужчина был влюблен.

И она улыбнулась так нежно, так лукаво, что король почувствовал, как его сердце сначала забилося, потом замерло.

– Но позвольте, ведь брат ревновал! – перебил король.

– Хорошо, я это понимаю, это причина. Он ревновал, и Бекингэма прогнали.

– Почему же прогнали?..

– Ну, удалили, устранили, уволили, назовите это как вам будет угодно, государь. Так или иначе, один из первых дворян Европы был вынужден покинуть французский двор Людовика XIV, словно деревенский парень, из-за какого-то взгляда или букета. Это недостойно самого галантного двора...

Простите, государь, я забыла, что, говоря так, я посягаю на вашу верховную власть.

– Поверьте, сестра, что вовсе не я удалил герцога Бекингэма... Он мне очень нравится.

– Не вы? – подхватила принцесса. – А, тем лучше!

Она так сумела подчеркнуть слова тем лучше, как будто хотела сказать тем хуже.

Наступило долгое молчание.

Потом принцесса снова заговорила:

– Итак, господин Бекингэм уехал... теперь я знаю, почему он был удален и кем... Мне казалось, что после этого наступит спокойствие... Но нет... Принц находит новый предлог. И

вот...

– И вот, – с оживлением произнес король, – является другой. Очень естественно. Вы прекрасны, и вас всегда будут любить.

– В таком случае, – воскликнула принцесса, – около меня всегда будет пустыня. О, я знаю, что этого-то и хотят, это-то мне и готовят. Но нет: я предпочитаю вернуться в Лондон. Там меня знают и ценят. Там я не буду бояться, что моих друзей назовут моими любовниками. Фи, какое недостойное подозрение! Принц потерял в моих глазах весь престиж, с тех пор как я увидела в нем тирана.

– Перестаньте, успокойтесь! Вся вина моего брата в том, что он любит вас.

– Любит меня? Принц любит меня? Ах, государь!..

И Генриетта громко расхохоталась.

– Принц никогда не полюбит женщину, – сказала она. – Принц слишком любит самого себя. Пет, к несчастью для меня, принц принадлежит к худшему разряду ревнивцев: он ревнив без любви.

– Признайтесь, однако же, – сказал король, который чувствовал явное возбуждение от этого волнующего разговора, – признайтесь, что Гиш любит вас.

– Ах, государь, я, право, не знаю!

– Вы должны видеть это. Влюбленный всегда выдает себя.

– Господин де Гиш ничем себя не выдал.

– Сестра, сестра, вы слишком усердно защищаете господина де Гиша.

– Я? Бог с вами, государь, недоставало только, чтобы и вы начали подозревать меня.

– Нет, нет, принцесса, – с живостью возразил король, – не огорчайтесь, не плачьте! Успокойтесь, умоляю вас.

Но она плакала, крупные слезы текли по ее рукам. Король стал поцелуями осушать их.

Принцесса взглянула на него так грустно и так нежно, что Людовик был поражен в самое сердце.

– Вы не питаете никаких чувств к Гишу? – спросил он с беспокойством, не подходящим к его роли посредника.

– Никаких, решительно никаких.

– Значит, я могу успокоить брата?

– Ах, государь, его ничем не успокоишь. Не верьте, что он ревнует.

Ему наговорили, он наслушался дурных советов. У принца беспокойный характер.

– Когда дело касается вас, не мудрено беспокоиться.

Принцесса опустила глаза и замолчала. Король тоже. Он все еще держал ее руку.

Как показалось обоим, это молчание тянулось целую вечность.

Принцесса потихоньку высвободила руку. Теперь она была уверена в победе. Поле битвы осталось за нею.

– Принц жалуется, – робко проговорил, король, – что вы предпочитаете его обществу и его беседе общество других.

– Государь, принц только смотрится в зеркало да придумывает козни против женщин с шевалье де Лорреном. Понаблюдайте сами, государь.

– Хорошо, я наблюдаю. Но какой ответ передать моему брату?

– Ответ? Мой отъезд.

– Опять вы повторяете это слово! – неосторожно воскликнул король, как будто десятиминутная беседа должна была изменить намерения принцессы.

– Государь, я не могу быть здесь счастливой, – произнесла она. – Господин де Гиш мешает принцу. Что же, и его вышлют?

– Если нужно, то почему же нет? – с улыбкою отвечал Людовик XIV.

– Ну, а после господина де Гиша... о котором я, впрочем, буду сожалеть, предупреждаю вас, государь...

– Вы будете о нем сожалеть?

– Без сомнения. Он любезен, относится ко мне дружески, развлекает меня.

– Вы знаете, если бы брат слышал вас, – проговорил король, слегка задетый, – то я не взялся бы мирить вас, даже не попробовал бы.

– Государь, можете ли вы помешать принцу ревновать меня к первому встречному? А ведь господин де Гиш вовсе не первый встречный.

– Опять! Предупреждаю вас, что я, как добрый брат, проникнусь наконец предубеждением к господину де Гишу.

– Ах, государь, – сказала принцесса, – умоляю вас, не заражайтесь ни симпатиями, ни предубеждениями принца! Оставайтесь королем. Так будет лучше и для вас и для всех.

– Вы очаровательная насмешница, сестра, и я понимаю, почему даже те, над кем вы смеетесь, обожают вас.

– Уж не поэтому ли, государь, вы, кого я избрала своим защитником, собираетесь перейти на сторону моих преследователей?

– Я ваш преследователь? Храни меня бог!

– В таком случае, – томно продолжала она, – исполните мою просьбу.

Отпустите меня в Англию.

– Нет, никогда! – воскликнул Людовик XIV.

– Значит, я здесь пленница?

– Да, вы в плену у Франции.

– Что же мне тогда делать?

– Извольте, сестра, я вам скажу.

– Слушаю, выше величество.

– Вместо того чтобы окружать себя ветреными друзьями... вместо того чтобы смущать нас вашим уединением, будьте всегда с нами, будем жить дружною семьею. Слов нет, господин де Гиш очень любезный кавалер; но мы, хотя и не обладаем его умом...

– Государь, зачем эта скромность?

– Нет, я говорю правду. Можно быть королем и в то же время понимать, что имеешь меньше шансов нравиться, чем тот или иной придворный.

– Я готова поклясться, государь, что вы не верите ни одному сказанному вами слову.

Король с нежностью посмотрел на принцессу.

– Можете вы обещать мне не проводить время в вашей комнате с чужими и дарить свои досуги нам? Хотите, заключим наступательный и оборонительный союз против общего врага?

– Да, государь, но верный ли вы союзник?

– Увидите.

– А когда начнется наш союз?

– Сегодня.

– Я сама составлю договор!

– Хорошо.

– А вы подпишите?

– Не читая.

– О, если так, государь, обещаю вам чудеса. Ведь вы светило двора, и когда вы появитесь на нашем небосклоне...

– Ну?..

– Все засияет.

– О, принцесса, принцесса! – воскликнул Людовик XIV. – Вы знаете, что весь свет исходит от вас. Правда, я избрал своим девизом солнце, но это только эмблема.

– Государь, вы льстите вашей союзнице, следовательно, собираетесь ее обмануть, – сказала принцесса, грозя королю тонким пальчиком.

– Как! Вы считаете, что я вас обманываю, уверяя вас в своей дружбе?

– Да.

– А что же побуждает вас сомневаться?

– Одна вещь.

– Одна-единственная?

– Да.

– Какая же? Я был бы очень несчастлив, если бы не мог справиться с одной-единственной вещью.

– Эта вещь не в вашей власти, государь, она сильнее даже самого господ бога.

– Что это за вещь?

– Прошрое.

– Я не понимаю вас, принцесса, – сказал король именно потому, что прекрасно понял. Принцесса взяла его за руку.

– Государь, – улыбнулась она, – я имела несчастье так долго не нравиться вам, что часто спрашиваю себя, как могли вы избрать меня своей невесткой?

– Вы мне не нравились?

– Полно, не отрицайте!

– Позвольте!

– Нет, нет, я ведь помню.

– Наш союз начинается с настоящей минуты! – воскликнул король с непритворным пылом. – Не будем вспоминать о прошлом, ни вы, ни я. У меня перед глазами настоящее. Вот оно. Смотрите!

Он подвел принцессу к зеркалу, где отразилась раскрасневшаяся красавица, при виде которой не устоял бы даже святой.

– Но все-таки я боюсь, – прошептала она, – что у нас не выйдет крепкого союза.

– Вы хотите, чтобы я принес клятву? – спросил король, возбужденный тем оборотом, какой приняла их беседа.

– О, я не отказалась бы от клятвы! – сказала принцесса. – С ней дело всегда кажется вернее.

Король склонил колени, а она с улыбкою, какую не передать ни художнику, ни поэту, отдала ему обе руки, к которым он прижал свое пылающее лицо. Ни он, ни она не находили слов.

Король почувствовал, как принцесса отнимает у него руки, легко скользнувшие по его щекам. Он тотчас же встал и вышел из комнаты.

Придворным бросился в глаза его яркий румянец, и они заключили, что сцена была бурная. Но шевалье де Лоррен поспешил заметить:

– Успокойтесь, господа! Когда его величество в гневе, он бледнеет.

Глава 15.

СОВЕТЧИКИ

Король ушел от принцессы в страшном возбуждении, причину которого и сам не мог бы себе объяснить. И в самом деле, невозможно понять тайную игру странных симпатий, которые внезапно, без всякой причины зарождаются в двух созданных для взаимной любви сердцах, иногда после многих лет полного равнодушия.

Почему Людовик раньше почти ненавидел принцессу? Почему теперь он находил эту самую женщину такой прекрасной, такой желанной? Почему сама принцесса, заинтересованная другим, уже целую неделю выказывала королю исключительное внимание?

Людовик не собирался соблазнять принцессу. Узы, соединявшие Генриетту с его братом, были для него или казались ему неодолимою преградой. Он был даже слишком далеко от этой преграды, чтобы заметить ее существование. Но, находясь во власти играющих нашим сердцем страстей, к которым толкает нас юность, никто не может сказать, где он остановится, даже тот, кто заранее учел все вероятности успеха или падения. Что же касается принцессы, то ее влечение к королю понять нетрудно: она была молода, кокетлива и страстно жаждала поклонения. Это была одна из тех неудержимых порывистых натур, которые, выступив на сцену, готовы пройти по горящим угольям, чтобы вызвать аплодисменты и крики зрителей.

Следовательно, не было ничего удивительного, что, по мере движения вперед, она

перешла от обожания Бекингэма к де Гишу, превосходившему Бекингэма достоинством, которое так ценят женщины, а именно своей новизной; значит, скажем мы, не было ничего особенного в том, что честолюбие принцессы дошло до того, что она жаждала восхищения короля, который был не только первым по положению в своем царстве, но действительно являлся одним из самых прекрасных и умных людей.

Для объяснения внезапно вспыхнувшего чувства Людовика к своей невестке психология привела бы разные банальности, а биология указала бы на тайное сродство натур. У принцессы были прелестные черные глаза, у Людовика – голубые. Принцесса была смешлива и экспансивна, Людовик скрытен и подвержен меланхолии. Случаю угодно было, чтобы они столкнулись в первый раз на почве общей заинтересованности в разрешении семейного конфликта: от соприкосновения эти две противоположные натуры вспыхнули. Людовик вернулся к себе в убеждении, что принцесса самая соблазнительная женщина при дворе. Принцесса же, оставшись одна, с восторгом думала о неотразимом впечатлении, которое она произвела на короля.

Но ее чувство оставалось пассивным, а у короля оно проявлялось бурно:

Людовик был тогда молод и легко воспламенялся; к тому же он не считался ни с какими преградами для осуществления своих желаний.

Король сообщил принцу, что все улажено, принцесса питает к нему полное уважение и самую искреннюю привязанность, но у нее гордый и недоверчивый характер и надо щадить ее самолюбие. Принц возразил ему своим обычным в разговорах с братом кисло-сладким тоном, что он не может толком объяснить себе самолюбие женщины, поступающей далеко не безупречно, и что вообще пострадавшее лицо в этом деле, бесспорно, он, принц.

На это король ответил ему довольно резким тоном, показывавшим, как близко к сердцу принимал он интересы своей невестки:

– Принцесса, слава богу, вне подозрений.
– Со стороны других – да, я соглашаюсь, – ответил принц, – но я говорю о себе.
– И вам, брат мой, я скажу, – продолжал король, – что поведение принцессы не заслуживает вашего порицания. Да, конечно, она молодая женщина, пожалуй, рассеянная и даже странная, но – в глубине души – благородная.

Английский характер не всегда хорошо понимают во Франции, и свобода английских нравов нередко удивляет тех, кто не знает, какая душевная чистота лежит в ее основе.

– Что же, – проговорил принц, начиная все более и более раздражаться, – если ваше величество даете отпущение грехов моей супруге, которую я обвиняю, то, конечно, она невинна, и мне остается только замолчать.

– Послушайте, брат, – горячо возразил король, совесть которого нашептывала ему, что принц не совсем не прав, – послушайте, брат, все, что я говорю, и все, что делаю, направлено к вашему счастью. Я узнал, что вы жаловались на недостаток доверия и внимания со стороны принцессы, и не хотел, чтобы ваше беспокойство продолжалось. Мой долг охранять счастье вашей семьи, как и счастье ничтожнейшего из моих подданных. И я с удовольствием убедился, что вы тревожитесь напрасно.

– Итак, ваше величество убедились в невинности принцессы, – продолжал принц, как бы ведя допрос и пристально смотря на своего брата, – и я преклоняюсь перед королевской мудростью, но убеждены ли вы в невинности тех, кто вызвал скандал, на который я жалуюсь?

– Вы правы, брат, – сказал король. – Я об этом подумаю.

Эти слова заключали в себе и утешение и приказание. Принц понял и удалился.

Людовик же снова отправился к матери. Разговор с братом не удовлетворил его, и он чувствовал потребность добиться более полного оправдания своего поступка.

Анна Австрийская не была такой же снисходительной к г-ну де Гишу, как к герцогу Бекингэму. С первых же слов она увидела, что Людовик нерасположен к суровости. Тогда она сама заговорила суровым тоном. Это была одна из обычных уловок королевы, когда ей хотелось добиться правды. Но Людовик уже вышел из детского возраста; он уже почти год

был королем и научился притворяться.

Внимательно слушая Анну Австрийскую, он по некоторым ее выразительным взглядам и ловким намекам убедился, что королева если и не угадала, то, по крайней мере, заподозрила его слабость к принцессе. Из всех его помощников Анна Австрийская была бы самым полезным, из всех врагов – самым опасным.

Поэтому Людовик переменял тактику. Он обвинил принцессу, оправдал принца и спокойно выслушал все, что его мать говорила о де Гише, как выслушивал раньше ее речи о Бекингэме. Он ушел от нее, только когда она преисполнилась уверенностью, что одержала полную победу над ним.

Вечером все придворные собрались на репетицию балета.

За это время у бедного де Гиша побывало несколько посетителей. Одного из них он и ждал и боялся. Это был шевалье де Лоррен. Вид у шевалье был самый успокоительный. По его словам, принц находился в прекрасном настроении, так что можно было подумать, что на супружеском горизонте нет ни малейшего облачка. Да и вообще принц вовсе не злопамятен! С давних пор при дворе с легкой руки шевалье де Лоррена считалось, что из двоих сыновей Людовика XIII принц унаследовал отцовский характер – нерешительный, колеблющийся, с хорошими порывами, недобрый в своей основе, но, конечно, безвредный для друзей.

Шевалье одобрял Гиша, доказывая ему, что принцесса скоро совсем возьмет верх над мужем и кто будет иметь влияние на нее, тот будет влиять и на принца.

Де Гиш, человек осторожный и недоверчивый, отвечал:

– Быть может, шевалье, но я считаю принцессу очень опасной.

– Чем же?

– Она утверждает, что принц не очень увлекается женщинами.

– Это правда, – со смехом сказал шевалье де Лоррен.

– Поэтому принцесса может избрать первого встречного, чтобы возбудить ревность мужа и вернуть его к себе.

– Какая глубокая мысль! – воскликнул шевалье.

– Какая верная! – вторил де Гиш.

И тот и другой говорили не то, что думали. Де Гиш, обвиняя принцессу, мысленно просил у нее прощения. Шевалье, изумляясь глубине мысли де Гиша, увлекал его к пропасти.

Тогда де Гиш прямо спросил его, какие последствия имела утренняя сцена и особенно – сцена во время обеда.

– Да ведь я уже сказал вам, – отвечал шевалье де Лоррен, – все хохотали, и принц больше всех.

– Однако, – заметил Гиш, – мне говорили о посещении принцессы королем.

– Что же тут удивительного? Одна только принцесса не смеялась, и король заходил к ней, чтобы ее развеселить.

– И что же?..

– Да ничего не изменилось, все пойдет своим порядком.

– И вечером будет репетиция балета?

– Разумеется.

– Вы уверены в этом?

– Вполне.

В этот момент в комнату с озабоченным видом вошел Рауль.

Увидев его, шевалье, питавший к нему, как и ко всякому благородному человеку, тайную ненависть, тотчас же поднялся с места.

– Так, значит, вы мне советуете?.. – обратился к нему де Гиш.

– Советую вам спать спокойно, дорогой граф.

– А я дам вам совершенно противоположный совет, де Гиш, – проговорил Рауль.

– Какой, мой друг?

– Сесть на коня и уехать в одно из ваших поместий.

Ну, а там можете последовать совету шевалье и спать сколько вашей душе угодно.

– Как, уехать? – воскликнул шевалье, прикидываясь изумленным. – Да зачем же де Гишу уезжать?

– А затем, – ведь вы-то этого не можете не знать, – затем, что все наперебой говорят о сцене, которая разыгралась между принцем и де Гишем.

Де Гиш побледнел.

– Никто не говорит, – отвечал шевалье, – никто. Вы плохо осведомлены, господин де Бражелон.

– Напротив, милостивый государь, я осведомлен очень хорошо и даю детищу дружеский совет.

Во время этого спора немного сбитый с толку де Гиш попеременно поглядывал то на одного, то на другого советчика. Он чувствовал, что в этот момент идет игра, которая окажет влияние на всю его жизнь.

– Не правда ли, – обратился шевалье к графу, – не правда ли, де Гиш, вся эта сцена была далеко не такая бурная, как, по-видимому, думает виконт де Бражелон, который, впрочем, при ней не присутствовал.

– Дело не в том, – настаивал Рауль, – была ли она бурная или нет, так как я говорю не о самой сцене, а о последствиях, какие она может иметь.

Я знаю, что принц грозил; я знаю, что принцесса плакала.

– Принцесса плакала? – неосторожно вскричал де Гиш, всплеснув руками.

– Вот как! – со смехом подхватил шевалье. – Этой подробности я не знал. Положительно, вы лучше меня осведомлены, господин де Бражелон.

– Вот потому-то, что я лучше осведомлен, шевалье, я и настаиваю на том, чтобы Гиш уехал.

– Простите, что противоречу вам, господин виконт, но еще раз повторяю, что в этом отъезде нет никакой нужды.

– Отъезд был бы необходим.

– погоди! С чего бы вдруг ему уезжать?

– А король? Король?

– Король? – воскликнул де Гиш.

– Предупреждаю тебя, что король принимает это дело близко к сердцу.

– Полно! – успокоил его шевалье. – Король любит де Гиша и особенно его отца. Подумайте, если граф уедет, это послужит как бы признанием того, что он действительно заслуживает порицания. Ведь если человек скрывается, значит, он виноват или боится.

– Не боится, а досадует, как всякий человек, которого напрасно обвиняют, – сказал Бражелон. – Придадим именно такой характер его отъезду, это очень легко сделать. Будем рассказывать, что мы оба приложили все усилия, чтобы удержать его, да вы и на самом деле удерживаете его, шевалье. Да, да, де Гиш, вы ни в чем не повинны. Сегодняшняя сцена обидела вас. Вот и все. Право, уезжайте.

– Нет, де Гиш, оставайтесь, – убеждал шевалье. – Оставайтесь именно потому, что вы ни в чем не повинны, как говорит господин де Бражелон.

Еще раз простите, виконт, что я не согласен с вами.

– Сделайте одолжение, милостивый государь, но заметьте, что изгнание, которому де Гиш сам себя подвергнет, протянется недолго. Он вернется когда вздумает, и его встретят улыбками, а гнев короля может, напротив, навлечь такую грозу, которой и конца не видно будет.

Шевалье улыбнулся.

– Э, черт возьми, этого-то я и добиваюсь, – прошептал он про себя, пожав плечами.

Это движение не ускользнуло от графа. Он опасался, что если покинет двор, то другие могут принять это за трусость.

– Нет, нет, – вскричал он. – Решено. Я остаюсь, Бражелон.

– Обращаюсь к тебе как пророк, – печально проговорил Рауль, – горе тебе, де Гиш, горе тебе!

– Я тоже пророк, только не пророк несчастья. Напротив, я настойчиво повторяю вам, граф, оставайтесь.

– Так вы уверены, что сегодняшняя репетиция балета не отменена? спросил де Гиш.

– Совершенно уверен.

– Видишь, Рауль, – проговорил де Гиш, стараясь улыбнуться, – видишь сам, что наш двор не подготовлен к междоусобной войне, если он с таким усердием предается пляске. Признайся, что это так, Рауль.

Рауль покачал головою.

– Мне больше нечего сказать, – ответил он.

– Но, наконец, – спросил шевалье, стараясь узнать, из каких источников черпал Рауль сведения, точность которых внутренне не мог не признать даже он, – вы говорите, что вы хорошо информированы, господин виконт; даже лучше, чем я, человек самый близкий к принцу. Как это могло получиться?

– Ваша милость, – отвечал Рауль, – я преклоняюсь перед таким заявлением. Да, вы должны быть великолепно информированы и, как человек чести, не способны сказать что-нибудь, кроме того, что вы знаете, и не можете говорить иначе, чем вы думаете, я умолкаю, я признаю себя побежденным и уступаю вам поле битвы.

И с видом человека, желающего только отдохнуть, он уселся в просторное кресло, пока граф звал прислугу, чтобы одеться.

Шевалье надо было уходить, но он боялся, как бы Рауль, оставшись наедине с де Гишем, не отговорил его. Поэтому он прибегнул к последнему средству.

– Принцесса сегодня будет ослепительна, – сказал он. – Она впервые выступает в костюме Помоны.

– Ах, в самом деле! – воскликнул граф.

– Да, да, – продолжал шевалье, – она уже распорядилась. Вы знаете, господин де Бражелон, что роль Весны взял на себя сам король.

– Это будет восхитительно, – обрадовался де Гиш, – и это, пожалуй, важнейшая причина, заставляющая меня остаться. Ведь я исполняю роль Вертумна и танцую с принцессой, так что без дозволения короля даже и не мог бы уехать, мой отъезд расстроил бы балет.

– А я исполняю роль простого фавна, – сказал шевалье – Танцор я неважный, да притом у меня и ноги кривые. До свидания, господа. Не забудьте, граф, корзину с плодами, которую вы должны поднести Помоне.

– Не забуду, будьте покойны, – заверил его восхищенный граф.

– Ну, теперь он не уедет, можно быть уверенным, – говорил про себя шевалье де Лоррен, выходя из комнаты.

Когда шевалье удалился, Рауль даже не пытался разубедить своего друга, он чувствовал, что все напрасно.

– Граф, – промолвил он печальным мелодичным голосом, – вы отдаетесь опасной страсти. Я вас знаю. Вы всегда впадаете в крайность, да и та, кого вы любите, тоже... Ну хорошо, предположим на минуту, что она полюбит вас.

– О, никогда! – воскликнул Гиш.

– Почему же никогда?

– Потому что это было бы ужасным несчастьем для нас обоих.

– Тогда, дорогой друг, вместо того, чтобы считать вас неосторожным, позвольте думать, что вы просто безумец.

– Почему?

– Вы уверены, что ничего не будете добиваться от той, кого вы любите?

– О да, вполне уверен!

– Если так, любите ее издали.

– Как издали?

– Да так. Не все ли равно, тут она или нет, если вы от нее ничего не добиваетесь? Ну,

любите ее портрет или какую-нибудь вещь, данную на память.

– Рауль!

– Любите тень, мечту, химеру; любите любовь... а, вы отворачиваетесь?... Но я умолкаю, идут ваши лакеи. В счастье ли, в несчастье вы всегда можете положиться на меня, де Гиш.

– О, я в этом уверен!

– Ну, вот и все, что я хотел вам сказать. Принарядитесь же хорошенько, де Гиш, будьте красавцем. Прощайте!

– Разве вы не будете на репетиции балета, виконт?

– Нет, мне надо сделать один визит. Ну, обнимите меня и прощайте.

Собрание было назначено в покоях короля.

Явились обе королевы, принцесса, несколько придворных дам и кавалеров. Все это общество в виде прелюдии к танцам занялось разговорами, как было принято в те времена.

Вопреки утверждению шеваляе де Лоррена, ни одна из дам не была одета в праздничный костюм, но всех занимали богатые наряды, нарисованные разными художниками для балета полубогов. Так называли королей и королев, пантеоном которых был Фонтенбло.

Принц принес рисунок, на котором он был изображен в своей роли. Лицо его все еще было немного озабоченным. Он учтиво и почтительно приветствовал молодую королеву и свою мать. С супругою он раскланялся крайне небрежно и, отходя от нее, круто повернулся на каблуках. Этот поклон и эта холодность были замечены.

Господин де Гиш вознаградил принцессу за эту холодность взглядом, полным огня, и принцесса, надо сказать, вернула ему этот взгляд с лихвой. Все решили, что де Гиш никогда не был так красив; взгляд принцессы как бы озарил светом лицо сына маршала де Граммона. Невестка короля почувствовала, что гроза собирается над со головой; она также ощущала, что в течение этого дня, в таком изобилии давшего материал для будущих событий, она была несправедлива, может быть, даже предала человека, который любил ее с такой страстью, с таким пылом.

Ей казалось, что наступил момент воздать должное бедняге, с кем так жестоко обошлись нынче утром. Сердце ее громко говорило в пользу де Гиша. Она искренне жалела графа, и это давало ему преимущество перед всеми другими. В ее сердце не оставалось больше места ни для мужа, ни для короля, ни для лорда Бекингэма, – де Гиш в эту минуту царил безраздельно.

Правда, принц тоже был красив, но невозможно было и сравнивать его с графом. Каждая женщина скажет, что между красотой любовника и красотой мужа огромная разница.

Итак, после появления принца, после этого галантного сердечного приветствия, обращенного к молодой королеве и королеве-матери, после легкого свободного поклона принцессе, который отметили придворные, все, скажем мы, сложилось так, что преимущества были отданы любовнику перед супругом.

Принц был слишком знатной особой, чтобы замечать такие мелочи. Нет ничего столь действенного, как твердо усвоенная мысль о собственном превосходстве, чтобы доказать неполноценность человеку, уже имеющему о самом себе такое мнение.

Пришел король. Все пытались прочесть грядущие события во взгляде этого человека, который уже начинал властвовать над миром.

В противоположность своему мрачному брату, Людовик весь сиял. Взглянув на рисунки, которые к нему протягивали со всех сторон, он похвалил один и забраковал другие, единственным своим словом создавая счастливых или несчастных.

Вдруг краешком глаза посмотрев на принцессу, он подметил немой разговор между нею и графом.

Король закусил губу и подошел к королевам:

– Ваши величества, меня сейчас известили, что в Фонтенбло все приготовлено согласно моим распоряжениям.

По всей зале пробежал шепот удовольствия. Король Прочел на всех лицах горячее желание получить приглашение на праздник.

– Я еду завтра, – прибавил он.

Воцарилось глубокое молчание.

– И прошу всех присутствующих сопровождать меня.

Радостная улыбка озарила все лица. Один только принц оставался по-прежнему в дурном настроении.

Один за другим к королю стали подходить вельможи, спешившие поблагодарить его величество за приглашение.

Подошел де Гиш.

– Ах, граф, – сказал ему король, – а я не заметил вас.

Граф поклонился. Принцесса побледнела.

Де Гиш собирался открыть рот, чтобы произнести благодарность.

– Граф, – остановил его король, – теперь как раз время озимых посевов. Я уверен, что ваши нормандские фермеры очень обрадовались бы вашему приезду к себе в поместье.

После этой жестокой выходки король повернулся спиной к несчастному графу.

Теперь побледнел и де Гиш. Он сделал два шага к королю, забыв, что можно только отвечать на вопросы его величества.

– Я, кажется, плохо понял, – пролепетал он.

Король слегка повернул голову и, бросив на Гиша один из тех холодных и пристальных взглядов, которые, как нож, вонзались в сердце людей, впавших в немилость, медленно отчеканил:

– Я сказал: в ваше поместье.

На лбу графа выступил холодный пот, пальцы разжались и выронили шляпу.

Людовик бросил взгляд на мать, чтобы подчеркнуть перед ней полноту своей власти. Он отыскал также торжествующий взгляд брата и убедился, что тот доволен мщением. Наконец он остановил свои глаза на принцессе.

Принцесса улыбалась, разговаривая с г-жой де Ноайль. Она ничего не слышала или делала вид, что не слышала.

Шевалье де Лоррен тоже смотрел своим упорным враждебным взглядом, похожим на таран, сокрушающий препятствия. Один только де Гиш остался в кабинете короля. Постепенно все разошлись.

Перед глазами несчастного мелькали какие-то тени.

Страшным усилием воли он овладел собой и поспешил домой, где его ожидал Рауль, не отделившийся от мрачных предчувствий.

– Ну что, как? – прошептал он, увидя своего друга, вошедшего нетвердым шагом без шляпы, с блуждающим взглядом.

– Да, да... это верно... да...

Больше де Гиш ничего не мог выговорить. Он без сил повалился в кресло.

– А она?... – спросил Рауль.

– Она?... – вскричал несчастный, поднимая к нему гневно сжатый кулак.

– Она!..

– Что она делает?

– Смеется.

И сам злосчастный изгнанник разразился истерическим хохотом. Потом упал навзничь. Он был уничтожен.

Глава 16. ФОНТЕНБЛО

Уже четыре дня великолепные сады Фонтенбло были оживлены непрекращавшимися празднествами и весельем. Г-н Кольбер был завален работой: по утрам – он подводил счета ночных расходов, днем составлял программы, сметы, нанимал людей, расплачивался.

Господин Кольбер получил четыре миллиона и пытался расходовать их с разумной экономией.

Он приходил в ужас от трат на мифологию. Каждый сатир и каждая дриада обходились не менее чем по сотне ливров в день. Да костюмы стоили по триста ливров. Каждую ночь фейерверки истребляли порохи и серы на сто тысяч ливров. Иллюминация по берегам пруда обходилась в тридцать тысяч ливров. Эти праздники казались великолепными. Кольбер от радости не мог владеть собой.

В разное время дня и ночи можно было видеть, как принцесса и король отправлялись на охоту или устраивали приемы разных фантастических персонажей, торжества, которые без устали изобретали в течение двух недель и в которых проявлялись блестящий ум принцессы и щедрость короля.

Принцесса, героиня праздника, отвечала на приветственные речи депутатов от разных неведомых народов: гарамантсз, скифов, гиперборейцев, кавказцев и патагонцов, которые словно из-под земли появлялись перед нею. А король каждому из них дарил бриллианты и разные дорогие вещи.

Депутации декламировали стихи, в которых короля сравнивали с солнцем, а принцессу с луною. О королевах и о принце совсем перестали говорить, словно король был женат не на Марии-Терезии Австрийской, а на Генриетте Английской.

Счастливая пара держалась за руки, обменивалась неуловимыми пожатиями. Молодые люди большими глотками впивали этот сладостный напиток лести, который порождает юность, красота, могущество и любовь. Все в Фонтенбло удивлялись влиянию на короля, которое так неожиданно приобрела принцесса. Всякий говорил про себя, что настоящей королевой была принцесса. И действительно, король подтверждал эту странную истину каждой своей мыслью, каждым своим словом, каждым своим взглядом. Он черпал свои желания, искал свое вдохновение в глазах принцессы, он упивался ее радостью, если принцесса достаивала его улыбкой.

А принцесса? Наслаждалась ли она своим могуществом, видя весь мир у своих ног? Она не могла признаться в этом себе самой; но она знала это и чувствовала одно: что у нее нет больше никаких желаний и что она совершенно счастлива. Произошло все это по воле короля, и в результате принц, который был вторым лицом в государстве, оказался третьим.

И ему стало еще хуже, чем в те дни, когда музыканты де Гиша играли у принцессы. Тогда принц мог, по крайней мере, внушить страх тому, кто его раздражал. Но, изгнав врага благодаря союзу с королем, принц почувствовал на плечах бремя, которое было гораздо тяжелее прежнего.

Каждую ночь принцесса возвращалась к себе совсем измученная. Поездки верхом, купанье в Сене, спектакли, обеды под деревьями, балы на берегу большого канала, концерты – все это могло бы свалить с ног здорового швейцарца, а не только слабую, хрупкую женщину.

Положим, что касается танцев, концертов, прогулок, женщина куда выносливее самого дюжего молодца. Но и женские силы ограничены. Что же касается принца, то он не имел удовольствия видеть принцессу даже по вечерам. Принцессе отвели покои в королевском павильоне вместе с молодой королевой и королевой-матерью.

Шевалье де Лоррен, разумеется, не покидал принца и вливал по капле желчь в его свежие раны.

После отъезда де Гиша принц сначала было повеселел и расцвел, но три дня пребывания в Фонтенбло снова повергли его в меланхолию.

Однажды, часа в два, принц, поздно вставший и посвятивший еще больше, чем обыкновенно, внимания своему туалету, вспомнил, что на этот день не было ничего назначено; и вот он задумал собрать свой двор и повезти принцессу ужинать в Море, где у него был прекрасный загородный дом.

С этим намерением он направился к королевскому павильону и был очень удивлен, не найдя там ни души. Левая дверь вела в покои принцессы, правая – в покои молодой королевы.

В комнате жены он узнал от швеи, которая там работала, что в одиннадцать часов утра все отправились купаться в Сене, что из этой прогулки устроили настоящий праздник и что придворные экипажи ожидали у ворот парка.

«Счастливая мысль! – подумал принц. – Жара ужасная, и я сам охотно выкупался бы».

Он кликнул людей... Никто не явился. Он пошел к каретным сараям. Там конюх сказал ему, что нет ни одной кареты и ни одного экипажа. Тогда он велел оседлать двух лошадей, одну для себя, другую для камердинера. Конюх ему учтиво ответил, что и лошадей нет.

Принц, побледнев от гнева, снова отправился в королевские покои и дошел до самой молельни Анны Австрийской.

Сквозь полуоткрытую портьеру он увидел невестку, стоявшую на коленях перед королевой-матерью. Насколько он мог рассмотреть, молодая женщина горько плакала.

Королевы не видели и не слышали его.

Он замер у дверей и стал подслушивать. Это печальное зрелище возбуждало его любопытство.

Молодая королева в слезах жаловалась:

– Да, король пренебрегает мною, король весь поглощен удовольствиями, в которых я не принимаю никакого участия.

– Терпение, терпение, дочь моя, – отвечала ей Анна Австрийская по-испански и по-испански же прибавила несколько слов, которых принц не понял.

Королева отвечала ей новыми жалобами, в которых принц разобрал только слово «banos»¹⁷, повторяемое с выражением досады и раздражения.

«Banos, – подумал принц. – Это означает купанье». И он старался соединить в одно целое обрывки услышанных им фраз.

Во всяком случае, легко было догадаться, что королева горько жалуется и что если Анна Австрийская не могла ее утешить, то из всех сил пыталась сделать это.

Принц испугался, как бы его не застали врасплох, и кашлянул. Обе королевы обернулись. При виде принца молодая королева быстро встала и вытерла глаза.

Принц слишком хорошо знал придворный мир, чтобы задавать вопросы, и слишком хорошо усвоил правила приличия, чтобы хранить молчание, поэтому он учтиво приветствовал королев.

Королева-мать ласково улыбнулась ему.

– Что вам, сын мой? – спросила она.

– Мне?... Да ничего... – пробормотал принц. – Я искал...

– Кого?

– Я искал принцессу.

– Принцесса отправилась купаться.

– А король? – спросил принц тоном, повергшим молодую королеву в трепет.

– И король, и весь двор уехали купаться, – отвечала Анна Австрийская.

– А вы что же, государыня? – сказал принц.

– О, я служу пугалом для всех, кто развлекается!

– Да и я, по-видимому, тоже, – проговорил принц.

Анна Австрийская сделала знак своей невестке, и та ушла, заливаясь слезами.

Принц нахмурил брови.

– Вот грустный дом, – сказал он. – Как вы находите, матушка?

– Да... нет же... нет... здесь каждый ищет развлечения.

– Вот это-то и огорчает тех, кому чужие развлечения не по вкусу.

– Как вы странно выражаетесь, милый Филипп!

– Право же, матушка, я говорю то, что думаю.

– Да в чем же дело?

– Спросите у моей невестки, которая сейчас вам рассказывала о своих горестях.

– О каких горестях?..

– Ну да, я ведь слышал. Случайно, но все слышал. Слышал, как она жаловалась на эти знаменитые купанья принцессы.

– Ах, все это глупости!..

– Ну нет, плачут не всегда от глупости... Королева все произносила слово «banos». Ведь это значит купанье?

– Повторяю вам, сын мой, – сказала Анна Австрийская, – что ваша невестка мучается ребяческой ревностью.

– Если так, государыня, – отвечал принц, – то я смиренно сознаюсь в том же.

– Вы тоже терзаетесь ревностью из-за этих купаний?

– Еще бы! Король едет купаться с моей женой и не берет с собой королеву! Принцесса отправляется купаться с королем и даже не считает нужным предупредить меня об этом! И вы хотите, чтобы моя невестка была довольна? И вы хотите, чтобы я был спокоен?

– Но, милый Филипп, – остановила его Анна Австрийская, – вы говорите вздор. Вы заставили прогнать Бекингэма, из-за вас отправили в ссылку господина де Гиша. Уж не хотите ли вы теперь и короля выслать из Фонтенбло?

– О, мои притязания не идут так далеко, государыня, – произнес принц раздраженно. – Но сам я могу уехать отсюда и уеду.

– Из ревности к королю! К брату!

– Да, из ревности к королю, к брату! Да, ваше величество, из ревности!

– Знаете, принц, – воскликнула Анна Австрийская, притворяясь возмущенной и разгневанной, – я начинаю думать, что вы действительно сошли с ума и поклялись не давать мне покоя. Я уйду, потому что решительно не знаю, что мне делать с вашими выдумками.

С этими словами она поднялась с места и вышла, оставив принца в бешеной ярости.

Минуту он стоял словно оглушенный. Придя в себя, он вернулся к конюшням, отыскал конюха и опять потребовал карету или лошадь. Получив в ответ, что ни лошади, ни кареты нет, он выхватил кнут из рук конюха и начал гонять несчастного по двору, не слушая его криков. Наконец, выбившись из сил, весь в поту, дрожа как в лихорадке, он прибежал к себе, переколотил фарфор, бросился на постель, как был, в сапогах со шпорами, и закричал:

– Помогите!

Глава 17.

КУПАНЬЕ

В Вальвене, под непроницаемым сводом ив, опускавших свои свежие зеленые ветви в голубые волны, стояла большая плоская барка с лесенками и длинными синими занавесками. Эта барка служила убежищем Дианам-купальщицам, которых подстерегали при выходе из воды двадцать пылких Актеонов, скакавших на конях вдоль берега.

Но и сама Диана, Диана стыдливая, одетая в длинную хламиду, едва ли была более целомудренна, более недоступна, чем принцесса, молодая и прекрасная, как богиня. Из-под охотничьей туники Дианы виднелись ее круглые белые колени; колчан со стрелами не мог скрыть смуглых плеч богини; стан принцессы был закутан в длинное покрывало, непроницаемое для самых нескромных и самых зорких глаз.

Когда она поднималась по лесенке, двадцать поэтов, – а в ее присутствии все делались поэтами, – двадцать галопировавших на берегу поэтов остановили своих коней и в один голос воскликнули, что с тела принцессы в струи счастливой реки стекают не капли, а настоящие жемчужины.

Но король, гарцевавший в центре этой кавалькады, прервал их излишества и отъехал в сторону из боязни оскорбить скромность женщины и достоинство принцессы.

На некоторое время сцена опустела, на барке воцарилась тишина. По шуму шагов, игре складок, волнам, пробегавшим по занавесам, можно было угадать торопливую беготню прислужниц.

Король с улыбкой слушал болтовню придворных, но видно было, что внимание его поглощено другим.

В самом деле, едва только звякнули металлические кольца занавесок, давая знать, что

богиня сейчас появится, как король быстро повернул лошадь и поскакал вдоль берега, давая сигнал всем, кого обязанности или удовольствие призывали к принцессе.

Пажи немедленно бросились к лошадям. Подъехали коляски, стоявшие в густой тени деревьев. Появилась целая толпа лакеев, носильщиков, служанок, судачивших в сторонке во время купанья господ. В то время эта толпа была своего рода ходячею газетою.

Тут же стояли и окрестные крестьяне, стремившиеся увидеть короля и принцессу. В течение восьми или десяти минут эта беспорядочная толпа представляла в высшей степени живописное зрелище.

Король сошел с коня, и его примеру последовали все придворные. Он предложил руку принцессе, которая была в богатом, вышитом серебром костюме для верховой езды, прекрасно обрисовывавшем ее изящную фигуру.

Влажные черные волосы обрамляли нежную белую шею. Радость и здоровье блистали в ее прекрасных глазах. Она освежилась и глубоко, взволнованно дышала под большим узорным зонтиком, который держал паж. Не могло быть ничего более нежного, изящного, поэтичного, чем эти две фигуры в розовой тени зонтика: король, белые зубы которого сверкали в непрерывных улыбках, и принцесса, чья черные глаза искрились, словно драгоценные камни в светящихся переливах шелка.

Принцесса подошла к своей лошади. Это был великолепный иноходец андалузской породы, белый, без единой отметины, пожалуй, немного тяжеловатый, но с красивой умной головой, с длинным хвостом, подметавшим землю; удачная смесь арабской и испанской крови. Принцесса остановилась у стремени, точно не имея сил поставить на него ногу. Король схватил ее за талию и поднял, а рука принцессы жарким кольцом обвила шею короля.

Людовик невольно прикоснулся губами к руке, которая яри этом не отдернулась. Принцесса поблагодарила своего царственного стремянного. Все мгновенно вскочили на коней.

Король и принцесса посторонились, чтобы пропустить экипажи, стремянных и скороходов. Следом за колясками, увозившими свиту Дианы, прелестных нимф, с говором и смехом помчалось большинство всадников, пренебрегая правилами этикета. Король и принцесса пустили своих лошадей шагом.

Более солидные придворные, старавшиеся быть на виду у короля и поспешить к нему по первому же зову, ехали за ним, сдерживая своих нетерпеливых скакунов, приноравливая их шаг к шагу коней короля и принцессы и наслаждаясь сладостью и приятностью, которые дает общество остроумных людей, с изяществом извергающих потоки ужасных мерзостей по адресу своих ближних. С большим удовольствием предались они обычному злословию.

Больше всего шуток и смеха возбуждал злополучный принц. Но де Гиша искренне жалели, и, надо признаться, не без основания.

Тем временем король и принцесса, дав передохнуть коням и шепнув друг другу сто раз именно то, что предполагали придворные, пустили лошадей легким галопом, и под копытами кавалькады зазвенели уединенные тропинки леса.

Тогда тихие разговоры, летучие намеки, приглушенный смех сменились громкими криками: веселье охватило всех, от лакеев до принцев. Поднялся шум, хохот. Сороки и сойки разлетались во все стороны; зяблики и синицы поднимались целыми тучами, а лани, козы и олени с испугом уносились в заросли.

При въезде в город король и принцесса были встречены дружными криками толпы. Принцесса поспешила к супругу. Она инстинктивно понимала, что принц слишком долго не принимал участия в общем веселье. Король отправился к королевам; он сознавал свою обязанность вознаградить их или, по крайней мере, одну из них за свое отсутствие.

Но принц не принял супругу. Ей сказали, что он спит. Короля встретила не улыбающаяся Мария-Терезия, а Анна Австрийская, вышедшая в галерею; она взяла его за руку и увела к себе.

О чем они говорили или, лучше сказать, что королева-мать говорила Людовику XIV, — этого никто никогда не узнал; об этом можно было только догадываться по расстроенному

лицу короля, когда он вышел от матери.

Но наша задача все истолковать и сообщить наши толкования читателю, и мы не выполнили бы этой задачи, если бы читатель не узнал ничего о содержании этой беседы. Все это мы помещаем в следующей главе.

Глава 18. ОХОТА ЗА БАБОЧКАМИ

Король, придя к себе, чтоб отдать кое-какие приказания да кстати и собраться с мыслями, нашел на туалете записку, написанную, по-видимому, измененным почерком.

Он вскрыл ее и прочел:

«Приходите поскорее, мне надо очень многое сказать вам».

Король и принцесса расстались так недавно, что трудно было понять, как «многое» успело накопиться после того «многого», что они сказали друг другу по дороге из Вальвена в Фонтенбло.

Торопливый почерк записочки заставил короля призадуматься. Он слегка оправил свой костюм и пошел к принцессе.

Принцесса, не желая показать, что ждет его, вышла со своими дамами в сад.

Узнав, что принцесса отправилась на прогулку, король подозревал находившихся поблизости придворных и пригласил их с собой.

Принцесса устроила охоту на бабочек на просторной лужайке, окаймленной гелиотропами и дроком. Она смотрела, как бегали ее молоденькие быстроногие фрейлины, а сама с нетерпением ждала короля.

Скрип шагов по песку заставил ее обернуться. Людовик XIV был без шляпы; взмахом трости он сшиб бабочку, которую поднял с травы шедший с ним де Сент-Энъян.

– Видите, принцесса, я тоже охочусь за бабочками, – сказал он, подходя. – Господа, – прибавил он, оборачиваясь к своей свите, – займитесь охотой и принесите добычу своим дамам.

Это значило – отойдите от нас подальше.

Забавно было видеть, как старые почтенные вельможи, давно забывшие о стройности и изяществе, принялись бегать за бабочками, теряя шляпы и колотя тростями кусты мирта и дрока, точно они сражались с испанцами.

Король подал руку Принцессе и проводил ее в открытую беседочку, что-то вроде хижины, задуманной робким гением какого-то неведомого мастера, который положил начало причудливому и фантастическому в суровом стиле тогдашнего садоводческого искусства.

Этот навес, украшенный вьющимися розами и настурцией, возвышался над скамьей без спинки и, был поставлен так, что сидевшие под ним, находясь посреди лужайки, видели все вокруг и были видны со всех сторон, но слышать их не мог никто, ибо непрощенный свидетель, только собравшись приблизиться и подслушать разговор, сразу оказывается на виду у сидевших.

Король знаками приветствовал и поощрял отсюда охотников. Насаживая бабочку на золотую булавку и как будто разговаривая о ней с принцессой, он начал:

– Кажется, здесь можно побеседовать без помехи.

– Да, государь, мне надо было поговорить с вами с глазу на глаз, но на виду у всех.

– И мне тоже, – сказал Людовик.

– Вас удивила моя записка?

– Ужаснула! Но то, что я хочу вам сказать, гораздо важнее.

– Едва ли! Вы знаете, что принц запер передо мною дверь?

– Перед вами! Почему же?

– Вы не догадываетесь?

– Ах, принцесса, нам, кажется, надо сказать друг другу одно и то же.

– А что же с вами случилось?

– Вернувшись домой, я встретил мать, и она увела меня к себе.
– О, королеву-мать!.. Это весьма серьезно, – с беспокойством проговорила принцесса.
– Я думаю! Вот что она мне сказала... Только позвольте мне начать с небольшого предисловия.

– Я вас слушаю, государь.
– Принц говорил вам что-нибудь обо мне?
– Часто.
– А о своей ревности?
– О, еще чаще!
– О ревности ко мне?
– Нет, не к вам, а...
– Да, я знаю, к Бекингэму и к Гишу, – совершенно верно. Представьте, принцесса, что сейчас он вздумал ревновать ко мне.

– Вот как! – отвечала принцесса с лукавой усмешкой.
– Но мне кажется, мы не подавали ни малейшего повода...
– По крайней мере, я... Но как вы узнали о ревности принца?
– Матушка сообщила мне, что принц вбежал к ней как бешеный и излил целый поток жалоб на ваше... вы извините меня...

– Говорите, говорите.
– На ваше кокетство. Матушка старалась его разуверить; но он ответил ей, что больше слышать ничего не хочет.

– Люди очень злы, государь. Да что же это такое! Брат и сестра не могут поболтать между собою, чтобы не начались пересуды и даже подозрения!

Ведь мы же не желаем ничего дурного, государь, у нас и в мыслях нет ничего дурного.

И она бросила на короля гордый, вызывающий взгляд, который разжигает пламя желаний у самых холодных и благоразумных людей.

– Конечно, – вздохнул Людовик.

– Знаете, государь, если так будет продолжаться, я не выдержу. Оцените по справедливости наше поведение – разве оно не добропорядочно?

– Да, очень.

– Правда, мы часто бываем вместе, потому что у нас одинаковые мысли, вкусы. Соблазн действительно мог бы возникнуть, но он все-таки не возник!.. Для меня вы Только брат, и больше ничего.

Король нахмурился, а она продолжала:

– Когда ваша рука встречается с моею, она никогда не вызывает у меня того волнения, того трепета... как, например, у влюбленных...

– Довольно, довольно, умоляю вас! – перебил ее истерзанный король. Вы безжалостны и хотите уморить меня.

– Что это значит?

– Да ведь вы... вы прямо говорите, что ничего ко Мне не чувствуете.

– О, государь... этого я не говорю... Мои чувства...

– Генриетта... довольно... еще раз прошу... Если вы воображаете, что я такой же мраморный, как вы, то вы ошибаетесь.

– Я вас не понимаю.

– Ну хорошо, хорошо, – вздохнул король, потупляя глаза. – Значит, наши встречи... и рукопожатия... и наши Взгляды... Виноват... Да, вы правы... я понимаю, что вы хотите сказать.

Он опустил голову и закрыл лицо руками.

– Будьте сдержанней, государь, – с живостью проговорила принцесса, на вас смотрит господин де Сент-Энъян.

– Да, действительно, – с гневом воскликнул Людовик. – У меня нет и тени свободы, у меня не может быть простоты и искренности в отношениях с людьми... Думаешь, что нашел

друга, а на самом деле находишь шпиона... думаешь, что нашел подругу, а находишь... сестру.

Принцесса замолчала и потупилась.

– Принц ревнив! – тихонько произнесла она совсем особенным тоном, чарующую прелесть которого невозможно передать.

– Вы правы! – воскликнул король.

– Да, – продолжала принцесса, смотря на Людовика взглядом, обжигавшим ему сердце, – вы свободны, вас не подозревают, не отравляют вашу домашнюю жизнь.

– Увы, вы еще ничего не знаете. Королева тоже ревнует.

– Мария-Терезия?

– До сумасшествия. Ревность брата вызвана именно ее ревностью, она плакала, она жаловалась моей матери, она злилась на это купанье, которое было для меня таким наслаждением.

«И для меня», – говорил взгляд принцессы.

– И вот принц, подслушивая их, уловил слово «banos», которое королева произнесла с особенного горечью; это его и навело на мысль. Он ворвался к ним, вмешался в разговор и наговорил матери таких вещей, что она была вынуждена уйти от него. Вам приходится иметь дело с ревнивым мужем, а передо мною вырос и будет вечно стоять призрак той же ревности – с опухшими глазами, впалыми щеками и кривящимися губами.

– Бедный король! – прошептала принцесса, слегка прикасаясь рукою к руке Людовика.

Он задержал эту ручку и, чтобы пожать ее тайком от зрителей, охотившихся не столько за бабочками, сколько за новостями, протянул принцессе умиравшую бабочку. Оба наклонились над ней, словно считая пятнышки или зернышки золотой пыли на крылышках мотылька. Они не произнесли ни слова.

Волосы их касались, дыхание смешивалось, руки горели. Так прошло пять минут.

Глава 19. **ЧТО МОЖНО ПОЙМАТЬ, ОХОТЯСЬ ЗА БАБОЧКАМИ**

Несколько мгновений молодые люди не шевелились, охваченные мыслью о рождающейся любви, которая населяет цветами двадцатилетнее воображение.

Генриетта украдкой смотрела на Людовика. В глубине его сердца она видела любовь, как опытный водолаз видит жемчужину на дне моря.

Она поняла, что Людовик колеблется, быть может, даже терзается сомнениями и надо слегка подтолкнуть это ленивое или робкое сердце.

– Итак?... – проговорила она, прерывая молчание.

– Что вы хотите сказать? – спросил Людовик.

– Я хочу сказать, что мне придется вернуться к принятому мной решению.

– К какому решению?

– К тому, которое я уже сообщила вашему величеству, когда между нами происходило первое объяснение по поводу ревности принца.

– Что же вы мне сказали тогда? – с беспокойством спросил Людовик.

– Разве вы уже забыли, государь?

– Увы, если это какое-нибудь новое несчастье, то, наверное, скоро вспомню.

– О, это несчастье только для меня, государь, – отвечала Генриетта, но несчастье необходимое.

– Да скажите же наконец, что такое!

– Отъезд!

– Ах, сделать это неумолимое решение?

– Поверьте, государь, что я приняла это решение не без жестокой внутренней борьбы... Право, государь, мне следует вернуться в Англию.

– Никогда, никогда я не допущу, чтобы вы покинули Францию! – вскричал король.

– И однако же, – продолжала принцесса тоном кроткой решимости, – это совершенно необходимо, государь. Больше того, я убеждена, что такова воля вашей матери.

– Воля! – воскликнул король. – Вы произнесли странное слово в моем присутствии, дорогая сестра!

– Но разве, – ответила с улыбкой Генриетта, – вы не подчинились бы с удовольствием воле доброй матери?

– Перестаньте, бога ради; вы разрывате мне сердце. Вы говорите о своем отъезде с таким спокойствием...

– Я не рождена для счастья, государь, – грустно отвечала принцесса, с детства я привыкла к тому, что самые дорогие мои мечты не сбываются.

– Вы говорите правду? И теперь отъезд помешал бы осуществиться дорогой вам мечте?

– Если я отвечу «да», вас это утешит, государь?

– Жестокая!

– Тише, государь, к нам идут.

Король осмотрелся кругом.

– Нет, никого, – сказал он. Потом, снова обращаясь к принцессе, продолжал:

– Послушайте, Генриетта, ведь против ревности мужа есть и другие средства, кроме вашего отъезда, который убил бы меня...

Генриетта с сомнением пожала плечами.

– Да, да, убил бы, – продолжал Людовик. – Неужели, повторяю, ваше воображение... или, лучше сказать, ваше сердце не способно внушить вам что-нибудь иное?

– Боже мой, что, по-вашему, оно должно внушить мне?

– Скажите, как доказать человеку, что его ревность не имеет основания?

– Прежде всего, государь, ему не дают никаких поводов к ревности, то есть любят только его.

– Я ожидал иного.

– Чего же вы ожидали?

– Ревнивца можно успокоить, скрывая свое чувство к тому, кто возбуждает его ревность.

– Скрывать трудно, государь.

– Счастье всегда добывается с трудом. Что касается меня, то, клянусь вам, я могу, если нужно, сбить с толку всех ревнивцев, сделав вид, что отношусь к вам так же, как к любой другой женщине.

– Плохое, слабое средство, – проговорила молодая женщина, покачивая прелестною головкою.

– Вам никак не угодить, дорогая Генриетта, – сказал Людовик с неудовольствием. – Вы отвергаете все, что я предлагаю. Но, по крайней мере, предложите что-нибудь сами... Я очень доверяю изобретательности женщин.

– Хорошо, я придумала. Вы слушаете, государь?

– Что за вопрос? Вы решаете мою судьбу и спрашиваете, слушаю ли я!

– Я сужу по себе. Если бы я подозревала, что мой муж ухаживает за другой женщиной, то меня могла бы успокоить только одна вещь?

– Какая?

– Мне нужно было бы прежде всего убедиться, что он не интересуется этой женщиной.

– Да ведь это самое я говорил вам сейчас.

– Да, но только я бы не успокоилась, пока не увидела бы, что он ухаживает за другою.

– Ах, я понимаю вас, Генриетта, – с улыбкой подхватил Людовик. – Это средство, конечно, остроумно, но жестоко.

– Почему?

– Вы излечиваете ревнивца от подозрений, по наносите ему рану в сердце. Страх его пройдет, но остается боль, а это, по-моему, еще хуже.

– Согласна. Но зато он не заметит, даже подозревать не будет, кто его настоящий враг, и не помешает истинной любви. Он направит свое внимание в ту сторону, где оно никому и

ничему не повредит. Словом, государь, моя система, против которой вы, к моему удивлению, возражаете, вредна для ревнивца, но полезна для влюбленных. А кто же, государь, кроме вас, когда-нибудь жалел ревнивца? Это особая болезнь, гнездящаяся в воображении, и, как все воображаемые болезни, она неизлечима. Дорогой государь, я вспоминаю по этому поводу афоризм моего ученого доктора Доли, очень остроумного человека. «Если у вас две болезни, – говорил он, – выберите одну, которая вам больше нравится, я вам оставлю ее. Она поможет мне справиться с другой».

– Хорошо сказано, дорогая – Генриетта, – с улыбкою отвечал король. Я завтра же назначу ему пенсию за его афоризм. Вот и вы, Генриетта, изберите меньшее из зол. Вы не отвечаете, улыбаетесь. Я догадываюсь: меньшее из зол – пребывание во Франции? Ну и отлично. Это зло я вам оставлю, а сам примусь лечить большее зло и сегодня же подыщу предмет для отвлечения внимания ревнивцев обоего пола, которые преследуют вас.

– Тес... На этот раз к нам и вправду подходят, – сказала принцесса и наклонилась, чтобы сорвать барвинок в густой траве.

И в самом деле, с вершины горки по направлению к ним мчалась целая толпа дам и кавалеров. Причиною этого набега был великолепный виноградный сфинкс, похожий сверху на сову и с нижними крылышками, напоминающими лепестки розы.

Эта редкая добыча попала в сачок мадемуазель де Тонне-Шарант, которая с гордостью показывала ее своим менее счастливым соперницам. Царица охоты уселась в двадцати шагах от скамьи, на которой помещались Людовик и Генриетта, прислонилась к роскошному дубу, обвитому плющом, и приколола бабочку к своей длинной трости. Мадемуазель де Тонне-Шарант была очень хороша собою. Поэтому кавалеры покинули прочих дам и столпились около нее в кружок, под предлогом поздравить ее с удачею.

Король и принцесса, улыбаясь, смотрели на эту сцену, как взрослые смотрят на игры детей.

– Что вы скажете о мадемуазель де Тонне-Шарант, Генриетта? – спросил король.

– Скажу, что волосы у нее слишком светлые, – отвечала принцесса, сразу указывая на единственный недостаток, который можно было поставить в упрек почти совершенной красоте будущей г-жи де Монтеспан.

– Да, слишком белокура, это верно, но все же, по-моему, красавица.

– О да, и кавалеры так и кружатся около нее. Если бы мы охотились вместо бабочек за ухаживателями, смотрите-ка, сколько бы мы наловили их возле нее.

– А как вы думаете, Генриетта, что сказали бы, если бы король вмешался в толпу этих ухаживателей и бросил свой взор на красавицу? Принц продолжал бы ревновать?

– О, государь, мадемуазель де Тонне-Шарант средство очень сильное, вздохнула принцесса. – Ревнивец, конечно, вылечился бы, но, пожалуй, явилась бы ревница!

– Генриетта, Генриетта! – воскликнул Людовик. – Вы наполняете мое сердце радостью. Да, да, вы правы, мадемуазель де Тонне-Шарант слишком прекрасна, чтоб служить ширмой.

– Ширмой короля, – с улыбкой отвечала Генриетта. – Эта ширма должна быть красива.

– Так вы мне советуете ее? – спросил Людовик.

– Что мне сказать вам, государь? Дать такой совет – значит, дать оружие против себя. Было бы безумством или сомнением рекомендовать вам для отвода глаз женщину, гораздо более красивую, чем та, которую вы будто бы любите.

Король искал руку принцессы, ее взгляд и прошептал ей на ухо несколько нежных слов, так тихо, что автор, который должен все знать, не расслышал их.

Потом он громко прибавил:

– Ну хорошо, выберите сами ту, которая должна будет излечить наших ревнивцев. Я буду за ней ухаживать, посвящу ей все время, какое у меня останется от дел, ей буду отдавать цветы, сорванные для вас, ей буду нашептывать о нежных чувствах, которые вызовете во мне вы. Только выбирайте повнимательнее, иначе, предлагая ей розу, сорванную моею рукою, я буду невольно смотреть в вашу сторону, мои руки, мои губы будут тянуться к вам, хотя бы мою тайну угадала вся вселенная.

Когда эти слова, согретые любовной страстью, слетали с уст короля, принцесса краснела, трепетала, счастливая, гордая, упоенная. Она ничего не могла найти в ответ: ее гордость, ее жажда поклонения были удовлетворены.

– Я выберу, – сказала она, поднимая на него свои прекрасные глаза, только не так, как вы просите, потому что весь этот фимиам, который вы собираетесь сжигать на алтаре другой богини, – ах, государь, я ревную к ней, – я хочу, чтобы он весь вернулся ко мне, чтобы не пропала ни одна его частица. Я выберу, государь, с вашего королевского соизволения такую, которая будет наименее способна увлечь вас и оставит мой образ нетронутым в вашей душе.

– По счастью, – заметил король, – у вас сердце не злое, иначе я трепетал бы от вашей угрозы. Кроме того, среди окружающих нас женщин трудно отыскать неприятное лицо.

Пока король говорил, принцесса встала со скамьи, окинула взглядом лужайку и подозвала к себе короля.

– Подойдите ко мне, государь, – сказала она, – видите вы там, у кустов жасмина, хорошенькую девушку, отставшую от других? Она идет одна, опустив голову, и смотрит себе под ноги, точно потеряла что-нибудь.

– Мадемуазель де Лавальер? – спросил король.

– Да.

– О!

– Разве она не нравится вам, государь?

– Да вы посмотрите на нее, бедняжку. Она такая худенькая, почти бесплотная.

– А разве я толстая?

– Но она какая-то унылая.

– Полная противоположность мне; меня упрекают, что я чересчур весела.

– Вдобавок хромоножка. Смотрите, она нарочно всех пропустила вперед, чтобы не заметили ее недостатка.

– Ну так что же? Зато она не убежит от Аполлона, как быстроногая Дафна.

– Генриетта, Генриетта! – с досадой воскликнул король. – Вы нарочно выбрали самую уродливую из ваших фрейлин.

– Да, но все же это моя фрейлина – заметьте это.

– Так что же?

– Чтобы видеть ваше новое божество, вам придется волей-неволей приходить ко мне; скромность не позволит вам искать свиданий наедине, и вы будете видеться с нею только в моем домашнем кружке и говорить не только с нею, а и со мною. Словом, все ревнивцы увидят, что вы приходите ко мне не ради меня, а ради мадемуазель де Лавальер.

– Хромоножки.

– Она только чуть-чуть прихрамывает.

– Она никогда рта не раскрывает.

– Но зато когда раскроет, то показывает прелестнейшие зубки.

– Генриетта!..

– Ведь вы сами предоставили мне выбор.

– Увы, да!

– Подчиняйтесь же ему без возражений.

– О, я подчинился бы даже фурии, если бы вы ее выбрали!

– Лавальер кротка, как овечка. Не бойтесь, она не станет противиться, когда вы ей объявите, что любите ее.

И принцесса захохотала.

– Вы оставите мне дружбу брата, постоянство брата и благосклонность короля, не правда ли?

– Я оставляю вам сердце, которое бьется только для вас.

– И вы полагаете, что наше будущее обеспечено?

– Надеюсь.

– Ваша мать перестанет смотреть на меня как на врага?

– Да.

– А Мария-Терезия не будет больше говорить по-испански в присутствии моего мужа, который не любит слышать иностранную речь, так как ему все кажется, что его бранят?

– Может быть, он прав, – проговорил король.

– Наконец, будут ли по-прежнему обвинять короля в преступных чувствах, если мы питаем друг к другу только чистую симпатию, без всяких задних мыслей?

– Да, да, – пробормотал король – Правда, станут говорить другое.

– Что еще, государь? Неужели нас никогда не оставят в покое?

– Будут говорить, – продолжал король, – что у меня очень дурной вкус.

Ну, да что значит мое самолюбие перед вашим спокойствием?

– Моей честью, государь, хотите вы сказать, честью нашей семьи. И притом, поверьте, вы напрасно заранее настраиваете себя против Лавальер; она прихрамывает, но она, право, не лишена некоторого ума. Впрочем, к чему прикасается король, то превращается в золото.

– Помните, Генриетта, что я еще у вас в долгу, вы могли бы заставить меня заплатить гораздо дороже за ваше пребывание во Франции.

– Государь, к нам подходят... Еще одно слово.

– Слушаю.

– Вы благоразумны и осмотрительны, государь, но вам теперь придется вооружиться всем вашим благоразумием и всей вашей осмотрительностью.

– О, с сегодняшнего же вечера я примусь за свою роль, – со смехом воскликнул Людовик. – Вы увидите, что у меня есть призвание к роли пастушка. У нас сегодня после обеда большая прогулка в лес, а потом ужин и в десять часов балет.

– Я знаю.

– Итак, сегодня же вечером мое любовное пламя взвоется выше наших фейерверков и будет гореть ярче плошек вашего друга Кольбера. У королев и у принца от его блеска глаза заболят.

– Будьте осторожны, государь!

– Боже мой, что же я сделал?

– Мне придется взять назад похвалы, которые я вам только что расточала... Я назвала вас благоразумным, осмотрительным... А вы начинаете с такого безумства! Разве страсть может загореться в одно мгновение, как факел? Разве такой король, как вы, сможет сразу, без всякой подготовки, пасть к ногам такой девушки, как Лавальер?

– Генриетта, Генриетта! Я ловлю вас на слове... Мы еще не начали кампанию, а вы уже нападаете на меня.

– Нет, я только предостерегаю вас Пусть пламя разгорается постепенно, понемногу, а не мгновенно Если вы проявите такой пыл, никто не поверит, что вы влюбились, а подумают, что вы помешались, если только сразу не разгадают всей вашей игры. Люди иногда не столь глупы, как кажутся.

Король принужден быю признать, что принцесса мудра, как ангел, и хитра, как дьявол. Он поклонился.

– Хорошо, пусть будет так, – согласился он. – Я обдумаю план атаки.

Генералы, например, мой кузен Конде, пожелтеют, сидя над своими стратегическими картами, прежде чем двинут с места хоть одну из тех пешек, которые зовутся армейским корпусом; я хочу составить план всей кампании.

Вы знаете, что Страна Нежных Чувств разделена на множество областей. Ну вот, я прежде всего остановлюсь в деревне Ухаживаний, на хуторе Любовных Записочек, а потом уже направлюсь по дороге к Откровенной Любви. Тут путь ясен, вы знаете. Мадемуазель Скюдери никогда бы мне не простила, если бы я перескочил через станцию.

– Вот теперь мы на верном пути, государь. Но не пора ли нам расстаться?

– Увы, пора; нас все равно разлучат.

– Действительно, – сказала Генриетта, – сюда торжественно несут сфинкса мадемуазель де Тонне-Шарант, под пение труб, как принято на охотничьих праздниках.

– Значит, решено: сегодня, во время прогулки по лесу, я проберусь в чащу и, застав Лавальер одну, без вас...

– Я ее удалю от себя. Это уж моя забота.

– Прекрасно! Я пойду к ней при всех ее подругах и пушу в нее первую стрелу.

– Только цельтесь хорошенько, не промахнитесь, попадите прямо в сердце, – засмеялась принцесса.

Тут она рассталась с королем и пошла навстречу веселому кортежу, шествовавшему с трубными звуками, восклицаниями и подобающими случаю церемониями.

Глава 20. БАЛЕТ «ВРЕМЕНА ГОДА»

После обеда, окончившегося около пяти часов, король ушел к себе в кабинет, где его ожидали портные. Предстояла примерка знаменитого костюма Весны, над которым трудилось множество придворных художников.

Все роли балета были уже разучены участниками представления. Королю хотелось сделать сюрприз. Как только он покончил с делами, он сейчас же послал за своими двумя церемониймейстерами, Вильруа и Сент-Эньян. Оба они заявили, что ждут лишь его приказа, что все готово и можно начинать.

Нужно только, чтобы погода была хорошая и вечер теплый.

Король открыл окно. Золотистые облака скользили над верхушками деревьев. Выплывала луна. Зеленые зеркальные пруды покоились как замороженные. Лебеди, сложив крылья, дремали на воде, словно суда на якорях.

Взглянув на эту дивную картину, король тотчас же отдал приказ, которого ожидали господа де Вильруа и де Сент-Эньян. Но исполнить его надо было по-царски. А для этого оставалось разрешить еще один вопрос. Людовик XIV и задал его:

– Есть у вас деньги?

– Государь, – отвечал Сент-Эньян, – мы уже сговорились с господином Кольбером.

– Отлично.

– Господин Кольбер сказал, что он явится к вашему величеству, как только ваше величество изъявит желание продолжать праздники.

– Хорошо, пусть придет.

Казалось, что Кольбер подслушивал у дверей. Он вошел в комнату, как только король произнес его имя.

– Очень приятно, господин Кольбер, – приветствовал его король. – А вы, господа, приступите к исполнению своих обязанностей.

Сент-Эньян и Вильруа откланялись.

Король сел в кресло около окна.

– Я танцую сегодня в балете, господин Кольбер, – сообщил он.

– Значит, завтра, государь, я должен платить по счетам.

– Почему?

– Я обещал поставщикам оплатить их счета на другой день после балета.

– Ну что же, господин Кольбер, если обещали, так и платите.

– Прекрасно, государь. Только для того, чтобы платить, нужны деньги, как говаривал господин де Ледигьер.

– Как? А те четыре миллиона, которые обещал господин Фуке, разве они еще не внесены им? Я и забыл спросить вас об этом.

– Государь, они были у вашего величества в назначенный час. Ну?

– Государь, цветные стекла, фейерверк, скрипки и повара съели эти четыре миллиона в одну неделю.

– Как, все целиком?

– До последнего су. Каждый раз, когда ваше величество приказывали устроить

иллюминацию по берегам большого канала, сгорало столько масла, сколько содержится воды во всех бассейнах.

– Ладно, ладно, господин Кольбер. Значит, у нас нет больше денег?

– У меня больше нет, но у господина Фуке есть.

И лицо Кольбера осветилось злобной радостью.

– Что вы хотите сказать? – спросил Людовик.

– Государь, мы уже взяли от господина Фуке шесть миллионов. Он дал их так охотно, что, наверное, не откажется дать еще, если понадобится. Теперь как раз ему пришло время раскошелиться.

Король нахмурил брови.

– Господин Кольбер, – проговорил он, отчеканивая слова, – я держусь другого мнения. Я не хочу ставить в затруднительное положение моего верного слугу. Господин Фуке уже выдал шесть миллионов в течение недели, это достаточная сумма.

Кольбер побледнел.

– Однако, – заметил он, – несколько времени тому назад ваше величество говорили иное, в тот день хотя бы, когда пришли вести из Бель-Иля.

– С тех пор, сударь, я переменял свое мнение.

– Разве ваше величество уже не верит в заговор?

– Господин помощник интенданта, мои дела касаются меня одного, я уже говорил вам, что сам буду вести их.

– Значит, я имел несчастье впасть в немилость у вашего величества! вскричал Кольбер. Он весь трепетал от страха и ярости.

– Никоим образом, напротив, вы очень нравитесь мне.

– Ах, государь, – улыбнулся казначей с притворной грубостью, которая льстила самолюбию Людовика, – что толку нравиться вашему величеству, когда не можешь быть вам полезным?

– Ваши услуги пригодятся в другой раз.

– Как же вы прикажете поступить теперь, ваше величество?

– Вам нужны деньги, господин Кольбер?

– Около семисот тысяч ливров, государь.

– Вы возьмете их из моей личной казны.

Кольбер поклонился.

– Но, – прибавил Людовик, – едва ли вы при всей вашей экономии можете обойтись такою ничтожною суммою, я подпишу вам ордер на три миллиона.

– Король взял перо, написал несколько слов. Затем, передавая бумагу Кольберу, сказал:

– Будьте спокойны, господин Кольбер, составленный мной план – настоящий королевский план.

После этих слов, произнесенных со всей торжественностью, какую молодой государь умел придавать своим речам в таких обстоятельствах, он отпустил Кольбера и велел позвать портных.

Приказ, отданный королем церемониймейстерам, скоро стал известен всему Фонтенбло. Все знали, что король примеряет свой костюм и вечером состоится балет. Эта новость распространилась с быстротою молнии и на лету пустила в ход кокетство и разные причуды, зажгла множество желаний, воспламенила самые безумные мечты. В ту же минуту, словно по волшебству, все, кто умел держать в руках иглу, все, кто умел отличать камзол от штанов, как говорит Мольер, были призваны на помощь щеголям и дамам.

Король окончил свой туалет к девяти часам. Он появился в открытой карете, убранной зеленью и цветами. Королевы поместились на великолепной эстраде, сооруженной на берегу пруда, в театре изумительной красоты.

За пять часов плотники собрали все части этого театра, обойщики расставили стулья, и, словно по сигналу волшебной палочки, тысячи рук, помогая друг другу, без суеты и спешки соорудили в этом месте здание под звуки музыки, а затем осветители украсили театр и берега

пруда неисчислимым количеством свечей.

На небе, покрытом звездами, не было ни единого облачка. Казалось, сама природа пришла на помощь фантазии короля. Вместо крыши над театром простирался небесный свод, за передними декорациями сверкала отраженными огнями гладь воды, а дальше – синеватые силуэты деревьев с куполообразными вершинами.

Когда прибыл король, зрительная зала была полна; она слепила глаза блеском золота и драгоценных камней, так что невозможно было различить ни одного лица. Понемногу, когда глаз освоился с этим сиянием, из него одна за другой стали возникать прекрасные дамы, словно звезды на ночном небе перед зрителем, сначала закрывшим, а потом открывшим глаза.

Сцена изображала рошу; по ней высоко прыгали кривоногие фавны. Дриада дразнила их, они гонялись за нею; другие дриады спешили к ней на помощь, и все это было выражено в разнообразных танцевальных движениях.

В разгар суматохи появлялась Весна со всей свитой и водворяла порядок. Времена года, союзники Весны, сопровождали ее и открывали танцы под звуки гимна, слова которого были исполнены тонкой лести. Флейты, гобой и скрипки рисовали сельский пейзаж.

Король, он же – Весна, выступил на сцену под гром рукоплесканий.

На нем были туника из цветов, мягко облегавшая его стройную, тонкую фигуру. Шелковые чулки телесного цвета обрисовывали его изящные ноги в сиреневых туфлях с зелеными бантами. Прекрасные волнистые волосы, свежий цвет лица, мягкий взгляд голубых глаз, губы, снисходившие до улыбки, таков был тогда этот король, справедливо прозванный королем всех Амуров.

Он двигался легко и плавно, точно парил.

Это был блистательный выход. Следом появился граф де Сент-Эньян, видимо, спешивший к королю или принцессе.

На принцессе было длинное платье, легкое и прозрачное, так что под ним иногда ясно обрисовывались то колено, то маленькая ножка, обутая в шелковую туфлю. Со свитой вакханок она весело приближалась к месту, где должна была танцевать.

Рукоплескания продолжались так долго, что граф успел подойти к королю, стоявшему в танцевальной позиции.

– Что вам, Сент-Эньян? – спросила Весна.

– Боже мой, ваше величество, – пролепетал побледневший придворный, ваше величество и не подумали о танце Плодов.

– Почему же, я помню, его не будет.

– Нет, государь. Ваше величество не отдали об этом приказания, у музыкантов он сохранился.

– Досадно, – пробормотал король. – Этот танец невозможно исполнить, ибо нет господина Гиша.

– Государь, целых четверть часа будет музыка без танцев. Это погубит весь балет. Правда, оркестр мог бы выбросить этот номер. Но дело в том, государь...

– Что еще?

– Ведь господин де Гиш здесь...

– Здесь? – проговорил король, нахмутив брови. – Он здесь?.. Вы уверены?..

– В костюме для танцев, государь. Взгляните направо. Граф ждет.

Король почувствовал, что его лицо вспыхнуло. Он живо обернулся. В самом деле, справа от него, блистая красотой, в костюме Вертумна стоял де Гиш, видимо, ожидая взгляда короля, чтоб заговорить с ним. Невозможно описать изумление короля, изумление принца, заматавшегося в ложе, шепот, поднявшийся в зале, волнение публики, волнение принцессы при виде своего партнера.

Король молча уставился на графа.

Тот подошел к нему и почтительно поклонился:

– Государь, ваш покорнейший слуга явился сегодня на службу, как явился бы на поле битвы. Король, лишившись этого танца Плодов, утратил бы лучшую сцену в своем балете. Я

не хотел, чтоб красота, изящество и искусство короля потерпели ущерб из-за меня. Я покинул своих фермеров и явился на помощь моему королю.

Каждое из этих слов было взвешено и красноречиво. Лесть понравилась королю, мужество его изумило. Он сказал только:

– Я не приказывал вам вернуться, граф.

– Конечно, государь, но ваше величество не приказывали мне также оставаться там.

Король чувствовал, что время уходит. Еще минута, и все было бы испорчено. Притом же в сердце короля царило счастье. Он почерпнул вдохновение в красноречивом взгляде принцессы.

Глаза Генриетты говорили ему:

«Ведь вас ревнуют. Рассейте подозрения. Кто боится двух соперников, тот не боится ни одного».

Своим ловким вмешательством принцесса одержала верх. Король улыбнулся де Гишу.

Де Гиш ни слова не понял из этого немногого разговора. Он видел только, что принцесса старается не смотреть на него. Получив помилование, он приписал его принцессе. Король был доволен. Один принц ничего не понимал.

Балет начался. Он был великолепен.

Когда скрипки воодушевили августейших танцоров, когда наивная пантомима той эпохи – ее наивность еще подчеркивалась посредственным исполнением сиятельных артистов – развернулась во всем блеске, зала дрогнула от аплодисментов.

Де Гиш сиял как солнце, но солнце придворное, готовое довольствоваться второстепенной ролью. Ему не было дела до успеха, который не оценила принцесса; он мечтал только о том, как бы снова завоевать ее благосклонность. А она даже не взглянула на него.

Мало-помалу тревога омрачила всю его радость, весь его блеск, ноги подкашивались, руки не слушались, голова горела.

С той минуты король стал действительно первым танцором кадрили. Он бросил взгляд в сторону своего побежденного соперника.

Де Гиш даже не похож был больше на придворного; он танцевал плохо, невыразительно; вскоре он совсем остановился.

Король и принцесса торжествовали.

Глава 21. НИМФЫ ПАРКА ФОНТЕНБЛО

С минуту король упивался своим торжеством, – оно было полным. Потом он обернулся и взглянул на принцессу, чтобы немного полюбоваться и ею.

В юности люди любят, может, быть, более пылко и страстно, чем в зрелом возрасте, но у них и все другие чувства тогда проявляются с такой же силой, и самолюбие не уступает любви, не то что позднее, годам к тридцати – тридцати пяти, когда любовь становится всепоглощающей.

Людовик вспоминал о принцессе, но больше думал о себе; она же думала исключительно о себе, а о короле даже не помышляла.

Во всем этом переплетении царственных романов и царственного эгоизма жертвою был де Гиш. Всем бросились в глаза волнение и растерянность бедняги, и это уныние было тем более заметно, что никто никогда не видел его с опущенными руками, повешенной головой, потухшим взором. Обычно ни у кого не было сомнений относительно де Гиша, когда имелись в виду вопросы вкуса и элегантности. Сначала большинство приписало его неудачу в балете просто придворной хитрости. Но более проницательные, а таких при дворе немало, скоро догадались, что тут что-то другое.

Наконец все потонуло в бешеных аплодисментах. Королевы выразили милостивое одобрение, публика – шумный восторг. Король удалился переодеться, и де Гиш, предоставленный самому себе, подошел к принцессе. Она сидела в глубине сцены, ожидая

своего второго выхода и предвкушая новый триумф. Не мудрено, что она не заметила или делала вид, что не замечает окружающего.

При виде де Гиша две ее фрейлины, одетые дриадами, предупредительно исчезли.

Де Гиш подошел ближе и поклонился ее королевскому высочеству. Но ее королевское высочество, – заметила она его поклон или нет, – даже не повернула головы. Кровь застыла в жилах несчастного; такое полное равнодушие ошеломило его. Ведь он был далеко, не знал ничего, что происходило, и не мог ничего предугадать. Видя, что его поклон остался без ответа, он приблизился еще на шаг и срывающимся голосом произнес:

– Ваше высочество, имею честь засвидетельствовать вам мое низжайшее почтение.

На этот раз ее королевское высочество сооблаговолила поднять свои томные глаза на графа.

– Ах, это вы, господин де Гиш, – промолвила она, – здравствуйте!

И тотчас же отвернулась.

Граф едва сдержался.

– Ваше королевское высочество, вы восхитительно танцевали, – проговорил он.

– Вы находите? – небрежно отозвалась она.

– Да, ваша роль вполне соответствует характеру вашего королевского высочества.

Принцесса обернулась и пристально посмотрела на де Гиша своими ясными глазами:

– Что вы хотите этим сказать?

– Вы играете богиню прекрасную, надменную и ветреную, – ответил он.

– Вы говорите о Помоне, граф?

– Я говорю о той богине, которую вы играете, ваше королевское высочество.

Принцесса сделала гримасу.

– Но ведь сами вы, сударь, – проговорила она, – превосходный танцор.

– О, ваше высочество, я принадлежу к числу тех, которых совсем не замечают, а если и заметили на мгновение, то сейчас же забывают.

Он глубоко и прерывисто вздохнул, торопливо поклонился и с трепещущим от горя сердцем, с пылающей головой и горящим взором скрылся за декорацией.

Принцесса только слегка пожала плечами. Заметив, что фрейлины из скромности отошли в сторону, она позвала их взглядом.

Это были девицы де Тонне-Шарант и де Монтале.

– Вы слышали, сударыни? – спросила принцесса.

– Что такое, ваше высочество?

– Что сказал граф де Гиш?

– Нет, не слышали.

– Удивительно, – проговорила принцесса сострадательным тоном, – как отразилось изгнание на умственных способностях бедняги де Гиша. – И она продолжала, возвысив голос, чтобы несчастный не упустил ни единого из ее слов:

– Во-первых, он плохо вел свою партию, а кроме того, наговорил кучу вздора.

И она встала, напевая мелодию, под которую собиралась сейчас танцевать.

Гиш слышал все это. Стрела глубоко вонзилась в его сердце. Тогда, раздосадованный, рискуя испортить весь праздник, он бросился бежать, раздирая в клочья прекрасные одеяния своего Вертумна и теряя по дороге ветки винограда, фиговые и миндальные листья и все прочие атрибуты изображаемого им бога.

Через четверть часа он снова был в театре.

Принцесса оканчивала свое па.

Она заметила графа, но не взглянула на него, а он, в свою очередь, взбешенный, повернулся к ней спиной, когда она, в сопровождении своих нимф и сотни льстецов, проходила мимо.

В то же самое время на другом конце театра, у пруда, сидела женщина, устремив взоры на одно ярко освещенное окно. То было окно королевской ложи.

Выходя из театра, чтобы подышать свежим воздухом, де Гиш прошел мимо этой

женщины и поклонился ей. Она поднялась с видом человека, застигнутого врасплох за мечтами, которые хотелось бы скрыть даже от себя самого.

Гиш узнал ее и остановился.

– Добрый вечер, мадемуазель! – приветливо проговорил он.

– Добрый вечер, граф!

– Ах, мадемуазель де Лавальер, – обратился к ней де Гиш, – как я счастлив, что встретил вас!

– Я тоже очень рада нашей встрече, граф, – сказала молодая девушка, делая шаг, чтобы удалиться.

– О, останьтесь, умоляю вас! – попросил де Гиш. – Вы любите уединение. Ах, как я понимаю это; такие наклонности свойственны всем женщинам с добрым сердцем. Ни одной из них не будет скучно вдали от светских удовольствий. О, мадемуазель, мадемуазель!

– Да что с вами, граф? – испуганно спросила Лавальер. – Вы, видимо, расстроены?

– Я? Нет, нет, я совсем не расстроен.

– В таком случае, господин де Гиш, позвольте мне выразить вам свою благодарность. Я знаю, что только благодаря вашему ходатайству меня назначили фрейлиной принцессы.

– Да, правда, я припоминаю, очень рад, мадемуазель. Вы, вероятно, любите кого-нибудь?

– Я?

– Ах, простите, я не знаю, что говорю; тысячу раз прошу прощения.

Принцесса была права, совершенно права; это жестокое изгнание повредило мои умственные способности.

– Но мне кажется, граф, что король принял вас благосклонно?

– Вы полагаете?.. Благосклонно... кажется, благосклонно... да.

– Разумеется, благосклонно; ведь вы, по-моему, вернулись без его позволения?

– Это правда, и мне кажется, что вы правы, мадемуазель. А не видели ли вы где-нибудь здесь виконта де Бражелона?

При этом имени Лавальер вздрогнула.

– К чему этот вопрос? – проговорила она.

– О боже мой! Неужели я оскорбил вас? – спохватился де Гиш. – В таком случае я несчастный человек, достойный сожаления.

– Да, вы несчастны и достойны сожаления, господин де Гиш, вы, по-видимому, ужасно страдаете.

– Ах, мадемуазель, почему у меня нет преданной сестры, верного друга...

– У вас есть друзья, господин де Гиш, и как раз виконт де Бражелон, о котором вы только что говорили, ваш настоящий друг.

– Да, действительно это один из лучших моих друзей. До свидания, мадемуазель, до свидания. Мое почтение.

И он как безумный бросился в сторону пруда. Его черная тень скользила по ярко освещенным деревьям и расплывалась на сверкавшей поверхности пруда.

Лавальер сочувственно проводила его глазами.

– Да, да, – проговорила она, – он страдает, и я начинаю догадываться, из-за чего.

Тут к ней подбежали ее подруги, девицы де Монтале и де Тонне-Шарант.

Они только что сменили костюмы нимф на обычные платья и, возбужденные этой прекрасной ночью и своим успехом, прибежали за своей подругой.

– Как! Вы уже здесь! – воскликнули они, – А мы думали, что придем первые на условленное место.

– Я здесь уже четверть часа, – отвечала Лавальер.

– Разве вам не понравились танцы?

– Нет.

– А весь спектакль?

– Также не понравился. Я предпочитаю смотреть на этот темный лес, в глубине которого

там и сям вспыхивают огоньки, точно мигают глаза какого-то таинственного существа.

– Какая она поэтичная особа, наша Лавальер, – усмехнулась де Тонне-Шарант.

– Несносная! – возразила Монтале. – Когда мы забавляемся, она плачет, а когда нас обижают и мы, женщины, плачем, Лавальер хохочет.

– Нет, я не такая, – заявила де Тонне-Шарант. – Кто меня любит, должен мне льстить, кто мне льстит, тот мне нравится, а уж кто мне нравится...

– Ну, что же ты не договариваешь? – сказала Монтале.

– Это очень трудно, – перебила мадемуазель де Тонне-Шарант с громким смехом. – Договори за меня, ведь ты такая умная.

– А вам, Луиза, нравится кто-нибудь? – спросила Монтале.

– Это никого не касается, – проговорила молодая девушка, поднимаясь с дерновой скамьи, на которой она просидела весь балет. – Слушайте, ведь мы условились повеселиться сегодня без надзора и провожатых Настрое, мы дружны, погода дивная; взгляните, как медленно плывет по небу луна, заливая серебряным светом верхушки каштанов и дубов. Какая чудная прогулка. Мы убежим туда, где нас не увидит ничей глаз и куда никто не последует за нами. Помните, Монтале, шевернийские и шамборские леса и тополи Блуа? Мы поверяли там друг другу свои надежды.

– И тайны.

– Я тоже часто мечтаю, – начала мадемуазель де Тонне-Шарант, – но...

– Она ничего не рассказывает, – заметила Монтале, – и то, о чем думает мадемуазель де Тонне-Шарант, известно одной Атенаис.

– Тес! – остановила их Лавальер. – Мне послышались шаги.

– Скорее, скорее в кусты! – скомандовала Монтале. – Присядьте, Атенаис, вы такая высокая.

Мадемуазель де Тонне-Шарант послушно нагнулась.

В ту же минуту показались два молодых человека, опутив голову, они шли под руку по песчаной аллее вдоль берега.

Девушки прижались друг к другу и затаили дыхание.

– Это господин де Гиш, – шепнула Монтале на ухо мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Это господин де Бражелон, – в свою очередь, шепнула де Лавальер.

Молодые люди приближались, оживленно беседуя между собою.

– Сейчас она была здесь, – сказал граф. – Это не был призрак, я говорил с нею, но, может быть, я напугал ее.

– Каким образом?

– Ах, боже мой! Я не успел еще опомниться от того, что случилось со мною; должно быть, она меня не поняла и испугалась.

– Не волнуйтесь, друг мой. Она добрая и проспит вас; она умница, она поймет.

– А что, если она слишком хорошо поняла?

– Ну что же?

– А вдруг она расскажет?

– Вы не знаете Луизы, граф, – заметил Рауль. – Луиза само совершенство. У нее нет недостатков.

Молодые люди прошли, голоса их мало-помалу затихли.

– Что это значит, Лавальер? – заговорила мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Виконт де Бражелон назвал вас в разговоре Луизой. Почему?

– Мы вместе воспитывались, – отвечала мадемуазель де Лавальер, – мы знали друг друга еще детьми.

– А кроме того, господин де Бражелон твой жених.

– А я и не знала! Это правда, мадемуазель?

– Как вам сказать, – отвечала Луиза, покраснев, – господин де Бражелон сделал мне честь, просил моей руки, но...

– Но что?

– По-видимому, король...
– Что король?
– Король не хочет дать согласия на этот брак.
– Почему? При чем тут король? – проворчала Ора. – Да разве король имеет право вмешиваться в подобные вещи?.. «Пулитика – пулитикой, – как говаривал Мазарини, а любовь – любовью». Раз ты любишь господина де Бражелона и он тебя любит, так венчайтесь. Я даю вам согласие на брак.

Атенаис расхохоталась.

– Ей-богу, я говорю серьезно, – продолжала Монтале, – и думаю, что в данном случае мое мнение стоит мнения короля. Не правда ли, Луиза?

– Воспользуемся тем, что эти господа ушли, – сказала Луиза, – перебежим луг и скроемся в чаще.

– Тем более, – заметила Атенаис, – что около замка и театра мелькают какие-то огни, словно готовятся сопровождать высочайших особ.

– Бежим! – воскликнули девушки.

И, грациозно подобрав длинные юбки, они быстро пересекли лужайку между прудом и самой глухой частью парка.

Лавальер, более скромная и стыдливая, чем ее подруги, почти не подымала юбок и не могла бежать так быстро, как они. Монтале и де Тонне-Шарант пришлось подождать ее.

В этот момент человек, скрывавшийся во рву, поросшем лозняком, выскочил и бросился по направлению к замку.

Издали доносился шум колес экипажей, катившихся по дороге: то были кареты королев и принцессы. Их сопровождали несколько всадников. Копыта лошадей мерно постукивали, как гекзаметр Вергилия. С шумом колес сливалась отдаленная музыка; когда она умолкала, на смену ей раздавалось пение соловья. А вокруг пернатого певца в темной чаще огромных деревьев там и сям светились глаза сов, чутких к пению.

Лань, забравшаяся в папоротник, фазан, примостившийся на ветке, в лисица, лежа в своей норе, тоже слушали музыку. Начинаясь внезапно в кустах возня выдавала присутствие этой невидимой публики.

Наши лесные нимфы каждый раз легонько вскрикивали; но, успокоившись, со смехом продолжали путь.

Так они дошли да королевского дуба, который в молодости своей слышал любовные вздохи Генриха II по прекрасной Диане де Пуатье, а позднее Генриха IV – по прекрасной Габриель д'Эстре. Вокруг дуба садовники устроили скамейку из мха и дерна, где короли могли спокойно отдыхать.

Глава 22.

О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ ПОД КОРОЛЕВСКИМ ДУБОМ

Шутки молодых девушек невольно замерли среди лесной тишины. Даже самая веселая, Монтале, заговорила серьезно.

– Как приятно, – вздохнула она, – откровенно поговорить обо всем, главное – о нас самих.

– Да, – отвечала мадемуазель де Тонне-Шарант, – при дворе под бархатом и брильянтами всегда таится ложь.

– А я – вздохнула Луиза, – никогда не лгу; если я не могу сказать правды, я молчу.

– Этак вы недолго будете в милости, дорогая моя, – бросила Монтале. Здесь не Блуа. Там мы веряли старой принцессе все наши горести и желания. Она иногда вспоминала, что и сама когда-то была молода. Она рассказывала нам про свою любовь к мужу, а мы рассказывали ей про слухи о ее любовных похождениях. Бедная женщина! Она вместе с вами смеялась над этим; где-то она теперь?

– Ах, Монтале, – вскричала Луиза, – ты опять вздыхаешь; лес настраивает тебя на

серьезный лад.

– Милые подружки, – заметила Атенаис, – вам нечего жалеть о жизни в Блуа; ведь и здесь нам неплохо. При дворе мужчины и женщины свободно говорят о таких вещах, о которых строго-настрого запрещают говорить матери, опекуны, а особенно духовники. А ведь это все-таки приятно, не правда ли?

– Ах, Атенаис! – проговорила Луиза и покраснела.

– Атенаис сегодня откровенна. Воспользуемся этим, – засмеялась Монтале.

– Да, пользуйтесь; сегодня вечером у меня можно выпытать сокровеннейшие тайны.

– Ах, если бы господин де Монтеспан был с нами! – проговорила Монтале.

– Вы думаете, я люблю господина де Монтеспана? – спросила молодая девушка.

– Он такой красавец.

– Да, и это большое достоинство в моих глазах.

– Вот видите.

– Даже больше скажу: из всех здешних мужчин он самый красивый, самый...

– Что там такое? – перебила Луиза, быстро вскочив со скамейки.

– Вероятно, лань пробирается в чаще.

– Я боюсь только людей, – сказала Атенаис.

– Когда они не похожи на господина де Монтеспана?

– Полно дразнить меня... Господин де Монтеспан действительно ухаживает за мной, но это еще ничего не значит. Ведь и господин де Гиш ухаживает за принцессой!

– Ах, бедняга! – промолвила Луиза.

– Почему бедняга?... Я полагаю, что принцесса достаточно красива и занимает довольно высокое положение.

Лавальер грустно покачала головой.

– Когда любишь, – сказала она, – то любишь не за красоту и высокое положение, главное – это человек, его душа.

Монтале громко рассмеялась.

– Душа, взгляды – какие нежности! – фыркнула она.

– Я говорю только о себе, – отвечала Лавальер.

– Благородные чувства! – холодно, с оттенком покровительства заметила Атенаис.

– Вам незнакомы эти чувства, мадемуазель? – спросила Луиза.

– Очень знакомы; но я продолжаю. Как можно жалеть человека, который ухаживает за принцессой? Сам виноват.

– Нет, нет, – перебила Лавальер, – принцесса играет чувством, как маленькие дети огнем, не понимая, что одна искра может сжечь целый дворец.

Блестит, и ей этого довольно. Она хочет, чтобы вся жизнь ее была непрерывною радостью и любовью. Господин де Гиш любит ее, а она его любить не будет.

Атенаис презрительно расхохоталась.

– Какая там любовь? – пожала она плечами. – Кому нужны эти благородные чувства? Хорошо воспитанная женщина с великодушным сердцем, вращаясь среди мужчин, должна внушать любовь, даже обожание, а про себя думать так: «Мне кажется, что если бы я была не я, то этого человека ненавидела бы менее, чем всех остальных».

– Так вот что ожидает господина де Монтеспана! – вскричала Лавальер, всплеснув руками.

– Его, как и всякого другого. Ведь я все-таки его предпочитаю, и будет с него! Дорогая моя, мы, женщины, царствуем здесь, пока мы молоды, между пятнадцатью и тридцатью пятью годами. А потом живите себе сердцем, все равно у вас, кроме сердца, ничего не останется.

– Как это страшно! – прошептала Лавальер.

– Bravo! – воскликнула Монтале. – Молодец, Атенаис, вы далеко пойдете!

– Вы не одобряете меня?

– Одобряю всей душой! – отозвалась насмешница.

– Вы шутите, не правда ли, Монтале? – спросила Луиза.

– Нет, нет, я вполне согласна с тем, что сказала Атенаис, только...

– Только что?

– Только не умею так действовать. Я строю планы, которым позавидовали бы нидерландский наместник и сам испанский король, а когда наступает время действовать, ничего не выходит.

– Вы трусите? – презрительно заметила Атенаис.

– Позорно.

– Мне жаль вас, – сказала Атенаис. – Но, по крайней мере, умеете вы выбирать?

– Право, не знаю. Нет!.. Судьба смеется надо мной; мечтаю об императорах, а встречаю...

– Ора, Ора, перестань! – вскричала Луиза. – Ради красного словца ты готова пожертвовать людьми, которые тебя преданно любят.

– Ну, до этого мне нет дела: кто меня любит, должен быть счастлив, если я не гоню его прочь. Беда, если у меня явится слабость, беда и для него, если я буду вымещать на нем эту слабость. А ведь буду! Честное слово, буду!

– Ора!

– Так и надо, – сказала Атенаис, – может быть, таким путем вы и добьетесь, чего хотите. Мужчины во многом настоящие глупцы, они одинаково называют кокетством и гордость и непостоянство женщин. Я, например, горда, вернее – неприступна, я резко отталкиваю претендентов, но я при этом вовсе не хочу удержать их около себя. А мужчины уверяют, что я кокетка, их самолюбие нашептывает им, будто я мечтаю об их ухаживании.

Другие женщины, вроде вас, Монтале, поддаются на нежные речи; они погибли бы, если бы на выручку не являлся благодетельный инстинкт, заставляющий их неожиданно менять тактику и наказывать того, кому они чуть было не уступили.

– Вот это и называется ученой диссертацией! – заметила Монтале тоном лакомки, смакующей изысканное кушанье.

– Ужасно! – прошептала Луиза.

– И вот благодаря такому кокетству – а это и есть настоящее кокетство, – продолжала фрейлина, – благодаря ему любовник, который только что гордился своими успехами, вдруг сразу теряет всю свою спесь. Он уже выступал победителем, а тут приходится идти на попятный. В результате вместо ревнивого, неудобного, скучного мужа мы имеем покорного, страстного и пылкого любовника, так как перед ним каждый раз новая любовница.

Вся суть кокетства в этом. Благодаря ему делаешься царицей среди женщин, раз бог не дал драгоценного качества – умения управлять собственным сердцем и разумом.

– Какая же вы ловкая! – воскликнула Монтале. – И как хорошо вы поняли роль женщины!

– Я хочу обеспечить себе счастливую жизнь, – скромно заметила Атенаис. – Как все слабые любящие сердца, я защищаюсь против гнета сильных.

– А Луиза молчит.

– Просто я не могу понять вас, – отозвалась Луиза. – Вы говорите так, точно живете не на земле, а на какой-то другой планете.

– Ну уж, нечего сказать, хороша ваша земля – земля, где мужчина курит фамиям перед женщиной, пока у нее не закружится голова и она не упадет; тогда он наносит ей оскорбление.

– Да зачем же падать? – проговорила Луиза.

– Ах, это совсем новая теория, дорогая моя; какое же вы знаете средство, чтобы устоять, если будете увлечены?

– О, если б только вы знали, что такое сердце, – воскликнула молодая девушка, подняв свои красивые влажные глаза к темному небу, – я бы вам все объяснила и убедила бы вас; любящее сердце сильнее всего вашего кокетства и всей вашей гордости. Кокетка может вызвать волнение, даже страсть, но никогда не внушит истинной любви. Любовь, как – я ее понимаю, – это совершенное, полное, непрерывное самопожертвование, и Притом обоюдное. Если я полюблю когда-нибудь, я буду умолять своего возлюбленного не посягать на мою

чистоту и свободу; я скажу ему – и он поймет это, – что душа моя разрывается, отказываясь от наслаждений; а он, обожая меня и тронутый моей скорбной жертвой, с своей стороны также пожертвует собою; он будет уважать меня, не будет добиваться моего падения, чтобы после нанести мне оскорбление, по вашей кощунственной теории. Так я понимаю любовь. Неужели вы скажете, что мой возлюбленный будет презирать меня? Ни за что не поверю, разве только по своей натуре он подлец, но сердце мне порукой, что я не остановлю свой выбор на подлеце. Мой взгляд послужит ему наградой за все его жертвы и пробудит в нем такие доблести, которых он за собой не знал.

– Луиза! – перебила Монтале. – Все это только слова, на деле вы поступаете совсем иначе.

– Что вы хотите сказать?

– Рауль де Бражелон обожает вас, чуть не на коленях умоляет вас о любви. Несчастный виконт – жертва вашей добродетели. Из-за моего легкомыслия или из-за гордости Атенаис он бы никогда так не страдал.

– Просто это особый вид кокетства, – усмехнулась Атенаис, – мадемуазель пускает его в ход, не подозревая об этом.

– Боже мой! – вскричала Луиза.

– Да. Знаем мы это простодушие: повышенная чувствительность, постоянная экзальтация, страстные порывы, ни к чему не приводящие... О, такой прием – верх искусства и тоже очень эффективный! Немного поразмыслив, я готова, пожалуй предпочесть его моей гордости; во всяком случае, он гораздо тоньше кокетства Монтале.

И обе фрейлины залились смехом.

Лавальер молча покачала головой и сказала:

– Если бы я услышала в присутствии мужчины четверть того, что вы тут наговорили, или даже была убеждена, что вы это думаете, я бы умерла на месте от стыда и обиды.

– Так умирайте, нежная малютка, – отвечала мадемуазель де Тонне-Шарант, – хотя здесь и нет мужчин, зато есть две женщины, ваши подруги, которые прямо объявляют вам, что вы – простодушная кокетка, то есть опаснейшая из всех.

– Ну что вы говорите! – воскликнула Луиза, покраснев и чуть не плача.

В ответ снова раздался взрыв хохота.

– Постойте, я спрошу об этом у Бражелона, у этого бедного мальчика, который знает тебя лет двенадцать, любит тебя и, однако, если верить тебе, ни разу не поцеловал даже кончика твоих пальцев.

– Ну-ка, что вы скажете о такой жестокости, женщина с нежным сердцем?

– обратилась Атенаис к Лавальер.

– Скажу одно только слово: добродетель. Что же, вы, пожалуй, отрицаете и добродетель?

– Послушай, Луиза, не лги, – попросила Ора, беря ее за руку.

– Как! Двенадцать лет неприступности и строгости!

– Двенадцать лет тому назад мне было всего пять лет. Детские шалости не идут в счет.

– Ну, хорошо, вам теперь семнадцать лет; будем считать не двенадцать лет, а три года. Значит, в течение трех лет вы постоянно были жестоки.

Но против вас говорят тенистые рощи Блуа, свидания при свете звезд, ночные встречи под платанами, его двадцать лет и ваши четырнадцать, его пламенные взоры, говорящие красноречивее слов.

– Что бы там ни было, но я сказала вам правду.

– Невероятно!

– Но предположите, что...

– Что такое? Говори.

– Договаривайте, а то мы, пожалуй, предположим такое, что вам и во сне не снилось.

– Можете предположить, что мне казалось, будто я люблю, на самом же деле я не люблю.

– Как, ты не любишь?

– Что поделаешь! Если я поступала не так, как другие, когда они любят, значит, я не люблю, значит, мой час еще не пробил.

– Берегись, Луиза! – сказала Монтале. – Отвечу тебе твоим давешним предостережением. Рауля здесь нет, не обижай его, будь великодушна; если, взвесив все, ты приходишь к заключению, что ты его не любишь, скажи ему это прямо. Бедный юноша!

И она снова захохотала.

– Мадемуазель только что жалела господина де Гиша, – заметила Атенаис. – Нет ли тут связи? Может быть, равнодушие к одному объясняется состраданием к другому?

– Что ж, – грустно вздохнула Луиза, – оскорбляйте, смейтесь: вы не Способны меня понять.

– Боже мой, какая обида, и горе, и слезы! – воскликнула Монтале. – Мы шутим, Луиза; уверяю тебя, мы вовсе не такие чудовища, как ты думаешь.

Взгляни-ка на гордую Атенаис, она не любит господина де Монтеспана, это правда, но она пришла бы в отчаяние, если бы Монтеспан ее не любил...

Взгляни на меня, я смеюсь над господином Маликорном, но бедняга Маликорн отлично умеет, когда хочет, целовать у меня руку. К тому же, самой старшей из нас еще не минуло и двадцати лет... все впереди!

– Сумасшедшие вы, право, сумасшедшие! – прошептала Луиза.

– Да, – заметила Монтале, – ты одна в здравом уме.

– Конечно!

– Значит, вы так-таки и не любите беднягу Бражелона? – спросила Атенаис.

– Может быть? – перебила Монтале, – она еще не совсем уверена в этом.

На всякий случай имей в виду, Атенаис, если господин де Бражелон окажется свободен, приглядиись хорошенько к нему раньше, чем дашь слово господину де Монтеспану.

– Дорогая моя, господин де Бражелон не единственный интересный мужчина. Господин де Гиш, например, не уступит ему.

– На сегодняшнем балу он не имел успеха, – сказала Монтале, – принцесса не удостоила его ни единым взглядом.

– Вот господин де Сент-Эньян, тот блистал; я уверена, что многие из женщин, видевших, как он танцевал, не скоро его забудут. Не правда ли, Лавальер?

– Почему вы спрашиваете меня? Я его не видела и не знаю.

– Нечего хвастаться своей добродетелью! Есть же у вас глаза!

– Зрение у меня прекрасное.

– Значит, вы сегодня вечером видели всех наших танцоров?

– Да, почти.

– Это «почти» звучит не очень любезно для них.

– Что делать!

– Кого же из всех этих кавалеров, которых вы видели, вы предпочитаете?

– Да, – подхватила Монтале, – господина де Сент-Эньяна, господина де Гиша, господина...

– Никого, все одинаково хороши.

– Неужели в этом блестящем собрании, в этом первом в мире дворе вам никто не понравился?

– Я вовсе этого не говорю.

– Так поделитесь с нами. Назовите ваш идеал.

– Какой же идеал?

– Значит, он все-таки есть?

– Право, – воскликнула выведенная из терпения Лавальер, – я решительно не понимаю вас. Ведь и у вас есть сердце, как у меня, и есть глаза, и вдруг вы говорите о господине де Гише, о господине де Сент-Эньяне, еще о ком-то, когда на балу был король.

Эти слова, произнесенные быстро, взволнованно и страстно, вызвали такое удивление обеих подруг, что Лавальер сама испугалась того, что сказала.

– Король! – вскричали в один голос Монтале и Атенаис.

Луиза закрыла лицо руками и опустила голову.

– Да, да! Король! – прошептала она. – Разве, по-вашему, кто-нибудь может сравниться с королем!

– Пожалуй, вы были правы, мадемуазель, когда сказали, что у вас превосходное зрение; вы видите далеко, даже слишком далеко. Только, увы, король не из тех людей, на которых могут останавливаться наши жалкие взоры.

– Вы правы, вы правы! – вскричала Луиза. – Не все глаза могут безопасно смотреть на солнце; но я все-таки взгляну на него, хотя бы оно и ослепило меня.

В ту же минуту, словно в ответ на эти слова, раздался шорох листвы и шелест шелка за соседним кустом.

Фрейлины в испуге вскочили. «Они отчетливо видели, как закачались ветки, но не разглядели, кто тронул их.

– Ах, это, наверно, волк или кабан! – перепугалась Монтале. – Бежим, бежим скорее!

И все три в неописуемом страхе бросились бегом в первую попавшуюся аллею и перевели дух только у опушки леса. Там они остановились и прижались друг к дружке; сердце у всех сильно билось; только через несколько минут им удалось прийти в себя. Лавальер совсем обессилела.

Ора и Атенаис ее поддерживали.

– Мы едва спаслись, – проговорила Монтале.

– Ах, мадемуазель, – сказала Луиза, – я боюсь, что это был зверь пострашнее волка. Пусть бы меня лучше растерзал волк, чем кто-нибудь подслушал мои слова. Ах я, сумасшедшая! Как я могла сказать, даже подумать такие вещи!

При этом она вся поникла, как былинка; ноги ее подкосились, силы изменили ей, и, потеряв сознание, она выскользнула из державших ее рук и упала на траву.

Глава 23. БЕСПОКОЙСТВО КОРОЛЯ

Оставим несчастную Лавальер в обмороке, с хлопчущими около нее подругами, и вернемся к королевскому дубу.

Не успели молодые девушки отбежать от него на каких-нибудь двадцать шагов, как спугнувший их шум листвы усилился. Из-за куста, раздвигая ветки, показался человек; выйдя на лужайку и увидев, что скамья опустела, он разразился громким смехом.

По его знаку из-за кустов вышел и его спутник.

– Неужели, государь, – начал спутник, – вы всполошили наших барышень, ворковавших про любовь?

– Да, к сожалению, – ответил король. – Не бойся, Сент-Эньян, выходи.

– Вот счастливая встреча, государь! Если бы я осмелился дать вам совет, недурно бы нам пуститься вдогонку за ними.

– Они уж далеко.

– Пустяки! Они бы с удовольствием дали догнать себя, в особенности если бы знали, кто гонится за ними.

– Вот самонадеянность!

– А как же! Одной из них я пришелся по вкусу, другая вас сравнивает с солнцем.

– Вот потому-то нам и надо прятаться, Сент-Эньян. Где же это видано, чтобы солнце светило по ночам!

– Ей-богу, ваше величество, вы нелюбопытны. Я бы на вашем месте непременно поинтересовался узнать, кто такие эти две нимфы, две дриады или две лесные феи, которые такого хорошего мнения о нас.

– О, я и без того узнаю их.

– Каким образом?

– Да просто по голосу. Это, должно быть, фрейлины; у той, которая говорила про меня, прелестный голос.

– Кажется, ваше величество становитесь равнодушно к лестии?

– Нельзя сказать, чтобы ты злоупотреблял ею.

– Простите, государь, я глуп. А что же та страсть, ваше величество, в которой вы мне признались, разве она уже забыта?

– Ну, как забыта! Вовсе нет. Разве можно забыть такие глаза, как у мадемуазель де Лавальер?

– Да, но у той, другой, такой прелестный голос...

– У кого это?

– Да у той, которая так восхищена солнцем.

– Послушайте, господин де Сент-Энъян!

– Виноват, государь.

– Впрочем, я не в претензии на тебя за то, что ты думаешь, будто мне одинаково нравятся и приятные голоса, и красивые глаза. Я знаю, что ты ужасный болтун, и завтра же мне придется поплатиться за свою откровенность с тобой.

– Как так?

– Конечно. Завтра же все узнают, что я заинтересован крошкой Лавальер; но берегись, Сент-Энъян; я одному тебе открыл свою тайну, и если хоть один человек проговорится мне о ней, я буду знать, кто выдал меня.

– С каким жаром вы говорите, государь.

– Совсем нет, я только не желаю компрометировать бедную девушку.

– Не беспокойтесь, государь.

– Так ты даешь мне слово молчать?

– Даю, государь.

«Отлично, – подумал, улыбаясь, король, – завтра же всем будет известно, что я ночью гонялся за Лавальер».

– Знаешь, мы, кажется, заблудились, – проговорил Людовик, осматриваясь кругом.

– Ну, это не так страшно.

– А куда мы выйдем через эту калитку?

– К перекрестку аллеи, государь.

– К тому месту, куда мы шли, когда слышали женские голоса?

– Именно, государь, особенно последние слова, когда они называли меня и вас.

– Ты что-то уж очень часто вспоминаешь об этом.

– Простите, ваше величество, но меня, право, приводит в восторг мысль, что есть на свете женщина, которая думает обо мне, когда я и не подозреваю об этом и вовсе не старался заинтересовать ее. Ваше величество не можете понять этого, так как ваше высокое положение привлекает к вам всеобщее внимание.

– Ну нет, Сент-Энъян, – сказал король, дружески опираясь на руку своего спутника, – согласишься ли, что наивное признание, это бескорыстное увлечение женщины, которая, быть может, никогда не привлечет мои взоры... словом, вся таинственность сегодняшнего приключения задела меня за живое, и, право, если бы я не интересовался так сильно Лавальер...

– Пусть это не останавливает ваше величество. Она отнимет немало времени.

– Что ты хочешь сказать?

– По слухам, Лавальер очень строгой нравственности.

– Ты еще больше подзадорил меня, Сент-Энъян. Мне очень бы хотелось разыскать ее. Пойдем скорее.

Король лгал: ему совсем не хотелось разыскивать ее; во он должен был играть роль.

Он быстро зашагал вперед. Сент-Энъян следовал за ним. Вдруг король остановился; остановился и его спутник.

– Сент-Энъян, – произнес он, – мне чудится, будто кто то стонет.

Прислушайся.

– Действительно. Кажется, даже зовут на помощь.

– Как будто в той стороне, – сказал король, указывая вдаль.

– Похоже на плач, на женские рыдания, – заметил до Сент-Эньяна.

– Бежим туда!

И король с своим любимцем бросились по тому направлению, откуда доносились голоса. По мере того как они приближались, крики становились все явственнее.

– Помогите, помогите! – кричали два голоса.

Молодые люди пустились бежать еще быстрее.

Вдруг они увидели на откосе, под развесистыми липами, женщину, стоящую на коленях и поддерживающую голову другой женщины, лежащей в обмороке. В нескольких шагах, посреди дороги, стояла третья женщина и громко звала на помощь.

Король опередил своего спутника, перепрыгнул через ров и подбежал к группе в ту самую минуту, как в конце аллеи, ведущей к замку, показалась кучка людей, спешивших на тот же крик о помощи.

– Что случилось, мадемуазель? – спросил Людовик.

– Король! – вскричала Монтале и от изумления разжала руки, Лавальер упала на траву.

– Да, это я. Как вы неловки! Кто она, ваша подруга?

– Государь, это мадемуазель де Лавальер. Она в обмороке.

– Ах, боже мой! – воскликнул король. – Скорее за доктором!

Король постарался выказать крайнее волнение. Но от де Сент-Эньяна не ускользнуло, что и голос и жесты короля не соответствовали той страстной любви, в которой он признался своему спутнику.

– Сент-Эньян, – продолжал король, – пожалуйста, позаботьтесь о мадемуазель де Лавальер. Позовите доктора. А я хочу предупредить принцессу о несчастном случае с ее фрейлиной.

Сент-Эньян остался хлопотать, чтобы мадемуазель де Лавальер поскорее перенесли в замок, а король бросился вперед, обрадовавшись случаю, который давал ему повод подойти к принцессе и заговорить с нею.

По счастью, в это время мимо проезжала карета; ее остановили, и сидевшие, узнав о происшествии, поспешили освободить место для мадемуазель де Лавальер.

Ветерок от быстрой езды скоро оживил девушку.

Когда подъехали к замку, она, несмотря на слабость, с помощью Атенаис и Монтале смогла выйти из кареты.

Король же тем временем нашел принцессу в рощице, уселся рядом с ней и незаметно старался прикоснуться ногой к ее ноге.

– Будьте осторожны, государь, – тихо сказала ему Генриетта, – у вас далеко не равнодушный вид.

– Увы! – отвечал Людовик XIV чуть слышно. – Боюсь, что мы не в силах будем выполнить наш уговор.

Потом продолжал вслух:

– Вы знаете о происшествии?

– Каком происшествии?

– Ах, боже мой! Увидя вас, я позабыл, что нарочно пришел сюда рассказать вам о нем. Я очень огорчен: одна из ваших фрейлин, Лавальер, только что упала в обморок.

– Ах, бедняжка, – спокойно проговорила принцесса, – отчего это?

Потом прибавила шепотом:

– О чем вы думаете, государь! Вы хотите заставить всех поверить, что увлечены этой девушкой, и сидите здесь, когда она, может быть, при смерти.

– Ах, принцесса! – со вздохом промолвил король. – Вы лучше меня играете свою роль, вы все взвешиваете.

И он поднялся с места.

– Принцесса, – сказал он так, что все слышали, – позвольте мне оставить вас; я сильно беспокоюсь и лично желал бы удостовериться, подана ли ей помощь и хороший ли за нею уход.

И король пошел к Лавальер, а присутствовавшие передавали друг другу его слова: «Я сильно беспокоюсь».

Глава 24. **ТАЙНА КОРОЛЯ**

По дороге Людовик встретил графа де Сент-Эньяна.

– Ну что, Сент-Эньян? – спросил он о притворным беспокойством. – Как наша больная?

– Простите, государь, – пробормотал Сент-Эньян, – к стыду моему должен признаться, что я ничего не знаю о ней.

– Ничего не знаете? – сказал король, притворяясь рассерженным.

– Простите, государь, но, видите ли, я только что встретился с одной из трех болтушек, и, признаюсь, эта встреча меня отвлекла.

– Так вы нашли ее? – с живостью спросил король.

– Нашел ту, которая так лестно отозвалась обо мне, а найдя свою, я начал искать и вашу, государь; и как раз в это самое время я имел счастье встретиться с вами.

– А как зовут вашу красавицу, Сент-Эньян? Или это, может быть, секрет?

– Государь, разумеется, это должно быть секретом, и даже величайшим секретом, но для вас, ваше величество, нет тайн. Это мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Она красива?

– Необыкновенная красавица, государь, а узнал я ее по голосу, которым она так нежно произносила мое имя. Я подошел к ней и заговорил, что было легко в толпе; я начал спрашивать ее, и она, ничего не подозревая, рассказала мне, что несколько минут назад была с двумя подругами под королевским дубом, как вдруг кто-то испугал их: не то волк, не то злоумышленник; они, разумеется, бросились бежать...

– А как же зовут двух ее подруг? – с живостью перебил графа король.

– Государь, – отвечал Сент-Эньян, – велите заключить меня в Бастилию.

– Почему?

– Потому что я эгоист и болван. Я так был поражен своей счастливой победой и открытием, что просто потерял голову. Кроме того, я полагал, что ваше величество настолько заинтересованы мадемуазель де Лавальер, что не придали никакого значения подслушанной нами болтовне. Потом мадемуазель де Тонне-Шарант покинула меня и вернулась к Лавальер.

– Будем надеяться, что и мне повезет так же, как и тебе. Ну, пойдем к больной.

«Вот штука-то! – думал про себя Сент-Эньян. – А ведь он действительно увлечен этой малюткой; вот никогда бы не подумал».

Он указал королю ту комнату, куда провели Лавальер. Король вошел.

Сент-Эньян последовал за ним.

В просторной зале с низким потолком, у окна, выходявшего на цветник, в широком кресле сидела Лавальер и полной грудью вдыхала ароматный ночной воздух.

Ее роскошные белокурые волосы были распущены и волнами спускались на полуприкрытые кружевами грудь и плечи, из глаз катились крупные слезы.

Матовая бледность покрывала ее лицо, придавая ей неописуемую прелесть, а физические и нравственные страдания наложили на ее лицо отпечаток благородной скорби. Она сидела неподвижно, точно мертвая. Казалось, она не слышала ни шушуканья подруг, суетившихся около нее, ни отдаленного гула толпы, доносившегося в открытое окно. Она ушла в себя, и только ее прекрасные тонкие руки изредка вздрагивали, точно от невидимого прикосновения. Задумавшись, она не заметила, как вошел король.

Он издали увидел ее прелестную фигуру, облитую мягким серебряным светом луны.

– Боже мой, – воскликнул он с невольным ужасом, – она умерла!

– Нет, нет, государь, – сказала шепотом Монтале. – Напротив, ей теперь гораздо лучше. Не правда ли, Луиза, сейчас ты чувствуешь себя лучше?

Лавальер ничего не ответила.

– Луиза, – продолжала Монтале, – король беспокоится о твоём здоровье.

– Король! – вскричала Луиза, вскочив с кресла, словно ее обожгло пламя. – Король беспокоится о моем здоровье?

– Да, – отвечала Монтале.

– И король пришел сюда? – проговорила Лавальер, не решаясь поднять глаза.

– Боже мой, тот самый голос! – шепнул король на ухо Сент-Эньяну.

– Вы правы, государь, – отвечал Сент-Эньян. – Это та самая, которая влюблена в солнце.

– Тсс! – остановил его король.

Потом он подошел к Лавальер.

– Вы нездоровы, мадемуазель? Я видел вас несколько минут назад в обмороке, на траве. Как это случилось с вами?

– Государь, – пробормотала бедная девушка, бледнея и дрожа, словно в лихорадке, – право, я сама не знаю.

– Вы, вероятно, много ходили, – сказал король. – Быть может, от усталости...

– Нет, государь, – поспешно ответила за свою подругу Монтале, – это не от усталости: почти весь вечер мы просидели под королевским дубом.

– Под королевским дубом? – вздрогнув, прошептал король. – Так и есть, я не ошибся.

И он подмигнул графу.

– Да, да, – подтвердил Сент-Эньян, – под королевским дубом, вместе с мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Откуда вы это знаете? – спросила Монтале.

– Очень просто: сама мадемуазель де Тонне-Шарант сказала мне.

– Так она, вероятно, сказала вам и причину обморока Луизы?

– Она говорила мне не то про волка, не то про злоумышленника, я не понял хорошенько.

Лавальер слушала с остановившимся взглядом, тяжело дыша, словно угадывала истину. Людовик приписал ее состояние перенесенному испугу.

– Не бойтесь, – успокаивал он ее, заметно волнуясь и сам, – волк, который так напугал вас, был о двух ногах.

– Значит, это был человек! – воскликнула Луиза. – Значит, кто-то нас подслушивал!

– А если бы даже и так! Разве вы говорили вещи, которые нельзя слышать?

Лавальер всплеснула руками и закрыла лицо, чтобы скрыть выступившую краску.

– Ах! – застонала она. – Ради бога, скажите, кто прятался в кустах?

Король взял ее за руку.

– Это я, мадемуазель, – проговорил он, почтительно наклонившись к ней, – неужели вы боитесь меня?

Лавальер громко вскрикнула: второй раз силы покинули ее, она похолодела и со стоном, без чувств повалилась в кресло. Но король успел протянуть руку и поддержать ее.

А в двух шагах стояли де Тонне-Шарант и Монтале; они тоже окаменели, вспоминая свой разговор с Лавальер, и совсем позабыли, что нужно прийти ей на помощь, настолько они растерялись от присутствия короля, который, преклонив колено, держал в объятиях потерявшую сознание Лавальер.

– Вы все слышали, государь? – с ужасом пролепетала Атенаис.

Король не ответил; он пристально смотрел в полужакрытые глаза Лавальер, пожимая ее свесившуюся руку.

– Все, до последнего слова, – отозвался Сент-Эньян, подходя к мадемуазель де Тонне-Шарант в надежде, что и она упадет в обморок к нему в объятия.

Но гордую Атенаис трудно было довести до обморока: она бросила уничтожающий взгляд на Сент-Эньяна и выбежала из комнаты.

Более храбрая Монтале нагнулась к Луизе и приняла ее из рук короля, у которого уже

начинала кружиться голова от душистых волос лежавшей без чувств Луизы.

– В добрый час! – прошептал Сент-Энъян. – Занятное происшествие! Глуп я буду, если не разглашу о нем первый.

Король подошел к нему и, сделав предостерегающий жест, сказал дрожащим голосом:

– Ни слова, граф!

Бедный король совсем забыл, что час назад он говорил Сент-Энъяну то же самое, но с противоположным намерением, то есть с намерением придать делу возможно более широкую огласку.

Разумеется, второе предостережение оказалось таким же бесполезным, как и первое. Через полчаса всему Фонтенбло стало известно, что мадемуазель де Лавальер под королевским дубом призналась Монтале и Тонне-Шарант в своей любви к королю.

Стало известно также, что король был очень встревожен состоянием здоровья мадемуазель де Лавальер, что он побледнел и задрожал, заключив в объятия упавшую в обморок красавицу. Таким образом, никто не сомневался, что совершилось величайшее событие – король влюбился в мадемуазель де Лавальер. Принц мог спать совершенно спокойно.

Удивленная не менее других таким оборотом дела, королева-мать поспешила сообщить о нем молодой королеве и Филиппу Орлеанскому. Но каждому из них она передала новость по-разному. Невестке она сказала так:

– Видите, Тереза, как вы ошибались, обвиняя короля: сегодня ему приписывают уже новую любовь, наверно, и этот слух такой же пустой, как и вчерашний.

А рассказав приключение под королевским дубом принцу, она добавила:

– До чего вас ослепила ревность, дорогой мой Филипп! Ясно как день, что король совсем потерял голову из-за этой девчонки Лавальер. Смотрите не проболтайтесь об этом жене, а то, пожалуй, это дойдет и до королевы.

Последнее предупреждение подействовало немедленно. Лицо принца просияло; он торжествовал; так как еще не было двенадцати, а праздник должен был продолжаться до двух часов ночи, то, разыскав жену, он предложил ей руку и пошел гулять.

Через несколько шагов он сделал именно то, против чего предостерегала его мать.

– Смотрите, не передавайте королеве, что болтают про короля, – сказал он таинственно.

– А что болтают? – осведомилась принцесса.

– Что мой брат вдруг самым нелепым образом влюбился.

– В кого?

– В девчонку Лавальер.

Было темно, и принцесса могла улыбаться сколько угодно.

– Вот как! – проговорила она. – А с каких это пор?

– По видимому, недавно, всего несколько дней тому назад. Но это был только дымок, пламя вспыхнуло лишь сегодня.

– Что ж, по моему, у короля прекрасный вкус: девочка очаровательна.

– Вы смеетесь, дорогая моя.

– Я? Почему же?

– Во всяком случае, эта страсть кому-нибудь принесет счастье, хотя бы самой Лавальер.

– Право, вы говорите так, точно читаете в сердце моей фрейлины. Почему вы так уверены, что она согласна отвечать на страсть короля?

– А почему вы уверены, что она не согласна?

– Она любит виконта де Бражелона.

– Вы думаете?

– Она даже его невеста.

– Была.

– Как так?

– Да ведь когда к королю обратились за разрешением на этот брак, он отказался дать согласие.

– Отказался?

– Отказался, несмотря на то, что его просил граф де Ла Фер, которого он так уважает за участие в восстановлении на престоле вашего брата и за многое другое.

– Тогда бедным влюбленным ничего больше не остается, как ждать, чтобы король изменил свое решение, они молоды, времени впереди у них много.

– Ах, душечка, – сказал Филипп, рассмеявшись, в свою очередь, – я вижу, что вы не знаете самой сути дела, не знаете, что именно так глубоко тронуло короля.

– Что же его так тронуло? Говорите скорее!

– Одно весьма романтическое приключение.

– Вы знаете, как я люблю такие приключения, и томите меня, – нетерпеливо сказала принцесса.

– Так вот, под королевским дубом... Вы знаете, где этот королевский дуб?

– Не все ли равно где. Под королевским дубом.

– Видите ли, мадемуазель де Лавальер была там с двумя подругами и, полагая, что они совершенно одни, призналась в своей страстной любви к королю.

– Вот как! – сказала принцесса, начиная волноваться. – Она призналась в любви к королю?

– Да.

– Когда?

– Час тому назад.

Принцесса вздрогнула.

– А об этой ее страсти никому не было известно раньше?

– Никому.

– Даже самому его величеству?

– Даже самому его величеству. Малютка глубоко хранила свою тайну, но не выдержала и проговорила подругам.

– Откуда вы узнали эту чепуху?

– Да оттуда же, откуда всем стало известно об этом.

– А откуда известно всем?

– От самой Лавальер, которая созналась в этой любви своим подругам Монтале и Тонне-Шарант.

Принцесса остановилась и нервным движением выдернула свою руку из-под руки мужа.

– Так час тому назад она сделала это признание?

– Да, приблизительно час тому назад.

– И королю стало об этом известно?

– В этом именно и заключается самая романтическая сторона приключения. Король с Сент-Эньяном стояли недалеко от дуба и, разумеется, ни слова не упустили из всего этого интересного разговора.

При этих словах принцесса почувствовала, что ее точно ударили ножом в сердце.

– Но я после этого видалась с королем, – проговорила она опрометчиво, – и он ничего не сказал мне об этом.

– Ну вот! – наивно воскликнул принц, как торжествующий супруг. – Еще бы он сам рассказал о том, что строжайше запретил передавать вам.

– Что-о-о! – гневно вскричала принцесса.

– Я говорю, что все это хотели скрыть от вас.

– Зачем же это понадобилось?

– Боялись, что вы так дружны с королевой, что не выдержите и разболтаете ей все.

Принцесса поникла. Ей был нанесен смертельный удар. И она не успокоилась, пока не встретила с королем.

Король, конечно, узнает последним, что про него говорят, подобно тому как любовник – единственный человек, который не знает, что говорят про его возлюбленную. Поэтому, когда Людовик увидел искавшую его принцессу, он подошел к ней немного смущенный, но все

такой же любезный и предупредительный.

Принцесса ждала, чтобы он сам заговорил о Лавальер. Не дождавшись, она спросила:

– Ну, что случилось с этой девчонкой?

– С какой девчонкой? – спросил король.

– С Лавальер... Ведь вы говорили мне, государь, что она упала в обморок.

– Ей все еще нехорошо, – проговорил король с притворным равнодушием.

– Это, пожалуй, может повредить тем слухам, которые вы так хотели пустить, государь.

– Каким слухам?

– Что вы интересуетесь Лавальер.

– Надеюсь, что они сами распространятся, – отвечал рассеянным тоном король.

Принцесса подождала еще; она хотела знать, расскажет ли ей король о происшествии под королевским дубом. Но король и не заикнулся о нем.

Принцесса тоже не решалась заговорить. Так они и расстались, ни словом не обмолвившись обо всех этих событиях.

Как только король удалился, принцесса тотчас же разыскала Сент-Эньяна. Это было нетрудно, так как граф, подобно сторожевому судну, конвоирующему большие корабли, всегда находился где-нибудь поблизости от короля.

В ту минуту принцессе нужен был именно такой человек, как Сент-Эньян.

А он, со своей стороны, искал слушателя познатнее, чтобы изложить разговор под дубом во всех подробностях. Поэтому он не заставил себя долго упрашивать. Когда он окончил свое повествование, принцесса сказала:

– Признайтесь, что это прелестная сказка.

– Не сказка, а истинное происшествие.

– Ну все равно, но только признайтесь, что вы сами не присутствовали там, а просто слышали это от кого-нибудь.

– Клянусь честью, ваше высочество, что все это произошло в моем присутствии.

– И по-вашему, признание ее произвело на короля впечатление?

– Такое же точно, какое произвело на меня признание мадемуазель де Тонне Шарант! – воскликнул Сент-Эньян – Ведь вы только послушайте, принцесса, Лавальер сравнила короля с солнцем: сравнение очень лестное!

– Король не очень-то падок на лесть.

– Ваше высочество, король, сколько бы ни сравнивали его с солнцем, все-таки человек, в чем я убедился собственными глазами, когда мадемуазель де Лавальер упала в его объятия.

– Лавальер упала в объятия короля.

– Ах, какая эффектная была картина: представьте себе, что Лавальер упала.

– Ну, ну, что же вы видели? Говорите скорее.

– Да то же самое, что видели и остальные присутствующие: когда Лавальер без чувств упала к королю в объятия, король сам чуть не лишился чувств.

Принцесса вскрикнула, будучи не в силах удержаться от душившего ее гнева.

– Спасибо, – проговорила она с нервным смехом, – вы чудный рассказчик, господин де Сент-Эньян.

И, задыхаясь от ярости, она почти бегом устремила к замку,

Глава 25. НОЧНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

Принц расстался с принцессой в отличнейшем настроении и, чувствуя себя сильно уставшим, поехал домой, предоставив каждому проводить остаток ночи как заблагорассудится.

Придя к себе, он тотчас занялся ночным туалетом с еще большей тщательностью, чем обыкновенно; он чувствовал себя победителем. И пока его камердинеры были заняты работой, он напевал мотивы балета, под которые недавно танцевал король.

Потом он позвал портных и велел им показать приготовленные на завтра костюмы, оставшись очень доволен, он одарил каждого из них. Наконец принц обласкал также шевалье де Лоррена, возвратившегося с празднества.

Шевалье, поклонившись принцу, хранил некоторое время молчание, как командир стрелков, исследующий, в какую сторону ему нужно прежде всего направить огонь. Затем, словно решившись, он начал.

– Обратили ли вы внимание на одно странное обстоятельство, ваше высочество?

– Нет. На какое?

– На якобы дурной прием, оказанный его величеством графу де Гишу.

– Якобы дурной?

– Да, конечно, потому что на самом деле король ведь вернул ему свою благосклонность.

– Я что то не заметил этого, – сказал принц.

– Как! Вы не заметили, что король, вместо того чтобы отправить его в ссылку, что было бы вполне естественно, как будто оказал поощрение его странному упорству, позволив ему снова занять место в балете.

– И вы находите, что король был не прав, шевалье?

– А вы, принц, разве не разделяете моего мнения?

– Не совсем, дорогой мой шевалье, и я одобряю короля за то, что он не подверг немилости несчастного, скорее сумасброда, чем злонамеренного.

– Ну а меня, – заметил шевалье, – это великодушие, признаюсь, очень удивляет.

– Почему же? – спросил Филипп.

– Я считал короля более ревнивым, – со злостью ответил шевалье.

В течение нескольких мгновений принц чувствовал какое-то раздражение в словах своего фаворита, последняя его фраза подействовала, как искра на порох.

– Ревнивым! – вскричал принц. – Ревнивым? Что это значит? Ревнивым к чему или к кому, скажите на милость?

Шевалье заметил, что у него вырвалась невзначай злобная фраза, как это иногда с ним случалось. И он постарался, пока не поздно, замять ее.

– Да просто к своему авторитету, – ответил он с притворным равнодушием. – К чему же еще может ревновать король?

– Ах да, конечно! – сказал принц.

– А разве, – продолжал шевалье, – ваше королевское высочество не замолвили бы словечка за милого графа де Гиша?

– Ей-богу, нет! – отвечал принц. – Гиш малый умный и храбрый. Но он вел себя легкомысленно с моей женой, и я не желаю ему ни худа, ни добра.

Шевалье заронил подозрение относительно де Гиша, как он попробовал это сделать относительно короля; но он, видимо, не заметил, что в настоящую минуту требуется снисходительность и даже полное равнодушие и для освещения положения ему необходимо будет поднести лампу к самому носу мужа.

При помощи этого маневра иногда удается обжечь других, но чаще обжигаетесь сам.

«Отлично, отлично, – думал про себя шевалье – Подожду-ка я де Варда, он за один день сделает больше, чем я за месяц, ибо я думаю, прости меня боже, пли, вернее, прости его боже, что он еще ревнивее, чем я. Впрочем, мне нужен не де Вард, а какое-нибудь событие, которого при данных обстоятельствах я не вижу. Конечно, возвращение де Гиша, когда его прогнали, очень знаменательно, но значение этого факта умалается, если принять во внимание, что де Гиш вернулся как раз в тот момент, когда его высочество больше не интересуется им. В самом деле, принцесса занята королем, это ясно. Но помимо того, что король мне не по зубам, да мне и не нужно кусать его, принцессе недолго осталось любезничать с его величеством, так как поговаривают, что король больше не интересуется ею. Отсюда следует, что мы должны сидеть спокойно и ожидать какого-нибудь нового каприза: он-то и решит дело».

С этими мыслями шевалье опустил в кресло, принц разрешил ему садиться в своем присутствии. Так как у де Лоррена иссяк весь запас язвительности, то разговор с ним не

представлял уже никакого интереса.

К счастью, как мы уже сказали, принц был в прекрасном расположении духа, которого хватило бы на двоих, до той минуты, когда, отпустив лакея и свиту, он прошел к себе в спальню. Уходя, он поручил шевалье передать привет принцессе и сказать ей, что так как ночь сырая, то он, боясь за свои зубы, не спустится больше в парк.

Шевалье вошел к принцессе как раз в тот момент, когда она возвращалась в свои комнаты. Он в точности исполнил поручение, и ему бросилось в глаза равнодушие, не лишенное некоторого смущения, с которым принцесса выслушала его сообщение.

Это показалось ему новым.

И если бы этот странный вид был у принцессы, когда она собиралась уходить, он бы непременно последил за ней. Но принцесса возвращалась домой; делать было нечего. Он повернулся на каблуках, как цапля, осмотрелся по сторонам, тряхнул головой и машинально направился к цветникам.

Не успел он сделать сотню шагов, как встретил двоих молодых людей, шедших под руку, опустив головы и разбрасывая попадавшие им под ноги камешки. То были господа де Гиш и де Бражелон.

Их вид, как всегда, возбудил у шевалье де Лоррена инстинктивное отвращение. Тем не менее он сделал им глубокий поклон и получил в ответ такой же.

Потом, увидя, что парк пустеет, что огни иллюминации догорают и что подул утренний ветерок, он повернул налево и возвратился в замок через маленький двор; а двое молодых людей повернули направо и продолжали путь к большому парку.

Когда шевалье поднимался по маленькой лестнице, которая вела к потайному ходу, он заметил, как в проходе между большим и малым двором показалась женщина, а за ней другая.

Женщины эти шли быстро, что можно было угадать в темноте по шелесту их шелковых платьев. Фасон их мантилий, изящное сложение, таинственный и высокомерный вид, особенно у той, которая шла первой, поразили шевалье.

– Удивительно знакомые фигуры, – сказал он себе, останавливаясь на последней ступеньке лестницы.

Подобно хорошей ищейке, он собрался уже идти вслед за ними. Но в этот момент его остановил бежавший за ним уже несколько минут лакей.

– Сударь, – доложил он, – приехал курьер.

– Ладно, ладно, – отвечал шевалье. – У нас есть время; до завтра.

– Он привез какие-то спешные письма, которые господину шевалье, может быть, будет приятно прочесть.

– Вот как! – воскликнул шевалье. – Откуда же они?

– Одно из Англии, а другое из Кале. Последнее прислано с нарочным, и, по-видимому, очень важное.

– Из Кале! Какой же дьявол пишет мне из Кале?

– Мне кажется, что я узнал почерк вашего друга графа де Барда.

– О, в таком случае я сейчас приду, – вскричал шевалье, позабыв, что он сию минуту только собирался шпионить. И он поднялся к себе, а тем временем две незнакомки исчезли в глубине противоположного двора.

Последуем же за ними, оставив шевалье разбирать письма.

Когда они подошли к деревьям, первая остановилась, запыхавшись и осторожно приподымая вуаль.

– Что, далеко еще до того места? – спросила она.

– Да, ваше – высочество, еще шагов пятьсот; но пусть ваше высочество немного отдохнет, а то мы скоро устанем.

– Ваша правда.

И принцесса, потому что это была она, прислонилась к дереву.

– Послушайте, сударыня, – сказала она, немного отдышавшись, – не скрывайте от меня ничего, скажите мне правду.

– Ах, ваше высочество, вы уже рассердились, – ответила дрожащим голосом молодая девушка.

– Да нет, моя дорогая Атенаис, успокойтесь, я нисколько не сержусь.

Да, в сущности, все это меня не касается. Вас беспокоит, не сказали ли вы чего-нибудь лишнего под дубом; вы боитесь, что, может быть, задели короля, а я хочу вас успокоить, убедившись сама, можно ли было вас слышать.

– Ах, конечно, можно было, король стоял совсем близко от нас.

– Да, но вы, вероятно, говорили не очень громко, так что некоторые слова можно было и не расслышать?

– Ваше высочество, мы думали, что мы совершенно одни.

– Вас было трое?

– Да. Лавальер, Монтале и я.

– Значит, именно вы говорили опрометчиво о короле?

– Боюсь, что так. Но в таком случае не будете ли вы, ваше высочество, так добры помирить меня с его величеством?

– Если нужно будет, я вам обещаю. Однако, как я уже вам говорила, прежде чем идти на неприятность, нужно сначала убедиться, действительно ли король слышал что-нибудь. На дворе темная ночь, а под деревьями еще темнее. Король, наверное, вас не узнал. Начать об этом разговор – значит выдать себя.

– Ах, ваше высочество, если узнали мадемуазель де Лавальер, узнали и меня. К тому же господин де Сент-Эньян не оставил у меня ни малейших сомнений на этот счет.

– Значит, вы говорили что-нибудь очень обидное для короля?

– Да нет же, ваше высочество, ни одного слова. Одна из нас уж очень его превозносила, так что, по сравнению с этими похвалами, мои слова могли показаться несколько холодными.

– Эта Монтале так безрассудна, – сказала принцесса.

– Нет, это не Монтале! Монтале ничего не говорила, это Лавальер.

Принцесса вздрогнула, точно она не знала этого раньше.

– Ах нет, нет! – воскликнула она. – Король не мог все расслышать. А лучше давайте сделаем опыт, ради которого мы пришли сюда. Покажите мне дуб.

И принцесса пошла дальше.

– Вы знаете, где он? – спросила она.

– Увы, ваше высочество, знаю.

– И вы найдете его?

– Найду даже с закрытыми глазами.

– Великолепно; вы сядете на ту скамью, где вы сидели рядом с Лавальер и повторите тем же тоном то, что вы говорили с ней, а я спрячусь в кустах и скажу вам, слышно ли оттуда или нет.

– Хорошо, ваше высочество.

– Значит, если вы действительно говорили так громко, что король расслышал вас, в таком случае...

Атенаис с напряжением стала ожидать конца фразы.

– В таком случае, – сказала принцесса прерывающимся, вероятно от быстрой ходьбы, голосом, – в таком случае я должна буду вам запретить...

И принцесса еще более ускорила шаг.

Вдруг она остановилась.

– Мне пришла в голову мысль, – обрадовалась она.

– О, наверное, прекрасная мысль! – ответила мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Вероятно, Монтале тоже чувствует себя неловко.

– Нет, не очень; она меньше говорила и, значит, меньше скомпрометирована.

– Все равно, она поможет вам, солгав немного.

– Разумеется, особенно если она узнает, что вашему высочеству угодно было проявить ко мне участие.

– Ба, я, кажется, угадала, что нам нужно сделать, дитя мое.

– Ах, как хорошо!

– Вы скажете, что вам всем троим было отлично известно, что король стоял за этим деревом или кустом, уж я не знаю, и что с ним был господин де Сент-Эньян.

– Да, ваше высочество.

– Ведь вы же знаете, Атенаис, что Сент-Эньян был очень польщен вашим добрым отзывом о нем.

– Вот вы видите теперь, ваше высочество, что оттуда все слышно, вскричала Атенаис. – Услышал же господин де Сент-Эньян.

Заметив свою опрометчивость, принцесса закусила губу.

– Вы ведь хорошо знаете, каков этот Сент-Эньян, – сказала она, – от королевских милостей у него закружилась голова, и он несет теперь всякий вздор, подчас даже выдумывает. Впрочем, дело не в этом. Слышал ли король или не слышал, вот самое главное.

– Конечно, ваше высочество, слышал! – с отчаянием проговорила Атенаис.

– В таком случае сделайте так, как я вам говорю: упорно повторяйте, что вам троим было известно, – слышите»: всем троим, так как, если возникнет подозрение относительно одной, то заподозрят во лжи также и других; итак, повторяйте, что вам троим было известно о присутствии короля и господина де Сент-Эньяна и что вы захотели подшутить над ними.

– Ах, ваше высочество, – подшутить над королем! Мы никогда не посмеем сказать этого.

– Да ведь это была шутка, чистейшая шутка; невинная забава, очень позволительная для женщин, которых хотят поймать врасплох мужчины. Этим все и объясняется. Все, что Монтале говорила о Маликорне, – шутка; все, что вы говорили о Сент-Эньяне, – шутка, и те слова, которые произносила Лавальер...

– И которые она очень бы хотела взять обратно.

– Вы в этом уверены?

– Вполне. Могу поручиться.

– Тем более все это можно будет объяснить как простую шутку; господин де Маликорн не станет сердиться. Господину де Сент-Эньяну будет неловко, потому что, вместо того чтобы смеяться над вами, посмеются над ним. Словом, король будет наказан за любопытство, не подобающее его сану. Пускай немного посмеются и над королем по этому случаю. Не думаю, чтобы он стал сердиться.

– Ах, ваше высочество, вы просто ангел доброты и ума!

– Это в моих интересах.

– Каким образом?

– Вы спрашиваете меня, почему в моих интересах ограждать моих фрейлин от всяких шуток, насмешек, а может быть, даже клеветы! Увы! Вы ведь знаете, дитя мое, что двор не очень снисходителен к таким грешкам. Но мы идем очень уж долго; неужели мы еще не пришли?

– Еще шагов пятьдесят или шестьдесят. А теперь налево, ваше высочество.

– Значит, вы можете поручиться за Монтале? – спросила принцесса.

– О да.

– И она сделает все, что вы пожелаете?

– Все. С восторгом сделает!

– Ну а Лавальер? – продолжала принцесса.

– О, с ней будет труднее, ваше высочество; она питает отвращение ко лжи.

– Однако если она убедится, что это для нее выгодно...

– Боюсь, что и это не заставит ее переменить своих убеждений.

– Да, да, – сказала принцесса, – меня уже предупредили об этом. Она ужасная лицемерка, одна из тех жеманниц, которые призывают бога, чтобы прятаться за его спиной. Но если она не пожелает лгать, то навлечет на себя насмешки всего двора и своим глупым и неприличным признанием прогневает короля; в таком случае мадемуазель де Ла Бом Леблан де Лавальер пусть не посетует на меня, если я отошлю ее домой кормить голубей; пусть себе

там в Турени или в Блезуа, уж я не знаю точно где, играет пасторали.

Эти слова были произнесены с такой энергией и даже жестокостью, что мадемуазель де Тонне-Шарант испугалась. Поэтому она твердо решила лгать и говорить все, что ей прикажут.

Наконец принцесса и ее спутница дошли до королевского дуба.

– Вот это место, – остановилась де Тонне-Шарант.

– Сейчас мы убедимся, было ли слышно, – проговорила принцесса.

– Шшш... – шепнула молодая девушка, позабыв об этикете и поспешно схватив принцессу за руку.

Принцесса остановилась.

– Вы понимаете, что слышно, – сказала Атенаис.

– Почему же?

– Слушайте.

Принцесса затаила дыхание, и действительно можно было отчетливо расслышать следующие слова, произнесенные нежным и печальным тоном:

– Ах, говорю тебе, виконт, говорю тебе, что жить без нее не могу.

При звуках этого голоса принцесса вздрогнула, и лицо ее ярко зарделось под вуалью.

Теперь она схватила свою спутницу и, торопливо отведя ее шагов на двадцать назад, где ее голос нельзя было услышать, прошептала ей:

– Останьтесь здесь, моя милая Атенаис, и покараульте, чтобы нас никто не настиг. Мне кажется, что речь идет о вас.

– Обо мне, ваше высочество?

– О вас, да... или о вашем приключении. А я пойду послушаю; вдвоем нас, пожалуй, заметят... Ступайте, приведите Монтале, и обе подождите меня у опушки парка.

Видя, что Атенаис колеблется, принцесса продолжала, но уже тоном, не допускающим возражений:

– Ступайте!

Атенаис подобрала свои шуршащие юбки и по дорожке между деревьями вернулась к цветнику.

Что же касается принцессы, то она притаилась в кустах, прислонившись к огромному каштану.

Дрожа от страха и сгорая от любопытства, она говорила себе:

– Подождем! Раз здесь так хорошо слышно, послушаем, что будет говорить обо мне господину де Бражелону этот влюбленный сумасброд граф де Гиш.

Глава 26.

ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО УСЛЫШАТЬ ВСЕ, ЧТО ГОВОРИТСЯ

На минуту воцарилось молчание, словно все таинственные ночные шорохи затихли, прислушиваясь вместе с принцессой к этому пылкому любовному признанию.

Говорил Рауль. Он прислонился к стволу большого дуба и отвечал приятелю своим нежным мелодичным голосом.

– Увы, дорогой де Гиш, это большое несчастье!

– О да, – согласился тот, – ужасное!

– Вы не расслышали меня, де Гиш, или, вернее, не поняли. Я называю большим несчастьем не вашу любовь, но то, что вы не умеете скрывать ее.

– Что вы хотите сказать? – воскликнул де Гиш.

– Да, вы не замечаете, что теперь вы делаете признание в своей любви не вашему испытанному другу, который скорее погибнет, чем выдаст вас, а первому встречному.

– Первому встречному? – спросил де Гиш. – В уме ли вы, Бражелон, что говорите мне подобные вещи?

– Я говорю то, что есть на самом деле.

– Не может быть! Как и при каких обстоятельствах мог я допустить подобное безрассудство?

– Я хочу сказать, мой друг, что ваши глаза, ваши жесты, ваши вздохи выдают вас, что всякая пылкая страсть приводит человека к безрассудным поступкам. Он перестает владеть собой, он во власти какого-то безумия, заставляющего его изливать свое страдание деревьям, лошадям, воздуху, если рядом с ним нет разумного существа. Но, мой бедный друг, запомните вот что: очень редко случается, чтобы в подобную минуту не явился кто-нибудь и не подслушал как раз то, что не должно быть услышано.

Де Гиш глубоко вздохнул.

– Знаете ли, – продолжал Бражелон, – в эту минуту мне жаль вас; по возвращении сюда вы уже сотню раз и на сотню ладов рассказывали про вашу любовь к ней; а между тем, если бы вы даже не сказали никому ни слова, самое ваше возвращение выдает вас с головой. Отсюда вытекает, что если вы не будете следить за собой лучше, чем вы это делали до сих пор, то рано или поздно разразится скандал. Кто вас спасет тогда? Отвечайте мне.

Кто спасет ее? Потому что, хотя она и не виновата в вашей любви, эта любовь в руках ее врагов будет обвинением против нее.

– Боже мой, – пробормотал де Гиш.

И снова из груди его вырвался глубокий вздох.

– Это не ответ, де Гиш.

– Я знаю.

– Так что же вы ответите?

– Отвечу, что в тот день я буду страдать больше, чем в настоящую минуту.

– Не понимаю.

– Да, вся эта внутренняя борьба истрепала мне нервы. Сейчас я не в состоянии ни думать, ни действовать; сейчас я не стою самого заурядного человека; сейчас, видишь ли, последние силы покинули меня, самые твердые мои решения разлетелись в прах, я больше не способен к борьбе. Помнишь, в лагерной жизни нам не раз случалось отправляться на разведку в одиночестве и подчас сталкиваться с отрядом в пять или шесть фуражиров; ничего не значит, начинаешь сражаться; случается, что к ним подоспеет еще человек шесть, тогда совсем озвереешь, но продолжаешь драться; но если налетит еще шесть, восемь, десять человек со всех сторон, тогда остается только пришпорить коня, если он есть, или же пасть под пулями, если не хочешь бежать. Так вот, я точно в таком положении: сначала я боролся с самим собою, потом с Бекингэмом. Теперь появился король; я не стану вступать в борьбу с королем, ни даже, спешу прибавить, если бы король оставил ее, с одним лишь характером этой женщины. О, я нисколько не обольщаю себя: попав в сети этой любви, я погибну.

– Упреки следует делать не ей, а тебе, – отвечал Рауль.

– Почему?

– Да как же! Ты ведь знаешь, что принцесса немного легкомысленна, очень падка на все новое, чувствительна к похвалам, хотя бы эти похвалы исходили от слепого или ребенка, и ты воспылал такой страстью, что готов сгубить себя. Ну, любуйся ею, обожай ее; ибо, увидя ее, никто не может не влюбиться, если только сердце его не занято другою. Но, любя ее, уважай в ней прежде всего сан ее мужа, потом его самого и, наконец, не забывай ее собственной безопасности.

– Спасибо, Рауль.

– За что?

– За то, что, видя, как я страдаю из-за этой женщины, ты утешаешь меня. За то, что ты говоришь мне о ней все хорошее, что ты о ней думаешь, а может быть, даже такое, чего и не думаешь.

– О, – заметил Рауль, – ты ошибаешься, де Гиш, я не всегда высказываю то, что думаю, и в таких случаях я молчу; но когда я говорю, то не умею притворяться и обманывать, и тот, к кому я обращаюсь, может вполне доверять мне.

Все это время принцесса, вытянув шею, жадно прислушивалась к малейшему шороху в

кустах и внимательно всматривалась в темноту.

– Ну, в таком случае я ее знаю лучше, чем ты, – воскликнул де Гиш. Она вовсе не легкомысленна, она суетна; она вовсе не падка на новое, она не помнит старого и ничему не верит; она не чувствительная к похвалам женщина, а отъявленная и жестокая кокетка. Дьявольская кокетка! О! Это правда. Поверь, Бражелон, я испытываю все муки ада; я, храбрый, страстно любящий опасность человек, натываюсь на опасность, превосходящую мои силы и мою храбрость. Но знаешь ли, Рауль, я приберегаю для себя победу, которая будет стоить ей много горьких слез.

Рауль взглянул на своего приятеля, который, задыхаясь от волнения, прислонился головой к стволу дуба.

– Победу? – спросил он. – Какую победу?

– Какую?

– Да.

– В один прекрасный день я подойду к ней; в один прекрасный день я ей скажу: «Я был молод, я с ума сходил от любви; однако, пресмыкаясь у ваших ног, я, из уважения к вам, не смел взглянуть на вас, ожидая, чтобы ваш взгляд ободрил меня. Мне показалось, что я поймал этот взгляд, я поднялся, и тогда без всякого повода с моей стороны, кроме того, что я полюбил вас еще сильнее, если только это возможно, – тогда вы вдруг оттолкнули меня из каприза, чтобы доставить себе удовольствие, бессердечная женщина, ни во что не верующая, не знающая, что такое любовь. Несмотря на то что в жилах ваших течет королевская кровь, вы недостойны любви честного человека; я казню себя за то, что слишком любил вас, и, умирая, проклиная вас».

– Боже мой, – воскликнул Рауль, ужаснувшись глубокой искренности, звучавшей в словах молодого человека, – я же сказал тебе, де Гиш, что ты сумасшедший!

– Да, да, – продолжал де Гиш, захваченный своей мыслью, – так как нам здесь не с кем воевать, я отправлюсь куда-нибудь на север, поступлю на службу к императору, и сострадательная пуля какого-нибудь венгерца, хорвата или турка положит конец моему существованию.

Не успел де Гиш кончить эту фразу, как послышался какой-то шум; Рауль вскочил и насторожился.

Что касается де Гиша, то он по-прежнему был поглощен своими мыслями и сидел на скамейке, сжимая голову руками.

Кусты раздвинулись, и перед молодыми людьми появилась женщина, бледная и взволнованная. Одной рукой она отстраняла ветви, касавшиеся ее лица, а другой откинула капюшон плаща, которым были окутаны ее плечи. По влажным, блестящим глазам, по царственной осанке, по ее величественному жесту, а еще больше по биению своего сердца де Гиш узнал принцессу и, вскрикнув, закрыл глаза.

А Рауль в смущении вертел шляпу в дрожащих пальцах, несвязно бормоча почтительное приветствие.

– Господин де Бражелон, – обратилась к нему принцесса, – будьте добры, посмотрите, нет ли здесь где-нибудь в аллеях или между деревьями моих фрейлин. А вы, граф, останьтесь, я устала, дайте мне вашу руку.

Если бы гром внезапно грянул над головой юноши, он не был бы так испуган, как при звуках этого голоса.

Однако де Гиш был действительно человек отважный и в глубине сердца уже принял окончательное решение; поэтому он встал и, видя замешательство Бражелона, бросил на него взгляд, полный глубокой признательности.

Вместо того чтобы тотчас же ответить принцессе, он подошел к виконту и пожал руку своего благородного друга; из груди его вырвался вздох, в котором он отдавал, казалось, дружбе всю жизнь, трепетавшую еще в его сердце.

А гордая принцесса, не привыкшая с кем-либо считаться, покорно ждала окончания этого немого разговора. Рука ее, ее царственная рука, осталась простертой в воздухе и, когда

Рауль ушел, опустилась без гнева, но не без волнения, на руку де Гиша.

Они остались одни среди темного и безмолвного леса, в тишине которого слышны были только шаги Рауля, поспешно удалявшегося по невидимым дорожкам.

Над их головами раскинулся шатер из душистой густой листвы, в просветах которой сверкали звезды.

Принцесса тихонько отвела де Гиша шагов на сто от нескромного дерева, которое в эту ночь слышало и позволило слышать другим столько пылких речей, и, выйдя с ним на соседнюю лужайку, откуда было видно далеко кругом, сказала:

– Я привела вас сюда, потому что там, где мы были, слышно каждое слово.

– Вы говорите: слышно каждое слово, принцесса? – машинально повторил молодой человек.

– Да.

– Что же это значит? – спросил де Гиш.

– Это значит, что я слышала весь ваш разговор.

– Ах, боже мой, боже мой, только этого недоставало! – пролепетал де Гиш.

И он опустил голову, как усталый пловец, не имеющий сил бороться с волной.

– Итак, – начала она, – значит, вы обо мне такого мнения, как только что говорили?

Де Гиш побледнел, отвернулся, но ничего не ответил; казалось, что он сейчас упадет в обморок.

– Что ж, это хорошо, – продолжала принцесса кротким голосом, – я предпочитаю обидную для меня откровенность лживой лести. Пусть будет так! Значит, по вашему мнению, господин де Гиш, я низкая кокетка?

– Низкая! – вскричал молодой человек. – О, я не говорил этого. Я никак не мог бы назвать низкой ту, которая для меня дороже всего на свете; нет, нет, я этого не говорил!

– По-моему, женщина, которая видит человека, пожираемого пламенем, зажженным ею же самой, и не старается потушить это пламя, – низкая женщина.

– Ах, какое значение имеет для вас то, что я сказал? – продолжал граф. – Что я такое, боже мой, по сравнению с вами, и стоит ли вам беспокоиться, существую ли я на свете?

– Господин де Гиш, вы мужчина, а я женщина, и, зная вас так, как я вас знаю, я вовсе не хочу, чтобы вы умирали из-за меня; я решила изменить свое поведение с вами и свой характер. Я буду не то что откровенной – я всегда откровенна, – но правдивой. Итак, я умоляю вас, граф, не любите меня больше и забудьте, что я говорила с вами или смотрела на вас.

Де Гиш обернулся и обжег принцессу страстным взглядом.

– Принцесса, – вскричал он, – вы просите прощения, вы меня умоляете, вы!

– Да, да, я; раз я причинила зло, я должна в загладить его. Итак, граф, решено. Вы прощаете мне мое легкомыслие и мое кокетство. Не перебивайте меня! А я прощаю вам то, что вы называли меня легкомысленной и кокеткой, а может быть, и похуже; откажитесь от вашей мысли о смерти и, таким образом, сохраните вашей семье, королю и дамам рыцаря, которого все уважают и многие любят.

Последнее слово было произнесено принцессой с такой искренностью и даже нежностью, что сердце де Гиша чуть не выскочило из груди.

– О, принцесса!.. – пролепетал он.

– Слушайте дальше, – продолжала она, – когда вы откажетесь от меня, сначала по необходимости, а затем чтобы исполнить мою просьбу, то будете лучше судить обо мне и, я уверена, замените эту любовь, – простите, это безумие, – искренней дружбой, которую вы предложите мне и которая, клянусь вам, будет с радостью принята.

Пот выступил на лбу у де Гиша, сердце замерло, холод пробежал по жилам, он кусал себе губы, топал ногой, словом, всячески старался сдержать свои мучения.

– Принцесса, – проговорил он наконец, – то, что вы предлагаете мне, невозможно, я не могу принять ваших условий.

– Как! – сказала принцесса. – Вы отказываетесь от моей дружбы?

– Нет, нет, не надо дружбы, принцесса, я предпочитаю умереть от любви, чем жить

дружбой.

– Послушайте, граф!

– Ах, принцесса, – вскричал де Гиш, – я дошел до той точки, когда не может быть иного уважения и иной рассудительности, чем рассудительность и уважение честного человека к обожаемой женщине. Прогоните меня, прокляните, отрекитесь от меня, вы будете правы; я жаловался на вас, но я так горько жаловался только потому, что я вас люблю; я сказал вам, что умру, и умру; живого вы меня забудете, мертвого же никогда, я в этом уверен.

Теперь принцесса, в свою очередь, отвернулась от него и стояла, погруженная в мечты, волнуясь не меньше, чем он.

После некоторого молчания она спросила его:

– Так вы очень любите меня?

– О, безумно! Готов умереть от любви, даже если вы меня прогоните и не станете больше слушать.

– В таком случае ваша болезнь безнадежна, – сказала она с веселым видом, – болезнь, которую нужно лечить мягким обращением. Дайте мне вашу руку... Она холодна как лед.

Де Гиш преклонил колени и припал губами к горячим рукам принцессы.

– Так любите меня, – проговорила принцесса, – раз вы не можете не любить.

И, слегка пожав его пальцы, она притянула его к себе жестом королевы и любовницы. Де Гиш вздрогнул всем телом. Принцесса почувствовала эту дрожь и поняла, что граф действительно любит ее.

– Вашу руку, граф, – попросила она, – и пойдемте домой.

– Ах, принцесса! – проговорил граф, взволнованный, с пылающими глазами. – Ах, вы нашли третье средство погубить меня!

– К счастью, такое, которое действует дольше других, не правда ли? ответила принцесса.

И она увлекла его к деревьям.

Глава 27.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ АРАМИСА

В то время как дела де Гиша внезапно приняли только что описанный нами неожиданный оборот, Рауль, поняв, что принцесса удалила его, чтобы не мешать объяснению, результаты которого он никак не мог предвидеть, ушел и присоединился к фрейлинам, гулявшим по цветнику.

А шевалье де Лоррен, поднявшись в свою комнату, с удивлением читал письмо от де Варда, написанное рукою камердинера, в котором ему подробно рассказывалось об ударе шпагой, полученном в Кале, и предлагалось сообщить об этом де Гишу и принцу, что было бы, вероятно, весьма приятно и тому и другому. Особенно красочно де Вард расписывал Лоррену любовь Бекингэма к принцессе и заканчивал письмо предположением, что эта страсть взаимна.

Прочитав эти фразы, шевалье пожал плечами; и точно – сведения де Варда не отличались свежестью. Де Вард еще ничего не знал о дальнейшем ходе событий.

Шевалье швырнул письмо через плечо на соседний стол и проговорил презрительным тоном:

– И впрямь невероятно! Бедняга де Вард неглупый малый, но, видимо, в провинции люди скоро тупеют. Черт бы побрал этого олуха! Ему ведено было сообщать мне важные новости, а он несет такую чепуху. Вместо того чтобы читать это пустейшее письмо, я, наверное, обнаружил бы в парке интрижку, которая бы скомпрометировала какую-нибудь женщину и подставила бы под шпагу мужчину; это развлекло бы принца дня на три.

Он взглянул на часы.

– Теперь слишком поздно. Второй час; должно быть, все вернулись к королю и кончают пир. Да, сегодня я никого не выследил, – разве только какая-нибудь случайность...

И с этими словами, как бы призывая свою добрую звезду, шевалье с досадой подошел к

окну, откуда видна была довольно уединенная часть сада.

Тотчас, словно какой-то злой гений был к его услугам, он заметил, что в замок возвращался неизвестный мужчина. Его сопровождал кто-то, закутанный в темный шелковый плащ. В этой фигуре можно было узнать ту женщину, которая привлекла его внимание полчасу тому назад.

– Черт возьми, – подумал он, хлопая в ладоши. – Будь я проклят, как говорит наш приятель Бекингэм, это и есть моя тайна.

И он стремглав спустился по лестнице в надежде застать еще во дворе женщину в плаще и ее спутника. Но, подбежав к воротам малого двора, он почти столкнулся с принцессой, сияющее лицо которой выглядывало из-под капюшона.

К несчастью, принцесса была одна.

Шевалье сообразил, что так как пять минут тому назад он видел ее с мужчиной, то этот последний не мог уйти далеко. И потому, наскоро поклонившись принцессе, он пропустил ее; затем, когда она сделала несколько шагов с поспешностью женщины, боящейся быть узнанной, шевалье увидел, что она слишком занята собой, чтобы уделять внимание ему; он бросился в сад, озираясь по сторонам.

Он успел вовремя: мужчина, сопровождавший принцессу, был еще виден; но он быстро приближался к одному из флигелей замка, за которым должен был скрыться.

Нельзя было терять ни минуты; шевалье бегом пустился вдогонку, с тем чтобы замедлить шаг, только приблизившись к незнакомцу; но как он ни торопился, незнакомец скрылся за углом раньше, чем шевалье догнал его.

Однако так как человек, которого преследовал шевалье, шел теперь медленно, задумавшись, то было очевидно, что шевалье успеет еще догнать его, если только тот не войдет в какую-нибудь дверь. Так бы оно и случилось, если бы, оглянув угол, шевалье не наткнулся на двух мужчин, шедших в противоположном направлении.

Шевалье готов был уже выругаться, но, подняв голову, узнал в одном из них суперинтенданта. Спутника Фуке шевалье видел в первый раз. То был его преосвященство епископ ваннский.

Встретившись с высокопоставленной особой и принужденный, как того требовал этикет, извиниться, хоть он и сам ожидал извинения, шевалье отступил назад. Так как г-н Фуке пользовался если не дружбой, то всеобщим уважением; так как сам король, хотя и ненавидел его в душе, все же обращался с ним как с лицом значительным, шевалье сделал то, что сделал бы и сам Корбель: он поклонился г-ну Фуке, который, в свою очередь, благожелательно его приветствовал, видя, что этот дворянин толкнул его нечаянно и без всякого дурного намерения.

А затем, узнав шевалье де Лоррена, он сказал ему несколько любезных слов, на которые шевалье пришлось отвечать.

Как ни краток был этот диалог, шевалье де Лоррен с крайним огорчением увидел, что преследуемый им незнакомец успел скрыться.

Приходилось отказаться от преследования, и он решил поговорить с г-ном Фуке.

– Ах, сударь, – сказал он, – как вы поздно. Все были очень удивлены вашим отсутствием, особенно принц, недоумевавший, почему вы не явились на приглашение короля.

– Нельзя было, сударь. Я только сию минуту освободился.

– В Париже спокойно?

– Совершенно спокойно, Париж не роптал на последний налог.

– Понимаю: вы хотели сперва удостовериться, как будет принят налог, и только потом явиться на наш праздник.

– Все же я немного запоздал. Поэтому я обращаюсь к вам, сударь, с просьбой ответить мне, в замке ли король и могу ли я увидеть его сегодня же или должен буду подождать до завтра.

– Мы потеряли из виду короля с полчасу назад, – отвечал шевалье.

– Может быть, он у принцессы? – спросил Фуке.

– Не думаю, потому что я встретился с принцессой, возвращавшейся домой по малой лестнице; если только этот дворянин, с которым вы столкнулись не был сам король...

И шевалье сделал паузу, ожидая, что услышит сейчас имя человека, которого он преследовал.

Но Фуке ответил:

– Нет, сударь, это был не король.

Разочарованный шевалье поклонился, но при этом еще раз осмотрелся кругом и, заметя г-на Кольбера в группе каких-то людей, сказал суперинтенданту:

– Вот там, под деревьями, стоит человек, который даст вам более точные сведения, чем я.

– Кто он такой? – спросил Фуке, слабые глаза которого плохо видели в темноте.

– Господин Кольбер, – отвечал шевалье.

– Вот как! Тот человек, который разговаривает с факельщиками, и есть господин Кольбер?

– Он самый. Он отдает распоряжения по поводу завтрашней иллюминации.

– Благодарю вас, сударь.

И Фуке сделал движение, показывавшее, что он узнал все, что ему было нужно.

После этого шевалье, который, напротив, ничего не узнал, удалился с низким поклоном. Когда он отошел, Фуке, нахмурившись, о чем-то задумался. Арамис посмотрел на него с сожалением и грустью.

– Неужели, – сказал он, – вас волнует даже имя этого человека? Несколько минут тому назад вы были веселы и довольны и вдруг помрачнели от одного вида этого ничтожества. Неужели, сударь, вы перестали верить в свою звезду?

– Перестал, – печально вздохнул Фуке.

– Да почему же?

– Потому, что я слишком счастлив в данную минуту, – отвечал Фуке дрожащим голосом. – Ах, дорогой мой д'Эрбле, вы такой ученый, вы, наверное, знаете историю некоего самосского тирана. Что мне бросить в море, чтобы предотвратить надвигающееся несчастье? Ах, повторяю вам, друг мой, я слишком счастлив, так счастлив, что не желаю ничего больше того, что у меня есть... Я поднялся так высоко... Вы знаете мой девиз: Quo non ascendam¹⁸. Я поднялся так высоко, что мне остается только спускаться. Следовательно, мне совершенно невозможно верить в улучшение моей судьбы, ибо я достиг всего, что может желать человек.

Арамис улыбнулся, устремив на Фуке свой ласкающий и острый взгляд.

– Если бы я знал, в чем состоит ваше счастье, – сказал он, – то, может быть, опасался бы вашей опалы, но вы относитесь ко мне как к истинному другу, то есть находите, что я гожусь и в несчастье. Я этим очень дорожу. Но мне кажется, я заслужил также и то, что время от времени вы будете делиться со мной вашими удачами, чтобы и я мог порадоваться им, так как вы знаете, что они мне дороже моих собственных.

– Дорогой прелат, – засмеялся Фуке, – секреты мои слишком нечестивы, чтобы я мог доверить их епископу, каким бы светским человеком он ни был.

– Вот глупости! А если как на исповеди?

– Ах, мне пришлось бы слишком много краснеть, если бы вы были моим духовником.

И Фуке снова вздохнул.

Арамис еще раз взглянул на него с той же улыбкой.

– Скрытность, – сказал он, – большая добродетель.

– Тише, – перебил его Фуке. – Вон та ядовитая тварь узнала меня и идет к нам.

– Кольбер?

– Да, отойдите в сторонку, дорогой д'Эрбле; я не хочу, чтобы этот пролаза видел нас вместе, а то он возненавидит и вас.

Арамис пожал ему руку.

– На кой мне дьявол его дружба? – удивился он. – Разве у меня нет вас?

– Да, но, может быть, когда-нибудь меня не станет, – грустно ответил Фуке.

– Ну, если такое время наступит, – спокойно заметил Арамис, – мы попробуем обойтись без дружбы господина Кольбера или же не станем обращать внимания на его ненависть. Но скажите мне, дорогой Фуке, почему вы, вместо того чтобы разговаривать с этим подхалимом, как вы его назвали, от беседы с которым я не вижу никакой пользы, – почему вы не отправитесь прямо к королю или, по крайней мере, к принцессе?

– К принцессе? – рассеянно проговорил суперинтендант, погрузившись в воспоминания. – Да, разумеется, к принцессе.

– Вспомните, – продолжал Арамис, – переданную нам новость о больших милостях, которыми стала пользоваться принцесса в последние два-три дня.

Мне кажется, что в ваших планах и в наших общих интересах вам следует поухаживать за приятельницами его величества. Это единственное средство поколебать укрепляющийся авторитет господина Кольбера. Ступайте же как можно скорее к принцессе и заручитесь ее поддержкой.

– Но вполне ли вы уверены, – возразил Фуке, – что в настоящее время король увлечен именно ею?

– Если стрелка повернулась, то разве только с сегодняшнего утра! Ведь вы знаете, у меня своя полиция.

– Прекрасно. Я иду сейчас же и на всякий случай прибегну к моему испытанному средству: вот к этой паре великолепных старинных камней в оправе из брильянтов.

– Я видел их: прекрасная редкостная вещь!

Тут беседа их была прервана лакеем, который вел за собой курьера.

– Для господина суперинтенданта, – громко объявил курьер, подавая Фуке письмо.

– Для его преосвященства епископа ваннского, – чуть слышно сказал лакей, вручая письмо Арамису.

Так как у лакея был факел, то он стал между суперинтендантом и епископом, чтобы оба могли читать одновременно.

При виде мелкого убористого почерка на конверте Фуке радостно вздрогнул; только те, кто любит или любил, поймут его беспокойство, сменившееся радостью. Он быстро распечатал письмо, в котором заключались такие слова:

«Всего час, как я рассталась с тобой, и уже целую вечность я не говорила тебе: люблю тебя»

Это было все.

Действительно, г-жа де Бельер рассталась с Фуке только час тому назад, проведя с ним два дня; и, опасаясь, как бы воспоминания о ней не изгладились из сердца, которым она дорожила, она послала к нему курьера с этим важным сообщением. Фуке поцеловал письмо и дал посланному пригоршню золота.

Что касается Арамиса, то и он был занят чтением, но с большей холодностью и сдержанностью. В записке содержалось следующее:

«Сегодня вечером король был ошеломлен полученной им новостью: он любим одной женщиной. Он узнал об этом случайно, подслушав разговор этой молодой девушки с подругами. И теперь король весь во власти этой новой прихоти. Девушку зовут мадемуазель де Лавальер, и она далеко не так красива, чтобы эта прихоть перешла в бурную страсть. Берегитесь мадемуазель де Лавальер».

Ни слова о принцессе.

Арамис медленно сложил письмо и спрятал его в карман. Что же касается Фуке, то он все время прижимал к губам письмо г-жи Бельер.

– Послушайте, – сказал Арамис, прикасаясь к руке Фуке.

– А, что? – отозвался Фуке.

– Мне пришла в голову одна мысль. Знаете ли вы девицу по имени Лавальер?

– Нет, не знаю.

– Вспомните хорошенько!

– Ах да, одна из фрейлин принцессы.

– Должно быть, она.

– Так что же?

– Да то, что вам следует сегодня же вечером сделать визит этой особе.

– Вот как! Почему же?

– Больше того. Именно ей вы должны отнести ваши камни.

– Подите вы!

– Вы знаете, что я всегда даю хорошие советы.

– Но так неожиданно...

– Уж это мое дело. Начните ухаживать за Лавальер, господин суперинтендант. А я поручусь перед госпожой де Бельер, что это ухаживание чисто дипломатическое.

– Что вы говорите, мой друг, – воскликнул Фуке, – какое имя вы произнесли?

– Имя, которое должно убедить вас, господин суперинтендант, в том, что раз я так хорошо осведомлен о ваших делах, то точно так же осведомлен и о делах других лиц. Говорю вам, ухаживайте за девицей Лавальер.

– За кем вам будет угодно, – отвечал Фуке, не помня себя от счастья.

– Ну, ну, спускайтесь скорее на землю с вашего седьмого неба, – сказал Арамис, – вот господин Кольбер. Ото, пока мы читали, он собрал вокруг себя целую толпу; около него так и увиваются и хвалят его, льстят ему; положительно, он становится силою!

Действительно, Кольбера окружили все остававшиеся в саду придворные и наперерыв говорили ему комплименты по поводу удачно устроенного праздника, что очень льстило его самолюбию.

– Если бы Лафонтен был здесь, – сказал, улыбаясь, Фуке, – какой был бы прекрасный случай продекламировать басню: «Лягушка, желающая уподобиться волю».

Кольбер вышел на ярко освещенное место; Фуке ожидал его с бесстрастной и слегка насмешливой улыбкой. Кольбер тоже улыбался ему; он заметил своего врага с Четверть часа тому назад и приближался к нему зигзагами.

Улыбка Кольбера предвещала что-то недоброе.

– Держитесь, – шепнул Арамис суперинтенданту, – этот плут собирается попросить у вас еще несколько миллионов на свои фейерверки и цветные стекла.

Кольбер поклонился первый, стараясь принять как можно более почтительный вид.

Фуке едва кивнул головой.

– Ну как, ваше превосходительство, – спросил Кольбер, – вам понравился праздник? Хороший ли у нас вкус?

– Отменный, – отвечал Фуке так, что невозможно было уловить в его словах ни малейшей насмешки.

– Благодарю вас, – злобно процедил Кольбер, – вы очень снисходительны... мы, слуги короля, люди бедные, и Фонтенбло нельзя сравнить с Во.

– Это правда, – флегматично кивнул Фуке, который наиболее мастерски играл роль в этой сцене.

– Чего же вы хотите, ваше превосходительство, – хихикнул Кольбер, средства у нас скромные.

Фуке сделал жест, выражавший согласие.

– Однако, – продолжал Кольбер, – вы могли бы с присущим вам размахом устроить его величеству праздник в ваших чудесных садах... В тех садах, которые обошлись вам в шестьдесят миллионов.

– В семьдесят два, – поправил Фуке.

– Тем более, – ухмыльнулся Кольбер, – это было бы поистине великолепно.

– Но разве вы думаете, сударь, что его величество соблаговолит принять мое

приглашение?

– О, я не сомневаюсь, – с живостью воскликнул Кольбер, – я даже готов поручиться в этом.

– Большая любезность с вашей стороны, – ответил Фуке... – Значит, я могу рассчитывать на вас?

– Да, да, ваше превосходительство, вполне.

– Тогда я подумаю над этим, – сказал Фуке.

– Соглашайтесь, соглашайтесь, – быстро прошептал Арамис.

– Вы подумаете? – переспросил Кольбер.

– Да, – усмехнулся Фуке. – Чтобы выбрать день, когда я смогу обратиться с приглашением к королю.

– Да хоть сегодня же вечером, ваше превосходительство.

– Согласен, – отвечал суперинтендант. – Господа, я хотел бы пригласить и вас всех; но вы знаете, куда бы ни поехал король, он везде у себя дома; следовательно, вам придется получить приглашение от его величества.

Толпа радостно зашумела.

Фуке поклонился и ушел.

– Проклятый гордец, – прошипел Кольбер, – соглашается, а прекрасно знает, что это обойдется в десять миллионов.

– Вы разорили меня, – шепнул Фуке Арамису.

– Я вас спас, – возразил тот, в то время как Фуке поднимался по лестнице и просил доложить королю, может ли он его принять.

Глава 28. РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ПРИКАЗЧИК

Спеша остаться один, чтобы получше разобраться в своих чувствах, король удалился в свои комнаты, и к нему вскоре после разговора с принцессой явился г-н де Сент-Эньян.

Мы уже привели этот разговор.

Фаворит, гордый тем, что им дорожили обе стороны, и сознавая, что два часа тому назад он стал хранителем тайны короля, уже начинал, несмотря на всю свою почтительность, относиться свысока к придворным делам, и с высоты, куда он вознесся или, вернее, куда вознес его случай, он видел кругом только любовь да гирлянды.

Любовь короля к принцессе, принцессы к королю, де Гиша к принцессе, де Лавальер к королю, Маликорна к Монтале, мадемуазель де Тонне-Шарант к нему, Сент-Эньяну, – разве от такого обилия не могла закружиться голова придворного? А Сент-Эньян был образцом придворных, бывших, настоящих и будущих.

К тому же Сент-Эньян зарекомендовал себя как прекрасный рассказчик и тонкий ценитель, так что король слушал его с большим интересом, особенно когда он рассказывал, с каким жгучим любопытством принцесса выпытывала у него все, что касалось мадемуазель де Лавальер.

Хотя король охладел уже к принцессе Генриетте, все же страстность, с какой она пыталась выведать о нем все, приятно льстила его самолюбию.

Ему это доставляло удовлетворение, но и только; сердце его ни на мгновение не было встревожено тем, что могла подумать принцесса обо всем этом приключении.

Когда Сент-Эньян кончил, король спросил:

– Теперь, Сент-Эньян, ты знаешь, что такое мадемуазель де Лавальер, не правда ли?

– Я знаю не только то, что она представляет собой теперь, но и чем она будет в скором будущем.

– Что ты хочешь сказать?

– Я хочу сказать, что она представляет собой сейчас то, чем желала бы быть всякая женщина, то есть предмет любви вашего величества; я хочу сказать, что она будет тем, что

ваше величество пожелает сделать из нее.

– Я спрашиваю совсем не о том... Мне не нужно знать, что такое она сегодня и чем будет завтра; как ты уже заметил, это зависит от меня, но я хотел бы знать, чем она была вчера. Передай мне все, что известно о ней.

– Говорят, что она скромна.

– О, – улыбнулся король, – вероятно, это пустые слухи!

– Довольно редкие при дворе, государь, так что им можно, пожалуй, верить.

– Может быть, вы и правы, мой дорогой... А ее происхождение?

– Самое знатное: дочь маркиза де Лавальер, падчерица господина де Сен-Реми.

– Ах да, мажордома моей тетки... Помню, помню: я видел ее мельком в Блуа. Она была представлена королеве. Теперь я упрекаю себя за то, что не уделил ей тогда столько внимания, как она заслуживает.

– Я уверен, государь, что вы всегда успеете наверстать упущенное.

– Итак, вы говорите, что, по слухам, у мадемуазель де Лавальер нет любовника?

– Во всяком случае, не думаю, чтобы вашему величеству было страшно соперничество.

– Постой, – вскричал вдруг король, как будто сообразив что-то.

– Что вам угодно, государь?

– Я вспомнил.

– Да?

– Если у нее нет любовника, то есть жених.

– Жених?

– Как, ты не знаешь этого, граф?

– Нет.

– Ведь ты же в курсе всех новостей!

– Простите, ваше величество. А король знает этого жениха?

– Еще бы! Его отец приходил ко мне с просьбой подписать брачный договор: это...

Король, несомненно, собирался назвать виконта де Бражелона, но вдруг оборвал фразу, нахмутив брови.

– Это?.. – переспросил Сент-Эньян.

– Не помню, – ответил Людовик XIV, пытаясь подавить охватившее его волнение.

– Разрешите, ваше величество, помочь вам вспомнить, – предложил граф де Сент-Эньян.

– Нет, по правде сказать, я сам не знаю, о ком я собирался говорить; смутно припоминаю только, что одна из фрейлин собиралась выйти замуж... но за кого, не могу припомнить.

– Может быть, мадемуазель де Тонне-Шарант? – спросил Сент-Эньян.

– Может быть, – ответил король.

– Тогда фамилия жениха де Монтеспан; но мадемуазель де Тонне-Шарант, мне кажется, никогда не держась с ним так, чтобы он боялся сделать ей предложение.

– Словом, – сказал король, – мне ничего или почти Ничего не известно о мадемуазель де Лавальер, и я поручаю тебе, Сент-Эньян, собрать сведения о ней.

– Слушаю, государь. А когда я буду иметь честь увидеть ваше величество, чтобы сообщить эти сведения?

– Как только ты добудешь их.

– Я добуду их моментально, если только они долетят ко мне с той скоростью, с какой я стремлюсь снова явиться к королю.

– Хорошо сказано! Кстати, не выражала ли принцесса какого-либо недовольства этой бедной девушкой?

– Нет, я не замечал, государь.

– Принцесса никогда не сердилась?

– Не знаю; она всегда смеялась.

– Прекрасно, но я слышу шум в передней; должно быть, мне идут докладывать о каком-нибудь курьере.

– Это правда, государь.

– Пойди разузнай, Сент-Энъян.

Граф подбежал к двери и обменялся несколькими словами со стоявшим у входа камердинером.

– Государь, – сообщил он, вернувшись, – это господин Фуке, который только что прибыл по приказанию короля, как он говорит. Он явился, но так как время уже позднее, то он не просит немедленной аудиенции; с него довольно, чтобы король знал о его приезде.

– Господин Фуке! Я написал ему в три часа, приглашая явиться в Фонтенбло на другой день утром, а он является в два часа ночи; вот так усердие! – воскликнул король, очень довольный такой исполнительностью. Господину Фуке будет дана аудиенция. Я вызвал его, и я должен принять.

Пускай его введут. А ты, граф, – на разведку, до завтра!

Король приложил палец к губам, и обрадованный Сент-Энъян выпорхнул из комнаты, распорядившись, чтобы камердинер ввел г-на Фуке.

Фуке вошел в королевский покой. Людовик XIV поднялся ему навстречу.

– Добрый вечер, господин Фуке, – начал король с любезной улыбкой. Благодарю вас за аккуратность; мой посол, должно быть, прибыл к вам поздно.

– В десять часов вечера, государь.

– Вы много работали эти дни, господин Фуке, так как меня уверяли, что в течение трех или четырех дней вы никуда не выходили из своего кабинета в Сен-Манде.

– Я действительно работал в течение трех дней, государь, – отвечал с поклоном Фуке.

– Известно ли вам, господин Фуке, что мне нужно о многом переговорить с вами? – продолжал король самым любезным тоном.

– Ваше величество очень милостивы ко мне; разрешите мне напомнить про обещанную аудиенцию.

– Должно быть, кто-нибудь из духовенства собирается поблагодарить меня, не правда ли?

– Вы угадали, государь. Час, может быть, малоподходящий, но время человека, которого я привез, драгоценно, и так как Фонтенбло лежит на пути в его епархию...

– Кто же это?

– Новый ваннский епископ, которого ваше величество изволили назначить три месяца тому назад по моей рекомендации.

– Возможно, – сказал король, который подписал приказ, не читая, – и он здесь?

– Да, государь. Ванн – важная епархия: овцы этого пастыря очень нуждаются в его божественном слове; это дикари, которых следует воспитывать, поучая их, и господин д'Эрбле не имеет соперников в этом отношении.

– Господин д'Эрбле! – проговорил король, которому показалось, что он когда-то слышал это имя.

– Вашему величеству неизвестно это скромное имя одного из вернейших и преданнейших его слуг? – с живостью спросил Фуке.

– Нет, что-то не помню... и он собирается уезжать?

– Да, он получил сегодня письма, которые, по-видимому, требуют его немедленного приезда; и вот, отправляясь в такую глушь, как Бретань, он желал бы засвидетельствовать почтение вашему величеству.

– И он ждет?

– Он здесь, государь.

– Пусть войдет.

Фуке подал знак камердинеру, стоявшему за портьерой.

Дверь открылась, вошел Арамис.

Выслушивая его приветствие, король внимательно всматривался в это лицо, которое, раз увидев, никто не мог позабыть.

– Ванн! – произнес он. – Вы епископ ваннский?

– Да, государь.

– Ванн в Бретани?
Арамис поклонился.
– У моря?
Арамис поклонился еще раз.
– В нескольких лье от Бель-Иля?
– Да, государь, – подтвердил Арамис, – кажется, в шести лье.
– Шесть лье-это пустяки, – сказал Людовик XIV.
– Но для нас, бедных бретонцев, государь, – отвечал Арамис, – шесть лье, напротив, большое расстояние, если идти сушей, а шесть лье морем это целая бесконечность. Итак, я имею честь доложить королю, что от реки до Бель-Иля насчитывается шесть лье морем.
– Я слышал, что у господина Фуке есть там красивый домик? – спросил король.
– Да, говорят, – отвечал Арамис, спокойно глядя на Фуке.
– Как, говорят? – удивился король.
– Да, государь.
– Признаюсь, господин Фуке, меня очень удивляет одно обстоятельство.
– Какое?
– А вот! Во главе ваших приходов стоит господин д'Эрбле, и вы не показали ему Бель-Иля?
– Ах, государь, – промолвил епископ, не давая Фуке времени ответить, – мы, бедные бретонские прелаты, все больше сидим дома.
– Ваше преосвященство, – пообещал король, – я накажу господина Фуке за его невниманье.
– Каким образом, государь?
– Я переведу вас в другое место.
Фуке закусил губы, Арамис улыбнулся.
– Сколько приносит Ванн? – продолжал король.
– Шесть тысяч ливров, государь, – ответил Арамис.
– Боже мой, неужели так мало? Значит, у вас есть собственные средства, епископ?
– У меня ничего нет, государь; вот только господин Фуке выдает мне в год тысячу двести ливров.
– В таком случае, господин д'Эрбле, я вам обещаю нечто получше.
Арамис поклонился.
С своей стороны король поклонился ему чуть ли не почтительно, что, впрочем, он имел обыкновение делать, разговаривая с женщинами а духовенством.
Арамис понял, что ея аудиенция окончена; на прощание он произнес какую-то простую фразу, вполне уместную в устах деревенского пастыря, и скрылся.
– Какое замечательное у него лицо, – сказал король, проводив его взглядом до самой двери и смотря ему вслед даже после его ухода.
– Государь, – отвечал Фуке, – если бы этот епископ получил лучшее образование, то ни один прелат в целом государстве не был бы более достоин высоких почестей.
– Разве он не ученый?
– Он сменил шпагу на рясу и сделал это довольно поздно. Но это не важно, и если его величество разрешит мне снова завести речь об епископе ваннском...
– Сделайте одолжение Но прежде чем говорить о нем, поговорим о вас, господин Фуке.
– Обо мне, государь?
– Да, я должен сказать вам тысячу комплиментов.
– Я не в силах выразить вашему величеству, как я счастлив.
– Да, господин Фуке, у меня было предубеждение против вас.
– Я чувствовал себя тогда очень несчастным, государь.
– Но оно прошло. Разве вы не заметили?
– Как не заметить, государь; но я покорно ожидал дня, когда откроется правда. Видимо, такой день настал.

– Значит, вы знали, что были в немилости у меня?

– Увы, государь.

– И знаете, почему?

– Конечно, король считал меня расточителем.

– О нет.

– Или, вернее, посредственным администратором. Словом, ваше величество считали: если у подданных нет денег, то и у короля их не будет.

– Да, я считал, но я убедился, что это была ошибка.

Фуке поклонился.

– И никаких возмущений, никаких жалоб?

– Ни того, ни другого, а деньги есть, – сказал Фуке.

– Да, в последний месяц вы меня прямо засыпали деньгами.

– У меня есть еще не только на необходимое, но и на все капризы его величества.

– Слава богу! Нет, господин Фуке, – сделался серьезным король, – я не подвергну вас испытанию. С сегодняшнего дня в течение двух месяцев я не попрошу у вас ни копейки.

– Я этим воспользуюсь и накоплю для короля пять или шесть миллионов, которые послужат ему фондом в случае войны.

– Пять или шесть миллионов?

– Только для его дома, разумеется.

– Вы думаете, следовательно, о войне, господин Фуке?

– Я думаю, что бог дал орлу клюв и когти для того, чтобы он пускал их в дело в доказательство своей царственной природы.

Король покраснел от удовольствия.

– Мы очень много истратили в последние дни, господин Фуке; вы не будете ворчать на меня?

– Государь, у вашего величества впереди еще двадцать лет молодости и целый миллиард, который вы можете истратить в эти двадцать лет.

– Целый миллиард! Это много, господин Фуке, – улыбнулся король.

– Я накоплю, государь... Впрочем, ваше величество имеете в лице господина Кольбера и меня двух драгоценных людей. Один будет помогать вам тратить эти деньги – это я, если только мои услуги будут приняты его Величеством; другой будет экономить – это господин Кольбер.

– Господин Кольбер? – с удивлением спросил король.

– Разумеется, государь; господин Кольбер прекрасно умеет считать.

Услышав такую похвалу врагу из уст врага, король почувствовал полное доверие к Фуке. Все это потому, что ни тоном голоса, ни взглядом Фуке не выдал себя; это не была похвала, произнесенная для того, чтобы потом выругать.

Король понял и, отдавая должное такому уму и великодушию, сказал:

– Вы хвалите господина Кольбера?

– Да, государь, потому что это не только достойный, но и очень преданный интересам вашего величества человек.

– Вы так думаете потому, что он часто противоречил вашим намерениям?

– спросил с улыбкой король.

– Именно, государь.

– Объясните мне это, пожалуйста.

– Да очень просто. Я человек, нужный для того, чтобы раздобыть деньги, а он для того, чтобы не дать им уплыть.

– Полно, господин суперинтендант; вы, может быть, скажете мне что-нибудь, что внесет поправку в этот лестный отзыв.

– В отношении административных способностей, государь?

– Да.

– Ни одного слова, ваше величество.

– Неужели?

– Клянусь честью, я не знаю во Франции лучшего приказчика, чем господин Кольбер.

В 1661 году слово приказчик не содержало в себе признака подначальности, который придают ему в настоящее время; но в устах Фуке, которого король только что назвал господином суперинтендантом, оно приобретало оттенок чего-то унижительного, так что сразу открывало целую пропасть между Фуке и Кольбером.

– Однако, – сказал Людовик XIV, – как Кольбер ни скуп, а ведь это он распоряжался моими праздниками в Фонтенбло, и я уверяю вас, господин Фуке, что он нисколько не мешал уплывать моим деньгам.

Фуке поклонился и ничего не ответил.

– Разве вы этого не находите? – спросил король.

– Я нахожу, государь, – отвечал Фуке, – что господин Кольбер проявил огромную распорядительность и в этом отношении вполне заслуживает похвалы вашего величества.

Слово распорядительность являлось прекрасным дополнением к слову приказчик. Никто не мог сравниться с королем в отношении чуткости к малейшим оттенкам речи и умения улавливать самые замаскированные намерения.

Поэтому Людовик XIV понял, что, с точки зрения Фуке, приказчик был слишком честен, то есть что роскошные праздники в Фонтенбло могли бы быть еще роскошнее.

И король сделал отсюда вывод, что присутствовавшие могли, пожалуй, найти недостатки в его увеселениях; он испытал досаду провинциала, который приезжает в Париж, разрядившись в самые лучшие платья: люди элегантные или чересчур пристально смотрят на него, или совсем не обращают внимания. Эта столь трезвая, но в то же время тщательно обдуманная часть разговора Фуке внушила королю еще большее уважение к уму и дипломатическим способностям министра.

Фуке удалился, и король лег в постель, немного недовольный и раздраженный только что полученным замаскированным уроком; целых полчаса он ворочался, вспоминая вышивки, драпировки, меню угощений, архитектуру триумфальных арок, подробности иллюминации и фейерверков, устроенные по распоряжению приказчика – Кольбера. Мысленно перебрав все, что произошло в течение этой недели, король нашел несколько пятен на картине своих празднеств.

Фуке со своей изысканной вежливостью, тактичностью и щедростью только что сильно уронил Кольбера в глазах короля. Этому последнему никогда не удавалось так повредить Фуке, как ни пускал он в ход всю свою пронырливость, злобность и упорную ненависть.

Глава 29.

ФОНТЕНБЛО В ДВА ЧАСА УТРА

Как мы видели, де Сент-Энъян покинул королевские комнаты в тот самый момент, когда туда входил суперинтендант.

Де Сент-Энъян получил поручение, которое нужно было выполнить как можно скорее; это значит, что де Сент-Энъян собирался приложить все старания использовать свое время как можно лучше.

Он решил, что первые необходимые сведения может дать ему де Гиш. И он помчался к де Гишу.

Де Гиш, который, как мы видели, скрылся за углом флигеля и как будто бы отправился домой, домой, однако, не вернулся. Де Сент-Энъян принялся его разыскивать.

Исходяв парк во всех направлениях, он заметил около дерева что-то похожее на человеческую фигуру. Фигура эта была неподвижна, как статуя, и, казалось, человек весь поглощен созерцанием одного окна, хотя оно было плотно завешено.

Так как это было окно комнаты принцессы, то Сент-Энъян заключил, что застывшая фигура является не кем иным, как де Гишем. Он тихонько подошел ближе и увидел, что не ошибся.

Свидание с принцессой преисполнило де Гиша таким счастьем, которое оказалось непосильным для его души.

Де Сент-Эньяну было известно, что де Гиш играл какую-то роль в представлении Лавальер принцессе; придворный знает и помнит все. Он только не знал, по какому праву и на каких условиях де Гиш согласился оказывать покровительство Лавальер. Но если хорошенько постараться, то всегда можно кое-что выведать; поэтому Сент-Эньян надеялся получить необходимые ему сведения, расспросив де Гиша со всей деликатностью и в то же время настойчивостью, на какие он был способен.

План де Сент-Эньяна был такой.

Если сведения окажутся благоприятными, то уверить короля, что именно он нашел жемчужину, и добиваться привилегии вставить эту жемчужину в королевскую корону. Если же сведения окажутся неблагоприятными, что было вполне возможно, то выведать, в какой степени король увлечен Лавальер, и затем передать королю добытые сведения в такой форме, чтобы за этим последовало изгнание девчонки, а потом приписать себе заслугу этого изгнания в глазах всех женщин, стремившихся покорить королевское сердце, начиная с принцессы и кончая королевой.

В случае же, если король проявит упорство в своих желаниях, – скрыть от него дурные сведения; дать знать Лавальер, что эти дурные сведения все без исключения глубоко погребены в памяти человека, узнавшего их; блеснуть, таким образом, своим великодушием в глазах несчастной девушки, пробудить в ней чувства признательности и страха и при помощи этих чувств вечно держать ее в зависимости, сделать ее своей соумышленницей при дворе, которая, преуспевая сама, была бы заинтересована и в его преуспевании.

Если же допустить, что в один прекрасный день тайна ее прошлого все-таки обнаружится, – принять заранее все предосторожности, чтобы сделать в присутствии короля вид, будто ему ничего не было известно. Даже в этот день он останется в глазах Лавальер все тем же великодушным человеком.

С этими-то мыслями, созревшими в голове де Сент-Эньяна в какие-нибудь полчаса, лучший сын века, как сказал бы Лафонтен, принялся за дело, твердо решив заставить заговорить де Гиша, иными словами – посеять в нем сомнение относительно его счастья, о причинах которого де Сент-Эньян, впрочем, ничего не знал.

Был час ночи, когда де Сент-Эньян заметил неподвижно стоящего де Гиша, прислонившегося к стволу дерева и впившегося глазами в освещенное окно.

Час ночи, самый сладкий час, который художники венчают миртами и распускающимися цветами, час, когда слипаются глаза, а сердце трепещет, голова отягчена, когда мы бросаем взгляд сожаления на прошедший день и обращаемся с восторженными приветствиями к новому дню. Для де Гиша этот час был зарей несказанного счастья; он озолотил бы нищего, ставшего на его пути, лишь бы только этот нищий не нарушал его грез.

Как раз в этот час Сент-Эньян, приняв дурное решение, – эгоизм всегда плохой советчик, – хлопнул его по плечу.

– Вас-то я и искал, любезнейший, – вскричал он.

– Меня? – вздрогнул де Гиш, губы которого только что шептали дорогое имя.

– Да, вас. И застаю вас беседующим с луной и звездами. Уж не одержимы ли вы недугом поэзии, дорогой граф, и не сочиняете ли стихи?

Молодой человек принужден был улыбнуться, между тем как в глубине сердца посылал тысячу проклятий де Сент-Эньяну.

– Может быть, – отвечал он. – Но по какой же счастливой случайности?..

– Вижу, что вы плохо расслышали меня.

– Как так?

– Ведь я сказал, что ищу вас.

– Меня?

– Да, ищу и поймал.

– На чем же?

– На прославлении Филис.

– Вы правы, не буду спорить с вами, – рассмеялся де Гиш. – Да, дорогой граф, я воспеваю Филис.

– Это вам и подобает.

– Мне?

– Конечно, вам. Вам, неустрашимому покровителю всех красивых и умных женщин.

– Что за вздор вы городите?

– Говорю истинную правду. Мне все известно. Знаете ли, я влюблен.

– Вы?

– Да.

– Тем лучше, дорогой граф. Пойдемте, вы мне расскажете.

Де Гиш, испугавшись, чтобы Сент-Эньян не заметил этого освещенного окна, взял графа под руку и попробовал увести его.

– Нет, нет, – сказал тот, упираясь, – не тащите меня в этот темный парк, там слишком сыро.

– В таком случае ведите меня куда вам вздумается и спрашивайте о чем желаете, – покорился де Гиш.

– Вы крайне любезны.

Затем, помолчав немного, де Сент-Эньян продолжал:

– Дорогой граф, мне очень хотелось бы услышать ваше мнение об одной особе, которой вы оказывали покровительство.

– И которую вы любите?

– Я не говорю ни да, ни нет, дорогой мой... Вы понимаете, что нельзя рисковать своим сердцем очертя голову и что сначала нужно принять меры предосторожности.

– Вы правы, – вздохнул де Гиш, – сердце – весьма хрупкая вещь.

– Мое в особенности. Оно такое нежное, уверяю вас.

– О, это всем известно, граф. А дальше?

– А дальше вот что. Дело идет попросту о мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Вот как! Дорогой Сент-Эньян, мне кажется, что вы сошли с ума.

– Почему же?

– Я никогда не покровительствовал мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Неужели?

– Никогда.

– А разве не вы представили мадемуазель де Тонне-Шарант принцессе?

– Но вам ведь лучше чем кому-либо должно быть известно, дорогой граф, что мадемуазель де Тонне-Шарант из такого дома, что не нуждается ни в какой протекции, а, напротив, сама принцесса желала иметь ее своей фрейлиной.

– Вы смеетесь надо мной.

– Нет, честное слово, не понимаю, что вы хотите сказать.

– Значит, вы не причастны к тому, что она допущена ко двору?

– Пет.

– Вы с ней незнакомы?

– Впервые я увидел ее в тот день, когда она представлялась принцессе.

А поскольку я совсем не покровительствовал ей, совсем незнаком с ней, то и не могу дать вам, дорогой граф, сведений, которые вы хотели бы получить.

При этом де Гиш сделал движение, как бы намереваясь ускользнуть от своего собеседника.

– Стойте, стойте, – воскликнул де Сент-Эньян, – я вас задержу еще минутку.

– Простите, но мне кажется, что час поздний, пора домой.

– Однако вы не спешили домой, когда я вас встретил, или, точнее, нашел?

– Я к вашим услугам, дорогой граф, если вы собираетесь что-нибудь сказать мне.

– И отлично, клянусь создателем! Получасом раньше, получасом позже от этого ваши

кружева не изомнутся ни больше, ни меньше. Поклянитесь мне, что причиной вашего молчания не являются какие-нибудь дурные сведения об этой девушке.

– Что вы, насколько мне известно, она чиста, как хрусталь.

– Вы обрадовали меня! Однако я не хочу производить впечатления человека, плохо осведомленного в этих делах. Всем известно, что вы поставляли фрейлин ко двору принцессы. По поводу этого сложили даже песенку про вас.

– Дорогой мой, ведь вы же отлично знаете, что при дворе это делают по всякому поводу.

– Вы знаете эту песню?

– Нет, спойте, тогда я буду знать.

– Охотно; правда, я забыл, как она начинается, но помню, как она кончается.

– Ладно, и это уже кое-что.

*Всех фрейлин, слышь,
Поставщик Гиш.*

– И смысла мало, и рифма скверная.

– Чего же вы хотите, дорогой мой? Эту песню сочинил не Расин, не Мольер, а Лафельяд; а ведь вельможа не может владеть рифмой, как заправский стихотворец.

– Как досадно, что вы помните только конец.

– Погодите, погодите, вот начало второго куплета.

– Слушаю.

*Дал место кавалер
Монтале и...*

– Тьфу! «И Лавальер», – воскликнул нетерпеливо де Гиш, совершенно не понимая, куда гнет де Сент-Эньян.

– Да, да, это самое, Лавальер! Вы правильно выбрали рифму, дорогой мой.

– Ужасно трудно было догадаться!

– Монтале и Лавальер, вот именно. Этим самым двум девчонкам вы и протезировали. И Сент-Эньян расхохотался.

– А почему же в песне совсем ничего не сказано о мадемуазель де Тонне-Шарант? – спросил де Гиш.

– Не знаю.

– Итак, вы удовлетворены?

– Разумеется; но там все-таки упоминается Монтале, – сказал Сент-Эньян, продолжая смеяться.

– О, вы ее найдете повсюду! Очень быстрая девица.

– Вы ее знаете?

– Скорее понаслышке. За нее хлопотал некий Маликорн, которому, в свою очередь, протезировал Маникан; Маникан просил меня устроить Монтале фрейлиной при дворе принцессы, а Маликорна офицером в свите принца. Я попросил за них; ведь вы знаете, что я питаю некоторую слабость к этому чудаку Маникану.

– Что же, ваши труды увенчались успехом?

– Что касается Оры де Монтале – да; по отношению к Маликорну – и да и нет, его только терпят. Это все, что вы хотели знать?

– Остается рифма.

– Какая рифма?

– Подысканная вами.

– Лавальер?

– Да.

И Сент-Эньян снова залился смехом, который так раздражал де Гиша.

– Да, это точно, я ввел ее к принцессе, – проговорил де Гиш.

– Ха-ха-ха!

– Но, дорогой граф, – сказал очень сухо и холодно де Гиш, – вы сделаете мне большое одолжение, если не будете отпускать шуточек относительно этого имени. Мадемуазель Ла Бом Леблан де Лавальер особа совершенно безупречная.

– Совершенно безупречная?

– Да.

– А разве до вас не дошли последние слухи? – спросил де Сент-Эньян.

– Нет, и вы очень меня обяжете, дорогой граф, если сохраните эти слухи для себя и для тех, кто распускает их.

– Почему вас так волнует это?

– Потому что де Лавальер любит один из моих близких друзей.

Сент-Эньян вздрогнул.

– Вот как! – воскликнул он.

– Да, граф! – продолжал де Гиш. – Вы самый воспитанный из всех французов и должны понять поэтому, что я не позволю ставить своего друга в смешное положение.

– Понимаю как нельзя лучше!

И Сент-Эньян прикусил губы от досады и обманутого любопытства.

Де Гиш вежливо поклонился ему.

– Вы прогоняете меня, – сказал Сент-Эньян, которому до смерти хотелось узнать имя друга.

– Нисколько, дражайший... Я собираюсь кончить свои стихи к Филис.

– Что же это за стихи?

– Четверостишие. Понимаете ли, четверостишие – тонкая вещь.

– Еще бы!

– А так как из четырех стихов мне осталось сочинить еще три с половиной, то я хочу сосредоточиться.

– Ну, понятно. До свидания, граф!

– До свидания!

– Кстати...

– Что?

– У вас легкая рука?

– Очень.

– Следовательно, вы успеете окончить ваши три с половиной стиха к завтрашнему утру?

– Надеюсь.

– В таком случае до завтра.

– До завтра, прощайте.

Сент-Эньяну волей-неволей пришлось раскланяться; он исчез за деревьями.

Во время разговора де Гиш и Сент-Эньян отошли довольно далеко от замка.

У всякого математика, всякого поэта и всякого мечтателя свои развлечения; Сент-Эньян, расставшись с де Гишем, очутился на краю парка, где начинались уже разные службы и где за большими купами акаций и каштанов, оплетенных диким виноградом, возвышалась стена, отделявшая парк от двора со службами.

Оставшись один, Сент-Эньян пошел по направлению к этим постройкам; де Гиш повернул в противоположную сторону. Один возвращался, следовательно, к цветникам, другой же шел к ограде.

Сент-Эньян шагал по мягкому песку под непроницаемым сводом рябин, сирени и боярышника, никем не видимый и не слышимый. Он обдумывал выход из трудного положения, очень разочарованный тем, что ему не удалось ничего выведать о Лавальер, несмотря на все ухищрения, пущенные им в ход.

Вдруг до его уха донеслись звуки человеческих голосов. Это был шепот, женские жалобы, прерываемые вопросами, тихий смех, вздохи, заглушенные возгласы удивления;

отчетливее всего можно было различить голос женщины.

Сент-Эньян остановился и с удивлением обнаружил, что голоса раздаются откуда-то сверху.

Подняв голову, он заметил женщину, забравшуюся по лестнице на верхушку каменной ограды; она разговаривала, оживленно жестикулируя, с сидевшим на дереве мужчиной; видна была только его голова. Женщина была по одну сторону стены; мужчина – по другую.

Глава 30. ЛАБИРИНТ

Де Сент-Эньян искал только сведений, а нашел целое приключение. Ему повезло.

Любопытствуя узнать, почему мужчина и женщина находятся здесь, а главное, о чем они разговаривают в такой поздний час и в таком неудобном положении, де Сент-Эньян тихонько подкрался к самой лестнице.

Устроившись поудобнее, он услышал следующий разговор.

Говорила женщина:

– Право же, господин Маникан, – в голосе ее слышались упреки и в то же время кокетливые нотки, – право же, вы подвергаете нас большому риску. Если мы будем продолжать наш разговор, нас застанут врасплох.

– Весьма вероятно, – перебил мужчина самым спокойным и флегматичным тоном.

– Что же тогда скажут? Ах, если кто-нибудь увидит меня, я умру со стыда!

– Это было бы большим ребячеством, на которое я считаю вас неспособной.

– Добро бы еще между нами было что-нибудь; но накликать на себя неприятности так, здорово живешь, – благодарю покорно. Прощайте, господин Маникан.

«Прекрасно! Я знаю мужчину; теперь нужно узнать женщину», – сказал про себя де Сент-Эньян, рассматривая стоящие на перекладине лестницы ножки, обутые и изящные голубые шелковые туфли, в чулках телесного цвета.

– Ради бога, подождите минутку, дорогая Монтале! – воскликнул де Маникан. – Ради бога, не исчезайте. Мне нужно сказать вам еще много важных вещей.

– Монтале! – прошептал де Сент-Эньян. – Одна из тройки! У каждой из трех кумушек свое увлечение; только мне казалось, что увлечение этой называется господин Маликорн, а не Маникан.

Услышав призыв своего собеседника, Монтале остановилась посередине лестницы. Несчастный Маникан перебрался на другую ветку каштана, чтобы занять более удобное положение.

– Выслушайте меня, прошу вас, надеюсь, вы не подозреваете меня в дурных намерениях?

– Нисколько... Но зачем же, однако, это письмо, в котором вы напоминаете о своих услугах? Зачем это свидание в такой час и в таком месте?

– Вы спрашиваете меня, зачем я желал пробудить у вас чувство благодарности, напомнив вам, что это я ввел вас к принцессе? Да просто я очень хотел получить свиданье с вами, на которое вы так любезно согласились, и не мог найти более верного средства подействовать на вас. Почему я выбрал для него этот час и это место? Потому, что час казался мне удобным, а место уединенным.

А мне нужно попросить вас о таких вещах, о которых неудобно говорить при свидетелях.

– Послушайте, господин де Маникан!

– У меня самые чистые намерения, дорогая Монтале.

– Господин де Маникан, я думаю, что мне следует уйти.

– Выслушайте меня, а не то я перепрыгну к вам; лучше не прекословьте, потому что как раз сейчас меня очень раздражает одна ветка, я не ручаюсь за себя. Не берите с нее пример и слушайте меня.

– Хорошо, я вас слушаю; но говорите короче, потому что если вас раздражает ветка, то

меня – переკладина лестницы, которая врезалась в мои подошвы. Под мои туфли подведена мина, предупреждаю вас.

– Окажите мне любезность, дайте вашу руку, мадемуазель.

– Зачем?

– Да дайте же.

– Вот вам рука; но что такое вы делаете?

– Тащу вас к себе.

– Зачем? Надеюсь, вы не хотите посадить меня на ветку рядом с собой?

– Нет, но я хочу, чтоб вы сели на ограде; вот так.

Место широкое, удобное, и я много бы дал, чтобы вы позволили мне присесть рядом с вами.

– Ничего, ничего, вам хорошо и там; нас увидят.

– Вы думаете? – вкрадчиво спросил Маникан.

– Уверена.

– Будь по-вашему. Я остаюсь на каштане, хотя мне здесь очень неудобно.

– Господин Маникан, вы отвлеклись от темы.

– Это правда.

– Вы мне писали?

– Писал.

– Зачем же вы писали?

– Представьте себе, что сегодня в два часа де Гиш уехал.

– А дальше?

– Видя, что он уезжает, я, по своему обыкновению, последовал за ним.

– Вижу, потому что вы здесь.

– Погодите-ка. Вам ведь известно, не правда ли, что бедняга де Гиш был в ужасной немилости?

– Увы, да!

– Следовательно, с его стороны было верхом неблагоразумия ехать в Фонтенбло, к тем, кто изгнал его из Парижа, и особенно к тем, от которых его удалили.

– Вы рассуждаете, как покойный Пифагор, господин Маникан.

– А нужно сказать, что де Гиш упрям, как всякий влюбленный, он не прислушался ни к одному из моих доводов. Я просил его, умолял – он и слушать ничего не хотел... Ах, черт возьми!

– Что с вами?

– Простите, мадемуазель, это все проклятая ветка, о которой я уже имел честь упомянуть вам, она только что разорвала мне панталоны.

– Не беда, сейчас темно, – смеясь, отвечала Монтале, – продолжайте, господин Маникан.

– Итак, де Гиш отправился верхом, крупной рысью, а я последовал за ним пешком. Вы понимаете, что только дурак или сумасшедший спешит, бросаясь в воду за своим другом. И вот я пустил де Гиша скакать вперед, а сам поехал не торопясь, в полной уверенности, что несчастного не примут, а если примут, то так, что при первом же суровом слове ему придется повернуть назад, и, следовательно, я увижу, как он скачет домой где-нибудь в Ри или в Мелуне; согласитесь, что и это уже много: одиннадцать лье туда и столько же обратно.

Монтале пожала плечами.

– Смейтесь, если вам угодно, сударыня; но если бы вы не сидели с удобством на гладких камнях ограды, взобрались бы верхом на ветку, то и вы, подобно мне, желали бы сойти вниз как можно скорее.

– Минуточку терпения, дорогой Маникан, одну минуточку. Итак, вы говорите, что вы миновали Ри и Мелун?

– Да, я миновал Ри и Мелун, я продолжал путь, удивляясь, что он не едет назад, наконец, приехав в Фонтенбло, расспрашиваю, осведомляюсь у всех, где де Гиш, никто не видел его, никто не разговаривал с ним в городе, оказывается, он прискакал галопом, въехал в ворота

замка и исчез.

С восьми часов вечера я ищу его по всему Фонтенбло, спрашиваю о нем всех и каждого, нет де Гиша! Я умираю от беспокойства Вы понимаете, не мог же я броситься прямо в волчью пасть, не мог сам войти в замок, подобно моему неосторожному другу; я пошел к службам и вызвал вас письмом. Теперь, мадемуазель, ради самого неба, успокойте меня.

– Это совсем не трудно, дорогой Маникан; ваш друг де Гиш быю принят как нельзя лучше.

– Да неужели?

– Король обласкал его.

– Как? Король, который сам отправил его в изгнание?

– Принцесса улыбалась ему; принц, кажется, полюбил его больше, чем прежде.

– Вот как, – протянул Маникан. – Теперь понятно, почему он остался. А обо мне он ничего не говорил?

– Ни слова.

– Очень дурно с его стороны. Что он теперь делает?

– По всей вероятности, спит, а если не спит, то мечтает.

– А что у вас делали весь вечер?

– Танцевали.

– Знаменитый балет? А каков был де Гиш?

– Обворожителен.

– Молодчина! Теперь простите, мадемуазель, мне остается перейти прямо к вам.

– Как так?

– Вы понимаете: я не могу рассчитывать, чтобы мне открыли двери замка в такой час; я очень хотел бы лечь спать на этой ветке, но уверяю вас, что это возможно разве только попугаю.

– Не могу же я, однако, господин Маникан, ввести гостя через забор.

– Двоих, мадемуазель, – проговорил еще чей-то голос, но крайне робко; ясно было, что говоривший чувствует все неприличие подобной просьбы.

– Боже мой, – ужаснулась Монтале, стараясь разглядеть, кто стоял под каштаном, – кто это?

– Я, мадемуазель.

– Кто вы такой?

– Маликорн, ваш покорнейший слуга.

И Маликорн, произнеся эти слова, поднялся с земли на нижние ветви и выше, до уровня ограды.

– Господин Маликорн!.. Господи боже мой, да вы оба с ума сошли!

– Как вы себя чувствуете, мадемуазель? – изысканно вежливо спросил Маликорн.

– Этого только мне не хватало! – вое кликнула с отчаянием Монтале.

– Ах, мадемуазель, – прошептал Маликорн, – не будьте такой суровой, умоляю вас!

– Ведь мы ваши друзья, мадемуазель, – сказал Маникан, – а друзьям нельзя желать гибели. Оставить же нас здесь на всю ночь – все равно что приговорить к смерти.

– Ну, – засмеялась Монтале, – господин Маликорн такой здоровяк, что не умрет, проведя ночь под ясными звездами!

– Мадемуазель!

– Это послужит справедливым наказанием за его выходку.

– Идет! Пусть Маликорн устраивается с вами как хочет, а я перебираюсь, – объявил Маникан.

И, согнув пресловутую ветку, на которую он так горько жаловался, Маникан пустил в ход руки и ноги и в заключение уселся рядом с Монтале.

Монтале хотела столкнуть Маникана, Маникан прилагал все усилия, чтобы удержаться. Эта стычка, продолжавшаяся несколько секунд, была не лишена живописности, которая не ускользнула от внимательного глаза г-на де Сент-Эньяна. Маникан одержал верх. Завладев

лестницей, он спустился по ней на несколько ступенек и галантно предложил руку своей неприятельнице.

А тем временем на каштан забрался Маликорн и уселся на то самое место, где только что сидел Маникану намереваясь последовать за ним и дальше. Маникан и Монтале спустились на несколько ступенек; Маникан проявлял упорство, Монтале смеялась и отбивалась.

Тут раздался голос Маликорна.

– Мадемуазель, – взывал Маликорн, – не покидайте меня, умоляю вас!

Положение мое очень неудобно, и я не в состоянии благополучно перебраться через ограду без посторонней помощи; для Маникана порвать платье пустяки, он раздобудет себе другое из гардероба господина де Гиша; а я не могу рассчитывать даже на костюм Маникана, потому что он изорван.

– По-моему, – сказал Маникан, не обращая внимания на жалобы Маликорна, – по-моему, я должен сейчас же направиться на поиски де Гиша. Позже к нему, пожалуй, не попасть.

– Я тоже так думаю, – отвечала Монтале, – так ступайте же, господин Маникан.

– Тысяча благодарностей! До свиданья, мадемуазели – проговорил Маникан, соскочив на землю. – Вы необыкновенно любезны.

– Всегда к вашим услугам, господин Маникан; пойду теперь отделяться от господина Маликорна.

Маликорн вздохнул.

– Ступайте, ступайте, – продолжала Монтале.

Маникан сделал несколько шагов, потом, вернувшись к лестнице, спросил:

– Кстати, мадемуазель, как попасть к господину де Гишу?

– Ничего не может быть проще. Вы дойдете по буковой аллее...

– Хорошо.

– Дойдете до перекрестка...

– Хорошо.

– Увидите там четыре аллеи...

– Чудесно.

– Пойдете по одной из них...

– По какой именно?

– По правой.

– По правой?

– Нет, по левой.

– Ах, черт возьми!

– Нет... нет... подождите...

– По-видимому, вы и сами не знаете как следует. Вспомните хорошенько, прошу вас, мадемуазель.

– По средней!

– Их же четыре.

– Это верно. Все, что я знаю, это то, что одна из четырех ведет прямо к принцессе; эта аллея мне прекрасно известна.

– Но господин де Гиш не у принцессы же, не правда ли?

– Слава богу, нет!

– Следовательно, та аллея, которая ведет к принцессе, мне не нужна, и я желал бы променять ее на ту, что к одет к господину де Гишу.

– Да, разумеется, и я ее тоже знаю, но как узнать ее отсюда, просто ума не приложу.

– Предположим, мадемуазель, что я нашел эту счастливую аллею.

– Тогда вы и пойдете по ней. Вам останется только миновать лабиринт.

– Это еще что такое, что это за лабиринт?

– Довольно замысловатый; в нем и днем можно иногда заблудиться; бесконечные повороты направо и налево; сначала нужно сделать три поворота направо, потом два налево,

потом один поворот... один или два? Погодите!

Наконец, выйдя из лабиринта, вы попадете в кленовую аллею, и эта аллея приведет вас прямо к павильону, в котором находится господин де Гиш.

– Вот так указание, нечего сказать: я не сомневаюсь, что, руководясь им, я сразу же запутаюсь. Поэтому я хочу попросить вас оказать мне маленькую услугу.

– Какую?

– Предложить мне вашу руку и направлять мои стопы, как... как... я отлично знал мифологию, мадемуазель, но положение так серьезно, что вся она улетучилась у меня из головы. Пойдемте же, умоляю вас.

– А я? – вскричал Маликорн. – Что же вы меня-то покидаете?

– Нет, это невозможно, сударь, – сказала Монтале, обращаясь к Маникану. – Вдруг кто-нибудь увидит меня с вами в такой час, посудите, какие пойдут разговоры!

– Ваша чистая совесть будет вам защитой, мадемуазель, – ответил нравоучительно Маникан.

– Нет, сударь, никак невозможно!

– Ну, тогда позвольте мне помочь сойти Маликорну; это парень смысленный, да и нюх у него прекрасный; он доведет меня, и если погибать, то погибнем вместе или вместе спасемся. Если нас встретят вдвоем, на нас не обратят внимания; а одного меня сочтут, пожалуй, за любовника или за вора. Спускайтесь, Маликорн, вот вам лестница.

– Господин Маликорн, – вскричала Монтале, – запрещаю вам сходить с дерева! Под страхом моего жесточайшего гнева.

Маликорн, занесший уже было ногу на верхушку ограды, печально убрал ее.

– Шшш... – прошептал Маникан.

– Что такое? – спросила Монтале.

– Я слышу шаги.

– Ах, боже мой!

Действительно, шум шагов становился все более явственным, листва раздвинулась, и появился де Сент-Эньян, весело смеясь и простирая руку, как бы с целью остановить каждого в том положении, в каком они находились: Маликорна на дереве, с вытянутой шеей, Монтале на ступеньке лестницы, к которой она словно приросла, Маникана на земле, с отставленной вперед ногой, готового пуститься в путь.

– Добрый вечер, Маникан, – приветствовал его граф. – Милости просим, дружище; вас одень недоставало сегодня, и о вас спрашивали. Мадемуазель де Монтале, ваш... покорнейший слуга!

Монтале покраснела.

– Ах, боже мой! – пробормотала она, закрывая лицо руками.

– Успокойтесь, мадемуазель, – сказал де Сент-Эньян, – я знаю, что вы невинны, и поручусь в том перед всеми. Маникан, пойдемте со мной. Буковая аллея, перекресток и лабиринт – все знакомые места; я буду вашей Ариадной. Вот я и напомнил забытую вами мифологию!

– Ей-богу, верно! Благодарю вас, граф.

– Не прихватите ли заодно, граф, – попросила Монтале, – также господина Маликорна?

– Нет, нет, боже упаси! – отозвался Маликорн. – Господин Маникан досыта наговорился с вами; теперь, мадемуазель, моя очередь; мне нужно столько сказать вам по поводу нашего будущего.

– Слышите? – рассмеялся граф. – Оставайтесь с ним, мадемуазель. Разве вы не знаете, что сегодняшняя ночь – ночь тайн?

И, взяв Маникана под руку, граф быстро увлек его по той дороге, которую Монтале так хорошо знала и так плохо показывала.

Монтале проводила их глазами, пока они не скрылись из виду.

Глава 31.

КАК МАЛИКОРН БЫЛ ВЫСЕЛЕН ИЗ ГОСТИНИЦЫ «КРАСИВЫЙ ПАВЛИН»

Тем временем Маликорн постарался расположиться поудобнее.

Когда Монтале обернулась, перемена в положении Маликорна сразу же бросилась ей в глаза. Маликорн сидел, как обезьяна, на каменной ограде, опершись ногами на верхнюю ступеньку лестницы. Голова его, как у фавна, была увита плющом и жимолостью, а ноги опутывал дикий виноград.

Что касается Монтале, то ее вполне можно было принять за дриаду.

– На что это похоже? – возмущалась она, поднимаясь по лестнице. – Вы покоя мне не даете, преследуете, меня, несчастную, тиран вы этакий!

– Я, – удивился Маликорн, – я тиран?

– Разумеется, вы беспрестанно компрометируете меня, господин Маликорн; вы злобное чудовище!

– Я?

– Что вам понадобилось в Фонтенбло? Скажите на милость! Разве вы живете не в Орлеане?

– Вы спрашиваете, что мне понадобилось здесь? Мне нужно было увидеть вас.

– Ах, какое неотложное дело!

– Очень неотложное, мадемуазель, хотя вам, конечно, все равно. Что же касается моего дома, то вы прекрасно знаете, что я покинул его и в будущем мне не надо никакого дома, кроме того, в котором живете вы. А так как в настоящее время вы живете в Фонтенбло, то я и явился в Фонтенбло.

Монтале пожала плечами.

– Так вы хотите меня видеть?

– Да.

– Ну хорошо, вы меня увидели? Будет с вас, ступайте!

– О нет! – воскликнул Маликорн.

– Как это нет?

– Я явился не только с тем, чтобы увидеть вас; мне надо также поговорить с вами.

– Что же, поговорим. Но только после и в другом месте.

– После! Бог знает, увижу ли я вас после и в другом месте. Такого удобного случая, как этот, нам никогда больше не представится.

– Но сейчас я никак не могу.

– Почему?

– Потому что сегодня ночью произошла тысяча приключений.

– Так это будет тысяча первым.

– Нет, нет, мадемуазель де Тонне-Шарант ждет меня в нашей комнате; ей нужно сообщить мне что-то очень важное.

– И давно уже ждет?

– По крайней мере, с час.

– В таком случае, – сказал спокойно Маликорн, – подождет еще несколько минут.

– Господин Маликорн, вы забываетесь.

– То есть вы меня забываете, мадемуазель. И та роль, которую вы заставляете меня играть здесь, начинает раздражать меня. Тьфу, пропасть!

Целую неделю я слоняюсь тут около вас, а вы ни разу не сообразовали заметить меня...

– Как, вы здесь уже целую неделю?

– Да, скитаюсь в парке, словно оборотень, обжигаемый фейерверками, от которых у меня порыжели два парика, вечно мокрый от вечерней сырости и брызг фонтанов, вечно голодный, измученный, вынужденный удирать через ограду, точно вор. Черт возьми, разве это жизнь для существа, которое не создано ни белкой, ни саламандрой, ни выдрой! Вы настолько безжалостны, что хотите заставить меня утратить человеческий образ. Нет, я протестую!

Я человек, черт возьми, и останусь человеком, разве только на этот счет последуют иные

распоряжения небесного начальства!

– Что же вам надо? Чего вы хотите? Чего вы требуете? – спросила Монтале более мягким тоном.

– Не станете же вы уверять, что не знали о моем пребывании в Фонтенбло?

– Я...

– Будьте откровенны.

– Я подозревала об этом.

– Неужели в течение целой недели вы не могли устроить так, чтобы видеться со мной хотя бы раз в день?

– Мне всегда мешали, господин Маликорн.

– Та-та-та...

– Спросите у других фрейлин, если не верите.

– Никогда не спрашиваю объяснения того, что сам знаю лучше других.

– Успокойтесь, господин Маликорн, скоро все переменится.

– Давно пора.

– Вы же знаете, что о вас всегда думают, видят ли вас или нет, – сказала Монтале с кошащей ласковостью.

– Да, как же, думают!

– Честное слово.

– Нет ли чего новенького?

– Относительно чего?

– Относительно моего поручения узнать, что творится у принца?

– Ах, дорогой Маликорн, в эти дни нельзя было даже подойти к его высочеству.

– А теперь?

– Теперь другое дело: со вчерашнего дня он перестал ревновать.

– Вот как! Отчего же прошла его ревность?

– Пошел слух, что король удостоил внимания Другую женщину, и принц сразу успокоился.

– А кто пустил этот слух?

Монтале понизила голос:

– Говоря между нами, мне кажется, что принцесса и король просто сговорились.

– Ха-ха!.. – засмеялся Маликорн. – Это было единственное средство! А как же тот бедный вздыхатель – господин де Гиш?

– О, он совсем отставлен.

– Они переписывались?

– Да нет же! В течение целой недели я не видела, чтобы кто-нибудь из них взял перо в руки.

– А в каких отношениях вы с принцессой?

– В самых лучших.

– Ас королем?

– Король улыбается мне, когда я прохожу мимо.

– Хорошо. Теперь скажите, какую женщину наши любовники решили сделать своей ширмой?

– Лавальер.

– Бедняжка! Нужно, однако, помешать этому, моя милая.

– Зачем?

– Затем, что господин Рауль де Бражелон убьет ее или себя, если у него возникнет подозрение.

– Рауль? Добряк Рауль? Вы думаете?

– Женщины имеют претензию считать себя знатоками человеческих страстей, – сказал Маликорн, – а сами не умеют читать ни в собственных сердцах, ни в собственных глазах. Словом, говорю вам, господин де Бражелон безумно любит Лавальер, и если она вздумает

сделать вид, что обманывает его, он лишит себя жизни или убьет ее.

– Король защитит ее, – уверила его Монтале.

– Король! – воскликнул Маликорн.

– Конечно.

– Ну, Рауль убьет короля, как обыкновенного гусара.

– Вы с ума сошли, господин Маликорн!

– Нисколько; я говорю вам совершенно серьезно, милая Монтале, а сам я знаю, как поступить.

– Как?

– Я предупрежу потихоньку Рауля об этой шутке.

– Боже вас сохрани, несчастный! – вскричала Монтале, поднимаясь на одну ступеньку ближе к Маликорну. – Даже не заикайтесь об этом бедняге Бражелону.

– Почему же?

– Потому что вы еще ничего не знаете.

– А что случилось?

– Сегодня вечером... Никто нас не подслушивает?

– Нет.

– Сегодня вечером под королевским дубом Лавальер громко и простодушно заявила: «Не понимаю, как это, увидев короля, можно любить какого-нибудь другого мужчину».

Маликорн даже подпрыгнул на стене.

– Ах, боже мой, неужели она так и сказала, несчастная?

– Слово в слово.

– И она думает так?

– У Лавальер всегда что на уме, то и на языке.

– Это требует отмщения. Какие все женщины ехидны! – воскликнул Маликорн.

– Успокойтесь, дорогой Маликорн, успокойтесь!

– Напротив, зло нужно пресечь в корне. Нужно вовремя предупредить Рауля.

– Эка придумал! Теперь уже поздно, – ответила Монтале.

– Почему?

– Эти слова Лавальер...

– Да.

– Эти слова...

– Ну?

– Дошли до короля.

– Король знает их? Они были переданы королю?

– Король слышал их.

– Ohime¹⁹, как говорил господин кардинал.

– Король находился в то время недалеко от королевского дуба.

– Следовательно, – заключил Маликорн, – теперь у короля и принцессы все пойдет как по маслу, а козлом отпущения явится бедный Бражелон.

– Вы совершенно правы.

– Это ужасно!

– Ничего не поделаешь.

– Да, пожалуй, лучше не становиться между королевским дубом и королем, не то такой маленький человек, как я, мигом будет раздавлен, – промолвил Маликорн после минутного размышления.

– Сущая правда.

– Подумаем теперь о себе.

– Как раз то самое, чего и я хотела.

– Откройте же свои прелестные глазки.

– А вы давайте сюда ваши большие уши.

– Приблизьте ваш крошечный ротик, чтобы я мог крепче поцеловать вас.

– Вот он, – сказала Монтале и тотчас сама ответила звонким поцелуем.

– Разберемся во всем как следует. Господин де Гит любит принцессу, Лавальер любит короля; король любит принцессу и Лавальер; принц не любит никого, кроме себя. Посреди всех этих любовных историй даже дурак сделал бы себе карьеру, а тем более такие рассудительные люди, как мы.

– Вы все носитесь со своими мечтами.

– Вернее, со своими фактами. Позвольте мне быть вашим путеводителем, моя дорогая; кажется, до сих пор вы не могли пожаловаться на мои советы, не правда ли?

– Не могла.

– В таком случае пусть прошлое служит вам порукой за будущее. Так как здесь каждый думает о себе, подумаем о себе и мы.

– Вы совершенно правы.

– Но только исключительно о себе.

– Идет!

– Союз наступательный и оборонительный!

– Клянусь, что буду свято исполнять его.

– Протяните руку; вот так: все для Маликорна!

– Все для Маликорна!

– Все для Монтале! – отвечал Маликорн, протягивая руку, в свою очередь.

– А теперь что же делать?

– Держать постоянно глаза открытыми, насторожить уши, собирать улики против других, не давать никаких улик против себя.

– По рукам!

– Идет!

– Решено. А теперь, когда договор заключен, прощайте.

– Как прощайте?

– Да так. Возвращайтесь в свою харчевню.

– В свою харчевню?

– Да; ведь вы же остановились в харчевне «Красивый павлин»?

– Монтале, Монтале, вы сами выдали себя! Вы отлично знали о моем пребывании в Фонтенбло.

– Что же это доказывает? Что вами занимаются больше, чем вы заслуживаете, неблагодарный!

– Гм...

– Возвращайтесь же в «Красивый павлин»!

– Ах, какая незадача!

– Почему?

– Это совершенно невозможно.

– Разве не там ваша комната?

– Была, а теперь нет.

– Нет? Кто же у вас отнял ее?

– А вот послушайте... Как-то раз, набегавшись за вами, я пришел, едва переводя дух, в гостиницу, как вдруг вижу носилки, на которых четверо крестьян несут больного монаха.

– Монаха?

– Да. Старика францисканца с седой бородой. Смотрю, несут этого больного монаха в гостиницу. Я поднимаюсь за ним по лестнице и вижу, что его вносят в мою комнату.

– В вашу комнату?

– Да, в мою собственную комнату. Думая, что произошла ошибка, зову хозяина; хозяин заявляет мне, что комната была снята мной на неделю, срок истек, и теперь ее занял этот францисканец.

– Вот как!

– Я сам воскликнул тогда: вот как! Больше того, я хотел рассердиться.

Я опять поднялся наверх. Я обратился к самому францисканцу. Хотел доказать ему неучтивость его поступка. Но этот монах, несмотря на всю свою слабость, приподнялся на локте, вперт в меня огненный взгляд и сказал голосом, который годился бы для командования кавалерийским отрядом «Выкиньте этого нахала за дверь!» Это приказание было моментально исполнено хозяином и четырьмя носильщиками, которые спустили меня с лестницы немножко скорее, чем я сам спустился бы. Вот почему, дорогая, я оказался без крова.

– Но кто такой этот францисканец? – спросила Монтале. – Что он, генерал ордена?

– Наверное; мне слышалось, что его величал так вполголоса один из носильщиков.

– И так?.. – протянула Монтале.

– И так, у меня нет больше ни комнаты, ни гостиницы, ни крова, и все-таки я решил, как и мой друг Маникан, не ночевать под открытым небом.

– Что же делать? – вскричала Монтале.

– Вот именно!

– Ничего не может быть проще, – раздался вдруг чей-то голос.

Монтале и Маликорн разом вскрикнули.

Показался де Сент-Эньян.

– Дорогой Маликорн, – сказал он, – счастливый случай снова приводит меня сюда, чтобы вывести вас из затруднительного положения. Пойдемте, я предлагаю вам комнату у себя и ручаюсь вам, что ее не отнимет никакой францисканец. Что же касается вас, мадемуазель, будьте спокойны: я уже посвящен в тайну мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Тонне-Шарант; вы были только что так добры, что посвятили меня в вашу, благодарю: я буду хранить все три тайны так же свято, как и одну.

Маликорн и Монтале переглянулись, как двое школьников, застигнутых на месте преступления. Но так как Маликорн не мог не увидеть всех выгод предложения де Сент-Эньяна, то он сделал Монтале знак, что покоряется, и та ответила ему тем же.

Затем Маликорн медленно спустился с лестницы, обдумывая, как бы поискуснее выведать у г-на де Сент-Эньяна все, что последний мог знать о пресловутой тайне. А Монтале помчалась как лань, и никакой лабиринт не мог сбить ее с пути.

Сент-Эньян действительно привел к себе Маликорна, оказывая ему всяческое внимание, – так он был счастлив держать в руках двух человек, которые могли бы поставлять ему сведения о тайнах фрейлин.

Глава 32.

ЧТО ЖЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗОШЛО В ХАРЧЕВНЕ «КРАСИВЫЙ ПАВЛИН»

Прежде всего сообщим читателю некоторые подробности о харчевне «Красивый павлин»; потом перейдем к описанию постояльцев, которые занимали ее.

Харчевня «Красивый павлин», как и всякая харчевня, обязана была своим названием вывеске. На этой вывеске изображен был павлин с распушенным хвостом. Но только, по примеру некоторых художников, придавших змию, соблазнившему Еву, лицо красивого юноши, творец вывески придал красивому павлину лицо женщины.

Эта харчевня – живая эпиграмма на ту половину человеческого рода, которая, по словам Легуве, сообщает прелесть жизни, – стояла в Фонтенбло на первой боковой улице налево, пересекавшей главную артерию, Парижскую улицу, которая, в сущности, составляла весь городок.

В те времена боковая улица называлась Лионской, вероятно потому, что направлялась в сторону этой второй столицы королевства. Лионскую улицу составляли два дома зажиточных горожан, отделенные друг от друга большими садами с живой изгородью. Между тем

казалось, будто на этой улице три дома. Объясним, каким образом на самом деле их было только два.

Харчевня «Красивый павлин» выходила главным фасадом на большую улицу; на Лионскую же улицу выходили два флигеля, разделенные дворами. В них были просторные помещения для всех путешественников, приходили ли они пешком, приезжали ли верхом или даже в каретах. Тут путники находили не только кров и стол; богатые вельможи имели к своим услугам место для уединенных прогулок, когда, подвергшись опале, желали затвориться в одиночестве, чтобы понемногу примириться с обидами или же обдумать месть.

Из окон этих флигелей была видна прежде всего улица, поросшая травкой, пробивающейся между камнями мостовой. Дальше – красивые живые изгороди из бузины и боярышника, которые, точно зеленые и увенчанные цветами руки, обнимали упомянутые нами два дома. А еще дальше, в промежутках между домами, точно фон картины или непроницаемый горизонт, рисовалась полоса густых рощ, стоявших, как часовые, перед большим лесом, начинавшимся у Фонтенбло.

Итак, постоялец, занимавший угловое помещение, взглянув на Парижскую улицу, мог видеть прохожих, слышать их шаги, любоваться уличными увеселениями, а обращаясь в сторону Лионской улицы, упиваться сельским видом и тишиной. Кроме того, в случае необходимости, заслышав стук в главную дверь с Парижской улицы, постоялец мог ускользнуть по черному ходу на Лионскую улицу и, пробравшись вдоль садов, достигнуть опушки леса.

Маликорн, который, как помнит читатель, впервые поведал нам об этой харчевне «Красивый павлин» с целью пожаловаться на свое изгнание оттуда, был слишком озабочен собственными делами и рассказал Монтале далеко не все, что можно было сообщить об этой любопытной харчевне.

Мы постараемся восполнить этот досадный пробел в рассказе Маликорна.

Например, Маликорн совсем забыл упомянуть, каким образом он попал в харчевню «Красивый павлин». Кроме того, он сказал только о францисканце и ни словом не обмолвился о других постояльцах этой харчевни.

Способ, каким они проникли туда, образ их жизни, трудность для всякого постороннего, кроме привилегированных постояльцев, получить доступ в гостиницу без пароля и поселиться в ней без особых приготовлений – все это должно было, однако, поразить Маликорна и, мы решаемся сказать, действительно поразило его. Однако, как мы уже упомянули, Маликорн весь был поглощен собственными делами и не замечал многого из того, что происходило кругом.

В самом деле, все помещения гостиницы «Красивый павлин» были заняты домоседами, очень спокойными людьми с приветливыми лицами, ни одно из которых не было знакомо Маликорну. Все эти постояльцы приехали в гостиницу после поселения в ней Маликорна. И каждый входил туда, произнеся пароль, который на первых порах привлекал внимание Маликорна; однако, расспросив, в чем дело, он узнал, что хозяин принимал эти предосторожности потому, что город, в котором было много богатых вельмож, кишел также ловкими мошенниками.

Дорожа доброй славой гостиницы, хозяин заботился о том, чтобы его постояльцы не были ограблены.

Стараясь уяснить свое положение в гостинице «Красивый павлин», Маликорн иногда задавал себе вопрос, почему его приняли и впустили беспрепятственно, тогда как на его глазах очень многие приезжие получили отказ. Особенно поражало его то, что Маникан, такой знатный вельможа, которого, по его мнению, должны были уважать все, был самым бесцеремонным образом выпровожен со словами *nescio vos*²⁰ когда хотел покормить свою лошадь в «Красивом павлине».

Все это было для Маликорна загадкой, над разрешением которой он, впрочем, не очень

ломал себе голову, настолько он был поглощен своими любовными и честолюбивыми замыслами. Впрочем, если бы он и хотел разрешить эту загадку, это едва ли удалось бы ему, несмотря на весь его ум.

Несколько слов покажут читателю, что для разрешения подобной загадки понадобился бы, по крайней мере, Эдип.

Вот уже неделю в этой гостинице жило семеро путешественников, прибывших туда на другой день после того, как Маликорн остановил свой выбор на «Красивом павлине».

Эти семеро путешественников, прибывших с многочисленным штатом, были: прежде всего немецкий генерал с секретарем, врачом, тремя лакеями и семьёю лошадьми – этого генерала звали граф фон Востпур, испанский кардинал с двумя племянницами, двумя секретарями, родственником-офицером и двенадцатью лошадьми – этого кардинала звали монсеньер Херебиа; богатый бременский купец с лакеем и двумя лошадьми – этого купца звали г-н Бонштетт; венецианский сенатор с женой и дочерью, писанными красавицами, сенатора звали синьор Марини; шотландский помещик с семьёю горцами своего клана, все пешком, – помещика звали Мак-Камьюр; австриец из Вены без титула и герба, приехавший в карете, очень похожий на священника и немного на солдата, – его звали советником, наконец, дама-фламандка, с лакеем, горничной и компаньонкой, очень важная, очень величественная, на превосходных лошадях, – ее звали фламандской дамой.

Все эти путешественники, как мы сказали, приехали в один и тот же день, а между тем их прибытие не вызвало никакой суматохи в гостинице, улица нисколько не была загромождена, так как помещения были отведены им заранее по просьбе их курьеров или секретарей, приехавших накануне или в тот же день утром.

Маликорн, прибывший днем раньше, на тощей лошади с худеньким чемоданом, назвал себя в гостинице «Красивый павлин» другом одного вельможи, желавшего полюбоваться празднествами, и объявил, что этот вельможа должен вскоре приехать сам.

Выслушав его, хозяин улыбнулся Маликорну, как старому знакомому, и сказал:

– Выбирайте, сударь, комнату, какая вам понравится, потому что вы приехали первым.

Это было сказано с тем выразительным подобоострастием, которое у содержателей харчевни означает: «Будьте спокойны, сударь, мы знаем, с кем имеем дело, и будем обращаться с вами подобающим образом».

Слова и сопровождавший их жест показали Маликорну благожелательными, но он не понимал причины неожиданной любезности. Не желая тратить много денег и в то же время предполагая, что, спросив маленькую комнату, он получит отказ, Маликорн решил ухватиться за слова хозяина и обмануть его с помощью его же собственной хитрости.

Поэтому, улыбаясь с видом человека, которому отдают должное, он отвечал:

– Дорогой хозяин, я возьму самую лучшую и самую веселую комнату.

– С конюшней?

– С конюшней.

– С какого дня?

– Немедленно, если это возможно.

– Чудесно.

– Только, – поспешно прибавил Маликорн, – я не займу сейчас большого помещения.

– Хорошо, – произнес хозяин тоном человека понимающего.

– Некоторые причины, которые потом станут для вас ясны, заставляют меня занять для себя лично только эту маленькую комнату.

– Да, да, да, – подтвердил хозяин.

– Когда придет мой друг, он наймет большое помещение. И так как оно будет принадлежать ему, то он сам и рассчитается с вами.

– Прекрасно, прекрасно! Так мы и договаривались.

– Договаривались?

– Слово в слово.

– Странно, – пробормотал Маликорн. – Значит, вы понимаете?

- Да.
- Это все, что нужно. Так как вы понимаете... А вы ведь понимаете, не правда ли?
- Вполне.
- Отлично, проводите меня в мою комнату.

Хозяин «Красивого павлина» пошел впереди, держа шляпу в руке.

Маликорн поместился в своей комнате и был крайне удивлен, что хозяин гостиницы, встречая его на лестнице, постоянно подмигивал ему, как соумышленнику.

«Тут произошло какое-то недоразумение, – говорил себе Маликорн, – но пока оно не разъяснилось, я буду им пользоваться; ничего лучшего мне не нужно».

И как охотничья собака, пускался он из своей комнаты ловить придворные новости, то обжигаясь фейерверками, то купаясь в брызгах фонтана, как он говорил мадемуазель Монтале.

На другой день по приезде он увидел, как к крыльцу гостиницы подъехали один за другим семеро путешественников и заняли все помещения «Красивого павлина».

При виде всех этих путешественников и их челяди Маликорн с удовольствием потер себе руки, думая, что, запоздай он хотя бы на один день, у него не было бы кровати, на которой он мог бы отдыхать по возвращении из своих экспедиций.

Когда все приезжие были размещены, хозяин вошел в комнату Маликорна и с обычной почтительностью сказал:

- Любезный гость, в третьем корпусе вам оставлено большое помещение; вы знаете это?
- Конечно, знаю.
- Я вам делаю настоящий подарок.
- Спасибо!
- Поэтому, когда ваш друг приедет...
- Ну?
- Он останется доволен мной, если только это не такой человек, которому ничем не угодить.

- Позвольте мне сказать несколько слов по поводу моего друга.
- Говорите, ради бога, ведь вы здесь хозяин!
- Вы знаете, он должен был приехать...
- Да, должен.
- Он, вероятно, изменил свое намерение.
- Нет.
- Вы в этом уверены?
- Уверен.
- Потому что, если у вас есть хоть какие-нибудь сомнения...
- Слушаю.
- То я вам заявляю: я не ручаюсь, что он приедет.
- Однако он сказал вам...
- Да, сказал; но вы знаете: человек предполагает, а бог располагает, *verba volant, scripta manent*.

- Что это значит?
- Слова улетают, написанное остается, а так как он мне ничего не написал, а удовольствовался устными заявлениями, то я вам разрешаю, хотя не побуждаю вас... вы понимаете, я в большом затруднении...

- Что же вы мне разрешаете?
- Сдать это помещение, если за него вам предложат хорошую цену.
- Сдать?
- Да.
- Ни за что, сударь, никогда я не сделаю подобной вещи. Если он не написал вам...
- Нет.
- То он написал мне.

– А-а-а!..

– Да.

– А в каких выражениях? Посмотрим, сходится ли его письмо с устными его указаниями.

– Вот что приблизительно было в письме:

«Господину содержателю гостиницы „Красивый павлин“.

Вы, вероятно, предупреждены, что в вашей гостинице назначено свидание нескольких важных особ; я принадлежу к членам общества, собирающегося в Фонтенбло. Придержите поэтому небольшую комнату для моего друга, который приедет или раньше, или после меня...»

– Вы и есть этот друг, не правда ли? – прервал свою речь хозяин «Красивого павлина».

Маликорн скромно поклонился.

Хозяин продолжал:

«И большое помещение для меня. За большое помещение рассчитываюсь я; но я желаю, чтобы маленькая комнатка стоила недорого, так как она предназначена для бедняка».

– Это опять-таки вы, не правда ли? – спросил хозяин.

– Да, конечно, – ответил Маликорн.

– Итак, мы сговорились. Ваш друг заплатит за большое помещение, а вы за вашу комнату.

«Пусть меня колесуют, если я что-нибудь понимаю в происходящем», подумал Маликорн.

А вслух прибавил:

– А скажите, вы остались довольны именем?

– Каким именем?

– Стоящим в конце письма. Оно служит вам полным ручательством?

– Я хотел спросить его у вас, – сказал хозяин.

– Как, письмо было без подписи?

– Да, – отвечал хозяин, широко раскрывая глаза, в которых светились таинственность и любопытство.

– В таком случае, – заявил Маликорн, тоже принимая таинственный вид, – если он не назвал себя...

– Да?

– Значит, у него были на то причины.

– Без сомнения.

– И я – его друг, его поверенный, не стану разоблачать его инкогнито.

– Вы правы, сударь, – согласился хозяин. – Я не буду настаивать.

– Я ценю вашу деликатность... Но, как сказал мой друг, за мою комнату полагается особая плата; сговоримся о ней.

– Сударь, это дело решенное.

– Все же сосчитаемся. Комната, стол, конюшня и корм для моей лошади; сколько вы возьмете в день?

– Четыре ливра, сударь.

– Значит, двенадцать ливров за истекшие три дня.

– Да, сударь, двенадцать ливров.

– Вот они.

– Зачем же вам платить теперь?

– Затем, что, – таинственно понижая голос, проговорил Маликорн, видевший, что таинственность производит отличное действие, – затем, что я не хочу остаться в долгу, если мне придется уехать внезапно.

– Вы правы, сударь.

– Значит, я у себя дома?

– Вы у себя!

– Отлично. Прощайте!

Хозяин ушел.

Оставшись один, Маликорн стал рассуждать следующим образом:

«Только господин де Гиш или Маникан могли написать хозяину „Красивого павлина“; господин де Гиш, желая заручиться помещением вне дворца, на случай успеха или неуспеха, а Маникан по поручению господина де Гиша.

Вот что, должно быть, придумали господин де Гиш или Маникан: в большом помещении можно будет прилично принять даму под густой вуалью, припася на всякий случай для означенной дамы второй выход на пустынную улицу, кончающуюся у самой опушки леса.

Маленькая комната предназначается в качестве временного приюта для Маникана, поверенного господина де Гиша и верного его стража, или же для самого господина де Гиша, играющего для большей безопасности роль господина и роль поверенного одновременно.

Но этот съезд, назначенный в гостинице и действительно состоявшийся?

Что это такое? Все это, должно быть, люди, которые должны быть представлены королю. Но кто такой этот бедняк, которому оставлена маленькая комната? Хитрость, чтобы лучше замаскироваться де Гишу или Маникану. Если я угадал верно, – что весьма правдоподобно, – это еще полбеды: расстояние между Маниканом и Маликорном определяется только кошельком».

Придя к такому выводу, Маликорн успокоился, предоставив семи постояльцам занимать семь помещений в гостинице «Красивый павлин» и свободно разгуливать по ней.

Когда ничто не беспокоило его при дворе, когда разведки и расспросы утомляли его, когда ему надоедало писать письма, которые никогда не удавалось передать по назначению, то Маликорн возвращался в свою уютную маленькую комнату и, облокотившись на балкон, украшенный настурциями и гвоздикой, принимался думать о странных путешественниках, для которых в Фонтенбло как будто не существовало ни света, ни радости, ни праздников.

Так продолжалось до седьмого дня, который мы подробно описали в предыдущих главах вместе с последовавшей за ним ночью.

В эту ночь Маликорн сидел у окна, чтобы освежиться; было уже очень поздно, как вдруг показался Маникан верхом на лошади, озабоченно и недовольно озирающийся во все стороны.

– Наконец-то! – сказал себе Маликорн, с первого взгляда узнавший Маникана. – Наконец он является занять свое помещение, иными словами – мою комнату.

И он окликнул Маникана. Маникан поднял голову и, в свою очередь, узнал Маликорна.

– Ах, черт возьми, – произнес он, и лицо его просветлело, – как рад я встретиться с вами, Маликорн. Я разъезжаю по Фонтенбло в напрасных поисках трех вещей: де Гиша, комнаты и конюшни.

– Что касается де Гиша, то я не могу дать вам о нем ни дурных, ни хороших сведений, потому что я не видел его; комната и конюшня – дело другое.

– А-а-а!

– Да; ведь они были оставлены здесь?

– Оставлены? Кем?

– Вами, мне кажется.

– Мной?

– Разве вы не заказали здесь помещения?

– И не думал даже.

В этот момент на пороге вырос хозяин.

– Есть у вас комната? – спросил Маникан.

– Вы изволили заказать ее, сударь?

– Нет.

– В таком случае комнаты нет.

– Если так, то я заказал комнату, – сказал Маникан.

– Комнату или целое помещение?

– Все, что вам будет угодно.

– Письменно?

Маликорн утвердительно кивнул Маникану.

– Ну конечно, письменно, – отвечал Маникан. – Разве вы не получили моего письма?

– От какого числа? – спросил хозяин, которому колебания Маникана показались подозрительными.

Маникан почесал затылок и посмотрел на Маликорна; но Маликорн уже спускался по лестнице на помощь другу.

Как раз в это мгновение у подъезда гостиницы остановился путешественник, закутанный по-испански в длинный плащ; ему был слышен этот разговор.

– Я спрашиваю вас, какого числа вы написали мне письмо с просьбой оставить помещение? – настойчиво повторил хозяин.

– В прошедшую среду, – мягко и вежливо произнес таинственный незнакомец, касаясь плеча хозяина.

Маникан попятился назад, а Маликорн, появившийся на пороге, в свою очередь, почесал затылок. Хозяин поклонился новому приезжему с видом человека, узнавшего своего настоящего клиента.

– Помещение для вашей милости приготовлено, – почтительно начал он, конюшни тоже. Только...

Он осмотрелся кругом.

– Ваши лошади? – спросил он.

– Мои лошади, может быть, придут, а может быть, не придут. Вам, я думаю, это все равно, так как будет заплачено за все, что было заказано.

Хозяин поклонился еще ниже.

– А вы оставили для меня, – продолжал незнакомец, – маленькую комнату, как я вам писал?

– Ай! – завопил Маликорн, пытаясь скрыться.

– Сударь, вот уже неделю ее занимает ваш друг, – сказал хозяин, показывая на Маликорна, который совсем забился в угол.

Путешественник, приподняв плащ, быстро взглянул на Маликорна.

– Этот господин не мой друг.

Хозяин так и подскочил.

– Я его не знаю, – покачал головой приезжий.

– Как! – вскричал содержатель гостиницы, обращаясь к Маликорну. Как, вы не друг этого господина?

– Разве вам не все равно, – раз вам заплачено, – величественно проговорил Маликорн, передразнивая незнакомца.

– Совсем не все равно! – отвечал хозяин, начавший понимать, что произошло какое-то недоразумение. – И я прошу, сударь, освободить помещение, заказанное вовсе не для вас.

– Но ведь господин приезжий, – сказал Маликорн, – не нуждается в моей комнате и в большом зале сразу... и если он берет комнату, я беру зал; если же он предпочитает зал, я оставляю за собой комнату.

– Мне очень жаль, сударь, – мягко заметил приезжий, – но мне нужны сразу и комната, и большое помещение.

– А для кого же? – спросил Маликорн.

– Зал для меня.

– Отлично. А комната?

– Взгляните, – сказал незнакомец, протягивая руку к приближавшемуся шествию.

Маликорн посмотрел в указанном направлении та увидел носилки, а на них францисканца, о котором он рассказал Монтале, присочинив некоторые подробности.

Следствием появления незнакомца и больного францисканца было изгнание Маликорна, которого хозяин гостиницы и крестьяне, служившие носильщиками, бесцеремонно выставили на улицу.

Читателю уже были сообщены результаты этого изгнания и передан разговор Маникана

с Монтале, которую Маникан, отличавшийся большей ловкостью, чем Маликорн, сумел разыскать, чтобы расспросить ее о де Гише; читателю известны также доследующий разговор Монтале с Маликорном и любезность графа де Сент-Эньяна, предложившего комнату обоим друзьям.

Нам остается открыть читателю, кто были незнакомец в плаще, нанявший двойное помещение, одну часть которого занимал Маликорн, и не менее таинственный францисканец, своим появлением разрушивший планы Маликорна и Маникана.

Глава 33. ИЕЗУИТ ОДИННАДЦАТОГО ГОДА

Чтобы не томить читателя, мы прежде всего поспешим ответить на первый вопрос.

Закутанным в плащ путешественником был Арамис, который, расставшись с Фуке, вынул из саквояжа полный костюм, переоделся, вышел из замка и направился в гостиницу «Красивый павлин», где уже неделю тому назад заказал себе два помещения.

Тотчас же после изгнания Маликорна и Маникана Арамис подошел к францисканцу и спросил его, где он предпочитает остановиться, в большой комнате или же в маленькой.

Францисканец спросил, где расположены эти комнаты. Ему ответили, что маленькая комната на втором этаже, а большая на третьем.

– В таком случае я выбираю маленькую, – сказал монах.

Арамис не спорил.

– Маленькую комнату, – покорно повторил он, обращаясь к хозяину.

И, почтительно поклонившись, пошел к себе.

Францисканца немедленно отнесли в маленькую комнату.

Не правда ли, читателю покажется удивительной почтительность прелата к простому монаху, да еще монаху нищенствующего ордена, которому без всякой с его стороны просьбы предоставили комнату, являвшуюся предметом упований стольких путешественников?

Как объяснить, далее, это неожиданное появление Арамиса в гостинице «Красивый павлин», тогда как он мог свободно поместиться в замке вместе с г-ном Фуке?

Францисканец не издал ни единого стога, когда его поднимали по лестнице, хотя можно было видеть, что он жестоко страдал и что каждый раз, когда носилки задевали о стену или о перила лестницы, все его тела сотрясало от этих толчков.

Когда, наконец, его внесли в комнату, он обратился к носильщикам:

– Помогите мне сесть в это кресло.

Крестьяне опустили носилки на пол и, осторожно подняв больного, усадили его в кресло, стоявшее у изголовья кровати.

– Теперь, – попросил он, – позовите ко мне хозяина.

Они повиновались.

Через пять минут на пороге появился содержатель «Красивого павлина».

– Друг мой, – сказал ему францисканец, – рассчитайтесь, пожалуйста, с этими парнями; это вассалы графства Мелун. Они нашли меня без памяти на дороге и, не зная, будут ли их труды оплачены, хотели нести меня к себе.

Но я знаю, во что обходится бедным гостеприимство, оказываемое ими больному, и предпочел гостиницу, где, кроме того, меня ожидали.

Хозяин с удивлением посмотрел на францисканца. Монах осенил себя крестным знамением, сделав его особенным образом. Хозяин перекрестился точно так же.

– Да, правда, – отвечал он, – вас ждали, отец мой; но мы надеялись встретить вас в добром здравии.

И так как крестьяне с удивлением смотрели на эту внезапную почтительность богатого содержателя гостиницы к бедному монаху, то францисканец вынул из глубокого кармана несколько золотых монет и, показав их крестьянам, сказал:

– Вот, друзья мои, чем я заплачу за заботу обо мне. Поэтому успокойтесь и не бойтесь

оставить меня здесь. Мой орден, по делам которого я путешествую, не хочет, чтобы я просил милостыню; помощь, оказанная мне вами, тоже заслуживает вознаграждения, поэтому возьмите два луидора и ступайте с миром.

Крестьяне не решались принять деньги; тогда хозяин взял от францисканца две золотые монеты и сунул их в руку одного из парней. Носильщики удалились с вытаращенными от недоумения глазами.

Дверь закрылась, францисканец задумался. Потом он провел по пожелтевшему лбу своей сухой от лихорадки рукой и погладил седеющую курчавую бороду судорожно сведенными пальцами.

Его запавшие от болезни и волнения глаза, казалось, были прикованы к какой-то мучительной, навязчивой мысли.

– Какие доктора есть у вас в Фонтенбло? – спросил он наконец.

– У нас их трое, отец мой.

– Назовите мне их.

– Прежде всего Линиге.

– Еще!

– Кармелит, по имени брат Гюбер.

– Потом?

– Светский врач, по фамилии Гризар.

– А-а-а! Гризар! – прошептал монах. – Позовите мне скорее господина Гризара!

Хозяин почтительно поклонился.

– Кстати, какие здесь поблизости священники?

– Какие священники?

– Да, каких орденов?

– Есть иезуиты, августинцы и кордельеры; но, отец мой, ближе всего иезуиты. Итак, прикажете позвать иезуитского духовника?

– Да, ступайте.

Хозяин вышел.

Читатель догадывается, что по знаку креста, которым они обменялись между собой, хозяин и больной узнали, что они оба принадлежат к страшному обществу иезуитов.

Оставшись один, францисканец вынул из кармана связку бумаг и внимательно перечитал некоторые из них. Однако недуг сломил его волю: глаза его помутнились, холодный пот выступил на лбу, и он почти лишился чувств, запрокинув голову назад и бессильно свесив руки по обеим сторонам кресла.

Минут пять он оставался без движения, пока не вернулся хозяин, ведя с собой врача, который едва успел одеться. Шум их шагов и струя воздуха, ворвавшаяся в открытую дверь, привели больного в чувство. Он поспешно схватил разбросанные бумаги и своей тонкой иссохшей рукой засунул их под подушки кресла.

Хозяин вышел, оставив больного с доктором.

– Подойдите ближе, господин Гризар, – попросил францисканец доктора, – нельзя терять ни минуты; ощупайте меня, послушайте, осмотрите и поставьте диагноз.

– Наш хозяин, – отвечал врач, – сказал мне, что я имею честь оказывать помощь члену нашего общества.

– Да, члену общества, – подтвердил францисканец. – Итак, скажите правду: я чувствую себя очень плохо; мне кажется, что я умираю.

Доктор взял руку монаха и пощупал его пульс.

– О! – сказал он. – Опасная лихорадка.

– Что вы называете опасной лихорадкой? – спросил больной, властно смотря на врача.

– Члену первого или второго года я сказал бы: неизлечимая лихорадка, – ответил доктор, вопросительно посмотрев монаху в глаза.

– А мне? – перебил францисканец.

Врач колебался.

– Посмотрите на мои седины, на мой лоб, изборожденный мыслями, – продолжал монах, – взгляните на мои морщины, по которым я веду счет перенесенным испытаниям; я иезуит одиннадцатого года, господин Гризар.

Врач вздрогнул.

Действительно, иезуиты одиннадцатого года были посвящены во все дела ордена, это были люди, для которых наука не содержит больше тайн, общество – преград, повиновение – границ.

– Итак, – почтительно поклонился Гризар, – я нахожусь перед лицом магистра?

– Да, и действуйте сообразно с этим.

– И вам угодно знать?..

– Мое действительное положение.

– В таком случае, – сказал врач, – я скажу, что у вас воспаление мозга, другими словами – острый менингит, дошедший до высшей точки.

– Значит, нет надежды, не правда ли? – спросил францисканец.

– Я этого не утверждаю, – отвечал доктор, – однако, принимая во внимание возбуждение мозга, короткое дыхание, учащенный пульс, лихорадочный жар, пожирающий вас...

– От которого я уже три раза терял сегодня сознание, – перебил францисканец.

– Вот поэтому я считаю ваше состояние опасным. Но почему вы не остановились по дороге?

– Меня здесь ждали, и я должен был приехать.

– Хотя бы пришлось заплатить жизнью?

– Даже ценой жизни.

– В таком случае, принимая во внимание все эти симптомы, я скажу, что положение почти безнадежно.

Францисканец криво улыбнулся.

– То, что вы сказали, было бы, может быть, вполне достаточно даже для иезуита одиннадцатого года, но для меня этого слишком мало, и я имею право требовать большего. Говорите правду, будьте откровенны, как если бы вы говорили перед лицом самого бога. К тому же я уже послал за духовником.

– О, я все же надеюсь, – пробормотал доктор.

– Отвечайте, – приказал больной, величественным жестом показывая на золотое кольцо, печать которого до тех пор была обращена внутрь, – на ней был выгравирован знак общества Иисуса.

Гризар вскрикнул:

– Генерал!

– Тише, – попросил францисканец, – теперь вы понимаете, что вам нужно сказать все.

– Монсеньер, монсеньер, зовите духовника, – прошептал Гризар, – потому что через два часа, когда повторится приступ лихорадки, у вас начнется бред, и вы скончаетесь во время пароксизма.

– Хорошо, – сказал больной, на мгновение нахмурив брови, – значит, в моем распоряжении еще два часа?

– Да, если вы примете лекарство, которое я вам пришлю.

– И лекарство даст мне два часа?

– Два часа.

– Я приму его, будь оно хоть ядом, потому что эти два часа нужны не только для меня, но и для славы ордена.

– О, какая потеря! – прошептал доктор. – Какая катастрофа для нас!

– Потеря одного человека, не больше, – отвечал францисканец. – И господь позаботится о том, чтобы бедный монах, покидающий вас, нашел достойного преемника. Прощайте, господин Гризар; это уже господня милость, что я встретил вас. Врач, не причастный к нашей святой конгрегации, не сказал бы мне правды о моем состоянии, а рассчитывая еще на несколько дней жизни, я не принял бы необходимых предосторожностей. Вы – ученый,

господин Гризар, это делает честь всем нам; мне было бы неприятно видеть, что один из членов нашего ордена в своем деле посредственность.

Прощайте, господин Гризар, прощайте, пришлите мне поскорее ваше лекарство.

– Благословите меня, по крайней мере, монсеньер!

– Мысленно – да... Ступайте... Мысленно, повторяю вам... *Animo*, господин Гризар... *virbus impossibile*²¹.

И он снова повалился в кресло, почти потеряв сознание.

Доктор Гризар колебался, не зная, что предпринять: оказать ли ему немедленную помощь или же бежать и приготовить обещанное лекарство. Он, очевидно, решил приготовить лекарство, так как поспешно вышел из комнаты и скрылся на лестнице.

Глава 34. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА

Через несколько минут после ухода доктора Гризара пришел духовник.

Едва он переступил порог, как францисканец вперил в него пристальный взгляд. Потом, покачив головой, прошептал.

– Это нищий духом, и я надеюсь, что господь простит меня, если я умру, не прибегая к помощи этого воплощенного убожества.

Со своей стороны, духовник смотрел на умирающего с изумлением, почти с ужасом. Он никогда не видел, чтобы готовые закрыться глаза пылали таким огнем; никогда не замечал, чтобы готовый угаснуть взгляд был так страшен.

Францисканец сделал быстрое и повелительное движение рукой.

– Садитесь, отец мой, – сказал он, – и выслушайте меня.

Иезуит-духовник, хороший пастырь, простой и наивный новичок в ордене, которому из всех тайн общества Иисуса была известна только церемония посвящения, подчинился этому странному исповедующемуся.

– В этой гостинице живет несколько человек, – проговорил францисканец.

– Я думал, – удивился иезуит, – что меня позвали сюда для исповеди.

Разве это исповедь?

– Зачем этот вопрос?

– Чтобы знать, должен ли я хранить в тайне ваши слова.

– Мои слова часть исповеди; я доверяю их вам, как духовнику.

– Хорошо, – сказал священник, садясь в то кресло, которое только что с большим трудом покинул францисканец, перешедший на кровать.

Францисканец продолжал:

– Я сказал вам, что в этой гостинице есть несколько человек.

– Я слышал.

– Всех постояльцев должно быть восемь.

Иезуит кивнул в знак того, что он все понял.

– Первый, с кем я хочу поговорить, – распорядился умирающий, – это немец из Вены, по фамилии барон фон Востпур. Сделайте мне одолжение, подойдите к нему и скажите, что тот, кого он ждал, приехал.

Духовник с изумлением посмотрел на кающегося: исповедь казалась ему странной.

– Повинуйтесь! – произнес францисканец суровым тоном, не допуская возражения.

Добрый иезуит покорно встал и вышел из комнаты.

Как только иезуит ушел, францисканец снова взял бумаги, которые ему пришлось отложить из-за приступа лихорадки.

– Барон фон Востпур, – заметил он, – честолюбив, глуп, ограничен.

Он сложил бумаги и спрятал их под подушку.

В конце коридора слышались быстрые шаги. Духовник вернулся в сопровождении барона фон Востпура, который так высоко задирает голову, точно хотел пробить по – толку пером своей шляпы. При виде францисканца с мрачным взглядом и простого убранства комнаты немец спросил:

– Кто зовет меня?

– Я! – отвечал францисканец.

Потом, обращаясь к духовнику, прибавил:

– Добрый отец, оставьте нас одних на несколько минут; когда барон выйдет, вы вернетесь.

Иезуит вышел и, должно быть, воспользовался случаем, чтобы расспросить хозяина насчет этой странной исповеди и этого монаха, обращавшегося с духовником, как с камердинером.

Барон подошел к кровати и хотел заговорить, но францисканец сделал ему знак хранить молчание.

– Каждая минута драгоценна, – быстро начал больной. – Вы сюда приехали, чтобы участвовать в состязании, не правда ли?

– Да, отец мой.

– Вы надеетесь, что вас выберут генералом?

– Надеюсь.

– А вы знаете, какие условия необходимы для достижения этой высшей степени, делающей человека господином королей, равным папе?

– Кто вы такой, – спросил барон, – чтобы подвергать меня этому допросу?

– Я тот, кого вы ждете.

– Главный избиратель?

– Я уже выбран.

– Вы...

Францисканец не дал ему договорить; он протянул свою исхудалую руку: на ней блестел перстень, знак генеральской степени.

Барон попятился от изумления, потом поклонился с глубоким почтением и сказал:

– Как, вы здесь, монсеньер? В этой бедной комнате, на этой убогой постели, и вы избираете будущего генерала, то есть вашего преемника?

– Не беспокойтесь об этом, сударь; исполните поскорее главное условие, то есть сообщите ордену такую важную государственную тайну, благодаря которой один из первых дворов Европы навсегда попал бы при вашем посредстве в феодальную зависимость от ордена. Скажите же, вы добыли эту тайну, как вы утверждали в вашем прошении, поданном в Большой Совет?

– Монсеньер...

– Впрочем, начнем по порядку... Вы действительно барон фон Востпур?

– Да, монсеньер.

– Это ваше письмо?

Генерал иезуитов вынул из связки одну бумагу и подал ее барону.

Барон взглянул на нее и сделал утвердительный знак:

– Да, монсеньер, это мое письмо.

– И вы можете показать мне ответ секретаря Большого Совета?

– Вот он, монсеньер.

Барон протянул францисканцу письмо со следующим простым адресом:

«Его превосходительству барону фон Востпур».

В нем содержалась одна только фраза:

«Между пятнадцатым и двадцать вторым мая, Фонтенбло, гостиница „Красивый

павлин“.

A. M. D. G.

22+++

– Хорошо, – кивнул францисканец, – все в порядке, говорите.

– У меня отряд, состоящий из пятидесяти тысяч человек; все офицеры подкуплены. Я стою лагерем на Дунае. В четыре дня я могу свергнуть с престола императора, который, как вы знаете, противится распространению нашего ордена, и заместить его принцем из его рода, которого мне укажет орден.

Францисканец слушал, не подавая признаков жизни.

– Это все? – спросил он.

– В мои планы входит европейская революция, – добавил барон.

– Хорошо, господин Востпур. Вы получите ответ; возвращайтесь к себе и через четверть часа уезжайте из Фонтенбло.

Барон вышел, пятясь назад, с таким подобострастным видом, точно он откланивался самому императору, которого собирался предать.

– Это не тайна, – прошептал францисканец, – это заговор... Впрочем, прибавил он после минутного размышления, – будущность Европы теперь не зависит от австрийского двора.

И красным карандашом, который был у него в руке, он вычеркнул из списка имя барона фон Востпура.

– Теперь очередь кардинала, – продолжал он, – со стороны Испании мы имеем, конечно, нечто более серьезное.

Подняв глаза, он увидел духовника, который, как школьник, покорно ждал его распоряжений.

– А-а! – сказал он, заметив эту покорность. – Выговорили с хозяином?

– Да, монсеньер, и с врачом.

– С Гризаром?

– Да.

– Значит, он вернулся?

– Он ждет с обещанным лекарством.

– Хорошо, если понадобится, я позову его; теперь вы понимаете всю важность моей исповеди, не правда ли?

– Да, монсеньер.

– В таком случае пригласите испанского кардинала Херебиа. И поскорее.

Так как вы теперь знаете, в чем дело, то на этот раз останетесь здесь, потому что по временам мне делается дурно.

– Не позвать ли доктора?

– Нет еще, подождите... Только испанского кардинала... Ступайте!

Через пять минут вошел кардинал, бледный и встревоженный.

– Мне сказали, монсеньер... – пролепетал кардинал.

– К делу, – глухим голосом произнес францисканец.

И он показал кардиналу письмо, которое тот написал в Большой Совет.

– Это ваш почерк? – спросил он.

– Да, но...

– А ваше приглашение?

Кардинал колебался с ответом. Его пурпур был возмущен власяницей бедного францисканца.

Умиравший протянул руку и показал кольцо. Кольцо произвело свое действие, которое было тем сильнее, чем выше был ранг того лица, к которому обращался францисканец.

– Тайну, тайну, скорее! – потребовал больной. Говоря это, он опирался на руку своего

духовника.

– Coras isti?²³ – с беспокойством спросил кардинал.

– Говорите по-испански, – приказал францисканец, проявляя самое живое внимание.

– Вам известно, монсеньер, – продолжал по-кастильски кардинал, – что, согласно условиям брака инфанты с королем французским, упомянутая инфанта, так же как и король Людовик, отказалась от всяких притязаний на владения испанской короны?

Францисканец кивнул утвердительно.

– Отсюда следует, – излагал кардинал, – что мир и союз между двумя королевствами зависит от соблюдения этой статьи договора.

Францисканец снова кивнул.

– Не только Франция и Испания, – сказал кардинал, – но и вся Европа будет потрясена, если одна из сторон нарушит договор.

Снова утвердительный знак со стороны больного.

– Таким образом, – заключил кардинал, – человек, способный предвидеть события и ясно различать то, что лишь как туманное видение мелькает в сознании обычных людей, то есть мысль о грядущих благах или бедствиях, такой человек предохранит мир от величайшей катастрофы. Можно будет обратить на пользу ордена события, угаданные тем человеком, который их подготавливает.

– Pronto! Pronto!²⁴ – торопил его францисканец, бледнея все более.

Кардинал наклонился к самому уху умирающего.

– Монсеньер, – сказал он, – мне известно, что французский король решил при первом же предлоге, каковым может послужить, например, смерть испанского короля или же брата инфанты, с оружием в руках потребовать от лица Франции наследства, и в моем распоряжении есть подробно разработанный политический план Людовика Четырнадцатого на этот счет.

– Где этот план? – спросил францисканец.

– Вот он, – ответил кардинал.

– Чьей рукой он написан?

– Моей.

– Это все, что вы хотели сообщить?

– Мне кажется, монсеньер, я сообщил достаточно, – отвечал кардинал.

– Это правда, вы оказали ордену большую услугу. Но каким путем вы раздобыли эти подробности, с помощью которых вы составили этот план?

– Слуги французского короля у меня на жалованье и передают мне обрывки бумаг, уцелевших в камине.

– Вы очень изобретательны, – прошептал францисканец, пробуя улыбнуться. – Господин кардинал, через четверть часа вы покинете эту гостиницу; ответ будет вам послан. Ступайте!

Кардинал удалился.

– Позовите ко мне Гризара и разыщите венецианца Марини, – сказал больной.

Духовник повиновался, а францисканец тем временем вынул свои бумаги и, вместо того чтобы вычеркнуть имя кардинала, как он сделал это по отношению к барону, поставил возле него крестик. Затем, выбившись из сил, упал на кровать и прошептал имя доктора Гризара. Очнувшись, больной выпил половину лекарства, которое ему подал доктор; венецианец и духовник стояли подле двери.

Венецианец выполнил те же формальности, что и два его конкурента; так же, как и они, проявил нерешительность при виде двух посторонних, но, успокоенный приказанием генерала, открыл ему, что папа, встревоженный могуществом ордена, задумал провести полное изгнание иезуитов и старается заручиться для этой цели помощью европейских дворов. Он перечислил союзников папы и рассказал о предполагаемых мерах для выполнения

этого плана, он также назвал тот остров Архипелага, куда после ареста предполагалось сослать двух кардиналов, адептов одиннадцатого года, следовательно, высших чинов ордена, вместе с тридцатью двумя наиболее видными римскими иезуитами.

Францисканец поблагодарил синьора Марпни. Разоблачение папского плана оказывало немалую услугу ордену. После этого венецианец получил приказание уехать через четверть часа и вышел из комнаты сияющий, как если бы перстень – символ первенства – уже был надет на его палец.

Однако, когда он удалился, францисканец шептал, лежа на кровати:

– Все эти люди – шпионы или же сбиры; ни один из них не годится в генералы; все они пооткрывали заговоры, никто не выведал тайны. Но не с помощью разрушения, войны, насилия следует управлять обществом Иисуса, нет – путем таинственного влияния, которое дает человеку моральное превосходство. Нет, преемник не найден, и в довершение несчастья господь поразил меня, я умираю. О, неужели общество рухнет вместе с моей смертью, за неимением поддерживающей колонны? Неужели подстерегающая меня смерть положит конец ордену? Десять лет моей жизни навсегда упрочили бы его существование, потому что с воцарением нового короля перед орденом открываются самые блестящие перспективы.

Францисканец произнес эти слова частью мысленно, частью вслух, и молодой иезуит с ужасом слушал его, как слушают горячечный бред, между тем как более просвещенный Гризар жадно впивал эти речи, точно откровение из неведомого ему мира, куда заглядывал его взор, но не в силах была коснуться его рука.

Вдруг францисканец приподнялся.

– Закончим, – сказал он, – смерть завладевает мной. О, еще недавно я думал умереть спокойно, я надеялся... Теперь же я в отчаянии, если только среди оставшихся... Гризар, Гризар, дайте мне прожить один только час!

Гризар подошел к умирающему и дал ему проглотить несколько капель не лекарства, которое францисканец оставил недопитым, но жидкости из флакона, принесенного с собой.

– Позовите шотландца, – потребовал францисканец, – позовите бременского купца. Скорее, скорее! Иисус, я умираю... задыхаюсь!

Духовник побежал, за помощью, точно существовала человеческая сила, которая могла бы отвратить руку смерти, уже занесенную над больным; но на пороге двери он встретил Арамиса. Тот, прижав к губам палец, точно статуя Гарпократа, бога молчания, взглядом заставил отступить его в глубину комнаты.

Доктор и духовник переглянулись и сделали движение, как бы собираясь отстранить Арамиса. Но он двумя крестными знаменами, каждое на особый лад, пригвоздил их к месту.

– Начальник, – прошептали они.

Арамис медленно вошел в комнату, где умирающий боролся с первыми приступами агонии.

Францисканец, – оттого ли, что эликсир произвел свое действие, оттого ли, что появление Арамиса придало ему силы, – напрягся и поднялся на кровати, с горящими глазами, полуоткрытым ртом и влажными от пота волосами.

Арамис почувствовал в комнате удушливый запах; окна были закрыты, камин пылал; две желтые восковые свечи оплывали на медные подсвечники и еще больше нагревали воздух. Арамис открыл окно и, устремив на умирающего взгляд, полный понимания и уважения, сказал:

– Монсеньер, прошу прощения за то, что вошел к вам без зова, но меня тревожит ваше состояние, и я боялся, что вы скончаетесь, не повидавшись со мной, так как в вашем списке я стою шестым.

Умирающий вздрогнул и посмотрел на лист бумаги.

– Значит, вы тот, кого когда-то звали Арамисом, а потом шевалье д'Эрбле? Значит, вы ваннский епископ?

– Да, монсеньер.

– Я вас знаю, я вас видел.

– На последнем юбилее мы встречались у святого отца.

– Ах да, вспомнил! И вы тоже находитесь в числе соискателей?

– Монсеньер, я слышал, что ордену необходимо держать в своих руках важную государственную тайну, и, зная, что из скромности вы решили сложить с себя свои обязанности в пользу того, кто добудет эту тайну, я написал о своей готовности выступить соискателем, так как мне одному известна очень важная тайна.

– Говорите, – сказал францисканец, – я готов выслушать вас и судить, насколько важна ваша тайна.

– Монсеньер, та тайна, которую я буду иметь честь доверить вам, не может быть высказана вслух. Всякая мысль, вышедшая за пределы нашего сознания и получившая то или иное выражение, уже не принадлежит тому, кто ее породил. Слово может быть подхвачено внимательным и враждебным ухом; поэтому его не следует бросать случайно, иначе тайна перестает быть тайной.

– Как же в таком случае вы предполагаете сообщить мне вашу тайну? спросил умирающий.

Арамис знаком попросил доктора и духовника удалиться и подал францисканцу пакет в двойном конверте.

– Но ведь написанные слова могут быть еще опаснее слов, сказанных вслух; как вы думаете? – спросил францисканец.

– Нет, монсеньер, – отвечал Арамис, – потому что в этом конверте вы увидите знаки, понятные только вам и мне.

Францисканец смотрел на Арамиса со все возрастающим изумлением.

– Это, – продолжал Арамис, – тот шифр, который вы приняли в тысяча шестьсот пятьдесят пятом году и который мог бы разобрать лишь ваш покойный секретарь Жуан Жужан, если бы он вернулся с того света.

– Вы, значит, знаете этот шифр?

– Я сам дал его Жужану.

И Арамис, почтительно поклонившись, направился к двери, точно собираясь уйти. Но жест францисканца и его зов удержали его.

– Иисус, – воскликнул монах, – ессе homo!²⁵

Затем, вторично прочитав бумагу, попросил:

– Подойдите поскорее ко мне.

Арамис подошел к францисканцу с тем же спокойным и почтительным видом.

Францисканец, протянув руку, привлек его к себе.

– Как и от кого вы могли узнать подобную тайну?

– От госпожи де Шеврез, близкой подруги и доверенного лица королевы.

– А госпожа де Шеврез?

– Умерла.

– А другие знали?

– Только двое простолюдинов: мужчина и женщина.

– Кто же они?

– Они его воспитывали.

– Что же с ними случилось?

– Тоже умерли... тайна эта сжигает, как огонь.

– Но вы ведь живы?

– Никто не знает, что тайна в моих руках.

– Давно?

– Уже пятнадцать лет.

– И вы хранили ее?

– Я хотел жить.

– А теперь дарите ее ордену, без честолюбия, не требуя вознаграждения?

– Я дарю ее ордену, питая честолюбивые замыслы и не бескорыстно, отвечал Арамис, – потому что теперь, когда вы меня знаете, монсеньер, вы сделаете из меня, если останетесь живы, то, чем я могу, чем я должен быть.

– Но так как я умираю, – воскликнул францисканец, – то я делаю тебя своим преемником... Возьми!

И, сняв перстень, он надел его на палец Арамиса.

Затем обратился к двум свидетелям этой сцены:

– Подтвердите, когда понадобится, что я, больной телом, но в здравом уме, свободно и добровольно передал это кольцо – знак всемогущества монсеньеру д'Эрбле, епископу ваннскому, и что я назначаю его своим преемником. Я, смиренный грешник, готовый предстать перед богом, склоняюсь перед – ним первый, чтоб показать пример всем.

И действительно, францисканец поклонился, а доктор и иезуит упали на колени. Арамис, побледнев не меньше умирающего, обвел взглядом всех актеров этой сцены. Удовлетворенное честолюбие приливало вместе с кровью к его сердцу.

– Поспешим, – попросил францисканец, – меня гнетет, мне не дает покоя то, что я должен еще сделать! Я не успею выполнить задуманного.

– Я выполню все, – обещал Арамис.

– Хорошо.

И, обращаясь к иезуиту и к доктору, францисканец добавил:

– Оставьте нас одних.

Те повиновались.

– Этим знаком, – сказал он, – вы можете сдвинуть землю; этим знаком вы будете разрушать, этим знаком вы будете созидать: *In hoc signo vinces!*²⁶ Закройте дверь, – закончил францисканец, обращаясь к Арамису.

Арамис запер дверь и вернулся к францисканцу.

– Папа составил заговор против ордена, – сказал монах, – папа должен умереть.

– Он умрет, – спокойно отвечал Арамис.

– Орден должен семьсот тысяч ливров одному бременскому купцу по имени Бонштетт, который приехал сюда, прося в качестве гарантии моей подписи.

– Ему будет уплачено, – обещал Арамис.

– Шестеро мальтийских рыцарей – вот их имена, – благодаря болтливости одного иезуита одиннадцатого года узнали тайны, доверяемые только членам ордена, посвященным в третью степень; нужно узнать, как поступали эти люди с тем, что им было открыто, и не допустить дальнейшего разглашения.

– Это будет сделано.

– Трех опасных членов ордена нужно отправить в Тибет, чтобы они погибли там; они приговорены. Вот их имена.

– Я приведу приговор в исполнение.

– Наконец, в Антверпене живет одна дама, двоюродная внучка Равальяка; у нее есть бумаги, компрометирующие орден. В течение пятьдесят первого года ее семья получала пенсию в пятьдесят тысяч ливров. Пенсия – тяжелый расход; орден не богат... Выкупите бумаги за определенную сумму, а в случае отказа уничтожьте пенсию... не подвергая орден опасности.

– Я обдумаю, – сказал Арамис.

– На прошлой неделе в Лиссабонский порт должен был прийти корабль из Лимы; для виду он нагружен шоколадом, в действительности на нем золото.

Каждый слиток прикрыт слоем шоколада. Это судно принадлежит ордену; оно стоит семнадцать миллионов ливров; потребуйте его: вот документы.

– В какой порт велеть ему зайти?

– В Байонну.

– Если не помешает погода, он прибудет через три недели. Это все?

Францисканец сделал утвердительный знак, потому что не мог больше говорить; кровь подступила ему к горлу и хлынула изо рта, из ноздрей и из глаз. Несчастный успел только пожать руку Арамису, затем в судороге упал с кровати на пол.

Арамис приложил руку к его сердцу: сердце не билось. Нагнувшись, Арамис заметил, что один лоскуток бумаги, переданной им францисканцу, уцелел. Он взял его, сжег и позвал духовника и доктора.

– Ваш кающийся предстал перед богом, – обратился он к духовнику, теперь он нуждается только в молитвах и обряде погребения. Идите приготовьте все нужное для самых скромных похорон, какие подобает бедному монаху... Ступайте!

Иезуит ушел. Тогда, обращаясь к врачу, лицо у которого было бледное и встревоженное, Арамис тихонько сказал:

– Господин Гризар, вылейте из этого стакана все, что в нем осталось, и сполосните его; в нем еще слишком много того, что Главный Совет приказал вам прибавить в лекарство.

Ошеломленный, испуганный, подавленный, Гризар чуть не упал навзничь.

Арамис жалостливо пожал плечами, взял стакан и вылил содержимое в золу камина. И ушел, захватив с собой бумаги покойника.

Глава 35. ПОРУЧЕНИЕ

На следующий или, вернее, в тот же день, ибо только что рассказанные нами события закончились к трем часам утра, перед завтраком, когда король отправился к мессе с обеими королевами, а принц в сопровождении шевалье де Лоррена и еще нескольких офицеров своей свиты поехал верхом к реке, чтобы искупаться, и в замке осталась одна только принцесса, не желавшая выходить под предлогом нездоровья, – Монтале незаметно прокралась из комнат фрейлин, увлекая с собой Лавальер; обе девушки, осторожно озираясь кругом, пробрались через сады к парку.

Небо было облачное; горячий ветер клонил к земле цветы и кустарники; поднятая с дороги пыль летела клубами и оседала на деревьях.

Монтале, все время исполнявшая обязанности ловкого разведчика, сделала несколько шагов и, удостоверившись еще раз, что никто не подслушивает и не следит за ними, начала:

– Ну, слава богу, мы совершенно одни. Со вчерашнего дня все здесь шпионят и сторонятся нас, точно зачумленных.

Лавальер опустила голову и вздохнула.

– Это ни на что не похоже, – продолжала Монтале. – Начиная от Маликорна и кончая господином де Сент-Эньяном, все хотят вывести нашу тайну.

Ну, Луиза, потолкуем немного, чтобы я знала, как мне быть.

Лавальер подняла на подругу глаза, чистые и глубокие, как лазурь весеннего неба.

– А я, – сказала она, – спрошу тебя, почему нас позвали к принцессе?

Почему мы ночевали у нее, а не у себя? Почему ты вернулась так поздно и почему сегодня с утра за нами установлен престрогий надзор?

– Моя дорогая Луиза, на мой вопрос ты отвечаешь вопросом или, вернее, десятью вопросами, а это совсем не ответ. Потом я расскажу тебе все, и так как все, о чем ты меня спрашиваешь, не важно, ты можешь подождать. Я же спрашиваю у тебя то, от чего все будет зависеть, именно: есть ли тайна или нет?

– Не знаю, – отвечала Луиза, – знаю только, что, по крайней мере с моей стороны, была сделана неосторожность после моих глупых вчерашних слов и еще более глупого обморока; теперь все только и говорят о нас.

– Скажем лучше: о тебе, – рассмеялась Монтале, – о тебе и о Тонне-Шарант; вы обе вчера посылали признания облакам, но, к несчастью, они были перехвачены.

Лавальер опустила голову.

– Право, ты меня огорчаешь.

– Я?

– Да, эти шутки очень неприятны мне.

– Послушай, Луиза, я совсем не шучу, напротив, говорю очень серьезно.

Я увела тебя из замка, пропустила обедню, выдумала мигрень, так же как ее выдумала принцесса; наконец, я выказала в десять раз больше дипломатического искусства, чем господин Кольбер унаследовал от господина Мазарини и применяет по отношению к господину Фуке, вовсе не для того, чтобы, оставшись наедине с тобой, видеть, как ты хитришь со мной. Нет, нет, поверь: я расспрашиваю тебя не ради простого любопытства, а потому, что положение действительно критическое. То, что ты сказала вчера, всем известно, об этом все болтают. Каждый фантазирует по-своему, этой ночью ты имела честь занимать весь двор, да и сегодня еще интерес к тебе не остыл, дорогая моя. Тебе приписывают столько нежных и остроумных фраз, что мадемуазель де Сюдери и ее брат лопнули бы с досады, если бы эти фразы были точно переданы им.

– Ах, милая Монтале, – вздохнула бедная девушка, – ты лучше всех знаешь, что я сказала, ведь я говорила при тебе.

– Боже мой, я, конечно, знаю, но дело не в этом. Я не забыла ни одного твоего слова; но думала ли ты то же самое, что и говорила?

Луиза смутилась.

– Опять расспросы! – вскричала она. – Я готова отдать все, чтобы забыть сказанное мною... Почему это все стараются напомнить мне мои слова?

О, это ужасно!

– Да что ж тут ужасного?

– Ужасно, что подруга, которая должна бы щадить меня, которая могла бы дать мне совет, помочь мне спастись, убивает, губит меня.

– О-го-го! – возмутилась Монтале. – Это уж слишком. Никто не собирается убивать тебя, никто не хочет даже обокрасть тебя, выведав твою тайну; тебя умоляют только открыть ее добровольно, потому что она касается не только тебя, но и всех нас; то же сказала бы тебе и Тонне-Шарант, если бы она была здесь. Ведь вчера вечером она хотела переговорить со мной в нашей комнате, и я пошла туда после маникановских и маликорновских разговоров, как вдруг узнаю (правда, я вернулась поздно), что принцесса посадила в заточение фрейлин и что мы ночуем у нее, а не у себя.

Она арестовала их, чтобы не дать им столкнуться друг с другом. Сегодня утром с той же целью она заперлась с Тонне-Шарант. Скажи же, дорогая, насколько мы с Атенаис можем полагаться на тебя, и мы скажем тебе, насколько ты можешь полагаться на нас.

– Я плохо понимаю твой вопрос, – проговорила очень взволнованная Луиза.

– Гм, а мне кажется, что ты, напротив, отлично понимаешь меня. Но, пожалуй, я скажу еще яснее, чтобы отнять у тебя всякую возможность увернуться. Слушай же: ты любишь господина де Бражелона? Теперь ясно, не правда ли?

При этих словах, упавших точно первый снаряд осаждающей армии в осажденный город, Луиза вскочила с места.

– Люблю ли я Рауля? – воскликнула она. – Друга моего детства, моего брата!

– Нет, нет, нет! Вот ты снова увливаешь или, вернее, хочешь увильнуть. Я не спрашиваю тебя, любишь ли ты Рауля – твоего друга детства и твоего брата; я спрашиваю тебя, любишь ли ты виконта де Бражелона, твоего жениха?

– О господи, – вскричала Луиза, – какой суровый допрос!

– Никаких ответов; я ничуть не более сурова, чем всегда. Я задаю тебе вопрос, и ты отвечай мне на этот вопрос.

– Положительно, – глухим голосом сказала Луиза, – ты говоришь со мной не по-дружески, но я отвечу тебе как искренний друг.

– Отвечай.

– Хорошо. В моем сердце много странных и смешных предрассудков насчет того, как женщина должна хранить тайны, и в этом отношении никто никогда не мог заглянуть в глубину моей души.

– Я это отлично знаю. Если бы я могла заглянуть туда, я не стала бы допрашивать тебя, а сказала бы прямо: «Милая Луиза, ты имеешь счастье быть знакомой с господином де Бражелоном, любезнейшим юношей, составляющим прекрасную партию для девушки без приданого. Господин де Ла Фер оставит своему сыну что-то около пятнадцати тысяч годового дохода. У тебя будет, значит, пятнадцать тысяч годового дохода, как у его жены; превосходная вещь! Итак, не поворачивай ни направо, ни налево, а иди прямо к господину де Бражелону, то есть к алтарю, к которому он подведет тебя. А потом, в зависимости от его характера, ты будешь или свободной, или рабой, иными словами – ты будешь вправе совершать все безумства, которые совершают или слишком свободные, или слишком поработанные люди». Вот, дорогая Луиза, что я сказала бы тебе, если бы могла заглянуть в глубину твоего сердца.

– И я поблагодарила бы тебя, – пролепетала Луиза, – хотя совет твой мне кажется не очень добрым.

– Погоди, погоди... Дав тебе этот совет, я бы тотчас же прибавила:

«Луиза, опасно сидеть целые дни склонив голову, опустив руки, с блуждающими глазами; опасно гулять по темным аллеям и пренебрегать развлечениями, восхищающими всех молодых девушек, опасно, Луиза, чертить на песке кончиком туфли, как ты это делаешь, буквы, которые ты хотя и стираешь, но которые все же виднеются на дорожке, особенно когда эти буквы больше похожи на Л, чем на Б; опасно, наконец, предаваться мечтаниям, рождаемым одиночеством и мигренью; от этих мечтаний бледнеют щеки бедных девушек и сохнет мозг; от них нередко самое милое существо в мире превращается в скучное и угрюмое и самая умная девушка становится дурочкой».

– Спасибо, дорогая Ора, – кротко отвечала Лавальер, – говорить такие вещи в твоём характере, и я очень благодарна тебе за то, что ты так откровенна.

– Я говорю для мечтателей, строящих воздушные замки; поэтому извлеки из моих слов ту мораль, какую ты сочтешь нужным извлечь. Знаешь, мне пришла в голову сказка об одной мечтательной и меланхоличной ловушке. На днях господин Данжо объяснил мне, что слово меланхолия состоит из двух греческих слов, одно из которых значит черный, а другое – желчь. Вот я и вспомнила эту молодую девушку, которая умерла от черной желчи только потому, что вообразила, будто один принц, король или император... не все ли равно кто... обожает ее, тогда как этот принц, король или император... называй как хочешь... любил на самом деле другую. Странное дело: она не замечала, а все кругом ясно видели, что она служила только ширмой для его любви. Не правда ли. Лавальер, ты, как и я, смеешься над этой сумасшедшей?

– Смеюсь, – прошептала бледная как смерть Луиза, – конечно, смеюсь.

– И хорошо делаешь, потому что это очень забавно. История или сказка, как тебе угодно, мне понравилась; вот почему я запомнила ее и рассказываю тебе. Представь себе, дорогая Луиза, какие опустошения произвела бы в твоём, например, мозгу меланхолия, иными словами – черная желчь. Я решила поделиться с тобой этой повестью, и чтобы с кем-нибудь из нас не случилось чего-нибудь подобного, нужно твердо запомнить следующую истину: сегодня – приманка, завтра – посмешище, послезавтра – смерть.

Лавальер вздрогнула и побледнела еще больше.

– Когда нами занимается король, – продолжала Монтале, – он нам ясно это показывает, и если мы составляем цель его стремлений, он умеет достигать этой цели. Итак, ты видишь, Луиза, что в подобных случаях девушки, подверженные такой опасности, должны быть откровенны друг с другом, чтобы сердца, не зараженные меланхолией, наблюдали за сердцами, в которые она может проникнуть.

– Тише, тише! – вскрикнула Лавальер. – Сюда идут.

– Действительно идут, – согласилась Монтале, – но кто бы это мог быть? Все в церкви с королем пли на купанье с принцем.

Молодые девушки почти тотчас заметили в конце аллеи, под зеленым сводом ветвей, статную фигуру молодого человека со шпагой, в плаще и в высоких сапогах со шпорами. Еще издали он приветливо улыбнулся.

– Рауль! – воскликнула Монтале.

– Господин де Бражелон! – прошептала Луиза.

– Вот самый подходящий судья для разрешения нашего спора, – сказала Монтале.

– О Монтале, Монтале, сжался! – горько вздохнула Лавальер. – Ты была жестока, не будь же безжалостной!

Эти слова, произнесенные с искренним жаром, прогнали если не из сердца Монтале, то, по крайней мере, с ее лица все следы иронии.

– Вы прекрасны, как Амадис, господин де Бражелон, – вскричала она, обращаясь к Раулю, – и являетесь в полном вооружении, как он!

– Привет вам, сударыни, – проговорил Бражелон, кланяясь.

– Но зачем эти сапоги? – поинтересовалась Монтале, между тем как Лавальер, смотря на Рауля с таким же изумлением, как и ее подруга, хранила молчание.

– Зачем? – переспросил Рауль.

– Да, – отважилась прервать молчание Лавальер.

– Затем, что я уезжаю, – отвечал Бражелон, глядя на Луизу.

Лавальер почувствовала приступ суеверного страха и пошатнулась.

– Вы уезжаете, Рауль! – удивилась она. – Куда же?

– В Англию, дорогая Луиза, – поклонился молодой человек со свойственной ему учтивостью.

– Что же вам делать в Англии?

– Король посылает меня туда.

– Король? – в один голос воскликнули Луиза и Ора и невольно переглянулись, вспомнив только что прерванный разговор.

Рауль заметил эти взгляды, но они остались непонятны для него.

Вполне естественно, что он объяснил их участием к нему молодых девушек.

– Его величество, – начал он, – изволил вспомнить, что граф де Ла Фер пользуется благосклонностью короля Карла Второго. Сегодня, направляясь в церковь, король встретил меня и знаком подозвал к себе. Когда я подошел, он сказал: «Господин де Бражелон, ступайте к господину Фуке, у которого находятся мои письма к английскому королю; вы отвезете их». Я поклонился. «Да, – прибавил он, – перед отъездом побывайте у принцессы, она даст вам поручение к своему брату».

– Боже мой! – задумчиво прошептала глубоко взволнованная Луиза.

– Так скоро! Вам приказано уехать так скоро? – спросила Монтале, ошеломленная этим странным распоряжением.

– Чтобы повиноваться как следует тому, кого уважаешь, – сказал Рауль, – нужно повиноваться немедленно. Через десять минут после получения приказа я был готов. Предупрежденная принцесса пишет письмо, которое ей угодно поручить мне. А тем временем, узнав от мадемуазель де Тонне-Шарант, что вы в парке, я пришел сюда и застаю вас обеих.

– И обеих видите нездоровыми, – горько усмехнулась Монтале, приходя на помощь Луизе, лицо которой явно изменилось.

– Нездоровыми? – повторил Рауль, с нежным участием пожимая руку Луизы де Лавальер. – Да, действительно ваша рука холодна как лед.

– Это пустяки.

– Этот холод не достигает сердца, не правда ли, Луиза? – с нежной улыбкой проговорил молодой человек.

Луиза быстро подняла голову, точно предполагая, что этот вопрос был внушен подозрениями; ей стало не по себе.

– О, вы знаете, – произнесла она с усилием, – что мое сердце никогда не будет холодно

для такого друга, как вы, господин де Бражелон.

– Благодарю вас, Луиза. Я знаю ваше сердце и вашу душу, и, конечно, не по теплу руки судят о таком чувстве, как ваше. Луиза, вы знаете, как я вас люблю и с какой беззаветностью отдам за вас свою жизнь; поэтому вы простите меня, не правда ли, если я буду говорить с вами немного по-детски?

– Говорите, Рауль, – сказала вся трепетавшая Луиза, – я вас слушаю.

– Я не могу расстаться с вами, увозя с собой муку, я знаю – нелепую, но которая все же терзает меня.

– Значит, вы уезжаете надолго? – спросила Лавальер подавленным голосом. Монтале отвернулась.

– Нет, ненадолго, вернусь, вероятно, недели через Две.

Лавальер прижала руку к забившемуся сердцу.

– Странно, – продолжал Рауль, печально глядя на девушку, – часто я расставался с вами, отправляясь в опасный путь, но уезжал всегда веселым, с спокойным сердцем, весь опьяненный надеждою на будущее счастье между тем как мне угрожали пули испанцев или тяжелые алебарды валлонов.

Сегодня мне не угрожает никакая опасность, мне предстоит самый приятный и спокойный путь, после которого меня ждет награда: взысканный королем, я, может быть, завоюю вас, ибо какую более драгоценную награду способен дать мне король? И все же, Луиза, не знаю, право, почему, все это счастье, все эти надежды разлетаются передо мной как дым, как несбыточная мечта, а там, в глубине моего сердца, большая грусть, какое-то угнетение, уныние. Я знаю, почему все это, Луиза: потому, что никогда я еще не любил вас, как в настоящую минуту. О боже мой, боже мой!

При этом последнем восклицании, вырвавшемся из разбитого сердца, Луиза залилась слезами и упала на руки Монтале. Хотя Монтале и не отличалась мягкосердечностью, все же глаза ее увлажнились и сердце тревожно сжалось.

Рауль увидел слезы своей невесты. Взгляд его не проник глубже, не попытался даже постичь, что кроется под этими слезами. Он преклонил перед ней колени и нежно поцеловал ее руку. Было видно, что в этот поцелуй он вложил всю свою любовь.

– Вставайте, вставайте! – приказала ему Монтале, тоже готовая расплакаться. – К нам идет Атенаис.

Рауль встал, еще раз улыбнулся Луизе, которая больше не смотрела на него, и, пожав руку Монтале, повернулся, чтобы поклониться мадемуазель де Тонне-Шарант, шелест шелкового платья которой уже доносился до них.

– Принцесса кончила письмо? – спросил он, когда прекрасная девушка подошла настолько близко, что могла слышать его голос.

– Да, виконт, письмо написано, запечатано, и ее высочество ждет вас.

Услышав эти слова, Рауль поклонился Атенаис, бросил последний взгляд на Луизу, сделал приветственный знак Монтале и удалился по направлению к замку.

Однако, уходя, он все время оборачивался. Безмолвные и неподвижные, три фрейлины провожали его глазами, пока он не скрылся из виду.

– Наконец-то, – сказала Атенаис, первая прерывая молчание, – наконец-то мы одни и можем на свободе поговорить о вчерашнем происшествии и решить, как нам следует вести себя дальше. И вот, если вам угодно уделить мне внимание, – продолжала она, оглядываясь по сторонам, – я вкратце выскажу свое мнение, прежде всего о том, как я смотрю на наши обязанности. А если вы не поймете меня с полуслова, я объявлю вам волю принцессы.

И мадемуазель де Тонне-Шарант энергично подчеркнула последние слова, чтобы у подруг ее не оставалось никакого сомнения насчет официального характера этих слов.

– Волю принцессы! – в один голос вскричали Монтале и Луиза.

– Ультиматум! – дипломатически отвечала мадемуазель де Тонне-Шарант.

– Боже мой! – прошептала Лавальер. – Значит, принцесса знает...

– Принцесса знает больше, чем мы ей сказали, – отчеканила Атенаис. Поэтому будем

начеку.

– О да, – сказала Монтале. – И я буду внимательно слушать тебя. Говори, Атенаис.

– Боже мой, боже мой! – прошептала вся трепетавшая Луиза. – Переживу ли я эти ужасные события?

– О, не пугайтесь, – успокоила ее Атенаис, – у нас есть лекарство.

И, усевшись между двумя подругами, она взяла их за руки и приготовилась говорить. Однако не успела она открыть рот, как послышался стук копыт лошади, скакавшей галопом по мостовой за оградой замка.

Глава 36. СЧАСТЛИВ, КАК ПРИНЦ

По дороге в замок Бражелон встретил де Гиша. Но еще до этого де Гиш столкнулся с Маниканом, который, в свою очередь, повидал Маликорна. Как Маликорн встретился с Маниканом? Самым простым образом: он ждал его возвращения от обедни, куда тот пошел в сопровождении г-на де Сент-Эньяна. Они очень обрадовались встрече, и Маникан воспользовался этим случаем, чтобы спросить у друга, не осталось ли в его кармане нескольких экю.

Нисколько не удивившись этому вопросу, Маликорн отвечал, что карман, из которого вечно берут, никогда его не наполняя, похож на колодец, который дает, правда, воду зимой, но летом, благодаря усердию садовников, высыхает до дна; карман его был довольно глубок, так что во времена изобилия из него можно было доставать порядочные суммы, но, к несчастью, злоупотребления совсем опустошили его.

На эти слова Маникан задумчиво ответил:

– Это верно.

– Значит, нужно его наполнить, – прибавил Маликорн.

– Без сомнения, но как?

– Ничего не может быть легче, дорогой Маникан.

– Хорошо, скажите.

– Место у принца, и карман наполнится.

– У вас есть это место?

– Я имею право на это место.

– Так что ж?

– А то, что право на должность без должности все равно что кошелек без денег.

– Правильно, – снова согласился Маникан.

– Значит, будем добиваться места, – сказал Маликорн.

– Дорогой, дражайший! – вздохнул Маникан. – Получить место у принца очень трудно в нашем положении.

– Вы думаете?

– Конечно, в настоящую минуту мы ничего не можем просить у принца.

– Почему же?

– Потому, что он холоден с нами.

– Глупости! – отчеканил Маликорн.

– А что, если поухаживать за принцессой? – предложил Маникан. – Может быть, нам удастся угодить таким образом принцу.

– Совершенно верно; если мы начнем ухаживать за принцессой и действовать ловко, принц будет обожать нас.

– Гм!

– Ведь мы же не дураки! Поэтому, господин Маникан, вы, как великий дипломат, должны поскорее примирить господина де Гиша с его высочеством.

– А теперь скажите, Маликорн, что вам поведал господин де Сент-Эньян?

– Мне? Ничего; он меня спрашивал, вот и все.

– Со мной он был не так сдержан.
– Что же он вам сообщил?
– Что король безумно влюблен в мадемуазель де Лавальер.
– Нам и самим это известно, черт возьми, – иронически заметил Маликорн. – Все здесь только и кричат об этом; но вы поступите, пожалуйста, согласно моему совету: поговорите с господином де Гишем и постарайтесь добиться от него, чтобы он загладил свою вину перед принцем. Какого черта! Он обязан сделать это по отношению к его высочеству.
– Но для этого нужно прежде всего найти де Гиша.
– Мне кажется, это не так уж трудно. Чтобы увидеть его, сделайте то, что сделал я, желая увидеть вас: подождите его. Ведь вы знаете, что он любит прогулки.
– Да, но где он гуляет?
– Что за вопрос? Ведь он влюблен в принцессу, не правда ли?
– Говорят.
– Значит, он гуляет возле ее апартаментов.
– Глядите-ка, мой милый Маликорн, вы не ошиблись: вот он сам!
– Как же я мог ошибиться? Разве это в моих привычках? Вам очень нужны деньги?
– Ах! – жалобно вздохнул Маникан.
– А мне нужно место. Если Маликорн получит место, у Маникана будут деньги. Все очень просто.
– В таком случае будьте покойны. Я приложу все усилия.
– Действуйте.
Де Гиш был уже рядом; Маликорн пошел своей дорогой, а Маникан приблизился к де Гишу.
Граф был сумрачен и задумчив.
– Скажите, какую рифму вы подбираете, дорогой граф, – обратился к нему Маникан.
Де Гиш узнал друга и взял его под руку.
– Дорогой Маникан, – сказал он, – я ищу кое-что поважнее рифмы.
– Что именно?
– А вы поможете мне найти то, что я ищу? – продолжал граф. – Вы ленивы, значит, вы изобретательны.
– Моя изобретательность к вашим услугам, дорогой граф.
– Вот что: я хочу побывать в доме, где у меня есть дело.
– Так нужно войти в этот дом, – догадался Маникан.
– Разумеется. Но в доме живет ревнивый муж.
– Разве он страшнее Цербера?
– Нет, не страшнее, но так же ревнив.
– И у него три пасти, как у пса, охраняющего вход в ад? Не пожимайте плечами, дорогой граф; у меня есть основания задать вам этот вопрос, ибо, по уверениям поэтов, чтобы смягчить Цербера, нужно угостить его пирожком. А я привык смотреть на вещи прозаически, трезво и говорю: для трех пастей одного пирожка маловато. Если у вашего ревнивца три пасти, граф, возьмите три пирожка.
– Шутник, – улыбнулся граф.
– Теперь, – продолжал Маникан, – познакомимся поближе с этим домом, каков бы он ни был, потому что подобная тактика ни в коем случае не может повредить вашей любви.
– Ах, Маникан, найди предлог, хороший предлог!
– Предлог? Да, черт возьми, сто, тысячу предлогов. Если бы здесь был Маликорн, он уже придумал бы пятьдесят тысяч превосходных предлогов!
– Кто такой этот Маликорн? – спросил де Гиш, прищуривая глаза с видом человека, старающегося вспомнить. – Кажется, я слышал эту фамилию...
– Я думаю, что слышали: вы должны его отцу тридцать тысяч экю.
– Ах да, славный парень из Орлеана...
– Которому вы обещали место в доме... не в том доме, где живет ревнивый муж, а у

принца.

– Хорошо, если твой друг Маликорн так изобретателен, пусть он придумает способ снискать благорасположение принца, пусть он найдет случай примирить меня с принцем.

– Хорошо, я поговорю с ним об этом.

– Кто это идет к нам?

– Виконт де Бражелон.

– Рауль? Да, действительно.

И де Гиш быстро пошел навстречу другу.

– Это вы, дорогой Рауль? – воскликнул де Гиш.

– Да, я хотел проститься с вами, милый друг, – отвечал Рауль, пожимая руку графа. –

Здравствуйте, господин Маникан.

– Как, ты уезжаешь, виконт?

– Да, уезжаю... Поручение короля.

– Куда?

– В Лондон. Сейчас я иду к принцессе, она даст мне письмо к его величеству королю Карлу Второму.

– Ты застанешь ее одну. Принца нет дома.

– Где же он?

– Поехал купаться.

– Итак, мой друг, ты, в качестве приближенного к принцу, передай ему мои извинения. Я подождал бы его, чтобы получить распоряжения, если бы его величество не выразил желания, переданного мне через господина Фуке, чтобы я отправился немедленно.

Маникан толкнул де Гиша локтем.

– Вот и предлог, – сказал он.

– Какой?

– Извинения господина де Бражелона.

– Не очень удачный, – сказал де Гиш.

– Превосходный, если принц на вас не сердится; если же сердится плохой, как и всякий другой предлог.

– Вы правы, Маникан; мне нужен любой способ, любой случай, лишь бы помириться.

Итак, счастливого пути, дорогой Рауль!

Друзья обнялись.

Через минуту Рауль входил к принцессе.

Принцесса еще сидела за столом, где она писала письмо. Перед ней горела свеча из розового воска, которым она пользовалась для запечатания конверта. Погруженная в размышления, принцесса забыла задуть свечу.

Бражелона ждали; едва он вошел, о нем доложили.

Бражелон был воплощением изящества; кто раз встретился с ним, уже никогда не мог забыть; а принцесса не только видела его однажды, но, как помнит читатель, он был один из первых встретивших не французов и провожал ее из Гавра в Париж.

Принцесса сохранила прекрасное воспоминание о Бражелоне.

– Ах! – сказала она. – Это вы, виконт; вы увидите моего брата, который будет счастлив выразить вам признательность, чтобы тем самым отметить заслуги вашего отца.

– Граф де Ла Фер, принцесса, был достаточно вознагражден милостями короля за те небольшие услуги, которые он имел честь оказать ему, и я отвезу его величеству уверение в уважении, преданности, благодарности со стороны отца и сына.

– Вы знаете моего брата, виконт?

– Нет, ваше высочество; я буду иметь счастье видеть его величество в первый раз.

– Вы не нуждаетесь в рекомендации. Но если вы все же сомневаетесь в своих личных достоинствах, смело скажите, что я ручаюсь за вас.

– Ваше высочество слишком добры.

– Нет, господин де Бражелон. Я помню, как мы ехали вместе, и заметила вашу большую

сдержанность рядом с безумствами, которые направо и налево от вас совершали два величайших сумасброда – граф де Гиш и герцог Бекингэм. Но не будем сейчас вспоминать их, поговорим о вас. Вы едете в Англию, чтобы получить там место? Простите меня за этот вопрос. Я задаю вам его не из простого любопытства, а из желания быть чем-нибудь вам полезной.

– Нет, принцесса. Я еду в Англию, чтобы исполнить поручение, которое его величество изволил дать мне; вот и все.

– И вы рассчитываете вернуться во Францию?

– Как только выполню поручение, если его величество король Карл Второй не даст мне других приказаний.

– Я уверена, что он, во всяком случае, попросит вас остаться у него подольше.

– Так как я не осмелюсь противоречить его величеству, я заранее прошу вас, принцесса, напомнить французскому королю, что один из самых преданных его слуг находится вдали от него.

– Берегитесь, чтобы в ту минуту, когда он вызовет вас во Францию, его приказание не показалось вам злоупотреблением властью.

– Я не понимаю вас, принцесса.

– Французский двор несравненный, я знаю, – но и при английском дворе есть хорошенькие женщины.

Рауль улыбнулся.

– Вот улыбка, – сказала принцесса, – которая не предвещает ничего хорошего моим соотечественницам, Вы как будто говорите им, господин де Бражелон: «Я приехал к вам, но сердце мое осталось по ту сторону пролива». Ведь таково значение вашей улыбки?

– Ваше высочество обладает даром читать в глубине сердец; и вы теперь понимаете, почему долгое пребывание при английском дворе было бы мне тяжело.

– И мне незачем спрашивать, пользуется ли взаимностью такой эlegantный кавалер.

– Принцесса, я воспитывался с той, кого я люблю, и мне кажется, что она питает ко мне те же чувства, что и я к ней.

– Поезжайте скорее, господин де Бражелон, и поскорее возвращайтесь; по вашем приезде мы увидим двух счастливых, ибо я надеюсь, что на пути к вашему счастью нет препятствий.

– Увы, принцесса, есть большое препятствие.

– Какое же?

– Воля короля.

– Воля короля?... Король противится вашему браку?

– Во всяком случае, откладывает его. Я просил согласия короля через графа де Ла Фер, а его величество, не ответив, правда, категорическим образом, сказал, однако же, что нужно подождать.

– Разве особа, которую вы любите, недостойна вас?

– Она достойна любви короля, принцесса.

– Я хочу сказать – может быть, ее происхождение ниже вашего?

– Она из знатной семьи.

– Молода, красива?

– Семнадцать лет, и для меня восхитительно хороша.

– Она в провинции или в Париже?

– Она в Фонтенбло, принцесса.

– При дворе?

– Да.

– Я ее знаю?

– Она имеет честь состоять фрейлиной вашего высочества.

– Ее имя? – с беспокойством в голосе спросила принцесса. – Если только, – прибавила она, быстро овладев собой, – это имя не тайна.

– Нет, принцесса; моя любовь достаточно чиста для того, чтобы не делать из нее тайны, тем более я не скрою ее от вашего высочества. Это мадемуазель Луиза де Лавальер.

Принцесса не могла удержаться от громкого восклицания, в котором было нечто большее, чем удивление.

– Ах, Лавальер!.. Та самая, которая вчера...

Она помолчала.

– Почувствовала себя дурно, – продолжала принцесса.

– Да, принцесса. Я только сегодня утром узнал об этом случае.

– И вы видели ее сегодня?

– Я имел честь проститься с ней.

– И вы говорите, – снова заговорила принцесса, делая над собой усилие, – что король... отсрочил вашу свадьбу с этой девочкой?

– Да, принцесса, отсрочил.

– И он чем-нибудь объяснил это?

– Ничем.

– Давно ли граф де Ла Фер просил у короля согласия на ваш брак?

– Уже больше месяца, принцесса.

– Странно.

И словно облачко затуманило ее глаза.

– Больше месяца, – повторила она.

– Да, уже больше месяца.

– Вы правы, – сказала принцесса с улыбкой, в которой Бражелон мог заметить некоторую принужденность. – Мой брат не должен слишком долго задерживать вас у себя; поезжайте поскорей, и в первом же моем письме в Англию я призову вас от имени короля.

Принцесса встала, чтобы вручить Бражелону письмо. Рауль понял, что аудиенция окончена; он взял письмо, поклонился принцессе и вышел.

– Целый месяц! – шептала принцесса. – Неужели я была до такой степени слепа? Неужели он уже целый месяц любит ее?

И, чтобы отвлечься, принцесса немедленно начала письмо к брату, приписка к которому должна была вызвать Бражелона во Францию.

Как мы видели, граф де Гиш уступил настояниям Маникана и дал увести себя до конюшен, где они велели оседлать лошадей; потом по описанной нами выше маленькой аллее они поехали навстречу принцу, который после купанья, свежий и бодрый, возвращался в замок, закрыв лицо женской вуалью, чтобы оно не загорело от лучей уже жаркого солнца.

Принц был в отличном настроении, вызванном созерцанием собственной красоты. Он мог сравнить в воде белизну своего тела с цветом кожи придворных, и благодаря заботам его высочества о своей наружности никто не мог соперничать с ним, даже шевалье де Лоррен. Кроме того, принц довольно успешно плавал, и его нервы после пребывания в холодной воде поддерживали его тело и дух в состоянии счастливого равновесия. Вот почему, завидя де Гиша, галопом ехавшего навстречу на великолепной белой лошади, принц не мог удержаться от радостного восклицания.

– Мне кажется, дело идет хорошо, – заметил Маникан, прочитав благосклонность на лице его высочества.

– А, здравствуй, Гиш! Здравствуй, бедняга Гиш! – воскликнул принц.

– Приветствую вас, монсеньер! – отвечал де Гиш, ободренный тоном Филиппа. – Желаю здоровья, радости, счастья и благоденствия вашему высочеству!

– Добро пожаловать, Гиш! Поезжай справа. Но придержи своего коня, потому что я хочу ехать шагом под этим зеленым сводом.

– Слушаю, монсеньер.

И, последовав приглашению, де Гиш поехал справа от принца.

– Ну, дорогой де Гиш, – сказал принц, – расскажи, что новенького ты знаешь о том ловеласе, которого я когда-то знал и который приударял за моей женой?

Де Гиш покраснел как кумач, а принц покати́лся со смеху, точно слова его были верхом остроумия. Окружающая принца свита сочла нужным последовать его примеру, хотя не расслышала шуток; все разразилось громким смехом, который полетел до самых последних рядов кортежа.

Де Гиш хотя и покраснел, но не растерялся: Маникан смотрел на него.

– Ах, монсеньер, – отвечал де Гиш, – будьте милосердны к несчастному, не отдавайте меня на растерзание шевалье де Лоррену!

– Как так?

– Если он услышит, что вы смеетесь надо мной, он тоже без всякой жалости станет надо мной насмехаться.

– Над твоей любовью к принцессе?

– Пощадите, монсеньер!

– А все же, Гиш, сознайся, ты строил глазки принцессе?

– Никогда в жизни, монсеньер.

– Ну, признавайся, из уважения ко мне! Признавайся, я освобождаю тебя от требований этикета, де Гиш. Будь откровенен, как если бы речь шла о мадемуазель де Шале или мадемуазель де Лавальер.

Тут принц снова залился смехом.

«Да что же это я играю шпагой, отточенной с обеих сторон? Я раню сразу и тебя, и моего брата: Шале и Лавальер – одна твоя невеста, а другая его будущая любовница.

– Право, монсеньер, – сказал граф, – вы сегодня в отличном настроении.

– Да, я сегодня чувствую себя хорошо. Мне приятно видеть тебя.

– Благодарю, ваше высочество.

– Ты, значит, сердился на меня?

– Я, монсеньер?

– Да.

– За что же, боже мой!

– За то, что я помешал твоим сарабандам и испанским романсам.

– О, ваше высочество!

– Не отнекивайся. Ты вышел тогда от принцессы с бешеным взглядом; это принесло тебе несчастье, дорогой мой, ты танцевал в балете прескверно.

Не хмурься, де Гиш; это тебе не идет, ты выглядишь медведем. Если принцесса смотрела на тебя вчера, то я вполне уверен в том, что...

– В чем, монсеньер? Ваше высочество пугаете меня.

– Она совсем забрала тебя.

И принц снова захохотал.

«Положительно, – подумал Маникан, – высокий сан не имеет никакого значения, все они одинаковы».

Принц продолжал:

– Но ты наконец вернулся; есть надежда, что шевалье снова станет любезен.

– Почему, монсеньер? Каким чудом я могу иметь влияние на господина де Лоррена?

– Очень просто, он ревнует к тебе.

– Да неужели?

– Я говорю тебе правду.

– Он мне делает много чести.

– Понимаешь, когда ты возле меня, он меня ласкает? когда ты уехал, он меня тиранил. И потом, ты знаешь, какая мысль пришла мне в голову?

– Нет, монсеньер.

– Когда ты был в изгнании, потому что ведь тебя изгнали, мой бедный Гиш...

– Кто же был виновником этого, ваше высочество? спросил де Гиш, напуская на себя недовольный вид.

– О, конечно, не я, дорогой граф! – отвечал его высочество. – Я не просил короля удалять

тебя, честное слово!

– Я знаю, что не вы, ваше высочество, но...

– Но принцесса! Я этого не буду отрицать. Чем, однако, ты провинился перед ней?

– Право, ваше высочество...

– У женщин бывают причуды, я это знаю. Моя жена не составляет исключения. Но если тебя прогнали по ее желанию, то я не сержусь на тебя.

– В таком случае, монсеньер, – сказал де Гиш, – я несчастлив только наполовину.

Маникан, который ехал позади де Гиша, не упуская ни одного слова принца, наклонился к самой шее лошади, чтобы скрыть смех.

– Ты знаешь, твое изгнание внушило мне один план.

– Да?

– Когда шевалье де Лоррен, не видя тебя, преисполнился уверенности, что он царит один, и стал дурно обращаться со мной, то я заметил, что моя жена, в противоположность этому злему мальчишке, очень любезна и добра ко мне, несмотря на то что я ею пренебрегаю; и вот я возымел мысль сделаться образцовым мужем, такой редкостью, таким курьезом при дворе: я вздумал полюбить свою жену.

Де Гиш посмотрел на принца с непритворным удивлением.

– Ах, ваше высочество, вы, должно быть, шутите? – пробормотал де Гиш дрожащим голосом.

– Ей-богу, серьезно. У меня есть поместье, которое подарил мне брат по случаю моей свадьбы; у жены есть деньги, и даже большие, потому что она получает сразу и от своего брата, и от своего деверя, из Англии и из Франции. Значит, мы могли бы покинуть двор. Я уехал бы в замок Вилье-Котере, расположенный среди лесов, и мы наслаждались бы безоблачной любовью в тех же местах, где мой дед Генрих Четвертый упивался счастьем с красавицей Габриель... Что ты скажешь по поводу этого плана, де Гиш?

– Скажу, что он повергает меня в трепет, монсеньер, – отвечал де Гиш, охваченный неподдельным волнением.

– Ага, я вижу, что ты не вынес бы вторичного изгнания.

– Я, монсеньер?

– В таком случае я не возьму тебя с собой, как я предполагал раньше.

– Как, не возьмете с собой, ваше высочество?

– Да, если случайно у меня выйдет размолвка с двором.

– О, монсеньер, все равно я поеду за вашим высочеством на край света!

– Глупец, – проворчал Маникан, наезжая своей лошастью на де Гиша и чуть не выбив его из седла.

Затем, проехав мимо него с таким видом, точно ему не удалось сдержать коня, шепнул ему:

– Да думайте же о том, что вы говорите!

– Значит, решено, – сказал принц, – если ты так предан мне, я тебя увезу.

– Куда угодно, ваше высочество, – радостно отвечал де Гиш, – куда угодно, хоть сейчас!

Вы готовы?

И де Гиш со смехом опустил поводья; его лошадь рванулась вперед.

– Минуточку терпенья, – попросил принц, – заедем в замок.

– Зачем?

– За моей женой, черт возьми!

– Как так? – спросил де Гиш.

– Конечно, ведь я же говорю тебе, что это план супружеской любви; мне нужно, значит, взять с собой жену.

– В таком случае, ваше высочество, – отвечал граф, – я в отчаянии, вы лишаетесь де Гиша.

– Что ты?

– Да. Зачем вы увозите принцессу?

– Гм... я замечаю, что я люблю ее.
Де Гиш слегка побледнел, однако изо всех сил старался сохранить веселый вид.
– Если вы любите принцессу, ваше высочество, – вздохнул он, – то вам достаточно одной любви и друзья не нужны.
– Недурно, недурно! – прошептал Маникан.
– Опять тебя охватывает страх перед принцессой, – заметил принц.
– Я уже поплатился, ваше высочество; ведь она была виновницей моего изгнания.
– Боже мой! У тебя отвратительный характер, де Гиш. Как ты злопамятен, мой друг.
– Хотел бы я видеть вас на моем месте, монсеньер.
– Положительно, из-за этого ты так плохо танцевал вчера: ты хотел отомстить принцессе, заставляя ее делать неправильные фигуры; ах, де Гиш, это мелко, я расскажу принцессе!
– Ваше высочество можете говорить ей все, что угодно. Принцесса не возненавидит меня сильнее, чем она ненавидит теперь.
– Та-та-та, ты преувеличиваешь, и все это из-за каких-то двух недель пребывания в деревне, на которые она обрекла тебя.
– Ваше высочество, две недели есть две недели, но когда томишься от скуки, то две недели – вечность.
– Значит, ты не простишь ей этого?
– Никогда.
– Полно, полно, де Гиш, будь добрее, я помирю тебя с ней; бывая у нее чаще, ты увидишь, что она совсем не зла и очень умна.
– Ваше высочество...
– Ты увидишь, что она умеет принимать, как принцесса, и смеяться, как горожанка; ты увидишь, что когда она захочет, то часы протекают как минуты. Де Гиш, друг мой, тебе нужно изменить мнение о моей жене.
«Положительно – думал Маникан, – вот муж, которому имя его жены принесет несчастье, и покойный царь Кандавл был сущим тигром по сравнению с его высочеством».
– Итак, – заключил принц, – надо тебе узнать ее получше. Только мне придется показать тебе дорогу. Принцесса не похожа на других, и поэтому не всякий находит доступ к ее сердцу.
– Ваше высочество...
– Не упрямься, де Гиш, иначе мы поссоримся, – сказал принц.
– Если он этого хочет, – шепнул Маникан на ухо де Гишу, – доставь ему удовольствие.
– Ваше высочество, – поклонился граф, – я повинуюсь.
– Для начала мы сделаем вот что, – продолжал принц, – сегодня у принцессы карты; ты пообедаешь со мной, и я тебя приведу к ней.
– Ваше высочество, – запротестовал де Гиш, – позвольте мне отказаться.
– Опять! Да ведь это бунт!
– Вчера принцесса слишком дурно приняла меня при всех.
– Вот как! – засмеялся принц.
– Так дурно, что даже не ответила мне, когда я заговорил с ней; может быть, хорошо не иметь самолюбия, но чересчур мало – это чересчур мало, как говорится.
– Граф, после обеда ты переоденешься и зайдешь ко мне, я буду тебя ждать.
– Раз ваше высочество приказываете...
– Приказываю.
«Он не отстанет, – подумал Маникан, – такие вещи всегда особенно крепко сидят в голове мужей. Ах, почему Мольер не слышал этого мужа, он изобразил бы его в стихах».
Разговаривая подобным образом, принц и его двор возвратились в замок.
– Кстати, – вспомнил де Гиш на пороге, – у меня есть поручение к вашему высочеству.
– Передай твое поручение.
– Господин де Бражелон уехал в Лондон по приказу короля и просил меня засвидетельствовать почтение вашему высочеству.

– Отлично, счастливого пути виконту, я его очень люблю. Ступай же одеваться, де Гиш, и возвращайся к нам. А если ты не вернешься...

– Что тогда произойдет, ваше высочество?

– Произойдет то, что я велю посадить тебя в Бастилию.

– Положительно, – сказал со смехом де Гиш, – его высочество принц полная противоположность ее высочеству принцессе. Принцесса ссылает меня в изгнание, потому что недолгоблывает меня, принц сажает в тюрьму, потому что слишком любит меня. Благодарю, принц! Благодарю, принцесса!

– Полно, полно, – остановил его принц, – ты прекрасный друг и отлично знаешь, что я не могу обойтись без тебя. Возвращайся скорее.

– Хорошо, но мне, в свою очередь, хочется пококетничать, ваше высочество.

– Да что ты!

– Я возвращусь к вашему высочеству только при одном условии.

– Каком?

– Я должен сделать одолжение одному другу моего друга.

– Кому?

– Маликорну.

– Противное имя!

– Он с честью носит его, ваше высочество.

– Допустим. Так что же?

– Я должен доставить господину Маликорну место у вашего высочества.

– Какое же место?

– Какое-нибудь; ну, наблюдение над чем-нибудь.

– Отлично, это можно будет устроить. Вчера я рассчитал смотрителя дворцовых покоев.

– Пусть будет смотрителем дворцовых покоев, ваше высочество. А что ему придется делать?

– Ничего, только смотреть и докладывать.

– Внутренняя полиция?

– Именно.

– О, это как нельзя лучше подходит Маликорну, – вставил Маникан.

– Вы знаете того, о ком идет речь, господин Маникан? – обратился к нему принц.

– Очень близко, ваше высочество. Это мой друг.

– А ваше мнение?

– Мое мнение, что у вашего высочества никогда не будет такого прекрасного смотрителя дворцовых покоев.

– А сколько дает эта должность? – спросил граф у принца.

– Не знаю, только мне всегда говорили, что когда ее занимает подходящий человек, ей цены нет.

– А что вы называете, принц, подходящим человеком?

– Само собой разумеется, человека умного.

– В таком случае я думаю, что монсеньер будет доволен, потому что Маликорн умен, как дьявол.

– О, тогда это место обойдется мне дорого! – со смехом сказал принц.

– Ты мне подносишь настоящий подарок, граф.

– Я так думаю, ваше высочество.

– Хорошо! Скажи твоему господину Маликорну...

– Маликорну, ваше высочество.

– Я никогда не привыкну к этому имени.

– Ведь вы же произносите правильно Маникан, ваше высочество.

– Что ж, может быть, со временем научусь говорить Маликорн. Привычка мне поможет.

– Говорите, говорите, ваше высочество, ручаюсь вам, что ваш инспектор дворцовых покоев не обидится. У него Превосходный характер.

– В таком случае, дорогой де Гиш, сообщите ему, что он назначен...
Нет, погодите...
– Что угодно вашему высочеству?
– Я хочу сначала на него посмотреть. Если он так же безобразен, как его фамилия, я беру свое слово назад.
– Ваше высочество знаете его.
– Я?
– Конечно. Ваше высочество уже видели его в королевском дворце; доказательством может служить то, что я сам представил его вашему высочеству.
– Ах да, вспоминаю... Черт побери, это очаровательный малый!
– Я знал, что ваше высочество должны были заметить его.
– Да, да, да! Видишь ли, де Гиш, ни я, ни моя жена не хотим, чтобы у нас перед глазами торчали уроды. Моя жена берет себе в фрейлины только хорошеньких; я тоже принимаю в свою свиту только благообразных дворян.
Таким образом, понимаешь ли, де Гиш, если у меня будут дети, они будут вдохновлены красавицами, а если будут дети у моей жены, то они будут сложены по красивым образцам.
– Великолепное рассуждение, ваше высочество, – сказал Маникан, одобряя принца взглядом и тоном голоса.
Что касается де Гиша, то он, вероятно, не нашел рассуждение столь блестящим, потому что выразил свое мнение только нерешительным жестом.
Маникан пошел сообщить Маликорну приятную новость.
Де Гиш с видимым неудовольствием отправился переодеваться.
Принц, напевая, смеясь и поглядывая в зеркало, дожидался обеда в том настроении, которое оправдывало поговорку. «Счастлив, как принц».

Глава 37. РАССКАЗ НАЯДЫ И ДРИАДЫ

После обеда все в замке облеклись в парадные платья.
Обедали обыкновенно в пять часов. Дадим обитателям замка час на обед и два часа на туалет. Каждый, следовательно, был готов к восьми часам вечера.
В это время начали собираться у принцессы. Ведь как мы уже сказали, в этот вечер принимала принцесса. А вечеров у принцессы никто не пропускал, потому что вечера эти имели прелесть, какой не могла сообщить своим собраниям благочестивая и добродетельная королева. К несчастью, доброта менее занимательна, чем злой язык.
Однако поспешим сказать, что для принцессы такое наименование не годилось.
Эта исключительная натура воплощала в себе слишком много подлинного великодушия, благородных порывов и утонченных мыслей, чтобы ее можно было назвать злой. Но принцесса обладала даром упорства, нередко роковым для того, кто обладает им, потому что человек с таким характером ломается там, где другой только согнулся бы, в отличие от покорной Марии-Терезии, она храбро встречала наносимые ей удары.
Ее сердце отражало каждое нападение, и, подобно подвижной мишени при игре в кольца, принцесса, если только не бывала оглушена сразу, отвечала ударом на удар безрассудному, осмелившемуся вступить в борьбу с ней.
Была ли то злоба или же просто лукавство? Мы считаем богатыми и сильными те натуры, которые, подобно древу познания, приносят сразу добро и зло, пускают двойную, всегда цветущую, всегда плодоносную ветвь, алчущие добра умеют находить на ней добрый плод, а люди бесполезные и паразиты умирают, поев дурного плода, что совсем не плохо.
Итак, принцесса, задумавшая быть второй, а может быть, даже первой королевой, старалась сделать свой дом приятным для всех с помощью бесед, встреч, предоставления каждому полной свободы и возможности вставить свое слово, при условии, однако, чтобы слово было метким и острым. И именно поэтому у принцессы говорили меньше, чем в других

местах.

Принцесса не терпела болтунов и жестоко им мстила. Она позволяла им говорить. Она ненавидела претенциозность и даже королю не прощала этого недостатка. Спесь была болезнью принца, и принцесса взяла на себя крайне трудную задачу вылечить его.

Поэтов, остроумных людей, красивых женщин она принимала как властительница салона, — достаточно мечтательная, посреди всех своих проказ, чтобы заставить мечтать поэтов; достаточно обворожительная, чтобы блистать среди самых первых красавиц; достаточно остроумная, чтобы самые замечательные люди слушали ее с удовольствием.

Легко понять, что такие собрания должны были привлекать к принцессе всех; молодежь стекалась на них толпами. Когда король молод, все молоды при дворе.

Поэтому старые дамы, эти упрямые головы эпохи регентства или прошлого царствования, ворчали; но их недовольство встречали насмешками, издеваясь над этими почтенными особами, которые довели дух господства до такой степени, что командовали отрядами солдат во время войн Фронды, чтобы, как говорила принцесса, сохранить хоть какую-нибудь власть над мужчинами.

Ровно в восемь часов ее высочество вошла с фрейлинами в большой салон и застала там нескольких придворных, ожидавших ее уже более десяти минут. Среди этих наиболее рьяных гостей она искала взглядом того, кто, по ее мнению, должен был прийти первым. Она не нашла его.

Почти в то самое мгновение, когда она кончала этот смотр, доложили о приходе принца.

Принц был великолепен. Все драгоценности кардинала Мазарини, то есть, понятно, те из них, которые министру волей-неволей пришлось оставить, все драгоценности королевы-матери и даже некоторые из камней жены были надеты на нем, так что Филипп сиял, как солнце.

За ним медленно шел де Гиш в бархатном костюме жемчужно-серого цвета, расшитом серебром и украшенном голубыми лентами; он искусно напускал на себя сокрушенный вид. Костюм графа, кроме того, был отделан тонкими кружевами, не уступавшими, пожалуй, по красоте драгоценностям принца. Перо на его шляпе было красное.

В этом наряде де Гиш привлекал к себе общее внимание. Интересная бледность, некоторая томность взгляда, матовые руки под пышными кружевными манжетами, меланхолическая складка губ; словом, достаточно было взглянуть на г-на де Гиша, чтобы признать, что не многие французские царедворцы могут потягаться с ним.

И вот принц, который имел притязания затмить звезду, если бы звезда вздумала состязаться с ним, был совершенно отодвинут на второй план в глазах всех присутствовавших, которые были хотя и молчаливыми, но весьма строгими судьями.

Принцесса рассеянно взглянула на де Гиша, но как ни мимолетен был этот взгляд, он окрасил ее лицо очаровательным румянцем. Принцесса нашла де Гиша красивым и элегантным и почти перестала сожалеть, что совсем было уже одержанная победа над королем ускользает от нее.

Итак, помимо ее воли, вся кровь от сердца прихлынула к ее щекам.

Принц подошел к ней с напыщенным видом. Он не заметил румянца принцессы, а если бы и заметил, то не понял бы его истинной причины.

— Принцесса, — сказал он, целуя руку жены, — вот несчастный опальный изгнанник, за которого я решаюсь заступиться перед вами. Пожалуйста, примите во внимание, что он принадлежит к числу моих лучших друзей, и я очень просил бы вас оказать ему хороший прием.

— Какой изгнанник, что за опальный? — перебила принцесса, осматриваясь кругом и останавливая свой взгляд на графе не дольше, чем на других.

Наступил момент пропустить вперед своего протеже. Принц отошел в сторону и дал дорогу де Гишу, который с довольно хмурым видом подошел к принцессе и почтительно поклонился.

— Как? — спросила принцесса, делая вид, будто она крайне удивлена. Это граф де Гиш —

несчастный изгнанник?

– Да, – подтвердил принц.

– Ведь его только и видишь здесь, – сказала принцесса.

– Ах, принцесса, вы несправедливы, – поклонился принц.

– Я?

– Конечно. Простите беднягу.

– Простить? За что же мне прощать господина де Гиша?

– Объяснись, пожалуйста, де Гиш. За что ты хочешь получить прощение?

– спросил принц.

– Увы, ее высочество прекрасно знает это, – лицемерно отвечал де Гиш.

– Ну, дайте же ему руку, принцесса, – попросил Филипп.

– Если это доставляет вам удовольствие, принц.

И с не поддающимся описанию движением глаз и плеч принцесса протянула свою руку молодому человеку, который прижался к ней губами.

Нужно думать, что он долго не отрывал их и что принцесса не слишком торопилась отнять руку, потому что принц добавил:

– Де Гиш совсем не злой, принцесса, и, конечно, но укусит вас.

Присутствующие воспользовались этими словами, которые были не бог весть как смешны, и громко захохотали. Действительно, положение было исключительное, и некоторые добрые души заметили это.

Принц все еще наслаждался впечатлением, произведенным его словами, когда доложили о приходе короля.

Попытаемся описать вид салона в этот момент.

В середине зала, у камина, заставленного цветами, сидела принцесса с фрейлинами, возле которых порхали придворные. Другие группы устроились в оконных нишах, словно отряды гарнизона, размещенного в башнях крепости, и со своих укрепленных пунктов ловили слова, произнесенные в окружении прекрасной хозяйки.

В одной из ближайших к камину групп Маликорн, за несколько часов перед этим возведенный Маниканом и де Гишем в ранг зрителя покоев, Маликорн, офицерский мундир которого был сшит два месяца тому назад, сверкал позолотой и ослеплял этим сиянием так же, как и огнем своих взглядов, Монтале, сидевшую слева от принцессы.

Принцесса разговаривала с мадемуазель де Шатильон и мадемуазель де Креки, своими соседками, и по временам бросала несколько слов принцу, который немедленно стушевался, едва только раздался возглас:

– Король!

Мадемуазель де Лавальер, как и Монтале, сидела слева от принцессы и была предпоследней в ряду фрейлин; справа от нее помещалась мадемуазель де Тонне-Шарант. Она находилась, следовательно, в положении новобранцев, которых располагают между испытанными и обстрелянными солдатами.

Подкрепленная таким образом двумя подругами, Лавальер, – оттого ли, что она была опечалена отъездом Рауля, или же оттого, что у нее не прошло волнение по поводу недавних событий, благодаря которым ее имя стало популярным в придворном мире, – Лавальер закрывала веером свои немного покрасневшие глаза, как будто с большим вниманием прислушиваясь к словам, нашептываемым ей Монтале и Атенаис то в одно, то в другое ухо.

Когда прозвучало имя короля, все в зале задвигалось, заговорило.

Принцесса, как хозяйка дома, встала, чтобы принять царственного гостя; однако, поднимаясь с места, она, несмотря на свою озабоченность, бросила взгляд налево, и этот взгляд, который самонадеянный де Гиш принял на свой счет, остановился на Лавальер, тотчас же вспыхнувшей от внутреннего волнения.

Король подошел к центральной группе, все присутствовавшие поспешили к нему. Все головы склонились перед его величеством, женщины согнулись, точно хрупкие пышные лилии перед царем Аквиллоном. В этот вечер в Людовике не было ничего неприступного,

можно даже сказать, ничего царственного, кроме его молодости и красоты.

Радостное настроение короля оживило всех присутствующих; каждый исполнился уверенности, что проведет прелестный вечер, хотя бы уже потому, что его величество собирался веселиться у принцессы.

Если кто мог сравниться с королем по своей веселости и хорошему настроению, то, конечно, весь розовый г-н де Сент-Эньян: в розовом костюме, с розовым лицом, с розовыми лентами и, главное, с розовыми мыслями; а мыслей в этот вечер у г-на де Сент-Эньяна было много.

Эти бродившие в его голове мысли расцвели особенно пышно, когда он заметил, что мадемуазель де Тонне-Шарант была так же, как и он, в розовом. Мы не хотим, однако, сказать, будто хитрый царедворец не знал заранее, что прекрасная Атенаис выберет сегодня розовое платье: он в совершенстве владел искусством заставить портного или горничную проболтаться о планах госпожи.

Он послал мадемуазель Атенаис столько смертоносных взглядов, сколько у него было бантов на камзоле и башмаках, иными словами – несметное количество.

Когда король закончил свое приветствие принцессе и пригласил ее снова сесть, круг немедленно сомкнулся.

Людовик стал расспрашивать принца о купанье; все время поглядывая на дам, он рассказал, что поэты изображают в стихах галантное развлечение купание в Вальвене – и что особенно один из них, г-н Лоре, по-видимому, удостоился чести быть поверенным какой-то речной нимфы – столько в его стихах правды.

Многие дамы сочли своим долгом покраснеть.

Воспользовавшись этой минутой, король решил внимательно осмотреться кругом; одна Монтале смутилась не настолько, чтобы отвести глаза от короля, и увидела, что его величество пожирает взглядом мадемуазель де Лавальер.

Смелость этой фрейлины, по имени Монтале, заставила короля несколько переменить позицию, и это спасло, таким образом, Луизу де Лавальер от ответного огня, который, может быть, вызвал бы у нее этот пристальный взгляд. Принцесса завладела Людовиком, засыпав его градом вопросов, а никто в мире не умел так расспрашивать, как она.

Однако король хотел сделать разговор общим и с этой целью удвоил остроумие и любезности.

Принцесса жаждала комплиментов и решила во что бы то ни стало вырвать их из уст короля; она обратилась к нему со следующими словами:

– Государь, ваше величество знает все, что происходит в его королевстве, и поэтому ему должны быть заранее известны стихи, подсказанные господину Лоре этой нимфой. Может быть, ваше величество соизволит сообщить их нам?

– Принцесса, – ответил король с изысканной любезностью, – я не решаюсь... Мне кажется, что именно вас смутили бы некоторые подробности...

Но де Сент-Эньян рассказывает недурно и отлично запоминает стихи, а чего не запомнил, импровизирует. Уверяю вас, это крупный поэт.

Выведенный на сцену де Сент-Эньян принужден был предстать в самом невыгодном для него свете. К несчастью для принцессы, он думал только о собственных делах, и вместо того, чтобы осыпать ее комплиментами, которых она с таким нетерпением ждала, он решил сам немного прихвастнуть своим счастьем.

Итак, метнув сотый взгляд на прекрасную Атенаис, которая применяла на практике высказанную ею накануне теорию, то есть не устаивала вниманием своего обожателя, граф сказал:

– Ваше высочество, конечно, извините, если я плохо запомнил стихи, продиктованные нимфой господину Лоре; там, где король ничего не запомнил, что мог запомнить я, жалкий смертный?

Принцесса не особенно благосклонно приняла это возражение царедворца.

– Ах, принцесса, – прибавил де Сент-Эньян, – в настоящее время дело не в том, что

говорят нимфы пресных вод. Право, можно подумать, что в прозрачной стихии не происходит больше ничего интересного. Великие события происходят на суше, принцесса. Вот о том, что происходит на суше, принцесса, ходит столько рассказов...

– Что же такое происходит на суше? – спросила принцесса.

– Об этом нужно спросить у дриад, – отвечал граф, – дриады обитают в лесах, как известно вашему высочеству.

– Я знаю даже, что они по природе очень болтливы, господин де Сент-Эньян.

– Да, принцесса. Но когда они говорят только милые вещи, было бы нехорошо порицать их за болтливость.

– Так они рассказывают милые вещи? – небрежно спросила принцесса. Право, граф, вы дразните мое любопытство, и на месте короля я сейчас же потребовала бы от вас рассказать те милые вещи, которые болтают госпожи дриады, так как, видимо, вы один понимаете их наречие.

– Я весь к услугам его величества, – живо отвечал граф.

– Он понимает язык дриад, – сказал принц. – Счастливец этот Сент-Эньян!

– Не хуже французского, ваше высочество.

– Мы вас слушаем, граф, – обратилась принцесса к де Сент-Эньяну.

Король почувствовал замешательство; без всякого сомнения, его поверенный мог поставить его в затруднительное положение.

Он ясно видел это по всеобщему вниманию, возбужденному предисловием де Сент-Эньяна и поведением принцессы. Даже самые сдержанные люди, казалось, готовы были ловить на лету слова графа.

В зале закашляли, пододвинулись поближе, стали искоса посматривать в сторону фрейлин, а те, чтобы с большей твердостью и непринужденностью вынести эти инквизиторские взгляды, усердно замахали веерами и приняли позу дуэлянтов, готовых выдержать огонь противника.

Тогдашнее общество настолько привыкло к остроумным словесным состязаниям и щекотливым рассказам, что в тот момент, когда современный салон почуял бы скандал, огласку, трагедию и в испуге разбежался бы, гости принцессы, напротив, расположились поудобнее, чтобы не упустить ни одного слова, ни одного жеста из комедии, сочиненной для них г-ном де Сент-Эньяном, зная, что, каковы бы ни были ее стиль и интрига, развязка будет благополучная и остроумная.

Граф пользовался репутацией учтивого человека и превосходного рассказчика. Итак, посреди глубокой тишины, которая утратила бы всякого, только не его, граф смело начал свое повествование.

– Принцесса, король позволит мне обратиться прежде всего к вашему высочеству, проявившему наибольший интерес к моим словам; поэтому я буду иметь честь сообщить вашему высочеству, что дриады охотнее всего обитают в дуплах дубов, и так как сами они очень красивы, то выбирают самые красивые деревья, то есть самые большие и ветвистые.

При этом вступлении, очень прозрачно намекавшем на пресловутую сцену у королевского дуба в прошлую ночь, сердца слушателей так сильно забились от радости или тревоги, что, не обладая де Сент-Эньяном звучным и сильным голосом, они бы заглушили его.

– Дриады, должно быть, водятся в Фонтенбло, – совершенно спокойным тоном сказала принцесса, – потому что никогда в жизни я не видела более красивых дубов, чем в королевском парке.

Произнося эти слова, принцесса послала в сторону де Гиша взгляд, на который тот не мог бы пожаловаться, как на предыдущий, еще сохранявший, как мы сказали, оттенок некоторой небрежности, очень тягостной для его любящего сердца.

– Я собирался рассказать вашему высочеству именно о Фонтенбло, подтвердил де Сент-Эньян, – потому что дриада, о которой идет речь, живет в парке замка его величества.

Действие началось; теперь ни для рассказчика, ни для слушателей отступления не было.

– Послушаем, – согласилась принцесса, – мне кажется, ваша повесть будет не только

очаровательна, как народная сказка, но окажется еще и занимательной, как вполне современная хроника.

– Я должен начать с начала, – сказал граф. – Итак, в Фонтенбло в одной красивой хижине живут пастухи. Один из них называется Тирсис, и ему принадлежат очень богатые владения, полученные им по наследству от родителей. Тирсис молод и красив и слывет первым из пастухов в округе. Его положительно можно назвать королем.

Раздался легкий одобрителный шепот, и де Сент-Эньян продолжал:

– Сила Тирсиса равняется его мудрости; на охоте никто не может соперничать с ним в ловкости, никто не проявляет столько мудрости в советах.

Управляет ли он конем на прекрасных равнинах своих владений, руководит ли играми послушных ему пастухов, кажется, будто видишь бога Марса, потрясающего копьем на полях Фракии, или, вернее, Аполлона, бога света, рассыпающего над землей огненные стрелы.

Каждый поймет, что этот аллегорический портрет короля был неплохим вступлением. Поэтому слушатели не остались равнодушны к нему и разразились громкими рукоплесканиями; не остался равнодушен и сам король, который очень любил тонкую похвалу, но никогда не выражал неудовольствия и в тех случаях, когда она бывала явно утрированной. Де Сент-Эньян говорил:

– Не только благодаря воинственным играм, сударыня, пастух Тирсис стяжал себе славу короля пастухов.

– Пастухов Фонтенбло, – добавил король, улыбаясь принцессе.

– О, – воскликнула она, – Фонтенбло произвольно выбрано поэтом; я сказала бы: пастухов всего мира.

Король забыл свою роль бесстрастного слушателя и поклонился.

– И достоинства этого короля пастухов блещут особенно ярко в обществе красавиц, – продолжал де Сент-Эньян посреди льстивого шепота. – Ум у него утонченный, а сердце чистое; он умеет сказать комплимент с необыкновенной приятностью, он умеет любить со скромностью, которая обещает побежденным счастливицам самую завидную участь. Все окружено тайной и трогательным вниманием. Кто видел Тирсиса и слышал его, не может его не любить, а кто любит его и любим Тирсисом, тот обрел счастье.

Де Сент-Эньян сделал паузу; он смаковал сказанные им комплименты, и как ни уродливо преувеличен был этот портрет, он все же некоторым понравился, особенно тем, кто был искренне убежден в достоинствах пастуха Тирсиса. Принцесса попросила рассказчика продолжать.

– У Тирсиса, – рассказывал граф, – был верный товарищ, или, вернее, преданный слуга, которого зовут... Аминтас.

– Теперь нарисуйте нам портрет этого Аминтаса, – с лукавой улыбкой перебила принцесса, – вы такой прекрасный художник, господин де Сент-Эньян...

– Принцесса...

– Ах, граф, пожалуйста, не приносите в жертву этого бедного Аминтаса; я никогда не прощу вам этого.

– Принцесса, Аминтас слишком ничтожен по сравнению с Тирсисом для того, чтобы здесь возможна была какая-нибудь параллель. Некоторые друзья похожи на тех слуг древности, которые просили заживо погребать себя у ног своих господ. Место Аминтаса у ног Тирсиса; он ничего больше не просит, и если иногда славный герой...

– Славный пастух, хотите вы сказать? – спросила принцесса, притворно упрекая г-на де Сент-Эньяна.

– Ваше высочество правы, я ошибся, – отвечал придворный, – итак, если пастух Тирсис делает иногда Аминтасу честь, называя его своим другом и открывая ему сердце, то это исключительная милость, которую последний принимает как несказанное блаженство.

– Все это, – перебила принцесса, – рисует нам полную преданность Аминтаса Тирсису, но у нас ведь нет портрета Аминтаса. Граф, не льстите ему, если угодно, нарисуйте его нам; я хочу видеть Аминтаса.

Де Сент-Эньян повиновался, низко поклонившись невестке его величества.

– Аминтас, – сказал он, – немного старше Тирсиса. Этот пастух не вполне обездолен природой; говорят даже что музы улыбнулись при его рождении, как Геба улыбается молодости. Он не имеет притязания блистать; ему только хочется быть любимым, и, может быть, если бы его узнали хорошенько, он не оказался бы недостойным любви.

Эта последняя фраза, подкреплённая убийственным взглядом, была обращена прямо к мадемуазель де Тонне-Шарант, которая, не дрогнув, выдержала атаку.

Однако скромность и тонкость намека произвели хорошее впечатление;

Аминтас пожал его плоды в виде рукоплесканий; даже голова самого Тирсиса благожелательно кивнула в знак согласия.

– Однажды вечером, – продолжал де Сент-Эньян, – Тирсис и Аминтас прогуливались по лесу, разговаривая о своих любовных страданиях. Заметьте, сударыни, что это уже рассказ дриады; ибо как иначе можно было узнать то, о чем беседовали Тирсис и Аминтас, двое самых скромных и сдержанных пастухов на земле? Итак, они вошли в самую густую часть леса с целью уединиться и без помехи поверить друг другу свои горести, как вдруг звуки голосов поразили их слух.

– Ах, ах! – раздалось восклицания. – Это очень интересно.

Тут принцесса, подобно бдительному генералу, делающему смотр своей армии, взглядом заставила подтянуться Монтале и де Тонне-Шарант, которые уже изнемогали под бременем этих слишком прозрачных намеков.

– Эти мелодичные голоса, – опять начал де Сент-Эньян, – принадлежали нескольким пастушкам, которые, в свою очередь, желали насладиться свежестью леса и, зная, что эта часть его уединенна, почти недоступна, собрались там, чтобы обменяться мыслями об овчарне.

Громкий взрыв хохота, еле заметная улыбка короля, взглянувшего на де Тонне-Шарант, – таков был результат последней фразы де Сент-Эньяна.

– Дриада уверяет, – продолжал де Сент-Эньян, – что пастушек было три и что все они были молоды и красивы.

– Их звали? – спокойно произнесла принцесса.

– Как их звали? – переспросил де Сент-Эньян, как будто возмущенный этой нескромностью.

– Ну да. Своих пастухов вы называли Тирсис и Аминтас; назовите же как-нибудь пастушек.

– О, принцесса, я не сочинитель, не трувер, как говорили когда-то; я просто пересказываю то, что сообщила дриада.

– Как же ваша дриада называла этих пастушек? Какая у вас непослушная память. Разве эта дриада в ссоре с богиней Мнемозиной?

– Принцесса, этих пастушек... но помните, что разоблачать имена женщин – преступление!

– За которое женщина прощает вас, граф, при условии, чтобы вы открыли нам имена пастушек.

– Они назывались: Филис, Амарилис и Галатея.

– Наконец-то! Стоило ожидать так долго, чтобы вы их назвали, – сказала принцесса, – это очаровательные имена. Теперь их портреты?

Де Сент-Эньян снова поморщился.

– О, пожалуйста, граф, по порядку! – попросила принцесса. – Не правда ли, государь, нам нужны портреты пастушек?

Король, ожидавший этой настойчивости и уже ощущавший некоторую тревогу, не считал нужным дразнить такую опасную допросчицу. Кроме того, он думал, что де Сент-Эньян, рисуя портреты, сумеет найти несколько тонких штрихов, и они произведут благоприятное впечатление на ту слушательницу, которую его величеству хотелось пленить. С такой надеждой и с такими опасениями Людовик разрешил де Сент-Эньяну набросать портреты пастушек Филис, Амарилис и Галатеи.

– Хорошо, – согласился де Сент-Эньян с видом человека решившегося. И он начал.

Глава 38. ОКОНЧАНИЕ РАССКАЗА НАЯДЫ И ДРИАДЫ

– Филис, – вздохнул де Сент-Эньян, бросая вызывающий взгляд на Монтале с видом учителя фехтования, который предлагает достойному противнику занять оборонительную позицию, – Филис не брюнетка и не блондинка, не велика ростом и не мала, не холодна и не восторженна; несмотря на то, что она пастушка, Филис умна, как принцесса, и кокетлива, как демон.

Зрение у нее превосходное, и сердце желает завладеть всем, что охватывает ее взгляд. Она похожа на птичку, которая вечно щебечет и то спускается на лужайку, то гоняется за бабочкой, то садится на верхушку дерева и шлет оттуда вызов всем птицеловам, как бы приглашая их либо влезть на дерево, чтобы поймать ее руками, либо заманить на землю, в свои сети.

Портрет был до того верен, что все глаза обратились на Монтале, которая внимательно слушала г-на де Сент-Эньяна, точно речь шла о ком-то совершенно постороннем.

– Это все, господин де Сент-Эньян? – спросила принцесса.

– Это только эскиз, ваше высочество. О Филис можно было бы сказать еще многое. Но боюсь истощить терпение вашего высочества или оскорбить скромность пастушки, а потому перехожу к ее подруге Амарилис.

– Хорошо, – согласилась принцесса, – переходите к Амарилис, господин де Сент-Эньян, мы вас слушаем.

– Амарилис самая старшая из троих, и, однако, поспешил прибавить де Сент-Эньян, – этой зрелой особе еще нет двадцати лет.

Брови мадемуазель де Тонне-Шарант, которые нахмурились было в начале рассказа де Сент-Эньяна, разгладились, и она улыбнулась.

– Она высока, у нее роскошные волосы, причесанные как у греческих статуй, походка у нее величественная, движения горды, так что она скорее похожа на богиню, чем на простую смертную, и больше всего на Диануохотницу, с той только разницей, что жестокая пастушка, похитив однажды колчан Амура, когда этот бедный малютка спал в розовом кусте, теперь направляет свои стрелы не в обитателей леса, а безжалостно пускает их во всех бедных пастухов, приближающихся к ней на расстояние выстрела и взгляда.

– О, какая злая пастушка! – сказала принцесса. – Неужели она никогда не уколется ни одной из стрел, так безжалостно рассыпаемых ею направо и налево?

– Все пастухи надеются на это, – вздохнул де Сент-Эньян.

– Особенно пастух Аминтас, не правда ли? – улыбнулась принцесса.

– Пастух Аминтас так робок, – продолжал де Сент-Эньян с самым смиренным видом, – что если в нем и живет эта надежда, то он никому ее не поверяет и хранит ее в самой глубине своего сердца.

Одобрительный шепот был ответом на эту характеристику пастуха.

– А Галатея? – спросила принцесса. – Я с нетерпением ожидаю, когда ваша искусная рука кончит портрет, не дописанный Вергилием.

– Принцесса, – отвечал де Сент-Эньян, – ваш покорный слуга ничтожен как поэт по сравнению с великим Вергилием Мароном, тем не менее, ободренный вашим приказанием, я приложу все старания.

– Мы слушаем, – повторила принцесса.

Сент-Эньян выставил ногу, поднял руку и заговорил:

– Белая, как молоко, золотистая, как колос, она разливает в воздухе аромат своих белокурых волос. И тогда спрашиваешь себя, не красавица ли это Европа, которая внушила любовь Юпитеру, играя с подругами на цветущем лугу. Из ее глаз, голубых, как небесная

лазурь в самые прекрасные летние дни, струится нежное пламя; мечтательность питает его, любовь расточает. Когда она хмурит брови или склоняет лицо к земле, солнце в знак печали закрывается облаком.

Зато, когда она улыбается, вся природа оживает и замолкшие на мгновение птицы вновь – начинают распевать свои песни среди ветвей.

– Галатея, – так заключил де Сент-Эньян, – наиболее достойна обожания всего мира: и если когда-нибудь она подарит кому-нибудь свое сердце, счастлив будет смертный, которого ее девственная любовь пожелает превратить в божество.

Принцесса, слушая это описание, как и все, лишь одобряла самые поэтические места легким кивком головы; во невозможно было сказать, служили ли эти похвалы таланту рассказчика или подтверждали сходство портрета с оригиналом.

Видя, что принцесса не восхищается открыто, никто из слушателей не решился аплодировать, даже принц, который в глубине души находил, что де Сент-Эньян слишком долго останавливается на портретах пастушек и несколько бегло набросал портреты пастухов.

Общество, казалось, застыло.

Де Сент-Эньян, истощивший всю свою риторику и всю палитру на портрет Галатеи, ожидал, что после благоприятного приема других описаний теперь раздастся гром рукоплесканий. Не услышав их, он был ошеломлен еще больше, чем король и все присутствующие.

В течение нескольких мгновений царило молчание, его нарушила принцесса, спросив:

– Государь, каково мнение вашего величества об этих трех портретах?

Король попытался выручить де Сент-Эньяна, не компрометируя себя.

– По-моему, отлично вышла Амариллис, – сказал он.

– А я предпочитаю Филис, – отозвался принц, – это славная нимфа, скорее добрый малый.

И все рассмеялись.

И а этот раз взгляды были так бесцеремонны, что Монтале почувствовала, как к лицу ее подступает яркая краска.

– Итак, – продолжала принцесса, – эти пастушки говорили?

Но де Сент-Эньян, самолюбие которого было уязвлено, не мог выдержать атаки свежих сил.

– Принцесса, – попытался он закончить свою повесть, – эти пастушки признавались друг другу в своих склонностях.

– Продолжайте, продолжайте, господин де Сент-Эньян, вы неистощимый источник пасторальной поэзии, – сказала принцесса с любезной улыбкой, вернувшей рассказчику уверенность в себе.

– Они говорили, что любовь не таит в себе опасность, но что отсутствие любви – смерть для сердца.

– Какое же они вывели отсюда заключение? – поинтересовалась принцесса.

– Они вывели отсюда заключение, что нужно любить.

– Отлично. Они ставили какие-нибудь условия?

– Да, свободу выбора, – ответил де Сент-Эньян. – Должен прибавить, это говорит дриада, – что одна из пастушек, кажется Амариллис, даже высказалась против любви, а между тем она не отрицала, что в ее сердце проник образ одного пастуха.

– Аминтаса или Тирсиса?

– Аминтаса, ваше высочество, – скромно молвил де Сент-Эньян. – Тогда Галатея, кроткая Галатея с чистыми глазами, ответила, что ни Аминтас, ни Альфисбей, ни Титир и вообще никто из красивейших пастухов этой страны не может сравниться с Тирсисом, что Тирсис затмевает всех людей, как дуб затмевает своей величавостью все деревья, а лилия своей пышностью все цветы. Словом, она нарисовала такой портрет Тирсиса, что даже слушавший ее Тирсис, несмотря на все свое величие, вероятно, почувствовал себя польщенным. Таким образом, Тирсис и Аминтас были отличены Амариллис и Галатеей.

Следовательно, тайна двух сердец открылась во мраке ночи в густой чаще леса.

Вот, ваше высочество, то, что рассказала мне дриада, которой известно все, что творится в густой траве и дуплах дубов: известна любовь птиц, понятен смысл их песен, и язык ветра среди ветвей, и жужжание золотых и изумрудных насекомых в лепестках диких цветов; она поведала мне все это, и я только повторяю ее слова.

– Значит, вы кончили, не правда ли, господин де Сент-Эньян? – спросила принцесса с улыбкой, повергнувшей короля в трепет.

– Да, кончил, принцесса, – отвечал г-н де Сент-Эньян – и сочту себя счастливым, если узнаю, что мне удалось развлечь ваше высочество в течение нескольких минут.

– Минуты эти пролетели незаметно, – улыбнулась ему принцесса, – потому что вы превосходно рассказали все, что слышали. Но, дорогой де Сент-Эньян, к несчастью, вы получили ваши сведения только от одной дриады, не правда ли?

– Да, ваше высочество, сознаюсь, только от одной.

– И, значит, не удостоили своим вниманием маленькую наяду, которая держалась совсем незаметно, а знала гораздо больше, чем ваша дриада, дорогой граф.

– Наяда? – повторили несколько голосов, начавших подозревать, что у рассказа будет продолжение.

– Да, наяда. Она была подле дуба, о котором вы говорите и который называется королевским – насколько мне известно. Не правда ли, господин де Сент-Эньян?

Сент-Эньян и король переглянулись.

– Да, принцесса, – отвечал де Сент-Эньян.

– Так вот, около этого дуба журчит ручеек среди незабудок и маргариток.

– Мне кажется, что принцесса права, – сказал король, с беспокойством следивший за каждым движением губ своей невестки.

– Ручаюсь вам, что там есть ручеек, – заверила принцесса, – и доказательством служит то, что живущая в нем наяда остановила меня, когда я проходила мимо.

– Не может быть! – воскликнул де Сент-Эньян.

– Да, – продолжала принцесса, – остановила и сообщила мне многое, что господин де Сент-Эньян пропустил в своем повествовании.

– Ах, поделитесь с нами, пожалуйста! – попросил принц. – Вы так прелестно рассказываете.

Принцесса ответила поклоном на этот супружеский комплимент.

– В моей истории не будет поэзии графа и его таланта описывать подробности.

– Но вас будут слушать с таким же интересом, – сказал король, почуявший что-то враждебное в голосе невестки.

– Впрочем, – продолжала принцесса, – я говорю от имени этой бедной маленькой наяды, самой очаровательной из всех полубогинь, которых я когда-нибудь встречала. Во время своего рассказа она столько смеялась, что в силу медицинской аксиомы: «смех заразителен», прошу у вас позволения тоже немного посмеяться, припоминая ее слова.

Король и де Сент-Эньян, заметившие, что при этих словах многие повеселели, переглянулись, спрашивая друг друга взглядом, не кроется ли тут какой-нибудь заговор.

Но принцесса твердо решила коснуться ножом раны, а потому с наивным, то есть самым опасным, видом сказала:

– Итак, я шла мимо ручья и находила много только что распустившихся цветов; значит, Филис, Амарилис и Галатея и все ваши пастушки, наверное, прошли по этой дороге передо мной.

Король закусил губы. Рассказ становился все более угрожающим.

– Моя маленькая наяда, – продолжала принцесса, – отдыхала, лежа на дне ручья; когда она подплыла ко мне и тронула меня за подол платья, я не захотела дурно отнестись к ней, тем более что божество, даже второстепенное, все же выше смертной принцессы. Итак, я обошлась с наядой приветливо, и вот что она сказала мне, заливаясь смехом: «Представьте себе, принцесса...» Вы понимаете, государь, это говорит наяда.

Король кивнул в знак согласия; принцесса заговорила снова:

– «Представьте себе, принцесса, берега моего ручья были свидетелями весьма забавного зрелища. Два любопытных пастуха, любопытных до назойливости, сделались жертвой забавной мистификации со стороны трех нимф или трех пастушек...» Простите, я не помню, как она сказала: нимфы или пастушки. Но это не важно, не правда ли?

Во время этого предисловия король заметно покраснел, а де Сент-Эньян, потеряв всякое самообладание, беспокойно вытаращил глаза.

– «Двое пастухов, – рассказывала, все так же смеясь, моя наядя, пошли по следам трех девиц...» Нет, я хочу сказать – трех нимф, то есть, простите, трех пастушек. Это не всегда благоразумно, это может стеснить тех, за кем идешь следом. Я обращаюсь ко всем присутствующим дамам и уверена, что ни одна из них не будет спорить со мной.

Король, очень обеспокоенный тем, что будет дальше, просил ее продолжать.

– «Но пастушки, – говорила моя наядя, – видели, как Тирсис и Аминтас проскользнули в лес; луна помогла узнать их сквозь деревья...» Вы смеетесь, – прервала свой рассказ принцесса. – Подождите, подождите, вы еще не дослушали до конца.

Король побледнел; де Сент-Эньян вытер вспотевший лоб.

В группах дам послышался заглушенный смех и перешептывания.

– «Пастушки, как я сказала, заметив нескромных пастухов, уселись у королевского дуба, и когда эти непрошенные свидетели подошли на такое расстояние, что могли слышать каждое слово пастушек, те самым невиннейшим образом стали произносить пылкие признания, слова которых благодаря самолюбию, свойственному всем мужчинам, и даже самым чувствительным пастухам, показались двоим слушателям сладкими, как мед»

При этих фразах, которые общество не могло слушать без смеха, в глазах короля сверкнула молния. А Сент-Эньян опустил голову и взрывом хохота скрыл свою глубокую досаду.

– Честное слово, очаровательная шутка, – произнес король, выпрямляясь во весь рост, – и вы, принцесса, рассказали ее не менее очаровательно; но правильно ли вы поняли свою наяду?

– Ведь уверяет же граф, что он хорошо понял язык дриад, – живо отпарировала принцесса.

– Без сомнения, – сказал король. – Но вы знаете, у графа есть слабость: он метит в Академию и с этой целью изучил много вещей, которые, к счастью, неизвестны вам, и очень может быть, что язык речной нимфы принадлежит к числу не освоенных вами предметов.

– Вы понимаете, государь, – отвечала принцесса, – что в подобных вещах не доверяешь одной только себе; слух женщины нельзя назвать непогрешимым, сказал святой Августин; вот почему я пожелала подкрепить себя другими свидетельствами, и так как моя наядя, будучи богиней, – полиглот... ведь так говорится, господин де Сент-Эньян?

– Да, ваше высочество, – кивнул совсем растерявшийся де Сент-Эньян.

– Так вот, поскольку моя наядя, – продолжала принцесса, – полиглот и сначала заговорила со мной по-английски, то я побоялась, как вы говорите, что плохо пойму ее, и велела позвать мадемуазель де Монтале, де Тонне-Шарант и де Лавальер, попросив наяду повторить при них по-французски то, что она рассказала мне по-английски.

– И она согласилась? – спросил король.

– О, на свете нет существа более любезного!.. Да, государь, она все повторила, слово в слово. Значит, не остается никаких сомнений. Не так ли, сударыни, – обратилась принцесса к левому флангу своей могучей армии, – ведь верно, наядя говорила именно то, что я рассказываю, и я нисколько не исказила истины Фи? лис... простите, я ошиблась, мадемуазель Ора де Монтале, это правда?

– Совершенная правда, принцесса! – отчетливо проговорила мадемуазель де Монтале.

– Это правда, мадемуазель де Тонне-Шарант?

– Истинная правда! – отвечала Атенаис не менее твердо, но не так внятно.

– А вы что скажете, Лавальер? – спросила принцесса.

Бедная девушка чувствовала устремленный на нее жгучий взгляд короля; она не осмеливалась отрицать, не осмеливалась лгать и в знак повиновения опустила голову. Однако эта голова больше не поднялась. Луизу леденил холод более мучительный, чем холод смерти.

Это тройное свидетельство подавило короля. А Сент-Эньян так даже не пытался скрыть своего отчаяния и, не сознавая, что он говорит, лепетал:

– Превосходная шутка! Чудесно разыгранная, госпожи пастушки!

– Справедливое наказание за любопытство, – хрипло сказал король. Скажите, кто, после наказания, постигшего Тирсиса и Аминтаса, решится проникнуть в тайники сердца пастушек? Уж конечно, не я... А вы, господа?

– И не мы, – хором повторила группа придворных.

Принцесса торжествовала при виде этой досады короля; она наслаждалась, думая, что ее рассказ послужит развязкой всей этой истории.

А принц, которого рассмешили оба рассказа, хотя он в них ничего не понял, повернулся к де Гишу и спросил:

– Что ж ты, граф, молчишь? Неужели тебе нечего сказать? Может быть, ты жалеешь господ Тирсиса и Аминтаса?

– Жалею от всей души, – отвечал де Гиш, – поистине, любовь такая сладкая химера, что, теряя ее, теряешь больше, чем жизнь. Поэтому, если два пастуха считали себя любимыми и если они были счастливы и вдруг, вместо счастья, встретили не только пустоту, подобную смерти, но еще и насмешку над чувством, которая в тысячу раз хуже смерти... если так, то я скажу, что Тирсис и Аминтас несчастнейшие из всех смертных.

– И вы правы, господин де Гиш, – согласился король, – потому что смерть жестокая кара за маленькое любопытство.

– Значит, рассказ моей наяды не понравился королю? – наивно спросила принцесса.

– Будьте покойны, принцесса, – сказал Людовик, взяв ее за руку, – ваша наядка тем более понравилась мне, что она была правдива, и ее рассказ, должен признаться, подтвержден неопровержимыми доказательствами.

И с этими словами он бросил на Лавальер взгляд, значения которого никто не мог бы точно определить, начиная с Сократа и кончая Монтенем.

Этот взгляд и эти слова окончательно уничтожили несчастную девушку, которая, упав на плечо Монтале, казалось, лишилась сознания.

Король встал, не обратив внимания на это маленькое происшествие, которого, впрочем, никто и не заметил; против своего обыкновения (обычно король сидел дольше у принцессы), он попрощался с гостями и отправился в свои апартаменты.

Де Сент-Эньян последовал за ним. Насколько он был весел, входя к принцессе, настолько он теперь был погружен в отчаяние.

Мадемуазель де Тонне-Шарант, не такая чувствительная, как Лавальер, не испугалась и в обморок не падала.

Глава 39. КОРОЛЕВСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Король быстро вошел в свои апартаменты.

Может быть, Людовик XIV шагал так быстро, чтобы не пошатнуться. Он оставлял за собой как бы след таинственной печали.

Все заметили веселость короля при появлении его у принцессы, и все этому обрадовались, но никто, вероятно, не понял ее истинного смысла; напротив, причина этого взволнованного, бурного ухода была понятна каждому, или, по крайней мере, все считали, что понять ее нетрудно.

Легкомыслие принцессы, ее шутки, несколько резковатые для обидчивого характера, особенно если таким характером обладает король; слишком фамильярное обращение с королем, как с обыкновенным смертным, – вот какие причины, по мнению гостей, вызвали

поспешный и неожиданный уход Людовика XIV.

Принцесса была более проницательна, но и она сначала точно так же объяснила поведение короля. С нее было довольно уколоть немного самолюбие того, кто, слишком быстро позабыв взятые на себя обязательства, по-видимому, без всякой причины пренебрегал плодами самой благородной и самой славной своей победы.

При сложившемся положении вещей принцесса считала нужным показать королю разницу между любовью в высоких сферах и маленькой страстишкой, годной разве для провинциального дворянчика.

Отдаваясь высокой любви, чувствуя ее царственную силу и всемогущество, подчиняясь в известной степени ее этикету и притязаниям, король не только не унижал себя, но находил в ней покой, уверенность, таинственность и общее уважение.

Опускаясь же до любовной интриги с простой фрейлиной, он встретит, напротив, даже у своих самых последних подданных осуждение и насмешку.

Он утратит свою непогрешимость и недостижимость. Снизойдя в область серой обыденщины, он неизбежно подвергнется ее ничтожным треволнениям.

Словом, сделать из короля-бога простого смертного, коснувшись его сердца или даже лица, как лица самого обычного из его слуг, значило нанести страшный удар гордости этой благородной крови: задеть самолюбие Людовика было легче, чем пробудить в нем любовь. Принцесса умно рассчитала свою месть и, как мы видели, добилась своего.

Пусть читатель не думает, однако, что в принцессе жили бурные страсти средневековых героинь или что она видела вещи в мрачном свете; напротив, принцесса – молодая, грациозная, остроумная, кокетливая, влюбчивая, скорее благодаря воображению и честолюбию, чем по влечению сердца, – принцесса, напротив, открыла эпоху легких и мимолетных наслаждений, продолжавшуюся сто двадцать лет, с середины XVII века до последней четверти XVIII.

Итак, принцесса видела или воображала, будто видит вещи в их истинном свете; она знала, что король, ее августейший деверь, первый смеялся над скромной Лавальер и считал, что не в его привычках полюбить особу, вызвавшую его насмешку, хотя бы только на одно мгновение.

Кроме того, разве не стояло на страже самолюбие, этот демон, играющий такую большую роль в драматической комедии, называемой жизнью женщины?

Разве самолюбие не твердило ей громко, шепотом, вполголоса, на всевозможные лады, что ее, принцессу, молодую, красивую, богатую, невозможно даже сравнить с жалкой Лавальер, правда, тоже молодой, но гораздо менее красивой и, главное, бедной? В этом нет ничего удивительного; ведь известно, что самые замечательные характеры испытывают горделивую радость, сравнивая себя со своими ближними.

Может быть, читатель спросит, чего хотела добиться принцесса этой так тонко обдуманной атакой? Зачем она израсходовала столько сил, если не было речи о том, чтобы вытеснить короля из совсем наивного сердца, в котором он рассчитывал занять место? Зачем принцессе нужно было придавать такое значение Лавальер, если она ее не боялась?

Нет, принцесса не боялась Лавальер, с точки зрения историка, который, зная все, видит будущее, или, вернее, прошлое; принцесса не была пророком или сивиллой; она не больше, чем другой, могла читать в той страшной и роковой книге будущего, которая скрывает самые важные события на самых затаенных страницах.

Нет, принцесса просто хотела покарать короля за его чисто женскую скрытность. Она хотела доказать ему, что если он прибегает к такого рода оружию для нападения, то она, женщина умная и родовитая, сумеет отыскать в арсенале своего воображения оружие для обороны, годное для отражения удара, нанесенного даже королевской рукой.

Кроме того, она хотела внушить ему, что в войнах подобного рода нет королей или что, во всяком случае, короли, борющиеся за себя, как обыкновенные смертные рискуют потерять свою корону при первом же ударе; что, наконец, если король надеялся одним своим видом вызвать обожание всех придворных дам, то это притязание было дерзким и оскорбительным

по отношению к женщинам, стоявшим выше остальных, и урок, полученный этим гордецом, слишком высоко задравшим голову, будет ему полезен.

Вот что, без сомнения, думала принцесса о короле.

Само событие оставалось в стороне.

Руководясь этими соображениями, она сделала соответствующее внушение фрейлинам и во всех подробностях подготовила только что разыгранную комедию.

Король был ошеломлен. С тех пор как он вышел из-под опеки Мазарини, Людовик в первый раз видел, что с ним обращаются, как с обыкновенным смертным.

Подобная фамильярность со стороны подданных пробудила в нем желание дать отпор. Силы вырастают в борьбе.

Но бороться с женщинами, подвергнуться нападению, подвергнуться насмешкам со стороны каких-то провинциалок, нарочно приехавших для этого из Блуа, было верхом бесчестия для молодого короля, исполненного тщеславия, которое внушено сознанием своих личных достоинств и высоким представлением о королевской власти.

Ничего нельзя было пустить в ход: ни упреков, ни изгнания, ни даже выражения своего недовольства.

Выражая недовольство, он показал бы, что поражен, как Гамлет, острым оружием насмешки.

Сердиться на женщин – какое унижение, особенно когда эти женщины могут отомстить смехом!

О, если бы в эту интригу вмешался, кроме женщин, какой-нибудь придворный, с каким удовольствием Людовик XIV засадил бы его в Бастилию!

Но и в этом случае королевский гнев охлаждало следующее рассуждение.

Иметь армию, тюрьмы, почти божественную власть и пользоваться этим всемогуществом для удовлетворения мелкой злобы было недостойно не только короля, но и самого обыкновенного человека.

Итак, оставалось молча проглотить обиду, сохранив на лице обычное благодушное и приветливое выражение.

Нужно было как ни в чем не бывало по-дружески обращаться с принцессой. По-дружески!.. А почему бы и нет?

Принцесса либо была виновницей неприятного события, либо оставалась пассивной зрительницей его.

Если она подстроила его, это было с ее стороны большой дерзостью, но разве ее роль не казалась вполне естественною?

Кто проник к ней в самые сладкие мгновения медового месяца, чтобы нашептать ей слова любви? Кто осмеливался рассчитывать на адюльтер, даже больше: на кровосмешение? Кто, прикрываясь королевской мантией, сказал этой молодой женщине: «Не бойтесь ничего, любите французского короля, он превыше всего, и одно движение его руки, держащей скипетр, защитит вас от всех и даже от угрызений вашей совести?»

И молодая женщина послушалась королевских речей, уступила соблазнявшему ее голосу и теперь, пожертвовав своей честью, получала в награду неверность, тем более оскорбительную для нее, что ей предпочли другую, стоявшую гораздо ниже ее, имевшую право считать себя любимой.

Таким образом, если даже принцесса и была виновницей этого мщения, то ее нельзя за это винить.

Если же, напротив, она была только пассивной зрительницей события, то какие основания были у короля сердиться на нее?

Разве она была обязана, разве могла она обуздать провинциальные язычки? Разве она должна была в чрезмерном усердии подавить дерзость этих трех девчонок?

Все эти рассуждения наносили чувствительный укол гордости короля; однако, перебрав мысленно все свои обиды и как бы перевязав рану, Людовик XIV с удивлением ощутил новую, непонятную, глухую, нестерпимую боль.

И он не смел признаться себе, что эта режущая боль гнездится у него в сердце.

В самом деле, историку нужно поведать читателям, как король говорил сам с собой: он позволил наивному признанию Лавальер пощекотать свое сердце; он поверил в чистую любовь, любовь к человеку, любовь бескорыстную, и его душа, которая была гораздо моложе и гораздо наивнее, чем он предполагал, устремилась навстречу другой душе, только что открывшей ему свои желания.

Необыкновеннее всего в сложной истории любви взаимосвязанность чувств двух сердец: нет ни одновременности, ни равенства; одно сердце почти всегда начинает любить раньше другого и почти всегда перестает любить после другого. Электрический ток порождается интенсивностью первой вспыхнувшей страсти. Чем больше любви выказала Лавальер, тем сильнее почувствовал ее король.

Именно это и удивляло короля.

Ведь ему ясно доказали, что симпатический ток не мог увлечь его сердца, потому что это признание не было признанием любви, потому что оно было только оскорблением, нанесенным человеку и королю, потому что, словом, оно было мистификацией.

Таким образом, эта девушка, у которой, строго говоря, не было ничего особенного, средние красота, знатность, ум, – таким образом, эта бедная девушка, выбранная принцессой за ее ничтожество, не только бросила вызов королю, но еще и пренебрегла королем, то есть человеком, которому, как азиатскому султану, стоило только бросить взгляд, протянуть руку, уронить платок, чтобы одержать победу.

Со вчерашнего вечера он был так занят этой девушкой, что не мог думать ни о чем другом; со вчерашнего вечера его воображение украшало ее всеми прелестями, которых у нее не было; словом, он, король, у которого было столько неотложных дел, которого призывало столько женщин, со вчерашнего вечера посвятил все минуты своей жизни, все биения своего сердца единственной мечте.

Поистине, это было слишком.

И так как негодование короля заставило его позабыть обо всем, в частности о присутствии де Сент-Эньяна, то оно изливалось в самых неистовых ругательствах.

Правда, де Сент-Эньян забился в угол и лишь оттуда наблюдал за грозой.

По сравнению с королевским гневом его собственное разочарование казалось ему ничтожным; он только боялся, как бы этот гнев не обрушился на него.

В самом деле, король вдруг перестал расхаживать по комнате и, устремив на Сент-Эньяна разгневанный взгляд, произнес:

– А ты, де Сент-Эньян?

Де Сент-Эньян сделал движение, которое обозначало: «Что вы хотите сказать, государь?»

– Да, ты оказался таким же дураком, как и я, не правда ли?

– Государь... – пролепетал де Сент-Эньян.

– Ты попался на эту грубую шутку?

– Государь, – заговорил де Сент-Эньян, начав дрожать всем телом, пусть ваше величество не гневается: вашему величеству известно, что женщины существа несовершенные, созданные для зла; следовательно, требовать от них добра невозможно.

Король, питавший глубокое уважение к своей личности и начинавший постигать искусство владеть своими страстями, которое он сохранил на всю жизнь, – король понял, что роняет свое достоинство, проявляя столько горячности по такому ничтожному поводу.

– Нет, – живо сказал он, – нет, ты ошибаешься, Сент-Эньян, я не сержусь; я только восхищаюсь той ловкостью и смелостью, которые были обнаружены этими двумя девицами, а больше всего удивляюсь я тому, как глупо положились мы на голос своего сердца, имея возможность разузнать все подробности.

– О, сердце, государь, сердце! Этому органу следует предоставить только его физические функции, отняв от него все функции моральные.

Признаюсь, увидев, что сердце вашего величества так сильно занято этой...

– Занято? Мое сердце? Ум, может быть; что же касается сердца... то оно.

Людовик снова заметил, что, желая прикрыть один фланг, он готов обнажить другой.

– Впрочем, – прибавил он, – мне не за что упрекать эту малютку. Я же знал, что она любит другого.

– Виконта де Бражелона, да. Я ведь предупреждал ваше величество.

– Ты прав, но не ты был первый. Граф де Ла Фер просил у меня руки мадемуазель де Лавальер для своего сына. Ну, раз они любят друг друга, я обвенчаю их, как только Бражелон вернется из Англии.

– Узнаю все великодушие короля.

– Довольно, Сент-Эньян, довольно об этом, – остановил его Людовик.

– Да, позабудем обиду, государь, – покорился придворный.

– К тому же это будет нетрудно, – отвечал король со вздохом.

– И для начала я напишу на всю эту троицу хорошенькую эпиграмму. Я озаглавлю ее: «Наяда и Дриада»! это доставит удовольствие принцессе.

– Действуй, Сент-Эньян, действуй, – прошептал король. – Ты прочитаешь стихи, это меня развлечет. Все это пустяки, Сент-Эньян, пустяки, – прибавил король с видом человека, которому трудно дышать.

Когда король оправился и ему удалось придать своему лицу выражение ангельского терпения, в дверь постучал камердинер.

Де Сент-Эньян почтительно отошел в сторону.

– Войдите, – сказал король.

Камердинер приоткрыл дверь.

– Что случилось? – спросил Людовик.

Камердинер показал записку, сложенную треугольником.

– Для его величества, – сказал он.

– От кого?

– Не знаю, письмо было передано одним из дежурных офицеров.

По знаку короля лакей подал письмо.

Король подошел к свече, вскрыл письмо, прочитал подпись и не мог удержаться от восклицания.

Сент-Эньян, почтительно отошедший в сторону, тем не менее все видел и слышал.

Он подбежал к королю.

Король отпустил лакея движением руки.

– Боже мой! – произнес король, читая письмо.

– Ваше величество нездоровы? – спросил Сент-Эньян.

– Нет, нет, Сент-Эньян; читай!

И король подал ему письмо.

Глаза де Сент-Эньяна жадно устремились к подписи.

– Лавальер! – воскликнул он. – О, государь!

– Читай, читай!

И Сент-Эньян прочел:

«Государь, простите мне мою назойливость, главное же, простите несоблюдение этикета в этом письме; но оно кажется мне более спешным и более неотложным, чем какая-нибудь депеша; итак, я позволяю себе обратиться с письмом к вашему величеству.

Я вернулась к себе, разбитая горем и усталостью, государь, и умоляю ваше величество дать мне аудиенцию, на которой я скажу моему королю всю правду.

Луиза де Лавальер».

– Что скажешь? – спросил король, отбирая письмо от Сент-Эньяна, совершенно озадаченного тем, что он прочитал.

– Что я скажут – повторил Сент-Эньян.

– Что ты об этом думаешь?

– Не знаю.

– А все-таки?

– Государь, малютка почуяла грозу и испугалась.

– Чего испугалась? – удивился Людовик.

– Гм. У вашего величества есть тысяча причин сердиться на автора или на авторов этой злой шутки, а память вашего величества, обращенная в недобрую сторону, служит вечной угрозой для человека, проявившего неосторожность.

– Я другого мнения.

– Король видит лучше меня.

– Вот что я вижу в этих строчках: горе, принуждение... Особенно если вспомнить некоторые подробности сцены, разыгравшейся у принцессы... Словом...

Король не договорил.

– Словом, – подхватил Сент-Эньян, – ваше величество хотите дать аудиенцию. Вот что для меня ясно.

– Я сделаю больше, Сент-Эньян.

– Что именно, государь?

– Возьми плащ...

– Но, государь...

– Ты знаешь, где комната фрейлин принцессы?

– Конечно.

– И знаешь, как туда проникнуть?

– Нет, этого я не знаю.

– Но все-таки ты знаком там с кем-нибудь?

– Поистине, вы, государь, – источник счастливых мыслей.

– Ты кого-нибудь знаешь?

– Да.

– Кого же?

– Одного молодого человека, который в хороших отношениях с одной девушкой.

– Фрейлиной?

– Да, фрейлиной, государь.

– Де Тонне-Шарант? – со смехом спросил Людовик.

– К несчастью, нет; с Монтале.

– Его зовут?

– Маликорн.

– И ты можешь положиться на него?

– Мне кажется, государь. У него, наверное, есть какой-нибудь ключ...

А если есть, он мне одолжит его... Я оказал ему одну услугу.

– Тем лучше. Идем!

– Я к услугам вашего величества.

Король накинул свой плащ на плечи де Сент-Эньяна, а сам надел его плащ, и оба вышли в вестибюль.

ЧАСТЬ IV

Глава 1.

ЧЕГО НЕ ПРЕДВИДЕЛИ НИ НАЯДА, НИ ДРИАДА

Де Сент-Эньян остановился на площадке лестницы, которая вела на антресоли к фрейлинам и во второй этаж к принцессе. Там он велел проходившему лакею позвать

Маликорна, который еще был у принца.

Через десять минут пришел Маликорн и стал внимательно всматриваться в темноту.

Король отступил в дальний угол вестибюля. Наоборот, де Сент-Эньян выступил вперед. Выслушав его просьбу, Маликорн растерялся.

– Ого, – сказал он, – вы хотите, чтобы я провел вас в комнаты фрейлин?

– Да.

– Вы понимаете, что я не могу исполнить подобной просьбы, не зная цели вашего визита.

– К несчастью, дорогой Маликорн, я лишен возможности дать вам какое-либо объяснение; вы должны довериться мне, как другу, оказавшему вам услугу вчера, который просит, чтобы вы оказали ему услугу сегодня.

– Но ведь я, сударь, сказал вам, что мне было нужно: я просто не хотел спать под открытым небом. Каждый честный человек может признаться в этом, вы же ничего не сообщаете мне.

– Поверьте, дорогой Маликорн, – настаивал де Сент-Эньян, – что, если бы мне было позволено, я объяснил бы вам все.

– В таком случае, сударь, я никак не могу позволить вам войти к мадемуазель де Монтале.

– Почему?

– Вам это известно лучше, чем кому-нибудь, потому что вы застали меня на заборе, когда я открывал свое сердце мадемуазель де Монтале; согласитесь, что моя любезность простиралась бы слишком далеко, если бы, ухаживая за ней, я сам открыл бы дверь в ее комнату.

– Кто же вам сказал, что я прошу у вас ключ от ее комнаты?

– Тогда от чьей же?

– Она, кажется, живет не одна?

– Нет, не одна.

– Вместе с мадемуазель де Лавальер?

– Да; но у вас не может быть дела к мадемуазель де Лавальер, так же как и к мадемуазель де Монтале; есть только два человека, которым я вручил бы этот ключ: господину де Бражелону, если бы он попросил меня дать его, и королю, если бы он приказал мне.

– В таком случае дайте мне этот ключ, сударь, я вам приказываю, произнес король, выступая из темноты и распахивая свой плащ. – Мадемуазель де Монтале спустится к вам, а мы поднимемся к мадемуазель де Лавальер; у нас дело только к ней.

– Король! – вскричал Маликорн, падая к ногам Людовика.

– Да, король, – отвечал с улыбкой Людовик, – который вам так же благодарен за ваше сопротивление, как и за вашу капитуляцию. Вставайте, сударь, и окажите нам услугу, которую мы просим от вас.

– Слушаю, государь, – сказал Маликорн, поднимаясь с колен.

– Попросите мадемуазель де Монтале спуститься, – приказал король, – и ни слова о моем визите.

Маликорн поклонился в знак повиновения и стал подниматься по лестнице.

Однако король внезапно изменил решение и двинулся за ним так поспешно, что хотя Маликорн поднялся уже до половины лестницы, Людовик одновременно с ним дошел до комнаты фрейлин.

Он увидел через полуоткрытую дверь Лавальер, сидевшую в кресле, и в другом углу комнаты Монтале, причесывающуюся перед зеркалом и вступившую в переговоры с Маликорном.

Король быстро распахнул дверь и вошел. Монтале вскрикнула и, узнав короля, убежала. Видя это, Лавальер тоже выпрямилась, но тотчас же снова упала в кресло.

Король медленно подошел к ней.

– Вы хотели аудиенции, мадемуазель, – холодно начал он ей, – я готов выслушать вас. Говорите.

Де Сент-Эньян, верный своей роли глухого, слепого и немого, поместился в углу подле двери на табурете, который точно нарочно был поставлен для него. Спрятавшись за портьеру, он исполнял роль доброй сторожевой собаки, охраняющей своего хозяина и не беспокоящей его.

Пришедшая в ужас при виде раздраженного короля, Лавальер встала во второй раз и умоляюще взглянула на Людовика.

– Государь, – пробормотала она, – простите меня.

– За что же вас прощать, сударыня? – спросил Людовик XIV.

– Государь, я очень провинилась, больше того: я совершила преступление.

– Вы?

– Государь, я оскорбила ваше величество.

– Ни капельки, – отвечал Людовик XIV.

– Государь, умоляю вас, не говорите со мной так сурово. Я чувствую, что я оскорбила вас, государь. Но я объясню вам, что это было сделано мной не умышленно.

– Чем же, однако, сударыня, – слезал король, – вы оскорбили меня? Я ничего не понимаю. Шуткой молодой девушки, шуткой совершенно наивной? Вы посмеялись над легковерным молодым человеком: это вполне естественно; каждая женщина на вашем месте подшутила бы точно так же.

– О ваше величество, вы уничтожаете меня этими словами.

– Почему же?

– Потому что, если бы шутка исходила от меня, она не была бы невинной.

– Это все, что вы хотели сказать мне, прося у меня аудиенции?

И король сделал движение, как бы собираясь уйти.

Тогда Лавальер, шагнув к королю, отрывистым, прерывающимся голосом воскликнула:

– Ваше величество слышали все?

– Что все?

– Все, что было сказано мной под королевским дубом?

– Я не проронил ни одного слова, мадемуазель.

– И, слушая меня, ваше величество могли подумать, что я злоупотребила вашим легковерием?

– Да, легковерием, это вы правильно сказали.

– Разве вашему величеству неизвестно, что бедные девушки иногда бывают вынуждены повиноваться чужой воле?

– Простите, я не могу понять, каким образом та воля, которая, по всей вероятности, проявилась так свободно под королевским дубом, могла до такой степени подчиниться чужой воле.

– О, но угроза, государь?

– Угроза?.. Кто вам грозил? Кто смел вам грозить?..

– Те, кто имеет на это право, государь.

– Я не признаю ни за кем права грозить в моем королевстве.

– Простите меня, государь, даже около вашего величества есть люди, достаточно высокопоставленные, которые считают возможным погубить девушку без будущности, без состояния, не имеющую ничего, кроме доброго имени.

– Как же они могут погубить ее?

– Погубить ее репутацию путем позорного изгнания.

– Мадемуазель, – проговорил король с глубокой горечью, – я не люблю людей, которые, оправдываясь, взводят вину на других.

– Государь!

– Да, мне тяжело видеть, что вместо простого признания вы плетете передо мной целую сеть упреков и обвинений.

– Которым вы не придаете никакого значения?.. – воскликнула Луиза.

Король промолчал.

– Скажите же! – с горячностью повторила Лавальер.

– Мне грустно признаться в этом, – сказал король с холодным поклоном.

Девушка всплеснула руками.

– Значит, вы мне не верите? – спросила она.

Король ничего не ответил.

– Значит, вы предполагаете, что я, я... что это я составила этот смешной, бесчестный заговор, чтобы так безрассудно посмеяться над вашим величеством?

– Боже мой, это совсем не смешно и не бесчестно, – возразил король это даже не заговор, просто довольно забавная шутка, и больше ничего.

– О! – в отчаянии прошептала Лавальер. – Король мне не верит! Король не хочет мне верить!

– Да, не хочу.

– Боже! Боже!

– Послушайте, что может быть естественнее? Король идет за мной следом, подслушивает меня, подстерегает; король, может быть, хочет позабавиться надо мной; ну что же, а мы позабавимся над ним. И так как у короля есть сердце, уколем его в сердце.

Лавальер закрыла лицо руками, заглушая рыдания.

Людовик безжалостно продолжал говорить, вымещая на бедной жертве все, что он вытерпел сам:

– Придумаем же басню, скажем, что я люблю его, что я остановила на нем свой выбор. Король так наивен и так самонадеян, что поверит мне; тогда мы повсюду разгласим об этой наивности короля и посмеемся над ним.

– О, – вскричала Лавальер, – думать так... это ужасно!

– Это еще не все, – продолжал король. – Если этот надменной король примет шутку всерьез, если он неосторожно выразит при других что-либо похожее на радость, вот тогда-то мы унизим его перед всем двором; то-то будет приятно рассказать об этом моему возлюбленному; похождение государя, одураченного лукавой девушкой, – чем не приданое для будущего мужа!

– Государь, – воскликнула в полном отчаянии Лавальер, – ни слова больше, умоляю вас! Разве вы не видите, что вы убиваете меня!

– О, тонкая шутка, – прошептал король, уже начавший немного смягчаться.

Лавальер внезапно рухнула на колени, сильно ударившись о паркет.

– Государь, – молила она, ломая руки, – я предпочитаю позор предательству!

– Что вы делаете? – спросил король, но не шевельнул пальцем, чтобы поднять девушку.

– Государь, когда я пожертвую ради вас своей честью и своей жизнью, вы, может быть, поверите моей правдивости. Рассказ, который вы слышали у принцессы, – ложь; а то, что я сказала под дубом...

– Ну?

– Только это и было правдой.

– Сударыня! – воскликнул король.

– Государь, – продолжала Лавальер, увлекаемая своим неистово пылким чувством. – Государь, если бы даже мне пришлось умереть от стыда на этом месте, я твердила бы до потери голоса: я сказала, что люблю вас... я действительно люблю вас!

– Вы!

– Я вас люблю, государь, с того дня, как я вас увидела, с той минуты, как там, в Блуа, где я томилась, ваш царственный взгляд упал на меня, лучезарный и животворящий; я вас люблю, государь! Я знаю: бедная девушка, любящая своего короля и признающаяся ему в этом, совершает оскорбление величества. Накажите меня за эту дерзость, презирайте за безрассудство, но никогда не говорите, никогда не думайте, что я посмеялась над вами, что я предала вас! Во мне течет кровь, верная королям, государь; и я люблю... люблю моего короля!.. Ах, я умираю!

И, лишившись сил, задыхаясь, она упала как подкошенная, подобно цветку, срезанному

серпом жнеца, о котором рассказывает Вергилий.

После этих слов, после этой горячей мольбы у короля не осталось ни досады, ни сомнений; все его сердце открылось для жгучего дыхания этой любви, высказанной с таким благородством и таким мужеством.

Услышав это страстное признание, Людовик ослабел и закрыл лицо руками. Но когда пальцы Лавальер ухватились за его руки и горячее пожатие влюбленной девушки согрело их, он загорелся, в свою очередь, и, схватив Лавальер в объятия, поднял ее и прижал к сердцу.

Голова ее безжизненно опустилась к нему на плечо.

Испуганный король подозвал де Сент-Эньяна.

Де Сент-Эньян, неподвижно сидевший в своем углу, подбежал, делая вид, что вытирает слезы. Он помог Людовику усадить девушку в кресло, попытался помочь ей, обрызгал «водой венгерской королевы», повторяя при этом:

– Сударыня! Послушайте, сударыня! Успокойтесь! Король вам верит, король вас прощает. Да очнитесь же! Вы можете очень сильно разволновать короля, сударыня; его величество чувствительны, у его величества ведь тоже есть сердце. Ах, черт возьми! Сударыня, извольте обратить ваше внимание, король очень побледнел!

Но Лавальер оставалась в забытьи.

– Сударыня, сударыня! – продолжал де Сент-Эньян. – Да очнитесь же, прошу вас, умоляю, пора! Подумайте: если королю сделается дурно, мне придется звать врача. Ах, какое несчастье, боже мой! Дорогая, да очнитесь же! Сделайте усилие, живее, живее!

Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем Сент-Эньян; но нечто более сильное, чем это красноречие, привело Лавальер в чувство.

Король опустился перед ней на колени и стал покрывать ее руки жгучими поцелуями. Она наконец пришла в себя, открыла глаза, в которых едва теплилась жизнь, и прошептала:

– О государь, значит, ваше величество прощаете меня?

Король не отвечал... Он был слишком взволнован.

Де Сент-Эньян снова счел своим долгом отойти. Он увидел, что глаза его величества зажглись пламенем.

Лавальер встала.

– А теперь, государь, – мужественно произнесла она, – теперь, когда я оправдалась, по крайней мере в глазах вашего величества, разрешите мне удалиться в монастырь. Там я буду благословлять моего короля всю жизнь и умру, прославляя бога, который даровал мне один день счастья.

– Нет, нет, – отвечал король, – вы будете жить здесь, благословляя бога и любя Людовика, который устроит вам жизнь, полную блаженства, который вас любит и клянется вам в этом!

– О государь, государь!

Чтобы рассеять сомнения Лавальер, король стал целовать ее с таким жаром, что де Сент-Эньян поспешил скрыться за портьерой.

Эти поцелуи, которые она сначала не имела силы отвергнуть, воспламенили молодую девушку.

– О государь! – воскликнула она. – Не заставляйте меня раскаяться в моей откровенности, ибо это доказало бы мне, что ваше величество все еще презираете меня.

– Сударыня, – сказал король, почтительно отступая от нее, – никого в мире я не люблю и не уважаю так, как вас. И отныне никто при моем дворе, клянусь вам, не будет пользоваться таким почетом, как вы. Прошу вас простить мой порыв, сударыня, рожденный избытком любви; но я еще лучше докажу вам ее силу, оказывая вам все уважение, какого вы можете пожелать.

Затем, поклонившись ей, спросил:

– Сударыня, вы разрешите запечатлеть поцелуй на вашей руке?

И он почтительно коснулся губами дрожащей руки молодой девушки.

– Отныне, – прибавил Людовик, выпрямляясь и лаская Лавальер взглядом, – отныне вы

под моим покровительством. Никогда не говорите никому о зле, которое я вам причинил, и простите других за то, что они сделали вам.

Теперь вы будете стоять настолько выше их, что они не только не внушат вам ни тени страха, но будут возбуждать у вас даже жалость.

И, сделав ей почтительный поклон, точно выходя из храма, король подозвал де Сент-Эньяна.

– Граф, – сказал он, – надеюсь, что мадемуазель согласится удостоить вас некоторой долей своей благосклонности взамен той дружбы, которую я навеки дарю ей.

Де Сент-Эньян преклонил колено перед Лавальер.

– Как я буду счастлив, – прошептал он, – если мадемуазель удостоит меня этой чести!

– Я пошлю вам вашу подругу, – произнес король. – Прощайте, мадемуазель, или, лучше – до свидания!

И король весело удалился, увлекая за собой де Сент-Эньяна.

Принцесса не предвидела такой развязки. Ни наяда, ни дриада ничего не говорили ей об этом.

Глава 2. НОВЫЙ ГЕНЕРАЛ ИЕЗУИТСКОГО ОРДЕНА

В то время как Лавальер и король соединяли в первом признании печали прошлого, счастье текущей минуты и надежды на будущее, Фуке, вернувшись домой, то есть в апартаменты, отведенные ему в замке, разговаривал с Арамисом обо всем том, чем король в данную минуту пренебрегал.

– Скажите мне, – начал Фуке, усадив своего гостя в кресло и сам усевшись рядом, – скажите мне, господин д'Эрбле, как идут дела в Бель-Иле, есть у вас оттуда какие-нибудь известия?

– Господин суперинтендант, – отвечал Арамис, – там все идет согласно нашим желаниям, все расходы оплачены, ни один из наших планов не обнаружен.

– А гарнизон, который король собирался поставить там?

– Сегодня утром я узнал, что он прибыл туда уже две недели назад.

– А как его там приняли?

– Прекрасно.

– Что же случилось с прежним гарнизоном?

– Он высадился в Сарзо, и оттуда его немедленно отправили в Кемпер.

– А новый гарнизон?

– Он сейчас наш.

– Вы уверены в том, что говорите, епископ?

– Уверен. И вы сейчас узнаете, как все это произошло.

– Но ведь из всех гарнизонных стоянок Бель-Иль самая худшая?

– Знаю – и действую сообразно с этим; теснота, отрезанность от мира, нет женщин, нет игорных домов. А в наше время, – прибавил Арамис со свойственной только ему одному улыбкой, – очень грустно видеть, до чего молодые люди жаждут развлечения и, следовательно, до чего они бывают расположены к тому, кто дает им возможность повеселиться.

– А если они будут развлекаться в Бель-Иле?

– Если они будут развлекаться благодаря королю, они отдадут сердце королю; если же они будут скучать из-за короля и развлекаться по милости господина Фуке, они полюбят господина Фуке.

– А вы предупредили моего интенданта, чтобы немедленно по их прибытии...

– Нет: мы дали им поскучать с недельку, а через неделю они взвыли, сказав, что прежние офицеры имели больше, развлечений, чем они. Тогда им было сказано, что прежние офицеры умели завязать дружбу с господином Фуке и что господин Фуке, видя в них своих друзей,

приложил все старания, чтобы они не скучали в его владениях. Они задумались. Но интендант тотчас же прибавил, что хотя ему и неизвестно распоряжение господина Фуке, он все же достаточно знает своего господина и с уверенностью может сказать, что каждый дворянин, состоящий на службе короля, интересуется его. И хотя новоприбывшие неизвестны ему, он готов сделать для них то же, что делал и для других.

– Чудесно! И, надеюсь, обещания были приведены в исполнение? Ведь вы знаете, я не хочу, чтобы от моего имени давались пустые обещания.

– После этого в распоряжение офицеров были предоставлены два судна и лошади; им были вручены ключи от главного здания; теперь они устраивают там охоты и катаются с бель-ильскими дамами, по крайней мере, с теми из них, которые не боятся морской болезни.

– Ну а солдаты?

– Все относительно, вы понимаете; солдатам дают вино, превосходную пищу и большое жалованье. Значит, мы можем положиться на этот гарнизон.

– Хорошо.

– Отсюда следует, что если каждые два месяца у нас будут менять гарнизон, то за два года вся армия перебивается в Бель-Иле. Тогда за нас будет не один полк, а пятьдесят тысяч человек.

– Я хорошо знал, – сказал Фуке, – что никто, кроме вас, господин д'Эрбле, не может быть таким драгоценным, таким незаменимым другом, но при всем этом, – прибавил он со смехом, – мы забываем нашего друга дю Валлона. Что с ним? В течение трех дней, которые я провел в Сен-Манде, я забыл обо всем на свете, признаюсь.

– Ну, да я-то не забыл, – отвечал Арамис. – Портос в Сен-Манде; его там ублажают как нельзя лучше, кормят изысканно, подают тонкие вина; он гуляет в маленьком парке, открытом только для вас одного; он им пользуется. Он упражняет свои мышцы, сгибая молодые вязы или ломая старые дубы, как Милон Кротонский, а так как в парке нет львов, то мы, вероятно, застанем его невредимым. Наш Портос – храбрец!

– Да, но тем временем он соскучится, начнет расспрашивать.

– Он ни с кем не видится.

– Но ведь он же чего-нибудь ждет, на что-нибудь надеется?

– Я внушил ему одну надежду, и он живет ею.

– Какую же?

– Быть представленным королю.

– Ого! В качестве кого?

– В качестве инженера Бель-Иля, черт возьми?

– Значит, теперь нужно, чтобы он вернулся в Бель-Иль?

– Обязательно; я даже думаю отослать туда его как можно скорее. Портос – представительная личность; только д'Артаньян, Атос и я знаем его слабости. Портос никому не доверяется, он исполнен достоинства; на офицеров он произведет впечатление паладина времен крестовых походов. Он напоит весь главный штаб, не пьянея сам, и станет предметом общего удивления и симпатии, затем, если бы нам понадобилось какое-нибудь приказание, Портос – воплощенный приказ: всякий вынужден будет исполнить то, что он пожелает.

– Так отошлите его.

– Это как раз то, чего я хочу, но только через несколько дней, ибо мне нужно сказать вам одну вещь.

– Какую?

– Я не доверяю д'Артаньяну. Как вы могли заметить, его нет в Фонтенбло, а д'Артаньян никогда не уезжает попусту. Поэтому теперь, покончив со своими делами, я постараюсь узнать, что за дела у д'Артаньяна.

– Вы все уладили?

– Да.

– Счастливцев вы, хотелось бы и мне сказать то же.

– Надеюсь, что у вас нет никаких беспокойств?

– Гм!

– В таком случае, – произнес Арамис со свойственной ему последовательностью в мыслях, – в таком случае мы можем подумать о том, что я говорил вам вчера по поводу малютки.

– Какой?

– По поводу де Лавальер.

– Ах, правда!

– Вам не противно поухаживать за этой девушкой?

– Этому мешает только одно.

– Что?

– Мое сердце занято другой, и я ровно ничего не чувствую к этой девушке.

– Ужасно, если занято сердце в то время, когда так нужна голова.

– Вы правы. Но вы видите, что по первому же вашему слову я все бросил. Однако вернемся к малютке. Какую пользу вы видите в том, чтобы я занялся ею?

– Видите ли, говорят, что король заинтересовался ею.

– А по-вашему, это неправда? Ведь вы все знаете.

– Я знаю, что король внезапно переменялся; еще третьего дня он пылал страстью к принцессе, и несколько дней тому назад принц жаловался на это королеве-матери, происходили супружеские недоразумения и слышалось материнское брюзжание.

– Откуда вам все это известно?

– Известно доподлинно!

– Что же из этого следует?

– А то, что после этих недоразумений, этого брюзжания король перестал разговаривать с ее высочеством.

– А дальше?

– Дальше он занялся де Лавальер. Мадемуазель де Лавальер – фрейлина принцессы. Знаете ли вы, что в любви называют прикрытием?

– Конечно.

– Так вот: мадемуазель де Лавальер служит прикрытием принцессы. Воспользуйтесь этим положением вещей. Раненое самолюбие облегчит победу; тайны короля и принцессы будут в руках малютки. А вы знаете, что умный человек делает с тайнами?

– Но как подступиться к ней?

– И это спрашиваете у меня вы? – удивился Арамис.

– Спрашиваю, потому что у меня нет времени заниматься ею.

– Она бедна, скромна, вы создадите ей положение: покорит ли она себе короля как фаворитка или же просто приблизится к нему как поверенная его тайн, в ней вы приобретете верного человека.

– Хорошо, – сказал Фуке. – Что же мы предпримем в отношении этой малютки?

– А что вы предпринимали, когда хотели понравиться женщине, господин суперинтендант?

– Писал ей. Объяснялся в любви. Предлагал ей свои услуги и подписывался: Фуке.

– И ни одна не оказала сопротивления?

– Только одна, – отвечал Фуке. – Но четыре дня тому назад и она сдалась, как прочие.

– Не будете ли вы добры написать несколько слов? – улыбнулся Арамис, подавая Фуке перо.

Фуке взял его.

– Диктуйте, – попросил он. – Моя голова до того занята другими делами, что я не в состоянии сочинить двух строчек.

– Идет, – согласился Арамис, – пишите.

И он продиктовал:

«Сударыня, я видел вас, и вы не удивитесь, что я нашел вас красавицей. Но из-за

отсутствия положения, достойного вас, вы только прозябаете при дворе.

Если у вас есть какое-нибудь честолюбие, то любовь порядочного человека послужит опорой для вашего ума и ваших прелестей.

Приношу мою любовь к вашим ногам; но так как даже самая благоговейная и окруженная тайнами любовь может скомпрометировать предмет своего культа, то такой достойной особе не подобает подвергать опасности свою репутацию, не получив взамен гарантий, обеспечивающих ее будущность.

Если вы сообразовали ответить на мою любовь, то она сумеет доказать вам свою признательность, сделав вас навсегда свободной и независимой».

Написав это письмо, Фуке взглянул на Арамиса.

– Подпишите.

– Нужно ли это?

– Ваша подпись на письме стоит миллиона. Вы забываете это, дорогой суперинтендант.

Фуке подписался.

– С кем вы пошлете это письмо? – спросил Арамис.

– Со своим лакеем.

– Вы в нем уверены?

– Это испытанный человек. Впрочем, мы ведем игру без риска.

– Почему?

– Если правда то, что вы говорите об услугах этой малютки королю и принцессе, то король даст ей денег, сколько она пожелает.

– Так, значит, у короля есть деньги? – удивился Арамис.

– Да, нужно думать, потому что у меня он их не просит.

– Попросит, будьте спокойны!

– Больше того: я думал, что он заговорит со мной о празднике в Во.

– И что же?

– Оп и не заикнулся.

– Еще заговорит.

– Вы считаете короля очень жестоким, дорогой д'Эрбле.

– Не его.

– Он молод, следовательно, он добр.

– Он молод, следовательно, он слаб и подвержен страстям; и господин Кольбер держит в своих грязных лапах его слабости и его страсти.

– Вот видите, вы боитесь его.

– Я не отрицаю.

– В таком случае я пропал.

– Как так?

– Я пользовался влиянием у короля только благодаря деньгам.

– Ну так что же?

– Я разорен.

– Нет!

– Как нет? Разве вы знаете мои дела лучше меня?

– Может быть.

– А что, если он потребует от меня этого праздника?

– Вы дадите его.

– А деньги?

– А разве их у вас когда-нибудь не хватало?

– О, если бы вы знали, какой ценой я достал последние деньги!

– Следующая сумма не будет стоить вам труда.

– Кто же мне ее даст?

– Я.

– Вы дадите мне шесть миллионов?.. Что говорите?.. Шесть миллионов?!

– Если понадобится, то и десять.

– Право, дорогой д'Эрбле, – сказал Фуке, – ваша самоуверенность пугает меня больше, чем гнев короля.

– Пустое!

– Кто же вы такой?

– Кажется, вы меня знаете.

– Я ошибаюсь в вас; чего же вы хотите?

– Я хочу видеть на троне Франции короля, который был бы предан господину Фуке, и хочу, чтобы господин Фуке был предан мне.

– О! – воскликнул Фуке, пожимая руку Арамиса. – Что касается моей преданности, то я весь ваш, но, дорогой д'Эрбле, вы заблуждаетесь.

– Относительно чего?

– Король никогда не будет мне предан.

– Мне кажется, я не говорил, что король будет вам предан.

– Напротив, вы только что это сказали.

– Я не говорил – теперешний король, я сказал – король вообще.

– Разве это не все равно?

– Нет, это совершенно разные вещи.

– Не понимаю.

– Сейчас поймете. Предположите, что королем у нас не Людовик Четырнадцатый.

– Не Людовик Четырнадцатый?

– Нет, а человек, всецело зависящий от вас.

– Это немыслимо.

– Даже обязанный вам трон.

– Вы с ума сошли! Только Людовик Четырнадцатый может сидеть на французском престоле, я не вижу никого, кто мог бы заменить его.

– А я вижу.

– Разве что принц, брат короля, – сказал Фуке, с беспокойством поглядывая на Арамиса. – Но принц...

– Нет, не принц.

– Как же вы хотите, чтобы принц не королевской крови... как вы хотите, чтобы принц, не имеющий никакого права...

– Мой король, или, верное, ваш король, будет обладать всеми необходимыми качествами, поверьте мне.

– Берегитесь, господин д'Эрбле, берегитесь, вы повергаете меня в трепет, у меня голова идет кругом.

Арамис улынулся:

– Какой, однако, пустяк повергает вас в трепет.

– Повторяю, вы меня пугаете.

Арамис снова улынулся.

– Вы смеетесь? – спросил Фуке.

– Придет время, когда вы тоже посмеетесь. Теперь же я буду смеяться один.

– Объяснитесь.

– Когда придет время, я объясню вам все, будьте спокойны. Вы не апостол Петр, а я не Христос, однако я скажу вам: «Маловерный, зачем ты усомнился?»

– Ах, боже мой, я сомневаюсь... я сомневаюсь, потому что ничего не вижу.

– Значит, вы слепы, в таком случае я обращусь к вам не как к апостолу Петру, а как к апостолу Павлу: «Наступит день, когда глаза твои откроются».

– О, как я хотел бы верить! – вздохнул Фуке.

– Вы не верите? А ведь я десять раз провел вас над бездной, в которую вы один низверглись бы; ведь из генерального прокурора вы сделали интендантом, из интенданта

первым министром, из первого министра дворцовым мэром. Нет, нет, – прибавил Арамис со своей неизменной улыбкой, – нет, вы не можете видеть и, значит, не можете верить. – С этими словами Арамис встал, собираясь уходить.

– Одно только слово, – остановил его Фуке. – Вы никогда еще не говорили со мной так, не выказывали такой уверенности, или, лучше сказать, такой дерзости.

– Для того чтобы говорить громко, нужно иметь свободу голоса.

– И она у вас есть?

– Да.

– С каких же пор?

– Со вчерашнего дня.

– О господин д'Эрбле, берегитесь, вы слишком самонадеянны!

– Как же не быть самонадеянным, имея в руках власть?

– Так у вас есть власть?

– Я уже предлагал вам десять миллионов и снова предлагаю их.

Взволнованный Фуке тоже встал.

– Ничего не понимаю! Вы сказали, что собираетесь свергать королей и возводить на трон других. Я, должно быть, с ума сошел, или мне все это послышалось.

– Нет, вы не сошли с ума, я действительно говорил все это.

– Как же вы могли сказать подобные вещи?

– Можно с полным правом говорить о низвержении тронов и о возведении на них новых королей, когда стоишь выше королей и тронов... земных.

– Так вы всемогущи? – вскричал Фуке.

– Я сказал вам это и снова повторяю, – отвечал Арамис дрожащим голосом; глаза его блестели.

Фуке в бессилии опустил в кресло и сжал голову руками. Арамис несколько мгновений смотрел на него, словно ангел человеческих судеб, вззирающий на простого смертного.

– Прощайте, – произнес он наконец, – спите спокойно и отошлите письмо Лавальер. Завтра увидимся, не правда ли?

– Да, завтра, – отвечал Фуке, тряхнув головой, точно человек, приходящий в себя, – но где же мы увидимся?

– На прогулке короля, если вам угодно.

– Отлично.

И они расстались.

Глава 3. ГРОЗА

На другой день с утра было пасмурно, сумрачно; так как в этот день была назначена прогулка короля, то всякий, открывая глаза, прежде всего устремлял взор на небо.

Над деревьями висел густой душный туман, и солнце, едва заметное сквозь тяжелую пелену, не в силах было рассеять его. Росы не было. Газоны стояли сухие, цветы жаждали влаги. Птицы пели сдержаннее, чем обыкновенно, посреди неподвижной, точно застывшей листвы. Не слышно было шороха и шума, этого дыхания природы, порождаемого солнцем. Стояла мертвая тишина.

Проснувшись и взглянув в окно, король был поражен сумрачностью природы. Однако все распоряжения были сделаны, все было приготовлено, и, главное, Людовик очень рассчитывал на эту прогулку, которая сулила ему много заманчивого; поэтому он без колебания решил, что погода не имеет никакого значения и так как прогулка назначена, она должна состояться.

Впрочем, в некоторых излюбленных богом земных царствах бывают часы, когда кажется, будто воля земного короля имеет влияние на божественную волю. У Августа был

Вергилий, говоривший: «Nocte puit tota redeunt spectacula mane»²⁷. У Людовика XIV был Буало, говоривший совсем другое, и бог, относившийся к нему почти так же милостиво, как Юпитер к Августу.

Людовик по обыкновению прослушал мессу, хотя, по правде говоря, воспоминание об одном создании сильно отвлекало его от мыслей о создателе.

Во время службы он не раз принимался считать минуты, а потом секунды, отделявшие его от счастливого мгновения, когда должна была начаться прогулка, то есть того мгновения, когда на дороге должна была появиться принцесса с фрейлинами.

Само собой разумеется, что никто в замке не знал о ночном свидании короля с Лавальер. Может быть, болтливая Монтале и разгласила бы о нем, но на этот раз ее удержал Маликорн, предупредивший, что болтливость будет не в ее интересах.

Что же касается Людовика XIV, то он был так счастлив, что простил или почти простил принцессе ее вчерашнюю выходку. В самом деле, он должен был скорее быть довольным ею. Не будь этой злой шалости, он не получил бы письма от Лавальер; не будь этого письма, не было бы и аудиенции, а не будь этой аудиенции, он оставался бы в неизвестности. Его сердце было так переполнено блаженством, что там не оставалось места для досады, по крайней мере, в данную минуту.

Итак, вместо того чтобы нахмуриться при виде невестки, Людовик решил обойтись с нею еще дружелюбнее и любезнее, чем обыкновенно. Однако лишь при одном условии – что она не заставит себя долго ждать.

Вот о чем думал Людовик, слушая мессу, вот что заставляло его забывать во время церковной службы о вещах, над которыми ему следовало размышлять в качестве христианнейшего короля и старшего сына церкви.

Но бог так снисходителен к юным заблуждениям, и все, что касается любви, даже любви греховной, отечески им поощряется, что, выйдя от мессы и подняв глаза к небу, Людовик увидел сквозь разорванные тучи уголок лазурного ковра, разостланного под ногами господними.

Он вернулся в замок и, так как прогулка была назначена в полдень, а часы показывали только десять, усердно принялся за работу с Кольбером и Лионом.

Во время работы Людовик медленно расхаживал от стола к окну, выходившему на павильон принцессы; он заметил поэтому на дворе г-на Фуке, которого почтительно приветствовали придворные, узнавшие о вчерашней аудиенции. Фуке с любезным и счастливым видом направился, в свою очередь, приветствовать короля.

Завидев Фуке, король инстинктивно обернулся к Кольберу. Кольбер улыбнулся и, казалось, тоже был весь полон любезности и ликования. Это приятное настроение охватило его после того, как один из его секретарей вручил ему бумажник, который он, не открывая, спрятал в глубокий карман своих штанов.

Но так как в радости Кольбера всегда содержалось что-то зловещее, то из двух улыбок Людовик предпочел улыбку Фуке. Он знаком приказал суперинтенданту войти; затем обратился к Лиону и Кольберу:

– Закончите эту работу и положите ее на мой письменный стол, я прочту бумаги со свежей головой.

И король ушел.

По знаку Людовика XIV Фуке быстро поднялся по лестнице. Арамис же, сопровождавший суперинтенданта, затерялся в толпе придворных, так что король даже не заметил его.

Король встретился с Фуке на верхних ступеньках лестницы.

– Государь, – сказал Фуке, видя приветливую улыбку на лице Людовика, – вот уже несколько дней ваше величество осыпает меня милостями. Теперь не юный король царствует во Франции, а юный бог, бог наслаждения, счастья и любви.

Король покраснел. Комплимент был очень лестным, но он слишком прямо бил в цель.

Король проводил Фуке в маленький салон, отделявший его рабочий кабинет от спальни.

– Знаете ли, почему я вас позвал? – спросил король, садясь на подоконник, чтобы не упустить из виду цветник, куда выходили вторые двери из павильона принцессы.

– Нет, государь... но уверен, что для чего-нибудь приятного, судя по милостивой улыбке вашего величества.

– Вам так кажется?

– Нет, государь, я вижу это.

– В таком случае вы ошибаетесь.

– Я, государь?

– Да, я призвал вас, напротив, чтобы поссориться с вами.

– Со мной, государь?

– С вами, и очень серьезно.

– Право, ваше величество пугаете меня... По я готов слушать, уверенный в справедливости и доброте вашего величества.

– Говорят, господин Фуке, что вы затеваете большой праздник в Во?

Фуке улыбнулся, как больной, ощутивший первые симптомы забытой им и возвращающейся лихорадки.

– И вы не приглашаете меня? – продолжал король.

– Государь, – отвечал Фуке, – я не думал об этом празднике, и только вчера вечером один из моих друзей (Фуке подчеркнул эти слова) напомнил мне о нем.

– Но ведь вчера вечером я вас видел, и вы ничего не сказали мне об этом, господин Фуке.

– Государь, мог ли я надеяться, что ваше величество спуститесь со своих царственных высот и удостоите своим посещением мое жилище?

– Простите, господин Фуке, вы ни слова не говорили мне о вашем празднике.

– Повторяю, я ничего не сказал об этом празднике королю, во-первых, потому, что еще ничего не было решено, а во-вторых, я боялся отказа.

– Что же заставило вас бояться отказа, господин Фуке? Берегитесь, я решил до конца выпросить вас.

– Горячее желание получить согласие короля на мое приглашение.

– Хорошо, господин Фуке, я вижу, что нам очень легко прийти к соглашению. Вы горите желанием пригласить меня на свой праздник, а я горю желанием побывать на нем; начинайте же, я приму ваше приглашение.

– Как! Ваше величество соблаговолите принять его? – пролепетал суперинтендант.

– Право, – засмеялся король, – выходит, как будто я не только принимаю приглашение, но сам напрашиваюсь.

– Ваше величество удостаиваете меня величайшей чести! – вскричал Фуке. – Но я принужден повторить слова господина де Ла Вьевиля, обращенные к вашему деду, Генриху Четвертому: «Господи, я недостоин».

– А я отвечу, господин Фуке, что, если вы устроите праздник, я приду к вам даже без приглашения.

– Благодарю вас, ваше величество, благодарю, – сказал Фуке, поднимая голову при вести об этой милости, которая, по его мнению, должна была его разорить. – Но кто же предупредил ваше величество?

– Молва, господин Фуке; рассказывают чудеса о вас и о вашем доме. Вы возгордитесь, господин Фуке, если узнаете, что король ревнует к вам?

– Это сделает меня счастливейшим из смертных, государь, потому что в тот день, когда король воспылет ревностью к владельцу Во, у того найдется подарок, достойный короля.

– Итак, господин Фуке, устраивайте праздник и распахните настежь двери вашего дома.

– Я прошу ваше величество назначить день, – отвечал Фуке.

– Ровно через месяц.

– Вашему величеству не угодно выразить еще какое-нибудь желание?

- Нет, господин суперинтендант. Я хочу только почаще видеть вас подле себя.
- Государь, я имею честь принимать участие в прогулке вашего величества.
- Отлично; так я ухажу, господин Фуке, а вот и дамы собираются.

Произнеся эти слова, король с пылкостью влюбленного юноши побежал от окна за перчатками и тростью, которые подал ему камердинер.

Со двора доносился топот лошадей и шум колес по усыпанному песком двору.

Король спустился вниз. Когда он появился на крыльце, все придворные замерли. Король пошел прямо к молодой королеве. Что касается королевы матери, то, чувствуя себя нездоровой, она не пожелала выезжать. Мария-Терезия села в карету вместе с принцессой и спросила у короля, куда ему будет угодно ехать.

Как раз в этот момент король увидел Лавальер, усталую и бледную после событий вчерашнего дня; она садилась в коляску с тремя подругами. Людовик рассеянно ответил королеве, что ему все равно, куда ехать, и что он будет чувствовать себя хорошо всюду, где будет королева.

Тогда королева приказала стремянным ехать в сторону Апремона.

Стремянные поскакали вперед.

Король сел на лошадь. Несколько минут он ехал рядом с каретой королевы и принцессы, держась у дверцы.

Небо прояснилось; однако в воздухе висела какая-то дымка, похожая на грязную кисею; в солнечных лучах кружились блестящие пылинки. Стояла душная жара. Но так как король, по-видимому, не обращал внимания на погоду, то она не тревожила и остальных, и кортеж по приказанию королевы направился к Апремону.

Толпа придворных шумела и была весела; видно было, что каждый хотел забыть язвительные речи, раздававшиеся накануне.

Особенно очаровательна была принцесса. В самом деле, она видела короля у дверцы и, поскольку ей не приходило в голову, что он едет возле кареты ради королевы, надеясь, что ее рыцарь вернется к ней.

Но через какие-нибудь четверть лье король милостиво улыбнулся, поклонился, приостановил лошадь и пропустил карету королевы, затем карету старших фрейлин, а затем и прочие экипажи, которые, видя, что король не трогается с места, хотели остановиться, в свою очередь. Но король подал знак продолжать путь.

Когда карета, где сидела Лавальер, поравнялась с ним, король приблизился к ней. Король поклонился дамам и собирался ехать рядом с каретой фрейлин, как он ехал рядом с каретой принцессы, как вдруг весь кортеж разом остановился. Очевидно, королева, обеспокоенная отсутствием короля, отдала приказ подождать его.

Король велел спросить, зачем она это сделала.

– Хочу пройтись пешком, – был ответ.

Она, очевидно, надеясь, что король, ехавший верхом подле кареты фрейлин, не решится идти пешком вместе с ними.

Кругом был лес. Прогулка обещала быть прекрасной, особенно для мечтателей и для влюбленных.

Три красивые аллеи, длинные, тенистые и извилистые, расходились в разные стороны от места, на котором процессия остановилась. Сквозь кружево листвы виднелись кусочки голубого неба.

В глубине аллеи то и дело пробегали испуганные дикие козы, на секунду останавливались посреди дороги, подняв голову, затем мчались как стрелы, одним прыжком скрываясь в чаще леса; время от времени кролик? философ, сидя на задних лапках, потирал передними мордочку и нюхал воздух, чтобы узнать, не бежит ли собака за этими людьми, потревожившими его размышления, его обед и его любовные дела, и нет ли у кого-нибудь из них ружья под мышкой.

Вслед за королевой все общество вышло из карет.

Мария-Терезия оперлась на руку одной из фрейлин и, искоса взглянув на короля,

который, по-видимому, совсем не заметил, что является предметом внимания королевы, углубилась в лес по первой тропинке, открывшейся перед ней. Перед ее величеством шли двое стремянных и палками приподнимали ветки и раздвигали кусты, загораживавшие дорогу.

Выйдя из кареты, принцесса увидела подле себя г-на де Гиша, который поклонился ей и предложил ей свои услуги.

Принц, восхищенный своим вчерашним купаньем, объявил, что идет к реке, и, отпустив де Гиша, остался в замке с шевалье де Лорреном и Маниканом. Он больше не испытывал и тени ревности. Поэтому его напрасно искали в кортеже; впрочем, принц редко принимал участие в общих развлечениях, так что его отсутствие скорее обрадовало, чем огорчило.

По примеру королевы и принцессы, каждый устроился по своему вкусу.

Как мы сказали, король находился возле Лавальер. Соскочив с лошади, когда отворились дверцы кареты, он предложил ей руку. Монтале и Тонне-Шарант тотчас же отошли в сторону, первая – по корыстным соображениям, а другая – из скромности, одна хотела сделать приятное королю, другая досадить ему.

В течение последнего получаса погода тоже приняла решение, висевшая в воздухе дымка мало-помалу сгустилась на западе, потом, как бы увлекаемая течением воздуха, стала медленно и тяжело приближаться. Чувствовалась гроза; но так как король не замечал ее, то и никто не считал себя вправе ее заметить.

Поэтому прогулка продолжалась; иногда, впрочем, время от времени поднимали глаза к небу. Более робкие прогуливались у экипажей, в которых они надеялись укрыться в случае грозы. Но большая часть кортежа, видя, что король отважно углубился в лес с Лавальер, последовала за королем.

Заметив это, король взял Лавальер под руку и увлек на боковую тропинку, куда уже никто не посмел пойти за ним.

Глава 4. ДОЖДЬ

В том же направлении, куда пошли король и Лавальер, но только не по дорожке, а прямо через лес, шагали двое людей, совершенно равнодушных к надвигавшейся туче. Они шли, наклонив головы, точно обдумывая что-то серьезное. Они не видели ни де Гиша, ни принцессы, ни короля, ни Лавальер.

Вдруг молния озарила воздух, и раздался глухой и отдаленный раскат грома.

– Ах, – заметил один из спутников, поднимая голову, – начинается гроза не вернуться ли нам в карету, дорогой д'Эрбле?

Арамис поднял глаза к небу и взглянул на тучу.

– О, – сказал он, – не стоит торопиться! – И, продолжая прерванный разговор, прибавил:

– Итак, вы думаете, что наше вчерашнее письмо сейчас уже дошло по назначению?

– Я уверен в этом.

– Кому вы поручили доставить его?

– Моему испытанному слуге, как я уже имел честь сообщить вам.

– Он принес ответ?

– Я еще не видел его; вероятно, малютка дежурила у принцессы или одевалась и заставила его подождать. Нужно было уезжать, и мы уехали. Поэтому мне неизвестно, что там произошло.

– Вы видели короля перед отъездом?

– Да.

– Как вы его нашли?

– Безупречным или бесчестным, смотря по тому, говорил ли он правду или лицемерил.

– А праздник?

– Состоится через месяц.

– Он напросился?

- С такой навязчивостью, что я чувствую тут наущение Кольбера.
- Я тоже так думаю.
- Ночь не рассеяла ваших иллюзий?
- Каких иллюзий?
- Относительно помощи, которую вы можете оказать мне в этом случае?
- Нет, я всю ночь писал, и все распоряжения отданы.
- Праздник обойдется мне в несколько миллионов.

Не забывают этого.

– Я даю шесть... На всякий случай и вы раздобудьте два или три.

– Вы чародей, дорогой д'Эрбле!

Арамис улыбнулся.

– Но раз вы швыряетесь миллионами, – произнес Фуке с тревогой, – так почему же несколько дней тому назад вы не дали Безмо пятидесяти тысяч франков?

– Потому, что несколько дней тому назад я был беден, как Иов.

– А сегодня?

– Сегодня я богаче короля.

– Отлично, – кивнул Фуке, – я умею разбираться в людях. Я знаю, что вы не способны нарушить слово; я не хочу вырывать у вас вашу тайну; не будем больше говорить об этом.

В этот момент послышался глухой раскат, вскоре превратившийся в страшный удар грома.

– Ого! – воскликнул Фуке. – Я говорил вам!

– В таком случае вернемся к каретам.

– Не успеем, – возразил Фуке. – Вот уже дождь!

Действительно, небо, казалось, разверзлось, и крупные капли зашумели по вершинам деревьев.

– Ну, – сказал Арамис, – у нас есть время дойти до экипажа раньше, чем дождь проникнет сквозь листья.

– Лучше бы спрятаться в каком-нибудь гроте.

– Это верно, но есть ли тут грот? – спросил Арамис.

– Есть. В десяти шагах отсюда, – с улыбкой отвечал Фуке. – Да вот и он! – прибавил он, осмотревшись кругом.

– Как вы счастливы, что у вас такая хорошая память, – улыбнулся Арамис, в свою очередь. – А вы не боитесь, что ваш кучер, не видя нас, вообразит, будто мы пошли окольной дорогой, и поедет за придворными каретами?

– Нет, не боюсь; если я оставляю где-нибудь кучера и экипаж, то он двинется с места разве только по особому приказанию короля, да и то не наверное; к тому же, мне кажется, мы не одни зашли так далеко. Я слышу шаги и шум голосов.

И, произнося эти слова, Фуке оглянулся и раздвинул тростью густую листву, скрывавшую от них дорогу. Арамис одновременно с ним заглянул в образовавшееся отверстие.

– Женщина! – воскликнул Арамис.

– Мужчина! – воскликнул Фуке.

– Лавальер!

– Король!

– Ого! – сказал – Арамис. – Разве и король знает ваш грот? Это меня не удивило бы; ведь у него существуют довольно налаженные отношения с нимфами Фонтенбло.

– Не беда! – отозвался Фуке. – Войдем туда; если король не знает его, будем наблюдать, что произойдет. Если же знает, то – так как в гроте два выхода, – когда он войдет через один, мы выйдем через другой.

– А далеко еще чуда? – спросил Арамис. – Дождь уже начинает капать сквозь листья.

– Мы пришли.

Фуке приподнял ветви, и в скале можно было заметить углубление, совершенно

закрытое вереском и плющом.

Фуке показал дорогу. Арамис пошел за ним.

Входя в грот, Арамис оглянулся.

– О, да они тоже идут в эту сторону!

– В таком случае уступим им место, – улыбнулся Фуке и потянул Арамиса за плащ. – Не думаю, однако, чтобы король знал мой грот.

– Действительно, – сказал Арамис, – они чего-то ищут; им надобно ветвистое дерево, вот и все.

Арамис не ошибался: король смотрел вверх, а не вокруг себя. Он держал Лавальер под руку: девушка скользила на влажной траве.

Людовик осмотрелся еще внимательнее и, заметив огромный развесистый дуб, увлек Лавальер к нему. Бедная девушка оглядывалась во все стороны; казалось, она и боялась и желала, чтобы их заметили, – чтобы рядом был кто-то еще.

Король привел ее к стволу дерева, под которым было совершенно сухо, точно ливня и не было. Сам он стал возле нее, сняв шляпу. Через несколько мгновений капли дождя стали пробиваться сквозь листву и падать на голову короля, но он не замечал их.

– Государь, – прошептала Лавальер, показывая на шляпу.

Но король поклонился и наотрез отказался надеть ее.

– Как нельзя более удобный случай предложить им наше место, – сказал Фуке на ухо Арамису.

– Как нельзя более удобный случай подслушать и не проронить ни слова из того, что они будут говорить, – прошептал в ответ Арамис.

И оба замолчали; голос короля явственно доносился до них.

– Боже мой, мадемуазель, – говорил король, – я вижу, или, вернее, угадываю, ваше беспокойство; поверьте, я искренне жалею, что увел вас от остального общества и из-за меня вы можете промокнуть. Да вы уже промокли, может быть, вам холодно?

– Нет, государь.

– Но вы дрожите!

– Государь, я боюсь, что могут дурно истолковать мое отсутствие в тот момент, когда все, наверное, уже собрались.

– Я охотно предложил бы вам вернуться к каретам, мадемуазель, но взгляните и прислушайтесь, можно ли сейчас идти куда-нибудь?

Действительно, гром гремел, и дождь лил ручьями.

– К тому же, – продолжал король, – никто не посмеет сказать о вас дурное. Ведь вы с французским королем, то есть первым дворянином королевства.

– Конечно, государь, – отвечала Лавальер, – это великая честь для меня, но я боюсь не за себя.

– А за кого же?

– За вас, государь.

– За меня, мадемуазель? – с улыбкой сказал король. – Я не понимаю вас.

– Разве ваше величество забыли уже, что произошло вчера на вечере у ее высочества?

– Не говорите об этом, прошу вас, или лучше позвольте мне вспомнить, чтобы еще раз поблагодарить вас за ваше письмо и...

– Государь, – прервала его Лавальер, – дождь идет, а ваше величество без шляпы.

– Прошу вас не беспокоиться обо мне. Я боюсь, что вы промокнете.

– О, ведь я – крестьянка, – улыбнулась Лавальер. – Я привыкла бегать по луарским лугам и блуаским садам во всякую погоду. А что касается моего туалета, – прибавила она, глядя на свое скромное муслиновое платье, то ваше величество видите, что за него мне нечего опасаться.

– Действительно, мадемуазель, я уже не раз замечал, что вы всем обязаны самой себе, а не туалету. Вы не кокетка. Я считаю это большим достоинством.

– Государь, не делайте меня лучше, чем я есть на самом деле. Скажите просто: вы не

можете быть кокеткой.

– Почему?

– Потому, что я не богата, – с улыбкой отвечала Лавальер...

– Значит, вы сознаетесь, что любите красивые вещи? – с живостью воскликнул король.

– Государь, я нахожу красивым только то, что для меня доступно; все слишком высокое...

– Для вас безразлично?

– Мне чуждо, так как недостижимо.

– А я нахожу, мадемуазель, – сказал король, – что вы не занимаете при моем дворе подобающего вам положения. Я, несомненно, слишком мало осведомлен о заслугах вашей семьи. Мой дядя отнесся слишком пренебрежительно к вашим родственникам.

– О нет, государь! Его королевское высочество герцог Орлеанский всегда был благосклонен к господину де Сен-Реми, моему отчиму. Услуги были скромные, и мы были за них вполне вознаграждены. Не всем дано счастье с блеском служить королю. Я, конечно, не сомневаюсь, что если бы представился случай, то мои родственники не остановились бы ни перед чем, но нам не выпало этого счастья.

– Короли должны исправлять несправедливости, мадемуазель, – проговорил король, – и я охотно беру на себя эту обязанность по отношению к вам.

– Нет, государь, – с живостью воскликнула Лавальер, – оставьте, пожалуйста, все, как есть.

– Как, мадемуазель? Вы отказываетесь от того, что я должен, что я хочу сделать для вас?

– Все, чего я желала, государь, было для меня сделано в тот день, когда я удостоилась чести быть принятой ко двору принцессы.

– Но если вы отказываетесь для себя, примите, по крайней мере, для ваших родственников знак моей признательности.

– Государь, ваши великодушные намерения ослепляют и страшат меня, ибо если ваше величество по своей благосклонности сделаете что-нибудь для моих родственников, то у нас появятся завистники, а у вашего величества – враги. Оставьте меня, государь, в неизвестности. Пусть мои чувства к вам останутся светлыми и бескорыстными.

– Вот удивительные речи! – воскликнул король.

– Справедливо, – шепнул Арамис на ухо Фуке. – Вряд ли король привык к ним.

– А что, если и на мою записку она ответит в таком же роде? – спросил Фуке.

– Не будем забегать вперед, дождемся конца, – возразил Арамис.

– К тому же, дорогой д'Эрбле, – прибавил суперинтендант, мало расположенный верить в искренность чувств, выраженных Лавальер, – иногда бывает очень выгодно казаться бескорыстной в глазах короля.

– Это самое думал и я, – отвечал Арамис. – Послушаем, что будет дальше.

Король еще ближе придвинулся к Лавальер и поднял над ней свою шляпу, так как дождь все больше протекал сквозь листву.

Лавальер взглянула своими прекрасными голубыми глазами на защищавшую ее королевскую шляпу, покачала головой и вздохнула.

– Боже мой! – сказал король. – Какая печальная мысль может проникнуть в ваше сердце, когда я защищаю его своим собственным?

– Я отвечу вам, государь. Я уже касалась этого вопроса, такого щекотливого для девушки моих лет. Но ваше величество приказали мне замолчать.

Государь, ваше величество не принадлежите себе; государь, вы женаты; чувство, которое удалило бы ваше величество от королевы и увлекло бы ко мне, было бы источником глубокого огорчения для королевы.

Король попытался перебить Лавальер, но та с умоляющим жестом продолжала:

– Королева нежно любит ваше величество, королева следит за каждым шагом вашего величества, удаляющим вас от нее. Ей выпало счастье встретить прекрасного супруга, и она со слезами молит небо сохранить ей его; она ревнива к малейшему движению вашего сердца.

Король снова хотел заговорить, но Лавальер еще раз решила остановить его.

– Разве не преступление, – спросила она, – при виде такой нежной и благородной любви давать королеве повод для ревности? О, простите мне это слово, государь. Боже мой, я знаю, невозможно, или, вернее, должно быть невозможно, чтобы величайшая в мире королева ревновала к такой ничтожной девушке, как я. Но королева – женщина, и, как у всякой женщины, сердце ее может открыться для подозрений, которые могут быть внушены ядовитыми речами злых людей. Во имя неба, государь, не уделяйте мне так много внимания! Я этого не заслуживаю.

– Неужели, мадемуазель, – вскричал король, – вы не понимаете, что, говоря таким образом, – вы превращаете мое уважение к вам в преклонение?

– Государь, вы приписываете моим словам значение, которого они не имеют; вы считаете меня лучше, чем я есть. Смилуйтесь надо мной, государь! Если бы я не знала, что король – самый великодушный человек во всей Франции, то подумала бы, что ваше величество хотите посмеяться надо мной...

– Конечно, вы этого не думаете, я в этом уверен! – воскликнул Людовик.

– Государь, я буду принуждена думать так, если ваше величество будет говорить со мной таким языком.

– Значит, я самый несчастный король во всем христианском мире, – заключил Людовик с непритворной грустью, – если не могу внушить доверие к своим словам женщине, которую я люблю больше всего на свете и которая разбивает мне сердце, отказываясь верить в мою любовь.

– Государь, – сказала Лавальер, тихонько отстраняясь от короля, который все ближе подвигался к ней, – гроза как будто утихает, и дождь перестает.

Но в то самое мгновение, когда бедная девушка, пытаясь совладать со своим сердцем, проявлявшим слишком большую готовность идти навстречу желаниям короля, произносила эти слова, гроза позаботилась опровергнуть их; синеватая молния Озарила лес фантастическим блеском, и удар грома, напоминавший артиллерийский залп, раздался над самой головой короля и Лавальер, как будто его привлекла высота укрывавшего их дуба.

Молодая – девушка испуганно вскрикнула.

Король одной, рукой прижал ее к сердцу, а другую протянул над ее головой, точно защищая ее от удара молнии.

Несколько мгновений стояла тишина, во время которой эта пара, очаровательная, как все молодое и исполненное любви, замерла в неподвижности.

Фуке и Арамис тоже застыли, созерцая Лавальер и короля.

– О государь! – прошептала Лавальер. – Вы слышите?

И она уронила голову на его плечо.

– Да, – сказал король, – вы видите, что гроза не утихает.

– Государь, это – предупреждение.

Король улыбнулся.

– Государь, это голос бога, грозящего нам карой.

– Пусть, – отвечал король. – Я принимаю этот удар грома за предупреждение и даже за угрозу, если через пять минут он повторится с – такой же силой; в противном же случае позвольте мне думать, что гроза – только гроза, и ничего больше.

И король поднял голову, точно вопрошая небо.

Но небо как бы вступило в заговор с Людовиком; в течение пяти минут после удара, напугавшего влюбленных, не слышно было ни одного раската, а когда гром загремел снова, то звук его был гораздо глуше, как будто в течение этих пяти минут гроза, подстегиваемая порывами ветра, унеслась за целых десять лье.

– Что же, Луиза, – прошептал король, – будете вы еще пугать меня гневом небес? Если вы уж непременно хотите видеть в молнии предзнаменование, то неужели вы все еще считаете, что она – предзнаменование несчастья?

Молодая девушка подняла голову; в это время дождь хлынул сквозь листья и заструился

по лицу короля.

– О государь, государь! – воскликнула она с выражением непреодолимого страха, взволновавшего Людовика до глубины души. – Неужели это ради меня король остается с непокрытой головой под проливным дождем? Ведь я – такое ничтожество!

– Вы – божество, – отвечал король, – обратившее в бегство грозу. Вы богиня, возвращающая солнце и тепло.

Действительно, в этот момент блеснул солнечный луч, и падавшие с деревьев капли засверкали, как брильянты.

– Государь, – сказала почти побежденная Лавальер, делая над собой последнее усилие. – Государь, еще раз прошу вас, подумайте о тех неприятностях, которые вашему величеству придется перенести из-за меня. Боже мой, в эту минуту вас ищут, вас зовут. Королева, наверное, беспокоится, а принцесса... о, принцесса!.. – почти с ужасом вскричала молодая девушка.

Это слово произвело некоторое впечатление на короля; он вздрогнул и отпустил Лавальер, которую до тех пор держал в своих объятиях.

– Принцесса, сказали вы?

– Да, принцесса; принцесса тоже ревнует, – многозначительно заметила Лавальер.

И ее робкие и целомудренно опущенные глаза решились вопросительно взглянуть на короля.

– Но принцесса, мне кажется, – возразил Людовик, делая усилие над собой, – не имеет никакого права...

– Увы! – прошептала Лавальер.

– Неужели, – спросил король почти с упреком, – и вы считаете, что сестра вправе ревновать брата?

– Государь, я не смею заглядывать в тайники вашего сердца.

– Неужели вы верите этому? – воскликнул король.

– Да, государь, я думаю, что принцесса ревнует, – твердо сказала Лавальер.

– Боже мой, – забеспокоился король, – неужели ее обращение с вами дает повод для таких подозрений? Принцесса обошлась с вами дурно, и вы приписываете это ревности?

– Нет, государь, я так мало значу в ее глазах!

– О, если так!.. – энергично произнес Людовик.

– Государь, – перебила Лавальер, – дождь перестал? и, кажется, сюда идут.

И, позабыв всякий этикет, она схватила короля за руку.

– Так что же, мадемуазель, – отвечал король, – пусть идут. Кто осмелится найти что-нибудь дурное в том, что я был в обществе мадемуазель де Лавальер?

– Помилуйте, государь! Все найдут странным, что вы так вымокли, что вы пожертвовали собой ради меня.

– Я только исполнил свой долг дворянина, – вздохнул Людовик, – и горе тому, кто забудется и станет осуждать поведение своего короля.

Действительно, в этот момент показалось несколько придворных, которые с любопытством осматривали лес; заметив короля и Лавальер, они, по-видимому, нашли то, что искали.

Это были посланные королевы и принцессы; они сняли шляпы в знак того, что увидели его величество.

Но, несмотря на смущение Лавальер, Людовик по-прежнему стоял в своей нежно-почтительной позе. Затем, когда все придворные собрались на аллее, когда все увидели знаки почтения, которые король оказывал молодой девушке, оставаясь перед ней с обнаженной головой во время грозы, Людовик предложил ей руку, ответил кивком головы на почтительные поклоны придворных и, все так же держа шляпу в руке, проводил ее до кареты.

Гроза прошла, но дождь продолжался, и придворные дамы, которым этикет не позволял сесть в карету раньше короля, стояли без плащей и накидок под этим ливнем, от которого король заботливо защищал своей шляпой самую незначительную среди них.

Как и все остальные, королева и принцесса должны были созерцать эту преувеличенную любезность короля; принцесса до такой степени была поражена, что, забывшись, толкнула королеву локтем и проговорила:

– Поглядите, вы только поглядите!

Королева закрыла глаза, точно у нее закружилась голова. Она поднесла руку к лицу и села в карету. Принцесса последовала за ней. Король вскочил на лошадь и, не оказывая предпочтения ни одной из карет, поскакал вперед. Он вернулся в Фонтенбло, бросив поводья, задумчивый, весь поглощенный своими мыслями.

Когда толпа удалилась и шум карет стал затихать, Арамис и Фуке, убедившись, что никто не может их увидеть, вышли из грота. Молча добрались они до аллеи. Арамис, казалось, хотел проникнуть взглядом в самую чащу леса.

– Господин Фуке, – сказал он, удостоверившись, что они одни, – нужно во что бы то ни стало получить обратно ваше письмо к Лавальер.

– Нет ничего проще, – отвечал Фуке, – если слуга еще не передал его.

– Это необходимо во всех случаях, понимаете?

– Да, король любит эту девушку. Не правда ли?

– Очень. Но еще хуже, что и эта девушка страстно любит короля.

– Значит, мы меняем тактику?

– Без всякого сомнения, нельзя терять времени. Вам нужно увидеть Лавальер и, не делая попыток добиться ее благосклонности, что теперь невозможно, заявить ей, что вы – самый преданный ее друг и самый покорный слуга.

– Я так и сделаю, – отвечал Фуке, – и без всякого неудовольствия; у этой девушки, мне кажется, золотое сердце.

– А может быть, много ловкости, – раздумывал вслух Арамис, – но тогда дружба с нею еще нужней.

Помолчав немного, он прибавил:

– Или я ошибаюсь, или эта малютка сведет с ума короля. Ну, скорей карету – и в замок!

Глава 5. ТОБИ

Через два часа после того, как карета суперинтенданта покатилась в Фонтенбло со скоростью облаков, гонимых последними порывами бури, Лавальер сидела у себя в комнате в простом муслиновом пеньюаре и доканчивала завтрак за маленьким мраморным столиком. Вдруг открылась дверь, и лакей доложил, что г-н Фуке просит позволения засвидетельствовать ей свое почтение.

Она два раза переспросила лакея; бедная девушка знала только имя г-на Фуке и никак не могла понять, что у нее может быть общего с главноуправляющим финансами.

Однако так как министр мог прийти к ней по поручению короля, что после недавнего свидания было вполне возможным, то Лавальер взглянула в зеркало, поправила локоны и приказала пригласить его в комнату.

Но Лавальер не могла подавить некоторого волнения. Визит суперинтенданта не был заурядным явлением в жизни фрейлины. Фуке, славившийся своей щедростью, галантностью и любезным обращением с дамами, чаще получал приглашения, чем испрашивал аудиенций. Во многие дома посещения суперинтенданта приносили богатство; во многих сердцах они зарождали любовь.

Фуке почтительно вошел к Лавальер и представился ей с тем изяществом, которое было отличительной чертой выдающихся людей той эпохи, а в настоящее время стало совершенно непонятным, даже на портретах, где эти люди изображены как живые.

На церемонное приветствие Фуке Лавальер ответила реверансом пансионерки и предложила суперинтенданту сесть.

Но Фуке с поклоном сказал ей:

– Я не сяду, мадемуазель, пока вы не простите меня.

– За что же, боже мои?

Фуке устремил на лицо молодой девушки свой пронизательный взгляд, по мог увидеть на нем только самое простодушное изумление.

– Я вижу, сударыня, что вы так же великодушны, как и умны, и читаю в ваших глазах испрашиваемое иной, прощение. Но мне мало прощения на словах, предупреждаю вас; мне нужно, чтобы меня простили ваше сердце и ум.

– Клянусь вам, сударь, – растерялась Лавальер, – я вас совершенно не понимаю.

– Это новое проявление вашей деликатности пленяет меня – отвечал Фуке, – я вижу, что вы не хотите заставить меня краснеть.

– Краснеть? Краснеть передо мной? Но скажите же, почему вам краснеть?

– Неужели я ошибаюсь, – спросил Фуке, – и мой поступок, к моему счастью, не оскорбил вас?

Лавальер пожала плечами.

– Положительно, сударь, вы говорите загадками, и я, по-видимому, слишком невежественна, чтобы понимать их.

– Хорошо, – согласился Фуке, – не буду настаивать. Только, умоляю вас, скажите мне, что я могу рассчитывать на ваше полное и безусловное прощение.

– Сударь, – сказала Лавальер уже с некоторым нетерпением, – я могу ответить вам только одно и надеюсь, что мой ответ удовлетворит вас. Если бы я знала вашу вину передо мной, я простила бы вас. Тем более вы поймете, что, не зная этой вины...

Фуке закусил губы, как это делал обыкновенно Арамис.

– Значит, – продолжал он, – я могу надеяться, что, невзирая на случившееся, мы останемся в добрых отношениях и что вы любезно соглашаетесь верить в мою почтительную дружбу.

Лавальер показалось, что она начинает понимать.

«Да, – подумала она, – я не могла бы поверить, что господин Фуке с такой жадностью будет искать источников новоявленной благосклонности».

И сказала вслух:

– В вашу дружбу, сударь? Вы мне предлагаете вашу дружбу? Но, право, это для меня большая честь, и вы слишком любезны.

– Я знаю, сударыня, – отвечал Фуке, – что дружба господина может показаться более блестящей и более желательной, чем дружба слуги; но могу вас заверить, что и слуга окажется таким же преданным, таким же верным и совершенно бескорыстным.

Лавальер поклонилась; действительно, в голосе суперинтенданта звучала большая искренность и неподдельная преданность. Она протянула Фуке руку.

– Я вам верю, – улыбнулась она.

Фуке крепко пожал руку девушки.

– В таком случае, – прибавил он, – вы сейчас же отдадите мне это несчастное письмо.

– Какое письмо? – спросила Лавальер.

Фуке еще раз устремил на нее свой испытующий взгляд. То же наивное, то же простодушное выражение лица.

– После этого отрицания, сударыня, я принужден признать, что вы деликатнейшее существо, и сам я не был бы честным человеком, если бы мог бояться чего-нибудь со стороны такой великодушной девушки, как вы.

– Право, господин Фуке, – отвечала Лавальер, – с глубоким сожалением я принуждена повторить вам, что решительно ничего не понимаю.

– Значит, вы можете дать слово, что не получали от меня никакого письма?

– Даю вам слово, нет! – твердо сказала Лавальер.

– Хорошо. Этого с меня достаточно, сударыня; позвольте мне повторить уверение в моей преданности и в моем глубочайшем почтении.

Фуке поклонился и отправился домой, где его ждал Арамис, оставив Лавальер в полном

недоумении.

– Ну что? – спросил Арамис, нетерпеливо ожидавший возвращения Фуке. Как вам понравилась фаворитка?

– Восхищен! – отвечал Фуке. – Это умная, сердечная женщина.

– Она не рассердилась?

– Ничуть; по-видимому, она просто ничего не поняла.

– Не поняла?

– Да, не поняла, что я писал ей.

– А между тем нужно было заставить ее понять вас, нужно, чтобы она возвратила письмо; я надеюсь, она отдала вам его?

– И не подумала.

– Так вы, по крайней мере, удостоверились, что она сожгла его?

– Дорогой д'Эрбле, вот уже целый час, как я играю в недоговоренные фразы, и мне порядком надоела эта игра, хотя она очень занимательна.

Поймите же: малютка притворилась, будто совершенно не понимает меня; она отрицала получение письма; а поэтому она не могла ни отдать его, ни сжечь.

– Что вы говорите? – встревожился Арамис.

– Говорю, что она клялась и божилась, что не получала никакого письма.

– О, это слишком! И вы не настаивали?

– Напротив, я был настойчив до неприличия.

– И она все отрицала?

– Да.

– И ни разу не выдала себя?

– Ни разу.

– Следовательно, дорогой мой, вы оставили письмо в ее руках?

– Пришлось, черт возьми!

– О, это большая ошибка!

– Что же бы вы сделали на моем месте?

– Конечно, невозможно было принудить ее, но это тревожит меня: подобное письмо не может оставаться у нее.

– Эта девушка так великодушна.

– Если бы она была действительно великодушна, она отдала бы вам письмо.

– Повторяю, она великодушна; я видел это по ее глазам, я человек опытный.

– Значит, вы считаете ее искренней?

– От всего сердца.

– В таком случае мне кажется, что мы действительно ошибаемся.

– Как так?

– Мне кажется, что она действительно не получила письма.

– Как так? И вы предполагаете?..

– Я предполагаю, что, по неизвестным нам соображениям, ваш человек не отдал ей письма.

Фуке позвонил. Вошел лакей.

– Позовите Тоби, – приказал суперинтендант.

Через несколько мгновений появился слуга, сутулый человек с бегающими глазами, с тонкими губами и короткими руками.

Арамис впери́л в него пронизывающий взгляд.

– Позвольте, я сам расспрошу его.

– Пожалуйста, – отвечал Фуке.

Арамис хотел было заговорить с лакеем, но остановился.

– Нет, – сказал он, – он увидит, что мы придаем слишком большое значение его ответу; допросите его сами; а я сделаю вид, что пишу письмо.

Арамис действительно сел к столу, спиной к лакею, но внимательно наблюдал за

каждым его движением и каждым его взглядом в висевшем напротив зеркале.

– Подойди сюда, Тоби, – начал Фуке.

Лакей приблизился довольно твердыми шагами.

– Как ты исполнил мое поручение? – спросил Фуке.

– Как всегда, ваша милость, – отвечал слуга.

– Расскажи.

– Я вошел к мадемуазель де Лавальер, которая была у обедни, и положил записку на туалетный стол. Ведь так вы приказали мне?

– Верно, и это все?

– Все, ваша милость.

– В комнате никого не было?

– Никого.

– А ты спрятался, как я тебе приказал?

– Да.

– И она вернулась?

– Через десять минут.

– И никто не мог взять письма?

– Никто, потому что никто не входил в комнату.

– Снаружи, а изнутри?

– Оттуда, где я был спрятан, видна была вся комната.

– Послушай, – сказал Фуке, пристально глядя на лакея, – если это письмо попало не по адресу, то лучше откровенно сознайся мне в этом, потому что, если тут произошла ошибка, ты поплатишься за нее головой.

Тоби вздрогнул, но тотчас овладел собой.

– Ваша милость, – повторил он, – я положил письмо на туалетный стол, как я вам сказал, и прошу у вас только полчаса, чтобы доказать, что письмо в руках мадемуазель де Лавальер, или же принести его вам обратно.

Арамис с любопытством наблюдал за лакеем.

Фуке был доверчив; двадцать лет этот лакей усердно служил ему.

– Хорошо, – согласился он, – ступай, но принеси мне доказательство, что ты говорил правду.

Лакей ушел.

– Ну, что вы скажете? – спросил Фуке у Арамиса.

– Я скажу, что вам во что бы то ни стало надо узнать истину. Письмо или дошло, или не дошло до Лавальер; в первом случае нужно, чтобы Лавальер возвратила вам его или же сожгла в вашем присутствии; во втором необходимо раздобыть письмо, хотя бы это стоило нам миллиона. Ведь вы согласны со мной?

– Да; однако, дорогой епископ, я считаю, что вы сгущаете краски.

– Слепец вы, слепец! – прошептал Арамис.

– Лавальер, которую вы принимаете за тонкого дипломата, просто-напросто кокетка, которая надеется, что я буду продолжать увиваться за ней, раз я уже начал. Теперь, убедившись в любви короля, она рассчитывает с помощью письма держать меня в руках. Это так естественно.

Арамис покачал головой.

– Вы не согласны? – спросил Фуке.

– Она не кокетка, – отвечал Арамис.

– Позвольте вам заметить...

– Я отлично знаю кокеток!

– Друг мой, друг мен!

– Вы хотите сказать, что далеко то время, когда я изучал их? По женщины не меняются.

– Зато мужчины меняются, и теперь вы стали более подозрительны, чем были прежде. –

Рассмеявшись, Фуке продолжал:

– Если Лавальер пожелает уделять мне одну треть своей любви и королю две трети, найдете вы приемлемым такое положение?

Арамис нетерпеливо поднялся.

– Лавальер, – сказал он, – никогда не любила и никогда не полюбит никого, кроме короля.

– Но ответьте мне наконец, что бы вы сделали на моем месте.

– Прежде всего я не выпускал бы из дому вашего слугу.

– Тоби?

– Да, Тоби; это предатель!

– Что вы?

– Я уверен в этом. Я держал бы его взаперти, пока он не признался бы мне.

– Еще не поздно; позовем его, и вы допросите его сами.

– Прекрасно.

– Но уверяю вас, что это будет напрасно. – Он служит у меня уже двадцать лет и ни разу ничего не перепутал, а между тем, – прибавил Фуке со смехом, – перепутать бывало так легко.

– Все же позовите его. Мне сдается, сегодня утром я видел, как этот человек о чем-то совещался с одним из слуг господина Кольбера.

– Где?

– Возле конюшни.

– Как так? Все мои слуги на ножах со слугами этого мужлана.

– Однако повторяю, я видел его, и когда он вошел, его физиономия показалась мне знакомой.

– Почему же вы ничего не сказали, когда он был здесь?

– Потому что только сию минуту я припомнил.

– Вы меня пугаете, – сказал Фуке и позвонил.

– Лишь бы мы не опоздали! – прошептал Арамис.

Фуке позвонил вторично. Явился камердинер.

– Тоби! – крикнул Фуке. – Позовите Тоби!

Слуга удалился.

– Вы предоставляете мне полную свободу действий, не правда ли?

– Полнейшую.

– Я могу пустить в ход все средства, чтобы узнать истину?

– Все.

– Даже запугивание?

– Я уступаю вам обязанности генерального прокурора.

Прошло десять минут. Тоби не появлялся. Выведенный из терпения фуке снова позвонил.

– Тоби! – крикнул он.

– Его ищут, ваша милость, – поклонился камердинер.

– Он где-нибудь близко, я никуда не посылал его.

– Я пойду поищу его, ваша милость.

И камердинер снова удалился. Арамис в молчании нетерпеливо прогуливался по комнате.

Фуке зазвонил так, что мог бы разбудить мертвого. Вернулся камердинер; он весь дрожал.

– Ваша милость ошибается, – сказал он, не дожидаясь вопроса Фуке. Ваша милость, вероятно, дали какое-нибудь поручение Тоби, потому что он пришел на конюшню, вывел лучшего скакуна, оседлал его и уехал.

– Уехал! – вскричал Фуке. – Скачите, поймайте его.

– Полно, – Арамис взял его за руку, – успокойтесь, дело сделано!

– Сделано?

– Конечно, я был в этом уверен. Теперь не будем поднимать тревоги; разберем лучше

последствия случившегося и постараемся принять меры.

– В конце концов, – вздохнул Фуке, – беда не велика.

– Вы думаете?

– Конечно. Всякому мужчине позволительно писать любовное письмо к женщине.

– Мужчине – да, подданному – нет; особенно когда женщину любит король.

– Друг мой, еще неделю назад король не любил Лавальер; он не любил ее даже вчера, а письмо написано вчера; и я не мог догадаться о любви короля, когда ее еще не было.

– Допустим, – согласился Арамис. – Но письмо, к несчастью, не помечено числом. Вот что особенно мучит меня. Ах, если бы на нем стояло вчерашнее число, я бы ни капли не беспокоился за вас!

Фуке пожал плечами.

– Разве я под опекой и король властвует над моим умом и моими желаниями?

– Вы правы, – согласился Арамис, – не будем придавать делу слишком большого значения; и потом... если нам что-либо грозит, мы сумеем защититься.

– Грозит? – удивился Фуке. – Неужели этот муравьиный укус вы называете угрозой, которая может подвергнуть опасности мое состояние и мою жизнь?

– Ах, господин Фуке, муравьиный укус может сразить и великана, если муравей ядовит!

– Разве ваше всемогущество, о котором вы недавно говорили, уже рухнуло?

– Я всемогущ, но не бессмертен.

– Однако, мне кажется, важнее всего отыскать Тоби. Не правда ли?

– О, его вам теперь не поймать, – сказал Арамис, – и если он был вам дорог, наденьте траур!

– Но ведь он где-нибудь да находится?

– Вы правы; предоставьте мне свободу действия, – отвечал Арамис.

Глава 6. ЧЕТЫРЕ ШАНСА ПРИНЦЕССЫ

Королева-мать пригласила к себе молодую королеву.

Больная Анна Австрийская дурнела и старилась с поразительной быстротой, как это всегда бывает с женщинами, которые провели бурную молодость. К физическим страданиям присоединялись страдания от мысли, что рядом с юной красотой, юным умом и юной властью она служит только живым напоминанием прошлого.

Советы врача и свидетельства зеркала меньше огорчали ее, чем поведение придворных, которые, подобно крысам, покидали трюм корабля, куда начинала проникать вода.

Анна Австрийская была недовольна свиданиями со старшим сыном. Бывало, король, чувства которого были скорей показные, чем искренние, заходил к матери на один час утром и на один вечером. Но с тех пор, как он взял в свои руки управление государством, утренние и вечерние визиты были сокращены до получаса; мало-помалу утренние визиты совсем прекратились.

По утрам мать и сын встречались за мессой; вечерние визиты были заменены свиданиями у короля или у принцессы, куда королева ходила довольно охотно ради сыновей. Вследствие этого принцесса приобрела огромное влияние при дворе, и у нее собиралось самое блестящее общество.

Анна Австрийская чувствовала это.

Больная, принужденная часто сидеть дома, она приходила в отчаяние, предвидя, что скоро ей придется проводить время в унылом и безнадежном одиночестве.

С ужасом вспоминала она то одиночество, на которое обрекал ее когда-то кардинал Ришелье, те невыносимые вечера, в течение которых, однако, ей служили утешением молодость и красота, всегда сопровождаемые надеждой.

И вот она решила перевести двор к себе и привлечь принцессу с ее блестящей свитой в темные и унылые комнаты, где вдова французского короля и мать французского короля

обречена была утешать всегда заплаканную от преждевременного вдовства супругу французского короля.

Анна задумалась. В течение своей жизни она много интриговала. В хорошие времена, когда в ее юной головке рождались счастливые идеи, подле нее была подруга, умевшая подстрекать ее честолюбие и ее любовь, подруга, еще более пылкая и честолюбивая, чем она сама, искренне ее любившая, что так редко бывает при дворе, и теперь удаленная от нее по молочным соображениям.

Но с тех пор в течение многих лет кто мог похвалиться, что дал хороший совет королеве, кроме г-жи де Мотвиль и Молены, испанки-кормилицы, которая в качестве соотечественницы была поверенной королевы? Кто из теперешней молодежи мог напомнить ей прошлое, которым она только и жила?

Анна Австрийская подумала о г-же де Шеврез, которая отправилась в изгнание скорее добровольно, чем по приказанию короля, а затем умерла женой безвестного дворянина. Она задала себе вопрос, что посоветовала бы ей г-жа де Шеврез в подобных обстоятельствах, и королеве показалось, что эта хитрая, опытная и умная женщина отвечала ей своим ироническим голосом:

«Все эти молодые люди бедны и жадны. Им нужно золото и доходы, чтобы предаваться удовольствиям; привлеките их к себе подачками».

Анна Австрийская решила последовать этому совету. Кошелек у нее был полный; она располагала большими суммами, собранными для нее Мазарини и хранившимися в надежном месте. Ни у кого во Франции не было таких красивых драгоценных камней, особенно такого крупного жемчуга, при виде которого король каждый раз вздыхал, потому что жемчуг на его короне казался мелким зерном по сравнению с ним.

Анна Австрийская не обладала больше ни красотой, ни очарованием. Зато она была богата и привлекала лип, посещавших ее, либо надеждой на крупный карточный выигрыш, либо подачками, либо, наконец, доходными местами, которые она очень умело выпрашивала у короля, чтобы поддержать свое влияние.

В первую очередь она испытала это средство на принцессе, которую ей больше всего хотелось привлечь к себе. Несмотря на всю свою гордость и самоуверенность, принцесса попала в расставленные ей сети. Богатея понемногу от подарков, она вошла во вкус и с удовольствием получала преждевременное наследство.

То же средство Анна Австрийская употребила по отношению к принцу и самому королю. Она завела у себя лотерею.

Одна из таких лотерей была назначена у королевы-матери в день, до которого мы довели наш рассказ. Анна Австрийская разыгрывала два прекрасных брильянтовых браслета очень тонкой работы. В них были вставлены старинные камеи большой ценности; сами брильянты были не очень дороги, но оригинальность и изящество работы были таковы, что при дворе многие желали не только получить эти браслеты, но просто увидеть их на руках королевы, так что в дни, когда она надевала их, считалось особой милостью позволение любоваться ими, целуя ее руку.

По этому поводу придворные придумали галантный каламбур, говоря, что браслеты были бы бесценными, если бы, на свое несчастье, не красовались на руках королевы. Этому каламбуру была оказана большая честь; он был переведен на все европейские языки, и на эту тему ходило больше тысячи французских и латинских двустий.

День, когда Анна Австрийская разыгрывала брильянты в лотерею, был для нее решительным: двое суток король не показывался у матери. Принцесса дулась после сцены с дриадами и наядами. Король, правда, не сердился, но могущественное чувство уносило его вдаль от придворных бурь и развлечений.

Анна Австрийская произвела диверсию, объявив на следующий вечер знаменитую лотерею. С этой целью она повидалась с молодой королевой, которую, как мы сказали, утром вызвала к себе.

— Дочь моя, — сказала Анна, — сообщаю вам приятную новость. Король самым нежным

образом говорил мне о вас. Король молод, и его легко увлечь. Но до тех пор, рока вы будете возле меня, он не решится оставить свою супругу, к которой к тому же он сильно привязан. Сегодня вечером у меня лотерея; вы придете?

– Мне сказали, – с робким упреком заметила молодая королева, – что ваше величество разыгрываете в лотерею свои прекрасные браслеты. Но ведь они такая редкость, что нам не следовало бы выпускать их из королевской сокровищницы, хотя бы потому, что они принадлежали вам.

– Дитя мое, – сказала Анна Австрийская, отлично понимая молодую королеву, желавшую получить эти браслеты для себя, – мне во что бы то ни стало нужно заманить к себе принцессу.

– Принцессу? – спросила, краснея, молодая королева.

– Ну да! Разве не лучше видеть у себя соперницу, чтобы наблюдать и управлять ею, чем знать, что король у нее, всегда готовый ухаживать за ней. Эта лотерея – приманка, которой я пользуюсь с этой целью; неужели вы порицаете меня?

– Нет, нет, – вскричала Мария-Терезия и в порыве ребяческой радости, свойственной испанкам, с восторгом захлопала в ладоши.

– И вы не жалеете, дорогая, что я не подарила вам браслеты, как сначала хотела сделать?

– О нет, нет, дорогая матушка!

– Итак, дитя мое, принарядитесь, чтобы наш вечер вышел как можно более блестящим. Чем веселее будете вы, чем вы будете очаровательнее, тем больше вы затмите остальных женщин своим блеском.

Мария-Терезия ушла в полном восторге.

Через час Анна Австрийская принимала у себя принцессу и, осыпая ее ласками, говорила:

– Приятные вести. Король в восторге от моей лотереи.

– А я совсем не в восторге, – отвечала принцесса, – я никак не могу приучить себя к мысли, что эти прекрасные браслеты могут оказаться на чьих-то чужих руках.

– Полно, – сказала Анна Австрийская, скрывая улыбкой жестокую боль в груди. – Не возмущайтесь так, милая... и не смотрите на вещи так мрачно.

– Ах, королева, судьба слепа... говорят, вы приготовили двести билетов?

– Ровно двести. Но вы ведь знаете, что выигрыш только один.

– Знаю. Кому же он достанется? Разве вы можете угадать? – с отчаянием произнесла принцесса.

– Вы напомнили мне сон, который я видела сегодня ночью... Ах, сны мои хорошие... я сплю так мало.

– Какой сон?... Вы больны?

– Нет, – улыбнулась королева, удивительной силой воли подавляя новый приступ боли в груди. – Итак, мне снилось, что выиграл браслеты король.

– Король?

– Вы хотите спросить меня, что стал бы делать король с браслетами?

– Да.

– И все же было бы очень хорошо, если бы король выиграл их, потому что, получив эти браслеты, он должен был бы подарить их кому-нибудь.

– Например, вернуть их вам.

– В таком случае я сама немедленно подарила бы их кому-нибудь. Ведь не думаете же вы, – со смехом сказала королева, – что я пускаю эти браслеты в лотерею из нужды. Я просто хочу подарить их, не возбуждая зависти; но если случай не избавит меня от затруднения, то я приду ему на помощь... Я прекрасно знаю, кому мне подарить эти браслеты.

Слова эти сопровождались такой обворожительной улыбкой, что принцессе пришлось заплатить за нее благодарным поцелуем.

– Вы ведь отлично знаете, – прибавила Анна Австрийская, – что король не вернул бы мне браслетов, если бы выиграл.

– В таком случае он подарил бы их королеве.
– Нет, по той же причине, по какой не вернул бы и мне; тем более что, если бы я хотела подарить их королеве, я обошлась бы без его помощи.

Принцесса искоса взглянула на браслеты, которые блестели на соседнем столике в открытом футляре.

– Как они хороши, – вздохнула она. – Но ведь мы забыли, что сон вашего величества – только сон.

– Я буду очень удивлена, – возразила Анна Австрийская, – если он не сбудется: все мои сны сбываются.

– В таком случае вы можете быть пророком.

– Повторяю вам, дитя мое, что я почти никогда не вижу снов; но этот сон так странно совпадает с моими мыслями, он так хорошо вяжется с моими предположениями.

– Какими предположениями?

– Например, что вы выиграете браслеты.

– Тогда их выиграет не король.

– О! – воскликнула Анна Австрийская. – От сердца его величества не так далеко до вашего сердца... сердца его дорогой сестры... не так далеко, чтобы сон можно было считать несбывшимся. У вас много шансов. Вот сосчитайте.

– Считаю.

– Во-первых, сон. Если король выиграет, он, конечно, подарит вам браслеты.

– Допустим, что это шанс.

– Если вы сами выиграете их, они ваши.

– Понятно.

– Наконец, если выиграет их принц...

– То он подарит их шевалье де Лоррену, – звонко засмеялась принцесса.

Анна Австрийская последовала примеру невестки и тоже расхохоталась, отчего боль ее усилилась и лицо внезапно помертвело.

– Что с вами? – спросила в испуге принцесса.

– Ничего, пустяки... Я слишком много смеялась... Перейдем к четвертому шансу.

– Не могу себе представить его.

– Простите, я тоже могу выиграть браслеты, и если выиграю, положитесь на меня.

– Спасибо, спасибо! – воскликнула принцесса.

– Итак, я надеюсь, что вы избраны судьбой и что теперь мой сон начинает приобретать твердые очертания действительности.

– Право, вы внушаете мне надежду и уверенность, – сказала принцесса, – и выигранные таким образом браслеты будут для меня еще во сто раз драгоценнее.

– Итак, до вечера!

– До вечера!

И они расстались.

Анна Австрийская подошла к браслетам и заметила, рассматривая их:

– Они действительно драгоценны, потому что сегодня вечером с их помощью я завоеую одно сердце и открою одну тайну.

Потом, обернувшись к пустому алькову, прибавила:

– Не правда ли, моя бедная Шеврез, ты так повела бы игру? – И звуки этого забытого имени пробудили в душе королевы воспоминание о молодости с ее веселыми проказами, неиссякаемой энергией и счастьем.

Глава 7. ЛОТЕРЕЯ

В восемь часов вечера все общество собралось у королевы-матери.

Анна Австрийская в парадном туалете, блистая остатками красоты и всеми средствами,

которые кокетство может дать в искусные руки, скрывала, или, вернее, пыталась скрыть от толпы молодых придворных, окружавших ее и все еще восхищавшихся ею по причинам, указанным нами в предыдущей главе, явные разрушения, вызванные болезнью, от которой ей предстояло умереть через несколько лет.

Нарядно и кокетливо одетая принцесса и королева, простая и естественная, как всегда, сидели подле Анны Австрийской и наперерыв старались привлечь к себе ее милостивое внимание.

Придворные дамы соединились в целую армию, чтобы с большей силой и с большим успехом отражать задорные остроты молодых людей. Как батальон, выстроенный в каре, они помогали друг другу держать позицию и отбивать удары.

Монтале, опытная в таких перестрелках, защищала весь строй перекрестным огнем по неприятелю.

Де Сент-Эньян, в отчаянии от упорной, вызывающей холодности мадемуазель де Тонне-Шарант, старался выказывать ей равнодушие; но neodолимый блеск больших глаз красавицы каждый раз побеждал его, и он возвращался к ней с еще большей покорностью, на которую мадемуазель де Тонне-Шарант отвечала ему новыми дерзостями. Де Сент-Эньян не знал, какому святому молиться.

Вокруг Лавальер уже начали увиваться придворные.

Надеясь привлечь к себе взгляды Атенаис, де Сент-Эньян тоже подошел с почтительным поклоном к этой молодой девушке. Некоторые отсталые умы приняли этот простой маневр за желание противопоставить Луизу Атенаис.

Но те, кто так думал, не видели сцены во время дождя и ничего не слышали о ней. Большинство же было прекрасно осведомлено о благосклонности короля к Лавальер, и молодая девушка уже привлекла к себе самых ловких и самых глупых.

Первые угождали ей, говоря себе, как Монтень: «Что знаю я?» Вторые, говоря, как Рабле: «А может быть?» За ними пошли почти все, как во время охоты вся свора устремляется за пятью или шестью искусными ищейками, которые одни только чуют след зверя.

Королева и принцесса, забывая о своем высоком положении, с чисто женским любопытством рассматривали туалеты своих фрейлин и приглашенных дам. Иными словами, они беспощадно критиковали их. Взгляды молодой королевы и принцессы одновременно остановились на Лавальер, вокруг которой, как мы сказали, толпилось много кавалеров. Принцесса была безжалостна.

– Право, – сказала она, наклоняясь к королеве-матери, – если бы судьба была справедлива, она оказалась бы милостивой к этой бедняжке Лавальер.

– Это невозможно, – отвечала с улыбкой королева-мать.

– Почему же?

– Билетов только двести, так что нельзя было внести в список всех придворных.

– Значит, ее нет в нем?

– Нет.

– Как жаль! Она могла бы выиграть браслеты и продать их.

– Продать? – воскликнула королева.

– Ну да, и составить себе таким образом приданое, избавив себя от необходимости выйти замуж нищей, как это, наверное, случится.

– Неужели? Вот бедняжка! – сказала королева-мать. – Значит, у нее нет туалетов?

Она произнесла эти слова тоном женщины, никогда не знавшей недостатка в средствах.

– Прости меня боже, но мне кажется, что она в той же юбке, в какой была утром на прогулке; ей удалось спасти ее благодаря заботам короля, укрывавшего ее во время дождя.

Когда принцесса произносила эти слова, вошел король. Принцесса не заметила его появления, настолько она увлеклась злословием. Но она вдруг увидела, что Лавальер, стоявшая против галереи, смутилась и сказала несколько слов окружавшим ее придворным; те тотчас же отошли в сторону. И их движение привлекло глаза принцессы к входной двери. В этот момент капитан гвардии известил о появлении короля.

Лавальер, которая до тех пор пристально смотрела на галерею, внезапно опустила глаза.

Король был одет роскошно и со вкусом и разговаривал с принцем и герцогом де Роклором, шедшим справа и слева от него. Король подошел сначала к королевам, которым почтительно поклонился. Он поцеловал руку матери, сказал несколько комплиментов принцессе по поводу элегантности ее туалета и стал обходить собравшихся. Он поздоровался с Лавальер совершенно так же, как и с остальными. Затем его величество вернулся к матери и жене.

Когда придворные увидели, что король обратился к молодой девушке лишь с самой банальной фразой, они тотчас же вывели отсюда свое заключение: они решили, что у короля было мимолетное увлечение и что это увлечение уже прошло.

Следует, однако, заметить, что в числе придворных, окружавших Лавальер, находился г-н Фуке и его особая внимательность поддержала растерявшуюся молодую девушку. Г-н Фуке собирался поговорить с нею, но тут подошел г-н Кольбер и, отвесив Фуке поклон по всем правилам искусства, по-видимому, решил, в свою очередь завязать разговор с Лавальер. Фуке тотчас же отошел.

Монтале и Маликорн пожирала глазами эту сцену, обмениваясь впечатлениями.

Де Гиш, стоя в оконной нише, видел только принцессу. Но так как она часто останавливала свой взгляд на Лавальер, то глаза де Гиша тоже время от времени устремлялись в сторону фрейлины.

Лавальер инстинктивно почувствовала на себе силу этих глаз, направляемых на нее с любопытством или с завистью. Ничто не приходило ей на помощь: ни сочувственное слово со стороны подруг, ни любовный взгляд на короля. Невозможно выразить, как страдала бедняжка.

Королева-мать велела выдвинуть столик, на котором были разложены лотерейные билеты, и попросила г-жу де Мотвиль прочитать список избранных.

Нечего и говорить, что список был составлен по всем правилам этикета: сначала шел король, потом королева-мать, потом королева, принц, принцесса и т.д. Все сердца трепетали во время этого чтения. Приглашенных было более трехсот. Каждый спрашивал себя, будет ли в списке его имя.

Король слушал так же внимательно, как я остальные.

Когда было произнесено последнее имя, он понял, что Лавальер среди них не было. Впрочем, это мог заметить каждый. Король покраснел, как всегда, когда что-нибудь досаждало ему.

На лице кроткой и покорной Лавальер не выразилось ничего.

Во время чтения король не спускал с нее глаз. И это успокаивало ее.

Она была слишком счастлива, чтобы какая-нибудь другая мысль, кроме мысли о любви, могла проникнуть в ее ум или в ее сердце. Вознаграждая ее за это трогательное смирение нежными взглядами, король показывал девушке, что он понимает всю ее деликатность.

Список был прочитан. Лица женщин, пропущенных или забытых, выражали разочарование. Маликорна тоже забыли внести в список, и его гримаса явно говорила Монтале: «Разве мы не сумеем урезонить фортуна, чтобы она впредь не забывала о нас?»

«О, конечно», – отвечала тонкая улыбка мадемуазель Оры.

Билеты были розданы по номерам. Прежде всего получил билет король, потом королева-мать, потом королева, потом принц, принцесса и т.д.

После этого Анна Австрийская раскрыла мешочек из испанской кожи, в котором было двести перламутровых шариков с выгравированными на них номерами, и предложила самой младшей фрейлине вынуть оттуда один шарик.

Все эти приготовления делались медленно, и присутствовавшие напряженно ждали, больше с жадностью, чем с любопытством.

Де Сент-Эньян наклонился к уху мадемуазель де Тонне-Шарант.

– У нас по билету, мадемуазель, – сказал он ей, – давайте соединим наши шансы. Если я выиграю, браслеты будут ваши; если выиграете вы, вы подарите мне один взгляд ваших

чудных глазок.

– Нет, – отвечала Атенаис, – браслеты будут ваши, если вы их выиграете. Каждый за себя.

– Вы беспощадны, – вздохнул де Сент-Эньян, – я накажу вас за это четверостишием...

– Тише, – перебила его Атенаис, – вы помешаете мне услышать, какой номер выиграл.

– Номер первый, – произнесла девушка, вынувшая перламутровый шарик из мешочка.

– Король! – вскрикнула королева-мать.

– Король выиграл! – радостно повторила молодая королева.

– Ваш сон сбылся, – с восторгом шепнула принцесса на ухо Анне Австрийской.

Один король не выразил никаких признаков удовольствия. Он только поблагодарил фортуна за ее благосклонность к нему, слегка поклонившись девушке, которая играла роль представительницы капризной богини. Получив из рук Анны Австрийской футляр с браслетами, король сказал под завистливый шепот всего собрания:

– Так эти браслеты действительно красивы?

– Взгляните, – отвечала Анна Австрийская, – и судите сами.

Король посмотрел.

– Да, – сказал он, – и какие чудесные камеи, какая отделка!

– Какая отделка! – повторила принцесса.

Королева Мария-Терезия с первого же взгляда поняла, что король не подарит ей браслетов; но так как он по-видимому, не собирался дарить их и принцессе, она была более или менее удовлетворена.

Король сел.

Наиболее приближенные к королю придворные один за другим подходили полюбоваться на драгоценность, которая вскоре с позволения короля стала переходить из рук в руки. Тотчас все знатоки и не знатоки стали издавать восхищенные восклицания и осыпать короля поздравлениями. Действительно, было от чего прийти в восторг; одни восхищались брильянтами, другие камнями.

Дамы выражали явное нетерпение, видя, что подобное сокровище захвачено кавалерами.

– Господа, господа, – сказал король, от которого ничего не укрылось, – право, можно подумать, что вы носите браслеты, как сабиняне. Вам пора уже вручить их дамам, которые, мне кажется, больше понимают в таких вещах, чем вы.

Эти слова показались принцессе началом выполнения решения, принятого королем. К тому же ее счастливая уверенность подкреплялась взглядами королевы-матери.

Придворный, державший браслеты в то мгновение, когда король бросил свое замечание, поспешно подал браслеты королеве Марии-Терезии, которая, хорошо зная, что они предназначаются не для нее, едва взглянула на них и отдала принцессе. Принцесса и особенно принц долго рассматривали браслеты жадными глазами. Потом принцесса передала драгоценность другим дамам, произнеся одно только слово, но с таким выражением, что оно стоило длинной фразы:

– Великолепны!

Дамы, получившие браслеты из рук принцессы, полюбовались ими и отправили их дальше.

А в это время король спокойно разговаривал с де Гишем и Фуке. Вернее, не разговаривал, а слушал. Привыкнув к известным оборотам речи, король, подобно всем людям, обладающим бесспорной властью, схватывал из обращенных к нему фраз лишь те слова, которые заслуживали ответа. Что же касается его внимания, то оно было направлено в другую сторону. Оно двигалось вместе с его взглядом.

Мадемуазель де Тонне-Шарант была последней в списке дам, участвовавших в лотерее. Поэтому она поместилась в конце шеренги, и после нее оставались только Монтале и Лавальер. Когда браслеты дошли до этих двух фрейлин, никто уже, казалось, не обращал на них внимания. Скромные руки, державшие в этот момент драгоценности, лишали их всякого значения.

Монтале долго смотрела на браслеты, дрожа от радости, зависти и жадности. Она бы без колебаний предпочла брильянты камням, стоимость – красоте. Поэтому с большим трудом передала она их своей соседке. Лавальер же бросила на них почти равнодушный взгляд.

– Какие роскошные, какие великолепные браслеты! – воскликнула Монтале. – И ты не приходишь от них в восторг, Луиза? Право, ты не женщина!

– Нет, я восхищена, – отвечала Лавальер с грустью. – Но зачем желать того, что не может нам принадлежать?

Король, чуть наклонившись вперед и вытянув шею, внимательно прислушивался к словам Луизы. Едва затих ее голос, как он, весь сияющий, встал и, пройдя всю залу, приблизился к Лавальер.

– Вы ошибаетесь, мадемуазель, – сказал он ей, – вы женщина, а всякая женщина имеет право на женские драгоценности.

– О государь! – воскликнула Лавальер. – Значит, ваше величество совершенно не хочет верить в мою скромность?

– Я верю, что вы украшены всеми добродетелями, мадемуазель, в том числе искренностью, и прошу вас откровенно сказать, как вы находите эти браслеты.

– Они так прекрасны, государь, что могут быть поднесены только королеве.

– Я в восторге от ваших слов, мадемуазель. Браслеты ваши, и король просит вас принять их.

Лавальер почти с испугом протянула футляр королю, но тот мягко отстранил дрожащую руку Лавальер. Все замерли от удивления, воцарилась тишина. Однако королевы, не слышавшие этого разговора, не могли понять всего происходящего.

Принцесса поманила к себе де Тонне-Шарант.

– Боже мой, что за счастливица Лавальер, – воскликнула Атенаис, – король только что подарил ей браслеты!

Принцесса до крови закусил губы. Молодая королева посмотрела на нее, потом на Лавальер и расхохоталась. Анна Австрийская сидела неподвижно, поглощенная зародившимися у нее подозрениями, и невыносимо страдала от боли в груди.

Де Гиш, увидя бледность принцессы и поняв ее причину, поспешно вышел.

Воспользовавшись общей суматохой, Маликорн подошел к Монтале и шепнул ей:

– Ора, подле тебя наше счастье и наше будущее.

– Да, – отвечала Монтале.

И она нежно поцеловала Лавальер, которую охотно задушила бы.

Глава 8. **МАЛАГА**

Во время этой долгой и жестокой борьбы страстей, разыгравшейся под кровом королевского дворца, один из наших героев, которым меньше всего следовало бы пренебрегать, находился, однако, в большом пренебрежении, был забыт и очень несчастен.

Действительно, д'Артаньян, которого нужно назвать по имени, чтобы вспомнить о его существовании, – д'Артаньян не имел решительно ничего общего с этим блестящим и легкомысленным обществом. Пробыв с королем два дня в Фонтенбло, посмотрев пасторали и героэкомические маскарады своего повелителя, мушкетер почувствовал, что это не может наполнить его жизнь.

Он был окружен людьми, которые поминутно обращались к нему:

– Как по-вашему, идет мне этот костюм, господин д'Артаньян?

А он отвечал спокойным и насмешливым голосом:

– По-моему, вы разряжены, как самая красивая обезьяна на Сен-Лоранской ярмарке.

Это был обычный комплимент д'Артаньяна; волей-неволей приходилось довольствоваться им.

Когда же его спрашивали:

– Как вы оденетесь сегодня вечером, господин д'Артаньян?

Он отвечал:

– Наоборот, я разденусь.

И все хохотали, даже дамы.

Но, проводя таким образом два дня, мушкетер увидел, что в замке не происходит ничего серьезного и что король совершенно забыл или, по крайней мере, делал вид, что совершенно забыл, и Париж, и Сен-Манде, и Бель-Иль, что г-н Кольбер размышлял только об иллюминациях и фейерверках, что дамам предстояло, по крайней мере, еще целый месяц строить глазки и отвечать на нежные взоры.

И д'Артаньян попросил у короля отпуск по семейным делам.

В ту минуту, когда д'Артаньян обратился к королю с этой просьбой, Людовик ложился спать, утомленный танцами.

– Вы хотите меня покинуть, господин д'Артаньян? – с удивлением спросил он.

Людовик XIV никак не мог понять, чтобы кто-нибудь, имея счастье лицезреть его, был в силах расстаться с ним.

– Государь, – сказал д'Артаньян – я уезжаю, потому что я вам не нужен. Ах, если бы я мог поддерживать вас во время танцев, тогда другое дело.

– Но, дорогой д'Артаньян, – серьезно отвечал король, – кавалеров не поддерживают во время танцев.

– Простите, – поклонился мушкетер, продолжая иронизировать, – право, я этого не знал.

– Значит, вы не видели, как я танцую? – удивился король.

– Видел; но я думал, что с каждым днем танцы будут исполняться все с большим жаром. Я ошибся, тем более мне здесь нечего делать. Государь, повторяю, я вам не нужен. Кроме того, если я понадобится, ваше величество знаете, где меня найти.

– Хорошо, – согласился король.

И дал ему отпуск.

Поэтому мы не станем искать д'Артаньяна в Фонтенбло, это было бы бесполезно, но, с позволения читателей, поедem прямо на Ломбардскую улицу, в лавку под вывеской «Золотой пестик», к нашему почтенному приятелю Планше.

Восемь часов вечера, жарко; открыто одно-единственное окно в комнате на антресолях. Ноздри мушкетера щекочет запах пряностей, смешанный с менее экзотическим, но более едким, проникающим с улицы запахом навоза.

Д'Артаньян устроился в громадном кресле, положив ноги на табурет, так что его туловище образует тупой угол. Его взгляд, обыкновенно пронзительный и подвижный, теперь застыл. Д'Артаньян тупо глядит на кусочек голубого неба, виднеющийся в просвете между трубами. Этот лоскуток неба так мал, что его хватило бы только на починку мешков с чечевицей или бобами, которыми завалена лавка в нижнем этаже.

Окаменевший в этой позе, д'Артаньян не похож больше на вояку, не похож и на придворного офицера; это просто буржуа, дремлющий от обеда до ужина, от ужина до отхода ко сну. Мозг его теперь так окостенел, что в нем не осталось места ни для одной мысли, материя всецело завладела духом и бдительно стережет, как бы под крышку черепа не пробрался контрабандой какой-нибудь обрывок мысли.

Итак, был вечер; в лавках зажигались огни, а окна в верхних этажах закрывались; раздавались шаги сторожевого патруля.

Д'Артаньян по-прежнему ничего не слышал и тупо смотрел на клочок неба. В двух шагах от него, в темноте, лежал на мешке Планше, подперев подбородок руками. Он смотрел на д'Артаньяна, который мечтал или спал с открытыми глазами.

Наблюдения Планше длились уже долго.

– Гм, гм... – проворчал он наконец.

Д'Артаньян не шевельнулся. Тогда Планше понял, что нужно принять какие-то более радикальные меры. После зрелого размышления он нашел, что при настоящем положении вещей самое лучшее слезть с мешка на пол, что он и сделал, пробормотав при этом:

– Болван! (Этим эпитетом он наградил самого себя).

Но д'Артаньян, которому в своей жизни довелось слышать немало шумов, по-видимому, не обратил ни малейшего внимания на шум, произведенный Планше. Вдобавок огромная телега, нагруженная камнями, своим грохотом заглушила шум от этого падения. Однако Планше показалось, будто на лице мушкетера при слове «болван» промелькнула одобрительная улыбка.

Планше осмелел и сказал:

– Вы не спите, господин д'Артаньян?

– Нет, Планше, я даже не сплю, – отвечал мушкетер.

– Я в отчаянии от слова даже.

– Почему? Ведь это самое обыкновенное слово.

– Оно меня огорчает.

– Объяснись, я тебя не понимаю.

– Если вы говорите, что даже не спите, это значит, что вы не находите утешения даже в сне. Значит, вы как будто обращаетесь ко мне: «Планше, мне до смерти скучно».

– Ты знаешь, Планше, что я никогда не скучаю.

– Кроме сегодняшнего в вчерашнего дня.

– Что ты!

– Господин д'Артаньян, вот уже неделя, как вы приехали из Фонтенбло; вот уже неделя, как вы не командуете вашим отрядом и не выводите его на ученье. Вам не хватает треска мушкетов и грохота барабана. Я сам носил мушкет и понимаю вас.

– Уверяю тебя, Планше, что я ничуть не скучаю, – отвечал д'Артаньян.

– Так что же в таком случае вы делаете, лежа как мертвый?

– Друг мой Планше, когда я участвовал, когда ты участвовал, когда все мы участвовали в осаде Ла-Рошели, в нашем лагере был араб, искусный стрелок из кулеврины. Это был смышленный малый, хотя и оливкового цвета.

Так вот этот араб, поев или поработав, ложился, так, как я лежу в данную минуту, и курил какие-то волшебные листья в трубке с янтарным наконечником; если же какой-нибудь проходивший мимо офицер упрекал его за то, что он вечно дрыхнет, араб спокойно отвечал:

«Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать».

– Это был мрачный араб и по цвету кожи, и по изречениям, – промолвил Планше. – Я отлично его помню. Он с большим наслаждением рубил головы протестантов.

– Совершенно верно, и бальзамировал их, когда они того стоили.

– Да, и, бальзамируя их своими зельями, он был похож на корзинщика за работой.

– Да, да, Планше, совершенно верно.

– О, и у меня есть память!

– Не сомневаюсь. Но что скажешь ты о его рассуждении?

– С одной стороны, я нахожу его превосходным, а с другой – глупым.

– Объяснись, Планше, объяснись.

– Лучше сидеть, чем стоять, – да, это верно, когда устанешь, в некоторых обстоятельствах... (Планше лукаво улыбнулся.) Лучше лежать, чем сидеть; но последнее утверждение: лучше умереть, чем лежать, – я нахожу совершенно нелепым; я, безусловно, предпочитаю постель, и если вы не согласны со мною, то это доказывает только, что вы, как я уже имел честь сказать, смертельно скучаете.

– Планше, ты знаешь господина Лафонтена?

– Аптекаря на углу улицы Сен-Медерик?

– Нет, баснописца.

– А-а-а... «Ворона и лисица»?

– Вот-вот. Я точь-в-точь его заяц.

– Разве у него есть и заяц?

– У него всякие звери.

– Что же делает его заяц?

– Раздумывает.

– Вот как?

– Планше, и я раздумываю, как заяц господина Лафонтена.

– Вы думаете? – с тревогой спросил Планше.

– Да. Твое жилище, Планше, достаточно уныло и толкает на размышления; надеюсь, ты согласен со мной?

– Однако, сударь, у вас вид на улицу.

– Черт возьми, как это весело!

– А между тем, сударь, если бы ваша комната выходила во двор, вы скучали бы еще пуще... Нет, я хотел сказать: размышляли бы еще больше.

– Ей-богу, не знаю, Планше!

– Добро бы еще, – продолжал лавочник, – ваши мысли были похожи на те, что привели вас к реставрации Карла Второго.

И Планше тихонько засмеялся.

– Планше, друг мой, – упрекнул его д'Артаньян, – вы становитесь честолюбивы!

– Разве нет другого короля, которого можно было бы посадить на трон, господин д'Артаньян? Разве нет другого Монка, которого можно было бы упрятать в тюрьму?

– Нет, дорогой Планше. Все короли сидят на своих тронах... Может быть, впрочем, не так прочно, как я на этом кресле, но все-таки сидят.

И д'Артаньян вздохнул.

– Господин д'Артаньян, – сказал Планше, – вы огорчаете меня.

– Ты очень добр, Планше.

– У меня есть одно подозрение, да простит меня господь.

– Какое?

– Господин д'Артаньян, вы худеете.

– О-о-о! – воскликнул д'Артаньян, ударяя себя в грудь, которая зазвенела, как пустая кираса. – Это невозможно, Планше.

– Видите ли, – с чувством продолжал Планше, – так как вы худеете у меня...

– Ну?

– То я совершу что-нибудь страшное.

– Как?

– Да, да.

– Что ж ты сделаешь, скажи!

– Разыщу того, кто печалит вас.

– Ну вот, теперь ты говоришь о каких-то печалях.

– Да, у вас есть печаль.

– Нет, Планше, нет.

– Уверяю, что у вас есть печаль и от нее вы худеете.

– Я хуюеу? Ты уверен в этом?

– На глазах... Малага!.. Если вы будете худеть я дальше, я возьму рапиру и проткну грудь господину д'Эрбле.

– Что? – воскликнул д'Артаньян, подскочив на кресле. – Что вы сказали, Планше? Почему в вашей лавочке вдруг вспомнили господина д'Эрбле?

– Хорошо, хорошо! Сердитесь, если вам угодно, проклиняйте, если хотите, но – черт возьми! – я знаю то, что знаю.

После этого второго выпада Планше д'Артаньян сел в такой позе, чтобы не упустить ни одного движения достойного бакалейщика, то есть облокотился на колени и вытянул шею по направлению к собеседнику.

– Ну-ка, объяснись, – сказал он, – как мог ты произнести такое страшное кощунство, как мог ты поднять оружие на господина д'Эрбле, твоего прежнего господина, моего друга, духовное лицо, мушкетера, ставшего епископом?

– Я поднял бы оружие на родного отца, когда вижу вас в таком состоянии.

– Господин д'Эрбле – дворянин.

– Мне все равно, будь он хоть трижды дворянин. Из-за него у вас черные мысли, вот что я знаю. А от черных мыслей худеют. Малага! Я не хочу, чтобы господин д'Артаньян исхудал у меня в доме.

– Черные мысли из-за господина д'Эрбле? Объяснись, пожалуйста, объяснись.

– Уже три ночи подряд вас мучает кошмар.

– Меня?

– Да, вас, и во сне вы повторяете: «Арамис, коварный Арамис!»

– Я говорил это? – тревожно спросил д'Артаньян.

– Говорили, честное слово!

– Ну, так что же? Ведь ты знаешь поговорку, друг мой: всякий сон ложь.

– Нет, нет! Вот уже три дня, как, возвращаясь домой, вы каждый раз спрашиваете: «Ты видел господина д'Эрбле?» или же: «Ты не получал писем на мое имя от господина д'Эрбле?»

– Что же тут странного, если я интересуюсь своим дорогим другом? ухмыльнулся д'Артаньян.

– Это, конечно, вполне естественно, но не до такой степени, чтобы из-за этого уменьшаться в объеме.

– Планше, я потолстею, даю тебе честное слово.

– Хорошо, сударь, принимаю ваше обещание, так как знаю, что ваше честное слово священо...

– Мне больше не будет сниться Арамис.

– Прекрасно!..

– Я больше не буду спрашивать у тебя, получены ли письма от господина д'Эрбле.

– Превосходно.

– Но объясни мне одну вещь.

– Говорите, сударь...

– Я человек наблюдательный...

– Я это отлично знаю...

– Сейчас ты произносил странное ругательство... Я его никогда от тебя не слышал.

– «Малага» – хотите вы сказать?

– Да.

– Я всегда так ругаюсь, с тех пор как стал лавочником.

– Но ведь так называется сорт изюма.

– Я ругаюсь так, когда я взбешен. Если я сказал «малага» – значит, я перестал владеть собой.

– Но прежде я не слыхал от тебя ничего подобного.

– Это правда, сударь. Меня научили.

И, произнося эти слова, Планше подмигнул так хитро, что д'Артаньян внимательно взглянул на него.

– Эге! – протянул он.

Планше повторил:

– Эге!

– Вот как, вот как, господин Планше!

– Ей-богу, сударь, – сказал Планше, – я не похож на вас, я не люблю предаваться размышлениям.

– Напрасно.

– Я хочу сказать – не люблю скучать, сударь.

Жизнь так коротка, почему же ею не пользоваться?

– О, да ты эпикуреец, Планше!

– А почему же мне не быть им? Руки у меня ловкие, пишу ли я или отвешиваю сахар и пряности; ноги крепкие, танцую я или гуляю; желудок отменный, и ем хорошо и перевариваю; сердце не очень заскорузло... словом, сударь...

– Словом, Планше?
– Да вот... – протянул лавочник, потирая руки.
Д'Артаньян положил ногу на ногу.
– Планше, друг мой, вы меня оγοорошили. Вы предстаеаеа предо мной в совершенно новом свете.

Планше, польщенный до последней степени, продолжал потирать руки с такой силой, словно хотел стянуть с них кожу.

– Значит, оттого, что я простой человек, вы считали меня болваном?
– Браво, Планше, превосходное рассуждение.
– Извольте следить за моей мыслью, сударь. Я сказал, – продолжал Планше. – что без наслаждений нет счастья на земле.
– Совершенная правда, Планше! – перебил его д'Артаньян.
– Но так как наслаждения – вещь далеко уж не такая обыкновенная, то ограничимся утешениями.

– И ты утешаешься?
– Именно.
– Расскажи мне, как ты утешаешься.
– Вступая в бой со скукой, я надеваю щит. До времени я терплю, но накануне того дня, когда мне кажется, что я начну скучать, я развлекаюсь.

– И это вся твоя мудрость?
– Вся.
– Ты сам придумал это?
– Сам.
– Чудесно.
– Что вы скажете по этому поводу?
– Скажу, что ни одна философия в мире не сравнится с твоей.
– Так последуйте моему примеру!
– Соблазнительно. Лучшего я не хотел бы; но не все люди на один образец, и очень может быть, если бы я стал развлекаться, как ты советуешь, я страшно заскучал бы.

– Сначала попробуйте.
– Что же ты делаешь, скажи?
– Вы заметили, что я по временам уезжаю?
– Дорогой Планше, понимаешь, когда люди видятся почти каждый день и один исчезает, то это очень ощутительно для другого. Разве ты не чувствуешь моего отсутствия, когда я уезжаю из Парижа по делам?

– Еще бы, я тогда словно тело без души.
– Итак, у нас на этот счет нет разногласий. Продолжай!
– А вы обратили внимание, когда я уезжаю?
– Пятнадцатого и тридцатого каждого месяца.
– И находишься в отсутствии?
– Иногда два, иногда три, иногда четыре дня.
– Что же, по-вашему, я делаю?
– Собираешь деньги.
– И по возвращении какое у меня, по-вашему, лицо?
– Очень довольное.
– Значит, вы заметили, что я тогда бываю очень доволен. И чему вы приписываете это довольство?

– Тому, что твоя торговля шла хорошо, тому, что ты выгодно закупил рис, сливы, сахар, сушеные груши и патоку. У тебя всегда был очень живой характер, Планше, поэтому я несколько не удивился, узнав, что ты занялся бакалейной торговлей. Ведь это самая живая и самая приятная торговля, и, занимаясь ею, постоянно имеешь дело с самыми ароматными плодами земли.

– Хорошо сказано, сударь. Но вы ошибаетесь!
– Неужели ошибаюсь?
– Да, думая, что каждые две недели я уезжаю за деньгами или за покупками. Бог с вами, сударь, как вы могли подумать подобную вещь?

И Планше так расхохотался, что у д'Артаньяна зародились большие сомнения насчет собственной проницательности.

– Признаюсь, – улыбнулся мушкетер, – что ты гораздо хитрее, чем я думал.
– Сударь, это правда.
– Как правда?
– Вероятно, правда, раз вы говорите; но поверьте, что это несколько не уронило вас в моем мнении.

– Я очень рад.
– Ей-богу, вы человек гениальный. Когда дело касается войны, неожиданных решений, тактики и ловких ударов... О, короли ничто рядом с вами!

Но когда речь идет о душевных и телесных радостях, о сладостях жизни, если можно так выразиться, – ах, сударь, гениальные люди никуда не годятся! Они – сами себе палачи.

– Ей-богу, Планше, – сказал д'Артаньян, сгоравший от любопытства, ты меня страшно заинтересовал.

– Вам уже не так скучно, не правда ли?
– Я не скучал. Однако с тех пор, как ты начал говорить, мне стало гораздо веселее.
– Отлично для начала! Я вас вылечу, ручаюсь вам.
– Был бы очень рад.
– Давайте попробуем?
– Хоть сейчас.
– Ладно. У вас есть здесь лошади?
– Да, десять, двадцать, тридцать.
– Так много не нужно. Хватит и двух.
– Они в твоём распоряжении, Планше.
– Прекрасно, я вас увезу.
– Когда?
– Завтра.
– Куда?
– Вы хотите знать слишком много.
– Однако согласись, что мне нужно знать, куда я еду.
– Вы любите деревню?
– Не очень, Планше.
– Значит, вы любите город?
– Смотря по обстоятельствам.
– Ну, так я отвезу вас в одно место, которое наполовину город, наполовину деревня.
– Хорошо.
– И там вам будет очень весело, я в этом уверен.
– Прекрасно!
– И – о чудо! – это то самое место, откуда вы только что бежали от скуки.
– Я?
– Да, вы смертельно скучали.
– Значит, ты едешь в Фонтенбло?
– Именно в Фонтенбло.
– Боже мой, что же ты там будешь делать?
В ответ на эти слова Планше лукаво подмигнул д'Артаньяну.
– У тебя, злодей, есть там недвижимость?
– О, домишко, сущая безделица! По там премило, честное слово.
– Я еду в поместье, Планше! – воскликнул д'Артаньян.

– Когда пожелаете?
– А разве мы не условились на завтра?
– Хорошо, завтра; к тому же завтра четырнадцатое число, то есть канун того дня, когда я боюсь соскучиться. Итак, решено?
– Решено.
– Вы дадите мне одну из ваших лошадей.
– Лучшую.
– Нет, я предпочел бы самую смирную; вы же знаете, я никогда не был хорошим наездником. А в лавке я окончательно отвык. И потом...
– Потом?
– Потом, – продолжал Планше, снова подмигивая, – я не хочу утомляться.
– Почему? – решил спросить д'Артаньян.
– Если бы я устал, какое было бы для меня веселье!

С этими словами он поднялся с мешка кукурузы и стал потягиваться, довольно гармонично похрустывая всеми суставами.

– Планше! Планше! – воскликнул д'Артаньян. – Я считаю, что сибаритам не угнаться за тобой! Ах, Планше! Видно, что мы еще не съели вместе пуда соли.

– Почему же это, сударь?

– Да ведь я еще не знаю тебя, – сказал д'Артаньян, – и теперь окончательно утверждаюсь в мысли, которая однажды мелькнула у меня в Булони, когда ты чуть не задушил Любена, лакея господина де Варда. Планше, твоя изобретательность неистощима.

Планше самодовольно засмеялся, пожелал мушкетеру спокойной ночи и спустился в комнату за лавкой, которая служила ему спальней.

д'Артаньян снова сел в прежней позе, и его лицо, на мгновение прояснившееся, стало еще более задумчивым. Он уже позабыл о сумасбродных выходках Планше.

«Да, – сказал он себе, возвращаясь к мыслям, прерванным только что изложенным приятным разговором. – Да, все дело в следующем: 1) узнать, чего Безмо хотел от Арамиса; 2) узнать, почему нет вестей от Арамиса; 3) узнать, где Портос. Тут скрыта какая-то тайна. И, – продолжал д'Артаньян, – раз друзья ничего не сообщают мне, обратимся к помощи нашего бедного умишки. Сделаем все, что можно, черт побери, или малага, как говорит Планше».

Глава 9. ПИСЬМО Г-НА ДЕ БЕЗМО

Для осуществления принятого решения д'Артаньян на следующее же утро отправился к г-ну де Безмо.

В Бастилии в этот день производилась уборка: полировали и мыли пушки, скоблили лестницы; казалось, что тюремщики чистят даже ключи. Одни гарнизонные солдаты разгуливали по дворам под предлогом, что они достаточно чисты.

Комендант Безмо принял д'Артаньяна с изысканной вежливостью, но был с ним так сдержан, что, несмотря на все старанья, д'Артаньяну не удалось выудить от него ни слова. Но чем сдержаннее был комендант, тем недоверчивее становился д'Артаньян. И ему показалось даже, что комендант действует так по какому-то недавно полученному приказанию.

В Пале-Рояле Безмо вел себя с д'Артаньяном совсем иначе. Он не был тем холодным и непроницаемым человеком, каким казался в Бастилии.

Когда д'Артаньян вздумал завести речь о денежных затруднениях, заставивших Безмо отыскивать Арамиса и побудивших коменданта к разговорчивости в тот вечер, Безмо сослался на распоряжение, которое ему нужно было отдать в тюрьме, и так долго заставил д'Артаньяна скучать в одиночестве, что наш мушкетер, отчаявшись вытянуть у него еще что-нибудь, не дождался его возвращения и ушел.

Но у д'Артаньяна зародились подозрения, а в таких случаях ум его не дремал. Как кошка среди четвероногих, так и д'Артаньян среди людей был живым воплощением тревоги и

нетерпения. Встревоженная кошка как же не способна оставаться на месте, как шелковинка, колеблемая ветром. Кошка, подстерегающая мышь, замирает на своем наблюдательном посту, и ни голод, ни жажда не способны заставить ее тронуться с места.

Горевший нетерпением д'Артаньян вдруг стряхнул с себя это чувство, как слишком тяжелый плащ. Он пришел к убеждению, что от него скрывают как раз то, что ему важно знать. Развивая свои мысли, он решил далее, что Безмо не преминет сообщить Арамису о только что нанесенном визите, если Арамис действительно дал ему какое-нибудь предписание. Так и случилось.

Не успел еще Безмо вернуться из тюрьмы, как д'Артаньян спрятался в засаду возле улицы Пти-Мюск, откуда видно было всех выходящих из Бастилии. Пробыв около часа в тени навеса возле гостиницы «Золотая борона», д'Артаньян увидел наконец, как из тюрьмы вышел солдат.

Это было как раз то, чего он желал. Каждый сторож, каждый тюремщик Бастилии имел свои выходные дни, даже часы, потому что никому из них не позволялось жить в крепости и приводить туда своих жен. Они могли выходить, следовательно, не возбуждая любопытства.

Но стоявших там солдат запирали на сутки, это всем было известно, и д'Артаньяну лучше, чем другим. Такие солдаты могли выходить в форме только по особому приказанию, по срочному делу.

Итак, из Бастилии показался солдат и пошел медленно-медленно, с видом счастливого смертного, который, вместо караула в несносной кордегардии или на не менее скучном бастионе, неожиданно получает свободу и возможность прогуляться, причем эти два удовольствия сочетаются у него с исполнением служебного поручения. Солдат направился к предместью Сент-Антуан, упиваясь свежим воздухом, солнцем и поглядывая на женщин.

д'Артаньян издали стал следить за ним. Его намерения еще не определились.

– Прежде всего нужно посмотреть в лицо этого простака. Увидев человека, легче судить о нем.

д'Артаньян ускорил шаг и без труда обогнал солдата. Он не только разглядел его смышленное и решительное лицо, но заметил также, что у него был довольно-таки красный нос.

«Малый любит выпить», – мелькнуло у него в голове.

Одновременно с красным носом ему бросился в глаза сложенный лист белой бумаги за поясом солдата.

«Отлично, у него есть письмо, – продолжал рассуждать д'Артаньян. Солдат, должно быть, очень рад, что на него пал выбор господина Безмо.

Он не продаст послания».

Пока д'Артаньян досадовал на – это обстоятельство, солдат продолжал шагать по направлению к Сент-Антуанскому предместью.

«Он, конечно, направляется в Сен-Манде, – решил мушкетер, – и я не узнаю, что в этом письме...»

Было от чего потерять голову.

«Если бы я был в форме, – сказал д'Артаньян, – я велел бы задержать молодца вместе с письмом. Первый же патруль помог бы мне. Но, черт возьми, не стану же я объявлять своего имени ради подобного подвига! Напоить его? Но у него родятся подозрения, и я сам, чего доброго, опьянею... Ах, прах побери, какой же я стал безмозглый! Напасть на несчастного, обезоружить его, убить из-за письма? На это можно было бы пойти, если бы дело шло о письме королевы к лорду или о письме кардинала к королеве. Но боже мой, из-за жалких интриг господ Арамиса и Фуке против господина Кольбера погубить человеческую жизнь! Нет, это не стоит даже десяти экю!»

Так он философствовал, грызя ногти и кусая усы, и вдруг увидел небольшую группу полицейских с комиссаром. Они вели человека красивой наружности, отбивавшегося от них изо всех сил. Полицейские изорвали на нем платье и тащили его. Арестованный требовал, чтобы с ним обращались вежливо, заявляя, что он дворянин.

Завидя нашего посыльного, бедняга крикнул:

– Эй, солдат, сюда!

Солдат подошел к арестованному; вокруг полицейских собиралась толпа.

В эту минуту у д'Артаньяна родилась мысль. Это была первая его мысль, и, как читатель увидит, неплохая.

Дворянин стал рассказывать солдату, что его захватили в одном доме как вора, тогда как на самом деле он был любовником хозяйки; курьер выразил ему сочувствие и стал утешать его, давая советы со всей серьезностью, какую французский солдат вкладывает в свои слова, когда дело касается самолюбия и духа корпорации. Д'Артаньян подкрался к солдату, тесно окруженному толпой, и ловко вытащил у него бумагу из-за пояса. Так как в этот момент дворянин в разорванной одежде тянул солдата в свою сторону, а комиссар дергал дворянина к себе, то д'Артаньян овладел письмом без малейшей помехи.

Он отошел шагов на десять за угол и прочел адрес:

«Господину дю Валлону у г-на Фуке, в Сен-Манде».

– Отлично, – сказал д'Артаньян.

И, не разрывая конверта, он вскрыл его и вытащил сложенный вчетверо лист, на котором стояли нижеследующие слова:

«Дорогой дю Валлон. Благоволите передать г-ну д'Эрбле, что он приходил в Бастилию и расспрашивал.

Преданный вам де Безмо».

– Ну, теперь все ясно! – воскликнул д'Артаньян. – Портос с ними заодно.

Узнав то, что ему было нужно, мушкетер подумал:

– Черт возьми! Бедному солдатику достанется от Безмо за мою проделку... Если он вернется без письма... Что ему будет? В сущности, мне вовсе не нужно это письмо; когда яйцо съедено, зачем скорлупа?

Д'Артаньян увидел, что комиссар и полицейские убедили солдата не вмешиваться и повели арестованного дальше. Посланца Безмо по-прежнему окружала толпа.

Д'Артаньян замешался в самую гущу, незаметно уронил письмо и поспешно удалился. Наконец солдат снова двинулся в путь по направлению к Сен-Манде, продолжая думать о дворянине, который просил его заступничества.

Вдруг он вспомнил о поручении, взглянул на пояс и увидел, что письма нет. Его отчаянный крик доставил удовольствие д'Артаньяну.

Бедняга принялся оглядываться с выражением ужаса на лице и наконец на расстоянии двадцати шагов от себя заметил желанный конверт. Он устремился к нему, как сокол бросается на добычу. Правда, конверт немного запылится и помялся, но письмо все же было найдено.

Д'Артаньян заметил, что сломанная печать очень обеспокоила солдата.

Однако он, по-видимому, утешился в конце концов и снова сунул бумагу за пояс.

«Ступай, – мысленно напутствовал его д'Артаньян, – у меня теперь довольно времени; можешь опередить меня. Должно быть, Арамиса нет в Париже, раз Безмо пишет Портосу. Милый Портос, как приятно повидаться с ним... и побеседовать», – так заключил свои размышления гасконец.

И, соразмеряя свои шаги с шагами солдата, мушкетер решил явиться к г-ну Фуке через четверть часа после солдата.

Глава 10.

ЧИТАТЕЛЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ УВИДИТ, ЧТО СИЛА ПОРТОСА НИСКОЛЬКО НЕ УБАВИЛАСЬ

Д'Артаньян по обыкновению произвел выкладку, и у него получилось, что час равняется шестидесяти минутам, а минута шестидесяти секундам. Благодаря этому совершенно правильному вычислению минут и секунд он подошел к дверям дома суперинтенданта как раз в тот момент, когда солдат выходил оттуда с пустым поясом.

Консьерж в расшитом кафтане приоткрыл перед ним дверь. Д'Артаньяну очень хотелось войти без доклада, но это было немыслимо. Он назвал себя.

Казалось, это должно было уничтожить всякие затруднения, как, по крайней мере, думал Д'Артаньян, по консьерж колебался. Однако, вторично услышав слова «капитан королевской гвардии», он перестал загораживать дверь, хотя и не давал дороги.

Д'Артаньян понял, что слуге был дан строжайший приказ. Он решил поэтому солгать, что, впрочем, не стоило ему большого труда в тех случаях, когда он видел во лжи государственную пользу или даже просто личную выгоду. Поэтому он добавил, что это он послал солдата, доставившего письмо г-ну дю Баллону, и что в этом письме сообщается о его личном прибытии.

После этого двери раскрылись настежь, и Д'Артаньян вошел.

Его хотел проводить лакей, но Д'Артаньян заявил, что это лишнее, ибо он прекрасно знает, как пройти к г-ну дю Баллону. Человеку столь хорошо осведомленному возражать было нечего. И Д'Артаньян получил свободу действий.

Подъезды, салоны, сады – все было осмотрено мушкетером. Добрые четверть часа он бродил по этому более чем королевскому дворцу, где каждая вещь была чудом и где было столько же слуг, сколько колонн и дверей.

«Положительно, – сказал он себе, – этим комнатам нет конца... Может быть, Портос вернулся в Пьерфон, не выходя из дома господина Фуке?»

Наконец Д'Артаньян зашел в дальнюю часть дворца, которая была опоясана каменной оградой, увитой декоративными растениями со множеством пышных цветов.

На равных расстояниях друг от друга по ограде поднимались статуи.

Весталки, закутанные в пеплумы, падавшие широкими складками, как бы стояли на страже, устремляя на дворец свои робкие взгляды. Гермес, прижавший палец к губам, Ирида, расправившая крылья, ночь со снопом маков высились над садами и постройками, белели на фоне высоких черных кипарисов, тянувшихся вершинами к небу.

Вокруг кипарисов росли розы, цеплявшиеся своими цветущими ветками за каждый сучок и осыпавшие статуи дождем благоуханных лепестков.

Эта волшебная красота настроила мушкетера на поэтический лад. Мысль, что Портос живет в таком раю, возвышала Портоса в его глазах.

Д'Артаньян увидел дверь и нажал на ручку. Дверь открылась. Он вошел и оказался в круглом павильоне, где не было слышно ничего, кроме журчания фонтана и пения птиц.

У дверей павильона мушкетера встретил лакей.

– Здесь живет барон дю Валлон? – решительным тоном спросил Д'Артаньян.

– Да, сударь, – отвечал лакей.

– Доложите ему, что его ждет шевалье Д'Артаньян, капитан мушкетеров его величества.

Д'Артаньяна ввели в салон. Ему не пришлось долго ждать: вскоре пол соседней залы задрожал под хорошо знакомыми шагами, дверь распахнулась, и Портос с некоторым смущением бросился в объятия своего друга.

– Вы здесь? – воскликнул он.

– А вы? – отвечал Д'Артаньян. – Ах, хитрец!

– Да, – со смущенной улыбкой сказал Портос. – Да, вы находите меня у господина Фуке, и это вас немного удивляет?

– Ничуть; почему бы вам не быть другом господина Фуке? У господина Фуке много друзей, особенно среди людей умных.

Портос из скромности не принял этого комплимента на свой счет.

– К тому же, – прибавил он, – вы меня видели в Бель-Иле.

– Лишнее основание считать вас другом господина Фуке.
– Я просто знаком с ним, – протянул Портос с некоторым замешательством.
– Ах, друг мой, как вы провинились передо мной!
– Чем? – воскликнул Портос.
– Как! Вы работаете над возведением укреплений Бель-Иля и ни слова не сообщаете мне об этом.

Портос покраснел.

– Больше того, – продолжал д'Артаньян, – вы меня встречаете там; вы знаете, что я на службе у короля, и не догадываетесь, что король, жаждущий узнать, что это за замечательный человек возводит сооружения, о которых ему рассказывают чудеса, – не догадываетесь, что король послал меня собрать сведения об этом человеке.

– Как, король послал вас собрать сведения?
– Разумеется! По не будем говорить об этом.
– Черт побери! – вскричал Портос. – Напротив, поговорим; значит, король знал, что Бель-Иль укрепляют?

– Еще бы! Королю все известно.
– А ведь не было же ему известно, кто возводил укрепления?
– Не было; но, судя по рассказам, он подозревал, что строит их какой-то замечательный воитель.

– Черт побери! Если бы я знал это!
– То вы не бежали бы из Ванна. Не правда ли?
– Нет. Что вы подумали, когда не нашли меня там?
– Я стал размышлять, дорогой мой.
– Ах, вот как... К чему же привели вас ваши размышления?
– Я догадался обо всем.
– Обо всем?
– Да.
– О чем же вы догадались? Послушаем, – сказал Портос, усаживаясь поудобнее в кресле.
– Прежде всего о том, что вы укрепляете Бель-Иль.
– Ах, это было не мудрено! Вы видели меня за работой.
– Погодите; я догадался еще кое о чем. А именно, что вы укрепляете Бель-Иль по приказанию господина Фуке.

– Совершенно верно.
– Еще не все. Раз начав догадываться, я не останавливаюсь на полдороге.
– Милый д'Артаньян!
– Я понял, что господин Фуке хочет держать эти работы в строжайшей тайне.
– Действительно, насколько мне известно, у него было такое намерение, – согласился Портос.

– Да; но известно ли вам, почему он хотел хранить все это в тайне?
– Да просто чтобы никто не знал об укреплении, черт возьми!
– Это во-первых. Но его желание было порождено также мыслью оказать любезность...
– Действительно, я слышал, что господин Фуке человек очень любезный.
– Мыслью оказать любезность королю.
– Вот как?
– Это вас удивляет?
– Да.
– Вы этого не знали?
– Нет.
– А я вот знаю.
– Значит, вы волшебник.
– Ничуть.
– Откуда же вы знаете в таком случае?

– Да очень просто. Я слышал, как господин Фуке сам говорил это королю.

– Что говорил?

– Что решил укрепить Бель-Иль и поднести его королю в подарок.

– Вы слышали, как господин Фуке говорил все это королю?

– Передаю его подлинные слова. Он даже прибавил: «Бель-Иль укреплен одним моим другом, замечательным инженером, и я попрошу позволения представить его королю». – «Его имя?» – спросил король. «Барон дю Валлон», – отвечал г-н Фуке. «Хорошо, – отвечал король, – вы мне представите его».

– Король так и отвечал?

– Слово д'Артаньяна!

– Но почему же в таком случае меня не представили? – удивился Портос.

– Разве вам не говорили об этом представлении?

– Говорили, но я все еще жду его.

– Не беспокойтесь, представят.

– Гм, гм! – проворчал Портос.

Д'Артаньян переменял тему разговора.

– Вы, по-видимому, живете очень уединенно, дорогой друг – заметил он.

– Я всегда любил одиночество. Я меланхолик, – вздохнул Портос.

– Странно! – сказал д'Артаньян. – Я что-то не замечал этого раньше.

– Это у меня с тех пор, как я стал заниматься науками, – с озабоченным видом отвечал Портос.

– Надеюсь, что умственный труд не повредил телесному здоровью?

– О, несколько.

– Силы не убавилось?

– Несколько, друг мой, несколько!

– Дело в том, что мне говорили, будто в первые дни по вашем приезде...

– Я не способен был шевельнуться, не правда ли?

– Как! – улыбнулся д'Артаньян. – Почему же вы не могли шевельнуться?

Портос понял, что сказал глупость, и захотел поправиться:

– Я приехал из Бель-Иля на плохих лошадях, и это утомило меня.

– Теперь меня не удивляет, что я видел на дороге семь или восемь павших лошадей, когда ехал вслед за вами.

– Видите ли, я тяжел, – сказал Портос.

– Значит, вы были разбиты?

– Жир мой растопился, вот я и заболел.

– Бедный Портос... Ну а как обошелся с вами Арамис?

– Отлично... Он поручил меня попечению личного врача господина Фуке.

Но представьте, что через недолго я стал задыхаться.

– Как так?

– Комната была слишком мала; я поглощал слишком много воздуха.

– Неужели?

– Так мне сказали, по крайней мере... И меня перевели в другое помещение.

– И там вы вздохнули свободнее?

– Там мне стало гораздо лучше; по у меня не было никаких занятий, мне нечего было делать. Доктор уверял, что мне нельзя двигаться. Я же, напротив, чувствовал себя сильнее, чем когда-нибудь. От этого произошел один неприятный случай.

– Какой случай?

– Представьте себе, дорогой друг, что я взбунтовался против предписаний дурака доктора и решил выходить, понравится ему это или нет. Итак, я приказал прислуживавшему мне лакею принести платье.

– Вы, значит, были раздеты, мой бедный Портос?

– Нельзя сказать, чтобы, совсем, на мне был великолепный халат. Лакей повиновался; я

надел свое платье, которое стало мне слишком широко. Но вот странная вещь: ноги мои, напротив, увеличились.

– Да, понимаю.

– Сапоги сделались очень узкими.

– Значит, ваши ноги распухли?

– Вы угадали.

– Еще бы! И это вы называете неприятным случаем?

– Именно. Я рассуждал не так, как вы. Я сказал себе: «Если на мои ноги десять раз налезали эти сапоги, то нет никаких оснований думать, что они не налезут в одиннадцатый раз».

– На этот раз, милый Портос, позвольте мне заметить, что вы рассуждали нелогично.

– Словом, я уселся около перегородки и попробовал надеть правый сапог, я тянул его руками, подталкивал другой ногой, делал невероятные усилия, и вдруг оба ушка от сапога остались в моих руках, а нога устремилась вперед, как снаряд из катапульты.

– Из катапульты! Как вы сильны в фортификации, дорогой Портос!

– Итак, нога устремилась вперед, встретила на своем пути перегородку и пробила ее. Друг мой, мне показалось, что я, как Самсон, разрушил храм. Сколько при этом повалилось на пол картин, статуй, цветочных горшков, ковров, занавесей! Прямо невероятно!

– Неужели?

– Не считая того, что по другую сторону перегородки стояла этажерка с фарфором.

– И вы опрокинули ее?

– Да, она отлетела в другой конец комнаты. – Портос захохотал.

– Действительно, вы правы, это невероятно. – И д'Артаньян расхохотался вслед за Портосом.

Портос смеялся все громче.

– Я разбил фарфора, – продолжал он прерывающимся от смеха голосом, больше чем на три тысячи франков, ха-ха-ха!..

– Великолепно!

– Не считая люстры, которая упала мне прямо на голову и разлетелась на тысячу кусков, ха-ха-ха!..

– На голову? – переспросил д'Артаньян, хватаясь за бока.

– Прямо на голову!

– И пробила вам череп?

– Нет, ведь я же сказал вам, что разлетелась люстра, она была стеклянная.

– Люстра была стеклянная?

– Да, из венецианского стекла. Редкость, дорогой мой, уникальная вещь и весила двести фунтов.

– И упала вам на голову?

– На... го... ло... ву... Представьте себе раззолоченный хрустальный шар с инкрустациями снизу, с рождками, из которых выходило пламя, когда люстру зажигали.

– Это понятно. Но тогда она не была зажжена?

– К счастью, нет, иначе я сгорел бы.

– И вы отделались только тем, что были придавлены?

– Нет.

– Как нет?

– Да так, люстра упала мне на череп. А у нас на макушке, по-видимому, необыкновенно крепкая кость.

– Кто это вам сказал, Портос?

– Доктор. Нечто вроде купола, который выдержал бы собор Парижской богородицы.

– Да что вы?

– Наверное, у всех людей череп устроен таким образом.

– Говорите за себя, дорогой друг; это у вас, а не у других череп устроен так.

– Возможно, – сказал самодовольно Портос. – Значит вот, когда люстра упала на купол, который у нас на макушке, раздался шум вроде пушечного выстрела; хрусталь разбился, а я упал, весь облитый...

– Кровью? Бедный Портос!

– Нет, ароматным маслом, которое пахло превосходит но, но чересчур сильно; я почувствовал головокружение от этого запаха. Вам приходилось испытывать что-нибудь подобное, д'Артаньян?

– Да, случалось, когда я нюхал ландыши. Итак, бедняга Портос, вы упали и были одурманены ароматом?

– Но самое удивительное, – и врач клялся, что никогда не видывал ничего подобного...

– У вас все же, должно быть, вскочила шишка, – перебил д'Артаньян.

– Целых пять.

– Почему же пять?

– Да потому, что снизу на люстре было пять необыкновенно острых украшений.

– Ай!

– Эти пять украшений вонзились мне в волосы, которые у меня, как видите, очень густые.

– К счастью.

– И задела кожу. Но обратите внимание на одну странность, – это могло случиться только со мной. Вместо впадин у меня вскочили шишки. Доктор не мог удовлетворительно объяснить мне это явление.

– Ну, так я вам объясню.

– Вы очень меня обяжете, – сказал Портос, моргая глазами, что служило у него признаком величайшего напряжения мысли.

– С тех пор, как ваш мозг предается изучению наук, серьезным вычислениям, он увеличился в объеме. Таким образом, ваша голова переполнена науками.

– Вы думаете?

– Я уверен в этом. От этого получается, что ваша черепная коробка не только не дает проникнуть в голову ничему постороннему, но, будучи переполненной, пользуется каждым случайным отверстием, чтобы выбрасывать наружу избыток.

– А-а-а! – протянул Портос, которому это объяснение показалось более толковым, чем объяснение врача.

– Пять выпуклостей, вызванных пятью украшениями люстры, были, конечно, пятью скоплениями научных знаний, вылезших наружу под действием внешних обстоятельств.

– Действительно! – обрадовался Портос. – Вот почему голова моя болела больше снаружи, чем внутри. Я вам признаюсь даже, что, надевая шляпу и нахлобучивая ее на голову энергично-грациозным ударом кулака, свойственным нам, военным, я испытывал иногда страшную боль, если не соразмерял как следует силу удара.

– Портос, я вам верю.

– И вот, дорогой друг, – продолжал великан, – господин Фуке, видя, что его дом недостаточно прочен для меня, решил отвести мне другое помещение. И меня перевели сюда.

– Это заповедный парк, не правда ли?

– Да.

– Парк свиданий, известный таинственными похождениями суперинтенданта.

– Не знаю; у меня тут не было ни свиданий, ни таинственных приключений; но мне позволено упражнять здесь свои мышцы, и, пользуясь этим разрешением, я вырываю деревья с корнями.

– Зачем?

– Чтобы размять руки и доставать птичьи гнезда; я нахожу, что так удобнее, чем карабкаться наверх.

– У вас пастушеские наклонности, как у Тирсиса, дорогой Портос.

– Да, я люблю птичьи яйца несравненно больше, чем куриные. Вы не можете себе

представить, что за изысканное блюдо омлет из четырехсот или пятисот яиц канареек, зябликов, скворцов и дроздов!

– Как – из пятисот яиц? Это чудовищно!

– Все они умещаются в одной салатнице.

Д'Артаньян минут пять любовался Портосом, точно видел его впервые.

Портос же расцветал под взглядами друга. Они сидели так несколько минут.

Д'Артаньян смотрел, Портос блаженствовал. Д'Артаньян искал, по-видимому, новую тему для разговора.

– Вам здесь весело, Портос? – спросил он, найдя наконец эту тему.

– Не всегда.

– Ну, понятно; однако когда вам станет слишком скучно, что вы будете делать?

– О, я буду здесь недолго! Арамис ждет только, чтобы у меня исчезла последняя шишка, и тогда представит меня королю. Король, говорят, терпеть не может шишек.

– Значит, Арамис все еще в Париже?

– Нет.

– Где же он?

– В Фонтенбло.

– Один?

– С господином Фуке.

– Отлично. Но знаете ли...

– Нет. Скажите, и я буду знать.

– Мне кажется, что Арамис забывает вас.

– Вам так кажется?

– Там, видите ли, смеются, танцуют, пируют, распивают вина из подвалов господина Мазарини. Известно ли вам, что там каждый вечер дается балет?

– Черт возьми!

– Повторяю, ваш милый Арамис вас забывает.

– Очень может быть. Я сам иногда так думал.

– Если только этот хитрец не изменяет вам!

– О-о-о!..

– Вы знаете, этот Арамис хитрая лисица.

– Да, но изменять мне...

– Послушайте: прежде всего, он лишил вас свободы.

– Как это лишил свободы? Разве я не на свободе?

– Конечно, нет!

– Хотел бы я, чтобы вы мне доказали это.

– Ничего нет проще. Вы выходите на улицу?

– Никогда.

– Катаетесь верхом?

– Никогда.

– К вам допускают друзей?

– Никогда.

– Ну так, мой друг, кто никогда не выходит на улицу, кто никогда не катается верхом, кто никогда не видится с друзьями, тот лишен свободы.

– За что же Арамису лишать меня свободы?

– Будьте откровенны, Портос, – дружески попросил Д'Артаньян.

– Я совершенно откровенен.

– Ведь это Арамис составил план укреплений Бель-Иля – не правда ли?

Портос покраснел.

– Да, – согласился он, – но он только и сделал, что начертил план.

– Именно, и я считаю, что это не бог весть какая важность.

– Я всецело разделяю ваше мнение.

– Отлично; я в восторге, что мы одинаково мыслим.
– Он даже никогда не приезжал в Бель-Иль, – сказал Портос.
– Вот видите!
– Напротив, я ездил к нему в Ванн, как вы могли видеть.
– Скажите лучше – как я видел. И вот в чем дело, дорогой Портос: Арамис, начертивший только план, желает, чтобы его считали инженером, вас же, построившего по камешку стены крепости и бастионы, он хочет низвести до степени простого строителя.

- Строителя – значит, каменщика?
- Да, именно каменщика.
- Который возится с известкой?
- Именно.
- Чернорабочего?
- Точно так.
- О, милейший Арамис думает, что ему все еще двадцать пять лет!
- Мало того, он думает, что вам пятьдесят.
- Хотел бы я его видеть за работой.
- Да.
- Старый хрыч, разбитый подагрой.
- Да.
- Больные почки.
- Да.
- Не хватает трех зубов.
- Четырех.
- Тогда как у меня, глядите!

И, раскрыв толстые губы, Портос продемонстрировал два ряда зубов, правда, потемнее снега, но чистых, твердых и крепких, как слоновая кость.

– Вы не можете себе представить, Портос, – сказал д'Артаньян, – какое внимание обращает король на зубы. Увидя ваши, я решился. Я вас представлю королю.

- Вы?
- А почему бы и нет? Разве вы думаете, что мое положение при дворе хуже, чем положение Арамиса?
- О нет!
- Думаете, что я хочу предъявить какие-нибудь права на укрепление Бель-Иля?
- О, конечно, нет!
- Значит, я действую только в ваших интересах.
- Не сомневаюсь в этом.
- Так вот, я – близкий друг короля; доказательством служит то, что когда он должен сказать кому-нибудь что-либо неприятное, я беру эту обязанность на себя...
- Но, милый друг, если вы меня представите...
- Дальше?
- Арамис рассердится.
- На меня?
- Нет, на меня.
- Но не все ли равно, кто вас представит: он или я, если вас должны представить?
- Мой парадный костюм еще не готов.
- Ваш костюм и теперь великолепен.
- Тот, что я заказал, во много раз наряднее.
- Берегитесь, король любит простоту.
- В таком случае я буду прост. Но что скажет господин Фуке, узнав, что я уехал?
- Разве вы дали слово не покидать место вашего заточения?
- Не совсем. Я только обещал не уходить отсюда без предупреждения.
- Подождите, мы еще вернемся к этому. У вас есть здесь какое-нибудь дело?

– У меня? Во всяком случае, ничего серьезного.
– Если только вы не являетесь посредником Арамиса в каком-либо важном деле.
– Даю вам слово, что нет.
– Вы понимаете, я говорю это только из участия к вам. Предположим, например, что на вас возложена обязанность пересылать Арамису письма, бумаги...

– Письма, да! Я посылаю ему кое-какие письма.

– Куда же?

– В Фонтенбло.

– И у вас есть такие письма?

– Но.

– Дайте мне договорить. У вас есть такие письма?

– Я только что получил одно.

– Интересное?

– Нужно думать.

– Вы, значит, их не читаете?

– Я не любопытен.

И Портос вынул из кармана письмо, принесенное солдатом, которое он не читал, но которое д'Артаньян уже прочел.

– Знаете, что нужно сделать? – спросил д'Артаньян.

– Да то, что я всегда делаю: отослать его.

– Вовсе нет.

– Что же: удержать его у себя?

– Опять не то. Разве вам не сказали, что это письмо важное?

– Очень важное.

– В таком случае вам нужно самому свезти его в Фонтенбло.

– Арамису?

– Да.

– Это правда.

– И так как король в Фонтенбло...

– То вы воспользуетесь этим случаем...

– То я воспользуюсь этим случаем, чтобы представить вас королю.

– Ах, черт побери, д'Артаньян, ну и изобретательный вы человек!

– Итак, вместо того чтобы посылать нашему другу более или менее верное донесение, мы сами отвезем ему письмо.

– Мне в голову это не приходило, а между тем это так просто.

– Вот почему, дорогой Портос, мы должны отправиться в путь немедленно.

– В самом деле, – согласился Портос, – чем скорее мы отправимся, тем меньше запоздает письмо к Арамису.

– Портос, вы рассуждаете, как Аристотель, и логика всегда приходит на помощь вашему воображению.

– Вы находите? – сказал Портос.

– Это следствие серьезных занятий, – отвечал д'Артаньян. – Ну, едем!

– А как же мое обещание господину Фуке?

– Какое?

– Не покидать Сен-Манде, не предупредив его.

– Ах, милый Портос, – улыбнулся д'Артаньян, – какой же вы мальчик!

– То есть?

– Вы ведь едете в Фонтенбло, не правда ли?

– Да.

– Вы там увидите господина Фуке?

– Да.

– Вероятно, у короля?

– У короля, – торжественно повторил Портос.

– В таком случае вы подойдете к нему и скажете: «Господин Фуке, имею честь предупредить вас, что я только что покинул Сен-Манде».

– И, – произнес Портос с той же торжественностью, – увидев меня в Фонтенбло у короля, господин Фуке не посмеет сказать, что я лгу.

– Дорогой Портос, я собирался открыть рот, чтобы сказать вам это самое; вы во всем опережаете меня. О Портос, какой вы счастливец, время щадит вас!

– Да, не могу пожаловаться.

– Значит, все решено?

– Думаю, что да.

– Вас больше ничто не смущает?

– Думаю, что нет.

– Так я увожу вас?

– Отлично; я велю оседлать лошадей.

– Разве у вас есть здесь лошади?

– Целых пять.

– Которых вы взяли с собой из Пьерфона?

– Нет, мне их подарил господин Фуке.

– Дорогой Портос, нам не нужно пяти лошадей для двоих, к тому же у меня есть три лошади в Париже. Это составит восемь. Пожалуй, слишком много.

– Это было бы не много, если бы здесь находились мои люди; но, увы, их нет!

– Вы жалеете об этом?

– Я жалею о Мушкетоне, Мушкетона мне недостает.

– Чудное сердце, – сказал д'Артаньян, – но знаете что: оставьте ваших лошадей здесь, как вы оставили Мушкетона там.

– Почему же?

– Потому что впоследствии...

– Ну?

– Впоследствии, может быть, окажется лучше, что господин Фуке ничего не дарил вам.

– Не понимаю, – отвечал Портос.

– Вам незачем понимать.

– Однако...

– Потом я объясню вам все, Портос.

– Тут какая-то политика, держу пари.

– И самая тонкая.

При слове политика Портос опустил голову; подумав с минуту, он продолжал:

– Признаюсь вам, д'Артаньян, я не политик.

– О да, я ведь отлично это знаю.

– Никто этого не знает. Вы сами сказали мне это, храбрец из храбрецов.

– Что я вам сказал, Портос?

– Что на все свое время. Вы сказали мне это, и я узнал на опыте. Приходит пора, когда получаешь удары шпагой с меньшим удовольствием, чем в былое время.

– Да, это моя мысль.

– И моя тоже, хотя я не верю в смертельные удары.

– Однако вы же убивали?

– Да, но сам ни разу не был убит.

– Отличный довод.

– Итак, я не думаю, что умру от клинка шпаги или от ружейной пули.

– Значит, вы ничего не боитесь?.. Впрочем, Может быть, воды?

– Нет, я плаваю, как выдра.

– Тогда, может быть, перемежающейся лихорадки?

– Я никогда не болел лихорадкой и думаю, что никогда не заболею. Но я вам сделаю

одно признание. – И Портос понизил голос.

– Какое? – спросил д'Артаньян, тоже понизив голос.

– Я признаюсь вам, – повторил Портос, – что я до смерти боюсь политики.

– Да что вы? – воскликнул д'Артаньян.

– Тише, – сказал Портос громовым голосом. – Я видел его преосвященство господина кардинала де Ришелье и его преосвященство господина кардинала Мазарини; один держался красной политики, а другой – черной. Я никогда не был особенно доволен ни той, ни другой: первая привела на плаху господина де Марсильяка, де Ту, де Сен-Мара, де Шале, де Бутвиля, де Монморанси; вторая – множество фрондеров, к которым и мы принадлежали, дорогой мой.

– К которым, напротив, мы не принадлежали, – поправил д'Артаньян.

– Нет, принадлежали, потому что если я обнажал шпагу за кардинала, то наносил удары за короля!

– Дорогой Портос!

– Докончу. Я так боюсь политики, что, если под всем этим кроется политика, я немедленно возвращаюсь в Пьерфон.

– И вы будете совершенно правы. Но и я, дорогой Портос, терпеть не могу политики, говорю вам напрямик. Вы работали над укреплением Бель-Иля; король пожелал узнать имя талантливого инженера, производившего работу; вы застенчивы, как все люди дела. Может быть, Арамис хочет оставить вас в тени, но я уважу вас и громко заявляю всем о ваших заслугах; король награждает вас – вот и вся моя политика.

– О, такая политика мне по вкусу, – кивнул Портос, протягивая руку д'Артаньяну.

Но д'Артаньян знал руку Портоса; он знал, что рука обыкновенного человека, попав между пятью пальцами барона, не выходила оттуда без повреждений. Поэтому он протянул другу не руку, а кулак. Портос даже не заметил этого. Тотчас же они вышли из дому.

Стража пошепталась немного, было произнесено несколько слов, которые д'Артаньян понял, но не стал объяснять Портосу.

«Наш друг, – сказал он себе, – был попросту пленником Арамиса. Посмотрим, что произойдет, когда этот заговорщик окажется на свободе».

Глава 11. КРЫСА И СЫР

Д'Артаньян и Портос пошли пешком.

Когда д'Артаньян, переступив порог лавки «Золотой пестик», объявил Планше, что г-н дю Баллон путешественник, которому следует оказывать как можно больше внимания, а Портос задел пером шляпы потолок, – что-то вроде тяжелого предчувствия омрачило удовольствия, которые Планше готовил себе на завтра. Но у нашего лавочника было золотое сердце, и, несмотря на внутреннее содрогание, тотчас же подавленное им, Планше принял Портоса сердечно и почтительно.

Портос сначала держался немного натянуто, помня расстояние, отделявшее в те времена барона от торговца. Но мало-помалу он стал вести себя непринужденно, видя, с каким усердием и предупредительностью Планше хлопочет около него.

Особенно оценил он разрешение, пли, вернее, предложение, запускать огромные руки в ящики с сушеными и засахаренными фруктами, в мешки с миндалем и орехами, в пакеты со сладостями. Вот почему, несмотря на приглашение Планше подняться на антресоли, Портос предпочел просидеть весь вечер в лавке, где его пальцы всегда находили то, что чуял его нос и видели глаза.

Прекрасные провансальские винные ягоды, орехи из Фореста и туренские сливы развлекали Портоса в течение пяти часов подряд. Его зубы, как жернова, сокрушали орехи, скорлупу которых он сплевывал на пол, и она трещала под ногами всех, кто проходил мимо. Портос захватывал губами целую гроздь муската в полфунта весом и одним глотком отправлял ее в желудок.

Объятые ужасом приказчики только молча переглядывались, забившись в угол. Они не знали Портоса и никогда до сих пор не видели его. Порода титанов, носивших панцири и латы Гуго Капета, Филиппа-Августа и Франциска I, начинала исчезать. Поэтому они спрашивали себя, не людоед ли это из волшебных сказок, в ненасытном желудке которого исчезнет все содержимое магазина Планше, вместе с бочками и ящиками.

Щелкая, жуя, грызя, кусая и глотая, Портос время от времени говорил бакалейщику:

– У вас славная торговля, дружище Планше.

– Он скоро обанкротится, если так будет продолжаться, – ворчал старший приказчик, которому Планше обещал передать магазин. В полном отчаянии он подошел к Портосу, заслонявшему путь к прилавку. Он надеялся, что Портос встанет и это движение отвлечет его от истребления сладостей.

– Что вам угодно, мой друг? – любезно спросил Портос.

– Я хотел бы пройти, сударь, если это не слишком побеспокоит вас.

– Справедливое желание, – сказал Портос, – и оно ничуть не беспокоит меня.

И с этими словами он схватил приказчика за пояс, поднял на воздух, осторожно перенес через свои колени и поставил на землю. Он произвел эту операцию, улыбаясь все так же благодушно. У бедного малого от страха ноги подкосились, и он беспомощно опустился на мешок с пробками.

Однако, видя кротость великана, он набрался храбрости и сказал:

– Сударь, будьте осторожнее.

– Почему, друг мой? – спросил Портос.

– У вас внутри сейчас загорится.

– Как так? – удивился Портос.

– Все эти пряности разжигают, сударь.

– Какие?

– Изюм, орехи, миндаль.

– Да; но если миндаль, орехи, изюм разжигают...

– Несомненно, сударь.

– То мед освежает.

И, протянув руку к открытому бочонку меда, куда была опущена лопаточка, Портос загреб ею добрые полфунта.

– Мой друг, – сказал он, – теперь я попрошу у вас воды.

– Ведро, сударь? – с наивным видом спросил приказчик.

– Нет, довольно будет графина, – добродушно отвечал Портос.

И, поднеся графин ко рту, как трубач подносит рожок, он одним глотком осушил его. Планше был неприятно поражен; чувства собственника и самолюбие заворочались в его сердце, но поскольку он свято чтит древние традиции гостеприимства, то притворился, что весь поглощен разговором с д'Артаньяном, и повторял без устали:

– Ах, сударь, какая радость!.. Ах, сударь, какая честь!..

– А в котором часу мы будем ужинать, Планше? – спросил Портос. – У меня уже аппетит разыгрался.

Старший приказчик всплеснул руками. Двое других забрались под прилавки, боясь, как бы Портос не потребовал свежего мяса.

– Мы здесь только слегка закусим, – успокоил их д'Артаньян, – а поужинаем в поместье Планше.

– Так мы едем в ваше поместье, Планше? – спросил Портос. – Тем лучше.

– Вы окажете мне большую честь, господин барон.

Слова господин барон произвели сильное впечатление на приказчиков, которые усмотрели в невероятном аппетите признак высокого происхождения.

Титул успокоил их. Они никогда не слыхивали, чтобы людоеда величали господин барон.

– Я возьму в дорогу немного печенья, – небрежно сказал Портос. И с этими словами он

высыпал целый ящик анисового печенья в широкий карман своего кафтана.

– Моя лавка спасена! – радостно воскликнул Планше.

– Да, как сыр, – подтвердил старший приказчик.

– Какой сыр?

– Голландский, в который забралась крыса, и мы нашли от него только корку.

Планше осмотрел лавку и решил, что сравнение несколько преувеличено.

Старший приказчик понял, что происходило в уме хозяина.

– Беда, коли вернется, – сказал он ему.

– У вас есть фрукты? – спросил Портос, поднимаясь на антресоли, где была подана закуска.

– Увы! – подумал бакалейщик, бросая на д'Артаньяна умоляющий взгляд, на который тот не обратил, однако, внимания.

После закуски пустились в путь.

Было уже поздно, когда трое всадников, выехавших из Парижа в шесть часов, добрались до Фонтенбло. Дорогой все были веселы. Общество Планше нравилось Портосу, потому что лавочник был с ним очень почтителен и с любовью рассказывал о своих лугах, лесах и кроличьих садках. У Портоса были вкусы и гордость помещика.

Увидя, что его спутники разговорились между собой, д'Артаньян, бросив поводья, позабыл о Портосе и Планше и обо всем на свете. Луна мягко светила сквозь голубоватую листву деревьев. Травы благоухали, и лошади бежали бодро.

Портос и Планше добрались до заготовки сена. Планше признался Портосу, что, достигнув зрелого возраста, он действительно забросил земледелие ради торговли, но что его детство прошло в Пикардии, среди роскошных лугов, где травы доходили человеку до пояса, и под зелеными яблонями с румяными плодами; поэтому он дал себе слово – разбогатев, тотчас вернуться на лоно природы и окончить жизнь так же, как он ее начал: поближе к земле, куда возвращаются все люди.

– Э, да вы скоро выходите в отставку, мой милый Планше? – сказал Портос.

– Как так?

– Мне сдается, что вы составляете себе маленький капиталец.

– Да, – отвечал Планше, – потихоньку.

– К чему же вы стремитесь и на какой цифре собираетесь остановиться?

– Сударь, – начал Планше, не отвечая на этот весьма интересный вопрос, – сударь, меня очень огорчает одна вещь.

– Какая же? – спросил Портос, оглядываясь, как будто желая отыскать вещь, огорчавшую Планше, и вручить ему ее.

– В прежние времена, – отвечал лавочник, – вы называли меня просто Планше, и тогда вы сказали бы: «К чему ты стремишься, Планше, и на какой цифре собираешься остановиться?»

– Конечно, конечно, в прежнее время я бы сказал так, – с некоторым смущением отвечал Портос, – но в прежние времена...

– В прежние времена я был лакеем господина д'Артаньяна, вы хотите сказать?

– Да.

– Но хотя я теперь не лакей его, я все же слуга; больше того, с тех пор...

– С тех пор, Планше?..

– С тех пор я имел честь быть его компаньоном.

– Как, – воскликнул Портос, – д'Артаньян занялся торговлей?

– И не думал, – откликнулся д'Артаньян, которого эти слова вывели из задумчивости; он вступил в разговор с ловкостью и быстротой, отличавшими все движения его ума и тела, – совсем не д'Артаньян занялся торговлей, а, напротив; Планше пустился в политику.

– Да, – с гордостью и удовлетворением подтвердил: Планше, – мы вместе произвели маленькую операцию, которая принесла мне сто тысяч, а господину д'Артаньяну двести тысяч ливров.

– Вот как? – удивился Портос.

– Поэтому, господин барон, – продолжал лавочник, – прошу вас снова называть меня Планше, как в прежние времена, и говорить мне «ты». Вы не поверите, какое удовольствие доставит мне это!

– Если так, я согласен, дорогой Планше, – отвечал Портос.

И он поднял руку, чтобы дружески похлопать Планше по плечу. Однако лошадь вовремя рванулась, и это движение помешало намерению всадника, так что его рука опустилась на круп лошади. Конь так и присел.

Д'Артаньян расхохотался и стал вслух высказывать свои мысли:

– Берегись, Планше; если Портос очень полюбит тебя, он будет тебя ласкать, а от его ласк тебе не поздоровится: Портос остался таким же Геркулесом, как был.

– Но ведь Мушкетон до сих пор жив, – сказал Планше, – а между тем господин барон его очень любит.

– Конечно, – подтвердил Портос со вздохом, от которого все три лошади сразу встали на дыбы, – и еще сегодня утром я говорил д'Артаньяну, как мне скучно без него. Но скажи мне, Планше...

– Спасибо, господин барон, спасибо.

– Какой ты славный малый! Скажи, сколько у тебя десятин под парком?

– Под парком?

– Да. Потом мы сосчитаем луга и леса.

– Где это, сударь?

– В твоём поместье.

– Но у меня нет ни парка, ни лугов, ни лесов, господин барон.

– Что же тогда у тебя есть, – спросил Портос, – и почему ты говоришь о своём поместье?

– Я не говорил о поместье, господин барон, – возразил немного пристыженный Планше, – а просто об усадьбе.

– А, понимаю, – сказал Портос, – ты скромничаешь.

– Нет, господин барон, я говорю сущую правду: у меня две комнаты для друзей, вот и все.

– Где же тогда гуляют твои друзья?

– Прежде всего в королевском лесу; там очень хорошо.

– Да, это прекрасный лес, – согласился Портос, – почти такой же, как мой лес в Берри. Планше вытаращил глаза.

– У вас есть такой лес, как в Фонтенбло, господин барон? – пролепетал он.

– Целых два, но лес в Берри я люблю больше.

– Почему? – учтиво спросил Планше.

– Прежде всего потому, что я не знаю, где он кончается, а потом – он полон браконьеров.

– А почему же это изобилие браконьеров делает лес таким для вас приятным?

– Потому, что они охотятся на мою дичь, а я на них, так что в мирное время у меня как бы война в миниатюре.

В этот момент Планше поднял голову, заметил первые дома Фонтенбло, которые отчетливо обрисовывались на фоне неба. Над их темной и бесформенной массой возвышались острые кровли замка, шиферные плиты которых блестели при луне, как чешуйки исполинской рыбы.

– Господа, – возгласил Планше, – имею честь сообщить, что мы приехали в Фонтенбло.

Глава 12. В ПОМЕСТЬЕ ПЛАНШЕ

Всадники подняли головы и убедились, что Планше сказал совершенную правду. Через десять минут они были на Лионской улице, напротив гостиницы «Красивый павлин». Высокая изгородь из густых кустов бузины, боярышника и хмеля образовывала

черную непроходимую преграду, за которой виднелся белый дом с черепичной крышей.

Два окна этого дома выходили на улицу. Света в них не было. Между ними виднелась маленькая дверь под навесом, опиравшимся на колонки.

Планше соскочил с коня, как бы собираясь постучать в эту дверь; потом раздумал, взял свою лошадь под уздцы и прошел еще шагов тридцать. Его спутники поехали за ним.

Подойдя к воротам, Планше поднял деревянную щеколду, единственный их запор, и толкнул одну из створок. После этого он ступил в небольшой дворик и ввел за собой лошадь; крепкий запах навоза говорил, что где-то неподалеку стойло.

– Здорово пахнет, – звучно произнес Портос, в свою очередь, соскакивая с коня, – право, я готов подумать, что попал в свой пьерфонский коровник.

– У меня только одна корова, – поспешил скромно заметить Планше.

– А у меня тридцать, или, вернее, я не считал.

Когда оба всадника были во дворе, Планше закрыл за ними ворота.

Соскочив с седла с обычной ловкостью, д'Артаньян жадно вдыхал деревенский воздух и радостно срывал одной рукой веточки жимолости, а другой шиповник, как парижанин, попавший на лоно природы. Портос принялся обеими руками обирать стручки гороха, вившегося по жердям, и тут же уничтожал его вместе с шелухой.

Планше растолкал какого-то старого калеку, покрытого тряпьем, который спал под навесом на груде мха. Узнав Планше, старик стал величать его наш хозяин, к большому удовлетворению лавочника.

– Отведи-ка лошадей в конюшню, старина, да хорошенько накорми их, сказал Планше.

– Да, славные кони, – заговорил старик, – нужно накормить их до отвала.

– Не очень усердствуй, дружище, – заметил ему д'Артаньян, – довольно будет охапки соломы да овса.

– И студеной воды моему скакуну, – добавил Портос, – мне кажется, что ему жарко.

– Не беспокойтесь, господа, – заявил Планше, – папаша Селестен – бывший кавалерист. Он умеет обращаться с лошадьми. Пожалуйте в комнаты.

И он повел друзей по очень тенистой аллее, пересекавшей огород, затем небольшой лужок и, наконец, приводившей к садику, за которым виднелся дом, чей фасад выходил на улицу. По мере приближения к дому можно было через открытые окна нижнего этажа рассмотреть внутренность комнаты, так сказать, приемной поместья Планше.

Комната мягко освещалась лампой, стоявшей на столе и видной издали, и казалась воплощением приветливости, спокойствия, достатка и счастья.

Всюду, куда падал свет от лампы, – на старинный ли фаянс, на мебель, сверкавшую чистотой, на оружие, повешенное на ковре, – играли блестящие точки.

В окна заглядывали ветви жасмина, стол был покрыт ослепительно белой камчатной скатертью. На скатерти стояли два прибора. Желтоватое вино отливало янтарем на гранях хрустального графина, и большой синий фаянсовый кувшин с серебряной крышкой был наполнен пенистым сидром.

Возле стола в кресле с широкой спинкой спала женщина лет тридцати. Ее цветущее лицо сияло здоровьем и свежестью. На коленях у нее лежала большая кошка, свернувшись клубочком, и громко мурлыкала, что, в сочетании с полужакрытыми глазами, означало на кошачьем языке: «Я совершенно счастлива».

Друзья остановились перед окном, остолбенев от изумления. Увидя выражение их лиц, Планше почувствовал себя польщенным.

– Ах, проказник Планше, – засмеялся д'Артаньян, – теперь я понимаю причину твоих отлучек!

– Ого, какая белая скатерть, – прогремел Портос.

При звуке этого голоса кошка умчалась, хозяйка моментально проснулась, и Планше любезно провел гостей в комнату с накрытым столом.

– Позвольте мне, дорогая, – сказал он, – представить вам шевалье д'Артаньяна, моего покровителя.

Д'Артаньян взял руку дамы с галантностью придворного кавалера, как если бы он был представлен принцессе.

– Господин барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон, – продолжал Планше.

Портос, в свою очередь, отвесил поклон, которым осталась бы довольна сама Анна Австрийская.

Теперь наступила очередь Планше. Он без стеснения поцеловал даму, впрочем, предварительно испросив знаком позволения у д'Артаньяна и Портоса. Позволение, конечно, было дано.

Д'Артаньян улыбнулся Планше:

– Вот человек, который умеет жить!

– Сударь, – со смехом отвечал Планше, – жизнь – капитал, и человек должен помещать его самым выгодным образом.

– И ты получаешь с него огромные проценты, – захохотал Портос так, что стены задрожали.

Планше снова подошел к своей хозяйке.

– Дорогая, вот эти два человека долго руководили моей жизнью. Я не раз говорил вам о них.

– И упоминали еще два имени, – произнесла дама с заметным фламандским акцентом.

– Мадам – голландка? – спросил д'Артаньян.

– Я из Антверпена, – отвечала дама.

– И она называется мадам Гехтер, – добавил Планше.

– Не называйте так мадам, – сказал д'Артаньян.

– Почему? – спросил Планше.

– Потому что это имя старит ее.

– Я зову ее Трюшен²⁸.

– Очаровательное имя, – вздохнул Портос.

– Трюшен, – продолжал Планше, – приехала ко мне из Фландрии со своими добродетелями и двумя тысячами флоринов. Она бежала от несносного мужа, который ее бил. Как уроженец Пикардии, я всегда любил артуазок. От Артуа до Фландрии один только шаг. Она приезжала жаловаться и плакать к своему крестному, лавочнику на Ломбардской улице, где я теперь торгую, она поместила в мое дело две тысячи флоринов, я их умножил, и вот теперь она получает десять тысяч.

– Браво, Планше!

– Она свободна, богата, у нее есть корова, она командует служанкой и папашей Селестеном. Все мои рубашки вытканы ею, зимой она вяжет мне чулки, видится со мной каждые две недели и так мила, что считает себя счастливой.

– Я действительно счастлива... – кивнула Трюшен.

Портос стал крутить ус.

«Ах, черт, – подумал д'Артаньян, – что это затевает Портос?..»

Между тем Трюшен, сообразив, в чем дело, пошла торопить кухарку, принесла еще два прибора и устала стол изысканными кушаньями, превратившими ужин в пир. Сливочное масло, солонина, анчоусы, тунец, затем все товары из лавки Планше. Цыплята, овощи, речная рыба, лесная дичь – словом, все, что может дать деревня. Вдобавок Планше вернулся из погреба с десятью бутылками, покрытыми густым слоем пыли.

Их вид обрадовал сердце Портоса.

– Я голоден, – воскликнул он.

И уселся подле г-жи Трюшен, бросая на нее убийственные взгляды. Д'Артаньян сел по другую сторону от нее. Осчастливленный Планше скромно поместился напротив.

– Не досажайте, – сказал он, – если во время ужина Трюшен часто будет вставать из-за стола: она желает, чтобы вам как следует были приготовлены постели.

Действительно, хозяйка много раз поднималась наверх, и со второго этажа доносился скрип передвигаемых кроватей. А трое мужчин ели и пили; особенно усердствовал Портос. Было любо смотреть на них. От десяти бутылок осталось лишь одно воспоминание, когда Трюшен вернулась с сыром.

Несмотря на выпитое вино, д'Артаньян сохранил все свое самообладание.

Портос же, напротив, в значительной степени утратил его. Гости затянули песню, вспоминали бои и сражения. Д'Артаньян посоветовал Планше снова совершить путешествие в погреб. И так как лавочник потерял способность маршировать, как пехотинец, то капитан мушкетеров предложил проводить его.

Итак, они ушли, напевая песенки такими голосами, что испугался бы сам дьявол Трюшен осталась за столом с Портосом. Когда двое любителей вин возились в темном погребе, выбирая лучшие бутылки, до них вдруг донеслось звонкое чмокание.

«Портос вообразил, что он в Ла-Рошели», – подумал д'Артаньян.

Они поднялись, нагруженные бутылками. Планше так увлекся пением, что ничего не видел и не слышал. Д'Артаньян же сохранил остроту зрения и ясно заметил, что левая щека Трюшен была гораздо краснее, чем правая. А Портос молодецки улыбался и обеими руками крутил усы Трюшен тоже улыбалась великолепному сеньору.

Пенистое анжуйское вино превратило трех собутыльников сначала в трех чертей, а потом в три бревна. У д'Артаньяна едва хватило силы взять свечу и осветить Планше его собственную лестницу. Планше тащил Портоса, которого подталкивала также развеселившаяся Трюшен.

Д'Артаньяну принадлежала честь нахождения комнаты и кроватей Портос довалился в постель, и его друг с трудом раздел его. Лежала постели, д'Артаньян говорил себе:

«Ах, черт, ведь я клялся никогда больше не пить желтого вина, которое пахнет ружейным кремнем. Фи! Что, если бы мои мушкетеры увидели своего капитана в таком состоянии? – И, задвигая полог, прибавил:

– К счастью, они ничего не увидят».

Трюшен унесла на руках Планше, раздела его, задернула полог и закрыла двери спальни.

– Веселая вещь деревня, – говорил Портос, вытягивая ноги так, что с треском отвалилась спинка кровати, но на этот шум никто не обратил внимания, так весело было в поместье Планше.

В два часа ночи все в доме храпели.

Глава 13. ЧТО ВИДНО ИЗ ДОМА ПЛАНШЕ

На следующее утро трое героев спали крепким сном.

Трюшен предусмотрительно закрыла ставни, боясь, как бы первые солнечные лучи не повредили уставшим глазам.

Поэтому под пологом Портоса и балдахином Планше было темно, как в погребе, когда д'Артаньян разбудил нескромный луч, проникший через ставни; он мигом соскочил с кровати, точно собираясь идти первым на приступ. И он приступом взял комнату Портоса, которая была рядом с его спальней. Портос крепко спал и храпел так, что стены дрожали. Он пышно раскинулся всем своим исполинским телом, свесив сжатую в кулак руку на ковер подле кровати. Д'Артаньян разбудил Портоса, который с трудом стал протирать глаза.

Тем временем Планше оделся и пришел приветствовать своих гостей, которые после вчерашнего вечера еще нетвердо держались на ногах.

Несмотря на раннее утро, весь дом был уже полон суеты, кухарка устроила безжалостную резню в птичнике, а папаша Селестен рвал в саду вишни.

Портос в игривом настроении протянул руку Планше, а Д'Артаньян попросил позволения поцеловать мадам Трюшен, которая не сочла возможным отказать в этой просьбе. Фламандка подошла к Портосу и так же благосклонно разрешила поцеловать себя. Портос

поцеловал мадам Трюшен с глубоким вздохом.

После этого Планше взял друзей за руки:

– Я покажу вам свой дом, вчера вечером было темно, как в печи, и мы ничего не могли рассмотреть. При свете дня все меняется, и вы останетесь довольны.

– Начнем с перспективы, – предложил Д'Артаньян, – вид из окна прельщает меня больше всего. Я всегда жил в королевских домах, а короли недурно выбирают пейзажи.

– Я тоже всегда любил виды, – подхватил Портос. – В моем пьерфонском поместье я велел прорубить четыре аллеи, с которых открывается великолепная перспектива.

– Вот вы сейчас увидите мою перспективу, – сказал Планше.

И он подвел гостей к окну.

– Да это Лионская улица, – удивился д'Артаньян.

– На нее выходит два окна, вид неказистый: одна только харчевня, вечно оживленная и шумная, соседство не из приятных. У меня выходило на улицу четыре окна, два я заделал.

– Пойдем дальше, – сказал Д'Артаньян.

Они вернулись в коридор, который вел в комнаты, и Планше открыл ставни.

– Э, да что же это? – спросил Портос.

– Лес, – отвечал Планше. – На горизонте вечно меняющаяся цвет полоса, желтоватая весной, зеленая летом, красная осенью и белая зимой.

– Отлично, но эта завеса мешает смотреть дальше.

– Да, – сказал Планше, – но отсюда видно...

– Ах, это широкое поле... – протянул Портос. – Что это там? Кресты, камни...

– Да это кладбище! – воскликнул Д'Артаньян.

– Именно, – подтвердил Планше. – Уверю вас, что смотреть на него очень интересно. Не проходит дня, чтобы здесь не зарыли кого-нибудь.

Фонтенбло довольно густо населен. Иногда приходят девушки, одетые в белое, с хоругвями, иногда богатые горожане с певчими, иногда придворные офицеры.

– Мне это не по вкусу, – поморщился Портос.

– Да, это не очень весело, – согласился Д'Артаньян.

– Уверю вас, что кладбище навевает святые мысли, – возразил Планше.

– О, не спорю!

– Ведь всем нам придется помереть, – продолжал Планше, – и где-то я прочел изречение, которое мне запомнилось: «Мысль о смерти – благотворная мысль».

– Да, это так, – вздохнул Портос.

– Однако, – заметил Д'Артаньян, – мысль о зелени, цветах, реках, голубом небе и широких долинах тоже благотворная мысль...

– Если бы у меня все это было, я ни от чего бы не отказался, – сказал Планше, – но так как в моем распоряжении только это маленькое кладбище, тоже цветущее, мшистое, тенистое и тихое, то я им довольствуюсь и размышляю, например, о горожанах, живущих на Ломбардской улице, которые слышат ежедневно только грохот двух тысяч телег да шлепанье по грязи пятидесяти тысяч прохожих.

– Не буду вам возражать, – кивнул Портос.

– Именно поэтому, – скромно улыбнулся Планше, – я и отдыхаю немного при виде мертвых.

– Экий молодчина этот Планше, – воскликнул д'Артаньян, – он положительно рожден поэтом и лавочником!

– Сударь, – сказал Планше, – я из тех людей, которые созданы, чтобы радоваться всему, что они встречают на своем земном пути.

Д'Артаньян уселся на подоконник и стал размышлять по поводу философии Планше.

– Да, никак, нам сейчас покажут комедию! – закричал Портос. – Я как будто бы слышу пение.

– Да, да, поют, – подтвердил Д'Артаньян.

– Это похороны по последнему разряду, – пренебрежительно взглянул Планше. – На

кладбище только священник, причетник и один певчий. Бы видите, господа, что покойник или покойница были не принцы.

– И никто не провожает покойника.

– Нет, вон идет кто-то, – показал Портос.

– Верно, какой-то человек в плаще, – подтвердил Д'Артаньян.

– Не стоит смотреть, – сказал Планше.

– А мне интересно, – с живостью перебил его Д'Артаньян, облокачиваясь на подоконник.

– Ага, вы входите во вкус, – весело проговорил Планше. – Вот и со мной так было: в первые дни мне было грустно креститься с утра до вечера, а заунывное пение вонзалось мне в мозг, как гвоздь. Теперь это пение баюкает меня, и я нигде не видел таких красивых птичек, как на кладбище.

– Ну, а мне не весело, – заявил Портос, – я лучше спущусь.

Планше одним прыжком оказался подле Портоса и, предложив ему руку, пригласил в сад.

– Как, вы остаетесь здесь? – обратился Портос к Д'Артаньяну.

– Да, мой друг; я скоро приду к вам.

– О, господин Д'Артаньян не останется в убытке! – заметил Планше. Уже хоронят?

– Нет еще.

– Ах да, могильщик ждет, чтобы гроб обвязали веревками... Глядите-ка, на другом конце кладбища показалась женщина.

– Да, да, Планше! – живо проговорил Д'Артаньян. А теперь оставь меня, оставь! Я начинаю погружаться в душеспасительные размышления, не мешай мне.

Планше ушел, а Д'Артаньян из-за полуоткрытой ставни стал с любопытством наблюдать за похоронами.

Двое могильщиков сняли гроб с носилок и опустили ношу в яму.

Человек в плаще, единственный зритель этой мрачной сцены, стоял в нескольких шагах, прислонившись спиной к высокому кипарису и тщательно закрыв лицо от могильщиков и духовенства. Похороны были совершены в какие-нибудь пять минут. Могилу засыпали, церковный причт двинулся в обратный путь. Могильщик сказал священнику несколько слов и тоже ушел. Человек в плаще поклонился проходящим и положил в руку могильщика монету.

– Что за чудеса! – пробормотал Д'Артаньян. – Ведь это Арамис!

Арамис (это был действительно он) остался один.

Однако ненадолго, потому что едва он отвернулся, как близ него на дороге послышались шаги и шелест женского платья. Он тотчас же с церемонной вежливостью снял шляпу и проводил даму под тень каштанов и лип, посаженных у чьей-то роскошной гробницы.

– О, да, никак, епископ ваннский назначил свиданье! – промолвил Д'Артаньян. – Он все тот же аббат Арамис, который бегал за женщинами в Нуази-ле-Сек. Да, – прибавил мушкетер, – странное, однако, свидание на кладбище.

И он расхохотался...

Разговор продолжался больше получаса. Д'Артаньян не мог разглядеть лица дамы, потому что она стояла к нему спиной. Но по неподвижности собеседников, по размеренности их жестов, по их сдержанности он понял, что они говорили не о любви. По окончании разговора дама низко поклонилась Арамису.

– Э, да у них кончается, как настоящее любовное свидание... сначала кавалер преклоняет колено; потом смиряется дама и о чем-то молит его...

Кто же эта дама? Я пожертвовал бы ногтем, чтобы увидеть ее.

Но увидеть ее было невозможно. Арамис пошел вперед; женщина опустила вуаль и пошла вслед за ним. Д'Артаньян не мог больше выдержать: он подбежал к окну, выходившему на Лионскую улицу. Арамис вошел в гостиницу.

Дама направилась в противоположную сторону, должно быть, к карете, запряженной парой, которая виднелась у опушки леса. Она шла медленно, опустив голову, в глубокой задумчивости.

– Мне во что бы то ни стало нужно узнать, кто эта женщина, – сказал мушкетер.
И без дальнейших колебаний он направился вслед за ней. По дороге он обдумывал, каким способом заставить ее поднять вуаль.

– Она не молода, – рассуждал д'Артаньян. – Это великосветская дама.
Знакомая, ей-богу, знакомая походка.

Звон его шпор и шаги гулко раздавались на пустынной улице. Вдруг ему улыбнулась удача, на которую он не рассчитывал. Шум шагов встревожил даму. Она вообразила, что за ней кто-то гонится или следит, – это, впрочем, было верно, – и оглянулась. Д'Артаньян подскочил, словно ему в икры попал заряд дроби, и, круто повернувшись, прошептал:

– Госпожа де Шеврез.

Д'Артаньян во что бы то ни стало решил разузнать все. Он попросил папашу Селестена осведомиться у могильщика, кого хоронили сегодня утром.

– Бедного францисканского монаха, – последовал ответ, – у которого не было даже собаки, любившей его на земле и проводившей до последнего жилища.

«Если бы это было так, – подумал д'Артаньян, – Арамис не присутствовал бы на его похоронах. Его преосвященство епископ ваннский не отличается собачьей преданностью; а насчет собачьего чутья – другое дело».

Глава 14.

КАК ПОРТОС, ТРЮШЕН И ПЛАНШЕ РАССТАЛИСЬ ДРУЗЬЯМИ БЛАГОДАря Д'АРТАНЬЯНУ

В доме Планше хорошо покушали. Портос сломал одну лестницу и два вишневых дерева, опустошил малиновые кусты, но никак не мог добраться до земляники, так как, по его словам, ему мешал пояс.

Трюшен, уже освоившаяся с великаном, сказала ему:

– Не пояс, а животик мешает вам нагибаться.

Восхищенный Портос поцеловал Трюшен, которая нарвала целую пригоршню земляники и клала ему ягоды в рот. Прибывший в это время д'Артаньян пожурил Портоса за лень и втихомолку пожалел Планше.

Портос отлично позавтракал. После еды он молвил, поглядывая на Трюшен:

– Мне здесь нравится.

Трюшен улыбнулась. Планше последовал ее примеру, но его улыбка вышла немного натянутой.

Тогда д'Артаньян обратился к Портосу:

– Роскошь, которою окружил вас Планше, не должна мешать вам, друг мой, помнить об истинной цели нашего путешествия в Фонтенбло.

– О моем представлении королю?

– Именно. Я сейчас пойду сделать необходимые приготовления. А вы, пожалуйста, оставайтесь здесь.

– Хорошо, – согласился Портос.

Планше испуганно взглянул на д'Артаньяна.

– Вы уходите ненадолго? – спросил он.

– Нет, мой друг, и сегодня же вечером, я избавлю тебя от обоих обременительных гостей.

– Как можно говорить так, господин д'Артаньян!

– Видишь ли, у тебя чудесное сердце, но очень маленький дом. Бывает, что у человека всего две десятины, а он может поместить короля и окружить его комфортом. Но ты не рожден вельможей, Планше.

– И господин Портос тоже, – пробормотал Планше.

– Он стал им, дорогой мой; вот уже двадцать лет он получает по сто тысяч ливров в год и пятьдесят лет является обладателем двух кулаков и спины, не имеющих равных во всей

прекрасной Франции. Портос большой барин по сравнению с тобой, друг мой, и... я не продолжаю; ты достаточно умен.

– Нет, сударь, пожалуйста, продолжайте.

– Загляни в твой опустошенный сад, в твою пустую кладовую, в очищенный погреб, посмотри на сломанную кровать и на... мадам Трюшен.

– Ах, боже мой! – воскликнул Планше.

– Портос, видишь ли, владеет тридцатью деревнями, в которых живет три сотни веселых вассалов, и к тому же Портос красавец.

– Ах, боже мой! – повторил Планше.

– Мадам Трюшен превосходная женщина, – продолжал д'Артаньян – береги ее, понимаешь?

И он похлопал лавочника по плечу.

В эту минуту Планше заметил, что Трюшен и Портос скрылись в беседке.

Трюшен с чисто фламандским изяществом делала для Портоса серьги из вишен, а Портос таял от любви, как Самсон перед Далилои. Планше схватил д'Артаньяна за руку и потащил его к беседке.

Нужно отдать справедливость Портосу, что он нисколько не смутился... по-видимому, он считал, что не делает ничего дурного. Трюшен тоже не смутилась, и это не понравилось Планше. Но он выдвигал в своей лавке много важных людей и научился спокойно выносить неприятности.

Он взял Портоса под руку и предложил ему посмотреть лошадей. Портос заявил, что он устал. Тогда Планше предложил барону дю Баллону отведать абрикотин собственного приготовления, который, по его уверению, был чудом искусства. Барон согласился.

Так весь день Планше принужден был угождать своему врагу. Он принес свой буфет в жертву своему самолюбию.

Д'Артаньян вернулся через два часа.

– Все приготовлено, – сказал он. – Я видел его величество перед отъездом на охоту; сегодня вечером король нас ждет.

– Король меня ждет? – вскричал Портос, выпрямляясь.

Сердце человеческое неустойчиво, как волна, и нужно признаться, что с этой минуты Портос перестал смотреть на мадам Трюшен с той нежностью, которая размягчила сердце фламандки.

Планше изо всех сил стал раздувать пламя его честолюбия. Он рассказал, или, вернее, оживил в памяти барона все блестящие дела последнего царствования: битвы, осады, торжественные церемонии. Он напомнил о роскоши англичан, об удачах трех храбрых приятелей и о том, как д'Артаньян, вначале самый скромный из них, в конце концов сделался их вожаком.

Он пробудил в Портосе энтузиазм, воскресив перед ним ушедшую молодость. Он расхвалил душевное благо родство этого большого барина и его священное уважение к правам дружбы; Планше был красноречив, Планше был искусен. Он очаровал Портоса, поверг в трепет Трюшен и заставил д'Артаньяна погрузиться в воспоминания.

В шесть часов мушкетер приказал готовить лошадей и велел Портосу одеваться. Он поблагодарил Планше за гостеприимство и бросил несколько слов насчет того, что для него можно будет подыскать какую-нибудь должность при дворе, что немедленно возвысило бы Планше в глазах Трюшен, ибо бедный лавочник, несмотря на всю свою доброту, щедрость и преданность, очень проиграл в сравнении с двумя знатными гостями.

Женщины всегда таковы: им страстно хочется того, чего у них нет, а добившись желаемого, они испытывают чувство разочарования.

Оказав такую услугу своему другу Планше, д'Артаньян тихонько шепнул Портосу:

– У вас, друг мой, очень красивое кольцо.

– Триста пистолей, – вздохнул Портос.

– Госпожа Трюшен будет лучше помнить вас, если вы оставите ей это кольцо.

Портос заколебался.

– Вы находите, что оно недостаточно красиво? – спросил мушкетер. – Я вас понимаю: такой важный барин, как вы, не может останавливаться в доме бывшего слуги, не заплатив ему щедро за гостеприимство. Но, поверьте мне, у Планше такое золотое сердце, что он забудет о вашем доходе в сто тысяч ливров.

– Мне хочется, – начал Портос, крайне польщенный этими словами, – подарить госпоже Трюшен небольшую ферму в Брасье; это тоже недурное колечко... двенадцать десяти.

– Это слишком, мой добрый Портос, слишком... Приберегите это для дальнейшего.

И, сняв с пальца Портоса брильянтовый перстень, д'Артаньян подошел к Трюшен.

– Сударыня, – начал он, – барон не знает, как упросить вас принять, из любви к нему, это колечко. Господин дю Валлон один из самых щедрых и скромных людей в мире. Он хотел подарить вам ферму в Брасье; я отсоветовал ему.

– Ах! – воскликнула Трюшен, пожирая глазами брильянт.

– Как вы щедры, барон! – вскричал растроганный Планше.

– Мой добрый друг! – пробормотал Портос, очень довольный тем, что д'Артаньян так хорошо выразил его мысль.

Эти восклицания явились патетической развязкой дня, который мог закончиться не очень приятно для Планше. В числе действующих лиц был д'Артаньян, а там, где д'Артаньян распоряжался, все кончалось по его вкусу и желанию.

Все облобызались. Благодаря щедрости барона Трюшен почувствовала свое настоящее место и, застенчиво краснея, подставила только лоб вельможе, с которым еще так недавно вела себя крайне фамильярно. Планше преисполнился скромности.

В припадке щедрости барон Портос охотно высыпал бы все содержимое своих карманов в руки кухарки и Селестена, но д'Артаньян остановил его.

– Теперь моя очередь, – сказал он.

И дал один пистоль служанке и два старику. Сам Гарпагон возрадовался бы и сделался щедрым, услышав благословения, которые они стали воссылать мушкетеру.

Д'Артаньян попросил Планше проводить его до замка и пригласил Портоса в свою комнату. Ему удалось проскользнуть незаметным для тех, с кем ему не хотелось встречаться.

Глава 15. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОРТОСА

В тот же день, в семь часов вечера, король давал в большом салоне аудиенцию голландскому посланнику. Аудиенция продолжалась четверть часа.

После этого Людовик принял нескольких дам и мужчин, недавно представленных ко двору. В уголке за колонной стояли Портос и д'Артаньян и, в ожидании своей очереди, тихонько разговаривали.

– Вы знаете новость? – спросил мушкетер Портоса.

– Нет.

– Вот взгляните-ка!

Портос поднялся на цыпочки и увидел г-на Фуке в парадном костюме; министр вел к королю Арамиса.

– Арамис! – воскликнул Портос.

– Господин Фуке представляет его королю.

– Ах! – вырвалось у Портоса.

– За укрепления Бель-Иля – продолжал д'Артаньян.

– А я?

– Вы? Вы, как я уже имел честь сказать вам, вы – добряк Портос, святая простота; поэтому вас просят посторожить немного Сен-Манде.

– Ах! – снова вырвалось у Портоса.

– Но, к счастью, я здесь, – успокоил его д'Артаньян, – и сейчас наступит моя очередь.

В этот момент Фуке обратился к королю со следующими словами:

– Государь, прошу милости у вашего величества.

Господин д'Эрбле не честолюбив, но он знает, что может быть полезным.

Вашему величеству нужно иметь агента в Риме, человека могущественного; мы можем получить кардинальскую шапку для господина д'Эрбле.

Король ничего не говорил.

– Я редко докучаю просьбами вашему величеству, – сказал Фуке.

– Нужно подумать, – отвечал король, всегда выражавший так свои колебания.

На эти слова нечего было ответить.

Фуке и Арамис переглянулись.

Король продолжал:

– Господин д'Эрбле может также послужить нам во Франции, например, в качестве архиепископа.

– Государь, – возразил Фуке со свойственной ему галантностью, – ваше величество осыпает милостями господина д'Эрбле; архиепископство может служить дополнением к кардинальской шапке благодаря щедротам короля: одно не исключает другого.

Находчивость Фуке понравилась королю, он улыбнулся.

– Сам д'Артаньян не ответил бы лучше, – кивнул он.

Не успел король произнести это имя, как перед ним вырос д'Артаньян.

– Ваше величество зовет меня? – спросил он.

Арамис и Фуке отступили назад.

– Позвольте, государь, – начал д'Артаньян, выводя Портоса, позвольте мне представить вашему величеству господина барона дю Баллона, одного из храбрейших дворян Франции.

Увидя Портоса, Арамис побледнел; Фуке сжал кулаки под кружевными манжетами.

– Портос здесь! – шепнул Фуке Арамису.

– Тес! Измена! – отвечал тот.

– Государь, – продолжал д'Артаньян, – еще шесть лет тому назад мне следовало бы представить господина дю Баллона вашему величеству. Но некоторые люди подобны звездам: они не движутся без спутников. Плеяда не может разъединиться. Вот почему, представляя вам, господина дю Валлона, я выбрал ту минуту, когда ваше величество можете видеть рядом с ним господина д'Эрбле.

Арамис едва сдерживался. Он гордо посмотрел на д'Артаньяна, принимая брошенный ему вызов.

– Вот как! Они друзья? – удивился король.

– Самые близкие, государь, и один отвечает за другого. Спросите у епископа ваннского, кем был укреплен Бель-Иль.

Фуке попятился еще дальше.

– Бель-Иль, – холодно подтвердил Арамис, – был укреплен бароном.

И он указал на Портоса, который вторично поклонился.

Людовик смотрел и глазам не верил.

– Да, – сказал д'Артаньян, – а теперь благоволите спросить у господина барона, кто помогал ему в его работах.

– Арамис, – откровенно заявил Портос. И указал на епископа.

«Что все это значит, – подумал епископ, – и какая развязка будет у этой комедии?»

– Как! – воскликнул король. – Господин кардинал... я хотел сказать епископ... называется Арамисом?

– Военное прозвище, – объяснил д'Артаньян.

– Дружеское, – поправил Арамис.

– Зачем скромничать? – вскричал д'Артаньян. – Под одеждой священника, государь, скрывается самый блестящий офицер, самый бесстрашный дворянин, самый ученый богослов вашего королевства.

Людовик поднял голову.

– И инженер! – добавил он, любуясь замечательным лицом Арамиса.

– Инженер по случаю, государь, – поклонился Арамис.

– Мой товарищ мушкетер, государь, – горячо сказал д'Артаньян, – советы которого сотни раз помогали министрам вашего отца... Словом, господин д'Эрбле вместе с господином дю Баллоном, мной и известным вашему величеству графом де Ла Фер... составляли квартет, о котором было много разговоров при покойном короле и во время несовершеннолетия вашего величества.

– И он укрепил Бель-Иль! – многозначительно повторил король.

Арамис выступил вперед.

– Чтобы послужить сыну, как я служил отцу, – закончил он.

Д'Артаньян не спускал с Арамиса глаз, когда тот произносил эти слова.

Он уловил в них столько истинного почтения, столько горячей преданности, столько искренности, что он, д'Артаньян, вечный скептик, он, непогрешимый д'Артаньян, поверил.

«Таким тоном не лгут», – подумал он.

Людовик был тронут.

– В таком случае, – обратился он к Фуке с тревогой ожидавшему конца этой сцены, – кардинальская шапка вам обеспечена. Даю вам слово, господин д'Эрбле, что, как только откроется вакансия, вы станете кардиналом.

Поблагодарите господина Фуке.

Слова эти были услышаны Кольбером и больно ранили его сердце. Он поспешно вышел из зала.

– Теперь ваша очередь, господин дю Валлон, – повернулся к нему король, – просите... Я люблю награждать слуг моего отца.

– Государь... – начал Портос.

Продолжать он был не в состоянии.

– Государь! – воскликнул д'Артаньян. – Этот достойный дворянин подавлен величием вашей особы, несмотря на то что мужественно выносил огонь орудий тысячи неприятелей. Но я знаю, о чем он думает, и так как я больше привык смотреть на солнце, то я открою вам его мысли: ему ничего не нужно, он ничего не желает, кроме счастья созерцать ваше величество в течение четверти часа.

– Вы сегодня ужинаете со мной, – произнес король, с милостивой улыбкой поклонившись Портосу.

Портос побагровел от радости и гордости.

Король отпустил его, и д'Артаньян, поцеловав друга, отвел его в сторону.

– За столом садитесь возле меня, – шепнул ему на ухо Портос.

– Хорошо, мой друг.

– Арамис на меня дуется, не правда ли?

– Никогда в жизни Арамис не любил вас больше, чем сейчас. Подумайте только: я выхлопотал для него кардинальскую шапку!

– Это правда, – заметил Портос. – Кстати: король любит, когда за его столом много едят?

– Это ему льстит, – сказал д'Артаньян. – У него королевский аппетит.

– Я восхищен, – обрадовался Портос.

Глава 16.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Арамис круто повернулся, подошел к Портосу, стоявшему за колонной, и пожал ему руку.

– Убежали из моей тюрьмы?

– Не браните его, – сказал д'Артаньян, – это я, дорогой Арамис, выпустил его на свободу.

– Друг мой! – произнес Арамис, глядя на Портоса. – Разве вы потеряли терпенье?

Д'Артаньян пришел Портосу на выручку.

– Вы, духовные лица, – обратился он к Арамису, – большие политики. Мы же, военные, идем прямо к цели. Вот и все. Я навел милойший Безмо.

Арамис насторожился.

– Ах, вы напомнили мне, что у меня есть для вас письмо господина Безмо! – И Портос подал епископу знакомое нам письмо.

Арамис попросил позволения прочитать его и прочитал, не вызвав у д'Артаньяна ни малейшего беспокойства, так как содержание письма ему было известно. К тому же Арамис так хорошо владел собою, что, глядя на него, д'Артаньян не мог не восхищаться. Прочитав послание, Арамис положил его в карман с совершенно спокойным видом.

– Итак, дорогой капитан, вы сказали... – начал он.

– Я сказал, – продолжал мушкетер, – что сделал Безмо служебный визит.

– Служебный? – переспросил Арамис.

– Да, – отвечал д'Артаньян. – И понятно, мы разговаривали о вас и о наших друзьях. Должен заметить, что Безмо принял меня холодно. Я простился с ним. Когда я шел домой, меня остановил какой-то солдат и попросил (он, наверное, узнал меня, несмотря на мой штатский костюм): «Капитан, не сделаете ли вы мне одолжение дочитать адрес на этом письме». И я прочитал: «Господину дю Баллону, в Сен-Манде, у господина Фуке». – «Вот как! – подумал я. – Портос не вернулся в Пьерфон или в Бель-Иль, как я предполагал, Портос живет в Сен-Манде у господина Фуке! Господина Фуке нет в Сен-Манде. Значит, Портос или один, или с Арамисом, навестим его».

И я отправился к Портосу.

– Отлично! – рассеянно кивнул Арамис.

– Вы мне не рассказали этого, – укоризненно заметил Портос.

– Времени не было, друг мой.

– И вы увезли Портоса в Фонтенбло?

– К Планше.

– Планше живет в Фонтенбло? – удивился Арамис.

– Да, возле кладбища! – необдуманно выпалил Портос.

– Как, возле кладбища? – подозрительно спросил Арамис.

«Отлично, – подумал мушкетер, – воспользуемся замешательством, раз оно наступило».

– Да, возле кладбища, – подтвердил Портос. – Планше превосходный малый и варит отличное варенье, но окна его дома выходят на кладбище. Это действует угнетающе. Вот и сегодня утром...

– Сегодня утром?... – спросил Арамис, волнуясь все больше и больше.

Д'Артаньян повернулся спиной и стал выстукивать на оконном стекле марш.

– Сегодня утром, – продолжал Портос, – мы видели похороны.

– Вот как!

– Ужасно грустное зрелище. Я бы не стал жить в доме, откуда постоянно видишь мертвецов... А вот д'Артаньяну это, кажется, нравится.

– Д'Артаньян тоже видел эту церемонию?

– Не то что видел – пожирал глазами.

Арамис вздрогнул и обернулся к мушкетеру, но тот завязал оживленный разговор с де Сент-Эньяном. Арамис продолжал расспрашивать Портоса; выжав весь сок из этого исполинского лимона, он бросил его, подошел к д'Артаньяну и, хлопнув его по плечу, сказал:

– Друг мой, мы не ужинаем у короля.

– А я ужинаю.

– Вы можете уделить мне десять минут?

– Хоть двадцать. Раньше его величество не сядет за стол.

– Где мы будем разговаривать?

– Хотя бы здесь, на скамейке; король ушел, значит, можно присесть, и в зале никого нет.

– Так присядем.

Они сели. Арамис взял д'Артаньяна за руку.

– Признайтесь, дорогой друг, – начал он, – что вы внушили Портосу некоторое недоверие ко мне.

– Охотно признаюсь, но не в том, в чем вы меня подозреваете. Я видел, что Портос смертельно скучает, и решил, представив его королю, сделать и для него и для вас то, чего вы никогда бы не сделали.

– Что же именно?

– Расхвалить вас в присутствии короля.

– Благодарю вас. Вы как нельзя лучше привели в исполнение свое решение.

– И приблизил к вам уже уплывавшую кардинальскую шапку.

– Признаюсь, – продолжал Арамис со странной улыбкой, – вы положительно незаменимый человек по части облагодетельствования своих друзей.

– Вы, значит, согласны, что я действовал только в интересах Портоса?

– Я тоже хотел позаботиться о нем, но у вас руки длиннее.

Теперь наступила очередь улыбнуться д'Артаньяну.

– Позвольте, – остановил его Арамис, – мы должны сказать друг другу всю правду. Любите ли вы меня по-прежнему, дорогой д'Артаньян?

– Именно по-прежнему, – отвечал д'Артаньян, не очень связывая себя этим ответом.

– В таком случае благодарю вас, и будем говорить друг с другом совершенно откровенно, – предложил Арамис. – Вы приезжали в Бель-Иль ради короля?

– Разумеется!

– Значит, вы хотели отнять у нас удовольствие поднести королю укрепленный Бель-Иль?

– Но, мой друг, чтобы отнять у вас удовольствие, мне нужно было предварительно знать о вашем намерении.

– Вы приезжали в Бель-Иль, ничего не зная?

– О вас – да! Скажите на милость, каким образом мог я предположить, что Арамис сделался инженером, способным строить укрепления, как Полибий или Архимед.

– Это верно. Однако вы догадались, что я там?

– О да.

– И Портос тоже?

– Дражайший, я не мог догадаться, что Арамис стал инженером. Я не мог догадаться, что им стал Портос. Один латинский писатель сказал: «Оратором делаются, поэтом рождаются». Но он не говорил: «Портосом рождаются, инженером делаются».

– Вы всегда отличались очаровательным остроумием, – холодно усмехнулся Арамис. – Но пойдем дальше.

– Пойдем.

– Узнав нашу тайну, вы поторопились сообщить ее королю?

– Я поторопился, милейший, увидев, что спешите вы. Когда человек, весящий двести пятьдесят восемь фунтов, как Портос, мчится на почтовых; когда прелат-подагрик (простите, вы сами сказали мне это) летит как ветер, – то у меня возникает подозрение, что двое моих друзей, не пожелавшие предупредить меня, хотят скрыть от меня что-то очень важное, и, воля ваша, я тоже мчусь... насколько позволяют мне моя худоба и отсутствие подагры.

– Дорогой друг, а не подумали ли вы, что можете оказать мне и Портосу медвежью услугу?

– Очень подумал; но ведь и вы с Портосом заставили меня сыграть в Бель-Иле весьма незавидную роль.

– Простите меня, – сказал Арамис.

– И вы меня извините, – отвечал д'Артаньян.

– Словом, – продолжал Арамис, – вы теперь знаете все.

– Ей-богу, не все!

– Вы знаете, что мне пришлось немедленно предупредить господина Фуке, чтобы он опередил вас у короля.

– Тут что-то темное.

– Да нет же! У господина Фуке много врагов. Ведь вам это известно?

– О да!

– И один особенно опасный?

– Опасный?

– Смертельный! И с целью побороть влияние этого врага Фуке пришлось доказывать королю свою глубокую преданность и готовность идти на всякие жертвы. Он сделал его величеству сюрприз, подарив ему Бель-Иль.

А если бы вы первый приехали в Париж, сюрприз был бы испорчен... Создалось бы впечатление, что мы испугались.

– Понимаю.

– Вот и вся тайна, – закончил Арамис, довольный тем, что ему удалось убедить мушкетера.

– Однако, – усмехнулся д'Артаньян, – проще было бы отвести меня в сторону, когда мы были в Бель-Иле, и сказать: «Дорогой друг, мы укрепляем Бель-Иль-ан-Мер, чтобы преподнести его королю... Сделайте нам одолжение и откройте, за кого вы: за господина Кольбера или за господина Фуке?» Может быть, я ничего не ответил бы; но если бы вы спросили: «А мне вы друг?» – я бы ответил: «Да».

Арамис опустил голову.

– Таким образом, – продолжал д'Артаньян, – я был бы обезоружен и, придя к королю, заявил бы: «Государь, господин Фуке укрепляет Бель-Иль, и укрепляет превосходно; но вот что поручил мне передать вашему величеству господин губернатор Бель-Иля». Или же: «Господин Фуке собирается посетить вас, чтобы сообщить о своих намерениях». Я не сыграл бы глупой роли, ваш сюрприз не был бы испорчен, и мы не косились бы друг на друга.

– А теперь, – сказал Арамис, – вы действовали как друг Кольбера. Значит, вы его друг?

– Ей-богу, нет! – воскликнул капитан. – Господин Кольбер педант, и я ненавижу его, как ненавидел Мазарини, но мне он не страшен.

– А я люблю господина Фуке, – заявил Арамис, – и предан ему. Вы знаете мое положение... Я был беден... Господин Фуке дал мне доход, выхлопотал епископство; господин Фуке оказал мне много услуг и был очень любезен со мной; я достаточно хорошо знаю свет, чтобы оценить доброе отношение к себе. Итак, господин Фуке завоевал мое сердце, и я отдал себя в его распоряжение.

– Превосходно. У вас прекрасный господин.

Арамис поджал губы.

– Я думаю, что лучшего не найти.

Последовало молчание. Д'Артаньян не нарушал его.

– Вы, наверное, знаете от Портоса, как он попал в эту историю?

– Нет, – ответил Д'Артаньян – Я, правда, любопытен, но никогда не расспрашиваю друга, если он хочет скрыть от меня какую-нибудь тайну.

– Я сейчас расскажу вам это.

– Не стоит, если ваше признание свяжет меня.

– Не бойтесь. Я всегда очень любил Портоса за его простодушие и доброту; Портос человек прямой. С тех пор, как я стал епископом, я ищу простодушных людей, которые внушают мне любовь к правде и ненависть к интригам.

Д'Артаньян погладил усы.

– Увидя Портоса, я постарался подойти к нему поближе. У него не было дела, его присутствие напоминало мне доброе старое время и отвлекало от дурных мыслей. Я позвал Портоса в Ванн. Господин Фуке любит меня; узнав, что Портос мой друг, он обещал похлопотать за него перед королем. Вот и вся тайна.

– Я не злоупотреблю ею, – улыбнулся Д'Артаньян.

– Я хорошо это знаю, дорогой друг; никто не облагает в такой степени чувством истинной чести, как вы.

– Я польщен, Арамис.

– А теперь...

И прелат заглянул в самую душу своего друга.

– А теперь поговорим о себе. Хотите стать другом господина Фуке? Не перебивайте меня, прежде чем не узнаете, что я хочу сказать.

– Слушаю.

– Хотите сделаться маршалом Франции, пэром, герцогом, владеть герцогством с миллионным населением?

– Что же нужно сделать, друг мой, чтобы получить все это? – спросил Д'Артаньян.

– Быть сторонником господина Фуке.

– Я сторонник короля, дорогой друг.

– Но не исключительно же, я думаю?

– Я не раздваиваюсь.

– Я полагаю, что вместе с большим сердцем у вас есть и некоторое честолюбие?

– Да, конечно.

– И, следовательно...

– И, следовательно, я желаю быть маршалом Франции; но маршалом, герцогом, пэром сделает меня король; король даст мне все это.

Арамис пристально взглянул на д'Артаньяна.

– Разве король не властелин? – спросил Д'Артаньян.

– Никто этого не оспаривает. Только ведь Людовик Тринадцатый тоже был властелином.

– Да, дорогой, но между Ришелье и Людовиком Тринадцатым не было господина д'Артаньяна, – спокойно заметил мушкетер.

– Около короля, – продолжал Арамис, – много камней преткновения.

– Но не для короля.

– Конечно; однако...

– Послушайте, Арамис, я вижу, что здесь каждый думает о себе и никто не помышляет о государе; а я буду поддерживать себя, поддерживая его.

– А неблагодарность?

– Ее боятся только слабые!

– Вы очень уверены в себе.

– Кажется, да.

– Но, может быть, со временем вы перестанете быть нужным королю?

– Напротив, я думаю, что в будущем понадобится ему больше, чем когда-либо.

Слушайте, дорогой, если бы пришлось обуздать нового Конде, кто обуздал бы его? Вот это... только это во всей Франции! – И д'Артаньян похлопал по своей шпаге.

– Вы правы, – сказал Арамис, бледнея.

Он встал и пожал руку д'Артаньяну.

– Вот в последний раз зовут к ужину, – поднялся с места капитан мушкетеров. – Вы позволите...

Арамис обнял мушкетера:

– Такой друг, как вы, прекраснейшая жемчужина в королевской короне.

И они разошлись.

«Я так и думал, что это неспроста», – промелькнуло в голове д'Артаньяна.

«Нужно поскорее зажечь порох, – сказал про себя Арамис. – Д'Артаньян почуял подкоп».

Глава 17. ПРИНЦЕССА И ДЕ ГИШ

Мы видели, что граф де Гиш вышел из залы в тот момент, когда Людовик XIV так галантно поднес Лавальер великолепные браслеты, выигранные им в лотерею.

Некоторое время де Гиш прогуливался возле дворца, снедаемый подозрениями и тревогами. Затем он стал поджидать на террасе появления принцессы. Прошло более получаса. У графа в его одиночестве вряд ли были веселые мысли. Он вынул из кармана записную книжку и после долгих колебаний написал:

«Принцесса, умоляю вас уделить мне несколько мгновений для разговора.

Пусть вас не пугает эта просьба; она продиктована только глубоким почтением, с которым, я, и т.д. и т.д.».

Он подписал эту необычную просьбу и сложил листок вчетверо, но в этот момент заметил, что гости королевы начинают расходиться. Он увидел Лавальер, потом Монтале, которая разговаривала с Маликорном. Он пропустил всех гостей королевы-матери, только что наполнивших ее салон.

Принцесса не показывалась. Однако ей необходимо было пересечь этот двор для возвращения домой, и Гиш внимательно наблюдал. Наконец он увидел принцессу; она шла с двумя пажами, освещавшими ей путь факелами; дойдя до двери, она крикнула:

– Пажи, ступайте узнать, где граф де Гиш. Он должен дать мне отчет в о дном – поручении. Если он свободен, попросите его прийти ко мне.

Де Гиш молчал, спрятавшись в тень. Но как только принцесса вошла к себе, он опрометью сбежал с террасы и с самым равнодушным видом двинулся навстречу пажам, которые направлялись в его комнату.

«Вот как, принцесса послала за мной!» – взволнованно подумал он и скомкал свою, теперь уже ненужную, записку.

– Граф! – сказал один из пажей, заметив его. – Мы очень рады, что встретили вас.

– Что вам угодно, господа?

– Мы по приказанию принцессы.

– По приказанию принцессы? – повторил де Гиш с притворным удивлением.

– Да. Ее высочество спрашивает вас: вы должны дать ей отчет в одном поручении. Вы свободны?

– Я весь к услугам ее высочества.

– В таком случае благоволите следовать за нами.

Поднявшись к принцессе, де Гиш увидел, что она бледна и взволнованна.

У двери стояла Монтале, которой очень хотелось знать, что происходит в уме ее госпожи.

– А, это вы, господин де Гиш, – начала принцесса, увидя графа, – прошу вас... Мадемуазель де Монтале, вы свободны и можете уйти.

Еще более заинтригованная Монтале поклонилась и ушла. Принцесса и де Гиш остались одни.

Все преимущества были на стороне графа: сама принцесса пригласила его на свидание. Но как мог граф воспользоваться этой милостью? Принцесса была так своенравна, характер ее был так изменчив. И она скоро обнаружила это; в самом начале разговора она вдруг спросила:

– Неужели вам нечего сказать мне, граф?

Ему показалось, что она угадала его мысли; ему показалось (влюбленные доверчивы и слепы, как поэты или пророки), ему показалось, будто она угадала его желание видеть ее и цель этого желания.

– Да, принцесса, – поклонился он, – я очень удивлен.

– Историей с браслетами? – перебила его принцесса. – Не правда ли?

– Да, принцесса.

– По-вашему, король влюблен? Скажите!

Де Гиш пристально посмотрел на нее, и принцесса опустила глаза под этим взглядом, проникавшим до самого сердца.

– По-моему, – отвечал он, – король, вероятно, хочет кого-то помучить, иначе он не стал

бы так афишировать свои чувства; он не решился бы так спокойно компрометировать девушку, до сих пор вполне безупречную.

– Эту бесстыдницу? – высокомерно промолвила принцесса.

– Могу заверить ваше высочество, – с почтительной твердостью сказал де Гиш, – что мадемуазель де Лавальер любит человек, достойный всякого уважения.

– Уж не Бражелон ли?

– Да, принцесса. Он мой друг.

– А какое дело королю до того, что он ваш друг?

– Король знает, что Бражелон – жених мадемуазель де Лавальер; и так как Рауль честно служил королю, король не захочет причинять непоправимого несчастья.

Принцесса звонко расхохоталась, и этот смех болезненно подействовал на де Гиша.

– Повторяю, принцесса, я не думаю, чтобы король был влюблен в Лавальер, и в доказательство этого я хочу спросить у вас, принцесса: чье самолюбие желал задеть его величество в данном случае? Вы знаете весь двор и поможете мне разрешить этот вопрос, тем более что, как уверяют, ваше высочество очень близки с королем.

Принцесса закусила губу и, не придумав ответа, изменила тему разговора.

– Докажите мне, – сказала она, глядя на графа тем взглядом, в который как будто была вложена вся душа, – докажите, что именно вы хотели поговорить со мной, хотя позвала вас я.

Де Гиш торжественно вынул свою записку и подал принцессе.

– Наши желания совпали.

– Да, – произнес граф с нежностью, которую он не мог подавить, – и я уже объяснил вам, зачем я хотел вас видеть; вы же, принцесса, еще не сказали, зачем вы потребовали меня к себе.

– Это правда.

Она колебалась.

– Я с ума схожу из-за этих браслетов, – молвила она вдруг.

– Вы ожидали, что король поднесет их вам? – спросил де Гиш.

– А почему бы и нет?

– Но ведь, принцесса, у короля, кроме вас, его невестки, есть еще супруга?

– А кроме Лавальер, – воскликнула уязвленная принцесса, – у него есть я! У него есть весь двор!

– Уверяю вас, принцесса, – почтительно поклонился граф, – что если бы кто-либо услышал ваши слова и увидел ваши красные глаза и – да простит меня бог – эту слезу, навернувшуюся на ваши ресницы... да, если бы кто увидел это, то сказал бы, что ваше высочество ревнует.

– Ревную! – надменно воскликнула принцесса. – Ревную к Лавальер?

Она рассчитывала смирить де Гиша этим высокомерным жестом и надменным тоном.

– Да, к Лавальер, принцесса! – смело повторил он.

– Кажется, сударь, вы позволяете себе оскорблять меня, – прошептала она.

– Нет, принцесса, – отвечал взволнованный граф, решивший, однако, укротить этот приступ гнева.

– Вон! – крикнула принцесса вне себя от раздражения, до такой степени хладнокровие и молчаливая почтительность де Гиша взбесили ее»

Де Гиш отступил на несколько шагов, отвесил поклон, выпрямился, белый как полотно, и слегка дрогнувшим голосом произнес:

– Мне не стоило так усердствовать, чтобы подвергнуться совершенно несправедливой немилости.

И он не спеша повернулся спиной. Но не сделал он и пяти шагов, как принцесса бросилась за ним, точно тигрица, схватила его за рукав и воскликнула, привлекая к себе:

– Ваша притворная почтительность страшнее прямого оскорбления. Но оскорбляйте меня, только говорите!

Она вся дрожала от ярости.

– Принцесса, – мягко отвечал граф, обнажая шпагу, – пронзите мое сердце, но не томите!

По устремленному на нее взгляду, полному любви, решимости и даже отчаяния, она поняла, что этот человек, наружно такой спокойный, пронзит себя шпагой, если она прибавит хоть слово.

Она вырвала у него оружие и, сжав ему руку, с испуганием, которое могло сойти за нежность, сказала:

– Граф, пощадите меня! Вы видите, я страдаю, а у вас нет ни капли жалости.

Слезы заглушили ее голос. Увидев принцессу плачущей, де Гиш схватил ее в объятия и отнес на кресло. Она задыхалась.

– Почему, – говорил он, упав на колени, – вы не расскажете мне, что вас печалит? Вы кого-нибудь любите? Скажите мне! Это меня убьет, но раньше я сумею утешить вас, облегчить ваши страдания и оказать вам какую угодно услугу.

– Неужели вы меня так любите?

– Да, я вас люблю, принцесса!

Она протянула ему обе руки.

– Действительно, я люблю, – прошептала она так тихо, что никто, кроме де Гиша, не расслышал бы.

– Короля? – спросил он.

Она слегка кивнула головой, и ее улыбка была похожа на те просветы между тучами, в которых после грозы как бы открывается рай.

– Но в сердце знатной женщины, – прибавила она, – живут и другие страсти. Любовь – поэзия; но настоящей жизнью благородного сердца является гордость. Граф, я рождена на троне, я горда и ревниво отношусь к своему положению. Зачем король приближает к себе недостойных?

– Опять! Вы снова оскорбляете бедную девушку, которая будет женой моего друга.

– Неужели вы так наивны, что верите в это?

– Если бы я не верил, – отвечал де Гиш, сильно побледнев, – Бражелон завтра же узнал бы все; да, узнал бы, если бы у меня были основания предполагать, что бедняжка Лавальер забыла клятвы, данные Раулю. Впрочем, нет, было бы низко выдавать тайну женщины и было бы преступно смутить покой друга.

– Вы думаете, – спросила принцесса, истерически захохотав, – что неведение – счастье?

– Да, думаю, – отвечал он.

– Докажите это, докажите! – приказала она.

– Доказать нетрудно. Принцесса, весь двор говорит, что король любил вас и что вы любили короля.

– Ну! – заторопила она, тяжело дыша.

– Ну, так допустите, что Рауль, мой друг, пришел бы ко мне и сказал:

«Да, король любит принцессу; да, король покорил сердце принцессы», тогда я, быть может, убил бы Рауля!

– Следовало бы, – промолвила принцесса тоном упрямой женщины, которая чувствует себя неприступной, – чтобы господин Бражелон представил вам доказательство своих слов.

– А все-таки, – отвечал со вздохом де Гиш, – пребывая в неведении, я не стал углубляться, и мое неведение спасло мне жизнь.

– Неужели вы до такой степени эгоистичны и холодны, – спросила принцесса, – что позволите этому несчастному молодому человеку по-прежнему любить Лавальер?

– Да, до тех пор, пока мне не будет доказана виновность Лавальер.

– А браслеты?

– Ах, принцесса, ведь вы надеялись, что король поднесет их вам. Что же я мог бы подумать?

Довод был неотразим; принцесса была сокрушена...

С этого мгновения она уже не могла оправиться. Но так как душа ее была полна благородства, а ум отличался тонкостью и остротой, то она оценила всю деликатность де Гиша.

Принцесса ясно прочла в его сердце, что он подозревал о любви короля к Лавальер, но не хотел пользоваться этим вульгарным средством, не хотел губить соперника в мнении женщины, убедив ее, что этот соперник ухаживает за другой.

Она догадалась, что де Гиш подозревает Лавальер, но, желая дать ей время одуматься, чтобы не погубить ее навсегда, воздерживается от решительного шага и не собирает более точных сведений. Словом, она угадала в сердце графа столько подлинного величия и столько великодушия, что почувствовала, как ее собственное сердце воспламеняется от соприкосновения с таким чистым пламенем.

Несмотря на боязнь не понравиться, де Гиш остался человеком последовательным и преданным, и это возвышало его до степени героя, а ее низводило до положения мелочной, ревливой женщины. Она почувствовала к нему такую нежность, что не могла не выразить ее.

– Сколько ненужных слов, – сказала она, беря его за руку. – Подозрение, беспокойство, недоверие, страдание, – кажется, мы произнесли все эти слова.

– Увы, да, принцесса!

– Вычеркните их из вашего сердца, как я выбрасываю их из своего.

Пусть Лавальер любит короля или не любит, пусть король любит Лавальер или не любит, мы, граф, давайте разберемся в ролях, которые мы играем.

Вы делаете большие глаза? Держу пари, что вы не понимаете меня!

– Вы так своенравны, принцесса, что я постоянно боюсь не угодить вам.

– Посмотрите, как он дрожит, как он испуган! – шутливо сказала принцесса с очаровательной улыбкой. – Да, сударь, мне приходится играть две роли. Я – невестка короля. Должна ли я на этом основании вмешиваться в его дела? Ваше мнение?

– Как можно меньше, принцесса.

– Согласна. Но это вопрос достоинства. Во-вторых, я – жена принца.

Де Гиш вздохнул.

– И это, – нежно добавила она, – должно побуждать вас всегда говорить со мной с величайшим почтением.

– О! – воскликнул де Гиш, падая к ее ногам и целуя их.

– Мне кажется, – прошептала она, – что у меня есть еще одна роль. Я забыла о ней.

– Какая же, какая?

– Я – женщина, – еще тише прошептала она, – и я люблю.

Де Гиш поднялся. Она открыла ему объятия; их губы слились.

За портьерой слышались шаги. Вошла Монтале.

– Что вам угодно, мадемуазель? – спросила принцесса.

– Ищут господина де Гиша, – отвечала Монтале, успевшая заметить замешательство актеров, игравших четыре роли, так как и де Гиш героически сыграл свою.

Глава 18. **МОНТАЛЕ И МАЛИКОРН**

Монтале сказала правду. Г-на де Гиша всюду искали, и оставаться у принцессы ему было рискованно. Поэтому принцесса, несмотря на уязвленную гордость, несмотря на – скрытый гнев, не могла, по крайней мере в данную минуту, ни в чем упрекнуть Монтале, так дерзко нарушившую уединение влюбленных.

Де Гиш тоже потерял голову, но еще до появления Монтале; поэтому, едва услышав голос фрейлины, граф, не попрощавшись с принцессой, чего требовала простая вежливость даже между людьми равными, поспешно скрылся, совершенно обезумевший, оставив принцессу с поднятой рукой, посылавшей ему привет.

Дело в том, что де Гиш мог сказать, как говорил через сто лет Керубино, что уносит на губах счастье на целую вечность.

Итак, Монтале нашла влюбленных в большом замешательстве; в замешательстве был тот, кто убегал, в замешательстве была и та, что оставалась.

И фрейлина прошептала, вопросительно оглядываясь кругом:

– Кажется, на этот раз я узнаю столько, что самая любопытная женщина позавидовала бы мне.

Принцесса была до такой степени смущена этим пытливым взглядом, точно она расслышала слова фрейлины, и, опустив глаза, отправилась в спальню.

Видя это, Монтале насторожилась, и до нее донесся звук щелкнувшего ключа.

Тогда Монтале поняла, что вся ночь в ее распоряжении, и, сделав перед дверью довольно непочтительный жест, как бы говоривший: «Покойной ночи, принцесса», – сбежала вниз разыскивать Маликорна, который внимательно рассматривал запыленного курьера, вышедшего из комнат графа де Гиша.

Поняв, что Маликорн занят важным делом, Монтале не беспокоила его и, лишь когда он перестал напрягать зрение и вытягивать шею, хлопнула его по плечу.

– Ну, – спросила Монтале, – что нового?

– Господин де Гиш любит принцессу, – отвечал Маликорн.

– Вот так новость! Я знаю кое-что посвежее.

– Что именно?

– Что принцесса любит господина де Гиша.

– Одно вытекает из другого.

– Не всегда, мой милый.

– Это сказано по моему адресу?

– Присутствующие всегда исключаются.

– Спасибо, – поклонился Маликорн. – А как обстоят дела у короля?

– Король хотел видеть Лавальер сегодня вечером после лотереи.

– И что же, он видел ее?

– Нет.

– Как нет?

– Дверь была заперта.

– Так что?..

– Так что король ушел посрамленный, как простой вор, забывший свои инструменты.

– Хорошо.

– А у вас что нового? – спросила Монтале.

– Господин Бражелон прислал курьера к господину де Гишу.

– Прекрасно, – улыбнулась Монтале и захлопала в ладоши.

– Почему прекрасно?

– Потому что предстоит развлечение. Если мы теперь начнем скучать, значит, мы сами виноваты.

– Нужно разделить обязанности, – сказал Маликорн, – чтобы не вышло путаницы.

– Ничего не может быть проще, – отвечала Монтале. – Три свеженькие интриги, если они ведутся как следует, дают, по крайней мере, три записочки в день.

– Что вы, дорогая! – воскликнул Маликорн, пожимая плечами. – Три записки в день! Да это хорошо только для мещанских чувств. Мушкетер на часах и девчонка в монастыре обмениваются ежедневно запиской через щелку в стене. В одной записочке вмещается вся поэзия этих бедных сердец. Но у нас... как вы плохо знаете королевскую нежность, дорогая!

– Кончайте скорее, – нетерпеливо перебила его Монтале. – Сюда могут прийти.

– Кончать? Да я только начал. У меня есть еще три важных пункта.

– Он положительно уморит меня своей фламандской флегматичностью, вскричала Монтале.

– А вы совсем собьете меня с толку вашей итальянской живостью. Итак, я вам сказал, что наши влюбленные будут посылать друг другу целые тома.

Но что же из этого?

– А то, что ни одна из наших дам не может хранить получаемых писем.

– Без сомнения.

– И то, что господин де Гиш тоже не решится хранить полученные им письма.

– Вероятно.

– Значит, я буду хранить всю эту переписку у себя.

– Это совершенно невозможно, – сказал Маликорн.

– Почему же?

– Потому, что вы не дома; потому, что у вас общая комната с Лавальер; потому, что комнату фрейлин частенько осматривают и обыскивают; потому, что королева ревнива, как испанка, и королева-мать ревнива, как две испанки, и, наконец, принцесса ревнива, как десять испанок...

– Вы кое-кого забываете.

– Кого?

– Принца.

– Я говорил только о женщинах. Итак, перенумеруем. Номер первый принц.

– Номер второй – де Гиш.

– Номер третий – виконт де Бражелон.

– Номер четвертый – король.

– Король?

– Конечно, король; он не только самый ревнивый, но и самый могущественный из всех.

– О, дорогая!

– Дальше!

– В какое же осиное гнездо вы попали!

– А вы хотите идти за мной?

– Конечно, хочу. Однако...

– Однако...

– Однако, пока есть еще время, я думаю, было бы благоразумнее вернуться.

– А я, напротив, думаю, что было бы благоразумнее сразу же овладеть всеми этими интригами.

– Вы не справитесь.

– С вашей помощью я справлюсь и с десятью. Это моя стихия, дорогой мой. Я создана для придворной жизни, как саламандра создана, чтобы жить в огне.

– Ваше сравнение несколько не успокаивает меня, дорогая. Я слышал от очень ученых людей, что, во-первых, саламандра не существует, а во-вторых, если бы они и существовали, то выходили бы из огня совершенно изжаренными.

– Ваши ученые, может быть, отлично знают все, что касается саламандр, но они не скажут вам того, что я сейчас скажу, а именно: Оре де Монтале меньше чем через месяц суждено стать первым дипломатом при французском дворе!

– Пожалуй, но при условии, что я буду вторым.

– Идет; союз наступательный и оборонительный, разумеется.

– Только остерегайтесь писем.

– Я буду отдавать их вам, по мере того как они будут поступать ко мне.

– Что скажем мы королю о принцессе?

– Что принцесса все еще любит короля.

– Что скажем мы принцессе о короле?

– Что она поступит весьма опрометчиво, если не будет щадить его.

– Что скажем мы Лавальер о принцессе?

– Что вздумается. Лавальер наша.

– Наша?

– Вдвойне.

– Как так?

– Во-первых, благодаря виконту де Бражелону.

– Объяснитесь.

– Надеюсь, что вы не забыли, что господин де Бражелон писал много писем мадемуазель

де Лавальер.

- Я ничего не забываю.
- Эти письма получала я, и я их прятала.
- Значит, они у вас?
- У меня.
- Где же – здесь?
- О нет, они в Блуа, в знакомой вам комнатке.
- Милая комнатка, комнатка, наполненная любовью, преддверие дворца, в котором я когда-нибудь поселю вас! Но простите, вы говорите, что все эти письма в той комнатке?
- А вы не прятали их в шкатулку?
- Конечно, в ту самую шкатулку, куда я прятала письма, полученные от вас, и мои собственные письма, когда дела или развлечения мешали вам приходить на свидание.
- Отлично! – воскликнул Маликорн.
- Почему вы так довольны?
- Потому, что мне не придется ездить за письмами в Блуа. Они у меня здесь.
- Вы привезли шкатулку?
- Она была мне дорога, потому что она ваша.
- Так храните ее хорошенько. В шкатулке есть документы, которые впоследствии будут стоить очень дорого.
- Я это знаю. Именно поэтому я смеюсь, и смеюсь от всего сердца!
- Теперь последнее слово.
- Почему же последнее?
- Нам нужны будут помощники?
- Никаких.
- Лакеи, горничные?
- Нет, никого. Это не годится. Вы сами будете отдавать письма и сами получать их. Никаких обид! Если господин Маликорн и мадемуазель Ора не будут устраивать свои дела сами, то дела эти попадут в чужие руки.
- Вы правы. Но что такое происходит у господина де Гиша?
- Ничего; он открывает окно.
- Бежим скорее!

И оба исчезли; заговор был составлен.

Действительно, в комната графа де Гиша открылось окно. Но это он сделал не только для того, чтобы, как предположили бы несведущие, постараться увидеть тень принцессы через занавески; графа волновали не одни только любовные чувства.

Как мы уже сказали, к нему только что приехал курьер, посланный Бражелоном. Бражелон писал де Гишу. Граф дважды перечитал письмо Рауля, которое произвело на него глубокое впечатление.

– Странно! Странно! – шептал он. – Какими могучими средствами судьба влечет людей к цели!

И, отойдя от окна, – поближе к свету, он в третий раз перечитал это письмо, строки которого жгли его мозг и глаза.

«Кале,

Дорогой граф!

Я встретил в Кале г-на де Варда, который был тяжело ранен на дуэли с герцогом Бекингэмом.

Де Вард, как вы знаете, человек храбрый, но мстительный и злобный.

Он говорил мне о вас, уверяя, что очень к вам расположен; говорил также о принцессе, которую он находит красивой и любезной. Он догадался о вашей любви к известной вам особе.

Он говорил также о той, кого я люблю, и выразил мне большое сочувствие,

сопровождая его такими темными намеками, что я сперва испугался, но потом приписал их его привычке держаться таинственно.

Дело вот в чем.

Он получил из Фонтенбло известия. Вы понимаете, их мог сообщить ему только г-н де Лоррен.

Говорят, так сообщается ему в этих известиях, что в сердце короля произошла перемена. Вы знаете, кого это касается. Кроме того, сообщается в этих же известиях, говорят об одной фрейлине, которая дает повод к злословию.

Эти неопределенные фразы отняли у меня сон. Я пожалел, что мой характер, прямой и слабый, несмотря на известную долю упрямства, помешал мне ответить на эти утверждения.

Так как г-н де Вард уезжал в Париж, то я не стал его задерживать объяснениями. Сознаться откровенно, мне казалось неделикатным подвергать допросу человека, раны которого едва зарубцевались.

Короче говоря, он уехал – уехал, по его словам, для того, чтобы посмотреть на любопытное зрелище, которое, наверное, в самом скором времени будет представлять двор. Прощаясь, он поздравил меня и выразил соболезнование. Я не понял ни того, ни другого. Я был сбит с толку своими мыслями и недоверием к этому человеку, недоверием, которого, как вам хорошо известно, я никогда не мог преодолеть.

Но едва он уехал, мой ум прояснился. Невозможно предположить, чтобы человек с таким характером, как де Вард, не подлил некоторой дозы яду в свои разговоры со мной. Поэтому в таинственных словах г-на де Варда, наверное, вовсе нет таинственного смысла, который я мог бы приложить к себе или к известной вам особе.

Принужденный, по приказанию короля, немедленно ехать в Англию, я не имею никакого намерения бежать за г-ном де Вардом, чтобы получить объяснение его недомолвок; но я посылаю вам курьера и пишу письмо, из которого вы узнаете обо всех моих сомнениях. Выступайте от моего имени; я размышлял, вы действуйте.

Господин де Вард скоро приедет в Фонтенбло; узнайте же, что означают его намеки, если только вам это неизвестно. Г-н де Вард уверял также, будто герцог Бекингэм уехал из Парижа, ошарашенный принцессой. В ответ на эти слова я немедленно обнажил бы шпагу, если бы не находил, что служба королю обязывает пренебрегать личными счетами.

Сожгите это письмо, которое вам доставит Оливен.

Оливен воплощение верности.

Очень прошу вас, дорогой граф, напомнить обо мне мадемуазель де Лавальер, ручки которой я почтительно целую.

Обнимаю вас.

Виконт де Бражелон».

«P.S. Если случится что-нибудь серьезное, – все следует предвидеть, дорогой друг, – пошлите в Лондон курьера с одним только словом: „Приезжайте“, – и я буду в Париже через тридцать шесть часов после получения вашего письма».

Де Гиш вздохнул, сложил письмо в третий раз и, вместо того чтобы сжечь его, как приказал Рауль, спрятал его в карман.

Ему хотелось еще несколько раз перечитать эти строки.

– Сколько тревоги и вместе с тем какое доверие! – прошептал граф. – В этом письме вся душа Рауля; он забывает в нем о графе де Ла Фер и говорит о своем уважении к Луизе. Ах, – продолжал де Гиш с угрозой, – вы вмешиваетесь в мои дела, г-н де Вард? Хорошо же, я займусь вашими! Бедный Рауль, твое сердце поручает мне сокровище; я буду охранять его, не бойся!

Дав такое обещание, де Гиш послал за Маликорном с просьбой явиться к нему как – можно скорее.

Маликорн тотчас же явился; его поспешность была первым следствием беседы с

Монтале.

Чем больше расспрашивал де Гиш, тем больше разгадывал Маликорн его намерения. В результате, после двадцатиминутного разговора, в течение которого де Гиш рассчитывал узнать всю правду о Лавальере и о короле, он узнал только то, что видел собственными глазами. Между тем Маликорн узнал или угадал, как вам будет угодно, что у Рауля рождаются подозрения и что де Гиш собирается стеречь сокровища Гесперид. Маликорн согласился принять на себя роль дракона.

Де Гиш вообразил, будто он сделал все для своего друга, и теперь занялся собой.

На другой день вечером стало известно о возвращении де Варда и о посещении им короля. После этого визита выздоравливающий должен был посетить принца, Де Гиш поспешил к принцу.

Глава 19.

КАК ДЕ ВАРД БЫЛ ПРИНЯТ ПРИ ДВОРЕ

Принц принял де Варда с такой отменной благосклонностью, которую внушает человеку легкомысленному надежда на получение интересных новостей.

Де Варда никто не видел целый месяц, так что он был лакомым блюдом.

Обласкать его означало прежде всего проявить неверность по отношению к старым друзьям, а в неверности всегда заключена какая-то прелесть; кроме того, такой лаской можно было загладить былые недоразумения. Итак, принц принял де Варда весьма милостиво.

Шевалье де Лоррен, очень боявшийся соперника, но уважавший в нем характер, во всем схожий с его собственным, но более отважный, – шевалье де Лоррен встретил де Варда еще ласковее, чем принц.

Как мы уже сказали, любимцем принца был также де Гиш, но он держался немного в стороне, терпеливо – ожидая, когда кончатся все эти нежности.

Разговаривая с гостями принца и даже с самим принцем, де Вард не терял из виду де Гиша; инстинкт подсказывал ему, что де Гиш пришел ради него. Поэтому, поздоровавшись со всеми, де Вард тотчас же направился к де Гишу. Они обменялись друг с другом самыми изысканными приветствиями.

После этого де Вард вернулся к принцу и его свите.

Среди всеобщих поздравлений с счастливым возвращением было доложено о приходе принцессы.

Принцесса уже знала о приезде де Варда, ей были известны все подробности его путешествия и дуэли с Бекингэмом. Она не без удовольствия собиралась присутствовать при сообщении, которое должен был сделать ее враг. Принцесса пришла в сопровождении нескольких фрейлин.

Де Вард самым любезным образом приветствовал принцессу и, как бы открывая враждебные действия, объявил о своей готовности рассказать о герцоге Бекингэме.

Это был ответ на холодный прием принцессы. Нападение было энергичное; принцесса почувствовала удар, но сделала вид, что он не попал в цель.

Она мельком взглянула на принца и на де Гиша. Принц покраснел, де Гиш побледнел. Принцесса сохранила бесстрастный вид, однако, сознавая, сколько неприятностей может причинить ей этот враг, она с улыбкой наклонилась в сторону путешественника, который заговорил о чем-то другом.

Принцесса была смела, даже неосторожна; при всяком отступлении неприятеля она устремлялась вперед. После минутного замешательства она бесстрашно бросилась в огонь.

– Вы очень страдали от ран, господин де Вард? – спросила она. – Мы здесь узнали, что вам не посчастливилось и вы были ранены.

Теперь де Варду пришла очередь вздрогнуть; он поджал губы.

– Нет, принцесса, я почти не чувствовал боли.

– Однако в такую страшную жару...

– Морской воздух освежает, принцесса; кроме того, у меня было одно утешение.
– Вот как! Тем лучше!.. Какое же?
– Знать, что мой противник страдает больше меня.
– О! Он был ранен серьезнее вас? Я этого не знала, – заметила принцесса с полнейшим бесстрашием.

– Вы ошибаетесь, принцесса, или, вернее, делаете вид, что ошибаетесь.
Его тело не испытывало такой боли, как мое, зато было задето его сердце.

Де Гиш понял, к чему клонилась борьба: он сделал принцессе знак, умоляя ее прекратить состязание. Но принцесса, не отвечая графу и делая вид, что не замечает его, спросила, продолжая улыбаться:

– Как, разве герцог Бекингэм был ранен в сердце?

До сих пор я думала, что раны в сердце неизлечимы.

– Увы, принцесса, – с изысканной любезностью отвечал де Вард, – все женщины убеждены в этом, и потому они так самонадеянны.

– Вы неправильно поняли его, моя милая, – нетерпеливо заметил принц.

– Господин де Вард хочет сказать, что герцог Бекингэм был ранен в сердце не шпагой, а другим оружием.

– Ах, вот оно что! – воскликнула принцесса. – Господин де Вард пошутил; отлично. Но интересно знать, понравилась бы эта шутка герцогу? Право, очень жаль, что его нет здесь, господин де Вард.

Глаза молодого человека блеснули.

– Мне тоже очень жаль, – произнес он, стиснув зубы.

Де Гиш не пошевелился. Принцесса как будто ждала, что он придет ей на помощь.

Принц колебался. Тогда выступил шевалье де Лоррен:

– Принцесса, де Вард отлично знает, что для такого человека, как Бекингэм, получать сердечные раны не новость.

– Вместо того чтобы приобрести одного союзника, мне приходится иметь дело с двумя врагами, – прошептала принцесса, – врагами сговорившимися, ожесточенными.

И она переменила тему разговора. Принцы, как известно, имеют право менять темы разговора, и этикет требует уважать это право. Оживление пропало; главные актеры сыграли свои роли.

Принцесса ушла рано, и принц, желавший расспросить ее, предложил ей руку.

Шевалье де Лоррен слишком боялся восстановления добрых отношений между супругами, для того чтобы оставить их в покое. Поэтому он направился к апартаментам принца с целью встретить его на обратном пути и уничтожить двумя-тремя словами все благоприятные впечатления, которые принцесса могла оставить в его сердце. Де Гиш сделал шаг по направлению к де Варду, которого тесно обступила кучка придворных. Он выразил таким образом желание поговорить с ним. Де Вард сделал ему глазами и головой знак, что он понял.

Посторонним это движение показалось дружелюбным.

Де Гишу недолго пришлось ждать. Освободившись от своих собеседников, де Вард подошел к де Гишу, и, снова обменявшись поклонами, они стали разгуливать по комнате.

– Благополучно возвратились, дорогой де Вард? – начал граф.

– Как видите, совершенно благополучно.

– И веселы по-прежнему?

– Больше, чем когда-либо.

– Как я рад!

– Что подделаешь! В этом мире столько шутовства, столько смешных причуд.

– Вы правы.

– Значит, вы согласны со мной?

– Еще бы! Вы привезли нам новости?

– Ей-богу, нет; я сам приехал сюда за новостями.

– Рассказывайте! Вы ведь встречались в Булони с разными людьми и недавно видели одного из моих друзей.

– Встречался с людьми?.. Видел одного из ваших друзей?..

– Короткая же у вас память.

– Ах да: Бражелона!

– Именно.

– Который едет с поручением к королю Карлу?

– Совершенно верно. Разве он ничего не рассказал вам и вы ему ничего не рассказали?..

– Право, не помню, что я ему говорил, но отлично помню, чего я ему не сказал.

Де Вард обладал удивительно тонким чутьем. По холодному, исполненному достоинства обращению де Гиш он ясно почувствовал, что разговор принимает дурной оборот. Он решил держаться непринужденно и настороже.

– Скажите же, пожалуйста, что вы от него утаили? – поинтересовался де Гиш.

– Все, что касается Лавальер.

– Лавальер?.. Ничего не понимаю! Что это за странная вещь, которую вы узнали, находясь далеко от Парижа, между тем как Бражелону, находившемуся здесь, ничего не было известно?

– Вы серьезно задаете мне этот вопрос?

– Как нельзя более серьезно.

– Как! Вы, придворный, завсегдатай во дворце, друг принца, фаворит прекрасной принцессы?

Де Гиш вспыхнул от гнева.

– О какой принцессе говорите вы? – спросил он.

– Я знаю только одну, дорогой мой. Я говорю о супруге принца. Разве при дворе есть еще какая-нибудь принцесса? Скажите.

Де Гиш еле сдерживался; ссора была неминуема. Но де Вард хотел, чтобы поводом для нее была принцесса, а де Гиш затевал ее только ради Лавальер. С этого момента началась полная притворства игра, которая могла длиться до тех пор, пока один из противников не оказался бы серьезно задетым.

Итак, де Гиш овладел собой.

– Мне нет никакого дела до принцессы, дорогой де Вард, – заявил де Гиш. – Меня интересует лишь то, что вы сию минуту сказали.

– Что же я сказал?

– Что вы кое-что утаили от Бражелона.

– Иначе говоря – то, что вы знаете так же хорошо, как и я, – отпарировал де Вард.

– Даю вам слово, что нет!

– Полно!

– Если вы мне скажете, я буду знать, – не иначе, клянусь вам!

– Как! Я приезжаю сюда из Булони, а вы находились здесь и видели собственными глазами то, что молва успела занести в Булонь, – и вы серьезно уверяете меня, что ничего не знаете? Помилосердствуйте, граф!

– Как вам угодно, де Вард, но повторяю, что я ничего не знаю.

– Вы скрытничаете; это очень предусмотрительно.

– Значит, вы и мне не скажете больше, чем Бражелону?

– Вы притворяетесь глухим; я убежден, что и принцесса не могла бы лучше владеть собой, чем вы.

«Ах ты, дважды лицемер, – подумал де Гиш, – ты опять возвращаешься к принцессе».

– Ну, раз нам трудно сговориться относительно Лавальер и Бражелона, продолжал де Вард, – поговорим о ваших личных делах.

– Никаких личных дел у меня нет, – возразил де Гиш. – Надеюсь, вы ничего не сказали обо мне Бражелону, чего не могли бы повторить сейчас?

– Нет. Но поймите, де Гиш, что насколько я не осведомлен относительно одних вещей,

настолько мне все отлично известно о других. Например, если бы речь зашла о парижских связях герцога Бекингэма, то я мог бы порассказать вам много очень занимательного, так как был его спутником. Не хотите ли послушать?

Де Гиш вытер вспотевший лоб.

– Нет, – отвечал он, – тысячу раз нет! Я нисколько не любопытен и не желаю знать того, что меня не касается. Герцог Бекингэм просто мой знакомый, тогда как Рауль – близкий друг. Поэтому мне совершенно безразлично, что случилось с герцогом, и я очень интересуюсь всем, что касается Рауля.

– Всем, что произошло с ним в Париже?

– Ив Париже и в Булони. Вы понимаете, я нахожусь здесь; если что-нибудь случится, я дам отпор. Между тем Рауль уехал, и один только я могу выступить на его защиту. Итак, дела Рауля мне важнее моих собственных.

– Но Рауль вернется.

– Да, когда исполнит поручение. А до тех пор, вы понимаете, я не могу быть равнодушным к неблагоприятным слухам о нем.

– Тем более что он проведет в Лондоне немало времени, – с усмешкой заметил де Вард.

– Вы думаете? – удивился де Гиш.

– Еще бы! Неужели вы предполагаете, что его послали в Лондон только с тем, чтобы он съездил туда и вернулся? Ну нет, его послали в Лондон, чтобы он там остался.

– О граф! – сказал де Гиш, энергично сжимая руку де Варда. – Это очень неприятное для Бражелона предположение, и оно вполне оправдывает то, что он писал мне из Булони.

Де Вард снова стал хладнокровен; насмешливость слишком увлекла его, и он неосторожно дал своему противнику перевес над собой.

– Скажите, о чем же он писал вам? – спросил он.

– Что вы вероломно оклеветали Лавальер и, по-видимому, смеялись над его доверием к этой девушке.

– Все это правда, – согласился де Вард, – я ожидал услышать от виконта де Бражелона то, что обыкновенно один мужчина говорит другому, когда тот делает оскорбительные намеки. Так, например, если бы я искал с вами ссоры, то сказал бы, что принцесса, отличив своим вниманием герцога Бекингэма, потом отослала его от себя ради вас.

– О, это нисколько бы не оскорбило меня, дорогой де Вард, – де Гиш принужденно улыбался, несмотря на то, что огонь струился по его жилам. Такая милость слаще меда.

– Согласен, но если бы я непременно хотел вызвать вас на ссору, я бы постарался уличить вас во лжи; я рассказал бы вам об одной роще, где вы встретились с этой знаменитой принцессой, о коленопреклонениях, о целованиях ручек, и тогда вы, человек скрытный, живой и обидчивый...

– Клянусь вам, – перебил его де Гиш с судорожной улыбкой на губах, клянусь, это не задело бы меня, и я не стал бы опровергать вас. Что делать, милейший граф, я так создан; ко всему, что касается меня, я отношусь с ледяным равнодушием. Иное дело, когда речь идет об отсутствующем, который, уезжая, просил защищать его честь. Все, что касается этого друга, волнует меня чрезвычайно.

– Я вас понимаю, господин де Гиш; но что вы там ни говорите, нас не может особенно интересовать сейчас ни Бражелон, ни эта незначительная девушка по имени Лавальер.

В этот момент через салон проходили несколько придворных, которые слышали только что произнесенные слова и должны были услышать также и дальнейшее.

Де Вард заметил это и умышленно громко продолжал:

– О, если бы Лавальер была такой же кокеткой, как принцесса, уловки которой – я согласен, вполне невинные – побудили ее сначала отослать герцога Бекингэма в Англию, а затем изгнать вас. Ведь вы попались в ее сети, не правда ли, сударь?

Придворные подошли ближе; то были де Сент-Эньян и Маникан.

– Что делать, дорогой! – засмеялся де Гиш. – Ведь всем известно, что я – фат. Я принял шутку всерьез и подвергся изгнанию; но я увидел свою ошибку, победил тщеславие,

склонился перед кем следовало и получил позволение вернуться, принеся повинную и дав себе слово избавиться от своих заблуждений. Вы видите, что я сейчас совершенно бодр и насмехаюсь над тем, что разбивало мне сердце четыре дня тому назад. Но Рауль любим; он не смеется над слухами, которые могут разрушить его счастье; слухами, которые вы передали ему, между тем как, граф, вы знали не хуже меня, не хуже вот этих господ, не хуже всех, что эти слухи гнусная клевета!

– Клевета! – воскликнул де Вард, взбешенный тем, что благодаря хладнокровию де Гиша попался в ловушку.

– Ну да, клевета. Вот вам письмо, в котором Рауль сообщает мне, что вы дурно отзывались о мадемуазель де Лавальер, и спрашивает меня, что из сказанного вами об этой девушке правда. Не угодно ли вам, чтобы я пригласил в качестве судей вот этих господ, господин де Вард?

И совершенно хладнокровно де Гиш прочитал вслух строки письма, которые касались Лавальер.

– Теперь, – заявил де Гиш, – для меня совершенно ясно, что вы хотели потревожить покой Бражелона и что ваши слова были продиктованы злобой.

Де Вард огляделся кругом, чтобы увидеть, не найдет ли он в ком-нибудь поддержки. Но, приняв во внимание, что де Вард прямо или косвенно оскорбил Лавальер, которая являлась в настоящее время героиней дня, придворные отрицательно покачали головой, и де Вард ни в ком не встретил сочувствия.

– Господа, – сказал де Гиш, инстинктивно угадывая воодушевлявшее всех чувство, – наш спор с господином де Бардом касается таких щекотливых вопросов, что никому не следует слышать больше того, чем вы слышали. Поэтому я прошу вас позволить нам окончить этот разговор наедине, как подобает дворянам, когда один из них уличил другого во лжи.

– Господа, господа! – раздались возгласы.

– Разве вы находите, что я был не прав, защищая мадемуазель де Лавальер? – спросил де Гиш. – В таком случае я признаю свою ошибку и беру обратно все обидные слова, которые я мог сказать господину де Варду.

– Что вы! – отозвался де Сент-Эньян. – Мадемуазель де Лавальер – ангел!

– Воплощенная добродетель и целомудрие! – поддержал его Маникан.

– Вот видите, господин де Вард, – поклонился де Гиш, – не я один беру под свою защиту бедную девушку. Господа, вторично обращаюсь к вам с просьбой оставить нас наедине. Вы видите, что оба мы совершенно спокойны.

Придворные охотно разошлись. Молодые люди остались одни.

– Недурно разыграно, – сказал де Вард графу.

– Не правда ли? – спросил тот.

– Что делать, в провинции я покрылся ржавчиной, тогда как вы, граф, научились здесь как нельзя лучше владеть собой и привели меня в смущение; в женском обществе всегда приобретаешь что-нибудь. Примите же мои поздравления.

– Принимаю.

– И разрешите мне передать поздравления также принцессе.

– Теперь, дорогой мой де Вард, можете хоть кричать об этом.

– Не раздражайте меня!

– О, я вас не боюсь! Все знают, что вы злой человек. Если вы заговорите о принцессе, вас сочтут трусом, и принц сегодня же вечером прикажет повесить вас на своем окне. Говорите же, дорогой де Вард, говорите сколько угодно!

– Я побежден.

– Но еще не в такой степени, как вы заслуживаете.

– Я вижу, что вы с радостью положили бы меня на обе лопатки.

– И даже больше!

– Только вы выбрали неудачный момент, дорогой граф; после недавно сыгранной мной партии партия с вами мне не по силам. Я потерял слишком много крови в Булони; при

малейшем усилии мои раны раскроются, и, право, ваша победа будет стоить вам очень дешево.

– Это правда, – согласился де Гиш, – хотя, появившись в нашем обществе, вы сделали вид, что совсем здоровы и что руки ваши действуют превосходно.

– Руки действуют, это верно; но ноги очень ослабели, и, кроме того, после этой проклятой дуэли я ни разу не брался за шпагу, вы же, бьюсь об заклад, фехтовали каждый день, чтобы игра не оказалась опасной для вас.

– Даю вам слово, сударь, – отвечал де Гиш, – что уже шесть месяцев, как я не упражнялся.

– Нет, граф, после зрелых размышлений я не стану драться, по крайней мере с вами. Подожду Бражелона, который, по вашему мнению, сердит на меня.

– Нет, вам не дожидаться Бражелона! – вскричал де Гиш, выйдя из себя.

– Ведь вы сами сказали, что Бражелон может задержаться в Лондоне, а тем временем ваш злобный ум успеет сделать свое дело.

– Однако у меня будет извинение. Берегитесь!

– Даю вам неделю на окончательное выздоровление.

– Это уже лучше. Через неделю посмотрим.

– Да, да, понимаю: в течение недели можно ускользнуть от врага. Нет, не согласен, не даю вам ни одного дня...

– Вы с ума сошли, сударь, – вскричал де Вард, попятившись.

– А вы бесчестны, если отказываетесь драться.

– Ну?

– Я доложу королю, что, оскорбив Лавальер, вы отказываетесь драться.

– О, да вы воплощенное коварство, господин честный человек!

– Опаснее всего коварство того, кто всегда ведет себя лояльно.

– В таком случае возвратите мне былую силу моих ног или велите сделать себе сильное кровопускание, чтобы уравнивать наши шансы.

– Кет, я придумал нечто лучшее.

– Что именно?

– Мы будем драться верхом, на пистолетах. Каждому будет предоставлено право сделать три выстрела. Вы превосходно стреляете. Я знаю, что вы попадали в птицу, пустив лошадь галопом. Не отрицайте, я это видел!

– Думаю, что вы правы, – сказал де Вард, – в таком случае возможно, что я вас убью.

– Право, вы окажете мне услугу.

– Постараюсь.

– Значит, решено?

– Руку.

– Вот она... Но с одним условием.

– С каким?

– Дайте мне слово, что королю об этом не будет ничего известно.

– Клянусь вам.

– Иду за лошастью.

– Я тоже.

– Куда мы поедем?

– На поляну. Я знаю удобное место.

– Поедем вместе.

– Почему же нет?

И, направляясь к конюшне, враги прошли мимо слабо освещенных окон принцессы. За кружевными занавесками виднелась тень.

– Вот женщина, – улыбнулся де Вард, – которая даже не подозревает, что из-за нее мы идем на смерть.

Глава 20. ПОЕДИНОК

Выбрав лошадей, де Вард и де Гиш собственноручно оседлали их.

У де Варда не было пистолетов, зато у де Гиша нашлось две пары. Он сходил за ними, зарядил и предоставил выбор де Варду. Де Вард выбрал те пистолеты, из которых он уже стрелял двадцать раз, те самые, из которых на глазах де Гиша он убивал на лету ласточек.

– Не удивляйтесь, – сказал он, – что я принимаю все предосторожности.

Вы знаете свое оружие. Следовательно, я только уравниваю шансы.

– Совершенно напрасное замечание, – отвечал де Гиш, – никто не оспаривает вашего права.

– Теперь, – продолжал де Вард, – я попрошу вас помочь мне сесть на лошадь, потому что мне еще трудновато делать такие движения.

– В таком случае нам нужно драться стоя.

– Нет, сидя в седле, я чувствую себя прекрасно.

– Отлично, не будем больше говорить об этом.

И де Гиш помог де Варду сесть на лошадь.

– Однако, – заметил де Вард, – мы настолько увлеклись желанием уничтожить друг друга, что совершенно упустили из виду одно обстоятельство.

– Какое?

– Темноту; нам придется убивать друг друга наобум.

– Пустяки; все равно одни и те же последствия...

– Следует принять во внимание еще одно: честные люди никогда не сражаются без секундантов.

– О, – воскликнул де Гиш, – ведь мы будем действовать по всем правилам.

– Да; но я не хочу дать повод для разговоров, что вы убили меня из-за угла, точно так же как, если я убью вас, я не хочу, чтобы меня обвинили в преступлении.

– Разве такие обвинения появлялись в связи с вашей дуэлью с герцогом Бекингэмом? – спросил де Гиш. – Между тем она происходила на тех же условиях, что и наш предстоящий поединок.

– Но ведь тогда было светло; мы стояли в воде почти по пояс; кроме того, на берегу собралось немало зрителей.

Де Гиш несколько мгновений размышлял. Но в его голове окончательно утвердилась мысль, что де Вард хочет привлечь свидетелей с целью возобновить разговор о принцессе и придать дуэли новый оборот. Поэтому он ничего не ответил, и когда де Вард в последний раз вопросительно посмотрел на него, он знаком дал ему понять, что предпочитает держаться принятых условий.

Итак, двое противников пустились в путь, выехав из замка через те самые ворота, возле которых мы недавно видели Монтале и Маликорна.

Словно для того, чтобы побороть зной, на темном небе собрались облака, и ночь медленно гнала их с востока на запад. Этот тяжелый свод, без просветов и без вспышек молний, давил на землю и начинал медленно разрушаться от порывов ветра, как огромное полотно.

Падали крупные, теплые капли дождя и сбивали пыль в шарики. В то же время жаждающие влаги цветы, кустарники и деревья в предчувствии грезы распространяли крепкий аромат, навевавший сладкие воспоминания, мысли о юности, о вечной жизни, о счастье и любви.

– Как хорошо пахнет земля, – проговорил де Вард, – она кокетничает с нами, стараясь привлечь к себе.

– Кстати, – сказал де Гиш, – мне пришло в голову несколько мыслей, которыми я хочу поделиться с вами.

– По поводу чего?

– По поводу нашего поединка.

– Действительно, мне кажется, что нам пора заняться им.

– Это будет обыкновенная дуэль, согласно установленным правилам?

– Скажите ваши условия.

– Мы выберем удобную полянку, сойдем с лошадей, привяжем их к чему придется и встретимся без оружия. Потом каждый из нас отойдет на полтора шага и снова двинется навстречу другому.

– Хорошо! Именно таким образом я убил в Сен-Дени бедного Фоливана три недели тому назад.

– Извините, вы забываете одну подробность.

– Какую?

– Во время дуэли с Фоливаном вы шли друг на друга со шпагами в зубах и пистолетами в руках.

– Это верно.

– На этот раз, напротив, мы, по вашему желанию, снова сядем на коней и сшибемся; кто захочет, тот и будет стрелять первым.

– Это самое лучшее, конечно. Но так как уже темно, то нужно ожидать больше промахов, чем днем.

– Может быть. Каждый имеет право выстрелить три раза; для первых двух выстрелов пистолеты заряжены, для третьего – придется снова зарядить.

– Отлично! Где же произойдет наша дуэль?

– Вам хочется драться в каком-нибудь определенном месте?

– Нет.

– Вы видите впереди рощицу?

– Рошен? Отлично.

– Вам она известна?

– Превосходно.

– Значит, вы знаете, что посредине нее есть лужайка?

– Да.

– Поедем туда.

– Хорошо!

– Она похожа на огороженную площадку со всевозможными дорожками, тропинками, рвами, аллеями; словом, мы будем чувствовать себя там превосходно.

– Я согласен. Мы, кажется, приехали?

– Да. Посмотрите, как чудесно. Звездный свет, как говорит Кортель, сконцентрирован на этом месте; естественной границей служат деревья, окружающие площадку точно стеной.

– Хорошо! Действуйте, как вы сказали.

– В таком случае точнее определим условия.

– Вот мои условия; если у вас есть какие-нибудь возражения, скажите.

– Слушаю.

– Если будет убита лошадь, всадник может сражаться пешим.

– Не возражаю, потому что у нас нет запасных лошадей.

– Но другой дуэлянт не обязан сходить с лошади.

– Другой дуэлянт волен действовать как ему угодно.

– Сойдясь, противники могут не разъезжаться и, следовательно, стрелять друг в друга в упор.

– Принято.

– Три заряда, не больше, не правда ли?

– Думаю, что этого довольно. Вот порох и пули для ваших пистолетов; отмерьте три заряда, возьмите три пули; я сделаю то же самое, потом мы рассыпем остаток пороха и выкинем пули.

– И поклянемся крестом, – прибавил де Вард, – что у нас нет больше ни пороха, ни пуль?

– Клянусь, – согласился де Гиш, подняв руку к небу.

Де Вард последовал его примеру.

– А теперь, милый граф, – сказал он, – позвольте мне заявить, что вам не удалось одурачить меня. Вы любовник или скоро будете любовником принцессы. Я отгадал вашу тайну, и вы боитесь, что я ее разглашу. Вы желаете убить меня, чтобы обеспечить мое молчание, – это так понятно, и на вашем месте я поступил бы точно так же.

Де Гиш опустил голову.

– Однако стоило ли, – торжествующим тоном продолжал де Вард, – навязывать мне еще эту неприятность с Бражелоном? Берегитесь, мой друг, загнанный в тупик дикий кабан приходит в бешенство; преследуемая лисица делается свирепой, как ягуар. Следовательно, доведенный вами до крайности, я буду отчаянно защищаться.

– Это ваше право.

– Да, но берегитесь, я наделаю вам много неприятностей. Например, вы догадываетесь, не правда ли, что я не был глуп и не запер мою тайну, вернее, вашу тайну, в своем сердце на замок? Один из моих друзей, человек очень умный, вы его знаете, посвящен в мою тайну; таким образом, поймите хорошенько: если вы меня убьете, моя смерть не принесет вам особенно большой пользы, между тем как, напротив, если я вас убью, гм!.. все возможно, вы понимаете?

Де Гиш вздрогнул.

– Если я вас убью, – продолжал де Вард, – то два врага принцессы приложат все усилия, чтобы ее погубить.

– О, сударь, – вскричал взбешенный де Гиш, – не рассчитывайте на мою смерть! Одного из этих врагов я надеюсь убить сейчас, а другого при первом же удобном случае.

Де Вард отвечал таким сатанинским хохотом, что человек суеверный испугался бы. Но де Гиш не был впечатлителен.

– Мне кажется, – сказал он, – мы обо всем договорились, господин де Вард. Итак, выезжайте на место сражения, если не хотите, чтобы выехал я.

– Нет, зачем же, – отвечал де Вард. – Я восхищен тем, что могу избавить вас от труда.

И, пустив лошадь галопом, он пересек всю лужайку и остановился как раз напротив того места, которое занял де Гиш.

Де Гиш не двигался. На расстоянии ста шагов противники, скрытые густой тенью вязов и каштанов, были совершенно не видны друг другу.

В течение минуты царила полная тишина. Потом каждый услышал двойное щелканье пистолетных курков. Де Гиш, следуя обычной тактике, пустил лошадь в галоп, в уверенности, что плавное качание и быстрота движения защитят его. Он направился по прямой линии к тому месту, где, по его мнению, должен был находиться де Вард. На половине пути он рассчитывал встретиться с противником, но ошибся. Тогда он стал продолжать путь, предполагая, что де Вард ожидает его, не трогаясь с места.

Но, проехав две трети поляны, он вдруг увидел, что площадка осветилась, и в то же мгновение пуля со свистом сбила перо, украшавшее его шляпу. Почти тотчас же за первым выстрелом, озарившим поляну, грянул второй выстрел, и вторая пуля угодила в голову лошади де Гиша, немного ниже уха. Животное упало.

Эти два выстрела были неожиданностью для де Гиша, ибо они раздались со стороны, противоположной той, где он рассчитывал встретить де Варда; но так как он отличался большим самообладанием, то рассчитал свое падение, – впрочем, не вполне правильно, и его нога оказалась под лошадью.

Когда лошадь начала биться в агонии, де Гишу удалось высвободить ногу.

Почувствовав, что животное слабеет, он сунул пистолеты в кобуры, из боязни, чтобы они не выстрелили от падения и он не остался бы безоружным. Поднявшись, он снова вынул пистолеты и направился к тому месту, где при вспышке выстрелов увидел де Варда. Де Гиш сразу же разгадал маневр противника, в сущности, чрезвычайно простой.

Вместо того чтобы двигаться навстречу де Гишу или же оставаться на месте и ждать его,

де Вард отъехал по кругу шагов на пятнадцать, держась все время в тени, когда же противник появился на середине поляны, он хорошенько прицелился и выстрелил, причем теперь галоп лошади скорее помог ему, чем помешал.

Мы уже знаем, что, несмотря на темноту, первая пуля пролетела всего на расстоянии пальца от головы де Гиша.

Де Вард до такой степени был уверен в удаче, что ему показалось, будто де Гиш упал. Он крайне удивился, когда, взглядевшись, обнаружил, что всадник по-прежнему держится в седле. Тогда он поторопился выстрелить вторично, но рука его дрогнула, и он убил лошадь. Этот промах мог бы сослужить ему службу, если бы де Гиш остался лежать на земле, придавленный лошадью. Прежде чем граф высвободился бы, де Вард успел бы снова зарядить пистолет, и де Гиш оказался бы в полной его власти.

Но де Гиш вскочил на ноги, и в его распоряжении были три выстрела. Де Гиш моментально оценил положение вещей. Нужно было предупредить де Варда. Он побежал, чтобы успеть приблизиться к противнику раньше, чем тот перезарядит пистолет.

Де Вард увидел, что граф мчится как ураган. Пуля входила туго и не поддавалась давлению шомпола. Плохо зарядить – значило даром потерять последний выстрел. Зарядить хорошо – значило потерять время, или, вернее, потерять жизнь. Он пришпорил лошадь, и та поднялась на дыбы. Де Гиш повернулся, и в то мгновение, как лошадь опускалась, раздался выстрел, сбивший шляпу де Варда. Де Вард понял, что в его распоряжении несколько секунд; он воспользовался ими, чтобы зарядить пистолет.

Де Гиш, видя, что его противник остался в седле, бросил первый пистолет, теперь уже ненужный, и двинулся к де Варду, поднимая второй. Но не успел он сделать трех шагов, как де Вард прицелился в него и выстрелил.

В ответ раздался гневный вопль; рука графа судорожно дернулась и повисла как плеть. Пистолет упал на землю.

Де Вард увидел, как де Гиш наклонился, схватил пистолет левой рукой и сделал еще шаг вперед. Минута была роковая.

– Я погиб, – прошептал де Вард, – он только ранен.

Но в то мгновение, когда де Гиш прицеливался в де Варда, его голова, плечи и ноги вдруг ослабели. Он тяжело вздохнул и покатился к ногам лошади де Варда.

– Готово! – прошептал тот.

И, подобрав поводья, пришпорил лошадь, которая, перескочив через безжизненное тело, примчала де Варда в замок. Приехав туда, де Вард с четверть часа обдумывал положение. Он так торопливо покинул поле битвы, что даже не удостоверился, действительно ли де Гиш мертв.

Два предположения возникали во взволнованном уме де Варда: де Гиш мог быть убит либо он только ранен. Если де Гиш убит, следовало ли оставлять его тело на съедение волкам? Это уже была бессмысленная жестокость, так как мертвый де Гиш не мог разгласить тайны дуэли. Если же он не убит, зачем, оставив его без помощи, прослыть дикарем, не способным к великодушию? Это последнее соображение одержало верх.

Де Вард осведомился, где Маникан.

Он узнал, что Маникан спрашивал о де Гише и, не найдя его, лег спать.

Де Вард разбудил его и рассказал о дуэли; Маникан не произнес ни слова, но слушал с таким напряжением, какого трудно было ожидать от этого лентяя. Когда де Вард кончил, Маникан промолвил одно только слово:

– Едем!

По дороге воображение Маникана разыгрывалось, и, слушая подробности происшествия, он все больше мрачнел.

– Итак, – сказал он, когда де Вард кончил, – вы считаете, что он мертв?

– Увы, да!

– И вы дрались без свидетелей?

– Это было его желание.

– Странно!
– Вы находите, что это странно?
– Да, это так мало похоже на господина де Гиша.
– Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей правдивости?
– Гм, гм!
– Вы сомневаетесь?
– Немного... Но мои сомнения увеличатся, если я увижу, что бедняга мертв.
– Господин Маникан!
– Господин де Вард!
– Мне кажется, вы оскорбляете меня.
– Это как вам угодно. Что делать! Мне никогда не нравились люди, которые являются и говорят: «Я убил такого-то или такого-то; это большое несчастье, но я убил его честно».

– Тише, мы прибыли.
Действительно, показалась поляна, и на открытом пространстве чернело неподвижное тело убитой лошади. Справа от лошади лежал ничком в траве бедный граф, залитый кровью. Он оставался на прежнем месте и, по-видимому, не сделал за это время ни одного движения.

Маникан бросился на колени, приподнял графа и убедился, что он холоден и весь в крови. Он снова опустил его. Потом, нагнувшись, он стал шарить кругом и нашел пистолет де Гиша.

– Увы! – сказал он, поднимаясь, бледный, как привидение, с пистолетом в руках. – Увы, вы не ошиблись, он действительно мертв!

– Мертв? – повторил де Вард.
– Да, и его пистолет заряжен, – прибавил Маникан, показывая на дуло.
– Да ведь я же сказал вам, что выстрелил в него тогда, когда он целился в меня.
– Уверены ли вы, что вы дрались с ним на дуэли, господин де Вард?

Признаться, я очень опасаюсь, не было ли здесь простого убийства. Нет, нет, выслушайте меня! Вы стреляли три раза, а его пистолет заряжен! Вы убили его лошадь и его самого, а он, де Гиш, один из лучших стрелков Франции, не попал ни в вас, ни в вашу лошадь! Право, господин де Вард, вы привели меня сюда на свое несчастье, пролитая вами кровь ударила мне в голову; я словно опьянел, и, клянусь честью, раз уж представился случай, я разможу вам череп; господин де Вард, помолитесь за свою душу!

– Господин де Маникан, вы шутите!
– Напротив, говорю совершенно серьезно.
– Вы меня убьете?
– Без всякого угрызения совести, по крайней мере, в настоящую минуту.
– Вы дворянин?
– Я был пажом, значит, дворянин.
– Дайте мне тогда возможность защищаться.
– Чтобы вы поступили и со мной так же, как с беднягой де Гишем?

И Маникан, вынув свой пистолет, нахмурил брови и навел его на грудь де Варда. Де Вард не пробовал даже бежать, настолько он был огорошен.

Среди воцарившейся зловещей тишины, которая показалась де Варду вечностью, вдруг раздался вздох.

– Вы слышите, – вскричал де Вард, – он жив, жив! На помощь, господин де Гиш! Меня хотят убить!

Маникан попятился и увидел, что граф с трудом приподнялся, опираясь на руку. Маникан отшвырнул пистолет и с радостным криком подбежал к другу.

Де Вард вытер холодный пот, выступивший у него на лбу.
– Вовремя же он очнулся! – прошептал он.
– Что с вами? – спросил Маникан у де Гиша. – Куда вы ранены?
Де Гиш показал ему изувеченные пальцы и окровавленную грудь.
– Граф! – вскричал де Вард. – Меня обвиняют в совершении убийства.

Умоляю вас, засвидетельствуйте, что я дрался честно.

– Это правда, – прошептал раненый – Господин де Вард дрался честно, и кто будет это отрицать, станет моим врагом.

– Сначала помогите мне, сударь, отнести этого беднягу домой, – попросил Маникан, – а потом я дам вам какое угодно удовлетворение, или же, если вы слишком торопитесь, перевяжем рану графа нашими носовыми платками и потом выпустим две оставшиеся пули.

– Благодарю вас, – сказал де Вард. – В течение одного часа я два раза смотрел смерти в лицо; она очень безобразна, и я предпочитаю получить от вас извинения.

Маникан рассмеялся, и его примеру последовал де Гиш, несмотря на физические страдания.

Молодые люди хотели отнести графа, но тот заявил, что чувствует себя достаточно сильным и может идти сам Пуля разбила ему безымянный палец и мизинец и скользнула по ребру, но не проникла в грудь. Таким образом, де Гиш потерял сознание скорее от боли, чем от раны.

Маникан поддерживал его под руку с одной стороны, де Вард – с другой; так они отвели его в Фонтенбло, к тому самому врачу, который был вызван к умирающему францисканцу, чью власть унаследовал Арамис.

Глава 21. КОРОЛЕВСКИЙ УЖИН

В это время король сидел за столом, и немногочисленные приглашенные заняли места возле него, после того как он обычным жестом пригласил их садиться.

Хотя в эти годы этикет еще не был установлен окончательно, французский двор совершенно порвал с традициями простоты и патриархальной приветливости, которые можно было еще наблюдать при Генрихе IV; подозрительность Людовика XIII мало-помалу изгнала их и заменила внешней пышностью, маскировавшей ничтожество этого короля.

Людовик XIV сидел за отдельным столиком, который, точно председательская кафедра, возвышался над соседними столами, столиком, сказали мы; поспешим, однако, прибавить, что этот столик был все же больше остальных. Кроме того, он был весь заставлен множеством разнообразных блюд: рыбой, дичью, мясом, фруктами, овощами и вареньями.

Молодой и сильный король, страстный охотник, большой любитель различных физических упражнений, обладал вдобавок горячей кровью, как все Бурбоны; а известно, что от этого пищеварение совершается быстро и аппетит скоро появляется вновь.

Людовик XIV был грозный сотрапезник; он любил критиковать своих поваров, но когда они ему угождали, но он не знал границ в своих похвалах.

Сначала король съедал несколько супов, либо сливая их вместе и приготавливая что-то вроде маседуана, либо пробуя в отдельности и перемежая бокалом старого вина.

Ел он быстро и довольно жадно.

Портос ожидал сигнала д'Артаньяна, по которому следовало приступать к ужину, но, посмотрев на короля, он вполголоса заметил мушкетеру:

– Мне кажется, можно начинать. Его величество дает ободряющий пример.

Посмотрите-ка.

– Король ест, – сказал д'Артаньян, – но в то же время разговаривает; устройтесь так, чтобы, если он случайно обратится к вам, у вас рот не был бы набит: это невежливо и некрасиво.

– Тогда лучше не ужинать, – вздохнул Портос. – Между тем, сознаюсь, я голоден. А тут все пахнет так соблазнительно и щекошет мне сразу и обоняние и аппетит.

– И не думайте, пожалуйста, не прикасаться к кушаньям, – улыбнулся д'Артаньян. – Вы оскорбите его величество. Король обыкновенно говорит, что хорошо работает тот, кто хорошо ест, и не любит, чтобы у него за столом плохо ели.

– Как же можно сидеть с пустым ртом, когда ешь? – спросил Портос.

– Да очень просто, – усмехнулся капитан мушкетеров, – нужно только проглотить все, что будет во рту, когда король неожиданно обратится к вам.

– Отлично.

После этого разговора Портос принялся за кушанья с умеренным энтузиазмом.

Король время от времени посматривал на присутствующих и с видом знатока оценивал способности нового гостя.

– Господин дю Баллон! – обратился он к нему.

В это время Портос был занят рагу из зайца и только что положил в рот половину заячьей спинки. Услыхав свое имя, он вздрогнул и мощным движением глотки отправил кусок в желудок.

– Слушаю, государь, – пробормотал Портос приглушенным голосом, но довольно внятно.

– Пусть господину дю Валлону передадут это филе из барашка, – приказал король. – Вы любите барашка, господин дю Валлон?

– Государь, я люблю все, – отвечал Портос.

– Все, что мне предлагает ваше величество, – подсказал д'Артаньян.

Король одобрительно кивнул головой.

– Кто много работает, много ест, – продолжал король, восхищенный тем, что у него нашелся такой могучий сотрапезник, как Портос.

Портос получил блюдо с барашком и отвалил часть себе на тарелку.

– Ну, каково? – спросил король.

– Отменно! – спокойно отвечал Портос.

– Есть ли такие нежные барашки в вашей провинции, господин дю Валлон?

– продолжал спрашивать король.

– Государь, – сказал Портос, – мне кажется, что в моей провинции, как и повсюду, все лучшее принадлежит королю. Кроме того, я ем барашка иначе, чем это делает ваше величество.

– Как же вы едите его?

– Обыкновенно я велю приготовить себе целого барашка.

– Целого?

– Да, государь.

– Каким же образом?

– А вот каким. Мой повар – он немец, государь, – мой повар начиняет барашка сосисками, которые он выписывает из Страсбурга; колбасками, которые заказывает в Труа; жаворонками, которые он получает из Питивье. Не знаю уж каким способом он снимает мясо барашка с костей, как курятину, оставляя при этом кожу, которая образует поджаренную корочку. Когда барашка режут ломтями, как огромную колбасу, изнутри течет розовый сок, и на вид приятный и на вкус восхитительный.

И Портос прищелкнул языком.

Король слушал с широко открытыми глазами и, принимаясь за поданного ему тушеного фазана, заметил:

– Вот это едок, которому я позавидовал бы. Каково! Целого барашка!

– Да, государь, целого!

– Подайте этих фазанов господину дю Валлону; я вижу, он знаток.

Приказание было выполнено.

Затем, возвращаясь к барашкам, король спросил:

– А это не слишком жирно?

– Нет, государь; жир вытекает вместе с соком и плавает сверху; тогда мой стольник собирает его серебряной ложкой, нарочно для этого приготовленной.

– Где вы живете? – поинтересовался король.

– В Пьерфоне, государь.

– В Пьерфоне? Где это, господин дю Валлон, недалеко от Бель-Иля?

– Нет, государь, Пьерфон недалеко от Суасона.
– А я думал, что вы говорите мне о барашках, которые пасутся на приморских лугах.
– Нет, государь; луга мои хоть и не приморские, но ничуть не уступают им.
– У вас превосходный аппетит, господин дю Валлон! С вами приятно сидеть за столом.
– Ах, государь! Если бы ваше величество когда-нибудь посетили Пьерфон, мы съели бы вдвоем барашка, потому что и вы не можете пожаловаться на аппетит.

Д'Артаньян энергично толкнул Портоса под столом. Портос покраснел.

– В счастливом возрасте вашего величества, – заговорил Портос, чтобы поправиться, – я служил в мушкетерах, и ничто не могло меня насытить. У вашего величества превосходный аппетит, но ваше величество слишком разборчивы для того, чтобы вас можно было назвать большим едоком.

Вежливость сотрапезника, по-видимому, очень понравилась королю.

– Вы отведаете этих сливок? – спросил он Портоса.

– Государь, ваше величество обращаетесь со мной так милостиво, что я открою вам всю правду.

– Скажите, господин дю Валлон, скажите!

– Из сладких блюд, государь, я признаю только мучные, да и то нужно, чтобы они были очень плотны; от всех этих муссов у меня вздувается живот, и они занимают слишком много места, которым я дорожу и не люблю тратить на пустяки.

– Господа, – воскликнул король, указывая на Портоса, – вот настоящий гастроном! Так кушали наши отцы, которые понимали толк в еде, тогда как мы только поклевываем.

И с этими словами он положил на тарелку белого куриного мяса, перемешанного с ветчиной. Портос, со своей стороны, принялся за куропаток.

Кравчий наполнил бокал его величества.

– Подайте моего вина господину дю Баллону, – приказал король.

Это была большая честь за королевским столом.

Д'Артаньян нажал колено друга.

– Если вы можете съесть половину кабаньей головы, которая стоит вон там, – сказал он Портосу, – вы через год будете герцогом и пэром.

– Сейчас я примусь за нее, – флегматично отвечал Портос.

Действительно, ему скоро подали голову, потому что королю доставляло удовольствие подзадоривать человека с таким аппетитом; он не посылал Портосу кушаний, которых не пробовал сам; поэтому он отведал и кабаньей головы. Портос не сплеховал: он съел не половину, как предлагал ему Д'Артаньян, а три четверти головы.

– Не поверю, – заметил вполголоса король, – чтобы дворянин, который каждый день так хорошо ест и с таким аппетитом, не был самым честным человеком в моем государстве.

– Вы слышите? – шепнул Д'Артаньян на ухо своему Другу.

– Да, кажется, я заслужил некоторую милость, – отвечал Портос, покачиваясь на стуле.

– Ветер для вас попутный. Да, да, да!

Король и Портос продолжали есть, к общему удовольствию; некоторые из гостей попытались было подражать им из чувства соревнования, но скоро отстали.

Король багровел: прилив крови к лицу означал, что он сыт. В такие минуты Людовик XIV не веселел, как все люди, пьющие вино, а делался мрачным и молчаливым. А Портосом, напротив, овладело бодрое и игривое настроение.

Подали десерт.

Король не думал больше о Портосе; он то и дело посматривал на входную дверь и часто спрашивал, почему так запаздывает г-н де Сент-Эньян.

Наконец в ту минуту, когда его величество, тяжело дыша, заканчивал банку с вареньем из слив, вошел г-н де Сент-Эньян. Глаза короля, уже сильно потускневшие, тотчас заблестели. Граф направился к столу короля, и, когда он подошел, Людовик XIV встал. Вслед за королем поднялись все, даже Портос, который в эту минуту доедал кусок нуги, способной склеить челюсти крокодила. Ужин кончился.

Глава 22. ПОСЛЕ УЖИНА

Король взял де Сент-Эньяна под руку и прошел с ним в соседнюю комнату.

– Как вы запоздали, граф! – сказал король.

– Я ждал ответа, государь.

– Неужели она так долго отвечала на то, что я ей писал?

– Государь, ваше величество соблаговолили сочинить стихи; мадемуазель де Лавальер пожелала отплатить королю тою же монетой, то есть золотой.

– Она ответила стихами, де Сент-Эньян? – вскричал король. – Дай их сюда.

И Людовик сломал печать маленького письма, где действительно оказались стихи, которые история сохранила нам; они лучше по замыслу, чем по исполнению.

Они, однако, привели в восхищение короля, и он бурно выразил свой восторг. Но общее молчание, воцарившееся в зале, несколько смутило Людовика, столь чувствительного к требованиям этикета. Он подумал, что его радость может дать повод к нежелательным толкам.

Людовик спрятал письмо в карман; затем, повернувшись в сторону гостей, обратился к Портосу:

– Господин дю Валлон, ваше присутствие доставило мне большое удовольствие, и я буду очень рад видеть вас вновь.

Портос поклонился и, пятась, вышел из комнаты.

– Господин д'Артаньян, – продолжал король, – вы подождете моих приказаний в галерее; я вам очень признателен за то, что вы познакомили меня с господином дю Баллоном. Господа, завтра я возвращаюсь в Париж по случаю отъезда испанского и голландского послов. Итак, до завтра.

Зала тотчас же опустела.

Король взял де Сент-Эньяна под руку и велел ему еще раз перечитать стихи де Лавальер.

– Как ты их находишь? – спросил он.

– Государь... стихи очаровательны!

– Да, они чаруют меня, и если бы они стали известны...

– То им позавидовали бы поэты; но они их не узнают.

– Вы передали ей мои стихи?

– О, государь, как она их читала!

– Боюсь, что они слабы.

– Мадемуазель де Лавальер о них другого мнения.

– Вы думаете, что они пришлись ей по вкусу?

– Я уверен, государь...

– В таком случае мне нужно ответить.

– Государь... сейчас... после ужина... это утомит ваше величество.

– Пожалуй, вы правы... заниматься после еды вредно.

– Особенно писать стихи; кроме того, в настоящую минуту мадемуазель де Лавальер очень огорчена.

– Чем же?

– Ах, государь, как все наши дамы!

– Что случилось?

– Несчастье с беднягой де Гишем.

– Боже мой, с де Гишем?

– Да, государь, у него разбита кисть, прострелена грудь, он умирает.

– Умирает? Кто вам сказал это?

– Маникан только что отправил его к доктору в Фонтенбло, и слух об этом дошел сюда.

– Бедный де Гиш! Как же это произошло?

– Как это с ним случилось, государь?

– Вы сообщаете мне все очень странным тоном, де Сент-Эньян. Расскажите подробности... что он говорит?

– Он ничего не говорит, государь. Говорят другие.

– Кто именно?

– Те, кто его отнес к доктору, государь.

– Кто же это?

– Не знаю, государь; об этом надо спросить господина де Маникана, господин де Маникан его друг.

– У него много друзей, – сказал король.

– О нет, – возразил де Сент-Эньян, – вы ошибаетесь, государь. У господина де Гиша немало врагов.

– Откуда вы это знаете?

– Королю угодно, чтобы я объяснил?

– Конечно.

– Государь, я слышал о ссоре между двумя придворными.

– Когда?

– Сегодня вечером, перед ужином вашего величества.

– Это ничего не доказывает. Я отдал такие строгие приказания относительно дуэлей, что, мне кажется, никто не посмеет нарушить их.

– Сохрани меня боже кого-нибудь оправдывать! – вскричал де Сент-Эньян. – Ваше величество приказали мне говорить, и я говорю.

– Так расскажите мне, как был ранен граф де Гиш.

– Государь, говорят, что на охоте.

– Сегодня вечером?

– Сегодня вечером.

– Раздроблена рука, прострелена грудь! Кто был на охоте с господином де Гишем?

– Не знаю, государь... Но господин де Маникан знает или должен знать.

– Вы что-то скрываете от меня, де Сент-Эньян.

– Ничего, государь, решительно ничего.

– В таком случае объясните мне, как все произошло; может быть, разорвало мушкет?

– Очень может быть. Но, взвесив все обстоятельства, государь, я думаю, что нет: возле де Гиша был найден заряженный пистолет.

– Пистолет? Разве на охоту ходят с пистолетами?

– Государь, говорят также, что лошадь де Гиша была убита и что труп ее до сих пор лежит на поляне.

– Лошадь? Де Гиш был верхом? Де Сент-Эньян, я ничего не понимаю. Где все это произошло?

– В роще Рошен, на круглой поляне, государь.

– Хорошо, позовите господина д'Артаньяна.

Де Сент-Эньян повиновался. Вошел мушкетер.

– Господин д'Артаньян, – сказал король, – вы выйдете отсюда по запасной лестнице.

– Слушаю, государь.

– Сядете верхом.

– Слушаю, государь.

– И отправитесь в рощу Рошен, на круглую поляну. Вы знаете это место?

– Государь, я два раза дрался там.

– Как! – вскричал король, ошеломленный его ответом.

– Государь, до указа господина кардинала де Ришелье, – отвечал д'Артаньян со своей обычной невозмутимостью.

– Это другое дело, сударь. Итак, вы поедете туда и тщательно осмотрите местность. Там ранили человека, и вы найдете там мертвую лошадь. Вы мне доложите, что вы думаете об этом происшествии.

– Хорошо, государь.
– Разумеется, я хочу выслушать ваше собственное мнение, а не мнение других.
– Вы услышите его через час, государь.
– Запрещаю вам сноситься с кем бы то ни было.
– Исключая человека, который даст мне фонарь, – сказал д'Артаньян.
– Ну понятно, – рассмеялся король в ответ на эту вольность, которой он не потерпел бы ни от кого, кроме капитана мушкетеров.

Д'Артаньян вышел по запасной лестнице.

– Теперь пусть позовут моего врача, – приказал Людовик.

Через десять минут пришел, запыхавшись, врач.

– Сударь, – обратился к нему король, – вы отправитесь с господином де Сент-Эньяном, куда он вас поведет, и дадите мне отчет о состоянии больного, которого вы увидите.

Врач беспрекословно повиновался в это время никто уже не решался ослушаться Людовика XIV. Он вышел в сопровождении де Сент-Эньяна.

– Вы же, де Сент-Эньян, пришлите мне Маникана, прежде чем доктор успеет с ним поговорить.

Де Сент-Эньян поклонился и вышел.

Глава 23.

КАК Д'АРТАНЬЯН ВЫПОЛНИЛ ПОРУЧЕНИЕ КОРОЛЯ

В то время как король отдавал эти последние распоряжения, чтобы выяснить истину, д'Артаньян, не теряя ни секунды, побежал в конюшню, взял фонарь, сам оседлал лошадь и направился к месту, указанному его величеством. Согласно данному обещанию, он никого не видел и ни с кем не разговаривал и довел свою добросовестность до того, что обошелся без помощи слуг и конюхов.

Д'Артаньян был из числа людей, которые считают своей обязанностью в трудные минуты выказать все лучшие качества.

Пустив коня галопом, мушкетер через пять минут был в роще, привязал коня к первому попавшемуся дереву и пошел пешком на поляну. Он с полчаса тщательно осматривал ее с фонарем в руках, затем молча сел на лошадь, и шагом вернулся в Фонтенбло, погруженный в размышления.

Людовик поджидал его у себя в кабинете. Он был один и что-то писал. С первого же взгляда д'Артаньян заметил, что строчки неравной длины и испещрены пометками. Он заключил, что это были стихи.

Король поднял голову и увидел д'Артаньяна.

– Ну что, сударь, узнали что-нибудь?

– Да, государь.

– Что же вы увидели?

– Приблизительно вот что, государь... – сказал д'Артаньян.

– Я просил у вас точных сведений.

– Я постараюсь быть как можно более точным. Погода благоприятствовала только что произведенному мною расследованию: сегодня вечером шел дождь, и дороги развезло...

– К делу, господин д'Артаньян!

– Государь, ваше величество сказали мне, что на поляне в роще Рошен лежит мертвая лошадь; поэтому я прежде всего стал изучать состояние дорог. Я говорю – дорог, потому что в центре поляны пересекаются четыре дороги. Свежие следы виднелись только на той, по которой я сам приехал.

По ней шли две лошади бок о бок; восемь копыт явственно отпечатались на мягкой глине.

Один из всадников торопился больше, чем другой. Следы одной лошади опережают следы другой на половину корпуса.

– Значит, вы уверены, что они приехали вдвоем? – спросил король.

– Да, государь. Лошади крупные, шли мерным шагом; они хорошо вымуштрованы, потому что, дойдя до перекрестка, повернули под совершенно правильным углом.

– Дальше!

– Там всадники на минуту остановились, вероятно, для того, чтобы столкнуться об условиях поединка. Один из всадников говорил, другой слушал и отвечал. Его лошадь рыла ногой землю; это доказывает, что он слушал очень внимательно, опустив поводья.

– Значит, был поединок?

– Без всякого сомнения.

– Продолжайте, вы тонкий наблюдатель.

– Один из всадников остался на месте – тот, кто слушал; другой переехал поляну и сперва повернулся лицом к своему противнику. Тогда оставшийся на месте пустил лошадь галопом и проскакал две трети поляны, думая, что он едет навстречу своему противнику. Но тот двинулся по краю площадки, окруженной лесом.

– Вам не известны имена, не правда ли?

– Совершенно неизвестны, государь. Но ехавший по опушке сидел на вороной лошади.

– Откуда вы узнали это?

– Несколько волос из ее хвоста остались на колючках кустарника, растущего по краю поляны.

– Продолжайте.

– Другую лошадь мне нетрудно описать, потому что она лежит мертвая на поле битвы.

– Отчего же она погибла?

– От пули, которая пробила ей висок.

– Пистолетной или ружейной?

– Пистолетной, государь. И рана лошади выдала мне тактику того, кто ее убил. Он поехал вдоль опушки леса, чтобы зайти своему противнику во фланг. Я прошел по его следам, видимым на траве.

– Следам вороной лошади?

– Да, государь.

– Продолжайте, господин д'Артаньян.

– Теперь, чтобы ваше величество могли ясно представить себе позицию противников, я покину стоявшего всадника и перейду к тому, который скакал галопом.

– Хорошо.

– Лошадь этого всадника была убита наповал.

– Как вы узнали это?

– Всадник не успел соскочить с седла и упал вместе с конем, и я видел след его ноги, которую он с трудом вытащил из-под лошади. Шпора, придавленная тяжестью корпуса, взбороздила землю.

– Хорошо. А что он стал делать, поднявшись на ноги?

– Пошел прямо на противника.

– Все еще находившегося на опушке леса?

– Да, государь. Потом, подойдя к нему ближе, он остановился, заняв удобную позицию, так как его каблуки отпечатались рядом, выстрелил и промахнулся.

– Откуда вы знаете, что он промахнулся?

– Я нашел пробитую пулей шляпу.

– А, улика! – воскликнул король.

– Недостаточная, государь, – холодно отвечал д'Артаньян, – шляпа без инициалов, без герба; на ней красное перо, как на всех шляпах; даже галуны самые обыкновенные.

– И человек с пробитой шляпой стрелял вторично?

– Он сделал уже два выстрела, государь.

– Как вы узнали это?

– Я нашел пистолетные пыжи.

– Что же случилось с другой пулей?

– Она сбила перо со шляпы всадника, в которого была направлена, и срезала березку на противоположной стороне поляны.

– В таком случае всадник на вороной лошади был обезоружен, тогда как у его противника остался еще заряд.

– Государь, пока упавший поднимался, его противник успел зарядить пистолет. Но он очень волновался, и рука его дрожала.

– Откуда вы это знаете?

– Половина заряда просыпалась на землю, и он уронил шомпол, не успев засунуть его на место.

– Вы сообщаете мне удивительные вещи, господин д'Артаньян.

– Достаточно немного наблюдательности, государь, и любой разведчик был бы способен доставить вам эти сведения.

– Слушая вас, можно ясно представить себе всю картину.

– Я действительно мысленно восстановил ее, может быть, с самыми небольшими искажениями.

– Теперь вернемся к упавшему всаднику. Вы сказали, что он шел на своего противника в то время, как тот заряжал пистолет?

– Да, но в то мгновение, как он целился, его противник выстрелил.

– О! – перебил король – И выстрел?..

– Последствия его были ужасны, государь; спешившийся всадник упал ничком, сделав три неверных шага.

– Куда попала пуля?

– В два места; сначала в правую руку, затем в грудь.

– Как же вы могли догадаться об этом? – спросил восхищенный король.

– Очень просто: рукоятка пистолета была вся окровавлена, и на ней виднелся след пули и осколки разбитого кольца. По всей вероятности, раненый потерял два пальца: безымянный и мизинец.

– Относительно руки я согласен; но рана в грудь?

– Государь, на расстоянии двух с половиной футов друг от друга там были две лужи крови. Около одной из этих луж трава была вырвана судорожно сжатой рукой, около другой – только примята тяжестью тела.

– Бедный де Гиш! – воскликнул король.

– Так это был господин де Гиш? – спокойно сказал мушкетер. – У меня самого возникло такое предположение, но я не решался высказать его вашему величеству.

– Каким же образом оно возникло у вас?

– Я узнал герб Граммонов на сбруе убитой лошади.

– И вы считаете, что рана его тяжелая?

– Очень тяжелая, потому что он свалился сразу и долго лежал без движения; однако он имел силу уйти при поддержке двух друзей.

– Значит, вы встретили его, когда он возвращался?

– Нет; но я различил следы трех человек, человек, шедший справа, и человек, шедший слева, двигались свободно, легко, средний же тащился с трудом. К тому же на его следах кое-где видны пятна крови.

– Теперь, сударь, после того как вы так отчетливо восстановили всю картину поединка, скажите мне что-нибудь о противнике де Гиша.

– Государь, я его не знаю.

– Как не знаете, ведь вы так ясно видите все?

– Да, государь, – отвечал д'Артаньян, – я вижу все, но не говорю всего, что вижу, и раз этому бедняге удалось скрыться, то я прошу ваше величество разрешить мне сказать вам, что я его не выдам.

– Однако всякий дуэлянт – преступник, сударь.

– Не в моих глазах, ваше величество, – холодно поклонился д'Артаньян.
– Сударь, – вскричал король, – даете ли вы себе отчет в своих словах?
– Вполне, государь, но в моих глазах человек, который хорошо дерется, – человек порядочный. Таково мое мнение. Может быть, вы со мной не согласны; это естественно, вы – государь...

– Господин д'Артаньян, я, однако, приказал...

Д'Артаньян перебил короля почтительным жестом.

– Вы приказали мне разузнать все подробности относительно поединка, государь; они вам доставлены. Если вы прикажете мне арестовать противника господина де Гиша, я исполню приказание, но не требуйте, чтобы я донес на него, так как я откажусь исполнить это требование.

– В таком случае арестуйте его.

– Назовите мне его имя, государь.

Людовик топнул ногой. После минутного размышления он сказал:

– Вы правы, – десять, двадцать, сто раз правы.

– Я так думаю, государь, и счастлив, что ваше величество разделяете мое мнение.

– Еще одно слово... Кто оказал помощь де Гишу?

– Не знаю.

– Но вы говорили о двоих... Значит, был секундант?

– Секунданта не было. Больше того, когда господин де Гиш упал, его противник ускакал, не оказав ему помощи.

– Негодяй!

– Что делать, государь, – это следствие ваших распоряжений. Человек дрался честно, избежал смерти и хочет вторично избежать ее. Он невольно вспоминает господина де Бутвиля... Еще бы!

– И делается трусом?

– Нет, проявляет предусмотрительность.

– Итак, он ускакал?

– Да, во всю прыть.

– В каком направлении?

– К замку.

– А потом?

– Потом я уже имел честь сказать вашему величеству, что два человека пришли пешком и увели господина де Гиша.

– Как вы можете доказать, что эти люди пришли после поединка?

– Совершенно неопровержимо: во время поединка дождь перестал, но земля не успела высохнуть, и следы ног ясно отпечатывались на влажной почве. Но после дуэли, когда господин де Гиш лежал без чувств, подсохло, и следы отпечатывались не так отчетливо.

От восхищения Людовик всплеснул руками.

– Господин д'Артаньян, – сказал он, – вы поистине самый ловкий человек в королевстве.

– То же самое думал Ришелье и говорил Мазарини, государь.

– Теперь остается только проверить вашу проницательность.

– О государь, человеку свойственно ошибаться, – философски произнес мушкетер.

– В таком случае вы не человек, господин д'Артаньян, потому что, мне кажется, вы никогда не ошибаетесь.

– Ваше величество сказали, что мы это проверим.

– Да.

– Каким же образом?

– Я послал за господином де Маниканом, и господин де Маникан сейчас придет.

– Разве господин де Маникан знает тайну?

– У де Гиша нет тайн от господина де Маникана.

Д'Артаньян покачал головой.

– Повторяю, никто не присутствовал на поединке, и если только де Маникан не является одним из тех людей, которые вели графа...

– Тес! – прошептал король. – Вот он идет. Оставайтесь здесь и слушайте.

– Хорошо, государь, – отвечал мушкетер.

В ту же минуту на пороге показались Маникан и де Сент-Эньян.

Глава 24.

ЗАСАДА

Король сделал знак мушкетеру, а затем де Сент-Эньяну.

Знак был повелительный, и смысл его был:

– Молчите, если дорожите жизнью.

Д'Артаньян, как солдат, отошел в угол. Де Сент-Эньян, как фаворит, прислонился к спинке королевского кресла.

Маникан, выставив вперед правую ногу, приятно улыбнувшись и грациозно протянув белую руку, сделал реверанс. Король ответил ему кивком.

– Добрый вечер, господин де Маникан, – сказал он.

– Ваше величество оказали мне честь, пригласив к себе, – поклонился Маникан.

– Да, чтобы узнать от вас все подробности несчастного случая с графом де Гишем.

– О государь, это очень печально!

– Вы были с ним?

– Не совсем, государь.

– Но вы явились на место происшествия через несколько минут после того, как оно случилось?

– Да, государь, приблизительно через полчаса.

– Где же это несчастье произошло?

– Кажется, государь, это место называется поляной в роще Рошен.

– Да, сборный пункт охотников.

– Совершенно верно, государь.

– Расскажите мне все известные вам подробности несчастного случая, господин де Маникан.

– Может быть, ваше величество уже получили сведения? Я боюсь утомить вас повторением.

– Ничего, не бойтесь.

Маникан осмотрелся кругом. Он увидел только д'Артаньяна, прислонившегося к стене, спокойного, благодушного, доброжелательного, и де Сент-Эньяна, с которым он пришел и который по-прежнему стоял у королевского кресла тоже с очень любезным выражением лица. Поэтому Маникан набрался мужества и проговорил:

– Вашему величеству неизвестно, что на охоте часто бывают несчастные случаи.

– На охоте?

– Да, государь. Я хочу сказать, когда устраивается засада.

– Вот как! – воскликнул король. – Значит, несчастный случай произошел во время засады?

– Да, государь, – подтвердил Маникан, – разве ваше величество этого не знает?

– Только в самых общих чертах, – скороговоркой сказал король, которому всегда было противно лгать. – Итак, по вашим словам, несчастье произошло во время засады?

– Увы, да, государь!

Король помолчал.

– На какого же зверя была устроена засада? – спросил он.

– На кабана, государь.

– Что это де Гишу вздумалось пойти совершенно одному в засаду на кабана? Ведь это мужицкое занятие и годится самое большее для того, у кого нет, как у маршала де Граммона,

собак и доезжачих для приличной охоты.

Маникан пожал плечами.

– Молодость безрассудна, – произнес он наставительно.

– Продолжайте, – приказал король.

– Словом, – повиновался Маникан, еле решаясь говорить и медленно произнося одно слово за другим, как переставляет свои ноги человек, идущий по болоту, – словом, государь, бедный де Гиш пошел в засаду совершенно один.

– Один! Вот так охотник! Разве господин де Гиш не знает, что кабан бросается на охотника?

– Как раз это и случилось, государь.

– А он знал, с кем ему придется иметь дело?

– Да, государь, крестьяне видели зверя на картофельных полях.

– Что же это был за зверь?

– Двухгодовалый кабан.

– В таком случае следовало меня предупредить, сударь, что де Гиш хочет совершить самоубийство. Ведь я видел его на охоте и знаю его искусство. Когда он стреляет в кабана, загнанного собаками, он принимает все предосторожности и стреляет из карабина, а на этот раз он отправился на кабана с простыми пистолетами.

Маникан вздрогнул.

– С пистолетами, прекрасно годящимися для дуэли, но не для охоты на кабана!

– Государь, бывают вещи необъяснимые.

– Вы правы, и происшествие, которое нас интересует, принадлежит к их числу.

Продолжайте.

Во время этого рассказа де Сент-Эньян, который, может быть, сделал бы Маникану знак не очень увлекаться, должен был хранить полное бесстрашие под пристальным взглядом короля. Таким образом, он совершенно не мог перемигнуться с Маниканом. Что же касается д'Артаньяна, то статуя Молчания в Афинах была более выразительной и шумной, чем он. Маникан, продолжая идти по избранной дороге, все больше запутывался в сетях.

– Государь, – сказал он, – вероятно, дело было так.

Де Гиш подстерегал кабана.

– Верхом на коне? – спросил король.

– Верхом. Он выстрелил в зверя и промахнулся.

– Какой же он неловкий!

– Зверь бросился на него.

– И убил лошадь?

– Ах, ваше величество знает об этом?

– Мне сказали, что в роще Рошен, на перекрестке, найдена мертвая лошадь, у меня возникло предположение, что это конь де Гиша.

– Так оно и есть, государь.

– Хорошо, значит, лошадь погибла; что же случилось с де Гишем?

– Де Гиш упал на землю, подвергся нападению кабана и был ранен в руку и в грудь.

– Ужасный случай! Но нужно сознаться, что виноват сам де Гиш. Как можно идти в засаду на такого зверя с одними пистолетами! Он, верно, забыл повесть об Адонисе?

Маникан почесал затылок.

– Действительно, это была большая неосторожность.

– Как вы объясняете ее себе, господин де Маникан?

– Государь, что предписано судьбой, то случится.

– О, да вы фаталист?

Маникан заволновался, чувствуя себя очень неловко.

– Я сердит на вас, господин де Маникан, – сурово начал король.

– На меня, государь?

– Конечно! Вы друг де Гиша, вы знаете, что он способен на такие безумства, и вы не

остановили его!

Маникан не знал, как быть, тон короля не был похож на тон человека легковверного. С другой стороны, в нем не слышалось ни суровости, ни настойчивости судебного следователя. В нем звучало больше насмешки, чем угрозы.

– Итак, вы утверждаете, – повторил король, – что найденная мертвая лошадь принадлежала де Гишу?

– Да, да, конечно.

– Это вас удивило?

– Нет, государь. На последней охоте, как, вероятно, помнит ваше величество, таким же образом была убита лошадь под господином де Сен-Мором.

– Да, но у нее был распорот живот.

– Совершенно верно, государь.

– Если бы у коня де Гиша был распорот живот, так же как у лошади господина де Сен-Мора, то я нисколько бы не удивился!

Маникан вытаращил глаза.

– Но меня удивляет, – продолжал король, – что у лошади де Гиша живот цел, зато пробита голова.

Маникан смутился.

– Может быть, я ошибаюсь, – сказал король, – и лошадь де Гиша была поражена не в висок? Согласитесь, господин де Маникан, что это очень странная рана.

– Государь, вы знаете, что лошадь очень умное животное; она, должно быть, пробовала защищаться.

– Но лошадь защищается копытами, а не головой.

– Так, значит, испуганная лошадь упала, – пролепетал Маникан, – и кабан, вы понимаете, государь, кабан...

– Да, все, что касается лошади, я понимаю, а как же всадник?

– Очень просто: от лошади кабан перешел к всаднику и, как я уже имел честь сообщить вашему величеству, раздробил руку де Гиша, когда он собирался выпустить в него второй заряд из пистолета; потом ударом клыка кабан пробил ему грудь.

– Ей-богу, это чрезвычайно правдоподобно, господин де Маникан, и напрасно вы сомневались в вашем красноречии; вы рассказываете превосходно.

– Король бесконечно добр, – смутился Маникан, отвешивая крайне неловкий поклон.

– Однако с сегодняшнего дня я запрещаю моим дворянам ходить в засаду.

Ведь это равносильно разрешению дуэли.

Маникан вздрогнул и сделал шаг, собираясь уйти.

– Король удовлетворен? – спросил он.

– Восхищен! Но, пожалуйста, останьтесь, господин де Маникан, – сказал Людовик, – у меня к вам есть дело.

«Гм... гм... – подумал д'Артаньян, – этот послабее нас».

И он испустил вздох, который означал: «О, такие люди, как мы! Где они теперь?»

В это мгновение камердинер поднял портьеру и доложил о приходе королевского врача.

– Ах, это господин Вало, который только что посетил господина де Гиша! – вскричал Людовик. – Мы сейчас узнаем о состоянии раненого.

Маникан почувствовал себя еще более неловко, чем прежде.

– Таким образом, у нас, по крайней мере, будет чиста совесть, – прибавил король.

И взглянул на д'Артаньяна, который и бровью не повел.

Глава 25. ДОКТОР

Вошел г-н Вало.

Все занимали прежнее положение: король сидел, де Сент-Эньян облокотился на спинку

кресла, д'Артаньян стоял, прислонившись к стене, Маникан вытянулся перед королем.

– Вы исполнили мое распоряжение, господин Вало? – спросил король.

– С большой готовностью, государь.

– Побывали у своего коллеги в Фонтенбло?

– Да, государь.

– И видели там господина де Гиша?

– Да, я видел там господина де Гиша.

– В каком он состоянии? Скажите откровенно.

– Очень неважном, государь.

– Кабан все же не растерзал его?

– Кого не растерзал?

– Гиша.

– Какой кабан?

– Кабан, который его ранил.

– Господин де Гиш был ранен кабаном?

– По крайней мере, так говорят.

– Скорее его ранил какой-нибудь браконьер...

– Как, браконьер?

– Или ревнивый муж, или соперник, который, желая отомстить ему, в него выстрелил.

– Что вы говорите, господин Вало? Разве раны господина де Гиша нанесены не клыками кабана?

– Раны господина де Гиша нанесены pistolетной пулей, которая раздробила ему безымянный палец и мизинец правой руки, после чего засела в мышцах груди.

– Пуля? Вы уверены, что господин де Гиш ранен пулей? – с притворным изумлением воскликнул король.

– Настолько уверен, что могу показать ее. Вот она, государь.

И он поднес королю сплюснутую пулю. Король посмотрел на нее, но в руки не взял.

– Эта штука была у него в груди? – спросил он.

– Не вполне. Пуля не проникла вглубь, она, как вы видите, сплюснулась, ударившись, вероятно, о грудную кость.

– Боже мой, – печально вздохнул король, – почему же вы не сообщили мне об этом, господин де Маникан?

– Государь...

– Что это за выдумка о кабане, засаде, ночной охоте? Говорите же!

– Ах, государь!..

– Мне кажется, что вы правы, – обратился король к капитану мушкетеров, – произошел поединок.

Король очень хорошо умел компрометировать своих приближенных и сеять раздор между ними.

Маникан с упреком посмотрел на мушкетера. Д'Артаньян понял этот взгляд и не пожелал, оставаться под подозрением. Он сделал шаг вперед и сказал:

– Государь, ваше величество приказали мне осмотреть поляну в роще Рошен и доложить, что, по моему мнению, происходило на ней. Я сообщил вашему величеству результаты своих наблюдений, но никого не выдавал. Ваше величество первый назвали графа де Гиша.

– Хорошо, хорошо, сударь! – надменно произнес король. – Вы исполнили свой долг, и я доволен вами, этого должно быть для вас достаточно. Но вы, господин де Маникан, не исполнили своего долга, вы солгали мне.

– Солгал, государь? Это слишком резкое слово.

– Придумайте другое.

– Государь, я не буду придумывать. Я уже имел несчастье не угодить вашему величеству и нахожу, что мне остается лишь покорно снести все упреки, которыми вашему величеству захочется осыпать меня.

- Вы правы, сударь, я всегда бываю недоволен, когда от меня скрывают правду.
- Иногда, государь, ее не знают.
- Перестаньте лгать, или я удвою наказание.

Маникан побледнел и поклонился. Д'Артаньян сделал еще шаг вперед, решившись вмешаться, если все возраставший гнев короля перейдет границы.

– Сударь, – продолжал король, – вы видите, что дальнейшее отрицание бесполезно. Теперь ясно, что господин де Гиш дрался.

– Я не отрицаю этого, государь, и ваше величество поступили бы великодушно, не принуждая дворянина лгать.

– Кто вас принуждал?

– Государь, господин де Гиш – мой друг. Ваше величество запретили дуэли под страхом смерти. Ложь могла спасти моего друга, и я солгал.

– Правильно, – прошептал Д'Артаньян, – теперь он ведет себя молодцом?

– Сударь, – возразил король, – вместо того чтобы лгать, следовало помешать ему драться.

– Государь, вашему величеству, первому дворянину Франции, хорошо известно, что мы, дворяне, никогда не считали господина де Бутвиля опозоренным потому, что он был казнен на Гревской площади. Класть голову на плаху не позор, позор бежать от своего врага.

– Хорошо, – согласился Людовик XIV, – я хочу дать вам средство все поправить.

– Если это средство прилично для дворянина, я с большой готовностью воспользуюсь им, государь.

– Имя противника господина де Гиша?

– Ого! – прошептал Д'Артаньян. – Неужели возвращаются времена Людовика Тринадцатого...

– Государь! – с упреком воскликнул Маникан.

– По-видимому, вы не хотите назвать его? – спросил король.

– Государь, я его не знаю.

– Браво! – крикнул Д'Артаньян.

– Господин Маникан, отдайте вашу шпагу капитану.

Маникан грациозно поклонился, отстегнул шпагу и с улыбкой вручил ее мушкетеру.

Но тут вмешался де Сент-Эньян.

– Государь, – начал он, – прошу позволения вашего величества...

– Говорите, – сказал король, может быть, в глубине души довольный, что нашелся человек, изъявивший готовность обуздать его гнев.

– Маникан, вы молодец, и король оценит ваш поступок; но кто слишком ревностно защищает своих друзей – вредит им. Маникан, вы знаете имя человека, о котором спрашивает у вас его величество?

– Да, знаю.

– В таком случае назовите его.

– Если б я должен был сделать это, я бы уже сказал.

– Тогда скажу я, ибо не вижу никакой надобности быть, подобно вам, слишком щепетильным.

– Воля ваша, однако мне кажется...

– Довольно великодушничать. Я не позволю, чтобы из-за своего великодушия вы угодили в Бастилию. Говорите, или это сделаю я.

Маникан был человек умный и понял, что на основании его поведения присутствующие уже составили о нем благоприятное мнение. Теперь нужно было только укрепить это мнение, вернув расположение короля.

– Говорите, сударь, – обратился он к де Сент-Эньяну. – Я сделал все, что требовала от меня совесть, и требования ее были так повелительны, прибавил он, обращаясь к королю, – что заставили меня послушаться приказания вашего величества; но ваше величество, надеюсь, простит меня, узнав, что я должен был охранять честь одной дамы.

– Дамы? – с беспокойством спросил король.
 – Да, сударь.
 – Причиной поединка была дама?
 Маникан поклонился.
 Король встал и подошел к Маникану.
 – Если это значительная особа, – произнес он, – я не посетую на ваши уловки, напротив.
 – Государь, все, что касается придворных короля или слуг его брата, значительно в моих глазах.
 – Моего брата? – повторил Людовик XIV с некоторым замешательством. Причиной поединка была дама из свиты моего брата?
 – Или принцессы.
 – Принцессы? нее?
 – Да, государь.
 – Значит, эта дама?..
 – Фрейлина ее высочества герцогини Орлеанской.
 – И вы говорите, что господин де Гиш дрался из-за нее?
 – Да, и на этот раз я не лгу.
 На лице Людовика выразилось беспокойство.
 – Господа, – распорядился он, обращаясь к зрителям этой сцены, – благоволите удалиться на несколько минут, мне нужно остаться наедине с господином де Маниканом. Я знаю, что ему нужно сообщить в свое оправдание весьма деликатные вещи, которые он не решается огласить при свидетелях... Возьмите назад свою шпагу, господин де Маникан.
 Маникан пристегнул шпагу.
 – Удивительное, однако, самообладание у этого молодого человека, прошептал мушкетер, взяв под руку де Сент-Эньяна и выходя вместе с ним из комнаты.
 – Он выпутается, – сказал де Сент-Эньян на ухо мушкетеру.
 – И с честью, граф!
 Незаметно от короля Маникан бросил благодарный взгляд на де Сент-Эньяна и мушкетера.
 – Знаете, – продолжал д'Артаньян, переступая порог, – у меня было неважное мнение о новом поколении. Теперь же я вижу, что ошибался и наша молодежь не так уж плоха.
 Вало вышел вслед за фаворитом и капитаном. Король и Маникан остались в кабинете одни.

Глава 26.

Д'АРТАНЬЯН ПРИЗНАЕТ, ЧТО ОН ОШИБСЯ И ЧТО ПРАВ БЫЛ МАНИКАН

Король подошел к двери, убедился, что никто не подслушивает, и быстро вернулся к своему собеседнику.
 – Теперь мы одни, господин де Маникан, прошу вас объясниться.
 – С полной откровенностью, государь, – отвечал молодой человек.
 – Прежде всего, – начал король, – да будет вам известно, что ни к чему я не отношусь с таким уважением, как к чести дам.
 – Поэтому-то, государь, я и щадил вашу деликатность.
 – Да, теперь я понимаю вас. Итак, вы говорите, что дело касалось одной из фрейлин моей невестки и что лицо, о котором идет речь, противник де Гиша, – словом, человек, которого вы не хотите называть...
 – Но которого назовет вам, государь, господин де Сент-Эньян...
 – Да, так вы говорите, что этот человек оскорбил одну из фрейлин принцессы?
 – Да, мадемуазель де Лавальер, государь.
 – Ах, – произнес король тоном человека, ожидавшего, что он услышит это имя, хотя удар поразил его в самое сердце. – Значит, подверглась оскорблению мадемуазель де

Лавальер?

– Я не говорю, что она подверглась оскорблению, государь.

– Но в таком случае...

– Я говорю, что о ней отзывались в не совсем почтительных выражениях.

– В не совсем почтительных выражениях! И вы отказываетесь назвать мне имя этого наглеца?..

– Государь, я считал, что этот вопрос уже решен и ваше величество не станет больше заставлять меня играть роль доносчика.

– Это верно, вы правы, – согласился король, сдерживая волнение. – К тому же мне все равно скоро станет известно имя человека, которого я должен буду наказать.

Маникан увидел, что дело принимает новый оборот.

Что же касается короля, то он заметил, что увлекся и зашел слишком далеко. Он овладел собой и продолжал:

– Я накажу его не потому, что речь идет о мадемуазель де Лавальер, хотя я питаю к ней особенное уважение, но потому, что предметом ссоры была женщина. А я требую, чтобы при моем дворе женщин уважали и чтобы не ссорились из-за них.

Маникан поклонился.

– Теперь, господин де Маникан, – продолжал король, – что говорили о мадемуазель де Лавальер?

– Разве ваше величество не догадываетесь?

– Я?

– Ваше величество хорошо знает, какие шутки позволяют себе молодые люди.

– Вероятно, говорили, что она кого-нибудь любит? – решился спросить король.

– Весьма вероятно.

– Но мадемуазель де Лавальер имеет право любить кого ей вздумается, сказал король.

– Именно это и утверждал де Гиш.

– И из-за этого он дрался?

– Да, государь, только из-за этого.

Король покраснел.

– И больше вам ничего не известно?

– Относительно чего, государь?

– Относительно того любопытного предмета, о котором вы сейчас рассказываете.

– Что же королю угодно знать?

– Например, имя человека, которого любит Лавальер и, по мнению противника де Гиша, не вправе любить?

– Государь, я ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не выводывал; но я считаю де Гиша человеком благородным, и если он временно занял место покровителя де Лавальер, то лишь потому, что этот покровитель – лицо слишком высокопоставленное для того, чтобы самому вступиться за нее.

Эти слова были более чем прозрачны; король покраснел, но на этот раз от удовольствия. Он ласково похлопал Маникана по плечу.

– Я вижу, что вы не только умный молодой человек, но и прекрасный дворянин, а ваш друг де Гиш-рыцарь совсем в моем вкусе; вы ему передадите это, не прав? да ли?

– Итак, ваше величество прощаете меня?

– Совершенно.

– И я свободен?

Король улыбнулся и протянул Маникану руку. Маникан схватил ее и поцеловал.

– Кроме того, – прибавил король, – вы чудесный рассказчик.

– Я, государь?

– Вы превосходно рассказали мне о несчастном случае с де Гишем. Я так ясно вижу кабана, выскакивающего из лесу, вижу падающую лошадь, вижу, как зверь, бросив коня, кидается на всадника. Вы не рассказываете, сударь, – вы рисуете картину!

– Государь, я думаю, что вашему величеству угодно посмеяться надо мной, – печально улынулся Маникан.

– Напротив, – отвечал серьезно Людовик XIV, – я не только не смеюсь, господин де Маникан, но выражаю желание, чтобы вы рассказали об этом случае в большом обществе.

– О случае на охоте?

– Да, в том виде, как вы передали его мне, не изменяя ни слова, понимаете?

– Вполне, государь.

– И вы расскажете?

– При первом же удобном случае.

– Теперь позовите господина д'Артаньяна. Надеюсь, что вы больше не боитесь его?

– О государь, как только я исполнился уверенности в благосклонности вашего величества ко мне, я не боюсь никого в мире!

– Подите же, позовите, – сказал король.

Маникан открыл дверь.

– Господа, – произнес он, – король зовет вас.

Д'Артаньян, де Сент-Эньян и Вало вернулись.

– Господа, – начал король, – я призвал вас с целью заявить, что объяснение господина де Маникана вполне удовлетворило меня.

Д'Артаньян и де Сент-Эньян одновременно взглянули на доктора, и взгляд их, казалось, обозначал: «Ну, что я вам говорил?»

Король отвел Маникана к двери и тихонько шепнул ему:

– Пусть господин де Гиш хорошенько лечится, я желаю ему скорого выздоровления. Как только он поправится, я поблагодарю его от имени всех дам, но хорошо было бы, если бы такие случаи не повторялись.

– Государь, даже если бы ему предстояло умереть сто раз, он сто раз повторит то, что сделал, если будет затронута честь вашего величества.

Это было откровенно. Но, как мы уже сказали, Людовик XIV любил фимиам и был не очень требовательным относительно его качества, раз его воскурили.

– Хорошо, хорошо, – отпустил он Маникана, – я сам повидаяюсь с де Гишем и образумлю его.

Маникан попятился к двери.

Тогда король обратился к трем свидетелям этой сцены:

– Скажите мне, Д'Артаньян, каким образом вышло, что ваше зрение, обыкновенно такое тонкое, помутилось?

– У меня помутилось зрение, государь?

– Конечно.

– Должно быть, так, раз это утверждает ваше величество. Но какой случай имеет в виду ваше величество?

– Да тот, что произошел в роще Рошен.

– А-а-а!

– Конечно. Вы видели следы двух лошадей и двух человек, вы мысленно восстановили подробности поединка. Представьте, что никакого поединка не было; чистейшая иллюзия!

– А-а-а! – снова произнес д'Артаньян.

– То же самое относительно гарцевания лошади и следов борьбы. У де Гиша шла борьба только с кабаном, и ни с кем больше; однако эта борьба была, по-видимому, долгой и ожесточенной.

– А-а-а! – в третий раз произнес д'Артаньян.

– И подумать только: рассказ ваш показался мне вполне правдоподобным, – вероятно, оттого, что вы говорили с большой уверенностью.

– Действительно, государь, у меня, должно быть, помутилось в глазах, – добродушно кивнул д'Артаньян, приведя короля в восторг своим ответом.

– Значит, вы согласны с версией господина де Маникана?

– Конечно, государь!

– И для вас теперь ясно, как было дело?

– Оно представляется мне совсем иначе, чем полчаса тому назад.

– Как же вы объясняете эту перемену мнения?

– Самой простой Причиной, государь. Полчаса тому назад, когда я возвращался из роши Рошен, у меня был только жалкий фонарь из конюшни...

– А сейчас?

– Сейчас мне светят все люстры вашего кабинета, а кроме того, глаза вашего величества, источающие свет, как два солнца!

Король рассмеялся, де Сент-Эньян захохотал.

– Вот и господин Вало, – продолжал д'Артаньян, высказывая слова, которые вертелись на языке короля, – не только вообразил, что господин де Гиш был ранен пулей, но ему показалось также, что он вынул эту пулю у него из груди.

– Право, – начал Вало, – я...

– Не правда ли, вам это показалось, – настаивал д'Артаньян.

– То есть не только показалось, но и сейчас еще кажется, готов вам в этом поклясться.

– А между тем, дорогой доктор, вам это приснилось.

– Приснилось?

– Рана господина де Гиша – сон; пуля – сон... но говорите больше никому об этом, иначе вас засмеют.

– Хорошо придумано, – одобрил король, – д'Артаньян дает вам прекрасный совет, сударь. Не рассказывайте больше никому о своих снах, господин Вало, и, даю вам слово, вы не раскаетесь. Покойной ночи, господа. Ах, какая опасная вещь засада на кабана!

– Да, она очень, очень опасна – засада на кабана! – громко повторил д'Артаньян.

И он произносил эту фразу во всех комнатах, по которым проходил.

– Теперь, когда мы одни, – обратился король к Сент-Эньяну, – назови мне имя противника де Гиша.

Де Сент-Эньян посмотрел на короля.

– Не смущайся, – ободрил его король, – ты ведь знаешь, что мне придется простить.

– Де Вард, – сказал де Сент-Эньян.

– Хорошо.

Затем, направляясь в спальню, Людовик XIV прибавил:

– Простить – не значит забыть.

Глава 27.

КАК ХОРОШО ИМЕТЬ ДВЕ ТЕТИВЫ НА СВОЕМ ЛУКЕ

Маникан выходил от короля очень довольный, что ему удалось так счастливо выпутаться, как вдруг, спустившись с лестницы, он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Он оглянулся и увидел Монтале, которая, наклонившись к нему, таинственно прошептала:

– Сударь, пожалуйста сюда поскорее, прошу вас.

– Куда, мадемуазель? – спросил Маникан.

– Прежде всего настоящий рыцарь никогда бы не задал мне такого вопроса, а просто пошел бы за мной, не требуя никаких объяснений.

– Хорошо, мадемуазель, – согласился Маникан, – я готов вести себя по-рыцарски.

– Слишком поздно. Теперь у вас нет никакой заслуги. Мы идем к принцессе.

– Вот как, к принцессе?

И он пошел за Монтале, которая бежала впереди, легкая, как Галатея.

«На этот раз, – говорил себе Маникан, – охотничьи истории будут, пожалуй, неуместны. Попробуем, однако, а если понадобится... ей-богу, если понадобится, вздумаем еще что-нибудь».

Монтале все бежала.

«Как это утомительно, – думал Маникан, – напрягать одновременно ум и ноги».

Наконец они пришли. Принцесса окончила свой ночной туалет и была в изящном пеньюаре; она кого-то ждала с явным нетерпением. Поэтому Монтале и Маникан застали ее подле самых дверей.

– Наконец-то! – воскликнула она.

– Вот господин де Маникан, – представила Монтале.

Маникан почтительно поклонился.

Принцесса знаком приказала Монтале удалиться. Фрейлина повиновалась.

Принцесса молча проводила ее глазами и подождала, пока двери за нею закрылись; затем, обращаясь к Маникану, молвила:

– Что случилось? Говорят, в замке кого-то ранили?

– К несчастью, да, принцесса... господина де Гиша.

– Да, господина де Гиша, – повторила принцесса. – Мне уж известно об этом, но только по слухам. Значит, несчастье случилось действительно с господином де Гишем?

– С ним самим, принцесса.

– Знаете ли вы, господин де Маникан, – с живостью сказала принцесса, – что король питает отвращение к дуэлям?

– Конечно, принцесса. Но дуэль с диким зверем не осуждается его величеством.

– Надеюсь, вы не оскорбите меня предположением, будто я поверю в нелепую басню, пущенную неизвестно для чего, согласно которой господин де Гиш ранен кабаном. Нет, нет, сударь, истина обнаружена, а в настоящую минуту господин де Гиш не только страдает от раны, но подвергается еще опасности лишиться свободы.

– Увы, принцесса, – вздохнул Маникан, – мне это прекрасно известно, но что же делать?

– Вы видели его величество?

– Да, принцесса.

– Что вы сказали ему?

– Я рассказал ему, как господин де Гиш сидел в засаде, как из рощи Рошен выскочил кабан, как господин де Гиш выстрелил в него и как, наконец, рассвирепевший зверь бросился на стрелка, убил его лошадь и серьезно ранил его самого.

– И король всему этому поверил?

– Вполне.

– Вы меня удивляете, господин де Маникан, вы меня очень удивляете!

И принцесса принялась расхаживать по комнате, бросая по временам вопросительные взгляды на Маникана, неподвижно и бесстрастно стоявшего на месте, которое он занял, войдя в комнату. Наконец принцесса остановилась.

– А между тем, – начала она, – все в один голос объясняют эту рану совсем иначе.

– Каким же образом, принцесса? – спросил Маникан. – Простите, что я задаю этот нескромный вопрос вашему высочеству.

– И это спрашиваете вы, ближайший друг господина де Гиша, поверенный его тайн?

– Ближайший друг – да; поверенный его тайн – нет. Де Гиш из тех людей, которые никому не доверяют своих тайн. Де Гиш очень скрытен, принцесса.

– Хорошо, в таком случае я буду иметь удовольствие открыть вам эти тайны, которые так хорошо умеет прятать господин де Гиш, – с досадой молвила принцесса, – ибо ведь король, может быть, вторично пожелает расспросить вас, и если вы снова расскажете ему эту небылицу, то он, пожалуй, вам больше не поверит.

– Мне кажется, ваше высочество, что вы заблуждаетесь относительно короля. Его величество остался очень доволен мною, клянусь вам.

– В таком случае позвольте мне сказать вам, господин де Маникан, что это доказывает лишь нетребовательность его величества.

– Я полагаю, что ваше высочество ошибается. Его величество, как известно, принимает в расчет только серьезные доводы.

– И вы думаете, что король поблагодарит вас за вашу подобострастную ложь, когда узнает завтра, что господин де Гиш затеял ссору из-за своего друга, господина де Бражелона, и что ссора эта привела к поединку?

– Ссора из-за господина де Бражелона? – наивнейшим тоном произнес Маникан. – Что вашему высочеству угодно сказать этим?

– Что же тут удивительного? Господин де Гиш подозрителен, раздражителен, легко забывается.

– Я, принцесса, напротив, считаю де Гиша очень терпеливым человеком, который раздражается только в тех случаях, когда для этого есть серьезный повод.

– Разве вступить за честь друга не серьезный повод? – улыбнулась принцесса.

– О, конечно, принцесса! Особенно для такого сердца, как у него.

– Не станете же вы отрицать, что господин де Бражелон друг господина де Гиша?

– Большой друг.

– Так вот, господин де Гиш вступился за честь господина де Бражелона, и так как господина де Бражелона здесь нет и он не мог драться, то граф дрался вместо него.

Маникан с улыбкой слушал принцессу и раза два или три сделал движение головой и плечами, означавшее: «Если вы хотите во что бы то ни стало...»

– Что же вы молчите? – нетерпеливо спросила принцесса. – Видно, вы не разделяете моего мнения и хотите что-то возразить?

– Я вам могу сказать, принцесса, только одно: я не понимаю ни слова из всего того, что вы изволили рассказать мне.

– Как! Вы ничего не понимаете в ссоре господина де Гиша с господином де Бардом? – в раздражении воскликнула принцесса.

Маникан молчал.

– Ссоре, – продолжала она, – возникшей из-за одной довольно недоброжелательной и довольно обоснованной фразы относительно поведения одной дамы.

– Ах, одной дамы! Это другое дело, – протянул Маникан.

– Вы начинаете понимать, не правда ли?

– Простите, ваше высочество, но я не решаюсь...

– Вы не решаетесь? – спросила принцесса, выведенная из себя. – В таком случае решусь я!

– Принцесса, принцесса! – остановил Маникан, делая вид, что он страшно испуган. – Взвесьте хорошенько, что вы хотите сказать.

– Можно подумать, что, если бы я была мужчиной, вы бы вызвали меня на дуэль, несмотря на запрещение его величества, как господин де Гиш вызвал на дуэль господина де Варда из-за сомнений последнего в добродетели мадемуазель де Лавальер.

– Мадемуазель де Лавальер! – вскричал Маникан, даже подпрыгнув от изумления, точно он меньше всего на свете ожидал услышать это имя.

– Что с вами, господин де Маникан, почему вы подскочили? – иронически усмехнулась принцесса. – Неужели и вы имеете дерзость сомневаться в ее добродетели?

– Но во всей этой истории не было и речи о добродетели мадемуазель де Лавальер, принцесса.

– Как! Два человека стрелялись из-за женщины, а вы говорите, что она здесь ни при чем и что о ней не было речи? Я и не знала, что вы такой ловкий царедворец, господин де Маникан.

– Извините, принцесса, – сказал молодой человек, – мы совсем не понимаем друг друга; вы делаете мне честь говорить со мной на одном языке, я же, по-видимому, говорю с вами на другом.

– Что такое?

– Извините, мне показалось, будто вашему высочеству было угодно сказать, что господин де Гиш и де Вард дрались из-за мадемуазель де Лавальер.

– Да.

– Из-за мадемуазель де Лавальер, не правда ли? – повторил Маникан.

– Боже мой, я не утверждаю, что господин де Гиш лично принял к сердцу интересы мадемуазель де Лавальер, он вступился за нее по полномочию.

– По полномочию?

– Полно, не разыгрывайте изумления! Разве вам не известно, что господин де Бражелон жених мадемуазель де Лавальер и, отправляясь по поручению короля в Лондон, он попросил своего друга, господина де Гиша, блюсти честь интересующей его особы?

– Больше я не произнесу ни слова; ваше высочество осведомлены гораздо лучше меня.

– Обо всем, предупреждаю вас.

Маникан рассмеялся, и его смех чуть не вывел из себя принцессу, которая, как известно, не отличалась большой сдержанностью.

– Принцесса, – с поклоном продолжал Маникан, – предадим все это дело забвению, так как все равно оно никогда не разъяснится вполне.

– Вы ошибаетесь, оно совершенно ясно! Король узнает, что де Гиш выступил на защиту этой авантюристки, которая напускает на себя вид важной персоны; он узнает, что господин де Бражелон избрал охранителем сада Гесперид своего друга, господина де Гиша, и что последний укусил маркиза де Варда, осмелившегося протянуть руку к золотому яблочку. А вам небезызвестно, господин де Маникан, – ведь вы знаете очень многое, – что и королю очень хочется полакомиться этим яблочком, и он, пожалуй, не особенно поблагодарит господина де Гиша за то, что тот взял на себя роль дракона. Теперь вам ясно или нужны еще какие-нибудь сведения? Говорите, спрашивайте.

– Нет, принцесса, с меня довольно.

– Однако да будет вам известно, господин де Маникан, что негодование его величества приведет к самым ужасным последствиям. У государей с таким характером, как у короля, любовная страсть подобна урагану.

– Который вы усмирите, принцесса.

– Я? – вскричала принцесса с ироническим жестом. – Я? На каком основании?

– Потому что вы не переносите несправедливости, принцесса.

– Разве, по-вашему, несправедливо мешать королю обделывать свои любовные дела?

– Но все же вы вступитесь за господина де Гиша?

– Вы забываетесь, сударь, – надменным тоном сказала принцесса.

– Напротив, принцесса, я рассуждаю совершенно здраво и повторяю, что вы заступитесь за господина де Гиша перед королем.

– Я?

– Да.

– С какой стати?

– Потому что интересы господина де Гиша – ваши интересы, – горячим шепотом проговорил Маникан, глаза которого загорелись.

– Что вы хотите сказать?

– Я говорю, принцесса, что меня удивляет, каким образом ваше высочество не догадались, что имя Лавальер в этой защите, взятой на себя господином де Гишем вместо отсутствующего господина де Бражелона, было только предлогом.

– Предлогом?

– Да.

– Предлогом для чего? – прошептала принцесса; взгляды Маникана были так красноречивы, что она начала понимать.

– А теперь, принцесса, – проговорил молодой человек, – мне кажется, мною сказано достаточно, чтобы убедить ваше высочество не нападать в присутствии короля на беднягу де Гиша; и без того на него обрушится вся вражда той партии, которая и вам не сочувствует.

– Мне кажется, наоборот, вы хотите сказать, что на графа вознегодуют все, питающие неприязнь к мадемуазель де Лавальер, а может быть, и некоторые из расположенных к ней.

– Принцесса, неужели ваше упрямство простирается так далеко, что вы отказываетесь понять слова преданного друга? Неужели мне придется под страхом навлечь вашу немилость

назвать, вопреки своему желанию, имя особы, которая была истинной причиной ссоры?

– Особы? – спросила принцесса, краснея.

– Неужели я должен буду, – повысил голос Маникан, – изображать вам негодование, раздражение и бешенство бедняги де Гиша, когда до него доходят слухи, распускаемые об этой особе? Неужели мне придется, если вы будете упорно отказываться угадать имя, которое я из уважения к нему не решаюсь произнести, – неужели мне придется напоминать вам сцены между принцем и милордом Бекингэмом и сплетни, пущенные по поводу изгнания герцога? Неужели я должен буду рассказывать вам о всех стараниях графа угодить особе, ради которой он только и живет, которой только и дышит, оградить ее от всякого беспокойства, защитить ее? Хорошо, я это сделаю, и когда напомню вам все, может быть, вы поймете, почему граф, истощивший терпение, измученный злословием де Варда, воспылил жаждой мести при первом же непочтительном слове последнего об этой особе.

Принцесса закрыла лицо руками.

– Ах, господин де Маникан, – вскричала она, – взвешиваете ли вы ваши слова и помните ли, кому их говорите?

– Тогда, принцесса, – продолжал Маникан, делая вид, что не слышал восклицания принцессы, – вас больше не удивит ни горячее желание графа затеять эту ссору, ни та удивительная ловкость, с которой он перенес ее на почву, чуждую вашим интересам. Им было проявлено необыкновенное искусство и хладнокровие; и если особа, ради которой граф де Гиш дрался и пролил кровь, действительно должна быть признательна раненому, то, право, не за пролитую кровь, не за перенесенные им страдания, а за его заботы об охране ее чести, которая для него более драгоценна, чем его собственная.

– Ах, – воскликнула принцесса, забыв о присутствии Маникана, – неужели все это случилось действительно из-за меня?

Маникан мог наконец перевести дух; он честно заслужил этот отдых.

Принцесса тоже некоторое время оставалась погруженной в печальные мысли. Ее волнение можно было угадать по порывистому дыханию, по томному взгляду, по движениям руки, которую она то и дело прижимала к сердцу.

Однако и в эту минуту она не перестала быть кокеткой; ее кокетство, как огонь, находило для себя пищу повсюду.

– В таком случае, – сказала она, – граф угодил двум лицам сразу. Ведь господин де Бражелон тоже должен быть очень признателен господину де Гишу, тем более признателен, что везде и всегда будут считать, что честь Лавальер была защищена этим великодушным рыцарем.

Маникан понял, что в сердце принцессы еще остались некоторые сомнения в его упорное сопротивление подогрело их.

– Вот уж подлинно прекрасную услугу оказал он мадемуазель де Лавальер и господину де Бражелону! Дуэль наделала шуму, который порядком обесславит эту девицу и неминуемо поссорит ее с виконтом. Таким образом, пистолетный выстрел господина де Варда одновременно убил честь женщины, счастье мужчины и, может быть, смертельно ранил одного из лучших дворян Франции. Ах, принцесса, у вас холодный разум, он всех осуждает и никого не оправдывает!

Эти слова Маникана унесли последние сомнения, еще оставшиеся не в сердце, а в уме принцессы. И не щепетильная принцесса, не подозрительная женщина, а любящее сердце болезненно почувствовало опасность, нависшую над де Гишем.

– Смертельно ранен! – задыхаясь, прошептала она. – Неужели вы сказали, что он смертельно ранен, господин де Маникан?

Маникан ответил только глубоким вздохом.

– Итак, вы говорите, что граф опасно ранен? – продолжала принцесса.

– У него раздроблена кисть руки и прострелена грудь, принцесса.

– Боже мой, боже мой! – воскликнула принцесса в лихорадочном возбуждении. – Ведь это ужасно, господин де Маникан! Вы говорите, раздроблена рука и пуля в груди? И все это

наделал этот трус, этот негодяй, этот убийца де Вард! Положительно, на небе нет справедливости.

Маникан, по-видимому, был сильно взволнован. Действительно, он вложил много энергии в последнюю часть своей защитительной речи.

Что же касается принцессы, то она совсем позабыла о приличиях; когда в ней просыпалась страсть, – гнев или любовь, – ничто не могло сдержать ее порыва. Принцесса подошла к Маникану, беспомощно опустившемуся в кресло; сильное волнение как бы давало ему право нарушить требования этикета.

– Сударь, – попросила принцесса, беря его за руку, – будьте откровенны.

Маникан поднял голову.

– Положение господина де Гиша действительно серьезно? – спросила принцесса.

– Очень серьезно, принцесса, – отвечал Маникан, – во-первых, вследствие потери крови, вызванной повреждением артерии на руке, а затем из-за раны в груди, где, по мнению доктора, пуля задела какой-то важный орган.

– Значит, он может умереть?

– Да, может, принцесса, и даже без утешительного сознания, что вам известно о его самопожертвовании.

– Вы ему скажете.

– Я?

– Да, ведь вы его друг.

– Нет, принцесса, я расскажу господину де Гишу, если только несчастный еще в состоянии выслушать меня, лишь то, что я видел, то есть как вы к нему жестоки.

– Сударь, это было бы варварством с вашей стороны.

– Нет, принцесса, я расскажу ему всю правду; ведь у человека его возраста организм могуч, а врачи, которые лечат его, люди знающие и искусные. И если бедный граф поправится, то я не хочу подвергать его опасности умереть от другой раны, раны, нанесенной в сердце.

И с этими словами Маникан встал и почтительно поклонился, собираясь уходить.

– Скажите, по крайней мере, – почти умоляюще остановила его принцесса, – в каком состоянии находится больной и какой врач лечит его?

– Состояние графа очень плохое, принцесса, а лечит графа врач его величества господин Вало, с помощью одного коллеги, к которому перенесли господина де Гиша.

– Как! Он не в замке?

– Увы, принцесса, бедняге было так плохо, что его не могли доставить сюда.

– Дайте мне его адрес, сударь, – живо сказала принцесса, – я пошлю справиться о его здоровье.

– Улица Фер; кирпичный дом с белыми ставнями; на дверях написана фамилия врача.

– Вы идете к раненому, господин де Маникан?

– Да, принцесса.

– В таком случае окажите мне одну любезность.

– Я весь к услугам вашего высочества.

– Сделайте то, что вы собирались сделать: вернитесь к господину де Гишу, удалите всех находящихся при нем и уйдите сами.

– Принцесса...

– Не будем терять времени на бесплодные пререкания... Дело вот в чем: не ищите тут никакого скрытого смысла, довольствуйтесь тем, что я вам скажу. Я пошлю одну из своих фрейлин, может быть двух, так как уже поздно; мне не хотелось бы, чтобы они вас видели иди, говоря более откровенно, чтобы вы видели их. Эти предосторожности так понятны, особенно для вас, господин де Маникан: ведь вы все схватываете с полуслова.

– Да, принцесса. Я могу поступить даже лучше, я сам пойду перед вашими фрейлинами; таким образом, им не придется искать дорогу, и в то же время я окажу им помощь, если, паче чаяния, в ней будет надобность.

– И кроме того, при этом условии они войдут в дом, где находится господин де Гиш, без всяких затруднений. Не правда ли?

– Конечно, принцесса; я войду первым и устраню все затруднения, если бы таковые случайно возникли.

– Хорошо, ступайте, господин де Маникан, и ждите на нижней площадке лестницы.

– Иду, принцесса.

– Погодите.

Маникан остановился.

– Когда вы услышите шаги двух спускающихся женщин, отправляйтесь, не оглядываясь.

– А вдруг случайно с лестницы сойдут две другие дамы и я буду введен в заблуждение?

– Вам тихонько хлопнут три раза в ладоши.

– Слушаю, принцесса.

– Ступайте же, ступайте!

Маникан в последний раз поклонился принцессе и радостно вышел. Он знал, что визит принцессы будет лучшим бальзамом для ран де Гиша.

Не прошло и четверти часа, как до него донесся скрип осторожно открываемой двери. Затем он услышал легкие шаги, и кто-то три раза хлопнул в ладоши, то есть подал условленный знак. Маникан тотчас же, согласно данному слову, не оглядываясь, отправился по улицам Фонтенбло к дому врача.

Глава 28.

ГОСПОДИН МАЛИКОРН, АРХИВАРИУС ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЕВСТВА

Две женщины, закутанные в плащи и в черных бархатных полумасках, робко последовали за Маниканом.

Во втором этаже, за красными занавесками, мягко струился свет лампы.

В другом конце комнаты, на кровати с витыми колонками, за пологом того же цвета, что и занавески, лежал де Гиш. Голова его покоилась на двух подушках, глаза были безжизненно тусклы, длинные черные вьющиеся волосы рассыпались по подушке и спутанными прядями прикрывали бледное лицо молодого человека.

Чувствовалось, что хозяйкой в этой комнате является лихорадка. Де Гиш бредил. Ум его был прикован к видениям, которые бог посылает людям, отправляющимся в вечность. Несколько пятен еще не засохшей крови темнело на полу.

Маникан быстро взбежал по лестнице; он остановился на пороге, тихонько толкнул дверь, просунул голову в комнату и, видя, что все спокойно, на цыпочках подошел к большому кожаному креслу эпохи Генриха IV; убедившись, что сиделка, как и следовало ожидать, заснула, Маникан разбудил ее и попросил на минуту выйти.

Затем он постоял подле кровати, спрашивая себя, но нужно ли разбудить де Гиша, чтобы сообщить ему приятное известие. Но так как из-за портьеры до него уже доносился шорох шелковых платьев и прерывистое дыхание его спутниц, так как он уже видел, что эту портьеру нетерпеливо отодвигают, то он тоже вслед за сиделкой перешел в соседнюю комнату. В то самое мгновение, когда он скрывался за дверью, портьера поднялась, и в комнату вошли две женщины.

Вошедшая первой сделала своей спутнице повелительный жест, и та опустилась на табурет у дверей. Первая решительно направилась к постели, раздвинула полог и забросила его широкие складки за изголовье. Она увидела бледное лицо графа; увидела его правую руку, забинтованную ослепительно белым полотном и отчетливо обрисовывавшуюся на одеяле с темными разводами, которое покрывало это ложе страдания. Она вздрогнула, увидя, как красное пятно на повязке постепенно увеличивается.

Рубашка молодого человека была расстегнута, как будто для того, чтобы ночная свежесть облегчала ему дыхание.

Глубокий вздох вырвался из груди молодой женщины. Она прислонилась к колонке

кровати и сквозь отверстия маски долго смотрела на печальную картину.

Хрип и стоны прорывались сквозь стиснутые зубы графа.

Дама в маске схватила левую руку раненого, горячую, как раскаленный уголь. По сравнению с ней рука гостя была холодна как лед, так что от ее прикосновения де Гиш мгновенно открыл глаза и, напрягая зрение, сделал усилие вернуться к жизни.

Первое, что он заметил, был призрак, стоявший у колонки его кровати.

При виде его глаза больного расширились, но в них не блеснуло ни искры сознания.

Тогда стоявшая сделала знак своей спутнице, сидевшей на табурете у двери; та, без сомнения, хорошо заучила урок, потому что ясным, звонким голосом, отчеканивая слова, без запинки произнесла:

– Граф, ее высочеству принцессе угодно узнать, как вы себя чувствуете, и выразить моими устами свое глубокое соболезнование.

При слове принцесса де Гиш напряг зрение: он не видел женщины, которая произнесла эти слова. Поэтому он невольно повернулся в ту сторону, откуда раздавался голос. Но так как ледяная рука не оставляла его руки, то он снова принялся глядеть на неподвижный призрак.

– Это вы говорите мне, сударыня, – спросил он слабым голосом, – или же, кроме вас, в этой комнате есть еще кто-нибудь?

– Да, – еле слышно отвечал призрак, опустив голову.

– Так передайте принцессе, – с усилием произнес раненый, – что если она вспомнила обо мне, то я умру без сожаления.

При слове умру, произнесенном графом, дама в маске не могла сдержать слез. Если бы сознание де Гиша было яснее, он бы увидел, как эти блестящие жемчужины падают к нему на постель. Позабыв, что лицо ее закрыто, дама поднесла руку к глазам, желая вытереть их, но, встретив холодный, бесчувственный бархат, с гневом сорвала маску и швырнула ее на пол.

При виде неожиданно появившегося точно из облака лица де Гиш вскрикнул и поднял руку. Но от слабости он не мог вымолвить ни слова, и силы мгновенно покинули его.

Его правая рука, которая, не рассчитав своих сил, инстинктивно потянулась к видению, тотчас же снова упала на кровать, и кровавое пятно на белом полотне расширилось еще более. В то же время глаза молодого человека затуманились и закрылись, точно он уже вступал в борьбу с безжалостным ангелом смерти. После нескольких конвульсивных движений голова его замерла на подушке. Лицо стало мертвенно-бледным.

Дама испугалась, но страх не отбросил ее от кровати, а, напротив, привлек к ней. Она наклонилась над раненым, обдавая своим дыханием холодное лицо, которого она почти касалась, потом быстро поцеловала левую руку де Гиша; точно под действием электрического тока, раненый опять очнулся, открыл ничего не видящие глаза и снова погрузился в забытие.

– Уйдем, – проговорила дама, обращаясь к своей спутнице. – Нам нельзя оставаться здесь дольше; я свершу какое-нибудь безрассудство.

– Ваше высочество забыли маску, – сказала бдительная спутница.

– Подберите ее, – отвечала дама, выбежавшая на лестницу в страшном смятении.

Так как дверь на улицу оставалась приоткрытой, то две птички легко выпорхнули из нее и поспешно вернулись во дворец. Одна из дам поднялась в покои принцессы и скрылась там. Другая вошла в помещение фрейлин, то есть на антресоли.

Придя в свою комнату, она села за стол и, даже не успев отдышаться, написала следующие строки:

«Сегодня вечером принцесса навестила г-на де Гиша.

С этой стороны все идет чудесно.

Действуйте и вы; главное же, сожгите эту бумажку».

После этого она сложила письмо и осторожно прокралась по коридору в помещение, отведенное для свиты принца. Там она остановилась перед одной дверью, два раза стукнула в нее, просунула в щелку записку и убежала.

Затем, вернувшись к себе, уничтожила все следы своей прогулки и всякие доказательства того, что она писала.

Среди этих хлопот она заметила на столе маску принцессы, которую взяла с собой по приказанию своей госпожи, но не отдала ей.

«Нужно не забыть сделать завтра то, что я забыла сделать сегодня», подумала она.

Она взяла маску и почувствовала, что бархат ее влажен. Посмотрев на палец, она увидела, что он не только стал мокрым, но и был измазан кровью. Маска упала на одно из кровавых пятен, которые, как мы сказали, виднелись на полу комнаты де Гиша, и кровь обагрила ее белую батистовую подкладку.

– Вот как! – воскликнула Монтале, которую читатели, наверное, уже узнали по манере поведения. – Нет? теперь я не отдам ей этой маски. Теперь она слишком драгоценна!

И Монтале подбежала к шкатулке из кленового дерева, где у нее хранились туалетные принадлежности и духи.

«Нет, не сюда, – сказала она себе, – такие вещи нельзя предоставлять случайностям».

Затем, постояв некоторое время в раздумье, она улыбнулась и торжественно произнесла:

– Прекрасная маска, окрашенная кровью храброго рыцаря, ты отправишься в склад редкостей, где хранятся письма Лавальер, письма Рауля – словом, вся моя любовная коллекция, которая послужит когда-нибудь источником для истории Франции, для истории французских королей! Ты пойдешь к господину Маликорну, – со смехом продолжала шалунья, начиная раздеваться, – да, к почтенному господину Маликорну, – с этими словами она задула свечу, который считает, будто он только смотритель покоев принца, но на самом деле произведен мной в архивариусы и историографы дома Бурбонов и лучших родов королевства. Пусть он теперь жалуется, этот медведь Маликорн!

Тут она задернула полог и уснула.

Глава 29. ПУТЕШЕСТВИЕ

На следующий день, когда часы били одиннадцать, король в сопровождении обеих королев и принцессы спустился по парадной лестнице к карете, запряженной шестеркой лошадей, нетерпеливо бивших копытами землю. Весь двор в дорожных костюмах ожидал короля. Блестящее зрелище представляло это множество оседланных лошадей, экипажей, толпы нарядных мужчин и женщин со своею челядью – лакеями и пажами.

Король сел в карету с двумя королевами. Принцесса поместилась с принцем. Фрейлины последовали примеру особ королевской фамилии и сели по две в приготовленные для них экипажи. Карета короля: двинулась во главе кортежа, за ней карета принцессы, дальше остальные, согласно требованиям этикета.

Было жарко, легкий ветерок, который утром приносил свежесть, вскоре накалился от лучей солнца, спрятавшегося за облаками, и только обжигал своим дуновением. Горячий ветер поднимал тучи пыли, слепившей глаза путешественников.

Принцесса первая стала жаловаться на духоту. Принц вторил ей, откинувшись на спинку кареты с таким видом, точно собирался лишиться чувств, и все время с громкими вздохами освежал себя солями и благовониями. Тогда принцесса весьма учтиво обратилась к нему:

– Право, принц, я думала, что в эту жару вы из любезности предоставите всю карету мне одной, а сами поедете верхом.

– Верхом! – испуганно воскликнул принц, показывая этим возгласом, насколько странным кажется ему предложение принцессы. – Верхом! Что с вами, принцесса, у меня вся кожа сойдет от этого раскаленного ветра.

Принцесса рассмеялась.

– Возьмите мой зонтик, – предложила она.

– А кто будет его держать? – самым хладнокровным тоном отвечал принц.

– К тому же у меня нет лошади.

– Как нот лошади? – удивилась принцесса, которая, не добившись своего, хотела, по крайней мере, подразнить супруга. – Нет лошади? Вы ошибаетесь, сударь, вон ваш гнедой любимец.

– Мой гнедой конь? – спросил принц, пробуя наклониться к дверце; однако это движение причинило ему столько беспокойства, что он снова откинулся на спинку и замер в неподвижности.

– Да, – сказала принцесса, – ваш конь, которого ведет на поводу господин де Маликорн.

– Бедный конь! – отозвался принц, – Как ему, должно быть, жарко.

И с этими словами он закрыл глаза, точно умирающий, готовый испустить последний вздох.

Принцесса лениво вытянулась в другом углу кареты и тоже закрыла глаза, но не для того, чтобы спать, а чтобы отдаться на досуге своим мыслям.

Между тем король, поместившийся на переднем сиденье кареты, так как задние места были уступлены королевам, испытывал досаду, свойственную влюбленным, которые никак не могут утолить жажду постоянно созерцать предмет своей любви и расстаются с ним неудовлетворенные, чувствуя еще более жгучее желание.

Возглавляя, как мы сказали, процессию, король не мог со своего места видеть кареты придворных дам и фрейлин, которые ехали позади. Вдобавок ему нужно было отвечать на постоянные обращения молодой королевы, которая была очень счастлива в присутствии дорогого мужа и, забывая о придворном этикете, изливала на него всю свою любовь и окружала всевозможными заботами, опасаясь, как бы его не отняли у нее или как бы у него не возникла мысль покинуть ее.

Анна Австрийская, которую мучили приступы глухой боли в груди, старалась казаться веселой. Она угадывала нетерпение короля, но умышленно продлевала его пытку, неожиданно начиная разговор как раз в те минуты, когда король отдавался грезам о своей тайной любви.

Наконец заботливость молодой королевы и уловки Анны Австрийской стали невыносимы для короля, не умевшего сдерживать движений своего сердца.

Он пожаловался сначала на жару; затем пошли другие жалобы. Однако Мария-Терезия не догадалась о намерениях мужа. Поняв слова короля буквально, она стала обмахивать Людовика веером из страусовых перьев.

Когда нельзя было больше негодовать на жару, король сказал, что у него затекли ноги. Так как в эту самую минуту карету остановили, чтобы переменить лошадей, то королева предложила:

– Не хотите ли пройтись? У меня тоже затекли ноги. Мы пойдем немного пешком, потом карета догонит нас, и мы снова усядемся.

Король нахмурил брови; жестокому испытанию подвергает неверного супруга ревнивая женщина, если она достаточно владеет собой, чтобы не дать ему повода рассердиться.

Тем не менее король не мог отказаться. Он вышел из кареты, подал королеве руку и сделал с нею несколько шагов, пока меняли лошадей. Он с завистью посматривал на придворных, пользовавшихся счастьем ехать верхом.

Королева вскоре заметила, что прогулка пешком доставляла королю так же мало удовольствия, как и путешествие в карете. Поэтому она попросила его снова сесть и экипаж. Король довел королеву до подножки, но не поднялся вслед за ней. Отойдя на три шага, он стал искать в веренице экипажей тот, что так живо интересовал его.

В дверце шестой кареты виднелось бледное лицо Лавальер. Замечтавшись, король не заметил, что все уже готово и ждут только его. Вдруг в нескольких шагах от него раздался почтительный голос. Это был г-н Маликорн, державший под уздцы двух лошадей.

– Ваше величество спрашивали лошадь? – обратился он к королю.

– Лошадь? Вы привели мою лошадь? – спросил король, не узнавая этого придворного, к лицу которого он еще не привык.

– Государь, – отвечал Маликорн, – вот конь к услугам вашего величества.

И Маликорн указал на гнедого коня принца, которого заметила из кареты принцесса. Это была великолепная, прекрасно оседланная лошадь.

– Но ведь это не моя лошадь, – заметил король.

– Государь, это лошадь из конюшни его высочества. Но его высочество не ездит верхом, когда так жарко.

Король ничего не ответил, но быстро подошел к коню. Маликорн тотчас же подал стремя; через секунду его величество был уже в седле. Повеселев от этой удачи, король с улыбкой подъехал к карете ожидавших его королев и, не замечая испуганного лица Марии-Терезии, воскликнул:

– Какое счастье! Я нашел лошадь. В карете я задыхался. До свидания, государыни!

И, грациозно нагнувшись к крутой шее своего коня, моментально исчез.

Анна Австрийская высунулась из окошка и посмотрела, куда он едет. Поравнявшись с шестой каретой, он осадил коня и снял шляпу. Его поклон обращен был к Лавальер, которая при виде короля вскрикнула от изумления и покраснела от удовольствия. Монтале, сидевшая в другом углу кареты, поклонилась королю. Потом, как женщина умная, притворилась, что вся поглощена пейзажем, открывавшимся из левого окна.

Разговор короля и Лавальер, как все разговоры влюбленных, начался с красноречивых взглядов и лишенных всякого смысла фраз. Король объяснил, что в карете он изнемогал от жары и поездка верхом показалась ему необыкновенно приятной.

– Нашелся благодетель, – сказал король, – который угадал мои желания.

Мне очень хотелось бы знать, кто этот дворянин, сумевший так искусно услужить королю и избавить его от жестокой скуки.

В эту минуту Монтале как бы очнулась от своих мечтаний и устремила взор на короля.

Поскольку король смотрел то на Лавальер, то на нее, она могла подумать, что вопрос обращен к ней, и, следовательно, имела право ответить.

И она ответила:

– Государь, лошадь, на которой едет ваше величество, принадлежит принцу, и ее вел дворянин, состоящий на службе его высочества.

– Не знаете ли вы, мадемуазель, как его зовут?

– Господин Маликорн, государь. Да вот он сам едет слева от кареты.

И она показала на Маликорна, который действительно с блаженным лицом галопировал у левой дверцы кареты, хорошо зная, что в эту минуту разговор идет о нем, но не подавая виду, точно глухонемой.

– Он самый, – кивнул король. – Я запомнил его лицо и не забуду его имени.

Король нежно посмотрел на Лавальер.

Ора сделала свое дело: она вовремя бросила имя Маликорна, и оно упало на хорошую почву; ему оставалось только пустить корни и принести плоды.

Поэтому Монтале снова откинулась в свой угол и знаками приветствовала Маликорна, только что имевшего счастье понравиться королю. Она шепнула ему:

– Все идет хорошо.

Слова эти сопровождались мимикой, которая должна была изображать поцелуй.

– Увы, мадемуазель, – вздохнул король; – вот и конец сельской свободе; ваши обязанности на службе у принцессы станут более сложными, и мы больше не будем видеться.

– Ваше величество так любите принцессу, – заметила Луиза, – что будете часто навещать ее; а проходя через комнату, ваше величество...

– Ах, – нежно сказал король, понизив голос, – встречаться не значит только видеться, а для вас этого, кажется, достаточно.

Луиза ничего не ответила; у нее готов был вырваться вздох, но она подавила его.

– У вас большое самообладание, – произнес король.

Лавальер грустно улыбнулась.

– Употребите эту силу на любовь, – продолжал он, – и я буду благодарить бога за то, что он дал ее вам.

Лавальер промолчала и только посмотрела на короля. Людовик, точно обожженный этим взглядом, провел рукой по лицу и, прищипорив лошадь, ускакал вперед.

Откинувшись на спинку кареты и полузакрыв глаза, Лавальер любовалась красивым всадником с развевающимися от ветра перьями на шляпе. Бедняжка любила и упивалась своей любовью. Через несколько мгновений король вернулся.

– Своим молчанием вы терзаете меня. Вы, наверное, изменчивы, и вам ничего не стоит порвать добрые отношения... словом, я боюсь рождающейся во мне любви.

– Государь, вы ошибаетесь, – отвечала Лавальер, – если я полюблю, то на всю жизнь.

– Если полюбите! – надменно воскликнул король. – Значит, теперь вы не любите.

Она закрыла лицо руками.

– Вот видите, – сказал король, – я был прав, вы изменчивы, капризны, может быть, кокетка. Ах, боже мой, боже мой!

– О нет, успокойтесь, государь; нет, нет, нет!..

– И вы можете обещать, что никогда не изменитесь по отношению ко мне?

– Никогда, государь!

– И никогда не будете жестокой?

– Нет, нет!

– Хорошо; вы знаете, я люблю обещания, люблю охранять клятвой все, что трогает мое сердце. Обещайте мне или лучше поклянитесь, что если когда-нибудь в предстоящей жизни, полной жертв, тайн, горестей, препятствий и недоразумений, мы провинимся чем-нибудь друг перед другом, будем неправы, – поклянитесь мне, Луиза...

Лавальер вся затрепетала; в первый раз слышала она свое имя из уст короля.

Людовик же, сняв перчатку, протянул руку в карету.

– Поклянитесь, – продолжал он, – что, поссорившись, мы непременно будем искать к вечеру примирения, приложим старания, чтобы свидание или письмо, если мы будем далеко друг от друга, принесло нам утешение и успокоение.

Лавальер схватила своими похолодевшими пальцами горевшую руку влюбленного короля и нежно пожала ее; это рукопожатие было прервано движением лошади Людовика, испугавшейся вращавшегося колеса.

Лавальер поклялась.

– Теперь, государь, – попросила она, – вернитесь к королеве; я чувствую, что там собирается гроза и мне она несет несчастья и беды.

Людовик повиновался, поклонился Монтале и пустил лошадь вдогонку за каретой королев. В одной из карет он увидел заснувшего принца.

Но принцесса не спала, и когда король проезжал мимо, она обратилась к нему:

– Какая чудесная лошадь, государь!.. Да ведь это гнедой конь принца!

А молодая королева спросила только:

– Ну, что, вам лучше, дорогой государь?

Глава 30. ТРИУМФЕМИНАТ

Приехав в Париж, король отправился в совет и часть дня работал. Молодая королева осталась с Анной Австрийской и по уходе короля разрыдалась.

– Ах, матушка, – сказала она, – король больше меня не любит. Что будет со мной, боже праведный?

– Муж всегда любит такую жену, как вы, – отвечала Анна Австрийская.

– Может наступить время, матушка, когда он полюбит другую.

– Что вы называете любить?

– Ах, всегда думать о ком-нибудь, всегда искать встречи с этим лицом!

– А разве вы заметили у короля что-нибудь подобное? – спросила Анна Австрийская.

– Нет, сударыня, – неуверенно молвила молодая королева.

- Вот видите, Мария!
- А между тем, дорогая матушка, согласитесь, что король пренебрегает мною.
- Король, дочь моя, принадлежит всему королевству.
- Вот почему он не принадлежит мне; вот почему и меня, как многих королей, король бросит, забудет, и любовь, слава, почести станут уделом других. Ах, матушка, король так красив! Многие женщины будут признаваться ему в любви, многие будут любить его!
- Женщины редко любят в короле мужчину. Но если бы это случилось, в чем я сомневаюсь, пожелайте, Мария, чтобы эти женщины действительно любили вашего мужа. Во-первых, самоотверженная любовь женщины быстро надоедает мужчине, во-вторых, полюбив, женщина теряет всякую власть над мужчиной, от которого она не добивается ни могущества, ни богатства, а только любви. Итак, пожелайте, чтобы король любил как можно меньше, а его избранница как можно больше.
- Ах, матушка, беззаветная любовь заключает в себе огромную силу.
- А вы говорите, что вы покинули!
- Это правда, я говорю глупости... Но одного, однако, я не могла бы вынести.
- Чего именно?
- Счастливого выбора, новой семьи, которую он нашел бы у другой женщины. О, если я когда-нибудь узнаю, что у короля есть дети... я умру!
- Мария! Мария! – улыбнулась в ответ королева-мать и взяла за руку молодую женщину. – Запомните то, что я вам скажу, и пусть мои слова всегда будут служить вам утешением: у короля не может быть наследника без вас, у вас же он может быть без короля.
- И с этими словами Анна Австрийская громко расхохоталась, покинула свою невестку и пошла навстречу принцессе, о приходе которой в эту минуту доложил паж.
- Лицо у принцессы было озабоченное, как у человека, что-то затеявшего.
- Я пришла узнать, – начала она, – не утомило ли ваши величества наше путешествие?
- Нисколько, – отвечала королева-мать.
- Немного, – проговорила Мария-Терезия.
- А я очень обеспокоена.
- Чем? – взглянула на нее Анна Австрийская.
- Король, наверное, устал от верховой езды.
- Нет, ему было полезно прокатиться верхом.
- Я сама посоветовала ему, – сказала, побледнев, Мария-Терезия.
- Принцесса ничего не отвечала, а только улыбнулась одной из свойственных ей улыбок, при которой все лицо ее оставалось неподвижным и только губы кривились. Она тотчас же переменяла тему разговора:
- Мы нашли Париж совершенно таким же, как покинули его: по-прежнему интриги, козни, кокетство.
- Интриги! Какие интриги? – спросила королева-мать.
- Много говорят о господине Фуке и госпоже Плесси-Бельер.
- Которая записалась, значит, под десятитысячным номером? – усмехнулась королева-мать. – Ну а козни?
- По-видимому, у нас какие-то неприятности с Голландией.
- Принц рассказал мне историю с медалями.
- Ах, медали, отчеканенные в Голландии, – воскликнула молодая королева, – на которых изображено облако, проходящее по солнцу-королю! Напрасно вы называете это кознями. Это просто неприличная выходка.
- Такая жалкая, что король не обратит на нее внимания, – заметила королева-мать. – А что вы скажете о кокетстве? Вы намекали на госпожу д'Олон?
- Нет, нет! Нужно искать поближе.
- Casa de usted²⁹, – прошептала королева-мать на ухо невестке, не шевеля губами.

Принцесса не услышала этих слов и продолжала?

– Вы знаете ужасную новость?

– Как же! О ранении господина де Гиша?

– И вы, как и все, объясняете это несчастным случаем на охоте?

– Да, конечно, – ответили обе королевы, проявив на этот раз интерес.

Принцесса подошла ближе...

– Дуэль! – произнесла она.

– А! – воскликнула Анна Австрийская, для ушей которой слово дуэль звучало неприятно: во время ее царствования дуэли были запрещены во Франции.

– Прискорбная дуэль, которая чуть было не стоила принцу двух его лучших друзей, а королю – двух преданных слуг.

– Из-за чего же произошла эта дуэль? – спросила молодая королева, движимая каким-то тайным инстинктом.

– Из-за кокетства, – торжествующе сказала принцесса. – Противники рассуждали о добродетели одной дамы: один находил, что рядом с нею Паллада – ничто; другой уверял, будто эта дама подражает Венере, прельстившей Марса, и эти господа подрались, как Ахилл с Гектором.

– Венера, прельстившая Марса? – прошептала молодая королева, не решаясь углублять аллегорию.

– Кто же эта дама? – начала без обиняков Анна Австрийская. – Вы как будто сказали, что она фрейлина?

– Неужели сказала? – удивилась принцесса.

– Да. Мне показалось даже, что вы назвали ее имя.

– А знаете ли вы, что такая женщина приносит большое несчастье в королевский дом?

– Это мадемуазель де Лавальер? – спросила королева-мать.

– Представьте, да; эта дурнушка.

– Я считала ее невестой одного дворянина, который не является ни господином де Гишем, ни господином де Бардом.

– Очень возможно, ваше величество.

Молодая королева взяла вышивание и с притворным спокойствием стала распутывать нитки; однако дрожащие пальцы выдавали ее волнение.

– Что такое вы сказали о Венере и Марсе? – продолжала расспрашивать королева-мать. – Разве есть какой-нибудь Марс?

– Она хвастается, что есть.

– Вы говорите, хвастается?

– Это и было причиной дуэли.

– И господин де Гиш держал сторону Марса?

– Да, конечно, как преданный его слуга.

– Преданный слуга! – вскричала молодая королева, забыв всякую сдержанность, настолько ее мучила ревность. – Чей слуга?

– Защищать Марса, – говорила принцесса, – можно было, только принеся в жертву Венеру. Поэтому господин де Гиш утверждал, что Марс решительно ни в чем не повинен и что Венера просто хвастуня.

– А господин де Вард, – спокойно спросила Анна Австрийская, – настаивал, что Венера права?

«Дорого же вы, де Вард, поплатитесь за рану, нанесенную благороднейшему человеку!» – подумала принцесса.

Она с ожесточением напала на де Варда, мстя таким образом за раненого и возвращая одновременно собственный долг; принцесса была уверена, что ей удастся окончательно погубить своего врага. Она наговорила о нем так много, что если бы слова ее слышал Маникан, он пожалел бы о своих хлопотах за друга, – столько вреда принесли они несчастному врагу.

– Во всем этом, – сказала Анна Австрийская, – я вижу только одно зло – Лавальер. Молодая королева снова принялась за работу с полнейшим хладнокровием. Принцесса слушала.

– Разве вы не согласны со мной? – обратилась к ней Анна Австрийская.

– Разве вы не считаете ее причиной ссоры и поединка?

Принцесса отвечала неопределенным жестом, который можно было принять и за утвердительный и за отрицательный.

– В таком случае я не понимаю, что вы говорили об опасности кокетства, – заметила Анна Австрийская.

– Да ведь если бы эта особа не кокетничала, – поспешно ответила принцесса, – Марс не обратил бы на нее никакого внимания.

При новом упоминании о Марсе щеки молодой королевы на мгновение вспыхнули, однако она продолжала работать.

– Я не Желая, чтобы при моем дворе одних мужчин вооружали против других, – флегматично произнесла Анна Австрийская. – Эти нравы были, может быть, терпимы во времена, когда раздробленное дворянство объединялось только ухаживанием за женщинами. В те времена царили женщины, поддерживая путем частых поединков отвагу мужчин. Но теперь, слава богу, во Франции только один повелитель. Этому повелителю должны быть посвящены все силы и все помыслы. Я не потерплю, чтобы моего сына лишали преданных слуг.

И, повернувшись к молодой королеве, спросила:

– Что делать с этой Лавальер?

– Лавальер? – с изумлением подняла глаза Мария-Терезия. – Я не слыхала этого имени. Этот ответ сопровождала ледяная улыбка, которая подходит только королевским устам.

Принцесса сама была дочерью короля и отличалась большой гордостью и большим умом; однако слова Марии-Терезии уничтожили ее. И ей понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя.

– Это одна из моих фрейлин, – поклонилась принцесса.

– В таком случае, – произнесла Мария-Терезия тем же тоном, – это касается вас, сестра... а не нас.

– Простите, – возразила Анна Австрийская, – это касается, меня. Я отлично понимаю, – продолжала она, многозначительно взглянув на принцессу, – почему ваше высочество сказали мне об этом.

– Все, что исходит от вас, – криво улыбнулась англичанка-принцесса, исходит от самой мудрости.

– Ее можно будет отослать в провинцию, – мягко заметила Мария-Терезия, – и устроить ей пенсию.

– Из моей шкатулки! – живо прибавила принцесса.

– Нет, нет, принцесса, – перебила Анна Австрийская, – не нужно шума.

Король не любит, чтобы о дамах распускали дурные слухи. Пусть все это кончится посемейному. Принцесса, вы будете настолько любезны и пришлете сюда эту девушку... А вы, дочь моя, будьте добры оставить нас на несколько минут.

Просьбы вдовствующей королевы были равносильны приказаниям. Мария-Терезия удалилась в свои покои, а принцесса велела пажу позвать Лавальер.

Глава 31. ПЕРВАЯ ССОРА

Лавальер вошла в комнаты королевы-матери, не подозревая, что против нее составлен опасный заговор. Она думала, что ее приглашали на дежурство, а в таких случаях королева-мать всегда была добра с ней. Кроме того, Лавальер не находилась в непосредственном подчинении у Анны Австрийской и имела с ней только официальные

отношения; по прирожденной любезности и высокому положений) вдовствующая королева считала долгом придавать официальным отношениям как можно больше мягкости.

Итак, Лавальер подошла к королеве-матери со спокойной и кроткой улыбкой, составлявшей ее главную прелесть. Анна Австрийская поманила девушку к своему креслу. В эту минуту вернулась принцесса и с самым равнодушным видом села подле свекрови, взяв рукоделие Марии-Терезии.

Лавальер ждала, что ей тотчас же отдадут какое-нибудь приказание, но, увидев все эти приготовления, с любопытством стала вглядываться в лица королевы и принцессы.

Анна размышляла. Принцесса выказывала полное безразличие, но ее безучастный вид способен был встревожить и не таких робких людей, как Лавальер.

– Мадемуазель, – внезапно начала королева-мать, нисколько не стараясь смягчить свой испанский акцент, хотя всегда это делала, если говорила спокойно, – подойдите-ка поближе, поговорим о вас, раз вы у всех на устах.

– Я? – воскликнула Лавальер, бледнея.

– Не притворяйтесь, красавица! Вам известно о дуэли господина де Гиша с господином де Вардом?

– Боже мой, ваше величество, вчера до меня дошли слухи о ней, – отвечала Лавальер.

– А вы не предполагали, что будут такие слухи?

– Как могла я предполагать это, ваше величество?

– Дуэль никогда не бывает без причины, и вы, наверное, знали причину вражды двух противников.

– Я не знаю ее, ваше величество.

– Упорное отрицание довольно старый способ защиты, и вы слишком умны, мадемуазель, для того, чтобы прибегать к банальностям. Придумайте что-нибудь другое.

– Боже мой, ваше величество пугаете меня своим ледяным тоном! Неужели я имела несчастье навлечь на себя немилость?

Принцесса рассмеялась. Лавальер с изумлением посмотрела на нее.

– Немилость? – переспросила Анна Австрийская. – Навлечь немилость? Вы не понимаете, что говорите, мадемуазель де Лавальер, я подвергаю немилости лишь тех людей, о которых я думаю. О вас же я вспомнила только потому, что о вас слишком много говорят, а я не люблю, когда фрейлины моего двора служат предметом разговоров.

– Ваше величество делаете мне честь, обращаясь ко мне, – возразила испуганная Лавальер, – но я не понимаю, почему могут заниматься мной.

– Так я сейчас расскажу. Господину де Гишу пришлось защищать вас.

– Меня?

– Да, вас. Он поступил по-рыцарски, а красивые искательницы приключений любят, чтобы рыцари ломали ради них копья. Но я ненавижу поединки и особенно ненавижу такого рода приключения... сделайте отсюда вывод.

Лавальер упала к ногам королевы, но та повернулась к ней спиной. Она протянула руку к принцессе, которая засмеялась ей в глаза. Гордость заставила Лавальер подняться.

– Ваше величество, – попросила она, – скажите мне, в чем я провинилась? Я вижу, что ваше величество осуждаете меня, не давая возможности оправдаться.

– Вот как! – вскричала Анна Австрийская. – Слышите, какие красивые фразы, принцесса! Какие высокие чувства! Ни дать ни взять – инфанта, нареченная великого Кира, кладезь нежности и героических чувств! Видно, моя красавица, что вы общаетесь с коронованными особами.

Лавальер почувствовала, что ее ранили в самое сердце, она не то что побледнела, но стала белой, как лилия, и силы покинули ее.

– Я хотела вам сказать, – презрительно говорила королева, – что, если вы по-прежнему будете питать подобные чувства, вы так унижите нас, женщин, что нам будет стыдно стоять рядом с вами. Опомнитесь, мадемуазель.

Кстати, я слышала, что вы невеста. Это правда?

Лавальер прижала руку к сердцу, которому нанесена была новая рана.

– Отвечайте же, когда с вами говорят!

– Да, ваше величество.

– Кто же ваш жених?

– Виконт де Бражелон.

– Вы знаете, что это для вас большое счастье, мадемуазель, и что вы, девушка без состояния, без положения в обществе... без особых личных достоинств, должны благословлять небо, дарующее вам такое будущее.

Лавальер молчала.

– Где находится виконт де Бражелон? – спросила королева.

– В Англии, – отвечала принцесса, – куда, конечно, вскоре дойдут слухи об успехах мадемуазель.

– Боже мой! – прошептала в отчаянии Лавальер.

– Итак, мадемуазель, – сказала Анна Австрийская, – этого молодого человека вернут, и вы с ним куда-нибудь уедете. Если у вас другие намерения, – у девушек иногда бывают странные желания, – поверьте, я направлю вас на хороший путь: и не таких, как вы, я уже излечивала.

Лавальер больше ничего не слышала. Безжалостная королева продолжала:

– Я пошлю вас одну в такое место, где у вас будет возможность зрело подумать обо всем. Размышление охлаждает жар крови и рассеивает иллюзии молодости. Мне кажется, что вы поняли меня.

– Ваше величество!

– Ни слова больше!

– Ваше величество, я не виновата в том, что вам угодно было предположить. Взгляните на мое отчаяние. Я так люблю, так почитаю ваше величество.

– Лучше было бы, если бы вы не почитали меня, – усмехнулась королева.

– Лучше было бы, если бы вы не были невинной. Уж не воображаете ли вы, что я посмотрела бы сквозь пальцы, если бы вы были виноваты?

– Ваше величество, вы меня убиваете!

– Пожалуйста, без комедий, не то я устрою вам такую развязку, что вы будете не рады. Ступайте к себе, и пусть урок послужит вам на пользу.

– Ваше высочество, – проговорила Лавальер, обращаясь к герцогине Орлеанской и хватая ее за руку, – вы так добры, попросите за меня!

– Я? – расхохоталась принцесса. – Я добра?.. Вы совсем не верите тому, что говорите, мадемуазель!

И она резко отдернула руку.

Вместо того чтобы испить до дна чашу унижения, Лавальер внезапно успокоилась и овладела собой; она сделала глубокий реверанс и ушла.

– Ну, как, по-вашему, – спросила Анна Австрийская, – она будет продолжать?

– Я не доверяю кротким и терпеливым характерам, – отвечала принцесса.

– Терпеливое сердце необыкновенно мужественно; кроткий дух уверен в себе.

– Ручаюсь вам, что она очень и очень подумает, прежде чем снова взглянуть на бога Марса.

– Если только не вооружится его щитом, – возразила принцесса.

Гордый взгляд королевы-матери был ответом на это не лишнее тонкости замечание. И обе дамы, почти уверенные в победе, отправились к Марии-Терезии, которая с притворным равнодушием ждала их.

Было около половины седьмого. Король только что кончил дела и поужинал. Не теряя времени, он взял де Сент-Эньяна под руку и приказал ему проводить себя в комнату Лавальер. Придворный выразил крайнее изумление.

– Что же тут странного? – сказал король. – Мне нужно освоить этот маршрут и сделать его привычным.

– Но, государь, здешнее помещение фрейлин – настоящий фонарь: все видят, кто туда входит, кто выходит. Мне кажется, нужен какой-нибудь предлог... Вот, например...

– Ну, какой?

– Неудобна ли будет вашему величеству подождать, пока принцесса вернется к себе?

– Никаких предлогов! Никаких ожиданий! Довольно играть в прятки, довольно тайн! Не вижу никакого бесчестия для короля Франции в том, что он будет разговаривать с умной девушкой. Пусть будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом!

– Простите меня, ваше величество, за избыток усердия...

– Говори.

– А королева?

– Да, это правда, это правда! Я хочу, чтобы королева всегда была окружена почтением. Ну хорошо, сегодня вечером я нанесу визит мадемуазель де Лавальер, а потом придумаю какие тебе будет угодно предлоги. Завтра мы займемся этим, сегодня же у меня нет времени.

Де Сент-Эньян ничего не ответил. Он пошел вперед, спустился с лестницы и пересек двор, чувствуя стыд, которого не могла подавить величайшая честь оказывать услугу королю. Дело в том, что де Сент-Эньян хотел сохранить свою репутацию в глазах принцессы и обеих королев. В то же время ему хотелось угодить мадемуазель де Лавальер, а сочетать то и другое было довольно сложно.

Нужно заметить, что окна комнат королей и принцессы выходили во двор.

У видя, как он провожает короля, эти три дамы порвали бы с ним всякие отношения, а авторитет этих высокопоставленных особ не мог быть уравновешен мимолетным влиянием фаворитки. Несчастный де Сент-Эньян, так мужественно оказывавший покровительство Лавальер в парке Фонтенбло, потерял всю свою уверенность, находясь в Париже на виду у всех. Он находил у этой девушки тысячу недостатков, и ему не терпелось сообщить о них королю.

Но вот пытка кончилась; двор был пройден. Ни одна занавеска не поднялась, ни одно окно не открылось. Король шел быстро: его торопили нетерпение и длинные ноги де Сент-Эньяна, показывавшего ему дорогу. У дверей де Сент-Эньян хотел скрыться; король удержал его. Это была любезность, без которой придворный отлично обошелся бы. Ему пришлось войти вместе с Людовиком к Лавальер.

При появлении короля молодая девушка вытерла глаза; король заметил это. Он стал ее расспрашивать с настойчивостью влюбленного.

– Пустяки, государь, – улыбнулась она.

– Но вы все же плакали?

– Нет, государь.

– Взгляните, де Сент-Эньян, разве я ошибаюсь?

Де Сент-Эньяну необходимо было ответить, но он был в большом замешательстве.

– Однако у вас красные глаза, – настаивал король.

– Это от пыли, государь.

– Нет, нет, у вас на лице нет того выражения довольства, которое так красит вас и делает такой привлекательной. Вы на меня не смотрите.

– Государь!

– Да что я говорю: вы избегаете моих взглядов!

Она действительно отворачивалась.

– Но, ради бога, что случилось? – спросил Людовик, охваченный лихорадочным волнением.

– Повторяю, государь, пустяки; и я готова доказать вашему величеству, что я совершенно спокойна.

– Вы говорите, что вы спокойны, а я вижу, что вы в замешательстве.

Может быть, вас обидели, рассердили?

– Нет, нет, государь!

– Вы должны сказать мне об этом! – воскликнул король, сверкая глазами.

– Никто, государь, не обижал меня, никто.

– Так пусть же к вам вернется то мечтательно-веселое выражение лица, которым я любовался сегодня утром; сделайте мне одолжение!

– Извольте, государь, извольте!

Король топнул ногой.

– Какая необъяснимая перемена! – воскликнул он.

И Людовик взглянул на Сент-Эньяна, который тотчас заметил подавленный вид Лавальер. Но напрасно просил Людовик, напрасны были его попытки рассеять ее печаль, вывести ее из оцепенения. Эта скрытность показалась королю оскорбительной; он стал подозрительно осматриваться.

В комнате Лавальер висел миниатюрный портрет Атоса. Король заметил этот портрет, черты лица Атоса очень напоминали Бражелона, потому что изображение было сделано в молодые годы графа. И он не спускал с миниатюры грозного взора.

Лавальер была так угнетена и так далека от мысли об этом портрете, что не могла догадаться о причине озабоченности короля. А король невольно вспомнил, что Лавальер и Бражелон были близки с раннего детства.

Он вспомнил о помолвке, которая была следствием этой близости. Он вспомнил, как Атос просил у него руки Лавальер для Рауля.

И Людовик вообразил, что по возвращении в Париж Лавальер получила из Лондона известия, затмившие его образ, образ короля. Тотчас же его ужалил овод, который называется ревностью. Снова он принялся с горечью допрашивать ее. Лавальер не могла отвечать: ей пришлось бы сказать все, обвинить королеву, обвинить принцессу. А это значило бы начать открытую борьбу с двумя высокопоставленными и могущественными женщинами.

Ей казалось сперва, что раз она не скрывала от короля ничего происходившего в ней, то король должен был прочесть правду в ее сердце, несмотря на ее молчание. Ей казалось, что если он действительно любит ее, то должен все понять, обо всем догадаться. Разве взаимное влечение не есть божественное пламя, освещающее все, что творится в сердце, и избавляющее действительно любящих от необходимости говорить?

Поэтому она замолчала, закрыв лицо руками и ограничиваясь только вздохами да слезами. Эти слезы и вздохи, которые сначала растрогали, а потом испугали Людовика XIV, теперь стали раздражать его.

Король не выносил сопротивления, хотя бы даже это сопротивление выражалось вздохами и слезами. Его слова стали колючими, требовательными, резкими. Это усилило страдания молодой девушки, но она мужественно переносила и новое испытание. Король перешел к прямому обвинению. Лавальер даже не пыталась защищаться; в ответ она только отрицательно качала головой, повторяя лишь два слова, всегда вырывающиеся из погруженных в глубокую печаль сердец:

– Боже мой, боже мой!

Однако этот крик боли не только не успокаивал, но еще увеличивал раздражение короля... Это был призыв к силе, стоявшей выше него, к существу, которое могло защитить от него Лавальер.

К тому же он находил поддержку в де Сент-Эньяне.

Де Сент-Эньян, как мы видели, чувствовал, что собирается гроза; он не знал, какой степени может достигнуть любовь Людовика XIV. Зато он ясно предугадывал, что на бедную Лавальер скоро обрушатся удары королев и принцессы, и был не настолько рыцарем, чтобы не бояться водоворота, который мог увлечь и его.

Поэтому де Сент-Эньян на все обращения короля отвечал только словами, произносимыми вполголоса, или отрывистыми жестами стараясь подлить масла в огонь и привести размолвку к открытой ссоре, после которой ему не придется больше компрометировать себя, сопровождая своего высокого покровителя к Лавальер. Король раздражался все больше и больше. Скрестив руки, он остановился перед Луизой.

– В последний раз спрашиваю вас, мадемуазель, угодно вам отвечать?

Угодно вам объяснить причину этой перемены, своего непостоянства, капризов?

– Чего вы от меня хотите, боже мой? – прошептала Лавальер. – Вы видите, государь, что сейчас я душевно разбита. Вы видите, что у меня нет ни воли, ни мыслей, ни слов!

– Неужели так трудно сказать правду? Вам понадобилось бы для этого меньше слов, чем вы только что произнесли!

– Правду о чем?

– Обо всем.

Слова правды действительно поднимались к устам от сердца Лавальер. Ее руки сделали было движение, но уста остались безмолвными, и руки опустились. Бедняжка еще не чувствовала себя настолько несчастной, чтобы решиться на подобное признание.

– Я ничего не знаю, – пролепетала она.

– О, это больше, чем кокетство, больше, чем каприз, – воскликнул король, – это предательство!

На этот раз ничто его не остановило, и он, не оглядываясь, выбежал из комнаты с жестом, полным отчаяния. Де Сент-Эньян последовал за ним, очень довольный, что дело приняло такой оборот. Людовик XIV остановился только на лестнице и сказал, судорожно хватаясь за перила:

– Как недостойно, однако, я был одурачен.

– Каким образом, государь? – спросил фаворит.

– Де Гиш дрался за виконта де Бражелона. А этого Бражелона...

– Да, государь?

– Этого Бражелона она все еще любит. Право, де Сент-Эньян, я умру от стыда, если через три дня у меня останется хоть капля любви к ней.

И Людовик XIV быстро пошел дальше.

– Ах, я ведь говорил вашему величеству! – повторял де Сент-Эньян, следуя за королем и робко поглядывая на все окна.

К несчастью, дело не обошлось так удачно, как по дороге к Лавальер.

Поднялась занавеска, из за которой выглянула принцесса и увидела, что король шел из флигеля фрейлин. Как только Людовик скрылся, она поспешно встала и стремительно помчалась в ту комнату, которую только что покинул король.

Глава 32. ОТЧАЯНИЕ

После ухода короля Лавальер поднялась, протянув вперед руки, точно она собиралась броситься за Людовиком и остановить его; затем, когда дверь за ним закрылась и шум шагов замер в отдалении, у нее хватило только силы упасть перед распятием.

Так лежала она, разбитая, подавленная горем, не сознавая ничего, кроме этого горя. Вдруг она услышала шум открывающейся двери. Она вздрогнула и оглянулась, Думая, что это вернулся король. Она ошиблась – это вошла принцесса. Что ей было за дело до принцессы? Она снова упала, уронив голову на аналой.

Принцесса была взволнована, раздражена, в гневе.

– Мадемуазель, – сказала принцесса, останавливаясь перед Лавальер, конечно, это очень похвально – стоять на коленях, молиться и притворяться очень набожной, но как вы ни покорны царю небесному, вам следует все же исполнять волю владык земных.

Лавальер с трудом подняла голову.

– Мне помнится, – произнесла принцесса, – что вам только что было отдано приказание.

Неподвижный и ничего не видящий взгляд Лавальер доказывал, что она забыла обо всем на свете.

– Королева приказала вам, – говорила принцесса, – вести себя так, чтобы не было никаких поводов для слухов на ваш счет.

Взгляд Лавальер сделался вопросительным.

– А между тем от вас только что вышло лицо, присутствие которого здесь предосудительно.

Лавальер молчала.

– Нельзя, чтобы мой дом, – продолжала принцесса, – дом особы королевской крови, служил дурным примером и чтобы вы подавали этот дурной пример. Поэтому я объявляю вам, мадемуазель, с глазу на глаз, чтобы не унижать вас, – объявляю вам, что с этой минуты вы свободны и можете вернуться в Блуа к вашей матери.

Лавальер была теперь нечувствительна ни к каким оскорблениям и ни к каким страданиям. Она не шевельнулась; руки ее были по-прежнему сложены на коленях, как у Магдалины.

– Вы слышали? – спросила принцесса.

Только дрожь, пробежавшая по всему телу Лавальер, послужила ответом.

И так как жертва не подавала никаких признаков жизни, принцесса ушла.

Только в этот момент Лавальер почувствовала в своем остановившемся сердце и застывшей в жилах крови биение, которое все ускорялось около кистей рук, шеи и висков. Постепенно усиливаясь, это биение скоро перешло в лихорадку, в безумный бред, в вихре которого проносились образы ее друзей и врагов. В ее ушах среди звона и шума мешались слова угрозы и слова любви; она перестала сознавать себя; точно крылья мощного урагана подняли ее, унесли от прежнего существования, и на горизонте она видела надгробный камень, который вырос перед ней, открывая страшную, черную обитель вечной ночи.

Но мало-помалу тяжелый бред прекратился, уступив место свойственной ее характеру покорности судьбе. В сердце ее проскользнул луч надежды, точно луч солнца в темницу бедного узника.

Она мысленно перенеслась на дорогу из Фонтенбло, увидела короля верхом подле дверцы кареты, услышала, как он говорил ей о своей любви, как он просил ее любви, заставив ее поклясться, и сам поклялся, что ни один день не кончится для них в ссоре и что свидание, письмо или какая-нибудь весточка всегда принесут успокоение дневным тревогам. Значит, король не мог не сдержать слова, которого сам же он и потребовал, если только он не был деспотом, не связанным никакими обещаниями, или же холодным эгоистом, которого способно остановить первое встретившееся на пути препятствие.

Неужели король, ее нежный покровитель, способный одним словом, одним только словом положить конец всем ее страданиям, тоже присоединился к числу ее преследователей?

О, его гнев не будет долго продолжаться! Теперь, оставшись один, он, должно быть, страдает, так же как и она. Только он не скован такими цепями, как она; он может действовать, двигаться, прийти, а она... ее удел только ждать. И она ждала с трепещущей душой; не может быть, чтобы король не пришел!

Было половина одиннадцатого.

Он придет, или напишет, или передаст ей доброе слово через г-на де Сент-Эньяна. Если он придет, как она бросится к нему, откинув всякую щепетильность, которая теперь казалась ей неуместной, как она скажет: «Я по-прежнему люблю вас; это они не хотят, чтобы я вас любила».

Размышляя, она мало-помалу пришла к убеждению, что Людовик не так виноват, как ей казалось. Что должен был он подумать, встретив ее упорное молчание? Удивительно даже, что нетерпеливый и раздражительный король так долго сохранял хладнокровие. Конечно, она не поступила бы так, как он; она бы все поняла, обо всем догадалась. Но она была только простая девушка, а не могущественный король.

О, если бы он пришел, если бы он пришел!.. Она немедленно простила бы ему все, что он заставил ее выстрадать! Насколько сильнее она полюбила бы его за пережитые страдания! И, повернув голову к двери, полуоткрыв рот, она ждала поцелуя, который так нежно сулили ей утром губы короля, когда он произносил слово «любовь».

Если король не придет, он все же напишет; это было второе утешение, менее сладостное, чем первое, но все же оно будет служить доказательством любви, хотя и более робкой. О, как

радостно она будет читать это письмо, как поспешно ответит на него! А когда посланный уйдет – поцелует, перечитает, прижмет к сердцу благословенный листок, который принесет ей покой, отдохновение, счастье!

Если же король не покажется и не напишет, он, во всяком случае, пришлет де Сент-Эньяна или же де Сент-Эньяна сам явится к ней. И ему она расскажет все. Королевское величие не сомкнет ее уста, и тогда в сердце короля не останется больше никаких сомнений.

И все в Лавальер – сердце и взгляд, тело и душа – превратилось в ожидание. Она сказала себе, что у нее остается еще час надежды; что до полуночи король может прийти, написать или прислать де Сент-Эньяна; что только в полночь ожидание станет напрасным, всякая надежда погибнет.

Как только раздавался какой-нибудь шум во дворце, бедняжка думала, что идут к ней; как только по двору проходил кто-нибудь, ей казалось, что это посланный короля.

Пробило одиннадцать; затем четверть двенадцатого; затем половина двенадцатого. Ей казалось, что минуты текут медленно, но в то же время они уходили так скоро.

Пробило три четверти.

Полночь, полночь! Пришел конец всем ожиданиям. С последним ударом часов потух последний свет; с последним светом погасла последняя надежда.

Итак, король ее обманул, нарушил клятву, которую дал ей сегодня же утром; только двенадцать часов отделяли клятву от клятвопреступления. Не долго же ей пришлось тешиться иллюзией! Следовательно, король не только не любил ее, но и презирал ту, на которую обрушились все; он до такой степени презирал ее, что даже не защитил от бесчестия изгнания, равнявшегося позорному приговору; а между тем сам он, сам король, был настоящей причиной этого бесчестия.

Горькая улыбка, единственное выражение гнева, которое во время этой долгой борьбы обозначилось на ангельском лице жертвы, – горькая улыбка появилась на ее губах. Действительно, что оставалось у нее на земле, кроме короля? Ничего. Оставался только бог на небе.

И она обратилась к богу, взглянула на распятие и поцеловала его. Если бы кто-нибудь заглянул в эту минуту в ее комнату, то увидел бы, что бедная девушка, доведенная до отчаяния, принимала страшное решение.

Ее ноги не способны были больше поддерживать ее, она, тяжело дыша, опустилась на ступеньки аналая, прижалась головой к распятию, вперила глаза в окно и стала ждать рассвета.

В два часа утра она все еще находилась в этом оцепенении, или, вернее, в экстазе. Она больше не принадлежала себе.

Увидев, что крыши дворца слегка полиловели и смутно обрисовались в темноте контуры распятия из слоновой кости, которое она обнимала, Лавальер с усилием встала и спустилась во двор, закрыв лицо плащом. Она подошла к калитке как раз в ту минуту, когда караульные мушкетеры открывали ворота, чтобы впустить первый пикет швейцарцев. Лавальер незаметно проскользнула вслед за часовыми на улицу, и начальник патруля не успел разобрать, что за женщина так рано покинула дворец.

Глава 33. БЕГСТВО

Лавальер вышла вместе с патрулем.

Патруль направился по улице Сент-Оноре направо, Лавальер машинально повернула налево. Лавальер приняла решение, ее намерения определились: она хотела поступить в монастырь кармелиток в Шайо, настоятельница которого была известна строгостью, наводившей страх на придворных.

Лавальер совсем не знала Парижа. Она никогда не выходила пешком и не нашла бы дороги даже в более спокойном состоянии. Не удивительно, что она сразу повернула не в ту

сторону, куда было нужно. Ей хотелось как можно скорей удалиться от дворца, все равно куда. Она слышала, что Шайо расположен на берегу Сены, и направилась к Сене. Она свернула на улицу Кок к так как не могла пройти через Лувр, то направилась к церкви Сен-Жермен-Люксерруа, по пустырю, где впоследствии Перро построил знаменитую колоннаду.

Вскоре она вышла на набережную. Она была возбуждена и шла быстро, едва чувствуя слабость, которая, время от времени заставляя ее слегка прихрамывать, напоминала о вывихе, полученном ею в детстве.

В другие часы ее внешность вызвала бы подозрение даже у наименее проницательных людей, привлекла бы взгляды самых нелюбопытных прохожих. Но в половине третьего утра парижские улицы почти безлюдны; на них попадают только трудолюбивые ремесленники, отправляющиеся на дневной заработок, или же бездельники, возвращающиеся домой после разгульной ночи. Для первых день начинается; для вторых он кончается.

Лавальер боялась всех встречных, так как она по неопытности не могла бы отличить честного человека от негодяя. Нищета была для нее пугалом, и все люди, которых она встречала, казались ей бедняками.

Несмотря на беспорядок в туалете, она была одета изящно, так как на ней было то же платье, в котором она являлась накануне к вдовствующей королеве; кроме того, ее бледное лицо и красивые глаза, видневшиеся из-под плаща, который она приподняла, чтобы смотреть в а дорогу, возбуждали различные чувства у прохожих: нездоровое любопытство у одних, жалость у других.

Так дошла Лавальер, страшно волнуясь, торопясь и спотыкаясь, до Гревской площади. Время от времени она останавливалась, прижимала руку к сердцу, прислонялась к стене, чтобы передохнуть, и затем еще быстрее устремлялась вперед.

На Гревской площади Лавальер столкнулась с тремя подвыпившими оборванцами, которые сходили с барки, причаленной к набережной. Барка была нагружена вином, и было видно, что эти люди отдали честь ее грузу.

Нестройными голосами они воспевали Бахуса и, спустившись на набережную, загородили дорогу молодой девушке. Лавальер остановилась. Они тоже остановились при виде женщины в придворном костюме. Потом взяли за руки и окружили Лавальер, напевая:

*Бедняжка, ты скучаешь,
Пойдем посмеемся вместе.*

Лавальер поняла, что эти люди помешают ей идти дальше. Она сделала несколько попыток к бегству; но все они были безуспешны. Ноги у нее подкосились, она почувствовала, что сейчас упадет, и отчаянно закричала. Но в то же мгновение окружавшее ее кольцо разорвалось под чьим-то мощным натиском. Один из оскорбителей кубарем полетел налево, другой покатился направо, к реке, третий пошатнулся.

Перед девушкой стоял офицер мушкетеров, с нахмуренными бровями, угрожающе сжатыми губами и поднятой рукой. При виде мундира, особенно же испытав силу человека, носившего его, пьяницы разбежались.

– Вот тебе раз! – воскликнул офицер. – Да ведь это мадемуазель де Лавальер!

Ошеломленная тем, что произошло, пораженная звуками своего имени, Лавальер подняла глаза и узнала д'Артаньяна.

– Да, сударь, это я.

И она схватила его за руку.

– Вы защитите меня, господин д'Артаньян? – произнесла она умоляющим голосом.

– Конечно; но куда же вы идете в такой ранний час?

– В Шайо.

– В Шайо, через Ране? Ведь вы, мадемуазель, удаляетесь от него.

– В таком случае, сударь, будьте добры, укажите мне дорогу и проводите меня.

– С большим удовольствием!

– Но как вы очутились здесь? По какой милости неба вы подоспели мне на помощь? Право, мне кажется, что я вижу сон или схожу с ума.

– Я очутился здесь, мадемуазель, потому что у меня дом на Гревской площади. Вчера я пришел сюда за квартирной платой и здесь заночевал. Теперь мне хочется пораньше попасть во дворец, чтобы проверить караулы.

– Спасибо, – сказала Лавальер.

«Я объяснил ей, что я делал, – подумал Д'Артаньян, – но что делала она и зачем идет в Шайо в такой час?»

Он подал ей руку. Лавальер оперлась на нее и быстро пошла. Однако чувствовалось, что она была очень слаба. Д'Артаньян предложил ей отдохнуть; она отказалась.

– Вы, должно быть, не знаете, где Шайо? – поинтересовался Д'Артаньян.

– Не знаю.

– Туда очень далеко.

– Все равно!

– По крайней мере лье.

– Ничего, я дойду.

Д'Артаньян больше не спорил; по тону голоса он всегда отличал серьезно принятые решения.

Он скорее нес, чем провожал Лавальер.

Наконец показались холмы.

– К кому вы идете, мадемуазель? – спросил д'Артаньян.

– К кармелиткам, сударь.

– К кармелиткам?! – с изумлением повторил д'Артаньян.

– Да; и раз господь послал вас на моем пути, примите мою благодарность и прощайте.

– К кармелиткам! Вы прощаетесь! Значит, вы хотите постричься?.. вскричал Д'Артаньян.

– Да, сударь.

– Вы!!!

В этом вы, за которым мы поставили три восклицательных знака, чтобы придать ему как можно больше выразительности, заключалась целая поэма.

Оно воскресило у Лавальер старые воспоминания о Блуа и ее недавнее прошлое в Фонтенбло; оно говорило ей: «Вы могли бы быть счастливы с Раулем и стать такой могущественной с Людовиком, и вы хотите постричься!»

– Да, сударь, – отвечала она, – я. Я хочу стать служительницей божьей; я отказываюсь от мира.

– Но не ошибаетесь ли вы относительно своего призвания? Не обманываетесь ли относительно воли божьей?

– Нет, потому что бог послал мне вас навстречу. Без вас я, наверное, не попала бы сюда. Значит, бог хотел, чтобы я дошла до цели.

– Сомневаюсь, – сказал в ответ Д'Артаньян, – ваше рассуждение кажется мне чересчур хитроумным.

– Во всяком случае, – продолжала Лавальер, – вы теперь посвящены в мои планы. Мне остается только попросить вас о последней любезности, заранее принося вам благодарность.

– Говорите, мадемуазель.

– Король не знает о моем бегстве из дворца.

Д'Артаньян отступил в удивлении.

– Король, – продолжала Лавальер, – не знает, что я собираюсь постричься.

– Король не знает!.. – вскричал Д'Артаньян. – Берегитесь, мадемуазель, вы не предусмотрели всех последствий вашего поступка. Без ведома короля ничего нельзя предпринимать, особенно придворным.

– Я больше не придворная, сударь.

Д'Артаньян смотрел на девушку с все возрастающим удивлением.

– Не беспокойтесь, сударь, – говорила она, – все предусмотрено, и к тому же теперь было бы поздно менять решение. Дело сделано.

– Что же вам угодно, мадемуазель?

– Сударь, я умоляю вас дать мне клятву – из жалости, из великодушия, из чувства чести.

– В чем?

– Поклянись мне, господин Д'Артаньян, что вы не расскажете королю о встрече со мной и о том, что я в монастыре кармелиток.

Д'Артаньян покачал головой.

– Я не дам вам такой клятвы, – отказался он.

– Почему же?

– Потому что я знаю короля, знаю вас, знаю себя самого, знаю человеческую природу вообще; нет, такой клятвы я вам не дам.

– В таком случае, – произнесла Лавальер с силой, которой от нее нельзя было ожидать, – вместо того, чтобы благословлять вас до конца моих дней, скажу вам – будьте прокляты! Вы делаете меня несчастнейшей из всех женщин!

Мы уже говорили, что д'Артаньян умел различать голос сердца; восклицание Лавальер взволновало его. Он увидел, как исказилось ее лицо, как дрожь пробежала по ее хрупкому и нежному телу; он понял, что сопротивление убьет ее.

– Пусть будет по-вашему, – согласился он. – Будьте спокойны, мадемуазель, я ничего не скажу королю.

– Спасибо вам, спасибо! – воскликнула Лавальер. – Вы великодушнейший из всех людей.

И в порыве радости она схватила руку д'Артаньяна и крепко пожала ее.

Мушкетер был тронут.

– Вот тебе раз! – удивился он. – Она начинает тем, чем другие кончают. Как тут не растрогаться!

В припадке горя Лавальер присела было на камень, воsobралась с силами, встала и направилась к монастырю, очертания которого обрисовывались на бледнеющем небе. Д'Артаньян издали следил за нею. Дверь в монастырскую приемную была приоткрыта. Лавальер скользнула туда, как тень, и, поблагодарив д'Артаньяна легким движением руки, скрылась.

Оставшись один, д'Артаньян задумался над только что происшедшим.

– Вот так положение! – размышлял он. – Хранить такую тайну – все равно что носить в кармане раскаленный уголь и надеяться, что он не прожжет платья. Выдать же тайну после того, как поклялся хранить ее, было бы бесчестно. Обыкновенно хорошие мысли приходят мне в голову мгновенно; однако на этот раз, если я не ошибаюсь, придется порядком потрудиться, прежде чем я найду решение вопроса... Куда направить путь?... Ей-богу, в Париж; это правильная дорога... Только придется бежать бегом... А бежать лучше на четырех ногах, чем на двух. К несчастью, у меня теперь только две... Коня! «Корону за коня!» – сказал бы я, как говорят в театре...

Впрочем, это будет стоить мне подешевле... У заставы Конферанс стоит пикет мушкетеров, и там я найду целый десяток лошадей.

Приняв это решение, Д'Артаньян тотчас же направился к пикету, выбрал лучшую лошадь и через десять минут был во дворце. На башне дворца пробило пять.

Д'Артаньян осведомился о короле. Король лег в обычный час, после аудиенции, данной им Кольберу, и, вероятно, еще спал.

– Да, – сказал мушкетер, – она не обманула меня. Король ничего не знает. Если бы ему была известна хоть половина того, что произошло, во дворце все были бы на ногах.

Глава 34.

КАК ПРОВЕЛ ЛЮДОВИК ВРЕМЯ ОТ ПОЛОВИНЫ ОДИННАДЦАТОГО ДО ДВЕНАДЦАТИ

Вернувшись от Лавальер, король застал у себя Кольбера, который ожидал его распоряжений по поводу назначенного на следующий день церемониала.

Как мы уже сказали, речь шла о приеме голландского и испанского послов. Людовик XIV имел серьезные поводы для недовольства Голландией. Штаты уже несколько раз пускались на всевозможные уловки в своих отношениях с Францией и, как бы не придавая значения могуществу последовать разрыву, снова отступали от союза с христианнейшим королем и затевали интриги с Испанией.

После того как Людовик XIV обрел всю полноту власти, то есть после смерти Мазарини, он сразу же столкнулся с этим положением вещей.

Молодому человеку нелегко было разрешить вопрос; но так как в эту эпоху нация была единоклассна с королем, то тело с готовностью исполняло все решения, которые принимала голова. Достаточно было вспышки гнева, прилива молодой и живой крови к мозгу, и прежний политический курс менялся, создавалась новая комбинация. Роль дипломата той эпохи сводилась к подготовке переговоров, которые могли быть полезны государям.

В своем тогдашнем настроении Людовик не способен был принимать мудрые решения. Еще взволнованный ссорой с Лавальер, он расхаживал по кабинету, с жадностью отыскивая предлог для взрыва после долгого периода сдержанности.

Увидя короля, Кольбер сразу понял положение и угадал намерения монарха. Он стал лавировать. Когда государь спросил, что следует сказать завтра послу, помощник интенданта выразил удивление, каким образом г-н Фуке не осведомил ни о чем его величество.

— Господину Фуке, — сказал он, — известно все, что касается Голландии; вся корреспонденция попадает в его руки.

Король, привыкший к нападениям Кольбера на г-на Фуке, пропустил это замечание мимо ушей.

Увидя, какое впечатление произвели его слова, Кольбер пошел на попятную, заявив, что г-н Фуке не так уж виноват, как это кажется с первого взгляда, если принять во внимание его теперешние заботы. Король насторожился.

— Какие заботы? — спросил он.

— Государь, люди всегда люди, и у господина Фуке наряду с большими достоинствами есть и недостатки.

— У кого их нет, господин Кольбер!

— У вашего величества они тоже есть, — смело заявил Кольбер, умевший приправить грубую лесть легким порицанием.

Король улыбнулся.

— Какой же недостаток у господина Фуке? — спросил он.

— Все тот же, государь; говорят, он влюблен.

— В кого?

— Не знаю наверное, государь; я мало вмешиваюсь в любовные дела.

— Но раз вы говорите, значит, вы что-нибудь знаете?

— Только по слухам.

— Что же вы слышали?

— Одно имя.

— Какое?

— Не помню.

— Все же скажите.

— Как будто имя одной из фрейлин принцессы.

Король вздрогнул.

— Вам известно больше, чем вы хотите сказать, господин Кольбер, прошептал он.

— Уверяю вас, государь, нет!

— Но ведь фрейлины принцессы известны все наперечет, и если я назову вам их имена, вы, может быть, припомните.

– Нет, государь.
– Постарайтесь.
– Напрасный труд, государь. Когда речь заходит об имени скомпрометированной дамы, моя память делается железной шкатулкой, от которой потеряли ключ.

По лицу короля прошло облако; потом, желая показать, что он вполне владеет собой, Людовик тряхнул головой и сказал:

– Перейдем теперь к голландским делам.
– Прежде всего, государь, в котором часу вашему величеству угодно будет принять послов?

– Рано утром.
– В одиннадцать часов?
– Это слишком поздно... В девять.
– Это слишком рано.
– Для друзей это безразлично; с друзьями можно не церемониться; если же враги обидятся, тем лучше. Признаться, я охотно покончил бы со всеми этими болотными птицами, которые надоели мне своим криком.

– Государь, будет сделано, как угодно вашему величеству. Значит, в девять часов... Я отдам распоряжение. Аудиенция будет торжественная?

– Нет. Я хочу объяснить с ними, не ухудшая положения вещей, что всегда случается в присутствии слишком большого числа людей. В то же время я хочу добиться ясности, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

– Ваше величество назначите лиц, которые будут присутствовать на этом приеме?
– Я составлю список... Теперь поговорим о послых. Чего им нужно?
– От союза с Испанией Голландия ничего не выигрывает; от союза с Францией она много теряет.

– Как так?
– Вступив в союз с Испанией, Штаты будут защищены владениями своего союзника; при всем своем желании они не могут захватить их. От Антверпена до Роттердама только один шаг через Шельду и Маас. Если они пожелают запустить зубы в испанский пирог, то вы, государь, зять испанского короля, можете через два дня явиться с кавалерией в Брюссель. Следовательно, им хочется поссорить вас с Испанией и заронить у вас подозрение, чтобы отбить охоту вмешиваться в ее дела.

– Разве не проще было бы, – отвечал король, – заключить со мной прочный союз, который давал бы мне кое-какие преимущества, а для них был бы выгоден во всех отношениях?

– Нет; ведь если бы Франция приобрела случайно общую границу с Голландией, то ваше величество оказались бы неудобным соседом. Молодой, пылкий, воинственный французский король может нанести чувствительные удары Голландии, особенно если он приблизится к ней.

– Все это я прекрасно понимаю, господин Кольбер, и ваши рассуждения превосходны. Но скажите мне, пожалуйста, каковы ваши выводы?

– Решения вашего величества всегда отличаются мудростью.
– Что мне будут говорить эти послы?
– Они скажут вашему величеству, что очень желают союза с вами, но это ложь; они будут говорить испанцам, что трем державам необходимо соединиться и помешать процветанию Англии; это тоже ложь, потому что Англия является в настоящее время естественным союзником вашего величества, у нее есть флот, тогда как у вас его нет. Именно Англия может служить противовесом могуществу Голландии в Индии. Наконец, Англия – монархическое государство, с которым у вашего величества родственные связи.

– Хорошо, но что бы вы ответили им?
– Я с большой сдержанностью ответил бы им, государь, что Голландия не очень расположена к французскому королю, что голландское общественное мнение недружелюбно к вашему величеству, что в Голландии были отчеканены медали с оскорбительными

надписями.

– С оскорбительными для меня надписями? – вскричал возбужденный король.

– Нет, государь; «оскорбительные» – неподходящее слово, я обмолвился.

Я хотел сказать с надписями, чрезмерно лестными для голландцев.

– Ну, гордость голландцев меня мало трогает, – со вздохом сказал король.

– И ваше величество тысячу раз правы... Однако, – это королю известно лучше, чем мне, – чтобы добиться уступок, в политике позволительны несправедливости. Пожаловавшись на голландцев, ваше величество приобретет в их глазах большой авторитет.

– Что же это за медали? – спросил Людовик. – Ведь если я заговорю о них, мне нужно знать все точно.

– Право, не знаю в точности, государь... Какой-то крайне заносчивый девиз... В этом весь смысл, слова несущественны.

– Отлично. Я сделаю ударение на слове медаль, а они пусть понимают, как хотят.

– Поймут! Ваше величество может также ввернуть несколько слов о распространяемых памфлетах.

– Никогда! Памфлеты грязнят их авторов гораздо больше, чем тех, против кого они направлены. Благодарю вас, господин Кольбер, вы можете идти.

– Государь!

– Прощайте! Не забудьте о назначенном часе; я прошу вас присутствовать на приеме.

– Государь, я жду от вашего величества списка приглашенных.

– Да, да.

Король задумался, но совсем не о списке. Часы пробили половину двенадцатого. На лице короля можно было прочесть страшную борьбу между гордостью и любовью.

Разговор на политические темы успокоил Людовика; бледное, искаженное лицо Лавальер говорило его воображению совсем не о голландских медалях и памфлетах. Десять минут он размышлял, следует ли ему вернуться к Лавальер. Но Кольбер почтительно напомнил ему о списке, и король покраснел при мысли, что он до такой степени занят своей любовью, когда нужно думать о государственных делах.

Он стал диктовать:

– Королева-мать... королева... принцесса... госпожа де Мотвиль... мадемуазель де Шатильон... госпожа де Навайль. Мужчины: принц... господин де Граммон... господин де Маникан... господин де Сент-Эньян... и дежурные офицеры.

– А министры? – спросил Кольбер.

– Это само собой разумеется, и секретари.

– Государь, я пойду распорядиться, все будет исполнено.

Часы пробили двенадцать. В этот самый час бедняжка Лавальер умирала от горя.

Король отправился в спальню. Уже целый час королева ждала его. Со вздохом Людовик шел к ней; но, вздыхая, он благословлял себя за свое мужество, хвалил себя за то, что проявляет в любви такую же твердость, как в политике.

Глава 35. ПОСЛЫ

По прибытии во дворец д'Артаньян узнал почти все, о чем мы только что рассказали; Среди дворцовых служителей у него было много друзей, гордившихся тем, что с ними раскланивается капитан мушкетеров, такая важная особа; да и независимо от тщеславия они гордились тем, что представляют какой-то интерес для такого храбреца, как д'Артаньян.

Каждое утро д'Артаньян осведомлялся обо всем, чего не мог видеть или узнать накануне, не будучи вездесущим. Из того, что он видел сам и узнавал от других, у него составлялся целый пучок сведений, который он, в случае надобности, развязывал и брал оттуда то, что ему было нужно.

Поэтому два глаза д'Артаньяна служили ему не хуже, чем Аргусу его сто глаз.

Политические и альковные тайны, фразы, вырывавшиеся у придворных, когда они выходили от короля, – все знал д'Артаньян и все прятал в огромной и непроницаемой кладовой – в своей памяти, наряду с королевскими тайнами, дорого купленными и бережно хранимыми.

Поэтому ему стало известно о свидании короля с Кольбером, о назначенном на завтра приеме послов, о том, что там будет идти речь о медалях; восстановив весь разговор по нескольким дошедшим до него словам, д'Артаньян занял свой пост в королевских покоях, чтобы быть на месте, когда король проснется.

Король проснулся очень рано; это доказывало, что спал он плохо. В семь часов он тихонько приоткрыл дверь. Д'Артаньян стоял на посту. Король был бледен и казался утомленным; туалет его еще был незакончен.

– Велите позвать господина де Сент-Эньяна, – сказал он.

Де Сент-Эньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо, когда за ним пришли, он был уже одет.

Де Сент-Эньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо д'Артаньяна прошли король и де Сент-Эньян; король шел впереди. Д'Артаньян стоял у окна, выходящего во двор, и мог, не трогаясь с места, наблюдать за королем. Он догадывался, куда пойдет король. Король пошел к фрейлинам.

Это нисколько не удивило д'Артаньяна. Хотя Лавальер ничего не сказала ему, он сильно подозревал, что его величество собирается загладить свою вину перед нею. Де Сент-Эньян чувствовал себя немного спокойнее, чем накануне, так как надеялся, что в семь часов утра все августейшие обитатели дворца, кроме короля, еще спят.

Д'Артаньян беззаботно стоял у окна. Можно было поручиться, что он ничего не видит и ему совершенно неинтересно, что это за искатели приключений идут по двору, завернувшись в плащи. А между тем д'Артаньян, делая вид, что совсем на них не смотрит, не терял их из поля зрения. Насвистывая старинный марш мушкетеров, приходивший ему на память только в важных случаях, он представлял, какая буря гневных криков поднимется по возвращении короля.

Действительно, войдя к Лавальер и найдя ее комнату пустой, а постель нетронутой, король испугался и позвал Монтале. Монтале тотчас прибежала, но удивилась не меньше короля. Она могла сообщить его величеству только то, что ей почудилось, будто ночью Лавальер плакала; но, зная, что к ней приходил его величество, не посмела спросить о причине.

– Как вы думаете, куда она могла уйти? – забеспокоился король.

– Государь, – отвечала Монтале. – Луиза очень сентиментальна. Я часто видела, как она вставала на рассвете и уходила в сад. Может быть, она и теперь в саду.

Это предположение показалось королю правдоподобным, и он тотчас же пошел разыскивать беглянку.

Когда д'Артаньян снова увидел его, Людовик был бледен и о чем-то оживленно разговаривал со своим спутником. Король направился в сад. Де Сент-Эньян, запыхавшись, шел за ним.

Д'Артаньян не отходил от окна. Беззаботно посвистывая, он как будто ничего не замечал, а между тем видел все.

– Вот как! – прошептал он, когда король исчез. – Страсть его величества сильнее, чем я предполагал; он делает такие вещи, которых не стал бы делать из-за мадемуазель Манчини.

Через четверть часа король снова появился; он обыскал каждый уголок сада. Нечего и говорить, что его поиски были безуспешны. Де Сент-Эньян шел за его величеством обмахиваясь шляпой, и испуганным голосом расспрашивал о Лавальер всех слуг, всех встречаемых. Он столкнулся с Маниканом.

Маникан только что приехал из Фонтенбло; он не спешил: ему понадобились сутки, чтобы проехать расстояние, на которое другим потребовалось бы только шесть часов.

– Вы не видели мадемуазель де Лавальер? – поинтересовался де Сент-Эньян.

Всегда мечтательный и рассеянный Маникан, вообразив, что его спрашивают о де Гише, отвечал:

– Благодарю вас, графу немного лучше.

И пошел дальше; войдя в королевские комнаты, Маникан увидел д'Артаньяна и попросил объяснить, почему у короля такой растерянный вид. Д'Артаньян отвечал Маникану, что это обман зрения и король, напротив, безумно весел.

Пробило восемь. Обыкновенно в этот час король завтракал. Этикетом предписывалось, чтобы в восемь часов утра король всегда был голоден.

Людовик велел подать себе завтрак на особом столике в спальне и поел очень быстро. Де Сент-Эньяна, с которым он не хотел расставаться, прислуживал ему за столом. После завтрака король дал несколько аудиенций военным, отправив тем временем де Сент-Эньяна на разведку.

Покончив с аудиенциями, Людовик стал нетерпеливо дожидаться возвращения де Сент-Эньяна, который поднял на ноги всех своих слуг; так прошло время до девяти часов.

Когда пробило девять, король проследовал в кабинет.

Послы вошли при первом ударе часов, при последнем ударе появились королевы и принцесса. Голландия была представлена тремя дипломатами, Испания – двумя.

Король приветствовал их поклоном.

В эту минуту вошел де Сент-Эньян. Его появление было для короля гораздо важнее разговора с послами, сколько бы их ни было и какие бы государства они ни представляли.

Поэтому король прежде всего вопросительно взглянул на де Сент-Эньяна, но тот отрицательно покачал головой. Король едва не потерял самообладания, но так как глаза королев, вельмож и послов были устремлены на него, он сделал над собой огромное усилие и предложил послам высказаться.

Тогда один из испанских представителей начал длинную речь, в которой восхвалял выгоды союза с Испанией.

Король перебил его, заявив:

– Сударь, я надеюсь, что все, что хорошо для Франции, должно быть превосходно для Испании.

Эти слова и особенно категорический тон, которым они были произнесены, подействовали на посла как холодный душ и вызвали краску на лицах королев; их национальная испанская гордость была оскорблена.

Тогда взял слово голландский посол и стал жаловаться на предубеждение короля против правительства его страны.

Король перебил его:

– Сударь, мне странно слышать ваши слова, в то время как мне самому следовало бы жаловаться; между тем, вы видите, я молчу.

– На что же вы можете пожаловаться, ваше величество?

Король горько улыбнулся.

– Неужели, сударь, вы будете порицать меня за мое предубеждение против правительства, позволяющего наносить мне публично оскорбления и поощряющего оскорбителей?

– Государь!..

– Повторяю, – продолжал король, раздраженный своими личными огорчениями гораздо больше, чем политическими проблемами, – повторяю, что Голландия – пристанище для всех, кто меня ненавидит и особенно кто меня оскорбляет.

– Помилуйте, государь!..

– Вам нужны доказательства? Их легко можно представить. Где составляются дерзкие памфлеты, изображающие меня в виде жалкого и ничтожного монарха? Ваши печатные станки стонут от них. Если бы тут были мои секретари, я привел бы вам заглавия этих произведений и фамилии типографчиков.

– Государь, – отвечал посланник, – памфлет не есть произведение нации. Справедливо

ли, чтобы такой могущественный король, как ваше величество, возлагал на целый народ ответственность за преступление нескольких бесноватых, умирающих с голоду?

– С этим я, пожалуй, готов согласиться, сударь. Но когда амстердамский монетный двор чеканит позорящие меня медали, неужели и в этом повинны только несколько бесноватых?

– Медали? – пробормотал посланник.

– Медали, – повторил король, глядя на Кольбера.

– И ваше величество вполне уверены... – отважился заметить голландец.

Король не спускал глаз с Кольбера; но Кольбер делал вид, что не понимает, и молчал.

Тогда вышел Д'Артаньян и, достав из кармана медаль, вручил ее королю.

– Вот медаль, о которой говорит ваше величество.

Король взял ее. И собственными глазами, которые с тех пор, как он принял власть, смотрели на все свысока, он увидел оскорбительное изображение, на котором Голландия, подобно Иисусу Навину, останавливала солнце, и следующую надпись: «In conspectu meo, stetit sol».

– «В моем присутствии остановилось солнце», – гневно воскликнул король. – Надеюсь, вы больше не будете отрицать?

– Вот это солнце, – сказал д'Артаньян.

И он указал на красовавшееся во всех простенках солнце, повсюду повторявшуюся пышную эмблему с горделивым девизом: «Nec pluribus impar»³⁰.

Гнев Людовика, и без того достаточно подогреваемый личными неприятностями, не нуждался в этой новой пище. По его сверкающим глазам видно было, что сейчас разразится гроза. Взгляд Кольбера обуздал порыв короля.

Посол набрался храбрости и стал приносить извинения. Он говорил, что не следует придавать большого значения национальному тщеславию; что Голландия гордится положением великой державы, которого она добилась, несмотря на малые свои силы, и, если ее успехи немного опьянили соотечественников посла, он просит короля проявить снисходительность.

Король, в поисках совета, взглянул на Кольбера, но тот не шевельнулся.

Потом он посмотрел на д'Артаньяна. Д'Артаньян пожал плечами.

Это движение как бы открыло шлюз, через который хлынул слишком долго сдерживаемый гнев короля. Никто не знал, куда устремится поток, и потому воцарилось тяжелое молчание.

Им воспользовался второй посол и тоже стал извиняться. Во время его речи король снова погрузился в задумчивость, слушая взволнованный голос голландца, как рассеянный человек слушает журчанье фонтана. Заметив это, д'Артаньян наклонился к де Сент-Эньяну и сказал ему, так размеря голос, чтобы его услышал король:

– Вы знаете новость, граф?

– Какую новость?

– О Лавальер.

Король вздрогнул и невольно сделал шаг в сторону собеседников.

– А что случилось с ней? – спросил де Сент-Эньян тоном, который нетрудно представить себе.

– Бедняжка ушла в монастырь, – отвечал д'Артаньян.

– В монастырь? – воскликнул де Сент-Эньян.

– В монастырь? – повторил вслед за ним король посреди речи посла.

Подчиняясь требованиям этикета, он вскоре овладел собой, но продолжал прислушиваться к разговору.

– В какой монастырь? – удивился де Сент-Эньян.

– В монастырь кармелиток в Шайо.

– Откуда вы это знаете?

– От нее самой.
– Разве вы ее видели?
– Я сам проводил ее в монастырь.
Король ловил каждое слово; все в нем кипело; он готов был застонать.
– Почему же она бежала? – спросил де Сент-Эньян.
– Потому, что вчера бедняжку прогнали из дворца, – отвечал д'Артаньян.
Едва он проговорил эти слова, как король сделал повелительное движение рукой.
– Довольно, сударь, – сказал он, обращаясь к послу, – довольно!
Затем, подойдя к мушкетеру, воскликнул:
– Кто здесь говорит, что Лавальер в монастыре?
– Господин д'Артаньян, – отвечал фаворит.
– Это правда? – взглянул король на мушкетера.
– Совершеннейшая правда.
Король побледнел.
– Вы еще что-то сказали, господин д'Артаньян?
– Не помню, государь.
– Вы сказали, что мадемуазель де Лавальер прогнали из дворца.
– Да, государь.
– И это тоже правда?
– Сами узнайте, государь.
– От кого?
– О! – произнес д'Артаньян с видом человека, который показывает, что он не может исполнить просьбу.
Король порывисто отошел в сторону, оставив и послов, и министров, и придворных. Королева-мать встала; она все слышала, а чего не слышала, о том догадалась. Принцесса чуть не лишилась чувств от гнева и от страха; она тоже попыталась встать, но сейчас же снова упала в кресло, которое от этого движения откатилось назад.
– Господа, – сказал король, – аудиенция окончена; завтра я дам ответ, или, вернее, объявлю свою волю Испании и Голландии.
И повелительным жестом он отпустил послов.
– Берегитесь, сын мой! – с негодованием воскликнула вдовствующая королева. – Вы, кажется, плохо владеете собой.
– Если я не способен владеть собой, – зарычал юный лев с угрожающим жестом, – то ручаюсь вам, ваше величество, я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет. Пойдемте со мной, господин д'Артаньян.
Король вышел из кабинета среди всеобщего удивления и ужаса. Он сбежал с лестницы и направился через двор.
– Государь, – обратился к нему д'Артаньян, – ваше величество идете не в ту сторону.
– Я иду к конюшням.
– Незачем, государь. Лошади для вашего величества приготовлены.
Король только взглянул на своего слугу, но этот взгляд обещал больше, чем все, на что могло рассчитывать честолюбие трех д'Артаньянов.

Глава 36. ШАЙО

Хотя никто их не звал, Маникан и Маликорн пошли за королем и д'Артаньяном. Они оба были очень умны, но честолюбие часто приводило Маликорна слишком рано, Маникан же вследствие лени часто опаздывал. На этот раз оба они явились вовремя.

Было приготовлено пять лошадей. Две предназначались для короля и д'Артаньяна; две для Маникана и Маликорна. На пятую сел паж. Кавалькада поскакала галопом. Д'Артаньян сам выбрал лошадей. Они как нельзя лучше подходили для разлученных влюбленных: лошади

не бежали, а летели. Через десять минут кавалькада вихрем примчалась в Шайо, вздымая облако пыли.

Король буквально спорхнул с лошади. Но как ни стремительно было это движение, д'Артаньян уже стоял на земле. Людовик знаком поблагодарил мушкетера и бросил повод пажу. Затем он вбежал в дом и, быстро распахнув дверь, вошел в приемную.

Маникан, Маликорн и паж остались за оградой, д'Артаньян последовал за королем.

При входе в приемную первое, что заметил король, была Луиза – не на коленях, но распростертая на полу перед большим каменным распятием.

Девушка лежала на сырых плитах, еле видная в сумраке залы, освещенной только узким решетчатым окном, почти совсем закрытым вьющимися растениями. Она была одна, неподвижная, холодная, как камень, на который упало ее тело. Король подумал, что она мертва, громко вскрикнул; тотчас же к нему подбежал д'Артаньян.

Король уже обвинил одной рукой стан девушки. Д'Артаньян помог королю поднять бедняжку, которая вся оцепенела. Король схватил ее в объятия и стал согревать поцелуями ее ледяные руки и виски.

Д'Артаньян ударил в колокол. На звон его сбегались кармелитки. Монахини возмущенно закричали при виде двух мужчин, поддерживавших какую-то женщину.

Прибежала и настоятельница. Но, несмотря на свою суровость, она была более светской женщиной, чем придворные дамы, и с первого же взгляда узнала короля по тому почтению, которое ему оказывали спутники, по той властности, с какой он держался. При виде короля настоятельница сейчас же удалилась, ибо только таким способом она могла сохранить свое достоинство. Но она прислала с монахинями разные лекарства, приказав им, кроме того, запереть двери.

Давно было пора: горе короля выражалось все более бурно. Он уже решил послать за своим доктором, но в эту минуту Лавальер пришла в себя. Открыв глаза, она прежде всего увидела у своих ног короля. Без сомнения, она не поняла, кто это, и горестно вздохнула.

Людовик пожирал ее жадным взором. Наконец ее блуждающий взгляд остановился на короле. Она узнала его и попыталась вырваться из его объятий.

– Как! – прошептала она. – Жертвоприношение еще не совершено?

– Нет, нет! – отвечал король. – Оно и не будет совершено, клянусь вам.

Несмотря на свою слабость, Лавальер поднялась.

– Но оно должно быть совершено, – проговорила она. – Не останавливайте меня.

– Как! Вы хотите, чтобы я позволил вам принести себя в жертву? вскричал король. – Ни за что, никогда!

– Ну, пора уходить! – прошептал д'Артаньян. – Раз они начали разговаривать, избавим их от посторонних ушей.

Д'Артаньян ушел, влюбленные остались одни.

– Государь! – говорила Лавальер. – Умоляю вас, ни слова больше. Не губите мою жизнь, мое будущее; не губите вашей славы ради минутной прихоти.

– Прихоти! – воскликнул король.

– О, теперь, государь, – продолжала Лавальер, – я ясно читаю в вашем сердце.

– Вы, Луиза?

– Да, я.

– Объяснитесь.

– Непонятное, безрассудное увлечение на несколько минут могло показаться вам достаточным оправданием. Но у вас есть обязанности, несовместимые с любовью к бедной девушке. Забудьте меня.

– Забыть?

– Дело уже сделано.

– Скорее умру!

– Государь, вы не можете любить ту, которую решились убить так жестоко сегодня ночью.

– Что вы говорите? Не понимаю.

– О чем вы просили меня вчера утром? Любить вас? Что вы обещали взамен? Никогда не ложиться в постель, не примирившись со мной, если вам случится рассердиться на меня.

– Простите меня, простите, Луиза! Ревность свела меня с ума.

– Государь, ревность – дурное чувство, которое разрастается, как сорная трава, если его не вырвать с корнем. Вы опять будете ревновать и скоро погубите меня. Сжальтесь, дайте мне умереть.

– Еще одно слово, мадемуазель, и я умру у ваших ног.

– Нет, нет, государь, я себя лучше знаю, чем вы. Не губите и вы себя из-за несчастной, которую все презирают.

– О, назовите мне ваших преследователей, умоляю вас!

– Я ни на кого не жалуюсь, государь: я обвиняю только себя. Прощайте, государь!

Разговаривая со ней таким образом, вы компрометируете себя.

– Берегитесь, Луиза! Своими словами вы приводите меня в отчаяние; берегитесь!

– Государь, умоляю вас, разрешите мне остаться в этом монастыре!

– Я отниму вас у самого бога.

– Но прежде, – вскричала бедняжка, – вырвите меня из рук ожесточенных врагов, покушающихся на мою жизнь, на мою честь. Если у вас достаточно силы для любви, найдите же в себе силы защитить меня. Ту, кого, по вашим словам, вы любите, оскорбляют, осыпают насмешками, выгоняют.

И кроткая девушка, в припадке горя начавшая жаловаться, с рыданиями ломала руки.

– Вас выгнали! – вскричал король. – Вот уже второй раз, как я слышу это слово.

– С позором, государь. Вы видите теперь, что у меня один только защитник – бог, одно утешение – молитва, один приют – монастырь.

– У вас будет мой дворец, мой двор. Не бойтесь, Луиза; те, кто вчера выгнал вас, завтра будут трепетать перед вами. Что я говорю: завтра, сегодня утром они уже почувствовали мою силу. Луиза, Луиза, вы будете жестоко отомщены. Кровавыми слезами заплатят обидчики за ваши слезы. Назовите мне их имена.

– Никогда! Ни за что!

– Как же я тогда накажу их?

– Государь, ваша рука оцепенеет, когда вы увидите, кого нужно наказать.

– О, вы меня не знаете! – перебил ее Людовик. – Я ни перед чем не остановлюсь. Я испепелю все королевство и прокляну собственную семью. Да, я отсеку даже эту руку, если она окажется настолько трусливой, что не в состоянии будет сокрушить врагов самого кроткого и милого создания в мире.

И действительно, произнося эти слова, Людовик с силой ударил кулаком по дубовой перегородке, которая глухо застонала.

Лавальер ужаснулась. В гневе этого всемогущего юноши было нечто величавое и зловещее, как в ярости разбушевавшихся стихий. И Луиза, думавшая, что ничье горе не может сравниться с ее страданиями, была побеждена горем короля, выражавшимся в угрозах и гневе.

– Государь, – сказала она, – в последний раз умоляю вас, оставьте меня. Я уже обрела спокойствие в этом святом месте. Бог – защитник, перед которым рушится вся мелкая людская злоба. Государь, еще раз прошу, разрешите мне жить здесь.

– В таком случае, – воскликнул Людовик, – скажите откровенно, что вы никогда меня не любили, скажите, что мое унижение, мое раскаяние льстят вашей гордости, но мое горе не печалит вас. Скажите, что французский король для вас не возлюбленный, нежность которого могла бы дать вам счастье, а деспот, прихоть которого разбила ваше сердце. Не говорите, что вы стремитесь к богу: скажите, что вы бежите от короля. Нет, бог не сообщник непреклонных решений; бог допускает раскаяние, прощает, бог не противится любви.

Слыша эти слова, вливавшие огонь в ее жилы, Луиза отчаянно рыдала.

– Значит, вы не поняли? – сказала она.

– Чего?

– Что меня выгнали, что меня презирают и что я достойна презрения?

– Я окружу вас уважением, вы будете самой обожаемой женщиной при моем дворе, вам все будут завидовать.

– Докажите, что вы не разлюбили меня.

– Каким образом?

– Оставьте меня.

– Я докажу свою любовь, не расставаясь с вами.

– Но неужели, государь, вы думаете, что я допущу это? Неужели вы думаете, что я позволю вам объявить войну всей вашей семье? Неужели вы думаете, что я позволю вам оттолкнуть из-за меня мать, жену и сестру!

– А, наконец-то вы назвали ваших обидчиков! Клянусь всемогущим богом, я их накажу!

– Вот поэтому-то будущее и страшит меня. Поэтому я отказываюсь от всего. Поэтому я не хочу, чтобы вы мстили за меня. Довольно слез, горя, жалоб! Я никогда не причиню никому страданий, не буду виновницей ничьих слез. Довольно я сама наплакалась, довольно настрадалась!

– А мое горе, мои стенания, мои слезы для вас ничего не значат?

– Ради бога, государь, не говорите так! Мне необходимо мужество, чтобы принести эту жертву.

– Луиза, Луиза, умоляю тебя! Приказывай, распоряжайся, карай или милуй, только не покидай меня!

– Увы, государь, нам необходимо расстаться.

– Значит, ты меня не любишь?

– Бог видит, что люблю!

– Ложь, ложь!

– Если бы я не любила, государь, я бы не стала вас удерживать; я отомстила бы за нанесенные оскорбления торжеством над врагами, которое вы мне предлагаете. Но видите, я не хочу даже сладостного возмездия в виде вашей любви, любви, составляющей смысл моей жизни: ведь я хотела умереть, думая, что вы меня больше не любите.

– Да, да, теперь мне все понятно. Вы святая, вы заслуживаете всяческого уважения. Поэтому ни одна женщина в мире не будет так любима мной, как вы, Луиза; ни одна женщина не приобретет надо мной такой власти.

Клянусь вам, я разбил бы вдребезги весь мир, если бы мир стал между мной и вами. Вы приказываете мне успокоиться, простить? Хорошо, я успокоюсь.

Вы хотите кротости и благодати? Я буду милостив и кроток. Приказывайте, я буду повиноваться...

– Боже мой! Имею ли я, бедная девушка, право продиктовать хоть полслова такому могущественному королю, как вы?

– Вы жизнь моя и душа моя! Разве не душа управляет телом?

– Значит, вы меня любите, дорогой государь?

– Всеми силами моей души. Я с улыбкой отдал бы за вас жизнь, стоит вам сказать только слово.

– Вы меня любите?

– Да, да!

– Значит, мне нечего больше желать в этом мире... Дайте вашу руку, государь, и мы простимся. Я испытала в этой жизни все счастье, которое мне было суждено.

– Нет, нет! Твоя жизнь только начинается. У твоего счастья не было вчера, у него есть сегодня, завтра и грядущее! Прочь мысли о разлуке, прочь мрачное отчаяние: любовь – наш бог, она потребность наших душ. Ты будешь жить для меня, а я для тебя. – И, упав перед ней на колени, Людовик в порыве невыразимой радости и благодарности стал покрывать поцелуями ее ноги.

– Государь! Государь! Все это только сон.

– Почему сон?

– Потому что я не могу вернуться ко двору. Я изгнанница; как мне с вами видеться? Не лучше ли мне замуровать себя в монастыре и жить воспоминаниями о вашей любви, о последних порывах вашего сердца и вашем последнем признании? Повторяю вам, я уже испытала все определенные мне судьбой радости.

– Вы – изгнанница? – вскричал Людовик XIV. – Кто смеет изгонять, если я призываю?

– О государь, есть сила, над которой не властны короли: свет и общественное мнение. Подумайте, разве король может любить изгнанную из дворца женщину, которую его мать запятнала подозрением, а сестра заклеила наказанием? Такая женщина недостойна короля.

– Недостойна меня женщина, которая мне принадлежит?

– Да, именно, государь. С момента, как она вам принадлежит, ваша любовница недостойна вас.

– Вы правы, Луиза. Но вы не будете больше изгнанницей.

– Должно быть, вы еще не разговаривали с принцессой.

– Я обращаюсь к своей матери.

– Значит, вы не виделись и с матерью.

– Разве и она? Бедная Луиза! Так против вас все?

– Да, бедная Луиза, уже надломленная бурей, когда вы пришли сюда, а теперь окончательно изнемогшая.

– Простите меня.

– Словом, вы не смягчите ни мать, ни сестру. Поверьте, зло непоправимо, потому что я никогда не позволю вам прибегнуть к насилию.

– Хорошо, для доказательства моей любви к вам, Луиза, я сделаю невозможное: я пойду к принцессе.

– Вы?

– Я потребую у нее отмены решения, я заставлю ее.

– Заставите? Нет, нет!

– В таком случае я упрошу ее.

Луиза покачала головой.

– Если понадобится, я не остановлюсь перед мольбами, – продолжал Людовик. – Поверите ли вы после этого моей любви?

Луиза подняла на него взгляд.

– Ради бога, не унижайтесь из-за меня; пусть я лучше умру.

Людовик задумался. Его лицо омрачилось.

– Я буду любить так, как вы любили, – молил он, – я перенесу все, что вы перенесли; пусть это будет моим искуплением в ваших глазах. Отбросим все мелкое. Будем велики, как наше горе, и сильны, как наша любовь!

Произнося эти слова, он обвил руками ее стан.

– Единственная моя радость, жизнь моя, поедemте со мной!

Она сделала последнее усилие, сосредоточив в нем не свою волю, – ее воля была уже побеждена, – а остаток своей энергии.

– Нет, нет! – чуть слышно прошептала она. – Я умерла бы от стыда.

– Вы вернетесь, как королева. Никто не знает о вашем побеге... Один только д'Артаньян...

– Значит, и он меня предал?

– Каким образом?

– Он поклялся...

– Я поклялся не говорить королю, – молвил д'Артаньян, просовывая голову в приоткрытую дверь, – и я сдержал свое слово. Я беседовал с господином де Сент-Эньяном, не моя вина, если король услышал меня. Не правда ли, государь?

– Да, верно, простите его, – попросил король.

Лавальер с улыбкой протянула мушкетеру свою маленькую белую ручку.

– Господин д'Артаньян, – сказал восхищенный король, – раздобудьте теперь карету для

мадемуазель.

– Государь, – отвечал капитан, – карета готова.

– Образец услужливости! – воскликнул король.

– Не скоро же ты оценил меня, – прошептал д'Артаньян, все же польщенный похвалой.

Лавальер была побеждена; ослабевшая девушка позволила своему царственному возлюбленному увести себя. Но у дверей приемной она вырвалась из королевских объятий и снова бросилась к распятию, целуя его и приговаривая:

– Боже мой, ты привел меня к себе, ты и оттолкнул, но милость твоя бесконечна. Только, когда я вернусь, забудь, что я уходила, потому что тогда я больше не покину тебя.

Из груди короля вырвалось рыдание. Д'Артаньян вытер слезу. Людовик увел девушку, усадил в карету и поместил с ней д'Артаньяна.

Король сел на лошадь и поскакал ко дворцу. Сейчас же по приезде он попросил принцессу принять его.

Глава 37. У ПРИНЦЕССЫ

Наблюдая окончание приема послов, даже наименее дальновидные почуяли войну.

Сами послы, плохо осведомленные в интимной дворцовой хронике, отнесли на свой счет вырвавшуюся у короля фразу: «Если я не способен владеть собой, я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет». К счастью для судеб Франции и Голландии, Кольбер пошел вслед за послами и сделал им некоторые разъяснения. Но королевы и принцесса были в курсе всех событий, так что угроза короля сильно их раздосадовала и не на шутку испугала.

В особенности принцесса чувствовала, что королевский гнев обрушится на нее. Гордость не позволила ей, однако, обратиться за поддержкой к королеве-матери, и она удалилась к себе хотя и в тревоге, но нисколько не стремясь уклониться от борьбы. Время от времени Анна Австрийская посылала справиться, вернулся ли король.

Царившее во дворце молчание по поводу исчезновения Луизы предвещало много бед: всем был известен крутой и раздражительный нрав короля.

Но принцесса, не обращая никакого внимания на слухи, заперлась в своей комнате, позвала Монтале и самым спокойным тоном стала расспрашивать фрейлину о случившемся. Когда красноречивая Монтале в осторожных выражениях заканчивала свой рассказ и советовала принцессе быть снисходительной, говоря, что при этом условии и другая сторона проявит снисходительность, на пороге появился г-н Маликорн с просьбой короля об аудиенции.

На лице достойного друга Монтале выражалось самое сильное волнение.

Он чувствовал, что свидание, испрашиваемое Людовиком, должно было явиться одной из интереснейших глав повести о сердце королей.

Принцесса была встревожена посещением деверя, она не думала увидеть его так скоро и, главное, не ожидала от короля такого прямого действия.

Женщины привыкли вести войну обходными путями и оказываются очень неискусными и слабыми, когда приходится принять бой лицом к лицу.

Как мы уже сказали, принцесса не принадлежала к числу людей, которые отступают, скорее она отличалась противоположным недостатком или противоположным достоинством. Она всячески подогревала свою смелость, а потому известие, принесенное ей Маликорном, произвело на нее действие сигнального рожка, обозначающего открытие военных действий. Она гордо подняла брошенную перчатку.

Через пять минут король уже поднимался по лестнице. Он раскраснелся от быстрой езды. Его измятый и запыленный костюм представлял резкий контраст со свежим и изысканным туалетом побледневшей принцессы. Людовик сел, не дожидаясь приглашения. Монтале скрылась. Принцесса тоже села.

– Сестра моя, – начал Людовик. – Известно ли вам, что сегодня утром мадемуазель де

Лавальер бежала, принужденная унести свою скорбь, свое отчаяние в монастырь?

Эти слова были произнесены крайне взволнованным тоном.

– В первый раз слышу об этом из уст вашего величества, – отвечала принцесса.

– А я думал, что вы узнали новость утром, во время приема послов, сказал король.

– По вашему волнению, государь, я действительно предположила, что произошло что-то необыкновенное, но что именно, я не поняла.

Король действовал открыто и шел прямо к цели.

– Сестра моя, – снова заговорил он, – почему вы уволили мадемуазель де Лавальер?

– Потому что ее услуги не нравились мне, – сухо отвечала принцесса.

Король побагровел, и глаза его так засверкали, что принцесса с трудом выдержала его взгляд. Однако он овладел собой и продолжал:

– Необходима очень серьезная причина, сестра моя, чтобы такая добрая женщина, как вы, прогнала и обесчестила не только эту девушку, но и всю ее семью. Вы знаете, что город внимательно наблюдает за поведением придворных дам. Уволить фрейлину – значит обвинить ее в преступлении или в серьезном проступке. Какое же преступление, какой проступок совершила мадемуазель де Лавальер?

– Раз вы берете на себя роль покровителя мадемуазель де Лавальер, холодно произнесла принцесса, – я дам вам объяснение, хотя имею право никому не давать его.

– Даже королю? – гневно вскричал Людовик.

– Вы назвали меня вашей сестрой, – напомнила принцесса, – и я у себя дома.

– Все равно! – ответил Людовик, устыдившись своего порыва. – Ни вы, принцесса, и никто в моем королевстве не вправе отказаться от объяснений, если я их требую.

– Если вы так ставите вопрос, – сказала принцесса с глухим гневом, мне остается только повиноваться вашему величеству и замолчать.

– Не будем играть словами.

– Покровительство, которое вы оказываете мадемуазель де Лавальер, заставляет меня относиться к ней почтительно.

– Повторяю, не будем играть словами. Вы знаете, что я глава французского дворянства и должен охранять честь всех дворянских семей. Вы прогоняете мадемуазель де Лавальер или другую фрейлину...

Принцесса пожала плечами.

– Или, повторяю, другую фрейлину, – продолжал король, – и своим поступком позорите ее, поэтому я прошу у вас объяснения, чтобы утвердить или опротестовать ваш приговор.

– Опротестовать мой приговор? – надменно воскликнула принцесса. Как! Если я прогнала одну из своих служанок, то вы прикажете мне принять ее обратно?

Король промолчал.

– Это было бы не только превышением власти, государь; это было бы неприлично.

– Принцесса!

– Да, если бы я не возмутилась против такого попирания моего достоинства, я не была бы принцессой вашей крови, дочерью короля; я опустилась бы ниже выгнанной мною служанки.

Король в бешенстве вскочил.

– У вас нет сердца, принцесса, – вскричал он. – Если вы так поступаете со мной, позвольте и мне поступить с вами сурово.

Иногда шальная пуля меняет исход сражения. Эти неумышленно сорвавшиеся у короля слова поразили принцессу и на мгновение поколебали ее: она испугалась, как бы ее не постигла опала.

– Объяснитесь, пожалуйста, государь, – попросила она.

– Я вас спрашиваю, принцесса, в чем провинилась мадемуазель де Лавальер?

– Она большая интриганка; из-за нее дрались на дуэли два друга, она вызвала о себе самые неблагоприятные толки, так что весь двор хмурит брови при одном звуке ее имени.

– Лавальер? – спросил король.

– Под ее кроткой и лицемерной внешностью, – продолжала принцесса, скрывается хитрая и злобная душа.

– У Лавальер?

– Вы легко можете впасть в заблуждение, государь, но я хорошо ее знаю: она способна посеять вражду между ближайшими родственниками, между самыми близкими друзьями. Видите, она уже сеет раздор между нами.

– Уверяю вас... – начал король.

– Государь, ведь мы жили в добром согласии, а своими доносами, своими коварными жалобами она поселила в вашем величестве нерасположение ко мне.

– Клянусь, – сказал король, – что с ее губ ни разу не сорвалось недоброго слова; клянусь, что даже при виде моего гнева она умоляла меня никому не мстить; клянусь, что у вас нет более преданного и почтительного друга, чем она.

– Друга? – произнесла принцесса с выражением величайшего презрения.

– Берегитесь, принцесса, – остановил ее король, – вы забываете о моем отношении к Лавальер; с этого момента все уравнивается. Мадемуазель де Лавальер будет тем, чем я захочу ее сделать, и завтра же, если мне вздумается, она взойдет на трон.

– Все же она не рождена на нем; вы можете устроить ее будущее, но не властны изменить ее прошлое.

– Принцесса, я был с вами очень сдержан и очень вежлив. Не заставляйте меня вспомнить, что я король.

– Государь, вы мне сказали это уже два раза. И я имела честь ответить вам, что я – в вашей власти.

– В таком случае согласны вы оказать мне любезность и снова взять к себе мадемуазель де Лавальер?

– Зачем, государь? Ведь у вас есть трон, который вы можете ей дать. Я слишком ничтожна, чтобы покровительствовать такой могущественной особе.

– Довольно злобы и презрения! Окажите мне милость ради меня.

– Никогда!

– Вы принуждаете меня начать войну в собственной семье?

– У меня тоже есть семья, и я найду у нее приют.

– Что это – угроза? Вы забылись до такой степени? Неужели вы думаете, что, если дело дойдет до разрыва, ваши родственники окажут вам поддержку?

– Надеюсь, государь, что вы не принудите меня к поступкам, которые были бы недостойны моего положения.

– Я надеялся, что вы вспомните нашу дружбу и будете обращаться со мной, как с братом. Принцесса на мгновение задумалась.

– Я не думала, что я поступаю не по-родственному, отказываясь совершить несправедливость.

– Несправедливость?

– Ах, государь, если я открою всем поведение Лавальер, если узнают королевы...

– Полно, полно, Генриетта, не заглушайте голоса сердца; вспомните, что вы меня любили, вспомните, что человеческое сердце должно быть так же милосердно, как и сердце всевышнего. Не будьте безжалостны и непреклонны, простите Лавальер.

– Не могу. Она меня оскорбила.

– Но ради меня, ради меня!

– Государь, я сделаю для вас все, кроме этого.

– Вы повергаете меня в отчаяние... Вы побуждаете меня обратиться к последнему средству слабых людей: к гневу и мести.

– Государь, я – побуждаю вас обратиться к разуму.

– К разуму?... Сестра, я потерял его.

– Государь, ради бога!

– Сжальтесь, сестра, в первый раз в жизни я умоляю; вы – моя последняя надежда.

– Государь, вы плачете?

– Да, от бешенства, от унижения. Быть вынужденным опуститься до просьб мне – королю! Всю жизнь я буду проклинать это мгновение. В одну секунду вы причинили мне больше зла, чем его можно вообразить в самые мрачные минуты жизни.

И король дал волю своим слезам, которые были действительно слезами гнева и стыда. Принцесса была не то что тронута – самые чуткие женщины не чувствуют сострадания к мукам гордости, но она испугалась, как бы эти слезы не унесли из сердца короля всякую человечность.

– Приказывайте, государь! – поклонилась она. – Если вы предпочитаете мое унижение вашему, хотя мое будет известно всем, а ваше видела только я, – я готова повиноваться.

– Нет, нет, Генриетта! – воскликнул Людовик в порыве благодарности. Вы уступите просьбе брата!

– Я повинуюсь, – значит, у меня нет больше брата!

– Хотите в благодарность все мое королевство?

– Как вы любите, когда любите!

Людовик не отвечал. Взяв руку принцессы, он покрывал ее поцелуями.

– Итак, – сказал он, – вы примете эту бедную девушку, вы простите ее, вы признаете ее кротость, правоту ее сердца?

– Я буду ее держать у себя в доме.

– Нет, вы вернете ей вашу дружбу, дорогая сестра.

– Я ее никогда не любила.

– Ну так из любви ко мне вы будете обращаться с пей ласково, не правда ли, Генриетта?

– Хорошо, я буду обращаться с ней, как с вашей возлюбленной.

Король встал. Этими некстати сорвавшимися словами принцесса уничтожила всю заслугу своего самопожертвования. Король больше ничем не был ей обязан.

Уязвленный, смертельно обиженный, он отвечал:

– Благодарю, принцесса. Я буду вечно помнить оказанную вами милость.

И он простился с ней подчеркнуто церемонным поклоном.

Проходя мимо зеркала, он увидел, что глаза у него покраснели, и гневно топнул ногой. Но было поздно: Маликорн и д'Артаньян, стоявшие у дверей, успели заметить заплаканные глаза.

«Король плакал», – подумал Маликорн.

Д'Артаньян почтительно подошел к Людовику.

– Государь, – прошептал он, – вам следует вернуться к себе по маленькой лестнице.

– Почему?

– Потому что у вас на лице остались следы дорожной пыли. Идите, государь, идите. «Гм, гм!» – подумал он, когда король послушался его, как ребенок. – Горе тому, кто доведет до слез женщину, которая могла так расстроить короля».

Глава 38.

ПЛАТОЧЕК МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ЛАВАЛЬЕР

Принцесса не была злой; она была только вспыльчива. Король не был безрассуден; он был только влюблен. Едва лишь они заключили что-то вроде договора, восстанавливавшего Лавальер в правах, как оба постарались извлечь из него выгоду.

Король хотел видеть Лавальер каждую минуту. Принцесса, досадовавшая на короля после разыгравшейся между ними сцены, не желала допускать этого. Поэтому она создавала затруднения на каждом шагу короля.

Действительно, чтобы встречаться с любовницей, королю приходилось ухаживать за невесткой. На этом была построена вся политика принцессы.

Она выбрала себе в компаньонки Монтале, и, приходя к принцессе, король всегда оказывался в окружении дам. От него не отходили ни на шаг. Разговоры принцессы были

верхом остроумия и изящества.

Монтале неизменно сопровождала принцессу. Скоро король совсем перестал выносить ее. Монтале только этого и ждала. Тотчас она пустила в ход Маликорна; воспользовавшись каким-то предлогом, молодой человек сказал королю, что при дворе есть одна очень несчастная женщина. Король спросил, кто эта женщина. Маликорн отвечал: мадемуазель де Монтале. На это король заявил, что он рад несчастью той особы, которая делает несчастными других.

Маликорн передал эти слова мадемуазель де Монтале, и та приняла меры.

Глаза короля открылись; он заметил, что где бы он ни появлялся, там тотчас же возникала принцесса; она провожала его, чтобы он не заговорил в передней с кем-нибудь из фрейлин.

А однажды принцесса пошла еще дальше.

Король сидел среди дам и держал в руке под манжеткой записку, которую он хотел незаметно передать Лавальер. Принцесса разгадала его намерение.

Было трудно помешать королю пойти, куда ему вздумается. Однако нужно было не дать ему приблизиться к Лавальер, поздороваться с ней и уронить записку на колени, за веер или в носовой платок.

Король тоже наблюдал и почуял ловушку. Он встал, придвинул кресло к мадемуазель де Шатильон и принялся шутить с ней.

Играли в буриме; от мадемуазель де Шатильон Людовик перешел к Монтале, а потом к мадемуазель де Тонне-Шарант. При помощи этого искусного маневра он оказался рядом с Лавальер, которую совсем заслонил своей фигурой.

Принцесса делала вид, будто она вся поглощена рукодельем.

Король показал Лавальер кончик записки, и та протянула платок, приглашая взглядом: «Положите записку сюда». Тогда король ловко уронил на пол свой носовой платок, лежавший на кресле.

Лавальер тотчас же незаметно положила на его место собственный платок. Король как ни в чем не бывало взял его, сунул туда записку и бросил платок на прежнее место. Лавальер оставалось только протянуть руку, чтобы взять платок с драгоценной запиской.

Но принцесса видела все. Она громко приказала Шатильон:

– Шатильон, поднимите, пожалуйста, платок короля. Он упал на ковер.

Фрейлина моментально исполнила приказание; король чуть приподнялся на месте, Лавальер смутилась, и все увидели на кресле другой платок.

– Ах, простите, у вашего величества два платка, – сказала фрейлина.

Королю пришлось спрятать в карман платок Лавальер вместе с своим собственным. Таким образом, он получая его на память от своей возлюбленной, но возлюбленная лишалась четверостишия, которое стоило королю десяти часов напряженной работы а было, может быть, равноценно целой поэме.

Понятно, что король рассердился, а Лавальер пришла в отчаяние.

Но тут произошло невероятное событие. Когда король уходил, его встретил в передней кем-то предупрежденный Маликорн.

Передние в Пале-Рояле были темные и по вечерам освещались плохо. Король любил полумрак. Известно, что любовь, воспламеняющая душу и сердце, избегает света.

Итак, в передней было темно; паж освещал факелом дорогу его величеству. Король шел медленно, едва сдерживая гнев. Маликорн чуть не наткнулся на короля и стал просить извинения по всем правилам придворного этикета; но король был в дурном настроении и сердито что-то ответил; Маликорн бесшумно скрылся.

В этот вечер Людовик немного поспорил с королевой в на другой день утром, проходя в кабинет, почувствовал желание поцеловать платок Лавальер. Он кликнул камердинера.

– Принесите мне мой вчерашний костюм, но не трогайте ничего в карманах.

Приказание было исполнено. Король собственноручно обшарил карманы. Он нашел только свой платок; платок Лавальер исчез.

В то время как король терялся в догадках, ему принесли письмо от Лавальер. Луиза писала:

«Как вы любезны, дорогой государь, прислав мне такие прекрасные стихи! Как ваша любовь изобретательна и постоянна! Можно ли не любить вас?»

«Что же это значит? – подумал король. – Тут какая-то ошибка!»

– Хорошенько поищите, – приказал он камердинеру. – У меня в кармане должен лежать платок, и если вы его не найдете, если вы его трогали...

Людовик одумался. Создать государственное преступление из пропажи платка было бы большой неосторожностью. И он прибавил:

– Я положил в этот платок одну важную бумагу.

– Государь, – сказал камердинер, – в карманах у вашего величества был только один платок, вот этот.

– Да, вы правы, – отвечал король, стиснув зубы. – О бедность, как я тебе завидую! Счастлив, кто сам вынимает из кармана носовые платки и записки!

Он перечитал письмо Лавальер, стараясь сообразить, каким путем его четверостишие могло прийти по назначению. В письме оказалась приписка:

«С вашим же посланным я отправляю свой ответ, так мало достойный стихов».

– Вот как! Теперь у меня есть путеводная нить, – радостно воскликнул Людовик. – Кто принес эту записку?

– Господин Маликорн, – робко ответил лакей.

– Пусть он войдет.

Вошел Маликорн.

– Вы от мадемуазель де Лавальер? – со вздохом спросил король.

– Да, государь.

– Вы относили мадемуазель де Лавальер что-нибудь от меня?

– Я, государь?

– Да, вы.

– Ничего, государь, ровно ничего.

– А между тем мадемуазель де Лавальер пишет мне об этом.

– Государь, мадемуазель де Лавальер ошибается.

Король нахмурил брови.

– Что это за игра? Почему же мадемуазель де Лавальер называет вас моим посланным? Что вы отнесла этой даме? Отвечайте скорее, сударь!

– Государь, я отнес мадемуазель де Лавальер носовой платок и больше ничего.

– Платок... Какой платок?

– Государь, в ту минуту когда я вчера имел несчастье толкнуть ваше величество... несчастье, которое я буду оплакивать всю жизнь, особенно после того, как ваше величество изволили выразить свое неудовольствие, в ту минуту, государь, я ошеломлен от горя и увидел на полу что-то белое.

– А! – воскликнул король.

– Я нагнулся, это был платок. Сперва я подумал, что ваше величество, столкнувшись со мной, выронили платок; но, почтительно разглядев его, я обнаружил на нем вензель, и оказалось, что это вензель мадемуазель де Лавальер; я подумал, что мадемуазель де Лавальер уронила платок по дороге в зал, и, когда она возвращалась, я подал ей этот платок. Клянусь, вашему величеству, что все это правда!

Маликорн говорил так искренне, так огорченно и так робко, что король с величайшим удовольствием слушал его. Он был благодарен ему за эту случайность, как за величайшую услугу.

– Вот уже второй раз встреча с вами приносит мне счастье, сударь, сказал король, – можете рассчитывать на мое благорасположение.

На самом деле Маликорн просто-напросто вытащил платок из кармана короля с такой ловкостью, что ему позавидовал бы самый заправский карманник славного города Парижа.

Принцесса так и не узнала об этом происшествии. Но Монтале намекнула на него Лавальер, и Лавальер впоследствии рассказала все королю, который много смеялся и назвал Маликорна великим политиком. Людовик XIV был прав; всем известно, что он умел разбираться в людях.

Глава 39.

ГДЕ ГОВОРИТСЯ О САДОВНИКАХ, ЛЕСТНИЦАХ И ФРЕЙЛИНАХ

К несчастью, чудеса не могли продолжаться, а дурное настроение принцессы не менялось к лучшему. Через неделю король уже не мог посмотреть на Лавальер без того, чтобы не встретиться с подозрительным взглядом принцессы.

Когда назначали прогулку, принцесса немедленно заболела, не желая повторения сцены во время дождя или под королевским дубом. По нездоровью она не выходила, а с нею оставались и ее фрейлины.

Не было ни малейшей возможности устраивать ночные свидания. При первой же попытке в этом направлении король потерпел жалкую неудачу.

Как и в Фонтенбло, он взял с собою де Сент-Эньяна и вместе с ним отправился к Лавальер. Но он застал только мадемуазель де Тонне-Шарант, которая стала кричать: «Пожар, воры!» Прибежал целый легион горничных, надзирательниц и пажей. В результате де Сент-Эньян, оставшийся на месте происшествия, чтобы спасти честь своего господина, навлек на себя строжайший выговор от вдовствующей королевы и принцессы. Кроме того, на следующий день он получил два вызова от представителей семьи Мортмар.

Пришлось вмешаться королю.

Эта ошибка произошла потому, что принцесса неожиданно приказала фрейлинам поменяться комнатами, и Лавальер с Монтале должны были теперь ночевать в кабинете своей госпожи.

Даже переписка стала невозможной: писать под наблюдением такого сурового аргуса, как принцесса, значило подвергаться величайшей опасности.

Можно себе представить, в какое раздражение и гнев приводили льва все эти булавочные уколы. Король портил себе кровь, изыскивал средства и поскольку он неверял своим сердечным тайнам ни Маликорну, ни д'Артаньяну, то этих средств так и не находилось.

Напрасно Маликорн время от времени предпринимал героические попытки вызвать короля на признание. Король начинал было клеветать, но от стыда или от недоверия выпускал крючок.

Так, например, однажды вечером он шел через сад, грустно поглядывая на окна принцессы. Маликорн, следовавший за королем вместе с Маниканом, – споткнулся о лестницу, лежавшую в кустах, и сказал своему спутнику:

– Разве вы не заметили, как я только что споткнулся о лестницу и чуть не упал?

– Нет, – отвечал рассеянный по обыкновению Маникан, – но, кажется, вы не упали?

– Простая случайность. Нельзя так бросать лестницу.

– Да, легко можно сломать себе шею, особенно человеку рассеянному.

– Я не об этом, я хотел сказать, что опасно так оставлять лестницу под окнами фрейлин.

Людовик чуть заметно вздрогнул.

– Почему? – поинтересовался Маникан.

– Говорите громче, – шепнул ему Маликорн, подталкивая в бок.

– Почему? – повторил Маникан, повысив голос.

Король насторожился.

– Вот, например, – рассуждал Маликорн, – лестница в девятнадцать футов, как раз до

окон верхнего этажа.

Вместо ответа Маникан погрузился в размышления.

– Спросите же, каких окон, – подсказал ему Маликорн.

– О каких окнах вы говорите? – громко спросил Маникан.

– Об окнах принцессы.

– А-а-а!

– Я не думаю, конечно, что кто-нибудь решится забраться к принцессе; но в кабинете принцессы, за перегородкой, спят Лавальер и Монтале, две хорошенькие девушки.

– За тонкой перегородкой? – уточнил Маникан.

– Видите два ярко освещенных окна в комнатах принцессы?

– Да.

– А следующее окно, освещенное не так ярко?

– Отлично вижу.

– Ого окно фрейлин. Жарко; смотрите, мадемуазель де Лавальер выглянула в сад. Ах, предприимчивый влюбленный мог бы многое сообщить ей, если бы знал, что эта лестница доходит до окна.

– Но вы ведь сказали, что она не одна, что с ней мадемуазель де Монтале.

– Мадемуазель де Монтале не в счет, это подруга беззаветно преданная, настоящий колодец, куда можно бросать всякую тайну, которая не должна быть разглашена.

Король не упустил ни одного слова из этого диалога. Маликорн заметил даже, что король замедлил шаги, чтобы дать ему время договорить. Дойдя до двери, он отпустил всех, кроме Маликорна. Никто не удивился; известно было, что король влюблен, предполагали, что он собирается писать стихи при луне. Хотя луны в тот вечер не было, у короля все же могло явиться желание сочинять стихи.

Все разошлись. Тогда король обратился к Маликорну, почтительно ожидавшему, когда Людовик заговорит с ним.

– Что вы там болтали о лестнице, господин Маликорн? – спросил он.

– О лестнице, государь?

И Маликорн поднял глаза к небу, как бы желая поймать улетевшие слова.

– Да, о лестнице в девятнадцать футов.

– Ах да, государь, вспомнил! Я рта не раскрыл бы, если бы знал, что ваше величество можете услышать мой разговор с господином Маниканом.

– Почему не раскрыли бы рта?

– Потому что я не хотел бы навлечь выговор на бедного садовника, забывшего убрать ее.

– Не беспокойтесь... Что же это за лестница?

– Ваше величество желает ее видеть?

– Да.

– Ничего не может быть легче, она вот там, государь.

– В кустах?

– Да, в кустах.

– Покажите мне ее.

Маликорн подвел короля к лестнице.

– Вот она, государь.

– Вытащите ее оттуда.

Маликорн положил лестницу на дорожку. Король измерил ее длину шагами.

– Гм!.. Вы говорите, что в ней девятнадцать футов?

– Да, государь.

– Мне кажется, что вы ошибаетесь; она короче.

– Когда она лежит, трудно судить, государь. Приставим ее к дереву или к стене, тогда, при помощи сравнения, будет легче определить длину.

– Все равно, господин Маликорн, я не поверю, чтобы в этой лестнице было девятнадцать футов.

– Я знаю, что у вашего величества глазомер превосходен, и все же держал бы пари, что не ошибаюсь.

Король покачал головой.

– Есть отличный способ проверить мои слова, – сказал Маликорн.

– Какой?

– Всем известно, государь, что нижний этаж дворца восемнадцать футов высоты.

– Да, как будто восемнадцать.

– Итак, приставив лестницу к стене, мы можем определить ее длину.

– Да, это верно.

Маликорн поднял лестницу, как перышко, и приставил к стене.

Случайно вышло так, что лестница оказалась под окном комнаты Лавальер. Верхним своим концом она уперлась прямо в карниз, так что, стоя на предпоследней ступеньке, человек среднего роста, например король, мог бы легко переговариваться с обитателями или, вернее, с обитательницами комнаты.

Едва лестница легла на карниз, как король без дальних слов начал подниматься по ступенькам. Но не успел ни проделать половины своего воздушного пути, как в саду показался патруль швейцарцев и двинулся прямо к молодым людям. Король моментально спустился и скрылся в кустах.

Маликорн понял, что ему нужно принести себя в жертву. Если бы он последовал примеру короля, патруль стал бы искать и в конце концов нашел бы его или короля, а может быть, обоих. Было бы лучше, если бы нашли только его. Поэтому Маликорн спрятался так неискусно, что его тотчас же схватили. Арестовав Маликорна, патруль отвел его на пост; там он назвал себя, его узнали и отпустили.

Тем временем, перебегая от куста к кусту, король добрался до черного хода своих апартаментов, посрамленный и разочарованный.

Шум голосов привлек к окнам Монтале и Лавальер; подошла сама принцесса и стала спрашивать, что случилось.

Маликорн потребовал д'Артаньяна. Д'Артаньян мигом прибежал на его зов. Напрасны были объяснения Маликорна, напрасно Д'Артаньян принял их во внимание; напрасно эти умные и изобретательные люди придали приключению невинный смысл: Маликорн заявил, что хотел проникнуть к мадемуазель – де Монтале, как несколько дней тому назад г-н де Сент-Эньян пытался ворваться в комнату мадемуазель де Тонне-Шарант.

Принцесса была непреклонна: если Маликорн действительно намеревался проникнуть по лестнице ночью в со комнаты, чтобы повидать Монтале, то за это покушение его следует примерно наказать. Если же Маликорн действовал не по собственному почину, а как посредник между Лавальер и лицом, которое она не хотела называть, то его преступление было еще более тяжким, потому что оправданием ему не могла бы служить даже все извиняющая страсть.

Словом, принцесса пришла в крайнее негодование и добилась увольнения Маликорна из штатов принца; в своем ослеплении она не приняла в расчет, что Маликорн и Монтале держат ее в руках благодаря ее ночному визиту к г-ну Гишу и многим другим столь же щекотливым вещам.

Взбешенная Монтале хотела тотчас же отомстить, но Маликорн убедил ее, что поддержка короля искупает все опалы в мире и пострадать за короля прекрасно. Маликорн был прав. Поэтому хотя Монтале была женщина, он сумел убедить ее.

Поспешим прибавить, что и король очень помог им утешиться. Прежде всего он наградил Маликорна пятьюдесятью тысячами ливров за потерю места. Затем он принял его к себе на службу, очень довольный, что может отомстить таким образом принцессе за все невзгоды которым подвергались из-за нее он сам и Лавальер. Но Маликорн не мог больше воровать у него платков и измерять для него длину лестниц, и бедный влюбленный чувствовал себя беспомощным.

Не было никакой надежды на свидание с Лавальер, пока она оставалась в Пале-Рояле.

Никакие деньги, никакие награды не могли тут помочь. К счастью, Маликорн не дремал. Ему удалось устроить свидание с Монтале.

Правда, и Монтале сделала все возможное, чтобы добиться этого свидания.

– Что вы делаете ночью у принцессы? – спросил он фрейлину.

– Сплю, – отвечала она.

– Неужели спите?

– Конечно.

– Как это нехорошо! Ужасно, когда девушка спит с таким горем на сердце, как у вас!

– У меня горе?

– Разве вы не в отчаянии от разлуки со мной?

– Нисколько. Ведь вы получили пятьдесят тысяч ливров и место у короля.

– Все равно, вы страшно огорчены тем, что не можете видеться со мной, как раньше; и вы, наверное, в отчаянии от того, что я потерял доверие принцессы.

– О да, это правда!

– Ну, так это горе мешает вам спать по ночам, и вы ежеминутно рыдаете, вздыхаете и громко сморкаетесь.

– Но, милый Маликорн, принцесса не выносит ни малейшего шума.

– Я отлично знаю, что не выносит! Поэтому-то, видя ваше неутешное горе, она и постарается поскорее спроводить вас.

– Понимаю.

– Этого-то нам и надо.

– Но что же тогда будет?

– Будет то, что разлученная с вами Лавальер начнет так стонать и так жаловаться по ночам, что выведет из себя принцессу.

– Тогда ее переселят в другую комнату.

– Да, но в какую?

– В какую? Вот вы и сбиты с толку, изобретательный юноша.

– Ничуть! Любая комната будет лучше, чем комната принцессы.

– Вы правы.

– Так начните сегодня же ночью свои иеремиады.

– Будьте покойны.

– И передайте Лавальер то, что я вам сказал.

– Не бойтесь, она и без того достаточно плачет потихоньку.

– Так пусть плачет громко.

И они расстались.

Глава 40.

ГДЕ ГОВОРИТСЯ О СТОЛЯРНОМ ИСКУССТВЕ И ПРИВОДЯТСЯ НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБ УСТРОЙСТВЕ ЛЕСТНИЦ

Совет Маликорна был передан Лавальер, которая нашла его неблагоприятным, но после некоторого сопротивления, скорее вызванного робостью, нежели холодностью, согласилась последовать ему.

Эта затея – плач и жалобы двух женщин в спальне принцессы – была гениальным изобретением Маликорна. Так как правдивее всего неправдоподобное, естественнее всего невероятное, то эта сказка из «Тысячи и одной ночи» привела как раз к тем результатам, которых ожидал Маликорн. Принцесса сперва удалила Монтале. А через три дня, или, вернее, через три ночи, изгнала также и Лавальер. Ее перевели в комнатку на мансарде, помещавшуюся над комнатами придворных.

Только один этаж, то есть пол, отделял фрейлин от придворных офицеров.

В комнаты фрейлин вела особая лестница, находившаяся под надзором г-жи де Наваиль. Г-жа де Наваиль слышала о прежних покушениях его величества, поэтому, для большей

надежности, велела вставить решетки в окна и в отверстия каминов. Таким образом, честь мадемуазель де Лавальер была ограждена как нельзя лучше, и ее комната стала очень похожей на клетку.

Когда мадемуазель де Лавальер была у себя, – а она почти всегда сидела дома, так как принцесса редко пользовалась ее услугами с тех пор, как она поступила под наблюдение г-жи де Навайль, – у нее оставалось только одно развлечение: смотреть через решетку в сад. И вот, сидя таким образом у окна, она заметила однажды Мали, – прямо в комнате напротив.

Держа в руке отвес, он рассматривал постройки и заносил на бумагу какие-то формулы. Он был очень похож на инженера, который измеряет из окопов углы бастиона или высоту крепостных стен. Лавальер узнала Маликорна и кивнула ему. Маликорн, в свою очередь, ответил низким поклоном и скрылся.

Лавальер была удивлена его холодностью, столь несвойственной характеру Маликорна. Но она вспомнила, что бедный молодой человек из-за нее потерял место и не мог, следовательно, хорошо относиться к ней, особенно если принять во внимание, что она навряд ли могла вернуть ему положение, которого он лишился.

Лавальер умела прощать обиды, а тем более сочувствовать несчастью.

Она попросила бы совета у Монтале, если бы ее подруга была с ней; но Монтале не было. В тот час Монтале писала письма.

Вдруг Лавальер увидела какой-то предмет, брошенный из окна, в котором только что был виден Маликорн; предмет этот перелетел через двор, попал между прутьев решетки и покатился по полу. Она с любопытством нагнулась и подняла его. Это была катушка, на которую наматывается шелк; только вместо шелка на ней была бумажка. Лавальер расправила ее и прочла:

«Мадемуазель!

Мне очень хочется узнать две вещи.

Во-первых, какой пол в вашей комнате: деревянный или же кирпичный?

Во-вторых, на каком расстоянии от окна стоит ваша кровать?

Извините за беспокойство и пришлите, пожалуйста, ответ тем же способом, каким вы получили мое письмо. Но вам будет трудно бросить катушку в мою комнату, поэтому просто уроните ее на землю.

Главное же, прошу вас, мадемуазель, считать меня вашим преданнейшим слугой.

Маликорн.

Ответ благоволите написать на этом самом письме».

– Бедняга, – воскликнула Лавальер, – должно быть, он сошел с ума.

И она участливо посмотрела в сторону своего корреспондента, видневшегося в полумраке противоположной комнаты.

Маликорн понял и покачал головой, как бы отвечая: «Нет, нет, я в здравом уме, успокойтесь».

Она недоверчиво улыбнулась.

«Нет, нет, – повторил он жестами. – Голова в порядке». – И постукал по голове. Потом он жестами и мимикой стал увещевать ее: «Пишите скорее».

Лавальер не видела препятствий для исполнения просьбы Маликорна, даже если бы он был сумасшедшим. Она взяла карандаш и написала: «Деревянный».

Затем измерила шагами расстояние между окном и кроватью и снова написала: «Десять шагов».

Сделав это, она посмотрела на Маликорна, который ей поклонился и подал знак, что сейчас спустится во двор.

Лавальер поняла, что он пошел за катушкой. Она подошла к окну и, соответственно его наставлениям, уронила катушку. Едва катушка коснулась земли, как Маликорн схватил ее и побежал в комнаты г-на де Сент-Эньяна.

Де Сент-Эньян выбрал или, вернее, выпросил себе жилье как можно ближе к покоям короля; он был похож на те растения, которые тянутся к лучам солнца, чтобы развернуться во всей красе и принести плоды. Его две комнаты были расположены в том же корпусе дворца, где жил Людовик XIV.

Господин де Сент-Эньян гордился этим соседством, которое давало ему легкий доступ к его величеству, а кроме того, повышало шансы на случайные встречи с королем. В это время он роскошно обставлял свои комнаты в надежде, что король удостоит его своим посещением. Дело в том, что его величество, воспылав страстью к Лавальер, избрал де Сент-Эньяна поверенным своих тайн и не мог обходиться без него ни днем, ни ночью.

Маликорн был принят графом беспрепятственно, так как был на хорошем счету у короля. Де Сент-Эньян спросил посетителя, нет ли у него какой-нибудь новости.

– Есть, и очень интересная, – отвечал Маликорн.

– Какая же? – перебил де Сент-Эньян, любопытный, как все фавориты. Что же это за новость?

– Мадемуазель де Лавальер переведена в другое помещение.

– Как так? – воскликнул де Сент-Эньян, вытаращив глаза.

– Да.

– Ведь она жила у принцессы?

– Вот именно. Но принцессе надоело ее соседство, и она поместила ее в комнате, которая находится как раз над вашей будущей квартирой.

– Почему над моей квартирой? – вскричал де Сент-Эньян, показывая пальцем на верхний этаж.

– Нет, – отвечал Маликорн, – не здесь, а там.

И показал на корпус, расположенный напротив.

– Почему же вы говорите, что ее комната расположена над моей квартирой?

– Потому что я убежден, что ваша квартира должна быть под комнатой Лавальер.

При этих словах де Сент-Эньян бросил на бедного Маликорна такой же взгляд, какой бросила на него Лавальер четверть часа назад. Другими словами, он счел его помешанным.

– Сударь, – начал Маликорн, – разрешите мне ответить на вашу мысль.

– Как на мою мысль?..

– Ну да. Мне кажется, вы не совсем поняли, что я вам хочу сказать.

– Не понял.

– Вам, конечно, известно, что этажом ниже фрейлин принцессы живут придворные короля и принца.

– Да, там живут Маникан, де Вард и другие.

– И представьте, сударь, какое странное совпадение: две комнаты, отведенные для господина де Гиша, расположены как раз под комнатами мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Монтале.

– Ну так что же?

– А то, что эти комнаты свободны, потому что раненый де Гиш лежит в Фонтенбло.

– Ей-богу, ничего не понимаю!

– О, если бы я имел счастье называться де Сент-Эньяном, я бы моментально понял!

– И что бы вы сделали?

– Я тотчас же поменял бы комнаты, которые вы занимаете здесь, на свободные комнаты господина де Гиша.

– Что за фантазия! – с негодованием сказал де Сент-Эньян. – Отказаться от соседства с королем, от этой привилегии, которой пользуются только принцы крови, герцоги и пэры?.. Дорогой де Маликорн, позвольте мне заявить вам, что вы сошли с ума.

– Сударь, – с серьезным видом заметил молодой человек, – вы делаете две ошибки... Во-первых, я называюсь просто Маликорн, а во-вторых, я в здравом уме.

И, вынув из кармана бумажку, прибавил:

– Вот послушайте, а потом прочтите эту записку?

– Слушаю, – отвечал де Сент-Эньян.

– Вы знаете, что принцесса стережет Лавальер, как Аргус нимфу Ио.

– Знаю.

– Вы знаете также, что король тщетно пытался поговорить с пленницей, но ни ваял, ни мне не удалось доставить ему этого счастья.

– Да, вы могли бы сообщить на этот счет кой-какие подробности, бедняга Маликорн.

– А как вам кажется, чего мог бы ожидать тот, кто придумал бы способ соединить любящие сердца?

– О, король осыпал бы его своими щедротами.

– Господин де Сент-Эньян...

– Ну?

– Разве вам не хочется отведать королевской благодарности?

– Понятно, – отвечал де Сент-Эньян, – благодарность моего повелителя за умелое исполнение обязанностей будет для меня крайне драгоценна.

– Так взгляните на эту бумажку, граф.

– Что это такое? План?

– План комнат господина де Гиша, которые, по всей вероятности, станут вашими комнатами.

– О нет, никогда!

– Почему?

– Потому что мои две комнаты составляют предмет вожеланий многих придворных, которым я их, конечно, не уступлю: на них покушаются господин де Роклор, господин де Ла Ферте, господин Данжо.

– В таком случае прощайте, граф. Я предложу одному из этих господ мой план и разьясню связанные с ним выгоды.

– Почему же вы сами не займете этих комнат? – недоверчиво спросил де Сент-Эньян.

– Потому что король никогда не удостоит меня своим посещением, а к этим господам пойдет без всяких колебаний.

– Как, король пойдет к этим господам?

– Пойдет ли? Десять раз, а не один! Вы меня спрашиваете, будет ли король посещать квартиру, которая расположена в таком близком соседстве с комнатой мадемуазель де Лавальер?

– Хорошее соседство... в разных этажах.

Маликорн развернул бумажку, намотанную на катушку.

– Обратите, пожалуйста, внимание, граф, – сказал он, – что пол в комнате мадемуазель де Лавальер, – простой деревянный паркет.

– Ну так что же?

– А то, что вы позовете плотника, его приведут к вам с завязанными глазами, запрут, и он сделает отверстие в вашем потолке, следовательно, в полу комнаты мадемуазель де Лавальер.

– Ах, боже мой! – вскричал де Сент-Эньян, точно вдруг прозревший. Вот гениальная мысль!

– Она покажется королю самой заурядной, уверяю вас.

– Влюбленные не думают об опасности.

– Какой опасности боитесь вы, граф?

– Ведь это страшно шумная работа, по всему дворцу будет слышно.

– Ручаюсь вам, граф, что присланный мной плотник будет работать без всякого шума. Он выпилит особой пилой четырехугольник в шесть футов, и даже ближайшие соседи ничего не услышат.

– Ах, дорогой Маликорн, у меня голова идет кругом!

– Я продолжаю, – спокойно отвечал Маликорн, – в комнате с пробитым потолком... вы внимательно слушаете?

– Да.

– Вы поставите лестницу, по которой либо мадемуазель де Лавальер будет спускаться к вам, либо король будет подниматься к мадемуазель де Лавальер.

– Но ведь эту лестницу увидят.

– Нет. Вы закроете ее перегородкой, которую оклеите такими же обоями, как и другие стены комнаты; у мадемуазель де Лавальер она будет замаскирована люком, составляющим часть паркета и открывающимся под кроватью.

– А ведь правда... – сказал де Сент-Эньян, глаза которого загорелись.

– Теперь, граф, мне не нужно объяснять вам, почему король будет часто заходить в комнату, в которой устроят такую лестницу. Я думаю, что господин Данжо оценит по достоинству мою мысль, которую я сейчас разовью ему.

– Ах, дорогой Маликорн, – воскликнул де Сент-Эньян, – вы забываете, что мне первому вы открыли ее и, следовательно, мне принадлежит право первенства.

– Значит, вы хотите, чтобы вам было оказано предпочтение?

– Хочу ли? Еще бы!

– Дело в том, господин де Сент-Эньян, что при первой раздаче наград я обеспечиваю вам таким образом орденскую ленту, а может быть, даже недурное герцогство.

– Во всяком случае, – отвечал де Сент-Эньян, покраснев от удовольствия, – это послужит удобным поводом доказать королю, что не напрасно он называет меня иногда своим другом, и этим поводом, мои дорогой Маликорн, я буду обязан вам.

– Вы не окажетесь забывчивым? – с улыбкой спросил Маликорн.

– Как можно забывать такие вещи, сударь!

– Я, граф, не имею чести быть другом короля, я просто его слуга.

– Да, если вы полагаете, что на этой лестнице я найду голубую ленту, то я думаю, что и для вас на ней будет грамота на дворянство.

Маликорн поклонился.

– Теперь остается только заняться переселением, – проговорил де Сент-Эньян.

– Не думаю, чтобы король стал противиться. Попросите у него позволения.

– Сию минуту бегу к нему.

– А я иду за плотником.

– Когда он будет у меня?

– Сегодня вечером.

– Не забудьте о предосторожностях.

– Я приведу его с завязанными глазами.

– А я предоставлю вам одну из своих карет.

– Без гербов.

– И одного лакея. Понятно, не в ливрее.

– Отлично, граф.

– А Лавальер?

– Что вас беспокоит?

– Что она скажет, увидя нашу работу?

– Уверяю вас, это доставит ей большое развлечение.

– Еще бы!

– Я уверен даже, что если у короля не хватит смелости подняться к ней, то она окажется настолько любопытной, что сама спустится к вам.

– Будем надеяться, – сказал де Сент-Эньян.

– Да, будем надеяться, – повторил Маликорн.

– Итак, я иду к королю.

– И правильно делаете.

– В котором часу придет плотник?

– В восемь часов.

– А как вы думаете, сколько времени отнимет у него работа?

– Часа два, но ему понадобится время на окончательную отделку. Ночь и часть

следующего дня; словом, на всю работу, вместе с установкой лестницы, уйдет два дня.

– Два дня? Это долго.

– Чего же вы хотите! Когда берешься открывать двери рая, им следует придать приличный вид.

– Вы правы. До скорого свиданья, дорогой Маликорн. Послезавтра вечером я буду уже на новой квартире.

Глава 41. ПРОГУЛКА С ФАКЕЛАМИ

Восхищенный только что услышанным и очарованный открывающимися перспективами, де Сент-Эньян направился к квартире де Гиша. Четверть часа тому назад граф не уступил бы своего помещения за миллион, теперь же, если бы потребовалось, он готов был купить за миллион эти вожделенные комнаты.

Но ему не было предъявлено таких требований. Г-н де Гиш не знал еще, где ему отвели помещение и, кроме того, был так болен, что ему было не до переселения.

Поэтому де Сент-Эньян без труда получил комнаты де Гиша, а свои переуступил г-ну Данжо, который вручил управляющему графа куш в шесть тысяч ливров и считал, что заключил очень выгодную сделку. Комнаты Данжо остались за де Гишем. Но трудно было поручиться, что после всех этих перемещений де Гиш действительно будет жить в них. Что же касается г-на Данжо, то он был в таком восторге, что ему не пришло даже в голову заподозрить де Сент-Эньяна в преследовании каких-либо корыстных целей.

Через час после принятия решения де Сент-Эньян уже был хозяином новых комнат. А через десять минут после того, как он стал хозяином, Маликорн входил к нему с обойщиком.

В это время король не раз требовал де Сент-Эньяна, но в квартире де Сент-Эньяна посланные находили Данжо, который направлял их в комнаты де Гиша. От этого произошла задержка, так что король уже выразил неудовольствие, когда де Сент-Эньян вошел к своему повелителю, весь запыхавшись.

– Значит, и ты покидаешь меня, – сказал Людовик XIV тем жалостным тоном, каким произнес, должно быть, Цезарь за восемнадцать веков перед этим: «И ты, Брут!»

– Государь, – проговорил де Сент-Эньян, – я не покидаю короля, но я занят сейчас переселением.

– Каким переселением? Я думал, что ты перебрался уже три дня назад.

– Да, государь. Но здесь мне неудобно, и я переезжаю в здание напротив.

– Значит, я был прав, ты тоже бросаешь меня! – вскричал король. – Но это переходит всякие границы! Стоило мне только увлечься женщиной, и вся моя семья сплотилась, чтобы вырвать ее у меня. У меня был друг, которому я поверял мои печали и который помогал мне переносить их, – и вот этот друг устал от моих жалоб и покидает меня, даже не подумав спросить у меня позволения!

Де Сент-Эньян рассмеялся.

Король догадался, что за этой непочтительностью скрывается какая-то тайна.

– В чем дело? – с надеждой спросил король.

– Государь, друг, на которого король клеветает, хочет попытаться вернуть своему королю утраченное счастье.

– Ты дашь мне возможность видеть Лавальер? – с живостью проговорил Людовик XIV.

– Государь, я еще не могу сказать наверное, но...

– Но?..

– Но я надеюсь.

– Каким образом? Как? Скажи мне, де Сент-Эньян. Я хочу знать твой план. Я хочу помочь себе всей своей властью.

– Государь, – отвечал де Сент-Эньян, – я еще и сам хорошенько не знаю, как я буду действовать, но имею основания думать, что завтра...

– Завтра, говоришь ты?

– Да, государь.

– Какое счастье! Но почему ты переезжаешь?

– Чтобы лучше послужить вашему величеству.

– Каким же образом, переехав, ты сможешь лучше служить мне?

– Знаете ли вы, где помещаются комнаты, отведенные для графа де Гиша?

– Да.

– В таком случае вам известно, куда я переселяюсь.

– Известно; но все же я ровно ничего не понимаю.

– Как, государь! Вы не знаете, что над этим помещением расположены две комнаты?

– Какие?

– В одной живет де Монтале, а в другой...

– А в другой де Лавальер, не правда ли, де Сент-Эньян?

– Вот именно, государь.

– Теперь я понял, понял! Это счастливая мысль, де Сент-Эньян. Мысль друга, мысль поэта; приближая меня к ней, когда весь мир меня с ней разлучает, ты делаешь для меня больше, чем Пилад для Ореста, чем Патрокл для Ахилла.

– Государь, – с улыбкой сказал де Сент-Эньян, – сомневаюсь, чтобы, выслушав мой план до конца, ваше величество продолжали награждать меня такими пышными сравнениями. Ах, государь, я уверен, что многие придворные пуритане, не задумываясь, выскажутся по моему адресу далеко не столь лестно, когда узнают, что я собираюсь сделать для вашего величества.

– Де Сент-Эньян, я умираю от нетерпения; де Сент-Эньян, я томлюсь; де Сент-Эньян, я не выдержу до завтра... Завтра! Ведь до завтра – целая вечность.

– Государь, если вам угодно, развлекитесь прогулкой.

– С тобой, пожалуй; мы поговорим о твоих планах, договорим о ней.

– Нет, государь, я остаюсь.

– С кем же я поеду?

– С дамами.

– Нет, ни в каком случае!

– Государь, так нужно.

– Нет, нет! Тысячу раз нет! Нет, я не хочу этих страданий: быть в двух шагах от нее, видеть ее, касаться ее платья и не говорить с ней ни слова. Нет, я отказываюсь от этой пытки, которую ты считаешь счастьем, но которая на самом деле является мучением, сжигающим мне глаза и разбивающим сердце; видеть ее в присутствии посторонних и не иметь возможности сказать, что я ее люблю, когда все мое существо дышит любовью и выдает эту любовь перед всеми. Нет, я дал себе клятву никогда больше этого не делать, и я сдержу свое слово.

– Выслушайте меня, государь.

– Ничего не хочу слушать, де Сент-Эньян.

– В таком случае продолжаю. Необходимо, государь, – поймите, совершенно необходимо, чтобы принцесса и фрейлины отлучились на два часа из дворца.

– Ты ставишь меня в тупик, де Сент-Эньян.

– Мне тяжело приказывать моему королю, но в данных обстоятельствах я приказываю, государь. Мне нужно, чтобы состоялась охота или прогулка.

– Но такая прогулка или охота покажутся всем странной причудой! Проявляя подобное нетерпение, я покажу всему двору, что мое сердце больше не принадлежит мне. Ведь и теперь уже говорят, что я мечтаю покорить весь мир, но прежде мне следовало бы покорить самого себя!

– Люди, говорящие так, государь, дерзкие крамольники. Но кто бы они ни были, я не произнесу больше ни слова, если ваше величество предпочитаете прислушиваться к их мнению. Тогда завтрашний день отдалится на неопределенное время.

– Де Сент-Эньян, я поеду сегодня вечером... Я поеду ночевать в Сен-Жермен с факелами; завтра я там позавтракаю и вернусь в Париж к трем часам. Это тебя устраивает?

- Вполне.
- Так я еду сегодня в восемь часов.
- Ваше величество угадали минута в минуту.
- И ты мне ничего не хочешь сказать?

– Не не хочу, а не могу. Изобретательность великая вещь, государь; но случай играет в мире столь большую роль, что обыкновенно я стараюсь отвести ему как можно меньше места, в уверенности, что и без моей помощи ни позаботится о себе.

- Хорошо, я доверяюсь тебе.
- И поступаете очень разумно.

Ободренный таким образом, король пошел прямо к принцессе и объявил ей о предполагаемой поездке.

Принцесса тотчас же усмотрела в этой импровизации замысел короля поговорить с Лавальер или по дороге под прикрытием темноты, или где-нибудь в другом месте; но она не обмолвилась ни словом о своих подозрениях и с улыбкой приняла приглашение. Она громко приказала фрейлинам собираться, решив сделать вечером все возможное, чтобы помешать любовным интригам его величества.

Когда бедный влюбленный, отдавший это приказание, ушел, думая, что мадемуазель де Лавальер будет участвовать в поездке, принцесса, оставшись одна, немедленно распорядилась.

– Сегодня мне достаточно будет двух фрейлин: мадемуазель де Тонне-Шарант и мадемуазель Монтале.

Лавальер предвидела удар и приготовилась к нему; преследования закалили ее характер. Она не доставила принцессе удовольствия увидеть на своем лице печаль и растерянность.

Напротив, с самой ангельской улыбкой она сказала:

- Значит, принцесса, я сегодня свободна?
- Да, конечно.

– Я воспользуюсь этим, чтобы заняться вышивкой, на которую ваше высочество изволили обратить внимание и которую я имела честь заранее подарить вашему высочеству.

И, сделав почтительный реверанс, Лавальер удалилась. Вслед за ней ушли де Монтале и де Тонне-Шарант.

Слух о прогулке немедленно распространился по всему дворцу. Через десять минут Маликорн уже знал решение принцессы; тотчас же он сунул Монтале под дверь записку, в которой содержалось следующее:

«Нужно, чтобы Л. провела ночь в комнате принцессы».

Согласно уговору, Монтале прежде всего сожгла бумажку, затем задумалась. Она была очень изобретательна и скоро составила план.

Когда настало время отправиться к принцессе, то есть в пять часов, она пустилась бегом через лужайку, но в десяти шагах от группы офицеров вдруг вскрикнула, грациозно упала на колено, поднялась и пошла дальше, прихрамывая. Молодые люди подбежали, чтобы поддержать ее. Монтале вывихнула ногу. Тем не менее верная своему долгу, она решила продолжать путь к принцессе.

– Что с вами? Почему вы хромаете? – спросила ее принцесса. – Я вас приняла за Лавальер.

Монтале рассказала, как из-за своего усердия она повредила ногу.

Принцесса выразила сожаление и хотела немедленно послать за хирургом. Но Монтале стала уверять, что ее вывих не серьезен.

– Ваше высочество, меня огорчает лишь, что я не могу исполнять сегодня своих обязанностей. Я очень хотела попросить мадемуазель де Лавальер заменить меня подле вашего высочества.

Принцесса нахмурила брови.

- Но я не попросила, – продолжала Монтале.
- Почему? – спросила принцесса.

– Бедняжка Лавальер, по-видимому, очень обрадовалась, что всю ночь и весь вечер она будет свободна. У меня не хватило мужества предложить ей заменить меня.

– Как?! Она обрадовалась? – спросила принцесса, пораженная словами Монтале.

– Безумно обрадовалась: у нее прошла вся грусть, и она даже запела.

Ведь вашему высочеству известно, что Лавальер ненавидит свет и что в пей осталось что-то дикое.

«Нет, – подумала принцесса, – эта веселость мне кажется ненатуральной!»

– Она уже все приготовила в своей комнате, – продолжала Монтале, чтобы пообедать и насладиться одной из своих любимых книг. У вашего высочества есть еще шесть фрейлин, каждая из которых сочтет счастьем сопровождать ваше высочество. Поэтому я не обратилась с просьбой к мадемуазель де Лавальер.

Принцесса промолчала.

– Согласитесь, что я была права? – продолжала Монтале, несколько обескураженная малым успехом этой военной хитрости, на которую она так рассчитывала, что не заготовила ничего про запас. – Принцесса одобряет меня?

У принцессы мелькнула мысль, что ночью король может покинуть Сен-Жермен, и так как от Парижа до Сен-Жермена было всего четыре с половиною лье, то в течение какого-нибудь часа он вернется в Париж.

– Но Лавальер, по крайней мере, предложила вам свои услуги, узнав о вашем ушибе?

– Она еще не знает о моем несчастье, но если даже она и узнает, я не буду просить у нее ничего, что могло бы расстроить ее планы. Мне кажется, сегодня вечером она хочет доставить себе развлечение по рецепту покойного короля, который говаривал господину де Сен-Мару: «Поскучаем, господин де Сен-Мар, хорошенько поскучаем».

Принцесса была убеждена, что под жадной одиночества Лавальер скрывается какая-то любовная тайна, скорее всего ночное возвращение Людовика.

Не осталось больше никаких сомнений: Лавальер была предупреждена об этом возвращении, отсюда ее радость. Конечно, весь план был составлен заранее.

«Я не позволю им дурачить себя», – сказала себе принцесса. И приняла решение.

– Мадемуазель де Монтале, – проговорила она, – благоволиите передать вашей подруге, мадемуазель де Лавальер, что я в отчаянии от мысли, что мне приходится расстраивать ее планы; но вместо того, чтобы скучать в одиночестве, как ей хотелось, она отправится в Сен-Жермен скучать вместе с нами.

– Бедная Лавальер! – сказала Монтале с печальным видом, но с радостью в сердце. – А разве ваше высочество не может...

– Довольно, – остановила принцесса, – я так хочу. Я предпочитаю общество мадемуазель Лавальер обществу всех других фрейлин. Ступайте, пришлите ее мне и полечите вашу ногу.

Монтале не заставила принцессу повторять приказание. Она вернулась, написала ответ Маликорну и сунула его под ковер. Записка состояла из одного только слова: «Поедет». Даже спартанка не могла бы написать лаконичнее.

«По дороге я буду наблюдать за нею, – думала принцесса. – Ночью она ляжет в моей комнате. Очень уж ловок будет король, если ему удастся обменяться хотя бы одним словом с мадемуазель де Лавальер».

Лавальер с той же кроткой покорностью выслушала распоряжение ехать, с какой приняла приказание остаться. Но в душе она очень обрадовалась и посмотрела на перемену решения принцессы как на утешение, посланное ей свыше. Менее проницательная, чем Монтале, она все приписывала случаю.

Когда все придворные, за исключением опальных, больных и вывихнувших ноги, направились в Сен-Жермен, Маликорн привез своего плотника в карете г-на де Сент-Эньяна и ввел его в комнату, расположенную под комнатой Лавальер. Плотник тотчас же принялся за работу, соблазнившись обещанной ему щедрой платой.

У придворных механиков были взяты самые лучшие инструменты, между прочим пила с

такими сокрушительными зубьями, что они резали в воде твердые, как железо, дубовые бревна. Поэтому работа шла быстро, и четырехугольный кусок потолка, выбранный между двумя балками, скоро упал, подхваченный де Сент-Эньяном, Маликорном, плотником и одним доверенным лакеем, который родился на свет, чтобы все видеть, все слышать и ничего не говорить.

Согласно вновь составленному Маликорном плану, отверстие было сделано в углу. И вот почему. Так как в комнате Лавальер не было туалетной, то Луиза в это самое утро попросила большие ширмы, которые заменяли бы перегородку, и ее желание было исполнено. Ширмы отлично закрывали отверстие в полу, которое к тому же было искусно замаскировано плотником.

Когда дыра была проделана, плотник забрался в комнату Лавальер и смастерил из кусочков паркета люк, которого не мог бы заметить даже самый опытный взгляд.

Маликорн все предусмотрел. К люку была приделана ручка и два шарнира.

Заботливый Маликорн купил также за две тысячи ливров небольшую винтовую лестницу. Лестница оказалась длиннее, чем было нужно, но плотник отпилил в ней несколько ступенек, и она пришлась как раз впору. Несмотря на то, что этой лестнице предстояло держать царственный груз, она была прикреплена к стене только двумя болтами. Точно так же она была прикреплена к полу.

Молотки били по подушечкам; зубья пилы были обильно смазаны, а рукоятка завернута в куски шерстяной материи. Кроме того, самая шумная часть работы была произведена ночью и рано утром, то есть во время отсутствия Лавальер и принцессы. Когда около двух часов дня двор вернулся в Пале-Рояль и Лавальер поднялась в свою комнату, все было на месте; ни одна щепочка, ни одна соринка не уличали заговорщиков.

Один де Сент-Эньян так усердствовал, что поранил себе пальцы, изорвал рубашку и пролил много пота во славу своего короля. Его ладони покрылись волдырями: он все время поддерживал лестницу во время работы. Кроме того, он собственноручно принес одну за другой пять отдельных частей лестницы, каждую из двух ступенек. Словом, если бы король мог видеть пыл графа, он навеки остался бы ему благодарен.

Как и предвидел Маликорн, отличавшийся большой точностью, плотник закончил свою работу в двадцать четыре часа. Он получил восемьдесят луидоров и был в восторге; такие деньги он обыкновенно зарабатывал в полгода.

Никто и не догадался о том, что произошло в комнате мадемуазель де Лавальер. Но на другой день вечером, когда Лавальер только что вернулась к себе, она услышала в углу шорох. Она с изумлением посмотрела на то место, откуда доносился звук. Шорох повторился.

– Кто там? – спросила она с испугом.

– Я! – отвечал знакомый голос короля.

– Вы!.. Вы!.. – вскричала Луиза, вообразившая, что она видит сон. Но где вы?.. Где вы, государь?

– Здесь, – отвечал король, отодвигая ширмы и являясь, как призрак, в глубине комнаты. Лавальер вскрикнула и, трепеща, упала в кресло.

Глава 42. ВИДЕНИЕ

Лавальер быстро оправилась от испуга. Король держался так почтительно, что к ней вернулось спокойствие, которого она лишилась при его появлении. Видя, что Лавальер недоумевает, как он к ней попал, Людовик подробно объяснил ей устройство лестницы и всячески старался убедить ее, что он не призрак.

– О государь, – сказала ему Лавальер с очаровательной улыбкой, качая белокурой головкой, – вы вечно у меня на уме; не проходит секунды, чтобы бедная девушка, тайну которой вы подслушали в Фонтенбло и которую вы не отпустили в монастырь, не думала о вас.

– Луиза, я вне себя от восторга!

Лавальер печально улыбнулась и продолжала:

– Но, увы, государь, ваша остроумная выдумка не может принести нам никакой пользы.

– Почему же?

– Потому что эта комната не ограждена от неожиданных посещений принцессы: днем сюда поминутно ходят мои подруги; запирается изнутри – значит выдать себя; это все равно что написать на двери: «Не входите, здесь король». В эту самую минуту дверь может открыться, и ваше величество застанут вместе со мной.

– Тогда меня, наверное, примут за привидение, – засмеялся король, потому что никто не поймет, как я попал сюда. Ведь только духи проникают через стены и потолки.

– Ах, государь, какой может выйти скандал! Никогда еще не говорилось; таких вещей о бедных фрейлинах, которых, однако, не щадит злословие.

– Что же делать, дорогая Луиза?.. Скажите, я хочу знать.

– Нужно, – простите, слова мои будут жестоки...

Людовик улыбнулся.

– Я вас слушаю.

– Нужно, чтобы ваше величество уничтожили лестницу и все эти затеи; подумайте, государь, если вас застанут здесь, выйдут большие неприятности, которые уничтожат всю радость наших встреч.

– Дорогая Луиза, – нежно отвечал король, – можно и не уничтожая лестницы придумать способ избежать всех этих неприятностей.

– Способ?.. Еще?

– Да, еще. Луиза, я люблю вас больше, чем вы меня, потому что я изобретательнее вас. Она взглянула на него. Людовик протянул ей руку, которую она нежно пожала.

– Вы говорите, – продолжал король, – что каждый без труда может войти сюда и застать меня у вас?

– Да, государь. И даже в настоящую минуту, когда вы разговариваете со мной, я вся дрожу.

– Согласен; но вас не застанут со мной, если вы спуститесь по этой лестнице в нижнюю комнату.

– Государь, что вы говорите? – остановила его испуганная Луиза.

– Вы плохо понимаете меня, Луиза, потому что с первых же моих слов начинаете сердиться; но знаете ли вы, кому принадлежат комнаты внизу?

– Графу де Гишу.

– Нет. Господину де Сент-Эньяну.

– Правда? – вскричала Лавальер.

И это слово, вырвавшееся из обрадованного сердца девушки, блеснуло точно молния сладкого предчувствия в восхищенном сердце короля.

– Да, де Сент-Эньяну, нашему другу.

– Но я не могу, государь, бывать и у господина де Сент-Эньяна, – возразила Лавальер.

– Почему же, Луиза?

– Это невозможно, невозможно!

– Мне кажется, Луиза, что под охраной короля все возможно.

– Под охраной короля? – переспросила она, с любовью заглядывая в глаза Людовику.

– Вы верите моему слову, не правда ли?

– Верю, когда вас нет, государь; но когда вы со мной, когда я слышу ваш голос, когда я вижу вас, я больше ничему не верю.

– Что же может убедить вас, боже мой?

– Я знаю, очень непочтительно так сомневаться в короле, но для меня вы не король.

– Слава богу, надеюсь!.. Но я придумал, послушайте: вас успокоит присутствие третьего лица?

– Присутствие господина де Сент-Эньяна? Да.

– Право, Луиза, ваша недоверчивость оскорбляет меня.

Лавальер ничего не ответила, а только посмотрела на Людовика ясным взглядом, проникающим в глубину сердца, и тихонько сказала:

– Ах, не вам я не верю. Не на вас направлены мои подозрения.

– Хорошо, я согласен, – вздохнул король. – И господин де Сент-Эньян, который пользуется счастливой привилегией успокаивать вас, будет всегда присутствовать при наших встречах, обещаю вам.

– Правда, государь?

– Слово дворянина! А вы?

– Подождите, это не все.

– Еще что-то, Луиза?

– О, конечно. Немножко терпения, потому что мы еще не дошли до конца, государь.

– Хорошо. Пронзайте насквозь мое сердце.

– Вы понимаете, государь, что даже в присутствии господина де Сент-Эньяна наши встречи должны иметь какой-нибудь разумный предлог.

– Предлог? – повторил король тоном нежного упрека.

– Конечно. Придумайте, государь.

– Вы необычайно предусмотрительны; я так хотел бы сравняться в этом отношении с вами. Для наших встреч будет разумный предлог, и я уже нашел его.

– Значит, государь?.. – улыбнулась Лавальер.

– Значит, завтра, если вам угодно...

– Завтра?

– Вы хотите сказать, что завтра слишком поздно? – вскричал король, сжимая обеими руками горячую руку Лавальер.

В этот момент в коридоре раздались шаги.

– Государь, государь, – зашептала Лавальер, – сюда кто-то идет! Слышите? Государь, умоляю вас, бегите!

Одним прыжком король оказался за ширмой. Он скрылся вовремя. Когда он поднимал люк, ручка двери повернулась, и на пороге показалась Монтале.

Понятно, она вошла запросто, без всяких церемоний. Хитрая Монтале знала, что если бы она постучалась в двери, а не просто открыла ее, то выказала бы обидное недоверие к Лавальер.

Итак, она вошла и, заметив, что два стула стоят очень близко один от другого, принялась так усердно запирать дверь, ставшую почему-то непослушной, что король успел поднять люк и спуститься к де Сент-Эньяну.

Еле уловимый стук дал знать фрейлине, что король ушел. Тогда она справилась наконец с дверью и подошла к Лавальер.

– Луиза, давайте поговорим серьезно, – предложила она.

Все еще сильно взволнованная Луиза с ужасом услышала слово серьезно, на котором Монтале сделала ударение.

– Боже мой, дорогая Ора! – вздрогнула она. – Что еще случилось?

– Моя милая, принцесса догадывается обо всем.

– О чем же?

– Разве нам нужны объяснения? Разве ты не понимаешь меня с полуслова?

Ты, конечно, заметила, что последнее время принцесса часто меняла решения: сначала приблизила тебя к себе, затем отдалила, затем снова приблизила.

– Действительно, это странно. Но я привыкла к ее странностям.

– Подожди, это не все. Ты заметила также, что принцесса, исключив тебя вчера из своей свиты, потом велела ехать с ней.

– Как не заметить!

– Так вот, кажется, что принцесса получила теперь достаточные сведения, потому что идет прямо к цели. Не имея возможности противопоставлять что-нибудь во Франции потоку,

который сокрушает все препятствия... ты понимаешь, надеюсь, о чем я говорю?

Лавальер закрыла лицо руками.

– Я имею в виду, – продолжала безжалостная Монтале, – тот бурный поток, который взломал двери монастыря кармелиток в Шайо и опрокинул все придворные предрассудки как в Фонтенбло, так и в Париже.

– Увы, увy! – прошептала Лавальер, по-прежнему закрывая лицо пальцами, между которыми катились слезы.

– Не огорчайся так, ведь ты не знаешь еще и половины грозящих тебе неприятностей.

– Боже мой! – с тревогой вскричала Луиза. – Что же еще?

– Вот что: не находя помощи во Франции, после безуспешного обращения к обеим королевам, принцу и всему двору, принцесса вспомнила об одном лице, имеющем на тебя права.

Лавальер побелела как полотно.

– Этого лица, – продолжала Монтале, – в настоящую минуту нет в Париже.

– Боже мой! – шептала Луиза.

– Это лицо, если я не ошибаюсь, в Англии.

– Да, да, – вздохнула совсем разбитая Лавальер.

– Ведь, не правда ли, это лицо находится при дворе короля Карла Второго?

– Да.

– Ну, так сегодня вечером из кабинета принцессы отправилось письмо в Сент-Джемский дворец, и курьер получил приказание лететь без остановки в Гемптон-Корт, королевскую резиденцию в двенадцати милях от Лондона.

– Ну?

– Так вот принцесса пишет в Лондон регулярно два раза в месяц, и поскольку обыкновенного курьера она отправила только три дня тому назад, то мне кажется, что только очень важные обстоятельства могли побудить ее взяться за перо. Ведь ты знаешь, принцесса не любит писать.

– Да, да.

– И мне сдается, что в этом письме речь идет о тебе.

– Обо мне? – повторила, как автомат, несчастная девушка.

– Я видела это письмо, когда оно лежало еще незапечатанным на письменном столе принцессы, и мне почудилось, будто в нем упоминается...

– Почудилось?..

– Может быть, я ошиблась.

– Ну, говори же скорее.

– Имя Бражелона.

Лавальер встала в сильном волнении.

– Монтале, – сказала она со слезами в голосе, – все светлые грезy юности у меня уже рассеялись. Мне нечего теперь скрывать ни от тебя, ни от кого в мире. Жизнь моя – раскрытая книга, которую может читать всякий, начиная с короля и кончая первым встречным. Ора, дорогая Ора, что делать? Как быть?

Монтале подошла ближе.

– Надо обсудить, подумать, – протянула она.

– Я не люблю господина де Бражелона. Не истолкуй мои слова превратно.

Я его люблю, как самая нежная сестра может любить доброго брата, но не того он просит, и не то я ему обещала.

– Словом, ты любишь короля, – заключила Монтале, – и это достаточное извинение.

– Да, я люблю короля, – тихо прошептала Лавальер, – и я дорого заплатила за право произнести эти слова. Ну, говори же, Монтале. Что ты можешь сделать для меня или против меня в настоящем положении?

– Выскажись яснее.

– О чем?

– Неужели ты не можешь сообщить мне никаких подробностей?

– Нет, – с удивлением проговорила Луиза.

– Значит, ты у меня просишь только совета?

– Да.

– Относительно господина Рауля?

– Именно.

– Это щекотливый вопрос, – отвечала Монтале.

– Ничего тут нет щекотливого. Выходить мне за него замуж или же слушаться короля?

– Знаешь, ты ставишь меня в большое затруднение, – улыбнулась Монтале. – Ты спрашиваешь, выходить ли тебе замуж за Рауля, с которым я дружна и которому доставлю большое огорчение, высказавшись против него. Затем ты задаешь вопрос, нужно ли слушаться короля; но ведь я подданная короля и оскорбила бы его, дав тебе тот или иной совет. Ах, Луиза, Луиза, ты очень легко смотришь на очень трудное положение!

– Ты меня не поняла, Ора, – сказала Лавальер, обиженная насмешливым тоном Монтале. – Если я говорю о браке с господином де Бражелоном, то лишь потому, что я не могу выйти за него замуж, не причинив ему огорчения; но, по тем же причинам, следует ли мне позволить королю сделаться похитителем малоценного, правда, блага, но которому любовь сообщает известное достоинство? Итак, я прошу тебя только научить меня почтено освободиться от обязательств по отношению к той или другой стороне, посоветовать, каким образом я могу с честью выйти из этого положения.

– Дорогая Луиза, – отвечала, помолчав, Монтале, – я не принадлежу к числу семи греческих мудрецов, и я не знаю незыблемых правил поведения.

Зато у меня есть некоторый опыт, и я могу тебе сказать, что женщины просят подобных советов, только когда бывают поставлены в очень затруднительное положение. Ты дала торжественное обещание, у тебя есть чувство чести. Поэтому, если, приняв на себя такое обязательство, ты не знаешь, как поступить, то чужой совет – а для любящего сердца все будет чужим не выведет тебя из затруднения. Нет, я не буду давать тебе советов, тем более что на твоём месте я чувствовала бы себя еще более смущенной, получив совет, чем до его получения. Все, что я могу сделать, это спросить, хочешь, чтобы я тебе помогала?

– Очень хочу.

– Прекрасно, это главное... Скажи, какой же помощи ты ждешь от меня?

– Но прежде скажи мне, Ора, – проговорила Лавальер, пожимая руку подруги, – на чьей ты стороне?

– На твоей, если ты действительно дружески относишься ко мне.

– Ведь принцесса доверяет тебе все свои тайны?

– Тем более я могу быть полезной тебе; если бы я ничего не знала относительно намерений принцессы, я не могла бы тебе помочь и, следовательно, от знакомства со мной тебе бы не было никакого проку. Дружба всегда питается такого рода взаимными одолжениями.

– Значит, ты по-прежнему останешься другом принцессы?

– Конечно. Ты недовольна этим?

– Нет, – пожала плечами Лавальер, которой эта циничная откровенность казалась оскорбительной.

– Вот и прекрасно, – воскликнула Монтале, – иначе ты была бы дурой.

– Значит, ты мне будешь помогать?

– С большой готовностью, особенно если ты отплатишь мне тем же.

– Можно подумать, что ты не знаешь меня, – обиделась Лавальер, глядя на Монтале широко раскрытыми от удивления глазами.

– Гм, гм! С тех пор как мы при дворе, дорогая Луиза, мы очень изменились.

– Как так?

– Да очень просто; разве там, в Блуа, ты была второй королевой Франции?

Лавальер опустила голову и заплакала. Монтале сочувственно посмотрела на нее и

прошептала:

– Бедняжка!

Затем, спохватившись, сказала:

– Бедный король!

Она поцеловала Луизу в лоб и ушла в свою комнату дожидаться Маликорна.

Глава 43. ПОРТРЕТ

Во время болезни, известной под названием любовь, припадки повторяются сначала очень часто. Затем они становятся все более редкими. Установив это как общую аксиому, будем продолжать наш рассказ.

На следующий день, то есть в день, когда королем было назначено первое свидание у де Сент-Эньяна, Лавальер, раздвинув ширмы, нашла на полу записку, написанную рукой короля. Эта записка была просунута из нижнего этажа в щелку паркета. Ничья нескромная рука, ничей любопытный взгляд не мог проникнуть туда, куда проникла эта бумажка. Это была выдумка Маликорна. Не желая, чтобы король был всем обязан де Сент-Эньяну, он по собственному почину решил взять на себя роль почтальона.

Лавальер с жадностью прочитала записку, в которой назначалось свидание в два часа дня и давалось пояснение, как поднимать люк. «Оденьтесь понаряднее», – стояло в приписке. Эти слова изучили девушку, но в то же время успокоили ее.

Время двигалось медленно. Наконец назначенный час наступил. Пунктуальная, как жрица Геро, Луиза подняла люк, едва только пробило два чага, и увидела внизу короля, почтительно подавшего ей руку. Это внимание глубоко ее тронуло.

Когда Лавальер спустилась, к ней, улыбаясь, подошел граф и с изысканным поклоном поблагодарил за оказанную честь. Потом, обернувшись к королю, он прибавил:

– Государь, он здесь.

Лавальер с беспокойством взглянула на Людовика.

– Мадемуазель, – сказал король, – я не без умысла просил вас оказать мне честь и спуститься сюда. Я пригласил прекрасного художника, умеющего в совершенстве передавать сходство, и желаю, чтобы вы разрешили ему написать ваш портрет. Впрочем, если вы непременно этого потребуете, портрет останется у вас.

Лавальер покраснела.

– Вы видите, – добавил король, – мы будем здесь даже не втроем, а вчетвером. Словом, если мы не наедине, здесь будет столько гостей, сколько вы пожелаете.

Лавальер тихонько пожала пальцы короля.

– Перейдем в соседнюю комнату, если будет угодно вашему величеству, предложил де Сент-Эньян.

Он открыл дверь и пропустил гостей.

Король шел за Лавальер, любуясь ее нежной розовой шеей, на которую спускались завитки белокурых волос. Лавальер была в светло-сером шелковом платье; агатовое ожерелье оттеняло белизну ее кожи. В маленьких изящных руках она держала букет из анютиных глазок и бенгальских роз, над которыми, точно чаша с ароматами, возвышался гарлемский тюльпан с серовато-фиолетовыми лепестками, стоивший садовнику пяти лет усердных трудов, а королю пяти тысяч ливров.

В комнате, только что открытой де Сент-Эньяном, стоял молодой человек в бархатном костюме, с красивыми черными глазами и густыми черными волосами. Это был художник.

Холст был приготовлен, на палитре лежали краски. Художник поклонился мадемуазель де Лавальер с любопытством артиста, изучающего свою модель, и сдержанно поздоровался с королем, как с обыкновенным дворянином. Потом, подведя мадемуазель де Лавальер к приготовленному для нее креслу, он попросил ее сесть.

Молодая девушка села в кресло грациозно и непринужденно; в руках она держала цветы,

ноги вытянула на подушку, и художник, чтобы придать взгляду девушки большую естественность, предложил ей чем-нибудь заняться. Людовик XIV с улыбкой опустил на подушки у ног своей возлюбленной. Таким образом, Лавальер сидела, откинувшись на спинку кресла, с цветами в руке, а король, подняв глаза, пожирал ее взглядом. Художник несколько минут с удовольствием наблюдал эту группу, а де Сент-Энъян смотрел на нее с завистью.

Художник быстро сделал эскиз; затем после первых же мазков на сером фоне стало выступать поэтичное лицо с кроткими глазами и розовыми щеками, обрамленное золотистыми локонами.

Влюбленные говорили мало и все смотрели друг на друга. Иногда глаза их делались такими томными, что художнику приходилось прерывать работу, чтобы не изобразить вместо Лавальер Эрицину. Тогда на выручку приходил де Сент-Энъян: он декламировал стихи или рассказывал историю в духе Патрю или Талемаи де Рео.

Когда Лавальер уставала, делали перерыв.

Аксессуарами к этой картине служили поднос из китайского фарфора с самыми лучшими плодами, какие можно было найти, херес, сверкавший топазами в серебряных кубках, но художнику предстояло увековечить только лицо, самое эфемерное явление из всего окружающего.

Людовик упивался любовью, Лавальер – счастьем, де Сент-Энъян – честолюбием.

Так прошло два часа; когда часы пробили четыре, Лавальер встала и подала королю знак. Людовик поднялся, подошел к картине и сделал несколько комплиментов художнику. Де Сент-Энъян похвалил сходство, очень заметное уже после первого сеанса. Лавальер, в свою очередь, краснея, поблагодарила художника и удалилась в соседнюю комнату, куда за ней пошел король, позвав де Сент-Энъяна.

– До завтра, не правда ли? – обратился к Лавальер Людовик.

– Но если ко мне придут, государь, и не застанут меня?

– Так что же?

– Что будет со мной?

– Какая вы трусиха, Луиза!

– А если за мной придет принцесса?

– Неужели не наступит день, когда вы сами попросите меня не считаться ни с чем и не расставаться с вами? – воскликнул король.

– В тот день, государь, я буду безумна, и вы не должны будете слушать меня.

– До завтра, Луиза.

Лавальер вздохнула; потом, не имея сил сопротивляться просьбе короля, чуть слышно произнесла:

– Раз вы этого хотите, государь, до завтра.

И с этими словами поднялась по лестнице и исчезла.

– Что вы скажете, государь? – спросил де Сент-Энъян, когда она скрылась.

– Скажу, что вчера я считал себя счастливейшим из смертных.

– Неужели сегодня ваше величество считает себя самым несчастным из них? – с улыбкой сказал граф.

– Нет. Но эта любовь – неутолимая жажда; напрасно я ловлю капли влаги, которые твоя изобретательность доставляет мне: чем больше я пью, тем больше мне хочется пить.

– Государь, в этом отчасти повинны вы сами. Ваше величество сами создали настоящее положение вещей.

– Ты прав.

– Поэтому в подобных случаях, государь, лучшее средство быть счастливым – считать себя удовлетворенным и ждать.

– Ждать? Тебе, значит, знакомо слово «ждать»?

– Полно, государь, полно, не огорчайтесь. Я уже придумал кое-что, придумаю и еще.

Король безнадежно покачал головой.

– Как, государь? Вы уже недовольны?

– Доволен, дорогой де Сент-Эньян. Но придумывай скорее, придумывай новое.

– Государь, я обещаю вам подумать, вот все, что я могу сказать.

Не имея возможности любоваться оригиналом, король захотел еще раз взглянуть на портрет. Он указал художнику на некоторые недостатки и ушел. После этого де Сент-Эньян отпустил художника.

Мольберт, краски, палитра еще не были убраны, как из-за портьеры высунулась голова Маликорна. Де Сент-Эньян принял его с распростертыми объятиями, но в то же время с некоторой грустью. Облако, омрачившее царственное солнце, в свою очередь, затмило и его верного спутника. Маликорн сразу заметил этот налет грусти на лице де Сент-Эньяна.

– Что это, граф, вы так мрачны? – поинтересовался он.

– Не мудрено, мой милый. Поверите ли вы, что король недоволен.

– Недоволен лестницей?

– Нет, напротив, лестница ему очень понравилась.

– Значит, убранство комнат пришлось ему не по вкусу?

– На него он даже не обратил внимания. Нет, королю не понравилось...

– Понимаю, граф: ему не понравилось, что на любовном свидании присутствовало два свидетеля. Как же вы, граф, не предусмотрели этого?

– Как мог я предусмотреть, дорогой Маликорн, если я в точности исполнил предписание короля.

– Его величество действительно настаивал на вашем присутствии?

– Очень настаивал.

– И пригласил также художника, которого я сейчас встретил?

– Потребовал, господин Маликорн, потребовал!

– В таком случае я отлично понимаю причину недовольства его величества.

– Каким же образом он мог остаться недоволен буквальным исполнением своего распоряжения? Ничего не понимаю.

Маликорн почесал затылок.

– В котором часу король назначил свидание? – спросил он.

– В два часа.

– А вы ожидали короля с какого часа?

– С половины второго.

– Неужели?

– Как же иначе? Хорош был бы я, если бы опоздал!

Несмотря на все уважение к де Сент-Эньяну, Маликорн не удержался и пожал плечами.

– А художнику король тоже велел прийти к двум часам? – спросил он.

– Нет. Но я привел его сюда к двенадцати. Лучше, чтобы художник подождал два часа, чем король одну минуту.

Маликорн залился беззвучным смехом.

– Лучше, мой милый, поменьше смейтесь и побольше говорите, – обиженно заметил де Сент-Эньян.

– Вы требуете?

– Умоляю.

– Так вот что, граф: если вы желаете, чтобы король был доволен, то в следующий же раз, когда он придет...

– Он придет завтра.

– Итак, если вы хотите, чтобы король завтра был доволен...

– Хочу ли я? Что за вопрос!

– Ну так завтра, когда придет король, у вас должно найтись самое неотложное дело и вам во что бы то не стало надо будет отлучиться.

– Что вы говорите?

– На двадцать минут.

– Оставить короля одного на целых двадцать минут?! – в ужасе воскликнул де

Сент-Эньян.

– Ну, ладно, допустим, что я ничего не сказал, – проговорил Маликорн, направляясь к двери.

– Нет, нет, дорогой Маликорн, напротив, выскажитесь до конца, я начинаю понимать. А художник, художник?

– Ну, а художник пусть запоздает на полчаса.

– Вы думаете, на полчаса?

– Да, я думаю.

– Дорогой мой, я так и сделаю.

– И я уверен, что не пожалеете. Вы мне позволите зайти завтра справиться?

– Конечно.

– Имею честь быть вашим покорным слугой, господин де Сент-Эньян.

И Маликорн удалился с почтительным поклоном.

– Положительно, этот малый умнее меня, – молвил де Сент-Эньян, убежденный его доводами.

Глава 44. ГЕМПТОН-КОРТ

Откровенная беседа между Монтале и Луизой в конца предпоследней главы, естественно, приводит нас к главному герою нашей повести – бедному странствующему рыцарю, изгнанному из Парижа прихотью короля.

Если читателю угодно последовать за нами, мы пере – правимся вместе с ним через пролив, отделяющий Кале от Дувра; пересечем плодородную зеленую равнину, орошенную тысячами ручейков, которая окружает Черинг, Медстон и десяток других городков, один живописнее другого, и окажемся, наконец, в Лондоне. А из Лондона, узнав, что Рауль, побывав в Уайт-Холле, а затем в Сент-Джемсе, был принят Монком и получил доступ в самое избранное общество Карла II, мы, как ищейки, последуем за ним в одну из летних резиденций Карла II, Гемптон-Корт, на берегу Темзы, недалеко от Кингстона.

В этом месте река еще не является тем оживленным путем, по которому ежедневно передвигается до полумиллиона путешественников; тут она еще не вздымает свои волны, черные, как воды Коцита, говоря: «Я тоже море».

Нет, это еще тихая и зеленая речка с мшистыми берегами, с большими широкими заводами, отражающими ивы и буки, с редкими лодками, уснувшими там и сям среди тростников, в бухточках, поросших ольхой и незабудками.

Пейзаж очень красивый и спокойный. Кирпичный дом прорывает своими трубами, откуда выются синие струйки дыма, плотную стену зеленого остролистника. Среди высокой травы то показывается, то исчезает ребенок в красной блузе, словно мак, колеблемый дуновением ветра.

Большие белые овцы, закрыв глаза, пережевывают жвачку в тени невысоких осин, и время от времени мартын-рыболов, сверкая золотисто-изумрудными перьями, точно мячик, несется над водой и легкомысленно задевает лесу своего собрата рыбака, подстерегающего линя или окуня.

Над всем этим раем, сотканным из глубокой тени и мягкого света, возвышается замок Гемптон-Корт, построенный кардиналом Уолси и внушивший зависть даже королю, так что его владелец принужден был подарить его своему повелителю, Генриху VIII.

Гемптон-Корт, с коричневыми стенами, большими окнами, красивыми железными решетками, с тысячами башенок, со странными колоколенками, с потайными ходами и фонтанами во дворе, как в Альгамбре, Гемптон-Корт – колыбель роз и жасминов. Он радует зрение и обоняние, он является очаровательной рамкой для прелестной любовной картины, созданной Карлом II, среди великолепных полотен Тициана, Порденоне и Ван-Дейка, – тем самым Карлом II, в галерее которого висел портрет казненного Карта I и на деревянной

обшивке его видны были дыры от пуританских пуль, выпущенных солдатами в Кромвеля 24 августа 1648 года, когда они привели Карла I в Гемптон-Корт в качестве пленника.

Тут собирал свой двор его сын, вечно жаждавший удовольствий, этот поэт в душе, недавний бедняк, который днями наслаждений возмещал каждую минуту, проведенную в лишениях и нищете.

Не мягкий газон Гемптон-Корта, такой нежный, что кажется, будто идешь по бархату; не громадные липы, ветви которых, как у ив, свисают до самой земли и скрывают в своей тени любовников и мечтателей; не клумбы пышных цветов, опоясывающих ствол каждого дерева и служащих ложем для розовых кустов в двадцать футов вышины, которые раскидываются в воздухе, как огромные снопы, – не эти красоты любил Карл II в прекрасном дворце Гемптон-Корт.

Но, может быть, он любил красноватую гладь реки, покрывавшуюся морщинами от малейшего ветерка и колеблющуюся, словно волнистые волосы Клеопатры? Или пруды, заросшие ряской и белыми кувшинками, раскрывающими молочно-белые лепестки, чтобы показать золотистую сердцевинку? Эти таинственные лепечущие воды, по которым плавали черные лебеди и маленькие прожорливые утки, гонявшиеся за зелеными мухами, вьющимися над цветами, и за лягушатами в их убежищах из прохладного мха?

Может быть, его привлекали огромные остролистники, легкие мостики, переброшенные через каналы, серны, мелькавшие в бесконечных аллеях, или трясогузки, порхавшие среди букса и клевера?

Все это есть в Гемптон-Корте; а кроме того – шпалеры белых роз, вьющихся по высоким трельяжам и усыпающих землю благоуханным снегом своих лепестков. В тамошнем парке есть также старые смоковницы с позеленевшими стволами и с корнями, ушедшими в поэтические и роскошные пласты мха.

Нет, Карл II любил в Гемптон-Корте очаровательные женские фигуры, которые после полудня мелькали по террасам; он, подобно Людовику XIV, приказывал выдающимся художникам запечатлевать их красоту, так что на полотнах осталось увековеченным множество красивых глаз, лучившихся любовью.

В день, когда мы приезжаем в Гемптон-Корт, небо почти так же нежно и ясно, как во Франции, в воздухе влажная теплота; от герани, душистого горошка и гелиотропа, тысячами разбросанных по цветнику, распространяется пьянящий аромат.

Час дня. Вернувшись с охоты, король пообедал, побывал у герцогини Каслмен и, доказав таким образом свою верность официальной любовнице, может до вечера со спокойной совестью изменять ей. Весь двор резвится и флиртует. Дамы серьезно спрашивают у кавалеров, какие чулки им больше подходят: розовые или зеленые. Карл II объявляет, что единственное спасение для женщины – зеленые шелковые чулки, потому что такие чулки носит мисс Люси Стюарт.

Пока король убеждает других перенять его вкусы, мы займемся направляющейся ко дворцу по буковой аллее молодой дамой в темном, об руку с другой дамой, одетой в лиловое платье.

Они миновали газон, посреди которого возвышался красивый фонтан с бронзовыми сиренами, и, беседуя, поднялись на террасу, вдоль которой тянулось несколько павильонов различной формы; почти все они были заняты, и молодые женщины прошли мимо, не останавливаясь, причем одна покраснела, а другая задумалась.

Наконец они достигли конца террасы, выходящей на Темзу, и, отыскав тенистый и прохладный уголок, уселись на скамью.

– Куда мы идем, Стюарт? – спросила младшая.

– Ты ведешь, дорогая Грефтон, и я иду за тобой.

– Я?

– Конечно, ты! Туда, где на скамейке ждет и вздыхает молодой француз.

Мисс Мэри Грефтон моментально остановилась.

– Нет, нет! Я не хочу туда.

– Почему?

– Вернемся, Стюарт.

– Напротив, пойдем дальше и объяснимся.

– По поводу чего?

– По поводу того, что виконт де Бражелон всегда встречается с тобой, когда ты выходишь, и ты всегда встречаешься с ним, когда он выходит.

– И отсюда ты заключаешь, что он меня любит или что я его люблю?

– А почему бы и нет? Он очаровательный гоноша. Надеюсь, никто меня не слышит? – сказала мисс Люси Стюарт, оглядываясь с улыбкой, доказывавшей, впрочем, что ее беспокойство не столь велико.

– Нет, нег, – отвечала Мэри, – король в своем овальном кабинете с герцогом Бекингэмом.

– Кстати, по поводу герцога, Мэри...

– Что?

– Мне кажется, что после возвращения из Франции он объявил себя твоим рыцарем. Как ты к этому относишься?

Мэри Грефтон пожала плечами.

– Ну, хорошо! Я спрошу об этом красавца Бражелона, – засмеялась Стюарт. – Пойдем скорей к нему.

– Зачем?

– Мне нужно с ним поговорить.

– Подожди. Мне раньше нужно поговорить с тобой. Скажи, Стюарт, ведь ты знаешь маленькие секреты короля?

– Ты думаешь?

– Кому же больше их знать! Скажи, почему господин де Бражелон в Англии? Что он здесь делает?

– То, что делает всякий дворянин, посланный одним королем к другому.

– Допустим. Однако хотя мы и не сильны в политике, мы все же настолько смыслим в ней, чтобы видеть, что у господина де Бражелона нет здесь никакого серьезного дела.

– Послушай, – сказала Стюарт с деланной важностью. – Я, так и быть, выдам тебе государственную тайну. Хочешь, я перескажу тебе верительное письмо короля Людовика Четырнадцатого к его величеству Карлу Второму, привезенное господином Бражелоном?

– Конечно, хочу.

– Вот оно: «Брат мой! Я посылаю вам придворного, сына человека, которого вы любите. Прошу вас хорошо принять его и внушить ему любовь к Англии».

– Только и всего?

– Да... или что-то в этом роде. Не отвечаю за точность выражений, но смысл такой.

– И что же отсюда следует? Или, верное, какой вывод сделал король?

– Что у его величества, короля Франции, был какой-то повод удалить господина де Бражелона и женить его... где-нибудь за пределами Франции.

– Значит, благодаря этому письму...

– Как тебе известно, король и – Кольбер принял господина де Бражелона великолепно и по-дружески; он предоставил ему лучшую комнату в Уайт-Холле, и так как ты являешься теперь украшением двора, ты отвергла любовь короля... полно, не красней... то король пожелал расположить тебя к французу и поднести ему прекрасный подарок. Вот почему ты – наследница трехсот тысяч, будущая герцогиня, красивая и добрая – участвуешь, по желанию короля, во всех прогулках, предпринимаемых господином де Бражелоном. Словом, тут устроено нечто вроде заговора. И вот, если ты хочешь поджечь фитиль, я даю тебе огонь.

Мисс Мэри очаровательно улыбнулась и пожала руку подруги:

– Поблагодари короля.

– Непременно. Но берегись, господин Бекингэм ревнив! – погрозила Стюарт.

Не успела она произнести эти слова, как из одного павильона на террасе появился герцог

и, подойдя к дамам, с улыбкой сказал:

– Вы ошибаетесь, мисс Люси. Я не ревнив, и вот вам доказательство, мисс Мэри: вон там мечтает в одиночестве виконт де Бражелон, который, по-вашему, должен быть причиной моей ревности. Бедняга! Надеюсь, что вы не откажетесь разделить его одиночество, а я хочу побеседовать наедине с мисс Люси Стюарт.

И, поклонившись Люси, герцог прибавил:

– Разрешите мне предложить вам руку и проводить к королю, который ждет вас.

С этими словами Бекингэм увел мисс Люси Стюарт.

Оставшись одна, Мэри Грефтон сидела несколько мгновений неподвижно, потупив голову с грацией, свойственной молоденьким англичанкам; глаза ее были нерешительно устремлены на Рауля, а в сердце шла борьба, о которой можно было судить по тому, что ее щеки то бледнели, то алели. Наконец она, по-видимому, решила и довольно твердыми шагами подошла к скамейке, на которой, как сказал герцог, Рауль мечтал в одиночестве.

Как ни легки были шаги мисс Мэри, звук их привлек внимание Рауля. Он оглянулся, заметил молодую девушку и пошел ей навстречу.

– Меня к вам послали, сударь, – заговорила Мэри Грефтон, – вы меня принимаете?

– Кому же я обязан таким счастьем, мадемуазель, – спросил Рауль.

– Господину Бекингэму, – с притворной веселостью поклонилась Мэри.

– Герцогу Бекингэму, который так добивается вашего драгоценного общества? Возможно ли, мадемуазель?

– Право, сударь, как видите, все сговорились устроить так, чтобы мы проводили вместе лучшую или, вернее, большую часть дня. Вчера король мне приказал быть за столом подле вас; сегодня герцог предлагает мне посидеть с вами на скамейке.

– И он ушел, чтобы освободить место? – в смущении произнес Рауль.

– Посмотрите на поворот аллеи: он уходит с мисс Стюарт. Скажите, виконт, у вас во Франции кавалеры тоже оказывают такие любезности?

– Я не могу, мадемуазель, сказать вам в точности, что делают во Франции, потому что меня едва ли можно назвать французом. Я побывал во многих странах, почти всегда в качестве солдата; кроме того, я провел много времени в деревне. Я настоящий дикарь.

– Англия вам не нравится, не правда ли?

– Не знаю, – рассеянно и со вздохом отвечал Рауль.

– Как не знаете?

– Простите, – поспешно проговорил Рауль, встряхивая головой и собираясь с мыслями. – Простите, я не расслышал.

– Ах, – вздохнула девушка, – напрасно герцог Бекингэм прислал меня сюда!

– Напрасно? – с живостью спросил Рауль. – Да, вы правы, я человек угрюмый, вам со мной скучно. Господину Бекингэму не следовало посылать вас ко мне.

– Именно потому, что мне не скучно с вами, – возразила Мэри своим нежным голосом, – господину Бекингэму не следовало посылать меня к вам.

Рауль смутился и покраснел.

– Каким образом господин Бекингэм мог послать вас ко мне? Ведь он вас любит, и вы его любите...

– Нет, – отвечала Мэри, – нет, герцог Бекингэм не любит меня, он любит герцогиню Орлеанскую; что же касается меня, то я не питаю никаких чувств к герцогу.

Рауль с удивлением посмотрел на девушку.

– Вы друг герцога, виконт? – спросила она.

– Герцог удостаивает меня чести называть своим другом, с тех пор как мы познакомились с ним во Франции.

– Значит, вы простые знакомые?

– Нет; потому что герцог Бекингэм близкий друг человека, которого я люблю, как брата.

– Графа де Гиша?

– Да, мадемуазель.

– Который влюблен в герцогиню Орлеанскую?

– Что вы говорите?

– И любим ею, – спокойно закончила девушка.

Рауль опустил голову; мисс Мэри Грефтон продолжала со вздохом:

– Они очень счастливы... Покиньте меня, господин де Бражелон, потому что герцог весьма неудачно предложил меня вам в спутницы. Ваше сердце занято другой, и вы дарите мне ваше внимание, как милостыню. Сознаться, сознаться... Было бы дурно с вашей стороны, виконт, не сказать правды.

– Извольте, я сознаюсь.

Грефтон взглянула на него. Бражелон держался так просто и был так красив, в глазах его светилось столько прямоты и решимости, что мисс Мэри не могла заподозрить его в невежливости или глупости. Она поняла, что Рауль любит другую, любит самым искренним образом!

– Да, конечно, – проговорила она. – Вы влюблены в какую-нибудь француженку.

Рауль поклонился.

– Герцог знает о вашей любви?

– О ней никто не знает, – отвечал Рауль.

– Почему же вы сказали об этом мне?

– Мадемуазель...

– Признайтесь.

– Не могу.

– Значит, первый шаг придется сделать мне. Вы не хотите говорить, так как убеждены теперь, что я не люблю герцога, что я, может быть, полюбила бы вас. Вы искренний и скромный человек, не желающий профанировать настоящее чувство; вы предпочли сказать мне, несмотря на вашу молодость и мою красоту: «Моя любовь во Франции». Благодарю вас, господин де Бражелон, вы благородный человек, и я впредь буду еще больше любить вас... по-дружески. Но довольно обо мне, поговорим о вас. Забудьте, что мисс Грефтон говорила вам о себе, скажите мне лучше, почему вы печальны, почему за последние дни вы стали грустить еще больше?

Рауль был до глубины сердца взволнован этим нежным и задушевым голосом; он не нашелся, что ответить, и Мэри снова пришла ему на помощь.

– Пожалейте меня, – сказала она. – Моя мать была француженка. Значит, я могу сказать, что по крови и душой я француженка. Но над моей французской пылкостью вечно расстилается английский туман и английская хандра. Именно у меня рождаются золотые грезы об упоительном счастье, но туман окутывает их, и они истаивают. Так произошло и теперь. Простите, довольно об этом, дайте мне вашу руку и поведайте другу о своих горестях.

– Вы говорите, что вы француженка душой и по крови?

– Да, моя мать была француженкой, а мой отец, друг короля Карла Первого, эмигрировал во Францию; таким образом, во время суда над королем и правления Кромвеля я воспитывалась в Париже. После реставрации Карла Второго мой отец вернулся в Англию и почти тотчас же умер. Тогда король пожаловал мне титул герцогини и увеличил мои владения.

– У вас есть родственники во Франции?

– Есть сестра, которая старше меня на семь или восемь лет; она вышла замуж во Франции и успела уже овдоветь. Это маркиза де Бельер.

Рауль встал с места.

– Вы ее знаете?

– Я слышал это имя.

– Она тоже любит, и ее последние письма говорят мне, что она счастлива. У меня, как я уже сказала вам, господин де Бражелон, половина ее души, но нет и сотой доли ее счастья. Поговорим теперь о вас. Кого вы любите во Франции?

– Одну милую девушку, чистую и нежную, как лилия.

– Но если она тоже любит вас, то почему вы печальны?

- До меня дошли слухи, что она меня больше не любит.
- Надеюсь, вы им не верите?
- Письмо, в котором сообщается об этом, не подписано.
- Аноним! Тут кроется предательство, – проговорила мисс Грефтон.
- Взгляните, – сказал Рауль, подавая девушке сто раз прочитанную им записку.

Мэри Грефтон взяла листок и прочла:

«Виконт, вы хорошо делаете, что развлекаетесь с придворными красавицами в Англии, потому что при дворе короля Людовика Четырнадцатого замок вашей любви осажден. Оставайтесь поэтому в Лондоне навсегда, бедный виконт, или скорее возвращайтесь в Париж».

- Без подписи? – спросила Мэри.
- Без подписи.
- Значит, не верьте.
- Но я получил еще одно письмо.
- От кого?
- От господина де Гиша.
- О, это другое дело! Что же он вам пишет?
- Читайте.

*«Друг мой, я ранен, болен. Вернитесь, Рауль, вернитесь!
Де Гиш».*

- Что же вы собираетесь делать? – спросила Мэри, у которой замерло сердце.
- Получив это письмо, я хотел было тотчас же испросить согласия короля на отъезд.
- Когда же вы получили письмо?
- Позавчера.
- На нем стоит пометка «Фонтенбло».
- Странно, не правда ли? Двор в Париже. Словом, я уехал бы. Но когда я обратился к королю с просьбой об отъезде, он рассмеялся и сказал:

«Господин посол, почему вы решили уехать? Разве ваш государь отзывает вас?» Я покраснел, смутился. В самом деле, король послал меня сюда, и я не получил от него приказания вернуться.

Мэри сдвинула брови и задумалась.

- И вы остаетесь? – поразились она.
- Приходится, мадемуазель.
- А та, кого вы любите...
- Да?
- Она вам писала?
- Ни разу.
- Ни разу? Значит, она вас не любит?
- По крайней мере, со времени моего отъезда в Англию она не прислала ни одного письма.

- А прежде писала?
- Иногда... О, я уверен, ей что-нибудь помешало!
- Вот и герцог: ни слова о нашем разговоре!

Действительно, в конце аллеи показался герцог; он был один и с улыбкой подошел к собеседникам, протягивая им руку.

- Договорились? – поинтересовался он.
- О чем? – удивилась Мэри Грефтон.
- О том, что может сделать вас счастливой, дорогая Мэри, и рассеять грусть Рауля.
- Я не понимаю вас, милорд, – произнес Рауль.
- Разрешите мне говорить при виконте, мисс Мэри? – с улыбкой попросил Бекингэм.

– Если вы хотите сказать, – гордо отвечала Мэри, – что я готова была полюбить господина де Бражелона, то не трудитесь. Я сама уже сказала ему об этом.

Немного подумав, Бекингэм без всякого смущения ответил:

– Я оставил вас с виконтом именно потому, что знаю ваш тонкий ум и деликатность; его больное сердце может исцелить только такой искусный врач, как вы.

– Но ведь прежде, чем заговорить о сердце господина де Бражелона, вы говорили мне о вашем собственном. Значит, вы хотите, чтобы я принялась лечить сразу два сердца?

– Это правда, мисс Мэри. Но вы должны признать, что я быстро отказался от вашей помощи, убедившись в неизлечимости своей раны.

Мэри на мгновение задумалась.

– Милорд, – продолжала она, – господин де Бражелон счастлив. Он любит и любим. Следовательно, и ему не нужно врача.

– Господина де Бражелона, – сказал Бекингэм, – ждет тяжелая болезнь, и ему больше, чем когда-нибудь, понадобится заботливое лечение.

– Что вы имеете в виду, милорд? – с живостью спросил Рауль.

– Вам я ничего не скажу. Но если вы желаете, я посвящу мисс Мэри в такие вещи, которых вам нельзя слышать.

– Милорд, вы что-то знаете и подвергаете меня пытке!

– Я знаю, что мисс Мэри Грефтон самое очаровательное создание, какое может встретить на своем пути больное сердце.

– Милорд, я уже сказала вам, что виконт де Бражелон любит другую, проговорила Мэри.

– Напрасно.

– Вы что-то скрываете, герцог! Объясните, почему я люблю напрасно?

– Но кого же он любит? – вскричала Мэри.

– Он любит женщину, недостойную его, – спокойно отвечал Бекингэм с флегматичностью, которая свойственна только англичанам.

Мисс Мэри Грефтон вскрикнула, и ее порыв не меньше, чем слова Бекингэма, поверг Бражелона в трепет.

– Герцог, вы произнесли слова, объяснения которых я, не медля ни секунды, отправляюсь искать в Париже.

– Вы останетесь здесь, – твердо произнес Бекингэм.

– Я?

– Да, вы.

– Почему же?

– Да потому, что вы не имеете права уехать, и поручения, данного королем, не бросают ради женщины, хотя бы она была так же достойна любви, как Мэри Грефтон.

– В таком случае объясните мне все.

– Хорошо. Но вы останетесь?

– Да, если вы будете со мной откровенны.

Бекингэм открыл уже рот, чтобы рассказать все, что он знал, но в эту минуту в конце террасы показался лакей и подошел к павильону, в котором находился король с мисс Люси Стюарт. За лакеем следовал запыленный курьер, очевидно, всего только несколько минут тому назад ступивший на землю.

– Курьер из Франции! От принцессы! – вскричал Рауль, узнав ливрею слуг принцессы.

Курьер попросил доложить о себе королю: герцог СЕ мисс Грефтон обменялись многозначительными взглядами.

Глава 45. КУРЬЕР ПРИНЦЕССЫ

Карл II доказывал или пытался доказать мисс Стюарт, что он думает только о ней; он обещал ей такую же любовь, какую его дед, Генрих IV, испытывал к Габриэли. К несчастью

для Карла II, он неудачно выбрал день, ибо как раз в этот день мисс Стюарт вздумала заставить его ревновать.

Поэтому, выслушав уверения короля, она совсем не растрогалась, как надеялся Карл II, а звонко расхохоталась.

— Ах, государь, государь! — со смехом воскликнула она. — Если бы я захотела попросить у вас доказательства вашей любви, как мне было бы легко уличить вас во лжи.

— Послушайте, — сказал ей Карл, — вы знаете мои картины Рафаэля, знаете, как я ими дорожу. Все мне завидуют. Вы знаете также, что мой отец купил их через Ван-Дейка. Хотите, я сегодня же прикажу отнести их к вам?

— Нет, — отвечала мисс Стюарт, — держите их у себя, государь, мне негде поместить таких знатных гостей.

— В таком случае я подарю вам Гемптон-Корт.

— К чему такая щедрость, государь, лучше любите подольше, вот все, чего я от вас прошу.

— Я буду любить вас всегда. Довольно этого?

— Вы смеетесь, государь.

— Разве вы хотите, чтобы я плакал?

— Нет, но мне хотелось бы видеть вас в более меланхолическом настроении.

— Боже сохрани, красавица. Я уже достаточно погоревал: четырнадцать лет изгнания, бедности, унижений! Мне кажется, долг уплачен; кроме того, меланхолия нам не к лицу.

— Вы ошибаетесь: взгляните на молодого француза.

— На виконта де Бражелона? Вы тоже? Вот проклятие! Видно, все мои дамы с ума сойдут из-за него. Но ведь у него есть причина для меланхолии.

— Какая?

— Вы хотите, чтобы я выдал вам государственную тайну?

— Да, хочу; ведь вы сказали, что готовы сделать все, чего я пожелаю.

— Ну, хорошо, ему здесь скучно. Довольны вы?

— Ему скучно?

— Да. Разве это не доказывает, что он глуп?

— Почему же глуп?

— Да как же! Посудите: я ему позволяю любить мисс Мэри Грегтон, а он скучает!

— Мило! Значит, если бы мисс Люси Стюарт не любила вас, вы утешились бы, полюбив мисс Мэри Грегтон?

— Я этого не говорю. Ведь вы отлично знаете, что Мэри Грегтон меня не любит, а утратив любовь, человек утешается, только найдя новую любовь.

Но, повторяю, речь идет не обо мне, а об этом молодом человеке. Правда, подумаешь, что та, кого он покидает — Елена; понятно, Елена до Париса.

— Значит, этот молодой человек кого-то покидает?

— Вернее, его покидают.

— Бедняга! Ну что ж, поделом!

— Почему поделом?

— А зачем он уехал?

— Вы думаете, он уехал по своей воле?

— Неужели его заставили?

— Ему приказали, дорогая Стюарт; он уехал из Парижа по приказанию.

— По чьему же приказанию?

— Угадайте.

— По приказанию короля?

— Именно.

— Вы мне открываете глаза.

— По крайней мере, никому не говорите об этом.

— Вы знаете, что я сдержаннее иного мужчины. Итак, его усилал король?

– Да.
– Ив его отсутствие похищает его возлюбленную?
– Да, и представьте, бедный мальчик, вместо того чтобы благодарить короля, жалуется!
– Благодарить короля за похищение возлюбленной? Разве можно говорить такие вещи при женщинах, особенно при любовницах, государь?

– Но поймите меня: если бы та, кого отнимает у него король, была мисс Грефтон или мисс Стюарт, я разделял бы его мнение и даже считал бы, что он мало горюет; но это какая-то чахоточная хромоножка... К черту верность, как говорят во Франции! Отказываться от богатой ради бедной, от любящей ради обманщицы, – да виданное ли это дело?

– А вы думаете, государь, что Мэри действительно хочет понравиться виконту?
– Думаю.
– Тогда виконт привыкнет к Англии. Мэри девушка с головой и добьется своего.
– Боюсь, дорогая мисс Стюарт, что этого не будет: только вчера виконт просил у меня разрешения уехать.

– И вы ему отказали?
– Еще бы; Людовик очень желал его увидеть, а мое самолюбие теперь задето; я не хочу, чтобы говорили, будто я предложил этому юноше самую соблазнительную приманку в Англии...

– Вы очень любезны, государь, – с очаровательной улыбкой сказала мисс Стюарт.
– Разумеется, мисс Стюарт не в счет, – извинился король. – Она приманка королевская, и раз я попался на нее, надеюсь, никто другой на нее не покусится... Итак, я не хочу понапрасну строить глазки этому юнцу; он останется здесь и здесь женится, клянусь вам!..

– И надеюсь, когда женится, не станет сердиться на ваше величество, а будет вам признателен. Здесь все наперерыв стараются угодить ему, даже господин Бекингэм, который – невероятная вещь! – уступает ему дорогу.

– И даже мисс Стюарт, которая называет его очаровательным!
– Послушайте, государь, вы достаточно хвалили мне мисс Грефтон, разрешите же и мне похвалить немного господина де Бражелона. Кстати, с некоторых пор ваша доброта удивляет меня; вы думаете об отсутствующих, прощаете обиды, вы почти что совершенство. Откуда это?..

Карл II рассмеялся.

– Все это потому, что вы позволяете мне любить себя.
– О, наверное, есть еще и другая причина!
– Да, я оказываю любезность моему брату, Людовику Четырнадцатому.
– И это не все.
– Ну, если вы уж так добиваетесь, я вам скажу: Бекингэм поручил моему попечению этого юношу, сказав: «Государь, ради виконта де Бражелона я отказываюсь от мисс Грефтон; последуйте моему примеру».

– О, герцог – рыцарь, что и говорить!
– Полно! Теперь вы стали расхваливать Бекингэма. Кажется, вы намерены известить меня сегодня.

В этот момент в дверь постучали.

– Кто смеет беспокоить нас?
– Право, государь, – сказала Стюарт, – ваше «кто смеет» чересчур самонадеянно, и чтобы наказать вас...

Она сама подошла к двери и открыла ее.

– Ах, это курьер из Франции! Может быть, от моей сестры? – вскричал Карл.

– Да, государь – поклонился лакей – с чрезвычайным поручением.

– Пусть войдет поскорее, – приказал Карл.

Курьер вошел.

– У вас письмо от ее высочества герцогини Орлеанской?

– Да, государь, – отвечал курьер, – и настолько спешное, что я затратил только двадцать

шесть часов на доставку его вашему величеству, причем потерял в Кале три четверти часа.

– Ваше усердие будет вознаграждено, – сказал король, вскрывая письмо.

Прочитав его, он расхохотался.

– Право, я ничего не понимаю.

И снова прочитал письмо.

Мисс Стюарт держалась почтительно, подавляя жгучее любопытство.

– Френсис, – обратился король к лакею, – велите угостить курьера и уложите его спать, а завтра у изголовья он найдет кошелек с пятьюдесятью луидорами.

– Государь!

– Ступай, друг мой, ступай! У моей сестры были основания торопить тебя; дело спешное.

И он расхохотался еще громче.

Курьер, камердинер и сама мисс Стюарт не знали, как держаться.

– Ах! – воскликнул король, откидываясь на спинку кресла. – Подумать только, что ты загнал... сколько лошадей?

– Двух.

– Двух лошадей, чтобы привезти это известие! Ступай, друг мой, ступай.

Курьер удалился в сопровождении камердинера.

Карл II подошел к окну, открыл его и, высунувшись наружу, крикнул:

– Герцог Бекингэм, дорогой Бекингэм, идите скорее сюда!

Герцог поспешил на зов, но, увидев мисс Стюарт, остановился на пороге, не решаясь войти.

– Войди же, герцог, и запри за собой дверь.

Бекингэм повиновался и, видя, что король весел, с улыбкой подошел к нему.

– Ну, дорогой герцог, как твои дела с французом?

– Я почти в отчаянии, государь.

– Почему?

– Потому что очаровательная мисс Грефтон хочет выйти за него замуж, а он не желает жениться на ней.

– Да этот француз какой-то простак! – воскликнула мисс Стюарт. Пусть он скажет да или нет. Нужно этому положить конец.

– Но вы знаете или должны знать, сударыня, – серьезно произнес герцог, – что господин де Бражелон любит другую.

– В таком случае, – заметил король, приходя на помощь мисс Стюарт, пусть он попросту скажет нет.

– А я ему все время доказывал, что он поступает дурно, не говоря да!

– Значит, ты сообщил ему, что Лавальер его обманывает?

– Да, совершенно недвусмысленно.

– Что же он сказал в ответ?

– Так подпрыгнул, точно собирался перескочить Ла-Манш.

– Наконец-то он сделал хоть что-нибудь! – вздохнула мисс Стюарт. – И то хорошо.

– Но я удержал его, – продолжал Бекингэм, – я оставил его с мисс Мэри и надеюсь, что теперь ни не уедет, как собирался.

– Он собирался ехать? – воскликнул король.

– Одно мгновение мне казалось, что никакими человеческими силами его невозможно будет удержать; но глаза мисс Мэри устремлены на него: он останется.

– Вот ты и ошибся, Бекингэм! – сказал король, снова расхохотавшись. Этот несчастный обречен.

– Обречен на что?

– На то, чтобы быть обманутым или еще хуже: собственными глазами удостовериться в этом.

– На расстоянии и с помощью мисс Грефтон удар будет ослаблен.

– Ничуть; ему не придет на помощь ни расстояние, ни мисс Грефтон.

Бражелон отправится в Париж через час.

Бекингэм вздрогнул, мисс Стюарт широко открыла глаза.

– Но ведь ваше величество знаете, что это невозможно, – пожал плечами герцог.

– Увы, дорогой Бекингэм, теперь невозможно обратное.

– Государь, представьте, что этот молодой человек – лев.

– Допустим.

– И что гнев его ужасен.

– Не спорю, друг мой.

– И если он увидит свое несчастье воочию, тем хуже для виновника этого несчастья.

– Очень может быть. Но что же делать?

– Будь этим виновником сам король, – вскричал Бекингэм, – я не поручился бы за его безопасность!

– О, у короля есть мушкетеры, – спокойно проговорил Карл. – Я знаю, что это такое: мне самому приходилось дожидаться в передней в Блуа. У него есть господин д'Артаньян. Вот это телохранитель! Я не побоялся бы двадцати разъяренных Бражелонов, если бы у меня было четверо таких стражей, как д'Артаньян!

– Все же, ваше величество, подумайте об этом, – настаивал Бекингэм.

– Вот смотри, – ответил Карл II, протягивая письмо герцогу, – и суди сам. Как бы ты поступил на моем месте?

Бекингэм взял письмо принцессы и медленно прочитал его, дрожа от волнения:

«Ради себя, ради меня, ради чести и благополучия всех немедленно отошлите во Францию виконта де Бражелона.

Преданная вам сестра Генриетта».

– Что ты на ото скажешь, герцог?

– Ей-богу, ничего, – отвечал ошеломленный Бекингэм.

– Неужели ты посоветуешь мне, – с ударением произнес король, – не послушаться моей сестры, когда она так настойчиво просит меня?

– Боже сохрани, государь, и все же...

– Ты не прочитал приписки, герцог; она внизу, и я сам не сразу заметил ее, читай.

Герцог развернул лист и прочитал:

«Тысяча приветствий тем, кто меня любит».

Герцог побледнел и поник головой; листок задрожал в его пальцах, точно бумага превратилась в тяжелый свинец.

Король подождал с минуту и, видя, что Бекингэм молчит, заговорил:

– Итак, пусть он повинуется своей судьбе, как мы повинемся нашей.

Каждый должен перенести свою меру страданий: я уже отстрадал за себя и за своих, я нес двойной крест. Теперь к черту заботы! Пришли мне, герцог, этого дворянина.

Герцог открыл решетчатую дверь павильона и, показывая королю на Рауля и Мэри, которые шли бок о бок, проговорил:

– Ах, государь, какая это жестокость по отношению к бедной мисс Грефтон.

– Полно, полно, зови! – сказал Карл II, хмуря черные брови. – Как все здесь стали чувствительны! Право, мисс Стюарт вытирает себе глаза. Ах, проклятый француз!

Герцог позвал Рауля, а сам предложил руку мисс Грефтон.

– Господин де Бражелон, – начал Карл II, – не правда ли, третьего дня вы просили у меня разрешения вернуться в Париж?

– Да, государь, – отвечал Рауль, озадаченный таким вступлением.

– И я вам отказал, дорогой виконт?

– Да, государь.
– Что же, вы остались недовольны мной?
– Нет, государь, потому что, конечно, у вашего величества были основания для отказа. Ваше величество так мудры и так добры, что все ваши решения надо принимать с благодарностью.

– Я как будто сослался при этом на то, что французский король не выражал желания отозвать вас из Англии?

– Да, государь. Вы действительно сказали это.

– Я передумал, господин де Бражелон; король действительно не назначил срока для вашего возвращения, но он просил меня позаботиться о том, чтобы вы не скучали в Англии; очевидно, вам здесь не нравится, если вы просите меня отпустить вас?

– Я не говорил этого, государь.

– Да, но ваша просьба означала, что жить в другом месте вам было бы приятнее, чем здесь.

В это мгновение Рауль обернулся к двери, где, прислонившись к косяку, рядом с герцогом Бекингэмом, стояла бледная и расстроенная мисс Грефтон.

– Вы не отвечаете? – продолжал Карл. – Старая пословица говорит:

«Молчание – знак согласия». Итак, господин де Бражелон, я могу удовлетворить ваше желание; вы можете, когда захотите, уехать во Францию. Я вам разрешаю.

– Государь!.. – воскликнул Рауль.

– Ах! – вздохнула Мэри, сжимая руку Бекингэма.

– Сегодня же вечером вы можете быть в Дувре, – продолжал король, прилив начинается в два часа ночи.

Ошеломленный Рауль пробормотал несколько слов, похожих не то на благодарность, не то на извинение.

– Прощайте, господин де Бражелон. Желаю вам всех благ, – произнес король, поднимаясь с места. – Сделайте мне одолжение, возьмите на память этот брильянт, который я предназначал для свадебного подарка.

Мисс Грефтон, казалось, сейчас упадет в обморок.

Принимая брильянт, Рауль чувствовал, что его колени дрожат. Он сказал несколько приветственных слов королю и мисс Стюарт и подошел к Бекингэму, чтобы проститься с ним.

Воспользовавшись этим моментом, король удалился.

Герцог хлопотал около мисс Грефтон, стараясь ободрить ее.

– Попросите его остаться, мадемуазель, умоляю вас, – шептал Бекингэм.

– Напротив, я прошу его уехать, – отвечала, собравшись с силами, мисс Грефтон, – я не из тех женщин, у которых гордость сильнее всех других чувств. Если его любят во Франции, пусть он возвращается туда и благословляет меня за то, что я посоветовала ему ехать за своим счастьем. Если его, напротив, там не любят, пусть он вернется, я буду любить его по-прежнему, и его несчастья нисколько не умалят его в моих глазах. На гербе моего рода начертан девиз, который запечатлелся в моем сердце:

«Habenti parum, egentī cuncta» – «Имущему – мало, нуждающемуся – все».

– Сомневаюсь, мой друг, – вздохнул Бекингэм, – что вы найдете во Франции сокровище, равное тому, которое оставляете здесь.

– Я думаю, или, по крайней мере, надеюсь, – утрумо проговорил Рауль, – что моя любимая достойна меня; если же меня постигнет разочарование, как вы пытались дать попять мне, герцог, я вырву из сердца свою любовь, хотя бы вместе с нею пришлось вырвать сердце.

Мэри Грефтон взглянула на Рауля с невыразимым состраданием. Рауль печально улыбнулся.

– Мадемуазель, – сказал он, – брильянт, подаренный мне королем, предназначался для вас, позвольте же мне поднести его вам; если я женюсь во Франции, пришлите его мне, если не женюсь, оставьте у себя.

«Что он хочет сказать? – подумал Бекингэм, в то время как Рауль почтительно пожимал

похолодевшую руку Мэри.

Мисс Грефтон поняла устремленный на нее взгляд герцога.

– Если бы это кольцо было обручальное, – молвила она, – я бы его не взяла.

– А между тем вы предлагаете ему вернуться к вам.

– Ах, герцог, – со слезами воскликнула девушка – такая женщина, как я, не создана для утешения таких людей, как он!

– Значит, вы думаете, что он не вернется?

– Нет, не вернется, – задыхающимся голосом произнесла мисс Грефтон.

– А я утверждаю, что во Франции его ждет разрушенное счастье, утраченная невеста... даже запятнанная честь... Что же останется у него, кроме вашей любви? Отвечайте, Мэри, если вы знаете ваше сердце!

Мисс Грефтон оперлась на руку Бекингэма и, пока Рауль стремглав убегал по липовой аллее, тихонько пропела стихи из «Ромео и Джульетты»:

Нужно уехать и жить

Или остаться и умереть.

Когда замерли звуки ее голоса, Рауль скрылся. Мисс Грефтон вернулась к себе, бледная и молчаливая.

Воспользовавшись присутствием курьера, доставившего письмо королю, Бекингэм написал принцессе и графу де Гишу.

Король был прав. В два часа ночи, вместе с началом прилива, Рауль сел на корабль, отходивший во Францию.

Глава 46.

СЕНТ-ЭНЬЯН СЛЕДУЕТ СОВЕТУ МАЛИКОРНА

Король уделял много внимания портрету Лавальер, так как ему очень хотелось, чтобы портрет вышел получше и чтобы сеансы тянулись подольше.

Нужно было видеть, как он следил за кистью, ждал окончания той или иной детали, появления того или другого тона; он то и дело предлагал художнику различные изменения, на которые тот почтительно соглашался.

А когда художник, по совету Маликорна, немного запаздывал и де Сент-Эньян куда-то отлучался, нужно было видеть, только никто этого не видел, красноречивое молчание, соединявшее в одном вздохе две души, жаждавшие покоя и мечтательности. Минуты были волшебные. Приблизившись к своей возлюбленной, король сжигал ее взглядом и дыханием.

Когда в прихожей раздавался шум – приходил художник или с извинениями возвращался де Сент-Эньян, король начинал что-нибудь спрашивать, Лавальер быстро отвечала ему, и их глаза говорили де Сент-Эньяну, что во время его отсутствия любовники прожили целый век.

Словом, Маликорн, этот философ поневоле, сумел внушить королю неутолимую страсть к его возлюбленной.

Страхи Лавальер оказались напрасными. Никто не догадывался, что днем она на два, на три часа уходила из своей комнаты. Она притворялась нездоровой. Ее посетители, перед тем как войти, стучались. Изобретательный Маликорн придумал акустический аппарат, при помощи которого Лавальер, оставаясь в комнате де Сент-Эньяна, могла слышать стук в дверь своей комнаты. Поэтому, не прибегая к помощи осведомительниц, она возвращалась к себе, вызывая, может быть, у своих посетителей некоторые подозрения, но победоносно рассеивая их даже у самых отъявленных скептиков.

Когда на другой день Маликорн явился к де Сент-Эньяну узнать, как прошел сеанс, то графу пришлось сознаться, что предоставленная королю на четверть часа свобода подействовала на его настроение как нельзя лучше.

– Нужно будет увеличить дозу, – заметил Маликорн, – но понемногу, пусть желание будет обнаружено более явно.

Желание было обнаружено так явно, что на четвертый день художник сложил свои вещи, так и не дождавшись возвращения де Сент-Эньяна. А граф, вернувшись, увидел на лице Лавальер тень досады, которую она была не в силах подавить. Король был еще менее сдержан; он выразил свое недовольство весьма красноречивым движением плеч. Тогда Лавальер покраснела.

«Ладно, – мысленно произнес де Сент-Эньян. – Сегодня господин Маликорн будет в восторге»

Действительно, Маликорн пришел в восторг.

– Ну, понятно, – сказал он графу, – мадемуазель де Лавальер надеялась, что вы опоздаете, по крайней мере, на десять минут.

– А король надеялся – не меньше как на полчаса, дорогой Маликорн.

– Вы были бы плохим слугой короля, – заметил Маликорн, – если бы отказали его величеству в этом полчаса.

– А как же художник? – возразил де Сент-Эньян.

– Я займусь им сам, – отвечал Маликорн, – дайте мне только присмотреться к выражению лиц и сообразоваться с обстоятельствами. Это мои волшебные средства: колдуны определяют высоту солнца и звезд астробией, а мне достаточно взглянуть, есть ли круги под глазами, опущены или приподняты углы рта.

– Так наблюдайте внимательнее!

– Не беспокойтесь.

У хитрого Маликорна было довольно времени наблюдать. Ибо в тот же вечер король отправился к принцессе с королевами и был у нее так угрюм, вздыхал так тяжело, смотрел на Лавальер такими томными глазами, что ночью Маликорн сказал Монтале:

– Завтра.

И отправился к художнику на улицу Жарден-Сен-Поль с просьбой отложить сеанс на два дня.

Когда Лавальер, уже освоившаяся с нижним этажом, приподняла люк и спустилась, де Сент-Эньяна не было дома. Король, по обыкновению, ждал ее у лестницы с букетом в руках; когда она сошла, Людовик обнял ее. Взволнованная Лавальер оглянулась, но, не увидев в комнате никого, кроме короля, не рассердилась.

Они сели. Людовик поместился подле подушек, на которые опустилась Лавальер, и, положив голову на колени своей возлюбленной, смотрел на нее.

Казалось, наступило мгновение, когда ничто не могло больше стать между двумя душами. Луиза с упоением глядела на него. И вот из ее кротких и чистых глаз полилось пламя, потоки которого все глубже проникали в сердце короля, сначала согревая, а затем сжигая его.

Разгоряченный прикосновением к ее трепещущим коленям, замирая от счастья, когда рука Луизы опускалась на его волосы, король каждую минуту ждал появления художника или де Сент-Эньяна. В этом печальном ожидании он пытался иногда прогонять искушение, вливавшееся в его кровь, пытался усыпить сердце и чувство, отстранял действительность, чтобы погнаться за тенью.

Но дверь не открывалась. Не появлялись ни де Сент-Эньян, ни художник; портьеры не шевелились. Таинственная, полная неги тишина усыпила даже птиц в их золоченой клетке. Победенный король повернул голову и прильнул горячими губами к рукам Лавальер; словно обезумев, она конвульсивно прижала руки к губам влюбленного короля.

Людовик упал на колени, и так как голова Лавальер по-прежнему была опущена, то его лоб оказался на уровне губ Луизы, и она в экстазе коснулась робким поцелуем ароматных волос, ласкавших ее щеки. Король заключил ее в объятия, и они обменялись тем первым жгучим поцелуем, который превращает любовь в бред.

В этот день ни де Сент-Эньян, ни художник так и не пришли.

Тяжелое и сладкое опьянение, возбуждающее чувство, вливающее в кровь тонкий яд и

навевающее легкий, похожий на счастье сон, снизошло на них, подобно облаку, отделяя прошлую жизнь от жизни предстоящей.

Среди этой дремоты, полной сладких грез, непрерывный шум в верхнем этаже встревожил было Лавальер, но не способен был пробудить ее. Но так как шум продолжался и становился все явственнее, то он наконец вернул к действительности опьяненную любовью девушку.

Она испуганно вскочила.

– Кто-то меня ждет наверху. Людовик, Людовик, разве вы не слышите?

– Разве мне не приходится ждать вас? – нежно остановил ее король. Пусть и другие подождут.

Она тихо покачала головой и проговорила со слезами:

– Счастье украдкой... Моя гордость должна молчать, как и мое сердце.

Шум возобновился.

– Я слышу голос Монтале, – сказала Лавальер.

И стала быстро подниматься по лестнице.

Король последовал за ней, не будучи в состоянии отойти от нее и покрывая поцелуями ее руки и подол ее платья.

– Да, да, – повторяла Лавальер, уже наполовину подняв люк, – да, это голос Монтале. Должно быть, случилось что-нибудь серьезное.

– Идите, любовь моя, и возвращайтесь поскорей.

– Только не сегодня. Прощайте, прощайте!

И она еще раз нагнулась, чтобы поцеловать своего возлюбленного, а затем скрылась.

Действительно, ее ждала бледная и взволнованная Монтале.

– Скорее, скорее, – повторяла она, – он идет.

– Кто, кто идет?

– Он! Я это предвидела.

– Кто такой «он»? Да не томи меня!

– Рауль, – прошептала Монтале.

– Да, это я! – донесся веселый голос с последних ступенек парадной лестницы.

Лавальер громко вскрикнула и отступила назад.

– Это я, я, дорогая Луиза! – вбегая, воскликнул Рауль. – О, я знал, что вы все еще любите меня.

Лавальер сделала испуганный жест, хотела что-то сказать, но могла произнести только:

– Нет, нет!

И упала в объятия Монтале, шепотом повторяя:

– Не подходите ко мне!

Монтале знаком остановила Рауля, который буквально окаменел на пороге.

Потом, взглянув в сторону ширмы, Монтале проговорила:

– Ах, какая неосторожная! Даже не закрыла люк!

И, быстро подбежав к ширмам, подвинула их и собиралась закрыть люк.

Но в это мгновение из люка выскочил король, услышавший крик Лавальер и поспешивший к ней на помощь. Он опустился перед ней на колени, засыпая вопросами Монтале, уже потерявшую голову.

Но тут со стороны двери послышался другой отчаянный крик. Король устремился в коридор. Монтале попыталась остановить его, но напрасно. Покинув Лавальер, король выбежал из комнаты. Однако Рауль был уже далеко, и Людовик увидел только тень, скрывшуюся за поворотом коридора.

Глава 47. СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

В то время как при дворе каждый был занят своим делом, какая-то фигура незаметно

пробиралась по Гревской площади в уже знакомый нам дом: в день мятежа д'Артаньян осаждал его.

Фасад дома выходил на площадь Бодуайе. Этот довольно большой дом, окруженный садами и опоясанный со стороны улицы Сен-Жан скобяными лавками, защищавшими его от любопытных взоров, был заключен как бы в тройную ограду из камня, шума и зелени, как набальзамированная мумия в тройной гроб.

Упомянутый нами человек шел твердым шагом, хотя был не первой молодости. При виде его плаща кирпичного цвета и длинной шпаги, приподнимавшей этот плащ, всякий признал бы в нем искателя приключений; а рассмотрев внимательно его закрученные усы, тонкую и гладкую кожу щеки, которая виднелась из-под его широкополой шляпы, как было не предположить, что его приключения любовные?

Когда незнакомец вошел в дом, на колокольне Сен-Жерве часы пробили восемь. Через десять минут в ту же дверь постучалась дама, пришедшая в сопровождении вооруженного лакея; дверь тотчас же открыла какая-то старуха.

Войдя, дама откинула вуаль. Она уже не была красавицей, но еще сохраняла привлекательность; она уже не была молода, но была еще подвижна и представительна. Богатым и нарядным туалетом она маскировала тот возраст, который только Нинон де Ланкло с улыбкой выставляла напоказ.

Едва она вошла, как описанный нами шевалье при – близился к ней и протянул руку.

– Здравствуйте, дорогая герцогиня.

– Здравствуйте, дорогой Арамис.

Шевалье провел ее в элегантно убранную гостиную, где на стеклах высоких окон догорали последние солнечные лучи, пробившиеся между темными вершинами елей.

Шевалье и дама подсели друг к другу. Ни у одного из собеседников не было желания потребовать света.

Они с таким же удовольствием погрузились в сумрак, с каким оба погрузили бы друг друга в забвение.

– Шевалье, – заговорила герцогиня, – вы не подавали никаких признаков жизни со времени нашего свидания в Фонтенбло, и, сознаюсь, ваше появление в день смерти францисканца и ваша причастность к некоторым тайнам вызвали у меня величайшее изумление, какое я когда-либо испытывала.

– Я могу вам объяснить мое появление на похоронах и мою причастность к тайнам, – ответил Арамис.

– Но прежде всего, – с живостью перебила его герцогиня, – поговорим немного о себе. Ведь мы старые друзья.

– Да, сударыня, и если будет угодно богу, мы останемся друзьями хотя и не надолго, но во всяком случае до смерти.

– Я в этом уверена, шевалье, и мое посещение служит вам доказательством.

– У нас нет больше, герцогиня, прежних интересов, – сказал Арамис, нисколько не стараясь сдерживать улыбку, потому что в сумерках невозможно было заметить, потеряла ли эта улыбка свою прежнюю свежесть и привлекательность.

– Зато теперь появились другие интересы, шевалье.

У каждого возраста свои: мы пойдем друг друга не хуже, чем в былое время, поэтому давайте поговорим. Хотите?

– Я к вашим услугам, герцогиня. Простите, как вы узнали мой адрес? И зачем?

– Зачем? Я вам уже говорила. Любопытство. Мне хотелось знать, чем вы были для францисканца, с которым я вела дела и который так странно умер.

Во время нашего свидания в Фонтенбло, на кладбище, у свежей могилы, мы оба были так взволнованы, что ничего не могли сказать друг другу.

– Да, сударыня.

– Расставшись с вами, я стала очень жалеть.

Я всегда была очень любопытна; вы знаете, по-моему, госпожа де Лонгвиль немного

похожа на меня в этом отношении, не правда ли?

– Не знаю, – сдержанно отвечал Арамис.

– Итак, я пожалела, – продолжала герцогиня, – что мы с вами не поговорили на кладбище. Мне показалось, что старым друзьям нехорошо вести себя так, и я стала искать случая встретиться с вами, чтобы засвидетельствовать вам свою преданность и показать, что бедная покойница, Мари Мишон, оставила на земле тень, хранящую много воспоминаний.

Арамис нагнулся и любезно поцеловал руку герцогини.

– Вероятно, вам было трудно отыскать меня?

– Да, – с досадой отвечала она, видя, что Арамис меняет тему разговора. – Но я знала, что вы друг господина Фуке, и стала искать вас возле господина Фуке.

– Друг господина Фуке? Это преувеличение, сударыня! – воскликнул шевалье. – Бедный священник, облагодетельствованный щедрым покровителем, верное и признательное сердце – вот все, чем я являюсь для господина Фуке.

– Он вас сделал епископом?

– Да, герцогиня.

– Но ведь это для вас отставка, прекрасный мушкетер.

«Так же, как для тебя политические интриги», – подумал Арамис.

– И вы раздобыли нужные вам сведения? – прибавил он вслух.

– Весьма легко. Вы были с ним в Фонтенбло. Вы совершили маленькое путешествие в свою епархию, то есть в Бель-Иль.

– Нет, вы ошибаетесь, сударыня, – сказал Арамис, – моя епархия Ванн.

– Это самое я и хотела сказать. Я думала только, что Бель-Иль...

– Владение господина Фуке, вот и все.

– Ах, мне говорили, что Бель-Иль укреплен. А я знаю, что вы военный, мой друг.

– Я все позабыл, с тех пор как служу церкви, – отвечал задетый Арамис.

– Итак, я узнала, что вы вернулись из Ванна, и послала к своему другу, графу де Ла Фер.

– Вот как!

– Но он человек скрытный: он мне ответил, что не знает вашего адреса.

«Атос всегда верен себе, – подумал епископ, – хорошее всегда хорошо».

– Тогда... Вы знаете, что я не могу показываться здесь и что вдовствующая королева все еще гневается на меня.

– Да, меня это удивляет.

– О, на это есть много причин... Итак, я принуждена прятаться. К счастью, я встретила господина д'Артаньяна, одного из ваших прежних друзей, не правда ли?

– Моего теперешнего друга, герцогиня.

– Он-то и дал мне сведения; он послал меня к господину де Безмо, коменданту Бастилии.

Арамис вздрогнул. И от его собеседницы не укрылось в темноте, что глаза его загорелись.

– Господину де Безмо! – воскликнул он. Почему же д'Артаньян послал вас к господину де Безмо?

– Не знаю.

– Что это значит? – сказал епископ, напрягая все свои силы, чтобы с честью выдержать борьбу.

– Господин де Безмо чем-то обязан вам, по словам Д'Артаньяна.

– Это правда.

– А ведь люди всегда знают адрес своих кредиторов и своих должников.

– Тоже правда, И Безмо помог вам?

– Да. Он направил меня в Сен-Манде, куда я и послала письмо.

– Вот оно. И оно драгоценно для меня, так как я обязан ему удовольствием видеть вас.

Герцогиня, довольная тем, что ей удалось так безболезненно коснуться всех деликатных пунктов, облегченно вздохнула.

Арамис не вздыхал.

– Мы остановились на вашем посещении Безмо.

– Нет, – засмеялась она, – дальше.

– Значит, на вашем недовольстве вдовствующей королевой?

– Нет, еще дальше, – возразила герцогиня, – на отношениях... Это так просто. Вы ведь знаете, что я живу в Брюсселе с господином де Леком, который почти что мой муж?

– Да.

– И знаете, что мои дети разорили и обобрали меня?

– Какой ужас, герцогиня!

– Да, это ужасно! Мне пришлось добывать средства к существованию, стараться не впасть в нищету.

– Понятно.

– Я не пользовалась кредитом, у меня не было покровителей.

– Между тем как сами вы стольким оказывали покровительство, – сказал Арамис, лукаво улыбаясь.

– Всегда так бывает, шевалье. В это время я встретила с испанским королем.

– Вот как!

– Который, согласно обычаю, приезжал во Фландрию назначить генерала иезуитского ордена.

– Разве существует такой обычай?

– А вы не знали?

– Простите, я был рассеян.

– А вам следовало знать об этом; ведь вы были так близки с францисканцем.

– Вы хотите сказать: с генералом иезуитского ордена?

– Именно... Итак, я встретила с испанским королем. Он желал мне добра, но не мог ничего для меня сделать. Впрочем, он дал мне и Леку рекомендательные письма и назначил пенсию из средств ордена.

– Иезуитского?

– Да. Ко мне был прислан генерал, то есть я хочу сказать – францисканец.

– Прекрасно.

– И чтобы согласовать положение вещей со статутом ордена, было признано, что я оказываю ордену услуги. Вы знаете, что существует такое правило?

– Не знал.

Герцогиня де Шеврез умолкла и старалась разглядеть выражение лица Арамиса. Но было совсем темно.

– Словом, есть такое правило, – продолжала она. – Нужно было, следовательно, устроить так, будто я приношу ордену какую-нибудь пользу. Я предложила совершать поездки для ордена, и меня сделали его агентом. Вы понимаете, что это пустая формальность и устроено только для виду.

– Чудесно.

– Вот таким-то образом я получила весьма приличную пенсию.

– Боже мой, герцогиня! Каждая ваша новость для меня удар кинжала. Вам приходится получать пенсию от иезуитов!

– Нет, шевалье, от Испании.

– Сознайтесь, герцогиня, что это одно и то же.

– Нет, совсем нет.

– Но ведь от вашего прежнего состояния у вас остается Дампьер. И это весьма недурно.

– Да, но Дампьер заложен, обременен долгами и разорен, как и его владелица.

– И вдовствующая королева смотрит на все это равнодушно? – сказал Арамис, с любопытством вглядываясь в лицо герцогини, но не видя ничего, кроме темноты.

– Да, она все забыла.

– Вы как будто пробовали вернуть ее благорасположение, герцогиня?

– Да. Но по какой-то необъяснимой случайности молодой король унаследовал

антипатию, которую питал ко мне его дорогой батюшка. Ах, вы мне скажете, что теперь я могу внушать только ненависть, что я перестала быть женщиной, которую любят!

– Дорогая герцогиня, перейдем, пожалуйста, поскорее к вопросу, который вас привел сюда; мне кажется, мы можем быть полезны друг другу.

– Я тоже так думала. Итак, я отправилась в Фонтенбло с двойной целью.

Прежде всего, меня пригласил туда известный вам францисканец... Кстати, как вы с ним познакомились? Я вам рассказала о себе, теперь ваша очередь.

– Я познакомился с ним очень просто, герцогиня.

Я изучал с ним богословие в Парме; мы подружились; но дела, путешествия, война разлучили нас.

– Вы знали, что он генерал иезуитского ордена?

– Догадывался.

– Однако какой же странный случай привел также и вас в гостиницу, где собрались агенты ордена.

– Случай самый простой, – спокойно отвечал Арамис. – Я приехал в Фонтенбло, к господину Фуке, чтобы попросить аудиенцию у короля. Я встретил по пути бедного умирающего и узнал его. Остальное вам известно: он умер у меня на руках.

– Да, но оставив вам на небе и на земле такую большую власть, что от его имени вы сделали весьма важные распоряжения.

– Он действительно дал мне несколько поручений.

– И относительно меня?

– Я уже сказал. Выплатить вам двенадцать тысяч ливров. Кажется, я дал вам необходимую подпись для их получения. Разве вы их не получили?

– Получила, получила! Но, говорят, дорогой прелат, вы даете приказания с такой таинственностью и с таким царственным величием, что все считают вас преемником дорогого покойника.

Арамис покраснел от досады. Герцогиня продолжала:

– Я осведомилась об этом у испанского короля, и он рассеял мои сомнения на этот счет. Согласно статуту ордена, каждый генерал иезуитов должен быть испанцем. Вы не испанец и не были назначены испанским королем.

Арамис сказал назидательным тоном:

– Видите, герцогиня, вы допустили ошибку, и испанский король разоблачил ее.

– Да, дорогой Арамис. Но у меня явилась еще одна мысль.

– Какая?

– Вы знаете, что я понемножку думаю обо всем.

– О да, герцогиня!

– Вы говорите по-испански?

– Каждый участник Фронды знает испанский язык.

– Вы жили во Фландрии?

– Три года.

– И провели в Мадриде?..

– Пятнадцать месяцев.

– Значит, вы имеете право принять испанское подданство, когда вам будет угодно.

– Вы думаете? – спросил Арамис так простодушно, что герцогиня была введена в заблуждение.

– Конечно... Два года жизни и знание языка необходимые правила. У вас три с половиной года... пятнадцать месяцев лишних.

– К чему вы это говорите, дорогая герцогиня?

– Вот к чему: я в хороших отношениях с испанским королем.

«И я в недурных», – подумал Арамис.

– Хотите, – продолжала герцогиня, – я попрошу короля сделать вас преемником францисканца?

– О, герцогиня!

– Может быть, вы уже и сейчас его преемник? – спросила она.

– Нет, даю вам слово.

– Ну, так я могу оказать вам эту услугу.

– Почему же вы не оказали ее господину де Леку, герцогиня? Он человек талантливый, и вы его любите.

– Да, конечно; но не вышло. Словом, оставим Лека; хотите я окажу эту услугу вам?

– Нет, благодарю вас, герцогиня.

Она замолчала.

«Он назначен», – подумала она.

– После этого отказа, – продолжала герцогиня де Шеврез, – я уже не решаюсь обращаться к вам с просьбой.

– Помилуйте, я всегда в вашем распоряжении!

– Зачем я буду вас просить, если у вас нет власти исполнить мою просьбу?

– Все же мне, может быть, удастся что-нибудь сделать.

– Мне нужны деньги на восстановление Дампьера.

– А! – холодно произнес Арамис. – Деньги?.. Сколько же вам нужно, герцогиня?

– Порядочно.

– Жаль. Вы знаете, что я не генерал.

– В таком случае у вас есть друг, который, вероятно, очень богат: господин Фуке.

– Господин Фуке? Сударыня, он почти разорен.

– Мне говорили об этом, но я не хотела верить.

– Почему, герцогиня?

– Потому что у меня есть несколько писем кардинала, Мазарини – вернее, не у меня, а у Лека, – в которых говорится об очень странных счетах.

– О каких счетах?

– По части проданных рент, произведенных займов, хорошенько не помню.

Во всяком случае, судя по письмам Мазарини, суперинтендант позаимствовал из государственной казны миллионов тридцать. Дело серьезное.

Арамис так крепко сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони.

– Как! – воскликнул он. – У вас есть такие письма и вы не сказали о них господину Фуке?

– Такие вещи держат про запас, – возразила герцогиня. – Приходит нужда, и их вытаскивают на свет божий.

– Разве нужда уже пришла? – спросил Арамис.

– Да, мой милый.

– И вы собираетесь предъявить эти письма господину Фуке?

– Нет, я предпочитаю поговорить о них с вами.

– Видно, вам очень нужны деньги, бедняжка, раз вы думаете о таких вещах; вы так мало ценили прозу господина Мазарини. Кроме того, – холодно продолжал Арамис, – вам самой, вероятно, тяжело прибегать к этому средству. Жестокое средство!

– Если бы я хотела сделать зло, а не добро, – сказала герцогиня де Шеврез, – я не стала бы обращаться к генералу ордена или к господину Фуке за пятьюстами тысячами ливров, которые мне нужны...

– Пятьюстами тысячами ливров!

– Не больше. Вы находите, что это много? Восстановление Дампьера обойдется не дешевле.

– Да, сударыня.

– Итак, я не стала бы обращаться к названным лицам, а отправилась бы к своему старому другу, вдовствующей королеве; письма ее супруга, синьора Мазарини, послужили бы мне рекомендацией. Я попросила бы у нее эту безделицу, сказав: «Ваше величество, я хочу иметь честь принять вас в Дампьере; позвольте мне восстановить Дампьер».

Арамис не ответил ни слова.

– О чем вы задумались? – спросила герцогиня.

– Я складываю в уме, – произнес Арамис.

– А господин Фуке вычитает. Я же пробую умножать. Какие мы все чудесные математики! Как хорошо могли бы мы столкнуться.

– Разрешите мне подумать, – попросил Арамис.

– Нет... После такого вступления между людьми, подобными нам с вами, может быть сказано только «да» или «нет», и притом немедленно.

«Это ловушка, – подумал епископ, – немыслимо, чтобы такая женщина была принята Анной Австрийской».

– Ну и что же? – спросила герцогиня.

– Я был бы очень удивлен, если бы в данный момент у господина Фуке нашлось пятьсот тысяч ливров.

– Значит, не стоит об этом говорить, – усмехнулась герцогиня, – и Дампьер пусть сам восстанавливается, как хочет.

– Неужели вы в таком стесненном положении?

– Нет, я никогда не бываю в стесненном положении.

– И королева, конечно, сделает для вас то, чего не в силах сделать суперинтендант.

– О, конечно... Скажите, вы не желаете, чтобы я лично поговорила об этих письмах с господином Фуке?

– Как вам будет угодно, герцогиня, но господин Фуке либо чувствует себя виновным, либо не чувствует. Если он чувствует, то он настолько горд, что не сознается; если же не чувствует за собой вины, эта угроза очень его обидит.

– Вы всегда рассуждаете, как ангел.

И герцогиня поднялась с места.

– Итак, вы собираетесь донести на господина Фуке королеве? – заключил Арамис.

– Донести?... Какое мерзкое слово. Нет, я не стану доносить, дорогой друг; вы слишком хорошо знакомы с политикой, чтобы не знать, как совершаются подобные вещи. Я предложу свои услуги партии, враждебной господину Фуке. Вот и все.

– Вы правы.

– А в борьбе партий годится всякое оружие.

– Конечно.

– Когда у меня восстановятся добрые отношения с вдовствующей королевой, я могу стать очень опасной.

– Это ваше право, герцогиня.

– Я им воспользуюсь, мой милый.

– Вам неизвестно, что господин Фуке в прекрасных отношениях с испанским королем, герцогиня?

– Я это предполагала.

– Если вы поднимете борьбу партий, как вы выражаетесь, господин Фуке начнет с вами борьбу другого рода.

– Что поделаешь!

– Ведь он тоже вправе прибегнуть к этому оружию, как вы думаете?

– Конечно.

– И так как он хорош с испанским королем, он и воспользуется этой дружбой.

– Вы хотите сказать, что он будет также в добрых отношениях с генералом ордена иезуитов, дорогой Арамис?

– Это может случиться, герцогиня.

– И тогда меня лишат пенсии, которую я получаю от иезуитов?

– Боюсь, что лишат.

– Как-нибудь выкрутимся. Разве после Ришелье, после Фронды, после изгнания герцогиня де Шеврез может чего-нибудь испугаться, дорогой мой?

– Вы ведь знаете, что пенсия достигает сорока восьми тысяч ливров в год.

– Увы! Знаю.

– Кроме того, во время борьбы партий достанется также и друзьям неприятеля.

– Вы хотите сказать, что пострадает бедняга Лек?

– Почти наверное, герцогиня.

– О, он получает только двенадцать тысяч ливров.

– Да, но испанский король особа влиятельная; по наущению господина Фуке он может засадить господина Лека в крепость.

– Я не очень боюсь этого, мой милый, потому что, примирившись с Анной Австрийской, я добьюсь, чтобы Франция потребовала освобождения Лека.

– Допустим. Тогда вам будет угрожать другая опасность.

– Какая же? – спросила герцогиня в притворном страхе.

– Вы знаете, что человек, сделавшийся агентом ордена, не может так просто порвать с ним. Тайны, в которые он мог быть посвящен, не сны: они приносят несчастье человеку, узнавшему их.

Герцогиня задумалась.

– Это серьезнее, – проговорила она, – надо все взвесить.

И, несмотря на полный мрак, Арамис почувствовал, как в его сердце вонзился, подобно раскаленному железу, горящий взгляд собеседницы.

– Давайте подведем итоги, – сказал Арамис, который с этой минуты начал держаться настороже и сунул руку под камзол, где у него был спрятан стилет.

– Вот именно, подведем итоги, добрые счета создают добрых друзей?

– Лишение вас пенсии...

– Сорок восемь тысяч ливров да двенадцать тысяч ливров пенсии Лека составляют шестьдесят тысяч ливров; вы это хотите сказать, да?

– Да, это самое. Я спрашиваю, чем вы их замените?

– Пятьюстами тысячами ливров, которые я получу от королевы.

– А может быть, и не получите.

– Я знаю средство получить их, – бросила герцогиня.

При этих словах Арамис насторожился. После этой оплошности герцогини Арамис был до такой степени начеку, что то и дело одерживал верх, а его противница теряла преимущество.

– Хорошо, я допускаю, что вы получите эти деньги, – продолжал он, все же вы много потеряете: вы будете получать по сто тысяч франков пенсии вместо шестидесяти тысяч ливров в продолжение десяти лет.

– Нет, эти убытки я буду терпеть только во время министерства господина Фуке, а оно продлится не более двух месяцев.

– Вот как! – воскликнул Арамис.

– Видите, как я откровенна.

– Благодарю вас, герцогиня. Но напрасно вы полагаете, что после падения господина Фуке орден будет снова выплачивать вам пенсию.

– Я знаю средство заставить орден быть щедрым точно так же, как знаю средство заставить вдовствующую королеву раскошелиться.

– В таком случае, герцогиня, нам всем приходится опустить флаг перед вами. Победа за вами, триумф за вами! Будьте милостивы, прошу вас. Трубите отбой!

– Как можете вы, – продолжала герцогиня, не обратив внимания на иронию Арамиса, – остановиться перед несчастными пятьюстами тысячами ливров, когда дело идет об избавлении вашего друга... простите, вашего покровителя от неприятностей, причиняемых борьбою партий.

– Вот почему, герцогиня: после получения вами пятисот тысяч ливров господин де Лек потребует своей доли, тоже в пятьсот тысяч ливров, не правда ли? А после вас и господина де Лека наступит очередь и ваших детей, ваших бедняков и мало ли чья еще, тогда как письма, как бы они ни компрометировали, не стоят трех или четырех миллионов. Ей-богу, герцогиня,

брильянтовые подвески французской королевы были дороже этих лоскутков бумаги, и все же они не стоили и четверти того, что вы спрашиваете!

– Вы правы, вы правы; но купец запрашивает за свой товар, сколько ему угодно. Покупатель волен взять или отказаться.

– Хотите, герцогиня, я вам открою, почему я не куплю ваших писем?

– Скажите.

– Ваши письма Мазарини подложны.

– Полно!

– Конечно. Ведь было бы по меньшей мере странно, если бы вы продолжали вести с кардиналом интимную переписку после того, как он поссорил вас с королевой, это пахло бы страстью, шпионажем... ей-богу, не решаюсь произнести нужного слова.

– Не стесняйтесь.

– Угодничаньем.

– Все это верно; но верно также и то, что написано в письмах.

– Клянусь вам, герцогиня, эти письма не принесут вам никакой пользы при обращении к королеве.

– Принесут, будьте уверены.

«Пой, птичка, пой! – подумал Арамис. – Шипи, змея».

Но герцогиня уже направилась к двери.

Арамис готовил для нее сюрприз... Проклятье, которое бросает побежденный, идущий за колесницей триумфатора.

Он позвонил. В гостиную внесли свечи, ярко осветившие поблекшее лицо герцогини. Долгим ироническим взглядом посмотрел Арамис на бледные, иссохшие щеки, на глаза, горевшие под воспаленными веками, на тонкие губы, старательно закрывавшие черные и редкие зубы.

Он умышленно выставил вперед стройную ногу, грациозно нагнул гордую голову и улыбнулся, чтобы показать блестящие при свете зубы. Постаревшая кокетка поняла его замысел: она стояла как раз против зеркала, которое благодаря контрасту убийственно резко подчеркнуло дряхлость, так заботливо скрываемую ею.

Неровной и тяжелой походкой она поспешно удалилась, даже не ответив на поклон Арамиса, который был сделан им с гибкостью и грацией бывшего мушкетера. Поклонившись, Арамис, как зефир, скользнул по паркету, чтобы проводить ее.

Герцогиня де Шеврез подала знак своему рослому лакею, вооруженному мушкетом, и покинула дом, где такие нежные друзья не могли столкнуться, потому что слишком хорошо поняли друг друга.

ТОМ III

ЧАСТЬ V

Глава 1.

ТУТ СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ СТОРГОВАТЬСЯ С ОДНИМ, ТО НИЧТО НЕ МЕШАЕТ СТОРГОВАТЬСЯ С ДРУГИМ

Арамис угадал: выйдя из отеля на площади Бодуайе, герцогиня де Шеврез приказала ехать домой.

Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким способом отвести от себя подозрения. Однако возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за нею не следит, она велела открыть калитку в саду, выходившую в переулок, и отправилась на улицу

Круа-де-Пти-Шан, где жил Кольбер.

Мы сказали, что наступил вечер, – правильное сказать, наступила ночь, и притом непроглядная. Притихший Париж обволакивал снисходительной тьмой и знатную герцогиню, плетущую свою политическую интригу, и неизвестную горожанку, которая, запоздав после ужина в городе, под руку со своим любовником возвращалась под супружеский кров самой длинной дорогой. Г-жа де Шеврез достаточно привыкла к тому, что можно назвать «ночной политикой», и ей было отлично известно, что министры никогда не запираются долго у себя дома от молодых и прелестных женщин, страшащихся пыли служебных канцелярий, а также от пожилых и многоопытных дам, страшащихся нескромного эха министерств.

У подъезда герцогиню встретил лакей, и, по правде сказать, встретил довольно плохо. Рассмотрев посетительницу, он даже позволил себе заметить, что в такой час и в таком возрасте не пристало отрывать г-на Кольбера от трудов, которым он предается перед отходом ко сну.

Но герцогиня де Шеврез, не выказав слова, написала на листке, вырванном из записной книжки, свое имя – громкое имя, не раз неприятно поражавшее слух Людовика XIII и великого кардинала.

Она написала это имя крупным и небрежным почерком, обычным тогда среди знати, сложила бумагу особым, ей одной свойственным образом и вручила ее лакею без единого слова, но с таким величавым видом, что этот прожженный плут, умевший чутко господ на расстоянии, узнал в ней знатную даму, опустил голову и побежал с докладом к Кольберу.

Можно не добавлять, что, вскрыв записку, министр не удержался от легкого восклицания, и этого восклицания лакею было достаточно, чтобы понять, насколько серьезно следует отнестись к таинственной гостье: он пустился бегом за герцогиней.

Она с некоторым трудом поднялась на второй этаж красивого нового дома, задержалась на мгновение на площадке, чтобы отдышаться, и вошла к Кольберу, который сам распахнул перед ней двери.

Герцогиня остановилась на пороге, чтобы получше рассмотреть того, с кем ей предстояло вести дело. Тяжелая, крупная голова, густые брови, неприветливое лицо, как бы придавленное ермолкой, похожей на те, какие носят священники, – все это с первого взгляда внушило ей мысль, что переговоры не составят труда и что вместе с тем спор о той или иной частности будет лишен всякого интереса, ибо такая грубая натура должна быть, по-видимому, мало чувствительной к утонченной мести и к ненасытному честолюбию.

Но когда герцогиня пригляделась внимательней к его маленьким, черным, пронизывающим насквозь глазам, к продольным складкам на его суровом выпуклом лбу, к едва приметному подергиванию губ, которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменяла свое мнение о Кольбере и подумала: «Вот тот, кого я искала».

– Чему обязан я честью вашего посещения, сударыня? – спросил интендант финансов.

– Причина всему – нужда, сударь, нужда, которую я имею в вас, а вы во мне.

– Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы; что же до второй ее части...

Госпожа де Шеврез села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер.

– Господин Кольбер, ведь вы интендант финансов?

– Да, сударыня.

– И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли?

– Сударыня!

– Не отрицайте: это затянет наш разговор и ни к чему больше не поведет; это бессмысленно.

– Но, сударыня, несмотря на мое искреннее желание доставить вам удовольствие, несмотря на учтивость, которую я обязан проявлять к даме вашего положения, ничто не могло бы заставить меня признаться, будто я стараюсь сесть на место моего начальника.

– Я вовсе не говорила о том, что вы хотите «сесть на место своего начальника», сударь.

Разве что я нечаянно произнесла эти слова. Не думаю, впрочем. Слово «заменить» звучит менее жестко и грамматически здесь уместнее, как говаривал господин Вуатюр. Итак, я утверждаю, что вы хотели бы заменить господина Фуке.

– Но fortuna господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием.

Суперинтендант – это Колосс Родосский нашего века; корабли проплывают у него под ногами, но они даже не задевают его.

– Я бы тоже охотно воспользовалась этим сравнением. Да, господин Фуке играет роль Колосса Родосского; но мне помнится, я слыхала, как рассказывал господин Конрар... кажется, академик... что, когда Колосс Родосский упал, купец, который свалил его... простой купец, господин Кольбер... нагрузил его обломками четыре сотни верблюдов. Купец! А ведь ему далеко до интенданта финансов.

– Сударыня, могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке.

– Ну, господин Кольбер, раз вы упорствуете и продолжаете изображать чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврез и что я стара, иначе говоря, что вы имеете дело с женщиной, которая была политической противницей кардинала Ришелье и у которой не остается времени, чтобы терять его попусту, – раз вы допускаете подобную неосмотрительность, я найду людей более проницательных и более заинтересованных в том, чтобы добиться удачи.

– В чем же, сударыня, в чем?

– Вы заставляете меня быть очень низкого мнения а нынешних людях, сударь. Клянусь вам, если бы в мое время какая-нибудь женщина явилась к господину де Сен-Мару, который, впрочем, не был семи пядей во лбу, клянусь, если б она сказала о кардинале все то, что я только что сказала вам о господине Фуке, господин де Сен-Мар уже ковал бы железо.

– Но бумаге немножко снисходительнее, сударыня.

– Значит, вы согласны заменить господина Фуке?

– Если король уволит господина Фуке, разумеется.

– Снова вы говорите лишнее. Ясно, что раз вы еще не добились его отставки, значит, вы не могли этого сделать. Поэтому я была бы круглою душой, если б, идя сюда, не принесла с собою, того, чего вам не хватает.

– Я в отчаянии, что вынужден упорно стоять на своем, – сказал Кольбер после молчания, которое дало возможность герцогине оценить всю его скрытность – но я должна поставить вас в известность, сударыня, что вот уже добрых шесть лет на господина Фуке поступает донос за доносом, а положение суперинтенданта несколько не поколеблено.

– Всеу свое время, господин Кольбер; разоблачавшие господина Фуке не носили имени де Шеврез и не имели в своем распоряжении доказательств, равноценных шести письмам кардинала Мазарини, неопровержимо устанавливающим правонарушение, которое я имею в виду.

– Правонарушение?

– Преступление, если это слово вам более по душе.

– Преступление? Совершенное господином Фуке?

– Вот именно... Странно, господин Кольбер, странно: у вас обычно такое холодное и непроницаемое лицо, а сейчас, я вижу, вы прямо сияете.

– Преступление?

– Я в восторге, что это произвело на вас впечатление.

– О, сударыня, ведь это слово включает в себе столь многое!

– Оно включает в себе приказ о суперинтендантстве для вас и приказ об изгнании для господина Фуке.

– Простите меня, герцогиня: почти невозможно, чтобы господин Фуке подвергся изгнанию; а опала – это уж слишком!

– О, я знаю, что говорю, – холодно продолжала г-жа де Шеврез. – Я живу не так уж далеко от Парижа, чтобы не знать, что здесь творится. Король не любит господина Фуке и охотно погубит его, если ему дадут к этому повод.

– Надо, однако, чтобы повод был подобающим.

– Мой повод вполне подобающий. Поэтому-то я и оцениваю его в пятьсот тысяч ливров.

– Что это значит? – спросил Кольбер.

– Я хочу сказать, сударь, что, имея в руках этот повод, и передам его в ваши руки только в обмен на пятьсот тысяч ливров.

– Отлично, герцогиня; я понимаю. Но поскольку вы назначили продажную цену, ознакомьте меня с вашим товаром.

– О, – это не составит труда; шесть писем кардинала Мазарини, как я сказала; автографы эти, конечно, не стоили б таких денег, если б они не устанавливали с полной очевидностью, что господин Фуке присвоил крупные казенные суммы.

– С полной очевидностью? – спросил Кольбер, и глаза его радостно заблестали.

– С полной очевидностью. Не хотите ли прочитать эти письма?

– Всей душой! Само собой, копии?

– Само собой, копии.

Герцогиня навлекла спрятанный у нее на груди небольшой сверток, слегка примятый ее бархатным корсажем.

– Читайте, – подала она бумаги.

Кольбер жадно набросился на них.

– Чудесно! – сказал он, закончив чтение.

– Достаточно ясно, не правда ли?

– Да, герцогиня, да; значит, кардинал Мазарини передал деньги господину Фуке, а господин Фуке оставил их у себя; но какие, собственно, деньги имеются тут в виду?

– В том-то и дело! Впрочем, если мы договоримся, я присоединю к этим шести еще седьмое письмо, которое окончательно осведомит вас обо всем.

Кольбер размышлял.

– А подлинники?

– Бесполезный вопрос. Это все равно, как если бы, господин Кольбер, я спросила у вас, будут ли полными или пустыми мешочки с золотыми монетами, которые вы мне вручите.

– Прекрасно, герцогиня.

– Значит, сделка заключена?

– Нет еще.

– Как же так?

– Есть одна вещь, о которой ни вы, ни я не подумали.

– Назовите ее.

– При всех обстоятельствах господина Фуке может погубить только процесс.

– Да.

– И публичный скандал.

– Да. Ну так что же?

– А то, что ни процесса, ни скандала не будет.

– Почему же?

– Потому, что дело идет о генеральном прокуроре парламента; потому, что у нас во Франции все, решительно все: администрация, армия, юстиция, торговля, – все связано цепью взаимного благожелательства, которое зовется корпоративным духом. Поэтому, сударыня, парламент никогда не потерпит, чтобы его глава был отдан под суд. И если бы это случилось, даже по приказанию короля, парламент никогда не осудит своего генерального прокурора.

– По правде сказать, господин Кольбер, это меня не касается.

– Я знаю, сударыня. Но меня-то это, конечно, касается и снижает цену того, что вы принесли. К чему мне доказательства преступления, если оно не подлежит наказанию?

– Но если на Фуке падут подозрения, то и в этом случае он будет отстранен от обязанностей суперинтенданта.

– Велика важность! – воскликнул Кольбер, и его мрачное лицо как-то вдруг осветилось выражением ненависти и мести.

– Ах, господин Кольбер, простите меня, – заметила герцогиня, – я не знала, что вы столь впечатлительны. Хорошо, превосходно. Но раз вам мало того, что у меня есть, прекратим разговор.

– Нет, сударыня, продолжим его. Но поскольку цена товара упала, ограничьте и вы свои притязания.

– Вы торгуетесь?

– Это необходимо всякому, кто хочет честно платить.

– Сколько же вы предлагаете?

– Двести тысяч ливров.

Герцогиня рассмеялась ему в лицо, но затем внезапно сказала:

– Подождите.

– Вы соглашаетесь?

– Нет, не совсем. Но у меня есть еще одна комбинация.

– Говорите.

– Вы даете мне триста тысяч ливров.

– Нет, нет!

– Соглашайтесь или нет, как угодно... И это не все.

– Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможной, герцогиня!

– Вовсе нет, я больше не прошу у вас денег.

– Чего же вы хотите?

– Услуги. Вы знаете, что я всегда была нежно привязана к королеве.

– И...

– И... я хочу повидаться с ее величеством.

– С королевой?

– Да, господин Кольбер, с королевой, которая мне больше не друг, это верно, и уже давно мне не друг, но может снова сделаться другом, если мне предоставят соответствующую возможность.

– Ее величество, герцогиня, никого больше не принимает. Вам известно, что приступы ее болезни повторяются все чаще и чаще.

– Вот потому-то я и должна повидать королеву. Представьте себе, что у нас во Фландрии заболевания подобного рода – вещь очень частая.

– Рак? Страшная, неизлечимая, роковая болезнь.

– Не верьте этому, господин Кольбер. Фламандский крестьянин – человек первобытный. У него не жена, а рабыня.

– Что же из этого?

– Пока он покуривает свою вечную трубку, жена работает: она черпает из колодца воду, она нагружает мула или осла, она таскает на себе тяжести. Так как она не жалеет себя, то постоянно наносит себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои. А рак происходит от телесного повреждения.

– Это верно.

– Фламандки, однако, не умирают от этого. Когда их страдания становятся им окончательно невмогуту, они находят лекарство. И бегинки в Брюгге изумительно лечат эту болезнь. У них есть целебные воды, настойки, втирания: они дают больной бутылку с водой и свечу и, продавая свои товары, приносят доход духовенству и вместе с тем служат богу. Ее величество выздоровеет и поставит столько свечей, сколько найдет для себя подобающим. Вы видите, господин Кольбер, что помешать моему свиданию с королевой – это почти то же, что царевичество.

– Герцогиня, вы слишком умная женщина, вы сбиваете меня с толку. Я догадываюсь, однако, что ваша великая любовь к королеве объясняется и кое-какой личной выгодой, которую вы рассчитываете извлечь из свидания с нею.

– Разве я стремлюсь утаить это? Вы, кажется, сказали: кое-какую выгоду? Знайте же, что не кое-какую, а очень большую выгоду, и я вам докажу это в немногих словах. Если вы

введете меня к ее величеству королеве, мне будет довольно тех трехсот тысяч, которые я потребовала у вас; если же вы мне в этом откажете, я оставляю у себя письма и отдаю их только в случае немедленной выплаты пятисот тысяч.

С этими словами герцогиня решительно встала, оставив Кольбера в неприятном раздумье. Продолжать торговаться было немыслимо; прекратить торг – значило потерять бесконечно много.

– Сударыня, – поклонился он, – я буду иметь удовольствие выплатить вам сто тысяч экю.

– О! – воскликнула герцогиня.

– Но как я получу от вас подлинники?

– Самым что ни на есть простым способом, дорогой господин Кольбер...

Кому вы достаточно доверяете?

Суровый финансист принялся беззвучно смеяться, и его широкие черные брови на желтом лбу поднимались и опускались, как крылья летучей мыши.

– Никому, – сказал он.

– Но вы, конечно, делаете исключение для себя самого?

– Что вы хотите этим сказать, герцогиня?

– Я хочу сказать, что если бы вы взяли на себя труд отправиться вместе со мною туда, где находятся письма, они были бы вручены лично вам, и вы могли бы пересчитать и проверить их.

– Это верно.

– Вам следует взять с собой сто тысяч экю, потому что и я также не верю никому, кроме себя.

Кольбер покраснел до бровей. Подобно всем тем, кто превосходит других в искусстве счисления, он был честен до мелочности.

– Сударыня, – заявил он, – я возьму с собой обещанную сумму в виде двух чеков, по которым вы сможете получить ее в моей кассе. Удовлетворит ли вас такой способ расчета?

– Как жаль, что каждый из ваших чеков не стоит миллиона, господин интендант!.. Итак, я буду иметь честь указать вам дорогу.

– Позвольте распорядиться, чтоб заложили моих лошадей.

– Внизу меня ожидает карета.

Кольбер кашлянул в нерешительности. Ему вдруг представилось, что предложение герцогини – ловушка, что, быть может, у дверей его поджидают враги и что эта дама, предложившая продать ему свою тайну за сто тысяч экю, предложила ее за ту же сумму и г-ну Фуке.

Он так медлил, что герцогиня пристально посмотрела ему в глаза.

– Вы предпочитаете собственную карету?

– Признаться, да.

– Вы думаете, что я увлекаю вас в западню?

– Герцогиня, у вас капризный характер, а я, будучи человеком характера положительного, боюсь быть скомпрометированным какой-нибудь злой шуткой.

– Короче говоря, вы боитесь? Хорошо, поезжайте в своей карете, берите с собой столько лакеев, сколько вам будет угодно... Только подумайте: то, что мы делаем с вами наедине, известно лишь нам обоим, то, что увидит кто-нибудь третий, станет известно всему свету. В конце концов, я не настаиваю; пусть моя карета едет следом за вашей, и я буду рада пересесть в вашу, чтобы отправиться к королеве.

– К королеве?

– А вы уже позабыли? Как! Столь существенное условие нашего договора уже предано вами забвению! Каким же пустяком оно было для вас! Господи боже! Да если б я знала об этом, я спросила бы с вас вдвое больше.

– Герцогиня, я передумал. Я не поеду с вами.

– Правда?.. Почему?

- Потому, что мое доверие к вам безгранично.
- Мне это лестно слышать от вас... Но как же я получу свои сто тысяч экю?
- Вот они.

Интендант нацарапал несколько слов на бумажке и отдал ее герцогине.

- Вам уплачено, – сказал он.
- Ваш жест красив, господин Кольбер, и я воздам вам за него тем же.

Произнося эти слова, она засмеялась. Смех госпожи де Шеврез был похож на зловещий шепот, и всякий, кто ощущает в своем сердце трепетание молодости, веры, любви, – короче говоря, жизнь, предпочел бы услышать скорее стенания, чем это жалкое подобие смеха.

Герцогиня расстегнула корсаж и вынула небольшой сверток, перевязанный лентой огненного цвета. Крючки уступили порывистым движениям ее нервных рук, и глазам интенданта, заинтересованного этими странными приготовлениями, открылась бесстыдно обнаженная, покрасневшая грудь, натертая свертком. Герцогиня продолжала смеяться.

- Возьмите, – сказала она, – эти письма написаны самим кардиналом.

Они – ваши, и, кроме того, герцогиня де Шеврез соблаговолила раздеться пред вами, как если б вы были... но я не хочу называть имена, которые могли бы заставить вас возгордиться или приревновать. А теперь, господин Кольбер, – продолжала она, поспешно застегивая платье, – ваша карьера сделана; везите же меня к королеве.

– Нет, сударыня. Если вы снова навлечете на себя немилость ее величества и во дворце будут знать, что я – тот, кто ввел вас в ее покои, королева не простит мне этого до конца своих дней. Во дворце найдутся преданные мне люди, которые и введут вас туда, оставив меня в стороне от этого дела.

- Как вам будет угодно; лишь бы я смогла проникнуть к королеве.

- Как зовут брюггских монахинь, которые лечат больных?

- Бегинками.

- Итак – вы отныне бегинка.

- Согласна. Но все же мне придется перестать быть бегинкою.

- Это уж ваша забота.

- Ну, нет, извините. Я вовсе не хочу, чтобы передо мной захлопнули двери.

– И это ваша забота, сударыня. Я прикажу старшему камердинеру дежурного офицера ее величества впустить во дворец бегинку с лекарством, способным облегчить страдания королевы. Вы получите от меня пропуск, но лекарство и объяснения – об этом подумайте сами. Я признаю, что послал к королеве бегинку, но отрекусь от госпожи де Шеврез.

- На этот счет будьте покойны, до этого не дойдет.

Глава 2.

ШКУРА МЕДВЕДЯ

Кольбер вручил герцогине пропуск и чуть-чуть отодвинул кресло, за которым она стояла, как за укрытием.

Госпожа де Шеврез слегка кивнула и вышла.

Кольбер, узнав почерк Мазарини и пересчитав письма, позвонил секретарю и велел вызвать советника парламента, г-на Ванеля. Секретарь ответил, что советник, верный своим привычкам, только что прибыл, дабы доложить интенданту о наиболее важном в сегодняшней работе парламента.

Кольбер приблизился к лампе и перечел письма покойного кардинала; он несколько раз улыбнулся, убеждаясь все больше и больше в ценности документов, переданных ему г-жой де Шеврез, и, подперев свою тяжелую голову обеими руками, на несколько минут предался размышлениям.

В это время в кабинет вошел высокий, плотного сложения человек с худым лицом и хищным носом. Он вошел со скромной уверенностью, свидетельствовавшей о гибком и вместе с тем твердом характере, гибком по отношению к господину, который может доставить

добычу, и твердом – по отношению к тем собакам, которые могли бы оспаривать у него этот столь лакомый кусок.

Под мышкой у Ванеля была папка больших размеров; он положил ее на бюро, около которого сидел Кольбер.

– Здравствуйте, господин Ванель, – сказал Кольбер, отрываясь от своих дум.

– Здравствуйте, монсеньер, – непринужденно ответил Ванель.

– Надо говорить «сударь», – мягко поправил Кольбер.

– Обращаясь к министрам, говорят «монсеньер», – невозможно заметил Ванель. – Вы – министр!

– Пока еще нет!

– Я называю вас монсеньером. Впрочем, вы мой начальник, вы мой сеньор, чего ж больше! Если вам не нравится, чтобы я величал вас таким образом в присутствии посторонних, позвольте называть вас монсеньером наедине.

Кольбер поднял голову на высоту лампы и прочел или попытался прочесть на лице Ванеля, насколько искренним было это выражение преданности. Но советник умел выдержать любой взгляд, даже если этот взгляд был взглядом министра.

Кольбер вздохнул. Он не увидел на лице Ванеля ничего определенного; быть может, Ванель и честен. Кольбер подумал о том, что этот человек, подчиняясь ему по службе, в действительности держит его в своей власти, ибо г-жа Ванель – его, Кольбера, любовница. И пока он сочувственно думал об участи этого человека, Ванель бесстрастно вынул из кармана надушенное, запечатанное испанским воском письмо и протянул его интенданту.

– Что это, Ванель?

– Письмо от жены, монсеньер.

Кольбер закашлялся. Он взял письмо, распечатал его, прочел и сунул себе в карман, в то время как Ванель невозможно листал свои протоколы.

– Ванель, – сказал внезапно патрон своему подчиненному, – вы, как кажется, не боитесь «работы»?

– Да, монсеньер.

– Двенадцать часов ежедневно не приводят вас в ужас?

– Я работаю пятнадцать часов.

– Непостижимо. Парламентские обязанности отнимают не больше трех часов в сутки.

– О, я веду счетные книги одного моего друга, дела которого находятся на моем попечении; кроме того, в свободное время я изучаю древнееврейский язык.

– Вас очень высоко ценят в парламенте, не так ли, Ванель?

– Полагаю, что да, монсеньер.

– Вам не следует засиживаться на месте советника.

– Что же надлежит сделать для этого?

– Купить должность.

– Какую?

– Что-нибудь позначительней. Скромные притязания удовлетворить труднее всего.

– Наполнять скромные кошельки тоже ведь дело нелегкое.

– Ну, и какая все-таки должность прельщает вас?

– По правде сказать, я не вижу ни одной, которая была бы мне по карману.

– Есть хорошая должность. Но надо быть королем, чтобы купить ее без денежных затруднений, а королю, пожалуй, не придет в голову покупать должность генерального прокурора.

Услышав эти слова, Ванель поднял на Кольбера смиренный невыразительный взгляд.

Кольбер так и не смог понять, разгадал ли Ванель его замыслы или просто откликнулся на произнесенные им слова.

– О какой должности генерального прокурора парламента вы, монсеньер, говорите? – спросил Ванель. – Я знаю лишь должность господина Фуке.

– О ней-то я и говорю, мой милый советник.

– У вас недурной вкус, монсеньер; но товар может быть куплен только в том случае, если он продается.

– Думаю, господин Ванель, что эта должность в скором времени поступит в продажу.

– Поступит в продажу! Должность генерального прокурора, должность господина Фуке?

– Об этом усиленно поговаривают.

– Должность, которая делает его неуязвимым, поступит в продажу? О, о!

И Ванель засмеялся.

– Может быть, эта должность пугает вас? – сурово произнес Кольбер.

– Пугает? Нисколько.

– Или вы не хотите ее?

– Монсеньер, вы потешаетесь надо мной, – ответил Ванель. – Какому советнику парламента не хотелось бы превратиться в генерального прокурора?

– В таком случае, господин Ванель... раз я утверждаю, что должность поступит в продажу...

– Вы утверждаете, монсеньер?

– Об этом многие говорят.

– Повторяю, это немыслимо: никто не бросит щита, оберегающего его честь, состояние, наконец, жизнь.

– Бывают порой сумасшедшие, которые мнят себя в безопасности от ударов судьбы, господин Ванель.

– Да, монсеньер, бывают; но подобные сумасшедшие не совершают своих безумств в пользу бедных Ванелей, прозябающих в этом мире.

– Почему?

– Потому что Ванели бедны.

– Должность господина Фуке и впрямь стоит дорого. Что бы вы отдали за нее, господин Ванель?

– Все, что у меня есть, монсеньер.

– Сколько же?

– От трехсот до четырехсот тысяч ливров.

– А цена этой должности?

– Самое малое полтора миллиона. Я знаю людей, которые предлагали миллион семьсот тысяч и все же не могли соблазнить господина Фуке. Но если бы даже случилось, что господин Фуке захочет продать свою должность, чему я не верю, несмотря на то, что мне говорили...

– А, так и вам говорили! Кто же?

– Господин де Гурвиль... господин Пелисон... так, мимоходом.

– Ну, так если б господин Фуке захотел продать свою должность?..

– Я все равно не мог бы купить ее, ибо господин суперинтендант продал бы ее лишь за наличные, а кто может сразу выложить на стол полтора миллиона?

Тут Кольбер остановил советника выразительным жестом. Он снова задумался.

Наблюдая работу мысли на лице своего господина и видя его настойчивое желание продолжать разговор о том же предмете, Ванель терпеливо дожидался решения, не смея подсказать его интенданту.

– Объясните мне хорошенько, – сказал наконец Кольбер, – какие привилегии связаны с должностью генерального прокурора.

– Право обвинения всякого французского подданного, если он не принц крови; право аннулирования всякого обвинения, направленного против любого француза, кроме короля и принцев королевского дома. Генеральный прокурор – правая рука короля, карающая виновных; впрочем, та же рука может служить королю и для того, чтобы погасить факел правосудия и законности.

Таким образом, господин Фуке в состоянии выказать неповиновение королю, подняв против него парламент; вот почему король, несмотря ни на что, постарается ладить с

господином Фуке, ибо его величество, конечно, захочет, чтобы его указы вступали в законную силу без возражений парламента.

Генеральный прокурор может быть и очень полезным, и очень опасным орудием.

– Хотите быть генеральным прокурором, Ванель? – внезапно спросил Кольбер, смягчая голос и взгляд.

– Я? – воскликнул Ванель. – Но я уже имел честь докладывать, что у меня для этого не хватает миллиона ста тысяч ливров.

– Вы возьмете их в долг у ваших друзей.

– У меня нет друзей богаче меня.

– Вы – честный человек!

– О, если б все думали так же, как монсеньер!

– Достаточно, что так думаю я. И в случае надобности я готов отвечать за вас.

– Берегитесь, монсеньер! Знаете ли вы поговорку?

– Какую?

– Кто отвечает, тому и платить.

– До этого не дойдет.

Ванель встал, взволнованный предложением, так неожиданно сделанным ему человеком, слова которого воспринимались всерьез даже самыми легкомысленными людьми.

– Не потешайтесь надо мной, монсеньер, – сказал он.

– Давайте поспешим с этим делом, Ванель. Вы говорите, что господин Гурвиль разговаривал с вами о должности господина Фуке?

– Да, и Пелисон также.

– Официально или только официозно?

– Вот их слова: «Члены парламента богаты и честолюбивы, им надлежит сложиться и предложить два или три миллиона господину Фуке, своему покровителю, своему светочу».

– Что же вы сказали на это?

– Я сказал, что в случае нужды возьму свою долю в размере десяти тысяч ливров.

– А, значит, и вы обожаете господина Фуке! – воскликнул Кольбер, бросив на Ванеля взгляд, полный ненависти.

– Нисколько. Но господин Фуке занимает пост нашего генерального прокурора; он влез в долги, он идет ко дну, мы должны спасти честь корпорации.

– Так вот почему, пока Фуке при своей должности, ему нечего опасаться.

– Сверх того, – продолжал Ванель, – господин Гурвиль добавил: «Принять милостыню господину Фуке унижительно, и он от нее, несомненно, откажется; пусть же парламент сложится и, соблюдая благопристойность, купит должность своего генерального прокурора; тогда все обойдется как следует: честь корпорации останется незапятнанной, и вместе с тем будет пощажена гордость господина Фуке».

– Да, это действительно выход.

– Я рассудил совершенно так же, как вы, монсеньер.

– Так вот, господин Ванель: вы сейчас же отправитесь к господину Пелисону или к господину Гурвилю; знаете ли вы еще кого-нибудь из друзей господина Фуке?

– Я хорошо знаком с господином де Лафонтеном.

– С тем... стихотворцем?

– Да, с ним; когда мы были в добрых отношениях с господином Фуке, он сочинял стихи, воспевающие мою жену.

– Обратитесь к нему, чтобы он устроил вам встречу с суперинтендантом.

– Охотно. Но как же с деньгами?

– В указанный день и час деньги будут в вашем распоряжении; на этот счет можете быть спокойны.

– Монсеньер, сколь великая щедрость! Вы затмеваете короля. Вы превосходите господина Фуке!

– Одну минуту... не будем злоупотреблять словами, Ванель. Я вам отнюдь не дарю

миллиона четырехсот тысяч ливров; у меня есть дети.

– О сударь, вы мне их ссужаете – и этого более чем достаточно.

– Да, я их ссужаю.

– Назначайте любые проценты, любые гарантии, монсеньер, я готов ко всему, что бы вы ни потребовали, я буду повторять еще и еще, что вы превосходите в щедрости королей и господина Фуке. Ваши условия?

– Вы погасите долг в течение восьми лет.

– Очень хорошо.

– Вы даете мне закладную на самую должность.

– Превосходно. Это все?

– Подождите. Я оставляю за собой право перекупить у вас эту должность, уплатив вам на сто пятьдесят тысяч ливров больше, чем то, что вы заплатите за нее, если в отправлении этой должности вы не будете руководствоваться интересами короля и моими предначертаниями.

– А! – произнес, слегка волнуясь, Ванель.

– Разве в моих условиях есть что-нибудь, что вам не нравится? – холодно спросил Ванеля Кольбер.

– Нет, нет, – живо ответил Ванель.

– В таком случае мы подпишем договор, когда вы того пожелаете. Бегите же к друзьям господина Фуке.

– Лечу...

– И добейтесь свидания с суперинтендантом.

– Хорошо, монсеньер.

– Будьте уступчивы.

– Да.

– И как только сговоритесь...

– Я потороплюсь заставить его Подписать соглашение.

– никоим образом не делайте этого!.. Ни в коем случае не заикайтесь ни о подписи, говоря с господином Фуке, ни о неустойке в случае нарушения им договора, ни даже о честном слове, слышите? Или вы все погубите!

– Как же быть, монсеньер? Все это не так просто.

– Постарайтесь только, чтобы господин Фуке заключил с вами сделку.

Идите!

Глава 3. У ВДОВСТВУЮЩЕЙ КОРОЛЕВЫ

Вдовствующая королева пребывала у себя в спальне в королевском дворце с г-жой де Мотвиль и сеньорой Моленой. Король, которого прождали до вечера, так и не появился. Королева в нетерпении несколько раз посылала узнать, не возвратился ли он. Все предвещало грозу. Придворные кавалеры и дамы избегали встречаться в приемных и коридорах, дабы не говорить на опасные темы.

Принц, брат короля, еще утром отправился с королем на охоту. Принцесса, дуясь на всех, сидела у себя. Вдовствующая королева, прочитав по-латыни молитву, разговаривала со своими двумя приближенными на чистом кастильском наречии; речь шла о семейных делах. Г-жа де Мотвиль, прекрасно понимавшая испанский язык, отвечала ей по-французски.

После того как три собеседницы, в безупречно учтивой форме и пользуясь недомолвками, высказались в том смысле, что поведение короля убивает королеву, его супругу, королеву-мать и всю остальную родню; после того как в изысканных выражениях на голову мадемуазель де Лавальер были обрушены всяческие проклятия, королева-мать увенчала эти жалобы и укоры словами, отвечавшими ее характеру и образу мыслей.

– Estos hijos! – сказала она, обращаясь к Молене. Эти слова означали:

«Ах, эти дети!»

Эти слова в устах матери полны глубокого смысла; в устах королевы Анны Австрийской, хранившей в глубине своей скорбной души столь невероятные тайны, – слова эти были просто ужасны.

– Да, – отвечала Молена, – эти дети! Дети, которым всякая мать отдает себя без остатка.

– И ради которых, – продолжила королева, – мать пожертвовала решительно всем...

Королева не закончила фразы. Она бросила взгляд на портрет бледного, без кровинки в лице, Людовика XIII, изображенного во весь рост, и ей почудилось, будто в тусклых глазах ее супруга снова появляется блеск и его нарисованные на холсте ноздри начинают раздуваться от гнева. Он не говорил, он грозил. После слов королевы надолго воцарилось молчание. Молена принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Г-жа де Мотвиль, пораженная этой молнией взаимопонимания, одновременно мелькнувшей в глазах королевы и ее давней наперсницы, опустила взор и, стараясь не видеть, вся обратилась в слух. Она услышала лишь многозначительное «гм», которое пробормотала дуэнья, эта воплощенная осторожность. Она уловила вздох, вырвавшийся из груди королевы. Г-жа де Мотвиль тотчас же подняла голову и спросила:

– Вы страдаете, ваше величество?

– Нет, Мотвиль; но почему тебе пришло в голову обратиться ко мне с этим вопросом?

– Ваше величество застонали.

– Ты, пожалуй, права; мне немножко не по себе.

– Господин Вало тут поблизости; он, кажется, у принцессы: у нее расстроены нервы.

– И это болезнь! Господин Вало напрасно посещает принцессу; ее исцелил бы совсем, совсем иной врач.

Госпожа де Мотвиль еще раз удивленно взглянула на королеву.

– Иной врач? – переспросила она. – Но кто же?

– Труд, Мотвиль, труд... Ах, уж если кто и впрямь болен, так это моя бедная дочь – королева.

– И вы также, ваше величество.

– Сегодня мне немного легче.

– Не доверяйтесь своему самочувствию, ваше величество.

И, словно в подтверждение этих слов г-жи де Мотвиль, острая боль ужалила королеву в самое сердце: она побледнела и откинулась в кресле, теряя сознание.

– Мои капли! – воскликнула она.

– Сейчас, сейчас! – сказала Молена и, нисколько не ускоряя движений, подошла к шкафчику из черепахи золотисто-желтого цвета, вынула из него большой хрустальный флакон и, открыв его, подала королеве.

Королева поднесла его к носу, несколько раз жадно понюхала и прошептала:

– Вот так и убьет меня господь бог. Да будет его святая воля!

– От боли не умирают, – возразила Мочена, ставя флакон на прежнее место.

– Вашему величеству лучше? – спросила г-жа де Мотвиль.

– Да, теперь лучше.

И королева приложила палец к губам, чтобы ее любимица не проговорила о только что виденном.

– Странно, – сказала после некоторого молчания г-жа де Мотвиль.

– Что же странно? – произнесла королева.

– Помнит ли ваше величество день, когда эта боль впервые появилась у вас?

– Я помню лишь то, что это был грустный день, Мотвиль.

– Этот день не всегда был для вашего величества грустным.

– Почему?

– Потому что двадцать три года назад, и притом в тот же час, родился царствующий ныне король, прославленный сын вашего величества.

Королева вскрикнула, закрыла лицо руками и на несколько секунд погрузилась в раздумье. Было ли то воспоминание, для размышление, или еще один приступ боли?

Молена кинула на г-жу де Мотвиль почти что свирепый взгляд, до того он был похож на упрек. И достойная женщина, ничего не доняв, собралась было для успокоения своей совести обратиться к ней за разъяснениями, как вдруг Анна Австрийская, внезапно поднявшись с кресла, сказала:

– Пятое сентября! Да, эта боль появилась пятого сентября. Великая радость в один день, великая печаль – в другой. Великая печаль, – добавила она совсем тихо, – искупление за великую радость.

И с этого момента Анна Австрийская, как бы исчерпав всю свою память и разум, снова замолчала, глаза у нее потухли, мысли рассеялись и руки повисли.

– Нужно ложиться в постель, – сказала Молена.

– Сейчас, Молена.

– Оставим ее величество, – упорствовала испанка.

Госпожа де Мотвиль встала. Блестящие и крупные, похожие на детские, слезы медленно катились по бледным щекам королевы. Молена, заметив это, пристально посмотрела на Анну Австрийскую своим упорным настороженным взглядом.

– Да, да, – промолвила королева. – Оставьте нас; идите, Мотвиль.

Слово нас неприятно прозвучало в ушах французской любимицы. Оно означало, что после ее ухода последует обмен воспоминаниями и тайнами. Оно означало, что беседа вступает в свою наиболее интересную фазу и что третье лицо – а именно она, Мотвиль, – лишнее.

– Чтобы помочь вашему величеству, достаточно ли одной Молены? – спросила француженка.

– Да, – сказала испанка.

Госпожа де Мотвиль поклонилась. Вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и видя королеву в слезах, г-жу де Мотвиль, искусно отступающую под натиском дипломатических уловок Молены и эту последнюю в разгаре ее дипломатии, без стеснения направилась к королеве и радостно прокричала:

– Лекарство, лекарство!

– Какое лекарство, Чика? – перебила ее Анна Австрийская.

– Лекарство, чтобы вылечить ваше величество от болезни.

– Кто же доставил его? – живо спросила г-жа де Мотвиль. – Господин Вало?

– Нет, дама из Фландрии.

– Дама из Фландрии? Кто она? Испанка? – повернулась к горничной королева.

– Не знаю.

– А кем она прислана?

– Господином Кольбером.

– Как зовут эту даму?

– Она не сказала.

– Ее положение в обществе?

– На это ответит она сама.

– Ее лицо?

– Она в маске.

– Взгляни-ка, Молена! – воскликнула королева.

– Это бесполезно, – ответил из-за портьеры решительный и вместе с тем нежный голос, который заставил вздрогнуть королеву и ее дам.

В то же мгновение, раздвигая занавес, появилась женщина в маске. И прежде чем королева успела вымолвить хоть одно слово, незнакомка проговорила:

– Я монахиня из брюттского монастыря, и я действительно принесла лекарство, которое должно излечить ваше величество.

Все молчали. Бегинка замерла в неподвижности.

– Продолжайте, – обратилась к ней королева.

– Когда мы останемся наедине, – сказала бегинка.

Анна Австрийская взглянула на своих компаньонов, и они удалились.

Тогда бегинка сделала три шага по направлению к королеве и почтительно склонилась перед нею.

Королева недоверчиво рассматривала монахиню, которая, в свою очередь, упорно смотрела на королеву; ее глаза блестели в прорези маски.

– Королева Франции, должно быть, очень больна, – начала Анна Австрийская, – раз даже бегинки из Брюгге знают, что она нуждается в лечении.

– Слава богу, ваше величество не безнадежно больны.

– Все же как вы узнали, что я больна?

– Ваше величество располагаете друзьями во Фландрии.

– И эти друзья направили вас ко мне?

– Да, ваше величество.

– Назовите их имена.

– Невозможно и бесполезно, поскольку память вашего величества все еще не пробуждена вашим сердцем.

Анна Австрийская подняла голову; она силилась проникнуть под покров маски и разгадать таинственность этих слов, дабы открыть имя той, которая говорила с такою непринужденностью. Потом, вдруг устав от своего любопытства, оскорбительного для ее обычного высокомерия, она строго заметила:

– Сударыня, вы, вероятно, не знаете, что с царствующими особами не говорят в маске?

– Соблаговолите извинить меня, ваше величество, – смиренно ответила бегинка.

– Извинить вас я не могу; я дарю вам прощение, но только в том случае, если вы сбросите маску.

– Ваше величество, я дала обет помогать страждущим и опечаленным, не открывая перед ними лица. Я могла бы принести облегчение и вашему телу и вашей душе, но так как ваше величество чинит мне в этом препятствия, то я удаляюсь. Прощайте, ваше величество!

Эти слова были произнесены с таким обаянием и такою почтительностью, что гнев и недоверие королевы исчезли, тогда как любопытство ее несколько не улеглось.

– Вы правы, – сказала она, – тем, кто страдает, не следует пренебрегать утешениями, ниспосланными им господом богом. Говорите, сударыня, и, быть может, вам будет дано принести облегчение, как вы обещаете, моему телу... Увы, боюсь, что господь готовит моей плоти жестокие испытания!

– Поговорим немного и о вашей душе, – продолжала бегинка, – о душе, которая тоже страдает, в чем я уверена.

– Моя душа?

– Есть пожирающие нас язвы, которые нарывають незримо. При этих недугах кожа остается светлой, как слоновая кость, и на теле не проступает никаких синих пятен. Врач, склоняющийся над грудью больного, не в силах услышать, как в мускулах, под током крови, скрежещут зубы этих ненасытных чудовищ; ни огонь, ни железо не способны убить или укротить ярость этого разящего насмерть бича; враг проникает в чувства и мысли, и они приходят в смятение; боль прорастает в сердце, и оно разрывается. Вот, ваше величество, язвы, роковые для королев. Не страдаете ли вы подобным недугом?

Анна медленно подняла руку, такую же ослепительно белую и прекрасную, как во времена ее молодости.

– Недуг, о котором вы говорите, – сказала она, – неизбежное зло нашей жизни, жизни великих мира сего, на которых господь возложил обязанности печься о подданных. Когда недуг слишком тяжел, бог облегчает нас на суде покаяния. Там мы сбрасываем с себя бремя и освобождаемся от гнетущих нас тайн. Но не забывайте, что господь соразмеряет испытания с силами своих тленных созданий, и мои силы способны выдержать лежащее на мне бремя; для чужих тайн мне достаточно скромности бога, для моих собственных мне мало скромности моего духовника.

– Я вижу, что вы, как всегда, смело выступаете против своих врагов, ваше величество, но я боюсь, что вы недостаточно доверяете вашим друзьям.

– У королев нет друзей. Если вам больше нечего мне сказать, если вы чувствуете себя вдохновляемой самим богом, словно пророчица, уйдите, ибо я страшусь будущего.

– А мне показалось, – решительно возразила бегинка, – что вы скорее страшитесь былого.

Она еще не окончила этой фразы, как королева, вся выпрямившись, воскликнула резким и повелительным тоном:

– Говорите! Объяснитесь четко, ясно, полно или...

– Не грозите, ваше величество, – отвечала мягко бегинка. – Я пришла, полная почтительности и сочувствия, я пришла к вам от друга.

– Тогда докажите это! Облегчите мои страдания, вместо того чтобы вызывать во мне раздражение.

– Это легко сделать. И ваше величество увидят, друг ли я.

– Ну, начинайте.

– Какое несчастье свалилось на ваше величество за последние двадцать три года?

– Ах... большие несчастья; разве не потеряла я короля?

– Я не говорю об этом. Я хочу задать вам вопрос: после рождения короля не причинила ли вам страданий нескромность одной из близких вам женщин?

– Не понимаю вас, – ответила королева, стиснув зубы, чтобы скрыть овладевшее ею волнение.

– Сейчас объясню. Ваше величество помнит, конечно, что король родился пятого сентября тысяча шестьсот тридцать восьмого года в одиннадцать с четвертью часов?

– Да, – пролепетала королева.

– В половине первого, – продолжала бегинка, – дофин, уже помазанный архиепископом Мосским в присутствии короля и вашего, был провозглашен наследником французской короны. Король отправился в часовню старого Сен-Жерменского замка, чтобы прослушать Te Deum³¹.

– Все это так, – прошептала королева.

– Ваше величество разрешились от бремени в присутствии покойного принца – брата короля, принцев крови и придворных дам. Врач короля Бувер и хирург Опоре находились в приемной. Ваше величество заснули около трех часов и проспали приблизительно до семи, не так ли?

– Все это верно, но вы мне рассказываете о том, что вместе со мной и вами знает весь свет...

– Я приближаюсь, ваше величество, к тому, что знают немногие. Я сказала: немногие. Увы, я могла бы сказать: только двое, ибо и прежде их было лишь пять, но за последние несколько лет тайна стала еще более сокровенной вследствие смерти большинства посвященных в нее. Король, наш господин, покоится рядом с предками; повивальная бабка Перон умерла вскоре после него, о Ла Порте никто уже больше не вспоминает.

Королева приоткрыла рот, собираясь ответить; под ледяною рукой, которой она коснулась лица, лились горячие капли пота.

– Было восемь часов, – продолжала бегинка. – Король с легким сердцем сидел за ужином; вокруг него были песни, веселые крики, полные до краев стаканы; под балконами горланил народ; швейцарцы, мушкетеры, гвардейцы бродили по городу, и хмельные студенты, встречаясь с ними, принимались качать их. Этот шум народного ликования испугал новорожденного дофина, и он тихонько плакал на руках у своей нянюшки, госпожи Гозак. И если б он открыл глаза, то его взору предстали бы две короны в глубине колыбели.

Вдруг ваше величество пронзительно вскрикнули, и к вашему изголовью подошла Перон. Врачи обедали в отдаленной зале. Дворец стал пустыней, поскольку его заполнило

слишком много народа; в нем не было ни заведенного порядка, ни часовых. Повивальная бабка, осмотрев ваше величество, закричала от удивления и, обняв вас, измученную и обезумевшую от боли, послала Ла Порта сказать королю, что королева желает видеть его величество.

Ла Порт, как вам известно, был человек толковый и хладнокровный. Он не подошел к королю с видом испуганного слуги, чувствующего значительность приносимой им вести и жаждущего напугать ею; его новость, впрочем, не могла бы показаться королю страшной. И вот улыбающийся Ла Порт остановился у королевского кресла и произнес: «Ваше величество, королева исполнена счастья и была бы еще счастливее, если б могла увидеть ваше величество у себя».

В этот день Людовик Тринадцатый за доброе пожелание отдал бы корону любому нищему. Веселый, оживленный, он поднялся из-за стола и сказал таким тоном, каким мог бы сказать Генрих Четвертый: «Господа, я иду к жене».

Он вошел к вам, и Перон поднесла к нему второго наследника, который был такой же здоровенький и такой же красавчик, как первый. При этом она сказала: «Государь, господь не желает, чтобы во французском царствующем доме прекратилась мужская линия». Король, движимый горячим порывом, подбежал к этому второму ребенку, воскликнув: «Благодарю тебя, боже!»

Тут бегинка замолкла, заметив, что королева сильно страдает. Анна Австрийская, откинувшись в кресле, с опущенной головой, с остановившимся взглядом, слушала ее, очевидно не понимая того, что ей говорят: губы ее судорожно подергивались, как бы произнося молитвы, обращенные к богу, или призывая проклятия на голову этой безжалостней женщины.

– Ах, не думайте, – горячо продолжала бегинка, – не думайте, что если во Франции оказался один дофин и если королева оставила второго ребенка прозябать вдалеке от королевского трона, не думайте, что она была дурной матерью! О нет, нет!.. Существуют люди, которым хорошо ведомо, сколько слез она пролила, которые могут сосчитать пыльные поцелуи, которыми она осыпала это бедное существо, утешая его за жалкую и скрытую во тьме жизнь, в силу государственной необходимости доставшуюся в удел близнецу Людовика Четырнадцатого.

– Боже мой! Боже мой! – едва слышно прошептала королева.

– Известно, – оживилась бегинка, – что король, увидев себя отцом двоих сыновей, сверстников, обладавших одинаковыми правами, проникся тревогой за судьбы Франции, за мир и спокойствие в своем королевстве. Известно, что вызванный во дворец Ришелье больше часа предавался раздумьям в кабинете его величества и в конце концов произнес следующий приговор:

«Во Франции может быть лишь один дофин, родившийся, чтобы унаследовать трон после его величества. Господь бог послал нам еще одного, чтобы он мог наследовать первому. Но в настоящее время мы нуждаемся только в том, кто первый появился на свет; скроем же второго от Франции, как господь скрыл его поначалу от его державных родителей. Один наследник престола это мир и спокойствие государства; два претендента – это гражданская война и анархия».

Королева, бледная, с сжатыми кулаками, резким движением поднялась с кресла.

– Вы знаете слишком много, – произнесла она глухим голосом, – вы причастны к государственным тайнам. А друзья, которые вам их поведали, лжедрузья и предатели. Вы их сообщница в преступлении, которое здесь совершается. А теперь маску долой, или я прикажу дежурному офицеру взять вас под арест. О, я не боюсь этой тайны! Вы узнали ее и за это заплатите! Она застынет в вашей груди. И эта тайна, и ваша жизнь отныне принадлежат не вам!

И Анна Австрийская с угрожающим жестом сделала несколько шагов в сторону бегинки.

– Оцените же верность, честь, скромность покинутых вами друзей, сказала бегинка и сбросила маску.

– Герцогиня де Шеврез! – воскликнула королева.
– Единственная, кто разделяет с вами эту тайну.
– Ах, – прошептала Анна Австрийская, – обнимите меня, герцогиня! Ведь недолго и убить старого друга, играя его роковыми печальями.

И королева, склонив голову на плечо давней своей приятельницы, пролила поток горьких слез.

– Как же вы еще молоды, – вполголоса произнесла г-жа де Шеврез, счастливая, вы можете плакать!

Глава 4. ПОДРУГИ

Королева надменно посмотрела на герцогиню де Шеврез и сказала:

– Вы произнесли, кажется, слово «счастливая», говоря обо мне. А между тем, герцогиня, я всегда думала, что на всем белом свете нет ни одного существа, которое было бы столь же обойдено счастьем, как французская королева.

– Государыня, вы воистину мать всех скорбей. Но наряду с теми возвышенными терзаниями, о которых мы с вами, старинные приятельницы, разлученные людской злобой, только что говорили, наряду с этими бедствиями, связанными с тем, что вы – королева, у вас есть и кое-какие радости, правда, мало ощутимые вами, но порождающие в этом мире жгучую зависть.

– Какие же? – спросила горестно Анна Австрийская. – Как можно произносить слово «радость», если вы сами только что утверждали, что и тело мое и дух нуждаются в целебных лекарствах?

Госпожа де Шеврез задумалась на минуту, потом прошептала:

– Какая, однако, пропасть отделяет королей от всех остальных!

– Что вы хотите этим сказать?

– Я хочу сказать, что они настолько далеки от грубой действительности, что забывают о нуждах, с которыми должны бороться другие. Они подобны тем обитателям африканских нагорий, которые на своих зеленых высотах, оживленных ручьями, со студеной, как лед, водою, не понимают, как это можно умирать от жажды и голода среди сожженной солнцем пустыни.

Королева слегка покраснела; только теперь она поняла, о чем идет речь.

– Как дурно с моей стороны, что я покинула вас! – воскликнула она.

– Ах, государыня, говорят, что король унаследовал ненависть, которую питал ко мне его покойный отец. Король прогнал бы меня, если бы ему стало известно, что я во дворце.

– Не скажу, герцогиня, чтобы король питал к вам особое расположение, – сказала в ответ королева. – Но я могла бы... как-нибудь скрытно...

На лице герцогини промелькнула презрительная усмешка, встревожившая ее собеседницу.

И королева поторопилась добавить:

– Впрочем, вы очень хорошо сделали, что явились ко мне.

– Благодарю вас, ваше величество.

– Хотя бы для того, чтобы доставить мне радость наглядным опровержением слухов о вашей смерти.

– Неужели говорили о том, что я умерла?

– Со всех сторон.

– Но мои сыновья не носили траура.

– Вы ведь знаете, герцогиня, что двор без конца путешествует; мы не часто видим у себя господ д'Альбер де Люинь, ваших детей, и, кроме того, столько вещей ускользает от нас в сутолоке забот, среди которых мы постоянно живем.

– Ваше величество не должны были верить слуху о моей смерти.

– Почему бы и нет? Увы, все мы смертны: ведь вы видите, что и я, ваша меньшая сестра, как говорили мы когда-то, уже склоняюсь к могиле.

– Если вы поверили в мою смерть, ваше величество, то вас, по всей вероятности, удивило, что, умирая, я не подала о себе весточки.

– Но ведь смерть, герцогиня, порой приходит неожиданно-негаданно.

– О, ваше величество! Души, отягощенные тайнами, вроде той, о которой мы только что говорили, всегда испытывают потребность в освобождении от лежащего на них бремени, и эту потребность следует удовлетворить заранее. Среди дел, которые надлежит выполнить, готовясь к путешествию в вечность, указывают также и на необходимость привести в порядок бумаги.

Королева вздрогнула.

– Ваше величество, – сказала герцогиня, – в точности узнаете день моей смерти, и притом достовернейшим способом.

– Как же это произойдет?

– Не позже чем на следующий день после моей кончины вашему величеству будет доставлен четырехслойный конверт, и в нем вы обнаружите все, что осталось от нашей некогда столь таинственной переписки.

– Вы не сожгли моих писем? – воскликнула с ужасом Анна.

– О моя королева, лишь предатели жгут королевские письма.

– Предатели?

– Да, предатели. Или, вернее, они делают вид, что сжигают их, но в действительности хранят их у себя или продают за большие деньги...

– Господи боже!

– Тот, однако, кто хранит верность, прячет такие сокровища как можно дальше; затем в один прекрасный день он является к своей королеве и говорит: «Ваше величество, я старею, я тяжело болен, моя жизнь в опасности, и в опасности тайна, доверенная мне вашим величеством; возьмите же эту таящую опасность бумагу и сами, своими руками сожгите ее».

– Бумага, в которой таится опасность? Какая же это бумага?

– У меня только одна такая бумага, но действительно очень опасная!

– О герцогиня, скажите, скажите же, что это такое?

– Это записка... от второго августа тысяча шестьсот сорок четвертого года, в которой вы посылаете меня в Нуази-ле-Сек, чтоб повидать вашего милого и несчастного мальчика. Вашей рукою так и написано: «милого и несчастного мальчика».

Воцарилась полная тишина. Королева мысленно измеряла глубину пропасти, г-жа де Шеврез расставляла свою западню.

– Да, несчастный, очень, очень несчастный! – прошептала Анна Австрийская. – Какую печальную жизнь прожил этот бедный ребенок и как ужасно эта жизнь завершилась!

– Разве он умер? – воскликнула герцогиня, и королева, несколько успокаиваясь, подумала, что ее удивление искренне.

– Умер в чахотке, умер всеми забытый, увял, как цветок, поднесенный влюбленным и засунутый предметом его любви в глубину шкафа, чтобы укрыть его от нескромных глаз окружающих.

– Значит, он умер! – повторила герцогиня опечаленным тоном, который, несомненно, мог бы обрадовать королеву, если бы в нем не слышалось нотки сомнения. – Умер в Нуази-ле-Сек?

– Да, на руках у своего гувернера, несчастного, преданного слуги, который ненамного пережил его.

– Само собою понятно: нелегко снести такую печаль и жить с такой тайной в груди.

Королева не удостоила заметить иронию этих слов. Г-жа де Шеврез продолжала:

– Несколько лет назад, государыня, я справлялась в самом Нуази-ле-Сек о судьбе этого столь несчастного мальчика. Там его не считали умершим, вот почему я не сразу прониклась скорбью вместе с вашим величеством. О, разумеется, если б я поверила этому слуху, никогда

ни один намек на это горестное событие не пробудил бы законнейшую печаль в вашем сердце, ваше величество.

– Вы говорите, что в Нуази-ле-Сек ребенка не считали умершим?

– Нет, ваше величество.

– Что же там говорили?

– Говорили... Но, разумеется, это плод заблуждения.

– Все же скажите, что вы там слышали.

– Говорили, что как-то вечером – это было в начале тысяча шестьсот сорок пятого года – величественная и красивая женщина (что было замечено, несмотря на маску и плащ, которые скрывали ее), несомненно, знатная дама, даже очень знатная дама, приехала в карете на перекресток дорог, тот самый, на котором, как вам известно, я дожидалась вестей о молодом принце, когда ваше величество благоволили меня туда посылать.

– И?

– И гувернер привел мальчика к этой даме.

– Дальше!

– На следующий день гувернер с мальчиком уехали из местечка.

– Видите ли, этот рассказ правдив; но бедный ребенок умер внезапно, что часто случается с детьми в возрасте до семи лет. По словам врачей, жизнь их в эти годы держится на волоске.

– То, что говорит ваше величество, – истина; никто не знает этого лучше, чем вы, никто не верит этому столь же безгранично, как я. Но заметьте, тут есть одна странность...

«Что еще?» – подумала королева.

– Лицо, сообщившее мне эти подробности, лицо, ездившее справляться о здоровье ребенка...

– Вы кому-нибудь доверили подобное – поручение?

О, герцогиня!

– Некто немой, как ваше величество, номой, как я; предположим, что этим некто была я сама. Это лицо, проезжая через некоторое время в Турень...

– В Турень?

– Узнало и гувернера и мальчика... простите, этому лицу, разумеется, лишь так показалось, что оно узнало обоих. Оба были живы, веселы и здоровы, оба цвели, один в дни своей бодрой, полной сил старости, другой в нежные дни первой юности. Судите же после этого, можно ли доверять слухам? Можно ли в нашем подлунном мире верить чему бы то ни было? Но я утомляю ваше величество. О, я совсем не хотела этого, и я сейчас же откланяюсь, принеся еще раз уверения в моей почтительнейшей преданности, ваше величество.

– Останьтесь! Поговорим немного о вас.

– Обо мне? О государыня, не опускайте столь низко свой взор.

– Почему же? Разве вы не стариннейшая моя приятельница... Разве вы сердитесь на меня, герцогиня?

– Я? Господи боже! У меня нет к этому оснований.

Неужели я явилась бы к вам, будь у меня причина сердиться на вас?

– Годы одолевают нас, герцогиня; мы должны теснее сплотиться в борьбе против грозящей нам смерти.

– Ваше величество, вы осыпаете меня милостями, произнося такие ласковые слова.

– Никто не любил меня так, никто мне так не служил, как вы, герцогиня.

– Ваше величество помнит об этом?

– Всегда... Герцогиня, я хочу от вас доказательства дружбы.

– Всем своим существом я ваша, ваше величество!

– Но где же доказательство дружбы?

– Какое?

– Обратитесь ко мне с какой-нибудь просьбой.

– С просьбой?

– О, я знаю, у вас самая бескорыстная, самая возвышенная, самая царственная душа.
– Но хвалите меня чрезмерно, ваше величество, – сказала взволнованно герцогиня.
– Я не в состоянии воздать вам хвалу, которая была бы равна вашим заслугам.
– С возрастом под влиянием несчастий очень меняешься, ваше величество.
– Да услышит вас бог, герцогиня!
– Что это значит, ваше величество?
– Это значит вот что: прежняя герцогиня, прекрасная, обожаемая Шеврез, ответила бы мне черной неблагодарностью. Она бы сказала: «Мне ничего не нужно от вас». Да будут в таком случае благословенны несчастья, если они изменили вас и вы теперь, быть может, ответите мне: «Принимаю».

Взгляд и улыбка герцогини смягчились. Она была очарована королевой и не пыталась скрыть свои чувства.

– Говорите же, моя дорогая, – продолжала королева, – чего вы желаете?
– Итак, я должна высказаться?
– Поскорей, не раздумывая.
– Ваше величество можете принести мне несказанную радость, несравненную радость.
– Ну, говорите же, – промолвила королева, слегка охладев вследствие проснувшегося в ней беспокойства. – Только не забывайте, моя дорогая Шеврез, что теперь надо мной стоит сын, как некогда стоял муж.

– Я буду скромна, моя королева.
– Называйте меня Анной, как прежде, это будет сладким напоминанием о несравненных днях юности.

– Хорошо. Итак, моя обожаемая госпожа, моя милая Анна...
– Ты еще помнишь испанский?
– Конечно.
– Тогда сообщи мне по-испански, чего ты хочешь.
– Я хочу следующего: окажи мне честь и приезжай ко мне на несколько дней в Дампьер.
– И это все? – воскликнула пораженная королева.
– Да.
– Только и всего?
– Боже мой, разве вы не видите, что я прошу вас о неслыханном благодеянии? Если вы не видите этого, значит, вовсе меня не знаете. Принимаете ли вы мое приглашение?

– Конечно, и от всего сердца.
– О, как я признательна вам!
– И я буду счастлива, – продолжала, все еще не вполне уверовав в искренность герцогини, Анна Австрийская, – если мое присутствие сможет оказаться полезным для вас.

– Полезным! – воскликнула, смеясь, герцогиня. – О нет! Приятным, сладостным, радостным, да, тысячу раз да! Значит, вы обещаете?

– Даю вам слово.
Герцогиня схватила прекрасную руку королевы и покрыла ее поцелуями.
«Она, в сущности, добрая женщина, – подумала королева, – и... ей свойственно душевное благородство».

– Ваше величество, – задала вопрос герцогиня, – даете ли вы мне две недели?
– Конечно. Но для чего?
– Зная, что я в немилости, никто не хотел дать мне взаймы сто тысяч экю, которые мне нужны, чтобы привести в порядок Дампьер. Но теперь, лишь только станет известно, что эти деньги пойдут на то, чтобы принять ваше величество, парижские капиталы рекой потекут ко мне.

– Так вот оно что, – сказала королева, ласково кивнув головой, – сто тысяч экю! Нужно сто тысяч экю, чтобы привести в порядок Дампьер?

– Около этого.
– И никто не хочет ссудить их вам?

– Никто.
– Если хотите, я их ссужу, герцогиня.
– О, я не посмею.
– Напрасно.
– Правда?
– Честное слово королевы. Сто тысяч экю – это, в сущности, не так уж много.
– Разве?
– Да, немного. Я знаю, что вы никогда не продавали ваше молчание за цену, которую оно стоит. Подвиньте мне этот стол, герцогиня, и я напишу вам чек для господина Кольбера; нет, лучше для господина Фуке, который гораздо любезнее и приятнее.
– А платит ли он?
– Если он не заплатит, заплачу я. Но это был бы первый случай, когда бы он мне отказал. Королева написала записку, вручила ее герцогине и простилась с ней, расцеловав ее напоследок.

Глава 5.

КАК ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН НАПИСАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ СКАЗКУ

Рассказ обо всех этих интригах нами исчерпан, и в трех последующих главах нашего повествования развернется непринужденная игра человеческого ума, столь многообразного в своих проявлениях.

Быть может, и впредь мы не сможем обойтись в той картине, которую собираемся показать, без политики и интриг, но их пружины будут скрыты так глубоко, что читатель увидит лишь цветы и роскошную живопись, ибо дело будет обстоять здесь точно так же, как в балагане на ярмарке, где великана, шагающего по подмосткам, приводят в движение слабые ножки и хрупкие ручки запятого в его платье ребенка.

Итак, мы возвращаемся в Сен-Манде, где суперинтендант по своему обыкновению принимает избранное общество эпикурейцев.

С некоторых пор для хозяина наступили тяжелые дни. Всякий, войдя к нему, не может не почувствовать затруднений, испытываемых министром.

Здесь не бывает больше многолюдных и шумных сборищ. Предлог, который приводит Фуке, – финансы, но, как остроумно заметил Гурвиль, не бывало еще предлога более лживого: тут нет и тени финансов. Правда, пока Ватель еще умудряется поддерживать репутацию дома.

Между тем садовники и огородники, снабжающие своими припасами кухню, жалуются, что их разоряют, задерживая расчеты. Комиссионеры, поставляющие испанские вина, шлют письмо за письмом, тщетно прося об оплате счетов. Рыбаки, нанятые суперинтендантом на побережье Нормандии, прикидывают в уме, что, если бы с ними был произведен полный расчет, они смогли бы бросить рыбную ловлю и осесть на земле. Свежая рыба, которая позднее станет причиной смерти Вателя, больше не появляется.

И все же в приемный день друзья г-на Фуке собрались у него в большем количестве, чем обычно. Гурвиль и аббат Фуке беседуют о финансах, иначе говоря, аббат берет у Гурвиля несколько пистолет взаймы. Пелисон, положив ногу на ногу, дописывает заключение речи, которой Фуке должен открыть парламент. И эта речь – настоящий шедевр, ибо Пелисон сочиняет ее для друга, то есть вкладывает в нее все то, над чем он не стал бы, разумеется, биться, если бы писал ее для себя. Вскоре из глубины сада выходят Лафонтен и Лоре, спорящие о шуточных стихах.

Художники и музыканты собираются возле столовой. Когда пробьет восемь часов, сядут ужинать. Суперинтендант никогда не заставляет дожидаться себя. Сейчас половина восьмого. Appetit уже сильно разыгрался.

После того как все гости наконец собрались, Гурвиль направляется к Пелисону, отрывает его от раздумий и, выведя на середину гостиной, двери которой тщательно закрыты, спрашивает у него:

– Ну, что нового?

Пелисон смотрит на него.

– Я занял у своей тетушки двадцать пять тысяч ливров – вот чеки на эту сумму.

– Хорошо, – отвечает Гурвиль, – теперь не хватает лишь ста девяноста пяти тысяч ливров для первого взноса.

– Это какого же взноса? – спрашивает Лафонтен таким тоном, как если бы он задал свой обычный вопрос: «А читали ли вы Баруха?»

– Ох уж этот мне рассеянный человек! – восклицает Гурвиль. – Ведь вы сами сообщили мне о небольшом поместье в Корбейле, которое собирается продать один из кредиторов господина Фуке; ведь это вы предложили всем друзьям Эпикура устроить складчину, чтобы помешать этому; вы говорили также, что продадите часть вашего дома в Шато-Тьери, чтоб внести свою долю, а теперь вы вдруг спрашиваете: «Это какого же взноса?»

Эти слова Гурвиля были встречены общим смехом, заставившим покраснеть Лафонтена.

– Простите, простите меня, – сказал он, – это верно; пет, я не забыл.

Только...

– Только ты больше не помнил об этом, – заметил Лоре.

– Сущая истина. Он совершенно прав. Забыть и не помнить – это большая разница.

– А вы принесли вашу лепту, – спросил Пелисон, – деньги за проданный вами участок земли?

– Проданный? Нет, не принес.

– Вы что же, так его и не продали? – удивился Гурвиль, знавший бескорыстие и щедрость поэта.

– Моя жена не допустила этого, – отвечал Лафонтен.

Раздался новый взрыв смеха.

– Но ведь в Шато-Тьери вы ездили именно с этой целью?

– Да, и даже верхом.

– Бедный Жан!

– Я восемь раз сменил лошадей. Я изнемог.

– Вот это друг!.. Но там-то вы, надеюсь, отдохнула?

– Отдохнул? Вот так отдых! Там у меня было довольно хлопот.

– Как так?

– Моя жена принялась кокетничать с тем, кому я собирался продать свой участок; этот человек отказался от покупки, и я вызвал его на дуэль.

– Превосходно! И вы дрались?

– Очевидно, нет.

– Вы, стало быть, и этого толком не знаете?

– Нет, нет; вмешалась моя жена со своею родней. В течение четверти часа я стоял со шпагой в руке, но между тем не был ранен.

– А ваш противник?

– Противник тоже. Он не явился на место дуэли.

– Замечательно! – закричали со всех сторон. – Вы, должно быть, метали громы и молнии?

– Разумеется! Там я схватил простуду, а когда вернулся домой, жена накинулась на меня с бранью.

– Всерьез?

– Всерьез! Она бросила в меня хлебом, понимаете, большим хлебом и попала мне в голову.

– А вы?

– А я? Я принялся швырять в нее и ее гостей всем, что нашел на столе; потом вскочил на коня, и вот я здесь.

Нельзя было оставаться серьезным, слушая эту комическую героиню. Когда ураган смеха несколько стих, Лафонтена спросили:

– И это все, что вы привезли?
– О нет. Мне пришла в голову превосходная мысль.
– Выскажите ее.
– Приметили ли вы, что у нас во Франции сочиняется множество игривых стишков?
– Еще бы, – ответили хором присутствующие.
– И что их мало печатают?
– Совершенно верно; законы на этот счет очень суровы.
– И я подумал, что редкий товар – ценный товар. Вот почему я принялся сочинять небольшую поэмку, в высшей степени вольную.
– О, о, милый поэт!
– В высшей степени непристойную.
– О, о!
– В высшей степени циничную.
– Черт подери!
– Я вставил в нее все словечки из обихода любви, которые только знаю, – говорил Лафонтен.

Все хохотали до упаду, слушая, как славный поэт расхваливает свой товар.

– И я постарался превзойти все написанное прежде меня Боккаччо, Аретино и другими мастерами этого жанра.

– Боже мой! – вскричал Пелисон. – Да он заработает себе отлучение.

– Вы и в самом деле так думаете? – наивно спросил Лафонтен. – Клянусь вам, я сделал это не для себя, а для господина Фуке.

Столь великолепный довод окончательно развеселил присутствующих.

– И, кроме того, – продолжал Лафонтен, потирая руки, – я продал первое издание этой поэмы за целые восемьсот ливров. Между тем за книги благочестивого содержания издатели платят вдвое дешевле.

– Уж лучше бы вы состряпали, – заметил со смехом Гурвиль, – пару благочестивых книг.

– Это хлопотно и недостаточно развлекательно, – спокойно сказал Лафонтен, – вот здесь, в этом мешочке, восемьсот ливров.

С этими словами он вручил свой дар казначею эпикурейцев, Вслед за ним отдал свои пятьдесят ливров Лоре. Остальные также внесли кто сколько мог. Когда подсчитали, оказалось, что собрано сорок тысяч ливров.

Еще не замолк звон монет, как суперинтендант вошел или, вернее, проскользнул в залу. Он был незримым свидетелем этой сцены. И он, который ворочал миллиардами, богач, познавший все удовольствия и все почести, какие только существуют на свете, этот человек с необъятным сердцем и творческим мозгом, переплавивший в себе, словно тигель, материальную и духовную сущность первого королевства в мире, знаменитый Фуке стоял, окруженный гостями, с глазами полными слез, и, погрузив в мешок с золотом и серебром свои тонкие белые пальцы, сказал мягким и растроганным голосом:

– О жалкая милостыня, ты затеряешься в самой крошечной складке моего опустевшего кошелька, но ты наполнила до краев мое сердце, а его никто и ничто не в состоянии исчерпать. Спасибо, друзья, спасибо! – И так как он не мог расцеловать всех находившихся в комнате, у которых также навернулись на глаза слезы, он обнял Лафонтена со словами:

– Бедненький мой! Из-за меня вас вздула жена, и из-за меня духовник наложит на вас отлучение.

– Все это сущие пустяки: обожди ваши кредиторы годика два, я написал бы добрую сотню сказок; каждая из них была бы выпущена двумя изданиями, и ваш долг был бы оплачен!

Глава 6. **ЛАФОНТЕН ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ**

Фуке, сердечно пожав руку Лафонтену, сказал:

– Мой милый поэт, сочините, прошу вас, еще сотню сказок и не только ради восьмидесяти пистолей за каждую, но и для того, чтобы обогатить нашу словесность сотней шедевров.

– Но не думайте, – важничая, заявил Лафонтен, – что я принес господину суперинтенданту лишь эту идею и эти восемьдесят пистолей.

– Лафонтен, никак, сегодня богач! – вскричали со всех сторон.

– Да будет благословенна мысль, способная подарить меня миллионом или двумя, – весело произнес Фуке.

– Вот именно, – согласился Лафонтен.

– Скорее, скорее! – раздались крики присутствующих.

– Берегитесь! – шепнул Пелисон Лафонтену. – До сих пор вы имели большой успех, но нельзя же перегибать палку.

– Ни-ни, господин Пелисон, вы человек отменного вкуса, и вы сами выразите мне свое одобрение.

– Речь идет о миллионах? – спросил Гурвиль.

Лафонтен ударил себя в грудь и сказал:

– У меня вот тут полтора миллиона.

– К черту этого гасконца из Шато-Тьери! – воскликнул Лоре.

– Вам подобало бы коснуться не кармана, а головы, – заметил Фуке.

– Господин суперинтендант, – продолжал Лафонтен, – вы не генеральный прокурор, вы поэт.

– Неужели? – вскричали Лоре, Конрар и прочие литераторы.

– Я утверждаю, что вы поэт, живописец, ваятель, друг наук и искусств, но признайтесь, признайтесь сами, вы никоим образом не судейский!

– Охотно, – ответил, улыбаясь, Фуке.

– Если б вас захотели избрать в Академию, скажите, вы бы отказались от этого?

– Полагаю, что так, да не обидятся на меня академики.

– Но почему же, не желая входить в состав Академии, вы позволяете числить себя в составе парламента?

– Вот как! – удивился Пелисон. – Мы говорим о политике.

– Я спрашиваю, – продолжал Лафонтен, – идет или не идет господину Фуке прокурорская мантия?

– Дело не в мантии, – возразил Пелисон, раздраженный всеобщим смехом.

– Напротив, именно в мантии, – заметил Лоре.

– Отнимите мантию у генерального прокурора, – сказал Конрар, – и у нас останется господин Фуке, на что мы отнюдь не жалуемся. Но так как не бывает генерального прокурора без мантии, то мы объявляем вслед за господином де Лафонтеном, что мантия действительно пугало.

– Fugiant risus leporesque, – вставил Лоре.

– Бегут смех и забавы, – перевел один из ученых господ.

– А я, – с важным видом продолжал Пелисон, – совсем иначе перевожу слово «lepores».

– Как же вы его переводите? – спросил Лафонтен.

– Я перевожу следующим образом: «Зайцы спасаются бегством, узрев господина Фуке». Взрыв хохота; суперинтендант смеется вместе со всеми.

– При чем тут зайцы? – вмешивается уязвленный Конрар.

– Кто не радуется душою, видя господина Фуке во всем блеске его парламентской власти, тот заяц.

– О, о! – пробормотали поэты.

– Quo non ascendam³², – заявляет Конрар, – представляется мне невозможным рядом с прокурорскою мантией.

– А мне представляется, что этот девиз невозможен без этой мантии, говорит упорно стоящий на своем Пелисон. – Что вы думаете об этом, Гурвиль?

– Я думаю, – ответил Гурвиль, – что прокурорская мантия вещь неплохая, но полтора миллиона все же дороже ее.

– Присоединяюсь к Гурвилю! – воскликнул Фуке, обрывая тем самым спор, ибо его мнение не могло, разумеется, не перевесить все остальные.

– Полтора миллиона! – проворчал Пелисон. – Черт подери! Я знаю одну индийскую басню...

– Расскажите-ка, расскажите, – попросил Лафонтен, – мне также следует познакомиться с нею.

– Приступайте, мы слушаем!

– У черепахи был панцирь, – начал Пелисон. – Она скрывалась в нем, когда ей угрожали враги. Но вот кто-то сказал черепахе: «Летом вам, наверное, очень жарко в этом домике, и, кроме того, мы не видим вас во всей вашей прелести, а между тем я знаю ужа, который выложит за него полтора миллиона». ³³

– Превосходно! – воскликнул со смехом Фуке.

– Ну а дальше? – поторопил Лафонтен, заинтересовавшийся больше басней, чем вытекающей из нее моралью.

– Черепаха продала панцирь и осталась нагой. Голодный орел увидел ее, ударом клюва убил и сожрал.

– А мораль? – спросил Конрар.

– Мораль состоит в том, что господину Фуке не следует расставаться со своей прокурорской мантией.

Лафонтен принял эту мораль всерьез и возразил своему собеседнику:

– Но вы забыли Эсхила.

– Что вы хотите сказать?

– Эсхила Плешивого, как его называли.

– Что же из этого следует?

– Эсхила, череп которого показался орлу, парящему в высоте, – кто знает, быть может, это был тот самый орел, о котором вы говорили, большому любителю черепах, самым обыкновенным камнем, и он бросил на него черепаху, укрывшуюся под своим панцирем.

– Господи боже! Конечно, Лафонтен прав, – сказал в раздумье Фуке. Всякий орел, если он захочет съесть черепаху, легко сумеет разбить ее панцирь, и, воистину, счастливы те черепахи, за покрывку которых какой-нибудь уж готов заплатить полтора миллиона. Пусть мне дадут такого ужа, столь же щедрого, как в басне, рассказанной Пелисоном, и я отдам ему панцирь.

– *Rara avis in terris* ³⁴, – вздохнул Конрар.

– Птица, подобная черному лебедю, разве не так? – ухмыльнулся Лафонтен. – Совершенно черная и очень редкая птица. Ну что же, я обнаружил ее.

– Вы нашли покупателя на должность генерального прокурора? – воскликнул Фуке.

– Да, сударь, нашел.

– Но господин суперинтендант ни разу не говорил, что намерен продать ее, – возразил Пелисон.

– Простите, но вы сами говорили об этом, – сказал Конрар.

– И я свидетель, – добавил Гурвиль.

– Хорошие разговоры, однако, он ведет обо мне! Но кто же ваш покупатель, отвечайте-ка, Лафонтен? – спросил Фуке.

– Совсем черная птица, советник парламента, славный малый... Ванель.

– Ванель! – воскликнул Фуке. – Ванель! Муж...

– Вот именно, сударь... ее собственный муж.

– Бедняга, – сказал Фуке, заинтересованный сообщением Лафонтена, значит, он мечтает о должности генерального прокурора?

– Он мечтает быть всем, чем являетесь вы, и делать то же, что делали вы, – вставил Гурвиль.

– Это очень забавно, расскажите-ка подробнее, Лафонтен.

– Дело обстоит очень просто. Время от времени мы видимся с ним. Вот и сегодня я встретил его на площади у Бастилии; он прогуливался там в то самое время, когда я собирался нанять экипаж, чтобы ехать сюда.

– Он, конечно, подстерегал жену, – прервал Лафонтена Лоре.

– О нет, что вы! – без стеснения возразил Фуке. – Он не ревнив.

– И вот он подходит ко мне, обнимает меня, ведет в кабачок Имаж-сен-Фиакр и начинает рассказывать про свои горести.

– У него, стало быть, горести?

– Да, его супруга прививает ему честолубие. Ему говорили о какой-то парламентской должности, о том, что было произнесено имя господина Фуке, и вот с этого самого часа госпожа Ванель только и делает, что мечтает стать генеральной прокуроршей, и всякую ночь, когда она не видит себя во сне таковою, она прямо умирает от тоски.

– Черт возьми!

– Бедная женщина, – произнес Фуке.

– Подождите. Конрар утверждает, что я не умею вести дела, но вы сами увидите, как я вел себя в этом случае. «Знаете ли вы, – говорю я Ванелю, – что это очень дорого стоит, такая должность, как у господина Фуке?» «Ну а сколько же, например?» – спрашивает Ванель. «Господин Фуке не продал ее за миллион семьсот тысяч ливров, которые ему предлагали». – «Моя жена, – отвечает Ванель, – оценивала ее приблизительно в миллион четыреста тысяч». – «Наличными?» – «Да, наличными: она только что продала поместье в Гиени и получила за него деньги».

– Это недурной куш, если захватить его сразу, – поучительно заметил аббат Фуке, который до этих пор не проронил ни одного слова.

– Бедная госпожа Ванель, – прошептал Фуке.

Пелисон пожал плечами и сказал Фуке на ухо:

– Демон?

– Вот именно... И было бы очень забавно деньгами этого демона исправить зло, которое причинил себе ангел ради меня.

Пелисон удивленно посмотрел на Фуке, мысли которого направились теперь совсем по другому руслу.

– Так что же, – спросил Лафонтен, – как обстоит дело с моими переговорами?

– Замечательно, мой милый поэт.

– Все это так, но нередко человек хвастает, будто готов купить лошадь, а на поверку у него не оказывается денег, чтобы заплатить за уздечку, – заметил Гурвиль.

– Ванель, пожалуй, откажется, если мы поймаем его на слове, – вставил аббат Фуке.

– Вам приходят в голову подобные мысли лишь потому, что вы не знаете развязки моей истории, – снова начал Лафонтен.

– А, есть и развязка? Что же вы тянете? – воскликнул Гурвиль.

– *Semper ad adventum*³⁵ («Гораций. Наука поэзии, 148), что означает: всегда торопится к развязке. *Ad adventum* значит: к приходу. ||~~, не так ли? – сказал Фуке тоном вельможи, который позволяет себе искажать цитаты.

Латинисты заплодировали.

– А развязка моя, – вскричал Лафонтен, – заключается в том, что этот упрямец Ванель, узнав, что мой путь лежит в Сен-Манде, умолил меня прихватить его вместе с собой.

– О, о!

– И устроить ему, если возможно, свидание с монсеньером. Он сейчас дожидается на лужайке Бель-Эр.

– Словно жук.

– Вы говорите это, Гурвиль, имея в виду его усики. Ах вы, злостный насмешник!

– Господин Фуке, ваше слово!

– Мое слово? По-моему, не подобает, чтобы муж госпожи Ванель простудился у меня на пороге; пошлите за ним, Лафонтен, раз вы знаете, где он находится.

– Я сам отправлюсь за ним.

– И я с вами, – заявил аббат Фуке, – и понесу мешки с золотом.

– Прошу без шуток, – строго сказал Фуке. – Дело серьезное, если тут и впрямь есть настоящее дело. Но прежде всего давайте будем гостеприимны.

Попросите от моего имени извинения у этого милого человека и передайте ему, что я весьма огорчен, заставив его дожидаться, но ведь я не знал о его приезде.

Лафонтен побежал за Ванелем. За ним поспешил Гурвиль, и это оказалось весьма кстати, так как поэт, отдавшись своим вычислениям, сбился с пути и направился было к Сен-Мару.

Через четверть часа Ванель уже входил в кабинет суперинтенданта, тот самый кабинет, который вместе со всеми смежными помещениями мы описали в начале нашего повествования.

Увидев Ванеля, Фуке подозвал Пелисона и в течение нескольких минут что-то шептал ему на ухо.

– Запомните хорошенько, – сказал он ему, – проследите за тем, чтобы в карету было уложено все серебро, посуда и все драгоценности. Возьмите вороных лошадей, пусть ювелир отправится вместе с вами. Задержите ужин до приезда госпожи де Бельер.

– Надо бы предупредить госпожу де Бельер, – предложил Пелисон.

– Не к чему. Я сам позабочусь об этом.

– Отлично.

– Идите, друг мой.

Пелисон ушел, не очень-то хорошо понимая, в чем дело, но, как это бывает с преданными друзьями, исполненный доверия к воле того, кому он привык подчиняться во всем. В этом сила избранных душ. Недоверие свойство низких натур.

Ванель склонился перед суперинтендантом. Он собрался было начать длинную речь.

– Садитесь, сударь, – обратился к нему Фуке. – Кажется, вы хотите купить мою должность?

– Монсеньер...

– Сколько вы можете заплатить за нее?

– Это вам, монсеньер, надлежит назвать сумму. Я знаю, что вам уже делали известные предложения.

– Мне говорили, что госпожа Ванель оценивает мою должность в миллион четыреста тысяч?

– Это все, чем мы с нею располагаем.

– Вы можете расплатиться наличными?

– У меня нет с собой денег, – отвечал наивно Ванель, приготовившийся к борьбе, хитростям, к шахматным комбинациям и озадаченный такой простотой и величием.

– Когда же они будут у вас?

– Как только прикажете, монсеньер.

Он трепетал при мысли, что Фуке, быть может, издевается над ним.

– Если б вам не нужно было возвращаться ради денег в Париж, я бы сказал – немедленно...

– О монсеньер!..

– Но, – перебил суперинтендант, – отложим расчеты и подписание договора на завтра.

– Пусть будет по-вашему, – согласился оглушенный и похолодевший Ванель.

– Итак, на шесть часов утра, – добавил Фуке.
– На шесть часов, – повторил Ванель.
– Прощайте, господин Ванель. Передайте вашей супруге, что я целую ей ручки.
И Фуке встал.

Тогда Ванель, с налившимися кровью глазами и потеряв голову, произнес:

– Монсеньер, итак, вы даете честное слово?

Фуке повернул к нему голову и спросил:

– Черт подери, а вы?

Ванель смешался, вздрогнул и кончил тем, что робко протянул руку. Фуке благородным жестом протянул навстречу свою. И честная рука на секунду коснулась влажной руки лицемера. Ванель сжал пальцы Фуке, чтобы убедить себя в том, что это не сон. Суперинтендант едва приметным движением освободил свою руку.

– Прощайте, – сказал он Ванелю.

Ванель попятился к двери, торопливо прошел через приемные комнаты и исчез за порогом дома.

Глава 7. СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО И БРИЛЬЯНТЫ Г-ЖИ ДЕ БЕЛЬЕР

Отпустив Ванеля, Фуке на минуту задумался.

«Чего бы ни сделать для женщины, которую когда-то любил, – все не будет чрезмерным. Маргарита жаждет стать прокуроршей. Почему бы и не доставить ей этого удовольствия? А теперь, когда самая щепетильная совесть не могла бы меня ни в чем упрекнуть, отдадим свои помыслы той, которая любит меня. Госпожа де Бельер, наверное, уже на месте».

И он взглянул в направлении потайной двери. Тщательно заперев кабинет, он открыл ее, спустился в подземный ход, который вел из его дома в Венсенский замок, и поспешно отправился по этому коридору к обычному месту их встреч.

Он даже не предупредил свою подругу звонком, так как знал, что она никогда не опаздывает на свидания.

Маркиза и в самом деле опередила его и ждала. Суперинтендант постучал, и она тотчас же подошла к двери, чтобы взять просунутую под нее записку.

«Приезжайте, маркиза. Вас ожидают к ужину».

Оживленная и счастливая г-жа де Бельер села в карету на Венсенской аллее и через несколько мгновений протянула руку Гурвилю, который, чтобы доставить удовольствие своему начальнику и министру, ожидал ее во дворе на крыльце.

Она не заметила, как во двор влетела разгоряченная, вся в белой пене вороная упряжка Фуке, доставившая в Сен-Манде Пелисона и того самого ювелира, которому она продала свою посуду и драгоценности. Пелисон ввел его в кабинет, где все еще находился Фуке.

Суперинтендант поблагодарил ювелира за то, что он сохранил, как если бы дело шло о закладе, сокровища, которые имел право продать. Он бросил взгляд на общую сумму счета: она достигала миллиона трехсот тысяч ливров. Затем, устроившись возле бюро, он выписал чек на миллион четыреста тысяч, подлежащий оплате наличными из его кассы на следующий день до полудня.

– Целых сто тысяч прибыли! – вскричал ювелир. – Ах, монсеньер, как вы щедры!

– Нет, нет, сударь, – сказал Фуке, потрепав его по плечу, – бывает порой деликатность, которую оплатить невозможно. Прибыль приблизительно та же, какую вы могли бы извлечь, продав эти вещи; но за мною также проценты.

С этими словами он снял со своего кружевного манжета усыпанную бриллиантами запонку, которую этот же ювелир неоднократно оценивал в три тысячи пистолей, и обратился к нему:

– Возьмите же это на память, и до свидания. Вы человек исключительной честности.

– А вы, монсеньер, – воскликнул глубоко тронутый ювелир, – вы славный вельможа!

Фуке выпустил достойного ювелира через потайную дверь и пошел навстречу г-же де Бельер, уже окруженной гостями.

Маркиза, всегда очаровательная, в этот день была ослепительно хороша.

– Не находите ли вы, господа, что маркиза нынешним вечером не имеет себе подобных? – спросил Фуке. – Знаете ли вы, почему?

– Потому что госпожа де Бельер – красивейшая из женщин, – отвечал кто-то из гостей.

– Нет, потому что она лучшая среди женщин. Однако... все драгоценности, надетые этим вечером на маркизе, – поддельные.

Госпожа де Бельер покраснела.

– О, это можно говорить без всякого опасения женщине, обладающей лучшими в Париже брильянтами, – раздался голоса окружающих.

– Ну, что вы на это скажете? – тихо спросил Фуке Пелисона.

– Наконец-то я понял. Вы очень хорошо поступили.

– То-то же, – засмеялся Фуке.

– Кушать подано, – торжественно возгласил Ватель.

Волна приглашенных устремила в столовую гораздо поспешнее, чем это принято на министерских приемах; здесь их ожидало великолепное зрелище.

На буфетах, на поставцах, на столе среди цветов и свечей ослепительно блистала богатейшая золотая и серебряная посуда. Это были остатки старинных сокровищ, изваянных, отлитых и вычеканенных флорентийскими мастерами, привезенными Медичи в те времена, когда во Франции еще не перевелось золото. Эти чудеса из чудес искусства, запятанные или зарытые в землю во время гражданских распрей, робко появлялись на свет, когда наступал перерыв в тех войнах, которые вели люди хорошего тона и которые звались Фрондой. Сеньоры, сражаясь между собой, убивали друг друга, но не позволяли себе грабежа. На всей посуде был герб г-жи де Бельер.

– Как, – вскричал Лафонтен, – тут везде П. и Б.!

Но наибольшее восхищение вызвал прибор маркизы, расставленный по указанию самого Фуке. Перед ним возвышалась пирамида брильянтов, сапфиров, изумрудов и античных камней; сердолики, резанные малоазийскими греками, в золотой мизииской оправе, изумительная древнеалександрійская мозаика в серебре, тяжелые египетские браслеты времен Клеопатры лежали в громадном блюде – творении Палисси, стоявшем на треножнике из золоченой бронзы работы Бенвенуто Челлини.

Лишь только маркиза увидела пред собою все то, чего она не надеялась снова увидеть, лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Глубокое молчание, предвестник сильных душевных потрясений, воцарилось в этой ошеломленной и встревоженной зале.

Фуке даже не подал рукой знака, чтоб удалить лакеев в расшитых кафтанах, сновавших, как торопливые пчелы, вокруг громадных столов и буфетов.

– Господа, – сказал он, – посуда, которую вы здесь видите, принадлежала госпоже де Бельер. Однажды, узнав, что один из ее друзей попал в стесненные обстоятельства, она отослала все это золото и серебро вместе с драгоценностями, лежащими грудой пред нею, к своему ювелиру. Столь великодушный поступок должен быть по достоинству оценен такими истинными друзьями, как вы. Счастлив тот, кто внушает такую любовь! Выпьем же за здоровье госпожи де Бельер!

Громкие крики покрыли слова Фуке; онемевшая маркиза откинулась в кресле ни жива ни мертва; еще немного, и бедная женщина лишилась бы чувств, уподобившись птицам Древней Эллады, пролетавшим над ареною олимпийских ристалищ.

– А теперь, – предложил Пелисон, которого всегда трогала добродетель и приводила в восторг красота, – а теперь выпьем за того человека, ради которого маркиза свершила столь прекрасный поступок, ибо тот, о ком идет речь, воистину достоин любви.

Очередь дошла до маркизы. Она встала, бледная и улыбающаяся, протянула дрожащей

рукою стакан, и ее пальцы коснулись пальцев Фуке, тогда как ее еще затуманенный взгляд жаждал ответной любви, сжигавшей благородное сердце ее великого друга.

Ужин, начавшийся столь примечательным образом, скоро превратился в настоящее пиршество. Никто не старался быть остроумным, и все же никто не страдал отсутствием остроумия.

Лафоптен забыл о своем любимом вине Горньи и позволил Вателю примирить себя с ронскими и испанскими винами.

Аббат Фуке до того подобрел, что Гурвиль шепнул ему на ухо:

– Вы стали столь нежным, сударь, что смотрите, как бы кто-нибудь не вздумал вас съесть.

Часы текли неприметно и радостно, как бы осыпая пирующих розами. Вопреки своему давнему обыкновению, суперинтендант не встал из-за стола перед обильным десертом. Он улыбался своим друзьям, захмелевшим тем опьянением, которое обычно бывает у всех, чьи сердца захмелели раньше, чем головы. В первый раз за весь вечер он посмотрел на часы.

Вдруг к крыльцу подкатила карета, и – поразительная вещь! – звук колес уловили в зале среди шума и песен. Фуке прислушался, потом обратил взгляд к прихожей. Ему показалось, что там раздаются шаги и что эти шаги не попирают землю, но гнетут его сердце.

Инстинктивно он отодвинулся от г-жи де Бельер, ноги которой касался в течение двух часов.

– Господин д'Эрбле, ваннский епископ, – доложил во весь голос привратник.

И на пороге показался мрачный и задумчивый Арамис, голову которого вдруг украсили два конца гирлянды, которая только что распалась на части, так как пламя свечи пережгло скреплявшие ее нитки.

Глава 8. **РАСПИСКА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ**

Фуке, несомненно, встретил бы шумным приветствием этого вновь прибывшего друга, если бы ледяной вид и рассеянный взгляд Арамиса не побудили суперинтенданта к соблюдению обычной для него сдержанности.

– Не поможете ли вы нам в нашем единоборстве с десертом? – все же спросил Фуке. – Не ужасает ли вас наше бесшабашное пиршество.

– Монсеньер, – почтительно сказал Арамис, – я начну с извинения, что нарушаю ваше искрящееся весельем собрание, но я попрошу, по завершении вашего пира, уделить мне несколько мгновений, чтобы переговорить о делах.

Слово «дела» заставило насторожиться кое-кого между эпикурейцами. Фуке поднялся со своего места.

– Неизменно дела, господин д'Эрбле, – сказал он. – Счастье еще, что дела появляются только под конец ужина.

С этими словами он предложил руку г-же де Бельер, посмотревшей на него с некоторым беспокойством; проводив ее в гостиную, что была рядом, он поручил ее наиболее благоразумным из своих сотрапезников.

Сам же, взяв под руку Арамиса, удалился с ним к себе в кабинет. Тут Арамис сразу же забыл о почтительности и этикете. Он сел и спросил:

– Догадайтесь, кого мне пришлось повидать этим вечером.

– Дорогой шевалье, всякий раз, как вы начинаете спою речь подобным вступлением, я ожидаю, что вы сообщите мне что-нибудь неприятное.

– И на этот раз, дорогой друг, вы не ошиблись, – подтвердил Арамис.

– Ну так не томите меня, – безразлично добавил Фуке.

– Итак, я видел госпожу де Шеврез.

– Старую герцогиню? Или, может быть, ее тень?

– Старую волчицу во плоти и крови.

– Без зубов?

– Возможно; однако не без когтей.

– Чего же она может хотеть от меня? Я не скуп по отношению к не слишком целомудренным женщинам. Это качество всегда ценится женщинами, и даже тогда, когда они больше не могут надеяться на любовь.

– Госпожа де Шеврез отлично осведомлена о том, что вы не скупы, ибо она хочет выманить у вас деньги.

– Вот как! Под каким же предлогом?

– Ах, в предлогах у нее недостатка не будет. По-видимому, у нее есть кое-какие письма Мазарини.

– Меня это несколько не удивляет. Прелат был прославленным волокитой.

– Да, но, вероятно, эти письма не имеют отношения к его любовным делам. В них идет речь, как говорят, о финансах.

– Это менее интересно.

– Вы решительно не догадываетесь, к чему я клоню?

– Решительно.

– Вы никогда не слыхали о том, что вас обвиняют в присвоении государственных сумм?

– Сто раз! Тысячу раз! С тех пор как пребываю на службе, дорогой мой д'Эрбле, я только об этом и слышу. Совершенно так же, епископ, вы постоянно слышите упреки в безверии; или, будучи мушкетером, слышали обвинения в трусости. Министра финансов без конца обвиняют в том, что он разворовывает эти финансы.

– Хорошо. Но давайте внесем в это дело полную ясность, ибо, судя по тому, что говорит герцогиня, Мазарини в своих письмах выражается весьма недвусмысленно.

– В чем же эта недвусмысленность?

– Он называет сумму приблизительно в тринадцать миллионов, отчитаться в которой вам было бы затруднительно.

– Тринадцать миллионов, – повторил суперинтендант, растягиваясь в кресле, чтобы было удобнее поднять лицо к потолку. – Тринадцать миллионов!.. Ах ты господи, дайте припомнить, какие же это миллионы среди всех тех, в краже которых меня обвиняют!

– Не смейтесь, дорогой друг, это очень серьезно. Несомненно, у герцогини имеются письма, и эти письма, надо полагать, подлинные, так как она хотела продать их за пятьсот тысяч ливров.

– За такие деньги можно купить хорошую клевету, – отвечал Фуке. – Ах да, я знаю, о чем вы говорите. – И суперинтендант засмеялся от всего сердца.

– Тем лучше! – сказал не очень-то успокоенный Арамис.

– Я припоминаю эти тринадцать миллионов. Ну да, это и есть то самое!

– Вы меня чрезвычайно обрадовали. В чем тут дело?

– Представьте себе, друг мой, что однажды сеньор Мазарини, упокой господи его душу, получил тринадцать миллионов за уступку спорных земель в Вальтелине; он их вычеркнул из приходных книг, перевел на меня и заставил затем вручить ему эти деньги на военные нужды.

– Отлично. Значит, в употреблении их вы можете отчитаться?

– Нет, кардинал записал эти деньги на мое имя и послал мне расписку.

– Но у вас сохраняется эта расписка?

– Еще бы! – кивнул Фуке и спокойно направился к большому бюро черного дерева с инкрустациями из золота и перламутра.

– Меня приводят в восторг, – воскликнул Арамис, – во-первых, ваша безупречная память, затем хладнокровие и, наконец, порядок, царящий в ваших делах, тогда как по существу вы – поэт.

– Да, – отвечал Фуке, – мой порядок – порождение лени; я завел его, чтобы не терять даром времени. Так, например, я знаю, что расписки Мазарини в третьем ящике под литерой М; я открываю ящик и сразу беру в руку нужную мне бумагу. Даже ночью без свечи я легко разыщу ее. – И уверенною рукой он ощупал связку бумаг, лежавших в открытом ящике. –

Больше того, – продолжал Фуке, – я помню эту бумагу, как будто вижу ее перед собой.

Она очень плотная, немного шероховатая, с золотым обрезом; на числе, которым она помечена, Мазарини посадил кляксу. Но вот в чем дело: бумага, она словно чувствует, что ее ищут, что она нужна до зарезу, и потому прячется и бунтует.

И суперинтендант заглянул в ящик.

Арамис встал.

– Странно, – протянул Фуке.

– Ваша память на этот раз изменяет вам, дорогой друг, поищите в какой-нибудь другой связке.

Фуке взял связку, перебрал ее еще раз и побледнел.

– Не упорствуйте и поищите где-нибудь в другом месте, – сказал Арамис.

– Бесполезно, бесполезно, до этих пор я ни разу не ошибался; никто, кроме меня, не касается этих бумаг, никто не открывает этого ящика, к которому, как вы видите, я велел сделать секретный замок, и его шифр знаю лишь я один.

– К какому же выводу вы приходите? – спросил встревоженный Арамис.

– К тому, что квитанция Мазарини украдена. Госпожа де Шеврез права, шевадьё: я присвоил казенные деньги; я взял тринадцать миллионов из сундуков государства, я – вор, господин д'Эрбле.

– Не горячитесь, сударь, не волнуйтесь!

– Как же не волноваться, дорогой шевадьё? Причин для этого более чем достаточно. Заправский процесс, заправский приговор, и ваш друг суперинтендант последует в Монфокон за своим коллегой Ангераном де Мариньи, за своим предшественником Самблансе.

– О, не так быстро, – улыбнулся Арамис.

– Почему? Почему не так быстро! Что же, по-вашему, сделала герцогиня де Шеврез с этими письмами? Ведь вы отказались от них, не так ли?

– О, я наотрез отказался. Я предполагаю, что она отправилась продавать их господину Кольберу.

– Вот видите!

– Я сказал, что предполагаю. Я мог бы сказать, что в этом уверен, так как поручил проследить за нею. Расставшись со мной, она вернулась к себе, затем вышла через черный ход своего дома и отправилась в дом интенданта на улицу Круа-де-Пти-Шан.

– Значит, процесс, скандал и бесчестье, и все как гром с неба: слепо, жестоко, безжалостно.

Арамис подошел к Фуке, который весь трепетал в своем кресле перед открытыми ящиками. Он положил ему на плечо руку и сказал ласковым тоном:

– Никогда не забывайте, что положение господина Фуке не может идти в сравнение с положением Самблансе или Мариньи.

– Почему же, господа боже?

– Потому что против этих министров был возбужден процесс и приговор приведен в исполнение. А с вами этого случиться не может.

– И опять-таки почему? Ведь казнокрад во все времена – преступник?

– Преступник, имеющий возможность укрыться в убежище, никогда не бывает в опасности.

– Спасаться? Бежать?

– Я говорю не об этом; вы забываете, что такие процессы могут быть возбуждены только парламентом, что ведение их поручается генеральному прокурору и что вы сами являетесь таковым. Итак, если только вы не пожелаете осудить себя самого...

– О! – вдруг воскликнул Фуке, стукнув кулаком по столу.

– Ну что, что еще?

– То, что я больше не прокурор.

Теперь мертвенно побледнел Арамис, и он сжал руки с такою силою, что хрустнули пальцы. Он растерянно посмотрел на Фуке и, отчеканивая каждый слог, произнес:

- Вы больше не прокурор?
- Нет.
- С какого времени?
- Тому уже четыре иль пять часов.
- Берегитесь, – холодно перебил Арамис, – мне кажется, что вы не в себе, дорогой мой.

Очнитесь!

– Я говорю, – продолжал Фуке, – что не так давно явился ко мне некто, посланный моими друзьями, и предложил миллион четыреста тысяч за мою должность. И я продал ее.

Арамис замолк. На его лице мелькнуло выражение ужаса, и это подействовало на суперинтенданта сильнее, чем могли бы подействовать все крики и речи на свете.

– Значит, вы очень нуждались в деньгах? – проговорил наконец Арамис.

– Да, тут был замешан долг чести.

И в немногих словах Фуке рассказал Арамису о великодушии г-жи де Бельер и о том способе, каким он посчитал нужным отплатить за это великодушие.

– Очень красивый жест, – сказал Арамис. – Во сколько же он вам обошелся?

– Ровно в миллион четыреста тысяч, вырученных за мою должность.

– Которые вы, не раздумывая, тут же на месте и получили? О, мой неразумный друг!

– Я еще не получил их, но получу завтра.

– Значит, это дело еще не закончено?

– Оно должно быть закончено, так как я выписал ювелиру чек, по которому он должен ровно в двенадцать получить эту сумму из моей кассы, куда она будет внесена между шестью и семью часами утра.

– Слава богу! – вскричал Арамис и захлопал в ладоши. – Ничто, стало быть, не закончено, раз вам еще не уплачено.

– А ювелир?

– Без четверти двенадцать вы получите от меня миллион четыреста тысяч.

– Погодите! Ведь в шесть утра я должен подписать договор.

– Ручаюсь, что вы его не подпишете.

– Шевалье, я дал слово.

– Вы возьмете его назад, вот и все.

– Что вы сказали! – воскликнул глубоко потрясенный Фуке. – Взять назад слово, которое дал Фуке?

На почти негодующий взгляд министра Арамис ответил взглядом, исполненным гнева.

– Сударь, – сказал он, – мне кажется, что я с достаточным основанием могу быть назван порядочным человеком, не так ли? Под солдатским плащом я пятьсот раз рисковал жизнью, в одежде священника я оказал еще более важные услуги богу, государству, а также друзьям. Честное слово стоит не больше того, чем человек, давший его. Когда он держит его – это чистое золото; оно же – разящая сталь, когда он не желает его держать. В этом случае он защищается этим словом, как оружием чести, ибо если порядочный человек не держит своего честного слова, значит, он в смертельной опасности, значит, он рискует гораздо большим, чем та выгода, которую может извлечь из этого его враг. В таком случае, сударь, обращаются к богу и своему праву.

Фуке опустил голову:

– Я бедный бретонец, простой и упрямый, и мой ум восхищается вашим и страшится его. Я не говорю, что держу свое слово из добродетели. Если хотите, я держу его по привычке. Но простые люди достаточно простодушны, чтоб восхищаться этой привычкой. Это единственная моя добродетель. Оставьте же мне воздаваемую за нее добрую славу.

– Значит, не позже как завтра вы подпишете акт о продаже должности, которая защищает вас от всех ваших врагов?

– Подпишу.

Арамис глубоко вздохнул, осмотрелся вокруг, как тот, кто ищет, что бы ему разбить, и произнес:

– Мы располагаем еще одним средством, и я надеюсь, что вы не откажетесь применить его.

– Конечно, нет, если оно благопристойно... как все, что вы предлагаете, мой дорогой друг.

– Нет ничего более благопристойного, чем побудить вашего покупателя отказаться от сделанной им покупки. Он из числа ваших друзей?

– Разумеется... но...

– Но если это дело вы предоставите мне, я не отчаиваюсь.

– Предоставляю вам быть полным хозяином в нем.

– С кем же вы вели ваши переговоры? Кто он?

– Я не знаю, знаете ли вы членов парламента?

– Большинство. Это какой-нибудь президент?

– Нет, это простой советник.

– Вот как!

– И имя его – Ванель.

Арамис побагровел.

– Ванель! – вскричал он, вставая со своего кресла. – Ванель! Муж Маргариты Ванель?

– Да.

– Вашей бывшей любовницы?

– Вот именно, дорогой друг. Ей захотелось стать генеральной прокуроршей. Я должен был предоставить хоть это бедняге Ванелю, и, кроме того, я выигрываю также на том, что доставляю удовольствие его милой жене.

Арамис подошел вплотную к Фуке, взял его за руку и хладнокровно спросил:

– Знаете ли вы имя нового возлюбленного Маргариты Ванель? Его зовут Жан-Батист Кольбер. Он интендант финансов. Он живет на улице Круа-де-Пти-Шан, куда сегодня вечером ездилa госпожа де Шеврез с письмами Мазарини, которые она хочет продать.

– Боже мой, боже мой! – прошептал Фуке, вытирая струившийся по лбу пот.

– Теперь вы начинаете понимать?

– Что я погиб, погиб безвозвратно? Да, я это понял!

– Не находите ли вы, что тут придется, пожалуй, соблюдать свое слово несколько менее твердо, чем Регул?

– Нет, – ответил Фуке.

– Упрямые люди, – пробормотал Арамис, – всегда найдут способ заставить восхищаться собою.

Фуке протянул ему руку.

В этот момент на роскошных часах из инкрустированной золотом черепахи, стоявших на полке камина, пробило шесть. В передней скрипнула дверь, и Гурвиль, подойдя к кабинету, сказал:

– Господин Ванель спрашивает, может ли принять его монсеньер?

Фуке отвел глаза от глаз Арамиса и ответил:

– Просите господина Ванеля войти.

Глава 9. ЧЕРНОВИК КОЛЬБЕРА

Разговор был в самом разгаре, когда Ванель вошел в комнату. Для Фуке и Арамиса его появление было не больше чем точкою, которой кончается фраза. Но для Ванеля присутствие Арамиса в кабинете Фуке означало нечто совершенно иное.

Итак, покупатель, едва переступив порог комнаты, устремил удивленный взгляд, который вскоре стал испытующим, на тонкое и вместе с тем решительное лицо ваннского епископа.

Что до Фуке, то он, как истый политик, то есть тот, кто полностью владеет собой,

усилием волн стер со своего лица следы перенесенных волнений, вызванных известием Арамиса. Здесь больше не было человека, раздавленного несчастьем и мечущегося в поисках выхода. Он поднял голову и протянул руку, приглашая Ванеля войти. Он снова был первым министром, снова был любезным хозяином.

Арамис знал суперинтенданта до тонкостей. Ни деликатность его души, ни широта ума уже не могли поразить Арамиса. Отказавшись на время от участия в разговоре, чтобы позднее активно вмешаться в него, он взял на себя трудную роль стороннего наблюдателя, который стремится узнать и понять.

Ванель был заметно взволнован. Он вышел на середину кабинета, низко кланяясь всем и всему.

– Я явился... – начал он, запинаясь.

Фуке кивнул:

– Вы точны, господин Ванель.

– В делах, монсеньер, точность, по-моему, добродетель.

– Разумеется, сударь.

– Простите, – перебил Арамис, указывая на Ванеля пальцем и обращаясь к Фуке, – простите, это тот господин, который желает купить вашу должность, не так ли?

– Да, это я, – ответил Ванель, пораженный высокомерным тоном, которым Арамис задал вопрос. – Но как же мне надлежит обращаться к тому, кто удостоивает меня...

– Называйте меня монсеньер, – сухо сказал Арамис.

Ванель поклонился.

– Прекратим церемонии, господа, – вмешался Фуке. – Давайте перейдем к делу.

– Монсеньер видит, – заговорил Ванель, – я ожидаю его приказаний.

– Напротив, это я, как кажется, ожидаю.

– Чего же ждет монсеньер?

– Я подумал, что вы, быть может, хотите мне что-то сказать.

– О, он изменил решение, я погиб! – прошептал про себя Ванель. Но, набравшись мужества, он продолжал:

– Нет, монсеньер, мне нечего добавить к тому, что было сказано мною вчера и что я готов подтвердить сегодня.

– Будьте искренни, господин Ванель, не слишком ли тяжелы для вас условия нашего договора? Что вы на это ответите?

– Разумеется, монсеньер, миллион четыреста тысяч ливров – это немалая сумма.

– Настолько немалая, что я подумал... – начал Фуке.

– Вы подумали, монсеньер? – живо воскликнул Ванель.

– Да, что, быть может, эта покупка вам не по средствам...

– О, монсеньер!

– Успокойтесь, господин Ванель, не тревожьтесь; я не стану осуждать вас за неисполнение вашего слова, так как вы, очевидно, не в силах его сдержать.

– Нет, монсеньер, вы, без сомнения, осудили бы меня и были бы правы, – ответил Ванель, – ибо лишь человек безрассудный или безумец может брать на себя обязательство, которого не в состоянии выполнить. Что до меня, то уговор, на мой взгляд, то же самое, что завершенная сделка.

Фуке покраснел. Арамис промычал нетерпеливое «гм».

– Нельзя все же доходить в этом до крайностей, сударь, – сказал суперинтендант. – Ведь душа человеческая изменчива, ей свойственны маленькие, вполне простительные капризы, а порой – так даже вполне объяснимые. И нередко бывает, что еще накануне вы чего-нибудь страстно желали, а сегодня каетесь в этом.

Ванель ощутил, как с его лба стекают на щеки капли холодного пота.

– Монсеньер!.. – пролепетал он в крайнем смущении.

Арамис, чрезвычайно довольный той четкостью, с которой Фуке повел разговор, прислонился к мраморному камину и стал играть золотым ножиком с малахитовой ручкой.

Фуке помолчал с минуту, потом снова заговорил:

– Послушайте, господин Ванель, позвольте объяснить вам положение дел.

Ванель содрогнулся.

– Вы порядочный человек, – продолжал Фуке, – и вы поймете меня как подобает.

Ванель зашатался.

– Вчера я желал продать свою должность.

– Монсеньер, вы не только желали продать, вы сделали больше – вы ее продали.

– Пусть так! Но сегодня я намерен попросить вас, как о большом одолжении, возвратить мне слово, данное мною вчера.

– Вы дали мне это слово, – повторил Ванель, как неумолимое эхо.

– Я знаю. Вот почему я умоляю вас, господин Ванель, – слышите, – умоляю вас возвратить мне данное мною слово...

Фуке замолчал. Слова «я умоляю вас», которые, как он видел, не произвели желанного действия, застряли у него в горле.

Арамис, по-прежнему играя ножиком, остановил на Ванеле взгляд, который, казалось, стремился проникнуть до самого дна этой темной души.

Ванель поклонился и произнес:

– Монсеньер, я взволнован честью, которую вы мне оказываете, советуясь со мной о совершившемся факте, но...

– Не говорите «но», дорогой господин Ванель.

– Увы, монсеньер, подумайте о том, что я принес с собой деньги; я хочу сказать – всю сумму полностью.

И он раскрыл толстый бумажник.

– Видите ли, монсеньер, здесь купчая на продажу земли, принадлежавшей моей жене и только что проданной мною. Чек в полном порядке, он снабжен необходимыми подписями, и деньги могут быть выплачены без промедления.

Это все равно что наличные деньги. Короче говоря, дело сделано.

– Дорогой господин Ванель, на этом свете всякое сделанное дело, сколь бы важным оно ни казалось, можно разделить, если позволительно таким образом выразиться, чтобы оказать одолжение...

– Конечно... – неловко пробормотал Ванель.

– Чтобы оказать одолжение человеку, который благодаря этому станет другом, – продолжал Фуке.

– Конечно, монсеньер...

– И он тем скорее станет другом, господин Ванель, чем больше оказанная услуга. Итак, сударь, каково ваше решение?

Ванель молчал.

К этому времени Арамис подвел итог своим наблюдениям. Узкое лицо Ванеля, его глубоко посаженные глаза, изогнутые дугою брови – все говорило ваннскому епископу, что перед ним типичный стяжатель и честолюбец. Побивать одну страсть, призывая на помощь другую, – таково было правило Арамиса. Он увидел разбитого и павшего духом Фуке и бросился в бой, вооруженный новым оружием.

– Простите, монсеньер, – начал он, – вы забыли указать господину Ванелю, что понимаете, насколько отказ от покупки нарушил бы его интересы.

Ванель с удивлением посмотрел на епископа: он не ждал отсюда поддержки. Фуке хотел что-то сказать, но промолчал, прислушиваясь к словам епископа.

– Итак, – продолжал Арамис, – чтобы купить вашу должность, господин Ванель продал землю своей супруги, а это серьезное дело; ведь нельзя же переместить миллион четыреста тысяч ливров, а ему пришлось сделать именно это, без заметных потерь и больших затруднений.

– Безусловно, – согласился Ванель, у которого Арамис своим пламенным взглядом вырвал правду из глубины сердца.

– Затруднения, – говорил Арамис, – выражаются в тратах, а когда тратишь деньги, то эти траты занимают первое место среди забот.

– Да, да, – подтвердил Фуке, начинавший понимать намерения Арамиса.

Ванель промолчал – теперь понял и он. Арамис отметил про себя его холодность и нежелание отвечать.

«Хорошо же, – подумал он, – ты молчишь, мерзкая рожа, пока тебе неведома сумма, но погоди, я засыплю тебя такой кучей золота, что ты вынужден будешь капитулировать!»

– Надо предложить господину Ванелю сто тысяч экю, – сказал Фуке, поддаваясь природной щедрости.

Куш был достаточный. Принц, и тот был бы обрадован таким барышом. Сто тысяч экю в те времена получала в приданое королевская дочь. Ванель даже не шевельнулся.

«Это мошенник, – подумал епископ, – нужно округлить сумму до пятисот тысяч ливров». И он подал знак Фуке.

– По-видимому, вы теряете больше, чем триста тысяч, дорогой господин Ванель, – сказал суперинтендант. – О, здесь даже не в деньгах дело! Ведь вы принесли жертву, продав эту землю. Ну, где же была моя голова? Я подпишу вам чек на пятьсот тысяч ливров. И еще буду признателен вам от всего сердца.

Ванель не проявил ни малейшего проблеска радости или жадности. Его лицо было непроницаемо, и ни один мускул на нем не дрогнул.

Арамис бросил на Фуке отчаянный взгляд. Затем, подойдя к Ванелю, он жестом человека, занимающего видное положение, ухватил его за отворот куртки и произнес:

– Господин Ванель, вас не тревожат ни ваши стесненные обстоятельства, ни перемещение вашего капитала, ни продажа вашей земли. Вас занимают более высокие помыслы. Я вижу их. Заметьте же хорошенько мои слова.

– Да, монсеньер.

И несчастный затрепетал: огненные глаза прелата сжигали его.

– Итак, от имени суперинтенданта я предлагаю вам не триста тысяч ливров, не пятьсот тысяч, а миллион. Миллион, понимаете? Миллион!

И он нервно встряхнул Ванеля.

– Миллион! – повторил Ванель, бледный как полотно.

– Миллион! То есть, по нынешним временам, шестьдесят шесть тысяч ливров годового дохода.

– Ну, сударь, – заговорил Фуке, – от таких вещей не отказываются. Отвечайте же – принимаете ли вы мое предложение?

– Невозможно... – пробормотал Ванель.

Арамис сжал губы, лицо его как бы затуманилось облаком. За этим облаком чувствовалась гроза. Он все так же держал Ванеля за отворот его платья.

– Вы купили должность за миллион четыреста тысяч ливров, не так ли?

Вам будет дано сверх того еще миллион пятьсот тысяч. Вы заработаете полтора миллиона только на том, что посетили господина Фуке и он протянул вам руку. Вот вам сразу и честь и выгода, господин Ванель.

– Не могу, – глухо ответил Ванель.

– Хорошо! – произнес Арамис и неожиданно разжал пальцы; Ванель, руку которого он так крепко держали до этого, отлетел назад. – Хорошо, теперь достаточно ясно, зачем вы сюда явились!

– Да, это ясно, – подтвердил Фуке.

– Но... – начал Ванель, пытаюсь осмелеть перед слабостью этих благородных людей.

– Мошенник, кажется, хочет возвысить голос! – произнес Арамис током властелина, повелевающего всем миром.

– Мошенник? – повторил Ванель.

– Я хотел сказать – негодяй, – добавил Арамис, к которому вернулось его хладнокровие. – Ну, что ж, вытаскивайте ваш договор. Он у вас должен быть где-нибудь под

рукой, в каком-нибудь из карманов, как под рукой у убийцы его пистолет или кинжал, спрятанный под плащом.

Ванель пробормотал нечто невнятное.

– Довольно! – крикнул Фуке. – Подавайте сюда договор!

Ванель дрожащей рукой начал рыться в кармане; он вытащил из него бумажник, и в тот момент, когда он подавал Фуке договор, из бумажника выпала какая-то другая бумага. Арамис поспешно поднял ее, так как узнал почерк, которым эта бумага была написана.

– Простите, это черновик договора, – пробормотал Ванель.

– Вижу, – сказал Арамис с улыбкой, разящей сильнее удара бичом, – вижу и в восхищении от того, что этот черновик написан рукой господина Кольбера. Взгляните-ка, монсеньер.

И он передал черновик Фуке, который убедился в правоте Арамиса. Этот вдоль и поперек исчерканный договор со множеством добавлений, с полями, совершенно черными от поправок, был живым доказательством интриги Кольбера и окончательно открыл глаза его жертве.

– Ну? – прошептал Фуке.

Ошеломленный Ванель, казалось, готов был провалиться сквозь землю.

– Ну, – начал Арамис, – если бы вы не носили имя Фуке, если бы ваш враг не назывался Кольбером, если бы против вас был один этот презренный вор, я бы сказал вам – отказывайтесь... подобная гнусность освобождает вас от вашего слова; но эти люди подумают, что вы испугались, – они станут меньше бояться вас; итак, монсеньер, подписывайте!

И он подал ему перо.

Фуке пожал Арамису руку, но вместо копии, которую ему подавали, взял черновик.

– Простите, не эту бумагу, – остановил его Арамис. – Она слишком ценная, и вам следовало бы оставить ее у себя.

– О нет, – отвечал Фуке, – я поставлю подпись на акте, собственноручно написанном господином Кольбером. Итак, я пишу: «Подтверждаю руку». И, подписав, он добавил:

– Берите, господин Ванель.

Ванель схватил бумагу, подал деньги и заторопился к выходу.

– Погодите, – сказал Арамис. – Уверены ли вы, что тут все деньги сполна? Деньги необходимо считать, господин Ванель, особенно когда господин Кольбер дарит их женщинам. Ведь он не отличается безграничной щедростью господина Фуке, ваш достойнейший господин Кольбер.

И Арамис, скандируя каждое слово чека, излил весь свой гнев, все скопившееся в нем презрение, каплю за каплей, на негодея, который в течение четверти часа выносил эту пытку. Потом он приказал ему удалиться, и не при помощи слов, а жестом, как отмахиваются от какого-нибудь наглого деревенщины или отсылают лакея.

По уходе Ванеля прелат и министр, пристально глядя друг другу в глаза, несколько мгновений хранили молчание.

Арамис первый нарушил его:

– Так вот, с кем сравните вы человека, который, перед тем как сражаться с разъяренным, одетым в доспехи и хорошо вооруженным врагом, обнажает грудь, бросает наземь оружие и посылает противнику воздушные поцелуи? Прямота, господин Фуке, есть оружие, нередко применяемое мерзавцами против честных людей, и это приносит им порою успех. Вот почему и честным людям следовало бы пускаться на плутовство и обман, если имеешь дело с мошенниками. Вы могли бы убедиться тогда, насколько сильнее стали бы эти честные люди, не утратив при этом порядочности.

– Но их действия назвали бы действиями мошенников.

– Нисколько; их назвали бы, может быть, своевольными, но вполне честными действиями. Но раз вы с этим Ванелем покончили, раз вы лишили себя удовольствия уничтожить его, отказавшись от вашего слова, раз вы сами вручили ему единственное оружие,

которое может вас погубить...

– О друг мой, – произнес с грустью Фуке, – вы напоминаете мне того учителя философии, о котором на днях рассказывал Лафонтен... Он видит тонущего ребенка и произносит пред ним целую речь по всем правилам риторического искусства.

Арамис улыбнулся.

– Философ – согласен; учитель – согласен; тонущий ребенок – тоже согласен; но ребенок, который будет спасен, вы еще увидите это! Однако прежде поговорим о делах.

Фуке посмотрел на него недоумевающим взглядом.

– Вы рассказывали мне как-то о празднестве в Во, которое предполагали устроить?

– О, – сказал Фуке, – то было в доброе старое время!

– И на это празднество король, кажется, сам себя пригласил?

– Нет, мой милый прелат, – это Кольбер посоветовал королю пригласить себя самого на празднество в Во.

– Да, потому что это празднество обошлось бы так дорого, что вы должны были бы разориться окончательно?

– Вот именно. В доброе старое время, как я сказал, я гордился возможностью показать моим недругам неисчерпаемость моих средств; я почитал для себя честью повергать их в смятение, бросая пред ними миллионы, тогда как они ожидали моего разорения; но теперь мне необходимо рассчитаться с казной, с королем, с собою самим; теперь мне необходимо стать скаредом; я сумею доказать всем, что, располагая грошами, я поступаю так же, как если бы располагал мешками пистолей, и начиная с завтрашнего дня, когда будут проданы мои экипажи, заложены принадлежащие мне дома и урезаны мои траты...

– Начиная с завтрашнего дня, – спокойно перебил Арамис, – вы будете, друг мой, без устали заниматься приготовлениями к прекрасному празднеству в Во, о котором когда-нибудь станут упоминать как об одном из героических великолепий вашего доброго старого времени.

– Вы не в своем уме, шевалье!

– Я? Вы же сами не верите этому.

– Да знаете ли вы, сколько может стоить самое что ни на есть скромное празднество в Во? Четыре или пять миллионов.

– Я не говорю о самом что ни на есть скромном празднестве, дорогой суперинтендант.

– Но поскольку празднество дается в честь короля, – отвечал Фуке, не поняв Арамиса, – оно не может быть скромным.

– Конечно, оно должно быть самым что ни на есть роскошным.

– Тогда мне придется истратить от десяти до двенадцати миллионов.

– Если понадобится, вы истратите и все двадцать, – сказал Арамис совершенно бесстрастным тоном.

– Где же мне взять их? – спросил Фуке.

– А это моя забота, господин суперинтендант. Вам незачем беспокоиться на этот счет. Деньги будут в вашем распоряжении раньше, чем вы наметите план вашего празднества.

– Шевалье, шевалье! – воскликнул Фуке, у которого голова пошла кругом. – Куда вы меня увлекаете?

– В сторону от той пропасти, – ответил ваннский епископ, – в которую вы едва не свалились. Ухватитесь за мою мантию и не бойтесь.

– Почему же вы прежде не говорили об этом? Был день, когда вы могли бы спасти меня, предоставив мне всего миллион.

– Тогда как сегодня... тогда как сегодня я предоставляю вам двадцать миллионов, – сказал прелат. – Да будет так! Причина этого крайне проста, друг мой: в тот день, о котором вы говорите, у меня не было в распоряжении этого миллиона, тогда как сегодня я легко смогу получить двадцать миллионов, если они понадобятся.

– Да услышит вас бог и спасет меня?

Арамис улыбнулся своей загадочной улыбкой.

– Меня-то бог слышит всегда, – молвил он, – и это происходит, может быть, оттого, что я

очень громко обращаюсь к нему с молитвою.

– Я полностью отдаю себя в вашу власть, – прошептал Фуке.

– О нот, я смотрю на это совсем иначе; напротив, это я в вашей власти. Итак, именно вы, как самый тонкий, самый умный, самый изысканный и изобретательный человек, именно вы и распорядитесь всем вплоть до мельчайших подробностей. Только...

– Только? – переспросил Фуке, как человек, понимающий значительность этого слова.

– Только, предоставляя вам придумывать различные подробности празднества, я оставляю за собой наблюдение за осуществлением их.

– Как это следует понимать?

– Я хочу сказать, что на этот день вы превратите меня в своего дворецкого, в главного распорядителя, в свою, так сказать, правую руку; во мне будут совмещаться и начальник охраны, и мажордом; мне будут подчинены все ваши люди, и у меня будут ключи от дверей; вы, правда, единолично будете отдавать приказания, но вы будете отдавать их через меня; они должны быть повторены моими устами, чтобы их выполняли, вы меня поняли?

– Нет, не понял.

– Но вы принимаете эти условия?

– Еще бы! Конечно, друг мой!

– Мне больше ничего и не нужно. Благодарю вас. Составляйте список гостей.

– Кого же мне приглашать?

– Всех!

Глава 10.

АВТОРУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПОРА ВЕРНУТЬСЯ К ВИКОНТУ ДЕ БРАЖЕЛОНУ

Наши читатели видели, что в этой повести параллельно разворачивались приключения как молодого, так и старшего поколения.

У одних – отблеск былой славы, горький жизненный опыт. У них же – покой, наполнивший сердце и усыпляющий кровь возле рубцов, которые прежде были жестокими ранами. У других – поединки гордости и любви, мучительные страдания и несказанные радости; бьющая ключом жизнь вместо воспоминаний.

Если некоторая пестрота в эпизодах нашего повествования и поразила внимательный взор читателя, то причина ее в богатых оттенках нашей двойной палитры, которая дарит краски двум разворачивающимся бок о бок картинам, смешивающим и сочетающим строгие тона с радостными и яркими. В волнениях одной мы обнаруживал ем не нарушаемый ничем мир и покой другой.

Порассуждав в обществе стариков, охотно предаешься безумствам в обществе юношей.

Поэтому, если нити нашей повести недостаточно крепко связывают главу, которую мы сочиняем, с той, которую только что сочинили, пусть это столь же мало смущает нас, как смущало, скажем, Рюисдала то обстоятельство, что он пишет осеннее небо, едва закончив весенний пейзаж. Мы предлагаем читателю поступить точно так же и вернуться к Раулю де Бражелону, найдя его на том самом месте, на котором мы с ним расстались в последний раз.

Возбужденный, испуганный, впавший в отчаяние или, вернее, потерявший рассудок, без воли, без заранее обдуманного решения, он бежал после сцены, завершение которой видел у Лавальер. Король, Монтале, Луиза, эта комната, это странное стремление избавиться от него, печаль Луизы, испуг Монтале, гнев короля – все предвещало ему несчастье. Но какое?

Он приехал из Лондона, потому что ему сообщили о грозящей опасности, и тотчас же увидел призрак этой опасности. Достаточно ли этого для влюбленного? Да, конечно. Но этого недостаточно для благородного сердца.

Однако Рауль не стал искать объяснений там, где без дальних околичностей ищут их ревнивые или более решительные влюбленные. Он не пошел к госпоже своего сердца и не спросил ее: «Луиза, вы больше меня не любите?

Луиза, вы полюбили другого?» Мужественный, способный к самой преданной дружбе,

так же как он был способен к самой беззаветной любви, свято соблюдающий свое слово и верящий слову другого, Рауль сказал себе: «До Гиш написал мне, чтобы предупредить: де Гиш что-то знает; пойду спрошу у де Гиша, что же он знает, и расскажу ему то, что видел собственными глазами».

Путь, который пришлось проделать Раулю, был недолгим. Де Гиш, всего два дня назад перевезенный из Фонтенбло в Париж, поправлялся от раны и уже начал немного передвигаться по комнате.

Увидев Рауля, он вскрикнул от радости – это было обычное для него проявление неистовства в дружбе. Рауль, в свою очередь, вскрикнул от огорчения, увидев де Гиша бледным, худым, опечаленным. Двух слов и жеста, которым раненый отодвинул руку Рауля, было достаточно, чтобы открыть ему истину.

– Вот как, – сказал Рауль, садясь рядом со своим другом, – тут любят и умирают.

– Нет, нет, не умирают, – ответил, улыбаясь, де Гиш, – раз я на ногах и могу обнять вас!

– Ах, я понимаю!

– И я понимаю вас также. Вы убеждены, что я глубоко несчастлив, Рауль?

– Увы!

– Нет! Я счастливейший из людей! Страдает лишь тело, но не сердце и не душа. Если бы вы знали! О, я счастливейший из людей!

– Тем лучше... тем лучше, лишь бы это продолжалось подольше!

– Все решено; у меня хватит любви, Рауль, до конца моих дней.

– У вас – я в этом не сомневаюсь, но у нее...

– Послушайте, друг мой, я люблю ее... потому что... по вы не слушаете меня.

– Простите!

– Вы озабочены?

– Да. И прежде всего вашим здоровьем...

– Нет, не то!

– Милый мой, кому-кому, а уж вам можно было бы меня не расспрашивать.

И он подчеркнул слово «вам» с тем, чтобы открыть своему другу природу недуга и трудность его лечения.

– Вы говорите это, Рауль, основываясь на письме, которое я написал.

– Да, конечно... Давайте поговорим об этом попозже, после того как вы поделитесь со мною своими радостями и горестями.

– Друг мой, я весь, весь в вашем распоряжении, весь ваш, и сейчас же...

– Благодарю вас. Я тороплюсь... я горю... я приехал из Лондона вдвое быстрее, чем государственные курьеры. Чего же вы от меня хотели?

– Но ничего другого, кроме того, чтобы вы приехали.

– Я, как видите, перед вами.

– Значит, все хорошо.

– Мне кажется, у вас есть для меня еще что-то.

– Но мне нечего вам сказать!

– Де Гиш!

– Клянусь честью!

– Вы но для того без стеснения оторвали меня от моих иллюзий; не для того подвергли немилости короля, потому что это возвращение – нарушение его воли; но для того впустили мне в сердце ревность, эту безжалостную змею, чтобы сказать: «Все хорошо, спите спокойно».

– Я не говорю вам: «Спите спокойно», Рауль; но, поймите меня хорошенько, я не хочу и не в состоянии сказать вам что-либо большее.

– За кого же вы меня принимаете?

– То есть как?

– Если вы о чем-то осведомлены, почему вы таите от меня то, что знаете? Если ни о чем не осведомлены, то почему вы предупредили меня?

– Это правда, я виноват перед вами. О, я раскаиваюсь, видите, Рауль, я раскаиваюсь.

Написать другу «приезжайте» – это ничто. Но видеть этого друга перед собой, чувствовать, как он дрожит, как задыхается в ожидании слова, которого не смеешь сказать ему...

– Посмейте! У меня хватит мужества, если его мало у вас! – в отчаянии воскликнул Рауль.

– Вот до чего вы несправедливы и вот до чего забывчивы! Вы забыли, что имеете дело с обессиленным раненым... Ну, успокойтесь же! Я вам сказал: «Приезжайте!» Вы приехали. Не требуйте же ничего сверх этого у бедняги де Гиша.

– Вы мне посоветовали приехать, надеясь, что я сам увижу и разберусь, не так ли?

– Но...

– Без колебаний! Я видел.

– Ах!

– Или, по крайней мере, мне показалось...

– Вот видите, вы сомневаетесь. Но если вы сомневаетесь, бедный мой друг, что же остается на мою долю?

– Я видел смущенную Лавальер... испуганную Монтале... короля.

– Короля?

– Да... Вы отворачиваетесь... здесь-то и таится опасность... Зло именно здесь, не так ли? Это король?..

– Я молчу.

– Своим молчанием вы говорите в тысячу и еще тысячу раз больше, чем могли бы сказать словами. Фактов – прошу, умоляю вас – фактов! Мой друг, мой единственный друг, говорите! У меня изранено и кровоточит сердце, я умру от отчаяния!

– Если так, Рауль, вы облегчаете мое положение, и я позволю себе говорить, уверенный, что сообщу только то, что гораздо утешительнее по сравнению с тем отчаянием, в котором я вижу вас.

– Я слушаю, слушаю...

– Ну, – сказал граф де Гиш, – я могу сообщить вам лишь о том, что вы могли бы узнать от первого встречного.

– От первого встречного! Значит, об этом уже болтают! – воскликнул Рауль.

– Прежде чем говорить «об этом болтают», узнайте, о чем, собственно, могут болтать, дорогой мой. Клянусь вам, речь идет о вещах по существу совершенно невинных – может быть, о прогулке...

– А! О прогулке с королем?

– Ну да, с королем; мне кажется, что король достаточно часто совершает прогулки с дамами для того, чтобы...

– Повторяю, вы не написали бы мне, если б эта прогулка была заурядна.

– Я знаю, что во время грозы королю было бы, конечно, удобнее укрыться в каком-нибудь доме, чем стоять с непокрытой головою перед Лавальер. Но...

– Но?..

– Но король отличается отменною вежливостью.

– О де Гиш, де Гиш, вы меня убиваете!

– В таком случае я замолчу.

– Нет, продолжайте. За этой прогулкой последовали другие?

– Нет... то есть да; было еще приключение у дуба. Впрочем, я ровно ничего не знаю о нем.

Рауль встал. Де Гиш, несмотря на свою слабость, тоже постарался подняться на ноги.

– Послушайте меня, – заговорил он, – я не добавлю больше ни слова; я сказал слишком много или, может быть, слишком мало. Другие осведомят вас, если захотят или смогут. Я должен был предупредить вас о том, что вам необходимо вернуться; я это сделал. Теперь уж сами заботьтесь о ваших делах.

– Что же мне делать? Расспрашивать? Увы, вы мне больше не друг, раз вы подобным образом разговариваете со мной, – произнес сокрушенно юноша.

– Первый, кого я примусь расспрашивать, окажется или клеветником, или глупцом, – клеветник солжет, чтобы помучить меня, глупец натворит что-нибудь еще худшее. Ах, де Гиш, де Гиш, и двух часов не пройдет, как я обзову десятерых придворных лжецами и затею десять дуэлей! Спасите меня! Разве не самое лучшее – знать свой недуг?

– Но я ничего не знаю, поверьте. Я был ранен, болел, лежал без памяти, у меня обо всем лишь туманное представление. Но, черт возьми! Мы ищем не там, где нужно, когда подходящий человек рядом с нами. Друг ли вам шевалье д'Артаньян?

– О да! Конечно!

– Подите к нему. Он вам откроет истинное положение дел и не станет умышленно терзать ваше сердце.

В это время вошел лакей.

– В чем дело? – спросил де Гиш.

– Господина графа ожидают в фарфоровом кабинете.

– Хорошо. Вы позволите, милый Рауль? С тех пор как я начал ходить, я преисполнен гордости.

– Я предложил бы вам опереться на мою руку, если б не думал, что тут замешана женщина.

– Кажется, да, – сказал, улыбаясь, де Гиш и оставил Рауля.

Рауль застыл в неподвижности, оцепеневший, раздавленный, как рудокоп, на которого обрушился свод галереи: он ранен, он истекает кровью, мысли его спутаны, но он силится прийти в себя и спасти свою жизнь с помощью разума. Несколько минут было Раулю достаточно, чтобы справиться с потрясением, вызванным этими двумя сообщениями де Гиша. Он успел уже связать нить своих мыслей, как вдруг за дверью в фарфоровом кабинете он услышал голос, который показался ему голосом Монтале.

«Она! – воскликнул он про себя. – Ее голос, конечно. Вот женщина, которая могла бы открыть мне правду; но стоит ли расспрашивать ее здесь?

Она таится от всех, даже от меня; она, наверное, пришла от принцессы...

Я повидаясь с ней в ее комнате. Она объяснит свой испуг, и свое бегство, и неловкость, с которой избавилась от меня; она расскажет мне обо всем... после того как господин д'Артаньян, который все знает, укрепит мое сердце. Принцесса... кокетка... Ну да, кокетка, но иногда и она способна любить; кокетка, у которой, как у жизни или у смерти, есть свои прихоти и причуды, но она дала де Гишу почувствовать себя счастливейшим из людей. Он-то, по крайней мере, на ложе из роз. Вперед!

Он покинул графа и, упрекая себя всю дорогу за то, что говорил с де Гишем лишь о себе, пришел к д'Артаньяну.

Глава 11. БРАЖЕЛОН ПРОДОЛЖАЕТ РАССПРАШИВАТЬ

Капитан находился при исполнении служебных обязанностей: он дежурил.

Сидя в глубоком кожаном кресле, воткнув шпоры в паркет, со шпагой между ног, он читал, покручивая усы, письма, лежавшие перед ним целою грудой.

Заметив сына своего старинного друга, д'Артаньян пробурчал что-то радостное.

– Рауль, милый мой, по какому случаю король вызвал тебя?

Эти слова неприятно поразили слух юноши, и он ответил, усаживаясь на стул:

– Право, ничего об этом не знаю. Знаю лишь то, что я возвратился.

– Гм! – пробормотал д'Артаньян, складывая письма и окидывая пронизывающим взглядом своего собеседника. – Что ты там толкуешь, мой милый?

Что король тебя вовсе не вызывал, а ты все же вернулся? Я тут чего-то не понимаю.

Рауль был бледен и со стесненным видом вертел в руках шляпу.

– Какого черта ты строишь такую кислую физиономию и что за могильный тон? – сказал капитан. – Это что же, в Англии приобретают такие повадки?

Черт подери! И я побывал в Англии, по возвратился оттуда веселый, как зяблик. Будешь ли ты говорить?

– Мне надо сказать слишком многое.

– Ах, вот как! Как поживает отец?

– Дорогой друг, извините меня. Я только что хотел спросить вас о том же. Взгляд д'Артаньяна, проникавший в любые тайны, стал еще более острым.

Он спросил:

– У тебя неприятности?

– Полагаю, что вы об этом отлично осведомлены, господин д'Артаньян.

– Я?

– Несомненно. Не притворяйтесь же, что вы удивлены этим.

– Я нисколько не притворяюсь, друг мой.

– Дорогой капитан, я очень хорошо знаю, что ни в уловках, ни в силе я не могу состязаться с вами, и вы меня с легкостью одолеете. Видите ли, сейчас я непроходимо глуп, я жалкая, ничтожная тварь. Я лишился ума, и руки мои висят, как плети. Так не презирайте же меня покажите мне помощь! Я несчастнейший среди смертных.

– Это еще почему? – спросил д'Артаньян, расстегивая пояс и смягчая выражение лица.

– Потому, что мадемуазель де Лавальер обманывает меня.

Лицо д'Артаньяна не изменилось.

– Обманывает! Обманывает! И слова-то какие важные! Кто тебе про это сказал?

– Все.

– А-а, если все говорят тебе про это, значит, тут есть доля истины.

Что до меня, то я верю, что где-то есть пламя, раз я увидел дым. Это смешно, но тем не менее это так.

– Значит, вы верите! – вскричал Бражелон.

– Если ты со мной делишься...

– Разумеется.

– Я не вмешиваюсь в дела подобного рода, и ты это хорошо знаешь.

– Как! Даже для друга? Для сына?

– Вот именно. Если б ты был чужим, посторонним, я сказал бы тебе... я бы ничего тебе не сказал... Не знаешь ли, как поживает Портос?

– Сударь! – воскликнул Рауль, сжимая руку д'Артаньяну. – Во имя дружбы, которую вы обещали моему отцу!

– Ах, черт! Я вижу, что ты серьезно заболел... – любопытством.

– Это не любопытство, это любовь.

– Поди ты! Вот еще важное слово. Если б ты был влюблен по-настоящему, мой милый Рауль, это выглядело бы совсем по-иному.

– Что вы имеете в виду?

– Я хочу сказать, что, если бы ты был охвачен настоящей любовью, я мог бы предполагать, что обращаюсь к твоему сердцу и ни к кому больше...

Ио это немыслимо.

– Поверьте же мне, я безумно люблю Луизу.

Д'Артаньян заглянул в самую глубину души Рауля.

– Немыслимо, повторяю тебе... Ты такой же, как все твои сверстники; ты не влюблен, ты безумствуешь.

– Ну а если бы это было не так?

– Разумный человек никогда еще не мог повлиять на безумца, у которого голова идет кругом. За свою жизнь я раз сто обжигался на этом. Ты бы слушал меня, но не слышал; ты бы слышал меня, но не понял; ты бы понял меня, но не последовал моему совету.

– Но попробуйте все же, прошу вас, попробуйте!

– Скажу больше: если бы я имел несчастье и впрямь что-то знать и был бы настолько нечуток, чтобы поделиться с тобой тем, что знаю... Ведь ты говоришь, что считаешь себя

моим другом?

– Ода!

– Ну, так я бы с тобою рассорился. Ты бы никогда не простил мне, что я разрушил твою иллюзию, как говорится, в любовных делах.

– Господин Д'Артаньян, вы знаете решительно все и оставляете меня в замешательстве, в полном отчаянии, в агонии! Это ужасно!

– Та, та, та!

– Вам известно, что я никогда ни на что не жалуюсь. Но так как бог и мой отец никогда не простили бы мне, если б я пустил себе пулю в лоб, то я сейчас же уйду от вас и заставлю первого встречного рассказать мне то, чего вы не желаете сообщить; я обвиню его в том, что он лжет...

– И убьешь его? Вот это чудесно! Пожалуйста! Мне-то что за дело до этого? Убивай, мой милый, убивай, если это может доставить тебе удовольствие. Поступи как те, у кого болят зубы. Они говорят, обращаясь ко мне: «О, как я страдаю! Я готов был бы грызть от боли железо». На это я отвечаю им: «Ну и грызите, друзья, грызите! Вы и впрямь, пожалуй, избавитесь от гнилого зуба».

– Нет, я не стану никого убивать, сударь, – сказал Рауль с мрачным видом.

– Ну да, вот вы, нынешние, обожаете подобные позы. Вы дадите себя убить, не так ли? До чего ж это мило! Ты думаешь, я о тебе пожалею? О нет, я без конца буду повторять в течение целого дня: «Что за ничтожная дрянь этот сосунок Бражелон, что за глупец! Всю свою жизнь я потратил на то, чтоб научить его как следует держать шпагу, а этот дурень дал себя проткнуть, как цыпленка». Идите, Рауль, идите, дайте себя убить, друг мой. Не знаю, кто обучал вас логике, но прокляни меня бог, как говорят англичане, если этот субъект не зря получал от вашего отца деньги.

Рауль молча закрыл руками лицо и прошептал:

– Нет на свете друзей, нет, пет!

– Вот как! – сказал Д'Артаньян.

– Есть только насмешники и равнодушные.

– Вздор! Я не насмешник, хоть и чистокровный гасконец. И не равнодушный. Да если б я был равнодушным, я послал бы вас к черту уже четверть часа тому назад, потому что человека, обезумевшего от радости, вы превратили бы в печального, а печального уморили бы насмерть. Неужели же, молодой человек, вы хотите, чтобы я внушил вам отвращение к вашей милой и научил вас проклинать женщин, тогда как они честь и счастье человеческой жизни?

– Сударь, сообщите мне все, что вы знаете, и я буду благословлять вас до конца моих дней!

– Ну, мой милый, неужто вы воображаете, что я набивал себе голову всеми этими историями о столяре, о художнике, о лестнице и портрете и еще сотней тысяч таких же басен. Да я ошалел бы от этого!

– Столяр! При чем тут столяр?

– Право, не знаю. Но мне рассказывали, что какой-то столяр продырявил какой-то паркет.

– У Лавальер?

– Вот уж не знаю где.

– У короля?

– Если б это было у короля, то я так и пошел бы докладывать вам об этом, верно?

– Но все-таки у кого же?

– Уже битый час я повторяю вам, что решительно ни о чем не осведомлен.

– Но художник! И этот портрет?..

– Говорят, что король заказал портрет одной из придворных дам.

– Лавальер?

– Э, да у тебя на устах это имя и ничего больше! Кто ж тебе говорит, что это был портрет Лавальер?

– Но если речь идет не о ней, то почему вы предполагаете, что это может представлять для меня интерес?

– Я и не хочу, чтобы это представляло для тебя интерес. Ты спрашиваешь – я отвечаю. Ты хочешь знать скандальную хронику, я тебе выкладываю ее. Извлеки из нее все, что сможешь.

Рауль в отчаянии схватился за голову.

– Можно от всего этого умереть!

– Ты уже говорил об этом.

– Да, вы правы.

И он сделал шаг с намерением удалиться.

– Куда ты? – спросил д'Артаньян.

– К тому лицу, которое скажет мне правду.

– Кто это?

– Женщина.

– Мадемуазель де Лавальер собственной персоной, не так ли? – усмехнулся д'Артаньян. – Чудесная мысль – ты жаждешь обрести утешенье, ты обретишь его тотчас же. О себе она дурного не скажет, иди!

– Вы ошибаетесь, сударь, – ответил Рауль, – женщина, к которой я хочу обратиться, скажет о ней много дурного.

– Держу пари, ты собираешься к Монтале!

– Да, к Монтале.

– Ах, приятельница? Женщина, которая по этой самой причине будет сильно преувеличивать в ту или другую сторону. Не говорите с Монтале, мой милый Рауль.

– Не разум вас наставляет, когда вы стремитесь не допустить меня к Монтале.

– Да, сознаюсь, это так... И, в сущности говоря, к чему мне играть с тобой, как кошка играет у, бедною мышью? Ты, право, беспокоишь меня. И если я сейчас не хочу, чтобы ты говорил с Монтале, то лишь потому, что ты разгласишь свою тайну и этой тайной воспользуются. Подожди, если можешь.

– Не могу.

– Тем хуже! Видишь ли, Рауль, если б меня осенила какая-нибудь счастливая мысль... Но она не осеняет меня.

– Позвольте мне, друг мой, лишь делиться с вами своими печальями и предоставьте мне самостоятельно выпутываться из этой истории.

– Ах так! Дать тебе увязнуть в ней окончательно, вот ты чего захотел?

Садись к столу и возьми в руку перо.

– Зачем?

– Чтобы написать Монтале и попросить у нее свидания.

– Ах! – воскликнул Рауль, хватая перо.

Вдруг отворилась дверь, и мушкетер, подойдя к д'Артаньяну, произнес:

– Господин капитан, здесь мадемуазель де Монтале, которая желает переговорить с вами.

– Со мной? – пробормотал д'Артаньян. – Пусть войдет, и я сразу увижу, со мной ли хотела она говорить.

Хитрый капитан угадал. Монтале, войдя и увидев Рауля, вскрикнула:

– Сударь, сударь, вы тут! Простите, господин д'Артаньян.

– Охотно прощаю, сударыня, – сказал д'Артаньян, – я знаю, я в таком возрасте, что меня разыскивают только тогда, когда уж очень во мне нуждаются.

– Я искала господина де Бражелона, – ответила Монтале.

– Как это удачно совпало! Я вас также хотел повидать.

– Рауль, не желаете ли выйти с мадемуазель Монтале?

– Всем сердцем!

– Идите!

И он тихонько вывел Рауля из кабинета; затем, взяв Монтале за руку, прошептал:
– Будьте доброй девушкой. Пощадите его, пощадите ее.
– Ах, – ответила она так же тихо, – не я буду с ним разговаривать. За ним послала принцесса.
– Вот как, принцесса! – вскричал д'Артаньян. – Не пройдет и часа, как бедняжка поправится.
– Или умрет, – сказала Монтале с состраданием. – Прощайте, господин д'Артаньян!
И она побежала вслед за Раулем, который ожидал ее, стоя поодаль от дверей, встревоженный и озадаченный этим диалогом, не предвещавшим ему ничего хорошего.

Глава 12. ДВЕ РЕВНОСТИ

Влюбленные нежны со всеми, кто имеет отношение к их любимым. Так только Рауль остался наедине с Монтале, он с пылом поцеловал ее руку.

– Так, так, – грустно начала девушка. – Вы плохо помещаете капитал своих поцелуев, дорогой господин Рауль, гарантирую, что они не принесут вам процентов.

– Как?.. Что?.. Объясните мне, милая Ора...

– Вам все объяснит принцесса. К ней-то я вас и веду.

– Что это значит?

– Тише... и не бросайте на меня таких испуганных взглядов. Тут окна имеют глаза, а стены – длинные уши. Будьте любезны больше не смотреть на меня; будьте любезны очень громко говорить со мной о дожде, о прекрасной погоде и о том, какие развлечения в Англии.

– Наконец...

– Ведь я предупреждала вас, что где-нибудь, я но знаю где, но где-нибудь у принцессы обязательно спрятано наблюдающее за нами око и подслушивающее нас ухо. Поймите, что мне вовсе не хочется быть выгнанной вон или попасть в тюрьму. Давайте говорить о погоде, повторяю еще раз, или лучше уж помолчим.

Рауль сжал кулаки и пошел быстрее. Он придал себе вид безгранично храброго человека – это верно, но то был храбрец, идущий на казнь. Монтале, легкая и настороженная, шла впереди него.

Рауля сразу же ввели в кабинет принцессы.

«Пройдет целый день, и я ничего не узнаю, – подумал Рауль. – Де Гиш пожалел меня, он сговорился с принцессой, и оба они, составив дружеский заговор, отдают разрешение этого больного вопроса. Ах, почему я не сталкиваюсь тут с откровенным врагом, например, с этой змеею Бардом? Он, конечно, не преминул бы ужалить... но зато я бы не знал колебаний. Сомневаться... раздумывать... нет, уж лучше смерть!»

Рауль предстал перед принцессой.

Генриетта, которая была еще очаровательней, чем всегда, полулежала в кресле; она положила свои прелестные ножки на бархатную вышитую подушку и играла с длинношерстым пушистым котенком, который покусывал ее пальцы и цеплялся за кружево, ниспадавшее с ее шеи. Принцесса была погружена в размышления. Только голоса Монтале и Рауля вывели ее из задумчивости.

– Ваше высочество посылали за мной? – повторил Рауль.

Принцесса встряхнула головой, как если б она только проснулась.

– Здравствуйте, господин де Бражелон, – сказала она, – да, я посылала за вами. Итак, вы вернулись из Англии?

– К услугам вашего высочества.

– Благодарю вас. Оставьте нас, Монтале.

Монтале вышла.

– Вы можете уделить мне несколько минут, не так ли, господин де Бражелон?

– Вся моя жизнь принадлежит вашему высочеству, – почтительно ответил Рауль,

который под всеми любезностями принцессы предугадывал нечто мрачное. Но мрачность эта скорее была ему по душе, так как он был убежден, что чувства принцессы имеют нечто общее с его чувствами. И в самом деле, все умные люди при королевском дворе знали про капризный характер и взбалмошный деспотизм, свойственные принцессе.

Принцесса была свыше меры польщена вниманием короля; принцесса заставила говорить о себе и внушила королеве ту смертельную ревность, которая, как червь, разъедает всякое женское счастье, — словом, принцесса, желая исцелить оскорбленную гордость, воображала, что ее сердце сжимается от любви.

Мы с вами хорошо знаем, как поступила принцесса, чтобы вернуть Рауля, удаленного королем. Рауль, однако, не знал о ее письме к Карлу Второму; лишь один д'Артаньян догадался о нем.

Это необъяснимое сочетание любви и тщеславия, эту ни с чем не сравнимую нежность, это невиданное коварство — кто сможет их объяснить? Никто, даже демон, разжигающий в сердцах женщин кокетство. Помолчав еще некоторое время, принцесса наконец сказала:

— Господин де Бражелон, вы вернулись довольный?

Бражелон посмотрел на принцессу и увидел, что ее лицо покрывается бледностью; ее мучила тайна, которую она хранила в себе и которую страстно хотела открыть.

— Довольный? — переспросил Рауль. — Чем же я могу быть доволен или недоволен, ваше высочество?

— Но чем может быть доволен или недоволен человек вашего возраста и вашей наружности?

«Как ей не терпится! — подумал, ужаснувшись, Рауль. — Что-то вложит она в мое сердце?»

Затем, в страхе перед тем, что ему предстояло узнать, и желая отдалить столь вожаденный и вместе с тем столь ужасный момент, он ответил:

— Ваше высочество, я оставил дорогого мне друга в добром здоровье, а вернувшись, увидел его больным.

— Вы говорите о господине де Тише? — спросила принцесса с невозмутимым спокойствием. — Передают, что вы с ним очень дружны.

— Да, ваше высочество.

— Ну что ж, это верно, он был ранен, но теперь поправляется. О! Господина де Гиша жалеть не приходится — добавила она быстро. Потом, как бы спохватившись, продолжала:

— Разве его нужно жалеть? Разве он жалуется?

Разве у него есть печали, которые не были б нам известны?

— Я говорю о его ране, ваше высочество, и ни о чем больше.

— Тогда ничего страшного, потому что во всем остальном господин де Гиш, как кажется, очень счастлив: он неизменно в радужном настроении.

Знаете ли, господин де Бражелон, я уверена, что вы предпочли бы, чтобы вам нанесли телесную рану, как ему... Что такое телесная рана?

Рауль вздрогнул; он подумал: «Она приступает к главному. Горе мне!»

Он ничего не ответил.

— Что вы сказали? — спросила она.

— Ничего, ваше высочество.

— Ничего не сказали? Значит, вы не одобряете моих слов или, быть может, вы удовлетворены создавшимся положением?

Рауль подошел поближе к принцессе.

— Вашему высочеству угодно мне кое о чем рассказать, но естественное великодушие заставляет ваше высочество взвешивать свои слова. Я прошу ваше высочество ничего не утаивать. Я ощущаю в себе достаточно сил, я слушаю.

— На что вы, собственно, намекаете?

— На то, о чем ваше высочество хочет поставить меня в известность.

И, произнося эти слова, Рауль не смог удержаться от содрогания.

– Да, – прошептала принцесса, – это жестоко, но если я начала...

– Да, раз вы снизошли к тому, чтобы начать, ваше высочество, снизойдите и к тому, чтобы кончить.

Генриетта поспешно встала и нервно прошлась по комнате.

– Что вам сказал де Гиш? – внезапно спросила она.

– Ничего.

– Ничего? Он ничего не сказал? О, как я узнаю его в этом!

– Он, несомненно, хотел пощадить меня.

– И вот это называется дружбой! Но господин д'Артаньян, от которого вы только что вышли, что рассказал господин д'Артаньян?

– Не более, чем де Гиш.

Генриетта сделала нетерпеливое движение:

– Вам-то, по крайней мере, известно, о чем говорит весь двор?

– Мне ровно ничего не известно, ваше высочество.

– Ни сцена во время грозы?

– Ни сцена во время грозы...

– Ни встреча наедине в лесу?

– Ни встреча в лесу...

– Ни бегство в Шайо?

Рауль, клонившийся, как цветок, задетый серпом, сделал сверхчеловеческое усилие, чтоб улыбнуться, и ответил с трогательной простотой:

– Я имел честь сообщить вам, ваше высочество, что я решительно ничего не знаю. Я бедный, забытый всеми изгнанник, только что прибывший из Англии; между теми, кто здесь, и мною простиралось бурное море, и молва обо всем, о чем вы упомянули, не могла достигнуть моего слуха.

Генриетта была тронута бледностью, кротостью и мужеством юноши. Но преобладающим желанием ее сердца в это мгновение была жажда услышать от обманутого влюбленного, что он по-прежнему помнит о той, которая причинила ему столько страданий.

– Господин де Бражелон, – произнесла она, – то, что ваши друзья не пожелали сделать для вас, из уважения и любви к вам, сделаю я. Это я буду вашим истинным другом. Вы высоко держите голову, как истинно порядочный человек, и я не хочу, чтобы вы опустили ее под градом насмешек, через неделю, я должна буду сказать это, – перед всеобщим презрением.

– Ах! – прошептал смертельно побледневший Рауль. – Неужели дошло до этого?

– Если вы не осведомлены об этом, – продолжала принцесса, – я вижу, что вы все же догадываетесь. Вы были женихом мадемуазель де Лавальер?

– Да, ваше высочество.

– Поскольку вы жених Лавальер, я обязана предупредить вас: на днях я выгоню ее вон...

– Выгоните ее! – вскричал Бражелон.

– Без сомнения; неужели вы думаете, что я буду вечно считаться со слезами и просьбами короля? Нет, нет, мой дом недолго будет служить для вещей подобного рода. Но вы едва держитесь на ногах...

– Нет, простите, ваше высочество, – начал Рауль, сделав над собою усилие, – мне показалось, что я умираю. Ваше высочество почтили меня сообщением, что король плакал, просил...

– Да, но напрасно.

И она рассказала Раулю о сцене в Шайо, об отчаянии короля по возвращении во дворец; она рассказала о своей снисходительности и об ужасной фразе, при помощи которой разгневанная принцесса, униженная кокетка, поборола гнев короля.

Рауль опустил голову.

– Что вы думаете об этом? – спросила она.

– Король любит ее, – ответил Рауль.

- Но вы как будто хотите сказать, что она не любит его.
- Увы, я все еще думаю о том времени, когда она любила меня, ваше высочество!
- Генриетта на мгновение восхитилась этим возвышенным недоверием; затем, пожав плечами, она заговорила:
- Вы мне не верите? О, как же вы ее любите! И вы сомневаетесь, что она отдала свою любовь королю?
- Пока я не получу доказательств. Простите меня, она дала мне слово, а она – благородная девушка.
- Доказательств?.. Ну что же, пойдемте.

Глава 13. ОБЫСК

Принцесса повела Рауля через двор к тому крылу здания, где жила Лавальер, поднялась по лестнице, по которой этим утром он уже поднимался, и остановилась у двери, где молодой человек встретил столь странный прием со стороны Монтале.

Момент был выбран удачно; ничто не мешало принцессе приступить к исполнению ее плана; замок был пуст; король, придворные кавалеры и дамы уехали в Сен-Жермен; не поехала вместе со всеми лишь одна Генриетта, узнавшая о возвращении Бражелона и придумавшая, как использовать его возвращение; сославшись на нездоровье, она осталась у себя.

Итак, принцесса была уверена, что ни в комнате Лавальер, ни в апартаментах Сент-Эньяна она никого не застанет. Она вынула из кармана ключ и открыла дверь, ведущую в комнату ее фрейлины.

Взгляд Бражелона обежал эту комнату, которую он сразу узнал, и вид ее заставил его сердце содрогнуться; но это было только началом мучений, которые его тут ожидали.

Принцесса внимательно посмотрела ему в глаза, и ее опытный взгляд проник в сердце юноши: она поняла, что в нем происходит.

– Вы просили у меня доказательств, – сказала она, – не удивляйтесь же, если я доставлю их вам. Впрочем, если вы не чувствуете в себе достаточно сил, еще не поздно, и мы можем удалиться.

– Благодарю вас, ваше высочество, но я пришел сюда, чтобы все узнать.

Вы обещали убедить меня, убеждайте.

– Тогда войдите и закройте за собой дверь.

Бражелон повиновался и, повернувшись к принцессе, вопросительно посмотрел на нее.

– Известно ли вам, где вы находитесь? – спросила принцесса.

– Судя по всему, ваше высочество, я нахожусь в комнате мадемуазель Лавальер.

– Да.

– Но я позволю себе заметить, что комната – вовсе не доказательство.

– Погодите.

Принцесса прошла к кровати, сдвинула ширму и, наклонившись над паркетом, попросила:

– Нагнитесь и поднимите крышку этого люка.

– Люка! – повторил пораженный Рауль. Ему смутно припомнились слова д'Артаньяна: ведь и д'Артаньян как будто произнес это слово.

И Рауль стал искать глазами щель или прорезь, которые указали бы на отверстие, сделанное в полу, или кольцо, с помощью которого можно было бы поднять крышку над ним, но поиски его оказались тщетными.

– Ах, и в самом деле, – засмеялась Генриетта, – я забыла о скрытом механизме: четвертый листок на рисунке паркета. Нужно нажать в том месте, где на доске сучок. Следуйте этому указанию. Нажмите, виконт, вот здесь, нажимайте же!

Рауль, бледный как смерть, нажал пальцем на указанное ему принцессою место, в ту же

секунду механизм пришел в движение, и кусок паркета поднялся.

– Это очень хитро, – сказала принцесса, – и архитектор, очевидно, предвидел, что пользоваться этим устройством придется маленькой ручке: смотрите, насколько легко открывается люк.

– Лестница! – воскликнул Рауль.

– Да, и даже очень изящная, – заметила Генриетта. – Посмотрите, виконт, у этой лестницы есть и перила, дабы воздушные создания, отваживающиеся спускаться по ней, не могли случайно свалиться; вот и я решаюсь спуститься. Следуйте за мною, виконт, следуйте.

– Но прежде чем пойти за вами, я хотел бы выяснить, куда ведет лестница.

– А, правда, я забыла сказать вам про это.

– Слушаю вас, ваше высочество, – едва дыша, произнес Рауль.

– Вам, быть может, известно, что граф де Сент-Эньян до недавнего времени жил рядом с покоями короля.

– Да, ваше высочество, мне это известно; до своего отъезда – и не раз – я имел честь посещать графа на его старой квартире.

– Так вот, король разрешил ему сменить его очень удобную и красиво отделанную квартиру, в которой вы были, на две небольшие комнаты, куда и ведет эта лестница. Комнаты вдвое меньше его прежней квартиры и в десять раз дальше от апартаментов короля, соседством с которым обыкновенно отнюдь не пренебрегают господа придворные кавалеры.

– Очень хорошо, ваше высочество, но продолжайте, прошу вас, так как я все еще ничего не понял.

– Вот и оказалось, конечно, совершенно случайно, что новые комнаты графа де Сент-Эньяна расположены под комнатами моих фрейлин, и в частности под комнатой Лавальер.

– Но к чему все-таки люк и лестница?

– Право, не знаю. Не хотите ли пройти вместе со мной к Сент-Эньяну?

Быть может, там мы отыщем разгадку.

И принцесса, подавая пример, начала первая спускаться по лестнице.

Рауль со вздохом пошел вслед за нею.

Каждая ступень, поскрипывавшая под ногами виконта де Бражелона, приближала его к таинственному приюту, в котором продолжал еще раздаваться голос мадемуазель Лавальер и сохранился сладчайший запах, исходивший от ее платья. Судорожно вдыхая воздух, Рауль сразу понял, что эта юная девушка, несомненно, проходила по лестнице.

Затем, после доказательств невидимых, пред ним оказались любимые ею цветы, книги, которые она отобрала. Если бы у Рауля оставалась хотя бы ничтожная доля сомнения, она бы исчезла при виде этой непостижимой гармонии ее вкусов и склонностей с находившимися здесь предметами повседневного обихода. Лавальер незримо присутствовала в убранстве, в тканях, даже в отблесках на шашках паркета.

Немой и раздавленный, он понял и постиг все до конца и следовал за своей безжалостной провожатой, как обреченный на смерть следует за палачом. Принцесса, жестокая, как всякая утонченная и нервная женщина, не щадила его и не скрыла ни единой подробности. Впрочем, надо сказать, что, несмотря на апатию, которая охватила его, ни одна из этих подробностей не ускользнула бы от Рауля, даже если б он находился здесь наедине с самим собою. Счастье любимой женщины, когда это счастье подарено ей соперником, – пытка для того, кто ревнив. Но для такого ревнивца, каким был Рауль, для этого сердца, которое впервые впитывало в себя яд желчи, счастье Луизы означало бесславную смерть, смерть и души и тела.

Пред его взором проносилось решительно все: сплетенные в объятиях руки, сближающиеся лица, губы, слитые в страстном порыве пред зеркалом, эта столь сладостная клятва влюбленных, жадно рассматривающих свое отражение, дабы крепче запечатлеть в памяти пленительную картину.

В своих мыслях он видел лобзания, скрытые непроницаемым пологом, который, колеблясь, выдавал объятия упоенных любовников, и красноречие ложа, таящегося в

создаваемой этим пологом полутьме, причиняло ему жгучие муки.

Эта роскошь, эта изысканность, полная опьянения, это заботливое старание оградить возлюбленную от всякого неудовольствия или подарить ей прелестную неожиданность, это могущество всеильной любви, умноженное королевским могуществом, поразили Рауля смертельным ударом. О, если есть смягчение жгучих мук ревности, то его дает лишь сознание превосходства над человеком, которого вам предпочли. И напротив, если есть ад в аду, пытка, не имеющая названия на человеческом языке, то это – всемогущество бога, предоставленное сопернику вместе с юностью, красотой, обаянием. В такое мгновение кажется, что сам бог ополчился на покинутого любовника.

Несчастливого Рауля ожидал последний удар: принцесса Генриетта подняла шелковый занавес, и за ним он увидел портрет Лавальер. Это был не портрет, перед ним стояла сама Лавальер, юная, прекрасная, радостная, всеми порами впитывающая в себя жизнь, ибо для тех, кому восемнадцать лет, жизнь – это любовь.

– Луиза! Луиза! – прошептал Бражелон. – Итак, это правда? О, ты никогда не любила меня, ведь на меня ты так никогда не смотрела!

И ему показалось, что сердце сжалось в его груди.

Принцесса Генриетта разглядывала его и, наблюдая его страдания, испытывала странную зависть к Лавальер, хотя знала, что завидовать ей, в сущности, нечему и что де Гиш любит ее столь же пылко, как Бражелон любит свою Луизу. Рауль перехватил на себе взгляд принцессы и произнес:

– О, простите меня, простите! Я знаю, мне следовало бы лучше владеть собою в вашем присутствии. Но не дай боже, господин земли и неба, чтобы на вас когда-нибудь обрушился такой же удар, какой в этот день поразил меня; Ибо вы женщина и, конечно, не смогли бы снести этих мук. Простите меня, я бедный дворянин и ничего больше, тогда как вы, вы принадлежите к числу тех счастливых, тех всемогущих, тех избранных...

– Господин де Бражелон, – ответила Генриетта, – сердце, подобное вашему, заслуживает забот и внимания самой королевы. Я ваш друг, виконт; поэтому я не хотела, чтобы вся ваша жизнь была отравлена вероломством и измарана беспощадной насмешкой. Я храбрее ваших друзей (я не говорю о графе де Гише); это я вызвала вас из Лондона; я доставила вам доказательства, бесспорно мучительные, но нужные, которые принесут вам исцеление, если вы умеете любить, как подобает мужчине, а ведь вы мужчина, а не вечно хнычущий Амадис. Не благодарите меня: лучше жалуйтесь на вашу судьбу и служите королю не хуже, чем прежде.

Рауль горестно усмехнулся.

– Да, это правда, я забыл, что король – мой господин.

– Дело идет о вашей свободе! О вашей жизни!

Ясный и прямой взгляд Рауля показал Генриетте, что она заблуждается и что последний из ее доводов – не из тех, которые способны воздействовать на виконта.

– Будьте осторожны, господин Бражелон, – сказала она, – не взвешивая всех ваших поступков, вы навлечете на себя гнев государя, который не умеет подчинять себя в таких случаях велениям разума; вы повергнете в печаль ваших друзей и вашу семью. Покоритесь, смиритесь, исцелите себя.

– Благодарю вас, ваше высочество, я ценю совет, который вы мне подаете, и постараюсь ему последовать. Но мне нужны еще несколько слов, прошу вас.

– Говорите.

– Будет ли нескромно спросить у вас, каким образом тайны этой лестницы, этого люка, наконец, тайна портрета стали известны вам?

– О, нет ничего проще: чтобы наблюдать за поведением моих фрейлин, я держу у себя вторые ключи от их комнат. Мне показалось странным, что Лавальер так часто запирается у себя, мне показалось странным, что граф де Сент-Эньян переменил квартиру; мне показалось странным, что король ежедневный гость Сент-Эньяна, хотя он и прежде был с ним в тесной дружбе; наконец, мне показалось странным, что все эти вещи произошли после вашего

отъезда отсюда и что многие привычки двора вдруг нарушились. Я не хочу быть игрушкой в руках короля, не хочу служить ширмой его любовным делам; ведь после Лавальер, которая не упустит случая поплакать, придет очередь Монтале, всегда готовой посмеяться, или Тонне-Шарант, которая вечно поет. Мне не пристало играть подобную роль. Я пренебрегла щепетильностью дружбы и открыла секрет... Я нанесла вам рану, простите меня, еще раз прошу вас об этом, но я должна была исполнить свой долг. Теперь дело сделано, вы предупреждены обо всем. Гром не замедлит грянуть, остерегайтесь!

– Все же вы чего-то недоговариваете, ваше высочество, – твердо сказал Бражелон. – Ведь не думаете же вы, что я безмолвно снесу позор и измену?

– Поступайте так, как сочтете необходимым, господин Рауль. Но только не открывайте источника, из которого вы почерпнули правду; вот все, чего я хочу от вас, вот вознаграждение, которое я требую за оказанную услугу.

– Вам нечего опасаться, ваше высочество, – произнес с горькой усмешкой Бражелон.

– Я подкупила столяра, которого любовники использовали в своих интересах. Ведь вы могли сделать то же?

– Да, принцесса. Итак, ваше высочество не даете мне никакого совета и не требуете от меня ничего, кроме обязательства не компрометировать ваше высочество?

– Ничего, кроме этого.

– В таком случае я буду просить ваше высочество разрешить мне задержаться здесь еще на минуту.

– Без меня?

– О нет, это не важно. То, что мне предстоит сделать, я могу сделать и в вашем присутствии. Я прошу вас об этой минуте, чтобы написать кое-кому несколько слов.

– Это опасно, виконт. Берегитесь!

– Никто не узнает, что ваше высочество оказали мне честь, проводив меня в это место. Впрочем, я подписываю свое письмо.

Произнеся эти слова, Рауль вынул свою записную книжку и, вырвав листок, быстро написал следующее:

«Граф!

Не удивляйтесь, найдя здесь эту подписанную мною записку, до того, как один из моих друзей, которого я вскоре пришлю, будет иметь честь объяснить вам причину моего визита.

Виконт Рауль де Бражелон»

Он свернул этот листок и сунул его в замочную скважину двери, ведущей в комнату обоих любовников. Убедившись, что письмо было хорошо видно и Сент-Энъян, возвращаясь домой, не сможет не заметить его, он пошел за принцессой, которая уже успела подняться по лестнице.

На площадке они расстались. Рауль сделал вид, что бесконечно благодарен ее высочеству. Генриетта искренне или притворно еще раз посочувствовала несчастному, которого она только что обрекла на такие ужасные муки.

– О, – прошептала она, видя, как он удаляется, бледный, с налитыми кровью глазами, – о, если б я знала, я скрыла бы истину от этого бедного юноши!

Глава 14. МЕТОД ПОРТОСА

Изобилие действующих лиц, которых мы ввели в эту длинную повесть, приводит к тому, что каждый из них вынужден появляться только тогда, когда подойдет его очередь, и в зависимости от хода рассказа. Вот почему читатели не имели случая встретиться с нашим давнишним другом Портосом со времени его возвращения из Фонтенбло.

Почести, оказанные ему королем, не изменили спокойного и добродушного характера

достойного дворянина; он всего лишь держал теперь голову чуточку выше, чем прежде, и с тех пор как ему была оказана честь отобедать за королевским столом, в манерах его стало проскальзывать нечто величественное.

Обеденная зала его величества короля произвела на Портоса неизгладимое впечатление. Владелец Брасье и Пьерфона любил вспоминать, что во время этого достопамятного обеда целая толпа слуг и большое количество офицеров, находясь позади приглашенных, придавали обеду чрезвычайно торжественный вид и заполняли собою залу.

Портос решил наградить Мушкетона каким-нибудь соответствующим его положению званием, установить иерархию среди остальных слуг и устроить у себя своего рода маленький двор; этому не были чужды крупные полководцы, и в минувшем веке подобную роскошь позволяли себе господа де Тревиль, де Шомберг, де Ла Вьевиль, не говоря уже о Ришелье, Конде и Буйон-Тюренне.

Почему же Портосу, другу его величества короля и г-на Фуке, барону, королевскому инженеру, не насладиться всеми этими удовольствиями, связанными с богатством и большими заслугами?

Портоса стал забывать Арамис, занятый, как мы знаем, делами Фуке, немного забросил его и д'Артаньян, поглощенный своею службой. Трюшен и Планше успели ему изрядно наскучить, и он ловил себя на каких-то неясных ему самому мечтаниях. И всякому, кто спросил бы его, ощущает ли он, что ему чего-то недостает, он не обинуясь ответил бы: «Да».

Как-то после обеда, когда Портос, немного повеселев от хороших вин, но снедаемый честолюбивыми мыслями, старался припомнить во всех подробностях королевский обед и собирался уже вздремнуть, его камердинер явился к нему с докладом, что с ним хочет переговорить виконт де Бражелон.

Выйдя в соседний зал, Портос обнаружил там своего юного друга, преисполненного, как мы знаем, серьезных намерений.

Рауль пожал руку Портосу, который, удивившись его мрачному виду, предложил ему сесть.

– Дорогой господин дю Валлон, я хочу попросить вас об услуге, – сказал Рауль.

– Вот и чудесно, – ответил Портос. – Только сегодня я получил из Пьерфона восемь тысяч ливров, и если вам нужны деньги...

– Нет, речь идет не о деньгах, благодарю вас, мой любезнейший друг.

– Очень жаль! Я не раз слышал, что это наиболее редкая из услуг, но вместе с тем и такая, которую легче всего оказать. Эти слова поразили меня, а я люблю повторять слова, «которые меня поражают».

– У вас столь же доброе сердце, как здравый ум.

– Вы слишком добры ко мне. Быть может, желаете пообедать?

– О нет, я не голоден.

– Вот как! Что за ужасная страна Англия...

– Не очень. Но...

– Если б в ней не было превосходной рыбы и хорошего мяса, там было бы совсем нестерпимо.

– Да... Я пришел...

– Слушаю вас. Позвольте мне только утолить жажду. В Париже едят очень солоно. Фу!

И Портос велел принести бутылку шампанского.

Он наполнил стакан Рауля, потом свой, отпил большой глоток и возобновил разговор:

– Это было необходимо, чтобы внимательно слушать вас. Теперь я весь к вашим услугам. Что вам угодно, мой милый Рауль? Чего вы желаете?

– Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно ссор.

– Мое мнение? Изложите немного подробнее свою мысль, – ответил Портос, почесывая пальцами лоб.

– Я хочу сказать: в каком вы бываете настроении, если между кем-нибудь из ваших друзей и посторонним лицом произошла ссора?

– О, в прекраснейшем, как всегда.
– Отлично. Что же вы тогда делаете?
– Когда у моих друзей происходят ссоры, я держусь своего обычного принципа: потерянное время невосвратимо, и всякое дело хорошо улаживается, пока люди еще не остыли.

– Ах, неужели в этом ваш принцип?
– Вот именно. Поэтому, едва лишь возникла ссора, я тороплюсь свести друг с другом противные стороны. Вы понимаете, что при таких обстоятельствах невозможно, чтоб дело не было улажено как подобает.

– Я думал, – удивился Рауль, – что если повести его так, как вы говорите, то оно, напротив...

– Ни в коем случае. Представьте себе, за мою жизнь у меня было что-то вроде ста восьмидесяти или ста девяноста настоящих дуэлей, не считая случайных встреч.

– Вот это число! – сказал Рауль с невольной улыбкой.

– О, это сущие пустяки – я ведь чертовски спокойный. Вот д'Артаньян он свои дуэли насчитывает сотнями. Правда, он суров и придирчив, и я нередко укорял его в этом.

– Значит, вы, как правило, стремились уладить порученные вам друзьями дела?

– Но было случая, чтоб я не улаживал их, – ответил Портос с таким добродушием и уверенностью, что Рауль едва не вскочил со своего кресла.

– Но соглашения, по крайней мере, бывали почетными?

– О, готов поручиться. Погодите минутку, я объясню вам, в чем состоит второй принцип, которого я придерживаюсь. Как только мой друг посвятил меня в свою ссору, я принимаюсь действовать следующим образом: я немедленно отправляюсь к его противнику, вооружаюсь отменной любезностью и хладнокровием, которые, безусловно, необходимы при этом...

– Вот потому-то, – с горечью промолвил Рауль, – вы так удачно и уверенно улаживаете дела этого рода.

– Полагаю, что так. Итак, я отправляюсь к противнику и говорю ему:

«Сударь, невозможно, чтобы вы не отдавали себе отчета, до какой степени вы оскорбили моего друга».

Рауль нахмурился.

– Иногда, и даже часто, – продолжал Портос, – мой друг не подвергался никаким оскорблениям, больше того, он первым наносил оскорбление. Судите-ка сами, ловко ли я приступаю к делу?

Портос расхохотался. И, пока гремел его смех, Рауль думал:

«Мне решительно не везет. Де Гиш заморозил меня своей холодностью, д'Артаньян издевается надо мной, а Портос слишком мягок – никто не хочет уладить это дело так, как я считаю нужным. А я-то обратился к Портосу в надежде встретить наконец шлагу вместо рассуждений и уговоров... До чего же мне не везет!»

Портос отдышался и продолжал:

– Итак, я одной этой фразой превращаю противника в виновную сторону.

– Это как когда, – рассеянно заметил Рауль.

– Нет, это способ проверенный... превращаю его в виновную сторону; тут я расстилаю перед ним всю доступную мне учтивость, дабы довести свой замысел до счастливой развязки. И вот я подхожу с приветливым видом, беру противника за руку...

– О! – нетерпеливо воскликнул Рауль.

– И говорю: «Сударь, теперь, когда вы убедились, что нанесли оскорбление, мы можем быть уверены в том, что вы не откажетесь ответить за свои действия. Отныне между моим другом и вами возможны лишь безукоризненно любезные отношения. Ввиду этого мне поручено сообщить вам размеры шпаги моего друга».

– Как? – воскликнул Рауль.

– Погодите, это не все. «Размеры шпаги моего друга... Внизу у меня есть запасная лошадь; мой друг ожидает вас там-то и там-то; я увожу вас с собой, по дороге мы захватим

вашего секунданта. И дело улажено».

– И вы мирите противников на месте дуэли? – спросил Рауль, побледнев от досады.

– Как? – перебил Портос. – Мирю? Это зачем же?

– Но вы говорите, что дело улажено?

– Разумеется, раз мой друг ожидает.

– Ну, если он ожидает...

– Если он ожидает, то лишь затем, чтобы предварительно размять себе ноги. А у противника тело напряжено после лошади ни занимают позицию, мой друг убивает врага. Вот и все.

– Ах, он убивает его? – удивился Рауль.

– Еще бы! Разве я выбираю себе друзей среди тех, кто дает убивать себя? У меня сто один друг, во главе которых могут быть названы ваш почтенный отец, Арамис и д'Артаньян, а они, как кажется, люди, о которых не скажешь, что пред тобою покойник.

– О, милый барон! – воскликнул в восторге Рауль. И он с жаром поцеловал Портоса.

– Значит, вы одобряете этот метод? – спросил великан.

– Одобряю, и так одобряю, что обращусь к вашей помощи сегодня же, без промедления, сию же минуту. Вы как раз тот человек, которого мне не хватало.

– Отлично! Я к вашим услугам. Вы желаете драться?

– Во что бы то ни стало.

– Это вполне естественно. С кем же?

– С господином де Сент-Эньяном.

– Я его знаю... Это очаровательный молодой человек, в он был чрезвычайно любезен со мной, когда я имел честь обедать у короля. Разумеется, я ему также отвечу любезностью, даже если б это не входило в мои привычки. Что же, он оскорбил вас?

– Смертельно.

– Черт подери! Я могу употребить слово «смертельно»?

– Если угодно, даже какое-нибудь еще посильнее.

– Это очень удобно.

– Вот и улажено дело, не так ли? – улыбаясь, сказал Рауль.

– Разумеется... Где вы намерены дожидаться его?

– О, это сложно, простите. Граф де Сент-Эньян – близкий друг короля.

– Я это слышал.

– И если мне доведется убить его...

– Вы его, несомненно, убьете. Но вы сами должны позаботиться насчет своей безопасности; ведь эти вещи делаются теперь без больших затруднений. Если б вы жили в мои времена, вот было бы славно!

– Милый друг, вы меня не поняли. Я хочу сказать, что эту дуэль не так-то просто устроить; ведь де Сент-Эньян друг короля, и король может узнать заранее.

– Ну нет! Вам же знаком мой метод: «Сударь, вы оскорбили моего друга и...»

– Да, я знаю.

– А потом: «Сударь, лошадь внизу». И я увожу его прежде, чем он успеет с кем-нибудь перемолвиться хотя бы словечком.

– Но даст ли он так легко увезти себя?

– Черт подери! Хотел бы я поглядеть! Он был бы первый... Правда, современные молодые люди... Ну что ж, если понадобится, я унесу его на руках.

И Портос, присовокупив к словам дело, поднял Рауля вместе со стулом.

– Отлично, – сказал молодой человек со смехом. – Теперь нам остается уяснить еще последний вопрос.

– Какой вопрос?

– Вопрос об оскорблении, которое мне нанес де Сент-Эньян.

– Но тут больше не о чем говорить.

– Нет, дорогой господин дю Валлон, у современных людей, как вы выражаетесь,

существует правило, согласно которому причины вызова должны быть объяснены.

– Да, по вашей новой системе оно действительно так. В таком случае расскажите мне суть вашего дела.

– Видите ли...

– Проклятие! Вот уж и затруднение. В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались. Что до меня, я никогда не искал лучшей причины.

– Вы совершенно правы, друг мой.

– Слушаю вас. Каковы же ваши мотивы?

– Долго рассказывать. Но так как все же придется вдаваться в подробности...

– Да, да, черт подери. Это нужно в соответствии с требованиями новой системы.

– И так как, повторяю, придется вдаваться в подробности, и, с другой стороны, дело мое представляет множество затруднений и требует полной тайны...

– Еще бы!

– Вы сделаете мне величайшее одолжение, если передадите графу де Сент-Эньяну – и он поймет – только то, что он оскорбил меня, во-первых, своим переездом.

– Переездом... Хорошо, – сказал Портос и принялся загибать пальцы на руке. – Дальше.

– Далее, тем, «что устроил люк в своей новой квартире.

– Понимаю – люк. Черт, это существенно! Понятно, что это должно было вызвать в вас ярость. И как смел этот бездельник устраивать люки, не переговорив предварительно с вами! Люки! Тысяча чертей! Да у меня и то нет ничего похожего, если не считать моей подземной тюрьмы в Брасье!

– Вы добавите, что последнее мое основание считать себя оскорбленным – это портрет, который хорошо знаком графу де Сент-Эньяну.

– Ну вот, еще и портрет!.. Подумать только! Переезд, люк и портрет.

Но, друг мой, и одного из этих трех оснований достаточно, чтобы все дворяне Франции и Испании перерезали друг другу горло, а ведь это немало.

– Значит, милый мой, вы теперь в достаточной мере осведомлены?

– Я беру с собой и вторую лошадь. Выбирайте место вашего поединка и, пока вы будете дожидаться, поупражняйтесь в плии и в выпадах, это придает телу редкую гибкость.

– Благодарю вас. Я буду ждать в Венсенском лесу, возле монастыря Меньших Братьев.

– Прекрасно... но где же мне искать этого графа де Сент-Эньяна?

– В королевском дворце.

Портос зазвонил в колокольчик солидных размеров. Появился слуга.

– Мое придворное платье, – приказал он, – и мою лошадь. И еще одну лошадь со мной.

Слуга поклонился и вышел.

– Ваш отец знает об этом? – спросил Портос.

– Нет, но я напишу ему.

– А д'Артаньян?

– Господин д'Артаньян тоже не знает. Он осторожен и отговорил бы меня от дуэли.

– Однако д'Артаньян умный советчик, – сказал Портос, удивленный в своей благородной скромности, что можно обращаться к нему, когда на свете есть д'Артаньян.

– Дорогой господин дю Валлон, – продолжал Рауль, – умоляю вас, не расспрашивайте меня. Я сказал все, что мог. Я жажду действий и хочу, чтобы они были суровыми и решительными, такими, какими вы умеете сделать их благодаря предварительной подготовке. Вот почему я обратился именно к вам.

– Вы будете мною довольны, – кивнул Портос.

– И помните, дорогой друг, что, кроме нас с вами, никто не должен знать об этой дуэли.

– Об этих вещах, однако, догадываются, когда находят в лесу мертвеца.

Ах, милый друг, обещаю вам все на свете, но только я не стану прятать покойника. Он тут, его увидят, этого не избежать. У меня принцип не зарывать его в землю. От этого пахнет убийством. От риска. к риску, как говорят нормандцы.

– Храбрый и дорогой друг, за дело!
– Доверьтесь мне, – сказал великан, приканчивая бутылку, в то время как его лакей раскладывал на креслах роскошное платье и кружева.

Рауль вышел от Портоса с тайною радостью в сердце; он говорил себе:

«О коварный король! О предатель! Я не могу поразить тебя: короли особы священные! Он твой сообщник, твой сводник, который представляет тебя, этот подлец заплатит за твое преступление! В его лице я убью тебя, а потом подумаем и о Луизе».

Глава 15. ПЕРЕЕЗД, ЛЮК И ПОРТРЕТ

Портос, чрезвычайно довольный возложенным на него поручением, которое некоторым образом молодило его, облачился в придворное платье, потратив на свой туалет по крайней мере на полчаса меньше обычного.

Как человек, который бывал в большом свете, он начал с того, что послал своего лакея узнать, дома ли граф де Сент-Эньян. Ему ответили, что г-н граф имел честь сопровождать короля в Сен-Жермен вместе со всем двором и только что возвратился. Услышав этот ответ, Портос поспешил и вошел в квартиру графа де Сент-Эньяна в тот самый момент, когда с него только что принялись стаскивать сапоги.

Прогулка была превосходной. Король, все более и более влюбленный, все более и более счастливый, был очаровательно любезен со всеми. Он расточал вокруг несравненные милости, как выражались в те дни поэты.

Наши читатели не забыли, что граф де Сент-Эньян был стихотворцем и находил, что доказал это при достаточно памятных обстоятельствах, обеспечивающих за ним это звание. В качестве неутомимого любителя рифм он всю дорогу засыпал четверостишиями, шестистишиями и мадригалами сначала короля, затем Лавальер.

Король был также в ударе и сочинил дистих. Что же касается Лавальер, то, как всякая влюбленная женщина, она сочинила два прелестных сонета.

Как видит читатель, день для Аполлона был неплохой.

Возвратившись в Париж, де Сент-Эньян, знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Поэтому он, словно нежный отец, которому предстоит вывезти своих детей в свет, все время задавал себе один и тот же вопрос – найдет ли публика стройными, приглаженными и изящными создания его воображения.

И вот, чтобы снять с души это тяжелое бремя, Сент-Эньян произносил вслух мадригал, который по памяти прочел королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде:

*Ирис, я замечал, что ваш лукавый глаз
Дает не тот ответ, что сердцем был подсказан.
Зачем же я судьбой печально наказан
Любить лишь то, чем я обманут был не раз?*

Этот мадригал, хоть и очень изящный для устного чтения, теперь переходил в разряд рукописной поэзии и не вполне удовлетворял Сент-Эньяна.

Несколько человек нашли мадригал превосходным, и первый среди них был сам автор. Но при ближайшем рассмотрении стихи поблекли в его глазах.

Сент-Эньян сидел за столом, положив ногу на ногу, и, почесывая висок, повторял свои строки.

– Пет, последний стих решительно не удался. Надо мной будут издеваться мои собратья бумагомаратели. Мои стихи назовут стихами вельможи, и если король услышит, что я слабый поэт, ему может прийти в голову уверовать в это.

Предаваясь подобным размышлениям, Сент-Эньян раздевался. Он только что снял камзол и собирался надеть халат, как ему доложили, что его желает видеть барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон.

– Что за гроздь имен! Я не знаю такого.

– Это дворянин, – ответил лакей, – который имел честь обедать с господином графом за столом короля во время пребывания его величества в Фонтенбло.

– У короля в Фонтенбло! – вскричал де Сент-Эньян. – Скорей, скорей, просите сюда этого дворянина.

Лакей поспешил выполнить приказание. Портос вошел.

У Сент-Эньяна была память придворного: он сразу узнал провинциального дворянина с несколько забавною репутацией, который, несмотря на улыбки стоявших вокруг офицеров, был обласкан в Фонтенбло королем. Де Сент-Эньян, помня об этом, встретил Портоса с изъявлениями глубокого уважения, что Портос нашел совершенно естественным, так как, входя к противнику, он неуклонно придерживался правил такой же утонченной учтивости.

Де Сент-Эньян приказал лакею, доложившему о посетителе, пододвинуть Портосу стул. Последний, не видя ничего особенного в такой любезности, сел и откашлялся. Они обменялись обычными приветствиями, после чего граф в качестве хозяина, принимавшего гостя, спросил:

– Господин барон, какому счастливому случаю обязан я честью вашего посещения?

– Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, – но простите...

– Что такое, барон?

– Я чувствую, что ломаю ваш стул.

– Нисколько, барон, нисколько, – сказал Сент-Эньян.

– Но я все-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать, то упаду и окажусь в положении, совершенно неприличном для того серьезного поручения, с которым явился.

Портос встал, и вовремя, так как ножки стула подогнулись и сиденье опустилось на несколько дюймов. Сент-Эньян стал искать глазами более крепкое кресло, чтобы усадить в него своего гостя.

– Современная мебель, – заметил Портос, пока граф занимался этими поисками, – современная мебель стала до смешного непрочной. В моей юности, когда я усаживался гораздо энергичнее, чем теперь, я не помню, чтобы мне пришлось сломать хоть когда-нибудь стул, если не говорить о тех случаях, когда я ломал их руками в трактире.

Де Сент-Эньян ответил на эту шутку любезной улыбкой.

– Но, – продолжал Портос, садясь на кушетку, которая закрипела, но все-таки выдержала, – к несчастью, дело не в этом.

– Как, к несчастью? Разве вы пришли, барон, с дурной вестью?

– Дурной вестью для дворянина? О нет, господин граф! – вежливо ответил Портос. – Я прибыл затем, чтобы заявить, что вы жестоко оскорбили одного из моих друзей.

– Я, сударь! – воскликнул де Сент-Эньян. – Я оскорбил одного из ваших друзей? Кого же, назовите, прошу вас!

– Виконта Рауля де Бражелона!

– Я оскорбил господина де Бражелона! Право же, сударь, я никак не мог это сделать, так как господин де Бражелон, которого я почти не знаю, которого, могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбления.

– Господин де Бражелон, сударь, в Париже, – говорил невозмутимый Портос, – что же касается оскорбления, то ручаюсь, что вы действительно оскорбили виконта де Бражелона... раз он сам сказал мне об этом. Да, граф, вы оскорбили его жестоко, смертельно, повторяю – смертельно.

– Невозможно, барон, клянусь вам, решительно невозможно!

– Впрочем, – добавил Портос, – вы не можете не знать этого обстоятельства, так как виконт де Бражелон сообщил мне в беседе, что предупредил вас запиской.

– Я не получал никакой записки. Даю вам слово.
– Поразительно! – ответил Портос. – А Рауль говорит...
– Вы сейчас убедитесь, что я действительно не получал этой записки, сказал Сент-Энъян и позвонил.

– Баск, сколько в мое отсутствие принесли записок и писем?
– Три, господин граф.
– Какие?
– Записку от господина де Фьеск, записку от госпожи де Ла Ферто и письмо от господина де Лас Фуэнтес.

– Это все?
– Все, господин граф.
– Говори правду перед господином бароном, самую истинную правду, слышишь! Из-за тебя я буду в ответе.

– Господин граф, была еще записка от...
– От кого! Говори скорей!
– От мадемуазель де Лаваль...
– Достаточно, – перебил Портос, побуждаемый к этому деликатностью. Прекрасно, я верю вам, господин граф.

Де Сент-Энъян выслал лакея и собственноручно запер за ним дверь.

Возвращаясь к своему гостю и глядя прямо перед собой, он вдруг заметил, что из замочной скважины двери, ведущей в соседнюю комнату, торчит бумажка, которая была всунута туда Бражелоном.

– Что это такое? – спросил он.
– О, о! – воскликнул Портос.
– Записка в замочной скважине!
– Быть может, это и есть паша записка, господин граф, – предположил Портос. – Посмотрите!

Сент-Энъян вынул бумажку и раскрыл ее:

– Записка от господина де Бражелона!
– Видите, я оказался прав. О, если я что-нибудь утверждаю...
– Принесена сюда самим виконтом де Бражелоном, – пролепетал граф, бледнея. – Но это возмутительно! Как он проник сюда?

Сент-Энъян позвонил снова, и опять появился Баск.

– Кто приходил сюда, пока я был на прогулке с его величеством королем?
– Никто, господин граф.
– Невозможно! Кто-то здесь был.
– Нет, господин граф, никто не мог проникнуть сюда, так как ключи были в моем кармане.

– И тем не менее вот записка, которая была вложена в замочную скважину. Кто-то сунул ее туда. Не могла же она появиться сама по себе!

Баск развел руками в знак полного недоумения.

– Возможно, что это сделал господин де Бражелон, – заметил Портос.

– Значит, он входил сюда?

– Несомненно, сударь.

– Но как же, раз ключ был при мне? – продолжал настаивать Баск.

Де Сент-Энъян прочитал записку и смял ее.

– Здесь что-то скрывается, – пробормотал он в раздумье.

Портос, предоставив ему несколько мгновений на размышления, возвратился затем к первоначальному предмету их разговора.

– Не желаете ли вернуться к вашему делу? – спросил он де Сент-Энъяна, когда лакей удалился.

– Но его объясняет, по-видимому, эта записка, столь непонятным образом попавшая

сюда. Виконт де Бражелон сообщает, что меня посетит один из его друзей.

– Этот друг – я; выходит, что он сообщает вам о моем посещении.

– С тем, чтобы передать вызов?

– Вот именно.

– И он утверждает, что я оскорбил его?

– Жестоко, смертельно.

– Но каким образом, объясните, пожалуйста. Его действия столь таинственны, что мне затруднительно обнаружить в них какой-нибудь смысл.

– Сударь, – ответил Портос, – мой друг должен располагать достаточными причинами; что же до его действий, то если они, как вы говорите, таинственны, – обвиняйте в этом лишь самого себя.

Последние слова Портос произнес таким уверенным тоном, что человек, который знал его недостаточно хорошо, должен был бы подумать, что они полны глубокого смысла.

– Тайна! Допустим. Давайте постараемся разобраться в ней, – сказал де Сент-Энъян.

Но Портос наклонил голову и изрек:

– Для вас предпочтительнее, чтобы я не входил в ее рассмотрение; на это есть исключительно серьезные основания.

– Я очень хорошо понимаю их. Отлично, сударь. Ограничьтесь лишь самым легким намеком; я слушаю вас.

– Прежде всего тем, – начал Портос, – что вы переехали со старой квартиры.

– Это правда, я переехал.

– Вы, стало быть, признаете это? – спросил Портос с видимым удовольствием.

– Признаю ли? Ну да, признаю. С чего вы взяли, что я могу отпираться?

– Вы признали? Отлично, – отметил Портос, поднимая вверх один палец.

– Послушайте, сударь, каким образом мой переезд может причинить какой-либо вред виконту де Бражелону? Отвечайте же! Я совершенно не понимаю того, о чем вы толкуете.

Портос остановил графа и важно заявил:

– Сударь, это лишь первое обвинение среди тех, которые выдвигает против вас господин де Бражелон. Если он выдвигает его, значит, он почувствовал себя оскорбленным.

Сент-Энъян нетерпеливо ударил ногой по паркету.

– Это похоже на неприличную ссору, – сказал он.

– Нельзя иметь неприличной ссоры с таким порядочным человеком, как виконт де Бражелон, – продолжал Портос. – Итак, вы ничего не можете прибавить по поводу переезда?

– Нет. Дальше?

– Ах, дальше? Но заметьте, сударь, что вот уже одно обвинение, на которое вы не ответили или, вернее сказать, ответили плохо. Как, сударь, вы переезжаете со старой квартиры, это оскорбляет господина де Бражелона, и вы не приносите своих извинений. Очень хорошо!

– Что? – воскликнул де Сент-Энъян, выведенный из себя флегматичностью своего собеседника. – Я должен советоваться с господином де Бражелоном, переезжать мне или остаться на прежнем месте? Помилуйте, сударь!

– Обязательно, сударь, обязательно. Однако вы увидите, что это ничто по сравнению со вторым обвинением.

Портос принял суровый вид:

– А о люке, сударь, что скажете вы о люке?

Сент-Энъян мертвенно побледнел. Он так резко отодвинул стул, что Портос, при всей своей детской наивности, догадался о силе нанесенного им удара.

– О люке? – пробормотал Сент-Энъян.

– Да, сударь, объясните, пожалуйста, если можете, – предложил Портос, тряхнув головой.

Де Сент-Энъян потупился и прошептал:

– О, я предан! Известно все, решительно все!

– Все в конце концов делается известным, – заметил Портос, который, в сущности, ничего не знал.

– Вы видите, я так поражен, до того поражен, что теряю голову!

– Нечистая совесть, сударь! О, очень нехорошо!

– Милостивый государь!

– И когда свет узнает, и пойдут пересуды...

– О сударь, такую тайну нельзя сообщить даже духовнику! – вскричал граф.

– Мы примем меры, и тайна далеко не уйдет.

– Но, сударь, – продолжал де Сент-Энъян, – господин де Бражелон, узнав эту тайну, отдает ли себе отчет в опасности, которой он подвергается и подвергает других?

– Господин де Бражелон не подвергается никакой опасности, сударь, никакой опасности не боится, и с божьей помощью вы на себе самом вскоре испытаете это.

«Он сумасшедший! – подумал де Сент-Энъян. – Чего ему от меня нужно?»

Затем он проговорил вслух:

– Давайте, сударь, оставим это дело.

– Вы забываете о портрете! – произнес Портос громовым голосом, от которого у графа похолодела кровь.

Так как речь шла о портрете Лавальер и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, де Сент-Энъян почувствовал, что он прозревает.

– А-а! – вскричал он. – Вспоминаю, господин де Бражелон был ее женихом.

Портос напустил на себя важность – эту величавую личину невежества.

– Ни меня, ни вас также не касается, – сказал он, – был ли мой друг женихом той особы, о которой вы говорите. Больше того, я поражен, что вы позволили себе столь неосторожное слово. Оно может, сударь, причинить вам немало вреда.

– Сударь, вы – сам разум, сама деликатность, само благородство, совмещающиеся в одном лице. Наконец-то я догадался, о чем, собственно, идет речь.

– Тем лучше! – кивнул Портос.

– И вы дали мне понять это самым точным и умным образом. Благодарю вас, сударь, благодарю.

Портос напыжился.

– Но теперь, – продолжал Сент-Энъян, – теперь, когда я постиг все до конца, позвольте мне объяснить...

Портос покачал головой, как человек, не желающий слушать, но де Сент-Энъян снова заговорил:

– Я в отчаянии, поверьте мне, я в полном отчаянии от всего, что случилось, но что бы вы сделали на моем месте? Ну, между нами, скажите, что бы вы сделали?

Портос поднял голову.

– Дело не в том, молодой человек, что бы я сделал и чего бы не сделал. Вы осведомлены о трех обвинениях, разве не так?

– Что касается первого среди них, сударь, – и здесь я обращаюсь к человеку разума и чести, – раз было высказано августейшее пожелание, чтобы я перебрался в другие комнаты, следовало ли мне, мог ли я пойти против него?

Портос открыл было рот, но де Сент-Энъян не дал ему заговорить.

– Ах, моя откровенность трогает вас, – сказал он, объясняя по-своему движение Портоса. – Вы согласны, что я прав?

Портос ничего не ответил.

– Я перехожу к этому проклятому люку, – повысил голос де Сент-Энъян, касаясь плеча Портоса, – к этому люку, причине зла, орудию зла; люку, устроенному для того... вы знаете для чего. Неужели вы и впрямь можете предположить, что я по собственной воле в подобном месте велел сделать люк, предназначенный... О, вы не верите в это, и здесь также вы чувствуете, вы угадываете, вы видите волю, стоящую надо мной. Вы понимаете, что тут увлечение, я не говорю о любви, этом неодолимом безумии... Боже мой!

К счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе... какая беда и позор для нее, бедной девушки!.. и для того... кого я не хочу называть!

Портос, оглушенный и сбитый с толку красноречием и жестикуляцией де Сент-Эньяна, застывший на месте, делал тысячу усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого.

Де Сент-Эньян увлекся своею речью; придавая новую силу голосу, жестикулируя все стремительней и порывистей, он говорил без остановки:

– Что до портрета (я очень хорошо понимаю, что портрет-главное обвинение), что до портрета, то подумайте, разве я в чем-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто ее любит? Неужели я? Кто желает ее? Неужели я? Кто овладел ею? Разве я? Нет, тысячу раз нет! Я знаю, что господин де Бражелон должен быть в отчаянии, я знаю, что такие несчастья переживаются крайне мучительно. Знаете, я и сам страдаю. Но сопротивление невозможно. Он будет бороться? Его высмеют. Если он будет упорствовать, то погубит себя. Вы мне скажете, что отчаяние – это безумие; но ведь вы благоразумны, и вы меня поняли! Я вижу по вашему сосредоточенному, задумчивому, даже, позволю себе сказать, озабоченному лицу, что серьезность положения поразила и вас. Возвращайтесь же к виконту де Бражелону; поблагодарите его от моего имени, поблагодарите за то, что он выбрал в качестве посредника человека ваших достоинств. Поверьте, что со своей стороны я сохраню вечную благодарность к тому, кто так тонко, с таким пониманием уладил наши раздоры. И если злему року было угодно, чтоб эта тайна принадлежала не трем, а четырем лицам, тайна, которая могла бы составить счастье самого честолобивого человека, я радуюсь, что разделяю ее вместе с вами, радуюсь от всего сердца. Начиная с этой минуты располагайте много, я – в вашем распоряжении. Что я мог бы сделать для вас? Чего я должен просить, больше того, чего должен требовать? Говорите, барон, говорите!

И по фамильярно-приятельскому обычаю придворных той эпохи де Сент-Эньян обнял Портоса и нежно прижат к себе. Портос с невозмутимым спокойствием позволит обнять себя.

– Говорите, – повторил де Сент-Эньян, – чего вы просите?

– Сударь, – сказал Портос, – у меня внизу лошадь, будьте добры сесть на нее, она превосходна и не причинит вам ни малейшего беспокойства.

– Сесть на лошадь? Зачем? – спросил с любопытством де Сент-Эньян.

– Чтобы отправиться со мною туда, где нас ожидает виконт де Бражелон.

– Ах, он хотел бы поговорить со мной, я понимаю. Чтобы узить подробности? Увы, это такая деликатная тема. Но сейчас я никак не могу, меня ожидает король.

– Король подождет, – продолжал Портос.

– Но где же дожидается меня господин де Бражелон?

– У Меньших Братьев, в Венсенском лесу.

– Мы с вами шутим, не так ли?

– Не думаю; по крайней мере, я совсем не шучу. – И, придав своему лицу суровое выражение, Портос добавил:

– Меньшие Братья – это место, где встречаются, чтобы драться.

– В таком случае что же мне делать у Меньших Братьев?

Портос, не торопясь, обнажил шпагу.

– Вот длина шпаги моего друга, – показал он.

– Черт возьми, этот человек спятил! – воскликнул де Сент-Эньян.

Краска бросилась в лицо Портосу.

– Сударь, – проговорил он, – если б я не имел чести быть у вас в доме и исполнять поручение виконта де Бражелона, я выбросил бы вас в ваше собственное окно! Но этот вопрос мы отложим на будущее, и вы ничего не получите от отсрочки. Едете ли вы в Венсенский лес, сударь.

– Э, э...

– Едете ли вы туда по-хорошему?

– Но...

– Я потащу вас силой, если вы не желаете по-хорошему. Берегитесь!
– Баск! – закричал де Сент-Эньян.
Баск вошел и сообщил:
– Король вызывает к себе господина графа.
– Это другое дело, – промолвил Портос, – королевская служба прежде всего. Мы будем ждать вас до вечера, сударь.

И, поклонившись де Сент-Эньяну со своей обычной учтивостью, Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело.

Де Сент-Эньян посмотрел ему вслед; затем, поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, повторяя:

– В Венсенский лес!.. Венсенский лес!.. Посмотрим, как король отнесется к этому вызову он направлен, черт возьми, ему самому, и дикому больше!

Глава 16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОПЕРНИКИ

После столь прибыльной для Аполлона операции, во время которой каждый участник ее отдал дань музам, как говорили в ту пору поэты, король заслал у себя Фуке, дожидавшегося его возвращения.

Немедля вошел и Кольбер, который подстерегал короля в коридоре и теперь следовал за ним по пятам, как бдительная и ревнивая тень, все тот же Кольбер со своей квадратною головой, в своем грубо-роскошном, по дурно сидящем платье, придававшем ему сходство с налившимся пивом фламандским вельможей.

При виде врага Фуке остался невозмутимо спокойным. В течение всей последующей сцены он старался не выдать своих истинных чувств, хотя это и было нелегко для человека высшего ранга, сердце которого переполнено до краев презрением и который опасается выказать это презрение, полагая, что и оно слишком большая честь для противника.

Кольбер не скрывал своей радости, столь оскорбительной для Фуке. По его мнению, Фуке плохо сыграл свою партию, и хотя она еще не закончена, положение его безнадежно. Кольбер принадлежал к той школе политических деятелей, которая восхищается одной только ловкостью и способна уважать лишь успех.

К тому же он был не только завистником и честолюбцем, но и человеком, глубоко преданным интересам короны, так как отличался той особой честностью, которая свойственна людям, посвятившим свою жизнь служению цифрам, и, таким образом, ненавидя и толкая на гибель Фуке, он мог находить для себя оправдание – а оно крайне необходимо всякому, кто ненавидит, хотя бы в том, что действует не ради себя, но ради блага всего государства и достоинства короля.

Ни одна из этих тончайших подробностей не ускользнула от пронизательного взора Фуке. Сквозь нависшие брови своего врага, несмотря на непрерывное мигание его век, он читал по глазам Кольбера, заглядывая в глубину его сердца, и видел все, что таило в себе это сердце, видел ненависть и торжество.

Но, проникай своим взглядом повсюду, Фуке хотел остаться непроницаемым. На лице его царили, полная безмятежность; он улыбнулся очаровательной, милой улыбкой, какой он один умел улыбаться, и, придавая своему поклону исключительно благородную и изящную непринужденность, начал:

– По вашему веселому виду, ваше величество, я заключаю, что прогулка, которую вы совершили, была весьма и весьма приятной.

– Очаровательной, господин суперинтендант, очаровательной. И вы напрасно не поехали с нами, напрасно отвергли мое приглашение.

– Государь, я работал.

– Ах, деревня, деревня, господин Фуке! – воскликнул король. – Боже, как было бы хорошо жить постоянно в деревне, на вольном воздухе, среди зелени!

– Надеюсь, ваше величество, вы еще не устали от трона? – спросил Фуке.
– Нет, не устал, но троны из зелени так изумительно хороши!
– Ваше величество, говоря такие слова, воистину предвосхищает мои упования. У меня есть ходатайство к вам, ваше величество.

– От кого, господин суперинтендант?
– От нимф, обитательниц Во.
– Ах!
– Король удостоил меня обещанием, – сказал Фуке.
– Да, да! Помню.
– Празднество в Во, знаменитое празднество в Во, не так ли, ваше величество? – вставил Кольбер, стремясь показать этим вмешательством в разговор, что он пользуется расположением короля.

Фуке, полный презрения, не удостоил Кольбера ответом; он вел себя так, словно Кольбер не высказал никакой мысли, словно его вообще не существовало.

– Ваше величество знаете, что я избрал мое имение в Во для приема любезнейшего из государей, могущественнейшего из королев.

– Сударь, – улыбнулся Людовик XIV, – я обещал; королевское слово не нуждается в подтверждении.

– А я, ваше величество, пришел доложить, что весь к вашим услугам.
– Вы обещаете много чудес, господин суперинтендант?
И Людовик XIV взглянул на Кольбера.
– Чудеса? О пет, ваше величество, я не берусь поражать вас чудесами; но надеюсь, что могу обещать немного веселья, быть может, даже немного забвения королю.

– Нет, господин Фуке, я настаиваю на слове чудо. Ведь вы волшебник, мы знаем ваше могущество; мы знаем, что вы отыщете золото, даже если его и вовсе не станет на свете. Ведь недаром же народ говорит, что вы его делаете.

Фуке почувствовал удар, направленный с двух сторон; король метнул стрелу не только из своего лука, но и из лука Кольбера. Фуке рассмеялся.

– О, народ отлично осведомлен, из каких россыпей я беру это золото.
Он знает это, и знает, быть может, чересчур хорошо. И к тому же, – добавил он гордо, – могу заверить ваше величество, что золото для оплаты праздника в Во не будет стоить народу ни крови, ни слез. Оно будет стоить пота, по этот пот будет оплачен.

Людовик смутился. Он хотел было посмотреть на Кольбера, Кольбер хотел было ответить, но орлиный, благородный, почти королевский взгляд, брошенный на него Фуке, остановил слова на устах интенданта.

Тем временем король оправился от смущения и, обратившись к Фуке, сказал:
– Значит, вы приглашаете нас?
– Да, государь.
– На какой день?
– Какой вы сочтете удобным, ваше величество.
– Вы говорите точно волшебник, которому достаточно захотеть – и все уже сделано. Я бы не решился на подобный ответ, господин Фуке.

– Вашему величеству, когда вы пожелаете, будет доступно решительно все, что может и должен свершить король. Король Франции располагает слугами, которые не остановятся ни перед чем ради службы ему и ради его удовольствий.

Кольбер сделал попытку посмотреть суперинтенданту в лицо, чтобы выяснить, не означают ли эти слова поворота к менее неприязненным чувствам, но Фуке даже не взглянул на своего врага. Кольбер не существовал для него.

– В таком случае через неделю, хотите? – предложил король.
– Хорошо, через неделю.
– Или нет. Сегодня вторник. Давайте отложим до следующего воскресенья, хотите?
– Отсрочка, благосклонно предоставленная мне вашим величеством, весьма

благоприятно скажется на работах, которые предпринимает мои архитекторы, дабы развлечь ваше величество и ваших друзей.

– Кого же, господин Фуке, вы понимаете, говоря о моих друзьях?

– Король – хозяин повсюду, где бы он ни был. Король составляет список и отдает свои приказания. Кто удостоится его приглашения, тот и будет моим уважаемым гостем.

– Благодарю вас, – сказал король, тронутый благородным чувством, выраженным столь благородным образом.

Поговорив еще немного о различных делах и простившись с Людовиком XIV, Фуке откланялся. Он чувствовал, что Кольбер задержится у короля, что они будут говорить о нем и что ни тот, ни другой не станут щадить его.

И у него возникло желание нанести своему врагу последний страшный удар, который возместил бы все то, что ему пришлось вытерпеть от него. И вот, уже взявшись за ручку двери, Фуке поспешно вернулся на прежнее место и, обращаясь к королю, произнес:

– Простите, ваше величество!

– В чем я должен простить вас, сударь? – любезно спросил король.

– Я совершил тяжкий проступок, сам того не приметив.

– Проступок! Вы? Ах, господин Фуке, ничего не поделаешь, придется простить. Против чего или кого вы согрешили?

– Против приличия, ваше величество. Я забыл сообщить вам о довольно существенном обстоятельстве.

– Каком?

Кольбер вздрогнул; он подумал, что дело идет о доносе, что с него сорвана маска. Одно слово Фуке, одно приведенное им доказательство, и юное благородство Людовика XIV одолеет расположение, которое он к нему, Кольберу, питает. И Кольбера охватил страх, как бы смелый удар врага не разрушил его хитрого сооружения. И действительно, ход был настолько хорош, что Арамис, ловкий игрок, не преминул бы сделать его.

– Ваше величество, – сказал невозмутимо Фуке, – раз вы были так милостивы, что простили меня, я с легкой душою могу сделать признание: сегодня утром я продал одну из своих должностей.

– Одну из должностей, которые вы занимаете! – воскликнул король. – Но какую же?

Кольбер мертвенно побледнел.

– Ту, ваше величество, которая давала мне право на долгополую мантию и суровый облик, – должность генерального прокурора.

Король невольно вскрикнул и взглянул на Кольбера. У Кольбера на лбу выступил пот; ему показалось, что еще немного – и его хватит удар.

– Кому же вы продали эту должность, господин Фуке? – поинтересовался король.

Кольбер прислонился к камину.

– Одному парламентскому советнику, ваше величество, его зовут господин Ванель.

– Ванель?

– Одному из друзей интенданта финансов господина Кольбера, – добавил Фуке с такой неподражаемою небрежностью и с таким безразличием и простодушием, что художник, актер и поэт должны раз навсегда отказаться воспроизвести их кистью, жестом или пером.

Произнеся эти слова и раздавив Кольбера своим превосходством, суперинтендант снова почтительно склонился пред королем и вышел, наполовину отмищенный изумлением властителя и унижением фаворита.

– Возможно ли это? – сказал, обращаясь к самому себе, Людовик XIV после ухода Фуке. – Он продал должность генерального прокурора?

– Да, ваше величество, – отчеканил Кольбер.

– Он сошел с ума! – заметил король.

На этот раз Кольбер ничего не ответил. Он прочитал мысль своего господина, и эта мысль также была его мщением. К его ненависти присоединилась еще и зависть; и если его план состоял в том, чтобы довести суперинтенданта до разорения, то теперь над Фуке нависла

еще и угроза опалы.

Отныне, и Кольбер это почувствовал, его враждебность к Фуке не претит больше противодействия со стороны Людовика XIV, и первый же промах Фуке, который можно было бы использовать как предлог, повлечет за собой беспощадное наказание. Фуке выронил из своих рук оружие. Ненависть и зависть только что подобрали его.

Король пригласил Кольбера на празднество; Кольбер поклонился, как человек, который уверен в себе, и принял королевское приглашение, как тот, кто оказывает одолжение.

Король принялся составлять список приглашаемых в Во. Когда он дошел до имени де Сент-Эньяна, лакей доложил о приходе графа де Сент-Эньяна.

При появлении королевского Меркурия Кольбер скромно ретировался.

Глава 17. СОПЕРНИКИ В ЛЮБВИ

Прошло не более двух часов, как Людовик XIV расстался с де Сент-Эньяном. Но, обуреваемый первым пылом любви, он испытывал настоятельную потребность непрерывно говорить о Лавальер, когда не видел ее.

Единственный человек, с которым он мог позволить себе откровенность подобного рода, был де Сент-Эньян; итак, де Сент-Эньян стал ему насущно необходим.

– Ах, это вы, граф! – воскликнул король, обрадованный и тем, что видит де Сент-Эньяна, и тем, что не видит больше Кольбера, хмурое лицо которого неизменно портило ему настроение. – Так это вы? Тем лучше! Вы пришли очень кстати. Вы участвуете в нашей поездке?

– В какой поездке, ваше величество?

– В поездке, которую мы предпримем в Во, где суперинтендант устраивает для нас празднество. Ах, де Сент-Эньян, ты увидишь наконец празднество, рядом с которым наши развлечения в Фонтенбло – забавы каких-нибудь приказных.

– В Во! Суперинтендант устраивает для вашего величества празднество в Во? Только-то?

– Только-то! Ты очарователен, напуская на себя равнодушие. Да знаешь ли ты, знаешь ли, что едва станет известно об этом приеме в Во, назначенном суперинтендантом на следующее воскресенье, как все наши придворные начнут грызть друг другу горло, лишь бы получить приглашение? Повторяю тебе, де Сент-Эньян, ты участвуешь в этой поездке.

– Да, ваше величество, если не совершу прежде более отдаленной и менее привлекательной.

– Какой же?

– На берега Стикса, ваше величество.

– Куда? – воскликнул со смехом Людовик XIV.

– Нет, серьезно, ваше величество; меня побуждают отправиться в эти края, и притом в такой решительной форме, что я, право, не знаю, как отказаться.

– Я не понимаю тебя, мой милый. Я знаю, правда, ты сегодня в ударе, но не спускайся с вершин поэзии в укутанные мглой долины.

– Если ваше величество соблаговолите меня выслушать, я больше не стану вас мучить.

– Говори!

– Помнит ли король барона дю Валлона?

– Еще бы! Он отменный слуга короля, моего отца, и, честное слово, собутыльник не худший. Ты говоришь о том, который обедал у нас в Фонтенбло?

– Вот именно. Но ваше величество забыли упомянуть еще об одном его качестве – он предупредительный и любезный убийца!

– Как! Господин дю Валлон желает убить тебя?

– Или сделать так, чтобы меня убили, что то же самое.

– Ну что ты?

– Не смейтесь, ваше величество, я говорю чистую правду.
– И ты говоришь, что он добивается твоей смерти!
– В данный момент достойный дворянин только об этом и думает.
– Будь спокоен. В случае чего я сумею тебя защитить, если он в этом деле не прав.
– Ваше величество изволили произнести слово «если».
– Разумеется. Отвечай же мне, мой бедный де Сент-Эньян, отвечай так, как если бы дело касалось кого-либо другого, а не тебя. Прав он или не прав?

– Пусть судит об этом ваше величество.
– Что ты сделал ему?
– О, ему ничего. Но, по-видимому, одному из его друзей.
– Это то же, что ему самому, а его друг – один из четырех знаменитых?
– Нет, это сын одного из четырех знаменитых, всего-навсего сын.
– Но что же ты сделал ему?
– Я помог одному лицу отнять у него возлюбленную.
– И ты признаешься в этом?
– Нужно признаваться, раз это правда.
– В таком случае ты виноват.
– Значит, я виноват?
– Да, и по правде сказать, если он прикончит тебя...
– Ну?
– То будет прав.
– Ах, вот вы как рассудили, ваше величество?
– А ты недоволен моим решением?
– Я нахожу, что оно слишком поспешно.
– Суд скорый и правый, как говорил мой дед Генрих Четвертый.
– В таком случае, пусть король сейчас же подпишет помилование моему противнику, который ждет меня близ Меньших Братьев, чтобы убить меня.
– Его имя и лист пергамента.
– Ваше величество, пергамент – на вашем столе, а что касается имени...
– Что же касается его имени?
– То это виконт де Бражелон, ваше величество.
– Виконт де Бражелон! – воскликнул король, переходя от смеха к глубокой задумчивости.

Затем, после минутного молчания, он вытер пот, выступивший на его лбу, и невнятно пробормотал:

– Бражелон!
– Ни больше ни меньше, ваше величество.
– Бражелон, жених...
– Боже мой, да! Бражелон, жених...
– Но ведь Бражелон находится в Лондоне?
– Да, но ручаюсь вам, ваше величество, сейчас он там уже не находится.
– И он в Париже?
– Точнее сказать, близ монастыря Меньших Братьев, где, как я имел честь доложить, он ожидает меня.

– Зная решительно все?
– И многое другое сверх этого! Быть может, ваше величество желаете взглянуть на послание, которое он мне оставил?

И де Сент-Эньян вытащил из кармана уже известную нам записку Рауля.

– Когда ваше величество прочтете эту записку, я буду иметь честь сообщить, каким образом я ее получил.

Король, явно волнуясь, прочел записку и сразу спросил:

– Ну?

– Ваше величество знаете некий замок чеканной работы, замыкающий некую дверь черного дерева, которая отделяет некую комнату от некоего бело-голубого святилища?

– Разумеется, от будуара Луизы?

– Да, ваше величество. Так вот, в замочной скважине этой двери я и нашел записку. Кто всунул ее туда? Виконт де Бражелон или дьявол? Но так как записка пахнет амброю, а не серой, я решил, что это сделано, очевидно, не дьяволом, а господином де Бражемоном.

Людовик склонил голову и грустно задумался. Быть может, в этот момент в его сердце шевельнулось что-то вроде раскаяния.

– Ах, – вздохнул он, – значит, тайна раскрыта!

– Ваше величество, я сделаю все от меня зависящее, чтобы она умерла в груди, которая ее заключает, – сказал де Сент-Энъян с чисто испанской отвагой. Он шагнул к двери, но король жестом остановил его.

– Куда вы идете? – поинтересовался он.

– Туда, где меня ждут, ваше величество.

– Для чего?

– Надо полагать, чтобы драться.

– Драться! – вскричал король. – Погодите минуту, граф.

Де Сент-Энъян покачал головой, как ребенок, недовольный, когда ему мешают упасть в колодец или играть с острым ножом.

– Но, ваше величество...

– Прежде всего, – сказал король, – я еще должным образом не осведомлен.

– О, пусть ваше величество спрашивает, и я разъясню все, что знаю.

– Кто вам сообщил, что господин де Бражелон проник в эту комнату?

– Записка, которую я нашел в замке, о чем я уже имел честь докладывать вам, государь.

– Что тебя убеждает, что это он всунул ее туда?

– Кто другой решился бы выполнить подобное поручение?

– Ты прав. Как же он мог проникнуть к тебе?

– Вот это чрезвычайно существенно, так как все двери были заперты на замок и ключи находились в кармане у Баска, моего лакея.

– Значит, твоего лакея подкупили.

– Невероятно, ваше величество!

– Что же здесь невероятного?

– Потому что, если б его подкупили, он мог бы понадобиться еще не раз в будущем, и бедного малого не стали бы губить, так явно показывая, что воспользовались именно им.

– Правильно. Значит, остается единственное предположение.

– Посмотрим, ваше величество, то ли это предположение, которое возникло и у меня.

– Он проник к тебе, пройдя лестницу.

– Увы, ваше величество, мне кажется это более чем вероятным.

– Значит, все-таки кто-то продал тайну нашего люка?

– Продали или, может быть, подарил.

– Почему такое различие?

– Потому что иные лица стоят так высоко, что не могут продать; они могут лишь подарить.

– Что ты хочешь сказать?

– О, ваше величество обладаете достаточно тонким умом, чтобы самостоятельно догадаться и избавить меня, таким образом, от затруднения назвать...

– Ты прав. Принцесса!

– Ах! – вздохнул Сент-Энъян.

– Принцесса, которая обеспокоена твоим переездом.

– Принцесса, которая располагает ключами от комнат всех своих фрейлин и которая достаточно могущественна, чтобы открыть то, чего, кроме вашего величества и ее высочества, никто не мог бы открыть.

– И ты думаешь, что моя сестра заключила союз с Бражелоном?
– Да, ваше величество, да...
– И даже сообщила ему все эти тонкости?
– Быть может, она сделала даже больше.
– Больше... Договаривай.
– Быть может, она сама проводила его.
– Куда? Вниз? К тебе?
– Вы думаете, что это невозможно, ваше величество?
– О!
– Слушайте, ваше величество. Вы знаете, что принцесса любит духи?
– Да, эту привычку она переняла у моей матери.
– И в особенности вербену?
– Да, это ее излюбленный запах.
– Так вот, моя квартира благоухает вербеной.
Король задумался, потом, помолчав немного, сказал:
– Почему бы принцессе Генриетте становиться на сторону Бражелона и проявлять враждебность ко мне?

Произнося эти слова, на которые де Сент-Эньян легко мог бы ответить: «женская ревность», король испытывал своего друга, стараясь проникнуть в глубину его души, чтобы узнать, не постиг ли он тайны его отношений с невесткой. Но де Сент-Эньян был незаурядным придворным и не решался по этой причине входить в семейные тайны.

К тому же он был достаточно близким приятелем муз, чтобы не задумываться – и притом весьма часто – над печальной судьбою Овидия, глаза которого пролили столько слез во искупление вины, состоявшей в том, что им довелось увидеть во дворце Августа неведомо что. И так как он обнаружил свою проницательность, доказав, что вместе с Бражелоном в его комнате побывала также принцесса, ему предстояло теперь расплатиться с лихвой за собственное тщеславие и ответить на поставленный прямо и определенно вопрос: «Почему принцесса стала на сторону Бражелона и проявляет враждебность ко мне?»

– Почему? Но ваше величество забываете, что граф де Гиш лучший друг виконта де Бражелона.

– Я не вижу тут связи.
– Ах, простите, ваше величество! Но я думал, что господин де Гиш также большой друг принцессы.

– Верно! Все ясно. Удар нанесен отсюда.
– А чтобы его отразить, не думает ли король, что следует нанести встречный удар?
– Да, но не такой, какие наносятся в Венсенском лесу, – ответил король.
– Ваше величество забываете, что я дворянин и что пеня вызвали на дуэль.
– Это тебя не касается.
– Меня ждут близ Меньших Братьев, ваше величество, и ждут больше часа; и так как в этом виноват я и никто другой, то я навлеку на себя бесчестье, если не отправлюсь туда, где меня ожидают.

– Честь дворянина прежде всего состоит в повиновении королю.
– Ваше величество!
– Приказываю тебе остаться.
– Ваше величество...
– Повинуйся!
– Как прикажете, ваше величество.
– Кроме того, я хочу расследовать эту историю, хочу дознаться, как посмели с такою неслыханной дерзостью обойти меня, как посмели проникнуть в святилище моей любви. И не тебе, де Сент-Эньян, наказывать тех, то решился на это, ибо не на твою честь они покусились; моя честь – вот что задето!

– Умоляю ваше величество не обрушивать вашего гнева на виконта де Бражелона; в этом

деле он, быть может, погрешил против благоразумия, но в остальном его поведение честно и благородно.

– Довольно! Я сумею отличить правого от виноватого! Мне не мешает в этом даже самый безудержный гнев. Но ни слова принцессе!

– Что же мне делать с виконтом де Бражелоном? Он будет искать меня и...

– Я поговорю с ним сегодня же или сам, или через третье лицо.

– Еще раз умоляю ваше величество о снисходительности к нему.

– Я был снисходительным достаточно долго, граф, – нахмурился Людовик XIV. – Пришло время, однако, показать некоторым лицам, что у себя в доме хозяин все-таки я!

Едва король произнес эти слова, из которых с очевидностью вытекало, что к новой обиде присоединились воспоминания и о былых, как на пороге его кабинета появился слуга.

– Что случилось? – спросил король. – И почему входят, хотя я не звал?

– Ваше величество, – сказал слуга, – приказали мне раз навсегда впускать к вам графа де Ла Фер, когда у него будет надобность переговорить с вами.

– Дальше.

– Граф де Ла Фер просит принять его.

Король и де Сент-Эньян обменялись взглядами, в которых было больше беспокойства, чем удивления. Людовик на мгновение заколебался, но, почти сразу приняв решение, обратился к де Сент-Эньяну:

– Пойди к Луизе и сообщи ей обо всем, что затевается против нас; не скрывай от нее, что принцесса возобновляет свои преследования и что она объединилась с людьми, которым лучше было бы оставаться нейтральными.

– Ваше величество...

– Если эти вести испугают Луизу, постарайся успокоить ее. Скажи, что любовь короля – непробиваемый панцирь. Если она знает уже обо всем (а я предпочел бы, чтобы это было не так) или уже подверглась с какой-нибудь стороны нападению, скажи ей, де Сент-Эньян, – добавил король, содрогаясь от гнева и возбуждения, – скажи ей, что на этот раз я не ограничусь тем, что буду защищать ее от нападков, я отомщу, и отомщу так сурово, что отныне никто не посмеет даже взглянуть на нее!

– Это все, ваше величество?

– Все. Иди к ней сейчас же и сохраняй верность – ты, живущий в этом аду и не имеющий, как я, надежды на рай.

Де Сент-Эньян рассыпался в изъявлениях преданности. Он приложился к руке короля и, сияя, вышел из королевского кабинета.

Глава 18. КОРОЛЬ И ДВОРЯНСТВО

Людовик тотчас же взял себя в руки, чтобы приветливо встретить графа де Ла Фер. Он догадывался, что граф прибыл сюда не случайно, и смутно предчувствовал значительность этого посещения. Ему не хотелось, однако, чтобы человек таких безупречных манер, такого тонкого и изысканного ума, как Атос, при первом же взгляде заметил в нем нечто, способное произвести неприятное впечатление или выдать, что король расстроен.

И только убедившись в том, что внешне он совершенно спокоен, молодой король велся ввести графа. Спустя несколько минут явился Атос, облаченный в придворное платье и надевший все ордена, которые он один имел право носить при французском дворе. Он вошел с таким торжественным, таким величавым видом, что король, взглянув на него, сразу же получил возможность судить, был ли он прав или ошибся в своих предчувствиях.

Людовик сделал шаг навстречу Атосу и, с улыбкой протянув ему руку, над которой тот склонился в позе, полной почтительности, торопливо сказал – Граф де Ла Фер, вы такой редкий гость у меня, что видеть вас большая удача.

Атос поклонился еще раз – Я желал бы иметь счастье всегда находиться при вашем

величестве.

Этот ответ и особенно тон, которым он был произнесен, означали с полной очевидностью: «Я хотел бы находиться среди советников короля, чтобы оберегать его от ошибок»

Король это почувствовал и, решив обеспечить себе вместе с преимуществом своего положения также и то преимущество, которое порождается спокойствием духа, произнес бесстрастным и ровным голосом.

– Я вижу, что вам нужно поговорить со мной.

– Не будь этого, я не решился бы предстать перед вашим величеством.

– Начинайте же, сударь, мне не терпится удовлетворить вас возможно скорее.

Король сел.

– Я уверен, – слегка волнуясь, ответил Атос, – что ваше величество удовлетворит все мои притязания.

– А, – произнес с некоторым высокомерием в голосе король, – вы пришли ко мне с жалобой?

– Это было бы жалобой, если бы ваше величество... – молвил Атос – Но разрешите по порядку.

– Я жду.

– Ваше величество помните, что я имел честь беседовать с вами перед отъездом герцога Бекингэма?

– Да, приблизительно в это время... Я помню это... но тему нашей беседы, признаться, я успел позабыть.

Атос вздрогнул – Я буду иметь честь напомнить в таком случае королю, что речь шла о разрешении, которое я испрашивал у вас, ваше величество, на брак между виконтом де Бражелоном и мадемуазель де Левальер «Дошли до сути», – подумал король и сказал:

– Да, я помню.

– Тогда, – продолжал Атос, – король был до того милостив и великодушен ко мне и к виконту де Бражелону, что ни одно из слов вашего величества не улетучилось из вашей памяти. Я просил у короля разрешения на брак мадемуазель де Лавальер с виконтом де Бражелоном, но король ответил на мою просьбу отказом.

– Это верно, – сухо заметил Людовик.

– Ссылаясь на то, – поспешно добавил Атос, – что невеста не имеет достаточно высокого положения в обществе.

Людовик заставил себя терпеливо слушать.

– Что... у нее нет состояния.

Король глубже уселся в кресле.

– Что она недостаточно знатного происхождения.

Новый нетерпеливый жест короля – И не очень красива – безжалостно закончил Атос.

Последний укол в сердце влюбленного заставил его выйти из должных границ.

– Сударь, – перебил он графа, – у вас прекрасная память!

– У меня всегда хорошая память, когда я имею высокую честь разговаривать с королем, – ответил несколько не смутившийся граф.

– Итак, я все это сказал? Что же дальше?

– И я благодарил ваше величество за эти слова, так как они доказывали ваше очень лестное для господина де Бражелона внимание – Вы, разумеется, помните также, – проговорил король, нажимая на эти слова, – что вы сами были очень не расположены к этому браку.

– Это верно, ваше величество – И что вы обращались ко мне с этой просьбой скрепя сердце?

– Да, ваше величество.

– Наконец, я вспоминаю также, потому что у меня почти такая же хорошая память, как у вас, господин граф, что вы произнесли следующие слова «Я не верю в любовь мадемуазель до

Лавальер к виконту де Бражелону» Не так ли?

Атос ощутил удар, но выдержал его.

– Ваше величество, я уже просил у вас извинения, но в этом разговоре заключается нечто такое, что станет вам известно только в самом конце его...

– В таком случае переходите к концу.

– Вот он. Ваше величество говорили, что вы откладываете свадьбу для блага господина де Бражелона?

Король промолчал.

– В настоящее время господин де Бражелон так несчастен, что дольше не может ждать и просит вас вынести окончательное решение.

Король побледнел. Атос пристально посмотрел на него.

– И... о чем же просит... господин де Бражелон? – нерешительно произнес король.

– Все о том же, о чем я просил короля во время нашей последней беседы: о разрешении вашего величества на его брак.

Король промолчал.

– Преград для нас больше не существует. Мадемуазель де Лавальер, небогатая, незнатная и некрасивая, все же единственная приемлемая партия для господина де Бражелона, потому что он любит эту особу.

Король крепко сжал руки.

– Король колеблется? – спросил граф все так же настойчиво и так же учтиво.

– Я не колеблюсь... я просто отказываю.

Атос на мгновение задумался, потом очень тихо сказал:

– Я имел честь доложить королю, что никакие преграды не могут остановить господина де Бражелона и решение его неизменно.

– Моя воля – преграда, я полагаю?

– Это – самая серьезная из преград. Да будет позволено почтительнейше осведомиться у вашего величества о причине отказа!

– О причине?... Это что же, допрос? – воскликнул король.

– Просьба, ваше величество.

Король, опершись обоими кулаками о стол, глухо произнес:

– Вы забыли правила придворного этикета, господин де Ла Фер. При дворе не принято расспрашивать короля.

– Это правда, ваше величество. Но если и не принято расспрашивать короля, то все же позволительно высказывать известные предположения.

– Высказывать предположения! Что это значит, сударь?

– Почти всегда предположения подданные возникают вследствие неискренности монарха...

– Сударь!

– И недостатка доверия со стороны подданного, – уверенно продолжал Атос.

– Мне кажется, вы забываетесь, – повысил голос король, подавшись неудержимому гневу.

– Я понужден искать в другом месте то, что надеялся найти у вас, ваше величество. Вместо того чтобы услышать ответ из ваших собственных уст, я вынужден обратиться за ним к себе самому.

Король встал и резко проговорил:

– Господин граф, я отдал вам все свое время.

Это было равносильно приказанию удалиться.

– Ваше величество, я не успел высказать то, с чем пришел к королю, и я так редко вижу его величество, что должен использовать случай.

– Вы дошли до предположений. Теперь вы переходите уже к оскорблениям.

– О, ваше величество, оскорбить короля! Никогда! всю свою жизнь я утверждал, что короли выше других людей не только положением и могуществом, но и благородством души и

мощью ума. И я никогда не поверю, чтобы мой король за своими словами скрывал какую-то заднюю мысль.

– Что это значит? Какую заднюю мысль?

– Я объясню, – бесстрастно произнес Атос. – Если ваше величество, отказывая виконту де Бражелону в руке мадемуазель де Лавальер, имели другую цель, кроме счастья и блага виконта...

– Вы понимаете, сударь, что – вы меня оскорбляете?

– Если, предлагая виконту де Бражелону отсрочку, ваше величество только хотели удалить жениха мадемуазель де Лавальер...

– Сударь!

– Я это слышу со всех сторон, ваше величество. Везде говорят о вашей любви к мадемуазель де Лавальер.

Король разорвал перчатки, которые уже несколько минут, стараясь сдержаться, нервно покусывал, и закричал:

– Горе тем, кто вмешивается в мои дела! Я принял решение и разобью все преграды!

– Какие преграды? – спросил Атос.

Король внезапно остановился, как конь, мучимый мундштуком, который дергается у него во рту и рвет губы, и вдруг сказал с благородством, столь же безграничным, как его гнев:

– Я люблю мадемуазель де Лавальер.

– Но это могло бы не помешать вам, ваше величество, – перебил Атос, отдать ее замуж за господина де Бражелона. Такая жертва была бы достойна монарха. И она была бы по заслугам господина де Бражелона, который уже служил королю и может считаться доблестным воином. Таким образом, король, принеся в жертву свою любовь, мог бы воочию доказать, что он исполнен великодушия, благодарности и к тому же отличный политик.

– Мадемуазель де Лавальер не любит господина де Бражелона, – глухо проговорил король.

– Ваше величество уверены в этом? – молвил Атос, пристально вглядываясь в короля.

– Да. Я знаю это.

– Значит, с недавних пор? Иначе, если бы ваше величество знали это во время моего первого посещения, вы бы взяли на себя труд поставить меня об этом в известность.

– Да, с недавних пор.

– Я не понимаю, – помолчав немного, спросил Атос, – как король мог услать господина де Бражелона в Лондон? Это изгнание вызывает справедливое удивление со стороны всякого, кто дорожит честью своего короля.

– Кто же говорит о чести своего короля, господин де Ла Фер?

– Честь короля, ваше величество, – это честь дворянства, и когда король оскорбляет одного из своих дворян, когда он отнимает у него хотя бы крупицу чести, он отнимает тем самым крупицу чести и у себя самого.

– Граф де Ла Фер!

– Ваше величество, вы послали виконта де Бражелона в Лондон до того, как стали любовником мадемуазель де Лавальер, или после того, как это совершилось?

Король, окончательно потеряв самообладание, тем более что он чувствовал правоту Атоса, попытался прогнать его жестом, но Атос продолжал:

– Ваше величество, я выскажусь до конца. Я уйду отсюда не раньше, чем сочту себя удовлетворенным вами или своим собственным поведением. Я буду удовлетворен, если вы докажете мне, что вы правы; я буду удовлетворен и в том случае, если представлю вам доказательства, что вы виноваты. О, вы меня выслушаете, ваше величество! Я стар и дорожу всем, что есть истинно великого и истинно сильного в королевстве. Я дворянин, я проливал кровь за вашего отца и за вас и никогда ничего не просил для себя ни у вас, ни у покойного короля. Я никому на свете не причинил зла, и я оказывал королям услуги! Вы выслушаете меня. Я требую у вас ответа за честь одного из ваших преданных слуг, которого вы обманули сознательно, прибегнув ко лжи, или по бесхарактерности.

Я знаю, что эти слова раздражают ваше величество; но нас, нас убивают дела! Я знаю, что вы придумываете мне кару за откровенность; но я знаю и то, о какой каре для вас я буду молить господа бога, когда расскажу ему про ваше вероломство и про несчастье, постигшее моего сына!

Король принялся ходить большими шагами из угла в угол: рука его была прижата к груди, голова напряженно вскинута вверх, глаза горели.

– Сударь, – неожиданно воскликнул Людовик XIV, – если бы я был по отношению к вам королем и ничем больше, вы бы уже понесли наказание, но сейчас я пред вами не более чем человек, и я имею право любить тех, кто любит меня, – ведь это редкое счастье!

– Теперь вы уже не имеете права на это ни как человек, ни как король.

Если вы хотели честно располагать этим правом, надо было предупредить об этом господина де Бражелона, а не удалять его в Лондон.

– Полагаю, что мы с вами занимаемся препирательствами, – перебил Атоса король с выражением такого величия во взгляде и в голосе, которое он один умел показать в столь критические моменты.

– Я надеялся, что вы все же ответите, – сказал граф.

– Вы узнаете мой ответ, сударь, и очень скоро.

– Вам известны мои мысли на этот счет, ваше величество.

– Вы забыли, сударь, что перед вами король и что ваши слова – преступление!

– А вы забыли, что разбиваете жизнь двух молодых людей. Это смертный грех, ваше величество!

– Уходите немедленно!

– Не раньше, чем скажу следующее: «Сын Людовика четырнадцатого, вы плохо начинаете свое царствование, потому что начинаете его, соблазнив чужую невесту, начинаете его вероломством. Мой сын и я сам отныне свободны от всякой привязанности и всякого уважения к вам, о которых я заставил поклясться моего сына в склепе Сен-Дени перед гробницами ваших великих и благородных предков. Вы стали нашим врагом, ваше величество, и отныне над нами лишь один бог, наш единственный повелитель и господин.

Берегитесь!

– Вы угрожаете?

– О нет, – грустно сказал Атос, – в моем сердце так же мало заносчивости, как и страха. Бог, о котором я говорю, ваше величество, и который слышит меня, знает, что за неприкосновенность, за честь вашей короны я и теперь готов пролить кровь, какая только осталась во мне после двадцати лет внешних и внутренних войн. Поэтому примите мои заверения в том, что я не угрожаю ни человеку, ни королю. Но я говорю вам: вы теряете двух преданных слуг, потому что убили веру в сердце отца и любовь в сердце сына. Один не верит больше королевскому слову, другой не верит в честь мужчины и чистоту женщины. В одном умерло уважение к вам, в другом – повиновение вашей воле. Прощайте!

Сказав это, Атос снял с себя шпагу, переломил ее о колено, неторопливо положил оба обломка на пол, поклонился королю, задыхавшемуся от бешенства и стыда, и вышел из кабинета. Людовик, опустив на стол голову, в течение нескольких минут пребывал в этой позе. Затем, овладев собою, он стремительно выпрямился и яростно позвонил.

– Позвать шевалье д'Артаньяна, – приказал он перепуганным слугам.

Глава 19. ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРОЗЫ

Наши читатели, несомненно, уже спрашивали себя, как же случилось, что Атос, о котором они так давно не слыхали, оказался у короля, попав к нему, что называется, в самый раз. Но ведь ремесло романиста, по нашему мнению, и состоит главным образом в том, чтобы, нанизывая события одно на другое, делать это с железной логикой, и мы готовы ответить на это недоумение.

Портос, верный своему долгу «улаживателя» дел, покинув королевский дворец, встретился с Раулем, как было условленно, близ Меньших Братьев в Венсенском лесу. Передав Раулю со всеми подробностями свой разговор с графом де Сент-Эньяном, он закончил предположением, что король, по всей вероятности, вскоре отпустит своего любимца и де Сент-Эньян не замедлит явиться на вызов Рауля.

Но Рауль, менее легковверный, чем его старый преданный друг, вывел из рассказа Портоса, что если де Сент-Эньян отправился к королю, значит, он сообщит ему о случившемся, и что если он сообщит ему о случившемся, король запретит ему ехать к месту дуэли. Ввиду этих соображений он оставил Портоса в Венсенском лесу на случай, впрочем мало вероятный, что де Сент-Эньян все-таки прибудет туда. Прощаясь с Портосом, Рауль убеждал его ждать де Сент-Эньяна на этой лужайке самое большее полтора-два часа, но Портос решительно отверг этот совет, расположившись на месте возможного поединка с такой основательностью, словно успел уже врасти в землю корнями. Кроме того, он заставил Рауля пообещать, что, повидавшись с отцом, он немедленно возвратится к себе, Дабы его, Портоса, лакей знал, где искать виконта в случае появления де Сент-Эньяна на месте дуэли.

Бражелон отправился прямо к Атосу, который уже два дня находился в Париже. Граф де Ла Фер был осведомлен обо всем письмом д'Артаньяна. Наконец-то Рауль предстал пред отцом. Протянув ему руку и обняв его, граф предложил ему сесть и сказал:

– Я знаю, виконт, вы пришли ко мне, как приходят к Другу, когда страдают и плачут. Скажите же, что привело вас сюда?

Юноша поклонился и начал свой скорбный рассказ. Несколько раз голос его прерывался от слез, и подавленное рыдание мешало ему говорить. Однако он изложил все, что хотел.

Атос, вероятно, заранее составил себе суждение обо всем; ведь мы говорили уже, что он получил письмо д'Артаньяна. Однако, желая сохранить до конца свойственные ему невозмутимость и ясность мысли – черты в его характере почти сверхчеловеческие, – он ответил:

– Рауль, я не верю тому, о чем говорят, я не верю тому, чего вы опасаетесь, и не потому, что люди, достойные доверия, не говорили мне об этой истории, но потому, что в душе моей и по совести я считаю невымыслимым, чтобы король оскорбил дворянина. Я ручаюсь за короля и принесу вам доказательство своих слов.

Рауль, мечущийся между тем, что он видел собственными глазами, и своей колеблемою верою в человека, который никогда не солгал, склонился пред ним и удовольствовался тем, что попросил:

– Поезжайте, граф. Я подожду.

И он сел, закрыв руками лицо. Атос оделся и отправился во дворец.

Что происходило у короля – от этого мы только что рассказали: читатели видели, как Атос вошел к королю и как вышел.

Когда он вернулся к себе, Рауль все еще сидел в той же выражающей отчаяние позе. Шум открывающихся дверей и звук отцовских шагов заставили юношу поднять голову. Атос был бледен, серьезен, с непокрытою головою; он отдал свой плащ и шляпу лакею и, когда тот вышел, сел рядом с Раулем.

– Ну, граф, – произнес юноша, грустно покачав головой, – теперь вы уверились?

– Да, Рауль. Король любит мадемуазель де Лавальер.

– Значит, он сознается в этом? – вскричал Рауль.

– Создается, – ответил Атос.

– А она?

– Я не видел ее.

– Но король говорил о ней? Что же он говорил?

– Он говорил, что и она его любит.

– О, вы видите, видите, граф!

И Рауль сделал жест, полный отчаянья.

– Рауль, – снова начал граф, – поверьте мне, я высказал королю решительно все, что вы

сами могли бы сказать ему, и мне кажется, я изложил это в простой, но достаточно твердой форме.

– Но что же именно?

– Я сказал, что между ним и нами – полный разрыв, что вы отныне ему не слуга; я сказал, что и я отойду куда-нибудь в тень. Мне остается спросить у вас лишь об одном.

– О чем же, граф?

– Приняли ли вы какое-нибудь решение?

– Решение? Но о чем же?

– Относительно вашей любви и...

– Доканчивайте.

– И мщения. Ибо я опасюсь, что вы жаждете мщения.

– О, любовь!.. Быть может, когда-нибудь позже мне удастся вырвать ее из моего сердца. Я надеюсь, что сделаю это с божьей помощью и опираясь на ваши мудрые увещания. Что же до мести, то я жаждал ее лишь под влиянием дурных мыслей, дурных, ибо настоящему виновнику я отомстить не могу, и я отказался от мести.

– Значит, вы больше не ищете ссоры с господином де Сент-Эньяном?

– Нет, граф. Я послал ему вызов. Если господин де Сент-Эньян примет его, дуэль состоится, если нет, я не стану возобновлять его.

– А Лавальер?

– Неужели вы могли серьезно предположить, что я стану думать о мщении женщине, граф? – сказал Рауль с такою печальной улыбкой, что у Атоса, который столько пережил и был свидетелем стольких чужих страданий, на глаза навернулись слезы.

Он протянул руку Раулю. Рауль живо схватил ее и спросил:

– Значит, вы уверены, граф, что положение безнадежно?

Атос, в свою очередь, покачал головой.

– Мой бедный мальчик! – прошептал он.

– Вы думаете, что я все еще испытываю надежду, и пожалели меня. Самое ужасное для меня – это презирать ту, которая заслуживает презрения и которую я так обожал! Почему я ни в чем не виноват перед нею? Я был бы счастливее, я простил бы ее.

Атос грустно взглянул на сына. Слова, которые только что произнес Рауль, вырвались, казалось, из собственного сердца Атоса... В этот момент доложили о д'Артаньяне. Его имя прозвучало для Рауля и для Атоса по-разному.

Мушкетер вошел с неопределенной улыбкою на устах. Рауль замолк. Атос подошел к своему другу; выражение его взгляда обратило на себя внимание юноши. Д'Артаньян молча мигнул Атосу; затем, подойдя к Раулю и протянув ему руку, обратился к отцу и сыну одновременно:

– Мы, кажется, утешаем мальчика?

– И вы, неизменно отзывчивый, пришли оказать мне помощь в этом нелегком деле?

Произнося это, Атос обеими руками сжал руку д'Артаньяна. Раулю показалось, что и это рукопожатие заключает в себе какой-то особый смысл, не имеющий прямой связи со словами отца.

– Да, – ответил капитан мушкетеров, покручивая усы левой рукой, поскольку правую держал в своей Атос, – да, я прибыл сюда и для этого...

– Бесконечно рад, шевадье, бесконечно рад, и не только утешению, которое вы с собою приносите, но и вам, вам самому. О, я уже утешился! воскликнул Рауль.

И он улыбнулся такою грустной улыбкой, что она была печальнее самых горестных слез, какие когда-либо видел д'Артаньян.

– Вот и хорошо, – одобрил д'Артаньян.

– Вы пришли, шевадье, в тот момент, когда граф передавал мне подробности своего свидания с королем. Вы позволите графу, не так ли, продолжить рассказ?

Глаза юноши стремились, казалось, проникнуть в глубину души мушкетера.

– Свидания с королем? – спросил д'Артаньян, и притом настолько естественным тоном,

что не могло быть и тени сомнения в том, что он искренне изумлен. – Вы видели короля, Атос?

Атос улыбнулся.

– Да, я виделся с королем.

– И вы не знали, что граф видел его величество? – спросил наполовину успокоившийся Рауль.

– Ну конечно, не знал.

– Теперь я буду спокойнее, – проговорил Рауль.

– Спокойнее? Относительно чего же спокойнее? – спросил у Рауля Атос.

– Граф, простите меня, – сказал Рауль. – Но, зная привязанность, которой вы меня удостаиваете, я опасался, что вы, может быть, слишком резко изобразили его величеству мои горести и ваше негодование и что король...

– И что король... – повторил д'Артаньян. – Кончайте вашу мысль, Рауль.

– Простите меня и вы, господин д'Артаньян. На какую-то долю секунды я проникся страхом, признаюсь в этом, при мысли, что вы пришли сюда не как господин д'Артаньян, но как капитан мушкетеров, – Вы с ума сошли, мой бедный Рауль! – вскричал д'Артаньян, разражаясь хохотом, в котором внимательный наблюдатель пожелал бы увидеть большую искренность.

– Тем лучше, – сказал Рауль.

– И впрямь, вы с ума сошли! Знаете ли, что я посоветую вам?

– Говорите, сударь, ваш совет не может быть плох.

– Так вот, я посоветую следующее: после вашего путешествия, после посещения вами господина де Гиша, после посещения вами принцессы, после посещения вами Портоса, после вашей поездки в Венсенский лес я советую вам немножечко отдохнуть; ложитесь, проспите двенадцать часов и, проснувшись, погоняйте до изнеможения доброго скакуна.

И, притянув Рауля к себе, он поцеловал его с таким чувством, с каким мог бы поцеловать своего сына. Атос также обнял Рауля; впрочем, нетрудно было заметить, что поцелуй отца более нежен и объятия его еще крепче, чем поцелуй и объятия друга.

Юноша снова взглянул на обоих, стараясь всеми силами своего разума проникнуть в их души. Но он увидел лишь улыбающееся лицо д'Артаньяна и спокойное и ласковое лицо графа де Ла Фер.

– Куда вы, Рауль? – спросил Атос, заметив, что виконт де Бражелон собирается уходить.

– К себе, граф, – ответил Рауль задумчивым и грустным тоном.

– Значит, там вас и искать, если понадобится что-либо сообщить вам?

– Да, граф. А вы думаете, что вам понадобится что-то сообщать мне?

– Откуда я знаю? – произнес Атос.

– Это будут новые утешения, – усмехнулся д'Артаньян, мягко подталкивая Рауля к дверям.

Рауль, видя в каждом жесте обоих друзей полнейшее спокойствие и невозмутимость, вышел от графа, унося с собою лишь свое личное горе и не испытывая никакой тревоги иного рода.

«Слава богу! – сказал он себе самому. – Я могу думать только о своих делах».

И, завернувшись в плащ, чтобы скрыть от прохожих грусть на лице, он направился, как обещал Портосу, к нему на квартиру.

Оба друга с равным сочувствием посмотрели вслед несчастному юноше.

Впрочем, они выразили это по-разному.

– Бедный Рауль! – вздохнул Атос.

– Бедный Рауль! – молвил д'Артаньян, пожимая плечами.

Глава 20.

ГОРЕ НЕСЧАСТНОМУ!

«Бедный Рауль! – сказал Атос. «Бедный Рауль! – сказал д'Артаньян. И Рауль, вызвавший

сострадание столь сильных людей, был и вправду очень несчастен.

Простившись с бестрепетным другом и нежным отцом, оставшись наедине сам с собою, Рауль вспомнил о признании короля, признании, похищавшем у него его возлюбленную Луизу, и почувствовал, что сердце его разрывается, как оно разрывалось у всякого, кому довелось пережить нечто подобное, при первом столкновении с разрушенной мечтой и обманутой любовью.

— О, — прошептал он, — все кончено: ничего больше не остается мне в жизни! Мне нечего ждать, не на кого надеяться! Об этом сказал де Гиш, сказал отец, сказал д'Артаньян. Значит, все в этом мире — пустая мечта.

Пустой мечтой было и мое будущее, к которому я стремился в течение долгих десяти лет! Союз наших душ — тоже мечта!

Жалким безумцем, вот кем я был, безумцем, грезившим вслух перед всеми, перед друзьями и недругами, чтобы друзей печалили мои горести, недругов — радовали страдания. И мое горе, мое несчастье завтра же навлечет на меня опалу, о которой повсюду станут шушукаться, превратится в громкий скандал. Завтра же на меня начнут указывать пальцем, и лишь позор ожидает меня!

И хотя он обещал Атосу и д'Артаньяну хранить спокойствие, у него вырвалось все же несколько слов, полных глухой угрозы.

— О, если б я был де Бардом, — продолжал свои сетования Рауль, — и вместе с тем обладал гибкостью и силой д'Артаньяна, я бы с улыбкой на устах уверял женщин, что эта коварная Лавальер, которую я почтил своей любовью, не оставила во мне никаких других чувств, кроме досады на себя самого, поскольку ее фальшивые добродетели я принял за истинные; нашлись бы насмешники, которые стали бы льстить королю, избрав меня мишенью своих насмешек; я подстерег бы некоторых из них и обрушил бы на них кару.

Мужчины стали бы остерегаться меня, а женщины, после того как я поверг бы к своим ногам каждого третьего из числа моих недругов, — обожать.

Да, это путь, которым подобало бы следовать, и сам граф де Ла Фер не отверг бы его. Ведь и на его долю выпали в молодости немалые испытания.

Он не раз и сам говорил мне об этом. И не нашел ли он тогда забвения в вине? Почему бы мне не найти его в наслаждении?

Он страдал так же, как я, а быть может, еще сильнее. Выходит, что история одного — это история всех, — испытание более или менее длительное, более или менее тяжкое. И голос всего человечества — не что иное, как долгий, протяжный вопль.

Но какое дело до чужих страданий тому, кто сам пребывает в их власти?

Разве открытая рана в груди другого облегчает зияющую рану в нашей груди? Разве кровь, пролившаяся рядом с нашею, останавливает нашу кровь?

Нет, каждый страдает сам по себе, каждый борется со своей мукой, каждый плачет своими собственными слезами.

И в самом деле, чем была для меня жизнь до этого часа? Холодным, бесплодным песком, на котором я бился всегда для других и никогда для себя самого. То за короля, то за честь женщин. Король обманул меня, женщина мною пренебрегла.

О несчастный!.. Женщины! Неужто я не мог бы заставить их всех искупить вину одной их товарки? Что нужно для этого... Не иметь сердца или забыть, что оно есть у тебя, быть сильным даже тогда, когда имеешь дело со слабым; идти напролом и тогда, когда чувствуешь, что все и без того уступают тебе дорогу. Что нужно для достижения этого? Быть молодым, красивым, сильным, храбрым, богатым. Все это есть у меня или в скором времени будет.

Но честь? Что же есть честь? Понятие, которое всякий толкует по-своему. Отец говорит: «Честь — это уважение, воздаваемое другим и прежде всего себе самому». Но де Гиш, но Маникан и особенно Сент-Эньян сказали бы мне: «Честь заключается в том, чтобы служить страстям и наслаждениям своего короля». Блюсти подобную честь и выгодно и легко. С такою честью я могу сохранить свою придворную должность, быть офицером, получить отличный во всех отношениях полк. С такой честью я могу стать герцогом и пэром Французского

королевства.

Тень, брошенная на меня этой женщиной, страдания, которыми она разбила мне сердце, сердце Рауля, ее друга детства, не должны трогать господина де Бражелона, хорошего офицера, отважного воина, он покроет себя славой в первой же битве и поднимется во сто крат выше, чем мадемуазель де Лавальер, любовница короля; ведь король не женится на Лавальер, и чем громче он будет называть ее своей возлюбленной, тем плотнее станет завеса стыда, которой он окружает ее, и по мере того как будет расти презрение к ней и ее начнут презирать, как я ее презираю, будет расти и шириться моя слава.

Увы! Мы шли вместе – она рядом со мной; так миновали мы первую, самую прекрасную, самую пленительную часть нашей жизни. Мы шли, взявшись за руки, по прелестной тропе, полной юности и цветов. И вот мы оказались на перекрестке, здесь она расстается со мной, и каждый пойдет своею дорогой, все больше и больше отдаляясь один от другого. И остальной путь мне придется шагать одному. Господи боже, как я одинок, я повержен в отчаяние, я раздавлен! О я, несчастный!

Рауль все еще пребывал во власти этих горестных размышлений, когда нога его машинально переступила порог его дома. Он пришел сюда, не замечая улиц, которые проходил, не зная, как он все-таки добрался к себе.

Толкнув дверь, он так же бессознательно прошел дальше и поднялся по ступеням лестницы.

Как в большинстве домов того времени, на лестнице и на площадках было темно. Рауль занимал квартиру в первом этаже, он остановился и позвонил.

Появившийся на звонок Оливен принял из его рук шпагу и плащ. Рауль отворил дверь, которая вела из передней в богато обставленную гостиную, благодаря стараниям Оливена, знавшего вкусы своего хозяина, она утопала в цветах. К чести Оливена надо добавить, однако, что его мало заботило, заметит ли молодой господин этот знак внимания с его стороны.

В этой гостиной находился портрет Лавальер, нарисованный ею самой, когда-то она подарила его Раулю. Этот портрет, висевший над большим, крытым темным шелком диваном, сразу же привлек к себе взор бедного юноши, и к нему-то он прежде всего и направился. Впрочем, Рауль действовал по привычке: всякий раз, как он возвращался домой, этот портрет раньше всего остального притягивал к себе его взгляд. И сейчас, как всегда, он подошел к нему и принялся печально смотреть на него. Так он смотрел и смотрел на изображение Лавальер; руки его были скрещены на груди, голова чуть откинута назад, взгляд слегка затуманился, по оставался спокойным, вокруг рта легли скорбные складки.

Он всматривался в это обожаемое лицо. Все, что он только что передумал, снова пронеслось в его памяти, все, что он выстрадал, снова хлынуло в его сердце, и после длительного молчания он в третий раз прошептал:

– О я, несчастный!

В ответ на эти слова за его спиной раздался жалобный вздох. Порывисто обернувшись, он увидел в углу гостиной какую-то женщину, которая стояла понурившись и лицо которой было скрыто вуалью. Входя, он заслонил ее дверью и не заметил ее присутствия, так как до этого ни разу не оторвал глаз от портрета.

Он подошел к этой женщине, о которой никто ему не докладывал, с учтивым поклоном и готов был уже обратиться с вопросом, что ей, собственно, нужно, как вдруг опущенная голова поднялась, вуаль откинулась, и он увидел бледное лицо, выражавшее глубокую скорбь.

Рауль отшатнулся, точно перед ним стоял призрак.

– Луиза! – вскричал он с отчаянием в голосе, и трудно было поверить, что человеческое существо могло издать такой ужасающий крик и что при этом не разорвалось сердце кричавшего.

Глава 21. РАНА НА РАНЕ

Мадемуазель де Лавальер (ибо это была она) сделала шаг вперед.

– Да, Луиза, – прошептала она.

Но в этот промежуток времени, как бы краток он ни был, Рауль успел взять себя в руки.

– Вы, мадемуазель? – спросил он и непередаваемым тоном добавил:

– Вы здесь?

– Да, Рауль, – повторила девушка, – да, я ждала вас.

– Простите меня: когда я вошел, я не знал...

– Да, я просила Оливена не докладывать вам...

Она замолкла; и так как Рауль не торопился заговорить, на мгновение наступило молчание, в котором можно было услышать биение двух сердец, колотившихся хотя и не согласно друг с другом, но одинаково бешено.

Луиза должна была начать. Она сделала над собой усилие и произнесла:

– Мне нужно переговорить с вами; мне совершенно необходимо повидать вас... наедине... Я не отступила пред шагом, который должен остаться тайной, потому что никто, кроме вас, господин де Бражелон, не сможет понять его.

– Мадемуазель, – лепетал растерянный и задыхающийся Рауль, – я сам, несмотря на ваше доброе мнение обо мне, я и сам, признаюсь...

– Сделайте милость, сядьте и выслушайте меня, – перебила его Луиза своим ласковым голосом.

Бражелон взглянул на нее, потом грустно покачал головой, сел или, вернее, упал на стул и попросил:

– Говорите.

Она украдкой оглянулась кругом. Этот взгляд был полон мольбы и еще красноречивее выразил ее страх перед разглашением тайны ее прихода, чем только что сказанные ею слова.

Рауль встал, отворил дверь и сказал:

– Оливен, кто бы ни пришел, меня нет дома.

Потом, вернувшись к Лавальер, он спросил:

– Ведь вы этого хотели, не так ли?

Ничто не в состоянии передать впечатление, которое произвели на Луизу эти слова, которые значили: «Вы видите, я все еще понимаю вас».

Она приложила к глазам платок, чтобы стереть непокорную слезу, потом на мгновение задумалась и начала:

– Рауль, не отворачивайте от меня вашего честного и доброго взгляда; вы не из тех, кто презирает женщину только за то, что она кому-то отдала свое сердце, вы не из их числа, даже если эта любовь ее – несчастье для вас и наносит оскорбление вашей гордости.

Рауль ничего не ответил.

– Увы, – продолжала Лавальер, – увь, это верно, мне трудно защищаться перед вами, я не знаю, с чего начать. Погодите, я сделаю лучше: мне кажется, честнее всего будет просто и бесстрастно рассказать обо всем, что случилось со мной. А так как я буду говорить только правду, то среди мглы колебаний, среди бесконечных препятствий, которые мне нужно преодолеть, я все же смогу отыскать прямую дорогу, чтобы облегчать мое сердце, которое заполнено до краев и жаждет излиться у ваших ног.

Рауль промолчал. Лавальер обратила на него взгляд, который, казалось, молил: «Ободрите меня, из жалости... хотя бы единое слово...»

Но Рауль молчал, и девушке пришлось продолжать:

– Только что у меня был граф де Сент-Эньян с поручением от короля.

Она опустила глаза.

Рауль тоже посмотрел в сторону, чтобы не видеть Луизу.

– Господин де Сент-Эньян пришел с поручением от короля, – повторила она, – и сообщил мне, что вы знаете обо всем.

И она – попыталась прямо взглянуть на того, кто вслед за столькими ударами должен был вынести также и этот, но ей не удалось встретиться глазами с Раулем.

– А потом он добавил, что вы гневаетесь, законно гневаетесь на меня.

На этот раз Рауль посмотрел на девушку, и презрительная усмешка искривила его губы.

– О, умоляю вас, – продолжала она, – не говорите, что вы почувствовали в себе еще что-нибудь, кроме гнева! Рауль, дайте мне высказаться, выслушайте меня до конца!

Усилием воли Рауль прогнал морщины со своего лба; складки возле уголков его рта также разгладились.

– И кроме того, – сказала, склонив голову, девушка, со сложенными, как на молитве, руками, – я прошу вас простить меня, я прошу вас об этом как самого великодушного и благородного среди людей! Если я не говорила вам о том, что происходит во мне, я никогда все же не согласилась бы обманывать вас. Умоляю, Рауль, умоляю вас на коленях, ответьте же мне, ответьте хотя бы проклятием! Лучше проклятие ваших уст, чем подозрения вашего сердца.

– Я восхищаюсь вашими чувствами, мадемуазель, – выговорил Рауль, делая над собою усилие, чтобы остаться спокойным. – Не сказать о том, что обманываешь, допустимо, но обманывать было бы дурно, и, по-видимому, вы бы не сделали этого.

– Сударь, долгое время я думала, что люблю вас больше всего на свете, и пока я верила в эту свою любовь, я говорила вам, что люблю вас. В Блуа я любила вас. Король побывал в Блуа; я и тогда еще думала, что люблю вас. Я поклялась бы в этом пред алтарем. Но наступил день, открывший мне мое заблуждение.

– Вот в этот день, мадемуазель, зная, что я люблю вас по-прежнему, вы и должны были из чувства порядочности открыть мне глаза, сказать, что разлюбили меня.

– В тот день, Рауль... в тот день, когда я впервые прочла в глубине моего сердца, в тот день, когда я призналась себе, что не вы заполняете все мои помыслы, в тот день, когда я увидела перед собой иное будущее, чем быть вашей подругой, вашей возлюбленной, вашей женой, в тот день, Рауль, – увы! – вас не было возле меня.

– Вы знали, где я, мадемуазель. Вы могли написать.

– Я не посмела, Рауль. Я испугалась. Чего вы хотите? Я знала вас, я знала, что вы меня любите, и я трепетала при одной только мысли о том страдании, которое я причинила бы вам. И поверьте, Рауль, что я говорю вам сущую правду, поверьте, что теперь, когда я произношу эти слова, склоненная перед вами, с сердцем, зажатым в тиски, голосом, полным стенаний, с глазами, полными слез, поверьте – и это так же верно, как то, что моя единственная защита – искренность, что я не ощущаю иного страдания, кроме того, что читаю в ваших глазах.

Рауль попытался изобразить улыбку.

– Нет, – сказала с глубоким убеждением девушка. – Вы не сможете оскорбить меня этим притворством. Вы любите меня, вы были уверены в своем чувстве ко мне, вы не обманывали себя, вы не лгали своему сердцу, тогда как я...

И, бледная, заломив над головой руки, она упала пред ним на колени.

– Тогда как вы, – перебил Рауль, – вы говорили, что любите только меня, а любили другого!

– Увы, да! Увы, я люблю другого, и этот другой... господи боже! Дайте мне кончить, Рауль, потому что в этом – единственное мое оправдание; этот другой... я люблю его больше жизни, больше самого бога. Простите мою вину или покарайте мою измену, Рауль. Я пришла не для того, чтобы оправдываться, а для того, чтобы спросить: знаете ли вы, что такое любовь? И вот, я люблю так, что могу отдать жизнь и душу тому, кого я люблю.

Если он перестанет любить меня, я умру от отчаяния, разве что бог ниспошлет мне поддержку, разве что спаситель сжалится надо мной. Я в вашей воле, Рауль, какой бы она ни была; я здесь для того, чтобы умереть, если вы пожелаете моей смерти. Убейте меня, Рауль, если в глубине своего сердца вы считаете меня достойной этого.

– Просит смерти только та женщина, которая может дать обманутому любовнику лишь свою кровь, и ничего больше.

– Вы правы, – молвила она.

Рауль глубоко вздохнул:

– И ваша любовь такова, что вы не в силах отказаться от нее?

– Да, я люблю, и люблю именно так; люблю и не хочу никакой любви, кроме этой.

– Итак, – сказал Рауль, – вы действительно сообщили мне обо всем, что я хотел знать. А теперь, мадемуазель, теперь я, в свою очередь, прошу вас о прощении; ведь я чуть было не стал помехою вашей жизни, ведь я виноват пред вами и, ошибаясь, помогал ошибаться и вам.

– О столь многом я не прошу вас, Рауль! – воскликнула Лавальер.

– Вина целиком на мне, – продолжал Рауль, – я лучше вашего знал о трудностях жизни, и мне следовало открыть вам глаза; мне следовало внести полную ясность в отношения между нами, мне следовало заставить заговорить ваше сердце, а я едва добился, чтобы заговорили ваши уста. Повторяю вам, мадемуазель, прошу вас простить меня.

– Это невыносимо, совершенно невыносимо! Вы издеваетесь надо мной!

– Как это?

– Да, невыносимо! Нельзя быть таким хорошим, таким необыкновенным, таким безупречным.

– Погодите, – остановил ее Рауль с горькой усмешкой, – еще немного, и вы скажете, может быть, что я не любил вас любовью мужчины.

– О, вы любите меня, вы любите нежною братской любовью! Позвольте мне сохранить эту надежду, Рауль.

– Нежною братской любовью? О, не обманывайтесь, Луиза. Я люблю вас, как любит любовник, как муж, я любил вас нежнее всех тех, кто вас любит или будет любить.

– Рауль! Рауль!

– Братской любовью? О Луиза, я любил вас так, что отдал бы за вас всю свою кровь, каплю за каплей, всю свою плоть, клочок за клочком, вечность, ожидающую меня за гробом, мгновение за мгновением.

– Рауль, Рауль! Сжальтесь!

– Я любил вас так, что мое сердце мертво, что моя вера колеблется, что глаза мои угасают. Я любил вас так, что теперь все для меня пустыня – и на земле и на небе.

– Рауль, Рауль, друг мой, умоляю вас, пощадите меня! – воскликнула Лавальер. – О, если б я знала!..

– Слишком поздно, Луиза! Вы любите, вы счастливы. Я вижу заполняющую вас радость сквозь слезы на ваших глазах. За слезами, которые проливает ваша порядочность, я ощущаю вздохи, порождаемые вашей любовью. О Луиза, Луиза, вы сделали меня несчастнейшим из людей. Уйдите, заклинаю вас!

Прощайте, прощайте!

– Простите меня, умоляю, простите!

– Разве я не сделал большего? Разве я не сказал, что люблю вас?

Лавальер закрыла руками лицо.

– А сказать вам об этом в такую минуту, сказать так, как говорю я, это то же, что прочитать себе в вашем присутствии приговор, осуждающий меня на смерть. Прощайте!

Лавальер хотела протянуть ему руку.

– В этом мире мы не должны больше встречаться, – проговорил Рауль.

Еще немного, и она закричала бы, но он закрыл ей рукою рот. Она поцеловала руку Рауля и потеряла сознание.

– Оливен, – сказал Рауль, – поднимите эту молодую даму и снесите в портшез, который ожидает ее внизу.

Оливен поднял Лавальер. Рауль сделал движение, чтобы броситься к ней, чтобы поцеловать ее в первый и последний раз в жизни, но, сдержав свой порыв, он произнес:

– Нет, это не мое достоинство. Я не король Франции, чтобы красть!

И он затворился у себя в комнате, предоставив лакею унести все еще не пришедшую в себя Лавальер.

Глава 22.

ТО, О ЧЕМ ДОГАДАЛСЯ РАУЛЬ

После ухода Рауля, после восклицаний, которыми Атос и д'Артаньян проводили его, они остались наедине. На лицо Атоса тотчас же возвратилось то самое выражение готовности ко всему, которое появилось на нем, едва вошел д'Артаньян.

– Ну, дорогой друг, что же вы хотите мне сообщить?

– Я?

– Конечно. Ведь не станут же вас посылать без особо важного дела?

Атос улыбнулся.

– Черт подери! – воскликнул д'Артаньян.

– Я помогу вам, друг мой. Король в бешенстве? Разве не так?

– Да, должен признаться, он недоволен.

– И вы пришли?..

– От его имени. Вы правы.

– Чтобы арестовать меня?

– Вы попали в самую точку, друг мой.

– Ну что ж, ничего иного я и не ждал. Поехали!

– Погодите! Какого черта! Куда вы торопитесь!

– Я не хочу вас задерживать, – сказал, улыбаясь, Атос.

– Времени у меня хватит! А разве вам не любопытно узнать, что произошло у вас с королем?

– Если вам угодно рассказать мне об этом, друг мой, я с удовольствием послушаю.

И он указал д'Артаньяну на громоздкое кресло, в котором последний расположился с возможным удобством.

– Видите ли, я охотно сделаю это, – продолжал д'Артаньян, – поскольку наша беседа была достаточно любопытной.

– Слушаю вас.

– Итак, король вызвал меня к себе.

– После моего ухода?

– Вы находились в то время на последних ступенях дворцовой лестницы, как сообщили мне мушкетеры. Я явился. Друг мой, он был не то что красный – он был лиловый. Я еще не знал, что произошло между вами. Я увидел лишь сломанную пополам шпату, лежавшую на полу.

«Господин д'Артаньян! – вскричал король, заведя меня, – здесь только что был граф де Ла Фер; он наглец!»

«Наглец?!» – воскликнул я с таким выражением, что король сразу умолк.

«Господин д'Артаньян, – продолжал, стиснув зубы, король, – готовы ли вы слушать меня и повиноваться моему приказу?»

«Это мой долг, ваше величество».

«Я пожелал избавить этого дворянина от позора быть арестованным у меня в кабинете, поскольку храню о нем кое-какие добрые воспоминания.

Но... вы возьмете карету...»

Я двинулся к дверям.

«Если вам неприятно принимать участие в этом, неприятно арестовывать его, пошлите начальника моей личной охраны».

«Ваше величество, – ответил я, – начальник охраны не нужен, раз я на дежурстве».

«Я не хотел поручать вам столь щекотливое дело, – молвил король ласково, – ведь вы всегда безупречно служили мне, господин д'Артаньян».

«Я не нахожу здесь ничего щекотливого, ваше величество. Я при исполнении служебных обязанностей, вот и все».

«Но я думал, – сказал удивленно король, – что граф давний ваш друг?»

«Будь он мне даже отцом, ваше величество, это не избавило бы меня от несения

службы».

Король посмотрел на меня, и мое бесстрастное лицо, очевидно, рассеяло его опасения.

«Итак, вы арестуете графа де Ла Фер?»

«Конечно, ваше величество, если вы мне отдадите подобный приказ».

«Приказ! Я отдаю этот приказ».

Я поклонился.

«Где находится граф, ваше величество?»

«Вы найдете его».

«И арестую, где бы он ни был?»

«Да... но постарайтесь, чтобы это произошло у него на квартире. Если он успел уехать к себе в поместье, выезжайте из Парижа и нагоните его в пути».

Я наклонился снова, но не двинулся с места.

«Что еще?» – спросил нетерпеливо король.

«Я жду, ваше величество».

«Чего же вы ждете?»

«Подписанного вами приказа».

Король, казалось, был недоволен.

И в самом деле, это было новое проявление ничем не обузданной власти, проявление произвола, если уместно употреблять это слово, говоря о самодержавии. Король нехотя взял перо; помедлив немного, он написал:

«Приказываю капитан-лейтенанту моих мушкетеров, шевалье д'Артаньяну, арестовать графа де Ла Фер, где бы он ни нашел его».

Потом он повернулся ко мне. Я ждал с полнейшей невозмутимостью. Должно быть, он увидел в моем спокойствии вызов, потому что поспешно подписал этот приказ и, передавая его в мои руки, вскричал:

«Идите!»

Я повиновался, и вот я у вас.

Атос пожал руку своего старого друга и произнес:

– Ну что же? Идем!

– Разве вам не требуется привести в порядок дела, прежде чем покинуть при таких обстоятельствах вашу квартиру?

– Мне? Нет, не требуется.

– Как же так?

– Господи боже! Вы же знаете, д'Артаньян, что я всегда смотрел на себя как на простого путника на земле, готового отправиться на край света по приказу моего короля, готового перейти из этого мира в будущий по велению моего бога. Что еще требуется человеку, который предупрежден заранее? Дорожный баул или гроб. И сегодня я готов, как всегда. Везите ж меня!

– А Бражелон?

– Я воспитал его в тех же принципах, которыми руководствовался сам на протяжении своей жизни, и вы должны были заметить, что, увидев вас, он сразу же догадался о причинах вашего посещения. Мы сбили его на некоторое время со следа, по, будьте уверены, он достаточно подготовлен к моей опале, чтобы она могла чрезмерно его утратить. Идем!

– Идем, – спокойно сказал д'Артаньян.

– Друг мой, сломав свою шпагу у короля и бросив ее обломки у его ног, я, по-видимому, свободен от обязанности вручить ее вам?

– Вы правы. А впрочем, на кой черт мне нужна ваша шпага?

– Как мне идти, перед вами или за вами?

– Надо идти со мной под руку, – молвил д'Артаньян.

Он взял графа де Ла Фер под руку и вместе с ним спустился с лестницы.

Так они прошли до подъезда.

Гримо, который встретился им в прихожей, посмотрел на них с беспокойством. Он

достаточно хорошо знал жизнь и подумал, что тут не все ладно.

– Ах, это ты, Гримо? – сказал Атос. – Мы уезжаем...

– Покататься в моей карете, – перебил его д'Артаньян, сопровождая свои слова дружелюбным кивком, предназначенным для слуги.

Гримо ответил гримасой, которая, по-видимому, должна была изображать улыбку. Он проводил обоих друзей до кареты. Атос вошел в нее первым, д'Артаньян вслед за ним, не сказав, впрочем, кучеру, куда ехать. Этот обыденный и ничем не примечательный отъезд Атоса и д'Артаньяна не вызвал никаких толков в квартале. Когда карета выехала на набережную, Атос нарушил молчание.

– Вы, я вижу, везете меня в Бастилию?

– Я? – удивился д'Артаньян. – О нет, я везу вас туда, куда вы сами пожелаете ехать, и никуда больше.

– Как так? – спросил озадаченный этим ответом Атос.

– Черт подери! Вы очень хорошо понимаете, дорогой граф, что я взял на себя поручение короля исключительно ради того, чтобы вы могли поступить по своему усмотрению. Не думаете же вы в самом деле, что я вот так просто, без раздумий, возьму и посажу вас в тюрьму! Если б я не предусмотрел всего наперед, я бы предоставил действовать начальнику королевской охраны.

– Итак? – заключил Атос.

– Итак, повторяю вам, мы едем туда, куда вы сами пожелаете ехать.

– Узнаю вас, друг мой, – сказал Атос, заключая д'Артаньяна в объятия.

– Черт возьми! Все это представляется мне чрезвычайно простым. Кучер доставит вас к заставе Кур-ла-Рен; там вы найдете коня, которого я велел держать для вас наготове; на этом коне вы проскачете три почтовых станции, не останавливаясь. Что до меня, то я между тем вернусь к королю, чтобы сообщить о вашем отъезде, и сделаю это только тогда, когда догнать вас будет уже невозможно. Затем вы достигнете Гавра, а из Гавра переправитесь в Англию. Там вы найдете уютный домик, подаренный мне моим другом Монком, не говоря уже о гостеприимстве, которое вы встретите со стороны короля Карла. Что вы можете возразить против этого плана?

– Везите меня в Бастилию, – улыбнулся граф.

– Вы упрямец! Но прежде все же подумайте.

– О чем?

– О том, что вам больше не двадцать лет. Поверьте, друг мой, я говорю, ставя на ваше место себя самого. Тюрьма для людей нашего возраста гибельна. Нет, нет, я не допущу, чтобы вы зачали в тюрьме. При одной мысли об этом у меня голова идет кругом.

– Друг мой, по счастью, я так же силен телом, как духом. И поверьте, я сохраню эту силу до последнего мгновения.

– Но это вовсе не сила, это – безумие.

– Нет, д'Артаньян, напротив, это – сам разум. Поверьте, прошу вас, что, обсуждая этот вопрос вместе с вами, я нисколько не задумываюсь над тем, угрожает ли вам мое спасение гибелью. Я поступил бы совершенно так же, как поступаете вы, и я воспользовался бы предоставленной вами возможностью, если бы считал для себя приличным бежать. Я принял бы от вас ту услугу, которую, при подобных обстоятельствах, и вы, без сомнения, приняли бы от меня. Нет, я слишком хорошо знаю вас, чтобы коснуться этой темы даже слегка.

– Ах, когда б вы позволили мне действовать в соответствии с моим замыслом, – вздохнул д'Артаньян, – уж заставил бы я короля погоняться за вами!

– Но ведь он все же король, друг мой.

– О, это для меня безразлично, и хотя он король, я бы преспокойно сказал ему: «Заточайте, изгоняйте, истребляйте, ваше величество, все и вся во Франции и в целой Европе! Вы можете приказать мне арестовать и пронзить кинжалом кого вам будет угодно, будь то сам принц, ваш брат! Но ни в коем случае не прикасайтесь ни к одному из четырех мушкетеров, или, черт подери...»

– Милый друг, – ответил спокойно Атос, – я хотел бы убедить вас в одной-единственной вещи, а именно в том, что я желаю быть арестованным и что я больше всего дорожу этим арестом.

Д'Артаньян пожал плечами.

– Да, это так, – продолжал Атос. – Если б вы отпустили меня, я бы добровольно явился в тюрьму. Я хочу доказать этому юнцу, ослепленному блеском своей короны, я хочу доказать ему, что он может быть первым среди людей только при том условии, что будет самым великодушным и самым мудрым из них. Он налагает на меня наказание, отправляет в тюрьму, он обрекает меня на пытку, ну что ж! Он злоупотребляет своею властью, и я хочу заставить его у знать, что такое угрызения совести, пока господь не явит ему, что такое возмездие.

– Друг мой, – ответил на эти слова д'Артаньян, – я слишком хорошо знаю, что если вы произнесли «нет», – значит – нет. Я более не настаиваю. Вы хотите ехать в Бастилию?

– Да, хочу.

– Поедем! В Бастилию! – крикнул д'Артаньян кучеру.

И, откинувшись на подушки кареты, он стал яростно кусать ус, что всегда означало, как было известно Атосу, что он уже принял решение или оно в нем только рождается. В карете, которая продолжала равномерно катиться, не ускоряя и не замедляя движения, воцарилось молчание. Атос взял мушкетера за руку и спросил:

– Вы не сердитесь на меня, д'Артаньян?

– Я? Чего же мне сердиться? Все, что вы делаете из героизма, я сделал бы из упрямства.

– Но вы согласны со мной, вы согласны, что бог отомстит за меня, разве не так, д'Артаньян?

– И я знаю людей на земле, которые охотно ему в этом помогут, – добавил капитан мушкетеров.

Глава 23.

ТРИ СОТРАПЕЗНИКА, КРАЙНЕ ПОРАЖЕННЫЕ ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО СОШЛИСЬ ВМЕСТЕ ЗА УЖИНОМ

Карета подкатила к первым воротам Бастилии. Часовой велел кучеру остановить лошадей, но нескольких слов д'Артаньяна было достаточно, чтобы ее пропустили в крепость.

И пока ехали по широкой сводчатой галерее, ведущей во двор коменданта, д'Артаньян, рысьи глаза которого видели решительно все, и даже сквозь стены, неожиданно вскрикнул:

– Что я вижу, однако!

– Что же вы видите, друг мой? – невозмутимо спросил Атос.

– Посмотрите в том направлении.

– Во двор?

– Да, и поскорее.

– Ну что ж, там карета, и в ней привезли, надо думать, такого же несчастного арестанта, как я.

– Это было бы чрезвычайно забавно.

– Вы говорите загадками, дорогой друг.

– Поспешите взглянуть еще раз, чтобы увидеть, кто выйдет из этой кареты.

Именно в это мгновение второй часовой снова остановил д'Артаньяна, и, пока выполнялись формальности, Атос имел возможность разглядеть на расстоянии ста шагов человека, на которого ему указывал капитан мушкетеров.

Этот человек выходил из кареты у самых дверей управления коменданта.

– Ну, – торопил д'Артаньян, – вы его видите?

– Да, это человек в сером платье.

– Что же вы скажете по этому поводу?

– То, что я знаю о нем не слишком уж много; повторяю, это человек в сером платье, покидающий в данную минуту карету, вот и все.

– Я готов биться об заклад! Это – он.
– Кто же?
– Арамис.
– Арамис арестован? Немыслимо!
– Я вовсе не утверждаю, что он арестован; ведь он один, никто не сопровождает его, и к тому же он приехал на своих лошадях.
– В таком случае что он тут делает?
– О, он коротко знаком с господином Безмо, комендантом Бастилии, сказал д'Артаньян, и в тоне его почувствовалась досада. – Черт подери, мы приехали в самое время.
– Почему?
– Чтобы встретиться с ним.
– Что до меня, то я весьма сожалею об этом. Во-первых, потому, что Арамис огорчится, увидав меня при таких обстоятельствах, и, во-вторых, его огорчит, что мы увидели его здесь.
– Ваше рассуждение безупречно.
– К несчастью, когда встречаешься с кем-нибудь в этой крепости, отступить невозможно, сколько бы ты ни желал избежать свидания.
– Послушайте, Атос, мне пришла в голову мысль: нужно избавить Арамиса от огорчения, о котором вы только что говорили.
– Но как это сделать?
– Я вам сейчас расскажу... а впрочем, предоставьте мне объяснить ему наше посещение крепости на мой собственный лад; я отнюдь не побуждаю вас лгать, для вас это было бы невыполнимо.
– Но что же я должен сделать?
– Знаете что, я буду лгать за двоих; с характером и повадками уроженца Гаскони это не так уж трудно.
Атос рассмеялся. Карета остановилась у того же подъезда, где и карета, доставившая Арамиса, то есть, как мы уже указали, у порога управления коменданта.
– Итак, решено? – вполголоса спросил д'Артаньян, обращаясь к Атосу.
Атос выразил свое согласие кивком головы. Они стали подниматься по лестнице. Если кого-нибудь удивит, что д'Артаньян и Атос с такою легкостью проникли в Бастилию, то мы посоветуем такому читателю вспомнить, что при въезде, то есть у наиболее тщательно охраняемых крепостных ворот, д'Артаньян сказал часовому, что привез государственного преступника, тогда как у третьих ворот, то есть уже во внутреннем дворе крепости, он ограничился тем, что небрежно обронил: «К господину Безмо».
И часовой тотчас же пропустил их к Безмо. Спустя несколько минут они оказались в комендантской столовой, и первым, кто попался на глаза д'Артаньяну, был Арамис, сидевший рядом с Безмо и дожидавшийся обеда, лакомый запах которого распространялся по всей квартире.
Если д'Артаньян притворился, что изумлен этой встречей, то Арамису не было надобности изображать изумление: оно было искренним. При виде обоих друзей он вздрогнул и явственно выдал свое волнение.
Атос и д'Артаньян между тем принялись как ни в чем не бывало здороваться с хозяином и Арамисом, и Безмо, удивленный и озадаченный присутствием этих трех гостей, начал всячески обхаживать их.
– По какому случаю? – спросил Арамис.
– С тем же вопросом и мы обращаемся к вам, – ответил ему д'Артаньян.
– Уж не садимся ли мы все трое в тюрьму? – воскликнул Арамис нарочито весело.
– Да, да! – заметил д'Артаньян. – От этих стен и в самом деле чертовски разит тюрьмой. Господин Безмо, вы, разумеется, помните, что приглашали меня обедать?
– Я?! – вскричал пораженный Безмо.
– Черт возьми! Да вы, никак, с облаков свалились! Неужели вы успели забыть о своем приглашении?

Безмо побледнел, покраснел, взглянул на Арамиса, который, в свою очередь, смотрел на него в упор, и кончил тем, что пробормотал:

– Конечно, я просто в восторге... но... честное слово... я совершенно не помню... Ах, до чего же у меня слабая память!

– Но я, кажется, виноват перед вами, – сказал д'Артаньян с притворным раздражением в голосе.

– Виноваты! Но в чем же?

– В том, что вспомнил о вашем приглашении пообедать. Разве не так?

Безмо бросился к нему и торопливо заговорил:

– Не обижайтесь, дорогой капитан. У меня самая плохая голова во всем королевстве. Отнимите у меня моих голубей и мою голубятню – и я не стою самого последнего новобранца.

– Наконец-то вы, кажется, начали вспоминать, – произнес заносчиво д'Артаньян.

– Да, да, – ответил нерешительно комендант, – вспоминаю.

– Это было у короля. Вы мне рассказали – не знаю уж что – про ваши счета с господами Лувьером и Трамбле.

– Да, – да, конечно.

– И про благоволение к вам господина д'Эрбле.

– А! – вскричал Арамис, устремив пристальный взгляд прямо в глаза несчастного коменданта. – А между тем вы жаловались на свою память, господин де Безмо.

Безмо перебил мушкетера:

– Ну как же! Конечно, вы правы. Я как сейчас вижу себя вместе с вами у короля. Тысяча извинений!

Но заметьте, дорогой господин д'Артаньян, и в этот час, и в любой другой, званный или незванный, вы в моем доме – хозяин, вы и господин д'Эрбле, ваш друг, – сказал он, повернувшись к епископу, – и вы, сударь, – с поклоном добавил он, обращаясь к Атосу.

– Я так всегда и считал, – ответил д'Артаньян. – Вот почему я и приехал. Будучи этим вечером свободен от службы в королевском дворце, я решил заехать к вам запросто и по дороге встретился с графом.

Атос поклонился.

– Граф, только что посетивший его величество, вручил мне приказ, требующий срочного исполнения. Мы были совсем близко от вас. Я решил все же повидаться с вами, хотя бы лишь для того, чтобы пожать вашу руку и представить вам графа, о котором вы с такой похвалой отзывались у короля в тот самый вечер, когда...

– Прекрасно, прекрасно! Граф де Ла Фер, не так ли?

– Он самый.

– Добро пожаловать, граф.

– И он останется с вами обедать. А я, бедная гончая, я должен мчаться по делам службы. Какие же вы счастливые смертные, вы, но не я! – добавил д'Артаньян, вздыхая с такой силою, с какою мог бы вздохнуть разве только Портос.

– Значит, вы уезжаете? – воскликнули в один голос Арамис и Безмо, которых обрадовала приятная неожиданность.

Это не ускользнуло от д'Артаньяна.

– Я оставляю вместо себя благородного и любезного сотрапезника, – закончил д'Артаньян.

И он слегка коснулся плеча Атоса, которого также удивило внезапное решение д'Артаньяна и который не смог скрыть изумления. Это, в свою очередь, было замечено Арамисом, но не Безмо, так как последний не отличался такой догадливостью, как трое друзей.

– Итак, мы лишаемся вашего общества, – снова заговорил комендант.

– Я отлучусь на час или, самое большее, полтора.

К десерту я снова буду у вас.

– В таком случае мы подождем, – пообещал Безмо.

– Не надо, прошу вас. Вы поставите меня в крайне неловкое положение.
– Но вы все же вернетесь? – спросил Атос с сомнением в голосе.
– Разумеется, – сказал д'Артаньян, многозначительно пожимая ему на прощание руку.
И он едва слышно добавил:
– Ждите меня, Атос, будьте непринужденны. И, бога ради, не говорите о деле, которое привело нас с вами в Бастилию.

Новое рукопожатие подтвердило графу, что он должен быть молчалив и непроницаем. Безмо проводил д'Артаньяна до самых дверей.

Арамис, решив заставить Атоса заговорить, осыпал его кучей любезностей, но всякая добродетель Атоса была добродетелью высшей марки. Если б потребовалось, он мог бы сравняться в красноречии с лучшими ораторами на свете; но при случае он предпочел бы скорей умереть, чем произнести хоть один-единственный слог.

Д'Артаньян уехал. Не прошло и десяти минут, как трое оставшихся сотрапезников уселись за стол, ломившийся от самых роскошных яств. Всевозможные жаркие, закуски, соленья, бесконечные вина сменяли друг друга на этом столе, оплачиваемом королевской казной с такой беспримерной щедростью, что Кольбер мог бы легко урезать две трети расходов, и никто в Бастилии от этого не отощал бы.

Только Безмо ел и пил в свое удовольствие. Арамис ни от чего не отказывался; он отведывал всего понемножку. Что до Атоса, то после супа и трех необременительных блюд он больше ни к чему не притрагивался.

Разговор был таким, каким может быть разговор между тремя собеседниками столь различного душевного склада, с такими несхожими мыслями и заботами.

Арамис снова и снова возвращался к вопросу о том, по какой странной случайности Атос остался у Безмо, когда д'Артаньяна там не было, и почему тут не было д'Артаньяна, раз оставался Атос. Атос постиг ум Арамиса до тонкостей; он знал, что тот вечно что-то устраивает и затевает, вечно плетет сети каких-то интриг; рассмотрев хорошенько своего давнего друга, он понял, что и на этот раз Арамис увлечен весьма важными планами. Вслед за ним и Атос углубился в размышления о себе и не раз сам себя спрашивал, почему д'Артаньян столь неожиданно и поспешно покинул Бастилию, оставив там привезенного им заключенного, без соблюдения необходимых формальностей.

Но не на этих действующих лицах повести остановим мы наше внимание.

Мы покинем их за столом, перед остатками каплунов, дичи и рыбы, изуродованных ножом рачительного Безмо. Мы отправимся по следам д'Артаньяна, который, вскочив в ту же карету, что привезла его вместе с Атосом, крикнул в самое ухо кучеру:

– К королю, и пусть мостовая запылает под нами!

Глава 24.

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ЛУВРЕ, ПОКА УЖИНАЛИ В БАСТИЛИИ

Как мы видели в одной из предшествующих глав, де Сент-Эньян выполнил поручение, которое король дал ему к Лавальер, но, несмотря на все свое красноречие, он не мог убедить юную девушку в том, что в лице короля у нее достаточно могущественный защитник и что она не нуждается больше ни в чьей помощи.

При первых же словах королевского фаворита, сообщившего о раскрытии ее тайны, Луиза разразилась рыданиями и отдалась своему горю, которое король счел бы оскорбительным для себя, если б мог наблюдать за ним хотя бы уголком глаза. Де Сент-Эньян, выполняя обязанности посла, обиделся за своего господина и вернулся к нему с отчетом обо всем, что видел и слышал. Здесь-то мы и находим его в большом волнении перед еще более взволнованным королем.

– Но что же она наконец решила? – спросил Людовик. – Что же она решила? Увижу ли я ее, по крайней мере, до ужина? Придет ли она или мне самому надо отправиться к ней?

– Мне кажется, государь, что, если ваше величество желаете увидеться с ней, вам

придется сделать не только первый шаг по направлению к ней, но и проделать весь путь.

– Ничего для меня! Выходит, что этот Бражелон ей очень и очень по сердцу? – пробормотал Людовик XIV сквозь зубы.

– О ваше величество, этого быть не может; мадемуазель де Лавальер любит вас, любит всем сердцем. Ведь вы знаете, что Бражелон принадлежит к той суровой породе людей, которые разыгрывают из себя римских героев.

Король улыбнулся. Он знал, что это значит, – ведь он только что расстался с Атосом.

– Что же касается мадемуазель де Лавальер, то она была воспитана на половине вдовствующей принцессы, то есть уединенно и в строгости. Жених и невеста обменялись клятвами пред луною и звездами, и теперь, государь, чтобы разрушить этот союз, нужен сам дьявол.

Де Сент-Энъян надеялся развеселить короля, но добился обратного улыбка Людовика сменилась полной серьезностью. Он уже почувствовал то, о чем Атос говорил д'Артаньяну: раскаянье. Он думал о том, что молодые люди любили друг друга и поклялись в верности; что один из них сдержал свое слово, а другая – слишком честна и бесхитростна, чтобы не терзаться из-за своей измены.

И вместе с раскаяньем сердце короля уколола ревность. Он не произнес больше ни слова и вместо того, чтобы отправиться к матери, к королеве или к принцессе и немного развлечься и посмеяться дам, как он сам говорил об этом, он опустился в широкое кресло, сидя в котором его августейший отец, Людовик XIII, скучал вместе с Барада и Сен-Маром в течение стольких дней.

Де Сент-Энъян понял, что развеселить короля сейчас невозможно. Он решился на крайнюю меру и произнес имя Луизы. Король поднял голову.

– Как ваше величество предполагаете провести вечер? Надо ли предупредить мадемуазель де Лавальер?

– Черт возьми! Она предупреждена, как мне кажется.

– Устроим ли мы прогулку?

– Мы только что возвратились с прогулки, – ответил король.

– Что же мы станем делать, ваше величество?

– Мечтать, де Сент-Энъян, мечтать каждый о своем. Когда мадемуазель де Лавальер достаточно оплачет то, что она оплакивает (в сердце короля все еще говорило раскаянье), тогда, быть может, она соблаговолит подать нам весть о себе.

– Ах, ваше величество, как можете вы так неверно судить о столь преданном сердце?

Король покраснел от досады, ревность начала мучить его. Де Сент-Энъян понимал, что положение усложняется, как вдруг раздвинулись складки портьеры. Король бросился к двери; первая его мысль была, что принесли записку от Лавальер. Но вместо посланца любви он увидел капитана мушкетеров, который молча застыл на порете.

– Господин д'Артаньян! – сказал он. – Это вы!.. Ну как?

Д'Артаньян посмотрел на де Сент-Энъяна. Глаза короля устремились в ту же сторону, что и глаза его капитана. Эти взгляды были бы ясны для всякого, тем более они были понятны де Сент-Энъяну. Придворный поклонился и вышел. Король и д'Артаньян остались наедине.

– Итак, это сделано? – начал король.

– Да, ваше величество, – серьезным тоном ответил капитан мушкетеров.

– Сделано.

Король умолк, он не находил нужных слов. Однако гордость не позволяла ему остановиться на сказанном. Если король принял решение, даже несправедливое, ему надо доказать всякому, кто присутствовал при том, как это решение принималось, и особенно себе самому, что он был прав, принимая его. Для этого существует лишь одно безотказно действующее средство, а именно – придумать вину для своей жертвы.

Людовик, воспитанный Мазарини и Анной Австрийской, владел ремеслом короля лучше любого другого монарха. Он и на этот раз постарался представить доказательства этого. После непродолжительного молчания, во время которого он обдумывал про себя все то, что мы

только что изложили, он небрежно бросил:

– Что сказал граф?

– Ничего, ваше величество.

– Не дал же он арестовать себя молча?

– Он сказал, что был готов к этому, ваше величество.

Король вскинул голову и надменно произнес:

– Полагаю, что граф де Ла Фер перестал разыгрывать из себя бунтаря?

– Прежде всего, ваше величество, кого вы называете бунтарем? – спокойно спросил мушкетер. – Разве в глазах короля тот, кто не только дает себя запереть в Бастилию, но еще и сопротивляется тем, кто не хочет везти его в эту крепость, бунтарь?

– Тем, кто не хочет везти его в крепость? – воскликнул король. – Капитан, что я слышу? Вы с ума сошли, что ли?

– Не думаю, ваше величество.

– Вы говорите о людях, которые не хотели арестовать графа де Ла Фер?..

– Да, ваше величество.

– Но кто эти люди?

– Очевидно, те, на кого вашим величеством было возложено данное поручение, – сказал мушкетер.

– Но ведь оно было возложено мною на вас, капитан! – закричал король.

– Да, ваше величество, на меня.

– И вы говорите, что, несмотря на мое приказание, вы имели намерение не брать под арест человека, который меня оскорбил?

– Именно так, ваше величество.

– О!

– Больше того, я предложил графу сесть на коня, которого велел приготовить ему у заставы Конферанс.

– С какой целью вы приготовили коня?

– Для того, ваше величество, чтобы граф де Ла Фер мог доехать до Гавра, а оттуда перебраться в Англию.

– В таком случае вы мне изменили, сударь! – воскликнул король в порыве неукротимой ярости.

– Да, государь!

На слова, произнесенные таким тоном, отвечать было нечего. Король встретил настолько упорное сопротивление, что оно поразило его.

– Было ли у вас основание вести себя таким образом, господин д'Артаньян? – величественно спросил Людовик.

– Я никогда не действую без оснований, ваше величество.

– Но этим основанием не была дружба, единственное, что могло бы извинить вас, единственное, что могло бы иметь хоть какой-нибудь вес; ведь ваше положение в этом деле было исключительно благоприятным. Решать было предоставлено вам.

– Мне, ваше величество?

– Разве вы не имели выбора – арестовать графа де Ла Фер или отказаться от этого поручения?

– Да, ваше величество, но...

– Но что? – нетерпеливо перебил д'Артаньяна король.

– Вы предупредили меня, ваше величество, что если я не арестую его, то его арестует начальник охраны.

– Разве я не упростил для вас это дело? Ведь я не понуждал вас брать под арест вашего друга графа.

– Для меня упростили, для моего друга – нет.

– Почему?

– Потому что он был бы все равно арестован либо мною, либо начальником вашей

охраны.

– Вот какова ваша преданность, сударь!.. Преданность, которая рассуждает, которая позволяет себе выбирать? Сударь, вы не солдат!

– Я жду, чтобы ваше величество соблаговолили сказать, кто же я.

– Вы – фрондер.

– А так как Фронды больше не существует, то кто же я все-таки, государь...

– Но если то, что вы говорите, – правда...

– Я всегда говорю только правду.

– Для чего же вы явились сюда? Я хочу знать об этом!

– Я пришел сказать королю: государь, граф де Ла Фер в Бастилии...

– Но к этому вы, оказывается, непричастны.

– Это верно. Но раз он там, все же важно, чтоб ваше величество были об этом осведомлены.

– Господин д'Артаньян, вы оказываете неуважение своему королю.

– Ваше величество...

– Господин д'Артаньян, предупреждаю вас, вы злоупотребляете терпением своего короля.

– Напротив, ваше величество – Что это значит – напротив?

– Я явился сюда, чтобы вы приказали арестовать и меня.

– Арестовать вас?

– Конечно Мой друг будет скучать в тюрьме, и я пришел просить ваше величество о разрешении составить ему компанию. Пусть ваше величество произнесет свое слово, и я сам себя арестую, ручаюсь, что для этого начальник охраны отнюдь не понадобится.

Король бросился к письменному столу и схватил перо, чтобы написать приказ о заключении д'Артаньяна в Бастилию – Имейте в виду, сударь, что это навеки! – воскликнул он угрожающим тоном.

– Еще бы, – сказал в ответ мушкетер, – после столь похвального поступка вы, разумеется, не посмеете посмотреть мне в глаза.

Король резко отбросил перо.

– Уходите! Уходите немедленно!

– О нет, я останусь, с вашего позволения, государь!

– Что это значит?

– Ваше величество, я пришел спокойно переговорить с королем, к несчастью, король вспылал, но я скажу королю все, что почитаю своим долгом сказать ему.

– В отставку, сударь, в отставку! – вскричал король.

– Вы знаете, ваше величество, что меня не пугает отставка; ведь в Блуа, в тот самый день, когда вы отказали королю Карлу в миллионе, который дал ему после этого мой друг граф де Ла Фер, я уже обращался к вашему величеству с просьбой об отставке.

– Хорошо, говорите, и покороче!

– Нет, ваше величество, сейчас речь пойдет не об отставке. Вы взяли перо, чтоб отправить меня в Бастилию, почему вы меняете ваше решение.

– Д'Артаньян! Гасконская голова! Кто же из нас король – вы или я?

– К несчастью, ваше величество, вы...

– Что означает ваше «к несчастью»?

– Да, государь, к несчастью, ибо, если бы королем был я...

– Если бы королем были вы, вы бы одобрили бунт шевалье д'Артаньяна, не так ли?

– Разумеется – В самом деле. – И король пожал плечами.

– И я сказал бы своему капитану мушкетеров, – продолжал д'Артаньян, я сказал бы ему, глядя на него человеческими глазами, а не горящими угольями: «Господин д'Артаньян, я забыл о том, что я – король Я спустился с трона, чтобы оскорбить дворянина»

– Сударь, неужели вы думаете, что, превосходя своего друга в дерзостях, вы умаляете тем самым его вину.

– О ваше величество, я пойду гораздо дальше его, и в этом повинны вы сами Я скажу вам то, чего не сказал бы этот наиделикатнейший из людей, государь, вы обрекли на заклятие его сына, и он защищал своего сына, вы обрекли на заклятие и его самого; он говорил с вами во имя чести, религии и добродетели, но вы оттолкнули его, прогнали, посадили в тюрьму Я буду резче, чем он, и скажу вам выбирайте, ваше величество? Хотите ли вы иметь возле себя друзей или лакеев, воинов или шаркунов, отвешивающих поклоны? Благородных людей или паяцев? Хотите ли вы, чтобы вам служили или чтобы гнули перед вами шею? Хотите ли вы, чтобы вас любили или чтобы боялись? Если вы отдаете предпочтение низости, интригам, трусости, то напрямик скажите об этом, ваше величество; мы удалимся, мы, единственные остатки бывшего, я скажу больше – единственные живые примеры доблести прежнего времени, мы, которые служили и превзошли, быть может, в мужестве и заслугах людей, обретших славу в потомстве. Выбирайте, ваше величество, не медлите с выбором. Оберегайте настоящих дворян, которые еще остались при вас, а придворных у вас будет более чем достаточно. Поспешите же и отправьте меня в Бастилию вместе с моим старинным и испытанным другом. Ибо если вы не сумели выслушать графа де Ла Фер, то есть наиболее мудрый и благородный голос дворянской чести, если вы не желаете внимать тому, что говорит д'Артаньян, то есть наиболее откровенному и грубому голосу искренности и прямоты, значит, вы никуда не годный король, а завтра станете жалким в своем бессилии королем. Плохих королей ненавидят, жалких королей прогоняют. Вот что я скажу вам, ваше величество. Вы сами повинны в том, что толкнули меня на эти слова.

Похолодевший и смертельно бледный король откинулся в кресле. Было очевидно, что молния, ударившая у его ног, поразила бы его меньше; казалось, что ему не хватает воздуха и он сейчас задохнется. Грубый голос искренности, о котором говорил д'Артаньян, проник в его сердце, словно клинок.

Д'Артаньян высказал все, что должен был высказать. Понимая гнев короля, он снял с себя шпагу и, почтительно подойдя к Людовику XIV, положил ее перед ним на стол. Но король гневным жестом отбросил шпагу, которая упала на пол и отскочила к ногам д'Артаньяна.

И хотя мушкетер умел владеть собой, как никто, на этот раз он, в свою очередь, побледнел и, дрожа от негодования, произнес:

– Король может подвергнуть солдата опале, может изгнать его, может осудить его на смерть, но, будь он хоть сто раз король, он не имеет права нанести ему тяжкое оскорбление, предав бесчестию его шпагу. Никогда король Франции, государь, не отталкивал от себя с презрением шпагу такого человека, как я. Коль скоро эта шпага поругана, – подумайте об этом, ваше величество, – у нее не может быть других ножен, чем ваше сердце или мое. Я выбираю свое, государь; благодарите бога и мое долготерпение!

Потом, выхватив шпагу, он воскликнул:

– Пусть моя кровь падет на вашу голову, ваше величество!

Стремительным жестом он приложил острие шпаги к своей груди, оперев ее эфес об пол. Но король еще более стремительным движением правой руки обнял за шею славного мушкетера, схватившись левой рукой за середину клинка, который он затем в полном молчании вложил в ножны.

Д'Артаньян, бледный, дрожащий и еще не оправившийся от оцепенения, допустил, чтобы король проделал все это. Тогда Людовик, смягчившись, возвратился к столу, взял перо, набросал несколько строк, подписался под ними и протянул д'Артаньяну написанную им бумагу.

– Что это, ваше величество? – спросил капитан.

– Приказ господину д'Артаньяну немедленно освободить графа де Ла Фер.

Д'Артаньян схватил королевскую руку и запечатлел на ней поцелуй; затем, сложив приказ, он сунул его за борт своей кожаной куртки и вышел.

Ни король, ни капитан не произнесли при этом ни слова.

– О, человеческое сердце! О, компас монархов! – прошептал, оставшись один,

Людовик. – Когда же я научусь читать в твоих сокровенных изгибах так, словно предо мною лежит открытая книга! Нет, я не плохой король, я не жалкий король, но я просто сущий ребенок!

Глава 25. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОПЕРНИКИ

Д'Артаньян, обещавший Безмо возвратиться к десерту, сдержал свое слово. Едва подали коньяки и ликеры, составлявшие гордость комендантского погреба, как в коридоре послышалось звяканье шпор, и на пороге появился капитан мушкетеров.

Атос и Арамис отменно тонко вели игру, и все же ни тому, ни другому не удалось проникнуть в тайны собеседника. Они пили, ели, говорили о Бастилии, о последней поездке в Фонтенбло, о празднестве, которое предполагал устроить у себя в Во Фукс. Разговор все время не покидал общих тем, и никто, кроме Безмо, не коснулся ни разу ничего такого, что могло бы представлять личный интерес для присутствующих.

Д'Артаньян влетел среди общей беседы, все еще бледный и взволнованный своим свиданием с королем Безмо поторопился придвинуть ему стул. Д'Артаньян залпом осушил предложенный ему комендантом полный стакан вина.

Атос и Арамис заметили, что Д'Артаньян сам не свой. Не заметил этого лишь Безмо, который видел в д'Артаньяне капитана мушкетеров его величества, и ничего больше, и старался всячески угодить ему. Принадлежать к окружению короля означало, на взгляд Безмо, располагать неограниченными правами. Хотя Арамис и увидел волнение д'Артаньяна, угадать причину его он все же не мог. Только Атос полагал, что знает ее. Возвращение д'Артаньяна и в особенности возбужденное состояние этого всегда невозмутимого человека как бы говорили ему: «Я только что обратился к королю с просьбой, и король отказал мне в ней». Убеденный в правильности своей догадки, Атос усмехнулся, встал из-за стола и сделал знак д'Артаньяну как бы затем, чтобы напомнить ему, что у них есть и другие дела, кроме того, чтобы ужинать вместе.

Д'Артаньян понял Атоса и ответил ему также знаком. Арамис и Безмо, заметив этот немой диалог, вопросительно посмотрели на них. Атос, решив, что пришла пора объяснить действительное положение дел, произнес с любезной улыбкой:

– Истина, господа, заключается в том, что вы, Арамис, только что ужинали в обществе государственного преступника, который к тому же ваш узник, господин де Безмо.

У Безмо вырвалось восклицание, выражавшее и удивление и одновременно радость. Добрейший Безмо гордился своею тюрьмой. Не говоря уж о выгодах, доставляемых ему заключенными, он был тем счастливее, чем больше их было, и чем более знатными они были, тем большей гордостью он проникался.

Что до Арамиса, то, приняв подобающий обстоятельствам вид, он сказал:

– Дорогой Атос, простите меня, но я был, можно сказать, убежден, что произошло именно то, что и взаправду имеет место. Какая-нибудь выходка Рауля или мадемуазель Лавальер, разве не так?

– Увы! – вздохнул Безмо, – И вы, – продолжал Арамис, – вы, как настоящий вельможа и дворянин, забыв о том, что в наш век существуют только придворные, отправились к королю и выложили ему все то, что думаете о его поведении?

– Вы угадали, друг мой.

– Таким образом, – начал Безмо, дрожа при мысли о том, что он дружески поужинал с человеком, навлекшим на себя немилость его величества, таким образом, граф...

– Таким образом, дорогой комендант, – сказал Атос, – мой друг, господин Д'Артаньян, передаст вам бумагу, которая высовывается из-за борта его кожаной куртки и является, конечно, не чем иным, как приказом о моем заключении.

Безмо привычным жестом протянул руку.

Д'Артаньян и в самом деле вытащил из-за пазухи оба королевских приказа: один из них

он протянул коменданту. Безмо развернул бумагу и вполголоса начал читать ее, поглядывая поверх нее на Атоса и останавливаясь время от времени:

– «Приказ содержать в моей крепости Бастилии...» Очень хорошо... «в моей крепости Бастилии... господина графа де Ла Фер». Ах, сударь, какая печальная честь для меня содержать вас в Бастилии!

– У вас будет терпеливый и непритязательный узник, сударь, – заверил Атос своим ласковым и спокойным голосом.

– И такой, который не пробудет у вас и месяца, дорогой комендант, продолжал Арамис, в то время как Безмо, держа перед собою приказ, переписывал в тюремную ведомость королевскую волю.

– И дня не пробудет, или, вернее, и ночи, – заключил Д'Артаньян, предъявляя второй приказ короля, – потому что теперь, дорогой господин де Безмо, вам придется переписать также и эту бумагу и немедленно освободить графа.

– Ах! – вскричал Арамис. – Вы избавляете меня от хлопот, дорогой Д'Артаньян.

И он с многозначительным видом пожал руку сперва мушкетеру, потом Атосу.

– Как! – удивленно спросил Атос. – Король мне возвращает свободу?

– Читайте, дорогой друг, – сказал Д'Артаньян.

Атос взял приказ и прочел.

– Да, – кивнул он, – вы правы.

– И вас это сердит? – улыбнулся д'Артаньян.

– О нет, напротив! Я не желаю зла королю, а величайшее зло, какое можно пожелать королям, – это чтобы они творили несправедливость. Но вам это далось нелегко, разве не так? Признайтесь же, друг мой!

– Мне? Отнюдь нет, – повернулся к нему мушкетер. – Король исполняет любое мое желание.

Арамис посмотрел д'Артаньяну в лицо и увидел, что это неправда. Что до Безмо, то он не спускал глаз с д'Артаньяна, в таком восторге он был от человека, заставляющего короля исполнять любое свое желание.

– Король посылает Атоса в изгнание? – спросил Арамис.

– Нет, об этом не было речи; король не произнес этого слова, – сказал д'Артаньян. – Но я думаю, что графу и впрямь лучше всего... если только он не собирается благодарить короля...

– Говоря по правде, не собираюсь, – горько усмехнулся Атос.

– Так вот, я считаю, что графу лучше всего удалиться на время в свой замок, – продолжал д'Артаньян. – Впрочем, Атос, говорите, настаивайте.

Если вам приятнее жить где-нибудь в другом месте, я уверен, что добьюсь соответствующего разрешения короля.

– Нет, благодарю вас, дорогой д'Артаньян, – ответил Атос, – для меня нет ничего приятнее, чем вернуться к моему одиночеству, под раскидистые деревья на берегу Луары; если господь лучший целитель душевных ран, то природа – лучшее лекарство от них. Значит, сударь, – обратился Атос к Безмо, – я свободен?

– Да, граф, полагаю, что так; надеюсь, по крайней мере, – проговорил комендант, вертя во все стороны обе бумаги, – при условии, разумеется, что у господина д'Артаньяна не припасено еще одного приказа.

– Нет, дорогой господин Безмо, нет, – засмеялся мушкетер, – вам следует держаться второго приказа, и на нем мы с вами поставим точку.

– Ах, граф, – сказал Атосу Безмо, – да знаете ли вы, чего вы лишаетесь? Я назначил бы вам ежедневное содержание в тридцать ливров, как генералам; да что там! – пятьдесят, как положено принцам, и вы бы всякий раз ужинали, как поужинали сегодня.

– Уж позвольте мне, сударь, предпочесть мой скромный достаток.

Повернувшись затем к д'Артаньяну, Атос произнес:

– Пора, друг мой.

– Пора, – подтвердил д'Артаньян.

– Не доставите ли вы мне радости быть моим спутником, дорогой друг? спросил д'Артаньяна Атос.

– Лишь до ворот: достигнув их, я скажу вам то же, что сказал королю:

«Я при исполнении служебных обязанностей».

– А вы, дорогой Арамис, – сказал, улыбаясь, Атос, – могу ли я рассчитывать на вас как на спутника: ведь Ла Фер по дороге в Ванн.

– У меня этим вечером, – ответил прелат, – свидание в Париже, и я не могу пренебречь этим свиданием, не нанеся серьезного ущерба весьма важным делам.

– Тогда, дорогой друг, позвольте заключить вас в объятия и удалиться.

Господин де Безмо, благодарю вас за вашу любезность и особенно за яства, которыми вы потчуете бастильских узников и с которыми меня познакомили.

Обняв Арамиса и пожав руку Безмо, выслушав от того и другого пожелание счастливо доехать, Атос с д'Артаньяном откланялись и удалились.

Расскажем теперь о том, что произошло в доме Атоса и Рауля де Бражелона в то самое время, когда в Бастилии разыгрывалась развязка сцены, начало которой мы наблюдали в королевском дворце.

Как мы видели, Гримо сопровождал своего господина в Париж и, как мы сказали выше, присутствовал при отъезде Атоса; он видел, как д'Артаньян покусывал ус, он видел, как его господин сел в карету; вглядевшись в лицо того и другого и зная эти лица достаточно долгое время, он понял, несмотря на их внешнюю невозмутимость, что произошло нечто важное.

После отъезда Атоса он принялся размышлять. Он вспомнил, как странно Атос попрощался с ним, вспомнил о том смущении, которое он заметил в хозяине, человеке со столь четкими мыслями и такой нестигаемой волей, смущении, неприметном для всех, но только не для него. Он знал, что Атос не взял с собой никаких вещей, а между тем у него создалось впечатление, что он уезжает не на час и даже не на день. По тону, каким, обращаясь к Гримо, Атос произнес слово «прощай», чувствовалось, что он уезжает надолго.

Все это пришло в голову Гримо одновременно с нахлынувшим на него чувством глубокой привязанности к Атосу, с тем ужасом пред пустотой и одиночеством, которые постоянно занимают воображение тех, кто любит; короче говоря, все эти мысли и ощущения повергли честного Гримо в грусть и посеяли в нем тревогу.

Не найдя, однако, никаких указаний, которые могли бы направить его, не заметив и не обнаружив ничего, что могло бы укрепить в нем сомнения, Гримо отдался своему воображению и стал строить догадки относительно случившегося с его господином. Ведь воображение – это прибежище или, вернее, наказание для сердец, полных привязанности. И впрямь никогда еще не случалось, чтобы человек с привязчивым сердцем представлял себе своего друга счастливым или веселым. И никогда голубь, который пустился в полет, не внушает голубю, оставшемуся на месте, ничего, кроме страха перед ожидающей его участью.

Итак, Гримо перешел от тревоги к страху. Он восстановил в памяти последовательность хода событий: письмо д'Артаньяна к Атосу, письмо, которое так огорчило Атоса, затем посещение Атоса Раулем, посещение, после которого Атос потребовал свои ордена и придворное платье; потом свидание с королем, свидание, после которого Атос воротился домой в таком мрачном расположении духа, далее объяснение отца с сыном, объяснение, после которого Атос с такой грустью обнял Рауля, а Рауль с такой грустью ушел к себе; наконец, появление д'Артаньяна, пощипывающего усы, после чего граф де Ла Фер уехал вметете с д'Артаньяном в карете. Все это в совокупности представляло собою драму в пять актов, достаточно ясную и прозрачную даже для менее искушенных и тонких психологов, чем Гримо.

И Гримо прибег к решительным средствам. Он принялся перетряхивать придворное платье своего господина, чтобы разыскать там письмо д'Артаньяна. Письмо все еще лежало в кармане, и он прочитал следующее:

«Дорогой друг! Рауль потребовал от меня сведений о поведении мадемуазель де

Лавальер во время пребывания нашего юного друга в Лондоне. Я бедный капитан мушкетеров, и уши мои весь день набивают казарменными и альковными сплетнями. Если бы я сообщил Раулю все, что думаю и что слышал, бедный мальчик не вынес бы этого. К тому же я служу королю и не могу обсуждать его поведение. Если сердце велит вам действовать, действуйте. Дело в большей мере затрагивает вас, чем меня, и притом вас почти столько же, сколько Рауля».

Гримо вырвал у себя полпрядки волос. Он вырвал бы больше, если бы волосы у него были хоть чуточку гуще.

«Вот где, – сказал он себе, – нужно искать разгадку! Мадемуазель натворила неладное. То, что говорят о ней и короле, – сушая правда. Наш молодой господин обманут. Он, наверное, проведал об этом. Граф отправился к королю и высказал ему начистоту все, что думает. Ах, боже мой, граф вернулся без шпаги!»

От этого открытия на лбу у преданного слуги выступил пот. Он больше не размышлял: он нахлобучил на голову шляпу и побежал к Раулю.

После ухода Луизы Рауль успел укротить в себе если не любовь, то страдание и, мысленно оглядывая опасный путь, на который увлекли его безумие и возмущение, сразу увидел своего отца в бессильной борьбе с королем, борьбе, начатой к тому же самим Атосом. В этот момент прозрения несчастный юноша вспомнил таинственные знаки Атоса, неожиданное посещение д'Артаньяна, и его воображению представилось то, чем кончается всякое столкновение между монархом и подданным.

«Д'Артаньян на дежурстве, стало быть, прикован к своему посту, – думал Рауль, – и он не поехал бы к графу де Ла Фер ради удовольствия повидаться с ним. Он пустился в путь лишь потому, что должен был сообщить ему нечто такое, чего он, Рауль, не знает. Это нечто, при столь сложном стечении обстоятельств, таило в себе по меньшей мере угрозу, а может быть, и прямую опасность».

Рауль содрогнулся при мысли о том, что он вел себя как отъявленный эгоист, что забыл об отце из-за своей несчастной любви, что искал забвения в горькой усладе отчаяния, тогда как ему следовало, быть может, встать на защиту Атоса и отразить удар, направленный прямо в него.

Эта мысль заставила его встрепенуться. Он пристегнул к поясу шпагу и побежал к дому отца. По дороге он столкнулся с Гримо, который с другого конца, но с тем же Жаром бросился на поиски истины. Они обнялись. Оба они оказались в одной и той же точке параболы, описанной их воображением.

– Гримо! – вскричал Рауль.

– Господин Рауль! – воскликнул Гримо.

– Как граф?

– Вы его видели?

– Нет, а где он?

– Я и сам разыскиваю его.

– А господин д'Артаньян?

– Уехал с ним вместе.

– Когда?

– Через десять минут после вас.

– Верхом?

– Нет, в карете.

– Куда же они направились?

– Не знаю.

– Взял ли отец с собой деньги?

– Нет.

– Шпагу?

– Нет.

– Гримо!
 – Господин Рауль!
 – Мне кажется, что д'Артаньян приехал...
 – Чтобы арестовать графа, не так ли?
 – Да, Гримо.
 – Я готов в этом поклясться.
 – Какой дорогой они поехали?
 – По набережным.
 – К Бастилии?
 – Господи боже! Да!
 – Поторапливайся! Бежим!
 – Бежим!
 – Но куда? – спросил удрученный Рауль.
 – Отправимся сперва к шевалье д'Артаньяну, бить может, мы что-нибудь там и узнаем.
 – Нет, если он скрыл от меня правду, находясь у отца, он и дальше будет таить ее.
 Пойдем к... О господи, по я сегодня окончательно обезумел!
 Гримо!
 – Что еще?
 – Я забыл о господине дю Валлон.
 – Господине Портосе?
 – Который все еще ожидает меня. Увы! Я тебе говорил, что я окончательно обезумел.
 – Ожидает вас? Где же?
 – У Меньших Братьев в Венсенском лесу!
 – Господи боже!.. К счастью, это недалеко от Бастилии.
 – Скорее! Скорее!
 – Сударь, я велю оседлать лошадей.
 – Да, друг мой, иди позаботься о лошадях.

Глава 26.

ПОРТОС ВНЯЛ УБЕЖДЕНИЯМ, НО СУТИ ДЕЛА ВСЕ ЖЕ НЕ ПОНЯЛ

Достойный Портос, верный законам старинного рыцарства, решил дожидаться де Сент-Эньяна, пока не стемнеет. Но поскольку де Сент-Эньян не мог прибыть к месту встречи, поскольку Рауль забыл предупредить об этом своего секунданта и поскольку ожидание затягивалось до бесконечности и становилось все томительней и томительней, Портос велел сторожу, стоявшему неподалеку у ворот, раздобыть для него несколько бутылок порядочного вина и побольше мяса, чтобы было, по крайней мере, чем поразвлечься, пропуская время от времени славный глоток вместе со славным куском. И он дошел уже до последней крайности, то есть, говоря по-иному, до последних кусочков, когда Рауль и Гримо, гоня во весь опор лошадей, подскакали к нему.

Увидев на дороге двух всадников, Портос ни на мгновение не усомнился, что это не кто иной, как противники. Он поспешно вскочил с травы, на которой успел удобна расположиться, и принялся разминать колени и кисти рук.

«Вот что значит иметь хорошие боевые привычки! Этот негодяй все же посмел явиться. Если бы я удалился отсюда, он, не найдя тут никого, получил бы несомненное преимущество перед нами», – думал Портос.

Выпятив грудь, он принял наиболее воинственную из своих поз» продемонстрировав поистине атлетическое сложение. Но вместо де Сент-Эньяна ему пришлось столкнуться с Раулем, который, отчаянно крича и жестикулируя, устремился к нему.

– Ах, дорогой друг! Простите меня! До чего ж я несчастлив!
 – Рауль! – поразился Портос.
 – Вы не сердитесь на меня? – вскричал Рауль, обнимая Портоса.

- Я? За что?
- За то, что я позабыл о вас. Но я прямо потерял голову.
- Что же случилось?
- Если б вы знали, друг мой!
- Вы убили его?
- Кого?
- Де Сент-Эньяна.
- Увы! Теперь мне не до Сент-Эньяна!
- Что еще?

– То, что граф де Ла Фер, надо полагать, арестован.

Портос сделал движение, которое могло бы опрокинуть каменную стену.

– Арестован?.. Кем?

– Д'Артаньяном.

– Немыслимо! – произнес Портос.

– И тем не менее это правда, – ответил Рауль.

Портос повернулся к Гримо, как бы затем, чтобы найти у него подтверждение. Гримо кивнул головой.

– Куда же его отвезли?

– Вероятно, в Бастилию.

– Что навело вас на это предположение?

– По дороге мы расспрашивали разных людей: одни видели, как проезжала карета, другие – как она въехала в ворота Бастилии.

– О-хо-хо! – вздохнул Портос. И он сделал два шага в сторону.

– Какое решение вы принимаете? – спросил у него Рауль.

– Я? Никакого. Но я не желаю, чтобы Атос оставался в Бастилии.

Рауль подошел к Портосу поближе.

– Знаете ли вы, что арест произведен по приказу самого короля?

Портос посмотрел на юношу; его взгляд говорил: «А мне-то какое дело до этого?» Это немое восклицание показалось Раулю настолько красноречивым, что он больше уже не обращался к Портосу с вопросами. Он сел на коня. Портос с помощью Гримо сделал то же.

– Выработаем план действий, – сказал Рауль.

– Да, конечно, давайте-ка выработаем наш план, – согласился Портос.

Рауль внезапно остановился.

– Что с вами? – спросил Портос. – Слабость?

– Нет, бессилие! Не можем же мы втроем взять Бастилию.

– Ах, если бы д'Артаньян был в нашей компании, я бы не отказался от этого.

Рауль пришел в восторг от этой героической – потому что она была бесконечно наивной – веры во всемогущество д'Артаньяна. Вот они, эти знаменитые люди, втроем или вчетвером нападавшие на целые армии и осаждавшие замки! Напугав смерть и пережив целый век, лежавший теперь в развалинах, эти люди были все еще сильнее, чем самые дюжие из молодых.

– Сударь, – сказал Портосу Рауль, – вы мне внушили мысль, что нам необходимо повидать д'Артаньяна.

– Конечно.

– Надо думать, что, отвезя моего отца в крепость, он уже успел возвратиться к себе.

– Справимся прежде в Бастилии, – предложил Гримо, который говорил мало, но дельно.

И они поспешили к Бастилии. По странной случайности – такие случайности боги даруют лишь людям с сильною волей – Гримо неожиданно заметил карету, въезжающую на подъемный мост у ворот Бастилии. Это был д'Артаньян, возвращавшийся от короля.

Напрасно Рауль пришпорил коня, рассчитывая настигнуть карету и увидеть, кто в ней едет. Лошади остановились по ту сторону массивных ворот, ворота закрылись за ними, и конь Рауля ткнулся мордой в мушкет часового.

Рауль повернул назад, довольный, что он все же видел карету, в которой и был, очевидно, доставлен его отец.

– Теперь карета в наших руках, – заметил Гримо.

– Нам следует подождать, ведь она, несомненно, поедет обратно, не так ли, друг мой? – сказал Рауль, обращаясь к Портосу.

– Если и д'Артаньян не подвергнут аресту, – ответил Портос. – В противном случае все потеряно.

Рауль ничего не ответил: можно было допустить все что угодно. Он посоветовал Гримо поставить лошадей на маленькой улице Жан Босир, чтобы не возбуждать подозрений, тогда как сам стал подстерегать выезд из Бастилии д'Артаньяна или той самой кареты, которую он только что видел.

Это решение оказалось правильным. Не прошло и двадцати минут, как снова распахнулись ворота, и в них показалась карета. Раулю, однако, и на этот раз не посчастливилось рассмотреть находившихся в ней. Гримо, впрочем, клялся, что в ней было двое и один из них – его господин. Портос поглядывал то на Рауля, то на Гримо в надежде понять их.

– Ясно, – сказал Гримо, – если граф в этой карете, значит, его или отпускают на волю, или перевозят в другую тюрьму.

– Сейчас мы это узнаем; все дело в том, какую дорогу они выберут, заметил Портос.

– Если моего господина освобождают, то его повезут домой, – проговорил Гримо.

– Это верно, – подтвердил Портос.

– Карета едет в другом направлении, – указал Рауль.

И действительно, карета въехала в предместье Сент-Антуан.

– Поскачем, – предложил Портос. – Мы нападём на карету и предоставим Атосу возможность бежать вместе с нами.

– Мятеж! – прошептал Рауль.

Портос снова посмотрел на Рауля, и этот второй его взгляд был достойным дополнением к первому, устремленному им незадолго пред этим на Рауля и на Гримо с целью выяснить их намерения.

Через несколько мгновений трое всадников догнали карету; они следовали за нею так близко, что дыхание их лошадей увлажняло ее заднюю стенку.

Д'Артаньян, внимание которого было неизменно настроже, услышал топот коней. В этот момент Рауль крикнул Портосу, чтобы он обогнал карету и посмотрел, кто сопровождает Атоса. Портос дал шпоры коню и оказался вровень с каретою, но ничего не увидел, так как занавески на ее окнах были опущены.

Гнев и нетерпение охватили Рауля. Он только теперь уяснил себе в полной мере, какую таинственностью окружали Атоса сопровождающие его, и решился на крайние меры.

Д'Артаньян, однако, узнал Портоса. Из-за кожаных занавесок он разглядел также Рауля. О результатах своих наблюдений он сообщил графу де Ла Фер. Но им обоим хотелось знать, пойдут ли Портос и Рауль до конца.

Так и случилось. Рауль с пистолетом в руке подскочил к головной лошади и крикнул кучеру: «Стой!» Карета остановилась. Портос снял кучера с козел. Гримо уцепился за ручку на дверце кареты.

Рауль открыл объятия и закричал:

– Граф! Граф!

– Это вы, Рауль? – молвил Атос, опьяненный радостью.

– Недурно! – добавил, смеясь, Д'Артаньян.

И оба они обняли юношу и Портоса.

– Мой храбрый Портос, мой преданный друг, – вскричал Атос, – вы всегда тут как тут!

– Ему все еще двадцать лет, – сказал Д'Артаньян. – Браво, Портос!

– Черт подери, – проговорил немного смущенный Портос, – да ведь мы думали, что вы арестованы.

– А между тем, – перебил Атос, – дело шло лишь о прогулке в карете шевалье д'Артаньяна.

– Мы следили за вами от самой Бастилии, – ответил Рауль, и в тоне его явственно ощущалось недоверие и упрек.

– Куда мы ездили ужинать к добрейшему господину Безмо. Помните ли Безмо, Портос?

– Конечно, отлично помню.

– И мы видели там Арамиса.

– В Бастилии?

– Да. За ужином.

– Ах, – облегченно вздохнул Портос.

– Он просил передать вам тысячу приветов.

– Спасибо.

– Куда же едет господин граф? – спросил Гримо, которого его хозяин успел уже поблагодарить признательной улыбкой.

– Мы отправляемся в Блуа, домой.

– Как?.. Прямо отсюда? Без багажа?

– Так и едем. Я собирался просить Рауля, чтобы он прислал мои вещи или привез их сам, если бы пожелал приехать ко мне.

– Если ничто не удерживает его больше в Париже, – сказал Д'Артаньян, посмотрев на Рауля прямым и острым, как стальной клинок, взглядом, способным так же, как клинок, вызывать боль – ведь он разбередил раны юноши, – он поступил бы лучше всего, уехав с вами, Атос.

– Теперь меня ничто не удерживает в Париже, – ответил Рауль.

– Значит, мы едем вместе, – решил Атос.

– А господин д'Артаньян?

– О, я собирался проводить Атоса лишь до заставы? оттуда мы возвратимся вместе с Портосом.

– Отлично, – отозвался Портос.

– Подите сюда, сын мой! – проговорил граф, ласково обнимая Рауля за шею и усаживая его в карету. – Гримо, – продолжал граф, – ты не спеша вернешься в Париж, ведя в поводу коня господина дю Валлона. Что же касается меня и Рауля, то мы пересядем на верховых лошадей, предоставив карету господам д'Артаньяну и дю Валлону, которые вернутся в Париж. Приехав домой, ты соберешь мои вещи и вместе с письмами перешлешь их в Блуа.

– Но когда вы приедете снова в Париж, – заметил Рауль, рассчитывая побудить графа высказаться, – вы останетесь без белья и всех остальных вещей, и это будет чрезвычайно неудобно.

– Полагаю, Рауль, что я уезжаю надолго. Последнее мое пребывание здесь не порождает во мне особенного желания возвращаться сюда, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Рауль опустил голову и замолчал.

Атос вышел из кареты и сел на коня, на котором приехал Портос и который, видимо, был немало обрадован тем, что сменил своего всадника.

Друзья обнялись на прощание, пожали друг другу руки и обменялись уверениями в вечной дружбе. Портос обещал провести у Атоса, как только будет располагать досугом, не менее месяца. Д'Артаньян также пообещал приехать в Блуа, как только получит отпуск. Обняв Рауля в последний раз, он шепнул ему:

– Я напишу тебе, мой дорогой.

Это было так много для д'Артаньяна, который никогда никому не писал, что Рауль был тронут до слез. Он вырвался из объятий мушкетера и поскакал.

Д'Артаньян уселся в карету, где его поджидал Портос.

– Ну и денек, друг мой, – сказал он, обращаясь к Портосу.

– Да, да, – подтвердил Портос.

– Вы, должно быть, порядком устали?

– Нельзя сказать, чтобы очень. Однако я лягу пораньше, чтобы завтра быть свежим и отдохнувшим.

– А позвольте спросить, для чего?

– Для того, чтоб закончить начатое мною сегодня, я полагаю.

– Вы волнуете меня, друг мой. Я вижу, что вы чем-то встревожены. Какую же чертовщину вы начали и что оставили незаконченным?

– Послушайте, ведь Рауль так и не дрался. Выходит, что драться предстоит мне.

– С кем? С его величеством королем?

– Как это с королем? – спросил пораженный Портос.

– Ну да, конечно, мое большое дитя, с королем.

– Но, уверяю вас, – с господином де Сент-Эньяном.

– Вот что я намерен сказать вам, Портос. Обнажив шпагу против этого дворянина, вы обнажаете шпагу против самого короля.

– Что вы? – вытаращил глаза Портос. – И вы в этом уверены?

– Еще бы!

– Как же уладить в таком случае это неприятное дело?

– Мы постараемся хорошенько поужинать с вами. Стол капитана мушкетеров, как говорят, недурен. Вы увидите за ужином красавца де Сент-Эньяна и выпьете вместе со мной за его здоровье.

– Я? – ужаснувшись, вскричал Портос.

– Как? Вы отказываетесь пить за здоровье его величества?

– Но, черт возьми, я не говорю о его величестве короле, я говорю о господине де Сент-Эньяне!

– Повторяю вам, эта – одно и то же.

– Раз так... Ну что же... – буркнул побежденный Портос.

– Вы меня поняли, дорогой мой?

– Нет, но теперь это не имеет значения.

– Это и впрямь не имеет значения, – сказал д'Артаньян. – Поехали ужинать, мой бесценный Портос.

Глава 27. В ОБЩЕСТВЕ Г-НА ДЕ БЕЗМО

Читатель не забыл, разумеется, что, покинув Бастилию, д'Артаньян и граф де Ла Фер оставили там Арамиса наедине с Безмо.

Безмо не почувствовал, что после ухода двоих из его гостей разговор заметно увял. Он был убежден, что отличные десертные вина Бастилии были достаточным стимулом, чтобы заставить порядочного человека разговаривать. Однако он плохо знал его преосвященство епископа, который становился наиболее непроницаемым как раз за десертом. Что до прелата, то он давно знал Безмо и рассчитывал поэтому на то самое средство, которое и Безмо считал исключительно действенным.

Хотя беседа сотрапезников и не прерывалась, но в действительности она утратила какой бы то ни было интерес. Говорил лишь Безмо, и притом только о странном аресте Атоса, аресте, за которым столь скоро последовал приказ об освобождении.

Впрочем, Безмо не сомневался, что оба приказа – и об аресте и об освобождении – были собственноручно написаны королем. Король же утруждал себя писанием подобных приказов лишь в исключительных случаях. Все это было весьма интересно и столь же загадочно для Безмо, но так как все это было совершенно ясно для Арамиса, то последний не придавал этому событию такого значения, какое видел в нем почтенный комендант. К тому же Арамис редко когда беспокоил себя без достаточных оснований, а он не успел еще сообщить Безмо, ради чего он побеспокоил себя в этот раз.

Итак, в тот момент, когда Безмо дошел до центрального пункта своих рассуждений,

Арамис, внезапно прервав его, произнес:

– Скажите, дорогой господин де Безмо, неужели у вас в Бастилии нет других развлечений, кроме тех, свидетелем которых мне довелось быть раза два или три, когда я имел честь посетить вас?

Это обращение было столь неожиданным, что комендант осекся на полуслове, напоминая собою флюгер при внезапном порыве изменившего направление ветра.

– Развлечений? – переспросил комендант, пораженный этим вопросом. Но они идут одно за другим, монсеньер.

– Слава богу! И в чем они состоят?

– О, у меня бывают самые разнообразные развлечения.

– Гости, наверное?

– Гости? Нет. Гости не часто посещают Бастилию.

– Все же это случается не так уж редко?

– Очень редко.

– Даже если говорить о людях вашего общества?

– А что вы называете моим обществом?.. Моих узников?

– О нет! Ваших узников! Я знаю, что вы посещаете их, но не думаю, чтобы они отвечали вам тем же. Я зову вашим обществом, дорогой господин де Безмо, общество, членом которого вы состоите.

Безмо остановил на Арамисе пристальный взгляд; затем, решив, что мелькнувшее у него подозрение совершенно неосновательно, он сказал:

– О, у меня теперь очень небольшой круг знакомых.

Признаюсь вам, дорогой господин д'Эрбле, что квартира в Бастилии представляется светским людям чаще всего мрачною и унылою. Что касается дам, то они никогда не приезжают сюда без содрогания, которое мне очень нелегко побороть. И впрямь, как им, бедняжкам, не ужасаться при виде этих громадных унылых башен, при мысли, что в них заперты несчастные узники и что эти несчастные узники...

По мере того как глаза Безмо всматривались в бесстрастное лицо Арамиса, язык добрейшего коменданта ворочался все медленней и медленней и под конец вовсе оцепенел.

– Нет, вы меня не поняли, дорогой господин де Безмо; нет, не поняли. Я не говорю об обществе в широком смысле этого слова, я говорю об особом обществе, короче, об обществе, членом которого вы состоите.

Безмо едва не выронил полный стакан муската, который он поднес было к губам и к которому уже собрался приложиться.

– Состою, – пробормотал он, – я состою членом общества?

– Ну конечно, я говорю об обществе, в котором вы состоите, – повторил Арамис с полным бесстрашием. – Разве вы не состоите членом одного тайного общества, мой дорогой господин де Безмо?

– Тайного?

– Тайного или, если угодно, таинственного?

– Ах, господин д'Эрбле...

– Не отпирайтесь.

– Но поверьте...

– Я верю тому, что знаю.

– Клянусь вам!

– Послушайте, дорогой господин де Безмо, я говорю: состоите; вы уверяете: нет; один из нас, несомненно, говорит правду, другой – без сомнения, лжет. Сейчас мы это выясним.

– Каким образом?

– Выпейте ваш мускат, дорогой господин де Безмо. Но, черт подери, у вас совершенно растерянный вид!

– Нисколько, нисколько!

– Тогда пейте вино.

Безмо выпил, но поперхнулся.

– Итак, – продолжал Арамис, – если вы, вопреки моему утверждению, не состоите в тайном или таинственном, если угодно, обществе (эпитет не важен), если вы не состоите в обществе этого рода, то не поймете ни слова из того, что я собираюсь сказать, вот и все.

– О, будьте уверены наперед, что я ровно ничего не пойму.

– Отлично.

– Попробуйте, прошу вас об этом.

– Вот это я и намерен проделать. Если же, напротив, вы – один из членов этого общества, вы сразу же подтвердите это, так, что ли?

– Спрашивайте! – ответил, содрогаясь, Безмо.

– Ибо вы согласитесь со мной, дорогой господин де Безмо, – продолжал Арамис тем же бесстрастным тоном, – что недопустимо состоять в каком-нибудь тайном обществе и пользоваться предоставляемыми им преимуществами, не налагая на себя обязательства оказывать ему, в свою очередь, кое-какие незначительные услуги.

– Разумеется, разумеется, – пробормотал Безмо. – Вы правы... конечно... если бы я состоял...

– Так вот, в этом обществе, о котором я только что говорил и в котором вы, очевидно, не состоите...

– Простите, я отнюдь не хотел сказать этого в столь решительной форме.

– Существует одно обязательство, налагаемое на всех комендантов и начальников крепостей, являющихся членами ордена.

Безмо побледнел.

– Вот обязательство, которое я имею в виду, – произнес Арамис твердым голосом. – Вот это самое обязательство.

– Послушаем, дорогой господин д'Эрбле, послушаем вас.

Тогда Арамис произнес или, вернее сказать, прочитал на память нижеследующую статью орденского устава. Он сделал это с такими интонациями, как если бы читал по написанному:

– Названный начальник или комендант крепости обязан допустить к заключенному, буде в этом встретится надобность и этого потребует сам заключенный, духовника, принадлежащего к ордену.

Он умолк. На Безмо жалко было смотреть, до того он побледнел и дрожал.

– Текст обязательства точен? – спокойно спросил Арамис.

– Монсеньер...

– А, вы, кажется, начинаете понимать.

– Монсеньер! – воскликнул Безмо. – Не потешайтесь над моим бедным разумом; в сравнении с вами я – мелкая сошка, и если вы хотите выманить у меня кое-какие тайны моего учреждения...

– Нисколько! Вы заблуждаетесь, дорогой господин де Безмо. Меня отнюдь не интересуют тайны вашего учреждения, меня интересуют тайны, хранимые вашей совестью.

– Пусть будет так! Пусть вас занимают тайны, которые хранит моя совесть. Но проявите хоть немножечко снисходительности к моему несколько особому положению.

– Оно и впрямь необычно, мой любезный господин де Безмо, – продолжал неумолимый епископ, – если вы принадлежите к тому обществу, которое я имею в виду; но в нем нет ничего исключительного, если вы не знаете за собой никаких обязательств и ответственны только перед его величеством королем.

– Да, сударь, да! Я повинуюсь лишь одному королю. Кому же еще, господи боже, должен, по-вашему, оказывать повиновение дворянин французского королевства, если не своему королю?!

Арамис помолчал. Затем своим вкрадчивым голосом он произнес:

– До чего, однако, приятно французскому дворянину и епископу Франции слышать столь лояльные речи от человека ваших достоинств, дорогой господин де Безмо, и, выслушав

вас, верить отныне только вам и никому больше.

– Разве вы сомневаетесь во мне, монсеньер?

– Я? О нет!

– Значит, теперь вы больше не сомневаетесь?

– Да, теперь я не сомневаюсь в том, что такой человек, как вы, – сказал со всей серьезностью Арамис, – недостаточно верен властителям, которых он выбрал себе по своей собственной воле.

– Властителям? – вскричал Безмо.

– Да, я произнес это слово.

– Господин д'Эрбле, вы все еще потешаетесь надо мной, разве не так?

– Готов признать, что гораздо более трудное положение иметь над собою нескольких властвующих, чем одного, но в этом затруднении повинны вы сами, господин де Безмо, и я тут ни при чем.

– Нет, разумеется, нет, – ответил несчастный комендант, окончательно потеряв голову. – Но что это вы собираетесь делать? Вы встаете?

– Как видите.

– Вы уходите?

– Да, я ухожу.

– Как странно вы со мной держитесь, монсеньер!

– Я? Странно?

– Неужто вы поклялись устроить мне пытку?

– Я был бы в отчаянии, если б это действительно было так.

– Тогда оставайтесь.

– Не могу.

– Почему?

– Потому что оставаться у вас мне больше незачем, меня ждут другие обязанности.

– Обязанности, в столь позднее время!

– Да! Поймите, мой дорогой господин де Безмо: «Названный начальник или комендант крепости обязан допустить к заключенному, буде в этом встретится надобность и этого потребует сам заключенный, духовника, принадлежащего к ордену». Я пришел сюда; вы не понимаете того, что я говорю, и я возвращаюсь сказать пославшим меня, чтобы они указали мне какое-нибудь другое место.

– Как!.. Вы?.. – вскричал Безмо, смотря на Арамиса почти что с ужасом.

– Духовник, принадлежащий к этому ордену, – сказал Арамис так же спокойно.

Но сколь бы смиренными ни были эти слова, они произвели на бедного коменданта не меньшее впечатление, чем удар молнии, низвергнувшейся с небес рядом с ним. Безмо посинел, и ему показалось, что глаза Арамиса впиваются в него как два раскаленных клинка, пронзающих его сердце.

– Духовник, – бормотал он, – духовник. Монсеньер духовник ордена?

– Да, я духовник ордена; но нам больше не о чем толковать, поскольку вы к нашему ордену не имеете ни малейшего отношения.

– Монсеньер...

– И поскольку вы не имеете к нему ни малейшего отношения, вы отказываетесь исполнять его приказания.

– Монсеньер, – вставил Безмо, – монсеньер, умоляю вас, выслушайте меня.

– К чему?

– Монсеньер, я вовсе не утверждаю, что не имею ни малейшего отношения к ордену.

– Так вот оно что!

– Я не говорил также, что отказываюсь повиноваться.

– Но происходившее только что между нами чрезвычайно напоминает сопротивление, господин де Безмо.

– О нет, монсеньер, нет, нет; я хотел лишь увериться...

– В чем же это вы хотели увериться? – спросил Арамис, выражая всем своим видом высшую степень презрения.

– Ни в чем, монсеньер.

Понизив голос и отвесив прелату почтительный поклон, Безмо произнес:

– В любое время, в любом месте я в распоряжении властвующих надо мною, но...

– Отлично! Вы мне нравитесь много больше, когда вы такой, как сейчас, господин де Безмо.

Арамис снова сел в кресло и протянул свой стакан Безмо, рука которого так сильно дрожала, что он не смог наполнить его.

– Вы только что произнесли слово «но», – возобновил разговор Арамис.

– Но, – ответил бедняга, – не будучи предупрежден, я был далек от того, чтобы ждать...

– А разве не говорится в Евангелии: «Бодрствуйте, ибо сроки ведомы только господу». А разве предписания ордена не гласят: «Бодрствуйте, ибо то, чего я желаю, того должно желать и вам». Но на каком основании вы не ждали духовника, господин де Безмо?

– Потому что в данное время среди заключенных в Бастилии больных не имеется.

Арамис в ответ на это пожал плечами.

– Откуда вы знаете?

– Но, судя по всему...

– Господин де Безмо, – сказал Арамис, откинувшись в кресле, – вот ваш слуга, который хочет поставить вас о чем-то в известность.

В этот момент на пороге действительно появился слуга Безмо.

– В чем дело? – живо спросил Безмо.

– Господин комендант, вам принесли рапорт крепостного врача.

Арамис окинул Безмо своим пронизательным и уверенным взглядом.

– Так, так. Введите сюда принесшего этот рапорт.

Вошел посланный; поклонившись коменданту, он вручил ему рапорт. Безмо пробежал его и, подняв голову, удивленно сообщил:

– Во второй Бертодьере больной!

– А вы только что утверждали, мой дорогой господин де Безмо, что в вашем отеле решительно все постояльцы пребывают в отменном здравии, небрежно заметил Арамис.

И он отпил глоток муската, не отрывая глаз от Безмо. Комендант отпустил кивком головы человека, явившегося с отчетом врача, и тот вышел.

– Я думаю, – проговорил Безмо, все еще не справившись со своей дрожью, – что в приведенном вами параграфе сказано также: «и этого потребует сам заключенный»?

– Да, вы правы, именно это изложено в интересующем нас параграфе; но поглядите-ка, там опять кто-то вас спрашивает, дорогой господин де Безмо.

И действительно, в этот момент в полуоткрытую дверь просунул голову сержант караула.

– Что такое? – раздраженно буркнул Безмо. – Нельзя ли оставить меня в покое хоть на десять минут?

– Господин комендант, – сказал солдат, – больной из второй Бертодьеры поручил своему тюремщику передать вам его просьбу прислать священника.

Безмо чуть не упал навзничь.

Арамис счел излишним успокаивать коменданта, как до этого считал излишним устрашать его.

– Что же я должен ответить? – спросил Безмо.

– Все, что вам будет угодно, – улыбнулся Арамис, кусая себе губы, решаете вы, комендант Бастилии вы, а не я.

– Скажите, – поспешно закричал Безмо, – скажите заключенному, что его просьба будет исполнена!

Сержант удалился.

– О, монсеньер, монсеньер! – пробормотал Безмо. – Да разве мог я предполагать?... Разве

мог я предвидеть?

– Кто разрешил вам строить предположения, кто позволил вам предвидеть? Орден – вот кто предполагает, орден – вот кто знает, орден – вот кто предвидит. Разве этого для вас не достаточно?

– Итак, что вы приказываете?

– Я? Решительно ничего. Я всего-навсего бедный священник, простой духовник. Не прикажете ли навестить заболевшего узника?

– О монсеньер, я никоим образом не отдаю вам подобного приказания, я прошу вас об этом.

– Превосходно. В таком случае проводите меня к заключенному.

Глава 28.

УЗНИК

С момента превращения Арамиса в духовника ордена Безмо совершенно преобразился.

До сих пор для достойного коменданта Арамис был прелатом, к которому он относился с почтением, другом, к которому питал чувство признательности. Но едва Арамис открылся пред ним, все привычные его представления пошли прахом, и он сделался подчиненным, Арамис стал начальником.

Безмо собственноручно зажег фонарь, позвал тюремщика и, повернувшись к Арамису, сказал:

– Ваш покорный слуга, монсеньер.

Арамис ограничился кивком головы, означавшим «отлично», и жестом, означавшим «ступайте вперед».

Была прекрасная звездная ночь. Шаги трех мужчин гулко отдавались на каменных плитах, и звяканье ключей, висевших на поясе у тюремщика, доносилось до верхних этажей башен, как бы затем, чтобы напомнить несчастным узникам, что свобода вне пределов их досягаемости.

Перемена, происшедшая с Безмо, коснулась, казалось, всех и всего. Тот же тюремщик, который при первом посещении Арамиса был так любопытен и так настойчив в расспросах, стал не только немым, но и бесстрастным. Он шел с опущенной головой и боялся, казалось, услышать хотя бы единое слово из разговора Арамиса с Безмо.

Так в полном молчании дошли они до подножия Бертодьеры и неторопливо поднялись на второй этаж; Безмо по-прежнему во всем повиновался Арамису, но особого рвения в этом он, впрочем, не проявлял.

Наконец они подошли к двери узника; тюремщику не понадобилось отыскивать ключ, он приготовил его заранее. Дверь отворилась. Безмо хотел было войти к заключенному, но Арамис остановил его на пороге.

– Нигде не указано, чтобы узники исповедовались в присутствии коменданта.

Безмо поклонился и пропустил Арамиса, который, взяв фонарь из рук тюремщика, вошел к заключенному; затем, не промолвив ни слова, он подал рукою знак, приказывая запереть за ним дверь. Несколько секунд он простоял без движения, прислушиваясь, удаляются ли Безмо и тюремщик; потом, убедившись по ослабевающему звуку шагов, что они вышли из башни, он поставил фонарь на стол и посмотрел вокруг себя.

На кровати, покрытой зеленой саржей, совершенно такой же, как и все другие кровати в Бастилии, только немного новее, под широким и наполовину опущенным пологом лежал молодой человек, к которому мы уже приводили как-то раз Арамиса.

В соответствии с правилами тюрьмы у узника не было света. По сигналу гасить огни ему надлежало задуть свою свечу. Впрочем, наш узник содержался в особо благоприятных условиях, так как ему была предоставлена чрезвычайно редкая привилегия сохранять у себя освещение до сигнала гасить огни; другим заключенным свечи вовсе не выдавались.

Возле кровати, на большом кожаном кресле с гнутыми ножками, было сложено новое и

очень опрятное платье. Столик без перьев, без книг, чернил и бумаги одиноко стоял у окна. Несколько тарелок с нетронутой едой свидетельствовали о том, что узник едва прикоснулся к ужину.

Юноша, которого Арамис увидел на кровати под пологом, лежал, закрыв лицо руками. Приход посетителя не заставил его переменить позу: он выжидал или, быть может, забылся в дремоте. От фонаря Арамис зажег свечу, бесшумно отодвинул кресло и подошел к кровати со смешанным чувством почтения и любопытства.

Юноша поднял голову:

– Чего хотят от меня?

– Вы желали духовника?

– Да.

– Вы больны?

– Да.

– Очень больны?

Юноша посмотрел на Арамиса проницательным взглядом и произнес:

– Благодарю вас.

Потом после минутного молчания он сказал:

– Я уже видел вас.

Арамис поклонился. Холодный, лукавый и властный характер, наложивший свой отпечаток на лицо ваннского епископа и сразу же угаданный узником, не предвещал ничего утешительного.

– Мне лучше, – добавил он.

– Итак?

– Итак, чувствуя себя лучше, я не испытываю, пожалуй, прежней надобности в духовнике.

– И даже в том, о котором вам сообщили запиской, найденной вами в хлебе?

Молодой человек вздрогнул, но прежде чем он успел бы ответить или начать отпираться, Арамис продолжал:

– Даже в том священнослужителе, из уст которого вы должны услышать важное для вас сообщение?

– Это другое дело, – произнес юноша, снова откинувшись на подушку, я слушаю.

Арамис внимательно посмотрел на него, и его поразило спокойное и простое величие, свойственное наружности этого юноши: такое величие не может быть приобретено, если господь бог не вложил его при рождении в сердце и в кровь.

– Садитесь, сударь, – проговорил узник.

Арамис поклонился и сел.

– Как вы чувствуете себя в Бастилии? – начал епископ.

– Превосходно.

– Вы не страдаете?

– Нет.

– И вы ни о чем не жалеете?

– Ни о чем.

– И даже об утраченной вами свободе?

– Что вы зовете свободой, сударь? – спросил узник тоном человека, подготовляющего себя к борьбе.

– Я зову свободой цветы, воздух, свет, звезды, радость идти туда, куда вас несут ваши юные ноги.

Молодой человек улыбнулся. Трудно было сказать, что заключалось в этой улыбке – покорность судьбе или презрение.

– Посмотрите, – сказал он, – вот тут, в этой японской вазе, две прекрасные розы, сорванные бутонами вчера вечером в саду коменданта; сегодня утром они распустились и открыли у меня на глазах свои алые чашечки; распуская складку за складкой своих лепестков,

они все больше и больше раскрывали передо мною сокровищницу своего благовония; вся моя комната напоена их ароматом. Они прекраснее всех роз на свете, а розы прекраснейшие среди цветов. Почему же – взгляните на них – вы думаете, что я жажду каких-то других цветов, раз у меня есть лучшие среди них?

Арамис с удивлением посмотрел на юношу.

– Если цветы – свобода, – печально продолжал узник, – выходит, что я свободен, ибо у меня есть цветы.

– Но воздух? – вскричал Арамис. – Воздух, столь необходимый для жизни?

– Подойдите к окну, сударь, оно открыто. Между землею и небом ветер стремится свои знойные и студёные вихри, теплые испарения и едва приметные струи воздуха, и он ласкает мое лицо, когда, взобравшись на спинку кресла и обхватив рукою решетку, я воображаю, будто плаваю в бескрайнем пространстве.

Арамис хмурился все больше и больше по мере того, как говорил узник.

– Свет! – воскликнул тот. – У меня есть нечто лучшее, нежели свет, у меня есть солнце, друг, посещающий меня всякий день без разрешения коменданта, без сопровождающего тюремщика. Оно входит в окно, оно чертит в моей камере широкий и длинный прямоугольник, который начинается у окна и доходит до полога над моей кроватью, задевая его бахрому. Этот светящийся прямоугольник увеличивается с десяти часов до полудня и уменьшается с часу до трех, медленно, медленно, как если бы он, торопясь посетить меня, жалел расстаться со мною. И когда исчезает последний луч, я еще четыре часа наслаждаюсь солнечным светом. Разве этого не достаточно? Мне говорили, что есть несчастные, долбящие камень в каменоломнях, рудокопы, которые так и не видят солнца.

Арамис вытер лоб.

– Что касается звезд, на которые так приятно смотреть, то все они одинаковы и отличаются друг от друга лишь величиною и блеском. Мне посчастливилось: если бы вы не зажгли свечи, вы могли бы увидеть замечательную звезду, на которую перед вашим приходом я смотрел, лежа у себя на кровати.

Арамис опустил глаза. Он чувствовал, что его захлестывают горькие волны этой сумрачной философии, представляющей собой религию заключенных.

– Вот и все о цветах, о воздухе, свете и звездах, – сказал все так же спокойно молодой человек. – Остается прогулка? Но не гуляю ли я весь день в саду коменданта при хорошей погоде и здесь, когда идет дождь? На свежем воздухе, если жарко, и в тепле, когда на дворе холодно, в тепле, доставляемом мне камином. Поверьте мне, сударь, – добавил узник с выражением, не лишенным горечи, – люди дали мне все, на что может надеяться и чего может желать человек.

– Люди, пусть будет так! – начал Арамис, поднимая голову. – Но бог?

Мне кажется, вы забыли о боге.

– Я действительно забыл бога, – по-прежнему бесстрастно произнес узник, – но зачем вы мне говорите об этом? Зачем говорить о боге с тем, кто находится в заточении?

Арамис посмотрел в лицо этому странному юноше, в котором смирение мученика сочеталось с улыбкою атеиста.

– Разве бог не в любой из окружающих вас вещей? – прошептал Арамис тоном упрека.

– Скажите лучше – на поверхности каждой вещи, – твердо ответил юноша.

– Пусть так! Но вернемся к началу нашего разговора.

– Охотно.

– Я ваш духовник.

– Да.

– Итак, в качестве того, кто исповедуется, вы должны говорить только правду.

– Охотно буду говорить только правду.

– Всякий узник совершил преступление, и именно за это его посадили в тюрьму. Какое же преступление совершено вами?

– Вы уже спрашивали об этом, когда в первый раз посетили меня.

– И вы уклонились тогда от ответа, как уклоняетесь от него и сегодня.

– Почему же вы думали, что сегодня я пожелаю ответить?

– Потому что сегодня я ваш духовник.

– В таком случае, если вы так уж хотите знать, какое преступление я совершил, объясните мне, что называется преступлением. И так как я не знаю за собой ничего такого, в чем я мог бы себя упрекнуть, я говорю, что я не преступник.

– Иногда человек – преступник в глазах сильных мира сего не потому, что он совершил преступление, а потому, что он знает о преступлениях, которые были совершены другими.

Узник слушал с напряженным вниманием.

– Да, – сказал он после непродолжительного молчания, – я понимаю вас.

Да, да, сударь, вы правы. Может статься, что и я преступен в глазах сильных мира сего именно вследствие этого.

– Ах, значит, вы знаете нечто подобное? – спросил Арамис, которому показалось, что он увидел на панцире если не настоящий изъяз, то шов, соединяющий его в местах склепки.

– Нет, я решительно ничего не знаю; впрочем, я иногда мучительно думаю, и в эти моменты я говорю себе...

– Что же вы говорите?

– Что если я буду думать дальше, то сойду с ума или, быть может, догадаюсь о многом.

– И тогда? – нетерпеливо перебил Арамис.

– Тогда я останавливаюсь.

– Вы останавливаетесь?

– Да, голова у меня делается тяжелой, мысли – печальными, и я чувствую, как меня охватывает тоска: я желаю...

– Чего?

– Я и сам не знаю. Ведь я не хочу позволить себе желать что-нибудь из того, чего у меня нет, ведь я вполне удовлетворен тем, что у меня есть.

– Вы боитесь смерти? – взглянул ему в глаза Арамис с легким беспокойством.

– Да, – ответил с улыбкой молодой человек.

Арамис почувствовал холод этой улыбки и содрогнулся.

– О, раз вы испытываете страх перед смертью, значит, вы знаете больше, чем говорите.

– Но вы, – произнес в ответ узник, – вы, который заставили меня вызвать вас и, после того как я это сделал, приходите с обещанием раскрыть предо мною целые миры тайн, – почему ж вы молчите, тогда как говорю я один? И поскольку мы оба надели на себя маски, давайте либо оба останемся в них, либо оба их сбросим.

Арамис почувствовал силу и справедливость этого рассуждения а подумал: «Я имею дело с человеком незаурядным».

– Есть ли у вас честолюбие? – обратился он к узнику, не подготовив его к этому внезапному скачку мысли.

– Что называется честолюбием?

– Это чувство, заставляющее человека желать большего, чем то, что у него есть.

– Я говорил, сударь, что я доволен, но очень может быть, что я ошибаюсь. Я не знаю, что именно является честолюбием, но возможно, что оно есть у меня. Разъясните мне это, я охотно послушаю вас.

– Честолюбец, – сказал Арамис, – это тот, кто жаждет возвыситься над своей судьбой.

– Я нисколько не жажду возвыситься над моей судьбой, – уверенно заявил молодой человек, и эта уверенность еще раз привела в содроганье прелата.

Юноша замолчал. Но по его горящим глазам, по морщинам, появившимся на его лбу, и сосредоточенной позе было видно, что он ожидал всего чего угодно, но меньше всего молчания. Арамис прервал это молчание.

– При первом нашем свидании вы мне лгали, – упрекнул его Арамис.

– Лгал! – вскричал молодой человек, вскакивая с кровати с таким выражением в голосе и с таким огнем гнева в глазах, что Арамис невольно попятился.

– Я хотел сказать, – проговорил Арамис с поклоном, – что вы скрыли от меня некоторые обстоятельства вашего детства.

– Тайны человека принадлежат ему одному, а не первому встречному, сударь.

– Это правда, – сказал Арамис, кланяясь еще ниже, чем в первый раз, это правда, простите меня; но неужели и сегодня я для вас все еще первый встречный? Умоляю вас, ответьте мне, монсеньер!

Этот титул слегка смутил узника, но он, видимо, не удивился, что к нему обратились, назвав его монсеньером.

– Я вас не знаю, сударь, – отвечал он.

– О! Если бы я посмел, я приложился бы к вашей руке и поцеловал бы ее.

Молодой человек сделал движение как бы с тем, чтобы протянуть Арамису руку, но молния, сверкнувшая в его взгляде, тотчас же погасла, и он отдернул назад свою холодную руку.

– Целовать руку узника! – воскликнул он, покачав головой. – Зачем?

– Почему вы сказали мне, – спросил Арамис, – что вы довольны своим пребыванием здесь? Почему сказали, что ничего не желаете и ни к чему не стремитесь? Почему, наконец, говоря все это, вы препятствуете мне быть, в свою очередь, искренним до конца?

Та же молния уже в третий раз вспыхнула в глазах юноши; но так же, как и дважды пред тем, она тотчас же погасла.

– Вы мне не верите? – сказал Арамис.

– О нет, почему же, сударь?

– По очень простой причине, ибо если вы знаете обо всем том, о чем должны знать, вам не следует доверяться кому бы то ни было.

– В таком случае не удивляйтесь, что я не доверяюсь и вам, ведь вы подозреваете, что я знаю то, чего я не знаю.

Арамиса восхитило столь энергичное сопротивление.

– Вы приводите меня в отчаяние, монсеньер! – воскликнул он, ударяя рукою по креслу.

– Я не понимаю вас, сударь.

– Попробуйте же, прошу вас, понять меня.

Узник пристально посмотрел на Арамиса.

– Мне кажется иногда, – продолжал последний, – что предо мной человек, которого я ищу... а затем...

– А затем... этот человек исчезает, не так ли? – усмехнулся узник. Ну что же, тем лучше! Арамис встал.

– Мне решительно нечего сказать человеку, относящемуся ко мне с таким недоверием, как вы, монсеньер.

– А мне, – отвечал тем же топом узник, – нечего сказать человеку, не желающему понять, что узнику следует опасаться всего на свете.

– Даже своих старых друзей? О, это чрезмерная осторожность!

– Своих старых друзей? Вы один из моих старых друзей, вы?

– Подумайте, не припомните ли вы, что когда-то, в той самой деревне, где протекло ваше детство, вы видели...

– Вам известно название этой деревни?

– Нуази-ле-Сек, монсеньер, – твердо выговорил Арамис.

– Продолжайте, – произнес молодой человек; ничто, однако, в его лице не выразило, подтверждает ли он сказанное прелатом или оспаривает.

– Монсеньер, если вы упорно хотите продолжать эту игру, прекратим разговор. Я пришел с намерением сообщить вам о многом, это верно; но ведь и вы, со своей стороны, должны изъявить желание узнать это многое.

Прежде чем говорить, прежде чем открыть вам столь важные тайны, которые я храню про себя, я нуждаюсь с вашей стороны если не в откровенности, то хотя бы в некоторой помощи, если не в доверии, то хотя бы в некоторой доле симпатии. А вы замкнулись в якобы

полном незнании, и это останавливает меня... И вы поступаете так не потому, что вы правы; ведь как бы мало вы ни были осведомлены, каким бы равнодушным ни притворялись, от этого вы не перестаете быть тем, кто вы есть, и ничто, слышите ли, ничто не может этого изменить, монсеньер.

– Обещаю терпеливо выслушать вас. Но мне кажется, что я имею право повторить тот вопрос, который я уже задавал вам: кто вы такой?

– Помните ли – тому уж пятнадцать или, может быть, восемнадцать лет как вы видели в Нуази-ле-Сек всадника, который приезжал вместе с дамой, одетой обычно в платье из черного шелка и с огненными лентами в волосах?

– Да, однажды я спросил имя всадника, и мне ответили, что это аббат д'Эрбле. Я удивился, почему этот аббат имеет вид воина, и мне ответили, что в этом нет ничего удивительного, так как он – бывший мушкетер Людовика Тринадцатого.

– Итак, – сказал Арамис, – бывший мушкетер, тогдашний аббат, нынешний ваннский епископ и ваш сегодняшний духовник, все они – я.

– Да. Я узнал вас.

– В таком случае, монсеньер, если вы это знаете, мне остается только добавить то, чего вы, пожалуй, не знаете: если бы о посещении этого места мушкетером, епископом и духовником узнал бы король сегодня вечером или завтра утром, тот, кто пренебрег всем, чтоб побывать у вас, увидел бы сверкающий топор палача в каземате еще темнее и потаеннее вашего.

Выслушав эти произнесенные решительным тоном слова, молодой человек приподнялся на кровати и жадными глазами впился в лицо Арамиса. После этого узник, видимо, проникся доверием к своему посетителю.

– Да, – прошептал он, – я помню, хорошо помню то время. Женщина, о которой вы говорите, один раз приезжала с вами и дважды с той женщиной...

– С той женщиной, которая навещала вас каждый месяц?

– Да.

– Знаете ли вы, кто эта дама?

Глаза узника заблестели, и он произнес:

– Знаю; это была дама, близкая ко двору.

– Хорошо ли вы ее помните?

– О, мои воспоминания о ней очень отчетливы: видел я эту даму один раз с человеком лет сорока пяти, в другой раз с вами и с дамою в черном платье с лентами цвета пламени; потом я видел ее еще дважды, и оба раза с тою же дамою в черном. Эти четверо вместе с моим гувернером и старой Перонеттою, да моим тюремщиком, да комендантом – единственные, с кем я говорил в течение всей моей жизни, почти единственные, которых я видел за всю мою жизнь.

– Выходит, что вы и там были в тюрьме?

– Если здесь я в тюрьме, то там я был, можно сказать, на воле, хотя моя свобода и была основательно стеснена. Дом, в котором я безвыездно жил, обширный сад, окруженный стенами, за которые я не мог выйти, – таково было мое обиталище. Впрочем, вы его знаете, поскольку бывали в нем.

В конце концов, привыкнув жить внутри этих стен, я никогда и не желал выйти за их пределы. Теперь вы понимаете, сударь, что, не повидав света, я не могу желать чего бы то ни было, и если вы хотите рассказать мне о чем-то, то знайте: вам придется давать мне на каждом шагу разъяснения.

– Так я и сделаю, монсеньер, – сказал, кланяясь, Арамис, – ибо это мой долг.

– Начнем с того, кто был моим гувернером?

– Достойный дворянин и порядочный человек, монсеньер, – воспитатель вашего тела и вашей души. Разве вы были когда-нибудь недовольны им?

– О нет, сударь, напротив. Но этот дворянин говорил мне не раз, что мой отец и моя мать умерли; лгал он или говорил правду?

– Он против воли должен был следовать данным ему указаниям.

– Значит, он лгал?

– Только в одном. Ваш отец действительно умер.

– А мать?

– Она умерла для вас.

– Но для других она жива и поныне, не так ли?

– Да.

– А я, – молодой человек устремил на Арамиса пристальный взгляд, – я обречен жить во мраке тюрьмы?

– Увы, да.

– И все потому, что мое присутствие в мире открыло бы великую тайну?

– Да, великую тайну.

– Мой враг, должно быть, очень силен, если смог запереть в Бастилии такого ребенка, каким был я ко времени моего заточения?

– Да, это так.

– Сильнее, чем моя мать?

– Почему же?

– Потому что моя мать защитила б меня.

Арамис колебался.

– Да, сильнее, чем ваша мать, монсеньер.

– Если мою кормилицу и моего гувернера отняли у меня и я был так безжалостно разлучен с ними, значит ли это, что или я, или они представляли для моего врага большую опасность?

– Да, опасность, от которой ваш враг избежался, устранив и кормилицу и дворянина, – спокойно сказал Арамис.

– Устранив? Но как же?

– Наиболее верным способом: они умерли.

Молодой человек слегка побледнел; он провел дрожащей рукой по лицу.

– От яда? – спросил он.

– Да, от яда.

Юноша на мгновение задумался.

– Поскольку оба эти ни в чем не повинные существа, единственная моя опора, были умерщвлены в один день, я заключаю, что мой враг очень жесток или что его принудила к этому крайняя необходимость; ведь и этот достойный во всех отношениях дворянин, и эта бедная женщина за всю свою жизнь не причинили ни одному человеку ни малейшего зла.

– Да, монсеньер, у вас в роду царит суровая необходимость. И необходимость, к моему великому сожалению, заставляет меня подтвердить, что и дворянин и кормилица были действительно умерщвлены.

– О, вы не сообщаете мне ничего нового, – нахмурился узник.

– Неужели?

– У меня были на этот счет подозрения.

– Какие же?

– Сейчас расскажу.

В этот момент молодой человек, опершись на локти обеих рук, приблизил свое лицо вплотную к лицу Арамиса с выражением такого достоинства, самоотречения и даже отваги, что епископ почувствовал, как электрические искры энтузиазма поднимаются из его неспособного уже к бурным переживаниям сердца к голове, холодной как сталь.

– Говорите же, монсеньер! Я уже открыл вам, что, беседуя с вами, подвергаю свою жизнь опасности, и как бы мало ни стоила эта жизнь, умоляю, примите ее, если она потребуется для спасения вашей.

– Хорошо, – продолжал молодой человек, – я и в самом деле подозревал, что было совершено убийство моей кормилицы и моего гувернера...

– Которого вы называли отцом.
– Которого я называл отцом, хорошо зная при этом, что я – вовсе не его сын.
– Что же заставило вас усомниться в этом?
– Подобно тому, как вы чрезмерно почтительны для друга, так он был чрезмерно почтителен для отца.

– Что до меня, то я отнюдь не намерен таиться, – сказал Арамис.

Молодой человек кивнул головой.

– Я не был, без сомнения, предназначен к тому, чтобы оставаться на веки вечные взаперти, и что меня убеждает в этом, теперь особенно, – так это забота, которую проявляли, чтобы сделать из меня по возможности безупречного светского кавалера. Приставленный ко мне дворянин научил меня всему, в чем был осведомлен сам: арифметике, начаткам геометрии, астрономии, фехтованию и верховой езде. По утрам я ежедневно фехтовал в нижней зале и ездил верхом по саду. И вот однажды – это произошло, по-видимому, в разгар лета, так как было исключительно жарко, – я заснул в этой зале. Ничто до этой поры не внушало мне подозрений, единственное, что удивляло меня, это – почтительность моего гувернера. Я жил как дети, как птицы небесные, как растения, жил солнцем и воздухом. Незадолго перед тем мне исполнилось пятнадцать лет.

– Значит, тому уже восемь лет.

– Да, приблизительно. Впрочем, я потерял счет годам.

– Простите, но что же говорил вам гувернер, чтобы побуждать вас к труду?

– Он говорил, что человек должен стремиться завоевать себе известное положение, в котором ему отказал при рождении бог. Он добавлял, что, будучи бедняком, сиротою, безродным, я могу рассчитывать лишь на себя самого и что никто никогда не интересовался моею особой и никогда не заинтересуется ею... Итак, я был в нижней зале, где перед тем фехтовал, и, устав от урока фехтования, я погрузился в дремоту. Мой гувернер находился у себя в комнате, в первом этаже, прямо надо мной. Вдруг до моего слуха донесся слабый крик гувернера. Потом он позвал мою кормилицу: «Перонетта, Перонетта!»

– Да, я знаю, – сказал Арамис, – продолжайте ваш рассказ, монсеньер.

– Она, должно быть, была в саду, так как дворян» и поспешно спустился с лестницы. Встревоженный его криком, я встал. Отворив из прихожей дверь, которая вела в сад, он снова несколько раз позвал Перонетту. Нижняя зала также выходила окнами в сад; правда, ставни были прикрыты. Однако я прильнул к окну и через щель в ставнях увидел, как мой гувернер подошел к большому колодцу, находившемуся почти под самыми окнами его кабинета. Он наклонился над краем колодца, заглянул в него, снова вскрикнул и испуганно замахал руками. Стоя за ставней, я мог не только видеть, я мог также слышать. И вот я увидел и услышал...

– Продолжайте, монсеньер, продолжайте, прошу вас, – торопил юношу Арамис.

– Перонетта прибежала на зов гувернера. Он устремился навстречу ей, взял ее за руку и потащил за собой к колодцу. Затем, наклонившись над ним вместе с нею, он произнес:

«Смотрите, смотрите, какое несчастье!»

«Что с вами, успокойтесь! – говорила Перонетта, – в чем дело?»

«Письмо, – кричал мой гувернер, – вы видите это письмо!» И он указал рукой на дно колодца.

«Какое письмо? – спросила кормилица.

«Письмо, которое вы там видите, это – последнее письмо королевы!»

При этом слове я вздрогнул. Мой гувернер, который считался моим отцом, он, который беспрестанно учил меня скромности и смирению, – он в переписке с самой королевой!

«Последнее письмо королевы! – воскликнула Перонетта, видимо пораженная не тем, что это письмо от королевы, а лишь тем, что оно оказалось на дне колодца. – Но как же оно попало туда?»

«Случай, Перонетта, престранный случай! Входя к себе, я отворил дверь, и так как окно было тоже открыто, поднялся ветер; и вот я вижу бумагу, которая летит через комнату; я ее узнаю – это письмо королевы; крича во весь голос, я подбегаю к окну; бумага кружится в

воздухе и мгновенно падает прямо в колодец».

«Ну что ж, – сказала Перонетта, – если письмо упало в колодец, это все равно, что оно сожжено, и поскольку королева сжигает свои письма всякий раз, как приезжает сюда...»

– Всякий раз, как приезжает сюда. Значит, женщина, приезжавшая каждый месяц, была королевой, – перебил сам себя узник.

– Да, – кивнул головой Арамис.

– «Конечно, конечно, – продолжал гувернер, – но в этом письме содержались инструкции; как же мне выполнять их теперь?»

«Напишите немедленно королеве, расскажите ей все, как оно было в действительности, и она пришлет вам второе письмо взамен этого».

«Написать королеве! Но она никогда не Поверит, что случилось такое необыкновенное происшествие, она решит, что я захотел оставить это письмо у себя, вместо того чтобы возвратить, подобно всем остальным; она решит, что я захотел использовать его как оружие, а кардинал Мазарини до такой степени... Этот итальянский дьявол способен на все, он способен при первом же мелькнувшем у него подозрении приказать, чтобы нас отравили».

Арамис улыбнулся, чуть-чуть кивнув головой.

– «Ведь вы знаете, Перонетта, до чего они недоверчивы, когда дело идет о Филиппе». Филипп-имя, которым меня называли, – прервал сам себя узник.

«В таком случае раздумывать нечего, – сказала Перонетта, – нужно найти кого-нибудь, кто спустился бы в колодец».

«Да, но тот, кто ползет вниз за бумагой, поднимаясь наверх, прочтает ее».

«Ну что ж, раз так, найдем в деревне такого, кто не умеет читать, и вы сможете быть совершенно спокойны».

«Допустим. Но тот, кто согласится спуститься в колодец, догадается, насколько важна бумага, ради которой мы рискуем человеческой жизнью. И все же, Перонетта, вы подали мне хорошую мысль; да, да... кто-то должен спуститься на дно, и этот кто-то буду я сам».

Но, услышав его слова, Перонетта разразилась слезами и восклицаниями; она так настойчиво молила старого дворянина не делать этого, что в конце концов добилась от него обещания, что он отправится на поиски лестницы, достаточно длинной, чтобы можно было спуститься в колодец; что же до нее, Перонетты, то она немедленно пустится в путь и пойдет на ферму, где и отыщет какого-нибудь смелого парня, которому скажет, что в колодец упала драгоценность, завернутая в бумагу, и поскольку бумага, заметил мой гувернер, намокая, разворачивается в воде, для этого парня не будет ничего неожиданного, когда он найдет письмо в развернутом виде.

«Впрочем, к этому времени чернила на письме, может быть, уже расплывутся», – вставила Перонетта.

«Это не важно. Лишь бы оно снова оказалось в наших руках. Мы отдадим его королеве, и она убедится, что мы ее не обманывали; да и у кардинала не возникнет никаких подозрений, так что нам нечего будет бояться его».

Приняв такое решение, они разошлись. Я прикрыл ставню, за которой стоял, и, видя, что мой гувернер собирается войти ко мне в залу, бросился на подушки, со страшной сумятицей в голове от всего только что слышанного.

Гувернер приоткрыл дверь и, думая, что я сплю, тихонько закрыл ее. Я тотчас же вскочил на ноги и услышал звук удаляющихся шагов. Тогда, снова подойдя к ставне, я увидел, как мой гувернер и Перонетта выходили из сада. Во всем доме я был один.

Как только они ушли из сада, я прыгнул в окно, не утруждая себя необходимостью пройти по прихожей, подбежал к колодцу и наклонился над ним.

Что-то белое и блестящее колыхалось на дрожащей, расходящейся кругами поверхности зеленоватой воды.

Это белое пятно гипнотизировало и притягивало меня. Глаза мои ничего, кроме него, не видели. Дыхание у меня захватило. Колодец манил меня своею разверстою пастью, своим холодом. Мне казалось, будто я читаю в глубине его огненные письма, начертанные на

бумаге, которой коснулась рука королевы.

Тогда, не сознавая того, что делаю, побуждаемый одним из тех инстинктивных движений, которые способны столкнуть нас в пропасть, я привязал конец веревки к основанию колодезной перекладины и спустил ведро, позволив ему уйти в воду приблизительно на три фута (все это я делал, дрожа от страха, как бы не пошевелить эту драгоценную бумагу, которая успела изменить свой белый цвет на зеленоватый – верный признак того, что она уже начала погружаться); затем, взяв в руки мокрую тряпку, я соскользнул по веревке в зияющий подо мной колодец.

Когда я увидел, что вишу над бездной и небо надо мной стало стремительно уменьшаться, меня охватил озноб, голова у меня пошла кругом, волосы поднялись дыбом, но воля поборола и мой ужас, и одолевшую меня слабость. Я достиг воды и рывком окунулся в нее, держась одной рукой за веревку, тогда как другой лихорадочно старался схватить драгоценное письмо. Я поймал его, но под моими пальцами бумага порвалась надвое.

Спрятав оба куска за пазуху, я начал подниматься наверх. Упираясь ногами в стенку колодца, подтягиваясь при помощи веревки, ловкий, сильный и подстегиваемый к тому же необходимостью торопиться, я достиг края колодца и, вылезая, облил его стекавшей с меня водой.

Выскочив со своей добычей из колодца, я пустился бежать по освещенной солнцем дорожке и достиг глубины сада, где разросшиеся деревья образовали своего рода лесок. Там-то я и хотел укрыться.

Но едва я вошел в это убежище, как прозвонил колокол. Это означало, что открывают ворота, что возвращается мой гувернер и что я добрался сюда вовремя. Я рассчитал, что пройдет не меньше десяти минут, пока он найдет меня, – это при том условии, что, догадавшись, где я, он сразу же направится прямо ко мне, а может быть, и все двадцать, если ему придется заняться поисками.

Этого было достаточно, чтобы успеть прочитать драгоценную бумагу. Я поспешно приложил друг к другу обо части ее; буквы стали уже расплываться, но тем не менее мне удалось разобрать написанное.

– И что же вы там прочли, монсеньер? – спросил глубоко заинтересованный Арамис.

– Достаточно, чтобы узнать, что мой гувернер был дворянином, а Перонетта, не будучи важною дамой, была все же не простая служанка. Наконец, я узнал, что и я сам не совсем темного происхождения, – ведь королева Анна Австрийская и первый министр кардинал Мазарини опекали меня с такою заботливостью.

Молодой человек остановился; он был слишком взволнован.

– Ну а дальше? Что было дальше? – поторопил его Арамис.

– Было, сударь, что рабочий, – ответил молодой человек, – ничего, конечно, не обнаружил в колодце, хотя и обыскал его со всей тщательностью; было, что края колодца, облитые водой, обратили на себя внимание моего гувернера; было, что я не успел обсохнуть на солнце, и Перонетта сразу увидела, что я в мокрой одежде; было, наконец, и то, что я заболел горячкой от купания в студеной воде и волнения, порожденного во мне моими открытиями, и моя болезнь сопровождалась бредом, в котором я рассказал обо всем, так что, руководствуясь моими же собственными признаниями, сделанными в бреду, мой гувернер нашел в изголовье кровати оба обрывка письма, написанного рукою королевы.

– Ах, – вздохнул Арамис, – теперь я понимаю решительно все.

– Все дальнейшее – не более как мои домыслы. Бедные люди, надо полагать, не посмели скрыть происшедшего, написали обо всем королеве и отправили ей разорванное письмо.

– После чего, – добавил Арамис, – вас забрали и поместили в Бастилию.

– Как видите.

– А услужившие вам исчезли?

– Увы!

– Не будем больше думать о мертвых, – сказал Арамис, – посмотрим, можно ли сделать что-нибудь для живого. Вы сказали, что смирились со своей участью. Так ли?

- Я и сейчас готов повторить то же самое.
- И вы не стремитесь к свободе?
- Я уже ответил на этот вопрос.
- Вам не ведомы ни честолюбие, ни сожаление, ни мысли о жизни на воле?

Молодой человек ничего не ответил.

- Почему вы молчите? – спросил Арамис.
- Мне кажется, что я сказал вам достаточно много и что теперь ваш черед. Я устал.
- Хорошо. Я повинуюсь вам, – согласился Арамис.

Он весь как-то подобрался. Лицо его приняло торжественное выражение.

Чувствовалось, что он подошел к наиболее важному моменту той роли, которую он должен был играть в тюрьме перед узником.

- Мой первый вопрос... – начал Арамис.
- Какой же? Говорите.
- В доме, в котором вы обитали, не было ни одного зеркала, не так ли?
- Что это такое? Я не знаю, что означает произнесенное вами слово; я никогда не слышал его.

– Зеркалом называют предмет мебелировки, отражающий в себе все остальные предметы; так, например, в стекле, подвергнутом соответствующей обработке, можно увидеть черты своего собственного лица совершенно так же, как вы видите своими глазами черты моего.

- Нет, в доме не было зеркала, – ответил молодой человек.

Арамис огляделся вокруг и заметил:

- Его нет и здесь; тут приняты те же предосторожности, что и там.
- Какова же их цель?

– Сейчас вы узнаете. А теперь простите меня; вы сказали, что вас обучали математике, астрономии, фехтованию, верховой езде, но вы не упомянули истории.

– Иногда мой воспитатель рассказывал мне о деяниях Людовика Святого, Франциска Первого и Генриха Четвертого.

- И это все?

– Приблизительно все.

– И здесь я усматриваю тот же расчет: подобно тому как вас лишили зеркал, отражающих окружающие предметы, вас лишили также знакомства с историей, отражающей прошлое. Со времени вашего заключения вам запретили к тому же книги; таким образом, вам неизвестны многочисленные события, зная которые вы могли бы объединить в нечто цельное ваши разрозненные воспоминания и различные побуждения вашей души.

- Это верно, – сказал молодой человек.

– Выслушайте меня: я коротко расскажу вам о том, что произошло во Франции за последние двадцать три или двадцать четыре года, то есть с вероятной даты вашего рождения на свет божий, то есть с того момента, который представляет для вас особенный интерес.

- Говорите.

На лице молодого человека снова появилось присущее ему серьезное и сосредоточенное выражение.

- Знаете ли вы, кто был сыном Генриха Четвертого?

– Я знаю, по крайней мере, кто был его преемником.

- Откуда вы узнали об этом?

– На монете тысяча шестьсот десятого года изображен Генрих Четвертый; между тем на монете тысяча шестьсот двенадцатого года изображен уже Людовик Тринадцатый. На основании этого, поскольку вторую монету отделяют от первой только два года, я сделал вывод, что Людовик Тринадцатый, очевидно, и был преемником Генриха Четвертого.

– Итак, – продолжал Арамис, – вы осведомлены о том, что последним королем, царствовавшим до нашего короля, был Людовик Тринадцатый.

- Да, осведомлен, – ответил молодой человек, слегка покраснев.

– Это был государь с благородными намерениями, с широкими планами, но выполнение

их постоянно откладывалось из-за разных несчастий и борьбы, которую пришлось вести его первому министру Ришелье с французской знатью. Он – я говорю о Людовике Тринадцатом – был человеком слабохарактерным. Умер он еще молодым и в печали.

– Да, я знаю об этом.

– Его долго терзала забота о престолонаследнике. Для государей это очень мучительная забота, ибо они должны думать не только о том, чтобы оставить по себе добрую память, но и о том, чтобы их замыслы жили и после их смерти и дело их было продолжено.

– А разве Людовик Тринадцатый умер бездетным? – спросил с усмешкой узник.

– Нет, но он долгое время был лишен радости быть отцом; он слишком долго предавался печали, что умрет, не оставив наследника. И эта мысль ввергала его в отчаянье, как вдруг его супруга, королева Анна Австрийская...

Узник вздрогнул.

– Знали ли вы, – перебил сам себя Арамис, – что супругу Людовика Тринадцатого звали Анной Австрийской?

– Продолжайте, – сказал молодой человек, не ответив на вопрос Арамиса.

– Как вдруг, – рассказывал Арамис, – Анна Австрийская объявила, что ожидает ребенка. Это известие вызвало всеобщую радость, и все молились о счастливом разрешении королевы от бремени. Наконец пятого сентября тысяча шестьсот тридцать восьмого года королева родила сына.

Тут Арамис взглянул на своего собеседника, и ему показалось, что тот побледнел.

– Вы сейчас услышите от меня, – предупредил юношу Арамис, – историю, которую в данное время могли бы поведать вам лишь очень немногие, ибо то, что я собираюсь сказать, считается тайной, умершей вместе с умершими или погребенной в бездонных глубинах исповеди.

– И вы откроете мне эту тайну? – спросил молодой человек.

– О, – сказал Арамис с усмешкою в голосе, – я не думаю, что подвергаю себя опасности, веря ей заключенному, не испытывающему никакого желания покинуть Бастилию.

– Я вас слушаю, сударь.

– Так вот, продолжаю. Королева родила сына. Но в то самое время, когда двор ликовал при этом известии, в то время, когда король, показав новорожденного народу и знати, сидел за стол, чтобы отпраздновать это радостное событие, у королевы, оставшейся в одиночестве, снова начались родовые схватки, и у нее родился еще один сын.

– О, – произнес узник, проговариваясь, что он осведомлен лучше, чем можно было предполагать на основании его слов. – Я думал, что брат короля родился лишь...

Арамис покачал головой.

– Погодите, будет продолжение.

Узник нетерпеливо вздохнул и приготовился слушать.

– Да, – сказал Арамис, – королева родила еще одного сына, второго сына, которого приняла Перонетта, ее повивальная бабка.

– Перонетта! – прошептал молодой человек.

– Сразу же побежали за королем; ему на ухо сообщили о происшедшем; он встал из-за стола и поспешил к королеве. Но на этот раз на лице его не было выражения радости; напротив, оно выражало скорее ужас. Рождение близнеца превратило его радость от рождения первого сына в печаль, ибо (вы этого, конечно, не знаете) во Франции престол переходит к старшему сыну, который и царствует после отца.

– Я это знаю.

– Между тем врачи и юристы высказывают предположение, что отнюдь не бесспорно, будто старшим по законам бога и законам природы является тот, кто первым вышел из материнского чрева.

Приглушенный крик вырвался из груди узника; он стал бледнее простыни, которой был накрыт.

– Теперь вы поймете, – продолжал Арамис, – почему короля, который с такой радостью

увидел свое воспроизведение в новорожденном, охватило отчаяние, едва он подумал о том, что отныне у него не один наследник, а два, и что тот, кто появился на свет вторым и чье рождение осталось безвестным, станет, быть может, оспаривать права старшинства у другого, того, кто родился на два часа раньше и кто вот уже два часа считается законным престолонаследником, и в этом случае одному богу ведомо, что произойдет в будущем. Ведь может статься, что второй его сын, отвечая интересам или капризам какой-либо партии, посеет когда-нибудь в королевстве раздоры и братоубийственную войну, подрывая тем самым династию, которую ему подобало бы укреплять.

– О, я понимаю, я все понимаю, – прошептал юноша.

– Вот почему один из сыновей Анны Австрийской, подлейшим образом разлученный со своим братом, подлейшим образом лишенный наследства и обреченный на прозябание в полнейшей безвестности, вот почему этот второй ее сын бесследно исчез, и исчез так, что никто во Франции ныне не знает, существует ли он на свете, никто, кроме его родной матери...

– Его матери, которую он покинут! – с отчаянием вскричал узник.

– И еще дамы в черном с огненными лентами, – продолжал Арамис, – и, наконец...

– Вас, не так ли? И вы явились сюда, чтобы рассказать мне про это, вы явились, чтобы разбудить в моей душе любопытство, ненависть, честолюбие и, кто знает, быть может, и жажду мести? Если вы тот, кого я ожидаю, если вы человек, обещанный мне запиской, наконец, человек, посланный мне самим богом, то у вас должен быть... портрет короля Людовика Четырнадцатого, восседающего теперь на французском троне.

– Вот этот портрет, – ответил епископ, подавая узнику великолепно исполненную на эмали миниатюру с изображением гордого, прекрасного и совсем как живого Людовика Четырнадцатого.

Узник жадно схватил портрет и впился в него глазами, словно хотел навсегда запечатлеть его в своем сердце.

– А теперь, монсеньер, вот вам и зеркало.

Арамис предоставил узнику время, чтобы тот мог разобраться в хаосе своих мыслей.

– Поразительно! Поразительно! – шептал юноша, пожирая глазами портрет Людовика Четырнадцатого и свое собственное изображение в зеркале.

– Что вы думаете об этом? – спросил Арамис.

– Я думаю, что погиб, – сказал пленник, – я думаю, что король никогда не простит мне моего рождения.

– Что до меня, – проговорил епископ, устремив на узника взгляд, исполненный преданности, – то я не знаю, кто же король – тот ли, кого изображает портрет, или тот, чье лицо отражается в этом зеркале.

– Король, сударь, тот, кто сидит на троне, – грустно произнес молодой человек, – король тот, кто не томится в тюрьме и кто может, напротив, заключать в нее по своей воле других. Королевская власть – это могущество, это огромная сила, а я, как вы видите, совершенно бессилен.

– Монсеньер, – сказал Арамис с такою почтительностью, с какой он никогда еще не обращался к своему собеседнику, – королем, заметьте себе, будет, если вы того пожелаете, тот, кто, выйдя из тюрьмы, сумеет удержаться на троне, на который его возведут преданные ему друзья.

– Сударь, не искушайте меня, – горестно вздохнул узник.

– Монсеньер, не впадайте в уныние, – настаивал Арамис. – Я привел вам доказательства вашего королевского происхождения. Вникните в них, убедите себя самого в том, что вы сын короля и король... и потом мы начнем действовать.

– Нет, нет! Это невысказано.

– Пожалуй, что так, – иронически продолжал ваннский епископ, – если вашему роду и впрямь предначертано самую судьбой, чтобы королевские братья, отстраненные от престола, были все, как один, принцами, лишенными отваги и чести, каким был, например, Гастон

Орлеанский, ваш дядя, который стоял во главе десяти заговоров против Людовика Тринадцатого, своего брата.

– Мой дядя Гастон Орлеанский устраивал заговоры против своего брата?

– вскричал, ужаснувшись, принц. – Он устраивал эти заговоры с целью низвергнуть его с престола?

– Вот именно: только с этой целью и никакой иной.

– Вы говорите что-то не то.

– Я говорю сущую правду.

– И у него... у Гастона Орлеанского были преданные друзья?

– Столь же преданные, как я по отношению к вам.

– Ну и что же, чего он добился? Его ждала неудача?

– Да, он всякий раз терпел неудачу, и всякий раз это происходило по его вине. И чтобы купить себе жизнь, нет, не жизнь, ибо жизнь королевского брата священна, – чтобы обеспечить себе свободу, ваш дядя жертвовал жизнью своих друзей, отдавая их на заклинание одного за другим, И теперь он – позор нашей истории и проклятье сотня благородных семейств нашего королевства.

– Понимаю вас, сударь, – заметил принц. – Но ответьте, прошу вас, убил ли мой дядя своих друзей по слабости или он попросту предал их?

– По слабости; впрочем, слабость властителей – это всегда предательство.

– Но разве нельзя потерпеть неудачу по незнанию или по неспособности?

Неужели вы думаете, что бедный узник, такой, как я, например, воспитанный не только вдали от двора, но и от всего света, неужели вы думаете, что такой узник был бы в силах оказать помощь тем из своих друзей, которые попытались бы сослужить ему службу?

И прежде чем Арамис успел ответить, он, охваченный неудержимым порывом, показавшим, с какой силой может бурлить его кровь, внезапно вскричал:

– Мы говорим о друзьях! Но откуда же у меня, про которого не ведает ни одна душа человеческая, могут взяться друзья? Ведь я не располагаю ни свободой, ни деньгами, ни властью, ничем, что привлекает друзей!

– Но мне кажется, ваше высочество, я имел честь предоставить себя в ваше распоряжение.

– О, не величайте меня этим титулом, сударь! Это насмешка, это неслыханная жестокость! Не побуждайте меня думать о чем-либо ином, кроме как о стенах тюрьмы, в которой я заперт; позвольте мне любить или, по крайней мере, безропотно переносить мое заключение и прозябание в полнейшей безвестности.

– Монсеньер, монсеньер! Если вы еще раз повторите эти расхолаживающие слова, если, получив доказательства своего королевского происхождения, вы и впредь будете столь же малодушны, вялы, безвольны, я подчинюсь вашим желаниям и исчезну; я откажусь от мысли служить государю, которому я жажду оказать помощь и, в случае нужды, отдать свою жизнь.

– Сударь! – воскликнул принц. – Прежде чем заговорить со мною обо всем, о чем вы сейчас говорите, вам следовало задуматься, стоит ли навсегда нарушать покой моего сердца.

– Но я к этому и стремлюсь.

– Неужели, чтобы рассказать мне о величии, о могуществе, о том, что меня ожидает престол, вам необходимо было избрать тюрьму? Вы хотите, чтобы я поверил в мое блестящее будущее, но разве не таимся мы с вами во мраке? Вы соблазните меня славой, но не трепещем ли мы, как бы наши слова не проникли за полог этой жалкой постели? Вы изображаете мне всемогущество, но не слышу ли я в коридоре шагов тюремщика и не боюсь ли вы их еще больше, чем я? Чтобы хоть немного рассеять мое неверие, извлеките меня из Бастилии; дайте вольного воздуха моим легким, дайте шпоры моим ногам, вложите меч в мои руки, и тогда... тогда мы начнем понимать друг Друга.

– Дать вам все это и еще много больше – в этом и состоит моя цель. Но отвечает ли это вашим желаниям, монсеньер?

– Слушайте, сударь, – перебил Арамис принц. – Я знаю, что в каждой галерее Бастилии

находится стража, что на каждой двери – замок, что у всех рогаток – солдаты и пушки. Каким же образом сможете вы обезвредить стражу и заклепать пушки? Как сможете вы разбить замки и рогатки?

– А каким образом, монсеньер, вы получили записку, извещавшую вас о моем посещении?

– Чтобы переправить записку, достаточно подкупить тюремщика.

– Раз можно подкупить одного, значит, то же можно проделать и с десятью.

– Хорошо! Допускаю, что извлечь несчастного узника из Бастилии – вещь не окончательно невозможная; допускаю, что можно найти для него какое-нибудь укромное место, где его не смогут схватить королевские слуги; допускаю, наконец, что можно обеспечить несчастному беглецу сносное содержание где-нибудь в надежном убежище.

– Монсеньер... – начал с улыбкою Арамис.

– Допускаю, что отыщется человек, который все это сделает для меня, хотя тут требуются силы, превышающие возможности человеческие. Но поскольку вы утверждаете, что я принц королевской крови, что я – брат короля, каким образом сможете вы возвратить мне положение и могущество, отнятые у меня моей матерью и моим братом? И поскольку мне предстоит жизнь, исполненная борьбы и ненависти, каким образом сможете вы сделать меня победителем в этой борьбе, сделать недостижимым для сонма моих врагов? Ах, сударь, пораскиньте умом над этим! Нет, уж лучше поселите меня в какой-нибудь мрачной пещере, где-нибудь в лоне горы; доставьте мне радость прислушиваться на воле к шумам реки и полей, видеть на воле солнце на лазоревом небе или небо, затянутое грозowymi тучами, – и этого с меня будет достаточно. Не обещайте мне большего, ибо вы и впрямь не можете дать мне больше, и было бы преступлением тешить меня обманом, – ведь вы называете себя моим другом.

Арамис слушал узника с глубоким вниманием.

– Монсеньер, – произнес он после минутного размышления, – я восхищен столь искренним и столь непреклонным чувством, которое внушает вам эти слова; я счастлив, что я сразу же распознал моего государя.

– Погодите, погодите немного!.. Сжальтесь же надо мной, – вскричал принц, сжимая похолодевшими пальцами свой лоб, покрывшийся испариной, не мучьте меня! Мне незачем быть королем, чтобы быть счастливейшим из людей.

– Что до меня, монсеньер, то мне нужно, чтобы вы сделались королем, и это нужно для счастья всего человечества.

– Ах, – сказал принц, в котором снова заговорило неверие, вызванное словами епископа, – в чем же человечество может упрекнуть моего брата?

– Я забыл сказать, монсеньер, что, если вы сообразоволяете предоставить мне руководить вами и согласитесь сделаться наиболее могущественным монархом на свете, вы будете служить интересам всех тех, кого я привлек ради успешного завершения нашего дела, – а таких у нас множество.

– Множество?

– И к тому же они очень сильны.

– Объяснитесь.

– Невозможно. Я объясню все до последней мелочи, – клянусь перед богом, который слышит меня, – в тот самый день, когда увижу вас на французском престоле.

– Но мой брат?

– Вы сами решите его судьбу. Или, быть может, вы жалеете вашего брата?

– Его, который гноит меня в этой темнице? О нет, я не жалею его.

– Том лучше.

– Он мог бы прийти сюда, мог бы взять меня за руку и сказать: «Брат мой, господь создал нас, чтобы мы любили друг друга, а не для того, чтоб боролись друг с другом. Я пришел протянуть вам руку. Дикий предрассудок осудил вас на угасание вдали от людей, в полном мраке, не изведав человеческой радости. Я хочу, чтобы вы сидели рядом со мной; я хочу

препоясать вас мечом, доставшимся нам от отца. Используете ли вы это сближение, чтобы убить меня или противоборствовать мне? Воспользуетесь ли вы этим мечом, чтобы пролить мою кровь?» – «О нет, – ответил бы я, – я смотрю на вас как на своего избавителя и буду уважать вас как своего государя. Вы даете мне много больше, чем дано мне господом богом. Благодаря вам – я свободен, благодаря вам – я имею право полюбить в этом мире и, в свою очередь, быть любимым».

– И вы сдержали бы свое слово?

– Клянусь моей жизнью, да!

– Тогда как теперь?

– Тогда как теперь я чувствую, что виновные должны понести наказание.

– Каким образом, монсеньер?

– Что вы скажете о моем сходстве с братом, дарованном мне господом богом?

– Скажу, что в этом сходстве можно усмотреть перст провидения, которым королю не должно было пренебрегать; скажу, что ваша мать совершила тяжкое преступление, предоставив столь неравную долю счастья и столь неравную участь тем, кого природа создала в ее чреве столь похожими друг на друга; и я делаю из этого вывод, что кара за это будет не чем иным, как восстановлением равновесия.

– Что означают ваши слова?

– То, что, когда я возвращу вам ваше место на троне вашего брата, вашему брату придется занять ваше место в тюрьме.

– Увы! В тюрьме испытываешь столько страданий!

Особенно если до этого чаша жизни наполнилась до краев!

– Ваше высочество сможете поступить, как сочтете для себя удобным; наказав, вы сможете простить, если того пожелаете.

– Хорошо! А теперь остается сказать вам еще об одном.

– Говорите, мой принц.

– Отныне я буду беседовать с вами лишь за стенами Бастилии.

– Я и сам хотел уведомить вас, ваше высочество, что в дальнейшем я буду иметь честь встретиться с вами лишь один-единственный раз.

– Когда же это произойдет?

– В тот день, когда мой принц покинет эти мрачные стены.

– Да услышит вас бог! Как же вы предупредите меня?

– Я приду сюда сам.

– Вы сами?

– Не покидайте этой комнаты, принц, ни с кем, кроме меня, или если вас принудят в мое отсутствие покинуть ее, помните, что это сделано помимо меня.

– Итак, ни одного слова кому бы то ни было, кроме вас?

– Да, ни одного слова кому бы то ни было, кроме меня.

Арамис отвесил глубокий поклон. Принц протянул ему на прощание руку и сказал с искренностью, идущей от самого сердца:

– Сударь, еще одно слово. Если вы явились ко мне, чтобы окончательно погубить меня, если вы – не более как орудие моих ненавистников, если наша беседа, в которой вы вывели самые сокровенные тайны моего сердца, принесет мне нечто худшее, чем заключение, а именно – смерть, то и тогда да будет мое благословение с вами, ибо вы положили конец моим сомнениям и заботам и после лихорадочной пытки, терзавшей меня последние восемь лет, внесли успокоение в мою Душу.

– Монсеньер! Не торопитесь судить меня.

– Я сказал, что благословляю вас, что простил вам вашу вину предо мною. Но если вы явились ко мне для того, чтобы возвратить место, уготованное мне самим, богом, место, осиянное солнцем счастья и славы, если, благодаря вам, я смогу оставить по себе след в людской памяти, если, свершив выдающиеся деяния и оказав услуги народам моего королевства, я доставлю честь моему роду, если из тьмы, в которой я угасаю, я поднимусь,

поддерживаемый вашей благородной рукою, к вершинам почета, – в таком случае вам, кого я благословляю и кому приношу свою признательность и благодарность, вам – половина моего могущества и моей славы. И это будет все еще слишком ничтожная плата; я всегда буду считать, что не выплатил вам вашей доли, ибо вы никогда не сможете в такой же мере, как я, наслаждаться счастьем, которым одарили меня.

– Монсеньер, – проговорил Арамис, взволнованный бледностью юноши и этим его порывом, – монсеньер, благородство вашего сердца наполняет меня радостью и восхищением. Не вам выражать мне свою благодарность. Меня будут благодарить народы, которых вы осчастливите, и ваши потомки, которым вы оставите славу. Да, да... я дам вам нечто большее, нежели жизнь, – я дам вам бессмертие.

Молодой человек снова протянул Арамису руку; Арамис приложился к ней, став на колени.

– О! – вскричал принц с тронувшим Арамиса смущением.

– Это первая дань почитания моему будущему монарху. Когда я снова увижу вас, я скажу: «Здравствуйте, ваше величество!»

– А до этой поры, – воскликнул молодой человек, прижимая свои белые исхудавшие пальцы к сердцу, – а до этой поры – никаких грез, никаких потрясений, иначе жизнь моя пресечется! О сударь, до чего же тесно в моей тюрьме, до чего мало это окно, до чего узка дверь! Как же могло проникнуть через нее, как могло поместиться здесь столько гордости, столько блеска и счастья!

– Поскольку вы утверждаете, что все это принесено мною, вы наполняете мое сердце радостью, ваше высочество, – поклонился Арамис.

Произнеся эти слова, он постучал. Дверь тотчас же отворилась. За нею стояли тюремщик, а также Безмо, который, снедаемый беспокойством и страхом, начал уже невольно прислушиваться к голосам, доносившимся из-за двери.

К счастью, оба собеседника говорили все время вполголоса и даже при самых бурных изъяснениях страсти не забывали об этой предосторожности.

– Вот это исповедь! – сказал комендант, силясь изобразить на лице улыбку. – Можно ли было предполагать, что заключенный, наполовину покойник, будет каяться в стольких грехах и отнимет у вас столько времени?

Арамис промолчал. Ему хотелось поскорее покинуть Бастилию, где отягощавшая его тайна удваивала гнетущее впечатление, производимое стенами крепостных казематов.

Когда они дошли до квартиры Безмо, Арамис шепнул коменданту:

– Поговорим о делах, дорогой господин де Безмо.

– Увы! – отозвался Безмо.

– Не нужно ли вам спросить меня о расписке на сто пятьдесят тысяч ливров? – молвил епископ.

– И уплатить первую треть этой суммы, – добавил, вздыхая, бедный Безмо, сделавший несколько шагов по направлению к своему железному шкафу.

– Вот ваша расписка, – подал бумагу Арамис.

– А вот и деньги, – ответил, трижды вздохнув, комендант.

– Мне было приказано вручить вам расписку на пятьдесят тысяч ливров, – сказал Арамис. – Что же касается денег, то на этот счет я не получал никаких указаний.

И он удалился, оставив Безмо в полном смятении чувств перед этим поистине королевским подарком, преподнесенным ему с такою непринужденностью внештатным духовником Бастилии.

Глава 29.

КАК МУСТОН РАСТОЛСТЕЛ, НЕ ПОСТАВИВ ОБ ЭТОМ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПОРТОСА, И КАКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ДЛЯ ДОСТОЙНОГО ДВОРЯНИНА ВОСПОСЛЕДОВАЛИ ОТ ЭТОГО

Со времени отъезда Атоса в Блуа д'Артаньян и Портос редко бывали вместе. У одного была хлопотная служба при короле, другой увлекся покупкой мебели, которую хотел отправить в свои многочисленные поместья; он задумал завести в своих резиденциях – а их у него было несколько – нечто напоминающее придворную роскошь, которую ему довелось увидеть у короля и которая ослепила его.

Д'Артаньян, сохранивший неизменную верность по отношению к старым друзьям, однажды утром, в свободное от служебных занятий время, вспомнил о Портосе и, обеспокоенный тем, что вот уже две недели ничего не слышал о нем, поехал к нему и застал его только что вставшим с постели.

Достойный барон был, по всей видимости, поглощен какими-то неприятными мыслями; больше того, он был опечален. Свесив ноги, полуголый, сидел он у себя на кровати и уныло рассматривал целые вороха платья, отделанного бахромой, галунами, вышивкой безобразных цветов, которое было навалено перед ним на полу.

Печальный и задумчивый, как пресловутый заяц в басне Лафонтена, Портос не заметил входящего д'Артаньяна, скрытого от его глаз внушительной фигурой Мустона, настолько дородною, что он мог бы заслонить своим телом любого, а в этот момент размеры его удвоились, так как дворецкий расправлял перед собою алый кафтан, который он держал за концы рукавов, чтобы хозяин мог лучше приглядеться к нему.

Д'Артаньян остановился на пороге и принялся рассматривать озабоченного Портоса; обнаружив, однако, что эта куча костюмов порождает в груди достойного дворянина тяжкие вздохи, он решил, что пора оторвать его от этого столь мучительного для него зрелища, и кашлянул, чтобы возвестить о своем приходе.

– А! – воскликнул Портос, и лицо его осветилось радостью. – Здесь д'Артаньян! Наконец-то меня осенит счастливая мысль!

Мустон, услышав эти слова, обернулся с приветливой улыбкой к другу своего хозяина, и Портос избавился, таким образом, от массивной преграды, мешавшей ему броситься к д'Артаньяну.

Он поспешно вскочил с кровати, потянулся, хрустнув суставами крепких ног, пронесся в два прыжка через комнату и порывисто прижал д'Артаньяна к груди: с каждым днем он любил его, казалось, все больше и больше.

– Ах, дорогой друг, – повторил он несколько раз, – ах, дорогой д'Артаньян, здесь вы всегда желанны, но сегодня желаннее чем когда бы то ни было, – Так, так. У вас неприятности? – спросил д'Артаньян.

Портос ответил взглядом, полным уныния.

– Расскажите же, друг мой, в чем дело, если это не тайна.

– Во-первых, – вздохнул Портос, – вы знаете, что у меня нет от вас никаких тайн, а во-вторых... во-вторых, меня огорчает следующее...

– Погодите, Портос, погодите: дайте мне сперва выбрать из этого вороха сукна, атласа и бархата.

– Шагайте, шагайте смелее! – проговорил жалобным тоном Портос. – Все это не больше чем хлам.

– Черт подери! Сукно стоимостью в двадцать ливров за локоть-хлам! Великолепный атлас и бархат, которым не погнушался бы сам король, – это, по-вашему, хлам!

– Так вы находите эти костюмы...

– Блистательными, Портос, блистательными! Готов поручиться, что во всей Франции вы один обладаете таким невероятным количеством их, и если предположить, что, начиная с этого дня, вы не закажете больше ни одного, а проживете добрую сотню лет, что, говоря по правде, меня нисколько не удивило бы, то и в этом случае в день вашей смерти на вас будет новый костюм, и в течение всего этого времени ни один портной не покажет к вам носа.

Портос покачал головой.

– Послушайте, друг мой, – сказал д'Артаньян. – Это мрачное настроение, отнюдь не свойственное вашему нраву, пугает меня. Дорогой мой Портос, давайте покончим с ним, и чем

раньше, тем лучше.

– Да, да, покончим, – ответил Портос, – избавимся, если только это вообще возможно.

– Или, быть может, вы получили дурные известия из Брасье?

– О нет; там вырубili леса, и они дали доход, превысивший ожидаемый на целую треть.

– Или в Пьерфоне прорвало запруды?

– Нет, что вы, друг мой; там выловили рыбу, по того, что осталось после продажи, более чем достаточно, чтобы сделать все окрестные пруды рыбными.

– Что же тогда? Уж не обрушился ли Валлон по причине землетрясения?

– Нет, нет! Напротив, молния ударила в какой-нибудь сотне шагов от замка, и в месте, страдавшем от недостатка воды, забил превосходный ключ, – Но в чем же в таком случае дело?

– Видите ли, я получил приглашение на празднество в Во, – произнес Портос с похоронным видом.

– Чего же вы жалуетесь? Король был причиною более чем ста ссор, породивших непримиримых врагов, и все они – из-за того, что тому или иному между придворными было отказано в приглашении. Так вы и в самом деле приглашены в Во? Вот оно что!

– Но, бог мой, конечно!

– Вам предстоит увидеть поразительное великолепие.

– Что до меня, то мне едва ли удастся увидеть это.

– Но ведь там будет собрана вся наша французская знать.

– Ах, – вздохнул Портос, вырвав у себя с отчаянья клоч волос.

– Господи боже! Да не больны ли вы, дорогой мой?

– Я здоров, черт подери, как бык. Дело не в этом.

– Но в чем же?

– У меня нет костюма.

Д'Артаньян остолбенел.

– Нет костюма, Портос! Нет костюма! – вскричал он. – Но ведь я вижу у вас на полу больше полусотни костюмов!

– Полусотни! Это верно. Но нет ни одного, который был бы мне впору.

– Как это нет ни одного, который был бы вам впору! Разве с вас не снимали мерки, когда их шили?

– Снимали, – ответил Мустон, – но, к несчастью, я растолстел.

– Что? Вы растолстели?

– Да, так что стал толще, гораздо толще господина барона. Могли бы вы это подумать, сударь?

– Еще бы! Мне кажется, что это видно с первого взгляда.

– Слышишь, болван? – проворчал Портос. – Это видно с первого взгляда.

– Но, милый Портос, – сказал Д'Артаньян с легким нетерпением в голосе, – не могу понять, почему ваши костюмы никуда не годятся из-за того, что Мустон растолстел.

– Сейчас объясню. Помните, вы мне рассказывали как-то про одного римского военачальника, которого звали Антонием и у которого всегда было семь кабанов на вертеле, жарившихся в различных местах, чтобы он мог потребовать свой обед в любой час, когда бы ему ни заблагорассудилось.

Вот и я – поскольку в любой момент меня могут пригласить ко двору и оставить там на неделю, – вот я и решил иметь всегда наготове, если это случится, семь новых костюмов.

– Отлично придумано, мой милый Портос. Но чтобы позволить себе такого рода фантазии, нужно располагать вашим богатством, не говоря уж о времени, которое затрачиваешь на примерку. И к тому же мода так часто меняется.

– Что верно, то верно, – заметил Портос. – Но я тешил себя надеждой, что придумал нечто исключительно хитрое.

– Что же это такое? Черт возьми, я никогда не сомневался в ваших талантах!

– Вы помните те времена, когда Мустон был еще тощим?

– Конечно; это было тогда, когда он был Мушкетером.
– А когда он начал толстеть?
– Нет, этого я не мог бы сказать. Прошу извинения, мой милый Мустон.
– О, вам нечего просить извинения, – любезно ответил Мустон, – вы были в Париже, а мы... мы в Пьерфоне.

– Так вот, дорогой Портос, – итак, с известного времени Мустон начал толстеть. Ведь вы хотели сказать именно это, не так ли?

– Конечно. И я был этим очень обрадован.
– Черт! Готов вам верить.
– Понимаете ли, – продолжал Портос, – ведь это освобождало меня от хлопот.
– Нет, все еще не понимаю, друг мой. Но если вы мне объясните...
– Сейчас, сейчас... Прежде всего, как вы сказали, это потеря времени, когда даешь снимать с себя мерку, хотя бы раз в две недели. Потом можешь оказаться в дороге, а когда хочешь всегда иметь семь новых костюмов...

Наконец, я терпеть не могу давать с себя снимать мерку. Либо я дворянин, либо не дворянин, черт возьми. Дать себя измерять какому-нибудь проходимцу, который изучает тебя с головы до пят, – это унижительно в высшей степени. Этот народ находит вас слишком выпуклым тут, слишком вдавленным здесь, он знает все ваши достоинства и недостатки. Знаете, когда выходишь из рук портного, чувствуешь себя похожим на крепость, только что досконально изученную шпионом.

– Воистину, Портос, ваши мысли чрезвычайно своеобразны.
– Но вы понимаете, что, будучи инженером...
– И к тому же укрепившим Бель-Иль...
– Так вот, мне пришла в голову мысль, и она, конечно, была бы весьма хороша, если бы не небрежность Мустона.

Д'Артаньян бросил взгляд на Мустона, который ответил на него легким движением тела, как бы желая сказать: «Вы сами увидите, виноват ли я в том, что случилось».

– Итак, я очень обрадовался, – продолжал Портос, – увидев, что Мустон начал толстеть; больше того, чем только мог, я помогал ему нагуливать жир. Я кормил его особо питательной пищей, надеясь, что он сравняется со мной в объеме и тогда я смогу заставить его иметь дело с портными и тем самым избавлю себя от снятия мерок и прочих скучных вещей.

– А! – вскричал Д'Артаньян. – Теперь я наконец понимаю... Это спасло бы вас от потери времени и унижений.

– Черт подери! Судите же сами о моей радости, когда после полутора лет отменного и искусно подобранного питания – ибо я взял на себя труд самолично кормить Мустона – этот бездельник...

– Ах, сударь, я и сам немало способствовал этому, – скромно вставил Мустон.
– Это верно. Так вот, судите о моей радости, когда в одно прекрасное утро я обнаружил, что Мустону пришлось повернуться боком, как поворачивался я сам, чтобы протиснуться сквозь потайную дверь, которую эти чертовы архитекторы устроили у меня в Пьерфоне в комнате покойной госпожи дю Валлон. Да, кстати, об этой двери, друг мой; хочу задать вам вопрос, вам, знающему решительно все на свете: какого черта эти плуты архитекторы, которым полагается иметь подобающий глазомер, придумали двери, годные только для тощих?

– Эти двери, – сказал в ответ Д'Артаньян, – предназначены для возлюбленных, а возлюбленные по большей части сложения хрупкого и изящного.

– Госпожа дю Валлон не имела возлюбленных, – величественно перебил Д'Артаньяна Портос.

– Несомненно, друг мой, несомненно, – поторопился согласиться с ним Д'Артаньян, – но, быть может, эти двери были придуманы архитекторами на случай вашей повторной женитьбы.

– Вот это и впрямь возможно, – заметил Портос. Теперь, когда я получил от вас

разъяснение относительно этих слишком узких дверей, вернемся к нагуливанию жира Мустоном. Но заметьте себе, что первое имеет прямое отношение ко второму. Я не раз наблюдал, что наши мысли тянутся друг к другу. Подивитесь-ка на это явление, д'Артаньян: я говорил о Мустоне, который начал толстеть, а кончил тем, что вспомнил о госпоже дю Валлон...

– Которая была худощавой.

– Разве это не поразительно?

– Друг мой, один из моих ученых друзей, господин Костар, сделал то же самое наблюдение, что и вы, и он называет это каким-то греческим словом, которого я не запомнил.

– Выходит, что мое наблюдение не отличается новизной! – вскричал Портос, ошеломленный услышанным от д'Артаньяна. – А я думал, что это я первый сделал его.

– Друг мой, этот факт известен еще до Аристотеля, то есть, говоря по-иному, приблизительно вот уже две тысячи лет.

– Но от этого он не становится менее достоверным, – заметил Портос, приходя в восторг от этого совпадения его собственных мыслей с мыслями философов древности.

– Безусловно. Но давайте вернемся к Мустону. Мы оставили его в тот момент, когда он стал толстеть у вас на глазах, ведь, кажется, так?

– Так точно, сударь, – вставил Мустон.

– Продолжаю, – сказал Портос. – Итак, Мустон толстел так успешно, что оправдал все мои чаянья. Он достиг моей мерки, и я смог воочию убедиться в этом, увидев в один прекрасный день на мошеннике мой собственный камзол, в который он позволил себе облачиться; этот камзол обошелся мне очень недешево: одна только вышивка стоила сотню пистолет.

– Я надел его лишь затем, чтоб примерить, сударь, – заметил Мустон.

– Итак, – продолжал Портос, – с этого дня я решил, что отныне все дела с моими портными будет вести Мустон, – с него будут снимать мерку, и во всем этом он полностью заменит меня.

– Чудесно придумано! Просто чудесно! Но ведь Мустон на полтора фута ниже вас ростом.

– Вы правы. Но я велел шить таким образом, чтобы на Мустона костюм был слишком длинным, а на меня в самый раз.

– Какой вы счастливец, Портос! Такие вещи случаются только с вами.

– Да, да! Завидуйте мне, есть действительно чему позавидовать! Это было точно в то самое время, когда я уезжал на Бель-Иль, то есть приблизительно два с половиной года назад. Уезжая, я поручил Мустону – чтобы постоянно иметь на случай нужды приличное модное платье – ежемесячно заказывать себе по костюму.

– И Мустон не исполнил вашего приказания? Нехорошо, Мустон, очень плохо!

– Напротив, сударь, напротив!

– Нет, он не забывал заказывать для себя костюмы, но он забыл предупредить меня, что толстеет.

– Господи боже, я в этом несколько не виноват; ваш портной ни разу не сказал мне об этом.

– За два года этот бездельник расширился в талии ни больше ни меньше, как на целые восемнадцать дюймов, и мои последние двенадцать костюмов шире, чем нужно, от фута до полутора футов.

– Ну, а прежние, сделанные в те времена, когда ваши талии были приблизительно одинаковыми?

– Они успели выйти из моды, и если бы я надел их, у меня был бы вид человека, приехавшего из Сиамы и не бывавшего при дворе добрых два года.

– Теперь мне понятны ваши заботы. Сколько же у вас новых костюмов?

Тридцать шесть? И вместе с тем ни одного. Выходит, что нужно сшить тридцать седьмой, а остальные тридцать шесть подарить Мустону.

– Ах, сударь, – обрадовался Мустон, – вы всегда были добры ко мне.

– Черт возьми! Неужели вы думаете, что подобная мысль не приходила мне в голову или что меня останавливают расходы? До праздника в Во остается каких-нибудь двое суток. Я получил приглашение только вчера и немедленно вызвал Мустона, приказав» чтобы он явился сюда с моим гардеробом на почтовых; по я заметил приключившееся со мной несчастье лишь этим утром, и где такой более или менее модный портной, который взялся бы изготовить за это время костюм?

– То есть костюм, расшитый вдоль и поперек золотом?

– Да, я хочу, чтобы золото было повсюду.

– Мы это уладим. В вашем распоряжении трое суток. Вы приглашены на среду, а сейчас воскресенье, и притом утро.

– Это правда. Но Арамис настоятельно просил прибыть в Во за сутки.

– Как, Арамис?

– Да, это приглашение привез Арамис.

– А, понимаю. Вы приглашенный господина Фуке.

– Нет, я приглашен королем. В записке ясно написано: «Г-на дю Валлона предупреждают, что король удостоил включить его в список своих приглашенных».

– Прекрасно! Но все же вы уезжаете с господином Фуке?

– И когда я подумаю, – вскричал Портос, отломив кусок паркета ударом ноги, – когда я подумаю, что у меня не будет костюмов, я готов прямо лопнуть от злости! Мне хочется задушить кого-нибудь или что-нибудь разорвать на части!

– Никого не душите и ничего не рвите на части; я это улажу; наденьте один из тридцати шести ваших костюмов, и поехали вместе к портному.

– Мой посланный обошел этим утром их всех, – И он побывал даже у Персерена?

– Кто такой Персерен?

– Портной короля, и вы не знаете этого?

– Да, да, конечно, – сказал Портос, делая вид, что портной короля хорошо известен ему, хотя он слышал о нем впервые, – у Персерена, портного его величества короля? Да, да, конечно! Но я думал, что он перегружен работой.

– Конечно, он перегружен работой; но будьте спокойны, Портос, он сделает для меня то, чего не сделал бы ни для кого другого. Только на этот раз вам придется позволить снять с себя мерку, дорогой друг, – Ах, – вздохнул Портос, – это ужасно. Но что же поделаешь?

– Вы поступите, как все, вы поступите, как король.

– Как? И с короля также снимают мерку? И он это терпит?

– Король, дорогой мой, – щеголь. И вы – также, что бы вы об этом ни говорили. Портос улыбнулся с победным видом:

– Идемте к портному его величества. И раз он снимает мерку с самого короля, мне, право, кажется, что и я могу позволить ему обмерить меня с головы до пят!

Глава 30.

ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ МЕССИР ЖАН ПЕРСЕРЕН

Портной короля, мессир Жан Персерен, занимал довольно большой дом на улице Септ-Оноре, близ улицы Арбр-Сек. Это был человек, понимавший толк в красивых тканях, в красивых вышивках и красивом бархате, ибо Персерены из поколения в поколение занимались одним и тем же: шили на королей. Эта профессия их восходит ко временам Карла IX, частенько предававшегося бурным фантазиям, удовлетворить которые было достаточно трудно.

Первый Персерен, подобно Амбруазу Паре, был гугепотом, но наваррская королева, прекрасная Марго, как называли ее в те времена и в литературных произведениях, и в просторечии, пощадила его за то, что ему одному удавались ее удивительные верховые костюмы, скрывавшие кое-какие недостатки ее телосложения и поэтому весьма ценимые ею.

Спасшийся от гибели Персерен в благодарность за это подарил очень красивые и очень дешевые черные телогрейки для королевы Екатерины, которая долго косилась на гугенота, покончила тем, что была рада его спасению. Персерен, однако, был человеком благоразумным: он слышал, что ничто не могло быть для гугенота опаснее, чем улыбка королевы Екатерины, и, заметив, что она улыбается ему чаще обычного, поторопился перейти в католичество вместе со всею своей семьей. Став таким образом лицом безупречным, он достиг высокого положения главного портного французской короны.

При Генрихе III, самом кокетливом из королей, это положение стало настолько высоким, что его было бы уместно сравнить с какой-нибудь высочайшей вершиной Кордильер.

Персерен в течение всей своей жизни слыл ловкачом, и, дабы сохранить эту свою репутацию и за гробом, он позаботился о том, чтобы хорошенько поводить за нос смерть: он скончался как раз тогда, когда его воображение начало иссякать. После него остались один сын и одна дочка, достойные его имени; сын – смелый закройщик, точный, как циркуль, дочка – вышивальщица и художница, создававшая прекрасные узоры для вышивок.

Свадьба Генриха IV и Марии Медичи, замечательные траурные наряды названной королевы и несколько слов, вырвавшихся у г-на де Бассомпьера, короля щеголей того времени, обеспечили процветание и второму поколению Персеренов.

Кончено Кончини и его жена Галигаи, блиставшие после этого при французском дворе, пожелали италянизировать французский костюм и выписали портных из Флоренции. Но Персерен, задетый за живое в своем патриотизме и самолюбии, обратил в ничто чужеземцев своими рисунками узорчатой парчи и своей неподражаемой вышивкой гладью. Дело кончилось тем, что сам Кончини первым отказал своим соотечественникам и так высоко оценил таланты французского мастера, что одевался лишь у него и в тот день, когда Витри застрелил его на мостике во дворе Лувра, на нем был сшитый у Персерена костюм. Этот костюм парижане с удовольствием разорвали на части вместе с прикрываемой им человеческой плотью.

Несмотря на благоволение, которым пользовался Персерен у Кончини, Людовик XIII обрушил на него кары, великодушно простив его, сохранил за ним его должность. К тому времени, когда Людовик XIII Справедливый явил столь великий пример беспристрастия, Персерен успел уже воспитать двоих сыновей, и один из них испытал свои силы на свадьбе Анны Австрийской, изготовил для кардинала Ришелье тот самый испанский костюм, в котором кардинал протанцевал сарабанду, создал костюмы для трагедии «Мирам» и пришел к плащу герцога Бекингэма жемчуг, которому суждено было просыпаться на паркет Лувра.

Стать знаменитым нетрудно, если довелось одевать герцога Бекингэма, Сен-Мара, мадемуазель Нинон, де Бофора и Марион де Лорм. И к моменту кончины своего отца Персерен III был в апогее славы.

Тот же Персерен III, старый, прославленный и богатый, одевал и Людовика XIV. У него не было сына, и это составляло печаль его жизни, так как вместе с ним угасала династия, но у него было несколько подающих надежды учеников. У него были также карета, имение, самые рослые во всем Париже лакеи и, по специальному разрешению короля, свора гончих. Он одевал де Лиона и Летелье, оказывая им своеобразное благоволение, но, будучи политиком, воспитанным на государственных тайнах, он никак не мог сделать удачный костюм Кольберу. Это необъяснимо, но тем не менее это так. Великие люди, в чем бы их таланты ни проявлялись, живут неуловимыми и неосязаемыми на глаз побуждениями; они действуют, не зная и сами, что именно побуждает их к тому или иному поступку. Великий Персерен (а великим был прозван, вопреки династическим обыкновениям, последний из них) вдохновенно кроил юбку для королевы, придумывал особый фасон плаща для королевского брата или вышивку для какого-нибудь уголка чулок принцессы Генриетты, его супруги, но, несмотря на все свои дарования, не мог запомнить мерку Кольбера.

– Этот человек, – нередко говаривал он, – мне положительно не дается, и я никогда не увижу его в хорошо сшитом костюме, хотя этот костюм и сшит моею иглой.

Само собой разумеется, что Персерен обшивал Фуке, и последний чрезвычайно ценил

его мастерство.

Персерону было близко к восьмидесяти, но он все еще был полон сил и вместе с тем до того сухощав, что придворные остряки утверждали, будто ему грозит опасность сломаться. Его слава и состояние были настолько внушительны, что брат короля, и он же некоронованный король щеголей, брал его под руку, беседуя с ним о модах, и даже наименее склонные к платежам придворные, и те не осмеливались затягивать с ним расчеты, ибо Персерен шил в кредит не более одного костюма и никогда не брался за второй, пока не был оплачен первый.

Легко догадаться, что подобный портной отнюдь не гнался за заказчиками; напротив, он был почти недоступен для тех, кто обращался к нему впервые. Вот почему Персерен отказывался обшивать третье сословие или новоиспеченных дворян. Ходила даже молва, утверждавшая, что в благодарность за подаренное Персереном парадное кардинальское одеяние Мазарини сунул ему в карман дворянскую грамоту.

Персерен был остроумен и злоречив. Говорили, что он порядочный волокита и что при своих восьмидесяти годах он снимает мерку, чтобы сшить дамский корсаж, достаточно твердой рукой.

Вот к этому ремесленнику-вельможе и повез д'Артаньян отчаявшегося Портоса.

— Смотрите, дорогой д'Артаньян, оградите знатность такого человека, как я, — говорил Портос по дороге, — столкновения с наглостью этого Персерена, который, должно быть, ре слишком учтив; считаю нужным предупредить, что, если он позволит себе непочтительность, я задам ему хорошую трепку.

— Будучи рекомендованы мною, — отвечал д'Артаньян — вы можете ни о чем не тревожиться и могли бы не тревожиться даже в том случае, если б были совсем не тем, чем являетесь. Или, быть может, Персерен в чем-нибудь виноват перед вами?

— Мне кажется, что однажды...

— Ну, так что же случилось однажды?

— Я послал Мушкетона к бездельнику, который звался этим именем.

— Что же дальше?

— И этот бездельник отказался шить на меня.

— Здесь что-то не то, и это недоразумение нужно выяснить. Мустон, несомненно, напутал.

— Все может быть.

— Он смешал имена.

— Возможно; этот мошенник Мустон никогда не помнит имен.

— Словом, я беру это дело целиком на себя.

— Отлично.

— Велите остановить карету, Портос; мы приехали.

— Как, уже! Да ведь мы у Центрального рынка; а вы говорили, что Персерен живет на углу улицы Арбр-Сек.

— Это верно, по посмотрите-ка хорошенько.

— Я смотрю и вижу...

— Что же вы видите?

— Что мы возле рынка, черт подери.

— Но не хотите же вы, чтобы нагни лошади вскарабкались на карету, которая перед нами.

— Разумеется.

— Ни чтобы предшествующая карета наехала на ту, что стоит перед нею.

— Еще того меньше.

— Ни чтобы та, вторая карета протащилась на брюхе по тридцати или сорока впереди стоящим каретам, которые прибыли раньше, чем мы.

— Ах, бог мой! Вы правы.

— То-то же!

— Сколько народа, сколько народа!

– Каково?
– Что же они тут делают, эти люди?
– Ответ очень прост – они ждут своей очереди.
– Вот тебе на! А может быть, актеры Бургундского отеля перебираются на новое место?
– Нет, мой дорогой. Это очередь к Персерену.
– И нам также придется ждать?
– Нет, мы с вами будем хитрее и не столь спесивы, как все остальные.
– Что же мы сделаем?
– Мы сейчас выйдем из кареты, проберемся через толпу пажей и лакеев и войдем в дом, даю вам в этом честное слово, особенно если первым двинетесь вы.

– Идем, – сказал на это Портос.
И, выйдя из кареты, они направились к дому портного.
Причиной этого скопления народа и толчеи было то, что дверь Персерена была заперта, и лакей, стоявший у входа, объяснял знатым заказчикам, что в настоящий момент г-н Персерен решительно никого не может принять.

Тот же лакей конфиденциально сообщил одному вельможе, к которому благоволил, что г-н Персерен занят пятью костюмами для короля и обдумывает у себя в кабинете украшения, цвет и покррой этих костюмов.

Иные, удовлетворившись этим ответом, возвращались домой, в восторге от того, что могут распространить его дальше, другие же, более упорные и настойчивые, требовали, чтобы дверь была открыта немедленно, и среди этих последних бросались в глаза три кавалера с голубой орденской лентой, которым предстояло принять участие в балете на празднестве в Во, ведь балет, разумеется, не состоится, если на них не будет костюмов, скроенных рукой великого Персерена.

Д'Артаньян, пустив перед собой Портоса, силой прокладывая путь сквозь толпу, добрался наконец до прилавков, за которыми подмастерья отбивались, как могли, от заказчиков. Мы забыли упомянуть, что Портоса, наравне с прочими, не хотели пропустить в дом, но д'Артаньян, выйдя вперед, произнес: «Именем короля», – после чего они беспрепятственно прошли в дверь.

Этим бедным ребятам – мы имеем в виду подмастерьев – приходилось несладко, и они, в меру сил, пытались удовлетворить в отсутствие хозяина нетерпеливые требования заказчиков, прерывая порой стечок, чтобы вернуть несколько слов, и когда чья-нибудь оскорбленная гордость или обманутые надежды порождали опасность слишком бурного объяснения, тот, на кого обрушивались особенно яростные нападки, внезапно нырял под прилавок и скрывался под ним.

Вереница недовольных вельмож являла собою картину, во многих отношениях весьма любопытную.

Капитан мушкетеров, отличавшийся быстрым и верным взглядом, сразу же оценил ее по достоинству. Но после того как он бегло оглядел отдельные группы, взгляд его остановился на человеке, сидевшем на табурете прямо против него, причем голова этого человека лишь слегка возвышалась над укрывавшим его прилавком. Это был мужчина лет сорока, с меланхоличным и бледным лицом, с добрыми, светящимися умом глазами. Он рассматривал д'Артаньяна и всех других, подперев рукой подбородок, как спокойный и любознательный наблюдатель. Заметив и узнав нашего капитана, он надвинул на глаза шляпу.

Этот жест, быть может, и привлек внимание д'Артаньяна. Если наше предположение правильно, то человек с опущенной шляпой достиг результата, явно не соответствовавшего его намерениям.

Костюм этого человека был достаточно прост, парик на его голове – самый обыкновенный, и не очень наблюдательные заказчики могли бы счесть его простым подмастерьем, присевшим на табурет за дубовым прилавком и тщательно вышивающим по сукну или бархату.

Впрочем, он слишком часто нагибал голову, чтобы успешно работать руками,

Д'Артаньян не дал себя обмануть и тотчас же понял, что если этот человек и работает, то уж, конечно, не над какой-нибудь тканью.

– Вот оно что, – сказал капитан, обращаясь к этому человеку, – итак, вы превратились в портного, мой дорогой господин Мольер?

– Тише, господин Д'Артаньян! Тише, бога ради, молчите! Ведь вы меня выдаете, меня узнают.

– Что же в этом плохого?

– Плохого тут нет, но...

– Но вы хотите сказать, что и хорошего тоже, не так ли?

– Увы, вы правы, так как я, уверяю вас, был занят рассматриванием очень интересных фигур.

– Продолжайте, господин Мольер. Продолжайте.

Вполне понимаю, насколько это интересно для вас... и но «стану мешать вам в этом занятии, но с условием – скажите, где господин Персерен?

– Охотно скажу – он в своем кабинете. Только...

– Только проникнуть к нему невозможно?

– Он и впрямь совершенно недостижим.

– Для всех?

– Для всех. Он привел меня в эту комнату, чтобы я мог предаться в свое удовольствие наблюдениям, после чего удалился к себе.

– В таком случае, дорогой господин Мольер, пойдите и скажите ему, что я здесь, хорошо?

– Я! – вскричал Мольер тоном честной собаки, у которой хотят отнять доставшуюся ей на законном основании кость. – Я должен оторваться от моего дела? Ах, господин Д'Артаньян, до чего же вы дурно ко мне относитесь!

– Если вы тотчас же не отправитесь предупредить Персерена о том, что я здесь, дорогой господин Мольер, – вполголоса сказал Д'Артаньян, – то и я не покажу вам одного из моих друзей, который пришел вместе со мной и тем и предупреждаю вас.

– Вот того, да?

– Да.

Мольер оглядел Портоса взглядом, проникающим в сердца и умы. Этот осмотр показался ему, очевидно, многообещающим, так как он сразу же встал и прошел в соседнюю комнату.

Глава 31. ОБРАЗЦЫ

В этот момент толпа начала расходиться, бросая в каждом углу обширного помещения мастерской ворчание или угрозу; она напоминала собой океан во время отлива, оставляющий на прибрежном песке водоросли и пену.

Спустя десять минут появился Мольер и сделал из-за портьеры знак д'Артаньяну. Д'Артаньян поспешил вслед за ним, увлекая вместо с собой Портоса. По довольно запутанным коридорам Мольер привел их в кабинет Персерена. Старик, засучив рукава, перебирал куски роскошной парчи, затканной золотыми цветами. Он хотел посмотреть, какова игра этой ткани при том или ином освещении.

Заметив входящего д'Артаньяна, он отложил материю и пошел навстречу ему, не изображая особых восторгов, без чрезмерных любезностей, но с соблюдением должной учтивости.

– Господин капитан мушкетеров, – обратился он к д'Артаньяну, – вы, конечно, простите меня, не так ли, но я страшно занят.

– Да, да, господин Персерен, слышал, знаю, – костюмами короля. Говорят, что вы шьете его величеству три новых костюма?

– Пять, сударь, пять!

– Три или пять, меня это несколько не беспокоит. Ведь я знаю, что они будут самыми красивыми на всем свете.

– Да, да, так думают все. Когда они будут закопчены, тогда и станут самыми красивыми на всем свете, по буду оспаривать. Но прежде их следует сшить, господин капитан, а для этого необходимо время.

– О, у вас еще два дня впереди, и времени в вашем распоряжении даже больше, чем нужно, господин Персерен, – сказал Д'Артаньян, напуская на себя полнейшее равнодушие.

Персерен поднял голову, как человек, не привыкший к тому, чтобы ему перечили даже тогда, когда дело идет о какой-нибудь его прихоти, но Д'Артаньян по-прежнему обратил никакого внимания на чело прославленного портного, чародея парчи, которое начало завлакиваться тучами. Он произнес:

– Дорогой господин Персерен, я привел к вам заказчика.

– Что вы, что вы! – угрюмо бросил портной.

– Господина барона дю Валлона де Брасье де Пьерфона, – продолжал Д'Артаньян.

Персерен отвесил поклон, не вызвавший никакого чувства симпатии в грозном Портосе, который с той поры, как вошел в кабинет, не переставал искоса смотреть на портного.

– Одного из моих ближайших друзей, – добавил в заключение Д'Артаньян.

– К услугам господина барона, но не сейчас, а немного спустя.

– Немного спустя? Но когда же?

– Тогда, когда буду располагать временем.

– То же самое вы сказали моему слуге, – проворчал с недовольным видом Портос.

– Возможно, – ответил портной, – я почти всегда занят по горло.

– Друг мой, – назидательно заметил Портос, – когда хочешь, время найдется.

Персерен побагровел, что у стариков, кожа которых поблекла от старости, всегда является опасным симптомом.

– Сударь, – буркнул он, – вы вольны заказывать себе платья у кого вам будет угодно.

– Погодите, Персерен, погодите, – произнес примирительным тоном капитан мушкетеров, – вы сегодня не слишком любезны. Ну что ж, я произнесу одно слово, которое заставит вас покориться. Барон дружен со мной, он к тому же один из друзей господина Фуке.

– Так, так! – промолвил портной. – Это меняет дело, да-да, меняет. Затем, повернувшись к Портосу, он спросил:

– Господин барон из числа сторонников господина суперинтенданта?

– Я сам по себе, – вскрикнул Портос, и как раз в этот момент поднялась портьера, давая проход еще одному свидетелю этой сцены.

Мольер наблюдал. Д'Артаньян смеялся. Портос мысленно сыпал проклятиями.

– Дорогой Персерен, – поклонился Д'Артаньян, – вы сошьете костюм господину барону; это я прошу вас об этом.

– Ради вас – ну что ж, не возражаю, господин капитан.

– Но это еще не все; вы безотлагательно приметесь за этот костюм.

– Раньше чем через неделю – немыслимо.

– Но это все равно, как если бы вы решительно отказали: этот костюм необходим для праздника в Во.

– Повторяю, что это немыслимо, – настаивал на своем упрямый старик.

– Нет, нет, дорогой господин Персерен, погодите отказываться, в особенности если об этом прошу вас и я, – произнес у двери ласковый голос, заставивший Д'Артаньяна насторожиться. Это был Арамис.

– Господин д'Эрбле! – воскликнул портной.

– Арамис! – пробормотал Д'Артаньян.

– А, наш епископ! – приветствовал его Портос.

– Здравствуйте, Д'Артаньян! Здравствуйте, милый Портос! Здравствуйте, дорогие

друзья! – сказал Арамис. – Так вот, любезнейший господин Персерен, сшейте костюм господину барону, и я ручаюсь, что, сшив его, вы доставите удовольствие господину фуке.

Произнеся эти слова, он сделал знак Персерену, гласивший: «Берите заказ и прощайтесь с ними». Арамис, по-видимому, пользовался у Персерена даже большим влиянием, чем д'Артаньян; во всяком случае, портной поклонился, показывая тем самым, что он соглашается, и, повернувшись к Портосу, сухо заметил:

– Отправляйтесь к моим подмастерьям, они снимут с вас мерку.

Портос покраснел так, что на него было страшно смотреть.

Д'Артаньян понял, что вот-вот разразится гроза, и, обращаясь к Мольеру, вполголоса произнес:

– Дорогой господин Мольер, вы видите пред собой человека, который считает, что он подвергнет поношению свою честь, если позволит снять мерку со своих костей и своей плоти, дарованных ему господом богом; присмотритесь к этой весьма примечательной личности и используйте, мой высокочтимый Аристофан, свои наблюдения.

Мольер не нуждался в этом совете, он и так не спускал глаз с барона Портоса.

– Сударь, – сказал он, обращаясь к последнему, – если вы сообразоволяете пройти вместе со мной, я устрою так, что закройщик, снимая с вас мерку, ни разу не прикоснется к вам.

– Но как же он это проделает, друг мой?

– Я утверждаю, что, снимая с вас мерку, вам не будут докучать локтями, футами или дюймами. Это новый способ, придуманный нами для знатных господ, которые настолько чувствительны, что не могут позволить какой-нибудь деревенщине касаться и ощупывать их. Мы сталкивались с людьми, которые не в состоянии вынести, чтобы с них была снята мерка, – ведь и в самом деле подобная церемония оскорбляет, по-моему, естественное достоинство человека, – так вот, если и вы, сударь, случайно принадлежите к разряду таких людей...

– Черт возьми, полагаю, что да.

– Отлично, господин барон; в таком случае все устроится как нельзя лучше, и вы будете первым, кто испытает на себе придуманный нами способ.

– Но как же все-таки снимут эту чертову мерку?

– Сударь, – ответил, отвешивая поклон, Мольер, – если вы сообразоволяете пройти вместе со мной, вы убедитесь в этом собственными глазами.

Арамис наблюдал эту сцену с неослабным вниманием. Быть может, он думал, основываясь на интересе, проявляемом к ней д'Артаньяном, что и он уйдет из кабинета портного вместе с Портосом, чтобы не упустить развязки столь забавно начатой сцены. Но, несмотря на всю свою проницательность, Арамис все же ошибся. Ушли только Портос и Мольер. Д'Артаньян остался у Персерена. Почему же он там остался? Из любопытства, и только; может быть, и ради того, чтобы провести несколько лишних мгновений в обществе Арамиса, своего доброго старого друга. После того как Портос и Мольер удалились, д'Артаньян подошел к епископу, что, по-видимому, не входило в планы последнего.

– И вам нужно новое платье, не так ли, дорогой друг?

Арамис усмехнулся.

– Нет.

– Но ведь вы поедете в Во?

– Поеду, но без нового платья. Вы забываете, дорогой д'Артаньян, что ваннский епископ не настолько богат, чтобы шить себе новое платье к каждому празднеству, – Ба, – сказал, смеясь, мушкетер, – а поэмы, разве мы их больше не пишем?

– О д'Артаньян, – проговорил Арамис, – подобную чепуху я давно уже выбросил из головы.

– Так, так, – произнес д'Артаньян, отнюдь не уверенный в том, что Арамис говорит правду.

Что касается Персерена, то он снова погрузился в рассмотрение своей парчи.

– Не думаете ли вы, дорогой д'Артаньян, – улыбнулся Арамис, – что мы стесняем своим присутствием этого славного человека?

«Так вот оно что, – проворчал про себя мушкетер, – это значит ни больше ни меньше, что я стесняю тебя».

Затем он произнес уже вслух:

– Ну что ж, пойдемте; и, если вы так же свободны, как я, любезный мой Арамис...

– Нет, не совсем, я хотел...

– Ах, вам нужно переговорить наедине с Персереном? Почему же вы сразу не предупредили меня об этом?

– Наедине, – повторил Арамис. – Да, да, разумеется, наедине, но только вы, д'Артаньян, не в счет. Никогда, прошу вас поверить, не будет у меня тайн, которых я не мог бы открыть такому другу, как вы.

– О нет, нет, я удаляюсь, – настаивал д'Артаньян, хотя в голосе его и слышалось любопытство; замешательство Арамиса, как бы тонко он его ни маскировал, не укрылось от д'Артаньяна, а он знал, что в непроницаемой душе этого человека решительно все, даже то, что имеет видимость сущего пустяка, подчинено заранее намеченной цели; пусть эта цель была д'Артаньяну неведома и непонятна, но, изучив характер своего давнего друга, он понимал, что она, во всяком случае, должна быть немаловажной.

Арамис, заметив, что у д'Артаньяна появились какие-то подозрения, также стоял на своем:

– Оставайтесь, молю вас: вот в чем, в сущности, дело...

Затем, обернувшись к портному, он начал:

– Дорогой господин Персерен... Я бесконечно счастлив, д'Артаньян, что вы здесь.

– Вот как! – воскликнул капитан мушкетеров, веря в искренность Арамиса еще меньше, чем прежде.

Персерен не пошевелился. Взяв из его рук кусок ткани, в созерцание которой он был погружен, Арамис силой возвратил его к реальной действительности.

– Дорогой господин Персерен, – произнес он, – здесь господин Лебрен, один из живописцев господина Фуке.

«Чудесно, – подумал д'Артаньян, – но при чем тут Лебрен?»

Арамис посмотрел на д'Артаньяна, который сделал вид, будто рассматривает гравюры с изображением Марка Антония.

– И вы хотите, чтобы ему сшили такой же костюм, какие заказаны эпикурейцам? – спросил Персерен.

Произнося с отсутствующим видом эти слова, достойный портной сделал попытку отобрать у Арамиса свою парчу.

– Костюм эпикурейца? – переспросил д'Артаньян тоном следователя.

– Воистину, – сказал Арамис, улыбаясь своей чарующей улыбкой, – воистину самую судьбой предначертано, что д'Артаньян этим вечером проникнет во все наши тайны. Вы, конечно, слышали об эпикурейцах господина Фуке, не так ли?

– Разумеется. Кажется, это своего рода кружок поэтов, состоящий из Лафонтена, Лоре, Пелисона, Мольера и кто его знает, кого еще, и заседающий в Сен-Манде?

– Это верно. Так вот, мы одеваем наших поэтов в форму и зачисляем их на королевскую службу.

– Превосходно! Догадываюсь, что это сюрприз, который господин Фуке готовит для короля. Будьте спокойны! Если тайна господина Лебрена состоит только в этом, я не выдам ее.

– Вы очаровательны, как всегда, дорогой друг. Нот, господин Лебрен к этому непричастен; тайна, к которой он имеет касательство, гораздо значительнее, чем эта.

– Раз она не уступает в значительности первой из ваших тайн, то я предпочитаю не быть посвященным в нее, – заметил д'Артаньян, притворяясь, будто собрался уходить.

– Входите, Лебрен, входите, – сказал Арамис, открывая правой рукой боковую дверь и удерживая левою д'Артаньяна.

– Честное слово, я ничего не понимаю, – буркнул Персерен.

Как говорят в театре, Арамис выдержал паузу.

– Дорогой господин Персерен, – начал он, – вы шьете пять костюмов его величеству, не так ли? Один из парчи, один охотничий из сукна, один из бархата, один из атласа и последний, наконец, из флорентийской ткани?

– Верно, но откуда, монсеньер, вы все это знаете? – спросил изумленный Персерен.

– Все это исключительно просто, сударь: предстоят охота, празднество, концерт, прогулка и прием; пять названных мною тканей предусмотрены этикетом.

– Монсеньер, вы знаете решительно все на свете.

– И многое другое к тому же, будьте спокойны, – пробормотал Д'Артаньян.

– Но, – вскричал, торжествуя, портной, – чего вы все же не знаете, хоть вы и великий князь церкви, чего не знает и не узнает никто и что знаем лишь король, мадемуазель де Лавальер и я, это цвет материй и вид украшений, это покрои, это соотношение частей, это костюм в целом!

– Вот с этим всем, – сказал Арамис, – я и хотел бы при вашей помощи ознакомиться, дорогой господин Персерен.

– Никогда! – побледнел перепуганный насмерть портной, хотя Арамис произнес только что приведенные нами слова весьма ласково и даже медоточиво.

Притязания Арамиса показались Персерену после того, как он подумал над ними, настолько несообразными, настолько смешными, настолько чрезмерными, что он сначала тихонечко рассмеялся, затем принялся смеяться все громче и громче и кончил взрывами неудержимого хохота.

Д'Артаньян последовал примеру портного, но не потому, что находил эту просьбу и впрямь смешною; он имел в виду еще больше распалить Арамиса.

Этот последний предоставил им смеяться, сколько они пожелают, и когда они наконец утихли, проговорил:

– На первый взгляд может и в самом деле показаться, что я позволил себе нечто нелепое, – разве не так? Но Д'Артаньян, который – воплощенное благоразумие, разумеется, подтвердит, дорогой господин Персерен, что я не мог поступить иначе и должен был обратиться к вам с своей просьбою.

– Как это? – удивился мушкетер, превращаясь в слух; благодаря своему поразительному чутью, он уже понял, что до этой поры действовали только застрельщики, как говорят военные, и что настоящее сражение впереди.

– Как это? – недоверчиво протянул Персерен.

– Почему, – продолжал Арамис, – господин Фуке дает празднество в честь короля? Разве не для того, чтобы сделать ему приятное?

– Верно, – подтвердил Персерен.

Д'Артаньян выразил свое одобрение словам Арамиса кивком головы.

– Каким же образом он может достигнуть этого? Посредством обходительности, любезности, забавных выдумок; посредством целого ряда сюрпризов, вроде того, о котором мы только что говорили, – я имею в виду зачисление на королевскую службу поэтов.

– Прекрасно.

– Речь пойдет еще об одном сюрпризе, дорогой друг. Присутствующий здесь господин Лебрен – живописец, рисующий с исключительной точностью.

– Да, да, – сказал Персерен. – Я видел картины господина Лебрена и отметил себе, что костюмы у него выписаны весьма тщательно. Вот почему я тут же согласился сделать ему костюм, будь он такой же, какой шьется эпикурейцам, или в каком-нибудь ином роде.

– Дорогой господин Персерен, ваше обещание для нас драгоценно, но мы вспомним о нем несколько позже. А сейчас господин Лебрен имеет нужду не в новом костюме, который вы сошьете ему в скором будущем, но в костюмах, изготовленных вами для короля.

Персерен отскочил назад, и Д'Артаньян, человек спокойный и выдержанный, привыкший размышлять над тем, что он видит, несколько не удивился этой необычной резвости Персерена: настолько просьба, с которой Арамис рискнул обратиться к портному, была, и на взгляд капитана, странной и вызывающей.

– Костюмы, изготовленные для короля! Дать скопировать кому бы то ни было костюмы его величества короля?! О господин епископ! Простите меня, но в своем ли уме ваше преосвященство? – закричал бедный портной, окончательно потеряв голову.

– Помогите же, Д'Артаньян, – сказал Арамис, расплываясь в улыбке и ничем не выражая досады, – помогите же убедить этого господина. Ведь вы понимаете, в чем тут дело, не так ли?

– Говоря по правде, не очень.

– Как! И вы тоже не понимаете, что господин фуке хочет приготовить сюрприз королю, сюрприз, состоящий в том, чтобы король тотчас же по прибытии в Во увидел там свой новый портрет? И чтобы портрет, написанный с ошеломляющим сходством, изображал его в том же самом костюме, в каком он будет в тот день, когда увидит о гот портрет?

– Так вот оно что, – вскричал мушкетер, почти поверивший Арамису ведь все рассказанное им было настолько правдоподобно, – да, да, дорогой Арамис, вы правы; да, да, ваша мысль просто великолепна. Готов спорить на что угодно, что она исходит от вас, Арамис!

– Не знаю, – ответил с небрежным видом ваннский епископ, – от меня или от господина Фуке...

Затем, обнаружив нерешительность на лице д'Артаньяна, он, наклонившись к Персерену, проговорил:

– Ну что ж, господин Персерен, что же вы молчите? С нетерпением жду ваших слов.

– Я говорю, что...

– Вы хотите сказать, что в вашей воле ответить отказом. Я и сам это знаю и никоим образом не собираюсь насиловать вашу волю, мой милый; скажу больше, мне отлично понятна и та щепетильность, которая препятствует вам пойти навстречу идее господина Фуке; вы страшитесь, как бы не показалось, что вы льстите его величеству. Благородство души, господин Персерен, благородство!

Портной пробормотал что-то невнятное.

– Ив самом деле, это было бы откровенною лестью по отношению к нашему юному государю, – продолжал Арамис. – «Но, – сказал мне господин суперинтендант, – если Персерен откажет вам в вашей просьбе, скажите ему, что он от этого в моих глазах нисколько не потеряет и что я буду и впредь относиться к нему с большим уважением. Только...»

– Только?.. – повторил обеспокоенный Персерен.

– «Только, – продолжал Арамис, – мне придется сказать королю (помните, дорогой господин Персерен, что это говорит господин Фуке, а не я)... мне придется сказать королю: „Государь, у меня было намерение предложить вашему величеству ваше изображение; но щепетильность господина Персерена, быть может преувеличенная, но достойная уважения, воспротивилась этому“.

– Воспротивилась! – вскричал портной, испуганный возлагаемой на него ответственностью. – Я противлюсь тому, чего желает господин Фуке, когда дело идет о том, чтобы доставить удовольствие королю? Ах, господин епископ, какое скверное слово сорвалось с ваших уст! Противиться! Благодарение господу, уж я-то не произносил этого слова. Призываю в свидетели капитана мушкетеров его величества. Разве я противлюсь чему-нибудь, господин д'Артаньян?

Д'Артаньян замахал рукою, показывая, что хочет остаться нейтральным; он чувствовал всем своим существом, что тут кроется какая-то неведомая интрига, кто его знает – комедия или трагедия; он проклинал себя за то, что в этом случае так недогадлив, но пока, в ожидании дальнейшего хода событий, решил воздержаться.

Персерен, однако, устрасаемый мыслью, что королю могут сказать, будто он, Персерен, воспротивился подготовке сюрприза, который предполагали сделать его величеству, пододвинул Лебрену кресло и принялся извлекать из шкафа четыре сверкающих золотым шитьем великолепных костюма – пятый пока еще находился в работе у подмастерьев. Он развешивал эти произведения портновского искусства одно за другим на манекенах, привезенных некогда из Бергамо, которые, попав во Францию во времена Кончини, были

подарены Персерену и маршалом д'Анкром, – это случилось после поражения итальянских портных, разоренных успешно конкуренцией Персеренов.

Художник приступил к зарисовкам, затем принялся раскрашивать их.

Арамис, стоявший возле него и пристально наблюдавший за каждым движением его кисти, внезапно остановил Лебрена:

– Мне кажется, что вы не вполне уловили тона, дорогой господин Лебрен. Ваши краски обманут вас, и на полотне не удастся воспроизвести полного сходства, которое нам решительно необходимо. Очевидно, чтобы передать оттенки с большей точностью, требуется работать подольше.

– Это верно, – сказал Персерен, – но времени у нас очень мало, и тут, господин епископ, я, согласитесь, совершенно бессилён.

– В таком случае, – спокойно заметил Арамис, – наша попытка обречена на провал, и это произойдет из-за неверной передачи оттенков.

Между тем Лебрен срисовывал ткань и шитье очень точно, и Арамис наблюдал за его работой с плохо скрываемым нетерпением.

«Что за чертову комедию тут разыгрывают?» – продолжал спрашивать себя мушкетер.

– Дело у нас решительно не пойдёт, – молвил Арамис. – Господин Лебрен, собирайте свои ящики и сворачивайте холсты.

– Верно, верно! – вскричал раздосадованный художник. – Здесь ужасное освещение.

– Это мысль, Лебрен, да, да, это мысль. А что, если бы мы с вами располагали образчиком каждой ткани, и временем, и подходящим освещением...

– О, тогда! – воскликнул Лебрен. – Тогда я готов поручиться, что все будет в порядке.

«Так, так, – сказал себе д'Артаньян, – тут-то и есть узелок всей интриги. Ему требуется образец каждой ткани. Но, черт подери, даст ли ему эти образчики Персерен?»

Персерен, выбитый с последних позиций и к тому же обманутый притворным добродушием Арамиса, отрезал пять образчиков, которые и отдал епископу.

– Так будет лучше. Не правда ли? – обратился Арамис к д'Артаньяну. Ваше мнение по этому поводу?

– Мое мнение, дорогой Арамис, – проговорил д'Артаньян, – что вы неизменно все тот же.

– И следовательно, неизменно ваш друг, – подхватил епископ своим чарующим голосом.

– Да, да, конечно, – громко сказал д'Артаньян. Затем про себя добавил: «Если ты, свехиезуит, обманул меня, то я отнюдь не хочу быть одним из твоих сообщников, и, чтобы не сделаться им, теперь самое время удалиться». – Прощайте, Арамис, – продолжал д'Артаньян, громко обращаясь к епископу, – прощайте! Пойду поищу Портоса.

– Подождите минутку, – попросил Арамис, засовывая в карман образчики, – подождите, я закончил дела и буду в отчаянии, если не перекинусь на прощание несколькими словами с нашим дорогим другом.

Лебрен сложил свои краски и кисточки, Персерен убрал королевские костюмы в тот самый шкаф, из которого они были извлечены, Арамис ощупал карман, желая удостовериться, что образчикам не грозит опасность вывалиться оттуда, и они все вместе вышли из кабинета портного.

Глава 32.

КАК У МОЛЬЕРА, БЫТЬ МОЖЕТ, ВПЕРВЫЕ ВОЗНИК ЗАМЫСЕЛ ЕГО КОМЕДИИ «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»

Д'Артаньян обнаружил Портоса в соседней комнате, но это был уже не прежний озадаченный и раздраженный Портос, а Портос радостно возбужденный, сияющий, любезный, очаровательный. Он оживленно болтал с Мольером, который смотрел на него с восторгом, как человек, не только никогда не видевший ничего более примечательного, но и вообще чего-либо подобного.

Арамис направился прямо к Портосу и протянул ему свою тонкую, белую руку, которая тотчас же потонула в гигантской руке его старого друга. К этой операции Арамис неизменно приступал с некоторым страхом, но на этот раз дружеское рукопожатие не причинило ему особых страданий. Затем ваннский епископ обратился к Мольеру.

– Так вот, сударь, – сказал он ему, – едете ли вы со мной в Сен-Манде?

– С вами, монсеньер, я поеду куда угодно, – ответил Мольер.

– В Сен-Манде! – воскликнул Портос, пораженный короткими отношениями между неприступным ваннским епископом и никому не ведомым подмастерьем.

– Вы увозите, Арамис, этого господина в Сен-Манде?

– Да, – ответил с улыбкой Арамис, – да, увожу его в Сен-Манде, и у нас мало времени.

– И затем, мой милый Портос, – проговорил д'Артаньян, – господин Мольер не совсем то, чем кажется.

– То есть как? – удивился Портос.

– Господин Мольер – один из главных приказчиков Персерена, и его ждут в Сен-Манде, где он должен примерить костюмы, заказанные господином Фуке для эпикурейцев в связи с предстоящим празднеством.

– Да, да! Совершенно верно, – подтвердил Мольер.

– Итак, – повторил Арамис, – если вы закончили ваши дела с господином дю Валлоном, поехали, дорогой господин Мольер!

– Мы кончили, – заявил Портос.

– И довольны? – спросил его д'Артаньян.

– Вполне, – ответил Портос.

Мольер распрощался с Портосом, отвесив ему несколько почтительнейших поклонов, и пожал руку, которую капитан мушкетеров украдкой протянул ему.

– Сударь, – сказал Портос на прощанье с преувеличенной учтивостью, сударь, прошу вас прежде всего о безукоризненной точности.

– Завтра же вы получите ваш костюм, господин барон, – ответил Мольер.

И он удалился вместе с ваннским епископом.

Тогда д'Артаньян, взяв под руку Портоса, спросил его:

– Что же проделал с вами этот портной, сумевший так поправиться вам?

– Что он проделал со мной, мой друг, что он проделал?! – вскричал в восторге Портос.

– Да, я спрашиваю, что же он с вами проделал?

– Друг мой, он сумел сделать то, чего до сих пор не делал ни один из представителей всей портновской породы. Он снял мерку, ни разу не прикоснувшись ко мне.

– Что вы! Расскажите же, друг мой!

– Прежде всего он велел разыскать – уж право ко знаю, где – целый ряд манекенов различного роста, надеясь, что, быть может, среди них найдется что-нибудь подходящее и для меня. Но самый большой – манекен тамбурмажора швейцарцев, – и тот оказался на два дюйма ниже и на полфута меньше в объеме, чем я.

– Вот как!

– Это настолько же истинно, как то, что я имею честь разговаривать с вами, мой дорогой д'Артаньян. Но господин Мольер – великий человек или, по меньшей мере, великий портной, и эти затруднения его ни в малой степени не смутили.

– Что же он сделал?

– О, чрезвычайно простую вещь. Это неслыханно, честное слово, неслыханно! До чего же тупы все остальные, раз они сразу же не додумались до этого способа! От скольких неприятностей и унижений они могли бы избавить меня!

– Не говоря уже о костюмах, мой милый Портос.

– Да, да, не говоря уже о трех десятках костюмов.

– Но все же объясните мне метод господина Мольера.

– Мольера? Вы зовете его этим именем, так ведь? Ну что ж.

– Да, или Поклепом, если это для вас предпочтительнее.

– Нет, для меня предпочтительнее Мольер. Когда мне захочется вспомнить, как зовут этого господина, я подумаю о вольере, и так как в Пьерфоне у меня есть вольера...

– Чудесно, друг мой! Но в чем же заключается его метод?

– Извольте! Вместо того чтобы расчленять человека на части, как поступают эти бездельники, вместо того чтобы заставлять меня нагибаться, выворачивать руки и ноги и проделывать всевозможные отвратительные и унижительные движения...

Д'Артаньян одобритительно кивнул головой.

– «Сударь, – сказал он мне, – благородный человек должен самолично снимать с себя мерку. Будьте любезны приблизиться к этому зеркалу». Я подошел к зеркалу. Должен сознаться, что я не очень-то хорошо понимал, чего хочет от меня этот Вольер.

– Мольер.

– Да, да, Мольер, конечно, Мольер. И так как я все еще опасался, что с меня все-таки начнут снимать мерку, то попросил его: «Действуйте поосторожнее, я очень боюсь щекотки, предупреждаю вас», – но он ответил мне ласково и учтиво (надо признаться, что он отменно вежливый малый): «Сударь, чтобы костюм сидел хорошо, он должен быть сделан в соответствии с вашей фигурой. Ваша фигура в точности воспроизводится зеркалом. Мы снимем мерку не с вас, а с зеркала».

– Недурно, – одобрил д'Артаньян, – ведь вы видели себя в зеркале; но скажите, друг мой, где ж они нашли зеркало, в котором вы смогли поместиться полностью?

– Дорогой мой, это было зеркало, в которое смотрится сам король.

– Но король на полтора фута ниже.

– Не знаю уж, как это все у них делается; думаю, что они, конечно, льстят королю, но зеркало даже для меня было чрезмерно большим. Правда, оно было составлено из девяти венецианских зеркал – три по горизонтали и столько же по вертикали.

– О друг мой, какими поразительными словами вы пользуетесь! И где-то вы их набрались?

– На Бель-Иле, друг мой, на Бель-Иле. Там я слышал их, когда Арамис давал указания архитектору.

– Очень хорошо, но вернемся к нашему зеркалу.

– Так вот этот славный Вольер...

– Мольер.

– Да, вы правы... Мольер. Теперь-то я уж не спутаю этого. Так вот, этот славный Мольер принялся расчерчивать мелом зеркало, нанося на него линии, соответствующие очертаниям моих рук и плеч, и он при этом все время повторял правило, которое я нашел замечательным: «Необходимо, чтобы платье не стесняло того, кто его носит», – говорил он.

– Да, это великолепное правило, но – увы! – оно не всегда применяется в жизни.

– Вот потому-то я и нашел его еще более поразительным, когда Мольер стал развивать его.

– Так он, стало быть, развивал его?

– Черт возьми, и как!

– Послушаем, как же.

– «Может статься, – говорил он, – что вы, оказавшись в затруднительном положении, не пожелаете скинуть с себя одежду».

– Это верно, – согласился д'Артаньян.

– «Например... – продолжал господин Вольер.

– Мольер!

– Да, да, господин Мольер! «Например, – продолжал господин Мольер, вы столкнетесь с необходимостью обнажить шпагу в тот момент, когда ваше парадное платье будет на вас. Как вы поступите в этом случае?»

«Я сброшу с себя все лишнее», – ответил я.

«Нет, зачем же?» – возразил он.

«Как же так?»

«Я утверждаю, что платье должно сидеть до того ловко, чтобы не стеснять ваших движений, даже если вам придется обнажить шпагу».

«Так вот оно что!»

«Займите оборонительную позицию», – продолжал он. Я сделал такой замечательный выпад, что вылетело два оконных стекла.

«Пустяки, пустяки, – сказал он, – оставайтесь, пожалуйста, в таком положении, как сейчас». Левую руку я поднял вверх и изящно выгнул, так что манжет свисал вниз, а кисть легла сводом, тогда как правая рука была выброшена вперед всего лишь наполовину и защищала грудь кистью, а талию – локтем.

– Да, – одобрил Д'Артаньян, – это и есть настоящая оборонительная позиция, позиция, можно сказать, классическая.

– Вот именно, друг мой, – вы нашли подходящее слово. В это время Вольтер...

– Мольер!

– Послушайте, д'Артаньян, я, знаете ли, предпочел бы называть его тем, другим именем... как он там еще называется?

– Поклепом.

– Уж лучше пусть он будет Покленом.

– А почему вы рассчитываете запомнить это имя скорее, чем первое?

– Понимаете ли... его зовут Покленом, не так ли?

– Да.

– Ну так я вспомню госпожу Кокпар.

– Отлично.

– Я заменю Кок на Пок и нар на лен, и вместо Кокпар у меня выйдет Поклен.

– Чудесно! – вскричал Д'Артаньян, ошеломленный словами Портоса. – Но продолжайте, друг мой, я с восхищением слушаю вас.

– Итак, этот Коклен начертил на зеркале мою руку.

– Простите, но его имя Поклен.

– А я как сказал?

– Вы сказали Коклен.

– Да, вы правы. Так вот, Поклен рисовал на зеркале мою руку; на это ушло, однако, немало времени... он довольно долго смотрел на меня. Я и в самом деле был просто великолепен.

«А вас это не утомляет?» – спросил он меня. «Слегка, – сказал я в ответ, чуть-чуть сгибая колени. – Однако я могу простоять таким образом еще час или больше». – «Нет, нет, я никоим образом не допущу этого! У нас найдутся услужливые ребята, которые сочтут своим долгом поддерживать ваши руки, как во время оно поддерживали руки пророков, когда они обращались с мольбой к господу». – «Отлично», – ответил я. «Но вы не сочтете подобную помощь унижительной для себя?» – «О нет, мой милый, – сказал я ему в ответ, – полагаю, что позволить себя поддерживать и позволить снять с себя мерку – это вещи очень и очень различные».

– Ваше рассуждение чрезвычайно глубокомысленно.

– После этого, – продолжал Портос, – он подал знак; подошли двое подмастерьев; один стал поддерживать мне левую руку, тогда как другой, с бесконечной предупредительностью, сделал то же самое с правой.

«Третий подмастерье – сюда!» – крикнул он.

Подошел третий.

«Поддерживайте поясницу господина барона». И подмастерье стал поддерживать мне поясницу.

– Так вы и позировали? – спросил д'Артаньян.

– Так и позировал, пока Покпар расчерчивал зеркало.

– Поклеп, друг мой.

– Вы правы... Поклон. Послушайте, д'Артаньян, я предпочитаю называть этого человека

Вольером.

– Хорошо, пусть будет по-вашему.
– Все это время Вольер расчерчивал зеркало.
– Это было неплохо придумано.
– Еще бы! Мне чрезвычайно понравился этот способ; он очень почтителен и отводит каждому его место.

– И чем же все это кончилось?
– Тем, что никто так и не прикоснулся ко мне.
– Кроме трех подмастерьев, которые вас поддерживали.
– Разумеется, но я ужю, кажется, изложил, какое различие между тем, чтобы позволить себя поддерживать, и том, чтобы позволить снять с себя мерку.

– Вы правы, – сказал д'Артаньян, говоря одновременно себе самому:
«Черт возьми, или я глубоко заблуждаюсь, или этот мошенник Мольер и в самом деле получил от меня драгоценный подарок, и в какой-нибудь из его комедий мы вскоре увидим сцену, списанную с натуры».

Портос улыбался.

– Чему вы смеетесь? – спросил его д'Артаньян.
– Нужно ли объяснять? Я улыбаюсь, так как считаю себя счастливым.
– Безусловно, я не знаю ни одного человека счастливее вас. Но какое же новое счастье привалило вам, мой милый Портос?

– Поздравьте меня.
– С удовольствием.
– По-видимому, я первый, с кого сияли этим способом мерку.
– Вы уверены в этом?
– Почти. Некоторые знаки, которыми обменялся Вольер с подмастерьями, внушили мне эту уверенность.

– Но, дорогой друг, меня это несколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером.
– Вольером!
– Да нет же, черт подери! Зовите его, бог с вами, Вольером, но для меня он и впредь будет Мольер. Так вот, я сказал, что меня это несколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером. Он человек очень смысленный, и именно вы внушили ему блестящую мысль.

– И я уверен, что она послужит ему в дальнейшем.
– Еще бы! Думаю, что она и впрямь послужит ему, и притом весьма основательно. Ибо, видите ли, дорогой мой Портос, из наших сколько-нибудь известных портных не кто иной, как Мольер, лучше всех одевает наших баронов, наших графов и наших маркизов... в точности по их мерке.

Произнеся эти слова, которые мы не собираемся обсуждать ни со стороны остроумия, ни с точки зрения их глубины, д'Артаньян, увлекая за собой Портоса, вышел от Персерена и сел вместе с бароном в карсту. Мы их в пей и оставим и, если это угодно читателю, исследуем в СенМанде за Мольером и Арамисом.

Глава 33.

УЛЕЙ, ПЧЕЛЫ И МЕД

Ваннский епископ, весьма недовольный встречей с д'Артаньяном у Персерена, возвратился в Сен-Манде и достаточно дурном настроении. Мольер, напротив, восхищенный тем, что ему удалось сделать такой превосходный набросок и что, захоти он превратить этот набросок в картину, оригинал у него всегда под рукой, – Мольер вернулся в самом радостном расположении духа.

Вся левая сторона первого этажа дома была заполнена эпикурейцами: тут собрались все парижские знаменитости из числа тех, с кем Фуке был близок. Все они, уединившись в своих углах, занимались, подобно пчелам в ячейках сот, изготовлением меда для королевского

пирога, которым Фуке предполагал угостить его величество Людовика XIV на предстоящем празднестве в Во.

Пелисон, подперев рукой голову, возводил фундамент пролога к «Несносным» – трехактной комедии, которую предстояло представить Поклону де Мольер, как говорил д'Артаньян, или Коклену де Вольер, как говорил Портос.

Лоре со всем простодушием, присущим ремеслу журналиста, – ведь журналисты всех времен были всегда простодушными, – сочинял описание еще не состоявшегося празднества в Во.

Лафонтен переходил от одних к другим, как потерянная, рассеянная, назойливая и несносная тень, гудящая и нашептывающая каждому на ухо всякий поэтический вздор. Он столько раз мешал Пелисону сосредоточиться, что тот наконец, подняв недовольно голову, попросил:

– Отыскали бы мне, Лафонтен, хорошую рифму; ведь вы утверждаете, что прогуливаетесь в рощах Парнаса.

– Какая вам нужна рифма? – спросил баснописец, именуемый так г-жой де Севинье.

– Мне нужна рифма к свет.

– Бред, – отвечал Лафонтен.

– По, друг мой, куда же вы сунетесь со своим бредом, когда речь идет о прелестях Во? – вставил Лоре.

– К тому же, – заметил Пелисон, – это не рифма.

– Как так не рифма? – вскричал озадаченный Лафонтен.

– У вас отвратительная привычка, мой милый, привычка, которая помешает вам стать первоклассным поэтом. Вы небрежно рифмуете.

– Вы это и вправду находите, Пелисон?

– Да, нахожу. Знайте же, что всякая рифма плоха, если можно отыскать лучшую.

– В таком случае отныне я пишу только прозой, – сказал Лафонтен, воспринявший упрек Пелисона всерьез. – Я и так не раз уже думал, что я шарлатан, а не поэт, вот что я такое! Да, да, да, это – чистая правда.

– Не говорите этого, друг мой! Вы слишком к себе придиричивы. В ваших баснях много хорошего.

– И для начала, – продолжал Лафонтен, – я сожгу сотню стихов, которые я только что сочинил.

– Где же ваши стихи?

– В голове.

– Но как же вы их сожжете, раз они у вас в голове?

– Это правда. Но если я их не предам сожжению, они навеки застрянут в моем мозгу, и я никогда по забуду их.

– Черт возьми, – заметил Лоре, – это опасно, ведь так недолго и спятить.

– Черт, черт, черт, черт! Как же мне быть?

– Я нашел способ, – предложил Мольер, входя в комнату.

– Какой?

– Сначала вы записываете свои стихи на бумаге, а потом сжигаете их.

– До чего просто! Никогда бы мне не придумать такого! Как же он остроумен, этот дьявол Мольер! – сказал Лафонтен.

Потом, ударив себя по лбу, он добавил:

– Ты всегда будешь ослом, Жан де Лафонтен!

– Что вы говорите, друг мой? – спросил Мольер, подходя к Лафонтену.

– Я говорю, что всегда буду ослом, дорогой собрат, – ответил Лафонтен, тяжело вздыхая и устремив на Мольера опечаленные глаза. – Да, друг мой, – продолжал он со все возрастающей печалью в голосе, – да, да, я, оказывается, прескверно рифмую.

– Это большой недостаток.

– Вот видите! Я негодай!

– Кто это сказал?

– Пелисон. Разве не так, Пелисон?

Пелисон, погруженный в работу, ничего не ответил.

– Но если Пелисон сказал, что вы негодай, – воскликнул Мольер, – то выходит, что он нанес вам оскорбление!

– Вы полагаете?

– И, дорогой мой, советую, раз вы дворянин, не оставлять такого оскорбления безнаказанным. Вы когда-нибудь дрались на дуэли?

– Один-единственный раз; мой противник был лейтенантом легкой кавалерии.

– Что же он сделал вам?

– Надо думать, он соблазнил мою жену.

– А, – кивнул Мольер, слегка побледнев.

Но так как признание Лафонтена привлекло внимание остальных, Мольер насмешливо улыбнулся и снова принялся расспрашивать Лафонтена:

– И что же вышло из этой дуэли?

– Вышло то, что противник выбил из моих рук оружие и извинился передо мной, обещая, что его ноги больше не будут у меня в доме, – И вы были удовлетворены?

– Нет, напротив. Я поднял шпагу и твердо произнес: «Послушайте, сударь, я дрался с вами не потому, что вы любовник моей жены, но мне сказали, что я должен драться, и я послал вызов. И поскольку я никогда не был так счастлив, как с того времени, что вы стали ее любовником, будьте любезны по-прежнему бывать у меня или, черт возьми, давайте возобновим поединок». Таким образом, ему пришлось остаться любовником моей дорогой супруги, а я продолжаю быть самым счастливым мужем на свете.

Все разразились хохотом. Один Мольер провел рукой по глазам. Почему?

Чтобы стереть слезу или, быть может, подавить вздох. Увы, известно, что Мольер был моралистом, но не был философом.

– Все равно, – сказал он, – вернемся к началу нашего разговора. Пелисон нанес вам оскорбление.

– Ах да! Я об этом уже забыл. К тому же, Пелисон был тысячу раз прав.

Но что меня огорчает по-настоящему, мой дорогой, так это то, что наши эпикурейские костюмы, видимо, не будут готовы.

– Вы рассчитывали быть на празднестве в вашем костюме?

– И на празднестве, и после празднества. Моя служанка осведомила меня, что мой костюм уже немного несвеж.

– Черт возьми! Ваша служанка права; он более чем несвеж.

– Видите ли, я оставил его на полу у себя в кабинете, и моя кошка...

– Кошка?

– Да, моя кошка окотилась на нем, и от этого он несколько пострадал.

Мольер громко расхохотался. Пелисон и Лоре последовали его примеру.

В этот момент появился ваннский епископ со свертком чертежей и листами пергамента, и будто ангел смерти дохнул ледяным холодом и заморозил непринужденное и игривое воображение; бледное лицо этого человека вспугнуло, казалось, граций, жертвенные дары которым приносил Ксенократ: в мастерской воцарилась мертвая тишина, и все с сосредоточенным видом снова взялись за перья.

Арамис роздал всем присутствующим пригласительные билеты на предстоящее празднество и передал им благодарность от имени Фуке. Суперинтендант, сказал он, занятый работой у себя в кабинете, лишен возможности повидаться с ними, но он просит прислать плоды их дневного труда и доставить ему, таким образом, отдохновение от его упорных ночных занятий.

При этих словах головы всех наклонились. Даже Лафонтен – и он также присел к столу и принялся строчить на листе тонкой бумаги; Пелисон окончательно выправил свой пролог; Мольер сочинил пятьдесят новых стихов, на которые его вдохновило посещение Персерена;

Лоре дал статью – пророчество об изумительном празднестве, и Арамис, нагруженный добычей, словно владыка пчел – большой черный шмель, изукрашенный пурпуром и золотом, молчаливый и озабоченный, направился в отведенные ему комнаты. Но прежде чем удалиться, он обратился ко всем:

- Помните, господа, завтра вечером мы выезжаем.
 - В таком случае, мне нужно предупредить об этом домашних, – заметил Мольер.
 - Да, да, мой бедный Мольер! – произнес, улыбаясь, Лоре. – Он любит своих домашних.
 - Он любит, это так, – ответил Мольер, сопровождая свои слова нерпой и грустной улыбкой, – но он любит еще вовсе не означает, что и его любят!
 - Что до меня, – сказал Лафонтен, – то меня любят в Шато-Тьерри, в этом я убежден.
 - В этот момент снова вошел Арамис.
 - Кто-нибудь поедет со мной? Я отправляюсь в Париж через четверть часа, мне нужно только переговорить с господином Фуке. Предлагаю свою карету.
 - Отлично, – отозвался Мольер. – Принимаю ваше приглашение и тороплюсь.
 - А я пообедаю здесь, – сообщил Лоре. – Господин де Гурвиль обещал угостить раками.
- Предложены мне будут раки...
- Ищи рифму, Лафонтен.
- Арамис, смеясь от всего сердца, вышел из комнаты. За ним последовал Мольер. Они уже успели спуститься с лестницы, как вдруг Лафонтен, приотворив дверь, крикнул:

*В награду за труды, писаки,
Предложены вам будут раки.*

Хохот эпикурейцев усилился и, в тот момент когда Арамис входил в кабинет Фуке, долетел до слуха последнего. Что до Мольера, то Арамис поручил ему заказать лошадей, пока он перемолвится с суперинтендантом несколькими словами.

- О, как они там смеются! – вздохнул Фуке.
 - А вы, монсеньер, вы больше уже не смеетесь?
 - Я потерял способность смеяться, господин д'Эрбле.
 - День празднества подходит.
 - А деньги уходят.
 - Не говорил ли я вам, что это моя забота?
 - Вы мне сулили миллионы.
 - Вы и получите, их на следующий день после прибытия короля.
- Фуке обратил на Арамиса пристальный взгляд и провел своей ледяной рукой по влажному лбу. Арамис понял, что суперинтендант сомневается в нем или думает, что не в его силах добыть обещанные им деньги. Мог ли Фуке поверить, что неимущий епископ, бывший аббат, бывший мушкетер, сможет достать подобную сумму?
- Вы сомневаетесь? – спросил Арамис.
- Фуке улыбнулся и покачал головой.
- Недоверчивый вы человек!
 - Дорогой д'Эрбле, – сказал Фуке, – если я упаду, то, по крайней мере, с такой высоты, что, падая, разобьюсь.
- Потом, встряхнув головой, как бы затем, чтобы отогнать подобные мысли, он спросил:
- Откуда вы теперь, друг мой?
 - Из Парижа. И прямо от Персерена.
 - Зачем же вы сами ездили к Персерену? Не думаю, чтобы вы придавали такое уж большое значение костюмам наших поэтов.
 - Нет, но я заказал сюрприз.
 - Сюрприз?
 - Да, сюрприз, который вы сделаете его величеству королю.
 - И он дорого обойдется?

– В каких-нибудь сто пистолей, которые вы дадите Лебрёну.
– А, так это картина! Ну что ж, тем лучше! А что она будет изображать?
– Я расскажу вам об этом позднее. Кроме того, я заодно посмотрел и костюмы наших поэтов.

– Вот как! И они будут нарядными и богатыми?
– Восхитительными! Лишь у немногих вельмож будут равные им. И все заметят различие между придворными, обязанными своим блеском богатству, и теми, кто обязан им дружбе.

– Вы, как всегда, остроумны и благородны, дорогой мой прелат!
– Ваша школа, – ответил ваннский епископ.
Фуке пожал ему руку.
– Куда вы теперь?
– В Париж, лишь только вы вручите мне письмо к господину де Лиону.
– А что вам нужно от господина де Лиона?
– Я хочу, чтобы ни подписал приказ.
– Приказ об аресте? Вы хотите кого-нибудь засадить в Бастилию?
– Напротив, я хочу освободить из нее одного бедного малого, одного молодого человека, можно сказать ребенка, который сидит взаперти почти десять лет, и все за два латинских стиха, которые он сочинил против иезуитов.

– За два латинских стиха! За два латинских стиха томиться в тюрьме десять лет? О, несчастный!

– Да.
– И за ним нет никаких других преступлений?
– Если не считать этих стихов, он столь же ни в чем не повинен, как вы или я.
– Ваше слово?
– Клянусь моей честью.
– И его зовут?
– Сельдон.
– Нет, это ужасно! И вы знали об этом и ничего мне не сказали?
– Его мать обратилась ко мне только вчера, монсеньер.
– И эта женщина очень бедна?
– Она дошла до крайней степени нищеты.
– Господи боже, ты допускаешь порой такие несправедливости, и я понимаю, что существуют несчастные, которые сомневаются в твоём бытии!

Фуке, взяв перо, быстро написал несколько строк своему коллеге де Лиону. Арамис, получив из рук Фуке это письмо, собрался уходить, – Погодите, – остановил его суперинтендант.

Он открыл ящик и, вынув из него десять банковых билетов, вручил их Арамису. Каждый билет был достоинством в тысячу ливров.

– Возьмите, – сказал Фуке. – Возвратите свободу сыну, а матери отдайте вот это, по только не говорите ей...

– Чего, монсеньер?
– Того, что она на десять тысяч ливров богаче меня; она скажет, пожалуй, что как суперинтендант я никуда не гожусь. Идите! Надеюсь, что господь благословит тех, кто не забывает о бедных.

– И я тоже надеюсь на это, – ответил Арамис, пожимая с чувством руку Фуке.
И он торопливо вышел, унося письмо к Лиону и банковые билеты для матери бедняги Сельдона. Прихватив с собой Мольера, который уже начал терять терпение, он снова помчался в Париж.

Глава 34. ОПЯТЬ УЖИН В БАСТИЛИИ

На башенных часах Бастилии пробило семь; знаменитые башенные часы, как, впрочем, и вся обстановка этого ужасного места, были пыткой для несчастных узников, напоминая им о страданиях, которые им предстоят в течение ближайшего часа; часы Бастилии, украшенные лепкою во вкусе того времени, изображали св. Петра в оковах.

Наступил час ужина. Скрипя огромными петлями, – распахивались тяжелые двери, пропуская подносы и корзины с различными кушаньями, качество которых, как мы знаем от самого де Безмо, находилось в прямой зависимости от звания узника.

Нам известны уже теории, разделяемые на этот счет почтенным Безмо, полновластным распорядителем гастрономических удовольствий в шеф-поваром королевской тюрьмы. Поднимаемые по крутым лестницам и набитые снедью корзины несли на дне честно наполненных важных бутылок хоть немного забвения заключенным.

В этот час ужинал и сам комендант. Сегодня он принимал гостя, и вертел на его кухне вращался медленное обычного. Жареные куропатки, обложенные перепелами и, в свою очередь, окружающие шпигованного зайчонка; куры в собственном соку, окорок, залитый белым вином, артишоки из Страны Басков и раковый суп, не считая других супов, а также закусок, составляли ужин коменданта.

Безмо сидел за столом, потирая руки и не отрывая взгляда от ваннского епископа, который, шагая по комнате в высоких сапогах, словно кавалерист, весь в сером, со шпагою на боку, беспрестанно повторял, что он голоден, и выказывал признаки живейшего нетерпения.

Господин де Безмо де Монлезен не привык к откровенности его преосвященства ваннского монсеньера, а между тем Арамис в этот вечер, придя в игривое настроение, делал ему признание за признанием. Прелат снова стал похожим на мушкетера. Епископ шалил, что касается до Безмо, то он с легкостью, свойственной вульгарным натурам, в ответ на несколько большую, чем обычно, непринужденность в обращении своего гостя, стал держать себя недопустимо развязно.

– Сударь, – обратился он к Арамису, – ибо называть вас монсеньером я, говоря по правде, сегодня вечером не решаюсь.

– Вот и хорошо, – сказал Арамис, – зовите меня, пожалуйста, сударем; ведь я в сапогах.

– Так вот, сударь, знаете ли вы, кого вы мне сегодня напоминаете? «Нет, честное слово, не знаю!» – ответил ваннский епископ, наливая себе вина. – Надеюсь все же, что прежде всего я напоминаю вам приятного гостя.

– И не одного, а двоих. Франсуа, друг мой, закройте окно; как бы ветер не беспокоил его преосвященство господина епископа.

– И пусть он оставит нас, – добавил Арамис. – Ужин додан, а съесть его мы сумеем и без лакея. Люблю посидеть в небольшом обществе, наедине с другом.

Безмо почтительно поклонился.

– Мы сможем сами поухаживать за собою, – продолжал Арамис.

– Идите, Франсуа, – приказал Безмо, – итак, я говорил, что ваше преосвященство напоминает мне не одного, а двоих; один из них весьма знаменит – это покойный кардинал, великий кардинал, тот, что взял Ла-Рошель – у него, кажется, были такие же сапоги, как у вас.

– Да, клянусь честью! – воскликнул Арамис. – Ну а кто же второй?

– Второй – это некий мушкетер, очень красивый, очень храбрый, очень дерзкий, очень счастливый, который из аббата сделался мушкетером, а из мушкетера – аббатом.

Арамис снизошел до улыбки.

– Из аббата, – продолжал Безмо, ободренный улыбкой его преосвященства епископа ваннского, – из аббата епископом, а из епископа...

– Ах, сделайте милость, остановитесь! – сказал Арамис.

– Говорю вам, сударь, я вижу в вас кардинала.

– Оставим это, любезнейший господин де Безмо. И хотя, как вы заметили, на мне сегодня кавалерийские сапоги, тем не менее я не хотел бы ссориться с церковью даже на один этот вечер.

– А все-таки у вас дурные намерения, монсеньер.

– О, сознаюсь, дурные, как все мирское.

– Вы бродите по городу, по переулкам, в маске?

– Вот именно, в маске.

– И по-прежнему пускаете в ход вашу шпагу?

– Пожалуй, что так, но только в тех случаях, когда меня вынуждают к этому. Будьте добры, кликните Франсуа.

– Вино перед вами.

– Он мне нужен не для вина: здесь очень жарко, а окно между тем закрыто.

– Когда я ужинаю, то всегда закрываю окно, чтобы не слышать, как проходит патруль или прибывают курьеры.

– Вот как... значит, если окно открыто, вы слышите их?

– Слишком хорошо, а это всегда неприятно. Вы понимаете?

– Но здесь положительно задыхаешься. Франсуа!

Франсуа немедленно явился на зов.

– Откройте, прошу вас, окно, любезнейший Франсуа, – произнес Арамис.

– Ведь вы разрешите, господин де Безмо?

– Монсеньер, вы здесь у себя дома, – ответил комендант.

Франсуа отворил окно.

– Знаете, – заговорил де Безмо, – теперь, после того как граф де Ла Фер возвратился к своим пенатам в Блуа, вы, пожалуй, будете чувствовать себя совсем одиноким. Ведь он давний ваш друг, не так ли?

– Вы знаете это не хуже меня, Безмо; ведь вы служили в мушкетерах в одно время с нами.

– Ну, с друзьями я ни бутылок, ни лет не считаю.

– И вы правы. Но я испытываю к графу де Ла Фер не только любовь, я глубоко уважаю его.

– Ну а я, как ни странно, – сказал комендант, – предпочитаю ему шевалье д'Артаньяна. Вот человек, который пьет хорошо и долго. Такие люди, по крайней мере, не таят своих мыслей.

– Безмо, напоите меня нынешним вечером: давайте пировать, как бывало; обещаю, что если у меня на сердце есть какая-нибудь печаль, вы сможете увидеть ее, как увидели бы брильянт на дне своего стакана.

– Браво! – крикнул Безмо.

Он налил себе полный стакан вина и выпил его, радуясь от всего сердца при мысли о том, что грехопадение его преосвященства епископа совершается не без его участия.

Поглощенный своими мыслями и вином, он не заметил, что Арамис внимательно прислушивается к каждому звуку, доносящемуся с главного двора крепости.

Часов около восьми, в то время как Франсуа подавал пятую бутылку вина, во двор въехал курьер, и хотя прибытие его сопровождалось изрядным шумом, Безмо ничего не услышал.

– Черт его побери! – проговорил Арамис.

– Что? Кого? – встрепнулся Безмо. – Надеюсь, не вино, которое вы сейчас пьете, и не того, кто им угощает вас?

– Нет; ту лошадь и только ее, которая производит не меньше шума, чем эскадрон в полном составе.

– Ну, так это курьер, – буркнул, не прекращая возлияний, Безмо. Черт бы его унес! И поскорее, чтобы нам больше не слышать о нем. Ура!

Ура!

– Вы обо мне забываете, любезный Безмо. У меня стакан пуст, – молвил Арамис, указывая на свой хрустальный бокал.

– Клянусь, вы меня восхищаете... Франсуа, вина!

Вошел Франсуа.

– Вина, каналья, и самого лучшего!

– Слушаю, сударь, но... там приехал курьер.

– Я сказал: к черту!

– Сударь, однако...

– Пусть передаст дежурному, завтра посмотрим. Завтра у нас будет время, завтра будет светло, – ответил солдату Безмо, причем заключительные слова он произнес нараспев.

– Ах, сударь, сударь... – проворчал невольно солдат.

– Будьте осторожнее! – сказал Арамис.

– В чем, дорогой господин д'Эрбле? – спросил полупьяный Безмо.

– Письмо, посланное коменданту цитадели с курьером, бывает порой приказом...

– Почти всегда.

– А разве приказы посылаются не министрами?

– Да, конечно, но...

– А разве министры не скрепляют своей подписью подписи короля?

– Может быть, вы и правы. Но все это очень досадно, когда сидишь вот так, перед вкусной едой, наедине с другом. Ах, сударь, простите, я позабыл, что это я угощаю вас ужином и что говорю с будущим кардиналом.

– Оставим это, любезный Безмо, и вернемся к вашему солдату по имени Франсуа.

– Но что же он сделал?

– Он ворчал.

– Напрасно!

– Да, но так как он все же ворчал, то возможно, что там происходит что-нибудь необычное. Может быть, Франсуа несколько не виноват в том, что ворчал, а виноваты вы, не пожелав его выслушать.

– Виноват? Я виноват перед Франсуа? Это уж слишком!

– Виноваты в уклонении от служебных обязанностей. Простите, но я счел долгом сделать вам замечание, которое кажется мне довольно серьезным.

– Возможно, что я не прав! – заикаясь, сказал Безмо. – Приказ короля священен. Но приказ, который приходит за ужином, повторяю снова, чтоб его черт...

– Если б вы позволили себе нечто подобное по отношению к великому кардиналу, – а, дорогой мой Безмо? – да если б к тому же приказ оказался спешным...

– Я это сделал, чтобы не беспокоить епископа; разве, черт возьми, это не оправдание?

– Не забывайте, Безмо, что и я носил когда-то мундир и привык иметь дело с приказами.

– Значит, вы желаете...

– Я желаю, друг мой, чтобы вы выполнили ваш долг.

Да, я прошу вас исполнить его, хотя бы ради того, чтобы вас не осудил этот солдат.

Франсуа все еще ждал.

– Пусть принесут приказ короля, – сказал, приосаниваясь, Безмо и прибавил шепотом:

– Знаете, что в нем будет написано? Что-нибудь в таком роде: «Будьте осторожны с огнем поблизости от порохового склада». Или:

«Следите за таким-то, он быстро бегает». Ах, когда бы, монсеньер, вы только знали, сколько раз меня внезапно будили посреди самого сладкого, самого безмятежного сна; сломя голову летели сюда гонцы лишь затем, чтобы передать мне записку, содержащую в себе следующие слова: «Господин де Безмо, что нового?» Видно, что люди, которые теряют время для писания подобных приказов, никогда сами не ночевали в Бастилии. Узнали б они тогда толщину моих стен, бдительность офицеров и количество патрулей.

Ну, ничего не поделаешь, монсеньер! Это и есть их настоящее ремесло мучить меня, когда я спокоен, и тревожить, когда я счастлив, – прибавил Безмо, кланяясь Арамису. – Предоставим же им занижаться их ремеслом.

– А вы занимайтесь вашим, – добавил, улыбаясь, епископ; при этом он устремил на Безмо настолько пристальный взгляд, что слова Арамиса, несмотря на ласковый тон,

прозвучали для коменданта как приказание.

Франсуа возвратился. Безмо взял у него посланный к нему министром приказ. Он неторопливо распечатал его и столь же неторопливо прочел.

Арамис, делая вид, что пьет, сквозь хрусталь бокала наблюдал за хозяином.

– Ну, что я вам говорил! – проворчал Безмо.

– А что? – спросил ваннский епископ.

– Приказ об освобождении. Скажите на милость, хороша новость, чтобы из-за нее беспокоить нас?

– Хороша для того, кого она касается непосредственно, и против этого вы, вероятно, не станете возражать, мой дорогой комендант.

– Да еще в восемь вечера!

– Это из милосердия.

– Из милосердия, пусть будет так; но его оказывают негодяю, томящемуся от скуки, а не мне, развлекающемуся в доброй компании, – сердито бросил Безмо.

– Разве это освобождение потеря для вас? Что же, узник, которого теперь у вас отбирают, содержался в особых условиях?

– Как бы не так! Дрянь, жалкая крыса; он сидел на пяти франках в день.

– Покажите, – попросил Арамис, – или, быть может, это нескромность?

– Нисколько, читайте.

– Тут написано: спешно. Вы видели?

– Восхитительно! Спешно! Человек, который сидит у меня добрые десять лет! И его спешат выпустить, и притом сегодня же, и притом в восемь вечера!

И Безмо, пожав плечами с выражением царственного презрения, бросил приказ на стол и снова принялся за еду.

– У них бывают такие порывы, – проговорил он все еще с полным ртом. В один прекрасный день хватают человека, кормят его десять лет сряду, а мне беспрестанно пишут: «Следите за негодяем!» или: «Держите его постороже!» А затем, когда привыкнешь смотреть на узника как на человека опасного, тут вдруг, без всякого повода и причины, вам объявляют: «Освободите». И еще надписывают на послании: Спешно! Признайтесь, монсеньер, что тут ничего другого не остается, как только пожать плечами.

– Что подделаешь! – вздохнул Арамис. – Возмущаешься, а приказ все-таки выполняешь.

– Конечно! Разумеется, выполняешь!.. Но немного терпения!.. Не следует думать, будто я раб.

– Боже мой, любезнейший господин де Безмо, кто же думает о вас нечто подобное. Всем известна свойственная вам независимость.

– Благодарение господу!

– Но известно также и ваше доброе сердце.

– Ну, что о нем говорить!

– И ваше повиновение вышестоящим. Видите ли, Безмо, кто был солдатом, тот останется им на всю жизнь.

– Вот поэтому я и оказываю беспрекословное повиновение, и завтра, на рассвете, узник будет освобожден.

– Завтра?

– На рассвете.

– Но почему не сегодня, раз на пакете и на самом приказе значится спешно?

– Потому что сегодня мы с вами ужинаем, и для нас это также достаточно спешное дело.

– Дорогой мой Безмо, хоть я сегодня и в сапогах, все же я не могу не чувствовать себя духовным лицом, и долг милосердия представляется мне вещью более неотложной, чем удовлетворение голода или жажды. Этот несчастный страдал достаточно долго; вы сами только что говорили, что в течение целых десяти лет он был вашим нахлебником. Сократите же ему хоть немного его страдания! Счастливая минута ожидает его, дайте же ему поскорей насладиться ею, и господь вознаградит вас за это годами блаженства в раю.

- Таково ваше желание?
- Я прошу вас об этом.
- Сейчас, посреди нашего ужина?
- Умоляю вас; поступок такого рода стоит десяти benedicite³⁶.
- Пусть будет по-вашему. Только нам придется доедать ужин холодным.
- О, пусть это вас не смущает!

Безмо откинулся на спинку своего кресла, чтобы позвонить Франсуа, и повернулся лицом к входной двери.

Приказ лежал на столе. Арамис воспользовался теми несколькими мгновениями, пока Безмо не смотрел в его сторону, и обменял лежавшую на столе бумагу на другую, сложенную совершенно таким же образом и вынутую им из кармана.

– Франсуа, – сказал комендант, – пусть пришлют ко мне господина майора и тюремщиков из Бертодьеры.

Франсуа, поклонившись, пошел выполнять приказание, и собеседники остались одни.

Глава 35. ГЕНЕРАЛ ОРДЕНА

Наступило молчание, во время которого Арамис не спускал глаз с коменданта. Тому, казалось, все еще не хотелось прервать посередине ужин, и он искал более или менее основательный предлог, чтобы дотянуть хотя бы до десерта.

– Ах! – воскликнул он, найдя, по-видимому, такой предлог. – Да ведь это же невозможно!

– Как невозможно, – сказал Арамис, – что же тут, дорогой друг, невозможного?

– Невозможно в такой поздний час выпускать заключенного. Не зная Парижа, куда он сейчас пойдет?

– Пойдет куда сможет.

– Вот видите, это все равно что отпустить на волю слепого.

– У меня карета, и я отвезу его, куда он укажет.

– У вас ответ всегда наготове. Франсуа, передайте господину майору, пусть он откроет камеру господина Сельдона, номер три, в Бертодьере.

– Сельдон? – равнодушно переспросил Арамис. Вы, кажется, сказали Сельдон?

– Да. Так зовут того, кого нужно освободить.

– О, вы, вероятно, хотели сказать – Марчиали.

– Марчиали? Что вы! Нет, нет, Сельдон.

– Мне кажется, что вы ошибаетесь, господин де Безмо.

– Я читал приказ.

– И я тоже.

– Я прочел там имя Сельдона, да еще написанное такими вот буквами!

И господин де Безмо показал свой палец.

– А я прочитал Марчиали, и такими вот буквами.

И Арамис показал два пальца.

– Давайте выясним, – сказал уверенный в своей правоте Безмо, – вот приказ, и стоит только еще раз прочесть его...

– Вот я и читаю Марчиали, – развернул бумагу Арамис. – Смотрите-ка!

Безмо взглянул, и рука его дрогнула.

– Да, да! – произнес он, окончательно поверженный в изумление. Действительно Марчиали. Так и написано: Марчиали!

– Ага!

– Как же так? Человек, о котором столько твердили, о котором ежедневно напоминали!

Признаюсь, монсеньер, я решительно отказываюсь понимать.

– Приходится верить, раз видишь собственными глазами.

– Поразительно! Ведь я все еще вижу этот приказ и имя ирландца Сельдона. Вижу. Ах, больше того, я помню, что под его именем было чернильное пятно, посаженное пером.

– Нет, пятна тут не видно, – заметил Арамис.

– Как так не видно? Я даже поскреб песок, которым его присыпали.

– Как бы то ни было, дорогой господин де Безмо, – сказал Арамис, – и что бы вы там ни видели, а приказ предписывает освободить Марчиали.

– Приказ предписывает освободить Марчиали, – машинально повторил Безмо, пытаясь собраться с мыслями.

– И вы этого узника освободите. А если ваше доброе сердце подсказывает вам освободить заодно и Сельдона, то я ни в какой мере не стану препятствовать этому.

Арамис подчеркнул эту фразу улыбкой, ирония которой окончательно открыла Безмо глаза и придала ему храбрости.

– Монсеньер, – начал он, – Марчиали – это тот самый узник, которого на днях так таинственно и так властно домогался посетить некий священник, духовник нашего ордена.

– Я не знаю об этом, сударь, – ответил епископ.

– Однако это случилось не так давно, дорогой господин д'Эрбле.

– Это правда, но у нас так уж заведено, чтобы сегодняшний человек не знал, что делал вчерашний.

– Во всяком случае, – заметил Безмо, – посещение духовника иезуита осчастливило этого человека.

Арамис, не возражая, снова принялся за еду и питье. Безмо, не притрагиваясь больше ни к чему из стоявшего перед ним на столе, снова взял в руки приказ и принялся тщательно изучать его.

Это разглядывание при обычных обстоятельствах, несомненно, заставило бы покраснеть нетерпеливого Арамиса; но ваннский епископ не впадал в гнев из-за таких пустяков, особенно если приходилось втихомолку признаться себе самому, что гневаться было чрезвычайно опасно.

– Ну так как же, освободите ли вы Марчиали? – поинтересовался Арамис.

– О, да у вас выдержанный херес с отличным букетом, любезнейший комендант!

– Монсеньер, – отвечал Безмо, – я выпущу заключенного Марчиали лишь после того, как повидаю курьера, доставившего приказ, и, допросив его, удостоверюсь в том...

– Приказы пересылаются запечатанными, и о содержании их курьер не осведомлен. В чем же вы сможете удостовериться?

– Пусть так, монсеньер; в таком случае, я отошлю его назад в министерство, и пусть господин де Лион либо отменит, либо подтвердит этот приказ.

– А кому это нужно? – холодно спросил Арамис.

– Это нужно, чтобы не впасть, монсеньер, в ошибку, это нужно, чтобы тебя не могли обвинить в недостатке почтительности, которую всякий подчиненный должен проявлять по отношению к вышестоящим, это нужно, чтобы неукоснительно выполнять обязанности, возлагаемые на тебя службой.

– Прекрасно; вы говорите с таким красноречием, что я положительно восхищаюсь вами. Вы правы, подчиненный должен быть почтителен по отношению к вышестоящим: он виновен, если впадает в ошибку, и подлежит наказанию, если не выполняет своих обязанностей или позволяет себе преступить законы, к соблюдению которых его обязывает служба.

Безмо удивленно посмотрел на епископа.

– Из этого вытекает, – продолжал Арамис, – что для успокоения собственной совести вы намерены посоветоваться с начальством?

– Да, монсеньер.

– И что если лицо, стоящее выше вас, прикажет вам выполнить то-то и то-то, вы окажете ему полное повиновение?

– Можете в этом не сомневаться.
– Хорошо ли вы знаете королевскую руку, господин де Безмо?
– Да, монсеньер.
– Разве на этом приказе об освобождении нет подписи короля?
– Есть, но, быть может, она...
– Подложная? Не это ли вы имели в виду?
– Это бывало.
– Вы правы. Ну а что вы скажете о подписи де Лиона?
– Я вижу и ее на этой бумаге; но если можно подделать королевскую подпись, то с еще большим основанием можно предположить, что и подпись де Лиона подложная.

– Вы делаете поистине гигантские успехи в логике, дорогой господин де Безмо, – сказал Арамис, – и ваша аргументация неоспорима. Но какое, собственно, у вас основание считать подписи на этом приказе подложными?

– Очень серьезное: отсутствие подписавших его ничто не доказывает, что подпись его величества – подлинная, и здесь нет господина де Лиона, который мог бы удостоверить, что это действительно королевская подпись.

– Ну, господин де Безмо, – проговорил Арамис, смерив коменданта орлиным взглядом, – я настолько близко принимаю к сердцу ваши сомнения, что сам возьмусь за перо, если вы подадите мне его.

Безмо подал перо.

– И лист бумаги, – добавил Арамис.

Безмо подал бумагу.

– И я сам, находясь в вашем присутствии и не подавая по этой причине повода к каким-либо сомнениям и колебаниям, напишу вам приказ, которому вы, я полагаю, окажете подобающее доверие, сколь бы недоверчивым вы ни были.

Безмо побледнел перед этой непоколебимой уверенностью. Ему показалось, что голос только что улыбавшегося и веселого Арамиса стал зловещим и мрачным, что восковые свечи, освещавшие комнату, превратились в погребальные, а стаканы с вином – в полные крови чаши.

Арамис принялся писать. Оцепеневший Безмо, нагнувшись над его плечом, читал слово за словом: «AMDG» – писал епископ и начертил крест под четырьмя буквами, означавшими *ad maiorem Dei gloriam*³⁷. Затем он продолжал:

«Нам угодно, чтобы приказ, присланный г-ну де Безмо де Монлезен, королевскому коменданту замка Бастилии, был признан действительным и немедленно приведен в исполнение.

Подпись: д'Эрбле,

божией милостью генерал ордена».

Безмо был так потрясен, что черты его лица исказились до неузнаваемости: он стоял с полуоткрытым ртом и остановившимися глазами, не шевелясь, не издавая ни звука. В обширной зале слышалось только жужжание мухи, носившейся вокруг свеч.

Арамис, не удостоивая даже взглянуть на того, кого он обрекал на столь жалкую участь, вынул из кармана небольшой футляр с черным воском; он запечатал письмо, приложив печать, висевшую у него на груди под камзолом, и, когда процедура была закончена, молча отдал его Безмо.

Комендант посмотрел на печать тусклым и безумным взглядом; руки его тряслись. Последний проблеск сознания мелькнул на его лице; вслед за тем, словно пораженный громом, он тяжело рухнул в кресло.

– Полно, полно, – сказал Арамис после длительного молчания, во время которого

комендант понемногу пришел в себя, – не заставляйте меня поверить, будто присутствие генерала ордена так же страшно, как присутствие самого господ бога, и что люди, увидев его, умирают. Мужайтесь!

Встаньте, дайте мне руку и повинуйтесь.

Ободренный, если и не вполне успокоенный, Безмо повиновался приказанию Арамиса, поцеловал его руку и встал.

– Немедленно? – пробормотал он.

– О, никогда не следует пересаливать, мой гостеприимный хозяин; садитесь на ваше прежнее место, и давайте окажем честь этому чудеснейшему десерту.

– Монсеньер, я не в силах оправиться после такого удара; я смеялся, шутил с вами, я осмелился быть на равной с вами ноге.

– Молчи, старый приятель, – возразил епископ, почувствовавший, что струна натянута до предела и что грозит опасность порвать ее, – молчи!

Пусть каждый из нас живет своей собственной жизнью: тебе – мое покровительство и моя дружба, мне – твое беспрекословное повиновение. Уплатим же честно нашу взаимную дань и предадимся веселью.

Безмо задумался: ему представились все последствия, какие могут обрушиться на него за то, что он уступил домогательствам и по подложному приказу освободил заключенного, и, сопоставив с этим гарантию, которую давал официальный приказ генерала, он счел ее недостаточно веской.

Арамис угадал, какие мысли мучила коменданта.

– Дорогой мой Безмо, – заговорил он, – вы простака. Бросьте же наконец вашу привычку предаваться раздумьям, когда я сам даю себе труд думать за вас.

Безмо снова склонился пред Арамисом.

– Что же мне делать? – спросил он.

– Как вы освобождаете ваших узников?

– У меня есть регламент.

– Отлично, действуйте по регламенту, дорогой мой.

– Если это особа важная, то я отправляюсь к ней в камеру вместе с майором и лично освобождаю ее.

– Но разве этот Марчиали важная птица? – небрежно заметил Арамис.

– Не знаю, – отвечал комендант. Он произнес эти слова таким тоном, точно хотел сказать: «Вам это известно лучше моего».

– Раз так, если вы не знаете этого, то, по-моему, вам следует поступить с Марчиали так же, как вы поступаете с мелкими сошками.

– Хорошо. Регламент велит, чтобы тюремщик или кто-нибудь из числа младших офицеров привели заключенного в канцелярию к коменданту.

– Ну что ж, это весьма разумно. А затем?

– А затем узнику вручают ценные вещи, отобранные у него при заключении в крепость, платье, а также бумаги, если приказ министра не содержит каких-либо иных указаний.

– Что же говорит приказ министра относительно этого Марчиали?

– Ничего: этот несчастный прибыл сюда без ценностей, без бумаг, почти без одежды.

– Видите, как удачно все складывается! Право, Безмо, вы делаете из мухи слона. Оставайтесь же здесь и прикажите привести узника в канцелярию.

Безмо повиновался. Он позвал своего лейтенанта и отдал ему приказание, которое тот, не задумываясь, передал по назначению. Спустя полчаса со двора донесся звук закрываемой двери: это была дверь темницы, выпустившей на волю свою многолетнюю жертву.

Арамис задул свечи, освещавшие комнату; он оставил только одну-единственную свечу, поместив ее позади двери. Этот трепетный свет не позволял взгляду сосредоточиться на окружающих предметах. Он множил их и изменял их очертания.

Послышались приближавшиеся шаги.

– Ступайте навстречу своим подчиненным, – проговорил Арамис, обращаясь к Безмо.

Комендант повиновался. Сержант и тюремщики удалились. Безмо возвратился в сопровождении узника. Арамис стоял в тени; он видел все, но сам был невидим.

Безмо взволнованным голосом ознакомил молодого человека с приказом, возвращавшим ему свободу. Узник выслушал его не шевельнувшись, не проронив ни слова.

– Клянётесь ли вы, – таково требование регламента, – сказал комендант, – никогда, ни при каких обстоятельствах не разглашать того, что вы видели или слышали в стенах Бастилии?

Узник заметил распятие; он поднял руку и поклялся.

– Теперь, сударь, вы свободны располагать собою; куда намерены вы отправиться?

Узник оглянулся по сторонам, точно искал покровительства, на которое, очевидно, рассчитывал.

Арамис выступил из скрывавшей его тени.

– Я здесь, – поклонился он, – и готов оказать вам услугу, сударь, которую вам будет угодно потребовать от меня.

Узник слегка покраснел, но без колебания подошел к Арамису и взял его под руку.

– Да хранит вас господь под своею святою дланью! – произнес он голосом, поразившим Безмо своей твердостью и заставившим его содрогнуться.

Арамис, пожимая руку Безмо, спросил:

– Не повредит ли вам мой приказ? Не боитесь ли вы, что в случае, если бы пожелали у вас пошарить, он будет обнаружен среди ваших бумаг?

– Я хотел бы оставить его у себя, монсеньер, – ответил Безмо. – Если бы его у меня нашли, это было бы верным предвестием моей гибели, но в этом случае вы стали бы моим могущественным и последним союзником.

– Как ваш сообщник, не так ли? – пожимая плечами, сказал Арамис. Прощайте, Безмо!

Ожидавшие во дворе лошади нетерпеливо били копытами.

Безмо проводил епископа до крыльца.

Арамис, пропустив в карету своего спутника первым, вошел в нее следом за ним и, не отдавая кучеру никаких других приказаний» молвил:

– Трогайте!

Карета загремела по булыжнику мощеных дворов. Впереди нее шел офицер с факелом, отдавая возле каждой караульни приказание пропустить.

Все время, пока перед ними одна за другою открывались рогатки, Арамис сидел чуть дыша; можно было расслышать, как у него в груди колотится сердце. Узник, забившись в угол, не подавал признаков жизни. Наконец толчок, более резкий, чем все предыдущие, оповестил их о том, что последняя сточная канава осталась уже позади. За каретой захлопнулись последние ворота, выходившие на улицу Сент-Антуан. Ни справа, ни слева нигде больше не было стен; повсюду небо, повсюду свобода, повсюду жизнь.

Лошади, сдерживаемые сильной, рукой, медленно трусили до середины предместья. Отсюда они пошли рысью.

Мало-помалу, оттого ли, что они постепенно разгорячились, или оттого, что их подгоняли, они набирали все большую и большую скорость, и уже в Берси карета, казалось, летела. Не замедляя хода, неслись они так вплоть до Вильнев-Сен-Жорж, где их ожидала подставка. Затем вместо пары дальше к Мелену карету повезла уже четверка. На мгновение они остановились посреди Сенарского леса. Приказание остановиться было отдано, очевидно, заранее, так как Арамис не подал к этому ни малейшего знака.

– Что случилось? – спросил узник, точно пробуждаясь от долгого сна.

– Монсеньер, прежде чем ехать дальше, я должен побеседовать с вашим высочеством.

– Подождем более удобного случая, сударь.

– Лучшего случая не представится, ваше высочество; мы среди леса, и никто не услышит нас.

– А кучер?

– Кучер этой подставы глухонемой.

- Я к вашим услугам, господин д'Эрбле.
 - Угодно ли вам остаться в карете?
 - Да, мне здесь удобно, и я ее полюбил; ведь в ней я вернулся на волю.
 - Подождите, монсеньер... нужно принять еще одну меру предосторожности. Мы на большой дороге; тут могут проехать верховые или кареты и, увидев нас, подумают, что с нами стряслась какая-нибудь беда. Если они предложат нам помощь, это будет для нас чрезвычайно стеснительно.
 - Прикажите кучеру выехать на какую-нибудь боковую дорогу.
 - Я так и предполагал, монсеньер.
- Прикоснувшись к нему, Арамис указал ему, что нужно сделать. Тот, сойдя с козел, взял лошадей под уздцы и отвел их на заросшую густой травой извилистую тропу, где в эту безлунную ночь царила тьма столь же непроницаемая, как за пологом, который чернее черных чернил.
- Слушаю вас, – сказал принц Арамису, – но чем это вы занялись?
 - Разряжаю свои пистолеты, так как теперь, монсеньер, они нам уже не понадобятся.

Глава 36. ИСКУСИТЕЛЬ

– Мой принц, – начал, обращаясь к своему спутнику, Арамис, – хотя я не более чем жалкое, немощное создание, хотя ум у меня не более чем посредственный, хотя я один из низших в ряду разумных существ, тем не менее мне всегда удавалось, говоря с людьми, проникать в их самые сокровенные мысли, читая эти мысли на их лице, этой живой маске, брошенной на наш разум, чтобы скрывать его истинные движения. Но сейчас, в этой кромешной тьме, при той сдержанности, которую я встречаю в вас, я ничего не могу прочесть в ваших чертах, и я предчувствую, сколько труда мне предстоит положить, чтобы добиться от вас полной искренности. Итак, умоляю вас, не из любви ко мне, ибо подданный не должен иметь веса на тех весах, что держат в своих руках короли, но из любви к себе самому, запомните каждое мое слово, каждую интонацию моего голоса, поскольку в серьезных обстоятельствах, в которых мы с вами вскоре окажемся, они приобретут такой смысл и такое значение, каких никогда еще не имело ни одно слово, произнесенное на нашей земле.

– Слушаю, – повторил принц с решимостью в голосе, – слушаю, ничего не домогаясь от вас и, что бы вы ни сказали, ничего не боясь.

И он еще глубже уселся в мягкие подушки кареты, стремясь не только быть невидимым своему спутнику, но и не подавать никаких признаков жизни.

Кругом была непроглядная ночь. Густая и непроницаемая мгла опускалась, казалось, с верхушек переплетающихся ветвями деревьев. В карете было совершенно темно: ее плотный верх не пропустил бы в нее ни малейшей частички света даже в том случае, если бы какой-нибудь светящейся точке и удалось пробиться сквозь клубившийся на лесной дороге туман.

– Монсеньер, – продолжал Арамис, – вам известна история нынешних правителей Франции. Король провел свое детство в таком же затворничестве, как то, в котором протекли ваши детские годы, в такой же скудости и такой же безвестности. Только вместо рабства тюрьмы, безвестности, одиночества и скудости, скрытых от людских взоров, ему пришлось терпеть все обиды, все несчастья и унижения на виду у всех, под лучами беспощадного солнца, имя которому – королевская власть. Ведь трон залит таким сиянием, что даже небольшое пятно на нем кажется несмываемой грязью, и всякий ореол славы на его фоне представляется только пятном. Король страдал, он злопамятен, и он будет мстить. Он будет плохим королем. Не стану утверждать, что он прольет столько же крови, сколько пролил Людовик Одиннадцатый или Карл Девятый, – он не испытал в прошлом таких оскорблений, какие испытали они, – но все же он будет лить кровь и поглотит и государственную казну, и состояние своих подданных, потому что в свое время ему были ведомы и унижения, и нужда в

деньгах. Сравнивая достоинства и недостатки короля Франции, я прежде всего стараюсь внести успокоение в свою совесть, и моя совесть оправдывает меня.

Арамис сделал паузу. Он остановился не с тем, чтобы слушаться, не нарушена ли чем-нибудь тишина леса, но с тем, чтобы в глубине души еще раз проверить высказанную им мысль и дать ей время запечатлеться в уме его собеседника.

– Все, что свершает бог, делается ко благу, – продолжал ваннский епископ, – я в этом до того убежден, что уже давно приветствовал его выбор, павший на меня и сделавший меня хранителем той самой тайны, которую я помог вам раскрыть. Богу, который осуществляет высшую справедливость и который предвидит решительно все, для выполнения великого дела понадобилось острое, стойкое, не останавливающееся ни перед чем орудие. Это орудие – я. Во мне есть и необходимая острота, и упорство, и стойкость; я правлю окутанным тайной народом, взявшим себе девизом девиз самого бога: *patiens quia aeternus* – терпелив, ибо вечен.

Принц взглянул на своего собеседника.

– Я угадываю, ваше высочество, – заметил Арамис, – что вы подняли только что голову и что народ, о котором я сейчас вспомнил и которым я управляю, поверг вас в изумление. Вы не знали, что имеете дело с королем. Да, ваше высочество, вы имеете дело с королем, но с королем смиренного, обездоленного народа: смиренного, потому что вся сила его в унижении; обездоленного, потому что никогда или почти никогда народ мой не жнет в этом мире того, что посеял, и не вкушает плодов, что взрастил. Он трудится ради высшей идеи, он накапливает по крупицам свое могущество, чтобы наделить им избранника, и, собирая каплю по капле свой пот, создает вокруг него облако, которое гений этого человека, в свою очередь, должен превратить в ореол, позлащенный лучами всех корон христианского мира. Такой человек сейчас подле вас, мой принц. Теперь вы видите, что он извлек вас из бездны ради воплощения великого замысла и что ради этого замысла он хочет вознести вас над любой земной властью, над собою самим.

Принц слегка коснулся руки Арамиса.

– Вы говорите, – сказал он, – о религиозном ордене, во главе которого вы стоите. Я заключаю из ваших слов, что в тот день, когда вы пожелаете низвергнуть того, кого сами же вознесли, дело будет сделано без труда и человек, созданный вами, окажется в ваших руках.

– Вы заблуждаетесь, монсеньер, – ответил епископ. Никогда я не взял бы на себя такое тяжелое бремя, чтобы сыграть с вашим высочеством столь жестокую, столь непорядочную игру, если бы не имел в виду ваших интересов наравне со своими. Нет, в тот день, когда вы будете возвеличены, вы будете возвеличены навсегда; поднявшись, вы оттолкнете подножие на такое расстояние от себя, что не будете видеть его, и ничто не станет напоминать вам о его праве на вашу признательность.

– О сударь!

– Ваше душевное побуждение, монсеньер, свидетельствует о чистоте вашей души. Благодарю вас, ваше высочество! Поверьте, что я стремлюсь к большему, нежели ваша признательность; я уверен, что, достигнув поставленной нами цели, вы сочтете меня еще более достойным вашего дружеского расположения, и тогда вдвоем с вами мы свершим дела столь великие, что вспоминать о них будут в веках.

– Выскажитесь, сударь, яснее, откройте мне все без утайки, кто я сейчас и кем, как вы утверждаете, стану завтра.

– Вы сын короля Людовика Тринадцатого, вы брат короля Людовика Четырнадцатого, прямой и законный наследник французского трона. Если бы король оставил вас при себе, как оставил при себе принца, вашего младшего брата, он сохранил бы за собою право на царствование. Только врачи и бог могли бы это право оспаривать. Но врачи всегда больше любят короля царствующего, чем того, который не облечен властью. Что до бога, то он допустил ваше изгнание, принц, лишь для того, чтобы в конце концов возвести вас на французский престол. Ваше право на царствование оспаривают – значит, вы располагаете им; у вас отняли право на трон – значит, вы имели на него право; пролить вашу кровь, как проливают кровь ваших слуг, не осмелились – значит, в вас течет священная кровь. Теперь

взгляните, сколь многое даровал вам господь, тот господь, которого вы столько раз обвиняли. Он дал вам черты лица, рост, возраст и голос вашего брата, и все, что побуждало ваших врагов преследовать вас, все это станет причиной вашего триумфального воскресения. Завтра, или послезавтра, или как только это станет возможным, царственный призрак, живая тень короля Людовика Четырнадцатого воссядет на его трон, откуда волею бога, доверенной для претворения в жизнь рукам человеческим, он будет низвергнут навеки и навсегда.

– Я надеюсь, – произнес принц, – что кровь моего брата также священна.

– Вы сами решите его судьбу.

– Тайну, которую обратили против меня...

– Вы обратите против него. Что сделал он, чтобы скрыть ее от вас? Он скрывал вас. Живой портрет короля, вы разоблачили бы заговор Мазарини и Анны Австрийской. У вас, мой принц, появятся такие же основания упрятать того, кто, сделавшись узником, будет доходить на вас так же, как вы, сделавшись королем, будете походить на него.

– Возвращаюсь к тому, о чем уже говорил. Кто будет его охранять?

– Тот, кто охранял вас.

– Вы знали об этой тайне, и вы воспользовались ею в моих интересах.

Кто еще, кроме вас, знает ее?

– Королева-мать и госпожа де Шеврез.

– Чего можно от них ожидать?

– Ничего, если таково будет ваше желание.

– Как так?

– Как же они узнают вас, если вы сами не захотите быть узнанным?

– Вы правы. Но есть и другие препятствия. Мой брат женат: не могу же я жить с женой моего брата.

– Я добьюсь, что Испания даст согласие на развод; этого требуют интересы вашей новой политики, а также человеческая мораль.

– Но, попав в тюрьму, король, несомненно, заговорит.

– С кем? Со стенами? К тому же бог не оставляет своих замыслов незавершенными. Всякий значительный план должен повести к результатам и подобен геометрическому расчету. Запертый в темнице король не будет для вас такой же помехой, какой были для него вы, пока он властвовал. Бог создал его душу нетерпеливой и гордой. Больше того, он обезоружил и расслабил ее, приучив к почестям и к неограниченной власти. Желая, чтобы конечным итогом того геометрического расчета, о котором я имел честь говорить, явилось ваше восшествие на престол: и гибель всего враждебного вам, бог принял решение прекратить в скором будущем страдания побежденного, быть может, даже одновременно с вашими. Он подготовил и душу и тело его к тому, чтоб агония была недолгой. Попав в тюрьму частным лицом, наедине со своими сомнениями, лишенный всего, но привыкший к скромной и размеренной жизни, вы смогли выдержать испытание. Другое дело ваш брат; сделавшись узником, забытый всеми, сдерживаемый тюремными стенами, он не вынесет горечи унижения, и господь примет душу его, когда на то воспоследует его воля, то есть в весьма непродолжительном времени.

Жалобный и протяжный крик ночной птицы прервал мрачную речь Арамиса.

– Я предпочел бы, чтобы низложенный нами король был бы отправлен в изгнание, это было бы человечнее, – вздрогнув, сказал Филипп.

– Этот вопрос будет решен самим королем после его восшествия на престол, – ответил ваннский епископ. – А теперь, прошу вас, скажите, ясно ли изложена мною задача? Согласовано ли ее решение с вашими предварительными расчетами и пожеланиями, ваше высочество?

– Да, сударь, да, вы вспомнили обо всем, пожалуй, за исключением двух вещей.

– А именно?

– Давайте поговорим и о них с тою же откровенностью, с какой мы вели весь предшествующий разговор. Поговорим о причинах, которые могут вызвать крушение наших

надежд, об опасностях, которые нас ожидают.

– Они были б огромными, бесчисленными, ужасными в неодолимыми, если бы, как я имел честь уже говорить, все обстоятельства не способствовали тому, чтобы свести их на нет. Не существует ни малейшей опасности ни для вас, ни для меня, но это только в том случае, если ваше бесстрашие и настойчивость равны тому совершенному сходству с ныне царствующим королем, которым вас наделила природа. Повторяю, опасности нет, существуют только препятствия. Это слово, которое я нахожу во всех языках, никогда не было доступно моему пониманию, и если бы я был королем, я бы приказал уничтожить его, как нелепое и ненужное.

– Но есть препятствие, сударь, исключительной важности, есть опасность воистину неодолимая, и вы забыли о ней. Есть совесть, которая кричит, и раскаяние, которое Гложет.

– Да, да, вы правы, – ответил епископ, – есть слабость сердца, и вы напомнили мне о ней. Да, вы правы, это и впрямь одно из труднейших препятствий. Лошадь, которую страшит ров, прыгает прямо на середину его и разбивается насмерть. Человек, скреживающий дрожащей рукой свое оружие с вражеским, гибнет. Это верно! Да, это верно!

– Есть ли у вас брат? – спросил молодой человек Арамиса.

– Я одинок, – ответил тот сухим и нервическим голосом, похожим на выстрел из пистолета.

– Но есть ли на земле кто-нибудь, к кому бы вы испытывали любовь?

– Никого! Впрочем, нет, я люблю вас, ваше высочество.

Молодой человек погрузился в молчание, и притом такое глубокое, что даже собственное дыхание показалось Арамису чрезмерно шумным.

– Монсеньер, – проговорил он, нарушая молчание, – я еще не высказал вашему высочеству всего, что хотел, еще не подал всех добрых советов, еще не ознакомил с иными полезными соображениями, которые у меня для вас наготове. Не следует ослеплять сверкающей молнией того, кто любит потемки; не следует оглушать великолепным грохотом пушек тех, которые любят деревенскую тишину и поля. Монсеньер, я знаю, что именно требуется для вашего счастья; выслушайте меня внимательно и постарайтесь запомнить мои слова. Вы любите небо, зеленеющие луга, живительный свежий воздух. Я знаю восхитительные края, затерянный рай, уголок 'земли, где, наедине с собой, свободный, не ведомый никому, среди лесов, цветов и струящихся вод, вы забудете обо всем, что, искушая господа бога, вам предлагало сейчас человеческое безумие. О, выслушайте меня, мой принц, я ни в малой мере не потешаюсь над вами. Ведь и у меня есть душа, и я угадываю, в каком смятении находится ваша. Я не воспользуюсь вашей слабостью, чтобы расплавить вас в горниле моей воли, моей прихоти или моего честолюбия.

Либо все, либо ничего. Вы подавлены, больны, изнемогаете от напряжения, которого потребовал от вас этот один-единственный час свободы. Для меня это верный признак того, что вы не выдержите долгих усилий. Так давайте же ограничимся более скромной, более соразмерной с вашими силами жизнью.

Бог мне свидетель, что, стремясь избавить вас от навязанного мною же великого испытания, я думаю только о вашем счастье.

– Говорите! Говорите, я слушаю вас! – сказал принц с живостью, заставившей Арамиса задуматься.

– В Нижнем Пуату, – продолжал ваннский епископ, – я знаю кантон, о существовании которого никто во Франции даже не подозревает. На двадцать лье, монсеньер, тянутся там озера, заросшие камышом и травой; среди них острова, покрытые лесом. Эти громадные болота, одетые тростником, точно плотной мантией, тихие и глубокие, дремлют под ласковыми лучами южного солнца. Несколько рыбацких семейств, ютящихся на плотках, связанных из стволов тополей и ольхи, неторопливо перемещается в этих водах с места на место. Эти плавучие дома передвигаются по прихоти ветра. Когда их случайно принесет к берегу, спящий рыбак даже не просыпается, настолько неприметен бывает толчок. Иногда рыбак и по собственному желанию пристает к берегу; это бывает тогда, когда он видит здесь

разнообразных птиц, которых он бьет из мушкета или ловит в силки. Рыба сама идет к нему в сети, и ему остается лишь выбирать ту, которая покрупнее. Ни горожанин, ни солдат, никто никогда не заглядывает в эти края. Под ласковым солнцем зреет там виноград, и черные или белые гроздья его наливаются благородным соком. Вы будете жить в этих местах жизнью древнего человека. Вы будете всемогущим властелином кудлатых собак, удочек, ружей и плавучего дома. Вы проживете там долгие годы в безопасности и изобилии, никем не признанный, совершенно преображенный. Принц, в этом кошельке тысяча пистолей: это больше, чем нужно, чтобы купить все болота, о которых я говорю, и прожить там столько лет, сколько отмерено вам вашей судьбой, самым богатым, самым счастливым из всех тамошних жителей. Примите же мое предложение с тем же чувством, с каким я его делаю, то есть радостно и легко. Мы немедленно отпряжем от кареты двух лошадей; немой кучер, мой верный слуга, отвезет вас в этот благословенный край; вы будете ехать ночами, а днем отдыхать. И у меня, по крайней мере, будет удовлетворение от сознания, что оказанная вам мною услуга отвечала вашим желаниям. Я сделаю хотя бы одного человека счастливым. Быть может, богу это будет приятнее, чем если бы я сделал этого человека могущественным. Это гораздо труднее!

Что же вы ответите мне, монсеньер? Вот деньги. О, не раздумывайте! В Пуату вам не грозит никакая опасность, разве что схватить лихорадку. И то местные знахари вылечат вас за ваши пистолы. Если же вы поставите на другую карту, вы рискуете быть убитым на троне или задушенным в каземате тюрьмы! Клянусь душой! – теперь, взвесив и то и другое, клянусь моей жизнью! – я бы на вашем месте заколебался.

– Сударь, – ответил принц, – прежде чем принять то или иное решение, я хотел бы покинуть карету, походить по твердой земле и прислушаться к голосу, которым по воле бога глаголет природа. Через десять минут я сообщу мой ответ.

– Ступайте, принц, – сказал Арамис и низко, почтительно поклонился ему: так торжественно и так царственно прозвучал голос, произнесший эти слова.

Глава 37. КОРОНА И ТИАРА

Арамис покинул карету первым и, распахнув перед молодым человеком дверцу, стал возле нее. Он видел, как тот, дрожа всем телом, ступил на мох и сделал несколько неуверенных шагов. Бедный узник, казалось, разучился ходить по земле.

Это было 15 августа, около одиннадцати часов вечера; тяжелые тучи, предвещавшие непогоду, охватили все небо, не допуская на землю ни малейшего проблеска света. Впрочем, привыкнув немного к окружающей тьме, глаз начинал различать границу между дорогой и окаймлявшим ее подлеском – все кругом было непроницаемо черным, и только дорога на этом фоне представлялась темно-серым пятном. Но запах травы и еще более резкий и свежий запах дубов, теплый, насыщенный воздух, впервые после стольких лет окутавший все его тело, невыразимое наслаждение свободой среди полей и лесов говорили столь пленительным для него языком, что, несмотря на всю сдержанность, почти скрытность, о которой мы постарались дать читателю представление, принц позволил себе отдалиться нахлынувшим на него чувствам и радостно и легко вздохнул.

Затем, медленно поднимая все еще тяжелую голову, он принялся жадно ловить струи воздуха, напоенные самыми разнообразными ароматами и живительные для его начинающего освобождаться от привычной скованности лица.

Скрестив руки на груди, как бы затем чтобы не дать ей разорваться под наплывом этого доселе не ведомого ему блаженства, он с восторгом вдыхал этот новый для него воздух, веющий по ночам под сводами леса. Небо, на которое он смотрел, шум воды, живые существа, копошащиеся, как он чувствовал, вокруг него, – разве это не сама жизнь, и не безумец ли Арамис, полагавший, что в нашем мире можно мечтать о чем-то другом?

Пленительные картины существования на лоне природы, существования, не знающего

ни забот, ни страхов, ни стеснений, налагаемых чужой волей, море счастливых, неизменно предстающих пред юным воображением дней – вот воистину та приманка, на которую может попасться несчастный узник, замученный каменными стенами своего каземата и зачахший в спертой атмосфере Бастилии. И такую приманку показал ему он, Арамис, предложивший и тысячу пистолей, лежавших наготове в карете, и волшебный Эдем, скрытый в дебрях Нижнего Пуату.

Таковы были размышления Арамиса, который с неописуемою тревогой следил за этим безмолвным шествием радостей, поочередно охватывавших Филиппа, и видел, что он все глубже и глубже уходил в мир, порождаемый его воображением. И действительно, принц, поглощенный своими думами, лишь ногами продолжал оставаться на бренной земле, тогда как душа его, вознесшись к подножию престола господня, молила даровать ему хотя бы луч света, дабы он мог наконец разрешить свои колебания, от чего зависела его жизнь или смерть.

Для ваннского епископа эти мгновения были ужасными. Никогда еще не стоял он лицом к лицу с несчастьем, чреватый столь значительными последствиями. Неужели же этой стальной душе, привыкшей к тому, что неодолимых препятствий не существует, и шутя справлявшейся с любыми из них, не знавшей, что значит быть слабою и побежденною, неужели же ей суждена неудача в ее столь безмерно великом замысле, и все – лишь оттого, что ею не предусмотрено впечатление, которое могут оказать на плоть человеческую листья деревьев, омытые струями свежего воздуха.

Арамис, пригвожденный к месту своим отчаяньем и своими сомнениями, напряженно следил за раздиравшей душу Филиппа борьбой, которую вели за нее два враждебных друг другу таинственных ангела. Эта пытка продолжалась ровно десять минут, испрошенных молодым человеком у Арамиса. В течение всех этих десяти минут, этой вечности для Филиппа и Арамиса, Филипп не отрывал своих глаз от неба, и они были печальными, влажными и молящими, Арамис не отрывал своих глаз от Филиппа, и они были жадными, горящими и пожирающими.

Вдруг голова молодого человека склонилась, мысль его вернулась на землю. Видно было, как взгляд его становился все более жестким, как морщился лоб, как рот принимал выражение суровой решимости; потом взор его снова стал неподвижным. И на этот раз в нем отразилось сияние мирского величия, на этот раз он был похож на взгляд сатаны, показывающего с вершины горы царства и власть земную на соблазн Иисусу. Лицо Арамиса просветлело. Филипп быстрым и нервным движением схватил его за руку.

– Идем, – произнес он, – идем за короной Франции, – Это ваше решение, принц? – спросил Арамис.

– Да.

– И непреклонное?

Филипп не удостоил его ответом. Он взглянул на епископа, как бы спрашивая его: да разве возможно отступать от уже принятого решения?

– Такие взгляды, как тот, что вы только что метнули в меня, огненными чертами рисуют характер, – произнес Арамис, склоняясь над рукой Филиппа.

– Вы будете великим монархом, монсеньер, верьте мне!

– Вернемся к нашему разговору, прошу вас. Я, кажется, уже сказал, что желаю уяснить себе две весьма существенных вещи: во-первых, каких опасностей и препятствий нам следует ожидать, и на это вами было отвечено, и во-вторых, каковы условия, которые вы мне поставите. Ваш черед говорить, господин д'Эрбле.

– Условия, принц?

– Конечно. Пустяки такого рода не могут остановить меня посередине пути, и надеюсь, вы не нанесете мне оскорбления, предположив, будто я настолько наивен, что могу верить в вашу полную незаинтересованность в нашем деле. Итак, без всяких уловок, без опасений откройте мне все ваши мысли по этому поводу.

– Я готов к этому, принц. Став королем...

– Когда?

– Завтра вечером, или, точнее, ночью.

– Объясните, как это произойдет.

– Охотно, но только разрешите сначала задать вам один вопрос, ваше высочество.

– Задавайте.

– Я послал к вашему высочеству верного человека, которому велел вручить вам тетрадь с некоторыми заметками; заметки эти были составлены с тем, чтобы ваше высочество получили возможность основательно изучить тех лиц, которые состоят и будут состоять при вашем дворе.

– Я прочел эти записки»

– Внимательно?

– Я знаю их наизусть.

– И поняли их? Простите, но я считаю для себя позволительным спросить об этом несчастного узника, который так долго был заперт в Бастилии.

– В таком случае спрашивайте; я буду учеником, отвечающим перед учителем заданный им урок.

– Начнем с вашей семьи, мой принц.

– С моей матери, Анны Австрийской? Со всех ее несчастий и рокового недуга? О, я знаю, знаю ее!

– Ваш второй брат? – отвечивая поклон, спросил Арамис.

– К этим заметкам вы приложили портреты, нарисованные с таким искусством, что по ним я узнавал тех людей, историю, характеры и нравы которых вы мне описывали. Принц, мой брат, – красивый, бледный брюнет; он не любит свою жену, Генриетту, ту, которую я, Людовик Четырнадцатый, немного любил, в которую и сейчас еще немного влюблен, хотя она и заставила меня лить горькие слезы в тот день, когда хотела прогнать от себя мадемуазель Лавальер.

– Глаз этой последней, мой принц, вам придется остерегаться, – сказал Арамис. – Лавальер искренне любит ныне царствующего монарха. А любящую женщину обмануть нелегко.

– Она белокурая, у нее голубые глаза, нежность которых поможет мне узнать ее душу. Она чуть-чуть прихрамывает, ежедневно пишет мне письма, на которые я заставляю отвечать господина де Сент-Эньяна.

– А вы хорошо его знаете?

– Так, как если бы видел собственными глазами. Последние стихи, которые он написал для меня, я знаю не хуже тех, что сочинил им в ответ.

– Отлично. Знаете ли вы ваших министров?

– У Кольбера лицо некрасивое, хмурое, но вместе с тем умное; лоб зарос волосами; большая тяжелая голова. Смертельный враг господина Фуке.

– О Кольбере можно не говорить.

– Конечно, ведь вы попросите, надо полагать, отправить его в изгнание, разве не так? Восхищенный Арамис удовольствовался тем, что воскликнул:

– Вы действительно будете великим монархом, мой принц.

– Вы видите, – улыбнулся принц, – я знаю мой урок как полагается и с помощью божьей, а также вашею справлюсь со всем.

– Есть еще одна пара глаз, которых вам придется остерегаться, мой принц.

– Да, глаз господина д'Артаньяна, капитана мушкетеров и вашего друга?

– Моего друга, должен признаться.

– Того, кто сопровождал Лавальер в Шайо; доставил в сундуке королю Карлу Второму Монка и так хорошо служил моей матери. Корона Франции обязана ему столь многим, что, в сущности, обязана всем. А его ссылки вы также будете добиваться?

– Никогда, мой принц. Такому человеку, как д'Артаньян, когда придет время, я сам расскажу обо всем происшедшем. Но пока его нужно остерегаться, потому что, если он выследит нас раньше, чем мы сами ему откроемся, и вы и я будем схвачены и убиты. Он –

человек дела.

– Приму во внимание. Теперь давайте поговорим о господине Фуке. Что, по-вашему, я должен буду для него сделать?

– Простите, быть может, вам кажется, что я недостаточно почтителен к вам, задавая все время вопросы?

– Это ваша обязанность и пока, к тому же, ваше право.

– Прежде чем перейти к господину Фуке, я должен напомнить вам еще обо одном моем друге.

– О господине дю Валлоне, Геркулесе Франции? Что до него, то его судьба обеспечена.

– Нет, я хотел говорить не о нем.

– Значит, о графе де Ла Фер?

– И о его сыне, который стал сыном всех четверых.

– А, об этом мальчике, который умирает от любви к Лавальер и у которого так подло отнял ее мой брат! Будьте покойны, я сделаю так, что она вернется к нему. Скажите, господин д'Эрбле: легко ли забывается оскорбление от того, кого любишь? Прощают ли женщины, которая изменила? Что это, свойство французской души или закон, заложенный в человеческом сердце?

– Человек, любящий так глубоко, как любит Рауль, кончает тем, что забывает проступок своей возлюбленной, но что до Рауля, то, право, не знаю, забудет ли он.

– Я позабочусь об этом. Вы только это и хотели сказать относительно вашего друга?

– Да.

– Тогда перейдем к господину Фуке. Кем, по вашему мнению, нужно будет его назначить?

– Он был суперинтендантом, пусть в этой должности останется.

– Хорошо! Но сейчас он первый министр.

– Не совсем.

– Столь несведущему и робкому королю, как я, крайне необходим первый министр.

– Нужен ли будет вашему величеству друг?

– Мой единственный друг – вы, и только вы.

– У вас появятся впоследствии и другие, но столь же преданного, столь же ревнующего о вашей славе среди них, полагаю, не будет.

– Моим первым министром будете вы.

– Но не сразу, мой принц. Это породило бы излишние толки и подозрения.

– Ришелье, первый министр Марии Медичи, моей бабки, был только люсонским епископом, подобно тому как вы – ваннский епископ. Впрочем, благодаря покровительству королевы он вскоре стал кардиналом.

– Будет лучше, – сказал, кланяясь, Арамис, – если я стану первым министром лишь после того, как вы сделаете меня кардиналом.

– Вы будете им не позже чем через два месяца, господин д'Эрбле. Но этого мало, вы не оскорбите меня, если попросите больше, и огорчите, ограничившись этим.

– Я действительно надеюсь на большее, принц.

– Скажите, скажите же!

– Господин Фуке не долго будет у дел, он скоро состарится. Он любит удовольствия, правда, совместимые с Возложенной на него работой, поскольку кое-что от своей Молодости он сохраняет в себе и поныне. Но эти остатки ее При первом же горе или болезни, которые могут постигнуть господина Фуке, исчезнут бесследно. Мы избавим его, пожалуй, от горя, потому что он человек с благородным сердцем и достойный во всех отношениях, но спасти его от болезни – здесь мы бессильны. Итак, давайте решим. Когда вы уплатите долги господина Фуке и приведете в порядок государственные финансы, Фуке останется королем, властвующим над своими придворными – поэтами и художниками. Мы сделаем его достаточно богатым для этого.

Вот тогда, став первым министром при вашем королевском величестве, я смогу

подумать о ваших и о своих интересах.

Молодой человек посмотрел в упор на своего собеседника.

– Кардинал Ришелье, о котором мы говорили, – продолжал Арамис, – допустил непростительную ошибку, упорно управляя лишь одной Францией. На одном троне он оставил двух королей, Людовика Тринадцатого и себя самого, тогда как мог с гораздо большими удобствами рассадить их на двух разных тронах.

– На двух тронах? – задумчиво повторил молодой человек.

– Подумайте, – спокойно продолжал Арамис, – кардинал, первый министр Франции, опирающийся на поддержку и милость наихристианнейшего короля; кардинал, которому король, его господин, вручает свои сокровища, свою армию, свой совет, – такой кардинал был бы вдвойне не прав, применяя все эти возможности к одной только Франции. К тому же, мой принц, – добавил Арамис, смотря прямо в глаза Филиппу, – вы не будете таким королем, каким был ваш покойный отец, изнеженным, вялым и утомленным. Вы будете королем умным и предприимчивым. Ваших владений вам будет мало; вам будет тесно со мной. А наша дружба не должна быть – я не скажу нарушена, но даже хоть в малой мере омрачена какой-нибудь лелеемой одним из нас тайной мыслью. Я подарю вам трон Франции – вы подарите мне престол святого Петра. Когда союзницей вашей честной, твердой и хорошо вооруженной руки станет рука такого папы, каким буду я, то и Карл Пятый, которому принадлежало две трети мира, и Карл Великий, владевший всем миром, покажутся ничтожными в сравнении с вами. У меня нет ни семейных связей, ни предрассудков, я не стану толкать вас ни на преследование еретиков, – ни на династические войны, я скажу: «Вселенная наша; мне – души, вам – тела».

И так как я умру прежде вас, вам останется к тому же мое наследство. Что вы скажете о моем плане, принц?

– Скажу, что я счастлив и горд хотя бы уже потому, что понял ваш замысел, господин д'Эрбле; вы будете кардиналом, и я назначу вас первым министром. Потом вы укажете мне, что нужно сделать, чтобы вас выбрали папой; и я это сделаю» Требуйте от меня каких угодно гарантий»

– Это излишне. Все мои поступки будут направлены к вашей выгоде; я не поднимусь ни на одну ступень выше, чтобы не поднять и вас вместе с собою; я всегда буду достаточно далеко, чтобы не возбуждать вашей зависти, и достаточно близко, чтобы блюсти ваши выгоды и беречь вашу дружбу. Все договоры в нашем мире непрочны и нарушаются, поскольку обычно они имеют в виду интересы лишь одной стороны. Ничего подобного между нами не будет, и мне не нужны никакие гарантии.

– Итак... брат мой... исчезнет?

– Да. Мы похитим его в кровати. Достаточно нажать пальцем, и пол в той комнате, которая отведена ему в Во, опустится в люк. Заснув под сенью короны, он проснется в тюрьме. С этого момента единственным повелителем будете вы, и стремлением всей вашей жизни будет стремление сохранить меня при своей особе.

– Это правда! Вот моя рука, господин д'Эрбле.

– Позвольте же мне, ваше величество, почтительно преклонить пред вами колени. И в день, когда ваше чело украсит корона, мое же – тиара, мы обменяемся поцелуем.

– Поцелуйте меня сейчас же, сегодня и будьте больше, чем просто великий, просто искусный, просто возвышенный гений: будьте добры ко мне, будьте моим отцом.

Арамис слушал его почти с нежностью. Ему показалось, что в сердце его шевельнулось еще незнакомое ему чувство, но это впечатление, впрочем, вскоре пропало.

«Его отцом! – подумал он. – Да, да, святым отцом!»

Они снова сели в карету, которая быстро покатила по дороге к Во-ле-Виконт.

Глава 38. ЗАМОК ВО-ЛЕ-ВИКОНТ

Замок Во-ле-Виконт, расположенный в одном лье от Мелена, был построен Фуке в 1653

году. Денег в то время во Франции почти не было. Все поглотил Мазарини, и Фуке тратил уже остатки. Впрочем, у некоторых даже слабости – и те плодотворны, даже пороки – и те полезны, и Фуке, вложившему в этот дворец миллионы, удалось привлечь к постройке его трех знаменитых людей: архитектора Лево, планировщика парков Ленотра и декоратора внутренних помещений Лебрена»

Если у замка Во есть какой-нибудь недостаток, который ему можно поставить в упрек, то это его чрезмерная величавость и чрезмерная роскошь.

Вплоть до наших дней сохранилась привычка исчислять в арканах площадь покрывающей его кровли, починка которой теперь, когда состояния мельчают вместе с эпохой, – сущее разорение.

Дом этот, строившийся для подданного, больше похож на дворец, чем те дворцы, которые Уолси, боясь вызвать ревность своего повелителя, считал себя вынужденным подносить ему в дар.

Но если нужно было бы указать, в чем именно богатство и прелесть этого дворца особенно поразительны, если что-нибудь в нем можно предпочесть великолепию его обширных покоев, роскоши позолоты, обилию картин и статуй, то это лишь парк, это только сады замка Во. Фонтаны, казавшиеся чудом в 1653 году, остаются чудом и ныне; то же можно сказать и о каскадах, восхищавших всех королей и всех принцев Европы.

Скюдери говорит об этом дворце, что для поливки его садов фуке расчленил реку на тысячу фонтанов и собрал тысячу фонтанов в потоки.

Этот великолепный дворец был подготовлен к приему монарха, которого называли самым великим королем во всем мире. Друзья Фуке свезли сюда все, чем были богаты: кто своих актеров и декорации, кто художников и ваятелей, кто, наконец, поэтов, мастеров остро отточенного пера.

Целая армия слуг, разбившись на группы, сновала по дворцам и обширнейшим коридорам, тогда как Фуке, приехавший только утром, спокойный и внимательный ко всему, обходил замок, отдавая последние распоряжения управляющим, уже закончившим свой осмотр.

Было, как мы уже сказали, 15 августа. На плечи бронзовых и мраморных богов падали отвесные солнечные лучи. В чашах бассейнов нагревалась вода, и зрели в садах великолепные персики, о которых пятьдесят лет спустя с сожалением вспоминал великий король, говоря кому-то в Марли, где в садах, обошедшихся Франции вдвое дороже, чем стоил фуке его замок Во, не было порядочных сортов персиков:

– Ах, вы не пробовали персиков господина Фуке, вы для этого слишком молоды, О, память людская! О, фанфары молвы! О, слава мира сего! Тот, кто отлично знал себе цену, кому досталось в наследство все достояние Никола фуке, кто взял у него Ленотра, а также Лебрена, кто послал самого Фуке до конца дней его в государственную тюрьму, тот вспомнил лишь персики своего поверженного, забытого, задушенного врага! Тридцать миллионов были брошены рукою Фуке в его бассейны, в литейные его скульпторов, в чернильницы его поэтов, в папки его художников, и все же тщетными оказались его надежды на память людскую. Но достаточно было великому королю увидеть румяный и сочный персик, чтобы воскресить в памяти печальную тень последнего суперинтенданта Франции.

Уверенный, что Арамис подготовился к встрече столь значительного числа приезжих, что он позаботился проверить охрану у всех ворот и дверей и оборудовать необходимые помещения, Фуке занимался тем, что предусматривалось программой празднества: Гурвиль показывал, где у него будут фейерверк и иллюминация; Мольер повел его в театр; осмотрев часовню, гостиные, галереи, утомленный Фуке встретил, спускаясь по лестнице, Арамиса. Прелат знаком остановил его.

Суперинтендант подошел к своему другу, и тот подвел его к большой, спешно заканчиваемой картине. Живописец Лебрен, весь в поту, испачканный красками, усталый и вдохновенный, делал быстрой кистью последние завершающие мазки. Это был портрет короля в парадном костюме, том самом, который Персерен соблаговолил показать Арамису.

Фуке остановился перед картиной; она, казалось, жила, – такой свежестью и теплотой веяло от изображенной на ней человеческой плоти. Он рассмотрел портрет, оценил мастерство и, не находя, чем можно было бы вознаградить этот поистине геркулесов труд, обхватил руками шею художника и с чувством обнял его. Суперинтендант «испортил костюм стоимостью в тысячу пистолей, но влил бодрость в душу Лебрена.

Это мгновение доставило художнику радость, но оно же повергло в уныние Персерена, сопровождавшего вместе с другими Фуке и восхищавшегося в картине больше всего костюмом, сшитым им для его величества, костюмом, представлявшим, по его словам, произведение подлинного искусства, костюмом, равный которому можно было найти разве что в гардеробе г-на Фуке»

Его сетования по поводу этого происшествия были прерваны сигналом, поданным с крыши замка. За Меленом, на открытой равнине, дозорные заметили королевский поезд: его величество въезжал в Мелен; за ним следовала длинная вереница карет и всадников.

– Через час, – взглянул на Фуке Арамис.

– Через час, – ответил тот, тяжело вздыхая.

– А народ еще спрашивает, к чему эти королевские праздники! – сказал ваннский епископ и рассмеялся своим неискренним смехом.

– Увы, хоть я не народ, но и я задаю себе тот же вопрос.

– Через двадцать четыре часа, монсеньер, я дам вам ответ на него. А теперь улыбайтесь, ведь сегодня радостный день.

– Знаете, д'Эрбле, верьте или не верьте, – с жаром произнес суперинтендант, указывая пальцем на показавшийся вдали поезд Людовика, – он меня вовсе не любит, да и я не пылаю к нему горячей любовью, но сейчас, когда он приближается к моему дому, отчего – я и сам не скажу, но особа его для меня священна; он мой король, и он мне почти что дорог.

– Дорог? Вот это верно! – повторил Арамис, играя словами.

– Не смейтесь, д'Эрбле, я знаю, что если б он захотел, я полюбил бы его.

– Вам следовало бы сказать это не мне, а Кольберу.

– Кольберу? – воскликнул Фуке. – Но почему?

– Потому что, став суперинтендантом, он назначит вам пенсию из личных сумм короля.

И, бросив эту насмешку, Арамис поклонился.

– Куда вы? – спросил помрачневший Фуке.

– К себе, монсеньер; мне нужно переодеться.

– Где вы поместились, д'Эрбле?

– В синей комнате, что на втором этаже.

– В той, которая находится над покоями короля?

– Да.

– Зачем же вы так неудобно устроились? Ведь там вы и пошевелиться не сможете.

– По ночам, монсеньер, я сплю или читаю в постели.

– А ваши люди?

– О, со мною лишь один человек, – Так мало?

– Никого, кроме чтеца, мне не нужно. Прощайте, монсеньер. Не переутомляйтесь, друг мой. Поберегите силы к приезду его величества короля.

– Мы еще увидимся с вами? А ваш друг дю Валлон?

– Я поместил его рядом с собой. Он одевается.

И Фуке, попрощавшись кивком головы и улыбкой, пошел, словно главнокомандующий, осматривающий посты ввиду приближения неприятеля.

Глава 39. МЕЛЕНСКОЕ ВИНО

Король въехал в Мелен с намерением лишь проследовать через него. Молодой монарх горел жаждою удовольствий. За время поездки он лишь дважды видел мелькнувшую на

мгновение Лавальер и, предвидя, что ему не удастся поговорить с ней иначе как ночью, в саду, после окончания всех положенных церемоний, торопился поскорее занять отведенные ему в Во покои. Но, строя эти расчеты, он забыл о капитане своих мушкетеров и о Кольбере.

Как нимфа Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса, так и наш гасконец не мог успокоиться, без конца обращаясь к себе самому с вопросом, зачем Арамису понадобилось домогаться у Персерена, чтобы тот показал ему новые костюмы его величества.

«Во всяком случае, – повторял он себе, – друг мой ваннский епископ делал это не зря».

И он тщетно ломал себе голову.

Д'Артаньян, изощривший свой ум среди бесчисленных придворных интриг, Д'Артаньян, знавший положение Фуке лучше, чем знал его сам Фуке, услышав о предполагаемом празднестве, разорительном даже для богача и вовсе невыносимом и безрассудном для человека уже разоренного, проникся самыми странными подозрениями. Наконец присутствие Арамиса, который покинул Бель-Иль и которого Фуке сделал своим главным распорядителем, его непрекращающееся вмешательство в дела суперинтенданта, его поездки к Безмо – все это уже несколько недель мучило д'Артаньяна.

«Одолеть такого человека, как Арамис, – думал он – легче всего со шпагой в руке. Пока Арамис был солдате и, была некоторая надежда справиться с ним; но теперь, когда его броня стала вдвое прочнее, потому что на нем, к тому же, епитрахиль, дело пропащее! Чего же, однако, добивается Арамис?»

Д'Артаньян размышлял:

«Если в его планы входит свергнуть Кольбера и ничего больше, то какое в конце концов мне до этого дело? Чего же еще он может хотеть?»

И д'Артаньян почесывал себе лоб, эту плодоносную почву, откуда он извлек немало блестящих мыслей. Он подумал, что хорошо бы поговорить с Кольбером; но дружба и давнишняя клятва связывала его слишком тесными узами с Арамисом. Он оставил это намерение. К тому же он ненавидел этого финансиста. Он хотел открыть свои подозрения королю. Но король ничего бы не понял в них, тем более что они не имели и тени правдоподобия.

Тогда он решил при первой же встрече обратиться к самому Арамису.

«Я обращусь к нему со своими недоумениями врасплох, неожиданно, прямо, – говорил себе мушкетер. – Я сумею воззвать к его сердцу, и он мне скажет... что же он скажет? Уж что-нибудь скажет, потому что, черт меня подери, тут что-то все-таки кроется!»

Немного успокоившись, д'Артаньян занялся приготовлениями к поездке, заботясь в особенности о том, чтобы королевский конвой, в те времена еще малочисленный, был хорошо экипирован и имел надежного командира. В результате этих стараний своего капитана король въехал в Мелен во главе мушкетеров, швейцарцев и отряда французских гвардейцев. Кorteж был похож на маленькую армию. Кольбер смотрел на солдат с истинной радостью. Впрочем, он находил, что их численность следовало бы увеличить, по крайней мере на треть.

– Зачем? – спросил у него король.

– Чтобы оказать честь господину Фуке, – ответил Кольбер.

«Чтобы поскорее довести его до полного разорения», – подумал д'Артаньян.

Отряд подошел к Мелену: знатные горожане поднесли королю городские ключи и пригласили выпить почетный кубок вина у них в ратуше. Король, не ожидавший задержки и торопившийся в Во, покраснел от досады.

– Какому дураку обязан я этой задержкой, – пробормотал он сквозь зубы, в то время как городской старшина произносил свою речь.

– Уж, конечно, не мне, – ответил д'Артаньян, – полагаю, что господину Кольберу.

Кольбер услышал свое имя.

– Чего хочет господин д'Артаньян? – спросил он, обращаясь к гасконцу.

– Я хотел бы узнать, не вы ли распорядились угостить короля местным вином?

– Да, сударь, я.

– Значит, это вас король наградил титулом.

– Каким титулом, сударь?

– Постойте... дайте припомнить... болвана... нет, нет... дурака, да, да, дурака; именно этим словом был назван его величеством тот, кому он обязан меленским вином.

После этой выходки д'Артаньян потрепал по шее своего коня. Широкое лицо Кольбера раздулось, словно мех, в который налили вина. Д'Артаньян, видя, что его распирает гнев, не остановился на полпути. Оратор все еще продолжал свою речь, а король багровел на глазах.

– Ей-богу, – флегматично сказал мушкетер, – короля вот-вот хватит удар. Какого черта пришла вам в голову подобная мысль, дорогой господин Кольбер? Вам, право, не повезло.

– Сударь, – выпрямился в седле финансист. – Мне внушило эту мысль усердие.

– Вот как!

– Сударь, Мелен чудный город, прекрасный город, он хорошо платит, и не следует его обижать.

– Скажите пожалуйста! Я ведь не финансист и, признаться, истолковал вашу мысль совсем по-иному.

– Как же вы истолковали ее?

– Я решил, что вы хотите позлить господина Фуке, которому, вероятно, уже не вмоготу дожидаться нас на своих башнях.

Удар попал прямо в цель. Кольбер понуро отъехал в сторону. Речь старшины, к счастью, окончилась. Король выпил вино, и кортеж снова потянулся по улицам города. Король кусал губы, потому что близился вечер и вместе с ним исчезала надежда на прогулку в обществе Лавальера.

Двору, чтобы добраться до Во, соблюдая все церемонии, требовалось по крайней мере четыре часа. Король, сгорая от нетерпения, торопил королев, так как желал прибыть туда засветло; но когда готовились уже тронуться в путь, возникли новые неожиданные препятствия.

– Разве король не остается ночевать в Мелене? – потихоньку спросил у д'Артаньяна Кольбер.

Кольбер весьма невпопад, как и все, что он делал в течение этого дня, обратился с этим вопросом к начальнику мушкетеров. Д'Артаньян догадывался, что королю не сидится на месте. Он не хотел, чтобы король въехал в Во без приличной охраны; он считал совершенно необходимым, чтобы его величество прибыл туда сопровождаемый всем конвоем в полном составе. С другой стороны, он чувствовал, как раздражающе действовали все эти задержки на нетерпеливого короля. Как выйти из этого затруднения? И д'Артаньян, поймав Кольбера на слове, столкнул его с королем.

– Государь, – сказал он, – господин Кольбер спрашивает, не останется ли ваше величество ночевать в Мелене?

– Ночевать в Мелене? Зачем? – воскликнул Людовик XIV. – Какой черт выдумал подобную чушь, когда Фуке ждет нас сегодня вечером?

– Я опасался, что ваше величество прибудете в Во слишком поздно, – с живостью возразил Кольбер, – ведь, в соответствии с этикетом, ваше величество не можете прибыть куда бы то ни было, кроме как к себе во дворец, прежде, чем квартиреры не распределят помещений и гарнизон не будет разведен на постой.

Д'Артаньян слушал Кольбера, покусывая свой ус.

Обе королевы также слышали разговор. Они устали; им хотелось спать, а главное – помешать вечерней прогулке короля с дамами и де Сент-Эньяном; ибо если этикет требовал, чтобы принцессы по приезде сидели дома, то фрейлины были вольны, окончив службу, выйти подышать воздухом.

Все эти столь несходные между собой побуждения, скапливаясь, как тучи на небе, неминуемо должны были разразиться грозой. Король не носил усов, поэтому он нервно покусывал ручку своего хлыста. Как выйти из положения?

Д'Артаньян умильно смотрел в рот королю, Кольбер щетинился.

– Давайте послушаем, что думает королева, – сказал Людовик XIV, кланяясь дамам.

Эта любезность проникла в самое сердце Марии-Терезии; добрая и великодушная королева, располагая свободой выбора, все же ответила:

– Я с удовольствием подчинюсь воле его величества.

– Как скоро мы можем доехать до Во? – спросила Анна Австрийская, запинаясь на каждом слове и прижимая руку к больной груди.

– Для карет их величеств потребуется не более часа езды по довольно хорошим дорогам, – сообщил д'Артаньян.

Король взглянул на него.

– И четверть часа для короля, – поспешил он прибавить.

– Мы могли бы приехать засветло, – произнес Людовик XIV.

– Но размещение конвоя, – напомнил Кольбер, – займет столько времени, что король ничего не выиграет от быстрой поездки.

«Дважды дурак, – решил про себя д'Артаньян, – если б в мои расчеты входило подорвать твой кредит, я сделал бы это за какие-нибудь десять минут».

– На месте короля, – заметил он, – отправляясь к господину Фуке, которого все мы отлично знаем как чело – века порядочного, я бы оставил охрану в Мелене и поехал, как друг, с капитаном гвардии; от этого моя особа стала бы еще величественней и еще священнее.

В глазах короля загорелась радость.

– Вот это – добрый совет, сударыни, – поклонился он королевам, – поедem же, как ездят к другу. Трогайтесь, поезжайте не торопясь, – обратился он к сидевшим в каретах. – А мы, господа, вперед!

И он увлек за собой всех всадников.

Кольбер скрыл свою хмурую физиономию, нагнувшись к шее лошади.

«Ограничусь тем, что сегодня же вечером переговорю с Арамисом, – пробормотал д'Артаньян, пуская коня в галоп, – и затем Фуке – человек порядочный, черт возьми! Я это сказал, и нужно этому верить».

Вот каким образом около семи часов вечера, без труб и литавр, без высланной вперед гвардии, без фланкеров и мушкетеров, король показался перед оградой замка Во, где уже с полчаса, окруженный слугами и друзьями, поджидал его с непокрытой головой Фуке.

Глава 40. НЕКТАР И АМБРОЗИЯ

Фуке, придерживав королю стремя, помог ему прыгнуть с коня, и Людовик, изящно став на ноги, с еще большим изяществом протянул руку, которую суперинтендант, несмотря на легкое сопротивление короля, почтительно поцеловал.

Король изъявил желание подождать на первом дворе прибытия карет с королевами. Это ожидание длилось недолго. По приказу фуке дороги были приведены в полный порядок, и от Мелена до Во нигде не было ни одного камешка величиною хотя бы с яйцо. Итак, кареты, катясь как по ковру, без тряски и качки доставили дам к восьми часам вечера. Они были приняты г-жою Фуке; в момент их появления яркий, почти солнечный свет брызнул сразу из-за деревьев, статуй и ваз. И пока их величества не вошли во дворец, не угасало и это чарующее сияние.

Все чудеса, которые летописец, рискуя оказаться соперником романиста, нагромоздил или, вернее, запечатлел в оставленном им рассказе, все волшебства побежденной ночи, исправленной рукой человека природы, все удовольствия и всю роскошь, сочетаемые с таким расчетом, чтобы они воздействовали одновременно и на ум и на чувства, – все это Фуке и в самом деле преподнес своему королю в этом волшебном приюте, равным которому не мог бы похвалиться ни один из тогдашних монархов Европы.

Мы не станем повествовать ни о великолепном пиршестве, данном Фуке их величествам, ни о концертах, ни о феерических превращениях; мы опишем лишь лицо короля, которое из веселого, открытого и счастливого, каким оно было сначала, вскоре сделалось мрачным,

натянутым, раздраженным. Он вспомнил свой дворец и свою жалкую роскошь, которая была утварью королевства, а не его личной собственностью. Большие луврские вазы, старинная мебель и посуда Генриха II, Франциска I и Людовика XI были только памятниками истории. Они были лишь ценностями, имуществом, собственностью государства. Все, что видел король у Фуке, было ценным не только по материалу, по также и по работе; Фуке ел на золоте, которое отливали и чеканили для него подлинные художники; фуке пил вина, названия которых были неизвестны королю Франции; и пил он их из таких драгоценных кубков, что каждый из них в отдельности стоил столько же, сколько все королевские погреба, вместе взятые.

Что же сказать о залах, обоях, картинах, слугах и служащих всякого рода? Что сказать о том, как тут Служили, тут, где порядок заменял этикет, удобство – приказы, где удовольствие и удовлетворение Фостя становилось высшим законом для всех, кто повиновался хозяину?

Этот рой бесшумно снующих взад и вперед и занятый делом людей, эта масса гостей, все же менее многочисленных, нежели слуги, это бесчисленное множество блюд, золотых и серебряных ваз; эти потоки света, эти груды не ведомых никому цветов, все это гармоническое соединение, бывшее только прелюдией к предстоящему празднеству, зачаровало всех присутствующих, которые не раз выражали свое восхищение не словами и жестами, но молчанием и вниманием, этой речью придворных, переставших ощущать на себе узду, налагаемую на них их господином.

Что касается короля, то глаза его налились кровью, и он не смел больше встретиться взглядом с вдовствующей королевой. Анна Австрийская, самое высокомерное существо во всем мире, уничтожала хозяина дома презрением ко всему, что бы ни подали ей. Молодая королева, напротив, добрая и любознательная, хвалила Фуке, ела с большим аппетитом и спросила названия некоторых плодов, появившихся на столе. Фуке ответил, что он и сам не знает, как они называются. Эти плоды между тем были из его собственных оранжерей, и нередко он сам и выращивал их, будучи очень сведущим в экзотической агрономии. Король почувствовал всю его деликатность, и она еще больше его унизила. Он нашел королеву несколько простоватой, а Анну Австрийскую слишком надменной. Сам он старался оставаться холодным, держаться посередине между чрезмерной надменностью и простодушной восторженностью.

Фуке, однако, все это предвидел заранее; он был одним из тех, кто предвидит решительно все.

Король объявил, что, пока он будет пребывать у г-на Фуке, он хотел бы обедать, не подчиняясь правилам этикета, то есть вместе со всеми, и суперинтендант Отдал распоряжение, чтобы обед королю подавался особо, но, если можно так выразиться, за общим столом. Этот приготовленный с величайшим искусством обед включал в себя все, что только любил король, все, что ему неизменно приходилось по вкусу. И Людовик, обладавший лучшим аппетитом во всем королевстве, не смог устоять перед соблазном и отказаться от иных блюд, ссылаясь на то, что ему не хочется есть.

Фуке сделал больше: подчиняясь приказанию короля, он сел за стол вместе со всеми: но едва только подали суп, он тотчас же поднялся со своего места и принялся лично прислуживать королю; г-жа Фуке между тем стала за креслом вдовствующей королевы. Надменность Юноны в капризы Юпитера не устояли пред такою предельной любезностью. Вдовствующая королева соизволила скушать бисквит, обмакнув его в сан-люкар; король же, отведав всего, сказал, обращаясь к Фуке:

– Господин суперинтендант, ваш стол превыше похвал.

После чего весь двор набросился на бесконечные яства с таким необыкновенным усердием, что гостей уместно было бы сравнить с тучами египетской саранчи, налетевшей на зеленое поле.

Утолив голод, король снова отдался печальным раздумьям; он был грустен в такой же мере, в какой выказывал, считая это необходимым, хорошее настроение, и особенно грустно становилось ему от тех любезностей, которые его придворные расточали Фуке.

Д'Артаньян ел и пил в свое удовольствие; он принимал живейшее участие в разговоре, острлил и сделал ряд наблюдений, которые ему весьма и весьмагодились.

По окончании ужина король не пожелал пренебречь вечерней прогулкой. В парке горела богатая иллюминация. Луна, точно и она также отдала себя в распоряжение хозяина Во, серебрила озера и купы деревьев своими алмазами и искрящимся фосфором. Воздух был приятно прохладен. Тенистые аллеи, посыпанные песком, нежили ногу. Все удалось на славу; к тому же король, встретившись на перекрестке аллеи с мадемуазель Лавальер, смог коснуться ее руки и сказать: «Я люблю вас»; этих слов не слышал никто, кроме д'Артаньяна, следовавшего за королем, и Фуке, шедшего перед ним.

Незаметно текли часы этой волшебной ночи. Король попросил проводить его в спальню. Вслед за ним заторопились и все остальные. Королевы проследовали к себе при звуках флейты и теорб. Поднимаясь по лестнице, король увидел своих мушкетеров, которых Фуке вызвал из Мелена и пригласил ужинать.

Д'Артаньян успокоился; он забыл свои подозрения; од устал, отлично поужинал и надеялся хоть раз в жизни насладиться празднеством у настоящего короля.

«Фуке, – думал он, – вот человек по мне».

Торжественно, с бесконечными церемониями повели короля в покои Морфея, которые нам подобает хотя бы бегло обрисовать нашим читателям. Это была самая красивая и самая большая комната во дворце. На венчающем ее куполе Лебреном были изображены счастливые и печальные сны, ниспосылаемые Морфеем как королям, так и их подданным. Все милое и приятное, навеваемое нам снами, весь мед и все благовония, цветы и нектар, наслаждение и покой, которые он вливает в сердца, – всем этим художник насытил свои роскошные фрески. Но если по одну сторону купола им была написана столь сладостная картина, то по другую она была ужасной и мрачной. Кубки, из которых изливается яд, сталь, сверкающая над головой спящего, колдуны и призраки в отвратительных масках, полусумрак еще более страшный, чем пламя или глубокая ночь, – вот те контрасты, которые живописец противопоставил своим изящным и нежным образам.

Переступив порог этих великолепных покоев, король вздрогнул. Фуке осведомился, не беспокоит ли его что-нибудь.

– Я хочу спать, – сказал побледневший Людовик.

– Желает ли ваше величество лечь немедленно? В таком случае я пришлю слуг.

– Нет, мне надо поговорить кое с кем. Велите позвать господина Кольбера.

Фуке поклонился и вышел.

Глава 41.

ГАСКОНЕЦ ПРОТИВ ДВАЖДЫ ГАСКОНЦА

Д'Артаньян не терял времени даром, что было бы не в его правилах. Осведомившись об Арамисе, он искал его, пока не нашел. Арамис с момента прибытия короля удалился к себе, очевидно, затем, чтобы придумать что-нибудь новое для пополнения программы увеселений его величества.

Д'Артаньян велел доложить о себе и застал ваннского епископа в красивой комнате, которую здесь называли синей по цвету ее тканых обоев, в обществе Портоса и нескольких эпикурейцев.

Арамис обнял друга и предложил ему лучшее место. Так как всем стало ясно, что мушкетеру нужно переговорить с Арамисом наедине, эпикурейцы распрощались и вышли.

Портос не двинулся с места. После сытного обеда он мирно спал в своем кресле, так что это третье лицо не могло помешать их беседе. Он храпел спокойно и равномерно, и под этот басовый аккомпанемент, словно под античную мелодию, можно было разговаривать без особых помех.

Д'Артаньян почувствовал, что начинать разговор придется ему. Схватка, ради которой он явился сюда, обещала быть упорной и затяжной, и он сразу приступил к делу.

– Вот мы и в Во, – сказал он.

– Да, Д'Артаньян. Вам нравится здесь?

– Очень, и мне очень нравится господин Фуке, наш хозяин.

– Это очаровательный человек, не так ли?

– В высшей степени.

– Говорят, король поначалу был холоден с ним, но затем немного смягчился.

– Почему «говорят»? Разве вы сами не видели этого?

– Нет, я был занят. Вместе с только что вышедшими отсюда я обсуждал некоторые подробности представления и карусели, которые будут устроены завтра.

– Вот как! А вы тут главный распорядитель увеселений, не так ли?

– Как вы знаете, дорогой мой, я всегда был другом всякого рода выдумок; я всегда был в некотором роде поэтом.

– Я помню ваши стихи. Они были прелестны.

– Что до меня, то я их забыл; но я рад наслаждаться стихами других, тех, кого зовут Мольером, Пелисоном, Лафонтеном и так далее.

– Знаете, какая мысль осенила меня сегодня за ужином?

– Нет. Выскажите ее. Разве я могу догадаться о ней, когда их у вас всегда целая куча?

– Я подумал, что истинный король Франции отнюдь не Людовик Четырнадцатый.

– Гм! – И Арамис невольно посмотрел прямо в глаза мушкетеру»

– Нет, нет. Это не кто иной, как Фуке.

Арамис перевел дух и улыбнулся.

– Вы совсем как все остальные: завидуете! – сказал он. – Бьюсь об заклад, что эту фразу вы слышали от господина Кольбера.

Д'Артаньян, чтобы сделать приятное Арамису, рассказал ему о зловещих финансистах в связи со злосчастным меленским вином.

– Дрянной человечек этот Кольбер! – воскликнул Арамис.

– По правде сказать, так и есть.

– Как подумаешь, что этот прохвост будет вашим министром через какие-нибудь четыре месяца и вы будете столь же усердно служить ему, как служили Ришелье или Мазарини...

– Как вы служите господину Фуке, – вставил д'Артаньян.

– С тем отличием, дорогой друг, что Фуке – не Кольбер.

– Это верно.

И Д'Артаньян сделал вид, что ему стало грустно.

– Но почему вы решили, что Кольбер через четыре месяца будет министром?

– Потому что Фуке им больше не будет, – печально ответил Арамис.

– Он будет окончательно разорен? – спросил д'Артаньян.

– Полностью.

– Зачем же в таком случае устраивать празднества? – молвил мушкетер таким естественным и благожелательным тоном, что епископ на мгновение поверил ему. – Почему вы не отговорили его? – добавил Д'Артаньян.

Последние слова были лишними; Арамис снова насторожился.

– Дело в том, – объяснил он, – что Фуке желательно угодить королю.

– Разоряясь ради него?

– Да.

– Странный расчет!

– Необходимость.

– Я не понимаю, дорогой Арамис.

– Пусть так! Но вы видите, разумеется, что ненависть, обуревающая господина Кольбера, усиливается со дня на день.

– Вижу. Вижу и то, что Кольбер побуждает короля расправиться с суперинтендантом.

– Это бросается в глаза всякому.

– И что есть заговор против господина Фуке.

– Это также общеизвестно.

– Разве правдоподобно, чтобы король стал действовать против того, кто истратил все свое состояние, лишь бы доставить ему удовольствие?

– Это верно, – медленно проговорил Арамис, отнюдь не убежденный своим собеседником и жаждавший подойти к теме их разговора с другой стороны.

– Есть безумства разного рода, – продолжал д'Артаньян, – но ваши, говоря по правде, я никоим образом не одобряю. Ужин, бал, концерт, представление, карусель, водопады, фейерверки, иллюминация и подарки – все это хорошо, превосходно, согласен с вами. Но разве этих расходов было для вас недостаточно? Нужно ли было...

– Что?

– Нужно ли было одевать во все новое, например, всех ваших людей?

– Да, вы правы. Я указывал на то же самое господину Фуке; он мне ответил, однако, что, будь он богат, он построил бы, чтобы принять короля, совершенно новый дворец, новый от подвалов до флюгеров на крыше, с совершенно новою обстановкой и утварью, и что после отъезда его величества он велел бы все это сжечь, дабы оно... не могло больше служить кому-либо другому.

– Но ведь это чистые бредни и ничего больше!

– То же было высказано ему и мною, но он заявил: «Кто будет советовать мне быть бережливым, в том я буду видеть врага».

– Но ведь это значит сойти с ума! А этот портрет!

– Какой портрет? – спросил Арамис.

– Портрет короля, этот сюрприз...

– Какой сюрприз?

– Для которого вы взяли у Персерена образцы тканей.

Д'Артаньян остановился. Он выпустил стрелу; оставалось установить, метко ли он целил.

– Это была любезность, – отвечал Арамис.

Д'Артаньян встал, подошел к своему другу, взял его за обе руки и, глядя ему в глаза, произнес:

– Арамис, продолжаете ли вы хоть немного любить меня?

– Конечно, люблю.

– В таком случае сделайте мне одолжение. Скажите, для чего вы брали образцы тканей у Персерена?

– Пойдемте со мной и давайте спросим беднягу Лебрена, трудившегося над этим портретом двое суток, не сомкнув глаз.

– Арамис, это правда для всех, но только не для меня...

– Право, Д'Артаньян, вы меня поражаете?

– Будьте честны со мной. Скажите мне правду: ведь вы не хотели бы, чтобы со мной случилось что-нибудь весьма и весьма неприятное, так ведь?

– Дорогой друг, вы становитесь совершенно непостижимы. Что за дьявольское подозрение зародилось в вашем уме?

– Верите ли вы в мой инстинкт? Прежде вы в него верили. Так вот этот инстинкт нашептывает мне, что у вас есть какие-то тайные замыслы.

– У меня! Замыслы!

– Я не могу, разумеется, утверждать, что я в этом уверен – Еще бы!

– Но хоть я в этом и не уверен, все же готов поклясться в том, что я прав.

– Вы мне доставляете живейшее огорчение, д'Артаньян. Если б у меня были некие замыслы, которые я должен был бы скрывать от вас, я, конечно, умолчал бы о них, не так ли? Если бы мои замыслы были, напротив, такого рода, что я должен был бы открыться вам, я бы сделал это и без вашего напоминания.

– Нет, Арамис, нет, бывают замыслы, которые можно раскрыть лишь в подводящий момент.

– Значит, дорогой друг, – подхватил со смехом епископ, – подходящий момент еще не настал.

Д'Артаньян грустно покачал головой.

– Дружба, дружба! – сказал он. – Пустое слово, вот что такое пресловутая дружба! Предомной человек, который дал бы разорвать себя на куски ради меня.

– Конечно, – с благородною простотой подтвердил Арамис.

– И этот же человек, который отдал бы за меня всю кровь, текущую в его жилах, не желает открыть предомною крошечного уголка своего сердца.

Дружба, повторяю еще раз, ты не больше, чем тень, чем приманка, чем все то, что распространяет вокруг себя ложный мишурный блеск.

– Не говорите так о нашей дружбе, – ответил епископ твердым, уверенным тоном. – Она не из числа тех, о которых вы только что говорили.

– Взгляните-ка, Арамис: вот нас трое из нашей четверки. Вы обманываете меня, я подозреваю вас, ну а Портос... Портос спит. Хорошее трио, не так ли? Славные остатки былого!

– Могу вам сказать лишь одно, д'Артаньян, и в этом готов дать на Евангелии клятву: я люблю вас, как прежде. И если порой я недостаточно откровенен с вами, то это – исключительно ради других, а не из-за себя или вас. Во всем, в чем я буду иметь успех, вы получите вашу долю. Обещайте же мне такую же благожелательность.

– Если я не обманываюсь, друг мой, слова, только что произнесенные вами, исполнены благородства.

– Возможно.

– Вы в заговоре против Кольбера. Если дело идет только об этом, скажите мне прямо: у меня есть инструмент, и я выдерну этот зуб.

Арамис не мог скрыть презрительную усмешку, мелькнувшую на его благородном лице.

– А если б я и был в заговоре против Кольбера, что тут ужасного?

– Это слишком ничтожно для вас, и не для того, чтоб свалить Кольбера, вы домогались образцов тканей у Персерена. О, Арамис, ведь мы не враги, мы – братья! Скажите же, что вы предпринимаете, и, честное слово, если я не смогу вам помочь, клянусь вам, я останусь нейтральным.

– Я ничего не предпринимаю.

– Арамис, какой-то голос подсказывает мне, он просветляет меня...

Этот голос никогда меня не обманывал. Вы злоумышляете на короля!

– На короля! – вскричал епископ, делая вид, что он возмущен...

– Ваше лицо не сможет разубедить меня в этом! Да, на короля, повторяю вам.

– И вы мне поможете? – спросил Арамис, иронически усмехаясь.

– Арамис, я сделаю больше, чем если бы я вам помогал, я сделаю больше, чем если б я оставался нейтральным, я вас спасу!

– Вы с ума сошли, д'Артаньян!

– Из нас двоих я в более здравом уме, чем вы.

– И... вы можете заподозрить меня в желании убить короля?

– Кто ж говорит об этом! – сказал мушкетер.

– В таком случае давайте внесем в этот разговор полную ясность. Что же, по-вашему, можно сотворить с королем, нашим законным, подлинным королем, не покусившись на его жизнь?

Д'Артаньян ничего не ответил.

– К тому же у вас тут и гвардия и мушкетеры? – добавил епископ.

– Вы правы.

– И вы у господина Фуке, вы у себя.

– Вы правы еще раз.

– И у вас есть Кольбер, который в это мгновение советует королю предпринять против господина Фуке все то, что, быть может, охотно посоветовали б вы сами, не принадлежи я к

противной партии.

– Арамис, Арамис, бога ради, пусть ваши слова будут словами настоящего друга.

– Слова друга – это сама правда. Если я замышляю прикоснуться хоть одним пальцем к нашему королю, сыну Анны Австрийской, истинному королю нашей родины Франции, если у меня нет твердого намерения пребывать простертым у его трона, если завтрашний день, здесь, в замке Во, не представляется мне самым славным днем в жизни моего короля, пусть меня поразят гром и молния, я согласен на это!

Арамис произнес эти слова, повернувшись лицом к алькову. Д'Артаньян, который стоял прислонившись к тому же алькову, никак не мог заподозрить, что кто-нибудь может скрываться в нем. Чувство, с которым были сказаны эти слова, их обдуманность, торжественность клятвы – все это окончательно успокоило мушкетера. Он взял Арамиса за обе руки и сердечно пожал их.

Арамис вынес упреки, ни разу не побледнев, но теперь, когда мушкетер расточал ему похвалы, лицо его покраснело. Обмануть д'Артаньяна – это была честь для него, внушить д'Артаньяну доверие – неловко и стыдно.

– Вы уходите? – спросил он, заключая его в объятия, чтобы он не видел его покрывшегося краской лица.

– Да, этого требует служба. Я должен получить пароль на ночь.

– Где же вы будете спать?

– По-видимому, в королевской прихожей. А Портос?

– Берите его с собой, он храпит, как медведь.

– Вот как... Значит, он ночует не с вами? – удивился д'Артаньян.

– Никоим образом, у него где-то есть свое помещение, но, право, не знаю, где.

– Превосходно! – сказал мушкетер, у которого, лишь только его осведомили о том, что оба приятеля живут врозь, исчезли последние подозрения.

Он резко коснулся плеча Портоса. Тот зарычал.

– Пойдемте! – позвал его д'Артаньян.

– А! Д'Артаньян, это вы, дорогой друг! Какими судьбами? Да, да, ведь я на празднестве в Во!

– Ив вашем прекрасном костюме.

– Этот господин Коклеп де Вольер... очень, очень мило с его стороны, верно?

– Шш! Вы так топаете, что продавите, пожалуй, паркет, – остановил друга Арамис.

– Это правда, – подтвердил д'Артаньян. – Ведь эта комната прямо над куполом.

– Я занял ее отнюдь не в качестве фехтовальной залы, – добавил епископ. – На плафоне королевских покоев изображены прелести сна. Помните, что мой паркет как раз над этим плафоном. Покойной ночи, друзья, через десять минут и я уже буду в постели.

И Арамис выпроводил их, ласково улыбаясь. Но едва они вышли, как он, быстро заперев двери на все замки и задернув шторами окна, позвал:

– Монсеньер, монсеньер!

И тотчас же из алькова, открыв раздвижную дверь, находившуюся возле кровати, вышел Филипп; он усмехнулся:

– Какие, однако же, подозрения у шевалье д'Артаньяна!

– Вы узнали д'Артаньяна?

– Раньше, чем вы обратились к нему по имени, – Это ваш капитан мушкетеров.

– Он мне глубоко предан, – ответил Филипп, делая на слове мне ударение.

– Он верен, как пес, но иногда кусается. Если д'Артаньян не узнает вас, пока не исчезнет другой, можете рассчитывать на д'Артаньяна навеки; если он ничего не увидит собственными глазами, он останется верен; если же увидит чрезмерно поздно, то никогда не признается, что ошибся, ведь он истый гасконец.

– Я так и думал. Чему же мы сейчас отдадим наш досуг?

– Вы займете свой наблюдательный пункт и будете смотреть, как король укладывается в постель, как вы укладываетесь в постель при малом церемониале, предусмотренном этикетом.

– Отлично. Куда же мне сесть?

– Садитесь на складной стул. Я сдвину шашку паркета. Вы будете смотреть сквозь отверстие, которое находится над одним из фальшивых окон, устроенных в куполе королевской спальни. Вы видите?

– Да, вижу Людовика.

И Филипп вздрогнул, как вздрагивают при виде врага.

– Что же он делает?

– Он предлагает сесть возле него какому-то человеку.

– Господину Фуке?

– Нет, нет, погодите.

– Но вспомните заметки, мой принц, портреты!

– Человек, которого король хочет усадить возле себя, – это Кольбер.

– Кольбер в спальне у короля! – вскричал Арамис. – Немыслимо!

– Смотрите.

Арамис взглянул через проделанное в полу отверстие.

– Да, – сказал он, – вы правы! Это – Кольбер. О, монсеньер, что же мы услышим сейчас и что выйдет из этого свиданья между ними?

– Без сомнения, ничего хорошего для господина Фуке.

Принц не ошибся. Мы уже видели, что Людовик XIV вызвал Кольбера, и Кольбер явился к нему. Разговор между ними начался одною из величайших милостей, оказанных когда бы то ни было королем. Правда, король был наедине со своим подданным.

– Садитесь, Кольбер.

Интендант, который еще недавно боялся отставки, безмерно обрадовался такой невиданной чести, но отказался.

– Он принимает королевское приглашение? – спросил Арамис.

– Нет, он не сел.

– Давайте послушаем, принц...

И будущий король вместе с будущим папой стали жадно прислушиваться к беседе двух простых смертных, находившихся у них под ногами.

– Кольбер, – начал король, – сегодня вы без конца перечили мне.

– Ваше величество... я это знаю.

– Отлично! Мне нравится ваш ответ. Да, вы это знали. Надо обладать мужеством, чтобы упорствовать в этом.

– Я рисковал вызвать ваше неудовольствие, ваше величество: но, действуй я по-иному, я рисковал бы оставить вас в полном неведении относительно ваших истинных интересов.

– Как! Что-нибудь давало вам повод тревожиться за меня?

– Хотя бы возможное расстройство желудка, ваше величество; ибо задавать своему королю такие пиры можно лишь для того, чтобы задушить его тяжестью изысканных блюд.

И, грубо сострив, Кольбер не без удовольствия стал дожидаться, какой эффект произведет его остроумие. Людовик XIV, самый тщеславный и вместе с тем самый тонкий человек в своем королевстве, простил Кольберу эту неуклюжую шутку.

– Это правда, Фуке угостил меня на славу. Скажите, Кольбер, откуда он берет деньги на все эти непомерные траты? Вы об этом осведомлены?

– Да, ваше величество, я осведомлен!

– Посвятите и меня в то, что вы знаете.

– Это совсем не трудно. Я знаю его дела с точностью, можно сказать, до денье.

– Мне известно, что вы отлично считаете.

– Это самое первое качество, которое надлежит требовать от интенданта финансов.

– Но оно свойственно далеко не всем.

– Примите мою благодарность, ваше величество, за похвалу, сошедшую с ваших уст.

– Да, Фуке богат, очень богат, и об этом, сударь, известно решительно всем.

– Как живым, так и мертвым.

– Что вы хотите сказать, господин Кольбер?

– Живые видят богатства господина Фуке, они видят, так сказать, следствие и рукоплещут; но мертвые, осведомленные лучше, чем мы, знают причины и обвиняют.

– Вот как, значит, господин Фуке обязан своим состоянием некоторым обстоятельствам?

– Должность интенданта финансов нередко благоприятствует тем, кто исполняет ее.

– Говорите со мной откровеннее; не бойтесь, мы с вами одни.

– Я никогда ничего не боюсь; мой оплот – моя совесть и покровительство моего короля, государь.

И Кольбер низко склонился пред королем.

– Итак, если бы мертвые заговорили?..

– Порой и они говорят, ваше величество. Прочтите вот это.

– Ах, монсеньер, – прошептал Арамис на ухо принцу, который, находясь рядом с ним, слушал, опасаясь пропустить хоть единое слово, – раз вы здесь, монсеньер, чтобы учиться вашему королевскому ремеслу, узнайте же чисто королевскую гнусность. Вы присутствуете при такой сцене, которую один бог или, верней, один дьявол может задумать и выполнить. Слушайте же, это пригодится вам в будущем.

Принц удвоил внимание и увидел, как Людовик XIV взял из рук Кольбера письмо, которое тот протянул ему.

– Почерк покойного кардинала! – воскликнул король.

– У вашего величества превосходная память, – заметил с поклоном Кольбер.

Король прочел письмо Мазарини, уже известное нашим читателям со времен ссоры г-жи де Шеврез с Арамисом.

– Я не совсем понимаю, – сказал король, которого живо заинтересовало это письмо.

– У вашего величества нет еще навыков, которыми обладают чиновники интендантства финансов.

– Я вижу, что речь идет о деньгах, данных господину Фуке.

– Совершенно верно. О тринадцати миллионах. Пожалуй, недурная сумма!

– Так. Значит, этих тринадцати миллионов не хватит в счетах? Вот этого я и не в силах понять, повторяю еще раз. Как и почему возможна подобная недостача?

– Я не говорю, что она возможна; я говорю, что она налицо. Это не я говорю, а отчет.

– И письмо кардинала указывает назначение этой суммы и имя ее хранителя?

– Как видите, ваше величество.

– Выходит, что Фуке все еще не вернул этих тринадцати миллионов и, значит...

– Значит, ваше величество... раз господин Фуке не возвратил этих денег, следовательно, он их присвоил. А тринадцать миллионов больше чем вчетверо превышают те расходы и те щедроты, которые ваше величество могли позволить себе в Фонтенбло, где мы израсходовали всего три миллиона, если вы помните.

Оживить в душе короля воспоминание о том празднике, во время которого из-за одного-единственного слова Фуке он впервые почувствовал, что суперинтендант в некоторых отношениях превосходит его, – было очень ловко подстроенной подлостью со стороны неловкого человека. Настроив подобным образом короля, Кольбер, в сущности, мог остановиться на этом. Он это почувствовал. Король стал мрачнее тучи. И ожидая, что скажет король, Кольбер горел нетерпением не меньше, чем Филипп и Арамис на своем наблюдательном пункте.

– Знаете ли, что из всего этого следует, господин Кольбер? – молвил король, подумав немного.

– Нет, ваше величество, не знаю.

– То, что если бы факт присвоения тринадцати миллионов был с достоверностью установлен...

– Но он установлен.

– Я хочу сказать – предан гласности.

– Полагаю, что это можно было бы сделать хоть завтра, если бы король...

– Не был в гостях у господина Фуке, – с достоинством ответил Людовик.

– Король везде у себя, ваше величество, и особенно в тех домах, которые содержатся на его деньги.

– Мне кажется, – шепнул Филипп Арамису, – что архитектор, строивший этот купол, знай он, как мы с вами его используем, должен был бы сделать его подвижным, чтобы он мог обрушиваться на голову таких редкостных негодяев, как этот Кольбер.

– И я тоже об этом подумал, – сказал Арамис, – но Кольбер в этот момент так близко от короля!

– Это правда, возник бы вопрос о престолонаследнике...

– И это использовал бы в своих интересах ваш младший брат. Но давайте лучше молчать и слушать.

– Нам осталось недолго слушать... – заметил молодой принц.

– Почему, монсеньер?

– Потому что, если б я был королем, я бы ничего не добавил к тому, что уже сказано.

– А что бы вы сделали?

– Я отложил бы решение до утра.

Людовик XIV наконец поднял глаза и, увидев выжидающего Кольбера, резко изменил направление разговора.

– Господин Кольбер, – произнес он, – уже поздно, я лягу.

– Так, – молвил Кольбер, – значит...

– Прощайте. Утром я сообщу вам мое решение.

– Отлично, ваше величество, – согласился Кольбер, который почувствовал себя оскорбленным, но постарался в присутствии короля не выдать своих истинных чувств.

Король махнул рукой, и интендант, пятась, направился к выходу.

– Моих слуг! – крикнул король.

Слуги вошли в спальню.

Филипп хотел покинуть свой наблюдательный пост.

– Еще минуту, – сказал ему Арамис со своей обычной ласковостью, – все только что происшедшее – мелочь, и уже завтра мы не станем думать об этом; но раздевание короля, малый церемониал перед отходом ко сну, – вот что, монсеньер, чрезвычайно, исключительно важно. Учитесь, учитесь, каким образом вас укладывают в постель, ваше величество. Смотрите же, смотрите!

Глава 42.

КОЛЬБЕР

История расскажет или, вернее, история рассказала нам о событиях, происшедших на следующий день, о великолепных развлечениях, устроенных суперинтендантом для короля. Итак, на следующий день были веселье и всевозможные игры, была прогулка, был роскошный обед, представление, в котором, к своему великому изумлению. Портос узнал господина Коклена де Вольер, игравшего в фарсе «Несносные». Так, по крайней мере, называл эту комедию г-н де Брасье де Пьерфон.

В течение всего этого столь богатого неожиданностями, насыщенного и блестящего дня, когда на каждом шагу возникали, казалось, чудеса «Тысячи и одной ночи», король, озабоченный вчерашним разговором с Кольбером, отравленный влитым им в него ядом, был холоден, сдержан и молчалив. Ничто не могло заставить его рассмеяться; чувствовалось, что глубоко засевшее раздражение, идущее издалека и понемногу усиливающееся, как это происходит с ручейком, который становится могучей рекой, вобрав в себя тысячу питающих его водою притоков, пронизывает все его существо. Только к полудню король немного повеселел. Очевидно, он принял решение.

Арамис, следивший за каждым шагом Людовика так же, как и за каждой мыслью его, понял, что событие, которого он ожидал, не замедлит произойти.

Весь этот день король, которому, несомненно, хотелось отделаться от мучившей его мрачной мысли, с такой же настойчивостью искал общества Лавальер, как избегал встреч с Кольбером или Фуке.

Наступил вечер. Король выразил желание отправиться на прогулку лишь после карт. Поэтому между ужином и прогулкой шла игра в карты. Король выиграл тысячу пистолей, положил их в карман и, поднявшись из-за карточного стола, сказал:

– Пойдемте, господа, в парк.

Там он встретился с дамами. Король выиграл тысячу пистолей и положил их в карман, как мы только что сообщили, но Фуке сумел проиграть десять тысяч; таким образом, сто девяносто тысяч ливров достались придворным; их лица и лица офицеров королевской охраны сияли от радости.

Совсем не то выражало лицо короля. Несмотря на выигрыш, к которому он был весьма чувствителен, черты его лица были как бы подернуты мрачною тучей. На повороте одной из аллей его дожидался Кольбер. Интендант явился сюда, несомненно, по вызову, так как король, целый день избегавший его, знаком подозвал его к себе и углубился с ним в парк.

Но и Лавальер видела нахмуренный лоб и пылающий взгляд короля, и так как в душе его не было ни одного уголка, куда не могла бы проникнуть ее любовь, она поняла, что этот сдержанный гнев таит в себе угрозу кому-то.

И она, как ангел милосердия, стала на пути мести.

Взволнованная, смущенная, грустная после длительной разлуки с возлюбленным, явилась она пред королем с таким печальным видом, что он, будучи в дурном расположении духа, истолковал настроение Лавальер к невыгоде для себя.

Они были одни или, вернее, почти одни, так как Кольбер при виде молодой девушки почтительно отстал на десять шагов. Король подошел к Лавальер, взял ее за руку и спросил:

– Не будет ли нескромностью, мадемуазель, осведомиться у вас, что с вами? Вы вздыхаете, глаза ваши влажны...

– О ваше величество, если я вздыхаю и глаза мои влажны, если, наконец, я печальна, то причина тому лишь ваша печаль, ваше величество.

– Моя печаль! Вы ошибаетесь, мадемуазель. Я испытываю не печаль, а унижение.

– Унижение! Что я слышу? Возможно ли?

– Я говорю, мадемуазель, что там, где я нахожусь, никто другой не может и не должен быть господином. А между тем поглядите, разве не меня, Короля Франции, затмевает своим сиянием король этих владений? О, – продолжал он, стискивая зубы и сжимая руку в кулак, – о, когда я подумаю, что этот властелин, этот король – неверный слуга, который вознесся и возгордился, награвив мое добро... Я превращу этому бессовестному министру его празднество в траур, и нимфа Во, как выражаются поэты Фуке, долго будет помнить об этом!

– О, ваше величество!

– Уж не собирается ли мадемуазель взять сторону господина Фуке? сказал Людовик XIV в нетерпении.

– Нот, ваше величество, я только спрошу: достаточно ли хорошо вас осведомили? Ваше величество знаете по опыту цену придворных сплетен и обвинений.

Людовик XIV велел Кольберу приблизиться.

– Говорите же вы, господин Кольбер, ибо я полагаю, что мадемуазель де Лавальер нуждается в ваших словах, чтобы поверить своему королю. Объясните мне мадемуазель, что именно сделал Фуке, а вы, мадемуазель, будьте Добры выслушать господина Кольбера, прошу вас. Это не займет много времени.

Почему Людовик XIV так настойчиво добивался, чтобы Лавальер выслушала Кольбера? Причина здесь очень простая: сердце его не успокоилось, ум его не был до конца убежден; он догадывался о какой-то мрачной, темной, запутанной и ему непонятной интриге, скрывающейся за этой историей с тринадцатью миллионами, и ему хотелось, чтобы чистая душа Лавальер, возмущенная кражей, одобрила хотя бы единым словом решение, которое было принято им и которое он все еще колебался выполнить.

– Говорите, сударь, – попросила Лавальер подошедшего к ней Кольбера, – говорите, раз король желает, чтобы я слушала вас. Скажите, в чем преступление господина Фуке?

– О, оно не очень серьезно, мадемуазель, – ответила эта мрачная личность, – он позволил себе злоупотребить доверием...

– Говорите же, говорите, Кольбер, а когда вы расскажете обо всем, оставьте нас и предупредите шевалье д'Артаньяна, что мне нужно отдать ему приказание, – перебил Кольбера король.

– Шевалье д'Артаньяна! – воскликнула Лавальер. К чему предупреждать шевалье д'Артаньяна? Умоляю вас, ваше величество, ответьте, зачем это нужно?

– Зачем? Чтобы арестовать этого возгордившегося титана, который, верный своему девизу, собирается взобраться на мое небо.

– У него в доме?

– А почему бы и нет? Если он виновен, то виновен и находясь у себя в доме, так же как в любом другом месте.

– Господина Фуке, который идет на полное разорение, чтобы оказать честь своему королю?

– Мне и впрямь кажется, мадемуазель, что этот предатель нашел в вас ревностную защитницу.

Кольбер тихо хихикнул. Король обернулся и посмотрел на него.

– Ваше величество, я защищаю не господина Фуке, а вас.

– Меня?.. Так это вы меня защищаете?

– Ваше величество, вы обещаете себя, отдавая подобное приказание.

– Я обещать себя! – прошептал король, бледнея от гнева. – Воистину, мадемуазель, вы вкладываете в ваши слова непонятную страстность»

– Я вкладываю страстность не в свои слова, а в свое служение вам, ваше величество, – проговорила благородная девушка. – Я с той же страстностью вложила бы в это служение и свою жизнь.

Кольбер что-то пробормотал. Тогда Лавальер, кроткий агнец, гордо выпрямилась перед ним и огненным взглядом заставила его замолчать.

– Сударь, – сказала она, – когда король поступает праведно или когда он не прав перед мной или близкими мне, я молчу; но если король, даже оказывая услугу мне или тем, кого я люблю, поступает дурно, я ему говорю об этом.

– Но мне кажется, мадемуазель, – решился вставить Кольбер, – что я тоже люблю короля.

– Да, сударь, мы оба любим его, но каждый по-своему, – ответила Лавальер таким голосом, что сердце молодого монарха затрепетало. – Только я так сильно люблю его, что все это знают, так чисто, что сам король не сомневается в силе моей любви. Он мой король и мой господин, я – смиренная служанка его, но тот, кто наносит удар его чести, наносит тем самым удар моей жизни. Я повторяю, что люди, советующие королю арестовать господина Фуке в его доме, лишают чести его величество короля Франции.

Кольбер опустил голову: он почувствовал, что король больше не на его стороне. Однако, все так же с опущенной головой, он прошептал:

– Сударыня, мне остается добавить одно только слово...

– Не говорите этого слова, сударь, потому что я не стану слушать его.

Что вы можете мне сказать? Что господин Фуке совершил преступление? Я это знаю, потому что это сказал король. А раз король сказал: «Я этому верю», – мне не нужно, чтобы и чужие у нас сказали: «Я утверждаю». Но будь господин Фуке даже последним среди людей, я говорю это во всеуслышание, он должен быть священным для короля, потому что король – его гость. Если бы его дом был притоном, Во – вертепом фальшивомонетчиков и бандитов, его дом все же свят, его замок неприкосновенен, потому что в нем пребывает его жена и потому что это – убежище, которого не оскорбили бы даже наемные палачи!

Лавальер замолчала. Король, вопреки себе самому, любовался ею. Он был побежден

горячностью ее слов, благородством защиты. Кольбер согнулся, раздавленный неравной борьбой. Наконец король вздохнул, покачал головой и, протянув Лавальер руку, произнес с нежностью в голосе:

– Мадемуазель, почему вы нападаете на меня? Знаем ли мы, что сделает этот негодяй завтра же, если я дам ему возможность вздохнуть?

– Боже мой, разве он не всегда будет вашей добычей?

– А если он ускользнет, если он убежит? – воскликнул Кольбер.

– Тогда, сударь, вечной славой короля будет то, что он дал убежать господину Фуке; и чем тяжелее вина господина Фуке, тем блистательнее по сравнению с его низостью, с запятнавшим его позором будет слава его величества короля.

Людовик, поцеловав руку мадемуазель Лавальер, опустился пред ней на колени.

«Я погиб», – подумал Кольбер.

Но через мгновение лицо его осветилось радостью.

«Нет, нет, пока еще нет», – сказал он себе.

И пока король, скрытый густыми ветвями липы, обнимал Лавальер со всей страстью невыразимой любви, Кольбер, пошарив в бумажнике, спокойно вытащил из него сложенную в форме письма бумагу, слегка пожелтевшую, но, должно быть, весьма драгоценную, так как интендант улыбнулся, посмотрев на нее. Затем он перенес злобный взгляд на вырисовывавшуюся в тени чудесную пару – короля и юную девушку, – которую внезапно осветили отблески приближавшихся факелов.

Людовик увидел свет этих факелов, отраженный белым шелком платья мадемуазель Лавальер.

– Прощай, Луиза, – шепнул он, – мы не одни!

– Сударыня, сударыня, сюда идут! – добавил Кольбер, чтобы поторопить ее.

Луиза быстро исчезла среди деревьев, и, когда король поднимался с колен, Кольбер сказал, обращаясь к нему:

– Ах, мадемуазель де Лавальер что-то выронила.

– Что же? – спросил король.

– Бумагу, письмо, что-то белое, посмотрите, ваше величество.

Король быстро нагнулся и поднял письмо, которое тотчас же смял в руке. В этот момент факелы залили светом темную аллею.

Глава 43. РЕВНОСТЬ

Этот яркий свет, это старание угодить, это новое чествование, устроенное Фуке королю, окончательно подорвали в Людовике XIV решимость немедленно действовать, и без того колебленную в нем Лавальер.

Он посмотрел на Фуке даже со своего рода признательностью – ведь это он, Фуке, доставил Лавальер случай проявить столько великодушия и благородства и показать свою власть над его, Людовика, сердцем.

Подошла очередь последних чудес. Едва Фуке довел короля до замка, как огромный сноп пламени, сопровождаемый величественными раскатами, взметнувшись с купола Во, осветил в мельчайших подробностях, словно ослепительная утренняя заря, примыкающие к зданию цветники.

Начался фейерверк. Кольбер, стоя в двадцати шагах от короля, которого окружали и за которым ухаживали устроители праздника, старался напряжением своей злобной воли вернуть короля к мыслям, тревожившим его так недавно и ныне отогнанным великолепием зрелища.

Вдруг, в тот самый момент, когда король собирался уже протянуть руку Фуке, он ощутил в ней бумагу, которую Лавальер, убегая, по всей видимости, обронила у его ног.

При свете огней, разгоравшихся все ярче и ярче и исторгавших восторженные крики

жителей окрестных деревень, король начал читать письмо, относительно которого он вначале предполагал, что это обращенное к нему любовное послание Лавальер.

Но по мере того как он углублялся в чтение, лицо его покрывалось мертвенной бледностью, и это бледное разгневанное лицо, освещенное тысячами разноцветных огней, было до того страшно, что заставило бы содрогнуться всякого, кто мог бы проникнуть в изнуренное мрачною страстью сердце. Отныне ничто не могло удержать короля от безудержной ревности и от злобы. С мгновения, открывшего ему ужасную правду, для него перестало существовать все, решительно все: он не знал больше ни благочестия, ни душевной мягкости, ни уз, налагаемых отношениями гостеприимства.

Еще немного, и терзаемый острою болью, зажавшей в тиски его сердце, недостаточно закаленное, чтобы таить страдание про себя, еще немного – и он испустил бы отчаянный крик, призывая к оружию свою стражу.

Письмо, подброшенное Кольбером королю, было, как, вероятно, успел уже догадаться читатель, тем самым, что исчезло из Фонтенбло вместе со старым лакеем Тоби после неудачной попытки Фуке покорить сердце мадемуазель Лавальер.

Фуке заметил, что король побледнел, но догадаться о причине, вызвавшей эту бледность, он, конечно, не мог. Что до Кольбера, то он знал, что эта причина – гнев, и радовался приближению бури.

Голос Фуке вывел юного государя из его мрачной задумчивости.

– Что с вами? – участливо спросил суперинтендант, – Ничего.

– Боюсь, что вы нездоровы, ваше величество.

– Я действительно нездоров, и я уже говорил вам об этом, но это сушие пустяки.

И король, не дожидаясь окончания фейерверка, направился к замку. Фуке пошел вместе с Людовиком. Остальные последовали за ними. Последние ракеты грустно догорали без зрителей.

Суперинтендант попытался еще раз осведомиться у короля о его состоянии, но не получил никакого ответа. Он предположил, что Людовик и Лавальер поспорили в парке, что эта размолвка кончилась ссорой и что король, хотя он и был отходчив, с тех пор как его возлюбленная сердится на него, возненавидел весь мир. Этой мысли было достаточно, чтобы Фуке успокоился. И когда король пожелал ему доброй ночи, он ответил, дружелюбно и сочувственно улыбаясь ему.

Но и после этого король не мог остаться наедине сам с собою. Ему пришлось выдержать большую церемонию вечернего раздевания. К тому же на следующий день был назначен отъезд, и гостю полагалось выразить свою благодарность хозяину, быть с ним любезным в возмещение истраченных им двенадцати миллионов.

И все же единственное, что Людовик нашелся сказать Фуке, отпуская его, были следующие слова:

– Господин Фуке, вы еще услышите обо мне. Будьте любезны прислать ко мне шевалье д'Артаньяна.

Кровь столько времени подавлявшего свой гнев короля забурлила в его жилах с удвоенною силой, и он готов был велеть зарезать Фуке, как его предшественник на французском престоле велел убить маршала д'Анкра. Но он скрыл эту ужасную мысль за одной из тех королевских улыбок, которые предшествуют переворотам в придворном мире, как молния предшествует грому.

Фуке поцеловал руку Людовика. Последний вздрогнул всем телом, но позволил все же губам Фуке прикоснуться к ней.

Через пять минут после этого д'Артаньян, которому сообщили королевский приказ, входил в спальню Людовика.

Арамис и Филипп сидели у себя наверху и слушали так же внимательно, как накануне.

Король не дал своему мушкетеру подойти к его креслу. Он сам устремился к нему навстречу.

– Примите меры, – сказал он, – чтобы никто сюда не входил.

– Хорошо, ваше величество, – отвечал капитан, который уже давно обратил внимание на истерзанное душевными муками лицо короля.

Он отдал приказание часовому, стоявшему у дверей, и, вернувшись после этого к королю, спросил:

– Что случилось, ваше величество?

– Сколько людей в вашем распоряжении? – бросил король, не отвечая на вопрос д'Артаньяна.

– Для какой цели, ваше величество?

– Сколько людей у вас? – повторил король, топнув ногой.

– Со мной мушкетеры.

– Еще!

– Двадцать гвардейцев и тринадцать швейцарцев.

– Сколько вам нужно, чтобы...

– Чтобы? – повторил мушкетер, спокойно глядя своими большими глазами на короля.

– Чтобы арестовать господина Фуке?

Д'Артаньян от изумления сделал шаг назад.

– Арестовать господина Фуке! – сказал он, возвышая голос.

– И вы тоже заявите, что это никак не возможно! – с холодным бешенством воскликнул король.

– Я никогда не говорю, что существуют невозможные вещи, – ответил д'Артаньян, задетый за живое.

– В таком случае действуйте!

Д'Артаньян резко повернулся на каблуках и направился к двери. Расстояние до нее было невелико. Он прошел его в шесть шагов и внезапно остановился»

– Простите, ваше величество, – сказал он.

– Что еще?

– Чтобы произвести этот арест, я хотел бы располагать приказом в письменном виде.

– К чему? И с каких это пор недостаточно королевского слова?

– Потому что королевское слово, рожденное чувством гнева, быть может, изменится, когда изменится породившее его чувство.

– Без уверток, сударь! У вас есть какая-то мысль.

– О, у меня всегда есть мысли, и такие, которых, к несчастью, нет у других, – дерзко отвечал д'Артаньян.

– Что же вы подумали? – воскликнул король.

– А вот что, ваше величество. Вы велите арестовать человека, находясь у него в гостях: это гнев. Когда вы перестанете гневаться, вы раскаетесь. И на этот случай я хочу иметь возможность показать вам вашу собственноручную подпись. Если это ничему уже не поможет, то, по крайней мере, докажет вам, что король не должен позволять себе гневаться.

– Не позволять себе гневаться! – закричал король в бешенстве. – А разве отец мой и дед никогда не гневались, клянусь телом господним?

– Король – ваш отец и король – ваш дед гневались только у себя дома.

– Король – всюду хозяин, он везде – у себя.

– Это – слова льстеца, и, должно быть, они исходят от господина Кольбера. Но это неправда. В чужом доме король будет у себя, лишь прогнав хозяина этого дома.

Король кусал себе губы от злости.

– Как! – продолжал д'Артаньян. – Человек разорил себя, чтобы доставить вам удовольствие, а вы хотите арестовать его! Государь, если бы меня звали Фуке и если б со мной поступили таким же образом, я проглотил бы начинку десятка ракет и поднес бы ко рту огонь, чтоб меня разорвало в клочья, и меня и все вокруг. Но пусть будет по-вашему, раз вы хотите этого.

– Идите! Но достаточно ли у вас людей?

– Неужели вы думаете, ваше величество, что я возьму с собою хотя б одного капрала?

Арестовать господина Фуке, но ведь это такой пустяк, что подобную вещь мог бы сделать даже ребенок. Арестовать господина Фуке все равно что выпить рюмку абсента. Поморщишься, и все кончено, – А если он вздумает защищаться?

– Он? Да что вы! Защищаться, когда его возвеличивают и делают мучеником! Если б у него остался один миллион, в чем я весьма и весьма сомневаюсь, он отдал бы его с величайшей охотой, побыюсь об заклад, за то, чтобы кончить именно таким образом. Но я иду, ваше величество.

– Погодите! Нужно арестовать его без свидетелей.

– Это сложнее.

– Почему?

– Потому что проще простого подойти к господину Фуке, окруженному тысячей ошавевших от восторга людей, и сказать ему: «Сударь, я арестую вас именем короля». Но гоняться за ним взад и вперед, загнать его куда-нибудь в угол, как шахматную фигуру, чтобы у него не было выхода, похитить его у гостей и арестовать так, чтобы никто не услышал его печальных «увы!», – в этом и заключается подлинная, истинная, высшая трудность, и я ручаюсь, что даже самые ловкие люди не сумели бы этого сделать.

– Скажите еще: «Это никак не возможно!» – и это будет скорее и проще.

Ах, боже мой, боже мой, неужели я окружен только такими людьми, которые мешают мне поступать в соответствии с моими желаниями!

– Я вам ни в чем не мешаю. Разве я не заявлял вам об этом?

– Сторожите господина Фуке до завтра, – завтра я сообщу вам решение.

– Будет исполнено, ваше величество.

– И приходите к моему утреннему туалету за приказаниями.

– Приду.

– Теперь оставьте меня одного.

– Вам не нужно даже господина Кольбера? – съязвил перед уходом капитан мушкетеров.

Король вздрогнул. Целиком отдавшись мыслям о мести, он не помнил больше об обвинениях, возводимые на суперинтенданта Кольбером.

– Никого, слышите, никого! Оставьте меня!

Д'Артаньян вышел. Король собственноручно закрыл за ним дверь и принялся бешено бегать по комнате, как раненый бык, утыканный вонзившимися в него шпагами. Наконец он стал облегчать свое сердце, выкрикивая:

– Ах, негодяй! Он не только ворует у меня деньги, но на мое же золото подкупает моих личных секретарей, друзей, генералов, артистов; он отнимает у меня даже возлюбленную! Так вот почему эта предательница так стойко защищала его! Она делала это из признательности к нему... И кто знает, быть может, и из любви!

На мгновение он погрузился в эти скорбные мысли.

«Это сатир! – думал он с глубочайшей ненавистью, которую питают обычно юноши к пожилым людям, помышляющим о любви. – Это фавн, гонящийся за женщинами, это сластолюбец, одаривающий их золотом и брильянтами и имеющий наготове художников, чтобы они писали портреты с его любовниц в костюме древних богинь».

Король дрожал от отчаянья.

– Он грязнит мне решительно все, – продолжал, задыхаясь, Людовик. Он губит все! Он одолеет меня! Этот человек слишком силен для меня! Он мой смертельный враг! Он должен пасть! Я ненавижу его! Да, да, ненавижу, ненавижу его!

Произнося эти слова, он яростно, как помешанный, бил по ручкам своего кресла, то бросаясь в него, то вскакивая на ноги.

– Завтра, завтра!.. О, счастливейший день! – шептал он. – Когда поднимется солнце, оно увидит, что его соперник – лишь я один, а он... он падет до того низко, что, познав, на что способен мой гнев, все должны будут признать наконец, что я более велик, нежели он.

Окончательно утратив всякую власть над собой, ко – роль ударом кулака опрокинул столик возле кровати и, почти плача и задыхаясь от ярости, бросился одетый на простыни,

чтобы кусать их в бессильной злобе и дать отдохновение своему телу.

Кровать закрипела под его тяжестью, и в покоях Морфея, если не считать нескольких прерывистых вздохов, вырвавшихся из груди короля, воцарилось гробовое молчание.

Глава 44.

ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Ярость, овладевшая королем при чтении письма Фуке к Лавальер, растворялась мало-помалу в утомлении, вызванном столь бурными переживаниями.

Юность, полная сил и здоровья, нуждается в немедленном возмещении того, что она потеряла; юность не знает бесконечно тянущейся бессонницы, делающей для несчастных, которые подвержены ей, миф о все снова и снова отрастающей печени Прометея мучительной явью. И если зрелый человек во цвете лет или изнуренный годами старец находят в несчастье вечную пищу для скорби, то юноша, пораженный внезапно свалившимся горем, обессиливает в криках, в неравной борьбе и тем скорее дает повергнуть себя не знающему пощады врагу, с которым он вступил в поединок. Но будучи повержен им наземь, он больше уже не страдает.

Людovic был укрощен в какие-нибудь четверть часа; он перестал сжимать кулаки и сжигать своим взглядом неодолимые образы своей ненависти, он перестал обвинять яростными словами Фуке и Луизу. От бешенства перешел он к отчаянью и от отчаянья к полной расслабленности.

После того как он у себя на кровати метался и бился в конвульсиях, его бессильные руки застыли по обе стороны туловища. Его голова замерла на отделанных кружевами подушках, его истомленное тело время от времени вздрагивало, пронизываемое легкими судорогами, из его груди вырывались теперь уже редкие вздохи.

Бог Морфей, самодержавный владыка этих покоев, названных его именем, приковал к себе распухшие от гнева и слез глаза короля, бог Морфей осыпал его маками, которыми были полны его руки, и Людовик в конце концов спокойно смежил веки и заснул.

Тогда ему показалось, как это часто бывает в первом, нежном и легком сне, в котором тело как бы повисает над ложем, а душа – над землей, ему показалось, что бог Морфей, написанный на плафоне, смотрит на него совсем человеческими глазами; что-то блестело и шевелилось под куполом; рой мрачных снов в одно мгновение сдвинулся в сторону, и показалось человеческое лицо, с рукой, прижатой к губам, задумчивое и созерцающее. И странное дело – этот человек был до того схож с королем, что Людовику даже почудилось, будто он видит себя самого, отраженного в зеркале.

Только лицо, которое видел Людовик, выражало глубокую скорбь и печаль.

Потом ему показалось, будто купол понемногу удаляется от него и аллегорические фигуры и их атрибуты, написанные Лебреном, темнеют, постепенно уменьшаясь в размерах. Мягкое, ровное, покачивающее движение, похожее на движение корабля, плывущего по волнам, сменило недавнюю неподвижность. Король, по-видимому, грезил во сне, и в этом сне золотая корона, увенчивающая собою полог, удалялась, равно как купол, с которого она свешивалась, так что крылатый гений, обеими руками поддерживавший эту корону, казалось, напрасно звал ускользавшего вниз короля.

Кровать продолжала спускаться все ниже и ниже. Людовик с открытыми глазами отдавался этой жестокой галлюцинации. Освещение королевских покоев стало тускнеть, и наконец что-то мрачное, холодное, необъяснимое окружило короля со всех сторон. Ни фресок, ни золота, ни полога из тяжелого бархата, но тускло-серые стены и все более непроницаемый сумрак. А кровать все опускалась, и через минуту, которая показалась королю вечностью, она пребывала уже в каком-то черном и холодном пространстве. Там наконец она замерла на одном месте.

Король видел свет своей комнаты, по теперь он казался ему таким, каким из глубокого колодца бывает виден солнечный свет.

«Меня мучает кошмар! – подумал Людовик. – Пора проснуться! И так, я просыпаюсь!»

Каждому доводилось испытывать то ощущение, о котором мы говорим; нет никого, кто бы посреди душасшего его кошмара не сказал себе, направляемый светом сознания, не угасающего в глубине мозга, когда все другие способности человека погружаются в полную тьму, нет никого, кто бы не сказал себе: «Это все пустяки, это – сон».

Это же сказал себе и Людовик XIV, но, произнеся «я просыпаюсь», он заметил, что не только не спит, но что у него открыты глаза. Он посмотрел по сторонам. Справа и слева увидел он двух вооруженных людей в широких плащах и в масках.

Один из них держал в руке небольшой фонарь, и его луч освещал сцену до того мрачную, что никакой король не мог бы представить себя участником чего-либо подобного.

Людовик решил, что сон его продолжается и что достаточно шевельнуть рукой или заговорить, как сон тотчас же оставит его; он вскочил с кровати и обнаружил, что у него под ногами сырая земля. Тогда, обращаясь к тому, у кого был фонарь, он заговорил:

– Что это, сударь, и кто выдумал подобную шутку?

– Это не шутка, – ответил глухим голосом человек с фонарем.

– Вы люди господина Фуке? – спросил немного озадаченный этим ответом король.

– Не важна, кому мы служим, – произнес таинственный призрак. – Вы в нашем распоряжении, вот и все.

Король скорее нетерпеливо, чем в страхе, обернулся ко второй маске.

– Если это комедия, – сказал он, – то передайте господину Фуке, что я считаю ее неприличной и требую, чтобы ее немедленно прекратили.

Вторая маска, к которой на этот раз обратился король, был человек огромного роста и могучего телосложения. Он стоял прямо и неподвижно, как глыба мрамора.

– Что же вы? – крикнул король, топнув ногой. – Почему вы молчите? Почему не отвечаете мне?

– Мы и не станем вам отвечать, любезнейший, – произнес великан зычным голосом, – нам нечего вам отвечать, кроме разве того, что вы первейший среди несносных и что господин Коклен де Вольер забыл вывести ваз в своей пьесе.

– Но чего же в конце концов хотят от меня? – гневно крикнул Людовик, скрещивая на груди руки.

– Вы узнаете это несколько позже, – ответил человек с фонарем.

– Но где же я все-таки нахожусь?

– Взгляните.

Людовик осмотрелся еще раз, но при свете фонаря он увидел только сырые стены, на которых кое-где можно было заметить серебристый след слизи.

– О, так это тюрьма!

– Нет, подземелье.

– И оно ведет?..

– Извольте следовать за нами.

– Я не сойду с этого места.

– Если вы станете бунтовать, мои юный дружок, – ответил тот, кто с виду был более сильным, – я возьму и закатаю вас в плащ, и если вы задохнетесь в нем, то, честное слово, тем хуже для вас!

Произнося эти слова, он приподнял плащ, которым угрожал королю, и выставил из-под него такую ручищу, что ее не прочь был бы иметь сам Милон из Кротоны, особенно в тот роковой день, когда ему пришла в голову столь неудачная мысль расщепить руками последний дуб в его жизни.

Король испугался насилия. Он понимал, что люди, во власти которых он оказался, зашли так далеко, что теперь уже не отступят и свое дело доведут до конца. Он покачал головой и молвил:

– По-видимому, я попал в руки убийц. Пошли!

Люди в масках ничего не ответили. Тот, что был с фонарем, двинулся первым, за ним шел король, вторая маска следовала за королем. Так миновали они длинную и извилистую

галерею с таким количеством лестниц, которое встречается только в таинственных и мрачных дворцах Анны Радклиф.

Несколько раз в этих переходах и закоулках король слышал над своей головой шум текущей воды. Наконец они добрались до длинного коридора, кончавшегося железной дверью. Человек с фонарем отомкнул ее одним из ключей, висевших у его пояса, — их бряцание король слышал на протяжении всего пути.

Когда дверь открылась и ворвался свежий воздух, Людовик почувствовал аромат, которым благоухают деревья после знойного летнего дня. На мгновение он в колебании остановился, но могучий страж, следовавший за ним, вытолкнул его из подземного коридора.

— Спрашиваю еще раз, — сказал Людовик, обернувшись к тому, кто дерзнул коснуться рукой короля, — что же вы собираетесь сделать с королем Франции?

— Постарайтесь забыть это слово, — ответил не допускающим возражений тоном человек с фонарем.

— За слова, только что произнесенные вами, вы подлежите колесованию, — добавил великан, гася фонарь, врученный ему товарищем, — впрочем, его величество чересчур милостив.

Услышав эту угрозу, Людовик сделал столь резкое и неожиданное движение, что можно было подумать, будто он хочет бежать, но на плечо ему легла рука великана, пригвоздившая его к месту.

— Куда же мы идем наконец? — спросил король.

— Пойдемте, — ответил первый из его спутников и даже с некоторою почтительностью повел своего пленника к карете, спрятанной между деревьями.

Две лошади с путами на ногах были привязаны недоузками к низко свисавшим ветвям огромного дуба.

— Входите, — сказал тот же человек, открывая дверцу кареты и опуская подножку.

Король повиновался и сел в глубине кареты.

В то же мгновение дверца захлопнулась, и он остался в темной карете наедине со своим провожатым. Что до гиганта, то он разрезал недоуздки и путы на ногах лошадей, заложил карету и сел на козлы. Лошади с места взяли крупную рысью, и вскоре карета достигла парижской дороги. В Сенарском лесу их ожидала подстава. И здесь лошади были привязаны к деревьям. Человек, сидевший на козлах, сойдя на землю, торопливо перепряг и быстро поехал дальше. В Париж они прибыли около трех часов пополудни.

Карета въехала в Сент-Антуанское предместье. Крикнув часовому: «Приказ короля», — кучер миновал ворота Бастилии и остановил взмыленных лошадей у крыльца коменданта. Тотчас же прибежал дежурный сержант.

— Разбудить коменданта, — приказал кучер громовым голосом.

В карете по-прежнему царила мертвая тишина. Через десять минут на пороге своей квартиры в туфлях и халате появился г-н де Безмо.

— Что это, — спросил он, — кого вы еще привезли?

Первый человек в маске открыл дверцу кареты и сказал что-то на ухо кучеру. Тот немедленно сошел с козел, взял мушкет, который лежал у него в ногах, и приставил дуло его к груди пленника.

— Стреляйте при первой попытке заговорить! — добавил во весь голос первый, выходя из кареты.

— Хорошо, — ответил второй.

Затем тот, кто сопровождал короля, поднялся по ступеням лестницы, где его ожидал комендант.

— Господин д'Эрбле! — вскричал Безмо.

— Шш... — остановил его Арамис. — Войдем к вам.

— О боже мой, боже мой! Что вас привело в такой час?

— Ошибка, дорогой господин де Безмо, — спокойно отвечал Арамис. По-видимому, вы были правы.

– По поводу чего?

– В связи с этим приказом об освобождении вашего узника.

– Объясните мне, сударь, нет, извините, я хотел сказать: монсеньер, лепетал комендант, задыхаясь от ужаса и изумления.

– Это проще простого: вы, разумеется, помните, что вам прислали приказ об освобождении, – Да, да! Об освобождении Марчиали.

– Так вот, мы решили, что этот приказ имеет в виду Марчиали, не так ли?

– Конечно! Впрочем, вы помните, ведь я сомневался, ведь я не хотел отпускать его, и это вы принудили меня выполнить этот приказ.

– О, какое неподходящее слово употребили вы, дорогой господин Безмо... я предложил, вот и все.

– Предложили, да, да, предложили передать его вам, и вы увезли его в вашей карете.

– Так вот, дорогой мой Безмо, это была ошибка. Ее обнаружили в министерстве, и я привез королевский приказ освободить... Сельдона, знаете, того самого беднягу шотландца.

– Сельдона? Но на этот раз вы и впрямь уверены?..

– Черт возьми! Читайте-ка сами, – добавил Арамис, передавая Безмо приказ.

– Но это тот самый приказ... Я его уже видел, держал в руках...

– Неужели?

– Я же говорил вам об этом... И чернильное пятно... да, я узнаю его.

– Не знаю, тот ли это приказ или другой, но, как бы то ни было, я вам вручаю его.

– А как же другой?

– Какой другой?

– Марчиали?

– Я передам вам сейчас и его.

– Но мне этого недостаточно. Чтобы принять его, мне нужен новый приказ.

– Не говорите таких вещей, дорогой Безмо. Вы рассуждаете как дитя.

Где у вас приказ об освобождении Марчиали?

Безмо побежал к своему сундуку и вынул приказ. Арамис взял его из рук коменданта, не торопясь разорвал на четыре части, поднес их к лампе и сжег.

– Но что же вы делаете! – закричал перепуганный насмерть Безмо.

– Поразмыслите над создавшимся положением, дорогой комендант, – сказал с невозмутимым спокойствием Арамис. – У вас больше нет приказа, который оправдывает освобождение Марчиали.

Боже мой! Нет! И все же я погиб, да, да, я погиб!

Но совсем нет, ведь я отдаю вам Марчиали назад, таким образом получается, как будто он вовсе и не выходил из Бастилии.

– Ах! – воскликнул комендант, который окончательно потерял способность соображать.

– Конечно! И вы сразу же запрете его.

– Еще бы!

– И вы отдадите мне этого... ну как его там... Сельдона, которого освобождает новый приказ. Таким образом, ваша отчетность будет в полном порядке. Понимаете?

– Я... я...

– Вы поняли, – перебил Безмо Арамис. – Вот и отлично.

Безмо умоляюще сложил руки.

– Но ради чего, взяв у меня Марчиали, вы привозите его снова ко мне?

– воскликнул несчастный, совершенно растерявшийся комендант.

– Для такого друга, для такого слуги, как вы, нет секретов.

И Арамис наклонился к уху Безмо.

– Вы знаете, – шепнул он, – какое необыкновенное сходство между этим несчастным и...

– Королем, да!

– Так вот первое, на что употребил Марчиали свою свободу: он стал утверждать, что он

король Франции.

– Вот негодяй! – воскликнул Безмо.

– Он надел на себя такой же костюм, какой был на его величестве, и стал выдавать себя за короля Людовика Четырнадцатого.

– Боже мой!

– Вот почему я и привез его к вам, дорогой комендант. Он безумен, и своим бредом он спешит поделиться со всеми.

– Что же делать?

– Все обстоит очень просто: не давайте ему общаться с кем бы то ни было. Вы понимаете, что, когда его бред стал известен его величеству, который сжалился над ее несчастьем и был вознагражден за свою доброту черной неблагодарностью, король пришел в ярость. И вот теперь – хорошенько запомните это, дорогой господин де Безмо, так как это касается вас самым непосредственным образом, – теперь всякому, кто даст ему общаться с кем бы то ни было, кроме меня или самого короля, не миновать смертной казни. Вы слышите, мой милый Безмо, – смертной казни!

– Слышу, слышу, черт подери!

– А теперь спуститесь и отведите этого бедного малого в его камеру, если только не считаете нужным, чтобы он поднялся к вам.

– Зачем?

– Да, вы правы. Полагаю, что лучше сразу же посадить его под замок, разве не так?

– Еще бы!

– В таком случае, друг мой, пошли...

Безмо велел бить в барабан и звонить в колокол, предупреждая по заведенному здесь порядку о том, чтобы все входили в свои помещения, дабы избежать встречи с таинственным узником. Затем, когда проходы были расчищены, он сам подошел к карете за арестантом. Портос, верный приказу, продолжал держать мушкет у груди пленника.

– А, вот вы где, негодяй! – воскликнул Безмо, увидев короля. – Хорошо, хорошо!

И тотчас же, велев королю покинуть карету, он повел его в сопровождении Портоса, не снимавшего маски, и Арамиса, снова ее надевшего, во вторую Бертодьеру и открыл дверь той самой камеры, в которой на протяжении восьми лет томился Филипп.

Король вошел в каземат без единого слова. Он был растерян и бледен.

Безмо закрыл дверь, дважды повернул ключ в замке и, подойдя к Арамису, прошептал ему на ухо:

– Сущая правда, он очень похож на его величество, но все же не так, как вы утверждаете.

– Так что вас уж, во всяком случае, на такой подмене не проведешь?

– Что вы, что вы!

– Вы бесценный человек, дорогой мой Безмо, – сказал Арамис. – А теперь освобождайте Сельдона.

– Верно, я и забыл... Я сейчас отдам приказание...

– Ба! Вы успеете сделать это и завтра.

– Завтра? Нет, нет, сию же минуту! Избави боже затягивать это дело.

– Ну, идите по вашим делам, а меня ожидают мои» Но, надеюсь, вы поняли все до конца, не так ли?

– Что я должен понять?

– Что никто не войдет к узнику без приказа его величества – приказа, который привезу вам я сам.

– Да, прощайте, монсеньер.

Арамис вернулся к своему товарищу.

– Поехали, друг Портос, в Во! И поскорее.

– До чего же чувствуешь себя легким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасешь свою род пну, – засмеялся довольный Портос. Лошадям нечего будет тащить. Поехали.

И карета, освободившись от пленника, который действительно мог казаться Арамису чрезмерно тяжелым, миновала подъемный мост, который тотчас же поднялся за ней снова, и оказалась вне пределов Бастилии.

Глава 45. НОЧЬ В БАСТИЛИИ

Страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Мы отнюдь не собираемся утверждать, что бог неизменно соразмеряет ниспосылаемое им человеку несчастье с силами этого человека; подобное утверждение было бы не вполне точным, поскольку тем же богом дозволена смерть, являющаяся единственным выходом для души, которой немоготу пребывать в оболочке тела. Итак, страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Это значит, что при равном несчастье слабый страдает больше, нежели сильный. Но что же придает человеку силу? Закалка, привычка и опыт. Мы не станем утруждать себя доказательством этого; это аксиома как в отношении нашей душевной жизни, так и нашего естества.

Когда молодой король, потеряв всякое представление о действительности, растерянный и разбитый, понял, что его ведут в одну из камер Бастилии, он решил, что смерть во многих отношениях схожа со сном, что и она полна разнообразных видений. Он вообразил, будто его кровать в замке Во провалилась сквозь пол и вслед за тем он умер; он вообразил, что он это покойный Людовик XIV, продолжающий видеть все те же ужасы, невозможные для него в жизни и называемые низложением с трона, тюрьмой и всевозможными оскорблениями некогда всемогущего государя.

Наблюдать в качестве призрака, сохраняющего ощущение своего тела, свои собственные мучения, томиться, тщетно стараясь постигнуть непостижимую тайну, где действительность, а где лишь ее подобие, видеть все, слышать все, все понимать» отчетливо помнить мельчайшие подробности своих последних минут – разве это не пытка, пытка тем более невыносимая, что она может быть вечною?

– Не есть ли это то самое, что зовется вечностью, адом? – шептал Людовик XIV в то мгновение, когда за ним закрылась дверь, запираемая Безмо.

Он не проявил ни малейшего интереса к окружающей его обстановке и, прислонившись спиной к стене, окончательно проникся мыслью о том, что он умер; он зажмурил глаза, чтобы не увидеть чего-нибудь еще худшего.

«Но все-таки как же произошла моя смерть? – спрашивал он себя, поддаваясь безумию. – Не спустили ли эту кровать при помощи какого-нибудь приспособления? Нет, нет – когда она начала опускаться, я не почувствовал ни сотрясения, ни толчка... А не отравили ли меня во время обеда или, кто знает, не обкурили ли отравленную свечой, как мою прабабку Жанну д'Альбре?»

Вдруг холод камеры пронизал плечи Людовика.

«Я видел, – продолжал – он, – я видел моего отца мертвым на той самой кровати, на которой он всегда спал; на нем было королевское одеяние. Это бледное лицо с заострившимися чертами, эти застывшие, некогда столь подвижные руки, эти вытянутые, похолодевшие ноги, – нет, ничто не говорило о сне, полном видений. А ведь бог должен был бы наслать на него целые полчища снов, на него, чьей смерти предшествовало столько других, ибо сколь многих он сам послал на смерть!

Нет, этот король по-прежнему был королем, он царил на смертном одре так же, как на своем бархатном троне. Он не отрекся от свойственного ему величия. Бог, ниспославший на него кару, не может наказывать и меня, не сделавшего ничего противного его заповедям».

Станный шум привлек внимание молодого человека. Он посмотрел и увидел на каминной доске под громадной грубою фреской, изображавшей распятие, огромную крысу, грызущую хлебную корку и смотревшую на нового постояльца камеры умным и любознательным взглядом.

Король испугался: крыса вызвала в нем омерзение. С громким криком бросился он к дверям. И благодаря этому вырвавшемуся из его груди крику Людовик понял, что он жив, не потерял разума и что чувства его вполне естественны.

– Узник! – воскликнул он. – Я, я – узник!

Он поискал глазами звонок.

«В Бастилии нет звонков! Я в Бастилии! Но как же я сделался узником?

Это все, конечно, Фуке. Пригласив в Во, меня заманили в ловушку. Но Фуке не один... Его помощник... этот голос... это был голос д'Эрбле, я узнал его. Кольбер был прав. Но чего же от меня хочет Фуке? Будет ли он царствовать вместо меня? Немыслимо! Кто знает?.. – подумал Людовик. Кто знает, быть может, герцог Орлеанский, мой брат, сделал со мною то, о чем всю жизнь мечтал, замышляя против моего отца, мой дядя. Но королева?

Но моя мать? Но Лавальер? О, Лавальер! Она окажется во власти принцессы Генриетты! Бедное дитя, ее, наверное, заперли, как заперт я сам. Мы с нею навеки разлучены!»

И при одной этой мысли несчастный влюбленный разразился криками, вздохами и рыданиями.

– Есть же здесь комендант! – с яростью вскрикнул король. – Я поговорю с ним, я буду звать.

Он стал звать коменданта. Никто не ответил. Он схватил стул и стал яростно колотить им в массивную дубовую дверь. Дерево, ударяясь о дерево, порождало мрачное эхо в глубине переходов и лестниц, но ни одно живое существо так и не отозвалось.

Для короля это было еще одним доказательством того полного пренебрежения, которое он встретил к себе в Бастилии. После первой вспышки неудержимого гнева, чуточку успокоившись, он заметил полоску золотистого света: должно быть, занималась заря. После этого он опять принялся кричать, сначала не очень громко, затем все громче и громче. И на этот раз кругом все было безмолвно.

Двадцать других попыток также не привели ни к чему.

В нем начала бурлить кровь; она бросилась ему в голову. Привыкнув к неограниченной власти, он содрогнулся, столкнувшись с неповиновением подобного рода. Гнев его все возрастал. Он сломал стул, который был для него чрезмерно тяжелым, и, пустив в ход один из его обломков, стал бить им в дверь, как тараном. Он бил с таким усердием и так долго, что лоб его покрылся испариной. Шум, который до этого он поднимал, сменился несмолкающим грохотом. Несколько приглушенных и, как показалось ему, отдаленных криков ответило ему с разных сторон.

Это произвело на короля странное впечатление. Он остановился, чтобы прислушаться. Это были голоса узников, еще так недавно – его жертв, теперь сотоварищей. Эти голоса, словно легчайшие испарения, проникали сквозь толстые сводчатые потолки, сквозь стены. Они громко обвиняли того, кто шумел, как их вздохи и слезы без слов обвиняли, должно быть, того, кто лишил их свободы. Отняв у столь многих свободу, он появился здесь, между ними, чтобы отнять у них сон.

От этой мысли он едва не сошел с ума. Она удвоила его силы, и обломки стула опять были приведены в действие. Через час Людовик почувствовал какое-то движение в коридоре, и сильный стук в его дверь прекратил удары, которыми он сам осыпал ее.

– Вы что, спятили, что ли? – прикрикнул на него кто-то, стоявший за дверью. – Что это с вами стряслось этим утром?

«Этим утром?» – подумал изумленный король.

Затем он вежливо обратился к своему незримому собеседнику:

– Сударь, вы – комендант Бастилии?

– Милый мой, у вас мозги набекрень, – отвечал голос за дверью, – но все же это не основание производить такой грохот. Перестаньте шуметь, черт возьми!

– Вы – комендант?

За дверью все смолкло. Тюремщик ушел, не удостоив короля даже ответом.

Когда король удостоверился в том, что тюремщик и в самом деле ушел, его ярость

сделалась безграничною. Гибкий, как тигр, он вскочил на стол, потом на окно и начал трясти решетку. Он выдавил стекло, и тысячи звенящих осколков упали во двор. Он кричал голосом, становившимся с каждым мгновением все более хриплым: «Коменданта, коменданта!» Этот припадок длился около часа.

С растрепанными, прилипшими ко лбу волосами, с разорванной и выпачканной одеждой и бельем, превратившимся в клочья, король перестал кричать и метаться по камере, лишь окончательно обессилев, и только тогда он постиг, насколько неумолимы эти толстые стены, насколько непроницаем кирпич, из которого они сложены, и насколько тщетны попытки вырваться из их плена, когда располагаешь только таким орудием, как отчаянье, тогда как над ними властно лишь время.

Он прижался лбом к двери и дал своему сердцу чуточку успокоиться; еще одно добавочное его биение, и оно бы не выдержало.

«Придет же час, – подумал король, – когда мне, как и остальным заключенным, принесут какую-нибудь еду. Я тогда увижу кого-нибудь, я спрошу, мне ответят».

И король стал вспоминать, в котором часу разносят в Бастилии завтрак.

Он не знал даже этого. Как безжалостный и исподтишка нанесенный удар ножа, поразило его раскаяние: ведь двадцать пять лет прожил он королем и счастливцем, нисколько не думая о страданиях, которые испытывает несчастный, несправедливо лишенный свободы. Король покраснел от стыда. Он подумал, что бог, допустив, чтобы его, короля Франции, подвергли столь ужасному унижению, воздал в его лице государю, причинявшему столько мучений другим.

Ничто не могло бы с большим успехом склонить эту душу, сломленную страданиями, к религии, чем подобные мысли. Но Людовик не осмелился преклонить пред богом колени, чтобы просить, чтобы умолять его о скорейшем завершении этого испытания.

«Бог творит благо, он прав. Было бы подлостью просить бога о том, в чем я неоднократно отказывал моим ближним».

Он предавался размышлениям этого рода, он казнил себя за бывшее свое равнодушие к судьбам несчастных и обездоленных, когда за дверью снова послышался шум, на этот раз сопровождавшийся, впрочем, скрипом ключа, вставляемого в замочную скважину.

Король устремился вперед, чтобы скорее узнать, кто же это пришел к нему, но, вспомнив о том, что это было бы поведением, недостойным короля Франции, он остановился на полпути, принял благородную и невозмутимую, привычную для него позу и стал ждать, повернувшись спиной к окну, чтобы скрыть хоть немного свое волнение от того, кто сейчас войдет к нему в камеру.

Это был всего-навсего сторож, принесший корзину с едой. Король рассматривал этого человека с внутренней тревогой и беспокойством; он ждал, пока тот нарушит молчание.

– Ах, – сказал сторож, – вы сломали ваш стул, я же вам говорил! Вы что же, рехнулись, что ли?

– Сударь, – ответил ему король, – взвешивайте ваши слова, они могут иметь для вас исключительные последствия.

Сторож, поставив корзину на стол, взглянул на своего собеседника и удивленно проговорил:

– Что вы сказали?

– Извольте передать коменданту, чтобы он немедленно явился ко мне, с достоинством произнес король.

– Послушайте, детка, вы всегда были умницей, но от сумасшествия становятся злыми, и я хочу предупредить вас заранее: вы сломали стул и шумели; это – проступки, подлежащие наказанию карцером. Обещайте, что этого больше не повторится, и я ни о чем не стану докладывать коменданту.

– Я хочу повидать коменданта, – ответил король, но обращая внимания на слова сторожа.

– Берегитесь! Он велит посадить вас в карцер.

– Я хочу! Слышите? Я хочу видеть коменданта.

– Вот оно что! Ваш взгляд становится диким. Превосходно. Я отберу у вас нож.

И сторож, прихватив с собой нож, закрыл дверь и ушел, оставив короля еще более несчастным и одиноким, чем прежде. Напрасно он снова пустил в ход сломанный стул; напрасно бросил через окно тарелки и миски; и на это не последовало никакого ответа.

Через два часа это был уже не король, не дворянин, не человек, не разумное существо; это был сумасшедший, ломающий себе ногти, царапая дверь, пытающийся поднять огромные каменные плиты, которыми был вымощен пол, и испускающий такие ужасные вопли, что старая Бастилия, казалось, дрожала до основания оттого, что посмела посягнуть на своего властелина.

Что касается коменданта, то он не проявил ни малейшего беспокойства в связи с сумасшествием узника. Сторож и часовые доложили ему об этом: но что из этого? Разве сумасшедшие не были обычным явлением в крепости и разве стены не способны удержать сумасшедших?

Господин де Безмо, свято уверовав во все то, что ему сказал Арамис, и имея на руках королевский приказ, жаждал лишь одного: пусть сошедший с ума Марчиали будет достаточно сумасшедшим, чтобы повеситься на брусках своего полога или на одном из прутьев тюремной решетки.

И действительно, этот узник не приносил никакого дохода и ко всему еще становился чрезмерно обременительным. Все осложнения с Сельдоном и Марчиали, осложнения с освобождением и заключением вновь, осложнения, связанные со сходством, – все это нашло бы в подобной развязке чрезвычайно простое и удобное для всех разрешение; больше того, Безмо показалось к тому же, что эго не было бы неприятно и г-ну д'Эрбле.

– И по правде сказать, – говорил Безмо майору, своему помощнику, обыкновенно узник достаточно страдает от своего заключения, он страдает более чем достаточно, чтобы пожелать ему из милосердия смерти. И это тем более так, если узник сошел с ума, если он кусается и шумит; в этом случае, честное слово, можно было бы не только желать ему из милосердия смерти, но было бы добрым делом потихоньку прикончить его. После приведенных рассуждений славный комендант принялся за свой второй завтрак.

Глава 46. **ТЕНЬ Г-НА ФУКЕ**

Под впечатлением разговора, происшедшего у него только что с королем, д'Артаньян не раз обращался к себе с вопросом, не сошел ли он сам с ума, имела ли место эта сцена действительно в Во, впрямь ли он – д'Артаньян, капитан мушкетеров, и владелец ли г-н Фуке того замка, в котором Людовику XIV было оказано гостеприимство. Эти рассуждения не были рассуждениями пьяного человека. Правда, в Во угощали, как никогда и нигде, и вина суперинтенданта занимали в этом угощении весьма почетное место. Но гасконец был человеком, никогда не терявшим чувства меры; прикасаясь к клинку своей шпаги, он умел заряжать свою душу холодом ее стали, когда этого требовали важные обстоятельства.

«Теперь, – говорил он себе, покидая королевские апартаменты, – мне предстоит сыграть историческую роль в судьбах короля и его министра; в анналах истории будет записано, что господин д'Артаньян, дворянин из Гаскони, арестовал господина Никола Фуке, суперинтенданта финансов Франции. Мои потомки, если я когда-нибудь буду иметь таковых, станут благодаря этому аресту людьми знаменитыми, как знамениты господа де Люипь благодаря опале и гибели этого бедняги маршала д'Анкра. Надо выполнить королевскую волю, соблюдая благопристойность. Всякий сумеет сказать:

«Господин Фукс, пожалуйста вашу шпагу», – по не все сумеют охранять его таким образом, чтобы никто и не пикнул по этому поводу. Как же все-таки сделать, чтобы суперинтендант по возможности неприметно освоился с тем, что из величайшей милости он впал в крайнюю степень немилости, что Во превращается для него в тюрьму, что, испытав

фимиам Ассура, он попадет на виселицу Амана, или, точнее сказать, д'Ангерана де Мариньи».

Тут чело д'Артаньяна омрачилось из сострадания к несчастьям Фуке. У мушкетера было довольно забот. Отдать таким способом на смерть (ибо, конечно, Людовик XIV ненавидел Фуке), отдать, повторяем, на смерть того, кого молва считала порядочным человеком, — это и в самом деле было тяжким испытанием совести.

«Мне кажется, — сам себе говорил д'Артаньян, — что если я не последний подлец, я должен поставить Фуке в известность о намерениях короля.

Но если я выдам тайну моего государя, я совершу вероломство и стану предателем, а это — преступление, предусмотренное сводом военных законов, и мне пришлось увидеть во время войны десятка два таких горемык, которых повесили на суку за то, что они проделали в малом то самое, на что толкает меня моя щепетильность, с той, впрочем, разницей, что я проделаю это в большом. Нет уж, увольте. Полагаю, что человек, не лишенный ума, должен выпутаться из этого положения с достаточной ловкостью. Можно ли допустить, что я представляю собой человека, не лишенного кое-какого ума? Сомнительно, если принять во внимание, что за сорок лет службы я ничего не сберег, и если у меня где-нибудь завалился хоть единый пистоль, то и это уж будет счастьем)».

Д'Артаньян схватился руками за голову, дернул себя за ус и добавил:

«По какой причине Фуке впал в немилость? По трем причинам: первая состоит в том, что его не любит Кольбер; вторая — потому что он пытался покорить сердце мадемуазель Лавальер; третья — так как король любит и Кольбера и мадемуазель Лавальер. Фуке — человек погибший. Но неужели же я, мужчина, ударю его ногой по голове, когда он упал, опутанный интригами женщин и приказных? Какая мерзость! Если он опасен, я сражу его как врага. Если его преследуют без достаточных оснований, тогда мы еще поглядим. Я пришел к заключению, что ни король, ни кто-либо другой не должны влиять на мое личное мнение. Если б Атос оказался в моем положении, он сделал бы то же самое. Итак, вместо того чтобы грубо войти к Фуке, взять его под арест и упрятать куда-нибудь в укромное место, я постараюсь действовать так, как подобает порядочным людям. Об этом пойдут разговоры, согласен; но обо мне будут говорить только хорошее».

И, вскинув перевязь на плечо особым, свойственным ему жестом, д'Артаньян отправился прямо к Фуке, который, простившись с дамами, собирался спокойно выпастись после своих шумных дневных триумфов.

Фуке только что вошел в свою спальню с улыбкой на устах и полумертвый от утомления.

Когда д'Артаньян переступил порог его комнаты, кроме Фуке и его камердинера в ней никого больше не было.

— Как, это вы, господин д'Артаньян? — удивился Фуке, успевший уже сбросить с себя парадное платье.

— К вашим услугам, — отвечал мушкетер.

— Войдите, дорогой д'Артаньян.

— Благодарю вас.

— Вы хотите покритиковать наше празднество? О, я знаю, у вас очень острый и язвительный ум.

— О пет.

— Что-нибудь мешает вашей охране?

— Совсем нет.

— Быть может, вам отвели неудачное помещение?

— О нет, оно выше всяких похвал.

— Тогда позвольте поблагодарить вас за вашу любезность и заявить, что я ваш должник за все то в высшей степени лестное, что вы изволили высказать мне.

Эти слова, очевидно, значили: «Дорогой господин д'Артаньян, идите-ка спать, раз у вас есть где лечь, и позвольте мне сделать то же».

Д'Артаньян, казалось, не понял.

— Вы, как видно, уже ложитесь? — спросил он Фуке.

– Да. Вы ко мне с каким-нибудь сообщением?

– О нет, мне нечего сообщать. Вы будете спать в этой комнате?

– Как видите.

– Сударь, вы устроили великолепное празднество королю.

– Вы находите?

– О, изумительное.

– И король им доволен?

– В восторге!

– Быть может, он поручил рассказать мне об этом?

– Нет, для этого он нашел бы более достойного вестника, монсеньер.

– Вы скромничаете, господин д'Артаньян.

– Это ваша постель?

– Да, но почему вы задаете такие вопросы? Быть может, вы недовольны вашей постелью?

– Можно ли говорить откровенно?

– Конечно.

– В таком случае вы правы, я недоволен ею.

Фуке вздрогнул.

– Господин д'Артаньян, возьмите, сделайте одолжение, мою комнату!

– Лишить вас вашей собственной комнаты! О нет, никогда!

– Что же делать?

– Разрешите мне разделить ее с вами.

Фуке пристально посмотрел в глаза мушкетеру.

– А-а, вы только от короля?

– Да, монсеньер.

– И король изъявил желание, чтобы вы спали у меня в комнате?

– Монсеньер...

– Отлично, господин д'Артаньян, отлично, вы здесь хозяин.

– Уверяю вас, монсеньер, что я не хотел бы злоупотреблять...

Обращаясь к камердинеру, Фуке произнес:

– Вы свободны!

Камердинер ушел.

– Вам нужно переговорить со мною, сударь? – спросил Фуке.

– Мне?

– Человек вашего ума не приходит в ночную пору т; такому человеку, как я, не имея к этому достаточных оснований.

– Не расспрашивайте меня.

– Напротив, буду расспрашивать. Скажите наконец, что вам нужно?

– Ничего. Лишь ваше общество.

– Пойдемте тогда в сад или в парк, – неожиданно предложил Фуке.

– О нет, – с живостью возразил мушкетер, – нет, шт.

– Почему?

– Знаете, там слишком прохладно...

– Вот оно что! Сознайтесь, что вы арестовали меня?

– Никогда!

– Значит, вы приставлены сторожить меня?

– В качестве почетного стража, монсеньер.

– Почетного?.. Это другое дело. Итак, меня арестовывают в моем собственном доме?

– Не говорите этого, монсеньер.

– Напротив, я буду кричать об этом.

– Если вы будете об этом кричать, я буду вынужден предложить вам умолкнуть.

– Так! Значит, насилие в моем собственном доме? Превосходно!

– Мы друг друга не понимаем. Вот тут шахматы: давайте сыграем партию, монсеньер.

– Господин д'Артаньян, выходит, что я в немилости?

– Совсем нет. Но...

– Но мне запрещено отлучаться?

– Я не понимаю ни слова из того, что вы мне говорите. Если вы желаете, чтобы я удалился, скажите мне прямо об этом.

– Дорогой господин д'Артаньян, ваше поведение сводит меня с ума. Я хочу спать, я падаю от усталости. Вы разбудили меня.

– Я никогда бы не простил себе этого, и если вы хотите примирить меня с моей собственной совестью...

– Что же тогда?..

– Тогда спите себе на здоровье в моем присутствии. Я буду страшно доволен.

– Это надзор?

– Знаете что, я, пожалуй, уйду.

– Не понимаю вас.

– Покойной ночи, монсеньер.

И д'Артаньян сделал вид, будто собирается уходить.

Тогда Фуке подбежал к нему.

– Я не лягу, – сказал он. – Я говорю совершенно серьезно. И поскольку вы не желаете обращаться со мною, как с настоящим мужчиной, и виляете, и хитрите, я заставлю вас показать клыки, как это делают с диким кабаном во время травли.

– Ба! – скривил губы д'Артаньян, изображая улыбку.

– Я велю заложить лошадей и уеду в Париж, – заявил Фуке, пытаясь проникнуть в глубину души капитана.

– А! Раз так, это другое дело.

– В этом случае вы меня арестуете? Верно?

– О нет, в этом случае я еду с вами.

– Довольно, господин д'Артаньян, – проговорил Фуке ледяным тоном. Вы недаром пользуетесь репутацией очень тонкого и ловкого человека, но со мной это лишнее. К делу, сударь, к делу! Скажите мне, за что вы меня арестовываете? Что я сделал?

– О, я не знаю, что вы сделали, и я вас не арестовываю... по крайней мере, сегодня...

– Сегодня? – воскликнул, бледнея, Фуке. – А завтра?

– Завтра еще не пришло, монсеньер. Кто же может поручиться за завтрашний день?

– Скорей, скорей, капитан! Позвольте мне переговорить с господином д'Эрбле.

– Увы, это никак невозможно, монсеньер, у меня приказ не разрешать вам общаться с кем бы то ни было.

– И даже с господином д'Эрбле, вашим другом!

– Монсеньер, а разве не может случиться, что господин д'Эрбле, мой друг, и есть то единственное лицо, с которым я должен помешать вам общаться?

Фуке покраснел и, сделав вид, что он смиряется перед необходимостью, произнес:

– Вы правы, сударь; я получил урок, к которому не должен был подавать повода. Человек павший не может больше рассчитывать ни на что даже со стороны тех, счастье которых составил он сам; я не говорю уж о тех, которым он никогда не имел удовольствия оказать какую-либо услугу.

– Монсеньер!

– Это сушая правда, господин д'Артаньян: вы всегда держали себя со мною чрезвычайно корректно, как и подобает тому, кому было предназначено самую судьбою взять меня под арест. Вы никогда не обращались ко мне ни с малейшею просьбой.

– Монсеньер, – отвечал гасконец, тронутый такой красноречивой и благородной печалью, – согласны ли вы дать мне слово честного человека, что не покинете этой комнаты?

– Зачем, дорогой д'Артаньян, раз вы меня здесь сторожите? Неужели вы думаете, что я попытаюсь бороться с самой доблестной шпагой королевства?

– Нет, не то, монсеньер. Дело в том, что я пойду сейчас за господином д'Эрбле и поэтому оставляю вас одного.

Фуке вскрикнул от радости и удивления:

– Пойдете за господином д'Эрбле? Оставьте меня одного?

– Где я найду господина д'Эрбле? В синей комнате?

– Да, мой друг, да!

– Ваш друг! Благодарю вас за эти слова, монсеньер.

– Ах, вы меня просто спасаете!

– Хватит ли десяти минут, чтоб добраться до синей комнаты и возвратиться назад? – спросил д'Артаньян.

– Приблизительно.

– Чтобы разбудить Арамиса, который умеет спать, когда ему спится, и предупредить его, я кладу еще пять минут; в общем, я буду отсутствовать четверть часа. Теперь, монсеньер, дайте мне слово, что вы не предпримете попытки бежать и что, возвратившись, я найду вас на месте.

– Даю вам слово, сударь, – сказал Фуке, с признательностью пожимая мушкетеру руку.

Д'Артаньян удалился.

Фуке посмотрел ему вслед, с видимым нетерпением подождал, пока за ним закроется дверь, и бросился за своими ключами. Он открыл несколько потайных ящиков и стал тщетно искать некоторые бумаги, видимо, к его огорчению, оставшиеся в Сен-Манде. Затем, торопливо схватив кое-какие письма, договоры и прочие документы, он собрал их в кучу и сжег на мраморной каминной доске, даже не сдвинув горшков с цветами, которые там стояли. Кончив с этим, он упал в кресло» как человек, избегший смертельной опасности и совсем обессилевший, лишь только эта опасность перестала ему грозить.

Возвратившийся д'Артаньян увидел Фуке в той же позе. Достойный мушкетер нисколько не сомневался, что Фуке, дав слово, и не подумает нарушить его; но он полагал, что суперинтендант воспользуется его временною отлучкой, чтобы избавиться от всех тех бумаг, записок и договоров, которые могли бы ухудшить его и так достаточно опасное положение. Поэтому, войдя в комнату, он поднял голову, как собака, учуявшая поблизости дичь, и, обнаружив здесь запах дыма, чего он и ждал, с удовлетворением кивнул головой.

При появлении д'Артаньяна Фуке, в свою очередь, поднял голову, и ни один жест мушкетера не ускользнул от него. Затем взгляды их встретились, и они поняли друг друга без слов.

– А где же, – удивленно спросил Фуке, – где господин д'Эрбле?

– Господин д'Эрбле, надо полагать, обожает ночные прогулки и где-нибудь в парке, озаренном лунным сиянием, сочиняет стихи в обществе какого-нибудь из ваших поэтов; в синей комнате, во всяком случае, его нет.

– Как! Его нет в синей комнате? – воскликнул Фуке, лишаясь своей последней надежды. Хотя он и не представлял себе, как именно ваннский епископ сумеет помочь ему, он все же отчетливо понимал, что ждать помощи можно лишь от него.

– Или, если он все-таки у себя, – продолжал д'Артаньян, – то у него, очевидно, были причины по отвечав на мой стук.

– Быть может, вы обращались к нему недостаточно громко, и он не услышал вас.

– Уж не предполагаете ли вы, монсеньер, что, нарушив приказание короля не покидать вас ни на мгновение, я стану будить весь дом и предоставлю возможность видеть меня в коридоре, где расположился ваннский епископ, давая тем самым господину Кольберу основание думать, что я предоставил вам время сжечь ванта бумаги?

– Мои бумаги!

– Разумеется. По крайней мере, будь я на вашем месте, я не преминул бы поступить именно так. Когда мне отворяют дверь, я пользуюсь этим.

– Благодарю вас, сударь. Я и воспользовался.

– И хорошо сделали. У каждого из нас есть свои тайны, до которых не должно быть дела

другим. Но вернемся, монсеньер, к Арамису.

– Так вот, повторяю, вы слишком тихо позвали его, и он вас не слышал.

– Как бы тихо ни звать Арамиса, монсеньер, Арамис всегда слышит, если считает нужным услышать. Повторяю, Арамиса в комнате не было или у Арамиса были основания не узнать моего голоса, основания, которые мне неизвестны, как они, быть может, неизвестны и вам, при всем том, что его преосвященство, монсеньер ваннский епископ – ваш преданный друг.

Фуке тяжело вздохнул, вскочил на ноги, несколько раз прошелся по комнате и кончил тем, что уселся на свое великолепное ложе, застланное бархатом и утопающее в изумительных кружевах.

Д'Артаньян посмотрел на Фуке с выражением искреннего сочувствия.

– Я видел на своем веку, как были арестованы многие, да, да, очень многие, – сказал мушкетер с грустью в голосе, – я видел, как был арестован Сен-Мар, видел, как был арестован де Шале. Я был тогда еще очень молод. Я видел, как был арестован Конде вместе с принцами, я видел, как был арестован де Рец, я видел, как был арестован Брусель. Послушайте, монсеньер, страшно сказать, но больше всего в настоящий момент вы похожи на беднягу Бруселя. Еще немного, и вы, подобно ему, засунете вашу салфетку в портфель и станете вытирать рот деловыми бумагами. Черт подери, господин Фуке, такой человек, как вы, не должен склоняться перед неприятностями. Если бы ваши друзья видели вас, что бы они подумали!

– Господин Д'Артаньян, – ответил суперинтендант со скорбной улыбкой, – вы меня совершенно не понимаете. Именно потому, что мои друзья не видят меня, я таков, каким вы меня видите. Когда я один, я перестаю жить, сам по себе я – ничто. Посмотрите-ка, на что я употребил мою жизнь. Я употребил ее на то, чтобы приобрести друзей, которые, как я надеялся, станут моей опорой. Пока я был в силе, все эти счастливые голоса, счастливые, потому что это я доставил им счастье, хором осыпали меня похвалами и изъявлениями своей благодарности. Если меня постигала хоть малейшая неприятность, эти же голоса, но только немного более приглушенные, чем обычно, гармонически сопровождали ропот моей души. Одиночество! Но я никогда не знал, что это значит. Нищета – призрак, лохмотья которого я видел порою в конце моего жизненного пути! Нищета – неотступная тень, с которой многие из моих друзей сжились уже так давно, которую они даже поэтизируют, ласкают и побуждают меня любить! Нищета, но я примиряюсь с ней, подчиняюсь ей, принимаю ее как обделенную наследством сестру, ибо нищета – это все же не одиночество, не изгнание, не тюрьма! Разве я буду когда-нибудь нищим, обладая такими друзьями, как Пелисон, Лафонтен, Мольер, с такою возлюбленною, как... Нет, нет и нет, но одиночество, для меня, человека, рожденного, чтобы жить вкусно, для меня, привыкшего к удовольствиям, для меня, существующего лишь потому, что существуют другие!.. О, если б вы знали, насколько я сейчас одинок и насколько вы кажетесь мне, вы, разлучающий меня со всем тем, к чему я тянулся всем сердцем, насколько вы кажетесь мне воплощением одиночества, небытия, смерти!

– Я уже говорил, господин Фуке, – отвечал тронутый до глубины души д'Артаньян, – что вы преувеличиваете ваши несчастья. Король любит вас.

– Нет, – покачал головой Фуке, – нет, нет!

– Господин Кольбер ненавидит.

– Господин Кольбер? О, это совершенно не важно!

– Он вас разорит.

– Это сделать нетрудно; не стану отрицать, я разорен.

При этом странном признании суперинтенданта финансов д'Артаньян обвел комнату весьма выразительным взглядом. И хотя он не промолвил ни слова, Фуке отлично понял его и добавил:

– Что делать с этим великолепием, когда в тебе самом не осталось и тени великолепия! Знаете ли вы, для чего нам, богатым людям, нужна большая часть наших богатств? Лишь для того, чтобы отвращать нас от всего, что не обладает таким же блеском, каким обладают они.

Во! Вы станете говорить о чудесах Во, не так ли? Но к чему они мне? Что делать мне с этими чудесами? Где же, скажите, если я разорен, та вода, которую я мог бы влить в урны моих наяд, огонь, который я поместил бы внутрь моих саламандр, воздух, чтобы заполнить им грудь тритонов? Чтобы быть достаточно богатым, господин д'Артаньян, надо быть очень богатым.

Д'Артаньян ничего не говорил.

– О, я знаю, очень хорошо знаю, о чем вы думаете, – продолжал Фуке. Если б Во было вашею собственностью, вы продали бы его и купили бы поместье в провинции. В этом поместье у вас были бы леса, огороды и пашни, и оно кормило б своего владельца. Из сорока миллионов вы бы сделали...

– Десять.

– Ни одного, мой дорогой капитан. Нет такого человека во Франции, который был бы в достаточной мере богат, чтобы, купив Во за два миллиона, поддерживать его в том состоянии, в каком оно находится ныне.

– По правде сказать, миллион – это еще не бедность.

– Это весьма близко к бедности. Но вы не понимаете меня, дорогой друг. Я не хочу продавать Во. Если хотите, я подарю его вам.

– Подарите его королю, это будет выгоднее.

– Королю не надо моего подарка. Он и так отберет Во, если оно ему понравится. Вот почему я предпочитаю, чтоб Во погибло. Знаете, господин д'Артаньян, если б король не находился сейчас под моим кровом, я взял бы вот эту свечу, подложил бы два ящика оставшихся у меня ракет и бенгальских огней под купол и обратил бы свой дворец в прах и пепел.

– Во всяком случае, – как бы вскользь заметил мушкетер, – вы но сожгли бы свой дворец в прах и пепел.

– И затем, – продолжал глухо Фуке, – что я сказал, боже мой! Сжечь Во! Уничтожить дворец! Но Во принадлежит вовсе не мне. Все эти богатства, эти бесконечные чудеса принадлежат, как временное владение, тому, кто за них заплатил, это верно, но как нечто непреходящее они принадлежат тем, кто их создал. Во принадлежит Леброну, Ленотру, Во принадлежит Пелисону, Лево, Лафантену; Во принадлежит Мольеру, который поставил в его стенах «Несносных». Во, наконец, принадлежит нашим потомкам.

Вы видите, господин д'Артаньян, у меня больше нет своего дома.

– Вот и хорошо, вот рассуждение, которое мне по-настоящему нравится, и в нем я снова узнаю господина Фуке. Вы больше не похожи на беднягу Бруселя, и я больше не слышу стенаний этого старого участника Фронды. Если вы разорились, примите это с душевной твердостью. Вы тоже, черт возьми, принадлежите потомству и не имеете права себя умять. Посмотрите-ка на меня. От судьбы, распределяющей роли среди комедиантов нашего мира, я получил менее красивую и приятную роль, чем ваша. Вы купались в золоте, вы властвовали, вы наслаждались. Я тянул лямку, я повиновался, я страдал. И все же, как бы ничтожен я ни был по сравнению с вами, монсеньер, я объявляю вам: воспоминание о том, что я сделал, заменяет мне хлыст, не дающий мне слишком рано опускать свою старую голову. Я до конца буду хорошей полковой лошадью и паду сразу, выбрав предварительно, куда мне упасть. Сделайте так же, как я, господин Фуке, и от этого вам будет не хуже. С такими людьми, как вы, это случается один-единственный раз. Все дело в том, чтобы действовать, когда это придет, подобающим образом.

Есть латинская поговорка, которую я часто повторяю себе: «Конец венчает дело».

– Проповедь мушкетера, монсеньер.

Фуке встал, обнял д'Артаньяна и пожал ему руку.

– Вот чудесная проповедь, – сказал, помолчав, Фуке.

– Вы меня любите, раз говорите все это.

– Возможно.

Фуке снова задумался, затем спросил:

– Где может быть господин д'Эрбле?

– Ах, вот вы о чем!

– Я не смею попросить вас отправиться снова на его поиски.

– Даже если б и попросили, я бы не сделал этого. Это было бы в высшей степени неосторожно. Об этом узнали бы, и Арамис, который ни в чем по замешан, был бы скомпрометирован, вследствие чего король распространил бы свою немилость и на него.

– Я подожду до утра.

– Да, это, пожалуй, самое лучшее.

– Что же мы с вами сделаем утром?

– Не знаю, монсеньер.

– Окажите любезность, господин д'Артаньян.

– С удовольствием.

– Вы меня сторожите, я остаюсь. Вы точно исполните приказание, так ведь?

– Конечно.

– Ну так оставайтесь моей тенью. Я предпочитаю эту топь всякой другой.

Д'Артаньян поклонился.

– Но забудьте, что вы господин Д'Артаньян – капитан мушкетеров, а я Фуке – суперинтендант финансов, и поговорим о моем положении.

– Это трудновато, черт подери!

– Правда?

– Но для вас, господин Фуке, я сделаю невозможное.

– Благодарю вас. Что сказал вам король?

– Ничего.

– Как вы со мной разговариваете!

– Черт возьми!

Что вы думаете о моем положении?

– Ваше положение, скажу прямо, нелегкое.

– Чем?

– Тем, что вы находилось у себя дома.

– Сколь бы трудным оно ни было, я прекрасно его понимаю.

– Неужели вы думаете, что с другими я был бы так откровенен?

– И это вы называете откровенностью? Вы были со мной откровенны! Отказываясь мне ответить на сущие пустяки?

– Ну, если угодно, любезен.

– Это другое дело.

– Вот послушайте, монсеньер, как бы я поступил, будь на вашем месте кто-либо иной: я подошел бы к вашим дверям, едва только от вас вышли бы слуги, или, если они еще не ушли, я бы переловил их, как зайцев, тихонечко запер бы их, а сам растянулся бы на ковре в вашей прихожей. Взяв вас под наблюдение без вашего ведома, я сторожил бы вас до утра для своего господина. Таким образом, не было бы ни скандала, ни шума, никакого сопротивления; но вместе с тем не было бы никаких предупреждений господину Фуке, ни сдержанности, ни тех деликатных уступок, которые делаются между вежливыми людьми в решительные моменты их жизни. Правился бы вам такой план?

– О, он меня ужасает!

– Не так ли? Ведь было бы весьма неприятно появиться завтра утром пред вами и потребовать у вас шпагу?

– О, сударь, я бы умер от стыда и от гнева!

– Ваша благодарность выражается слишком красноречиво, я не так уж много сделал, поверьте мне.

– Уверен, сударь, что вы не заставите меня признать правоту ваших слов.

– А теперь, монсеньер, если вы довольны моим поведением, если вы оправились уже от удара, который я постарался смягчить, как мог, предоставим времени лететь возможно быстрее. Вы устали, вам надо подумать, умоляю вас, спите или делайте вид, что спите, – на

вашей постели или в вашей постели. Что до меня, то я буду спать в этом кресле, а когда я сплю, сон у меня такой крепкий, что меня не разбудит и пушка.

Фуке улыбнулся.

– Я исключаю, впрочем, – продолжал мушкетер, – тот случай, когда открывается дверь – потайная и обыкновенная, для входа и для выхода. О, в том случае мой слух необычайно чувствителен! Ходите взад и вперед по комнате, пишите, стирайте написанное, рвите, жгите, но не трогайте дверного замка, не трогайте ручку дверей, так как я внезапно проснусь и это расстроит мне нервы.

– Решительно, господин д'Артаньян, вы самый остроумный и вежливый человек, какого я только знаю, и от нашей встречи у меня останется лишь одно сожаление – что мы с вами познакомились слишком поздно.

Д'Артаньян вздохнул, и этот вздох означал:

«Увы, быть может, вы познакомились со мной слишком рано?»

Затем он уселся в кресло, тогда как Фуке, полулежа у себя на кровати и опершись на руку, размышлял о случившемся. И оба, так и не погасив свечей, стали дожидаться зари, и когда Фуке слишком громко вздыхал, д'Артаньян храпел сильнее, чем прежде.

Никто, даже Арамис, не нарушил их вынужденного покоя; в огромном доме не было слышно ни малейшего шума.

Снаружи, под ногами почетного караула и патрулей мушкетеров, скрипел песок; и это, в свою очередь, способствовало тому, чтобы сон спящих был крепче. Добавим к этим звукам еще шорохи ветра и плеск фонтанов, которые были заняты своей извечной работой, не заботясь о малых делах и ничтожных волнениях, из которых складываются жизнь и смерть человека.

ЧАСТЬ VI

Глава 1. УТРО

Мрачной участи короля, запертого в Бастилии и в отчаянии бросающегося на замки и решетки, старинные летописцы со свойственной им риторикой не преминули бы противопоставить судьбу Филиппа, покоящегося на королевском ложе под балдахином. Отнюдь не считая риторику чем-то неизменно дурным и не принадлежа к числу тех, кто высказывает убеждение, будто она понапрасну рассыпает цветы, желая приукрасить историю, мы тем не менее тщательно сгладим контраст, за что просим прощения у читателя, и нарисуем вторую картину, которая представляется нам весьма интересной и предназначена служить дополнением к первой.

Молодой принц был доставлен из комнаты Арамиса в покои Морфея при помощи того же самого механизма, посредством которого король был удален из них. Арамис нажал какое-то приспособление, купол начал медленно опускаться, и Филипп оказался перед королевской кроватью, которая, оставив своего пленника в глубине подземелий, вновь поднялась на прежнее место.

Наедине с этой роскошью, наедине с могуществом, которым он отныне был облечен, наедине с ролью, взятой им на себя, Филипп впервые ощутил в себе тысячи душевных движений, заставляющих биться королевское сердце.

Но когда он посмотрел на пустую кровать, смятую его братом, смертельная бледность покрыла его лицо. Эта немая сообщница, выполнив свое дело, возвратилась на прежнее место: она стояла, храня на себе следы преступления; она говорила с виновником этого преступления языком откровенным и грубым, которым сообщники не стесняются пользоваться между собой. Она говорила правду.

Наклонившись, чтобы лучше рассмотреть королевское ложе, Филипп заметил платок, еще влажный от холодного пота, струившегося со лба Людовика XIV. Этот пот ужаснул Филиппа, как кровь Авеля ужаснула Каина.

– Вот я наедине с моей судьбой, – сказал он; лицо его было серым, глаза пылали. – Будет ли она более страшной, чем мое заключение? Отданный своим мыслям, буду ли я вечно прислушиваться к угрызням моей совести?.. Ну да, король спал на этой кровати: это его голова смяла подушку, это его слезы смочили платок. И я не смею лечь на эту кровать, не смею коснуться платка, на котором вышит вензель и герб Людовика!.. Нужно решиться, будем подражать господину д'Эрбле, который хочет, чтобы действие было всегда на одну ступень выше мысли; возьмем за образец господина д'Эрбле, который думает лишь о себе самом и слывет порядочным человеком, потому что не сделал зла никому, кроме своих врагов, и не предал никого, кроме них. Эта кровать была бы моей, если бы Людовик Четырнадцатый не отнял ее у меня вследствие преступления нашей матери. Этот платок, на котором вышит герб Франции, тоже был бы моим, и не кто иной, как я сам, пользовался бы им, если бы мне оставили мое место, как сказал господин д'Эрбле, в колыбели королей Франции. Филипп, сын Франции, ложись на свою кровать! Филипп, единственный король Франции, возврати себе отнятый у тебя герб! Филипп, единственный законный наследник Людовика Тринадцатого, отца твоего, будь же безжалостен к узурпатору, который даже в эту минуту не раскаивается в причиненных тебе страданиях!

Произнеся эти слова, Филипп, несмотря на инстинктивное отвращение, несмотря на дрожь и ужас, сковывавшие мышцы его тела и волю, заставил себя улечься на еще теплое после Людовика XIV королевское ложе и прижать к своему лбу его еще влажный платок.

Когда голова его откинулась назад, погружаясь в мягкую пуховую подушку, он увидел над собой корону Французского королевства, поддерживаемую, как мы говорили, золотокрылым ангелом.

Пусть читатель представит себе теперь этого самозванца с мрачным взором и горящим в лихорадке телом. Он напоминает собой тигра, который, проплутав грозовую ночь и пройдя камыши и неведомую ему лошину, останавливается перед покинутой львом пещерой, чтобы расположиться в ней. Его привлек сюда львиный дух, влажные испарения обитаемого жилища. Он обнаруживает в этой пещере подстилку из сухих трав, обглоданные кости. Он заходит, всматривается во тьму, испытующе обшаривая ее своим горящим и зорким взглядом; он отряхивается, и с его тела стекают потоки воды, падают комья ила и грязи. Наконец, он тяжело укладывается на пол, положив широкую морду на огромные лапы; он весь в напряжении, он готов к схватке. Время от времени молния, сверкающая снаружи и вспыхивающая в расщелинах львиной пещеры, шум сталкиваемых ветром ветвей, грохот падающих камней, смутное ощущение грозящей опасности выводят его из дремоты, в которую погружает его усталость.

Можно гордиться тем, что спишь в логове льва, но безрассудно надеяться, что здесь удастся спокойно заснуть.

Филипп прислушивался к каждому звуку; его сердце сжималось, представляя себе всякие ужасы; но, веря в силы своей души, удвоившиеся благодаря решимости, которою он заставил себя проникнуться, он ожидал, не поддаваясь слабости, какого-нибудь решительного момента, чтобы вынести окончательное суждение о себе. Он рассчитывал, что какая-нибудь опасность, грозно вставшая перед ним, будет для него чем-то вроде тех фосфорических вспышек во время бури, которые показывают моряку высоту взбесившихся волн.

Но ничего не случилось. Тишина, этот смертельный враг беспокойных сердец, смертельный враг честолюбцев, в течение всей ночи окутывала своим густым покровом будущего короля Франции, осененного украденной короной.

Под утро человек или, вернее, тень проскользнула в королевскую спальню. Филипп ждал его и не удивился его приходу.

– Ну, господин д'Эрбле? – спросил он.

– Все в порядке, ваше величество, с этим покончено.

- Как?
- Было все, чего мы заранее ожидали.
- Сопротивление?
- Бешеное: стенания, крики.
- Потом?
- Потом оцепенение.
- И наконец?
- Полная победа и ничем не нарушаемое молчание.
- Комендант Бастилии ничего не подозревает?..
- Ничего.
- А сходство?
- Оно – причина успеха.
- Но узник, несомненно, попытается объяснить, кто он такой; будьте готовы к этому.

Ведь это мог бы сделать и я, хотя мне пришлось бы бороться с властью, несравненно более могучей, чем та, которой я теперь обладаю.

– Я уже обо всем позаботился. Через несколько дней, а может быть, и скорее, если понадобится, мы извлечем узника из тюрьмы и отправим его в изгнание, избрав столь отдаленные страны...

– Из изгнания возвращаются, господин д'Эрбле.

– В столь отдаленные страны, как я сказал, что никаких сил человеческих и всей жизни не хватит, чтобы вернуться.

И еще раз глаза молодого короля и глаза Арамиса встретились, и в тех и в других застыло холодное выражение взаимного понимания.

– А господин дю Валлон? – спросил Филипп, желая переменить тему разговора.

– Он сегодня будет представлен вам и конфиденциально принесет свои поздравления с избавлением от опасности, которой вы подвергались по вине узурпатора.

– Но что мы с ним сделаем?

– С господином дю Валлоном?

– Мы пожалуем ему герцогский титул, не так ли?

– Да, герцогский титул, – повторил со странной улыбкою Арамис.

– Но почему вы смеетесь, господин д'Эрбле?

– Меня рассмешила ваша предусмотрительность. Вы опасаетесь, без сомнения, как бы бедный Портос не стал неудобным свидетелем, и хотите отделаться от него.

– Жалую его герцогом?

– Конечно. Ведь вы убьете его. Он умрет от радости, и тайна уйдет вместе с ним.

– Ах, боже мой!

– А я потеряю хорошего друга, – флегматично проговорил Арамис.

И вот в разгар этой шутиливой беседы, которой заговорщики старались прикрыть свою радость и гордость одержанной победой, Арамис услышал нечто, заставившее его встрепенуться.

– Что там? – спросил Филипп.

– Утро, ваше величество.

– Так что же?..

– Вечером, прежде чем улечься в эту постель, вы отложили, вероятно, какое-нибудь распоряжение до утра?

– Я сказал капитану мушкетеров, – живо ответил молодой человек, – что буду ждать его в этот утренний час.

– Раз вы сказали ему об этом, он, несомненно, придет, так как он человек в высшей степени точный.

– Я слышу шаги в передней.

– Это он.

– Итак, начинаем атаку, – решительно произнес молодой король.

– Берегитесь! Начинать атаку, и начинать ее с д'Артаньяна, было бы чистым безумием. Д'Артаньян ничего не знает, д'Артаньян ничего не видел, он за сто лье от того, чтобы подозревать нашу тайну, – но если сегодня он будет первым вошедшим сюда, он почует, что здесь что-то неладно, и решит, что ему необходимо этим заняться. Видите ли, ваше величество, прежде чем впустить сюда д'Артаньяна, нужно хорошенько проветрить комнату или ввести сюда столько людей, чтобы эта лучшая во всем королевстве ищейка была сбита с толку двумя десятками самых различных следов.

– Но как же избавиться от него, когда я сам назначил ему явиться? заметил король, желая поскорее померяться силами с таким страшным противником.

– Я беру это на себя, – сказал ваннский епископ, – и для начала нанесу ему удар такой силы, что он сразу ошеломит его.

В этот момент постучали в дверь. Арамис не ошибся: то был и впрямь д'Артаньян, оповещавший о том, что он прибыл.

Мы видели, что д'Артаньян провел ночь в беседе с Фуке, мы видели, что под конец он притворился спящим, но изображать сон было занятием весьма утомительным, и поэтому, как только рассвет окрасил голубоватым сиянием роскошные лепные карнизы суперинтендантской спальни, д'Артаньян поднялся со своего кресла, поправил шпагу, пригладил рукавом смявшуюся одежду и почистил шляпу, как караульный солдат, готовый предстать перед своим разводящим.

– Вы уходите? – спросил Фуке.

– Да, монсеньер; а вы?..

– Я остаюсь.

– Вы даете слово?

– Конечно.

– Отлично. К тому же я отлучусь совсем не надолго, лишь затем, чтобы узнать об ответе, вы понимаете, что я имею в виду.

– О приговоре, вы хотите сказать.

– Послушайте, во мне есть что-то от древних римлян. Утром, вставая с кресла, я заметил, что шпага у меня не вдета, как ей положено, в портупею и что перевязь совсем сбилась. Это безошибочная примета.

– Чего? Удачи?

– Да, представьте себе. Всякий раз, как эта проклятая буйволовая кожа прилипала к моей спине, меня ожидало взыскание со стороны де Тревиля или отказ кардинала Мазарини в просьбе о деньгах. Всякий раз, когда шпага путалась в портупее, это значило, что мне дадут какое-нибудь неприятное поручение, что, впрочем, случалось со мною всю мою жизнь. Всякий раз, как она била меня по икрам, я обязательно бывал легко ранен. Всякий раз, как она ни с того ни с сего выскакивала сама по себе из пожен, я оставался на поле сражения – как это было с полной достоверностью установлено мною – и валялся потом два-три месяца, терзаемый хирургами и облепленный компрессами.

– А я и не знал, что вы – обладатель столь замечательной шпаги, сказал, едва улыбнувшись, Фуке; впрочем, и для такой улыбки ему потребовалось сделать над собой усилие.

– Моя шпага, – продолжал д'Артаньян, – в сущности говоря, такая же часть моего тела, как и все остальные. Я слышал о том, что иным говорит о будущем их нога, другим – биение крови в висках. Мне вещает моя верная шпага. Так вот оно что! Она только что изволила опуститься на последнюю петлю портупеи. Знаете ли вы, что это значит?

– Нет.

– Так вот, этим предсказывается, что сегодня мне придется кого-то арестовать!

– А! – произнес суперинтендант, скорее удивленный, чем испуганный подобной искренностью. – Раз ваша шпага не предсказала вам ничего печального, выходит, что арестовать меня отнюдь не является для вас печальной необходимостью?

– Арестовать вас? Вы говорите, арестовать вас?

– Конечно. Ваша примета...

– Она ни в коей мере не касается вас, поскольку вы арестованы еще со вчерашнего вечера. Нет, не вас предстоит мне сегодня арестовать. Вот поэтому-то я и радуюсь и говорю, что меня ожидает счастливый день.

С этими словами, произнесенными самым ласковым тоном, капитан покинул Фуке, чтобы отправиться к королю.

Он успел уже переступить порог комнаты, когда Фуке обратился к нему:

– Докажите мне еще раз ваше расположение.

– Пожалуйста, монсеньер.

– Господина д'Эрбле! Дайте мне повидать господина д'Эрбле!

– Хорошо, я сделаю все, чтобы доставить его сюда.

У д'Артаньяна и в мыслях, разумеется, не было, что ему с такой легкостью удастся выполнить свое обещание. И вообще было предназначено самою судьбой, чтобы в этот день сбылись все предсказания, сделанные им утром.

Как мы уже отметили несколько выше, он подошел к дверям королевской спальни и постучал. Дверь отворилась. Капитан имел основание думать, что сам король открывает ему. Это предположение было вполне допустимым, принимая во внимание то возбуждение, в котором накануне он оставил Людовика XIV. Но вместо короля, которого он собирался приветствовать со всей подобающей почтительностью, д'Артаньян увидел перед собой худое бесстрастное лицо Арамиса. Он был до того поражен этой неожиданностью, что чуть не вскрикнул.

– Арамис! – проговорил он.

– Здравствуйте, дорогой д'Артаньян, – холодно ответил прелат.

– Вы здесь... – пробормотал мушкетер.

– Король просит объявить, что после столь утомительной ночи он еще отдыхает, – Ах, – произнес д'Артаньян, который не мог попятить, каким образом ваннский епископ, еще накануне столь мало взысканный королевской милостью, всего за шесть часов вырос, как исполинский гриб, самый большой среди тех, которые подымались когда-либо по воле фортуны в тени королевского ложа.

В самом деле, чтобы быть посредником между Людовиком XIV и его приближенными, чтобы приказывать его именем, находясь в двух шагах от него, надо было стать чем-то большим, чем был, даже в свои лучшие времена, Ришелье для Людовика XIII.

– Кроме того, – продолжал епископ, – будьте любезны, господин капитан мушкетеров, допустить лиц, имеющих право на это, только к позднему утреннему приему. Его величеству желательно почивать.

– Но, господин епископ, – возразил д'Артаньян, готовый взбунтоваться и высказать подозрения, внушенные ему молчанием короля, – его величество велел мне явиться к нему на прием пораньше с утра.

– Отложим, отложим, – раздался из глубины алькова голос Людовика, голос, заставивший мушкетера вздрогнуть и замолчать.

Он поклонился, пораженный, ошеломленный и окончательно лишившийся дара соображения от улыбки, которой раздавил его Арамис вслед за словами, произнесенными королем.

– А чтоб ответить вам на вопрос, за разрешением которого вы прибыли к королю, дорогой д'Артаньян, – добавил ваннский епископ, – вот вам приказ, с которым вам немедленно следует ознакомиться. Это приказ, касающийся господина Фуке.

Д'Артаньян взял приказ, протянутый ему Арамисом.

– Отпустить на свободу! – пробормотал он. – Так вот оно что! – И он повторил свое «так вот оно что» на этот раз более понимающим тоном.

Этот приказ объяснял ему, почему он застал Арамиса у короля, видимо, Арамис в большой милости, поскольку ему удалось добиться освобождения из-под ареста Фуке; эта же королевская милость разъясняла и невероятную самоуверенность, с которой д'Эрбле отдавал

приказания именем короля. Д'Артаньяну достаточно было понять хоть что-нибудь, чтобы понять все до конца. Он откланялся и сделал два шага по направлению к выходу.

– Я иду с вами, – остановил его епископ.

– Куда?

– К господину Фуке; я хочу быть свидетелем его радости.

– Ах, Арамис, до чего же вы меня только что удивили!

– Но теперь-то вы понимаете?

– Еще, бы! Понимаю ли я? – вслух сказал д'Артаньян и тотчас же процедил сквозь зубы для себя самого. – Черт возьми, нет, ничего я не понимаю. Но это не важно, приказ есть приказ.

И он любезно добавил:

– Проходите, монсеньер, проходите.

Д'Артаньян повел Арамиса к Фуке.

Глава 2. ДРУГ КОРОЛЯ

Фуке с нетерпением поджидал д'Артаньяна. За время его отсутствия он успел отослать явившихся к нему слуг и отказался принять кое-кого из друзей, пришедших к нему несколько раньше обычного часа. У всякого, кто бы ни подходил к его двери, он спрашивал, умалчивая о нависшей над его головой опасности, лишь об одном» не знают ли они, где сейчас Арамис. Когда он увидел наконец д'Артаньяна и идущего следом за ним прелата, радость его была беспредельна – она сравнялась с мучавшим его беспокойством. Встретиться с Арамисом было для суперинтенданта своего рода возмещением за несчастье быть арестованным.

Прелат был молчалив и серьезен; д'Артаньян был сбит с толку этим немислимым нагромождением невероятных событий.

– Итак, капитан, вы доставляете мне удовольствие видеть господина д'Эрбле?

– И еще нечто лучшее, монсеньер.

– Что же?

– Свободу.

– Я свободен?

– Да, вы свободны. Таков приказ короля.

Фуке взял себя в руки, чтобы, посмотрев в глаза Арамису, постараться понять его безмолвный ответ.

– Да, да – и вы можете принести благодарность за это господину ваннскому епископу, ибо ему, и только ему, вы обязаны переменной в решении короля.

– О! – воскликнул Фуке, скорее униженный этой услугой со стороны Арамиса, чем признательный за благоприятный исход своего дела.

– Монсеньер, – продолжал д'Артаньян, обращаясь к Арамису, – оказывая столь мощное покровительство господину Фуке, неужели вы ничего не сделаете и для меня?

– Все, что захотите, друг мой, – бесстрастно ответил епископ.

– Я хочу спросить вас об одной-единственной вещи и сочту себя полностью удовлетворенным вашим ответом. Каким образом сделались вы фаворитом его величества? Ведь вы виделись с королем не больше двух раз?

– От такого друга, как вы, ничего не скрывают, – с тонкой усмешкой проговорил Арамис.

– Если так, поделитесь с нами вашим секретом.

– Вы исходите из того, что я виделся с королем не больше двух раз, тогда как в действительности я видел его сотню раз, если не больше.

Только мы умалчивали об этом, вот и все.

И, несколько не заботясь о том, что от этого признания д'Артаньян стал пунцовым, Арамис повернулся к Фуке, не менее, чем мушкетер, пораженному словами прелата.

– Монсеньер, – сказал он, – король просил меня известить вас о том, что он ваш друг больше, чем когда-либо прежде, и что ваше прекрасное празднество, которое вы с такою щедростью устроили для него, тронуло его сердце.

Произнеся эту фразу, он так церемонно поклонился Фуке, что тот, неспособный разобраться в тончайшей дипломатической игре, проводимой епископом, замер на своем месте – безмолвный, оцепеневший, лишившийся дара соображения.

Д'Артаньян понял, что этим людям необходимо о чем-то поговорить с глазу на глаз, и собрался было уйти, подчиняясь требованиям учтивости, которая в таких случаях гонит человека к дверям, но его жгучее любопытство, подстрекаемое к тому же таким множеством тайн, посоветовало ему остаться.

Однако Арамис, повернувшись к нему, ласково произнес:

– Друг мой, ведь вы не забыли, не так ли, о распоряжении короля, отменяющем на сегодняшнее утро малый прием?

Эти слова были достаточно ясными. Мушкетер понял, чего от него хотят; он поклонился Фуке, затем, с оттенком иронического почтения, отвесил поклон Арамису и вышел.

Фуке, сгоравший от нетерпения в ожидании, когда же наступит этот момент, бросился к двери, запер ее и, возвратившись к Арамису, заговорил:

– Дорогой д'Эрбле, пришло, как кажется, время, когда я вправе рассчитывать, что услышу от вас объяснения по поводу происходящего. Говоря по правде, я ничего больше не понимаю.

– Сейчас все разъяснится, – сказал Арамис, усаживаясь и усаживая Фуке. – С чего начинать?

– Вот с чего: прежде всего, почему король выпустил меня на свободу?

– Вам подобало бы скорее спросить, почему он велел взять вас под арест.

– Со времени ареста у меня было довольно времени, чтобы подумать об этом, и я пришел к выводу, что тут все дело в зависти. Мое празднество раздосадовало Кольбера, и он нашел кое-какие обвинения против меня, например, Бель-Иль?

– Нет, о Бель-Иле пока никаких разговоров не было.

– Тогда в чем же дело?

– Помните ли вы о расписках на тринадцать миллионов, которые были украдены у вас по распоряжению Мазарини?

– Да, конечно. Но что из этого?

– То, что вас объявили вором.

– Боже мой!

– Но это не все. Помните ли вы о письме, написанном вами мадемуазель Лавальер?

– Увы! Помню.

– Так вот: вас объявили предателем и соблазнителем.

– Но почему же в таком случае меня все же простили?

– Мы еще не дошли до сути. Мне хочется, чтобы вы поняли хорошенько существо дела. Заметьте себе следующее: король считает вас казнокрадом.

О, мне отлично известно, что вы ничего не украли, но ведь король не видел расписок, и он не может не считать вас преступником – Простите, но я не вижу...

– Сейчас увидите. Король, прочитав к тому же ваше любовное послание к Лавальер и ознакомившись с предложениями, которые вы ей в нем сделали, не имеет ни малейшего основания испытывать какие-либо сомнения относительно ваших намерений насчет этой прелестницы, разве не так?

– Разумеется. Но ваш вывод?

– Я подхожу к его изложению. Король – ваш смертельный враг, неумолимый враг, враг навсегда.

– Согласен. Но разве я настолько могуществен, что он не решился, несмотря на всю свою ненависть, погубить меня любым из тех способов, которыми он может с удобством воспользоваться, поскольку проявленная мной слабость и свалившееся на меня несчастье

дают ему право на них?

– Итак, мы с вами установили, – холодно продолжал Арамис, – что король никогда не помирится с вами.

– Но ведь он прощает меня.

– Неужели вы верите в это? – спросил епископ, меряя Фуке испытующим взглядом.

– Не веря в искренность его сердца, я не могу не верить самому факту.

Арамис едва заметно пожал плечами.

– Но почему же Людовик Четырнадцатый поручил вам известить меня о своем благоволении и благодарности? – удивился Фуке.

– Король не давал мне никаких поручений к вам.

– Никаких поручений... Но этот приказ? – сказал пораженный Фуке.

– Приказ? Да, да, вы правы, такой приказ существует.

Эти слова были произнесены таким странным тоном, что Фуке вздрогнул.

– Вы что-то скрываете от меня, я это вижу, – заметил суперинтендант финансов.

Арамис погладил подбородок своими холеными, поразительно белыми пальцами.

– Король посылает меня в изгнание? Говорите же!

– Не уподобляйтесь детишкам, разыскивающим в известной игре спрятанные предметы по колокольчику, который звенит или смолкает, когда они приближаются к этим предметам или, напротив, отходят от них.

– В таком случае говорите!

– Догадайтесь!

– Вы вселяете в меня страх.

– Ба! Это значит, что вы все еще не догадываетесь.

– Что же сказал король? Во имя нашей дружбы прошу вас ничего не утаивать от меня.

– Король ничего не сказал.

– Я умру от нетерпения, д'Эрбле. Вы убьете меня. Я все еще суперинтендант Франции?

– Да, и будете им, пока захотите.

– Но какую необыкновенную власть приобрели вы над волей его величества? Вы заставляете его исполнять ваши желания!

– Как будто.

– Но этому трудно поверить.

– Таково будет общее мнение.

– Д'Эрбле, во имя нашей близости, нашей дружбы, во имя всего, что для вас самое дорогое, скажите же мне, умоляю вас! Каким образом вам удалось войти в такое доверие к Людовику Четырнадцатому? Ведь он не любил вас, я знаю.

– Но теперь он будет любить меня, – проговорил Арамис, нажимая на слово «теперь».

– Между вами произошло нечто особенное?

– Да.

– Может быть, у вас тайна?

– Да, тайна.

– Тайна, которая может повлиять на привязанности его величества?

– Вы умнейший человек, монсеньер. Вы угадали. Я действительно открыл тайну, способную повлиять на привязанности короля Франции.

– А! – сказал Фуке, подчеркивая своею сдержанностью, что, как воспитанный человек, он не хочет расспрашивать.

– И вы сами будете судить, – продолжал Арамис, – вы сами скажете мне, ошибаюсь ли я относительно важности этой тайны.

– Я слушаю, раз вы настолько добры, что хотите открыться мне. Только заметьте, друг мой, я не вызывал вас на нескромность.

Арамис задумался на мгновение.

– Не говорите! – воскликнул Фуке. – Еще не поздно!

– Вы помните, – начал епископ, опуская глаза, – обстоятельства рождения Людовика

Четырнадцатого?

– Как сегодня.

– Вы ничего особенного не слышали об этом рождении?

– Ничего, кроме того, что король не сын Людовика Тринадцатого.

– Это не существенно ни для нас, ни для Французского королевства.

Всякий, у кого есть законный отец, является сыном своего отца, гласит французский закон.

– Это верно. Но это все же существенно в вопросе о чистоте крови.

– Второстепенный вопрос. Значит, вы ничего особенного не слышали?

– Ничего.

– Вот тут-то и начинается моя тайна.

– А!

– Вместо того чтобы родить одного, королева родила двух сыновей.

Фуке поднял голову.

– И второй умер? – спросил он.

– Сейчас узнаете. Этим близнецам подобало бы стать гордостью матери и надеждой Франции. Но слабость короля и его суеверия внушили ему опасение, как бы между его сыновьями, имеющими равные права на престол, не возникла распря, и от одного из них он избавился.

– Вы говорите, избавился?

– Подождите... Оба брата выросли: один на троне, и вы министр его; другой во мраке и одиночестве...

– И этот?..

– Мой друг.

– Боже мой! Что я слышу? Что же делает этот обездоленный принц?

– Лучше спросите меня, что он делал.

– Да, да.

– Он был воспитан в деревне; потом его заключили в крепость, которая зовется Бастилией.

– Возможно ли! – воскликнул суперинтендант, сложив руки.

– Один – счастливейший из смертных, второй – несчастнейший из несчастных.

– А мать его не знает об этом?

– Анна Австрийская знает решительно все.

– А король?

– Король ничего не знает.

– Тем лучше, – кивнул Фуке.

Это восклицание, казалось, произвело сильное впечатление на Арамиса.

Он посмотрел с беспокойством на своего собеседника.

– Простите, я вас перебил, – сказал Фуке.

– Итак, я говорил, – продолжал Арамис, – что бедный принц был несчастнейшим из людей, когда бог, пекущийся о всех своих чадах, решил оказать ему помощь.

– Но как же?

– Сейчас вы увидите... Царствующий король... Я говорю «царствующий»; вы догадываетесь, надеюсь, почему я так говорю?

– Нет... Почему?

– Потому что обоим по праву рождения подобало быть королями. Вы придерживаетесь такого же мнения?

– Да.

– Решительно?

– Решительно. Близнецы – это един в двух лицах.

– Мне приятно, что такой опытный и знающий законник, как вы, дает разъяснение этого рода. Значит, для нас установлено, что оба близнеца имели одинаковые права?

– Установлено... Но боже мой, «что за загадки!

– Бог пожелал послать тому, кто унижен, мстителя или, если хотите, поддержку. И случилось, что царствующий король, узурпатор... Вы согласны со мной, не так ли, что спокойное и эгоистичное пользование наследством, на которое в лучшем случае имеешь половинное право, – называется узурпацией?

– Да, узурпация. Ваше определение вполне точно.

– Итак, я продолжаю. Бог пожелал, чтобы у узурпатора был первым министром человек с большим талантом и великим сердцем и, сверх того, с великим умом.

– Это хорошо, хорошо! Я понимаю: вы рассчитывали на меня, чтобы помочь вам исправить зло, причиненное несчастному брату Людовика Четырнадцатого. Ваш расчет был правилен, я помогу. Благодарю вас, д'Эрбле, благодарю!

– Нет, совсем не то. Вы мне не даете закончить, – бесстрастно сказал Арамис»

– Я молчу, – Царствующий король возненавидел господина Фуке, своего первого министра, и ненависть эта, подогретая интригой и клеветой, к которой прислушивался монарх, стала угрожать состоянию, свободе и, может быть, даже жизни господина Фуке. Но бог послал господину Фуке, опять же для спасения принесенного в жертву принца, верного друга, который знал государственную тайну и чувствовал себя в силах раскрыть эту тайну после того, как имел силу хранить ее двадцать лет в своем сердце.

– Не продолжайте, – вскричал Фуке, охваченный благородными мыслями, я понимаю вас, и я все угадываю. Вы пошли к королю, когда до вас дошла весть о моем аресте; вы просили его обо мне, но он не захотел вас выслушать; тогда вы пригрозили ему раскрытием тайны, и Людовик Четырнадцатый у ужаса согласился на то, в чем прежде отказывал вам. Я понимаю, понимаю! Вы держите короля в руках. Я понимаю!

– Ничего вы не понимаете, – отвечал Арамис, – и вы снова прервали меня, друг мой. И затем, позвольте мне указать вам на то, что вы пренебрегаете логикой, а кое-что и недостаточно хорошо помните.

– Как так?

– Помните ли вы, на что я настойчиво упирал в начале нашего разговора?

– Да, на ненависть ко мне его величества короля, на неодолимую ненависть. Но какая ненависть устоит перед угрозой подобного разоблачения?

– Подобного разоблачения! Вот тут-то вам и недостает логики. Как! Неужели вы допускаете, что, раскрыв королю подобную тайну, я все еще был бы жив?

– Но вы были у короля не более как десять минут назад.

– Пусть так! Пусть он не успел бы распорядиться убить меня, по у него хватило бы времени приказать заткнуть мне глотку и бросить навеки в тюрьму. Рассуждайте же здраво, черт возьми!

И по этим мушкетерским словам, по этой несдержанности человека, который никогда не позволял себе забываться, Фуке понял, до какого возбуждения дошел спокойный и непроницаемый ваннский епископ. И, поняв, он содрогнулся.

– И затем, разве я был бы тем, чем являюсь, – продолжал, овладев собой, Арамис, – разве я был бы истинным другом, если бы, зная, что король и без того ненавидит вас, вызвал бы в нем еще более лютую ненависть к вам? Обворовать его – это ничто; ухаживать за его любовницей – очень немного; но держать в своей власти его корону и его честь! Да он скорее вырвал бы собственной рукой сердце из вашей груди!

– Значит, вы не показали ему, что знаете эту тайну?

– О, я предпочел бы проглотить сразу все яды, которыми в течение двадцати лет закалял себя Митридат, чтобы избежать смерти от отравления.

– Что же вы сделали?

– Вот мы и дошли до сути. Полагаю, что мне удастся пробудить в вас кое-какой интерес к моему сообщению. Ведь вы слушаете меня, не так ли?

– Еще бы! Продолжайте!

Арамис прошелся по комнате и, убедившись, что они одни и что кругом все спокойно и

тихо, возвратился к Фуке, который, сидя в кресле, с нетерпением ожидал обещанных ваннским епископом откровений.

– Я забыл упомянуть, – продолжал Арамис, – о замечательной особенности, свойственной этим братьям: бог создал их до того похожими, что только он и сумел бы отличить одного от другого, если б они предстали пред ним на Страшном суде. Их собственная мать, и та не сделала бы этого.

– Что вы! – воскликнул Фуке.

– То же благородство в чертах лица, та же походка, тот же рост, тот же голос.

– Но мысли? Но ум? Но знание жизни?

– О, в этом они не равны, монсеньер, ибо бастильский узник несравненно выше своего брата, и, если бы этот страдалец вступил на трон Франции, она узнала бы государя, который превзошел бы мудростью и благородством всех, правивших ею до этого времени.

Фуке на мгновение уронил на руки голову, отягощенную столь великой тайной. Подойдя вплотную к нему, Арамис произнес:

– Между этими близнецами есть еще одно существенное различие; различие, касающееся в первую очередь вас, монсеньер: второй не знает Кольбера.

Фуке вскочил на ноги, бледный и взволнованный. Удар, нанесенный прелатом, поразил не столько его сердце, сколько ум.

– Понимаю вас, – сказал он Арамису, – вы предлагаете заговор.

– Приблизительно.

– Попытку из числа тех, что меняют судьбы народов?

– И суперинтендантов. Вы правы.

– Короче говоря, вы предлагаете заменить сына Людовика Тринадцатого, того самого, который в это мгновение спит в покоях Морфея, тем сыном Людовика Тринадцатого, который томится в тюрьме?

Арамис усмехнулся, и отблеск зловещих мыслей мелькнул на его лице.

– Допустим.

– Но вы не подумали, – произнес после тягостного молчания Фуке, – вы не подумали, что такой политический акт потрясет до основания все королевство?

Арамис ничего не ответил.

– Подумайте, – продолжал, горячась все больше и больше, Фуке, – ведь нам придется собрать дворянство, духовенство, третье сословие; низложить короля, покрыть страшным позором могилу Людовика Тринадцатого, погубить жизнь и честь женщины, Анны Австрийской, погубить жизнь и покой другой женщины, Марии-Терезии, и, покончив со всем перечисленным, если только мы сможем с этим покончить...

– Не понимаю вас, – холодно молвил Арамис. – Во всем только что вами высказанном нет ни одного слова, из которого можно было бы извлечь хоть крупицу пользы.

– Как! – вскричал пораженный словами прелата Фуке. – Такой человек, как вы, не желает подумать о практической стороне этого дела? Вы довольствуетесь ребяческой радостью, порождаемой в вас политической иллюзией, и пренебрегаете важнейшими условиями осуществления вашего замысла, то есть действительностью? Возможно ли это?

– Друг мой, – сказал Арамис, обращаясь к Фуке со снисходительной фамильярностью в тоне, – позвольте спросить вас, как поступает бог, когда желает заменить одного короля другим?

– Бог! – воскликнул Фуке. – Бог отдает исполнителю своей воли соответствующее распоряжение, и тот хватается осужденного ею, убирает его и сажает на опустевший троп триумфатора. Но вы забываете, что этот исполнитель воли господней зовется смертью. Боже мой, господин д'Эрбле, неужели у вас было намерение?..

– Не в этом дело. Вы заходите в ваших предположениях дальше поставленной мною цели. Кто говорит о смерти Людовика Четырнадцатого? Кто говорит о том, чтобы подражать богу в его деяниях? Нет. Я хотел сказать лишь о том, что бог совершает дела этого рода без всякого потрясения для государства, без шума и без особых усилий и что люди,

вдохновленные им, успевают, подобно ему, во всем, за что бы они ни брались, какие бы попытки ни совершали, что бы ни делали.

– Что вы хотите сказать?

– Я хотел сказать, друг мой, – продолжал Арамис тем же тоном снисходительной фамильярности, – я хотел сказать только следующее: докажите, что при подмене короля узником королевство и впрямь пережило хоть какое-нибудь потрясение, и впрямь имел место шум, и впрямь потребовались исключительные усилия.

– Что! – вскричал Фуке, ставший блее платка, которым он вытирал себе лоб. – Вы говорите...

– Подите в королевскую спальню, – произнес с прежним спокойствием Арамис, – и даже вы, знающий теперь тайну, не заметите, уверяю вас, что королевское ложе занимает бастильский узник, а не его царственный брат.

– Но король! – пробормотал Фуке, охваченный ужасом при этом известии.

– Какого короля имеете вы в виду? – спросил Арамис так спокойно и вкрадчиво, как только умел. – Того, который ненавидит вас всей душой, или того, который благожелательно относится к вам?

– Того... который еще вчера?..

– Который еще вчера был королем? Успокойтесь, – он занял место в Бастилии, которое слишком долго было занято его жертвой.

– Боже правый! Кто же доставил его в Бастилию?

– Я.

– Вы?

– Да, и с поразительной легкостью. Я похитил его минувшей ночью, и пока он спускался во мрак, соперник его поднимался к свету. Не думаю, чтобы это вызвало какой-нибудь шум. Молния, которая не сопровождается громом, никогда никого не будит.

Фуке глухо вскрикнул, как если бы был поражен незримым ударом. Судорожно схватившись за голову, он прошептал;

– И вы это сделали?

– Достаточно ловко. Что вы думаете об этом?

– Вы свергли короля? Вы заключили его в тюрьму?

– Да, все это сделано мной.

– И это свершилось здесь, в Во?

– Да, здесь, в Во, в покоях Морфея. Не кажется ли вам, что их построили в предвидении подобного дела?

– И это произошло?

– Этой ночью.

– Этой ночью?

– Между двенадцатью и часом пополуночи.

Фуке сделал движение, словно собирался броситься на Арамиса, но удержался и только произнес:

– В Во! У меня в доме!

– Очевидно, что так. И теперь, когда Кольбер не сможет ограбить вас, этот дом – ваш, как никогда прежде.

– Значит, это преступление совершено в моем доме?

– Преступление? – проговорил пораженный прелат.

– Это – потрясающее, ужасное преступление! – продолжал Фуке, возбуждаясь все больше и больше. – Преступление худшее, чем убийство! Преступление, опозорившее мое имя навеки, обрекающее меня внушать ужас потомству!

– Вы, сударь, бредите, – сказал неуверенным голосом Арамис, – не следует говорить так громко: тише!

– Я буду кричать так громко, что меня услышит весь мир.

Фуке повернулся к прелату и взглянул ему прямо в глаза.

– Да, – повторил он, – вы меня обесчестили, совершив это предательство, это злодеяние над моим гостем, над тем, кто спокойно спал под моим кровом. О, горе мне!

– Горе тому, кто под вашим кровом готовил вам разорение, готовил вам гибель! Вы забыли об этом?

– Он был моим гостем, он был моим королем!

Арамис встал с перекошенным ртом и налившимися кровью глазами:

– Неужели я имею дело с безумцем?

– Вы имеете дело с порядочным человеком.

– Сумасшедший!

– С человеком, который помешает вам довести вам преступление до конца. С человеком, который скорее предпочтет умереть, предпочтет убить вас своею рукой, чем позволит обесчестить себя.

И Фуке, схватив шпагу, которую д'Артаньян успел возвратить ему и которая лежала у изголовья кровати, решительно обнажил блестящую сталь.

Арамис нахмурил брови и сунул руку за пазуху, как если бы собирался извлечь оттуда оружие. Это движение не ускользнуло от взгляда Фуке. Тогда, благородный и прекрасный в своем великодушном порыве, он отбросил от себя шпагу, откатившуюся к кровати, и, подойдя к Арамису, коснулся его плеча своей безоружной рукой.

– Сударь, – сказал он, – мне было бы сладостно умереть, не сходя с этого места, дабы не видеть моего позора, и если у вас сохранилась хоть капля дружбы ко мне, убейте меня.

Арамис замер в безмолвии и неподвижности.

– Вы не отвечаете мне?

Арамис слегка поднял голову, и надежда снова блеснула в его глазах.

– Подумайте, монсеньер, – заговорил он, – обо всем, что ожидает нас.

Восстановлена справедливость, король еще жив, и его заключение спасает вам жизнь.

– Да, – ответил Фуке, – вы могли действовать в моих интересах, но я не принимаю вашей услуги. При всем этом я не желаю губить вас. Вы свободно выйдете из этого дома.

Арамис подавил возмущение, рвавшееся из его разбитого сердца.

– Я гостеприимный хозяин для всех, – продолжал Фуке с непередаваемым величием, – вы не будете принесены в жертву, так же как и тот, чью гибель вы замыслили.

– Это вы, вы будете принесены в жертву, вы! – произнес Арамис глухим голосом.

– Принимаю ваше предсказание как пророчество, господин д'Эрбле, но ничто не остановит меня. Вы покинете Во, вы покинете Францию; даю вам четыре часа, чтобы вы могли укрыться в надежном месте.

– Четыре часа! – недоверчиво и насмешливо пробормотал Арамис.

– Даю вам честное слово Фуке! Никто не станет преследовать вас в течение этого времени. Таким образом, вы опередите на четыре часа погоню, которую король не замедлит выслать за вами.

– Четыре часа! – гневно повторил Арамис.

– Этого более чем достаточно, чтобы сесть в лодку и достигнуть Бель-Иля» который я предоставляю вам как убежище.

– А... – бросил Арамис.

– На Бель-Иле вы будете моим гостем, и ваша особа будет для меня столь же священна, как особа его величества, пока он находится в Во.

Отправляйтесь, д'Эрбле, уезжайте – и, пока я жив, ни один волос не упадет с головы вашей.

– Спасибо, – сказал Арамис с мрачной иронией.

– Итак, торопитесь; пожмите мне руку, и помчимся, вы – спасти вашу жизнь, я – спасти мою честь.

Арамис вынул из-за пазухи руку; она была окровавлена: он ногтями разодрал себе грудь, как бы наказывая ее за то, что в ней зародилось столько бесплодных мечтаний, еще более суетных, безумных и быстротечных, чем жизнь человеческая. Фуке ужаснулся; он проникся

жалостью к Арамису и с раскрытыми объятиями подошел к нему.

– У меня нет с собой оружия, – пробормотал Арамис, неприступный и страшный, как тень Дидоны.

Затем, так и не прикоснувшись к руке, протянутой ему суперинтендантом, он отвернулся и отступил на два шага назад. Его последним словом было проклятие, его последним жестом был жест, которым сопровождают провозглашаемую с церковного амвона анафему и который он начертал в воздухе окровавленной рукой, забрызгав при этом своей кровью лицо Фуке.

И оба устремились на потайную лестницу, которая вывела их во внутренний двор.

Фуке велел закладывать лошадей, самых лучших, какие у него были. Арамис остановился у основания лестницы, по которой нужно было подняться, чтобы попасть к Портосу. Здесь он простоял довольно долгое время, предаваясь раздумьям, и пока он мучительно размышлял над создавшимся положением, успели заложить карету Фуке. Промчавшись по главному двору замка, она неслась уже по дороге в Париж.

«Уезжать одному?.. – говорил сам себе Арамис. – Предупредить о случившемся принца?.. Проклятие!.. Предупредить принца, но что же дальше?..

Взять принца с собой?.. Повсюду таскать за собою это обвинение во плоти и крови?.. Или война?.. Беспощадная гражданская война?.. Но для войны нет ни сил, ни средств!.. Немыслимо! Но что же он станет без меня делать? Без меня он падет, падет так же, как я!.. Кто знает?.. Так пусть же исполнится предначертанное ему!.. Он был обречен, пусть останется обреченным и впредь!.. О, боже! Погиб! Да, да, я погиб!.. Что же делать?..

Бежать на Бель-Иль!.. Да!.. Но Портос останется тут, и начнет говорить, и будет всем обо всем рассказывать!.. И к тому же, может быть, пострадает!.. Я не могу допустить, чтобы Портос пострадал. Он – часть меня; его страданье – мое страданье. Портос отправится вместе со мной, Портос разделит мою судьбу. Да, да, так нужно».

И Арамис, опасаясь встретиться с кем-нибудь, в ком его торопливость могла породить подозрения, осторожно, никем не замеченный, поднялся по ступеням лестницы.

Портос, только что возвратившийся из Парижа, спал уже сном человека с чистой совестью. Его громадное тело так же быстро забывало усталость, как ум его – мысль.

Арамис вошел, легкий как тень. Подойдя к Портосу, он положил руку на плечо великана.

– Проснитесь, Портос, проснитесь! – крикнул он.

Портос повиновался, встал, открыл глаза, но разум его еще спал.

– Мы уезжаем, – сказал Арамис.

– А! – произнес Портос.

– Мы едем верхом, и поскачем так, как никогда еще не скакали.

– А! – повторил Портос»

– Одевайтесь, друг мой.

Помогая великану одеться, он положил ему в карман его золото и брильянты. И в то время как он проделывал это, его внимание было привлечено легким шумом. В дверях стоял д'Артаньян.

Арамис вздрогнул.

– Какого черта вы так суетитесь? – удивился мушкетер.

– Шш! – прошептал Портос.

– Мы едем по важному поручению, – добавил епископ.

– Везет же вам! – усмехнулся мушкетер.

– Нет, я устал, – ответил Портос, – и предпочел бы поспать; но королевская служба, ничего не поделаешь!

– Вы видели господина Фуке? – спросил Арамис д'Артаньяна.

– Да, в карете, сию минуту.

– И что же он вам сказал?

– Он простился со мной.

– И это все?

– Что же иное ему оставалось сказать? Разве теперь, когда все вы в милости, я

что-нибудь значу?

– Послушайте, – сказал Арамис, заключая в объятия мушкетера, – для вас вернулись хорошие времена; вам некому больше завидовать.

– Что вы!

– Я предсказываю, что сегодня произойдет нечто такое, после чего ваше положение значительно укрепитя.

– В самом деле?

– Разве вам не известно, что я осведомлен обо всех новостях?

– Ода!

– Вы готовы, Портос? Едем!

– Едем!

– И поцелуем д'Артаньяна»

– Еще бы!

– Готовы ли лошади?

– Здесь их более чем достаточно. Хотите моих?

– Нет, у Портоса своя конюшня. Прощайте, прощайте!

Беглецы сели в седла на глазах у капитана мушкетеров, который поддержал стремя Портосу. Он провожал взглядом своих удаляющихся друзей, пока они не скрылись из виду.

«Во всяком другом случае, – подумал гасконец, – я сказал бы, что эти люди бегут, но ныне политическая жизнь так изменилась, что это называется – ехать по важному поручению. А мне-то в конце концов что за дело до этого? Пойду займусь своими делами».

И он с философским спокойствием отправился к себе в комнату.

Глава 3. КАК В БАСТИЛИИ ИСПОЛНЯЛИСЬ ПРИКАЗЫ

Фуке летел с неслыханной быстротой. По дороге он содрогался от ужаса, возвращаясь все снова и снова к мысли о только что ставшем известным ему.

«Какими же были, – думал он, – эти необыкновенные люди в молодости, раз даже теперь, сделавшись, в сущности, стариками, умеют они создавать подобные планы и выполняют их, не моргнув глазом?»

Неоднократно он обращался к себе с вопросом, уж не сон ли все то, что рассказал ему Арамис, де басня ли, не ловушка ли, и не найдет ли он, приехав в Бастилию, приказ о своем аресте, согласно которому его, Фуке, запрут вместе со свергнутым королем.

Подумав об этом, он направил с дороги несколько секретных распоряжений, воспользовавшись для этого короткой остановкой, которую они сделали, чтобы сменить лошадей. Эти распоряжения были адресованы им д'Артаньяну и тем войсковым командирам, верность которых была вне подозрений.

«Таким образом, – решил Фуке, – буду ли я заключен в Бастилию или нет, я окажу королю услугу, которую требует от меня моя честь. Если я возвращусь свободным, приказания придут после меня и никто, следовательно, не успеет их распечатать; я смогу взять их назад, если же я задержусь, то всем, кому они мною направлены, станет ясна, что случилось несчастье. В этом случае я могу ожидать, что и мне и королю будет оказана помощь».

Приготовившись, таким образом, к любым неожиданностям, Фуке подъехал к воротам Бастилии.

То, чего никогда не случалось в Бастилии с Арамисом, случилось с Фуке. Тщетно называл он себя, тщетно старался заставить узнать себя – его упорно отказывались впустить внутрь крепости.

После бесконечных уговоров, угроз и настояний ему удалось упросить одного караульного, чтобы он сообщил о нем своему сержанту, а тот, в свою очередь, отправился с докладом к майору. Что касается коменданта, то его так и не решились тревожить ради такой

безделицы.

Фуке, сидя в карете у ворот крепости, злился, проклиная непредвиденную помеху и ожидая возвращения ушедшего к майору сержанта. Наконец тот появился, угрюмый и злой.

– Ну, – нетерпеливо спросил Фуке, – что приказал майор?

– Сударь, – ответил сержант, – майор рассмеялся мне в глаза и сказал, что господин Фуке в Во. И если бы даже он оказался в Париже, то все равно не поднялся бы в такую рань.

– Черт возьми! Вы – стадо болванов! – крикнул министр и выскочил из кареты.

Прежде чем сержант успел захлопнуть калитку, Фуке, проскользнув во двор через щель, стремительно бросился вперед, несмотря на крики звавшего на помощь сержанта.

Фуке бежал все дальше и дальше. Сержант, настигая его, крикнул часовому, охранявшему вторую калитку:

– К оружию, часовой, к оружию!

Часовой встретил министра пикой; но Фуке, сильный и ловкий, ко всему же еще и разгневанный, выхватил пикку из рук солдата и ударил его по плечу. Сержант, подойдя слишком близко, также получил свою порцию; оба стали истошно вопить, и на их крики выбежал в полном составе весь караул.

Однако между этими людьми нашелся один, знавший суперинтенданта в лицо; он закричал:

– Монсеньер!.. Ах, монсеньер! «. Остановитесь же, господа, что вы делаете?

И он удержал остальных, собиравшихся отомстить за товарищей.

Фуке велел пропустить его во внутренний двор, но услышал в ответ, что это запрещено. Он велел позвать коменданта, который уже знал обо всем этом шуме возле ворот и бежал вместе с майором, своим помощником, во главе отряда из двадцати человек, убежденный, что на Бастилию было произведено нападение.

Безмо сразу узнал Фуке и выронил обнаженную шпагу, которой размахивал весьма смело.

– Ах, монсеньер! – пробормотал он. – Тысяча извинений.

– Сударь, – сказал весь красный и обливаясь потом суперинтендант, поздравляю вас, ваша охрана служит на славу.

Безмо побледнел, принимая эти слова за иронию, предвещавшую дикий гнев.

Но Фуке отдышался и жестом подозвал часового, а также сержанта, потиравших плечи в местах ушибов.

– Двадцать пистолей часовому, – приказал он, – пятьдесят пистолей сержанту. Поздравляю вас, господа; я замолвлю за вас словечко перед его величеством. А теперь давайте побеседуем с вами, господин де Безмо.

И под одобрительный шепот солдат он последовал за комендантом Бастилии.

Безмо уже дрожал от стыда и тревоги. Последствия утреннего посещения Арамиса начинали, казалось, сказываться, и притом такие последствия, которые и впрямь должны были ужасать человека, состоящего на государственной службе.

Стало еще хуже» когда Фуке, глядя на коменданта в упор, резко спросил:

– Сударь, вы видели сегодня утром господина д'Эрбле?

– Да, монсеньер.

– И вам не внушает ужаса преступление, в котором вы принимали участие?

«Ну, начинается!» – подумал Безмо.

– Какое преступление, монсеньер? – пробормотал он.

– Преступление, за которое вас подобает, сударь, четвертовать; подумайте хорошенько об этом. Впрочем, теперь не время обрушивать на вас гнев. Сейчас же ведите меня к вашему узнику.

– К какому узнику? – задрожал Безмо.

– Вы притворяетесь, что ни о чем не осведомлены, Превосходно, это самое лучшее, что вы можете сделать. Если бы вы признались в том, что сознательно участвовали в столь потрясающем деле, вам был бы конец. Но я сделаю вид, что верю в ваше неведение.

– Умоляю вас, монсеньер...

– Хорошо, ведите меня к вашему узнику.

– К Марчиали?

– Кто такой Марчиали?

– Это арестант, привезенный сегодня утром господином д'Эрбле.

– Его зовут Марчиали? – удивился суперинтендант, смущенный наивной уверенностью Безмо.

– Да, монсеньер, он здесь записан под таким именем.

Фуке проник своим взглядом до глубины души коменданта этой знаменитой королевской тюрьмы. С проницательностью, свойственной людям, облеченным на протяжении многих лет властью, он прочитал в этой душе искреннее недоумение. Впрочем, посмотрев хотя бы одну только минуту на эту физиономию, можно ли было подумать, что Арамис взял подобного человека в сообщники?

– Это и есть тот самый узник, – спросил Фуке у Безмо, – которого господин д'Эрбле увез третьего дня?

– Да, монсеньер, – И которого он привез сегодня утром обратно, – живо добавил Фуке, тотчас же постигший сущность плана епископа.

– Да, да, монсеньер. Если монсеньер приехал затем, чтобы взять его у меня, я буду бесконечно признателен монсеньеру. Я и так уже собирался писать по поводу этого Марчиали.

– Что же он делает?

– С самого утра я в высшей степени недоволен им; у него такие припадки бешенства, что кажется, будто Бастилия не выдержит и готова обрушиться.

– Я действительно избавлю вас от него, – заявил Фуке.

– Ах, тем лучше!

– Ведите же меня в его камеру.

– Вы все же дадите мне формальный приказ?

– Какой приказ?

– Приказ короля.

– Подождите, я вам подпишу его.

– Этого для меня недостаточно, монсеньер; мне нужен приказ короля.

Фуке сделал вид, будто чрезвычайно рассержен.

– Вы принимаете столько предосторожностей, когда дело идет об освобождении этого заключенного, но покажите-ка мне приказ, на основании которого вы уже отпускали его отсюда!

Безмо показал приказ об освобождении шотландца Сельдона.

– Сельдон – это не Марчиали, – сказал Фуке.

– Но Марчиали не освобожден, монсеньер, он здесь.

– Вы же говорите, что господин д'Эрбле увозил его и затем привез снова?

– Я не говорил этого.

– Вы сказали об этом с такой определенностью, что мне кажется, будто я и сейчас еще слышу, как вы произносите эти слова.

– Я обмолвился.

– Господин де Безмо, берегитесь!

– Я ничего де боюсь, монсеньер, у меня отчетность в полном порядке.

– Как вы смеете говорить подобные вещи?

– Я бы сказал то же самое и перед богом. Господин д'Эрбле привез мне приказ об освобождении шотландца Сельдона, и Сельдон выпущен на свободу.

– Я вам говорю, что Марчиали также был выпущен из Бастилии.

– Это требуется доказать, монсеньер.

– Дайте мне увидеть его.

– Монсеньер, тот, кто правит всем королевством, должен бы знать, что посещение

заклученных без разрешения короля не дозволено.

– Но господин д'Эрбле... он-то входил к заключенному!
– Это тоже требуется доказать, монсеньер.
– Еще раз, господин де Безмо, будьте осторожны в выборе слов.
– За меня мои дела, монсеньер.
– Господин д'Эрбле – конченный человек.
– Конченный человек! Господин д'Эрбле? Непостижимо!
– Вы станете отрицать, что подчинились его влиянию?
– Я подчиняюсь, монсеньер, лишь правилам королевской службы; я исполняю свой долг; предъявите мне приказ короля, и вы войдете в камеру Марчиали.

– Послушайте, господин комендант, даю вам честное слово, что, если вы впустите меня к узнику, я в ту же минуту вручу вам приказ короля.

– Предъявите его немедленно, монсеньер.

– Вот что, господин де Безмо. Если вы сейчас же не исполните моего требования, я велю арестовать и вас, и всех офицеров, находящихся под вашей командой.

– Прежде чем совершить это насилие, монсеньер, сообразовалите принять во внимание, – сказал побледневший Безмо, – что мы подчинимся лишь приказу его величества. Так почему же вы не хотите достать приказ короля, чтобы увидеть этого Марчиали, раз вам все равно придется добыть королевский приказ, чтобы причинить столько неприятностей ни в чем не повинному человеку, каковым является ваш покорный слуга? Обратите ваше милостивое внимание на то, что вы пугаете меня до смерти, монсеньер; я дрожу; еще немного, и я упаду в обморок.

– Вы еще больше задрожите, господин де Безмо, когда я вернусь сюда с тридцатью пушками и десятью тысячами солдат...

– Боже мой, теперь уже монсеньер теряет рассудок!

– Когда я соберу против вас и ваших проклятых бойниц весь парижский народ, взломаю ваши ворота и велю повесить вас на зубцах угловой башни.

– Монсеньер, монсеньер, ради бога!

– Я даю вам на размышление десять минут, – сказал Фуке совершенно спокойным голосом. – Вот я сажусь в это кресло и жду. Если через десять минут вы будете продолжать так же упорствовать, я выйду отсюда. Можете сколько угодно считать меня сумасшедшим, но вы увидите, к чему поведет ваше упрямство.

Безмо в отчаянье топнул ногой, но ничего не ответил.

Видя это, Фуке схватил со стола перо и бумагу и написал:

«Приказ господину купеческому старшине собрать ополчение горожан и идти на Бастилию, чтобы послужить его величеству королю».

Безмо пожал плечами; тогда Фуке снова взялся за перо и на этот раз написал:

«Приказ герцогу Бульонскому и принцу Конде стать во главе швейцарцев и гвардии и идти на Бастилию, чтобы послужить его величеству королю...»

Безмо принялся размышлять. Фуке между тем писал:

«Приказ всем солдатам, горожанам, а также дворянам схватить и задержать, где бы они ни находились, шевалье д'Эрбле, ваннского епископа, и его сообщников, к которым принадлежат, во-первых, г-н де Безмо, комендант Бастилии, подозреваемый в измене, мятеже и оскорблении его величества...»

– Остановитесь, монсеньер! – воскликнул Безмо. – Я ничего в этом не понимаю; но в ближайшие два часа может случиться столько несчастий, хотя б их причиной и было безумие,

что король, который будет судить меня, увидит, был ли я виноват, нарушая установленный им порядок, дабы предотвратить неизбежную катастрофу. Пойдемте в башню, монсеньер: вы увидите Марчиали.

Фуке бросился вон из комнаты, и Безмо пошел вслед за ним, вытирая холодный пот, струившийся со лба.

– Какое ужасное утро! – говорил он. – Какая напасть!

– Идите скорее! – торопил коменданта Фуке.

Безмо сделал знак сторожу, чтобы тот шел вперед. Он боялся своего спутника. Фуке это заметил и сурово сказал:

– Довольно ребячиться! Оставьте этого человека; берите же ключи в руки и показывайте дорогу. Надо, чтобы никто, понимаете, чтобы никто не был свидетелем сцены, которая сейчас произойдет в камере Марчиали.

– Ах, – нерешительно произнес Безмо.

– Опять! Скажите еще раз нет, и я уйду из Бастилии; я сам доставлю по назначению составленные мной приказы.

Безмо опустил голову, взял ключи и начал подниматься вместе с министром по лестнице, ведущей в верхние этажи башни.

По мере того как они взбирались все выше по этой извивающейся бесконечной спиралью лестнице, приглушенные стоны становились собственными криками и ужасающими проклятиями.

– Что это? – спросил коменданта Фуке.

– Это ваш Марчиали, вот как вопят сумасшедшие!

Фуке вздрогнул. В крике более страшном, чем все остальные, он узнал голос короля Франции. Он остановился и вырвал связку ключей из рук окончательно растерявшегося Безмо. Последнего охватил страх, как бы этот новый безумец не проломил ему одним из ключей, чего доброго, череп.

– Ах! – вскрикнул он. – Господин д'Эрбле мне об этом не говорил.

– Ключ! – закричал Фуке. – Где ключ от двери, которую я хочу отомкнуть?

– Вот он.

Ужасный вопль, сопровождаемый бешеными ударами в дверь, породил еще более ужасное эхо на лестнице.

– Уходите! – сказал Фуке угрожающим голосом.

– Ничего не имею против, – пробормотал Безмо. – Итак, двое бешеных останутся с глазу на глаз, и я убежден, что один прикончит другого.

– Уходите! – повторил еще раз Фуке. – Если вы вступите на эту лестницу раньше, чем я позову вас, помните: вы займете место самого последнего из заключенных в Бастилии.

– Я умру, тут и говорить нечего, – бормотал комендант, удаляясь шатающейся походкой.

Вопли узника раздавались все громче. Фуке убедился, что Безмо дошел до последних ступенек. Он вставил ключ в замок первой двери. Тогда он явственно услышал хриплый голос Людовика, который звал, исходя бессильного яростью:

– На помощь! Я король! На помощь!

Ключ первой двери не подходил ко второй. Фуке пришлось отыскивать нужный ключ в связке, отобранной им у Безмо.

В это время король, не помня себя, безумный, бешеный, кричал диким, нечеловеческим голосом:

– Фуке засадил меня в эту клетку! На помощь против Фуке! Я король! На помощь к королю против Фуке!

Этот рев разрывал сердце министра. Он сопровождался ужасными ударами в дверь, наносимыми обломком стула, которым король пользовался, словно тараном. Наконец Фуке выбрал нужный ключ. Совершенно обессиленный король был уже неспособен произносить членораздельные звуки, он только рычал:

– Смерть Фуке! Смерть негодяю Фуке!

Дверь отворилась.

Глава 4. КОРОЛЕВСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Два человека, бросившиеся друг другу навстречу, внезапно остановились и в ужасе вскрикнули.

– Вы пришли убить меня, сударь? – сказал король, сразу узнав Фуке.

– Король в таком виде! – прошептал королевский министр.

И действительно, трудно представить себе что-нибудь более страшное, чем облик молодого короля в то мгновение, когда его увидел Фуке. Его одежда была в лохмотьях; открытая и разорванная в клочья рубашка была пропитана потом и кровью, сочившейся из его исцарапанных рук и груди.

Растерянный, бледный, с пеной у рта, с торчащими в разные стороны волосами, Людовик XIV походил на статую, одновременно изображающую отчаянье, голод и страх. Фуке был так тронут, так потрясен, что подбежал к королю с протянутыми руками и с глазами, полными слез.

Людовик поднял на Фуке тот самый обломок стула, которым он только что так яростно бил в дверь.

– Вы не узнаете вернейшего из ваших друзей? – спросил Фуке с дрожью в голосе.

– Друг? Вы? – повторил Людовик, громко скрежеща зубами. В этом скрежете слышалась ненависть и жажда немедленной мести.

– И почтительного слугу? – добавил Фуке, бросаясь перед королем на колени.

Король выронил свое оружие на пол. Фуке поцеловал королю колени и нежно обнял его.

– Мой король, дитя мое! О, как вы должны были страдать!

Перемена, происшедшая в его положении, заставила короля опомниться; он взглянул на себя и, устыдившись своей растерянности, своего безумия и того, что ему оказывают покровительство, высвободился из объятий Фуке.

Фуке не понял этого произвольного движения короля. Он не понял, что гордость Людовика никогда не простит ему того, что он стал свидетелем такой слабости.

– Поедьте, ваше величество, вы свободны, – сказал он.

– Свободен? – повторил король. – О, вы возвращаете мне свободу, после того как дерзнули поднять руку на своего короля!

– Вы сами де верите этому! – воскликнул возмущенный Фуке. – Ведь вы не верите, что я в чем-нибудь виноват перед вами!

И он торопливо и горячо рассказал об интриге, жертвой которой стал Людовик и которая известна во всех подробностях нашим читателям. Пока длился рассказ, Людовик переживал страшные душевные муки, и гибель, которой он избежал, настолько поразила его воображение, что к столь важной тайне, как существование брата, родившегося одновременно с ним, он не отнесся с должным вниманием.

– Сударь, – остановил он Фуке, – это рождение близнецов – ложь; непостижимо, как это вы поддались такому обману.

– Ваше величество!

– Немыслимо подозревать честь и добродетель моей матери. И мой первый министр все еще не свершил правосудия над преступниками?

– Поразмыслите, ваше величество, прежде чем гневаться. Рождение вашего брата...

– У меня один-единственный брат – мой младший брат, и вы это знаете так же, как я. Здесь, говорю вам, заговор, и один из главнейших его участников – комендант Бастилии.

– Не спешите с выводами, ваше величество. Этот человек был обманут, как и все остальные, поразительным сходством между принцем и вами.

– Какое сходство? Вот еще!

– Однако этот Марчиали, видимо, очень похож на ваше величество, раз все были

введены в заблуждение.

– Чепуха!

– Не говорите этого, ваше величество: человек, готовый встретиться лицом к лицу с вашими министрами, с вашей матерью, с вашими офицерами и членами вашей семьи, должен быть безусловно уверен в своем сходстве с вами.

– Да, – прошептал король. – Где же он?

– В Во.

– В Во? И вы терпите, чтоб он все еще оставался в Во?

– Мне казалось, что прежде всего нужно было освободить короля. Я исполнил этот свой долг. Теперь я буду делать то, что прикажете, ваше величество. Я жду.

Людовик на мгновение задумался.

– Приведем в готовность войска, расположенные в Париже, – сказал он.

– Приказ на этот счет уже отдан.

– Вы отдали этот приказ! – воскликнул король.

– Да, ваше величество. Через час ваше величество будете стоять во главе десяти тысяч солдат.

Вместо ответа король схватил руку Фуке с таким жаром, что сразу сделалось очевидным, какое недоверие сохранял он до этой минуты к своему министру, несмотря на оказанную им помощь.

– И с этими войсками, – продолжал король, – мы осадим в вашем доме мятежников, которые, вероятно, успели уже укрепиться и окопаться.

– Это было бы для меня неожиданностью, – ответил Фуке.

– Почему?

– Потому что глава их, душа этого предприятия, мною разоблачен, и я думаю, что весь план заговорщиков окончательно рухнул.

– Вы разоблачили самозваного принца?

– Нет, я не видел его.

– Тогда кого же?

– Глава этой затеи отнюдь не этот несчастный. Он только орудие, и его удел, как я вижу, – несчастье навеки.

– Безусловно.

– Виновник всего аббат д'Эрбле, ваннский епископ.

– Ваш друг?

– Он был моим другом, ваше величество, – с душевным благородством ответил Фуке.

– Это очень прискорбно, – сказал король тоном гораздо менее благородным.

– В такой дружбе, ваше величество, пока я не знал о его преступлении, не было ничего, позорящего меня.

– Это преступление надо было предвидеть.

– Если я виновен, я отдаю себя в ваши руки, ваше величество.

– Ах, господин Фуке, я хочу сказать вовсе не это, – продолжал король, недовольный тем, что обнаружил свои тайные мысли. – Так вот, говорю вам, что хотя этот негодяй и был в маске, у меня шевельнулось смутное подозрение, что это именно он. Но с этим главой предприятия был также помощник, грозивший мне своей геркулесовой сплюи. Кто он?

– Это, должно быть, его друг, барон дю Валлон, бывший мушкетер.

– Друг д'Артаньяна! Друг графа де Ла Фер! А, – воскликнул король, произнеся последнее имя, – обратим внимание на связь заговорщиков с виконтом де Бражелоном.

– Ваше величество, не заходите так далеко! Граф де Ла Фер – честнейший человек во всей Франции. Довольствуйтесь теми, кого я вам назвал.

– Теми, кого вы мне называли? Хорошо! Но ведь вы выдаете мне всех виновных, не так ли?

– Что ваше величество понимаете под этим?

– Я понимаю под этим, – ответил король, – что, явившись во главе наших войск в Во, мы

овладеем этим проклятым гнездом, и никто из него не спасется, никто.

– Ваше величество велите убить этих людей?

– До последнего.

– О, ваше величество!

– Не понимайте меня превратно, господин Фуке, – произнес высокомерно король. – Теперь уже не те времена, когда убийство было единственным, последним доводом королей. Нет, слава богу! У меня есть парламенты, которые судят от моего имени, и эшафоты, на которых исполняются мои повеления!

Фуке побледнел.

– Я возьму да себя смелость заметить, ваше величество, что всякий процесс, связанный с этим делом, есть смертельный удар для достоинства трона. Нельзя, чтобы августейшее имя Анны Австрийской произносилось в народе с усмешкой.

– Надо, сударь, чтобы правосудие покарало виновных.

– Хорошо, ваше величество. Но королевская кровь не может быть пролита на эшафоте.

– Королевская кровь! Вы верите в это? – Король с яростью топнул ногой. – Это рождение близнецов – выдумка! Именно в этом, в этой выдумке, я вижу основное преступление господина д'Эрбле. И заговорщики должны понести за него более суровое наказание, чем за насилие и оскорбление.

– Наказание смертью?

– Да, сударь, да!

– Ваше величество, – твердо произнес суперинтендант и гордо вскинул голову, которую до сих пор держал низко опущенной, – ваше величество велите, если вам будет угодно, отрубить голову французскому принцу Филиппу, своему брату. Это касается вашего величества, и вы предварительно посоветуйтесь об этом с Анной Австрийской, вашей матерью. И все, что ваше величество не прикажете, будет уместным. Я не хочу больше вмешиваться в эти дела даже ради чести вашей короны. Но я должен просить вас об одной милости, и я прошу вас о ней.

– Говорите, – сказал король, смущенный последними словами министра. Что вам нужно?

– Помилования господина д'Эрбле и господина дю Валлона.

– Моих убийц?

– Только мятежников, ваше величество.

– Я понимаю, вы просите о помиловании друзей.

– Моих друзей! – воскликнул глубоко оскорбленный Фуке.

– Да, ваших друзей; безопасность моего государства требует, однако, примерного наказания всех замешанных в этом деле.

– Я не хочу обращать внимания вашего величества на то, что только что возвратил вам свободу и спас вашу жизнь.

– Сударь!

– Я не хочу обращать вашего внимания и на то, что если б господин д'Эрбле захотел стать убийцей, он мог бы попросту убить ваше величество сегодня утром в Сенарском лесу, и все было бы кончено.

Король вздрогнул.

– Выстрел из пистолета в голову, – добавил Фуке, – и ставшее неузнаваемым лицо Людовика Четырнадцатого избавило бы навеки господина д'Эрбле от ответственности за совершенные им преступления.

Король побледнел, представив себе опасность, которой он подвергался.

– Если бы господин д'Эрбле, – продолжал суперинтендант, – был убийцей, то ему было бы незачем рассказывать мне о своем плане в надежде обеспечить ему успех. Избавившись от настоящего короля, он мог бы по бояться того, что поддельный король будет когда-либо разоблачен. Если бы узурпатор был узнан даже Анной Австрийской, он все равно остался бы ее сыном. Что же до совести господина д'Эрбле, то для него узурпатор был бы при любых

обстоятельствах законным королем Франции, сыном Людовика Тринадцатого. К тому же это обеспечивало бы заговорщику безопасность, полную тайну и безнаказанность. Все это дал бы ему один-единственный выстрел. Так помилуйте же его, ваше величество, во имя того, что вы спасены!

Но король не только не был растроган этим правдивым изображением великодушия Арамиса, по, напротив, почувствовал себя глубоко униженным.

Его неукротимая гордость не могла смириться с мыслью о том, что кто-то держал в своих руках, на кончике своего пальца, нить королевской жизни.

Каждое слово Фуке, казавшееся веским доводом в пользу помилования его несчастных: Друзей, вливало новую каплю яда в изъязвленное сердце Людовика XIV. Итак, ничто не могло умиловить короля, и он резко бросил Фуке:

– Я, право, не возьму в толк, сударь, почему вы просите у меня помилования этих людей. Зачем просить то, что можно получить и без просьб?

– Я не понимаю вас, ваше величество.

– Но ведь это совсем просто. Где я?

– В Бастилии.

– Да, я в тюрьме. И меня считают сумасшедшим, не так ли?

– Да, ваше величество.

– И здесь знают лишь Марчиали?

– Да, Марчиали.

– В таком случае оставьте все, как оно есть. Предоставьте сумасшедшему гнить в каземате, и господа, я д'Эрбле и дю Валлону не понадобится мое прощение. Новый король одарит их своею милостью.

– Вы напрасно оскорбляете меня, ваше величество, – сухо ответил Фуке.

– Если б я хотел возвести на трон нового короля, как вы говорите, мне не было бы нужды врываться силой в Бастилию, чтобы извлечь вас отсюда. Это не имело бы ни малейшего смысла. У вашего величества ум помутился от гнева. Иначе вы бы де оскорбляли без всякого основания вашего верноподданного, оказавшего вам столь исключительную услугу.

Людовик понял, что зашел неподобающе далеко и что ворота Бастилии еще не открылись пред ним, а между тем шлюзы, которыми великодушный Фуке сдерживает свой гнев, начинают уже открываться.

– Я сказал это вовсе не для того, чтобы нанести вам оскорбление, сударь, – проговорил король. – Вы обращаетесь ко мне с просьбой о помиловании, и я отвечаю вам, руководясь моей совестью, а моя совесть подсказывает, что виновные, о которых мы говорим, не заслуживают ни помилования, ни прощения.

Фуке молчал.

– То, что я делаю, – добавил король, – столь же благородно, как то, что сделали вы, потому что я полностью в вашей власти, и, быть может, даже еще благороднее, потому что вы ставите мне условия, от которых может зависеть моя свобода и моя жизнь, – и отказать значит пожертвовать ими.

– Я и в самом деле не прав, – согласился Фуке, – да, я имел вид человека, вымогающего для себя милость; я в этом раскаиваюсь и прошу прощения, ваше величество.

– Вы прощены, дорогой господин Фуке, – сказал король с улыбкой, окончательно вернувшей ясность его лицу, измученному столькими переживаниями.

– Я получил ваше прощение, – продолжал упрямо министр, – а господа д'Эрбле и дю Валлон?

– Никогда, пока я жив, не получают его, – ответил неумолимый король. И сделайте одолжение, никогда больше не заговаривайте со мной об этом.

– Повинуюсь, ваше величество.

– И вы не сохраните враждебного чувства ко мне?

– О пет, ваше величество, ведь я это предвидел и потому принял кое-какие меры.

– Что это значит?

– Господин д'Эрбле как бы отдал себя в мои руки, господин д'Эрбле дал мне счастье спасти моего короля и мою родину. Я не мог осудить господина д'Эрбле на смерть. Я также не мог подвергнуть его законнейшему гневу вашего величества, это было бы все равно что собственноручно убить его.

– Что же вы сделали?

– Я предоставил господину д'Эрбле лучших лошадей из моей конюшни, и они опередили на четыре часа всех тех, кого ваше величество сможет послать в погоню за ними.

– Пусть так! – пробормотал Людовик. – Свет все же достаточно велик, чтобы мои слуги наверстали те четыре часа, которые вы подарили господину д'Эрбле.

– Даря ему эти четыре часа, я знал, что дарю ему жизнь. И он сохранит ее.

– Как так?

– После хорошей езды, опережая все время на четыре часа погоню, он достигнет моего замка Бель-Иль, который я предоставил ему как убежище.

– Но вы забываете, что подарили Бель-Иль не кому-нибудь, как мне.

– Не для того, однако, чтобы там арестовали моих гостей.

– Значит, вы его отнимаете у меня.

– Для этого – да, ваше величество.

– Мои мушкетеры займут его, вот и все.

– Ни ваши мушкетеры, ни даже вся ваша армия, ваше величество, – холодно произнес Фуке, – Бель-Иль неприступен.

Король позеленел, и в глазах его засверкали молнии. Фуке понял, что он погиб, но суперинтендант был не из тех, кто отступает, когда их зовет голос чести. Он выдержал огненный взгляд короля. Людовик подавил в себе бешенство и после непродолжительного молчания произнес:

– Мы едем в Во?

– Я жду приказаний вашего величества, – ответил Фуке, отвешивая низкий поклон, – но мне кажется, что вашему величеству необходимо переменить платье, прежде чем вы предстанете перед вашим двором.

– Мы заедем в Лувр. Идемте.

И они прошли мимо растерянного Безмо, который увидел еще раз, как выходил из Бастилии Марчиали. Комендант в ужасе вырвал у себя последние остатки волос.

Правда, Фуке дал ему в руки приказ, да котором король написал: «Видел и одобряю. Людовик».

Безмо, неспособный больше связать хотя бы две мысли, в ответ на это ударил изо всей силы кулаком по собственной голове.

Глава 5. ЛЖЕКРОЛЬ

В это самое время король-узурпатор продолжал храбро исполнять свою роль.

Филипп велел начинать утренний прием посетителей – это был так называемый малый прием. Перед дверьми его спальни собрались уже все удостоенные великой чести присутствовать при одевании короля. Он решился отдать это распоряжение, несмотря на отсутствие господина д'Эрбле, который, вопреки его ожиданиям, не возвращался, и паши читатели знают, что было причиной этого. Но принц, полагая, что его отсутствие не может быть длительным, захотел, как все честолюбцы, испытать свои силы и счастье, не пользуясь ничьим покровительством и советом.

К этому побуждала его и мысль о том, что среди посетителей, несомненно, будет и Анна Австрийская, его мать, которою он был принесен в жертву и которая была так виновата перед ним. И Филипп, опасаясь, как бы не проявить естественной при таких обстоятельствах слабости, но хотел, чтобы свидетелем ее оказался тот человек, перед которым ему подобало, напротив, выставить напоказ свою силу.

Открылись двери, и в королевскую спальню в полном молчании вошли несколько человек. Пока лакеи одевали его, Филипп не уделял ни малейшего внимания вновь вошедшим. Накануне он видел, как вел себя на малом приеме его брат Людовик. Филипп изображал короля, и изображал его так, что ни в ком не возбудил ни малейшего подозрения.

И лишь по окончании туалета, – в охотничьем костюме в то утро, – он начал прием. Его память, а также заметки, составленные для него Арамисом, позволили ему сразу же узнать Анну Австрийскую, которую держал под руку принц, его младший брат, и принцессу Генриетту под руку с де Сент-Эньяном.

Увидев все эти лица, он улыбнулся; узнав мать – вздрогнул.

Благородное и запоминающееся лицо, измученное печалью, как бы убеждало принца не осуждать великую королеву, принесшую в жертву государству свое дитя. Он нашел свою мать прекрасной. Он знал, что Людовик XIV любит ее, он обещал себе также любить ее и вести себя так, чтобы не стать для нее жестоким возмездием, омрачающим дни ее старости.

Он посмотрел на своего брата с нежностью, которую нетрудно понять.

Тот ничего у него не отнял, ничем не отравил его жизнь. Будучи как бы боковой ветвью, не мешающей стволу неумоимо тянуться вверх, он нисколько не заботился о прославлении и возвеличении своей жизни. Филипп обещал себе быть по отношению к нему добрым братом – ведь этому принцу было достаточно золота, на которое покупаются удовольствия.

Он любезно кивнул де Сент-Эньяну, гнувшемуся в поклонах и реверансах, и, дрожа, протянул руку невестке, Генриетте, красота которой поразила его. Но он увидел в ее глазах холодок, который ему понравился, так как облегчал будущие отношения с нею.

«Насколько мне будет удобное, – думал он, – быть ее братом, а не возлюбленным».

Единственная встреча, которой он в этот момент опасался, встреча с королевой Марией-Терезией, так как его сердце и ум, только что подвергшиеся таким испытаниям, несмотря на основательную закалку, могли бы не выдержать нового потрясения. К счастью, она не пришла.

Анна Австрийская завела дипломатический разговор о приеме, оказанном Фуке королевской фамилии. Она перемешивала враждебные выпады с комплиментами королю, вопросами о его здоровье, нежной материнской лестью и тонкими хитростями.

– Ну, сын мой, – спросила она, – изменили ли вы мнение о господине Фуке?

– Сент-Эньян, – сказал Филипп, – будьте любезны узнать, здорова ли королева.

При этих словах, первых, громко произнесенных Филиппом, легкое различие в его голосе и голосе Людовика XIV не ускользнуло от материнского слуха. Анна Австрийская пристально посмотрела на сына.

Де Сент-Эньян вышел. Филипп продолжал:

– Ваше величество, мне не нравится, когда дурно говорят о господине Фуке, вы это знаете, и вы сами хорошо отзывались о нем.

– Это верно; по ведь я только спросила, как теперь вы к нему относитесь.

– Ваше величество, – заметила Генриетта, – я всегда любила господина Фуке; он хороший человек, и притом человек отменного вкуса.

– Суперинтендант, который никогда не торгуется, – добавил, в свою очередь, принц, – и неизменно выкладывает золото, когда ни обратишься к нему.

– Каждый из нас думает лишь о себе, – вздохнула королева-мать, – и никто не считается с интересами государства. Господин Фуке, но ведь это неоспоримо, господин Фуке разоряет страну!

– Разве и вы, матушка, тоже, – сказал немного тише Филипп, – стали защитницей господина Кольбера?

– Что? – спросила удивленная королева.

– Право, я нахожу, что вы говорите, как давняя ваша приятельница, госпожа де Шеврез.

При этом имени Анна Австрийская поджала губы и побледнела. Филипп задел львицу.

– Почему вы напоминаете мне о госпоже де Шеврез и почему вы сегодня восстановлены против меня?

Филипп продолжал:

– Разве госпожа де Шеврез не затевает нескончаемых козней против какой-нибудь из своих жертв? Разве госпожа де Шеврез недавно не посетила вас, матушка?

– Вы говорите, сударь, со мной таким образом, что мне кажется, будто я слышу вашего отца, короля.

– Мой отец не любил госпожу де Шеврез и был прав. Я тоже ее не люблю, и если она надумает явиться сюда, как бывало, под предлогом выпрашивания денег, а в действительности чтобы сеять рознь и ненависть, то тогда...

– Тогда? – надменно переспросила Анна Австрийская, как бы сама вызывая грозу.

– Тогда, – решительно ответил молодой человек, – я изгоню из королевства госпожу де Шеврез и с ней вместе всех наперсников ее тайн и секретов.

Он не рассчитал силы, заключенной в этих страшных словах, или, быть может, ему захотелось проверить их действие, как всякому, кто, страдая никогда не покидающей его болью и стремясь нарушить однообразие ставшего привычным страдания, бередит свою рану, чтобы вызвать хотя бы острую боль.

Анна Австрийская едва не потеряла сознания; ее широко открытые, но уже ослабевшие глаза на мгновение перестали видеть; она протянула руки к младшему сыну, который тотчас же обнял ее, не боясь рассердить короля.

– Ваше величество, – прошептала она, – вы жестоки к своей матери.

– Почему же, ваше величество? – ответил Филипп. – Ведь я говорю лишь о госпоже де Шеврез, а разве моя мать предпочтет госпожу де Шеврез спокойствию моего государства и моей безопасности? Я утверждаю, что госпожа де Шеврез пожаловала во Францию, чтобы раздобыть денег, и что она обратилась к господину Фуке, предполагая продать ему некую тайну.

– Тайну? – воскликнула Анна Австрийская.

– Касающуюся хищений, якобы совершенных суперинтендантом, но это ложь, – добавил Филипп. – Господин Фуке с возмущением прогнал ее прочь, предпочитая уважение короля всякому сговору с интриганами. Тогда госпожа де Шеврез продала свою тайну господину Кольберу, по так как она ненасытна и ей мало тех ста тысяч экю, которые она выманила у этого приказного, она задумала метить выше, в поисках более глубоких источников. Верно ли это, ваше величество?

– Вы осведомлены решительно обо всем, – сказала скорее встревожено, чем разгневанно, королева.

– Поэтому, – продолжал Филипп, – я имею право по любить эту фурию, являющуюся к моему двору, чтобы чернить одних и разорять других. Если бог потерпел, чтобы были совершены известные преступления, и скрыл их в тени своего милосердия, то я никоим образом не допущу, чтобы госпожа де Шеврез получила возможность нарушить божественные предначертания.

Эта последняя часть речи Филиппа до того взволновала королеву Анну, что Филипп пожалел ее. Он взял со руку и нежно поцеловал; она не почувствовала, что в этом поцелуе, несмотря на сердечный бунт и обиду, было прощение восьми лет ужасных страданий.

Филипп помолчал; он дал улечься волнению, порожденному тем, что он только что высказал; спустя несколько секунд он оживленно и даже весело проговорил:

– Мы сегодня еще не уедем отсюда, у меня есть план.

Он повернулся к двери, надеясь увидеть возле него Арамиса, отсутствие которого начинало его тяготить.

Королева-мать выразила желание возвратиться к себе.

– Оставайтесь, матушка, – попросил Филипп, – я хочу помирить вас с господином Фуке.

– Но я и не вражду с господином Фуке, я только боялась его расточительности.

– Мы наведем во всем этом надлежащий порядок, и отныне суперинтендант будет у нас проявлять лишь свои хорошие качества.

– Кого разыскивает ваше величество? – спросила Генриетта, заметив, что король

посматривает на дверь. Она хотела исподтишка уколоть его, так как думала, что ни ждет Лавальер или письма от нее.

– Сестра моя, – ответил молодой человек, угадавший с поразительной проницательностью, для которой только теперь судьба нашла применение, тайную мысль принцессы, – я жду одного замечательного во всех отношениях человека, искуснейшего советника, которого я хочу представить собравшимся, поручив его вашим милостям. Ах, д'Артаньян, входите.

Д'Артаньян вошел.

– Что прикажете, ваше величество?

– Скажите, где ваннский епископ, ваш друг?

– Но, ваше величество...

– Я жду его, а он все не показывается. Велите его разыскать.

Д'Артаньян был поражен; впрочем, изумление его продолжалось недолго; сообразив, что Арамис по поручению короля тайно покинул Во, он решил, что король хочет сохранить секрет про себя.

– Ваше величество изволите настаивать, чтобы отыскиали господина д'Эрбле? – спросил он.

– Настаивать – пет, зачем же, – ответил Филипп, – он мне не так уж и нужен; но если б его все-таки отыскиали...

«Я угадал!» – сказал себе д'Артаньян.

– Этот господин д'Эрбле, – заметила Анна Австрийская, – ваннский епископ – друг господина Фуке?

– Да, ваше величество, когда-то он был мушкетером.

Анна Австрийская покраснела.

– Он один из четырех храбрецов, которые в свое время совершили столько чудес.

Королева-мать тут же раскаялась в своем желании укусить; чтобы сохранить последние зубы, она прекратила этот неприятный для нее разговор.

– Каков бы ни был ваш выбор, сын мой, я уверена, что он будет великолепен.

Все склонились пред королем.

– Вы увидите, – продолжал Филипп, – глубину Ришелье без скупости Мазарини.

– Первого министра, ваше величество? – спросил испуганный принц, брат короля.

– Милый брат, я вам расскажу об этом попозже; но как странно, что господина д'Эрбле все еще пет.

Он позвал лакея и приказал:

– Пусть предупредят господина Фуке, что мне нужно побеседовать с ним.

О, в вашем присутствии, – не уходите.

Де Сент-Эньян вернулся с добрыми вестями о королеве. Она осталась в постели только ради предосторожности, только ради того, чтобы иметь силы исполнить все повеления короля.

И пока повсюду искали суперинтенданта и Арамиса, новый король спокойно продолжал проходить свое испытание, и все, решительно все – члены королевской фамилии, офицеры, лакеи – видели перед собой Людовика, и только Людовика, с его жестами, голосом и привычками.

Отныне уже ничто не могло страшить узурпатора. С какой страдной легкостью провидение опрокинуло самую высокую судьбу во всем мире, чтобы поставить на ее место самую низкую и обездоленную!

Впрочем, порой Филипп чувствовал, как по сиянию его юной славы пробегает зловещая тень. Арамиса все но было.

Разговор между членами королевской фамилии прекратился как-то сам собой. Озабоченный Филипп забыл отпустить брата с принцессою Генриеттой.

Они удивлялись этому и мало-помалу теряли терпение. Анна Австрийская наклонилась к своему сыну и сказала ему несколько слов по-испански.

Филипп совершенно не знал этого языка. Он побледнел перед этой неожиданной и

неодолимой трудностью. Но словно гений Арамиса осенил его своею находчивостью. Вместо того чтобы смутиться, Филипп поднялся со своего места.

– Ну что ж! Почему вы не отвечаете мне? – удивилась Анна Австрийская.

– Что за шум? – спросил Филипп и повернулся к той двери, что вела к потайной лестнице.

Послышался голос, кричавший:

– Сюда, сюда! Еще несколько ступенек, ваше величество.

– Голос господина Фуке! – сказал д'Артаньян, стоявший близ вдовствующей королевы.

– Господин д'Эрбле, должно быть, недалеко, – добавил Филипп.

Но он увидел того, кого вовсе не ожидал увидеть рядом с собой. Глаза всех обратились к дверям, в которых должен был появиться Фуке. Но появился не од.

Страшный крик раздался сразу во всех углах комнаты, мучительный крик короля и всех свидетелей этой сцены.

Никогда ни одному человеку, сколь удивительной и чудесной ни была бы его судьба, с какими бы приключениями она ни сталкивала его, не доводилось еще видеть зрелище вроде того, какое в этот момент являла собой королевская спальня. Через полузакрытые ставни проникал неяркий рассеянный свет, задерживаемый к тому же большими бархатными портьерами на тяжелой атласной подкладке.

Глаза свидетелей этой сцены мало-помалу привыкли к мягкому полумраку, и каждый скорее догадывался о присутствии всех остальных, чем отчетливо видел их. Но в таких обстоятельствах ни одна из подробностей не ускользает от внимания окружающих, и все вновь появляющееся кажется таким ярким, будто оно освещено солнцем.

Это и случилось со всеми, когда, откинув портьеру потайной двери, появился бледный и нахмуренный Людовик XIV. За ним показалось строгое и опечаленное лицо Фуке.

Королева-мать, державшая Филиппа за руку, увидев Людовика, вскрикнула в таком ужасе, как если бы перед ней предстал призрак. У принца, брата короля, голова пошла кругом, и он то и дело переводил глаза с короля, которого видел прямо перед собой, на короля, рядом с которым стоял. Принцесса сделала шаг вперед, проверяя себя, не видит ли она отражения своего деверя в зеркале.

И действительно, такое заблуждение не было невозможным.

Оба короля, потрясенные и дрожащие (мы отказываемся описывать ужас, охвативший Филиппа), с судорожно сжатыми кулаками, мерили друг друга злобными взглядами, и глаза их были как кинжалы, вонзавшиеся в душу друг другу. Молча, задыхаясь, наклонившись вперед, они, казалось, готовились сцепиться в яростной схватке.

Неслыханное сходство двух лиц, движений, стана, вплоть до сходства в костюме, так как волею случая Людовик XIV надел в Лувре костюм из лилового бархата, – это полное тождество двух принцев, ее сыновей, окончательно перевернуло сердце Анны Австрийской. Впрочем, она еще не угадала всей правды. Бывают в жизни такие несчастья, которые никто не хочет принять за действительность. Лучше поверить в чудеса, в сверхъестественное, в то, чего никогда не бывает.

Людовик не предвидел препятствия этого рода. Он думал, что стоит ему войти, и его сразу узнают. Ощущая себя живым солнцем, он не мог допустить и мысли о том, что кто-то может быть похож на него. Он не мог представить себе, что может существовать такой факел, которого не затмило бы исходящее от него светоносное и всепобеждающее сияние. Поэтому при виде Филиппа он ужаснулся, быть может, больше всех остальных, и молчание, которое он упорно хранил, и его неподвижность были не более чем предвестники яростной вспышки гнева.

Но Фуке! Кто мог бы изобразить охватившие его чувства, оцепенение, овладевшее им при виде живого портрета его властелина. Фуке подумал, что Арамис был, бел сомнения, прав: пришелец – король таких же чистых кровей, как и другой, законный король, и надо было быть безумным энтузиастом, недостойным заниматься политикой, чтобы отказаться от участия в государственном перевороте, который с такой поразительной ловкостью произвол генерал

иезуитского ордена.

И к тому же, думал Фуке, крови Людовика XIII и Анны Австрийской он принес в жертву кровь того же Людовика XIII и той же Анны Австрийской, честолюбие эгоистическому – честолюбие благородное, праву сохранить то, что имеешь, – право иметь. При первом же взгляде на претендента Фуке постиг всю глубину допущенной им ошибки.

Все происходившее в душе суперинтенданта осталось, разумеется, скрытым от остальных. Прошло пять минут – пять веков, и за это время два короля и члены королевской фамилии едва успели немного оправиться от пережитых потрясений.

Д'Артаньян, прислонившись к стене прямо против Фуке, пристально смотрел перед собой и не мог разобраться в происходящем. Он и сейчас не мог бы сказать, что именно породило в нем его подозрения и сомнения позднего времени, но он отчетливо видел, что они были вполне основательны и что эта встреча двух Людовиков XIV должна объяснить все то в поведении Арамиса, что внушало ему подозрения.

Эти мысли, однако, все еще были покрыты густой пеленой бесконечных загадок. Все действующие лица происходившей здесь сцены были, казалось, во власти каких-то дремотных чар, еще не покинувших пробуждающееся сознание.

Вдруг Людовик, более порывистый, более властный, бросился к ставням и торопливо, разрывая портьеры, распахнул их во всю ширину. Волны яркого света залили королевскую спальню и заставили Филиппа отойти в тень, к алькову. Людовик XIV воспользовался этим движением своего несчастного брата и, обращаясь к Анне Австрийской, произнес: он – Матушка, неужели вы не решаетесь узнать вашего сына лишь потому, что никто в этой комнате не узнает своего короля?

Анна Австрийская содрогнулась всем телом и, воздев, к небу руки, застыла в этом молитвенном жесте, не в силах произнести ни единого слова.

– Матушка, – тихо молвил Филипп, – неужели вы не узнаете вашего сына?

На этот раз отшатнулся Людовик XIV.

Что касается Анны Австрийской, то, пораженная в самое сердце раскаяньем, она утратила равновесие, зашаталась и, так как никто не пришел ей на помощь, – настолько всех охватило оцепенение, – со слабым стоном упала в стоящее за ней кресло. Людовик не мог дольше выносить это зрелище и этот позор. Он бросился к д'Артаньяну, который хотя и стоял прислонившись к косяку двери, тоже начал пошатываться, так как и у него закружилась от всего происходящего голова.

– Ко мне, мушкетер! – крикнул король. – Посмотрите нам обоим в лицо, и вы увидите, который из нас бледнее.

Этот крик словно разбудил д'Артаньяна, и в нем проснулось повиновение. Встряхнув головой и теперь уже не колеблясь, он направился прямо к Филиппу и, положив на его плечо руку, сказал:

– Сударь, вы арестованы.

Филипп не поднял глаз к небу, не сдвинулся с места, к которому как бы прирос; он только смотрел, не отрываясь, на короля, своего брата. В гордом молчании упрекал он его во всех своих прошлых несчастьях, во всех будущих пытках. Король почувствовал, что он бессилен против этого языка души; он опустил глаза и быстро вышел из комнаты, увлекая с собой невестку и младшего брата и оставив мать, распростертую в трех шагах от тою из ее сыновей, которого она вторично дала приговорить к смерти. Филипп подошел к Анне Австрийской и сказал ей нежным, благородно взволнованным голосом:

– Не будь я вашим любящим сыном, я бы проклял вас, матушка, за все несчастья, что вы причинили мне.

Д'Артаньян почувствовал дрожь во всем теле. Он почтительно поклонился юному принцу и, не подымая головы, произнес:

– Простите меня, монсеньер, но я солдат и присягал на верность тому, кто только что удалился отсюда.

– Благодарю вас, господин Д'Артаньян. Но что с господином д'Эрбле?

– Господин д'Эрбле в безопасности, монсеньер, – прозвучал голос в глубине комнаты, – и пока я жив и свободен, ни один волос не упадет с его головы.

– Господин Фуке! – промолвил, грустно улыбаясь, Филипп.

– Простите меня, монсеньер, – обратился к нему Фуке, становясь перед ним на колени, – но тот, кто только что вышел, был моим гостем.

– Вот это друзья, это сердца, – прошептал со вздохом Филипп. – Они побуждают меня любить этот мир. Ступайте, господин Д'Артаньян, ведите меня, куда приказывает вам долг.

Но в мгновение, когда капитан мушкетеров собирался уже переступить порог комнаты, Кольбер вручил ему приказ короля и тотчас же удалился.

Д'Артаньян прочел приказ и в бешенстве смял его.

– Что там написало? – спросил принц.

– Читайте, монсеньер, – подал ему бумагу капитан мушкетеров.

Филипп прочитал несколько строк, наспех написанных рукой Людовика:

«Приказ господину д'Артаньяну отвезти узника на остров Сент-Маргерит.

Закрывать ему лицо железной маской. Под страхом смерти воспретить узнику снимать ее».

– Это справедливо, – проговорил Филипп со смирением. – Я готов.

– Арамис был прав, – шепнул Фуке мушкетеру, – это такой же настоящий король, как тот.

– Этот лучше, – отвечал Д'Артаньян, – только ему не хватает вас и меня.

Глава 6.

ПОРТОС СЧИТАЕТ, ЧТО СКАЧЕТ ЗА ГЕРЦОГСКИМ ТИТУЛОМ

Арамис и Портос, используя предоставленное им Фуке время, неслись с такой быстротой, что ими могла бы гордиться французская кавалерия. Портос не очень-то понимал, чего ради его заставляют развивать подобную скорость, но так как он видел, что Арамис яростно шпорит коня, то и он бешено шпорил своего.

Таким образом, между ними и Во вскоре оказалось двенадцать лье. Здесь им пришлось сменить коней и позаботиться о подставах. Во время этой непродолжительной передышки Портос решился деликатно расспросить Арамиса.

– Тес! – ответил ему Арамис. – Знайте только одно: наша фортуна зависит от нашей скорости.

И Портос устремился вперед, как если б он все еще был мушкетером 1626 года без гроша за душой. Это магическое слово «фортуна» для человеческого слуха всегда что-нибудь да означает. О, но обозначает «достаток» для тех, у кого нет ничего, оно обозначает «излишек» для тех, у кого есть достаток.

– Меня сделают герцогом, – вслух произнес Портос, хотя и говорил сам с собою.

– Возможно, – ответил, горько усмехаясь, Арамис, который расслышал слова Портоса, потому что тот в этот момент обгонял его.

Голова Арамиса пылала: напряжение тела все еще по превозмогло в нем душевного напряжения. Все, что может породить безудержный гнев, острая, не стихающая ни на мгновение зубная боль, все, какие только возможны, проклятия и угрозы, все это рычало, корчилось, вопило в мыслях поверженного прелата.

На его лице отчетливо проступали следы этой жестокой борьбы. Здесь, на большой дороге, никем не стесняемый, он мог, по крайней мере, отдаться своим чувствам, и он не лишал себя удовольствия сыпать проклятия при каждом промахе своей лошади и каждой рытвине на дороге. Бледный, то обливаясь горячим потом, то пронизываемый ледяным ознобом, он нещадно стегал свою лошадь и бил ее шпорами до крови.

Портос, видя это, жалостливо вздыхал, хотя чувствительность и не была главным из его недостатков.

Так скакали они в течение долгих восьми часов, пока не прибыли в Орлеан.

Было четыре часа пополудни. Взвесив еще раз свои дорожные впечатления, Арамис

пришел к выводу, что пока погони можно не опасаться.

В самом деле, ведь было бы совершенно невероятным, чтобы отряд, способный совладать с ним и Портосом, имел в своем распоряжении столько подстав, сколько необходимо для преодоления сорока лье за восемь часов.

Таким образом, даже допуская возможность погони, беглецы по крайней мере на пять часов опережали преследователей.

Арамис подумал, что позволить себе отдохнуть по было бы, пожалуй, таким уж безрассудством, но что продолжать путь все же лучше. Еще двадцать с небольшим лье такой скачки, и тогда уж никто, даже сам д'Артаньян, не сможет настигнуть врагов короля.

Итак, Арамис, к огорчению Портоса, снова уселся в седло. Так продолжали они скакать до семи часов вечера. Оставался лишь один перегон до Блуа.

Но тут непредвиденная помеха встревожила Арамиса.

На почте не было лошадей.

Прелат задал себе вопрос, какие адские происки его смертельных врагов отняли у него средство отправиться дальше, у него, который никогда не считал случайность дланью всемогущего бога, у него, который всегда находил причину для следствия; он склонен был скорее считать, что отказ дать лошадей, в этот час, в этих местах, был вызван распоряжением, полученным свыше и отданным с целью остановить, пресечь бегство того, кто возводит на престол и низлагает с престола королей Франции.

Но когда он собирался уже вспылить, чтобы добиться лошадей или хотя бы объяснения, почему их нет, ему пришла в голову счастливая мысль.

— Я не поеду в Блуа, — сказал он, — и мне не нужно подставы до следующей станции. Дайте мне двух лошадей, чтобы я мог навестить одного дворянина, моего старого друга. Его поместье совсем рядом с вами.

— А позвольте узнать, как зовут этого дворянина? — спросил хозяин почтового двора.

— Граф де Ла Фер.

— О, — произнес хозяин, почтительно снимая шляпу, — это достойнейший дворянин! Но, как ни велико мое желание угодить ему, я не в силах дать вам двух лошадей. Все мои лошади наняты герцогом де Бофором.

— Ах! — воскликнул обманутый и этой надеждой Арамис.

— Впрочем, если вы пожелаете воспользоваться моей тележкой, я велю заложить в нее старую слепую лошадку, и она доставит вас к графу.

— Я заплачу луидор, — пообещал Арамис.

— Нет, сударь, достаточно и экю; именно столько платит м, не господин Грима, управляющий графа, когда берет у меня тележку, и я не хочу, чтобы граф мог упрекнуть меня в том, что я вынудил его друга заплатить чересчур дорого.

— Как вам угодно и, особенно, как будет угодно графу, которого я никоим образом не хотел бы сердить. Получайте положенный вам экю, но ведь никто не возбраняет мне добавить еще луидор за вашу удачную мысль.

— Разумеется, — ответил обрадованный хозяин.

И он сам запряг свою старую лошадь в скрипучую двуколку.

Любопытную фигуру представлял собою во время этого разговора Портос.

Он вообразил, будто разгадал тайну, и ему не терпелось поскорее тронуться в путь; во-первых, потому, что свидание с Атосом было ему чрезвычайно приятно, и, во-вторых, потому, что он рассчитывал найти у него и славную постель, и не менее славный ужин.

Когда все приготовления были закончены, хозяин позвал одного из своих работников и велел ему отвезти путешественников в Ла Фер. Портос с Арамисом уселись в тележку, и Портос шепнул на ухо своему спутнику:

— Я понимаю, теперь я все понимаю.

— Вот как! Но что же вы поняли, друг мой?

— Мы везем Атосу какое-нибудь важное предложение его величества короля.

Арамис ответил что-то нечленораздельное.

– Не говорите мне ничего больше, – продолжал простодушный Портос, стараясь уравновесить тележку, чтобы избежать лишней тряски, – не говорите, я и так угадаю.

– Отлично, друг мой, отлично! Угадывайте, угадывайте!

Они приехали к Атосу в девять часов вечера. На небе ярко сияла луна.

Этот чарующий лунный свет приводил Портоса в чрезвычайное восхищение, но почти в такой же мере был не по душе Арамису. Каким-то брошенным вскользь замечанием он выразил свое неудовольствие по этому поводу.

– Да, да, я понимаю вас. Ведь ваше поручение – тайное.

Это были последние слова, произнесенные Портосом. Возница перебил его сообщением:

– Вот мы и приехали, господа.

Портос и его спутник вылезли из тележки у дверей замка.

Здесь нам предстоит снова встретиться с Атосом и Бражелоном, исчезнувшими из Парижа после того, как открылась неверность мадемуазель Лавальер.

Если есть слово истины, то оно гласит следующее: великие печали заключают в себе зерно утешения.

Мучительная рапа, от которой страдал Рауль, сблизила отца с сыном, и одному богу ведомо, насколько ласковыми и нежными были утешения, изливавшиеся с красноречивых уст и из благородного сердца Атоса. Рапа не зарубцовывалась, и Атос в тесном общении с сыном, приоткрывая завесу над своим прошлым и сопоставляя свою жизнь с жизнью Рауля, заставил его понять, что страдание от первой неверности неизбежно в человеческой жизни, и кто когда-либо любил, тому оно отлично знакомо.

Часто Рауль, слушая отца, не слышал его. Ведь ничто не может заменить влюбленному сердцу воспоминаний и мыслей о том, кого оно любит. И когда это случалось, Рауль отвечал отцу:

– Все, о чем вы, отец, говорите, – сущая правда, я знаю, что никто так не страдал, как вы, но вы – человек слишком большого ума, и вам пришлось вынести слишком много, и вы должны понять и простить слабость тому, кто страдает впервые. Я плачу страданию эту неизбежную дань. Но это никогда больше не повторится. Позвольте же мне отдаться скорби до полного самозабвения, до того, чтобы, погрузившись в нее, потерять даже рассудок.

– Рауль, Рауль! – укоризненно говорил Атос.

– Никогда не привыкну я к мысли, что Луиза – самая чистая, самая добродетельная из всех женщин, какие только существуют на свете, – могла так коварно обмануть того, кто был так честен с нею и кто ее так любил!

Никогда я не смирюсь с мыслью, что она, сбросив с себя личину нежности и добродетели, оказалась на деле лживой и распутной. Луиза – падшая! Луиза – развратница! Ах, граф, для меня это гораздо страшнее, гораздо ужаснее, чем несчастный Рауль, чем Рауль покинутый!

В этих случаях Атос прибегал к героическим средствам. Он защищал Луизу, оправдывая ее поступок любовью. Женщина, уступившая королю лишь потому, что он не кто иной, как король, – только такая женщина заслуживает того, чтобы ее называли развратной. Но Луиза любит Людовика; оба они еще совсем дети и забыли: он – о своем положении, она – о своих клятвах. Если человек любит, ему прощается решительно все.

– Помните об этом, Рауль. А они искренне любят друг друга.

И после подобного удара кинжалом по зияющей ране любимого сына Атос тяжело вздыхал, а Рауль – Рауль убежал в чащу леса или скрывался у себя в комнате, откуда выходил через час белый как полотно, но спокойный.

Так проходили дни, следовавшие за той бурной сценой, во время которой Атос так сильно задел неукротимую гордость Людовика. Разговаривая с Раулем, Атос ни разу не вспомнил о рей; он не рассказал Раулю и подробностей своего полного достоинства прощания с королем, хотя, быть может, его рассказ и утешил бы юношу, показав ему в унижении его врага и соперника. Атос не хотел, чтобы оскорбленный влюбленный забыл об уважении, которое должно воздавать королю.

И когда Бражелон, пылкий, озлобленный, мрачный, говорил с презрением о ценности королевского слова и о нелепой вере, с какою иные безумцы относятся к обещаниям, брошенным с высоты трона; когда он, перемахивая через целые два столетия с быстротой птицы, проносящейся над проливом, чтобы из одной части света попасть в другую, предсказывал, что придет время, и короли будут казаться ничтожнее обыкновенных людей, Атос отвечал ему спокойно и убедительно:

– Вы правы, Рауль, и то, о чем вы говорите, непременно произойдет: короли утратят свой ореол, как звезды теряют свой блеск, когда истекает их время. Но когда придет этот час, пас уже давно не будет. И помните хорошенько о том, о чем я сейчас скажу: в нашем мире всем – мужчинам, женщинам и королям – надлежит жить настоящим; что же касается будущего, то в будущем мы должны жить лишь для бога.

Вот о чем разговаривали, как всегда, Атос и Рауль, меряя шагами длинную липовую аллею в парке, присыхающем к замку, когда прозвенел колокольчик, которым обычно возвещали обед или прибытие гостя. Машинально, не обращая внимания на звон колокольчика, они повернули к дому и, дойдя до конца аллеи, столкнулись с Портосом и Арамисом.

Глава 7. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ

Рауль вскрикнул от радости и нежно прижал Портоса к груди. Арамис и Атос поцеловались по-стариковски. Сразу же после этих объятий Арамис заявил:

– Мы к вам ненадолго, друг мой.

– А! – произнес граф.

– Только чтобы успеть рассказать вам о моем счастье, – добавил Портос.

– А! – произнес Рауль.

Атос молча взглянул на прелата, мрачный вид которого явно не гармонировал с радужным настроением Портоса.

– Какая же у вас радость? – спросил, улыбаясь, Рауль.

– Король жалует меня герцогским титулом, – таинственно прошептал Портос, наклонившись к уху Рауля. Но шепот Портоса был больше похож на рев зверя.

Атос услышал эти слова, и у него вырвалось восклицание. Арамис вздрогнул.

Прелат взял Атоса под руку и, попросив разрешения у Портоса поговорить несколько минут наедине с графом, сказал:

– Дорогой Атос, я в великой печали.

– В печали? Ах, дорогой друг!

– Вот в двух словах: я устроил заговор против короля, этот заговор не удался, и в настоящий момент за мной, несомненно, гонятся по пятам.

– За вами гонятся?... Заговор?... Что вы говорите, друг мой?

– Печальную истину. Я погиб.

– Но Портос... этот герцогский титул... что это значит?

– Это и мучит меня больше всего другого, это и есть моя самая глубокая рапа. Веря в безусловный успех моего заговора, я вовлек в него и беднягу Портоса. Он вошел в него весь целиком, – вам, впрочем, и без меня известно, как делает Портос подобные вещи, – отдавая ему все свои силы и решительно ничего не зная о сути дела, и теперь он виноват так же, как и я, и погибнет так же, как погибну я.

– Боже мой!

И Атос повернулся к Портосу, который ответил ему ласковой улыбкой.

– Но я должен изложить все по порядку. Выслушайте меня, – попросил Арамис.

И он рассказал известную нам историю. Пока Арамис говорил, Атос несколько раз ощущал, что у него на лбу выступает испарина.

– Это было великим замыслом, – сказал он, – но и великой ошибкой.

- За которую я жестоко наказан, Атос.
- Поэтому я и не высказываю полностью своих мыслей.
- Выскажите же их, прошу вас.
- Это преступление.
- Ужасное, я это знаю. Оскорбление величества.
- Портос, бедный Портос!
- Но что мне было делать? Успех, как я уже говорил, был обеспечен.
- Фуке – порядочный человек.
- А я, я глупец, что так неверно судил о нем, – воскликнул Арамис. О, мудрость людская! Ты – гигантская мельница, которая перемалывает весь мир, и вдруг в один прекрасный день эта мельница останавливается, потому что неведомо откуда взявшаяся песчинка попадает в ее колеса.
- Скажите – твердейший алмаз, Арамис. Но несчастье свершилось. Что же вы предполагаете делать?
- Я увезу Портоса с собой. Король никогда не поверит, что этот добрейший человек действовал бессознательно; он никогда не поверит, что, действуя так, как он действовал, Портос пребывал в полной уверенности, будто служит своему королю. Оставайся он здесь, ему пришлось бы заплатить за мою ошибку своей головой. Допустить этого я не могу.
- Куда же вы везете его?
- Сперва на Бель-Иль. Это надежнейшее убежище. А дальше... Дальше у меня будет море, будет корабль, чтобы переправиться в Англию, где я располагаю большими связями...
- Вы? В Англию?
- Да. Или в Испанию, где связей у меня еще больше.
- Но, увозя Портоса, вы его разоряете, потому что король, несомненно, конфискует его имущество.
- Обо всем я подумал заранее. Оказавшись в Испании, я найду способ помириться с Людовиком Четырнадцатым и вернуть Портосу монаршее благоволение.
- Вы пользуетесь, Арамис, как я могу заключить, очень большим влиянием, – скромно заметил Атос.
- Да, большим... и я готов служить интересам моих друзей.
- Атос с Арамисом обменялись искренним рукопожатием.
- Благодарю вас, – сказал Атос.
- И раз мы заговорили об этом... Ведь и вы, Атос, имеете основание быть недовольным нынешним королем. И у вас, а особенно у Рауля, достаточно жалоб на короля. Так последуйте нашему с Портосом примеру. Приезжайте к нам на Бель-Иль. А там посмотрим... Клянусь честью, что не позднее, чем через месяц, между Францией и Испанией вспыхнет война, и причиной ее будет этот несчастный сын Людовика Тринадцатого, который вместе с тем и испанский инфант и с которым Франция поступала до последней степени бесчеловечно. А так как Людовик Четырнадцатый не захочет войны, возникшей по этой причине, я гарантирую вам, что он согласится на мировую, в результате которой Портос и я станем испанскими грандами, а вы – герцогом Франции, поскольку вы и теперь уже гранд Испанского королевства.
- Желаете ли вы всего этого?
- Нет; пусть лучше король будет виноват предо мной, чем я перед ним.
- Мой род испокон веку почитал себя вправе притязать на превосходство над королевским родом, и это составляло предмет его гордости. Если я последую вашим советам, я поставлю себя в положение человека, обязанного Людовику. Я приобрету земные блага, по утрачу сознание своей правоты перед ним.
- В таком случае, Атос, я хотел бы от вас двух вещей: оправдания моего поведения...
- Да, я оправдываю его, если вы и впрямь ставили своей целью отомстить угнетателю за слабого и угнетенного.
- Этого мне более чем достаточно, – сказал Арамис; темнота ночи скрыла краску,

выступившую у него на лице. – И еще: дайте мне двух лошадей, и получше, чтобы добраться до следующей станции; на ближайшей к вам мне отказали в них под предлогом, что все лошади наняты проезжающим по вашим краям герцогом де Бофором.

– Вы получите лошадей, Арамис; прошу вас позаботиться о Портосе.

– О, на этот счет будьте спокойны. Еще одно слово: считаете ли вы, что, скрывая от него истину, я поступаю правильно и как подобает порядочному человеку?

– Раз несчастье уже свершилось, да; ведь король все равно не простил бы ему. Кроме того, у вас есть поддержка в лице Фуке, который никогда не покинет вас, так как и он, сколь бы героическим ни был его поступок, слишком скомпрометирован этим делом.

– Вы правы. И поскольку сестра на корабль и уехать из Франции было бы равносильно признанию, что я боюсь за себя и считаю себя виновным, я решил остаться на французской земле. Но Бель-Иль будет для меня такси землей, какой я пожелаю: английской, испанской или папской – все зависит лишь от того, какой флаг я там подниму.

– Как это так?

– Я успел укрепить Бель-Иль, и никому его не занять, пока я защищаю его. И затем, вы заметили, существует еще Фуке. На Бель-Иль не нападут до тех пор, пока не будет приказа, скрепленного его подписью.

– Ото верно, но все же будьте благоразумны. Король хитер, и в его руках сила.

Арамис усмехнулся.

– Прошу вас позаботиться о Портосе, – продолжал с какой-то холодной настойчивостью Атос.

– Все, что произойдет со мной, граф, – тем же тоном отвечал Арамис, произойдет и с нашим братом Портосом.

Атос пожал Арамису руку и, подойдя к Портосу, с жаром поцеловал его.

– А ведь я родился счастливым, не так ли? – прошептал Портос, кутаясь в плащ.

– Поедем, друг мой, – поторопил его Арамис.

Рауль ушел вперед распорядиться относительно лошадей. Еще через несколько минут друзья простились. Арамис и Портос направились к лошадям.

Атос, смотря на друзей, готовых пуститься в неведомый путь, почувствовал, что глаза его заволакивает какая-то нелепа и на сердце его легла невыносимая тяжесть.

«Как странно, – подумал он, – откуда у меня такое неудержимое желание еще раз обнять Портоса?!»

В этот момент Портос обернулся. Поймав да себе взгляд Атоса, он устремился к нему, широко раскрыв объятия. И они обнялись столь же пылко, как обнимались когда-то в молодости, когда их сердца были горячими и жизнь была полна счастья.

Портос сел в седло. Подошел к Атосу и Арамис, и от и тоже крепко обнялись напоследок.

Атос видел, как белые плащи всадников, мелькавшие на большой дороге, с каждым мгновением становились все менее и менее четкими. Похожие на двух приведенных, всадники поднимались, казалось, все выше и выше, и все росли и росли, пока наконец не исчезли, но не в тумане, там, где дорога пошла под уклон. Казалось, будто в с стремительном скачке они взлетели вверх и растворились в воздухе, словно пар.

Атос с тяжелым сердцем направился к дому.

– Рауль, – сказал он, обращаясь к сыну, – что-то подсказывает мне, что я видел их в последний раз.

– Меня несколько не удивляет, что вам пришла в голову подобная мысль; мгновение назад то же самое подумал и я, и мне тоже кажется, что я никогда уже не увижу господина дю Валлона и господина д'Эрбле.

– О, вы говорите об этом как человек, которого удручает совсем иное: сейчас все, решительно все предстает перед вами в черном свете; но вы молоды, и если вам я в самом деле не доведется больше увидеть этих старых друзей, то это случится лишь потому, что их не будет в том мире, в котором вам предстоит жить еще долгие годы. Тогда как я...

Рауль чуть-чуть покачал головой и с нежностью прижался к плечу отца.

Ни тот, ни другой не нашли больше ни одного слова, так как сердца их были переполнены до краев.

Внезапно топот многочисленных лошадей и голоса на дороге в Блуа привлекли их внимание. Они увидели верховых, весело потрясавших факелами, свет которых мелькал между деревьями, и время от времени придерживавших копей, чтобы не отрываться от следовавших за ними всадников.

Эти огни, шум, пыль столбом от дюжины лошадей в богатых чепраках и нарядной сбруе – все это составляло странный контраст с глухим и мрачным исчезновением двух расплывшихся в воздухе призраков – Портоса и Арамиса.

Атос вернулся к себе. Но не успел он еще дойти до цветника, как ворота замка загорелись, казалось, пламенем. Факелы застыли на месте и как бы зажгли дорогу, Раздался крик: «Герцог де Бофор!»

Атос бросился к дверям своего дома. Герцог уже сошел с лошади и оглядывался вокруг.

– И здесь, монсеньер, – сказал Атос.

– А, добрый вечер, дорогой граф, – произнес герцог с той сердечностью, которая подкупала сердца всех встречавшихся с ним. – Не слишком ли поздно даже для друга?

– Входите, ваша светлость, входите.

Опираясь на руку Атоса, герцог де Бофор прошен в дом. За ними туда же последовал и Рауль, скромно шагавший сзади вместе с офицерами герцога, среди которых у него были друзья.

Глава 8. **ГЕРЦОГ ДЕ БОФОР**

Герцог обернулся в тот самый момент, когда Рауль, желая оставить его с Атосом наедине, закрывал дверь и собирался перейти вместе с офицерами в соседнюю залу.

– Это тот юноша, которого так расхваливал принц? – спросил де Бофор.

– Да, это он.

– По-моему, он настоящий солдат! Он здесь не лишний, пусть останется с нами.

– Оставайтесь, Рауль, раз монсеньер разрешает, – повернулся к сыну Атос.

– Как он красив и статен! – продолжал герцог. – А вы мне дадите его, если я попрошу вас об этом, сударь?

– Что вы хотите сказать, монсеньер?

– Ведь я заехал проститься с вами. Разве вам не известно, кем я в скором времени стану?

– Вероятно, тем, кем вы были всегда, монсеньер, то есть храбрым принцем и отменным дворянином.

– Я становлюсь африканским принцем и бедуинским дворянином. Король посылает меня покорять арабов.

– Что вы, монсеньер!

– Это странно, не так ли? Я, чистокровный парижанин, я, король предместий (меня ведь прозвали рыночным королем), я перехожу с площади Мобер к подножию минаретов Джиджелли; из фрондера я превращаюсь в искателя приключений.

– О монсеньер, если бы не вы сами говорили об этом...

– Вы б не поверили, разве не так? Все же вам придется поверить и давайте простимся. Вот что значит обрести вновь королевскую милость.

– Милость?

– Да. Вы улыбаетесь. Ах, дорогой граф, знаете ли вы, почему я принял подобное назначение?

– Потому что слава для вашей светлости превыше всего.

– Какая там слава – отправляться за море, чтобы стрелять из мушкета по дикарям! Нет, там не найду я славы, и всего вероятнее, что меня ожидает там нечто другое... Но я неизменно

хотел и продолжаю хотеть, чтобы жизнь моя, слышите, граф, чтобы жизнь моя заблестала еще и этой гранью, после того как пятьдесят долгих лет она излучала самый причудливый блеск. Ведь посудите-ка сами, разве не странно родиться сыном короля, воевать с королями, считать себя одним из могущественнейших людей своего века, никогда не терять собственного достоинства, походить на Генриха Четвертого, быть великим адмиралом Французского королевства – и поехать за смертью в Джиджелли ко всем этим туркам, маврам и сарацинам?

– Монсеньер, вы так упорно настаиваете на этом, – сказал смущенный словами Бофора Атос. – С чего это вы решили, что столь блистательная судьба оборвется в этом жалком углу?

– Неужели вы думаете, справедливый и доверчивый человек, что, если меня отправляют в Африку под таким смехотворным предлогом, я не постараюсь выйти из этого смешного положения с честью? И не заставлю говорить о себе? А чтобы заставить говорить о себе, когда есть принц, есть Тюрепи и еще несколько моих современников, могу ли я, адмирал Франции, сын Генриха Четвертого и король Парижа, сделать что-либо иное, кроме того, чтобы подставить свой лоб под пулю? Черт возьми! Уверю вас, об этом, будьте спокойны, несомненно заговорят. Я буду убит назло и вопреки всем на свете. Если не там, то где-нибудь в другом месте.

– Монсеньер, что за чрезмерное преувеличение! А в вашей жизни чрезмерной была только храбрость!

– Черт возьми, дорогой друг, это не храбрость, настоящая храбрость это ехать за море навстречу цинге, дизентерии, саранче и отравленным стрелам, как мой предок Людовик Святой. Кстати, известно ли вам, что эти бездельники пользуются отравленными стрелами и посейчас? И потом, я об этом думаю уже очень давно. А вы знаете, если я хочу чего-нибудь, то хочу очень сильно.

– Вы пожелали покинуть Венсен, монсеньер?

– Да, и вы мне помогли в этом, друг мой; кстати, я обращаюсь во все стороны и не вижу моего старого приятеля Вогримо. Как он и что он?

– Вогримо и доньне – почтительный слуга вашей светлости, – улыбнулся Атос.

– У меня с собой для него сто пистолетов, которые я привез как наследство. Мое завещание сделано.

– Ах, монсеньер, монсеньер!

– И вы понимаете, что если б увидели имя Гримо в моем завещании...

Герцог расхохотался. Затем, обратившись к Раулю, который с начала этой беседы погрузился в раздумье, он произнес:

– Молодой человек, я знаю, что здесь есть вино, именуемое, если не ошибаюсь, Вувре...

Рауль торопливо вышел, чтобы распорядиться относительно угощения герцога. Бофор взял Атоса за руку и спросил:

– Что вы хотите с ним делать?

– Пока ничего, монсеньер.

– Ах да, я знаю; со времени страсти короля к... Лавальер...

– Да, монсеньер.

– Значит, все это правда?... Я, кажется, знал ее некогда, эту маленькую прелестницу Лавальер. Впрочем, она, сколько помнится, не так уж хороша.

– Вы правы, монсеньер, – согласился Атос.

– Знаете ли, кого она мне чем-то напоминает?

– Она напоминает кого-нибудь вашей светлости?

– Она похожа на одну очень приятную юную девушку, мать которой жила возле рынка.

– А, а! – кивнул Атос.

– Хорошие времена! – добавил Бофор. – Да, Лавальер напоминает мне эту милую девушку.

– У которой был сын, не так ли?

– Кажется, да, – ответил герцог с той наивной беспечностью и великолепной забывчивостью, интонации которых передать невозможно. – А вот бедняга Рауль, он,

бесспорно, ваш сын, не так ли?

– Да, монсеньер, он, бесспорно, мой сын.

– Бедный мальчик оскорблен королем и очень страдает.

– Он делает нечто большее, монсеньер, он сдерживает порывы своей души.

– И вы позволите ему тут закоснеть? Это нехорошо. Послушайте, дайте-ка его мне.

– Я хочу его сохранить при себе, монсеньер. У меня только он один на всем свете, и пока он захочет оставаться со мной...

– Хорошо, хорошо, – сказал герцог, – и все же я быстро привел бы его в чувство. Уверяю вас, он из того теста, из которого делаются маршалы Франции.

– Возможно, монсеньер, но ведь маршалов Франции назначает король; Рауль же ничего не примет от короля.

Беседа прервалась, так как в комнату возвратился Рауль. За ним шел Гримо, руки которого, еще твердые и уверенные, держали поднос со стаканами и бутылкой вина, столь любимого герцогом.

Увидев того, кому он издавна покровительствовал, герцог воскликнул:

– Гримо! Здравствуй, Гримо! Как поживаешь?

Слуга отвесил низкий поклон, обрадованный не меньше своего знатного собеседника.

– Вот и встретились два старинных приятеля! – улыбнулся герцог, энергично трепля по плечу Гримо.

Гримо поклонился еще ниже и с еще более радостным выражением на лице, чем кланялся в первый раз.

– Что я вижу, граф? Почему лишь один кубок?

– Я могу пить о вашей светлости только в том случае, если ваша светлость приглашает меня, – с благородной скромностью произнес граф де Ла Фер.

– Черт возьми! Приказав принести один этот кубок, вы были правы: мы будем пить из него как братья по оружию. Пейте же, граф, пейте первым.

– Окажите мне милость, – попросил Атос, тихонько отстраняя кубок.

– Вы – чудеснейший друг, – ответил на это герцог, Он выпил и передал золотой кубок Атосу.

– Но это еще не все, – продолжал он, – я еще не утолил жажды, и мне хочется воздать честь вот этому красивому мальчику, который стоит возле нас. Я приношу счастье, виконт, – обратился он к Раулю, – пожелайте что-нибудь, когда будете пить из моего кубка, и черт меня набери, если ваше желание не исполнится.

Он протянул кубок Раулю, который торопливо омочил в нем свои губы и так же торопливо сказал:

– Я пожелал, монсеньер.

Глаза его горели мрачным огнем, кровь прилила к щекам; он испугал Атоса своей улыбкой.

– Чего же вы пожелали? – спросил герцог, откинувшись в кресле и передавая Гримо бутылку и вслед за ним кошелек.

– Монсеньер, обещайте мне выполнить мое пожелание.

– Разумеется, раз я сказал, то о чем же еще толковать.

– Я пожелал, господин герцог, отправиться с вами в Джиджелли.

Атос побледнел и не мог скрыть волнения. Герцог посмотрел на своего друга как бы затем, чтобы помочь ему отпаривать этот внезапный удар.

– Это трудно, мой милый виконт, очень трудно, – добавил он не слишком уверенно.

– Простите, монсеньер, я был нескромен, – произнес Рауль твердым голосом, – но поскольку вы сами предложили мне пожелать...

– Пожелать покинуть меня, – молвил Атос.

– О граф... неужели вы можете это подумать?

– Черт возьми! – вскричал герцог. – В сущности, этот мальчуган прав.

Что он будет здесь делать? Да он пропадет тут с горя!

Рауль покраснел. Герцог, все более и более увлекаясь, между тем продолжал:

– Война – разрушение; участвуя в ней, можно выиграть решительно все, потерять же только одно – жизнь. Ну что же, тем хуже!

– То есть память, – живо вставил Рауль, – значит: тем лучше.

Увидев, что Атос встал и открывает окно, Рауль раскаялся в своих столь необдуманно сказанных словах. Атос, несомненно, пытался скрыть свои тягостные переживания. Рауль бросился к графу, но Атос уже справился со своей печалью, и, когда он снова вышел на свет, лицо его было спокойно и ясно.

– Ну так как же, – спросил герцог, – едет он или не едет? Если едет, то будет моим адъютантом, будет мне сыном, граф.

– Монсеньер! – воскликнул Рауль, отвешивая герцогу низкий поклон.

– Монсеньер, – обратился к Бофору граф – Рауль действует, руководствуясь своими желаниями.

– О нет, граф, я поступлю так, как вы того захотите, – произнес юноша.

– Раз так, то этот вопрос будет решаться не графом и не виконтом, сказал герцог, – а мной. Я увожу его. Морская служба, друг мой, – это великолепное будущее.

Рауль улыбнулся так горестно, что сердце Атоса сжалось, и он ответил ему суровым и непреклонным взглядом. Рауль понял отца; он взял себя в руки, и у него по вырвалось больше ни одного лишнего слова.

Видя, что уже поздно, герцог поспешно встал и быстро проговорил:

– Я тороплюсь; но если мне скажут, что я потерял время в беседе с другом, я отвечу, что завербовал отличного новобранца.

– Простите, господин герцог, – перебил Бофора Рауль, – не говорите этого королю, ибо не королю я буду служить.

– Кому же ты будешь служить, милый друг? Теперь уже не те времена, когда можно было сказать: «Я принадлежу господину Бофору». Нет, теперь уж мы все, малые и великие, принадлежим королю. Поэтому, если ты будешь служить на моих кораблях, – никаких уловок, мой милый виконт, – ты будешь тем самым служить королю.

Атос с нетерпением ждал, какой ответ даст на этот трудный вопрос Рауль, непримиримый враг короля – своего соперника. Отец надеялся, что желание отправиться вместе с Бофором разобьется об это препятствие. Он был почти благодарен Бофору за его легкомыслие или, быть может, великодушие, благодаря которому ставился еще раз под сомнение отъезд его сына, его единственной радости.

Но Рауль все так же спокойно и твердо ответил:

– Герцог, вопрос, который вы мне задаете, я уже решил для себя. Я буду служить в вашей эскадре, раз вы оказали мне милость и согласились, чтобы я сопутствовал вам, но служить я буду владыке более могущественному, чем король Франции, – я буду служить господу богу.

– Богу? Но как же? – в один голос воскликнули Атос и Бофор.

– Я хочу дать обет и стать рыцарем мальтийского ордена.

Эти слова, отчетливо и медленно произнесенные Бражелоном, падали одно за другим, словно студеньные капли с черных нагих деревьев, претерпевших зимнюю бурю.

От этого последнего удара Атос пошатнулся, и даже сам герцог, казалось, заколебался. Гримо испустил глухое стенание и уронил бутылку с вином, разбившуюся на ковре, которым был застлан пол, но никто не обратил на это внимания.

Герцог де Бофор пристально посмотрел на юношу и прочел на его лице, несмотря на опущенные глаза, такую решимость, которой никто не смог бы противодействовать. Что до Атоса, то он знал эту нежную и вместе с тем непреклонную душу и не надеялся отклонить ее от рокового пути, который она только что для себя избрала. Он пожал протянутую герцогом руку.

– Граф, через два дня я отправляюсь в Тулон, – сказал герцог. – Приедете ли вы повидаться со мной в Париже, чтобы сообщить ваше решение?

– Я буду иметь честь навестить вас в Париже, чтобы еще раз принести вам свою

благодарность за все ваши милости, – ответил Атос.

– И независимо от принятого вами решения, привезите мне виконта, вашего сына, – добавил герцог, – я дал ему слово и требую от него лишь вашего разрешения.

И пролив этот бальзам на раненое отцовское сердце, герцог потрепал по плечу старину Гримо, который сверх всякой меры моргал глазами; затем он присоединился к свите, ожидавшей его у цветника.

Свежие и отдохнувшие лошади быстро умчали гостей; Атос и Бражелон остались одни. Пробило одиннадцать.

Отец и сын хранили молчание, но всякий проницательный наблюдатель угадал бы в этом молчании подавленные рыдания и жалобы. Но они оба были людьми такой необыкновенной твердости, такой закалки, что всякое движение души, которое они решили таить про себя, скрывалось в глубине их сердца и больше уже не показывалось.

Так провели они в полном молчании время до полуночи. И только часы, отбившие на колокольне двенадцать ударов, показали им, сколько минут длилось странствие, сделанное их душами в бескрайнем царстве воспоминаний о прошлом и опасений относительно будущего.

Атос поднялся первым.

– Поздно... До завтра, Рауль.

Рауль встал вслед за отцом и подошел обнять его на прощание. Граф нежно прижал его к сердцу и сказал:

– Итак, через два дня вы покинете меня, покинете навсегда?

– Граф, – ответил молодой человек, – я принял было решение пронзить себе сердце шпагой, но вы сочли бы меня трусом, и я от этого отказался; теперь нам приходится покинуть друг друга.

– Это вы, Рауль, покидаете меня здесь в одиночестве.

– Граф, выслушайте меня, молю вас об этом. Если я не уеду отсюда, я умру от горя и от любви. Я высчитал, сколько еще я мог бы прожить, оставаясь здесь с вами. Отправьте меня, и поскорее, или вы будете наблюдать, как я угасаю у вас на глазах, медленно умирая в родительском доме. Это сильнее, чем моя воля, сильнее, чем мои силы; ведь вы видите, что за месяц я прожил не меньше тридцати лет и что моя жизнь приходит к концу.

– Итак, – холодно произнес Атос, – вы уезжаете с намерением умереть в Африке? О, скажите мне правду, не лгите!

Рауль побледнел; он молчал какие-нибудь две-три секунды, но эти секунды тянулись для его отца как часы мучительной агонии. Наконец Рауль внезапно проговорил:

– Граф, я обещал отдать себя богу. Взамен этой жертвы – ведь я отдаю ему и свою молодость, и свободу – я буду молить его лишь об одном: чтобы он хранил меня ради вас, потому что вы, и только вы, – вот что связывает меня с этим миром. Один бог способен вложить в меня силы не забывать, сколь многим я вам обязан и сколь ничтожно все остальное в сравнении с вами.

Атос с нежностью обнял сына:

– Вы ответили мне словами честного человека. Через два дня мы поедem к господину Бофору в Париж, и вы поступите так, как найдете необходимым.

И он медленно направился к себе в спальню. Рауль сошел в сад; он провел всю эту ночь в липовой аллее.

Глава 9. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОТЪЕЗДУ

Атос не стал терять времени на попытки отговорить сына от принятого решения и использовал предоставленные герцогом два дня отсрочки для экипировки Рауля. Он поручил это дело Гримо, который тотчас же и принялся за него с известной читателю готовностью и рассудительностью.

Приказав своему достойному управляющему доставить вещи Рауля в Париж, как только будут закончены хлопоты с его снаряжением, Атос вместе с сыном, на следующий день после посещения его замка герцогом де Бофором, поехал туда же, чтобы не заставлять герцога ждать.

Возвращение в Париж, в общество тех людей, которые знали и любили его, наполнило сердце бедного юноши вполне понятным волнением.

Каждое знакомое лицо напоминало ему о страдании – ему, который столько страдал, или о каком-нибудь обстоятельстве его несчастной любви, – ему, который он пылко любил. Приближаясь к Парижу, Рауль чувствовал, что он умирает. Приехав в Париж, он перестал ощущать, что живет. Он направился к де Гишу; ему ответили, что де Гиш у принца, брата его величества. Рауль приказал везти себя в Люксембургский дворец, и, не зная, что он попал туда, где живет Лавальер, он услышал столько музыки и вдохнул в себя ароматы стольких цветов, он услышал столько беспечного смеха и увидел столько танцующих теней, что если б его не заметила одна сердобольная женщина, он просидел бы несколько недолгих минут, унылый и бледный, в приемной под бархатною портьерой и затем ушел бы оттуда, чтобы никогда больше не возвращаться.

Войдя во дворец, Рауль не пошел дальше одной из первых приемных, с тем чтобы не сталкиваться со всеми этими полными жизни и счастья людьми, которые толпились в соседних залах. И когда один из слуг принца, узнавший Рауля, спросил, кого, собственно, он хочет увидеть, принца или принцессу, Рауль ответил ему что-то не вполне внятное и тотчас же повалился на скамью под бархатною портьерой, глядя на часы с неподвижными стрелками.

Слуга вышел; появился другой, более осведомленный, чем первый, он спросил Рауля, не желает ли он видеть г-на де Гиша. Даже это имя не привлекло внимания бедного Рауля. Слуга, став возле него, принялся рассказывать, что де Гиш недавно изобрел новое лото и сейчас обучает этой игре дам при дворе принца, брата его величества короля.

Рауль, раскрыв широко глаза, словно рассеянный в изображении Теофраста, ничего не ответил. Грусть его стала еще мучительнее. С откинутой головой, ослабевшими членами и искаженным лицом сидел он, вздыхая, забытый всеми в приемной перед остановившимися часами, как вдруг в соседней гостиной зашуршало платье, послышался смех, и молодая прелестная женщина прошла мимо него, оживленно упрекая за что-то дежурного офицера.

Офицер отвечал спокойно и твердо: это была скорее любовная ссора, чем спор между придворными, – ссора, кончившаяся тем, что кавалер поцеловал даме пальчики. Вдруг, заметив Рауля, дама замолкла и, остановив офицера, приказала:

– Уходите, Маликорн, уходите; я не знала, что мы здесь не одни. Я прокляну вас навеки, если нас видели или слышали!

Маликорн не замедлил скрыться, а молодая женщина подошла сзади к Раулю и, улыбнувшись, начала:

– Сударь, вы порядочный человек... и, конечно...

Она осеклась на полуслове, вскрикнула:

– Рауль! – и покраснела.

– Мадемуазель де Монтале! – проговорил Рауль, бледный как смерть.

Он встал, шатаясь, и собрался было бежать по скользкому мозаичному полу; но она поняла его скорбь и, кроме того, почувствовала в его бегстве укор или по меньшей мере подозрение. Не теряя головы ни при каких обстоятельствах, она решила, что не следует упускать возможность оправдаться пред ним, и остановила Рауля посреди галереи.

Виконт с такою сдержанностью и холодностью посмотрел на нее, что, если бы кто-нибудь оказался свидетелем этой сцены, при дворе были бы окончательно решены сомнения относительно роли Монтале в истории Рауля и Лавальер.

– Ах, сударь, – сказала она с раздражением, – ваше поведение недостойно настоящего дворянина. Мое сердце велит мне объясниться с вами, вы же компрометируете меня, оказывая даме в высшей степени неучтивый прием: вы не правы, сударь; нельзя валить в одну кучу и друзей и врагов. Прощайте!

Рауль поклялся себе никогда не говорить о Луизе, никогда не смотреть на тех, кто ее видел; он переходил в другой мир, чтобы не сталкиваться ни с чем, что видела или к чему прикасалась Луиза. Но после первого удара по самолюбию, после того как он несколько свыкся с присутствием Монтале, подруги Луизы, – Монтале, напоминавшей ему башенку в Блуа и его юное счастье, – все его благоразумие моментально исчезло.

– Простите меня, мадемуазель, – начал он, – я не собираюсь, да и не мог бы иметь такого намерения, быть неучтивым с вами.

– Вы хотите поговорить со мной? – спросила она с прежней улыбкой. Тогда пойдемте куда-нибудь, так как здесь нас могут застать.

– Куда?

Она бросила нерешительный взгляд на часы, потом, подумав, заявила:

– Ко мне, у нас впереди еще целый час.

И, легкая, как фея, она побежала к себе; Рауль пошел вслед за ней.

Войдя в свою комнату, она заперла дверь и, передав камеристке мантилью, обратилась к Раулю:

– Вы ищете господина де Гиша?

– Да, сударыня.

– Я попрошу его подняться ко мне, после того как мы побеседуем.

– Благодарю вас, сударыня.

– Вы на меня сердитесь?

Рауль одно мгновение смотрел на нее в упор, затем, опустив глаза, произнес:

– Да.

– Вы считаете, что я участвовала в заговоре, который привел к вашему разрыву с Луизой?

– Разрыву... – повторил он с горечью. – О сударыня, разрыва не может быть там, где никогда не было ни крупинки любви.

– Заблуждение. Луиза любила вас.

Рауль вздрогнул.

– Это не было страстью, я знаю, но она все же любила вас, и вам надо было жениться на ней до отъезда в Англию.

Рауль разразился таким мрачным смехом, что Монтале содрогнулась.

– Вам хорошо так говорить, сударыня... Разве мы женимся на той, кто нам по сердцу? Вы, видимо, забываете, что в то время король уже приберегал для себя любовницу, о которой мы говорим.

– Послушайте, – продолжала молодая женщин, сжимая холодные руки Рауля в своих, – вы сами кругом виноваты: мужчина вашего возраста не должен оставлять в одиночестве женщину ее возраста.

– Значит, нет больше верности в мире, – вздохнул Рауль.

– Нет, виконт, – спокойно ответила Монтале. – Однако я должна вам заметить, что если бы вместо того, чтоб холодно и философски обожать Луизу, вы разбудили в ее сердце любовь...

– Довольно, прошу вас, сударыня. Я чувствую, что все вы принадлежите к другому веку, чем я. Вы умеете смеяться, и вы мило насмешничаете. А я, я любил мадемуазель Ла...

Рауль не смог произнести это имя.

– Я любил ее, я верил в нее; а теперь мы с ней в расчете: я перестал испытывать к ней чувство любви.

– О, виконт! – остановила его Монтале, подавая ему небольшое зеркало.

– Я знаю, что вы хотите сказать, сударыня. Я изменился, не так ли? А знаете почему? Мое лицо – зеркало моей души, и внутренне я изменился так же, как внешне.

– Вы утешились? – язвительно спросила Монтале.

– Нет, я никогда не утешусь.

– Вас не поймут, господин де Бразелон.

– Меня это нисколько не беспокоит. Сам себя я достаточно хорошо понимаю.
– Бы даже не пытались поговорить с Луизой, не так ли?
– Я! – вскричал молодой человек, сверкая глазами. – Я! Право, почему бы вам не посоветовать мне жениться на ней! Быть может, теперь король и согласился б на это!

И в гневе он встал.

– Я вижу, – сказала Монтале, – что вы вовсе не исцелились и что у Луизы есть еще один враг.

– Враг?

– Ведь фавориток при французском дворе не очень-то жалуют.

– Разве ей мало защиты ее возлюбленного? Она избрала себе возлюбленного такого сана, что врагам его не осилить. И потом, – добавил он с некоторой прописи после внезапной паузы, – у нее есть такая подруга, как вы.

– Я? О нет: я больше не принадлежу к числу тех, кого мадемуазель де Лавальер удостаивает своим взглядом, но...

Это но было полно угроз, от этого но забилося сердце Рауля, так как оно предвещало горе той, которую он так любил, и на этом же многозначительном но разговор был прерван довольно сильным шумом в алькове за деревянной панелью.

Монтале прислушалась; Рауль уже вставал со своего места, когда в комнату, прикрыв за собой потайную дверь, спокойно вошла какая-то женщина.

– Принцесса! – воскликнул Рауль, узнав невестку короля, красавицу Генриетту.

– О, я несчастная! – прошептала Монтале, слишком поздно бросаясь навстречу принцессе. – Я ошиблась часом!

Однако она все же успела предупредить идущую прямо к Раулю принцессу:

– Господин де Бражелон, ваше высочество.

Принцесса вскрикнула и отступила.

– Ваше королевское высочество, – бойко заговорила Монтале, – вы так добры, что подумали о лотерее и...

Принцесса начала терять присутствие духа. Рауль, не догадываясь еще обо всем, но чувствуя, что он лишний, заторопился уйти.

Принцесса приготовилась уже что-то сказать, чтобы положить конец неловкому положению, как вдруг напротив алькова раскрылся шкаф, и из него, сияя, вышел до Гиш. Принцесса едва не лишилась чувств; чтобы устоять на ногах, она прислонилась к кровати. Никто не посмел ее поддержать. В тягостном молчании прошло несколько ужасных минут.

Рауль первый прервал его; он направился к графу, у которого от волнения дрожали колени, и, взяв его за руку, громко начал:

– Дорогой граф, скажите ее высочеству, что я бесконечно несчастлив и поэтому заслуживаю ее прощения; скажите ей, что я любил, и ужас перед предательством, жертвой которого я оказался, отвращает меня от предательства даже в самых невинных формах его. Вот почему, сударыня, – с улыбкой повернулся он к Монтале, – я никогда не разглашу тайну ваших свиданий с моим другом де Гишем. Добейтесь у принцессы (принцесса так великодушна и милостива), чтобы она простила также и вас, она, которая только что застала вас вместе. Ведь вы оба свободны; любите друг друга и будьте счастливы!

Принцессу охватило непередаваемое отчаяние. Несмотря на утонченную деликатность Рауля, ей было в высшей степени неприятно зависеть от его возможной нескромности. Не менее неприятно было принцессе воспользоваться лазейкой, которую предоставлял ей этот деликатный обман. Живая и нервная, она мучительно переживала и то и другое. Рауль понял ее и еще раз пришел к ней на помощь. Он склонился пред Генриеттой и совсем тихо произнес:

– Ваше высочество, через два дня я буду далеко от Парижа, а спустя две недели я буду вдали от Франции, и никто никогда меня не увидит.

– Вы уезжаете? – обрадовано спросила она.

– С герцогом де Бофором.

– В Африку? – воскликнул де Гиш. – Вы, Рауль? О, мой друг, в Африку, где умирают!

И, забыв обо всем, не подумав, что его забывчивость компрометирует принцессу в еще большей мере, чем его появление в комнате Монтале, он сказал:

– Неблагодарный, вы даже не посоветовались со мной!

И он обнял Рауля.

В это время с помощью Монтале принцесса исчезла, а за нею исчезла и сама Монтале.

Рауль провел рукою по лбу и улыбнулся:

– Все это я видел во сне!

Затем, обратившись к де Гишу, он продолжал:

– Друг мой, я ничего не стану таить от вас, ведь вы избраны моим сердцем: я еду туда умирать, и ваша тайна – не пройдет и года – умрет вместе со мной.

– О, Рауль! Вы же мужчина!

– Знаете ли вы мою мысль, де Гиш? Я думаю, что, лежа в могиле, я буду более живым, чем сейчас, в этот последний месяц. Ведь мы христиане, друг мой, а я не мог бы отвечать за свою душу, если б такое страдание продолжалось и дальше.

Де Гиш хотел возразить, но Рауль перебил его:

– Обо мне больше ни слова; вот вам, дорогой друг, совет, и это гораздо важнее. Вы рискуете больше, чем я, так как вас любят.

– О...

– Мне бесконечно приятно, что я могу говорить с вами так откровенно.

Остерегайтесь Монтале.

– Она добрый друг.

– Она была подругой... той... кого вы знаете, и погубила ее из тщеславия.

– Вы ошибаетесь.

– А теперь, когда она погубила ее, она хочет отнять у нее единственное, что извиняет ее предо мною, – ее любовь.

– Что вы хотите сказать?

– То, что против любовницы короля – заговор, и этот заговор в доме принцессы.

– Вы так думаете?

– Я убежден.

– И Монтале во главе этого заговора?

– Считайте ее наименее опасной из тех, кто может повредить... той, другой.

– Объяснитесь, друг мой, и если я смогу вас понять...

– В двух словах: было время, когда принцесса ревниво следила за королем.

– Я это знаю...

– О, не бойтесь, де Гиш, вас любят, вас любят: чувствуете ли вы цену двух этих слов? Они означают, что вы можете ходить с поднятой головой, что вы можете спокойно спать по ночам, что вы можете благодарить бога каждое мгновение вашей жизни! Вас любят – это значит, что вы можете позволить себе выслушать все, решительно все, даже совет вашего друга, который хочет уберечь ваше счастье. Вас любят, де Гиш, вас любят! Вам не будут знакомы ужасные ночи, бесконечные ночи, которые проводят с сухими глазами и истерзанным сердцем несчастные, обреченные на смерть. Ваш век будет долгим, если вы будете поступать как скупец, который настойчиво, мало-помалу, собирает брильянты и золото. Вас любят! Разрешите же мне сказать вам по-дружески, как следует поступать, чтобы вас любили всегда.

Де Гиш некоторое время смотрел в упор на несчастного юношу, полубезумного от отчаяния. И в его душе промелькнуло нечто вроде стыда за свое счастье.

Рауль понемногу брал себя в руки; его лихорадочное возбуждение сменилось привычной для него бесстрастностью в голосе и в чертах лица.

– Заставят страдать, – сказал он, – ту, чье имя я уже не в силах произнести. Поклянитесь же мне, что вы не только не будете содействовать этому, но защитите ее так же, как я сам защищал бы ее.

– Клянусь, – ответил де Гиш.

– И в тот же день, когда вы окажете ей какую-нибудь важную для нее услугу, в тот день, когда она будет благодарить вас, обещайте мне, что вы скажете ей: «Сударыня, я сделал вам добро по просьбе господина де Бражелона, которому вы принесли столько зла».

– Клянусь! – прошептал тронутый словами Рауля до Гиш.

– Вот и все. Прощайте. Завтра или, может быть, послезавтра я уезжаю в Тулон. Если у вас есть несколько свободных часов, подарите их мне.

– Все, все мое время – ваше!

– Благодарю вас.

– Что вы сейчас собираетесь делать?

– Я отправлюсь к Планше, где мы надеемся, граф и я, увидеть шевалье д'Артаньяна. Я хочу обнять его веред отъездом. Он порядочный человек и любил меня. Прощайте, дорогой друг. Вас, наверное, ждут. А когда вы захотите повидаться со мной, вы найдете меня у графа. Прощайте!

Молодые люди поцеловались. Кто увидел бы их в этот момент, тот не преминул бы сказать, указав на Рауля:

– Этот человек поистине счастлив.

Глава 10. ОПИСЬ, СОСТАВЛЯЕМАЯ ПЛАНШЕ

В отсутствие Рауля, побывавшего, как известно читателю, в Люксембургском дворце, Атос и в самом деле поехал к Планше с намерением узнать что-нибудь о д'Артаньяне.

Прибыв на Ломбардскую улицу, граф нашел лавку Планше в большом беспорядке, но беспорядок этот происходил не от бойкой торговли, которой не было, и не от привоза товаров, чего тоже не было. Планше не восседал, как обычно, на своих мешках и бочонках. Отнюдь нет. Один из приказчиков – с пером за ухом, другой – с записной книжкой в руке разбирались в бесконечных столбиках цифр, тогда как третий приказчик усердно считал и взвешивал.

Происходила опись товаров. Атос, ровно ничего не понимавший в торговле, почувствовал себя в затруднительном положении и потому, что на его пути возвышались преграды материального свойства, и потому, что его пугало величие тех, кто тут орудовал.

Он увидел, что нескольких покупателей отослали назад с пустыми руками, и подумал, что он, не собиравшийся делать покупок, с еще большим основанием может оказаться здесь лицом нежелательным. После некоторых колебаний он вежливо спросил одного из приказчиков, где он мог бы увидеть господина Планше.

Ему довольно небрежно ответили, что Планше кончает укладываться.

Эти слова заставили Атоса насторожиться.

– То есть, что это значит «кончает укладываться»? – проговорил он. Разве господин Планше куда-нибудь уезжает?

– Да, сударь, он сейчас уезжает.

– В таком случае, господа, будьте добры сообщить ему, что граф де Ла Фер хотел бы встретиться с ним.

Услыхав это имя, один из приказчиков, привыкший к тому, что здесь его произносили с особой почтительностью, оторвался от дела и пошел за Планше.

Это было в то время, когда Рауль, после тягостной сцены в комнате Монтале и разговора с де Гишем, подъезжал к дверям лавки достойного бакалейщика.

Планше, узнав от приказчика о том, кто его спрашивает, бросил работу и выбежал навстречу Атосу.

– Ах, господин граф, какая радость! Какая это звезда привела вас ко мне?

– Милый Планше, – сказал Атос, пожимая руку Раулю, который в это мгновение оказался с ним рядом и опечаленный вид которого он сразу же про себя отметил, – мы явились узнать у вас... Но в каких хлопотах я вас застаю! Вы весь белый, как мельник. Где это вы так измазались?

– Ах, будьте осторожны, сударь, и не подходите ко мне прежде, чем я как следует не отряхнусь.

– Почему?

– То, что вы видите у меня в руках, это – мышьяк. Я делаю запас мышьяка от крыс.

– О, в таком заведении, как ваше, крысы доставляют немало забот.

– Я не об этом заведении, господин граф, забочусь.

– Что вы хотите сказать?

– Но ведь вы видели, граф: составляют опись моих товаров.

– Вы расстаетесь с торговлей?

– Ну да, я уступаю заведение одному из моих приказчиков.

– Вот как! Значит, вы достаточно разбогатели?

– Сударь, мне опротивел город. Может быть, потому, что я начал стареть, а когда стареешь, как сказал однажды господин д'Артаньян, чаще думаешь о своей юности; но с некоторых пор я чувствую влечение к деревне и садоводству. Ведь я когда-то был крестьянином.

Атос сделал одобрительный жест и спросил:

– Вы покупаете землю?

– Я купил, сударь, я купил домик в Фонтенбло и немножко земли по соседству, около двадцати аканов.

– Превосходно, Планше, поздравляю вас.

– Но здесь нам не слишком удобно; и к тому же вы кашляете от моего проклятого порошка. Черт возьми, я вовсе не хочу отравить достойнейшего во всей нашей Франции дворянина.

Этой шутке, которую пустил Планше, чтобы выказать светскую непринужденность, Атос даже не улыбнулся.

– Да, – согласился граф, – поговорим где-нибудь не на людях, – у вас, например. Ведь у вас тут квартира, не так ли?

– Конечно, господин граф.

– Наверху?

И Атос, видя, что Планше в затруднении, прошел первым.

– Дело в том... – начал Планше.

Атос не понял причины этих колебаний Планше и, полагая, что Планше стесняется бедности своей обстановки, поднимаясь по лестнице, говорил:

– Ничего, ничего. Квартира торговца в этом квартале может не быть дворцом. Пошли дальше!

Рауль быстро опередил его и вошел.

Тотчас же раздались два, даже три крика. Громче других прозвучал женский голос. Второй крик вырвался из уст Рауля, закрывшего пред собой дверь. Третий крик был криком ужаса, сорвавшимся с уст Планше»

– Простите, – сказал он, – госпожа одевается.

Рауль, несомненно, имел основания подтвердить, что Планше говорит сущую правду, и доказательством этого было то, что он отступил на один шаг вниз по лестнице.

– Госпожа... – повторил Атос. – Ах, простите, мой милый, но я вовсе не знал, что у вас там наверху...

– Это Трюшен, – добавил покрасневший Планше.

– Кто бы там ни был, Планше, простите нам нашу нескромность.

– Нет, нет; входите, господа, теперь можно.

– Мы не войдем, – решительным тоном заявил Атос.

– О, если б она знала о вашем приходе, она бы успела...

– Нет, Планше, прощайте!

– Вы не захотите обидеть меня, господа; нельзя же в самом деле оставаться на лестнице и уходить, даже не присев хотя б на минуточку.

– Если б мы знали, что у вас там наверху дама, – ответил Атос со своим обычным хладнокровием, – мы бы попросили у вас позволения поздороваться с ней.

Планше был до того смущен этой утонченной дерзостью, что быстро распахнул дверь, чтобы впустить графа и его сына.

Трюшен уже закончила свой туалет. У нее был вид богатой и кокетливой купчихи, и ее французские глаза светились немецкою томностью. После двух реверансов она удалилась из комнаты, чтобы спуститься в лавку. Это, впрочем, вовсе не означало, что она не остановилась послушать у двери, что скажут о ней Планше и господ посетители.

Атос в этом нисколько не сомневался и старался избежать этой темы.

Планше, напротив, сгорал от желания выложить свои объяснения по этому поводу, от чего Атос всячески уклонялся.

Но поскольку иные люди обладают способностью преодолевать своим упрямством упрямство своего собеседника, Атос вынужден был выслушать рассказ об идиллическом счастье, которым наслаждался Планше, рассказ, изложенный языком, превосходящим своим целомудрием даже прославленный в этом отношении язык самого Лонга.

Итак, Планше поведал Атосу, что Трюшен – услада его зрелых лет и что она принесла ему удачу в делах, совсем как некогда Руфь Воозу.

– Теперь вам не хватает лишь наследников вашего благоденствия, – заметил Атос.

– Если у меня будет наследник, он получит триста тысяч ливров, – ответил Планше.

– Нужно, чтобы он был, – флегматично сказал Атос, – это нужно для того, чтобы ваше состояньице де пошло прахом.

Слово состояньице, как бы невзначай брошенное Атосом, поставило Планше на его место, подобно тому как это делал голос сержанта в те далекие времена, когда Планше был копейщиком в Пьемонтском полку, куда его устроил Рошфор.

Атос понял, что лавочник женится на Трюшед и волей-неволей будет иметь потомство.

Это показалось ему тем более очевидным, что приказчик, которому Планше продал лавку, приходился, как он узнал, родственником Трюшен. Атос вспомнил, что это был краснощекий, курчавый, широкоплечий малый. Он узнал уже все, что можно и должно было узнать о судьбе бакалейщика. Он понял, что нарядные платья Трюшен не могут возместить полностью скуку, которую нагонит на нее деревенская жизнь и разведение плодовых деревьев в обществе седеющего супруга.

Итак, Атос понял решительно все и без всякого перехода спросил:

– Что подельывает господин д'Артаньян? В Лувре его не нашли.

– Но, господин граф, господин д'Артаньян исчез.

– Исчез? – удивился Атос.

– О, мы знаем, что это значит!

– Но я-то этого не знаю.

– Когда господин д'Артаньян исчезает, это всегда бывает ради какого-нибудь поручения или дела.

– Он говорил вам об этом?

– Никогда.

– Однако вы знали заранее о его поездке в Англию.

– Из-за спекуляций, – неосторожно промолвил Планше.

– Спекуляций?

– Я хочу сказать... – перебил смущенный Планше.

– Хорошо, хорошо, ни ваши дела, ни дела нашего друга нас не касаются; мы расспрашиваем вас лишь из дружбы к нему. Но раз капитана мушкетеров здесь нет и мы не Можем получить от вас никаких указаний, где увидеть шевалье д'Артаньяна, мы с вами простимся на этом. До свиданья, Планше, до свиданья. Едем, Рауль!

– Господин граф, я хотел бы...

– Молчите, молчите; я не из тех, кто вызывает слугу на нескромность.

Слово «слуга» резнуло слух будущего миллионера Планше, но почтительность и

врожденное добродушно взяли верх над оскорбленным тщеславием.

– Ведь нет ничего нескромного в том, чтобы уведомить вас о следующем: господин д'Артаньян побывал у меня несколько дней назад...

– Ах, так!

– И провел здесь немало часов, склонившись над географической картой.

А вот и та самая карта, о которой я говорю. Пусть она будет доказательством правдивости моих слов, – добавил Планше и отправился за картой, висевшей на одной из стен комнаты.

И он действительно принес карту Франции, на которой опытный взгляд Атоса обнаружил маршрут, наколотый крошечными булавками; там, где отсутствовала выпавшая булавка, вехой намеченного д'Артаньяном маршрута служила оставшаяся после нее едва заметная дырочка. Следя за булавками и кое-где дырочками, Атос обнаружил, что д'Артаньян поехал на юг, по направлению к Средиземному морю в той его части, где расположен Тулон. Возле Канна следы терялись: здесь не было ни булавок, ни дырочек.

Несколько минут Атос мучительно думал, стараясь разгадать, зачем мушкетеру понадобилось пускаться в Канн и какие причины заставили его отправиться посмотреть берега Вара.

Размышления Атоса не привели ни к чему. Его обычная проницательность на этот раз изменила ему. Попытки Рауля разгадать заданную д'Артаньяном загадку имели не больший успех.

– Не беда, – сказал молодой человек, обращаясь к отцу, который молча указывал ему пальцем маршрут, проложенный д'Артаньяном. – Можно положительно утверждать, что какой-то рок неизменно сталкивает нашу судьбу с судьбой д'Артаньяна. Вот он где-то близ Канна, а вы, граф, провожаете меня, по крайней мере, до Тулона. Будьте спокойны, мы легче найдем его на нашем пути, нежели на этой географической карте.

Затем, распрощавшись с Планше, распекавшим своих приказчиков и даже кузена Трюшен, своего преемника, граф вместе с сыном отправился к герцогу де Бофору. Выходя из лавки, они увидели фуру, которой предстояло увезти прелестную мадемуазель Трюшен и мешки с золотом господина Планше.

– Каждый движется к счастью по дороге, которую сам себе выбрал, грустно сказал Рауль.

– В Фонтенбло! – крикнул Планше своему кучеру.

Глава 11. ОПИСЬ, СОСТАВЛЯЕМАЯ ГЕРЦОГОМ ДЕ БОФОРОМ

Разговор с Планше о д'Артаньяне и отъезд Планше из Парижа в деревню были для Атоса и его сына как бы прощанием со столичным шумом и с их былой жизнью. Что оставляли за собой эти люди? Один исчерпал славу прошлого века, другой – все страдание новейшего времени. Очевидно, что ни тому, ни другому нечего было спрашивать со своих современников.

Оставалось лишь посетить герцога де Бофора, чтобы окончательно условиться об отъезде.

Парижский дом герцога отличался пышностью и великолепием. Герцог жил на широкую ногу, как жили, по воспоминаниям нескольких доживающих свой век стариков, в расточительное время Генриха III.

Тогда и впрямь некоторые вельможи были богаче самого короля. Они знали об этом и не лишали себя удовольствия унижать при случае его величество короля. Это была та эгоистическая аристократия, которую Ришелье заставил платить дань кровью, деньгами и почтительными поклонами, короче говоря, принудил к тому, что с тех пор стали называть королевскою службой.

От Людовика XI, страшного косаря великих мира сего, до Ришелье, сколько семейств

снова подняло высоко голову! И сколько семейств склонило головы, чтобы никогда не поднять их больше, от Ришелье до Людовика XIV! Но герцог де Бофор родился принцем, и в его жилах текла такая кровь, которая проливается на эшафоте только по приговору народа.

Итак, этот принц сохранил привычку жить на широкую ногу. Как оплачивал он расходы на лошадей, бесчисленных слуг и изысканный стол? Никто этого хорошенько не знал, а он – меньше, чем кто-либо. Просто в те времена сыновья королей имели ту привилегию, что никто не отказывал им в кредите, одни из почтительности и преданности, другие в уверенности, что когда-нибудь и счет будет оплачен.

Атос и Рауль нашли дом герцога в таком же беспорядке и таким же заваленным грудami разных вещей, как дом бакалейщика.

Герцог тоже составлял опись своего имущества, то есть попросту раздавал друзьям, которые все до одного были его кредиторами, сколько-нибудь ценные вещи. Будучи должен что-то около двух миллионов, что по тем временам было очень большими деньгами, герцог де Бофор рассчитал, что не сможет отправиться в Африку, но имея при себе круглой суммы, и, чтобы добыть эту сумму, он принялся раздавать своим кредиторам оружие, драгоценности, посуду и мебель. Это было и роскошнее и выгодней, чем пустить те же вещи в продажу.

И в самом деле, как человеку, давшему в свое время в долг десять тысяч ливров, отказаться принять подарок стоимостью в шесть тысяч, подарок, еще более ценный тем, что он исходит от потомка Генриха IV? А унося такой подарок с собой, как отказать в новых десяти тысячах такому щедрому и обаятельному вельможе?

Так и случилось. У герцога больше не было дома, так как адмиралу, живущему на корабле, дом не нужен. У него больше не было коллекций оружия, он ведь находился теперь посреди своих пушек; не было драгоценностей, ибо их могло поглотить море; но зато у него в сундуках было триста или четыреста тысяч экю.

Везде в доме царило веселое оживление, поддерживаемое людьми, полагавшими, что они грабят герцога.

Герцог достиг высокого мастерства в искусстве осчастливливать самых несчастных из своих кредиторов. Ко всякому человеку, стесненному в средствах, ко всякому опустевшему кошельку он относился с терпением и пониманием.

Одним он говорил:

– Хотел бы я обладать тем, чем обладаете вы; в этом случае я бы подарил вам все, что имею.

Другие слышали от него:

– У меня нет ничего, кроме этого серебряного кувшина; он все же стоит ливров пятьсот, возьмите его.

Любезность – те же наличные деньги, и благодаря ей недостатка в новых кредиторах у герцога никогда не бывало.

На этот раз он обходился без церемоний; можно было подумать, что тут происходит грабеж: герцог отдавал решительно все. Восточная сказка, повествующая о бедном арабе, уносящем из разграбленного дворца котел, да дне которого он скрыл мешок с золотом, арабе, свободно проходящем среди толпы и не вызывающем ничьей зависти, эта сказка в доме герцога де Бофора сделалась явью.

Толпы людей опустошили его гардеробные и кладовые.

Герцог де Бофор кончил тем, что роздал своих лошадей и запасы своего сена. Он осчастливил тридцать человек своей кухонной посудой и утварью, а триста – вином из своих погребов. К тому же все уходило из его дома в уверенности, что поведение герцога легко объяснимо, ибо он рассчитывает на новое состояние, которое добудет в арабских шатрах.

Разоряя его дворец, всякий повторял себе самому, что король посылает его в Джиджелли, дабы он мог восстановиться свое растратченное богатство; что все африканские сокровища будут поровну разделены между адмиралом и королем; что эти богатства скрываются в копиях, в которых добывают алмазы и прочие баснословные драгоценные камни. Что же касается золотых и серебряных россыпей в Атласских горах, то эта безделица не

заслуживала даже упоминания.

Но помимо копей и россыпей, которые можно будет разрабатывать лишь после войны, найдется, разумеется, и другая добыча, захваченная на поле сражения. Герцог отнимет все то, что бороздящие Средиземное море пираты награбили у христиан со времени битвы при Лепанто. Миллионы, которые достанутся герцогу, уже не считали.

Зачем же ему беречь обстановку, среди которой он жил до этого времени? Ведь он отправляется за новыми, более редкостными сокровищами. Из этого следовало, что беречь добро того, кто сам себя так плохо оберегает, незачем.

Таково было положение в доме герцога, и Атос, с присущей ему проницательностью, определил это с первого взгляда.

Адмирал Франции был в несколько рассеянном настроении, так как только что вышел из-за стола после ужина на пятьдесят человек, во время которого обильно и долго пили за успех экспедиции; после десерта остатки пиршества были отданы слугам, а пустые блюда – желающим взять их себе. Герцог был опьянен и своим разорением, и своей популярностью. О я пил свое старое, выдержанное вино за здоровье вина, которое у него будет.

Увидев Атоса с Раулем, он громко воскликнул:

– Вот мне и привели моего адъютанта! Входите, граф, входите, виконт!

Атос искал прохода между грудками белья и посуды.

– Шагайте прямо! – посоветовал герцог.

И предложил Атосу полный стакан вина.

Атос выпил; Рауль едва пригубил.

– Вот вам первое поручение, – сказал герцог Раулю. – Я рассчитываю на вас. Вы поедете впереди меня до Антиба.

– Слушаю, монсеньер.

– Держите приказ. Знакомо ль вам море?

– Да, монсеньер, я путешествовал с принцем.

– Великолепно. Все эти плашкоуты и транспортные суда будут дожидаться моего прибытия, чтобы служить мне эскортом и перевезти припасы разного рода. Необходимо, чтобы войска через две недели, а то и раньше могли бы начать погрузку.

– Все будет исполнено, монсеньер.

– Этот приказ дает вам право посещать и обыскивать прибрежные острова; если сочтете необходимым, проведите там рекрутский набор и забирайте все, что может пригодиться в походе.

– Будет исполнено, герцог.

– А так как вы – человек деятельный и будете много работать, вам понадобятся крупные суммы.

– Надеюсь, что нет, монсеньер.

– А я уверен, что да. Мой управляющий заготовил чеки по тысяче ливров каждый; по этим чекам можно будет получать деньги в любом городе юга Франции. Вам дадут сто таких чеков. Прощайте, виконт.

Атос перебил герцога:

– Берегите деньги, монсеньер; для войны с арабами потребуется столько же золота, сколько свинца.

– Я хочу попытаться вести ее, употребляя только свинец; и потом, вам известны мои мысли об этом походе: много шума, много огня, и я исчезну, если так будет нужно, в дыму.

Произнеся эти слова, герцог де Бофор хотел было снопа расхохотаться, но понял, что в присутствии Атоса и Рауля это было бы неуместно.

– Ах, – сказал он, прикрывая любезностью эгоизм, свойственный его положению и его возрасту, – вы оба принадлежите к разряду людей, с которыми не следует встречаться после обеда; вы оба холодны, сухи и сдержанны, тогда как я – огонь, пыл и хмель. Нет, дьявол меня возьми! Я буду встречаться с вами, виконт, лишь натошак, а с вами, граф, если вы будете продолжать в том же духе, я и вовсе не буду встречаться.

Он говорил это, пожимая руку Атосу, который, улыбаясь, ответил ему:

– Монсеньер, не роскошествуйте, потому что у вас сейчас много денег.

Предсказываю, что через месяц, стоя перед своим сундуком, вы будете сдержанным, сухим и холодным, и тогда вас удивит, что Рауль, находясь рядом с вами, весел, полон жизни и щедр, потому что, располагая новенькими экю, он предоставит их в ваше распоряжение.

– Да услышит вас бог! – вскричал, придя в восторг, герцог. – Вы остаетесь со мной, граф! Решено.

– Нот, я еду с Раулем; поручение, которое вы на него возложили, трудное и хлопотливое. Выполнить его одному виконту было бы почти невозможно. Сами того не замечая, вы дали ему, монсеньер, чрезвычайно высокий пост, и к тому же во флоте.

– Это правда! Но разве такие, как он, не добиваются всего, чего только ни захотят?

– Монсеньер, вы ни в ком не найдете столько старания и ума, столько истинной храбрости, как в Рауле; но если ваша посадка на суда не удастся, пеняйте на себя самого.

– Вот теперь он бранит меня!

– Монсеньер, чтобы снабдить провиантом флот, чтобы собрать флотилию, чтобы укомплектовать экипажи рекрутами, даже адмиралу был бы необходим целый год. А Рауль – кавалерист, капитан, и на все про все вы даете ему две недели!

– Я убежден, что он справится.

– Надеюсь, но я помогу ему.

– Я рассчитывал на вас, дорогой граф; больше того, полагаю, что, доехав с ним до Тулона, вы и дальше не отпустите его одного.

– О! – воскликнул Атос и покачал головой.

– Терпение! Терпение!

– Монсеньер, разрешите откланяться. Нам пора!

– Идите, и да поможет вам мое счастье!

– Прощайте, монсеньер; да поможет и вам ваше счастье!

– Чудесное начало для экспедиции за море! – заметил Атос своему сыну.

– Ни провианта, ни резервов, ни грузовой флотилии – что можно с этим поделать?

– Если все едут туда за тем же, за чем я еду, – пробормотал Рауль, то в провианте недостатка не будет.

– Сударь, – строго сказал Атос, – не будьте несправедливы и безумны в своем эгоизме или, если хотите, страдании. Если вы едете на войну с намерением быть убитым, вы ни в ком не нуждаетесь, чтобы выполнить это намерение, и мне незачем было рекомендовать вас герцогу де Бофору. Но, сделавшись приближенным главнокомандующего, приняв ответственный пост в рядах армии, вы больше не вправе располагать собой. Отныне вы не принадлежите себе; вы принадлежите этим бедным солдатам, которые, подобно вам, имеют душу и тело, которые будут тосковать по родной стороне и страдать от всех горестей и печалей, одолевающих род человеческий. Знайте, Рауль, что офицер – лицо не менее полезное, чем священник, и что в любви к своему ближнему он должен превосходить священника.

– Граф, я всегда знал об этом и поступал в соответствии с этим, я поступал бы так же и впредь... но...

– Вы забываете о том, что принадлежите стране, гордящейся своей военной славой. Если хотите умереть, умирайте, но не без славы и пользы для Франции. Ну, Рауль, не огорчайтесь моими словами; я люблю вас и хотел бы видеть вас совершенным во всех отношениях.

– Мне приятно слушать ваши упреки, – тихо ответил молодой человек, они врачуют меня и служат доказательством, что кто-то еще любит меня.

– А теперь едем, Рауль; погода так божественно хороша, небо так чисто, небо, которое мы будем видеть над своей головой, которое в Джиджелли будет еще чище, чем здесь, и которое будет вам напоминать в чужих краях обо мне, как оно напоминает мне здесь о боге.

Договорившись об этом основном пункте и обменявшись мнениями о сумасбродствах,

творимых герцогом, отец и сын пришли к выводу, что экспедиция за море не послужит на пользу Франции, ибо затевается она достаточно непродуманно и без подобающей подготовки. И, определив политику этого рода словом «тщеславие», отец и сын отправились в путь, увлекаемые в большей мере своими желаниями, чем необходимостью, возлагаемой предначертаниями судьбы.

Заклание жертвы свершилось.

Глава 12. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО

Путешествие было очень приятным. Атос и Рауль пересекли Францию, делая по пятнадцать лье в день, а порою и больше – это бывало тогда, когда горе Рауля особенно обострялось. Чтобы прибыть в Тулон, им понадобилось пятнадцать дней. Уже в Антибе они потеряли след д'Артаньяна.

Все говорило о том, что капитан мушкетеров по каким-то причинам пожелал ехать дальше инкогнито; по крайней мере, Атос, собирая сведения о д'Артаньяне, узнал, что всадник, которого он описывал, при выезде из Авиньона сменил верховых лошадей на карету и что окна в этой карете были тщательно занавешены.

Рауль был в отчаянии, что они не встретились с д'Артаньяном. Его нежному сердцу хотелось проститься с ним, оно жаждало утешений, исходящих от этого твердого, как сталь, человека.

Атос знал на основании давнего опыта, что д'Артаньян замыкается в себе и становится непроницаемым, когда занят чем-то серьезным, будь то его личное дело или королевская служба.

К тому же он опасался, что слишком настойчивыми расспросами о д'Артаньяне он, быть может, оскорбит своего друга или принесет ему вред.

Случилось, однако, что уже после того, как Рауль занялся вербовкой рекрутов и собиранием шаланд и плашкоутов для отправки в Тулон, один из рыбаков сказал графу, что его лодка была в починке, пострадав во время поездки, предпринятой им с одним дворянином, торопившимся поскорее уехать.

Атос, полагая, что этот человек лжет, дабы освободиться от тяжелой повинности и заработать побольше на рыбной ловле, когда его товарищи отправятся в назначенное им место, стал настаивать на подробностях.

Рыбак рассказал ему, что приблизительно неделю назад, поздней ночью, к нему пришел незнакомый ему человек, чтобы нанять его лодку для поездки на остров Сент-Онорат. Сговорились о плате. Этот дворянин приехал с большим ящиком вроде кареты, снятой с колес, который он хотел погрузить на лодку, несмотря на трудности всякого рода в связи с малыми размерами лодки и непомерной величиной груза. Рыбак решил отказаться от сговора и, так как дворянин был очень настойчив, пустил в ход угрозы, которые, однако, повели лишь к тому, что дворянин исполосовал его спину своей тростью. Осыпая его проклятиями, рыбак отправился за защитой к старшине рыбаков в Антибе, но дворянин достал из кармана бумагу, при виде которой старшина отвесил ему поклон до земли и велел рыбаку оказывать дворянину полное повиновение, выбравив рыбака за упрямство. После этого они отплыли вместе с грузом.

– Но все это нисколько не объясняет, при каких обстоятельствах ваша лодка разбилась.

– Сейчас расскажу и об этом. Я шел на Сент-Онорат, как было приказано дворянином, но вдруг он переменял решение, уверяя, что я не смогу пройти мимо аббатства с юга. Правда, против четырехугольной Башни Бенедиктинцев, на юг от нее, есть Отмель Монахов.

– Риф? – спросил Атос.

– Над поверхностью воды и под водой; это и впрямь опасный проход, но я проходил им добрую тысячу раз. Так вот, дворянин начал требовать, чтобы я высадив его на острове Сент-Маргерит.

– Что же дальше?

– Дальше, сударь? Моряк я, черт возьми, или сухопутная крыса? вскричал рыбака, выговаривая слова на провансальский лад. – Знаю ли я свое дело или не знаю? Я заупрямился и хотел настоять на своем. Тогда дворянин вцепился мне в горло и, не повышая голоса, заявил, что немедленно задушит меня. Мой помощник и я взялись за топоры. Нам полагалось еще рассчитаться с ним за оскорбление, которое он нанес нам минувшею ночью. Но дворянин с такой быстротой принялся размахивать шпагой, что мы не могли подступиться к нему. Я собирался метнуть свой топор ему в голову (ведь я был прав – не правда ли, сударь? Моряк на своем судне – хозяин, так же как горожанин у себя в доме), так вот, я собирался, чтоб защитить себя, разрубить моего дворянина на две половины, как вдруг, – хотите верьте, сударь, хотите не верьте, – как вдруг, не знаю, как это случилось, открывается этот ящик-каре́та, наружу выходит какое-то привидение в черном шлеме, с черной маской, что-то и впрямь ужасное, и грозит нам кулаком.

– Кто ж это был?

– Это был дьявол, сударь! Ибо дворянин, увидев его, радостно закричал: «Тысяча благодарностей, монсеньер!»

– Странно! – пробормотал граф, посмотрев на Рауля.

– Что же вы сделали? – спросил рыбака виконт.

– Вы и сами понимаете, сударь, что даже с двумя дворянами мы, двое простых людей, не могли бы справиться, а уж против дьявола – и говорить нечего! Мы с товарищем, не сговариваясь, одновременно прыгнули в море; мы были в семистах – восьмистах футах от берега.

– И тогда?

– Тогда, сударь, лодка пошла по ветру на юго-запад, и ее прибило к пескам Сент-Маргерит.

– О... а те путешественники?

– Ну, об этом не беспокойтесь. Вот вам еще одно доказательство, что один из них дьявол и что он покровительствовал своему спутнику: когда мы подплыли к лодке, вместо того чтобы увидеть двух мертвецов или калек – а лодка здорово ударила о прибрежные камни, – мы не нашли в ней ничего, даже этой бесколесной кареты.

– Странно, странно! – повторил граф. – Ну а с тех пор что же вы делаете?

– Я пожаловался губернатору Сент-Маргерит, но он натянул мне нос и сказал, что, если я буду плести перед ним подобные небылицы, он оплатит мои убытки плетью.

– Губернатор?

– Да, сударь. А между тем моя лодка совершенно разбита; ее нос остался на мысе Сент-Маргерит, и за ее починку плотник требует с меня сто двадцать ливров.

– Хорошо, – ответил Рауль, – вы освобождаетесь от службы. Идите.

– Поедем на Сент-Маргерит, хотите? – спросил Атос де Бражелона.

– Да, граф; здесь кое-что подлежит выяснению. Мне кажется, что едва ли этот человек был до конца правдивым в своем рассказе.

– Я тоже так думаю. Эта история о дворянине в маске и исчезнувшей бесследно карете производит на меня впечатление попытки скрыть насилие, учиненное, быть может, в открытом море этим негодяем над своим пассажиром в отместку за настойчивость, с какою тот добивался получения его лодки в свое распоряжение.

– И у меня зародилось такое же подозрение, и я думаю, что в карете были скорее ценности, чем человек.

– Мы это выясним. Этот дворянин, несомненно, походит на д'Артаньяна; я узнаю его образ действий. Увы! Мы уже больше не те молодые и непобедимые люди, какими были когда-то. Кто знает, не удалось ли топором или пикой этого жалкого лодочника свершить то, чего не могли сделать в течение сорока лет ни искуснейшие в Европе шпаги, ни пули, ни ядра.

В тот же день они отправились на остров Сент-Маргерит на небольшом суденышке, который вызвали из Тулона.

Когда они подъезжали к берегам острова, им показалось, что перед ними обетованная земля. Остров был полон цветов и плодов; его возделываемую часть занимал губернаторский сад. Апельсиновые, гранатовые и фиговые деревья гнулись под тяжестью золотых и фиолетово-синих плодов. Вокруг сада, в невозделанной части острова, красные куропатки бегали в кустах можжевельника и терновника целыми стаями, и при каждом шаге Рауля или Атоса перепуганный насмерть кролик выскакивал из зарослей вереска и несся к своей норе.

Этот блаженный остров был необитаем. Плоский, имеющий лишь одну бухту, в которую входили все прибывавшие сюда лодки и барки, он служил для контрабандистов временным убежищем и складом. Они делились своими доходами с губернатором и взяли на себя обязательство не обворовывать сада и не истреблять дичи. Благодаря столь счастливому компромиссу губернатор довольствовался гарнизоном из восьми человек, охранявшим крепость, в которой ржавело двенадцать пушек. Таким образом, этот губернатор был скорее удачливым фермером, собиравшим в свои погреба виноград, фиги, масло и апельсины и раскладывавшим сушить лимоны и померанцы на солнце в крепостных казематах.

Над крепостью, опоясанной довольно глубоким рвом, который, в сущности, один только и охранял ее, возвышались, словно три головы, три невысокие башни, соединенные между собою поросшими мхом террасами.

Атос и Рауль некоторое время шли вдоль забора, окружавшего сад, в тщетной надежде встретить кого-нибудь, кто бы ввел их к губернатору. В конце концов они нашли вход, через который проникли в сад. Это был самый жаркий час дня. В это время все прячется в траве или под камнями. Небо расстилает повсюду огненную завесу, как бы затем, чтобы заглушить всякий шум, чтобы укутать в нее все сущее на земле. Куропатки спят в зарослях дрока, муха в тени листа, волна под куполом неба.

Все было обьято мертвою тишиной. Вдруг на террасе между первой и второй башней Атос заметил солдата, который нес на голове нечто похожее на корзину с провизией. Этот человек через мгновение показался уже без корзины и исчез в топи сторожевой будки.

Атос понял, что он относил кому-то обед и, исполнив свою обязанность, возвратился к себе и сейчас сам примется за еду. Внезапно Атос услышал, что кто-то зовет его; подняв голову, он увидел между решетками высокого окна что-то белое, словно то была машущая рука, затем что-то блестящее, словно то было оружие, на которое попали солнечные лучи.

Прежде чем он отдал себе отчет в том, что видит, ослепительная полоса, мелькнувшая в воздухе и сопровождаемая свистом быстро падающего предмета, отвлекла его внимание от башни на землю.

Второй, на этот раз глухой звук раздался во рву, и Рауль, побежав на звук, поднял серебряное блюдо, откатившееся в сторону и слегка засыпанное сухим песком. Рука, швырнувшая блюдо, сделала знак обоим дворянам и тотчас же исчезла.

Рауль подошел к Атосу, и они оба принялись рассматривать запылившееся при падении блюдо. На нем кончиком ножа была выцарапана надпись, гласившая следующее:

«Я брат французского короля, сегодня узник, завтра умалишенный. Дворяне Франции и христиане, молитесь господу и душе и разуму потомка ваших властителей».

Атос выронил блюдо из рук. Рауль задумался, ломая голову над смыслом этих ужасных слов.

В этот момент с башни послышался крик. Рауль, быстрый как молния, наклонил голову и заставил отца сделать то же. В расщелине стены блеснул ствол мушкета. Белый дымок, словно развевающийся султан, выскочил из дула мушкета, и в камень на расстоянии шести дюймов от обоих дворян ударилась пуля. Показался второй мушкет, который стал медленно опускаться.

— Черт возьми, — воскликнул Атос, — здесь занимаются тем, что злодейски убивают людей, так, что ли? Спускайтесь, трусы!

— Спускайтесь! — крикнул вслед за ним разъяренный Рауль, показывая кулак.

Второй из тех, что были видны на стене, тот, который собирался стрелять, ответил на эти

крики восклицанием, выражающим изумление, и так как его товарищ хотел вторично разрядить свой мушкет, он толкнул его, и тот выстрелил в воздух.

Атос и Рауль, увидев, что люди, стрелявшие в них, ушли со стены, подумали, что те направились к ним, и стали спокойно ждать их приближения.

Не прошло и пяти минут, как бой барабана созвал восьмерых солдат гарнизона, показавшихся с мушкетами в руках на той стороне рва. Во главе этих солдат стоял офицер, который стрелял в них первым, — его узнал виконт де Бражелон. Этот человек приказал солдатам зарядить ружья.

— Нас расстреляют! — вскричал Рауль. — За шпагу, по крайней мере, и на ту сторону рва! Каждый из нас убьет хотя бы по одному из этих бездельников, после того как они выстрелят и их мушкеты окажутся без пуль.

И, претворяя свои слова в действие, Рауль вместе с Атосом уже устремился вперед, как вдруг у них за спиной раздался хорошо знакомый им голос:

— Атос! Рауль!

— Д'Артаньян! — разом отозвались они.

— К ноге, черт вас возьми! — приказал солдатам капитан мушкетеров. Я был убежден в правоте своих слов!

Солдаты опустили мушкеты.

— Что это значит? — спросил Атос. — В нас стреляют без всякого предупреждения.

— Это я собирался убить вас, — отвечал д'Артаньян, — и если губернатор промазал, то я, дорогие друзья, будьте уверены, никогда не промахнулся бы. Какое счастье, что у меня привычка подолгу целиться! Мне показалось, что я узнаю вас! Ах, друзья мои, какое счастье!

И д'Артаньян вытер лоб, так как бежал сюда во всю мочь, и волнение его было непритворно.

— Как! — удивился граф. — Человек, стрелявший в нас, — губернатор этой крепости?

— Он самый.

— Но с какой стати он начал пальбу? В чем мы виноваты перед ним?

— Черт возьми! Вы подняли тот предмет, который вам швырнул узник.

— Да, верно.

— А на этом блюде... узник что-нибудь написал, так ведь?

— Да.

— Я так и думал... Ах, боже мой!

И д'Артаньян в смертельном беспокойстве схватил блюдо. Не успел он прочесть надпись, как лицо его стало белым как полотно.

— О, боже мой! — повторил он. — Молчание! К нам идет губернатор.

— Но что же в конце концов он сделает с нами? Разве это наша вина? спросил Рауль.

— Итак, это правда? — прошептал Атос. — Это правда?

— Молчание, говорю вам, молчание! Если решат, что вы грамотны, если заподозрят, что вы поняли надпись... Я вас очень люблю, дорогие друзья, я дал бы себя убить за вас... но...

— Но? — повторили Атос и Рауль.

— Быть может, я мог бы спасти вас от смерти, но от вечного заключения... никогда! Итак, молчание, молчание!

Губернатор уже переходил ров по деревянному мостику.

— В таком случае, — спросил Атос д'Артаньяна, — что же вас останавливает?

— Вы — испанцы, — тихо сказал капитан, — вы не слова не понимаете по-французски. Ну, я был прав, — обратился он к губернатору, — эти господа — испанские офицеры, с которыми я познакомился прошлый год в Ипре... Они не знают по-французски ни слова.

— А-а, — подозрительно произнес губернатор и, взяв блюдо, попытался разобрать слова.

Д'Артаньян отнял у него блюдо и затер надпись острием своей шпаги.

— Что вы делаете? — воскликнул губернатор. — Почему я не могу прочитать выцарапанных здесь слов?

— Это государственная тайна, — твердо сказал д'Артаньян, — и поскольку вам известен

приказ короля, согласно которому проникшему в нее полагается смертная казнь, я, если желаете, дам вам прочесть, что здесь написано, но сразу же после этого велю расстрелять вас на месте.

Пока д'Артаньян полусерьезным-полушутливым тоном произносил это, Атос и Рауль хладнокровно молчали.

– Немыслимо, – протянул губернатор, – чтобы эти господа ничего не понимали, ни одного слова.

– Оставьте. Даже если б они понимали разговорную речь, они все равно не в ладу с грамотой. Они не могли бы прочитать того, что написано по-испански. Благородному испанцу – помните хорошенько об этом – полагается быть неграмотным.

Губернатору пришлось удовлетвориться такими объяснениями, но он был упрям и заметил д'Артаньяну:

– Пригласите этих господ посетить нашу крепость.

– Очень хорошо, я хотел предложить вам то же, – ответил д'Артаньян.

На самом деле мушкетеру хотелось совсем обратного, к он был бы рад, если б его друзья были уже за сто лье. Но ему нужно было продолжать начатую комедию, и он обратился по-испански к своим друзьям с приглашением, которое они вынуждены были принять. Все направились к крепости, и восемь солдат, потревоженных на короткое время этим неслыханным происшествием, вернулись к привычной праздности.

Глава 13. ПЛЕННИК И ТЮРЕМЩИКИ

Они вошли в замок, и, пока губернатор отдавал кое-какие распоряжения, относящиеся к приему гостей, Атос попросил д'Артаньяна:

– Объясните мне вкратце, пока мы одни, что тут у вас происходит.

– Совершенно простая вещь, – отвечал мушкетер. – Я привез сюда узника, видеть которого, по приказу короля, запрещается кому бы то ни было; вы приехали, он бросил вам какой-то предмет через решетку своего окна; в это время я обедал у губернатора и, заметив, что из окна летит этот предмет, заметил также, как Рауль поднял его. Мне не требуется много времени, чтобы постигнуть суть дела. Я решил, что вы заговорщики и что вы таким образом общаетесь с моим узником. И вот...

– И вот вы приказали, чтобы нас застрелили.

– Признаюсь... приказал; но если я и был первым, схватившимся за мушкет, то, к счастью, был последним, кто взял вас на мушку.

– Если б вы убили меня, д'Артаньян, на мою долю выпало бы счастье умереть за королевскую династию Франции. И это большая честь – умереть от вашей руки – руки самого благородного и верного защитника этой династии.

– Что вы толкуете тут, Атос, о королевской династии? – не очень уверенным тоном сказал д'Артаньян. – Неужели вы, граф, человек благоразумный и обладающий огромным жизненным опытом, верите глупостям, написанным сумасшедшим?

– Верю.

– С тем большим основанием, дорогой шевалье, – добавил Рауль, – что у вас есть приказ убивать всякого, кто в них поверит.

– Потому что всякая басня этого рода, если она уж очень бессмысленна, – отвечал мушкетер, – почти наверняка становится в конце концов общераспространенной.

– Нет, д'Артаньян, – совсем тихо проговорил Атос, – нет, потому что король не хочет, чтобы тайна его семьи просочилась в народ и покрыла позором палачей сына Людовика Тринадцатого.

– Ну что вы, что вы, не произносите этих ребяческих слов, Атос, или я больше не буду считать вас рассудительным человеком. Объясните-ка мне, каким образом сын Людовика Тринадцатого мог бы оказаться на острове Сент-Мерит?

– Добавьте: сын, которого вы привезли сюда в маски на углой рыбацкой лодке. Разве не так?

Д'Артаньян осекся, – В рыбацкой лодке? Откуда вы знаете? – спросил он, мгновение помолчав.

– Эта лодка доставила вас на Сент-Маргерит с каретой, снятой с колес, и в этой карете находился ваш узник, к которому вы обращались, именуя его монсеньером. О, я акаю!

Д'Артаньян покусывал ус.

– Даже если правда, что я привез сюда узника в маске, ничто не доказывает, что этот узник-принц, принц французского королевского дома.

– Спросите об этом у Арамиса, – холодно ответил Атос.

– У Арамиса? – воскликнул повергнутый в изумление мушкетер. – Вы видели Арамиса?

– Да, после его неудачной попытки в Во; я видел бегущего, преследуемого, погибшего Арамиса, и Арамис сказал мне достаточно, чтобы я верил жалобам, которые начертал на серебряном блюде этот несчастный.

Д'Артаньян удрученно опустил голову.

– Вот как господь потешается над всем тем, что люди зовут своей мудростью! Хороша тайна, обрывками которой владеет добрая дюжина лиц...

Будь проклят случай, столкнувший вас в этом деле со мной, потому что теперь...

– Разве ваша тайна, – сказал Атос со своей сдержанной мягкостью, разве ваша тайна перестала быть тайной оттого, что я знаю ее? Разве не скрывал я всю свою жизнь столь же серьезных тайн? Вспомните хорошенько, друг мой.

– Никогда вы не скрывали в себе более пагубной тайны, – продолжал с грустью капитан мушкетеров. – У меня роковое предчувствие, что все, кто прикоснется к ней, умрут, и умрут плохо.

– Да свершится воля господня! Но вот ваш губернатор.

Д'Артаньян и его друзья снова принялись за свою комедию.

Губернатор, суровый и подозрительный человек, проявлял по отношению к д'Артаньяну учтивость, граничившую с подобострастием. Что же касается путешественников, то он удовольствовался лишь тем, что угостил их отменным обедом, во время которого не сводил с них своего пытливого взгляда.

Атос и Рауль заметили, что он старался смутить их внезапной атакой и поймать врасплох. Но тот и другой неизменно держались настороже. То, что сказал о них д'Артаньян, могло казаться правдоподобным, даже если бы губернатор и не считал это правдею.

Когда встали из-за стола, Атос по-испански спросил д'Артаньяна:

– Как зовут губернатора? У него отталкивающее лицо.

– Де Сен-Мар, – отвечал капитан.

– Он и будет тюремщиком юного принца?

– Откуда мне знать об этом? Быть может, и я пробуду на Сент-Маргерит до конца моих дней.

– Что вы? С чего вы взяли?

– Друг мой, я нахожусь в положении человека, который среди пустыни нашел сокровище. Он хочет унести его – и не может; хочет оставить на месте – и не решается. Король не вернет меня, опасаясь, что никто не будет сторожить узника столь же усердно, как я, но вместе с тем он жалеет, что я так далеко, понимая, что никто не будет служить ему так же, как я.

Впрочем, на все божья воля.

– Спросите у этих господ, – перебил Сен-Мар, – зачем они приехали на Сент-Маргерит?

– Они приехали, зная, что на Сент-Онорат есть бенедиктинский монастырь, осмотреть который было бы весьма любопытно, а на Сент-Маргерит превосходнейшая охота.

– Она к их услугам, равно как и к вашим, – ответил Сен-Мар.

Д'Артаньян поблагодарил губернатора.

– Когда они уезжают?

– Завтра.

Сен-Мар отправился проверить посты, оставив д'Артаньяна в обществе мнимых испанцев.

– Вот, – заговорил мушкетер, – жизнь и сожитель, которые мне очень не по душе. Этот человек находится у меня в подчинении, а он, черт возьми, стесняет меня!.. Знаете что, давайте поохотимся немного на кроликов.

Прогулка прекрасная и вовсе не утомительная. В длину остров – всего-навсего полтора лье, в ширину – пол-лье, настоящий парк. Давай-ка развлекаться.

– Пойдемте, куда хотите, д'Артаньян, но не для того, чтобы предаваться забаве, а чтобы свободно поговорить, д'Артаньян подал знак солдату, который сразу же его понял и, принеся дворянам охотничьи ружья, вернулся в замок.

– А теперь, – начал мушкетер, – ответьте-ка на вопрос, который задал мне этот мрачный Сен-Мар: чего ради приехали вы на забытые острова?

– Чтобы проститься с вами.

– Проститься? Как? Рауль уезжает?

– Да.

– Держу пари, что с герцогом де Бофором!

– Да, с герцогом де Бофором. О, вы, как всегда, угадали, дорогой друг.

– Привычка.

Еще в начале этого разговора Рауль с тяжелою головой и стесненным сердцем присел на поросший мхом камень, положив свой мушкет на колени.

Он смотрел на море, смотрел на небо и слушал голос своей души. Он не стал догонять охотников. д'Артаньян заметил его отсутствие и спросил:

– Он все еще страдает от раны?

– Да, но он ранен насмерть, – вздохнул Атос.

– О, вы преувеличиваете, друг мой. Рауль – человек отличной закалки.

У всех благородных сердец есть еще одна оболочка, предохраняющая их, словно броня. Если первая кровоточит, вторая задерживает кровотечение.

– Нет, – ответил Атос, – Рауль умрет с горя.

– Черт возьми! – мрачно проговорил д'Артаньян.

После минутного молчания он спросил:

– Почему же вы его отпускаете?

– Потому, что он хочет этого.

– А почему вы сами не едете с ним?

– Потому, что не хочу быть свидетелем его смерти.

д'Артаньян пристально посмотрел на друга.

– Вы знаете, – продолжал граф, опираясь на руку д'Артаньяна, – вы знаете, что всю мою жизнь я боялся очень немногo. А теперь меня преследует страх, непрерывный, терзающий, неодолимый. Я боюсь, что придет день, когда я буду держать в объятиях труп моего сына.

– Полноте! – сказал д'Артаньян.

– Он умрет, я в этом твердо уверен, я это знаю, и я не хочу присутствовать при его смерти.

– Послушайте, Атос, вы находитесь с глазу на глаз с человеком, про которого вы говорили, что он самый храбрый из всех, кого вы когда-либо знали, с преданным вам д'Артаньяном, не имеющим себе равных, как вы некогда называли его, и, скрестив на груди руки, вы говорите ему, что боитесь смерти вашего сына, и это вы, повидавший на своем веку все, что только можно увидеть на свете! Ну что ж, допустим; но откуда, Атос, у вас этот страх? Человек, пока он пребывает на этой брэнной земле, должен быть ко всему готовым, должен бестрепетно идти навстречу всему.

– Выслушайте меня, друг мой. Прожив столько лет на этой брэнной земле, о которой вы говорите, я сохранил только два сильных чувства. Одно из них связано с моей земной жизнью – это чувство к моим друзьям, чувство отцовского долга; второе имеет отношение к

моей жизни в вечности – это любовь к богу и чувство благоговения перед ним. И теперь я ощущаю всем своим существом, что, если господь допустит, чтобы мой друг или сын испустил в моем присутствии дух... Нет, Д'Артаньян, я не в силах даже произнести что-либо подобное...

– Говорите, говорите же.

– Я вынесу все что угодно, кроме смерти тех, кого я люблю. Только против этого нет лекарства. Кто умирает – выигрывает, кто видит, как умирает близкий, – теряет. Знать, что никогда, никогда не увижу я больше на этой земле того, кого всегда встречал с радостью; знать, что нигде больше нет Д'Артаньяна, нет Рауля! О!.. Я стар и утратил бывшее мужество; я молю бога пощадить мою слабость; но если он поразит меня в самое сердце, я прокляну его. Дворянину-христианину никак не подобает проклинать своего бога, достаточно и того, что я проклял моего короля.

– Гм... – пробормотал Д'Артаньян, смущенный этой неистовой бурей страдания.

– Д'Артаньян, друг мой, вы любите Рауля; так взгляните же на него: посмотрите на эту грусть, ни на мгновение не покидающую его. Знаете ли вы что-нибудь более страшное, чем неотлучно наблюдать агонию этого бедного сердца?

– Позвольте мне поговорить с ним, Атос. Кто знает?

– Попробуйте, но я убежден, что вы ничего не достигнете.

– Я не стану докучать ему утешениями, я предложу ему помощь.

– Конечно. Разве это первый случай женской неверности? Я направляюсь к нему.

Атос покачал головой и дальше пошел один. Д'Артаньян вернулся через кустарник и, подойдя к Раулю, протянул ему руку.

– Вам надо поговорить со мной? – спросил он Рауля.

– Я хочу попросить вас об услуге.

– Просите.

– Вы когда-нибудь вернетесь во Францию?

– По крайней мере, надеюсь.

– Нужно ли мне написать мадемуазель Лавальер?

– Нет, не надо.

– Но мне столько хотелось сказать ей!

– Поезжайте и говорите с ней!

– Никогда!

– Почему же вы думаете, что ваше письмо будет обладать силой, которой не имеют ваши слова?

– Вы правы.

– Она полна любви к королю, – резко сказал Д'Артаньян, – и она честная девушка.

Рауль вздрогнул.

– А вас, вас, который покинут ею, она любит, быть может, еще больше, чем короля, но иначе.

– Д'Артаньян, вы уверены в ее любви к королю?

– Она обожает его. Ее сердце недоступно никакому другому чувству. Но если б вы продолжали жить близ нее, вы были бы ее лучшим другом.

– Ах! – со страстным порывом вздохнул Рауль, готовый проникнуться скорбной надеждой.

– Вы этого жаждете?

– Это было бы трусостью.

– Вот глупое слово, способное внушить мне презрение к вашему разуму, мой милый Рауль. Никогда не бывает проявлением трусости подчинение силе, стоящей над вами! Если ваше сердце подсказывает вам: «Иди туда или умри», – идите, Рауль. Была ли она трусливою или смелою, когда, любя вас, предпочла вам короля, потому что ее сердце властно велело ей оказать ему предпочтение? Нет, она была самой смелой женщиной на свете. Поступите ж и вы, как она, и подчинитесь себе самому. Знаете ли, Рауль, я убежден, что, увидев ее вблизи

глазами ревнивца, вы забудете о вашей любви.

– Вы меня убедили, дорогой д'Артаньян.

– Ехать, чтобы увидеть ее?

– Нет, ехать, чтобы никогда ее больше не видеть. Я хочу вечно любить ее.

– По правде говоря, вот вывод, которого я совсем не ожидал.

– Слушайте, друг мой, вы отправитесь к ней и отдадите ей это письмо, которое объяснит и ей и вам происходящее в моем сердце. Прочтите письмо, я написал его минувшей ночью. Что-то подсказывало моей душе, что сегодня мы с вами встретимся.

И он протянул письмо д'Артаньяну, который прочел в нем следующее:

«Сударыня, вы несколько не виноваты в том, что меня не любите. Вы виноваты лишь в том, что позволили мне поверить в вашу любовь. Это заблуждение будет стоить мне жизни. Я прощаю вам вашу вину, но не прощаю себе своего заблуждения. Говорят, что счастливые влюбленные глухи к стенаниям тех, кто был ими любим, а затем отвергнут. Но с вами это едва ли возможно, потому что вы не любили меня, а если и испытывали ко мне какое-то чувство, то оно сопровождалось сомнениями и душевной тревогой. Я уверен, что, если бы я стремился превратить эту дружбу в любовь, вы уступили бы из боязни убить меня или нанести ущерб уважению, которое я к вам питал.

Мне будет сладостно умирать, зная, что вы свободны и счастливы.

Но вы полюбите меня настоящей любовью, когда вам нечего будет больше бояться моего взгляда или упрёка. Вы будете любить меня, потому что, как бы упоительна для вас ни была ваша нынешняя любовь, бог создал меня ни в чем не ниже того, кого вы избрали, а моя преданность, моя жертва, мой скорбный конец поставят меня в ваших глазах выше его. Я упустил по наивной доверчивости моего сердца сокровище, которым владел. Многие говорят, что вы меня любили достаточно, чтобы полюбить безраздельно. Эта мысль уничтожает во мне всякую горечь обиды и побуждает считать своим врагом лишь себя самого.

Вы примете от меня это последнее прощанье и благословите меня за то, что я скрылся в том недостижимом убежище, где гаснет всякая ненависть и пребывает только любовь.

Прощайте, сударыня. Если б нужно было всей моей кровью купить ваше счастье, я отдал бы всю свою кровь.

Ведь приношу же я ее в жертву своему страданию!

Рауль, виконт де Бражелон».

– Письмо написано хорошо, – сказал капитан, – но одно мне все же не нравится в нем.

– Что же, скажите! – воскликнул Рауль.

– То, что оно говорит обо всем, кроме того, что изливается, словно смертельный яд, из ваших глаз, из вашего сердца: кроме безумной любви, все еще сжигающей вас.

Рауль побледнел и замолк.

– Почему бы вам не написать просто:

«Сударыня!

Вместо того чтоб послать вам свое проклятие, я люблю вас и умираю».

– Это правда, – ответил Рауль с мрачной радостью.

И, разорвав письмо, которое он успел взять из рук д'Артаньяна, он написал на листке из записной книжки следующее:

«Чтобы иметь счастье сказать вам еще раз, что я вас люблю, я малодушно пишу вам об этом, и, чтобы наказать себя за свое малодушие, я умираю».

И, подписав, он спросил д'Артаньяна:

– Вы отдадите ей этот листок, капитан, не так ли?

– Когда?

– В тот день, – произнес Бражелон, указывая на последнее перед подписью слово, – когда вы поставите дату под этими строчками.

И он стремительно побежал к Атосу, который медленными шагами шел по направлению к ним.

Когда они возвращались назад, поднялись волны, и с яростной быстротой, свойственной Средиземному морю, легкое волнение превратилось в настоящую бурю. Какой-то темный предмет неопределенной формы, замеченный ими на берегу, остановил на себе их внимание.

– Что это – лодка? – спросил Атос.

– Нет, не думаю, – ответил д'Артаньян.

– Простите, – перебил Рауль, – но это все-таки лодка, спешащая в гавань.

– Там, в бухте, действительно видна лодка, которая хорошо делает, ища здесь убежище, но то, на что указывает Атос, вон на песке... разбитое...

– Да, да, вижу.

– Это карета, которую я выбросил в море, когда пристал к суше со своим узником.

– Позвольте дать вам совет, д'Артаньян, – сказал Атос, – сожгите эту карету, чтобы от нее не осталось и следа. Иначе антибские рыбаки, решившие, что им довелось иметь дело с дьяволом, попытаются доказать, что ваш узник был всего-навсего человеком.

– Хвалю ваш совет, Атос, и сегодня же ночью прикажу привести его в исполнение или, вернее, сам займусь этим делом. Но давайте войдем под крышу, начинается дождь, и сверкают уж очень страшные молнии.

Когда они проходили по валу, желая укрыться в галерее, от которой у д'Артаньяна был ключ, они увидели Сен-Мара, направляющегося в камеру узника. По знаку д'Артаньяна они спрятались за поворотом, который делала лестница.

– Что это? – спросил Атос.

– Сейчас увидите. Смотрите. Узник возвращается из часовни.

И при свете багровой молнии, в фиолетовом сумраке грозового неба, они увидели медленно шедшего в шести шагах позади губернатора человека, одетого во все черное, голова которого была скрыта шлемом, а лицо – забралом из вороненой стали. Небесный огонь бросал рыжие отблески на полированную поверхность забрала, и эти отблески, причудливо вспыхивая, казались гневными взглядами, которые метал этот несчастный вместо того, чтобы разражаться проклятиями. Посреди галереи узник на минуту остановился; он созерцал далеко открывающийся горизонт, вдыхал аромат бури и жадно пил теплый дождь. Вдруг из его груди вырвался вздох, напоминающий скорее рыдание.

– Идите, сударь, – приказал Сен-Мар, так как его стало уже беспокоить, что узник слишком долго смотрит за пределы крепостных стен, – идите же, сударь!

– Называйте его монсеньер! – крикнул Сен-Мару из своего угла граф де Ла Фер таким страшным и торжественным голосом, что губернатор вздрогнул.

Атос, как всегда, требовал уважения к поверженному величию.

Узник обернулся.

– Кто это сказал? – спросил Сен-Мар.

– Я, – проговорил д'Артаньян, появляясь перед губернатором. – Вы хорошо знаете, что на этот счет есть приказ.

– Не зовите меня ни сударем, ни монсеньером, – произнес узник голосом, проникшим в самое сердце Рауля, – зовите меня проклятым.

И он прошел мимо. За ним заскрипела железная дверь.

– Вот где несчастный человек, – глухо прошептал мушкетер, показывая Раулю камеру принца.

Глава 14. ОБЕЩАНИЯ

Едва д'Артаньян вошел со своими друзьями в комнату, которую занимал, как один из гарнизонных солдат явился к нему с извещением, что губернатор хотел бы встретиться с ним. Лодка, которую Рауль видел в море и которая торопилась укрыться в бухте, прибыла на Сент-Маргерит с депешей для мушкетера.

Вскрыв письмо, д'Артаньян узнал руку Людовика.

«Я полагаю, — писал король, — что вы уже выполнили мои приказания, господин д'Артаньян; поэтому немедленно возвращайтесь в Париж; вы найдете меня в моем Лувре».

— Вот и кончена моя ссылка! — радостно вскричал мушкетер. — Слава богу, я перестаю быть тюремщиком.

И он дал Атосу прочесть это письмо.

— Значит, вы покидаете нас? — с грустью спросил Атос.

— Чтобы быть неразлучно с вами, дорогой друг. Ведь Рауль — человек взрослый и отлично может отправиться с герцогом де Бофором; и он предпочтет, чтоб его отец возвращался в обществе д'Артаньяна, чем ехал бы в одиночестве двести лье до Ла Фера. Не так ли, Рауль?

— Конечно, — невнятно проговорил Рауль с выражением нежного сожаления.

— Нет, друг мой, — перебил Атос, — я покину Рауля только в тот день, когда его корабль исчезнет на горизонте. Пока он во Франции, я не оставлю его.

— Как хотите, мой дорогой; но мы, по крайней мере, вместе уедем с Сент-Маргерит; воспользуйтесь моей шлюпкой, она довезет и вас и меня до Антиба.

— С величайшей готовностью. Мне хочется как можно скорее оказаться подальше от этой крепости и того зрелища, которое только что так опечалило нас.

Итак, трое друзей, простившись с губернатором, покинули маленький остров и в последних вспышках удаляющейся грозы в последний раз взглянули на белевшие стены крепости.

Д'Артаньян расстался со своими друзьями в эту же ночь; он успел увидеть на берегу Сент-Маргерит яркое пламя: то горела подожженная в соответствии с его указаниями по распоряжению Сен-Мара карета.

Обнявшись на прощанье с Атосом, перед тем как садиться в седло, д'Артаньян сказал:

— Друзья мои, вы очень похожи на двух солдат, каждый из которых бросил свой пост. Что-то подсказывает мне, что Раулю в его служебных делах понадобится ваша поддержка, Атос. Хотите, я попрошу короля, чтобы и меня отправили в Африку с сотней молодцов-мушкетеров? Его величество не откажет мне, и я возьму вас с собой.

— Господин д'Артаньян, — ответил Рауль, с жаром пожимая руку, протянутую ему капитаном, — благодарю вас за предложение, превосходящее самые смелые упования графа, а также мои. Мне требуется занять свои мысли и физически уставать, так как я молод; графу же нужен полнейший покой. Вы — его лучший друг: поручаю его вашему попечению. Берегите его, и наши души в ваших руках.

— Надо трогаться в путь: вот и коню моему больше не терпится, — заметил д'Артаньян, у которого быстрая смена мыслей и тем в разговоре всегда была признаком живейших душевных переживаний. — Скажите, граф, сколько дней проведет тут Рауль?

— Не больше, чем три.

— А сколько дней вы собираетесь затратить на возвращение?

— О, точно не знаю, — ответил Атос. — Я не хочу слишком поспешно отрываться от моего дорогого Рауля. Время и без того с достаточной быстротой отнимет его у меня, к я не хочу, чтобы тому же способствовало пространство. Спешить я не стану.

— Вы не правы, друг мой. Медленная езда нагоняет тоску, и к тому же человеку вашего возраста отнюдь не подходит жить в придорожных трактирах.

— Я прибыл сюда на почтовых лошадях, но теперь хочу купить двух хороших лошадок. Чтобы привести их домой в свежем виде, нельзя гнать их больше семи-восьми лье за сутки.

— Где Гримо?

— Он приехал вчера рано утром, и я разрешил ему отоспаться как следует.

– Ну что же, возвращаться к этому больше нечего, – вырвалось у д'Артаньяна. – До свидания, Атос, и если вы поторопитесь, я буду иметь удовольствие вскоре снова заключить вас в объятия.

Сказав это, он занес ногу в стремя, которое держал ему Рауль.

– Прощайте, – сказал юноша, целуя его.

– Прощайте, – проговорил д'Артаньян, усаживаясь в седле. Конь рванул с места и унес мушкетера.

Эта сцена происходила в предместье Антиба, перед домом, в котором остановился Атос и куда д'Артаньян велел привести после ужина свою лошадь.

Отсюда начиналась дорога, белая и расплывчатая в ночном тумане. Конь полною грудью вдыхал терпкий, солоноватый воздух, приносимый с солончаковых топей, обильных в этих местах.

Д'Артаньян пустил коня рысью. Атос и Рауль печально и медленно направились к своему дому. Вдруг они услышали приближающийся топот конских копыт. Они решили сначала, что это один из тех обманчивых звуков, которые вводят в заблуждение человеческий слух при каждом повороте дороги.

Но это и в самом деле был д'Артаньян, галопом возвращавшийся к ним.

Они вскрикнули от радости и изумления, а капитан, соскочив на землю с юношеской прытью, подбежал к только что покинутым им друзьям и обнял сразу обоих, прижав к своему сердцу и того и другого. Он долго держал их молча в объятиях, и ни один вздох не вырвался из его груди. Затем, с той же внезапностью, с какой он вернулся, он уехал, пришпорив свою горячую лошадь.

– Увы... – совсем тихо проговорил граф, – увы!

«Дурное предзнаменование! – думая со своей стороны д'Артаньян, нагоняя потерянное время – Я не мог улыбнуться им. Плохая примета!»

На следующее утро Гримо был уже на ногах. Поручения герцога де Бофора выполнялись успешно. Флотилия, собранная стараниями Рауля для отправки в Тулон, вышла по назначению. За ней в почти невидимых над водой лодочках следовали жены и друзья рыбаков и контрабандистов, мобилизованных для обслуживания флота.

Короткое время, которое отцу и сыну оставалось провести вместе, летело с удвоенной быстротой, как ускоряет свое движение все, стремящееся низвергнуться в бездну вечности.

Атос и Рауль вернулись в Тулон, который был весь наполнен громыханьем повозок, бряцаньем оружия и ржаньем коней. Гремели трубы и барабаны.

Улицы были запружены солдатами, слугами и торговцами.

Герцог де Бофор находился одновременно повсюду, торопя посадку войск на суда и погрузку со рвением и заботливостью хорошего военачальника. Он был ласков и обходителен даже с самыми скромными из своих подчиненных и нещадно бранил даже самых важных из них.

Артиллерия, продовольствие и другие припасы – во все это он входил лично и лично осматривал; он проверил снаряжение каждого отплывающего солдата, удостоверился в хорошем состоянии каждой отправляемой лошади.

Чувствовалось, что этот легкомысленный, хвастливый и эгоистичный в своем дворце вельможа становится настоящим солдатом, требовательным военачальником перед лицом ответственности, которую он взял на себя.

Впрочем, необходимо признать, что, как бы старательно ни проводилась подготовка к отплытию, в ней тем не менее ощущалась спешка и беззаботность и то отсутствие какой бы то ни было предусмотрительности, которое делает французского солдата первым солдатом в мире, ибо какой же другой солдат должен в такой же мере рассчитывать исключительно на себя, на свои физические и душевные силы.

Адмирал был доволен или, по крайней мере, казался довольным; похвалив Рауля, он отдал последние распоряжения, касающиеся выхода в море. Он приказал сниматься с якоря на заре следующего дня.

Накануне он пригласил графа с Раулем к обеду. Они, однако, отказались от этого приглашения под предлогом неотложных служебных дел. Отправившись к себе в гостиницу, расположенную в тени деревьев на большой площади, они, не засиживаясь за столом, торопливо проглотили обед, и Атос повел сына на скалы, господствовавшие над городом. Это были высокие каменные громады, с которых открывался бескрайний вид на море с такой далекой линией горизонта, что казалось, будто она находится на одной высоте со скалами.

Ночь, как всегда в этих счастливых краях, была исключительно хороша.

Луна, поднявшись из-за зубцов скал, заливала серебряным светом голубой ковер моря. На рейде, занимая положенное им по диспозиции место, маневрировали в полном безмолвии корабли.

Море, насыщенное фосфором, расступалось перед баржами, перевозившими снаряжение и припасы; малейшее покачивание кормы зажигало пучину белесоватым пламенем, и всякий взмах веслом рассыпал мириадами капель горящие алмазы.

Время от времени доносились голоса моряков, радостно встречавших щедроты своего адмирала или напевавших свои бесхитростные тягучие песни.

Это зрелище и эти Гармоничные звуки заставляли сердце то сжиматься, как это бывает, когда оно полно страха, то раскрываться и расширяться, как это бывает, когда его заполняют надежды. От всей этой жизни веяло дыханием смерти.

Атос и Рауль уселись на высоком скалистом мысу, заросшем мхом и вереском. Над их головами взад и вперед сновали большие летучие мыши, которых увлекала в этот бешеный хоровод их неутомимая охота. Ноги Рауля свешивались над краем утеса, в той пустоте, от которой кружится голова и спирает дыхание и которая манит в небытие.

Когда полная луна поднялась на небе, лаская своим сиянием соседние пики в горах, когда зеркало вод осветилось во всю свою ширь, когда маленькие красные огоньки, пронзив черную массу кораблей, замелькали здесь и там в ночном сумраке, Атос, собравшись с мыслями, вооружившись всем своим мужеством, сказал, обращаясь к Раулю:

– Бог создал все, что мы видим, Рауль; он также создал и нас. Мы ничтожные атомы, брошенные им в просторы великой вселенной. Мы блестим, как эти огни и звезды, мы вздыхаем, как волны, мы страдаем, как эти огромные корабли, которые изнашиваются, разрезая волны и повинаясь ветру, несущему их к намеченной цели, так же как дыхание бога несет нас в вожаемую тихую гавань. Все любит жизнь, Рауль, и в живом мире все и в самом деле прекрасно.

– У нас перед глазами действительно прекрасное зрелище, – отвечал юноша.

– Как д'Артаньян добр, – тотчас же перебил Рауля Атос, – и какое счастье опираться всю свою жизнь на такого друга! Вот чего вам не хватало, Рауль.

– Друга? Это у меня не было друга? – воскликнул молодой человек.

– Господин де Гиш – славный товарищ, – холодно продолжал граф, – но мне кажется, что в ваше время, Рауль, люди занимаются своими личными делами и удовольствиями значительно больше, нежели в мои времена. Вы стремились к уединенной жизни, и это – счастье, но вы растратили в ней вашу силу. Мы же, четверо неразлучных, не знавшие, быть может, той утонченности, которая доставляет вам радость, мы обладали большей способностью к сопротивлению, когда нам грозила опасность.

– Я прерываю вас, граф, совсем не затем, чтобы сказать, что у меня был друг, и этот друг – де Гиш. Конечно, он добр и благороден, и он любит меня. Но я жил под покровительством другой дружбы, столь же прочной, как та, о которой вы говорите, и это – дружба с вами, отец.

– Я не был для вас другом, Рауль, потому что я показал вам лишь одну сторону жизни; я был печален и строг; увы! Не желая того, я срезал живительные ростки, выраставшие непрерывно на стволе вашей юности. Короче говоря, я раскаиваюсь, что не сделал из вас очень живого, очень светского, очень шумного человека.

– Я знаю, почему вы так говорите, граф. Нет, вы не правы, это не вы сделали меня тем, что я представляю собой, но любовь, охватившая меня в таком возрасте, когда у детей бывают

только симпатии; это прирожденное постоянство моей натуры, постоянство, которое у других бывает только привычкой. Я считал, что всегда буду таким, каким был! Я считал, что бог направил меня по торной, прямой дороге, по краям которой я найду лишь плоды да цветы. Меня постоянно оберегали ваша бдительность, ваша сила, и я думал, что это я бдителен и силен. Я не был подготовлен к препятствиям, я упал, и это падение отняло у меня мужество на всю жизнь. Я разбился, и это точное определение того, что случилось со мной» О нет, граф, вы были счастьем моего – прошлого, вы будете надеждой моего будущего.

Нет, мне не в чем упрекнуть ту жизнь, которую вы для меня создали; я благословляю вас и люблю со всем жаром моей души.

– Милый Рауль, ваши слова приносят мне облегчение. Они показывают, что, по крайней мере, в ближайшем будущем вы будете в своих действиях немного считаться со мной.

– Я буду считаться лишь с вами и больше ни с кем.

– Рауль, я никогда не делал этого прежде для вас, но я это сделаю. Я стану вашим верным другом, я буду отныне не только вашим отцом. Мы заживем с вами открытым домом, вместо того чтобы жить отшельниками, и это случится, когда вы вернетесь. Ведь это произойдет очень скоро, не так ли?

– Конечно, граф, подобная экспедиция не может быть продолжительной.

– Значит, скоро, Рауль, скоро, вместо того чтобы скромно жить на доходы, я вручу вам капитал, продав мои земли. Его хватит, чтобы жить светской жизнью до моей смерти, и я надеюсь, что до этого времени вы утешите меня тем, что не дадите угаснуть нашему роду.

– Я сделаю все, что вы прикажете, – произнес с чувством Рауль.

– Не подобает, Рауль, чтобы ваша адъютантская служба увлекала вас в слишком опасные предприятия. Вы уже доказали свою храбрость в сражениях, вас видели под огнем неприятеля. Помните, что война с арабами – это война ловушек, засад и убийств из-за угла. Попасть в западню – не слишком большая слава. Больше того, бывает и так, что те, кто попался в нее, не вызывают ничьей жалости. А те, о ком не жалеют, те пали напрасно. Вы понимаете мою мысль, Рауль? Сохрани боже, чтобы я уговаривал вас уклоняться от встречи с врагом!

– Я благоразумен по своему складу характера, и мне к тому же очень везет, – ответил Рауль с улыбкою, заставившей похолодеть сердце опечаленного отца, – ведь я, – поторопился добавить молодой человек, – побывал в двадцати сражениях и отделался лишь одной царапиной.

– Затем, – продолжал Атос, – следует опасаться климата. Смерть от лихорадки – ужасный конец. Людовик Святой молил бога наслать на него лучше стрелу или чуму, но только не лихорадку.

– О граф, при трезвом образе жизни в умеренных физических упражнениях...

– Я узнал от герцога де Бофора, что свои донесения он будет отсылать во Францию раз в две недели. Вероятно, вам, как его адъютанту, будет поручена их отправка. Вы, конечно, меня не забудете, правда?

– Нет, граф, не забуду, – ответил Рауль сдавленным голосом.

– Наконец, Рауль, вы, как и я, – христианин, и мы должны рассчитывать на особое покровительство бога и ангелов-хранителей, опекающих нас. Обещайте, что если с вами случится несчастье, то вы прежде всего вспомните обо мне. И позове меня.

– О, конечно, сразу же!

– Вы видите меня когда-нибудь в ваших снах, Рауль?

– Каждую ночь, граф. В моем раннем детстве я видел вас спокойным и ласковым, и вы клали руку на мою голову, и вот почему я спал так безмятежно... когда-то.

– Мы слишком любим друг друга, чтобы теперь, когда мы расстаемся, наши души не сопровождали одна другую и моя не была бы с вами, а ваша – со мной. Когда вы будете печальны, Рауль, я предчувствую, и мое сердце погрузится в печаль, а когда вы улыбнетесь, думая обо мне, знайте, что вы посылаете мне из заморских краев луч вашей радости.

– Я не обещаю вам быть всегда радостным, но будьте уверены, что я не проведу ни одного часа, чтобы не вспомнить о вас, ни одного часа, клянусь вам, пока буду жив.

Атос не мог больше сдерживаться. Он обеими руками обхватил шею сына и изо всех сил обнял его.

Лунный свет уступил место предрассветному сумраку, и на горизонте, возвещая приближение дня, показалась золотая полоска.

Атос накиннул на плечи Рауля свой плащ и повел его к походившему на большой муравейник городу, в котором уже сновали носильщики с ношею на плечах.

На краю плоскогорья, которое только что покинули Атос и Рауль, они увидели темную тень, которая то приближалась к ним, то, наоборот, удалялась от них, словно боясь, что ее могут заметить. Это был верный Гримо, который, обеспокоившись, пошел по следу своих господ и поджидал их возвращения.

– Ах, добрый Гримо, – воскликнул Рауль, – зачем ты сюда пожаловал? Ты пришел сказать, что пора ехать, не так ли?

– Один? – произнес Гримо, указывая на Рауля Атосу с таким откровенным упреком, что было видно, до какой степени старик был взволнован.

– Да, ты прав! – согласился граф. – Нет, Рауль не уедет один, нет, он не будет один на чужбине, без друга, который смог бы утешить его и который напоминал бы ему обо всем, что он когда-то любил.

– Я? – спросил Гримо.

– Ты? Да, да! – вскричал растроганный этим проявлением преданности Рауль.

– Увы, – вздохнул Атос, – ты очень стар, мой добрый Гримо.

– Тем лучше, – молвил Гримо с невыразимой глубиной чувства и тактом.

– Но посадка на суда, сколько я вижу, уже начинается, – заметил Рауль, – а ты не готов.

– Готов! – ответил Гримо, показывая ключи от своих сундуков вместе с ключами своего юного господина.

– Но ты не можешь оставить графа, – попытался возразить юноша, – графа, с которым ты никогда прежде не расставался?

Гримо потемневшим взором взглянул на Атоса, как бы сравнивая силу своих хозяев. Граф молчал.

– Граф предпочтет, чтобы я отправился с вами, – сказал Гримо.

– Да, – подтвердил Атос кивком головы.

В этот момент раздалась барабанная дробь и весело запели рожки. Из города выходили полки, которым предстояло участвовать в экспедиции. Их было пять, и каждый состоял из сорока рот. Королевский полк, солдат которого можно было узнать по белым мундирам с голубыми отворотами, шел впереди. Над разделенными на четыре лиловых и желтых поля ротными знаменами, усеянными шитыми золотом лилиями, возвышалось белое полковое знамя с крестом из геральдических лилий.

По бокам – мушкетеры со своими напоминающими рогатины упорами для стрельбы, которые они держали в руках, и мушкетами на плече, в центре пикинеры с четырнадцатифутовыми пиками весело шагали к лодкам, которым предстояло доставить их поротно на корабли.

За королевским полком следовали пикардийский, наваррский и дормандский полки с... гвардейским морским экипажем. Герцог де Бофор знал, кого отобрать для предстоящей экспедиции за море. Сам он со своим штабом замыкал шествие. Прежде чем он успеет добраться до гавани, пройдет еще добрый час.

Рауль вместе с Атосом медленно направлялся к берегу, чтобы занять свое место при герцоге, когда он поравняется с ними.

Гримо, деятельный, как юноша, распоряжался отправкой на адмиральский корабль вещей Рауля.

Атос, шедший под руку со своим сыном, с которым должен был вскоре расстаться, и оглушенный шумом и суетой, был погружен в скорбные мысли.

Вдруг один из офицеров герцога приблизился к ним и сообщил, что герцог выразил желание видеть Рауля возле себя.

– Будьте добры, сказать герцогу, сударь, – возразил юноша, – что я прошу его предоставить мне этот последний час; я хотел бы провести его в общество графа.

– Нет, нет, – перебил Атос, – адъютант не должен покидать своего генерала. Будьте любезны передать герцогу, сударь, что виконт без промедления явится к его светлости.

Офицер пустился вскачь догонять герцога.

– Расставаться нам тут или там, все равно нас ожидает разлука, – произнес граф.

Он старательно почистил рукой одежду Рауля и на ходу погладил его по голове.

– Рауль, – сказал он, – вам нужны деньги; герцог любит вести широкую жизнь, и я уверен, что и вам захочется покупать оружие и лошадей, которые в тех краях очень дороги. Но так как вы не служите ни королю, ни герцогу и зависите лишь от себя самого, вы не должны рассчитывать ни на жалованье, ни на щедрость герцога де Бофора. Я хочу, чтобы в Джиджелли вы ни в чем не нуждались. Здесь двести пистолей. Истратьте их, если хотите доставить мне удовольствие.

Рауль пожал руку отцу. На повороте улицы они увидели герцога де Бофора верхом на великолепном белом коне; конь, отвечая на приветствия женщин, с необыкновенным изяществом выделял перед ними курбеты.

– Герцог подозвал Рауля и протянул руку графу. Он так долго и ласково беседовал с ним, что сердце опечаленного отца немножко утешилось.

Но обоим, и отцу и сыну, казалось, что они идут крестным путем, в конце которого их ожидает пытка. Наступил самый тяжелый момент: солдаты и матросы, покидая берег, прощались с семьями и друзьями, – последний момент, когда, несмотря на безоблачность неба, знойное солнце, свежие запахи моря, которыми напоен воздух, несмотря на молодую кровь, текущую в жилах, все кажется черным и горьким, все повергает в уныние, все толкает к сомнениям в существовании бога, хотя все это от него же исходит.

В те времена адмирал вместе со свитой всходил на корабль последним, и лишь после того, как он показывался на палубе флагмана, раздавался могучий пушечный выстрел.

Атос, забыв и адмирала, и флот, и свое собственное достоинство сильного человека, открыл объятия сыну и судорожно привлек к себе.

– Проводите нас на корабль, – сказал тронутый герцог, – вы выиграете добрые полчаса.

– Нет, – ответил Атос, – нет, я уже попрощался и не хочу прощаться вторично.

– Тогда прыгайте в лодку, виконт, и поскорее, – добавил герцог, желая избавить от слез обоих этих людей; глядя на них, он ощущал, как сердце его наполняется жалостью. С отцовской нежностью, с силой Портоса он увлек за собою Рауля и посадил его в шлюпку, на которой, по его знаку, гребцы тотчас же взялись за весла. И, нарушая церемониал, он подбежал к борту шлюпки и оттолкнулся от причала.

– Прощайте! – крикнул Рауль.

Атос ответил лишь жестом. Он почувствовал что-то горячее на руке: то был почтительный поцелуй Гримо, последнее прощание преданного слуги.

Поцеловав руку своего господина, Гримо соскочил со ступеньки пристани в ялик, который взяла на буксир двенадцативесельная шаланда.

Атос присел на молу, измученный, оглушенный, покинутый. Каждое мгновение стирало одну из дорогих ему черт, какую-нибудь из красок на бледном лице его сына. Море унесло понемногу и лодки и лица на такое расстояние, когда люди становятся только точками, а любовь – воспоминанием.

Атос видел, как Рауль поднялся по трапу адмиральского корабля, видел, как он оперся а борт, став таким образом, чтобы быть заметным отцу. И хотя прогремел пушечный выстрел и на кораблях прокатился продолжительный гул, на который ответили бесчисленными восклицаниями на берегу, и хотя грохот пушек должен был оглушить уши отца, а дым выстрелов – застлать дорогой образ, привлекавший к себе все его помыслы, он все же явственно видел Рауля до последней минуты, и нечто постепенно теряющее свои очертания, сначала черное, потом блеклое, потом белее и, наконец, уж вовсе неразличимое, исчезло в глазах Атоса много позднее, чем исчезли для глаз всех остальных могучие корабли и их

вздувшиеся белые паруса.

К полудню, когда солнце уже поглощало все видимое глазу пространство и верхушки мачт едва возвышались над горизонтом, Атос увидел нежную, воздушную, мгновенно расплывшуюся в воздухе тень: то был дым от пушечного салюта, которым герцог в последний раз прощался с берегом Франции.

Когда и эта тень растаяла в небе, Атос, чувствуя себя совершенно разбитым, вернулся к себе в гостиницу»

Глава 15. СРЕДИ ЖЕНЩИН

Д'Артаньян, вопреки желанию скрыть от друзей свои чувства, не смог сделать это в той мере, в какой хотел. Стоический солдат, бесстрашный воин, одолеваемый страхами и предчувствиями, он отдал минутную дань человеческой слабости... Но, заставив замолчать свое сердце и поборов дрожь своих мышц, он повернулся к своему молчаливому и исполнительному слуге и сказал:

– Рабо, да будет тебе известно, что я должен проезжать по тридцать лье в день.

– Отлично, господин капитан, – ответил Рабо.

И с этого момента, слившись в одно целое со своей лошадью, как настоящий кентавр, Д'Артаньян не занимал больше своих мыслей ничем, то есть, иначе говоря, думал обо всем понемногу.

Он спросил себя, по какой причине король вызвал его; он задал себе также вопрос, почему Железная Маска бросил блюдо к ногам Рауля.

Что касается первого из этих вопросов, то ответить на него удовлетворительным образом Д'Артаньян оказался не в состоянии. Он достаточно хорошо знал, что король, вызывая его, делает это потому, что нуждается в нем; он знал, что Людовик XIV испытывает крайнюю необходимость в беседе с глазу на глаз с тем, кого знание столь важной государственной тайны поставило в один ряд с наиболее могущественными вельможами королевства.

Но установить в точности, что именно побудило короля к этому шагу, он все же не мог.

Мушкетер не в меньшей степени понимал, какая причина заставила несчастного Филиппа открыть, кто он такой и что он королевского рода. Филипп, навсегда погребенный под своею железною маской, удаленный в края, где люди, казалось, были рабами стихий; Филипп, лишенный даже общества д'Артаньяна, относившегося к нему предупредительно и с почтительностью; понимая, что в этом мире на его долю остаются лишь призрачные мечты и страдания, да еще отчаянье, начинавшее жестоко мучить его, – излился в жалобах и стенаниях, рассчитывая, что если он откроет свою ужасную тайну, то, быть может, явится мститель, который вступится за него.

Вспоминая о том, что он едва не убил своих ближайших друзей, о судьбе, столь причудливым образом столкнувшей Атоса с государственной тайной, о прощании с бедным Раулем, о смутном будущем, которое его ожидает и которое поведет его к ужасной и неминуемой гибели, Д'Артаньян мало-помалу возвратился к своим печальным предчувствиям, и даже быстрая скачка не могла отвлечь его, как бывало, от этих грустных мыслей.

Потом Д'Артаньян перешел к думам о Портосе и Арамисе, объявленным вне закона. Он видел их беглецами, которых травят, словно дичь, окончательно разоренными, их, упорно созидавших себе состояние, а теперь вынужденных потерять все до гроша. И поскольку король вызывал его, исполнителя своей воли, еще не остыв от гнева и пылая жаждой мщения, Д'Артаньян содрогался при мысли о том, что его, быть может, ждет поручение, которое заставит кровоточить его сердце.

Порой, когда дорога шла в гору и запыхавшаяся лошадь, раздувая ноздри и подбирая бока, переходила на шаг, Д'Артаньян, располагая большей возможностью сосредоточиться,

принимался думать о поразительном гении Арамиса, гении хитрости и интриги, – воспитанном Фрондой и гражданской войной. Солдат, священник и дипломат, любезный, жадный и хитрый, Арамис никогда в своей жизни не творил ничего хорошего без того, чтобы не смотреть на это хорошее как на ступеньку, которая поможет ему подняться еще выше. Благородный ум, благородное, хотя, быть может, и не безупречное сердце, Арамис творил зло лишь затем, чтобы добавить себе еще чуточку блеска. В конце своего жизненного пути, в момент, когда он достиг, казалось, поставленной цели, он сделал так же, как – знаменитый Фиаско, свой ложный шаг на палубе корабля и погиб в морской пучине.

Но Портос, этот добряк и толстяк Портос! Видеть Портоса в позоре, видеть Мушкетона без золотых галунов, быть может, запертым в тюрьму; видеть, как Пьерфон, Брасье будут сровнены с землей, как будут осквернены их чудесные мачтовые леса, и это также причиняло терзания д'Артаньяну, и всякий раз, как его поражала какая-нибудь тягостная мысль этого рода, он вздрагивал, как вздрагивал его конь, когда ощущал укус слепня, двигаясь под сводами густого леса.

Умный человек никогда не томится, если тело его преодолевает усталость; здоровый человек никогда не находит жизнь тяжелой, если ум его чем-нибудь занят. Так д'Артаньян, все время в седле, все время предаваясь своим размышлениям, добрался до Парижа свежий и бодрый, точно атлет, подготовивший себя к состязанию.

Король так скоро не ждал его и только что уехал охотиться куда-то к Медону. Д'Артаньян, вместо того чтобы пуститься вдогонку, как он поступил бы в прежние времена, велел стащить с себя сапоги, разделся и вымылся, отложив свидание с королем до приезда его величества, усталого и запыленного. В течение пяти часов ожидания он, как говорится, приноживался к дворцовому воздуху и запасался надежной броней против всех неожиданностей неприятного свойства.

Он узнал, что последние две недели король неизменно мрачен, что королева-мать больна и крайне подавлена, что принц, брат короля, стал набожным, что принцесса Генриетта очень расстроена и что де Гиш отправился в одно из своих поместий.

Еще он узнал, что Кольбер сияет, а Фуке каждый день советуется о своем здоровье с новым врачом, но болезнь его, однако, не из числа тех, которые исцеляют врачи, и она может уступить лишь политическому врачу, если можно так выразиться.

Король, как сказали д'Артаньяну, был чрезвычайно любезен с Фуке и ни на шаг не отпускал его от себя; но суперинтендант, пораженный в самое сердце, подобно дереву, в котором завелся червь, погибал, несмотря на королевские милости, это животворное солнце придворных деревьев.

Д'Артаньян также узнал, что король больше не может прожить ни минуты без Лавальер и что если он не берет ее с собой на охоту, то по несколько раз в день сочиняет для нее письма, и уже не в стихах, но, что гораздо хуже, чистейшею прозой, и притом на многих страницах.

Вот почему случалось, что «первый в мире король», как выражались поэты, его современники, сходил «с несравненным пылом» с коня и, положив лист бумаги на шляпу, исписывал его нежными фразами, которые де Сент-Эньян, его несменяемый адъютант, отвозил Лавальер, рискуя загнать лошадей.

А в это время фазаны и лани, за которыми никто не охотился, разлетались и разбегались в разные стороны, и искусство охоты при королевском дворе Франции рисковало совсем захиреть.

Д'Артаньян вспомнил о просьбе бедняжки Рауля и о том безнадежном письме, которое он написал женщине, жившей в вечных надеждах. Так как капитан любил философствовать, он решил воспользоваться отсутствием короля, чтобы побеседовать несколько минут с Лавальер.

Это оказалось делом весьма простым: пока король был на охоте, Луиза прогуливалась в обществе нескольких дам по одной из галерей Пале-Рояля, как раз там, где капитану мушкетеров нужно было проверить охрану. Д'Артаньян был убежден, что, если ему удастся завести с Луизой разговор о Рауле, у него будет повод написать бедному изгнаннику

что-нибудь приятное его сердцу, а он знал, что надежда или хотя бы слова утешения в том состоянии, в каком находился Рауль, были бы солнцем, были бы жизнью для двух людей, столь дорогих нашему капитану.

Итак, он направился прямо туда, где рассчитывал встретить Лавальер.

Он нашел ее в многолюдном обществе. При всем том, что она была одинока, ей расточали столько же, как королеве, если только не больше, знаков внимания, которыми так гордилась принцесса Генриетта в те времена, когда король не отрывал от нее своих взоров и побуждал тем самым и придворных не сводить с нее глаз.

Д'Артаньян, хотя и не был дамским угодником, все же встречал со стороны женщин лишь ласковый и любезный прием; он был учтив, как подобает настоящему храбрецу, и его страшная репутация доставляла ему дружбу мужчин и восхищение женщин.

Увидев капитана, придворные дамы засыпали его приветствиями и вопросами. Началось с вопросов: где он был, куда ездил, почему так давно не гарцевал на своем чудесном коне под балконом его величества, вызывая восторг любопытных?

Д'Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов.

Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали все, но путешествие за сто лье нередко бывало проблемой, решение которой откладывали до самой смерти.

– Из страны апельсинов? – повторила мадемуазель де Тонне-Шарант. – Из Испании?

– Нет, не то, – сказал Д'Артаньян.

– С Мальты? – вставила Монтале.

– Честное слово, сударыня, вы приближаетесь.

– С какого-нибудь острова? – спросила Лавальер.

– Сударыня, не хочу вас дольше томить, я приехал из тех краев, откуда в настоящий момент господин де Бофор грузится на суда, чтобы перебраться в Алжир.

– Вы видели армию? И флот? – поинтересовались несколько воинственных дам.

– Все видел.

– Есть ли там наши друзья? – задала вопрос мадемуазель де Тонне-Шарант холодным, но рассчитанным на привлечение общего внимания тоном.

– Да, – отвечал Д'Артаньян, – там де Ла Гилотьер, де Муши, де Бражелон.

Лавальер побледнела.

– Господин Бражелон? – воскликнула коварная Атенаис. – Как! Он отправился на войну?..

Монтале наступила ей на ногу, но это никак не подействовало.

– Знаете ли вы мою мысль? – продолжала ода безжалостно. – Мне кажется, что мужчины, уехавшие на эту войну – незадачливые влюбленные, ищущие у черных женщин утешения от жестокостей белых.

Некоторые дамы весело рассмеялись; Лавальер начинала терять присутствие духа; Монтале кашляла так, что могла бы разбудить мертвого.

– Сударыня, – перебил д'Артаньян, – вы напрасно думаете, что женщины в Джиджелли черные. Они не черные и не белые, они желтые.

– Желтые?

– О, не думайте, что это так уж плохо; я никогда не видел более красивого цвета кожи в сочетании с черными глазами и коралловыми губами.

– Тем лучше для господина де Бражелона, – выразительно проговорила мадемуазель де Тонне-Шарант. – Он там излечится, бедный юноша.

После этих слов воцарилось молчание. Д'Артаньян подумал, что женщины, эти нежные горлинки, обращаются друг с другом, пожалуй, более жестоко, чем тигры или медведи.

Для Атенаис было, однако, мало заставить побледнеть Лавальер; ей хотелось, чтобы Луиза вдобавок еще и покраснела.

Она снова заговорила:

– Знаете, Луиза, на вашей совести теперь тяжкий грех!

– Какой грех, мадемуазель? – пролепетала несчастная, тщетно пытаясь найти опору

среди окружающих.

– Да ведь вы были обручены с этим молодым человеком, он любил вас всем сердцем, а вы отвергли его.

– Это обязанность всякой порядочной женщины, – вставила Монтале поучающим тоном. – Когда знаешь, что не можешь составить счастье того, кто тебя любит, лучше отвергнуть его.

Луиза не знала, благодарить ли ей за такую защиту или негодовать.

– Отвергнуть! Отвергнуть! Все это превосходно, – заметила Атенаис. Но не в этом грех мадемуазель Лавальер. Настоящий грех, в котором она может себя упрекнуть, заключается в том, что это она послала на войну бедного Бражелона – на войну, где его могут убить.

Луиза провела рукой по своему холодному как лед лбу.

– И если он умрет, – продолжала безжалостная Атенаис, – это будет означать, что это вы, Луиза, убили его; вот в этом и заключается грех, о котором я говорила.

Луиза, едва держась на ногах, подошла к капитану мушкетеров, чтобы взять его под руку; лицо его выдавало непривычное для него волнение.

– Вам надо было о чем-то поговорить со мною, господин д'Артаньян, начала она прерывающимся от гнева и страдания голосом. – Что вы хотели сказать?

Д'Артаньян, взяв Лавальер под руку, направился с ней по галерее. Когда они оказались достаточно далеко от других, он ответил:

– То, что я собирался сказать вам, только что высказала мадемуазель де Тонне-Шарант, быть может, грубо, но с исчерпывающей полнотой.

Луиза едва слышно вскрикнула и, изнемогая от этой новой раны, кинулась прочь, как бедная, пораженная насмерть птичка, ищущая тени в густом кустарнике, чтобы там умереть. Она исчезла в одной из дверей в тот самый момент, когда король появился в другой.

Первый взгляд короля был направлен на пустое кресло его возлюбленной, и, не найдя нигде Лавальер, король нахмурился, но в то же мгновение он увидел д'Артаньяна, который отвешивал ему низкий поклон.

– Ах, сударь, – улыбнулся Людовик, – вы проявили истинное усердие, и я вами весьма доволен.

Это было высшее проявление королевского удовольствия. Было немало таких, кто дал бы себя убить, лишь бы заслужить эти слова короля.

Придворные дамы и кавалеры, почтительно окружившие короля при его входе, расступились, заметив, что он желает остаться наедине с капитаном мушкетеров.

Король направился к выходу и увел д'Артаньяна из зала, после того как еще раз поискал глазами мадемуазель Лавальер, не понимая причины ее отсутствия.

Оказавшись вдали от любопытных ушей, он задал вопрос:

– Итак, господин д'Артаньян, узник?..

– В тюрьме, ваше величество.

– Что он дорогою говорил?

– Ничего, ваше величество.

– Что он делал?

– Был момент, когда рыбак, в лодке которого я переправлялся на Сент-Маррерит, взбунтовался – и сделал попытку убить, меня. Пленник... помог мне защититься, вместо того чтоб бежать.

Король побледнел и сказал:

– Довольно.

Д'Артаньян поклонился.

Людовик прошел взад и вперед по своему кабинету.

– Вы были в Антибе, когда туда прибыл господин де Бофор?

– Нет, ваше величество, я уезжал, когда туда прибыл герцог.

– А!

Новое молчание.

– Что же вы там повидали?

– Многих людей, – холодно ответил Д'Артаньян. Король увидел, что Д'Артаньян не расположен поддерживать разговор.

– Я вас вызвал, господин капитан, чтобы отправить в Нант. Вам предстоит подготовить там для меня резиденцию.

– В Нант? В Бретань? Ваше величество предполагает совершить столь далекое путешествие?

– Да, там собираются штаты, – отвечал король. У меня есть к ним два представления; я хочу лично присутствовать на их заседаниях.

– Когда я должен отправиться? – спросил капитан.

– Сегодня к вечеру... завтра... завтра вечером; ведь вы нуждаетесь в отдыхе.

– Я уже отдохнул, ваше величество.

– Превосходно... В таком случае «между сегодняшним вечером и завтрашним утром, по вашему усмотрению».

Д'Артаньян поклонился, как бы прощаясь; но, заметив, что король чем-то взволнован, он сделал два шага вперед и поинтересовался:

– Король берет с собой весь двор?

– Конечно.

– Значит, королю, без сомнения, понадобятся и мушкетеры?

И проницательный взгляд капитана заставил Людовика опустить глаза и смутиться.

– Возьмите одну бригаду.

– Это все?.. У вашего величества нет больше никаких приказаний?

– Нет. Ах, нет, есть!

– Слушаю вас.

– В Нантском замке, который распланирован весьма неудачно, возьмите за правило ставить мушкетеров у дверей каждого из главнейших сановников, которых я увожу с собой.

– Главнейших?

– Да.

– Например, у двери господина де Лиона?

– Да.

– Господина де Летелье?

– Да.

– Господина де Бриенна?

– Да.

– И господина суперинтенданта?

– Конечно.

– Отлично, ваше величество. Завтра я уже буду в пути.

– Еще одно слово, господин д'Артаньян. В Нанте вы встретитесь с капитаном гвардейцев, герцогом де Жевром. Проследите за тем, чтобы ваши мушкетеры были расквартированы до прихода гвардейцев. Первому пришедшему преимущество.

– Хорошо, ваше величество.

– А если господин – де Жевр будет расспрашивать вас?

– Что вы, ваше величество! Разве господин де Жевр станет меня расспрашивать?

И, лихо повернувшись на каблуках, мушкетер исчез.

«В Нант! – повторял он себе, спускаясь по лестнице. – Почему он не решился сказать, что напрямик на Бель-Иль?»

Когда он подходил к воротам, его нагнал служащий де Бриенна.

– Господин д'Артаньян, – начал он, – простите...

– В чем дело, господин Арист?

– Здесь чек, который король велел мне отдать в ваши руки.

– На вашу кассу?

– Нет, сударь, на кассу господина Фуке.

Удивленный д'Артаньян прочел написанный рукой короля чек на двести пистолей.

«Вот так дела! – подумал он, после того как вежливо поблагодарил доверенное лицо де Бриенна, – Значит, Фуке заставят к тому же оплатить эту поездку. Черт возьми! Это отдает чистокровным Людовиком Одиннадцатым.

Почему бы не выписать чек на кассу Кольбера? Тот с такой радостью оплатил бы его!»

И д'Артаньян, верный своему принципу сразу же получать деньги по чекам, отправился к Фуке за своими двумястами пистолями.

Глава 16. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Суперинтендант, видимо, был предупрежден об отъезде в Нант, так как давал прощальный обед своим ближайшим друзьям. Во всем доме сверху донизу усердие слуг, носившихся с блюдами, и лихорадочное щелканье счетов свидетельствовали о близком перевороте в кассе и в кухне.

Д'Артаньян с чеком в руках явился в контору, но ему ответили, что касса заперта и уже слишком поздно, так что сегодня ему денег не выдадут.

Он ответил на это словами:

– Приказ короля.

Несколько озадаченный служащий заявил, что это – причина, достойная уважения, но обычаи дома также заслуживают уважения, и попросил его зайти за деньгами на следующий день. Д'Артаньян потребовал, чтобы его проводили к Фуке. Служащий ответил на это, что г-н суперинтендант не вмешивается в подобные мелочи, и попытался закрыть дверь перед носом у д'Артаньяна.

Предвидя это, капитан поставил ногу между дверью и дверным косяком, так что замок не захлопнулся, и служащий снова оказался лицом к лицу со своим собеседником. Ввиду этого он изменил тон и произнес с наигранной вежливостью:

– Если, сударь, вы желаете говорить с господином суперинтендантом, будьте добры пройти в приемную. Здесь только контора, и монсеньер никогда сюда не приходит.

– Вот и отлично! А где же приемная?

– На той стороне двора, – поклонился служащий, в восторге от того, что избавился от посетителя.

Д'Артаньян прошел через двор и оказался среди лакеев.

– Монсеньер в такое время не принимает, – ответил на его вопрос наглого вида малый, несший на позолоченном блюде трех фазанов и двенадцать перепелов.

– Скажите ему, – попросил капитан, остановив лакея за край блюда, что я – Д'Артаньян, капитан-лейтенант мушкетеров его величества.

Лакей вскрикнул от удивления и исчез.

Д'Артаньян медленно направился вслед за ним. Он вошел в приемную как раз в то мгновение, когда слегка побледневший Пелисон выходил из столовой, чтобы узнать, в чем дело.

Д'Артаньян улыбнулся и, желая успокоить его, начал:

– Ничего неприятного, господин Пелисон; мне просто нужно получить деньги по чеку, и притом незначительному.

– Ах, – вздохнул с облегчением этот преданный друг Фуке.

И, взяв капитана за руку, он потянул его за собой и увлек в залу, где изрядное число близких друзей окружало суперинтенданта, сидевшего посередине в большом мягком кресле.

Там находились эпикурейцы, те самые, что совсем недавно, в дни празднества в Во, делали честь дому, уму и богатству Фуке. Веселые и заботливые друзья, они в преобладающем большинстве не бежали от своего покровителя при приближении бури и, несмотря на угрозы с неба, несмотря на землетрясение, были здесь, улыбающиеся, предупредительные и преданные в беде, как были преданны в счастье.

Налево от суперинтенданта сидела г-жа де Бельер, направо – г-жа Фуке.

Как бы бросая вызов законам света и пренебрегая обыденными приличиями, два ангела-хранителя этого человека сошлись возле него, чтобы поддержать его, когда разразится гроза, совместными усилиями своих тесно сплетенных рук. Г-жа де Бельер бледнела, трепетала и была полна почтительности к г-же Фуке, которая, касаясь своей рукой руки мужа, с тревогой смотрела на дверь, в которую Пелисон должен был ввести д'Артаньяна.

Вошел капитан. Сначала он был только самой учтивостью, но, уловив своим безошибочным взглядом выражение лиц и угадав, какие чувства владеют собравшимися, он преисполнился восхищения.

Фуке, поднимаясь с кресла, сказал:

– Простите: меня, господин Д'Артаньян, если я принимаю вас не совсем так, как подобает встречать приходящих от имени короля.

Он произнес эти слова тоном печальной твердости, испугавших его друзей.

– Монсеньер, – ответил Д'Артаньян, – если я и прихожу от имени короля, то лишь затем, чтобы получить двести пистолей по королевскому чеку.

Лица всех прояснились; лицо Фуке осталось, однако, таким же мрачным.

– Сударь, вы, быть может, также едете в Нант? – спросил он капитана.

– Я не знаю, куда я еду, монсеньер, – улыбнулся Д'Артаньян.

– Но, господин капитан, – начала успокоившаяся г-жа Фуке, – ведь вы уезжаете не так скоро, чтобы не оказать нам чести отужинать с нами?

– Сударыня, это было бы для меня великою честью, но я до того спешу, что, как видите, позволил себе вторгнуться к вам и нарушить ваш ужин, торопясь получить по этой записке причитающиеся мне деньги.

– И ответ на нее вы получите золотом, – сказал Фуке, подзывая к себе дворецкого, который тотчас же ушел с чеком, врученным ему д'Артаньяном.

– О, я несколько не беспокоился об уплате; ваша контора – надежнейший банк.

На побледневшем лице Фуке обозначилась мучительная улыбка.

– Вам нездоровится? – спросила г-жа де Бельер.

– Припадок? – повернулась к нему г-жа Фуке.

– Нет, ничего, благодарю вас, – ответил суперинтендант.

– Припадок? – переспросил Д'Артаньян. – Разве вы больны, монсеньер?

– У меня перемежающаяся лихорадка, которой я заболел после празднества в Во.

– Ночная свежесть где-нибудь в гротах?

– Нет, нет; просто волнение.

– Вы вложили в прием короля слишком много души, – спокойно заговорил Лафонтен, не подозревая, что произносит кощунственные слова.

– Принимая у себя короля, невозможно вложить слишком много души, ее всегда мало, – тихо заметил Фуке своему поэту.

– Господин Лафонтен хотел сказать: «Слишком много жара», – перебил д'Артаньян искренним и приветливым тоном. – Ведь, право, монсеньер, никогда и нигде гостеприимство не было таким безграничным, как в Во.

На лице г-жи Фуке можно было явственно прочесть, что, хотя Фуке и поступил по отношению к королю выше всяких похвал, король, однако, не отплатил тем же своему министру.

Но д'Артаньян помнил ужасную тайну. Из присутствующих ее знали лишь он да Фуке; но один из, них не имел мужества выразить другому свое сочувствие, а второй не смел обвинять.

Когда капитану принесли двести пистолей и он собрался уже уходить, Фуке встал» взял стакан и велел подать другой д'Артаньяну.

– Сударь, – произнес он, – за здоровье его величества, что бы ни случилось!

– И за ваше здоровье, монсеньер, что бы ни случилось! – подхватил д'Артаньян и выпил: После этих зловещих слов он отвесил общий поклон и вышел. Когда он прощался, все

встали, и в настудившей тишине, пока он спускался по лестнице, были слышны его шаги и звон его шпор.

– Был момент, когда я подумал, что он явился за мной, а не за моими деньгами, – сказал Фуке, стараясь изобразить улыбку.

– За вами! – вскричали его друзья. – Но почему, господи боже?

– Не будем заблуждаться, дорогие мои друзья, я не хочу сравнивать самого смиренного из земных грешников с богом, которому мы поклоняемся, но вы, разумеется, помните, что однажды он созвал своих близких друзей на трапезу, и эта трапеза называется тайною вечерей. Это был прощальный обед, совсем как сегодня у нас.

Со всех сторон послышались громкие возмущенные возгласы.

– Закройте двери, – попросил Фуке.

Лакеи исчезли.

– Друзья мои, – продолжал Фуке, понижая голос, – чем я был прежде и что я теперь? Подумайте и ответьте. Такой человек, как я, падает уже потому, что перестал подниматься; что же сказать, когда он действительно падает? У меня нет больше ни денег, ни кредита, у меня лишь могущественные враги и драгоценные, но немощные друзья.

– Раз вы говорите с такой откровенностью, – молвил Пелисон, – то и нам тоже подобает быть откровенными. Да, вы погибли, да, вы торопитесь навстречу вашему разорению, так остановитесь же поскорее! И прежде всего – сколько денег у вас осталось?

– Семьсот тысяч ливров, – усмехнулся суперинтендант.

– Хлеб насущный, – прошептала г-жа Фуке.

– Подставы, подставы! – вскричал Пелисон. – И бегите!

– Куда?

– В Швейцарию, в Савойю, но уезжайте!

– Если монсеньер уедет из Франции, – вздохнула г-жа де Бельер, – начнут говорить, что он чувствует за собою вину и что он испугался.

– Скажут больше, скажут, что я захватил с собою двадцать миллионов.

– Мы начнем писать мемуары, чтоб обелить вас в глазах всего света, попробовал пошутить Лафонтен, – но мой совет: бегите!

– Я останусь, – сказал Фуке, – разве я в чем-нибудь виноват?

– У вас есть Бель-Иль! – крикнул аббат Фуке.

– И я, естественно, отправлюсь туда по дороге в Нант, – ответил Фуке.

– Поэтому терпение, терпение и терпение.

– Но до Нанта пройдет еще столько времени! – промолвила г-жа Фуке.

– Да, я знаю, – ответил суперинтендант, – но тут ничего не поделаешь!

Король зовет меня на открытие штатов. Мне отлично известно, что он это делает, имея в виду погубить меня; но отказаться ехать – значит выказать свое беспокойство.

– Отлично, я нашел средство все устроить! – засмеялся Пелисон. – Вы поедете в Нант.

Фуке удивленно взглянул на него.

– Но с вашими друзьями, но в вашей карете до Орлеана и на вашем судне до Нанта; вы будете готовы защищать себя силой оружия, если на вас нападут, и бежать, если над вами нависнет угроза: одним словом, на всякий случай вы возьмете с собой все ваши деньги, и ваше бегство будет вместе с тем исполнением королевской воли; потом, добравшись до моря, вы переправитесь, когда захотите, к себе на Бель-Иль, а с Бель-Иля вы умчитесь, куда вам будет угодно, как орел, взмывающий в просторы бескрайнего неба, когда его вынуждают покинуть гнездо.

Общее одобрение встретило слова Пелисона.

– Да, сделайте это, – обратилась г-жа Фуке к своему мужу.

– Сделайте так, – попросила г-жа де Бельер.

– Правильно, правильно! – вскричали все остальные.

– Так и будет, – ответил Фуке.

– Сегодня же!

– Через час!
– Сию же минуту!
– С семьями тысячами ливров вы можете восстановить свое состояние, – сказал аббат Фуке. – Кто помешает вам вооружить на Бель-Иле корсаров?

– И если понадобится, мы поплывем открывать новые земли, – добавил Лафонтен, опьяненный энтузиазмом и фантастическими проектами.

Стук в дверь перебил это соревнование радости и надежд.

– Курьер короля! – крикнул церемониймейстер.

Воцарилось глубокое молчание, будто весть, которую привез этот курьер, была ответом на только что родившиеся проекты. Все взоры обратились на хозяина, у которого лоб покрылся испариной и который действительно был в этот момент в лихорадке.

Чтобы принять курьера его величества, Фуке прошел к себе в кабинет. В комнатах и во всех службах была такая нерушимая тишина, что явственно прозвучал голос Фуке:

– Хорошо, сударь, будет исполнено.

Через минуту Фуке вызвал к себе Гурвиля, который пересек галерею, сопровождаемый напряженными взглядами всех.

Наконец Фуке снова вышел к гостям; лицо его, до этого бледное и удрученное, неузнаваемо изменилось: из бледного оно теперь стало серым, из удрученного – искаженным. Живой призрак, он двигался с вытянутыми вперед руками, иссохшим ртом, как тень, явившаяся навестить тех, кто некогда был его друзьями. Увидев его, все вскочили, вскрикнули, подбежали к нему.

Суперинтендант, смотря в глаза Пелисону, оперся на плечо г-жи Фуке и пожал ледяную руку маркизы де Бельер.

– Что случилось, боже? – спросили его.

Фуке раскрыл судорожно сжатые влажные пальцы, из них выпала бумага, которую подхватил испуганный Пелисон.

И он прочел следующие строки, написанные рукой короля:

«Дорогой и любезный г-н Фуке, выдайте в счет наших денег, находящихся в вашем распоряжении, семьсот тысяч ливров, которые нам нужны сегодня же в связи с нашим отъездом.

Зная, что ваше здоровье расстроено, мы молим бога о том, чтобы он восстановил ваши силы и имел бы о вас свое святое и бесценное попечение.

Людовик,

Это письмо служит распиской».

Шепот ужаса пробежал по зале.

– Ну! – не выдержал Пелисон. – Теперь это письмо у вас!

– Да, эта расписка теперь у меня.

– Что же вы будете делать?

– Ничего, раз у меня расписка.

– Но...

– Раз я принял ее, Пелисон, это значит, что я заплатил, – произнес суперинтендант с простотой, заставившей всех присутствующих ощутить, что у них сжалось сердце.

– Вы заплатили? – бросилась к нему в отчаянии г-жа Фуке. – Выходит, что вы погибли!

– Без лишних слов! – перебил Пелисон. – После денег потребуют жизнь!

На коня, монсеньер, на коня!

– Оставить нас! – разом вскричали обе женщины, не помня себя от горя.

– Спасая себя, монсеньер, вы спасете всех нас! На коня!

– Но ведь он не держится на ногах! Смотрите.

– Ну, если мы начнем размышлять... – начал бестрепетный Полисон.

– Он прав, – прошептал Фуке.

– Монсеньер! Монсеньер! – крикнул Гурвиль, торопливо взбегая по лестнице. – Монсеньер!

– Что еще?

– Я сопровождал, как вы знаете, курьера, отвозившего королю деньги.

– Да.

– И, прибыв в Пале-Рояль, я видел...

– Подожди немного, мой бедный друг, ты задыхаешься.

– Что же вы видели? – нетерпеливо спрашивали со всех сторон.

– Я видел, как мушкетеры садились в седло, – закончил Гурвиль.

– Вот видите, видите? Можно ли терять хоть мгновение?

Госпожа Фуке кинулась наверх, требуя лошадей. Г-жа де Бельер, устремившись за ней, обняла ее и сказала:

– Ради его спасения, не проявляйте, не обнаруживайте тревоги, сударыня.

Пелисон побежал распорядиться, чтоб запрягали. А и это время Гурвиль собирал в свою шляпу все то золото и серебро, которое испуганные и плачущие друзья смогли обнаружить в своих пустых карманах, последний дар, благоговейную милостыню, подаваемую бедняками несчастному.

Суперинтендант, которого наполовину несли, наполовину влекли его преданные друзья, сел наконец в карету. Пелисон поддерживал г-жу Фуке, которая потеряла сознание. Г-жа де Бельер оказалась более сильной и была вознаграждена за это сторицей: последний поцелуй Фуке был предназначен ей.

Пелисон легко объяснил столь поспешный отъезд королевским приказом, призывавшим министров в Нант.

Глава 17. В КАРЕТЕ КОЛЬБЕРА

Как видел Гурвиль, мушкетеры короля садились в седло, чтобы следовать за своим капитаном.

Капитан же, не желая стеснять себя в своих действиях и поручив бригаду одному из помощников, отправился верхом на почтовой лошади, приказав своим людям двигаться возможно быстрее. Но как бы быстро они ни скакали, обогнать его они все равно не могли.

Проезжая по улице Круа-де-Пти-Шан, он успел заметить нечто такое, что заставило его призадуматься. Он увидел Кольбера, выходившего из своего дома, чтобы сесть в ожидающую его карету.

В этой карете д'Артаньян рассмотрел женские шляпки, и так как он был любопытен, то ему захотелось узнать, кто же те женщины, лица которых закрыты этими шляпками. Они сидели наклонившись друг к другу и о чем-то шептались, и поэтому, чтобы рассмотреть их как следует, д'Артаньян направил коня прямо к карете, так что ногой в сапоге с раструбами зацепил карету.

Дамы испуганно вскрикнули; одна едва слышно, и по этому возгласу д'Артаньян определил молодую женщину, другая же разразилась такими проклятиями, что, судя по ее грубости и бесцеремонности, ей, должно быть, уже стукнуло по крайней мере полсотни лет.

Шляпки раздвинулись: одна из женщин оказалась г-жой Ванель, другая герцогиней де Шеврез. Д'Артаньян увидел их раньше, чем они успели взглянуть на него; он их сразу узнал, они же не узнали его. И в то время как они смеялись над своим страхом и нежно пожимали друг другу руки, он сказал себе самому:

«Старая герцогиня, очевидно, не так разборчива, как когда-то, в своих знакомствах: она ухаживает за любовницей Кольбера! Бедный Фуке! Ничего хорошего это ему не сулит».

И он поспешил удалиться. Кольбер сел в карету, и благородное трио медленно направилось по дороге в Венсенский лес.

По пути герцогиня де Шеврез завезла г-жу Ванель к ее мужу и, оставшись наедине с

Кольбером, завела с ним разговор о делах. У нее был неисчерпаемый запас тем, и так как она всегда затевала беседу, чтобы причинить кому-нибудь зло, а себе самой заполучить благо, то ее речи были забавны для собеседника и небезвыгодны для нее.

Она сообщила Кольберу, который без нее не знал, разумеется, каким великим министром он будет и каким ничтожеством станет Фуке. Она обещала ему, что, когда он сделается суперинтендантом финансов, она сведет его со всем старым французским дворянством, а также осведомилась о его мнении насчет Лавальер и о допустимых границах ее влияния на короля. Она хвалила Кольбер, бранила его, ошеломляла своими словами. Она указала ему ключ к стольким тайнам, что Кольберу на мгновение показалось, будто он имеет дело с самим дьяволом. Она доказала ему, что сегодня она так же хорошо держит в руках Кольбера, как вчера держала Фуке. Когда же он наивно спросил у нее о причине ее лютой ненависти к суперинтенданту, она задала ему встречный вопрос:

– А почему вы сами полны к нему ненависти?

– Сударыня, различные системы в политике могут приводить к разногласиям. Мне кажется, что господин Фуке осуществляет систему, противоречащую интересам короны.

Она перебила его:

– Я больше не говорю о господине Фуке. Поездка короля в Нант докажет правоту моих слов. Для меня господин Фуке – человек конченный. И для вас также.

Кольбер не ответил.

– По возвращении из Нанта, – продолжала г-жа до Шеврез, – король, который только и ищет предлога, заявит, что штаты вели себя по отношению к нему дурно и проявили чрезмерную скупость. Штаты ответят на это, что налоги слишком обременительны и что суперинтендантство довело их до полного разорения. Король во всем обвинит господина Фуке. И тогда...

– Тогда?

– О, его ожидает немилость. Разве вы не согласны со мной?

Кольбер бросил на герцогиню взгляд, означавший:

«Если ограничатся только немилостью, то не вы будете причиной этого».

– Необходимо, – заторопилась г-жа де Шеврез, – необходимо, чтобы ваше назначение было положительно решено, господин Кольбер. Допускаете ли вы после падения господина Фуке какое-нибудь третье лицо между нами и королем?

– Не понимаю, что вы хотите сказать.

– Сейчас поймете. Ваше честолюбие – до каких пределов оно простирается?

– У меня его нет.

– В таком случае незачем было губить господина Фуке! Наконец, свергаете вы господина Фуке или нет? Ответьте же прямо.

– Сударыня, я никого не гублю.

– Тогда я отказываюсь понять, чего ради купили вы у меня за такие большие деньги письма кардинала Мазарини, касающиеся господина Фуке. Я не понимаю также, зачем вы подсунули эти письма королю.

Пораженный Кольбер взглянул на герцогиню недоумевающим взглядом и упрямо ответил:

– А я еще меньше понимаю, сударыня, как вы, получив эти деньги, меня же ими и попрекаете.

– Ах, сударь, желать нужно по-настоящему даже в тех случаях, когда предмет твоих желаний недостижим, – ответила старая герцогиня.

– В том-то и дело, – сказал Кольбер, сбитый с толку этой грубой логикой.

– Значит, вы не можете осуществить ваши чаянья, говорите же?

– Признаюсь, я не могу уничтожить некоторые влияния, которые действуют на короля.

– Влияния, защищающие господина Фуке? Какие же? Погодите, я вам помогу.

– Прошу вас, сударыня.

– Лавальер?

– О, это влияние весьма незначительное. У Лавальер полное незнание дел и никакой подлинной силы. К тому же господин Фуке ухаживал когда-то за нею.

– Выходит, что, защищая его, она тем самым обвиняет себя, не так ли?

– Полагаю, что да.

– Есть ли еще какое-нибудь другое влияние? Может быть, королева-мать?

– У ее величества королевы-матери большая слабость к господину Фуке, которая чрезвычайно пагубна для ее сына.

– Не думайте этого, – улыбнулась старая дама.

– О, – недоверчиво воскликнул Кольбер, – я слишком часто испытывал это на деле!

– Прежде?

– Еще недавно, в Во, например. Это она помешала королю арестовать господина Фуке.

– Мнения день ото дня меняются, дорогой господин Кольбер. Того, что еще так недавно было желанием королевы, того, быть может, она теперь не пожелает.

– Почему? – удивился Кольбер.

– Причина для вас не важна.

– Напротив, очень важна. Потому что, если бы я по боялся прогневать ее величество королеву-мать, я бы развязал себе руки.

– Вы, конечно, слышали о некоей тайне?

– Тайне?

– Зовите то, о чем я говорю, как хотите. Короче говоря, королева-мать возненавидела всех тех, кто так или иначе участвовал в раскрытии этой тайны, и господин Фуке, как кажется, принадлежит к их числу.

– В таком случае можно рассчитывать на сочувствие королевы Анны?

– Я только что от ее величества, и она меня уверила в этом.

– Отлично, сударыня.

– Есть еще кое-что, о чем я могла бы вам сообщить; знаете ли вы человека, который был ближайшим другом господина Фуке; я говорю о господине д'Эрбле? Он, если не ошибаюсь, епископ?

– Ваннский епископ.

– Так вот, господина д'Эрбле, который тоже знал эту тайну, королева-мать велит беспощадно преследовать. И так преследовать, чтобы в случае, если он будет мертв, получить его голову, дабы окончательно удостовериться, что никогда уже этому человеку не удастся заговорить.

– Это желание королевы-матери?

– Приказ.

– Будем разыскивать господина д'Эрбле.

– О, мы знаем, где он. Он на Бель-Иле, у господина Фуке.

– Его схватят.

– Не считайте, что это так просто, – сказала герцогиня с усмешкой, и не обещайте этого с такой легкостью.

– Почему же, сударыня?

– Потому что господин д'Эрбле не из тех, кого можно схватить, когда вздумается.

– Значит, это мятежник.

– О господин Кольбер, мы всю жизнь были мятежниками, и, однако, как видите, нас не хватают; больше того, это мы хватаем других.

Кольбер, смерив старую герцогиню одним из тех злобных взглядов, выражение которых передать невозможно, произнес с твердостью, не лишенной величественности:

– Прошли те времена, когда подданные добывала для себя герцогства, воюя с королем Франции. Если господин д'Эрбле заговорщик, он кончит на эшафоте. Понравится это его врагам или нет, – для нас безразлично.

Над словом нас, так странно прозвучавшим в устах Кольбера, герцогиня на минуту задумалась. Она поймала себя на мысли, что ей теперь придется считаться со словами этого

человека.

И на этот раз Кольбер добился превосходства над нею; желая сохранить его за собой, он спросил:

– Вы обращаетесь с просьбой, сударыня, арестовать господина д'Эрбле?

– Я? Я у вас ничего не прошу.

– Я так подумал. Но раз я ошибся, предоставим всему идти своим чередом. Король еще ничего не сказал. Впрочем, не такая уж крупная дичь этот епископ! Что он королю? Нет, нет, я не стану заниматься подобными мелочами.

Ненависть герцогини обнаружила себя с полной откровенностью.

– Он крупная дичь для женщины, – сказала она, – а королева-мать женщина. Если она желает, чтобы господин д'Эрбле был арестован, значит, у нее есть основания к этому. Ко всему, господин д'Эрбле – близкий друг того человека, который вскоре впадёт в немилость, не так ли?

– О, это не имеет никакого значения! Его пощадят, если он не враг короля. Вам это не нравится? И... вы предпочли бы видеть его в тюрьме, скажем в Бастилии?

– Думаю, что тайна будет надежнее погребена в стенах Бастилии, чем за стенами Бель-Иля.

– Я поговорю с королем, и он снабдит меня указаниями.

– А пока вы будете ждать указаний, сударь, ваннский епископ сбежит.

На его месте я, по крайней мере, поступила бы именно так.

– Сбежит? Но куда? Европа если и не принадлежит Франции, то, во всяком случае, покоряется нашей воле.

– Он всегда сможет найти убежище. Видно, что вы по осведомлены, с кем имеете дело. Вы не знаете господина д'Эрбле, вы не знали Арамиса. Это один из четырех мушкетеров, которые при покойном короле держали в трепете кардинала Ришелье и во время регентства причинили столько хлопот монсеньеру Мазарини.

– Но как же он все-таки сделает это, если не располагает своим собственным королевством?

– Оно есть у него.

– Королевство у господина д'Эрбле?!

– Повторяю вам, сударь, если у него будет нужда в королевстве, то он уже обладает им или будет им обладать.

– Поскольку вы находите столь важным, чтобы этот мятежник не скрылся, уверяю вас, он не скроется.

– Бель-Иль укреплен, господин Кольбер, и укреплен им самим.

– Даже если он сам будет оборонять Бель-Иль, Бель-Иль вовсе не неприступен, и если ваннский епископ заперся на Бель-Иле, ну что ж, сударыня, мы осадим остров и схватим епископа.

– Можете быть уверены, сударь, что готовность, с которой вы беретесь выполнить пожелание королевской матери, живо тронет ее величество, и вы будете за это по заслугам вознаграждены. Что же мне передать королеве о ваших планах относительно этого человека?

– Передайте, что, как только он попадет в наши руки, его заточат в крепость, и тайна, которою он владеет, никогда оттуда не выйдет.

– Превосходно, господин Кольбер, и мы можем сказать, что отныне у нас с вами прочный союз, и я полностью к вашим услугам.

– Это я, сударыня, готов служить вам во всем, что потребуется. Но шевалье д'Эрбле – испанский шпион, не так ли?

– Он нечто большее.

– Тайный посол?

– Берите повыше...

– Погодите... Король Филипп Третий весьма набожен. Это... духовник Филиппа Третьего?

– Еще выше.

– Черт возьми! – вскричал Кольбер, забывшись до того, что выругался при высокопоставленной даме, при давней подруге королевы-матери, при самой герцогине де Шеврез. – Что же он – генерал иезуитского ордена, что ли?

– Полагаю, что вы угадали, – ответила герцогиня.

– Ах, сударыня, значит, этот человек погубит нас всех, если только мы его не погубим. И притом нам следует поторопиться.

– Я была такого же мнения, сударь, но не решалась высказать его до конца.

– И нам еще повезло, что он напал на трон, вместо того чтобы напасть на нас, грешных.

– Но запомните, господин Кольбер: господин д'Эрбле никогда не падает духом, и если его постигла в чем-нибудь неудача, он не успокоится, пока не добьется своего. Если он упустил случай создать покорного себе короля, он рано или поздно создаст другого, и будьте уверены, что первым министром этого короля вы, конечно, не будете.

Кольбер грозно нахмурил брови.

– Я полагаю, сударыня, что тюрьма разрешит это дело, и притом таким способом, что мы оба сочтем себя удовлетворенными до конца.

В ответ на эти слова г-жа де Шеврез усмехнулась.

– Если б вы знали, – вздохнула она, – сколько раз Арамис выходил из тюрьмы.

– Но теперь мы сделаем так, что он из нее больше не выйдет.

– Вы, по-видимому, забыли о том, о чем я только что говорила? Вы позабыли уже, что Арамис – один из четырех непобедимых, которых боялся сам Ришелье? Но в те времена у четырех мушкетеров отсутствовало все то, чем они располагают теперь, – у них не было ни денег, ни опыта.

Кольбер закусил губу и тихо сказал:

– Ну что ж, тогда мы откажемся от тюрьмы. Мы найдем убежище, из которого не сумеет выбраться даже этот непобедимый.

– В добрый час, дорогой союзник! – ответила герцогиня. – Но уже поздно; не пора ли нам возвращаться?

– Я вернусь тем охотнее, что мне нужно еще приготовиться к отъезду с его величеством королем.

– В Париж! – крикнула кучеру герцогиня.

И карета повернула к предместью Сент-Антуан. Итак, во время этой прогулки был заключен союз, обрекавший на смерть последнего друга Фуке, последнего защитника укреплений Бель-Иля, старинного друга Мари Мишон и нового врага герцогини.

Глава 18.

ДВЕ ГАБАРЫ

Д'Артаньян уехал; Фуке тоже покинул Париж. Он ехал с поразительной скоростью, которая все возрастала и возрастала благодаря нежной заботливости друзей.

Первое время эта поездка или, правильнее сказать, это бегство было омрачено постоянным страхом перед всеми лошадьми и каретами, появлявшимися позади беглецов. И действительно, было маловероятно, чтобы Людовик XIV, имея намерение схватить свою жертву, позволил им ускользнуть; молодой лев уже постиг искусство охоты; к тому же у него были достаточно ревностные ищейки, на которых он мог вполне положиться.

Но понемногу опасения этого рода рассеялись; суперинтендант так быстро продвигался вперед, и расстояние между ним и его преследователями, если только они в самом деле существовали, так возросло, что никто уже, очевидно, не мог бы догнать его. Что же касается объяснения его внезапной поездки, то друзья придумали прекрасный ответ на всякий вопрос, который мог бы в связи с нею последовать: разве не едет он в Нант и разве самая скорость, с которой он едет, не свидетельствует о его усердии!

Он прибыл в Орлеан усталый, но успокоенный. Там он нашел, благодаря заботам

посланного им вперед человека, отличную восьмивесельную габару.

На этих несколько неуклюжих и широких судах в форме гондолы имелась небольшая каюта, находившаяся на палубе и напоминавшая собой рубку, и, кроме нее, еще одно помещение на корме, нечто вроде шалаша или палатки.

Габары плавали по Луаре между Орлеаном и Лантом, и это путешествие, которое теперь показалось бы томительно долгим, было по тем временам и приятнее и удобнее езды по большим дорогам в каретах с жалкими почтовыми клячами и дурными рессорами. Фуке сел на такую габару, и она тотчас же отчалила. Гребцы, зная, что им досталась честь везти суперинтенданта финансов, старались изо всех сил, так как магическое слово финансы сулило им щедрое вознаграждение, и они хотели получить его по заслугам.

Габара летела, рассекая воды Луары. Безоблачная погода и один из тех роскошных восходов солнца, которые зажигают багряным заревом окрестности, придавали реке облик ничем не смущаемой безмятежности и покоя.

Течение и лодка несли Фуке, как крылья уносят птицу; так доплыл он без всяких происшествий де Божанси.

Суперинтендант надеялся прибыть в Нант раньше кого бы то ни было; там он рассчитывал повидаться с нотаблями и заручиться поддержкой виднейших представителей генеральных штатов; он хотел сделаться необходимым для них, что было нетрудно человеку его дарований, и отсрочить грозящую катастрофу, если ему не удастся совсем отвести ее.

– В Нанте, – говорил Гурвиль, – вы или мы с вами вместо выведем, кроме того, намерения ваших врагов: у нас будут наготове лошади, чтобы добраться до непроходимого Пуату, лодка, чтобы добраться до моря, а раз мы будем у моря, недалеко и Бель-Иль, неприступная крепость. К тому же, вы видите, никто не следит за вами и никто вас не преследует.

Но едва он успел произнести эти слова, как вдалеке за излучиной реки показались мачты большой габары, плывшей так же, как они, вниз по течению. Гребцы лодки, Фуке, увидев эту габару, стали обмениваться удивленными восклицаниями.

– Что случилось? – спросил Фуке.

– Дело в том, монсеньер, – ответил хозяин лодки, – что тут и впрямь что-то совершенно невиданное – габара мчится, как ураган.

Гурвиль вздрогнул и вышел на палубу, чтобы узнать, что же там происходит. Фуке не поднялся с места, но попросил Гурвиля со сдержанной подозрительностью:

– Посмотрите, в чем дело, дорогой друг.

Габара только что вышла из-за излучины. Она шла так быстро, что за ней дрожала освещенная солнцем белая борозда – след, оставляемый ею.

– Так они идут, черт возьми! – повторил хозяин. – Как же они, черт, идут! Должно быть, им здорово платят. Я не думал до этого, что могут быть весла лучше ваших, но вот эти доказывают мне, пожалуй, обратное.

– Еще бы! – воскликнул один из гребцов. – Их двенадцать, а нас только восемь.

– Двенадцать! – удивился Гурвиль. – Двенадцати гребцов! Это просто непостижимо!

Восемь – это было предельное число гребцов на габарах, и даже король довольствовался теми же восемью веслами. Такая честь была оказана и суперинтенданту финансов, впрочем, скорее ввиду спешности его поездки, чем для того, чтобы достойно принять его.

– Что это значит? – сказал Гурвиль, тщетно стараясь разглядеть путешественников под парусиной уже хорошо видной палатки.

– Основательно же они спешат, – заметил хозяин габары. – Только это никак не король. Фуке вздрогнул.

– Почему вы думаете, что там нет короля? – поинтересовался Гурвиль.

– Прежде всего потому, что нет белого знамени с лилиями, которое всегда развевается на королевских габарах.

– И, – добавил Фуке, – потому, что еще вчера король был в Париже.

Гурвиль бросил на него взгляд, который должен был означать: «Но ведь и вы там были».

вчера».

– А из чего видно, что они так уж спешат? – спросил он, чтобы выиграть время.

– Из того, сударь, – ответил хозяин, – что эти люди должны были выехать гораздо позже, чем мы, а между тем они почти догнали нас.

– Но кто вам сказал, что они не выехали из Божанси или, быть может, даже Ниора?

– Ниже Орлеана мы не видели ни одной столь же быстроходной габары.

Эти люди едут из Орлеана и очень торопятся, сударь.

Фуке и Гурвиль обменялись взглядами. Хозяин лодки заметил их беспокойство. Гурвиль, чтобы ввести его в заблуждение, как бы походя бросил ему:

– Это, должно быть, кто-нибудь из наших друзей; он побился об заклад, что догонит нас.

Ну что ж, заставим его проиграть пари и не дадим ему одержать верх над нами.

Хозяин не успел раскрыть рта для ответа, что это решительно невозможно, как Фуке высокомерно произнес:

– Если кто-нибудь хочет приблизиться к нам, давайте предоставим ему эту возможность.

– Можно попробовать, монсеньер, – робко вставил хозяин габары. – Эй, вы, пошевеливайтесь!

– Нет, – приказал Фуке, – напротив, сейчас же остановитесь!

– Монсеньер, что за безумие! – прошептал Гурвиль.

– Остановитесь сейчас же! – настойчиво повторил Фуке.

Восемь весел разом остановились и, сопротивляясь течению, дали габаре обратный ход. Она застыла на месте.

Двенадцать гребцов на другой габаре сначала не заметили этого маневра первой габары и продолжали сильными рывками продвигать лодку вперед, так что она подошла на расстояние мушкетного выстрела. У Фуке было плохое зрение. Гурвилю мешало солнце, светившее ему прямо в глаза; один лишь хозяин с зоркостью, присущей людям, привыкшим бороться с разбушевавшимися стихиями, отчетливо видел пассажиров соседней габары.

– Я их хорошо вижу! – воскликнул он. – Их только двое.

– А я ничего не вижу, – заметил Гурвиль.

– Скоро и вы их увидите: еще несколько ударов веслами, и между ними и нами останется каких-нибудь двадцать шагов.

Но предсказанного хозяином не случилось; вторая габара сделала то же, что по приказанию Фуке сделала первая, и, вместо того чтобы приблизиться к мнимым друзьям, резко остановилась посередине реки.

– Ничего не понимаю! – сказал хозяин.

– И я, – проговорил следом за ним Гурвиль.

– Вы так хорошо видите пассажиров этой габары, хозяин, – попросил из своей каюты Фуке, – постарайтесь же, пока мы не удалились от них, описать их наружность.

– Мне казалось, что их там всего двое; теперь, однако, я вижу лишь одного.

– Каков он собой?

– Черноволосый, широкий в плечах человек с короткою шеей.

В этот момент темное облако закрыло собою солнце. Гурвиль, продолжавший смотреть, прикрыв рукою глаза, увидел то, что искал, и, бросившись с палубы в каюту Фуке, произнес взволнованным голосом:

– Это Кольбер!

– Кольбер? – повторил Фуке. – Как странно! Нет, это никак не возможно!

– А я утверждаю, что это он, и никто иной; и он тоже узнал меня и скрылся в палатке, что на корме. Быть может, король посылает его, чтобы передать нам повеление возвратиться.

– В таком случае он подошел бы поближе, а не стоял бы неподвижно на месте. Что ему нужно?

– Он, должно быть, следит за нами.

– Я не люблю неясностей! – воскликнул Фуке. – Пойдем напрямик на него!

– О, не делайте этого, монсеньер, не останавливайтесь, молю вас; его габара полна

вооруженных людей.

– Неужели вы думаете, что он арестует меня? Почему же он не делает этого?

– Монсеньер, я считаю, что идти навстречу чему бы то ни было, даже собственной гибели, значит уронить ваше достоинство.

– А терпеть, чтобы за тобой следили, как за преступником?

– Ничто не говорит о том, что за вами следят; немного терпения, монсеньер.

– Что же нам делать?

– Больше не останавливаться; вы плывете с такой быстротой исключительно из-за желания выполнить приказ короля. Придется налечь на весла. Скоро все выяснится.

– Это верно. Раз они продолжают стоять, поехали! Трогайте!

По знаку хозяина гребцы снова взялись за весла: подгоняемое дружными усилиями отдохнувших людей судно быстро понеслось по реке. Не успела габара Фуке отойти на сто шагов, как вторая, двенадцативесельная, также тронулась с места. Это состязание длилось весь день; расстояние между судами не уменьшалось и не увеличивалось.

Под вечер Фуке решил узнать намерения своего преследователя. Он приказал гребцам приблизиться к берегу, как бы затем, чтобы выйти на землю; габара Кольбера повторила маневр и поплыла наперерез к тому же самому берегу.

Случайно в том месте, в котором Фуке якобы имел намерение высадиться, конюх замка Ланже вел на поводка по цветущему прибрежному лугу трех лошадей. Должно быть, люди из двенадцативесельной габары подумали, что Фуке направляется к лошадям, приготовленным для о; о бегства, так как четверо или пятеро человек, вооруженных мушкетами, соскочили на берег.

Фуке, довольный тем, что принудил врага к демонстрации, принял это, как говорится, к сведению и велел продолжать плавание. Люди Кольбера возвратились на свое судно, и состязание между двумя габарами возобновилось с новым упорством.

Видя происходящее, Фуке почувствовал, что опасность совсем уже нависла над ним, и он едва слышно сказал пророческим тоном:

– Ну, Гурвиль, не говорил ли я за нашим последним ужином, не говорил ли я, что я накануне гибели?

– О, монсеньер!

– Эти два судна, следующие одно за другим и так упорно соревнующиеся друг с другом, как если бы Кольбер и я оспаривали между собой приз на гонках, не олицетворяют ли они две наши судьбы, и не думаешь ли ты, мой добрый Гурвиль, что одного из нас в Нанте ожидается крушение?

– Исход этой гонки, – возразил Гурвиль, – все же остается неясным; вы предстанете перед генеральными штатами, вы воочию покажете всем, что вы такое; ваше красноречие и ваши таланты послужат вам мечом и щитом, и вы сможете защищаться, а быть может, и победить. Бретонцы вас совершенно не знают; но пусть они познакомятся с вами, и ваша сторона возьмет верх. О, Кольберу нужно быть начеку, его габара может опрокинуться так же легко, как наша! Обе они несутся с исключительной быстротой; его, правда, немного быстрее, чем ваша; посмотрим, какая из них первой встретит крушение.

Фуке, взяв руку Гурвиля в свою, произнес:

– Друг мой, все уже заранее предрешиено; вспомним пословицу: «Кто первое, тот и правее». Впрочем, Кольбер, надо думать, не имеет желания обогнать меня. Он человек в высшей степени осторожный, этот Кольбер.

Он оказался прав. Обе габары шли до самого Нанта, наблюдая одна за другой. Когда лодка Фуке подходила к пристани, Гурвиль все еще продолжал надеяться, что ему удастся тотчас же найти в Нанте убежище для Фуке и подготовить подставы на случай, если придется бежать.

Но у самого причала второе судно нагнало, и Кольбер, сойдя на берег, подошел к Фуке и поклонился ему с величайшим почтением. Этот поклон был настолько приметным и изъясления почтения настолько подчеркнуто, что вокруг них на набережной сразу же

собралась толпа.

Фуке полностью сохранял власть над собой; он понимал, что и в последние минуты его величия у него есть обязанности по отношению к себе самому и что ему по подобает забыть о своем достоинстве. Он считал, что если ему суждено упасть, то он должен упасть с такой высоты, чтобы его падение раздавило хоть кого-нибудь из врагов. Если рядом с ним г-н Кольбер, тем хуже для г-на Кольбера.

Подойдя к нему, суперинтендант спросил, презрительно сощулив глаза:

– Так это вы, господин Кольбер?

– Чтобы приветствовать вас, монсеньер.

– Вы были в этой габаре?

И он указал на пресловутое двенадцативесельное речное судно.

– Да, монсеньер.

– С двенадцатью гребцами? Какая роскошь, господин Кольбер. Некоторое время я склонен был думать, что эта королева-мать или сам король.

– Монсеньер... – пробормотал Кольбер, лицо которого покрылось густой краской.

– Это путешествие недешево обойдется тем, кто за него платит, господин интендант, – продолжал Фуке. – Но в конце концов вы здесь, и это важнее всего. Вы видите, впрочем, что, несмотря на то что у меня было только восемь гребцов, я все же прибыл чуть раньше.

И он повернулся к нему спиной, оставив его в сомнении, заметила ли первая габара все увертки второй или нет. По крайней мере, он не доставил Кольберу удовлетворения, какое мог бы доставить, если бы показал, что боится его.

Кольбер, на которого было вылитое столько презрения, тем не менее не смутился.

– Я прибыл несколько позже, чем вы, монсеньер, – продолжал он, – потому что останавливался всякий раз, как вы останавливались.

– Почему же, господин Кольбер? – воскликнул Фуке, разгневанный такой дерзостью. – Почему же, ведь у вас было больше людей, почему вы не догнали и не перегнали меня?

– Из почтительности, – сказал интендант и поклонился до самой земли.

Фуке сел в карету, которую неизвестно как и почему ему выслал город, и направился в нантскую ратушу в сопровождении большой толпы, уже несколько дней волновавшейся в ожидании открытия штатов. Как только Фуке устроился в ратуше, Гурвиль вышел в город с намерением приготовить лошадей по дороге в Пуатье и Ванн и лодку в Пембефе. Он вложил в эти приготовления столько старания и благородства и окружил их такой непроницаемой тайной, что никогда Фуке, мучимый приступом лихорадки, не был так близок к спасению, как в эти чаек, и ему помешал лишь великий разрушитель человеческих планов – случай.

Ночью по городу распространился слух, будто король едет на почтовых лошадях, и притом очень быстро, и прибудет уже через десять или двенадцать часов. Собравшиеся в ожидании короля народ приветствовал громкими криками мушкетеров, только что прибывших со своим командиром г-ном д'Артаньяном и расставленных на всех постах в качестве почетного караула.

Будучи человеком отменно учтивым, д'Артаньян около десяти часов утра явился к Фуке, чтобы засвидетельствовать суперинтенданту свое почтение.

Хотя министр страдал от приступа лихорадки и был весь в поту, он все же пожелал принять д'Артаньяна, который был очарован этой оказанной ему честью, как увидит читатель, ознакомившись с разговором, который произошел между ними.

Глава 19. ДРУЖЕСКИЕ СОВЕТЫ

Подойдя к кровати, где лежал измученный лихорадкой Фуке, д'Артаньян увидел человека, цепляющегося за уходящую жизнь и старательно оберегающего тонкую ткань бытия, такую непрочную и чувствительную к ударам и острым углам этого мира. Заметив д'Артаньяна в дверях, суперинтендант сердечно приветствовал его.

– Здравствуйте, монсеньер, – ответил д'Артаньян. – Как изволите себя чувствовать после поездки?

– Довольно хорошо, благодарю вас.

– А как лихорадка?

– Довольно плохо. Как видите, я беспрерывно пью. Сейчас же по прибытии в Нант я наложил на местное население контрибуцию в виде травяного отвара.

– Прежде всего надо выпастись, монсеньер.

– Черт возьми, дорогой господин д'Артаньян, я охотно поспал бы...

– Кто же мешает?

– Прежде всего вы, капитан.

– Я! Ах, монсеньер!..

– Разумеется. Или, быть может, и в Нанте вы являетесь ко мне так же, как явились в Париже, не по повелению короля?

– Ради бога, оставьте, монсеньер, короля в покое! В тот день, когда я приду по повелению короля для того, о чем вы сейчас говорите, обещаю не заставлять вас томиться в догадках. Я положу руку на шпагу, как полагается по артикулу, и скажу вам самым торжественным током: «Монсеньер, именем короля арестую вас!»

Фуке против воли вздрогнул: до того голос темпераментного гасконца был естествен и могуч. Инсценировка события была почти столь же страшна, как само событие.

– Вы обещаете быть по отношению ко мне до такой степени искренним?

– Моя честь порукою! Но поверьте, мы еще далеки от этого.

– Почему вы так считаете, господин д'Артаньян? Что до меня, то я думаю совершенно обратное.

– Я ни о чем подобном не слышал.

– Что вы, что вы! – произнес Фуке.

– Да нет же, вы очень приятный человек, несмотря на треплющую вас лихорадку. И король не может, не должен позволить, чтобы ему помешали испытывать к вам чувство глубокой любви.

Фуке поморщился:

– А господин Кольбер тоже любит меня, и так же, как вы говорите?

– Я но говорю о господине Кольбере. Это – человек исключительный. Он вас не любит – возможно; но, черт возьми, белка может спастись от ужа, пожелай она этого.

– Честное слово, вы разговариваете со мною как друг, и, клянусь жизнью, я никогда не встречал человека вашего ума и вашего сердца!

– Вы слишком добры. И вы ждали сегодняшнюю утра, чтобы удостоить меня таким комплиментом?

– До чего же мы бываем слепы! – пробормотал Фуке.

– Ваш голос становится хриплым. Выпейте, монсеньер, выпейте.

И он с искренним дружелюбием протянул ему чашку с отваром; Фуке принял ее у него из рук и поблагодарив ласковою улыбкой.

– Такие вещи случаются только со мной, – сказал мушкетер. – Я провел у вас на глазах долгие десять лет, и притом это были те годы, когда вы ворочали груды золота. Вы выплачивали по четыре миллиона в год одних пенсий и никогда не замечали меня. И вот теперь вы обнаруживаете, что я существую на свете, обнаруживаете это в момент...

– Моего падения, – перебил Фуке. – Это верно, дорогой господин д'Артаньян.

– Я не говорю этого.

– Но вы так думаете, и это важнее. Если я паду, верьте мне, не пройдет ни одного дня, чтобы я не бился головой о стену и не твердил себе по много раз на день: «Безумец, безумец! Слепое ничтожество! У тебя под рукой был господин д'Артаньян, и ты не воспользовался его дружбой! И ты не обогатил его!»

– Вы преувеличиваете мои достоинства, и я в восторге от вас.

– Вот еще один человек, который не придерживается мнения господина Кольбера.

– Дался же вам этот Кольбер! Это похуже, чем приступы лихорадки.

– Ах, у меня есть на это причины. Посудите-ка сами.

И Фуке рассказал ему о гонке габар и о лицемерном поведении интенданта финансов.

– Разве это не вернейший знак моей гибели?

Д'Артаньян стал серьезен.

– Это верно, – сказал он. – И дурно пахнет, как говаривал господин де Тревиль.

И он устремил на Фуке свой умный и выразительный взгляд.

– Разве не правда, господин д'Артаньян, что я обречен? Разве не верно, что король привез меня в Нант, чтобы удалить из Парижа, где столько людей, обязанных мне, и для того, чтобы взять Бель-Иль?

– Где находится господин д'Эрбле, – добавил капитан мушкетеров.

Фуке поднял голову.

– Что касается меня, монсеньер, – заметил д'Артаньян, – то могу вас уверить, что в моем присутствии королем не было сказано ни одного слова, враждебного вам.

– Это правда?

– Правда. Но правда и то, что король, посылая меня сюда, велел ничего не говорить об этом господину де Жевру.

– Моему другу.

– Да, монсеньер, господину де Жевру, – продолжал мушкетер, глаза которого говорили вовсе не то, что произносили уста. – Еще король велел мне взять с собой бригаду моих мушкетеров, что, по всей видимости, излишне, поскольку страна совершенно спокойна.

– Бригаду? – переспросил Фуке, поднимаясь на локте.

– Девяносто шесть всадников, монсеньер, то же количество, которое было взято, чтобы арестовать господина де Шале, де Сен-Мара и Монморанси.

– А еще? – спросил насторожившийся Фуке.

– Еще он отдал целый ряд незначительных приказаний, вроде следующих:

«Охранять замок, охранять каждое помещение, не допускать ни одного из гвардейцев господина де Жевра нести караульную службу». Господина де Жевра, вашего друга!

– А относительно меня, – воскликнул Фуке, – каковы его приказания?

– Относительно вас, монсеньер, ни словечка.

– Господин д'Артаньян, речь идет о спасении моей чести, а быть может, и жизни. Вы меня не обманываете?

– Я?.. С какой целью? Разве вам что-нибудь угрожает? Погодите... есть еще приказ относительно карет и относительно лодок... но он не может коснуться вас. Простая полицейская мера.

– Какая же, капитан, какая?

– Приказ не выпускать из Нанта ни лошадей, ни лодок без пропуска, подписанного самим королем.

– Боже мой! Но...

Д'Артаньян засмеялся.

– Этот приказ войдет в силу лишь после прибытия короля; таким образом, вы видите, монсеньер, что приказ не имеет к вам ни малейшего отношения.

Фуке задумался; д'Артаньян сделал вид, что не замечает его озабоченности.

– Из того, что я сообщаю вам содержание полученных мною приказов, следует с очевидностью, что я расположен к вам и стремлюсь убедить вас в следующем: ни один из них не направлен непосредственно против вас.

– Разумеется, – рассеянно произнес Фуке.

– Итак, давайте повторим, – сказал капитан, смотря в упор на Фуке, специальная и строгая охрана замка, в котором вы будете помещаться, не так ли? Знаете ли вы этот замок?.. Ах, монсеньер, это самая что ни на есть тюрьма! Полное отстранение господина де Жевра, который имеет честь быть вашим другом... Заставы у городских ворот и на реке, но только после прибытия короля... Знаете ли вы, господин Фуке, что если бы вместо вас, одного из

первых сановников королевства, я разговаривал с человеком, у которого не так уж спокойна совесть, я бы скомпрометировал себя навсегда и навеки? Прекрасный случай для всякого желающего бежать! Ни полиции, ни охраны, ни каких-либо особых приказов; свободная река, открытый на все четыре стороны путь, и к тому же господин д'Артаньян, обязанный предоставить своих лошадей, если их потребуют у него! Все это должно успокоить вас, дорогой господин Фуке; ведь король не дал бы мне подобной свободы, если б у него были дурные намерения. Seriously, господин Фуке, требуйте от меня все, что может доставить вам удовольствие: я в вашем распоряжении. Только если вы согласитесь на это, окажите мне одну-единственную услугу – передайте привет Арамису и Портосу в случае, если вы отправитесь на Бель-Иль. Ведь вы имеете возможность сделать это безотлагательно, немедленно, не снимая халата, который сейчас на вас.

Произнес эти слова и сопроводив их низким поклоном, мушкетер, глаза которого продолжали выражать благожелательность и сочувствие, вышел из комнаты и исчез.

Но дошел он еще до прихожей, как Фуке, вне себя от волнения, дернул звонок и приказал:

– Лошадей! Габару!

Никто не ответил. Суперинтендант оделся без посторонней помощи в первое оказавшееся под рукой платье.

– Гурвиль!.. Гурвиль!.. – звал он, опуская в карман часы.

И, все снова и снова тряс колокольчиком, Фуке повторял:

– Гурвиль!.. Гурвиль!..

Показался бледный и запыхавшийся Гурвиль.

– Едем! Едем сейчас же! – крикнул суперинтендант, увидев его.

– Слишком поздно! – произнес этот преданный друг несчастного суперинтенданта.

– Слишком поздно! Но почему?

– Слушайте.

На площади перед замком послышались фанфары и барабанная дробь.

– Что это означает, Гурвиль?

– Прибытие короля, монсеньер.

– Короля?

– Короля, который летел без отдыха, который загнал множество лошадей и прибывает на восемь часов раньше, чем вы ожидали.

– Мы погибли! – прошептал Фуке. – Добрый д'Артаньян, ты слишком поздно предупредил меня!

И действительно, король въезжал в город; вскоре с укреплений прогремел пушечный выстрел, и ему ответил другой с корабля, стоявшего на реке.

Фуке нахмурился, вызвал своих лакеев и велел одевать себя в парадное платье.

Из своего окна он, стоя за опущенными портьерами, видел народные толпы и движение большого воинского отряда, который непостижимым образом сразу же появился вслед за своим государем. Короля с большой торжественностью проводили до замка, и Фуке заметил, как он сошел с коня у рогатки перед воротами и сказал что-то на ухо д'Артаньяну, державшему стремя.

Когда король скрылся под сводом ворот, д'Артаньян направился к дому Фуке, но так медленно и столько раз останавливаясь, чтобы перекинуться словечком-другим с мушкетерами, стоявшими шпалерами у стен замка, что можно было подумать, будто он считает шаги и секунды, прежде чем выполнить возложенное на него поручение.

Фуке отворил окно, желая обратиться к нему, пока он еще во дворе.

– Ах! – воскликнул, увидев его, д'Артаньян. – Вы еще у себя, монсеньер?

И это еще наглядно показало Фуке, сколько поучений и полезных советов заключало в себе первое посещение мушкетера.

Суперинтендант только вздохнул и ответил:

– Да, сударь, приезд короля помешал исполнению некоторых моих планов.

– Значит, вы знаете, что король только что прибыл?
– Я его видел, сударь; на этот раз вы приходите от его имени?..
– Узнать, монсеньер, о вашем здоровье и, если вы но очень больны, просить вас пожаловать в замок.
– Немедленно, господин д'Артаньян, немедленно буду.
– Что же поделаешь, – сказал капитан, – теперь, когда король уже здесь, нет больше ни прогулок, ни свободного выбора; теперь все мы подвластны приказу – и ты так же, как я, я так же, как вы.

Фуке еще раз вздохнул, сел в карету – до того он был слаб, и отправился в замок в сопровождении д'Артаньяна, учтивость которого была теперь столь же страшна, несколько еще так недавно она была непринужденна и утешительна.

Глава 20.

КАК КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XIV СЫГРАЛ СВОЮ НЕЗАВИДНУЮ РОЛЬ

Когда Фуке выходил из кареты, чтобы проследовать в Нантский замок, к нему подошел неизвестный ему простолюдин и со знаком глубокой почтительности отдал в его руки письмо.

Д'Артаньян хотел помешать разговору этого человека с Фуке и отогнал его прочь, но послание все же было передано по назначению. Фуке распечатал письмо и прочел его; сразу же на лице его изобразился испуг, не ускользнувший от д'Артаньяна. Фуке положил бумагу в портфель, бывший при нем, и продолжил свой путь к апартаментам короля.

Через маленькие окошечки, пробитые во всех этажах башни, д'Артаньян, поднимавшийся вслед за Фуке, заметил, что человек, передавший письмо, осмотрелся на площади по сторонам и подал знак нескольким людям, которые исчезли в прилегающих улицах, повторив знак, сделанный им уже упомянутым нами таинственным незнакомцем.

Фуке было предложено подождать на террасе, с которой небольшой коридор вел в кабинет короля.

Д'Артаньян опередил суперинтенданта, за которым он до этих пор почтительно следовал, и первым переступил порог королевского кабинета.

– Исполнили? – обратился к нему Людовик XIV, который, увидев мушкетера, прикрыл заваленный бумагами стол большим куском ткани зеленого цвета.

– Приказ выполнен, ваше величество!

– И господин Фуке?

– Господин суперинтендант идет следом за мной.

– Через десять минут введите его сюда, – проговорил король, жестом отпуская д'Артаньяна.

Капитан вышел, но не успел он сделать и шага по коридору, в конце которого его дожидался Фуке, как был вызван обратно колокольчиком короля.

– Он не удивился? – спросил король.

– Кто, ваше величество?

– Фуке, – повторил король, не добавляя к этому имени «господин». Эта деталь убедила капитана в правоте его подозрений.

– Нет, ваше величество, – ответил он.

– Хорошо.

И Людовик во второй раз отпустил д'Артаньяна.

Фуке не покинул террасы, на которой был оставлен своим провожатым. Он снова прочел записку. В ней заключалось следующее:

«Что-то замышляется против вас. Быть может, не решатся на это в замке; в таком случае это случится, когда вы вернетесь к себе. Дом уже окружен мушкетерами. Не входите; белый конь ожидает вас за эспланадой».

Фуке узнал почерк и рвение преданного Гурвиля. Опасаясь, как бы эта записка, если с ним случится несчастье, не выдала его верного друга, суперинтендант старательно разорвал ее на множество мелких клочков и выбросил их через балюстраду террасы.

Д'Артаньян застал его в тот момент, когда он наблюдал за полетом последних обрывков, уносимых движением воздуха.

– Сударь, – сказал он, – король ожидает вас.

Фуке решительным шагом направился в коридор, в котором работали де Бриенн и Роз, в то время как де Сент-Эньян, сидя тут же на низком кресле, казалось, ждал приказаний и зевал в лихорадочном нетерпении, со шпагой между ног.

Фуке показалось странным, что де Бриенн, Роз и до Сент-Эньяна, обычно столь внимательные к нему и даже угодливые, едва отодвинулись, когда он, суперинтендант, проходил мимо них. Но разве мог бы найти у придворных иное отношение тот, кого король называл просто Фуке?

Он поднял голову и, твердо решив не склоняться ни перед тем, вошел к королю, после того как колокольчик возвестил ему, что его вызывают.

Король, не вставая, кивнул ему головой и живо спросил:

– Как поживаете, господин Фуке?

– У меня сейчас лихорадка, но я весь к услугам моего короля.

– Хорошо. Завтра собираются штаты. Готова ли у вас речь?

Фуке удивленно посмотрел в глаза королю:

– Нет, ваше величество; но я скажу речь и без предварительной подготовки. Я настолько основательно знал дела, что мне это будет нетрудно. У меня есть к вам вопрос, ваше величество. Разрешите ли обратиться с ним?

– Обращайтесь!

– Почему ваше величество не соизволили предупредить об этой речи вашего первого министра еще в Париже?

– Вы были больны; я не хотел утомлять вас.

– Никогда никакая работа, никакие объяснения не утомляют меня, ваше величество, и раз для меня наступил момент попросить их у моего короля...

– О господин Фуке! Каких объяснений вы от меня хотите?

– Относительно намерений вашего величества, касающихся лично меня.

Король покраснел.

– Меня оклеветали, – продолжал Фуке, – и я должен обратиться к правосудию короля для расследования возводимых на меня обвинений.

– Вы говорите об этом, господин Фуке, совершенно напрасно; я знаю то, что я знаю.

– Ваше величество может знать только то, что вам рассказали другие, а так как я ровно ничего не сказал, в то время как другие беседовали с вашим величеством великое множество раз...

– О чем это вы? – сказал король, торопившийся поскорее покончить с этим чрезвычайно неприятным ему разговором.

– Я перехожу прямо к фактам, ваше величество; я обвиняю некое лицо в том, что оно чернит меня в ваших глазах.

– Никто, господин Фуке, вас не чернит. И я не люблю, когда обвиняют других.

– Но если на меня возводят ложное обвинение...

– Мы слишком много говорим с вами об этом.

– Ваше величество не желаете предоставить мне возможность оправдаться?

– Повторяю еще раз, я вас ни в чем не виню.

Фуке отошел на шаг и сделал полупоклон.

«Несомненно, – подумал он, – король уже принял решение. Только тот проявляет такое упорство, кому нельзя отступить. Не видеть сейчас опасности мог бы только слепой, не постараться избежать ее – только глупец».

И он снова обратился к королю:

– Ваше величество потребовали меня, чтобы поручить мне какую-нибудь работу?
– Нет, господин Фуке, – для того, чтобы подать вам совет.
– Я почтительно слушаю ваше величество.
– Отдохните, господин Фуке, поберегите силы: сессия штатов будет непродолжительной, и, когда мои секретари закроют ее, я хочу, чтобы в течение двух недель никто во всей Франции не говорил о делах.

– Королю нечего сообщить относительно этого собрания штатов?

– Нет, господин Фуке.

– Мне, суперинтенданту финансов?

– Отдохните, пожалуйста. Вот и все, что я хотел вам сказать, господин Фуке.

Фуке закусил губу и опустил голову. Видимо, он обдумывал какую-то мысль, которая его беспокоила. Это беспокойство передалось королю.

– Может быть, вы недовольны предстоящим вам отдыхом, господин Фуке? спросил он.

– Да, ваше величество, я не привык отдыхать.

– Но вы больны, вам надо лечиться.

– Ваше величество говорили о речи, которую мне предстоит завтра произнести?

Король не ответил; этот внезапный вопрос привел его в замешательство.

«Если я выкажу страх, – подумал Фуке, – я погиб. Если его первое слово будет суровым, если он рассердится или хотя бы сделает вид, что сердится, как я из этого выпутаюсь? Будем действовать мягко. Гурвиль был, разумеется, прав».

– Ваше величество, раз вы так милостивы ко мне, что заботитесь о моем здоровье и даже освобождаете от всякой работы, освободите меня также и от завтрашнего совета. Я воспользуюсь этим днем, чтоб полежать в постели, и попрошу ваше величество предоставить мне завтра собственного врача, дабы испытать действие еще одного лекарства в надежде побороть эту проклятую лихорадку.

– Пусть будет по-вашему, господин Фуке. На завтра вы получите отпуск, к вам будет направлен врач, и ваше здоровье поправится.

– Благодарю вас, ваше величество, – поклонился Фуке. Затем, решившись, он снова заговорил:

– Не буду ли я иметь счастье повезти короля к себе на Бель-Иль?

И он прямо взглянул на Людовика, чтобы судить о эффекте, произведенном его предложением. Лицо короля снова покрылось краской.

– Вы заметили, – ответил он, пытаясь выдавить улыбку, – что вы сказали: к себе на Бель-Иль?

– Это правда, ваше величество.

– А вы забыли, – продолжал король тем же шутливым тоном, – что Бель-Иль вы отдали мне?

– И это правда, ваше величество. Поскольку в свое время вы не приняли моего дара, мы и отправимся туда с тем, чтобы ввести вас во владение.

– Согласен.

– Это в такой же мере отвечало бы вашим намерениям, сколько моим, и я не сумел бы высказать вам, ваше величество, насколько я был счастлив и горд, увидев, что все войска короля прибыли сюда из Парижа, чтобы принять участие в этом вводе вашего величества во владение.

Король пробормотал, что он взял с собой своих мушкетеров не только для этого.

– О, я в этом уверен, – живо сказал Фуке. – Ваше величество слишком хорошо знаете, что король может войти туда совершенно один с тросточкой в руках, и укрепления Бель-Иля тотчас же падут.

– Черт возьми! Я по хочу, чтобы падали эти прекрасные укрепления, которые так дорого обошлись. Нет, пусть они послужат против голландцев и англичан. Но вы ночью не сможете угадать, что именно я хочу повидать Бель-Иле, господин Фуке. Я хочу повидать красивых крестьянок, женщин и девушек, которые так хорошо пляшут и так соблазнительны в своих

алых юбках! Мне очень хвалили ваших вассалов женского пола, господин суперинтендант, и вы мне покажете их.

– Когда только вам будет угодно, ваше величество.

– Есть ли у вас какие-нибудь средства передвижения? Это можно было бы сделать хоть завтра, если бы вы пожелали.

Суперинтендант почувствовал в этих словах ловушку, которая была, однако, не из числа ловко подстроенных, и ответил:

– Нет, ваше величество, я не знал о вашем желании и, уж конечно, о том, что вы так торопитесь побывать на Бель-Иле; вот почему я ничем не запасаюсь.

– Однако вы располагаете судном?

– У меня их пять, но одно в Порте, другие в Пембофе, и, чтобы добраться до них или привести их в Наш, нужно по крайней мере двадцать четыре часа. Надо ли мне посылать за ними курьера?

– Погодите, дайте пройти мучающей вас лихорадке, подождите до завтра.

– Это верно... Кто знает, не возникнет ли завтра у вас тысяча новых планов, – отвечал уже не сомневающийся в своей участи и сильно побледневший Фуке.

Король вздрогнул и протянул уже руку, чтобы взяться за колокольчик, но Фуке не дал ему осуществить это намерение.

– Ваше величество, – сказал он, – у меня жар, я весь дрожу. Если я пробуду здесь несколько лишних минут, я могу потерять сознание. Разрешите мне удалиться, чтобы улечься в постель.

– Действительно, у вас сильный озноб; это очень грустное зрелище.

Идите, господин Фуке, идите к себе. Я пошлю узнать о вашем здоровье.

– Ваше величество слишком добры. Через час я буду чувствовать себя лучше.

– Я хочу, чтобы кто-нибудь проводил вас, сударь, – заметил король.

– Как будет угодно вашему величеству, я охотно обопрюсь о чью-нибудь руку.

– Господин д'Артаньян! – крикнул король, позвонив в колокольчик.

– О ваше величество, – перебил Фуке, рассмеявшись, и притом с таким видом, что королю стало не по себе. – Вы хотите, чтобы меня проводил капитан мушкетеров? Это двусмысленная честь, государь. Прошу вас, дайте мне простого лакея.

– Почему, господин Фуке? Ведь господин д'Артаньян провожает, случается, и меня.

– Да; по когда он сопровождает вас, ваше величество, он делает это по вашему приказанию, тогда как сопровождая меня...

– Ну?

– Если я возвращусь домой вместе с командиром мушкетеров его величества, повсюду начнут говорить, что вы велели арестовать меня.

– Арестовать? – повторил король, еще более бледный, чем сам Фуке. Арестовать? О!..

– Чего только не болтают! – продолжал Фуке, все так же смеясь. – И я ручаюсь, что найдется достаточно злобных людей, которые станут потешаться над этим.

Эта шутка смутила монарха, и он отступил перед внешней стороной того дела, которое было задумано им.

Когда д'Артаньян вошел, он получил приказание найти мушкетера, который проводил бы суперинтенданта до дому.

– Это бесполезно, – сказал Фуке, – одна шпага стоит другой, и я предпочитаю, чтоб меня проводил Гурвиль, который ожидает внизу. Но это не помешает мне насладиться обществом господина д'Артаньяна. Я буду очень доволен, если он повидает Бель-Иль и его укрепления, ведь он так сведущ в фортификации.

Д'Артаньян поклонился, ничего не понимая во всей этой сцене.

Фуке еще раз откланялся и вышел, стараясь идти спокойно и неторопливо, как человек, который прогуливается. Но, выйдя из замка, он сказал про себя:

«Я спасен! О да, ты увидишь Бель-Иль, бесчестный король, но тогда, когда меня там больше не будет».

И он исчез.

Д'Артаньян остался наедине с королем.

– Капитан, – приказал Людовик XIV, – вы последуете за господином Фуке на расстоянии ста шагов.

– Да, ваше величество.

– Сейчас он по дороге к себе. Вы пойдете к нему, арестуете его моим именем и поместите в карету.

– В карету? Хорошо.

– Вы сделаете это таким образом, чтобы он не мог по пути ни говорить с кем бы то ни было, ни бросать записок тем, кого вы встретите по дороге.

– Это трудно, ваше величество. Простите, но не могу же я задушить господина Фуке, если он пожелает подышать воздухом, помешать ему в этом, опуская стекла и занавески. Он сможет кричать и бросать записки, какие только захочет.

– Этот случай предусмотрен заранее, господин д'Артаньян; карета с решетками предотвратит неудобства, о которых вы говорите.

– Карета с решетками! – вскричал д'Артаньян. – Но нельзя же в полчаса изготовить решетки, чтобы снабдить ими карету, а ваше величество приказываете тотчас же идти к господину Фуке.

– Но такая карета уже изготовлена.

– Это меняет дело. Если карета есть, что ж, превосходно. Нужно только распорядиться, чтобы она была подана.

– Карета уже заложена.

– А!

– И кучер с форейторами ждет во внутреннем дворе замка.

Д'Артаньян поклонился.

– Мне остается лишь спросить короля, куда надлежит отвезти господина Фуке.

– Сначала в Анжерский замок. А в дальнейшем посмотрим.

– Хорошо, ваше величество.

– Господин Д'Артаньян, еще одно слово: от вас, конечно, не ускользнуло, что для ареста господина Фуке я не пользуюсь моими гвардейцами, и господин де Жевр будет от этого в бешенстве.

– Ваше величество не пользуетесь своими гвардейцами, – сказал задетый словами короля капитан, – потому что ваше величество не доверяете господину де Жевру.

– Но это означает тем самым, что вы, напротив, пользуетесь моим полным доверием.

– Я это знаю, ваше величество, и напрасно вы это подчеркиваете.

– Я говорю об этом лишь для того, чтобы начиная с этой минуты, если господину Фуке по какой-нибудь необыкновенной случайности удастся бежать... а такие случайности, сударь, бывали...

– Очень часто, ваше величество, по не со мной.

– Почему же не с вами?

– Потому что было такое мгновение, когда я хотел спасти господина Фуке.

Король задрожал.

– Потому что, – продолжал капитан, – я имел право на это, угадав ваши замыслы, хотя вы не обмолвились о них ни полсловом, и находя господина Фуке достойным участия. Я имел полное право и возможность проявить мое участие к этому человеку.

– Однако, сударь, вы меня нисколько не убеждаете в вашей готовности исполнить мое приказание.

– И если б я его спас, я был бы совершенно чист перед вами, скажу больше: я сделал бы доброе дело, так как господин Фуке, на мой взгляд, отнюдь не преступник. Но он не захотел этого, он пошел навстречу своей судьбе, он упустил час свободы. Что поделаешь? Теперь у меня есть приказ, я склоняюсь перед этим приказом, и вы можете считать господина Фуке уже арестованным. Он уже в замке Анжера.

– О, вы еще не взяли его, капитан!

– Это касается только меня. У каждого свое ремесло, ваше величество.

Только еще раз прошу вас, подумайте. Всерьез ли вы отдаете распоряжение арестовать господина Фуке, ваше величество?

– Да, тысячу раз да!

– Тогда пишите приказ.

– Вот он, берите.

Д'Артаньян прочел врученную ему королем бумагу, поклонился и вышел. С террасы он увидел Гурвиля, который с довольным видом направлялся к дому Фуке.

Глава 21. БЕЛЫЙ КОНЬ И КОНЬ ВОРОНОЙ

«Поразительно, – сказал сам себе капитан, – Гурвиль весел и бежит по улицам как ни в чем не бывало, хотя он почти уверен, что Фуке угрожает прямая опасность. А между тем можно сказать, и тоже с почти полной уверенностью, что тот же Гурвиль, и никто иной, предупреждал Фуке той самой запиской, которую суперинтендант, находясь на террасе, изорвал на тысячу клочков и выбросил за парапет. Гурвиль потирает руки; это значит, что он выкинул что-нибудь исключительно ловкое. Но откуда Гурвиль идет? С улицы Озорб. А куда ведет эта улица?»

И д'Артаньян поверх крыш нантских домов, поскольку замок возвышался над ними, проследил взглядом линии улиц, как если бы перед ним находился план города. Только вместо мертвой и плоской, немой и глухой бумаги взору его открывалась живая рельефная карта, полная движения, криков и теней, отбрасываемых людьми и предметами.

За чертой города расстилались зеленые поля вдоль Луары, и казалось, что они убегают к багряному горизонту, испещренные лазоревою водой и черно-зелеными пятнами обильных в этих местах болот. Сразу же за воротами Нанта уходили в гору две белые дороги, разбегавшиеся в стороны и напоминавшие раздвинутые пальцы гигантской руки.

Д'Артаньян, охвативший, проходя по террасе, эту панораму с первого взгляда, заметил, что улица Озорб доходит до самых ворот, от которых и начинается одна из обнаруженных им дорог.

Еще шаг, и он, покинув террасу и войдя внутрь башни, начал бы спускаться по лестнице, чтобы, захватив карету с решетками, направиться к дому Фуке.

Но случаю было угодно, чтобы в последний момент, когда Д'Артаньян уже готов был войти в пролет лестницы, его внимание было привлечено движущейся точкой, которая была видна на этой дороге и быстро удалялась от города.

«Что это? – спросил себя мушкетер. – Бегущая, сорвавшаяся с привязи лошадь. Но как она, черт возьми, мчится!»

Точка отделилась от белой дороги и перенеслась в заросшие люцерной поля.

«Белая лошадь, – продолжал капитан, обнаруживший, что на темном фоне эта точка кажется светлой и даже блестящей, – и к тому же она несет на себе всадника; это, наверное, какой-нибудь сорванец-мальчишка, лошадь которого захотела пить и летит к водопою прямо по полю».

Спускаясь по лестнице, Д'Артаньян успел забыть эти быстрые и случайные мысли, порожденные в нем непосредственным зрительным впечатлением.

Несколько клочков бумаги лежало на почерневших ступенях, выделяясь своей белизной.

– Вот клочки записки, разорванной несчастным Фуке. Бедняга! Он доверил свою тайну ветру, а ветер не желает ее принимать и отдает королю.

Судьба, бедный Фуке, решительно против тебя. Твоя карта бита. Звезда Людовика Четырнадцатого явно затмевает твою; где уж белке соревноваться с ужом в силе и ловкости.

Д'Артаньян, продолжая спускаться, поднял один из этих клочков.

– Бисерный почерк Гурвиля! – воскликнул он. – Я не ошибся.

И он прочел слово конь. Он поднял еще клочок, на котором не было ни одной буквы. На третьем клочке он прочел слово белый.

– Белый конь, – повторил он, как ребенок, читающий по складам. – Ах, боже мой! – вскричал подозрительный капитан. – Белый конь!

К Д'Артаньян, вспыхнув, как горсточка пороха, которая, стгорая, занимает объем, стократно превышающий первоначальный, взбежал на террасу, одолеваемый потоком мыслей и подозрений.

Белый конь все так же несся к Луаре, а на реке, расплываясь в тумане, был едва виден крошечный, колеблемый, словно пылинка, парус.

– О, – вскричал мушкетер, – есть лишь один беглец, который может мчаться с такой быстротой по возделанным полям! Только Фуке, финансист, может бежать так среди бела дня на белом коне... Только сеньор Бель-Иля может спастись по направлению к морю, когда на земле существуют такие густые леса... Но только один Д'Артаньян во всем мире может нагнать Фуке, который имеет перед ним преимущество на целые полчаса и менее чем через час достигнет своего судна.

Торопливо сбежав по лестнице, мушкетер приказал, чтобы карета с железной решеткой была быстро доставлена в рощу за городом. Затем он выбрал лучшего своего скакуна, взлетел ему на спину и понесся вихрем по улице Озерб. Д'Артаньян поскакал не той дорогой, по которой мчался Фуке, по проходившей у самой Луары, уверенный, что выиграет по крайней мере десять минут и настигнет беглеца, который с этой стороны не мог ожидать погони, на перекрестке обеих дорог.

Быстрая скачка и нетерпение, распаляющее преследователя, возбуждая как на охоте или войне, повели к тому, что добрый к мягкий по отношению к Фуке д'Артаньян сделался – и это удивило его самого – свирепым и почти кровожадным.

Он скакал и скакал, а между тем все еще не видел белого коня с его всадником; его досада росла, им овладевало неудержимое бешенство; он сомневался в себе, он готов был предположить, что Фуке воспользовался какой-то подземной дорогой, что он сменил белого коня на одного из тех знаменитых вороных скакунов, быстрых как ветер, которыми д'Артаньян так часто любовался в Сен-Манде, завидуя их силе и легкости.

В эти минуты, когда ветер дул ему прямо в лицо, так что на глазах выступали слезы, когда седло горело под ним, когда конь, израненный шпорами, хрипел от боли и выбрасывал копытами задних ног целый дождь песка и мелкого щебня, д'Артаньян поднимался на стременах и, по видя белого коня ни в воде, ни под деревьями, начинал искать его, как безумный, в воздухе. Он сходил с ума. Обуреваемый жаждой во что бы то ни стало нагнать беглеца, он мечтал о воздушных путях, открытии следующего столетия, вспоминал Дедала с его широкими крыльями, спасшими его из критской тюрьмы.

Глухой стон вырвался из уст мушкетера. Он повторял, измученный страхом оказаться в смешном положении:

– Меня, меня обманул Гурвиль! Меня!.. Скажут, что я старею, скажут, что, дав Фуке возможность бежать, я получил от него миллион.

И он вонзил шпоры в бока своего скакуна; теперь он преодолевал лье за две минуты. Вдруг на краю какого-то пастбища, за изгородью, он увидел что-то белое; это белое то показывалось, то вновь исчезало и наконец на месте, бывшем чуть выше, стало отчетливо видимым.

Д'Артаньян вздрогнул от радости и тотчас же успокоился. Он вытер пот, струившийся с его лба, разжал колени, отчего лошадь его вздохнула свободнее, и, отпустив повод, умерил аллюр могучего животного, своего сообщника в этой охоте на человека. Лишь теперь он смог окинуть взглядом дорогу и определить свое положение относительно беглеца.

Суперинтендант окончательно измучил своего замечательного коня, гоня его все время по пашне. Он почувствовал необходимость добраться до более твердой почвы и мчался напрямик к дорого.

Д'Артаньяну нужно было продвигаться вперед по склепу холма, круто спускавшегося к

Луаре и скрывавшего капитана от взоров Фуке; он хотел, таким образом, настигнуть Фуке, как только суперинтендант выберется на большую дорогу. Там начнется настоящая гонка; там начнется борьба.

Д'Артаньян дал своему коню подышать во всю силу легких. Он увидел, что суперинтендант перешел на рысь, значит, и он тоже позволил своему коню отдых.

Но и тот и другой слишком спешили, чтобы долго сохранять этот аллюр.

Достигнув более твердой земли, белый конь полетел как стрела. Д'Артаньян опустил повод, и его вороной конь перешел на галоп. Теперь они неслись по дороге один за другим. Топот коней и эхо, порождаемое им, сливались вместе, образуя невнятный гул. Фуке все еще не замечал д'Артаньяна.

Но когда он вылетел из-под нависавшего над дорогой обрыва, до его слуха отчетливо донеслось раздававшееся за его спиной эхо – стук копыт вороного коня; оно разносилось, словно раскаты грома.

Фуке обернулся; в ста шагах позади пего, пригнувшись к шее своего скакуна, мчался во весь опор его враг. Сомнений быть не могло – блестящая перевязь, красный плащ – мушкетер. Фуке отпустил повод, и его белый конь вырвался вперед, увеличив расстояние между ним и его преследователем еще на десяток шагов.

«Однако, – пронеслось в мыслях у мушкетера, – копь под Фуке – особенный конь. Держись, капитан!»

И он принялся изучать своим острым взглядом аллюр и повадки белого скакуна. Он видел перед собою округлый круп, небольшой, торчком отставленный хвост, топкие и поджарые, точно сплетенные из стальных мускулов, ноги, копыта тверже мрамора.

Д'Артаньян пришпорил своего вороного, но расстояние между ним и Фуке не сократилось. Капитан прислушался: белый скакун дышал ровно, а между тем он летел стрелой, разрезая грудью потоки встречного воздуха. Вороной конь, напротив, начал храпеть: он задыхался.

«Нужно загнать коня, но настигнуть Фуке», – подумал капитан мушкетеров. И он стал рвать мундштуком губы измученного животного и терзать шпорами его и без того окровавленные бока. Доведенный до бешенства конь стал нагонять Фуке. Теперь Д'Артаньян оказался на расстоянии пистолетного выстрела от пего.

«Крепись, – сказал себе мушкетер, – крепись! Еще немного, и белый конь выдохнется; ну а если конь устоит, то не выдержит всадник».

Но и конь и всадник продолжали эту невероятную скачку, и всадник все так же крепко держался в седле; они были слиты друг с другом, представляя собой одно целое, и расстояние между Фуке и д'Артаньяном понемногу стало опять увеличиваться.

Д'Артаньян дико вскрикнул, и этот крик заставил Фуке обернуться; его конь понесся еще быстрее.

– Несравненный конь, неистовый всадник! – пробурчал капитан сквозь зубы. – Проклятие! Господин Фуке, эй вы, послушайте! Именем короля!

Фуке ничего не ответил.

– Вы меня слышите? – завопил Д'Артаньян.

Его конь остуился.

– Еще бы! – лаконично заметил Фуке.

И полетел дальше.

Д'Артаньян обезумел; его глаза налились кровью, она стучала в висках.

– Именем короля! – крикнул он вторично. – Остановитесь, или я собою вас пистолетной пулей.

– Сбивайте! – ответил Фуке, продолжая скачку.

Д'Артаньян выхватил один из своих пистолетов и взвел курок, надеясь, что этот звук остановит его врага.

– У вас тоже есть пистолеты, – прокричал он, – защищайтесь!

Фуке действительно обернулся на звук взводимого д'Артаньяном курка и, глядя прямо в

лицо мушкетеру, приподнял правой рукой полу своего платья, но так и не прикоснулся к кобуре пистолета.

Между ними было теперь каких-нибудь двадцать шагов.

– Черт возьми! – закричал Д'Артаньян. – Я не стану вас убивать; если вы не хотите разрядить в меня пистолет, сдавайтесь! Что такое тюрьма?

– Лучше умереть, – ответил Фуке, – я буду, по крайней мере, меньше страдать.

Д'Артаньян в отчаянии бросил свой пистолет на дорогу.

– Я возьму вас живым!

И чудом, на которое был способен только этот не имеющий себе равных всадник, он побудил своего коня приблизиться еще на десять шагов к белому скакуну; он уже протянул руку, чтобы схватить настигаемую добычу.

– Право же, убейте меня! Это не в пример человечнее, – прокричал Фуке.

– Нет, живым, только живым! – пробормотал капитан.

Его конь вторично споткнулся; конь Фуке опять получил преимущество.

Невиданным зрелищем было это соревнование двух коней, жизнь которых поддерживалась только волею всадников. Бешеный галоп сменился быстрой рысью, потом рысью обыкновенной, но этим изнемогающим от усталости, остервеневшим соперникам продолжало казаться, что они скачут все так же неудержимо. Измученный вконец Д'Артаньян выхватил второй пистолет и навел его на белого скакуна.

– В копы, не в вас! – прокричал он Фуке и выстрелил. Животное, пораженное его выстрелом в круп, сделало бешеный скачок в сторону и взвилось на дыбы. В это мгновение вороной конь д'Артаньяна пал замертво.

«Я обещен, – сказал себе мушкетер, – я жалкая тварь».

– Господин Фуке, – крикнул он, – умоляю вас, бросьте мне один из своих пистолетов, и я застрелюсь!

Фуке снова заставил коня затрусить мелкой рысцой.

– Умоляю вас, умоляю! – продолжал д'Артаньян. – То, чего вы не даете мне сделать немедленно, я все равно сделаю через час. Но здесь, на этой дороге, я умру мужественно, я умру, не потеряв моей чести; окажите же мне услугу, молю вас!

Фуке ничего не ответил; он по-прежнему медленно продвигался вперед.

Д'Артаньян пустился бежать за своим врагом.

Он бросил на землю шляпу, затем куртку, которая мешала ему, потом ножны от шпаги, чтобы они не путались под ногами. Даже шпага, зажатая у него в кулаке, показалась ему чрезмерно тяжелой, и он избавился от нее так же, как избавился от ножен.

Белый конь хрипел; д'Артаньян догонял его. С рыси обессиленное животное перешло на медленный шаг; оно трясло головою; изо рта его вместе с пеной текла кровь.

Д'Артаньян сделал отчаянное усилие и бросился на Фуке. Уцепившись за его ногу, он, задыхаясь, заплетающимся языком произнес:

– Именем короля арестую вас; застрелите меня, и каждый из нас исполнит свой долг.

Фуке с силой рванул с себя оба пистолета и кинул их в реку. Он сделал это, чтобы д'Артаньян не мог их сыскать и покончить с собой. Затем он слез с коня и молвил:

– Сударь, я – ваш пленник. Обопритесь о мою руку, потому что вы сейчас лишитесь сознания.

– Благодарю вас, – прошептал д'Артаньян, который действительно чувствовал, что земля ускользает у него из-под ног, а небо валится ему на голову. И он упал на песок, обессиленный, едва дышащий.

Фуке спустился к реке и зачерпнул в шляпу воды. Он освежил принесенной водой виски мушкетеру и несколько капель ее влил ему в рот. Д'Артаньян слегка приподнялся и посмотрел вокруг себя блуждающим взглядом.

По-видимому, он кого-то или что-то искал.

Он увидел Фуке, стоящего перед ним на коленях с мокрой шляпой в руках. Фуке, смотря на него, ласково улыбался.

– Так вы не бежали! – воскликнул он. – О сударь!

Настоящий король – по благородству, по сердцу, по душе – это не Людовик в Лувре, не Филипп на Сент-Маргерит, настоящий король это вы, осужденный, травимый.

– Я погибаю теперь из-за одной допущенной мною ошибки, господин д'Артаньян.

– Какой же, ради самого создателя?

– Мне следовало быть вашим другом... Но как же мы доберемся до Нанта?

Ведь мы довольно далеко от него.

– Вы правы, – заметил д'Артаньян с мрачным и задумчивым видом.

– Белый конь, быть может, еще оправится; это был такой исключительный конь! Садитесь на него, господин Д'Артаньян. Что до меня, то я буду идти пешком, пока вы хоть немного не отдохнете.

– Бедная лошадь! Я ранил ее, – вздохнул мушкетер.

– Она пойдет, говорю вам, я ее знаю; или лучше сядем на нее оба.

– Попробуем, – проговорил д'Артаньян.

Но не успели они осуществить свое намерение, как животное пошатнулось, затем выпрямилось, несколько минут шло ровным шагом, потом опять пошатнулось и упало рядом с вороним коном д'Артаньяна.

– Ну что же, пойдем пешком, так хочет судьба, прогулка будет великолепной, – сказал Фуке, беря д'Артаньяна под руку.

– Проклятие! – вскричал капитан, нахмурившись, с устремленным в одну точку взглядом, с тяжелым сердцем. – Отвратительный день!

Они медленно прошли четыре лье, отделявшие их от леса, за которым стояла карета с конвоем. Когда Фуке увидел это мрачное сооружение, он обратился к д'Артаньяну, который, как бы стыдясь за Людовика XIV, опустил глаза:

– Вот вещь, которую выдумал дрянной человек, капитан Д'Артаньян. К чему эти решетки?

– Чтобы помешать вам бросать записки через окно.

– Изобретательно!

– Но вы можете сказать, если нельзя написать, – проговорил Д'Артаньян.

– Сказать вам?

– Да... если хотите.

Фуке задумался на минуту, потом начал, глядя капитану прямо в лицо:

– Одно только слово, запомните?

– Запомню.

– И передадите его тем, кому я хочу?

– Передам.

– Сен-Манде, – совсем тихо произнес Фуке.

– Хорошо, кому же его передать?

– Госпоже де Бельер или Пелисону.

– Будет сделано.

Карета проехала Нант и направилась по дороге в Анжер.

Глава 22.

ГДЕ БЕЛКА ПАДАЕТ, А УЖ ВЗЛЕТАЕТ

Было два часа пополудни. Король в большом нетерпении ходил взад и вперед по своему кабинету и иногда приотворял дверь в коридор, чтобы взглянуть, чем занимаются его секретари. Кольбер, сидя на том самом месте, на котором утром так долго сидел де Сент-Эньян, тихо беседовал с де Бриенном.

Король резко открыл дверь и спросил:

– О чем вы тут говорите?

– Мы говорим о первом заседании штатов, – сказал, вставая, де Бриенн.

– Превосходно! – отрезал король и вернулся к себе в кабинет.
Через пять минут раздался колокольчик, призывавший Роза; это был его час.
– Вы кончили переписку? – спросил король.
– Нет еще, ваше величество.
– Посмотрите, не вернулся ли господин д'Артаньян.
– Пока нет, ваше величество.
– Странно! – пробормотал король. – Позовите господина Кольбера.
Вошел Кольбер; он ожидал этого момента с утра.
– Господин Кольбер, – возбужденно сказал король, – надо было бы все-таки выяснить, куда запропастился господин Д'Артаньян.
– Где искать его, ваше величество?
– Ах, сударь, разве вам не известно, куда я послал его? – насмешливо улыбнулся Людовик.
– Ваше величество не говорили мне об этом.
– Сударь, есть вещи, о которых догадываются, и вы в этом особенный мастер.
– Я мог догадываться, ваше величество, но я не позволю себе принимать свои догадки за истину.
Едва Кольбер произнес эти слова, как голос гораздо более грубый, чем голос Людовика, прервал разговор между монархом и его ближайшим помощником.
– Д'Артаньян! – радостно вскрикнул король.
Д'Артаньян, бледный и возбужденный, обратился к королю:
– Это вы, ваше величество, отдали приказание моим мушкетерам?
– Какое приказание?
– Относительно дома господина Фуке.
– Я ничего не приказывал, – ответил Людовик.
– А, а! – произнес Д'Артаньян, кусая себе усы. – Значит, я не ошибся, этот господин – вот где корень всего!
И он указал на Кольбера.
– О каком приказании идет речь? – снова спросил король – Приказание перевернуть дом, избить слуг и служащих господина Фуке, взломать ящики, предать мирное жилье потоку и разграблению. Черт возьми, приказание короля.
– Сударь! – проговорил побледневший Кольбер.
– Сударь, – перебил Д'Артаньян, – один король, слышите, один король имеет право приказывать моим мушкетерам. Что же касается вас, то я решительно запрещаю вам что-либо в этом роде и предупреждаю вас относительно этого в присутствии его величества короля. Дворяне, носящие шпагу, это не бездельники с пером за ухом.
– Д'Артаньян! Д'Артаньян! – пробормотал король.
– Это унижительно, – продолжал мушкетер. – Мои солдаты обещены! Я не командую наемниками или приказными из интендантства финансов, черт подери!
– Но в чем дело? Говорите же наконец! – решительно приказал король.
– Дело в том, ваше величество, что этот господин... господин, который не мог угадать приказаний, отданных вашим величеством, и потому, видите ли, не знал, что мне поручено арестовать господина Фуке; господин, который заказал железную клетку для того, кого вчера еще почитал начальником, – этот господин отправил де Роншера на квартиру господина Фуке и ради изъятия бумаг суперинтенданта изъязл заодно и всю его мебель. Мои мушкетеры с утра окружили дом. Таково было мое приказание. Кто же велел им войти в дом господина Фуке? Почему, заставив их присутствовать при этом бесстыднейшем грабеже, сделали их сообщниками подобной мерзости?
Черт возьми! Мы служим королю, но не служим господину Кольберу!
– Господин Д'Артаньян, – строго остановил капитана король, – будьте осторожны в выборе выражений! В моем присутствии подобные объяснения и в таком тоне не должны иметь места.

– Я действовал для блага моего короля, – сказал Кольбер взволнованным голосом. – И мне чрезвычайно прискорбно, что столь враждебное отношение я встречаю со стороны офицера его величества, тем более что я лишен возможности отомстить за себя из уважения к королю.

– Уважения к королю! – вскричал Д'Артаньян с горящими от гнева глазами. – Уважение к королю состоит прежде всего в том, чтобы внушать уважение к его власти, внушать любовь к его священной особе. Всякий представитель единодержавной власти олицетворяет собой эту власть, и когда народы проклинают карающую их длань, господь бог упрекает за это длань самого короля, понимаете? Нужно ли, чтобы солдат, загрубевший за сорок лет службы, привыкший к крови и к ранам, читал вам проповедь этого рода, сударь? Нужно ли, чтобы милосердие было с моей стороны, а свирепость с вашей? Вы приказали арестовать, связать, заключить в тюрьму людей ни в чем не повинных!

– Быть может, сообщников господина Фуке... – начал Кольбер.

– Кто вам сказал, что у господина Фуке существуют сообщники, кто вам сказал, наконец, что он действительно в чем-то виновен? Это ведомо одному королю, и лишь его суд – праведный суд. Когда он скажет: «Арестуйте и заключите в тюрьму таких врагов, тогда вы послушно исполните его приказание. Не говорите мне о вашем уважении к королю и берегитесь, если в ваших словах содержится хоть какая-нибудь угроза, ибо король не допустит, чтобы дурные слуги грозили тем, кто безупречно служит ему. И если бы – упаси боже! – мой государь не ценил своих слуг по достоинству, я сам сумел бы внушить к себе уважение.

С этими словами д'Артаньян принял горделивую позу: глаза его горели мрачным огнем, рука покоилась на эфесе шпаги, губы лихорадочно вздрагивали; он изображал свой гнев более яростным, чем это было в действительности.

Униженный и терзаемый бешенством Кольбер отклонялся королю, как бы прося у него дозволения удалиться.

Людовик, в котором боролись оскорбленная гордость и любопытство, еще колебался, на чью сторону ему стать. Д'Артаньян усидел, что король в нерешимости. Остаться дольше было бы грубой ошибкой; следовало восторжествовать над Кольбером, и единственным средством для достижения этого было – так сильно задеть короля за живое, чтобы его величеству не оставалось иного, как сделать выбор между противниками.

И д'Артаньян, последовав примеру Кольбера, также отклонялся королю.

Но Людовику не терпелось получить точные и подробные сведения об аресте суперинтенданта финансов, об аресте того, перед кем он сам одно время трясся от страха, и он понял, что возмущение д'Артаньяна отсрочит по крайней мере на четверть часа рассказ о тех новостях, которые так хотелось ему узнать. Итак, забыв про Кольбера, который не мог сообщить ничего особенно нового, он удержал у себя капитана своих мушкетеров.

– Расскажите сначала об исполнении возложенного на вас поручения, и лишь после этого я позволю вам отдохнуть.

Д'Артаньян, который был уже на пороге королевского кабинета, услышав слова короля, возвратился назад, тогда как Кольбер оказался вынужденным уйти. Лицо интенданта стало багровым, его черные злые глаза блеснули под густыми бровями; он заторопился, склонился пред королем, проходя мимо д'Артаньяна, наполовину выпрямился и вышел, унося в душе смертельное оскорбление.

Д'Артаньян, оставшись наедине с королем, мгновенно смягчился и уже с совершенно другим видом обратился к нему:

– Ваше величество, вы – молодой король. По заре узнает человек, будет ли день погожим или ненастным. Что станут думать о вашем будущем царствовании народы, отданные десницею божьей под ваше владычество, если увидят, что между собою и ними вы ставите злобных и жестоких министров?

Но поговорим обо мне, саше величество; прекратим разговор, который кажется вам бесполезным, а быть может, и неприличным. Поговорим обо мне. Я арестовал господина

Фуке.

– Вы потратили на это достаточно много времени, – ядовито заметил король.

Д'Артаньян посмотрел на него и ответил:

– Я вижу, что употребил неудачное выражение; я сказал, что арестовал господина Фуке, тогда как подобало сказать, что я сам был арестован господином Фуке; это будет правильнее. Итак, я восстанавливаю голую истину: я был арестован господином Фуке.

На этот раз удивился Людовик XIV. Д'Артаньян мгновенно понял, что происходило в душе его повелителя. Он не дал ему времени для расспросов.

Он рассказал ему с тем красноречием и тем поэтическим пылом, которыми, быть может, он один обладал в то время, о бегстве Фуке, о преследовании, о бешеной скачке, наконец, о не имеющем себе равного благородстве суперинтенданта, который добрый десяток раз мог бежать, который двадцать раз мог убить его, своего преследователя, но который тем не менее предпочел тюрьму или что-нибудь еще худшее, дабы не протерпел унижения тот, кто стремился отнять у него свободу.

По мере того как капитан говорил, королем все больше и больше овладевало волнение. Он жадно ловил каждое слово, произносимое д'Артаньяном, постукивая при этом ногтями своих судорожно прижатых друг к другу рук.

– Из этого явствует – так, по крайней мере, я думаю, – что человек, который вел себя описанным образом, безусловно порядочный человек и не может быть врагом короля. Вот мое мнение, и я повторяю его пред вами, мой государь. Я знаю, что король ответит на это, – и я заранее склоняюсь перед его словами: «Государственная необходимость». Ну что ж! В моих глазах это причина, достойная величайшего уважения. Я солдат, я получил приказание, и это приказание выполнено, правда, вопреки моей воле, но выполнено. Я умолкаю.

– Где сейчас господин Фуке? – спросил после секундного молчания Людовик XIV.

– Господин Фуке, государь, пребывает в железной клетке, изготовленной для него господином Кольбером, и катит, увлекаемый четверкою быстрых коней, по дороге в Анжер.

– Почему вы не поехали с ним, почему бросили его на дороге?

– Потому что ваше величество не приказывали мне ехать в Анжер. И лучшее доказательство правоты моих слов – то, что вы уже разыскивали меня... Кроме того, у меня было еще одно основание.

– Какое?

– Пока я с ним, несчастный господин Фуке никогда бы не сделал попытки бежать.

– Что же из этого?

– Ваше величество должны понимать и, конечно, понимаете и без меня, что самое мое пламенное желание – это узнать, что господин Фуке на свободе. Вот я и поручил его самому бестолковому бригадиру, какого только смог найти среди моих мушкетеров. Я сделал это, чтобы узник получил возможность бежать.

– Вы с ума сошли, д'Артаньян! – вскричал король, скрещивая на груди руки. – Можно ли произносить вслух столь ужасные вещи, даже если имеешь несчастье думать что-либо подобное?

– Ваше величество, я глубоко убежден, что вы не ожидаете от меня враждебности по отношению к господину Фуке после всего, что он сделал для меня и для вас. Нет, не поручайте мне держать господина Фуке под замком, если вы твердо хотите, чтобы он был взаперти и впредь. Сколь бы крепкою ни была клетка, птичка в конце концов все равно найдет способ вылететь из нее.

– Удивляюсь, – сказал мрачно король, – как это вы не последовали за тем, кого господин Фуке хотел посадить на мой трон. Тогда вы располагали бы всем, чего вы так жаждете: привязанностью и благодарностью. На службе у меня, однако, вам приходится иметь дело с вашим господином и повелителем, сударь.

– Если бы господин Фуке не отправился за вами в Бастилию, – отвечал д'Артаньян с твердостью в голосе, – лишь один человек сделал бы это, и этот человек – я, ваше величество. И вам это прекрасно известно.

Король осекся. На эти откровенные и искренние слова возразить ему было нечего. Слушая д'Артаньяна, он вспомнил прежнего д'Артаньяна, того, кто стоял за пологом его кровати, – то было в Пале-Рояле, когда парижский народ, предводимый кардиналом де Рецем, пришел убедиться в том, что король находится во дворце; д'Артаньяна, которому он махал рукой из кареты по пути в собор Богоматери, при въезде в Париж; солдата, покинувшего его в Блуа; лейтенанта, которого он снова призвал к себе, когда смерть Мазарини отдала в его руки власть; человека, который неизменно был честен, предан и смел.

Людовик подошел к двери и вызвал к себе Кольбера.

Кольбер был в коридоре, где работали секретари. Он тотчас же явился на зов.

– Кольбер, вы сделали обыск у господина Фуке?

– Да, ваше величество.

– Каковы его результаты?

– Господин де Роншера, посланный с вашими мушкетерами, государь, вручил мне бумаги, – ответил Кольбер.

– Я ознакомлюсь с ними... А теперь дайте-ка мне вашу руку.

– Мою руку, ваше величество?

– Да, и я вложу ее в руку шеваляе д'Артаньяна. Ведь вы, д'Артаньян, обратился король с ласковою улыбкой к своему испытанному солдату, который, завидев этого приказного, снова принял надменный вид, – ведь вы, в сущности, не знаете этого человека; познакомьтесь же с ним.

И он указал ему на Кольбера.

– Он был посредственным слугой на второстепенных ролях, но он будет великим человеком, селя я предоставлю ему высокое положение.

– Ваше величество, – пролепетал Кольбер, потерявший голову от удовольствия и страха пред ожидающим его будущим.

– Я понимаю, почему так было до этой поры, – прошептал д'Артаньян на ухо королю, – он завидовал.

– Вот именно, и зависть связывала его, не давая расправить как следует крылья.

– Отныне он будет крылатой змеей, – пробормотал мушкетер, все еще движимый остатками ненависти к недавнему своему врагу.

Но у Кольбера, подходившего к нему в этот момент, было теперь совсем иное лицо, нисколько не похожее на то, которое капитан привык видеть; оно показалось ему добрым, мягким, покладистым; в его глазах светился такой благородный ум, что д'Артаньян, отлично разбиравшийся в человеческих лицах, был смущен и почти поколеблен в своих дурных предубеждениях.

Кольбер пожал ему руку и произнес:

– То, что было сказано вам королем, доказывает, насколько его величество знает людей. Бешеная борьба, которую я вел вплоть до этого дня против злоупотреблений, но не против людей, доказывает, что я хотел подготовить моему королю великое царствование, а моей стране – великое благоденствие. У меня широкие замыслы, господин д'Артаньян, и вы увидите, как они расцветут под солнцем гражданского мира. И если я не рассчитываю и не обладаю счастьем заслужить дружбу честных людей, то я убежден, что в худшем случае заслужу их уважение. А за их восхищение я с готовностью отдам свою жизнь, сударь.

Эта перемена, это внезапное возвышение, это молчаливое одобрение короля заставили мушкетера основательно призадуматься. Он учтиво поклонился Кольберу, не спускавшему с него глаз. Король, увидев, что они помирились, не стал их задерживать; из королевского кабинета они вышли вместе.

За порогом его новый министр остановил капитана и сказал:

– Возможно ли, господин д'Артаньян, чтобы человек с таким острым глазом, как вы, но понял меня с первого взгляда?

– Господин Кольбер, – отвечал капитан, – солнечный луч, светящий прямо в глаза, мешает разглядеть самый яркий костер. Человек, стоящий у власти, излучает сияние, вы это

знаете, и раз вы достигли ее, зачем вам преследовать и дальше несчастного, которого постигла немилость и который упал с такой высоты?

– Мне, сударь? О, я никогда не стану его преследовать. Я хотел управлять финансами, и управлять ими единолично, потому что я и в самом деле честолюбив и особенно потому, что я глубоко верю в присущие мне достоинства. Я знаю, что золото всей страны окажется предо мною, а я люблю смотреть на золото короля. Если мне доведется прожить еще тридцать лет, то ни один день в течение этих тридцати лет не прилипнет к моим рукам: на это золото я построю хлебные склады, величественные здания, города; я углублю гавани; я создам флот, я снаряжу корабли, которые понесут имя Франции к самым далеким пародам и племенам; я создам библиотеки и академии; я сделаю Францию первой страной в мире, и притом самой богатой. Вот причины моей нелюбви к господину Фуке, который мешал мне действовать. А потом, когда я буду великим и сильным, когда Франция будет велика и сильна, тогда и я также воскликну: «Милосердие!»

– Вы произнесли это слово. Давайте попросим у короля свободу для господина Фуке. Он преследует его, думая только о вас.

– Сударь, – ответил Кольбер, – вы знаете, что это вовсе не так и что король испытывает личную ненависть к господину Фуке. И не мне говорить вам об этом.

– Она утомит короля, он забудет о ней.

– Король ничего не забывает, господин д'Артаньян... Погодите, король вызывает дежурных к себе и отдаст сейчас какое-то приказание: я не влиял на него, не так ли? Слушайте!

Король действительно вызвал секретарей.

– Господин д'Артаньян? – спросил он.

– Я здесь, ваше величество.

– Дайте двадцать мушкетеров господину де Сент-Эньяну для охраны господина Фуке.

Д'Артаньян и Кольбер обменялись взглядами.

– Из Анжера, – распорядился король, – пусть перевезут арестованного в Париж, в Бастилию.

– Вы были правы, – шепнул Кольберу капитан мушкетеров.

– Сент-Эньян, – продолжал король, – вы пристрелите всякого, кто заговорит с господином Фуке в пути.

– А я, ваше величество, я тоже должен молчать? – спросил де Сент-Эньян.

– Вы, сударь, будете говорить с ним только в присутствии мушкетеров.

Де Сент-Эньян поклонился и вышел, чтобы приступить к исполнению полученного им приказа.

Д'Артаньян тоже хотел удалиться, но король задержал его.

– Сударь, – приказал он, – отправляйтесь незамедлительно и примите под мою руку остров и крепость БельИль-ан-Мер, принадлежавшие господину Фуке.

– Хорошо, ваше величество. Я поеду один?

– Вы возьмете с собой столько войск, сколько понадобится, чтобы не потерпеть неудачи, если крепость окажет сопротивление.

Шепот лстивого недоверия к возможности подобного факта раздался между придворными.

– Такие вещи случались, – подтвердил д'Артаньян.

– Я видел их собственными глазами в дни моего детства и не желаю видеть их снова. Вы меня поняли? Идите, сударь, и возвращайтесь не иначе, как с крепостными ключами.

Кольбер подошел к д'Артаньяну.

– Вот поручение, – сказал он, – за которое, если вы его выполните как следует, вы получите маршальский жезл.

– Почему вы говорите: если вы его выполните как следует?

– Потому что это поручение весьма трудное. К тому же на Бель-Иле ваши друзья, а таким людям, как вы, господин д'Артаньян, не так-то просто перешагнуть через трупы друзей

ради того, чтобы добиться успеха.

Д'Артаньян опустил голову; Кольбер возвратился в кабинет короля.

Спустя четверть часа капитан получил приказ, предписывающий в случае сопротивления взорвать до основания крепость Бель-Иль. Этим приказом ему также вручалось право казнить или миловать местных жителей и беглецов, укрывшихся в крепости; особо предписывалось не выпускать из нее ни души.

«Кольбер был прав, – подумал д'Артаньян. – Мой маршальский жезл стоил бы жизни моим друзьям. Только здесь забывают, что они не глупее птиц и не станут дожидаться руки птицелова, чтобы расправить крылья и улететь.

И эту руку я им так хорошо покажу, что у них будет достаточно времени, чтобы увидеть ее. Бедный Портос! Бедный Арамис! Нет, моя слава не будет стоять вам ни одного перышка».

Приняв это решение, д'Артаньян собрал войска короля, погрузил их в Пембефе и, не потеряв ни минуты, снялся с якоря и поплыл на всех парусах.

Глава 23. БЕЛЬ-ИЛЬ-АН-МЕР

На краю мола, на который яростно наседали вечерний прибой, прогуливались, взявшись за руки, два человека. Спи оживленно беседовали, и ни одна душа не могла расслышать их слов, уносимых одно за другим порывами ветра вместе с белой пеной, вздымаемой гребнями волн.

Солнце только что опустилось в бескрайнюю хлябь океана – в эти минуты оно было похоже на гигантское, пышущее багровым жаром горнило.

Время от времени один из этих людей оборачивался к востоку, как бы вопрошая с мрачным беспокойством пустынное море. Другой, всматриваясь в лицо своего спутника, пытался, казалось, разгадать значение его взглядов. Затем, оба безмолвные, одолеваемые мрачными мыслями, они возобновляли прогулку.

Эти два человека – все, конечно, узнали их – были Портос с Арамисом, преследуемые законом и укрывшиеся на Бель-Иле после крушения всех надежд и великого плана г-на д'Эрбле.

– Что бы вы ни говорили, мой дорогой Арамис, – повторял Портос, с силой вдыхая в себя просоленный воздух и наполняя им свои могучие легкие, – что бы ни говорили вы, а все же исчезновение всех рыбацких лодок, вышедших отсюда в течение последних двух дней, – вещь не совсем обычная.

На море не было бури. Погода стояла спокойная, не заметно было даже небольшою волнения. Но если бы и была буря, не могли же погибнуть все наши лодки. Хоть какая-нибудь из них осталась бы невредимой. Повторяю, это в высшей степени странно. Подобное исчезновение лодок чрезвычайно удивляет меня.

– Вы правы, друг мой Портос; вы, несомненно, правы. Это верно, тут и впрямь есть что-то необъяснимое.

– К тому же, – добавил Портос, мысли которого несколько оживились, поскольку ваннский епископ согласился с его замечанием, – тут обращает на себя внимание странная вещь: если бы эти лодки и в самом деле погибли, то на берегу были бы найдены их обломки или какие-нибудь вещи погибших. Между тем ничего такого не обнаружено.

– Да, я так же, как вы, думал об этом.

– Обратили ли вы внимание и на то, что два остававшихся на острове парусника, которые отправлены мною на поиски остальных...

Арамис внезапно прервал своего собеседника: он вскрикнул, сопровождая свое восклицание таким резким движением, что Портос остановился как вкопанный.

– Что вы сказали, Портос? Что? Вы послали два этих парусника?..

– Искать остальных, ну да, – простодушно повторил Портос.

– Несчастный! Что вы наделали! Теперь мы погибли! – воскликнул епископ.

– Погибли?.. Что?.. Почему погибли, ответьте же, Арамис?

Арамис закусил губу.

– Ничего, ничего. Простите, я хотел сказать...

– Что?

– Что если бы нам пришлось в голову совершить прогулку по морю, то теперь мы уже не смогли бы осуществить это желание.

– Так вот что вас мучит! Велика важность, подумаешь! Что касается меня, то я нисколько не жалею об этом. Я жалею не о развлечениях на Бель-Иле, каковы бы они ни были, а о Пьерфоне, о Брасье, о Валлоне, о моей дорогой Франции. Здесь не Франция, друг мой, и я сам не знаю, что здесь такое. О, я могу сказать это с полной откровенностью, и вы по дружбе простите мне мою искренность, но я заявляю вам, что на Бель-Иле я чувствую себя очень несчастным, да, да, очень несчастным.

Арамис едва слышно вздохнул.

– Милый друг, – ответил он, – вот потому и печально, что вы отослали эти дравшиеся у нас парусники на поиски лодок, исчезнувших двое суток назад. Если бы вы их не отослали, мы бы уехали.

– Уехали! А как же приказ, Арамис?

– Какой приказ?

– Черт возьми! Приказ, о котором вы мне постоянно толкуете и который по всякому поводу напоминаете: мы должны охранять Бель-Иль от возможного нападения узурпатора: вы же сами прекрасно знаете, о каком приказе я говорю.

– Это правда, – прошептал Арамис.

– Итак, вы видите, мы не можем уехать отсюда, и то, что я отправил парусники на поиски лодок, не может, следовательно, нам повредить.

Арамис замолчал, и его блуждающий взгляд, зоркий, как взгляд парящей в воздухе чайки, долго обшаривал море, всматриваясь в пространство и стремясь проникнуть за линию горизонта.

– К тому же, Арамис, – продолжал Портос, упорно возвращавшийся к своей мысли, которую епископ считал правильной, – к тому же вы не даете мне никаких объяснений, где могли запропасться эти несчастные лодки. А между тем, куда бы я ни пришел, меня со всех сторон осаждают воплями и стенаниями; при виде впадающих в отчаяние матерей начинают хныкать и малые дети, точно я могу возвратить им отцов, а их матерям мужей. Какова же все-таки ваши предположения и что я должен говорить этим несчастным?

– Предполагать, Портос, мы можем все что угодно, а вот говорить... ничего им, пожалуй, не говорите.

Этот ответ не удовлетворил Портоса. Он отвернулся, пробормотав несколько слов, в которых излил свое недовольство. Арамис остановил доблестного солдата.

– Припоминаете ли вы, дорогой друг, – сказал он с глубокою грустью в голосе, сжимая в своих руках руки гиганта, – припоминаете ли вы, что в счастливые дни нашей молодости, когда мы были доблестными и сильными вы, да я, да те двое, которые теперь вдалеке от нас, – припоминаете ли вы, мой милый Портос, что, захоти мы вернуться во Францию, эта поверхность соленой воды не могла бы служить нам препятствием.

– О, – заметил Портос, – как-никак целых шесть лье.

– Если бы вы увидели, что я уцепился за первую попавшуюся доску, разве вы устояли бы на твердой земле?

– Нет, клянусь богом, Арамис, конечно, не устоял бы! Но теперь какая доска удержит нас, и особенно меня?!

И владелец поместья Брасье, гордо усмехнувшись, окинул взглядом свои мощные округлые формы.

– А разве и вы, Арамис, положив руку на сердце, не скучаете на Бель-Иле? И не предпочли бы вы удобств, предоставляемых вам вашим отцом, епископским дворцом в Ванне? А ну-ка, признайтесь!

– Нет, – ответил Арамис, не смея посмотреть Портосу в глаза.

– Ну что ж, в таком случае останемся здесь, – произнес его друг, и тяжкий вздох, несмотря на усилия, которые делал Портос, чтобы сдержать его, с шумом вырвался из его могучей груди. – Раз так, то останемся, останемся тут. И, однако, – добавил он, – если у вас является мысль, да, да, определенная, окончательно принятая, твердая мысль, – я говорю о мысли «возвратиться во Францию» несмотря на отсутствие лодок...

– Заметили ли вы еще одну не менее странную вещь, – перебил его Арамис, – со времени исчезновения наших лодок, за последние двое суток, к берегам острова не пристал ни один челнок?

– Да, конечно, вы правы. Я это тоже заметил, так как до этого лодки и шлюпки, как мы видели, ежедневно приходили сюда десятками.

– Надо будет хорошенько осведомиться, – помолчав, сказал Арамис. Даже если мне придется построить плот...

– Но тут есть челноки. Если хотите, я раздобуду один...

– Челнок, челнок!.. Вы думаете, что челнок... Челнок, чтобы перевернуться на нем? Нет, нет, – решительно возразил ваннский епископ, – не нам с вами переплывать море в скорлупке. Подождем, подождем еще.

И Арамис принялся ходить взад и вперед, пытаясь скрыть все возрастающую тревогу Портос, уставший следить за лихорадочными движениями своего друга, Портос, доверчивый и спокойный Портос, ничего не знавший о причинах этого неистового волнения, выдававшего себя лишь внешними проявлениями, остановил Арамиса.

– Сядем на этот камень, – попросил он. – Присядьте рядом со мной, и я умоляю вас, умоляю самым решительным образом, объясните мне, и так, чтобы я хорошенько понял, объясните мне наконец, что мы тут делаем.

– Портос... – начал в смущении Арамис.

– Я знаю, что мнимый король хотел сбросить с трона настоящего короля.

Об этом вы рассказали мне, и это понятно. Я знаю, что мнимый король собирался продать Бель-Иль англичанам. И это тоже понятно. Я знаю, что мы, инженеры и военачальники, поспешно прибыли на Бель-Иль, чтобы возглавить работы по его укреплению и принять на себя командование десятью ротами, которые набраны, содержатся господином Фуке и находятся в его подчинении, или, иными словами, десятью ротами его зятя. И это мне достаточно ясно.

Арамис нетерпеливо вскочил. Он был похож на льва, которому докучает муха.

Портос удержал его за руку.

– Но, несмотря на усилия, которые прилагает мой ум, несмотря на все размышления, я не могу понять и никогда не пойму, почему, вместо того чтобы направлять к нам войска, вместо того чтобы поддержать нас, прислав людей, оружие и провиант, нас оставляют без лодок, а Бель-Иль без снабжения и без помощи; почему, вместо того чтобы установить с нами связь подачей сигналов, доставкой письменных приказов или изустно, прерывают всякое сообщение с нами? Ответьте же мне, Арамис, или лучше, прежде чем отвечать, выслушайте, что я думаю, какие мысли одолевают меня.

Епископ поднял голову.

– Так вот, Арамис, – продолжал Портос, – я думаю, я вообразил, что во Франции произошли большие события. Мне всю ночь напролет снился Фуке, мне снились мертвые рыбы, разбитые яйца, неприбранные убогие комнаты.

Дурные сны, д'Эрбле, они пророчат беду.

– Портос, что там такое? – перебил Арамис, порывисто вставая и указывая своему другу черную точку на багровой полоске моря.

– Судно! – обрадовался Портос. – Да, это судно. Ах, наконец-то мы получим известия!

– Два! – вскричал епископ, заметив новые мачты. – Два, три, четыре!

– Пять! – крикнул Портос. – Шесть, семь! Ах, боже мой, да тут целый флот!

– Должно быть, возвращаются наши бель-ильские рыбаки, – уверенно проговорил

Арамис, хотя внутренне он был сильно встревожен представшей пред его глазами картиной.

– Уж очень велики эти суда; они не могут быть рыбацкими лодками. И к тому же не кажется ли вам, дорогой Арамис, что они идут с той стороны, где устье Луары?

– Да, они идут оттуда...

– Смотрите, их увидели все; вот женщины и дети. Они бегут на берег.

В это время подошел старый рыбак.

– Это наши лодки? – спросил его Арамис.

Старик всмотрелся в морскую даль.

– Нет, монсеньер, это суда королевского флота.

– Суда королевского флота! – повторил Арамис, содрогнувшись в душе. Но откуда вы это знаете?

– По флагу. На наших лодках и на торговых судах флагов никогда не бывает. На таких больших парусниках обыкновенно перевозят войска.

– А! – сказал Арамис.

– Ура! – воскликнул Портос. – Это идут подкрепления, не так ли, дорогой Арамис?

– Возможно.

– Если это только не англичане.

– С Луары? Это было бы ужасным несчастьем! Разве им не понадобилось бы в этом случае пройти через Париж?

– Вы правы. Это, разумеется, подкрепления или, может быть, провиант.

Арамис закрыл руками лицо и ничего не ответил. Потом вдруг приказал:

– Портос, объявите тревогу!

– Тревогу? Но почему?

– Пусть канониры вернутся на свои батареи, пусть прислуга находится возле орудий, пусть будут особенно бдительны у береговых пушек.

Портос сделал большие глаза. Он внимательно посмотрел на своего друга, точно хотел убедиться, что тот действительно в здравом уме и твердой памяти.

– Если вы немедленно не пойдете, мой дорогой и бесценный друг, – продолжал Арамис своим самым ласковым тоном, – то это сделаю я и лично отдам все эти необходимые распоряжения.

– Иду, сию минуту иду, – ответил Портос и пошел выполнять приказание.

По дороге он, впрочем, неоднократно оглядывался, чтобы выяснить, не ошибся ли ваннский епископ и не зовет ли его назад, обратившись к более здравым мыслям.

Пробили тревогу. Раздалась барабанная дробь. Запели рожки. Разнесся глухой звон большого набатного колокола. В мгновение ока мол и дамба заполнились любопытными и солдатами. В руках у артиллеристов, стоявших у больших, поставленных на каменные лафеты орудий, дымились фитили. Когда каждый занял указанное ему боевым расписанием место, когда приготовления к обороне были завершены, Портос робко обратился к епископу, шепнув ему на ухо:

– Позвольте, Арамис, я хочу постараться понять...

– Погодите: вы и так вскоре поймете решительно все, – так же шепотом ответил ваннский епископ своему заместителю и помощнику.

– Этот флот, на всех парусах направляющийся к Бель-Илю, королевский флот, так ведь?

– Но раз во Франции два короля, которому из них принадлежит этот флот? Что вы на это ответите, друг мой Портос?

– О, вы открываете мне глаза, – сказал гигант, пораженный этим доводом Арамиса.

И Портос, которому ответ друга открыл глаза, а вернее сказать, сделал завесу, закрывавшую их, еще более плотной, поторопился на батареи, чтобы следить за теми, кто находился у него в подчинении, и чтобы призвать каждого честно исполнить свой долг.

Между тем Арамис, не сводя глаз с горизонта, наблюдал за приближением кораблей. Народ и солдаты, взобравшись на выступы скал, различали сначала верхушки мачт, затем паруса и, наконец, увидели самые корабли с развевающимися на гафелях флагами короля

Франции.

Была уже ночь, когда один из этих плашкоутов, прибытие которых так взбудоражило население острова, бросил якорь на пушечный выстрел от крепости.

Несмотря на ночную тьму, вскоре на палубе этого судна можно было заметить какую-то суету, и почти тотчас же от его борта отделилась шлюпка; три гребца, усиленно налегая на весла, погнали ее по направлению к гавани; через несколько минут они пристали у подножия бастиона. Рулевой этой шлюпки поднялся на мол. В руке у него был пакет, которым он усердно махал, давая понять, что он прибыл вести с кем-то переговоры.

Многие солдаты узнали его. Это был хозяин одного из тех двух баркасов, которые сберегал Арамис и которые были отправлены на розыски пропавших судов Портосом, обеспокоенным двухдневным отсутствием рыбаков. Он потребовал, чтобы его проводили к г-ну д'Эрбле. Два солдата по знаку сержанта стали по обе стороны от него и повели его к Арамису.

Арамис находился на набережной. Посланный предстал перед ваннским епископом. Было очень темно, несмотря на то что солдаты, сопровождавшие Арамиса во время обхода им укреплений и стоявшие в некотором отдалении, держали в руках горящие факелы.

– Как, Ионатан! Откуда?

– От имени тех, кто захватил меня в плен.

– Но кто же захватил тебя в плен?

– Известно ли вам, монсеньер, что мы отправились на розыски наших товарищей?

– Да. Ну а потом?

– Потом, монсеньер... мы были вскоре задержаны сторожевым судном его величества короля.

– Какого короля? – вмешался Портос.

Ионатан удивленно посмотрел на Портоса.

– Говори, – продолжал епископ.

– Нас схватили, монсеньер, и присоединили к задержанным вчера утром.

– Что это за мания – хватать всех и каждого! – перебил Портос.

– Нам, сударь, хотели помешать сообщить вам об этом, – отвечал Ионатан.

Теперь, в свою очередь, не понял Портос.

– И вас освободили сегодня? – спросил он.

– Лишь для того, чтобы я мог сообщить, монсеньер, что нас задержали.

«Все больше и больше туману», – подумал честный Портос.

Арамис в это время пытался понять случившееся.

– Итак, – сказал он, – выходит, что королевский флот блокирует побережье?

– Да, монсеньер.

– Кто им командует?

– Капитан королевских мушкетеров.

– Д'Артаньян! – воскликнул Портос.

– Мне кажется, что его зовут именно так, – И он вручил тебе это письмо?

– Да, монсеньер.

– Поднесите ближе факелы!

– Это его почерк, – заметил Портос.

Арамис быстро прочел нижеследующее:

«Приказ короля – захватить Бель-Иль.

Приказ: истребить гарнизон, если будет оказано сопротивление.

Приказ: арестовать всех солдат гарнизона.

Подписано: д'Артаньян, который третьего дня арестовал г-на Фуке и отправил его в Бастилию».

Арамис побледнел и скомкал бумагу в руке.

– Ну что же? – спросил Портос.

– Ничего, друг мой, ничего, – ответил Арамис и обратился к Ионатану:

– Скажи мне...

– Монсеньер!

– Ты говорил с господином д'Артаньяном?

– Да, монсеньер.

– Что он сказал?

– Что хотел бы сам переговорить с монсеньером.

– Где?

– На борту своего корабля.

– На борту своего корабля?

Портос повторил:

– На борту своего корабля?

– Господин мушкетер, – продолжал Ионатан, – приказал взять вас обоих – вас, господин д'Эрбле, и вас, господин инженер, в нашу шлюпку и доставить к нему.

– Поедем! – обрадовался Портос. – Милый мой д'Артаньян!

Но Арамис перебил его.

– Вы с ума сошли! – вскричал он. – Кто поручится, что тут нет ловушки?

– Со стороны другого короля? – таинственно зашептал Портос.

– Одним словом, ловушка! Этим все сказано, друг мой.

– Это возможно; но что делать? Если д'Артаньян приглашает нас, то нам все же...

– Кто вам сказал, что это действительно д'Артаньян?

– А, в таком случае... но ведь его почерк...

– Почерк можно подделать. И его почерк подделали; посмотрите, как дрожала рука писавшего, – Вы и на этот раз правы; пока мы решительно ничего не знаем.

Арамис промолчал.

– Правда, – заметил добродушный Портос, – мы, в сущности, и не нуждаемся в том, чтобы знать.

– Что прикажете делать? – спросил Ионатан.

– Ты вернешься к этому капитану и скажешь ему, что мы просим его лично приехать на остров.

– Понимаю, – сказал Портос.

– Слушаю, монсеньер, – отвечал Ионатан. – Но если капитан откажется отправиться на Бель-Иль?

– Если он откажется, то поскольку у нас есть пушки, мы пустим их в дело.

– Против д'Артаньяна?

– Если это д'Артаньян, Портос, он придет. Отправляйся, Ионатан, отправляйся.

– Черт возьми! Я ничего не понимаю, – пробормотал Портос.

– Сейчас вы поймете все, решительно все, мой дорогой; время для этого наступило. Садитесь на этот лафет, превратитесь в слух и внимательно следите за моими словами.

– О, я слушаю, черт возьми! Не сомневайтесь!

– Могу ли я, монсеньер, ехать? – прокричал Ионатан.

– Поезжай и возвращайся с ответом! Пропустите шлюпку, эй, кто там!

Шлюпка отчалила и направилась к кораблю.

Арамис взял Портоса за руку и приступил к объяснениям.

Глава 24. ОБЪЯСНЕНИЯ АРАМИСА

– Я должен рассказать вам, друг Портос, нечто такое, что, по всей вероятности, повергнет вас в изумление, но вместе с тем и осведомит обо всем.

– О, мне нравится, когда что-нибудь изумляет меня, – благожелательно ответил

Портос, – не стесняйтесь со мною, пожалуйста. Я нечувствителен к душевным волнениям. Итак, не останавливайтесь ни перед чем, говорите!

– Это трудно, Портос... очень трудно, ибо – предупреждаю еще раз мне предстоит рассказать вам странные, очень странные вещи... нечто в высшей степени необычное.

– О, вы говорите так хорошо, друг мой, что я готов слушать вас целыми днями. Итак, говорите, прошу вас... или вот что пришло мне в голову: чтобы облегчить вашу задачу и помочь вам рассказать эти странные вещи, я буду задавать вам вопросы.

– Хорошо.

– Ради чего мы собираемся драться?

– Если вы будете задавать вопросы подобного рода, Портос, то вы несколько не облегчите моей задачи и, спрашивая меня таким образом, не облегчите моей обязанности открыться пред вами во всем. Напротив, в этом и заключается мой гордиев узел. Его нужно перерубить одним махом. Знаете ли, друг мой, имея дело с таким добрым, великодушным и преданным человеком, как вы, необходимо и ради себя самого, и ради него храбро приступить к исповеди. Я вас обманул, достойный мой друг.

– Вы меня обманули?

– Бог мой, да, обманул.

– Это было сделано ради моего блага?

– По крайней мере, мне так казалось, Портос. Я искренне верил в это.

– В таком случае, – улыбнулся славный владелец поместья Брасье, – в таком случае вы оказали мне большую услугу, и я приношу вам свою благодарность; ведь если бы вы не обманули меня, я бы и сам мог ошибиться. Но в чем, однако, вы обманули меня?

– Я служил узурпатору, против которого Людовик Четырнадцатый в данный момент бросает все свои силы.

– Узурпатор, – сказал Портос, почесывая в недоумении лоб, – это... Я не очень-то хорошо понимаю.

– Это один из двух королей, которые оспаривают друг у друга корону Франции.

– Отлично... Значит, вы служили тому, кто не Людовик Четырнадцатый?

– Вы сразу поняли истинное положение дел.

– Из этого следует...

– Из этого следует, что мы с вами мятежники, мой бедный дорогой друг.

– Черт, черт!.. – воскликнул пораженный Портос.

– О, будьте спокойны, Портос, мы еще найдем способ спастись, поверьте.

– Не это меня беспокоит. Меня волнует, что слово мятежник – скверное слово.

– Увы!..

– Значит, и герцогский титул, который мне обещали...

– Его жаловал вам узурпатор.

– Это совсем не то, Арамис, – величественно произнес Портос.

– Друг мой, если б это зависело от меня, вы стали бы принцем.

Портос принялся меланхолически покусывать ногти.

– Обманув меня, – заговорил он, – вы поступили нехорошо, Арамис, потому что на это герцогство я очень рассчитывал. О, я серьезно рассчитывал на него, зная вас за человека, умеющего держать свое слово.

– Бедный Портос! Простите меня, умоляю вас.

– Значит, – настойчиво продолжал Портос, не ответив на смиренные мольбы епископа ваннского, – значит, я рассорился с Людовиком Четырнадцатым?

– Я все улажу, дорогой друг, улажу. Я все возьму на себя.

– Арамис!..

– Нет, нет, Портос, заклинаю вас, позвольте мне действовать. Не нужно бессмысленного великодушия, не нужно неуместного самопожертвования! Вы ничего не знали о моих планах. Вы ничего не делали ради себя самого. Я дело другое. Я зачинщик этого заговора. Мне потребовался мой неразлучный товарищ; я вас позвал, и вы явились на зов, памятуя о нашем

старом девизе: «Все за одного, один за всех». Мое преступление, Портос, состояло в том, что я поступил как отъявленный эгоист.

– Вот слово, которое мне по сердцу, – перебил его Портос, – и раз вы действовали исключительно в своих интересах, я никак не могу сердиться на вас. Ведь это вполне естественно!

И с этими словами Портос пожал руку старого друга.

Столкнувшись с таким бесхитростным душевным величием, Арамис почувствовал себя ничтожным пигмеем; второй уже раз приходилось ему отступать перед неодолимой мощью сердца, которое гораздо могущественнее, чем самый блестящий ум. Безмолвным и крепким пожатием ответил он своему верному другу.

– А теперь, – попросил Портос, – когда мы до конца объяснились, теперь, когда я окончательно отдал себе отчет в нашем положении относительно короля Людовика, я думаю, что вам следует объяснить мне политическую интригу, жертвами которой мы стали, потому что я вижу, что под этим кроется политическая интрига.

– Все относящиеся сюда обстоятельства вам подробно разъяснит д'Артаньян, который сейчас придет. Простите меня, но я так измучен страданием, так озабочен, что мне нужно все мое присутствие духа, весь мой разум, чтобы исправить тот ложный шаг, который я так неосторожно заставил вас сделать; итак, наше положение определилось, оно совершенно ясно. Отныне у короля Людовика Четырнадцатого существует лишь один-единственный враг, и этот враг – я. Я сделал вас своим пленником, и вы следовали за мной по пятам. Сегодня я отпускаю вас на свободу, и вы летите к своему властелину. Как видите, Портос, во всем этом нет ни малейшей трудности.

– Вы думаете?

– Я в этом глубоко убежден.

– Но в таком случае, – молвил Портос, направляемый своим поразительным здравым смыслом, – если наше положение настолько определенно и ясно, как вы говорите, в таком случае почему мы готовим пушки, мушкеты и все остальное? Гораздо проще, мне кажется, сказать д'Артаньяну: «Милый друг, мы допустили ошибку; ее нужно исправить, откройте нам выход, дайте нам выйти и „будьте здоровы“!»

– Ах, – покачал головой Арамис.

– Неужели вы не одобряете моего плана?

– Я вижу в нем одну трудность.

– Какую?

– Трудность в том, что д'Артаньян может явиться с такими инструкциями, что нам придется пустить в ход оружие.

– Да что вы! Оружие против д'Артаньяна? Безумие! Против нашего любимого д'Артаньяна?!

Арамис еще раз покачал головой.

– Портос, – вздохнул он, – если я велел зажечь фитили и навести пушки, если велел бить тревогу, если я позвал всех на стены, эти превосходные стены Бель-Иля, которые вы так замечательно укрепили, и расставил защитников по местам, то все это я сделал с известным умыслом. Подождите, не осуждайте меня, или нет, лучше не ждать...

– Что же делать?

– О, если б я знал!

– Но есть вещь гораздо более легкая, чем защищаться: это – взять лодку и пуститься во Францию, где...

– Милый друг, – сказал с грустной улыбкой Арамис, – не будем тешить себя вымыслами, как дети; давайте будем мужчинами и в наших мыслях, и в наших делах. Погодите, из гавани окликают какую-то шлюпку. Минуту внимания, друг, погодите!

– Это, наверное, д'Артаньян, – громовым голосом произнес Портос, подходя к парпету.

– Он самый, – ответил капитан мушкетеров, легко выскакивая из шлюпки на ступеньки причала. И он начал быстро подниматься по лестнице, которая вела на небольшую площадку,

где его поджидали двое друзей. Пока д'Артаньян поднимался по лестнице, Арамис и Портос заметили какого-то офицера, который неотступно следовал за капитаном.

Д'Артаньян остановился на полдороге. То же сделал и его спутник.

– Удалите ваших людей! – крикнул мушкетер Портосу и Арамису. – Пусть они отойдут настолько, чтобы не могли слышать нашей беседы.

Приказание, отданное Портосом, было мгновенно выполнено. Тогда, повернувшись к своему спутнику, д'Артаньян резко произнес:

– Сударь, здесь не корабль королевского флота, где, следуя данному вам приказу, вы так заносчиво разговаривали со мной.

– Сударь, – отвечал офицер. – Я не разговаривал с вами заносчиво, я просто выполнял, правда, неукоснительно, приказание, которое получил при отъезде. Мне приказали следовать за вами повсюду. Я следую. Мне приказали не допускать вас до переговоров с кем бы то ни было без того, чтоб я не был осведомлен о содержании этих переговоров, и я вмешиваюсь в – ваши переговоры.

Д'Артаньян задрожал от гнева; вздрогнули и Портос с Арамисом, слышавшие этот диалог от слова до слова; (т наполнил их души тревогой и опасениями. Д'Артаньян яростно покусывал ус, что выдавало негодование, предвещавшее, в свою очередь, взрыв; он подошел к офицеру.

– Сударь, – начал он, тихо, но отчетливо выговаривая слова, и его голос прозвучал тем более грозно, что под спокойною внешностью капитана таилась едва сдерживаемая буря, – сударь, когда я отправлял сюда шлюпку, вы пожелали узнать, что я пишу защитникам Бель-Иля. Вы показали мне некий приказ, и в то же мгновение я показал вам записку, которую написал.

Когда возвратился старший отправленной мною шлюпки, когда я получил ответ от этих господ (и он указал офицеру рукою на Портоса и Арамиса), вы слышали рассказ посланного мною человека от первого и до последнего слова. Все это было предусмотрено вашим приказом, и все было неукоснительно исполнено мною без какого-либо противодействия с моей стороны. Так или не так?

– Так, сударь, – пролепетал офицер, – разумеется, так, но...»

– Сударь, – продолжал д'Артаньян, горячась все больше и больше, – сударь, когда я объявил о своем намерении покинуть корабль, чтобы переправиться на Бель-Иль, вы потребовали, чтобы я взял вас с собой; я ни секунды не колебался, я привез вас сюда. Ведь вы на Бель-Иле? Так или не так?

– Так, сударь, но...

– Но... мне нет больше дела ни до господина Кольбера, от которого вы получили этот приказ, ни до кого-либо другого, чьим указаниям вы неуклонно следуете; мне есть дело, однако, до человека, который стесняет д'Артаньяна и находится с д'Артаньяном один на один на ступенях лестницы, омываемой соленой водой, причем глубина ее здесь не меньше тридцати футов. Этот человек занимает плохую позицию, сударь, очень плохую... и я вас предупреждаю об этом.

– Но, сударь, если я вас стесняю, – смущенно и почти застенчиво отвечал офицер, – поймите, что меня понуждает к этому моя служба...

– Сударь, вы или те, кто послал вас, имели несчастье нанести мне оскорбление. Так или иначе, но я оскорблен. Я не могу отомстить предсказывая вам ваши действия: я их не знаю, и к тому же они – чересчур далеко.

Но вы у меня под рукой, и, клянусь богом, если вы сделаете хотя бы еще один шаг вперед, чтобы подслушивать, о чем я буду говорить с этими господами, я размозжу вам голову и сброшу вас в воду. О! Пусть будет что будет! В течение всей моей жизни я только шесть раз был разгневан по-настоящему, и в пяти предыдущих случаях дело кончалось смертью того, кто разгневал меня.

Офицер не пошевелился; выслушав эту угрозу, он побледнел, но произнес спокойно и просто:

– Сударь, вы не правы, поскольку противодействуете мне в исполнении полученного мною приказа.

Портос и Арамис, взволнованные этой сценой, которую они наблюдали сверху, стоя у парапета своей площадки, крикнули капитану:

– Дорогой Д'Артаньян, берегитесь!

Д'Артаньян показал им жестом, чтобы они замолчали; с ужасающим спокойствием занес он ногу над следующей ступенью и со шпагой в руке оглянулся, чтобы узнать, следует ли за ним офицер. Офицер осенил себя крестным знамением и двинулся за капитаном.

Портос и Арамис, зная Д'Артаньяна, вскрикнули и бросились вниз, чтобы остановить удар, звук которого, как им показалось, они уже слышали. Но Д'Артаньян, переложив шпагу в левую руку, растроганно обратился к офицеру:

– Сударь, вы – порядочный человек. И вы, наверное, лучше поймете то, что я собираюсь сказать, чем то, что говорил прежде.

– Говорите, господин Д'Артаньян, говорите, – ответил храбрый офицер.

– Эти господа, которых мы имеем удовольствие видеть и против которых направлены ваши приказы, – мои друзья.

– Я это знаю, сударь.

– Как вы думаете, могу ли я поступать по отношению к ним в соответствии с данными вам инструкциями?

– Я понимаю трудность вашего положения.

– В таком случае позвольте нам переговорить без свидетелей.

– Господин Д'Артаньян, если я уступлю вашей просьбе, если сделаю то, чего вы домогаетесь, я нарушу слово, которым связан; но если я не сделаю этого, я стану вам поперек дороги. Первое я предпочитаю второму. Разговаривайте, сударь, со своими друзьями и не презирайте меня за то, что из уважения и любви к вам... не презирайте меня за то, что для вас, ради вас одного, я совершаю бесчестный поступок.

Растроганный д'Артаньян стремительно заключил молодого человека в объятия и тотчас же поднялся к друзьям. Офицер, закутавшись в плащ, сел на ступени, покрытые влажными водорослями.

– Ну вот, дорогие друзья, вот мое положение; судите сами о нем, сказал Д'Артаньян Портосу и Арамису. Они втроем обнялись и долго не разжимали объятий, как некогда в дни юности.

– Что означают эти строгости? – спросил Портос.

– Вам подобает, дорогой Портос, все же кое о чем догадываться.

– Да не очень-то, дорогой капитан. Ведь в конце концов я решительно ничего не сделал... И Арамис тоже, – поторопился добавить добрейший Портос.

Д'Артаньян бросил на прелата укоризненный взгляд, пронзивший даже это закаленное сердце.

– Милый Портос! – воскликнул ваннский епископ.

– Вы видите, до чего дошло: перехватывание всего, что исходит с Бель-Иля, и всего, что сюда направляется. Ваши лодки задержаны. Если б вы попытались бежать, вас поймали бы корабли, которые бороздят море, подстерегая вас. Король желает вас взять, и он добьется своего.

Д'Артаньян яростно дернул свои седые усы и вырвал несколько волосков.

Арамис стал мрачен, Портос сердит.

– У меня был такой план, – продолжал Д'Артаньян, – я хотел взять вас обоих к себе на корабль, хотел иметь вас возле себя и затем возвратить вам свободу. Но теперь кто мне поручится, что, вернувшись к себе, я не найду нового начальника над собой и тайный приказ, отнимающий у меня командование и передающий его другому лицу, тайный приказ, расправляющийся и со мною и с вами без малейшей надежды на возможность спасения?

– Надо оставаться здесь, на Бель-Иле, – решительно заявил Арамис, – и я ручаюсь, что сдамся, лишь твердо зная, на что я иду.

Портос ничего не сказал. Д'Артаньян обратил на это внимание.

– Я хочу попробовать расспросить кое о чем этого офицера, этого храбреца, который сопровождает меня и чье мужественное сопротивление меня очень обрадовало, как оно показывает, что он человек честный, пусть он наш враг, но он стоит в тысячу раз больше, чем какой-нибудь подлый угодник. Попробуем и узнаем, какими он располагает правами и что именно разрешает или запрещает приказ.

– Попробуем, – согласился Арамис.

Д'Артаньян наклонился к ступеням и позвал офицера, который тотчас же поднялся на площадку. После обмена самыми изысканными любезностями, естественными между знающими друг друга и исполненными взаимного уважения порядочными людьми, д'Артаньян обратился к этому офицеру:

– Сударь, если бы я захотел увести отсюда этих господ, что бы вы сделали?

– Я бы не воспротивился этому, но, имея прямой и не допускающий никаких иных толкований приказ взять их под стражу, я, безусловно, сделал бы это.

– А-а! – произнес д'Артаньян.

– Кончено! – глухо проговорил Арамис.

Портос не пошевелился.

– Во всяком случае, возьмите с собою Портоса, – попросил ваннский епископ, – он сумеет доказать королю – и я помогу ему в этом, да и вы также, дорогой д'Артаньян, – что он к этому делу, в сущности, не причастен.

– Гм! – промычал д'Артаньян. – Хотите уехать? Хотите последовать за мною, Портос? Король милостив.

– Я хотел бы подумать, – ответил Портос.

– Значит, вы остаетесь?

– До нового приказа! – воскликнул Арамис.

– До тех пор, пока нас не осенит какая-нибудь удачная мысль, – снова заговорил д'Артаньян, – и мне кажется, что теперь этого ждать недолго, так как у меня такая мысль уже родилась.

– Ну что ж, прощаемся в таком случае, – вздохнул Арамис, – по, право же, Портос, вам было бы лучше уехать.

– Нет, – лаконично заявил Портос.

– Ваша воля, – проговорил Арамис, несколько обеспокоенный суровым тоном своего сотоварища. – Все же меня успокаивает мысль, на которую намекнул д'Артаньян, и мне кажется, я уже угадываю ее.

– Посмотрим, – сказал мушкетер, подставляя свое ухо к губам Арамиса.

Прелат торопливо прошептал несколько слов, на которые д'Артаньян тихо ответил:

– Это самое.

– Значит, без промаха! – радостно вскричал ваннский епископ.

– Используйте сумятицу, которую вызовет осуществление этого плана, и уладьте ваши дела, Арамис.

– О, на этот счет будьте спокойны.

– А теперь, сударь, – обратился д'Артаньян к офицеру, – примите от нас тысячу благодарностей. Вы приобрели трех друзей, готовых служить вам до гробовой доски.

– Да, – подтвердил Арамис.

Портос промолчал; он только кивнул головой.

Нежно поцеловав на прощание друзей, д'Артаньян, сопровождаемый своим неразлучным спутником, которого приставил к нему Кольбер, покинул Бель-Иль.

Таким образом, кроме того объяснения, которым пожелал удовольствоваться достойный Портос, ничто, казалось, не изменилось в судьбе трех старых товарищей, очутившихся во враждующих станах.

«Впрочем, – усмехнулся Арамис, – существует еще мысль д'Артаньяна».

Д'Артаньян, возвращаясь к себе на корабль, всесторонне обдумывал эту самую идею,

совсем недавно пришедшую ему в голову. Что до офицера, то он хранил почтительное молчание, не мешая д'Артаньяну предаваться своим размышлениям.

Поднимаясь на борт корабля, стоявшего на якоре на пушечный выстрел от бастиона Бель-Иля, капитан мушкетеров, подводя итог своим размышлениям, перебирал в уме имеющиеся в его распоряжении средства нападения и защиты. Немедленно по прибытии он созвал военный совет, который состоял из офицеров, находившихся в его подчинении.

Их было восемь: начальник морских сил, майор, командовавший артиллерией, инженер, известный уже нам офицер и четверо лейтенантов.

Собрав их всех в кормовой каюте, д'Артаньян встал, снял шляпу и начал в следующих выражениях:

– Господа, я побывал на Бель-Иле и видел там хорошо обученный и значительный гарнизон в полной готовности к обороне, которая может стать для нас крайне затруднительной. Поэтому я намерен послать за двумя главными офицерами этой крепости, предполагая вступить с ними в переговоры.

Оторвав их от войск и от пушек, мы легче сможем найти приемлемое для обеих сторон соглашение, особенно если поставим себе задачу воздействовать на них разумными доводами. Согласны ли вы со мной, господа?

Поднялся артиллерийский майор, который почтительно, но твердо сказал:

– Сударь, из вашего сообщения я узнал, что крепость готовится к затруднительной для нас обороне. Итак, вы положительно знаете, что крепость решается на мятеж?

Д'Артаньян явно раздосадовал этот вопрос, но он был по из тех, кого легко сбить подобной безделицей, поэтому мушкетер ответил:

– Сударь, ваше замечание соответствует истине. Но вам, конечно, известно, что Бель-Иль-ан-Мер – вассальное владение господина Фуке и что короли Франции еще в очень давние времена пожаловали сеньорам Бель-Иля право вооружаться в своих владениях.

Майор хотел возразить.

– Не перебивайте меня, – остановил его д'Артаньян, – вы, разумеется, скажете, что право вооружаться против англичан не есть право вооружаться против своего короля. Но ведь мы имеем дело не с господином Фуке, и не он в данный момент заперся на Бель-Иле, поскольку третьего дня он был арестован мной. Жители и защитники Бель-Иля ничего не знают, однако, об этом аресте. И объявлять им о нем было бы совершенно бесполезной затеей.

Это такая неслыханная, неожиданная и необыкновенная вещь, что они все равно не поверили бы нашему сообщению. Бретонец служит своему господину, пока не увидит его покойником. Бретонцы же, сколько я знаю, не видели трупа господина Фуке. Поэтому совсем не удивительно, что они сопротивляются всему, что не является господином Фуке или его собственноручной подписью.

Майор поклонился в знак того, что соглашается с капитаном.

– Вот почему, – продолжал д'Артаньян, – я хочу пригласить к себе на корабль двух старших офицеров бель-ильского гарнизона. Они побеседуют с вами, увидят силы, находящиеся в нашем распоряжении; они, следовательно, узнают, какая участь ждет их в случае сопротивления. Мы поклянемся им честью, что господин Фуке действительно арестован и что всякое сопротивление с их стороны может лишь повредить ему. Мы заявим им также, что, дав хотя бы один-единственный пушечный выстрел, они не смогут рассчитывать на милосердие короля. Тогда – по крайней мере, я на это надеюсь они не станут сопротивляться. Они сдадутся без боя, и мы мирным путем овладеем крепостью, взятие которой может стоить нам весьма дорого.

Офицер, сопровождавший д'Артаньяна при посещении Бель-Иля, попытался что-то сказать, но д'Артаньян перебил его:

– Я знаю, с чем вы собираетесь выступить, сударь; я знаю, что есть приказ короля, воспрещающий тайные сношения с защитниками Бель-Иля; зная об этом, я предлагаю вести с ними переговоры в присутствии всего моего штаба.

Офицеры переглянулись, как бы затем, чтобы прочесть мысли друг друга и, если их

мнения совпадут, молчаливо договориться между собой, а затем поступить согласно желанию д'Артаньяна. Охваченный радостью, он думал уже о том, что в результате согласия с их стороны можно будет послать судно за Портосом и Арамисом, как друг офицер короля вынул из-за пазухи запечатанный пакет и вручил его д'Артаньяну.

На нем под адресом стоял N 1.

– Что тут еще? – пробормотал застигнутый врасплох капитан.

– Прочтите, сударь, – попросил офицер с не лишеной грусти учтивостью.

Д'Артаньян недоверчиво развернул бумагу и прочел следующие слова:

«Запрещение 2-ну д'Артаньяну собирать какой бы то ни было совет или вести какие бы то ни было переговоры до тех пор, пока Бель-Иль не сдастся и все пленные не будут расстреляны.

Подписано: Людовик».

Д'Артаньян сдержал негодующее движение и сказал с самой любезной улыбкой:

– Хорошо, сударь. Будет сделано в соответствии с приказом его величества.

Глава 25.

СЧАСТЛИВЫЕ МЫСЛИ, ОСЕНИВШИЕ Д'АРТАНЬЯНА, И СЧАСТЛИВЫЕ МЫСЛИ, ОСЕНИВШИЕ КОРОЛЯ

Удар был нанесен метко; он был жестоким, он был роковым. Д'Артаньян, взбешенный тем, что ему помешала счастливая мысль, осенившая короля, не впал, однако, в отчаяние и, вспомнив о счастливой мысли, осенившей его самого на Бель-Иле, придумал еще один способ спасения своих попавших в беду друзей.

– Господа, – внезапно сказал он, обращаясь к собравшимся офицерам, раз пополнение своих тайных приказов король поручил не мне, а другому лицу, это значит, что я больше не пользуюсь королевским доверием, и я действительно был бы недостоин его, если бы имел смелость и впредь сохранять за собою командование, сталкиваясь на каждом шагу со столь оскорбительными для меня подозрениями. Поэтому я решаю немедленно отправиться к королю и попросить его об отставке. Итак, заявляя об этом в вашем присутствии, приказываю отступить к берегам Франции, чтобы не рисковать силами, которые мне вверил его величество. Возвращайтесь на свои корабли и готовьтесь к отплытию! Через час начнется прилив. По местам, господа, по местам! Полагаю, – добавил он, видя, что все, кроме бдительного офицера, готовы повиноваться ему, – полагаю, что на этот раз у вас нет никакого приказа, который давал бы вам основание возражать.

Произнося эти слова, д'Артаньян был почти уверен, что победа осталась за ним. Этот план приносил спасение его несчастным друзьям. Блокада будет снята, и они смогут сесть на корабль и спокойно отплыть на всех парусах в Англию или Испанию, и никто им в этом не воспрепятствует. И пока они будут плыть, находя спасение в бегстве, он, д'Артаньян, предстанет пред королем и объяснит свое возвращение негодованием, в которое его повергло недоверие, оказываемое ему Кольбером. Король отправит его назад, снабдив на этот раз неограниченной властью, и он овладеет Бель-Илем, то есть опустевшею клеткой, из которой птички выпорхнули на волю.

Но этому плану офицер противопоставил новый королевский приказ, приказ N 2, гласивший:

«Будет 2-н д'Артаньян изъявит желание сложить с себя свои полномочия, не считать его с этого момента и впредь начальником экспедиции; всем подчиненным ему офицерам предлагается в этом случае оказывать неповиновение его воле. Кроме того, вышеупомянутый 2-н д'Артаньян, утратив звание командующего войсками, посланными против Бель-Иля, обязан немедленно возвратиться во Францию в сопровождении офицера,

которым поучит этот приказ. Этот офицер будет рассматривать его как арестованного, за которую он отвечает».

Д'Артаньян, смелый и беспечный д'Артаньян побледнел. Вое было рассчитано с таким глубоким предвидением, что впервые за тридцать лет ему вспомнились непогрешимая предусмотрительность и неумолимая логика великого кардинала.

Он опустил голову на руку, задумавшись, едва дыша.

«Если я положу этот приказ в карман, – подумал он, – кто узнает о нем и кто сможет этому помешать? И прежде чем король будет об этом осведомлен, мои бедные друзья успеют спастись. Смелее, побольше решительности!

Моя голова не из тех, которые падают за послушание под топором палача.

Была не была, послушаюсь!»

Но когда он готов был уже принять это решение, он увидел, что все офицеры вокруг него читают тот же приказ, только что розданный им – этим адским исполнителем воли Кольбера. Случай послушания был предусмотрен, как и все прочие.

– Сударь, – поклонился подошедший к нему все тот же роковой офицер, сударь, я жду, когда вам будет угодно отправиться вместе со мной.

– Я готов, – со скрежетом зубовным проговорил капитан.

Офицер тотчас же приказал подать шлюпку, прибывшую за д'Артаньяном.

При виде ее д'Артаньян чуть не обезумел от бешенства.

– Но кто же, – пробормотал он, – кто возьмет на себя руководство всей экспедицией в целом?

– После вашего отъезда, сударь, – отвечал командир эскадры, – начальствовать над экспедицией поручается мне. Такова воля его величества.

– В таком случае, сударь, последний из имеющихся прет мне приказов предназначается вам. Соболаговолите предъявить свои полномочия, – попросил посланец Кольбера.

– Вот они, – ответил моряк, показывая доверенному лицу Кольбера бумагу за подписью короля.

– Возьмите ваши инструкции, – сказал офицер, вручая ему пакет.

И, повернувшись к д'Артаньяну, он не без волнения в голосе – настолько трогало его отчаянье этого железного человека – молвил:

– Сделайте одолжение, сударь, поедem!

– Сейчас, – произнес убитым голосом побежденный, поверженный наземь неумолимой судьбой д'Артаньян.

И он сошел на небольшое суденышко, которое стремительно понеслось к берегам Франции, подгоняемое приливом и свежим попутным ветром.

Несмотря на все происшедшее, мушкетер не терял надежды, что им удастся очень быстро добраться до короля и что он успеет еще, употребив все свое красноречие, склонить короля, чтобы он пощадил его несчастных друзей.

Шлюпка летела, как ласточка. На фоне белых ночных облаков д'Артаньян ясно различал уже черную линию французского берега.

– Ах, сударь, – обратился он к офицеру, с которым за целый час не обменялся ни словом, – что бы я дал, лишь бы знать инструкции, полученные новым командующим. Надеюсь, что они проникнуты стремлением к миролюбию, не так ли?.. И...

Он не кончил. Над морем прокатился далекий пушечный выстрел, за ним второй, потом еще два или три более сильных.

– По Бель-Илю открыт огонь, – проговорил офицер.

Суденышко причалило к французской земле.

Глава 26. ПРЕДКИ ПОРТОСА

Расставшись с д'Артаньяном, Арамис и Портос, желая все сверить без стеснения, ушли в главный форт. Озабоченность, в которой все еще пребывал Портос, повергала в смущение Арамиса. Что до него, то после свидания с д'Артаньяном у него отлегло от сердца, и он был спокойнее, чем когда бы то ни было за все последнее время.

— Дорогой Портос, — начал он, внезапно нарушая молчание, — я хочу рассказать вам о плане, придуманном д'Артаньяном.

— О каком плане, друг Арамис?

— Плане, которому мы будем обязаны нашей свободой; ее мы обретем не позже чем через двенадцать часов.

— А, вот вы о чем! Ну что ж, говорите!

— Вы заметили, наблюдая сцену, имевшую место между нашим другом и офицером, что существуют известные приказы, стесняющие действия д'Артаньяна по отношению к нам?

— Заметил.

— Так вот, д'Артаньян хочет заявить королю об отставке, и во время замешательства, которое будет вызвано его отъездом, мы выйдем в море или, вернее, вы, Портос, выйдете в море, если окажется, что бежать можно лишь одному.

Портос, покачив головой, ответил:

— Мы спасемся вместе, друг Арамис, или вместе останемся.

— У вас благородное сердце, — сказал Арамис, — но ваше мрачное беспокойство огорчает меня.

— Я не обеспокоен.

— В таком случае вы сердитесь на меня?

— Нисколько.

— Тогда, дорогой друг, откуда этот унылый вид?

— Сейчас объясню: я составляю свое завещание.

И с этими словами славный Портос с грустью посмотрел в глаза Арамису.

— Завещание! — воскликнул епископ. — Неужели вы считаете себя погибшим?

— Я чувствую усталость. Это со мною впервые, а в моем роду обычно бывало... Мой дед был втрое сильнее меня.

— О, значит, ваш дед был Самсон.

— Нет, его звали Антуан. Однажды, приблизительно в моем возрасте, собравшись на охоту, он почувствовал слабость в ногах, чего никогда до этого с ним не случилось.

— Что же означало это недомогание, друг мой?

— Ничего хорошего, как увидите. Все еще жалуясь на слабость в ногах, он встретился с вепрем, который пошел на него; дед выстрелил из аркебузы, но промахнулся, и зверь распорол ему живот. Дед умер на месте.

— Но из этого вовсе не следует, что и вы имеете основания тревожиться за себя.

— О, сейчас вы поймете. Мой отец был вдвое сильнее меня. Это был суровый солдат, служивший Генриху Третьему и Генриху Четвертому; звали его не Антуан, а Гаспар, как господина де Колиньи. Всегда на коне, он не знал, что такое усталость. Однажды вечером, вставая из-за стола, он почувствовал, что у него подкашиваются ноги.

— Быть может, он за ужином чуточку переусердствовал и потому немного пошатывался?

— Что вы! Друг господина де Бассомпьера? Да разве это возможно? Нет, говорю вам, совсем не то; он удивился и сказал матери, которая посмеивалась над ним: «Может быть, и я также увижу вепря, как мой покойный отец, господин дю Валлон». И, преодолев эту слабость, он пожелал сойти в сад, вместо того чтобы лечь в постель; на первой же ступеньке у него опять подкосились ноги; лестница была крутая; отец ударился о каменный выступ, в который был вделан железный крюк. Крюк раскроил ему череп, он умер на месте.

— Тут и в самом деле два поразительных случая рокового стечения обстоятельств, но давайте не будем делать из этого вывод, что нечто подобное может иметь место и в третий раз. Человеку вашей физической силы, Портос, не к лицу быть столь суеверным. К тому же совсем не заметно, чтобы ваши ноги подкашивались. Никогда еще вы не держались так прямо и не

имели такого великолепного вида. Вы могли бы снести на плечах целый дом.

– В данную минуту я чувствую себя хорошо – это верно, но только что я пошатывался и колени у меня подгибались, и за короткое время это случилось со мною четыре раза. Не сказал бы, что это пугает меня, но – черт возьми! – это чрезвычайно досадно. Жизнь – приятная вещь. У меня есть деньги, есть прекрасные земли, есть любимые лошади, есть друзья, которых я очень люблю: д'Артаньян, Атос, Рауль и вы.

Чудесный Портос даже не считал нужным скрывать, какое в точности место занимает Арамис в его сердце.

Арамис пожал ему руку.

– Мы проживем еще долгие годы, – сказал ваннский епископ, – дабы сохранить для мира образцы редкостных ныне людей. Доверьтесь мне, дорогой мой друг» У пас нет ответа от д'Артаньяна, и это хороший знак. Он, должно быть, приказал уже кораблям собраться всем вместе и очистить море.

Что до меня, то я только что отдал распоряжение перекатить на катках баркас к выходу из большого подземелья Локмария, того самого, вы его знаете, где мы столько раз устраивали засаду на лисиц.

– Да, помню; оно выходит к небольшой бухточке, к которой ведет узкий и тесный проход, открытый нами в тот день, когда от пас ускользнула га восхитительная лисица.

– Вот именно: в этом подземелье и будет укрыт, на случай несчастья, баркас; он должен быть уже там. Мыждемся благоприятному моменту, и этой же ночью – в открытое море!

– Мысль хорошая, но что она даст?

– А вот что: никто на всем острове, кроме нас с вами да еще двух-трех охотников, не знает этой пещеры или, вернее, выхода из нее; и, таким образом, в случае занятия острова разведчики, не обнаружив ни одного судна, решат, что бежать с острова невозможно, и перестанут охранять берега.

– Понимаю.

– Ну, как ваши ноги?

– О, сейчас превосходно!

– Вот видите, все за то, чтобы к нам возвратились спокойствие и надежда; д'Артаньян очищает море и предоставляет нам свободный проход. Теперь можно не опасаться ни королевского флота, ни высадки на Бель-Иль десанта. Ей-богу, Портос, пас ожидает еще целых полвека чудеснейших приключений! И если я доберусь до испанской земли, – добавил епископ с небывалой энергией, – клянусь вам, ваше герцогство не так уж фантастично, как это может казаться.

– Будем надеяться, – ответил Портос, несколько приободренный тем, что его товарищ обрел прежний пыл.

Вдруг раздался крик:

– К оружию!

Этот крик, повторяемый сотнею голосов, долетел до слуха обоих друзей, посеяв в одном из них изумление, в другом – беспокойство.

Арамис отворил окно; он увидел толпу бегущих с факелами людей. Женщины торопились уйти подальше, вооруженные мужчины занимали свои места.

– Флот, флот! – крикнул, узнав Арамиса, пробежавший мимо солдат.

– Флот?

– Па пушечный выстрел! Где там, на половину его!

– К оружию! – закричал Арамис.

– К оружию! – громовым голосом повторил Портос.

И оба бросились к молу, чтобы укрыться от неприятеля на батарее. Они увидели, как приближались шлюпки с солдатами, эти шлюпки шли в трех направлениях, очевидно, с тем чтобы начать высадку сразу в трех пунктах острова.

– Что прикажете предпринять? – подбежал к Арамису офицер-артиллерист.

– Предупредите их и, если они не пожелают остановиться, открывайте огонь.

Через пять минут началась канонада. Это и были те самые выстрелы, которые услышал д'Артаньян, приближаясь к берегам Франции.

Шлюпки, однако, находились на таком близком расстоянии от батареи, что ядра не причиняли им никакого вреда; они причалили; завязался бой, местами переходивший в рукопашную схватку.

– Что с вами, Портос? – спросил Арамис своего Друга.

– Ничего... ноги... это совершенно непостижимо... но это пройдет, когда мы начнем стрельбу.

И Арамис вместе с Портосом прицелились; они стреляли с такою меткостью и так воодушевляли людей, что королевские солдаты бросились к своим шлюпкам и отчалили, не унося с собой ничего, кроме раненых.

– Ах, черт возьми! Портос, – кричал Арамис, – нам нужен пленный, скорее, скорее!

Портос нагнулся над лестницей мола, ведущей к причалу, и схватил за шиворот одного из офицеров королевской армии, который дожидался, пока его солдаты усядутся в шлюпку, чтобы войти в нее последним. Рука гиганта подняла эту добычу, послужившую Портосу своего рода щитом, поскольку никто не решился в него стрелять.

– Получайте пленного, – обратился Портос к Арамису.

– Вот и отлично! – воскликнул, смеясь, Арамис. – Клевещите-ка теперь на свои ноги!

– Но ведь я схватил его не ногами, – грустно улыбнулся Портос, – а рукой.

Глава 27. СЫН БИКАРА

Бретонцы были очень горды этой победой, но Арамис не обнадеживал их.

– Король, – сказал он Портосу, когда все разошлись по домам, – узнав о сопротивлении, распалится безудержным гневом, и после взятия острова, что неизбежно, все эти славные люди будут уничтожены огнем и мечом.

– Отсюда следует, что наши действия бесполезны? – опросил Портос.

– Пока что они, несомненно, принесли пользу, так как у нас есть пленный, – ответил епископ, – и от него мы узнаем о планах наших врагов.

– Давайте допросим этого пленного. Способ заставить его говорить весьма прост: пойдем ужинать и пригласим его с нами: за вином он не замедлит заговорить.

Они так и сделали. Офицер сначала был явно встревожен, но, увидев, с какими людьми он имеет дело, в скором времени успокоился. Не боясь скомпрометировать себя чрезмерною откровенностью, он подробно рассказал об отставке и отбытии во Францию д'Артаньяна. Он сообщил и о том, как после отъезда мушкетера новый командующий приказал напасть на Бель-Иль.

На этом его показания, естественно, обрывались.

Арамис и Портос обменялись взглядом, выражавшим отчаяние. Нечего больше рассчитывать на знаменитое воображение д'Артаньяна, нечего, следовательно, надеяться, в случае поражения, на его помощь!

Продолжая допрос, Арамис осведомился у пленного о намерениях королевских военачальников в отношении тех, кто распоряжается на Бель-Иле.

– Приказ, – отвечал офицер, – в бою убивать, после боя вешать.

Арамис и Портос снова переглянулись; кровь бросилась им в лицо.

– Я слишком легок для виселицы, – усмехнулся Арамис, – таких, как я, не повесишь.

– А я слишком тяжел, – сказал Портос, – такие, как я, обрывают веревку.

– Я уверен, – учтиво заметил пленный, – что мы были бы снисходительны и предоставили бы род смерти вашему выбору.

– Тысяча благодарностей, – серьезно проговорил Арамис.

Портос поклонился.

– Еще по стаканчику, за ваше здоровье, – предложил он и выпил.

В таких разговорах коротали они время за ужином.

Офицер, оказавшийся человеком умным, понемногу поддавался обаянию ума Арамиса и сердечного простодушия великана Портоса.

– Проспите меня, – начал он, – за вопрос, который я собираюсь задать, но люди, допивающие совместно шестую бутылку, имеют, пожалуй, право немножко забыться.

– Задавайте же ваш вопрос, задавайте! – разрешил Портос.

– Говорите, – добавил ваннский епископ.

– Не служили ли вы, милостивые государи, в мушкетерах покойного короля?

– Да, сударь, мы были королевскими мушкетерами, и превосходными мушкетерами, – ответил Портос.

– Это верно; больше того, я сказал бы, что вы были лучшими среди лучших, когда б не боялся оскорбить память моего отца.

– Вашего отца! – воскликнул Арамис.

– Знаете ли вы, как меня зовут?

– Нет, сударь, но если вы скажете...

– Меня зовут Жорж де Бикара.

– Ах! – вскричал Портос. – Бикара! Помните ли вы, Арамис, это имя?

– Бикара! – задумался Арамис. – Мне кажется...

– Вспомните хорошенько, сударь, – испросил офицер.

– Это нетрудно! – воскликнул Портос. – Бикара, по прозвищу Кардинал... один из четырех явившихся воспрепятствовать нам в тот день, когда мы со шпагой в руке познакомились с д'Артаньяном.

– Совершенно верно, господа.

– Это был единственный, – улыбнулся Арамис, – кого мы не ранили.

– Из этого следует, что он был превосходным воякой.

– Эта правда, сущая правда, – одновременно заметили оба друга. – Господин де Бикара, мы весьма рады познакомиться с сыном столь храброго человека.

Бикара пожал руки, протянутые ему бывшими мушкетерами. Арамис взглянул на Портоса, и его взгляд говорил: «Вот человек, который поможет нам».

– Согласитесь, сударь, – обратился он к офицеру, – что отрадно быть честным всегда и везде?

– Мой отец, сударь, постоянно повторял то же самое.

– Согласитесь также, что довольно печально столкнуться с людьми, которых ждет смерть от мушкета или веревки, и узнать, что эти люди – старинные знакомый вашего уважаемого отца, знакомые, доставшиеся вам от него, так сказать, по наследству.

– О, вы не обречены на такую ужасную участь, друзья мои, – возразил молодой человек.

– Ба! Но ведь вы сами сказали об этом.

– Я говорил это час назад, когда совершенно не знал вас, а теперь, когда я вас знаю, я говорю: вы избегнете этой горестной участи, если сами тою пожелаете.

– Как это, если сами того пожелаем? – вскричал Арамис, в глазах которого загорелось нетерпение. Произнося эти слова, он попеременно смотрел на Портоса и офицера.

– Лишь бы, – сказал Портос, глядя, в свою очередь, с благородным бесстрашием на Бикара, – лишь бы от нас не потребовали чего-нибудь унижительного.

– От вас ничего не потребуют, господа, – продолжал офицер королевской армии. – В самом деле, какие требования можно к вам предъявлять? Если вас найдут, то предадут смерти; постарайтесь же, чтобы вас не нашли.

– Полагаю, – с достоинством проговорил Портос, – полагаю, что я нисколько не ошибусь, если скажу: чтобы найти нас, нужно сначала проникнуть сюда.

– Вы совершенно правы, друг мой, – медленно произнес Арамис, все еще испытующе глядя на Бикара, который хранил молчание и которому было явно не по себе. – Вам хочется, господин де Бикара, рассказать нам о чем-то важном, сделать нам какое-то весьма существенное признание, но вы не решаетесь на него, разве не так?

– Милостивые государи, друзья! Если я позволю себе полную откровенность, то нарушу присягу. И все же я слышу голос, который заглушает мои сомнения и велит решиться на это.

– Пушки! – воскликнул Портос.

– Пушки и мушкетная трескотня! – подтвердил Арамис.

Откуда-то издалека, со скал, донеслись зловещие звуки боя, но уже через мгновение все затихло.

– Что это? – спросил Портос.

– То, чего я больше всего опасался, – ответил Арамис. – Ведь атака, произведенная вашими солдатами, сударь, – продолжал он, обращаясь к Бикара, – была всего-навсего демонстрацией? И в то время, как ваши отряды отходили, уступая нашему натиску, вы были уверены, что вам удастся высадиться на другой стороне острова?

– Да, и в нескольких пунктах.

– В таком случае мы погибли, – спокойно заметил ваннский епископ.

– Погибли! Это возможно, – согласился Портос. – Но ведь нас еще не схватили и не повесили.

И с этими словами он встал из-за стола, подошел к стене, хладнокровно снял с нее свою шпагу и пистолеты и принялся осматривать их с тщательностью старого опытного солдата, идущего в бой и понимающего, что жизнь его в значительной мере зависит от качества и состояния оружия, с которым он пойдет на врага.

При первых же пушечных выстрелах, при известии о том, что остров может быть внезапно захвачен королевскими войсками, растерявшаяся толпа устремилась в ворота форта. Народ искал у своих вождей помощи и совета.

В окне, выходящем на главный двор, заполненный ожидающими приказаний солдатами и растерянными, умоляющими о помощи местными жителями, между двумя ярко горящими факелами показался бледный и подавленный Арамис.

– Друзья мои, – начал д'Эрбле с мрачной торжественностью, отчетливо произнося каждое слово, – друзья, господин Фуке, ваш покровитель, ваш друг и отец, по приказу короля арестован и брошен в Бастилию.

Продолжительный крик, исполненный ярости и угрозы, донесся до окна, перед которым стоял епископ, и этот крик вызвал в нем ответное чувство.

– Отомстим же за господина Фуке! – кричали в толпе наиболее пылкие. Смерть королевским солдатам!

– Нет, друзья, нет, – сурово сказал Арамис, – нет, не надо сопротивления. Король – хозяин у себя в королевстве. Король – исполнитель божественной воли. Бог и король поразили господина Фуке. Склонитесь же пред волей господней. Любите бога и короля, поразивших господина Фуке.

Не мстите за вашего господина, не стремитесь отомстить за него. Вы напрасно пожертвуете собой, напрасно принесете в жертву ваших жен и детей, ваше имущество, вашу свободу. Сложите оружие, друзья мои! Сложите оружие, раз таков приказ короля, и мирно расходитесь по вашим домам! Это я вас прошу об этом, это я настаиваю на этом, и, если без этого не обойтись, я приказываю вам это от имени господина Фуке.

В толпе, собравшейся под окном, прокатился продолжительный гул, порожденный гневом и ужасом.

– Солдаты короля Людовика Четырнадцатого проникли на остров, – продолжал Арамис. – Теперь между вами и ими было бы уже не сражение, а резня. Идите и забудьте о мщении. На этот раз я приказываю вам это именем господа бога.

Мятежники, безмолвные и покорные, медленно расходились.

– Но, черт подери! Что вы сказали! – воскликнул Портос.

– Сударь, – обратился к епископу Бикара, – сударь, вы спасаете здешних жителей, но не спасаете ни себя, ни вашего друга.

– Господин де Бикара, – молвил с исключительным благородством и такой же учтивостью ваннский епископ, – господин де Бикара, будьте любезны считать себя с этой

минуты свободным.

– Чрезвычайно охотно, но...

– Но вы окажете этим услугу и нам, ибо, сообщив начальнику экспедиции, представляющему здесь короля, о покорности жителей острова, вы не преминете, конечно, рассказать ему и о том, как эта покорность была достигнута, и тем самым добьетесь и для нас какой-нибудь милости.

– Милости! – вскричал с горящими от гнева глазами Портос. – Милости!

Но откуда вы взяли подобное слово?

Арамис резко дернул за локоть своего давнего друга, как он делал это не раз в незабвенные дни их молодости, когда хотел показать Портосу, что он допустил или собирается допустить какой-нибудь промах. Портос понял и замолчал.

– Я отправляюсь, – согласился Бикара, также несколько удивленный словом милость, слетевшим с уст гордого мушкетера, славные деяния которого он сам всего несколько мгновений назад так восхвалял.

– Отправляйтесь, господин де Бикара, – сказал Арамис, раскланиваясь с ним на прощанье, – и, покидая нас, примите изъявление нашей глубокой признательности.

– Но вы, господа, вы, кого я имею честь называть своими друзьями, поскольку вы сообразовали даровать мне это лестное право, что станется с вами? – спросил взволнованный офицер, прощаясь со старыми знакомыми и долгими противниками своего отца.

– Мы не уйдем отсюда.

– Но, боже мой! Приказ в отношении вас не оставляет места сомнениям!

– Я ваннский епископ, господин де Бикара, а в наши дни епископа не расстреливают, как не вешают дворянина.

– Да, да, сударь, да, монсеньер, вы правы, конечно, вы правы; вы располагаете еще этой возможностью спасти свою жизнь. Итак, я отправляюсь к начальнику экспедиции. Прощайте же, господа, или, правильнее сказать, до свидания!

С этими словами офицер вскочил на коня, оседланного для него по приказанию Арамиса, и поскакал в том направлении, откуда донеслись выстрелы, прервавшие беседу обоих друзей с их благородным пленником.

Арамис посмотрел ему вслед и, оставшись наедине с Портосом, сказал:

– Итак, вы понимаете?

– Нет, клянусь честью, не понимаю.

– Разве Бикара не стеснял нас своим присутствием?

– Нет, ведь он славный малый.

– Согласен. Но разве необходимо, чтобы всему свету было известно о пещере Локмария?

– Ах, вот вы о чем! Это верно; теперь понимаю. Значит, мы спасаемся в нашей пещере.

– Если вы понимаете, – возбужденно проговорил Арамис, – в дорогу, друг Портос! Баркас ожидает нас, и мы еще не схвачены королем.

Глава 28. ПЕЩЕРА ЛОКМАРИЯ

От мола до пещеры Локмария было не близко, и обоим друзьям пришлось затратить немало сил, пока они добрались до нее.

Было поздно; в форту пробило двенадцать; Портос и Арамис были обременены золотом и оружием. Они шли по прибрежной пустоши, тянувшейся от мола до самого входа в пещеру; каждый шорох заставлял их настораживаться, так как они опасались засад.

Слева тянулась дорога, которой они тщательно избегали. Время от времени на ней появлялись беженцы, выгнанные из расположенных в глубине острова домов грозным известием о высадке королевских солдат. Укрываясь за скалами, Арамис и Портос ловили слова этих несчастных, трепетавших за свою жизнь и уносивших на себе самое ценное из своего скудного скарба, и старались извлечь, вслушиваясь в их горестные стенания, полезные

для себя сведения.

Наконец после поспешного перехода с несколькими остановками, к которым их побуждала осторожность, Арамис и Портос достигли глубоких пещер, куда предусмотрительный ваннский епископ распорядился перекатить на катках добротный баркас, способный в это спокойное время года выдержать плавание по открытому морю.

– Дорогой друг, – сказал Портос, отдышавшись до того шумно, что можно было подумать, будто по соседству кто-то раздувал кузнечные мехи, – вы, кажется, упоминали о трех слугах, которые должны сопутствовать нам. Я их что-то не вижу. Где же они?

– Вы их и не могли бы увидеть, дорогой Портос. Они дожидаются нас в пещере и сейчас, надо полагать, отдыхают после столь утомительной и хлопотливой работы.

И Арамис остановил Портоса, который собрался было спуститься в пещеру.

– Нет, Портос! Позвольте мне пройти первому. Дело в том, что вы не знаете условного знака, о котором я договорился с моими людьми, и они, не слыша его, вынуждены будут стрелять или, пользуясь темнотой, бросят в вас нож.

– Идите, дорогой Арамис, идите вперед, вы, как всегда, – воплощенная мудрость и осторожность. К тому же я снова ощущаю слабость в ногах, о которой я уже говорил.

Усадив Портоса на камень у входа в пещеру, Арамис, пригнувшись, проник в нее и закричал по-совиному. Из глубины подземного хода ему ответило жалобное воркованье и едва различаемый вскрик. Арамис осторожно пошел вперед и вскоре был остановлен таким же криком совы, как тот, которым епископ первым возвестил о себе. О ют крик раздался в десяти шагах от него.

– Вы здесь, Ив? – спросил епископ.

– Да, монсеньер. Генек и сын также со мной.

– Хорошо. У вас все готово?

– Да, монсеньер.

– Идите к выходу из пещеры, мой славный Ив. Там вы найдете господина де Пьерфона; он отдыхает, устав от ходьбы. Если окажется, что он не в силах передвигаться самостоятельно, возьмите его на плечи и принесите сюда.

Три бретонца пошли исполнять приказание. Но предусмотрительность Арамиса оказалась излишней. Отдохнувший Портос уже начал спускаться по подземному ходу, и его тяжелые шаги гулко отдавались под сводами, опиравшимися на естественные колонны из гранита и кварца.

Как только барон подошел к епископу, бретонцы зажгли захваченный ими с собою фонарь, и Портос уверил своего друга, что он чувствует в себе столько же сил, как всегда.

– Осмотрим баркас, – сказал Арамис, – и прежде всего проверим, все ли туда уложено.

– Не подносите слишком близко огня, – предупредил хозяин баркаса, которого звали Ив, – так как, следуя вашему предписанию, я поместил под кормовую скамьей бочонок пороху и заряды для наших мушкетов, которые вы прислали мне из форта.

– Хорошо, – согласился Арамис.

И, взяв в руки фонарь, он тщательно осмотрел баркас, с предосторожностями человека не робкого, но вместе с тем и не закрывающего глаза на опасность.

Лодка была длинная, легкая, небольшого водоизмещения и с узким килем – одним словом, из тех, какие всегда так искусно строили на Бель-Иле. У нее был высокий борт, она была устойчива, и подвижна, и снабжена щитами, из которых во время дурной погоды сооружалась своего рода палуба, защищающая гребцов от волны.

В двух плотно закрытых ящиках под носовой и кормовой скамьями Арамис нашел хлеб, печенье, сушеные фрукты, большой кусок сала и порядочный запас воды в бурдюках; всего этого было совершенно достаточно для людей, которые не собирались уходить далеко в открытое море и в случае необходимости имели возможность возобновить свои продовольственные запасы.

Оружие – восемь мушкетов и столько же пистолетов – находилось в отличном состоянии и было заранее заряжено. На всякий случай здесь были еще запасные весла и

небольшой парус.

Осмотрев все эти вещи и выразив свое удовлетворение, Арамис сказал:

– Давайте обсудим, дорогой Портос, как нам быть с нашим баркасом: попытаемся ли мы протащить его через неизвестное нам устье пещеры, следуя по имеющемуся в ней спуску, пли, быть может, лучше перекатить его на катках под открытым небом, проложив через вереск дорогу к берегу, который образует тут невысокий обрыв – но выше двадцати футов, – причем прямо под ним хорошее дно и вода, достигающая во время прилива глубины в двадцать пять – тридцать футов.

– Тут дело не только в этом, монсеньер, – почтительно проговорил Ив.

– Но я думаю, что, двигаясь по спуску в полнейшей тьме, мы не сможем с такою же легкостью обращаться с нашим баркасом, как если выберем путь под открытым небом. Я хорошо знаю тот берег, о котором вы говорите, и могу вас уверить, что он гладок, как садовый газон. Пещера же забита камнями; кроме того, монсеньер, устье ее, выводящее к морю, настолько узко, что наш баркас, может статься, и не пройдет.

– Я произвел обмер, – сказал ваннский епископ, – и знаю наверное, что он безусловно пройдет.

– Хорошо, монсеньер, соглашаюсь с вами, но ваше преосвященство знает, разумеется, и о том, что, если мы не свалим большого камня – того самого, под которым всегда проходит лисица и который загораживает собой устье, словно огромная дверь, – нам не протащить лодки к воде.

– Свалим, – успокоил их Портос, – это сущие пустяки.

– О, я знаю, что монсеньер обладает силою десятерых, только это будет трудно даже ему.

– Полагаю, что наш хозяин прав, – возразил другу Арамис, – попробуем протащить баркас по вересковой поляне.

– Тем более, монсеньер, – продолжал рыбак, – что нам никак не выбраться в море до наступления дня – столько еще у нас дел впереди. А когда рассветет, нам придется поставить где-нибудь повыше, над нашей пещерой, зоркого караульного – это совершенно необходимо – чтобы следить за движением подстерегающих нас врагов.

– Да, да, Ив, вы правы; действуйте, перекачиваете баркас туда, куда мы решили.

Подложив под лодку катки, трое дюжих бретонцев собрались уже тащить ее на новое место, как вдруг вдали послышался яростный лай собак. Арамис выбежал из пещеры, Портос торопливо пошел вслед за ним.

Заря окрашивала волны и расстилающуюся пред ними равнину в пурпур и перламутр; в полусвете виднелись кривые, чахлые, грустного вида ели, умудрившиеся вырасти на голых камнях, и большие стаи ворон, медленно размахивающих черными крыльями над тощими полями гречихи. До восхода солнца оставалось не более четверти часа. Проснувшиеся птички радостно щебетали, возвещая природе наступление дня.

Лай, прервавший работу трех рыбаков и заставивший Арамиса и Портоса выйти наружу, раздавался теперь в глубоком ущелье, приблизительно на расстоянии лье от пещеры.

– Это свора, – заметил Портос, – собаки бегут по какому-то следу.

– Что это значит? Кто охотится в такое тревожное время? – воскликнул Арамис.

– И особенно здесь, – подхватил Портос, – здесь, где ожидают прихода королевских солдат.

– А шум все приближается. Да, вы правы, Портос, собаки бегут по следу. Эй, эй! – внезапно закричал Арамис. – Ив, Ив, подите сюда!

Бросив каток, который он собирался подложить под баркас, когда крик епископа оторвал его от этого дела, Ив явился на зов Арамиса.

– Чья это охота, хозяин? – спросил Портос.

– Никак не возьму в толк, монсеньер. В такой момент сеньор Локмариин не стал бы охотиться. Нет, не стал бы, и, однако, собаки...

– Быть может, они вырвались из его псарни?

– Нет, – сказал подошедший Генск, – это не собаки сеньора Локмариин.

– Предосторожности ради вернемся в пещеру, – предложил Арамис, – лай приближается, и скоро мы узнаем в чем дело.

Они вернулись, но не прошли в темноте и каких-нибудь ста шагов, как до их слуха, донесся, звук, напоминающий глухой вздох человека: стремительная, задыхающаяся, перепуганная лисица мелькнула перед беглецами, как молния, и, перескочив через лодку, скрылась, оставив за собой резкий запах, в течение нескольких секунд сохранявшийся под низкими сводами подземного хода.

– Лисица! – крикнули бретонцы с радостным изумлением, свойственным всем охотникам.

– Проклятие! – воскликнул епископ. – Наше убежище обнаружено.

– Как? – спросил Портос. – Нам надо бояться лисицы?

– Ах, друг мой, о чем вы толкуете! Разве меня тревожит лисица? Дело не в ней, черт возьми. Неужели вам не известно, что за лисицей – собаки, а за собаками – люди?

Как бы в подтверждение слов Арамиса лай разъяренной своры, с невероятной быстротой преследовавшей зверя, стремительно приблизился. В то же мгновение на маленькой полянке перед входом в пещеру появилось свора разгоряченных собак; они наполнили ее неистовым лаем, напоминавшим победные звуки фанфар.

– Вот и собаки, – сказал Арамис, смотревший сквозь небольшое отверстие, пробитое между двумя смыкавшимися вплотную скалами. – Сейчас мы узнаем, кто же охотники.

– Если это сеньор Локмари, – заметил хозяин баркаса, – то он пустит своих собак внутрь пещеры, но сам сюда не войдет, так как знает по опыту, что лисица выйдет с другой стороны. Туда-то он и отправился, чтобы подстеречь ее появление.

– Это сеньор Локмари, – ответил, невольно бледнея, епископ.

– Кто же?

– Смотрите!

Портос прильнул глазом к отверстию и увидел на холме дюжину всадников, гнавших лошадей по следу собак и кричавших: «Ату, ату!»

– Гвардейцы! – воскликнул Портос.

– Да, друг мой, гвардейцы.

– Гвардейцы, вы говорите – гвардейцы! – всполошились, в свою очередь, побледнев, бретонцы.

– И во главе их Бикара на моем сером коне, – продолжал Арамис.

В этот момент собаки, точно лавина стремились в пещеру и огласили ее оглушительным лаем.

– Ах, черт! – вскричал Арамис, овладевший собою и возвративший себе при виде этой несомненной и неизбежной опасности все свое хладнокровие.

– Я знаю, что мы погибли, но у нас остаются все же кое-какие возможности. Если гвардейцы, последовав за собаками, увидят, что у пещеры есть выход, рассчитывать больше не на что, так как, ворвавшись сюда, они обнаружат и лодку, и нас самих. Нельзя, следовательно, допустить, чтобы собаки вышли отсюда, и нужно, чтобы их хозяева сюда не вошли.

– Это верно, – согласился Портос.

– Вы понимаете, – отвечал епископ резко и точно, будто отдавал приказ на поле боя, – здесь шесть собак, они задержатся возле большого камня, под которым проскользнула лисица; и там, в слишком узком для них проходе, они будут остановлены и убиты.

Бретонцы с ножами в руках устремились вперед. Через несколько минут слышались визг и предсмертные хрипы; потом все смолкло.

– Хорошо, – холодно заметил Арамис. – Теперь очередь за хозяевами.

– Что делать? – спросил Портос.

– Подождать их появления, спрятаться и убить.

– Убить? – повторил Портос.

– Их шестнадцать... пока их только шестнадцать.

– И хорошо вооруженных, – добавил Портос с улыбкой, свидетельствующей о том, что хоть в этом он находит для себя известное утешение.

– Это займет десять минут, – сказал Арамис.

И он с решительным видом взялся за мушкет, зажав зубами охотничий нож.

– Ив, Генек и его сын, – продолжал Арамис, – будут подавать нам мушкеты. Мы будем стрелять в упор. Мы сможем уложить восьмерых прежде, чем остальные узнают об этом; затем все вместе – а нас все-таки пятеро – мы ножами прикончим и остальных.

– А как же с беднягой Бикара? – поинтересовался Портос.

Арамис на секунду задумался, затем холодно произнес:

– Бикара первого; он знает нас, друг Портос.

Глава 29. ПЕЩЕРА

Несмотря на своего рода пророческий дар, который был замечательной чертой в характере Арамиса, события, как и все, что подвержено превратностям случая, развернулись иначе, чем предполагал ваннский епископ.

Бикара, конь которого был много лучше, чем кони его товарищей, доскакав раньше других до входа в пещеру, понял с первого взгляда, что и лиса и собаки – все исчезло в этой дыре. Но, пораженный тем суеверным страхом, который охватывает человека перед всяким подземным ходом, как, впрочем, и перед всякой тьмой, он остановился, решив подождать, пока соберутся все остальные.

– В чем дело? – закричали, не понимая причины его бездействия, запыхавшиеся от скачки охотники.

– Ничего особенного, только собак больше не слышно; надо думать, что и лисицу, и всю нашу свору поглотил этот подземный ход.

– Собаки идут по слишком хорошему следу, чтобы сбиться с него, – сказал один из гвардейцев. – К тому же мы бы слышали, как они тычутся то в одну, то в другую сторону. Надо думать, как говорит Бикара, что они и в самом деле проникли в эту пещеру.

– Но в таком случае, – спросил рослый молодой человек, – почему они не подают голоса?

– Это странно, – заметил другой.

– Ну что ж, – предложил третий, – давайте войдем в пещеру. Или, быть может, вход в нее воспрещен?

– Нет, – возразил Бикара, – но там темно, как в печной трубе, и к тому же в ней нетрудно свернуть себе шею.

– И подтверждение этому наши собаки, – добавил все тот же гвардеец. По-видимому, с ними это самое и случилось.

– Что за черт? Куда ж они делись? – воскликнули хором гвардейцы.

И хозяева пропавших собак принялись звать их по имени или свистать особым, известным им образом, но ни одна не откликнулась ни на зов, ни на свист.

– А что, если это заколдованная пещера! – вскричал Бикара. – Ну что ж! Посмотрим.

И, соскочив с коня, он вошел в нее.

– погоди, погоди! Я пойду с тобой! – крикнул один из гвардейцев, видя, что Бикара готов уже исчезнуть в ее полумраке.

– Нет, не надо, – отвечал Бикара, – тут и в самом деле что-то загадочное. Незачем рисковать всем сразу. Если через десять минут я не вернусь, входите, но в этом случае входите уже все вместе.

– Пусть так, – согласились с ним молодые люди, не видевшие в предприятии Бикара опасности для него. – Хорошо, мы подождем.

И, не сходя с лошадей, они собрались в круг возле входа в пещеру.

Между тем Бикара один, в полном мраке, ощупью пробирался по подземному ходу, пока

не наткнулся на мушкет Портоса. Препятствие, с которым встретила его грудь, удивило его, и, протянув руку, он ухватился за холодное как лед дуло мушкета.

Нож Ива был уже занесен над молодым человеком, и тот неминуемо пал бы от страшного удара бретонской руки, но в последний момент ее остановила железная рука Портоса. В непроглядной тьме послышался голос, похожий на глухое рычание:

– Не хочу, чтоб его убивали.

Бикара оказался между неведомым ему покровителем и тем, кто покушался на его жизнь; и тот и другой внушали ему одинаковый ужас. Несмотря на всю свою храбрость, он дико вскрикнул. Платок Арамиса, которым тот зажал ему рот, заставил его замолчать.

– Господин де Бикара, – зашептал ваннский епископ, – мы не хотим вашей смерти, и вы должны верить этому, если узнали нас, но при первом же слове, сорвавшемся с ваших уст, при первомestone, при первом вздохе мы будем вынуждены убить вас, как убили ваших собак.

– Да, господа, я вас узнаю, – так же шепотом ответил молодой человек.

– Но каким образом вы тут оказались? Что вы тут делаете? Несчастные!

Несчастные! Я считал, что вы в крепости.

– А вы, сударь, вы, сколько помнится, должны были добиться для нас известных условий?

– Я сделал, что мог, господа, но... но существует определенный приказ...

– Расправиться с нами?

Бикара ничего не ответил. Ему было тягостно говорить с дворянами о веревке.

Арамис понял молчание своего пленника.

– Господин Бикара, вы были бы уже трупом, если б мы не приняли во внимание вашу молодость и наши давние связи с вашим отцом; вы и теперь можете выйти отсюда, поклявшись, что не станете рассказывать вашим товарищам о том, что видели здесь.

– Не только клянусь, что ничего не стану рассказывать, – проговорил Бикара, – но клянусь также и в том, что сделаю все, лишь бы помешать им проникнуть сюда.

– Бикара! Бикара! – донеслось снаружи несколько голосов.

– Отвечайте! – приказал Арамис.

– Я здесь! – прокричал Бикара.

– Идите! Мы полагаемся на ваше честное слово.

Бикара двинулся по направлению к свету. В пещере показались силуэты нескольких человек. Бикара бросился навстречу друзьям, чтобы вернуть их назад. Он столкнулся с ними в начале подземного коридора, и который они уже успели войти.

Арамис и Портос насторожились, как люди, жизнь которых повисла на волоске.

Бикара, сопровождаемый своими друзьями, дошел до выхода из пещеры.

– О, о! – заметил один из них, когда они вышли на свет. – Какой же ты бледный!

– Бледный? – вскричал другой. – Ты хочешь сказать – зеленый!

– Что вы! – проговорил Бикара, стараясь взять себя в руки.

– Что, ради бога, скажи, что с тобой приключилось? – раздалось сразу несколько голосов.

– В твоих жилах, мой бедный друг, не осталось ни капли крови, – предположил кто-то.

– Господа, не шутите, ему сейчас станет дурно, и он грохнется в обморок. У кого есть нюхательная соль?

Все разразились хохотом. Все эти словечки, эти остроты носились вокруг бедного Бикара, как пули в гуще сражения. Пока продолжался этот ливень вопросов, Бикара успел немного прийти в себя.

– Что я, по-вашему, мог там увидеть? Мне было жарко, когда я спускался в эту пещеру, там меня сразу охватил ледяной холод, вот и все.

– Но собаки? Что случилось с собаками? Ты видел их? Ты что-нибудь знаешь о них?

– Они побежали, надо думать, другим путем.

– Господа, – начал один из молодых людей, столпившихся вокруг Бикара.

– Во всем этом, в бледности и молчании нашего друга заключена тайна, которую он не

может или не хочет открыть. Но, по-моему, дело ясное – Бикара что-то видел в пещере. Мне любопытно взглянуть, что же это такое, даже если это сам дьявол. В пещеру, друзья, в пещеру!

– В пещеру! – повторили за ним и все остальные.

Эхо донесло эти слова к Портосу и Арамису, воспринявшим их как грозное предупреждение. Бикара, устремившись вперед и загораживая дорогу товарищам, прокричал:

– Господа, господа! Ради бога, умоляю вас, не входите!

– Но что же страшного в этой пещере?

– Говори, Бикара!

– Несомненно, он видел в ней дьявола, – засмеялся тот, кто первым высказал это предположение.

– Если он и в самом деле видел в ней дьявола, пусть не будет в таком случае эгоистом, пусть позволит и нам поглядеть на него, – закричали со всех сторон.

– Господа, господа, умоляю вас! – настаивал Бикара.

– Дай же пройти!

– Умоляю вас, не входите!

– Ты же входил!

Конец этим препирательствам положил один офицер, человек более зрелого возраста, чем все остальные. Он все время молча стоял позади и до этого не промолвил ни слова. Выйдя вперед, он произнес невозмутимо спокойным тоном, составлявшим контраст с царившим кругом оживлением:

– Господа, в пещере действительно кто-то или что-то таится. Не будучи дьяволом, это нечто смогло заставить, однако, замолчать наших собак. Надо узнать, что же представляет собой это нечто.

Бикара сделал последнюю попытку не пустить в пещеру товарищей, но его усилия оказались напрасными. Тщетно цеплялся он за выступы скал, чтобы загородить проход своим телом; толпа молодых людей ворвалась в пещеру, следуя за офицером, который заговорил последним, но первым, со шпагой в руке, бросился навстречу Незримой опасности.

Бикара, отброшенный в сторону и лишенный возможности идти вслед за друзьями, так как в последнем случае он был бы в глазах Портоса и Арамиса предателем и Клятвопреступником, в мучительном ожидании, со все еще умоляюще протянутыми руками, прислонился к шероховатой стене утеса, надеясь, что и здесь его смогут поразить пули мушкетеров Людовика Тринадцатого.

Что до гвардейцев, то они уходили все дальше и дальше, и их голоса становились все глуше. Вдруг, прогремев под сводами, точно гром, раздался грохот мушкетов. Две-три пули расплющились об утес, у которого стоял Бикара. В то же мгновение послышались вопли, проклятья, стоны, и вслед за тем из подземелья стали выбегать офицеры. Иные из них были бледны как смерть, другие залиты кровью, и все окутаны густым дымом, валившим из глубины пещеры наружу.

– Бикара, Бикара! – кричали разъяренные беглецы. – Ты знал о засаде в пещере и не предупредил нас об этом! Бикара, ты причина смерти четверых наших! Горе тебе, Бикара!

– Это ты виноват в том, что меня ранили насмерть, – прохрипел один из молодых людей, собирая в горсть свою кровь и обрызгав ею лицо Бикара, пусть же кровь моя падет на тебя!

И он в агонии свалился у ног Бикара.

– Но скажи, скажи наконец, кто там скрывается! – слышалось несколько бешеных голосов.

Бикара молчал.

– Скажи или умрешь! – крикнул раненый, становясь на колени и поднимая на Бикара бессильный клинок.

Бикара подбежал к нему и подставил свою грудь под удар, но раненый упал с тем, чтобы никогда уже не подняться, испуская последний вздох.

Бикара с взъерошенными волосами, с блуждающим взглядом, окончательно потеряв рассудок, бросился внутрь пещеры, горестно восклицая:

– Да, да, вы правы! Меня нужно убить! Я допустил, чтоб погибли мои товарищи! Я подлец!

И, отшвырнув с силою шпагу, чтобы отдать свою жизнь не защищаясь, Бикара, опустив голову, прыгнул в темноту подземелья. Одиннадцать оставшихся в живых из шестнадцати устремились за ним.

Но им не удалось пройти дальше, чем первым: новый удар уложил на холодном песке еще пятерых, и так как не было никакой возможности определить, откуда вылетают эти смертоносные молнии, остальные отступили в неописуемом ужасе.

Но Бикара, живой и невредимый, не бежал с остальными; он сел на обломок скалы и стал ждать дальнейших событий.

Оставалось только шесть офицеров.

– Неужели, – заговорил один, – это и в самом деле сам дьявол?

– Гораздо хуже, – бросил в ответ другой.

– Давайте спросим у Бикара; ему это, бесспорно, известно – Но где он?

Молодые люди, осмотревшись вокруг, так и не нашли Бикара.

– Он убит! – раздалось два-три голоса.

– Нет, – возразил кто-то из офицеров. – Я видел его в дыму, уже после залпа; он в пещере; он уселся на камень; он дожидается нашего возвращения.

– Он, конечно, знает, кто там – Но откуда?

– Он был в плену у мятежников.

– Верно. Давайте позовем его и узнаем, кто наши враги.

И все принялись кричать:

– Бикара! Бикара!

Но Бикара не ответил.

– Хорошо, – сказал офицер, тот самый, который показал себя в этом деле столь хладнокровным, – он нам больше не нужен, сюда идут подкрепления.

И действительно, отряд гвардейцев, человек в семьдесят пять или восемьдесят, отставший от офицеров, которых увлек пыл охоты, приближался в полном порядке под начальством капитана и старшего лейтенанта. Пять офицеров подбежали к своим солдатам и, рассказав с вполне понятным волнением и красноречием о случившемся, обратились к ним с просьбой о помощи.

Капитан, перебив их, спросил:

– Где ваши товарищи?

– Пали.

– Но вас было шестнадцать.

– Десять убито, Бикара в пещере, остальные пять перед вами.

– Бикара в плену?

– Возможно.

– Нет, нет, вот он! Смотрите!

Бикара и в самом деле показался у выхода из пещеры.

– Он подает нам знак приблизиться, – заметили офицеры. – Идем!

И все направились к Бикара.

– Сударь, – обратился к нему капитан, – меня уверяет, будто вы знаете, кто те люди, которые так отчаянно защищаются в этой пещере. Именем короля приказываю оказать все, что вам известно.

– Господин капитан, – отвечал Бикара, – вы не должны больше давать мне приказаний подобного рода: меня только что освободили от честного слова, и я являюсь к вам от имени этих людей.

– Сообщить, что они сдаются?

– Сообщить, что они полны решимости драться до последнего вздоха.

– Сколько же их?

– Двое.

- Их двое, и они хотят диктовать условия?
- Их двое, но они убили уже десятерых наших.
- Что же это за люди? Титаны?
- Больше. Вы помните историю бастиона Сен-Жерве, господин капитан?
- Еще бы! Четверо мушкетеров сопротивлялись там против целой армии.
- Так вот, двое из этих мушкетеров в пещере.
- Как их зовут?
- Тогда их звали Портосом и Арамисом. Теперь их зовут господин д'Эрбле и господин дю Валлон.

- Ради чего они все это делают?
- Они удерживают Бель-Иль для господина Фуке.

При упоминании двух этих имен, прославленных имен Портоса и Арамиса, среди солдат пробежал восхищенный шепот.

- Мушкетеры, мушкетеры, – повторяли они.

И у всех этих отважных юношей при мысли о том, что им предстоит сразиться с двумя самыми прославленными вояками старой армии, сердце замирало от ужаса, смешанного с восторгом. И в самом деле, эти четыре имени – д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис – были глубоко почитаемы всяким, кто носил шпагу, подобно тому как в древности почитались имена Геракла, Тесея, Кастора и Поллукса.

– Два человека! – вскричал капитан. – И двумя залпами они убили десять моих офицеров! Это невозможно, господин Бикара!

– Господин капитан, – отвечал Бикара, – я не говорил вам о том, что с ними нет еще двух или трех человек; ведь и у мушкетеров бастиона Сен-Жерве было трое или четверо слуг. Но поверьте мне, я видел этих людей, я был взят ими в плен, я знаю, что они представляют собой; они вдвоем в состоянии истребить целый корпус.

- Мы это увидим, и очень скоро. Внимание, господа!

После этого ответа никто не позволил себе ни одного слова: все приготовились беспрекословно повиноваться своему начальнику.

Один Бикара решился на последнюю попытку остановить капитана.

– Сударь, – сказал он вполголоса, – поверьте мне, пойдемте своею дорогой; эти два человека, эти два льва, на которых мы нападаем, будут защищаться до последнего вздоха. Они уже убили десятерых наших, они убьют вдвое больше и кончат тем, что убьют себя, но они не сдадутся. Что мы выиграем от подобной победы?

– Мы выиграем, сударь, то, – отвечал капитан, – что оградим себя от позора, который неминуемо пал бы на нас, если бы восемьдесят королевских гвардейцев отступили перед двумя мятежниками. Последовав вашим советам, я потеряю честь, – а лишившись чести, я опозорю всю армию. Вперед!

И он первый направился к пещере. Дойдя до входа, капитан велел солдатам остановиться.

Он сделал это затем, чтобы дать Бикара и его товарищам время рассказать подробнее о пещере, затем, когда ему показалось, что для знания обстановки полученных сведений совершенно достаточно, он разделил свой отряд на три взвода, которые должны были двигаться один за другим и вести огонь по всем направлениям. Несомненно, что при этой атаке можно потерять еще пять человек, может быть, даже десять, но, разумеется, дело кончится тем, что мятежники будут взяты, так как другого выхода из пещеры не существует, и в конце концов не смогут же двое перебить восемьдесят человек, – Господин капитан, – попросил Бикара, – разрешите идти в голове первого взвода.

- Хорошо! – отвечал капитан. – Такая честь принадлежит вам по праву.

Делаю вам этот подарок.

– Благодарю вас! – произнес молодой человек со всей твердостью, свойственной его роду.

- Берите же шпагу!

– Я пойду без оружия, господин капитан, я иду не для того, чтобы убивать, я иду, чтобы быть убитым.

И, став впереди первого взвода, с непокрытой головой И скрещенными на груди руками, он произнес:

– Вперед, господа!

Глава 30. ПЕСНЬ ГОМЕРА

Пора, однако, перенестись в другой стан и показать как бойцов, так и обстановку, в которой происходил этот бой.

Арамис и Портос укрылись в пещере Локмария, где их ожидали трое бретонцев и снаряженная к плаванию лодка. Они надеялись протащить ее к морю, утаив, таким образом, и приготовления к бегству, и самое бегство.

Появление лисицы и своры собак принудило их отказаться от первоначального плана и остаться на месте.

Пещера тянулась приблизительно на шестьсот футов и выходила на откос берега, поднимавшегося над крошечной бухточкой Некогда – в те времена, когда Бель-Иль назывался еще Калонезом, – Локмария была храмом, посвященным языческим божествам, и в ее таинственных гротах не раз совершались человеческие жертвоприношения.

В первый грот попадали по пологому спуску, низко нависающий свод которого был образован беспорядочным нагромождением скал. Неровный, весь в трещинах и расщелинах пол и острые, торчащие сверху камни грозили на каждом шагу неожиданной опасностью. Таких гротов, последовательно опускавшихся в сторону моря, в пещере Локмария было три. Они соединялись друг с другом несколькими грубыми, выбитыми в камне огромными ступенями, перилами для которых справа и слева служила скала.

В последнем гроте свод опускался настолько низко и проход становился до того узким, что протащить в этом месте баркас было делом почти невозможным; борта его упирались в стены прохода. Но в моменты отчаяния, овладевшего человеком, дерево, уступая человеческой воле, становится гибким, а камень – податливым.

На это и рассчитывал Арамис, когда, приняв навязанный ему бой, решил на бегство, несомненно опасное, поскольку не все осаждающие были убиты, опасное также и потому, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств предстояло бежать среди бела дня, на глазах побежденных, которые, обнаружив, как ничтожна горсточка беглецов, не преминут, конечно, преследовать победителей.

После того как двумя залпами было уничтожено десять гвардейцев, Арамис, знавший все закоулки пещеры, отправился осмотреть трупы убитых, но так как дым мешал ему видеть, он обошел мертвецов одного за другим и таким образом сосчитал потери врага. Возвратившись, он велел тащить баркас дальше, к большому камню, запиравшему своею громадой спасительный выход к морю.

Портос взялся обеими руками за лодку и принялся изо всех сил толкать ее вперед по проходу; бретонцы поспешно перекладывали катки. Так спустились они в третий грот и добрались до камня, преграждавшего выход.

Ухватив этот гигантский камень у основания, Портос уперся своим могучим плечом в вершину его и толкнул камень с такой невероятной силой, что он затрещал. Со свода посыпался мусор, поднялось целое облако пыли.

Вместе с пылью и мусором упали также останки десяти тысяч поколений морских птиц, гнезда которых так прочно лепились к скале, как если бы их связывал с нею цемент.

При новом толчке Портоса камень уступил и пошатнулся. Упираясь спиной в ближайшие скалы и нажимая ногою, Портос вырвал его наконец из груды известняка, на которой покоилось и было закреплено его основание.

После падения камня в пещеру ворвался ослепительный дневной свет, и взорам

восхищенных бретонцев открылось синее море. Тотчас же вместе с Портосом потащили они баркас через эту последнюю баррикаду. Еще сотня футов, и он соскользнет в океан.

Как раз в это время прибыл отряд, разделенный капитаном на взводы для решительного штурма позиции беглецов.

Чтобы оградить товарищей от внезапного нападения, Арамис непрерывно наблюдал за гвардейцами. Он видел, как к ним подошло подкрепление, и, подсчитав его численность, убедился с первого взгляда в неминуемой гибели, угрожающей ему и его товарищам, если они ввяжутся в новую схватку.

Но пускаться в море, открывая врагу доступ в пещеру, было бы совершенно бессмысленно. В самом деле, свет, проникавший теперь в два последних грота пещеры, выдаст солдатам баркас, приближающийся на катках к бухте, и обоих мятежников на расстоянии мушкетного выстрела, и первый же залп гвардейцев если не уложит всех пятерых мореплавателей, то, во всяком случае, оставит в лодке пробоины.

Больше того, даже если предположить, что баркасу в всем тем, кто в нем находится, удастся на этот раз ускользнуть от погони, то не будет ли немедленно подан сигнал тревоги? И не будут ли немедленно оповещены о случившемся корабли королевского флота? И не будет ли несчастная лодка, за которой гонятся по морю и которую подстерегают на суше, захвачена еще до наступления ночи? В бешенстве теребя свои усеянные сединой волосы, Арамис призывал на помощь и бога и дьявола.

Поманив Портоса, который в этих хлопотах с лодкой значил больше, чем катки и бретонцы, взятые вместе, он зашептал ему на ухо:

– Друг твой, к нашим врагам прибыло подкрепление.

– А, – спокойно ответил Портос. – Что же нам теперь делать?

– Возобновлять бой было бы очень рискованно.

– Еще бы, – подтвердил Портос, – ведь трудно предположить, чтобы одного из нас не убили, ну а если будет убит один, то и другой, конечно, покончит с собой.

Портос произнес эти слова с тем безыскусственным героизмом, который проявлялся в нем всякий раз, когда к этому бывал подобающий повод. Арамис почувствовал себя так, точно его укололи в самое сердце.

– Ни вас, ни меня не убьют, друг Портос, если вы сможете выполнить план, которым я хочу поделиться с вами.

– Говорите!

– Эти люди собираются спуститься в пещеру.

– Да.

– Мы перебьем человек пятнадцать, не больше, – Сколько же их? – спросил Портос.

– К ним прибыло подкрепление в количестве семидесяти пяти человек.

– Семьдесят пять и пять – значит, восемьдесят. Да!..

– Если они станут стрелять все вместе, то их пули изрешетят нас в одно мгновение.

– Разумеется.

– Не считая того, что от грохота выстрелов возможны обвалы.

– Только сейчас обломок скалы разодрал мне плечо, – заметил Портос.

– Вот видите!

– Это сущие пустяки.

– Давайте быстро примем решение. Пусть наши бретонцы продолжают катить лодку к морю. А мы вдвоем останемся здесь и будем охранять порох, мушкеты и пули.

– Но вдвоем, дорогой Арамис, нам никогда не дать одновременно трех выстрелов, – простодушно сказал Портос, – дело со стрельбой из мушкетов не выйдет. Этот способ никуда не годится.

– Найдите другой.

– Нашел! – вскричал великан. – Вооружившись железным ломом, я укроюсь за выступом, и когда они начнут приближаться волна за волной, невидимый и неуязвимый, примусь колотить по их головам, нанося тридцать ударов в минуту. Ну, что вы скажете о моем

плане? Нравится ли вам мое предложение?

– Великолепно, дорогой друг, превосходно. Я вполне одобряю его, но вы испугаете их, и половина из них оцепит пещеру, чтобы взять нас измором.

Нам нужно уничтожить весь отряд до последнего человека; достаточно одного оставшегося в живых, и он нас погубит.

– Вы правы, друг мой, – но скажите, как же завлечь их сюда?

– Не шевелясь, мой добрый Портос.

– Ну что ж! Замру и не пошевелюсь, а когда они соберутся все вместе?

– Тогда предоставьте действовать мне, у меня есть мысль.

– Если так и ваша мысль хороша... а она должна быть хорошей, ваша мысль... я спокоен.

– В засаду, Портос, и ведите счет входящим.

– Ну а вы? Что вы собираетесь делать?

– Обо мне не тревожьтесь, у меня есть свои заботы.

– Я слышу голоса.

– Это они. Занимайте свой пост! Стойте так, чтобы я мог достать вас рукой и вы могли бы услышать меня.

Портос скрылся во втором гроте, где было совершенно темно. Арамис проскользнул в третий. Гигант держал в руке лом весом в пятьдесят фунтов. Он с поразительной легкостью орудовал этим ломом, которым при перетаскивании баркаса пользовались как рычагом.

Между тем бретонцы продолжали катить лодку к откосу.

Арамис, нагнувшись, стараясь остаться незамеченным, занимался в освещенной части пещеры каким-то таинственным делом.

Послышалась отданная во весь голос команда. Это был последний приказ капитана. Двадцать пять человек, миновав спуск, вбежали в первый грот и открыли огонь. Загремело эхо, засвистели вдоль сводов пули, и густой дым затянул пещеру.

– Налево, налево! – кричал Бикара, который при первой атаке заметил проход, соединявший первый грот со вторым; возбужденный запахом пороха, он хотел направить своих людей в эту сторону.

Взвод бросался влево; проход становился все уже. Бикара, протянув руки, обрекая себя неминуемой смерти, шел впереди солдат.

– Живее! Живее! – звал он. – Я уже различаю свет!..

– Бейте, Портос! – замогильным голосом скомандовал Арамис.

Портос вздохнул, но повиновался приказу. Железная палица упала на голову Бикара, и тот был мгновенно убит, так и не докончив начатой фразы.

Ужасный рычаг в течение десяти секунд десять раз поднялся и столько же раз опустился. Десять трупов осталось перед Портосом.

Солдаты ничего не видели; они слышали крики, слышали предсмертные хрипы, они наступали на трупы, падали, поднимались, натыкались один на другого, но все еще не понимали происходящего. Неумолимая палица, продолжая обрушиваться на головы королевских гвардейцев, полностью уничтожила первый взвод, и это произошло настолько бесшумно, что ни один звук не долетел до второго отряда, который спокойно продвигался вперед.

Солдаты этого взвода, наступавшего под командой самого капитана, сломали, впрочем, чахлую елку, прозябавшую на берегу, и, связав ее смолистые ветви в пучок, снабдили начальника своего рода факелом.

Добравшись до второго грота, где Портос, подобно библейскому ангелу-мстителю, уничтожил все, к чему прикоснулась его рука, первый ряд в ужасе отступил. На стрельбу гвардейцев никто не ответил ни одним выстрелом, а между тем люди наткнулись на груды трупов; они шли по крови в буквальном смысле этого слова.

Портос все еще скрывался за своим выступом.

Увидев при колеблющемся свете, отбрасываемом пылающей елью, картину этого потрясающего побоища и тщетно силясь понять, как же это произошло, капитан попятился к

выступу, за которым стоял Портос. В то же мгновение гигантская рука, протянувшись из тьмы, схватила за горло несчастного капитана; капитан захрипел; его руки взмахнули в воздухе, факел вывалился из рук и погас, зашипев в луже крови. Через секунду тело капитана шлепнулось рядом с погасшим факелом. Еще один труп прибавился к горе трупов, преграждавших солдатам путь.

Все это произошло с непостижимой таинственностью, словно по волшебству. Солдаты, шедшие следом за капитаном, обернулись на его хрип.

Они увидели его распростертые в воздухе руки, вылезшие из орбит глаза; потом, когда факел упал, все погрузилось в кромешную тьму.

Бессознательно, непроизвольно, инстинктивно оставшийся в живых лейтенант закричал: – Огонь!

Тотчас же затрещали, загремели, загрохотали, гулко отдаваясь в пещере, мушкетные выстрелы; со сводов начали падать обломки огромной величины. Пещера на мгновение осветилась вспышками выстрелов, но затем в ней стало еще темнее из-за застелившего ее дыма. Наступила полная тишина, нарушаемая лишь топотом солдат третьего взвода, которые входили в пещеру.

Глава 31. СМЕРТЬ ТИТАНА

Пока Портос, привыкший к окружающей тьме и видевший в ней лучше, чем все эти люди, только что пришедшие с яркого света, осматривался вокруг в ожидании какого-нибудь знака, который мог бы подать ему Арамис, он почувствовал, как его трогают за плечо, и слабый, как тихий вздох, голос прелата прошептал ему на ухо:

– Идем!

– О! – произнес Портос.

– Шш!.. – еще тише зашептал Арамис.

И среди криков продолжающегося углубляться в пещеру третьего взвода, среди проклятий солдат, оставшихся невредимыми, среди стонов раненых и умирающих Арамис и Портос, не замеченные никем, проскользнули вдоль гранитных стен подземного коридора.

Арамис привел Портоса в третий, последний грот; здесь он показал ему спрятанный в углублении стены небольшой бочонок с порохом. Пока Портос бил своей палицей наступающих гвардейцев, Арамис успел прикрепить к бочонку фитиль.

– Друг мой, – начал он, – вы возьмете этот бочонок и, когда я подожгу фитиль, бросите его в наших врагов. Сможете ли вы это сделать?

– Еще бы! – ответил Портос.

И он поднял бочонок одною рукой.

– Поджигайте!

– Погодите, пусть они соберутся все вместе; а потом, потом, мой Юпитер, вы низвергнете на них вашу молнию.

– Поджигайте? – повторил Портос.

– А я, – продолжал Арамис, – я отправлюсь к нашим бретонцам и помогу спустить баркас на воду. Итак, жду вас на берегу. Бросайте ваш бочонок как следует – и немедленно к нам!

– Зажигайте! – сказал еще раз Портос.

– Вы поняли? – спросил Арамис.

– Еще бы! – громко рассмеялся Портос, нисколько, по-видимому, не беспокоясь, что этот смех может долететь до слуха врагов. – Раз мне объяснили, значит, я понял. Давайте же ваш огонь и ступайте.

Арамис вручил Портосу зажженный трут. Тот протянул на прощание локоть, так как руки его были заняты. Пожав обеими руками локоть Портоса, Арамис, нагнувшись, проскользнул к выходу из пещеры, где его ждали трое гребцов.

Портос, оставшись один, бестрепетно поднес к фитилю едва тлеющий трут. Трут, эта ничтожная искорка, таящая в себе ужасный пожар, мелькнул во тьме, словно светляк, соприкоснулся с фитилем и поджег его; Портос своим могучим дыханием раздул огонек; показались язычки пламени.

Когда немного рассеялся дым, при свете разгорающегося и громко потрескивающего фитиля в течение одной-двух секунд можно было различить все, что делается в пещере. Это было мгновенное, но великолепное зрелище: бледный, окровавленный великан с лицом, озаренным пламенем ярко горящего фитиля.

Солдаты не замедлили увидеть его. Они увидели также бочонок, который был в руках у этого великана. Они поняли, что ожидает их. Тогда эти люди, охваченные ужасом перед уже совершившимся, в ужасе перед тем, что неминуемо совершится, испустили все вместе предсмертный, леденящий кровь вопль.

Одни попытались бежать, но встретили третий взвод, преградивший им путь; другие принялись щелкать курками своих незаряженных мушкетов, третьи рухнули на колени.

Два-три офицера крикнули, обращаясь к Портосу, что обещают ему свободу, если он оставит им жизнь. Лейтенант третьего взвода настойчиво требовал, чтобы стреляли, но перед гвардейцами были их обезумевшие от страха товарищи, которые, словно живой заслон, прикрывали собой Портоса.

Мы сказали уже, что пещера осветилась всего на одну-две секунды, которые потребовались Портосу, чтобы раздуть зажженный им от трута фитиль.

Но и этих секунд было достаточно, чтобы взору предстала потрясающая картина: прежде всего великан, возвышающийся во тьме; затем, в десяти шагах от него, — груда окровавленных, истерзанных, искалеченных тел, содрогающихся еще в предсмертных конвульсиях, так что вся масса их походила на издыхающее во мраке ночи бесформенное чудовище, бока которого все еще продолжает вздымать угасающее дыхание. Каждое дуновение, исходившее из могучей груди Портоса и оживлявшее огонь фитиля, относило в сторону этой окровавленной груды струю серного дыма, испещренную багровыми отблесками разгорающегося пламени.

Кроме этой центральной группы, тут можно было различить и отдельные, разбросанные по всей пещере, в зависимости от того, где этих несчастных настигли смерть и беспощадная палица, трупы гвардейцев с разверстыми, страшными ранами.

Над полом, покрытым кровавым месивом, поднимались мрачные, поблескивающие, грубо высеченные колонны, державшие на себе своды пещеры, и их отчетливо видные очертания слагались в единое целое из причудливого сочетания света и тени.

Все это можно было увидеть при трепетном свете горящего фитиля, привязанного к бочонку с порохом, то есть при свете своеобразного факела, который, освещая смерть уже наступившую, предвещал вместе с тем и смерть наступающую.

Итак, это зрелище длилось не дольше одной-двух секунд. В этот ничтожно малый промежуток времени один из офицеров третьего взвода успел собрать близ себя восемь гвардейцев, мушкеты которых были заряжены, и приказал им стрелять по Портосу через отверстие, случайно обнаруженное в стене. Но солдаты дрожали так сильно, что при залпе трое из них, не устояв на ногах, упали, а пули пяти остальных, просвистев под сводом, задели пол или поцарапали стены.

В ответ на эту бесполезную трескотню раздался оглушительный хохот; вслед за тем рука великана медленно замахнулась, и в воздухе мелькнул огненный хвост, похожий на след, оставляемый падающей звездой. Бочонок, брошенный на расстояние в тридцать шагов, перелетел через баррикаду из трупов и упал среди вопящих солдат, которые, увидев его, распростерлись на полу.

Офицер, успевший сообразить, куда именно должен упасть этот огненный сноп, хотел подбежать к нему и вырвать фитиль, прежде чем огонь воспламенит порох. Но его самопожертвование оказалось напрасным: встречные струи воздуха раздули пламя; фитиль, который, будучи предоставлен себе самому, тлел бы еще не меньше пяти минут, был пожран

разгоревшимся пламенем в течение каких-нибудь тридцати секунд; адский замысел Арамиса осуществился.

Бешеные вихри, шипение селитры и серы, неудержимая лавина огня, страшный грохот – вот что последовало за теми двумя секундами, описание которых дано нами выше, вот что уподобило пещеру Локмария пещере злых духов со всеми сокрытыми в ее недрах ужасами.

Скалы раскалывались, как еловые доски под ударами топора. Смерч огня, дыма, осколков взметнулся в самом центре пещеры; поднимаясь, он становился все шире и шире. Мощные гранитные стены, медленно наклоняясь, рухнули затем на песок, который сделался орудием пытки: выброшенный из своего затвердевшего ложа, он мириадами разящих песчинок вонзался в лица солдат.

Крики, вопли, проклятия – все покрыл нестерпимый грохот. Все три грота пещеры превратились в какую-то бездонную яму, в которую падали камни, железо, щепки, а также куски человеческих тел. Последними – поскольку они были наиболее легкими – упали сюда пепел с песком. Они одели эту мрачную могилу стольких людей сероватым, дымящимся саваном.

Ищите теперь в этом раскаленном склепе, в этом подземном вулкане, ищите королевских гвардейцев в их синих, расшитых серебряным галуном камзолах! Ищите офицеров, блещущих золотом, ищите оружие, которым они надеялись защитить себя, ищите камни, убившие их, ищите землю, которую они попирали!

Один-единственный человек сделал из всего этого хаос, более беспорядочный, более дикий, более ужасный, чем существовавший за час до того мгновения, когда у бога явилась мысль сотворить этот мир. Три грота перестали существовать, и от них ничего не осталось, ничего, в чем создатель мог бы узнать свое собственное творение.

Портос же, метнув бочонок пороха в гущу врагов, пустился бежать, следуя указаниям Арамиса, и достиг последнего грота, в который проникали и воздух, и свет, в солнечные лучи. Едва он повернул за угол, отделявший третий грот от последнего коридора, как увидел в ста шагах от себя баркас, покачивающийся на прибрежных волнах, – там были его друзья, там его ждала свобода, там была жизнь, завоеванная победой.

Еще шесть его огромных прыжков, и он выберется из-под сводов пещеры; а когда он окажется вне пещеры, еще два-три могучих усилия, и он добежит до заветной лодки. Внезапно он почувствовал, что колени его подгибаются, что ноги начинают ему отказывать.

– О, о! – пробормотал он удивленно. – Опять эта усталость одолевает меня; я не могу сдвинуться с места. Что тут поделаешь?

Арамис сквозь отверстие в стене видел его; он не мог понять, что же заставило Портоса остановиться, и крикнул ему:

– Скорее, Портос, скорее, скорее!

– О! Не могу! – ответил Портос, тщетно напрягая мускулы.

Произнеся эти слова, он упал на колени, но, ухватившись могучими руками за ближние камни, снова встал на ноги.

– Скорей, скорей! – повторял Арамис, нагибаясь над бортом лодки в сторону берега, как бы затем, чтобы помочь Портосу.

– Я тут, – тихо сказал Портос, собирая все силы, чтобы сделать хоть шаг вперед.

– Ради бога, Портос! Скорее, скорее, сейчас бочонок взорвется.

– Торопитесь, монсеньер, торопитесь! – кричали бретонцы.

А Портос между тем поворачивался то в одну сторону, то в другую, словно метался во сне.

Но было уже поздно: раздался взрыв, расселась трещинами земля; дым, вырвавшийся через широкие щели, закрыл небо; отхлынуло море, как бы отогнанное яростным порывом огня, брызнувшего из зева пещеры, словно из пасти огромного неведомого чудовища; лодку отнесло шагов на пятьдесят в море; ближние утесы затрещали: у основания стали разваливаться на части, как откалываются под действием вгоняемых клиньев огромные глыбы мрамора; часть свода пещеры взлетела высоко в небо, как будто кто-то сверху поднял эту

массу камней; зелено-розовый огонь серы и черная лава земли и жидкой глины столкнулись на мгновение и как бы сразились между собой под величественным куполом дыма; зашатались, потом стали клониться и, наконец, рухнули скалы – взрыв не смог сразу сдвинуть их с тех оснований, на которых они покоились столько веков; поклонившись друг другу, словно медлительные и важные старцы, они простерлись навеки в своих песчаных могилах.

Эта ужасная катастрофа возвратила Портосу силы. Он поднялся на ноги гигант между гигантами. Но когда он пробегал между гранитными чудовищами, стоявшими сплошной стеной с обеих сторон, они, лишившись поддержки снаружи, начали с грохотом рушиться вокруг этого новоявленного титана, низринутого, казалось, небом на скалы, которые он только что взметнул в это самое небо.

Портос ощущал, как под его ногами дрожит раздираемая на части земля.

Он простер вправо и влево свои могучие руки, чтобы удержать падающие на него камни. Его ладони уперлись в гигантские глыбы; он пригнул голову, и на его спину навалилась целая гранитная скала.

На мгновение руки Портоса подались под непомерную тяжестью; но этот Геркулес собрался с силами, и стены тюрьмы, готовой уже поглотить его, мало-помалу раздвинулись и дали ему выпрямиться. Словно демон, он стоял в окружении хаоса мощных гранитных глыб. Но, раздвигая стены, давившие на него с боков, он тем самым лишил точки опоры монолит, лежавший у него на плечах. Этот груз придавил его и поверг на колени. Глыбы, находившиеся с обеих сторон и на короткое время раздвинутые нечеловеческим напряжением его тела, снова стали сближаться и присоединили свой вес к весу огромного камня, которого и одного было бы совершенно достаточно, чтобы раздавить десяток людей.

Великан упал, даже не воззвав к помощи; он упал, отвечая Арамису словами, исполненными бодрости и надежды, ибо на один миг он и в самом деле, уповая на крепость своих стальных мышц, мог надеяться на спасение, на то, что ему удастся стряхнуть с себя эту тройную тяжесть колоссальных обломков. Но Арамис увидел, что глыба опускается все ниже и ниже; напряженные в последнем усилии, изнемогающие руки Портоса стали сгибаться, плечи, изодранные о камень, поникли.

Арамис в отчаянье рвал на себе волосы.

– Портос! Портос! – кричал он. – Портос, где ты? Ответь!

– Здесь, здесь! – шептал Портос угасающим голосом. – Терпение, друг, терпение!

Он едва смог закончить последнее слово: сила ускорения увеличила тяжесть; громадная скала навалилась, придавленная двумя другими, и Портос оказался похороненным в склепе, образованном этими тремя гигантскими глыбами.

Услышав предсмертные слова друга, Арамис соскочил на берег. За ним последовали двое бретонцев, прихвативших с собою железный лом. Третий остался сторожить лодку. Доносившиеся из-под груды камней стоны указывали им путь.

Арамис, пылкий, возвышенный, юный, как в двадцать лет, устремился к этим трем глыбам и руками, нежными, как у женщины, при помощи какой-то чудом вселившейся в него силы приподнял один из углов этой огромной надгробной плиты. Во мраке глубокой ямы он увидел еще не успевшие потускнеть глаза своего друга, которому поднятый на мгновение груз позволил свободно вздохнуть. Тотчас же оба бретонца взялись за лом. К ним присоединился и Арамис, и их усилия были направлены не на то, чтобы поднять эту глыбу, но на то, чтобы удержать ее хотя бы в том положении, которое ей придал Арамис. Все, однако, было напрасно. С криком отчаяния, медленно уступая непосильной для них тяжести, они не смогли удержать скалу, и она легла на прежнее место. Портос, видя всю бесплодность этой борьбы, насмешливо проговорил последние в своей жизни слова:

– Чересчур тяжело.

После этого глаза его погасли и сами собою закрылись, лицо покрылось мертвенной бледностью, руки вытянулись, и титан, испустив последний вздох, распростерся на своем каменном ложе. Вместе с ним опустилась и гранитная глыба, которую он держал на себе до последней минуты.

Арамис и бретонцы бросили лом, и он покатился по надгробному камню.

Бледный как полотно, обливаясь потом, задыхаясь, Арамис стал прислушиваться. Грудь его сжимало словно в тисках, сердце, казалось, вот-вот разорвется. Ничего больше! Ни звука! Великан уснул вечным сном. Бог уготовил ему гробницу по росту.

Глава 32. ЭПИТАФИЯ ПОРТОСУ

Арамис, безмолвный, похолодевший, растерянный, как боязливый ребенок, дрожа поднялся с камня.

Христианин не может ступить ногой на могилу.

Но, найдя в себе силы встать на ноги, он не был в силах идти. Казалось, что вместе с Портосом умерло что-то и в нем. Бретонцы окружили его и, взяв на руки, отнесли в лодку. Положив его на скамейку возле руля, они налегли на весла, предпочитая не поднимать паруса из опасения, что он может их выдать.

На всем ровном пространстве, там, где прежде была пещера Локмария, на всем плоском теперь побережье лишь единственное возвышение останавливало на себе взгляд. Арамис не мог оторвать от него глаз, и по мере того как они выходили в открытое море, эта гордая и угрожающая скала, казалось ему, распрямляется, как совсем недавно распрямлял свои плечи Портос, и поднимает к небу непобедимую, запрокинувшуюся в смехе голову, похожую на голову честного и доблестного друга, самого сильного из четверых и все же первым унесенного смертью.

Причудлива участь этих вылитых из бронзы людей!

Самый простодушный из них оказался соратником наиболее хитроумного; физическую силу вел за собой гибкий и изворотливый ум; и в решающее мгновение, когда лишь сила человеческих мышц могла спасти и тело и душу, камень, скала, грубая сила одолели мускулы и, навалившись на тело, изгнали из него душу.

Достойный Портос! Рожденный, чтобы оказывать помощь другим, всегда готовый к самопожертвованию ради спасения слабых, как если бы бог наделил его физической силой лишь для этого одного, он и умирая думал только о том, чтобы выполнить условия договора, который связал его с Арамисом, договора, преподнесенного ему Арамисом без его предварительного согласия, договора, о котором он узнал лишь затем, чтобы возложить на себя бремя страшной ответственности.

Благородный Портос! К чему замки, забитые драгоценной мебелью, леса, изобилующие дичью, пруды, кишасшие рыбой, и подвалы, не вмещающие сокровищ! К чему лакеи в раззолоченных ливреях и среди них Мушкетон, гордый твоим доверием? О благородный Портос, ревностный собиратель сокровищ, стоило ли отдавать столько сил в стремлении усладить и позолотить твою жизнь, чтобы угаснуть на пустынном берегу океана под немолчные крики птиц, с костями, раздробленными бесчувственным камнем? Нужно ли было, благородный Портос, копить столько золота, чтобы на твоём надгробии не было даже двустушия, сложенного нищим поэтом?!

Доблестный Портос! Ты и сейчас еще спишь, забытый, затерянный под скалой, которую окрестные пастухи считают верхней плитой долмена.

И столько зябкого вереска, столько мха, ласкаемого горькими ветрами с океана, столько лишайников спаяли эту гробницу с землею, что ни одному путнику никогда не придет в голову мысль, будто эту гранитную глыбу могли удерживать плечи мертвого.

Арамис, все такой же бледный, такой же оцепеневший, такой же подавленный, смотрел, пока не угас последний луч солнца, на берег, исчезавший на горизонте. Ни одного слова не слетело с его уст, ни одного вздоха не вырвалось из его груди. Суеверные бретонцы с трепетом глядели на него.

Это молчание не было молчанием человека, оно было молчанием статуи.

Когда с неба серыми волнами начал спускаться сумрак, на лодке подняли маленький

парус; лобзаемый бридом, он расправился, наполнился и стремительно понес лодку от берега; повернувшись носом в ту сторону, где Испания, она смело устремилась вперед, в обильный страшными бурями Гасконский залив.

Но уже через полчаса гребцы, которым теперь нечего было делать и которые, наклонившись над бортом и приложив руку к глазам, принялись всматриваться в морские дали, заметили белую точку, появившуюся на горизонте; она казалась столь же неподвижной, как чайка, мирно качающаяся на незримых волнах.

Но что казалось неподвижным для обычного глаза, то было стремительно приближающимся для опытных глаз моряков; что казалось застывшим на водной поверхности, то в действительности пенило встречные волны.

Некоторое время, видя глубокое оцепенение, в котором пребывал сей господин, бретонцы не решались побеспокоить его; они ограничивались тревожными взглядами и вполголоса высказанными друг другу догадками. И действительно, Арамис, всегда такой деятельный, такой наблюдательный, чьи глаза, как глаза рыси, были неизменно настороже и ночью видели лучше, чем днем, Арамис впал в какую-то дремоту отчаяния.

Так прошел добрый час. За это время стало заметно темнее, но и корабль настолько приблизился, что Генек, один из трех моряков, осмелился довольно громко сказать:

– Монсеньер, за нами гонятся!

Арамис ничего не ответил. Корабль подходил все ближе и ближе. Тогда моряки, по приказанию своего старшего, Ива, убрали парус, чтобы единственная точка, видневшаяся над поверхностью океана, перестала приковывать к себе взоры преследователей. На корабле, напротив, решили ускорить ход: у верхушек мачт появилось два новых паруса.

К несчастью, был один из лучших и самых длинных дней в году, и к тому же ночь, шедшая на смену этому злосчастному дню, обещала быть лунной. У корабля, гнавшегося за лодкой, впереди было еще полчаса сумерек и затем целая ночь с полной луной на небе.

– Монсеньер, монсеньер, мы погибли! – заговорил хозяин баркаса. – Они по-прежнему видят нас, хоть мы и убрали парус.

– Это не удивительно, – пробормотал один из матросов. – Говорят, что с помощью дьявола эти окаянные горожане смастерили какие-то штуки, благодаря которым они видят издали так же хорошо, как вблизи, и ночью так же, как днем.

Арамис взял со дна лодки лежавшую у его ног зрительную трубу и, наставив ее на корабль, молча вручил матросу.

– Взгляни, – предложил он.

Матрос колебался.

– Успокойся, – проговорил епископ, – в этом нет никакого греха; ну а если ты все же думаешь, что он есть, я беру его на себя.

Матрос приложил к глазу трубу и вскрикнул. Ему показалось, что корабль, находившийся на пушечный выстрел, каким-то чудом, в один прыжок, преодолел разделявшее их расстояние. Но, отняв от глаз трубу, он понял, что корвет оставался на том же месте, что и прежде.

– Значит, – догадался матрос, – они видят нас так же, как мы их.

– Конечно, – подтвердил Арамис.

И снова впал в прежнюю безучастность.

– Как! Они видят нас? – ахнул хозяин баркаса Ив. – Невозможно!

– Возьми, хозяин, и посмотри, – сказал Иву матрос, И он передал ему зрительную трубу.

– Монсеньер уверен, – спросил Ив, – что дьявол здесь ни при чем?

Арамис пожал плечами.

Ив посмотрел в трубу.

– О монсеньер! – вскричал он. – Они так близко, мне кажется, что я к ним сейчас прикоснусь. Там по крайней мере двадцать пять человек! Ах, я вижу впереди капитана. Он держит такую же трубку, как эта, и смотрит на нас... Ах, он оборачивается, он отдает какое-то приказание; они выкатывают пушку, они заряжают ее, они наводят ее на нас... Боже

милостивый!

Они стреляют!

И машинальным движением Ив отнял от глаза трубу; предметы, отброшенные вдаль, к горизонту, предстали ему в своем истинном виде.

Корабль был еще приблизительно на расстоянии лье; но маневр, о котором сообщил Ив, от этого не стал менее грозным.

Легкое облачко дыма появилось у основания парусов; оно было по сравнению с парусами голубоватого цвета и казалось голубым цветком, который распускается на глазах. Вслед за тем, на расстоянии мили от лодки, ядро сбило гребни с нескольких волн, пробуравило белый след на поверхности моря и исчезло в конце проложенной им борозды, такое же безобидное, как камешек, бросаемый школьником ради забавы и подпрыгивающий несколько раз над водою.

Это были одновременно и предупреждение и угроза.

– Что делать? – спросил Ив.

– Нас потопят, – сказал Генек, – отпустите нам наши грехи, монсеньер.

И моряки стали на колени перед епископом.

– Вы забываете, что вас видят, – проговорил Арамис.

– Ваша правда, монсеньер, – устыдившись своей слабости, ответили на это бретонцы. – Приказывайте, монсеньер, мы готовы отдать за вас нашу жизнь.

– Подожди! – молвил Арамис.

– Как это?

– Да, подождем; неужели для вас не ясно, что, попытайся мы скрыться, нас, как вы сами сказали, потопят?

– Но благодаря темноте нам, быть может, удастся все же уйти незамеченными?

– О, – произнес Арамис, – у них есть, конечно, запас греческого огня, и с его помощью нам не дадут ускользнуть.

И почти тотчас же, как бы в подтверждение слов Арамиса, с корабля медленно поднялось новое облако дыма, из середины которого вылетела огненная стрела; описав в воздухе крутую дугу, наподобие радуги, она упала на воду и, несмотря на это, продолжала гореть, освещая пространство диаметром с четверть лье.

Бретонцы в ужасе переглянулись.

– Вот видите, – заметил Арамис, – я говорил, что лучше всего подождать их прибытия.

Весла выпали из рук моряков, и лодка, перестав двигаться, закачалась на гребнях волн.

Стало совсем темно; корабль продолжал приближаться. С наступлением темноты он, казалось, удвоил быстроту хода. Время от времени, словно коршун, приподымающий над гнездом голову на окровавленной шее, он перебрасывал через борт струю страшного греческого огня, падавшего посреди океана и пылавшего ослепительно белым пламенем.

Наконец корабль подошел на расстояние мушкетного выстрела. На его палубе в полном составе выстроилась команда; люди были вооружены до зубов; у пушек замерли канониры, дымились зажженные фитили. Можно было подумать, что этому кораблю предстоит напасть на фрегат и сразаться с превосходящим по силе противником, а не захватить лодку с четырьмя сидящими в ней людьми.

– Сдавайтесь! – крикнул в рупор командир корабля.

Бретонцы посмотрели на Арамиса. Арамис кивнул головой.

Ив нацепил на багор белую тряпку, заполоскавшуюся на ветру. Это означало то же, что спустить флаг. Корабле мчался, как скаковой конь. С него снова выбросили ракету; она упала в двадцати шагах от баркаса и осветила его ярче, чем солнечный луч в разгар дня.

– При первой попытке к сопротивлению, – предупредил командир корабля, – стреляем!

Солдаты взяли мушкеты наизготовку.

– Ведь мы говорим, что сдаемся! – крикнул Ив.

– Живыми, живыми, капитан! – гаркнуло несколько возбужденных солдат.

– Надо взять их живыми!

– Да, да, живыми, – подтвердил капитан.

И, обернувшись к бретонцам, он добавил:

– Вашей жизни, друзья мои, ничто не грозит; это относится только к господину д'Эрбле.

Арамис неприметно для окружающих вздрогнул. На одно мгновение взгляд его, остановившись на одной точке, хотел измерить, казалось, глубину океана, поверхность которого была освещена последними вспышками греческого огня.

– Вы слышите, монсеньер? – спросили бретонцы, – Да.

– Что будем делать?

– Принимайте условия.

– А вы, монсеньер?

Арамис наклонился над бортом лодки и опустил свои тонкие белые пальцы в зеленоватую морскую волну, которой он улыбнулся, как другу.

– Принимайте условия! – повторил он.

– Мы принимаем ваши условия, – сказали бретонцы, – но что нам будет порукой, что вы сдержите свое обещание?

– Слово французского дворянина, – ответил офицер. – Клянусь моим званием и моим именем, что жизнь всех вас, за исключением жизни господина д'Эрбле, в безопасности. Я лейтенант королевского фрегата «Помона», и мое имя Луи-Констан де Пресиньи.

Арамис, уже склонившийся над бортом, уже наполовину высунувшийся из лодки, вдруг резким движением поднял голову, встал во весь рост и с загоревшимися глазами и улыбкою на губах произнес таким тоном, будто отдавал приказание:

– Подайте трап, господа.

Мы повиновались. Ухватившись за веревочные поручни трапа, Арамис первым поднялся на корабль; моряки, ожидавшие увидеть на его лице страх, были несказанно удивлены, когда он уверенными шагами подошел к капитану и, пристально посмотрев на него, сделал рукой таинственный и никому не ведомых – знак, при виде которого офицер побледнел, задрожал и опустил голову...

Тогда, не говоря ни слова, Арамис поднял левую руку к глазам командира и показал ему драгоценный камень на перстне, украшавшем безымянный палец его левой руки. Делая этот жест, Арамис, исполненный ледяного, безмолвного и высокомерного величия, был похож на императора, протягивающего руку для поцелуя.

Командир, на мгновение поднявший голову, снова склонился пред ним с выражением самой глубокой почтительности. Затем, протянув руку к корме, где помещалась его каюта, он отошел в сторону, чтобы пропустить вперед Арамиса. Трое бретонцев, поднявшихся на палубу корабля вслед за своим епископом, с изумлением переглядывались. Весь экипаж молчал.

Через пять минут командир вызвал своего помощника, тотчас же явившегося к нему, и приказал держать курс на Коронь.

Пока исполняли это приказание командира, Арамис снова появился на палубе и сел у самого борта.

Наступила ночь, луна еще не показалась на небе, и было темно, но Арамис тем не менее упорно смотрел в ту сторону, где находился Бель-Иль.

Тогда Ив подошел к командиру, который снова занял свой пост на мостике, и тихо, с робостью в голосе обратился к нему с вопросом:

– Куда мы идем, капитан?

– Мы идем согласно желанию монсеньера, – отвечал офицер.

Арамис провел ночь на палубе, прислонившись к борту.

На следующий день Ив, подойдя к нему, подумал, что ночь, должно быть, была очень сырой, так как дерево, к которому была прислонена голова епископа, была мокрым, как от росы. Кто знает! Не была ли эта роса первыми слезами, пролившимися из глаз Арамиса? Какая же еще эпитафия могла бы сравняться с этой, славный Портос!

Глава 33. ДОЗОР Г-НА ДЕ ЖЕВРА

Д'Артаньян не привык к сопротивлению такого рода, как то, с которым он только что встретился. Вот почему он прибыл в Нант в состоянии крайнего раздражения. Раздражение у этого могучего человека проявлялось в стремительном натиске, против которого до сих пор могли устоять лишь немногие, будь они королями или титанами.

Д'Артаньян – обезумевший, дрожащий от гнева – тотчас же направился в замок и заявил, что ему нужно пройти к королю. Было около семи часов утра, но со времени прибытия в Нант король вставал очень рано.

Дойдя до известного нам коридора, Д'Артаньян встретился с г-ном де Жевром, который очень учтиво остановил капитана, прося не говорить слишком громко, чтобы не разбудить короля.

– Король спит? – спросил Д'Артаньян. – Не стану его беспокоить. Как вы полагаете, в котором часу он проснется?

– Приблизительно часа через два; король работал всю ночь.

Д'Артаньян возвратился в половине десятого. Ему сказали, что король завтракает.

– Вот и отлично, – улыбнулся он, – я переговорю с его величеством за столом...

Господин де Бриенн сообщил д'Артаньяну, что король не желает, чтобы его беспокоили за едой, и велел никого не впускать, пока он не встанет из-за стола.

– Но вы, должно быть, не знаете, господин секретарь, – сказал Д'Артаньян, косо поглядывая на де Бриенна, – что мне дано разрешение входить к королю в любой час дня и ночи.

Бриенн мягко взял капитана под руку:

– Только не в Нанте, дорогой господин Д'Артаньян; на время этого путешествия король изменил заведенные прежде порядки.

Д'Артаньян, немного остыв, спросил, к которому часу король встанет из-за стола.

– Неизвестно, – ответил Бриенн.

– Как это неизвестно? Что это значит? Неизвестно, сколько времени будет кушать король? Обычно он проводит за столом час, но если воздух Луары способствует аппетиту, готов допустить, что завтрак его величества продлится часа полтора. Полагаю, что этого совершенно достаточно. Итак, я подожду его здесь.

– Простите, дорогой господин Д'Артаньян, но ведено в этот коридор никого не впускать, и ради этого я здесь и дежурю.

Д'Артаньян почувствовал, как кровь – уже во второй раз – бросилась ему в голову. Он быстро вышел, чтобы не осложнить дела каким-нибудь резким выпадом.

Выйдя наружу, он принялся размышлять.

«Король, – сказал он себе, – не хочет видеть меня, это бесспорно; он сердится, этот юноша. Он боится слов, которые, быть может, ему пришлось бы выслушать от меня. Да, но в это самое время осаждают Бель-Иль, хватают или даже убивают моих друзей... Бедный Портос! Что касается почтенного Арамиса, то у него наготове достаточно хитроумных уловок, и за него я спокоен... Но нет, нет, и Портос еще вовсе не инвалид, и Арамис не выживший из ума старый хрыч... Один своей силой, другой своей хитростью зададут работу солдатам его величества. Кто знает? Быть может, эти два храбреца снова устроят в назидание христианнейшему монарху второй бастион Сен-Жерве?... Я не отчаиваюсь. У них есть и пушки и гарнизон.

И все же, – продолжал д'Артаньян, покачивая головой, – мне кажется, что для них было бы лучше, если б мне удалось пресечь эту борьбу. Если бы дело касалось лично меня, я не стал бы сносить ни презрительного отношения, ни измены со стороны короля; но ради друзей я готов вытерпеть и грубость, и оскорбление, и все что угодно. Не пойти ли к Кольберу? Вот человек, которого я должен держать в постоянном страхе. Ну что же, идем к Кольберу!»

И д'Артаньян решительно отправился в путь. Придя к министру, он узнал, что Кольбер

находится в Нантском замке, у короля.

– Превосходно! – воскликнул он. – Вот и снова настали те времена, когда я без конца мерил шагами парижские улицы от де Тревиля к кардиналу, от кардинала к королеве, а от королевы к Людовику Тринадцатому. Вот уж подлинно: люди, старея, возвращаются к детству.

В замок!

И он вернулся в замок. Оттуда выходил г-н Дион.

Он протянул д'Артаньяну обе руки и сообщил, что король будет занят весь вечер, даже всю ночь и что отдан приказ никого к нему не впускать.

– Даже, – вскричал д'Артаньян, – капитана, принимающего пароль? Это неслыханно!

– Даже капитана, принимающего пароль, – отвечал де Лион.

– Раз так, – сказал оскорбленный до глубины души д'Артаньян, – раз капитану мушкетеров, который всегда имел доступ в спальню его величества, запрещен вход в королевский кабинет или столовую, это значит, что король или умер, или подверг опале своего капитана. В обоих случаях этот капитан ему больше не нужен. Будьте любезны, господин де Лион, пойти к королю, раз вы в милости, и без обиняков доложить ему, что я прошу об отставке.

– Д'Артаньян, берегитесь! – остановил его де Лион.

– Идите, ради дружбы ко мне.

И он тихонько подтолкнул его к двери королевского кабинета.

– Иду, – поклонился де Лион.

В ожидании его возвращения д'Артаньян принялся ходить большими шагами по коридору.

Лион возвратился.

– Что же сказал король? – спросил д'Артаньян.

– Он сказал: «Хорошо», – ответил Лион.

– Сказал: «Хорошо»! – вспыхнул капитан. – Значит, он принимает мою отставку? Отлично! Вот я и свободен! Я горожанин, господин де Лион; до приятного свидания, господин де Лион! Прощай, замок, прощай, коридор, прощай, передняя короля! Горожанин, который наконец-то свободно вздохнет, приветствует вас!

С этими словами капитан выскочил с террасы на лестницу, ту самую, на ступеньках которой он нашел обрывки записки Гурвиля. Спустя пять минут он входил в гостиницу, где, по обычаю всех высших военных чинов, расквартированных в замке, он нанял, как тогда говорили, частную комнату.

Но вместо того чтобы сбросить с себя плащ и шпагу, он осмотрел свои пистолеты, высыпал деньги в большой кожаный кошель, послал за своими лошадьми, находившимися в конюшне при замке, и отдал распоряжение готовиться к отъезду в Ванн, куда хотел добраться в течение ночи.

Все было исполнено согласно его желанию. Но в восемь часов вечера, когда он садился уже на коня, перед гостиницей появился де Жевр и с ним двенадцать гвардейцев.

Д'Артаньян увидел краешком глаза и тринадцать всадников, и тринадцать коней, но, притворившись, что ничего не заметил, продолжал как ни в чем не бывало усаживаться в седле. Де Жевр подъехал к нему.

– Господин д'Артаньян! – громко окликнул он мушкетера.

– А, господин де Жевр, добрый вечер!

– Вы, кажется, садитесь в седло?

– Даже больше, я уже сел, как видите.

– Хорошо, что я успел вас застать!

– Вы меня ищете?

– Боже мой... да!

– Бьюсь об заклад, что по приказанию короля.

– Да.

– Как два или три дня назад я разыскивал господина Фуке.
– О!
– Неужели вы собираетесь церемониться со мною?
Излишние хлопоты! Скажите сразу, что вы меня арестуете.
– Арестую вас? Боже мой, нет!
– В таком случае почему вы являетесь ко мне с двенадцатью всадниками?
– Я еду с дозором.
– Недурно! И, едуци с дозором, прихватываете меня?
– Я вас отнюдь не прихватываю, а встречаю и прошу ехать со мной.
– Куда?
– К королю.
– Прекрасно! – насмешливо бросил Д'Артаньян. Значит, король наконец-то освободился от дел?
– Ради бога, дорогой капитан, – тихо сказал де Жевр мушкетеру, – не компрометируйте себя без нужды; солдаты вас слышат.
Д'Артаньян рассмеялся:
– Едем! Арестованных помещают между шестью первыми и шестью вторыми солдатами.
– Но так как я вас не беру под арест, вы поедете, если вам будет угодно, за мной.
– С вашей стороны, сударь, это весьма учтиво, и вы правы; если б мне пришлось ездить дозором вокруг вашей частной квартиры, то я был бы с вами отменно учтив; могу вас уверить в этом. Теперь окажите мне следующую любезность. Чего хочет король?
– О, король в ярости!
– Ну, раз король потрудился впасть в ярость, он с таким же успехом потрудится успокоиться, вот и все. Поверьте, я от этого не умру.
– Конечно... но...
– Меня пошлют составить компанию этому бедному господину Фуке? Черт возьми! Господин Фуке порядочный человек. Мы с ним поладим, клянусь вам!
– Вот мы и прибыли, – объявил де Жевр. – Ради бога, капитан, сохраняйте спокойствие в присутствии короля!
– До чего же вы, сударь, любезны со мной! – усмехнулся Д'Артаньян, смотря де Жевру в лицо. – Мне говорили, будто вы очень не прочь присоединить моих мушкетеров к вашим гвардейцам; на этот раз случай как будто благоприятствует этому.
– Боже меня упаси воспользоваться им, капитан!
– Почему?
– По очень многим причинам, и потом, займи я ваше место после того, как взял вас под арест...
– А, вы сознаетесь, что взяли меня под арест?
– Нет, нет!
– Ну, пусть будет по-вашему – встретили... Если, как вы говорите, вы займете мое место после того, что встретили меня во – время дозора...
– Ваши мушкетеры при первой же учебной стрельбе по оплошности выстрелят в мою сторону.
– Не стану этого отрицать. Они меня здорово любят!
Жевр, попросив д'Артаньяна пройти вперед, повел его прямо к дверям кабинета, где король уже ожидал мушкетера. Здесь Жевр с д'Артаньяном остановились, причем Жевр стал за спиною своего коллеги. Было отчетливо слышно, как король громко разговаривает с Кольбером. Стоя несколько дней назад в той же передней, Кольбер мог слышать, как король громко разговаривал с д'Артаньяном.
Между тем гвардейцы де Жевра оставались, не спешиваясь, перед главными воротами замка, и по городу поползли слухи о том, что по приказанию короля только что арестован капитан мушкетеров.

Солдаты д'Артаньяна, прослышав об этом, пришли в волнение; все напоминало доброе старое время Людовика XIII и де Тревиля; собирались кучки возбужденных людей; мушкетеры толпились на лестницах; снизу, со двора, подымался ропот, похожий на гулкие вздохи волн во время прилива; этот ропот докатывался до верхних этажей замка.

Де Жевр явно тревожился. Не отрываясь, смотрел он на гвардейцев, которых осыпали вопросами взволнованные мушкетеры. Гвардейцы перестроились и отъехали в сторону. Они также начинали проявлять беспокойство.

Д'Артаньяна, разумеется, все это тревожило далеко не в такой степени, как де Жевра, командира гвардейцев. Войдя в переднюю, он уселся у окна и, следя своим орлиным взором за всем происходящим внизу, ни разу даже не повел бровью.

От него не укрылись признаки все нарастающего волнения, вызванного слухом об его аресте гвардейцами. Он предугадывал момент, когда произойдет взрыв, а его предвидения, как известно, отличались большой прозорливостью, «Черт подери, а ведь было бы забавно, – подумал он, – если б сегодня вечером мои преторианцы провозгласили меня королем Франции. Вот когда бы я посмеялся!»

Но в самый напряженный момент все разом стихло.

Гвардейцы, мушкетеры, офицеры, солдаты, ропот и возбуждение – все поникло, исчезло, растаяло; ни бури, ни угрозы, ни бунта. Несколько слов успокоили разгулявшиеся волны. Король велел Бриенну крикнуть в толпу:

– Тише, господа, вы мешаете королю!

Д'Артаньян вздохнул.

«Конечно, – сказал он себе. – Нынешние мушкетеры – не чета тем, что были при его величестве короле Людовике Тринадцатом. Конечно!»

– Господин Д'Артаньян, к королю! – объявил придворный лакей.

Глава 34. КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XIV

Король сидел в кабинете спиной к входу. Прямо перед ним было зеркало, в котором, не отрываясь от просмотра бумаг, он мог видеть всех входящих к нему. Когда вошел Д'Артаньян, он ничем не показал, что заметил его, но прикрыл свои письма и карты зеленою тканью, служившей ему для ограждения его тайн от постороннего глаза.

Д'Артаньян понял, что король умышленно не замечает его, и замер у него за спиной, так что Людовику, который не слышал позади себя никакого движения и только краешком глаза видел своего капитана, пришлось в конце концов спросить:

– Здесь ли господин Д'Артаньян?

– Я здесь, – ответил, подходя к столу короля, мушкетер.

– Ну, сударь, – сказал король, устремив на него свой ясный, пристальный взгляд, – что вы можете сообщить?

– Я, ваше величество? – отвечал Д'Артаньян, наблюдавший за тем, каков будет первый выпад противника, чтобы ответить на него достойным ударом.

– Я? Мне нечего сообщить вашему величеству, положительно нечего, кроме, пожалуй, того, что я арестован и вот перед вами!

Король собирался ответить, что он не приказывал арестовать д'Артаньяна, но эта фраза показалась ему похожей на извинение, и он промолчал. Д'Артаньян также упорно хранил молчание.

– Сударь, – спросил наконец король, – с какой целью, по-вашему, посылал я вас на Бель-Иль? Говорите, прошу вас.

Произнося эти слова, король в упор смотрел на своего капитана. Д'Артаньян обрадовался: король уступал ему первую роль.

– Кажется, – ответил он, – ваше величество удостоили задать мне вопрос – с какой целью вы посылали меня на Бель-Иль?

– Да, сударь.

– Ваше величество, я ничего об этом не знаю: это следует спрашивать не у меня, а у бесконечного числа офицеров разного ранга, которым было дано бесконечное число приказов разного рода, тогда как мне, начальнику экспедиции, ничего определенного сказано не было.

Король был задет за живое и выдал себя своим ответом.

– Сударь, – сказал он, – приказы были вручены тем, кому доверяли.

– Поэтому-то я и был удивлен, ваше величество, что такой капитан, как я, равный по положению маршалам Франции, оказался под началом пяти или шести лейтенантов и майоров, неплохих, быть может, шпионов, но совершенно не способных вести за собой войска. Вот в связи с чем я и позволил себе явиться к вашему величеству за объяснениями, но мне отказали в приеме. Это было последним оскорблением, нанесенным безупречному воину, и оно вынудило меня покинуть королевскую службу.

– Сударь, – перебил король, – вам кажется, что вы все еще живете в те времена, когда короли пребывали, как это, по вашим словам, произошло с вами, под началом ив полнейшей зависимости у своих подчиненных. Вы, по-видимому, совершенно забыли, что король отдает отчет в своих действиях одному богу.

– Я ничего не забыл, ваше величество, – проговорил мушкетер, в свою очередь задетый этим укором. – Впрочем, я не могу понять, как честный человек, спрашивая короля, в чем он дурно служил ему, оскорбляет его.

– Да, сударь, вы дурно служили мне, потому что были заодно с моими врагами и действовали вместе с ними против меня.

– Кто же ваши враги, ваше величество?

– Те, против кого я послал вас, сударь.

– Два человека! Враги вашей армии? Невероятно, ваше величество!

– Не вам судить о моих повелениях.

– Но мне судить о моей дружбе.

– Кто служит друзьям, тот не служит своему государю.

– Я это настолько хорошо понял, что почтительно попросил ваше величество об отставке.

– И я ее принял. Но прежде чем мы с вами расстанемся, я хочу представить вам доказательство, что умею держать свое слово.

– Ваше величество сдержали больше, чем слово, – произнес д'Артаньян с холодной насмешкой, – так как ваше величество распорядились арестовать меня, а этого ваше величество не обещали.

Король пропустил мимо ушей эту колкую шутку и серьезным тоном добавил:

– Видите, сударь, к чему принудило меня ваше непослушание.

– Мое непослушание? – вскричал д'Артаньян, покраснев от гнева.

– Это самое деликатное слово, которое я подыскал.

Мой план состоял в том, чтобы схватить мятежников и подвергнуть их наказанию; должен ли я был беспокоиться, друзья ли они вам или нет?

– Но это не могло не беспокоить меня, – отвечал д'Артаньян. – Посылать меня ловить моих ближайших друзей, чтобы притащить их на ваши виселицы, с вашей стороны, ваше величество, было исключительно жестоко.

– Это было, сударь, испытанием верности мнимых слуг, которые едят мой хлеб и обязаны защищать мою особу от посягательств. Испытание не удалось, господин д'Артаньян.

– На одного дурного слугу, которого теряет ваше величество, найдется десяток, которые сегодня уже прошли успешно испытание верности, – сказал с горечью д'Артаньян. – Выслушайте меня, ваше величество: я не привык к такой службе. Я строптивый воин, когда от меня требуются злые дела. Затравить насмерть двух человек, о жизни которых просил господин фуке, тот, кто спас ваше величество, на мой взгляд, – злое дело. К тому же эти два человека – мои друзья. Они не представляют собой опасности, но их беспощадно преследует слепой гнев короля. Почему бы не позволить им скрыться?

Какое преступление совершили они? Допускаю, что вы не даёте мне права судить об их поведении. Но зачем же подозревать меня прежде, чем я начал действовать? Окружать шпионами? Позорить перед всей армией? Зачем доводить меня, к которому вы до сих пор питали неограниченное доверие, меня, который тридцать лет служил королевскому дому и доставил тысячи доказательств своей безграничной преданности (сегодня мне приходится вспомнить об этом, потому что меня обвиняют), зачем доводить меня до того, чтобы я смотрел, как три тысячи солдат идут в битву против двух человек?

– Можно подумать, сударь, что вы забыли, что сделали со мной эти люди, – глухим голосом проговорил Людовик XIV, – и что, если бы это зависело только от них, меня бы уже не существовало на свете.

– Ваше величество, можно подумать, что вы забыли о том, как вел себя при этом событии я.

– Довольно, господин д'Артаньян! Хватит этих властных привычек. Я не допущу, чтобы частные интересы причиняли ущерб моим интересам. Я создаю государство, в котором будет один хозяин, и этим хозяином буду я. Когда-то я уже обещал вам это. Пришла пора выполнить обещание. Вы хотите быть свободным в своих поступках, вы хотите, руководствуясь исключительно своими привязанностями и вкусами, мешать осуществлению моих планов и спасать от заслуженной кары моих врагов. Ну что ж! Мне остается или сокрушить вас, или расстаться с вами. Ищите себе более удобного господина! Я знаю, что другой король вел бы себя иначе и, быть может, позволил бы властвовать над собой, чтобы, при случае, отправить вас составить компанию господину Фуке и многим другим, но у меня хорошая память, и за былые заслуги человек в моих глазах имеет священное право на благодарность и безнаказанность. И вот, единственным наказанием за нарушение дисциплины, которое я наложу на вас, господин д'Артаньян, будет этот урок, и ничего больше. Я не стану подражать моим предкам в гневе, как не подражаю им в милости. Есть и другие причины, побуждающие меня к мягкости по отношению к вам: прежде всего, вы человек умный, больше того, очень умный, решительный, благородный, и вы будете отличным слугою того, кто подчинит вас своей воле; лишь в этом случае вы перестанете находить основания к неповиновению своему господину. Ваше дружба побеждены или уничтожены мною Точек опоры, поддерживавших вашу строптивость, больше не существует; я их выбил из-под нее. В настоящий момент я могу положительно утверждать, что мои солдаты взяли в плен или убили бель-ильских мятежников.

Д'Артаньян побледнел.

– Взяли в плен или убили! – воскликнул он. – О ваше величество, если вы обдуманно произнесли эти слова, если вы были уверены в том, что сообщаете правду, я готов забыть все то, что есть справедливого и великодушного в сказанном вами и назвать вас королем-варваром, бездушным, злым человеком. Но я прощаю вам ваши слова, – бросил он с гордой усмешкой. Я прощаю их юному королю, который не знает, не может понять, что представляют собою такие люди, как господин д'Эрбле, как господин дю Валлон, как я, наконец. Взяты в плен или убиты? Ах, ваше величество, скажите, прошу вас, если новость, сообщенная вами, соответствует истине, во сколько людьми и деньгами обошлась вам эта победа? И мы подсчитаем, стоила ли игра свеч.

Король в гневе подошел к д'Артаньяну и сказал:

– Господин д'Артаньян, так может говорить только мятежник. Будьте любезны ответить, кто король Франции? Или, быть может, вы знаете еще одного короля?

– Ваше величество, – холодно произнес капитан мушкетеров. – Мне вспоминается, как однажды утром – это произошло в Во – вы обратились с тем же вопросом к довольно большому числу людей, и никто, кроме меня, не сумел на него ответить. Если я узнал короля в тот день, когда это было делом нелегким, то, полагаю, не имеет ни малейшего смысла спрашивать меня об этом сегодня, когда мы с вами, ваше величество, находимся наедине.

Людовик XIV опустил глаза. Ему почудилось, будто между ним и д'Артаньяном, чтобы напомнить ему об этом ужасном дне, проскользнула тень его несчастного брата Филиппа.

Почти в то же мгновение вошел офицер; он вручил Людовику депешу, читая которую король изменился в лице. Это не укрылось от д'Артаньяна. Перечитав вторично эту депешу, король как бы оцепенел; некоторое время он молча сидел в своем кресле; затем, внезапно решившись, Людовик XIV молвил:

— Сударь, то, о чем мне сообщают, вы узнаете несколько позже, и помимо меня; поэтому будет лучше, если я сам расскажу вам о содержании этого донесения; узнайте же о нем из уст самого короля. На Бель-Иле имело место сражение.

— А, — спокойно произнес д'Артаньян, хотя сердце его было готово выпрыгнуть из груди. — Ну и что же, ваше величество?

— То, сударь, что я потерял сто шесть человек.

В глазах д'Артаньяна блеснули радость и гордость.

— А мятежники?

— Мятежники скрылись, — ответил король.

Д'Артаньян не удержался от радостного восклицания.

— Но мой, флот, — добавил король, — обложил Бель-Иль, и я убежден, что через это кольцо не прорвется ни одна лодка.

— Значит, — продолжил мушкетер, возвращенный к своим мрачным мыслям, — значит, если удастся захватить господ д'Эрбле и дю Валлона...

— Их повесят, — холодно сказал король.

— И они знают об этом? — спросил д'Артаньян, скрывая охватившую его дрожь.

— Они знают, так как вы сами должны были поставить их об этом в известность, знают, поскольку это известно решительно всем.

— В таком случае, ваше величество, живыми их не возьмут, ручаюсь вам в этом.

— Вот как, — небрежно бросил король, берясь снова за полученное им донесение. — Ну что же, в таком случае их возьмут мертвыми, господин д'Артаньян, а это в конце гонцов то же самое, поскольку я велел их взять лишь затем, чтоб повесить.

Д'Артаньян вытер лоб, на котором выступила испарина.

— Когда-то я обещал вам, сударь, — продолжал Людовик XIV, — что я стану для вас любящим, великодушным и ровным в обращении государем. Вы единственный человек прежнего времени, достойный моего гнева и моей дружбы. Я не стану отмеривать вам ни то, ни другое в зависимости от вашего поведения. Могли бы вы, господин д'Артаньян, служить королю, в королевстве которого была бы еще целая сотня других, равных ему королей?

Мог бы я при подобной слабости осуществить свои великие замыслы, прошу вас, ответьте мне? Видели ли вы когда-либо художника, который создавал бы значительные произведения, пользуясь не повинующимся ему орудием?

Прочь, сударь, прочь эту старую закваску феодального своеволия! Фронда, которая тщила погубить королевскую власть, в действительности укрепила ее, так как сняла с нее давнишние путы. Я хозяин у себя в доме, господин д'Артаньян, и у меня будут слуги, которые, не имея, быть может, присущих вам дарований, возвысят преданность и покорность воле своего господина до настоящего героизма. Разве важно, спрашиваю я вас, разве важно, что бог не дал дарований рукам и ногам? Он дал их голове, а голове — и вы это знаете — повинуются все остальное. Эта голова — я!

Д'Артаньян вздрогнул. Людовик продолжал говорить, словно ничего не заметил, хотя в действительности от него не укрылось, какое впечатление он произвел на своего собеседника.

— Теперь давайте заключим договор, который я обещал вам в Блуа, когда вы как-то застали меня очень несчастным. Оцените, сударь, и то, что я никого не заставляю расплачиваться за те слезы стыда, которые я тогда проливал. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что все великие головы почтительно склоняются предо мной. Склонитесь и вы или... или выбирайте себе изгнание по душе. Быть может, поразмыслив, вы не сможете не признать, что у вашего короля благородное сердце, ибо, полагаясь на вашу честность, он расстается с вами, хотя ему и известно, что вы недовольны и к тому же владеете величайшей государственной тайной. Вы честный человек, я это знаю. Почему вы стали преждевременно

судить обо мне? Судите меня начиная с этого дня, д'Артаньян, и будьте строгим, но справедливым судьей.

Д'Артаньян – онемевший, ошеломленный – впервые в жизни испытывал нерешительность. Во всем сказанном ему королем не было хитрости, но был точный расчет, не было насилия, но была сила, не было гнева, но была воля, не было хвастовства, но был разум. Этот молодой человек, раздавивший Фуке, юноша, который запросто обойдется без д'Артаньяна, опрокидывал все не вполне обоснованные и немного упрямые расчеты бывалого воина.

– Скажите, что вас удерживает? – мягко спросил д'Артаньяна король. Вы подали, сударь, в отставку; хотите ли вы, чтобы я не принял ее? Я понимаю, что старому капитану нелегко отказаться от удовольствия побрюзжать, – О, – меланхолически произнес д'Артаньян, – не в этом моя основная забота. Я колеблюсь взять обратно отставку, потому что я стар рядом с вами и потому что У меня есть привычки, от которых мне трудно отвыкнуть.

Отныне вам потребуются придворные, которые сумеют вас позабавить, и безумцы, которые сумеют отдать свою жизнь за то, что вы именуете великими деяниями вашего царствования. Деяния эти будут воистину велики, я это предчувствую. Ну, а если я все-таки не сочту их таковыми? Я видел войну, ваше величество; я видел и мир; я служил Ришелье, я служил Мазарини; вместе с вашим отцом я горел в огне Ла-Рошели, я изрешечен пулями, и я добрый десяток раз менял кожу, как это бывает со змеями. После обид и несправедливостей я получил наконец командную должность, которая в былые времена имела кое-какое значение, потому что давала право свободно говорить с королем; но ваш капитан мушкетеров отныне будет не более как часовым, стоящим на страже у потайной двери. Право, ваше величество, если эта должность будет в прямь такова, используйте этот случай, чтобы освободить меня от нее. Это будет соответствовать и вашим желанием и моим.

Не думайте, что я затаил на вас злобу. Нет. Вы обуздали меня, как вы говорите, но надо признаться, что, взяв надо мною верх, вы вместе с тем умалили меня в моих же глазах и, согнув, воочию показали мне мою слабость. Если б вы знали, до чего хорошо высоко держать голову и до чего жалкий будет у меня вид, когда мне придется нюхать пыль ваших ковров. О, ваше величество, я искренне сожалею – вы также пожалеете вместе со мной – о тех временах, когда в передних короля Франции слонялась толпа назойливых, тощих, злых, сварливых и вечно недовольных дворян – псов, которые в день битвы, однако, брали врага мертвой хваткой. Эти люди – лучшие придворные того государя, который их кормит, но тот, кто их бьет, тот берегись их зубов! Если расшить золотом их плащи, добавить им чуточку жира, так, чтобы их штаны меньше болтались на них, да посеребрить сединой их жесткие волосы, какие бы из них вышли пэры и герцоги, какие великолепные и горделивые маршалы Франции! Но что толковать об этом! Король – мой господин! Он хочет, чтобы я сочинял стишки, чтобы полировал атласными туфлями фигурный паркет, которым выложены его передние. Черт возьми! Это трудно, но я делал вещи и потруднее, я буду делать и это.

Ради денег? Нет, у меня их достаточно. Ради честолюбивых помыслов? Но мои возможности весьма ограничены. Потому что я обожаю двор? Нисколько.

Я остаюсь, потому что тридцать лет сряду привык приходить к королю за паролем и слышать из его уст: «Добрый вечер, господин д'Артаньян», привык слышать эти слова, произносимые с благосклонной улыбкой, которую я отнюдь не выпрашивал. Ну что ж? Теперь я буду эту улыбку выпрашивать.

Довольны ли вы, ваше величество?

И д'Артаньян склонил серебристую голову, на которую король, улыбаясь, положил свою белую руку.

– Благодарю тебя, мой старый слуга, мой преданный друг, – сказал он.

– Раз начиная с сегодняшнего дня у меня во Франции нет больше врагов, мне остается послать тебя на какое-нибудь поле битвы за пределами на шей страны, дабы ты мог заслужить на нем свой маршальский жезл. Рассчитывай на меня, я найду подходящий случай. А пока ешь мой хлеб и спи, не зная забот.

– В добрый час! – проговорил растроганный д'Артаньян. – А эти бедные люди, там, на Бель-Иле? Особенно один, такой добрый и храбрый?

– Вы просите у меня их помилования?

– На коленях, ваше величество.

– Хорошо, если еще не поздно, отправляйтесь туда и отвезите мое помилование. Но вы отвечаете мне за них!

– Жизнью!

– Идите! Завтра я еду в Париж. Возвращайтесь скорее, так как я не хочу расставаться с вами надолго.

– Будьте спокойны, ваше величество, – вскричал д'Артаньян, целуя королю руку.

И с радостным сердцем он бросился прочь из замка и помчался по дороге, которая вела на Бель-Иль.

Глава 35. ДРУЗЬЯ ФУКЕ

Король вернулся в Париж; одновременно с ним возвратился и д'Артаньян.

Пробыв на Бель-Иле двадцать четыре часа, в течение которых он усердно собирал сведения о происходившем на острове, он все же ничего не узнал о тайне, погребенной немою скалой Локмария, о героической могиле Портоса.

Капитан мушкетеров знал лишь о том, что свершили с помощью трех верных бретонцев, оказывая сопротивление целой армии, его доблестные друзья, которых он так горячо взял под защиту и жизнь которых пытался спасти. Он видел лежавшие на берегу трупы, видел кровь на камнях, разбросанных среди зарослей вереска. Впрочем, он знал и о том, что далеко в море был замечен баркас, что за ним, точно хищная птица, погнался королевский корабль, что хищник настиг и схватил бедную птичку, хотя она и старалась изо всех сил ускользнуть от него.

На этом обрывались точные – сведения д'Артаньяна, дальше начиналась область догадок. Какие же можно было строить предположения? Корабль не возвратился. Правда, третий день бушевала буря, но корвет был быстроходен, прочен и хорошо оснащен; ему не страшны были бури, и он, как полагал д'Артаньян, либо ошвартовался в Бресте, либо вошел в устье Луары.

Таковы были довольно неопределенные, но лично для д'Артаньяна почти утешительные известия, которые он сообщил Людовику XIV, когда тот вместе со всем двором возвратился в Париж. Людовик, довольный своими успехами, Людовик, ставший более мягким и общительным, едва лишь почувствовал, что могущество его возросло, всю дорогу гарцевал у кареты мадемуазель Лавальер.

Придворные между тем делали все возможное и невозможное, чтобы развлечь королев и заставить их забыть про сыновнюю и супружескую измену.

Все жило будущим; до прошлого никому больше не было дела. Но для нескольких чувствительных и преданных душ это прошлое было мучительной и кровоточащей раной. Не успел король возвратиться, как получил трогательное доказательство этого.

Людовик XIV только что встал и завтракал, когда капитан мушкетеров явился к нему. Д'Артаньян был несколько бледен и казался взволнованным.

Король с первого взгляда заметил перемену в обычно столь невозмутимом лице своего капитана.

– Что с вами, д'Артаньян? – спросил он.

– Ваше величество, у меня большое несчастье.

– Бог мой, какое?

– Ваше величество, на Бель-Иле я потерял одного из моих давних друзей, господина дю Валлона. И, произнося эти слова, д'Артаньян впился своим ястребиным взглядом в Людовика XIV, чтобы уловить, с каким чувством воспримет он его сообщение.

– Я это знал, – ответил король.

– Вы знали об этом и промолчали! – вскричал мушкетер.

– Для чего? Ваша печаль, друг мой, достойна глубокого уважения. Я должен был пощадить ее. Сообщить вам сообщение, поразившем вас, означало бы торжествовать у вас на глазах. Да, я знал, что господин дю Валлон похоронил себя под камнями Локмари; знал я и то, что господин д'Эрбле захватил мой корабль вместе со всем экипажем и распорядился доставить себя в Байонну. Но я хотел, чтобы об этих событиях вы узнали не от меня и убедились на этом примере, что я уважаю моих друзей и они для меня священны, а также что человек во мне всегда будет жертвовать собой ради людей, тогда как господь нередко бывает вынужден приносить людей в жертву своему величию, своему могуществу.

– Но как вы об этом узнали, ваше величество?

– А как, д'Артаньян, вы сами узнали?

– Из письма, государь, которое Арамис, находящийся на свободе и в безопасности, прислал мне из Байонны.

– Вот это письмо, – сказал король, вынимая из ящика точную копию письма Арамиса, – оно вручено мне Кольбером за восемь часов до того, как доставлено вам. Полагаю, что мне служат, в общем, недурно.

– Да, государь, вы единственный человек, счастье которого оказалось способным возобладать над счастьем и силою двух этих людей. Вы воспользовались своею силою, но ведь вы не станете злоупотреблять ею, не так ли?

– Д'Артаньян, – проговорил король с доброжелательною улыбкой, – я мог бы распорядиться, чтобы господина д'Эрбле похитили на землях испанского короля и живым привезли ко мне, дабы осуществить над ним правосудие. Д'Артаньян, я не поддамся, поверьте, этому первому, правда естественному душевному побуждению. Он свободен, пусть остается свободным.

– О ваше величество, вы не всегда будете столь же милостивым, благородным, великодушным, каким только что проявили себя по отношению ко мне и к господину д'Эрбле; вы найдете возле себя советников, которые исцелят вас от слабостей этого рода.

– Нет, д'Артаньян, вы ошибаетесь, когда вините моих советников в том, что они толкают меня на суровость. Совет щадить господина д'Эрбле исходит не от кого другого, как от Кольбера.

– Ах, ваше величества! – воскликнул пораженный словам Людовика д'Артаньян.

– Что же касается вас, – продолжал король с необычной для него ласковостью, – то я должен сообщить вам несколько добрых вестей, но вы узнаете их, мой дорогой капитан, лишь тогда, когда я окончательно сведу мои счета. Я сказал, что хочу обеспечить вам достойное положение, и я это сделаю. Мое слово претворяется ныне в действительность.

– Тысяча благодарностей, государь. Что до меня, то я могу подождать.

Но пока я буду терпеливо дожидаться моего часа, прошу вас, ваше величество, займитесь теми беднягами, которые давно уже осаждают вашу переднюю и жаждут смиренно припасть к стопам короля, моля его об удовлетворении их ходатайства.

– Кто такие?

– Враги вашего величества.

Король поднял голову.

– Друзья господина Фуке, – добавил д'Артаньян.

– Их имена?

– Господин Гурвиль, господин Пелисон и один поэт, господин Жан де Лафонтен.

Король на минуту задумался.

– Чего же они хотят?

– Не знаю, – Каковы они с виду?

– Удручены скорбь.

– Что говорят?

– Ничего.

- Что делают?
- Плачут.
- Пусть войдут, – нахмурился король.

Д'Артаньян повернулся на каблуках, приподнял ковер, закрывавший вход в кабинет короля, и крикнул в соседнюю залу:

- Введите!

Тотчас же у дверей кабинета, в котором находились король и его капитан, появилось трое людей, названных д'Артаньяном.

Когда они шли через приемную, там воцарилось гробовое молчание. При появлении друзей несчастного суперинтенданта финансов придворные – сознаемся в этом – отшатывались от них, словно боясь заразиться от соприкосновения с опалой и горем.

Д'Артаньян быстрыми шагами приблизился к этим отверженным, колебавшимся и дрожавшим у дверей королевского кабинета, и, взяв их за руки, подвел к креслу, на котором обычно сидел король; стоя у окна, король ожидал, когда их представят ему, и приготовился принять просителей с дипломатической сухостью.

Из друзей Фуке первым подошел Пелисон. Он не плакал; но он осушил слезы лишь для того, чтобы король мог лучше услышать его просьбу.

Гурвиль кусал себе губы, чтобы перестать плакать из почтения к королю. Лафонтен закрыл лицо платком, и если б не судорожное подергивание его плеч, сотрясавшихся от рыданий, можно было бы усомниться, что это живой человек.

Король хранил величавый вид. Лицо его было невозмутимо. Даже брови его так же хмурились, как тогда, когда д'Артаньян доложил ему о приходе его «врагов». Он сделал жест, который означал: «Говорите», и, продолжая стоять, не сводил глаз с этих отчаявшихся людей.

Пелисон согнулся до земли, а Лафонтен опустился на колени, как в церкви. Это упорное молчание, прерываемое только вздохами и горестными стенаниями, начало возбуждать в короле не жалость, а нетерпение.

– Господин Пелисон, – сказал он резким и сухим голосом, – господин Гурвиль и вы, господин...

«Он не назвал Лафонтена.

– Я был бы весьма недоволен, если вы явились ходатайствовать за одного из величайших преступников, которого должно покарать мое правосудие.

Короля могут трогать лишь слезы или раскаяние; слезы невинных, раскаяние тех, кто виновен. Я не поверю ни в раскаяние господина Фуке, ни в слезы, проливаемые его друзьями, потому что первый порочен до мозга костей, а вторые должны были бы опасаться, что оскорбляют меня в моем доме. Вот почему, господин Пелисон, господин Гурвиль и вы, господин... прошу вас не говорить ничего такого, что не было бы безоговорочным свидетельством вашего уважения к моей воле, Ваше величество, – отвечал Пелисон, содрогнувшись от этих ужасных слов, – ваше величество, мы явились высказать вам лишь то, что выражает самое искреннее почтение, самую искреннюю любовь, которую подданные обязаны питать к своему королю. Суд вашего величества грозен; каждый должен склониться перед его приговором, и мы почтительно склоняемся перед ним.

Мы далеки от мысли защищать того, кто имел несчастье оскорбить ваше величество. Тот, кто навлек вашу немилость, может быть нашим другом, но он враг государству. И, плача, мы отдадим его строгому суду короля.

– Впрочем, – перебил король, успокоенный этим умоляющим тоном и смиренными словами Пелисона, – приговор вынесет мой парламент. Я не карая, не взвесив тяжести преступления. Прежде весы, потом меч.

– Поэтому, проникнутые доверием к беспристрастию короля, мы надеемся, что, когда пробьет час, с разрешения вашего величества нам будет позволено возвысить наши слабые голоса в защиту обвиненного друга.

– О чем же вы просите, господа? – величественно спросил король.

– Государь, – продолжал Пелисон, – у обвиняемого есть жена и семья.

Скудного его состояния едва хватило, чтобы рассчитаться с долгами, и со времени заключения ее мужа госпожа Фуке покинута всеми. Длань вашего величества, поражает с такою же беспощадностью, как длань самого господа.

Когда он карает какую-нибудь семью, насылая на нее чуму или проказу, всякий сторонится ее и бежит дома прокаженного или зачумленного; порой, но весьма редко, благородный врач решается подступить к порогу, отмеченному проклятием, смело переступает его и подвергает опасности свою жизнь, чтобы побороть смерть. Он – последнее упование умирающего, он орудие небесного милосердия. Государь, мы преклоняем колени, мы молим вас, как молят божественный промысел: у госпожи Фуке больше нет ни друзей, ни поддержки; она проливает слезы в своем разоренном и опустевшем доме, покинутом теми, кто осаждал его двери в дни благоденствия; у нее нет больше ни кредита, ни какой-либо надежды. Несчастный, которого поразил ваш гнев, как бы виновен он ни был, получает все же от вас хлеб свой насущный, каждодневно орошаемый им слезами. А столь же несчастная, обездоленная даже в большей мере, чем ее муж, госпожа Фуке, та, что имела честь принимать ваше величество у себя за столом, госпожа Фуке, супруга бывшего суперинтенданта финансов Французского королевства, госпожа Фуку не имеет хлеба.

Здесь тягостное молчание, сковывавшее дыхание обоих друзей Пелисона, была прервано взрывом рыданий, и д'Артаньян, слушая эту смиренную просьбу, почувствовал, как у него от жалости разрывается грудь; отвернувшись лицом в угол кабинета, он покусывал ус и подавлял готовые вырваться вздохи.

Глаза короля по-прежнему сохраняли выражение сухости, в лицо его оставалось суровым, но на щеках проступили красные пятна и взгляд потерял былую уверенность.

– Чего вы хотите? – спросил он.

– Мы пришли смиренно просить ваше величество, – сказал Пелисон, которым понемногу овладевало волнение – дабы вы позволили нам, не обрушивая на нас вашу немилость, предоставить госпоже Фуке в долг две тысячи пистолей, собранные среди прежних друзей ее мужа, чтобы вдова не испытывала нужды в самом необходимом для жизни.

При слове вдова, которое употребил Пелисон, хотя Фуке был еще жив, король заметно побледнел; его высокомерие сникло; жалость поднялась из сердца к устам.

Он посмотрел растроганным взглядом на всех этих людей, рыдающих у его ног.

– Да не допустит господь, – сказал он – чтобы я не делал различия между невинными и виноватыми. Плохо же меня знают те, кто сомневается в моем милосердии к слабым. Я буду поражать только дерзких. Делаете, господа, делайте все, что подсказывает вам ваше сердце, все, что может облегчить страдания госпожи Фуке. Можете идти, господа.

Три просителя встали, безмолвные и с сухими глазами – соседство пылающих щек иссушило их слезы. У них не было сил поблагодарить короля, который к тому же резко оборвал их торжественные поклоны, быстро удалившись за свое кресло.

Король и д'Артаньян остались одни.

– Отлично! – похвалил д'Артаньян, подходя к молодому монарху, который как бы проводил его взглядом. – Отлично! Если бы вы не ввели девиза, венчающего собой ваше солнце, я бы посоветовал вам один хороший девиз и заставил бы господина Коврара перевести его на латынь: «Снисходителен к слабым, грозен для сильных!»

Король улыбнулся я, переходя в соседнюю комнату, на прощанье сказал д'Артаньяну:

– Предоставляю вам отпуск, в котором вы, вероятно, нуждаетесь, чтобы привести в порядок дела покойного господина дю Валлона, вашего друга»

Глава 36. ЗАВЕЩАНИЕ ПОРТОСА

В Пьерфоне все было погружено в траур. Дворы были пустынями, конюшни заперты, цветники заброшены. Прежде шумные, блестящие, праздничные, сами собой останавливались фонтаны. На дорогах, ведущие в замок, можно было увидеть хмурые лица людей, трусивших

верхами на мулах или рабочих лошадках. Это были соседи, священники и судейские, жившие на прилегающих землях.

Все они молча въезжали во двор замка, поручали свою лошадь или мула унылому конюху и в сопровождении слуги в черном направлялись в большую залу, где на пороге их встречал Мушкетон.

За два дня Мушкетон до того похудел, что платье болталось на нем, как в слишком широких ножнах болтается шпага. По его бело-розовому лицу текли два серебристых ручья, прокладывая для себя русло на теперь столь же впалых, как прежде полных, щеках. При появлении каждого нового гостя поток слез усиливался, и жалко было смотреть, как Мушкетон своей сильной рукой сжимал себе горло, чтобы не разрыдаться.

Все эти посетители собрались, дабы выслушать завещание, оставшееся после Портоса. На чтении его хотели присутствовать весьма многие – кто из корысти, кто по дружбе к покойному, у которого не было ни одного родственника.

Прибывающие чинно рассаживались в большой зале, которую замерли, как только часы отбили двенадцать ударов, то есть наступило время, назначенное для чтения завещания.

Стряпчий Портоса – это был, естественно, преемник г-на Кокнара – начал медленно разворачивать длинный пергаментный свиток, на котором могучей рукой Портоса была начертана его последняя воля.

Когда печать была сломана, очки надеты и кончилось предваряющее покашливание, все приготовились слушать. Мушкетон сел в уголок, чтобы свободнее плакать и меньше слышать.

Вдруг только что запертая дверь большой залы, словно по волшебству, широко растворилась, и на пороге по? казалась мужественная фигура, залитая ярким полуденным солнцем. Это был д'Артаньян, который, доехав верхом до входной двери и не найдя никого, кто мог бы поддержать ему стремя, собственноручно привязал коня к дверному молотку и отправился докладывать сам о себе.

Солнце, внезапно ворвавшееся в залу, шепот присутствующих и особенно инстинкт верного пса оторвали Мушкетона от его невеселых раздумий. Он поднял голову и узнал старинного друга своего хозяина; с горестным воплем бросился он к д'Артаньяну и обнял его колени, обливая плиты, которыми был выстлан пол, потоками слез. Д'Артаньян поднял бедного управляющего, в свою очередь, обнял его, как брата, и, учтиво поклонившись всему собранию, которое почтительно приветствовало его, повторяя шепотом его имя, сел на другом конце большой, украшенной резным дубом залы, все еще держа за руку задыхающегося от едва сдерживаемых рыданий и усевшегося возле него на скамеечке Мушкетона. Тогда стряпчий, взволнованный, как и все прочие, начал чтение.

После в высшей степени христианского исповедания веры Портос просил своих врагов простить ему зло, которое он мог когда-либо им причинить.

При чтении этого параграфа невыразимая гордость блеснула в глазах д'Артаньяна. Он вспомнил старого солдата. Он перебрал в уме всех тех, кто был врагами Портоса, всех поверженных его мужественной рукой. «Хорошо, сказал он себе, – хорошо, что Портос не приложил списка этих врагов и не вошел в подробности относительно причиненного им вреда. В этом случае чтецу пришлось бы основательно потрудиться».

Затем шло следующее перечисление:

«Милостью божией в настоящее время в моем владении состоят:

1. Поместье Пьерфон, а именно земли, леса, луговые угодья и воды, обнесенные исправной каменной оградой;

2. Поместье Брасье, а именно замок, леса и пахотные земли, разделенные между тремя фермами;

3. Небольшой участок Валлон;

4. Пятьдесят ферм в Турени, составляющие в сумме пятьсот арканов;

5. Три мельницы на Шере, приносящие по шестьсот ливров дохода каждая;

6. Три пруда в Берри, приносящие каждый по двести ливров.

Что касается движимого имущества, называемого так потому, что оно само не в состоянии двигаться, каковое разъяснение получено мною от моего ученого друга, епископа ваннского...»

Д'Артаньян вздрогнул при упоминании этого имени. Стряпчий продолжал невозмутимо читать:

«... то оно состоит:

1. Из мебели, которую я не могу подробно исчислить за недостатком места и которая находится во всех моих замках, а также домах. Список ее составлен моим управляющим...»

Все повернулись в сторону Мушкетона, который был по-прежнему погружен в свою скорбь.

«2. Из двадцати верховых и упряжных лошадей, которые находятся в моем замке Пьерфоне и носят клички: Баяр, Роланд, Шарлемань, Пипин, Дюнуа, Лагир, Ожье, Самсон, Милон, Немврод, Урганда, Армида, Фальстрада, Далила, Ревекка, Иоланта, Финетта, Гризетта, Лизетта и Мюзетта;

3. Из шестидесяти собак, составляющих шесть свор, предназначенных, как сказано ниже: первая на оленя, вторая на волка, третья на вепря, четвертая на зайца и две последние для несения сторожевой службы, а также охраны;

4. Из военного и охотничьего оружия, собранного в моей оружейной зале;

5. Из анжуйских вин, собранных для Атоса, который их когда-то любил, из бургундских, шампанских, бордоских, а также испанских вин, находящихся в восьми подвалах и двадцати погребах различных моих домов;

6. Из моих картин и моих статуй, которые, как говорят, составляют большую ценность и достаточно многочисленны, чтобы утомить зрение;

7. Из моей библиотеки, насчитывающей шесть тысяч совершенно новых и никогда не раскрытых томов;

8. Из моего столового серебра, которое несколько поистерлось, но должно весить от тысячи до двух тысяч фунтов, так как я едва поднял сундук, в котором оно хранится, и всего шесть раз обошел комнату, неся его на спине;

9. Все эти предметы, а также белье столовое и постельное, распределены между домами, которые я больше всего люблю...»

Здесь чтец остановился, чтобы передохнуть. Каждый присутствующий, в свою очередь, вздохнул, откашлялся и удвоил внимание. Стряпчий продолжал:

«Я жил бездетным, и, вероятно, у меня уже не будет детей, что причиняет мне тяжкое огорчение. Впрочем, я ошибаюсь, ибо у меня все же есть сын, общий с остальными моими друзьями: это г-н Рауль-Огюст-Жюль де Бражелон, родной сын графа де Ла Фер. Этот юный сеньор кажется мне достойным наследником трех отважных дворян, другом и покорным слугой которых я пребываю».

При этих словах раздался громкий стук. Шпага д'Артаньяна, соскользнув с перевязи, упала на каменный пол. Взгляды присутствовавших направились в эту сторону, и все увидели, как крупная сверкающая слеза скатилась с густых ресниц д'Артаньяна на его орлиный нос.

«Вот почему, — продолжал стряпчий, — я оставляю все мое вышепоименованное имущество, недвижимое и движимое, г-ну виконту Раулю-Огюсту-Жюлю де Бражелону, сыну графа де Ла Фер, чтобы утешить его в горе, которое он, по-видимому, переживает, и дать ему возможность с честью носить свое имя...»

Продолжительный шепот пронесся по зале.

«Я поручаю г-ну виконту де Бражелону отдать шевалье д'Артаньяну, капитану королевских мушкетеров, все, что вышеупомянутый шевалье д'Артаньян пожелает иметь из моего имущества. Я поручаю г-ну виконту де Бражелону выделить хорошую пенсию г-ну д'Эрбле, моему другу, если ему придется жить в изгнании за пределами Франции. Я поручаю г-ну виконту де Бражелону содержать тех моих слуг, которые прослужили у меня десять лет или больше, и дать остальным по пятьсот ливров каждому.

Я оставляю моему управляющему Мушкетону всю мою одежду, городскую, военную и охотничью, в количестве сорока семи костюмов, в уверенности, что он будет носить их, пока они не изотрутся, из любви и намята обо мне.

Сверх этого я завещаю г-ну виконту де Бражелону моего старого слугу в верного друга, уже названного мной Мушкетона, и поручаю г-ну виконту де Бражелону вести себя по отношению к нему так, чтобы Мушкетона умирая, мог объявить, что никогда не переставал быть счастливым».

Услышав эти слова. Мушкетон, бледный и дрожащий, отвесил низкий поклон; его широкие плечи судорожно вздрагивали; он отнял свои похолодевшие руки от перекошенного ужасом и болью лица, и присутствующие увидели, как он спотыкается, останавливается и, желая покинуть валу, не может сообразить, куда нужно идти.

– Мушкетон, – сказал д'Артаньян, – мой добрый друг Мушкетон, уходите отсюда и собирайтесь в дорогу. Я отвезу вас к. Атосу, куда доеду, покинув Пьерфон.

Мушкетон не ответил. Он едва дышал. Все в этой зале как будто стало для него отныне чужим. Он открыл дверь и медленно вышел.

Стряпчий окончил чтение; большинство явившихся выслушать последнюю волю Портоса разошлись разочарованные, но исполненные к ней глубокого уважения.

Что касается д'Артаньяна, который, после того как стряпчий отвесил ему церемонный поклон, остался во всей зале один, то он был восхищен мудростью завещателя, отказавшего с такой справедливостью все свое достояние наиболее достойному и наиболее стесненному в средствах; к тому же он сделал это с такой деликатностью, какой не встретишь даже в среде самых тонких придворных и самых благородных людей.

Портос поручил Раулю де Бражелону отдать д'Артаньяну все, что он пожелает. Он отлично знал, этот достойный Портос, что д'Артаньян ничего не попросит; а в случае если он чего-нибудь пожелает, то никто, кроме него самого, не будет отделять для него его доли.

Портос оставил пенсию Арамису, который, если бы захотел слишком многого, был бы остановлен примером, показанным д'Артаньяном, а слово изгнание, употребленное завещателем без какой-либо задней мысли, не было ли самой мягкой, самой ласковой критикой поведения Арамиса, явившегося причиной смерти Портоса?

Наконец, в завещании покойного Атос не был упомянут ни одним еловом.

Мог ли Портос предположить, чтобы сын не отдал лучшей доли отцу? Бесхитростный ум Портоса взвесил все обстоятельства, уловил все оттенки лучше, чем это мог бы сделать закон, лучше, чем царящий между людьми обычай, лучше, чем хороший и тонкий вкус.

«У Портоса было великое сердце», – вздыхая, сказал себе Д'Артаньян.

Ему показалось, что откуда-то сверху донесся стон. Он тотчас же вспомнил о Мушкетоне, которого следовало отвлечь от его скорби. И д'Артаньян вышел из залы, так как Мушкетона все еще не было.

Поднявшись по лестнице в первый этаж, он увидел в комнате Портоса груды одежды из самых разнообразных тканей самого разного цвета, на которой был распростерт Мушкетон. Это была доля верного друга. Эта одежда принадлежала ему, была оставлена ему в дар. Рука Мушкетона лежала поверх этих реликвий; он вытянулся на них ничком, как бы целуя их, и покрывал их своим телом.

Д'Артаньян подошел утешить беднягу.

– Боже мой, – вскричал капитан, – он не шевелится! Он без сознания!

Д'Артаньян ошибся: Мушкетон умер. Умер, как пес, который, потеряв своего господина, возвращается, чтобы встретить смерть на его платье.

Глава 37. СТАРОСТЬ АТОСА

Пока происходили эти события, разлучившие навсегда четырех мушкетеров, некогда связанных, как казалось, нерасторжимыми узами, Атос, оставшись после отъезда Рауля наедине с самим собой, начал платить дань той неудержимо наступающей смерти, которая называется тоской по любимым.

Вернувшись к себе в Блуа и не имея возле себя Гримо, встречавшего его неизменной улыбкой, когда он входил в цветники, Атос чувствовал, как с каждым днем уходят его силы, которые так долго казались неистощимыми.

Старость, отгоняемая до этих пор присутствием любимого сына, нагрянула в сопровождении целого сонма недугов и огорчений, которые тем многочисленнее, чем дольше она заставляет себя дожидаться.

Рядом с ним не было больше сына, чтобы учить его стройно держаться, ходить с высоко поднятой головой, подавать ему добрый пример; од не видел больше перед собой блестящих глаз юноши, этого очага, в котором никогда не гаснет огонь и где возрождается пламя его собственных взглядов.

И затем, – нужно ли говорить об этом, – Атос, главными чертами характера которого были нежность и сдержанность, не встречая теперь ничего такого, что могло бы сдерживать порывы его души, отдался своему горю со всей необузданностью, свойственной мелким душам, когда они предаются радости.

Граф де Ла Фер, остававшийся, несмотря на свои шестьдесят два года, по-прежнему молодым, воин, сохранявший, несмотря на перенесенные лишения и невзгоды, – силы и бодрость, несмотря на несчастья, – ясность ума, несмотря на исковеркавших его жизнь миледи, Мазарини и Лавальер, – мягкую ясность души и юношеское тело, Атос в какую-нибудь неделю сделался стариком, как-то сразу утратив остатки своей задержавшейся молодости.

Все еще красивый, но сгорбившийся, благородный, по вечно печальный, ослабевший, пошатывающийся и седой, он разыскивал для себя лужайки, где солнце светило сквозь густую листву аллей.

Он оставил суровые привычки всей своей жизни, забыл о них после отъезда Рауля. Слуги, привыкшие видеть его во всякое время года встающим с зарей, удивлялись, когда в семь утра, в разгар лета, их господин продолжал оставаться в постели. Атос лежал с книгой у изголовья, но не читал и не спал. Он лежал, чтобы не носить своего тела, ставшего для него бременем, и дать душе и уму вырваться из заключающей их оболочки и лететь на воссоединение с сыном или же богом.

Несколько раз случалось, что окружающие были не на шутку встревожены, видя его в течение многих часов погруженным в немое раздумье, забывшим о действительности; он не слышал шагов слуги, подходившего к дверям его комнаты, чтобы узнать, спит ли его господин или проснулся. Бывало и так, что он не замечал, как проходила добрая половина дня, не замечал, что уже миновал час по только завтрака, но и обеда. Наконец он пробуждался, вставал, спускался в свою любимую тенистую аллею, потом выходил на короткое время на солнце, как бы затем, чтобы провести минутку в тепле, разделяя его с отсутствующим сыном. И затем снова начиналась все та же однообразная, угнетающая прогулка, пока, окончательно обессиленный, он не возвращался к себе, в свою комнату, и не укладывался в постель – местопребывание, которому он оказывал предпочтение перед всеми другими.

В течение нескольких дней граф не произнес ни одного слова. Он отказывался принимать наведывавшихся к нему посетителей. Ночью, как заметили слуги, он зажигал лампу и много часов напролет писал или перебирал старинные свитки пергамента.

Одно из таких написанных ночью писем он послал в Ванн, другое в Фонтенбло; ни на первое, ни на второе не последовало ответа. Мы знаем, что было причиной этого: Арамис покинул пределы Франции, а д'Артаньян путешествовал из Нанта в Париж и из Парижа в Пьерфон. Камердинер графа заметил, что он с каждым днем укорачивает свою прогулку, делая все меньше и меньше кругов до сада. Липовая аллея вскоре сделалась слишком длинною для него, хотя прежде он без конца ходил по ней взад и вперед. Вскоре и сто шагов стали для него утомительными. Наконец Атос не захотел больше вставать; он отказывался от пищи и, хотя ни да что не жаловался, продолжал улыбаться и говорить ласковым тоном, его слуги, встревожившись, отправились за старым доктором покойного герцога Орлеанского, проживавшим в Блуа, и привезли его к графу с тем, чтобы, не показываясь Атосу, он получил возможность видеть графа.

Ради этого они поместили доктора в комнате, находившейся по соседству со спальней больного, и умоляли не выходить из нее, чтобы не вызвать неудовольствия их господина, который ни словом не обмолвился о враче.

Доктор повиновался; Атос был своего рода образцом для дворян этого края; они гордились, что обладают этой священной реликвией старофранцузской славы; Атос был подлинным, настоящим вельможей по сравнению с той знатью, которую вызывал к жизни король, притрагиваясь своим молодым и способствующим плодородию скипетром к иссохшим стволам геральдических деревьев провинции.

Итак, мы сказали, что Атоса любили и почитали в Блуа. Доктору больно было смотреть, как плачут слуги и как стекаются сюда бедняки всей округи, которым Атос дарил жизнь и утешение, помогая им добрым словом и щедрою милостыней. Из своей комнаты врач принялся наблюдать за развитием таинственного недуга, с каждым днем подтачивавшего и все больше и больше одолевавшего того человека, который еще так недавно и любил жизнь, и был полон ею.

Он заметил на щеках Атоса румянец самовозгорающейся и питающей себя самое лихорадки – лихорадки медлительной, безжалостной, гнездящейся в глубине сердца, прячущейся за этой преградой, растущей за счет страдания, которое она порождает, одновременно и причины и следствия грозящего непосредственно опасностью состояния.

Граф ни с кем больше не разговаривал. Его мысль боялась шума, она дошла уже до такого сверхвозбуждения, которое граничит с экстазом. Человек, до такой степени погруженный в себя, если еще и не принадлежит богу, то не принадлежит уже и земле.

В течение нескольких часов доктор настойчиво изучал это мучительное единоборство воли с какой-то высшею силой; он пришел в ужас от этих неподвижно устремленных в одну точку глаз, он пришел в ужас от того, что сердце больного бьется все так же спокойно и ровно и ни один вздох не нарушает привычную тишину; иногда острота страдания – надежда врача.

Так прошла половина дня. Как человек смелый и твердый, доктор принял решение: он внезапно покинул свое убежище и, войдя в спальню Атоса, приблизился к постели больного. Атос, увидев его, не выразил ни малейшего удивления.

– Граф, простите меня, – сказал доктор, – но я вынужден упрекнуть вас, вы должны выслушать меня.

И он сел к изголовью Атоса, который с большим трудом превозмог свое состояние отрешенности от всего окружающего.

- В чем дело, доктор? – после минутного молчания спросил он.
- Дело в том, господин граф, что вы больны и не лечитесь.
- Я болен? – улыбнулся Атос.
- Лихорадка, истощение, слабость, увядание жизненных сил, господин граф.
- Слабость? Неужели? Но ведь я не встаю.
- Не хитрите, господин граф. Ведь вы добрый христианин?
- Полагаю, – сказал Атос.
- И вы бы не стали накладывать на себя руку?
- Никогда.

– Так вот, вы умираете... то, что вы делаете, – самоубийство; выздоравливайте, господин граф, выздоравливайте!

– От чего? Прежде найдите недуг. И никогда не чувствовал себя лучше, никогда небо не казалось мне столь прекрасным, никогда цветы не доставляли мне столько радости.

– Вас гложет какая-то тайная скорбь.

– Тайная? Нет, доктор: это отсутствие моего сына, и в этом моя болезнь, чего я отнюдь не скрываю.

– Граф, сын ваш жив и здоров; он крепок и стоек, и перед ним – будущее, открытое для людей его достоинств и его знатности: живите же для него.

– Но ведь я живу, доктор... О, будьте спокойны, – добавил Атос с грустной улыбкой, – я очень хорошо знаю, что Рауль жив, потому что пока он жив, жив и я.

– Что вы говорите?

– О, очень простую вещь. В настоящее время, доктор, я приостанавливаю в себе течение жизни. Бессмысленная, рассеянная, равнодушная жизнь, когда Рауля нет рядом со мной, была бы для меня непосильной задачей. Ведь вы не требуете от лампы, чтобы она загоралась сама собой, без поднесенного к ней огня; почему же в таком случае вы требуете, чтобы я жил в сутолоке и на виду? Я прозябаю, я готовлюсь, я ожидаю. Помните ли вы, доктор, солдат, равнодушно лежавших на берегу, солдат, которых мы с вами так часто видели в гаванях, где они ожидали отплытия? Наполовину на суше, наполовину на море, они с уложенными вещами, с напряженной душой пристально смотрели вперед и... ждали. Я умышление повторяю все то же слово, потому что оно дает ясное представление о моем состоянии. Лежа, как эти солдаты, я прислушиваюсь ко всем долетающим до меня звукам, я хочу быть готовым к отплытию по первому зову. Кто призовет меня? Бог или сын? Мои вещи уложены, душа ко всему подготовлена, я ожидаю знака... Я ожидаю, доктор, а ожидаю!

Доктор знал душевную силу Атоса, он знал и его телесную крепость; он с минуту подумал, решил, что слова будут излишни, а лекарства бессмысленны, и уехал, наказав слугам Атоса ни на мгновение не покидать их господина.

После отъезда доктора Атос не выразил ни гнева, ни даже досады на то, что его потревожили; он не потребовал и того, чтобы все приходящие письма вручались ему без промедления; он знал, что все, что могло бы доставить ему развлечение, было радостью и надеждой его слуг, которые заплатили бы своей кровью, лишь бы доставить ему хоть какое-нибудь удовольствие.

Сон больного стал поверхностным и тревожным. Пребывая все время в грезах, он лишь на несколько часов впадал в более глубокое забытие. Этот краткий покой давал забвение только телу, но утомлял душу, ибо Атос, пока странствовал его дух, жил раздвоенной жизнью. Однажды ночью ему пригрезилось, будто Рауль одевается у себя в палатке, чтобы идти в поход, возглавляемый лично герцогом де Бофором. Юноша был печален, он медленно застегивал панцирь, медленно надевал шпагу.

– Что с вами? – нежно спросил Рауля отец.

– Меня огорчила гибель Портоса, нашего доброго друга, – ответил Рауль, – я страдаю при мысли о вашем горе, которое вы переживаете вдаль от меня.

Видение исчезло, и Атос пробудился от сна.

На заре один из лакеев вошел к своему господину и передал ему письмо из Испании.

«Рука Арамиса», – подумал граф.

– Портос умер! – вскричал он, бросив взгляд на первые строки. – О Рауль, Рауль, спасибо, спасибо тебе; ты исполняешь свое обещание, ты предупреждаешь меня!

Атос, обливаясь потом, лежа у себя на кровати, лишился сознания, и причиной этого было не что иное, как слабость.

Глава 38. ВИДЕНИЕ АТОСА

По миновании обморока Атос, устыдившись слабости, которой он поддался, уступая призрачным грезам, оделся и велел седлать лошадь; он хотел съездить в Блуа и попытаться обеспечить более верные письменные сношения с Африкой, д'Артаньяном и Арамисом.

Письмо Арамиса извещало графа о печальном исходе затеи с Бель-Илем; в нем приводилось подробное описание смерти Портоса, и оно потрясло нежное и любящее сердце Атоса.

Ему захотелось в последний раз навестить покойного друга. Собравшись отдать этот долг старому товарищу по оружию, он предполагал сообщить о своем намерении д'Артаньяну и, склонив его к этому горестному путешествию на Бель-Иль, совершить вместе с ним траурное паломничество к могиле гиганта, которого он так нежно любил, после чего, возвратившись к себе, отдаться во власть тайной силы, неисповедимыми путями увлекавшей его к иной, вечной жизни.

Но едва слуги, обрадованные этой поездкой, обещавшей разогнать меланхолию графа, одели своего господина, едва была оседлана и подведена к крыльцу самая смиренная во всей графской конюшне лошадь, как отец Рауля, почувствовав, что у него кружится голова и подкашиваются ноги, понял, что ему не сделать ни одного шага без посторонней помощи.

Он попросил, чтобы его отнесли на солнце, положили на любимую дерновую скамью, где он провел больше часа, пока не почувствовал себя лучше.

Эта слабость была вполне естественным следствием полнейшей бездеятельности последнего времени. Чтобы набраться сил, граф выпил чашку бульона и пригубил стакан со своим любимым старым, выдержанным анжуйским видом, упомянутым славным Портосом в его изумительном завещании.

Подкрепившись и немного воспрянув духом, он велел снова привести лошадь, но для того, чтобы с трудом сесть и седло, ему понадобилась поддержка лакеев. Он не проехал и ста шагов: на повороте дороги у него вдруг начался сильный озноб.

– Как это странно, – обратился он к сопровождавшему его лакею.

– Остановимся, сударь, умоляю вас, – отвечал верный слуга. – Вы побледнели.

– Это не мешает мне двигаться дальше, раз я уже выехал, – сказал граф.

И он отпустил повод. Но лошадь, вместо того чтобы повиноваться воле хозяина, внезапно остановилась; бессознательно Атос подтянул мундштук.

– Кому-то, – произнес Атос, – неуютно, чтобы я ехал дальше. Поддержите меня, – добавил он и протянул слуге руку, – скорее, скорее! Я чувствую, как слабеют все мои мышцы, сейчас я упаду с коня.

Лакей заметил движение своего господина раньше, чем услышал его приказание. Он быстро подъехал к нему и подхватил его на руки. И так как они не успели еще удалиться от дома, слуги, вышедшие проводить графа и стоявшие у дверей, увидели, что с графом, который всегда так прекрасно держался в седле, происходит что-то неладное. Когда же лакей принялся звать их к себе, все тотчас же прибежали на помощь.

Едва лошадь Атоса сделала несколько шагов по направлению к дому, как он почувствовал себя лучше. Ему показалось, что к нему возвращаются силы, и он опять заявил о своем желании во что бы то ни стало поехать в Блуа. Он повернул назад. Но при первом же движении лошади он снова впал в то же состояние оцепенения и дурноты.

– Решительно, – прошептал он, – кому-то надо, чтобы я никуда не ездил.

Подбежавшие слуги, сняв графа с лошади, торопливо отнесли его в дом.

Тотчас же была приготовлена комната, и Атос уложили в постель.

– Помните, – сказал он, обращаясь к слугам, перед тем как заснуть, помните, что сегодня я жду писем из Африки.

– Сударь, вы будете, конечно, довольны, узнав, что сын доктора из Блуа уже выехал в город, чтобы привезти почту да целый час раньше, чем ее доставляет курьер.

– Благодарю, – ответил с доброй улыбкой Атос.

Граф заснул; его беспокойный сон, должно быть, приносил ему страдание. Слуга, дежуривший у него в комнате, заметил, как на лице его несколько раз появлялось выражение

ужасной внутренней муки, видимо переживаемой им во сне. Быть может, ему что-то привиделось.

Так прошел день; сын блуасца вернулся; од сообщил, что курьер не заехал в Блуа. Граф сильно томился; он пел счет минутам и содрогался, когда из этих минут составлялся час. На мгновение ему пришла в голову мысль о том, что за морем его успели забыть; сердце графа болезненно сжалось.

Никто в доме уже не надеялся, что курьер, запоздав по какой-то причине, все же доставит долгожданные письма. Его час давно миновал. Четырежды посылали нарочных, и всякий раз посланный возвращался с ответом, что на имя графа никаких писем не поступало.

Атос знал, что почта приходит лишь раз в неделю. Значит, надо пережить еще семь бесконечно томительных дней. Так, в этой гнетущей уверенности, началась для него бессонная ночь. Все мрачные предположения, какими больной, терзаемый непрерывным страданием, может обременить грустную и без того действительность, все эти предположения Атос громоздил одно на другое в первые часы этой ночи.

Началась лихорадка; она охватила грудь, где тотчас же вспыхнул пожар, по выражению доктора, снова вызванного из Блуа его сыном. Вскоре жар достиг головы. Доктор дважды открывал кровь; кровопускания принесли облегчение, но вместе с тем довели больного до крайней слабости. Сильным и бодрым оставался лишь мозг.

Понемногу эта грозная лихорадка стала спадать и к полуночи совсем прекратилась. Видя это несомненное улучшение, доктор сделал несколько указаний и уехал, объявив, что граф вне опасности. После его отъезда Атос впал в странное, не поддающееся описанию состояние. Его мысль была свободна и устремилась к Раулю, его горячо любимому сыну. Воображению графа представились африканские земли неподалеку от Джиджелли, куда герцог де Бофор отправился со своей армией.

На берегу стояли серые скалы, местами позеленевшие от морской воды, обрушивающейся во время прибоя и непогоды на берег.

В некотором отдалении, среди мастиковых деревьев и зарослей кактуса амфитеатром располагалось небольшое селение, полное дыма, шума и тревожной сумятицы.

Вдруг над дымом поднялось пламя, которое расплзлось по всему селению, понемногу усиливаясь, оно в своих багровых вихрях поглотило все окружающее; из этого ада неслись стоны и крики, над ним вздымались руки, воздетые к небу. В несколько секунд тут воцарился невообразимый хаос: рушились балки, скручивалось железо, докрасна раскалялись камни, факелами пылали деревья.

Но странная вещь! Хотя Атос и различал в этом хаосе воздетые руки, хотя он и слышал крики, рыдания, стоны, он не видел ни одного человека.

Вдали грохотали пушки, раздавалась пальба из мушкетов, ревело море, ошалевшие от страха стада неслись по зеленым склонам холмов. Но не было ни солдат, подносящих к орудиям фитили, ни моряков, выполняющих сложные маневры на кораблях, ни пастухов при стадах.

После разрушения деревни и прикрывавших ее фортов, разрушения и опустошения, совершившихся как бы при помощи магических чар, без участия людей, пламя погасло, до все еще поднимался густой черный столб дыма; впрочем, вскоре дым поредел, затем побледнел и, наконец, вовсе исчез.

Затем спустилась ночь, непроглядная на земле, яркая на небе; огромные искрящиеся африканские звезды сияли, ничего не освещая своим сиянием.

Наступила мертвая тишина, продолжавшаяся довольно долгое время. Она принесла с собой отдых возбужденному воображению Атоса. Впрочем, он явственно ощущал, что на том, что он видел, дело не кончилось, и он сосредоточил все силы своей души, чтобы ничего не упустить из того зрелища, которое уготовило ему его воображение.

И действительно, африканская деревня снова предстала перед ним.

Над крутым берегом поднялась нежная, бледная, трепетная луна; она проложила на море покрытую рябью дорожку – теперь, после яростного рева, который доносился к Атосу в

начале его видения, оно было безмолвным – и осыпала алмазами и опалами кусты на склонах холмов.

Серые скалы, похожие на молчаливых, внимательных призраков, поднимали, казалось, свои головы, чтобы получше рассмотреть освещенное луной поле сражения, и Атос заметил, что это поле, совершенно пустое во время побоища, теперь было усеяно трупами. Невыразимый ужас охватил его душу, когда он узнал белую с голубым форму французских солдат, их пики с голубым древком, их мушкеты с лилиями на прикладах.

Когда он увидел все эти разверстые раны, обращенные к лазоревым небесам как бы для того, чтобы позвать назад души, которым они позволили вылететь из брэнного тела; когда он увидел страшных раздувшихся лошадей с языком, свисающим между оскаленных зубов, лошадей, заснувших среди запекшейся крови, обогрившей их попоны и гривы; когда он увидел, наконец, белого коня герцога де Бофора, коня, которого он хорошо знал, лежащего с разбитой головой в первом ряду на поле мертвецов, он провел своей ледяною рукой по лбу и удивился, не почувствовав жара.

Это прикосновение убедило его в том, что лихорадка ушла и что все, что он видит, он видит как зритель со стороны, рассматривающий эту потрясающую картину на следующий день после сражения на побережье возле Джиджелли; здесь дралась экспедиционная армия, та самая, при отплытии которой из Франции он присутствовал и которую провожал взглядом, пока корабли ее не исчезли за горизонтом, армия, которую он сам приветствовал жестом и в мыслях, когда раздался последний пушечный выстрел в честь прощания с родиной, прогремевший по приказанию герцога.

Кто мог бы описать смертельную муку, в которой душа его, словно внимательный взгляд, переходила от трупа к трупу и искала, не спит ли среди павших Рауль? Кто мог бы выразить несказанную безумную радость, с которой Атос склонился пред богом и возблагодарил его, не найдя того, кого он с таким страхом искал среди мертвых?

И действительно, каждый в своем ряду, застывшие, похолодевшие, все эти покойники, которых легко можно было узнать, поворачивались, казалось, с готовностью и почтительностью к графу де Ла Фер, чтобы, производя им этот траурный смотр, он мог бы получше их рассмотреть.

Но теперь граф изумлялся, почему нигде не видно ни одного человека, вышедшего из этой бойни живым.

Иллюзия была такой жизненной и такой яркой, что это видение было для него как бы осуществленным в действительности путешествием в Африку, предпринятым для того, чтобы получить более точные сведения о возлюбленном сыне.

Устав от скитаний по морям и по суше, он остановился отдохнуть в одной из разбитых возле скалы палаток, над которыми трепетало белое знамя, расшитое лилиями. Он искал хоть какого-нибудь солдата, который проводил бы его к герцогу де Бофору.

И вот, пока его взгляд блуждал по полю, обращался то в одну, то в другую сторону, он увидел фигуру в белом, появившуюся за деревьями. На ней была офицерская форма; в руке этот офицер держал сломанный клинок шпаги; он медленно пошел навстречу Атосу, который, устремив на него взгляд, не двигался, не заговаривал и сделал уже движение, чтобы раскрыть объятия, потому что в этом бледном и немом офицере он внезапно узнал Рауля.

Граф хотел крикнуть, но крик замер в его гортани. Рауль, приложив палец к губам, велел ему сохранять молчание; он начал удаляться, хотя Атос не мог, сколько ни всматривался, заметить, чтобы ноги его переступали с места на место.

Граф стал бледнее Рауля и, дрожа всем телом, последовал за своим сыном, с трудом пробираясь сквозь кусты и заросли вереска, через камни и рвы. Рауль, казалось, не касался земли, и ничто не служило помехой для его легкой скользящей поступи.

Истомленный тяжелой дорогой, граф остановился в полном изнеможении.

Рауль продолжал звать его за собой. Нежный отец, которому любовь придала силы, сделал последнюю попытку взойти на гору, идя следом за молодым человеком, манившим его жестами и улыбкой.

Наконец он добрался до вершины горы и увидел на побелевшем от луны горизонте воздушные очертания фигуры Рауля. Атос протянул руку, чтобы прикоснуться к горячо любимому сыну, который тоже стремился к отцу. Но вдруг юноша, как бы увлеченный какою-то силой, попятился от него и внезапно поднялся над землей; Атос увидел под ногами Рауля усеянное звездами небо. Он неприметно поднимался все выше и выше, в безграничный простор, все так же улыбаясь, так же молча призывая отца; он удалялся на небо.

Атос в ужасе вскрикнул и посмотрел вниз. Внизу был разрушенный лагерь и белые неподвижные точки: трупы солдат королевской армии.

И когда он слова закинул голову вверх, он снова увидел небо и в нем своего сына, который все так же звал его за собой.

Глава 39. АНГЕЛ СМЕРТИ

На этом месте поразительное видение, представшее взору Атоса, было прервано сильным шумом, донесшимся от ворот. Вслед за тем послышался топот лошади, скакавшей вдоль по аллее, что вела к дому; топот затих, и до комнаты, в которой граф находился во власти этих жутких грез, долетели необычно громкие и оживленные восклицания.

Атос не тронулся с места; он с трудом повернул голову к двери, чтобы отчетливее слышать, что происходит снаружи. Кто-то тяжело поднялся на крыльцо. Лошадь, с которой только что спрыгнул всадник, повели в конюшню. Шаги, медленно приближавшиеся к спальне Атоса, сопровождались какими-то вздохами.

Отворилась дверь, и Атос, повернувшись на звук открываемой двери, едва слышно спросил:

– Это африканская почта, не так ли?

– Нет, господин граф, – произнес голос, заставивший вздрогнуть Атоса.

– Гримо! – прошептал он. И холодный пот хлынул по его впалым щекам.

На пороге показался Гримо. Это был уж не прежний Гримо, молодой своим мужеством и своей преданностью, а тот Гримо, который первым прыгнул в баркас, поданный к пристани, чтобы отвезти Рауля на королевский корабль.

Это был суровый и бледный старик, в покрытой пылью одежде, с редкими побелевшими волосами. Он дрожал, прислонившись к косяку двери, и едва устоял на ногах, увидев издали, в мерцающем свете лампы, лицо своего господина.

Эти два человека, столько лет прожившие вместе, привыкшие понимать друг друга с одного взгляда, умели скупно выражать свои мысли, умели безмолвно высказывать многое; эти два старых солдата, соратника, в равной мере благородные, хотя неравные по происхождению и положению, оцепенели, взглянув друг на друга. В мгновение ока они прочитали друг у друга в глубине сердца.

На лице Гримо застыла печать скорби, ставшая для него привычной. Теперь он так же разучился улыбаться, как некогда – говорить.

Атос тотчас же понял, что именно выражает лицо этого старого преданного слуги; тем же тоном, каким он во сне говорил с Раулем, он спросил:

– Гримо, Рауль умер?

За спиною Гримо столпились другие слуги; они жадно ловили каждое слово, не сводя глаз с постели больного. Все они слышали этот страшный вопрос, за которым последовало тягостное молчание.

– Да! – ответил старик, выдавливая из себя этот единственный слог и сопровождая его глухим вздохом.

Послышались жалобные стенания слуг; комната наполнилась молитвами и сдержанным плачем. А умирающий отец между тем отыскивал глазами портрет своего умершего сына. Для Атоса это было как бы возвращением к прерванным грезам.

Без стоны, не пролив ни единой слезы, терпеливый, полный смирения, точно святой

мученик, поднял он глаза к небу, чтобы еще раз увидеть возносящуюся над горами Джиджелли столь дорогую для него тень, с которой он расстался в тот момент, когда прибыл Гримо. Глядя упорно вверх, он снова, несомненно, возвратился к своему видению; он, несомненно, прошел весь тот путь, по которому его вело это страшное и вместе с тем столь сладостное видение, потому что, когда он на минуту открыл закрывшиеся было глаза, на лице его светилась улыбка; он только что увидел Рауля, ответившего ему такой же улыбкою.

Сложив на груди руки, повернувшись лицом к окну, овеваемый ночью прохладой, приносившей к его изголовью ароматы цветов и леса, Атос погрузился, чтобы больше не возвращаться к действительности, в созерцание того рая, который никогда не предстает взору живых. Атоса вела чистая и светлая душа его сына. И на том суровом пути, по которому души возвращаются на небо, все было для этого праведника благоуханной и сладостной мелодией.

После часа такого экстаза он с трудом приподнял свои бледные как воск, худые руки. Улыбка не покидала его лица, и он прошептал тихо, так тихо, что их едва можно было расслышать, два слова, обращенные к богу или Раулю:

– Я иду.

После этого его руки медленно опустились на постель. Смерть была милостива и ласкова к этому благородному человеку. Она избавила его от мучений агонии, от последних конвульсий; отворив благосклонной рукой двери вечности, она пропустила в них эту великую душу, достойную и в ее глазах глубочайшего уважения.

Даже уснув навеки, Атос сохранил спокойную и искреннюю улыбку, которая так украшала его при жизни и с которой он дошел до самой могилы.

Спокойствие его черт и безмятежность кончины заставили его слуг еще довольно долгое время надеяться, что хотя он в забытии, но тем не менее жив.

Люди графа хотели увести с собою Гримо, который издал не сводил глаз со своего господина, с его лица, покрывшегося мертвенной бледностью; он боялся приблизиться к графу, опасаясь в благочестивом страхе принести ему дыхание смерти. И хотя он валился с ног от усталости, он все же отказался уйти и сел на пороге, охраняя своего господина, словно бдительный часовой. Он ревностно подстерегал его первый взгляд, если он очнется от сна, или последний вздох, если ему суждено умереть.

В доме все стихло: каждый берег сон своего господина. Прислушавшись, Гримо обнаружил, что граф больше не дышит. Он приподнялся со своего места и стал смотреть, не вздрогнет ли тело Атоса. Ничего, ни малейших признаков жизни. Его охватил ужас; он вскочил на ноги и в то же мгновение услышал шаги на лестнице; звон шпор, задеваемых шпагой, воинственный, привычный для его слуха звук, остановил его, когда он собрался уже направиться к постели Атоса. Голос, еще более звонкий, чем голоса меди и стали, раздался в трех шагах от него.

– Атос! Атос! Друг мой! – звал этот взволнованный голос, в котором слышались слезы.

– Господин Д'Артаньян! – пролепетал Гримо.

– Где он? – спросил мушкетер.

Гримо схватил его руку своими костлявыми пальцами и указал на постель; на белой подушке своей свинцово-серою бледностью, какая бывает лишь у покойников, выделялось лицо навеки уснувшего графа.

Д'Артаньян не выразил своего горя ни рыданиями, ни стонами; он тяжело дышал, ему не хватало воздуха. Вздрагивая, стараясь ступать бесшумно, с невыразимою болью в сердце он да носках подошел к постели Атоса. Он приложил к его груди ухо, он приблизил к его рту лицо. Сердце было безмолвно, дыхания не было. Д'Артаньян отшатнулся.

Гримо, напряженно следивший за ним глазами, Гримо, которому каждое движение Д'Артаньяна говорило так много, робко подошел к постели покойного, склонился над нею и приложился губами к простыне, покрывавшей окоченевшие ноги его господина. Из покрасневших глаз верного слуги скатились крупные слезы.

Д'Артаньян, прожив жизнь, полную потрясений, не видел никогда ничего трогательнее отчаяния этого старика, безмолвно плакавшего, склонившись над мертвым.

Капитан неподвижно смотрел на этого улыбающегося покойника, который, казалось, и сейчас еще продолжает думать о том, чтобы даже по ту сторону жизни ласково принять своего друга, того, кого он после Рауля любил больше всего на свете. Как бы в ответ на это последнее проявление гостеприимства, Д'Артаньян закрыл ему дрожащей рукой глаза и поцеловал его в лоб.

Затем он сел у изголовья его кровати, не испытывая ни малейшего страха перед покойником: тридцать пять лет продолжалась их дружба, и на протяжении всего этого времени Д'Артаньян не видел с его стороны ничего, кроме нежности и искреннего благожелательства. И капитан с жадностью погрузился в воспоминания, которые волной нахлынули на него, – одни безмятежные, полные очарования, как улыбка на благородном лице покинутого графа, другие мрачные, унылые и холодные, как его глаза, закрывшиеся навеки.

Внезапно поток горестных переживаний, с каждой минутой нараставший в его сердце, захлестнул его. Не в силах совладать со своим волнением, он поднялся на ноги и, принудив себя выйти из комнаты, где застал мертвым того, кому нес весть о смерти Портоса, он разразился такими душераздирающими рыданиями, что слуги, которые, казалось, только и ждали этого взрыва долго сдерживаемого горя, ответили на него плачем и причитаниями, а собаки – жалобным воем.

Один лишь Гримо был по-прежнему нем. Даже в бесконечном отчаянии он боялся осквернить своим голосом смерть, боялся потревожить сон своего господина, чего он никогда не делал при его жизни. Кроме того, Атос приучил его обходиться без слов.

На рассвете Д'Артаньян, всю ночь меривший шагами залу нижнего этажа, кусая, чтобы заглушить вздохи, свои сжатые в кулак руки, еще раз поднялся в спальню Атоса и, дождавшись, когда Гримо повернул голову в его сторону, сделал ему знак выйти за ним, что верный слуга и исполнил бесшумно, как тень. Дойдя до прихожей, он взял за руку старика и сказал:

– Гримо, я видел, как умер отец; теперь расскажи, как умер сын.

Гримо вытащил из-за пазухи толстый пакет, на котором было написано имя Атоса. Узнав руку герцога до Бофора, капитан сломал печать и при первом голубоватом свете занимающегося дня, шагая взад и вперед по обсаженной старыми липами тенистой аллее, на которой еще виднелись оставленные покойным графом, бродившим здесь, следы, углубился в чтение содержавшегося в пакете письма.

Глава 40. РЕЛЯЦИЯ

Герцог де Бофор обращался к Атосу. Письмо, предназначавшееся человеку, было доставлено трупу.

«Дорогой мой граф, – писал герцог своим размашистым почерком неумелого школьника, – великое несчастье омрачает нам великую радость. Король потерял одного из храбрейших солдат, я потерял друга, вы потеряли г-на де Бражелона.

Он умер со славой, такую славой, что у меня не хватает сил оплакивать его так, как хотелось бы.

Примите мои соболезнования, дорогой граф. Небо посылает нам испытания соразмерно величию нашей души. Это испытание непомерно, но оно не превышает вашего мужества.

Ваш друг герцог де Бофор»

К письму прилагалась реляция, написанная одним из секретарей герцога.

Это был трогательный и правдивый рассказ о мрачном, оборвавшем две жизни событии. Д'Артаньян, привыкший к потрясениям битв, с сердцем, недоступным

чувствительности, не мог подавить в себе дрожь, увидев имя Рауля, имя своего любимца, больше того, своего сына, ставшего, как и отец его, лишь бесплотной тенью.

«На утро, – сообщил секретарь герцога, – монсеньер герцог назначил атаку. Нормандский и пикардийский полки заняли позицию среди серых скал у подножия горного склона, на котором высятся бастионы Джиджелли.

Начали стрелять пушки, сражение завязалось; исполненные отваги полки продвигались вперед: пикинеры с пиками наперевес, мушкетеры с мушкетами.

Герцог внимательно следил за движением войск, готовый поддержать их сильным резервом. Рядом с герцогом находились старейшие капитаны и адъютанты. Г-н виконт де Бражелон получил приказ не покидать его светлость.

Между тем пушки противника, который вначале стрелял не целясь, выправили огонь и пущенными с большей меткостью ядрами убили несколько человек вокруг герцога. Полки, колоннами шедшие на укрепления, также понесли некоторые потери. В наших рядах обнаружилось замешательство, так как артиллерия недостаточно поддерживала наступающих своим огнем. Действительно, батареи, расставленные еще накануне, стреляли слабо и неуверенно из-за плохо выбранной позиции. Направление снизу вверх укорачивало дальность полета снарядов а снижало меткость огня.

Понимая, насколько неудачна позиция, занятая осадной артиллерией, монсеньер приказал кораблям, стоявшим на внутреннем рейде, начать методический обстрел крепости.

Господин де Бражелон вызвался отвезти этот приказ, но монсеньер отказал ему в этом. Монсеньер был прав, так как он любил и берег этого молодого сеньора; дальнейшее показало, насколько справедливы были его опасения; едва сержант, получивший от герцога поручение, которого добивался г-н де Бражелон, достиг берега моря, как двумя ружейными выстрелами, раздавшимися из рядов неприятеля, он был убит наповал.

Сержант упал на песок, обагрив его своей кровью.

Видя это, г-н де Бражелон улыбнулся герцогу, который, обратившись к нему, сказал:

– Вот видите, мой милый виконт, – я спас вашу жизнь. Передайте об этом впоследствии графу, чтобы он был благодарен мне за спасение сына.

Виконт улыбнулся грустной улыбкой:

– Вы правы, монсеньер, не будь вашего благоволения, меня бы убили, и я пал бы там, где пал этот бедный сержант, и успокоился бы навеки.

Господин де Бражелон произнес эти слова с таким видом, что герцог резко ответил:

– Бог мой, молодой человек, можно подумать, что у вас текут слюнки от зависти, но, клянусь душой Генриха Четвертого, я обещал вашему отцу привезти вас обратно здоровым и невредимым, и, если богу будет угодно, я исполню свое обещание.

Господин Де Бражелон покраснел:

– Монсеньер, простите меня, прошу вас; мне всегда нравился риск, и к тому же приятно отличиться перед начальником, особенно если этот начальник – герцог де Бофор.

Герцог немного смягчился и, повернувшись к своим офицерам, стал отдавать приказания.

Между тем командующий флотом г-н д'Эстре, наблюдавший попытку сержанта приблизиться к кораблям, понял, что необходимо стрелять, не дожидаясь приказа, и открыл огонь по вражеской крепости.

Тогда арабы, осыпаемые ядрами с кораблей и камнями, валившимися с их пробитых снарядами стен, принялись вопить. Их всадники, пригнувшись к седлам, галопом спустились с горы и бросились во весь опор на нашу пехоту, которая, оцетинившись пиками, остановила этот неистовый натиск. Отброшенные твердым сопротивлением батальона, арабы с яростью устремились на штаб, который в этот момент оставался почти без охраны.

Опасность была велика: герцог обнажил шпагу, его секретари и все находившиеся возле него последовали его примеру; офицеры свиты завязали бои с этими бешеными. Вот когда

г-ну де Бражелону удалось исполнить желание, которое он испытывал с начала сражения. Он дрался рядом с герцогом с отвагою древнего римлянина и своей короткою шпагой заколол трех арабов.

Однако было видно, что его храбрость истекает не из стремления взять верх над врагом, стремления, естественного в каждом сражающемся.

Нет, эта храбрость была какою-то деланной, наигранной, почти принужденной: он старался опьяниться сумятицей боя и окружающим кровопролитием. Он настолько потерял власть над собой, что герцог приказал ему остановиться.

Он должен был слышать голос герцога де Бофора, поскольку, находясь рядом с виконтом, мы отчетливо разобрали слова его светлости. Однако он не остановился и продолжал скакать по направлению к вражеским укреплениям. Так как г-н де Бражелон был офицером в высшей степени дисциплинированным, это неповиновение монсеньеру удивило всех штабных офицеров, и г-н де Бофор еще настойчивей закричал:

– Стойте, Бражелон, стойте! Куда вы мчитесь? Остановитесь! Я вам приказываю!

Подражая жесту герцога, мы подняли руки. Мы ждали, что всадник повернет коня вспять, но г-н де Бражелон продолжал удаляться к заграждениям.

– Остановитесь, Бражелон! – снова прокричал во весь голос герцог. Остановитесь, заклинаю вас вашим отцом!

Услышав эти слова, г-н де Бражелон обернулся, его лицо выражало живое страдание, но он летел вперед; тогда мы подумали, что его понес конь.

Догадавшись, что виконт уже не в силах справиться с конем, монсеньер крикнул:

– Мушкетеры, стреляйте! Убейте под ним коня! Сто пистолей тому, кто убьет коня!

Но как убить коня, не поразив всадника? Никто не решался. Наконец такой человек нашелся: из рядов вышел самый лучший стрелок во всем пикардийском полку, которого звали Люцерн. Он взял на мушку животное, выстрелил и, очевидно, попал в него, поскольку кровь обагрила белый круп лошади. Только вместо того, чтоб свалиться на месте, этот проклятый конь поскакал еще яростнее.

Виконт приблизился к укреплению на расстояние выстрела из пистолета; раздался залп и окутал его облаком огня и дыма. Когда дым рассеялся, мы увидели его на ногах; конь был убит.

Арабы предложили виконту сдаться, но он отрицательно покачал головой и продолжал упорно идти к заграждениям. Это было смертельной неосторожностью. Однако вся армия одобряла его за то, что он не избегает опасности, не скрывается от нее, раз несчастье завело его так далеко от своих.

Он сделал еще несколько шагов, и два наших полка восторженно зааплодировали ему.

В этот момент второй залп потряс стены, и виконт де Бражелон снова исчез в вихре огня и дыма, но когда на этот раз рассеялся дым, все увидели, что юноша уже не стоял на ногах. Он лежал среди вереска на склоне холма, так что голова его находилась ниже, чем ноги. Арабы начали выползать из своих укреплений, чтобы отрубить ему голову или унести с собой тело, как это в обычае у неверных.

Но герцог де Бофор неотрывно следил за всем происходившим на наших глазах, и это грустное зрелище исторгло из его груди скорбные вздохи.

Увидев арабов, перебежавших среди мастиковых деревьев, словно белые призраки, он стал кричать:

– Гренадеры мои, пикинеры, неужели же вы позволите им захватить тело этого благородного воина?

С этими словами, размахивая над головой шпагой, он сам поскакал на врага. Полки с яростным криком устремились за ним, и этот грозный крик был не менее страшен, чем дикие вопли арабов. Над телом г-на де Бражелона завязался упорный бой. Он был до того жарким, что сто шестьдесят арабов легли рядом с пятьюдесятью нашими.

Лейтенант нормандского полка взвалил тело виконта на плечи и принес его на наши позиции.

Между тем успех развивался: полки увлекли за собой резервы, и укрепления противника были взяты К трем часам огонь арабов затих; бой врукопашную продолжался К пяти часам победа повсюду осталась за нами, противник покинул свои позиции, и герцог велел водрузить на вершине холма белое королевское знамя.

Только тогда можно было по-настоящему проявить заботу о г-не де Бражелоне, у которого насчитывалось восемь глубоких ран и который почти истек кровью. И все же он продолжал дышать, и это доставило невыразимую радость герцогу, пожелавшему присутствовать при первой перевязке и осмотре раненого хирургами.

Между ними нашлись двое, которые объявили, что виконт будет жив. Герцог де Бофор заключил их в объятия и пообещал каждому по тысяче луидоров, если им удастся спасти виконта.

Виконт слышал эти восторженные восклицания герцога, и был ли он в отчаянии от того, что, быть может, останется жив, или уж очень страдал от ран, но на лице его отразилась досада, которая заставила призадуматься одного из секретарей, в особенности когда он слышал то, что последует в нашем рассказе несколько ниже.

Третий посетивший раненого хирург был брат Сильван из монастыря св.

Козьмы; он был самым сведущим среди наших хирургов. Он также исследовал раны виконта и ничего не говорил.

Господин де Бражелон пристально смотрел на него и следил, казалось, за каждым движением, каждой мыслью этого хирурга-ученого.

Этот последний, отвечая на вопросы, которые ему задал герцог, сказал, что из восьми ран, по его мнению, три раны смертельны, но раненый настолько крепкого телосложения, его юность так всепобеждающая и божье милосердие так неисповедимо, что, быть может, г-н де Бражелон и поправится, но только в том случае, если будет сохранять полнейшую неподвижность. И, обращаясь к своим помощникам, брат Сильван строго добавил:

– Только не трогайте его даже пальцем, иначе вы убьете его.

Мы вышли из палатки с некоторой надеждой. Секретарю, о котором я упомянул уже выше, между тем показалось, что на губах г-на де Бражелона, когда герцог сказал ему с ласкою в голосе: «О виконт, мы спасем тебя», проскользнула чуть приметная горестная усмешка.

Но вечером, решив, что больной успел уже достаточно отдохнуть, один из врачебных помощников вошел в палатку виконта де Бражелона и тотчас же с криком выскочил из нее. Встревоженные, мы сбегались на этот крик; герцог был с нами. Помощник хирурга указал на тело г-на де Бражелона, распростертое на земле близ кровати, оно лежало в крови.

По-видимому, у больного случились судороги или он метался в жару и упал. Падение и было непосредственной причиной смерти, как и предполагал брат Сильван. Виконта подняли, он похолодел и был мертв. В правой руке он держал белокурый локон, и эта рука была крепко прижата к сердцу».

Дальше следовали подробности экспедиции и победы, одержанной над арабами.

Д'Артаньян остановился на рассказе о кончине Рауля.

– О, несчастное дитя, – прошептал он, – бедный самоубийца!

И, обратив взгляд к той части замка, где была комната графа де Ла Фер, он тихо сказал себе:

– Они сдержали данное ими друг другу слово. Теперь, я думаю, они счастливы, – теперь, должно быть, они уже вместе.

И он медленно направился к цветнику.

Весь двор был запружен опечаленными соседями, долившимися подробностями этого двойного несчастья и обсуждавшими приготовления к похоронам.

Глава 41. ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ ПОЭМЫ

На следующий день стали съезжаться дворяне из ближайших окрестностей, а также дворянство провинции; ехали отовсюду, куда гонцы успели доставить печальную весть.

Д'Артаньян сидел запершись и ни с кем не хотел разговаривать. Две таких тягостных смерти после смерти Портоса, свалившись на капитана, подавили душу, не знавшую до этой поры, что такое усталость. Кроме Гримо, который вошел один-единственный раз к нему в комнату, он не замечал ни лакеев, ни домочадцев. По суете в доме, по хождению взад и вперед он догадался, что делались приготовления к похоронам графа. Он написал королю просьбу о продлении отпуска.

Гримо, как мы сказали, вошел к д'Артаньяну, сел на скамейку у двери с видом человека, погруженного в глубокие думы, потом встал и сделал знак д'Артаньяну идти за ним. Капитан молча повиновался. Гримо спустился в комнату графа, показал капитану пальцем на пустую кровать и красноречиво поднял глаза к небу.

– Да, – проговорил Д'Артаньян, – да, Гримо, он с сыном, которого так любил.

Гримо вышел из спальни и пошел в гостиную, в которой по обычаю, принятому в этой провинции, полагалось выставить тело покойного, прежде чем предать его навеки земле.

Д'Артаньян был поражен, обнаружив в этой гостиной два гроба со снятыми крышками; следуя молчаливому приглашению Гримо, он подошел и увидел в одном Атоса, все еще прекрасного даже в объятиях смерти, а в другом Рауля с закрытыми глазами, со щеками перламутровыми, как у Вергилиевой Паллады, и с улыбкой на посиневших губах.

Капитан вздрогнул, увидев отца и сына, эти две улетевшие души, представленные на земле двумя печальными холодными телами.

– Рауль здесь! – прошептал капитан. – О Гримо, и ты мне ничего не сказал?

Гримо покачал головой и не промолвил ни слова, но, взяв д'Артаньяна за руку, он подвел его к гробу и, приподняв тонкий саван, показал ему черные раны, через которые улетела эта юная жизнь.

Капитан отвернулся и, считая бесполезным задавать вопросы Гримо, который все равно не стал бы на них отвечать, вспомнил, что секретарь герцога де Бофора писал в письме еще что-то, чего он, Д'Артаньян, не имел мужества прочитать. Обратившись снова к этой реляции о сражении, стоившем жизни Раулю, он нашел следующие слова, которыми заканчивалось письмо:

«Герцог велел набальзамировать тело виконта, как это принято у арабов, изъявивших желание быть погребенными где-нибудь на далекой родине.

Герцог распорядился также приготовить подставы, чтобы слуга, вырастивший молодого виконта, мог отвезти останки его графу де Ла Фер».

«Итак, – думал Д'Артаньян, – я, уже старый, уже ничего не стоящий в жизни, пойду за твоим гробом, дорогой мальчик, и брошу землю на твой чистый лоб, который я целовал за два месяца до этого грустного дня. Этого захотел бог. Этого захотел и ты сам. И я не имею права тебя оплакивать: ты сам выбрал смерть; она показалась тебе желаннее жизни».

Наконец пришел час, когда холодные останки отца и сына надлежало предать земле.

Было такое скопление военных и простого народа, что вся дорога от города до места, назначенного для погребения, то есть до часовни в открытом поле, была запружена всадниками и пешеходами в трауре. Атос избрал последним своим обиталищем место в ограде этой часовни, построенной им на границе его владений. Он велел доставить для нее камни, вывезенные в 1550 году из средневекового замка в Берри, где протекла его ранняя юность.

Часовня, таким образом, как бы перенесенная и перестроенная, была окружена чащей тополей и смоковниц. Каждое воскресенье в ней служил священник из соседнего поселения, которому Атос платил за это ежегодно по двести ливров. Таким образом, земледельцы, находившиеся у него в вассальной зависимости, числом около сорока, а также работники и фермеры с семьями приходили сюда слушать мессу, и им не надо было для этого отправляться

в город.

Позади часовни, огражденной двумя густо разросшимися живыми изгородями из орешника, кустов бузины и боярышника, окопанными глубоким рвом, находился небольшой участок невозделанной земли. Он был восхитителен своей девственно нетронутостью, восхитителен тем, что мхи здесь были высокими, как нигде, тем, что здесь сливали свои ароматы дикие гелиотропы и желтый левкой, тем, что у подножия стройных каштанов пробивался обильный источник, запертый в бассейне из мрамора, тем, что над полянкой, поросшей тимьяном, носились бесчисленные рои пчел, прилетавших сюда со всех соседних полей, тем, наконец, что зяблики и зорьки распевали тут от зари до зари, покачиваясь на ветках между гроздьями цветущих кустов.

Сюда и привезли оба гроба, окруженные молчаливой и сосредоточенною толпой.

После заупокойной мессы, после последнего прощания с погребаемыми присутствующие начали расходиться, беседуя по дороге о добродетелях и тихой смерти отца, о надеждах, которые подавал сын, и о его печальном конце на далеком берегу Африки. Мало-помалу все стихло; погасли лампы под скромными сводами. Священник в последний раз отвесил поклон алтарю и еще свежим могилам; потом и он в сопровождении служки, звонившего в колокольчик, медленно побрел в свой приход.

Оставшись один, д'Артаньян заметил, что наступил вечер. Думая о мертвых, он потерял счет времени. Он встал с дубовой скамьи, на которой сидел в часовне, и хотел уже, подобно священнику, пойти проститься в последний раз с могилой, заключавшей в себе останки его умерших друзей.

Коленопреклоненная женщина молилась у холмика с еще влажной землей.

Д'Артаньян остановился на пороге часовни, чтобы не помешать этой женщине и постараться увидеть, кто же эта преданная подруга, исполняющая с таким благоговением и усердием священный долг дружбы.

Незнакомка закрывала лицо руками, белыми как алебастр. По скромной простоте ее платья можно было угадать женщину благородного происхождения. В отдалении дорожная карета и несколько слуг верхами ожидали эту неизвестную даму. Д'Артаньян не мог понять, кто она и почему здесь. Она продолжала молиться все так же истово и часто проводила платком по лицу.

Д'Артаньян догадался, что она плачет.

Он видел, как она ударила себя в грудь с безжалостным сокрушением верующей христианки. Он слышал, как она несколько раз повторяла все те же слова, этот крик ее наболевшего сердца: «О, прости меня! О, прости!»

И так как она, казалось, вся отдалась печали и была в полуобмороке, д'Артаньян, тронутый этими проявлениями любви к его покойным друзьям, этой неутешностью горя, сделал несколько шагов, отделявших его от могилы, чтобы прервать это мрачное покаяние, эту горестную речь, обращенную к мертвым.

Песок закрипел у него под ногами, и незнакомка подняла голову; д'Артаньян увидел ее хорошо знакомое, залитое слезами лицо. Это была мадемуазель де Лавальер.

— Господин д'Артаньян! — прошептала она.

— Вы! — мрачно произнес капитан. — Вы здесь?

— О сударыня, я предпочел бы видеть вас в подвенечном уборе в замке графа де Ла Фер. Тогда бы и вы меньше плакали, и они, и я тоже!

— Сударь! — сказала она, содрогаясь от рыданий.

— Ибо вы, — продолжал беспощадный друг умерших, — это вы свели в могилу двух этих людей.

— О, пощадите меня!

— Да убережет меня бог, сударыня, оскорблять женщину или заставлять ее незаслуженно плакать; но я все же должен сказать, что на могиле жертв не место убийце.

Она хотела ответить.

— То, что я говорю вам, — добавил он ледяным тоном, — я говорил и его величеству

королю.

Она с мольбой сложила руки:

– Я знаю, что причина смерти виконта де Бражелона – я!

– А, так вы это знаете?

– Весть о ней пришла ко двору вчера вечером. Этой ночью я за два часа проехала сорок лье; я летела сюда, чтобы повидать графа и молить его о прощении, – я не знала, что и он тоже умер, – я летела сюда, чтобы на могиле Рауля молить бога послать на меня все заслуженные мною несчастья, все, за исключением одного. Теперь я знаю, что смерть сына убила отца, и я должна упрекать себя в двух преступлениях; я заслуживаю двойной кары господней.

– Я вам повторю, сударыня, – проговорил д'Артаньян, – то, что мне сказал в Антибе господин де Бражелон – он тогда уже жаждал смерти: «Если тщеславие и кокетство увлекли ее на пагубный путь, я прощаю ей, презирая ее. Если она пала, побуждаемая любовью, я тоже прощаю ее и клянусь, что никто никогда не мог бы полюбить ее так, как любил ее я».

– Вы знаете, – перебила Луиза, – что ради своей любви я готовилась принести в жертву себя самое; вы знаете, как я страдала, когда вы меня встретили потерянной, несчастной, покинутой. И вот, я никогда не страдала так сильно, как сегодня, потому что тогда я надеялась, я желала, а сегодня мне нечего больше желать; потому что этот умерший унес всю мою радость вместе с собой в могилу; потому что я не смею больше любить без раскаяния и потому что я чувствую, что тот, кого я люблю (о, это закон!), отплатит мне мукой за муки, которые я причинила другому, д'Артаньян ничего не ответил, он слишком хорошо знал, что в этом она бесспорно права.

– Умоляю вас, господин д'Артаньян, не осуждайте меня. Я как ветвь, оторвавшаяся от родного ствола; меня больше ничто не удерживает, и меня влечет, сама не знаю куда, какой-то поток. Я люблю безумно, я люблю так, что кощунственно говорю об этом над этим священным для меня прахом, и я не краснею и не раскаиваюсь. Эта любовь – религия для меня. Но так как спустя некоторое время вы увидите меня одинокой, забытой, отвергнутой, так как вы увидите меня наказанной за все то, за что вы вправе винить меня, – пощадите меня в моем мимолетном счастье, оставьте мне его еще на несколько дней, еще на несколько быстротечных минут. Может быть, его нет уже и сейчас, когда я о нем говорю. Боже мой! Быть может, это двойное убийство уже искуплено мной!

Она еще говорила, как вдруг капитан услышал голоса и топот копыт.

Офицер короля, г-н де Сент-Эньян, исполняя поручение своего повелителя, которого, как он сообщил, мучили ревность и беспокойство, приехал за Лавальер.

д'Артаньян, наполовину скрытый каштановым деревом, которое осеняло своей тенью обе могилы, остался но замеченным де Сент-Эньяном. Луиза поблагодарила посланца и жестом попросила его удалиться. Он вышел за пределы ограды.

– Вы видите, – с горечью обратился к Луизе капитан, – вы видите, ваше счастье все еще продолжается.

Молодая женщина поднялась с торжественным видом.

– Придет день, – сказала она, – когда вы раскаетесь в том, что так дурно думали обо мне. В этот день, сударь, я буду молить бога не помнить о том, что вы были несправедливы ко мне. Я буду так горько страдать, что вы первый пожалеете меня за мои муки. Не упрекайте меня, господин д'Артаньян, за мое хрупкое счастье; оно стоит мне слишком дорого, и я еще не выплатила всего, что должна уплатить за него.

С этими словами она снова – трепетная, с глубоким чувством – преклонила колени.

– Прости в последний раз, прости, мой нареченный Рауль! Я порвала нашу цепь: мы оба обречены на смерть от печали. Ты ушел первый, не бойся, я последую за тобой. Видишь, я не труслива, я пришла попрощаться сдобой.

Господь мне свидетель, Рауль, что если бы потребовалось отдать мою жизнь, чтобы спасти твою, я б, но колеблясь, отдала ее. Но я не могла бы пожертвовать своею любовью. Еще раз прости!

Она отломила ветку и воткнула ее в землю, потом вытерла залитые слезами глаза,

поклонилась д'Артаньяну и удалилась.

Капитан посмотрел вслед уезжающим всадникам и каретам и, скрестив на груди руки, тяжело дыша, произнес:

– Когда же придет моя очередь отправиться в дальнее странствие? Что остается человеку после молодости, после любви, после славы, дружбы, силы, богатства?.. Остается скала, под которою спит Портос, а он обладал всем тем, что я перечислил; и дерн, под которым покоятся Атос и Рауль, которые владели, сверх того, и многим другим.

На мгновение он поник, взгляд его затуманился; он предавался раздумью; затем, выпрямившись, он обратился к себе самому:

– Все же пока надо шагать вперед и вперед. Когда придет время, бог мне скажет об этом, как говорит всем другим.

Концами пальцев он коснулся земли, уже влажной от вечерней росы, перекрестился и один, навеки один, направился по дороге в Париж.

ЭПИЛОГ

Четыре года спустя после только что описанной нами сцены два всадника проехали ранним утром через Блуа и распорядились об устройстве соколиной охоты.

Король пожелал поохотиться на этой пересеченной холмами равнине, которую надвое перерезает Луара и которая соприкасается с одной стороны с Менгом, а с другой – с Амбуазом.

Это были начальник королевской псовой охоты и королевский сокольничий, личности весьма уважаемые во времена Людовика XIII, но при его преемнике остававшиеся в некотором пренебрежении.

Два всадника, осмотрев местность и обсудив необходимые подробности предстоящей охоты, возвращались обратно в Блуа и заметили небольшие отряды солдат; сержанты расставляли их на некотором расстоянии друг от друга возле мест, где предполагалось устроить облаву. Это были королевские мушкетеры.

За ними на хорошем коне ехал их капитан, которого можно было отличить по золотому шитью на мундире. У него были белые волосы и седеющая борода. Он немного сутулился, но легко управлял конем и осматривал, все ли в порядке.

– Господин д'Артаньян не старится, – сказал начальник псовой охоты своему коллеге, сокольничему, – он на десять лет старше нас, а верхом на коне кажется совсем молодым.

– Это верно, – отвечал королевский сокольничий, – вот уж двадцать лет он все тот же.

Офицер ошибался: за эти четыре года д'Артаньян состарился на добрых двенадцать лет. Возраст безжалостными когтями отметил уголки его глаз, лоб его лишился волос, а руки, прежде жилистые и смуглые, стали белеть, как если бы кровь в них начала уже стынть.

Д'Артаньян подъехал к двум офицерам и поздоровался с ними с оттенком снисходительной ласковости, который отличает вышестоящих в их общении с низшими. В ответ на свою любезность он получил два исполненных глубокой почтительности поклона.

– Ах, какая удача, что мы встретились с вами, господин д'Артаньян! воскликнул сокольничий.

– Скорее мне бы подошли такие слова, господа, так как в ваши дни король чаще беспокоит своих мушкетеров, нежели птиц.

– Да, не то что в доброе старое время, – вздохнул королевский сокольничий. – Помните ли, господин д'Артаньян, как покойный король охотился на сорок в виноградниках за Божанси... ах, черт возьми! Вы не были тогда капитаном мушкетеров, господин д'Артаньян.

– И вы состояли капралом по птичьей части, – шутливо заметил д'Артаньян. – Все равно это было хорошее время, так как молодость – это и есть хорошее время... Не правда ли, господин начальник псовой охоты!

– Вы оказываете мне слишком большую честь, господин граф, – поклонился последний Д'Артаньян несколько не поразил графский титул: он стал графом четыре года назад.

– Вы не устали от долгой дороги, только что проделанной вами, господин капитан? – продолжал королевский сокольничий – Отсюда до Пиньероля, кажется, что-то около двухсот лье – Двести шестьдесят туда и столько же, сударь, обратно, – невозможно произнес д'Артаньян.

– А как он поживает?

– Кто? – спросил д'Артаньян.

– Наш бедный господин Фуке, – шепотом проговорил королевский сокольничий.

Начальник псовой охоты из осторожности отъехал в сторону.

– Неважно, – отвечал д'Артаньян, – бедняга всерьез огорчен, он не понимает, как это тюрьма может быть милостью. Он говорит, что парламент, отправив его в изгнание, тем самым вынес ему оправдательный приговор и что изгнание – это свобода. Он не представляет себе, что нам поклялись расправиться с ним и что за спасение его жизни из цепких когтей парламента надо благодарить бога.

– Да, бедный человек едва избег эшафота. Говорят, что господин Кольбер отдал уже соответствующие распоряжения коменданту Бастилии и казнь была заранее предreshена.

– В конце концов что тут поделаешь? – сказал д'Артаньян с задумчивым видом, словно затем, чтобы оборвать разговор.

– В конце концов, – повторил, приблизившись, начальник псовой охоты, – господин Фуке в Пиньероле, и по заслугам, он имел счастье быть отвезенным туда лично вами; достаточно он обворовывал короля.

Д'Артаньян метнул в начальника псовой охоты один из своих уничтожающих взглядов и произнес, старательно отчеканивая каждое слово:

– Сударь, если бы мне сказали, что вы съели то, что отпускается для ваших борзых, я не только не поверил бы этому, но, больше того, если бы вас посадили за это в тюрьму, я бы сочувствовал вам и не позволил бы дурно отзываться о вас. Однако, сударь, сколь бы честным человеком вы ни были, я утверждаю, что вы отнюдь не честнее, чем бедный Фуке.

Выслушав этот резкий упрек, начальник собак его величества короля опустил нос и отстал на два шага от сокольничего и д'Артаньяна.

– Он доволен, – наклонился к мушкетеру сокольничий, – оно и понятно, ныне борзые в моде, когда б он был королевским сокольничим, он бы так не разговаривал.

Наблюдая, как недовольство, порожденное ущемлением частных, не имеющих в государственной жизни никакого значения интересов, влияет на решение большого политического вопроса, д'Артаньян меланхолически улыбнулся; он вспомнил еще раз о безмятежном существовании, которое долгое время было уделом бывшего суперинтенданта финансов, о его разорении, о мрачной смерти, которая его ожидала, и, чтобы покончить с этой темой, задал вопрос:

– Господин Фуке любил охотиться с соколами?

– О да, страстно любил, – отвечал королевский сокольничий с горьким сожалением в голосе и со вздохом, который прозвучал как надгробное слово Фуке.

Д'Артаньян, дав рассеяться дурному настроению начальника королевских свор и грусти сокольничего, тронул коня.

Вдали, на опушке леса, показались охотники; на полянах, как падающие звезды, замелькали султаны наездниц, и белые кони, словно призраки, проносились в чаще кустов и деревьев.

– Что же, долго ли продлится ваша охота? – спросил д'Артаньян. – Я попрошу вас поскорее выпустить птицу, я очень устал. Вы сегодня охотитесь на цаплю или на лебедя?

– На обоих, господин д'Артаньян, – ответил сокольничий, – но вы не беспокойтесь, король не знаток, он охотится не для себя, его цель – доставить развлечение дамам.

Слово дамы было настолько подчеркнуто, что заставило д'Артаньяна насторожиться.

– Ах, – проговорил он, с удивленным видом глядя на своего собеседника.

Начальник псовой охоты, очевидно, чтобы снискать благоволение мушкетера, угодливо кланялся.

– Смейтесь, смейтесь надо мной, сударь, – улыбнулся д'Артаньян, ведь я не знаю решительно никаких новостей: я отсутствовал целый месяц и только вчера воротился из моих странствий. Я оставил двор еще опечаленным смертью королевы-матери. Приняв последний вздох Анны Австрийской, король не желал развлекаться; но все кончается в этом мире. Он перестал грустить? Ну что – же! Тем лучше.

– И начинается также, – перебил его с грубым смехом начальник псовой охоты.

– А... – во второй раз произнес д'Артаньян, горевший желанием познакомиться с новостями, но считавший, что расспрашивать было бы ниже его достоинства. – По-видимому, есть нечто такое, что начинается?

Начальник псовой охоты многозначительно подмигнул, но д'Артаньян не пожелал узнавать что бы то ни было от этого человека.

– Скоро ли мы увидим его величество? – спросил он сокольничего.

– В семь часов, сударь, я велю выпустить птиц.

– Кто будет сопровождать короля? Как поживает принцесса Генриетта?

Как самочувствие королевы?

– Лучше, сударь.

– А разве она болела?

– Со времени своего последнего огорчения ее величество была нездорова.

– О каком огорчении вы говорите? Не опасайтесь моей нескромности.

Рассказывайте. Я ведь ничего не знаю, поскольку только что приехал.

– Говорят, что королева, живущая в некотором забвении после смерти своей свекрови, пожаловалась на это его величеству, и он ей ответил:

«Разве я не провожу, мадам, у вас каждую ночь? Чего вы еще хотите?»

– Ах, бедная женщина! Она должна всей душой ненавидеть мадемуазель Лавальер, – сказал д'Артаньян.

– О нет, вовсе не мадемуазель де Лавальер!

– Кого ж в таком случае?

Звук рога прервал их беседу. Он созывал соколов и собак. Сокольничий и его спутник тотчас же пришпорили лошадей и покинули д'Артаньяна, так ничего и не объяснив ему.

Издали показался король, окруженный придворными дамами и кавалерами.

Шагом, в строгом порядке, под звуки труб и рогов, возбуждавших лошадей и собак, продвигалась по полю эта пышная кавалькада. Это было шествие, смешение звуков, блеск, игра красок, о которых ничто в наши дни не может дать даже отдаленного представления, кроме разве обманчивого богатства и фальшивого величия театральных зрелищ.

Д'Артаньян, хотя и зрение его несколько ослабело, заметил за кавалькадой три следующие друг за другом кареты. Первая, ехавшая пустой, была предназначена для королевы. В ней никого не было. Не видя де Лавальер близ короля, д'Артаньян стал искать Луизу глазами и увидел ее во второй карете. С ней было двое служанок, которые сучали, казалось, не меньше, чем их госпожа.

Слева от короля на горячем коне, сдерживаемом умелой рукой, ехала женщина ослепительной красоты. Король улыбался ей, и она улыбалась ему.

Когда она что-нибудь говорила, все начинали неудержимо смеяться.

«Я, без сомнения, встречал эту женщину, – подумал мушкетер, – но все-таки кто же она?»

Он повернулся к своему приятелю, сокольничему, и задал ему этот вопрос. Тот собрался было ответить, но в этот момент король заметил д'Артаньяна:

– А, вот вы и вернулись, граф! Почему же мы с вами еще не виделись?

– Потому что, ваше величество, – поклонился капитан, – вы уже спали, когда я приехал, и еще не проснулись, когда я принял сегодня утром дежурство – Он все тот же! – громко сказал довольный Людовик – Отдыхайте, граф, я вам приказываю. Сегодня вы обедаете у

меня.

Вокруг д'Артаньяна восторженно зашептались. Каждый старался протиснуться поближе к нему и сказать мушкетеру какую-нибудь любезность. Обедать у короля было большой честью, и его величество не расточал ее так, как Генрих IV. Король проехал немного вперед, а д'Артаньян был остановлен новой группой придворных, среди которой блистал Кольбер.

– Здравствуйте, господин д'Артаньян, – обратился к нему министр с ласковой вежливостью, – надеюсь, ваша поездка была удачной?

– Да, сударь, – отвечал д'Артаньян и поклонился, пригнувшись к шее своего скакуна.

– Я слышал, что король пригласил вас к обеду; вы встретите там вашего старого друга.

– Старого друга? – переспросил д'Артаньян, погружаясь с душевною болью в темные волны минувшего, успевшие поглотить столько друзей и столько врагов.

– Герцога д'Аламеда, только сегодня прибывшего на Испании, – продолжал Кольбер – Герцога д'Аламеда, – старался припомнить, роясь в своей памяти, д'Артаньян.

– Это я! – произнес белый как снег сутулый старик; он приказал открыть дверцы кареты и вышел из нее к мушкетеру.

– Арамис! – вскричал пораженный изумлением д'Артаньян.

И, все еще неподвижный, оцепеневший, он позволил дрожащим рукам сановного старика обвиться вокруг своей шеи.

Кольбер, бросив взгляд на обоих друзей, молча отъехал в сторону, предоставив им остаться наедине.

– Итак, – сказал мушкетер, беря под руку Арамиса, – вы, изгнанник, мятежник, снова во Франции?

– И обедаю с вами у короля, – проговорил, улыбаясь, бывший ваннский епископ. – Не правда ли, вы задаете себе вопрос: к чему верность в подлунном мире? Давайте пропустим карету этой бедняжки мадемуазель Лавальер. Посмотрите, как она волнуется; взгляните, как ее заплаканные глаза следят за гарцующим на коне королем!

– Кто это с ним?

– Мадемуазель де Тонне-Шарант, ставшая госпожой де Монтеспан, – отвечал Арамис.

– Луиза ревнует, значит, она обманута?

– Еще нет, д'Артаньян, но это не замедлит случиться.

Они разговаривали, следуя за охотой, и кучер Арамиса вез их так ловко, что они приехали к месту сбора как раз в тот момент, когда сокол только что налетел на птицу и прижимал ее к земле.

Король спешил, г-жа де Монтеспан тоже. Они находились перед одинокой часовней, скрытой большими деревьями, с уже облетевшими от осеннего ветра листьями, за часовней виднелась ограда с решетчатой калиткой.

Сокол заставил свою добычу упасть за ограду у самой часовни, и король пожелал проникнуть туда, чтобы снять, по обычаю, первое перо с затравленной птицы. Все столпились вокруг здания и ограды; пространство внутри ограды было так незначительно, что не могло вместить участников королевской охоты. Д'Артаньян удержал Арамиса, выразившего желание покинуть карету и присоединиться ко всем остальным.

– Известно ли вам, Арамис, куда мы приведены случаем?

– Нет! – ответил герцог.

– Здесь покоятся люди, которых я знал, – проговорил взволнованный грустным воспоминанием д'Артаньян.

Арамис, все еще ни о чем не догадываясь, прошел через узкую боковую дверь, которую ему отворил д'Артаньян, внутрь часовни.

– Где же они похоронены?

– Здесь, в этой ограде. Видите крест под молодым кипарисом? Этот кипарис посажен на их могиле; но не ходите туда; там упала сбитая соколом цапля, и король направляется к ней.

Арамис остановился и укрылся в тени. И, никем не замеченные, они увидели бледное лицо Лавальер; забытая у себя в карете, она сначала грустно смотрела в окно; потом,

поддавшись ревности, она вошла в часовню и, прислонившись к колонне, следила взглядом за находившимся внутри ограды и улыбавшимся королем, который сделал знак г-же де Монтеспан подойти ближе.

Госпожа де Монтеспан приблизилась и оперлась на предложенную ей королем руку; вырвав перо у цапли, только что убитой соколом, он прикрепил его к шляпе своей восхитительной спутницы. Улыбаясь, она нежно поцеловала руку, сделавшую ей этот подарок. Король покраснел от удовольствия; он взглянул на г-жу де Монтеспан с пламенным желанием и любовью.

– Что же вы дадите взамен? – спросил он.

Она сломала веточку кипариса и предложила ее королю, опьяненному сладостною надеждой.

– Печальный подарок, – тихо сказал Арамис д'Артаньяну, – ведь этот кипарис растет на могиле.

– Да, и это могила Рауля де Бражелона, – грустно произнес д'Артаньян, – Рауля, который спит под этим крестом рядом с Атосом.

У них за спиной послышался стон, и они увидели, как какая-то женщина упала без чувств. Мадемуазель де Лавальер видела все и все слышала.

– Бедная женщина, – пробормотал д'Артаньян и помог служанкам, поспешившим к своей госпоже, довести ее до кареты, где она осталась страдать в одиночестве.

В тот же вечер д'Артаньян сидел за королевским столом, рядом с Кольбером и герцогом д'Аламеда.

Король был весел и оживлен. Он был бесконечно внимателен к королеве и бесконечно нежен с принцессой Генриеттой, сидевшей по его левую руку и в этот вечер очень печальной. Можно было подумать, что вернулись прежние спокойные времена, когда король искал в глазах своей матери одобрения или неодобрения каждого своего слова.

О фаворитке на этом обеде не вспоминали. Раз два или три король называл Арамиса, обращаясь к нему, господином послом, и это еще больше увеличило удивление д'Артаньяна, и без того ломавшего себе голову над вопросом, как это его друг, мятежник, в таких чудесных отношениях с французским двором.

Вставая из-за стола, король предложил руку ее величеству королеве, сделав при этом знак Кольберу, чьи глаза ловили взгляд властелина.

Кольбер отвел в сторону д'Артаньяна и Арамиса.

Король вступил в разговор со своей невесткой, тогда как обеспокоенный принц, рассеянно беседуя с королевой, искоса поглядывал на жену и на брата.

Разговор между Арамисом, д'Артаньяном и Кольбером вертелся вокруг самых безобидных тем. Они вспоминали министров былых времен; Кольбер сообщил любопытные вещи о Мазарини и выслушал рассказы о Ришелье.

Д'Артаньян никак не мог надивиться, видя столько здравого смысла и веселого юмора в этом человеке с густыми бровями и низким лбом. Арамис поражался легкости, с какой этому серьезному человеку удавалось откладывать с выгодой для себя более значительный разговор, на который никто из присутствующих ни разу не намекнул, хотя все три собеседника чувствовали его неизбежность.

По недовольному лицу принца было хорошо видно, насколько ему не нравится беседа короля с принцессой. У принцессы были покрасневшие, заплаканные глаза. Неужели она станет жаловаться? Неужели она не остановится пред скандалом?

Король отвел ее в сторону и обратился к ней таким нежным и ласковым голосом, что он должен был напомнить принцессе те дни, когда она была любима им ради нее самой:

– Сестра моя, почему ваши восхитительные глаза заплаканы?

– Но, ваше величество... – проговорила она.

– Принц ревнив, не так ли, дорогая сестра.

Она посмотрела в сторону принца, и тот понял, что они говорят о нем.

– Да... – согласилась она.

– Послушайте, – продолжал король, – если ваши друзья компрометируют вас, то в этом принц несколько не виноват.

Он произнес эти слова с такой нежностью, что ободренная ею принцесса, у которой за последнее время было столько огорчений и неприятностей, чуть не разразилась рыданиями: так исстрадалось, измучилось ее сердце.

– Ну, дорогая сестра, расскажите нам о ваших печалях; как брат, клянусь, я сочувствую вам, как король – я положу им конец.

Она подняла на Людовика свои изумительные глаза в грустно проговорила:

– Меня компрометируют не друзья, они далеко или таятся от всех. Но их очернили, и они в немилости у вашего величества, а между тем они так преданны, так добры, так благородны.

– Вы говорите о Гише, которого, уступая желанию принца, я отправил в изгнание?

– И который со времени своего незаслуженного изгнания ежедневно ищет возможности умереть.

– Незаслуженного, сестра моя?

– До такой степени незаслуженного, что если бы я не питала к вашему величеству уважения и привязанности... я бы попросила моего брата Карла, на которого я имею неограниченное влияние...

Король вздрогнул.

– О чем бы вы его попросили?

– Я бы попросила его довести до вашего сведения, что принц и шевалье де Лоррен, его фаворит, не могут безнаказанно быть палачами и моей чести, и моего счастья.

– Шевалье де Лоррен, эта мрачная личность?

– Он – смертельный мой враг. Пока этот человек будет оставаться у меня в доме, где, предоставляя ему полную власть, его удерживает принц, мой супруг, я буду самой несчастной женщиной во всем королевстве.

– Значит, – медленно произнес король, – вы считаете вашего брата, английского короля, лучшим другом, чем я?

– Поступки сами говорят за себя, ваше величество.

– И вы предпочли бы обратиться за помощью?..

– К моей стране, – гордо сказала она, – да, ваше величество.

– Вы – внучка Генриха Четвертого, как и я, моя дорогая. Двоюродный брат и деверь, разве это не равно брату?

– В таком случае действуй!

– Ну что ж! Заключим с вами союз.

– Начинайте.

– Вы говорите, что я незаслуженно изгнал Гиша?

– О да, – покраснела принцесса.

– Обещаю вам, Гиш возвратится.

– Отлично.

– Вы говорите далее, что я напрасно разрешаю бывать в вашем доме шевалье де Лоррену, который настраивает против вас принца, вашего мужа?

– Запомните то, что я говорю, ваше величество: однажды шевалье де Лоррен... Если со мною случится несчастье, знайте, что я заранее обвиняю в нем шевалье де Лоррена... этот человек способен на любое, самое гнусное преступление!

– Шевалье де Лоррен избавит вас от своего присутствия, обещаю вам это.

– Раз так, мы заключаем с вами настоящий союз, ваше величество, и я готова подписать договор... Но вы внесли свою долю, скажите же, в чем должна заключаться моя?

– Вместо того чтобы ссорить меня с вашим братом, королем Карлом, нужно было бы постараться сделать нас такими друзьями, какими мы еще никогда не были.

– Это легко.

– О, не так легко, как вы думаете; при обычной дружбе обнимают друг друга и обмениваются любезностями, и это стоит какого-нибудь поцелуя или приема, что не требует

слишком больших расходов; но при политической дружбе...

– А, так вы хотите политической дружбы?

– Да, сестра моя, и тогда вместо объятий и пиршеств необходимо давать своему другу живых, хорошо обученных и снаряженных солдат; дарить ему военные корабли с пушками и провиантом. Но ведь бывает и так, что сундуки с королевской казной не имеют возможности оказывать дружеские услуги подобного рода.

– Ах, вы правы... сундуки английского короля с некоторых пор поражают своим изумительным резонансом.

– Но вам, дорогая сестра, вам, имеющей столь большое влияние на вашего брата, быть может, вам все же удастся добиться того, чего никогда не добиться никакому послу.

– Для этого мне нужно было бы отправиться в Лондон, дорогой брат.

– Я уже думал об этом, – живо ответил Людовик, – и я решил, что подобное путешествие вас несколько развлечет.

– Только, – перебила принцесса, – возможно, что я потерплю неудачу. У английского короля есть советники, в притом очень опасные.

– Советницы, вы хотите сказать?

– Вот именно. Если ваше величество желаете, скажем, просить у Карла Второго (я ведь только предполагаю, мне решительно ничего не известно) союза для того, чтоб вести войну... тогда советницы короля, которых в настоящее время семь, а именно: мадемуазель Стюарт, мадемуазель Уэллс, мадемуазель Гуин, мисс Орчей, мадемуазель Цунга, мисс Даус и графиня Кестльмен, убедят короля, что война стоит дорого и что лучше давать балы и ужины в Гемптон-Корте, чем снаряжать линейные корабли в Портсмуте или Гринвиче.

– И тогда вас ждет неудача?

– О, эти дамы срывают любые переговоры, если только эти переговоры ведутся не ими.

– Знаете, какая мысль осенила меня?

– Нет. Поделитесь ею.

– Мне кажется, что, поискав хорошенько возле себя, вы, быть может, нашли бы советницу, которую повезли бы с гобой к королю и которая своим красноречием победила былую волю семи остальных.

– Это действительно удачная мысль, ваше величество, и я уже думаю, кто бы мог подойти к этой роли.

– Подумайте, и вы найдете, конечно.

– Надеюсь.

– Необходимо, чтобы это была красивая женщина: ведь приятное лицо стоит большего, чем безобразное, разве не так?

– Безусловно.

– Нужен живой, смелый, находчивый ум.

– Разумеется.

– Нужна знатность... ее, впрочем, требуется не так уж много, ровно столько, чтобы без неловкости подойти к королю, но не столько, чтобы знатность происхождения могла сдерживать в стеснять.

– Очень справедливо.

– И... надо, чтобы она хоть немного умела говорить по-английски.

– Бог мой! Кто-нибудь вроде мадемуазель де Керуаль, например, – оживленно проговорила принцесса.

– Ну да, вот вы и нашли... ведь это вы сами нашли, сестра моя, – обрадовался Людовик XIV.

– Я увезу ее, и я думаю, что ей не придется жаловаться на это.

– Конечно, нет; поначалу я назначу ее полномочною обольстительницей, а затем к ее титулу присоединю и поместья.

– Превосходно.

– Я уже вижу вас в дорожной карете, дорогая сестрица, и совершенно утешенной во всех

ваших печалях.

– Я уеду при соблюдении двух условий. Первое – я должна знать, какого рода переговоры я буду вести.

– Сейчас сообщу. Вы знаете, что голландцы ежедневно в своих газетах поносят меня; их республиканские замашки я дольше терпеть не намерен. Я не люблю республик.

– Это понятно, ваше величество.

– Я с досадою вижу, что эти владыки морей (это они сами себя так величают) мешают французской торговле в Индии и их корабли вскоре вытеснят нас из всех европейских портов; подобная сила, и притом в таком близком соседстве, мне очень не по душе, дорогая сестра.

– Но ведь они ваши союзники?

– Вот почему они поступили весьма опрометчиво, выбив медаль, которая изображает Голландию, останавливающую, как Иисус Навин, солнце, и снабдив ее надписью: «Солнце, остановись предо мною». Это отнюдь не по-братски, не так ли?

– А я думала, что вы уже забыли про этот пустяк.

– Я никогда ничего не забываю, сестра моя. И если мои подлинные друзья, каков ваш брат Карл, захотят присоединиться ко мне...

Принцесса задумалась.

– Послушайте, – сказал Людовик XIV, – можно поделить владычество над морями, и раз Англия терпела уже подобный раздел, то разве я хуже голландцев?

– Этот вопрос будет обсуждать с королем Карлом мадемуазель де Керуаль.

– А в чем состоит ваше второе условие, сестра моя?

– В согласии принца, моего мужа.

– Оно будет дано.

– Тогда я еду, брат мой.

Услышав эти слова, Людовик XIV повернулся к тому углу зала, где находились Кольбер с Арамисом и д'Артаньяном, и подал своему министру условленный знак.

Тогда Кольбер, резко прервав начатый разговор, обратился к Арамису:

– Господин посол, давайте поговорим о делах.

Д'Артаньян тотчас же удалился. Од подошел к камину, откуда можно было услышать все то, что король будет говорить своему брату, который в сильнейшем беспокойстве направлялся ему навстречу.

Лицо короля оживилось. На нем была видна непреклонная воля, которой во Франции уже никто не перечил и которая вскоре не будет встречать отпора во всей Европе.

– Принц, – заявил король своему брату, – я недоволен шевалье де Лорреном. Вы его покровитель, посоветуйте ему в течение нескольких месяцев попутешествовать.

Словно снежная лавина в горах, эти слова свалились на принца, обожавшего своего фаворита и сосредоточившего на нем всю свою нежность.

Он воскликнул:

– Чем шевалье мог разгневать ваше величество?

И бросил яростный взгляд на принцессу.

– Я сообщу вам об этом, когда он уедет, – отвечал невозмутимо король.

– А также когда принцесса, ваша супруга, отбудет в Англию.

– Принцесса в Англию! – пробормотал пораженный изумлением принц.

– Через неделю, брат мой, а куда мы с вами поедem, я оповещу вас позднее.

И, подарив принца улыбкой, чтобы подсластить горечь двух столь внезапных известий, король круто повернулся на каблуках и отошел от него.

В это время Кольбер продолжал разговор с герцогом д'Аламеда.

– Сударь, – сказал Кольбер Арамису, – пришло время, когда нам подобает внести полную ясность в отношения между нашими странами. Я помирил вас с королем, я не мог поступить иначе по отношению к такому выдающемуся человеку, как вы; но так как и вы проявляли порою дружеские чувства ко мне, то теперь и вам представляется случай доказать их искренность.

Впрочем вы более француз, чем испанец. Ответьте мне с полной откровенностью: можем ли мы рассчитывать на нейтралитет Испании, если нами будут предприняты кое-какие действия против Голландии?

– Сударь, – отвечал Арамис, – интересы Испании не оставляют ни малейших сомнений. Возбуждать Европу против Голландии, к которой в моей стране существует старинная ненависть из-за завоеванной ею свободы, такова наша политика, ставшая традиционной: но король Франции находится в союзе с Голландией. Затем вам, конечно, известно, что война с этой страной была бы войною да море, которую Франция, мне кажется, не в состоянии успешно вести.

Кольбер, обернувшись в этот момент, увидел д'Артаньяна, который искал себе собеседника на время разговора короля с принцем.

Кольбер позвал его и шепотом сказал Арамису:

– Мы можем продолжать в присутствии господина д'Артаньяна?

– О, разумеется! – ответил испанский посол.

– Мы только что говорили с герцогом д'Аламеда, что война против Голландии была бы войною на море.

– Это очевидно, – согласился мушкетер.

– А что вы думаете об этом, господин д'Артаньян?

– Я думаю, что, для того чтобы вести эту морскую войну, нам потребовалась бы сильная сухопутная армия.

– Как вы сказали? – спросил Кольбер, решив, что ослышался.

– Почему сухопутная? – удивился Арамис.

– Потому что короля побьют на море, если англичане не помогут ему, а будучи побит на море, он будет быстро лишен портов, которые захватят голландцы, и всего королевства, в которое хлынут испанцы.

– А если испанцы останутся строго нейтральными? – поинтересовался Арамис.

– Они будут нейтральны, пока король будет сильнее противника, – отвечал д'Артаньян.

Кольбер был восхищен этою прозорливостью, которая если уж касалась какого-нибудь вопроса, то освещала его до конца. Арамис улыбнулся. Он знал, что в дипломатии д'Артаньян в учителях не нуждается.

Кольбер, как все тщеславные люди носившийся со своими фантазиями и уверенный в том, что они завершатся успехом, между тем продолжал:

– А кто вам сказал, господин д'Артаньян, что у короля нет сильного флота?

– О, я не вникал в подробное рассмотрение вопроса о королевском флоте. Я неважный моряк. Как все нервные люди, я ненавижу море; однако я думаю, что Франция, будучи приморской страной, обзавелась бы и морями, если бы у нее было достаточно кораблей.

Кольбер вытащил из кармана небольшую продолговатую тетрадку, разграфленную на две части. С одной стороны были записаны названия кораблей; с другой – количество пушек на них и численность экипажей.

– Мне пришло в голову то же самое, что и вам, – обратился он к д'Артаньяну, – и я велел сделать список тех кораблей, которые мы недавно добавили. Всего тридцать пять кораблей.

– Тридцать пять кораблей? Непостижимо! – вскричал д'Артаньян.

– Что-то вроде двух тысяч пушек, – поклонился Кольбер. – Это то, чем обладает король в настоящее время. Тридцать пять кораблей – это три сильные эскадры, но я хочу иметь пять.

– Пять? – переспросил Арамис.

– Они будут спущены на воду, господа, до конца года, и у короля будет пятьдесят линейных боевых кораблей. С такими силами можно бороться, не так ли?

– Строить корабли, – сказал д'Артаньян, – трудно, но все же возможно.

Но что касается их вооружения, то как тут быть, право, не знаю! Во Франции нет ни литейных заводов, ни арсеналов.

– Ба! – отвечал Кольбер с веселой усмешкой. – За последние полтора года я много чего понастроил. Неужели вы не знаете этого? Знаком ли вам господин д'Инфревиль?

– Д'Инфревиль? Нет.

– Это человек, которого я открыл. У него хорошая специальность: он умеет заставить работать. Это он стал лить пушки в Тулоде и рубить лес в Бургундии. Быть может, господин посол, вы не поверите, но мне пришла в голову еще одна мысль.

– О сударь, – поклонился Арамис, – я верю вам всегда и во всем.

– Представьте себе, что, размышляя о характере наших союзников, достопочтенных голландцев, я сказал себе: они – купцы, они – друзья короля и будут счастливы продавать его величеству то, что делают для себя. Так вот, чем больше покупаешь... Ах, следует добавить еще, что у меня есть Форан... Знаете ли вы, д'Артаньян, Форана?

Кольбер забывался. Он называл капитана попросту д'Артаньян, совсем как король. Но капитан улыбнулся и ответил Кольберу:

– Нет, я не знаю его.

– Это еще один человек, которого я открыл, специалист по закупкам.

Этот Форан закупил для меня триста пятьдесят тысяч фунтов ядер, двести пятьдесят тысяч фунтов пороху, двенадцать транспортов северной древесины, фитили, гранаты, смолу, нефть и еще всякую всячину на семь процентов дешевле, чем обошлись бы эти же вещи, будь они приобретены в нашей Франции.

– Это идея, – сказал д'Артаньян, – заставить голландцев лить ядра, которые к ним и вернутся.

– Не так ли? И с немалым убытком!

И Кольбер, восхищенный собственной остротой, засмеялся громким резким смехом.

– Кроме того, – продолжал он, – те же голландцы строят в настоящее время для короля по самым лучшим своим образцам шесть больших кораблей.

Детуш... Ах, вы не знаете и господина Детуша?

– Нет, сударь, не знаю.

– У Детуша удивительно точный глаз, он может безошибочно определять, каковы достоинства и недостатки спускаемого на воду корабля. Это драгоценное и притом редкое качество. Так вот, этот Детуш показался мне человеком, который может принести неоценимую пользу на верфи, и теперь он наблюдает за постройкой шести кораблей, заказанных в Голландии для королевского флота. Из всего этого следует, господин д'Артаньян, что если бы король захотел драться с голландцами, то у него был бы очень недурной флот. А насколько сухопутная армия хороша, вам известно лучше, чем всякому другому.

Восхищаясь огромной работой, произведенной этим человеком в несколько лет, д'Артаньян и Арамис обменялись взглядами. Кольбер понял их и был глубоко тронут этим столь цепным для него одобрением.

– Если мы этого не знали во Франции, – заметил д'Артаньян, – то за ее пределами должны знать еще меньше.

– Вот почему я и говорил господину послу, что если б Испания обещала нейтралитет, а Англия помогала нам...

– Если Англия окажет вам помощь, то я отвечаю за нейтралитет Испанского королевства, – проговорил Арамис.

– В таком случае по рукам, – поторопился заключить Кольбер, со свойственной ему непосредственностью и простодушием. – Что до нейтралитета Испании, то у вас нет еще ордена Золотого Руна, господин д'Аламеда.

А я слышал на днях, как король говорил, что ему было бы крайне приятно увидеть на вас ленту ордена святого Михаила.

Арамис поклонился.

«О! – сказал себе д'Артаньян. – Жаль, что нет на свете Портоса.

Сколько локтей лент разного рода досталось бы и ему от этих щедрот! Бедный, добрый Портос!»

– Господин д'Артаньян, – продолжал Кольбер, – пусть это останется между нами.

Уверен, что вы не прочь повести своих мушкетеров в Голландию. Вы умеете плавать?

И он снова весело засмеялся.

– Как угорь, – отвечал д'Артаньян.

– Дело в том, что через все эти каналы и бесчисленные болота – ужасные переправы, и даже лучшие пловцы нередко тонут в этих местах.

– Но это входит в мою профессию – умереть за его величество. И так как на войне – редкость, чтобы было много воды без огня, то я вас заранее предупреждаю, что сделаю все возможное, дабы выбрать огонь. Я старею, вода леденит мою кровь, господин Кольбер, тогда как огонь согревает ее.

Полный решимости и юношеского задора, д'Артаньян, произнося эти слова, был так обаятелен, что Кольбер, в свою очередь, не мог не восхититься им. Капитан заметил произведенное им впечатление. Он вспомнил, что хорош только тот купец, который умеет поднять цену на свой товар, когда на него есть спрос. Поэтому он решил запросить.

– Итак, – начал Кольбер, – вы ничего не имеете против Голландии?

– Да, – согласился д'Артаньян. – Но только во всем, что б вы ни взяли, замешаны личные интересы и самолюбие. Жалованье капитана мушкетеров значительно, спора нет, но заметьте себе: у нас теперь есть королевская гвардия и личная охрана его величества. Капитан мушкетеров должен или начальствовать над всем этим, и тогда ему придется расходовать сто тысяч в год на представительство и на стол...

– Неужели вы допускаете мысль, что король вздумает торговаться с вами? – спросил Кольбер.

– Вы меня, по-видимому, не поняли, – ответил д'Артаньян, убедившись, что в денежном вопросе он уже выиграл, – я хотел вам сказать, что я, старый капитан мушкетеров, некогда начальник королевской охраны, имеющий первенство над маршалами Французского королевства, однажды да театре войны обнаружил, что по своему положению мне равны еще двое – начальник охраны и полковник, командующий швейцарцами. Этого я никоим образом не потерплю. У меня есть укоренившиеся привычки, и я цепко держусь за них.

Кольбер понял, куда метит капитан мушкетеров. Он, впрочем, заранее был готов к этому.

– Я уже думал о том, о чем вы только что говорили, – перебил он.

– О чем?

– Мы говорили о каналах и о болотах, при переправе через которые тонут. Так вот если там тонут, то это происходит из-за отсутствия лодки, доски, наконец, палки.

– Даже такой короткой палочки, как маршальский жезл.

– Бесспорно, – кивнул Кольбер. – Я не знаю ни одного случая, чтобы маршал Франции утонул.

Д'Артаньян побледнел от радости и неуверенным голосом произнес:

– В моих краях мною, несомненно, гордились бы, если б я сделался маршалом Франции; но ведь для того, чтобы получить маршальский жезл, нужно возглавить армию, ведущую военные действия.

– Сударь, – сказал Кольбер, – вот в этой записной книжке вы обнаружите план кампании, которую вам предстоит предпринять будущей весной; король ставит вас во главе своих войск.

Д'Артаньян протянул руку за книжкой; его дрожащие пальцы и пальцы Кольбера встретились. Министр крепко пожал ему руку.

– Сударь, – сказал он, – нам уже давно требовалось воздать друг другу должное. Я начал, теперь ваша очередь.

– Я отплачу вам, сударь, – улыбнулся д'Артаньян, – и умоляю вас сказать королю, что первая битва, в которой я буду участвовать, окончится или победой, или моей смертью.

– А я, – заявил Кольбер, – я прикажу, чтобы сегодня же начали вышивать золотые лилии, которые украсят собой ваш маршальский жезл.

На следующий день Арамис, уезжавший в Мадрид для переговоров о нейтралитете

Испании, пришел к д'Артаньяну да дом, чтобы обнять его на прощание.

– Будем любить друг друга за четверых, ведь нас теперь только двое, вздохнул д'Артаньян.

– И ты, быть может, больше не увидишь меня, дорогой д'Артаньян, – отвечал Арамис. – Если б ты знал, как я любил тебя! Теперь я стар, я угас, я мертв.

– Друг мой, ты будешь жить дольше, чем я, твоя дипломатия велит тебе жить и жить, тогда как честь обрекает меня на смерть.

– Полно, господин маршал, – усмехнулся Арамис, – такие люди, как мы, умирают лишь после того, как пресытятся славой и радостью.

– Ах, – с печальной улыбкой произнес д'Артаньян, – дело в том, что у меня уже нет аппетита, господин герцог.

Они обнялись и через два часа расстались навеки.

СМЕРТЬ Д'АРТАНЬЯНА

В противоположность тому, что обычно наблюдается в политике или морали, все честно сдержали свои обещания. Король вернул графа де Гиша и изгнал шевалье де Лоррена; это настолько расстроило принца, что он заболел от огорчения.

Принцесса Генриетта уехала в Лондон и приложила столько усилий, чтобы убедить своего брата Карла II слушаться политических советов мадемуазель де Керуаль, что союз между Францией и Англией был подписан и английские корабли, имея с собой балласт в виде нескольких миллионов французского золота, провели ожесточенную кампанию против голландского флота.

Карл II обещал мадемуазель де Керуаль, что за добрые советы, которые были преподаны ею, он отблагодарит ее каким-нибудь скромным знаком признательности; он сдержал свое обещание и сделал ее герцогинею Портсмутской.

Кольбер обещал королю корабли, снаряжение и победы. И он, как известно, сдержал обещание. Наконец, Арамис, на обещания которого меньше всего можно было рассчитывать, написал Кольберу по поводу переговоров в Мадриде, взятых им на себя, нижеследующее письмо:

«Господин Кольбер.

Направляю к вам преподобного отца д'Олива, временного генерала ордена Иисуса, моего предполагаемого преемника.

Преподобный отец объяснит вам, г-н Кольбер, что я сохраняю за собой управление всеми делами ордена, касающимися Франции и Испании, но не хочу сохранять титул генерала ордена, так как это бросило бы слишком много света на ход переговоров, которые поручены мне его католическим величеством королем Испании. Я снова приму этот титул по повелению его величества короля, когда предпринятые мною труды, в согласии с вами, к вящей славе господина и его церкви, будут доведены до благополучного завершения.

Преподобный отец д'Олива уведомит вас также и о согласии его величества на подписание договора, гарантирующего нейтралитет Испании в случае войны между Францией и Голландией. Это соглашение сохранит свою силу даже при том, что Англия вместо активных действий ограничится нейтралитетом.

Что касается Португалии, о которой мы с вами беседовали, то могу вас заверить, сударь, что она сделает все от нее зависящее, дабы оказать христианнейшему королю посильную помощь в предстоящей войне.

Прошу вас, г-н Кольбер, дарить мне и впредь ваше дружеское расположение, а также верить в мою глубокую преданность, равно как повергнуть к стопам его христианнейшего величества мое безграничное уважение.

Герцог д'Аламеда».

Таким образом, и Арамис исполнил больше, чем обещал. Нам остается узнать, сдержали ли свое слово король, Кольбер и Д'Артаньян.

Весной, как предсказал Кольбер д'Артаньяну, начались военные действия и на суше. За армией в безупречном порядке следовал двор Людовика XIV.

Верхом, окруженный каретами с дамами и придворными кавалерами, Людовик вел на это кровавое празднество избранных своего королевства.

Офицеры этой армии не слышали, правда, другой музыки, кроме грохота голландской крепостной артиллерии, но для многих, нашедших на этой войне почести, чины, богатство или смерть, и этого было вполне достаточно.

Д'Артаньян выступил во главе корпуса в двенадцать тысяч человек кавалерии и пехоты, получив приказ овладеть различными крепостями, являвшимися узлами стратегического сплетения, называемого Фрисландией.

Никогда еще армия не отправлялась в поход, имея во главе столь заботливого военачальника. Офицеры знали, что генерал, не менее осторожный и хитрый, чем храбрый, не пожертвует без крайней необходимости ни одним человеком, ни пядью земли. У него были старые военные привычки: жить за счет вражеской страны, держать солдат в веселье, а врага – в горести.

Д'Артаньян считал делом чести показать себя мастером в своем ремесле.

Никогда не видали более удачно задуманных битв, более подготовленных и своевременно нанесенных ударов, более умелого использования ошибок, допущенных осажденными. За месяц армия д'Артаньяна взяла двенадцать крепостей.

Он осаждал тринадцатую, и она держалась уже в течение пяти дней. Д'Артаньян велел вырыть траншею, делая вид, что ему и в голову не приходит, будто его люди могут уставать. Землекопы и рабочие в армии этого человека были энергичные, смысленные и старательные, потому что он относился к ним как к солдатам, умел делать их работу почетной и оберегал их от опасности. Надо было видеть, с каким рвением они переворачивали болотистую почву Голландии. Солдаты острили, что груды торфа и глины тают у них на глазах, как масло на сковородках голландских хозяек.

Д'Артаньян послал курьера к королю с сообщением о последних успехах; это улучшило хорошее настроение короля и усилило в нем желание развлекать дам. Победы д'Артаньяна придавали столько величия королю, что г-жа де Монтеспан называла его теперь Людовиком Непобедимым.

Таким образом, мадемуазель де Лавальер, называвшая его только Людовиком Победоносным, в немалой мере утратила благосклонность его величества. К тому же у нее нередко бывали заплаканные глаза, а для непобедимого нет ничего более неприятного, чем любовница, которая плачет, когда все кругом улыбается. Звезда мадемуазель де Лавальер закатывалась, застилаяемая тучами и слезами.

Но веселость г-жи де Монтеспан возрастала с каждым новым успехом, и это утешало Людовика во всех неприятностях и невзгодах. И всем этим король был обязан д'Артаньяну, и никому больше. Его величеству было угодно признать эти заслуги, и он написал Кольберу:

«Господин Кольбер, нам следует выполнить обещание, данное г-ну д'Артаньяну от моего имени; свои обещания он неукоснительно выполняет. Все, что потребуется для этого, вы получите в надлежащее время.

Людовик».

Во исполнение королевской воли Кольбер, задержавший у себя офицера, присланного к нему д'Артаньяном, вручил этому офицеру письмо для его генерала и небольшой инкрустированный золотом ларчик черного дерева, который был не слишком объемист, но весил, очевидно, немало, поскольку посланному дали пять человек охраны, чтобы помочь отвезти его. Эти люди добрались до осаждаемой д'Артаньяном крепости лишь перед самым восходом солнца и тотчас же отправились к генералу.

Им сказали, что вчера вечером комендантом неприятельской крепости, человеком на редкость упорным, была произведена вылазка, во время которой осаждаемые засыпали земляные работы французов, убили семьдесят семь человек и начали заделывать брешь в крепостной стене, и Д'Артаньян, раздосадованный этой их дерзостью, вышел с девятью ротами гренадеров, чтобы исправить причиненные врагом повреждения.

Посланному Кольбера было ведено разыскать д'Артаньяна в любой час дня и ночи, где бы тот ни был. Итак, сопровождаемый своею охраной, офицер верхом поехал к траншеям.

Всадники увидели д'Артаньяна на открытом со всех сторон месте; он был в шляпе с золотым галуном, в мундире с расшитыми золотом обшлагами, со своей длинной тростью в руках. Он покусывал седой ус и время от времени левой рукой стряхивал с себя пыль, которая сыпалась на него, когда падавшие поблизости ядра взрывали землю.

Под этим смертоносным огнем, среди нестерпимого воя и свиста офицеры неутомимо работали киркой и лопатой, тогда как солдаты возили тачки с землей и укладывали фашины. На глазах росли высокие насыпи, прикрывавшие собою траншеи.

К трем часам все повреждения были исправлены. Д'Артаньян стал мягче с окружающими его людьми. И он совсем успокоился, когда к нему, почтительно обнажив голову, подошел начальник саперов и доложил, что траншея стала снова пригодной для размещения в ней солдат. Едва этот человек кончил докладывать, как ядром ему оторвало ногу, и он упал на руки д'Артаньяна. Генерал поднял своего солдата и спокойно, стараясь ободрить ласкою раненого, отнес его в траншею. Это произошло на виду у всей армии, и солдаты приветствовали своего командира шумными аплодисментами.

С этого мгновения воодушевление, царившее в армии д'Артаньяна, превратилось в неудержимый порыв: две роты по собственному почину бросились к неприятельским аванпостам и мгновенно смяли противника. Когда их товарищи, удерживаемые с большим трудом генералом, увидели этих солдат на крепостных бастионах, они также устремились вперед, и вскоре начался ожесточеннейший штурм контрэскарпа, который был ключом ко всей крепости.

Д'Артаньян понял, что у него остается лишь один способ остановить свою армию – это дать ей возможность захватить крепость. Он бросил все свои силы на два пролома в стене, заделкой которых в это время были заняты осаждаемые. Удар солдат д'Артаньяна был страшен. Восемнадцать рот приняло в нем участие, и сам генерал сопровождал их на расстоянии в половину пушечного выстрела от крепостных стен, чтобы поддержать их штурм своими резервами.

Отчетливо были слышны крики голландцев, истребляемых среди укреплений гренадерами д'Артаньяна. Осажденные отчаянно сопротивлялись; комендант отстаивал каждую пядь занятой им позиции. Д'Артаньян, чтобы положить конец сопротивлению неприятеля и заставить его прекратить стрельбу, бросил на крепость еще одну колонну штурмующих; она пробила брешь в воротах, и вскоре на укреплениях, в языках пламени, показались беспорядочно бегущие осажденные, преследуемые сломившими их сопротивлением осаждающими.

Именно в этот момент генерал, обрадованный успехом, услышал рядом с собой чей-то голос:

– Сударь, от господина Кольбера.

Он взломал печать на письме, в котором содержались следующие слова:

«Господин Д'Артаньян, король поручает мне уведомить вас, что, принимая во внимание вашу безупречную службу и честь, которую вы доставляете его армии, он назначает вас маршалом Франции.

Король, сударь, выражает свое восхищение победами, которые вы одержали. Он приказывает завершить начатую вами осаду благополучно для вас и с успехом для его дела».

Д'Артаньян стоял с разгоряченным лицом и сияющим взглядом. Он поднял глаза, чтобы

следить за продвижением своих войск, бившихся на крепостных стенах среди вихрей огня и дыма.

– С этим покончено, город капитулирует через какие-нибудь четверть часа, – сказал он посланному Кольбера и принялся дочитывать полученное письмо.

«Ларчик, который вам будет вручен, – мой личный подарок. Вы не станете, надеюсь, сердиться, узнав, что, пока вы, воины, защищаете своей ипагой короля, я побуждаю мирное ремесло создавать достойные вас знаки нашей признательности.

Препоручаю себя вашей дружбе, г-н маршал, и умоляю вас верить в искренность моих чувств.

Кольбер».

Д'Артаньян, задыхаясь от радости, сделал знак посланному Кольбера; тот подошел, держа ларчик в руках. Но когда маршал собрался уже посмотреть на его содержимое, со стороны укреплений послышался оглушительный взрыв и отвлек внимание д'Артаньяна.

– Странно, – проговорил он, – странно, я до сих пор не вижу на стенах белого знамени и не слышу сигнала, оповещающего о сдаче.

И он бросил на крепость еще три сотни свежих солдат, которых повел в бой полный решимости офицер, получивший приказ пробить в крепостной стене еще одну брешь. Затем, несколько успокоившись, он снова повернулся к посланному Кольбера; тот все так же стоял возле него с ларчиком наготове.

Д'Артаньян протянул уже руку, чтобы открыть его, как вдруг неприятельское ядро выбило ларчик из рук офицера и, ударив в грудь д'Артаньяна, опрокинуло генерала на ближний бугор. Маршальский жезл, вывалившись сквозь разбитую стенку ларчика, упал на землю и покатился к обессиленной руке маршала.

Д'Артаньян попытался схватить его. Окружающие надеялись, что хотя ядро и отбросило маршала, но он, по крайней мере, не ранен. Надежда эта, однако, не оправдалась; в кучке перепуганных офицеров послышались тревожные возгласы: маршал был весь в крови; смертельная бледность медленно покрывала его благородное, мужественное лицо.

Поддерживаемый руками, со всех сторон тянувшимися к нему, он смог обратить свой взгляд в сторону крепости и различить на главном ее бастионе белое королевское знамя; его слух, уже не способный воспринимать шумы жизни, уловил тем не менее едва слышную барабанную дробь, возвещавшую о победе.

Тогда, сжимая в холодеющей руке маршальский жезл с вышитыми на нем золотыми лилиями, он опустил глаза, ибо у него не было больше сил смотреть в небо, и упал, бормоча странные, неведомые слова, показавшиеся удивленным солдатам какою-то кабалистикой, слова, которые когда-то обозначали столь многое и которых теперь, кроме этого умирающего, никто больше не понимал:

– Атос, Портос, до скорой встречи. Арамис, прощай навсегда!

От четырех отважных людей, историю которых мы рассказали, остался лишь прах; души их призвал к себе бог.